Савва Дангулов

Кузнецкий мост

КНИГА 1

Часть 1

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман известного писателя и дипломата Саввы Дангулова «Кузнецкий мост» посвящен деятельности советской дипломатии в период Великой Отечественной войны.

В это сложное время судьба государств решалась не только на полях сражений, но и за столами дипломатических переговоров. Глубокий анализ внешнеполитической деятельности СССР в эти нелегкие для нашей страны годы, яркие зарисовки «дипломатических поединков» с новой стороны раскрывают подлинный смысл многих событий того времени. Особый драматизм и философскую насыщенность придает повествованию переплетение двух сюжетных линий — военной и дипломатической.

Действие первой книги романа Саввы Дангулова охватывает значительный период в истории войны и завершается битвой под Сталинградом.

Вторая книга романа повествует о деятельности советской дипломатии после Сталинградской битвы и завершается конференцией в Тегеране.

Третья книга возвращает читателя к событиям конца 1944 — середины 1945 года, времени окончательного разгрома гитлеровских войск и дипломатических переговоров о послевоенном переустройстве мира.

- Савва Артемович Дангулов
  - Книга первая
    -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15

- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59

- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75

○ Книга вторая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27

- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71

- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78

- Книга третья
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36

- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80

        - 81
        - 82
        - Эпилог
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9

Савва Артемович Дангулов
Кузнецкий мост
Роман

Книга первая

Он отодвинул штору. День был ветреный. Бежали облака. Устало и неярко глядело дневное светило. Он подошел к окну вплотную. Видно, только что прошли поливальные машины, и в неровностях асфальта удерживалась вода. Она была синей, под цвет ломких льдин неба. Он перенесся мыслью на аэродром. День обещал быть ясным — значит, случайности исключены. Бардин накинул халат и пошел мыться. Солнце еще не пришло в столовую. На кухне смолк чайник, открылась дверь, и Егор Иванович увидел сына. Бардин улыбнулся, но сын не ответил на улыбку, только упрямо вперил в отца серо-зеленые очи. Как у матери, замутненные дымком недобрым. И оттого, что он взглянул на Егора Ивановича глазами матери, Бардин вспомнил жену, какой видел ее в ту субботу, когда был в Ясенцах. Она полулежала, опершись на подушки. Ее рука, необычно желтая, казалась странно неподвижной. Бардин задержал взгляд на этой руке, а когда отвел его, встретился с глазами жены. Оказывается, и она в эту минуту смотрела на руку и заметила взгляд мужа, и он, этот взгляд, все ей объяснил. И Бардину вдруг стало не по себе и потому, что он не сумел утаить от нее этого своего взгляда и причинил ей новую боль, и потому, что он такой толстый, полногубый, бесстыдно розовощекий, а она… многотерпеливая спутница его жизни и мать его детей столько лет прикована к этому ложу, быть может, смертному.

— Ты будешь ночевать у мамы? — поинтересовался Бардин.

— А ты?

— Поеду к деду.

— И я поеду к деду, — произнес Сережа, подумав, однако, как показалось Бардину, он готов был сказать нечто более значительное.

— Ты помнишь… Бекетова Сергея Петровича? — вдруг спросил Бардин. — Ну, того, что привез тебе из Брюсселя сафьяновую антилопу?.. Что ты так смотришь на меня — это бекетовская антилопа!.. Помнишь?..

— Нет, не помню, — отвел глаза Сережа, и Бардину показалось, что сыну доставляет удовольствие сказать «не помню». Ну конечно, он помнит Бекетова, должен помнить.

— А того… Сергея Петровича, моего коллегу по Подсосенскому, с которым мы писали книгу об Ушинском, того самого Бекетова, которого дед зовет Сергунькой, а мама Серегой?.. — спросил Бардин, накаляясь. Последние слова он почти выкрикнул.

— Что ты хочешь этим сказать, отец? — улыбнулся Сережа.

— А то, что этот самый Бекетов… будет сегодня вечером у деда в Ивантеевке…

— Я же тебе сказал, что приеду, — блеснул своими серо-зелеными глазами сын. Бардину почудилось, что слезы заволокли глаза сына. — Я только хотел спросить, Коля Тамбиев будет?.. — Сын точно давал понять, что в разговоре, который начал отец, больше заинтересован он, Егор Иванович, а не Сережа.

— Будет… разумеется, — сказал Бардин и пошел к себе.

Николай Тамбиев, референт отдела печати, жил в Ивантеевке, часто бывал у старика Бардина и через него был знаком и даже дружен с детьми Егора Ивановича.

Бардин склонился над гантелями, не ощутив живота. Такое бывало нечасто, ничто не могло так поправить ему настроение, как это. «Р-р-аз, два, р-р-аз!..» Гантели шли необычно легко. «Вот сейчас закончу и стану на весы, — подумал он. — Или не надо?.. Р-р-аз!..» Весы неумолимы, им ничего не стоит показать 110. Не 109,5, как того хотел Бардин, а именно 110. И тогда все пойдет прахом, хорошее настроение тоже… «Р-р-аз, два!.. Так стать на весы или нет?.. — Он положил гантели и подошел к весам. Долго стоял подле них, не решаясь поднять ногу и поставить на рубчатую резину. — А вдруг покажут 110? Нет!»

Он вздохнул и быстро пошел в ванную. Открыл оба крана и, пофыркивая и радостно вздыхая, полез под душ. Он мылся в собственное удовольствие — взял мочалку пожестче и принялся тереть свои тугие бицепсы. Казалось, кровь подступила к самой коже — полное тело стало пунцовым. Бардин выключил краны, начал мылиться. Обильная пена лежала сейчас на нем, вздрагивая и взрываясь. Не открывая глаз, он нащупал кран с горячей водой, стал медленно его прикручивать. Вода стала прохладной, потом неожиданно холодной.

— О матерь божья! — вскрикнул он, да так громко, что Сережа, случайно оказавшийся рядом с ванной комнатой со стаканом молока, чуть его не выронил.

— Я не могу уже! Когда это кончится? — возмутился Сергей.

Бардин появился в столовой, когда сын заканчивал завтрак. Увидев стакан молока и кусок французской булки, Егор Иванович отвел глаза.

— Убери ты этот хлеб, Сергей, у меня голова кружится.

Но Сережа не шелохнулся.

— Ты видел? — указал Сергей глазами на газету.

— Что именно? — переспросил Бардин не столько осознанно, сколько по инерции и потянулся к газете.

— Тут написано: «В Москву прибывает Риббентроп…» —

произнес Сергей. Его спина оставалась горестно ссутуленной.

— Ну и что?.. Если там сказано «приезжает», значит, приезжает! Но чего ты… опешил?..

— Опешил? Я… просто хочу знать: не его ли ты встречаешь сегодня?

— Его.

Бардин вышел из столовой, и вновь к нему вернулись утренняя слабость и утренняя смутность. Вот сейчас, сию минуту, нечто смятенное вторглось и в сознание сына, все переиначив, все обратив в руины, все, что воспринял он с младенчества вместе с ощущением солнца и дождя, все, что определило для него форму окружающего мира, все, что сделало его кровь алой, а его волосы нежно-пепельными, все, все вдруг полетело в преисподнюю, обратившись в прах, чтобы никогда не обрести прежних черт и размеров.

Когда автомобиль Бардина миновал Белорусский вокзал и покатил вдоль аллеи, уже тронутой предосенней желтизной, мимо проплыл черный лимузин с бордовым флажком на радиаторе. Случайный блик ворвался в сумерки лимузина, и Бардин увидел Шуленбурга. Германский посол сидел, полусклонившись, и слушал человека, сидящего рядом. По вертикальной складке на щеке человека, очень характерной, и по плечам, которые тот приподнимал, когда говорил, Бардин узнал советника фон Хильгера. Лицо Шуленбурга выражало внимание, пожалуй, даже большее, с каким послу полагалось слушать своего советника. Нет, задача, которую задал этот августовский день, была нелегка и для немцев. Бардин еще раздумывал, чем объяснить тревогу, которую он прочел на лице Шуленбурга, когда заметил, как идущий впереди лимузин замедлил движение, дав возможность автомобилю Бардина обойти его. Видно, точность изменила немцам — обычно немецкие часы действовали безупречно.

Промчался лимузин с итальянским флагом, промчался стремительно, не боясь ни опоздать, ни прибыть раньше времени. Лимузин проследовал, а в глазах еще долго маячил золотой погон итальянского военного атташе. Бардин не очень понимал, почему итальянский посол взял с собой полковника, — кроме золотого шитья своего мундира, итальянский военный решительно ничего не мог добавить ко встрече на аэродроме.

Проследовала черная «сигара» Потемкина. Бардин не видел лица Владимира Петровича, но наклоненная фигура, обозначившаяся за автомобильным окном, выражала беспокойство и ожидание.

Когда приземлившийся самолет, жестко вращая винтами,

двинулся по полю и группа встречающих разделилась натрое, Бардин вдруг увидел, что русские заметно отстали от немцев и итальянцев, хотя по долгу хозяев им следовало быть впереди.

Самолет приблизился к кромке поля, и вращение винтов усилилось. К борту пододвинули трап. Дверь самолета нехотя распахнулась, но ее овальный проем некоторое время оставался черным. Потом в овале появилась фигура Риббентропа, странно согбенная. Выходя из самолета, Риббентроп выпрямился и заулыбался. От самолетной двери до земли было неблизко, и все время, пока рейхсминистр сходил, осторожно выбрасывая длинные ноги, он продолжал улыбаться.

— Приветствую вас в Москве, — сказал ему Потемкин, и лицо Риббентропа вдруг стало внимательно-печальным. Собственно, в словах Владимира Петровича, как заметил Бардин, была полная мера радушия, но тон, тон явно не соответствовал словам, и улыбку точно ветром сдуло с лица немца.

Протягивая руку, Риббентроп заметно напрягал ее, стараясь придать ей и энергичность, и твердость, и в этом, как показалось Егору Ивановичу, было больше робости, чем храбрости. Края рта у Риббентропа были, будто у рождественского деда, загнуты вверх, что придавало лицу простоватость, которой не было в глазах — глаза были сладки и откровенно лукавы.

Германский и итальянский послы представили рейхсминистру коллег, при этом итальянский полковник приподнял толстые плечи и хихикнул, но это не возымело действия — края рта у Риббентропа все еще были загнуты вверх, но они не обозначали улыбки. Рейхсминистр вдруг вспомнил, что его ждет автомобиль, и пошел к аэровокзалу.

Егору Ивановичу показалось, что с той минуты, когда Риббентроп появился в овале самолетной двери, до того самого момента, как он сел в автомобиль, немец точно становился тише, тревожно-сосредоточеннее — то большое и смутно-неизведанное, что ждало его сегодня, явно овладевало его сознанием. Егору Ивановичу пришел на ум утренний разговор с сыном. И вновь Егор Иванович подумал: что-то происходит такое, что способно все изменить и переиначить. Завтра сам цвет земли и неба должен быть иным, все, что испокон веков было черным, станет белым… Станет или… Бардин внушил себе такое? Да можно ли внушить человеку то, что отвергает его сознание, что противно его первоприроде, что невозможно привить его коже и крови — она взорвется и отделит это от себя, как здоровая ткань отделяет от себя струпья мертвой ткани. И еще думал Егор Иванович: да волен ли он распоряжаться в такой мере своим сознанием, самим представлением об окружающем мире? А коли он сам не может

заставить себя думать иначе, попробуй перемочь сознание другого. И вновь в памяти встали дымно-лунные очи сына, злые, злые… Попробуй внушить Сереже доверие к тевтону, он задаст тебе такого, что и костей не соберешь. Однако как это все произойдет сегодня и как это может произойти физически? Удержится ли солнце на небе, не оборвется?

И Бардин ощутил, как напряглось что-то внутри, чутче стал сам слух — слышно шуршание скатывающейся песчинки в песочных часах, — чутче, чутче… Ну что ж, судьба нынче милостива к Егору Ивановичу, он углядит, как скатывается песчинка по шершавой поверхности песка, — Риббентропа повезет к кремлевским воротам он.

Если все должно совершиться в один день, очевидно, нет времени и для обычной в этом случае экспозиции — за тридцать минут, которые даны немцам на сборы в Кремлевский дворец, едва ли сменишь сорочку. Но рейхсминистр терпим — тридцать так тридцать.

От особняка, где расположились немцы, до Кремля — семь минут. День хотя и ветреный, но знойный. Москвичи одеты в белое. У киосков с водой очереди. Соломенные шляпы, матерчатые панамы, даже тюбетейки — их много. На углу улицы Горького и Охотного человек в роговых очках и тюбетейке смотрит в упор на автомобиль, в котором едут немцы. Под мышкой у него томик в темно-коричневом коленкоре — библиотека «Академии». Бардин пробует угадать книгу: Сервантес или Данте? Нет, все-таки Сервантес. Кажется, человек в тюбетейке встретился взглядом с Риббентропом. Такое впечатление, что этот взгляд даже что-то сказал человеку. Он сошел с тротуара, глядя вслед удаляющейся машине, но, потеряв надежду рассмотреть, снял тюбетейку и вытер ею лицо, вытер ото лба до шеи — видно, оно вмиг стало мокрым. «О чем подумал этот человек, увидев Риббентропа? — спросил себя Бардин. — Почему он сошел с тротуара и глядел машине вслед?»

Когда автомобиль приблизился к Спасским воротам и Бардин по привычке поднял глаза к надвратной башне, часы показывали два. Все, что должно произойти, произойдет в этот час, остальное явится большим или меньшим дополнением к главному, подумал Бардин. Подумал и забыл. А жаль, если бы помнил, подивился бы — точно в воду смотрел, все было так.

…Они долго шли коридорами, сопровождаемые офицерами охраны. Нещадно скрипели сапоги офицеров. Покашливал Риббентроп, каждый раз поднося ко рту зажатый в руке платочек. Шуленбург не мог удержать вздоха. И бесшумно ступал советник рейхсминистра Гаус, не ступал — парил.

— Да хорошо ли вам, господин посол? У вас лицо зеленое…

— И у вас, господин рейхсминистр… — улыбнулся Шуленбург через силу. — К счастью, не сердце тому причиной. Взгляните на стены! — Он повел глазами вокруг себя: комната, в которую они вошли, оказалась зеленой.

Риббентроп шевельнул пальцами левой руки, рассматривая квадратный аметист перстня, рассматривая пристально, точно желая убедиться, не воспринял ли и камень цвет зеленых стен.

Бардин оглядел комнату. За столом, стоящим у дальней стены, сидел Бекетов. Молча, одними глазами, Егор Иванович приветствовал друга. Трудно предположить, чтобы приход Риббентропа был для Бекетова событием заурядным, но, обменявшись поклонами с гостями, он уткнулся в свои бумаги и не поднял глаз до тех пор, пока немцы не покинули приемной. «Ничего не скажешь, силен Бекетыч, наверно, он весь здесь! — восхищенно отметил Бардин. — Мне бы это было не под силу».

— Господин Молотов сейчас примет вас…

Риббентроп взглянул на квадратный аметист перстня и решительно направился в кабинет, точно желая в самом стуке своих ботинок обрести уверенность, которой так недоставало ему сейчас.

Он скользнул взглядом по кабинету, остановив глаза на оконных гардинах, кожаных креслах, двери, врезанной в панель. Эта дверь, врезанная в панель, привлекла внимание рейхсминистра больше, чем что-либо иное из того, что он увидел в кабинете. При взгляде на нее глаза рейхсминистра даже выразили некоторое любопытство. «Что бы это могло означать?» — будто бы спросил он себя.

Из-за стола поднялся Молотов. Его серый костюм, очень летний, и белая сорочка с мягким воротником казались будничными в сравнении с черными костюмами гостей.

— Дух братства, который связывал русский и германский народы… — произнес Риббентроп и сделал попытку удержать руку Молотова.

— Между нами не может быть братства, — сказал Молотов, высвобождая руку. — Если хотите, поговорим о цифрах…

Лицо Риббентропа стало едва ли не таким же постно-унылым, как там, на аэродроме, при первом разговоре с Потемкиным, — здесь, как и там, едва он начинал говорить о дружбе, неприязнь была ответом на его слова, неприязнь откровенная.

Рейхсминистр еще не успел подавить в себе смятение, вызванное последними словами Молотова, когда за спиной не столько скрипнула, сколько мягко зашумела открывающаяся дверь. Риббентроп оглянулся — верно, пришла в движение дверь,

врезанная в панель, та самая, на которую он обратил внимание. Вошел Сталин. В светло-сером костюме и черных сапогах, с трубкой в руке, он, видно, был очень похож на традиционного Сталина, каким глядел он с газетных полос. Риббентроп, заметно смешавшись, отступил. Но Сталин протянул руку с трубкой к стульям, предлагая сесть. Немцы усиленно задвигали стульями, рассаживаясь. Казалось, в самой возможности утвердить свои уставшие тела на стульях для них было спасение от той неловкости, которая ими владела.

— Каким образом Германия может получить нейтралитет России? — произнес рейхсминистр, обращаясь к Сталину. Фраза была обнаженно деловой, больше того, демонстративно холодной.

Сталин взглянул на Риббентропа, не скрывая неприязни. Эта реплика германского министра о нейтралитете оскорбительна для правительства СССР. В самом деле, о каком нейтралитете у советской стороны может идти речь с министром фашистской Германии? Смысл нынешних переговоров для правительства СССР: выгадать время, только выгадать время. Значит, в порядке дня лишь договор о ненападении. Но и он может быть подписан, если рейх в своей русской политике откажется от агрессии. Сталин сейчас так и сказал: «…если вы сами не перестанете строить агрессивные планы в отношении СССР». Сказал и медленно пошел по комнате, при этом его сильные ноги ступали странно бесшумно.

— Мы не забываем того, что вашей конечной целью является нападение на нас, — сказал он, останавливаясь подле Риббентропа и не отказывая себе в удовольствии взглянуть на него сверху вниз.

Риббентроп поднял глаза на Сталина — начало явно не сулило ничего доброго. Происходило нечто непонятное Риббентропу. Если русские дали согласие на его приезд, значит, у них было желание договориться. А если такое желание имело место, то какой смысл вести разговор в тонах столь нетерпимых? Риббентроп не требует политеса, но демонстрировать неприязнь… Нет, в этом не было элементарного смысла.

— Вы ошибаетесь, — произнес Риббентроп, обращаясь к Сталину, и приподнялся, приподнялся не столько из-за того, чтобы лишить Сталина возможности смотреть на него сверху вниз, сколько чтобы оказать известное уважение собеседнику. — Национал-социализм и большевизм могут договориться и господствовать в Европе и даже во всем мире…

Сталин пошел прочь от Риббентропа — он любил говорить, расхаживая по кабинету. Никто не мог себе позволить такого —

он мог. В этом была уверенность человека, чья беседа с людьми в течение многих лет была не столько диалогом, сколько монологом.

— У нас достаточно дел у себя дома, чтобы хотеть бросить искру к соседу, — подал он голос с противоположного конца комнаты. Он обретал уверенность в русском, обращаясь к принятым оборотам: «Бросить искру к соседу».

Говорил Молотов. Видно, те несколько фраз, которые он произнес, сложились не сейчас, — он говорил с большей свободой, чем обычно. Он сказал, что не может быть речи о заключении пакта о дружбе. Слишком велика разница во взглядах. Впрочем, если это соответствует желанию Германии, то может быть заключено соглашение, главная статья которого гласила бы, что договаривающиеся стороны обязуются не участвовать ни в какой группировке держав, которая прямо или косвенно была бы направлена против другой стороны.

Риббентроп сел. Советский министр иностранных дел не казался Риббентропу уступчивее Сталина. Больше того, он мог показаться много строптивее. Если это тактика, то понять ее можно — на великодушие имеет право только лицо, стоящее выше тебя. А может быть, объяснение всех причин не в тактике, а в характерах, в линии поведения? Возможно и такое, даже у большевиков, где солидарность так сильна, что различие в характерах не уловишь.

— Но, может быть, вы готовы заключить торговое соглашение? — спросил Риббентроп Молотова. Рейхсминистр склонен был идти на компромисс, но компромисс для себя минимальный. Договор о нейтралитете плюс торговое соглашение — это уже что-то значило.

— Сегодня нам не удастся договориться, — сказал Молотов и внезапно встал. Теперь на своих местах оставались только немцы. В этом была для немцев некоторая неловкость. Не сознательно ли русские заставили испытать их эту неловкость? Если сознательно, то почему? Не только же немцы заинтересованы в происходящих переговорах.

Риббентроп приподнялся и, удерживая коллег на своих местах, произнес:

— Англо-французы хотят подвергнуть блокаде Германию и Советскую Россию! — Тон, которым были произнесены эти несколько слов, отражал если не отчаяние, то откровенное уныние.

— Вы все-таки хотите, чтобы мы рассмотрели вопрос о военном союзе между Москвой и Берлином? — спросил Молотов.

— А почему бы и нет? — ответил Риббентроп, воодушевляясь.

Вопрос Молотова обнадеживал.

— Об этом не может быть и речи, — сказал Молотов и взглянул на Сталина.

— Не может быть и речи, — подтвердил Сталин.

Главные линии переговоров наметились в первый час: немцы предложили заключить пакт о дружбе и военном союзе. Советская сторона отвергла эту перспективу, дав согласие на договор о ненападении.

Поздно вечером, когда договор был подписан и немцы уехали из Кремля, усталые и, как показалось Бардину, радостно-встревоженные, Сталин неожиданно появился в большой комнате секретариата, где работали эксперты гражданские и военные. То ли в общении он хотел ощутить настроение окружающих, то ли хотел дать понять, что договор, подписанный только что, отнюдь не проявление лишь его инициативы.

— Как вы полагаете, товарищи, — он остановился у стола, где сидел над немецким текстом договора известный профессор-правовик, — в каком случае заключение такого пакта оправданно?..

Профессор приподнялся и энергично наморщил длинный нос.

— Если передышка будет длиться пять лет, — ответил профессор.

Лицо Сталина, тронутое оспой, потемнело, будто тенью заполнилась каждая оспинка.

— Значит, пять? — произнес он, обнаружив больший акцент, чем обычно, он сказал «пят». Когда он волновался, первым у него выходил из повиновения мягкий знак. — А как думает… Бекетов? — Он остановил взгляд на дальнем столе, за которым сидел Сергей Петрович.

Бардин увидел, как встал Сергей и, подобно тому, как это бывало с Бекетовым в минуту волнения многократ прежде, поднял ладонь к груди, точно защищаясь. Друг Сергей, бесценный, на веки веков друг… Как же он был дорог Бардину всегда, и в эту минуту в особенности. Егор Иванович смотрел на друга и видел его таким, каким не видел никогда прежде. И все, что увидел Егор Иванович в друге, несло следы трагедии, пережитой Бекетовым. И руки Сергея с неожиданно вздувшимися венами. И морщины, что собрались под мочкой и у кадыка. И белая голова, которая стала такой белой, точно выгорела на солнце Печоры. Оно должно быть неожиданно знойным, это солнце. И темно-синий костюм, который он решил надеть сегодня, чуть просторноватый, с широкими лацканами. Он купил этот костюм еще до первой поездки за рубеж, тогда этот цвет был в моде. Бардин смотрел на Сергея, думал: «Вон как пошли гулять

красные пятна по лицу Бекетова. Не много ли требует Сталин от Сергея? Не выдюжит нынче Сергей, не одолеет себя, самого себя не одолеет, сорвется…» И еще увидел Бардин в друге… Это его глаза, какие-то робко-тоскливые, не бекетовские… Не могло быть у Сергея таких глаз, не его глаза!.. И вновь стало жаль Сергея, жаль неудержимо. «Придется худо Бекетову — ринусь на подмогу. Была не была, ринусь… Ах ты, дружище… Славный и бедный ты человек!»

— Я затрудняюсь ответить, товарищ Сталин, — услышал Бардин голос Бекетова. Да, так и сказал: «Товарищ Сталин», сказал так и, наверно, подумал: «Надо ли говорить «товарищ Сталин»?» Прежде они звали друг друга доверительно-дружески по имени. Как звучит сейчас: «Товарищ Сталин»? Старое обращение друзей по борьбе, комбатантов по оружию… Как оно прозвучит сейчас и как будет принято Сталиным? Не увидит ли он иронию там, где ее нет и в помине, а есть смятение? Ну конечно, смятение — вон какие глаза у Сергея, не храбрые.

— «Затрудняюсь»? — переспросил Сталин. — Разве это так неясно? — Он отступил, намереваясь возвратиться в комнату, из которой вышел, но потом остановился, раздумывая, что же ответит Бекетов.

А Бекетов думал: с той сентябрьской ночи тридцать первого года, теперь уже призрачной, когда его вдруг вызвали в Кремль и Сталин спросил, что он думает о возобновлении отношений с Америкой, нынешняя их встреча была первой. Тогда эта встреча была где-то здесь, может быть, в той самой комнате, из которой вышел сейчас Сталин, а между одной комнатой и другой легли эти восемь лет, и белые снега Печоры, и дощатый городок, стоящий на скате взгорья.

— Надо подождать год, — сказал Бекетов. — Год покажет…

Сталин сдвинулся с места.

— «Год покажет», — произнес он, и в голосе его прозвучала ирония — ему не нравился ответ Бекетова, но он не хотел этого обнаруживать при всех. — «Покажет… Покажет…» Мы все сильны задним умом, но решать надо сегодня… — произнес он теперь уже безо всякой иронии. — «Покажет»… — сказал он и направился в кабинет, однако, прежде чем войти в него, остановился. — Сильны задним умом… — повторил он и, войдя, тронул дверь. Дверь скрипнула и остановилась — видно, закрыть ее плотно у него уже не было сил.

Бекетов уснул, как только машина выехала за черту города. Он слишком хорошо знал ивантеевский дом Бардиных, чтобы надеяться лечь раньше утра. Бардину показалось, что в машине

свежо, и он наклонился, чтобы закрыть боковое стекло. На него глянул черный шатер ели и небо, яснозвездное, августовское. И вид этого неба, пугающе неоглядного, обратил мысли Бардина к тому, что произошло сегодня ночью. Есть решения, которые не вправе принять один человек, кем бы он ни был… Бардин хотел думать, что решение, принятое этой ночью, было принято не единолично. А коли так, была ли уверенность, что это единственно верный шаг из тысячи возможных? Бардин пытался воссоздать подробности минувшего дня. Наверно, самым характерным в этих переговорах была фраза, сказанная Риббентропу Молотовым, когда речь зашла о военном союзе: «Об этом не может быть и речи». Значит, пределы переговоров были обозначены советской стороной заранее и очерчены тщательно — только договор о ненападении, не больше. Но насколько мы уверены, что договор о ненападении соответствует нашим интересам, — вот вопрос.

— Послушай, Сергей… Да проснись ты, господа ради, еще наспишься!

Бекетов поднял голову и, еще не придя в себя, испуганно пощупал, в порядке ли галстук.

От Бардина не ускользнул этот жест друга.

— Ты и на Печоре галстук носил?

— Носил.

Бардин протянул руку, коснулся затылка друга, ощутив, как мягко-ласковы его волосы. Все годы, сколько они помнят друг друга, жил этот жест. В нем, в этом жесте, были и участие, и укор, и похвала за ненароком выказанную доблесть.

— А не поспешили мы с немцами?.. — спросил Егор. Он пытался увидеть глаза Бекетова, но они были скрыты тьмой. — Может быть, там, на Спиридоньевке, надо было выждать, проявить большую осмотрительность и большее терпение?.. Как ты, Сергей?.. Была надежда?

Бекетов молчал. Все так же шли поодаль одна за другой ели, черные, широкогрудые, не ели — курганы.

— Надежда? Вряд ли.

Бардин увидел небо с гроздьями вызревших звезд, крупных, августовских. «В мире не все так очевидно, как может показаться одному человеку, — думал Егор Иванович. — Самый убедительный довод можно оспорить таким же убедительным контрдоводом. Истина — плод ума коллективного. В какой мере Сталин уверен, что поступает правильно? В самом деле, в какой?» — продолжал раздумывать Бардин.

И вновь Егор Иванович увидел полуоткрытую дверь с зеленой полоской света в кабинете, которая столь необычным образом

выражала для Бардина нелегкое раздумье человека, прошедшего в кабинет. «Сильны задним умом…» — все еще слышал Бардин голос Сталина.

Где-то недалеко, справа, за густым пологом ночи и леса гудели моторы — готовились к утренним полетам. Прямо, по движению шоссе, поднятые высоко в ночь, горели сигнальные огни радиостанции, самой мачты не было видно. Еще дальше, над лесным увалом, самолет нес красный огонек, нес торопливо, будто снял его с радиомачты и спешил унести в ночь.

Егор Иванович взглянул на часы — три. Однако поздно. Как сейчас у Бардиных, на третьем этаже большого дома, в самом названии которого отразилось время — жилкомбинат? Как там, в гостиной, выходящей на росистый лес, на черное поле, в ночь?.. Как они там, уснули или включили приемник и слушают Лондон: «Час назад Кремль пошел на мировую с Германией…» Как там, на третьем этаже жилкомбината, в квартире Иоанна Бардина, старший сын которого едва ли не приложил руку под этой мировой, а младший накануне вернулся из Испании?

Ивантеевский дом Бардина вернее было назвать домом младшего сына Мирона, авиационного инженера и летчика, убежденного холостяка и порядочного повесы, недавно вернувшегося из Испании с кучей орденов и простреленным плечом. Всем сыновьям отец предпочитал своего последыша и задолго до отъезда Мирона в Испанию заколотил свою квартиру на Варварке и переехал в Ивантеевку, точно указав сыновьям, старшему, Якову, и среднему, Егору, где отныне будет его резиденция. Все страсти старика теперь нашли в ивантеевском обиталище отражение достаточное. В большой библиотеке, перевезенной с Варварки, — увлечение внешними связями русского средневековья, изучению которых Иоанн Бардин посвятил годы; в пудовой коллекции пшеничных злаков — богатствами русского поля. Далеко не всем сыновьям Иоанна Бардина были близки профессиональные интересы отца, но все Бардины восприняли любовь Иоанна к матушке-земле. Исключения не составил и старший, Яков, командир-строевик, вместе со своей пехотной дивизией, а потом корпусом переселившийся в степную Таврию на полтора десятилетия, однако использующий каждую возможность, чтобы побывать в родительском доме, будь то очередной отпуск, как сейчас, или вызов в академию Генштаба, заочником которой он был. Так или иначе, а Егор Бардин и его друг ехали этой ночью не в пустой дом — большая семья Бардиных, по крайней мере ее мужская половина, была в сборе.

— Без меня не нашел бы дорогу? — спросил Егор Иванович,

выходя из машины. — Небось забыл Миронову обитель?

— Нет, не забыл, — ответил Бекетов. Он бывал здесь, и не однажды.

— Егор Иванович, это вы? — В стороне от крыльца человек с непокрытой головой попыхивал папиросой. Бардин подошел. Полковник Бабкин, его квартира рядом с Мироновой. Старый вояка: в Гражданской кавалерист, в Гражданской и летчик. Летал на «этажерочках» — «фарманах» и «вуазенах». — Извините, что не угощаю, — указал Бабкин взглядом на самокрутку. — Вот разыскал в старых галифе, шитых кожей, кисет с махрой и соорудил эту пакость… Час назад слушал радио, и голова пошла кругом, не уснуть… Скажите слово человеческое, Егор Иванович… — Он настороженно-недоверчиво взглянул на Бекетова, который показался из темноты с плащом через руку, спросил, понизив голос: — Как назвать все это? Брест?.. Брест тысяча девятьсот тридцать девятого года?

Бардин молчал. Тянуло предутренним ветром, студено-сырым уже по-сентябрьски. Пахло махорочным дымом (ветер дул от Бабкина), горьковато-жестким. В дыме этом было для Егора Ивановича нечто тоскливое, что лежало у сердца и тревожило.

— Я спрашиваю, Брест?..

— Брест Брестом, а это иное, — ответил Бардин.

— Плохо дело.

— Это почему же?

— Понимать нам головой, Егор Иванович, а воевать сердцем… У головы — шея. Ей, голове, легко поворачиваться. Хочешь, налево, а хочешь, направо. Есть такие, что могут на сто восемьдесят… Р-р-аз — и глаза на затылке. А вот попробуй поверни сердце…

Бардин засмеялся.

— Нет у сердца шеи?

— Природа не дала, Егор Иванович.

Бабкин затянулся, и огонь самокрутки осветил его лицо, неожиданно курносое, в резких и грубых морщинах, лицо старого крестьянина.

— Чую, гореть мне в адовом пекле бессонницы! Да только ли мне?

Он оглядел дом. Вопреки позднему часу многие окна были освещены. Как и предполагал Егор Иванович, Бардины бодрствовали, только Сережу и его дружка Колю Тамбиева сморил сон. Они уместились на одном диване, да еще нашлось место для многомудрого Тарле — ответы на все вопросы, которые поставило перед ними время, они пытались отыскать в книге о Наполеоне.

Гостей встретил Иоанн Бардин. С сыном поздоровался, облобызавшись по бардинскому обычаю, Бекетова заключил в объятия и прослезился.

— Бог видит правду, Сергунька… — сказал он, смахивая слезу.

— Видит, Иван Кузьмич, — сказал Бекетов. Он решительно отказывался называть старика Иоанном.

Яков протянул загорелую руку, блеснул молодыми зубами, они у него на всю жизнь молодые.

— Здравствуйте, Сергей Петрович, рад видеть вас.

— Здравствуй, Яков.

Мирон, все еще в штатском костюме — единственная реликвия, которую он вывез из Испании, не считая поврежденного плеча, — неожиданно появился перед Бекетовым, поклонился с радостной корректностью.

— Есть будете? Небось навоевались в охотку. Чтобы немца победить, нужно вон сколько силы!

— Да, силы… — снисходительно заметил Егор, оставив без ответа иронию брата.

Как ни голоден был Бекетов, он, прежде чем взять вилку, пододвинул солонку, потом перечницу, довел еду до вкуса — казалось, ему приятен был сам этот процесс.

Бардин принялся за еду сразу. Он ел и смотрел по сторонам, соображал. Видно, приемник был выключен не в самый спокойный момент — стулья вокруг приемника стояли, будто повздорившие, спинками друг к другу.

— Ты сыт, Бардин? — спросил Мирон и глубже опустился в кресло — любил человек глубокие кресла. Только глаза да чуб торчат. Не через соломинку ли, выведенную наружу, дышит человек?

— Да.

— А коли сыт, небось можешь слушать?

— Могу.

Егор огляделся. Две пары глаз, ненасытно-серых, бардинских, смотрели на него из противоположных углов комнаты.

— Мы здесь чуть не передрались до тебя, — сказал отец.

— Что так? — спросил Егор и взглянул на брата: отец, видно, имел в виду его, когда говорил о жестокой стычке.

— Я сказал, не грех нам подумать и о России! — произнес старший Бардин. — Вот говорят: «Родина Октября». Так ведь это же привилегия быть родиной Октября, а коли привилегия, значит, и все блага тебе. Только пойми, тебе, а не с тебя.

Мирон залился гневным румянцем.

— А мне, например, ничего не надо. Ты можешь это понять:

ничего. Только дай мне возможность быть тем, кто я есть, и я готов все отдать, что имею. Даже, как в Испании, — жизнь. Готов.

— Эко хватил! — засмеялся Иоанн. — Да я и не отнимаю этой твоей… готовности!.. Молод Мирон, все еще молод! — произнес старик Бардин и направился в соседнюю комнату, но голос Мирона остановил его.

— Молод, значит? Молод? Это все, что ты можешь сказать! — заскрипел зубами младший Бардин. — У меня есть один знакомый, известный по Москве книголюб, человек немолодой, лет так… — он внимательно посмотрел на отца, точно примеряясь к его возрасту, — лет так за семьдесят! Так он говорит как-то мне: «Знаешь, Мирон, я научно установил, что в двадцать два года я был умнее».

Егор отставил тарелку, улыбнулся.

— Уже… начал учить батю? Хорошо! А я думаю: «Когда он начнет учить отца родного?» У меня это было в семнадцать, а у тебя в тридцать два? Ну что ж, лучше поздно… хорошо.

Яков смущенно откашлялся, произнес:

— Вот что, Мирон, отца не обижай…

— Если он отец, пусть не говорит глупостей.

— Тебе можно их говорить, а ему нельзя? — засмеялся Егор.

— Мне можно, — согласился Мирон, улыбнувшись.

Наступила пауза.

— Я хочу наконец знать, что происходит? — произнес Иоанн Бардин. — Могу я знать?

Встал Яков, распечатал коробку «Казбека», закурил.

— Сегодня в академии было черт знает что, — упер он взгляд в Бекетова, сидящего в затененном углу. — Никто ничего понять не может… хоть бы доклад какой о международном положении сделали, разъяснили… Воевать-то нам, в конце концов!

— Я же говорю, воевать нам! — сказал Мирон.

Дым от папиросы Якова поплыл по дому, он был, этот дым, не такой горький, как от цигарки-самокрутки, что курил у подъезда полковник Бабкин. Табак, который только что раскурил Яков, нес иные запахи: приволье и солнечную даль далекого южного края.

— Я все думаю: да вы ли это?.. — подал голос Бекетов. Зычный голос старшего Бардина растревожил и его. — Не могу себе представить, чтобы вы говорили такое пять лет назад. Убейте — не могу! — произнес он. — Здесь задача и для психолога, и для социолога… Немалая задача: как могло все это завладеть умом вашим?

Бекетов не сказал, как он относится к тому, что только что произнес старший Бардин, он всего лишь выразил удивление, смешанное с испугом, что слышит такое от Бардина, — Бекетов

оставался Бекетовым.

— Значит, все дело в передышке? — спросил Яков.

— Мне так кажется, — сказал Егор.

— Так ведь передышка всегда нужна… Сколько будешь жить, столько и будет тебе недоставать двух-трех лет передыху.

— Ты полагаешь, что готов и сегодня? — спросил Егор.

— Нет, я этого не сказал, — ответил Яков.

— Небось ждешь нового оружия?

— Жду.

— А может, еще чего ждешь?

— Жду.

— Чего?

Яков взглянул в затененный угол, где все так же внимательно следил за беседой Бекетов.

— Ты думаешь, что тридцать седьмой позабыт? — выкрикнул Яков и устремил ненароком глаза в Бекетова. — Позабыт?.. Куда там!

— Значит, передышка тебе не противопоказана? — спросил Егор.

— Моя сила на три жизни определена, а вот войско мое доблестное…

— А разве оно не доблестное?

— Я этого не сказал… — смутился Яков.

— Иногда надо упростить позицию, чтобы ощутить ее преимущества, — сказал Егор Иванович. — Все просто: нас хотят сшибить с немцами, как в восемнадцатом и, пожалуй, в двадцать втором. Мы обращаем немецкий поток вспять, как в восемнадцатом и двадцать втором… Поток вернется? Пожалуй, но мы в выигрыше. Год — выигрыш, два — выигрыш бесценный, равный грядущей победе. Нам очень нужны эти два года — испанский урок не обращен в железо… Оружие, которое мы обязаны иметь сегодня, мы обретем через два года.

— У вас не будет его и через три года! — произнес Мирон едва ли не полушепотом. — В Испании был я, не ты… — сказал он брату. — Не ты испытываешь авиамоторы и не ты их строишь. Это делаю я, пойми — я… — Он весь утонул в своем кресле, только продолжали торчать его глаза да три волосины его непокорного чуба. — У войны сегодня иные скорости… Сегодня все совершается много быстрее, чем вчера! К тому времени, когда ваши новые моторы будут еще на испытательных стендах, немцы решат все свой проблемы на западе и повернут на восток…

— Запад — не только Англия, — сказал Егор Иванович. Он обрел уверенность. — Америка тоже запад.

Мирон молчал. Казалось, его доводы исчерпаны. Можете

верить мне, можете нет, точно говорил он, но и в первом случае и во втором не моя шкура будет в ответе — ваша.

— В жизни не все перелагается на железо и время, — наконец произнес Мирон. — Есть такое… что не подвластно этой грубой формуле. Как ты заставишь меня поверить в целесообразность договора с Гитлером, а завтра оборонять тебя от того же Гитлера, вот проблема.

— Точно так же, как сделали наши отцы во времена Бреста, — реагировал Егор мгновенно, видно, эта фраза была у него наготове.

— Я враг всяких сравнений, когда речь идет об истории. Как ни плох кайзеризм, это не фашизм, — произнес Мирон. — Я лежал в гвадалахарской глине и видел над собой свастику… Видел, видел!.. Я не могу принять ее за… иной знак только потому, что этого хочет мой брат!..

— Прости меня, Мирон, но ты… глуп.

Мирон выскочил из своего кресла, словно его выщелкнули оттуда курком-самовзводом.

— Я солдат, а ты сановник… Вот где правда!.. В жертву этой вашей тактике вы готовы принести самое святое… А я не приемлю этой вашей тактики и не дам вам поганить святое… Я солдат Гвадалахары и умру им. И потом, чем ты жертвуешь, подписывая… эту бумагу?.. А вот Сережка, что спит на дедовском диване, Сережка…

— Мирон, ты с ума сошел! — крикнул старший Бардин на сына. — Ты… положительно спятил!

Тишина, вызванная последней репликой Иоанна, точно затвердела. Непросто было ее разбить, если бы не дверной звонок.

— Господи, кого носит в этакую рань? — возопил Егор Иванович.

Но Иоанн удивился звонку меньше остальных. Не иначе, он ведал, кого носит в этакую рань. Он пошел отпирать дверь.

— Филипп!.. — подал голос Иоанн и тут же поправился: — Дядя Филипп!

Явился Филипп и, не обращая внимания на прочих, пошел к Егору.

— Здравствуй, милый… Вот узнал, что ты будешь, встал на часок раньше и сделал крюка… от своей Барабихи, — он, казалось бы, против воли Бардина распахнул короткие ручки и попытался заключить его в объятия, но, не справившись с могучей статью, оставил Егора в покое, улыбнулся, пошел в коридор. — Вот тебе… гостинца от моего Петеньки.

Он внес в комнату вещевой мешок и извлек оттуда

здоровенную рыбину, завернутую в газету.

— Хороша… белорыбица, ой, хороша… угощайтесь!

Наступила тишина, она была, определенно, тверже той, которая предшествовала приходу Филиппа.

— Это… за что гостинец-то? — иронически усмехнулся Мирон, пододвигая свой стул к столу, на котором лежала рыбина, — ее запах был непобедим. — Не иначе… крестный подсобил Петьке прошибить дорогу в техникум?

Филипп захохотал, не тая голоса.

— Бери выше — на подготовительный… в институт!

— Нет, Филипп, ты это брось! — воспротивился Егор и вытер влажный лоб. — Если бы не сдал Петр, небось и Бардин ничего не сделал бы. Петр — парень еще тот, он и сам с усам…

— Петр… это верно, — слабо возразил Филипп, — но только я скажу тебе, Егор, что бы мы делали, если бы не ты! Нет, я верно говорю! Верно! Что ни говори, Егор, а ты один такой в бардинском доме! Ей-богу, один! — Никто не шевельнулся, он будто припечатал всех к стульям. — Ну, что… Или забирать мне рыбину?.. Вы все большие люди… замнаркомы там и разные… академики, а кто я? Вас разве удивишь белорыбицей-то. Вы и не такое видали, а? А мне она в диковинку, вот я и припер ее! Я-то человек маленький!

Бардин оглянулся. В дверях стоял Сережа со своим дружком Колей Тамбиевым. Видно, громовая тирада Мирона разбудила их.

— Вот тут у Тарле сказано, что Наполеон перед Ватерлоо… — заметил Сережа и протянул книгу отцу.

— Только тебя здесь с твоим Наполеоном и не хватало, — бросил в сердцах Егор и вышел из комнаты.

«…А вот Сережка, что спит на дедовском диване!..» — не шли из головы слова брата, когда поутру автомобиль Бардина покинул Ивантеевку. Сейчас Сережа спал рядом, и его худое тело, странно длинное (длиннее, чем ему надлежит быть), расслабленное сном, вздрагивало, когда машина замедляла ход. Нет, брат был неправ жестокой неправотой, и все-таки было в его словах нечто такое, что брало Бардина за душу. Все, что произошло сегодня ночью, своеобразно воплотилось для Егора Ивановича в судьбе сына. Чего греха таить, если события этой ночи обернутся для России огнем, то адово это пламя первым сожрет сына. Да, сожрет, не пощадит и его зеленых очей, и его смеха, такого безудержного и заливистого… И оттого, что эта простая истина встала вдруг в сознании Бардина так внезапно и так обнаженно, нечто ощутимо твердое возникло внутри и зажало дыхание. Зажало так прочно, что казалось, разогнешься и остановишь самое сердце. Вот так, согнувшись в три погибели, Бардин доехал до Москвы…

1

Этот пятиэтажный дом на Кузнецком мосту подлинно стоит утесом и был бы виден издалека, окажись попросторнее площадь.

Дом стоит на холме, который точнее было бы назвать высоким берегом Неглинки. Когда вы идете от Неглинной, сначала вы и не заметите, что взбираетесь на холм, так полог его склон. Говорят, вскоре после того, как Наркоминдел переехал на Кузнецкий, а квартира Чичерина оставалась в «Метрополе», Георгий Васильевич ходил на работу именно этой дорогой: пересекал Лубянский проезд у Малого театра и, дойдя по Петровке до Кузнецкого, начинал «восхождение».

Десять минут спорого шага, и ты в Наркоминделе даже раньше урочных девяти часов. В этом случае есть свой ориентир, как полагал Георгий Васильевич, безошибочный: в девять нарком начинал прием послов. Если посольской машины нет у подъезда, нет нужды извлекать часы из жилетного кармана — до девяти далеко. Больше того, можно не торопясь пересечь площадь и даже предаться воспоминаниям.

Кстати, сегодня утром Чичерину попала на глаза «Журналь де Женев». Белая гвардия все еще предает анафеме всех присных: «Красные эмиссары, помните урок Воровского!..»

Георгий Васильевич смотрит в глубь площади. Утреннее солнце высветило темную бронзу. Сейчас видно лицо Вацлава Вацлавовича, очень живое… Для говорящего Воровского характерны были эти паузы, которые, казалось, останавливали его речь, как удары колокола, при этом по лицу его точно пробегали токи тревожного волнения. Скульптор ухватил именно этот момент.

Где Георгий Васильевич видел Воровского последний раз? Ну, разумеется, весна двадцать второго года и милая, нетленно всемогущая, бессмертная Генуя!.. Воровский повел Чичерина по этой улочке, узкой и сумеречной, спускающейся к морю, смотреть генуэзское чудо — собор Сан-Лоренцо. Разговор возник, когда Чичерин и Воровский вышли на площадь Де Феррари. И обернувшись, Георгий Васильевич увидел Воровского. Он говорил о том, что истории неведомо, чтобы мир вот так раскалывался надвое, как он раскололся с Октябрем, неведомо, чтобы крепостной ров, заполненный водой, развалил землю надвое… Конечно, дипломатов можно и впредь именовать дипломатами, но если смотреть в корень, то нечто новое восприняла их древняя профессия. Впору взвить над головой белое полотнище и пошагать навстречу огню, как это делают парламентеры. Пощадит

пуля — жить тебе и жить, не пощадит — вечная память солдату революции.

Чичерин смотрит в глубь площади: Воровский…

«Память… вечная. И вечно стоять тебе на Кузнецком мосту бессменным часовым, бессмертным часовым…»

Много лет спустя, вспоминая происшедшее, Егор Иванович убедил себя, что ощущение беды было в самом цвете неба, дымного, хотя и безоблачного, которое он увидел сквозь распахнутое окно, в шуме проходящего поезда — ветер дул от железной дороги и поезд гремел, немилосердно, тяжелый, маршрутный; в движении ветвей старой березы, которая росла за окном, — ветер свивал и пригибал их к земле. Именно это первое ощущение заставило его сделать в воскресное утро то, чего никогда он не делал: дотянуться до радиоприемника и включить его, а потом, затаив дыхание, прислушаться к хаосу звуков, зная, что сию секунду из их плазмы родится нечто такое, что он обречен услышать, услышать и никуда уже не упрятать.

Он выключил приемник и пошел из комнаты. Посреди столовой, в которую он заглянул, стояла жена, босая, простоволосая.

— Я все слышала, — сказала она.

— Что делать будем, Ксения?

Она замотала головой так, что ее седые волосы укрыли лицо.

— Сережа, Сережа… — произнесла она, не отводя волос с лица.

Он взглянул на часы — десять минут седьмого, поезда уже пошли.

— Ну что Сережка?.. — воспротивился он, воспротивился по инерции. — Где все, там и он, — сказал он в сердцах и, оглянувшись, осекся — в дверях стоял сын.

— Не война ли?..

— Война, Сережа…

Сын зябко ссутулился, провел ладонью от плеча до запястья — видно, кожа стала гусиной.

— Э-эх, не удастся… в этот раз на Алатау побывать…

Он оглядел родных, надеясь по привычке собрать улыбки, но молчание было ему в ответ, молчание хмурое.

— Это я могу тебе пообещать твердо, не удастся, — сказал Бардин.

Они сидели в столовой. Сидели и молчали.

— Я, пожалуй, поеду, — заторопился вдруг Бардин. — Не могу не поехать, — взглянул он на жену, та кивнула ему в знак согласия, осторожно кивнула, боясь этим кивком вспугнуть сына.

Бардин вышел на тропу, ведущую к станции, и, взглянув на

небо, подивился тишине, которая лежала вокруг, радостной тишине неведенья. Где-то она пресечется?

Высоко над Ясенцами, над их мягко-зелеными холмами, над зеленью луга, над извивом реки взметнулась голубиная стая — кто-то сильной и доброй рукой пустил голубей в небо, приветствуя солнце, солнце воскресное…

Играла гармошка вразброс, напропалую — парни шли с гульбища.

Где-то в Перловке в вагон вошла женщина с корзиной, полной цыплят, и их гомон, неистребимо весенний, сопровождал Бардина до самой Москвы, а потом он услышал его на Ярославском вокзале, а еще позже, в метро… И гомон этот, казалось, должен был настраивать на веселый лад, а Бардин думал: «Как там сейчас Яков в своей степи?»

Еще с вокзала Бардин позвонил на Кузнецкий. В европейском никого не было, зато в отделе печати оказался Коля Тамбиев.

— Тихо, как никогда, ни одного звонка, в шесть смоюсь! — произнес он, смеясь, и Бардин понял: видно, он только что заступил, ничего не знает.

— Я сейчас буду у тебя, Николай… — сказал Бардин.

— Что-нибудь случилось? — реагировал он тотчас.

— Я буду, — ответил Егор Иванович, не обнаруживая желания продолжать разговор.

В те двадцать минут, которые потребовались Бардину, чтобы добраться от Ярославского вокзала до Кузнецкого, весть эта пришла и к Тамбиеву. Правда, у главного подъезда, выходящего на площадь, было пустынно, зато в глубине площади, рядом с памятником Воровскому (вход в отдел печати был там), стояло несколько автомашин, разнокалиберных и разномастных, — первая группка иностранных корреспондентов была уже в наркомате.

— Дежурите, товарищ Бардин? — спросил обычно немногословный офицер охраны — тоскливая тишина воскресного дня сделала и его разговорчивым.

— Дежурю, — бросил Бардин и устремился к лифту.

Егор Иванович никого не застал у себя. Впрочем, свежие окурки в пепельнице указывали точно, что дежурный был здесь только что.

Бардин позвонил в секретариат наркома. Ответил Котрубач, долговязый украинец, полысевший в двадцать пять лет, однако не утративший своего жизнелюбивого нрава.

— Ты, Егор? А я уже оборвал и твои телефоны. Бекетова вызывают в Кремль. Всю Москву перелопатил, еле отыскал у друзей где-то в Химках, — он перевел дух. — Прости, хлопче, ты

у себя будешь? Включи радио в двенадцать, выступает нарком.

Бардин положил трубку. Зачем Бекетов вызван в Кремль, вот вопрос. Какая нужда в нем в этот трижды страдный день? Недостает его спокойной мудрости, его такта, его человеческого опыта или его английского языка? «Сжечь мост всегда успеете — не сжигайте мостов!» — это сказал Бекетов.

Что повлекло в Кремль Бекетова?

А Бардин думал: «Отец уже знает об этом? А как Мирон?.. Ему-то самим господом богом знать положено». Бардин представляет, какую ярость вызовет в нем эта новость, ярость на всех и, больно в этом признаться, на брата. «Вот… ваша мудрость-то!» А как Яков, как правильный Яков в своей степи? Кому-кому, а ему придется испить горюшка сполна. И вновь мысли обратились к сыну: «Сережка… Сережа… беда и радость моя!.. Вот Иринка — не то… Что девочке угрожает в ее четырнадцать лет?..» На какую-то минуту он забылся, только повторял безотчетно: «Четырнадцать… Четырнадцать…» Потом задумался: «Четырнадцать?.. Значит, взрослой она станет уже во время войны, долгой войны?»

И Бардин вспомнил ту ночь, ту августовскую ночь в ивантеевской квартире, и стычку с Бекетовым — сколько раз за эти два года вспоминал он спор с другом. «Худо ли, бедно ли, но, когда придет пора бить Гитлера, нашим союзником будет коварный Альбион…» — «Это не Черчилль?» — спросил тогда Егор. «Может, и Черчилль…» — «Но пойти на союз с Черчиллем… не риск ли?» — «Риск? Ну что ж, в каждом новом деле есть доля риска, но заставить врага революции, врага наисвирепейшего, которого, как это ни парадоксально, своеобразно вызвала на свет революция как своего антагониста, заставить этого врага работать на революцию — это и есть призвание дипломата-революционера…» — «Черчилль как спаситель… революции? Это что ж… милые шалости диалектики?» — «Если хочешь, диалектики…»

Помнится, в тот раз тирада Бекетова показалась Бардину фантастической. Но то, что в тот раз казалось фантастикой, сейчас выглядело реальным вполне. В самом деле, в такой ли мере несбыточным был сейчас союз с Черчиллем?.. Если спасение англосаксов в союзе с Россией, то почему Россия не может пойти на союз с англосаксами? Но, наверно, есть и третье решение, для Черчилля есть — спасти себя и попытаться отправить к праотцам и Гитлера, и Советскую Россию?.. Тогда что делать нам? Обрести дополнительную мощь в союзе с англосаксами? Но это уже призвание не столько армии, сколько дипломатии. Призвание? Да, не просто задача или даже миссия, а именно призвание, и, как

каждое призвание, оно оправдано самой сутью дела, его предначертанием.

Но все это имеет смысл, если вал огня, который сейчас идет на Россию, не сметет ее, если Россия устоит. Как-то Яков сказал Егору: «Если я устою, у тебя, пожалуй, дело будет. Если протяну ноги, и ты протянешь вместе со мной…»

Егор Иванович взглянул на часы — двенадцать.

Бардин узнал голос Молотова и впервые за этот день, отмеренный длинными и тревожными часами, почувствовал, как размывается, обращается в прах надежда, которая еще несколько минут назад была жива в нем: «А вдруг это… незлобивая шутка судьбы, вдруг все это миф…» Нет, все твердо: война, война… И в какой уже раз Бардин подумал о Якове. Он воюет, старший из братьев Бардиных, уже воюет.

Все началось не сегодня утром, и не накануне, хотя накануне и было тревожно, а много раньше, может, в апреле, а может, в марте… Кажется, в марте Бардин услышал, что есть посольская депеша, вроде бы из Берлина: немцы начали массовую переброску войск с запада на восток. Потом эти данные, как передавали Бардину, подтвердила военная разведка. Потом разведка стран, находящихся в состоянии войны с Германией. Потом… Наверное, не было источника, который бы отверг эту версию, включая все германские, — немцы эти слухи не опровергали.

Признаться, когда в прошлую субботу Бардин прочел сообщение ТАСС, оно, это сообщение, оставило у него впечатление двойственное. Как отмечалось, текст был вручен германскому послу. Сообщение ТАСС, врученное послу иностранной державы? Случай почти беспрецедентный. Если сообщение имело характер «пробного шара» и призвано было установить намерения немецкой стороны, то ему должна была быть придана форма ноты. В этом случае, только в этом, советская страна могла рассчитывать на ответ немцев. Обратившись же к форме тассовского сообщения, мы как бы сознательно шли на то, что ответа может и не быть — никто не обязывает дипломатические инстанции отвечать на заявления телеграфного агентства, даже такого официального, как ТАСС. Больше того, никто не неволит посла принимать этот документ. Кстати, перспектива, что Шуленбург документа не примет, не исключалась. У этой проблемы был и иной аспект.

Придав ноте форму сообщения ТАСС, советская сторона адресовала его и собственному народу, а это дело нешуточное. Издавна сообщение ТАСС отождествлялось в сознании советских людей с точкой зрения правительства и никем не бралось под сомнение. Правда, в силах правительства было разъяснить

истинное значение этого документа хотя бы армии. Однако, как сказал Егору Ивановичу Мирон Бардин, такого разъяснения не последовало. Но вот вопрос: в какой мере все аспекты этого шага учитывались советской стороной? Очевидно, учитывались. Каким образом? Бардин допускал, что советская сторона специально облекла ноту в столь необычную форму, чтобы показать немцам, а заодно и всему внешнему миру искренность своих намерений. Такой шаг, по убеждению Егора Ивановича, был отнюдь не настолько наивным, каким мог показаться на первый взгляд. Бардин уверен, что до того, как это решение было принято, все его стороны были исследованы. Советская сторона будто говорила этим документом: «Вы обвиняете нас в тайных намерениях, а мы торжественно заявляем о верности принципам мира. Вот документ, который недвусмысленно это подтверждает. Тот факт, что мы адресуем его своему народу, а заодно и армии, свидетельствует, что мы готовы следовать духу и букве этого документа».

А как повели себя немцы? Они не ответили на заявление ТАСС. Они не ответили на него, не желая дезориентировать свою армию, которая на всех парах готовилась к нападению. Тассовский документ даже не был напечатан немецкими газетами. Больше того, германская сторона ушла от ответа и тогда, когда этот вопрос был прямо поставлен перед нею в беседе Молотова с Шуленбургом. Кстати, был поставлен и другой вопрос: «В чем заключается недовольство Германии в отношении СССР, если таковое имеется?» В самой формуле вопроса Бардин усмотрел нечто беспрецедентное — никогда советская сторона не разговаривала в таких покорно-уступчивых тонах с эмиссарами Третьего рейха. «В чем заключается недовольство Германии в отношении СССР…» Никогда не разговаривала прежде и, так думает Бардин, никогда не будет разговаривать впредь… Со времени беседы Молотова с Шуленбургом прошло несколько часов, но их оказалось достаточно, чтобы советская сторона заговорила с фашизмом языком, каким она всегда говорила с фашизмом…

Но было в речи наркома и нечто иное — намек на союз с западным миром.

Бардин спустился в отдел печати и встретил Тамбиева. Похоже, что прямо из наркомата он предполагал выехать за город — на нем были светлый костюм и рубашка «апаш». Рубашка была лилейно-белой, жесткой от крахмала. Там, где твердый рубец воротника резал шею, кожа была заметно розоватой.

От весело-озорного настроения Тамбиева не осталось и следа.

— Гофман сообщил, что мы запросили у англичан визу для

Бекетова…

Бардин едва не присвистнул. «Так вот почему Сергей затребован в Кремль — едет в Лондон!.. В каком качестве? Но так ли это важно? Главное — Сергей едет в Англию! Когда принято это решение, сегодня или вчера? Разумеется, сегодня! Когда ж ему быть принятым, этому решению, как не сегодня? А может, вчера?» Бардин поймал себя на мысли: ему очень хотелось, чтобы это решение было принято сегодня. Если сегодня, значит, оно состоялось в ответ на агрессию, значит, дала себя знать новая тенденция.

— Вы полагаете, что это важно, Егор Иванович? — спросил Тамбиев.

— Очень, Коля, — произнес он и подумал, что впервые назвал его так — именно так звал Тамбиева Сережка.

— Простите, Егор Иванович, но в нынешней обстановке, наверное, не просто добраться до британского берега? — спросил Тамбиев.

— Да, конечно, — согласился Бардин, но не успел уточнить свою мысль — из полутьмы коридора выплыл собственной персоной Гофман и, увидев Бардина, заметно просиял. Встреча с Егором Ивановичем явно отвечала его намерениям.

— Только что я говорил с коллегами, — произнес он, протягивая короткую и пухлую ладонь. — Не исключено, что сегодня выступит Черчилль и предложит России союз и помощь… — Он улыбнулся. — Даже не верится, что такое может произнести отпрыск Мальборо — вопреки логике всей своей жизни…

— В шестьдесят семь лет вопреки логике? — спросил Бардин.

— А как иначе понять, если такое скажет Черчилль?

— А по мне, из всех логичных шагов Черчилля этот шаг самый логичный, — заметил Бардин. — Но что означает для Черчилля союз с Россией?.. Вторжение на континент? — Бардин решил брать быка за рога.

Гофман помрачнел.

— Э-э-э… господин Бардин, господин Бардин! — Он даже попробовал поднять свой короткий палец. — Ну откуда мне знать, что означает для Черчилля союз с Россией? Вот господин Бекетов, который будет на днях в Лондоне… К тому же я… американский корреспондент.

— Тогда, как Америка?

— По-моему, Америка радуется, — мгновенно реагировал Гофман и испугался, откровенности своей испугался. — Вчера — страх, сегодня — радость, — уточнил он и, как показалось Бардину, был доволен, что вышел из положения.

Среди инкоров, аккредитованных в Москве, Гофман был отнюдь не новичком. Он приехал в Россию в середине тридцатых годов и осел здесь прочно. Причиной тому был не только русский язык Гофмана (в родительском доме Гарри всем языкам предпочитали русский, всем блюдам — щи с кулебякой, а праздники справляли по календарю московской патриархии, который привезла семья в свою калифорнийскую обитель в достопамятную осень 1892 года), но и русская его жена. Бардин видел ее однажды в посольском особняке французов на Якиманке. Было в ней что-то от русской богоматери, как изобразил ее Дионисий на своей знаменитой фреске в монастыре Ферапонта. Величаво круглоплечая и белолицая, она была хороша прелестью северянки.

Как можно было понять этого Гарри Гофмана?.. Далеко ли пойдет коварный Альбион в своем желании стать союзником России и что намерена делать Америка? Наверно, до тех пор, пока страх не сменился радостью, многое, а как теперь?.. Кстати, сфера отношений с Западом — дело армии или дипломатии?.. Где-то здесь лежит то большое, что призвана совершить дипломатия в великой войне.

2

Бардины… Глава могучей фамилии Иоанн Бардин любил говорить, что он интеллигент всего лишь во втором поколении. Его отец, Кузьма Бардин, был учителем в великой мануфактурной республике под Иваново-Вознесенском, а дед иконописцем, в просторечии — богомазом. Иоанн любил вспоминать деда и считал его человеком способностей недюжинных… Собственно, интерес к деду у Иоанна возник из интереса к иконам деда, которые по небрежению хранились на чердаке большой избы-пятистенки Бардиных в ярославском пригороде Коровниках, куда семья Иоанна перебралась из-под Иваново-Вознесенска. От долгого лежания на чердаке иконы точно тронула благородная длань времени: краски потемнели, легкая паутинка трещинок покрыла лики святых. Иоанн выносил иконы к свету — глаза святых оставались неяркими. Они кротко глядели, эти глаза, из своей далекой полутьмы. В них были и жажда сущего, и неизбывная печаль. Были среди этих святых такие, которые, «яко дым», размывались в памяти Иоанна и исчезали — один тлен. Но были по всем статьям знатные, знатные, наверно, своей похожестью на смердов российских. В них, в этих ликах, были и строптивость, и раскаяние, и страх, и неистовость в страхе и бесстрашии. Короче, это были люди как люди, даже не очень понятно, почему их переселили на «небеси», когда им жить надлежало на земле. Но это Иоанн узрел позже, когда приезжал в Коровники из Москвы. Не было бы Москвы, может быть, всего бы и не увидел Иоанн. Не было бы Москвы? Да, третий сын Кузьмы Бардина, нареченный в честь крестителя Иоанном, ушел из Коровников в Москву, дав зарок любой ценой выбиться в люди.

Иоанн не любит вспоминать свое «московское отрочество», но иногда нечто похожее на воспоминания выхватывалось и у него: «Так, как голодали в том веке… О, не приведи господи!». Но потомственное бардинское многотерпение все одолело, к тому же свет не без добрых людей. Одна такая душа отыскалась в Румянцевской библиотеке и безбоязненно призрела, даже поощрила к чтению. Собственно, университет начался там. А потом шагнул Иоанн подалее — Петровская академия. Нет, не студентом, даже не вольнослушателем. Стерег многомудрые палаты, а по весне мыл окна и скоблил именитую грязь, а с теплом уезжал на юг и шел в работники к богатым казакам, что сеяли пшеницу, косил хлеба, работал на молотилке, вязал мешки с зерном и грузил их на подводы, строил по осени новые амбары для хлеба, загружал их новой мукой — сеянкой, мукой, идущей в

размол для серого хлеба, отрубями… Был жаден до работы и, пожалуй, безотказен, но, улучив минуту, подолгу беседовал со старыми казаками о том, что было заповедной тайной и касалось зерна семенного. В этом деле была своя наука, мудреная. Старые казаки знали ее и по-своему берегли. В начале июня, когда заканчивался налив и колосья, густо-золотые, тяжело шумящие, начинали клониться к земле, старики принимались за великое таинство отбора… Из моря колосьев они отбирали колос-богатырь. Нет, дело не в длине стебля, а в количестве зерен да в добротности каждого зерна, чтобы оно было повесомее да помучнистее да мука чтобы была посветлее и, пожалуй, пожирнее… Непросто отобрать такой колос-богатырь, хотя выбор и велик — истинно море колосьев!.. А потом к таинству отбора прибавлялось таинство выращивания. У каждого колоса своя делянка. Главное — взять разгон и тридцать зерен превратить в тридцать колосьев!.. Дальше веселее: фунт зерна обратить в пуд, а пуд в чувалы, да, кстати, смолоть первые пригоршни зерна и испечь калач. Как он, новый сорт, добытый мудростью и терпением?.. Эти доморощенные селекционеры были людьми не простыми и хитрую свою науку полушутя-полусерьезно звали колдовством, а секреты колдовства тоже держали в тайне. Истинно, чтобы проникнуть в тайну, надо было пойти в работники. Но что интересно: у «колдуна» был язык на замке, когда дело касалось тайны «колдовства», но «колдун» был и словоохотлив, и добр, когда речь шла о философии таинства. «Это что же, против природы, а следовательно, против бога?» — спрашивал Иоанн. «Нет, супротив-то бога идти не след, — отвечал «колдун». — А взять кнут и разок хватить коняку, что зовется природой, есть смысл… Пусть бежит шибче!» Иоанну была симпатична эта формула: может, и в самом деле не менять сути природы, а совершенствовать ее суть? Вот так и вызрело призвание Иоанна Бардина. Если терские и кубанские деды проникли в эту истину только силой ума и опыта, то как много может прибавить к этому наука, у которой еще и знания. И хотя Бардин все еще был батраком, или, как звали его на юге, работником, до цели заветной ему стало ближе. Теперь он и в академии был иным человеком: не только мыл многосаженные пролеты и скреб полы, но и слушал лекции в завидном качестве вольнослушателя.

А потом минули годы, много лет, и на полпути от степного полустанка к станице, где Бардин батрачил в юности, возникла опытная станция, которую жители соседних станиц окрестили по имени ее директора «Иоанновкой», или «Ивановкой». Как нетрудно было догадаться, задача, которую ставила опытная

станция, следовала из самого существа бардинской жизни — дать российскому югу новые семена. Если кубанские и терские деды тратили на выведение своих пшениц годы, сколько времени требовала эта задача и в масштабе края, республики, а может быть, и государства? Человек обстоятельный и точный, Иоанн Бардин, начиная труд своей жизни, соотнес его с количеством лет, отпущенных ему природой, и даже положил добрую дюжину годов про запас. Но дело оказалось больше и, главное, многократ труднее, чем полагал Бардин. Главную часть работы он сделал — семена, выращенные им, дали заметный прирост урожая. Это было тем более ценно, что совершилось в канун великих перемен в нашей деревне. Иоанн Бардин имел возможность в полной мере ощутить, как необходим России его труд. Но пшеница за эти годы заметно продвинулась на север, и перед старым ученым возникли новые задачи. Одним словом, нужны были годы, а их уже не было.

Следуя известной мудрости, гласящей, что все отцы желают своим сыновьям того, что не удалось совершить им самим, Иоанн решил, что труд его жизни продолжит отпрыск, разумеется, старший. Но отпрыску было не до новых сортов пшеницы — шла Гражданская война, и ее стихия увлекла его. Не без раздумий и тайных сомнений Иоанн обратил взгляд на Егора, но, видно, обратил поздно. У Егора уже сложились свои интересы, свое представление о будущем — исторический факультет университета казался для второго бардинского чада землей обетованной. Надо отдать должное Иоанну, он не пытался отвратить сына от истории, больше того, он сделал нечто такое, что утвердило сына в его решении. (Здесь были свои резоны, если учитывать существо Иоанна, объяснимые: человек, чьи симпатии были на стороне дисциплин естественных, он, однако, всем гуманитарным наукам предпочитал историю.) «Поди-ка ты, Егорушка, на Подсосенский к Сереже Бекетову и скажи, что ты Бардин», — молвил Иоанн, когда университетские годы были у его среднего чада на ущербе. Егор старался припомнить: Бекетов? Это какой же Бекетов? Не тот ли пепельноголовый, которого отец однажды заманил на Варварку с какого-то университетского торжества и просидел с ним в библиотеке едва ли не до петухов, споря о знаменитом набеге Ивановых дружин на Псков и Новгород? Отец говаривал, что Бекетов предпочел истории дипломатию и с некоторого времени стал «известным чичеринским комбатантом», но что до Иоанна, то он этого на месте Бекетова не сделал бы. Иоанн был несказанно обрадован, когда узнал, что в силу «метаморфоз нашего времени» Бекетов ушел из дипломатии и вернулся к истории. Так или иначе, а Бардин пошел на Подсосенский и увидел, что пепельноголовый

Бекетов за это время стал седовласым. Бардин назвал себя и был принят радушно весьма. Бекетов пригласил Егора к себе на Пречистенку и, уединившись во флигельке, стоящем в глубине двора, предпринял этакое путешествие по горам и долам немудреной Егоровой жизни, а закончив путешествие, объявил, что это путешествие было ему интересно. Как потом убедился Егор, бекетовское путешествие было предпринято отнюдь не только ради любопытства к Бардину. Не мудрствуя лукаво, Бекетов предложил молодому историку положение скромное, но достаточно почетное.

«Почему он такой… белоголовый? — спросил Егор отца. — Что за причина? Природа или жизнь?» — «Пожалуй, жизнь». — «Фронт?» — «Царицын, — был ответ Иоанна. — Но это сказал мне не он, разумеется…» — «Почему «разумеется»?» — спросил Егор. «Да потому, что он об этом не говорит, — заметил Иоанн, помолчав, добавил: — Он был там со Сталиным». — «Поэтому и не говорит?» — спросил Егор. «Может, и поэтому», — ответил отец нехотя. «Боится громкости?» — «Пожалуй. Так, надо полагать, солиднее». Позже Бардин убедился: отец, зная Сергея Петровича не близко, верно ухватил бекетовский характер.

Бардин был даже рад, что дом на Подсосенском был просто учительским институтом, больше того, институтом, который пестовал сельских учителей. Егор полагал: начало российской образованности, как и начало российскому свободомыслию, положили учителя. Бардину была по душе фраза, которую он время от времени слышал в Подсосенских хоромах: «Кто ты, раб божий Иван?» — «Я сельский учитель». — «Это много, отрок?» — «Это почти все…» Не было в представлении друзей дела более благородного и нужного народу, чем то, которому посвятили они себя. Учитель, подвижник, по образу жизни едва ли не пустынник, готовый на муки мученические ради блага народного, вызывал у них не просто сочувствие, был их идеалом. Им хотелось написать книгу, в которой бы идея просветительства, идея героическая, нашла свое воплощение. Они долго искали формулу книги и наконец сошлись на том, что это будет «История российской образованности». Тема увлекла их своим героическим началом. В сущности, это должна быть книга о великих русских педагогах, а следовательно, и подвижниках, таких, как Ушинский и Лесгафт. Они предполагали уединиться в бекетовском флигельке на два безбрежных года и написать книгу… Наверное, Егор не во всем был согласен с другом. В конце концов, воздвигнуть книгу, что воздвигнуть город, — годы, годы. Да есть ли они у друзей? Но Егор не возражал, как вряд ли возразил бы Бекетову и кто-то другой из тех, что были их общими друзьями на

Подсосенском.

Егор Иванович допускал, что секрет бекетовской популярности, а может быть, и больше, авторитета — в умении владеть студенческой аудиторией, влиять на нее. Нет, дело не в профессиональных фокусах — в способности завораживать словом, например, а в самой сути бекетовских лекций, в его отношении к истории.

Иоанн сказал сыну о Бекетове: «Он любит историю настолько, чтобы понимать: нет большего кощунства, чем сломать хребет факту. Он допускает, что в своем отношении к факту историк может быть… еретиком, но, выражаясь образно, факт должен в такой мере почитаться, чтобы ни единый волос не упал с его головы… Проверь меня, сыне…» Иоанн так категорически потребовал: «Проверь меня, сыне!» — потому, что верил в свою правоту… Как установил Егор Иванович, Бекетов охранял событие не только из уважения к его, так сказать, догме, он верил в свою способность понимать, а следовательно, толковать событие. Бекетов был убежден, что чаще всего событие искажается потому, что лицо, совершающее это, не способно его понять… Когда событие уродуется, нет необходимости в особой гибкости ума. Историк просто приспосабливает его к своей способности толковать факт, часто ограниченной весьма. Много труднее историку, если он воссоздает факт, как его родило время, а в таком факте, как во всем, что сотворено непредвзято, есть положительные и отрицательные заряды. Иначе говоря, независимость, а следовательно, всесильная суверенность. Но зато как убедителен и весом рассказ, если эта всесильная суверенность охраняет и факт истории, и историка. Ведь факт часто утверждает прямо противоположное тому, что хочет утвердить историк, следовательно, в этом единоборстве истории и историка утверждается нечто такое, что способно вызвать к жизни новое качество, а поэтому и новые ценности.

Как ни убедительны были эти доводы, Бардин полагал, что не в них истина. Объяснение в самой личности Сергея Петровича, в самом облике, нет, он не ошибся, именно в самом облике, даже внешнем.

Худой и высокий, с неяркими серыми глазами, начисто седовласый и все-таки молодой, этакий сребroглавый юноша, он был по-своему обаятелен. В точном соответствии с его обликом и в его характере была некая благородная простота. В том, как он мог ободрить человека и даже воодушевить его, была добрая воля, качество бесценное. Наверно, он знал людей, разновидности их душ, а значит, страстей, иначе его умение завязывать отношения с ними было бы непонятно. Но в том, как он это

делал, это умение не обнаруживалось. Наоборот, создавалось впечатление, что он это делает как бы бессознательно, повинуясь некоему чувству, каким снабдила его природа, чувству совершенному, каким и должно быть создание природы…

Они были рады каждой новой беседе — у них была радость общения. У их беседы был незримый фон: мысль, возникшая в разговоре, влекла за собой воспоминания, а следовательно, и сонм людей. В течение тех почти десяти лет, которые насчитывала их дружба, пали стены крепости, которыми один человек отгорожен от другого: они могли все сказать друг другу. И не просто могли, у них была потребность сказать это.

Они уезжали в Ясенцы и, наскоро переодевшись, шли куда глаза глядят. Где-то, разувшись, они перебирались через мокрые луга. Где-то входили в лес и шли часами, видя над собой маковки сосен. Где-то вместе с долгоногими фермами электролиний перебирались через болота… Беседа делала их путь увлекательным. Иногда Егор спрашивал друга: «Скажи, там, в Царицыне, ты его наблюдал в деле?» — «Да, конечно». — «И что?..» — «Мне казалось, что в его поведении были и ум, и последовательность, и расчет…» — «Это нужно было ему?» — «Это было полезно делу». — «Он ценил, что делал ты?» — «Да, я так думаю». — «И продолжает ценить?» — «Не знаю». — «Почему не знаешь?» — «Мы потеряли друг друга». — «Он потерял тебя из виду?» — «Нет, он не может потерять из виду». — «Ты так думаешь?» — «Я знаю». — «Тогда что произошло?» — «Не могу сказать». — «Не увидел в тебе того, кого хотел бы увидеть?» У Бекетова останавливалось дыхание. «В каком смысле?» — «Он мог всего и не сказать, что думает о тебе?» Бекетов все еще не мог перевести дух. «Не знаю… Честное слово, не знаю». — «Но это на него похоже?» — «Пожалуй». И вновь они шагали мокрыми лугами да болотами, но их беседа пресеклась, только было слышно, как скрипит жесткая болотная трава да вздыхает под их ногами и взрывается болотная хлябь.

А потом Бардина пригласили в Наркоминдел. Вначале для разговора, на первый взгляд, настолько беспредметного, что он мог показаться праздным. Если можно было что-то понять, то не столько обратившись к разговору, сколько к самому Бардину, его сути: историк, пишущий, знает английский, при этом разговорный, не чужд деятельности практической, молод зрелой молодостью — тридцать шесть… Одним словом, речь шла о работе в Наркоминделе.

Первым восстал Иоанн и изложил много стройнее, чем прежде, свою концепцию о дипломатии как канцеляристике. Потом подняли голос братья. Потом… Нет, тут произошло

неожиданное — Бекетов не думал восставать. Наоборот, эта идея пришлась ему по душе. «Знаешь, Егор, такие, как ты, нужны там». — «Это почему же такие, как я, а не такие, как ты?» — «Я уже там был…» — «Ну и что?.. Вернешься». — «Нет, туда, как говорится, не возвращаются…»

Иоанн возроптал: «Ты когда последний раз смотрел на себя в зеркало? Тогда посмотри еще раз! Посмотри, не робей! Ну, кого ты узрел? Да неужели ты не понимаешь, что такими дипломаты не бывают? Дипломат — это изящество. Нет, не изящество само по себе, а от гибкости ума, аристократизма мысли! Дизраэли, говорят, был истинным денди, Меттерних на всю жизнь прослыл франтом, да и наши российские, не исключая Грибоедова и Тютчева, были даже в своем кругу этакими комильфо! А теперь огляди себя! Где оно, изящество, и где аристократизм?.. За историка ты, пожалуй, сойдешь со своими пудами потому, что история есть обстоятельность, а это, как понимаю я, человек справедливый, дано тебе». — «Погоди, а обстоятельность разве дипломатии противопоказана», — пытался сшибить отца Егор. «Нет, не противопоказана, но суть явление не главное», — парировал Иоанн. «Ну, это мы еще будем иметь возможность проверить», — взорвался Егор. «Проверяй, — с неожиданной кротостью согласился Иоанн, хотя душа его воинственная продолжала рваться в бой. — Но что говорит Бекетов?» — вдруг вспомнил Иоанн. — «Сергей сказал: «Иди!» Иоанн взревел: «Значит: «Иди!» А сам, сам… почему не идет?» Егор рассмеялся: «Сказал: «Туда, как говорится, не возвращаются!» — «О господи», — вскрикнул Иоанн и беспомощно развел руками, будто хотел сказать, что понять это выше его, Иоаннова, разумения.

Но произошло нечто чрезвычайное — Бекетов вернулся на Кузнецкий, правда, побывав предварительно на Печоре. Это было в такой мере беспрецедентно, что казалось, кто-то сильный избрал это решение, чтобы вознаградить Бекетова за все беды, принятые им… Случилось это едва ли не в канун приезда Риббентропа в Москву. Тот, кто хотел соотнести возвращение Бекетова на Кузнецкий со всем тем, что испытал этот человек только что, а заодно и усмотреть в этом наличие логики, должен был только развести руками — логики здесь не было. С тех пор прошло два года, и Бекетов летел в Лондон. В этом тоже не было логики, если учитывать все, что столь недавно пережил Сергей Петрович. Но сейчас главное было даже не в этом. Если до сих пор Бекетов еще нес на себе хотя бы тень вины, то это решение снимало с него эту вину полностью… Казалось, главное совершилось — человек вернулся к жизни. Оставалось понять

происшедшее.

3

Только поздно вечером в наркомат явился Бекетов.

— Прости, Егор, но у тебя не найдется что-нибудь поесть? — произнес он, потирая виски и поглядывая на книжный шкаф. По опыту он знал, что в поздний час там можно было раздобыть такое, что и в наркоматской столовке не раздобудешь. — Зашел в гастроном на Кузнецком — вымели подчистую! Говорят, целый день мели… Только банки с мандариновым джемом. Русский человек верен себе — субтропическое диво не по нему…

— Боюсь, что и у меня, кроме мандаринового джема, ничего нет, — сказал Бардин и раскрыл книжный шкаф. — Впрочем, пачка печенья и бутылка фруктовой воды…

— Ну что ж, и на том спасибо…

Бардин сидел напротив и видел, как ест друг. Ест неторопливо, несмотря на то, что проголодался по-волчьи. Смотрел и думал, что, наверно, и там, в своем северном далеке, вдосталь намаявшись за день, он ел вот так же. Казалось, Бекетов выпросил у друга это печенье и эту воду, чтобы еще минуту остаться наедине с невеселыми своими мыслями, помолчать.

— Ну, поел ты уже? — нетерпеливо произнес Бардин, глядя, как друг разламывает последнее печенье.

— Да, поел. Спасибо.

— Плохо наше дело, Сергей?.. — Вот и задал он ему этот вопрос, вопрос, который самой жизнью Бардина был адресован Бекетову, только Бекетову.

— Плохо, Егор.

Бардин вздохнул, вздохнул во всю силу своих огромных легких. Впервые он дал волю этому вздоху.

— Что делать будем, Серега?

Бекетов выпил свою воду, отодвинул стакан.

— Этакий удар обратит Россию вспять на годы и годы…

— Вспять? — спросил Бардин.

— А ты полагаешь, нет?..

— Нет, я ничего. Ты… едешь, Серега? — спросил Бардин друга, усаживаясь в кресло. Когда предстоял разговор обстоятельный, он должен был припаять себя к креслу.

— Должен ехать.

— Но… хочешь ехать?

— Если должен ехать, значит и хотеть должен.

Егор Иванович забеспокоился в своем кресле, но покинуть его не решился.

— Я спрашиваю тебя как человека, хочешь ехать в Лондон?

— Хочу, Егор.

— И… сомнений нет?

— Нет.

— А вот это ты мне объясни: почему?

— Ты слыхал о речи Черчилля, Егор? Он уже выступил.

— Да, я знаю.

— Для обывателя она звучит так: Лондон декларирует союз с Россией и готов помогать ей. На самом деле и союз, и помощь будут точно соразмерены: дать России ровно столько, чтобы она, не дай бог, не протянула ноги раньше времени или, тоже не дай бог, не одолела Гитлера…

— Все зависит от доброй воли Черчилля, а мы знаем, как эта воля добра. О ней говорил еще Ленин. Черчилль еще явит себя. Все зависит от него, Сергей?

— Если мы не овладеем положением…

— Но процесс этого союза управляем, Серега?..

— Да, конечно. Живой процесс этой помощи в руках нашей армии, в ее способности противостоять Гитлеру.

— Но и в руках… самих англичан?

— Да, всех тех, кто не боится нас и нашей победы, а их немало, Егор.

— Ты полагаешь, мы можем влиять на них?

— Я верю.

— И ты думаешь, что это задача дипломата?

— Да, Егор.

Бардин оперся на подлокотник кресла, но встать так и не смог.

— Святая наивность!

— Наивность? — спросил Бекетов.

— Святая!.. Ты полагаешь, что в наших силах… повлиять на общественное мнение?

— В наших силах.

Бардин засопел, не без труда поднялся.

— Святая наивность, говорю!..

— Спасибо.

Они молчали. Казалось, разговор безнадежно разладился.

— Пойдем на Варсонофьевский, подышим, — заметил Бардин. — В мирное время я любил гулять по Варсонофьевскому. Есть в этом переулке нечто от старой Москвы…

— Пойдем.

Они вышли и были поражены тишиной, которая объяла площадь. Никогда площадь не была такой тихой.

Они обогнули здание наркомата и вышли на Варсонофьевский. Здесь было еще темнее, чем на площади.

— Ты взгляни на наркомат отсюда — скала, — поднял глаза Бардин. Бекетов невольно остановился. Редкие окна были рассыпаны по темной поверхности стены, точно их бросили наобум — где упадут, там и быть им. Окна были мертвыми, ни одно не выдавало себя.

— Двадцать лет Англия была глуха, а сейчас возьмет и распахнет уши, так? — спросил Бардин. Разговор, происшедший в наркомате, не шел у него из головы.

— По тебе, влияние на умы — это не дипломатия?

— По мне… нет.

— Тогда что есть дипломатия?

Он продолжал смотреть на черный утес наркомата.

— Дипломатия — контакт, а следовательно, осведомленность, а это значит анализ, прогноз…

— Плюс влияние на живые души. Сегодня они корректно безучастны, завтра — лояльны, послезавтра — дружественны…

— Коммунизм англичане поймут завтра, Сережа.

— Но фашизм они ненавидят сегодня.

Бардин смутился.

— Я хочу, чтобы ты ходил по грешной земле, Сережа… Фантазеры меньше всего нужны дипломатии, — он оглянулся, Бекетов не сдвинулся с места, он все еще смотрел на темный утес дома.

— Знаешь, Егор, человек, что был нашим наркомом в двадцатых, слыл немалым фантазером…

— Но ведь он умел…

— Да, он умел то, что мы умеем меньше всего, Егор.

— Погоди, что он умел?

— Говорить с людьми, а согласись, что без этого нет дипломатии.

— Наивный ты человек… Ты отважился вычерпать море!.. Пойми — море!.. Здесь надо сто миллионов Бекетовых, а ты один!.. Вот ты… так возьмешь этот свой половник и пойдешь вычерпывать море?..

— Пойду.

— Наивен!.. Ведь война — это стихия, шквал страстей, шквал огня. Дохнёт, и от тебя и твоего половника и дыма не останется, а ведь ты у меня один, дурная голова!.. Я же тебя, черта, вон сколько лет вот тут ношу! Не было бы тебя и… Сережки, давно бы душу отдал… Вот ты уедешь, и Сережку не сегодня-завтра заберут. Ведь Сережку забреют!.. Я говорю тебе: дураком не будь! Я об одном прошу тебя: не будь дураком! Я же тебя знаю и натуру твою знаю!.. Не хочешь уберечься для себя, для меня убережись!..

Он кинулся к другу и накрыл его грудью.

— Свет!.. Свет в окне!.. Четвертый этаж, второе окно слева. Свет!.. Свет!

Переулок мгновенно наполнился криками:

— Свет!.. Свет!..

В пролете переулка действительно возник неяркий рубец света и погас. Голоса смолкли.

— В дорогу… один?

— Да, Екатерина позже.

— Когда в дорогу?

— Кажется, через неделю…

— Самолетом?

— Да, как-то сложно… Через Архангельск.

— Разреши проводить?

— Охота тебе… Полетим за полночь…

— Разреши?

— Ну что ж… раз охота.

…Июльской ночью, почти на рассвете Бардин привез друга за сорок верст от Москвы на обширное поле, раскинувшееся на краю небольшой деревушки с березовой рощицей на отлете. Вместе с другом Бардин поднялся в неосвещенный самолет, стараясь протянуть время, тщательно уложил нехитрые вещи Бекетова на одну из двух железных скамей, протянувшихся вдоль борта.

— Будь здоров, Сережа!.. Не обижайся…

— А за что мне обижаться на тебя?..

— За… наивность святую.

— Да что уж…

Потом, уже вернувшись к машине, долго стоял, ожидая, пока поднимется самолет. А когда поднялся, старался пригнуться и получше ухватить взглядом темную черточку над березовой рощицей. Казалось, самолет был виден только миг.

4

Тамбиева вызвал Грошев.

— Николай Маркович, завтра в четыре вам надо быть на Ярославском вокзале. Из Архангельска приезжает Галуа. — Грошев снял роговые очки с темными, будто задымленными стеклами, и от этого его маленькие, раскосые глаза стали еще меньше. — Вам что-нибудь говорит это имя?

— Да, разумеется… — сказал Тамбиев и, обратив взгляд на Грошева, подумал: почему у Грошева глаза с косинкой? Не потому ли, что он профессор древней китайской философии? Нет, в самом деле, почему у коренного питерца глаза с косинкой? — Насколько мне память не изменяет, Галуа атаковал нас, и прежестоко, во время финской войны…

— Не полагайтесь на память, — сказал Грошев и надел очки. — Галуа — это не просто. — Он внимательно, теперь уже через задымленные стекла очков, взглянул на Тамбиева. — Маму отправили на Кубань? Хорошо. Там небось персики?..

— Абрикосы, Андрей Андреевич… — Тамбиев знал: Грошев, подобно иным северянам, когда говорил о персиках, имел в виду абрикосы, и наоборот.

— Да это все равно. Край благодатный — вот главное, — он улыбнулся как-то озорно и робко, отчего лицо его стало молодым. — У вас родительский дом… небось хоромы?

— Турлучный…

— Это что же такое? Изба?

— У нас там изб нет, Андрей Андреевич.

— Хата?..

— Нет, просто дом… глинобитный.

— Вот все мы интеллигенты… в первом поколении. Нашим детям будет легче. — Он будто застеснялся, что вторгся в заповедную сферу, — так далеко в беседе с Тамбиевым он не шел. — Видели, какое интервью дал сенатор Трумэн?

— Нет, Андрей Андреевич.

— Мол, наша политика проста: будут побеждать немцы — поможем русским, возьмут верх русские — поможем немцам. Главное, чтобы они больше убивали друг друга… Жестоко, но откровенно, не правда ли?

Тамбиев подумал: сейчас я ему скажу, другого такого момента не будет. Но Грошев точно проник в мысли Тамбиева.

— Звонил этот ваш Катица или Кадица…

— Кадица, Андрей Андреевич, — сказал Тамбиев и подумал: «Поспешил Кадица и, кажется, все испортил. Непоправимо

испортил».

— Сказал, что послал докладную в ВВС. Требует призвать вас по законам военного времени и вернуть в институт… испытывать эти ваши локаторы…

— Я вас хотел просить об этом же, — бросил Тамбиев. Он решил действовать «была не была».

Грошев, казалось, не ожидал такого.

— О чем просить, Николай Маркович?

Тамбиев понимал: если он сейчас не убедит

Грошева, вряд ли он может рассчитывать на успех позже.

— Если у человека есть военная специальность, Андрей Андреевич, по крайней мере во время войны, он не имеет права заниматься ничем иным, — произнес Тамбиев, и его смуглое лицо запламенело.

Грошев молчал, мрачно смотрел на Тамбиева. Толстые губы Андрея Андреевича, казалось, стали синими.

— Сам бог велит, — сказал Тамбиев. Он хотел атаковать Грошева до конца.

— Бог велит, а я не велю, — наконец сказал Грошев.

— Но я буду призван, Андрей Андреевич.

— А я… отзову вас.

Тамбиев подошел к окну, встал к свету спиной. Ему казалось, что вот так Грошев, пожалуй, не рассмотрит, как запламенело его лицо.

— Во время войны власть у военных, — произнес Тамбиев и рассмеялся.

— А это мы еще посмотрим!

— А что здесь смотреть? — Тамбиев продолжал смеяться. — Дипломатия — дело гражданское даже во время войны.

— У меня действительно гражданское, у вас, Николай Маркович, военное… Отделу печати военные не противопоказаны.

— Для каких же таких дел, Андрей Андреевич?

— Для работы с военными корреспондентами, которые съезжаются сейчас со всего мира… — Грошев заметил, что его удар вызвал смятение в противном стане. — Для работы с Галуа, — произнес он.

— Если меня призовут, Андрей Андреевич, я уйду, — сказал Тамбиев неожиданно хмуро.

Грошев молча шевелил синими губами.

— Хорошо, если призовут, — печально согласился Грошев. Он не предполагал, что Тамбиев будет сопротивляться столь упорно. — Простите, какая мысль руководит вами, когда вы проситесь туда? Вы хотите быть ближе к огню?.. Отказываетесь от

привилегии находиться в тылу?

— Хотя бы и так.

— Но испытания этих ваших локаторов — это не фронт, а военные корреспонденты — это и фронт…

— Если считать, что линия фронта для них проходит где-то на Кузнецком…

Видно, Тамбиев накалил Андрея Андреевича порядочно. Грошев встал и тихо пошел, и его маленькая фигура, очень подобранная, с чуть-чуть приподнятыми плечами, чему в немалой степени способствовало количество ваты, которую наркоматовский портной положил под плечи, осторожно проследовала по диагонали кабинета.

— Я обещаю вам, Николай Маркович, несколько отодвинуть линию фронта от Кузнецкого моста… — Он остановился, пристально посмотрел на Тамбиева, однако, поняв, что Тамбиева могут и обидеть эти слова, добавил: — В конце концов, потребуется ваше участие в испытании локаторов — за отпуском дело не станет.

Коля Тамбиев пришел в наркомат год назад. Где-то в начале лета состоялся разговор, решивший его судьбу. Тамбиев попробовал возражать, но фраза, с которой началась беседа, была повторена, и Тамбиев, оставив свой кубанский адрес, удалился. Как ни важен был этот разговор, Тамбиев старался не думать о нем. Ему предстояло провести август, благословенный август, в родительском доме, а ради такого счастья он готов был принять все.

И вот он стоял у окна вагона, ночного окна, и ждал, когда из ночи выйдет навстречу родной город. Мелькнули полустанок с тополем, труба кирпичного завода, тусклый извив железной дороги, вдруг разветвившейся и ушедшей вправо, и пошли улицы, одна знакомее другой. Кто-то берег же для Николая все эти годы, все эти бесконечно долгие годы, чтобы однажды сделать его счастливым… А потом Николай будто вышел на берег озера и на его поверхности возникло одно диво за другим… Вот он открывает калитку, старую, на нетвердых и скрипучих петлях, калитку детства, входит во двор и видит: вопреки позднему часу в сенцах свет. Видно, мама не спит, по случаю его приезда не спит. Тамбиев шагнул во двор, и неудержимо запахло арбузным медом и жареными пышками, как пахло где-то на заре его жизни. А потом в глубине двора звякнула цепь и залаяла собака. «Ну, погоди… Рекс, Рекс…» А потом запах известки и ярко выбеленные стены (все белилось и красилось по случаю его приезда), отец в новой рубахе и счастливое, но бесконечно усталое лицо матери. «Надо же было вот так выскоблить и вычистить нашу старую

хибару. Дома и помоложе давно сгнили и рухнули, а наш домик стоит. Ведь ему, наверно, лет сто есть, отец?» — «Да, пожалуй, сто с гаком, да в гаке полтора десятка… По-моему, его построил еще дед Андрей, мой дед…» И Николай вдруг начинает замечать: есть в говоре отца, как, наверно, и в его говоре, что-то спокойно-напевное, кубанское, что отличает этот говор от любого иного. «Сколько лет я не слыхал отца… Где-то же он должен был жить в тебе, этот говор, чтобы с такой новизной и силой возникнуть однажды ночью…» А потом, на рассвете, притворившись спящим, Николай видит, как отец собирается на работу… Вот он колет сосновые щепочки и растапливает печку. Вот осторожно наливает калмыцкий чай и пододвигает глубокую тарелку с черкесским сыром, видно, мать сделала накануне… Чай, сыр и работа — это и дает ему жизнь. Потом он кормит собаку, радуясь тому, как она хорошо ест… Потом войдет в сад, и Николай услышит осторожный удар топора — боится разбудить дом. Он знает, что Николай сейчас выйдет и возьмет из его рук топор. «Не надо, я сам…» — произнесет он, слабо противясь. Потом сядет, припав спиной к дереву и наблюдая, как Николай орудует топором. «Легче, легче», — говорит он, а сам рад. Нет минуты счастливее и для Николая, и для него. А потом Николай идет по городу. Солнце еще за горой, и городу надо еще добрый час, чтобы проснуться. Но нет лучшего времени, чтобы добраться до стадиона и постоять посреди футбольного поля, пройти по Красной, спуститься по ней и взглянуть на школу, обязательно взглянуть на школу. Чтобы выйти на берег Кубани и, быстро раздевшись (весь фокус в том, как быстро ты сбросишь с себя одежду), разбежаться и устремиться в реку. «Ох, и дурне, дурне… — кричит с моста казачка. — Ни свит ни заря, дурне!..» А потом Николай идет на Пушкинскую, там, в глубине двора, мощенного булыжником, живет его учитель, его старый учитель. «Надя, Надя, посмотри, кто к нам явился! — кричит тот жене и как некогда, нарочито строго сдвинув лохматые брови, произносит: — Садись, Николай, и рассказывай все по порядку…» И Николай, как может, рассказывает и радуется радостью старого учителя — большей радости Николаю не надо, как, наверно, и тому…

Так проходит три недели, а потом, точно гром среди ясного неба, ему приносят телеграмму: «Срочно явитесь Наркоминдел…» Но Николаю, разумеется, не хочется являться срочно. Будь телеграмма от самого бога, и то Николай не предпочел бы поездку к нему встрече с городом… И никто, наверно, Тамбиева не осудит за ослушание. А потом он является по телеграмме. «Вот мы посоветовались и решили: отдел печати НКИД…» — «А

почему, собственно, отдел печати?» — «Нам так кажется…» и Тамбиев начинает понимать. Нет, это не случай, капризный и преходящий… Кто-то разглядел в тебе то, о чем ты сам смутно догадывался, твой тайный доброжелатель, а может, и друг. Разглядел, чтобы никогда об этом тебе не сказать, никогда не признаться… Да был ли такой человек, или тебе он привиделся?.. Твой профессор, знаток египетской старины, приохотивший тебя к истории? А может быть, редактор, которому ты втайне от друзей отнес твои записи о звездной навигации?.. А может, все обыденнее и проще: Бардин, Егор Бардин, с которым ты не однажды встречался в ивантеевской обители? «Есть, мол, такой малый, которого инженеры считают поэтом, а поэты — инженером!..» — «Он пишет стихи?» — «Нет, не пишет…» — «Но он хотя бы… инженер?» — «Инженер». Сказал и ретировался: «Можете воспользоваться моим советом, а можете нет…» А когда однажды встретил Николая, произнес как бы невзначай: «Можно говорить о дипломате что угодно, но, на взгляд смертных, это история и литература одновременно…» — произнес и ушел, будто хотел сказать: «Я свое дело сделал, а ты теперь соображай…» Тамбиев явился в отдел печати к Грошеву, и тот, осторожно приподняв свои ватные плечи, которые заметно смущали и его самого, произнес: «Вот вам две книги. Напишите мне на них рецензии. Да, самые обычные рецензии!» Через три дня Тамбиев принес Грошеву десять машинописных страничек, и тот, поправив свои очки с задымленными стеклами, принялся читать, сказав Тамбиеву, что ждет его минут через пятнадцать. Когда Тамбиев пришел, он застал Грошева расхаживающим по кабинету. «Вы полагаете, что написали это для печати?» — «Нет, для вас, Андрей Андреевич». — «Ну что ж… Вы поняли меня верно. Я жду вас завтра у себя в девять». Когда на другой день Тамбиев встретился с Грошевым, тот сообщил ему, что приказом по наркомату Николай назначен ответственным референтом отдела печати. Как узнал потом Тамбиев, в наркоматовской табели о рангах это положение было достаточно высоким.

Трудно было согласиться с формулой Бардина («Дипломат — историк и литератор одновременно»), но новая работа не оставила Тамбиева равнодушным. Самым симпатичным для него было то, что она все время держала его в напряжении, которое вернее всего назвать творческим, ставила перед ним все новые задачи, задачи нелегкие. Поэтому все, что делал Тамбиев на Кузнецком, он делал с увлечением. Очевидно, Бардин, рекомендуя Тамбиева, подсмотрел в Николае нечто такое, что было сутью Николая.

5

Американский «Who is who», которым обычно пользовался Николай, был отнюдь не лаконичен в изложении биографии Галуа. Энциклопедический словарь сообщал: данный Галуа родился в начале века в Петербурге, в семье промышленника и вскоре после революции покинул Россию. Галуа осел во Франции и окончил здесь университет. Окончание университета совпало с марокканской кампанией, и Галуа уехал корреспондентом воскресной парижской газеты в Африку. Потом была абиссинская война, а затем испанская. Они и сделали ему имя, а имя позволило Галуа иметь свое мнение не только о белой марокканской земле, но и о странах, лежащих далеко от африканских пределов. О России и, например, о Франции. Кстати, о Франции — даже книги. О России книг не было, — видно (надо отдать ему справедливость), Галуа не мог себе позволить этого, не побывав в стране. В Россию он просился, но получал отказ. Неоднократно.

Тамбиев углубился в чтение корреспонденций Галуа. Это были репортажи, написанные с той строгой правдивостью и тщательностью, с какой зрелый человек рассказывает другим о явлениях жизни. Эти этюды были интересны и своей достоверностью, и, главное, мыслью. Николаю даже показалось, что слово обретало энергию там, где обретала энергию мысль. Она, эта мысль, была потому такой впечатляющей, что была жизненной. Она возникла не сразу, и ей предшествовали и раздумья, и наблюдения. Надо немало передумать, да и увидеть немало, чтобы явить такое.

Но вера, которую он исповедовал, обнаруживалась не сразу. Она, эта вера растекалась по пальцам и выскальзывала, как известное простейшее, извлеченное из пучины морской. Единственное, что можно было сделать с нею — выбросить в море и потом, пожалуй, ополоснуть руки. Его верой, быть может, был всесильный компромисс, который он внутренне называл независимостью. Этот компромисс был для него и булавой, и скипетром… Человеку неискушенному могло показаться, что с заоблачной высоты его независимости, то бишь компромисса, сильные мира сего были для него равны и он раздавал тумаки, не считаясь с тем, к какому стану принадлежит сильный. На самом деле все обстояло не так. Компромисс был сферой математического мышления, наукой точной. Количество тумаков строго соизмерялось. На этом и держался человек, его представление об окружающем мире, его, в конце концов, карьера

и журналистское имя.

По крайней мере, все это так рисовалось Тамбиеву, когда он собрался на Ярославский вокзал встречать Галуа.

Прием происходил в «Метрополе». В течение полутора недель, которые минули после начала войны, корреспондентский корпус в Москве стал силой внушительной. В западном мире не было агентства или крупной газеты, которая бы не направила своего корреспондента в Москву.

Прием предполагалось провести в деловых апартаментах Гофмана, под которые был отведен многокомнатный номер гостиницы «Метрополь», однако в последний момент его перенесли в небольшой представительский зал гостиницы, примыкающий непосредственно к ресторану. В последние дни Москва подверглась столь бурному наплыву корреспондентов западной прессы, что вместить их в скромные апартаменты агентства было мудрено. В прежнем корпусе тон задавали немцы, в нынешнем, слишком очевидно — англосаксы. Чтобы установить это, большой прозорливости не требовалось, как ни пестр был состав гостей, — в представительском зале ресторана звучал английский.

Виновником торжества оказался человек лет сорока четырех, высокий и узкоплечий. В его русской речи была некая гундосинка, свойственная старым питерцам, для которых вторым языком был французский.

— Все не могу отделаться от впечатления: позавчера был в Лондоне, а сегодня — в Москве, — сказал он очень непринужденно.

— Вы прилетели на «Каталине»? — спросил Тамбиев. Он не ожидал от Галуа столь непосредственной человеческой фразы.

— Да, разумеется. Прямой дорогой на родину Ломоносова. — Николай заметил, что его собеседнику было небезразлично вспомнить Ломоносова. — Все русские, с которыми я говорил в Архангельске, почему-то говорили об этом… прохвосте Гессе. Точно главная угроза англо-русскому союзу в нем…

— Вы полагаете, не в нем?.. — спросил Николай тотчас. Ему показалось, что он получил возможность заговорить по существу.

Бледные брови Галуа приподнялись.

— Конечно, не в нем! — почти воскликнул он. — Все дело в английских буржуях! — вымолвил он едва слышно и расхохотался, расхохотался с удовольствием, так, что шея его покраснела. Он был рад, что не пренебрег словом, которое для него звучало особенно смачно и бедово. — Эта кливденская клика[1] представляет не только англичан… — Он внимательно

огляделся вокруг и вдруг увидел француза Буа, который, разметав ярко-черную бороду, гарцевал вокруг девушки в вуалетке. — Вы не находите, что этот Буа со своей бородой похож на царя Бориса, как его играл Шаляпин? — Он рассмеялся еще пуще и тотчас себя смирил, но красные пятна, вызванные смехом, еще удерживались на его тощей шее. — О чем мы говорили?..

— О кливденцах?

— Ах, да, об этих… держимордах! — Он не пренебрег и этим словцом. — Так я говорю, они представляют не только англичан!..

— Французов?

— Нет, американцев. Больше того, их посла в Лондоне…

— Он полагает, что надо идти с Гитлером на мировую?

— Да, что-то в этом роде. — Он вновь оглядел зал и остановил взгляд на группе молодых корреспондентов в зеленовато-желтой форме, улыбнулся. — Вы не находите, что эти американские ребята рискуют напиться, как… сапожники? — Он улыбнулся. — Вам надо искать общий язык с Черчиллем! Старик ставит на русскую лошадь, да, да, на орловского рысака, и надо его в этом поддержать!.. — Он помрачнел. — Кстати, немцы Орел бомбили?

— По-моему, нет.

— Какая-то чепуха!.. — Он не без удовольствия произнес: «Чепуха!», — я тоже говорю «Нет!», а вот этот… Гофман, — он указал взглядом на американца, — только что сказал: «Немцы бомбили Орел!» — Он задумался. — Надо искать общий язык с Черчиллем!.. Я понимаю, это непросто! Он сказал в этой своей речи: «Я не возьму назад ни одного своего слова, сказанного против коммунизма». Ну что ж, пусть не берет, черт с ним, в конце концов… Но надо искать основу для союза… непростого союза!..

— А что должно быть основой? — спросил Тамбиев.

— Помощь… русским.

— Чем?

— «Харрикейнами», например.

— Теми, что снимаются с вооружения?

Это его не смутило.

— Да, этими тоже, — подтвердил он безбоязненно.

— Однако вы не щедры, — сказал Николай.

Галуа стоял, выпятив губу, неестественно красную.

— Черчилль не пойдет на вторжение во Францию, — сказал он убежденно. — После того как Россия вступила в войну, эта перспектива…

— Не столько приблизилась, сколько отодвинулась?

— Да, несомненно.

— И это основа для союза?

— Я так думаю…

Подошел Гофман, и Галуа тотчас покинул Тамбиева. У него была какая-то зыбкая, больше того, чуть-чуть вихляющая походка, неотделимая, как могло показаться, от всей его сути.

6

Третьего июля на рассвете летающая лодка «Каталина» покинула Архангельск, взяв курс на северошотландские острова. Бекетов видел, как растушевывается ломаная линия берега и теряет очертания, становясь туманно-серой, неотличимой от воды.

Где-то за Кольским полуостровом, у начала норвежских камней, краснолицый шотландец, не то стрелок, не то радист, а может, и то и другое вместе, схватил Бекетова за рукав и поволок в радиорубку.

— Listen! — кричал он, стараясь превозмочь рев четырех луженых глоток «Каталины». — Stalin is speaking!..

Он стащил с головы Бекетова меховую шапку и приспособил наушники, но в бездне вселенной, которая вдруг разверзлась перед Бекетовым и о которой расстояние от «Каталины» до земной тверди не давало никакого представления, была тишина и такой звук, будто бы мембрану поклевывала большая птица, поклевывала осторожно — словно сама вечность отсчитывал секунды.

— Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я…

Да, это говорил Сталин. Говорил с суровой тревогой, может быть, даже усталостью. Когда он кончил фразу, было слышно его дыхание, усталое дыхание уже немолодого человека — так говорит человек, идущий в гору. Все казалось, что он должен остановиться и перевести дух.

— Враг жесток и неумолим. Он ставит целью захват наших земель… Необходимо, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы люди не знали страха в борьбе…

Он говорил, а Бекетов повторял:

— Да, да… чтобы не знали страха в борьбе, не знали страха…

Из всех чувств, которые волновали Бекетова, осталось именно это: «Не знали страха…» И чувство это надо всем возобладало, все обратило вспять, даже жгучие снега Печоры, даже ее железные льды, даже обиду на человека, который говорит сейчас, обиду необоримую…

— …Не знали страха!.. — продолжал повторять Бекетов вслед за говорящим, повторять так, как некогда в дымной полутьме приходской церквушки при вздрагивающем пламени копеечных свечей повторял слова молитвы… — …Не знали страха!..

И мысль о том, что этот глуховато-суровый голос, идущий от

полярного солнца, из самой снежной мглы, заставил все переосмыслить, на все взглянуть по-иному, взволновала Бекетова.

— Только так: не знали страха, не знали… — сказал себе Сергей Петрович.

А Сталин продолжал говорить… Он сказал, что война должна быть отечественной, освободительной войной против фашистских поработителей… Он так и вымолвил «отечественной», и слово это, слышанное с младенчества как самое святое, нашло отклик в душе Бекетова. «Да, верно, отечественная, отечественная…» И то, что слова эти прозвучали из полумглы в речи старого человека, к тому же говорящего с заметным акцентом, не сделало их менее впечатляющими.

— Да, отечественная, — готов был повторять бесконечно Бекетов. — Отечественная на веки веков…

И он подумал, что эта война будет чем-то похожа на ту отечественную, которая вошла в сознание вместе с сурово-добрым ликом Кутузова и его генералов, тоже людей могучих в своей храброй суровости и, наверное, доброте: Багратиона, Барклая, Раевского… Да, она будет похожа на ту войну, когда страна восстала против поработителей, вся страна: и ее люди, и сама ее земля, вот такая же серая, каменистая, вся в изломах камня, как та, что медленно проплывала сейчас под самолетом. И еще подумал Бекетов: может быть, со временем ты, Сергей Петрович, взглянешь на эту речь по-иному, может, с годами в памяти воспрянут и вырвутся наружу острые камни обиды, которая жила все эти годы и не намерена была отступать, но сегодня Сталин говорил и от твоего имени. Что-то произошло в мире такое, что постижимо не просто: после всех несчастий и бед тридцать седьмого года, которые люди не могли не связывать с властолюбивой сутью Сталина, он становился для страны символом ее ратного деяния.

А «Каталина» точно оттолкнула от себя округлое облако Скандинавии и вошла в неоглядные просторы Атлантики, храбро пробиваясь к северошотландским скалам.

Нет, Сергей Петрович должен во всем разобраться, до всего дойти. Почему Сталин не помог Бекетову? Сталин знал, что произошло с Сергеем Петровичем, не мог не знать… Почему Сталин, бекетовский товарищ по царицынской страде, не помог Бекетову, а Егор Бардин бросился на подмогу, презрев опасность?

Все можно предать забвению, но такое никогда!.. Был июль, и зал против обыкновения казался полупустым — отпуска уже начались. Но это не умерило неистовости. Костромин был уже снят и обвинен во всех грехах смертных, и дело было за Бекетовым. «Если вина директора доказана, виновен и секретарь

парткома, не может быть невиновен». Одним словом, послали этого Смолина в Тверь: «Копни, Смолин, да хорошенько!» И Смолин копнул — приволок три папки, перевязанные голубыми тесемочками, и водрузил их на кафедру: «Вот… ваш хваленый Бекетов!» Чего только там не было! И жену чуть не отбил у приятеля (это Бекетов-то!), и противопоставлял себя городскому руководству, и однажды даже усомнился в верности решения областного руководства, а уж как гордыня человека одолела!.. И пошла писать губерния… А потом прения, и охотники высказаться нашлись — три года партийного секретарства не обойдешь, не обскачешь!.. В самом деле, жену чуть не отбил у друга? Похоже… Противопоставлял? По всей вероятности, противопоставлял. Горд, бестия, да и своеволен порядком! Но дело не в жене, да и с гордостью его можно примириться. Главное в другом. Директор ведь снят?.. И, наверно, поделом? Если сняли, то поделом, так просто не снимут! А коли сняли, и у секретаря рыльце в пушку! А потом эти три папки… с голубыми тесемочками… Ну, предположим, в одной папке наговоры. Можно допустить, что в другой… тоже наговоры!.. Мы не знаем, но допустим!.. А в третьей папке… что такое? Не может быть, чтобы во всех трех папках были только наговоры!.. В конце концов, в Тверь ездил Смолин!.. Коммунист он или не коммунист?.. Он ведь тоже о чем-нибудь думал, когда тащил эти папки из Твери… И потом, говорят, с каждым он беседовал. А их, по слухам, было двадцать три человека… Не могли же они, двадцать три, сговориться и наклеветать на Бекетова! Ну, предположим, один из них… это муж, у которого он чуть не умыкнул жену… а остальные двадцать два? Нет, двадцать два негожи, а он, Бекетов, гож?.. Двадцать два?.. Однако что это такое?.. На кафедру поднимается Бардин. Рванулся, чуть стул не сшиб. Шагнул к кафедре, ни на кого не взглянул, на Сергея Петровича тоже не взглянул. Поднялся на кафедру, положил толстую руку на папки с тесемочками, сказал: «Все, что здесь написано, — ложь!.. Я знаю Бекетова…» Вот это поднялась кутерьма!.. Вскочил Смолин и зашелся в кашле… Истинно, человека одолел коклюш на шестидесятом году! «Ты еще ответишь, Бардин, перед партией!..» — «Хорошо, отвечу… Хочу ответить, но от слова своего не откажусь…» В тот раз сказал себе Бекетов: «Вот с кем судьба невидимой ниточкой связала, на веки веков связала, не с кем-то другим — с ним…» Кого увидел тогда Бекетов в Егоре?.. Наверно, друга, но еще во сто крат больше — коммуниста. Жив человек, вопреки всем невзгодам судьбы жив!.. И чего ради вспомнился Бекетову тот июль?.. Быть может, захотелось еще раз вспомнить Егора, а как это сделать без того, чтобы на ум не пришел тот

случай с тремя папками, что были перевязаны голубыми тесемочками?..

Чья правда взяла верх в тот раз? Конечно же, Смолина, а не Егора. Бекетова вышибли из института, а потом годы Печоры, которые были самыми тяжелыми годами в жизни Бекетова, хотя когда-то прежде был и фронт…

7

Бекетов прибыл в Лондон на исходе дня.

— Поторопитесь, Сергей Петрович. Возможна тревога, тогда нам не проехать, — сказал Бекетову Компанеец, первый секретарь посольства.

То ли сумерки были тому виной, то ли руины, покрытые углем и пеплом, город показался Бекетову черным. Впрочем, черными выглядели мосты через реку, как и сама река и, пожалуй, неосвещенное небо над нею.

— Что сегодня в газетах?

— Немцы сообщают, что взяли Минск…

— Плохо дело.

— Да уж куда…

Бекетов смотрел по сторонам. На улицах немного народу, хотя с начала русской кампании налеты прекратились, на всякий случай каждый занял свой шесток. Впрочем, те, кто все еще оставался на улицах, не очень спешили их покинуть. Они, эти лондонцы, выглядели неторопливо-сосредоточенными, может быть, даже спокойными. Никто из них не смотрел на небо, которое и принесло столько бед и, как видно, сделало человека мудрее.

— В посольство? — спросил Бекетов.

— Да, разумеется, Сергей Петрович.

Только сейчас Бекетов рассмотрел спутника: коренасто-широкоплечий, хотя и немолодой, он говорил на том характерно певучем языке, на каком говорит южная Россия. Бекетов не помнит, чтобы знал его прежде.

— Посол у себя?

— Отложил поездку в парламент, ждет вас.

По тому, как Компанеец произнес «Отложил поездку в парламент», Бекетов почувствовал, что спутник его — лицо определенно служивое. Но было в этих словах и другое — уважение к человеку, который просил Компанейца доставить Сергея Петровича в посольство еще до воздушной тревоги, если она сегодня вдруг будет объявлена. Бекетов видел Михайлова последний раз этой весной, кажется, в приемной наркома. Маленький, чуть-чуть щеголеватый (Бекетов заметил: маленькие склонны к щегольству), он приветствовал Бекетова весьма радушно. «Простите, Сергей Петрович, все собирался вас спросить: Плеханов действительно полагал, что рабочая аристократия впервые появилась в Англии?» — спросил он Бекетова так, будто бы его не оставляло желание задать этот

вопрос Сергею Петровичу и тогда, когда тот находился на Печоре, при этом в такой мере был уверен, что тот вернется с Печоры и он, Михайлов, будет иметь возможность встретить Бекетова в приемной народного комиссара по иностранным делам и спросить его о Плеханове и рабочей аристократии, что не удивился, когда эта встреча произошла. «Да, так мне кажется», — ответил Бекетов, и это заметно обрадовало Михайлова. «Вот видите, я всегда говорил: в Англии, в Англии!..» — произнес посол, а Бекетов подумал: «Все они живут стариной, знатной стариной, и им нет дела до того, что происходит сегодня, хотя, быть может, это сегодняшнее во сто раз значительнее их старины. Значительнее и многострадальнее, горестнее оно, это сегодняшнее, распахало их жизнь так глубоко, что никуда уже от этого не денешься, не защитишься никакой стариной, а они все тянутся ко дню вчерашнему. Почему?.. Там была их молодость, а следовательно, страсть познавания?»

Бекетову показалось, что где-то слева проплыли торжественные иглы Вестминстера, они выплыли из своих средневековых сумерек как напоминание, что они живы. И вновь вспомнился Плеханов. Неизвестно почему, Сергей Петрович связал его со стройными иглами аббатства. В Лондоне должна быть та церковка, где в начале века заседали русские коммунисты. Там был и Плеханов. Где-то у Горького есть об этом. И о Плеханове есть, очень характерное для Плеханова. Как он разговаривал с делегатами и при этом крутил пуговицу на сюртуке. Крутил не без сознания собственного достоинства, по крайней мере так это виделось Сергею Петровичу. Сколько раз думал Бекетов: хорошо бы побывать в Лондоне и разыскать эту церковку. Чтобы понять Плеханова, надо побывать и в Лондоне… И вот Лондон. Приходило ли в голову Бекетову, что приезд его в этот город будет таким?

— Посол ждет вас… — заметил белолицый юноша, возможно, дежурный по посольству. Видно, юноша прибыл сюда недавно, но с тем большим удовольствием он произнес «посол».

Бекетов снял макинтош, взглянул в зеркало. Нет, решительно нельзя идти к послу, не побрившись и не приняв ванны.

— Пожалуйста, Сергей Петрович, — юноша указал взглядом на дверь рядом.

Бекетов открыл дверь и увидел посла, сидящего перед раскрытым книжным шкафом.

— Разрешите?

Посол обернулся и, не выпуская книги, поднялся и быстро пошел навстречу Бекетову.

— Здравствуйте, Сергей Петрович, — произнес он,

приближаясь к Бекетову и перекладывая книгу из одной руки в другую. — Так где, по мнению Плеханова, впервые появилась рабочая аристократия: в Англии или во Франции?

— В Англии, в Англии, Николай Николаевич… — произнес Бекетов, пожимая руку Михайлову и дивясь его способности удержать в памяти однажды услышанное. Однако далась ему эта рабочая аристократия.

— Вот что интересно: хочет старый Уинстон или нет, а рабочая Англия заявит о себе в этой войне! — Он указал глазами на стул, стоящий подле письменного стола, а сам, обогнув стол, сел в кресло. — Верьте мне, заявит!

— Но чего, собственно, хочет старый Уинстон и что он… может? — спросил Бекетов.

— Пожалуй, он хочет меньше, чем мы полагаем. Он слишком умен, чтобы хотеть многого, — ответил Михайлов.

— Он хочет спасти империю? — спросил Бекетов и взглянул на письменный стол. Зеленый свет настольной лампы мягко стлался по столу, освещая большие листы линованной бумаги, исписанной мелким почерком Михайлова. — Но ведь это почти… хрестоматийно, Николай Николаевич! — воскликнул Бекетов, мысленно журя себя за то, что он дольше, чем следовало, задержал глаза на страницах, разложенных на столе. — С той далекой поры, когда отпрыск Мальборо ушел сражаться с бурами, по сей день… он единственно, что делал, это спасал империю. Спасательный круг был в своем роде его фамильной эмблемой.

— Нет, сейчас у него одна забота — спасти Британские острова! — живо откликнулся Михайлов.

— Любой ценой, но спасти острова, а с империей можно и повременить, — заметил Бекетов как бы в тон Михайлову. — Если говорить об эмблеме, то это не столько спасательный круг, сколько коромысло. Да, обычное коромысло, на котором россиянки носят воду: с одного конца — Америка, с другого — Россия. Два ведра!.. Два полных ведра!.. Задача — донести эта ведра, не расплескать!..

— Говорят, когда Гопкинс прибыл на Британские острова, навстречу гостю был послан поезд с бригадой в белых перчатках. Вот это и есть американское ведро, Сергей Петрович! — мгновенно подхватил посол.

— А русское? — спросил Бекетов.

— Русское мы, пожалуй, еще увидим! — произнес Михайлов и взглянул на стол, по которому были рассыпаны страницы. — Ходят слухи, что русское ведро будет доверено лорду Бивербруку. По мнению Черчилля, он самый красный из всех его коллег и больше остальных может рассчитывать на доверие русских.

Самый красный…

— Но по этому принципу сам Черчилль должен уйти в отставку?

— Нет, все сложнее… Вы читали его речь?

— Да, конечно.

— Но и ее недостаточно, чтобы понять Черчилля. — Михайлов задумался, взглянул на Бекетова искоса: — Завтра Черчилль выступает на танковом заводе… Начинается в своем роде танковая неделя. На обычную рекогносцировку нет времени — пора военная!.. Готовы ехать со мной?

— Да, разумеется.

— Тогда спокойной ночи. Кстати, комната ваша выходит в сад. Выключите свет и пошире откройте окна… Если не будет тревоги, а ее, по всей вероятности, не будет, до шести выспитесь вполне.

— Почему до шести, Николай Николаевич?

— В шесть выедем на завод.

Когда Бекетов уходил, он ненароком, против воли задержал взгляд на столе и в углу на одной из страниц, лежавших веером, увидел цифру 47. Видно, это лежала рукопись очередной книги Михайлова — посол работал по ночам.

8

Автомобиль выехал за Лондон, и густозеленая роща, свежая, лиственная, обступила дорогу.

— Как в Подмосковье… где-нибудь по дороге в Щелково, — сказал Бекетов.

— Да, действительно похоже, — отозвался Михайлов. — Хотя здешний лес другой — гуще, зеленее, да и настоящей суши в нем нет, как почти нет хвои. В прошлое воскресенье выехали с женой за город. Так просто вошли в лес и постояли часок, послушали птиц… Лес как островок мира, только он и сберег тишину.

Михайлов заговорил о жене, а Бекетов подумал: какая она у Михайлова?. Наверно, деятельная и чуть-чуть властная. С тех пор как Бекетов прибыл в посольство, Михайлов произнес имя жены дважды и, как показалось Сергею Петровичу, сделал это не без удовольствия.

На развилке дорог посольскую машину ждал «виллис».

— Mister ambassador? Come along with us, please… Господин посол? Пожалуйста, за нами…

Посольский автомобиль пошел вслед за «виллисом» и медленно въехал в ворота большого заводского двора, мощенного ярко-белой плиткой и разлинованного рельсами узкоколейки.

— Черчилль часто выступает перед рабочими?.. — спросил Бекетов.

— По-моему, да. В традициях английских парламентариев разговор с рабочими не исключается… Черчилль умеет это делать.

«Виллис» пересек двор и остановился у кирпичного особняка, крытого цинком.

И вновь Бекетов услышал фразу, произнесенную на развилке дорог:

— Mister ambassador? Come along with us, please…

Оказывается, позади особняка был второй двор, такой же круглый и выпукло-покатый, как и первый, но в отличие от первого до краев заполненный людьми. Посреди двора возвышалась железнодорожная платформа — ей надлежало быть трибуной. Толпа, окружившая платформу, была плотной. Люди сидели на фермах подъемного крана, стоящего поодаль, на крышах вагонов, а один озорник (на заводе должен быть такой) взобрался на водокачку, стоящую над заводским двором, и помахивал оттуда английским флагом, в котором, как показалось Бекетову, красный преобладал больше обычного.

— We are expecting for the prime minister. He will be here in

some minutes…[2] — Человек с родимым пятном на щеке смотрел в дальний конец двора — очевидно, Черчилль должен был появиться оттуда. — Have you any news from Russia?[3]

— News? Not very good… — заметил посол и, взглянув на Бекетова, произнес: — Mister Beketoff came from Russia yesterday, he will be able to tell you better than I can…[4]

Все, кто смотрел на посла с невеселой пытливостью, теперь смотрели на Бекетова. «Как там в России?» — точно спрашивали они.

— Плохо сегодня, а завтра будет хуже, но надо бороться. Где правда, там и сила, а правда у нас… — сказал Сергей Петрович и подумал: надо было бы найти другие слова — и легче, и радостнее. Они внушат людям надежду. Но, наверно, эти слова искать не ему…

— Бывало, погибали и с правдой… — сказал человек с родимым пятном на щеке.

— А потом воскресали. С правдой не погибнешь, — отозвался Бекетов.

— Я согласен и не воскресать, дайте только пожить подольше, — сказал англичанин.

— А я согласен с тем, что сказал…

— Ах, эти русские имена — язык сломаешь! Простите… Да, да, мистер Бекетов, мистер Бекетов! — произнес человек, до сих пор молча стоявший рядом, и приладил к уху дужку очков. Бекетову показалось, что они были скреплены на переносице кусочком белой жести. Жесть, как припой, поблескивала. — У нас на Гитлера не одна, а три силы!.. — Он бросил взгляд в дальний пролет двора. — По-моему, это он!..

Бекетов посмотрел в ту сторону. Да, это был Черчилль. Полный, круглоплечий, сутуловатый, с короткой шеей, что заставляло его смотреть чуть-чуть исподлобья и казаться хмурым даже тогда, когда он не хотел быть таким, он шел нарочито неторопливой походкой, будто давал присутствующим до конца уяснить смысл происходящего — на завод приехал Черчилль. Те, что сидели на фермах крана, зааплодировали, и Черчилль снял шляпу и невысоко поднял ее над головой, однако при этом оставался хмурым. Это было необычно — жест приветствия и более чем пасмурное лицо. Он точно хотел показать всем своим видом, что нынешний митинг отнюдь не празднество. Хотя толпа, заполнившая двор, была плотной, она заметно расступилась перед тучной фигурой Черчилля. Теперь Бекетов видел глаза Черчилля. Они были круглыми, навыкате, неожиданно светлыми, то ли серо-сизыми, то ли голубыми. Лицо человека обозначилось еще не ясно, а глаза видны — человек знал силу своего взгляда и

пользовался ею достаточно грубо.

Пожалуй, только теперь Бекетов мог рассмотреть и того, кто был рядом с Черчиллем, — громоздкая фигура английского премьера, а может быть, его гипнотический взгляд застлали для Бекетова все вокруг. Небольшой, какой-то тщательно обкатанный, он не столько шел за Черчиллем, сколько катился вслед. В то время как лицо Черчилля, очевидно предвосхищая речь, которую следовало произнести премьеру, выражало нечто похожее на благородный пафос, личико человека в клетчатом пиджаке оставалось озорно-ироническим. Человек кого-то узрел в толпе и подмигнул, кого-то дружески-фамильярно ткнул плечом, а приметив на водокачке паренька с флагом, просиял и, подняв руку, открыл розовую ладонь, совсем мальчишескую.

«Кем бы мог быть этот человек в зелено-клетчатом костюме, такой плотски-грешный, такой земной? — подумал Сергей Петрович. — Да не Бивербрук ли это? Тогда почему в нем… нечто ерническое, нечто скоморошье?..» Признаться, у Бекетова было иное представление о Бивербруке, он виделся Сергею Петровичу административным гением, моторной энергией… Да не под клетчатым ли пиджаком хранились эта энергия и этот гений?..

Еще издали Черчилль приметил в толпе, стоящей у платформы, советского посла и сейчас видел только его. Посол заметил этот взгляд и, казалось, пошел навстречу премьеру, но, сделав два шага, лишенных энергии, рассчитанных, остановился.

— Я вас приветствую, господин посол, — сказал Черчилль, но лицо его все еще было хмуро-озабоченным. — Как хорошо, что мы здесь вместе… — добавил он и посмотрел вокруг.

«Видно, эта фраза созрела в нем в ту самую минуту, когда он увидел посла», — подумал Бекетов.

— Да, господин премьер-министр, надежда в нашей общей борьбе с фашизмом… — произнес Михайлов, улыбаясь.

— В общей борьбе, господин посол, в общей борьбе, — Черчилль протянул руку Бекетову, стоящему рядом с послом. В его планы определенно не входило продолжение разговора. Рука у него была такой же округлой, как и плечи.

Он с заметным усилием поднялся на платформу (Бекетов слышал его покряхтывание) и, прежде чем сесть на стул, дважды приподнял его и упруго трахнул о крепкий пол платформы. И в том, как он шел через двор, грубо уперев глаза в дальний его конец, и в том, как он протягивал руку, и в том, как он пробовал исправность стула, на который ему предстояло сесть, Бекетову был виден хозяин, привыкший к тому, чтобы нрав его знали и с ним считались.

Рядом с Черчиллем стал человек с седыми полубаками,

поднял руку, умеряя шум голосов, который все еще удерживался над двором.

Он открыл митинг и прежде всего приветствовал иностранных гостей, в том числе советского посла. Раздались аплодисменты, они возникли, робко-торжественные, где-то в ближних рядах и были поддержаны присутствующими с воодушевлением, при этом пришли в движение и круглые ладони Черчилля. Он аплодировал торжественно-корректно, при этом его могучие ладони оставались немыми — они не столько издавали звук, сколько поддерживали самую церемонию аплодисментов. Справедливости ради надо сказать, что и остальных гостей премьер-министр приветствовал не с большим энтузиазмом. Очевидно, для него важно было постоянно помнить, что он премьер-министр, и, надо отдать должное Черчиллю, он помнил.

Потом человек с полубаками сказал о молодых рабочих, призванных в армию, похвалил заводскую самооборону, защищающую предприятие от неприятельских атак с воздуха, не без воодушевления отметил усилия заводского коллектива, которому надлежит в предстоящие три месяца выпустить почти две сотни танков для России.

— Каждый наш танк — молот, бьющий по врагу!

Когда эти слова были произнесены, председатель предоставил слово Черчиллю. Премьер-министр поднялся из-за стола и пошел к микрофону, стоящему у края платформы. Он шел неторопливо, сообразуя свой шаг с температурой аплодисментов, и оказался у микрофона, когда они были достаточно сильны. Он поднял ладонь и отрицательно повел ею, аплодисменты стали смолкать.

Черчилль начал говорить, и нужно было немалое напряжение, чтобы расслышать его голос. Казалось, громоздкая машина его речи должна была разогреться, прежде чем зазвучать в полную силу.

Он говорил, а Бекетов думал: «Вот какой неожиданной гранью повернулась судьба… С той заповедной поры, когда явилась миру новая Россия, Черчилль грозил ей вот этим коричневым, похожим на невызревший баклажан кулаком. Еще Ленин видел в нем великого ненавистника Советской России.

Если об армии, атаковавшей Россию в двадцатом году, Черчилль мог сказать «моя армия», то какого мнения он держится о войсках, в сущности, выполняющих эту же задачу сегодня? Что делать потомку герцога Мальборо, если страна, знатным гробовщиком которой мечтал стать Черчилль, схватилась в смертельном поединке с извечным врагом Британии? Непростой задачей обременила потомка герцога Мальборо жизнь».

Вопрос, в сущности, поставлен на попа. Что сильнее — потомственный антикоммунизм или любовь к Англии? Но, может быть, Бекетов, думая о Черчилле, слишком остается самим собой? Предпочтительнее на потомка герцога Мальборо взглянуть глазами той объективной истины, с которой всегда небесполезно соизмерить понимание правды. А что собой представляет Черчилль применительно к этой объективной истине? Человек, при этом талантливый, желающий быть верным сыном своего класса, для которого антикоммунизм почти норма бытия, религия… А какой это класс, для которого антикоммунизм норма бытия? Какой? Нет, к черту объективную истину, если она требует снисхождения к человеку, который никогда тебя не щадил… Как поведет себя Черчилль и как решит он нелегкую задачу, которую задала ему Россия однажды и троекратно усложнила сегодня? Вопрос так и ставится: «Что сильнее — потомственный антикоммунизм или любовь к Англии? Что же все-таки сильнее?..»

Он уже начал решать эту задачу, в частности в речи, которую сейчас произносит.

Он говорит о России, говорит о ее мужестве и ее бессмертии, освященном подвигами ее народа, и Бекетов чувствует, как тревожно затихает масса людей, исполненная благодарности к человеку, стоящему на трибуне, который дал ей возможность почувствовать сердце народа-друга. Он говорит о походе Наполеона на восток и о том, как поднялась Россия, вся Россия в своей решимости защитить себя. Все, что происходит сегодня, с его точки зрения, является тем же, что происходило с Россией прежде, — народ выступил на защиту своего отечества. Нет, он не так глуп, чтобы Стране Советов противопоставить святую Русь. Наоборот, он готов воздать должное тому, что сделала Советская Россия, чтобы вызвать к жизни новую индустрию и оснастить армию.

— Россия победит! — почти торжественно провозгласил он. — Она еще не собрала всей своей силы. Ее могущество будет прибывать с каждым днем…

Голос его дрогнул, и слезы, неподдельные слезы застлали его глаза. Он гордился в эту минуту миссией, которую доверила ему судьба. И казалось, энтузиазм увлек присутствующих. Никогда они не думали о Черчилле так хорошо, как в эту минуту, как, впрочем, никогда не думал о Черчилле так, как сейчас, и Бекетов… «Как хочешь, так и понимай, — сказал себе Бекетов. — Мне ли не знать Черчилля? А вот он заговорил, и хочется гневаться его гневом, радоваться радостью его… Кажется, что сама совесть глаголет его устами. А ведь Черчилль — лицо

отнюдь не самое подходящее, чтобы быть глашатаем совести…»

Черчилль кончил, раздались аплодисменты, заводской оркестр, скрытый где-то за платформой, грянул гимн. На какой-то миг большой заводской двор замер, полоненный волнением этой минуты. Бекетов смотрел вокруг, и ему хотелось отделить чистоту чувств, которые владели в эту минуту людьми, от человека, стоящего на трибуне. Да что Бекетов? Сами люди, стоящие вокруг, хотели видеть в Черчилле больше, чем он являл собой, хотели видеть и, так думает Бекетов, видели, понимая, что этому высокому назначению человек, стоящий на трибуне, может и не отвечать.

Гимн смолк, и председатель предоставил слово Бивербруку. Паренек на водокачке взмахнул флагом, чей-то голос на соседней с платформой цинковой крыше разрезал тишину:

— Расскажи нам, как профессор варил яйца, мистер Бивербрук!

Человек, стоящий на трибуне, дружески-участливо махнул рукой, точно хотел сказать: «Так и быть, расскажу, да только сейчас недосуг…» Но фразу озорника, сидящего на цинковой крыше, подхватило несколько голосов, и Бивербрук, взглянув на него, сощурил маленькие глазки. «Ну, была не была, расскажу…» — будто произнес он и улыбнулся. Улыбка передалась людям, обступившим трибуну.

— Жена профессора побежала к зеленщику, поручив мужу сварить яйцо и покормить ребенка, — начал он и обвел взглядом присутствующих, не минув Черчилля, однако тот оставался невозмутимым. Молча шевеля губами, он посасывал невидимую сигару. — «Вот яйцо, а вот часы. Как закипит вода, бросай, да смотри не перевари — три с половиной минуты…» Когда жена вернулась, профессор стоял у кипящей воды и отсчитывал минуты, глядя на яйцо, которое держал в руке. Часы же, разумеется, были в кастрюле… — Раздались аплодисменты, очень дружные — анекдот понравился. Но Бивербрук остановил их, взмахнув руками. — Что я хочу сказать?.. Когда нам говорят о том, кого мы должны поддерживать в Европе в борьбе против диктатуры, очень важно, чтобы мы не бросили в кастрюлю с кипятком вместо яйца часы… А в остальном мы молодцы, хотя нам надо быть еще большими молодцами, если мы хотим поколотить Гитлера.

Вновь раздались аплодисменты, и оркестр за платформой принялся играть «Доброго парня из Эдинбурга». Митинг закончился.

Бивербрук подмигнул толпе и отошел от микрофона, без опаски взглянув на Черчилля. Тот словно продолжал посасывать

сигару. «Ах, если бы ты знал, какую чушь порол только что!.. — будто говорил Черчилль. — В самом деле, при чем здесь профессор и это глупое яйцо?.. А может быть, в этом анекдоте есть смысл? Нет, этот Бивербрук еще готовит нам сюрпризы. Он красный, краснее, чем мы думаем!»

Как было предусмотрено программой, по окончании митинга директор пригласил гостей к себе на чашку чаю. Девушки в полувоенных костюмах, быть может, бойцы заводской самообороны, подали галеты, джем, чай с молоком, по-английски крепко заваренный, приятно коричневатый.

Черчилль не притронулся к чаю, очистил сигару, закурил. Он все еще был бледен, казалось, волнение, благородное волнение, которое владело Черчиллем еще там, на трибуне, жило в нем и сейчас. Он понимал, как неловко его отшельничество, однако шел на это сознательно — чувства, которые он испытывал сейчас, ему были дороже.

— Господин премьер-министр, разрешите спросить, — подал голос Бивербрук. Казалось, он первым понял, в сколь своеобразное положение поставил себя премьер, и решил помочь делу.

Черчилль покинул прибежище у окна, медленно пошел к гостям.

— Спрашивайте, министр…

Бивербрук улыбнулся своей наихитрейшей улыбкой, задумался. Вопрос, который он хотел задать премьеру, надо было еще придумать.

— Я хотел спросить… — Бивербрук помедлил. Вот напасть: когда мысль должна быть элементарно гибка, она как раз и каменеет. — Господин советник Бекетов только что приехал из России, и я пригласил его к себе… быть может, господин премьер-министр…

По тому, как Черчилль ускорил шаг и шевельнул губами, было видно: он понял своего министра и с достаточной полнотой решил, чю ему надлежит делать.

— Нет, господина советника приглашаю я, а ваша воля… быть или не быть на этой встрече…

— Вы рассчитываете, что я откажусь?.. Ошибаетесь.

Но Бивербрук уже овладел обстановкой.

— Как вам Черчилль? — спросил Бекетова Михайлов, когда посольский автомобиль вновь оказался на дороге, ведущей в Лондон.

Бекетов задумался. Легко сказать: «Как Черчилль?»

— Наверно, всю жизнь он играл все новые и новые роли.

Перевоплощался и играл почти по системе Станиславского, играл искренне, ему нельзя играть не искренне… Сейчас он ищет ключи к новой роли — друг России… Я не знаю, помнит ли он свои речи, которые произносил двадцать лет назад, но, мне так кажется, многие из его образов перешли в сегодняшний день из тех лет… Да, он говорит нам то, что говорил в начале двадцатых годов, хотя сейчас мы, а тогда были другие русские. Кстати, это дает ему возможность убедить себя, что у него нет необходимости менять взгляды. Непоследовательны, с его точки зрения, мы, а последователен он… — Сергей Петрович задумался, открытие, которое он только что сделал для себя, увлекло его.

— Вас не смутило приглашение Черчилля? — спросил Михайлов.

— В какой-то мере да… Премьер и советник! Такое случается нечасто.

— Такое может быть и впредь: когда речь идет об информации, условности не играют ровно никакой роли для него… Когда вы должны быть?

— Завтра в десять вечера.

— На обед… в десять?

— По-моему, на обед, — улыбнулся Бекетов.

— Да, это его обеденное время, — согласился Михайлов. — Завтрак у него вечером, обед почти в полночь, а ужин на рассвете.

9

Поздно вечером автомобиль с потушенными огнями вошел в неширокую улицу и остановился у подъезда дома, который поразил Бекетова своим скромным видом.

— Это и есть Даунинг-стрит, десять?

— Именно, — ответил шофер.

Бекетова встретил молодой человек в темном плаще и, назвав по имени, ввел в дом.

Пахло оструганным деревом, просыхающей штукатуркой, олифой.

— У вас ремонт? — обернулся Бекетов к молодому человеку, плащ которого был почти невидим в сумерках коридора.

— Да, недавно закончился… бомба угодила в казначейство, — ответил он по-русски. Он так был рад возможности произнести это исконно русское «угодила», что не заметил: в самом факте было мало причин для радости.

А между тем по крутой лестнице с деревянными перилами они прошли в коридор, лежащий, казалось, ниже уровня дома, а оттуда в прихожую, выклеенную коричневой клеенкой, и, наконец, в квадратную комнату с люстрой, занимающей половину потолка. В комнате, как и во всем доме, было полутемно. Бекетов приметил люстру отнюдь не потому, что она была велика, — горел камин синеватым пламенем, а вместе с ним и граненый хрусталь люстры.

Молодой человек предложил Бекетову сесть, раскланялся и удалился. Комната, в которой сейчас находился Сергей Петрович, не была частью официальных апартаментов, скорее всего это была столовая в квартире премьера — и женский голос за дверью, и звон чайной посуды, и запах хлеба указывали на это определенно.

Вошел Черчилль, поздоровался, отодвинул от камина экран, пригласив Бекетова сесть ближе к огню. В том, как он это сделал, напрочь отсутствовала сдержанность, а была приязнь, больше того, полная мера приязни, и это не могло не поразить Сергея Петровича — он ожидал увидеть хозяина другим.

— Люблю разжечь камин даже летом, — сказал Черчилль, протягивая к огню руки. — Нет ничего приятнее, как посидеть у камина после прогулки по холодному лугу или саду… А в России печи в три этажа!.. — Он поднял глаза с намерением возвести их повыше, однако уперся в невысокий потолок, помрачнел. — Вы видели вечерние газеты?

— Да, господин премьер-министр.

— Под Смоленском у немцев заминка! (Он так и сказал: «There was a hitch».) Вы полагаете, что это случайно?

— Я не сказал этого, господин премьер-министр…

— Вот и я так думаю… Россия должна привести в движение свою силу… Я знаю, это непростой и небыстрый процесс. Как только она это сделает, Германия превратится в пигмея. Простите, но я вам скажу нечто такое, что не должно вас обидеть: по моему разумению, немцы в силу особенностей национального характера могут готовиться к войне и в мирное время. Русские — лишь в дни войны… Чтобы русские собрались и показали силу, надо, чтобы Гитлер напал на них… Вчера на митинге я очень продрог, а когда вернулся, сел вот в это кресло, задумался… Прав я?

Бекетов подумал: он точно призывал в свидетели этот камин и это кресло, чтобы было больше веры его словам. Бекетов помнит, что вчера всю обратную дорогу шел дождь, холодный, нелетний, и шофер должен был включить печку… Быть может, так было и с Черчиллем, а потом он пришел вот сюда, в этот сумеречный подвал, который только очень условно можно назвать домашней столовой, и сел у камина. Сел так близко, как не садился никогда, и, может быть, даже поймал себя на мысли: чем больше лет, тем ближе к камину, пока не сгоришь, пока не обратишься в пепел. Человек стремится к горящей свече, как капштадская бабочка, которую Черчилль наблюдал в дни бурской кампании в начале века.

— Вы полагаете, что я ошибаюсь и моя, так сказать, концепция, моя система мыслей о русской мощи ошибочна? — спросил Черчилль.

«Он хочет единоборства, он жаждет спора», — подумал Бекетов. Многолетний опыт ему подсказывает: истина добывается в споре. Самый бесполезный диалог, а следовательно самый бессодержательный, это чередование вопросов и ответов. В конце концов, нигде так не обнаруживаешь своих намерений, как в вопросах, и нигде не обретешь такого простора подчинить себе собеседника, как отвечая на его вопросы, — он в твоей власти. Иное дело — спор. Опытному полемисту он всегда даст больше простого диалога. Итак, согласен ты с концепцией Черчилля о русской мощи?

— Наверно, и Великобритания в военное время сделала больше для отражения удара, чем до войны.

— Ну что ж… Вероятно, вы правы: народ благодушен по природе своей, и не только в России, на Британских островах тоже… У русских даже есть пословица насчет того, что пока молния не озарит неба, мужик не осенит себя перстом, впрочем,

допускаю, что такая же пословица есть у англичан…

Черчилль заулыбался, энергично шевельнул пальцами. Видно, с годами даже самый эмоциональный жест для него означал не столько движение рукой, сколько пальцами. Он засмеялся, пословица оказала на него действие магическое — она дала ему силы.

— Значит, известная беспечность свойственна не только нам? — заметил Бекетов.

— Да, разумеется, всем свойственна, всем, но только не немцам. Не так ли?..

— Может быть, но это не главное… — Сергей Петрович держал в памяти мысль Черчилля и не хотел себя освобождать от ответа на нее. — Если же говорить о подготовке к войне, так сказать, подготовке стратегической, когда в движение приводятся силы, которые войну решают, то старая русская пословица, верная на все времена, сегодня выглядит не очень свежей, — заметил Бекетов.

— Вы полагаете, что два буйвола, которые везут большую колесницу войны, и в теле, и в силе? — спросил английский премьер.

— Я так думаю.

— Что есть… первый буйвол?

— То, что произошло в России в начале тридцатых годов, — была создана промышленность, способная делать тракторы…

— Вы хотите сказать, способная делать танки? — тут же реагировал Черчилль. — Допустим, что это первый буйвол… А второй?

— Второй?.. Люди, умеющие управлять этим… трактором-танком. В условиях России это непросто. Надо было миллионы обучить грамоте, а вслед за этим дать им представление о машине. Да, миллионы людей, отцы которых знали только лопату и топор, сели за руль трактора и автомобиля…

Черчилль молчал. Весь его вид говорил сейчас: как ни весомы были доводы его собеседника, они его еще не убедили. Но, казалось, он не решается возразить Бекетову.

Черчилль приподнялся, при этом его шея утонула в рыхлой массе туловища едва ли не вместе с подбородком.

— Пойдемте в ту комнату, там у камина лучше тяга, да, кстати, мы сможем и подкрепиться, это всегда нелишне, — на этот раз жест был жестом — пришла в движение рука.

В комнате, в которую они вошли, света было не больше, однако камин действительно горел ярче и давал больше тепла. Стол был пододвинут к камину. Вошла женщина, полная и домовитая, в белой наколке, скрепляющей волосы, поклонилась

и, подкатив столик на колесиках, переставила с него на стол блюдо с зеленью, холодную рыбу.

Черчилль взял бутылку, вынес ее в поле света. «Хотя бы для начала… виски?» — точно хотел спросить он, указывая глазами на этикетку. Бекетов не противился.

— Не люблю коктейлей! — произнес хозяин, когда церемония с разливанием виски была закончена. Черчилль будто хотел дать понять: как ни важен разговор, происшедший между ними, он не переоценивает его. — Не люблю коктейлей!.. — приподнял он рюмку с виски, выждал, пока то же самое сделает гость, неторопливо осушил и так же не спеша взял вилку.

— Я полагаю, что Россия окажется достаточно сильной… — сказал Бекетов, возвращаясь к разговору о двух буйволах.

— И в решающий момент все буйволы будут в упряжке? — быстро реагировал Черчилль.

— Да, я так полагаю.

Черчилль вздохнул — этот перевал был нелегок и для него. Он наполнил следующую рюмку, наполнил с таким видом, будто бы ответ, который он ожидал услышать, был ему дан.

— Немцы утверждают, что в ближайшие две недели они возьмут обе русские столицы, — подал голос Черчилль. — Я не спрашиваю, в какой мере это возможно, с вашей точки зрения… Меня интересует другое: если это произойдет, Россия устоит?..

Наверно, Черчиллю это очень важно знать: сумеет ли выстоять Россия? Если сумеет, вместе с нею выживет и его страна. Если не сумеет — Великобритании не жить. В самом худшем случае сумеет выстоять. Если падут Москва и Ленинград, сумеет? Но, возможно, это зависит не только от России? Может, самое время задать вопрос Черчиллю. Да, поменяться ролями и начать задавать вопросы, при этом главный вопрос, самый главный…

— Но это зависит не только от России, господин премьер-министр.

— И от Великобритании тоже?..

— Да, господин премьер-министр…

— Что вы имеете в виду?

— Не скрою, но мне хочется вам ответить вопросом на вопрос… Разрешите?

— Ради бога.

— У вашего главнокомандования существовал план крупной операции на континенте еще до того, как немцы атаковали Россию?

— Да, разумеется.

— При этом ваше главнокомандование своеобразно корректировало его последний раз в апреле этого года, не так ли?

Черчилль угрюмо сомкнул губы, задумался. Он хотел понять, как будет развиваться мысль Бекетова, каким будет следующий его вопрос.

— Кажется, в апреле.

— Этим апрельским планом срок крупной десантной операции был определен?

Черчилль вздохнул, его большое тело заметно подобралось.

— Как сказать, точной даты не могло быть.

— Но, если говорить о дате приблизительной, то она определялась не столько годами, сколько временами года… Ближайшее лето, быть может, осень?

— Здесь все относительно…

— Но речь не могла идти о годах?

— Очевидно.

— Если в апреле, до немецкой атаки на Россию, такая операция планировалась на осень, то теперь, когда немцы атаковали Россию, она не может быть отнесена на более поздний срок… Нельзя же допустить, что сегодня условия для такой операции менее благоприятны, чем в апреле. Тогда немцы находились на европейских базах, сейчас они в России, тогда они были свободны от войны, сейчас они ведут трудную войну…

Казалось, Черчилль не выразил ни беспокойства, ни, тем более, раздражения. Можно было подумать, что он даже рад, что вопрос поставлен столь бескомпромиссно. Он взял блюдо с зеленью и принялся перекладывать салат в тарелку Бекетова. Можно сказать, что это блюдо из недорогого фарфора с ультрамариновой каймой было для него сейчас дороже всех сокровищ мира. Оно должно было помочь ему выгадать драгоценные секунды и обдумать ответ.

— То, что было целесообразным тогда, сейчас требует… уточнений, — произнес он, закончив операцию с зеленью. — Тогда речь шла о вторжении тактическом, сейчас же… речь может идти о вторжении стратегическом, способном существенно облегчить положение доблестных войск России. — Последние три слова — «доблестных войск России» — стоили ему труда. Волнение, с которым были произнесены эти слова, не могло оставить равнодушным и Сергея Петровича.

Вот он, Черчилль!.. Когда, казалось, все пути к отступлению отсечены и капитуляция неминуема, он напряг мысль и коротким ударом едва ли не решил спор в свою пользу.

— Простите, но вы полагаете, что даже с потерей обеих столиц Россия сумеет совладать? — Он выпил свою рюмку виски, однако к еде не притронулся, будто хотел подольше сберечь в себе пылающую влагу. — Я не допускаю, что это случится, но

если это все-таки случится?..

— Думаю, что это не случится, господин премьер-министр.

— Дай бог, дай бог…

Бекетов возвращался в двенадцатом часу. Кто-то рассказывал Бекетову, что Черчилль в часы досуга берет в руки мастерок и кладет каменные стены. Ходит слух, что в имении Чартвелл есть даже кирпичный флигелек, построенный премьером. Редко какой гость покинет Чартвелл, не увидев создания рук потомка герцога Мальборо. Говорят, что союз английских каменщиков даже избрал Черчилля своим почетным членом. Для Черчилля это успех, и немалый. В самом деле, в стране, которую можно назвать рабочей, старый отпрыск Мальборо, ставший премьером, должен по возможности не выглядеть павлином. Того, что он ни разу в своей жизни не ездил автобусом и, будучи почти ровесником лондонской подземки, был в ней лишь однажды, не следует обнаруживать… Короче, мост от герцога к рабочему может быть уложен и мастерком… Сегодня в апартаментах на Даунинг-стрит Черчилль тоже орудовал мастерком, орудовал невозмутимо, весь во власти спокойной радости, кирпич за кирпичом. Чем черт не шутит, Черчилль готов найти новое применение своему мастерку! В самом деле, нельзя ли уложить мост из Лондона в Москву, пользуясь только этим мастерком и не прибегая ни к чему иному, например, включая и открытие второго фронта… Итак, у Черчилля и его мастерка новая функция. Как-то справится с нею престарелый сэр Уинни?

10

Дымные зори июля, сизо-красные в накале, сизые на ущербе… Горит наш запад. Дымы обволокли города Брест, Великие Луки, Псков и Великий Новгород, подобрались к Киеву, стелются по Смоленской дороге. В огне и Шексна, и Сухона, огонь не минул Западной Двины и Ладоги. Горят дороги и реки, по которым издревле Россия гнала на запад плоты и обозы, груженные бочками с воском и лесным медом, холстами и пушниной.

Ветер с запада, упрямо-жестокий, неутихающий, с пылью. Повинуясь ветру, движутся дымы на восток. Они бегут, эти дымы, за Днепр, Дон, Волгу, тревожно-седые. Иногда они останавливают свой бег и тогда стоят над городом, недвижимо-грозные, иссиня-черные. И советские люди на Дону и Волге с пытливой тревогой смотрят на облака, пришедшие с запада, в самом их скорбном сиянии желая узреть все, что свершилось в эти дни на западных рубежах России…

Немецкие бронированные дивизии обошли Брест, с ходу взяли Минск и устремились к Смоленску. Они вторглись в Прибалтику и приближались к Ленинграду. Они достигли правобережья Днепра и вышли к окрестностям Киева. Впервые панически-грозное слово «окружение» пронеслось от севера на юг — «окружение» под Белостоком, Минском, Киевом… Людские реки, серо-желтые, неотличимые от пыльных июльских дорог, разбитых танками, уже потекли на запад… В открытом поле на отшибе от польских городов Ломжа, Ополе, Жешув, Млава, Бродница уже разбивались концлагеря, для которых стенами был частокол, перевитый колючей проволокой, а кровлей — белое от июльского зноя небо… Пока колонна была в движении, нет-нет да пленным перепадали и краюшка серого хлеба, и мешочек пшена, и кусок вареной свеклы. Участливо сердце крестьянки — у самой муж или сын в солдатах. А как колонна шагнула за колючую проволоку, одна надежда, что в глине, спекшейся на свирепом здешнем солнце, отыщешь тощий корень брюквы да сваришь его на костре… Третью неделю как возник лагерь, а лощина, что открылась на отлете, уже стала погостом. Хотя и далека она, эта лощина, а из-за колючей проволоки видно: вон как широко разверзла она черный свой зев, будто бы лагерь специально расположили рядом, чтобы сподручнее было ей сожрать его… Да знала ли такое история?

Но история не знала и иного — концлагеря для дипломатов. В то памятное воскресное утро, едва ли не в такт бомбам, что

упали на советские города и деревни, посольские ворота вздрогнули от ударов железных кулаков. А потом, как при захвате неприятельского дота, солдаты с автоматами рассыпались по посольству. А потом стук кованых башмаков и посты: у входа в посольство, у кабинета посла и советников, в вестибюле, у конференц-зала… И так по тревоге: «Грузовики поданы к посольству — грузиться с вещами!» А вот теперь истинно концлагерь, даже колючая проволока вдоль ограды, и часовые на сторожевых вышках, и дежурные допросы…

Допросы?.. Пришла весть из Копенгагена: в концлагере погиб поверенный в делах Власов, погиб в муках… Из Берлина: весь состав посольства интернирован. Из Бухареста: на репрессии властей дипломаты ответили голодовкой. Голодовкой? Да, смертью дипломата румынские королевские власти не устрашишь, но в перспективе обмена персонала советского посольства в Бухаресте на персонал посольства румынского короля в Москве такая смерть может быть устрашающей.

Конечно, беда, которая упала на головы солдата и дипломата, была тяжкой, но в том, что враг в своей ненависти к советским людям уравнял одного и другого, можно было усмотреть нечто похожее на знамение.

11

Девятую ночь немцы бомбили Москву.

Бардин поехал, как обычно, на Калужскую, однако передумал и решил ехать на дачу — до десяти (в немецких налетах наметился свой ритм, они начинались в десять) можно было успеть.

Бардин был на даче в начале десятого и застал там отца. Егор Иванович знал, что с началом бомбежек старик уехал к сестре (бобылка и богомолка-страдалица, она жила в Суздале), и был несказанно удивлен его внезапным возвращением.

У Иоанна горел свет, и Бардин направился туда.

— Можно к тебе? — произнес Егор Иванович, когда был уже в комнате.

Иоанн, как заметил Егор Иванович, вздрогнул и, отодвигая рукописную страницу, над которой, очевидно, только что работал, перевернул ее.

— Заходи, Егор, — сказал он, помедлив, и не без робости оглядел письменный стол, будто отыскивая на его просторной поверхности нечто такое, что следует схоронить от любопытных глаз сына. — Садись, пожалуйста.

— Никак ты принялся за… аглицкий? — произнес Бардин, пододвигая англо-русский словарик, который странным образом перекочевал сюда с Сережкиной полки.

— Поздно мне в полиглоты определяться, да, признаться, тем, что имею, обхожусь вполне, — потряс головой Иоанн, будто поддакивая себе. С некоторых пор Егор Иванович приметил за отцом эту особенность стариковскую. «Отец стареет стремительно, — печально поразмыслил Егор. — Стареет…»

— А я, грешным делом, подумал: не английский ли текст повстречался Бардину и не нужна ли подмога моя?..

Иоанн молчал, даже перестал трясти головой.

— А если и в самом деле повстречался, поможешь?

— А почему не помочь? Этот? — Бардин взглянул на перевернутую страницу и в немалое смущение привел отца.

— Нет, нет!.. Переведи-ка ты, Егор, заново!

— Так вот почему ты перевернул страницу, — засмеялся Егор, пришел его черед выказывать превосходство. — Где он, текст-то?

Это была презанятная страничка из труда английского мудреца, посвященного батюшке Великому Новгороду. Иоанн, видно, долго крутил том многомудрого английского мужа, прежде чем повстречался с этой главой, но глава того стоила. Егор переводил, а Иоанн, раздвинув могучие локти, писал, писал

торопясь, явно опасаясь, чтобы ненароком не выпало драгоценное слово. Иоанн писал, а буквы под его рукой были непривычно крупными и круглыми — это Иоаннова страсть их так вздула.

А в главе той автор степенно живописал площади Новгорода в те дни ранней осени, когда сюда стекается беспокойный торговый люд отовсюду: и белоголовые шведы, и расчетливо-привередливые немцы, и широкостепенные и бедово-задиристые подданные московского царя. И хотя язык текста был превелико мудреным, а временами напрочь темным, работа у Иоанна с Егором ладилась и две с доброй третью страницы английского текста были переложены на язык российский и для порядка тут же перебелены мигом, да так складно, что старый Бардин растрогался и слезу уронил на беловик. А в главе той махонькой речь шла о том, как смерды российские везли с русского юга мучицу сеяную да как хороши были из этой мучицы пироги с мясом, капустой, рыбой, грибами да ягодой садовой и лесной. Вот это место о мучице и увлекло Иоанна — тут была его страсть.

— Вот где призвание твое лежит, Егорушка, и сын, и преемник, и помощник добрый, и хранитель надежный бардинского дома… Вот так бы нам с тобой, как голубь с голубенком.

Бардин расхохотался.

— Нет, из меня голубенок не выйдет…

— А вот матерый в самый раз, так?.. — спросил Иоанн как бы невзначай.

— С войной и ты стал зол.

— А с чего мне быть добрым? Потощал, как в засушливое лето! Веришь, ботинки стал сам зашнуровывать! — Он пристально и скорбно взглянул на сына, потом перевел взгляд на дверь, ведшую в комнату невестки. — Ксения спит. Говорит, что ту ночь глаз не сомкнула, так вот и просидела у окна…

— У окна, у окна… — повторил Бардин, а сам подумал: «Окно Ксении выходит на юг — Москва там. Надо бы перетащить кровать Ксении в комнатку Сергея — оттуда, пожалуй, не увидишь зарева… А Сергей, он при любом огне уснет. Или не уснет?» — Сережка спит?..

— Да, лег… Просил не будить. Мистерия-буфф, говорит!.. С крыши института она видна лучше, чем отсюда.

Налет начался в урочный час. Не хочешь на часы взглянуть — взглянешь.

Точно мельничные жернова, ритмично, с грохотом и скрежетанием заговорили орудия, и далеко справа облака отразили пламя пожара.

Бардин стоял с отцом на краю яблоневого сада, смотрел на

небо.

— Где-то на Остоженке, а может, в Хамовниках, — сказал старший Бардин. — В казармы метили, а угодили в бензосклад — вон как облака замерцали, полыхает! Только подумать, Остоженку бомбят! Ты помнишь, где остановили немцев в ту войну?

— Это в какую?

— В ту, империалистическую. Помнишь? Почитай, три года шли и добрались до Припяти, а сейчас за три недели дошли до Шексны!.. Ты скажешь, Гитлер — это посерьезнее Вильгельма? Ты еще скажешь, тогда была Антанта… И тут ты прав. Но ведь и мы не лыком шиты, а?.. Как мы допустили… Гитлер толчет, будто в ступе, сорок сороков!.. А вот это где-то по Сретенке долбануло, никак твою контору Гитлер на мушку взял.

Бардин молчал, не отрывая глаз от красной полоски огня, стелющейся над горизонтом.

— Ты чего молчишь? — спросил отец.

— А что мне говорить? Может, и сказал бы, если бы знал, чего тебя вот так повело.

— Повело… меня?

— Тебя, батя.

— Я отец твой.

— У моего отца, если он отец мой, должно быть одно горе со мной…

Теперь сомкнул уста старый Бардин. «Жернова» работали все так же усиленно, хотя звук стал глуше, видно, ветер переменился.

— Глуп ты, Егор, хотя и выдулся в гору! — произнес старший Бардин и, дотянувшись до яблоневого ствола, погладил его.

Егор усмехнулся.

— Когда ты сказал про Сретенку и про контору, я, грешным делом, подумал, право, ты ли это, — вымолвил Егор. Он хотел возобновления разговора.

— Немцы Остоженку бомбят!.. — вдруг вырвалось у старика. — Остоженку!.. — Он не отнимал ладони от яблоневого ствола, продолжая его гладить. — Я скажу тебе по стариковскому своему разумению. Есть одна сила, способная уберечь нас: тебя и меня…

— Какая?

— Россия… да, да, Россия исконная, дедовская, та, что крушила Наполеона со шведами…

— Погоди, отец, я тебя что-то не разумею, Россия эта с нами.

Но Иоанн точно не слышал сына:

— Рано или поздно, а вы должны будете призвать эту Россию. Призовете — выживете, не призовете — ногами вперед на погост!

Бардин вознегодовал.

— Однако вон как тебя гордыня обуяла… Единственный, так сказать, наследник русской славы военной. По какому праву ты все забрал, нам ничего не оставил? — спросил Бардин оторопевшего отца. — Погоди, не Ксения ли это зовет? — Егор вдруг быстро пошел к дому; ему почудилось, что его окликнула жена. — При случае договорим!

— Ну что ж… договорим! — согласился Иоанн, в голосе сына ему послышался вызов.

Бардин вошел в дом, минуя столовую, ненадолго задержался в комнате сына. (Сережка спал, раскрыв рот, как делал это давно в детстве, когда слушал небылицы дяди Мирона. Дядя и тогда был мастак на небылицы!)

— Ксения, ты звала меня?.. — Он остановился у раскрытой двери.

— Да, Егорушка, входи…

Видно, она проснулась не сейчас. Может быть, ее разбудили Егор с отцом — временами их голоса накалялись заметно. Услышала, но голоса не подала — хотела дослушать. Она была уже в своем кресле перед открытым окном. Заря над горизонтом потускнела, погасла Ходынка, да и Сретенка была не так ярка.

Он подошел к ней, нащупал губами завиток у правого уха, поцеловал. Пахнуло сладковато-удушливым запахом Ксениной кожи, казалось, знакомым от рождения, пряными духами, смешанными с запахом валериановых капель, — зной докатился и сюда, Ксении было худо.

— Как ты?

Она не ответила.

— Ну скажи, как?

— Там… у меня под подушкой.

Бардин дотянулся до подушки, скользнул ладонью. Бумага влажная, сберегшая теплоту рук. Не иначе Ксения держала только что.

Бардин поднес к окну. Казалось, огонь, объявший этот край Москвы, вновь вздуло ветром. Бумага в руках Бардина казалась розовой.

— Повестка… Сережке?

— Да.

Его точно припаяло к окну. Стоял, опершись руками о косяк, стоял не шелохнувшись.

— Что будем делать, Егорушка?

— Что делать?.. Как все…

Кресло под нею застонало.

— Нет, не как все… Нет, нельзя, как все!

— Не знаю.

Она приподнялась в кресле.

— Я знаю!.. Знаю!.. Завтра же утром… прямо с Кузнецкого поезжай к Воскобойникову и кинься в ноги. «Никогда не просил — сейчас прошу…»

Бардин угрюмо смотрел на жену. Зарево незримо потянулось и к ней, сообщило ее лицу жизнь: кожа утратила лиловатость пепла, глаза горели.

— Нет, Ксения.

Она всхлипнула. Ее словно вдавили сильной рукой в воду и не давали поднять голову — наружу выскакивало только это бульканье.

— Ох, не люблю я этого твоего сипа! Если уж хочешь плакать, реви в голос! — не удержался Бардин и, оглянувшись, обнаружил в дверях сына.

— Мама, ты что?

Она увидела сына и дала волю отчаянию — крик, что таился в чахлой груди, вырвался наружу.

— Если ты не пойдешь к Воскобойникову, я сама пойду! — приподнялась она в своем кресле. — На четвереньках поползу.

Бардин засмеялся.

— Ну что ж, с четверенек оно сподручнее… ткнуться в сапоги, ближе к цели!

— Дедушка, дедушка! — воскликнула она, обратившись к двери, за которой должен был быть Иоанн Бардин, но ответа не последовало, значит старик лег. — А ты почему молчишь, Сережа? Проси отца, проси!..

— Мне Воскобойникова не надо, мама, — произнес Сергей едва слышно. — Я как-нибудь без него…

Над Москвой тускнело зарево, тускнело все заметнее — немцы уходили.

Утром, когда собрались к завтраку, Бардин взглянул на жену и поразился ее виду: было в ней нечто торжественное, даже праздничное. Больше обычного напудрена (сухая кожа не удерживала пудры, и она осыпалась на синий бархат воротничка), да и брови были подчернены так сильно, что кожа вдруг стала заметно розовой. То, что произошло ночью, точно рукой сняло — Ксения улыбалась.

— Вот твои любимые сливки, — произнесла она и взглянула на мужа. Глаза ее были радостно-благодарными.

— Пусть дети едят, — сказал Бардин. — Иришка, ешь, это вот специально для переходного возраста…

— Господи, когда он кончится, переходный? — произнесла Ирина, однако молочника не отставила (она была лакомкой).

— И тебе надо есть, — сказал Бардин и потянулся к книге, которую держал сын, однако тот ее не выпустил.

— Сколько помню его, все с этим Марком Твеном, — сказала Ксения и, взглянув на деда, прослезилась. — Как оторвала от груди, вцепился в Твена.

Бардин смотрел на отца. Никогда не видел седой бороды его, сейчас увидел — старший Бардин явился к столу не побрившись.

— Нынче яблок будет — сила! — сказал Иоанн, глядя в окно. — Морозы, слава богу, обошли, — снисходительно-насмешливо он рассматривал на сыне костюм, который семья звала дорожным и по которому безошибочно устанавливалось, что Егор Иванович собирается в путь. — Небось приезжает кто-нибудь? Встретишь здесь или полетишь навстречу?

— Навстречу.

— Это кто ж? Коварный Альбион?

— Американцы…

— Кто именно?

— Да вряд ли ты слыхал — Гопкинс!

Иоанн засмеялся.

— Значит, гоп, кума, не журися? А какой смысл журиться? Все одно страшнее смерти не будет…

Много позже, когда наркоминдельский автомобиль вез Егора Ивановича в Москву, думал Бардин: «А какой он, Гарри Гопкинс? Не слишком ли разукрасила Гопкинса молва? Небось сам он не догадывается, какие анекдоты ходят о нем. А может, не только догадывается, но и знает. Знает и снисходительно поощряет. Истинные и мнимые друзья услужливы: распространят, ухватят и донесут шефу, сотворив новый анекдот: «Вот вы какой… Ни на кого не похожий, необыкновенный!» Знает и с молчаливой снисходительностью поощряет распространение легенд. Да, действительно, растеря редкий. Вот был случай забавный на английском крейсере. Гулял по палубе, голова закружилась, и присел отдохнуть, а у матроса, что стоял поодаль, глаза из орбит полезли. «Простите, господин, но на этом… не сидят — это глубинная бомба!» Но что это говорит Бардину о Гопкинсе? Ровным счетом ничего. Нужна информация, точная.

Бардин углубился в энциклопедические словари…

Справка о Гопкинсе! Справка? Погодите, да это что-то безнадежно канцелярское, что-то такое, что соседствует со скоросшивателем и машинкой для заточки карандашей. Справка? Да есть ли такой жанр в литературе, даже дипломатической? Оказывается, есть, и жанр наихитрейший… Справка — как хорошие стихи: краткость афоризма, лаконичность зрелой мысли. Истинно, жива формула Владимира Владимировича: ради двух

слов перелопатишь тысячи тонн словесной руды! Так спрессовать мысли и слова, точно ты обратился к иероглифам: на трех страничках — книга о человеке! Это что же, изобретение нашего века: затратил пять минут и прочел многостраничный фолиант? Да, и ты мастер в этом жанре непревзойденный.

У Бардина свой взгляд на справку. Ну конечно, главные даты. Ну, разумеется, родословная, семья, среда и, более чем обязательно, вероисповедание. Все труды и все виды собственности. Колледжи и институты, а вместе с ними таланты, истинные и мнимые. Ну и главное: мировоззрение, партия, позиция. Но и это не все. Характер, страсть. Да есть ли такой словарь в природе, который ответил бы на эти вопросы? А если бы он и был, можно ли на него положиться? Всегда заманчиво осведомиться, что думает об этом живой человек, человек, которому ты доверяешь. Наверно, к данным о вероисповедании этот человек ничего не прибавит, а вот к данным о капиталах, мировоззрении или, тем более, о позиции по главным вопросам он способен сообщить нечто такое, что заставит тебя по-иному взглянуть на то, что ты уже добыл.

Бардину сказали: «Считайте, что вам повезло — в Москве Саша Гродко, советник нашего посольства в Штатах. Не иначе он сейчас в библиотеке добивает справку о валютных ресурсах Америки».

Бардин стал вспоминать, что он знает о Гродко, и припомнил разговор с Бекетовым. «Вот она, тайна дипломатии отечественной, — сказал Сергей Петрович другу, обозревая чуть продолговатый зал заседаний наркомата, где в это время происходила коллегия. — Видишь вот этого молодого с черным зачесом? Крестьянский сын с Гомельщины, Гродко. И село его имеет то же название. И все, кто живет в этом селе, носят только эту фамилию. И главное, все гродковцы точно от одного отца с матерью: вот такие же смуглокожие и черноволосые». — «Погоди, а откуда ты все это знаешь?» — полюбопытствовал Бардин. «А рядом со мною живет односельчанин Гродко». — «И у него фамилия та же?» — «Да только ли фамилия? Ты взгляни на него — родной брат Гродко». — «А как белорусу Америка? Знает он ее?» — «Знает Америку белорус. Особенно рузвельтовскую стратегию и тактику в экономике, а без нее американской дипломатии сегодня не понять». — «Но Гродко — экономист?» — «Дипломат, а прежде был экономистом».

Бардин разыскал Александра Александровича в читальном зале библиотеки, и, как показалось Егору Ивановичу, его собеседник откликнулся на просьбу Бардина не без желания. Рассказ Гродко о Гопкинсе был строг, подчас нарочито строг, но в

нем были наблюдательность и желание добраться до сути.

— Сказать, что Гопкинс близкий друг и советник Рузвельта, еще не все сказать, — начал Гродко и взглянул на Бардина. Все время, пока Александр Александрович говорил, его глаза как бы участвовали в разговоре, внимательно, а подчас испытующе следя за тем, как Бардин воспринимает рассказ. — Ни одна фигура в Америке не вызывает таких распрей, как Гопкинс. Мнения, которые при этом высказываются, прямо противоположны. Много таких, кто видит в нем демократа, исповедующего веру Авраама Линкольна, к тому же человека не очень практичного, но храброго, этакого бессребреника и чудака. Другие, наоборот, полагают, что он играет в Дон-Кихота и рыцарь печального образа, мол, является для него своеобразной маской. Он даже подзапустил болезнь свою, чтобы сообщить лицу некую монашескую бледность. Спрашивается, какой смысл сегодня играть в Дон-Кихота, да так ли он популярен в современной Америке? А дело в том, мол, что такой тип импонирует Рузвельту. Если быть точным, то не просто импонирует, а Рузвельту выгодно, чтобы рядом с ним был этакий Дон-Кихот в образе Гопкинса. А это непросто, мол, сегодня сыграть в Дон-Кихота. Вот Гопкинс взял аптекарские весы и отвесил все по унциям: доброты, юмора, бескорыстия, чудаковатости, смешливости, малоречивости, трудолюбия, храбрости и всего прочего, что для человека не в диковинку, но обычно размещено в разных людях, а он взял и соединил в одном субъекте, полагая, что Дон-Кихот должен быть именно таким. Ну, казалось бы, как человек вберет в себя эти качества и сбережет, когда их нет у него от бога? Забудет, что его и что чужое, растеряет, рассыплет, в конце концов. Но Гопкинс, как полагают сторонники этой точки зрения, человек железный, он все помнит и, однажды войдя в роль, уже играет ее до конца. Вот так думают эти, вторые. А что есть на самом деле? Вы думаете, что и здесь золотая середина, при этом истина лежит где-то рядом с нею? Нет! Как мне кажется, истина лежит где-то ближе к первым, но вторыми я бы не пренебрег, нет, не их концепцией, а их наблюдениями. В том, что они узрели, есть немало стоящего… А вообще-то чтобы приблизиться к истине, я бы обратился к правилу старому, во многом безошибочному: скажи, кто твои недруги, именно недруги, а не друзья, и я скажу, кто ты. Партию его недругов возглавляет Корделл Хэлл. Я не хочу сказать, что друзья Гопкинса являются нашими друзьями, но это, конечно, не Хэлл и ему подобные…

Ну что ж, после того, что рассказал о Гопкинсе Гродко, справка как бы была одухотворена, глянул человек… Но Гопкинс

явился для Гродко поводом к рассказу об Америке. Как показалось Бардину, этот рассказ был лаконичен, но в нем была энергия мысли. Помнится, Александр Александрович очень хорошо говорил, как рушится знаменитая доктрина Монро и американский капитал готовится к прыжку из Света Нового в Свет Старый, прыжку, который еще поразит наше воображение завтра.

Бардин слушал Гродко и думал: почему его рассказ казался во всем убедительным и не вызывал желания спорить, хотя некоторые положения были смелы весьма? Быть может, потому, что Гродко сместил рассказ в сферу, где, как понял Егор Иванович, его собеседник был силен: речь шла об экономическом потенциале Америки. Но не только поэтому. Все, о чем говорил Александр Александрович, было отмечено зрелостью мысли, у которой одна основа — знание жизни. И в сознании Бардина возникли белорусская деревня Гродко и тропа, что привела Гродко из этой деревни в Москву, на Кузнецкий… Куда как скромен университет, а как он много дал человеку…

Бардин прилетел в Архангельск, когда самолет с представителем американского президента готовился вылететь в Москву. Впрочем, летчики уже опробовали моторы, а Гопкинса не было. Городские власти устроили ему банкет с водкой и икрой, а Гопкинс опаздывал. Лил дождь, обильный и теплый. Автомобиль с представителем президента появился уже за полдень и остановился в стороне от самолета. Семь человек, как показалось Бардину, три американца и четверо сопровождающих, шли через взлетное ноле, преодолевая напор ливня. Бардин без труда обнаружил Гопкинса. Ветер играл его долговязой фигурой как хотел. Гопкинс едва удерживал на голове шляпу. С ее полей, как, впрочем, и с руки, лилась ручьями вода. Американец поднялся в самолет, он был бледен и весел.

— Русская водка… О, это нечто взрывное. Не зевайте, а то она разорвет вас в клочья!

Когда самолет был уже в воздухе, Гопкинс сказал Бардину:

— Думал ли я когда-нибудь, что буду удостоен чести в роковой час, слышите — в роковой! — связать две великие силы! Я, сын шорника из Гриннелля! — Он махнул рукой с отчаянной и веселой храбростью. Нет, он не был так пьян, как хотел казаться, ему нравилось быть пьяным, так ему было легче сказать то, что он хотел сказать. — Между прочим, неизвестно, сумел бы мой отец выбиться в люди, а его сын стать тем, кем он стал, если бы телега не сломала моему родителю ногу, которая, как утверждали соседи, была надломлена от рождения, и он не получил бы от хозяев телеги пять тысяч отступных!.. Да, шорная мастерская была уже после того, как отца переехала телега, а до сломанной

ноги была бедность…

Он взглянул с кроткой нежностью на свою мокрую шляпу, лежащую поодаль, и, схватив ее, с какой-то удалью рубанул ею, рассыпав веер брызг.

— Честное же слово, в том, что я сказал вам, есть смысл, лучше меня Россию никто не поймет… Да, я сын шорника из Гриннелля…

Он снял мокрое пальто и пиджак и, оставшись в свитере, закатал рукава и стал растирать худые руки едва ли не от запястья до локтей, потом долго устраивал длинные ноги и уснул. Проснулся, когда самолет уже подходил к Москве. Он взглянул вниз и, рассмотрев березовую рощицу, сказал неожиданно строгим голосом — хмель прошел:

— О белые березы… российского Севера. — Гопкинс обернулся, произнес со счастливой лихостью: — Россия!.. Россия!.. — Потом вдруг хлопнул сухой ладонью по железной лавке, спросил: — Вы слыхали об американце Стайнере? Это мой учитель! Не верите? Мой учитель писал книгу о Толстом-человеке и отправился в Ясную Поляну. Это было в начале века, и Толстой был уже очень стар. Но великий старец был рад встрече с американцем и беседовал с ним. Вы знаете, что сказал Толстой Стайнеру? Он сказал, что человек начинает понимать жизнь с той самой минуты, как он начинает думать о смерти. Толстой говорил, а вокруг ходила старая графиня и бросала гневные взгляды на гостя — по слухам, она была не властна над собой и в любви, и в неприязни. А Толстой сказал еще в тот раз американцу, что человек, чтобы прожить счастливо, должен вовремя уяснить, что ему надо от жизни, и не требовать больше, чем определено ему богом. А рядом ходила графиня и теперь уже с неприязнью смотрела не только на гостя, но и на мужа: она явно требовала от жизни больше, чем дала ей судьба…

Бардин думал: есть два Гопкинса. В начале пути и в конце пути. Какой из этих двоих был Гопкинсом и какой — его неточной копией? А может быть, один разговор был продолжением второго? В самом деле, разговор о родословной («Я сын шорника из Гриннелля!») должен был закончиться воспоминаниями о Толстом — Гопкинс прибыл в Россию. Чем завоевал этот человек свое выдающееся положение? Не тем ли, что он обнаружил, пока самолет шел из Архангельска в Москву, — расчетливым умением строить здание, которое точно отвечает его, Гопкинса, цели?

Так или иначе, а Гопкинс был Гопкинсом, и его, а никого другого Рузвельт избрал своим эмиссаром для более чем ответственной миссии в русскую столицу…

Поутру, когда Бардин явился в Кремль, он увидел всю группу

американцев. По тому, как посол Лоуренс Штейнгардт взглянул на человека в светло-сером костюме, стараясь, чтобы их глаза встретились, Бардину стало ясно, как неизмеримо высоко этот человек стоит над послом. Но в догадке этой Бардину нелегко утвердиться. Посол одет с иголочки. Светло-коричневый, в темную нитку костюм посла тщательно отутюжен, костюм же и шляпа Гопкинса… Такое впечатление, что это тот самый костюм, в котором Бардин видел Гопкинса в самолете, как, впрочем, и шляпа с блестящей лентой; именно ее Гопкинс положил под голову, когда лег на железную скамью после Архангельска. Следы путешествия хранило и лицо американца — оно было желто-белым. Но усталость, как, впрочем, не очень свежая одежда, не отразились на его настроении: с веселым любопытством он стоял посреди кремлевской площади и смотрел вокруг. Эта кремлевская площадь с целым букетом золотых куполов была очень русской. Стремительность, с какой человек переселился из одного мира в другой, захватывала дух.

Впрочем, сам вид Гопкинса точно свидетельствовал: он всего лишь частное лицо, если представитель президента, то представитель неофициальный, больше того — личный. И не беда, что при его появлении посол сгибается в три погибели, миссия человека в сером костюме носит предварительный характер. Предварительный. Поэтому весь оркестр больших и малых средств, которыми одна страна приветствует другую, может пока бездействовать; и оркестр, и флаги, и почетный караул.

Гопкинс точно подчеркивал всем своим видом: посол, что идет сейчас рядом с ним, — лицо официальное. И советник, что неотлучно следует за послом, облечен доверием Штатов вполне — завтра посол выедет на родину и поверенным в делах будет советник. Да что советник! Третий секретарь, что сейчас завершает торжественную процессию на торцах Кремля, и то лицо, чье правовое положение достаточно прочно. А кто такой Гопкинс? На многокилометровой лестнице чиновничьей иерархии у каждого клерка своя торжественная ступенька. Как ни длинна эта лестница, на ней нет места для Гопкинса. Личный представитель президента — американская табель о рангах не предусмотрела этого положения. Каково должно быть расположение президента к этому человеку, чтобы в переговорах, которые сегодня начнутся в Кремле, доверить ему американские интересы! Доверие! А что в данном случае лежит в его основе и кем является для президента этот человек?.. Друг детства, честная и бескомпромиссная душа, способная резать правду-матку, верноподданный клерк или сподвижник на многотрудном

пути?

— В самолете, как мне показалось, было свежо… — заметил Бардин. — Вы не простыли?

— Ничуть, господин Бардин… Мои архангельские друзья были так гостеприимны…

— Значит, тепла на дорогу из Архангельска до Москвы хватило?.. — спросил Бардин. Ему хотелось сберечь настроение, которое сейчас владело Гопкинсом.

— Я чувствовал себя в дороге отлично!.. — Предложенный Бардиным тон Гопкинс поддержал охотно — как все больные люди, он склонен был прихвастнуть своим здоровьем. — А знаете, о чем я думал, когда смотрел из самолета на ваши леса? Гитлер со своими танками никогда не победит Россию, увязнет!..

Рядом шел Лоуренс Штейнгардт и односложно кивал головой. «Может, увязнет, а может, и нет?» — точно говорил посол. Бардин знает, что с тех пор, как самолет с Гопкинсом приземлился в Москве, едва ли единственным собеседником американского гостя был посол. О чем они могли говорить, оставшись вдвоем?.. Вопрос наиглавнейший: «Как долго продержится Россия и продержится ли?» В самих Штатах мнения разделялись не без помощи военного ведомства, больше того, не без помощи военных дипломатов, аккредитованных в Москве. А как думает посол Штейнгардт? Он высокопоставлен, а поэтому осторожен. Он ищет ответа у многотерпимой истории. Похоже на то, что многомудрая наставница подсказала послу иные выводы, чем те, к которым пришел военный дипломат…

— Немцы оставили Лондон в покое? — не поднимая на Гопкинса глаз, спросил Бардин.

Гопкинс ответил не сразу — он хотел быть точным.

— С некоторого времени, — произнес американец и, наверно, подумал: в этих трех словах ответ на все вопросы русского — и на тот, что он посмел задать, и на тот, что он задать не посмел. Немцы остановили бомбардировки Лондона, когда они начали массовую переброску войск на восток.

Сталин принял Гопкинса в 18 часов 30 минут во вторник 30 июля.

Хотя это была первая встреча между ними, она была отнюдь не протокольной.

Гопкинс сказал, что он приехал в Россию как личный представитель президента. Рузвельт считает Гитлера врагом человечества и хочет помочь Советскому Союзу.

12

Как было условлено, поутру Бардин повез Гопкинса по Москве.

Утро выдалось пасмурным и прохладным. Гопкинс взял с собой легкое пальто. Американец посматривал на небо не без опаски и порывался надеть пальто, но устоял. Как заметил Бардин, Гопкинс не хотел выдавать своих недугов.

Они побывали на Арбате, постояли у толстовского дома в Хамовниках, перебрались на тот берег реки и долго рассматривали город с большого Воробьевского холма. Потом по холму, оставляя справа церковь, пошли пешком — автомобиль следовал за ними.

— Я все думаю о моей встрече с русскими военными, господин Бардин, — произнес Гопкинс, отводя глаза от города, который медленно освобождался от утренней мглы. Вчера, уже после беседы со Сталиным, Гопкинс разговаривал с военными. Как стало известно Бардину, американец пытался установить точную номенклатуру зозможной помощи русским и ее размеры. — Я связывал с этим разговором известные надежды… — добавил Гопкинс и остановился. В расступившемся тумане хорошо были видны красные стены Новодевичьего монастыря. — Это церковь?..

— Монастырь… Помните из истории: Годунов, Борис Годунов?

— Не столько из истории, сколько из… оперы, — засмеялся Гопкинс. — Если бы не опера, не знал бы и Годунова!.. Москва звала его на царство здесь?

— Здесь, — сказал Бардин и вспомнил отца. Старый Иоанн особенно часто перечитывал именно эти сцены пушкинской трагедии, пространно их комментируя. — Москва-то была не очень догадлива, — засмеялся Бардин. — Если бы царь не захотел, Москва могла бы и не догадаться его позвать.

— По-моему, он отказывался, и не раз? — улыбнулся Гопкинс.

— Отказывался! Мол, плачете не натурально, сердцем не чувствую горя. Вот заревете в голос — и соглашусь!.. — заметил Бардин весело.

— И они заревели?

— Еще как!

— И он, разумеется, дал согласие?

— Немедля….

— И они дали понять, что рады?

Бардин оторопел на минуту: вон какой, этот Гопкинс!

— По-моему, да.

Бардину показалось, что этот эпизод, предметом которого явилась более чем седая древность, как-то приободрил Гопкинса; подойдя к автомобилю, который продолжал медленно следовать за собеседниками, он протянул шоферу свое пальто и, возвратившись, зашагал веселее.

— Так я думаю о своей вчерашней встрече с русскими военными, — произнес Гопкинс, не успев погасить улыбки, вызванной воспоминаниями о Годунове. — Я связывал с этим разговором известные надежды…

— Вы хотите сказать, что надежды эти не оправдались?

— Нет, дело даже не в надеждах, но у меня создалось впечатление, — он внимательно посмотрел на своего собеседника, будто соизмеряя все, что хотел сказать, с самим обликом Бардина. — Понимаете, впечатление… что этот генерал… — ему явно не хотелось произносить имени нашего военного, — да, этот генерал готов был отказаться от некоторых видов оружия, лишь бы его не сочли инициатором соответствующей просьбы… Простите, но он сделал это из… робости или сознания, что решение таких вопросов не является его компетенцией?..

Вот тебе и меланхоличный Гопкинс!.. Разговор о Годунове определенно вернул ему силы.

— А быть может, ни первое, ни второе… Просто генерал… смешался!.. — сказал Бардин.

— Вот вы, дипломаты, везде одинаковы — поймите наконец, генерал сробел. Понимаете, сробел!.. Нашему брату штатскому я бы это еще простил, но генералу, да еще в военное время… Робость? Непростительно!

«Вот тебе Годунов и избрание на царство, — подумал Бардин. — Теперь его, пожалуй, не вернет к меланхоличной дреме никакая сила».

— По-моему, сейчас монастырь виден лучше, — произнес Бардин. Он не был заинтересован в продолжении разговора. — И площадь перед монастырем…

Но Гопкинс не ответил. Мысль, к которой он обратился только что, он не хотел бросать на произвол судьбы, для него эта мысль была важной, он хотел все додумать.

— Войдите в мое положение и порассуждайте… — произнес он. Новодевичий монастырь его уже не интересовал. — У меня были две встречи: Сталин и этот генерал… Сталин был широк. Генерал не проявил широты даже в тех скромных размерах, в каких может обнаружить эти качества генерал рядом с главой

правительства. Почему?

Но Бардин не успел ответить — шофер подал сигнал, желая обратить внимание Гопкинса и его собеседника на происходящее на дороге. Шла колонна санитарных машин. Три десятка автомобилей с ранеными. На некоторых машинах были установлены навесы и раненые скрыты. Большая же часть полуторок была без навесов. Линия тротуара, на котором Бардин стоял с Гопкинсом, была много выше линии шоссе, однако непросто было рассмотреть то, что происходит в кузове, — машины шли на большой скорости. Только у одной полуторки борт был разнесен в щепы прямым попаданием и видны были солдаты, лежащие на соломе головами к противоположному борту. Над солдатами, опершись одной рукой о кабину, стояла девушка-санитарка. На ней была зеленая форменная гимнастерка и марлевая косынка. Девушка что-то говорила, склонившись над солдатом.

— Вы заметили, бинты совсем свежие, — сказал Гопкинс. — Еще вчера солдаты были в бою?..

— Вчера?.. Нет, пожалуй, позавчера вечером. — Бардин соотнес время, прошедшее с позавчерашнего вечера, и расстояние, пройденное автопоездом. — Впрочем, могло быть и вчера. До того, как погрузить на машины, их везли поездом.

Гопкинс надел пальто — ему стало холодно.

— Это… Смоленск?

— Да, пожалуй, Смоленск.

Они сели в машину и поехали в сторону, противоположную той, куда удалилась колонна. Бардин смотрел на американца, который кутался сейчас в свое холодное пальто, думал: «Отчего американцу стало зябко: от этой встречи с русскими солдатами или от разговора, который солдаты прервали?» Как развивалась у Гопкинса эта мысль, если он сейчас думал об этом?..

13

Итак, Гопкинс был принят 30 июля в 18 часов 30 минут.

Сталин вышел гостю навстречу и предложил кресло, стоящее подле письменного стола (он предпочитал беседовать со своими посетителями, оставаясь за письменным столом), но, возвращаясь к столу, взглянул в открытое окно и увидел в непросторном небе над Кремлем белую зыбь аэростатов. Он задержался у окна, глядя на аэростаты, при этом его глаза оставались прищуренными. Что заставило его смежить веки? Яркое небо, усиленное блеском аэростатов, или внезапно пришедшая на ум мысль: «Я старый воробей, и на мякине меня не проведешь»?

Когда он вернулся к столу, присутствующие уже достаточно обжили кресла — слева Гопкинс и Штейнгардт, справа Молотов. Переводчик занял место между американцами и хозяином. Сталин взглянул на гостей, точно прикидывая, насколько хорошо они расположились и в какой мере будут способны выдержать беседу, которая сейчас начнется. Затем он взял трубку, лежащую на столе, и поднес ко рту — огонь, дремавший в трубке, ожил, послышался запах дыма, пряного, хмельного.

— Как себя чувствует президент Рузвельт? — спросил он. Фраза, с которой беседа должна была начаться, всегда стоила ему усилий.

Гопкинс воспринял вопрос Сталина не столько по существу, как своего рода знак: американец может говорить то, что готовился сказать.

Гопкинс сказал, что президент здоров и просил своего посланца приветствовать Сталина. Отодвинув стул, чтобы видеть переводчика, Гопкинс заметил, что приехал в Россию как личный представитель президента. Он уточнил, как следует принимать его амплуа «личный представитель президента» и как его, Гопкинса, миссия соотносится с тем, что делает госдепартамент по обычным дипломатическим каналам. Президент считает Гитлера врагом человечества и хочет помочь Советскому Союзу. Впрочем, все то, что он говорит, Сталин найдет в послании Рузвельта, которое Гопкинс имеет честь вручить. Гопкинс также сказал, что он только что расстался в Лондоне с Черчиллем, который просил его сообщить русским руководителям, что он присоединяется к мнению президента.

Сталин слушал американца внимательно, занятый раскуриванием трубки; он не выказал особого интереса ни в тот момент, когда американец говорил о послании президента, ни тогда, когда он упомянул имя английского премьера. Впрочем, он

сказал, что приветствует Гопкинса в Советском Союзе и что был информирован о его приезде.

— Необходим минимум моральных норм в отношениях между нациями, — заметил Сталин. — Без такого минимума нации не могли бы существовать. Нынешние руководители Германии не знают таких минимальных моральных норм и поэтому представляют собой антиобщественную силу.

Сталин сжато и выразительно сказал, что он думает о современной Германии.

— Таким образом, наши взгляды совпадают, — произнес он, когда почувствовал, что достаточно обосновал этот вывод и может наконец к нему обратиться, — он вел беседу к этому.

Гопкинс решил, что этой своей формулой Сталин как бы подытожил первую часть беседы и давал понять американцу, что готов перейти к обсуждению практических дел.

Гопкинс спросил, в какой помощи нуждается Россия, что ей надо сегодня и что ей потребуется, если война окажется длительной.

Сталин подошел к окну и пошире раскрыл его створки — в комнате было жарко. Он как бы невзначай опять взглянул на небо и на какую-то секунду замер — где-то высоко-высоко, выше златоглавых соборов, выше аэростатов, быть может, выше облаков шел самолет.

— Нам нужно двадцать тысяч зенитных орудий, легких и тяжелых, — произнес Сталин и быстро пошел к столу; казалось, эту фразу он добыл, глядя на военное небо Москвы. — Это позволит нам высвободить две тысячи истребителей, которые нужны действующей армии…

Он сказал также, что Россия нуждается в крупнокалиберных пулеметах и винтовках для защиты городов.

— Нам нужен миллион или более винтовок, — сказал он.

Ему предстояло ответить на самую трудную часть вопроса Гопкинса: что необходимо России на случай длительной войны? Война шла второй месяц, однако речи о длительной войне еще не было. Американцы были первыми, кто поставил вопрос о помощи России в длительной войне. Сталин не мог не понимать, что обсуждение самого этого вопроса обоюдоостро. Просить о помощи в длительной войне, значит, признать сам факт такой войны, а это опасно. Вместе с тем игнорировать предложение Гопкинса о помощи, рассчитанной на тот случай, если России придется воевать годы, значит, поступиться чем-то насущным.

— Высокооктановый бензин и алюминий — вот что в первую очередь нам нужно для длительной войны, — сказал он достаточно решительно. — Дайте нам зенитные орудия и

алюминий, и мы будем воевать три-четыре года…

Гопкинс подался вперед, обратив к Сталину правое ухо, этим ухом он лучше слышал. «Значит, три-четыре года?» — точно говорило его лицо. Казалось, ничего более значительного не было произнесено в этот вечер. Гопкинс помнил об этих словах и когда часом позже шел через площадь Кремля к Спасским воротам, молча наблюдая за строем красноармейцев в касках, которые в ожидании налета спешили занять свои посты на кремлевском холме, и много позже, когда смотрел на ночное небо Москвы, по-летнему светлое, медленно вздыхающее в такт артиллерийскому грохоту и блеску огня.

Расставаясь со Сталиным, Гопкинс сказал ему, что хотел бы видеть его еще раз. Было условлено, что они встретятся вновь в этот же час завтра.

Как ни плодотворна была эта встреча, Гопкинс хотел обстоятельного разговора о силах, которые приведены в действие, о резервах материальных и людских, которыми стороны обладают, о перспективах войны. Он хотел разговора, который бы дал возможность ему ответить на главный вопрос, поставленный президентом: выстоит ли Россия?..

…Вечером, когда Гопкинс прибыл к Сталину, в приемной его встретил человек в крупных очках и темно-сером костюме, по-русски добротном, но чуть-чуть тесноватом. Видно, с тех пор, как человек в очках сшил костюм, прошло время, и немалое.

— Я вас приветствую, господин Гопкинс… — обратился он к американцу по-английски со спокойной и покоряющей уверенностью, которая свидетельствовала, что он не испытывает смущения оттого, что говорит на чужом языке. Впрочем, нельзя сказать, чтобы его говор был лишен акцента. — Как вам пришлась по душе Москва?

В этом обращении человека в роговых очках был свой расчет, очевидно, выверенный жизнью, — он полагал, что Гопкинс не может его не узнать.

Гопкинс действительно взглянул на незнакомца не без симпатии — американец узнал его.

— Город широкий, как все русское, господин Литвинов.

— Как все русское, господин Гопкинс, как все русское…

Да, Литвинов… Старик Литвинов, старик даже не по летам, а по ненастной жизни своей.

Не многих берлинская деспотия страшилась так, как этого человека с бледными добрыми глазами, которые едва были сейчас видны за многослойными стеклами окуляров. Но время неутомимо, оно ни минуты не сидело сложа руки и порядком преобразило и Литвинова. В том, как он шагнул от окна

навстречу Гопкинсу и потом зачастил мелкими шажками (ноги были по-стариковски полусогнуты), Гопкинс увидел — его порыв не был рассчитан на его силы.

— Как все русские города, Москва хороша зимой, — произнес Литвинов, а Гопкинс взглянул на него искоса, подумал: «Не случайно он появился здесь, что-то есть в этом от далеко идущего замысла…»

Гопкинс вернулся к своим раздумьям с новой силой, когда, войдя в кабинет Сталина, увидел рядом с собой Литвинова. Неспроста же в кабинете оказались сейчас трое: Сталин, Литвинов, Гопкинс.

Сталин и Гопкинс — собеседники, Литвинов… на правах переводчика. Только ли на правах переводчика?..

Видно, сутки, минувшие после первой встречи американца со Сталиным, не прошли для русских даром. У них был и свой взгляд на визит Гопкинса в Москву, и свой план. Несомненно, что Литвинов — одно из звеньев этого плана. Уже это делало нынешнюю встречу для Гопкинса необычной. Разумеется, свой план был и у Гопкинса, и он был полон решимости реализовать его. Как ни важна первая встреча американца со Сталиным, нынешняя должна быть главной — вряд ли у трех участников нынешней беседы были сомнения на сей счет.

Первый же вопрос Гопкинса, обращенный к Сталину, обнаруживал это достаточно определенно: американец сказал, что президент Штатов хотел бы получить его, Сталина, оценку и анализ войны между Германией и Россией. Откинувшись в кресле, Сталин взглянул на американца с той испытующей пристальностью, с какой смотрел на человека, когда улавливал в его словах нечто недоброе. Но ум Сталина, достаточно рациональный, уже формулировал ответ. Уже складывались фразы этого ответа, как обычно, нарочито-расслабленные, очень похожие на само звучание его голоса, но достаточно точные, методично разграфленные на разделы и подразделы, с обязательными ссылками на цифры и обязательными выводами.

Чтобы как-то преодолеть неловкость паузы, Сталин пододвинул к себе коробку с табаком и, взяв добрую щепотку, медленно перенес табак от коробки к трубке и с очевидной неторопливостью принялся его вминать. Он делал это тщательно не только в силу привычки, но из сознания, что за каждым его движением следят присутствующие. Итак, какова, с точки зрения Сталина, оценка войны?

Сталин признал, что лично он не верил, что Гитлер решится выступить против России теперь. Да, он сказал это Гопкинсу и как бы дал понять, что не обманывается насчет своей вины. Очевидно,

он считал, что признание этого факта облегчит ему беседу, и сделал это не задумываясь. Впрочем, он предупредил и второй вопрос американца, возможно, полагая, что и этим помогает своей беседе. Он сказал, что к началу кампании немцы имели сто семьдесят пять дивизий на русском фронте и вскоре довели их до двухсот тридцати двух, в то время как русские располагали ста восьмьюдесятью дивизиями, при этом многие из них были далеко от фронта. Таким образом, численное превосходство было не на стороне русских. К тому же численный перевес немцев был усилен тем обстоятельством, что они удвоили и утроили свои дивизии в местах главного удара. Система цифр, к которой обратился Сталин, очевидно, призвана была объяснить американцу наши неудачи в первые дни войны. Впрочем, Сталин тут же заявил, что, по его расчетам, немцы смогут увеличить численность армии до трехсот дивизий, в то время как мы имеем возможность бросить против Гитлера триста пятьдесят дивизий. Но способны сделать это лишь весной будущего года. Сталин подчеркнул, что Германия недооценила русскую силу и уже сегодня не в состоянии наступать по всему фронту, она вынуждена переходить к обороне. Русские обнаружили тяжелые танки, врытые в землю.

— Да, своеобразная линия Мажино: танковая броня вместо железобетона, танковая пушка вместо артиллерийской установки, — сказал Сталин, выколачивая в пепельницу пепел. Считая себя человеком больше военным, нежели штатским, он любил говорить на военные темы.

Гопкинс слушал его с почтительным интересом, впрочем, нередко склоняясь над блокнотом, чтобы сделать записи. Гопкинс не стеснялся записывать. Больше того, он наклонялся к Литвинову, который сидел рядом, и произносил едва слышно:

— Простите, триста пятьдесят дивизий?

Литвинов повторял вопрос по-русски и, дав возможность ответить на него Сталину, переводил.

Затем речь коснулась того, как вооружены советская и германская армии — танки, самолеты, артиллерия, ручное оружие. Сталин осветил и этот вопрос. Сталин вообще отвечал на вопросы Гопкинса охотно и обстоятельно. В том случае, когда он затруднялся ответить, он вызывал своего помощника, который неизменно был начеку, и необходимые сведения тут же добывались. Только однажды заметное смятение овладело Сталиным — американец спросил его, где расположены русские военные заводы. Овладев собой, советский главнокомандующий принялся отвечать. Правда, в этот раз его ответ был не столь обстоятелен и точен.

— Мы стараемся увести наши заводы из-под удара, — заметил он спокойно. — Все заводы — на восток! — воскликнул он почти патетически.

Вновь, может быть, более подробно, чем накануне, Сталин перечислил номенклатуру сырья и товаров, в которых нуждается наша армия.

— Да, зенитные орудия, алюминий, пулеметы, винтовки, — сказал он и, подняв руку с загнутым пальцем, повторил: — Четыре! Четыре! Калибр? Сейчас я вам точно укажу.

Он протянул руку к стопке мелко нарезанных листов, положил перед собой квадрат бумаги, тщательно написал, обозначив калибры: зенитные орудия — 20, 25, 37 мм, пулеметы — 12,7 мм, винтовки — 7,6 мм.

Гопкинс принял драгоценный листик в раскрытую ладонь и, поправив очки, тщательно, по-чиновничьи вписал меж строк четыре английские строки, время от времени глядя на Литвинова, советуясь:

— Machine-guns… Is it correct?[5]

Когда с этой процедурой было покончено, Гопкинс, имея в виду, что беседа клонится к концу, заметил, что хотел бы решить еще один вопрос.

Сталин сказал, что слушает его.

Гопкинс отодвинул блокнот с записями, будто желая дать понять, что все то, что хочет сказать сейчас, неизмеримо важнее того, что было уже им произнесено.

Он заметил, что его правительство, как, впрочем, и правительство Великобритании, готово удовлетворить все просьбы России, однако снаряжение, о котором идет речь, вряд ли достигнет русских берегов до начала зимы. Речь идет не только о том снаряжении, которое должно быть изготовлено, но и о том, которое имеется в наличии и может быть отгружено в возможно сжатые сроки. Короче, необходимы план длительной войны, объединение ресурсов и усилий трех держав в самом широком смысле этого слова. Америка должна быть не только в курсе дел сражающейся России, но и в курсе того, каковы возможности русской армии, каким оружием эта армия располагает. Гопкинс дал понять, что речь могла бы идти о военном совещании трех держав, совещании оперативном, способном сообразовать усилия трех государств. Гопкинс сказал, что имеет поручение предложить России такое совещание провести.

Сталин сказал, что он готов поддержать предложение Гопкинса о таком совещании, но если речь идет о нем, Сталине, то ему непросто выехать из Москвы.

Гопкинс заметил, что важно согласие Сталина. Лаконичная

реплика американца предполагала, что он получил не все ответы на вопросы, поставленные им. В самом деле, вопросы о мобилизации ресурсов, об обмене военной информацией оставались еще открытыми.

Сталин сказал, что Россия такую информацию даст, и спросил у Гопкинса, исчерпал ли он свои вопросы. Гопкинс ответил утвердительно. Сталин выдвинул боковой ящик, достал пачку сигарет, не торопясь распечатал, предложил американцу. Тот охотно взял, протянул пачку сигарет вначале Сталину, потом Литвинову. Гопкинс ощупал карманы брюк, достал зажигалку, синеватое пламя обежало всех. Они закурили, и дыхание доброго табака вновь поплыло по комнате.

Гопкинс курил, вкусно причмокивая, Литвинов курил, расплывшись в улыбке. Его широкое лицо с толстыми губами выражало радость — давно ему не было так хорошо, как сегодня. Один Сталин потягивал свою сигарету с суровой сосредоточенностью. Не иначе как в его сознании вызревал вопрос, которым он готовился завершить беседу.

— Не погасла ли ваша сигарета, господин Сталин? — засмеялся Гопкинс, поставив своим вопросом в неловкое положение прежде всего Литвинова — непросто было перевести этот вопрос.

— Нет, нет, никогда еще огонь не гас в моих руках, — улыбнулся Сталин, однако от этой улыбки он не стал веселее. Трудная мысль, которая владела им сейчас, не отпускала его ни на секунду. — Очевидно, на послание президента я должен был бы ответить своим посланием, — начал он, и Литвинов, увлеченный сигаретой, задержал ее у рта — он уловил значительность интонации.

Сталин продолжал.

Он сказал, что мощь Германии настолько велика, что России и Великобритании будет трудно разгромить германскую военную машину. Самым действенным шагом в борьбе с Гитлером было бы вступление США в войну. Это воодушевило бы народы, стонущие под гитлеровским игом.

— Вступление США в войну — вот проблема, которой господин Сталин хотел бы посвятить послание американскому президенту, если бы такое послание он написал? — спросил Гопкинс. — Верно я говорю?

— Верно, господин Гопкинс.

Видимо, Гопкинс не ожидал такого поворота разговора. Он затревожился и вновь, как в первую встречу со Сталиным, привстал, обратив правое ухо к собеседнику.

— Верно я понимаю?

Сталин подтвердил: верно.

Гопкинс стал объяснять, что приехал в Россию, чтобы содействовать помощи России в войне («Снабжение России всем необходимым — вот моя задача!»), но он готов передать президенту все, что составит содержание письменного или устного послания русских…

Сталин отвел глаза, задумавшись. Когда он думал, ему мешали взгляды людей. Потом он неожиданно поднял глаза, прямо взглянул на Гопкинса.

— Пусть вас это не огорчает… У президента нет причин быть недовольным своим посланцем. Ваша миссия была успешной…

Наутро американец вылетел из Москвы. Бардин, как было условлено, сопровождал его до Архангельска.

Видно, три страдных дня, проведенные в Москве, дали себя знать — едва самолет поднялся, Гопкинс уснул. Он был очень смешон в своем сером пальто и в помятой шляпе, которой после архангельского дождя он так и не сумел придать нужной формы. Он проснулся где-то за Вологдой и, осведомившись, который теперь час, протер иллюминатор и взглянул вниз. Самолет шел над темным бором. Бор был густо-синим, неоглядно широким, как небо над ним, тоже бескрайнее и синее. И Гопкинс вдруг вспомнил Кремль и вчерашнюю встречу.

— Мы разговаривали почти шесть часов, — заговорил он так, будто речь об этом зашла с Бардиным впервые. — У меня на родине или в Лондоне подобная миссия могла бы продолжаться бесконечно. Шесть часов разговора со Сталиным решили все… Он создает у вас уверенность, что Россия выдержит атаки немецкой армии. Он не сомневается, что у вас также нет сомнений, — он вновь взглянул в иллюминатор. Вдали в призрачной мгле блеснул извив реки и исчез. Гопкинс отвел глаза от иллюминатора, вздохнул. — Мне сказали, что ни один иностранец не получил столько сведений о силе и перспективах России, сколько было сообщено в эти два дня мне… По-моему, это правда.

— Правда, господин Гопкинс.

Он повел плечами, ссутулившись, улыбнулся, улыбнулся не столько собеседнику, сколько своим мыслям.

— По-моему, это знак приязни к моему президенту. Не так ли?

— Так, господин Гопкинс.

Он закрыл глаза, сказал так тихо и так сокровенно, как можно было говорить только себе:

— Нет, кроме шуток, в эти шесть часов мы совершили нечто великое…

Он положил ладонь под щеку и уснул. Казалось, он проснулся, чтобы сказать эти несколько слов и вновь погрузиться в сон. Он очень устал.

А Бардин не мог отказать Гопкинсу в правоте. В эти дни в Москве действительно свершилось нечто значительное. Если суждено было объединиться двум великим силам, то это объединение произошло в эти дни. Ничего Германия не боялась так, как этого союза. Сейчас этот союз был близок к осуществлению. Человек в сером коверкоте и помятой шляпе, что спал сейчас напротив, так и не поправив сдвинутую набекрень шляпу, мог спать спокойно — он сделал для этого все, что было в его силах.

14

Вечером, когда Тамбиев пришел в наркомат, его вызвал Грошев.

— Есть новость, Николай Маркович, и прелюбопытная — корреспонденты едут на фронт.

— Я еду?

Грошев помедлил.

— А вот это как раз еще не решено.

Тамбиев приблизился к столу.

— Нет, Андрей Андреевич, это решено, давно решено, еще в тот день, когда вы отказались отпустить меня в институт.

Грошев шевельнул лиловыми губами, насупился — тон Тамбиева ему не нравился.

— Я не решил, однако, если решили вы… зачем меня спрашивать?

— Андрей Андреевич, я прошу вас.

— Ну, это уже другой тон. Поезжайте.

— Все корреспонденты?

— Да, разумеется.

— На какой фронт?

— На Западный.

— Когда выезд?

— Часов в пять утра.

— Корреспонденты знают?

— Нет, но можно уже сказать… Кстати, Буа уже пошел в этот ваш Ноев ковчег… — указал Грошев на окно. — И против обыкновения… трезв.

Окна кабинета выходили в наркоматский двор, и, подойдя к окну, Тамбиев увидел, как двор пересекает француз Буа. Да, он был трезв, может, поэтому так пасмурен — в трезвом состоянии хорошее настроение у него исключалось начисто. Он шел походкой смертельно усталого человека. Его глаза были сонны, спина сутулее обычного, нижняя губа, добрая, как у лошади, отвисла.

— Буа — земляк Роллана, из Бургундии? — спросил Грошев, не отрывая глаз от окна, за которым все еще была видна усталая фигура француза.

— Нет, он из Гаскони. Кстати, вы заметили, что он приходит в убежище, как на. работу: в семь он здесь…

— Как на работу? По-моему, он здесь работает. Парижская привычка — он может работать только на людях. К тому же есть иллюзия безопасности.

— Именно иллюзия. Кстати, я вижу Галуа. Через четверть часа вы можете сообщить им нашу новость.

То, что Грошев назвал Ноевым ковчегом, было сорокаметровым полуподвалом, достаточно светлым и сухим, чтобы в нем можно было работать. Подвал был обставлен по вкусу наркоматского управляющего делами, великого гурмана и жизнелюба. Из запасников управления делами в подвал снесли мебель восемнадцатого века, хрусталь и бронзу, увенчав все это скульптурным портретом неизвестного римского воина. Как ни далек был управляющий делами от забот о корреспондентах, он постиг их натуру верно: им импонировало пышное убранство подвала, и они шли сюда охотно. Впрочем, этому способствовало еще одно обстоятельство: новые сводки Совинформбюро поступали в отдел в тот самый час, когда с чисто немецкой аккуратностью на дальних подходах к Москве появлялись немецкие самолеты и начинался налет на столицу. Очередная корреспонденция писалась под грохот зениток и гром фугасок, что в немалой степени способствовало вдохновению.

Когда Тамбиев появился в убежище, корреспондентский корпус был в сборе и новость была известна инкорам.

— А не провести ли нам своеобразную… «летучку»? — поднял любопытные глаза Галуа — он был восприимчив к новым русским словам и охотно их подхватывал. — У моих коллег много вопросов… Шутка ли, первая поездка на фронт!

— Да, пожалуйста, Алексей Алексеевич, хотя лучше некоторые из этих вопросов задать нашим военным, но они будут лишь к моменту выезда…

— Неважно. Проведем «летучку», это будет полезно. — Он значительно ударил ладонью о ладонь, призывая присутствующих к вниманию: — Friends, attention!..[6]

Первым реагировал Гофман; как и надлежит корреспонденту крупного агентства, он был чуток к малейшему движению воды и тут же занял место рядом с Галуа. Наоборот, старик Джерми не без труда оторвал усталые глаза от книги и. разумеется, не сдвинулся с места. Хорошенькая мисс Лоу, раскурив очередную сигарету, долго и безуспешно пыталась разгрести маленькой ручкой облако дыма и рассмотреть, что происходит вокруг.

— Алекс, что ты хочешь сказать?.. — взывала она к Галуа своим детским голоском — бедняжка пыталась уяснить, что происходит в полуподвале, и ничего не понимала…

А Галуа, по обыкновению, хлопал в ладоши и симпатично мычал. Как казалось Тамбиеву, это эканье и меканье, столь свойственное знатным предкам Галуа, сопровождало его русскую и французскую речь, сообщая ей известный колорит и весомость.

Так или иначе, а необходимые слова были произнесены, и корреспонденты могли задать свои вопросы.

— А зачем нам выезжать утром, когда можно выехать днем? — подал голос мистер Клин и выдохнул облачко дыма — он любил душистые табаки и не намерен был изменять себе даже в столь суровых обстоятельствах, как сегодняшние.

— Нас будут возить по тылам или дадут возможность прикоснуться к огню? — спросил американец Лоусон. Он был на европейском театре войны, был на фронте и хотел эту свою привилегию утвердить и здесь.

— Кто будет говорить с нами из советских генералов? — спросил японец Тотекава и тут же был одернут американцем Виколем, корреспондентом более чем благопристойной газеты «Крисчен сайенс монитоор»:

— Посмотрите на этого молодца — ему подавай генерала!

— Простите, а как будет обставлен там наш быт? — пролепетала мисс Лоу, но ответа невозможно было расслышать — дружный хохот покрыл ее слова.

— Простите, а не могли бы мы ознакомиться с образцами немецких листовок? — отозвался Ральф Баркер, корреспондент лондонской «Таймс». Его квадратные очки были очень приметны даже в сумерках полуподвала.

— А зачем нам эти листовки? — осек его Клин. — Взгляните на него — ему нужны листовки!

— Если они не нужны вам, почему вы думаете, что в них не нуждаюсь я? — спросил Баркер, спросил не без обиды.

— А по-моему, вам тоже они не нужны! — бросил Клин, попыхивая трубкой. — Для того чтобы сагитировать вас, листовок не надо… — заключил он с явным намерением, чтобы его намек бы понят.

Корреспондентам было известно: у «Таймс» и Рейтер, по крайней мере в Москве, отношения весьма напряглись последнее время. Поднялся гул, сдержанный, неуклонно нарастающий.

— Все ясно… — крикнул кто-то, втайне надеясь, что спасительное «ясно» загасит пожар.

— Ясно, ясно! — подхватили с редким единодушием все остальные.

Галуа ударил ладонью о ладонь, экнул, мекнул и закрыл «летучку».

На рассвете машины с корреспондентами спустились по Кузнецкому к Петровке, появились в Охотном ряду, пересекли Арбат и по старому Можайскому шоссе устремились на запад. В Москве только что был дан отбой воздушной тревоги — последние ночи немцы продолжали бомбить Москву, но их

налеты становились все менее целенаправленными. Бомбежки русской столицы не очень сопрягались с действиями войск, наступающих на Москву; как могло показаться, в налетах на столицу не было крайней необходимости, они велись по инерции, чувствовалось, что немцам не хватает сил.

Небо над Москвой, по-августовски звездное, на юго-западе казалось подпаленным — там бушевало пламя. Ветер дул оттуда, пахло дымом, горьким, отдающим горелым маслом. Мимо с тревожным завыванием промчались пожарные машины. Где-то у Киевского вокзала горел дом, горел, взметнув столб огня и дыма, щедро сыпля искрами.

Дорогу автомашинам преградила милиция.

— Сворачивай в переулок!.. Сворачивай!.. — кричали вокруг.

И, пытаясь перекричать все голоса, где-то поодаль вопила женщина:

— Варька там осталась. На костылях она, на костылях!.. Варьку вызволите!..

Все было в дыму и пламени. Только над головой неярко поблескивали большие уличные часы. Круглое стекло часов завалилось. Видно, это случилось в ту самую секунду, когда бомба врезалась в дом. Стрелки засекли этот момент — три часа пятнадцать минут. Тамбиев взглянул на свои. С момента взрыва прошло почти полтора часа.

Машины выехали за Москву.

Тамбиев сидел рядом с Галуа. Что он за человек, этот Алексей Галуа, думал Тамбиев. Кем он чувствовал себя в эту августовскую ночь тысяча девятьсот сорок первого года, русским или все-таки иностранцем? Вот как круто повернулось у человека: родился в России и, возможно, считал себя русским, хотя отец был прибалтом, а мать, кажется, англичанкой. Истинно русским: по языку, по культуре, по взгляду на жизнь, по складу характера, по тому первородному, что отождествилось где-то внутри человека с белыми русскими ночами, с мокрым и холодным лугом, с ивой над рекой. А потом военной волной выбросило его на французский берег, надолго выбросило. Какими были эти годы, знает только он, Галуа, но, наверно, было все: и нужда, и одиночество, и горький хлеб чужбины. Он очень горек, этот хлеб. Все было. Однако если человек перестал себя считать русским, то как он должен почувствовать себя сейчас, вот на этой старой Можайской дороге, видавшей, например, железные полки французского императора? Если суждено ему себя почувствовать русским, то это должно произойти сейчас — да, да, сию минуту к нему возвращается его исконное первородство.

— Вы обратили внимание на эту стычку Клина и Баркера? —

прервал молчание Тамбиев, молчание долгое.

— Да, конечно, Николай Маркович.

— Вы полагаете, что это стычка характеров? — спросил Тамбиев. По тому, как охотно отозвался Галуа на его вопрос, Тамбиев решил, что он может спросить его об этом.

— Думаю, что нет.

В самом деле, что произошло вчера в наркоминдельском подвале, украшенном скульптурой римского воина, спрашивал себя Тамбиев. Кто они, Клин и Баркер? Кто такой Клин, например?

Агентство, которое представляет Клин, самое многоопытное. По крайней мере, и возраст, и солидность, и чисто английская обстоятельность за ним. Тогда почему оно направило в Москву Клина? Нетерпим, агрессивен, даже когда нет крайней необходимости, недоброжелателен, нет, не только к советской стороне — к своим коллегам и к тем, кого отнюдь не упрекнешь в левизне.

Непонятно, почему он представляет агентство именно в России, да еще во время войны. С таким же успехом он мог представлять агентство в Тегеране или Монреале, впрочем, в Монреале с большим успехом, чем в Москве, потому что там говорят на французском, который Клин знает. В остальном он человек здесь чужой и не пытается это скрывать, больше того, ему доставляет удовольствие это выказать.

Баркер был человеком иного темперамента и, пожалуй, интеллекта. В отличие от собранного и целеустремленного Клина, выражающего и гнев, и радость определенно, Баркер — порядочный мямля. У него косолапо-рыхлая походка, сырой голос, и весь он какой-то недоваренный. Прежде чем заговорить, он должен прокашляться, потом пискнуть. Его не назовешь полным, но весь он правильно закругленный: круглые плечи, грудь, щеки, подбородок, впрочем, подбородок насечен едва заметной ложбинкой, которой Баркер должен был бы гордиться, она ему к лицу. Говорят, что Баркер довольно образованный человек и одаренный литератор, но при желании и первое, и второе можно было поставить под сомнение, так как он это не очень старался обнаруживать. Единственное, что было вне подозрений, это его честность — она, как стержень, удерживала все, что было натурой Баркера, его личностью. Не было бы ее, Баркер бы распался, ведь он был, как сказали мы выше, порядочным мямлей. Впрочем, никто не мог утверждать, что Клин был бесчестен, поэтому самое сильное качество Баркера не было его преимуществом. Единственное, что могло вызвать зависть Клина, по крайней мере пока судьба его удерживала в

Москве, это русский язык Баркера — несколько лет он прожил в Чехословакии, увлекся славянской филологией.

У Клина и Баркера нет зримых противоречий. По всем данным, они должны быть если не друзьями, то добрыми приятелями. Однако они недруги, и убежденные. Почему? Может быть, повздорили из-за мелочи. Люди ведь вздорят из-за мелочей. Не было бы этих проклятых мелочей, на земле был бы мир почти библейский…

А машины идут все дальше от Москвы. Рассвет неожиданно теплый, совсем не августовский. Дороги пусты, зато леса полны жизни. Все, что удалось перебросить за ночь, пережидает день в лесу. От леса до леса — переход.

Впереди рядом с шофером — полковник генштаба Степан Иванович Багреев. Представляясь, назвал себя и по имени-отчеству. Штабист по характеру и образованию, закончил академию накануне финской и успел хлебнуть порохового дыма под Выборгом. Вообще, немногословен, как и надлежит быть офицеру генштаба.

— Когда будем на месте, товарищ полковник?

— С солнышком. Впрочем, солнышко можем пропустить вперед.

Но первая остановка случилась до того, как взошло солнце. У въезда в деревню — солдаты с погашенными фонарями.

— Корреспонденты?.. Приказано в штаб.

Деревенская школа. Класс с рисованным портретом Горького. Усы у Горького, как у Тараса Бульбы, во всю щеку. На доске вразмах три слова, очевидно, написанные вчера: «Зазноба моя, зазнобушка!» Багреев увидел, стер ладонью, а ладонь вытер чистым платочком.

— Несерьезно как-то, не надо!

Пришел офицер в плащ-палатке — видно, примчался издалека, плащ-палатку не успел снять.

— Товарищ полковник, и вы, товарищ, — это к Тамбиеву. — Начштаба просит к себе.

15

Рубленая изба. Горница с окнами на улицу. От киота далеко на две стены иконы. За длинным столом, сплошь устланным картами, сидел генерал. Узкое его лицо было сумрачно. Увидев вошедших в комнату, он поднялся, но из-за стола не вышел. Он был высок, широк в плечах, однако тонок в талии, что делало его моложавым. Неожиданно тихим голосом, так не соответствующим стати, генерал спросил, как велика группа корреспондентов и какую прессу они представляют.

Игорь Владимирович Кожавин, представляющий вместе с Тамбиевым отдел печати, начал отвечать. Тамбиев говорил подробнее.

Генерал слушал его, опершись сильной рукой о стол, изредка поглядывая то на карту, лежащую перед ним, то на Тамбиева.

— Понятно, — сказал генерал, прерывая Тамбиева. У него было явно меньше времени, чем полагал Николай Маркович. — Какие вопросы могли бы интересовать корреспондентов?

Уже более лаконично, чем вначале, Тамбиев назвал два вопроса: как прочен успех, достигнутый войсками, каковы перспективы? И собирался назвать третий вопрос, когда генерал снова прервал его.

— Ясно, — сказал он и вышел из-за стола, дав понять, что готов идти в школу, где находились в это время корреспонденты.

За всю дорогу от избы до школы генерал не проронил ни слова. Рослый, на голову выше всех остальных, он шел свободным и сильным шагом, шел неторопливо, но быстро — стоило усилий поспеть за ним. Казалось, что он шел, повинуясь мысли, которая владела им сейчас. Она была трудной, эта мысль. Офицеры и солдаты, идущие навстречу генералу, неожиданно замирали и принимались печатать шаг, но ничто, казалось, не могло отвлечь генерала от его мысли, он отвечал на приветствия, не поднимая головы. Он первым вошел в класс, где сидели корреспонденты, и, оглядев их все тем же сумрачным взглядом, тронул кончиками пальцев околыш форменной фуражки с той торопливой четкостью, с какой только что отвечал на приветствия солдат.

— Кто будет переводить? — спросил генерал, обернувшись к Тамбиеву, и, сев за стол, на котором стоял граненый стакан с полевыми ромашками, дал понять корреспондентам, что они могут сесть, но они, чуть оторопев, продолжали стоять. — Садитесь, — сказал генерал и, не дожидаясь, пока они это сделают, начал говорить. Он сказал, что согласился встретиться с корреспондентами, если эта встреча продлится не больше часа.

Корреспонденты должны понять его правильно, большим временем он не располагает. Сказав это, он снял с руки часы и положил их перед собой. Тридцать минут он намерен посвятить обзору событий, тридцать — ответам на вопросы.

Генерал говорил все тем же обыденно-спокойным голосом, каким говорил десять минут назад за столом, устланным картами. Он сказал, что сражение, которое дали советские войска немцам под Смоленском, во многом осложняет задачу немцев в их наступлении на Москву.

— Наступление приостановлено, — произнес генерал. — Больше того, мы потеснили врага и взяли Ельню. Чтобы остановить наступление советских войск, немцы начали подтягивать резервы.

Генерал отдал должное дерзости и мужеству партизан, с похвалой отозвался о советской артиллерии, однако признал, что нашим войскам все еще нелегко совладать с немецкими танками и авиацией.

— Наверно, это преимущество в танках и авиации зимой будет не столь очевидным, как летом, — сказал генерал. — Разумеется, зима явится суровым испытанием и для русских, но, как свидетельствует опыт, нам она не так страшна, как немцам…

Переводил Кожавин. Он как бы шел вслед за генералом, переводя фразу за фразой. Вначале записывал убористым и четким почерком, чем-то напоминающим печатный текст, и потом переводил. Переводил с той тщательной сноровкой и точностью, с какой делал все. Создавалось впечатление речевого потока. Будто нет переводчика и генерал говорит по-английски. И, странное дело, чем больше удавалось отстраниться Кожавину и стать менее заметным в разговоре между генералом и корреспондентами, тем большее удовлетворение доставлял самый этот процесс переводчику.

— А не полагаете ли вы, что до наступления зимы немцы попытаются добиться решающего успеха, собрав силы? В их положении это единственная возможность одолеть русскую зиму, — спросил Клин, спросил, едва генерал закончил свое короткое сообщение.

— Весьма возможно, что будет и так, — ответил генерал и поднял глаза на корреспондента. Он не ожидал, что первый же вопрос будет столь тревожно-воинственным.

— А не думаете ли вы, что нынешнее сосредоточение сил является не просто попыткой немцев локализовать русский контрудар, а началом подготовки к новому наступлению? — задал свой второй вопрос Клин. Он заранее заготовил эту обойму вопросов и теперь хотел выпустить ее.

— Любой контрудар бессмыслен, если он не является звеном замысла, — ответил генерал.

Клин умолк, и все молчали. Клин явно готовился задать свой последний вопрос. Все предыдущие были заданы ради этого, последнего.

— Полагаете ли вы, что в новом своем наступлении, если оно будет иметь место, немцы дойдут до Москвы? — спросил Клин.

— Нет.

Корреспонденты еще раздумывали над диалогом между Клином и генералом, когда подал голос Галуа.

— Не преувеличивает ли советская пресса значение успеха, достигнутого русскими войсками под Смоленском? — Скептическая интонация, прозвучавшая в словах Клина, оказалась заразительной и для Галуа.

— Думаю, что нет, — ответил генерал. — Это первое поражение немцев за время войны не только на востоке, поражение, пожалуй, тактическое, но кто знает, может быть, оно является знаком стратегического неуспеха. — Улыбнувшись, генерал как будто застеснялся этой улыбки. Видно, последнее время он улыбался нечасто.

К обеду, который приготовили в соседней комнате, служившей некогда учительской, корреспондентам дали по сто граммов водки.

Беседа с генералом растревожила корреспондентов. Все, кто во время беседы молчал, сейчас распечатали уста, все, кто говорил, сейчас стали еще говорливее.

— Читатель не знает пощады, он хочет знать всю правду, — подал голос Клин, улучив минуту, когда за столом наступила тишина. — Корреспондент тоже должен не щадить!..

— Смотря кого не щадить! — отозвался Баркер и залился румянцем — он, не умел пить и быстро пьянел.

— Родную мать не щадить! — едва ли не шепотом произнес Клин. Он мог переходить с крика на шепот — шепот устрашал.

Стол затих.

— Знаешь, Клин, — вдруг произнес Баркер почти ласково, — сегодня линия нашей с тобой обороны проходит не только по Ла-Маншу, но и по Днепру. Не щадить здесь — это значит не щадить там!

Корреспондентам почудилось, что взрыв неминуем, но взрыва не произошло — то ли Клин струсил, то ли сообразил, что обострение разговора не сулит ему ничего доброго.

— Я еще подумаю, где проложить мою линию обороны, — заметил Клин неопределенно и встал из-за стола.

И вновь Смоленская дорога, ветреная и пыльная, с

бомбовыми воронками, с дымом походных кухонь, со ржанием стреноженных лошадей в придорожных рощицах, с робкой песней.

Где-то у Гжатска их остановили пехотные командиры.

— Хотите поговорить с немцами со сбитого бомбовоза? — Командирам дали знать о корреспондентах, и пехотинцы вышли им навстречу.

— Если можно.

Три немца в синих комбинезонах — экипаж «хейнкеля». Настроение у немцев тревожно-приподнятое, то ли от сознания, что им не грозит смерть, то ли из чувства собственного превосходства.

— Москва и близко, и далеко? — спросил старик Джерми — ему хотелось задать вопрос пообиднее.

Командир экипажа с толстой шеей атлета только скептически улыбнулся, а веснушчатый коротыш, второй летчик, махнул рукой и засмеялся:

— До начала зимы Москва будет немецкой!..

Сочетание этих слов «немецкая Москва» развеселило коротыша, и он засмеялся еще пуще.

— Вы участвовали в бомбежках Лондона? — спросил Галуа. Ему казалось, что этот вопрос, заданный в лоб, собьет с немцев спесь, но Галуа ошибся.

— Да, конечно, — ответил все тот же веснушчатый немец, а сидящий поодаль черный эльзасец, по всей видимости штурман, добавил охотно:

— Неоднократно и очень успешно. — Он оглядел своих товарищей: — В этом же составе…

Возможно, здесь было задето самолюбие командира экипажа.

— После России — Англия! — заявил он без малейшего смущения, заявил так, будто вместе с ним должны радоваться все остальные. — Управимся — И в Лондон! — почти воскликнул он.

— Чтобы быть в Лондоне, вам следует еще выбраться из русского плена. Из русского! — произнес старик Джерми. Он был в России еще в первую войну и лучше других знал Россию.

— Это ничего не значит, — сказал черный немец.

Они остановились на ночлег в полевом госпитале. Палатка, в которой разместились Тамбиев и Кожавин, стояла на отшибе от палаточного городка, однако рядом с медсанбатом. Ближняя из палаток медсанбата — операционная. Когда Тамбиев с Кожавиным вошли в свою палатку, из операционной был слышен кашель, утробный, прерываемый тяжелым дыханием.

— Братушка-доктор, побереги меня, я молодой… —

слышалось из палатки. — Побереги…

— Пойдемте на дорогу, постоим в тишине, — предложил Кожавин.

Они выбрались из палатки. Пошли через поле, которое уже тронула роса. Припахивало дымком, далеко справа жгли солому, и длинные космы дыма, подсвеченные пламенем, невысоко стлались над полем.

Этот костер да яркий огонь операционной не отодвигались в ночь, как и голос солдата, лежащего на столе: «Братушка-доктор…»

Они дошли до дороги и пошагали вдоль нее. Здесь было тише.

— Что вы поняли, Николай Маркович, из рассказа генерала? — спросил Кожавин, остановившись. Голос его был очень свеж в тишине ночного поля.

— Не только из рассказа генерала, но и из встречи с этими немцами? — переспросил Тамбиев. Чем-то неведомым рассказ генерала перекликался с вечерней встречей с пленными.

— Да, пожалуй, и из встречи с немцами.

Тамбиев пошел дальше, ему не хотелось останавливаться.

— Понял, что нам будет трудно.

— Труднее, чем старался показать генерал?

— Труднее, Игорь Владимирович.

Кожавин посмотрел туда, где только что пламенел костер. Пламя опало, костер погас, тьма сейчас объяла их, сплошная тьма, хотя все еще пахло дымом.

— До начала зимы два месяца, — произнес Кожавин едва слышно. — Они не могут ждать, пока их накроет зима. Они пойдут на все. Новый большой удар немцев? Может быть, здесь…

Где-то в стороне, не зажигая фар, прошла машина, однако звук мотора был слышен явственно.

— Игорь Владимирович.

— Да…

— Ваши выехали из Ленинграда?

— Да, сестра и бабушка. Не могу простить себе, что не повидал их.

Это было не очень похоже на Кожавина, обычно он был скрытнее, не любил говорить о себе. Всему виной эта ночь да ощущение тревоги. То, чего не скажешь в иное время, скажешь сейчас.

— А как ваши, Николай Маркович?.. На Кубани?

— Да.

Они медленно пошли назад. Из-за холма выглянул огонь операционной палатки. В стороне, в двух шагах от палатки,

стояли носилки, теперь тщательно прикрытые простыней. Видно, под простыней лежал человек, только что моливший врачей о пощаде. Он был тревожно тих, этот человек, — может, отсыпался после операции, может, хлебнул осенней степи и затих навсегда.

— Вот в Вязьме, — подает голос Кожавин, — подслушал разговор двух солдат. Один говорит: «Видел давеча, как в деревне, попаленной в прах, понимаешь, в прах, так, что и труб не осталось, видел, как по горелым кочкам ходит старуха… Без ума, без глаз: «Березонька моя белая… Березонька!..» — «Это под Медынью?» — спрашивает второй. «Нет, под Ельней…» — «Под Ельней?.. Нет, то было под Медынью, я сам ее видел…» — «Нет, хорошо помню, под Ельней». Так и не договорились. Один говорит: «Под Медынью…» Другой: «Под Ельней…» А если говорить так, как есть, то и под Медынью, и под Ельней, и в сотнях, в сотнях русских деревень ходит по горелым кочкам наше горе…

16

Все эти дни, пока машины шли по старому Смоленскому тракту, дорожные указатели — кусок фанеры или жести, полено, расколотое пополам и оструганное, сосновая доска — твердили упорно: «На Ельню!» На перекрестках за коротким перекуром счастливо вздыхали солдаты. «Ельня…» Скромный посад на Десне вдруг стал едва ли не стольным градом.

В Ельню приехали под вечер. Догорал закат, неожиданно яркий на темном сентябрьском небе. Все было сожжено вокруг, уцелели только трубы. В наступившей тьме они были похожи на стволы могучих деревьев, которые не успел спалить огонь — ветви сгорели, а стволы остались. Люди стояли меж этих стволов и порой, казалось, сами были похожи на деревья, которые не успел доконать огонь. Из тех сотен и тысяч русских городов и сел, которые захватили немцы этим летом, Ельня была первой, отбитой у врага.

Часом позже, когда тьма была уже так густа, что не было видно ни труб, ни людей, Тамбиев шел с Галуа по окраине Ельни. Они вышли в поле и остановились. Прохладой и покоем дышали и луг, укрытый росой, и лес, что лежал на отлете.

Изредка попадались люди, они, как летучие мыши, чуяли друг друга на расстоянии.

— Простите, Николай Маркович, но мне показалось, что кто-то вас окликнул…

Тамбиев оглянулся. Из тьмы шагнул человек, шагнул наугад, согнув могучие плечи, точно хотел подпереть ими падающую стену.

— Николай, да ты ли это?

Тамбиев даже отпрянул — в первозданной тишине простое слово было подобно грому.

Яков Бардин. И рука его. Шершавая, может быть, она стала даже еще жестче, чем прежде.

— Как вы это, Яков Иванович? — мог только воскликнуть Тамбиев. — В такой темноте…

— По голосу, Коля. — Большие руки Бардина охватили его, затрясли что было мочи. — В лицо не узнаешь, а по голосу не ошибешься… Голос поточнее лица! Как там наши, Коля?.. Про Егора все читаю в газете. Да, когда приезжал этот… американец… Я написал брату: «Не говори, Егор, Гопкинс, пока не перепрыгнешь!» — Он произнес это хмуро, без претензии на остроумие. Главное было не в остроте, в ином: американца, мол, слушай, Егор, а сам не забывай своего российского

первородства. — А ты как сюда, Коля? Ах, да, с корреспондентами! Да что мы уперлись в ночь, как в могилу? Пошли, у меня тут за гречишным полем крыша.

— Я не один, Яков Иванович, со мной… Галуа. Слыхали, француз Галуа?

Яков Бардин на секунду остановился. Ничто не могло бы его в эту минуту остановить — это остановило.

— Пошли, и на француза хватит!

Он шагнул в ночь. Было слышно, как он шагает — широко, вразмах. Шагал молча, думал о чем-то своем.

Когда минули гречишное поле, Тамбиев спросил:

— Как вы, Яков Иванович?

— Всяко было, Коля, — сказал он, не останавливаясь.

Они вошли в лесок и твердой тропкой, перевитой корнями, добрались до палатки.

— Минуту. Где-то тут у меня был фонарь, — он чиркнул спичкой, понес ее в палатку, защитив ладонью. — Под этой елью как в блиндаже под тремя накатами!.. Вы на меня не обиделись за… Гопкинса? — поднял глаза Бардин на Галуа. Никогда они не были такими старыми, эти глаза. Два года, прошедшие после ивантеевской встречи, стоили Бардину двух десятков лет.

— А чего мне обижаться?.. Он мне не ближе, чем вам.

— Ближе.

— Почему, простите?

— Один… брат — союзник.

Галуа засмеялся.

— Не ближе.

— И на том спасибо… К сожалению, кресла я вам предложить не могу, садитесь прямо на койку, хотите, на одну, хотите, на другую, — он взглянул на койку напротив, на которой лежала заячья шапка-ушанка. — Товарищ уехал в Вязьму, будет позже.

— Спасибо, — сказал Галуа и сел, не без любопытства взглянув на шапку. Она казалась сейчас некстати, эта заячья шапка-ушанка.

— Как вы, Яков Иванович? — повторил свой вопрос Тамбиев, решив, что теперь получит ответ.

— Что сказать, Коля? — спросил Бардин, приподняв вещевой мешок и извлекая из него, как некую драгоценность, синюю посудину с водкой. — Приехал в Барановичи принимать дивизию, а занесло в Ельню. Да как занесло!.. Поминай как звали, если бы не Климент! — кивнул он на заячью шапку. — Одиссея!

Галуа вытянул шею, повертел маленькой головой — он почуял, что предстоит услышать нечто необычное.

— Расскажите, пожалуйста, Яков Иванович, — попросил он

запросто и достал блокнот.

— Только, чур, не записывать. Что запомните, то и запомните! — Бардин засмеялся, поднял стакан. — Как дойдет дело до протокола, немею!.. Ну, будьте здоровы!..

Они выпили. Бардин пригубил, отодвинул стакан. Тамбиев отхлебнул, стал малиновым. Галуа опрокинул, искоса посмотрел на колбасу.

— Ну, не пытайте, смилуйтесь, — взмолился Галуа.

Бардин постучал кончиком указательного пальца по стакану с водкой.

— Да я, признаться, не знаю, что можно вам рассказывать, а что нет…

— Не верьте, Алексей Алексеевич, Бардин все знает, — улыбнулся Тамбиев. — На то он и Бардин, чтобы все знать.

Бардин помолчал, сказал не столько своим собеседникам, сколько себе:

— История чисто человеческая, из нее военной тайны не выведаешь… Человеческая! — повторил он и посмотрел на заячью шапку. — Я расскажу, как было, а вы можете разукрасить. Разрешаю прибавить и кармина, и охры… Какая картина без охры? Я получил новое назначение, прилетел туда в пятницу. Командующий был в войсках и принял меня только на исходе дня в субботу. Признаться, я ждал встречи с ним не без тревоги. Однажды я уже служил под его началом. Человек умный, он в чем-то не знал чувства меры. Верную истину — солдат надо учить личным примером — он превращал в нечто такое, в чем не было уже смысла… Заметив однажды, что полковая кухня полна дыму, он снял гимнастерку и принялся чистить трубу. Дым, разумеется, улетучился, а вместе с ним… В общем, он считал, что солдата надо учить личным примером. Он принял меня, едва вернулся из поездки по войскам, и просил быть у него в понедельник в восемь. Он представил меня своему начштаба, сказав, что повезет меня в дивизию сам, и уехал. Еще сегодня он хотел побывать в соединении, которое находилось в том конце леса. Начштаба вызвал машину и сам отвез меня в Дом Красной Армии, там была гостиница для приезжающих офицеров. Кстати, начштаба Белогуб был человеком новым и жил в комнате напротив. Располагаясь, я заметил, что окно выходит в лес. От окна до леса, как отсюда до гречишного поля.

Он потянулся взглядом к выходу из палатки, будто хотел увидеть гречишное поле.

— Я взглянул на лес так просто, не зная, что еще этой ночью он мне понадобится… Одним словом, часов в двенадцать, когда я уже уснул, вдруг постучал Белогуб. «Ничего не пойму. По ту

сторону границы на холме горит дом, и его никто не тушит… Вот, взгляните». Мы прошли в комнату начштаба, его окна выходили на противоположную от леса сторону. Действительно, поодаль горел дом. Дом стоял на холме, и отсвет пламени, казалось, коснулся даже стекол окна, из которого мы смотрели. «Не тушат», — сказал я. «Да, странно, не тушат», — согласился начштаба… В общем, это пламя на холме многое нам объяснило: кому-то незримому, кто пересек границу и находился где-то рядом с нами, немцы подавали сигнал. О чем?.. О чем-то значительном, ради чего стоило рисковать, разумеется, не сожженным домом, а неизмеримо большим — сигнал будет замечен и распознан… Белогуб позвонил в штаб. Никаких новостей, кроме разве того, что командующий прибыл в дивизию и пошел на вечер самодеятельности. «Нет оружия надежнее гранаты», — сказал начштаба и открыл ящик письменного стола, там лежали три гранаты-лимонки. «Можно взять и мне?» — спросил я. «А чего ж?» Начштаба еще раз взглянул в окно, за которым догорал дом, сказал, что, пожалуй, ляжет не раздеваясь. И это же советовал сделать мне. Я ушел, неся на ладони гранату. Сознаюсь, настроение у меня было какое-то шальное… Однако соловья баснями… Выпьем!

Бардин оглядел гостей, долил в стакан водки, азартно чокнулся, но и в этот раз выпил меньше всех.

— Короче, я проснулся от удушья, дым застлал все вокруг, раскачивалась люстра, и комнату кренило. Я успел только нащупать гранату, которую положил в пепельницу, и кинулся в комнату начштаба. Дверь была заперта, я ее вышиб ударом плеча. Начштаба не было, должно быть, он ушел с вечера. Я взглянул в окно, которое все еще было открыто, и отпрянул: немцы, связная машина с откинутым тентом, четверо в шинелях — утро было холодное… Хорошо помню, что я даже не взглянул на гранату — она была у меня в руке. Метил в машину — взрыв! Вбежал в свою комнату и выпрыгнул в окно, в то самое, выходящее к лесу. Не понял, что расшиб ногу, было только неловко бежать, а бежать надо было — сзади жарили из автоматов, моя граната не всех подобрала. Нет, разбитой ноги не чувствовал, но понимал, что те, что гнались за мной, бежали шибче меня — и крики, и выстрелы были все ближе. Потом почувствовал, что обожгло спину, но это было уже в лесу. Полз ельником, он там густой. Не было ощущения боли, только очень кружилась голова. Мне даже казалось, что временами терял сознание. Как тень, идущая от облаков, на глаза надвигалась тьма, и все уходило. Так было несколько раз. А потом… Попытался встать и вдруг увидел, как пошли гулять вокруг меня ели. Понял, что рухну. Попытался

схватиться за дерево, но руки уже не держали. Очнулся от ощущения холода и чего-то мокрого. Утро или ночь? Пожалуй, утро, уже с солнцем. Понимал: надо быть ближе к дороге. Стало теплее, и опять закружилась голова. Но, кажется, я выполз на тропу… Хорошо помню, что рядом была спиленная береза, уже подгнившая, и я подумал: наверно, далеко отполз от города, было бы близко, березу бы подобрали. И опять набежали эти темные облака — закружилась голова. Потом уже подсчитал: я пролежал подле этой березы сутки, а когда пришел в себя, увидел Климента. — Он кивнул на заячью шапку и, подняв стакан, осушил его до дна, осушил с радостью, будто ждал этой минуты, а поэтому берег водку. — Увидел я этого Климента и испугался: борода какая-то сизая, с рыжинкой, руки, точно корневища, зеленым лишаем заросли, на ногах постолы из коры, перевязанные шпагатом, да на плечах посконная рубаха, да крест на груди — белый, вырезанный из консервной банки, вырезанный не без старания, на красной тесемочке. Только и человеческого, что вот эта шапка, — он дотянулся до шапки, тронул, как показалось, осторожно — шапка внушала уважение. — «Мне тебя господь бог послал, товарищ начальник, — сказал человек, снял ушанку и перекрестился. — Я тебя должен спасти, товарищ начальник, понял? — У него такая присказка была — «понял?». — А чтобы я тебя уберег, командиром буду я, а ты вроде моим солдатом. Иначе я тебя не спасу, понял?» Выя у него была что у быка, взвалил меня на спину и попер. «Глаза побереги, начальство, чтобы терном не выдрало. Терн, он ой как зол!» Донес до середины леса, положил под осинку (там больше все осины — место сырое), осмотрел рану. Она мне пришлась под ремень, если бы не ремень — худо. «Крови небось потерял страсть?» — «Крови не было». — «А откуда тебе знать, была она или нет? Она пошла в живот, от этого и глаза мутились… Вон как живот разнесло — кровь!» Вновь взвалил и понес, а сознание, как костер в лощине, вспыхнет, погаснет, вспыхнет… «Послушай, браток, оставь… Россия небось вон куда отодвинулась, не донесешь». — «Нет, донесу, мне тебя донести надо». Он несет, а я думаю: «Донести надо? Кем он может быть, этот человек в постолах из бересты и с железным крестом на груди?.. Схимник, нарушивший обет молчания?.. Беглый кулак?.. А может, просто один из тех, кого во множестве забрасывали в наш тыл немцы и кому сигналили в ту ночь огнем горящей хаты?.. Кто он?» Признаться, я не сразу спросил об этом. Лес в тех местах сырой, грибов — гибель. Я не оговорился — гибель. Говорят, примета такая есть: грибное лето — лето к войне. Грибы на вертеле — сил не прибавит, но сыт будешь. И щавеля малость. И пригоршню

ягод. Он все точно рассчитал — лес не даст умереть. На заре, утренней и вечерней, видел, как он молится. Так только крестьянин может молиться. Истово, не кляня никого, больше благодаря, веруя. И еду, что собирал по крохам в лесу, тоже принимал, как милость божью. Не прикоснется к еде, чтобы не тронуть черными пальцами жестяной свой крест на груди, не перекреститься. От грибов и щавеля не много сил прибудет, на ноги встать не могу. «Брось меня, брат, — молю, — брось. Сколько нести еще, да куда донесешь? Брось!» — «Нет. Убей — не брошу!» Скажет и взглянет на кобуру с наганом, безбоязненно взглянет. Чую, ничего ему от меня не надо и от оружия моего. Как-то нарочно обронил наган и заставил его подобрать. Подобрал, сдвинув брови, повертел, усмехаясь, вложил в кобуру. И опять я подумал: «Кем может быть этот человек?..» Думаю: спрошу — спугну, вовек не откроется. Да он и так был на слово не щедр. Как-то сказал: «В наших местах болота все с ряской…» — «Где это в ваших местах?» Он смутился, надвинул на глаза шапку. Он это делал и прежде, когда смущался. «В наших…»

Он больше отмалчивался, хотел защитить это свое молчание шутками, но иногда прорывало и его. «Вот вы полковник, небось всю жизнь шли к этой своей позиции?» — «Всю жизнь». — «Значит, постигли науку убийства?» — «Постигал, Климент». — «Нет, вы не смейтесь. Я серьезно. По мне, армия — сплошное дармоедство. Какой в ней толк для жизни?» — «Пока есть война, Климент, нужна и армия. Война у ворот — поднимай народ!» Но он стоял на своем: «Загодя учить убийству — тьфу!» И еще любопытно: о немцах он почти не говорил, избегал говорить. «Или тебе немец — брат? Вон какая беда Россию в полон взяла, а ты молчок!» — «Нет, я не молчок, да только Россия как стояла, так и стоять будет… Что ей, России?.. А немец?.. Он как ветер, пришел и ушел». — «Значит, сиди и жди, пока он уйдет?» — «Нет, ждать нельзя». Заночевали мы с ним в сосновом лесочке. Сгребли хвои гору и завалились спать. Ночью он развоевался — замычал, закричал. «А ну… тсс! Или привиделось что?» — «Привиделось». — «Что?» — «Дым зеленый обволок, не продохнуть». — «Это что же… дым зеленый?» — «Известно что, немец». — «Дым?» — «А то что ж? Дым! Пришел и ушел!» — «Как бы он тебя с потрохами не уволок, этот дымок!..» — «Нет, не уволокет! Россию дымом не сдвинуть!.. Дым!..»

Бардин поднял бутылку, поставил ее меж собой и фонарем, взболтнул, определяя, сколько в ней осталось влаги, разлил всем поровну.

— А потом уже где-то здесь, под Смоленском, попали мы под удар карателей. Партизаны склад с обмундированием сожгли, и

немцы пошли прочесывать рощицу, в которой мы застряли. Уходи, говорю Клименту… Молчит, ни слова, только толчет ручищами вот этого своего зайца. «Брось и уходи!..» Поднял глаза, смотрит. «Вот ты грамотный, а понять не можешь… Не волен я тебя оставить». Задачу он мне дал!.. Решил его больше ни о чем не спрашивать. Скажет — скажет, не скажет — его воля. Берег крутой, его острой волной подмыло. Там не то что двух таких бедолаг, как мы с Климентом, артиллерийский расчет упрятать можно. Если здесь пройдут, не увидят, разве только берег обрушат. Если по той стороне пойдут, не могут не заметить — река шесть сажен. Пошли по той стороне. Видим, пришел наш час скорбный. «Уходи, говорю, теперь самый час тебе уйти…» — «Нет, вот только держи, что даю. С ними против бога, и против дьявола…» Чувствую, положил мне в руки кусок железа. Ощупал — крест. Точно такой, как у него на груди. А немцы — через реку… «Уходи, Климент, пришел мой конец». — «Высока моя Голгофа… Вот ты грамотный, а понять не можешь — в тебе мое спасение». А немцы прошли. Прошли потому, что ложбинка на том берегу как раз против нашего места пришлась. Смотрят — ничего не видят. Потом я понял, за спиной у нас было солнце… А когда прошли, сели мы у воды, ноги вымыли, Климент и говорит: «Знаешь, кто я? Дезертир. Вера запрет дала, вот я и сбежал из дивизиона…» Я знал: он говорил правду, не мог не говорить правду. Вот и весь сказ — дезертир. Вера запретила, он и сбежал. Но ведь вера наложила запрет на мирное время, а здесь война… Одним словом, во мне, только во мне был его крест… Каяться не каялся, а спасение, кажется, добыл. Вот и вся история… человеческая, — закончил Бардин.

— Человеческая, — задумчиво произнес Галуа и, улыбнувшись, взглянул на заячью шапку.

— А как у вас в перспективе, Яков Иванович? Корпус?

— Что дадут, Коля.

— Климента возьмете с собой?

Бардин ответил, помолчав:

— Пожалуй.

Бардин вызвался проводить. Шли, молчали. Где-то справа, сорвавшись, упала звезда, нарушив темень неба и поля.

17

Корреспонденты возвращались в Москву на тех же машинах, что и из Москвы. Тамбиев сидел рядом с Галуа. Из Вязьмы выехали с заходом солнца в надежде быть дома часу в одиннадцатом утра — время военное, ночью дорога полна машин.

— Вы полагаете, что Бардину легко расстаться с… заячьей шапкой? — спросил Галуа.

— Не думаю, хотя он и понимает меру вины… зайца.

— У зайца ушки на макушке! — засмеялся Галуа. Он любил ходкое русское словцо. — Заяц все рассчитал, хотя мне показалось, что Бардин видел в этом не только расчет, но и чувство искреннее. Бардин понимает: здесь была не только шкура, но и вера. Бардин — психолог! Было бы иначе, он бы послал зайца ко всем чертям!

— Но это та мера вины, которая искупается?

— Возможно.

Встреча с Бардиным не давала Галуа покоя. Вернувшись от Бардина, он просидел над своим блокнотом до полуночи. Разумеется, он все записал. И не только записал, но и по-своему объяснил. То, что он произнес сейчас, было какой-то деталью этого толкования. Тамбиев знал по опыту, Галуа имел обыкновение рассказывать Тамбиеву о вещах, заранее зная, что они известны Николаю Марковичу, и он, Галуа, не сообщит ему ничего нового. Галуа проверял на собеседнике одно из тех толкований, которое он намеревался дать событию в корреспонденции. Хитрый Галуа не просто выверял свою мысль, он ее стремился своеобразно легализовать. Если он поступал так, наверно, у него была в этом необходимость.

— Кто вы такой, Николай Маркович? — спросил Галуа, наклонившись, и засмеялся. Нельзя было понять, что означал этот вопрос и какая доля иронии была в него вложена. — Нет, нет, кроме шуток. Кто вы? Как-то вы говорили, что родные ваши живут где-то на Кубани.

— На Кубани, Алексей Алексеевич.

— Простите, они армяне?

— Да, тамошние… язык адыгейский.

Еще прошло с полчаса. Машина шла под гору. Шофер выключил мотор, стало тихо.

— А знаете, о чем я сейчас подумал?

— О чем, Алексей Алексеевич?

— Вспомнил свои питерские годы и подумал: с этим вашим происхождением вас, пожалуй бы, к Дворцовой, шесть[7], и на

пушечный выстрел не подпустили бы… Вы понимаете, что это такое?

— Понимаю.

— Если понимаете, скажите…

— Вот это и есть советская власть, Алексей Алексеевич.

Он вздохнул.

— Жалею, что сказал вам все это…

— Почему?

— Дал возможность вам выиграть спор.

— А разве был спор?

— Был.

Машина подкатила к «Метрополю», когда кремлевские часы отсчитали десять тридцать. Корреспондентов встретил француз Буа. У него был грипп, и он остался в Москве. По словам Буа, немцы только что сообщили: в Москве соберется конференция трех.

Клин, оказавшийся рядом, почесал седой висок.

— А они не сообщили, что хотят отметить эту конференцию… ударом по Москве?

— Нет, об этом они ничего не сказали, — заметил Буа. Он не хотел принимать иронического смысла, который был во фразе Клина.

— Тогда об этом сообщаю я, — сказал Клин небрежно и, забросив за спину вещевой мешок, первым вошел в гостиницу. Не очень было понятно, радовал или огорчал его прогноз, который он сделал.

Старик Джерми, стоявший неподалеку, только пожал плечами.

— Простите, господин Тамбиев, он не хотел сказать ничего плохого, он просто любит сильные слова.

Тамбиев дождался Кожавина, чья машина подошла позже.

— Вы полагаете, что нам следует зайти на Кузнецкий, Игорь Владимирович?

— Да, мне так кажется.

Они пошли по Неглинной, завернули на Кузнецкий. Сейчас они шли в гору. Рядом гремел обоз с фуражом: два десятка подвод, одна за другой. Кони устали, видно, шли все утро, а возможно, и ночь. Конец длинный — от Мытищ, а то и от Болшева.

— «А все Кузнецкий мост…» — с невеселой бравадой произнес Кожавин, глядя на неширокую стежку просыпанной соломы, лежащую на плоской брусчатке. Видно, в это утро грибоедовская строка обрела смысл, какого не имела прежде. — Вы уже слыхали о конференции трех?

— Да, Буа сказал об этом Клину при мне…

— Значит, вам и прогноз Клина известен? — спросил Кожавин.

— Да, разумеется. Его убедила в этом поездка?

— Не только его, — сказал Кожавин.

Тамбиев хотел спросить: «Кого еще? Вас,

Игорь Владимирович?» — но смолчал. Да Кожавин и не хотел ждать, пока вопрос будет задан.

— Не очень хочется соглашаться с Клином, но он прав…

— Вы имеете в виду наступление немцев на Москву?

— По-моему, Клин говорил об этом.

18

Михайлов сказал Бекетову, что, судя по всему, Бивербрук поедет в Москву на конференцию трех. Михайлов хотел посетить Бивербрука в его министерской резиденции сегодня в три и просил Сергея Петровича быть с ним. Бекетов поблагодарил, сказав, что встреча с Бивербруком была бы и ему полезна.

Минуло два с половиной месяца с тех пор, как Бекетов прибыл в Лондон. Медленно, но верно Сергей Петрович постигал новые обязанности. Как ни своеобразна была жизнь посольства, она все больше становилась жизнью Бекетова.

Его глаз еще сохранил остроту видения, свойственную новым людям, и ухватывал то, что недоступно было другим. Очевидно, жизнь советского посольства в Лондоне напоминала посольскую жизнь в других столицах, но здесь было и нечто своеобразное. Это своеобразие облику посольства и всему его быту, как казалось Бекетову, во многом сообщил посол. Историк, не порывающий с наукой, он сумел с помощью каких-то только ему известных средств связать свои творческие увлечения с дипломатической практикой. Лингвисты, инженеры-энергетики, зодчие, становясь дипломатами, порывали со своей профессией. Михайлов, став дипломатом, не порвал с прежней профессией. И дело не только в том, что история ближе дипломатии, чем энергетика или архитектура, главное было в верности призванию, в решимости служить ему до конца. Разумеется, сочетать жесткие дипломатические будни с творческим трудом вряд ли мог даже Михайлов, но осмысливать происходящее, накапливать записи, накапливать впрок с намерением реализовать это в обстоятельном труде, который нужен людям, это Михайлов умел.

И еще он умел подметить в человеке искру божью и сберечь ее — и здесь у Михайлова был дар. Протянув руку к стопе деловых бумаг, лежащих на письменном столе, Михайлов, казалось, к удивлению своему, вдруг обнаруживал рукопись о таможенных законах, установленных Петром, или рукопись обстоятельной работы об известной стачке английских горняков. «Вот, прислал доцент из Саратова. Поймал меня, когда я был последний раз в Москве, а сейчас настиг, представьте себе, настиг в Лондоне!.. Если есть желание, могу дать прочесть, прелюбопытная работа!» И, взяв на ночь рукопись саратовского доцента, Бекетов действительно убеждался, что она принадлежит перу человека способного: в этой работе и знание предмета, и способность к анализу немалая… В посольстве говорили Сергею Петровичу, что когда Михайлов приезжал в Москву, в какие-

нибудь две недели вокруг него возникал такой ансамбль больших и малых спутников, какому позавидовал бы сам Юпитер. В этом ансамбле были авторы произведений весьма экзотических, но это не смущало Михайлова. Он полагал, что заветная искра может отыскаться даже в тексте оды во славу пастыря, а остальное, в конце концов, приложится.

«Доброе дело имеет способность долго жить» — к этой формуле нередко приходил Михайлов. Откуда он вывел эту формулу, спрашивал себя Бекетов. Из какой поры своей жизни?.. Не из тех ли далеких времен, когда переселился в Англию, унося ноги от царской охранки, и потом жил на положении гонимого, перебираясь из одной лондонской мансарды в другую, жестоко мерз и голодал? «В Лондоне и теперь можно увидеть нужду диковинную, — сказал он как-то Бекетову. — Но то, что было в те годы, человеческому уму постигнуть трудно. Можете ли вы представить человека, бегущего по долгим лондонским улицам за каретой (где-то у парадного подъезда он увидел, как господин сел в карету, и теперь должен вместе с каретой домчаться до другого парадного крыльца, где господин из кареты выйдет), чтобы открыть дверцу и получить свою монету?» И еще думал Бекетов: «Что переживает Михайлов, глядя на тот же Лондон, где годы и годы он прожил на положении гонимого, а потом вернулся в этот город послом? Наверно, и у него есть минуты, когда ему хочется пройти по улицам своей юности. Каким видится ему то лютое время, и кажется ли оно теперь лютым?.. А может быть, все горькое ушло и остались только зримые острова доброго, редкие, но зримые?.. Ведь, согласно известной формуле Михайлова, доброе дело имеет способность долго жить».

Итак, они ехали к Бивербруку.

— Кажется, у Горького, в его воспоминаниях о Толстом… Ну, знаете, когда они идут с Толстым где-то в Крыму и Толстой видит женщину, работающую на огороде… Вы помните, что говорит Толстой?

— Что-то о физическом здоровье русских аристократов, Николай Николаевич.

— Именно о здоровье… Не могу припомнить всей фразы, нет, не потому, что она груба, отнюдь! В общем смысл толстовских слов: если бы не мужицкая суть и не ее бы богатырская сила, захирело бы голубое древо русского дворянства, высохло бы от корней до кроны… Нечто подобное хочется сказать, когда речь идет о Бивербруке…

— Бивербрук и… мужицкая могучесть?

— Именно! Эти лорды из плебеев, к которым принадлежит и Бивербрук, в сущности, явились той силой, которая дала

жизненные соки голубому древу английской аристократии. Кстати, я вам рассказывал о своей первой беседе с Бивербруком?

— Нет, Николай Николаевич, но обещали рассказать. — Бекетов знал, дорога и прежде использовалась Михайловым для обсуждения каких-то аспектов предстоящей встречи.

— Когда в Москве начался знаменитый процесс «Лена-Голдфилдс»[8], никто так зло и грубо не атаковал меня, как дружная стая Бивербрука… Прежде всего «Дейли экспресс». У Бивербрука было достаточно оснований полагать, что подобное непросто забыть или тем более простить. Может, поэтому, когда у него возникла необходимость в контакте с советским послом, он должен был отрядить гонцов, наказав им едва ли не стучать лбами об пол!.. В общем, это была классическая челобитная. Явился гонец от Бивербрука и сказал приблизительно следующее: «Лорд Бивербрук хотел бы с вами встретиться, он готов инициативу этой встречи взять на себя и с этой целью пригласить вас к себе… ну, хотя бы к завтраку. Однако прежде чем отважиться на это, он хотел бы знать, примете вы его приглашение?..» Как ни грубо было поведение достопочтенного лорда, в мгновенье ока все было если не забыто, то отодвинуто на второй план. Разумеется, личные обстоятельства имеют значение и для посла, но в несравненно меньшей степени, чем для всех остальных. Представляя страну и разговаривая от ее имени, посол должен быть готов обуздать собственное честолюбие. Нечто подобное потребовалось от меня. Короче, в условленный час мы сидели с Бивербруком за столом. Вдвоем. И были взаимно радушны. Больше того — доброжелательны. Как будто у русских не было конфликта с «Лена-Голдфилдс» и дружная стая газетных борзых не лаяла на советского посла. Как будто никогда лорд Бивербрук не науськивал эту стаю, не говорил ей: «Ату!» Я-то знал, что он науськивал, не мог не науськивать, обязательно науськивал. И тем не менее мы были взаимно доброжелательны. То, что он мне сказал в то утро, в сущности, ничем не отличалось от того, что сказал мне за год до этого Черчилль, и это было знаменательно. В высшей степени знаменательно!.. С тех пор как в Европе появился Гитлер, фронт наших недругов, столь монолитный со времен русской революции, дал трещину. В Великобритании первым спохватился Черчилль, вторым, пожалуй, Бивербрук… Я имею в виду самых крупных наших ненавистников, так сказать ненавистников с заслугами, на которых годы и годы держался английский антисоветизм. «Я понимаю, что главный враг Великобритании сегодня — гитлеровская Германия. Возможно, после поражения Германии дело будет по-иному, но все это не скоро. А пока мы друзья, и я

готов служить этой дружбе, как готов служить Великобритании. Я не боюсь сказать: Великобритании, не России!» С той поры прошло шесть лет, но Бивербрук тщательно и точно соблюдает слово, данное им в то утро. Я скажу больше: среди англичан нет более корректного нашего партнера, чем лорд Бивербрук. Впрочем, сейчас вы в этом убедитесь…

Автомобиль подкатил к подъезду министерства.

— Вы дипломат по образованию или опыту?.. — спросил хозяин заинтересованно Бекетова. — А кем были прежде?.. Педагогом? Инженером-строителем?.. Представляю, какую великолепную профессию вы променяли на дипломатию!.. Я человек практического дела, и для меня создание гидростанций, например, да еще на великих русских реках, нечто более величественное и современное, чем дипломатия!.. В самом деле: как далеко дипломатия продвинулась за последние пятьсот лет?.. На дюйм!.. А строительство гидростанций?.. Нет, не за пятьсот лет, разумеется, а за пятьдесят… Эра! Я так думаю: великолепная мысль — глобальная карта энергетики!.. Так, чтобы одним движением рычага направлять реки электричества из одного конца планеты в другой!.. — Он даже покраснел — он был человеком увлекающимся, он мог себя заставить увлечься. Что для него строительство гидростанций, а вон как накалил себя, вон как зажегся… Он посмотрел на небо за окном, оно было ярко-синим, не лондонским. — А ведь с тех пор как у Гитлера возник восточный фронт, мы можем смотреть на небо спокойно…

В небольшом теле Бивербрука, как заметил Бекетов, был заряд энергии на трех великанов, и ему стоило усилий эту энергию укротить. Окруженный целым сонмом секретарей и помощников, которых Бекетов увидел в комнате рядом, он всех держал в состоянии постоянно вертящихся колес большой машины, его энергии хватало, чтобы зарядить машину на дни и ночи непрестанной работы. В нем и в помине не было того, что в представлении русского человека отождествляется с традиционной английской сдержанностью, — он смеялся, когда ему хотелось смеяться. Хозяин встретил русских весьма радушно, быстро и с явным удовольствием сымпровизировал меню легкого ленча (время близилось к двенадцати), который просил сервировать в комнате рядом.

— Наши корреспонденты в Москве сообщают сегодня о поездке под Смоленск. Их пророчества невеселы: немцы не хотят зимовать в открытом поле и еще до холодов навяжут русским сражение… В общем, они хотят обосноваться на зиму в московском отеле, разумеется, с видом на Кремль… кстати, порекомендуйте и мне хороший московский отель с видом на

Кремль…

— Ну хотя бы «Националь», — смеясь, сказал Бекетов.

— Попрошу забронировать мне апартаменты именно в этом отеле, я хочу взглянуть из его окон на Кремль до немцев, — засмеялся Бивербрук и покатился по комнате. Он был не толст, упруго-крепок. — Если я бронирую этот отель, наверно, у меня есть уверенность, что я там не встречу немцев… Как вы полагаете?

Он задумался, — очевидно, поймал себя на мысли, что в этот раз юмор его не очень весел.

— Я еду в Москву и, естественно, тщательно подготовился к разговору по главному вопросу: наша помощь русским, точный перечень материалов, которыми мы можем помочь… Но, быть может, есть какие-то другие вопросы… Как вы полагаете?

Зазвонил телефон, зазвонил впервые. Бивербрук задвигал бровями.

— Э-э… Я же просил меня не соединять! — Он взял трубку, недовольно хмыкнул, услышав голос. — Мистер Крэгг, но я же просил звонить вас в два часа, а сейчас всего час тридцать!.. Я не заставлю себя ждать, мои сто двадцать строк будут у вас минута в минуту… Мистер Крэгг, вы человек новый и недостаточно осведомлены — газета никогда не опаздывала по моей вине! — Он вернулся к столу, улыбнулся — Крэгг не испортил ему настроения. — Быть министром и не оставлять своих редакторских обязанностей, наверно, не просто!.. Но как говорят в моем мире: «Ничего не поделаешь — газета должна выходить!»

Они сидели сейчас за столом, накрытым белой скатертью, и на плоских глиняных тарелках дымилось жаркое.

— Вы очень хорошо сделали, господин министр, подготовившись к обсуждению проблемы поставок. Это действительно для нас сегодня насущно… — произнес Михайлов, двигая тарелку, но не притрагиваясь к еде. — Хорошо и то, что вы запаслись точным списком товаров, — он тронул теперь вилку и нож, но все еще не приступил к трапезе. — Все это в высшей степени важно для сражающейся России, но, может быть, еще более важно другое…

— Я вас слушаю, господин посол…

Михайлов взял салфетку и принялся ее заправлять за борт пиджака. Он делал это с той неторопливостью и тщательностью, которые отличают каждое движение человека основательного и должны подчеркнуть значительность того, что он намерен сказать.

— Я говорю, более важно другое: проблема большой десантной операции союзников на континенте… Второй фронт.

Бивербрук, принявшийся было заправлять салфетку, положил ее на стол.

— Вы полагаете, что положение настолько серьезно, что немцы могут… срубить… русское дерево?

Михайлов коснулся кончиком вилки жаркого. Он явно хотел отвести взгляд от глаз Бивербрука — затененные густыми космами бровей, они не стали от этого менее острыми.

— Очевидно, немцы строят свой расчет на этом… Пожалуй, даже сегодня больше, чем вчера.

Бивербрук трудился сейчас над куском жареной говядины. Говядина была сочной, однако нож Бивербрука точно затупился, он плохо резал.

— С тем, чтобы потом бросить все силы на Британские острова и решить исход войны?

— Так мне кажется, — ответил Михайлов спокойно. Разговор обрел устойчивость, и оснований для волнения не было. — В этом случае Великобритания может потерять все. — Казалось, вместе с душевным равновесием Михайлов обрел и аппетит: он обложил жаркое листьями салата, сдобрил его подливкой. — Риск высадки на континенте не является для Британии вопросом жизни и смерти. Риск поражения русских равносилен для Британии гибели… Все достаточно ясно.

Бивербрук приготовился было ответить, но вдруг услышал шум автомашины, донесшийся из открытого окна. Он встал с завидной легкостью, быстро подошел к окну, не сказал — воскликнул:

— Господин посол, вот как раз об этом грузовом каре я говорил вам!.. Подойдите, пожалуйста, и вы, господин… Бекетов, только быстрее, прошу вас! Видите, как он разворачивается, а как он подвижен, несмотря на свои размеры! Не правда ли, великолепная машина!.. По мысли конструкторов, грузовик для перевозки гражданских грузов, по нашему мнению — военный грузовик, только надо чуть-чуть поднять и поставить дополнительную пару ведущих колес!.. Кстати, незаменимое средство доставки газет в провинцию! Пятьдесят таких машин могут сделать чудо: два часа — и «Дейли экспресс» в Оксфорде, еще час — и в Стратфорде!.. — Он оглядел своих гостей, развел руками: — Простите, но я еще и редактор!.. — Он вернулся за стол, задумался. Не просто переключиться от грузовика ко второму фронту. — Как вы знаете, я защищаю идею второго фронта, — произнес Бивербрук, глядя на Михайлова. — Но своей победой под Ельней вы затруднили мне борьбу и вооружили моих противников… Мне говорят: «Вот видите, русские не так слабы, они протянут и без вас!» Дай бог побеждать вам и впредь, но

каждая ваша победа затрудняет мою борьбу за открытие второго фронта. Диалектика, не правда ли? Вот вы победите под Москвой и лишите меня последних шансов, а?

Бекетов думал: он сложнее, чем мы думаем. Его образ мышления, система анализа, сам подход к фактам лишены шаблона, чужды догмы, в конце концов. Однако как решит Михайлов задачу, которую поставил перед ним Бивербрук?

— А по-моему, каждая наша победа ослабляет Гитлера, требует от него переброски новых сил на восток, а следовательно, облегчает высадку десанта, делает это предприятие делом верным.

Бивербрук рассмеялся.

— Да, вы по-своему правы, господин посол!..

Пришел секретарь и сказал, что звонит Канада. Бивербрук просиял.

— Вы слышите, Канада!.. — засмеялся Бивербрук. Этот звонок воодушевил его. — Вы заметили, чем выше поднимается человек по жизненной лестнице, тем он кажется его землякам ближе. А потом наступает момент, когда они жить без него не могут, не так ли?.. Я иду, иду! — закричал он секретарю, однако, покинув комнату, оставил дверь за собой открытой. — Нет, нет, для меня… материнская земля! (This is my matherland!) Я говорю: плох тот сын, который не кормит мать!.. Мне нужен хлеб! Я должен кормить Британию!

Он вернулся повеселевший. Ему очень хотелось сделать гостей участниками разговора, который только что произошел, именно поэтому он и оставил дверь открытой.

— Черчилль говорит: «Нет, с канадцами будешь иметь дело ты, и хлеб будешь просить для Великобритании ты… Ох и скряги они, эти твои чертовы канадцы, как и подобает деревенским богатеям…» Наверное, он прав: они считают меня своим, и мне с ними легче разговаривать…

— Но хлеб вы добыли?

— Да, конечно… А по этой причине, как видите, весел и добр, как новорожденный…

Михайлов улыбнулся.

— Тогда обещайте сохранить это до Москвы…

— Сохраню, сохраню… — подхватил Бивербрук. Он действительно был сейчас в отличном настроении.

19

Две комнаты посольства, выходящие в сад, занимал отдел культурных связей и прессы, который отныне возглавлял Бекетов. Одна комната была чем-то вроде кабинета Бекетова, другая — референта Изосима Фалина. На следующий же день по приезде Бекетова в Лондон Михайлов провел Сергея Петровича в его рабочие апартаменты, познакомил с Фалиным.

— Фалин работник точный и усердный, — сказал Михайлов. — Все интересы у него здесь в посольстве, и я это весьма ценю… Знает язык и при желании мог бы его применить с большей пользой.

Бекетов увидел человека лет тридцати четырех — тридцати шести, который, протянув ему большую, но неожиданно легкую руку, взглянул почти кротко и улыбнулся. У него было серое лицо и темно-карие глаза, как показалось Сергею Петровичу, внимательные. Он ходил почти неслышно, был нетороплив, а в жестах спокойно-вял. В его кабинете все было на своих местах, однако то, что попадалось на глаза, не свидетельствовало о кипучей деятельности. Хотелось думать, что сам человек интереснее, чем работа, которую он делает. Где-то в его характере выпало одно звено, только одно — способность увлечься. Бесценное звено, которое незримо связывает человека с делом. Так думал Бекетов в первый день знакомства с Фалиным, но думал, естественно, втайне. Они, эти наблюдения, завладели им вдруг и могли быть ошибочны. Но одно было несомненно и в этот первый день: Фалин заинтересовал Бекетова, и Сергей Петрович ждал разговора с ним.

— Что могу сказать о себе?.. Кончил институт на Остоженке, был там председателем профкома три года, а потом вот… заграничная работа… Биография плоская, как стол: никаких проступков, но зато и никаких доблестей, — закончил он едва ли не радостно. — Прежде стыдился, а потом привык. Зауряд-дипломат. Скажу откровенно, я доволен, что вы приехали.

Бекетов не мог сдержать улыбки.

— Почему довольны? Ведь вы же меня не знаете.

Вопрос Фалина не смутил, но, прежде чем ответить, он долго думал.

— Вот меня пригласили в Москве куда следует и сказали: мы тебе доверяем, Изосим, поезжай и работай. Приехал сюда, те же слова: мы доверяем вам, Изосим Иванович, работайте… Вы только представьте себе: привезли в Лондон и говорят «доверяем», а у меня сердце от страха переместилось из левого

бока в правый. Сказать «доверяем» — это еще не все. Надо всегда руководить мною. Я привык, чтобы мною руководили!.. Вот в профкоме, на Остоженке, там дело другое, там руководили мною повседневно…

— А здесь, Изосим Иванович, вас так и оставили на произвол судьбы? — засмеялся Бекетов.

— Нет, посол внимателен к моей работе, про посла ничего не скажу… Но ведь надо совесть знать!.. У него и без меня дел много, не пойдешь к нему по мелочам!..

— А по мелочам к нему не надо, Изосим Иванович!..

— Но ведь мелочь мелочи рознь, Сергей Петрович, и потом… Как война началась, тут такие масштабы работы!.. С утра до ночи звонят, требуют материалов о России! — Он приподнял плечи, губы сложились в трубочку. — Дай им о русских хорах, о Палехе и Кубани, о кавказских Минеральных Водах и, разумеется, о балете!.. А тут одна психопатка третий день одолевает: «Я прочла, что русские вывели белый огурец, кисло-сладкий, нельзя ли семена!» — Он закрыл глаза, вздохнул. — Вот умри, а достань ей белый огурец, иначе она богу душу отдаст… Вы говорите, посол. Ну, не пойдешь к послу с белым огурцом, а ответить ей надо.

— С белым огурцом к послу не надо, — сказал Бекетов.

— И потом: мне требуется прессу читать. Какой же я, простите меня, оперативный работник, если я прессы не читаю. Ведь завтра на приеме лорд Девис спросит меня: «Мистер Фалин, а что вы думаете о школьной реформе в Шотландии?» Тут молчком не отделаешься, тут отвечать надо по существу… Надо ответить?

— Надо, Изосим Иванович.

— А как же я отвечу, если я газет не читаю?

— А вы читайте.

— Но ведь и работать надо?

— Несомненно.

— Тогда как же?

Бекетов не ответил. Он внимательно смотрел на Фалина, тот точно так же внимательно смотрел на Бекетова, без признаков робости, без недоумения.

— Кстати о Шотландии, — сказал Бекетов. — Я условился с послом о поездке в Эдинбург и Глазго. Я выеду послезавтра…

— Так просто… возьмете и поедете?

— Да, разумеется.

— Один?

— Да, а что?

— Нет, ничего.

Но Бекетову показалось, что Фалин недоумевал. Чего-то не

понял, что-то хотел спросить и не спросил.

— Сергей Петрович, у меня к вам просьба, — сказал Фалин, когда Бекетов собрался уходить.

— Да, пожалуйста.

— Моя жена, Анна Павловна, и я хотели пригласить вас к себе.

— Ну что ж, рад.

— Спасибо.

Фалин жил в двух шагах от посольства. Трехкомнатная квартира, светлая и сухая, с окнами на Гайд-парк. Квартира кажется светлее от крахмальных скатертей и занавесок, вышитых работящими руками Анны Павловны, жены Фалина.

— Только и названье, что живу в Лондоне, а хожу, как в лесу, по одной стежке: из дома на работу и обратно. Да только ли я?.. У всех лондонцев одна тропа, хотя никто из них не признается. Больше того, очень горды, что живут в Лондоне. А чем их лондонская тропа отличается от тропы в какой-нибудь деревушке под Брайтоном?.. Только и разница, что одна выстлана камнем, а другая продирается сквозь терновник и колючую акацию…

— Так вот и бегаете, Изосим Иванович, из одной крепости в другую? Из той, что выстлана красным деревом, в ту, что убрана крахмальным полотном?..

— Так и бегаю из деревянной в полотняную, и все по одной тропке, по одной, а кругом Лондон!..

— А кто вам мешает отклониться от тропы? Взяли бы и отклонились… Хотите, я дам вам такую возможность? Поезжайте в Стратфорд… Да, кстати… загляните в Виндзор и Оксфорд, это по дороге.

Фалин молчал.

— А мне посол говорил, что вы не робкого десятка, Изосим Иванович… Ходит слух, что во время последней бомбежки спасли вот этот дом от зажигалок.

Фалин вздохнул.

— Это другая храбрость, Сергей Петрович.

Анна Павловна пригласила Бекетова к столу. В крахмальном передничке, гладко причесанная, с безупречно ровным пробором посередине, была она строга и малоречива. Рядом сидела дочь Фалиных Анна, такая же строго-печальная и малоречивая. Мать сказала, что Анна в прошлом году пошла в английскую школу. Первое время ей трудно было с языком, но потом обошлось, сейчас она успевает.

— А как ее русская грамота? — спросил Бекетов.

— Ответь Сергею Петровичу, как твой русский, — сказала Анна Павловна дочери.

Девочка покраснела.

— Со мной занимается мама.

— Я не ошибся, Анна Павловна, вы педагог? — спросил Бекетов.

Теперь пришел черед краснеть маме.

— Ошиблись, я библиотекарь. Работала в Тургеневской читальне у Чистых прудов.

— У нас в посольстве большая библиотека? — спросил он.

— Хотелось бы, чтобы она была больше, — ответила она.

— Ну что ж, это, наверное, зависит от нас? — спросил Бекетов.

— Да, конечно, — согласилась она.

На обед были щи, мясо с жареной картошкой, яблочный пирог. Все вкусное, всего много.

— Вы добрая хозяйка, Анна Павловна, — сказал Бекетов Фалиной, и слова эти, как показалось ему, не столько обрадовали ее, сколько мужа.

— Сергей Петрович, если вы надумаете сделать жене подарок, скажите, Аня вам поможет, — сказал Фалин, осмелев. — Тут есть такой пан Рудковский, — он засмеялся очень искренне. Было не очень понятно, почему фамилия пана Рудковского повергла его в столь веселое настроение. — В некотором роде фигура популярная!.. А ведь предприимчивость — это ум!.. Пан Рудковский говорит по-русски, и к нему идут все русские! Но они идут к нему не только потому, что он говорит по-русски, — у пана Рудковского все лучшего качества, при этом цены божеские. Настолько божеские, что возникает страх: да не разорится ли пан Рудковский и не явимся ли мы причиной его разорения? Я наблюдаю его уже три года — не разорился. Больше того, сколотил капитал, какого не имел прежде. В чем дело? В расчете… пану Рудковскому есть расчет продавать товары высокого качества и при этом не втридорога — русским нравится пан Рудковский, и они охотно идут к нему, а их немало. Если каждый из них даст небольшую прибыль, в общем составится значительная сумма и пан Рудковский выиграет… Его сосед прогорит, если будет торговать по дешевке — десяти покупателям продавать невыгодно, пятидесяти — выгодно! Вот и судите, предприимчивость — это ум!

Пока Фалин рассказывал, Анна Павловна стояла поодаль, смутившись. Она явно не знала, как принимать рассказ мужа.

— Если возникнет такая необходимость, Аня вам поможет, — закончил свой рассказ Фалин и взглянул на жену. Она едва заметно кивнула головой.

Бекетов шел к себе, думал: «Да понял ли я Фалина, человека

толкового и, очевидно, храброго, но, как он сам признался, храброго не до конца?»

20

К Бекетову явился полковник Багрич, военный дипломат.

— Простите за вторжение… Мне сказал о вашем приезде посол. Рад познакомиться. Полковник Багрич Артемий Иванович. С вашим предшественником мы были дружны. Если вам будет скучно, готов быть вашим спутником в вечерних прогулках по Гайд-парку… Из опыта трехлетней жизни в Лондоне знаю: одному чужбину не победить, вдвоем куда ни шло…

Полковнику Багричу лет шестьдесят, однако он худ, подобран, быстр в движениях, да и лицом моложав, смугл, его маленькие, на английский манер усы едва тронула седина.

Бекетов сказал, что рад и готов воспользоваться любезностью Багрича хотя бы сегодня. Они условились, что полковник зайдет за Сергеем Петровичем в семь.

Багрич был точен. Они вышли из посольства и через пять минут оказались в Гайд-парке.

Был тот предвечерний час ранней лондонской осени, розоватой от легкой мглы, теплой, когда яркая трава парка отдана собачьему царству Лондона. Тяжело храпя и посапывая, осторожно встряхивая жирком, пытаются бежать пинчеры, бульдоги и таксы, однако бегут рывками, часто останавливаясь и глядя унылыми глазами на небо, — бежать трудно, не пускает заросшее жиром сердце.

Посыпал дождь, потом перестал. Темные стволы дубов и вязов были недвижимы.

— Что сообщила Москва утром? — спросил Бекетов.

— Бои местного значения, действия разведчиков… Да в действиях ли дело, Сергей Петрович? — неожиданно остановился Багрич.

— Я вас не понимаю, Артемий Иванович.

— В отсутствии действий, в тишине.

— В тишине перед бурей, Артемий Иванович?

— Пожалуй.

Сейчас они шли боковыми аллеями парка, что обнимали парк со стороны посольства, здесь было и зеленее, и безлюднее.

— Я так понимаю задачу, — воодушевленно заговорил Багрич. — Мы еще морально себя не переборoли после июньской катастрофы. Не только армия — народ… Лишь победа родит веру, а вместе с нею обновление сил, — он взглянул на небо и, увидев темную крону, которая зеленой тучей распласталась над дорожкой, пошел быстрее. — Ельня — это еще не победа, и конный рейд по тылам — не та победа, о которой я говорю.

Нужен стратегический успех. Его не имела еще ни одна армия в борьбе с немцами…

— Но то, что сделали наши в эти три месяца… тоже не имела ни одна армия! Молниеносной войны не получилось, — заметил Бекетов.

— Вы говорите со мной так, как будто бы я не профессиональный военный. Со мной нельзя так.

— А как надо с вами, Артемий Иванович?

— Как со мной говорить? Без прикрас — правду, — быстро парировал Багрич. — Вы говорите, не получилось молниеносной войны. Да, не получилось. Народ ничего не воспринимает безотносительно, он все соизмеряет. Наши потери едва ли восполнимы — в живой силе, технике, в территории, наконец… Немцы завладели украинским хлебом, рудой, углем… Это потери, равные катастрофе.

— Это еще не катастрофа, Артемий Иванович. Катастрофа — это смерть.

— Чтобы понимать, как это серьезно, надо, как я, просидеть в Мазурских болотах четырнадцать месяцев, а потом на карачках по карельским камням, поросшим ледяной корой…

— Но какой вывод из всего этого следует, Артемий Иванович?

— Для себя я сделал вывод: мне надо быть сейчас не здесь, а там… — Он поднял глаза. Над их головами было небо, все еще дышащее теплом и тишиной: — А вот какой вывод сделает Россия…

— Какой вывод, Артемий Иванович?

Багрич вздохнул, провел быстрой рукой по щеке.

— Вы знаете, почему я пришел к вам сегодня днем?.. И почему пригласил вас сюда?.. И почему заговорил с вами вот так, напрямик, как не говорил ни с кем, даже с вашим предшественником, хотя считал его человеком порядочным? Знаете, почему?

— Разумеется, нет, Артемий Иванович.

— Я знал младшего Бекетова, скажу больше, был с ним дружен.

— Саню?

— Да, Александра Петровича… Его дивизия стояла рядом с моей… А летом мы были в одних лагерях… Он тогда еще получил нагоняй от командующего за скакуна, которого купил в ростовском цирке и потом пригнал в лагерь… Помните?

Бекетов смотрел на Багрича, чувствуя, как наращивает удары сердце, ударяя в горло, в горло, — того гляди задохнешься… Багрич знал Саньку, он наверняка знал Саньку, если вспомнил эту рыжую кобылу из ростовского цирка, о которой потом в

бекетовском доме вспоминали годы и годы, он знал Саньку… Мать родная, случится же такое… Вот здесь, посреди Лондона, в Гайд-парке, вдруг возник брат со всей своей весело-шальной и трагической судьбой.

— Помню его необыкновенный доклад, который он сделал в лагерях для старшего комсостава… о взаимодействии в современной войне, доклад, который по уровню стратегической мысли… явился откровением и для нас, старых вояк. — Он остановился, вздохнул, вздохнул немо, закрыв глаза. Видно, и его сердце ударило в горло.

— В общем, он мог бы стать нашим, советским теоретиком войны, при этом, я так думаю, покрепче Мольтке-старшего! Он был, — Багрич вздрогнул, взглянул на Бекетова, на его опущенную седую голову, на его потемневшее в сумерках лицо, на его плечи, которые неожиданно опустились. — Понимаю, когда война, военные должны воевать, но Александра Бекетова я бы не бросил на карельские камни, а поберег бы для большой войны. Сегодня бы ему цены не было! Итак, нужна победа, которая даст силы… Но ведь одни солдаты, какими бы они ни были храбрыми, победу не принесут… Нужен командир, при этом командир, умеющий организовать войско, способный мыслить современно…

— Вы полагаете, что у нас таких командиров нет?..

— Они есть, но их мало.

— Они будут, Артемий Иванович.

— Будут завтра, Сергей Петрович, а нужны сегодня.

— Какой же выход из положения?..

— Какой выход?.. Вы спрашиваете, какой выход? — Он остановился, опершись ладонью о ствол дерева, измерил дерево взглядом, точно спрашивая его: «Какой же выход?» — Вот вчера приходит ко мне седой господин в меховом жилете и полусапожках, ни дать ни взять гонец из того века. «Простите, вы полковник Артемий Багрич? — спрашивает по-русски. И голос грудной, каждое слово дышит… породой. — Честь имею: генерал от инфантерии… князь Кирилл Оболенский. Мне стало известно, что вы аккредитованы, так сказать, в качестве советника при военном атташе… Сказали и то, что вы были офицером армии его императорского величества, а затем… В общем, мы, наверно, сражались друг против друга в Таврии, а затем на крымских высотах. Я пришел не с повинной и не с челобитной. Мы были врагами и остались оными. Но мы русские. Поэтому, может быть, мы в состоянии помочь Руси в ее нынешней судьбе… Короче, мне известно, что в силу разных причин, в исследование коих не вхожу, русская армия испытывает нужду в командных кадрах…

Поэтому имею честь предложить: послать гонцов по всему белу свету и собрать старое русское офицерство, поставив его во главе полков и дивизий и двинув оные против Гитлера. Не требуя покаяний, не навязывая им своей веры, не оскорбляя недоверием, осенив их добрым дедовским стягом: «Россия!» Что вы имеете сказать мне в ответ, полковник Артемий Багрич?»

Спутник Бекетова умолк, окинув парк кротким взглядом. Смеркалось, в окнах домов, которые были видны из-за деревьев справа, зажглись огни.

— И что же имел сказать полковник Артемий Багрич? — спросил Бекетов.

— Я ответил ему почти стереотипно: «Хорошо, я сообщу о вашем предложении по начальству и дам вам ответ по адресу, который вы мне оставите».

— Этим вопрос был исчерпан?..

— Для него, по крайней мере.

— А для вас?

— Для меня нет. Я подумал: «Ставить во главе наших полков… деникинцев и красновцев?.. Нет!.. Но кликнуть клич по России и собрать кадры старых офицеров, независимо от возраста и, смею так думать, взглядов, учесть их, призвать и поставить их в соответствии со старым званием и должностью… по-моему, в наших интересах. — Он не без любопытства взглянул на Бекетова, ожидая ответа, ему важно было мнение Бекетова. — Скажу больше, старое русское офицерство лучше, чем мы о нем думаем. И порядочность, и верность воинскому долгу, и хорошая профессиональная выучка. Каменев и Шапошников — не гордые одиночки. К тому же борьба с иноземным врагом для них неравнозначна гражданской войне. Простите, я так думаю. А как думаете вы?..

Бекетов молчал. То ли вопрос был непрост, то ли резким ответом боялся обидеть собеседника.

— Как полагаете вы, Сергей Петрович?..

Бекетов свернул на боковую тропку, как бы давая понять, что намерен закончить прогулку.

— Не означает ли все это, что мы должны… призвать белую гвардию?.. — спросил он не столько Багрича, сколько себя. — Нет, этого делать не надо… Речь идет ведь не просто о России…

— А о чем?..

— О Советской России, — ответил он. — С помощью белой гвардии мы ее не спасем, да в этом и нет нужды…

— Есть нужда, Сергей Петрович… Гнев против немца — великая сила. Но одним гневом немца не сразишь — нужна армия…

— Но ведь она есть у нас, Артемий Иванович, я говорю в этот страдный час: великая армия!

— Великая… Это верно. Но я хочу одного. Хотя бы в час смертельной опасности мы должны смотреть правде в глаза… У нас нет командиров… У нас меньше их, чем надо, — быстро нашелся он. — Июньская катастрофа это не только внезапность…

— Нам надо спасать Октябрь, и мы спасем его, а командиры придут с войной…

— Одной войны мало, нужны войны!.. Даже кровь не способна родить командиров, много крови… Нет опаснее заблуждения, чем вера во всемогущество России. Есть обстоятельства, когда даже Россия лишена возможности добыть победу…

— Да, очевидно, могут быть такие обстоятельства, — произнес Бекетов. — Но то, что происходит на нашей земле сегодня, — иное…

— Июнь сорок первого… иное? — вопросил Багрич, вопросил, полагая, что сшиб Бекетова с тона.

— Да, даже июнь сорок первого, — спокойно согласился Бекетов. — Вопреки всем бедам июня мы устояли…

Они покинули парк молча.

— Я вспомнил сейчас, Александр Петрович великолепно играл на флейте, — произнес Багрич и, кажется, обрадовался тому, что вспомнил эту деталь.

— Да, Саня играл на флейте, — сказал Бекетов, пожимая руку Багричу и поднимая воротник, точно хотел этим показать, что готовится покинуть спутника.

21

Поздно вечером Сергей Петрович вышел в сад и долго стоял во тьме, прислушиваясь, как скрипят мокрые ветви и в желобах позванивает необильный ручей. Он вспомнил свой вчерашний разговор с Багричем и подивился тому, как густо планета испещрена жизненными тропами, много гуще, чем в прежние времена, и как причудливо эти стежки пересекаются. Он стал думать о брате и вспомнил, что последнее письмо от него получил через Якова Бардина. Где-то в Таврии на больших учениях они водили друг против друга танковые корпуса. Тогда, читая письмо брата, Сергей Петрович думал, что Александр не зря увлекся теорией и практикой взаимодействия. Свою старую мечту о труде, посвященном этой проблеме современной войны, он наверняка решил претворить в жизнь. Помнится, Сергей Петрович тут же ответил брату и в шутку назвал его советским Клаузевицем. На этом переписка оборвалась… А потом приехала Фиса, жена Александра, приехала, покрывшись черным испанским шарфом, как покрывались офицерские вдовы в первую войну, и все норовила показать старую Санькину фотографию. Господи, какой же он был на этой фотографии юный и бесстыдно счастливый в своем чонгарском костюме с клапанами поперек груди и шлемом, который венчал «шпиль». Позже «шпили» на шлемах были почти отсечены.

Бекетов поднял глаза. Посольский особняк был неотличим от темно-стальной глыбы неба, только справа на уровне деревьев пробивалась едва заметная полоска света — очевидно, Бессменный Часовой, как звали в посольстве Шошина, проветривая комнату, неплотно прикрыл окно. Бекетов решил заглянуть к Шошину.

Еще не дойдя до кабинета, Бекетов почувствовал запах табака — это из логовища Шошина. Бессменный Часовой много курил, и дымом его табака было напитано все, что попадало в шошинский кабинет: бумаги, принесенные на подпись, книги, посуда, в которой Шошин держал нехитрую еду. «От вас несет угаром, будто вы побывали в дымовой трубе или в… кабинете Шошина», — сказала однажды Бекетову одна из посольских дам. «В кабинете у Шошина», — согласился Сергей Петрович, смеясь. «Сидит там в этом дыму, как в тумане… Одно остается — зажечь фары, не ровен час не опознаешь», — улыбнулась дама.

Вот и теперь шошинский кабинет дышал дымом…

— Бодрствует Бессменный Часовой? — вопросил Сергей Петрович, входя в кабинет Шошина и разгребая дым. Если не

разгребешь, не увидишь Степана Степановича.

Шошин оторвал глаза от газетной полосы (именно оторвал — Шошин был близорук), буркнул угрюмо:

— Да, бодрствую… Вот статья о советской артиллерии для утреннего выпуска… — Он назвал газету. — Сейчас должен быть курьер.

— Я на минутку, Степан Степаныч, — сказал Бекетов, осторожно прикрывая створку окна.

— Простите, Сергей Петрович, я не об этом… Я рад вам… — быстро поднялся Шошин, однако газетной полосы из рук не выпустил. — Одичаешь в этой ночи.

— Ну хорошо, дочитывайте, дочитывайте, а я подожду. Курьера действительно неудобно задерживать, — произнес Бекетов, опускаясь в кресло напротив и разворачивая газету.

Шошин схватил с пепельницы сигарету, которую, видимо, положил только что, попытался раскурить, но, убедившись, что она погасла, бросил и заученным движением потянулся за следующей, но при этом не отнял глаз от газетной полосы — он продолжал читать. А Бекетов держал перед собой газету и краем глаза смотрел на Шошина. Какими ветрами занесло Шошина сюда и какими удержало?.. Посол говорил, что Шошин — газетчик, газетчик по призванию, отдавший большой столичной газете едва ли не тридцать лет жизни. По словам посла, он пришел в газету мальчиком, многие годы работал репортером отдела городской хроники, не без труда одолел английский. Так тридцать лет из ночи в ночь. Нет, это не была служба, исправная и холодная, это было творчество. В эти годы полуночных бдений Шошин постиг все премудрости газеты: писал аналитические «подвалы» и десятистрочную хронику, двухколонные корреспонденции и передовицы, а если надо, становился у кассы или у талера, набирал и верстал свои полосы… Как ни тяжел был этот труд, Шошин был убежден, что никакое другое дело не даст ему такого удовлетворения. Во веки веков сохранил суровый нрав и непримиримость ко всем и всяческим подлостям, но и сберег способность радоваться. И то сказать, что этот немолодой человек, малоречивый и хмурый, мог прийти в восторг и залиться безудержным смехом, когда удавалось напечатать нечто такое, что было недоступно газете, с которой конкурировала шошинская… «Вот это мы им вставили фитиля!..» — кричал он пуще всех. Сколько он себя помнит, его газета жестоко конкурировала с другой столичной газетой, стремясь «обскакать» ее или, как нередко говорил сам Шошин, «тихо обойти на повороте». Некогда редакции этих газет находились рядом и звали друг друга соседями, но с тех пор прошли годы. Ныне от

одной редакции до другой — версты, однако прежнее имя осталось: «Соседи». Положить живот, но обскакать «соседей» — девиз Шошина. Случалось, Степану Степановичу внушали: мол, конкуренция — удел прессы буржуазной… Он соглашался, но стоял на своем. Шошин почитал за доблесть заставить своих корреспондентов добыть материал, какого «сосед» не имеет. Как ни тяжела была минувшая ночь, но, едва продрав глаза, Шошин брал свежий номер газеты «соседей». Он знал, его самочувствие сегодня зависит от того, какой он найдет эту газету. Нередко «соседи» повергали Шошина в уныние, он мрачнел, никуда не звонил, заполняя квартиру клубами дыма… Но бывало и по-иному: он срывался с места и, схватив телефонную трубку, звонил… Кому? Ну, это было не столь важно, главное, чтобы было произнесено то, что хотел произнести Шошин: «Нет, нет… Вы видели, какой мы им вставили фитиль?.. Только подумайте, какой фитиль?!»

Иногда Шошин звонил в отдел печати Наркоминдела, и это всегда было событием для газеты: «Шошин опять говорил с Наркоминделом, они не советуют…» Справедливости ради надо сказать, что Шошину нравилось звонить в Наркоминдел, нравилось с тех далеких чичеринских времен, когда он мог позвонить в поздний полуночный час наркому и повторить вслед за ним: «Мы, Георгий Васильевич, совы — наш глаз обрел способность видеть ночью. Вот тут Рейтер сообщает… Да похоже ли это на правду?» Он был тщателен в нелегком своем труде, любил себя проверить… Однако когда до него дошел слух, вначале глухой, потом все более определенный — Наркоминдел приглашает его на работу, — Шошина охватило смятение. Он стал доказывать, что единственное его желание — продолжать работать в газете. Что до дипломатии, то у Шошина нет к ней никакого влечения, а к дипломатам он относится даже весьма скептически, но Шошин поздно поднял тревогу: вопрос был решен. Шошин махнул рукой. Назначили в наркоминдельский отдел печати — подчинился. Послали на полгода в английский доминион — принял безропотно. Направили в Лондон — не возражал, однако неожиданно для себя обнаружил: чем-то его новая работа напоминает старую. Так или иначе, а он нынче вел отдел прессы посольства. Встречался с корреспондентами. Отвоевывал для советской информации место в лондонской прессе. Старался, чтобы британскую прессу в Москве представили газетчики если не самые знаменитые, то самые честные. На его письменном столе появились рукописи статей (как в редакции), полосы, пахнущие свежей типографской краской (тоже как в редакции). Газеты выходили ночью, и Степан Степанович вопреки

возражению посла сказал, что будет работать по ночам. «Если Чичерин принимал ночью иностранных послов, почему я не должен принимать ночью иностранных корреспондентов?» А между тем началась война и работы привалило… Приехал как-то в Лондон старый дружок Шошина, разумеется, газетчик. «Как вы там, ребята?» — «Перешли на казарменное, поставили койки, спим в редакции…» Шошин хотел было пойти к послу за разрешением поставить койку если не в кабинете, то в соседней комнате, но потом махнул рукой, решил спать на диване… Когда засиживался допоздна, не шел домой, хотя квартира была рядом. Казалось, Шошин втянулся в водоворот дипломатических дел, в какой-то мере почувствовал даже вкус к новой работе. Единственное, что оказалось сильнее его, — собственный характер. Не мог с ним ничего поделать, был все таким же неуступчивым, нередко грубо неуступчивым. «Шошин — это проблема! — говорил о нем посол. — Просто не знаю, что с ним делать. Решительно не понимает человек, где, когда и что надо говорить. Редкая способность у человека затеять опасный разговор в неподходящем месте… Вот возьмет со стола этот мякиш и ну катать… Катает и говорит дерзости».

И прошлый раз, когда посол представил Шошина Бекетову, Степан Степанович извлек бог знает откуда мякиш и принялся катать. Господи, каких только привычек нет у людей. Говорят, Шошин делал это в минуту волнения.

— Кажется, кончил, — сказал Шошин, подписывая полосу и запечатывая ее в конверт. — Пусть ждет редактор, а не курьер — ему, бедолаге, надо до утра еще пять раз проехать Лондон!.. Этому принципу я и в Москве следовал.

— Вы это говорите к тому, что не намерены поднимать руку на британскую корону, Степан Степаныч?

— Да, разумеется, хотя по складу ума я больше экстремист, чем сторонник умеренных действий…

В коридоре послышались шаги. Вошел Фалин.

— Там курьер пакет требует, — произнес Фалин, указывая на дверь, которую оставил открытой.

— Я уже передал. А вы дежурите?

— Уже отдежурил, — сказал он, прикрывая дверь и опускаясь на край дивана.

— А я подумал: чего это Изосим Иванович в такой поздний час?..

Диван заскрипел — Фалин явно испытывал неловкость.

— Не хотите ли вы сказать, Степан Степаныч, что это удивило вас?

Шошин засмеялся. Разговор с Фалиным снял усталость.

— Сергей Петрович бы, наверно, не удивился, он вас знает мало. Что же касается меня, то я бы удивился.

— Простите, Степан Степаныч, но мне с вами и прежде было нелегко говорить, — Фалин пошел к двери.

— И мне тоже, Изосим Иванович.

Фалин закрыл за собой дверь, наступило молчание.

— И зачем вы его так, Степан Степаныч? — Бекетов взглянул на Шошина, взывая к уступчивости.

Шошин угрюмо смотрел на Бекетова, сминая мякиш. Вновь в руках появился этот мякиш неопределенного цвета. Шошин покатил его ладонью по столу, потом зажал в ладони, потом налепил на ноготь большого пальца, содрал и приспособил к ногтю мизинца, потом переместил на указательный и, неожиданно подняв этот палец, сейчас неестественно толстый, произнес:

— Но ведь это сказал я, а не вы, Сергей Петрович… В какой мере вы отвечаете за мои слова? — произнес он и едва ли не упер в Бекетова уродливый перст.

Бекетов привстал. Как ответить ему?.. Возразить, значит, вызвать его на фразу еще более резкую, оставить без внимания, значит, поощрить на поступки еще более безответственные.

— Я просто полагал, что с товарищем по работе надо говорить в иных тонах, Степан Степаныч.

— А я вас не лишаю такой возможности.

Бекетов простился.

И вновь пришли на память слова посла: «Шошин — проблема… Вот возьмет со стола этот мякиш… Катает и говорит дерзости…»

22

За час до отъезда на вокзал Бекетов встретил в посольском вестибюле Компанейца.

— Сергей Петрович, а что, если я вас провожу?.. Вы ведь не уезжали с вокзала Ватерлоо?..

— Нет, Михаил Васильевич.

— Тогда я провожу.

— Спасибо. Только я зайду на секунду к себе, соберу со стола бумаги. Не находите ли, Михаил Васильевич, что в наших встречах с вами установился известный цикл?

— Ну что ж… С той первой встречи прошло три месяца…

— Да, уже три, Михаил Васильевич.

Три месяца — срок немалый. Достаточный, чтобы узнать и Компанейца. В табели о посольских должностях Компанеец значился первым секретарем. Как казалось Сергею Петровичу, первый секретарь — это исполнительная власть. Он знает, что является сегодня заботой всех посольских отделов, целесообразно организует, учитывает, а нередко и контролирует. Но первый секретарь — не только организаторский талант, но и внимательный и точный глаз, все видящий, все отмечающий, решительно не дающий «просыпаться» ни одной детали… На высоте ли был Компанеец? Как полагал Бекетов, он был хорошим первым секретарем: усердным, точным, наблюдательным. Он, пожалуй, был больше исполнителем, чем аккумулятором идей, но с этим можно было бы и примириться, если бы все остальные были людьми деятельного замысла.

У Компанейца была молодая жена, много моложе его, пышнотелая ростовчанка, которая рожала ему детей и варила борщ. Надо отдать ей должное, и то, и другое она делала хорошо. Существо жизнелюбивое, она тосковала по Ростову, для нее Англия была слишком тиха и, пожалуй, туманна. «Мне не надо столько туманов, Миша! — жаловалась она мужу. — Мне бы ростовского солнца!» Пожалуй, немножко солнца не мешало бы и Компанейцу, но он молчал. Его деятельная энергия заменяла ему ростовское солнце с лихвой. Если бы в Англии было больше солнца, то вряд ли он им воспользовался бы. Ему надо было прочесть столько писем, разослать такое количество приглашений на обеды, завтраки, ужины, которые устраивали по известным поводам посол и советники, встретить и проводить такое количество лиц, поздравить, выразить соболезнование, дружески пожурить и приятельски наставить на путь истинный такое количество англичан и своих соотечественников, что вряд

ли ему было до солнца.

Они вошли в кабинет Бекетова, и Сергей Петрович принялся собирать со стола бумаги.

— Михаил Васильевич, не пойму я этого вашего Шошина, — произнес Бекетов, когда бумаги были сложены в ящик письменного стола. — Что он за человек?..

Компанеец засмеялся.

— Он вас еще не успел послать к… цицеру, Сергей Петрович?

— Еще нет, но на пути к этому.

— Ну что ж, тогда вы счастливчик! Он этого еще не сделал с послом и с вами. Остальные уже удостоены этой чести.

— Вы тоже?

— Разумеется, самый первый! И при весьма своеобразных обстоятельствах. Перед Октябрьскими торжествами зарапортовался — надо было надписать семьсот приглашений, а у меня надписана половина. Вот в полночь, когда у меня уже двоилось в глазах, вспомнил, что где-то рядом бодрствует Шошин с великолепным почерком. Почерк у него действительно редкий, говорят, что в этой своей редакции небольшие тексты он посылал в набор без перепечатки. Я к нему: «Степан Степанович, выручите, одна надежда на вас…» Он упер в меня палец указательный: «Знаешь, Михаил Васильевич, поди ты к… цицеру!» Потом я пытался уточнить: «Что такое цицер, к которому он меня послал в ту ночь?» Говорят, в истинном смысле ничего обидного: шрифт, двенадцать пунктов. А в иносказательном нечто грозное. Одним словом, я не хотел бы еще раз быть посланным к цицеру… Вот так… А в остальном он хорош.

— И с тех пор отношения между вами испортились напрочь?

— Ничего подобного, с тех пор мы стали друзьями.

— Это каким же таким манером?..

Компанеец засмеялся.

— А вот каким. Я подумал: дело же не в том, что он меня послал к этому своему… полиграфическому богу, а в том, что он человек настоящий и работник редкий. Поэтому я пошел к нему на другой день и говорю: «Я понимаю, что у вас работы было выше головы. Но ведь вы поймите, у меня тоже был зарез… Поймите…» Он сказал: «Понимаю». На этом и порешили, — закончил Компанеец, когда они вышли из посольского особняка и направились к машине, стоящей у подъезда.

— Минутку… — остановился Бекетов. — Мне показалось, что я не все бумаги убрал со стола.

Сергей Петрович возвратился в посольство, поднялся на второй этаж. Дверь в комнату Шошина была открыта, дым валил оттуда, как из трубы.

— Степан Степаныч, через полчаса я уезжаю в Глазго, — произнес Бекетов, быстро входя к Шошину. — Вам ничего не надо в Шотландии?

Шошин помахал перед собой распростертой пятерней, разгоняя дым, внимательно посмотрел на Бекетова.

— Нет, ничего, Сергей Петрович.

Бекетов поклонился.

23

Как обычно, в восемь пятнадцать утра наркоминдельская машина была у ворот дачи и Бардин выехал в наркомат.

У него было достаточно оснований для дурного расположения духа. «Все-таки жестокая профессия, жестокая, несмотря на внешний лоск и политес». Одному всевышнему известно, сколько пережил Егор Иванович в эту ночь, но кому в конце концов дело до этого? Он дипломат и должен быть в форме: встреча на аэродроме, визит вежливости, обед, может быть, даже присутствие на торжественном представлении… Разумеется, только сияющий вид, только выражение радушия и праздничности. Именно праздничности так, как будто ты только что со свадьбы: доволен, полон жизни, больше того, жизнерадостен. И кто подумает, глядя на твой более чем удовлетворенный вид, что именно этой ночью ты проводил сына в такое пекло, из которого… О мать моя родная, как же все это нелегко!.. Бардин взглянул на часы. Половина девятого. Вчера было условлено, что Бивербрук прибывает в одиннадцать. «В одиннадцать ты и сможешь продемонстрировать, как хорошо у тебя на душе», — вернулся он к невеселым мыслям. Кстати, в эти три-четыре дня, как было в июле, в дни приезда американцев, Бардин сможет бывать на Кузнецком лишь по вечерам. Если к Павлу Вологжанину не пожалуют земляки, он сможет оставаться в отделе допоздна. Будет Августа Николаевна рядом — вдвоем выдюжат. Остальные не в счет, им еще надо набраться опыта.

А вот Павел — сила. Как-то вечером, еще до войны, идет Егор Иванович с Кузнецкого и повыше «Метрополя», рядом с Первопечатником, сидит Павел, а подле него вся его большая родня: отец, мать и четыре брата. Хоть и сидят, а видно, что бедово могучи и рослы, колени в подбородок уперлись. Павел не робкого десятка, а тут смутился: «Как-то неудобно на улице знакомиться, да так уж вышло. Знакомьтесь, Егор Иванович, моя фамилия — почти все наши налицо…» — «Как так «почти», разве не все?» — «Нет, Егор Иванович, еще троих недостает», — говорит тот, что помоложе, видно, самый бойкий. «А сколько всего?» — «Осемь». — «Так и… восемь?» — «Осемь, Егор Иванович, — отвечает кудряш, он набрался смелости за всех. — У нас, Егор Иванович, ночи долги, к тому ж мы сырую рыбу едим. Вот меньше и не получается…» Тот, что постарше, ткнул кудряша кулаком в бок: «Вот, мол, человеку язык дан на нашу… погибель». А он развоевался — не остановить: «Семь кузнецов, один дипломат… Вот так-то, Егор Иванович».

Бардин любил наблюдать, как работает Павел. Приходил на работу раньше всех, мыл руки (полотенце у него всегда было свое), застилал стол чистым листом бумаги, раскладывал нехитрую еду: кусок колбасы, хлеб, соль (в самодельном пакетике, почти аптекарском), иногда помидор или яблоко. Ел не торопясь, как ест рабочий человек, знающий толк и в работе, и в еде, ел немного, но смачно. Потом закатывал рукава, растирал ладони, как трет их рабочий человек, прежде чем взять в руки молот и трахнуть им по раскаленной добела поковке. Он и словари раскладывал по столу, как рабочий человек раскладывает инструмент: здесь кувалда, клещи, молоток, зубило, гладилка… Он и язык (нет, не только английский — испанский!) осваивал, как осваивает новое дело мастеровой: «Держи кувалду позажимистей, иначе выхватится!»

Бардин слышал, как с Вологжаниным разговаривала Августа Николаевна. «Эх, Павел, не я твоя жена, ты бы у меня в министрах ходил!» — «Неужто так в министры и попер бы, Августа Николаевна?» — «Я говорю тебе: в министрах!.. У тебя все для этого: и ум, и хватка, и осанка!» — «Осанка тоже, Августа Николаевна?» — «Именно осанка. С твоей осанкой парады принимать!..» — «Да какая уж у меня осанка, Августа Николаевна?..» — не сдавался Павел. Осторожно и настойчиво он умел подзадорить Кузнецову — это была ее любимая тема. «Я тебе говорю, Павел! — продолжала Августа. — Вот в главке… по этим металлам… что расположился у Красных ворот, там всех членов коллегии сделали жены. Да, в своем роде высшая инстанция управления — этот самый бабий комитет… Нет, ты только подумай: до того, как заседает коллегия, собирается этот комитет: «Мой Вася, мой Федя, мой, мой, мой…» У одной было три мужа, всех в люди вывела — один почти нарком, остальные в этом роде. Так она говорит: «Дайте мне деревенского избача — министром сделаю!» Пойми, Паша, ты клад, но первым должен понять это ты…»

Что думал Павел, когда слушал речи Августы?.. Пробивная баба или лукавый царедворец в юбке?.. А может, это одно и то же? Павел не мог не видеть, как способна Августа. Неизвестно, когда она учила эти свои языки, но всегда оказывалось так, что она могла быть переводчицей при любом иностранце. Английский? Ну, это не проблема!.. Французский — не велика задача также. Немецкий — никогда не любила, но говорить может. Испанский?.. Достаточно, чтобы говорить по широкому кругу вопросов. Шведский?.. И он не страшен. В наркомате поговаривали, что она знает японский и в нужный момент заговорит на нем не хуже, чем на пяти других. Но ведь она была

не просто переводчиком. У нее были свой взгляд на вещи, свое представление о делах, свое мнение, наконец. Не мог не возникнуть вопрос: зачем надо быть лукавым царедворцем при таких данных?..

Не раз Бардин слышал: при твоих Павле и Августе мы бы забот не знали, это же комбайн. А действительно, они работали, как подобает людям зрелым, со спокойной и точной уверенностью, когда ничто не вызывает сумятицы, ничто не способно посеять в человеке паники. Стоит ли говорить, что с начала войны не просто увеличился объем работы отдела — изменилось само место отдела в наркомате. Отдел ведал советско-британскими отношениями. Всегда это было значительно, но насколько важнее это было сегодня.

Разумеется, все, что возникало в ходе непростых отношений с Великобританией, было компетенцией наркома, больше того, правительства. Но многое призван был совершить отдел. Он был своеобразной мастерской этих отношений, мастерской опыта, анализа, точки зрения, в конце концов. Отдел должен был располагать информацией, характеризующей страну, ее общественные и хозяйственные институты, ее людей. «Погоди, погоди, в Шотландии заговорили о традициях Маклина. Нет, нет, и мы знаем, что Маклин был советским консулом в Глазго, но что стоило ему это, как он прожил остаток дней своих?» Нельзя отвечать приблизительно — справка, даже устная, вышедшая из отдела, обретала значение документа, а следовательно, ни одна ее буква не может быть поставлена под сомнение. Необходим обзор наших отношений со страной, предшествующих заключению пакта с немцами. Тщательно документированный обзор с обязательным цитированием всех бесед, которые имели место в Москве и в Лондоне. Нет, человек, который будет читать все это, не имеет времени, чтобы прочесть тридцать страничек. Только десять. В крайнем случае — двенадцать. А чем может помочь Великобритания, если говорить о военных материалах?.. Точный перечень. И транспорт, обязательно транспорт… Приезжают Бивербрук и Гарриман. Разумеется, обстоятельная биографическая справка. Нет, не общая, а применительно к событиям войны, и позиция, позиция! Отношение Бивербрука к СССР, а следовательно, к проблеме помощи, проблеме второго фронта!.. Тема конференции «Распределение военных ресурсов», но у этой проблемы есть и дипломатический аспект!.. Дипломатический! Отдел — мастерская, отдел — наблюдатель, может быть, бдительный ревнитель… Какую тенденцию обрели отношения сегодня, как складывается общественное мнение страны, точка зрения Черчилля и кливденцев… Что надо делать

нам, что делать?..

Отдел — страж, может быть, отдел — советник?.. Именно: советник. В момент, когда решение должно совершиться, отдел проинформирует, предостережет, поправит, имея ввиду наши интересы, благословит. Только так, не иначе. Всегда, и сегодня больше, чем всегда. Сегодня, когда самолет с Бивербруком и Гарриманом мчится к Москве. Заметили: Бивербрук и Гарриман? Видно, это знак времени: никогда чисто британские проблемы не переплетались так с проблемами Америки, как сегодня. Поэтому отдел Великобритании — это в какой-то мере и отдел Америки, хотя американский отдел в наркомате есть.

Бардин смотрит на часы. До прибытия самолета полтора часа.

Почему Бардин вдруг вспомнил все это сегодня? Да не Сережка ли вызвал такое в сознании Бардина, Сережа, каким Егор Иванович увидел его нынешней ночью и каким, наверно, останется сын в памяти Бардина, что бы ни случилось… И вновь загорелось сердце Егора Ивановича: вот он, вот Сергей… И шинель, и сапоги, и пилотка. Все просторное, все болтается, да, таким количеством материи и кожи можно было обмундировать троих таких, как Сережка. У него руки и ноги — точно хворостинки. Да неужели он так немощен и беззащитен? Или показался таким Егору Ивановичу?.. Если бы можно было, встал между ним и огнем, секунды бы не думал. Встал бы и счел бы за счастье умереть, не было бы смерти достойнее.

Однако чего ради Бардин так распек себя? Толстый мужик (у всех толстых телячьи сердца?) едет в персональной машине, баюкает на тугих пружинах свои сто десять килограммов и клянет себя?.. Да не смешно ли это? И не противно?.. Да нужна ли стране в ее более чем суровую годину такая жертвенность? Да что стране, нужна ли сыну она?.. Не Сережка ли дал толчок этим мыслям?.. Война со всеми ее бедами так не встревожила и не обострила этого чувства, как одна эта ночь… Значит, пока штык войны не уперся в твою шкуру, ты был нем?.. Вот проводил сына в пекло и только тогда понял, что это такое, только этой ночью понял. Казалось, все, что будешь делать впредь, будешь делать и для него, для его спасения: пусть он живет, живет!.. Да, вот еще вопрос: почему Бардин не спросил сына, что ему надо? Эх, в очередной раз дал маху!.. Это же так элементарно — и забыл! И Егор Иванович стал корить себя: всегда забывал про его нужды, всегда, даже когда он просил об этом. И Егор Иванович вдруг вспомнил… замшевые полуботинки на толстой подметке, которые сын увидел в обувном на Арбате и попросил: «Батя, купи…» Никогда не просил, а тут попросил; «Батя…» Так батя не купил — видите ли, после отпуска поиздержался и не купил. А

надо было купить! Пианино загнать, а купить!.. Да что пианино, дачу спустить к чертовой матери, а купить парню эти коричневые замшевые. Тридцать пар купить — пусть носит! Как бы счастлив был Егор Иванович, если бы купил тогда эти замшевые…

24

Быть может, по аналогии с Гопкинсом первая встреча Бивербрука и Гарримана со Сталиным была назначена в Кремле на вечер и, возможно, по той же аналогии переводчиком был Литвинов.

Делегаты прибыли в Кремль и те десять минут, которые у них были до начала встречи (большая группа военных явно по вопросу, не терпящему отсрочки, только что вошла в кабинет Сталина), провели в приемной.

Как отметил Егор Иванович, Гарриман выглядел усталым, хотя он мог показаться таким в сравнении с подвижным Бивербруком. Высокий, в хорошо сшитом костюме приятного темно-серого тона (кто-то сказал Бардину, что Гарриман любит носить костюм такого цвета и зимой, и летом), Гарриман не спешил садиться, как не спешил и докурить сигарету, хотя приглашение в кабинет могло последовать тотчас же. Он не хотел состязаться со словоохотливым Бивербруком в красноречии, поощряя того улыбкой или словом, во всех случаях скупыми, но доброжелательными. Разговор касался того, в какой мере Запад знает Россию, и Бивербрук, может быть желая привлечь американца к более активному участию в беседе, сказал, что завидует Гарриману, который бывал в России и прежде. Очевидно, этой своей репликой Бивербрук надеялся возбудить интерес американца к беседе и, возможно, даже ожидал, что Гарриман разразится пространной тирадой. В положении Гарримана Бивербрук это сделал бы с блеском, но американец только улыбнулся.

— Сознаюсь, что в моем первом путешествии по России у меня не было ни визы, ни паспорта… Мне было восемь лет, когда наш корабль, на котором я путешествовал с отцом, прибило к русским берегам и я очутился в кругу эскимосов… — Гарриман махнул рукой, очевидно полагая, что этой короткой репликой ответил на вопрос и может отступить в тень, но деятельный англичанин не позволил ему этого сделать.

— Погодите, а Грузия… Разве в Грузию вы забрались тоже без визы и паспорта? — засмеялся Бивербрук.

— Нет, Грузия — это иное дело, но ведь о ней надо рассказывать там, — он улыбнулся и показал глазами на дверь, в которую вошли военные. — В общем, я имел отношение к «Грузинской марганцевой компании» близ Кутаиси и зимой двадцать шестого года, инспектируя компанию, был в России, разумеется, с паспортом, — взглянул он на Бивербрука, который

слушал Гарримана с особым восторгом, как бы похваляясь им перед русскими. «Американец все-таки заговорил. Заговорил, бестия!..» — свидетельствовал весь вид Бивербрука. — Я ехал из Москвы в Тифлис четыре дня и всю дорогу провел в беседах с русскими… Знаете, что было самым характерным для этих бесед? Энтузиазм, я бы сказал, революционный энтузиазм, который владел людьми…

Бардин слушал Гарримана и думал: «Что привело его в Москву в столь нелегкий для судеб мира год и что заставляет его говорить так, как говорит он сейчас о России?» Отец Гарримана, о котором он только что упомянул, — сын бедного священника. Его жизнь была трудной, прежде чем он отведал вольного хлеба. Он был и обходчиком на железной дороге, и кочегаром, и посыльным, и рабочим депо. Сколотив капитал, вначале небольшой, он решил попытать счастья и поставить на коня, который принесет ему солидный куш. Собственно, речь идет о фигуральном коне. Им могли быть драга на Юконе, газовые фонари в Нью-Йорке, комбайн на конной тяге (тогда они только что появились) или паровоз, который волочит, вздрагивая на рельсовых стыках, платформы с лесом или цистерны с нефтью. Старик Гарриман (ему шел тогда пятьдесят второй год) поставил на паровоз и стал обладателем крупного состояния. Сын имел возможность не повторять пути, пройденного отцом, — ведь он был обладателем капитала значительного, — но он его в известной мере повторил, в известной мере… Правда, он окончил Иельский университет, но дальше, как утверждают его биографы, он решил… начать с азов и стал последовательно обходчиком путей, кочегаром и рабочим депо. Что преследовал Гарриман при этом, сказать трудно. Возможно, в этом был свой взгляд на становление характера, освященный опытом отца, которого молодой Гарриман боготворил. Так или иначе, а опытом отца молодой Гарриман воспользовался и дальше. Отец ставил на первый паровоз, сын поставил на современный электровоз. Видимо, различие в средствах, которыми пользовались отец и сын, было не только в этом. Отец вкладывал деньги в железные дороги, сын пошел дальше за прогрессом техники — он стал строить порты и суда, самолеты и аэродромы. Гарриман был одним из тех преуспевающих деловых людей, которых привлек Рузвельт, когда стал президентом. У Рузвельта был свой расчет, когда он привлекал к государственным делам людей, подобных Гарриману. Поступая так, он точно парировал удары всех тех, кто подозревал его в посягательстве на интересы американской элиты, — есть мнение, что Рузвельт не любил очень богатых. Призвав к участию в государственных делах таких, как Гарриман,

Рузвельт как бы отводил это подозрение. Впрочем, Рузвельтом руководило и иное. Ему импонировали в преуспевающих бизнесменах их деловой подход к проблеме, их предприимчивость, их точность и, пожалуй, отсутствие иллюзий. Обладая сам этим качеством, Рузвельт вдвойне ценил его в других. Однако в какой мере новое положение могло устроить Гарримана и подобных ему, насколько преуспевающему дельцу было выгодно оставить блага более чем безбедного своего бытия и устремиться в жестокую военную пору за океан, да еще в варварскую Россию?.. Как объяснить можно было этот шаг, внешне безрассудный?.. Свойствами характера?.. Желанием присовокупить к капиталу положение в обществе?.. Жаждой внести свой вклад в борьбу, которая, и с точки зрения Гарримана, является борьбой справедливой?.. Бивербрук — понятно, а вот Гарриман — проблема. Проблема ли?

— Наверно, когда мы вернемся на родину, нас будут спрашивать о России и мы будем отвечать так, как будто бы знаем Россию, — сказал Бивербрук и взглянул на Гарримана, ища сочувствия. — На самом деле мы не имеем права на это, — англичанин усмехнулся. — По-моему, мистер Гарриман показал нам это сейчас достаточно наглядно.

— Все зависит от того, какую мысль вы выскажете при этом, — заметил Литвинов, наклонив голову, и посмотрел поверх очков. В этом взгляде, как заметил Бардин, было нечто стариковское, прежде Максим Максимович не смотрел так. — Важно не то, что вы увидели, а то, как осмыслили это.

— Это восточная мудрость? — спросил Бивербрук.

— Да, разумеется, — ответил Литвинов. — Не похоже?

— В этой фразе есть западное изящество.

— И восточное, — возразил Литвинов, смеясь, и зябко повел плечами — в комнате было прохладно, и Литвинов чувствовал это больше остальных.

Открылась дверь, и из кабинета вышли военные.

Бардин видел, как испытующе взглянул на военных Бивербрук, остановив взгляд на каждом из них, будто желая прочесть по их лицам содержание разговора, который только что произошел у Сталина.

Гарриман бросил на военных короткий и пристальный взгляд — и его одолевало любопытство, но, в отличие от англичанина, он стыдился выказывать это любопытство.

Военные ушли, но приглашения в кабинет Сталина не последовало. Возможно, проводив военных, Сталин снял телефонную трубку.

Как показалось Бардину, военные были мрачны. Они не

могли не знать, кто находился в приемной Сталина, но, проходя мимо, едва раскланялись, при этом без видимого радушия. Они определенно были мрачны. Не иначе, вести с фронта были малоутешительными, вести, которые заставили их явиться сюда и задержаться в кабинете Главнокомандующего много дольше, чем разрешал протокол.

25

Гостей пригласили в кабинет Сталина, и Бивербрук, к удивлению своему, обнаружил: по тому, как Сталин вышел навстречу гостям, как он произнес первое «Здравствуйте», улыбнувшись и как-то по-особому, по-восточному подняв при этом трубку, как он, наконец, сел за стол и, откинувшись, развел руки, было видно, русский премьер решительно не воспринял мрачного состояния духа своих военных.

Это доброе настроение, как показалось Бивербруку, даже несколько весело-ироническое, помогало ему как бы не принимать всерьез и отводить, при этом весьма изящно, те из предложений гостей, которые он не считал для себя приемлемыми. Впрочем, это было позже, а вначале Сталин сделал традиционный для таких переговоров обзор положения на фронтах, точно такой, каким были предварены переговоры с Гопкинсом. У этого обзора было свое резюме, свой итог, очевидно исследованный заранее. Он, этот итог, свидетельствовал: численное преимущество на стороне немцев. По числу дивизий: триста двадцать на двести восемьдесят. По танкам: три — один. По самолетам: три — два. Как бы между прочим Сталин сказал, что для немцев преимущество в танках имеет абсолютно решающее значение: немецкая пехота не может идти ни в какое сравнение с русской. Как и предполагал Бивербрук, обзор, сделанный Сталиным, подводил гостей к точному перечню оружия и материалов, в которых нуждается сражающаяся Россия. Это, по словам Сталина, прежде всего танки, а уже после этого противотанковые орудия, средние бомбардировщики, зенитные орудия, броня, истребители и разведывательные самолеты и, он особо подчеркнул важность этого, колючая проволока. Очевидно, он построил этот список по степени важности. Именно поэтому он не собрал все самолеты в одном месте, а вначале назвал средние бомбардировщики, потом зенитные орудия и броню, а уже после этого самолеты — истребители и разведчики. Впрочем, как полагает Бивербрук, это могло и ничего не значить.

А потом подоспела очередь англичанам и американцам ставить вопросы.

Разговор зашел о том, где и в какой форме русские и англичане могли выступить против немцев плечом к плечу. Сталин назвал Украину. Бивербрук назвал Кавказ. Сказав это, Бивербрук имел в виду не только то, что английские войска накапливаются в Иране и могли бы быть легко переброшены на Кавказ. Не только это. Он полагал, что английские войска на

Кавказе могли бы явиться своеобразным щитом, защищающим англичан на востоке. Это имел в виду Бивербрук, а может, не только это. Сталин взглянул на Бивербрука не без любопытства и, выколотив из трубки старый табак, набил ее новым.

— На Кавказе нет войны, а на Украине есть, — сказал он, подняв незажженную трубку и сделав ею такой жест, будто бы одним жестом он исключает дальнейшее обсуждение этого вопроса.

Что мог подумать Сталин, когда Бивербрук заговорил о Кавказе? Знал ли Бивербрук, задавая этот вопрос, что у русских с пребыванием англичан на Кавказе связаны свои ассоциации, зловещие? Но Сталин не исключал переброски английских войск в Россию, в такой мере не исключал, что даже назвал фронт — Украина. Какое объяснение дать этому: либо дело русских настолько плохо, что они готовы даже допустить англичан на русскую землю, либо они просто хотят доказать, как далеко готовы пойти в сотрудничестве с Великобританией? А возможно, это педагогический шаг, рассчитанный на то, что он не будет принят, однако окажет свое влияние на союз двух государств.

Гарриман сказал, что хорошо было бы организовать переброску американских самолетов через Аляску, разумеется, своим лётом.

— Мы сумеем организовать это, если будем знать аэродромы, — сказал Гарриман.

Сталин задумался: что имел в виду его собеседник, когда речь зашла о сибирских аэродромах?

— Очевидно, самолеты поведут через Аляску американские экипажи, — сказал Гарриман, заметив, что предыдущая фраза вызвала раздумье русского премьера.

— Нет, это слишком опасная трасса, — заметил Сталин, не проявляя желания продолжать разговор.

Разумеется, Гарриман знал, что американцы уже были в Сибири и оставили след, который не способен зарубцеваться даже через четверть века. А если знал об этом Гарриман, то чего ради начал этот разговор?

Точно почувствовав, что разговор на эту тему не сулит ничего доброго, Гарриман вдруг заговорил о том, что американское общественное мнение все еще интересуется положением религии в России.

— Президента беспокоит реакция общественного мнения, — сказал американец.

Сталин сказал, что он недостаточно знает, как относится общественное мнение Америки к России, сказал так, как будто бы американец поставил вопрос, который имеет косвенное

отношение к встрече.

Гарриман заметил, что он представит меморандум. Сталин не возражал.

Время близилось к полуночи, когда гости покинули Кремль. Какое впечатление оставила у них эта встреча, какова была ее температура?..

Еще в автомобиле Бивербрук заметил, что, на его взгляд, встреча была дружественной, больше того, дружественной чрезвычайно.

Гарриман согласился с ним.

Они вернулись к этим первым своим впечатлениям на другой день вечером, когда, как было условлено, состоялась вторая встреча.

26

Внешне, как показалось Бивербруку, все обстояло так, как накануне, и тем не менее что-то незримое вторглось в настроение русских, встревожив их, а может быть, вооружив против гостей.

Первая же минута встречи показала Бивербруку, что сегодняшний день во многом отличен от вчерашнего. Едва поздоровавшись со Сталиным, Бивербрук вручил ему письмо Черчилля. Англичанин сделал это не без торжественности, придав этому акту значение, на которое он, Бивербрук, только способен. Сталин принял конверт, повертел его, вскрыл, извлек письмо и, не развернув, оставил лежать на столе, заговорив о том, что сегодняшнюю встречу он хотел бы посвятить обсуждению самого списка поставок.

Разумеется, вторая встреча была труднее по самой своей сути. Если вчера речь шла об общих делах (это всегда легче), то сегодня надо было подробно рассмотреть список поставок: броня, о которой Сталин просил накануне, самолеты, автомашины.

— Почему вы можете дать только тысячу тонн стальной брони для танков, когда страна производит свыше пятидесяти миллионов тонн? — спросил Сталин, остановившись в двух шагах от Гарримана. В течение всей встречи он почти не садился.

Гарриман поднял на него глаза — интонация, с которой был задан этот вопрос, не могла даже показаться корректной.

— Чтобы увеличить производство именно этого сорта стали, необходимо время, — заметил Гарриман.

Но возражения американца не были приняты во внимание.

— Надо только прибавить легирующие стали, — был ответ.

Каждая новая статья в списке являлась немалым препятствием. Оно преодолевалось не без труда, движение было замедленным, иногда оно останавливалось надолго.

— Мы бы могли предложить броневики, — подал голос Гарриман, когда речь зашла о танках.

— Броневики — ловушка, они нам не нужны, — сказал Сталин и зашагал вновь. Зашагал с такой силой, что воздух в комнате пришел в движение и облако дыма, недвижимо стоящее посреди комнаты, колебнулось.

— Но, может быть, русских устроят «виллисы»? — возобновил разговор Гарриман. — Мы сможем предложить теперь же пять тысяч «виллисов»…

— «Виллисы» — это хорошо, — согласился Сталин, однако и в этом случае большого восторга не выразил.

Если Сталин сегодня задался целью строго дозировать

внимание к гостям, то он сделал это не без искусства. Ни одного абсолютного согласия. Ни одной ободряющей фразы. Ни одной шутки или улыбки, призванной поддержать температуру беседы и способствовать взаимопонимании. И ко всему этому — письмо Черчилля, которое все еще лежало на столе без движения. Сталин как бы говорил этим: мы знаем цену всем вашим политесам и не переоцениваем их. Главное — в броне и колючей проволоке, которую мы ждем от вас и которую вы могли бы поставить нам. Что же касается слов, вроде тех, с которыми наверняка обратился английский премьер в письме, лежащем на столе, то нам известна их цена, и известна настолько, чтобы отнестись к этому письму более чем сдержанно, а вас сделать свидетелями этой сдержанности.

— Может быть, нам надо встретиться еще и завтра, — сказал Бивербрук с несвойственной для него строгостью — в ходе этих двух кремлевских встреч его юмор заметно иссяк.

— Ну, что ж… Завтра так завтра, — сказал Сталин. Это, как отметил для себя Бивербрук, был единственный за весь вечер случай, когда на предложение гостей Сталин ответил согласием без оговорок.

Гости собрались уходить, Молотов взглянул на стол и точно впервые увидел сам письмо Черчилля.

— Кстати, вот письмо премьера Черчилля, — заметил Молотов.

— Да, письмо, — согласился Сталин, обратив взгляд на письмо британского премьера, которое продолжало лежать между чернильным прибором и пресс-папье, как было положено в начале встречи. — Да, письмо, — сказал Сталин и пододвинул его к себе — письмо сделало свое дело и теперь ему можно было дать ход.

27

Когда на следующий день утром Егор Иванович явился к Бивербруку в гостиницу «Националь», английский гость был невесел. Он стоял у окна своей комнаты и печально смотрел на Кремль. День был холодным, и багрянец осенних листьев Александровского сада, видимого из окна, казался тусклым. Через Манежную площадь шли войска: артиллерия на конной тяге (крестьянские кони, несытые, без признаков породы, шли нелегко), обоз с кухней, которая несла над площадью погасшую трубу, шеренги уже немолодых солдат, нестройные, видимо наспех обмундированные, с винтовками через плечо. Винтовки были громоздки, нести их было не в привычку. Войска шли медленно.

— Послушайте, мистер Бардин, вы человек трезвый… — сказал Бивербрук, не отрывая глаз от площади, через которую шли войска. — Вы полагаете, что эти войска способны остановить немецкую машину?.. Только начистоту, без пропаганды…

Егор Иванович кинул взгляд на площадь: завершая движение, шел старый вояка с винтовкой, старый. Ему можно было дать все шестьдесят лет, не по обильным сединам и сутуловатости — по походке, ее ведь не переделаешь. Солдат догадывался, что на тротуаре стоит немало людей и смотрят колонне вслед, наверно, смотрят и на него, старого вояку. Надо было бы прихрабриться, приосаниться, но он так устал, что, честное слово, ему было не до того — впору снять с плеча винтовку и вместе со своими старыми костями погрузить на телегу, что шла впереди.

— Верю, господин министр.

Сейчас в поле зрения Бивербрука мог быть только этот солдат, идущий через площадь. Колонна прошла, на площади оставался только старый вояка.

— Вы полагаете, что этот солдат может остановить… машину?

Бардин подумал: что ответить англичанину?.. Сказать неправду, значит, оскорбить самого этого деда, идущего через площадь, да надо ли говорить неправду?.. Но что поделаешь, если Бардин действительно верил: вот этот старый вояка с трехлинейной винтовкой через плечо совершит то, что до него не мог совершить никто, — его храбрость свершит, его душа и его сила.

— Да, господин министр, верю…

Солдат одолел площадь. Бивербрук отошел от окна.

— Немцы сообщили сегодня утром, что конференции трех

грозит провал. У плохой вести быстрые крылья!..

Фраза Бивербрука была обоюдоострой: в ней и как бы опровергалось утверждение немцев, и как бы подтверждалось.

— Вы полагаете, что немцы недалеки от истины? — спросил Бардин. Бивербрук не без умысла произнес свою фразу, он хотел знать, как оценивают результаты вчерашнего дня русские, в то время как Бардин хотел знать мнение гостей.

— Второму дню не хватало искренности и созидательности первого, не так ли? — сказал Бивербрук.

Вопрос поставлен достаточно откровенно и прямо: не хватало прямоты и позитивного начала. Что думает Бивербрук о вчерашней встрече? На взгляд англичанина, русский премьер вчера был более чем суров. Как он объясняет эту суровость и, пожалуй, воинственность, которую можно было принять подчас за дурное расположение духа? В течение всей беседы Сталин шагал из одного угла в другой, он много курил — папиросными окурками была полна пепельница. Он не присел и тогда, когда ему надо было звонить, а звонил он, как точно отметил про себя Бивербрук, трижды, соединяясь с абонентом без помощи секретаря. Что мог подумать Бивербрук о вчерашней встрече, как шли его мысли? Сталин принял столь жестокий тон, чтобы показать Бивербруку и его американскому коллеге, что по праву общей борьбы русские справедливы в своих требованиях. Могло быть и иначе. Есть признаки нового большого наступления немцев. Кстати, сегодняшняя утренняя неприятельская сводка сообщает об усиленных действиях разведчиков на юге от Брянска, где-то у Путивля и Рыльска. Мог быть, наконец, и третий вариант. Мысль Бивербрука о вводе английских войск на Кавказ перекликалась с идеей Гарримана о сибирских аэродромах и могла быть истолкована русскими как намерение союзников в обмен на зенитные орудия и сапоги колонизовать русскую землю. Помощь… ценой русского суверенитета?.. Но чем эти условия лучше того, что требуют от русских немцы?..

— Господин министр, вы опасаетесь, что Россия проиграет и ваши парламентские противники не простят вам этого, как и противники господина Гарримана из демократической партии?.. Не так ли?

Бивербрук даже подскочил. Он пересек комнату стремительно и бесшумно, словно бы не касаясь башмаками пола, и, приблизившись к письменному столу, на котором лежала начатая статья, вписал в блокнот несколько фраз, коротких и динамичных… Очевидно, мысль, высказанная Бардиным, необходима была Бивербруку для подтверждения какой-то своей тезы.

— Что скрывать, господин Бардин, у каждого из нас есть свой оппонент, достаточно агрессивный и, простите меня, кровожадный, который только и ждет того, чтобы мы оказались биты. Разумеется, вместе с вами.

— Вы хотите сказать, господин министр, что вчера в Кремле вы представляли своих оппонентов?.. — спросил Бардин, не скрывая улыбки.

— Нет, мы представляли самих себя, однако… мы не раз оглянулись на своих оппонентов, — заметил Бивербрук и вновь наклонился над блокнотом — он накапливал какие-то доводы и для себя.

Бардин думал, что по-своему Бивербрук прав. То, что зовется кливденской кликой, очевидно, не только чисто британское явление, но, в известной мере, и американское. Говорят, что американский посол в Лондоне Кеннеди отнюдь не заодно с Черчиллем и Бивербруком. Незримая межа рассекла парламент, она располосовала партии, проникла в государственный аппарат, расколола генеральный штаб и армию, вторглась в посольства… Бардин убежден, что на Софийской набережной и здесь вот рядом, на Манежной площади, есть и сторонники помощи России, и воинственные противники этой помощи. Одни говорят: «Русские выдюжат, отобьют натиск немцев и обратят их вспять! История всевластна, не пренебрегайте историей, это дорого вам обойдется!» Другие не менее упорны в своих доводах: «Наше время в такой мере не похоже на предыдущее, что можно и пренебречь историей!.. Факты — цитадель правды, только факты, а они свидетельствуют, что у русского колосса оказались гипсовые рычаги…» Только вчера Бардину сказали, что среди американских военных в Москве по этой причине разыгралась целая баталия: майор Итон доложил о разгроме русской армии как о ближайшей перспективе, а полковник Филипп Фэймонвилл, прибывший с Гарриманом, жестоко высмеял его.

— Пусть это будет сказано между нами, господин Бардин. Если русские проиграют новую битву, они поставят меня и моих друзей в положение, которое близко к безвыходному… — однако поездка в Москву пошла Бивербруку на пользу — еще недавно англичанин говорил, что в нелегкое положение его поставит перед все теми же коллегами министра успех русского оружия.

— Ну что ж, им надо выиграть эту битву хотя бы для того, чтобы не осложнять вам жизнь.

— Но вы-то полагаете, что битва будет выиграна, господин Бардин?

— Если мы ее проиграем, то проиграем одни, господин министр. Если выиграем, — тоже одни…

Бивербрук приподнял плечи, точно из окна потянуло холодным дыханием осени. Чем-то последняя фраза Бардина напоминала Бивербруку замечание Сталина о броневиках — в ней была гордая неприязнь, не сдающаяся, несмотря на все испытания и беды.

28

Хотя встреча со Сталиным назначена на шесть, было условлено, что Бивербрук и Гарриман приедут в Кремль за четверть часа до встречи.

Большие настенные часы с боем отсчитали урочное время, а гостей не было.

Бардин видел, как Литвинов, сидящий в стороне над текстом советского меморандума, снял очки и взглянул на часы, точно хотел убедиться, соответствует ли их бой движению стрелок.

— Прошлый раз они были вовремя? — спросил Литвинов Бардина.

— Да, разумеется, Максим Максимович. — Он подошел к окну, из которого была видна торцовая гладь перед подъездом. — По-моему, их машины подошли.

Литвинов свернул вдвое текст меморандума, положил в папку.

— Не думаете ли вы, что они имеют уже мнение своих правительств по итогам первых двух дней? — спросил Литвинов, захлопывая папку.

— Мне кажется, да… не могут не иметь. Сегодня надо давать ответ, — сказал Бардин, отходя от окна. Англо-американцы должны были войти с минуты на минуту.

— Вы слушали сегодня радио? — спросил Литвинов, вставая. — По-моему, немцы усилили нажим, быть может, в надежде оказать влияние на ход переговоров.

— Они не думают, что переговоры закончатся сегодня, — заметил Бардин, приближаясь к Литвинову. Сейчас они стояли в дальнем конце комнаты, дверь, в которую должны были войти англо-американцы, была прямо перед ними.

— А вы думаете? — спросил Литвинов, и в его глазах, увеличенных выпуклыми стеклами очков, отразилась ироническая улыбка.

— Да, так мне кажется. Хотелось, чтобы это было так, очень… Я бы на их месте начал беседу с того, что без обиняков выложил бы все, что они имеют сказать. Тот раз чашу терпения могла переполнить одна капля…

— Чашу терпения? Чью, Георгий Иванович?.. — Литвинов звал Бардина так.

Бардин усмехнулся.

— Известно, чью. Как мне показалось из беседы с Бивербруком, вряд ли он заинтересован в неудаче переговоров. Разумеется, лично Бивербрук, как и Гарриман, а затяжка

переговоров… не способствует успешному их завершению. Нет, не только потому, что может разразиться немецкое наступление, есть и другие факторы…

Литвинов слушал Бардина. Его глаза посуровели, губы недовольно оттопырились, хотя всем своим видом Максим Максимович показал, что сказанное Бардиным ему симпатично.

— Вы знаете, Георгий Иванович, я думал об этом же, но поторговаться и они могут, жестоко поторговаться. Для них тот, кто не торгуется, плохой бизнесмен и плохой политик. Впрочем, в стремлении выторговать им где-то изменило чувство меры.

— Они это поняли, Максим Максимович?

— Мне так кажется, но будем иметь возможность себя проверить.

Как это было в дни пребывания Гопкинса в Москве, Бардин последнее время все чаще встречался с Литвиновым. Его знание англоамериканских дел, его связи в англосаксонском мире, его знание языка и фактов были очень полезны переговорам. Иностранцы по-своему расценили участие Максима Максимовича в контактах с англосаксонским Западом. Они хотели рассмотреть в этом признак нового курса в советской политике, рассчитанного на дружбу с миром, говорящим по-английски. Разумеется, дело было не в переориентации, а в личных достоинствах самого Максима Максимовича. Обидно, чтобы в такое время, как нынешнее, простаивала такая сила. Сам Литвинов с воодушевлением взялся за новое дело. Человек деятельный, чья жизнь прошла в жестокой борьбе с фашизмом, он видел в своем нынешнем труде продолжение того, что делал вчера. В той последовательности, с какой Литвинов привлекался к переговорам в более чем скромном качестве переводчика вначале с Гопкинсом, а потом с Бивербруком и Гарриманом, мог быть, как думал Бардин, и замысел — в дипломатии, как подсказывал Егору Ивановичу опыт, шаг такого рода оправдан, если есть перспектива.

Когда на пороге появились гости, Литвинов, как показалось Бардину, не без тревоги взглянул на большой желтый портфель в руках Бивербрука. Портфель напоминал саквояж, с каким провинциальные врачи навещали больных на дому. Если учесть, что прошлый раз англичанин был с папкой, то можно было предположить, что главное сражение произойдет сегодня.

Бивербрук увидел Литвинова и взмахнул свободной рукой.

— Геббельс все уже определил за нас! — воскликнул Бивербрук. — Однако такая наглость!

— Простите, господин министр, какое именно заявление Геббельса вы имеете в виду?

— Разумеется, утреннее… Он предрек конференции провал.

Литвинов поправил пенсне.

— А что сообщили о перспективах конференции сегодняшние лондонские газеты?

— О, господин Литвинов, мы еще не начали наш диалог, а вы уже задали все вопросы…

Они вошли в кабинет Сталина, так и не успев придать лицам строго-делового выражения, которого требовала предстоящая беседа.

— Судя по настроению господина Бивербрука, он уже решил все проблемы конференции, не так ли? — спросил Сталин, здороваясь с гостями и с большей пристальностью, чем обычно, глядя им в глаза.

— Речь шла о последнем пророчестве Геббельса, господин премьер, — заметил Гарриман своим спокойно-деловым голосом, в котором уже угадывалась интонация предстоящей беседы.

— Докажем, что Геббельс лжец, — сказал Сталин, приглашая гостей садиться.

— Очевидно, в нашей власти это доказать, — сказал рациональный Молотов и осторожно приблизился к своему стулу.

Наступила пауза, очень короткая, но точно обозначенная распорядком предстоящей встречи. Гости заняли места, в эти дни у каждого было свое место: у Сталина за письменным столом, впрочем, в течение пяти с лишним часов, которые длились две прошлые встречи, он оставался за столом не больше получаса, Литвинов — справа от Сталина, Молотов — рядом с Литвиновым, Бивербрук и Гарриман — по другую сторону стола.

— Я думаю, что мы положим перед собой два меморандума: русский и тот, который предлагаем мы с господином Гарриманом. В первом, как вы помните, дан список товаров, которые просят наши русские друзья, во втором… В общем, мы скажем, что можем мы поставить теперь и что позже…

— Мы свой список знаем, как знаете его и вы, — сказал Сталин. Он хотел разговора по существу и соответственно настроил себя на это. — Ваш список… знаете вы и не знаем мы, его и надо читать.

— Да, конечно, господин премьер-министр, — с готовностью откликнулся Бивербрук и раскрыл свой саквояж, который он предусмотрительно поставил рядом.

Бивербрук начал читать. По мере того как он читал, шаги Сталина, который пошел по кабинету, затихали и стали едва слышными. Это немало осложнило задачу Литвинова, который по шагам следил, в какой части кабинета находился Сталин, и соответственно к нему обращался. Когда шаги затихли

совершенно, Литвинов окинул внимательным взглядом кабинет и вдруг обнаружил Сталина за столом.

— Как вы относитесь к нашему списку, господин премьер-министр? — спросил Бивербрук, закончив чтение.

— Я принимаю его, — сказал Сталин и встал из-за стола. Три дня единоборства, единоборства открытого, но достаточно упорного, дали свои результаты.

Казалось, реплика Сталина расковала и остальных.

— Теперь легче опровергнуть Геббельса, — сказал Молотов.

Было условлено, что договоренность будет закреплена в соответствующем документе. Его можно будет подписать завтра.

Все, кто находился в эту минуту в кремлевском кабинете Сталина, не могли не почувствовать, как разом изменилось настроение встречи. Как ни храбрились гости, до сих пор над ними висело пасмурное небо, с этой минуты небо прояснилось, добрый ветер растолкал тучи. «Как будто после дождя глянуло солнце», — отмечал позже Бивербрук. Сталин тут же реагировал на ясную погоду: он попросил накрыть чайный стол. Ничего подобного в предыдущие два дня не было. Нет, это был не русский чай с водкой и икрой, а просто чай. Знаки внимания, как подумал Бивербрук, русский премьер наращивал по унциям.

— Погодите, — осторожно прервал Сталин размышления Бивербрука. — Что же все-таки произошло с Гессом? — Он понимал, что в веселом разговоре Бивербрук был ему верным партнером. — Шуленбург как-то сказал мне, что Гесс сошел с ума… Неужели сошел с ума? — Он смотрел на Бивербрука прищурившись, явно подзадоривая его, вызывая на разговор. Он не без умысла обратился к Гессу — в истории с Гессом был элемент авантюры, способный поразвлечь собеседников.

Бивербрук, подобно старому коню, почуял, что пришла его минута, и с силой ударил копытом.

— Какое там!.. Я ведь разговаривал с Гессом! О, сейчас я вам об этом расскажу!..

Он дал волю красноречию. Подобно своим канадским предкам, великолепно владеющим искусством импровизации, Бивербрук в этом коротком рассказе мигом перевоплотился в подслеповатого, с тонкими старушечьими губами Гесса.

— Мои друзья леди Эн и лорд Би могли бы создать правительство, которое бы осуществило революцию пэров… — произнес Бивербрук, смешно копируя Гесса и его английский. — В этом случае высадка немецкого десанта исключалась бы и единственным врагом была бы Россия…

Наверное, это было смешно, но смех был много громче того, что мог вызвать рассказ Бивербрука, — дал себя знать великий

пост, который устроил Сталин в эти три дня кремлевских переговоров.

— Вряд ли Гесс пустился в это путешествие по просьбе Гитлера, но Гитлер наверняка знал об этом, — сказал Сталин. Он был осведомлен о поступке Гесса не больше остальных, но он, очевидно, думал над этим, много думал и пытался проникнуть в психологию поступка.

— Из беседы с Гессом у меня создалось именно такое впечатление, — заметил Бивербрук.

Встреча заканчивалась. Было условлено, что документ, подводящий итоги переговоров, будет подписан завтра.

— А не пообедать ли нам всем вместе? — спросил Сталин, когда пришла пора прощаться. Очевидно, он полагал, что теперь, когда переговоры закончены, он может позволить и это.

Когда гости покидали кабинет Сталина, Бивербрук обратил внимание, что в соседней комнате дожидалась приема большая группа военных. Как отметил про себя Бивербрук, у многих из них вид был далеко не парадный.

— Вы видели этих военных? По-моему, они прибыли прямо из огня… — сказал он Гарриману, когда они садились в машину. — Не началось ли то, что обещали немцы?

— Возможно, и началось, — был ответ.

29

А по Кузнецкому шли кавалеристы. Дивизион. Три полных эскадрона. В полном снаряжении. На рысях. Кони разномастные, да, пожалуй, разнокалиберные: мелкота. Одни ходили под седлом, другим седло было внове, видно, в бороне такой конь чувствовал себя лучше, чем под седоком. Но кони были упитанны, как видно, с доброго корма. И всадники держались браво, хотя были не все молоды. Больше того, немало было и седоусых, но от этого они не казались менее бравыми. Все были в шинелях солдатских или полушубках, но у иных вместо ушанок были шапки-кубанки с ярко-синим, фиолетовым или даже красным верхом, а поверх шинели был башлык, правда, не всегда того же цвета, что и верх кубанки. Видно, дивизион был сформирован из степняков.

Дивизион вступил на Кузнецкий, и кто-то, подивившись тишине, завел песню:

…Ты ле-ети, лети, мой конь…

Песню подхватили в охотку — ей было хорошо, этой песне, в непросторных пределах Кузнецкого.

…Как поймаю, зануздаю ши-олковой уздою!..

Мигом Кузнецкий заполнился людьми. И откуда они только взялись? Вдоль кромки, отделяющей тротуар от дороги, выстроились непрерывной цепочкой.

— Ах, что может быть красивее коня!

— Эпоха-то больно не лошадиная!

— Конница — это вечно…

— «Даешь Варшаву, дай Берлин!..» Как в той песне?

— Песня не песня, а вот как забелит поле русское, придет наш час.

— Конь и снег… м-да…

— На коня надейся, а мотор держи на газу!

— Главное, чтобы конь стрелял… Лишняя пуля никогда не будет лишней.

— Верно… Это вы сказали, товарищ?

Видно, кони были недавно подкованы — цок был молодым, крепким.

…Ши-и-олковой уздо-ою!..

Конники поднялись по Кузнецкому и, взобравшись на холм, свернули налево. Ушла песня. Она звучала сейчас вполнакала где-то на Сретенке. Смолк постепенно и цок копыт. Только конский дух, устойчивый, неразмываемый и на сквозном ветру, остался на Кузнецком.

Не сразу опустела улица.

— Вы заметили, конники еще не были в деле?

— Что-то скажет время?

А на площади Воровского, в двух шагах от памятника тоже толпа: товарищи по беде, недавно вернулись из Берлина. Истинно тернистый путь прошли бедолаги… Русский человек никогда не ездил из Берлина такой дорогой: Вена, Белград, Константинополь… Неисповедимы пути твои, сорок первый. Да в путях ли дело?

— Острова, острова… Посольство — остров, торгпредство — остров… Вот оно — время собирания русских земель! Как собрать их до кучи, когда вокруг море ненависти? Того гляди спалят, разнесут в клочья, истолкут… Вторглись в торгпредство, взломали ворота, стучат в дверь прикладами. Выдавили и ее. Наверх! Знают, канальи, шифровалка там! А келья шифровальная, что сейф: стены они стенами, а дверь железом обшита. А шифровальщик — парень еще тот. Запер эту свою дверь и разжег печь — спалить шифры!.. А тяги, как назло, нет, келья вдруг точно закупорилась!.. То ли труба сажей заросла, то ли ее снаружи законопатили, чтобы выкурить парня. Вот они ему устроили, да только он не из тех: распластался на полу — там от дыму повольнее — и знай шурует в печи. Они колотят коваными сапогами в железо, грозят прошить из автомата, а он шурует в своей печке… Одним словом, когда они взломали это железо, он уже все спалил и сам лег бездыханным. Так они его со злости коваными сапогами… Вот она нынче какая, дипломатия!..

Притихла площадь Воровского… Кажется, аэростат, что приблизился к зениту в эту минуту, окаменел…

Ранним вечером 1 октября, в канун отъезда из Москвы Бивербрук шел через Кремль. Его спутниками были Литвинов и Бардин. Поодаль все таким же спокойно-усталым шагом шагали Гарриман и посол Лоуренс Штейнгардт. Ветер дул от Тайницкого сада, от реки, пахло сырой землей и осенними дымами — в саду жгли листья. Небо было полонено осенней хмарью. Оно давало много света земле, и белостенные кремлевские соборы, казалось,

хорошо видны.

Бивербрук вдруг замедлил шаг, остановился посреди площади, задумчиво и радостно посмотрел вокруг.

— Пробыл три дня в Москве и не нашел минуты, чтобы глаза поднять. Кстати, что говорит Москва о нашей встрече, она рада, по крайней мере?

— Рада, господин министр, — ответил Бардин, не ослабив патетической нотки, с которой Бивербрук произнес свою фразу, однако и не усилив ее.

Егор Иванович смотрел на Бивербрука в упор. Вечер все еще был светел, и глаза Бивербрука были хорошо видны, он не отвел их.

— Москве… не до успеха конференции, так, господин Бардин?

— Нет, не это я хотел сказать, господин министр, — заметил Егор Иванович. — Разумеется, мы рады успеху конференции, все рады, — произнес Бардин. — Но как ни велик этот успех, он не является… альтернативой второго фронта.

— А вы полагаете, что есть такие, кто хотел бы этим заменить… десант?

— Да, я так думаю, господин министр, — сознался Бардин. — А вы думаете иначе? — взглянул он на Бивербрука, который, опустив глаза, медленно шел рядом.

— Да, наверно, есть такие, и их немало, — произнес Бивербрук. — Но в данном случае никто не может отвечать за других, каждый отвечает за себя…

Литвинов ускорил шаг, приблизился к Бивербруку.

— Если господин Бивербрук за второй фронт, а вместе с ним и господин Черчилль, то за кем же тогда остановка?

Бивербрук засмеялся. В этой тиши посреди площади, окованной со всех сторон камнем, его смех вызвал эхо.

— Господин Литвинов, мы с вами гости на Британских островах: вы прибыли туда из России, я из Канады… Быть может, я прибыл туда даже позже вас и знаю тамошние порядки хуже… Я могу только повторить: каждый отвечает за себя. — Он взглянул на небо, кремлевские соборы остались позади, перед ним было только небо, ненастное небо — белые, казалось, снеговые тучи шли над Кремлем. — Когда выпал снег… той осенью двенадцатого года? Вам трудно ответить на этот вопрос? Возможно, вы даже не знаете, а немцы знают… Они сейчас больше вас думают об этом, они должны знать…

Он шел, не отрывая глаз от ненастного неба, с кремлевского холма оно казалось особенно большим.

30

Приехала Ольга, вся какая-то смятенная.

— Ты послушай, что сейчас произошло, — вызвала она Бардина в сад. — Шагаю я вдоль полотна в свою Лосинку, — Ольга жила в Лосинке, — и вот идет товарняк. Я сошла с полотна. Вдруг слышу: «Тетя Оля!.. Тетя Оля!..» Я заметалась: Сережка, его голос!.. Смотрю во все глаза. «Тетя Оля, я здесь, я здесь!..» Ты понимаешь, ослепла, ничего не вижу, хоть ложись под поезд! А он: «Оля… Тетя Оля!..» Поезд прошел. Стою на полотне, не пойму: или мне привиделось это, или на самом деле так было?..

Они стояли посреди сада и молчали. Пламенел куст рябины по-октябрьски нестерпимо, побеждая тьму. И прядь волос Ольги, упавшая на щеку, тоже была полна живого огня. Она терпела этот огонь у себя на щеке и не торопилась отвести его.

— Привиделось, Ольга, — сказал Бардин.

— Нет, Егорушка, не могло привидеться.

— Привиделось…

Она положила руку ему на грудь — несмелую, живую. Он молча шагнул к дому, и ее рука какое-то время следовала за ним, потом упала.

— Привиделось… определенно привиделось.

Она не могла скрыть своего состояния, Ольга. Бардин видел, как она стояла посреди столовой и ее локон все еще лежал на щеке — она так и не успела его отвести. Глаза сестры молчаливо следили за ней. Казалось, ничего нельзя было утаить от этих глаз, они все видели.

— Что с тобой, Ольга? — спросила Ксения.

— Ничего…

Позже, когда они сели ужинать, Бардин поймал на себе взгляд Ольги. Были в этом взгляде невысказанная досада и укор, злой укор. Какая досада жгла сердце Ольге, в чем она укоряет Бардина? Что-то с нею творилось непонятное с тех пор, как пропал Леня. Какая-то она стала не такая. Вот и голос, что послышался ей на полотне… Мать родная, видно, горе родит чудеса, не было горя, не было бы дива!

Только Ирка не восприняла настроения, поселившегося в семье, — все мыла в трех водах свои жиденькие кудряшки и пыталась нанизать на них мамины папильотки. Только вчера вырезала лошадок и шила куклам платья, а потом явилась с ярко-черными ресницами. «Ксения, стыд-то какой: не Ирина, девка уличная…»

Но Ксения только рассмеялась, закрыв рукой глаза. «Ничего

не поделаешь, природа… Я сама была такой в ее лета…»

И дом наблюдал, робея и страшась, как Ирка тащила из маминого шкафа одно платье за другим и, вырядившись, шла к деду. «А ну взгляни, Бардин, как оно мне?.. К лицу?..» — «К лицу… — говорил старик, не поднимая глаз, затененных седыми лохмами, и, дождавшись сына, шептал тайком: — Ну, жди, Егор, принесет она тебе… в мамином подоле… двойню! Вон какие зыркалы у нее, цыганские… Они, цыгане, скороспелые!»

Но то было прежде, а сейчас Ирку сморил сон. Отец отнес ее в детскую — Иркина комната все еще звалась детской — и, вернувшись, лег на тахту, еще хранившую тепло Иркиного тела. Ольга ушла к сестре, чтобы устроиться подле нее. С тех пор, как пропал Леня, в их комнате (в Ивантеевке у них была комната) все оставалось таким, как было при нем, и это пугало Ольгу.

И Бардин вспомнил, как Ольга увлекла его в сад и стала рассказывать о Сережке, повторяя, как рефрен: «Тетя Оля… Тетя Оля…» И еще вспомнил Бардин эту прядь Ольгиных волос на пламенеющей щеке, живую прядь… И на память пришел случай, как на Ольгиной свадьбе охмелевшие гости кричали: «Горько!», а она целовала по очереди Леню и Егора. А гости заходились от хохота и кричали пуще прежнего «Горько!», а Ольга продолжала целовать Алексея и Егора. Помнится, все смеялись, даже Ксения. «Ну и глупа ты, Оленька!.. Ну и глупа, Оленька!» — могла только вымолвить Ксения.

Бардин приподнялся и пошел к окну. «Вот ведь мерещится: рассказ был о Сережке, а из головы не идет Ольга!..» Он распахнул окно. Было прохладно и ясно. Было тихо, только где-то на западе, время от времени зарываясь в тишину, шел самолет да совсем рядом, обнаженная полуночным безмолвием, бежала электричка.

Бардин уже уснул, когда над его головой затряслось окно, того гляди вылетит. Егор Иванович помнит, что с вечера он запер калитку, значит, кто-то перелез через забор. И почему в это окно, если оно выходит в сад, а сад тоже закрыт?

— Сережка!..

— Папа!..

Вот оно — чудо, рожденное бедой.

— Ксения!.. Ксения!..

— Я слышу… Я давно все слышу…

В одно мгновенье все лампы зажжены, все двери настежь.

Вот и Сережка: наголо острижен, в шинельке с чужого плеча, в кирзовых сапожищах, исхлестанных осенней грязью.

— А тетя Оля сказала, я не поверил!

— Я кричал, папа, я так кричал…

Да не плачет ли он?.. Куда его строптивость девалась?..

— Ну, садись, ближе к матери садись, рассказывай.

— Что рассказывать?.. Получил вот две штучки, — он касается пальцами петлиц. — Еду!

— А куда еще?..

Проснулась Ирка, прибежала в ночной рубашонке, прилепилась к брату с другого бока. Вот так и сидит, облепленный: мать с одного боку, сестра с другого. Только Ольга стоит поодаль, дальше, чем надлежит ей стоять, смотрит хмурыми глазами на Сергея, потом на сестру, потом опять на Сергея.

— Ты надолго к нам, сын?

Сергей молчит — боится ответить. Смотрит на мать…

— Надолго?

— Сейчас уеду.

Мать заплакала, вцепилась в него. Ирка взглянула на брата застланными влагой глазами, намертво сжала руку.

— Приехал… пока поезд перегоняют с одной дороги на другую…

— На Ленинградскую перегоняют?

— Да.

Бардин встал, шумно зашагал по комнате.

— Ну, отпустите вы его… Вцепились — не побежит… — Но Ксения все еще держалась за Сергея.

— Сереженька, Зою позвать?..

Бардин застучал своими башмаками еще усерднее.

— Конечно, позвать! Сейчас же позвать. Позову я.

Сейчас Ксения отпустила сына.

— Нет, я позову… Дайте мне ее позвать.

Бардин вознес свои пухлые ручищи.

— Идти-то через сад… Куда ты пойдешь?

Но она уже потянулась к стулу, где лежал ее плед.

— Нет, Егор, я так хочу, я пойду!

— Тогда разреши Ольге тебя проводить.

— Нет.

Она натянула на худые плечи плед и пошла, держась за край стола, потом оперлась ладонью о стену, потом ухватилась за ручку входной двери. Они подошли к окну, все подошли, чтобы видеть, как она будет идти. Все стояли и смотрели, как она идет по саду. Луна была скрыта за плотным пологом облаков, но в саду было светло. Им было хорошо видно, как она идет от дерева к дереву, отталкиваясь от стволов деревьев, остающихся позади, и принимая новое дерево, будто оно выходило ей навстречу. Будто она отыскала тайну того, как в этой лавине беды ухватить

крупицу счастья.

— Зоя… Зоенька! — кричала она в ночи.

А Сережка, казалось, забыл и про мать, и про Зою, которую должна была привести мать с минуты на минуту. Он поставил на обеденный стол приемник, который соорудил еще этим летом, и, включив его, затих.

— Я все сделал, кроме задней стеночки, — говорил он Ирке, переводя дух. — Вот вернусь и доделаю…

Потом подхватил Ирку и понес по столовой. А в дверях уже стояла Зоенька, стояла как-то сиротливо, и было такое впечатление, что еще минута, и она повернется и уйдет. Ксения устала и выглядела синей-синей. А Зоенька, видно, так и не поняла ничего. Она была в отцовской телогрейке и отцовских опорках на босу ногу.

— Сережка, ты смотри, кто пришел! — сказал Бардин и указал взглядом на дверь.

Сережка перестал кружить Ирку, пошел к двери.

— Здравствуй, воробышек, — сказал Сережка. — Какой же ты стал лохматый-лохматый!..

— Да я с ночной смены, Сергуня. Не успела переодеться.

Бардин опять воздел свои ручищи.

— Ну, мы пошли! Оставим их одних!

— А я хочу здесь остаться, — сказала Ирка.

— Нет, нет, у них секрет! — сказал Бардин дочери.

Они все пошли в комнату Ксении, оставив Сережу и Зою в столовой.

Сейчас Ксения лежала на своей кровати, вытянув худые нош. У нее был вид человека, который сделал больше, чем сделала она только что. Бардин откинул край простыни и сел в ногах у жены, Ирка легла рядом, положив под голову кулачок. И только Ольга стояла у двери, странно взволнованная, как подумалось Бардину, так и не понявшая, радоваться ей или печалиться тому, что происходило сейчас в бардинском доме. Вечером, когда прибежала со станции и рассказала Егору Ивановичу о происшедшем, ее реакция была определеннее…

— А их уже нет в столовой, они ушли, — сказала Ольга, почувствовав, что рядом тихо.

Ирка соскочила с кровати, выбежала в столовую.

— Они в самом деле ушли… Вот они здесь… в саду!

Но Ксения сказала в ответ:

— Будем пить чай. Зовите их!

И Ирка подхватила тут же:

— Хватит целоваться! Будем пить чай!

А потом, когда напились чаю, Сережа сказал:

— Наш поезд, наверно, уже перегнали на Ленинградскую дорогу. Мне надо ехать.

Ксения заплакала, у Бардина щеки стали мокрыми, а Ирка сказала:

— Перестаньте, а то я тоже заплачу!

Только Ольга была спокойна, печально-спокойна: то ли она выплакала свои слезы раньше, то ли действительно не знала, радоваться ей или печалиться.

А Сережка уже шел по большой садовой дорожке к калитке. И Зоя была рядом, в отцовской телогрейке и в этих опорках на босу ногу.

— А ты куда, Зоя? Куда ты? — крикнул ей Бардин, распахнув створки окна.

— До вокзала я, Егор Иванович… А может быть, дальше, — сказала она и невысоко подняла руку.

— Может, дальше, — обернулся Сережа и тоже поднял руку.

А потом было видно, как они взошли на холм и пошли не оборачиваясь. Они знали, что вся семья стоит у окна и смотрит им вслед, но они будто условились, что не будут оборачиваться, молчаливо условились и не обернулись.

Бардин думал: «Твоя любовь к сыну может тебя переделать, Егор Иванович, перекроить натуру твою, да, вопреки сопротивлению жестоко перекантовать твой характер, который, казалось, к сорока двум годам менять поздно. Был преуспевающий дипломат Егор Бардин, привыкший вкалывать за троих (чего греха таить, любил вкалывать!), русский потомок царя Лукулла, а стал… Кем стал?.. Вот она тебя скрутит, эта любовь к Сережке, сдавит руки и отведет за спину — да и столкнет тебя с кручи: плыви, храбрец, ты все можешь!..»

31

В предрассветье на кремлевском холме слышно, как движутся на юг птичьи стаи. Запрокинув голову, можно рассмотреть чуть искривленный клин. В этом движении хочешь не хочешь, а усмотришь нечто неодолимое, на чем стоит природа. Точно копье, пущенное сильной рукой, живой этот клин пронзает тучи. Только последний журавль оплошал: вон как частит больным крылом, поспешая за стаей… Сколько небось народу, служивого и штатского, обратило взгляд на неверный полет бедняги, посочувствовало ему… Эко, неудачник, и каким огнем тебя прихватило, каким куском железа скособочило? И было ли это в начале твоего пути, где-нибудь у студеных вод финских или вот этой страдной ночью над волховскими топями и ржевскими порушенными лесами?.. И что ты увидел своим немудрячим птичьим глазом, который, говорят, сильнее цейсовских стекол, на пути от моря и что понял: какая грядет пора и что она несет России?

Птичьи клинья, устремившиеся на юг, все больше обретают для людей в зеленых шинелях смысл знамения. Чем-то эти деформированные клинья похожи на комету Галлея. И, как комета Галлея, способны породить страх в слабом сердце человека. Вот она, карающая десница, и на сей раз! А Наполеон смотрел на небо в своем восемьсот двенадцатом? И видел ли птиц, хлынувших прочь? И видел ли в этом белую смерть? И не хотел ли обрести крылья, чтобы устремиться вослед?..

И люди в зеленых шинелях листают календари: «Когда снег в России?.. Скорее, скорее — обскакать зиму!.. Обойти сыпучее русское ненастье…» Нет, все должно быть спланировано с чисто немецкой тщательностью. Удар на Ленинград не даст победы, как не даст победы удар на Харьков и Воронеж — все решит московское направление… День и ночь гремят эшелоны, стремящиеся к Москве. Вяземские, юхновские, клинские леса стали своеобразными арсеналами фашистской мощи. В лесу — танки, в кустарнике по обочине шоссе — самолеты. Главные удары на Дмитров и Тулу, охват Москвы с севера и юга. У Москвы должны быть отобраны дороги, еще связывающие ее со страной, и главные из них — Ярославская, Горьковская, Воронежская… Первыми должны пасть фланговые — Ярославская и Воронежская, последней — тыловая, Горьковская… Первый удар — в лоб, позже в обход, по флангам. В предрассветье на кремлевском холме слышно, как движутся на юг птичьи стаи.

В большой дом на Кузнецком пришла автомашина с

яблоками. Машина стояла посреди двора, открытая обозрению из всех ста окон. Яблоки были один к одному, крупные, тронутые знойным солнцем сорок первого года, ярко-желтые. Их ссыпали в мешки, плоды гулко постукивали, ни с чем нельзя было сравнить этот звук. Казалось, обычная картина: разгружали машину с яблоками, а у окон стояли люди, не могли оторвать глаз от мешков с плодами.

— Вон какая сила, это небось ранняя антоновка?

— Природу ничем не смутишь, она родит напропалую. Какой свет идет от яблок — отдают солнце.

— Как не отдать, нынче солнца было много!..

Раньше, в начале лета нет-нет, а кое-кто из старых наркоминдельцев, ушедших в армию, и заглянет в наркомат, а сейчас тихо. Где-то на дальних порогах закипает новая битва. Что-то в этой битве похоже на первые дни войны. Кажется, выступил Гитлер — в поход на Москву. Как тогда, в немецких передачах маршевая музыка и зловеще-торжественное: «Танки!.. Танки!..» Битва закипает под Вязьмой. Говорят, что в Химках ночью была слышна артиллерийская стрельба, да только ли в Химках?.. Сегодня поутру, когда Бардин шел на работу, кажется, на Серпуховке он стал свидетелем разговора. Нет, в их внешнем виде не было ничего от обывателей, даже наоборот, интеллигенты, два старых интеллигента, очевидно, коренные москвичи: «Вчера надел белую сорочку, а сегодня она черная! Вот глядите, черная! Вся Покровка усыпана пеплом, сыплется черт знает откуда — что-то жгут!..» По наркомату из рук в руки передается «Красная звезда» — с некоторого времени военная газета стала самой популярной и среди дипломатов. Как повсюду в Москве, ее зовут доверительно-ласково «Звездочка». Считают, что она дает информацию вслед за событием, без пауз, а поэтому в своих оценках точна. А сейчас газета заговорила языком опасности: «Под угрозой само существование советской власти». По кабинетам пошла карта Подмосковья, смешно сказать, карта, которую брали с собой, когда отправлялись по подмосковным борам и рощам за груздями и опятами. Иностранные корреспонденты, которые все еще собираются в своем полуподвале, утверждают, что некое официальное лицо дало понять послам и посланникам, аккредитованным в Москве, что дипкорпус, возможно, покинет Москву. Немецкое радио сообщило, что с вяземским котлом покончено и все немецкие войска, занятые в этой операции, примут участие в наступлении непосредственно на Москву…

Кабинеты преобразились: там, где не было диванов, они поставлены — отныне рабочий день простерся от одной утренней

зари до другой. В затененном углу комнаты на гвоздичке, вбитом в шкаф или стенку, противогаз и каска. В сумерки по коридорам идет очередной наряд тех, кому сегодня дежурить на просторной крыше наркомата. В доме, бесконечно гражданском, в котором со времен символической буденновки Чичерина военной формы не было, расхаживают едва ли не марсиане в брезентовых плащах и касках, с противогазом на боку, который по громоздкости может соперничать с парашютом. Впрочем, пейзаж, который при желании можно обозреть с крутого утеса-дома на Кузнецком, мало чем отличается от марсианского: темное, подсвеченное луной небо, белая зыбь аэростатов, еще удерживающих на себе отблеск солнца и поэтому еще более фантастических…

…С отъездом Сережки Бардин жил на московской квартире у Второй Градской, вернее, не в квартире, а в маленькой комнатке, заставленной старыми приемниками и ящиками с деталями и инструментом, с которой квартира начиналась. Здесь было царство сына. Приезжал за полночь, наскоро раздевался, валился на кровать, еще хранившую (по крайней мере, так казалось Бардину) Сережкины запахи. Дальше этой комнаты не шел, не хотел идти. Вставал ни свет ни заря, отправлялся пешком через парк к Крымскому мосту, а потом уже на метро доезжал до Дзержинской… Эти двадцать минут тишины, когда поутру он пересекал парк, стоили жизни. Деревья вдруг взялись и отцвели разом, отцвели тоскливо-жадным цветом октября. Они в самом деле пламенели, как на погибель, их листьями, как стелющимся огнем, была укрыта земля… И едва он входил в пределы этой пламенеющей тишины, нелегкие думы обступали его. Сережка уехал, точно канул в воду. Если бы не письмо от Зои, что ушла в то утро с ним, пожалуй, не узнали бы, куда он подался. Письмо было помечено неведомой деревушкой Ивановкой. Попробуй сыщи на Руси Ивановку — сыщи ветра в поле. Только и утешение, что та Ивановка была ржевской… Писала, что Сережка получил мотоцикл. Всю жизнь мечтал о мотоцикле, просил отца, отец отказывал — боялся, напорется на столб и поминай как звали. Отец отказал в мотоцикле, а война подарила. «Хочешь мотоцикл — получай, катайся на здоровье!.. Так-то… На игрушке — к праотцам!.. Куда как весело!» А она радуется: я в медсанбате, а Сережка на мотоцикле. Сказать — дети, еще не все сказать… У него и глаза и ум матери, а она родилась на свет с душой страдалицы. Господи, как же ее испепелило горе — не человек, головешка. И жаль ее, и нет сил совладать с собой… Она себя не видит, Ксения. Она кажется себе даже красивой. Последний раз, когда был в Ясенцах, — лежит с накрашенными губами и пробует даже улыбаться… Разумеется, Бардин испугался. Испугался, а

потом подумал, что не надо было выказывать испуга, тогда бы она не пришла в ярость. Разъярилась она не на шутку — Бардин оскорбил в ней женщину… Действительно, оскорбил, но что делать с собой?.. Ольга умна, но тоже какая-то странная. Все они какие-то… странные, с неутоленным самолюбием. Говорят, отец их всю жизнь пытался доказать, что лошадь Пржевальского должна называться лошадью Крепина — он первый ее обнаружил. А Ольга — есть в ней их самолюбие и их одержимость, однако и то и другое молчаливое, упорное, без бахвальства. Были молодыми, потешались над любовью Егора ко всему сладкому. Ольга конфетам предпочитала соленые огурцы, звала сластеной, все порывалась бороться, а однажды скрутила Егору руки и привела к жене: «Вот возьми своего «Егоушку» (жена картавила), пристает к незамужним женщинам…» Вышла замуж и не оставила своих чудачеств — не стесняясь мужа, шла медведем на Егора, демонстрируя силу. А вот овдовела и странно притихла: смотрела на Егора исподлобья, молчала, старалась не показываться на глаза, из-за стола вставала первой, а когда доводилось говорить, была грубо немногословна. «Ты прибереги свою силу для жены, она скажет спасибо…» Бардин смотрел на нее, робея, ей ведь было известно, что за двадцать шесть лет их знакомства он ни на дюйм не преступил грани… Она была единственным человеком, который все еще бывал в Ясенцах, да вот еще старый Иоанн Бардин, разумеется, до того, как заболел. Как-то не верилось, что и он способен занемочь, — никогда не болел, да и не очень удивлялся тому, что не болеет, считал это само собой разумеющимся. «Не должен болеть Бардин!..» Для него весь мир был разделен надвое: на Бардиных и на всех остальных. Врачи — для тех, остальных, а Бардины, они не болеют. А вот поехал к сестре в Суздаль и заболел. Письмо, которое получил Егор, сразу и не понять. «Это не болезнь плоти, это болезнь души. Была бы душа спокойна, вовек бы не заболел!..» Ни о чем не просил, но из письма следовало: придется ехать в Суздаль…

Надо отдать должное Иоанну, он не просил. «Вот хвороба взяла в оборот, а ты уж как знаешь…» — будто говорил он. «Как знаешь? Отец-то один… Было бы три их, может, и подумал, а тут… В общем, пойду в соседний гараж. Нельзя до Суздаля, хотя бы до Владимира. Нельзя в кабину, в кузове перетерплю. Помоги, браток, батька занемог!.. За день не управлюсь — за сутки, пожалуй, поспею! Буду ехать день и ночь…» Вот так шел Бардин по пламенеющей листве парка от Второй Градской до Крымского моста, предавшись невеселым раздумьям…

Итак, еще в августе Иоанн подался к старшей сестре, которую восьмидесятилетнее сиротство — старая дева, чернобыл в

придорожье, сухой, обсыпанный пылью, — сделало едва ли не провидицей. Тогда у дороги было одно течение — к Москве. Теперь река обратилась вспять — на восток. Москва встала на колеса. Все, что испокон веков намертво стояло на земле, уйдя каменными корнями в самую ее утробу, — многоярусные заводские корпуса, магазины с зеркальными витринами, особняки, многоквартирные блоки, мощные корпуса академических институтов и лабораторий, — сама Москва, не город, государство со своим бытом, языком и порядками, теперь оперлась на колеса и пыталась сдвинуться с тех мест, где самой историей ей стоять предначертано: от Серебряного бора, Соколиных холмов, Воробьевых гор, мокрых берегов Яузы, от самой Москвы-реки… В эту ночь, оглашенную криками на мостах и переездах, гудением сотен и тысяч автомашин, уткнувшихся слепыми глазами погашенных фар в ночь, безнадежно заблудившихся, а поэтому злых, Бардин думал о том, что во многовековой истории России не было поры отчаянно-горестнее и труднее.

Ночью проехали Владимир. Знал, где-то здесь с кручи грозит земле и небу серебряными кулаками собор Успения, где-то стоит, согнув крутые плечи, собор Дмитрия, где-то встали поперек дороги не воротами — твердыней Золотые ворота. Но Бардин ничего не видел — была белесая мгла октябрьской ночи, отмеченная островами леса и тумана, белые полосы рек на отшибе да небо без конца и края… Он был в Суздале, когда ночь перевалила за середину — до рассвета оставалось часа три. Шел по улицам, затопленным тьмой (далеко же простерлось море тьмы), думал: «Однако жестоки Бардины, если сестру родную оставили в такой глуши… куда цари ссылали жен и наперсниц…» Искал дом Бардиной Ефросиньи не по воротам и ставням — по контурам крыши только ее и можно было углядеть в этой первозданной темноте. Вскинул высоко ручищу, нащупал щеколду, застучал — небось девический сон зыбок, должна услышать.

— Что колотишь, святой человек, не к глухим пришел!

— Откройте… тетя!..

— Егорка!.. Ох, господи… Иван, Иван, Егорка приехал!.. Егор, говорю, приехал!.. Как, какой Егор? Твой, твой!.. Ах ты, царица небесная! Погоди, Егор, не входи, я не одета!

Да, это она — и векового девичества, оказывается, мало, чтобы перестать быть женщиной.

— Что же молчишь, дружочек?.. Я спрашиваю «Кто там?», а ты молчишь, как в рот воды набрал… Только, чур, не зови меня тетей!.. У меня имя есть. Где ты здесь?.. Дай мне руку… Ах, какие

они у тебя холодные и колются…

— Да откуда им колоться?

— Как откуда? Я же чувствую, ты меня уколол!.. Поднимай выше ноги — тут где-то метлу обронил Городец. — Она все еще зовет его просто Городцом, она зовет его экономом, на самом деле он душеприказчик, злые языки говорят, друг сердца. — Всю землю усыпал метлами. И откуда он только их так много взял?.. Вот тут у меня где-то электричество, протяни руку направо и поверни выключатель. Я говорю, направо, а ты налево… Дай-ка я сама, дружочек…

У нее редкое искусство оглупить человека. Она это делает корректно, больше того, вежливо-корректно, однако очень последовательно. Проживешь у нее в доме дня два и превращаешься в олуха царя небесного.

Вспыхивает свет. Она стоит в двух шагах от Бардина, подняв крутой, с ямочкой подбородок, будто сейчас с нее будут портрет писать — ни дать ни взять Ермолова на известном серовском портрете.

— Да вы ложились ли спать, Ефросинья Кузьминична?..

— Разумеется, как всегда, в десять, а что тебя, собственно, смутило? Ах, понимаю, я должна была явиться к тебе простоволосой, в шлепанцах на босу ногу… Не так ли? Ты же знаешь, что неглиже — не мой стиль…

Да, Бардин это знает. Как знает и то, что за пятьдесят лет своего отшельничества она не растеряла многого, что дала ей семья, и прежде всего привередливой чистоплотности, хотя ей нелегко было держать свой дом в чистоте — как ни экономно она вела хозяйство, нередко жестокая рука нужды касалась и ее.

— Как отец, Ефросинья Кузьминична? — Бардин полагает, что внимание, на которое вправе рассчитывать она, ей оказано и он может спросить теперь об отце.

— Был Клепиков (она сказала Клепиков, полагая, что его обязаны знать, видно, какая-то здешняя знаменитость), нашел инфлюэнцу, а это значит — постельный режим, покой и тепло… Все это у меня есть в избытке… Больше, чем в Москве. Одним словом, сейчас лучше. Отец в сенцах; решил умыться на сон грядущий.

— А при чем Москва, Ефросинья Кузьминична?

— Сто лет маку не родило и голоду не было… Фиораванти слепил свой собор в Кремле по образцу и подобию владимирского, а Владимир — младший брат Суздаля… Вот то-то!

— Небо просторное, Ефросинья Кузьминична, под ним и Москве, и Суздалю место найдется…

Она протянула руку к столу, на котором лежала полоска связанной шерсти, видно, связала накануне.

— Чем оно просторнее, тем дурной голове больше воли. Потеснее было бы, небось и глупость не разгулялась бы. — Она обронила спицу, быстро наклонилась с явным намерением не дать поднять ее Егору. — Вот в склепе женского монастыря свели эпитафии, да, единым махом взяли и свели!.. Как хочешь, так и разумей, где кто лежит: где Петрова суженая, а где Иванова? А ты говоришь, простор! Простор нужен уму!

Она потянула нитку и в один миг распустила шерсть.

— Пойдем, небось уже умылся…

Они пошли в дальний конец дома — там была светелка, где обычно жили гости Ефросиньи и где дважды останавливался и Егор.

Все на своих местах, все, что помнит Бардин в доме попервоначалу, осталось на своих местах, будто бы отлито из чугуна и обречено здесь стоять вечно. Напольные часы с боем в правом углу. Книжный шкаф со словарем Граната и многотомным брэмовским изданием «Мира животных», цветочница синего стекла, высокая и узкая, будто стебель гладиолуса, который помещен в нее, венские стулья вдоль окна, вазы с яблоками, кажется, точно такими, какие были в этом доме в ту осень… дай бог памяти, шестнадцатого или семнадцатого года. И надо всем этим Ефросинья Кузьминична, высокая, стянутая корсетом, с прической в виде пасхального кулича, тоже отлитая из чугуна, тоже обреченная украшать этот дом вечно.

— Иван, Егор к тебе приехал, — сказала и пошла прочь, неистово стуча каблуками, будто хотела ими досказать все, что не сказала.

Иоанн, вооружившись лупой, крупной и странно прямоугольной, в черном ободке, рассматривал фотографии. Видно, фотографии были нечетки, и старый Бардин, отстранив лупу, водил ею по матовой поверхности отпечатка.

Егор взял лупу из рук отца, попробовал поднести ее к глазу.

— О, сильна, бестия! Небось удружил приятель со Знаменки? — Человек, о котором говорил Егор Иванович, был добрым дружком Иоанна, бесценным и бескорыстным сподвижником по собиранию Иоанновой библиотеки о премудростях отбора во флоре и фауне. — Он снабдил тебя этаким дивом?

— Нет, не угадал, — заметил Иоанн и пододвинул сыну стопку фотографий, которую рассматривал только что. — Стекло, оно и есть стекло, эка невидаль! А вот это действительно диво!

— Ну, на это тебя хватит. С икон?

— Угадал, с них.

— Богомаза… не Бардиным ли величали?

— Ну, вот тут вся эрудиция по части иконописи и иссякла — не Бардиным.

Егор Иванович вздохнул, точно свалил с плеч чувал пятипудовый.

— Ты своими загадками печенки мне занозил, того гляди, кровью изойду. Не мучь, объясни.

— Так и быть, пощажу, да только в последний раз, — возликовал Иоанн и выждал минуту, ублажая себя сладостью победы над сыном-строптивцем — не часто Егор винился вот так. — Гляди попристальнее, иконы-то в клеймах! Понял!

— Вижу, в клеймах! Да что из того?

— Эко, нерасторопен, точно и не Бардин! — ткнул Иоанн сына еще раз, мог и не ткнуть, да велик был соблазн дать ему по загривку. — В клеймах-то вся жизнь наша в ту далекую пору! Да нет же, не духовная, а светская, пойми, чадо милое, немудреное, светская! — воскликнул Иоанн, будто отвечая на возражения сына, хотя тот и не думал возражать — он был кроток в эту минуту не меньше известного библейского животного. — Вот и присмотрись. Тут и мужик с сохой, и баба с прялкой, и пастух со стадом… А как подмечены подробности: и избы, и амбары, и овины. Да что овины? Мужики с бабами как точно писаны! А ведь это, почитай, век пятнадцатый, если не четырнадцатый!.. Ты говоришь «клейма», а я говорю «летопись»…

— Это ты говоришь «клейма»!

— Я-то знаю, что говорю! Мне эти клейма вот как нужны. Они мне расскажут такое, что я в древней рукописи не сыщу.

— Про поля ржаные да гречишные? — спросил Бардин.

— А ты что думал? Расскажут! Спасибо, что приехал, — он коснулся влажно-холодными губами щеки сына, указал слабой рукой на стул рядом, пошел к кровати. Лежал, тяжело дышал, молчал. Он стал за эти дни оливковым — лицо, шея, даже кисти рук. Только глаза остались прежними. Некогда светло-серые, просвечивающие до донышка, они стали с годами молочно-серыми. Он смотрел прочь от Егора, редко моргал, будто был так занят своими думами, что забывал вовремя моргнуть. Он молчал, отворотив глаза не только потому, что ему было худо, точно копил обиду, жестоко единоборствовал.

— А Москва… того, тю-тю! — вымолвили его фиолетовые губы.

Хотел знать, что стало с Москвой, наперекор тяжелому своему состоянию тянулся к газетам (вон их какая груда на стуле)

и прилаживал репродуктор, хотя радио никогда не любил («Суетная штука! День и ночь точно наперегонки, да и мыслей на пятак нет!»), наверно, пытался говорить с сестрой, и конечно же спорил, не просто спорил — негодовал. На кого? На Егора, конечно, только он и ему подобные держат Иоанна в неведении. Яков, тот молчун и рохля, он по военной части, а там все ясно. Мирон — нашумит, надерзит и ничего толком не скажет, а вот Егор… Этот знает, что новость для отца хлеба насущнее, а молчит. Его к стенке не припрешь! В мать пошел, та тоже была «режь — кровь не пойдет»! Ничего ты ей не докажешь, хотя из тех ласковых телков, что двух маток сосет. У этого тоже слова хотя и нынешние, а по сути своей божьи. Дипломатия! Это и есть… поповство, только без ряс! По разумению старого Иоанна, есть в ней, в этой дипломатии, что-то от елейности и келейности церкви. Вот и сейчас: поди как кроток, а попробуй тронь.

— Это как же понять «тю-тю»?

— У меня нет сил с тобой спорить. Ты же понимаешь, как понимать.

Не просто уразуметь смысл этих слов: то ли он взывает к состраданию, то ли хочет защититься состраданием и сказать нечто такое, чего в иных обстоятельствах не сказал бы.

— От тебя все стерплю, батя, от тебя терпеть легче.

Наверно, так и надо с ним говорить сегодня — лежачего не бьют. К тому же скажешь — не простишь себе потом. Что с него взять. Но он же воспользовался и этой фразой. Лежит, жует губы, они у него совсем чернильные, будто выпачкал химическим карандашом.

— Ты вот видел ее? — он скосил глаза на дверь, в которую вышла сестра. — Явление! От этого так просто не отвертишься, объяснить надо, себе объяснить…

— А чего тут объяснять, все ясно. Он, Городец этот, был для нее самцом, да из тех, что бабу в полон берут прежде всего своей мужичьей силой… На этом, прости меня, вся ее вера и держалась! Ушло это — ушла и вера. Чего тут голову ломать?!

Старый Иоанн ничего не сказал, только кротко и печально посмотрел на сына.

— Ты что ж молчишь, батя?

— Что сказать? Мало видел, хотя полмира проехал…

— Видел больше — просвети.

Старик приблизил к свету руки — они лежали как-то косо, будто вывихнутые.

— Ты бывал в русских церквах после той войны? Если же бывал, то ничего не видел. Я не боюсь сказать — не видел!.. Вот это половодье черных платков на платформах, на дорогах в

церковь, на церковном дворе, на паперти, у всех церковных окон, в самой церкви… Вдовья Россия! Ты слыхал, как они плачут, в голос, в рев?.. Это стон по мужской силе? Глупость! Не просто глупость — кощунство! Это плач по человеку, по семье, по дому, по распятой жизни! Ты войди в положение этой женщины, которая вот так осталась одна со своим горем, сиротина сиротиной — она да этот вдовий платок.

— Прости, батя, тогда в чем проблема?

— В чем? А в том, что ты должен этого человека утешить…

— Я?

— Да, ты должен утешить. Ты не можешь, а церковь может.

Егор не сразу собрался с мыслями, хотя должен был признать, что в них была своя логика. Отец не просто болел — думал.

— Это что же, проблема… совести, батя?

— Нет, почему же? По-моему, веры.

— Веры?

Отец будто не слышал вопроса. Он смотрел на свои руки, которые все также косо лежали на одеяле, и точно не узнавал их. Он не слышал вопроса или хотел сделать вид, что не слышит. И оттого, что вопрос остался без ответа, он звучал в сознании еще настойчивее: «Веры? Веры?»

— Ты подвел меня к двери и хочешь, чтобы я вошел в нее, не говоря, что это за дверь…

Он глядел на сына исподлобья. Глаза его точно застлало туманом, но от этого они не утратили ни мудрой зоркости, ни силы:

— Нет, почему же. Я скажу: все наши неудачи — и Минск, и Киев, и, как теперь, Смоленск и Москва — от одного: веры недостает… Я хочу веры, а ты ее не можешь мне дать!

Бардина словно на крыльях подняло.

— Вот этого я от тебя еще не слышал! Что же ты хочешь сказать?

— Ты меряешь на свой аршин, а ведь ты — это еще не Россия!

— Что ты хочешь сказать?! — почти выкрикнул Егор, выкрикнул так, что в приоткрытую дверь глянули ненастные очи Ефросиньи да конец ее черного платка и исчезли.

— У меня сил нет спорить с тобой, — вновь сказал старик и посмотрел в окно. Ночь уже была не такой аспидно-черной, как час назад, — белесо-сизые сумерки занавесили окно, это был еще не рассвет, но ночь кончалась. — Плесни водицы. На тебя, парень, силы надо…

Он напился, тронул ладонью губы, отставил стакан.

— Вот ты говоришь, Октябрь. Когда Октябрь совершился,

народ пошел… за стягом. Чей стяг был справедливее, за тем и пошел. Красный стяг обещал мир и землю, за красным и пошел. Верил на слово. Ты понял меня? На слово! И в Гражданскую тоже на слово — какая там была земля, какой мир?., слово! Ты следи за моей мыслью и разумей: и в революцию, в Гражданскую народ шел за стягом. Дело, оно только начиналось и было как тот журавль в небе… В общем, народ клал на одну ладонь то, что было прежде, а на другую то, что ему обещали, и взвешивал, по-простому, по-мужицки пытался определить, какая рука потяжелее, — он повернул руки ладонями вверх, однако, застеснявшись, спрятал их под одеяло. — Худо ли, хорошо, а на одну ладонь легло дело, постылое, трижды нелюбимое, нередко ненавистное, но дело, а на другую — слова. Да, слова, которые обещали рай небесный на земле. И слова оказались весомее дела, слова взяли верх! Ты следишь за моей мыслью? — Он вновь пригубил стакан, отпил добрую его половину, видно, волновался, внутри жгло, хотелось пить. — С тех пор прошло, дай бог памяти, почти четверть века. По тебе, радостно-победных, а по мне, непростых, однако не в этом суть. Впервые, ты уразумей это, впервые народ может положить на вторую ладонь тоже дело и взвесить. Не просто слова — дело! А итоговую черточку подбей сам, как умеешь… У меня сил нет на это, тут силы нужны. Кстати, пораскинь мозгами, как ты поднимешь народ, весь народ, нет, не только таких, как ты сам. Весь народ, да так, чтобы вера была. Без веры мы с тобой не выкарабкаемся!

Бардин опустился на стул у двери.

— У меня иного стяга нет, кроме октябрьского.

— Ты же знаешь, что я говорю не об этом.

— А о чем?

Старый Иоанн попытался привстать. Он даже оперся на локти и взглянул на сына, взывая о помощи, но сын замешкался и не успел — умышленно замешкался или нет, — не успел.

— Ты хочешь воевать за Октябрь и воюй себе на здоровье, а тетка твоя Ефросинья — за Россию и за бога русского. Дай ей такой стяг, чтобы он был и ее стягом. А она не одна такая. Пойми, не одна! Ты понять этого не можешь. По тебе, все, кто думает по-твоему, правы, те, кто думает иначе, неправы.

— Мне нет дела до тетки Ефросиньи! — произнес Бардин, сдерживая себя. — Да и нет в природе такого стяга, чтобы были на нем моя вера и бог русский, Меня интересуешь ты, отец мой родной! Как ты, вот что я хочу знать.

— Как я? — переспросил Иоанн, переспросил кротко, будто этот вопрос возник перед ним впервые. — Я с тобой, но при одном условии.

— При каком?

— Мне надо, чтобы то, что лежит на ладони, было потяжелее…

— Это и зовется корыстью! — вознегодовал Егор, однако голоса не возвысил — не хотел вмешивать в разговор Ефросинью.

Иоанн молчал. С нарочитой неторопливостью взял со стола газету, развернул, положил обратно.

— Значит, ладонь легка, отец? — попробовал возобновить разговор Егор, но Иоанн продолжал хранить молчание. — Легка?

— Легка, — ответил Иоанн, когда молчание сделалось неприлично долгим.

Егор встал, да с такой силой, что вода из Иоаннова стакана выплеснулась на газету.

— Легка, говоришь? — Он зашагал и вдруг услышал, как заскрипели, загудели, застонали половицы — сам Ефросиньин дом пытался вступиться за Иоанна. — Как ты можешь говорить такое?

— А почему мне не говорить? У меня перед тобой преимущество!

— Это какое же?

— Ты не видел старой жизни, а я видел! Тебе не с чем сравнивать, а мне есть!

Егор подошел к отцу, стал над ним.

— Так ты используй свою привилегию, используй сполна. Ну чего же молчишь? Или мне сказать за тебя, а? Вот ты говорил мне, и не раз: «Всем благам общества грош цена, если оно не сумело поднять человека к свету». Ну возьми, к примеру, этот степной аул на Кубани, куда мы ездили с тобой, и не раз. Там, где председателем колхоза этот адыгеец Мосса… Ну, разумеется, там были грамотные и до революции, по-русски грамотные, но в год на аул прибавлялось по одному такому грамотею! Я точно подсчитал: весь аул стал бы грамотным через четыреста лет! А при революции он одолел эту задачу даже не за четверть века… Да что грамотность? Здоровье народа — что может быть насущнее? Тот же Мосса, нестарый человек, а помнит: в семье дяди на одной неделе дифтерит троих детей сожрал. А сейчас худо-бедно, а такого у нас нет…

— Каверза ты, а не человек: чтобы отца родного убедить, так он, видите, отправился в аул степной.

— Погоди, а почему бы мне не сказать об ауле степном, если ты этот аул знаешь? Или это, по твоему разумению, не Россия?

Иоанн улыбнулся своей улыбкой тишайшей. Что-то почудилось ему в последних словах сына такое, что заставило его так улыбнуться.

— Ты эти свои фокусы оставь! — воскликнул Иоанн, и его улыбку точно ветром сдуло. — Хворобы, которую ты разумеешь, я не подцепил! Ты понял меня, у меня нет хворобы этой и не будет! — Он потянулся грубой ладонью к щеке, стал ее тереть, будто она онемела. — По мне, у всех народов один праотец — человек! Если у тебя память не отшибло, то ты должен вспомнить: когда я родил этот тяжелый колос, ну, этот, бардинский, то первую пригоршню зерен отдал адыгейским ребятам, ну, там, где Мосса, которого ты припомнил, и первую делянку высеял у них, на Урупе! Ты вспомнил теперь — на Урупе! — Иоанн умолк, только слышно было его дыхание, уже старческое. — Разве я говорил, что мы ничего не сделали? — произнес он примирительно. — Сделали, но могли сделать в три раза больше… — Он вновь раскрыл ладонь. — То, что лежит на моей руке сегодня, могло быть повесомее…

— Это как же понять «повесомее»? Не всегда хлеба было вдоволь?

Иоанн не спешил ответить. Потянулся к газете, но отнял от нее руку, не дотянувшись, будто она была накалена, — не хотел показывать, что хочет выгадать минуту.

— Белого хлеба народ так и не наелся, — заметил он угрюмо. — И это в России, а?

— Хлеба белого и впрямь было не вдоволь, да так ли вдоволь его было прежде, белого-то? — спросил Егор. — В ауле степном — кукуруза, а в наших местах, ярославских, — черный. Не так ли?

— Так-то оно так, но задача эта для державы советской первая. Решили мы ее? — Егор заметил, что Иоанн покрылся испариной, стал красным — этот спор потребовал много сил, больше, чем у него было.

— Что ты говоришь со мной, как знатный гость американский? Это дело больше твое, чем мое. Ты знаешь, как нам было трудно?

Иоанн тронул ладонью лоб, ощутил, что ладонь мокрая.

— Тому солдату, что сидит сейчас в окопе и ждет, когда нагрянут танки немецкие, нет дела, что нам было трудно, — сказал Иоанн, собравшись с силами.

— Нет, неверно, — возразил Егор, не тая злости, и вновь под его сильными ногами застонали, закричали Ефросиньины половицы. — Ему есть дело до этого, и он это понимает. Он понимает, он…

Когда Бардин вышел из дома и, оглянувшись, увидел в неверной мгле предрассветного утра суздальские соборы, они ему показались хмуро-задумчивыми, будто мысли и заботы этой ночи дошли и до них.

32

Тамбиев сказал Грошеву, что вхож в семью Глаголевых. Сказал между прочим, не предполагая, что Грошев не преминет этим воспользоваться. Оказывается, медицинский журнал напечатал статью Александра Романовича о лицевых операциях, и Баркер, которого эта тема увлекла, просил отдел печати организовать встречу с хирургом. Грошев полагал, что нет причин отказывать англичанину, и просил Тамбиева поехать с корреспондентом, впрочем, Грошев сказал, что это должен решить сам Николай Маркович.

Тамбиев был обязан знакомству с Глаголевым Анне Карповне — она была верным сподвижником Александра Романовича на ниве профессиональной. Маленькая женщина, нелепо косолапая, с огромными ярко-черными глазами, умно-внимательными или пугливо-удивленными, Анна Карповна всегда была корректно-приветлива и радушна. И когда она говорила обнадеживающе «Александр Романович вас примет», и когда она вынуждена была сказать «Александр Романович не сможет вас принять», она это делала одинаково добросердечно. Одни утверждали, что известный врач ценит в ней железность, впрочем, «железность» — не то слово. Металл способен уставать, Анна Карповна не знала усталости — тридцать лет она проработала с Глаголевым день в день. Другие утверждали, что врачу дороги в ней обязательность и точность, — именно благодаря этой точности и безотказности он выгадывает те драгоценные секунды, которые так важны хирургу, когда он берет в руки скальпель. Там, где нужна фраза, ей достаточно слова, там, где нужно слово, ей достаточен жест, кивок, движение глаз. Наверно, это сделали годы и годы совместной работы, а может, нечто такое, что было в самих людях.

Тамбиев сказал Грошеву, что готов ехать с Баркером. Едва ли не в равной мере были интересны в предстоящей встрече и Глаголев, и Баркер. Глаголев — человечески, Баркер… Николай полагал, что предстоящая встреча даст ему возможность осуществить давнишнее желание и ближе познакомиться с англичанином. Конфликт между Баркером и Клином, по мнению Николая, отражал отношение корреспондентов к России в эту осень сорок первого года.

Они выехали поутру, намереваясь провести в госпитале первую половину дня. Машина шла на восток от Москвы. Минувшая ночь была холодной, и октябрьская трава, укрытая толстым слоем инея, выглядела заснеженной. Солнце не было

застлано облаками, однако от этого не становилось теплее. Наоборот, иней на солнце был почти ослепителен, и это еще больше делало его похожим на снег. Думалось о зиме. Какой-то она будет? Одетый в овчинный полушубок, в роговых очках и с маленькой трубкой во рту, Баркер, возможно против своего желания, был чуть-чуть щеголеват, хотя, как казалось Тамбиеву, меньше всего думал об этом. Судя по всему, у него было смутно на душе в это утро. Очевидно, и для него вид осеннего поля, укрытого инеем, отождествлялся с предстоящей зимой: какой все-таки она будет? Но как начать с Баркером вожделенный разговор, как поставить вопрос, чтобы он не прозвучал обнаженно, не встревожил бы?

— Говорят, не все спутники Гарримана покинули Москву? — спросил Тамбиев, когда они проехали последний московский переезд. — Полковник Фэймонвилл остался в Москве.

Фэймонвилл был известен Тамбиеву. Сподвижник и друг Гопкинса, он слыл сторонником взаимопонимания с Россией, чем-то его позиция напоминала позицию Баркера.

Баркер повернулся к Тамбиеву, дав понять, что намерен дослушать собеседника.

— В своем новом качестве уполномоченного по лендлизу полковник мог бы многое сделать, — произнес Тамбиев, однако тут же упрекнул себя — новая фраза не приблизила его к тому, о чем он хотел спросить Баркера. — Кстати, хорошо, что это полковник Фэймонвилл, — бросил Тамбиев в отчаянии.

Баркер молчал. Может, он распознал намерение своего собеседника, а возможно, просто сосредоточился, желая ответить Тамбиеву по существу.

— Каждый из тех, кто ратует за помощь России и открытие западного фронта, — он произнес это слово без колебаний: про себя он называл второй фронт западным, — имеет перед собой оппонента, оппонента воинственного, — теперь было ясно, что, имея в виду полковника Фэймонвилла, он говорил о себе. — Согласитесь, что сегодня не очень-то удобно полковнику Фэймонвиллу защищать свое мнение.

— Вы говорите о Вязьме?

— Я говорю о Москве.

Баркер сказал «о Москве», а Тамбиев представил, как еще вчера вечером в ресторане гостиницы «Метрополь», где питались по своим инкоровским талонам корреспонденты, а возможно, в просторных апартаментах американского коллеги, где они нередко встречались, Клин спросил Баркера, спросил без обиняков, подергивая плечом и подмигивая: «Эй, Баркер, ты слыхал речь… Гитлера? Слыхал, говоришь? Так что ты на это

скажешь? Не завидую я тому русскому генералу, что принимал нас под Вязьмой, а ты, Баркер?»

— Вы полагаете, что полковник Фэймонвилл лишился всех козырей? — спросил Тамбиев, когда они подъехали к переезду. На переезде ожидался поезд, и перед шлагбаумом собрался длинный хвост автомашин.

— Нет, я хочу сказать другое, — произнес Баркер, глядя на поезд, который в эту минуту, не сбавляя скорости, проходил мимо. Поезд был длинным и пестрым. Он состоял из пассажирских вагонов, товарных платформ, пульманов, цистерн и даже вагонов электрички — признак отступления. — Русские обороняются, но тем, что военные зовут инициативой, все еще владеют немцы. — Он продолжал смотреть на поезд, последний вагон которого только что прошел мимо, и тотчас грузовичок рядом засигналил, видно, этот грузовичок бывал под бомбежкой, инстинкт самосохранения был у него развит больше, чем у остальных. — Я знаю, пораженчество — не русская болезнь! Но сегодня речь идет об ином. Сила государства, наверно, измеряется тем, как оно… покажет себя в такой день, как сегодня. Вы понимаете меня, понимаете? Франция сломалась в один день, Польша тоже… — Они оставили позади переезд и продолжали путь. — Главное, найти в себе силы. Способна на это Россия?

У ворот в большой госпитальный двор их встретил старый солдат, несмотря на позднюю осеннюю пору, в пилотке, которая сидела на нем, как шляпа Наполеона, поперек головы. Солдат коснулся кончиками пальцев пилотки и лихо повернул ручку телефонного аппарата. Тотчас явился румянощекий молодой человек в белом халате и надраенных сапогах, назвал себя военврачом Синельниковым и предложил проводить гостей.

— Нет, вы не опоздали, — произнес он, глядя на часы. — Сейчас как раз заканчивается обход.

Они пошли через госпитальный двор. Баркер внимательно посмотрел вокруг с очевидным намерением увидеть такое, что свидетельствовало бы о событиях, происходящих сейчас на западе от Москвы. Стояли санитарные машины — на фанерных фургонах, видимо наскоро сколоченных, были выведены красные кресты, — еще вчера машины были в районе боев. Поодаль, заслоненная желто-зеленой в эту позднюю октябрьскую пору туей, расположилась широкая подвода, заполненная соломой. На соломе сидела девушка в зеленой куртке медсестры и ела из солдатского котелка. Судя по тому, что девушка не подняла глаз на проходящих и не оторвалась от еды, она была очень голодна, видно, сдала своих больных только что. От машины, стоящей за могучей туей, шел человек на костылях, с перевязанной головой.

— Ну, знаешь, бризантный снаряд, тот, что взрывается над землей и поливает тебя, как из душа! — говорил он провожающему его красноармейцу и при этом протягивал руку и, шевеля пальцами, пытался изобразить «душ», которым его «полило».

Они получили халаты, и Тамбиев, взглянув на Баркера, поймал себя на мысли, что тот похож на детского врача, который приходил когда-то к Тамбиевым со своим саквояжиком из толстой матово-желтой кожи. В доме Тамбиевых знали, что при всех обстоятельствах доктор пропишет микстуру, настоянную на мяте, и цинковую мазь, но доктора любили и верили ему — он, этот врач, как сейчас Баркер, был солиден и красив.

Они свернули налево и едва ли не лоб в лоб столкнулись с Глаголевым и сопровождающими его медиками.

— Простите, товарищ военврач, — начал Синельников, немало смутившись — эта встреча была и для него неожиданной. — Господин Баркер, корреспондент…

Александр Романович остановился, нахмурившись, он предпочитал бы, чтобы эта встреча произошла не здесь.

— Здравствуйте, здравствуйте… — второе «здравствуйте» было адресовано Тамбиеву, такое же официальное и корректно-учтивое, как первое. — Предупреждаю, операция продлится часа три, может быть, даже четыре. Вы представляете, что значит простоять четыре часа? С вами это бывало когда-нибудь?

Баркер смутился.

— Однажды на Балканах, когда открывали храм в трансильванском городе… Дева. Служба, на которую меня пригласили, длилась пять часов. Аналогия, как видите, своеобразная.

— Но ее достоинство в том, насколько я понимаю, что она не выдумана, — сказал Глаголев. — Я освобожусь минут через пятнадцать. Проводите гостей ко мне, — он поклонился так, как раскланиваются с людьми, которых видят впервые, и проследовал дальше. Шесть врачей, сопровождающих хирурга, повторили этот поклон, ни на унцию не превысив норму приветливости, какую отмерил для себя и для них шеф. Среди военных медиков, сопровождавших Глаголева, была и Анна Карповна.

— Он вынужден прервать обход? — спросил Баркер Синельникова.

— Да, только что доставили инженера воздушной армии. Атака в воздухе, жестокое лицевое ранение. Говорят, хорош, как бог.

— Глаза целы? — спросил Баркер.

— Левый, кажется, задет. Пулеметным огнем из-за спины.

Летел на связном из штаба армии на полевой аэродром.

— Это произошло сегодня?

— Два часа назад.

Когда Баркер и Тамбиев были приглашены в операционную, больного уже внесли туда. Большой человек с темно-русыми волосами, чистыми, еще не тронутыми сединой, лежал на носилках. Из груды марли и ваты, которыми была обложена голова, смотрел здоровый глаз. В нем были и мысль, и тревога, и боль. Он все видел, этот глаз, и, как показалось Тамбиеву, на все мог ответить. Губы больного, очевидно, были сжаты намертво, он боялся пошевелить ими, опасаясь растревожить рану, и на все вопросы отвечал этот глаз, печальный и всевидящий.

— Как врач, я должен сказать вам, полковник, вы вели себя великолепно, — произнес Александр Романович, стараясь, чтобы человек, лежащий уже на столе, его увидел. — Майор, который доставил вас сюда, показал мне вашу записку, ту самую, где вы назвали наш госпиталь и указали, как к нему проехать. Вы сберегли свою кровь и облегчили мне задачу. Не тревожьтесь, все будет хорошо, — закончил Александр Романович, и человек, лежащий перед ним, с силой сомкнул веки в знак согласия и, быть может, благодарности.

Тамбиеву удобно было рассмотреть сейчас Александра Романовича: хирургу было теперь не до Тамбиева. Для своего возраста младший Глаголев сохранил и фигуру, и подвижность, и известную быстроту жестов. Он среднего роста, ладно сложен, во время операции любит осторожно разминать плечи, которые у него чуть-чуть покаты, как у женщины. Он скуп на жесты, хотя хорошо чувствует руки, которые у него и сильны, и быстры, — наверно, это профессиональное. В его лице сочетание мужественности и женственности — большой нос и маленькие, тщательно очерченные губы, округлый подбородок, насеченный едва заметной бороздкой, и большие серые глаза, окруженные темными веками, заметно припухшими, все в мелких морщинках. Они, эти морщинки, как земля в засушливое лето, безжалостно резки. Странно, но когда Глаголев пытался сосредоточиться, морщины выступали и глаза казались особенно усталыми.

Кто-то положил пинцет на стеклянный столик, металл, соприкоснувшись со стеклом, высек легкий звон, потом этот звук повторился вновь и вновь, сдержанно, но настойчиво. Больной неожиданно вздохнул, и утробный голос, сдавленный, больше похожий на мычание, чем на внятную речь, казалось, взрыл гору марли и ваты, которыми была обернута голова, — больной засыпал.

Глаголев стал у изголовья. Операция началась.

— Ближе свет, ножницы…

Будто был включен хронометр, начавший отсчитывать драгоценные секунды, руки врача обрели стремительность. Жизнь была разложена на секунды, только секунды, и ничего больше. Уложишься — спасешь. Просрочишь — погубишь.

Застучали ножницы, и полетела марля, необычно черная, напитанная спекшейся кровью, потом пятно проступило на свежей вате, и Тамбиев увидел пораженную часть лица. Будто сабельный удар распахал щеку, не пощадив ни костей, ни мышц, лицо перестало быть лицом.

Глаголев взглянул на здоровую часть лица, закрыл глаза. Взглянул и Николай и едва подавил вздох. Лицо человека, лежавшего на столе, было мелово-бледным. Оно несло на себе следы боли, но все еще было хорошо верностью и мужественной силой линий — абрис подбородка, губ, носа был четок…

— Скальпель!.. — сказал хирург, и в этом слове, произнесенном с тревожной суровостью, казалось, нашли выход и печаль, вызванная сознанием опасности, и ощущение беды, которую так трудно отвратить, хотя врач и обещал, что он эту беду отвратит.

Дело даже не в страданиях, думал Тамбиев, хотя они и адские. Человек потерял нечто такое, с чем он пришел в жизнь, что отождествлялось для сына с именем отца, для жены с именем мужа, — лицо… Он точно раскололся, этот человек, со своими двумя лицами — был один, стало двое, — и, наверно, хирург должен найти утраченную половинку, а если не найти, то сотворить. Должен сделать такое, что человеку прежде было не под силу.

Тамбиев и Баркер вышли из госпиталя и успели почти наполовину пройти большой госпитальный двор, направляясь к машине, когда Николай Маркович сказал англичанину, что хочет вернуться.

— Мне они показались такими усталыми, — указал он на здание госпиталя, которое сумерки и снежная заметь точно отодвинули в глубь двора. — У них, конечно, есть машина, но я предложу на всякий случай.

— Да, да, пожалуйста, — согласился Баркер, продолжая идти. Он был занят своими мыслями.

Тамбиев был обрадован несказанно, когда Александр Романович согласился. Оказывается, свою машину он отпустил в город, и, как ему сообщили только что, в срок она не вернется. Едва тронулись, Анна Карповна уснула, и разговор, возникший в машине, поддерживали трое, вернее, даже двое: Глаголев и Баркер.

— Россия — орех крепкий для Гитлера! — произнес Баркер по-русски.

— В каком смысле орех? — спросил тихо Глаголев. Он устал и был недобр.

Баркер смутился заметно. Ему надо было соорудить достаточно сложную русскую фразу, соорудить быстро — вряд ли он был готов к этому.

— Русская сила — не пустое слово, — произнес Баркер не без труда и, кажется, был счастлив.

Глаголев молчал, по всему было видно, зло молчал — эти три часа, проведенные им у операционного стола, и, пожалуй, голод (чашка кофе, которую он выпил после операции, не утолила голода) родили в нем столько злости.

— В ту войну нас тоже похваливали и бросали в огонь. «Вы храбрые, вы очень храбрые… Вон как вы здорово горите!» — Он умолк, казалось бы ошеломленный тем, что произнес. — Эти похвалы у меня вызывают реакцию обратную — у меня есть память…

— Простите, но я сказал правду, — заметил Баркер, смутившись.

— Правда, когда люди произносят только то, что подкреплено делом. Все остальное оскорбляет, — бросил Глаголев едва ли не воодушевленно. Он хотел, чтобы Баркер возразил ему — это позволило бы дать англичанину бой, он жаждал боя.

Но бой не состоялся.

— Господин Баркер — наш друг, Александр Романович, — негромко вымолвил Тамбиев, стремясь спасти положение.

— Знаешь, Коля, то, что сказал я, могу сказать только я, ты уже сказать этого не можешь…

Разговор разладился. Им оставалось последовать примеру Анны Карповны и уснуть или сделать вид, что они спят. Так они и доехали до Москвы.

33

Поздно вечером Тамбиева вызвал Грошев.

— Ну как там ваш Глаголев?

— Почему мой?

— Ну, это не важно, Николай Маркович. Как он?

— А вы уже что-то знаете?..

— Что именно? Как он запретил Баркеру нахваливать Россию?

— А откуда вам это известно?

— Мне рассказал Баркер, смеясь, разумеется.

— Там-то это было не очень смешно, — сказал Тамбиев, не отозвавшись на смех Грошева.

— Я это понял, — произнес Грошев строго и, сняв крышку с эмалированной кружки, которой он с некоторого времени обзавелся и, как понял Тамбиев, гордился очень (атрибут далекого Востока, где когда-то работал Грошев), отхлебнул горячего чая.

— Кстати, Глаголев сегодня ночью улетает на Волховский…

— Ну, это, надеюсь, вам сказал не Баркер?

— Глаголев сказал, — произнес Грошев, а Тамбиев только ахнул: значит, Грошев знаком с Глаголевым и, чего доброго, знает его ближе, чем знает Тамбиев. — Вы хотите меня о чем-то спросить, Николай Маркович?

— Нет, Андрей Андреевич, но, быть может, вы хотите мне что-то сказать?

— Хочу.

— Я вас слушаю.

Грошев наклонился над эмалированной кружкой, но на этот раз чая не отведал — казалось, ему приятен был сам запах чая, само его дыхание.

— А вы племянницу Александра Романовича знаете?

Вот он, святоша Грошев, о ком заговорил: Софа Глаголева, в прошлом году окончившая архивный институт на Никольской, червоноволосая девушка, замкнуто-надменная и неразговорчивая, была дочерью старшего Глаголева, жившего на втором этаже того же особняка у Никитских. Как-то не без участия Анны Карповны Тамбиев помог ей перевести с немецкого журнальную статью о Ганзе и ганзейцах — статьей заинтересовался Исторический музей, где работала Софа. Наверно, отношения между Тамбиевым и Софой на этом закончились бы, если бы не немецкий — он нужен был Софе тем более, что она, подобно всем Глаголевым, знала только французский.

— Да, знаком с нею и через нее с Александром Романовичем. Не с Маркелом, а Александром, — уточнил Тамбиев.

— Это и естественно, — быстро реагировал Грошев.

— Почему естественно? Ведь она дочь Маркела.

Грошев улыбнулся и, сняв очки, принялся их протирать. Видно, очки понадобились ему, чтобы загасить улыбку, это, как заметил Тамбиев, он делал не впервые.

— Вот тут как раз и узел конфликта, — произнес Грошев, когда очки были протерты и возвращены туда, где им быть надлежит. — Софья Глаголева действительно дочь старшего брата, но росла в семье брата младшего…

— Конфликт у дочери с отцом?

— Нет, берите выше — между братьями. Отца ее вы знаете?

— Он, кажется, военный писатель?

— Не только — дипломат военный.

Вон как, дипломат военный! Нет, Маркела Романовича Тамбиев не знал. И не видел даже. Старший Глаголев, казалось, не выходил из своей квартиры на втором этаже, не выходил, да и не подавал признаков жизни… Впрочем, на круглой вешалке, что стояла рядом с лестницей, Тамбиев иногда видел шинели гостей Маркела Глаголева: это все были шинели, петлицы которых были украшены не столько «шпалами», сколько «ромбами».

— Маркела Глаголева я не знаю, — сказал Тамбиев.

Грошев молчал, прихлебывая чай. По всему, этот чай был сейчас не таким огненным.

— Я был в этом доме в начале войны, правда, не у Александра, а у Маркела Романовича, и поймал себя на мысли, что вижу войну в новом свете. — Грошев допил чай, осторожно прикрыл эмалированную кружку, отставил. — Того, что может вам сказать Маркел Глаголев, никто вам не скажет. Нет, не только военный аспект событий, при этом стратегический, Но и дипломатический, тоже масштабный. Глаголевы — это академия!

— Вы сказали — академия? — изумился Тамбиев, не мог не изумиться. — Это каким же образом?

— Не порывайте связей с этой семьей и поймете. Кстати, я оставляю за собой право попросить вас об одолжении. У Наркоминдела будет просьба к Глаголевым…

Наверно, смысл того, что сказал Грошев, должен был открыться не сразу. Тамбиев запасся терпением. Что-то чудилось Тамбиеву в семье Глаголевых благородно-значительное. Что-то сулила ему эта семья такое, что открывало новое в большом мире Москвы. Был ли это Маркел Романович, Александр Романович или Софа, каждый из них нес Тамбиеву что-то такое, что способно было и встревожить, и увлечь. В том кругу, который знал до сих

пор Тамбиев, таких не было, хотя самостоятельная жизнь у него началась не сегодня и людей он видел. Тамбиев заметил, ему были интересны люди, на познание которых требовалось время. Надежда, что ты не перестанешь открывать в этих людях все новое, как бы долго ты ни знал их, и была той силой, которая влекла теперь Николая Марковича в дом Глаголевых. И еще: суть этих людей представлялась Тамбиеву доброй, а это, как он понимал, было не малым.

Дом Глаголевых… Этот флигелек стоял у Никитских ворот в глубине двора, необширного, мощенного плоским камнем, с озерцами влажной земли, посреди которых в разных местах двора росли старые липы. Флигель был двухэтажным, сложенным из белого кирпича, с удлиненными окнами и дверьми, как, впрочем, и крышей, тоже удлиненной, островерхой, крытой черепицей. Чем-то флигелек напоминал голландские домики, что строили русские баре в конце прошлого века на отшибе от барских хором и селили там иностранных учителей, агрономов, ветеринарных врачей. Впрочем, и внутреннее устройство флигеля тоже было нерусским, и Тамбиев это обнаружил при первом посещении. В доме было два этажа, соединенных металлической винтовой лестницей (ступени, как запомнил Тамбиев, были как бы тиснеными, вафельными), при этом один этаж точно повторял второй: кабинет с деревянными панелями, гостиная с камином, просторная кухня с кафельными стенами такой лилейной белизны, точно то была не кухня, а перевязочная.

У Тамбиева из головы не шел разговор с Грошевым о Глаголевых. Младший Глаголев был уже на Волховском. Анна Карповна последовала за ним. Казалось, все пути в дом у Никитских отрезаны. Но раздался звонок, более чем неожиданный, — Софа. Ну, конечно, всему виной новая Ганза! Тамбиев пошел. Был бы младший Глаголев с Анной Карповной дома, Тамбиев, возможно, не ощутил того, что ощутил теперь. Вот этот дом, в котором ни души, большой дом… Пожалуй, в пустом доме люди чувствуют себя ближе друг к другу. Наверно, тишина такого дома так грозна, что человек должен искать защиту в другом. А может, дело не в этом? А может, все в сознании, что между ними нет третьего? Как в ночи, как в открытом поле, как в дороге, когда есть, разумеется, третьи, и их много, но они все чужие и не нарушают этой грозной тишины…

— Вы когда-нибудь видели портрет Коленкура, писанный маслом? — спросила она.

— Бонапартова посла в России?

— Да. Показать?

— Конечно.

— Пойдемте.

Они пошли к железной лестнице. Софа была на три ступеньки впереди, а поэтому над ним, высоко над ним. Она точно заманила его на эту железную лестницу, чтобы взглянуть на него вот так, сверху вниз. А может быть, ему это померещилось и виной всему та же грозная тишина?

Они поднялись наверх и проникли в кабинет старшего Глаголева. Пахло табаком. В полутьме светились никелированные детали «ундервуда», он стоял посреди стола с начатой страничкой в каретке. Настольная лампа на тонкой и высокой деревянной ножке была поставлена так высоко, чтобы света хватило и для машинки, и для лежащих рядом книг. Книги лежали по всему столу. Тамбиев взял первую — томик Клаузевица, его максимы. Поднял глаза — фотография. Да не Глаголев ли с Софой? Глаголев? Седой человек в партикулярном пиджаке и при галстуке, сероглазый, видно, глаза очень светлые, на фотографии они почти одного цвета с волосами. — Это он?

— Да.

— Но ведь он военный?

— Был.

Она говорила, а он думал: она особенно хороша, когда говорит. Даже дело не в том, что она говорит, а вот сам процесс ее речи, это сочетание ее голоса и движения губ… Наверно, это образовалось в ней где-то на пределе ее семнадцати лет вместе с ее красным девичеством и будет живо, пока она будет вот так хороша, как сегодня.

— Какое искусство для вас серьезно, Софа? — вдруг спросил Николай. Этот вопрос возник у него при взгляде на книжный шкаф. Там он увидел длинный ряд книг — собрание Толстого. Имя писателя было тиснуто на корешке четко и повторено многократно: Толстой, Толстой… — Какое искусство?

Она опустила глаза. В ней шла работа мысли, трудная.

— То, что может свободно говорить о смерти, не испытывая ни страха, ни брезгливости, ни той меры сострадания, которая парализует способность человека понимать, что есть смерть… — произнесла она медленно, не без труда выговаривая каждое слово. Она хотела ни на вершок не отклониться в ответе от того, что чувствовала в эту минуту, — То, для которого при виде смерти существует главное — философия смерти, самая суть того, что есть смерть. Там, где другие спасаются бегством, оно стремится добраться до самого корня. У него свои отношения со смертью. Разумеется, оно, это искусство, смерти смотрело в лицо, но не оскорбляло ее своим скепсисом и тем более не

провоцировало ее — с нею шутки плохи. Бог является для этого искусства авторитетом сомнительным, смерть — безусловным.

Он затихал и принимался следить, как складываются слова в ее речи. Нет, ему было интересно не только сочетание слов, но и то, какие именно это слова. Вот она сказала: «Бог является для этого искусства авторитетом сомнительным». Да ее ли это слова? Быть может, всю эту тираду об искусстве и смерти она подслушала у Глаголева-старшего? Вот Тамбиев, например, мог и не сымпровизировать все это так, играючи, а должен был выносить. А может быть, она этим и отличается от Тамбиева, что у нее это врожденное?.. Да, то, что ему следовало постичь в результате превеликого труда ума, к ней явилось как свойство ее голубой крови, как качество, так кажется Тамбиеву, интеллекта, который был преемственным. А может, Николай, как это было на железной лестнице, все еще смотрит на нее снизу вверх? И виной этому не столько интеллект, сколько плоть грешная?

Он поймал себя на том, что сделал шаг к двери.

— Погодите, а портрет Коленкура?

Она достала книгу и раскрыла ее. Он смотрел сейчас на портрет, но думал о другом.

— Я не ошибся, книга французская.

— Вы торопитесь? — спросила она, и он, взглянув на нее, заметил, что кожа ее лица сейчас синевата. — Торопитесь, верно? А я поставила чай…

Ему не хотелось обижать Софу.

— Ну что ж, если не долго…

— Пойдемте.

Чайник встретил их веселым посвистом, он действительно готовился закипеть. Она открыла дверцу кухонного шкафа и с робкой торжественностью вынула оттуда вазу с печеньем, а потом масло в хрустальной масленке и брусочек сыра. Именно с робкой торжественностью, чуть отстранив от себя, как показалось Николаю, даже не глядя на то, что доставала из шкафа и на стол ставила. Тамбиев втайне посмеялся над ней: ну, конечно, она чуть-чуть стесняется, что стол ее так небогат, поэтому и смешалась. Она наклонилась к шкафу и, как показалось Тамбиеву, достала полкирпичика черного хлеба, достала и тихо вскрикнула. Когда Николай устремился к ней, она лежала, привалившись к шкафу, и лицо ее стало сине-белым, точно в окне вспыхнула молния. Он поднял ее, подивившись, как она легка. Когда он нес ее к кушетке, что стояла тут же, ее рука не удержалась и он услышал, как она ударилась об пол. Испуг объял его: да не конец ли это? Он кинулся в соседнюю комнату в надежде проникнуть в кабинет Александра Романовича и найти

там аптечку, но она окликнула его:

— Не надо, все уже прошло.

Он обернулся. Она привстала. Ее рука, такая же сине-белая, как и лицо, лежала на виске — ей все еще было плохо.

— Это обморок? — произнес он.

— Да, — сказала она и закрыла глаза.

— Голодный? — только теперь он понял — ее свалил запах свежего хлеба.

— Наверное…

Ну вот тут решительно ничего нельзя было понять — на столе сыр с маслом, а ее валит голодный обморок.

Он заставил ее лечь. Когда клал ей под голову подушку, коснулся плеча и нащупал ключицу. Истинно, кожа да кости.

— Да вы ели сегодня, Софа?

Она открыла глаза, в них лежала мгла.

— Нет.

— А вчера?

Она молчала, смежив глаза.

— Я спрашиваю, вчера вы ели?

Она вдруг улыбнулась.

— Нет.

Наверное, надо было накричать на нее, но Тамбиев молчал. Нет, здесь определенно что-то похоже на тайну.

— Ну, тогда есть будем вместе, — сказал Тамбиев и принялся разливать чай. — Погодите, а позавчера вы ели?

Она молчала.

— Ну отвечайте же, ели позавчера?

Она и в этот раз не ответила. Только отвернулась к стене.

— Возьмите, пожалуйста, плед со стула и разверните. Нет, я сама укроюсь…

Укрылась и точно стала невидимой. Не поймешь, куда делась. Чем-то похожа на мумию из египетского саркофага. Да и лицо ее, словно из папируса, тоже было неотличимо от пепельного лика фараоновой суженой. Только и осталось живого — густо-синие капельки сережек в ее ушах.

— А теперь, если можно, чая сладкого. Только чая.

Он ушел поздно вечером. Ни о чем больше не спрашивал. Ему было хорошо, что она рядом. Оттого, что она, такая несмелая и слабая, вдруг обрела власть над ним. От сознания, что без него ей было бы сегодня худо. Но что произошло с нею сегодня? Ну, конечно, она испытывала себя голодом. Хотела понять, где предел ее сил, и, наверно, была обескуражена, что предел недалек. Но и в этом случае, наверно, надо знать, зачем она это делала.

По природе она молчунья. Улыбчива и молчалива. Эта ее

улыбка была будто бы специально изобретена, чтобы меньше говорить. Она улыбалась и тогда, когда соглашалась с собеседником, и тогда, когда хотела сказать ему «нет». В первом случае она будто говорила: «Да, вы, пожалуй, правы, но ваша правота небезусловна». Во втором: «Я не могу с вами согласиться, но тут виноваты не столько вы, сколько я. Подумаю и, весьма возможно, соглашусь».

Видно, она избегала категоричности во всем. Тамбиеву казалось, что это она делала не столько подсознательно, сколько сознательно. По ней, как полагает Тамбиев, твердо сказанные «да» или «нет» делают затруднительным общение с людьми, так как могут столкнуть ее с такими же «да» или «нет» собеседника. Ее отношения с людьми построены на таких полутонах, и они, эти полутона, ею так любимы, что все время есть опасение, как бы эта сложная музыка отношений не затенила истины. Дома, пожалуй, это не опасно, а как в Историческом музее, куда Софа определилась после своего историко-архивного и где она должна объяснять посетителям суть явлений достаточно конкретных?

Она как-то произнесла фразу, которая для Тамбиева была неожиданна: «Стиль, например в одежде, это нечто такое, когда человек помогает природе». Ее одежда, как приметил Тамбиев, чуть-чуть старомодна, нарочито старомодна, и в этом, наверно, ее понимание своей сути. Эти ее длинные волосы, с годами темнеющие, почти червонные, стянутые узлом, эти ее платья, чуть расклешенные, эти блузы с глухим воротом, эти ее зауженные пальто, отделанные мехом, и любовь к муфтам, казалось, были не просто немодны, но даже архаичны, и все-таки это необыкновенно шло ей и делало ее самой собой. Как кажется Тамбиеву, эта ее старомодность имеет прямое отношение к тому, что Тамбиев назвал ее молчаливой улыбчивостью.

И самое главное: вот она появилась с Александром Романовичем в доме у Никитских и встретила отца, которого, быть может, знала по рассказам дяди, а может, слабо помнила. Встретила и как совладала с собой, а заодно с отцом и дядей? Каково было ей, и хватило ли тут ей этой самой музыки отношений?

…Был седьмой час вечера, когда Тамбиев подошел к Никитским. Входная дверь против ожидания была распахнута. Николай протянул руку к дверному звонку.

— Входите! — отозвался голос сверху. Тамбиев испытал чувство, похожее на тревогу. — Глаголев, Маркел Романович.

— Простите, мне Софу! — отозвался Тамбиев.

— Входите, входите!

Железная лестница сейчас была перед Николаем. Он стал

взбираться.

— Входите, пожалуйста. — Да, это был он — в говоре Глаголева не было откровенного оканья, но что-то близкое этому было заметно весьма, видно, он со Средней Волги. — Вы, случайно, не Николай Маркович? Я так и знал! — Он сделал попытку стряхнуть пепел с лацканов пиджака, но это ему не удалось. — Да что мы стоим здесь? Входите! Сонечка уехала к брату моему на Волховский… Прошу вас, — произнес Глаголев и движением руки пригласил войти. — Хотите чашечку кофе? — указал он на горящую спиртовку, над которой был укреплен медный чайник. — Грешный человек, папироса уже на меня не действует, а вот кофе хорошо… Люблю работать, когда вот, как сейчас, кофе…

Тамбиев мог рассмотреть Глаголева. Глаголев казался Тамбиеву каким-то матово-седым. Нет, не только его волосы, но и лицо, шея, руки — все было серебристо-серым, пригашенным и неотличимым от волос. Да и голос у него был негромким, матово-тусклым, комнатным. Трудно представить, как звучал такой голос с профессорской кафедры. Глаголев виделся Тамбиеву не столько ученым-трибуном, властителем умов и сердец своих молодых питомцев, сколько ученым-литератором, творящим в тиши кабинета.

— Занят проблемой, которая, я так думаю, должна интересовать и вас, — произнес Глаголев, заметив взгляд Тамбиева, обращенный на стопку рукописных листов, лежащую в левом углу стола. — Вот проблема, которая не дает мне покоя: могли мы отразить первый удар немцев? Не предупредить — на это мы не имели права, — а именно отразить? Ну, разумеется, учитывая элемент внезапности, которым обладал враг, и преимущество в силах, которые нарастил он в направлении головного удара… Ну, как? Значительно?

— По-моему, да, — согласился Тамбиев, согласился не без воодушевления, и едва не обжегся горячим кофе. — И какой же ответ на задачу?

— Я так думаю, могли, если бы решили эту задачу на уровне века, так сказать. Как решили? А вот как! — Он извлек из стола небольшую грифельную доску, взял кусочек мела. — Вот оно, минское копье… — неожиданно сильной рукой, какая в нем до этого и не угадывалась, он изобразил это копье, нацеленное на Минск с запада. — Как сшибить его? — Он посмотрел на Тамбиева с ободряющей добротой, улыбнулся, точно хотел сказать: «А ведь задача не проста! Совсем не проста!» — Нужны были авиационные кулаки в тылу, отнюдь не ближнем! Много! Хорошо замаскированные! Как только копье обозначилось,

собрать мощь и ударить, ударить стремительно и прицельно. — Он пояснил свою мысль графически — три стрелы устремились к копью. — Главное в амплитуде действия самолетов. Расположенные в тылу, они держат в поле зрения границу на значительном расстоянии и могут быть собраны в течение часа на любом ее участке.

— Вы имеете в виду дальние бомбардировщики?

— Нет, средние, но с достаточным резервом дальности.

То ли кофе крепкий тут виной, то ли пространная реплика, но лицо Глаголева, только что тускло-серое, стало розоватым. Даже ровная линия пробора, разделившая глаголевские седины, стала розовой. Видно, разговор, происшедший только что, глубоко его взволновал.

— Но то, что случилось однажды, может и не повториться! — сказал Тамбиев.

— Вы так думаете? — усмехнулся Глаголев, медленно прихлебывая кофе.

— Да неужели такое может повториться? — спросил Тамбиев. — Нет, не только в этой войне — в истории России?

Глаголев допил кофе, убрал свою доску. Он сидел сейчас задумчиво-печальный. Прежняя бледность как бы вернулась к нему.

— Все может повториться, — сказал Глаголев. — Мы не знаем, какое лето ожидает нас.

Тамбиев был обескуражен. Да неужели мудрость жизни, как и мудрость знаний, подсказала Глаголеву такое? Только подумать: повторится лето сорок первого! Повторится с его великим отступлением, с окружением многотысячных армий, с падением сотен и сотен сел и городов, с уходом России на восток. Да возможно ли здесь повторение?

— Вы говорите, кулаки! Но чтобы собрать эти кулаки, надо их иметь! — не сказал, а отсек Тамбиев. Сама фраза была корректной вполне, но она была произнесена столь нетерпимо, что Глаголев поднял голову и с внимательной грустью посмотрел на собеседника.

— В сорок первом у нас этой авиации не было, в сорок втором мы… мы не можем ее не иметь, — произнес он, все еще глядя на Тамбиева в упор. — Не будем иметь — погубим последнее…

Тамбиев ушел. Ну конечно же Глаголев пытался воссоздать чисто стратегическую картину войны в тот первый, зловещий для нас месяц, понять наши просчеты, главные. Но выводы, к которым он обращался, были ударом обуха. Из всех тех, кого знал Тамбиев, никто не шел так далеко, и это настораживало. Правда,

никто из людей, известных Тамбиеву, не знал стратегию войны так, как ее знал Глаголев. Быть может, на нас надо было обрушить обух, все еще надо было?.. Хотел Тамбиев того или нет, но он должен был признать: этот седой человек в синем пиджаке, обсыпанном пеплом, сказал такое, что хотелось вскрикнуть, так внезапно и жгуче остра была боль.

34

Посол пригласил Бекетова.

— Долго ли вы будете оставаться холостяком, Сергей Петрович?

У Бекетова перехватило дыхание: что имел в виду посол? Екатерина приезжает во вторник, однако Бекетов не говорил об этом с послом.

— Увы, во вторник сладкое холостячество заканчивается, Николай Николаевич, — произнес Бекетов, стараясь водрузить на место упавшее сердце. — Приезжают жена и сын. Вы только подумайте, Николай Николаевич, и сын! Кстати, он у меня шахматист…

— Сегодня же накажу домашним разыскать мои японские шахматы! — произнес Михайлов, приглашая Бекетова последовать за ним. В тот вечерний час он нередко выходил в сад позади посольства. — Вчера мы получили документальную ленту… Было бы уместно пригласить по этому случаю… мир культуры.

— Гостей, разумеется, приглашает посол?

— Нет, зачем же. Просмотр явится удобным поводом, чтобы представить людям искусства Бекетовых.

— Вы полагаете, что гостей примем мы с Екатериной?

— А почему бы и нет?

— Для Екатерины-то это будет нелегко — с корабля на бал!..

— Не беда, Сергей Петрович. У всех нас корабль предшествовал балу.

— Но гостей будет принимать посол? — спросил Бекетов.

Михайлов улыбнулся.

— Если очень попросите, да.

— Я прошу вас, Николай Николаевич.

— Ну что ж, коли просите.

Михайлов дал согласие, а у Бекетова наступили дни ожидания: если просмотр устраивается и для того, чтобы представить лондонским интеллектуалам чету Бекетовых, то, наверно, это непросто и для Сергея Петровича, и тем более для Екатерины Ивановны.

Сколько знает Бекетов Екатерину, жена единоборствовала с Чикушкиным. Как ни старалась Бекетова заманить Чикушкина в музей и показать ему экспозицию, не мог областной владыка выкроить минуты. «Все зависит от Чикушкина, — разводила руками Екатерина. — Придет в музей — будут у нас и деньги, и штаты, и новое помещение для фондов. Но как его заманить в

музей — вот задача!.. Вьюн, а не человек: скользнет меж пальцев — и в воду!.. Как будто бы и понимает. «Выберу минутку и явлюсь, Екатерина Ивановна, надо только минутку выбрать!.. Да, конечно, Екатерина Ивановна, да, да!..» Он испокон веков говорил «да». Сказать «да», значит, не вызвать возражения, а когда дойдет до дела, можно и не сделать. И Бекетов видел, как Екатерина в белой блузе и юбочке с бретелями, с дерматиновым портфелем, в котором, завернутые в вощеную бумагу, покоились дежурные бутерброды с сыром, мерила долгие московские версты, счастливая тем, что вчера добыла копию с дарственной грамоты царя Ивана, а сегодня возьмет приступом государственный архив и отвоюет грамоту царя Петра… Вот только бы Чикушкин пришел в музей и глянул, какие богатства собрала Екатерина Ивановна, все зависит от Чикушкина…

На своем почти двенадцатилетнем пути во славу музея все повергла Екатерина Ивановна, всех заставила пасть ниц, устоял только Чикушкин, не нашел минутки заглянуть в музей… Даже смешно, за двенадцать лет не нашел минутки, а за это время кто только не перебывал в музее: и британский лорд, и Малый театр в полном составе, с ареопагом своих знаменитых старух, и французские парламентарии, и даже академик Иван Петрович Павлов собственной персоной… Стучал палочкой по каменному полу и вздыхал: «Ну, я вам скажу, это же непостижимо!.. Ну, я вам скажу!..» А потом призвал Екатерину Ивановну, посадил ее пред светлы очи свои, молвил: «Вы же… отчаянный молодец, Екатерина Ивановна, такое богатство сберегли для России!..» А она только улыбалась и кивала головой, не скажешь же академику Ивану Петровичу про вековую борьбу: «Мне бы только Чикушкина заполучить, Иван Петрович, а там и помирать не страшно…» А потом началась война, Чикушкин стал директором картофельного совхоза под Москвой и, как доподлинно известно Екатерине Ивановне, благополучно правит картофельной державой. И все, что сберегла Екатерина Ивановна из музейного добра, все, что наскребла правдами и неправдами, одолевая долгие московские версты с дерматиновым портфелем под мышкой, бережно упаковала в ящики из-под китайского чая, добытые в знаменитом магазине на Мясницкой, и отправила за Уральский хребет, чтобы, не ровен час, не досталось это богатство немцу-супостату… Все отправила за Урал, а сама осталась в Никольском стеречь древние изразцы и фрески, одна осталась… Однажды, явившись в Никольское, Бекетов подошел к сторожке, где Екатерина жила сурком, охраняя свое сокровище (Игорька она отослала к сестре, в Солотчу), и в крохотное оконце, накрест перечеркнутое полосками цветной бумаги, разглядел жену,

сидящую на скамье, и будто узрел все эти годы. Да, стоял перед окном и смотрел на жену и будто видел все эти годы, всю жизнь свою видел. Как отпечаток листьев на камне: листа нет, а рисунок его и точен, и девственно чист. Даже голову она подняла, как прежде, с задорной и непоколебимой прямотой, с вызовом, и волосы отвела, как прежде, и бретели у нее соскользнули с плеча, как много лет тому назад… Был миг, летучий и зыбкий, Бекетов не знает, чему он был обязан за этот миг — незримому движению света в сторожке или чисто психологическому эффекту, но миг этот был, и он явил Екатерину, какой она была прежде, стерев седины, растушевав жестокие следы годов…

А потом они сидели с Екатериной на деревянном крылечке музея и Сергей Петрович говорил ей: «Вот дался тебе этот Чикушкин! Пойми, нет его!.. И какой смысл говорить о нем, когда его нет?» А она твердила свое: «Он пять лет у меня уволок, этот Чикушкин! Не было бы его, я бы вон как много успела…» — «Не возьму я в толк сути твоей, Катерина! Какой смысл в твоем гневе, когда до Чикушкина, как от земли до неба? Идешь по пустому следу». — «Нет, не по пустому!» — «Тогда объясни, в чем, так сказать, пафос твоего гнева, смысл философии твоей». — «Боюсь, явится Чикушкин!» — «Ну и что?..» Вот тут-то она и лишилась языка — молчит, будто бы ее в воду окунули. «Я говорю: ну и что?..» — «Хочу быть разгребателем грязи… Хочу сражаться с нечистью, что мешает жить людям, сражаться, как Стеффенс!.. Слыхал?» — «О, простая душа!.. Но Линкольн Стеффенс, он-то в Америке! Там небось не было Октября!» — «А Октябрь — это что, страховка от нечисти?.. Нечисть, как крыса, плодовита!.. Так вот, возьму ведерко мышьяка и пойду искать ее норы…» — «Но нечисть — это корысть?» — «Да, травить корысть, где бы она ни гнездилась!» — «И это, так сказать, твоя жизненная позиция, цель бытия твоего земного?» — «Если хочешь, и позиция, и цель. А разве плохо?..»

…Он все еще считал дни и часы до приезда Екатерины, то есть, разумеется, до вожделенного вторника, когда, явившись к себе, увидел ее спящей. Произошло нечто такое, что не происходило никогда прежде: самолет британских воздушных сил, идущий из Архангельска в Шотландию, вместе с русскими авиационными инженерами взял Екатерину Ивановну и домчал ее до Британских островов. Хочешь не хочешь, а попадешь с корабля на бал!.. Бекетов устремился в посольскую светелку свою и, открыв дверь, увидел ее спящей сном наикрепчайшим. Сын, разумеется, уже гонял мяч на заднем дворе. Видно, за все эти дни и ночи, пока самолет нес Екатерину над дубравами русского севера, а потом над беломорскими и атлантическими водами, она

не сомкнула глаз.

А Бекетов смотрел на шубку жены, отороченную заячьим мехом, экзотическую для Лондона, на сумку из ярко-зеленой клеенки, которую, наверно, заняла у приятельницы перед отъездом, на большой картонный чемодан и думал: «А в каком платье она явится на сегодняшний прием, и есть ли у нее это платье?»

— О каком платье ты говоришь, Сережа, и при чем здесь платье? — спросила она, не отнимая щеки от его ладони. — Ты спроси: как Россия?.. — Она жалась щекой к его ладони, будто только в ней, в этой ладони, была ее надежда и ее защита. — Когда я уезжала из Москвы, электрички с беженцами шли куда-то за Волгу и через Театральную площадь гнали стадо коров… О каком платье?

Он и в самом деле ощутил неловкость: «О каком платье можно говорить, когда вот такое?..»

— Ты как-то растерялась, Катя, — сказал он осторожно — он редко называл ее так.

— Может быть, — согласилась она.

— Не все так плохо, — пояснил он.

— Да, конечно, — был ее ответ.

— Я ожидал тебя встретить не такой, — заметил он.

— Да, да, — подтвердила она, но, кажется, уже думала о другом.

— Мы все-таки пойдем с тобой, Екатерина, на просмотр, — сказал он, помолчав. Он не хотел ее оставлять одну со своими думами.

— Да, конечно, — согласилась она. — Пойдем.

— Ты выехала из Москвы в пятницу? — вдруг осенило его. — Нет, скажи, в пятницу? Так ты не знаешь самого главного — наши расколотили немцев под Гжатском! Как расколотили!

Она ответила с печальной укоризной:

— Да, да…

Она раскрыла чемодан, пошла в ванную. Он слышал, как она вздохнула и, точно застеснявшись, включила воду. А когда выключила воду, Бекетов слышал, как она произнесла внятно:

— Не надо, не надо… — И еще раз так же внятно: — Не надо, не надо!..

— Я не расслышал, Екатерина? — подал голос Бекетов. — Тебе что-то дать?

— Нет, нет, — тут же ответила она.

Никогда прежде он не замечал за нею такого. Да неужели ее ушибло вот так? Он смотрел на нее, как она старательно, по-бабьи расплетает свои странно утончившиеся косы, теперь не

русые, а пепельно-русые, думал: «Наверное, слова бессильны объяснить все, что происходит в России, все Слова бессильны, надо увидеть человека, вот такого… Она как горящая головешка — в ней и огонь, и дым…»

А потом был просмотр. На экране горели русские деревни, и когда ветер сбивал дым, была видна черная земля. Бекетов смотрел на жену. Она сидела, закрыв лицо руками.

— Тебе худо, Екатерина?

— Нет, ничего, — ответила она, но рук от лица не отняла.

«Нет, ее не надо уводить отсюда, — решил он. — Надо, чтобы она была на людях и с людьми, так ей будет лучше».

— Вы что же прячете от нас Екатерину Ивановну? — подал голос посол, когда в зале зажегся свет. — Елена, я говорил тебе о приезде Екатерины Ивановны, — обратился он к жене.

— Здравствуйте, Екатерина Ивановна, — произнесла Михайлова с откровенной приязнью. — Я рада, нашего полку прибыло.

— Благодарю вас, Елена Георгиевна, — произнесла Бекетова.

— По-моему, посол к тебе добр, — заметила Екатерина, улучив момент.

— Кто тебе сказал это? — спросил Бекетов, немало заинтересовавшись.

— Жена посла только что, — ответила Екатерина.

— Но я слышал ваш разговор… Речь же шла об ином.

— Об ином, — согласилась Екатерина.

Но гости уже двинулись к двери, ведущей в банкетный зал.

— Вот сейчас ты мне должна помочь, Екатерина, — произнес Бекетов, переходя с женой из кинозала в банкетный, однако не изменив при этом того спокойно-иронического тона, чуть-чуть торжественного, чуть-чуть меланхоличного, который сопутствовал ему всегда. — Страда начнется сейчас, — добавил он, все еще полагая, что общение пойдет ей на пользу.

Сто человек, перешедших из кинозала в зал банкетный, были отнюдь не новичками на такого рода приемах. Страда начиналась не только для Бекетова, она начиналась для всех ста. Этот прием накоротке, не обремененный ни присутствием сильных мира сего, ни условностями официальной встречи, позволял людям брать быка за рога. Потребовалось не больше пяти минут, чтобы большая говорильная машина пришла в движение и банкетный зал наполнился таким гулом голосов, какому позавидует биржа. Казалось, никогда с сотворения мира рюмка водки и более чем скромный сандвич с кружочком колбасы или пластинкой сыра не в состоянии были вызвать такого потока энергии, какой они вызвали сейчас: завязывались знакомства, импровизировались

тосты, раздавались приглашения.

Подошел Шошин.

— Сергей Петрович, кажется, я говорил вам о Коллинзе… Вот он собственной персоной. Ну, помните, известный биолог?

За Шошиным следовал Коллинз. Костюм из темно-серой материи, благородно неяркой и ворсистой, должен был искусному глазу объяснить все: и положение обладателя костюма, и возраст, и даже характер.

— Знакомство можно установить и на посольском пятачке, но серьезный разговор я предпочитаю вести дома. — Коллинз поклонился Бекетову. — Приглашаю, господин Шошин, вас и вашего друга. Куропаток в винном соусе у меня не будет, но овсяной водкой угощу…

— Как, Сергей Петрович, поедем в Оксфорд?..

Бекетов рассмеялся, с веселой и отчаянной лихостью махнул рукой.

— Ну что ж, я готов!

Они условились, что встретятся вечером в пятницу. Прежде чем вернуться к себе, Бекетов предложил жене обойти посольский садик.

— Там сыро, Сережа, и неуютно, — сказала жена.

— Ну что ж, что сыро? Холодная сырость — хорошо.

Они вошли в садик и неожиданно увидели там Фалина. Он стоял в дальнем конце садовой дорожки и смотрел на небо. Оно было все в дымах, низко стелющихся.

— Вот смотрю на дым. Не принимает его небо! — произнес Фалин, усмехнувшись. — Эта крайняя туча, похожая на носорога, я смотрю на нее уже минут десять, не хочет уходить из города!.. И не уйдет, пока не вернет городу всю гарь. — Он вздохнул, невесело засмеялся. — Говорят, что белые лебеди в ботаническом саду стали черными! — воскликнул он.

«Это он вспомнил ботанический сад по ассоциации с носорогом», — подумал Бекетов.

— Поедете к Коллинзу, Сергей Петрович? — вдруг спросил он, все еще глядя на облако. Сейчас оно удлинилось, обратившись из носорога в ящера.

— Чудак человек этот Коллинз!

— Чудак человек? Это что же значит?

Фалин взглянул на жену Бекетова. Она стояла в стороне, вобрав руки в рукава пальто, — ей было холодно.

— Одно слово, хитер враг! С ним у себя дома непросто, а уж отважиться к нему в нору… Не завидую я вам, Сергей Петрович! — Он вновь взглянул на Бекетову. Казалось, ей стало еще холоднее. — Однако волков бояться — в лес не ходить!

— Именно, — согласился Бекетов.

35

И вот пошли английские мили. Кажется, они придуманы специально для того, чтобы русский человек взял в толк английские расстояния. Преодолеть сто английских миль — победить вечность.

— Вы давно были у Коллинза? — спросил Сергей Петрович Шошина, когда над осенним полем показались чайки — они здесь не только в местах прибрежных.

— С весны не был, да, признаться, не стремился.

— Простите, по какой причине?

— Не могу видеть, как эта Бетти измывается над почтенным Коллинзом.

— Бетти — это жена?..

— Нет, жена само собой, как надлежит быть жене Коллинза, а вот мисс Бетти. Одним словом, там деспотия мисс Бетти: и над людьми, и над морскими свинками… Кстати, видите… нечто вроде леса справа, нет, это не холмы, это деревья — там царство мисс Бетти.

— А Коллинза?

— Я уже сказал, что он на правах подданного мисс Бетти!

Они уперлись в кирпичную ограду, построенную без претензий, но достаточно высокую и прочную, потом свернули налево. Так они проехали минут двадцать, защищенные справа оградой, а слева осенним полем, ненастным и черным. Ограда точно брала в охапку толстоствольные акации, они были густы и по-осеннему темны, эти деревья. Время от времени между деревьями прорывалась островерхая крыша дома и тут же увязала в жестких ветвях акаций. В доме не было света.

— Вон как мрачно царство мисс Бетти, — усмехнулся Бекетов.

— Мрачно? — переспросил серьезно Шошин. Они подъехали к железным воротам, позвонили.

Вышел старик в зеленой фуражке, деловито осведомился, кто пожаловал в столь поздний час, пошел в кирпичный домик, который был виден в открытую калитку.

— Мисс Бетти! — крикнул он в телефонную трубку, крикнул торжественно и подобострастно, и лицо Шошина выразило почтительную робость.

— Слыхали? — поднял он палец. — Это и есть царство мисс Бетти!

Служба мисс Бетти действовала исправно — разрешение было получено

— Будет показывать свинок и собак, не противьтесь, это неизбежно, — сказал Шошин, когда они, сопутствуемые стариком в зеленой фуражке, направились к зданию института — квартира Коллинза была там.

Коллинз вышел навстречу, при этом вначале показался ирландский сеттер, полный радушия и достоинства, а потом его хозяин.

— Здравствуйте, рад приветствовать вас, рад, — произнес Коллинз и посмотрел на сеттера с такой кротостью и храброй гордыней, будто бы сам родил этого пса. — Мне приятно познакомить вас с моим другом мистером Крейтоном. Где вы, Арчибальд?..

Арчибальд шел, поотстав. Высокий, с квадратными плечами, с седой шевелюрой, с усами, не по-английски пышными, заметно подкрашенными, он показался Бекетову чуть-чуть картинным.

— Вы видели вечерние газеты? — спросил Коллинз, когда церемония представления была закончена. — Немцы сообщают, что началась битва за Москву… Мы с Арчибальдом считаем: то, что военные зовут критическим моментом войны, наступило. — Он оглянулся на Крейтона, тот задумчиво приглаживал оранжевые усы, разводя большой и указательный пальцы. — Всегда говорил: «Погубит Англию этот хитрец Уинстон!.. Сам себя перехитрит!»

Бекетов подумал: «Разговор начался так стремительно, что, пожалуй, знакомство с морскими свинками может сегодня и не состояться». Видно, в самый канун прихода русских гостей у Коллинза с его другом был разговор.

— Не слишком ли вы строги к господину Черчиллю? — спросил Бекетов и взглянул на Шошина. — Мы с мистером Шошиным не разделяем вашего гнева…

— Не разделяем, не разделяем, — произнес Шошин и нажал колесико зажигалки — он очень хотел курить.

— Я всегда говорил, мудрость — это не только благоразумие, но еще решительность. Где вы, Арчибальд? Мой друг подтвердит. Он врач-психиатр. Ему и карты в руки!.. Арчибальд, вы, отдавший полжизни изучению психологии глупости… Да, разве я вам не говорил, мистер Бекетов? Работа моего друга так и называется «Психология глупости». Итак, под какую рубрику ваших изысканий вы отнесете поведение нашего правительства? Врожденная или благоприобретенная глупость? Глупость как результат эмоционального взрыва или ошибки в расчетах?

Они стояли сейчас на террасе, образованной поворотом большой лестницы, и если бы не деликатность Бекетова, он мог бы рассмотреть Коллинза в упор. Англичанин был плебейски

низкоросл и широкоскул, с толстым носом, напоминающим садовую землянику, и по той самой присказке, которая гласит, что все лысые любят бороды, начисто лыс и бородат. Когда он говорил, садовая земляника делалась ярко-пунцовой и точно вызревала на глазах.

— По-моему, опасность, нависшая над вами и над нами, в такой мере нас сблизила, что мы можем быть так откровенны, как не были прежде. Ваш старый лозунг, с которого вы начали революцию — «Конец тайной дипломатии», — обретает новое значение…

— Можно подумать, что все это вы сказали Черчиллю? — спросил Сергей Петрович.

— Нет, не сказал, но готов сказать, — отозвался Коллинз и первым зашагал по лестнице. Он шел, не касаясь перил, шагая через две ступеньки, при этом приземистая его фигура стала карликовой, он не столько шел по лестнице, сколько стлался.

Они оставили пальто на круглых вешалках гнутого дерева и, сопровождаемые Коллинзом и его другом, вошли в гостиную, яркая люстра и красные обои которой показались им особенно праздничными после хмари осеннего дня.

— Кембл, пригласи гостей в кабинет! Сделай это для меня, пригласи в кабинет! — В гостиную не вошла, а вплыла госпожа Коллинз. Распушенная юбка с множеством оборок делала и без того не очень миниатюрную фигуру госпожи Коллинз громоздкой. — Представьте, собрала краснодеревщиков со всей империи и соорудила нечто достойное профессора Коллинза, а он, простите меня, работает на… насесте в курятнике! Нет, вы только взгляните, какая красота пропадает! «Мне там не пишется!»

Она попыталась увлечь гостей и показать свое сокровище, но Коллинз сказал:

— Не надо, милая, мы тебе верим! — И госпожа Коллинз обратила строгий взгляд на маленькую женщину, которая вдруг появилась в квадрате открытой двери.

— Вы хотите что-то сказать, мисс Бетти?

— Нет, ничего, — произнесла женщина и исчезла.

— Я сейчас буду, мисс Бетти, — сказала ей вслед хозяйка, чтобы как-то победить неловкость, и, обратившись к гостям, заметила: — Вот я и говорю, на насесте пишется, а здесь не пишется.

— Ты пойми, дорогая, твои мрамор, бронза и медвежьи шкуры мне не нужны! Ты была в шотландском домике Бернса? Вот это моя стихия!

Вновь в темном квадрате двери блеснули толстые окуляры

мисс Бетти.

— Вы хотите мне что-то сказать, мисс Бетти? — повторила хозяйка.

— Нет, ровно ничего.

— Я иду, я уже иду, — произнесла госпожа Коллинз, однако с места не двинулась. — Сегодня разговаривала с одним знакомым поляком, у него магазин готового платья у вокзала Ватерлоо. «Не разумею вас, англичан. О чем вы думаете? Поймите, вы живы, пока живы русские!.. Поймите, пока живы русские!» — Она вздохнула и встала. — Теперь я пойду.

— Послушай, милая! — крикнул Коллинз вслед жене. — Если этот старый тори не явится через пять минут, я приглашу гостей к столу. — Он умолк на минуту, дожидаясь ответа жены, и, не дождавшись, крикнул еще громче: — Ты готова, милая? Запомни, через пять минут!

Но Коллинзу не пришлось привести свою угрозу в исполнение: отворилась дверь, и мистер Раймонд Хор, выставив пикой бороду, точно желая пронзить ею всех, кто окажется у него на пути, появился в гостиной. Как-то знатная родословная не очень сказалась на облике Хора. Гость Коллинза был невелик ростом, худ и жилист. Эта жилистость выдавала в нем характер и, пожалуй, силу, которую он тут же выказал — рука у него была крепкой.

— Вот если бы вы пришли минутой раньше, любезный Хор, то услышали бы нечто любопытное, что рассказала нам Клементина, — произнес Коллинз. В этой реплике Бекетов почувствовал не столько намек на опоздание, сколько желание завязать первый узелок спора, в котором хозяин был заинтересован.

— Я понимаю, рассказ Клементины был так хорош, что не поддается воспроизведению, но, может быть, усилия четырех мужчин могут как-то восполнить слабые силы одной женщины, — произнес Хор весело — слишком явственно в словах хозяина было приглашение к бою, и Хор готов был этот бой принять.

— Я попытаюсь это сделать, а мои гости мне помогут, не так ли? — Борода Коллинза обрела упругость, от бороды Хора ее отделяла ладонь, того гляди, не спросясь хозяев, бороды пойдут войной друг на друга. — Лавочник у вокзала Ватерлоо, то ли чех, то ли поляк…

— Поляк, — сказал Крейтон, не выпуская изо рта трубку. Видно, он был не большой охотник до разговоров — за последние полчаса это слово было первым, произнесенным им.

— Так вот, знакомый поляк сказал: «Не пойму я вас, англичан. О чем вы думаете? Поймите, вы живы, пока живы

русские!»

— Именно это сказал поляк? — спросил Хор, устраиваясь в кресле.

— Именно это, а разве мало?

— Нет, почему же? Если предисловие больше, чем того требует книга, которой оно предпослано, надо подумать: «Что это за книга?»

— А если говорить по существу? — Голова Коллинза была запрокинута — Коллинз не хотел отклоняться от сути.

Хор вдруг встал и пошел к открытой двери. Он шел не торопясь, явно фиксируя внимание присутствующих на том, как осторожно воинствен его шаг. Маленькие ноги Хора, обутые в штиблеты, ступали бесшумно, точно шелковистый ворс гамаш, которым были прикрыты ботинки Хора, обволок и подметки с каблуками. Хор скрылся за дверью и через минуту вернулся с газетой.

— По-моему, этого у вас еще нет… — произнес он и положил на стол газету. Она хранила дыхание дождливого вечера. — Вот здесь все сказано… Последнее сообщение.

Чтобы рассмотреть текст, Бекетову надо было наклониться, однако аншлаг был виден достаточно отчетливо: «Русская столица перенесена на Волгу — завтра Москва может быть сдана». Бекетов взглянул на Шошина. Он встал и принялся тереть правую щеку, будто она неожиданно занемела.

— Москва сообщила о боях за Клин, — заметил Шошин, продолжая тереть щеку.

— Простите, но ваше радио и прежде запаздывало, — заметил Хор и, бросив быстрый взгляд на хозяина, добавил: — Но это не столь важно. Главное в другом: что делать Англии? Вот когда действует формула: «Промедление смерти подобно!»

Мокрая газета продолжала лежать на столе, не вызывая больше интереса, — все, что ей надлежало сказать, она сказала. Где-то в глубине дома послышался грубо-повелительный голос мисс Бетти:

— Мне все ясно!

Кто-то нес стопу тарелок, нес, мощно ступая, и каждый его шаг отмечали тарелки — там продолжали накрывать стол к обеду.

— Именно: «Промедление смерти подобно!» — подтвердил Коллинз, и его короткие пальцы ухватили бороду. Еще мгновение, и он ее оторвет. — Есть одно решение — европейский десант! Его надо было высадить вчера, однако и сегодня не все потеряно. Сегодня!

Хор смущенно опустил глаза. Его большая, много больше,

чем могла бы быть, рука легла на краю стола, пальцы ударили дробь, ударили неправдоподобно громко, видно, Хор когда-то был барабанщиком.

— Вчера — быть может, сегодня — поздно. Я не удивлюсь, если завтра московские дивизии немцев появятся в Дюнкерке.

Коллинз встал, молча повел рукой:

— Не думаете ли вы, что настало время послать Гесса на континент, на этот раз уже в качестве нашего эмиссара? Так сказать, бумерангом!

Пальцы Хора застучали по столу с еще большим ожесточением.

— Я этого не сказал и не мог сказать, но вы же знаете, что такое мнение есть. Я прошу русских гостей извинить меня! Я прошу извинить: то, что я скажу, не мое мнение, но оно весьма распространено. Мы — подданные его величества короля, и мы имеем право думать об интересах отечества! Прежде всего — отечества. Ведь русские, когда требовали их интересы, пошли же с немцами на мировую! В восемнадцатом и тридцать девятом! Дважды! И сочли это решение более чем патриотическим! Почему мы не можем сделать этого? В сущности, это тот же Брест!

— Нет, господин Хор, это не Брест, — подал голос Шошин.

Ритмичная дробь, которую только что выбивал Хор, прервалась.

— Простите, почему?

— Брест помог русским отстоять независимость России, — сказал Бекетов. У него чесались руки, слишком этот Хор был празднично тщеславен, не по времени праздничен и тщеславен. — А здесь, как я понимаю, кабала!

— Не большая, чем та, какую приняла после Бреста Россия!

— Большая! Несравненно большая! — воскликнул Бекетов и добавил тихо: — Если Британия идет на такой мир, она должна отдать себя с потрохами. У Британии нет тылов России!

— Британский тыл — Америка! — тут же парировал Хор.

— Когда вы попали уже в пасть Гитлеру, Америку просить о помощи поздно! — был ответ Бекетова.

Хор сжал руку в кулак, сжал со значением.

— По-моему, правота на стороне вашего оппонента, — заметил Коллинз, взглянув на Хора.

— Признайтесь, вас встревожило то, что я сказал? — Вопрос Хора был обращен к Бекетову.

— Да, но только в той мере, в какой это сказал английский военный.

— Точнее, бывший военный. Может быть, вам интересно мнение тех военных, кто лишен привилегии сказать о себе

«бывший»?

— Да, конечно.

— Приезжайте ко мне в Брайтон, у меня будут военные…

— Ваши единомышленники?

— Нет, почему? Вас это настораживает?

— Ничуть.

— Так вы будете?

— Я готов.

— А господин… «Это не Брест»?

Шошин заулыбался — Хор нашел ему подходящее имя.

— Мне трудно обещать, мистер Хор. — Шошин положил руку на край стола и выбил дробь с не меньшим искусством, чем Хор. Все рассмеялись.

— Ну что ж, я готов пригласить полковника Багрича, мы знакомы.

Хор еще сучил пальцами, но они вдруг утратили способность издавать звук.

— Ваша тревога за судьбу Британии вызвана тревогой за судьбу России, — сказал Хор, очевидно чувствуя, что беседа клонится к концу. Надо ли было, чтобы русские плохо думали о нем?

— Верно, — согласился Бекетов, он не хотел сжигать всех мостов. — Господин Хор не должен винить меня — это моя родина.

— Но ведь в Британии моя родина.

Теперь поднялся Коллинз. Он вдруг пришел в веселое настроение.

— Послушай, Крейтон, в твоем табеле глупых поступков… авантюра Гесса — глупость?

— Нет, — сказал Крейтон угрюмо.

Гости покинули дом Коллинза в одиннадцатом часу. Хозяин проводил русских к машине. Дождь прекратился, но небо все еще было беззвездным. Дом был на холме, невысоком, в этот вечерний час ветреном. Было приятно стоять здесь, подставив лицо сырому ветру.

— Хор — это кливденское пораженчество? — спросил Бекетов, когда машина выехала за ворота.

— Да, Кливден, каким он выглядит в сорок первом, — ответил Шошин.

— Это так же опасно, как прежде? — спросил Бекетов.

— Опаснее, — был ответ.

…Всю дорогу, пока машина стремилась к Лондону, в сознании стояло: «Опаснее… Опаснее…»

— Вы напрасно отказались ехать к Хору, — сказал Бекетов

Шошину. — В том, что сегодня происходит здесь, нет проблемы важнее.

— Какой именно? Кливден?

— Да, Кливден, хотя он и зовется сегодня Брайтоном.

Шошин закурил, приоткрыл окно, выпустил первое облако дыма. Казалось, оно некоторое время гналось за машиной, потом отстало.

— У вас есть кто-нибудь в Москве? — спросил Бекетов.

— Старик отец. Больной насквозь — разновидность водянки. Разволнуется и превращается в гору. Был редактором буденновского «Красного кавалериста». Ходил до Варшавы. Боюсь, как бы не сотворил чего над собой. Третьего я дал телеграмму…

— В Наркоминдел?

— В Наркоминделе у меня никого нет, на Страстную.

— В газету?

— Да.

Он погасил окурок, закрыл окно.

— Михайлов небось не спит, — сказал Шошин, помолчав. — Ждет нас.

— Да, не спит, — согласился Бекетов.

Бекетов был в посольстве в половине двенадцатого. Как и предполагал Сергей Петрович, посол бодрствовал. На столе лежала недописанная телеграмма — по всему, итог дня. Не дописал, ждал Бекетова. Хотел дополнить: как восприняла московское наступление немцев Англия, что думает делать она.

— Какая-то чертовщина, Сергей Петрович, только что слушал Копенгаген, — сказал Михайлов, указывая на включенный радиоприемник. — Передают бог знает что!

— Что именно?

— Нечто такое, что и повторять не хочется.

Прежде Михайлов был мужественнее.

— Бои на московских окраинах?

— Да, что-то в этом роде!

Вошла Елена Георгиевна.

— Вот так я и буду ходить всю ночь и просить, чтобы ты съел свой сухарик?.. — Она указала на стакан с уже остывшим чаем и нетронутый бутерброд с сыром.

— Мне приятно тебя видеть, — улыбнулся посол.

— Сергей Петрович, что же это будет? — вздохнула она и взглянула на приемник, взглянула, не скрывая неприязни. — Копенгаген сообщает, что немцы в Химках!

— Елена, — простонал посол.

— Так это же передано по радио, на весь мир передано.

— Ты думаешь, радио не передает глупостей? Именно оно к этому и приспособлено!

— Тем лучше, милый, — произнесла она, направляясь к двери. — Казнить себя тоже не след. Ночь дана, чтобы спать! — произнесла она. — Англичане работают днем!

Она ушла. Было слышно, как Шошин прошел в кабинет — заступил на ночную вахту.

— Рассказывайте, — посол взглянул на недописанный лист, будто хотел сказать: «Все, что вы скажете, сегодня ночью будет известно Москве».

Бекетов напряг мысль. Что в разговоре, происшедшем в обиталище Коллинза, было главным? Как это часто бывает в минуты тревоги, обострились, стали непримиримыми две точки зрения: опасение, что европейский десант англичан может опоздать, и в связи с этим обвинение, адресованное Черчиллю, — он предает русского союзника. Легче воссоздать беседу, труднее расставить в ней акценты. Едва ты пытаешься установить эти акценты, беседа проваливается в тартарары и становится мало значительной.

Что же в ней было главным, главным для нас?

Посол слушает Бекетова.

В сознании посла уже сложились последние фразы депеши. Его обязанность: не только обратить внимание на опасность, но предложить средство с опасностью совладать. Каким будет это средство в нынешний нелегкий момент? Вот это, пожалуй, самое трудное. Из всех нелегких задач эта самая трудная!

— Вы полагаете, что вам все-таки стоит побывать у Хора? Не одному, а с кем-то из наших военных? Важен не Хор, а все, кто позади него. Впрочем, важен и Хор. В некотором роде разговор с врагом в лоб! Ну что ж, дипломатия — это и разговор с врагом. Даже больше разговор с врагом, чем с другом, не так ли?

Последние слова Михайлова не давали Бекетову покоя. Вопреки переменчивым флюидам времени Михайлов держался принципов, в которые уверовал с революцией: если он считает, что это полезно делу, он готов идти хоть в берлогу к черту, нисколько не думая о том, как к этому отнесутся другие. В обычных условиях и это не доблесть, в обычных условиях.

36

Когда Бекетов сообщил полковнику Багричу о приглашении Хора, у почтенного полковника это не вызвало энтузиазма.

— Это какой Хор? Племянник той кливденской дамы?

— Кажется, кливденской, — ответил Бекетов.

— А зачем, собственно, мне к нему ехать?

Бекетов, как мог, объяснил: политически нам выгодно уяснить, чем дышат сегодня те, кого представляет Хор.

— Скажите послу, что Багрич приболел! — заметил полковник. — Приступ, мол, радикулита. Меня действительно поламывает… Знаете, эта английская болезнь, — он вдруг пошел по комнате, смешно потягивая ногу, как ходят при радикулите. — Застужу поясницу — завтра не встану.

Бекетову показалось, что Багрич не хочет ехать к Хору не только потому, что боится простуды. Возможно, он полагал: то, что дозволено дипломату, военному дипломату не дозволено.

Бекетов не пошел к послу и выехал к Хору один.

Как было условлено с Хором, Бекетов пересек Брайтон и, едва машина въехала на приморское шоссе, свернул на дорогу направо. Лаконичное «private», стоящее у начала дороги, дало знать Сергею Петровичу, что он уже был в пределах владений Хора. Родовой особняк Хора, сложенный из песчаника, был отодвинут от дороги и полузатенен кронами старых деревьев, сейчас почти безлистых. Солнце садилось за холмами в противоположной стороне от дома, и большие, цельного стекла окна дома пламенели.

Хор вышел навстречу Бекетову, едва привратник сообщил ему о приезде русского гостя, и, к удивлению Сергея Петровича, повел его не в дом, а в глубь сада. Они долго шли аллеей, устланной осенней листвой, пока прямо перед ними не возник флигель, сложенный из бревен. Флигель был срублен грубо и ладно. Солнце не проникало в сад, но дом не потонул в предвечерних сумерках — дерево, из которого был сложен дом, обладало способностью удерживать свет.

Видно, Хор намеренно ограничил число приглашенных — он готовился к серьезному разговору. Узнав о том, что не приехал Багрич. Хор произнес полушутя-полусерьезно, намекая на кавалерийские петлицы полковника:

— Кавалерия сегодня стала не та — утратила подвижность.

Кроме хозяина и Бекетова за столом оказался пехотный майор весьма преклонных лет, настолько преклонных, что казалось, самая большая неловкость, которую он испытывал, это

его майорские погоны. Он приехал с юга, дальнего юга — лицо его было прокалено солнцем, такого солнца на Британских островах не бывает. Бекетов сказал ему об этом. Он заулыбался, при этом губы его порозовели и ярче стали ровные линии зубов. С улыбкой он становился моложе.

— Да, это юг, но не столько благословенный, сколько адский.

— Послушай, старина Хейм, спой-ка вот эту, тобрукскую, — попросил Хор.

Хейм вдруг запел вполголоса:

Солнце, как красная промокашка, легло на пески,
и там, где были глаза озер, остались черные дыры…

Он сделал такое движение ладонью, будто хотел разогнать облако табачного дыма над головой.

— Как говорил один мой друг в Тобруке: «Смерть идет на тебя вместе с твоей печалью». Не надо предаваться печали, не надо. «Солнце, как красная промокашка…» — пробовал он петь.

Бревна, из которых был сложен дом, казались здесь округлыми, гладкоструганными. Матицы, на которых покоился потолок, словно были вытесаны из таких же могучих стволов. Голландская печь, обложенная майоликовыми плитами, горела не первый час и разогрела дерево. Пахло влажной хвоей, смолой, лесной свежестью.

— Эту песню поют в Тобруке? — спросил Бекетов, когда Хейм попробовал вновь напеть ее.

— Да, только в моем дивизионе, а сочинил ее мой начштаба. Мне нравится, а вам? Нет, скажите прямо: нравится или нет? Быть может, вы думаете, проста слишком? Проста, а берет за душу! — Он помолчал, испытующе посмотрел на Бекетова. — Хотите, расскажу историю?

— Тобрукскую? — спросил Бекетов.

— Тобрукскую, — ответил майор.

— Рассказывайте!

Он помолчал, задумавшись. Потом схватил со стола бутылку, поднес к свету, не без труда прочел по-французски (он был не тверд во французском):

— Реми Матран. Коньяк. Мэзон фондэ… — Обратил взгляд на Хора, который, открыв дверцу печки, бросил в нее несколько поленьев. — Вначале выпьем, потом расскажу! — Хейм разливал коньяк, напевая все ту же песню про красную промокашку, и, вскинув руку, в которой держал бокал с вином, осушил его. — Как говорил мой друг в Тобруке: «Веселые погибают последними!» — Он сел, взглянул на Хора, пальцы которого уже

напряженно и твердо стучали по столу. — Послушай, перестань. Если хочешь, чтобы я рассказал эту историю про бригадного генерала Томаса Клея. Ты знаешь Клея? Нет? Тогда слушай. Когда я служил в артиллерийском штабе, я бывал на Виктория-стрит. Моя задача: доложить карту, все то, что произошло за истекшие сутки! И неизменно мой рапорт принимал генерал Клей. Война уже шла, большая война! Были известны и Дюнкерк, и черные пески Аджедабии, и переходы из Дерны в Тобрук без глотка воды, и бури, песчаные бури, которые гремели над Киренаикой, превращая день в ночь, и от которых не было спасения. Одним словом, уже был ад войны, и в нем солдат — жертва этого ада. А в это время на Виктория-стрит было солнечно и тихо. Перед генералом Клеем всегда были стакан горячего чаю и булочка, пахнущая ванилью… Да и сам генерал Клей был чем-то похож на эту булку: приятно подрумяненный, сдобный, усыпанный родинками, будто изюмом. Как и надлежит быть сдобной булке, Клей казался вежливым необыкновенно. Одним словом, если был ад войны, то, наверно, был и ее рай — кабинет генерала Клея. И вот минуло два года. Тобрук, окопы и колодцы, занесенные песком, немцы, осадившие город, черные лица солдат, от жары черные, может быть, от голода… И неизвестность: «Когда кончится этот ад?» Именно неизвестность — немцы осадили город, однако в плен не сдавались! Нет ничего страшнее неизвестности — страшнее жажды! И вот новость: «Сбили немца! Летчик сгорел, а штурман цел». Краснобородый немец — шкиперская борода! Генерал в штабной палатке допрашивает. Не генеральское дело немца допрашивать, но тут случай особенный — нужен пленный! Взглянуть бы, он и на немца не похож, больше швед, чем немец. Но в палатку всем смертным вход заказан. Если и подойдешь, то не ближе… Одним словом, от меня до палатки — стометровка. Я бегун, я любое расстояние на глаз определяю. Слышно, как воюет там генерал с пленным немцем. «Ах ты, собака! Да будешь ты отвечать?! Ах!.. Ах!..» Даже здесь, в ста метрах от палатки, мороз шел по коже, а как там, в палатке? Генерал был свиреп! И генерала понять можно: Тобрук в осаде, а впереди неизвестность. А потом вышел генерал темнее тучи. Признаться, я вздрогнул: вот, видно, волк!.. Когда присмотрелся, что-то знакомое… Погоди, да не ванильная ли это булочка?.. — Он посмотрел на Бекетова, усмехнулся. — Теперь вы поняли меня? Чтобы понравилась песня про красную промокашку, надо быть в Тобруке.

— А на кой бес мне твой Тобрук, когда надо спасать Англию?! — вдруг выпалил Хор. Видно, коньяк оглушил и его.

— Стой, я что-то не понимаю. Разве тобрукская крепость не

стоит на Темзе?

— Нет, конечно.

— Тогда что стоит на Темзе? — спросил Хейм.

— А все то, что стоит на Темзе.

— Погоди, пришел твой черед давать объяснения.

— Если завтра падет Москва, ты думаешь, что нас спасет твой Тобрук?

— И Тобрук!

— Нет!

— Тогда что спасет?

Хор запнулся. Не от робости запнулся. Ему предстояло сказать главное. Он протянул руку к столу, застучал.

— Перестань, Хор.

— Нет уж, разреши.

— Хочешь набраться храбрости?

— Хочу.

— Тогда уж лучше выпить…

— Давай.

Наливая Бекетову, Хор бросил с веселой лихостью:

— Из нас троих вы можете оказаться самым трезвым. Вы так хотите?

Бекетов рассмеялся.

— Нет, так не получится. Просто мой автомобиль расходует меньше горючего.

— Но он не застрянет в дороге?

— Нет.

— Хорошо!

Они выпили. Хор пил легко, будто переливал из одной посудины в другую. Выпив, не спешил закусить, ел мало. Его друг, наоборот, выпив, медленно розовел и вихрем набрасывался на еду, причитая:

— Французы!.. Ничего не скажешь, умеют!.. — И, рассмеявшись, добавлял лукаво: — Я хочу сказать, это у них получается!

Однако, пьянея заметно, он не упускал нити разговора. Не потому что был пьян меньше Хора. Просто его держала в напряжении, как думал Бекетов, обида. Трудно сказать, что это была за обида. Быть может, уязвленное самолюбие (где они теперь, седые майоры?). А возможно, неизвестность и тревога, о которой он говорил только что: тревога за Тобрук, за Англию, за собственную жизнь, которая вместе с Тобруком и Англией мчится невесть куда. Обида жила в Хейме, тревожила, держала настороже и ум, и память: там, где другие могли забыть, майор помнил.

— Если не спасет Тобрук, что спасет? — спросил Хор. — Давайте закурим, а? — вдруг осенило Хора.

— Давайте, — сказал майор.

Не вставая, Хор дотянулся до письменного стола, выдвинул ящик, не положил, бросил пачку распечатанных сигарет, сигареты рассыпались по столу.

— Простите мою неловкость. Курите!

Закурили. Дым висел над столиком, словно отказываясь подниматься.

— Так что спасет? — произнес Хейм. Эта обида, точно ребристый камень, залегла внутри — вздохнешь и поранишь грудь.

— Я хочу, чтобы это знали русские: не все силы на Британских островах представляет Черчилль…

Хор пошел по второму кругу, думал Бекетов. Осторожно, но верно он возвращался к оксфордской теме.

— Есть силы, и влиятельные… — продолжил Бекетов фразу Хора — ему хотелось ускорить возвращение Хора к оксфордской проблеме, заговорить по существу.

— Я хочу выделить именно это слово — «влиятельные», — подхватил Хор. Он произнес эту фразу с такой готовностью, что, казалось, в ней, только в ней суть сегодняшней беседы, и этим, только этим Брайтон отличается от Оксфорда. Не было бы этого слова — «влиятельные», — вряд ли бы был резон приглашать сюда Бекетова.

— Я так и думаю: как бы влиятельны ни были эти силы, народ враждебен им… — сказал Бекетов и взглянул на Хейма. Тот хотел участвовать в поединке хозяина с русским, однако ничего не понимал. «Да скажите же, о чем речь, — будто говорил его взгляд. — Не такой же я балбес, чтобы не понимать!»

Хор загасил первую сигарету и зажег вторую.

— Народ — это профсоюзы? — спросил он.

— Нет, не только. Армия тоже, — сказал Бекетов.

Хор взглянул на Хейма. Хозяину дома показалось, что беседа достигла кульминации.

— Давайте выпьем! — предложил Хор.

Выпили еще раз. Хейм выпил с той же отвагой и охотой, что и прежде, но всем своим видом будто говорил: «Какого черта вы дурачите меня! Погодите, я здесь что-то вроде стратфордского памятника Шекспиру: красив, но нем?.. Не хочу быть Шекспиром, хочу быть Хеймом! Я сказал, не хочу быть безмолвной бронзой!» Бекетову показалось, если бы Хейм произнес это сейчас, то у него вышло бы не так твердо, как прежде, — глаза Хейма заволок синеватый дымок хмеля. Он пьянел неудержимо.

— Ловлю на слове! — заметил Хор с воодушевлением, которое было непонятно. — Если армия — это и есть народ, то народ… против Черчилля!

Хейм встал, — видно, его терпению пришел конец. Он поднял над головой загорелый кулачище, однако опустил его на стол осторожно — он был еще не так пьян, чтобы стучать кулаком по столу.

— Я хочу понимать, что здесь происходит.

Бекетов рассмеялся.

— Пусть растолкует мистер Хор. По праву хозяина…

— Сядь, объясню потом, — сказал Хор.

Кулак Хейма взвился вновь и опустился на стол с такой силой, что бутылка с остатками коньяка подскочила.

— Нет, теперь!

— Выпьем, — сказал Хор.

— Нет, растолкуй… Выпьем потом!

— Слушай. Прошлый раз, когда я был у Коллинза, речь зашла о Гессе… — начал Хор необычно тихо и с тревогой взглянул на Хейма. Тот все еще дышал трудно — удар кулаком потребовал сил немалых. — Я сказал, если немцы возьмут сегодня Москву, дело может повернуться так, что Гесс станет… вроде бумеранга! Ты понял, бумеранга?..

Хейм продолжал грозно раскачиваться.

— Конечно, понимаю!

— Тогда выпьем, — сказал Хор.

— Нет, растолкуй, успеем выпить.

Каждое новое слово Хору давалось не без труда — он понимал, что продолжать рассказ небезопасно, но продолжал его. Был бы один Хейм, он, пожалуй, оборвал бы рассказ. Перед Бекетовым это делать было неудобно. Оборвать рассказ — значит выказать непорядочность, больше того, трусость. Он должен был досказать, досказать, не пропустив ни единого слова, не исказив рассказа.

— Я говорю: «Русские ошибаются, что это политика одиночек! Она, эта политика, опирается на силы немалые!» А наш русский гость говорит: «Если эти силы не поддерживает народ, они, мол, не страшны…» А я спрашиваю: «А что вы называете народом? Если профсоюзы, то вы, пожалуй, правы! А вот если армию, прав я…»

Хейм перестал раскачиваться.

— А вот тут ты остановись. Значит, по-твоему, армия хочет, чтобы Гесс полетел обратно и предложил Гитлеру мировую?

Хор дотянулся нетвердыми пальцами до стола, выбил дробь.

— Не совсем так…

— Перестань! Не совсем? Всего лишь «не совсем»? Значит, по-твоему, армия хочет послать Гесса к фюреру? Да, в Тобруке хотят! В Тобруке, зарывшись по горло в песок, без воды, без воды! Так? Да, так? — Он ухватил стол цепкими ручищами и, легко вскинув, пустил его по винтовой лестнице с такой силой, что бутылка с французским коньяком со звоном отозвалась в первом этаже.

— Будем считать, что британская армия против полета Гесса на континент, — сказал на прощание Бекетов Хору, смеясь. Сергею Петровичу хотелось сохранить весело-ироническое настроение до конца.

Бекетов вернулся от Хора в одиннадцатом часу. Жена спала, прижав к груди, как ребенка, раскрытую книгу.

— Ты спишь? — спросил он. Ему почудилось, что он не слышит ее дыхания.

— Нет.

— Надо спать, уже поздно.

— Не могу.

Она приподнялась. Ее волосы, неожиданно рассыпавшиеся, делали ее похожей на ту, которую он встретил много лет назад и полюбил. Ему стало жаль ее.

— Поспи, сон — это хорошо…

— Только и осталось, что спать, — рассмеялась Екатерина.

Она переложила книгу на тумбочку, встала.

— Отпусти меня домой. Не могу я так: в мире все идет ходуном, а я как неприкаянная. Да неужели я так мало значу, чтобы не найти себе дела? Я дела хочу, пойми! Ну что я здесь? Приехать сюда — значит, начисто потерять место в жизни. Быть может, в мирное время… Но сейчас, сейчас!

«А ведь она права, — думал он, — права. Действительно, вот так закричишь от боли… От голых осенних деревьев, которые лезут мокрыми сучьями в душу, закричишь. От пористого нерусского неба, заваленного пыльным войлоком дыма. От слоистого тумана, который лежит на тебе. Она права, однако что делать? Был бы русский институт, пошла бы преподавать язык. Был бы музей, пошла бы туда. Была бы школа, наконец… Единственное вакантное место — полуреферент-полусекретарь в отделе культурных связей посольства. Фалин сказал: пыльная работенка! Все, что идет из воксовского особняка на Большой Грузинской, приходит сюда. Новые книги в бумажных, по военным временам, обложках и репродукции, тиснутые на сытой, по довоенной поре, меловой бумаге, партитуры Чайковского и Хачатуряна, проспекты Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, разумеется, доиюньские, с многоцветными

фотографиями павильонов, чем-то похожих на сказочные дворцы Багдада, рукопись книги корреспондента «Красной звезды», только что прошедшего с боями по немецким тылам от границы до Гжатска, бесценная рукопись, в которой едва ли не впервые рассказано, как Красная Армия била немцев… Кипы книг, нот, рукописей, фотографий, железные коробки с фильмами, альбомы репродукций — все, отмеченное уже нелегким военным временем (желто-серая бумага, плохо просыхающая краска). Пыльная работенка? Может быть, действительно пыльная, но чистая и благородная, призванная восславить труд и ратную доблесть Страны Советов. Увлечет ли это Кагю, даст ей удовлетворение, покажется благородным? Наверно, легче проникнуть в значимость дела, труднее проникнуть в душу книги, рукописи, нотной записи, почувствовать ее, зажечься ею. Однако что это за работа? Миссионера, несущего новую веру, культуртрегера, просто солдата пропагандроты?.. И сумеет ли Екатерина совладать со всем этим при ее возвышенном отношении к своему призванию в жизни, при ее привередливом чистоплюйстве, при ее робости и деликатности? И хватит ли у нее культуры и познаний в языке? Но и это не главное препятствие — Екатерина ведь должна работать под началом Бекетова. Мыслимо это? Быть может, посол поймет это и согласится, а как поймет сама Екатерина? Не ровен час, примет это за некую разновидность семейственности…

Да надо ли говорить об этом Бекетову с нею? Не лучше ли, чтобы ее пригласил посол? Теперь же пригласил».

Бекетов пошел к послу. Дверь в кабинет посла распахнута. Люстра в кабинете не горит, но журнальный столик освещен — настольная лампа перенесена туда. За столиком посол с Игорьком играют в шахматы. И не скажешь, чей ход, — партия сковала обоих. Бекетов не видел лица посла, но лицо сына было видно. Не столько лицо, сколько его чуб, упрямо вздыбленный, выдающий и настырность его, и терпеливость, и упорство, не столько бекетовское, сколько Катеринино. И Бекетову вдруг стало хорошо, что вот этот чубатый, двенадцатилетний — плоть от плоти его, бекетовский. И Сергей Петрович вдруг вспомнил свою мать. Наверно, ею владело то же чувство, когда однажды в первые годы революции, увидев сына на трибуне Михайловского манежа, она вдруг обратилась к стоящему рядом человеку в форменной куртке железнодорожника, совсем неизвестному ей, и сказала вне связи с происходящим: «А ведь это мой сын…» Как же велика была в ней потребность в этих словах, если, произнося их, она должна была пренебречь тем, что она, нестарая женщина, дочь известного в Питере присяжного поверенного, учительница, заговорила на

людях с человеком, с которым в иных обстоятельствах угроза смерти не заставила бы ее заговорить первой.

— Вот оно — чувство непобедимое!.. — сказал Бекетов. — Сын мой, сын мой, — повторил он, улыбаясь, и вошел в кабинет…

… — Послушай, Катя, тебя спрашивал посол…

Она рассмеялась. Быть может, это свойственно людям, которые долго живут друг с другом: она знала, какой стезей пойдет сейчас его мысль.

— Ты это сейчас придумал?

На другой день ее действительно пригласил посол. Она пошла, решив, что не даст себя уговорить.

— Игорек рассказал вам, Екатерина Ивановна, какую партию он у меня вчера выиграл? — спросил посол.

Что говорить, издалека он начал свою операцию, подумала она и утвердилась в своем намерении не дать себя уговорить.

— Нет, от него не дождешься. Он был заметно взволнован, мне даже показалось, радостно взволнован.

— Мне говорили, что он у вас ума отнюдь не математического, верно? Так бывает… шахматист-гуманитарий?

— У него все еще сто раз переменится. Впрочем, дипломатия — дисциплина гуманитарная или математическая? — спросила она.

Ее подмывало сказать: судя по тому, как вы рассчитали все повороты этой беседы, несомненно, математическая.

— Вы хотите сказать, дипломатия, как математика… Внешне далека от жизни, на самом деле сама жизнь, не так ли, Екатерина Ивановна?

— Дипломатия, как архитектура: в ней гуманитарные науки сомкнулись с математическими, — сказала она.

Он помолчал. Такое впечатление, что последняя ее фраза чуть-чуть обезоружила его, внесла смятение в стройные ряды его мыслей.

— Я тут поделился с Сергеем Петровичем одной идеей, — сказал Михайлов. — Сергей Петрович не одобрил моей затеи, но мне она кажется стоящей…

Она решила говорить напрямик.

— Мне достаточно, что он стоит во главе нашего семейного клана, — сказала она, смеясь. — Стать под его начало и в посольстве, значит, утратить остатки независимости…

— А если под мое начало? — спросил посол.

«Ну вот, здесь начинается нечто дипломатическое, каверзное», — подумала она.

— Каким образом?

— Под начало посла, — сказал он и затих. «Как она?»

— Хорошо, что не под начало наркома! — попыталась она обратить эту фразу в шутку.

— Я не настаиваю, но, может быть, есть резон вам подумать, — закончил посол.

— Я подумаю, — ответила она.

— Мне так кажется, у вас должно получиться, — сказал он ей на прощание. У него была необходимость произнести эти несколько слов на прощание, он хотел ободрить ее.

— Подумаю, — повторила она, не изменив интонации. Тем, что и слова, и интонация были повторены, она хотела показать, что заканчивает эту беседу, не уступив ни на йоту.

Она вернулась домой, не заходя к мужу. Впрочем, она знала, что у Бекетова сегодня нелегкий день и, возможно, его в посольстве нет. Но Бекетов вскоре явился.

— Игорек лег? — спросил он, хотя видел спящего сына — его кровать была за шторой, полузанавешенной сейчас.

— Лег, — ответила она, не поднимая глаз и не выказывая желания говорить.

Он помолчал. Это, в конце концов, становилось невыносимым. Наверно, у него возникло желание сказать дерзость и взломать это ее молчание, даже у него, но он произнес примирительно:

— Поспим и мы. Сон даст силы тебе и мне.

Но Екатерина не шевельнулась. Не он, она хотела разговора, даже в молчании своем, как ему показалось неприязненном, хотела разговора.

— Вот ты говорил: «Сейчас война, а все остальное потом…» Так ты сказал?

— Да, я так сказал.

— А честно ли это?

— А почему не честно?

— Дать подлости укрыться за картофельными буртами, честно?

— Но ведь не в этом главное, пойми…

— И в этом! — На секунду она замкнулась в своей броне — копила злость, решимость копила. — Вот ты был на Печоре и… вернулся, так?

— Вернулся, как видишь.

— Вернулся к тому, кто послал тебя на Печору. Прямым путем к нему? Верно я говорю?

— Ну, предположим…

— И смотришь на него глазами едва ли не влюбленными и, этак улыбаясь, киваешь головой, точно он посылал тебя не в

печорское пекло, а на золотой ялтинский песок…

— Ну и что ты хочешь этим сказать?

Она все куталась в свой клетчатый плед, будто с каждым словом ей становилось все холоднее.

— Только одно: честно это?

— Знаешь что? Давай спать. Спать, спать. Или нет? — Он пошел по комнате и, оглянувшись, увидел ее на белом поле стены. Ссутулившаяся и завернувшаяся в плед, она выглядела сейчас девочкой. — Я ведь думал об этом. Пойми, думал!.. Конечно же, я мог ему сказать, как тебе сейчас… Все начистоту! У меня бы хватило и слов, и прямоты! Но этого не надо было делать. Пойми, не надо!.. Сейчас надо собрать все силы, чтобы одолеть изверга, все остальное потом.

— И это… потом?

— Даже это… в первый же день после победы…

Она усмехнулась.

— А победителей судят?

Его вдруг осенило — надо заговорить о чем-то ином, да, собрать силы и переключить многотонный состав этого разговора на другие рельсы.

— Ты была у посла? — спросил он ее.

— Да, конечно.

— И что?

— Ничего, — ответила она. — Тут прилетел какой-то наш летчик, привез тебе письмо.

— От Егора? — спросил он, принимая письмо, хотя нужды в вопросе не было — на конверте почерк Егора. — Значит, была у посла? — спросил он, не распечатывая письма.

— Я уже сказала, была. Ты хочешь спросить, как? Обещала подумать.

Кремень не так тверд, сказал он себе и вскрыл письмо.

Оно было написано на бланках метеосводки и помечено 12 октября. Егор писал, что приехал с оказией в Щелково и встретил дружка-летчика, улетающего в Лондон. С ним и пересылает это письмо.

«Серега, когда ты получишь это письмо, быть может, решится судьба Москвы, а вместе с ней и России… Крепко верю: там, где лежит судьба Москвы, на веки веков легла судьба отечества нашего».

Писал, что Сережка где-то под Ржевом в мотоциклетной роте, Ксения в Ясенцах последние дни. Дожидается свекра, который из Суздаля перекочевал в Ивантеевку. Потом следовало несколько строк о разговоре с отцом.

«Мой старик не упускает случая, чтобы атаковать меня.

Вспомнил свои прошлогодние пророчества о погонах на солдатских мундирах и гвардейских полках на манер Преображенского. Вспомнил, как я его высмеял тогда и предал анафеме, чтобы ткнуть меня под самую печенку: «Чья взяла?.. Тогда вы готовы были меня освистать, а как ныне?» Вот что интересно: что-то из отцовских пророчеств сбывается, хотя я, как ты помнишь, с ним сражался насмерть и готов сражаться…» И по печатному тексту бланка, там, где речь шла о силе ветра и высоте облаков, приписка: «Если однажды нагряну к тебе, соберись с силами и постарайся устоять».

Час от часу не легче: с одного бока Екатерина, с другого — Егор. Того гляди дух испустишь от натиска такого! Если ненароком явится друг в Лондон, быть бою! В том, как Бардин воспроизвел слова отца, видел Бекетов: чем-то позиция Иоанна была сыну симпатична. Дело не в погонах и гвардии, которые прочили нашей армии, хотя если спросили бы Бекетова, то он бы и с погонами повременил, ему по душе нынешняя форма. Он ее носил. По Бекетову, Егор должен был дать старику бой наижестокий. А как Егор? Дал он ему этот бой? Не выказал жалости, не смалодушествовал?.. «Что-то из отцовских пророчеств сбывается…» Нет, Бекетов такого не написал бы. Мы дети Октября и сильны октябрьской верой, октябрьским знаменем и за стяг и веру эту пойдем до конца… Да и Егор пойдет, разумеется, но к отцу снисходителен. Так полагает Бекетов, снисходителен.

37

Где-то на исходе одиннадцатого по Кузнецкому идет первый ночной патруль. Точно само военное время отбивает секунды на больших часах, шаг размеренно весом. Так могут идти люди, облеченные правом. Да и то сказать, сейчас они в ночи военной первое начальство — любого могут остановить.

— Пропуск? — вспыхивает фонарик и гаснет. — Можете идти. — Видно, солдат с фронта — фонарик с моторчиком, трофейный, слышно, как он жужжит в ночи.

Патруль прошел. Тишина, почтительная тишина. Обитатели Кузнецкого, что несут свою полуночную вахту у домов, затаили дыхание.

— Гитлер грозится открыть шлюзы на Москве-реке, так, чтобы и холм кремлевский ушел под воду…

— Мало ли какие глупости говорит Гитлер, надо ли повторять это, товарищ?

— Я молчу.

И опять тихо. Только слышно, как идет патруль в ночи, где-то на Неглинной он сейчас, а может, уже на Петровке. Истинно, железным его шагом само военное время отбивает ритм…

В наркомате паковали архивы. Камины министерства, нетопленные с сотворения мира, неожиданно ожили. Трубы, заросшие паутиной и пылью, отказывались пропускать дым. Многослойные облака стояли в кабинетах.

Бардин не без любопытства наблюдал за сподвижниками по отделу. Вот когда сказываются характеры! Вологжанин вопреки дыму и пеплу сидел за письменным столом в белоснежной сорочке, в урочный час ел свой бутерброд, как обычно, был спокойно-рассудителен, сохраняя самообладание, и работал за троих. Кузнецова норовила заманить Бардина в угол поукромнее и, роняя слезы из глаз и носа (она плакала легко), вопрошала: «Что будет, что будет?»

Из Наркоминдела на Курский вокзал уже шли грузовики, там стоял под парами специальный состав на Куйбышев. Приходили наркоминдельцы, ушедшие в ополчение, обязательно в сопровождении кого-то из однополчан. Были эти однополчане один колоритнее другого: длинноволосый гример из Малого — его шевелюры на три парика хватит, молотобоец с автозавода, приземистый, с лиловыми ногтями (маленько задел кувалдой), студент ИФЛИ в ковбойке и квадратных очках — он пришел с подружкой, однако подружку оставил у памятника Воровскому и,

осекаясь на полуслове, подбегал к окну и смотрел вниз: как она там? А однажды пришел седой человек в опорках, на его выцветшей гимнастерке поперек груди были точно отпечатаны темно-зеленые полосы, видно, гимнастерка выцвела, когда ее еще украшали чонгарские нашивки. Человек погрузил на полковую полуторку пять мешков с войлоком, отблагодарил наркоминдельских хозяйственников за щедрость и уехал почти счастливый: «Теперь медсанбат с подушками…» Кто-то спросил: «Однако не щедр Наркоминдел, чего так?» Оказывается, человеком в выцветшей гимнастерке и солдатских опорках был посол Аралов. В прошлом посол, нынче начштаба полка, доброволец Красной Армии. «А коли посол, мог бы попросить что-нибудь и потяжелее войлока. Хрусталь, например, знатную бронзу, фарфор — не грех солдатам хлебнуть чайку и из фарфора! Все одно эшелон, стоящий под парами, не поднимет всех наркоминдельских сокровищ…» — «Он от этого войлока на седьмом небе, посол Аралов!.. А что ему твой хрусталь, его вместо подушки не положишь — жестко!»

Далеко за полночь, когда в длинных наркоминдельских коридорах стихли шаги и даже Вологжанина сморил сон, Егор Иванович раскрыл дверцы канцелярского шкафа, в котором Августа берегла старые бумаги. На пол упала синяя картонка, заполненная скорописью и удостоверенная круглой печатью. Бардин подумал, что синяя картонка была мандатом времен революции, а оказалось, что это письмо, а печать приложена к нему, чтобы удостоверить написанное. А содержание письма было значительным, что действительно нуждалось в подтверждении. Письмо сообщало, что на Волге в жестоком бою погиб Николай Маркин. Егор Иванович ощутил, как у него сдавило сердце. Вот как скрестились твои пути тернистые, время. Маркин, легендарный Маркин… Тот, кто первым явился в российское Министерство иностранных дел и возгласил власть революции. Тот, кто первым произнес это счастливо-бедовое «Ключи на стол!» и этим дал понять старым обитателям Дворцовой: «Точка, ваше время истекло, господа…» Тот, что проник в тайнопись дипломатии царской и расшифровал договоры, хранившиеся в железных комнатах… И вот синяя картонка с извещением о смерти героя. Как ни скупа картонка, а уразуметь можно: Маркин погиб, командуя военным судном в неравном бою с береговой артиллерией. Если быть точным, то эта артиллерия, укрепившаяся на волжских берегах, расстреляла Маркина вместе с его кораблем. Да погибали когда-нибудь так дипломаты?

Бардину позвонила Ольга.

— Приезжай, Ксении плохо…

Он просил объяснить, что такое, но ответ был не многим пространнее:

— Очень плохо.

Бардин сумел приехать в Ясенцы лишь в одиннадцатом часу вечера и издали заметил дымок над трубой бардинской обители. В доме не спали. Ему открыла Ольга.

— Что так поздно? Я бы легла, да вот белье поставила…

Она впустила его, но в дом не вошла, дав понять, что хочет говорить с ним.

— Плохо, что ли? — спросил Бардин. Они стояли сейчас в темных сенцах. Ольга держала руки у груди, и они дышали жарким и добрым дыханием.

— Все из-за этой бомбы, что упала позавчера на ларь москательный… Осветило, как днем! Вот ей и стало худо: сердце стиснуло и держало до утра, — произнесла она горячим шепотом. — Какая там эвакуация — ее в соседнюю комнату не перенесешь!

— Спит она?

— Спит, слава богу. Положила рядом Иришку и уснула.

Они прошли на кухню.

— Ты ел? У меня есть синенькие с перцем! По-моему, ты любишь, а?

— Ленька любил с перцем. Там у них на Кавказе все с полымем, — произнес Бардин ненароком. Он вспомнил, что Алексей, муж Ольги, действительно любил синенькие.

— Да, Алексей… — сказала она.

Он ел, как всегда, с аппетитом. Она сидела у окна, устремив на него свои затянутые дымкой глазищи. Он глядел на нее время от времени, и она казалась ему дочерью дремучего бора, бог весть как появившейся в их доме. Было в ее глазах, похожих на отстоявшуюся в лесных бочагах воду, в разлатых бровях, в самой коже ее лица, не тускнеющей в своей яркой смуглости даже за длинную московскую зиму, было в ней что-то неожиданно дикое, нездешнее. Да и нравом она была под стать зеленым глазищам и неубранным бровям — необузданно лихая, больше похожая на мальчишку, все рвалась свалить Егора с ног. И еще подумал Егор в тот вечер, глядя на Ольгу: вот две сестры, Ксения и Ольга, а как разнолики… Для Ксении ее знатная родня была чем-то живым, что она чуяла в крови своей. Егор мог застать ее стоящей перед старинным гобеленом (Ксения говорила на старинный манер «гобылен») и пытающейся распознать в затейливой вязи линий нечто такое, что, казалось, ушло безвозвратно. Иногда Ксения извлекала бог знает откуда железный ларец, усыпанный

самоцветами, и, вздыхая, открывала его. Некогда все это в семье Ксении звалось, наверно, фамильными драгоценностями, но сейчас вызывало жалость… Да, было чуть-чуть жаль тех далеких людей, которым эти милые пустяки могли доставлять радость. Именно пустяки: часы, сделанные в форме ореха, обрывки коралловых бус, скрепленные золотом, обломок броши, золотая запонка. Все непривычной формы, не похожее на то, что было миром сегодняшних вещей, что видел Егор каждый день. Однажды она, стыдясь, показала Егору столовую ложку… «Взгляни, вот как выглядела наша монограмма, — произнесла она, робея и волнуясь. — Ты только взгляни, монограмма!» Время источило серебро, от ложки осталась половина. Егор смотрел на ложку, и ему виделся далекий предок Ксении, старик с подагрическим румянцем, не очень опрятный и жадный, который истер песочным языком серебро, пощадив разве только монограмму… Где-то в заветном углу ее платяного шкафа хранилось бальное платье прабабушки. Она могла вдруг облачиться в это платье и пройти из одного конца квартиры в другой, робко кокетливая и недоступная, странно похожая на свою прародительницу, портрет которой Егор видел в альбоме, заключенном в плюшевый переплет, кажется тоже доставшийся от прабабки. «Ой, бабушка Ядвига была вертихвостка. Дед был ее третьим мужем», — говорила Ксения не без восторга, но сама была иной: Егор — он был для нее «свет в окне».

Одним словом, Ксения была шляхтянкой, для которой Речь Посполитая была отнюдь не отвлеченным понятием, а вот Ольга… Она закончила свой садоводческий, мечтала переселить помидоры с грядок на ветви и получить многолетнее томатное дерево. Она работала и споро, и красиво, работала для себя. Главное, что это ей доставляло радость, остальное не в счет. Егор не раз наблюдал, как, вооружившись садовыми ножницами, она охорашивала деревья. Там, где она прошла, деревья точно выпрямлялись, обретая рост и стройность. Ей было приятно подать к завтраку садовую землянику, диковинно крупную, еще хранящую прохладу земли, или встать до зари и, играючи, окопать все деревья сада. Она являлась из сада румяная, с рассыпавшимися волосами… Ксения, которая в сестре души не чаяла, любила усадить ее рядом и расчесать ее «непокорные»… Все гребешки в доме давно были без зубьев, однако эта операция продолжалась вновь и вновь и сопровождалась смехом, когда из первозданной тьмы Ольгиных волос вместе с зубьями гребня извлекались сухие яблоневые листья, смолистая сосновая хвоя и даже обрывки бересты… В доме Ольгу звали «наша Оля», любили, жалели и боялись прежде всего ее железных объятий, при этом

Егор боялся больше всех. Сказать, что сестры были разными, не все сказать. Они были людьми разного мира, среды неодинаковой, быть может, непохожего корня. То, что волновало Ксению, не трогало Ольгу, было ей чуждо в такой мере, что казалось неправдоподобным, что их вызвала к жизни одна мать. Егор нередко задумывался над этим, однако найти ответ было нелегко. Впрочем, был один ответ, для Егора убедительный: Ольга была младше Ксении лет на семь, на те самые семь лет, в течение которых свершилась революция… Это и явилось той межой, которая разделила жизнь одной и другой в такой мере, что казалось, они выросли в разных семьях.

Бардин ел свои синенькие и в какой раз думал о судьбе сестер, Ксении и Ольги. А Ольга смотрела на Бардина и говорила, что Иришка выросла из платьев, всех своих платьев и, если бы у Ольги дошли руки, она бы перешила ей свои. Прошлой ночью, когда бомба угодила в москательный, в кухне высыпались стекла, и она призвала кривого Николая с того конца Ясенцев, чтобы он вставил окна. Он вставил одно окно и, получив поллитра, запил, запил и пропал. Еще она говорила, что соорудила посылку для Сережки, однако не успела обшить ее мешковиной, вот обошьет и отправит.

Бардин слушал ее, и ему чудилась в этом нехитром рассказе Ольги Ксенина интонация. Никогда Ольга не была похожа на Ксению, а вот сейчас похожа, думал Бардин. И еще думал: почему она так похожа на Ксению сегодня, именно сегодня? Не оттого ли, что все сказанное Ольгой Бардин слышал прежде от жены и привык слышать от жены? Да, дело не только в Ольге, но и в нем, Бардине. Почему он говорит с нею о делах, в сущности, не самых важных, покорно говорит? В иную минуту Бардин остановил бы ее на полуслове, а сейчас слушает с такой робкой внимательностью, какой у Бардина отродясь не было.

— Повезешь Ксению за Урал? — спросил он.

— Я-то готова, да ей будет нелегко, — ответила она уклончиво и печально посмотрела на Бардина. Печь остывала, но все так же были обнажены руки Ольги, все так же бежали наперегонки от плеч к запястью семь ее родинок, мал мала меньше.

— Не доедет?

Она закрыла глаза, долго сидела так, не шелохнувшись, точно углубившаяся в свою думу, на веки веков тайную.

— Может и не доехать, — наконец ответила она.

А потом они сидели у Ксении и Егор говорил:

— Надо ехать, ехать, пока не поздно…

А Ксения молчала, только смотрела в упор. Он знал, он

помнил по тем юношеским годам, когда видел ее глаза у самых своих глаз, видел: они только кажутся серыми, а на самом деле зеленые.

— С кем ехать? — наконец спросила она. — С тобой, Ольга?

— Да, с Ольгой, — подхватил он. — С кем же ехать, как не с ней? Она дала мне слово.

— А почему тебе не поехать с нами?

Бардин ждал этого вопроса. Он, этот вопрос, был в ее взгляде. Она живет в ином мире, то, что для него очевидно, ей надо еще постичь.

Пойми, как я могу просить об этом сейчас! Ну только представь, как?.. Должна быть у меня какая-то совесть?.. Никто не просит — я буду просить. Никому и в голову не приходит просить. Ты только подумай: Москва горит, немцы в двух шагах от Химок. К тому же ты представляешь, что будет, если все начнут упрашивать отпустить их с женами?

— Не просят потому, что все здоровы. Разве я просила бы, если бы была здорова?

Лучше было бы и не начинать этот разговор. Ну что ей сказать? Нет, в самом деле, что ей сказать? Вот и Ольга смотрит с укором, и для нее все сомнения Ксении убедительны. Видно, надо сказать о Стокгольме, не должен говорить, нет права, а надо, иначе ее не убедишь.

— Может статься, что завтра я должен буду лететь бог знает куда.

Она отвела глаза, устремила их в никелированное «яблоко» на спинке кровати, спросила не Егора, а этот ком никелированного железа:

— Куда?

У него лопнуло терпение:

— Да мало ли куда? В Стокгольм!

Она не сводила глаз с «яблока».

— Значит, меня… умирать за Урал, а сам в Стокгольм?

Он взглянул на Ксению. Господи, как она его сейчас ненавидела! Что он может сказать к тому, что уже сказал?

— Ты, ты совесть имеешь, в конце концов? — спросил он тихо. Тише, чем хотел бы. — Пойми, горит Москва! Подумай не только о себе… Ну, подумай! Ты… — Он задыхался, его большое тело точно взбухло, оно будто не умещалось в комнате. Он опрокинул столик, пепельница покатилась по полу, подпрыгивая. Не поднимая ее, он вышел из комнаты. — В восемь придет машина, будьте готовы! — крикнул он уже со двора, однако, закрывая калитку, подумал: «Надо ли было так резко? Может, и в самом деле «умирать за Урал»?.. Не надо, не надо!.. Да уж что

теперь делать?»

Ночью он приехал на Казанский вокзал. В кромешной тьме, сталкиваясь с такими же, как он, и тщетно пытаясь разминуться, переползая под вагонами едва ли не на четвереньках, перебегая через площадки и вспоминая нечистую силу во всех ее видах, Бардин отыскал наркоминдельский эшелон и в дальнем купе третьего вагона Ксению с Ольгой и Иришкой.

— Ну вот теперь у меня отлегло, — сказал он, чтобы что-то сказать, и поцеловал во тьме холодную руку Ксении. — Придет день, и мы вновь соберемся в Ясенцах, все соберемся… — Он выпустил руку жены и, беспомощно смятенный, напрочь незрячий, стал искать Иришку. — Где ты, Ирина? Ну, отзовись. — Он тронул ладонью губы дочери. Они были тверды и немы. — Ты что же приумолкла? — Он вновь приник к руке Ксении — она, эта рука, была непривычно легкой и непобедимо студеной. — Ну, дайте хоть взглянуть на вас… Вы это или не вы? — молвил он и повел зажженной спичкой во тьме. Ксения уткнулась лицом в угол, а Иришка стрельнула из тьмы немигающими глазами, которые показались ему белыми.

— Жестокое время! — проговорила Ксения. — Жестокое, жестокое…

А потом он стоял в тамбуре с Ольгой и говорил ей, сжимая ее большую, ощутимо нагруженную руку:

— Вся надежда на тебя, Ольга! Была бы моя тетка Ефросинья рядом, сказала бы: «Тебя нам господь послал!..»

А Ольга вдруг ринулась к нему из тьмы, обвив руками, ткнулась горячим лицом в грудь, а потом вдруг заплакала по-бабьи голосисто, в три крика. Бардин не знал, что она способна так плакать…

38

Поздно вечером Бардин просил разыскать Кузнецову. Она явилась уже в двенадцатом часу.

— Егорушка Иваныч, этак вы меня могли и не застать — второй эшелон уходит утром…

— Да, утром, но только не на восток, а на запад…

Ее глаза повлажнели, она улыбнулась и тут же заплакала.

— На западе немцы, Егорушка Иванович.

— В Стокгольм летим, голубушка. — Она была, пожалуй, единственной, кого он называл так. Ее это и настораживало, и воодушевляло — что вкладывает Егор Иванович в это «голубушка»?

На какой-то миг слезы точно запеклись в ее глазах: она не знала, радоваться ей или плакать.

— До Стокгольма ли сейчас, Егорушка Иванович?

— Именно до Стокгольма.

Она сникла.

— Погодите, но я все погрузила. Мой гардероб…

— Бог с ним, с гардеробом, пусть едет за Урал.

— Нет, Егорушка Иванович, нет.

Бардина взорвало:

— Не нет, а да! Вот вам два часа на сборы.

— Погодите, почему только два часа, когда до утра еще пропасть времени?

— Сколько вам надо?

— Ну, часов пять…

— Валяйте. В четыре будьте здесь!

Ее точно волной смыло — только хлопнула дверь, выходящая в коридор, да застучала по паркету штукатурка…

Когда поднялся бардинский самолет и вначале лег курсом на восток, а потом, набрав высоту и развернувшись, взял на запад, Егор Иванович сидел у иллюминатора. Как ни силен был мороз на высоте и густы снеговые тучи, Бардин видел в ослепительно ярком свете луны неоглядные просторы, забеленные студеным дыханием ноября, ярко-черные полосы лесов, синие реки, высвеченные луной, города на берегах рек, как и леса, черные, без единого огонька, и неистовство закипающего боя, несмотря на пять тысяч метров, отделяющих самолет от земли, грозного. Бардин знал: там, внизу, на бескрайней равнине, скованной дыханием зимы, Россия пошла в свое первое наступление на немца, пошла рывком, пытаясь смести врага напором армий, прибывших из прикаспийских степей, из неоглядного Зауралья, со

всех краев державы… В самом накапливании этих армий, которое велось одновременно с боем на изматывание, было нечто исконно русское: вначале отнять силу, а потом смять… Наступление только-только начиналось, еще неизвестно, как оно могло повернуться и какой конец ждал его, еще тревога, а может быть, неуверенность владели сердцами: а не скопил ли немец по примеру наших в тылу своих наступающих армий резервную армию, способную на контрудар ответить еще большим ударом?.. Однако решение состоялось и армии пошли в наступление, наступление, которое могло быть большим или меньшим в этой войне, но должно быть по-своему решающим. И, глядя на сине-белую равнину, которая все еще расстилалась под самолетом, Бардин думал: не явится ли эта зимняя одиссея новым подвигом России? И еще думал Егор Иванович: где-то там, на просторном поле, высветленном лунным сиянием, на берегу озера, что сейчас вспыхнуло посреди снегового поля, или у обочины дороги, которая рассекла негустой лес надвое, должен быть и Сережка… Бардин не знал, как он там, но казалось, огонь всех пулеметов скрестился на нем, и губительное артиллерийское пламя шло на него, на Сергея, и удар танковых пушек, беспощадно прицельный, всех пушек, сколько их было на фронте, обратился против Сергея… И было бесконечно горько от сознания: сын в адовом огне, а ты забрался высоко-высоко и смотришь, как там казнят сына, смотришь и не пытаешься помочь… И вновь вспомнились слова Ксении: «Кинься в ноги Воскобойникову, умоли, пусть убережет Сережку…» Однако не просто совладать с тем, что идет на тебя стеной! Большая победа в войне — избавление от сатаны для тебя и для Сережки. Для Сережки! И все то, что ты делаешь, служит этому. И эта ночь в твоей жизни, и этот полет через линии фронтов, и все, что тебя ожидает завтра…

Он вспомнил Коллонтай, какой видел ее последний раз. Это было немногим больше года назад в том же Стокгольме, на все той же Виллагатан, где Бардину предстоит быть теперь. Только что был подписан мир с финнами. Все в ее кабинете напоминало век девятнадцатый: книжный шкаф с медной по полированному дереву отделкой, бювар с нарядным тиснением, кресло с цветной подушкой, фотографии близких и самой Александры Михайловны, некоторые в старомодных овальных рамах, и ваза с цветами рядом с чернильницей. Цветы здесь не вянут, всегда свежие. Несмотря на позднюю пору (был октябрь, с сизым туманом и моросящим дождем), в вазе, стоящей на столе, лилии были нетускнеющими. Видно, Александра Михайловна любила эти цветы. «Шведы знают, что Москва заинтересована чрезвычайно в том, чтобы шведский нейтралитет не был

нарушен», — произнесла Коллонтай. «Шведы сказали вам это?» — спросил Бардин. «Да, шведский премьер, с которым я говорила позавчера, при этом в выражениях достаточно определенных: «Дружба с Советским Союзом является основной опорой Швеции…» — «Это задача для нас и на завтра?..» — спросил Бардин, он хотел этот разговор довести до конца. «На завтра?.. — повторила его вопрос она. — Нет, на завтра… больше: сберечь нейтралитет Швеции и удержать финнов…» Она была прозорлива, Александра Михайловна, она видела из своего стокгольмского далека, как повернутся события через год: шведский нейтралитет сберечь удалось, однако финны в войне…

«Но у вас есть умение говорить с финнами, Александра Михайловна, даже в обстоятельствах чрезвычайных весьма», — заметил Бардин, он имел в виду недавние переговоры с Финляндией о мире, к которым Коллонтай была причастна. Она встала и, подойдя к шкафу, на котором стояла фотография отца, отодвинула ее от края. «Если это произойдет, иного выхода нет…» — сказала Александра Михайловна. Бардин понял ее слова так: «Если финны все-таки выступят, очевидно, задача изменится: сберечь шведский нейтралитет, убедить финнов выйти из войны…» Разумеется, задача могла выглядеть и иначе: сберечь нейтралитет Швеции и склонить ее присоединиться к союзникам. Но Александра Михайловна не обманывалась, вряд ли это было реально. А может быть, и все остальное было не очень реально, по крайней мере сегодня, ведь немцы придвинулись к самым стенам Москвы, того гляди враг взберется на Поклонную гору…

И Бардин вновь стал думать о нашем наступлении: «В самом деле, не новая ли зимняя одиссея началась на российских просторах?»

…Бардин и Кузнецова были на Виллагатан в девятом часу.

— Александра Михайловна у себя? — спросил Егор Иванович первого секретаря, который встречал их на аэродроме.

— Да, разумеется, — ответил он. — Наверно, уже сделала гимнастику и работает. Как принято в Стокгольме, она начинает рано: в девять у нее уже могут быть посетители…

Действительно, Коллонтай уже принимала, однако, узнав о приезде Бардина, вышла ему навстречу. На ней было темное платье, отделанное мехом. Она любила темные платья — она была светлой, и темные платья ей очень шли.

— Я вас помню, — произнесла она и протянула руку. — Только что лондонское радио сообщило, что наши войска отбили Клин. Для вас это не новость?

— Новость, Александра Михайловна.

Она увидела Кузнецову, которая, смутившись, отступила к

двери, и поклонилась ей.

— Вас я тоже помню. Не вы ли помогали мне разыскать этот кабинет на четвертом этаже Наркоминдела, в котором читали прессу послы?

— Я, Александра Михайловна.

— Вот видите, узнала.

— Спасибо.

— Узнала, узнала, — улыбнулась Коллонтай, а Бардин сказал себе: у нее улыбка какая-то ласково-сановная. В этом она не виновата, это от долгого обращения с людьми, которые смотрели на нее снизу вверх.

Они поднялись этажом выше, где были приготовлены для них комнаты, а Кузнецова все повторяла:

— Ах, какая женщина!

Бардин рассмеялся.

— Нет, это я должен говорить: «Ах, какая женщина!»

Еще в тот приезд в Стокгольм Егор Иванович обратил внимание, как добротно был поставлен этот дом, как он был налажен. Даже в нынешнее нелегкое время в самом ритме жизни, в котором жил этот дом, была спокойная целесообразность. Только и слышалось: «Александра Михайловна хотела бы…», «Александра Михайловна просила…» Именно так мог сказать и дежурный по посольству, и советник, и шофер, и глава торгового представительства, и радетельная повариха-кормилица.

И еще Бардин в тот раз приметил, а сейчас готов был подтвердить: была в Коллонтай светоносность, редкая способность излучать радость, и отблеск этого света лежал на всех, кто имел отношение к дому. Впрочем, в облике дома сегодня угадывалось и такое, чего тогда не было и быть не могло, — он жил по законам военного времени. Да, посреди стокгольмского благополучия, которое так характерно для страны, полтора столетия не ведавшей войны, был дом, живший по законам самой свирепой из войн. Казалось, что камни дома обрели чувствительность кожи, так они воспринимали температуру времени. Маленькая антенна на крыше посольства была обращена на восток. Каждый раз, когда события на востоке достигали своего апогея, окна дома на Виллагатан будто накалялись добела, и требовалось время, и немалое, чтобы пламя смирилось — свет в окнах посольства словно и не гас… У посольства был свой замеряющий температуру событий термометр, чуткий и безошибочно точный, — скромный посольский бюллетень. Наверно, в городе, где выходят три десятка ежедневных газет, отпечатанных на лучшей в мире газетной бумаге, добротно иллюстрированных, многостраничных,

вряд ли может быть услышан слабый голос скромного посольского издания, камерного, по виду любительского… Оказывается, может! Тысяча экземпляров бюллетеня мгновенно расходилась в Стокгольме. Срочная стокгольмская почта, посыльный, специальный министерский курьер, посольский нарочный — все средства связи большого города, способные донести пакет с известием, безусловно, заслуживающим внимания, приходили в движение… И пакет доставлялся по адресу: видный писатель, генерал в отставке, пишущий ежедневные обзоры военных действий для шведского агентства, бургомистр Стокгольма, давний друг Советов, редакция большой столичной газеты, депутат парламента, Общество друзей СССР — содружество бессребреников, в глазах одних — безнадежных чудаков, в глазах других — благородных энтузиастов, всемогущий суверен шведского королевства, ассоциация медиков. У бюллетеня крепкие крылья — советское посольство. Именно крепкие — посольство, во главе которого Коллонтай. Полушутя-полусерьезно бюллетень зовут в Стокгольме «Голос Коллонтай». Что-то было и в самой Коллонтай от ее посольского издания: вера и храбрость и еще раз храбрость… Те пятнадцать лет, в течение которых Коллонтай представляла СССР в Швеции, были годами сложными: война с Финляндией, советско-германский договор, потом вторая война с финнами. Не каждому послу под силу такое, а тут еще посол-женщина, как известно, до Коллонтай женщины в послах не значились!.. Нужен был авторитет Александры Михайловны, чтобы совладать с задачей. У нее был дар: она умела обращать то, что зовется авторитетом, на пользу делу, которому служила.

…В одиннадцать Бардин был у Коллонтай. Его встретила молодая женщина, одетая с подчеркнутой тщательностью (белая, тонкого шелка блузка, несмотря на свирепый мороз за окном, темная юбка, длинная), и попросила подождать, обнаружив в говоре легкий шведский акцент. «Видно, добрая подружка Александры Михайловны, — подумал Бардин. — Сподвижница ее скандинавских странствий и деяний».

Егор Иванович ждал минут пять. Дверь кабинета открылась, и вышел человек в куртке, украшенной крупными медными пуговицами. В приемной кроме Егора Ивановича было несколько человек, однако человек в куртке безошибочно угадал в группе лиц, находившихся в этот момент в приемной, Бардина и поклонился так, будто просил извинения, при этом его выбритое и, несмотря на заметный слой пудры, сизое лицо расплылось в улыбке.

— Вы приметили человека, который только что был у

меня? — спросила Александра Михайловна, когда Бардин вошел в кабинет. — Блистательный актер… — Она назвала имя. Когда англичане высадились в Архангельске, присоединился к ним, участвовал в боях, был нами взят в плен и возвращен в Швецию чуть ли не по приказу Ленина. — Она взглянула на стол, и Бардин увидел белый конверт, как показалось Егору Ивановичу, вскрытый, и на нем перстень с крупным квадратным камнем. — Вот принес и написал: «От антифашиста».

— А насчет Архангельска не упомянул?

— Так и сказал: «Я знаю вас, поэтому и верю в ваш антифашизм…» — заметила Александра Михайловна.

— «Я знаю вас» — это Архангельск? — спросил Бардин.

— По-моему, да, — согласилась она.

Коллонтай вызвала секретаря. Вошла молодая женщина в белой блузке.

— Он бедняк из бедняков. Это для него сокровище, — сказала женщина, взглянув на перстень.

— Он приехал специально? — спросила Коллонтай.

— Да, звонил до этого из Гетеборга дважды, — ответила женщина и вышла.

— Никогда не думала, что будет так: несут кто что может, — заметила Коллонтай. — Кремневое ружье, с какими войска Карла шли на Петра, медицинский инструментарий, старинный ковер работы древних персидских мастеров, вещь красивая и явно уникальная, коллекцию монет, по всему, редкую, тысячу американских долларов, греческие амфоры, добытые при раскопках древнего храма на Балканах… Одним словом, вещи неожиданные, но, по всему, ценные. Именно в неожиданности их смысл — если человек принес амфоры, значит, у него, кроме них, ничего нет стоящего, значит, он, как тот актер, которого вы встретили, человек отнюдь не состоятельный. — На улице точно смерклось, день пасмурный. Александра Михайловна встала и пошла к двери, чтобы включить свет. — Вот что интересно: они все больше понимают, как справедлива наша война. — Она зажгла свет, и дерево под окном, обнаженное, облитое осенним дождем, заискрилось, точно каменное.

— Вопреки участию финнов понимают? — спросил Бардин.

— Представьте, вопреки, — сказала она и пошла к столу. — В Швеции начинают понимать, финнам не надо было ввязываться, это не их война…

— Но финны, финны догадываются, что шведы думают сегодня таким образом?

— По-моему, догадываются.

— И продолжают воевать? Будут продолжать?

— Очевидно, до тех пор, пока не возникнет новое Бородино.

— Это что значит? Пока у врагов России не рухнут последние надежды на победу?

— Не только. Пока финны не почувствуют, что могут выйти из войны, не опасаясь немецкой кары.

— Мера зависимости?

Вначале, я так думаю, они были зависимы меньше, сейчас больше.

— Это можно сказать и о Швеции, Александра Михайловна?

— Да, к великому сожалению, то, что мы называем шведским нейтралитетом, утрачивается и может оказаться на ущербе.

— Вы хотите сказать, нейтралитет есть величина отнюдь не постоянная?

— Именно.

— А вот как немцы навязывают свою волю? В Финляндии есть войска, но в Швеции их нет…

— Швеция тоже берется изнутри, при этом была атакована раньше Финляндии, даже раньше Норвегии с Данией.

— Каким образом?

— Я называю это десантом коммивояжеров! (Вон как, коммивояжеров! — подумал Бардин. — Наверно, это слово характерно для Коллонтай. Оно, это слово, было модным в начале века.) Упал десант с неба, как все десанты сегодня. Тысячи немцев, которые вошли в страну, пользуясь всеми ее дверьми и, пожалуй, окнами. Вы слыхали песенку Герхарда, ну, известного здешнего актера, о троянском коне, очень злую? Она об этих немцах. Никогда их не было в Швеции так много, как сегодня.

— А как отнеслись к этому шведы?

— То, что вы видели, — она указала взглядом на перстень, — во многом результат этого.

— Но как обратить все это в реальные ценности для нас?

— Что вы называете… ценностями? Поворот в политике Швеции, выход финнов из войны?

— Да, я это хотел сказать.

— Вряд ли такой поворот возможен, недостает главного.

— Бородина?

— Пожалуй, Бородина.

«Да, недостает Бородина! — подумал Бардин. — Недостает такого удара, чтобы дрогнуло могучее и громоздкое сооружение, именуемое немецкой военной машиной. Может ли стать Бородином Москва, да, все то, что сию минуту происходит на заснеженных подмосковных полях? Видно, на этот вопрос никто, кроме Москвы, ответить не в силах».

— Какая дорога у дипломатии, Александра Михайловна?

Она улыбнулась.

— Все та же — быть бурлаками истории… Согнуть выю, покрепче приладить к плечам ремни и подналечь, чтобы сдвинуть баржу с отмели! Вначале баржу, потом судно потяжелее, потом опять баржу!.. Одну за другой, чтобы дать ход течению, свободу реке! — Она рассмеялась. — Поверьте мне, бурлаками!

Это сравнение тоже характерно для нее, подумал Бардин. Нет, не тем, что это слово пришло к нам из того века: «По кремнистому берегу Волги-реки…» Нет, не поэтому. Она была женщина — самое нежное и ранимое творение природы, и она любила все могучее. Да, наверно, она любила в трагедийном театре слушать Адельгейма в роли Отелло, а в оперном Шаляпина, поющего мельника… В ее сознании бурлак не символ простолюдина, а символ великана, которого сама природа наделила силами, которых нет у других. И не только это. Бурлак — это труд, напряжение в труде, терпение. Да, терпение это обязательно. Именно терпение она имела в виду, когда сказала: «Бурлаками».

— Я хочу, чтобы вы пробыли с неделю…

— Три дня, Александра Михайловна.

— Трех мало, но три так три. Я хотела, чтобы вы встретились с бургомистром Хагеном, буду просить принять вас сегодня. Кстати, сегодня ночью я закончила чтение его книги путешествий по Франции. Вам не приходилось видеть, она издана и по-английски?

— Нет, Александра Михайловна, — сказал Бардин, и шальная мысль пришла в голову: «Господи, до французских ли впечатлений стокгольмского бургомистра, когда пламя уже лижет кровлю дома, того гляди заберется под стрехи?.. И потом, самое ли это насущное чтение и для Коллонтай, чтобы отдать ему ночные часы?..»

— Вам будет интересна встреча с этим человеком, это наш давний друг. Я взяла за правило и, наверно, приучила к этому бургомистра: ничего не пропускать из того, что касается этого человека, будь то книга, статья, речь… Кстати, письмо о книге его французских впечатлений я ему уже отослала. Я пошлю новое письмо вслед и попрошу его о встрече. Думаю, он мне не откажет.

Бардин шел от Коллонтай, твердил непрестанно: «Учись, отрок Егор, набирайся ума-разума. Ты уразумел, дитя природы, для чего ей надо было ночь напролет читать французские впечатления бургомистра? Ты проник в ее мысль? Чтобы устроить тебе встречу с бургомистром? И не только поэтому — чтобы иметь такого друга, как этот бургомистр, друга, к которому можно обратиться с просьбой о завтрашней встрече. «Финские

проблемы никто не знает лучше его!» Вон куда ведет книга о французских впечатлениях! Понял? Вот она очинивает мягкие фаберовские карандаши своей машинкой, укрепленной на столе, и пишет письма: «Только что прочла Вашу книгу, друг Хаген!..», «Раскрыла утреннюю газету и увидела Вашу речь!..», «Вы не упускаете случая, чтобы заявить о себе в прессе — прочла Вашу статью…» И тянет, изо дня в день тянет свою баржу наперекор отмелям и перекатам, и зовет всех к этому. Бурлаки? Да, пожалуй, бурлаки!.. Не бойтесь и не стыдитесь быть бурлаками! Бурлаки — это хорошо!..»

Но не успел Бардин подняться к себе, как раздался телефонный звонок, и Егор Иванович узнал голос молодой шведки.

— Товарищ Бардин? С вами будет говорить Александра Михайловна…

(Как заметил Бардин, шведка всех звала строго-торжественно «товарищ», исключение составляла, пожалуй, только Коллонтай.)

Коллонтай просила спутницу Бардина зайти к ней.

— Хочу показать ей здешний парк, — сказала Коллонтай.

Бардин знал по прошлой поездке, Коллонтай любила этот парк, у нее были там заветные аллеи, она уверяла, что два часа, проведенные в парке в послеобеденное время, заметно прибавляют силы.

— Думаю, что ей будет приятно ваше приглашение, Александра Михайловна.

Но Кузнецову, к удивлению Бардина, встревожило приглашение Коллонтай.

Бардин как мог объяснил — добрый знак гостеприимства. Если бы он, Бардин, был женщиной, и он бы получил такое приглашение.

— Не такая уж я простофиля, Егорушка Иванович. Так просто на два часа, да еще при такой занятости! Не верю!

Она вернулась с прогулки обескураженная.

— Не пойму я вашу Александру Михайловну: два часа говорила о хризантемах! Не для этого же она меня увлекла в этот парк!

Бардина это развеселило. Женщина рациональная, для которой каждая встреча имела смысл, если только приближала ее к вожделенной цели, Кузнецова отказывалась понимать человека, если не видела практической цели в его поведении.

— Погодите, но ведь вы на месте Коллонтай повели бы себя так же? — спросил Бардин не без лукавства.

— Вы шутник, Егорушка Иванович, — произнесла она, но не улыбнулась — ей было не до смеха. — Ничего не понимаю!

39

Вечером Хаген позвонил Бардину.

— Добрый вечер, мистер Бардин, это Хаген. А что, если нам завтра встретиться не в Стокгольме, а в Упсале? — произнес он по-английски достаточно свободно. Как потом установил Егор Иванович, Хаген начинал свою карьеру в представительстве одной лондонской фирмы в Гетеборге и был силен в английском, хотя и говорил с чуть-чуть «уэльсской кашей» во рту — его шеф происходил из Бирмингема. — В Упсале дом моих родителей, знаете, рядом с университетскими теологами, через дорогу от резиденции епископа…

Прошлый раз, когда Бардин был в Швеции, он посетил Упсалу, разумеется, побывав и в университете.

— Погодите, это не рядом ли с медицинским факультетом? Там еще виден стеклянный шатер его знаменитой хирургической…

Хаген рассмеялся.

— Именно стеклянный шатер! Поздравляю, вы полонили сердце старого упсальца. Итак, завтра ровно в два я вас жду у себя. Я вам покажу в Упсале нечто такое, что и вы не видали!.. — Он принялся диктовать адрес, тщательно уточняя написание и, как истый англичанин, время от времени вскрикивая: «Спелинг!.. Спелинг!..» — и тут же расшифровывая имена собственные по буквам.

На другой день в условленный час Бардин был в Упсале у стеклянного шатра университетских хирургов. Родительский дом Хагена действительно был рядом.

Стокгольмский бургомистр оказался человеком диковинно рослым и, в отличие от большинства людей такого типа, не сутулым, больше того, статным. Несмотря на осеннюю пору, на нем был ярко-васильковый галстук с нарядной булавкой, какие любят носить преуспевающие американцы. Он предложил Бардину в своем роде программу пребывания в Упсале: они смотрят город, обедают в загородном ресторане и ужинают у Хагена дома.

— Да, стоит ли у вас отнимать весь день? — спросил Бардин, оглядывая большую комнату, в которой они сейчас находились (Хаген считал неудобным приступать к осмотру города без того, чтобы они не побывали у него дома), с виду гостиную, в которой множество вещей, чуть-чуть музейных, было расставлено с правильной чопорностью, что свидетельствовало о том, что дом мемориален и малообитаем. — Может быть, после обеда я

отбуду?

— Не лишайте меня такого удовольствия, — сказал Хаген. — Не вас — меня, — добавил он, смеясь. — Я хочу представить вас отцу. Как вы догадываетесь, он немного старше меня и по этой причине говорит по-русски.

Они сели в автомобиль и поехали по городу. Хаген сказал, что не любит туристские маршруты Упсалы и считает, что они не дают представления о городе, поэтому не будет показывать ни собора, ни упсальской звонницы на холме, ни королевского дворца. Единственное, что он хотел показать, это актовый зал университета, он хорош по своим формам.

Зал действительно был хорош необыкновенно: круглый, точно спланированный.

— Глядя на здание, не скажешь, что оно хранит такое чудо, — заметил Бардин и подумал: приблизились они к существу разговора, который должен был сегодня между ними состояться, или все еще находятся на дальних подступах?

— Если говорить о чуде, то, наверно, вам надо показать вот это… — произнес Хаген и зашагал к входной двери, но, не дойдя до нее, свернул резко налево. — Вот взгляните, это интересно, — произнес он, остановившись у стенда. — Смелее, смелее.

Бардин подошел к стенду. Рукопись. Желтая бумага, отвердевшая и кое-где треснувшая, и несколько строк, полувыцветших, написанных синими чернилами.

— Это рукопись Коперника, да, собственноручная…

Он быстро пошел вдоль стендов, при этом каждый шаг рождал новые имена, редкие… Потом он неожиданно остановился, наклонившись к стеклу.

— А вот это вам прочесть легче, чем мне.

Бардин едва сдержался, чтобы не вскрикнуть: «Вот ведь накрутил, раб божий! Славянская вязь, славянская…» Егор Иванович попробовал вникнуть в текст. Это оказалось нелегко. Автор рукописи, судя по всему, современник царя Алексея Михайловича, предавал анафеме российского монарха и его государство. Кто бы это мог быть?

— Вам говорит что-нибудь это имя — Котошихин?.. — Да, Хаген произнес «Котошихин», однако само имя было так необычно даже для русского, а поэтому так характерно, что Егор Иванович понял, речь идет о знаменитом канцеляристе Посольского приказа Гришке Котошихине, перебежавшем вначале к полякам, а потом к шведам.

— Это и есть исповедь Котошихина, известная как тетрадь в сафьяновом переплете? — спросил Бардин. Он знал, что шведы, приняв Котошихина, склонили его к сочинению пасквиля на

Московское государство, весьма злого.

— Да, именно об этой тетради шла речь, вот и сафьян, мне кажется, виден, — сказал Хаген.

Они покинули университет, а Бардин все думал: «С какой целью Хаген показал мне университет и что было главным: актовый зал или тетрадь Котошихина?»

Они сели в машину и поехали дальше.

— Швеция и прежде была разной, — сказал Хаген, когда университетская площадь осталась позади.

— А чем вам интересна история с Котошихиным? — спросил Бардин. Он хотел охватить мысль Хагена возможно полнее.

— В ней ничего нет особенного, перебежчики были везде и всегда… Ничего, за исключением одного… — добавил он с той значительностью, которая говорила: настало время сказать главное. — Вскоре после Котошихина Карл Двенадцатый пошел на Россию. Смею думать, Карл, отправляясь на Россию, читал Котошихина.

Бардин рассмеялся.

— Что-то есть в судьбе Карла от судьбы Котошихина?

— Авантюра, да, в том классическом виде, в каком она известна человеку с младенческой поры. Был бы историком, написал бы специальный трактат «Авантюра», исторический и психологический аспекты предмета. Психологический обязательно. Авантюра — удел натур незрелых, легко возбудимых, неспособных соотнести цель с усилиями, которых задача требует. Авантюра — обман или почти обман, а то, что стоит на обмане, никогда не было прочным. Поверьте мне, человеку, который знает жизнь, никогда…

Он умолк, умолк с тем чувством удовлетворения, которое испытывает человек, сказавший то, что хотел сказать. Непонятно было только, к чему он это произнес, недоставало нескольких слов.

— Смею думать, что финскому национальному характеру чужда авантюра. Финн — это труд, а авантюра не любит труда! И тем не менее молодое государство финнов стало жертвой авантюры в ее классическом проявлении. Парадокс?.. Да, пожалуй…

Автомобиль выехал за пределы Упсалы и остановился в местечке, для которого типичным были два холма. Они, эти холмы, казались невысокими, потому что были пологими, как бы медленно набирающими высоту.

— Туда мы не пойдем, — взглянул Хаген на вершину холма, над которой сейчас проносилась быстрая тучка, — там ветер и, как мне кажется, свежее, чем здесь. К тому же я озяб и хочу есть.

Одним словом, прошу вас, — он указал на двухэтажный домик, перепоясанный по фасаду балконом. — Как говорят шведы, не пренебрегай открытой дверью, следующая может быть на замке.

Они вошли в дом, и дыхание старого деревянного дома, старого и чистого, заставило их взбодриться и прибавить шагу — им надо было еще подняться на второй этаж.

— А не устроиться ли нам под сенью этой березы? — сказал Хаген, указывая взглядом на большую люстру, выструганную из березового дерева. — Здесь нам будет хотя и одиноко, но тепло. Как вы?

— Я готов, — сказал Бардин — у него не было сомнений, что предусмотрительный Хаген здесь свой человек и столик, за которым они сейчас устроились, был им обжит прочно.

— Вот и прекрасно, — подхватил Хаген и кивнул официанту, который, приметив его, на всех парах мчался к столику. — Теперь разрешите мне отдать необходимые распоряжения, — сказал Хаген. Он чувствовал здесь себя привычно. Человек с салфеткой знал наперед, что произнесет гость, и Хагену оставалось лишь отрицательно или утвердительно поводить головой. — Вот я и говорю, авантюра в ее классическом проявлении!.. — вдруг произнес Хаген, продолжая разговор, который оборвался еще до того, как в автомобильных окнах возникли два холма. — Вы полагаете, что я голословен? Сейчас я вам докажу, что нет. Прежде чем я это сделаю, мы должны распить вот эту бутылку медка, которым знаменит именно этот ресторан. Ничего не знаю лучше, чем бокал этого медка…

Они выпили. Золотистый напиток, медово-пряный и неожиданно хмельной, пился легко.

— Этим летом, в самый разгар битвы за Смоленск, я был в Хельсинки и говорил с Рюти. Он знал меня по своим поездкам в Стокгольм и однажды даже был у меня дома, но я не мог рассчитывать на честь быть принятым Рюти. Нет, не потому, что я бургомистр, а он премьер-министр. Нет, не потому. Надо отдать ему должное, ему чужды такого рода условности. Просто он был наслышан о моих настроениях и не очень стремился к встречам со мной, хотя и позже он бывал в Стокгольме, а я в Хельсинки. Но тут произошло непредвиденное. У нас в Упсале говорят: «Нет ничего сильнее, чем стечение обстоятельств». Одним словом, я был приглашен на освящение нового храма и встретил там Рюти, встретил лицом к лицу. Я мог, конечно, не узнать Рюти, но я на это не способен. Одним словом, встреча состоялась. «Послушай, Хаген, мне хотелось бы поговорить с тобой. Возможно ли это?» — «Да, конечно», — сказал я, хотя, как я понимал, эта встреча устраивала больше его, чем меня. Он человек умный и должен

понимать: время, когда Швеция считала Финляндию своей младшей сестрой, все заметнее уходит в прошлое. Нет, не потому, что шведы стали меньше любить финнов, а потому, что финны связали свою судьбу с немцами. Одним словом, встреча состоялась. «Я доверяю твоему уму, Хаген, скажи мне напрямик: сегодня шведы относятся к нам хуже, чем в зимнюю войну?» Я сказал: «Хуже». — «Почему?» — «Та война была в большей мере финской, чем эта». — «И ты полагаешь, что этот процесс в настроениях шведов будет развиваться?» — «Да, так кажется мне». — «И он, этот процесс, необратим?» — «Да, конечно». — «Только потому, что шведы не любят немцев?» Нет, я не так бескорыстен, как может показаться. Коли эта встреча состоялась, я хотел сказать Рюти все то, что хотел сказать. И я сказал: «Послушай, Рюти, шведы не очень понимают, почему финны ввязались в эту войну. Те, кто понимал вчера, сегодня не понимают, а те, кто что-то разумеет сегодня, наверняка откажутся понимать завтра… Неужели вам не ясно, что русские просили у вас карельскую горловину действительно из желания отодвинуть опасность от стен Ленинграда?.. И просьба о Ханко была определена этим. И просьба о Петсамо этим же, только касалась не Ленинграда, а Мурманска… Или ненависть ко всему русскому лишила вас способности рассуждать здраво? Разве сегодня нейтралитет был бы не лучшим выходом из положения для финнов? Вам мало было зимней войны?.. И потом, ты серьезно веришь в немецкую победу?.. После того как на сторону русских склонились англичане и американцы?.. И не похоже ли все это, прости меня, на авантюру?» Он слушал меня молча, даже странно, я говорил резко, а он молчал, только подергивалось его левое веко, странно подергивалось — набухало и точно лопалось. «Ты бы не решился, Хаген, сказать мне такое, если бы говорил только от своего имени», — наконец произнес он. «Представь, то, что я сказал, я сказал и от своего имени». — «Верю. — И еще он сказал: — Нам поздно менять решение». — «Это Маннергейму поздно, а тебе?» — «Я сказал, нам…» Он, конечно, мог быть откровеннее в тот раз, но даже то, что он сказал, что-то значило. Но не слишком ли мы увлеклись разговором? — спросил Хаген и указал взглядом на блюдо с ростбифом, который был гарнирован листьями салата и кольцами свежего лука. Ростбиф дымился. Выпили по рюмке водки, водка была шведская, настоянная на травах, чуть терпковатых, умеряющих огонь, который был в водке.

— Простите, но кто осуждает сегодня Рюти? Только шведы?

— Вы хотите спросить, в какой мере влиятелен сегодня Паасикиви? Это мое мнение. Возможно, оно неверно. Время к нему все щедрее, но он не пользуется этим в полной мере,

человек он деликатный.

— Вы видели Паасикиви?

— Нет, хотя говорил с людьми, близкими к нему.

— Они полагают, что Рюти сидит крепко в седле? — спросил Бардин и подумал: «Вопрос поставлен достаточно откровенно, но, может быть, так и надо ставить этот вопрос — разговор должен быть максимально приближен к сути».

— Если вы не поможете его вышибить из седла, им самим это сделать будет трудно, — сказал Хаген.

— А как должны помочь им мы?

— Нужна победа достаточно внушительная…

Бардин улыбнулся.

— Победа нужна не только поэтому!

Это развеселило Хагена.

— Как говорят в Упсале: «Не объясняй, как хороша моя жена, это как раз та женщина, на которой я женился».

Как было условлено, на обратном пути они вновь побывали в доме Хагенов. Хозяин провел Бардина в угловую комнату, где, обложенный цветными подушками, восседал Хаген-первый.

— Я здесь, как на маяке, — произнес старик по-русски, произнес не без запинки. — Весь мир вижу. Там, где не хватает силы глазам, беру вот этот бинокль, — указал он на миниатюрный радиоприемник. — Далеко вижу!.. — он пригласил Бардина сесть. — Простите, когда вы в последний раз встречали госпожу Коллонтай? И еще встретите? Кланяйтесь ей, пожалуйста. Ну что вам сказать? Я знал деда госпожи Коллонтай с материнской стороны и бывал у него в усадьбе «Кууза» в Финляндии. Мне даже кажется, что однажды я видел там маленькую Сашу. Но это было уже в пору, когда больна была ее мать, и эта болезнь… Одним словом, это было в начале века, в самом начале века. Говорят, что мать была человеком мужественным. Я знаю, знаю. Я только помню, что был в «Кууза» в момент сердечного припадка и слышал, как она кричала. У меня до сих пор стоит в ушах этот крик… Человек, я так думаю, стойкий, она не могла сдержать себя, так остра была боль. У деда была библиотека, нет, не только финская, но и русская. Там еще были этот необыкновенный «Брокгауз» и весь комплект приложений к «Ниве», который дед, как мне кажется, переплел для Саши.

— Папа, по-моему, ты это уже рассказывал господину Бардину! — вдруг вмешался в разговор младший Хаген, вмешался с той храброй решимостью, которая свидетельствовала, что русский язык у него в ходу.

— Как рассказывал? — Он строго посмотрел на сына и, не

выдержав, улыбнулся. — Ты хочешь сказать, что я повторяюсь? Нет, повторяюсь не я, а ты со своими шуточками…

— А я ждал, заговорите вы по-русски или нет, — сказал Бардин Хагену-младшему, когда между отцом и сыном воцарился мир.

Младший Хаген рассмеялся.

— У нас в Упсале говорят: «Только та тайна интересна, которая живет до поры до времени», — возвратился он к английскому — тут он чувствовал себя свободнее.

Часом позже Бардин простился с младшим Хагеном.

— У меня сложилось мнение, что друзья Паасикиви не хотели бы порвать контактов с русскими даже в нынешние мрачные времена, — сказал Хаген.

— Вы полагаете, что их время приближается? — спросил Бардин.

— Да, я так думаю, — ответил Хаген. — А теперь у меня вопрос к вам, главный: не настало ли время британскому послу уезжать из Хельсинки? И не только британскому?

Что говорить, Бардин мог лишь руками развести — Хаген пытался проникнуть в суть скандинавской миссии Бардина, и небезуспешно.

Бардин вернулся в посольство в одиннадцатом часу вечера и постучал к Кузнецовой.

— Вы уже легли?

— Я? В десять часов? Нет, сколько мне лет, чтобы я ложилась в десять? Заходите, у меня яичница стынет.

— Нет, уж заходите вы, у меня просторнее, и несите свою яичницу.

— Тогда распахивайте дверь — у меня еще сардины и пикули. Сто лет не ела пикулей!

Она явилась с подносом, полным необыкновенных яств, и сразу в холодном холостяцком обиталище Бардина запахло жизнью.

Он сидел в кресле, развернув газету, и краем глаза наблюдал, как она работает. Как быстро она приводит его комнату в порядок. В какие-нибудь десять минут он увидел в ее руках губку, и одежный веник, и обувную щетку, но тут он запротестовал:

— Не позволю!

— А мне, если хотите, приятно, Егорушка Иванович.

— Нет уж, увольте!

— А я думала, это должно быть и вам приятно, — произнесла она, смеясь.

Бардин и прежде замечал, в том, как она ухаживала за

мужчиной, предупреждая его желания, по возможности говоря ему только приятное, заглядывая ему в глаза и будто говоря: «Ты мой царь! Ты, только ты!..» — как ходила по комнате, как бы обволакивая тебя и обвевая запахом неизменно одних и тех же духов, чуть-чуть удушливых, как она касалась вдруг как бы невзначай твоей руки легкой, безупречно гладкой ладонью, как она закатывала глаза, храбро, значительно, как вздыхала и отводила голову, показывала родинку на предплечье — во всем этом было что-то от искусства японской женщины ухаживать за своим повелителем. Бардин смотрел на нее, рассуждал: «Да не думает ли она понравиться мне, вот такая курносая, с сальным лицом, кривоногая?..» А может быть, несравненное искусство Кузнецовой так обезоруживает мужчину, что он вдруг начинает не замечать ее кривых ног?

— Августа Николаевна, ваша яичница и впрямь может остыть. Садитесь и рассказывайте!

Она вернулась к столу и принялась рассказывать о том, что сделала за день. Бардин знал, что она умела реферировать прессу, быстро просматривая ее, отбирая самое необходимое, диктуя перевод на машинку, тщательно и точно правя написанное. То, что она могла сделать за день, вряд ли было под силу штату референтов. Работала она с тем напором и злой отвагой, какая выдавала человека, любящего работать. Поэтому, когда Бардину предложили поездку в Стокгольм и спросили, кого бы он хотел взять с собой, он назвал одну Кузнецову. Бардин знал, как ни сложна будет работа, он справится, если рядом будет Кузнецова. Вот сейчас то, что она сделала за день, перелопатив гору газет и отыскав в этой горе «зерна жемчуга», было под силу, пожалуй, только ей. Бардину хотелось установить, уловила ли стокгольмская пресса изменения в настроениях Финляндии, что сегодня характерно для мнения финской прессы о войне и как это мнение соотносится с тем, что думает об этом шведское общество.

— Вы полагаете, что сумеете ответить на этот вопрос и доказать это, ссылаясь на прессу?

— Да, сумею, — сказала Кузнецова, и Бардин знал, что у него нет причин для беспокойства.

Они выпили по стакану красного вина, выпили залпом, и Кузнецова вдруг вспомнила прогулку с Коллонтай.

— Вот убейте меня, Егорушка Иванович, не могу понять я эту женщину, — произнесла она тихо и украдкой посмотрела на дверь. Выше моего разумения.

Бардин рассмеялся. Оно так и должно быть — выше разумения… Не отстояла бы Коллонтай так далеко от

Кузнецовой, пожалуй бы, Августе Николаевне было легче понять ее.

— Почему выше разумения? — спросил Бардин, ему хотелось знать, как это объяснит Кузнецова.

— Вы когда-нибудь слыхали, какой была молодая Коллонтай? — спросила Кузнецова. Как заметил Бардин, ей очень хотелось поговорить об этом. — Я слыхала, что в нее была влюблена половина Совнаркома. Если женщина — это гармоничное сочетание глаз и голоса, то Коллонтай была образцом такой женщины. Говорят, она была очень хороша, да и сейчас в ней еще жив этакий бесенок, способный натворить бед! И вот такая женщина вдруг обретает и положение, и власть, и, если хотите, такую известность, какая не часто сопутствует человеку при жизни, а потом добровольно, вы слышите — добровольно, заточает себя вот в эту крепость, которая зовется посольством, но которую точнее было бы назвать дипломатическим монастырем, отказавшись от всего и в первую очередь от своего призвания женщины. Согласитесь, Егорушка Иванович, что это измена самой природе. Вы это понимаете?

— Погодите, до какого времени вы предполагаете держать за узду матушку-природу? — спросил Бардин.

— Ну хотя бы лет до пятидесяти! Я понимаю, как хотелось бы вам объяснить поведение Александры Михайловны и в этом случае.

— Как, Августа Николаевна?

— Вы убеждены, что у нее нет корысти совершенно?

— А вы убеждены, есть корысть?

— По-моему, есть. Вы наблюдали, как она рассчитывает каждый удар, когда речь идет о посольских связях? Человек, умеющий так рассчитывать, будет рассчитывать во всем…

— В чем именно?

— Когда речь идет о собственном благополучии, в этом тоже. Вы полагаете, нет? Вот так возьмет и ринется в огонь?

Ему хотелось сказать: «Да, вот так, в самое горнило огня, как Жанна д'Арк! В самое пекло!» Его подмывало сказать это, но у Кузнецовой это могло бы вызвать ироническую усмешку, а он не хотел этого. Ему казалось, что смех этот оскорбит человека, о котором идет речь. Однако этот разговор был Бардину любопытен. Сама Кузнецова нащупала оселок, на котором способно выверить характеры. Корысть? Да, пожалуй, корысть. Даже интересно: Кузнецова и умна, и, когда надо, обаятельна, и по-своему образованна, и уж как поднаторела в наркоминдельских делах, но никогда она не будет Коллонтай! И не потому, что родилась много позже, нет, очевидно, есть нечто в

самой натуре человека. Что именно? Бардину так кажется, что сама Кузнецова назвала это. Но вот задача: корысть может быть благоприобретена?

40

Утром ему позвонила Коллонтай.

— Георгий Иванович, не слишком рано я побеспокоила вас? Я слышу ваше дыхание, наверно, делаете гимнастику? Вы молодой, вам, пожалуй, не обязательно, а я делаю, мне спасаться надо! — Она рассмеялась. — Звонил Хаген. Он хотел бы устроить вам встречу с человеком, которого он ждал. Он оставил телефон, по которому вы могли бы ему позвонить. По-моему, эта встреча должна вас устроить — гость Хагена из Хельсинки.

— Успею ли я до отъезда?

— Надо успеть любой ценой.

— Что значит «любой ценой»?

— Даже ценой отмены отъезда.

Но отменять отъезд не пришлось — встреча состоялась. Она была короткой, но в ней было все, что дополняло представление Бардина о существе проблемы. Собеседник Бардина — он назвался Кайненом — был торговым моряком, который, однако, последние лет десять возглавлял фирму, и немалую, по продаже мебели. Небольшой, свитый из крутых и твердых мускулов, заметно выпиравших из-под пиджака, Кайнен напоминал Бардину карельскую березу, чье изображение хранил его фирменный герб. Встреча Бардина с Кайненом произошла на борту судна, которое финн ухитрился пригнать в Берген, а потом в Стокгольм с грузом кресел и полукресел. Ступая по ворсистой дорожке, выстланной едва ли не от трапа, Бардин попал в каюту Кайнена. Каюта больше походила на будуар, чем на деловой кабинет: полированное дерево, точно сто зеркал, обращало неяркий огонь настенных ламп в костер и делало Кайнена румянощеким.

Зная, что ему придется иметь дело со старым портовиком, к тому же, как полагал Егор Иванович, не раз ходившим в Англию, Бардин приготовился пустить в дело английский и был приятно удивлен, когда хозяин заговорил на хорошем русском. Оказывается, Кайнен родился на русском севере, закончил шесть классов гимназии в Архангельске и закончил бы, пожалуй, все восемь, если бы не война, а вслед за этим революция… Одним словом, финн говорил на хорошем русском, при этом в речи его, как отметил для себя Бардин, была свойственная деловым людям энергия, делавшая его речь выразительной и точной.

— Я понимаю, что немцам надо запереть Мурманск, но зачем же топить английские суда? — сказал Кайнен и зашагал по каюте с такой силой, что казалось, корабль качнулся, вызвав волну. — Взгляните, что происходит. До тех пор, пока англичане не

высадят десант в Европе, единственная возможность помочь вам — море. Владивосток исключен начисто. Дальний Восток далеко, но крайней мере для англичан. Южная дорога далека и опасна. Северная опасна, но близка. Значит, северная. Но что значит северная дорога? — Он протянул руку и, отыскав в стопке карт, лежащих на столе, нужную ему, развернул ее перед Бардиным. — Взгляните вот сюда. То, что зовется английским конвоем, это своеобразный обоз. Да, девять фур и охрана. Сооружение громоздкое и беззащитное. Если немцам расположить авиацию где-то поблизости от Мурманска да еще воспользоваться таким природным маяком, как полярное солнце, то как довести этот обоз до цели? Но в какое положение ставит себя Финляндия? Так вот, Киркенес стал взлетной площадкой против англичан. Немцы крушат английские конвои из Киркенеса. А чем это отличается от налетов на Лондон? Киркенес, который был окном Финляндии на запад, служит обратной цели. Вот и получается, Киркенес подставляет себя под русские бомбы, сам подставляет. К тому же…

— Да, да.

— Мне сказали: «Победят русские — тебя ждет разорение». А я знаю, что меня ждет разорение, если русские не победят. Парадокс?

Бардин не смог скрыть улыбки.

— Да, пожалуй.

— Русские летчики каждые три месяца сжигают по одному моему складу. Мои склады, что факелы, горят хорошо. Я подсчитал, если война продлится еще три года, с моими складами будет покончено. Я не верю, что в эти три года победят немцы, а вы победить можете. Вот поэтому я и говорю, пусть это будет раньше. То, что сегодня делает Финляндия, — продолжал он, — ведет к самоизоляции. Когда великая держава обрекает себя на одиночество, это полбеды. Когда же это делает малая — смерть… Да, Финляндия благополучно превращается в остров, и это, пожалуй, самое страшное. Мы воспрянули потому, что имели друзей в мире. Вся наша независимость стоит на этих друзьях. Не очень уверен, чтобы мы хотели жечь английские корабли. Простите меня, но вряд ли это отвечало бы даже желанию Маннергейма, даже Рюти… Но в этом как раз весь идиотизм нашей позиции и состоит: не желая топить английские конвои, мы их топим, не желая участвовать в осаде Ленинграда, мы участвуем, не желая…

Бардин улыбнулся.

— Есть такое мнение, что финны не только не участвуют в осаде Ленинграда, но защищают его с севера.

Кайнен опустил в ладони лицо, наверно, ему так легче было сосредоточиться.

— А вы не находите, что в этом утверждении есть резон? Я знаю, что Финляндия, как бы это сказать, не разрешила немцам атаковать Ленинград с финской земли. Я был в Выборге. Это похоже на правду.

— Да, но снаряды, которые падают на Ленинград, точно указывают, огонь ведет и финская артиллерия…

— Я был в Выборге в начале ноября, я не дам соврать — на Карельском перешейке нет немцев.

Бардина это начинало бесить.

— Зато в немецкой армии, атаковавшей Смоленск, были финские полки.

Кайнен развел руками, вздохнул.

— Что можно сказать, что сказать? Ведь за все это надо будет кому-то отвечать! Отвечать перед Англией, отвечать перед Америкой и Россией!

Он выдвинул ящик стола, достал коробку сигарет, пододвинул Бардину, взял сам. Курил жадно, долгими затяжками.

— Никогда не завидовал шведам — сейчас завидую. — Он наклонился, чтобы в иллюминатор увидеть красновато-коричневые камни королевского дворца. Вечерело, и туман уже затянул крыши домов на набережной, но дворец, стоящий на холме, был виден. — Как мне кажется, есть одно средство, которое нам надо сберечь и которое поможет нам обрести надежду на спасение.

— Какое именно? — спросил Бардин. Ему интересно было наблюдать, сколь извилистым путем следовала мысль собеседника.

— Даже тот, кто верит в победу, не должен сжигать мосты. Тем. более надо сберечь эти мосты нам. Если хотите, я пошел на встречу с вами по этой причине.

Кайнен дотянулся до выключателя, повернул — он явно опасался, что костер, которому дала силу полированная береза, опалит его.

41

Бардину стало не по себе, когда он узнал, что самолет приземлится не в Москве, а в Куйбышеве. Как ни отрадны были последние сообщения с фронта, как ни обрадовали и ни воодушевили они Бардина, которого уже столько месяцев жизнь снабжала радостью по весьма скудному пайку, эта последняя весть о Куйбышеве глубоко обескуражила — если столицей стал Куйбышев, значит, в судьбах страны произошло такое, чего она еще не знала.

Ему не приходилось бывать в Куйбышеве прежде, и эта первая поездка по городу, наверно, навсегда останется в памяти. И толпы иностранцев, чья необычная одежда здесь казалась почти экзотической, — дипломатический корпус уже переехал в Куйбышев. И аршинные афиши, неоправданно праздничные, с именами московских знаменитостей, которые удостоили город своими концертами, — истинно праздник по случаю пожара. И вавилонское столпотворение на куйбышевском вокзале, куда сбежались поезда со всей России. И стаи любопытных, вдруг обнаруживших на городской площади московскую знаменитость и с молчаливой отвагой стремящихся за нею. И совсем уж необычные для волжского города новости: в ответ на вероломство Страны Восходящего Солнца, атаковавшей американские корабли в Пирл-Харборе, американские газетчики подстерегли группу японцев где-то на берегу Волги и поколотили их. И объявление, которое по местному обычаю клеилось на водосточных трубах: «Сотрудникам Наркоминдела нужны комнаты. Обращаться в Управление делами наркомата, Галактионовская, 19».

Да, Наркоминдел помещался на Галактионовской в угловом доме, выходящем одним своим крылом к городскому театру. Когда автомобиль с Бардиным и Кузнецовой пришел на Галактионовскую, дом, несмотря на поздний час, был полон народа — очередной эшелон прибыл накануне утром. Шло великое вселение, и десятки людей, не очень обращая внимание друг на друга, волокли шкафы, столы и пишущие машинки, обживая каморки, которые они получили по железному списку управления делами, обживали прочно.

Бардин разыскал Вологжанина, разыскал легко, однако, войдя в комнату и взглянув на него, подивился выражению его глаз: была в них молчаливая скорбь и, пожалуй, страх.

— Вы что так? — мог только вымолвить Егор Иванович. — Не ждали?

— Как не ждал? Шифровка пришла вовремя, да вот не

встретил…

— Поэтому и расстроились? — спросил Бардин и обрадовался про себя: «Не было бы больших забот!» — Не беда, прощаю…

Но Вологжанин, казалось, не реагировал. Он печально пошел к столу и, усевшись, словно спрятал взгляд в ящик, который открыл.

— Вот тут вам телеграмма, Егор Иванович, — произнес он, не поднимая глаз. — Еще в субботу пришла. Посоветовались, решили пока не оповещать вас…

Бардина обожгло: Ксения?.. Все в этом «посоветовались»… Ксения!.. Кстати, отец уже в Шадринске?

— Ну, не пытай, давай…

Вологжанин извлек телеграмму, положил на стол. Она лежала сейчас перед Бардиным. Четыре слова: «Ксения скончалась пятницу. Ольга».

Его точно обдало паром — взмок. Никогда не чувствовал тяжести тела — сейчас почувствовал. Того гляди ноги не удержат, слабость пошла от ног. Он сел, кружилась голова. «Вот оно! — сказал он, а потом подумал: — К чему это я сказал? — И тут же ответил себе: — Ну конечно же вот, вот оно! До сих пор снаряды ложились рядом с моим домом, сейчас ударило в самую крестовину. Какой дом без Ксении? Сережка знает? Как бы не сломило его все это. Да надо ли ему сообщать? Надо, надо! Мы все мудреем с горем! Мудреем настолько, что начинаем ценить то, что у нас есть. Ценить начинаем? А что ты не ценил? То, что имел Ксению! Не ценил, не ценил!.. И когда любил ее, любил себя в ней. Свои слабости пытался оправдать жизнелюбием, а на самом деле это было себялюбие, а попросту — эгоизм. Вот оно!..» И вновь молочная мгла застлала глаза и в горле стало сладко. И как там Ольга одолела беду? Правда, уже после Ксении с Ольгой и Иришкой в Шадринск подался Иоанн, но какой он помощник.

— Егорушка Иванович!.. Выпейте, вот это выпейте!..

«Это Кузнецова, дело дошло и до валерьянки, сроду не пил, да и пить не буду!»

— Хватит! — Он встал, вынул платок, вытер лицо. — С отчетом до утра управимся? — обратился он к Кузнецовой. — Договоритесь с машинисткой… Хорошо бы утром вылететь…

— Да что вы, Егорушка Иванович? — судорога мяла губы Кузнецовой. Еще миг, и брызнут слезы. — Я вас не отпущу одного!

Что так встревожило и, странное дело, взбодрило Кузнецову, подумал Бардин. Какой план складывался сейчас в ее сознании? Впрочем, Бардин верил, что судорога действительно искривила

губы Кузнецовой, и не останови он ее, она бы разревелась, но это уже было не столько из жалости к Бардину, сколько из сострадания к самой себе.

— Улечу один, — сказал Бардин.

— Ни за что, Егорушка Иванович!

Он потер ладонью виски — это было предзнаменованием грозным.

— Я вас просил добыть… машинистку.

Утром он вылетел к своим, разумеется, один.

Они приземлились на просторном поле, устланном снегом, заметно потемневшим. Тянуло сырым ветром, подтаивало. Не без труда он отыскал кирпичный домик, стоящий посреди пустыря, но входить в дом не спешил. Кто-то пробежал по влажному снегу к дому, пробежал вприпрыжку, и Бардин на минуту замер, раздумывая: «Кто бы это мог? Не Ольга ли? Получила телеграмму и заторопилась?» Егор Иванович поймал себя на мысли, что ему хочется объяснить эти следы на снегу именно так…

Бардин постучал.

— Войдите. — Да, это Ольгин голос.

Он вошел в сенцы, там было темно и тихо. Пахло пшенной кашей, приправленной луком.

Бардин шагнул в комнату. У открытой печи сидела Ольга, еще не успевшая сбросить с себя телогрейку. Это ее следы на снегу видел Бардин.

Она встала, но, стараясь удержаться на ногах, оперлась о край печи.

— Ну, здравствуй, Оленька, здравствуй, — пошел он к ней, но она не тронулась с места. Только подняла лицо, и он увидел, что сине-лиловые тени под глазами странно расширились. — Ты уж прости меня… всех своих чад, и больших, и малых, на тебя оставил.

— Никак Егор? — подал голос отец. — Чую твой шаг слоновый.

В дверях стоял Иоанн: в одной руке газета, в другой очки, подпоясан старым армейским ремнем, видно, из личного цейхгауза сыновей — солдат Якова и Мирона. Та рука, что держит очки, на весу. Ольга писала: сердце.

— Никак усох маленько, Егорка?

— Как ты, отец?

— Вон каким жаром пахнуло, — указал он взглядом на газету. — Того гляди, сгоришь.

— Пожалуй, в такой амуниции не сгоришь.

— И амуниция горит.

— Теперь вижу, батька как батька!..

— И на том спасибо!..

Егор Иванович обратил взгляд в конец комнаты и увидел на просторном столе альбом, сшитый из листов картона, больших и, судя по виду, добротных. Он подошел к столу, раскрыл альбом. Колосья. Парад пшеничных колосьев. Колосьев-богатырей. Егор Иванович мигом уразумел — бардинских колосьев. Один другого крупнее и весомее.

— И уральская земля знает бардинские пшеницы?

Иоанн, казалось, возликовал:

— Вот гляди в это окошко. Видишь кирпичный сарай иод цинком? Видишь?.. Ну, с виду электростанция или вокзал железнодорожный, а на самом деле контора Потребсоюза. Так вот я сказал: если хотите меня слушать, собирайте народ в этот сарай кирпичный. Дальше я не пошел. Сил нет. И что ты думаешь? Чуть ли не половина уральской земли сюда собралась!.. Хочешь, верь, хочешь, нет. Перешел дорогу вот по той тропке, что пустырь перечеркнула, и держал речь, почитай, часа четыре: что есть земля наша кормилица и что есть хлеб наш насущный… А на другой день два мужика дюжих приперли чувал муки-крупчатки, так сказать, вместо гонорара. Ну, муку я им отослал обратно, так, оставил малость на оладьи Иришке. — Он посмотрел на Егора не без неприязни. Глаза его сощурились, ноздри затрепетали. — А почему, собственно, я тебе это объясняю?.. Неужели ты, чадо мое бесценное, так и не уразумел, кто есть отец твой?

А потом они сидели втроем и Бардин слушал, как Ольга роняла слова и они бухали гулко, как камни, падающие в колодец, хотя были негромки.

— Как отъехали за Волгу, она все сидела у окна… «Если не Можешь помочь, то хотя бы не требуй помощи у других» — это ее слова. Когда подъезжали к Уралу, сказала: «Ты понимаешь, Оленька, здоровье — это работа! Надо, чтобы работали все жизненные центры: и сердце, и легкие, и печень. Выключишь — омертвишь!» Когда приехали, она проторила тропку от кровати к швейной машине. «Надо ходить!..» Я сказала: «Нельзя так сразу». Но она уже убедила себя: «Нет, нет, я знаю…» Я подослала к ней врача, и тот пытался ей объяснить: «Нельзя так…» Но она внушила себе: «Главное — победить боязнь». Как-то я проснулась под утро, а она у зеркала: обвила шею ожерельем и губы накрасила. «Я слыхала, ты опять ходила?..» — спросила я ее. Она засмеялась. «Да, немножко…» Вот как сейчас слышу ее смех, счастливый… С тех пор я и ночи не спала: подстерегу и уложу, возьму на руки, вот так, и отнесу в постель. Она как пушинка, я ее легко поднимала. Но, видно, я ее не устерегла, проснулась, а она лежит на полу, уже холодная, и ожерелье вокруг шеи, и губы,

конечно, накрашены… — Ольга взглянула на Егора, и ему показалось, на него смотрят не только ее глаза, но и сине-лиловые круги вокруг глаз. — А красные губы с ожерельем — это для тебя, Егор, — закончила она. — Я так поняла.

— Ее нельзя было переломить, — отозвался старик Бардин. — Она внушила себе…

— Сережка знает?

— Нет… Думала, приедешь ты и сообщишь. Прислал письмо: «Мама, ты пиши мне». — Она раскрыла книгу, лежащую на краешке стола, и Бардин увидел в ней письмо сына. — Вот. Ирка все бегает на кладбище… Бежит прямо из школы, с книжками, и приходит голодная и зареванная…

— Пойдем на кладбище, Ольга, пока Ирки нет, — сказал он и взглянул на письмо сына, которое продолжало лежать в раскрытой книге.

— Пойдем…

Он шел вслед за ней неширокой тропкой, вытоптанной во влажном снегу, и видел ее, идущую впереди, большую и сильную. Она была одета так, как одевалась, когда работала в саду: стеганая куртка, сапоги, платок, повязанный так, что концы его свешивались на грудь. Они пришли на кладбище, и она едва ли не побежала по снегу. Наверно, ее знобило, и она все время поводила плечами. Когда она замедляла шаг, он мог рассмотреть, как она трет руки, выпростав их из варежек, и подносит к губам, при этом дышит громко и прерывисто — вот-вот расплачется.

Она пересекла кладбище и остановилась, стараясь обнять взглядом неровный ряд свежих могил. Бардин посмотрел туда, куда смотрела она, и на какой-то миг в картине, что открылась его глазам, он увидел нечто жестокое, победно-жестокое. Ему почудилось, развернувшись на фронт и воздев победные стяги крашеной жести и бумажных цветов, шагала сомкнутым строем смерть, шагала могуче — не успеешь оглянуться, полонит землю. В этом движении черной рати, расцвеченной многоцветной бумагой и железом, Бардину даже привиделось что-то весело-ликующее. Ему Стоило усилий прогнать эту мысль, и он зашагал вслед за Ольгой, стараясь не смотреть по сторонам.

— Вот здесь. — Ольга показала на могилу, до которой было еще шагов пять. И, повинуясь странному чувству, Бардин остановился. Так они долго стояли, глядя на могилу, которая неожиданно возникла перед ними. Эти пять шагов, которые сейчас лежали между могилой и Бардиным, означали такое, что не сразу удавалось осмыслить. Это было не просто расстояние между жизнью и смертью, нет, здесь человек вдруг обретал право стать над тобой, как твой судья, твой укор, твоя совесть, в конце

концов. Отныне все, что надлежало тебе сделать в жизни, больше того, что возникало в тебе, как твое дело, твоя мысль, твое намерение, обретало право на жизнь лишь с благословения ушедшего. Бардин хорошо знал, что никогда этот человек не имел над ним такой власти, как теперь. Казалось, смерть стирает само имя человека, низводит его до этого холмика сырой земли, а она вдруг дала ему власть, какой он не имел никогда прежде. И власть, и способность влиять на живое деяние человека… А потом они возвращались с кладбища, и все, что попадало Бардину на глаза, отныне входило в его жизнь: и эта осинка над дорогой, и этот склон горы, и эта полоса оврага вдали.

42

Поздно вечером, когда уснула Ирина и был распит нещедрый графин за помин души, Бардин вышел из дома и подивился тьме, что разлилась вокруг. Истинно, хоть глаз выколи. Он вспомнил, как где-то здесь они шли сегодня с Ольгой и она, оглядывая двор, говорила, что ходила в здешний питомник и выклянчила саженцы смородины, крыжовника да малины. Как сойдет снег, примется за дело, если не по силам будет ей, Ирка поможет — еще в Ясенцах Ольга приметила, что Иришке сад по душе. И еще вспомнил Бардин, что за весь вечер Ольга едва сказала два слова, только держала ладонь у лица, стараясь погасить его знойный пламень, да прятала глаза, тоже знойные. Мысли эти так захватили его, что он не слышал, как открылась дверь и Ольга вышла из дому, став где-то рядом.

— Егор, ты здесь? — спросила она, но, оглянувшись, Бардин не увидел ее, видно, глубокая смуглость ее лица сделала ее неотличимой от этой ночи.

— Да, здесь, — ответил он.

— Протяни руку, вот так…

Ольга коснулась его руки и тотчас отняла. Он слышал ее дыхание, оно будто прибывало, становясь все слышнее.

— Я хочу тебе сказать, Егор. Можно?

Ее дыхание, только что шумное, оборвалось. Она затихла, и вместе с нею будто погасли все звуки вокруг. Да не перед новой ли это бедой? Что-то должно было сейчас вызреть значительное. Было предчувствие, что произойдет. В непотревоженной цельности темноты, в тишине, которая казалась литой… Где-то шел человек. Снег отвердел, и шаг стал слышен. Все громче. Он шел из тишины, этот человек. У него были сильные ноги, и снег едва ли не взрывался. Каждый шаг — взрыв. Взрыв, взрыв! Вот, казалось, дойдет — и все откроется. Все, что было тайной. Но человек прошел стороной, не раскрыв тайны. А предчувствие осталось. Бардин это ощутил точно, осталось.

— Не женись, Егор, — сказала она и вздохнула. — Повремени.

Нет, его не обмануло это предчувствие, она решилась и сейчас все скажет. Вон как храбро она устремилась к нему.

— Дай мне руку, дай же! Нет, погоди, не надо. Ах, какая я дура, у меня голова пошла кругом… Или я испугалась себя? Я сейчас все скажу! («Господи, что она приберегла в зыбкой тьме души своей? В чем хочет открыться?») Нет, пожалуй, хорошо, что сейчас так темно — я же знаю, что ты умеешь хмуриться, а тут я

защищена самой ночью… Я глупая баба, я это точно знаю, глупая, но я не могу ничего поделать с собой. Я люблю тебя, Егор! («Вот это да! Истинно, беда не ходит в одиночку!») Я тебя всегда любила, Егор. Сколько помню, столько и любила. Я и к дому твоему прилепилась потому, что ты был в этом доме. Стыдно сказать, я к Ксении пошла в прислуги не из-за нее, а из-за тебя, хотя, видит бог, я ее любила… («Свят, свят… Что же это такое? О матерь родная, дай силы сыну твоему Егору!») Я стыдилась своего чувства и гнала его прочь. Сестра, она мне была хорошей сестрой. За такое адовых мук мало! Я великая грешница, Егор. Мне бы надо было уняться — вон горе какое! Ты что, оторопел? Не иначе, сила нечистая привиделась? Коли так, гони ее к черту! («Вон какие слова пошли у нее! Это от робости, эти слова. Она ими подстегивает себя, как кнутом! Хлестнула и рывком вперед… О, Ольга горемычная!») Мне бы сына от тебя, и уйду на все четыре стороны! Стыдно сказать, мысль о сыне не оставляла, даже когда Ксении было худо! Вот увидела тебя и все забыла. Хожу и твержу: люблю его, только его!.. Ты небось думаешь, что я прельстилась твоей должностью высокой? Хочу быть женой посла, носить платье со шлейфом и ходить на приемы к королю? Истосковалась по жизни великосветской? Ничего этого мне не надо! Мне бы лопату, кусок земли и яблоньку — вот вся моя жизнь великосветская!

— Да где ты? — протянул руки Бардин, но ее и след простыл. — Ольга, Ольга, да куда ты делась? — Он шагнул во тьму. Нет ее. — Ольга, куда ты пропала! — Нет, она и в самом деле провалилась сквозь землю! Да была ли она здесь?

Он вернулся домой. Ее нет. Вышел из дому, побрел прочь.

— Ольга, Оленька? — Нет ответа, только далеко-далеко, вскрикивая на поворотах, шли машины да по-весеннему звонко ломался лед под их скатами. — Ольга?

Стоял посреди пустыря, не мог собраться с мыслями. Все, что тайно вызревало в ней годы и годы, что чуял Бардин и гнал прочь, грянуло как гром среди ясного неба!.. Да ясно ли было это небо, расколотое ударом грома? Вон сколько лет все это вызревало в ней, вызревало исподволь, как может только зреть сокровенная мысль женщины — нет тайны большей. Вон как храбра она была в своем чувстве, как бескорыстна, с каким упорством шла вперед, с какой верностью. Если бы то была не сестра, пожалуй, не избежать взрыва. Ему было чуть-чуть страшно при одной мысли об этом, страшно и радостно. Это льстило его мужскому самолюбию. Черт возьми, значит, есть в нем что-то такое, что может заставить женщину отважиться! Он сказал себе это и застыдился мысли, которая ненароком вломилась в его

сознание… Не об этом он должен сейчас думать, да это и недостойно истинного чувства. Ольга — она настоящая. Вот главное. Она настоящая, и все, что она говорит, правда. Ей можно верить великой верой! И не только потому, что это чувство родилось в святом огне страдных дней и Егора, и Ольги… Нет, не поэтому — в самой ее натуре было что-то истинное в прямоте и безыскусности нрава… Но, наверное, было в ней и деспотическое, что-то такое, что вызвано ее характером и к чему он приспособлен мало — Ксения была человеком деликатным. Но замечал ли он все это прежде? Она для него всегда была Оленькой, да, малышкой в доме. Еще с той поры, когда Ксения привела ее в дом и представила весьма церемонно, а потом вдруг заметила, что из-под платья видны кружева Олиных штанишек… Она была для него маленькой и тогда, когда вдруг вытянулась и обрела фигуру прелестной девушки, и являлась в их дом не иначе как с красной розой или гвоздикой в волосах. От него к ней было расстояние большим, чем от нее к нему. Она казалась ему малышкой, а вот он ей не казался старым. Что-то есть в этом от закона природы. Она относилась к нему с грубой фамильярностью, как парень к парню, все норовила подтолкнуть сильным плечом, все мерилась с ним силой, посмеиваясь над его слоновостью. Теперь он понимает, посмеивалась, чтобы скрыть чувство. Нет, это впрямь гром среди ясного неба! Она не думала говорить с ним об этом, подумала бы — повременила. Пожалуй, через год этот разговор был бы естественнее, и он ей сказал бы такое, чего сказать теперь не может. А может быть, она поспешила с этим разговором сознательно?

Он вернулся в дом, но ее все еще не было. Быть может, она испугалась собственных слов и сбежала? Он подумал, в этой внезапной тревоге за нее было что-то такое, чего он не ощутил бы вчера. Потом он подумал, что она, наверно, ходит где-то рядом, дожидаясь, пока он ляжет и в доме погаснет свет. Он выключил свет и лег. Только сейчас почувствовал, как устал. Он понимал, что не должен спать (уснешь — обидишь Ольгу, обидишь жестоко), но совладать с дремой не было сил. Проснулся, когда на дворе был день. И встревожился — самолет уходил в два. Но встревожился напрасно, было немногим больше десяти. В доме был только отец: Ольга ушла в город, Ирина в школу.

— Пораскинул умом: как жить будешь? — вопросил Иоанн.

Егор не ответил.

— Я говорю: как жить будешь? Без Ксении… как?

— Вот переборю зиму, тогда видно будет, — сказал Егор. — Надо, чтобы поработало время…

— Время что ноги: есть ли в нем ум?

— Есть.

Иоанн вздохнул: не столько сбросил с плеч нелегкую ношу, сколько взвалил ее на плечи.

— Ты был у Сережки? — спросил старший Бардин.

— Где именно?

— Как где? Под Калинином?

— Под Калинином нынче немцы…

— Ну, я не знаю, где… Был или не был?

— Не был.

— Если недосуг, я съезжу.

Егор Иванович понимал, дело не в Сережке, хотя старик и тревожился за внука. Просто Иоанн искал повода, чтобы накалить разговор и сказать сыну то, что хотел сказать.

— Немцы под Москвой, а мы ударили в литавры, будто бы кинули их за Одер, — сказал он так, словно разговор об Одере был прямым продолжением того, что сказал о внуке.

— По твоему опыту и знаниям стратегии, отец, тебе бы надо быть не за уральским щитом, а где-то ближе к огню, — сказал Егор, смеясь, — оттуда тебе сподручнее было бы давать советы насчет литавр.

Иоанн крякнул.

— Ты упек меня за уральский щит и ты же коришь? К чертовой бабушке, забирай меня отсюда!

Он долго молчал нахохлившись. Потом вспомнил, что Ольга наказывала покормить Егора, ушел на кухню.

— Садись, а то, того гляди, яичница в дым обратится, а второй раз я тебе не изжарю — не из чего! — Он принес сковороду с яичницей, поставил ее на опрокинутую тарелку. — Вот тут еще есть вареники с творогом, — пододвинул он глиняную миску, стоящую посреди стола. — Мука малость подопрела, как я понимаю, а творог хорош.

Бардин ел, смотрел на отца. Он сидел за столом напротив, большой, рыхлый, похожий на неожиданно выпершее из макитры дрожжевое тесто. Белая борода распласталась на полной груди. Каждый раз, когда Иоанн вздыхал, борода вздымалась вместе с грудью, согласно разламываясь там, где легла разделяющая ее надвое бороздка.

— Ты послушай меня, я дело говорю, — сказал Бардин-старший и дохнул, да так мощно, что ветер, возникший при вздохе, взрыл бороду. — Сколько помню тебя, столько говорил тебе: только тот народ жизнестоек, который помнит свое прошлое. В этом прошлом опыт, а вместе с тем урок и мысль. Ты скажешь, прошлое не существует, есть книги, в книгах живет мысль человека, давно ставшего тленом. Верно, но эта мысль

живет и в живом человеке, ты слышишь, в живом, если не разрушена преемственность поколений. В мире, который считает себя новым, должен почитаться единственный титул — седая борода! Настало время нового сената! В нем и верность, и мудрость, и прозорливость. Нет, я не оговорился — время совета седобородых! Ничто не должно решаться без того, чтобы они не сказали «да». Они могут принять, и они могут отправить в преисподнюю.

Бардин доел свою яичницу, отодвинул сковороду, отодвинул шумно.

— Ну, предположим, мы утвердили совет седобородых. Что они прибавят, седобородые, к тому, что скажут их внуки?

Иоанн положил на стол кулаки, закатал рукава по локоть, обнажив руки, молвил, будто стараясь растолковать:

— Мне трудно сказать, что они скажут, но один толк будет наверняка — они сомкнут день вчерашний и сегодняшний, а это значит, не допустят, чтобы прервалась преемственность поколений!..

Егор достал платок, вытер им шею. Ох, старик вредный… Вот другие отцы — любо посмотреть!.. Что ни слово, то ласковое, что ни слово — участие и радость. К такому отцу тянешься, а этого… бога молишь, чтобы не повстречаться. И все норовит дать тебе под дых, все исхитряется под печенку. Только и дел у человека, чтобы подстеречь и хлопнуть тебя по загривку. Отец!

— Что значит «сомкнуть»? Вот, например, революция. Сомкнула она день вчерашний с днем сегодняшним?

— Вон куда хватил — революция! Да разве я об этом говорю? Революция революцией. Я не об этом. То, что сломали, сломали правильно, туда ему дорога. А ведь ломать-то надо было не все. Разумей, не все надо было ломать, а ломали подчистую. Ну, предположим, стихия, у нее нет глаз. Она идет напропалую, рушит, что под руку ей попадет: купеческий лабаз к чертовой матери, древний храм с иконами пятнадцатого века тоже к чертовой матери!.. Но ведь стихия, она без ума, она сила злая. А революция? Революция — сила добрая! Ежели она идет на смену несправедливости, значит, куда как добрая! А почему так получилось?.. Нет, ты скажи, почему? «Лес рубят — щепки летят»? Нет! Тогда почему? Нарушена преемственность поколений! Стариков авторитета лишили, а молодым отдали! А молодой, он что? Что ему иконы пятнадцатого века? Ведь они, эти иконы, в храме, а храм — это религия, а религия — опиум!.. Вот он и бьет кувалдой по древнему письму! А ему невдомек, что иконы эти — сокровища!

Господи, так и вареников не испробуешь. Вот ведь

самодоволен человек. Все прибрал к рукам: и мудрость, и волю непогрешимую, и способность видеть, и, разумеется, способность предвидеть, и что-то знать, и что-то чувствовать. Никому ничего не оставил, всем завладел… Монополия! А того не поймет, наивный человек, что до него тоже люди жили, и чего-то желали, и о чем-то думали. Мало сказать, жили — живут! Живут, черт побери!.. И, наверно, понимают не меньше его, хотя ведут себя не так громогласно. Но как ему втолкуешь все это, когда он вызывает тебя на разговор, чтобы послушать себя.

— Нет, погоди, ты все свалил в кучу: били ли кувалдой по древнему письму!.. Допускаю, били. Но ведь было ясно не только тебе, что это варварство. Чем твоя проповедь отличается от того, что говорил в свое время Луначарский?.. То, что ты говоришь, ты, прости меня, содрал у него!.. Разница только та, что он говорил лет на двадцать раньше тебя.

— Ты дурака из меня не делай, а что мое, отдай. Я знаю, что говорю дело, понял? Хочешь оглупить, чтобы легче было сшибить меня? Не дамся! Ты Луначарского не тронь, как не хочу трогать его и я. Мне дела нет, что он там говорил. Я Бардин, рядовой гражданин советской державы, и хочу сказать, что думаю я, сказать не оглядываясь! Это ты оглядывайся, если хочешь. Ты государственный служащий, тебе как-то сподручнее, а мне этого не надо, мне мои лета не велят шеей крутить.

Бардин отодвинул вареники с творогом — разом пропал аппетит. Ему лета не позволяют крутить шеей, а ты, мол, валяй крути. Нечего сказать, нашел время для разговора. Сердца нет у человека! Иной бы родитель в такую минуту… Да разве ему об этом скажешь? Засмеет! Скажет, по случаю семейной беды просишь амнистировать, не говорить всей правды. У него и на такое храбрости хватит. Нет, с ним надо только так: сила на силу.

— Ты моей совести не тронь! — кричит Егор. — Мне достаточно, что я сам знаю, она у меня есть, к тебе за визой не пойду!..

— Визой? Во! Слыхали, визой!.. Особачили язык! Только подумать: язык особачили! Чиновник… ты чиновник и есть. С отцом родным каким языком говоришь! Визой! Ты еще скажи: «Курировать!..» Ну скажи! И еще: «Хозяин!» Да, да… Как там у вас? «Хозяин сказал!» — и этак закатить глаза: хозяин где-то там, в небеси, рядом с богом! Дали по шапке всем хозяевам, а слова забыть не могут: «Хозяин!» Тьфу!

Ну что ты ему на это скажешь?.. С какой злостью говорит! Слова-то какие: «Особачили!» Нет у него желания помочь. Доброй воли нет. Именно, нет доброй воли. Человек, для которого твое дело близко, найдет другие слова. Даже когда к чертовой матери

посылает, сделает это по-доброму, не обидно. «Особачили!» Вот он влез на свой Олимп, недосягаемый, бардинский, и творит суд! Нет дела. Он взобрался на пик, куда ни одна пушка не достанет, и творит суд.

— Но чего ты хочешь? Скажи толком, в чем твоя программа, положительная, так сказать? Ну вот, дали бы тебе власть, что бы ты сделал? Скажи, что сделал?

Вот это человек — смеется!.. Наговорил бог знает что и даже настроения себе не испортил. Больше, повеселел! Ты в мокрую курицу обратился, а он все еще орел. Истинно, ровесник всего живого бессмертен! По нему пушками бей — не возьмешь. Только взгляните, смеется.

Позитивная, говоришь? Совет дедов! Сенат! Право голоса не в восемнадцать, а в шестьдесят! Только в этом возрасте человек и набирает опыт. В городе, в селе, в хуторе на четыре двора — совет стариков. Круглая печать государства у них. Старик должен быть первым человеком в государстве. Как на Кавказе, там старикам руки целуют. Как на казачьей Кубани, там последнее слово за стариками. Как в Древней Греции, там совет мудрецов был властью. Как на древней матушке Руси, там неслухи держали ответ перед стариками. А что сделали мы? Исключили стариков из жизни! Старик, мол, — старое время, а старому времени крышка! Значит, и старикам заупокойная. А то люди не могут взять в толк, что нынешние старики революцию сотворили, а мы им по шапке! Ты хочешь сказать, что вы дадите им возможность вкусить плоды и уйти на почетный отдых? Изволь знать мое мнение: этот почетный отдых есть форма отстранения. Боитесь старичков, вот и отправили их в ссылку, назвав ее отдыхом почетным. Нужен сенат революционный!

— Сенат, значит! А что он будет делать? Программа деятельности? Цель?

— Главная цель? Ну, если хочешь, преемственность поколений… Взять у вчерашнего дня все, что нужно дню сегодняшнему, — вот цель. А программа…

— Да, для сегодняшнего дня. Будь этот сенат сегодня, что бы он делал?

— Мобилизация, всеобщая и полная мобилизация народа.

— Ты думаешь, что народ еще не мобилизован?

— Мобилизация, говорю, всеобщая.

— Это как же понимать, всеобщая? А сейчас какая мобилизация! Не всеобщая?

Иоанн встал, видно, и его обильных сил оказалось недостаточно, чтобы довести этот разговор до победного конца. Встал, подошел к ведру с водой, зачерпнул, принялся пить. Пил в

охоту, вздыхая от удовольствия, роняя частые капли на бороду, на широкую, в седых волосах грудь.

— По этой мобилизации, если хочешь, я не должен сидеть за хребтом Уральским.

— Так ты и не сиди, вернись из-за хребта.

— Я и вернусь, за визой к тебе не пойду. Слышишь, не пойду за визой!

— И вернись.

— Вернусь. Да только ли во мне дело? Обойти всю Россию и дать каждому дело. Слышишь, каждому! Выскрести донышко и всем дать дело, и убогим людям, и старухам завалящим, и калекам… Школы к делу призвать — школы смогут горы свернуть! Кликнуть клич русским людям, что живут в разных державах: помогите России одолеть супостата!.. И это не все. Вызвать к жизни, так сказать, традицию русскую, военную и статскую, заставить ее работать на Россию в три пота. Ты не смейся, традицию… Не робеть перед историей и не страшиться взять ни у царя Ивана, ни у царя Петра.

— Традиция традицией, а царей к чертовой бабушке! — вознегодовал Егор. — Это цари-то — программа положительная? Кстати, вот вопрос. Скажи, пожалуйста, в четырнадцатом, да, в четырнадцатом, когда Россия схватилась с немцем, эта программа действовала? Нет, нет, скажи, небось в ту пору кого-кого, а царей не отвергали… Итак, прикинь и скажи, действовала?

— Ну, предположим, действовала, — сказал старый Бардин. Он был обескуражен — этот вопрос возник перед ним, как овраг перед конем, что до этого шел наметом. Что-то было для Иоанна тут каверзное. Иоанн не установил, что именно, но чуял, каверзное.

— А какой из этого толк получился? Вот прикинь своим умом, отец. В четырнадцатом Вильгельм, нынче — Гитлер. Кто могучее? Я думаю, Гитлер. Значит, нынче труднее, чем тогда. В четырнадцатом был немец с австро-венграми, нынче — вся континентальная Европа. Значит, нынче труднее, чем тогда. В четырнадцатом был второй фронт, нынче его нет. Значит, нынче труднее, чем тогда. Худо ли, бедно ли, а Россия сейчас стоит и даже, я так думаю, помаленьку подвигается к победе, а что стало с Россией тогда, известно. Почему так? И стариков не очень почитает, и военную со статской традицию забыла, а все-таки стоит и борется! В сущности, один на один с немцем. Почему? Может, ответишь, революционный сенатор?

Иоанн был мрачен.

— Отвечай сам.

— Нет, зачем же. Теперь твой черед.

— Отвечай, говорю.

— Так почему же Россия нынче один на один побеждает, а тогда с доброй полудюжиной союзников не могла? Почему? Кто помог ей? Я так думаю, не царь Иван с царем Петром, а тот осенне-багряный день семнадцатого года, когда она кончила со старым. Я так думаю, что здесь кладезь нашей силы.

— Кладезь? — вопросил Иоанн Бардин. — Кладезь, значит?

— Ну что ж, кроме нас двоих есть еще и третий — время, — сказал Егор. — Подождем, что скажет оно. Кстати, не Ольга ли это идет?

Иоанн приник к окну, всматриваясь, вытирая слезы:

— Ольга.

Она поклонилась Егору и, не раздеваясь, села на краешек скамьи, что стояла у окна. Она сидела, задумчиво покачивая головой, будто поддакивая чему-то такому, что слышала только она.

— Пожалуй, мне пора, — сказал Егор, поднимаясь, но она и бровью не повела. — Ты меня проводишь, Оленька?

Она подняла глаза, печально взглянула на него.

— Прости меня, Егор, не смогу, — сказала она. — Сегодня приходили из школы, в Иришкином классе собрание… — Она произнесла это не без труда, точно сил у нее осталось только на это.

— Ну, как знаешь, Оленька, — сказал он и взял пальто. Бардин так и не решил, действительно ли так важно было для нее это собрание или она воспользовалась этим, чтобы избежать продолжения разговора, который не сулил ничего хорошего.

Как и предполагалось, в два он вылетел в Москву.

43

Однако слоновья же шкура должна быть у дипломата! Позвонили: завтра в семь прибывает Иден, тебе встречать. И Бардин ехал на вокзал, как на свадьбу. Да и выглядел он соответственно: в шубе, крытой черным сукном, в каракулевой островерхой шапке, повязанный клетчатым кашне, из-под которого выглядывала белая сорочка. Один бог знает, как в нынюшнюю ненастную пору удалось ее сохранить такой. Тщательно подстриженный и выбритый, Бардин ехал на вокзал встречать английского гостя, и его вид отнюдь не свидетельствовал, не должен был свидетельствовать, что он только что прожил один из самых грозовых месяцев в своей жизни, и что всего три дня тому назад он стоял в открытой зауральской степи у дорогой могилы. Истинно, слоновья кожа должна быть у дипломата!

Да, в Москву приезжал Иден, и Бардин в какой уже раз за эти дни принялся думать о нем. Существовало мнение: Иден — в английской политике фигура декоративно-протокольная. Сторонники этой точки зрения как бы говорили: «Вы взгляните, как он великолепен, Антони Иден!.. Именно так мы представляем классический тип английского аристократа: длинноног, худ, не крупен в кости и не очень широк в плечах, с лицом, в котором видны и ум, и сановность. Сановность, которая, как свидетельствует опыт, не возникает вдруг; чтобы ее породить, необходимы века. И совсем не обязательно, чтобы достоинства, которыми столь щедро оделила Идена сама природа, сочетались у него еще и с умом. Давно замечено, что природа носит ум и красоту в разных корзинах. Когда же случается наоборот, это до добра не доводит».

Надо сказать, что сам Антони Иден не только не опровергал эту точку зрения, а в известной мере ей способствовал. Он одевался не очень современно, но в его одежде была та не бросающаяся в глаза изысканность, с которой научилась одеваться английская аристократия в викторианское время. Но, человек ума трезвого, он не намерен был слепо следовать всему английскому. Ценитель живописи и ревностный ее собиратель, он понимал, что здесь английский гений себя не проявил и, все может быть, не проявит, и устремил свою страсть на коллекционирование французских импрессионистов. Поговаривали, что его мнение о стране складывалось из того, обнаружил ли он в этой стране нового Дега или Ренуара. Так рисовала облик Идена молва, а каким был этот человек на самом

деле? Велик был у Бардина соблазн принять Идена таким, каким он выглядел во мнении молвы. В нем, в этом мнении, было нечто такое, что брало в плен. Что именно? Наверно, та доза скепсиса, малая, но всемогущая, которая едва ли не дает тебе право творить суд.

Велик был соблазн принять мнение молвы, но оно было тенденциозно, а дипломат не должен отдавать себя во власть тенденции, как бы заманчива она ни была, — тенденция обезоруживает. Если есть тенденция, очевидно, есть и антитенденция. Какова она? История английской политики последних десяти лет — это история двух групп: той, что стремится отстоять британские позиции в союзе с немцами, и той, что допускает соглашение с Россией. Сказать, что Иден принадлежит ко второй группе, пожалуй, не все сказать. Он сделал себе на этом имя. Он аргументировал свою точку зрения не без изящества. Он считал, что англо-русский союз доказал свою жизненность на протяжении полутора веков. Благодаря этому союзу были низвергнуты все деспоты Европы, начиная с Наполеона. Великобритания и Россия, два могущественных государства, стоящие одно на западном рубеже Европы, а второе — на восточном, не хотят и не могут мириться с господством в Европе третьей державы. Третья держава становится слишком опасной и для Великобритании, и для России.

Иден был первым британским министром, которого принимала новая Москва еще в 1934 году, и внимание, оказанное тогда ему в Москве, соответствовало этому. В ту пору Запад не очень баловал Россию подобными визитами. Английскому министру показали сокровища Кремля и Московское метро, строительство которого уже заканчивалось, русскую и западную живопись, не обойдя, разумеется, Дега с Ренуаром. Итог бесед Идена со Сталиным был выражен, как теперь установил Бардин вновь, в коммюнике, которое было на редкость быстро согласовано специалистами по этой части во время их встречи в посольском особняке на Софийской и которое гласило, что у Британии и России «нет противоречий интересов ни в одном из основных вопросов международной политики». Бардин, перечитавший это коммюнике теперь, нашел его излишне оптимистичным, однако в глазах Егора Ивановича это как раз хорошо характеризовало Идена. Возможно, английский министр, как это часто бывает в дипломатии, ради главного готов был пренебречь второстепенным, пренебречь настолько, что делал вид, будто не в его силах рассмотреть это. Единственное, что для Идена было несомненным и во что он действительно верил по возвращении из Москвы, заключалось в том, что русские

приветствовали миссию Идена в Москву, его миссию, и его, Идена, как носителя идеи, которая сделала возможной эту поездку в Россию. Иден был в такой мере в этом уверен, что, когда летом 1939 года возник вопрос о заключении англо-советского пакта, способного предупредить гитлеровскую агрессию, и тогдашний министр иностранных дел Галифакс отказался ехать в Москву, Иден дал понять правительству, что готов взять на себя эту миссию. Тогда эта поездка не удалась, но все, кто был осведомлен о настроениях Идена в ту пору, готовы были свидетельствовать: Иден все определеннее ставил на русскую лошадь.

Это было два с лишним года тому назад. А как теперь? Тогда его «да» и его «нет» значили много меньше, чем теперь, — тогда он был бывшим министром. Правда, есть мнение, что в правительстве, которое возглавляет Черчилль, реальные права министра, и тем более министра иностранных дел не следует переоценивать, но это мнение может быть субъективным, а следовательно, тенденциозным, а тенденция, как было сказано, не способствует установлению истины.

Так или иначе, а Иден прибывал в Москву в более чем ответственный период ее истории. Если вспомнить прошлый его приезд в советскую столицу, то можно было установить даже нечто общее: теперь, как и тогда, обе страны стояли перед великими испытаниями. Тогда речь шла о том, чтобы предотвратить войну, сейчас — одолеть врага и войну выиграть. Тогда — возможен ли сам союз и в какой мере обе стороны готовы его осуществить, теперь — достаточно ли жизнестоек этот союз и способен ли он совладать с превратностями времени. Как ни плох был политический климат тех лет, поездке Идена в Москву сопутствовала удача. А как теперь? На подмосковных полях, скованных морозом, какого давно не знала Россия, накаляясь с каждым днем все больше, продолжалась самая большая битва этой войны, а перспектива второго фронта была так же далека от осуществления, как и в начале войны. Можно было подумать, что восторжествовала формула Трумэна, провозглашенная на второй день после июньского вероломства Гитлера: «Пусть они убивают друг друга…»

Так или иначе, а Иден прибывал в Москву и Егор Иванович явился на вокзал встречать английского гостя.

Бардин подумал: «Бекетов едет?» Оказалось, что едет не только Бекетов, но и Михайлов, а это уже было интересно. Далеко не всегда посол сопровождает иностранного гостя… Если это имеет место, значит, гость приветствуется. Из этого можно было вывести два правила любопытных. Первое: только в общежитии

каждый гость желателен. В дипломатии действуют иные законы. Второе правило конкретно и в какой-то мере деликатно: а если бы ехал Черчилль, разрешили бы послу сопровождать его? Вряд ли. То обстоятельство, что Черчилль — премьер, не имело бы здесь ровно никакого значения. Следовательно, то, что отождествлялось в сознании советских руководителей с именем Идена, решительно не распространялось на Черчилля, хотя если копнуть глубже… Ну, чем Иден, в конце концов, отличался от Черчилля?

С покатого взгорья, где стояли припортовые постройки Мурманска, едва угадывалось море — снеговая тьма, именно тьма, хотя и белая. Как в такой тьме отыщешь дорогу, не напоровшись на железные зубья тевтона? Кстати, английский крейсер идет в одиночку, защитившись от всех невзгод броней и скоростью, пожалуй, больше даже скоростью, чем броней. Но те корабли, что вошли в порт в последние сутки, явились сюда точно из сказки, у них странно праздничный вид. Корабли разукрасил лед, тонны льда, которым оброс корабль. Этот лед, что коварные объятия недруга: доверишься им и испустишь дух… А как тот корабль, что идет к Мурманску из далекого шотландского порта? Сберег он спасительную скорость или полярная ночь обратила его в айсберг? Небось на корабле аврал и команда, вооружившись ломами, скалывает сказку…

Для англичан и в иное время года поход в Россию был событием, а тут в разгар зимы российской, да еще какой зимы! Будь Иден человеком суеверным, пожалуй бы, трижды осенил свою грудь крестным знамением, прежде чем продолжить путь. Где-то в первый день путешествия или в самый его канун настигла его весть о японской диверсии в Пирл-Харборе… Как английский гость? Пришел в замешательство или сплюнул через левое плечо и продолжил путь?

Когда красноармейцы в дубленых полушубках выстроились вдоль береговой линии и военные музыканты поднесли ко рту каленую на морозе медь своих труб, а в белесоватой тьме полярной ночи появился Иден и, на ходу отворачивая шалевый воротник шубы, приветственно вскинул руку, Бекетов подумал: политика — это умение видеть на расстоянии, видеть настолько, чтобы не делать глупостей. Четверть века назад или около того вот на этой же мурманской земле сподвижники и посланцы Черчилля принимали парад тех, кто видел в большевиках заклятых врагов своих. А вот сегодня тот же Черчилль направляет в Мурманск первого своего эмиссара, моля большевиков прийти на помощь Англии. Направляет именно в Мурманск —

исторические параллели и исторические несообразности отсюда видны лучше. Хочешь не хочешь, а выведешь мораль: человек должен соотносить свои поступки не только с днем сегодняшним, но и с завтрашним. Кстати, у этого завтрашнего дня есть одна особенность — он приходит раньше, чем, казалось, должен прийти.

Вот хотя бы эта новость, только что полученная в Мурманске: началось наступление под Москвой. Советская победа разом переселила Идена на седьмое небо. Поздравляя Михайлова, англичанин так сжал его руку, что посол, высвободив ее и отведя за спину, должен был шевельнуть пальцами, чтобы удостовериться, что она цела. Ничего не скажешь, метаморфозы времени. Советская победа сделала английского министра в такой мере счастливым, в какой в иные времена способно было сделать его таким только поражение.

Специальный поезд, который на запасном пути ждал английского гостя, был сформирован по всем правилам военного времени: для Идена броневагон, рядом открытые платформы с укрепленными на них зенитками, впереди поезда, на расстоянии трех — пяти километров от паровоза, тянущего состав, второй паровоз, в своем роде щит. Где-то на первых перегонах поезд шел вдоль линии фронта, чуть ли не в поле видимости врага. На беду, небо очистилось от туч и северное сияние развесило свои многоцветные полотнища. Четыре с лишним дня морского путешествия дали себя знать — гости уснули. Сон уберег гостей и от красот северной ночи, и от тревог прифронтовой дороги. Когда Иден впервые вышел из броневагона, нечто похожее на рассветные сумерки разлилось по снежному полю, обозначив темную линию бора на горизонте. Иден с такой поспешностью окунул голову в ворсистый воротник, что сшиб набекрень ушанку, подаренную русскими военными в Мурманске.

— А солдаты вот так… всю ночь на морозе? — обратил англичанин взгляд на платформу, по которой шагали царственно спокойным шагом, один в одну сторону, второй в другую, красноармейцы в тулупах.

— Да, всю ночь, — ответил генерал Нэй, оказавшийся подле.

— И им не холодно?

— Наверно, холодно, но не так, как нам с вами.

— Потому что на них эти бараньи дохи.

— Не только. Они русские, господин министр.

Иден переступил с ноги на ногу — мороз начал подпекать и его.

Говорят, что дипломат должен видеть то, что у всех прочих лежит за пределами видимого. А что значит уметь видеть?

Очевидно, в такой мере уметь проникать в психологию человека, которого ты наблюдаешь, чтобы то немногое, что ты увидел в человеке, дало возможность прочесть его всего. У Бекетова задача чисто психологическая — увидеть Идена. Да, по тем крохам, можно сказать, даже жалким крохам, которые дает неблизкое общение с человеком, общение больше официальное, чем личное, составить свое мнение о нем. Егор как-то сказал Бекетову: «Ты смотришь на человека и видишь его, так сказать, в исторической перспективе. История — это хорошо, но дипломату нужна психология. Попытайся проникнуть человеку в душу… Поверь, она даст тебе много». Но у Бекетова свое мнение: психологу здесь не противостоит история. Наоборот, история может сотворить такое, что одной психологии не под силу…

44

Грозны полуночные зарницы над Москвой. Немое небо, где-то бесследно увязли в неоглядной пучине земли и облаков громы битвы, и только огонь некуда упрятать. Его сполохи так сильны, что казалось, еще мгновение — и загорится, шипя и потрескивая, само небо… Когда город озаряет такой пламень, большой дом на Кузнецком словно преображается. Загораются окна, и дом будто становится обитаемым. Но зарницы тускнеют и уходит огонь из окон. Темно и тихо. Эта тишина от наледи, которой оброс нетопленный дом. Главное сберечь стекла. Не дать снегу и стуже вломиться в дом и натворить бед. А как сбережешь окна, когда взрывная волна выламывает их вместе с переплетами?

Нет-нет, а к дому и придет кто-то из наркоминдельцев. Благо «Метрополь», где расположилась оперативная группа наркомата, не за горами. «Как там добрый дом на Кузнецком? Выдюжил, старина?» — «Похоже, что так». Странное дело, дом как дом, а будто существо одушевленное. Почему? Наверно, потому, что частица жизни твоей осталась в нем… Вспыхивает небо, а вместе с ним и окна. Истинно, дом точно становится обитаем. Будто не было смятенного октября и все, кто покинул его, пустились в обратную дорогу. С Приволжья, из-за хребта Уральского, с кровавых ратных полей, смоленских, гжатских, вяземских… Да будет ли такое?

Поезд пришел на Ярославский, и в толпе встречающих, небольшой, но плотной, Бекетов так и не обнаружил Егора Ивановича. Он не предупреждал, разумеется, Бардина о приезде, у него не было данных, что друг его будет обязательно на вокзале, но логика их отношений, неодолимая и, как всегда, точно действующая, подсказывала ему: Бардин должен быть на вокзале, не может не быть. Поэтому, когда он наконец обнаружил друга, быстрым шагом приближающегося к вагону, то был рад и тому, что видит Егора Ивановича во здравии, и тому, что правило, которое он только что вывел для себя и Бардина, продолжает действовать с прежней силой. Но внимательный Бекетов ухватил в друге и иное.

— Что-то ты мне не нравишься, — сказал Бекетов, когда Бардин, облобызав друга, еще лежал у него на груди, вздыхая. — Да не занемог ли ты? Полегчал, будто баржи на себе таскал по перекатам.

— В моем положении баржа не самое трудное.

— Погоди, что ты хочешь сказать? — насторожился Бекетов

и, дотянувшись до спины друга, ставшей странно сутулой, положил на нее руку. — Ксения?

— Ксения, — произнес Бардин.

— Так… А я гляжу на тебя, не тот Егор. Так, так…

— Пойдем, Сережа, отсюда… Холодно мне, — сказал Бардин и двинулся вдоль платформы. Бекетов медленно последовал за ним. — Что-то сердце, точно кто холодную руку за пазуху сунул…

Они дошли до здания вокзала, но входить туда не стали.

— Вот что, Егор, сегодня я человек казенный, а завтра, была не была, пробьюсь к тебе, — сказал Бекетов и огляделся. Группа гостей, над которыми сейчас возвышалась мурманская ушанка Идена, обогнула здание вокзала.

— Не опоздаешь, Сережа? — спросил Бардин. Он приметил взгляд Бекетова, обращенный на гостей, над сплоченной группой которых все еще маячила ушанка Идена. Встретимся завтра.

— Подожди, Егор. — Бекетову очень хотелось сказать другу нечто такое, что способно было утешить его, но нужные слова не шли на ум. — Ты-то решил, как жить будешь?

— До меня ли, Сережа? Тебе пора, — Бардин пожал руку другу и зашагал прочь.

Как обещал Бекетов, он позвонил Бардину на следующий день.

— А что, если бы тебе сейчас, по старой памяти, явиться на Остоженку, Егор? — спросил Бекетов осторожно. — Тебе будет хорошо у меня. Как ты?

Бардин поехал. Сергей Петрович ждал друга едва ли не в той самой комнате, в которой состоялась их первая встреча, когда Иоанн Бардин ненароком вспомнил профессора истории с Подсосенского и направил к нему юного Егора. В комнате стояла чугунная «буржуйка», какой и в наши дни железнодорожники обогревают товарные вагоны, отправляясь в дальнюю дорогу. Чья-то рачительная рука (Егор подозревал, что это была старушка соседка, которая невзначай возникала в квадрате открытой двери и исчезала) протопила комнату, вскипятила чай и даже изжарила добрую сковороду картошки с луком. Бардин привез бутылку «цимлянского», которую раскопал в Иоанновом погребке в Ясенцах.

— Ты сиди, Серега, да рассказывай про заморские чудеса, а я уж сам накрою стол, как умею, тут у меня определенная привилегия перед тобой.

— Чудеса — это что же? Иден?

— Ну, хотя бы.

— Хочешь спросить, как далеко яблоко от яблони откатилось?

— Хочу спросить, Серега.

— Как упало с яблони, так и лежит у самого ствола.

— Что есть яблоня и что есть яблоко, Сергей Петров?

— Черчиллевское древо есть… яблоня.

— Этак ты мне отобьешь аппетит, и я «цимлянской» влаги не захочу, а? — вопросил Бардин.

— А вот тут у меня нет опасений…

— Где будут границы России после войны, друг Бекетыч?

— Хочешь знать мое мнение?

— Да, Серега.

Бардину казалось, что друг отвечает на его вопросы в охотку еще и потому, что этот разговор был своеобразным щитом для Сергея Петровича: он защищался им от Ксении, понимая, что тут он беспомощен. Впрочем, этот разговор, как должен был признаться себе Егор Иванович, был щитом и для него: если бы друг вновь спросил его «Как жить будешь?», Бардина поверг бы этот вопрос в смятение.

— Ну?

— Сказал бы, да боюсь ошибиться, Егор.

— По-моему, британцы встали на дыбы, так?

— Встали. Еще как! С их точки зрения, новые границы — это не столько безопасность России, сколько вид экспансии…

— Даже после того, что пережили мы в сорок первом?

— Даже после этого.

— Разве мы не были правы, когда требовали отодвинуть границу от Ленинграда? Все последующее не доказало нашей правоты?

— Именно это и было сказано Идену.

— А он?

— Говорит, что решение проблемы — в объявлении войны финнам.

— И это все, Бекетыч?

— Пока, я так думаю.

— Что значит «пока»? Разговор начался, его следует продолжить.

— Да, трудный разговор.

— Ну что ж, ты был не щедр в своих ответах, но и за это я тебе благодарен. Будем считать, что бокал «цимлянского» ты заработал.

— Спасибо и на том.

Уже за полночь, когда проблемы, вызванные иденовской миссией, были исследованы досконально и паузы, одна, а вслед за этим вторая и третья дали знать друзьям, что должное должно быть сказано, Бекетов спросил:

— На кого ты оставил семью там, за Уралом?

— На… Оленьку да на отца, — сказал Бардин, раздумывая: отец возник в его сознании уже после того, как имя Ольги было произнесено, и это, так показалось Бардину, безошибочно отметил для себя Бекетов.

И вот тогда еще раз грохнул всей своей многопудовой медью колокол молчания.

— Погоди, а как ее муж? Так и не отозвался?

— Муж как? Без вести… на финской, — ответил Бардин, не сводя глаз с друга. Было такое впечатление, что он что-то знает, знает и не говорит.

— Без вести? — не выговорил, а тихо воскликнул Бекетов. Этот ответ сказал ему больше, чем, казалось, должны означать слова, которые при этом были произнесены. — Оля, она… верна твоей семье, — добавил он, поразмыслив.

— Да уж как верна! — подхватил Бардин с жаром и точно оступился: не много ли жару вложил он в этот ответ?

Странное дело, Бардин и боялся этого разговора, и хотел его продолжения, но Бекетов замкнулся. Он сказал все, да и услышал, как можно было подумать, все, что хотел услышать от Бардина.

Наши рассчитали верно: вопрос о границах должен быть решен, ну, не сегодня, так в эти месяцы, — сказал Бекетов, недвусмысленно обнаружив, что хочет сменить тему разговора. — Если англичане не скажут «да» теперь, завтра они его не скажут.

— Ты полагаешь, так, как они зависят от нас сегодня, завтра могут не зависеть? — спросил Бардин.

— Я в этом уверен, — подтвердил Сергей Петрович.

Под утро, возвращаясь с бекетовской Остоженки в «Метрополь», Бардин вновь и вновь взвешивал то немногое, что сказал ему Сергей Петрович по существу переговоров, и, соотнося это с тем, что знал сам, должен был прийти к мысли не очень обнадеживающей: те, кто верил в миссию Идена, ошиблись.

45

Казалось, машина была еще в пределах Москвы, когда по правую и левую руку от дороги легли разбитые немецкие бронетранспортеры, покалеченные пушки, снарядные ящики с клеймами рейха, бочки необычайной формы, смятые в лепешку, штабные автомашины и выпроставшееся из машин разномастное барахло: штанина от форменных брюк, разумеется, с лампасами, пилотка, башмаки на деревянной подошве, картонные иконки, многоцветное изображение нагой женщины (она, только она и была храбра на русском снегу), этикетки, открытки, орденские колодки, все яркое, кричащее, точно на погибель… И рядом в бездонном снегу, точно желая переплыть белую пучину, немцы, бездыханные, замерзшие, немые. Кто взметнул руку над белой волной, кто зарылся с головой в отвердевшую пену, кто выскочил наружу по пояс и навеки затих…

Там, где великое неистовство войны достигало наибольшей силы, шоферы старались пригасить скорость и Иден пододвигался к смотровому стеклу.

— О, это урок! — произнес он вполголоса однажды, не без труда распечатав бледные губы. — Им надо было явиться сюда, чтобы получить этот урок…

Уже за полдень въехали в Клин. Стояли черные трубы на месте сожженных изб. Вопреки всем невзгодам войны они были нерушимы. С них начинался дом, и с них, казалось, он должен возродиться. Но как скоро это будет и будет ли? А сейчас ветер врывался на пепелища, взрывал золу и сажу, гнал по белому насту, стремясь поспешно зачернить его. Истинно, белое поле становится черным — все спалено, все порушено. Если и есть тепло, то у костра на снегу.

Привели пленных и поставили на крыльце полусожженного дома. Их шестеро. Старшему не больше двадцати пяти. Вид бабий, хотя все в шинелях. Наверно, потому, что на некоторых из них платки, на одном платок был белый, шерстяной.

Подошел Иден. Немцы насторожились. Тот, что был в белом платке, крикнул, стараясь опередить товарищей:

— Гитлер капут!.. — видно, защитная реакция — до сих пор выручала.

Иден стоял сейчас у крыльца. Немцы были над ним. Взглянул на их башмаки, поспешно погасил улыбку. Не иначе как вспомнил русского зенитчика в тулупе, что катил на открытой платформе от Мурманска до Москвы.

— Так все одеты у вас? — спросил англичанин.

— Вся армия, — сказал немец в белом платке. С той минуты, как немец послал фюрера к праотцам, он осмелел заметно.

— А ведь зимой в России снег, — сказал Иден.

Немцы засмеялись, тот, что в белом платке, громче остальных.

— А нам казалось, что зимой нас здесь не будет, — меланхолично заметил немец помоложе. Он один был без пилотки.

Бекетов, что стоял поодаль, был почти уверен, что Идена одолевало искушение спросить немца: «А где вы предполагали быть к зиме? Не на Британских ли островах?» Но англичанин смолчал. В иных обстоятельствах Иден, пожалуй бы, спросил немца, но сейчас в этом не было смысла. Для Идена, разумеется. Спросить, значит, показать русским, что вторжение на острова предотвращено, потому что немцы застряли под Москвой. Надо ли это показывать русским?

Но мысль Идена уже набрала энергию и ее ничто не могло остановить.

— Подобное могло быть и с нами, — сказал Иден, когда они переступили порог клинской обители Чайковского.

Все время, пока Иден объезжал Клин, рядом с ним был полковник Иван Костылев — старый вояка, давно пребывавший в отставке, которого вновь призвала в строй война. Костылев не без охоты вызвался сопровождать Идена — он полагал, что его опыт офицера, хорошие манеры, а может, даже и выправка в данном случае могут быть полезны России. Все было бы хорошо, если бы не сутуловатость, которая мешала Костылеву нести корпус, как это подобает бравому воину, да, пожалуй, больная нога, которая сковывала подвижность. Вот так, ругая себя за сутуловатость и за больную ногу, однако не подавая виду и даже, наоборот, демонстрируя настроение, которого у него не было и в помине, Костылев следовал за Иденом.

— Вы старый русский офицер, господин полковник? Я так полагаю, старый офицер?

— Все точно, имел честь громить австрияков под командованием высокочтимого Алексея Алексеевича в мае шестнадцатого года в Галиции…

Иден поднял руку, призывая на помощь Бекетова, который, услышав английскую речь полковника, поотстал, полагая, что участие третьего лица в данном случае не обязательно.

— Скажите, пожалуйста, кто есть Алексей Алексеевич?

— Ну, разумеется, генерал Брусилов, главнокомандующий Юго-Западным фронтом, — заметил полковник, не дожидаясь, пока Бекетов переведет вопрос Идена.

— О, Брусилов, Брусиловский прорыв! — выговорил Иден, возликовав. В том, как он произнес эти несколько слов, чувствовалось, Иден рад не только тому, что его собеседник был участником известной баталии прошлой войны, но и тому, что эта баталия оказалась в пределах представлений Идена об этой войне.

Они вошли в избу, просторную, жарко натопленную и тщательно выскобленную и вымытую, хотя, по всем признакам, сейчас и нежилую.

На столе, застланном большой географической картой (разумеется, изнанкой наверх), стояли самовар, графин с водкой, тарелки с колбасой и сыром и глиняная миска с горой черного хлеба, свежего, аккуратно нарезанного.

Иден взглянул на графин с водкой, заулыбался.

— Русский чай? — Посмотрел на окно, стекла были неожиданно прозрачны (видно, печь топилась часа полтора и оконная наледь истончилась), и, увидев сожженный дом напротив, помрачнел, стал молча устраиваться за столом.

Костылев сел напротив. Он взял графин и с веселой пристальностью взглянул, как плещется внутри него холодно-прозрачная влага.

— Как вы, господин Иден? Готовы… для начала?

— Чай? — переспросил Иден по-русски и улыбнулся. — Давай, давай!

Выпили. Иден с лихостью нарочито бесшабашной («Была не была!»), точно это была не рюмка водки, а нечто большее. Полковник деловито, по обязанности (водке он предпочитал вино, но когда надо было, пил водку), Бекетов пил водку в охотку, мороз пронял и его.

— А вот мог бы я вас спросить? — обратился Иден к Костылеву, когда не без помощи огурца и кусочка сыра огненная влага была загашена.

— Да, пожалуйста, — отозвался полковник и перестал есть.

— Вы старый русский, видевший ту войну и эту… Какое чувство у вас доминирует? Вы понимаете меня?

— Мне так кажется, понимаю, — отозвался Костылев и задумался, сомкнув губы. — Какое чувство… доминирует? Сделать все, чтобы не было третьей войны, — вот это чувство. Простите меня, господин министр, но, будь моя воля, я бы настоял на границах, которые гарантируют безопасность Советского Союза.

Иден помрачнел. Казалось, начатый им разговор принимал оборот, которого он не ждал и, пожалуй, не хотел.

— Это что же… линия лорда Джорджа? — спросил Иден. Этот

вопрос лежал для него на поверхности.

— Нет, не только линия Керзона, — был ответ Костылева.

— Мурманск, Ленинград?

— Да, разумеется. И Прибалтика. И все остальное. Все, что вызывало у нас опасения и что эта война не опровергла, а подтвердила, — сказал полковник и протянул руку, чтобы взять графин, но Иден остановил его. Что-то было в этой водке для Идена общее со словами Костылева — грозила сшибить наповал, сжечь.

— В каком смысле… подтвердила? — спросил Иден.

— Уязвимыми оказались как раз те места, которые мы хотели оградить от удара, — сказал полковник и принялся разливать чай — это он хотел сделать сам.

— Значит, Ленинград? — спросил Иден.

— Да, Ленинград, в частности… — Полковник закончил разливать чай и отодвинул рюмку. Все, что он хотел сказать, он сказал.

Через полчаса Иден и его спутники простились с Костылевым.

Бекетов так не мог решить: этот разговор в избе-пятистенке вызвал Иден или его навязал английскому министру полковник? Как казалось Бекетову, для Идена был резон решиться на такой разговор. В конце концов, потерь для англичанина никаких, а приобретение явное, ну, если даже сравнить, например, мнение полковника с тем, что накануне Иден услышал от Сталина. Кстати, совпадение настолько разительное, что кажется, один инспирировал мнение другого. Сталин инспирировал? Не полковник же. Тогда о чем это говорит? Стихия это или организованная атака на союзников? И старый военный в качестве атакующего? Нет, в такой атаке могут участвовать все, но не полковник, с которым только что говорил английский гость. Непохоже это на полковника. А если непохоже, значит стихия… Если так, то грозно. Из всех определений России, бытовавших на Западе, вот это, по Идену, самое точное: Россия грозная, грозная…

А потом гости возвращались в Москву. И снеговое море, бывшее в начале дня белым, сейчас выглядело синим. Но так, как это было прежде, в тщетной попытке одолеть снеговую пучину взлетали над смерзшимся настом руки мертвых.

Поезд Идена уходил с Ярославского.

Когда проехали Вологду, Иден вдруг вспомнил и Мурманск и Кандалакшу, будто один город был связан с другим цепью, сейчас неразрывной: достаточно было ухватить одно название — и выхватывалась вся цепь. Не иначе как города будили в сознании

англичан печальной памяти событие восемнадцатого года: флаг интервенции был поднят здесь и дороги вторжения, того, черчиллевского, прокладывались по английским картам, через эти города. Но ведь Иден свободен ото всего этого? Сколько ему могло быть лет в ту пору? Восемнадцать? Свободен? Да не благо ли сохранить вот эту свободу по отношению к прошлому Черчилля? Только ли к прошлому?

Если бы Черчилль сейчас ехал в Россию, избрал бы он этот маршрут? Да, маршрут, где были бы и Мурманск, и на отшибе Архангельск, и, разумеется, Кандалакша с Вологдой?.. Вот в речи, посвященной вторжению немцев в Россию, он сказал, что не намерен отказываться ни от одного своего слова, сказанного в свое время о новой России… От слова и дела? А как быть с Мурманском и Вологдой? От этого тоже не намерен отказаться? Если не намерен, то какова основа у нынешнего союза с Россией? Конечно, столь опытный демагог как-нибудь выкарабкается и на этот раз, но история грозна… Она вдруг возьмет и поставит к стенке. Не сегодня, так завтра. А пока этого не произошло, следует проникнуть в суть того, что является ее уроком. Быть может, главная привилегия Идена в том и состоит, что у него еще есть возможность проникнуть в суть этого урока истории. Даже в нынешнем его, зависимом от Черчилля, положении… В чем история покарала Черчилля, как это стало ясно Идену сегодня? Оказывается, национальные интересы Великобритании и Советской России не в такой мере сталкиваются, чтобы идти на русских войной. Нет, не только сегодня, но и вчера. А если так, быть может, необходимо проявить большее понимание того, что Советы зовут своими национальными интересами. Ну, например, по вопросу о границах.

Вот она, история и психология, как ее понимает Бекетов, хотя деликатный Сергей Петрович и не претендует на истину в последней инстанции.

46

Тамбиев вернулся в Москву в конце ноября, а в самом начале декабря в столицу заспешили из Куйбышева иностранные корреспонденты.

Еще до того, как московское радио сообщило о первых победах под Москвой (это было вечером 5 декабря), в какой-то мере похожее промелькнуло в лондонских радионовостях, переданных накануне: русские ввели резервы и нанесли поражение, равного которому немцы еще не знали в этой войне.

Корреспонденты отрядили в отдел печати Галуа, благо, что отряжать было недалеко — по иронии судьбы Наркоминдел, или его своеобразный московский филиал, теперь находился в том самом здании гостиницы «Метрополь», где он пребывал в достопамятные чичеринские времена, до переезда на Кузнецкий.

— Если вам дорога моя жизнь, милый Николай Маркович, — прогундосил Галуа, как обычно мекая и экая, — свезите их, пожалуйста, хотя бы на московскую Пресню или, по крайней мере, в Химки. Иначе они меня пристрелят, как куропатку. Говорят, что этот… Клин купил какое-то необыкновенное охотничье ружье «Зауэр, три кольца» и грозился меня укокошить. Он, конечно, разбойник, этот Клин, но его понять можно: в каких-нибудь ста километрах от Москвы идет великая битва, а мы сидим, как куры на нашесте. Надо наконец решить вопрос, в известной мере принципиальный: военные мы корреспонденты? Если военные, то должны видеть войну. Как вы полагаете, Николай Маркович?

— Поймите, господин Галуа, — пробовал отвечать Тамбиев в тоне, какой предложил его собеседник, — когда войска в движении, их нагнать непросто. К тому же, до корреспондентов ли сейчас военным?

— Только сейчас, а не позже, — возражал горячо Галуа. — Такой материал надо брать прямо… со сковороды! Поймите наконец, что это в ваших интересах. Сейчас, ни днем позже. Когда сковорода остынет, всему этому половина цены. Сейчас это пойдет на первые полосы, а неделей позже может перекочевать на вторые. Скажите, это вам выгодно?

Тамбиев понимал, что Галуа во многом прав, однако организовать поездку корреспондентов на фронт было, как утверждали военные, достаточно сложно: наступление набирало силу, войска действительно были в движении.

— Это событие номер один, и умалить его непросто, — пробовал возражать Тамбиев.

— Верно, но надо взять от этого события все, что можно. Если о Московской битве написать со слов русских военных, да еще показать корреспондентам поле боя… Это же для вас много выгоднее, чем питать газеты западного мира… утками из Берна и Стокгольма. Поймите, корреспондент должен сказать: «Я был на месте битвы и видел собственными глазами…» Или: «Я разговаривал с русским генералом… имярек, руководившим действиями войск на Истре, и свидетельствую…» Вы понимаете, какое значение это может иметь для вас? Да, да, после стольких неудач, нет, не только ваших, но и наших, вдруг победа! Простите за сравнение, которое вам может показаться вульгарным: есть смысл продать эту победу дороже. К тому же вам надо учитывать одно обстоятельство…

— Какое, господин Галуа? — полюбопытствовал Тамбиев. Видно, все, что произнес только что Галуа, не возникло вдруг — каждое посещение отдела печати им готовилось тщательно.

— Хочу дать вам один совет: если вы хотите действовать гибко и хотите взять от корреспондентов все, что они могут дать, вам необходимо, как бы это сказать по-русски… не класть все яйца в одну корзину. Я выражаюсь не очень понятно?

— Да, пожалуй, — согласился Тамбиев. Как заметил Николай Маркович, Галуа любил в ответственный момент обратиться к фразе, которая казалась ему типично русской.

— Поясню свою мысль: вы, русские, любите во всем масштабы. Это, быть может, определяется размерами России. Ваши купе в железнодорожных вагонах, сами ваши вагоны, ваши поезда больше европейских. Ваша одежда… эти ваши многоярусные шапки, дохи, подбитые пудовыми шкурами, эти унты на меху… Одним словом, для вас добротность — это суть. Размеры и вес! Ну, не сердитесь на меня, не сердитесь. По крайней мере, больше, чем для европейца, не правда ли? Теперь о корреспондентах и поездках на фронт. Пока вы не наберете корреспондентов если не дивизию, то, по крайней мере, полк, вы не выедете. Да, вам нужна и здесь мощь — полк, не меньше! Смею вас уверить, здесь полк не обязателен. Даже скажу больше: иногда полезно послать трех журналистов, окружив их соответствующим вниманием. Я допускаю даже поездку одного журналиста. Да, журналист, обладающий известным именем и, что очень желательно, знающий Россию, направляется на фронт один, чтобы стать обладателем имен и фактов, которые будут принадлежать только ему. Итог его поездки — цикл статей или даже эссе, на опубликование которых согласна большая газета или группа газет. Полагаю, что вам это должно быть выгодно. Поверьте мне, что событие, которое вы отдадите этому

журналисту, в итоге его поездки получит не меньший резонанс, чем при поездке корреспондентского полка, а качество написанного будет намного выше. К тому же в самом этом акте есть элемент поощрения, больше того — награды. Вы как бы говорите журналисту: «Вот поезжай один, и это будет для тебя как бы вексель. Да, тебе его предстоит оплатить. Как оплатить? Ну, прояви какое-то понимание нашей позиции, а точнее, добрую волю». Нет, вы не смейтесь, во всем этом никакой хлестаковщины. Я готов предложить нечто конкретное.

— Что именно, господин Галуа?

— Разрешите мне побывать в Ленинграде. Поймите, для меня это… бесценно. — Он умолк. Этот разговор Галуа начал как политик, политик искушенный, для которого многое из того, о чем он говорил, имеет аспекты видимый и скрытый, «о вот он заговорил о Ленинграде, и волнение перехватило горло. Здесь он был искренен, так казалось Тамбиеву. Как ни искушен он был профессионально, где-то человеческое, исконное заявляло о себе. — Того, что я смогу сказать о Ленинграде, не скажет другой, поймите.

— Эта мысль о векселе распространяется и на вашу поездку в Ленинград? — спросил Тамбиев и улыбнулся. Трудно было не улыбнуться.

— Да, разумеется, если под векселем понимать добрую волю, — ответил Галуа и тут же добавил, стремясь предупредить отказ: — Я понимаю, что Ленинград — это сложно сегодня.

— Да, сложно, — согласился Тамбиев.

Галуа ушел. Тамбиев задумался. Каждая новая встреча с Галуа давала материал для раздумий. Ну, разумеется, Галуа хотел выглядеть проще, чем он был на самом деле, быть может, даже он создал себе маску: русский, волею судеб оказавшийся на том берегу, но помнящий свое первородство, и желающий ради этого идти на все. Вот и приехал в Россию в час ее смертельной опасности, и все, что он пишет, исполнено великого уважения к народу, ведущему борьбу, хотя в чем-то нарочито недоговорено, в чем-то не ортодоксально. В более чем деликатном для него вопросе о втором фронте Галуа готов проявить понимание русской позиции, хотя высказывает не столько свое мнение, сколько тех коллег-инкоров, которые склонны признать русскую точку зрения резонной. Однако весь ли здесь Галуа? Вряд ли, думает Тамбиев. Есть в Галуа нечто иезуитское, когда, прихрамывая, он идет по залу, присоединяясь то к одной группе, то к другой. Если незримо пройти с ним рядом, то изумишься немало, как меняется интонация Галуа в зависимости от того, с кем он говорит.

«О, этот Черчилль — порядочная шельма! — не преминет сказать Галуа, если беседа один на один. — Пока он у власти, второго фронта не видать. Не ахти какой друг русских этот Бивербрук, а как Черчилль напустился на него, когда тот заикнулся о втором фронте! На месте Бивербрука я бы вправил ему мозги».

Но вот он вприпрыжку обегает зал и ненароком сталкивается с Клином.

«Ну что можно сказать о втором фронте? Худо ли, бедно ли, а старушка Британия сопротивляется. Простите, о чем вы говорите? О действиях на континенте? Не думаю, чтобы Черчилль решился. Не хочу сказать, что согласен с Черчиллем, но понять его могу. «Сегодня мы поможем русским, я завтра они дадут нам пинка под зад и нам придется убираться с континента, как во времена Дюнкерка…» Что ни говорите, а Черчиллю нельзя отказать в правоте…»

Но главное, конечно, не в этом. Галуа — журналист-дипломат, достаточно авторитетный в кругах официальных. Одним литературным трудом такого положения не завоюешь, тем более человеку, чье французское происхождение сомнительно. А он человек достаточно влиятельный. Первое, что сделал Бивербрук, прибыв в Москву, пригласил к себе Галуа. Нет, не потому, что Галуа в кругу франков франк, а в кругу русских русский. И не потому, разумеется, что анализу русских дел, который сумеет сделать Галуа, можно доверять — в этом анализе будут и мысль, и трезвый расчет, и знание предмета. Нет, не только поэтому. Если верно, что у посла помимо посольских советников есть советник за пределами посольства, то этим советником мог быть Галуа. Но у какого посла? Французского? Нет, не только. У английского тоже. Даже у английского больше, чем у французского. Имеет ли значение подданство? Очевидно, не решающее. Галуа подобен утесу посреди степи: он не столько над землей, сколько в земле, и зримая часть утеса не дает представления о его размерах.

Видно, всему, что сказал Галуа, следовало дать ход. Тамбиев позвонил секретарю и сказал, что хотел бы видеть Грошева. Опыт говорил ему: необходимо выйти за пределы фактов, раскрыть психологию беседы, все, что беседа дала ему для понимания Галуа, например. И еще, рассказ утратит существенное и может быть понят неверно, если Тамбиев не выскажет своего мнения.

Тамбиев пошел к Грошеву. Тот выслушал Николая Марковича и, сняв очки, закрыл глаза так, что в уголках собрались слезинки.

— Не уходите, Николай Маркович, я хочу переговорить с наркомом, — сказал Грошев и протянул руку к телефону, что

стоял несколько в стороне. — Сегодня в отделе был Галуа… — начал он и выждал, очевидно мысленно взвешивая, какое впечатление эта первая фраза произвела на наркома и может ли он продолжать разговор в том тоне, в каком начал. — Он поставил перед отделом три вопроса. — В том, как энергично Грошев произнес эту вторую фразу, и в том, как лаконично он обозначил тему, было очевидно, нарком готов был выслушать Грошева, но не был настроен к слишком пространному разговору. — Да, разумеется, первый вопрос нами поставлен перед военными, но корреспонденты заинтересованы, — произнес Грошев, очевидно отвечая на вопрос наркома. — Да, да, я на месте. Жду вашего звонка. — Он положил трубку и, взяв со стола очки, надел их. — Просит подождать минут пятнадцать, вы не уходите. Значит, Иден полагает, что его миссия не вызывает тревог?

— Так я понял Галуа, — сказал Тамбиев. В той сумме вопросов, которые воспроизвел Тамбиев, говоря о беседе с Галуа, этот был для Грошева сегодня главным.

Грошев молчал, поглядывая на аппарат, по которому он сейчас говорил с наркомом. Что должно было произойти в эти пятнадцать минут? Они необходимы наркому для раздумий или для разговора с кем-то третьим? Кто может быть этот третий? Сталин? О, не следует переоценивать возможности проблемы, нарком может говорить и с кем-то из военных. В конце концов, среди тех проблем, которые упомянул Галуа, поездка на фронт — первая.

Грошев встал и пошел по комнате. Его нынешний кабинет был не так просторен, как на Кузнецком, но и здесь Грошев протоптал свою дорожку. Едва он достиг окна, резкий звонок на какой-то миг припечатал его к ковру — слишком хорошо знал Грошев характерный, с рокотанием звук наркомовского телефона.

— Благодарю вас, в четверг в шесть утра выедем, — произнес Грошев и положил трубку. — Вы поняли, Николай Маркович, — обратил он взгляд на Тамбиева. — В четверг в шесть. У вас есть три дня.

Грошев сказал, в четверг в шесть, и Тамбиев подумал не без тревоги: успеем ли? Опыт подсказывал ему, дело идет хорошо, если соответствующий темп ему сообщается тут же. Иначе говоря, многое можно и должно сделать сегодня. Благо, что корреспонденты тут же: «Метрополь» собрал нынче воедино и хозяев, и гостей. Но ведь у Тамбиева сегодня были свои планы на вечер. Невелико, казалось бы, время — два часа, а удастся ли выкроить? Поездка корреспондентов — дело достаточно сложное: уточнить программу с военными, а вместе с нею маршрут, а

заодно и обеспечить безопасность, оповестить корреспондентов, условиться о машинах. Да мало ли дел, когда большой ковчег корреспондентского корпуса, своей разноплеменностью готовый соперничать с известным судном деда Ноя, отправляется в путь?

47

Поздно вечером, когда детали поездки были уточнены и состав корреспондентов определен, Тамбиев вышел из «Метрополя». Стыдно сказать, но со времени возвращения в Москву прошла почти неделя, а ему так и не удалось побывать на Кузнецком. Падал снег, в его неторопливом движении и блеске было что-то торжественное. Эта торжественность не очень сочеталась с сурово-печальным видом города, с черными провалами окон, в которых, казалось, навсегда погас свет, с темными фигурами людей на белом снегу, с размеренным гудением зенитных орудий, похожим на звук жерновов, с блеском прожекторов, вдруг разрубающих небо надвое и неожиданно вырывающих из мглы белые, странно удлиненные тела аэростатов.

Тамбиев поднялся по Неглинному проезду, пересек площадь. Большой дом на Кузнецком сутулился вдали. Площадь перед домом была укрыта цельным пластом снега, цельным, непотревоженным, только как-то наискось, загибаясь в ворота, бежала несмелая дорожка. Тамбиев вошел во двор, остановился. Где-то высоко-высоко в нерасторжимом кольце ста наркоминдельских окон глядело небо. Тамбиев прошел в подъезд, достал зажигалку. Синее пламя отразилось в наледи, затвердевшей на стенах, стеклах нешироких окон, выходящих с площадки на лестницу, каменных ступенях, гнутом железе перил. Тамбиев стал взбираться по лестнице, дивясь, каким чудом сюда попали глыбы снега и обломки льда. Иногда он водил зажигалкой по стенам, приближал ее к дверям. Кое-где в снегу проступали следы беспорядочно-смятенные: кто-то приходил сюда, может быть, стучал и, не достучавшись, уходил обратно. Дом точно вымер, никаких признаков жизни.

Тамбиев добрался до своей площадки, тронул первую дверь, вторую, они открылись так легко, будто бы кто-то невидимый вышел Николаю Марковичу навстречу и распахнул двери. Он шагнул в комнату и затих, застигнутый картиной почти сказочной. Вместо окон три квадрата неба, ветер заносит снег в комнату, и он падает, как на Неглинном проезде, с торжественной медленностью. Снег укрыл пол, диван, стол, глобус на полу, да, школьный глобус, который достался Николаю Марковичу от прежних жильцов. Всюду по стенам многоцветные огоньки, в их мерцании есть что-то рождественское. Вот только большой шелковый абажур, что висел посреди комнаты, раздело — там, где он висел, покачивается один каркас. Видно, бомба

упала под окнами на Варсонофьевском. Взрывной волной напрочь вышибло окна вместе со стеклами и маслянисто-черной бумагой, которой они были заклеены еще в июне, обсыпало стеклянной оспой обои — многоцветные огоньки на стенах от этой оспы.

Тамбиев стоял, не зная, что делать. Да что, собственно, можно сделать? Подошел к книжному шкафу и закрыл дверцу. Закрыл и пошел прочь. Уже на Кузнецком остановился, подумал: «Может, вернуться? Вернуться, и что?» Махнул рукой и пошел дальше, под гору.

Кожавин сказал Николаю, что хотел бы говорить с Грошевым и просит быть при этом разговоре. Напористость, с которой решил действовать Кожавин, как показалось Тамбиеву, была для него необычна. Сколько помнит Кожавина Тамбиев, он всегда был спокойно-деликатен.

— Погодите, Игорь Владимирович, а стоит ли пороть горячку?

— Стоит, Николай Маркович.

— Ну, тогда объясните, как мне следует вести себя у Грошева, а кстати и скажите, зачем мы туда идем.

— А я вам разве еще не сказал? — улыбнулся Кожавин. Было в его улыбке что-то робко-стыдливое, Тамбиеву даже казалось подчас, девичье.

— Нет, Игорь Владимирович.

— Ну, тогда извольте. Мне стало известно, что корреспонденты просятся в Ростов. Возможно, пока туда будет послан Гофман или Галуа. Я хочу быть с ними.

Тамбиев не думал, что его миссия к Грошеву будет столь деликатна. В самом деле, если Николай идет сейчас с Кожавиным к Грошеву, значит, он заранее говорит Игорю Владимировичу «да». Иначе говоря, поддерживая Кожавина, он отказывается от поездки сам. Да надо ли это делать Тамбиеву? А может, вопрос решится так: Кожавин летит на Дон лишь в том случае, если Тамбиев летит на Неву?

— Согласен, Игорь Владимирович, но в Ленинград полечу я.

Кожавин изменился в лице.

— Николай Маркович, на вас креста нет, я же ленинградец.

— Но вы же не ростовчанин, Игорь Владимирович.

— Но ведь и вы к Ростову имеете косвенное отношение, Николай Маркович, так?

Тамбиев не ответил. Ему показалось, что разговор этот становился неуправляемым.

— Вы обиделись, Николай Маркович?

— Да есть ли тут основание для обиды?

Казалось, Кожавин оживился.

— Благодарю вас. Думаю, то доброе, что есть у нас, мы сбережем.

Они пробыли у Грошева час. Согласие его на поездку Кожавина в Ростов было получено, разумеется, если эта поездка состоится.

До поездки на фронт оставалось два дня. Вечером Кожавин выманил Николая Марковича из «Метрополя» — следуя известному правилу о сочетании приятного с полезным, Игорь Владимирович, для которого часовой променад был ежевечерен, выводил на прогулку по очереди весь отдел. Они прошли Охотный, минули американское посольство и университет, свернули на улицу Герцена. Два часа назад позвонила Софа, накануне она прилетела в Москву. Тамбиев сказал, что хотел бы повидать ее, она не противилась. Но как быть с Кожавиным?

Они поднимались к Никитским. Если взглянуть на Кожавина глазами древнего афинянина, то древний грек нашел бы Игоря Владимировича некрасивым. Взыскательный афинянин не назвал бы его курносым, но обратил бы внимание на его задорно приподнятый нос и сказал бы, что это несовместимо с нормами классической красоты. И тем не менее Кожавин был красив: крепок, мужествен, ладен, по-своему хорош собой. Он был великолепно сложен и в сочетании с чистыми красками глаз, лица, в сочетании с самой манерой говорить и держать себя, производил впечатление патриция. Ему прочили большое дипломатическое будущее. Наверно внешность Кожавина имела к этому известное отношение, но не больше. Он был умен, образован, с благородной свободой говорил по-английски, обладал той мерой хорошего тона и сдержанности, которая так необходима дипломату. Кажется, по образованию он был инженером-энергетиком, но круг его интересов был так широк, при этом в такой неожиданной сфере, как архитектура, например, живопись, музыка, что специальное образование как-то не обнаруживалось.

— Здесь был третьего дня посол Михайлов, — произнес Кожавин, когда слева обозначились консерваторские липы. — И, так сказать, сугубо лично, не оповещая Грошева, закинул удочку…

— Ну и как удочка вернулась к Михайлову? — засмеялся Тамбиев. — Был смысл тянуть ее?

Но вместо ответа Кожавин вдруг вытянул руку.

— На моих восемь. День убывает стремительно. А всего две недели назад я еще мог читать в это время. А по утрам иней в Александровском саду похож на снег! Зима, вторая! Какой она будет? — Он взглянул на Тамбиева и, точно вспомнив

прерванный разговор, спросил: — Итак, удочка… Был смысл тянуть ее Михайлову? — Он поднес согнутый палец к крылышку носа и точно спрятал улыбку. — Чего греха таить, предложение любопытное в высшей степени.

— Горчаков начинал в Лондоне, Игорь Владимирович, — бросил Тамбиев.

— Да, в Лондоне, но, по-моему, лондонские годы были у него не лучшими. Не так ли?

— Как сказать, — возразил Тамбиев. — Школа языка и школа дипломатической практики, лондонская школа была для него бесценной. Не на этом ли фундаменте строился большой дом горчаковского умения?

— И на этом, разумеется, — отозвался Кожавин и задумался, казалось, его сомнения ожили. — Одним словом, я сказал Михайлову «нет».

— Значит, удочку можно было и не тянуть! — обрадовался Тамбиев, ему нравилось, что Кожавин отказал Михайлову. — Оказывается, есть некая неотразимость и в отделе печати.

Кожавин взглянул на Николая Марковича, пытаясь определить, какой долей иронии он отметил эту фразу и была ли тут ирония.

— Ну, вот хотя бы Горчаков — разрешите использовать это лестное для меня сравнение до конца — уехал бы в Лондон, если бы ему пришлось начать службу в иностранном ведомстве лет за пять до того, как он ее начал?

— В осьмьсот двенадцатом? — улыбнулся Тамбиев.

— Именно в осьмьсот двенадцатом, когда француз шел на Москву.

— Но ведь служба Горчакова в Лондоне была в такой же мере полезна России, как и служба на родине, — пытался возразить Тамбиев — он хотел понять Игоря Владимировича до конца.

— И была, и не была, — тут же парировал Кожавин. — Наверно, первый секретарь нашего лондонского посольства не увидит Ростова, а я увижу. И это, простите меня, такая привилегия, какой ни один наш дипломат не имеет. Прав я? Нет, скажите, Николай Маркович, прав?

— Да пожалуй, — согласился Тамбиев, не мог не согласиться.

А между тем они дошли до Никитских, и Тамбиеву пришла в голову шальная мысль: что, если пожаловать к Глаголевым сейчас вместе с Кожавиным? Ну, разумеется, нарушение норм, но, быть может, деликатная Софа все поймет и не осудит? Николай Маркович сказал об этом Кожавину и поверг его в трепет — Игорь Владимирович знал семью Глаголевых по рассказам Грошева.

— А может быть, мой приход туда следует подготовить? —

спросил Игорь Владимирович. По тому, как он это произнес, Тамбиев понял, что перспектива побывать у Глаголевых и настораживает его, и увлекает. — Как вы, Николай Маркович?

Тамбиев сказал, что он войдет к Глаголевым один и, сославшись на то, что его на улице ждет товарищ, откланяется. Если последует приглашение Кожавину, он даст Игорю Владимировичу знать. Если приглашения не последует, они продолжат прогулку. Кожавин нашел этот план простым и естественным. Через пятнадцать минут Тамбиев вышел из глаголевского дома вместе с Софой и ввел Игоря Владимировича в дом.

— Погодите, ведь я ее видел в Историческом музее, не так ли? — произнес Кожавин, когда Софа вышла в соседнюю комнату. — Нет, я не мог ее ни с кем спутать! — повторил Игорь Владимирович. — Ну, хотите меня проверить? Речь шла о конфликте между Барклаем и Багратионом под Смоленском. Она сказала, что бывает в музее и теперь.

Тамбиев почувствовал, что Кожавин произнес все это с несвойственным ему жаром, при этом, когда Софа появилась, как-то нарочито нахмурил брови и стал серьезнее, тоже чуть-чуть нарочито, а когда она сказала, что решила сегодня подклеить обои и вместо клея развела побелку, и показала при этом на белое пятно на обоях, Игорь Владимирович улыбнулся и взглянул на Софу с открытой приязнью, с нескрываемым желанием показать, как все это было с ее стороны мило и симпатично. Одним словом, Тамбиеву стало не по себе. Его настроение не поправилось, когда Софа вызвала Кожавина в комнату рядом и попросила исправить примус, который чадил, и показала компас, судя по всему — трофейный. А потом они пили чай и вишневую наливку, которую Софа налила из четверти, повязанной марлей. И Николай Маркович вновь отметил для себя, что Кожавин, желая сделать Софе приятное, хвалил наливку сверх всякой меры. Если бы он знал, что наливку приготовила не Софа, а Анна Карповна, наверняка умерил бы похвалы. Но вот что любопытно: Софа-то знала, что наливку приготовила не она, а Анна Карповна, но принимала кожавинские похвалы как должное. Одним словом, Тамбиеву было плохо. Нельзя сказать, что Кожавин ему существенно ухудшил настроение, когда сказал на обратном пути в Наркоминдел, что у Софы лицо отдает голубизной. Истинно дальтонизм — болезнь влюбленных. Первой у влюбленного выходит из повиновения способность различать цвета, иначе ведь голубой кожи не увидишь.

Только утром, вернувшись в своих мыслях к вчерашнему вечеру, Тамбиев вдруг вспомнил про компас, что показывала ему

Софа, и спросил себя: а зачем ей компас? В самом деле, зачем? Тамбиев почувствовал недоброе и, улучив минуту, сбежал в Исторический музей, благо что музей в двух шагах от «Метрополя». Но, добежав до Исторического музея и единым духом взлетев на второй этаж, он вдруг увидел в пролете открытых дверей Кожавина. У Тамбиева оборвалось сердце. Как ни велик был этот дом, в нем, на взгляд Тамбиева, существовала одна тропа, и разминуться на ней было почти невозможно. Тамбиев повернул обратно.

Двумя днями позже Софа позвонила и сказала, что через полчаса улетает на Волховский фронт и вернется не скоро.

— Не забывайте Глаголева, — сказала она, дав понять, что заканчивает разговор.

Тамбиев положил трубку и долго думал над происшедшим. Он припомнил тот ее обморок, а потом разговор о компасе, однако так и не решил, имело ли все это отношение к ее нынешнему отъезду.

На другой день часу в десятом вечера Тамбиев пришел к особняку у Никитских и был удивлен немало, увидев свет. Была пурга, сухая, круто замешенная на жесткой крупе, какая бывает в Москве только в декабре. Может, поэтому свет в окне показался уютно-домовитым. Тамбиеву почудилось, что в доме Софа. Он постучал. Ему открыл Глаголев. Он стоял в дверях, накинув на плечи шинель, и ему требовалось усилие, чтобы узнать Тамбиева.

— Заходите, пожалуйста, — будто спохватился он. — Не скумекал в одночасье. Вот они, лета мои! Простите великодушно.

Тамбиев пошел вслед за Глаголевым. Горела электроплитка (Глаголев назвал ее электромангалом), клокотал, точно взрываясь, чайник. На столе, придвинутом к печке, были расположены странички рукописи. Видно, в холодном доме бумага напиталась влагой и сейчас, просохнув, приятно попахивала.

— Да, улетела. Сказала, что на Волховский, а там бог знает. Понять? Напрасное занятие! Я уже приучил себя к тому, что все, что она делает, не очень понятно. — Он помолчал. — Вот сижу сейчас, кропаю, и такой смех взял: истинно, Пимен века двадцатого! — произнес он улыбаясь и, застеснявшись темных зубов, сомкнул губы. Губы у него не по-стариковски полные и свежие, а зубы коричневые. — Рукопись требует тишины, даже вот такая рукопись, как эта, — указал он на стол, устланный исписанными листами. — Сбежал сюда, а как-то неприятно — один! Нет, не то, что трушу, а так, тревожусь маленько. Из головы не идет этот случай с танковым обозревателем из «Вестника».

Уединился писать статью, нет, не дома, а здесь же, в журнале, а когда хватились, он уже десять дней как кончился. А тут, простите меня, не дом, а склеп фамильный. Стены аршинные! Да был бы и звукопроницаемый, какой толк? Когда дух испускают, «караул» не кричат…

Он теперь говорил обо всем, но только не об Александре Романовиче и Софе, отметил Тамбиев. «Вот возьму сейчас и спрошу, в лоб спрошу».

Но Тамбиеву было нелегко осуществить свою угрозу.

— Хотел свить себе гнездо в кабинете, да в окно задувает, — скосил Глаголев глаза на комнату рядом. — Вот и бегаю туда за картами и книгами. Сейчас опять побегу и вас потащу. Вы готовы?

Тамбиев не очень понял его.

— Да, пожалуйста.

Глаголев взял фонарь, и они пошли. Рука его дрожала, и фонарь дрожал, а по стенам бежали тени, казалось, тени людей, которых не было в комнате. Тень Тамбиева была длинной и неожиданно большеголовой, тень Глаголева — долгорукой и узкогрудой. Когда Глаголев приподнимал фонарь, его дрожащая рука начинала так ходить из стороны в сторону, что тени принимались препираться и, того гляди, готовы были кинуться врукопашную.

Они шли из комнаты в комнату, шли быстро, и руки Тамбиева наполнялись вещами весьма своеобразными, и двух рук уже недоставало: глобус на деревянной подставке, готовальня, свиток ватмана, кожаный очешник, керосиновая лампа с цветным стеклом, книги… За книгами Глаголев взгромоздился на лестницу, из которой вырастала деревянная рука, непропорционально длинная и прямая. Когда лестница начинала угрожающе раскачиваться, Глаголев хватался за эту руку и останавливал лестницу.

— Вы думали над такой проблемой: куда немцы нацелят свой главный удар? — вдруг произнес Глаголев, забравшись под самый потолок. — На Москву? — Его тело сейчас дрожало больше обычного, и рывки эти сообщались лестнице, и она шла ходуном. — Нет, я хотел бы знать, что думаете вы. На Москву?

— А вы полагаете, Маркел Романович?..

Он спустился с лестницы и, взяв из рук Тамбиева глобус и готовальню, пошел из кабинета.

— Я полагаю, что стратегия — это не только карта противника, но и его психология. Наполеон говорил, что рассуждать о том, что не проверено опытом, есть удел невежества. Что есть опыт, скажем точнее, русский опыт, для Гитлера, а кстати, и психология опыта? Ответ в двух словах: московский

неуспех. Гитлер сменил Браухича и встал во главе армии сам. Казалось бы, новый удар на Москву сулит немцам двойную реабилитацию, армии и Гитлеру. Пусть поможет нам в ответе на этот вопрос психология. Под Москвой может быть не только выигрыш, но и проигрыш. Но что значит проиграть под Москвой? Значит, все потерять: и войска, и престиж, в том числе потерять престиж Гитлеру… Проиграть в ином месте — значит, рискнуть всего лишь войском. Если говорить о психологии, удар должен быть смещен прочь от Москвы. А если говорить о стратегии? Немцам нужен простор для маневра, а следовательно, степь и дороги. На русском севере нет ни первого, ни второго. Оказывается, вывод, который подсказывает собственно стратегия, в сущности, тот же, что подсказала психология: юг, только юг! И еще, о том, куда придется главный удар, думаем не только мы, но и немцы. Южная группа немцев, в сущности, является флангом, если зрительно представить себе всю их армию, нацеленную на Москву. А уж так повелось испокон веков — все неприятности от уязвимого фланга. Нет, помяните меня, все совершится на юге.

Тамбиев заметил, для Глаголева работа над статьей — это не столько работа за письменным столом, сколько спор с упрямым и неуступчивым оппонентом. Вовлечь собеседника в спор, распалить его, поставить в положение жестоко обороняющегося, а может, и наступающего, скрестить оружие и заставить его, а заодно и себя добывать доводы — вот задача, которую Маркел Глаголев решает постоянно. Чем неожиданнее и изощреннее доводы, к которым обратились оппоненты, тем больше возможностей у Глаголева высветлить ведущую мысль. Но вот что занятно: сегодня, взобравшись под потолок и наклонив лестницу так, что она, того гляди, грохнется оземь, Глаголев меньше всего хотел спора. То, что он произнес сегодня, больше было похоже не на вопрос к задаче, а на ответ.

— Помните наш разговор о кризисе сражения? — спросил Глаголев, когда они вернулись. — Главное свершится в сорок втором! В длительной войне, а сейчас мы видим, что война длительная, соотношение сил — это соотношение резервов, нет, не только наших, но и всех тех, кто составляет силу коалиции. Сорок второй — это год, когда резервы обретут мощь огня. Не только наши, но и Америки, и война перевалит через хребет. Немцы не могут не понимать этого. Ждать они не имеют права. В их положении тактика выжидания смерти подобна. Поэтому решительная битва им нужна, как только они будут в состоянии ее дать. Вот он, кризис сражения…

Тамбиев не мог не обратить внимания на то, что Глаголев произнес все это, не задав Николаю Марковичу ни единого

вопроса. Видно, он уже минул процесс спора и теперь проверял на собеседнике его итог. Но то, что произнес Глаголев, меньше всего было похоже на статью (не выносить же на страницы газеты вопрос о том, где немцы осуществят свой главный удар предстоящим летом!). А если это не статья, то что это?

— Но начинать, имея этакие острова и полуострова в тылу, как Демянск, Изюм и Севастополь с Керчью, сподручно ли, а? — спросил неожиданно Глаголев, и Тамбиев отметил вновь: да, его мысли свойственна стройность, какую обретает она после того, как легла на бумагу. Все, что он только что высказал Тамбиеву, наверняка тщательно продумано и письменно изложено. И Тамбиев вновь спросил себя: если это не статья, то что это?

— Мой мангал пора на свалку, не дает тепла. — Его руки с широко раздвинутыми, по-стариковски узловатыми пальцами точно повисли над плиткой. — Вам не холодно, Николай Маркович?

— Немножко, Маркел Романович, — ответил Тамбиев и вдруг решился: Софа — сейчас спрошу. — А почему бы не перенести сюда чугунную печку? — как бы невзначай спросил Тамбиев.

Глаголев продолжал держать руки над плиткой, сжимая и разжимая их, будто она действительно перестала давать тепло.

— О какой печке вы изволите говорить?

Он стоял сейчас над Тамбиевым, скрестив на груди руки так, что пальцы оказались под мышками. «О какой печке, о какой печке?» — говорил весь его вид, как показалось Тамбиеву, возмущенный.

— Я видел печку на кухне первого этажа, — выговорил Тамбиев, приподнимаясь. Он не мог дальше терпеть стоящего над собой Глаголева.

— Простите, но это не мое.

Тамбиеву показалось, что Глаголев остановился на полуфразе и достаточно толчка легкого, чтобы он сказал наконец то, чего не хотел говорить.

— Но ведь это Александр Романович… — начал было Тамбиев, но Глаголев вдруг оперся о спинку кресла и стал медленно отодвигать его от письменного стола, будто намеревался сесть.

— Да, Демянск и Изюм, а потом Севастополь с Керчью… — неожиданно произнес Глаголев, глядя на исписанную страницу и точно приглашая Тамбиева взглянуть на нее — он писал об этом.

Всю обратную дорогу от Никитских до «Метрополя» Тамбиев возвращался в своих мыслях к этой встрече и находил, что она поставила перед ним дюжину вопросов, один другого неодолимее. «А если не статья, то что это было такое?» —

спрашивал Тамбиев себя с той осторожной последовательностью, которая вдруг возникает в человеке, когда его мысль не дробится, когда у нее определенная цель. Тамбиев принимал один довод и отвергал другой, чтобы тотчас отвести и этот новый. А может, где-то наверху, вдруг осенило Тамбиева, захотели знать, что думает старик Глаголев о войне и ее ближайших перспективах? В конце концов, то, что может сказать Глаголев, скажут немногие. Но почему Тамбиев так уверовал в Глаголева? Это вера в знания? Да, пожалуй, в знания и немного в силу его характера. В том, как Глаголев сегодня напрочь отсек все разговоры о младшем брате и Софе, хотя для него не было больнее раны, чем эта, была тоже сила характера, по крайней мере для Тамбиева.

48

Наутро корреспондентский «конвой» — восемь машин с корреспондентами и три с офицерами сопровождения и охраны — покинул Москву, направляясь в Клин. Грошев ехал с офицерами Генштаба в первой машине, Тамбиев и Кожавин — во второй.

— Хотите чаю, Николай Маркович? — спохватился Кожавин, когда они выехали из Москвы, и полез за термосом. Он был большим любителем чая и обычно брал с собой в дорогу термос. — У меня даже сахар сегодня есть!

— А не бабушкин ли это сахар, Игорь Владимирович? — произнес Тамбиев — он знал, что весь свой паек, достаточно скудный, Кожавин отсылал бабушке с сестрой за Урал, куда семья Кожавина эвакуировалась из Ленинграда.

— Нет, бабушке на этот месяц, пожалуй, сахара хватит. Я отослал бабушке и банку тушенки. Вы представляете, Николай Маркович, тушенки!.. Как раз к Новому году получит.

Для нещедрого пайка, который получали наркоминдельцы, тушенка была дивом немалым и выдавалась лишь в дни, когда дипломаты отряжались в поездку с корреспондентами.

— Видел перед отъездом Бардина, — произнес Кожавин, наливая в пластмассовый стаканчик чай. — Не Бардин, а половина Бардина! В довершение ко всем бедам, говорят, еще сын под бризантный снаряд попал. Слыхали?

Да, разумеется, Тамбиев слыхал. И не только слыхал, но и получил от Сережки письмо: «Представляешь, циферблат ручных часов расколотило, а меня уберегло, так, в трех местах занозило малость!» Дальше следовал адрес: деревня в еловом бору где-то между Клином и Дмитровой.

— Так вы слыхали про сына Бардина, Николай Маркович? — спросил Кожавин.

— Слыхал, — сказал Тамбиев и тут же подумал: вот бы упросить Грошева рвануть в этот еловый бор, не было бы дела добрее и для Егора Ивановича, от которого и в самом деле половинка осталась, и для Сереги. Ну, если нельзя днем, можно ночью, пока спят корреспонденты. На каком только коне к Грошеву подъехать?

— Мне бы хотелось прорваться в госпиталь к Бардину-младшему.

— У меня осталось что-то от пайка: галеты и кусок шоколада. Возьмите, Николай Маркович.

— А я для него кое-что приберег. Только вот Грошев…

— А что Грошев? Обязан понять.

Но не все зависело от Грошева. Встреча с командующим армией, на которую так рассчитывали корреспонденты, непредвиденно отдалялась — армия была в движении. В Клину командующего не оказалось — армия пошла дальше. Не было его и в деревне, лежащей на большой Тверской дороге. Был утром, а сейчас… Ищи ветра в поле! «Конвой» последовал еще дальше — не ровен час, угодишь в расположение немцев! Командующего можно было догнать, совершив три, а может быть, и четыре перехода. Он продвигался вперед и менял свои КП раньше, чем об этом удавалось сообщить в Клин. Этим и воспользовался Тамбиев.

Госпиталь находился в десяти километрах от Клина. Ночь опустилась на землю, и вид сожженных деревьев стал еще печальнее. И черные трубы на белом поле снега, и обугленные стрехи сараев, и просто черные пятна угля на снегу стали ярче. Так же, как днем, шли нескончаемой вереницей по дорогам и вдоль дорог погорельцы. Шли из сожженных деревень в недалекий тыл, чтобы уберечься от лютого ненастья. Иногда у обочин дороги возникал костер, и тогда Тамбиев мог рассмотреть стоящих над костром людей с вытянутыми к огню руками. В свете огня хорошо видны руки в печной саже, в угле. А потом Тамбиев въехал в лес и подивился его необычному виду. Наверно, так выглядел лес на далекой Тунгуске, побитый знаменитым метеоритом. Стояли стволы, голые, со срезанными маковками, расщепленные, диковинно изуродованные — ветви и хвою спалил огонь. Непонятно было, как в таком лесу мог расположиться госпиталь — лес просвечивал, точно марля.

— Вы кто будете больному? Друг или, может быть, брат? — спросила Тамбиева женщина в белом халате с крупным, на старый манер, красным крестом на косынке (если и была когда-то сестрой милосердия, может, и не носила этот крест, а сейчас вот нашила, ей лестно быть сестрой милосердия, подумал Тамбиев). Она была маленькой, заметно сгорбленной, от старости сгорбленной, и пребывание ее здесь можно было объяснить только войной.

— И друг и брат одновременно, — сказал Тамбиев.

— Это как же? — спросила она. Видно, в этой глухой ночи и ее одолело одиночество.

— Вот так, друг и брат.

— Ну что ж, это хорошо, — произнесла она понимающе. — Он сегодня все кислого молока у меня просил. «Так хочется кислого молока, все бы отдал за глоток!» Ну, знаете, как у детей

бывает. Проснется в полночь: «Хочу кислого молока!» — и все. Хоть беги через дорогу к соседке. А он и есть ребенок. В одной палате с ним солдат лежит, тверской, так он с ним все порывается играть в города: «Ростов, Винница, Амстердам, Можайск, Киев…» — Она помогла Тамбиеву надеть халат, хотя это ей было и нелегко — маленькая, она держала халат на вытянутых руках. — Тут слух был, наши Калинин взяли, так? Видно, не все сразу. О господи!

Она шла сейчас по длинному коридору с неожиданной для ее возраста энергией, потом остановилась.

— Как-то заглянула к нему, а у него глаза красные, — зашептала она, украдкой поглядывая на дверь, что была рядом, по всему, это была Сережкина палата. — Нет, он не плакал, а глаза печальнее печального и все прятал что-то под подушку, может, письмо, а может, платочек какой. У него горе?

— Видно, горе, — сказал Тамбиев и, осторожно тронув дверь, вошел. Он стоял у двери и смотрел на койку справа. Вот этот большой, непонятно загорелый и сурово-печальный, наверно, и был Сережка. Он лежал, вытянувшись во всю свою бардинскую огромность, и руки его, крепкие в запястьях и пальцах, тоже бардинские, были широко разбросаны, будто охватывали что-то, что охватить могли только они. На тумбочке рядом с кроватью ночничок, прикрытый бумажным колпачком с подпалиной на боку, раскрытая книга, точно упавшая на спину, страницами вверх, краюшка черного хлеба с кусочком чеснока, истертым наполовину, — любил с детства краюшку, натертую чесноком.

Тамбиев шагнул к кровати, встал опершись о ее спинку.

— Ты, Николай? — Сережка ощутил это прикосновение к спинке кровати. — Ты это? — Он хотел привстать, но нога не пустила. — Э-э-эх!

Он удержал вздох и обратил его в шутливое «эх!».

— Ну, рассказывай, Сережа. Как ты? — Тамбиев дотянулся до его руки, сел на край кровати.

— Как я? Вот смотри, весь на виду!

— Нет, ты мне все подробно… Это не только для меня, для отца тоже, он просил, ждет.

Сережка шевельнул бровью, как показалось Тамбиеву, недовольно.

— Ждет, говоришь? — Он молчал, только двигалась бровь, выдавая его тайную мысль. — Ну, коли ждет, скажи, что все обошлось. Ты небось с корреспондентами?

— Да, думали догнать штаб в Клину — ушел дальше, если удастся настичь, то где-то на полдороге к Калинину.

Сережка вновь сомкнул губы, не удержав лишь бровь, острую

в изломе.

— Там старший Бардин дивизией командует. Если придется встретить, обо мне ни слова! Лады?

— Почему ни слова?

— Мне милостей не надо, в том числе и бардинских.

— Это что же значит, бардинских? Отца, дяди Якова с Мироном?

— Да и отца не надо. В июле стерпел, теперь как-нибудь выдюжу, один выдюжу! Так ведь, батя? — Он взглянул на соседа, который, проснувшись, с печальной укоризной внимал разговору. Тамбиев поклонился ему, тот ответил кивком, едва заметным. Был он острижен и выбрит, но крупные морщины, не морщины — трещины земные, раскроили лицо, загорелое до глубокой коричневатости. — Так говорю, Ювалыч? — повторил Сережка.

— Так-то оно так, да невелик верстак и на столе непросторно, — сказал сосед и улыбнулся, но от этого не сделался моложе.

— Это почему же… верстак невелик? — спросил Сережка соседа.

— Отец, он есть отец, от него, как от смертного часа, не улетишь, не ускачешь, — сказал сосед и быстро погасил улыбку, будто застыдился.

Сережка посмотрел на соседа грозно, вздул ноздри.

— Вот так пройдешь по войне… Думаешь, хватил водки цистерну да килограмм свинца в живот, вот и стал солдатом, а? Солдат — это другое, — он ударил себя ребрышком ладони поперек груди. — Оказывается, нет! Когда тоска по родной матери вот тут встала, это тебе посерьезнее свинца в животе. Как ты, батя?

— Не накормил живот свинцом, и слава богу, — сказал сосед.

— Слава богу, — согласился Сережка.

— А коли нет свинца в животе, показывай, Сережа, — сказал Тамбиев — Мне перед отцом ответ держать.

— А чего показывать? Заживет, как на собаке, — сказал он тихо — боль отдалась в потревоженной ноге и отняла голос. — Вытащили железо, — сказал он, подумав. — Говорят, мотоцикл не противопоказан. Как ты, батя? — взглянул он на соседа.

— В этой твоей машине бога нет.

— Без бога оно быстрее, Ювалыч, — огрызнулся Сергей.

— Дальше смерти не уедешь, — сказал сосед.

Тамбиев взглянул на часы, встал.

— Ты меня прости, Сергей, надо ехать. — Он прошел к тумбочке, стоящей у входа, на которой оставил сверток с пайком. — Вот это для тебя.

— Не от отца ли? — вспыхнул он, вспыхнул жарко, так, что румянец поднялся к глазницам.

— От отца, — сказал Тамбиев.

Сергей рассмеялся.

— Я так и знал. А ты говоришь, батя… — взглянул он на соседа.

— А что я тебе сказал? Отец, он начало всех начал и есть! — сказал сосед.

Сережка рассмеялся вновь, с веселой хлопотливостью схватил планшет, стал рыться в нем, приговаривая:

— Нет конверта. Ты смотри, конверта не могу найти!

— Да ты пиши, я и так передам, — сказал Николай.

Сергей согнул в колене здоровую ногу, положил на нее планшет, принялся писать, искоса наблюдая, как сосед привстал, взял костыль и пошел из палаты.

— Знаешь, Николай, знаешь!.. — Он выронил планшет вместе с карандашом и, закрыв лицо руками, вдруг вздохнул, точно у него перехватило горло.

— Сережа, да что ты? — бросился к нему Тамбиев. — Сергей, не надо!

Но слова эти уже не в состоянии были ничего сделать, могучая и немая сила рвала его на куски, перехватывая дыхание, сотрясая его. Он точно единоборствовал с нею, пытаясь остановить крик, который рос внутри.

— Гах!.. Га… га… — вздыхал он и, протягивая руку, пытался удержать больную ногу — ее, будто деревянную, подбрасывало на кровати. — Ты знаешь, Николай, когда я узнал про маму, я думал, что умру, — сказал он, пытаясь совладать с дыханием, которое продолжало грохотать. — Я думал, что после Вереи мне ничего не страшно. Там тридцать наших мотоциклов протаранили немецкие порядки. Знаешь, прошибли так, как может только противотанковый снаряд! Прошибли и остались в кольце, немцы сомкнули позади нас брешь! Понимаешь, раз — и сомкнули! И вот нам надо было пробить ее изнутри. Ты знаешь, что это было? Таранили и огнем, и железом, и скоростью. Скорость, она вроде металла, Николай. И пробили! Так я думал, что ничего страшнее я уже в жизни не увижу. Не увижу! Знаешь, ничто во мне слезу не может вышибить, а тут не могу… Тут вся моя храбрость разом кончилась. — Он умолк, принялся укладывать больную ногу. — Что я хотел сделать? Ах, да… письмо. — Он взял из рук Николая планшет с карандашом, задумался. Потом вдруг сложил бумагу, сунул в конверт. — Вот написал два слова, а остальное передай как можешь, — сказал он. — Был слух, что отец летал в Стокгольм. Верно?

— Верно.

— Ты скажи ему, что я живой. И еще скажи, что я не такой слабый, как он думает. Скажешь? Хорошо.

Они простились, и, выйдя в коридор, Тамбиев чуть не столкнулся с Сережкиным соседом. Похоже, что он поджидал Николая.

— Ты вот что, парень, — сказал Ювалов, глядя на костыль. — Скажи-ка отцу, пусть плюнет на свою дипломатию и приедет разок к сыну. Он, конечно, генерал от дипломатии, а я солдат, но он отец, и я отец, мы тут с ним равны. Так ты скажи ему, пусть плюнет и приедет. Если хочешь, можешь прибавить: Ювалов, мол, сказал.

Тамбиев пожал руку Ювалову и вышел. Уже садясь в машину, вспомнил про письмо Бардину и, почуяв неладное, поднес сложенный лист бумаги к подфарнику. Ну конечно же Сережка благодарил отца за посылку. Тамбиев порвал письмо и бросил, решив не тревожить Егора Ивановича и все необходимое передать на словах.

49

Командующий армией генерал Василий Кузнецов пригласил гостей в штабную избу и без проволочки приступил к делу. Сказать, что генерал был невелик ростом, сказать неточно — он был так мал, что для человека его положения это казалось почти неприличным. Но такое впечатление сохранялось лишь до тех пор, пока Кузнецов не начал рассказ. Он говорил с той простотой и независимостью суждений, какая характерна для человека, привыкшего разговаривать со всеми людьми, как с равными, не обедняя мысли и не упрощая картины событий в рассказе; это было особенно ценно, и генерал неуклонно, но верно завладевал вниманием корреспондентов, а заодно и их расположением.

— Война нас научила одной истине: чтобы обратить врага вспять, надо вымотать его, вымотать крепко и, когда он будет при последнем издыхании, подтянуть свежие силы и смять. Вот наша армия — ей дано имя Первая ударная — и явилась этой свежей силой, призванной нанести победный удар. Все началось с операции у яхромского моста через канал. Враг захватил мост и оказался на восточном берегу канала. Задача заключалась в том, чтобы вернуть его на берег западный. (Тремя часами позже генерал сказал Грошеву: «Могу сообщить, разумеется, доверительно. Мне позвонил Сталин. Разговор короткий: «Отбросьте противника за канал. На вас возлагаю личное руководство контрударом».) Это было в ночь на двадцать восьмое ноября, а двадцать девятого к утру немцы уже были возвращены на западный берег. Но это явилось лишь вступлением к главному. Главное — Солнечногорск, Клин. Не хочу делать из этого секрета, брали не в лоб, а в обход. Армию мы одели по-зимнему: полушубки, шапки-ушанки, валенки. (В разговоре, который состоялся у генерала с Грошевым, было сказано: «Вы видели наш народ? Есть у нас и молодежь, есть и пожилые, а им тепла надо чуть побольше, чем молодым».) Были у нас морячки с Тихого океана, а моряк, да еще стоящий на лыжах, это что-то вроде ракеты. Одним словом, вот эти морские ракеты и отрезали немцам пути отступления. Солнечногорск взяли штыковой атакой. Клин осадили по всем правилам осады и послали парламентеров: «Сдавайтесь!» В Клину оставался немецкий Комендант, он ультиматум отклонил. Тогда, так сказать, Клин вышибли клином…

Галуа рассмеялся, обратив на себя недоуменные взгляды остальных.

— У нас тут есть свой Клин, — сказал Галуа, все еще

смеясь. — Его клином не выбьешь.

— Свой Клин? — спросил генерал озадаченно, но дальше расспрашивать не стал, тем более что Галуа принялся объяснять неожиданный каламбур генерала и свою реплику корреспондентам.

— Ну вас, басурманы, — махнул Галуа на своих коллег, убедившись, что объяснить все это им мудрено. — Ох и осточертели они мне… хуже горькой редьки! — закончил он, теперь уже обращаясь к русским.

— Ай, ай! Значит, осточертели хуже редьки горькой, да? — медленно, как бы разжевывая слова, проговорил американец Филд. Он был женат на девушке из Замоскворечья и говорил по-русски. — Нехорошо, господин Галуа, так говорить о своих коллегах.

— Ты, Филд, вечно лезешь поперед батьки в пекло! — крикнул Галуа, смеясь. Он выскреб с самого донышка своей памяти эту пословицу, чтобы сбить с толку бедного Филда.

— Нет, я не лезу… поперек! — воскликнул Филд возмущенно.

— Да не поперек, а поперед! — поймал его Галуа и захохотал пуще прежнего.

— Ты, Галуа, старый петербургский шулер! — бросил Филд и подмигнул Джерми, который оказался рядом. — Вот ты кто.

Корреспонденты хохотали, хохотали не столько потому, что проникли в суть перебранки между Галуа и Филдом, а просто так, в знак доброго настроения.

— Басурманы вы! — закричал Галуа и залился пуще прежнего. — Креста на вас нет! — добавил он и, взглянув на генерала, развел руками. — Простите, ради бога, это так, небольшая разрядка. Все, что вы нам рассказали, очень интересно, но вот вопрос: что говорят немцы о перспективах русской кампании?

Галуа точно подал знак, посыпались вопросы.

— Как вы полагаете, генерал, какова была цель немцев, стратегическая, разумеется, когда они начинали зимнюю кампанию? — просипел Баркер. Он был простужен и отправился в поездку, пренебрегая советами врачей.

— А как отразится все это на положении Ленинграда? — спросил Галуа. Многое из того, что происходило на фронте, он воспринимал применительно к Ленинграду.

— Как вы представляете себе, генерал, дальнейшее развитие событий на советско-германском фронте? — хотел знать старик Джерми.

— Что произошло в психологии немцев? — произнес генерал,

как бы раздумывая. — По-моему, весьма знаменательно. До Москвы немцы не знали поражения, сейчас они его знают. Как это скажется на ходе войны? прибавит нам силы? Очевидно, но, я так думаю, ожесточит врага. Борьба впереди, борьба тяжелая…

Тамбиев заметил: генерал старался так построить свой рассказ, чтобы не создалось впечатления, что московская победа настолько подорвала силы немцев, что им уже не устоять. Наоборот, он говорил об этой победе осторожно, иногда даже с обидной осторожностью, как профессиональный военный, который слишком хорошо помнит первую заповедь военачальника: ничто так не опасно, как недооценка сил противника.

— Страдает ли русская армия от холодов? — спросил старик Джерми. Видно, этот вопрос был задан в пику тем, кто полагал, что русские побеждают благодаря зиме.

— Разумеется, страдает, как все живое.

— Вы полагаете, генерал, что проблема второго фронта остается актуальной и после Московской битвы? — спросил Клин. В той концепции войны, которую он создал в своем сознании, этот вопрос занимал свое большое место.

— По-моему, даже более актуальной, чем вчера. Когда немцы терпят поражение, особенно остра необходимость в дополнительном ударе.

— Не думает ли генерал, что история повторяется и русские обрели Кутузова в лице маршала Жукова? — подал голос старик Джерми. Он любил исторические ассоциации.

Раздался смех, смех доброжелательный — корреспондентам было симпатично имя Жукова, и они добрым смехом как бы сами ответили американцу.

— Простите, а английское оружие участвовало в Московском сражении? — спросил Клин. Он знал, что в северные русские порты пришло семь конвоев, и был уверен, что какая-то часть оружия направлена на вооружение частей, действующих под Москвой. С некоторого времени Клин сменил хозяина. Он представлял теперь прессу доминионов и по мере сил пел хвалу метрополии.

— А вы ведь были на военных дорогах и все видели, — был ответ. Генерал хотел, чтобы корреспонденты ответили на этот вопрос сами. Доля этого оружия была так невелика, что обнаружить его, даже при очень большом желании, было мудрено.

— Как вы думаете, генерал, у немецкого командования была идея организованного отхода? — спросил Баркер.

— Это интересный вопрос, — ответил Кузнецов, оживившись.

Перспектива ответить на этот вопрос явно увлекла и его. — Пленные говорят, что такая возможность обсуждалась немцами, но этому будто воспротивился Гитлер, опасаясь, что отвод в условиях русской зимы мог превратиться в бегство, которое остановить уже было бы нельзя. Прими события такой оборот, это нанесло бы смертельный удар престижу Гитлера. Я не оговорился, смертельный. Ведь не ранее как девятого октября имперское управление информации — очевидно, с согласия Гитлера — сообщило, что исход войны предрешен и с Россией покончено. Впрочем, если бы немцы все-таки решились отвести войска, вряд ли они имели возможность это сделать — наш удар был нанесен сейчас же после того, как немецкое наступление остановилось. Немцы отдали приказ приостановить наступление шестого декабря, то есть в момент, когда наши армии уже атаковали немцев по всему фронту, и то, что зовется стратегической инициативой, было в наших руках…

Тамбиев сидел рядом с Кузнецовым и хорошо видел, как белели маленькие ладони генерала, когда он разжимал кулаки. Генерал виделся Тамбиеву натурой и деятельной, и самостоятельно мыслящей. Генерал, разумеется, понимал, что его рассказ произвел бы невыгодное впечатление, если бы был рассказом всего лишь о бригаде или даже об армии. Корреспонденты хотели видеть стратегию войны, и их можно было понять. Генерал говорил, учитывая масштабы фронта, больше того, вооруженных сил. Не потому, что имел на это полномочия, а в силу того, что был первым советским военачальником, с которым встретились корреспонденты в зимней битве под Москвой. Конечно, Кузнецов мог уйти от этого, ограничив рассказ масштабами армии, но этого как раз и не надо было делать. Корреспонденты хотели видеть войну во всей ее беспредельности, они хотели профессионального анализа того, что являл собой фронт, и генерал шел на это. Тамбиева интересовало в генерале и другое. А не боится ли он упрека: мол, превысил свои права и затронул вопросы, которые, строго говоря, лежат за пределами полномочий командарма? Наверно, были такие опасения у генерала. Тогда почему он пренебрег этим? Потому, что имел на это разрешение командования? Возможно, поэтому, но не только. У генерала такого масштаба, как Кузнецов, сегодня была большая самостоятельность, чем вчера. Большая. То, что было невозможно вчера, сегодня определенно было возможно, и генерал уловил это. Точно уловил. Да, правда была здесь.

— Генерал, расскажите о себе, — попросил Галуа.

Кузнецову не очень хотелось говорить о себе, и он ушел от ответа. В штабе армии его ждет командир соединения, которого

ему неудобно задерживать, — наступление продолжается…

50

Тамбиев взглянул в окно. Там, у осинки, обросшей инеем, стоял штабной «газик», стоял «на парах», того гляди, снимется и помчится дальше. Командир соединения, о котором только что сказал генерал, видно, прибыл на этом «газике». В тех вопросах, которые задали инкоры командарму, наверно, есть своя ведущая мысль. Что это за мысль? Чем объяснить последние неудачи немцев? Русской стужей? Негибкой стратегией Гитлера, который полагает, что отступление, даже в тактических целях, невозможно? Или возросшей силой советских войск, а значит, их воинского умения?..

Инкоры уже покинули штабную избу, когда к Тамбиеву примчался Галуа и, размахивая длинными руками, произнес:

— Вы знаете, кто есть тот командир соединения, к которому спешил Кузнецов? Помните Вязьму и эту палатку в открытом поле? Комбриг Бардин! Я уже ему сказал о вас, и он просил не уезжать без того, чтобы… Он вот-вот выйдет. Это его машина, — указал он на «газик», что стоял «на парах»,

— Вы полагаете, что он здесь ненадолго?

— Он сказал: «Четверть часа от силы — и айда!» Но, по-моему, минут пять уже утекло. Как вы думаете, могу я рассчитывать на разговор с ним? — бросил Галуа, останавливая Тамбиева. — Этот его рассказ о заячьей шапке и походе через белорусские леса имеет свое продолжение… Дайте понять ему, в такой встрече есть толк.

Но Галуа не рассчитал времени — дверь штабной избы распахнулась, и на пороге показался Яков Бардин. Была в его лице эта бардинская смолистость — в смуглости щек с румяной подпалинкой, в дремучести волос, некогда непотревоженно-черных, а сейчас в ярких искорках седин. Короткий разговор, который был у Якова Бардина с командующим, немало разогрел его — старший Бардин нелегко дышал, и клубы пара окутали его, точно он вышел из бани.

— Яков Иванович, да вы ли это? — крикнул ему Тамбиев и пошел навстречу.

— Я, Николай, так и есть, я, — произнес он с тем спокойствием, которое показало Тамбиеву, что Галуа действительно говорил о нем с Бардиным. — Как там Егор? Газеты, так думаю, врут о нем: встретил, проводил, встретил?..

— Врут, Яков Иванович.

— Вот и я думаю, голова-то у него дай бог каждому, а если верить газетам, то вся жизнь — «встретил, проводил»… Ты, может

быть, веришь такому, а я нет.

— И я нет, Яков Иванович, — сказал Тамбиев, смеясь.

— И не верь, — произнес он и вытер мокрую шею платком. — А теперь Николай шутки в сторону. Как он после… Ксении? Небось стал… серым? Знаешь, Николай, а Сережка тут, у Григорова. Я-то молчок, что знаю об этом, да и он голоса не подает, хотя, так мне кажется, не может не знать, где я и что я… Он сел на мотоцикл по глупости. Его конек — радио! Мне бы в бригаду такого, вот как нужен, позарез! Но как ему скажу? Откажется да еще обругает! Вот и смотрим друг на друга так, будто между нами речка, а на самом деле речки нет.

Тамбиев смолчал. Эта бардинская чересполосица нелегка, самим Бардиным не совладать, а посторонним тем более.

— Как немец, Яков Иванович? — спросил Тамбиев. Ему хотелось знать мнение Бардина. — Сколько ему надо, чтобы встать на ноги?

— Зиму, Николай.

— Только?

— Да, зиму, так думаю я, — сказал он и медленно пошел к машине. — Война впереди.

— Эх, хотелось поговорить об этом, как там, в палатке на вяземском поле, когда речь шла о заячьей шапке…

Яков Бардин вдруг остановился, печально посмотрел вокруг.

— О заячьей шапке?.. Ну что ж, до следующего раза, — он поднял руку, и шофер, заметив этот жест, уставился на Тамбиева, точно говоря: «Нам пора! Пора!» — Ну что ж, может случиться так, что облюбуем палатку в Москве и зажжем фонарь на ночь.

— Может случиться, Яков Иванович?

— Я так думаю.

Машина взяла с места и скрылась в клубах снега.

Тамбиев возвращался в Москву в одной машине со стариком Джерми. Николаю Марковичу показалось, что старик озяб, и он предложил ему место рядом с шофером, но Джерми отказался.

— Я не спросил русский дженерал про Пирл-Харбор, — произнес он, кутаясь в старую меховую шубу, которая, видимо, грела все хуже. Он сказал на американский манер «Хорбр». — Америке надо знать Rissian opinion…

— Да, конечно, господин Джерми, — произнес Тамбиев. — Америка должна знать, что думают об этом русские военные.

— О, да! Для Америка it is very important, очень важно! — откликнулся Джерми и, выпростав руку из варежки, потер одно ухо, потом другое. Он совершил эту процедуру торопливо и, закончив, поспешно сунул руку в варежку.

Колонна ехала сейчас проселком, ведущим к Рогачевскому

шоссе. Смеркалось, и снег был мягко-фиолетовым, медленно гаснущим. Где-то в открытом поле, снежно-сверкающем и пустынном, стояла походная кухня, и ее дым, вздуваемый ветром, стлался над снегом. Шофер включил печку — растекалось тепло, домовитое, припахивающее дымком, казалось, дым походной кухни проник и сюда.

— Very important! — повторил Джерми, и Тамбиеву показалось, что он слышит легкий, с посвистом храп американца. Видно, он действительно озяб и стал отогреваться.

Джерми слыл у корреспондентов человеком не без причуд. Никто не знал, есть ли у него семья, но та жизнь, которую он прожил на людях, была жизнью бобыля. Нет, не только теперь, но и в те далекие годы первой войны, когда он впервые приехал в Россию. То, что он делал в те годы, в конечном счете было посвящено исследованию психологии солдата. Русского солдата Джерми изучал на фронте, немецкого — в лагерях для военнопленных где-то в Прикаспии. Когда грянула революция, Джерми был в Петрограде. Он не раз слушал Ленина. Он знал Горького и как-то, возвращаясь в Россию из Америки, был у него в Петрограде на Кронверкском и разговаривал о помощи голодающим Поволжья. Он сообщил Горькому, что американскими друзьями России была собрана значительная сумма в помощь голодающим Поволжья и он, Джерми, участвовал в сборе этих средств. Наверно, годы, проведенные в России, создали Джерми репутацию знатока России. Может, поэтому, когда Рузвельт решил признать СССР, среди тех американцев, с которыми беседовал президент, был и Джерми.

Тамбиев любил наблюдать Джерми. Это был высокий седой старик, плечистый и светлоглазый, который не очень-то долюбливал инкоровскую братию и держался особняком даже тогда, когда в силу необходимости должен был, как вот теперь, быть в одной группе с ними. Джерми говорил, что корреспондент ничего не может увидеть, если смотрит «в сто глаз», и по этой причине стремился уединиться. «Джерми пропал!» — произносил встревоженный Галуа под веселый хохот всех остальных, когда корреспонденты собирались к машинам и надо было продолжать путь. Однако, как ни тревожны были эти слова, тревоги они не вызывали — все знали, что Джерми найдется. И действительно, Джерми вскоре появлялся в сопровождении местного священника, которого он каким-то чудом встретил, или деревенского долгожителя, помнящего едва ли не битвы русских с турками.

Разумеется, Грошев тут же приглашал Джерми для разговора. Грошев хмурился, при этом его смуглое лицо становилось белым, он опускал глаза, опускал так; будто виноват был не Джерми, а

он, Грошев. «Господин Джерми, как вы можете вести себя так? Ведь мы находимся в десяти километрах от линии фронта! Поймите, что вести себя так… опрометчиво!» На этом разговор обычно и заканчивался, на более сильные слова деликатного Грошева не хватало.

Если рядом оказывался соотечественник Джерми Филд, он пытался вразумить старика. «Пойми, Джерми, ты не один, — говорил Филд, говорил громко, так, чтобы его возмущенный голос был слышен. — Можешь ты это понять?» А Галуа неизменно добавлял, подмигивая Грошеву: «Вот вы все такие, американцы, нет вам веры». В ответ Джерми кивал седой головой, будто хотел сказать: «Виноват, кругом виноват!» Казалось, внушение пошло Джерми на пользу и впредь он будет вести себя по-иному, но приходило время новой поездки, вереница машин направлялась к фронту, и вдруг, казалось бы, преданное забвению «Джерми пропал!» проносилось по машинам, и Галуа принимался искать Филда: «Эй ты, Филд, куда ты девал своего Джерми?» Поднимался шум, он продолжался до тех пор, пока на горизонте не возникала нелепо-долговязая фигура Джерми, сопутствуемая, как обычно, гривастым попом или героем Шипки. «Ну и хитрец этот твой Джерми! — говорил Галуа Филду. — Взглянешь на него — любитель знатной старины! Да что там старины! Схимник, пилигрим, пророк, «духовной жаждою томим!». А на самом деле? Как все вы, американцы, делец!.. Даже он… делец! Нет, ты мне скажи, кто он есть? Боишься? Тогда я скажу. Сказать? Личный представитель президента!» Филд разводил руками: «Ну при чем здесь президент?» Но Галуа уже вошел в роль, и остановить его было мудрено: «Все вы, американцы, хитрецы!»

Галуа шутил в своей обычной нарочито-грубоватой манере, однако в этой его шутке, как казалось Тамбиеву, было зерно истины: Джерми действительно был человеком, симпатизирующим президенту и иногда подававшим президенту советы, касающиеся русских дел. Из писем старого американца, если они направлялись президенту, Рузвельт мог узнать такое о России, чего не давали ему ни депеши посла, ни пресса, но у Джерми было свое представление о России, свое видение русского. Что это было за представление, что за видение? Джерми, как говорили Тамбиеву, пытался разыскать на русской земле… матушку-Русь, да, кондовую Русь-матушку, которая, как ему казалось, была вечна и которую не могла переиначить даже столь могущественная сила, как Октябрь. Тамбиев не допускал, чтобы в этих своих письмах на имя президента Джерми выражал неприязнь к новой России, но, сравнивая Россию старую и новую, отдавал предпочтение той, исконно-патриархальной, которую

создал в своем воображении и которую продолжал искать и, как полагал он, находил… Так или иначе, Джерми мог заблуждаться, но он не был чудаком, слава о чудаковатости Джерми была преувеличена.

— О да! — сказал Джерми и проснулся. — Я спал хорошо! — Он достал из жилетного кармана часы, тщетно пытаясь разглядеть их. — Рашен дженерал знает разницу между Теодор Рузвельт и Франклин Рузвельт?

— Простите, господин Джерми, а к чему вы это говорите?

— Я очень внимательно слушал рашен дженерал, русский генерал.

— Но ведь он же не говорил о Теодоре Рузвельте.

Джерми рассмеялся. Смех был неживой: хо, хо, хо!

— Он говорил… секонд франт, второй фронт. Говорил так, как будто в… Уайт хауз, Белый дом, Теодор Рузвельт, там Франклин Рузвельт!

— Я не понял так генерала, господин Джерми.

— Я так понял, — он подвигал плечами — мороз его стал беспокоить вновь. — Ваша дверь — Вашингтон! Вы стучите Лондон! Теперь, теперь — Вашингтон!

— Почему теперь, господин Джерми?

— Я так думаю, теперь! Что такое Пирл-Харбор? Это… американский июнь.

Так вот что хотел сказать пилигрим Джерми, вот что вынашивал он! Он полагает, что проблему второго фронта надо решать с американцами. Они нас лучше поймут. Наверно, лучше понимали и прежде, но сегодня больше, чем вчера. Джерми по-своему прав, теперь!.. Что-то есть в Пирл-Харборе, так думают американцы, от 22 июня: злая воля фашизма, вероломство.

— Господин Джерми, а вы знали Теодора Рузвельта?

Он точно насторожился: пытаясь понять, какое отношение этот вопрос имеет к существу разговора.

— Да, знал.

— Что он был за человек?

Джерми вынимает руку из варежки, трет лицо.

— Американский Черчилль!..

Однако Джерми не растерялся: ему действительно удалось соотнести свой ответ с сутью разговора.

Где-то на перегоне от Рогачева к Дмитрову колонна остановилась, чтобы дать возможность корреспондентам поразмяться — мороз забирался в машины, отнимал дыхание. Тамбиев вышел из машины. Черное, перевитое морозными дымами небо и белое, даже иссиня-белое, будто подсиненная простыня, поле. Безветренно и тихо, так, что слышно, как

скрежещет и гремит схваченный морозом лес да далеко-далеко воет то ли волчья, то ли псиная стая… Тамбиев смотрит, как, притоптывая, прихрамывая, приплясывая, корреспонденты сбиваются в кучу. Чем дольше длится стоянка, тем гуще, теснее, нерасторжимее — спасение в нерасторжимости. О чем думают сейчас эти люди? Вот он, свирепый лик русской зимы, свирепый не только для немцев. Когда последний раз была в России вот такая зима? Не в восемьсот ли двенадцатом? Она, русская зима, точно копила силы, точно собирала державную мощь, чтобы вот так грянуть первый раз по французам, потом по немцам.

Тамбиев смотрит на людей, сгрудившихся на зимней дороге. Они все притоптывают да пританцовывают, собираясь теснее. Казалось, задохнешься от этой тесноты, а им холодно…

— Russian winter — death, death… Русская зима — смерть, смерть, — говорил Джерми, возвращаясь в машину.

51

Да, очевидно, русская зима — смерть. Еще продолжалась московская баталия и советская армия теснила врага, отбивая города, лежащие на подступах к Москве: Волоколамск, Наро-Фоминск, Калуга, Малоярославец, Можайск… Зимний фронт медленно принимал свои очертания, близилась великая пауза, первая долгая пауза с начала войны, пауза жестокой мысли, трудного решения. Ценой великих усилий немцам удалось стабилизировать фронт, но меч отмщения был все еще занесен над ними — вокруг лежала враждебная страна, будущее было смутным… Перед германской армией возникла психологическая задача, равной которой армия не знала. Молниеносной войны не получилось, армия застряла в русских снегах, уныние объяло некогда неколебимые ряды, всесильный червь разочарования поедал в сознании немецкого солдата одного кумира за другим, грозя сожрать и самого фюрера. Эта истина так обнажилась, что ее узрел и фюрер. Он сместил Браухича с поста главнокомандующего сухопутной армией и этим как бы отнес неудачи армии на его счет, сам возглавил войско. Это давало возможность фюреру овладеть ситуацией и сосредоточить усилия на подготовке армии и страны к летней кампании. Теперь армии внушалась мысль: будущее лето станет победным, гарантия тому — безупречное имя фюрера. Правда, германская армия лишилась ореола непобедимой, но грядущая победа должна была вернуть ей и это. Хотя поражение было неслыханно жестоким, большая часть офицеров еще верила в победу. Они тогда не представляли, что в ходе московской баталии германская армия утратила нечто такое, что ей уже не удастся восполнить, и московская зима будет иметь для германской армии последствия гибельные…

Перед советскими и немецкими стратегами лежала одна и та же военная карта. Линия фронта фиксировала итог зимней кампании. Она, эта линия, была достаточно извилистой. Эта извилистость таила немалые неожиданности для одной и другой стороны. Да, это была одна карта, но каждая сторона читала ее по-своему, как, впрочем, по-своему готовилась решить большие и малые задачи, которые на этой карте возникли.

Советская сторона формировала резервы, наращивала темпы выпуска нового оружия. Война заставила отодвинуть многие заводы за «уральский щит», и массовый выпуск этих образцов не мог быть осуществлен. Только теперь эти заводы обретали свои истинные мощности. По-новому, казалось, должна была быть прочитана и карта резервов. Как ни велик был приток этих

резервов, самые оптимистические подсчеты свидетельствовали: вряд ли в эти зимние месяцы удастся превзойти врага в живой силе. Таким образом, зимняя пауза не очень-то обнадеживала. По крайней мере, было маловероятно, чтобы в оставшиеся до лета месяцы было обретено преимущество, необходимое для победы. Впрочем, это превосходство в силах могло бы быть достигнуто в одном случае: надо было вынудить врага снять с восточного фронта сорок дивизий. Так с новой остротой встал вопрос о втором фронте. Назрела необходимость острого разговора. Быть может, старик Джерми был прав, когда говорил Тамбиеву: с американцами даже больше, чем с англичанами.

В апреле, когда поголубело небо над Москвой и на деревьях скверика перед Большим театром, что был виден из тамбиевского окна «Метрополя», захлопотали стрижи, Николай узнал, что нарком собирается за океан.

— Послушай, Николай, ты будешь в Москве в начале мая? — спросил Бардин, неожиданно явившись в тамбиевскую обитель.

— Да, очевидно. Если отлучусь, то ненадолго.

— Я решил вернуть своих в Ясенцы, — сказал Бардин. — Иришка одолела, да и отец ворчит. Ольга хранит молчание, но, как мне кажется, из деликатности. Хочу просить тебя: приедут, помоги им.

По тому беспроволочному телеграфу, который вопреки невзгодам войны и ненастью зимних месяцев действовал исправно, Тамбиеву было известно: Бардину предстоит дорога.

— Ну что ж, я готов, — сказал Тамбиев. — Со встречей Ольги и Иришки я как-нибудь сдюжу, но как быть, если приедет Сережка?

— Сережка?.. — Казалось, эта проблема возникла перед Егором Ивановичем только что. — Сережка — это серьезнее. — Он умолк, как-то очень кротко сложил руки на отощавшем животе. — Ничего не поделаешь, лететь-то надо. Значит, оставляю Ясенцы на тебя, — произнес Бардин с той категоричностью, к которой обращался, когда хотел, чтобы было по его.

— Ну что ж, коли так, пусть будет так, — произнес Тамбиев, но, обратив взгляд на Бардина, заметил: он, разумеется, ожидал согласия Тамбиева и сейчас думал уже о другом, быть может, более важном, об этом говорил весь его вид.

— Ты помнишь, Николай, мой разговор с Джерми? Ну, осенью сорокового на Спиридоньевке?

— Это когда Джерми рассказал вам о Хейвуде и «Ай Дабл Ю Дабл Ю»? — Тамбиеву был известен интерес Бардина к

американской истории начала века, и в связи с этим, как помнит Николай Маркович, рассказ Джерми произвел на Егора Ивановича впечатление немалое.

— Именно о Хейвуде и «Ай Дабл Ю Дабл Ю».

— Вы хотели бы его видеть вновь?

— Да, но я, Николай, не хотел бы тебя просить об этом.

Многоопытный Бардин понимал: в данном случае Тамбиев представляет отдел, при котором корреспонденты аккредитованы, и посредничество здесь может быть и неуместно.

— Но интерес к Джерми и в этот раз равнозначен интересу к американской истории, Егор Иванович? — спросил Тамбиев.

— Это надо знать отделу печати? — спросил с лукавой ухмылкой Бардин.

— Надо, Егор Иванович.

— Ну, коли надо, отвечу: почти…

Очевидно, разговор на Спиридоньевке запомнил не только Бардин, но и Джерми. Запомнил настолько, чтобы заинтересоваться познаниями Бардина в американской истории начала века и послать ему том Гарея «Первая американская революция». Бардин, почувствовав расположение собеседника (как все старые люди, Джерми был чуть-чуть тщеславен, ему льстило внимание Бардина), искал повода встретиться с Джерми, но при занятости Егора Ивановича это было непросто. Сейчас имелось к этому и желание, и, главное, необходимость. День выдался солнечно-апрельский, характерный для московской весны — апрель много горячее мая. После зимней стужи, свирепой и нескончаемо долгой, дохнуло теплом. Это тепло проникло даже в апартаменты гостиницы, где этой зимой ртутный столбик иногда оказывался угрожающе невысоко. Бардин пригласил Джерми к себе. В угловой комнате, выходящей двумя окнами на Малый театр, а двумя на площадь, в этот весенний день было особенно солнечно.

Бардин, верный себе, достал кофеварку и принялся ее налаживать. В комнате запахло кофе, и это прибавило ей и тепла, и уюта. Джерми снял пиджак и, оставшись в шерстяном набрюшнике, принялся листать Сервантеса.

— Не скучаете по дому, господин Джерми? — спросил Бардин, покрывая большой салфеткой часть стола. Эта салфетка была у Егора Ивановича вроде скатерти-самобранки, она честно служила ему вот уже три недели.

— Я старый бродяга! — воскликнул Джерми почти ликующе. — Поэтому я не умею скучать! — Последняя фраза далась ему с трудом, но, соорудив ее, он рассмеялся — он был доволен собой. — Я заметил, после Пирл-Харбора Америка и

Россия стали не так далеко!.. Вы не согласны? — спросил он неожиданно и внимательно посмотрел, с какой тщательностью и старанием Бардин накрывает свой небогатый стол. Ему был в диковинку этот добродушно толстый человек, ловко орудующий кухонной утварью.

— Еще недостаточно близки, должны быть ближе, как того хочет президент Рузвельт, не так ли?

Джерми перестал листать большую книгу.

— Рузвельт?

— Да, президент Рузвельт.

Джерми осторожно прикрыл книгу, задумался. Что-то похожее на догадку мелькнуло в мутно-серой мгле его глаз.

— Президент хочет понять Россию, — сказал Джерми раздельно. Видно, эту фразу он повторял в кругу своих русских друзей и прежде — он произнес ее с несвойственной ему уверенностью.

— Вы сказали, хочет? — спросил Бардин, спросил спокойно, едва заметно выделив «хочет».

Джерми отодвинул книгу. Нет, теперь не догадка, большее овладело его сознанием, он все определеннее понимал, что заставило этого толстого господина пригласить его, Джерми, обставив встречу с такой симпатичной непринужденностью и тщательностью.

— Вы хотите знать, что есть Франклин Делано Рузвельт? — спросил он с грубоватой прямотой. — Так я вас понимаю?.. — Он приостановил руку Бардина, который поднес к его чашке с кофе бутылку с коньяком, потом разрешил налить. — Это непростой вопрос, поэтому я буду говорить по-английски. Можно? — Он помолчал, ему нужно было какое-то мгновенье, чтобы переключиться с одного языка на другой, хотя этим новым языком и был английский. — Ничто не безусловно в этом мире, даже мнение людей о звездах. Одни говорят, что звезда светит потому, что она звезда. Другие, наоборот, полагают, что она светит потому, что кругом ночь. Вот вам и два мнения о Рузвельте. Скажу сразу, я держусь первого. Два мнения! Что же говорят они, и его доброжелатели, и его явные и тайные недруги, и что обычно отвечаю им я? Они: «Он не обладает даром мыслителя. Он не столько размышляет, сколько реагирует. Он не способен к отвлеченному мышлению». Я: «Ну что ж, это, наверно, плохо, но, я так думаю, это не самая большая беда!.. Он человек действия, а следовательно, и опыта». Они: «Да, но деятель его масштабов должен видеть будущее». Я: «Наверно, но он доверяет только тому, что прошло проверку временем». Они: «Но согласитесь, что он действительно не обладает даром

мыслителя». Я: «Что касается ума, то я не знаю другого нашего деятеля, который бы обладал такой гибкостью ума. Вы бывали на его пресс-конференциях? Нет, нет, вы видели, как полк журналистов идет на него в атаку и с каким завидным умением он парирует град ударов, которые сыплются на него?» Они: «Но поймите, что этого недостаточно, когда речь идет о деятеле такого масштаба. Недостаточно по одному тому, что рядом с ним Черчилль. Нет, не только сподвижник, но и антагонист…» Я: «Ну что ж, Черчилль так Черчилль! Значит, Рузвельт и Черчилль, так?»

Джерми смотрит на Бардина: «Интересно ему все это? Дело говорит Бардину Джерми? Судя по печально-внимательному взгляду бардинских глаз, — дело».

— Итак, Рузвельт и Черчилль? До того, как приехать в Россию, я был в семье Рузвельта и разговаривал… Разве важно, с кем? Если это семья Рузвельта, то, очевидно, мой собеседник был президенту человеком достаточно близким. Настолько близким, что был где-то рядом с президентом на палубе знаменитой «Августы», когда подписывалась Атлантическая хартия. Вы, наверно, знаете, что до этой встречи Рузвельт виделся с Черчиллем лишь однажды, если быть точным, то виделся Рузвельт — не Черчилль!.. Почему? Это я вам сейчас объясню. Как известно, во время первой войны Рузвельт был заместителем морского министра. Всего лишь заместителем. А Черчилль к тому времени уже успел проиграть Дарданеллы и стать фигурой заметной. В такой мере заметной, что, встретив на банкете в Лондоне американского вице-министра, он эту встречу даже не запомнил. Вот и получилось: Рузвельт с Черчиллем встречался, а Черчилль с Рузвельтом нет. Итак, с тех пор прошло двадцать два года, и они встретились вновь…

Бардин слушал Джерми и думал: такое впечатление, что его реплики о Рузвельте приготовлены заранее. Не исключено, эта тема занимает такое место в жизни Джерми, что он и прежде обращался к ней в своих беседах. Но возможно и другое. Ну, например, Джерми мог знать о поездке русских и по-своему хотел на нее влиять. В конце концов, обратиться к доброму слову о президенте во всех случаях полезно.

— Я сказал, что встреча была обставлена достаточно торжественно, — продолжал Джерми. — Были и вручение королевского послания, и передача английским морякам американских подарков (подарки были невесомы, на грани символа: вино, фрукты, сыр!), и богослужение на «Принце Уэльсском» перед амвоном, обвитым американским и британским флагами, когда сотни людей вознесли к небу «Вперед, воинство

Христово» и «Сильны во спасении». Но я хочу сказать не об этом, да и не это было главным. Главное началось, когда два человека сели за стол и в упор взглянули друг на друга. И несмотря на то, что вокруг стола разместился корпус советников, экспертов, их участие в разговоре, происходящем за столом, было не большим, чем участие массивных кресел, на которых они расположились. Это был не диалог — монолог; за столом главенствовал старый Уинни! Да, говорят, он был в ударе в тот день. По-бабьи пышноплечий и пышногрудый, он, казалось бы, должен был вызывать смех, но воспринимался серьезно вполне. Больше того, умел заставить забыть свою бабью внешность и, пожалуй, бабий голос. Он, говорят, так завладел вниманием, что в течение тех двух часов, пока продолжался его монолог, единственно, что способны были произнести находящиеся в комнате люди, было: «Ради бога, тише!..» Однако что было лейтмотивом его монолога? Речь шла о Британской империи.

— Как можно было понять Черчилля? Он полагал, что война не только не поколеблет устоев империи, она их упрочит. «Вот где-то по этой линии у нас с вами могут возникнуть некоторые разногласия», — подал голос Рузвельт, подал осторожно. Слова были сильными, интонация — очень терпимой. И еще сказал Рузвельт несколько слов. Смысл их, как я понял, сводился к следующему: не может быть и речи о надежном мире, если за ним не последует прогресс отсталых стран, если не будут созданы условия для этого прогресса. «Нельзя достигнуть этого методами восемнадцатого века!» — заключил Рузвельт, удержав голос в строгих пределах той интонации, в какой он произнес начало этой реплики. Но старого Уинни ничто не могло обмануть, в том числе и эта интонация. Те, кто с ним беседовал, рассказывают, что у него способность черепахи погружать голову в тело почти по надбровные дуги, на поверхности не остаются даже глаза. В тот раз он вобрал голову и не сразу ее показал собеседникам вновь. Инстинкт самосохранения? Может быть, но дело обстояло именно так. Одним словом, Рузвельт лишил Черчилля дара речи. Нет, разумеется, старый Уинни продолжал говорить о недопустимости вмешательства в имперские дела, но вряд ли это могло кого-либо обмануть. Наверно, это понял и Черчилль. «Господин президент, мне кажется, что вы пытаетесь покончить с Британской империей», — сказал старый тори. Представляю, что стоило ему сказать это. Но он сказал не все, пожалуй, он сказал даже не главное из того, что хотел сказать. Вот суть главного: да, он, Черчилль, понял Рузвельта именно так, но, несмотря на это, считает, что Америка — единственная надежда империи. Да, он, Черчилль, убежден, что без Америки империи не устоять.

Уместно спросить: думая так, больше того, утверждая это, что защищал Черчилль? Что он защищал в это лето тысяча девятьсот сорок первого года, трагическое не только для русских, но и для англичан? Правда, на Британские острова уже не падали бомбы, они падали только на Россию, но разве от этого положение этих островов не продолжало оставаться очень тяжелым? Что защищал? Вопреки всем превратностям судьбы он следовал логике своей жизни, железной логике, и не оставлял надежды столкнуть Америку с Россией. И это, наверно, было вторым туром разногласий. Собственно, разногласия, говорят, возникли ещё при встрече советников, когда речь зашла о поставках по ленд-лизу. Доводы англичан: «Зачем давать все это добро русским, когда в нем нуждаются англичане? Дать русским — это все равно, что дать немцам: русские отступают!» Можно было подумать, что так далеко могли пойти в своих выводах безответственные советники, если бы аргументы эти сейчас неожиданно не повторил Черчилль: «Русские! Конечно, они оказались гораздо сильнее, чем мы когда-либо смели надеяться, но кто знает, сколько еще они протянут…» Он даже мог говорить о падении Москвы, а вслед за этим о выходе немцев на русский юг, как о факте, если не совершившемся, то более чем вероятном. Так-то! Это и есть Черчилль!.. Я человек справедливый и должен сказать, не все англичане держали себя так по отношению к России. Кто держал себя иначе? Вот этот карлик, почти гном, крикун и задира, именуемый лордом Бивербруком, держал себя иначе. Он сказал: «Мы должны помогать России, без нее мы протянем ноги!» — Джерми допил кофе и, встав, снял со спинки стула пиджак. Судя по всему, он почти закончил свой рассказ. — Я знаю, что вы хотите мне возразить, — произнес он, и веселые блики заиграли в его глазах. — Как человек, немного знающий русских, я сейчас попытаюсь определить, каким будет ваше возражение. Вы хотите сказать, что я идеализирую Рузвельта, не так ли? Да, вы хотите сказать, что он не так добр, как может показаться из моего рассказа. Вы даже можете сказать, что его желание покончить с Британской империей небескорыстно. Ну что ж, пусть это будет вашим мнением. Я даже готов признать, что это мнение в какой-то мере правомерно, когда оно ваше мнение. Что же касается меня, то я смею называть себя если не другом президента, то его доброжелателем и готов стоять на своем.

В какой раз Бардин поймал себя на мысли: а ведь рассказ Джерми достаточно откровенен. Разумеется, это впечатление чисто эмоциональное, но иногда такое впечатление бывает вернее всякого иного. Но почему Джерми рассказан Бардину все это? Видно, у американца были какие-то свои интересы. Можно

допустить, что он действительно старый друг семьи президента, по-своему преданный этой семье, и перед самим фактом великого лицемерия (именно лицемерия!), которое сегодня явили союзники, хотел бы уточнить, где кончается Рузвельт и начинается Черчилль.

Старик Джерми был провидцем и в какой-то мере точно установил все то, что хотел бы ему сказать Бардин, но Егор Иванович полагал, что вступать с американцем в спор, да еще по столь деликатному вопросу, как этот, вряд ли был резон. К тому же в Рузвельте-человеке было такое, что импонировало и Бардину, а в остальном Егору Ивановичу еще предстояло разобраться.

В середине мая миссия Молотова собралась за океан, намереваясь сделать остановку на Британских островах.

Полет предполагалось осуществить в строжайшей тайне. Молотову было дано имя Бауэра, а самой миссии соответственно «миссия Бауэра».

В списке тех, кто сопровождал наркома, значилось и имя Бардина.

У летчиков была нелегкая задача — пересечь линию фронта на пути в Великобританию, а затем совершить не менее дерзкий рывок через Атлантический океан.

С той довоенной поры, когда быстрокрылый моноплан Коккинаки пересек Атлантику и приземлился где-то близ Нью-Фаундленда, советские летчики по этому маршруту не летали. Может, поэтому, когда возникла мысль о встрече, а она принадлежала Рузвельту, президент предложил советской миссии, направляющейся в США, американский самолет — у летчиков США был опыт трансатлантических перелетов. Но Сталин сказал «нет». Для России это был уже вопрос престижа, и она не могла позволить, чтобы столь ответственная миссия, какой была миссия Молотова, направлялась в США на американском самолете. Летчиков, готовивших полет, эта задача увлекла. Они полагали, и их можно было понять, что предстоящий перелет за океан, осложненный к тому же опасностями войны, был событием не только для дипломатии, но и для воздушных сил. Линию фронта предстояло пересечь в северных широтах, где в это время началась пора белых ночей, следовательно, ночная тьма уже не могла быть для самолета защитой. Единственное спасение — высота.

И тем не менее пересечь линию фронта решено было ночью с тем, чтобы за полночь обойти Данию и в предрассветный час быть

над Британскими островами.

52

Когда до отъезда оставалась неделя, Егор Иванович получил задание выехать в Калинин. Группа англо-американских дипломатов, в том числе военные дипломаты, хотела бы побывать в районе боев. В поездке на юг (там именно и был сейчас район особенно активных боев) им отказали и предложили Калинин. Ведомства, обычно участвующие в подобных поездках, отрядили по генералу. Наркоминдел направил Бардина. Поняв, что в просьбе им, по существу, отказано, посольства направили в Калинин лиц, не столь ответственных, — хроника отношений между союзниками содержала и такие факты.

Бардин сделал в этой поездке все, что можно было сделать в его положении, и когда эскорт с иностранцами готовился покинуть Калинин, связался по ВЧ с Наркоминделом и испросил разрешения побывать у сына, который лежит в госпитале под Дмитровом.

Бардин получил разрешение на поездку к сыну, но, откровенно говоря, не был уверен, что застанет его в госпитале. Последнее Сережкино письмо, полученное Ириной на прошлой неделе, гласило, что дело стремительно пошло на поправку и не исключено, что послегоспитальные месяц-полтора он проведет «на воле». Поэтому, когда Егор Иванович разыскал в глубине лесочка, посеченного огнем, красное зданьице госпиталя и, переступив порог, ощутил вместе с парной духотой характерный запах йода и карболки, ему потребовалась добрая минута, чтобы смирить разбушевавшееся сердце и произнести раздельно (главное, чтобы произнести раздельно!):

— Бардин… Сергей Бардин — из одиннадцатой палаты?

Девушка, к которой обратился Егор Иванович, взглянула на Бардина не без сострадания.

— Последняя дверь по коридору.

Бардин хотел было добраться до этой последней двери мигом, но почувствовал, что это непросто — сердце не пускало. Да, вот так сдавило и не дает дохнуть.

— Я вам разведу капель… сердечных, — сказала девушка, сказала почти машинально.

— Нет, не надо, — ответил он и, подняв глаза, подивился длине коридора: вон та, последняя комната была едва ли не в конце земного бытия Бардина.

Он пошел, вернее, сдвинулся с места, и попытался идти, но сердце остановило его. Тревога объяла Бардина, такого еще не было. Вот он, пришел твой конец, раб божий Егор! Такого

действительно еще не было. Да неужто это тебе за великий твой грех перед сыном? Отмщение? Да, отмщение! За то горькое июльское утро, когда Ксения молила тебя кинуться в ноги Воскобойникову? А может, за эти долгие месяцы разлуки с сыном, когда не нашел минуты свидеться? За Сережкин крик боли, а может, и испуга, когда осколок врезался в ногу и, так казалось Бардину, зашипел? За стон его сдавленный, что исторг он, когда, опрокинувшись, упал на отвердевший снег? За кровь, что прерывистой цепью легла по снегу, когда тащили ребята Сережку до санбата, уложив на двух шинелях? А может, не только за это, но и за то, что не дал всем срокам выйти… Иди, иди тернистой стезей, взбирайся по острым камням!

— Сережка, отец приехал! Сережка!

Не крик, а вопль! Да не девчонка ли это, что сулила только что капли сердечные? Бардин оглянулся. Она. Эко голосина! На каланчу пожарную с такой силищей в голосе народ сзывать — петуха красного ощипывать! Погоди, да, никак, это Зоенька, соседская дочка из Ясенец, которую Ксения выманила в тот вечер, а потом они проводили с Сережкой!

— Зоенька, ты?

Но в дальнем конце коридора за спиной Бардина приоткрылась дверь, приоткрылась едва слышно, но этот мышиный скрип уже никуда нельзя было деть, Егор Иванович услышал бы его за версту, если бы слуха не хватило, самим бы сердцем усек.

Бардин обернулся: Сережка! Золотая бородища, если не патриаршая, то митрополитова наверняка — волосы уже затенили шею и распластались по груди, а вместо рук и ног четыре Кащеевы косточки. Только и есть во всем облике ребячьего, так это глаза, Ксенины глаза! Вот этот прищур их, эта мгла печальная, когда они распахнуты… Ксенины, Ксенины!.. Это она на меня глянула его глазами!

И откуда вдруг силы взялись у Бардина? Одолел длинный коридорище с одного вздоха! А Сережка не очень-то силен — вон как пошагал нетвердо, держась за подоконник. Ну, здравствуй! О, щей нахлебался вдосталь — капустой кислой с ног до головы пропах!

— Ты небось из-за стола, Сережа?

— Да, ели только что с Ювалычем… Ты про моего Ювалова слыхал?

Бардин против воли своей запнулся.

— Как же. Наслышан. Коля Тамбиев говорил.

— Ну, если наслышан… к столу, так сказать. Как мама говорила, чем бог послал…

— Мама? — Бардин не без труда перевел дух. — Меня там встретила девочка с косичками, — указал он на дверь. — Ну, с такой родинкой на кончике носа…

— Верочка Рымарь. Известно, Верочка.

— Ты сказал, Верочка? А я думал, Зоенька, ну, та… Зоенька из Ясенец.

Сережка помрачнел.

— Нет, папа, Зоеньки здесь нет. Она подалась к своим в Ленинград.

— А она разве оттуда?

— А ты не знал? Ее мама, Анастасия Георгиевна, из Гатчины. Ну, Зоенька и рванулась в Ленинград. Да вот жива ли? Ювалыч, где ты тут? Знакомься, батя мой.

Рука у Ювалова, как показалось Бардину, жесткая. Протянув руку Бардину, Ювалов не расслабил ее, не взрыхлил. Наоборот, удержал в ней силу, больше того, силу напряг — рука точно единоборствовала с рукой Бардина, обнаруживая норов.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал Ювалов, и это «пожалуйста» в сравнении с твердой рукой прозвучало неким великодушием. — Мы сейчас составим тумбочки, и все будет хорошо. Вот теперь хорошо. Пододвигайтесь. Небогато, но от всего сердца.

Истинно, небогато: алюминиевая тарелка и на донышке щец маленько, синих, может, от алюминиевой тарелки синих, а может, так.

— Ешь, батя. Это твоя доля. Не загадывали, а загадали. — Егор Иванович взглянул на Сережку. Припер его сын этими Ксенииными очами, точно вилами двурогими к стене, не отпрянешь, не увернешься. — Горячих щей с дороги — хорошо! Будто знали, что ты приедешь. Твоя доля. И хлеба, бери хлеба, — указал он на ржаные квадратики, каждый со спичечную коробку. — У нас пекарь мировой, хлеб выпекает что надо. Ложку бери, и за дело!

Бардин взял ложку. Нелегка она, хотя и алюминиевая! Как же ты приехал к сыну с пустыми руками? Рванулся на полных парах, и мысли вразброс? Вот завтра Сережку припечатает миной, тогда ты прозреешь, немудреная душа!.. Прозреешь и — один исход — руки на себя наложишь… Тяжела ложка, хотя и алюминиевая, ой как тяжела!

— Ты прости, батя, что у нас так… негусто!.. Тушенка-то, что ты прислал с Тамбиевым, вышла у нас. Мы бы тебя той тушенкой угостили. Хороша была тушенка! Как, Ювалыч, хороша была?

— Хороша была тушенка, — поддержал Ювалов, раскладывая на алюминиевые тарелки пшенную кашу. — Да и в каше тоже

сила есть, ежели маслицем еще ее сдобрить, а? Эх, маслица маловато!

Тушенка, тушенка-то тоже пришлась не в бровь… Хорошо они тебя вот этой тушенкой, что приволок сюда Тамбиев, судя по всему, от твоего имени… Да, смилостивился великодушно и приволок. Чтобы защитить тебя, нет, не перед сыном, а вот перед этим солдатом!.. Однако каким жаром обдало тебя… жаром и влагой горячей. Точно подняли тебя на третью полку парной и березовым веником протянули от загривка до пят… Вот так-то, раб божий Егор! Небось возомнил себя царем сущего, ан нет… Не дери носа и держи в узде себялюбие. Да есть ли оно у тебя? Видно, есть.

— Сережа писал, что у вас сын, — посмотрел Бардин на Ювалова.

— Да, под Волховом, в болотах сидит.

Бардин сдвинул брови. Ну, вот сын под

Волховом, зарылся небось в топь, и отец, судя по всему, не делает из этого трагедии. Не делает трагедии не потому, что ему не жаль сына своего так, как Бардину Сережку? Нет, конечно. Но он понимает, что година грозна, и со скромной суровостью принимает свою долю страданий. Со скромной суровостью и, пожалуй, достоинством. Нет, все не так просто. Но вот Сережке живую кожу пропороло осколком мины. Тот раз в Калинине Бардин держал в руках такой осколок. Рваный осколок, весь в острых углах. Он, этот осколок, и рассчитан на то, чтобы быть рваным. Такой пройдется по живому телу, нет, не просто распашет его, а разбрызгает… Наверно, вот этак пропороло не только Сережку, а тысячи и тысячи таких, как он. Да что пропороло? Уложило бездыханными. Но по этой причине не бежать Бардину от его любви и, пожалуй, жалости к сыну?

Сергей наклонился, заглянул отцу в глаза.

— Ты сыт, батя?

— Сыт, Сережа. Спасибо.

Ювалов сложил алюминиевые тарелки, подался к выходу.

— Я снесу и покурю зараз.

Он вышел.

Бардин кинулся к сыну, накрыл его большим телом.

— Батя, да, никак, ты… ревешь? Да мужик ты или нет? Ну, кончай.

Но это было, наверно, уже не во власти Бардина. Точно взорвалось что-то внутри него, и сотрясло, и повело:

— Виноват я перед тобой.

— Да ты что, батя? В чем виноват-то?

А потом они сидели, разом лишившиеся сил, и Бардин

говорил:

— Как нога. Сережа?

— Зажило, как на собаке…

— Тогда покажи.

— Да ты что, батя? Это близко к тому месту, что не показывают.

— Покажи, покажи, я отец.

— И не проси.

— Покажи, тебе говорят, а то сам взгляну!

— Ну, тогда запри дверь изнутри.

— Сейчас… Ну, а теперь показывай. Господи, инстинно Кащей бессмертный — кожа да кости.

Все виделось Бардину в Сережке угнетенно-ребячьим, вызывающим жалость, и ноги с острыми коленками и странно дряблыми икрами, и живот, показавшийся ввалившимся, и тазовые кости, неожиданно обнажившиеся, и это место, которое не показывают, и рубец, на котором отчетливо пропечатались недавно снятые швы, сейчас лилово-красный, перечеркнувший ногу от коленки до паха.

— Небось крови пролилось море? — спросил он сына и припал ладонью ко шву, точно удерживая кровь, которой пролилось море.

— Говорят.

— А ты?

— Не помню. Удар вроде пришелся по голове и заволокло, все заволокло.

— Сейчас не больно?

— Нет.

— Правду говоришь?

— Нет, нет, батя.

Бардин закрыл глаза. Этот рубец, перехваченный швами, заметно затягивало, но для Бардина он был живым, его твердую полоску, сейчас горящую, восприняла кожа Бардина…

— Ты прости меня, Сережа.

И часом позже, когда машина вынесла Бардина из леса, порубанного артиллерийским огнем, в котором укрылся Сережкин госпиталь, думалось об одном: вот он, Сережка, отрок твой! Раздвинул грудь и залег у самого сердца… Наверно, это хорошо, что он лежит у тебя под сердцем. А с ним и беспокойство жизни твоей, и укор… Да неужто ты нуждаешься в укоре? Нужен он тебе, этот укор? Нужен, коли есть необходимость соскабливать с себя вот это себялюбие. Есть оно, есть.

Бардин вернулся из Дмитрова в первом часу ночи и, не заходя к себе и не раздеваясь, пошагал в полутемный коридор на

первом этаже. Там была резиденция хранителя необильных продуктовых запасов наркомата. Судьба-насмешница одарила зава кладовой именем символическим — Пшеницын, но люди, корректирующие судьбу, окрестили продуктового бога Беспшеницыным. Второе имя точнее определяло и прижимистую натуру каптенармуса, и скудные припасы его кладовой. Так или иначе, а Бардин поднял Беспшеницына с постели, когда тот видел самый сладкий сон, и, заклиная именем всего сущего, вымолил у него две банки сгущенного молока, килограмм соленых галет и (о, счастье!) брусок сала, дав согласие, что все это будет у него удержано из пайка. На рассвете Бардин разыскал гараж Санупра и вручил дары наркоминдельской кладовой седобровому сержанту, который вез в дмитровский госпиталь машину с марлей. Бардин еще искал слова, стараясь объяснить сержанту, как это для него, для Бардина, важно, но седобровый человек понял все с полуслова.

— У меня самого сын на фронте, — сказал сержант и дал Бардину понять, что просьба его будет выполнена точно. Егор Иванович испытал: радость, но была она преходящей. «Если все это тебе доступно, почему же ты не сделал до сих пор?» — спросил себя Егор Иванович и должен был признаться, что на этот вопрос ему ответить трудно.

53

Итак, за океан. Бардин приехал на аэродром с первой машиной и остаток времени до отлета провел у коменданта аэродрома. Полковник Карпухин, занимающий этот пост, был старым воздушным волком, он летал еще на французских «этажерочках» — «вуазене» и «фармане», и нынешний свой пост воспринял как дань заслугам. Бардин был знаком с Карпухиным по своей первой командировке в Скандинавию и знал: как ни долог срок до отлета, полковник поможет его скоротать. Но в этот вечер сам Карпухин стал слушателем. У окна, обратившись лицом к взлетному полю, стоял человек в комбинезоне летчика и, внимательно следя за тем, что происходит на стартовой линии, курил. Он не заметил или не хотел замечать, как в комнату вошел Бардин, и, так и не обернувшись, заговорил. Он говорил в той же манере, в какой и курил, короткими и сильными «затяжками».

— Море кипит от горячего железа — бомбят день и ночь! — говорил он, не заботясь, как показалось Бардину, чтобы его поняли. — Стон стоит, кажется, на высоте слышно. Одним словом, как в лучшие дни сорок первого. Убей меня господь, ничего не поняли и ничему не научились, какой была дырявой голова, такой и осталась! Будто бы не было зимы и московского наступления. Сердце горит, Карпухин! Когда же кончится этот бардак?

Внизу включили моторы. Человек обернулся, и Бардин увидел лицо говорящего. Его разлатые брови и его усы свисали, будто бы их обмакнули в масло. Человек взял планшет, лежащий на столе, и вышел из комнаты, забыв проститься.

— Это что, Севастополь? — спросил Бардин, указав взглядом на дверь, в которую вышел седой летчик.

— Нет, слава богу, пока Керчь, — сказал Карпухин и вздохнул. — Плохо там наше дело, Крым уходит.

Был бы Бардин суеверным, пожалуй бы, плюнул через левое плечо — недобрая примета узнать такое перед дорогой, да еще перед такой дорогой.

В начале шестого, когда солнце было еще высоко над кромкой леса, подкатила машина и, забрав Бардина, ушла к дальнему краю взлетного поля. Лес уже заволокла предвечерняя сумеречность, и он казался темнее обычного. Нужно было усилие, чтобы приметить самолет. Выдавали размеры — четыре мотора. Видно, самолет поступил на вооружение недавно, Бардин такого не помнил. Да не тот ли это четырехмоторный, цельнометаллический, пришедший на смену громоздким ТБ, на

которых наши теперь ходили на Берлин и Кенигсберг?

У самолета стайка летчиков. Увидели Бардина, заулыбались — первый пассажир!

— Как погода?

— Грозовые фронты, целых три.

— Не считая линии фронта?

Смех щедрый, есть потребность в смехе.

— Вылетим к семи вечера?

— Да, в восемнадцать сорок.

Во взглядах, обращенных на Бардина, и радушие, и пристальное любопытство. Что они знают о предстоящем полете и знают ли? Маршрут знают, штурманские расчеты делаются заранее. А что знают еще? Из того, что было произнесено, ничего не выдавало осведомленности.

Да и взгляд Бардина, устремленный на летчиков, наверно, испытующ? Хочется установить: да неужели никого не встречал из них прежде? Пожалуй, нет. Вот они, причуды человеческого бытия, — увидел впервые человека и вручил ему жизнь. Увидел впервые? Конечно же совсем не знаешь человека. Сейчас не знаешь, а где-то над морем будешь в не меньшей мере удивлен, что всего семь часов тому назад не знал. Твое желание узнать этого человека будет неутолимо, сколько бы ты ни знал, все мало.

Оказывается, случай не столь всевластен, как это тебе показалось сейчас, и все имеет свою историю, разумную и, пожалуй, надежную. Эта надежность — в самой жизни людей, которым ты доверился. Вот тот, кто назвал себя командиром корабля, обнаружив в говоре, как ты уловил безошибочно, нечто прибалтийское, был командиром корабля и за Полярным кругом, когда его самолет давал позывные судам, затертым во льдах. А вот тот, что назвал себя штурманом, явив в говоре украинскую певучесть, был штурманом и в Заполярье. Если нынешний их маршрут пройдет где-то над Северной Атлантикой, над Фарерскими островами, а заодно над исландскими и гренландскими скалами, наверно, их полярные рейсы будут им полезны. И то, как они ходили к дрейфующим судам в море Лаптевых. И то, как совершали двадцатипятичасовое воздушное плавание над Карским морем, плавание автономное, когда над морем было только незаходящее солнце. И то, как они ходили на Диксон, оставаясь в воздухе ровно столько, сколько требовалось, чтобы заделать пробоину в днище лодки, на которую предстояло сесть гидросамолету. Но в полярном ли опыте и гренландских скалах дело, когда где-то на полпути от Москвы к Балтийскому морю самолету надо пересечь линию фронта? Разумеется, не в полярном, а в боевом. Но на то четырехмоторный корабль и

приписан к АДД (авиации дальнего действия), чтобы у его летчиков боевой опыт был. Приблизительно там, где предстоит пересечь линию фронта сегодня, они пересекали ее и прежде, направляясь с бомбовым грузом к столице рейха. Кстати, при желании можно отыскать на самолете и доказательства того, что под огнем он был: немецкие зенитки пробили правое крыло. Как ни тщателен ремонт, он не устранил всех следов.

Приходит машина с Молотовым, и Бардин смотрит на летчиков. Для них это неожиданно? Кажется, да. По взглядам, обращенным на Молотова, который, устроившись на траве, сейчас натягивает унты, кажется: летчики уже все знают, но ищут новых доказательств, что это именно так. Значит, из того, что составляло тайну полета, им был известен только маршрут. Еще минута, и пассажиры поднимутся в самолет. Где-то подле, сталкиваясь друг с другом и не умея разминуться, мечутся фотокорреспонденты. Они будто возникли из-под земли. Никому до них нет дела, и только полковнику Карпухину свело скулы. Ох, он и крестит их в эту минуту. Ну конечно же, он думает не о себе, а о тех, кто поведет самолет. Вся эта вакханалия проводов с взаимным лобызанием, охами и ахами, а заодно и щелканием фотоаппаратов будто специально возникла, чтобы дать понять летчикам, что, наверно, они и сами поняли: полет будет трудным, очень трудным.

На высоте было светлее, чем у земли, но холод пронимал здесь ощутимо.

Нелегко было уснуть, и каждый был погружен в свои думы. В них было такое, что разрушало границы обычного. Нет, не только то, что утром предстояло увидеть Лондон, а тремя днями позже американскую землю. Не очень верилось, что не далее чем завтра пополудни вот тут, по правую руку от Егора Ивановича, будет идти Бекетов, здесь и прежде было его место. Бардин вспомнил разговор с Бекетовым в первый день войны на Варсонофьевском, нелегкий спор о путях России в войне и эти крики, что неслись по переулку из конца его в конец: «Зашторьте окна — свет!» И еще: «Свет!.. Свет!..»

Было в этих криках что-то панически-смятенное. Что греха таить, завтрашний день казался тогда черным даже людям, отнюдь не самым робким. А теперь? Как ни горьки утраты (их не перечесть, эти утраты), казалось бы, самое страшное осталось позади, хотя завтра будет не легче, чем было вчера. Этот нелегкий завтрашний день уже народился на белой от морской соли приазовской земле. Не началось ли лето 1942 года с этой встречи с седоусым летчиком, прилетевшим из Керчи? «Какой была дырявой голова, такой и осталась!» — выкрикнул летчик,

выкрикнул сгоряча, подумал бы малость, не сказал бы такого. А может быть, седоусый этот человек прав? Может, надо побывать в Керчи, чтобы понять седого? «Море кипит от горячего железа — бомбят!..» Да, большой котел 1942-го уже начал закипать, уже слышно его клокотанье, пока еще осторожно-дробное, но, того гляди, загудит котел! Через месяц пойдет второй год войны. Второй! Да в человеческих ли силах выдюжить такое, и возможен ли год третий? Нет, третьего года не будет, не может быть. Взорвется котел, у железных стенок котла тоже есть свой предел прочности. Все должно решиться теперь. Не решится — треснет котел, обратится в прах!

А самолет продолжает уходить все дальше на северо-запад.

Грозовые фронты. Один, второй, третий… Потом прожектора, взрывающие облака. Потом ночная земля в пламени пожаров, белая полоса ракеты, вспышки артиллерийского огня.

Где-то на подходах к Британским островам самолет настигло солнце. Ему потребовалось десять часов, чтобы обогнуть землю и встретиться с самолетом вновь…

54

Специальный поезд, идущий из Шотландии в британскую столицу, сделал остановку в Чекерсе — загородной резиденции Черчилля, которая на время пребывания русских в стране становилась и их резиденцией.

В обход формальностям, обычно сложным, премьер захотел видеть русскую делегацию в первый же вечер и приехал для этого в Чекерс. В том, с какой прямотой, быть может, грубоватой, премьер отказался от принятой в этом случае экспозиции, было очевидно: Черчилль жаждет разговора по существу.

Впрочем, не желая подчеркивать официальный характер встречи, а заодно и выказывать поспешность, с какой она была устроена, Черчилль пригласил гостей не в свой кабинет, а в комнату, которая могла одновременно быть и комнатой для игр, и библиотекой. Статуя адмирала Нельсона в сочетании с глобусом и большой картой Великобритании, которая неярко отсвечивала на дальней стене, свидетельствовали, что эта комната была очевидицей событий значительных.

Итак, предстоял разговор по существу.

Молотов сказал, что он прибыл в Лондон, чтобы обсудить вопрос об открытии второго фронта. Сравнительно недавно президент Рузвельт в телеграмме Сталину своеобразно стимулировал рассмотрение этого вопроса (Молотов сказал: «Дал толчок!»), предложив Сталину, чтобы он, Мототов, направился с этой целью в Штаты. Советское правительство согласилось с предложением Рузвельта, но сочло необходимым направить миссию через Лондон. Оно это сделало, понимая, что именно на британского союзника должна выпасть первоначально главная задача по открытию второго фронта. Военные дела России складываются таким образом, что именно в предстоящие недели и месяцы она должна пройти через серьезные испытания. Советское правительство высоко ценит все виды помощи, которые оказывают союзники, но главное сейчас — второй фронт. Судя по всему, немцы сохраняют численное преимущество на востоке. Поэтому проблема, как понимают ее русские, состоит в том, чтобы отвлечь с восточного фронта сорок дивизий. Это может сделать второй фронт.

Англичане слушали присмирев. Лицо Черчилля, только что такое одухотворенное, как бы погасло — губы запали, как при беззубом рте, глаза потухли. Но вот он заговорил, и, странное дело, лицо преобразилось. Оно выражало сейчас и уверенность, и силу. Наверно, это выражение сообщила лицу мысль Черчилля.

Он ее уже ухватил и принялся развивать с тем воодушевлением, с каким это делал всегда.

А мысль его была вот какой. Издавна держава, владеющая флотом, обладала безмерным преимуществом перед державой, у которой этого флота не было. Сумей обнаружить незащищенный участок побережья и нацелить на него флот, разумеется, способный высадить десант, и победа обеспечена. Так было прежде. Сейчас иное дело. В распоряжении противника авиация, ее способность маневрировать. Поэтому достаточно противнику иметь мощные воздушные силы, чтобы незащищенный участок был мгновенно защищен. Следовательно, многое зависит от того, сумеет ли Великобритания авиацию врага сковать своей авиацией. Враг введет в действие бомбардировщики, которым англичане должны противопоставить истребители. Но истребители как бы привязаны к своим базам, расположенным на островах, радиус их действия ограничен. Этим определяется и район высадки. На взгляд Черчилля, это Шербург, Шербургский выступ. Значит, англичанам необходимы истребительная авиация и флот десантных судов. Истребители у них есть, десантные суда еще надо построить. При тех потерях, которые несет их флот, большого количества десантных судов они не построят, вся надежда на американского союзника. К тому же, как полагает он, Черчилль, маловероятно, чтобы эта операция отвлекла с русского фронта значительные силы противника, по крайней мере, такие, какие назвал Молотов. Поэтому план операций должен быть здравым и разумным. Вряд ли делу русских, как, впрочем, и делу союзников, помогла бы операция, которая закончилась бы катастрофой и позволила противнику говорить о победе, а в стане союзников посеяла бы смятение.

Нет, Черчилль ни на дюйм не отступил от того, что сказал Иден в Москве. Больше того, он дал понять, что мнение министра иностранных дел является в своем роде «дед лайн» — «линией смерти», дальше которой англичане не намерены идти.

— Взвесьте такой факт, — произнес Черчилль и, в знак того, что он завладел вниманием слушателей и уверен, что это прочно, прервал рассказ и, пододвинув коробку с сигарами, извлек, как могло показаться, ту, что была поувесистее. — После поражения Франции в этой войне наша страна, казалось, была не защищена. Ну, нельзя же всерьез принимать во внимание несколько плохо вооруженных дивизий, менее сотни танков и двадцать полевых орудий… И вот что интересно, Гитлер не отважился вторгнуться на острова. Не отважился, как мне кажется, потому, что не верил в полной мере в успех. Такое же положение сегодня у нас…

Черчилль кончил и, наклонившись, чиркнул колесиком

зажигалки, но обратил глаза не столько на синеватый лепесток пламени, сколько на своего собеседника. Молотов пододвинул к себе папку, лежащую перед ним и в течение всей беседы остававшуюся закрытой, медленно поднялся. Поднялись и остальные русские, как, впрочем, не одновременно, но, заметно торопясь, сделали это и англичане. Сейчас стояли Черчилль и Молотов, при этом три шага, разделявшие их, были рекой, в которой не было брода.

— Конечно, может быть и иное мнение относительно того, почему Гитлер не решился на вторжение, — попробовал возобновить прерванный разговор Черчилль, но, заметив, с какой церемонностью и демонстративной поспешностью Молотов отвесил прощальный поклон, умолк. В этом поклоне Молотова было нечто такое, что гласило: «Правота не прямо пропорциональна многоречивости. Иногда есть резон ответить на многоречивость молчанием и этим утвердить правоту».

…Бывает так: ты носишь в себе образ твоего друга в пору долгой разлуки, а потом вдруг встречаешь его и понимаешь, что ты знал его столько лет, а все-таки не запомнил. Не запомнил совершенно, ведь он не такой, каким ты его представлял. В какой-то мере подобное испытал Бардин, встретив Бекетова в Лондоне. И эта манера останавливать взгляд на чем-то постороннем и долго, долго смотреть, печально моргая глазами. И эта походка, нет, походка — самое характерное: он ходил теперь, чуть-чуть приседая и, казалось Егору Ивановичу, не так энергично работая руками, как это он делал прежде. И эта складка у рта, она всегда у него выражала энергию, а сейчас выглядела почти горькой. И эта улыбка, добрая, в большей мере добрая, чем ей надлежит быть, даже чуть-чуть стариковская… А может быть, Бардин и не мог увидеть всего этого в прежнем Бекетове по той простой причине, что у Сергея Петровича этого не было прежде, а появилось теперь. Да полноте, могло ли все это вот так проглянуть в человеке за какой-нибудь год, даже такой, как этот? Могло? А может быть, Бардин глядел на друга, точно смотрелся в зеркало, и только деликатность Бекетова не дала возможности Егору Ивановичу увидеть себя таким, каким он явился в Лондон в это майское утро 1942 года?

Но в том ли главное, что изменился Бекетов или неумолимое время неуважительно обошлось с Бардиным? Важнее иное — жив Бекетов! И Егору Ивановичу стало хорошо, кажется впервые за эту ночь хорошо, вопреки всему ее ненастью и горьким вестям… Наверно, трудно было бы жить Егору Ивановичу, если бы не было Бекетова. Даже чудно, не родной человек, не отец, не брат, а как дорог! Когда Бардин как-то увидел старенькую мать Сергея, он

был немало обескуражен: неужели эта женщина, в сущности, чужая Бекетову, хотя чем-то неуловимо и похожая на Сергея Петровича, неужели эта женщина со склеротическим румянцем, сотворила человека, который стал для Егора роднее родного? И еще, вот Бекетов куда как не похож на Бардина! Бардин — медведь, этакий увалень, силища из силищ, из могутной дружины муромского молодца. А кто такой Бекетов? Всей своей натурой петербуржец, выросший где-то на Кирочной или на набережной Фонтанки у Летнего сада… «И в Летний сад гулять водил…»? А что такое друг, в конце концов? Это человек, которого тебе постоянно недостает. Да, тот самый, о котором ты думаешь: «Был бы Сергей Бекетов, мне было бы легче!» Когда человек понимает тебя так полно, что ты даже не ощущаешь его. Когда твоя совесть и твоя воля смыкаются с его совестью и волей. Когда человек готов сделать для тебя все, сделать с радостью, так же, как с великой охотой сделаешь для него все и ты. Да что там мудрить. Друг, если он истинный, он, как мать, на всем свете у тебя один.

И еще думал Бардин, друг — это когда люди понимают и в молчании. Все, что ты хотел сказать ему, ты ему скажешь в срок, так же как скажет тебе и он. Даже, как сейчас, когда прошел год, год, равный вечности. Да, так бывает, что вот такой год вторгнется в твою жизнь и сделает эту жизнь столь долгой, какой бессильна сделать это природа. Вторгся год и все перепахал в твоей жизни, все перекорежил, и ты встречаешься с близким человеком, как после тяжелого увечья: ты предстал перед ним на костыле или с культей вместо руки. А он, твой друг, все так же держит свою большую ладонь у тебя на спине и все так же преданно братски заглядывает тебе в глаза, и только по запекшейся боли в его глазах видно, как ему неможется.

…Уже в девятом часу вечера, когда была распита бутылка доброй водки с изображением большой московской гостиницы на этикетке и на столе появилось блюдо с голубцами, завернутыми в виноградные листья, чуть захмелевший Бардин заговорил о Ксении. Эти голубцы, завернутые в виноградные листья, сохранившие приятную терпкость и кислинку, должны были, по замыслу хозяйки дома Екатерины, напоминать Ксению — в давние времена щедрый бардинский стол украшало и это блюдо.

— Ольга рассказала о своем последнем разговоре с Ксенией, — заговорил Егор, самим голосом показав, что готовится сказать значительное. — «Вот что, Ольга, сейчас я уже точно знаю — умру…» Ольга говорит: «Наверно, нет ничего тяжелее и нелепее, как слышать живой голос человека, смотреть ему в глаза, живые, живые, и думать о том, что он уже выселил себя из этого дома и этого мира, навеки разлучил себя с кругом

близких, не его похоронили, а он похоронил, при этом всех сразу…»

— Напрасно она согласилась уехать из Москвы, — вдруг прервала Бардина Екатерина. — Был бы ты рядом, все обошлось бы.

— Ты так думаешь? — встревожился Бардин.

— Я это знаю, — сказала Екатерина, не колеблясь.

Бекетов забеспокоился — ему послышался в словах жены укор, при этом не только в адрес Бардина.

— Ты неправа, Катя! Нет, нет! — Он повернулся к другу. — Ты все сделал верно, Егор. — Сергей Петрович смотрел на жену не без страха, ему все казалось, что она способна произнести непоправимое. — Небось в Москве еще деревья и зазеленеть не успели? — вдруг спросил он друга. — Хочешь в парк? Он ведь рядом. Слышишь, как шумят дубы? Слышишь?

Бардин не слышал шума деревьев, как вряд ли мог услышать этот шум и Бекетов. Они пошли.

Последний раз Бардин был в Лондоне осенью тридцать восьмого. Тогда на Бейсуотер, вдоль оград Гайд-парка, лондонские художники устраивали выставки полотен и лондонские собачники прогуливали по ярко-зеленым лужайкам догов и фокстерьеров. Ныне Бейсуотер была немноголюдна, да и парк выглядел темным и заметно пустынным. Только дыхание весны, вопреки всем невзгодам могучее, сообщало парку жизнь. После холодноватого московского мая здесь уже было начало лета, по-лондонски обильно зеленого. Темень и тишина, тишина тревожного покоя и, пожалуй, ожидания. С тех пор как гроза переместилась на восток, она уже не возвращалась сюда. Вот и сейчас лондонская тишина означала: зреет новая буря, там зреет…

— Наверно, самым трудным было определить, где начнут немцы, — сказал Бекетов, когда под ногами захрустел влажный песок парковой дорожки. — Казалось бы, психологически… Москва, здесь была их самая большая неудача, и здесь, надо думать, они должны были искать своеобразную реабилитацию, не так ли?

— Боюсь, что мы делали прогнозы, опираясь лишь на психологию, — сказал Бардин. Он понимал, что друг привел его под тенистые кроны не только потому, что круто повернулся разговор с Екатериной, у него были вопросы к Егору Ивановичу по существу того, что нынче происходило в мире.

— А надо? — улыбнулся Бекетов.

— Надо? Нет, психологию отвергать не следует, но есть нечто

поважнее.

— Разведка плюс расчет? — быстро спросил Бекетов, ему хотелось проникнуть в раздумья друга.

— Хотя бы.

— А что в данном случае могли показать разведка плюс расчет? Керчь?

— Могли бы показать и Керчь.

— Сомневаюсь, Егорушка, — сказал Бекетов. Он и прежде, если и возражал другу, то возражал мягко.

Бардин мог загнуть мизинец — вот тебе первый вопрос, по которому у него с другом не было единодушия. Можно было бы ринуться в бой, но Егор Иванович смолчал: сомневаешься, ну и сомневайся! Пусть пройдет время, и ты увидишь, кто был прав. Они пошли тише, погрузившись в свои мысли. Было слышно, как дождь стучит по листве, этот звук был так похож на шум идущей по мокрому асфальту машины, что хотелось обернуться, как бы ненароком не сшибла.

— Того, что случилось в Керчи, у нас давно не было, — сказал Бардин. Седоусый летчик не шел у Бардина из головы. — Перед отлетом видел одного нашего авиатора, так он сказал про Керчь: «Стон, говорит, стоит там — на высоте слышно!»

У Бекетова разом отпала охота спорить. Да какой может быть спор, когда загорелось сердце, застучало в висках, того гляди задохнешься.

— Чем они взяли в Керчи? Техникой? У них там ее больше было?

— Нет, военные говорят, что техники было поровну, — сказал Егор Иванович и вдруг почувствовал, что нужны другие слова — ведь не чужой перед ним стоит человек, а свой, и не просто свой, а друг. И какой друг! Будто бы Бардин говорит даже не с Бекетовым, а с самим собой. Тогда почему же так стыдно Егору Ивановичу? Именно стыдно. До каких же пор будет продолжаться такое и сколько все это будет стоить России? — Техника, говорят, была.

— Тогда в чем дело? — спросил Бекетов.

Они вышли из Гайд-парка и долгими, похожими на расселины в скалах улицами направились к реке.

— Разве не понятно, то, что произошло в Керчи, это больше, чем Керчь, это судьба сорок второго, а он может быть последним военным… — Он ускорил шаг, пошел вперед, забыв, что Бардин где-то позади. — Знаешь, Егор, сорок третьего военного может и не быть… А Керчь — это очень плохо, хуже, чем может показаться вначале. Нам не надо приучать себя к мысли, что у нас есть надежда, кроме надежды на самих себя. — Они вышли на

площадь, и Бардин взглянул налево. В туманной мгле очерчивались шпили Вестминстера. — Есть только мы, и никого больше.

— Тех… тоже нет? — указал Бардин на Вестминстер. Черный утес аббатства, неправильно скошенный, с грозным перстом Биг Бена рядом, едва угадывался.

— Для Америки, наверно, они есть, для нас нет. По крайней мере, все наши расчеты надо строить так, как будто их нет вовсе, — произнес Бекетов, не спуская глаз с Вестминстера, который точно поворачивался в ночи, становясь все различимее.

— Это тебе подсказал год жизни в Лондоне? — спросил Егор Иванович.

— Да, пожалуй, этот лондонский год. Черчилль здесь видится лучше.

— Черчилль? — переспросил Бардин, переспросил не потому, что не расслышал, он хотел разговора о Черчилле.

Они приблизились к берегу. Река была темно-бурой, под цвет неба. Где-то на мосту, чьи фермы оплели воду, шли ремонтные работы, и удары молота но металлу, усталые, хотя и ритмичные, точно стлались по реке, медленно размываясь, уходя в воду.

— Когда-нибудь найдется в этом городе человек, который, опираясь на документы (мы их не знаем), исследует проблему «Черчилль и второй фронт». Если это будет англичанин, он, наверно, возведет это в доблесть: он мол, сумел водить русских за нос столько, сколько ему было надо. Да, он возведет это в доблесть, хотя в основе этой доблести был сознательный обман. Он, этот автор, захочет исследовать психологию обмана. Быть может, он скажет, что история британской общественной мысли породила столь диковинное явление, как хамбаг. Возьми оксфордский словарь и разыщи там это слово. Вот смысл этого слова: псевдоправда, а проще говоря, ложь в облике правды. Следовательно, позиция Черчилля: обещать, заведомо зная, что ты не выполнишь этого обещания. В этой позиции ничего нет от импровизации. Она — плод ума зрелого, логики неодолимой. Цель — переложить всю тяжесть войны на плечи Республики Советов и сберечь силы для последнего удара по немцам и по русским, который решит судьбу войны.

— А как относятся сегодня к Черчиллю англичане, нет, не белая кость, а народ?

Бекетов задумался. Нехитрый вопрос, а ответить нелегко.

— Думаю, что лучше, чем когда-либо прежде, — ответил Бекетов.

— Даже те, кто видит, что он обманывает Россию? — спросил Бардин.

Однако в каком коробе он держит эти вопросы? Так и прежде с ним было: сидит сопит, а потом двинется на тебя медведем, впору за рогатину хвататься.

— Народ может и не понимать всего, — сказал Бекетов.

— А не склонен ли ты думать, что народ все-таки понимает это, но не хочет ставить Черчиллю в вину? Даже, наоборот, держится такого мнения: «Ох и шельма этот старый Уинни, клянется русским в любви и преданности, а на самом деле только и печется о том, чтобы, не дай бог, Россия не победила раньше времени. Иначе империя может отправиться к праотцам…» Не думаешь ли ты, что народу симпатична черчиллевская хитринка, тем более что от этой хитрости он, народ, тоже стрижет купоны?

— Прости, Егор, но у тебя нет оснований думать так о народе.

— Нет, у меня есть основания думать так, Сергей. Вот тот же Черчилль держал под кнутом Индию и заставлял ее крутить большое колесо империи, а ведь он это делал не только для себя. Какая-то толика благ перепадала и народу. А как народ? Не хотел брать? Говорил, что эти блага попахивают кровью? Нет, не говорил, брал. Как ты?

— Если власть у Черчилля, народ даже против его воли можно сделать соучастником преступления. Но я ведь говорю не об этом, я говорю о доброй воле народа. А она, эта добрая воля, не с Черчиллем, а с Россией… Я вижу это здесь, я убежден в этом.

— А как Рузвельт? — спросил Бардин.

Бардин не видел лица Бекетова, но ему показалось, что он видит улыбку друга, которая вдруг возникает на его лице даже тогда, когда тонкие губы его рта накрепко сжаты.

— Ты знаешь, что в январе сорок первого на письменном столе Рузвельта был текст директивы Гитлера, директивы, составленной во исполнение плана «Барбаросса»? Я скажу тебе больше, Эдгар Гувер, очевидно, желая подтолкнуть Гитлера к нападению на СССР — не дай бог передумает, — через подставных лиц сообщил немецкому послу: Россия готовится нанести удар… Не думаю, чтобы такой шаг был совершен без ведома Рузвельта.

— Не хочешь ли ты сказать, что ты не видишь разницы между Рузвельтом и Черчиллем, дорогой Бекетыч? — спросил Бардин. Он называл так друга не часто, сообщая придуманному им имени явно ироническое звучание.

— Нет, не хочу, — ответил Сергей Петрович. — Я хочу сказать только, что мы все плохо знаем Рузвельта.

— Не тот, за кого мы его принимаем, так?

— Не совсем тот, как кажется мне. Эта его широта и,

пожалуй, терпимость, это обаяние, которое непобедимо, нельзя воспринимать независимо от его личности.

— Ты хочешь сказать, мы думаем о нем лучше, чем он этого заслуживает?

— Да, нам хочется думать о нем лучше, — сказал Бекетов.

— Это ведь мне хочется думать о нем лучше, не тебе, — признался Бардин и, не удержавшись, рассмеялся.

— Верно, мне меньше, — согласился Бекетов.

— А я думаю, вот эта наша псевдобдительность так парализует зрение, что мы перестаем видеть разницу даже между Черчиллем и Рузвельтом, — вдруг вырвалось у Бардина, вырвалось не без обиды.

Бекетов ничего не сказал, он только остановился, опершись о каменный парапет набережной, поднял глаза. Мост сейчас был над ними, и удары молота о металл точно обрушивались на них.

— Если ты понял меня так, Егор, то, прости, ты меня не понял, — сказал Бекетов, не оборачиваясь. — А тебе надо бы понять меня, — заговорил он, поразмыслив. — Надо хотя бы в преддверии завтрашней встречи.

— Ты полагаешь, что Черчилль и теперь уйдет от прямого ответа на вопросы? — спросил Бардин.

— Ты сказал «вопросы», — заметил Бекетов. — Их два?

— Главных, как я понимаю, два: большой десант и… нечто декларативное о дружбе и союзе, — ответил Бардин.

— Эти вопросы рядом поставила жизнь? — спросил Бекетов.

Бардин задумался. Его друг стал говорить ребусами. В самом деле, как понять последние его слова? Возникли эти два вопроса стихийно, или британский союзник решил поставить их рядом по соображениям тактическим? Это хочет выяснить для себя Бекетов?

— Прости меня, Сергей, но что ты имеешь в виду, спрашивая меня об этом? — поинтересовался Бардин. Чтобы продолжить разговор, ему надо было знать мнение друга полнее.

— Изволь, — согласился Бекетов. — Мне казалось, это эти два вопроса рядом поставлены сознательно: если не удастся решить один, должен быть решен другой. В этом замысел и, так я думаю, выигрыш.

— А может статься и такое: вопросов два, а ответ один, к тому же не столько делом, сколько словом.

— Это как же понять: «вопросов два, а ответ один»? Договор об англо-советском союзе? — спросил Бекетов. В вопросе Бекетова был резон немалый. Еще в дни декабрьского визита Идена, когда проблема послевоенных рубежей России впервые стала предметом подробного разговора, возникла идея англо-

советского договора. Как понимал Бардин, этот договор не давал ответа ни на один из животрепещущих вопросов, которые тогда волновали Россию и по которым она хотела бы помощи союзников, но декретировал дружбу и союз в тех общих выражениях, которые англичан ни к чему не обязывали. Больше того, он, этот договор, уходил от обязательств, в которых советский союзник был насущно заинтересован. Создавалось впечатление, что предложение о договоре Черчилль держал в своем походном ранце на тот случай, если русские вновь пойдут в атаку на англичан. Идея договора обсуждалась и прежде, но в окончательном виде она возникла только теперь, при этом по инициативе англичан. Русские понимали, какое место в расчетах их британских союзников занимает договор, но возражать было ни к чему — договор декларировал решимость покарать врага и переустроить мир на новых началах и уже одним этим мог явиться своеобразным мостом к конкретным делам, которых ждала Страна Советов.

— Как сказывали наши предки: «И на том дай боже!» — заметил Бардин, подводя черту спора с другом.

— Мирон твой в Америке? — спросил Бекетов вне связи с предшествующим.

— Да, еще с того июня.

— Так вот попомни, то, что не досказал я, доскажет Мирон.

— Попомню уж, — произнес Бардин, улыбаясь. Он не таил обиды на друга.

55

Те несколько дней, что русские пробыли в Чекерсе, Черчилль жил в имении неподалеку. В самом жесте Черчилля, поселившего Молотова в резиденции главы правительства, было желание не только подчеркнуть, что хозяева оказывают русским полную меру приязни и внимания, но, особенно важно, что эта приязнь и это внимание исходят лично от Черчилля — обстоятельство хотя само по себе и знаменательное, но имевшее большее значение для англичан, чем для русских, занятых заботами куда более насущными. Впрочем, в первые дни пребывания делегации в Лондоне участие Черчилля в ее делах на этом ограничилось. Переговоры вел Иден. Несмотря на то что со времени поездки английского министра в Москву прошло пять месяцев, было такое впечатление, что эти переговоры и не прерывались. С новой остротой встал вопрос и о советских границах, и о втором фронте.

Что касается границ, то у русских были основания полагать, что со времени московских переговоров в позиции англичан произошли изменения, в какой-то мере обнадеживающие. На это прямо указывала телеграмма английского премьера Сталину от 12 марта нынешнего, 1942 года. Там была такая фраза: «Я отправил президенту Рузвельту послание, убеждая его одобрить подписание между нами соглашения относительно границ России по окончании войны». На что Сталин ответил: «Очень благодарен Вам за Ваше послание, переданное в Куйбышеве 12 марта». И дальше: «Что касается первого пункта Вашего послания о границах, то я думаю, что придется еще обменяться мнениями о тексте соответствующего договора в случае, если он будет принят обеими сторонами для подписания».

Казалось бы, сейчас время обсуждения, а может быть, даже подписания такого договора наступило, но английская сторона в лице министра Идена дала понять, что позиция ее здесь остается едва ли не прежней. В такой же мере обескураживающей была и позиция англичан в вопросе о втором фронте. Короче, в итоге двухдневных переговоров с Иденом вожделенная цель была так же далека, как в тот самый момент, когда русский самолет с «миссией Бауэра» приближался к английским берегам. Истинно, черчиллевский Чекерс явился той постелью, которую мягко стелют, но на которой жестко спать.

Но, может быть, Иден специально занял столь неуступчивую позицию, чтобы дать возможность Черчиллю проявить понимание?

Соответствующее распределение ролей между министром

иностранных дел и премьер-министром иногда носило именно такой характер.

Итак, предстояла встреча с Черчиллем.

Когда на следующее утро русские направились в служебную резиденцию английского премьера на Даунинг-стрит, 10, Бардин, не отрывая глаз от лондонской толпы, одетой уже по-летнему легко и даже нарядно (бомбежки кончились, и небо обрело свои прежние краски; оно было в это утро ярко-синим, в белых яблоках облаков), думал о том, какой нынешняя встреча будет психологически. После разговора, который был вчера у Егора Ивановича с Бекетовым, Бардину хотелось знать, каким Черчилль предстанет сегодня, очень хотелось соотнести все сказанное вчера с живым Черчиллем.

Бардин сидел рядом с шофером и в те редкие минуты, когда машина оказывалась перед задымленной многоэтажной громадой или зеленой стеной дерев, видел в лобовое стекло, отсвечивающее словно зеркало, сидящих сзади.

— Вот вам и хрестоматийный Лондон! — сказал Михайлов Молотову, когда справа обозначилась колонна Нельсона. — Сегодня хрестоматия обретает смысл, какого она не имела прежде. Лондонский Трафальгар стал местом рабочих манифестаций, требующих высадки десанта в Европе.

Пенсне Молотова поблескивало. Где были сейчас его мысли? Не на аэродроме же, где он впервые встретился с Иденом. В какой мере то немногое, что сказал ему британский министр, могло определить содержание сегодняшней встречи? На первый взгляд за протокольной округлостью этих слов не прощупывался никакой иной смысл. Но это было вчера, а сегодня?

Дом на Даунинг-стрит, как показалось Бардину, был в этот майский день прибежищем покоя и тишины. Несмотря на май, в доме топились печи и из открытой двери пахнуло запахами хорошо обжитого жилья.

Черчилль вышел навстречу гостям. Его уверенно бойкая походка не очень сообразовалась с грузной фигурой. Здороваясь, он, казалось, задерживал руку, чтобы упереть в человека упрямый, неприятно испытующий взгляд. Он хотел оставаться самим собой, оглядывая русских с тем хмурым любопытством, с каким бы он смотрел на них, если бы не был связан необходимостью видеть в них союзников и выказывать радушие.

— Завидую вам, как завидовал мистеру Идену, — он весело-ободряюще взглянул на своего министра иностранных дел, который, услышав свое имя, поднял от бумаг красивое лицо и, полусклонив голову с кокетливой и нарочитой небрежностью, улыбнулся, как показалось Бардину, улыбнулся на всякий случай,

не проникнув в смысл слов Черчилля. — Вы летели через линию фронта, — произнес Черчилль и по привычке обратил взгляд на стену — очевидно, справа от себя он привык видеть карту военных действий.

— Господин премьер вернулся из инспекционной поездки по Шотландии, для нас это линия фронта, — произнес Иден. С той минуты, как Черчилль назвал его имя, он подключился к разговору. Как заметил Бардин, у Идена было состояние, очевидно, для английского министра привычное: осторожно-бдительно следить за разговором, который вел Черчилль, и в случае необходимости приходить ему на помощь. — Линия огня! К сожалению, она, эта линия, длиннее, чем нам хотелось бы.

Черчилль направился к своему креслу, сел с той удобной обстоятельностью, какая была ему нужна, чтобы сказать то, что он хотел сказать.

— Линия фронта! — Он задумался, из одного угла рта в другой пошла его сигара. — То, что сделали английские войска в Тобруке, а потом в Эль-Аламейне, станет достоянием летописцев. Вот посудите, — он сказал: «Вот посудите!» — и все, кто слушал его, поняли, что он начал один из тех обзоров положения на фронтах, на которые был такой мастер. Казалось бы, куда как жесткая материя — положение на фронтах, — но он умел говорить об этом так, будто бы рассказывал историю изменчивой и трагической судьбы человека. По мере того как он продолжал рассказ, в кабинет входили военные и штатские. Иногда они просили Черчилля взять телефонную трубку, иногда, склонившись, сообщали срочное и требовали тут же решения, а однажды просьба была изображена на бумаге и бумага была положена так, чтобы он при своей дальнозоркости (в его шестьдесят восемь лет дальнозоркость должна была быть достаточной) видел ее. Ему это не мешало, он отдавал распоряжения и продолжал держать главную мысль в уме, используя даже самую паузу, чтобы усовершенствовать эту мысль. Бардин полагал, это умение дал ему парламент, опыт борьбы с оппонентами, которые неумолимы. Он был великим искусником молниеносного ответа, импровизации. И вот еще что было интересно Егору Ивановичу, когда он слушал Черчилля. Наверно, не все то, что сообщали ему его сподвижники, было одинаково радостно, но он и бровью не повел. Дело даже не в том, что он не хотел обнажать неудачи перед русскими, он, видимо, полагал, что в таком большом деле не обойтись без неудач, а если так, то на печаль у него не должно быть времени.

Бардин чувствовал, что рассказ Черчилля интересен, больше того, рассказ увлекает. Особенно Черчилль был силен в местах

эмоциональных: рассказ о переходе через пустыню, об осадах крепостей-оазисов (не пустить врага к воде!), о танковых битвах в песках… Иногда он прерывал рассказ и говорил: «Я помню!..» — и следовала вставная новелла. Он любил говорить: «Я помню!» Его жизнь была полна странствий, и ему легко было сказать: «Я помню!» В рассказе была психология. У жажды свои законы, человек точно попадает на планету, которая не знает воды. Бардину трудно было сказать, повторяется ли хозяин дома, но единственное было очевидным — нужно усилие, чтобы противостоять впечатлению, которое производил этот рассказ, усилие, чтобы не утратить независимости.

Бардин смотрел на Молотова. Молотов точно говорил хозяину дома: «Послушайте, вы умный человек и, очевидно, обладаете тем, что называется чувством меры, но тогда поймите, мы приехали сюда из страждущей России, которая приняла в этот год такое, в сравнении с чем все ваши Эль-Аламейны выглядят далеко не так, как это видится вам. По крайней мере, не нам же надо это рассказывать и отнюдь не в таких тонах. Наверно, все это вы рассказывали американцам и теперь решили повторить русским, потому что в первом случае рассказ произвел впечатление? Но что хорошо для американцев, не всегда так же хорошо для русских. И рассказ должен быть другой, да и интонация иная».

Казалось бы, время, отведенное для черчиллевских воспоминаний, вышло. Настал час решения. Англичане предложили проект договора о союзе. Русские сказали «да». Оставалось подписать договор.

…Темный, соответствующий моменту костюм делал Черчилля моложе.

— Сколько бы ни высадили, всех изгоним. Британия — не Бельгия! — Он мог иногда позволить себе начать разговор с третьей фразы, не давая труда объяснить, что этой фразе предшествовало. — Изгоним! — Его шаги были так быстры еще и потому, что они были мелки, мельче, чем должны быть у человека такого роста и комплекции, как Черчилль. — Всех до одного изгоним! — заключил он и посмотрел на Идена, который в этот момент задумчиво шевелил длинными пальцами.

— Надо, чтобы наш союз охранял Европу и после войны, — сказал Иден и этой фразой решительно приблизил разговор к главной теме.

Иден произнес эти несколько слов, когда Черчилль готовился вернуться в свое кресло. Он остановился, и Бардин увидел, что Черчилль пытается застегнуть пиджак и это ему сделать трудно. Видно, пиджак был сшит еще в то неспокойное для Британских

островов время, когда все были здесь чуть-чуть худощавее, чем обычно, однако в течение этого года… Война, разумеется, продолжалась и грозила Британии новыми испытаниями, но огонь ушел от британских берегов, ушел далеко, и на него можно было смотреть как бы со стороны.

— Я благодарен мистеру Идену, который наперекор русскому декабрю и военному ненастью пробился в Россию и сделал возможным… Одним словом, хорошо, что мы имеем возможность подписать документ, призванный декретировать нашу волю к миру, — сказал Черчилль и, справившись с пиджачной пуговицей, сел за стол. — Итак, прочтем текст договора статью за статьей. Как вы полагаете?

Тремя часами позже договор был скреплен подписями, церемонный Иден, вооружившись очками, что он делал не часто, понимая, что это его старит, положил перед собой текст речи.

— Мы взаимно обязались оказывать друг другу военную и другую помощь и поддержку всякого рода в войне против Германии… — говорил Иден, а Черчилль смотрел на министра и щурился, улыбаясь своим мыслям. Не часто ему случалось в обществе Идена быть слушателем.

Самолет теперь шел над Атлантикой, и впереди была Америка.

Полярные летчики, для которых генеральной репетицией для полета в Америку были многочасовые рейсы над Северным Ледовитым океаном, великолепно вели самолет. Спокойные, настроенные чуть-чуть иронически, понимающие друг друга с полуслова, они старались не очень обнаруживать, по крайней мере перед пассажирами, невзгоды, которых в таком полете было предостаточно. «Зрителям нет дела до того, что происходит за кулисами», — отвечали они, смеясь, когда пассажиры были особенно настойчивы в расспросах…

Самолет как бы охватил океан с севера и, совершив три промежуточных посадки — Рейкьявик, Гус-Бей, Монреаль, — 28 мая приземлился на вашингтонском аэродроме.

Пять дней, проведенные в Лондоне, помогли Бардину лучше понять происходящее. Оказывается, незадолго до того, как в Лондон прибыли русские, там был Маршалл. Цель миссии Маршалла — русские дела. (Был бы Сережка рядом, сказал бы: «Скажи мне, батя, а этот Маршалл с маршальским жезлом или без оного?») И в самом деле, то была миссия действия или разведки? Как понимает Егор Иванович, где-то в конце зимы, быть может, по просьбе президента американские военные досконально исследовали, возможен ли большой десант в Европе. Они изучили

этот вопрос независимо от англичан и дали ответ, не оглядываясь на британского партнера: да, возможен. Подсчеты военных, подсчеты тщательные, показали: в нынешней обстановке, когда германская армия увязла в России, такой десант может быть осуществлен. Возможно, этими расчетами руководили не только благие намерения. Практичные американцы полагали, что открытие второго фронта предотвратит вступление русских в Европу. Если в расчетах американцев присутствовала эта мысль, то можно сказать наверняка, что именно с этого момента (конец зимы — весна 1942 года!) между англичанами и их заокеанскими партнерами начался спор, который продолжался, в сущности, всю войну и решился едва ли не в майские дни 1945 года. Американцы полагали, что настало время для большого десанта, позже будет поздно. Черчилль отвечал: «Рано!» Но вот вопрос, почему. Боялся быть сброшенным в море? Первое время это опасение было, теперь вряд ли. Истинная причина: отнять у немцев и русских возможно больше сил, ослабить их и решить войну в свою пользу. И уж конечно не допустить русских в Европу.

А пока американские военные обратились к подсчетам, какие шансы у большого десанта на успех. Результаты их подсчетов столь обнадеживали, что Рузвельт тут же направил Маршалла в Лондон и почти одновременно телеграфировал Сталину, что хочет видеть авторитетную русскую делегацию в Вашингтоне. Предмет переговоров — второй фронт. (Ходил слух, что президент, увлеченный перспективой большого десанта, вместе со своими иными советниками подсчитал, что для такой операции потребуется шестьсот судов. Однажды, как утверждают, он даже взял лежащий подле блокнот с бланком Франклина Д. Рузвельта и набросал рисунок такого судна.)

Но ведь Маршалл уже был в Лондоне и, очевидно, вел переговоры с Черчиллем. (Сережка бы сказал: «Батя, Маршалл-то забыл маршальский жезл в Вашингтоне».) Не надо быть провидцем, чтобы определить, как они протекали. Англичане наверняка сказали американцам: «Нет». Они сказали это свое «нет», когда русские уже летели в Вашингтон. И вот вопрос к задаче: как это английское «нет» скажется на переговорах в Вашингтоне и способно ли оно изменить намерения Рузвельта? Если не способно, то как поведут себя англичане? Подчинятся мнению американцев и русских или же начнут контратаку? На кого? Ну, не на русских же. Черчиллевский натиск… Президент готов отразить его? А может быть, сию минуту идет над океанской гладью, обгоняя самолет, телеграмма из Лондона, в которой дана своя оценка миссии русских, свой взгляд на их

приезд в Лондон… Наверно, трудно просто отвергнуть идею большого десанта, легче один проект заменить другим. Черчилль любит эти проекты. Быть может, потому их так много, что одни из них истинные, а другие должны симулировать истинные. Однако все проекты носят кодовые названия, при этом столь звучные и неожиданно торжественные, будто бы все они настоящие. Быть может, эти названия перекликаются с тем, как видит мир английский премьер, каким он представляется его глазу и воображению. Но названий этих так много, что кажется, их плохо помнит даже тот, кто их придумал.

Был бы Сережка рядом, ткнул бы отца острым локтем: «Батя, англичане умели путать следы еще во времена Холмса!» Сережка! Как он? Бардин закрывает глаза, и разом встают в сознании мерцающие снега под Дмитровом, налет сажи, что, как черный платок, протянулся по ветру вслед за сожженной деревней, деревья, которые беспомощно тычут в небо культи посеченных артиллерией ветвей, и Сережка, сидящий на больничной койке: «Ты меня не жалей… Не надо».

Бардин вздыхает, да так, что кажется, самолет воспринимает этот вздох: «Не виноват перед ним, а есть чувство вины… Есть эта вина, которая залегла булыгой внутри и давит, не дает дышать. Ведь не виноват, а такое чувство — виновен и он тебе судья». Наверно, в том, что сегодня делает Бардин, есть и нечто ратное, нечто от тех испытаний, которые приняла Россия. Так думает Егор Иванович, так хотел бы думать. «Хотел? А на самом деле? Да какое может быть сравнение! Хоть себя не обманывал бы, себя! Огонь, который должен был принять ты, принял твой сын. Принял и отвел от тебя смерть! Да так ли?»

Самолет, как понимает Егор Иванович, шел над океаном. Казалось бы, пришло время страху, а его не было. Совсем не было у Бардина никакого страха. Страх был за Сережку.

56

Русские были в Белом доме в пятницу 29 мая в четыре пополудни. День был неярким, но теплым, и час, предшествующий встрече, русские провели в парке.

Как ни секретно было их прибытие в Вашингтон, Бардина не покидало чувство, что об этом знает больший круг людей, чем хотели бы и русские, и американцы.

Когда их делегация появилась в парке, лежащем рядом, Бардин, оглянувшись, увидел: приникнув к окнам, в парк смотрело несколько человек.

Бардин полагал, не только посол Литвинов, которого американцы знали в лицо, вызвал их любопытство.

А Молотов с Литвиновым свернули в боковую аллею и, очевидно желая соизмерить содержание разговора с длиной аллеи, замедлили шаг. Видно, разговор не вмещался в размеры аллеи, и под тенистым вязом, скрывающим их от любопытных глаз, они остановились.

Литвинов был в светлом костюме, легкое пальто он перебросил через руку. Молотов был в темном макинтоше и темной шляпе, вид у него был много официальнее, чем у Литвинова, да, пожалуй, чуть-чуть не по сезону — видно, что он прибыл из страны, где лето еще не наступило.

Говорил Литвинов, а Молотов слушал, сдвинув брови, глядя вдаль. Он казался сурово-печальным. О чем они могли говорить? Когда Литвинов говорил с президентом о главной проблеме, интересующей русских? Что думают об этом военные? В чем они поддержат президента и в чем ему возразят? Эйзенхауэр? Маршалл? Макартур? А как Гопкинс? Верно ли, что его зовут личным министром иностранных дел Рузвельта?.. А каково тогда положение Хэлла? И что думает Хэлл о главной проблеме, которая интересует Россию? Он по-прежнему здесь в оппозиции? Тогда, быть может, разговор должен вестись без него? Да, Рузвельт и Молотов? А как быть с Гопкинсом?

…Русские пошли из парка. Бардин поднял глаза. В окнах были все те же лица. Нет, тайну русской миссии в Вашингтон надо было еще сберечь. Как бы в ходе вашингтонских бесед Бауэр не стал Молотовым…

Они были в служебных апартаментах Рузвельта тотчас после того, как камердинер вкатил в кабинет коляску с президентом. На ковровой дорожке, ведущей в кабинет, еще удерживался след от колес, когда из кабинета вышел камердинер. В его руках был

плед. Камердинер поклонился гостям, дав понять этим своим поклоном, что гости не ошиблись, признав в нем лицо, имеющее отношение к президенту, и это ему приятно. Плед в его руках был обычным шотландским пледом в красную клетку, судя по всему, не новым: бахрома была уже не столь густой и пушистой, как прежде, на сгибе проступало кофейное пятнышко, видимо свежее. Но камердинера не смущало это. Он на ходу развернул и сложил плед, сложил с таким старанием и тщательностью, которая должна была показать — в его руках вещь, нужная президенту, а остальное ему не столь важно.

Из кабинета вышел Гопкинс и, увидев русских, чуть-чуть дружески-фамильярно поднял бледную ладонь, с почтительным уважением пожал руку Молотову и Литвинову, остальным поклонился с радушием гостеприимного хозяина, а приметив Бардина, поднял руку и, соединив большой и указательный пальцы, прищелкнул:

— Такой крепкой водки, какую я пил в Архангельске, в природе больше нет, — произнес он и закашлялся — после архангельского застолья у него явно першило в горле.

Гостей пригласили к президенту.

Бардин ожидал увидеть крупноплечего человека, чуть полноватого и от этого кажущегося еще крупнее, с красивым, несколько одутловато-бледным лицом и ослепительной «рузвельтовской» улыбкой, выражающей полную меру радушия, а увидел седого старика, худого и заметно остролицего, с желтовосковым лицом, на котором тем заметнее были синевато-мглистые круги под глазами. Его улыбка была живой и откровенно дружелюбной, но это была улыбка больного человека.

Бардин понимал, что это первое впечатление должно быть очень верным, но оно уйдет. И действительно, прошла минута, и перед Бардиным, казалось, был прежний Рузвельт, да, тот самый, крупноплечий, с одутловато-бледным лицом и солнечной улыбкой.

Хотя церемония представления велась через переводчика, она не потребовала много времени. Бардин заметил, Рузвельт не без изящества представил своих коллег. Представляя Хэлла, президент, как показалось Егору Ивановичу, с известной обстоятельностью подчеркнул его внимание к русским делам, будто говоря: «Если вы считаете его главой антирусской партии, то заблуждаетесь!» Наоборот, Гопкинса президент представил строже и скромнее, чем мог бы. «Вы знаете друг друга, и тут я вам ничего не мету сказать нового», — точно говорил президент, но скрытый смысл этой сдержанности был иным — президент не хотел усугублять и без того тяжелых отношений между

государственным секретарем и Гопкинсом. К тому же не в интересах президента было превозносить Гопкинса — совершенно очевидно, что в отношениях Америки с Россией Гопкинс был фигурой номер один.

На вопрос президента о том, как удалось преодолеть долгий и нелегкий путь, Молотов заметил с тем эмоциональным лаконизмом, который ему был свойствен:

— Перелет из Москвы в Лондон, а оттуда через Исландию, Лабрадор нам не показался утомительным… — и взглянул на своих спутников, точно обращаясь к ним за поддержкой. — Ничего чрезвычайного, за исключением, пожалуй, одного: наш военный советник повредил ногу и остался в Лондоне, нам придется его как-то заменить на переговорах. — Он сказал «на переговорах», сказал впервые и взглянул на президента.

— Сегодня у нас здесь нет военных, — сказал президент, — но завтра генерал Маршалл и адмирал Кинг к вашим услугам.

Он произнес эти несколько слов с той приязнью, с какой говорил до сих пор, но в словах этих было и что-то протокольное. Он будто хотел сказать: разговор мы отнесли на завтра; в нем будут участвовать военные, а следовательно, в порядке дня главный вопрос.

Молотов понял, здесь кратчайший путь к разговору по самому существу проблемы, которая интересовала русских, поэтому был прямой смысл остановить внимание президента. Молотов заметил, что хотел бы обсудить военное положение, обсудить всесторонне. Он говорил с Черчиллем, но тот не дал ответа на вопросы, поставленные русскими. Правда, Черчилль выразил пожелание, чтобы на обратном пути из Вашингтона русские остановились в Лондоне. Быть может, английскому премьеру необходимо время, чтобы ответить на вопрос Молотова.

— Японцы скапливают флот на островах Фучья и Марианских, — сказал президент и характерным жестом, чуть стариковским, защитил глаза от солнца, которое проникло в кабинет. Не очень было понятно, почему он вдруг заговорил о японцах — потому ли, что он считал эту проблему для себя наиважнейшей, потому ли, что не хотел сейчас отвечать на прямой вопрос русского министра. — Трудно сказать, куда устремят японцы этот флот: на Австралию, Гавайи, Аляску или Камчатку?

Молотов выдержал паузу. В самом деле, чем объяснить, что президент ушел от ответа на вопрос? А может, здесь нет ничего предвзятого, а просто желание отнести разговор по существу на завтра? Итак, президент хочет знать, куда бросят свой флот японцы. Молотову ничего не известно об этом, но, как он

полагает, стремление устрашить русских является постоянным у японцев.

— Наш главный враг — Гитлер, — сказал Молотов, сделав еще одну попытку вернуть разговор к сути.

Рузвельт умолк на минуту, потом сказал:

— Да, Гитлер. Пока не прояснится в Европе, мы должны на Тихом океане держать фронт… — Он взглянул в окно, следя, как солнце за окном покидает поляну и зелень медленно тускнеет. — Непросто было убедить других в верности этой точки зрения, но теперь она, кажется, стала общепринятой, — добавил он. Кого он имел в виду: только ли американцев или еще и тех, за океаном?

Рузвельт протянул руку к бумагам, лежащим у него на столе.

Манжета на руке президента сдвинулась, обнажив сплетение кровеносных сосудов, как показалось Бардину, неестественно голубых.

— Что знает господин Молотов об условиях, в которых нацисты держат русских пленных в Германии? — спросил президент, тщетно пытаясь освободить стопку бумаг от скрепки. Гопкинс подошел к президенту и помог ему справиться со скрепкой, невзначай бросив взгляд на бумаги, а потом на Хэлла. — Что он знает об этих условиях? — повторил свой вопрос президент и посмотрел на Хэлла, будто желая спросить его, верно ли он понял своего государственного секретаря.

Скопческое лицо Хэлла вдруг подернулось румянцем.

— Да, речь идет о Женевской конвенции, мой президент, — сказал Хэлл и оглянулся на Гопкинса, который принялся тереть тыльные стороны рук — неожиданно их обдало морозцем.

Бардин приметил еще в Москве это его состояние и этот жест, от волнения его бросает не в жар, а в холод. Но почему его хватило стужей теперь? Как понимает Бардин, стопка бумаг, которую взял президент, похожа на памятные записки: чистое поле листа, четкий машинописный текст, просто текст, без названия и без подписи. Очевидно, меморандум подготовлен Хэллом, эту реплику государственного секретаря о Женевской конвенции можно понять именно так. Не исключено, что Гопкинс видит стопку бумаг впервые, вон с каким неприязненным удивлением он взглянул на бумаги, освобождая их от скрепки. Проблема «Хэлл — Гопкинс» имеет свои грани.

Молотов пытается ответить на вопрос президента. Смысл его ответа: русские располагают данными, что немцы бесчеловечны с пленными. Об этом, в частности, рассказали двадцать пять пленных, которым удалось бежать в Швецию из Норвегии.

— Но может быть, необходим договор об обмене списками военнопленных? — спросил президент и пододвинул текст

меморандума.

Бардину показалось, что в голосе Молотова появились ноты, которых не было только что, — гневная укоризна, может быть, даже возмущение.

— Советское правительство готово на переговоры с любой страной, но только не с немцами, — был ответ Молотова. — Начать переговоры с немцами, значит, дать им возможность утверждать, что они придерживаются международного права.

Вновь белая рука президента повисла над столом. Рука нетверда, и президент спешит опереться на локоть.

— А не могли бы мы помочь улучшению отношений между Россией и Турцией? — вопросил президент, держа перед собой белый лист меморандума, и его весело-иронический взгляд устремлен сейчас то на Хэлла, то на Гопкинса. В этом единоборстве он не хочет давать преимущества ни одному из них, даже наоборот, он хотел бы дать преимущество Хэллу и этим нейтрализовать его — в переговорах, которые начнутся завтра, Хэлл не должен участвовать.

Видно, Молотова немало раздражают эти меморандумы Хэлла. Он, Молотов, приехал из страны, объятой огнем войны. Второй фронт — единственная и действительно насущная задача его миссии. Он об этом хочет говорить, а ему навязывают разговор о советско-турецких отношениях. Но президент говорит об отношениях России и Турции, говорит с явным желанием, чтобы на его реплику откликнулся советский министр, очевидно, это имеет смысл и для президента.

— Ну что ж, мы готовы обсудить и это, — произносит Молотов, сдерживая волнение.

Рузвельт вздыхает облегченно: эти два хэлловских меморандума и ему стоили сил, но все, кажется, обошлось.

Вот и хорошо, — говорит Рузвельт и смотрит на Гопкинса, но тот неприязненно насторожен. «Что же тут хорошего? — точно говорит он президенту. — Этот старый хрыч Хэлл не нашел ничего лучшего, как явиться сюда с турецким меморандумом… За этим ли летели сюда эти люди, преодолевая ненастье войны и стихии? Нет, в самом деле, что тут хорошего?»

Но президент доволен, что ему удалось сегодня сделать предметом разговора меморандумы Хэлла, по крайней мере, есть какая-то видимость делового разговора, в котором участвует государственный секретарь. После этого завтрашний разговор, пожалуй, можно провести и без него.

— Быть может, господин Молотов счел бы возможным встретиться с государственным секретарем и обсудить всю сумму вопросов, которые имеет в виду департамент? — произнес

Рузвельт, он хотел бы сделать здесь все возможное.

— Да, конечно, — соглашается Молотов.

— Хорошо, — удовлетворенно замечает президент.

— Хорошо, хорошо, — подхватывает Хэлл и розовеет от удовольствия, хотя удовольствия в этом лаконичном диалоге для него мало: президент вызвал Молотова на разговор о хэлловских меморандумах, а затем устроил эту встречу государственного секретаря с советским министром, чтобы отстранить государственного секретаря от участия в переговорах и сделать возможным участие в них Гопкинса.

— Значит, экипаж русского самолета впервые прошел по океанской трассе из Москвы в Вашингтон? — спрашивает президент, улыбаясь, — более чем сложный маневр, который он только что осуществил с первым дипломатом Америки, решительно улучшил ему настроение.

— Да, впервые, господин президент, — говорит Молотов. Ему еще не ясно, почему президент вернулся к этому разговору, но сам разговор советскому наркому приятен.

— А нельзя ли пригласить русских летчиков к президенту и дать ему возможность пожать им руки?

Молотов смеется:

— Благодарю вас, господин президент. Они сочтут это за честь.

Некоторую скованность — Егор Иванович заметил ее в Рузвельте, когда они вошли в кабинет, — к концу беседы удалось победить.

Президент сказал, что он хотел бы провести нынешний вечер в кругу гостей и приглашает их на обед, всех гостей. Как показалось Егору Ивановичу, в этом жесте не было ничего протокольного. Просто президент полагал, что предстоящему разговору с русскими большая мера человеческой теплоты не будет противопоказана.

Когда Бардину сказали, что обед будет в овальном кабинете президента, он вспомнил знаменитые пресс-конференции Рузвельта, некоторые из них проходили здесь. То, что принято было называть овальным кабинетом, точнее было бы назвать залом — он был достаточно просторен. Как многие другие апартаменты дома, которые успел повидать Егор Иванович, зал был выдержан в светлых тонах. (Этот дом был ярко-белым и изнутри.) Наверно, потому, что здесь был кабинет президента, место его деловых встреч, но и благодаря самим формам помещения зал не обременяли обычные дворцовые атрибуты: лепнина, хрусталь, посеребренный и позолоченный металл и

дерево. Единственным украшением был довольно строгий бордюр по грани потолка, как бы подчеркивающий форму кабинета — правильный овал.

Бардину показалось, что президент любит этот свой кабинет и работает здесь не только тогда, когда имеет дело с внушительной группой посетителей. Доказательство этому Бардин увидел и в том, что квадратная металлическая корзина для бумаг была далеко не пустой, а на столике-этажерке (протяни руку и достанешь) лежали сегодняшние газеты. Для удобства президента газеты были разложены так, чтобы были видны названия (кроме почтенных нью-йоркских и вашингтонских Егор Иванович увидел крупные провинциальные: «Чикаго трибюн», бостонскую «Крисчен сайенс монитоор», «Филадельфия инкуайер»), а три ряда полок, расположенных в нише, врезанной в стену, были заполнены томами справочных изданий, которые нужны были президенту повседневно.

Да и нынешний обед был, очевидно, устроен в кабинете, чтобы дать возможность президенту в случае необходимости взять телефонную трубку — время военное!

Егор Иванович полагал, что в этом кабинете приятно работать: трехстворчатое окно, высокое и просторное, расположенное за спиной президента, выходило в парк с его ярко-зелеными лужайками и темными купами старых дубов. Можно подумать, что в погожие весенние и летние дни президент, очевидно, работал при открытых окнах и в эти дни запах нагретой солнцем листвы вместе с отсветом молодой травы, казалось, входил в дом.

— Признаться, роль хозяина за обеденным столом много приятнее, чем за столом письменным, — произнес президент, опираясь на могучую руку камердинера и медленно передвигая больные ноги. Наверно, когда президенту неможется, потребность в шутке особенно велика. Нет, не только чтобы превозмочь недомогание, но и сделать вид, что не больно. — Виски, водку или коктейль? Если коктейль, разрешите приготовить мне, — обратился он к гостям. Его страсть к приготовлению коктейлей была известна. Сам он почти не пил, но любил, когда пили другие, при этом как мог помогал этому, приготавливая коктейли, — здесь у него был дар.

— Ну что ж, коктейль, да еще из рук президента, это, наверно, хорошо! — возликовал Гопкинс и оглядел русских гостей. На обеде были все, с кем накануне беседовал президент, и отсутствовал Хэлл — это заметно воодушевляло Гопкинса.

— Да, да, только коктейль! — подхватил Рузвельт, окруженный батареей бутылок необычной формы и расцветки

(синего, зеленого, гранатово-алого стекла). Президент был похож в этот момент на средневекового алхимика, добывающего мудреное зелье. — Да, коктейль! — Он рассмеялся, рассмеялся так сильно, что должен был снять очки и протереть глаза.

Как казалось Егору Ивановичу, у президента была необходимость явить знаменитое рузвельтовское обаяние, но в кругу своих русских гостей он, возможно, был более робок, чем обычно. Нет, его сковывало не только то, что в отличие от многих бесед, которые он вел, приходилось говорить сейчас через переводчика и пока слово совершало непростое путешествие от президента к переводчику, а от переводчика к собеседнику президента, оно выцветало. Сама манера, в которой вели переговоры русские — точность и непреложная конкретность, — заметно сковывала президента, больше того, мешала ему стать самим собой. Может быть, и обед этот он придумал для того, чтобы почувствовать себя наконец в своей тарелке? Человек, страдающий тяжким недугом, он искал спасения в смехе.

А между тем президент провозгласил тост за здоровье русских гостей. Он сказал, что много думает о послевоенном мире. Хорошо бы осуществить разоружение, оставив оружие только для полиции, чтобы она имела возможность наблюдать за преступными силами, вроде нынешних Германии и Японии. Он убежден, что мировое хозяйство не сможет подняться из пепла, если придется тратить средства на вооружение. По его словам, будущее, поддающееся нашей способности предвидеть, простирается на четверть века, и мы сегодня должны обеспечить мир, по крайней мере, на эти двадцать пять лет. Президент провозгласил тост за русских гостей, бокалы были разом опорожнены — бокалы с коктейлем президента. Искусство президента было оценено по достоинству, обед начался.

Президент пригубил свой бокал и просил положить ему салата с креветками. Он сказал, оглядываясь по сторонам, что только на банкетах ему и удается обмануть бдительность приставленной к нему прислуги и съесть то, что ему действительно нравится.

— О, никто так плохо не ест, как президент Соединенных Штатов. — И, улыбнувшись тайной мысли, он махнул рукой. — Человеку кажется самым вкусным то, что было вкусным в детстве. Я люблю жареные фисташки! Все отдам за пригоршню фисташек. Но те, кому доверена моя жизнь, считают, что именно в фисташках может быть упрятана моя погибель. И вот бедные фисташки вступают на тернистый путь: полиция пытает их рентгеном, химики — кислотами и прочая, и прочая… Это продолжается до тех пор, пока фисташки не попадают к человеку,

который должен принять решение, давать фисташки президенту или не давать. И он решает: «Эка невидаль — фисташки. В мусорную корзину их! Жил президент без фисташек, проживет еще». Вот и получается, чтобы есть фисташки, президент не должен быть президентом.

Президент смеется вместе со всеми. Только, пожалуй, Гопкинс серьезен, рассказ о фисташках он уже слышал. Но Бардина немало позабавил рассказ. Что говорить: Рузвельт может быть приятным хозяином. А ведь разговор с Гувером — Бекетов напомнил Егору Ивановичу это вовремя — мог происходить и в овальном кабинете. Да, Рузвельт сидел не за письменным столом, а за журнальным, и телефоны были переключены туда, они переключаются, достаточно всмотреться пристальней, чтобы увидеть и штепсели. И все в кабинете было, как сейчас: и эти три полки со справочниками, и столик для газет, и знамена на древках из красного дерева. Да, эти вещи из овального кабинета были очевидцами иного поведения Рузвельта, вещи — свидетели. Если допросить их, они, пожалуй, расскажут. Да где же кончается один Рузвельт и начинается другой?

Русские гости задерживаются у президента до полуночи. Вопреки протоколу и, пожалуй, здравому смыслу. Можно и поберечь себя — утром переговоры.

— Господин Молотов, кого вы хотели бы видеть в Вашингтоне? — спрашивает президент. Для того чтобы быть радушным хозяином до конца, пожалуй, этого вопроса недоставало, но для Молотова этот вопрос неожидан, вон каким пасмурным стал русский делегат.

— Быть может, адмирала Стэндли или посла Девиса… — произносит Молотов, раздумывая. Об адмирале Молотов уже говорил президенту. Возникало и имя посла Девиса, президент знает, что русские доверяют его доброжелательности. Кто-то рассказывал Бардину: незадолго до войны, когда осложнились отношения между Америкой и Россией, непредвиденно осложнились, Девис просил Рузвельта направить его в Москву. «Я сумею поладить с русскими», — сказал он.

— Да, адмирал Стэндли, адмирал Стэндли, — произнес президент.

Молотов назвал Девиса и Стэндли. Рузвельт упомянул только Стэндли. Случайно ли он опустил имя посла или сознательно? Посол, судя по всему, не очень ладил с Хэллом. Наверно, в том, как Девис относился к России, было нечто общее с тем, как относится к ней сегодня Гопкинс. Устроить встречу Молотова с Девисом — значит еще больше осложнить отношения с Хэллом. С Рузвельта хватит и Гопкинса. Рузвельт произнес имя адмирала, о

после Девисе он умолчал, хотя настроение у него было в этот полночный час преотличное и он готов был делать благие дела и после полуночи.

57

Вернувшись в гостиницу, Бардин застал на столе телеграмму от Мирона: «Буду в Вашингтоне шесть вечера, радуюсь встрече. Жди звонка». Первая мысль: «Удастся ли освободиться к шести?» Потом пошли воспоминания. Бардин видел брата в последний раз где-то в июле прошлого года. Брат заехал в наркомат по дороге на аэродром. Егор Иванович вышел к памятнику Воровскому. Мирон оброс рыжей бородой (чудак-человек, он не внял совету Егора: шрам, рассекший щеку, делал его лицо энергичным!), в новенькой форменной гимнастерке цвета табака, видно, сшитой по случаю командировки. «Лечу на заводы Сикорского и Северского! — произнес Мирон и указал взглядом на автомашину, в которой, как приметил Бардин, было еще несколько летчиков в таких же табачных гимнастерках. — И то дело, русские правят и американским небом!..» — «Ты надолго?» — «Не знаю. Как пойдут самолетики через Аляску, сбегу!.. Пыльно! Она хоть и военная дипломатия, а дипломатия. С Бардиных и одного дипломата хватит. А мне водить бы «мощу» да рубить фашиста! Как там, на Гвадалахаре!» В этот момент машина, стоявшая поодаль, подала сигнал, мол, время вышло, пора и совесть знать. «Скажу наперед, Америка не по мне!.. — бросил он, прощаясь. — В Америку революция придет последней. А может, не так?» Вот и все, что успел сказать Мирон за те десять минут, в течение которых свела их судьба у памятника Воровскому. Ему так и не удалось вернуться из Америки ни через месяц, ни через шесть. «Америка не по мне!» — сказал он тогда. А как теперь?

Мирон опоздал со звонком. Попутный «Дуглас», которым Мирон летел в Вашингтон с тихоокеанского побережья, сделал вынужденную посадку где-то около Виннипега.

— Ну да не беда, главное, я уже здесь. — крикнул Мирон, позвонив с аэродрома. Жди меня… ну, знаешь, позади Белого дома, у этой металлической решетки, там эти очереди экскурсантов, понял? Там и я как-то стоял.

Не было бы у брата бороды, пожалуй, и не узнал его — Мирон явился в штатском.

— А я думал увидеть тебя в этой твоей гимнастерочке, а ты истинный денди! — воскликнул Егор, когда они зашагали вдоль ограды, и взглянул на брата. Мирон носил костюм с той щеголеватой праздничностью, с какой носят его военные.

— Что ты! На заводе я постоянно в своей форме, а вот в город не очень, — произнес Мирон и толкнул брата плечом, толкнул с

радостной отвагой. В кои веки привалило такое счастье — встретить в Америке брата. — Как признают во мне русского военного, хоть улицу закрывай. «Лонг лив Раша!» — и все тут!.. А признать не мудрено — красная звездочка! Когда наши трахнули немцев под Москвой, я был в Вашингтоне. Так меня тут вот, у Белого дома, подняли на руки и принесли в гостиницу! С тех пор я и порешил, не хочу, чтобы меня носили.

— Боишься, уронят? — засмеялся Егор.

— Боюсь, — признался Мирон и, подумав, сообщил: — Я тебя сегодня делить не хочу даже с президентом Штатов!

— Это ты к чему?

— Говорю, делить не хочу, а это значит, побудем, брат, вечерок вместе. Как ты?

— Ну что ж, вместе так вместе.

Хотя Мирон бывал в Вашингтоне наездами, он знал город хорошо. На северо-восточной окраине был дом, где жили русские морские офицеры, прибывшие в Штаты с такой же миссией, как и Мирон. Дом принадлежал грекам, родные которых перебрались из России в Штаты в начале века. Хозяина сожгла чахотка, сожгла в середине тридцатых годов, и дом остался на руках его сорокалетней жены и двух сыновей, старшему из которых было семнадцать, а младшему пятнадцать. В доме еще жила сестра хозяина, совсем глухая. Существо одинокое, замкнуто-печальное и самоотверженное в своей любви к племянникам и дому, Айяка не сразу доверилась русским, а доверившись, была к ним добра. Все это рассказал Мирон брату, пока машина, подпоясанная клетчатым пояском, несла их к северовосточной окраине Вашингтона.

— А прекрасная гречанка говорит по-русски? — переспросил Бардин и едва удержался, чтобы не засмеяться.

— Так, чуть-чуть, но ее научили не столько родные, сколько ее нынешние постояльцы.

— Ты научил? — спросил Бардин строго.

— Да что ты на меня смотришь зверем? — вдруг взъярился Мирон. — И я научил. Только то, что ты вообразил себе, не так.

— Верю, верю, — сказал Егор и, нащупав острое плечо брата, сжал. — До каких пор ты будешь таким дохлым? Кости торчат, как у доходящей клячи! Хоть бы на американских харчах набрал малость.

— Такие, как я, не набирают, — произнес он и усмехнулся. «Толщина физическая, она от толщины душевной!..» — будто говорила эта его усмешка. А Бардин думал, сколько помнит он Мирона, всегда был таким вот маленьким и костистым. Точно и не Бардин. Будто сладили его из остатков, из того завалящего,

что наскребли где-то на донышке. Истинно, последыш. Чем он только очаровывает прекрасную гречанку? Обделили его начисто, разве только ума и злости родные отвалили полной мерой. Нет, не той злости, что стала душой и энергией себялюбия, а той, что идет от неудовлетворенности самим собой, от горящей души. Иной бы угомонился, а этот разлегся на углях и вставать не собирается с этих углей. Вот Яков обстоятельно спокоен, невозмутимо могуч, таким, как Яков, хорошо мосты строить: если и возвели мост, то навечно. А с Мироном и сваи не вобьешь — изведет… «Знаешь, Егор, столько еще бед на земле… Не могу отстраниться от чужой боли и не умею…» — «Ты полагаешь, я умею?» — «Не знаю».

Хозяйки не было, а мальчишки забрались на голубятню. Видно, кучный табунок вернулся из высокого высока уже после того, как село солнце. В доме оказалась только Айяка. Она ударила каменной ладонью Мирона по плечу, с силой Тряхнула руку Егора и, радуясь встрече, в немом смехе обнажила желтые зубы и повела братьев в дальний конец галереи, где и прежде была комната Мирона.

— Располагайся, как дома, люди они добрые, я им верю, — указал Мирон на дверь, в которую вышла Айяка. — Ты читал сегодня газеты? — спросил он и взглянул на брата быстро и пристально, будто припечатал.

— Ты имеешь в виду Севастополь?

— Да, Севастополь… Тут вот надо мной жил морячок, его прямо с Херсонеса сюда прибило. Вот ночью, бывало, как замычит, как заколотит пудовыми кулачищами! Только Айяка его и не слышит. Что там Гвадалахара, когда есть Севастополь! Хотя Гвадалахара достойна великой чести. Как в Севастополе, белые камни, белые на открытом солнце… Значит, Севастополь? Ой, лето будет!.. Ой, лето!.. — Он протянул руку к шторам, раздвинул — его давила эта полутьма. — Как президент? Как он тебе, а?

Вот задача — президент! Ну, началось! Истинно, прав Сергей Бекетов: то, что не успел сказать он о президенте Штатов, доскажет Мирон.

— Так тебе лучше знать, какой он президент.

— Почему мне лучше?

— Если дает самолеты, значит, хорош. Как с самолетами для Страны Советов?

Мирон поскреб указательным пальцем рыжую бороду.

— Я скажу, а ты сам суди. Мы получили за два зимних месяца двести пятьдесят истребителей, а хотели бы получать пятьсот ежемесячно.

Бардин не стал веселее от Мироновых слов.

— Наверно, это меньше, чем мы хотели бы, но и это дело, не так ли?

— Так, конечно, — согласился Мирон, не выразив энтузиазма. — А коли так, то лучшего президента в Америке нам и не надо, а?

Бардин чувствовал, Мирон точно подводит под него мину. Подводит с неотвратимой последовательностью. Егор Иванович видел это, но продолжал идти своей тропой.

— Короче, ты хочешь знать, что я думаю о Рузвельте? — спросил Бардин.

— Хочу.

— Тогда слушай. Дай бог, чтобы жизни Рузвельта хватило до нашей победы, с другим президентом нам бы пришлось труднее.

— Значит, бог послал нам Рузвельта, так? — усмехнулся Мирон.

Бардин умолк. Непросто было ответить на вопрос Мирона, ответить так, чтобы не оставалось места для иронии.

— Не видел бы я его, пожалуй, умолчал бы. Но вот сегодня, только сегодня я видел, у него есть добрая воля и та мера понимания наших нужд, которая дает мне право сказать: с ним я могу договориться. Был бы на его месте Черчилль, мне было бы труднее.

— Значит, Черчилль плох, а этот хорош, так?

— Думаю, что Рузвельт не Черчилль…

— Вот вы все такие… Советские либералы!.. Ублажат вас, пригласят к столу, обласкают и ободрят, скажут, что приветствуют в вашем лице великую Россию, вы и потекли патокой. А вот если взять вас в ваших визитках и манишках да на белые камни Гвадалахары, да, да, на те самые камни, которые обагрены с благословения таких, как Рузвельт! Хотел бы я видеть, как повело бы вас. Или свозить вас на хлопковые поля Джорджии или там Алабамы и показать вам, как свистит бич надсмотрщика не в восемнадцатом веке, а сегодня… А ведь это тоже с благословения президента.

— Ты что же, хочешь, чтобы, явившись сюда, мы хлопнули дверью? Этого ты хочешь?

Мирон стоял сейчас, маленький, рыжебородый, с всклокоченными волосами, редкими, но жесткими.

— Нет, я не такой безнадежный, как ты думаешь.

— Тогда чего ты хочешь?

Младший Бардин зашагал по комнате, зашагал с такой силой, что буфет для чайной посуды, стоящий в углу, точно музыкальный ящик, запел на все голоса.

— Я просто хочу, чтобы вы не давали обратить себя в этаких

Маниловых от политики. Чтобы вы знали цену и этому вину, и этому слову. Чтобы призрак белых камней Гвадалахары, как белых камней Севастополя, всегда стоял перед вами, напоминая о тех, кого нет среди нас. Чтобы вас постоянно жгла ненависть к людям, которые хотят выглядеть сейчас нашими друзьями, а на самом деле стояли, стоят и будут стоять — ты слышишь, будут стоять! — по ту сторону фронта, разделившего мир надвое. Вот чего я хочу! Да что там говорить! Хочу просить тебя, сделай милость, представь мир лет через пять после войны, нарисуй его себе году в сорок восьмом или там сорок девятом. Ну подымись этак на каланчу… тысяча девятьсот сорок девятого года! Подымись, подымись. Ах, как хорошо видно с нее. Рассмотри и Гвадалахару с Барселоной, и Мюнхен, и вот этот союз с американцами, и этот твой вояж за океан… Что греха таить, вы, дипломаты, временщики, ваше дело конъюнктурное, но и вам не грех соизмерять его с тем вечным метром, что, как нас учили в школе, хранится там где-то, в заповедных сенях науки, и составляет энную долю земного меридиана. Сверять, как оно, ваше нынешнее дело, соотносится с этим вечным аршином. Не слишком ли вы поддались настроению, не изменила ли вам ненароком память, не очень ли вы поверили партнеру, он ведь вон какой мастак рулады распевать, соловей златоголосый, и только!

— Погоди, а что есть этот твой аршин? Правда наша?

Мирон просиял — не все, что говорил младший Бардин, прошло мимо Егора, что-то постиг и он.

— Наша вечная правда, — сказал Мирон и посмотрел на Егора из своего сумеречного угла. — Я у тебя вроде занозы в пятке, не так ли? Хочешь ступить, а она, заноза, хвать! А тебе страсть как надо на пятку ступить, потому твой шаг сановный с пятки начинается. Ты не ходишь, как все. Шаг человеку дан, чтобы нести тело, а тебе, чтобы передвигать свою сиятельность. Вот ты ступаешь и, истинно, ног под собой не чувствуешь: вот я какой сиятельный! Вот я какой вальяжный! Я — как моя бабка Елизавета. Ту тоже все обожали за ласковую мудрость, покладистость и доброту. А как ее не любить, если у нее в каждом кармане по фунту барбариса. Даст барбариснику и точно человека в карман положила. Прости меня, брат, но что-то у тебя от этой бабки Елизаветы, твоя доброта превратилась почти в профессию.

— Бабка Елизавета тут ни при чем. Ее ума и ее щедрости на нас двоих хватит да еще Якову перепадет. Сколько бабка Елизавета выходила сирот на своем веку, иному приюту не обнять. Я, брат, открещиваться от бабки Елизаветы не буду.

Говоришь, на бабку Елизавету похож? Спасибо тебе за это. Это же великая честь — на нее походить. Чем же это плохо, если я помогу тетке Пелагее или внуку дяди Миши? Тетка девчонкой осталась вдовой и пошла в прачки, чтобы своих двух младенцев до ума довести, а ведь Ленька, внук дяди Миши, — сын солдата, сгоревшего в монгольской степи. Верно, мне хорошо, когда я помогу. Верно, у меня на душе праздник, когда я подсоблю человеку. Больше того, хожу, как именинник. Все ловлю себя на мысли: «Что у меня так светло вот тут? Ах, Леньку приняли в фабзауч, и я, грешен человек, помог парню…» Но ведь, видит бог, мне от этой подмоги ничего не надо.

— Вот тут-то и собака зарыта — надо!.. Ты ведь помогаешь почему? Не потому, что тебе жаль Леньку! Нет. Тебе надо ощутить себя этаким, прости меня, Иисусом! Вот, мол, я какой хороший! Нет, будь честен, скажи, нрав я? Я ведь тебя знаю. Прав? Только будь честен.

— Погоди, ты хочешь отнять у меня и право радоваться тому доброму, что я сделал? Я же тебе сказал, сделаю доброе, и у меня светло вот тут. Да, я рад. Но только не для того я делаю все это, чтобы радоваться. Ну что мне до того, что Ленька скажет?

— Нет, брось, это для тебя важно. Ты ведь хочешь слыть добрым. Для всех добрым. Даже для тех, кого друзьями нашими никак не назовешь. К слову, приехал в Америку — только подумать, в Америку! — и хочешь быть добрым! Ну вот, к примеру, что тебе быть добрым к Рузвельту? А ты хочешь быть добрым и к нему. Даже смешно, к Рузвельту!

Бардин смешался — не часто приходилось Егору Ивановичу отбивать такой натиск. Мирон шел на приступ с той энергией и настойчивостью, какая вдруг обнаруживалась в нем, когда речь заходила о чем-то таком, что было его убеждением, его верой.

— Прости меня, но ты упрям, Мирон!

— А вот нечестно, ты же знаешь, это не так. Нет, не в упрямстве дело… Пойми, мне надо найти общий язык с Рузвельтом. Надо вот так! Пойду я к нему с твоей неприязнью, погублю дело, да меня и не пошлют, если верой моей будет неприязнь.

— Значит, ты на время твоего вояжа перестаешь быть самим собой? Надеваешь маску?

— Нет, не надеваю, да у меня и нет необходимости в этом — Рузвельт достаточно реальный политик, чтобы понимать, с кем имеет дело…

— Реальный политик? Вот это и есть формула всеядности — реальный политик! Вот послушаешь вас, и кажется, мир населен сплошь реальными политиками, а враги провалились в

тартарары. Ты заметил, у вас нет врагов. Вон там, подо Ржевом и в Севастополе, они есть, а у вас нет. А может быть, бросить вас на месячишко-другой в пламя, а? Помнишь воспитание под Верденом? Да воспитание на раскаленных севастопольских камнях? Как ты?

Вот ведь человек развоевался, подумал Бардин. Видно, он давно готовился к этому разговору. Готовился сам, готовила его жизнь. Чтобы понять его, не надо возмущаться. А может, перевоплотиться в Мирона? Но перевоплотиться ведь непросто. Попробуй стань Мироном, когда у него были Гвадалахара с Барселоной да еще Уэска в придачу?

— Нет, именно реальный политик. Ничего иного я не хочу искать. Реальный политик. Вот ты сказал, вечный аршин. Для меня он вечен, как и для тебя. Однако прикинь этот аршин. Что это тебе скажет? Мы живем в этом мире не одни. Волею истории живем не одни и, я так думаю, еще будем жить не одни. Ленин послал Чичерина в Геную! Он послал его, наказывая сесть за стол переговоров с Ллойд-Джорджем. Кстати, Ленин готов был сам отправиться в Геную, а это значит, разговаривать и с Ллойд-Джорджем, и с Барту, и с Виртом. Он готов был это сделать потому, что был меньшим революционером, чем ты? Нет, он понимал, мы живем еще с тем миром, и нам надо уметь с ним разговаривать. Ты пойми, чадо милое, уметь! А это значит: уметь расколоть их и сшибить лбами, как во времена Бреста. Уметь расположить, как это умел Чичерин. Да, я не хочу выбирать слов — расположить! Мы ведь знаем, назначение Чичерина — инициатива Ильича. Однако почему Ильич назвал именно это имя — Чичерин? Человек интеллекта недюжинного? Да, но среди сподвижников Ильича таких было немало. Знаток языков? И это было не в диковинку. Тогда почему? Он был потомственным аристократом да к тому же еще дипломатом кадровым. Чичерин стал Чичериным не потому, что он был аристократом, но в какой-то мере и поэтому. При равных условиях у него было больше шансов расположить собеседника, установить контакт. Вот и соображай. В той же Генуе были и Боровский, и Литвинов, и даже Рудзутак, а главой делегации был Чичерин. Конечно, легче всего отдать себя во власть неприязни. Но какой толк в этом? Вот возьмем, к примеру, тебя, чадо милое. Нет, я не оговорился, тебя, тебя! Зачем ты приехал в Штаты? Добыть самолеты для России, не так ли? Да, добыть и трудной дорогой переправить сражающейся России. Не только это является делом твоим насущным. Тебе еще надо, и это ты знаешь лучше меня, увидеть нечто значительное. Нет, не будь дураком и не пытайся откреститься: сами с усами! Я дело говорю. Значительное и в

сфере профессиональной. Пойми, то, что тебе покажут сегодня, завтра могут и не показать. Уразумей истину эту. Ты сумеешь совладать со всем этим, если будешь в силах расположить к себе людей, если хочешь установить контакт с ними. Значит ли это, что ты поступишься своей первосутью? Нет, разумеется, но если говорить о пользе для России, для революции, верен путь мой, не твой. Врага надо ненавидеть, но при этом не лишать себя ни ума, ни глаз. Иди-ка ты, Мирон, к лешему. Или нет. Оттого, что я пошлю тебя к лешему, ты ведь не перестанешь быть моим братом. Одним словом, я есть хочу. Тебе хорошо с твоими сиротскими килограммами, а каково мне с моими пудами!

Мирон расхохотался:

— А я думал, чего это ты усох? На глазах пуды обратились в килограммы. Пошли на кухню.

Братья пошли на кухню. Ну конечно же, тут жили греки. Стояла чаша с оливками. По карнизу были развешаны связки красного перца. Пахло жареным мясом, приправленным луком. Айяка стояла поодаль и наблюдала, как Бардин снял пиджак, освободил манжеты сорочки от запонок и, закатав рукава, вымыл и насухо вытер руки. Она сказала «Ийу-у!», когда он взял нож и застучал по кухонной доске, рассекая мясо на мелкие куски. Она кричала «Ийу-у-у!» еще и еще раз, показывала Бардину желтые зубы и хлопала Егора Ивановича по толстой спине, выражая одобрение. А когда Бардин разжег мангал и, нанизав мясо на шомпола, укрепил их над углями, она расхохоталась и, изловчившись, ухватила за чуб и так рванула, что у него потемнело в глазах.

Вечер не принес свежести, наоборот, становилось душнее. Братья накрыли стол на галерее. Было так темно, что на белом поле скатерти все стоящее на столе едва угадывалось. Пришла молодая хозяйка. Несмело приблизившись к столу, воскликнула: «О Мирония!..» Бардин встал, пододвинул ей стул, но она продолжала стоять. «О Мирония… Мирония!..» — повторяла она. Ее платье шуршало сухим и ломким шумом, а в волосах светился гребень, усыпанный стеклярусом. Непонятно было, как он отразил нещедрый свет этой ночи. «Ты садись, Тамара!» — говорил Мирон, но она только повторяла: «Мирония, Мирония…» Она ушла, оставив этот шорох платья и запах духов, удушливо-сладкий, южный.

— У нее серые глаза? — спросил Бардин.

— Нет, карие, — ответил Мирон. — Светло-карие, — уточнил он, опомнившись. Он думал о чем-то своем.

— А мне показалось, что серые, — заметил Егор.

Они сидели, как-то потерявшись. Энергия и страсть их

встречи мгновенно улетучились, каждый ушел в свои думы. Недопитая бутылка стояла, едва приметная в темноте, линия вина точно окаменела, вино не шло.

— А как Ирина с Ольгой? — вдруг затревожился Мирон.

Наконец-то! Весь вечер Бардин ждал, когда он заговорит об Ольге. Весь вечер ему чудилось, вот-вот. Но Мирон, казалось, забыл о ней. Егору даже подумалось, чем ожесточеннее был их спор, тем большей решимости исполнялся Мирон не говорить об Ольге.

— Ты это к чему? — спросил Бардин и затих. Во тьме ворковали напряженно голуби. — К чему это ты?

— Что ты будешь делать с нею? — спросил Мирон.

— С кем, с Ириной?

— Нет, с Ольгой.

Бардин понял, все, что он, Бардин, носил эти месяцы в себе, все, что было его тайной, самой тайной из тайн, все, в чем он даже себе признавался не без робости, все, что он так храбро нес, стараясь сберечь, каким-то чудом перебросилось через океан и поселилось в сознании брата. Чудом ли? У каждой мысли есть свой зачин и свой венец. Быть может, в самом зачине зернышко решения. А остальное в биении сердца да, пожалуй, в упорстве мысли. Как ни глуха дверь, стучи в нее, стучи день и ночь, стучи без устали и достучишься.

— Почему с Ольгой? — затревожился Бардин.

Брат смотрел во тьму. Где-то вскрикнула машина и смолкла. Далеко, за черными купами деревьев, за знойной тьмой (небо здесь, как где-нибудь в Красноводске или Кутаиси, удушливо-черное, щедро засеянное звездным просом), за черными контурами деревянных сараев, прошел поезд, в будке с голубями сорвалась с жердочки крупная птица. Было слышно, как мягко шумят, посвистывая, ее крылья.

— Сказать? — переспросил Мирон.

— Да, скажи.

Мирон вздохнул.

— Это было давно, еще до Ясенец, до Испании, даже до Иришки. Нет, жалуй, Иришка уже была. Одним словом, это было давно. Вы жили летом в Пушкино, и я приезжал готовиться к зачетам и увидел Ольгу. Она была совсем девочкой, а я уже мужчина — академия почти на ущербе. В тот день на ней была юнгштурмовка, тогда все юнгштурмовки носили. Мы пошли в березовый лесок, там необыкновенный березовый лесок — бело как в белостенном городке. И я там ей открылся. Я давно хотел ей открыться, но не решался, а тут, может быть, потому что академия была уже позади. Короче, взял и сказал, а она… Вот до

сих пор у меня ее голос вот здесь: «Я однолюб… И я уже не перелюблю!» Мы ведь с нею были друзьями, я и спросил: «Кто он?» И она сказала: «Егор». Я бы о многом мог ее спросить тогда, но на это у меня сил уже не было. Я ушел от нее, даже в Пушкино не вернулся, в беспамятстве отшагал по лесам километров сорок и выскочил к железной дороге где-то у Загорска. Потом я узнал, что она вышла замуж, но это не потому, что она переменилась, такие не меняются, просто кинулась в замужество от тоски. Нет, я не хочу сказать, прилепилась к семье твоей, чтобы дождаться своего часа. Нет, не в этом дело. Просто после гибели Алексея она еще больше уверовала: здесь ее звезда! О, я знаю Ольгу, она по-своему суеверна и может так сказать: здесь! И вот эта храбрость ее, когда сыпались зажигалки на Ясенцы, это не от любви к сестре, а к тебе, к тебе, дьявол толстый! И вот эта самоотверженность, когда она призрела и больного отца твоего, и дочь. Надо знать их, чтобы понять, за это по доброй воле не возьмешься. А что это говорит тебе? Так вот она взяла и обрекла себя на подвижничество? Что говорит тебе, когда она принимается лопатить просторные твои угодья в Ясенцах, выворачивая булыжник да гальку, я знаю эти твои угодья! Или, подоткнув юбку, меняя одну воду за другой, принимается мыть полы? Или мылить и драить твоих чад, а потом их обстирывать? Ты думаешь, что она это делает из любви к причудам? Нет, поверь, никакое чудачество не заставит человека до ломоты в пояснице лопатить эти твердые твои суглинки, лопатить в радость. А она это делает в радость, я это знаю. Есть одно зелье, которое превращает муки в радость, — любовь. Вот полюбит человек, и все ему в охоту: и труд ему не в труд, и тяжесть не в тяжесть, все наполовину легче. Ты это видишь, дьявол толстый?

Бардин сидел безмолвно. Нет, это посерьезнее спора о советском либерале. Бардин будто растворился в ночи. И звездное пшено вдруг тронулось с места и потекло неяркой рекой. И контуры деревьев и крыш незримо поднялись и сомкнулись с небом. И голоса, что были так четки, вдруг размылись и плеснулись неземным гулом. Как в далекой юности, когда вдруг долго смотришь на небо и оно, опрокинувшись, становится землей.

— Ты это видишь, Егор? Видишь? Ну что приумолк? Небось трудно, брат? Сразу и не скажешь, а?

Бардин вздохнул, вот ведь задал задачу человек напоследок.

— Не скажешь, — произнес Бардин и точно камень свалил с горба.

Бардин свез Мирона на аэродром, его самолет улетел за полночь. Бывают же дни такие. Не день — год превеликий, все

вместил. Да сегодня ли утром Бардин был у Рузвельта? Вот так день.

58

Мирон улетел на западное побережье, поближе к авиазаводам. У него было много работы, он уже знал, что отныне самолеты-истребители будут идти в Россию лётом через Аляску, и не терял надежды первую их партию снарядить еще в июне — июле. Мирон улетел, а у Егора Ивановича наступила пора раздумий нелегких, не шел из головы разговор с братом. Немало было сказано в течение тех четырех часов, которые они просидели на веранде дома, окруженные парной вашингтонской тьмой, сказано важного, но было одно, что вытолкнуло из сознания все прочее, вытолкнуло властно, — Ольга.

В том, как Мирон заговорил об Ольге, была обида за нее и, быть может, за себя, за любовь свою. Она была светлой и храброй, эта любовь. Может быть, поэтому Мирон, испокон веков считавший брата баловнем судьбы, полагал, что и здесь ему счастье привалило незаслуженно, и был не столько рад за брата и, пожалуй, за Ольгу, сколько обижен за себя. А как он, Егор? Хотел вспомнить ее и слышал голос ее посреди ветреного шадринского пустыря, голос одиноко и незащищенно горестный: «Люблю тебя, черта, и не могу ничего с собой сделать… Сколько помню себя, всегда любила…» И было в этих словах что-то от женской муки, которая тем сильнее, чем обнаженнее и горше одиночество. С тех пор прошло месяца три, а в Бардине жили эти слова. Они казались радостно-озорными, а поэтому живыми, поджигающими кровь. Да, они могли среди ночи разбудить Бардина, взломав тьму. Бардин прочь гнал мысли об Ольге, пытался гнать. Ну, конечно же, это была не столько любовь, сколько тоскливое беспамятство мужика, изголодавшегося по женщине.

А может быть, это любовь и у Бардина, тот первый ее проблеск, который, как слабый солнечный блик, не очень заметен. Бардин стыдился своего чувства.

Как было условлено, переговоры по главному вопросу начались 30 мая в десять часов утра, при этом состав участников был ограничен всемерно. За столом переговоров расположилось семь человек. Советскую делегацию возглавлял Молотов, американскую — Рузвельт и Гопкинс. Чтобы разговор не уходил от сути, Рузвельт просил согласия русских пригласить военных советников, генерала Маршалла и адмирала Кинга.

— Какие новости на Тихом океане? — спросил президент, обращаясь к адмиралу Кингу. Он это сделал чуть

демонстративно, с намерением показать русским, что у него нет от них секретов. Этот вопрос, если взглянуть на него глазами американцев, был очень хорош как затравка для большого разговора. Как могли заметить русские, Рузвельт умел начать беседу.

— Ничего особенного, — ответил Кинг, очевидно проникнув в замысел президента. — Да, ничего особенного, разве только за исключением традиционного спора между земной сушей и океаном. — Он взглянул, улыбаясь, на президента, точно давая ему возможность воспринять смысл сказанного. — Генерал Макартур схватился с адмиралом Нимицем, но причиной раздора оказалось недоразумение, и все обошлось, — закончил адмирал почти торжествующе. Он великолепно вышел из положения, этот хитрец Кинг: ответил на вопрос президента, ответил с видимой искренностью, приобщив русских союзников к столь деликатной материи, как спор генерала Макартура и адмирала Нимица, но ровным счетом ничего не сказал — недоразумение.

Американцы подхватили последнее слово своего адмирала «misunderstanding» — «недоразумение», оно резво вспорхнуло и облетело сидящих за столом.

— Мисандестэндинг, — сказал президент, улыбаясь.

Первый узел разговора был завязан, завязан неплохо, и президент на правах председательствующего счел возможным сказать несколько слов по существу того, что сегодня предстояло обсудить. Он сказал, обращаясь к Маршаллу и Кингу, что Молотов только что прибыл из Лондона, где он обсуждал проблему вторжения. Президент начал рассказ с азов («Молотов только что прибыл из Лондона…»), точно хотел этим показать русским, что он еще не говорил с военными о миссии Молотова и готов это сделать в присутствии русских, ничего не утаивая. Впрочем, Молотов может дополнить президента, как он сочтет это необходимым. Он сказал: Молотов потом сам осветит положение во всех подробностях. Итак, продолжал президент, Молотов говорил с англичанами о вторжении. Его приняли в Лондоне достойно, но воздержались от сколько-нибудь определенных обещаний. А между тем немцы сохраняют преимущество в технике и обстановка на русском фронте неустойчива. Русские хотят, чтобы англичане и американцы высадили на континенте десант, способный отвлечь сорок дивизий врага. Как полагает он, Рузвельт, положение следует признать трудным, а будущее серьезным. Не предрекая масштабов помощи, следует сказать, что Америка считает своей обязанностью в меру сил помочь Советскому Союзу.

Реплика президента была короткой, но она как бы задавала

тон разговору: «Америка считает своей обязанностью помочь Советскому Союзу». Не реплика — формула. Разумеется, президент не впервые говорил на эту тему со своими военными советниками, как не впервые он говорил об этом с Гопкинсом. Поэтому формула президента и его вопрос были как бы точным оглавлением проблем, которые он уже обсуждал со своими американскими коллегами. И не просто оглавлением, они давали представление и о том, в каких тонах эта проблема здесь обсуждалась. «Мы считаем своей обязанностью помочь Советскому Союзу». Все это важно было знать Молотову прежде, чем он намеревался ответить на вопрос президента. Именно потому президент сказал то, что он счел необходимым сейчас сказать, только такая формула могла вызвать расположение русских и стимулировать откровенный разговор.

Теперь говорил Молотов. Как ни оптимистична была реплика президента, Молотов волновался заметно. Если у его миссии за океан должен быть кульминационный момент, то этот момент наступил сейчас. Все, что отстаивалось в сознании в те долгие часы, когда четырехмоторный самолет шел над русскими просторами и русскими городами, погруженными во мрак, а потом переваливал через Атлантику, все, что вызревало в эти долгие часы воздушного путешествия, должно было обрести жизнь сию секунду. Молотов волновался — вот сейчас он заговорит, и, как это бывало с ним иногда прежде, смятение вдруг проникнет в стройные порядки его слов, и потребуется время, чтобы строй был восстановлен.

Молотов сказал, что сегодня Гитлер, в сущности, хозяин всей Европы. Надо надеяться, что в результате сурового единоборства 1942 года русские выстоят. Но, может быть, следует взглянуть и на темную сторону картины. Молотов так и сказал — «темную сторону картины», — имея в виду под этой нарочито расплывчатой и неопределенной фразой поражение Красной Армии. Он дал понять: как ни горестна такая перспектива, подобный оборот событий не исключается. В этом случае Гитлер смог бы значительно приумножить свое могущество, военное и материальное, и переключить силы на западный фронт, сделав его главным. Стоит ли говорить, что это привело бы к затяжке войны. По словам Молотова, силы, которые бросил Гитлер сегодня на восток, очень велики, и немцы попытаются нанести на востоке мощный удар. Мы полагаем, что сможем продержаться, но положение серьезно и вопрос стоит прямо: могут ли союзники предпринять наступление на континенте, которое бы отвлекло сорок дивизий? Если союзники скажут «да», исход войны будет решен еще в этом году. Если они скажут «нет», мы будем

продолжать борьбу одни, делая все, что в наших силах, но никто не вправе ожидать от нас большего. Поездка в Лондон пока ничего не дала, советская делегация не получила сколько-нибудь положительного ответа. Черчилль просил Молотова остановиться в Лондоне на обратном пути из Вашингтона, русские полагают, что ответ англичан теперь будет конкретнее. Он, Молотов, отдает себе отчет, что в случае, если вторжение начнется, англичане должны будут взять на себя главное бремя, но он понимает, в какой мере значительной будет роль в этом деле и Соединенных Штатов. Молотов закончил заявлением: он не преуменьшает риска предстоящей операции, но хотел бы услышать прямой ответ, готовы ли Штаты к открытию второго фронта. Глава русской делегации так и сказал:

— Я прошу дать мне прямой ответ.

Молотов умолк. Гопкинс поднялся и закурил. Не гася зажигалки, он подошел к президенту. Президент взял сигару и принялся ее очищать, руки его в эту минуту больше обычного выглядели слабыми. Лицо Гопкинса продолжало оставаться сумрачно-суровым. Никто больше него не употребил усилий, чтобы нынешняя встреча состоялась, но он таил молчание. Советник президента крепко сомкнул рот, предоставляя президенту говорить то, что, казалось, должен был произнести он, Гопкинс.

— Ясно ли вам положение дел? — произнес президент, обращаясь к Маршаллу, когда сигара была очищена и зажжена. Молотов угадал: многое из того, что произнес президент в начале беседы, было обращено прямо к генералу. — Можем ли мы сказать Сталину, что готовим второй фронт?

— Да, — сказал Маршалл, и все пять американцев, сидящие за этим столом, точно повторили это «Иес», каждый на свой лад, но все одинаково сознавая, насколько это значительно и ответственно для общего дела союзников.

Вновь заговорил Рузвельт, заговорил, переводя взгляд то на Маршалла, то на Молотова, будто бы поощряя их к разговору, который они начали. Президент просил передать Сталину, что американцы надеются на открытие второго фронта в сорок втором году. Он сказал «в сорок втором», и это «forty two», как только что произнесенное «yes», казалось, повторили вслед за президентом и Гопкинс, и Маршалл, и Кинг.

Говорил Маршалл. Говорил, положив кулак на кулак. По его словам, армия прилагает все усилия, чтобы большая операция на континенте, о которой идет речь, стала возможной. Он, Маршалл, человек военный, и ему понятны и серьезность нынешнего положения, и необходимость быстрых действий. (Маршалл

произнес это, глядя на Молотова, точно давая ему понять, что согласен с тем анализом положения на европейском театре, который только что дал нарком.) Его, Маршалла, радует сопротивление, которое русские армии оказывают немцам. Если говорить откровенно, американцы располагают хорошо обученной пехотой, авиацией и бронетанковыми войсками. Трудность в транспорте. Маршалл полагает, что стратегический замысел должен заключаться в том, чтобы заставить немцев бросить на западный фронт всю свою авиацию, но это невозможно сделать без того, чтобы на них не оказывали давления наземные войска. Молотов строит свои расчеты на сорока дивизиях. Что же касается американцев, то они должны исходить из того, сколько солдат они способны переправить через Ла-Манш, и начать генеральное сражение по уничтожению немецкой авиации. Американцам нужна воздушная битва.

Вновь заговорил президент. Он сказал, что каждый конвой, направленный к русским берегам, превращается в военную операцию в трех измерениях, и, пододвинув к себе блокнот, изобразил, что он под этим понимает: самолеты (он научился их рисовать, не отрывая карандаша от бумаги), корабли (под рукой президента они были хороши, но чуть-чуть старомодны, похожи на многопушечные фрегаты, которые президент рисовал в детстве), подводные лодки (на рисунке президента перископ был больше своих размеров, зато было видно, это подлодка).

Кинг, внимательно следивший, как президент обозначил «операцию в трех измерениях», медленно заговорил. Да, в Нарвике и Тронхейме находятся крупные германские корабли, а в Северной Норвегии мощные авиабазы. Довести конвой в Мурманск и Архангельск — проблема серьезная. Особенно опасен отрезок пути от Исландии до Мурманска — германские самолеты засекают конвой и наводят на него свой флот, надводный и подводный. Чтобы обезопасить конвой, в открытом море должны находиться мощные силы английского и американского флотов. Вместе с этим два конвоя следуют навстречу друг другу из Исландии в Мурманск и из Мурманска в Исландию. Это делается для того, чтобы их могли прикрывать одни и те же самолеты. Советская авиация оказала бы конвоям немалую помощь, если бы подвергла бомбовым ударам базы подводных лодок в Нарвике и Киркенесе. Положение осложнено движением полярных льдов на юг — коридор свободной воды невелик, и это сужает радиус действия конвоев. Вот самая последняя весть: вчера вечером конвой, идущий в Мурманск, потерял пять судов и эсминец. Очевидно, летом будет легче: льды отодвинутся на север, коридор свободной воды станет шире. Правда, охранять конвой в светлые

дни полярного лета труднее, но это уже другая задача.

Как ни ярок был рассказ Кинга, президент первым установил, что его адмирал отклонился от маршрута и взял несколькими морскими милями в сторону. Но президент решил не обнаруживать этого, тем более что приближалось время завтрака и предстоял перерыв. Поэтому в тон адмиралу президент заговорил о делах, которые были достаточно насущными, но к проблеме большого десанта прямого отношения не имели. Например, о создании своеобразного воздушного понтона Америка — Россия через Аляску и переброске по этому понтону американских истребителей — перспектива достаточно дерзкая, но, на взгляд президента, реальная.

Молотов слушал президента с тем строгим, может быть, даже чуть-чуть хмурым вниманием, какое принимало его лицо, когда дело непредвиденно осложнялось. Действительно, рассказ адмирала Кинга о конвое, а потом эта реплика президента о переброске истребителей через Аляску могли сказаться на обсуждении главного — второй фронт. Пока этот вопрос не был решен, все остальные представлялись второстепенными. Каким бы обнадеживающим ни было сегодняшнее совещание (на вопрос президента Маршалл сказал «да», и в согласии со своими советниками президент назвал годом вторжения сорок второй), разговор не был окончен, больше того, наиболее ответственная его часть была впереди. Необходим документ, он должен зафиксировать достигнутое. Молотов слушал президента и думал о своем. Необходимо усилие, чтобы завершить прерванный разговор. Очевидно, усилие значительное.

…Когда часом позже за большим столом банкетного зала президент, обратившись к Молотову, спросил, не пожелает ли он ознакомить присутствующих с состоянием военных дел в России, советский нарком охотно откликнулся на эту просьбу. Быть может, эта просьба президента давала Молотову единственную в своем роде возможность еще раз подчеркнуть, в какой мере серьезно положение, и, таким образом, подвигнуть американцев к решению, которое в эти дни вызревало. В иных условиях вряд ли была необходимость в столь суровых тонах рисовать положение России, но сейчас это было нужно.

Молотов сказал, что нынешние операции немцев являются, как он думает, началом летней кампании, к которой они готовились. В пику немцам, которые атаковали позиции советских войск в Крыму, Красная Армия начала наступление под Харьковом. Это весьма печально, но нет смысла скрывать факты. Керченский удар немцев заставил советское командование ускорить харьковскую операцию. Советская тактика под

Харьковом, рассчитанная на окружение города, оказалась вначале удачной — советские войска вбили клин юго-восточнее Харькова. Немцы начали контрнаступление в районе Барвенково, введя здесь шесть бронетанковых дивизий. Молотов сказал, что он уже две недели как из Москвы и положение на этом участке фронта представляется серьезным. По крайней мере, он не возьмется предсказывать исход этого сражения. Как полагает Молотов, немцы могут в ближайшее время сосредоточить свое внимание на Москве или Ростове или даже проникнуть на Кавказ по линии Новороссийск — Майкоп — Баку.

Рассказ Молотова был откровенно суровым, суровее, чем хотели бы этого американцы. Молотовская фраза: «Это весьма печально, но нет смысла скрывать факты» — была лейтмотивом рассказа. Те из соотечественников президента, кто был настроен на празднично-легкомысленный лад, были чуть-чуть шокированы. Вместе с тем, казалось, президенту тон рассказа пришелся по душе. Можно было подумать, что именно такого рассказа он ждал от Молотова, ждал, чтобы сказать некоторым своим коллегам: «Я вас и прежде предупреждал, не следует недооценивать серьезности положения на русском фронте. Вот слушайте и мотайте на ус, если русским не будет оказана действенная помощь, мы усилим Гитлера и, чем черт не шутит, будем иметь дело с ним на американской земле!»

Час спустя состоялась церемония, которой президент, так можно было подумать, отвечал на сообщение Молотова.

Это был в какой-то мере торжественный акт: президент принимал весь состав делегации, а вместе с нею и экипаж русского бомбардировщика, доставившего делегацию за океан. Да, это было в характере Рузвельта: там, где он мог, он старался проявить полное радушие, тем более что ему предстояло пожать руки рядовым русским, солдатам и дипломатам, сражающимся против фашизма.

Присутствующих представлял Литвинов. Иногда президент прерывал посла и, обращаясь к тому, кого представляли, спрашивал: «Вы бывали в Штатах прежде?» Или: «Как вам нравится наша столица?» Или еще: «А не считаете ли вы, что американцы чем-то похожи на русских?» Президенту была приятна встреча с русскими летчиками. «Вы пионеры на пути из России в Америку! Я знаю, как трудно быть первым!» И, приподнявшись, что было ему нелегко, произнес, обращаясь к летчикам, короткий спич:

— Сейчас, когда вы знаете дорогу, вы побываете здесь еще раз и привезете вновь народного комиссара.

Эта встреча, которая была так хороша по настроению, завершилась тем, что Рузвельт вручил Молотову список материалов, которые американцы обязались доставить русским в течение года. В том, как этот деловой акт был превращен хозяевами в церемонию откровенно торжественную, чувствовалось не столько удовлетворение тем, что сделано для России, сколько сознание, что все совершенное недостаточно.

Не надо было быть большим провидцем, чтобы предположить, что каждой встрече у Рузвельта, на которой присутствовали русские, сопутствовала встреча, на которой русских не было. Неважно, размышлял Егор Иванович, кто присутствовал на этих встречах, много важнее, какова была позиция каждого из тех, к совету которых обратился в эти дни президент, и, разумеется, позиция самого президента.

Гопкинс, пожалуй, был единственным, кто, кроме президента, был участником всех совещаний, происходящих в эти дни в Белом доме по русским делам. Но вот что интересно, Гопкинс если и высказывал свое мнение, то, очевидно, один на один с президентом. На самих же совещаниях он хранил молчание. Наверно, на это были свои причины, достаточно веские. Все, кто хотел атаковать Рузвельта, делали это, используя не очень понятное для внешнего мира положение Гопкинса при президенте. Гопкинс как будто давал недругам президента козыри, каких бы они никогда не имели, если бы Гопкинса не было. Если учесть, что удары получал не только Гопкинс, сколько Рузвельт, то станет очевидным, сколь неудобна для президента была дружба с Гопкинсом. Если же все-таки он с ним дружил, то легко понять, как необходима была ему эта дружба. Гопкинс был советником президента в самом высоком и полном значении этого слова. Советником и, пожалуй, другом. Другом более бескорыстным, чем многие друзья президента. Говорят, Черчилль назвал Гарри Господином Корень Вопроса, имея в виду конкретность и существенность всего того, что делал Гопкинс. Это, пожалуй, верное определение. Сам Гопкинс делил людей на говорящих и делающих, относя себя ко вторым, но молчал он сейчас не по этой причине. Очевидно, он полагал, что должен отступить в тень, это больше соответствует его положению в Белом доме и не столь обременительно для президента.

Маршалл? Если говорить о военных советниках президента, то генерал Маршалл, как убежден Бардин, является ближайшим. Можно предположить, что идея вторжения на континент в 1942 году возникла в беседах, участниками которых были президент, Гопкинс и Маршалл. Больше того, весьма возможно, что эта тема возникла во время поездки Гопкинса и Маршалла по

Великобритании. Ходили слухи, что Черчилль без особых симпатий говорил о Маршалле. Эти высказывания Черчилля странным образом совпадали с поездкой Маршалла на Британские острова. Быть может, поводом к ним послужило мнение генерала о большом десанте. Тот факт, что на известный вопрос Рузвельта о вторжении Маршалл ответил категорическим «да», свидетельствует, что он был здесь единомышленником Рузвельта и Гопкинса, хотя разговоры с англичанами должны быть еще свежи в памяти Маршалла и каждый новый поворот в обсуждении этой проблемы, возможно, рождал в его сознании один и тот же вопрос: «А как посмотрят на это англичане? Не испугает ли это их?»

Хэлл? Как отметил для себя Бардин, у него лицо игуменьи: недоброе, иссушенное заботами, чуждое мирским волнениям. Его антисоветизм, видно, принял форму веры. Хэлл так долго его исповедовал, что уже не в силах отказаться от него, хотя сегодня возносит свои молитвы не так громко. Любая форма участия в русских делах для него крамола. Есть мнение, что он не участвует в переговорах по главным вопросам отчасти и по своей воле. В документе, который подытожит переговоры, он просил это отметить, назвав обсуждаемые вопросы военными. Хэлл избрал эту формулу, чтобы отмежеваться от того, что происходит в эти дни в Белом доме, и объяснить свое неучастие. Такой человек, как Хэлл, не имеет права на существование без того, чтобы у него не было антагониста. В неприязни к Гопкинсу Хэлл черпает силы, чтобы утвердиться в своей позиции.

Нет, решительно, такой человек, чтобы жить, должен иметь антагониста.

Интересно наблюдать за Рузвельтом, когда он сидит, устроившись в углу кресла, чуть-чуть подобрав ноги, укрытые пледом. Он так высох, что его уже не хватает, чтобы заполнить все кресло. Но, как всегда, очень живые глаза, они все видят. Они точно озаряются, останавливаясь на людях, сидящих подле: Гопкинс, Хэлл… Кажется, президент сейчас решает эту задачу человеческую: как соотнести этих людей, а иногда и развести, сделать так, чтобы они разминулись? Вот сейчас у него именно эта цель, чтобы его советники не сшиблись лбами. Что же касается главного — отношения к России, — то президент тут верен себе: Америка признала Советскую Россию по почину Рузвельта, остальное должно быть производным этого факта.

Русским предстояло встретиться с президентом в четвертый раз, последний.

Удалось ли Рузвельту в эти дни связаться с «бывшим военным морским деятелем», обменяться впечатлениями о встречах с

русскими? Да, трансатлантический кабель исправен. Если эти контакты имели место, какой результат они дали?

59

Бардин зашел в посольство и встретил Гродко. Александр Александрович ездил на западное побережье и прибыл в Вашингтон только что. Бардину была приятна встреча с Гродко, беседа в наркоминдельской читальне в начале войны запомнилась.

— А я уже хотел обидеться, — сказал Гродко, рассматривая Бардина с печальной внимательностью. — Думаю, забыл, быстро забыл.

— Нет, помню, не могу не помнить, но ведь вас не было. Так? Вчера смотрел на Гопкинса и вспоминал вас. Тогда в этой наркоминдельской читалке были сказаны верные слова.

— Ну, спасибо. Как будет полегче, заходите.

— Да я бы, признаться, не хотел откладывать.

— Тогда сегодня вечером, у нас московское расписание, работаем допоздна.

— Охотно. Благодарю вас.

Вечером Бардин пришел в посольство.

— Пять минут, Егор Иванович, последний абзац. Сейчас сдам на машинку.

— Отчет о поездке? У вас небось старое доброе правило: по горячим следам, не откладывать.

— Да, я люблю сразу. — Он сложил исписанные странички, тщательно пронумеровал. — Чаю хотите крепкого?

— Не откажусь. Как поездка?

— Второй фронт, все страсти вокруг него!

— Америка нас понимает лучше? — спросил Бардин.

— Очевидно, — он сказал «очевидно», хотя было желание сказать более определенно. Он осторожен. — Дело не в том, что американцы прогрессивнее, хотя английская твердолобость, как вы понимаете, явление уникальное. — Он засмеялся, махнул рукой. — Признайтесь, вы сейчас могли подумать так. В Вашингтоне любят говорить об английской твердолобости, в Лондоне, пожалуй, об американской бесцеремонности, ну, об этой способности янки в любой обстановке чувствовать себя, как дома. — Как показалось Бардину, Гродко был чуть-чуть смущен. — Признайтесь, подумали так?

— Нет, хотя, если бы подумал, не отказался, в этом наблюдении есть доля истины, — улыбнулся Бардин.

— Так я говорю, — продолжил Александр Александрович, — американцы спешат покончить с Гитлером, чтобы расправиться с Японией.

— Им надо спешить? — спросил Егор Иванович.

— Да, конечно. Ресурсы Азии, людские и всякие иные, это нечто глобальное. Удар как можно раньше… Я слышу, поливают сад, — взглянул Александр Александрович в окно. — Я открою, не боитесь сырости?

— Нет, наоборот, — отозвался Бардин. Гродко быстро подошел к окну и раскрыл. Было слышно, как внизу бушует вода, шипит в траве и точно трескается, ударяясь о камень. — Гитлер — враг номер один и для Америки? — был вопрос Бардина.

— Да, стратегически удары у американцев распределены именно так: первый удар по Германии, второй — по Японии.

— Не только силами Америки? — Логика беседы подсказала Бардину именно этот вопрос.

— По всему, дело идет к этому.

— Американцы так спешат, что готовы допустить долю риска? — спросил Бардин. Он знал, что американские военные готовы к европейскому десанту и при нынешнем уровне подготовки, в то время как англичане считают операцию осуществимой лишь после реализации плана подготовки, громоздкого, рассчитанного на годы.

— Да, риска, но… риска американского.

— Надо ли это понять так, что американцы что-то недоучитывают?

— Нет, дело, очевидно, в ином.

— В чем именно?

— Американцы считают, что при том преимуществе в силах, которое имеется уже сегодня, не обязательно, чтобы все пуговицы на мундире были застегнуты. Можно, в конце концов, и распахнуть мундир, будет не так жарко.

— Но как далеко американцы готовы пойти, отстаивая свою позицию?

— Вот это, наверно, главный вопрос, — произнес Гродко, казалось, он уже знал следующий вопрос Бардина и понимал, как нелегко будет ответить.

— Могут американцы воспротивиться возражению англичан, серьезно воспротивиться? — спросил Егор Иванович. Вот он, вопрос, которого ждал собеседник Бардина.

Александр Александрович подошел к окну, пошире его раскрыл. Садовник покинул сад, и запах мокрой травы, смешанный с запахом влажной земли, медленно остывающей после полуденного зноя, проник в комнату.

— В таком деле, как второй фронт, американцы зависимы от англичан, — произнес наконец Гродко.

— В чем именно зависимы?

— Десант будет высажен с Британских островов.

— Да, но и англичане зависят от американцев.

— Да, разумеется, — произнес Гродко.

— Разная степень зависимости? — уточнил Бардин, ему показалось, что Гродко хотел сказать именно это.

— Можно ответить и так. Можно, хотя ответ этот мог быть и полнее.

— В каком смысле полнее?

Гродко сейчас вернулся в свое кресло. Свет за окном погас, и листва, только что прозрачно-золотая, стала черной, а вместе с нею черным стало и ночное небо, обсыпанное звездной пылью.

— А вот что. В то время как англичане утвердились в своей позиции и будут отстаивать ее до конца, американцы импровизируют.

— Это что, разница в темпераментах Рузвельта и Черчилля?

Гродко улыбнулся:

— Нет, я бы сказал иначе. Темпераменты очень точно характеризуют позицию сторон, хотя дело, разумеется, не в темпераментах.

Бардин встал.

— До новой встречи. Это было интересно и, я так думаю, полезно. Благодарю.

— Пожалуйста. Рад встрече.

Бардин ушел.

60

Первого июня, за три недели до годовщины войны, состоялась четвертая встреча с президентом, последняя.

Было утро, как обычно для Вашингтона в июне, знойное, даже душное. Видно, окна в кабинет президента были закрыты до того еще, как город ощутил зной, — в кабинете было прохладно.

— Русские слыхали о добровольном обете молчания, который приняли на себя американские газетчики? — спросил президент, смеясь, когда гости появились на пороге его кабинета. — Мы хотели, чтобы о приезде господина Молотова никто не знал, но уберечь эту тайну оказалось невозможно, это Америка! (Русские вспомнили первую прогулку по саду, окружающему Белый дом, и лица любопытных в окнах.) Те, кто аккредитован при Белом доме, узнали. Пришлось собрать газетчиков и сказать: вводим закон молчания, при этом хранителем его будете вы сами. Не знаю, как завтра, но сегодня они молчат.

Казалось, доброе расположение духа передалось гостям. Президент умел приберечь к началу разговора такое, в чем была искорка веселья и что призвано было поднять настроение его собеседников.

— Очевидно, сообщение о переговорах должно быть опубликовано, как только господин Молотов вернется в Москву. Кстати, надо сделать так, чтобы о самом факте возвращения узнали русские послы в Вашингтоне и Лондоне, а через них и мы. Сообщение должно быть опубликовано в трех столицах одновременно. Не так ли?

Молотов кивнул. «Надо еще долететь», — точно хотел сказать он этим своим ответом, как могло показаться Рузвельту, сдержанным весьма.

— У меня на руках меморандум госдепартамента, — сказал президент, поглядывая на Молотова, который был строг. Президент должен был уловить эту сдержанность, когда еще шла речь о корреспондентах. — Представительные группы Финляндии хотят мира с Россией.

Президент добавил, что группы эти могли бы собрать свои силы и явить их финскому общественному мнению, если, разумеется, Москва и Вашингтон сделали бы какие-то определенные шаги.

— Представительные силы? — переспросил Молотов. — А эти силы представительные кого представляют? Финляндию они представляют официально?

— Нет, — был ответ президента.

— Но хотят мира?

— Да.

— Они имеют в виду какие-то определенные условия?

— Нет, — сказал президент.

— И они не высказали никаких условий при этом?

— Нет.

Казалось, президент уловил сдержанность Молотова и этими лаконичными «да» и «нет» пытался преодолеть ее.

— В какой мере эти группы выражают мнение нынешнего правительства Финляндии?

— Наши сведения ограничиваются тем, что такие группы существуют, их несколько, — сказал президент, видно, памятная записка Хэлла, которую русский исчерпал своими вопросами, не могла дать больше, и президент был слегка обескуражен. Это не ускользнуло от Молотова. Он сказал, что хотел бы обсудить этот вопрос со Сталиным. Последняя фраза, казалось, была встречена Рузвельтом с облегчением.

Президент должен был заметить, на его сообщение русские реагировали с меньшим энтузиазмом, чем мог он ожидать. Это объяснялось двояко. В отношениях России со Штатами финская тема была предметом деликатным — в России наверняка помнили, как много Штаты сделали, чтобы осложнить недавний русско-финский конфликт, при этом особенно деятелен был автор памятной записки, которая лежит на столе у Рузвельта. Русские вправе не доверять этой акции, весьма возможно, что «представительные группы», на которые опирается в своей записке Хэлл, ничем не отличаются от тех, которые два года назад питали его ненависть к России. Весьма возможно, что финские контрагенты Хэлла сегодня те же, что были вчера. Но отсутствие энтузиазма у гостей к сообщению президента могло объясниться и иным. Они хотели ясного разговора по главному вопросу.

Президент заговорил об авиатрассах между Америкой и Россией через Ближний Восток и Аляску, первая — почтовая, вторая — транспортная, для перегонки самолетов. Молотов обещал рассмотреть и этот вопрос.

— Важно, какую часть пути будут обслуживать русские самолеты, какую — американские. Советские самолеты до Нома или американские до Петропавловска. Важен принцип, дело надо наладить.

Молотов сказал, что он сделает все возможное, чтобы решить вопрос.

Тогда президент заговорил о послевоенном мире. Речь шла о расчетах по займам военного времени. Президент думал над

этим. Старый опыт подсказал ему новую мысль. Вместо уплаты процентов по займам следует выработать план выплаты только капитала и заложить его на годы, быть может, немалые. Молотов сказал, что, вернувшись в Москву, обсудит и эту проблему.

В этом месте беседы Гопкинс, внимательно следивший, как президент развивает свою мысль, наклонился к Рузвельту и спросил его, не хочет ли он обсудить свой проект о создании международного фонда. Хотя Гопкинс заметно приблизился к президенту, чтобы спросить об этом, он произнес вопрос достаточно громко, не делая тайны. По крайней мере, русский переводчик его слышал. Легким кивком головы президент дал понять, что принял его замечание к сведению, но продолжал говорить, оставив, как это выяснилось позже, совет Гопкинса без внимания. Как ни внимателен был президент ко всему, что говорил Гопкинс, он мог с той же мягкостью отвергнуть совет многоопытного Гарри, с какой он его выслушал.

Затем речь зашла об устройстве той части мира, которая является колониальной. Президент упомянул Индокитай, Сиам, Малайю и голландскую Индию, заметив, что каждой из этих стран (он сказал «риджэнз!» — «районов!») нужно разное время, чтобы подготовиться к самоуправлению, но стремление к независимости повсюду одинаково. По мере того как президент развивал свою мысль, русских заметно охватывало волнение. Конечно же, Рузвельт и прежде высказывался в том смысле, что необходимо покончить с колониями, и однажды даже поверг английского партнера по Атлантической хартии в состояние гнева, но с русскими на эту тему он не говорил, да и трудно было предположить, что на столь деликатную тему он начнет разговор с русскими.

Но вот вопрос, почему Рузвельт заговорил об этом с русскими. Разумеется, Рузвельт мечтал не столько о крушении колониализма, сколько об уничтожении системы колониальных отношений, дающей известные выгоды одной группе государств перед другой; наверно, здесь играла известную роль не столько давняя ненависть Рузвельта ко всем видам рабовладения, сколько не меньшая ненависть к системе британской колониальной деспотии. Но вопрос был поставлен, и Молотов не мог не скрыть своего удовлетворения, что президент счел необходимым этот вопрос с ним обсудить. Молотов сказал, что эта проблема заслуживает серьезного внимания союзников и что, как он полагает, в Советской стране ей будет уделено большое внимание. Очевидно, всякое решение по этому вопросу будет зависеть от гарантий со стороны трех великих держав (и, может быть, Китая), при этом свою формулу, саму по себе достаточно

четкую, Молотов сопроводил оговоркой: гарантии должны сочетаться с контрольными функциями, которые помешают Германии и Японии вновь вооружиться и угрожать войной другим странам. Видно, мнение русского делегата воодушевило президента, по крайней мере, он подытожил этот тур беседы фразой, которая прозвучала обнадеживающе.

— На мой взгляд, не следует ожидать здесь каких-либо затруднений, — сказал президент.

Рузвельт откровенно взглянул на часы и развел руками. Дотянувшись прохладной ладонью до руки Молотова и явно прося извинения, он сказал, что в двенадцать он должен завтракать с герцогом и герцогиней Виндзорскими, но до того, как это произойдет, хотел бы обсудить с Молотовым вопрос, как можно было понять, имеющий немалое значение. Он упомянул о сиятельной чете англичан с тем веселым озорством, с каким он, как могли заметить в эти дни русские, говорил о веселых пустяках, украшающих быт президента и имеющих значение только в той мере, в какой они делают этот быт не таким скучным. Возможно, он обратился к именам герцога и герцогини Виндзорских в надежде блеснуть новым каламбуром, но сейчас на это просто не было времени, и, махнув рукой, он перешел к сути того, что хотел сказать Молотову.

По словам президента, американцы надеются открыть второй фронт в нынешнем, сорок втором году, но они смогут ускорить приготовления только в том случае, если будут располагать большим количеством судов. Поэтому военные хотели бы, чтобы русские, имея в виду эту главную задачу, пересмотрели список товаров, которые Штаты должны поставить России. Вывод, к которому пришли американцы, был для русских более чем неутешителен — поставки должны быть сокращены. Рузвельт повторил: второй фронт должен быть открыт в сорок втором году. Сказав это, Рузвельт полагал, что он обрел право произнести и иное: в конце концов, одни и те же корабли не могут быть в двух местах. Тут же выяснилось, что американцы хотели бы сократить поставки не столько самолетов и автомашин, сколько металла, каучука, химикатов.

— Вы же не успеете обратить это сырье в оружие нынешним летом или осенью, — заметил президент.

Гопкинс ощутил неловкость, он видел, в какое замешательство привел этот разговор гостей.

— Да, но танки и боеприпасы будут отправлены в том количестве, в каком это было запланировано прежде, — заметил Гопкинс, стараясь скрасить впечатление.

Как ни пытался Гопкинс смягчить удар, он был нанесен, и

русские не могли скрыть, что они огорчены. Но беседа продолжалась, она должна была продолжаться, и Молотов, стараясь вернуть беседу в прежнее русло, обратился к иронии. Это было ему в такого рода обстоятельствах даже не очень свойственно. Он спросил: а не получится ли, что русские дадут согласие на сокращение поставок и в обмен не получат ни достаточного количества материалов, ни второго фронта? Раздался смех, несколько нервный, и мгновенно стих. В наступившей тишине Молотов спросил президента, какой ответ он должен сообщить в Лондоне и в Москве по главному вопросу: второй фронт?

Президент вновь взглянул на часы, они показывали двенадцать, и с лихой небрежностью махнул рукой, точно говоря себе: «Стоит ли обращать внимание на пустяки, когда их и впредь будет немало?» Итак, Молотов поставил вопрос с такой категоричностью и прямотой, с какой не ставил прежде. Можно было даже подумать, что репликой о сокращении поставок Рузвельт дал возможность повернуть дело таким образом. Своим вопросом Молотов как бы говорил собеседнику: его ответ должен быть коротким и точным. Что же должен сказать Молотов в Лондоне, например?

Рузвельт взял со стола часы и надел их на руку, не взглянув на циферблат. Нет, этот его жест решительно не имел никакого отношения к тому, что время встречи истекло, больше того, часы уже отсчитывали минуты, принадлежащие герцогу и герцогине Виндзорским.

— Можете сказать в Лондоне, что мы надеемся открыть второй фронт, произнес Рузвельт. — Мы это сделаем тем быстрее, чем быстрее советское правительство предоставит нам эту возможность. — Как отметил Рузвельт, детали этого решения будут уточнены после возвращения американских военачальников, которые в настоящее время находятся в Лондоне и которые вернутся на родину вместе с высшими чинами британской армии, возглавляемыми лордом Маунбеттеном и маршалом Порталом.

Президент взглянул на Молотова, стараясь определить, какое впечатление его слова произвели на гостя, и, заметив на лице русского улыбку, с видимой торжественностью протянул ему обе руки.

— Picture, my picture! Портрет, мой портрет! — произнес президент с той наигранной патетикой, с какой произносил эту фразу в подобных обстоятельствах не раз прежде, извлек из бокового кармана вечное перо и, сняв с него колпачок, как бы приготовился к действию.

Принесли фотопортрет президента, тот самый, осиянный белозубой «рузвельтовской» улыбкой. Президент с видимым удовольствием украсил его приятно матовую поверхность своей росписью, не забыв поставить дату: 1 июня 1942 года.

Говорят, что дипломатический текст похож на хорошие стихи: он ничего не выказывает явно, но все необходимое всегда при нем. Из опыта Бардин знает, нет ничего увлекательнее и труднее, чем создать такой текст. И текст коммюнике, как сейчас. Даже больше, пожалуй, нынешнее коммюнике стоит иного договора. В первооснове коммюнике мнение сторон — переговоры. Даже точнее, нечто такое, что означает сближение точек зрения сторон. Однако, как ни близки эти точки зрения, они никогда не сблизятся настолько, чтобы стать одним мнением.

Наверно, искусство составления коммюнике состоит в том, чтобы, не обнаруживая различия взглядов, создав иллюзию их единства, отстоять нечто такое, что наиболее полно отражает твои интересы. Но, наверно, это возможно, когда коммюнике не отступает от существа переговоров, а, наоборот, максимально к нему приближено.

Хороший дипломат не полагается на память, но только когда дело касается проверки фактов. Если же говорить о функциях его памяти, то она должна быть настолько действенна, чтобы быть готовой воспроизвести картину переговоров, в такой же мере общую, в какой и детальную. Воспроизвести, чтобы, как сейчас, не выйти за пределы того, что имело место на переговорах, и сберечь для документа их дух и букву.

Американцы предложили свою формулу коммюнике. В нем второй фронт лишь маячил, а сорок второй год как год осуществления большого десанта был исключен начисто.

Русские отвергли американский текст и предложили свой.

По всему, в этом был риск немалый: американцы могли не согласиться с мнением советской стороны, быть может, даже дать бой. Но, полагая, что здесь игра стоит свеч, русские пошли на риск, и это было оправданно. Собственно, документ, который предстояло принять, можно было назвать коммюнике лишь условно. На самом деле это был текст договора, при этом по вопросу первостепенному. Тот факт, что этот текст исходил от трех великих держав и предназначался к одновременному опубликованию в Москве, Вашингтоне и Лондоне, по существу, означал, что под ним стоят подписи Рузвельта, Черчилля и Сталина, да, и Сталина, хотя он присутствовал на переговорах лишь символически.

Очевидно, русскому тексту документа следовало все

поставить на место.

Вот попробуй отвертись, когда в коммюнике есть такая фраза:

«…При переговорах была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач открытия второго фронта в Европе в 1942 году…»

В том случае, если американцы примут русскую формулу, осмелятся ли англичане изменить ее?

Бардину сейчас казалось: хорошо, что разговор о втором фронте с англичанами был оборван на полуслове. Возразив, они, в сущности, передоверили решение вопроса американцам. Передоверили? Да, в известной мере. И американцы решили? А это можно теперь проверить.

Текст коммюнике был направлен американцам.

На вашингтонском аэродроме стоял наготове советский самолет, а новый текст совершал в это время трудное круговращение.

Русский текст был показан всем, кто участвовал в переговорах.

Гопкинсу текст импонировал, и он его принял.

Хэлл повторил свою прежнюю просьбу: не упоминать его среди тех, кто участвовал в решении военных вопросов.

Маршалл полагал, что фраза о втором фронте слишком сильна, и счел необходимым, чтобы ссылка на 1942 год была опущена.

Президент принял коррективы Хэлла и отверг поправку Маршалла.

Третьего июня советский самолет покинул Штаты, взяв курс на Лондон.

И вновь океан, необозримый, иногда кажущийся выпуклым, сверкающий на солнце, то огненно-дымный, как лава при выходе из кратера, то серо-лиловый, в красных прожилках, как та же лава, выкатившаяся на равнину, затвердевающая.

Но как ни сильны воздушные ухабы, течение мысли неодолимо, течение упрямой мысли. Вот попробуй проникнуть в такую: как развяжут этот узел англичане? Ведь текст коммюнике должен быть опубликован и от их имени. В какой мере им придется по душе формула о втором фронте и сорок втором годе? Если двое из трех союзников (и каких союзников!) проголосовали «за», очевидно, третий уже не в силах сказать «нет». Отвергнуть, значит, пойти на разрыв. Отвечает ли этот разрыв намерениям англичан? А если не разрыв, тогда какой выход из положения? Истинно, течение упрямой мысли неодолимо, и никакие ухабы ее не нарушат.

А солнце стремительно уходит за округлую линию океана, и лава, только что огненно-дымная и живая, на глазах обрастает корой и окаменевает, при этом океан вдруг становится странно похожим на поверхность неведомой планеты, выхваченную оптическим стеклом из бездны вселенной…

61

Едва самолет приземлился на английской земле, русским сказали, что их хотел бы видеть Черчилль. Это не столько воодушевляло, сколько настораживало. Эта настороженность не стала меньше, когда, прибыв в резиденцию премьера на Даунинг-стрит и пройдя по сложной системе коридоров, русские были препровождены (иначе это и не назовешь: строгие чины протокола, чопорно-торжественные и молчаливые, встретили делегацию у входа и, не говоря ни слова, ввели в здание) не в кабинет премьера, как это было в прошлый раз, а в зал заседаний, в этот утренний час достаточно людный. Было такое впечатление, что англичане приготовились скрепить своими подписями текст нового договора. Нет, этому впечатлению не противоречили, а точно соответствовали не только сами апартаменты, в которые были доставлены русские, не только количество высокопоставленных английских лиц, приглашенных на церемонию, но даже и форма одежды, что в английских условиях безошибочно указывало на характер церемонии. Именно подписание договора или что-то вроде этого.

Черчилль вышел навстречу гостям, при этом его вид не столько выражал озабоченность, сколько, спокойную праздничность, даже веселость, и это было уже непонятно. Ну, разумеется, история слишком определенно свидетельствовала, что сила английской дипломатии заключалась в том, что она никогда не давала застигнуть себя врасплох. Можно было допустить, что эта дипломатия и на этот раз обратилась к средству, которое способно было предупредить неожиданность. Но что это было за средство и в какой мере оно было действенным, чтобы вот этак воодушевить того же Черчилля?

— А вы знаете, это наше коммюнике о сорок втором годе способно серьезно ввести в заблуждение немцев, — произнес английский премьер почти торжествующе.

— Надеюсь, только немцев, — улыбнулся Молотов. — Что же касается нас с вами, то мы знаем, сорок второй есть сорок второй.

То, что можно было назвать спокойной праздничностью у Черчилля, точно рукой сняло.

— Вот документ, который имеет прямое отношение к существу нашего разговора, — сказал Черчилль и направился к столу, из-за которого он только что поднялся, встречая русских. Его шаг был нетверд, а тело как бы потряхивалось, что происходило с ним в последние годы всегда, когда он старался идти быстро. Но особенность этой его походки заключалась в том,

что ему удавалось принять деловой вид, но не удавалось идти быстро. Иначе говоря, чем больше он работал ногами, тем медленнее он шел. Было впечатление паровоза, который начинал вдруг усиленно вращать колесами и имитировал движение, шипел, испускал пар, но стоял на месте.

— Вот документ, о котором я говорил, — сказал Черчилль и в наступившей тишине, что определенно выражало значительность происходящего, подал Молотову тонкую папку, настолько тонкую, что казалось, она была пуста.

Но, увы, папка не была пуста. Документ, вложенный в папку, гласил:

«ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

Мы ведем подготовку к высадке на континенте в августе или сентябре 1942 года. Как уже объяснялось, основным фактором, ограничивающим размеры десантных сил, является наличие специальных десантных судов. Между тем ясно, что ни для дела русских, ни для дела союзников в целом не было бы полезно, если бы мы ради действий любой ценой предприняли какую-либо операцию, которая бы закончилась катастрофой и дала бы противнику удобный случай для похвальбы, а нас ввергла бы в замешательство. Невозможно сказать заранее, будет ли положение таково, чтобы сделать эту операцию осуществимой, когда настанет время. Следовательно, мы не можем дать обещания в этом отношении, но если это окажется здравым и разумным, мы не поколеблемся претворить свои планы в жизнь».

Нет, океан был не самым опасным отрезком пути, самым опасным был вот этот — самолет пересекал линию фронта. Но, странное дело, мысли об опасности отодвинулись событием, которое только что произошло. Да не характерно ли было все то, что только что свершилось, для английской дипломатии, для того, что отождествлялось с ее изменчивой сутью на протяжении веков?

Возник вопрос о границах, и англичане сняли его с помощью союзного договора, который сам по себе символизировал принципы наиблагороднейшие, но был порожден не столько тем, что у англичан была необходимость декларировать эти принципы, сколько возможностью избежать обязательства о советских границах.

В порядок дня был поставлен вопрос о втором фронте в этом году, и англичане изобрели вот эту свою памятную записку с ее формулой на все случаи жизни: «…следовательно, мы не можем

дать обещания…»

Но в тот момент, когда самолет, преодолев наконец линию фронта, шел к Москве и на обширном поле подмосковного аэродрома, укрытом негустым мраком июньской ночи, готовились погасить сигнальные огни, полный смысл этой английской формулы еще предстояло постичь.

62

Бардин вернулся в Москву на рассвете и, не заезжая на Вторую Градскую, отправился в Ясенцы.

Машина мчалась много раз езженным Ярославским шоссе, и, оглядываясь по сторонам, Бардин точно хотел выспросить у самой подмосковной земли, как ей нынче можется.

Июнь уже вступил в свои права, июнь дождливый, и зелень казалась необыкновенно яркой и свежей. У самых Ясенец машина въехала в деревеньку с тремя березами у околицы, и Егор Иванович приметил ярко-красную заплату на крыше. За страдную зиму крыша прохудилась, и хозяин, вернее, хозяйка (хозяин воюет или, почитай, уже отвоевался) окунула кусок крапивного мешка в краску и положила на худое железо, а той краской, что осталась, выкрасила две крайние рейки на воротах. «Видно, не все потеряно, ежели есть минута и о красоте подумать», — улыбнулся Егор Иванович, глядя на красную заплату и ворота в алой раме.

Бардин попросил шофера остановить машину, когда до дома оставалось еще квартала два. Шел и думал: сейчас будет так… И выстраивался порядок встречи. Сию секунду Егор Иванович свернет за угол и увидит белую косынку Ольги на огороде. Он окликнет Ольгу, она вскрикнет и всплеснет руками, как это делает человек, который, зарывшись глубоко в воду, хочет вырваться наружу. На Ольгин крик выбежит Иришка и, увидев отца, побледнеет и медленно опустится на край ступеньки — когда она волнуется, ее покидают силы. И вслед за Иришкой, держась за косяк двери, выползет старый Бардин. «Носит тебя, Егор, по белу свету, словно облачко невесомое!..»

Так думал Егор Иванович, стараясь рассмотреть в пролете переулка дом за зеленым штакетником, но все случилось иначе. Ольги с Иришкой не оказалось дома, и Егора Ивановича встретил лишь отец. Он сидел в большой комнате за столом, накрытым белой скатертью (не иначе, ждали Егора — белая скатерть на этом столе появлялась в дни праздничные), и колдовал над бутылкой домашнего вина. Он увидел сына, весело сощурился, будто ему плеснули в лицо теплой водой, пошел навстречу Егору, пошатываясь.

— Значит, жив-здоров, сынок? — повторял он счастливо. — Жив-здоров?.. Вижу, непросто сломить бардинское дерево, — произнес он и повалился сыну в объятия, всхлипывая. Прежде он подтаивал не так быстро, подумал Егор. Прежде слезы у него были подале. Не иначе, время добралось и до него. — А я уж и счет потерял дням, — произнес Иоанн и ткнулся заметно

влажным лицом в плечо сына. Не так уж много времени прошло с тех пор, как Егор видел отца последний раз, а старый Бардин побелел и, пожалуй, порозовел заметно — этакая стариковская розоватость, неестественно алая, прозрачная — да руку, контуженную инсультом, научился держать на весу. — Значит, жив?

— Жив, — сказал Егор, точно извиняясь, что явился к отцу во здравии…

— Вот и хороню, — произнес Бардин, и в голосе его уже не было слез. Иоанн «отлепился» от сына и, как-то сразу подобравшись, пошагал уверенно твердой походкой к столу, где дожидалась бутылка домашнего вина. — Вот отыскал в подвале три бутылки ягодной… Перед обедом чарочку, ах, как хорошо! — Он отодвинул от себя бутылку, застеснявшись, и, подобрав больную руку, положил ее на стол. Она, эта рука, вопреки натуре Иоанна была странно покорна. — Да не подумал ли ты, что я запил на старости лет? Скажи, не подумал?

— Нет, Бардины тут защищены броневой сталью.

Верно, Егор, — встрепенулся Иоанн и пристально посмотрел на сына. — Верно, хотя иногда так худо, что, пожалуй бы… — Он задумался, опустил глаза. Его брови, заметно разросшиеся, однако в отличие от снежных волос ярко смоляные, сейчас нависли над глазами и почти затопили их, так бывало с ним и прежде, когда в сердце его копилась хмарь. — Ходят слухи, вече собирается. Того гляди колокола кремлевские проснутся?

Погоди, ты это о чем? Колокола? — переспросил Егор Иванович, он не очень понял отца. — Ах, да, колокола! — воскликнул Егор. Кажется, пора привыкнуть к многозначной бардинской речи, он ведь говорит о сессии, назначенной на четверг. — Ты прав, вече.

— Это какой же такой спех? — спросил Иоанн. — Кажись, дом в огне, не ровен час, пламя матицы порушит, и вдруг… вече? Я так думаю, как ни всемогущ твой язык велеречивый, а с огневым язычишкой ему, пожалуй, не совладать!

— Да ты знаешь, о чем речь пойдет на вече? — спросил Егор в сердцах. Нет, старик Бардин жив, и жива его строптивая суть. — Знаешь?

— Знаю!

— О чем?

Иоанн засмеялся, да так дерзко взял и захохотал. Неужели он знает, о чем пойдет речь на сессии?

— Нет, нет, скажи, о чем. — Егору казалось, что единым ударом он сшибет отца и тогда, дай бог силы, дело за невеликим, как-нибудь доконает.

— О чем? — Иоанн все еще хохотал.

— Да, о чем речь?

— О молотовской миссии за океан, о большом десанте.

Знает, дьявол! Что ни говори, а хитер, бестия. Намекнул ему кто-то или сам допер? Сам!

И что ты хочешь этим сказать? — спрашивает Егор как можно невозмутимее. Главное — сохранить вот эту невозмутимость, не дай бог, заметит, что ты потерялся ненароком, что предательское смятение пробралось в твое сердце, не жить тебе, раб божий Егор. — Что ты хочешь сказать этим? — Вот так, повторяя одни и те же слова, можно, пожалуй, довести до белого каления Иоанна.

— А вот что. Зачем вы людям голову морочите? — вдруг бросил Иоанн, перестав смеяться.

Нет, не слова его, как бы ядовиты они ни были, а его лицо, неожиданно жестокое, заставило Бардина насторожиться.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Егор.

— А что имеете в виду вы, собирая народ? Не хотите ли вы сказать, что союзники обещают высадить большой десант еще в сорок втором году?

— Хотим.

— А какой смысл говорить это?

— Как какой смысл?

Иоанн улыбнулся. О, эта улыбка не предвещала ничего хорошего!

— Вот ответь мне, ради Христа, по-честному. Ты веришь, что союзники высадят большой десант в этом году? Я вижу, ты задумался. Хорошо, меня устроит любой ответ. Если ты хочешь сказать, что тебе трудно ответить на этот вопрос определенно, я и этот ответ приму с благодарностью. Итак, какой ответ ты избираешь?

— Пожалуй, третий. Мне трудно ответить на этот вопрос определенно, хотя я бы хотел верить.

— Спасибо, ты ответил честно, а вот как ты будешь говорить там, на вече? — спросил Иоанн и зарделся, от удовольствия зарделся, от предчувствия, что победил в нелегком споре с сыном. — Так и изречешь: «Мне трудно ответить на этот вопрос определенно»?.. Так? А может, найдешь другие слова, ну, например: «Я верю в открытие второго фронта!»?

— Прости меня, отец, но ты не угадал, я так не скажу.

— А как, Егор?

— Я скажу, вот документ, подписанный нами и союзниками, вот их обязательства.

— Погоди, но такой ответ никого не устроит, на то оно и вече, чтобы знать мнение, в данном случае твое мнение…

Впрочем, если ты просто изложишь смысл документов, то и одним этим ты как бы выскажешь сочувствие, а следовательно, и мнение. Оно, это мнение, в такой мере определенно, что есть необходимость опровергнуть его, если, разумеется, у тебя иной взгляд.

— Ты хочешь поймать меня на слове, отец.

— Нет, я не ловлю тебя на слове, да и не мне ловить тебя. Я просто хочу сказать, если ты веришь, что союзники откроют второй фронт в этом году, то, прости меня, сын, ты дурак. Если же ты не веришь в это и делаешь вид, что веришь, то ты, как бы это сказать помягче, человек нечестный. И в одном случае, и в другом решительно нет необходимости собирать людей и говорить им, что второй фронт будет. И не просто говорить, а похваляться своей особой, делать вид, что это чуть ли не твоя личная заслуга! Не твоя именно, а тех, кто был с тобой. Зачем?

— Ты полагаешь, что в данном случае вече неуместно?

— Да, Егор, я так думаю.

— Я хочу, чтобы ты договорил до конца, отец.

— А что тут говорить, и так ясно — не надо людей вводить в заблуждение! Не надо сеять ложные иллюзии. Знаю русского человека и не думаю, что это поможет ему. Если ты хочешь, чтобы русский человек явил все, что он в состоянии явить, ему надо говорить правду. Самую ярую, самую, прости меня, голую, так, что отвернуться впору, а он не отворачивается. Правда, от нее не отворачиваются. Всегда говорить правду, а сегодня больше, чем всегда. Ты взгляни, каким полымем объята земля наша — немцы прошли Дон и Кубань! Да знала когда-нибудь это наша земля? Надо сказать людям: надейтесь только на себя. И еще: на себя, на себя, на себя. Если ты скажешь «Надейся на себя», он сделает даже больше того, что делает сейчас. Не хочешь говорить худого слова о союзниках, хотя они того заслуживают, молчи. Именно молчи. Однако не говори, что ты им веришь, когда ты им не веришь. Да как им верить, когда мерилом их честности является Черчилль! Ты понимаешь, простая душа, что такое Черчилль?

Иоанн умолк. Было похоже, что главное он сказал. Он наполнил серебряный сосудик, стоящий подле, дал отпить сыну, отпил сам и промокнул губы тыльной стороной здоровой руки, промокнул благоговейно робко, будто, уподобившись преосвященству или тем более святейшеству, поднес руку для поцелуя.

— Ну, говори, — молвил он почти милостиво.

— Ну что ж, слушай. Вот ты говоришь, что мерилом их честности является Черчилль. Мерилом их честности является не Черчилль и, пожалуй, не Рузвельт, а та категория

профессиональных политиков и дельцов, которая слывет там за государственных кашеваров и которая, так думаю я, не исключает открытия второго фронта в этом году. Мне так кажется, что не столько они выражают точку зрения Рузвельта, сколько он их мнение, — сказал Егор едва слышно. Когда ему предстояло высказаться обстоятельно, он начинал вполголоса. — Короче, это живой процесс, и нам следует влиять на него, веря в свои силы и не гипнотизируя себя чем-то таким, что может сковать нашу мысль. Ты понял меня?

— Эко человек самонадеянный! — вырвалось у Иоанна. — А что ты такого особенного, чтобы не понять тебя?

— Нет, я просто хочу, чтобы ты следовал за моей мыслью, не отставая.

— Ты поспешай, а уж я как-нибудь не отстану.

— И вот вопрос, как нам поощрить эту группу в ее усилиях, в которых мы так заинтересованы. Встать спиной, ко всем встать спиной, в том числе к тем, в ком мы заинтересованы? Да разумно ли это? Дать им понять, что мы им не верим? Всем дать понять, в том числе тем, кто верит нам и кому, я говорю дело, мы должны верить? Думаю, что это было бы неумно и не отвечало бы интересам нашим. Наоборот, надо дать понять им, что мы верим им и, больше того, строим какие-то свои расчеты, опираясь на эту веру. Пусть сам тон нашего разговора с ними и сама система наших отношений. сама постановка этого вопроса на сессии окажет на них влияние и даст им понять — они ответственны! Есть момент чисто психологический: если ты говоришь человеку, что ты ему не веришь, ему легче отказаться от своего слова. Другое дело, что ты не должен полагаться в своих расчетах на их обязательства. Не должен! Так, как будто их нет. Начисто.

Иоанн рассмеялся.

— Не понимаю я вот этой дипломатии, которая идет вразрез с моим представлением о добре и зле, о правде и лжи, о тех вечных истинах, на которых испокон веков держался мир. Если я человеку не верю, ты убей меня, а не могу я сказать ему, что я ему верю. Кто тебя учил такому, сын мой? Я тебя учил?

Вот это и есть Иоанн Бардин. Истинно, не ухватишь его!

— Не думаю, чтобы у нас было разное представление о вечных, как ты говоришь, истинах. Наверно, правду и ложь мы видим одинаково. Но там, где ты скажешь «Врешь, каналья!», я скажу: «На мой взгляд, уважаемый коллега, вы несколько отклонились от истины». Конечно, и я могу сказать: «Врешь, каналья!», но я не имею права говорить это, так как завтра мне надо вновь сесть с ним за стол переговоров. Оттого, что ты говоришь «врешь», а я говорю «отклонились от истины», ты не

становишься честнее меня.

— Погоди, но ты же должен признать, что моя правда честнее, она не дезориентирует народ, не ведет его по ложному следу, — прервал Иоанн Егора и сделал попытку шевельнуть пальцами больной руки, но пальцы оставались неподвижны. — Погоди, ты помнишь точную формулу коммюнике насчет второго фронта? — спросил неожиданно Иоанн, что-то он задумал опять. — Ну, вспомни.

Точно не помню, но смысл такой: была, мол, достигнута полная договоренность относительно неотложных задач создания второго фронта в Европе в тысяча девятьсот сорок втором году…

— Припомни, в этой формуле есть слова «полная» и «неотложных»? Я это говорю к тому, что это очень важные слова. Есть они?

— По-моему, есть, — сказал Егор.

Иоанн поддел здоровой ладонью больную руку, как лопатой, и перенес руку в бинте поближе к Егору, будто желая дать ему возможность получше рассмотреть ее.

— Теперь взвесь то, что я тебе сейчас скажу. Вот союзники дали это обязательство, вы повторили его с кремлевской трибуны. О, она высока, эта трибуна! Повторили и точно сказали народу: верь! Верь! Второй фронт будет!.. А союзники — бац! — и отказались от второго фронта в тысяча девятьсот сорок втором году! В какое положение вы поставите себя перед народом?

— Нет, ты и тут не прав, народ, он не так, прости меня, не мудр, как ты о нем думаешь, и, поверь мне, он знает о наших отношениях с Западом не меньше нас с тобой, при этом понимает факты отнюдь не так прямолинейно, как понимает или, вернее, хочет понять их Иоанн Бардин.

— Остановись, сделай милость. Ты хочешь сказать, что народ — это ты? Не я, Иоанн Бардин, а ты, мой мудрый отпрыск?

— Нет, наверно, не я, но, прости меня, и не ты. Народ — это больше нас с тобой, много больше.

— Тьфу, вот ведь истинно, тетка Ефросинья, ту тоже, чтобы переговорить, надо пуд соли слопать! Хватит с меня. Я поехал. — Иоанн встал и пошел в свою комнату.

— Ты сказал «поехал»?

— Да, я тебя ждал, чтобы уехать. Ивантеевская квартира-то Миронова без присмотра. Здоров буду, завтра вернусь этим часом.

Он взял кепчонку, бросил на руку старый Миронов реглан (он любил форменные вещи своих сыновей, Якова и Мирона), пошел из дому. Он шел неожиданно быстро, отводя в шаге здоровую руку, как казалось Бардину, подогретый разговором, который у

него только что был с сыном. Видно, шел и костил вовсю Егора: «Истинно, тетка Ефросинья! Надо пуд соли съесть, чтобы переговорить».

— Ольга, Ольга когда будет? — крикнул Егор отцу вдогонку.

— Как смеркнется, так она и будет, — молвил Иоанн и приподнял над головой кепчонку, и от этого, как показалось Егору, слова, произнесенные отцом, обрели чуть иронический оттенок. Иронический? Да не было ли в этом поступке Иоанна второго смысла? Чего он вдруг шарахнулся и пошел прочь из дома? Ждал сына, почитай, полгода, считал дни и недели, а потом вдруг поднялся и пошагал прочь из дому! Как он сказал только что: «Как смеркнется, так она и будет…» Да не подстроил ли старый Иоанн вот этой встречи Егора с Ольгой? Ушел и будто запер их одних в пустом доме.

Бардин пошел по дому, из комнаты в комнату, из комнаты в комнату, и дом вдруг загудел, застучал, загрохотал, точно тишина, что втекла сюда из сада, вдруг треснула. Он шел по дому, и в его сознании жил только этот грохот. Видел ли он, что всего несколько месяцев тому назад хозяйкой этого дома была Ксения и все, решительно все, что является миром этого дома, создано ею? Видел ли он сейчас, что все, видимое здесь, было результатом ее верности этому дому, ее любви к Егору? Вот этот письменный стол, который она купила по дешевке на Преображенском рынке, а потом продраила наждаком и трижды покрыла лаком, вот эта настольная лампа, доставшаяся ей от ее знатных предков и многократ реставрированная и возвращенная к жизни, чтобы украсить стол Егора, вот этот коврик у кровати Бардина… Видел ли сейчас Бардин все это, шагая по дому? И думал ли он, что не в ином месте, а именно под этой крышей Ксения поставила на ноги семью, дала жизнь детям Бардина, а ему, Егору, дала ощущение полноты жизни, великое чувство, которое не было бы дано ему, если бы у него не было Ксении? Думал ли об этом Бардин? А может, этот грохот, как предвестник того неотвратимого, что надвигалось на Егора Ивановича вместе с этим медленно тускнеющим июньским днем, вместе с сумерками, вместе с ночью, должен был все смести, смести начисто, обратив в пепел все старое?..

…На рассвете Ольга оставила Егора и сбежала в свою комнатку, сбежала на минуту, чтобы вернуться в красном платье.

— Господи, да не будь ты таким соней! Взгляни на меня. — Она пошла по комнате, со стыдливой храбростью поводя плечами. Да не ночью ли была рождена эта храбрость? Люблю все новое, — произнесла она и засмеялась тихо. — Прости меня, но я и дом переделаю на свой лад. Переделаю, не пощажу.

— А что ты не пощадишь? Сестрино? — спросил Егор, утирая ладонью слезы, которые вышибло утреннее солнце, оно было над подоконником. — Пойми, она тебе не чужая, сестра!

Ольга пошла прочь.

— Верно, сестра, но это все другое, совсем другое! — произнесла она с бедовой веселостью.

И Егор подумал, она все переделает в этом доме на свой лад и ничего не пощадит. Нет, не потому не пощадит, что ей не дорога Ксения, а потому, что в том новом, что народилось в ней теперь, есть некая деспотическая сила, которая сильнее ее любви к сестре, сильнее и, главное, бедовее…

Бардин дождался, пока зал опустеет, и пошел кремлевским двором. Что-то было в этом событии от тех далеких лет, когда над страной простиралось мирное небо. Разве только больше, чем обычно, было военных гимнастерок да на самих лицах людей появилось выражение скорби и, пожалуй, усталой решимости. Видно, не только у Бардина было желание в этот пасмурный вечер пройти по Кремлю неспешным шагом, чтобы неожиданно стать у самого Ивана Великого и, запрокинув голову, смотреть до боли в глазах, как колеблется над тобой многосаженный столп колокольни.

— О, я тоже смотру, смотру. Чуть голова не оторвал.

Егор Иванович оглянулся. Джерми.

— А я вас не видел на сессии, мистер Джерми.

— Я немножка разговаривал в кулуары.

Ну, разумеется, Джерми верен себе: сессия для него не столько зал, сколько кулуары.

— Ну что ж, мистер Джерми, все слова, наверно, сказаны, пора и за дело, так? — спросил Бардин. Он хотел знать, что думает старик Джерми по существу того, о чем шла речь сегодня.

Джерми молчал. Скреб торец подошвами башмаков и молчал.

— Еще много будет сказано, мистер Бардин, — вздохнул Джерми, каждое новое слово рождалось у него со вздохом.

Его тень, горестно согбенная, тень старого человека, медленно передвигалась по камню. Кремлевский торец казался нерушимо цельным и молодым по сравнению с этой тенью.

— Много слов, прежде чем совершится дело, мистер Джерми? — спросил Бардин; в короткой реплике Джерми жила тревога.

— Человек есть distance между слово и дело. Чем короче distance, тем лучше человек, — сказал Джерми и засмеялся. Смех прозвучал неожиданно громко, то ли тишина была тому виной, то ли тесные кремлевские камни, отразившие голос.

— Но Рузвельт — это тоже distance? спросил Бардин и улыбнулся потому, что хотел придать этому вопросу характер шутки.

— Не знаю, — засмеялся Джерми. Засмеялся и исчез. Даже тени на плоском кремлевском камне не оставил.

Бардин запрокинул голову. Все еще вздрагивал многосаженный столп колокольни Ивана Великого, того гляди, прочертит небо и рухнет, упершись крестом в берег Оки, а может, и Волги.

Что-то было в словах старика Джерми такое, что хотелось прояснить, что-то недосказанное, смятенно-неясное, может быть, даже тревожное. И еще было в словах старого Джерми нечто от того, что услышал Егор Иванович под крышей бардинского дома в Ясенцах. Истинно, старик Джерми был заодно с Иоанном Бардиным в своей скептической ухмылке: «Не знаю».

63

Как некогда, Бардин на исходе дня ехал в Ясенцы. Наркоминдельская «эмка», когда-то ярко-черная, а сейчас ядовито-зеленая, уносила его на север от Москвы, в тот заповедный край озер и леса, где, так казалось Егору Ивановичу, начинался великий океан российской тишины и свежести. Если Ольга оказывалась дома, Бардин увлекал ее на реку. Река в Ясенцах питалась почвенными водами и за лето так и не успевала прогреться, но Егора это не пугало, он любил студеную воду. Потом они пересекали мокрый луг, весь в лилово-красных озерцах (солнце было на закате), и поднимались в рощу. В ней было, как в бухте, полной парусных толок, белым-бело. Да и у Ольги было что-то от этой белизны. Ольга хорошо «читала» лес, ее глаза видели то, что недоступно Бардину. Ее ладони быстро наполнялись всякой лесной ягодой, будто она не собирала ее по ягодинке, а черпала пригоршнями.

— Это тебе, Егор, — она подносила пригоршню к его рту. Он смешно шевелил губами, фыркал и вбирал ягоды едва ли не вместе с ее ладонью. Ладонь у нее была, точно березовый ствол, теплой и бархатистой.

Потом они разувались и шли по мху. Мох был ворсистым и приятно глубоким, ноги погружались в пушистую зелень.

Потом они сидели на опушке рощицы и смотрели, как низину заволакивает туман, и он спрашивал ее:

— Надо бы что-то сказать Иришке, когда приедет, а?

— Не надо говорить, — улыбалась она. — Все скажется само собой. Вот время выйдет, тогда скажем.

— А когда оно выйдет, время-то? Есть у него срок, чтобы выйти?

— Есть срок, — все еще улыбалась она.

— Когда же этот срок?

— Тем летом.

— А если раньше?

— Раньше нельзя, всему свой срок, — говорила она.

Она ему казалась, как всегда, спокойно бескорыстной, уверенной в своей силе. Она не неволила его, больше молчала, чем говорила, но и в молчании был тот же смысл: «Всему свой срок…»

Было в ней, как чудилось Бардину, что-то от чистоты и целомудрия этого леса и этого поля. Все казалось Бардину, ее прямоте и, пожалуй, ее простоте храброй можно позавидовать.

— А почему тем летом? — полюбопытствовал Бардин. — Ты

боишься, что дети взбунтуются?

— Нет, просто раньше нехорошо как-то, — отвечала она.

— А если все-таки взбунтуются?

Она пожала круглыми плечами.

— Не знаю.

Они шли домой опушкой леса. Стлались мхи, неожиданно бирюзовые или черные, все в искрах. Ноги точно искали ворсистый ковер, он был глубоким, этот ковер, и, несмотря на свежий вечер, хранил тепло минувшего дня, нога не столько проваливалась, сколько приятно тонула во мху.

— Сбереги моих, — сказал он, не поднимая глаз.

Она остановилась.

— Сберечь? Ты что, из-за этого меня берешь? Я удобна?

Голос ее неожиданно собрался, стал почти тверд. Вон какую жестокость родили мягкие мхи.

— Но ведь они не только мои, но и твои.

— Да, мои тоже, — согласилась она. Ее ноги ступали по мху все так же спокойно, как минуту назад.

На рассвете его разбудил голос автомобильного рожка. Он раздвинул шторы и увидел наркоминдельскую «эмку». Первая мысль: «О господи, что еще. Пропало воскресенье!»

— Кто там? — окликнул он Ольгу. Просыпаясь, он слышал ее голос, она пела, последние дни она все пела.

— По-моему, там женщина, — сказала Ольга, из кухонного окна ей было виднее.

— Женщина? — мог только воскликнуть он. — Откуда ей взяться?

— Верно, женщина, — сказала Ольга все так же спокойно-доброжелательно.

Бардин накинул халат, пошлепал босой к входной двери.

— Вот это да!

Открыл дверь, так и не успев запахнуть халата. Августа стояла на росной траве в своих красных туфельках на босу ногу (собралась к Бардину спешно) и, зябко поеживаясь, кусала синие губы.

— На сборы пять минут, — произнесла она и попыталась улыбнуться. Лицо ее было серо-землистым, видно, она не спала эту ночь.

— За пять минут и с чашкой чая не управишься. Хотите чаю горячего? Я вижу, как вы промерзли. Хотите?

— Не-е-е откажусь.

— Тогда заходите.

Она вошла.

— У меня действительно з-зуб на зуб…

Августа сбросила плащик, прошла в большую комнату, с превеликой жадностью огляделась вокруг. Каждую вещь, что попадалась ей на глаза, она пристально допрашивала, стремясь понять нынешнее положение Егора Ивановича. Пока она еще ничего не понимала, поэтому сохраняла и самообладание, и норов, и энергию. Но вот она увидела Ольгу, и волна слабости захлестнула ее.

— А где Ирина, Егорушка Иваныч? — спросила она, стараясь мысленно разгрести этот туман и как-то вынырнуть из него. — Разве Ирины нет? — произнесла она, хотя интересовалась иным: «Господи, да неужели вы одни в этом доме? Совсем одни?»

— Нет Иришки, она уехала к тетке в Суздаль, — помедлив, подал голос Бардин из соседней комнаты. Он уже принялся одеваться. — Она уехала в Суздаль, — повторил он и, спохватившись, произнес: — Да, вы знакомы с Ольгой? Оля, Оля!

Вошла Ольга и стала рядом с Августой Николаевной, а Бардин взглянул на Августу Николаевну и обомлел, никогда она не казалась ему такой некрасивой, как сейчас. Эта некрасивость вызывала жалость: глаза с синими подтеками да еще какие-то навыкате, будто кто-то положил палец на предглазье и оттянул веко… Как же это Бардин не замечал всего этого прежде? Даже самый некрасивый человек бывает иногда красивым, но с возрастом oit бывает красивым все реже. Но, наверно, к некрасивому привыкаешь. А Августа точно ухватила этот взгляд Бардина, исполненный тоски, и шарахнулась от Ольги прочь.

— Где дедушка Бардин? — спросила Августа Николаевна и обратила недобрый взгляд на Ольгу. — Его тоже нет?

— В Ивантеевку подался, — сказал Егор Иванович, выходя в столовую. Он был одет. — Что там еще стряслось? — спросил Бардин, спросил каким-то иным тоном, который не очень соотносился с тем, что говорилось только что, и взглянул в окно, выходящее в сад, будто Наркоминдел, который он имел сейчас в виду, находился где-то за садом. — Что там загорелось?

— Черчилль прилетает, — сказала Августа вполголоса.

— Это что же, открывать второй фронт или закрывать, упаси господи?

— Не знаю, право, — сказала она, принимая чай из рук Ольги, а сама все с той же жадностью смотрела на руки Ольги: от запястья до круглых плеч, от запястья до круглых плеч. Что-то было в этом взгляде откровенно плотское, будто на Ольгу глядел мужик, а не баба.

А потом они собрались и пошли к машине, но Августа едва передвигала ноги.

— Подождите минутку, Егорушка Иванович, — сказала она, приваливаясь к его плечу. — У меня ноги какие-то глиняные, не идут. — Она остановилась, ухватившись за его руку. — И-е-ех!

Она закрыла глаза, веки ее почернели, лицо было мокро от слез.

— Августа Николаевна? Да что с вами?

— Худо мне, Егорушка Иваныч.

— Может, попить?

Ее трясло, трясло сильно и как-то корежило и поводило. Внутри у нее клокотало, она задыхалась.

— Вернемся.

— Нет, нет! — едва ли не выкрикнула она. Видимо, при этих словах к ней вернулось сознание. — Я не спала, — произнесла она и пошла к машине, держась за его руку. — Простите меня, Егорушка Иванович, простите, — произнесла она и, не отпуская руки, ткнулась в автомобиль, благо его дверца была открыта.

Она полулежала, закрыв глаза и вытянув ноги. Что-то похожее на икоту все еще сотрясало ее время от времени.

— Это бессонная ночь, — повторяла она, а Бардин думал: «Да в бессонной ли ночи дело? А может, Ольга всему виной?» Сколько помнит себя Бардин и свои отношения с Августой, он не давал ей повода вот так вести себя. А может быть, она усмотрела нечто такое, чему он не придал значения? И как она учуяла Ольгу? Ведь учуяла же! Что ни говори, а был в ней некий тревожный инструментам Ох, и чуток он, бестия!

— Августа Николаевна, вы сказали, Черчилль?

Она все еще всхлипывала, впрочем, смеялась и всхлипывала. Достала зеркальце и, устремив глаза в него, онемела, была не очень довольна тем, что увидела. Потом, зажав в щепотку пушок, начала приводить лицо в порядок. При этом совсем по-обезьяньи ее быстрая рука обежала лицо, коснувшись и виска, и подбородка, и, разумеется, носа, который она выбеливала с особой тщательностью — нос не держал пудры.

А Бардин думал о своем: «Если Черчилль устремил стопы в Москву, значит, и Сергей Бекетов будет в Москве. Не может Бекетов не быть в Москве…»

64

В предвечерний час, когда июльское солнце склоняется к закату, по длинным коридорам большого дома на Кузнецком идут сторожа. Они идут не однажды хоженной дорожкой из комнаты в комнату, с этажа на этаж, уперев в пыльный паркет слабый лучик карманного фонаря. Вместе с тишиной, что неожиданно вошла сюда в достопамятный октябрьский день 1941 года и точно затвердела, вместе с запахами того дня (беда пахла сожженной бумагой, непобедим этот запах, он угадывается и сегодня) дом хранит само настроение того тяжкого часа. Оно, это настроение, в грозном молчании вещей, которые вдруг стали людям не нужны и замерли, пораженные апоплексией неожиданности: ничком упал книжный шкаф и разлетевшиеся стекла устлали комнату (за эти месяцы они стали лохматыми от пыли), опрокинулась настольная лампа и абажур, соскользнув на пол, укатился в дальний угол и затаился, он до сих пор там лежит, помаргивая уцелевшим стеклышком… А сторожа идут. Обойти дом — едва ли не то же самое, что пройти по Тверской из конца в конец. Версты! Тут все выверено, как ни торопись, но раньше полутора часов не управишься. Поэтому неторопливо спокоен и размерен шаг, размерен звон ключей, сопутствуемый шагу.

Казалось, за эти десять месяцев далеко отлетел горестный октябрь (нелегко врагу оправиться от московской контузии!), а дом на Кузнецком все еще пуст. Пришло новое лето, и новый хребет обозначился явственно. Как-то возьмет его наша дружина? Где-то на четвертом этаже ветер выдавил вместе со стеклом синесизую бумагу, и закатное солнце точно встало у самого окна, багрово-огромное, все в грозных полосах. Чем-то это солнце, упершееся в линию горизонта, похоже на осколок зеркала. Смотри, земля, как ты выглядишь в лихое лето 1942 года! Видно, солнце восприняло цвет беды, объявоюй землю. Вон оно какое, красно-воспаленное, кровавое. Кажется, и ратная страда просматривается на ощутимо выпуклом стекле солнца: и мученическая Керчь, и ныне плененный Харьков, и трижды бессмертный Севастополь, который, как стало ясно ныне, держал в своей твердой ладони ключи от южных дорог России…

Скрылось солнце, и ночь вошла в дом, вошла беспрепятственно, казалось, проникнув сквозь плотную бумагу. Темно и тихо в доме на Кузнецком, никуда не упрятать усталый шаг сторожей да звук гремучего железа в их руках…

И вновь, как в памятные дни визита Идена в Москву, в шести

окнах бардинского департамента, обращенных к Малому театру, круглую ночь горел свет.

— Господи, полжизни отдала бы за глоток кофе! — кричала Августа Николаевна в исступлении. Свою норму кофе, полученную правдами и неправдами, она израсходовала еще в начале месяца. — Полжизни!

Привычная картина: стол, заваленный кипами английских газет, пришедших с последней почтой, и стенографистка, одуревшая от бессонницы, рядом.

— Курите так, как я, Верочка, затягиваясь, удерживая дым вот тут, тогда голова будет свежей, как у меня!

Верочка Нестерова, старая наркоминдельская стенографистка, работавшая еще в ту далекую пору, когда наркомат был на Спиридоньевке, исторгла вздох из чахлой груди, вздох печали.

— Вы, Августа Николаевна, грехжильная. Чтобы большое колесо наркомата крутилось, таких, как вы, наркомату нужно даже не две, а полторы, — она изобразила это на пальцах. — Было бы в моей власти, я таким, как вы, давала бы Героя.

— Вы дали бы мне, Верочка, немножко счастья бабьего.

— О милая, это больше, чем Героя, да и не в моей власти, чего не могу, того не могу.

Влетел Бардин, влетел, едва не опрокинув стол с газетами.

— О, простите. — Как-то тесно сразу стало. Он с силой раскрыл дверь в соседнюю комнату, шагнул. — Тамбиев у нас? Мне же сказали, он пошел к нам. Ничего, милая, не хочу знать. Разыщите, и пусть мчится ко мне.

И три телефонных аппарата, стоящие на столе Августы, пришли в действие: они вдруг заклокотали, захрапели, загудели трубно. Тамбиев явился через час.

— Послушай, Николай, — начал Бардин, глядя на него, — я вспомнил свою прошлогоднюю беседу с Галуа. Он в Москве?

— Нет, в Туле.

— А нельзя ли ускорить его возвращение в Москву?

— Простите, а это срочно?

Бардин взял папиросу и закурил. Тамбиев знал, он иногда делал это, чтобы скрыть волнение, — разговор, требующий пауз, легче вести, когда у тебя папироса.

— Этот Галуа действительно родился в Питере?

— Да, конечно, Егор Иванович. Год рождения тысяча девятьсот первый.

Бардин стряхнул с кончика папиросы пепел, положил ее на край пепельницы.

— «Двадцатый век и тори» — его статья?

— Да, Егор Иванович.

— Прелюбопытная статья и… актуальная. Есть вопрос к автору.

— Говорить будете вы, Егор Иванович?

Бардин затянулся, папироса погасла. Он взял спички, вновь зажег папиросу.

— Да, конечно.

— Когда? В понедельник?

Бардин затянулся больше обычного и не сдержал кашля…

— Почему же в понедельник?

— Потому, что завтра воскресенье.

— Тогда сегодня.

Тамбиев рассмеялся.

— Сегодня он вернулся из Тулы, да к спеху ли это?

— Знаешь, Коля, много знать будешь, прежде времени состаришься, — улыбнулся Егор Иванович.

— Тогда хотите, я вам скажу, зачем вам нужен Галуа?

— Сделай милость, скажи.

— Приезжает Черчилль.

Бардин поднял свой толстый перст, погрозил им:

— Ты это брось. Понял? Со мной шутки плохи, Коля!

— Но вы хотели меня попросить о чем-то?

— Я хотел? Откуда ты это взял? — Егор Иванович вдавил горящую папиросу в каменное донышко пепельницы, загасил.

Бардин усадил Галуа в машину и увез в Ясенцы. Егор Иванович сделал это, не дожидаясь вечера, рассчитывая переговорить с Галуа один на один. Правда, без Ольги ему нелегко было накрыть стол, но Бардин, как ему казалось, вышел из положения с честью. Он добыл в небогатых наркоминдельских кладовых трофейных итальянских сардин и сыра, взял буханку черного хлеба и бутылку водки, тщательно упаковал все это и был таков.

Шел дождь, обильный, августовский, и в доме было сумеречно и сыровато. Бардин разжег печь. Запахло дымком, соленым и едким. Егор Иванович пододвинул стол к печи, раскрыл пакет с нехитрыми дарами наркоминдельской кладовой. Гость Бардина вспомнил свое петербургское детство, Тенишевскую гимназию на Моховой, и они выпили за учителей Галуа.

— Когда наконец я пройду по Моховой? — спросил Галуа, разогреваясь. Его губы мгновенно стали пунцовыми, вспыхнул румянец и загасил веснушки, а заодно и коричневатость кожи. — Пустите вы меня?

— А почему бы вас не пустить? — вопросом на вопрос ответил Бардин. — Увидите вашу Моховую, я в этом уверен.

— Вы добрый человек, Егор Иванович…

Он умолк и стал смотреть вокруг не без любопытства. «Ну, а теперь начнем разговор по существу! — точно хотел сказать он. — Начнем же!»

— Послушайте, Галуа, я считаю, и, по-моему, вы об этом знаете, никто так не понимает психологию нынешней черчиллевской политики, как понимаете ее вы. Я ценю это ваше качество.

— И мою дружбу с британскими послами в Москве, Криппсом и в какой-то мере Керром? — у него всегда был наготове довод, которым он как бы подсекал собеседника.

— Дружбу с послами? А разве это так важно? Да может ли существовать дружба у посла с корреспондентом? Легче лев сдружится с буйволенком, чем посол с корреспондентом.

— Простите, но кто есть лев и кто буйволенок? — спросил Галуа.

— Не послу же быть львом! Конечно, корреспонденту, — ответил Бардин. Ему стоило труда не расхохотаться.

— О, если бы вы знали, как Криппс, например, трепетал передо мной! — воскликнул Галуа. Он вспомнил долговязого, рассудительного Криппса, для которого была непостижима живость Галуа. — Но вернемся к главному. Вы сказали, психология нынешней черчиллевской политики?

— Да, я так сказал, — согласился Бардин.

— Рассказ не рассказ, если ты не можешь воссоздать настроение. Давайте-ка вначале выпьем. За что? Ну, за ваш дом и за женщину, что высадила вот эти гладиолусы под окном, — он высунулся из окна, пытаясь разыскать гладиолусы. — Признайтесь, что это была женщина. Вот за нее.

— За нее, за нее, — засмеялся Бардин и опрокинул рюмку.

Вы видели когда-нибудь Криппса?.. — образ Криппса продолжал маячить у Галуа перед глазами. — Ну, вы скажете, что ему всего лишь пятьдесят три года. Старомоден, как сама бабушка Великобритания, которую пора на слом. Вы не согласны? — Он вновь рассмеялся, пыхтя и попискивая, закрыв глаза и ритмично помахивая кистями рук, точно хотел сказать: «Ох, вы и уморили меня этим Криппсом!» — Но вот что интересно, он трезв, этот старик Криппс. Трезв, даже когда все пьяны. Одним словом, у него толстая кожа. Этой толстой коже он обязан тем, что совладал с теми русскими, которые были к нему не очень милостивы во времена пакта. Вы полагаете, что я преувеличиваю? Никоим образом! Криппс мне сам говорил, что

все его просьбы о встрече со Сталиным категорически отводились до того самого дня, когда Германия напала на СССР. Делу не могла помочь даже знаменитая телеграмма Черчилля Сталину, в которой он пытался предупредить русских о нападении. Но Криппс верно рассчитал, время работает на него.

— Простите, в каком смысле оно работает на господина Криппса? — спросил Бардин и, приметив, что дождь перестал, пошире открыл дверь во двор. Пахнуло мокрой травой, характерным запахом лука, видно, он был высажен где-то рядом.

— А в том смысле, что с началом войны его стали жаловать вниманием как раз те, кто не хотел его видеть прежде, — заметил Галуа, принимаясь за еду. Казалось, он протрезвел и готов был к обстоятельному разговору. — Вы скажете: «Какой резон вспоминать Криппса, когда в Москве новый британский посол?» Есть резон. Криппс терпел потому, что Британия была заинтересована в России.

— Не хотите ли вы сказать, мистер Галуа, что настала очередь России терпеть, поскольку она заинтересована в Британии?

Галуа покраснел. Когда ему было неловко, у него багровели уши.

— Нет, я хочу сказать об ином. Керр — это не Криппс…

— В каком смысле?

— Вы можете говорить о Криппсе что хотите, но он пришел к своему положению от идеи.

— Не хотите ли вы сказать, что Керр, будучи человеком карьеры, способен в большей мере понять Черчилля?

— Да, вы угадали, в большей, — был ответ Галуа.

— И каков прогноз Керра?

Галуа прикрыл уши-руками, да взял и сделал из своих диковинно-худых рук своеобразные наушники. Его уши горели бесстыдно.

— Черчилль хотел бы сделать последнюю попытку и уберечь Британию…

— От второго фронта? — спросил Бардин.

— Да.

— Благодарю вас, — сказал Бардин.

Но Галуа уже затревожился, нет, он отнюдь не хотел продолжать разговор, он хотел сменить тему.

— Пожалуй, трезвым об этом говорить трудно, — молвил Галуа и выхватил из графина стеклянную пробку. — Вы не находите? — Он подался к открытой двери, в которую был виден участок сада, облитого дождем. — Я учуял запах лука. Нельзя ли стебелек!

— Можно, разумеется. — Бардин вышел в сад и вернулся с пучком лука. Лук был матово-дымчатый, весь в дождевых брызгах. — Я сейчас вымою его.

— Не надо, вы же смоете дождевую воду, — запротестовал Галуа, принимая пучок из рук Бардина.

Они выпили еще по одной.

— Я знаю, у вас сын на войне, — сказал Галуа. — За него.

Бардин как-то потерялся, смотрел на Галуа и не очень понимал, зачем он приволок его в Ясенцы, что хотел от него.

— У меня хороший сын, господин Галуа, — вдруг произнес Бардин, и этакая сладковатость подкатила к горлу. Не ровен час, ударишься в слезы. — У меня очень хороший сын.

— Он там, господин Бардин?

— Да.

— Ну, тогда за вас и за него.

— Нет, выпьем за него, за меня не надо.

— Почему?

— Потому, что он там, а я всего лишь здесь.

— Нет, нет, за него и за вас.

Они выпили, закусили луком.

— Я хочу вернуться к главному, — сказал Бардин. Он был уверен, что предшествующий разговор был хорошей подготовкой, чтобы поговорить о главном. — Вы понимаете меня?

Галуа задумался.

— Понимаю, конечно. — Он вновь стал строг. Его водянистые глаза ожили, его редкие брови пришли в движение. — Только имейте в виду, пожалуйста, я скажу, но Керр к этому не имеет отношения никакого. — Он положил ногу на ногу, поудобнее откинулся в кресле. Он был готов к разговору. — Как я понимаю, если вторжение на континент совершится, оно должно совершиться не столько силами американцев, сколько англичан. — Галуа посмотрел на Бардина. Ему было важно, чтобы Егор Иванович подтвердил это. — Как вы полагаете?

— Возможно, вы правы, — сказал Бардин.

— А если так, то последнее слово за Черчиллем, верно? — взглянул он на Бардина, вновь ожидая подтверждения, но Егор Иванович молчал. — Черчилль, разумеется, и глазом не поведет, что последнее слово за ним. Наоборот, по тому, как будет он почтителен к американцам и какие знаки внимания он окажет им, создастся впечатление, что последнее слово за американцами. На самом деле он переуступит им все знаки внимания, но не переуступит им этого последнего слова о десанте. Теперь вопрос: «Если это слово, а следовательно, и это дело за ним, то к какому году он собирается его приурочить?»

— Простите, но год назван — сорок второй!

Галуа молчал, опустив глаза. Ну, разумеется, все то, о чем шла речь, касалось его лишь косвенно. Он хочет уточнить, косвенно. Но даже в этом случае он не мог не испытать некоторого замешательства. Даже странно, виноват, очевидно, Черчилль, а Галуа стыдно. В такой мере стыдно, что даже говорить об этом как-то неловко.

— Десанта в сорок втором не будет, — наконец произнес Галуа. — Не будет его и в сорок третьем. Черчилль высадит войска тогда, когда он уже не сможет их не высадить.

— Но этот день придет? Будет он?

— По-моему, будет. Не может не быть.

— Когда?

— Когда русские армии вступят в Европу и их путевые указатели будут обращены если не на Берлин, то на Варшаву и Прагу.

Бардин уперся руками в борт стола, с силой отодвинулся, загремела посуда.

— Так… — с трудом вымолвил он и умолк. Долго молчал, насупившись, а когда поднял глаза, встретился взглядом с Галуа и увидел, что гость смотрит на него без страха. — Может, пододвинем стол к двери? — нашелся Бардин и взглянул на открытую дверь.

— Пожалуй, — согласился Галуа, поразмыслив. Они пододвинули стол. Солнце садилось, и стали слышны запахи цветов: мятный запах ромашки, сладковато-тоскливый левкоев. — Вы хотите знать, чего он приезжает?

— Да, в самом деле, что ему делать здесь? — спросил Бардин. — Какими глазами он посмотрит?..

— Ему нельзя без Москвы, — заметил Галуа. — Боится он.

— Боится? Чего?

— В истории Советской России были случаи, когда она предпочитала союзникам Германию.

Бардин ухмыльнулся:

— А знаете, этот ваш Черчилль — феномен! Вот посудите, когда человек изменяет своему слову, у него возникает желание если не провалиться в тартарары, то, по крайней мере, не являться на глаза тому, кого он обманул… Да это и естественно — стыдно. А вот Черчилль наоборот. Так?

Галуа рассмеялся:

— Как это говорят русские: «Стыд глаза не выест»…

Бардин поднес бутылку ближе к свету — смеркалось.

— Вот тут осталось еще…

— На «посошок»? — весело спросил Галуа.

— Да, пожалуй, на «посошок». — Они выпили. — Значит, когда русские вступят в Европу? Так? А как же тогда коммюнике? — спросил Бардин. — Вы поняли меня?

— Понял, — сказал Галуа. — Но поймите и вы меня, коммюнике — это не договор. К тому же есть памятная записка, которую Черчилль вручил Молотову, там формула коммюнике, в сущности, берется под сомнение.

— Вы полагаете?

— В коммюнике англичане дали обязательство, в памятной записке они взяли его обратно.

— И вы полагаете, что памятная записка дает им право взять свое слово обратно?

Галуа молчал.

— Вы полагаете? — повторил свой вопрос Бардин.

— Я не в такой мере трезв, чтобы ответить на этот вопрос, — сказал Галуа и поднялся. — Мое время вышло, — он взглянул на часы.

Поднялся и Бардин, не мог не подняться. Однако непобедим Галуа! Непобедим и неуловим. Ударил хвостом по воде и ушел в глубину.

Часом позже наркоминдельский автомобиль мчал их в Москву и натрудившийся Галуа спал, сложив едва ли не вдвое тонкие ноги. Собственно, Галуа подтвердил то, что было известно Бардину, что маячило все определеннее в последние полтора месяца: Запад бьет отбой, бьет энергично, если не сказать, воодушевленно. И пришли на ум слова многомудрого Иоанна: «И как им можно верить, когда мерилом их честности является Черчилль? Ты понимаешь, простая душа, что такое Черчилль?» В самом деле, мало ли было вот так? Лондонская бумага, а вслед за этим кремлевская сессия… Все про второй фронт. Будет, мол, в сорок втором. И вот Черчилль с его черной вестью, да в какой еще момент! И вновь пришел на ум спор с отцом. Надо ли было, чтобы весь народ участвовал в споре с союзниками, как он участвует в единоборстве с врагом? Чтобы спор был открытым? Пусть британский премьер знает, слово, услышанное им в Кремле, может быть повторено с тем же чувством убежденности и ответственности на Волге, на Лене, на Иртыше. Пусть он знает и иное: нашему народу ведомо, что Черчилль идет на вероломство. До сих пор он имел дело с людьми официальными, отныне будет иметь дело с народом. Надо было созывать сессию и вовлекать народ в этот разговор? Ведь это же рана! А их, этих ран, и без того было немало. Надо было? Если бы Бардин был убежден в обратном, он нашел бы мужество согласиться с отцом. Но в том-то и дело, что он убежден: надо было делать, надо! И быть может,

даже в более крутых тонах, чем этот разговор велся.

Ничто не делает народ таким могучим, как сознание, что он все знает. Как ни горька правда, как она ни многотрудна, ее не надо скрывать. Глупо думать, что она обезоружит народ. Если и способно что-то обезоружить Россию, так это ложь. Не бойся правды, она твоя союзница, на веки веков союзница. Почему мы победили в семнадцатом? Почему наша сила оказалась многократно могучее силы, которой обладал враг? Потому что народ вела правда. Правда не отнимает силу, она ее умножает.

65

Бардин был на аэродроме, когда самолет Черчилля приземлился на желтой августовской траве просторного поля. Черчилль показался Бардину неожиданно белолицым, точно прилетел он не из Каира, а из сумеречно-хладного Шпицбергена. Сойдя по трапу на землю, он устало поднял два пальца, точно намеревался благословить встречающих. В некогда воинственном знаке «Victory», знаке грядущей победы, сейчас было мало воинственности.

За многочасовой полет у Черчилля определенно затекли ноги. Он нес свое полное тело осторожней обычного, при этом поднятая ладонь, два пальца которой были растопырены, как буква «V», помогала ему сохранить равновесие. Но, быть может, воздетая ладонь означала не только это? Для Черчилля — знак британской победы, для русских… Два толстых черчиллевских пальца были воинственно рогаты, и кто не знал о многозначительной «V» — «виктория», «победа», — мог принять их за знак второго фронта. Истинно, черчиллевская рука разом обратилась в хоругвь. Знает, многоопытная бестия, какой стяг поднять у большой заставы российской.

Уже отойдя от самолета, Черчилль вдруг увидел советского военного летчика в синей гимнастерке, остановился. Не иначе, у него возникло желание подойти к летчику, может быть, пожать руку, возможно, даже сказать: «Товарищ по оружию…» — жест старого парламентария, всемогущий жест. Сколько помнит себя Черчилль, этот прием действовал безотказно. Но сейчас было не то. Рука старого тори неопределенно дернулась, и он захромал дальше. Не было сомнений, то, что было хорошо прежде, сейчас решительно не годилось. Видно, эта встреча и по мысли Черчилля должна была стать иной. Без раутов и приветственных спичей, без протокольных визитов и торжественных тирад в газетах. Даже без пресс-конференций и дежурных интервью. Чем строже, тем действеннее. Поэтому лучше не очень щедро расточать улыбки, никого не хлопать по плечу и уж по возможности меньше обмениваться рукопожатиями. Черчилль полагает, что ему надо дать понять, какой линии поведения он намерен держаться, нет, не безотносительно к тому, как будет себя вести советская сторона, а именно в связи с этим.

Но что это? Как ни пытался Черчилль приметить признаки сдержанности, пока это ему не удалось. Военный оркестр, как показалось английскому премьеру, великолепно натренированный и вышколенный, исполнил английский гимн, а

почетный караул явил такую четкость построения и шага, что затекшая нога старого Уинни заметно выпрямилась и принялась отбивать такт.

Но, может быть, все было в пределах протокольной нормы? В конце концов, прибыл премьер союзной державы, и гимн с почетным караулом должны этому сопутствовать независимо от желания хозяев. Очевидно, не это определяет истинную температуру встречи. А что именно? И англичанин ощутил тоскливое посасывание под ложечкой, когда им овладевали подобные эмоции, у него и прежде посасывало…

…Сталин по своему обыкновению вышел из-за стола и двинулся гостю навстречу.

— Ваш полет был небезопасен, последние две тысячи километров вы летели в непосредственной близости от линии фронта, — сказал он, протягивая руку.

Воодушевление отразилось на лице Черчилля. Все, что говорил себе старый Уинни о необходимости быть сдержанным, отлетело прочь, его лицо порозовело и расплылось в улыбке.

— Если бы этот полет был трижды опаснее, чем на самом деле, я бы все равно явился в Москву, премьер Сталин, — произнес Черчилль, пожимая ему руку. За исключением полуофициального «премьер Сталин», эта фраза была сердечной вполне. Впрочем, и протокольное «премьер Сталин» можно было понять и простить, именно так Черчилль адресовался к Сталину в письмах. — К тому же что мой полет в сравнении с полетом русской делегации в Вашингтон, — улыбнулся он Молотову. Он должен был справедливо распределить соответствующую долю приятных слов между хозяевами, иначе разговор не будет подготовлен.

— Главное, чтобы ты знал, что летел не напрасно, остальное не страшно, — сказал Сталин, глядя не столько на Черчилля, сколько на Молотова. Он уже принялся сооружать понтон между легкой преамбулой и мощным основанием того, что за нею должно последовать. Взглянув на Молотова, он дал понять, что имеет в виду не столько миссию Черчилля, сколько миссию Молотова. К разговору о втором фронте тут было два шага.

Нельзя сказать, чтобы старый Уинни не почувствовал этого.

— Я хочу говорить о втором фронте, — произнес Черчилль и вздохнул. Ему наверняка казалось, что, взяв инициативу этого разговора в свои руки, он обретет преимущества. — Я хочу говорить откровенно, — подтвердил он.

Черчилль откашлялся, и его кулаки медленно опустились на стол, наверно, в знак того, что его реплика будет достаточно обстоятельной.

Черчилль заговорил, видно, этот монолог был им заготовлен в те долгие часы, когда самолет, пройдя над холмами Северного Ирана, вышел к Каспийскому морю, и повторен над необозримой русской равниной.

Смысл пространной реплики можно было понять так: союзники не смогут предпринять высадку в сентябре, кстати, этот месяц является последним возможным месяцем для операций такого рода. Они будут готовы осуществить это намерение лишь в будущем году. На Британские острова перебрасывается миллионная американская армия, операция по переброске будет завершена весной. Предполагается, что американцы направят двадцать семь дивизий, к которым присоединится двадцать одна дивизия англичан. Пока численность американских войск на островах не превышает двух с половиной дивизий.

Черчилль продолжал говорить, не спуская глаз со Сталина, он точно контролировал себя по тому, как каждое его слово воспринимал человек, сидящий напротив.

Сталин становился все угрюмее и, как могло показаться, безучастнее. Черчилль говорил, а Сталин сидел в своем кресле, полусклонившись над столом. Иногда Черчилль умолкал, точно приглашая Сталина заговорить, но молчание было англичанину ответом, недоброе молчание.

— Мы не вправе рисковать, — сказал Черчилль.

— Человек, который не готов рисковать, не может выиграть войну, — произнес Сталин и, чувствуя, что его слова могут быть приняты Черчиллем на свой счет, пояснил: — Наш опыт показывает, что войска должны быть испытаны в бою.

Наступило молчание. Стул под Черчиллем скрипел, и было слышно, как кряхтит англичанин. Это было нелегкое покряхтывание старого человека, похожее на стон.

— Думали ли вы, почему немцы в сороковом году не вторглись в Англию? — полюбопытствовал британский премьер. — Гитлер был в тот момент в зените могущества, а наша армия не превышала двадцати тысяч.

Сталин встал, встал неожиданно легко — мысль, которую он готовился высказать, определенно придала ему силы.

— Почему немцы не вторглись? — переспросил Сталин. Опытный полемист, он понимал, что иногда надо повторить довод оппонента, а потом уже утвердить свой. Здесь, полагал он, двойной эффект: и впечатление особой лояльности к противнику и убедительность контрудара. — По-моему, это не одно и то же, — мягко заметил Сталин. Эта мягкость не должна была обманывать, обычно самые жесткие его слова следовали за нею. — Немцы, вторгшиеся в Англию, встретили бы

сопротивление народа; англичане, высадившиеся во Франции, наоборот, поддержку. Какая тут аналогия?

Черчилль достал платок и, развернув, казалось, изумился его размерам. Никогда прежде носовой платок не казался ему таким большим. Он торопливо свернул платок и приложил к потному лицу.

— Тем более мы не должны оставлять французов на милость Гитлера, если вынуждены будем уйти с континента, — произнес англичанин, не отнимая платка от лица…

— А это уже совсем смешно, — реакция Сталина была веселой. — Не на поражении же нам строить свои расчеты.

Черчилль не поднял, а взметнул руку, нетерпеливо сжал ее и разжал.

— Карту! — произнес он. Карта была тут же добыта и покорно легла на розовую ладонь Черчилля. — Быть может, есть иной вариант десанта?

Но вниманием Сталина завладеть было уже нелегко, он перевернул папиросную коробку и, обнаружив на тыльной ее стороне нонпарельную строку, попытался ее прочесть. Ничего не было для него сейчас более значительного, чем эта строка.

— Если говорить о моей миссии в Африку, то там назревают события значительные, — заметил англичанин.

И вновь, как это было в начале встречи, Сталин сделал жест, показывающий, что перед ним гость. Позже, стараясь объяснить себе это, Черчилль склонен был думать, что в этом было традиционное кавказское уважение к гостю, но, наверно, дело было не только в этом. Как ни сложны были отношения между союзниками, перед Сталиным сидел глава правительства, с которым Россия пошла вместе на фашизм, остальное должно было быть производным.

— Да, в вашем последнем послании шла речь об операции «Торч», — сказал Сталин.

Черчилль сейчас был на коне. Да, старый Уинни понатужился и попробовал вложить ногу в стремя и — о господи! — взлететь и утвердиться на коне, всей огромностью своих ног ощущая прохладную глянцевитость седла. Правда, старого Уинни корежила одышка, но вожделенное было достигнуто — он был на коне!

— Ну, что можно сказать об операции «Торч»? — вопросил спокойно, даже спокойно-меланхолически Черчилль. Сейчас, когда он был на коне, он мог ослабить поводья и в какой-то мере пококетничать. — Но прежде чем ответить на ваш вопрос по существу, я хочу поблагодарить вас за то, что вы переуступили нам сорок «бостонов»…

Черчилль не ошибся, сорок «бостонов». Англичане, готовя североафриканскую операцию, попросили через Рузвельта (через Рузвельта!) переуступить им сорок «бостонов», направленных в Россию. Во всякое иное время ценность этих «бостонов» была относительной, но в нынешнюю тяжкую для России пору (не ясно ли, что темп немецкого наступления способна сбить только авиация?) эти сорок «бостонов» обретали цену немалую. И тем не менее согласие было дано, сорок «бостонов» едва ли не с русского фронта ушли в Северную Африку. Вот он, пример того, как надо приходить на помощь.

— Пользуюсь случаем…

— Да, пожалуйста. Итак, «Торч».

Сталин подошел к окну и пошире распахнул створки. Свежесть зеленых кремлевских полян, холодноватость кремлевского камня, а вместе с этим ветреность возвышенных здешних мест неспешно втекли в комнату.

Итак, «Торч»! Наверно, у Черчилля была необходимость, как это было, например, на борту крейсера «Принц Евгений», поудобнее устроившись в кресле, завладеть на добрый час вниманием присутствующих, имея в виду только собственную персону, однако, подняв глаза, Черчилль увидел Сталина. Характерной походкой, чуть-чуть вразвалку, Сталин возвращался к столу. Истинно, походка у него была штатской, неторопливо-спокойной, бесшумной, чем-то напоминающей неспешные интонации его речи.

Черчиллю потребовалось несколько фраз, чтобы изложить смысл операции «Торч»: дислокация, соотношение резервов, шансы сторон…

— Если мы сумеем овладеть Северной Африкой, само брюхо гитлеровской Европы будет в опасности, — сказал Черчилль и, взяв из стопки, лежащей посреди стола, лист нелинованной бумаги и положив его перед собой, набросал силуэт крокодила и вонзил ему в брюхо шпагу, при этом его карандаш действовал с такой быстротой и уверенностью, какая в англичанине и не угадывалась. Очевидно, он рисовал этого крокодила не впервые.

Черчилль пододвинул листок с рисунком Сталину.

— Вместо того чтобы атаковать крокодила в жесткую морду, мы поразим его мягкое брюхо.

— Да, да, — сказал Сталин и кивнул не столько в знак согласия с Черчиллем, сколько в подтверждение каких-то своих мыслей.

Но это не обескуражило Черчилля, он продолжал говорить. Очевидно, расчет англичанина, чисто психологический, строился на том, чтобы в начале беседы заявить об отказе от второго

фронта, а вслед за этим, сдерживая гнев русских, раскрыть им замысел операции «Торч». По мысли Черчилля, такой план беседы сулил известные выгоды: русские проглатывали горькую пилюлю и не ощущали, как она горька.

Сталин слушал, полузакрыв глаза, едва заметно покачивая головой. Трудно было понять, что означало это покачивание головой, в равной мере печальное и одобрительно-доброжелательное.

— Дай бог, чтобы это предприятие удалось, — сказал Сталин, так и не подняв глаз. Эти слова, видно, очень соответствовали его настроению в эту минуту. «Пусть удастся это предприятие! — точно говорил он. — Пусть удастся. Дело союзников нас радует, но пусть оно не заслоняет главного». — Очевидно, североафриканская операция явится дополнением к тому, что предстоит сделать в Европе? — спросил Сталин. По тому, как четко был сформулирован этот вопрос и с какой энергией произнесен, Сталин хотел разговора по существу.

Черчилль говорил, а Сталин прикидывал, насколько эффективен новый план союзников. Конечно же, «Торч» — не второй фронт, но то, что союзники обратились осенью 1942 года к «Торчу», в какой-то мере явилось успехом русских. Их жесткого беспокойства о втором фронте, их настойчивости.

Черчилль говорил, а Сталин, верный своей привычке соотносить и анализировать, пытался ответить себе, что «Торч» даст союзникам.

Он осторожно прервал Черчилля, как бы рассуждая вслух, произнес:

— Что же это даст союзникам? Нанесет удар Роммелю с тыла. Устрашит Испанию. Столкнет немцев с вишистами. Создаст угрозу Италии.

Сталин умолк, а Черчилль не решался возобновить монолог, он явно был под впечатлением только что произнесенного. Так экономно и точно замысла «Торча» еще никто не формулировал.

— Для нас сейчас главное — Северная Африка, — сказал Черчилль. — По тому, с какой готовностью наши русские союзники откликнулись на просьбу о «бостонах», мы поняли, и для них ясно, как это важно.

— Важно, важно, — вымолвил Сталин не без труда и закивал в такт произнесенным словам.

— Благодарю вас, — сказал Черчилль. Он хотел истолковать последние слова как желание Сталина понять англичанина и одобрить его образ действий.

Черчилль встал. То, что можно было назвать первым визитом, закончилось для него со знаком плюс, и он хотел даже ценой

некоторой поспешности поставить точку.

66

Когда на другой день Бардин посетил загородный особняк, служивший английскому премьеру резиденцией, он застал Черчилля в парке. Как обычно, английский гость был в форме цвета хаки, при погонах майора, что указывало, что он готов к очередной кремлевской встрече. Бардин приехал за ним.

— Вот смотрю на эту березу и думаю, а ведь мне надо еще себя убедить, что я в России, — сказал Черчилль.

— И береза тому доказательство?

— Да, пожалуй.

Он привык смотреть на Россию издалека, и она ему казалась даже дальше, чем была на самом деле. Это расстояние было прямо пропорционально ее диковинности и, в его глазах, чудовищности. Не мог же этакий монстр существовать на одной планете с Черчиллем! Его, Черчилля, извечное единоборство с Россией, единоборство, которому он отдал четверть века, было для него борьбой с пришельцами с Марса. Да, да, эта планета должна быть красной! Он никогда не думал побывать на этой планете, да, признаться, это казалось ему и невероятным. А необходимость заставила. К чему только не способна побудить необходимость. Но вот что интересно: вещи самые обыденные обрели для Черчилля смысл, какого они не имели никогда. Береза, обычная береза стала больше, чем березой. Да что береза. Сегодня он проник в бомбоубежище. Не без трепета он вошел в лифт, и тот опустил его в преисподнюю. Нет, небо было девственно-синим, и никто не помышлял о тревоге. Просто Черчилля разобрало любопытство. Как она выглядит, красная планета, если взглянуть на нее не с парадного крыльца? Он вошел в лифт и… провалился на девяносто футов под землю. Глубина! Он пошел из комнаты в комнату. Нет, не только просторно — светло, да такое впечатление, что дневной свет преломлен и направлен в недра планеты. Чудо, и только! Он поднялся наверх. Аквариум. С размерами его можно примириться, а вот золотые рыбки, которые берут еду прямо с ладони! Господи, чего только не увидишь на красной планете! Он вошел в дом и остановился перед краном как завороженный. Оказывается, вода может смешаться и достичь необходимой температуры до того, как вытечет из крана. Невиданно! Не надо ее наливать в раковину и смешивать до нужного градуса, как это делают на родине знатного гостя, а она уже вытекает из крана, так сказать, готовой. Все можно постичь, но это? Черчилль включил теплую струю и подставил палец. Божественно! Вот они, чудеса новой планеты.

Непонятно только одно: кто к кому пожаловал в гости? Цивилизованный в страну варваров или варвар в страну цивилизованных?

— Ах, какое необыкновенное небо! — сказал Черчилль, когда они направились к машине.

— Августовское, — заметил Бардин.

— Для Москвы августовское, — был ответ Черчилля, хотя ему, наверно, хотелось сказать: для красной планеты августовское. — На островах этому дню не всегда сопутствует солнце. Было бы иначе, я бы запомнил.

— Запомнили бы? — переспросил Бардин. — Сегодня четверг, тринадцатое августа.

— Да, тринадцатое, день Бленгейма, — произнес Черчилль, и голос его посветлел заметно.

День Бленгейма, день Бленгейма… Боже, не бросай на произвол судьбы раба твоего Егора. Что же это такое — день Бленгейма? Да не красный ли это листок в семейном календаре знатного гостя? Но Егор Иванович может этого и не знать. Ему самим всевышним разрешается не знать.

— Это что же, не дата ли англо-французской битвы при Бленгейме и не победа ли первого Мальборо? Тысяча семьсот шестой?

Черчилль просиял. Если бы Бардин ошибся не на два года, а на двести два, все равно он был бы прощен великодушно.

— Семьсот четвертый! — произнес Черчилль, возликовав.

Если у Мальборо был некий символ, то это, конечно, Бленгейм. Вот и в книге Черчилля об отце, увидевшей свет в начале века, Бленгейму было воздано должное.

— Первый Мальборо, и победа первая, — произнес Черчилль серьезно и погасил улыбку. Он думал сейчас о чем-то таком, что имело прямое отношение к истории, но отнюдь не являлось историей. — Наверное, есть нечто такое, что сильнее нас, если сегодня тринадцатое августа.

Ну что ж, теперь он все сказал. Он хотел видеть в своей поездке в Москву новую победу Мальборо при Бленгейме. Теперь он все сказал.

Бардину сообщили, что, возможно, ему придется побывать в Стокгольме еще раз. По тому, как это было сказано, Бардин понял, поездка состоится наверняка, при этом в ближайшее время. Бардин пригласил Августу. Из опыта он знал, что ей на подготовку надо неизмеримо больше времени, чем ему, не столько на подготовку деловую, сколько психологическую. Она будет работоспособна, если успеет привыкнуть к мысли о поездке.

Все, что надо было делать без этой психологической подготовки, Августа делала без энтузиазма.

— Вот что, голубушка, предстоит поездка в Швецию, готовьтесь, — сказал Бардин.

— Нельзя же так внезапно, — произнесла она, опускаясь в кресло, которое, к счастью, оказалось подле.

— Ничего себе внезапно! Два дня!

Он взглянул на Августу тем быстрым, но все отмечающим взглядом, которым иногда смотрел на нее, желая уловить настроение — обстоятельство немаловажное, если иметь в виду ее работоспособность. С того памятного дня, как Августа неожиданно явилась в Ясенцы, что-то в ее облике, да, пожалуй, и в поведении сместилось. Прежде она ему напоминала этакую цирковую лошадку, она не являлась людям на глаза неухоженной. А теперь произошло нечто иное — она не стеснялась быть некрасивой. Третьего дня, например, Бардин застал ее сидящей за столом с красными глазами. По всему, слезы ее были обильны — на стекле, лежащем перед нею, собралось озерцо. Бардину стало не но себе. Господи, вот он секрет мирозданья! Как из такой вот немощи возникает такая энергия и целеустремленность?

— Как перевод? — Он хотел, чтобы она недолго пребывала в состоянии шока, и спешил возвратить ее к очередным делам. Это должно было подействовать отрезвляюще.

— Какой перевод? — спросила она голосом, в котором еще не было силы.

— Как какой? Меморандум черчиллевский! Один и второй! — воскликнул он. В голосе его звучало раздражение.

— Да, да, помню, мне надо еще с час, — вымолвила она, не без труда поднимаясь.

— Бекетов звонил? Он будет? — крикнул он ей вдогонку.

— Да, он должен быть, — отозвалась она, уже перейдя в соседнюю комнату.

Бардин взглянул на часы. Бекетов опаздывал. Его самолет приземлился часа полтора тому назад на аэродроме, километрах в пятидесяти от Москвы. Пожалуй, в эти два часа можно было бы и добраться до Москвы, хотя, как помнил Бардин, дорога на аэродром не широка, там два или три переезда, возможен и затор.

Вот так всегда. В минуту трудную ему не надо человека, который возьмет на себя часть ноши, ему нужен человек, с которым можно отвести душу. Как хорошо умел слушать Сергей Бекетов: участливо, а следовательно, сердечно, мудро, невозмутимо, сохраняя и самообладание, и такт, единственно заботясь о благе. Да в этом ли все дело? Тут и слов не найдешь подходящих, не только поэтому. Просто Бардину хорошо с

Сергеем. Пожалуй, это единственный человек, общение с которым оставляет в душе состояние какого-то мудрого покоя. Наверно, первоядром многолетних отношений Бардина с Бекетовым является то большое, что соединяет людей единой цели, но не только это, а то непреходяще человечное, что зовется родством душ. Все казалось: вот сейчас распахнется дверь и на пороге встанет Сережа Бекетов!

Но понадобилось еще добрых полтора часа, прежде чем Бардин услышал голос друга и увидел его щетину небритую.

— Погоди, ты куда приехал, в Наркоминдел или в Московскую патриархию? — крикнул Бардин, дотягиваясь до его бороды и охорашивая ее. — Не иначе, на лондонский православный приход претензии предъявил.

Но Бекетову было не до шуток.

— Тут не то что попом православным станешь, в муллу обратишься! Истинно, путь тернистый!

— Да ты что, пешком в Москву добирался?

— Нынче, милый мой, небеса утыканы терниями, пожалуй, больше, чем суша земная. — Он протянул Егору Ивановичу руку, протянул отчужденно, будто перед ним был не Бардин, а просто добрый приятель из клерков наркоминдельских. В мыслях своих он был еще где-то на заоблачных высотах, усыпанных терниями. — Где-то у Калача увязался «мессер» и шел неотступно до самой Рязани.

— Ну успокойся, дружок ситный. — Егор Иванович обнял Бекетова. — Двум смертям не бывать, одной не миновать! Хочешь чая?

Вошла Августа Николаевна с текстами черчиллевских меморандумов, они были переведены.

— В самом деле, хотите чая, Сергей Петрович? — спросила она. Нежное отношение Бардина к Бекетову сообщилось и ей, Августе была ведома история их отношений.

— Чая так чая, — сказал Бекетов. — Как миссия британская в град первопрестольный? — спросил он друга, дождавшись, когда Августа Николаевна вышла. Не то, что он считал неуместным задавать этот вопрос при ней, просто предпочитал говорить об этом наедине с другом.

— Вот она, суть миссии британской, на этих двух бумажках и уместилась, — сказал Бардин, раскрывая перед Бекетовым папку и извлекая из нее два листа, заполненные машинописным текстом.

Бекетов сел ближе к настольной лампе, углубился в чтение. Да, это были знаменитые черчиллевские меморандумы, которые

британский премьер направил в Кремль 14 августа. Очевидно желая подчеркнуть, сколь значительны усилия англичан в войне и велики потери, Черчилль сообщил о морском бое, которым сопровождался конвой на Мальту.

Не находишь ли ты, что коммюнике построено таким образом, чтобы подчеркнуть, как велики потери? — спросил Бардин, когда Сергей Петрович закончил чтение и возвратил папку. — В самой интонации есть такой оттенок, будто бы Черчилль даже рад, что имеет возможность сообщить нам о гибели авианосца «Игл»! Он точно желает сказать этим: «Вот вы утверждаете, что несете главную тяжесть войны, а у нас не далее как вчера погиб авианосец. Вот каковы моряки британского флота, знают, когда погибать!»

— Да, в этом сообщении есть этот второй смысл, — сказал Бекетов, принимая стакан с чаем из рук Августы Николаевны, а заодно и коробку с московскими сухариками — в знак особого расположения Августа Николаевна угощала этими сухариками тех бардинских гостей, к которым особо благоволила. — А как все-таки миссия?

— Допей свой чай, и выйдем на минутку. Небось давно по земле не ходил.

Как ни велик был соблазн поговорить с Бардиным, Сергей Петрович пил чай не без аппетита, при этом отнюдь не пренебрег московскими сухариками.

— Теперь вижу, за морем не вкуснее, а? — спросил Бардин.

— Нет, Егор.

Они вышли из дома и, оставляя справа от себя площадь Революции, а слева «Метрополь», пошли к Китайгородской стене. Был одиннадцатый час вечера, и в московском небе, густо-черном, зыбились аэростаты. За этот год, как мог заметить Бекетов, их стало над Москвой много больше.

— Они встречались дважды? — спросил Сергей Петрович и указал взглядом на Кремль. Темный изгиб кремлевской стены, выходящей к Александровскому саду, еще был виден.

— Дважды, — ответил Бардин и ускорил шаг. Ему хотелось пройти к самой Китайгородской стене, там было безлюднее. — В среду как-то обошлось, а вот в четверг не очень.

— В среду правами хозяина завладело неким образом третье лицо — протокол?

— Да, пожалуй, а вот в четверг… Одним словом, Сталин направил ему меморандум, в котором прямо так, без обиняков врезал: во время, мол, нашего вчерашнего разговора я установил, что вы считаете невозможным организацию второго фронта. Это

противоречит духу и букве июньского коммюнике, которым были подведены итоги переговоров, немало осложняет положение Красной Армии. Сегодня получен ответ Черчилля. В нем ссылка на все ту же памятную записку и утверждение достаточно оригинальное: разговоры о вторжении в этом году, мол, ввели противника в заблуждение и, таким образом, принесли свою пользу…

— И операция в Северной Африке как некий эрзац второго фронта? — спросил Бекетов. Он представил себе систему доводов Черчилля.

— Да, так и сказано. Если, мол, эта операция будет осуществлена, она окажет России большую помощь, чем какая-либо иная операция.

— А как Америка?

— Гарриман, он здесь, сказал, что Америка согласна с Черчиллем.

— Рузвельт согласен? — спросил Бекетов.

— Я так думаю, — ответил Бардин.

Сейчас они стояли у самой Китайгородской стены с ее ощутимо холодноватым дыханием, и она была им защитой.

— По-моему, вот за этим окном, что над нами, да, на четвертом этаже слева, был чичеринский кабинет, когда Наркоминдел находился в «Метрополе», — сказал Бекетов и, отступив от здания, попытался рассмотреть его фасад. — Да, у самого угла дома…

Сергей Петрович смотрел на окно, знал, за ним нет человека, о котором Бекетов сейчас думает, но оно отождествлялось с этим человеком. Приятно было думать, что это было именно его окно. Он подходил к окну, касался рукой его створок, распахивал… И хотя до этого окно принадлежало другим, да и после этого там людей побывало немало, разных людей, на веки веков оно соотнеслось с этим человеком. Все кажется, распахнется, и жизнелюбивый Моцарт хлынет на площадь — в комнате рядом стоял знаменитый чичеринский рояль, к которому нарком приходил, как к лесному ручью, набраться свежести и сил.

— Говорят, что где-то здесь пролегал его путь в Кремль, — заметил Бардин и посмотрел себе под ноги, будто отыскивая чичеринскую тропу.

— Да, как мне кажется, он шел мимо Исторического музея, входил в Александровский сад и Троицкими воротами проходил в Кремль.

— Троицкими, не Спасскими? — спросил Бардин.

— Нет, тогда ходили Троицкими. Видно, этой дорожкой, проторенной в девятнадцатом, Георгий Васильевич хаживал и

позже, когда Наркоминдел перешел на Кузнецкий. Как-то я встретил его в Александровском саду, он шел в Кремль. — Бекетов улыбнулся. Как ни значителен был разговор, ради которого он пришел с Бардиным к Китайгородской стене, но это воспоминание, для Сергея Петровича бесценное, казалось, способно было жить рядом. — По-моему, это было где-то весной двадцать второго, когда подготовка к Генуе была в самом разгаре. Помню, был вечер, снег казался потемневшим, почти фиолетовым. Знаешь, в марте бывает такой снег. Георгий Васильевич был еще в своем зимнем пальто, тяжелое такое, с шалевым воротником. Я шел ему навстречу и, поздоровавшись, готов был разминуться, но он улыбнулся и жестом показал, чтобы я не уходил. Мы дошли до Троицких ворот. «Как вы полагаете, далеко пойдет Антанта в желании с нами договориться? — спросил он. — Российские долги — это непреодолимо?..» — «Генуя — первый разговор, а в первом разговоре не уступают…» — ответил я. «Тогда что делать нам? — спросил Чичерин. — Ждать второго разговора?..» — «Серьезные уступки требуют времени», — мог только ответить я. «У нас времени нет…» — сказал он. Сказал и точно предрек Рапалло…

— Да помнят ли они все это? — спросил Бардин. — Современность так горяча, что, пожалуй, историю и запамятуешь.

— Если бы это было один раз, может быть, они и запамятовали бы, — сказал Бекетов. — Но ведь это было трижды: Брест, Генуя, наконец, этот договор тридцать девятого! Помнят.

— Да, помнят, нельзя не помнить, — согласился Бардин. — Но иногда им хочется напомнить еще раз. Я-то, конечно, не напомню, но солдат, что сражается с немцем на Волхове, напомнит.

— Надо превратить идею второго фронта в пресс, — сказал Егор. — Видел пресс, которым давят подсолнечное масло? Ну, на маслобойном заводе видел? Вот вроде этого пресса. Давить на них день и ночь, чтобы они в плоскую плитку жмыхов обратились. Вы обещали! Давить в газетах, в общении с их народом, в переговорах. Обещали! Даже когда не очень верим, давить! Пусть пресс работает, все, что выдавим, наше. «Торч» — хорошо, «Факел» — тоже хорошо, новый конвой с «харрикейнами» — и это сойдет, тонны алюминия — в нашем доме и алюминий пригодится, «аэрокобры», «джипы», каучук, тушенка — и это не лишнее!.. Пусть как можно больше выдавливает этот пресс во имя нашей победы. Давить, и никаких гвоздей! Пресс! Пусть течет масло рекой, чем шире русло, тем лучше. Не хотите второго фронта, тем хуже для вас. — Он взглянул на Бекетова и не увидел

на его лице воодушевления. — Как ты, Сергей?

— Второй фронт нужен нам как таковой, и ничего взамен, — заметил Бекетов и не мог не подумать, что-то есть в дипломатии Егора коммерческое, честное слово, даже купеческое! Сам-то он вон какой увалень, не человек, а котел паровозный, а дипломатия Егорова, пожалуй, бойка чрезмерно. — Что же касается свиной тушенки, — продолжал Бекетов, — то я ее у них покупаю за денежки, и вся их добродетель состоит в том, что они мне продают ее в долг. Поэтому все должно быть точно разделено: второй фронт и свиная тушенка. Скажу больше, у них и мысли не должно быть, что они могут за свиную тушенку купить второй фронт. Теперь о том, что ты называешь прессом. Да, пресс, да, давить на них и давить, но только этот пресс должен выдавить не тушенку, а большой десант.

— Но ты, чудак человек, должен считаться с тем, что не имеешь его, большого десанта?

— Нет, Егор, я должен считаться с тем, что должен его иметь.

— Но десант десантом, а в тушенке тоже есть смысл. К тому же одно не противостоит другому! — воскликнул Бардин. Он готов был и на мировую.

— Нет, конечно, не противостоит, — парировал Бекетов. — Но я всегда за то, чтобы главное было отделено от второстепенного.

Бардин умолк. Его не очень устраивал результат разговора. Он взглянул вверх.

— А знаешь, он, пожалуй бы, сумел применить пресс и выжал бы всякого добра, — указал он на чичеринское окно.

— Не думаю, что он бы с тобой согласился, — ответил Бекетов и стал рядом. — Его дипломатия была гибкой, но лишенной зигзагов. В ней была мысль и та основательность, которая у наших вызывает веру, а у тех — доверие.

67

В тот самый момент, когда Бардин и Бекетов вели свой напряженный разговор близ Китайгородской стены, кремлевские переговоры вступили в фазу весьма критическую. Черчилль явился в Кремль, имея на руках меморандум Сталина. Поэтому диалог, возобновившийся в Кремле, воспринял тон и интонацию не столько уже состоявшихся бесед, сколько русского меморандума. Сталин говорил о жертвах, которые несет страна в своем единоборстве с сильным врагом, о слове, которое дали союзники, имея в виду большой десант, и о том, что в трудную для России минуту они отказываются от своего слова.

— Но вы должны признать, что десант через канал сопряжен для нас с превеликим риском, — сказал Черчилль. Он был заинтересован не столько в этой фразе как таковой, сколько в том, чтобы сбить Сталина с того тона, который он принял и который становился все более грозным.

Сталин оторопел на секунду, он не привык, чтобы его прерывали.

— Я полагаю, что английская пехота не боялась бы немцев, если бы она сражалась с ними, как это делали русские и как… — Сталин смешался. Фраза, которую он хотел сейчас произнести, стоила ему усилий, он опасался, что эта фраза ослабит воинственность его речи, а он в этом не был заинтересован. — … И как это делают английские летчики.

Как ни снисходительна была последняя часть фразы, Черчилль побагровел. Эта багрово-синяя краска гнева занималась на его лице по мере того, как переводчик, смущаясь и робея, сооружал непростую фразу Сталина по-английски.

Черчилль молчал, сомкнув губы. Гневная багровость его лица, точно чугун, снятый с раскаленных углей, медленно тускнела.

— Я прощаю… — произнес Черчилль тихо и, чувствуя, что ему трудно перевести дух, умолк. — Я прощаю это замечание, только учитывая доблесть русских войск, — произнес он и поднял ладонь, поднял не спеша, точно прислушиваясь к затихающим ударам сердца. Можно было подумать, что никогда эта ладонь не казалась ему такой тяжелой, как в эту минуту. Он вновь принялся говорить, при этом, как это было много раз прежде, он чувствовал себя все увереннее по мере того, как говорил, увереннее, а потому и красноречивее. Сейчас красноречие его было столь велико, что он заворожил даже переводчика. Тот глупо онемел и восторженно смотрел на старого Уинни. Но Черчилль жаждал в эту минуту

отнюдь не восторженной реакции переводчика, ему нужна была такая же реакция Сталина. И Черчилль тихо взвизгнул: — Ну что вы бессмысленно хлопаете этими вашими метелками, вам надо записывать и переводить!

Видно, где-то рядом с воодушевлением и ложной патетикой его речи жила твердая мысль: если есть в этой беседе для него что-то важное, то только реакция Сталина, остальное в такой мере не существенно, что может не приниматься во внимание.

— Я говорю, что вы хлопаете этими вашими метелками?

Сталин ухватил внезапную перемену в настроении Черчилля. Это было смешно.

— Я не понимаю ваших слов, но мне нравится ваше настроение, — рассмеялся он, рассмеялся искренне. Психологически напряжение не могло продолжаться бесконечно, оно требовало разрядки, сейчас смеялись все, и Черчилль больше всех, но, обернувшись к Сталину, британский премьер увидел, что тот уже не смеется, больше того, он хмур, как прежде хмур. Черчилль с откровенной укоризной взглянул на переводчика: вот как дорого может стоить глупость одного человека.

— А как все-таки с планом переброски самолетов через Сибирь? — вдруг подал голос Гарриман. На этом совещании трех он как бы олицетворял собой Рузвельта, как бы олицетворял, а не являлся им. Наверно, это чувствовали все, и больше остальных Гарриман, чувствовал и робел. То, что он должен был быть Рузвельтом, а не собственно Гарриманом, не столько сообщало силы представителю президента, сколько эти силы у него отнимало — он был несмел.

— Войны не выиграть только с помощью планов, — сказал Сталин, не глядя на Гарримана. Конечно же он был заинтересован в переброске американских самолетов через Сибирь и имел возможность подтвердить это, но сейчас было не до самолетов, сейчас надо было дать понять Гарриману, что он говорит не по существу, с откровенной резкостью дать понять, чем резче, тем лучше. Больше того, в этой реплике, которая, казалось бы, имеет косвенное отношение к главному, высказать главное: Америка и ее президент не сдержали слово.

68

На другой день вечером Бардин повез друга в Ясенцы. Где-то на двадцатом километре у переезда машина остановилась перед закрытым шлагбаумом, по всей видимости, надолго — гремел военный эшелон. Друзья вышли, приятно было хотя бы несколько минут постоять под вечерним небом.

— А вот такого я, пожалуй, не видел, — сказал Бардин, указывая на товарные платформы, на которых, точно слоны в дремотном забытьи, разместились пушки, зарыв черные хоботы в брезент и мешковину. — Эшелоны-то повернули на восток.

— Это что же, причина для радости или, может быть, для печали? — спросил Бекетов.

— Сразу и не ответишь. — Бардин пожевал толстыми губами. — Для печали, пожалуй… Чего тут радоваться, не от Волги идут, а к Волге!

— Не знаю… Не знаю… — сказал Бекетов, когда вслед за первым эшелоном из тьмы вынырнул второй. — Не знаю…

Они вернулись в машину и остаток пути молчали. Бардин давно заметил, ему и в молчании было хорошо с другом, но, искоса посмотрев на друга, уловил его взгляд. Во взгляде этом, как почудилось Бардину, было сострадание. О чем мог думать сейчас Серега? Не тревожился ли за судьбу Егора, не жалел ли его? Бог знает, что может внушить мужику молодая женщина. Небось уверила Егора, что любит. Больше того, убедила, что хочет от него ребенка. Бекетов знает, что женщиной, истосковавшейся по большому чувству, вдруг может овладеть этакий кураж: «Хочу от тебя сына!» Нетрудно представить, какую энергию развила она, стремясь доказать эту самую любовь. Чистит старому Иоанну сапоги и ходит на родительские собрания в Иришкину школу. Да, чистит сапоги и ходит в школу, а не понимает, простая душа, что главное не в этом. И он, Егор, не понимает, что главное не в этом. Да что там говорить. Главное в тех одиннадцати годах разницы, которая сегодня спит и завтра, быть может, будет находиться в полудреме, а послезавтра вдруг проснется и заявит о себе и тогда… О господи, бедный Егор, бедный Егор! И как помочь ему, как защитить его от этой напасти, которая надвигается на него неотвратимо? Сказать ему: не делай этого!.. Да, да, сказать ему: «Побереги себя, дружок, доверься уму здравому, он ведь тебя никогда не подводил. Доверься и побереги…» Не поймет? Нет, пожалуй, поймет, и как еще поймет! Не ровен час, обратится к классикам и отыщет такое, что тебе не снилось. Нет не опровергающее сказанное тобой, а, наоборот, утверждающее твою

правоту. Да что ты? Не корчи из себя провидца. Он это все сто раз исследовал, а заодно призвал в свидетели Гёте и нашего Тютчева. Но тогда что он намерен делать? Ничего. Ты слышишь, ни-че-го! Значит, идет на убой, вооруженный Гёте? Да, шагает обреченно, подобно известному животному даже не мычит. Как-то странно, ведь сильный же человек, а тут беспомощен, и беспомощен в главном. Знает, что идет на погибель, и ничего не может сделать. Бедный Егор!

— Ты что на меня смотришь, как на конченого? — вдруг закричал Бардин. — Того гляди слезы брызнут.

Бекетов рассмеялся:

— Да откуда ты взял?..

Но в самом смехе Бекетова Егор Иванович услышал нечто затаенное, подтверждающее его, Егора, сомнения.

— Я вижу слезы у тебя на глазах, вижу. Да не меня ли ты оплакиваешь?

— Нет, нет, — сказал Бекетов и отвел взгляд, застеснявшись, а Бардин подумал: «Прячет глаза Серега, прячет…»

Машина вошла в Ясенцы, когда сумерки подсинили дома. Только стены, обращенные к заре, были светлыми, деревянные — лиловыми, беленые — густо-вишневыми, почти бордовыми. «Вот сейчас войдем во двор, и Ольга, услышав стук щеколды, выйдет на крыльцо, — мелькнуло у Бардина. — О, вечер спасительный, хорошо, что вечер». Но щеколда стукнула, и они пошли садом, а крыльцо было пусто. Только когда вошли в дом и из его утробы пахнуло непобедимо вкусным запахом жареной картошки, Егор Иванович приметил в пролете дверей, ведущих из коридора, Ольгу. А она, увидев Бардина с Бекетовым, не столько устремилась к ним, сколько отступила. Ну конечно же ничего не было для нее более страшного, чем встреча с ними в эту минуту. А подойдя к Бекетову и протянув ему руку, забыла подойти к Бардину, да и Егор смешался. Почтительно именуя Бекетова Сергеем Петровичем, она никак не называла Егора и, как показалось Бардину, отводила от него глаза.

— Помните, как, работая над дипломом, вы устроили мне экзамен, знаю ли я русскую природу? — спросил Бекетов, желая вовлечь ее в разговор, чтобы осилить страх ее и свой. — Все водили меня по саду и ставили каверзные вопросы: почему елочка голубая и как надо пересаживать лесное дерево, чтобы оно не погибло? А потом показали семь сортов клубники, которые вырастили в Ясенцах. У вас и сейчас семь сортов?

— Одиннадцать, — отвечала Ольга, робея.

— В саду много работы? Небось устаете?

Бекетов с Бардиным стояли у окна, выходящего в сад, а Ольга заканчивала накрывать стол. Она могла не выходить из комнаты, буфет был рядом.

— Прежде не уставала, а теперь устаю, старая стала, — вымолвила она и посмотрела на Егора Ивановича, точно приглашая его опровергнуть сказанное, но Бардин молчал. — Вот еще страх берет, когда бомбят, — произнесла она вне связи с предыдущим, но тут же нашлась: — Тоже от старости, наверно. Была бы молодая, не боялась бы. Молодые храбрые. Все убеждаешь себя, что страшно не за себя, а за тех, кто рядом, а наверно, страшно и за себя.

А Бардин не сводит глаз с Ольги. Как она бесстыдно хороша сегодня, господи! И точно обнажила свою красоту: надела это платье, усыпанное крупными цветами и по этой причине прозванное лупатым, точно надраила щеки свои, вон какие блики пошли по щекам, того и гляди займутся полымем! Поубавить в ней румянца да броской яркости, а может быть, и молодости, пожалуй, было бы лучше, но попробуй убеди женщину, что в ней излишек красоты, поймет ли?

Явилась Иришка, скосила глаза на лупатое платье Ольги, потупила очи. Какая-то она восковая, Иришка, точно из сырой кельи. В самом деле, чего она такая? Какой червь точит ее: тайного недуга, тревоги за отца, а может быть, тот своекорыстный червь, которого вернее назвать бесом и который вызван зреющей плотью? Нет беса злее.

— Тебя Тамбиев спрашивал, — сказал Бардин.

— Меня? — У нее точно колени подсеклись, и она мигом ссутулилась. Потом ринулась к Ольге, будто моля защитить ее. И оттого, что она стала рядом с Ольгой, ее лицо показалось Бардину обескровленным, и в какой уже раз Бардин вознегодовал на Ольгу: надо же быть такой ярколицей!

— Ну конечно, тебя спрашивал Тамбиев. А чего ты испугалась?

— Нет, я ничего, пусть спрашивает. — Так и не выпрямившись, Иришка пошла в сад. А Ольга точно не слышала слов Бардина, обращенных к дочери.

— Ты побудь с нами, Ириша, — сказал Бекетов.

— Нет, спасибо, я хочу в сад, — ответила Иришка, а у Бекетова лицо вдруг стало сумрачным, так показалось Бардину. Ну конечно, он может подумать, что деспотическая сила Ольги придавила и Иришку, вон как взглянул Серега на Егора, не знает, как выразить сострадание.

Пришел Иоанн. Не торопясь, с солидной основательностью и

торжественностью привлек он Бекетова к себе, охватил здоровой рукой, вздыхал, приговаривал: «Серега, Серега», — потом освободил нехотя.

— Ну, как, утолкли гордого бритта?

— Это как понять — утолкли?

— Как он, подсобит России?

Бардин стрельнул в отца лютыми глазищами.

— У тебя вопроса полегче не отыщется?

Иоанн показал молодые зубы, у него разом улучшилось настроение.

— Знай наперед, хочешь отца обскакать, с самим собой разминешься. У отца ума поболее твоего, а? Ты чего воззрился? Я говорю дело, поболее! Ты меня Серегой не стращай, ему-то ясно, поболее! Ну, попытай его. Робеешь? Тогда я спрошу: как ты, Серега?

Бекетов заулыбался, но, взглянув на Егора, покраснел.

— Я-то как есть посторонний. Нет, не то что посторонний, а сути я не знаю.

— Сути? А вот она, суть. По мне политика, что строит надежды на Черчилле, как бы это половчее сказать, несерьезна. И еще, коли тебе нравится быть обманутым, валяй на здоровье, но зачем ты хочешь поставить в свое положение народ? Народ-то поумнее тебя, и то, что не разумеешь ты, он разумеет. Так, Серега?

— Не все так просто.

Старый Иоанн опешил:

— Непросто, говоришь? Ну что ж, видно, козла надо трахнуть еще разок, чтобы он сказал: «Мэ-э-э!..» — Иоанн шагнул к двери, ведущей в глубь дома, потом остановился. — Эко у вас дрема непробудная, уснули — ума и глаз лишились! Какой гром должен грохнуть над вашими головами, какой небесный огонь разрядиться, чтобы вы пробудились ото сна? Господи, не лишай моих детей ума и глаз. Смилуйся, пощади…

— Да в господе ли дело? Коли принимали, так тому и надо быть!

Но Иоанн уже вошел в азарт, и не было человека на земле, который мог его остановить.

— Принимали, значит? Небось и чаи перед ним разливали? И ручки пожимали? И вино в бокалах искрилось? И шампанское шипучилось? И здравица была, да? За ваше, мол, здоровье драгоценное и за здравие всех ваших присных, да?

— А по тебе — двери перед ним на засов, да?

Иоанн, казалось, взревел:

— По мне, говоришь? По мне, метлой наипоганой да

взагривок, взагривок, чтобы шибче бежал, да вниз по лестнице, а потом по торцам, а вслед за тем с холма кремлевского, а далее по Валовой да в горб его, чтобы знал, каких слез кровавых стоят России козни его!

Он не взял со стола, а сорвал графин с водой, попробовал снять больной рукой крышку, но рука беспомощно дрожала, и крышка дважды ударилась о графин и высекла звон. Он едва донес стакан с водой до губ.

— Ну, на этой метле далеко не уедешь и Россию, пожалуй, не ублаготворишь, — бросил Бекетов и предусмотрительно отошел к окну. Природной его деликатности пришел конец.

Иоанн едва не выронил стакан, рука дернулась, вода выплеснулась на скатерть.

— Да будет вам известно, Сергей Петрович, что эта истина для меня элементарна.

— Господи, да ты решительно спятил, отец! — вскричат Бардин. — Извинись перед Сергеем!

Иоанн колебнулся на нетвердых ногах, пошел вон из комнаты.

— Я? Извиняться? За то, что я вас учу Россию любить?

— Погоди, кто ты, отец мой родной? Кто ты, я уразуметь это хочу, — сказал Егор Иванович в сердцах.

— Кто я, говоришь? — Казалось, вопрос сына сшиб Иоаннову спесь, поставил его перед необходимостью держать ответ, нет, не только перед сыном, но и перед самим собой. — Слыхал присказку мудрую: не сжигай мостов! Так я и есть тот самый мост, который сжигать не след.

— Это что же, мост в будущее?

— Нет, мост в прошлое. Там, в том прошлом, не все так худо, как незрелому уму твоему рисуется. Так вот ты по этому прошлому кувалдой — р-р-аз, чтобы оно вдребезги, а я хвать тебя за руку — не смей! По тебе, там, в этом проклятом прошлом, только попы нечесаные да куда как дремуче-темные и купцы-кровососы, тоже нечесаные и уж такие темные, что глаз в этой тьме первозданной лишишься. А по мне, там, в этом прошлом, жили не только попы и купцы, но люди, чей светлый ум народу путь торил, да у самого народа была ума палата, надо только не считать себя умнее его, уметь слушать человека простого. Ты уразумел, не отдавать себя во власть гордыне, а уметь слушать! Невелик образец, а поучителен. Если я и сотворил в своей жизни нечто стоящее, то только потому, что не был глух к уму и опыту народа. Ты спрашиваешь, кто я? Так вот тебе мой ответ: я мост, по которому ты будешь ходить за умом-разумом, когда тебе его не будет доставать. Ты скажешь, что богат на сто лет вперед. А я

скажу, не зарекайся. Ты полагаешь, что мост Кузнецкий всем мостам мост? Нет! Есть и мосты покрепче, и кузнецы поискуснее.

Но Бекетов, собравшийся было уходить, шагнул к Иоанну.

— А по мне, Иван Кузьмич, лучшего моста и не надо, чем Кузнецкий. Это мой мост. Нет, не просто Кузнецкий — чичеринский. Куда как надежен мост. И в прошлом, и в будущем…

Иоанн поднес здоровую руку к груди.

— Значит, чичеринский?.. Ну что ж, Чичерин — тут все ясно.

Позже, когда Бардин провожал друга к машине, они вдруг остановились посреди темного сада и долго смотрели в ночное небо, потревоженное на юго-востоке светом прожекторов.

— Вот она, Россия страдного лета сорок второго, — сказал Бардин и указал взглядом на дом, имея в виду Иоанна.

Бекетов уехал, а Бардин так и не вошел в дом. До холодной августовской ночи он просидел на порожках. Стремясь унять растревоженное сердце, ища защиты у Ольги. Ласково мудрая, она была рядом.

— Ты будь с ним, как я, уступи и победишь, — смеялась она.

69

Как было условлено, Черчилль явился в Кремль на другой день к семи вечера. Подавая руку английскому премьеру, Сталин не мог не улыбнуться — рядом с Черчиллем стоял другой переводчик. Если верить тому, что кратчайший путь для начинающего дипломата к заветному посольскому званию — стать переводчиком премьера, то можно считать, что в этот день одним британским послом стало меньше.

Диалог, прерванный накануне едва ли не на полуслове, возобновился. По крайней мере, русские дали понять, что они хотят в деталях ознакомиться с намерениями союзников на этот год: видимо, Сталин готов был жертвовать всем, но только не потерей контактов.

Едва ли не из небытия был вызван план операции «Торч». Черчилль возобновил рассказ и повел его так, будто бы прежде и речи не было об этом. Новый переводчик, на долю которого неожиданно выпали и честь, и страхи этого перевода, как мог, поспешал за премьером. Казалось, рассказ возобновлен для нового переводчика. Только для него и было внове все то, что сейчас говорил Черчилль, остальные это уже слышали.

Когда до прощального рукопожатия оставались минуты, Сталин вдруг произнес:

— А почему бы нам не пройти на мою кремлевскую квартиру?

Самолет уходил на рассвете. Для старого Уинни, которому жестокие московские дни стоили сил немалых, велик был соблазн добраться до теплого ложа и соснуть, но Сталин приглашал… Если бы днем раньше, в ту достопамятную минуту, когда Сталин говорил о трусости доблестного союзника (только подумать — трусости!), Черчиллю сказали бы, что он будет удостоен такой чести, он, пожалуй, усмехнулся бы, а вот теперь это было явью — Сталин приглашал. Заманчиво было объяснить эти метаморфозы в поведении Сталина даром Черчилля убеждать, больше того, подчинять своей воле, но старый Уинни был трезвым политиком и находил этому свое объяснение. В переговорах, как в классической драме, были завязка, кульминация и развязка, при этом каждый из поворотов можно было предусмотреть заранее, если, разумеется, стороны не отступят от первопозиций. Стороны остались при своих козырях, остальное известно.

Черчиллю подали шинель. Он надел ее, не забыв застегнуть и матерчатый пояс. Сталин шинель накинул. Они спустились вниз.

Их путь лежал через кремлевские площади. Было около восьми часов вечера, и даже купола на кремлевском холме уже не отражали августовского солнца — заря погасла. Как ни неспешен был шаг, все, кто сопровождал их, поотстали. Сейчас они шли вдвоем. То ли тишина каменного града вторглась и расколола их, то ли незнание языка было тому причиной, они вдруг почувствовали, как утратили то немногое, что связывало их. Они шли рядом, но каждый шел своей дорогой и каждый был закован в броню своего молчания. Они шли рядом, но это были посторонние друг другу люди, больше того, люди чужие. Впервые за все дни их московского общения они были самими собой.

Много позже, когда была распечатана очередная бутылка «твиши», Сталин положил кулаки на скатерть, сказал:

— А не перенести ли нам главный разговор на совещание трех?

Черчилль, так и не сумевший надкусить большое, поблескивающее глянцевой кожицей яблоко и взявшийся за нож, вдруг отодвинул от себя и нож, и яблоко, устремив на Сталина сонные глаза. В этой фразе Сталина ему померещилось нечто такое, что призвано было разрушить приобретение этих дней. Да не проник ли Сталин в суть его разногласий с американцами и не вознамеривался ли столкнуть лбами могущественных партнеров?

— Будь эта встреча на Британских островах, вам обеспечен великолепный прием, — сказал старый Уинни. Он рассуждал так: если не удастся избежать встречи, так пусть она будет на Британских островах.

— Благодарю вас, — сказал Сталин и, улыбнувшись, пододвинул к гостю тарелку с яблоком. — Согласитесь, что в настоящее время приемы особого значения не имеют и единственно, что важно — победа…

Черчилль не притронулся к яблоку. Нет, он, старый Уинни, рано торжествовал победу, на горизонте уже маячила новая встреча, а следовательно, и новый тур борьбы. Но эта встреча уже не могла произойти в году нынешнем, как не мог быть в этом году высажен десант на континенте, а это, наверно, выигрыш.

Черчилль вернулся в свою резиденцию в половине четвертого утра и в оставшийся до отъезда на аэродром час продиктовал телеграмму Рузвельту. Тон ее был оптимистическим весьма.

70

Человек в твидовом пальто встретил Бардина и его спутников в аэропорту Стокгольма.

— Грабин, первый секретарь, — представился он и тронул ладонью сизые щеки (однако щетина у него не для протокольной службы, отметил про себя Бардин, небось должен бриться дважды в день).

Был ранний вечер, и над Стокгольмом вставало электрическое зарево. Бардин вспомнил небо Москвы, серо-синее, под цвет бумаги, которой второй год в России задраивали окна, поймал себя на том, что ему было неприятно обилие света.

— Что передала сегодня Москва? — спросил он Грабина, когда от шофера к Егору Ивановичу, сидящему на заднем сиденье, побежал свет придорожных фонарей.

— Немцы вошли в Моздок, — отозвался спутник Бардина и откинулся на спинку — набегающий свет слепил его.

— Значит, Моздок? — мог только вымолвить Бардин. В те долгие часы, когда его самолет выгибал гигантскую дугу, стремясь из Москвы в Стокгольм (истинно, дуга: вначале Тегеран и Каир, потом Гибралтар и Лондон, а оттуда скачок в Швецию!), Бардин только и думал, это та самая дуга, которая грозит оказаться обручем. И вот теперь Моздок! Того гляди, дуга сомкнётся!

— От Моздока до турецких пределов по прямой не больше пятисот километров? — спросил Егор Иванович.

— А от Моздока до пределов шведских больше?

Язык у Грабина под стать его щетине — жесток.

Бардин замкнулся в молчании. Только продолжали вбегать в машину пятна света. Вот он, Моздок! Как ни мрачен юмор Грабина, спутнику Бардина нельзя отказать в правоте. В той мере, в какой Моздок способен повлиять на нейтралитет турецкий и шведский, расстояние от него до соответствующих рубежей одно и то же.

— Александра Михайловна у себя? — спросил Бардин.

— Пришла в четыре утра, еще не уходила, — был ответ.

— Как она?

— Не очень… Но дежурный поход в парк не отменяется, организм требует. Пузырек с каплями в сумочку — и в парк.

Бардин вспомнил свой последний приезд к Коллонтай. В урочный час она собралась в парк, Бардин вызвался пойти с нею. Она приходила сюда не только для того, чтобы совладать с усталостью, у нее была потребность уединиться, уединиться,

чтобы сосредоточиться. Наверно, здесь родились ее самые большие замыслы. Вот этот куст ольхи, дуб с многослойной кроной и, разумеется, этот длинный дом с неусыпно светящими окнами тому свидетели. «Вы знаете, что это за дом?» — спросила Коллонтай. «Нет», — ответил Егор Иванович. «Библиотека, та самая, знаменитая, в которой работал Ильич, — подтвердила она и произнесла как бы вне связи с предыдущим: — А я не верю в предвидение без знаний». Вот оно, диво: судьбе угодно было расположить посольство рядом с библиотекой, чтобы она могла прийти сюда в сумеречный час с самыми трудными думами и, как сейчас, повторить: «А я не верю в предвидение без знаний».

…Бардин вошел в посольство и подивился тишине, которая владела домом. Так же, как в первый приезд Бардина, пахло привядшими гвоздиками (синий горшок с цветами и тогда стоял посреди холла) и где-то далеко, одолеваемая усталостью, работала машинистка. Егор Иванович пошел к лестнице и, казалось, двинулся навстречу этому звуку клавиш, звук был поводырем. Шел и думал: сколько лет Александре Михайловне? Шестьдесят восемь или все семьдесят? И еще думал: каково ей сейчас в этом стокгольмском блиндаже, на перекрестке дорог, которые и прежде были нелегкими? Такое и мужику не под силу, а каково ей?

Егор Иванович прошел в приемную. За машинкой сидела все та же девушка в белой блузке. Она не без труда оторвалась от клавиш и улыбнулась Егору Ивановичу с печальной усталостью, улыбнулась и показала глазами на дверь, ведущую в кабинет, точно хотела сказать: «Да, она ждет вас». Бардин приоткрыл дверь кабинета и прямо перед собой увидел маленькую женщину, которая с внимательной грустью посмотрела на него. Со времени последнего приезда в Стокгольм прошло месяцев пять, но они сделали свое: в неправильном, но прекрасном, каким оно виделось Егору Ивановичу, лице Коллонтай появилось такое, что можно было назвать знаком старости. Пожалуй, прежде Бардин не сказал бы этого, а сейчас это было видно воочию — перед ним сидел старый человек.

— Да что вы, онемели, Георгий Иванович? — спросила она, стараясь придать голосу прежнюю стремительность, и Бардин понял, голос не хотел стареть, голос был прежним. — Ну, идите сюда, да посмелей. Садитесь, помнится, вы сидели прошлый раз здесь. — Она протянула руки, да, именно руки, а не руку. Ее манера, жест приязни, доброго товарищества. Руки были прохладны. Это от свежести, проникшей в распахнутое окно, подумал Бардин.

Он сел. Кресло оказалось неожиданно глубоким, и плоскость

письменного стола была у самых глаз. Лежало недописанное письмо с фамильной печаткой в виде ромбика в левом углу. Папка, очевидно с шифровками, — стопка рисовой бумаги вспухала. Том «Войны и мира», кажется, третий. В памяти возникла последняя строка: «Он тихо отворил дверь и увидел Наташу в ее лиловом платье, в котором она была у обедни». И еще ручные часики Александры Михайловны на матерчатом ремешке. Видно, к вечеру рука чуть-чуть опухала и ремешок становился тесным.

— Ну, рассказывайте, Георгий Иванович, путь был нелегким? Верно, нелегким?

— Нет, рассказывайте вы.

Она неожиданно откинулась в кресле и отодвинула томик Толстого.

— Немцы добираются в Финляндию через Швецию, шведские железные дороги отданы вермахту.

— Это что же, метаморфозы нейтралитета?

— Да.

Бардин встал и пошел к окну, хотелось пошире раздвинуть его створки.

— Хаген в Упсале? — спросил Бардин.

— Нет, в Стокгольме и ждет встречи с вами.

— Я готов, в тот раз, Александра Михайловна, он был мне полезен очень.

— Ну что ж, мы здесь привыкли ему верить. Он старый человек, и ему уже поздно менять друзей…

— Нам тоже, Александра Михайловна.

— Нам тоже. — Она встала, приблизилась к окну, не без любопытства взглянула на мостовую, которая была сейчас пуста. — Вот здесь стояли сегодня парни в коричневых рубахах и кричали: «Коллонтай, а не пора ли тебе уйти?» — Она наклонилась, опершись о подоконник, а потом выпрямилась. — Ах, эти условности!.. Не была бы я тем, кем я есть, сошла бы я вниз… Поверьте, Георгий Иванович, уж я бы в долгу не осталась!

На последние слова у нее не хватило сил, и она произнесла их свистящим шепотом: «Не ост-лсь!..» Бардин взглянул на Александру Михайловну. Ее глаза точно утратили интерес к происходящему.

— Пододвиньте стул и дайте пузырек с зеленинскими, он в сумочке. Да не стесняйтесь, в сумочке…

Бардин открыл сумку — истинно, заповедный мир, на все возрасты один!

Он подал ей пузырек с каплями.

Пузырек был откупорен, и стеклянная пробка лежала на

подоконнике, обронив капельку влаги. Пахло приторно-маслянистым, до тошноты сладким запахом капель.

— Отодвиньте, пожалуйста, лампу, Георгий Иванович, глазам больно.

Он снял лампу и перенес на столик рядом, свет, казалось, потускнел, и в распахнутом окне помолодели звезды.

— Вы помните нашу прогулку по парку и разговор о предвидении?

Ну вот, она вспомнила этот разговор, не могла не вспомнить его сегодня.

— У библиотеки?

— Да, у библиотеки, — согласилась она. Ее возраст был и в произношении, она говорила «библиотеки». — Среди его писем ко мне есть одно, где все объяснено на веки веков. Оно помечено шестнадцатым марта семнадцатого года и послано из Цюриха. Вы теперь поняли, о чем оно?

Бардин понимал все, но сказал «нет». Ему хотелось, чтобы она сказала то, что хотела сказать. И она сказала.

— Ну как тут не понять? — поразилась она. — Он послал это письмо в тот самый день, когда узнал об отречении царя. Но дело даже не в этом.

— Не в этом? — переспросил Бардин. — Тогда в чем?

— В чем? — повторила она вопрос Бардина. — В предвидении! Будьте внимательны к тому, что я вам сейчас скажу. В этом письме есть фраза, достойная того, чтобы с нее было начато летосчисление. Вот ее смысл: февраль — это первый этап первой русской революции, первый этап, который будет не последним и не только русским. Заметьте, что это написано едва ли не в тот самый день, когда свершился февральский переворот! Нет, я не голословна, в ваших силах меня проверить, это письмо напечатано. — Она помолчала, набираясь сил — ей все еще было худо, — потом произнесла, обращаясь к девушке в приемной: — Мария, дай мне, пожалуйста, том ленинских писем, тот том… Ты дашь мне его сейчас? — спросила Коллонтай, помолчав.

— Да, сейчас, — сказала Мария.

И в той тишине, которая наступила внезапно, наверно, ощутимее были шумы больного сердца. Бардин взглянул на Коллонтай, и ему показалось, что восковой оттенок лица, который он заметил, когда вошел сюда, усилился.

— Говорят, что у кавказцев звезды разобраны по доблестям. Но вот что интересно, звезда Предвидения и Храбрости — одна звезда…

— Предвидеть, значит, быть храбрым? — спросил Бардин, улыбаясь.

— Храбрым, — подтвердила она.

Мария принесла томик, но у Александры Михайловны уже не было сил его открыть. Она всего лишь дотянулась до стеклянной пробочки, закупорила пузырек с каплями и, зажав его в кулак, как нечто очень драгоценное, попробовала встать. Она вставала осторожно, неожиданно затихая, прислушиваясь. Наверно, у нее уже были свои признаки, как оно ведет себя, сердце, и она воспринимала его даже не непосредственно, а по тоскливому холодку в груди, ноющей боли в плече, дыханию.

— Откройте дверь, Георгий Иванович, — попросила она, и Бардин подивился молодости голоса. Сила ее жила в голосе.

— Врач в посольстве? — Бардин все еще стоял над нею.

— Да, разумеется. Откройте, — она пыталась увидеть дверь.

Уже входя в лифт (ее квартира была на четвертом этаже), сказала ему:

— Сегодня я, пожалуй, отдохну.

Бардин вышел на улицу, свернул к парку.

Вот оно, храброе сердце, хотя сердце слабое. Он вернулся в посольство через час и подивился тому, что в сомкнутых шторах окна Коллонтай был виден рубец электричества. Егор Иванович прибавил шагу, вбежал в дом. Дверь в приемную посла, как и в кабинет, была распахнута. Посреди кабинета стояла Мария и держала часики Александры Михайловны на черном матерчатом ремешке, те самые, что лежали у нее на столе, когда Бардин вошел. Мария бессмысленно перекладывала часы из руки в руку, не глядя на них и, очевидно, о них не думая.

— Вы ходили наверх? — спросил Бардин. — Ей плохо?

Только сейчас она взглянула на часы, будто в часах видела человека, о котором шла речь.

— Вас не было здесь? — Она выждала, не зная, как сказать то, что хотела сказать. — Ее только что увезли. Удар, она лишилась речи…

Бардин смотрел на круглые часики в руках Марии, смотрел с непонятной пристальностью, будто бы в этих часах с едва заметным стерженьком секундной стрелки, которая продолжала двигаться, была заключена тайна того, что произошло…

Так вот она, страда 1942 года, думал Бардин, когда брел к себе на третий этаж, брел по лестнице, высветленной таким ярким электричеством, что хотелось закрыть глаза. А потом сидел над зеленым глазком радиоприемника и пытался поймать Москву. И было удивительно, как светящееся яблочко, мутно-сетчатое, сонно-смежающееся, совсем живое, могло отразить и собрать огромность земного яблока, застланного дымами и всполохами большой войны. И еще было удивительно, как эта

война со всей значительностью расстояний, событий и судеб могла сосредоточиться в судьбе человека, который в этот час вел борьбу с недугом.

Когда утром Бардин подошел к решетчатой калитке стокгольмской клиники Красного Креста, на садовой дорожке, ведущей от ворот к клинике, он увидел Хагена. Наверно, не случайно, что Бардин увидел здесь именно бургомистра Хагена.

— Нет, вам не удастся войти, а мне выйти, — произнес Хаген, указывая глазами на ворота. — Привратница понесла письмо в палату и на всякий случай заперла калитку.

Бардин стоял сейчас перед решетчатой оградой, охватив ее прутья. Железо приятно холодило руки, не хотелось выпускать его.

— Ей лучше, господин Хаген?

Сейчас и рука шведа сдавливала прут. Рука была неестественно худой. Оттого, что на безымянном пальце был перстень с прямоугольным камнем, рука не становилась красивее.

— Нет, пожалуй, ей хуже. Говорят, что у нее сейчас сине-черное лицо. Меркнет сознание. Меркнет.

Бардину хотелось так тряхнуть эту ограду, чтобы прутья выскочили из гнезд.

— Но надежда… Есть она, надежда?

Сейчас Хаген шел к калитке. Привратница вернулась и отперла ее. Бардин шагал рядом с ним. Решетка все еще разделяла их. Время от времени Бардин поднимал глаза и видел лицо Хагена. В раме из черных прутьев оно казалось неживым.

— Надежда? Говорят, что надежда в инъекции гепарина, но ей это сделают, когда не будет иных надежд.

Хаген продолжал идти вдоль ограды. Он был поджар и сберег стремительность шага.

— Послушайте, господин Бардин, я был предупрежден о вашем приезде. Больше того, госпожа Коллонтай сказала, что вы собирались ко мне.

Егор Иванович остановился.

— Да, господин Хаген, за пятнадцать минут до того, как это произошло, мы говорили с нею о вас. — Металлическая ограда, разделяющая их, кончилась, они шли по желтой траве. — Вы полагаете, что наше дело здесь плохо, господин Хаген?

— Как никогда прежде, господин Бардин.

— И вы допускаете, что Швеция может поднять руку?

Он ответил раньше, чем, казалось бы, должен был ответить:

— Наверное, я ввел бы вас в заблуждение, если бы исключил эту возможность.

— Но что может помешать этому, господин Хаген?

Разве не ясно? Ваша победа, хотя бы частная, — на какой-то миг он смешался, он искал слова, способные выразить все, что он думал. — Нужна победа, — едва ли не воскликнул он.

Хаген коснулся ладонью плеча Бардина. Ладонь его была невесома, однако горяча и жгла немилосердно. Он смотрел на госпиталь, мысли его были там.

— Когда я думаю о ней и обо всем, что случилось с нею, она мне представляется человеком, который хотел остановить поезд войны и лег на рельсы. — Он все еще держал руку на плече Бардина. — Это подвиг и, как каждый истинный подвиг, вызывает чувство благодарности, но даже его сегодня мало. — Он подумал, сказал серьезно: — А хотелось бы, чтобы его было достаточно, потому что это самое большое, на что способен человек.

Теперь, когда Бардин являлся в клинику, к нему выходила сестра-сиделка.

В этом городе светлолицых она одна, казалось, была смуглой. Быть может, эта смуглость от крахмальной косынки, которой было оправлено ее лицо?

— Госпожа Карлсон, как наша больная?

— Ей хуже.

Пошли дни: третий, четвертый… И каждый раз ответ был тот же — хуже. Видно, сестра взяла за правило: никаких утешительных слов; если больной худо, говорить, что ей худо.

Это случилось на пятый день. Карлсон вышла без крахмальной косынки и как-то сразу стала некрасивой. Это было плохим признаком.

— Госпожа Карлсон… наша больная?

— Сознание не возвращалось к ней с утра.

Бардину нужно было время, чтобы задать следующий вопрос.

— Это день гепарина?

— Да.

Он еще постоял минуту, точно выпрашивая у сестры слово, способное внушить надежду, но сестра молчала.

В этот день газеты были особенно плохи. Сводка сообщала о боях на перевалах, при этом газеты воспроизвели фотографию, которая объясняла все: мощный уступ немецкого танка со свастикой, а позади горы — характерный срез Столовой горы, нимб Казбека.

Едва развернув газету, Бардин сложил ее — смотреть было больно.

Остаток дня он провел в посольстве. Истинно, день гепарина, говорили вполголоса.

К вечеру Егор Иванович пошел в клинику.

— Был гепарин? — спросил он Карлсон. Она все еще была без крахмальной косынки, если и не суеверен, то будешь суеверным.

— Да.

— И что?

— К ней вернулось сознание.

Он хотел сказать ей что-то такое, что берег все эти дни, но, вскинув глаза, увидел цветы на подоконниках.

— Погодите, что это за цветы?

Она рассмеялась громко. Способность так смеяться прежде в ней не угадывалась.

— Скажешь, не поверят. Когда узнали, что к ней вернулось сознание, понесли цветы. Весь Стокгольм.

— Но я их вижу не на одном подоконнике, они повсюду, — возразил Бардин.

— А мы их разнесли по всей клинике. Я сказала, весь Стокгольм!

Бардин увидел Александру Михайловну только через день. Он пришел в клинику затемно. Карлсон повела его в палату.

— Речь вернулась к госпоже Коллонтай, но ей нужно время, чтобы заговорить с той свободой, как прежде, — сказала Карлсон как бы невзначай. В ее обязанности входило все говорить как бы невзначай.

Дверь в палату была полуоткрыта, и, прежде чем переступить порог, Егор Иванович остановился. Кровать стояла перед распахнутым окном. Видно, она так была поставлена специально — больная как бы была обращена к холодному небу, что было видно отсюда.

— Как вы, Александра Михайловна? — спросил Бардин, опустившись на стул подле нее.

Она улыбнулась, легко кивнула, мол, все хорошо.

— Не жалеете себя, — сказал он строго, строже, чем хотел, и вдруг почувствовал, что хочет, должен ей сказать и иное, о чем думал все эти дни, что было его мыслью и его тревогой. — Пусть светит она, добрая звезда Предвидения…

— И Храбрости… — выговорила она не голосом — губами.

71

Тамбиев распахнул окно. Казалось, небом и землей владела согласная тишина. Глубоко внизу, на Варсонофьевском, шел человек, и стук его тяжелых, подбитых подковками башмаков был явственно слышен: видно, шурупчик на одной подковке готов был вывалиться. И высекаемый этой подковкой звон как бы сдваивался. Человек очень устал, интервал между одним ударом подковы и другим был велик, человек шел медленно.

Тамбиев обернулся. Высоко, у самого потолка, поблескивало стеклышко, тот самый крохотный осколок оконного стекла, разнесенного взрывной волной осенью сорок первого. Как ни темна была ночь, стекло восприняло ее свечение. Стекло да вот конверт на темной поверхности письменного стола, он неярко светился.

Тамбиев подошел к письменному столу. Письмо с Кубани, мать… Какими путями оно шло и каким чудом дошло? Уже месяц на Кубани немцы. Господи, только подумать, на Кубани немцы! Позвонил с подмосковного аэродрома техник-землячок. Видели, говорит, твоих где-то в Курганной. Но то было еще в июле. Видели или привиделось?

Телефонный аппарат точно взорвался в ночи. Тамбиев снял трубку. Голос Кожавина:

— Вы, Николай Маркович? Вам надо быть в отделе. Уилки в Москве.

Тамбиев положил трубку. Уилки. Что же это могло означать? Через месяц после отъезда Черчилля — Уилки? Не в пику ли Черчиллю? Черчиллю, наверно, проще отказаться от своего слова, чем Рузвельту. Рузвельту надо прислать в Москву Уэнделла Уилки, чтобы сказать то, что не мог сказать Гарриман, представлявший президента в Москве официально? Уэнделл Уилки, противостоявший Рузвельту на президентских выборах? Говорят, что среди тех трех, кто оспаривал у Рузвельта право быть президентом, Уилки был единственным, кого Рузвельт действительно уважал. Но так ли далеко зашло это уважение, чтобы Уилки представлял Рузвельта в переговорах со Сталиным по весьма деликатному вопросу? И как это будет принято в Штатах, и как в Великобритании? Как примут это англичане, нет, не только в Лондоне, в Москве тоже?

Еще не переступив порога большой гостиной, где обычно собирались корреспонденты, ожидающие вечернюю сводку, Тамбиев встретил Джерми.

— Слыхали новость? Ваши повезли Уилки на Ржевский

фронт! — едва ли не возликовал американец. — Черчилля не повезли, а Уилки повезли! Не побоялись повезти!

Тамбиев едва сдержал улыбку. В словах Джерми был немалый заряд иронии.

— А почему надо было бояться везти Черчилля?

Видно, Джерми ждал этого вопроса, он даже притопнул от восторга,

— Для Черчилля это был риск.

— А Уилки?

— Вот в том-то и дело — везут! И куда? Ко Ржеву!

Он еще раз притопнул и побежал.

Тамбиев вошел в гостиную и, поздоровавшись, пошел через нее к противоположной двери, служебные комнаты отдела были там. Шел и чувствовал, как стихает шум в гостиной.

— Мистер Тамбиев, что бы мог означать приезд Уилки?

Тамбиеву показалось, как кто-то нетерпеливо хмыкнул. От окна шагнул навстречу Николаю Марковичу Клин.

— Я бы хотел переговорить с вами. Можно?

— Да, пожалуйста, — сказал Тамбиев и продолжал идти. Наверно, надо было бы остановиться и пропустить Клина вперед, но Тамбиев не хотел этого делать. В конце концов, пусть корреспонденты видят. В этом было нечто такое, что характеризовало отношение Тамбиева к Клину, и именно так корреспонденты поймут Николая Марковича, впрочем, не плохо, что поймут именно так.

Тамбиев знал, что Клин позади, но не слышал его шагов — то ли на нем были туфли, скрадывающие звук, то ли он умел ходить бесшумно. Но было как-то неприятно от одного сознания, что позади тебя идет человек, ты знаешь об этом и не слышишь его шагов. Тамбиеву показалось, что где-то он обернулся, потому что сидящие в комнате рассмеялись. Потом Тамбиев ощутил дыхание Клина, ощутил затылком — желая пропустить англичанина в дверь, Тамбиев пошел тише.

Они прошли по коридору, в дальнем конце его была комната Тамбиева. За долгий день, долгий и горячий, воздух в комнате застоялся — пахло старым деревом, пыльным плюшем и клеенкой. Тамбиев предложил англичанину сесть и попросил разрешения открыть окно.

— Разговор, так сказать, втемную? — спросил Клин, когда Николай Маркович занял место напротив.

В голосе англичанина Тамбиев не уловил иронии.

— А вы полагаете, что в темноте я могу вас и не услышать? — спросил Николай Маркович, а сам подумал: наверно, даже хорошо, что темно, пусть давит эта темнота.

— Нет, ничего, пожалуйста.

— Я вас слушаю, мистер Клин.

Клин молчал. Ему было необходимо помолчать. Молчание было его железными латами. Казалось, он был неуязвим до тех пор, пока хранил это молчание.

— Я слушаю.

Тамбиев видел, как задвигались руки Клина, лежащие на подлокотниках кресла.

— Могу я рассчитывать на откровенный разговор, мистер Тамбиев?

— Я прошу вас об этом.

— Я бы мог начать этот наш разговор с вопроса, но, пожалуй, лучше, если я заставлю вас задать вопрос, — произнес Клин и помолчал. В темноте его молчание казалось особенно напряженным. — Не примите это за парадокс, но Игнатий Лойола живет сегодня в Штатах. Теперь сознайтесь, вам хочется, чтобы я объяснил вам, что я имею в виду?

— Да, конечно.

— Вот видите, вы уже задали мне вопрос, о котором я говорил. Итак, я утверждаю, что самый опасный вид иезуитства — американский. Сказать, что в ходе выборов американский президент облил республиканского кандидата презрением, еще не все сказать. Он наотрез отказался выступить с ним с одной трибуны! Он ни разу — заметьте, ни разу! — не произнес имени Уилки. Он создал впечатление, что сражается не с почтенным лидером республиканцев, а с огородным чучелом, так он оглупил своего противника, так он не хотел в нем видеть человека… И вот, едва оказавшись на коне, он облекает Уилки полной мерой доверия и направляет в Россию с миссией, деликатнее которой не знала история. Слышите, не знала! Это ли не иезуитство? Вы хотите спросить, что я имею в виду, когда говорю о деликатности миссии? Сознайтесь, этот вопрос вы имеете в виду?

— Да, я хотел спросить именно об этом, — сказал Тамбиев.

— Так вот, Уилки поручено сказать Сталину, что, по мнению президента, Черчилль — и никто больше! — ответствен за то, что большой десант не состоялся, а поэтому именно Черчилля следует обречь на муки самоизоляции. Они хотят все это сказать русским, но не хотят брать ответственности за эти слова, вот почему эта миссия поручается Уилки. В том случае, если будет необходимость сослаться на Уилки, всегда можно сказать, он поехал с ведома президента. Если же будет необходимость откреститься от Уилки, возможен такой ответ: «Да помилуйте, это же Уилки! Кто не знает, что он не просто противник Рузвельта, он антипод президента». Вы скажете, да похоже ли это на Рузвельта?

Взгляните на него, само воплощение доброй воли. Да и Уилки вон как хорош! Если и есть лица, которые могли бы быть отождествлены с чистыми намерениями, то это Рузвельт и Уилки. Обаяние, черт возьми, обаяние! Но в том-то и фокус, что иезуитство двадцатого века скрыто не под сутаной и монашеской бледностью.

Что-то было у Клина от деспотии силы, вероломной, не желающей ни с чем считаться. Она, эта сила, была рассчитана на то, что есть страх и есть слабые. Но вот что казалось Тамбиеву странным: в кругу военных корреспондентов, на добрую половину состоящем из людей, видевших войну и облаченных в армейскую форму, задавал тон человек в пиджачке, с набухшими, как у хронического почечника, глазами, склонный к постоянной дреме. Впрочем, впечатление о штатскости Клина было обманчивым… Можно подумать, что Клин был сыном кадрового военного, вырос где-то на Ганге и был свидетелем того, как отец его внушал мятежным сипаям любовь к британской короне. Отец сдюжил с тремя мятежами и не совладал с четвертым. Впрочем, остался сын, ему было тогда двадцать три, и жизни его хватило бы еще на три мятежа, но в Индии повеяло иными ветрами, и единоборство с теми, кто называл себя сипаями, или, вернее, потомками мятежных сипаев, обрело иные формы. У молодого Клина было желание единоборствовать с сипаями, ну если не в Индии, то в Европе, и он перебрался в Европу. Корреспонденты, разумеется, были не сипаями, но при желании можно было увидеть в них сипаев. Можно подумать, что Клин был сыном человека, усмирявшего сипаев…

— Вы можете говорить о Черчилле что хотите, но он рыцарь и поступок его рыцарский. Согласитесь, когда возникла необходимость в его встрече со Сталиным, он не искал эмиссара в партии своих политических недругов, а взял и явился в Москву сам: «Вот я и вот мои доводы. Можете со мной не соглашаться, но это мнение мое!» В этом он весь. Не благородно ли это?

— Да не Черчилль ли ваш идеал, мистер Клин? — спросил Тамбиев, спросил как можно спокойнее, стараясь не обнаруживать иронии.

На какую-то секунду тьма, окружающая Тамбиева, затаилась.

— Именно Черчилль, — вырвалось у Клина, вырвалось явно против его воли, даже для Клина это признание было нелегким. — Я бы отдал предпочтение кому-то иному, но он мне ближе остальных, — добавил Клин и затих. В нем боролись желание открыться и опасение, что это неуместно. — Его вера в имперскую звезду, его понимание того, что есть Британия и что есть мир, его способность организовать народ на войну, его

решимость к действию… Иные постыдятся сказать, а я скажу, Черчилль — мой идеал.

Николай Маркович хотел, чтобы тьма легла на плечи Клина каменной плитой, а хитрый англичанин защитил себя ею, как броней, и повел огонь. И как повел!

Да, защитившись тьмой, как броней, в ночи сидел Клин и пел хвалу Черчиллю. Сказали бы Тамбиеву, пожалуй, не поверил бы, что в природе может быть человек, который в доказательство своих благородных устремлений ссылается на любовь к Черчиллю.

72

После ухода Клина прошел час, когда на столе Тамбиева зазвонил телефон. Николай Маркович снял трубку. В ней зыбкая мгла дальних и ближних звуков, потом треск, сыпучий, точно кто-то бросил в трубку пригоршню искр, потом слабый голос:

— Николай? Это вы? Да откликнитесь. Вы это?

Тамбиев обомлел: уж не Софа ли?

— Откуда вы, Софа? Громче, ради бога… Громче!

— Я здесь, ну, знаете, по Ярославке, далеко. И улечу к полуночи.

Все понятно, приехать в Москву не может, да и не успеет обернуться до полуночи.

— Где вас там найти? Еду!

Клубится туман, видно, где-то рядом река или пруд. Когда машина останавливается, пережидая идущую поперечной дорогой колонну, слышно, как гудят авиационные моторы в глубине мглистого поля или за лесом. Кажется, что здесь повсюду аэродромы.

С тех пор как исчезла Софа, этот ее приезд в Москву — первый. Какие ветры носили и баюкали ее все это время? Она стремилась на Волховский, к Александру Романовичу, а, кажется, осела на Псковщине, хотя на Псковщине и немцы, но это особая тема, видимо, и для Софы. Вот как перед нею возник Пушкин! «Одна в глуши лесов сосновых давно, давно…» «В глуши лесов сосновых…» В том письме, что получил Тамбиев в апреле, в полуписьме-полузаписке шестистрочной, было сказано: «Главное — вырваться на простор, а там можно и сгореть… Простите за банальность, как звезда…» Тогда, в апреле, простор все еще был у нее впереди. А теперь? Видно, великая пушкинская Псковщина с ее лесным и озерным привольем лишь сулила ей этот простор. Тогда. А как сейчас? И что это за желанный простор? Сколько вот таких же девчонок, как Софа, презрев свои девятнадцать или двадцать, возмечтали обрести этот простор?

Какая она, Софа? Все тот же тревожный разлет бровей и храбрая лукавинка: «А ну, попробуй, я сильнее!..» А может, лицо, залитое восковой синью, и квадратные скулы, и глаза, неожиданно распахнувшиеся, врубелевские, им стало тесно в глазницах, глаза, которые и в немой тоске вещают: «Мы такое узрели!» И как живет-поживает ее гордыня, с высоты которой она взирает на тебя? Наверно, непросто было ей поднять в эту ночь телефонную трубку и позвонить Николаю.

Клубится туман, млечно-зеленый, неожиданно

распадающийся, клейкий и пористо-живой, влажно и тяжко дышащий, точно сама первоматерия. Кажется, что из такой мглы только и способно родиться чудо. Вот эта мгла вздрогнет, и пошагает человек по росной траве, оставляя дымящиеся следы…

— Николай, по-моему, это вы!

Пилотка у нее в руке, и неистово горят надраенные пуговицы на клапанах гимнастерки, а глаза в самом деле, как на полотнах Врубеля.

Тамбиев выскочил из машины и кинулся к ней, но его остановила ее рука, холодная, совсем озябшая в этой полуночной стыни. И когда они пошли лесной тропой, оставив на обочине дороги машину, их разделяла эта ее рука, неожиданно неудобная и сильная. В конце тропы росла осинка, расщепленная надвое.

— Вы были у Глаголева, Софа?

— Да, сегодня.

— И у Александра Романовича с Анной Карповной?

— Была, в прошлый понедельник.

— Как они?

— Как обычно.

Она ускорила шаг, будто хотела, чтобы разговор, возникший только что, остался там, на опушке, у расщепленной осинки. А тропа вышла на новую опушку, и прямо из мглы встали озера. Они именно встали, странно отвесно, как зеркала, протяни руку и тронешь стекло, холодно-туманное, чуть запотевшее.

— С той осени вы видели Глаголева впервые?

— Да.

Однако вон как она заковалась в свою тайну. Тамбиеву захотелось выломать вот этот валун и пустить им в зеркала этой ее тайны, пустить так, чтобы гром пошел по лесу от осыпавшихся стекол.

— Погодите, вы призвали меня сюда, чтобы я вас пытал?

Она отпрянула.

— Все очень просто — я ездила к нему прощаться. Вот и все. — Она засмеялась: — Мой морзист сказал: «Жаль вас, Глаголева, у вас талант математический, на кой вам бес Морзе, когда, может быть, у вас лежит формула неоткрытая…» Вот чудак человек, искал Индию, а открыл Америку.

— Но Америку он все-таки открыл? — спросил Тамбиев.

— А я вам скажу, Николай, необыкновенное чувство: где-то здесь Михайловское, и домик няни, и усадьба Керн, и Святогорский монастырь, и могила поэта… Меня все мучило искушение приблизиться, чего бы это ни стоило, приблизиться и увидеть… И однажды ночью просекой и проселком, рощицами, рощицами я пришла туда. О боже, я пришла, я пришла…

А ведь она и в самом деле не от мира сего, думал Тамбиев. Ну, вот ей кажется, что нет никакой тайны в ее нынешнем бытье. А может, и в самом деле нет тайны? Она закончила курс и собралась. Далеко собралась, большое дело там. Но прежде чем это произойдет, она сходила к Святогорскому и поклонилась праху поэта. А потом слетала к одному своему отцу, потом ко второму. А потом вызвала Тамбиева в подмосковный лесок и… И жестокая мысль вдруг пришла на ум Тамбиеву: а может быть, он видит ее в последний раз? Даже более чем вероятно, что в последний, оттуда ведь почти не возвращаются. Вот судьба послала ему дар, а он ничего не понял. Ну конечно же, он не понял. А если понял? Ей ведь сказать нельзя. Ты должен это понять, нельзя, нельзя! Чужое чувство высмеет, в своем не признается. Ведь за все время она не молвила и слова по существу. Не молвила ни разу потому, что не спустилась с той немыслимой высоты, на которую загнала ее гордыня. Попробуй откройся ей, костей не соберешь!

А тропа обогнула озеро и вошла в лес. Озера погасли разом.

— Мне пора, Николай.

— Пора?

— Да, время, время…

— Пора так пора.

Он поднял глаза. То ли небо было беззвездным, то ли крона старой сосны такой непробиваемо плотной, в ночи не было более темного места. Но оторвать глаз от звездного неба Тамбиев уже не успел, он услышал ее дыхание.

— Только не уходите, Софа, — вымолвил он и дотянулся до ее плеча.

— Погодите, я не понимаю вас, да неужели вы тоже… Час от часу… — Ее холодная рука вновь удержала его. Она ускорила шаг и тут же остановилась. — Вот тут я привезла вам книгу, оттуда привезла, возьмите как доказательство, что я не за этим сюда явилась.

Она ушла, сунув ему книгу, как показалось Тамбиеву, в холодной коже, холодной и какой-то влажной. И все время, пока Тамбиев добирался до Ясенец (они были рядом), в руках была эта книга в холодной коже. И было в этом нечто символическое — Софа ушла и оставила Тамбиеву частицу того самого холода, которым были полны ее руки.

Тамбиев доехал до Ясенец, когда не было еще двенадцати, и, к удивлению, обнаружил в соседнем с красным крыльцом окне слабую проталинку света. Тамбиев подобрался к окну, постучал.

— Кто там? — тут же отозвался голос, как показалось

Николаю, Иринин.

— У вас маскировка прохудилась, гражданка, свет.

— Николай, это вы? — спросила Ирина, спросила едва ли не полушепотом, и Николай понял, дом уснул, быть может давно уснул, и только она одна бодрствует. Засиделась за уроками или увлекла добрая книга?

Тамбиев назвал себя, и тотчас радостно заскрипели в доме половицы и щелкнул ключ, как показалось Николаю, тоже с радостным звоном. Дверь распахнулась.

— Тихо, они спят, — произнесла она и заговорщицки прихихикнула, нет, ей было определенно интересно ввести Николая в дом, чтобы об этом никто не знал. — Вот какой сыростью от вас пахнуло. На улице дождь?

— По-моему, нет, просто роса выпала.

— Роса? А я думала, дождь. Вы есть небось хотите? Пойдемте на кухню. Только вот… идите вокруг дома, я открою вам дверь, — прихихикнула она еще раз, ей нравилась эта ее маленькая тайна. — Я мигом.

Он пошел вокруг дома, не без робости оглядываясь на окна, которые, как ему казалось, с подозрительной пристальностью сейчас следили за ним. Это Иришка заразила его этой своей жаждой тайны.

— Заходите, только… в момент, у меня холодные пупырышки побежали по рукам, — сказала она, пропуская его в дом. — Вот сюда, вот сюда, — прошептала она и, взглянув на дверь, за которой спал старый Иоанн, гак взвизгнула, что ей пришлось зажать рот ладошкой. В ее взгляде было в эту минуту нечто такое, что говорило: «Как же вы бесконечно беспечны, дорогие мои, как вы безнадежно стары, беспомощны, а следовательно, и глупы, если сейчас не умеете проникнуть в то, что творится в двух шагах от вас». — Идите, пожалуйста, на цыпочках, вот так, — сказала она Тамбиеву. — Тсс!.. А вот теперь вы учуяли, где мы? По запаху?

— Пахнет ванильными булочками, — простонал Тамбиев.

Она не успела поднести ладонь ко рту, казалось, смех ее огласил дом.

— Нет, это просто ваниль, — произнесла она полушепотом и, казалось, прервала дыхание — в комнате Иоанна скрипнула кровать.

Тамбиев слышал, как она прикрыла дверь за ним и бесшумно посеменила, точно поплыла в неслышной тьме.

— Где-то здесь был выключатель, знаю, что был.

Вспыхнул свет, и первое, что увидел Тамбиев, — ее заспанные глаза. Видно, час и для нее был поздним, сон сморил ее. На ней и

сейчас было это ее синее платьице в горошек, в каком она была как-то летом сорокового, когда Сережка сдавал математику и Николай сидел с ним над логарифмами. Тогда Ирина все вырезала из бумаги коней и церемонных амазонок. Сейчас платье стало коротким и края рукавов пододвинулись к локтям, но материя осталась все такой же густо-синей, горячего солнца двух этих лет оказалось недостаточно, чтобы обесцветить материю.

— Я сейчас вас буду кормить. У меня есть макароны… белые. — Она сказала «я» и «у меня». — Хотите, подогрею на масле? И чай с сахарином. И потом повидло из наших яблок. Хотите?

Ему показалось, это она делала все с этакой небрежной ловкостью, будто хотела показать: то, что делается сейчас, ей не внове. Собственно, все, что она делала, имело эту цель, только эту — она взрослая. А когда сняла с плиты сковороду с макаронами и, ловко переложив их на большую тарелку, подала на стол, в ответ на возражение Тамбиева молвила со скрытой радостью:

— Ешьте, пожалуйста. Ну что для мужчины тарелка макарон?

Она так и сказала «для мужчины» и этими словами тоже прикоснулась к новому и заповедному. А когда Тамбиев начал есть, села чуть поодаль и взглянула на него с ревнивой радостью. Разом стала похожа на мать, когда та вот так же в поздний час сидела рядом с Бардиным, радуясь его волчьему аппетиту.

— Папа сказал, что вы ездили к Сережке? — спросила Ирина. Как понимал Николай, она вкладывала какой-то свой смысл в эти слова.

— Да, был недолго.

— А я, признаться, тоже хотела к нему пробраться, да дороги не знала. Я бы и сейчас не остановилась, если бы дорогу знала.

— Дорогу можно показать, — сказал Тамбиев.

— А кто покажет? — спросила она и точно вздрогнула. «Вот наберитесь храбрости и покажите!» — будто хотела сказать она, но он смолчал. Только махнул рукой и засмеялся. — Вы смеетесь? — смешалась она, заметив его улыбку. — Что так?

— Я вспомнил, как ловко ты вырезала этих своих лошадок из цветной бумаги. Ты и сейчас их вырезаешь?

Она как-то ссутулилась и, взглянув на руки, заметила, как коротки рукава ее платья, и принялась их натягивать, чтобы они выглядели подлиннее. Казалось, ничего она так не стеснялась сейчас, как своей детскости. Впервые, только подумать, впервые ей не хотелось быть маленькой. Печаль ее была гак велика, что она не нашлась, что ответить, обратив глаза на стол, посреди которого лежала книга в холодной коже.

— Можно? — сказала она и взяла книгу. Книга еще берегла холодную сырость, она и дальше могла сберечь эту холодную сырость, в ней было ее много. — Михайловское? Пушкинское Михайловское? Это как же понять, история Михайловского и окрестных мест? — вопросила Ирина. — Какая странная книга.

— Ты сказала — странная? — повторил он.

— Да, так показалось мне.

Она положила книгу на прежнее место. Тамбиев вдруг подумал, что в ярко-черной коже этой книги было что-то тревожное, и мысленно посмеялся над собой: «Почему тревожное?»

— Я как-то видела вас в Москве. Мудрено увидеть в Москве, а я взяла и увидела!

— Наверно, где-нибудь у Наркоминдела? — спросил он.

— Какое там! На Пушкинской площади, с барышней. — Да, она так и должна была сказать: «С барышней!» Для нее девушка рядом с Николаем — «барышня». — Такая золотоволосая! На ней было еще такое расклешенное платье маркизетовое и кофточка с красной каймой, видно, она сама связала. Ах, какая она была эффектная!

— Эффектная? — рассмеялся Николай.

Нет-нет, это не то слово. Необыкновенная! Что-то в ней было не от грешной земли. Вот такой должна быть женщина подвига! Я хорошо знаю, что такой была Жанна д'Арк и наша Зоя была такой. Таких вот умели писать русские иконописцы, в самих их лицах есть вот это прозрение, — сказала она, но, взглянув на Тамбиева, умолкла. Он стал как-то сразу хмур.

— Вот эта книга ее, — сказал Николай, взглянув на книгу, лежащую посреди стола.

— Ее? — только спросила она и отвела глаза от черной кожи.

Николай встал:

— Ты меня хорошо покормила, Ирина. Разреши мне лечь на диване в столовой, ты помнишь, я спал там тем летом.

— Да, конечно, — обрадовалась она, и печаль ее словно рукой сняло. — У меня и простыня есть, и одеяло с пододеяльником, а подушку я дам свою.

— А как же ты, Ирина?

— А у меня есть думочка. Я на думочке.

— Нет, подушку ты оставь себе, а думочку дай мне, я хочу знать, о чем ты думаешь.

Едва прикоснувшись щекой к думке, Тамбиев почувствовал, как все поплыло в розовом тумане. Это произошло так неудержимо, что Тамбиев не понял, была ли это дрема или головокружение. В легких запахах, которые исходили от думки,

Николаю чудилось дыхание немудреного ясенского детства Ирины, которое вопреки ее желанию еще не отшумело.

— Вы хотели бы пешком?

Тамбиев оглянулся. Галуа. Как обычно, в сером пиджачке, Даже не в сером, а в каком-то сизо-зеленом, не очень тщательно отутюженном, из ворсистой шерсти.

— Послушайте, Николай Маркович, не дает мне покоя один вопрос. Вот вы выросли там, на вашей Кубани, верно?

— Да, на Кубани.

— И там был свой мир, свой клан? Верно?

— Пожалуй.

— Да нет, и не думайте отрицать, я точно знаю, что именно свой клан. Ведь язык более чем диковинный — адыгейский. И не только язык, весь строй жизни особенный: и калым, и кровавая месть. Была она?

— Наверно.

— Ну, я так думаю, была. И вдруг — Россия! В вас, в вашей душе сшиблись два мира… И для вас этот мир чужой, и для тех, к кому вы пришли. Говорят, вы близки с семьей Бардиных. Вы же для них чужак, да и они вам чужие… Допускаю, что вы им это не показали, а они? Нет, не сам Бардин, а старик или там дети?

— Бардины?

— Да.

— Никогда.

Казалось, он обескуражен.

— Ну, не в Бардиных дело! Вы хотите сказать, что произошло нечто такое в самих душах, в самих душах?

— Да, именно это я хочу сказать.

— Так… Хорошо здесь после дождя.

Дело, конечно, не в дожде. Тамбиев знал, что сегодня утром Галуа разговаривал с Уилки. От «Метрополя» до наркоминдельского особняка на Кропоткинской с полчаса ходьбы. Вполне достаточно, чтобы тему Уилки исчерпать.

— Он принял меня в синем халате, да, в этаком шелковом, в крапинку. Так костромские помещики принимали своих бурмистров. Ничего не скажешь, красив! И это после Ржева! — Он засмеялся по своему обыкновению почти беззвучно, пофыркивая, и махнул рукой, будто хотел сказать: «Да что тут говорить, ясно, они все на одну колодку, американцы!» — А потом стал исповедоваться, хотя видит меня впервые. Нет, дело не в нарушении такта, но по-человечески как-то противно.

— А мне, признаться, всегда приятна искренность, — сказал Тамбиев.

Галуа недоуменно вскинул глаза.

Искренность только тогда искренность, когда она бескорыстна. А так, простите меня, дурной тон.

Не по этой ли причине вы оберегаете меня от сути разговора, господин Галуа? — засмеялся Тамбиев.

Галуа залился беззвучным смехом и, оборвав его, оборвав неожиданно, принялся тереть глаза, всхлипывая и причмокивая.

— Одним словом, когда он выезжал из Америки, у него был разговор с президентом. И тот сказал ему: может случиться так, что он, Уилки, прибудет в Каир, когда там будет Роммель, и явится в Москву, когда туда пожалует… ну, например, Модель или Манштейн. Слыхали, Модель или Манштейн в Москве! Простите меня, но они не только вести себя не могут, они еще невежественны.

— И как эти прогнозы помогли Уилки, когда он увидел Россию?

— Признаться, он не ожидал встретить Россию такой. «Русские держатся, и в их руках даже Сталинград…» Слышите, даже Сталинград! Одним словом, Уилки ведет себя так, будто имеет задание отколоть Черчилля от трех великих и изолировать.

— Мне это уже кто-то говорил, — сказал Тамбиев.

— Кто? — спросил Галуа, встревожившись. Казалось, слова эти не должны были вызвать такой тревоги.

— Мне так кажется, мистер Клин, — произнес Тамбиев, пораздумав.

У Галуа это вызвало почти отчаяние.

— Вы полагаете, что я заимствовал эту мысль у Клина?

— Нет, я говорю о совпадении, — заметил Тамбиев, смутившись. Галуа решительно не хотел, чтобы ассоциация с Клином возникла у Николая Марковича. Вот она, периодическая система политических позиций и ориентации. У каждого свое гнездышко. Баркер — это не Галуа, Галуа — это далеко не Клин, хотя, как это имеет место теперь, могут быть и совпадения… мнений.

— Не хочу я совпадений с этим черносотенцем! — возопил Галуа в совершенном смятении.

То, что Тамбиев знал о Клине, в какой-то мере объясняло отчаяние Галуа. Но, глядя на то, в какое замешательство был повергнут Галуа, Николай Маркович подумал, что он, Тамбиев, не все знает о Клине.

Тамбиеву показалось, что пресс-конференцию ведет не тот Уилки, о котором говорил Галуа. Быть может, утром он и выглядел цветущим толстяком в синем халате, но сейчас это был заметно рыхлый человек с млечными кругами вокруг глаз,

которому явно не хватало дыхания, когда его речь становилась темпераментной или жесты убыстрялись. Он, видимо, знал свою особенность, поэтому повел рассказ в подчеркнуто размеренных тонах, перемежая его паузами. По крайней мере, начало рассказа выглядело так.

Он сказал, что был подо Ржевом и видел много такого, что глубоко взволновало его. По его словам, у человека непредвзятого не может не вызвать восхищения великий дух самопожертвования, который свойствен подвигу России. Он сказал, что разговаривал со многими русскими, среди которых были и люди известные — профессиональные военные, деловые люди, писатели, — и, должен сказать, был свидетелем речей неистовых по адресу союзников.

Корреспонденты, с веселой хлопотливостью орудующие своими перьями и карандашами, затихли. Видимо, наступила минута, которую все ждали. Воспользовавшись этим, Уилки встал и тихо пошел вдоль длинного стола, за которым сидели корреспонденты. Как показалось Тамбиеву, в его лице была та доброта и открытость, которая располагала к нему людей и породила так много легенд о непобедимом обаянии Уилки. Пожалуй, были правы те, кто утверждал, что мягкостью движений, какой-то ласковой вкрадчивостью Уилки был похож на красивого кота.

— Второй фронт? — задумчиво повторил Уилки. Он ждал этого разговора и берег силы для него. — Я лично убежден, что мы можем оказать им помощь (он так анонимно и выразился «им»), создав вместе с Англией настоящий второй фронт в Европе в ближайший возможный момент, который одобрят наши руководители… — Конец последней фразы обнаруживал почтительность, как показалось Тамбиеву, не очень свойственную Уилки, и был произнесен со специальной целью — самортизировать достаточно резкий удар слов, — которые за этим следовали. — А некоторые из них, — вымолвил Уилки все так же неторопливо, в полной мере осознавая, что эпицентр пресс-конференции здесь, только здесь, — а некоторые из них, пожалуй, нуждаются в том, чтобы общественное мнение их немножко подтолкнуло.

Раздался шум, откровенно протестующий, его не могла умерить всесильная улыбка Уилки. Американец улыбался, а шум не утихал. Уилки подошел к Галуа и, теперь уже демонстративно смеясь, указал взглядом на корреспондентов.

— Не правда ли, я им сказал все, что должен был сказать?

Галуа, смутившись, вобрал тощую шею в плечи, а Уилки вернулся за стол и сел в кресло, вытянув ноги и дав понять, что

конференция закончена. Его стали окружать корреспонденты.

— Что я вам говорил, мистер Тамбиев? — не произнес, а простонал Клин, при этом с такой силой сжал руку в кулак, что пальцы хрустнули. Казалось, еще минута, и он, обернувшись, устремится в тот конец зала, где находились корреспонденты, угрожающе вскинув руки.

Едва ли не с первых дней войны Кузнецкий стал для некоторых горожан если не кулуарами большой политики, то дискуссионным клубом.

Времени для дискуссий нет, но накоротке по дороге с работы домой если и не самому сказать слово, то послушать других можно.

Место дискуссий — у просторных «Окон ТАСС».

Ну как не отзовешься, например, на ефимовский плакат, вывешенный сегодня утром и словно вызванный к жизни самим соседством с Наркоминделом?

Подпись под рисунком: «Совещание военных экспертов. Вопрос о втором фронте». Изображен стол с картой Европы посредине. Над столом календарь: октябрь, 1942. По одну и другую сторону стола генералы в форме союзников. Справа генералы Решимость и Смелость. Слева генералы Авдругпобыот, Стоитлирисковать, Ненадоспешитъ, Давайтеподождем, Какбычегоневышло, не генералы — пять тумб, подпоясанных армейскими ремнями.

Казалось, немудрена картинка, а как она способна встревожить душу, если мысль ее актуальна.

— Нет, художник так просто это не намалюет. Он точно говорит: «Есть и там сторонники второго фронта». Вот они, генералы Смелость и Решимость.

— Простите, но художник не утаивает правды, эти ваши генералы в меньшинстве.

— Верно, их только двое, но взгляните на их лица, молоды, а следовательно, сильны.

— Простите, но в мире, о котором мы имеем честь говорить, силой владеет не молодость, а власть.

— Иначе говоря, генерал Авдругпобьют?

— Даже больше, Давайтеподождем.

— А по мне, — солидно вторгается в разговор третий голос, — они только с виду разномастны, а по сути своей едины.

— Простите, но это уже крайность. Она вредна, как все крайности, — пробует возражать тот, кто этот диалог начал.

— Пока нет второго фронта, не вредна, — все так же солидно произносит третий. — Я вот настроил себя на эту волну с начала войны и еще не дал маху. Вот так-то!..

Наверно, такое бывает не часто — открылась дверь, и перед Тамбиевым возник Сережка Бардин. Все еще на костылях, но с

весело-непобедимым видом. Придерживая костыли, стянул варежки, сбросил полушубок, как-то по-особенному, ото лба, сдвинул ушанку, и она очутилась на затылке. Был немыслимо красив: лицо, опушенное негустой бородкой, копна давно не стриженных, а поэтому завившихся на висках и затылке волос, бледен, как привиделось в ту минуту Тамбиеву, не столько бледностью кожи лица, сколько яркостью глаз.

— У-у, ты, канцелярская душа! Одевайся и айда на Калужскую. Давай.

— А почему не в Ясенцы?

— Почему да почему! Хочу на Калужскую.

Он положил Тамбиеву на спину твердую ладонь, легонько подтолкнул.

— Поехали, там расскажешь.

Внизу их ожидала «эмка». Они поехали.

— К отцу заходил?

— А какой смысл? Спросил, говорят, уехал с послом английским куда-то на юг.

— С послом американским.

— Ну, с американским. Я этой вашей дипломатией сыт вот так. — Он снял шапку-ушанку, покрыл ладонью голову. — Говори со мной просто, как человек с человеком. Успеет отец вернуться?

— Но ты-то надолго?

— Побуду, велено встать на ноги.

— Ну, тогда все в порядке. По-моему, отец будет не сегодня-завтра.

— Брось.

День был по-ноябрьски холодный, предснежный. Гололедило, но парнишка-шофер, что прикатил Сережку в Москву, понимая состояние молодого Бардина, мчался на Калужскую, как на крыльях. Когда приехали, Сережка пожал пареньку руку, сунул ему не столько в знак благодарности, сколько благодарной приязни пачку трофейных итальянских сигарет, пошел вместе с Тамбиевым к дому. Он долго стоял у подъезда, не решаясь открыть двери, а когда вошел, отдал костыли Николаю, а сам, держась за перила, медленно начал спускаться в полуподвал. Там жила старая приятельница семьи Бардиных дворничиха тетя Варя, обычно ключи от бардинской квартиры были у нее. Тамбиев слышал, как явственно ахнула внизу и запричитала тетя Варя:

— Сергей Егорович, да как же это? — И еще: — И времени не много минуло, а все пошло ходуном! Одним махом… Махом! — Потом шепот: — Погодил бы!.. На всякое «приспичило», Сергей Егорович, есть «сличило»! — И еще в отчаянии: — Господи, все разладилось без твоих ручек золотых: и радио, и мясорубка, а уж

примус в фугаску обратился — урчит, того гляди бухнет, окаянный!..

Сережка вернулся со связкой ключей, но был хмур пуще прежнего. Вслед за ним, часто поводя обрубленным хвостом, шел песик. Остроносый, длинный и какой-то стелющийся, он был похож на лису, но лису белую.

— Видишь, он улыбается тебе, — указал Сережка Тамбиеву на пса. — Да ты не туда смотришь. Он хвостом улыбается. Гляди, как он им двигает, вон сколько радости ты у него вызвал.

— Было бы часом больше, мы бы в Ясенцы смотались, — сказал Тамбиев в ответ, не удостоив пса вниманием.

— А чего я в тех Ясенцах не видел? — молвил Сережка, не спуская влюбленных глаз с собаки.

— Иришку, — заметил Николай.

— Разве только Иришку, — был ответ.

Они поднялись на четвертый этаж, и Сережка, привычно отобрав нужный ключик и повернув его в замочной скважине, хлопнул по дверной филенке пятерней. Дверь раскрылась. Пахнуло пылью, знойной, разогретой на свирепом солнце минувшего года.

— Был здесь с той поры кто-нибудь?

Они пошли из комнаты в комнату. Вещи хранили память о человеке, которого уже не было, они точно засекли и затвердили его последний день в этом доме. В столовой Сережка кинулся к табурету. Видно, накануне вечером она вязала. Лежал недовязанный свитер для Иришки, а может быть, для Сережки, разумеется, с бегущим оленем на груди, тогда была мода на этих оленей. Сережка взял вязанье, выпал клубок шерсти, неожиданно живой, и покатился по полу, едва ли не подпрыгивая. На кухне он увидел стакан, замутненный молоком, и кусочек хлеба, заметно поджаренный. Это ее молоко и ее хлеб, только она и ела в доме поджаренный хлеб. И вот эта записочка на тетрадном листе, как все ее записки, недописанная. Сережка взял тетрадный листок, перечитал, ждал прислушиваясь к ее голосу. Да, где-то в этих строчках затаился ее голос и ждал той минуты, когда Сережка возьмет записку в руки, чтобы прозвучать: «Сыночка, я тебе приберегла творогу домашнего, открой холодильник…» И Сережка едва удержался, чтобы не открыть холодильник (заморское диво — подарок коллеги-наркоминдельца). Боялся этого творога, видел его, этот творог, каменно-твердым, в прозелени и в сизой плесени, неожиданно яркой и залохматившейся… Сережка шел из комнаты в комнату, всюду она протягивала ему руку, всюду слышался ее голос, даже вот здесь, в кабинете отца, куда Сережка привел сейчас друга и куда

она, как помнит Сережка, не часто заходила.

Они сейчас сидели в кожаных креслах кабинета, и прямо перед ними был портрет Бардина.

— Ты слышал, что сказала там, внизу, тетя Варя? — произнес Сережка и отвел глаза от портрета. — Слыхал? «На всякое «приспичило» есть «сличило»…

— Это о ком? — спросил Тамбиев.

— А ты не понял? — Он поднял глаза на портрет. — Это о нем й о нашей Оленьке.

— И что ты ответил тете Варе? — спросил Тамбиев.

— Ничего, разумеется.

— Жаль.

Сережка смолчал. Подошел к окну и, сдвинув шпингалеты, взял створки на себя. Затрещала бумага, которой были заклеены окна, и глубоко внизу, точно это было не на земле, а в разверстых ее недрах, прозвучала автомобильная сирена.

— Почему жаль, Коля? — спросил Сережка, и Тамбиев заметил в его голосе виноватость.

— Хочешь, чтобы я сказал?

— Да, хочу, — ответил Сережка и еще раз взглянул на портрет, точно подтверждая самим этим взглядом, что готов к разговору.

— Знаешь, Сережка, а мне вот неприятно слушать это об отце твоем. И, прости меня, я бы не говорил с тетей Варей об этом.

Тамбиев видел, как разом взмок Сережка, кожа лица его уже не казалась золотистой, как прежде, а стала серой.

— Но ведь из песни слова не выкинешь, — в его голосе вдруг появилась запальчивость. — Это не я сделал, а он.

— Что сделал?

Он вдруг поднялся и, пройдя комнату, — видно, он пробовал ходить без костылей, — взял отцовский свитер и спрятал его в шкаф, спрятал поспешно.

— Что? Что сделал?

Сережка опустился на ковер, там лежал песик.

— Ну, улыбнись, Малец, улыбнись, — схватил он собаку за передние лапы. — А ведь ничего не забыл, Малец, все помнит. Как будто и не было этих восемнадцати месяцев. — Он отнял собаку от пола и попытался ее подбросить. — Ах ты, неслух мой. — Пес устал не меньше Сережки, но доволен, он все еще шевелил хвостом, но теперь не так часто. — Поедешь со мной, а? — спросил Сережка пса. — Нет, я серьезно, поедешь? — И, обернувшись к Тамбиеву, пошел к дивану. — Ты что молчишь, Николай?

— А я сказал все. Теперь за тобой очередь.

— Ну, будет, я есть хочу, — бросил Сережка и двинулся на кухню, вещевой мешок там. — Я заметил, как поем, становлюсь добрее. А ты?

Он выдвинул из дальнего угла столик, на котором отец в довоенные времена работал на машинке, накрыл его газетой и с превеликой тщательностью, которая прежде в нем и не угадывалась, разложил небогатые запасы: банку тушенки, квадратик сыра, пачку леденцов, пол-литра водки.

— Давай за встречу, дороже ее ничего нет, может не повториться. — Сережка открыл бутылку, разлил водку по фужерам. — Ну?

Они выпили с жадной отвагой.

— Ну, так, пожалуй, лучше, — сказал Тамбиев. — Теперь скажи, куда сейчас?

Сережка выложил тушенку, не дожидаясь, когда начнет Тамбиев, начал сам.

— Куда, говоришь? А сам не знаешь?

— Не знаю.

Сережка взглянул на окно, видно, этот взгляд и прежде был взглядом предосторожности.

— На Дон! Ну, мы их… — Он выругался с завидным умением, больше того, со вкусом. Тамбиеву это было в диковинку, прежде Сережка не ругался. — Я им за Ваську Полосина еще не выдал. — Он хмуро взглянул на Тамбиева, глаза его были красны. — Дружок мой… Васек Полосин. Мы с ним подо Ржевом прошибли оборону и в тыл к немцам, а потом они захлопнули ворота. Р-р-р-раз и захлопнули!.. Так он пошел на таран, прошиб, а я за ним. Вот и выходит, он меня спас, а я его не уберег. Вот тут у меня этот долг, вот тут. Ты можешь понять меня? Ну, я за Ваську сполна получу.

— Погоди, не пей. Ну, скажи, что ты думаешь, как наши дела? Ну, как ты разумеешь?

Сережка молчал.

— Ну, что я тебе могу сказать? Что я знаю? Я ведь солдат, и стратегия — не моя стихия.

— Нет, я хочу узнать, что думаешь ты.

Сережка сидел, сомкнув губы, которые казались сейчас белыми. Нелегкую задачу задал ему Николай.

— Если спросить не ум, но еще и сердце, то ответ будет таким: что-то сдвинулось вот тут, — Сережка положил загорелую руку на грудь. — Понимаешь, сдвинулось, и совершился перелом, а это, наверно, самое главное. — Он вновь взглянул на Мальца, устремился к нему. — Ах ты, разбойник этакий!.. — Он опрокинул собаку на спину, принялся мутузить, потом дал собаке

встать. — Эх ты, трусишка несчастный, трусишка. — Он опустился на четвереньки и, уподобившись псу, замотал головой, что есть силы залаял. Собака смущенно двинула хвостом, тоже залилась лаем. Казалось, Сережку это привело в восторг.

Он вернулся к столу улыбающийся, его хмурость точно рукой сняло.

— Знаешь, что? — взглянул на фужер с водкой. — За батю! Как ни говори, а он в небе, а мы с тобой на земле. Небось летит сейчас? За него.

— Ну наконец сказал дело, — произнес Тамбиев и осушил фужер с водкой.

Сережка ел, понимая толк в еде, так едят рабочие люди, натрудившиеся за день. Никогда прежде Тамбиев не замечал за Сережкой этого.

— Ну, ты помнишь эти бардинские баталии, когда отец идет на сыновей, а сыновья друг на друга? Не дай бог, еще дядя Сережа Бекетов окажется рядом. Вот это сеча! Истинно, столпотворение! Однако останови на секунду сечу и разберись, что к чему. Дед, он на то и дед, он за Россию дедовскую, хотя, наверно, понимает ее пороки лучше нас всех, он ее видел воочию, так сказать… Отец к нему суров, готов считать его ниспровергателем. На самом деле весь дедов пафос, как дядя Мирон как-то сказал, держится на пупе — самовзвод, задира… Чем сильнее тот, кто ему противостоит, тем охотнее он в бутылку лезет. Одним словом, как видится моему уму зеленому, в нем больше строптивости, чем несогласия. Нет-нет, ты пробовал по ниточке, по стебелечку разобрать то, что он говорит? Честное слово, он часто говорит дело. Ну, к примеру, он глаголет: почитай доброе, что есть у дедов твоих и прадедов, почитай с умом, доброе прими, худое отбрось. Ну что тут плохого? Или еще: отдай должное старику, его уму и опыту. По нему, это и есть основа нравственности. А ты как думаешь? Нет, нет, ты не смейся. Как думаешь? Есть старики добрые и злые? Верно. Но старость надо уважать, и это действительно основа нравственности. Ну конечно, он упрямец редкий. Если ты скажешь «а», он уже «а» не скажет. Но мне такой человек даже интересен: будит мысль, вечно бьет тревогу, не дает уснуть ни мысли, ни чувству. Но ты спорь, поднимай на него свою «мощу», как говорит дядя Мирон, иди на таран. Правда, она так просто в руки не идет, ее отвоевать надо.

— Это тоже дядя Мирон говорит? — улыбнулся Тамбиев.

— Дядя Мирон, — заулыбался в ответ Сережка. — Не хочу и думать ни о ком другом, мой идеал. Ты только прикинь, одновременно инженер и летчик, да какой летчик! Он, говорят, такого давал фашистам под Мадридом — ого-го-го!.. Да что я

тебе говорю, в твоем институте испытательном его забыть не могут: волонтер войны антифашистской, первой войны антифашистской! Да посмотри на него на живого, на живого! Он весь порох сухой. Чуток, как струна натянутая. Я как солдат говорю, с таким я в любое пекло пойду. У меня к нему вера, а дороже этого ничего нет на свете. — Он умолк, испытующе посмотрел на Тамбиева, будто примеряя, как ему, Николаю, все то, что он сказал сейчас? — Ты знаешь, Николай, я ему даже чуть-чуть завидую: жил, как все, а стал идеалом. Идеал — это трудно. У тебя он есть, Николай?

— Есть.

— Кто?

— Отец твой.

— Кто, говоришь?

— Отец твой, Бардин Егор Иванович. Знаешь такого?

— Знаю и просить хочу, объясни.

Но Тамбиеву надо было собраться с мыслями, вон какую силу набрал этот разговор и какой поворот обрел.

— Только, чур, пойми меня правильно. То, что я скажу, я скажу не в пику дяде Мирону. Он, дядя Мирон, герой, и все мы ему обязаны. Всегда обязаны и многократ сегодня, когда страна наша творит подвиг свой ратный. Но то, что совершил Мирон, мы, не задумываясь, зовем героизмом, и чуть-чуть потому, что это так звалось вчера. А вот то, что делает отец твой родной, никогда не звалось героизмом и, прости меня, не зовется им и сегодня, хотя есть подвиг духа истинный, а следовательно, и героизм.

— Погоди, а не хватил ли ты, друг ситный, лишку? — спросил Сережка.

— Нет, не хватил, и я тебе это сейчас докажу, — сказал Николай. Его разобрал задор, и он хотел высказать мысль свою нелегкую до конца. — Что есть Егор Бардин и как я понимаю его? Только слушай меня внимательно и не перебивай. Итак, это не просто словцо, когда мы говорим, что мир наш расколот надвое. Есть, грубо говоря, две половины, красная и белая. На одной и другой миллионы. Ничего похожего на идиллию в отношениях между красным и белым нет. Наоборот, это единоборство, суровое и, скажу больше, беспощадное. Следовательно, те, кто представляет нас в отношениях с той половиной мира, вроде парламентеров с белым флагом, которых отряжает полк, когда надо договориться с врагом насчет того, чтобы на двадцать четыре часа выключить гаубицы и минометы. В данном случае речь не о полке, а о стране, в которой народу миллионы, а парламентеров, то бишь дипломатов, ведущих переговоры, число отнюдь не астрономическое. Пальцев на твоих и, пожалуй, на

моих руках хватит с лихвой, чтобы перечислить этих парламентеров с Кузнецкого моста. Кстати, отец твой один из них, и уже это делает его человеком не совсем ординарным. Когда полк отряжает парламентеров, он должен крепко подумать, кому доверяет древко с белой холстиной. Сказать, что этот посланец полка должен быть умным, наверно, не все сказать. Среди его доблестей должны быть и выдержка, и опыт, и знание языка, и то, что простой человек называет подходом к людям, и что, в сущности, так и есть. А главное, он должен быть безотказным. Да, безотказность, как у того вечного часового, который всегда бодрствует, всегда зорок, вседенно и всенощно на вахте. Бардин из этой породы вечно бодрствующих. Правда, то, что он делает, как-то не принято считать героизмом. Вот мы говорим: «Отступать некуда — позади Москва». Но ведь это можно сказать не только о воине, но и о дипломате. Нет, не в переносном, в прямом смысле этого слова, в прямом! Истинно, отступать некуда, когда в многодневном единоборстве с опытным и умным врагом дипломату надо отстоять пределы, которые ему велено отстоять. Тут свой обходной маневр и свой удар в лоб, свои «клещи» и свои «вилы», свое минирование, и, пожалуй, свое разминирование. Но кто сочтет это героизмом? Это не будет героизмом? Это не будет героизмом и тогда, когда дипломат, выполняя задание, пересечет линию фронта, перевалит через океан, а через неделю этой же нелегкой дорогой вернется обратно. Однако, как сказал поэт, сочтемся славою… Истинно, грядущий памятник всех уравняет. В этом ли дело? Вернемся к Бардину. Есть в нем то, что отличает человека государственного…

— У отца чин высокий?

— Нет, дело не в чине. Понимаешь, он, как опытный навигатор, способен удержать корабль на верном курсе. Все иные в плену страстей. Новый сенат старика Иоанна есть плод одного древа — страсти… У Бардина нет такой страсти, а если бы даже она была, он не дал бы ей возобладать над собой. Бардин точно ориентирует свой корабль в соответствии с главной целью — интересы Союза Советов, как они видятся ему сегодня. Ну, ты знаешь, мне симпатичны все Бардины, но если пойдет речь о деле государственном, я назову лишь отца твоего и, наверно, буду прав, хотя знаю, мне надо еще доказывать свою правоту, и не только тебе.

Сергей оглянулся и увидел в дальнем конце комнаты старый отцовский диван, обитый кожей. Сережка вспомнил: полушутя-полусерьезно Бардин говорил сыну, что диван обладал силой волшебной. Час сна на кожаном диване так прибавлял силы, хоть

начинай жизнь сначала! Сережке даже казалось, что диван хранит и тепло доброго отцовского тела, и чуть-чуть запахи отца. Так или иначе, а Сережка забрался сейчас на диван, не без труда уложив ноги, надо было умудриться, чтобы они уместились на диване.

— Надо доказывать? — засмеялся Сережка. — А какая у него кличка в Наркоминделе? Там, наверно, как в школе, у всех клички. О, я любил клички лепить. Р-р-аз и прилепил!

— Ну и какую бы ему кличку дал?

— Крестный!

— А это еще что такое?

— А его так зовут все: и братья, родные и двоюродные, и племянники, которых сонм неисчислимый, и даже дядья. Все зовут, хотя сейчас, правда, реже. Крестный! Ну, это вроде рождественского деда, который стоит на перекрестке дорог с большим мешком, а в мешке что твоей душе угодно: кому десятка на харчи, а кому двадцатка на обувку, а иной раз и другая помощь, о которой никому не скажешь, а ему, пожалуй, скажешь… В клане Бардиных он не самый старший, а идут к нему…

— И что же, к нему идут за всем этим?

— А почему не идти, он ведь не откажет… Крестный!

— А он крестил всех их?

— Нет, он крестный не в этом смысле. Крестный в смысле наставлять на путь истинный, помогать, приходить на помощь в трудную минуту. Понял, Коля?

— Понял.

— Тогда чего притих?

— А… Крестный — это не так плохо. Я бы хотел быть Крестным…

Сережа не ответил, только теснее приник к прохладной коже дивана.

Трудно сказать, как долго бы длилось это молчание, если бы вдруг не разбушевался дверной звонок. Видно, он сорвался с какого-то своего штыря и пошел воевать: дзинь-дзинь.

Сережу будто вихрем подхватило и бросило к входной двери.

— Так это же батя! Я услышал его голос!

Тамбиев бросился вслед. Он ничего не мог понять. Каким чудом Сережка услышал голос Бардина? Но теперь и Тамбиев слышал этот голос.

— Ну, отодвинь ты эту бисову задвижку! — стонал за дверью Бардин.

Да, это был Егор Иванович. Значит, в тот час, в тот добрый час, когда Николай и Сережка вспомнили Егора Ивановича, полагая, что он далеко, бардинский самолет был уже где-то над

Рязанью.

— Ну, сынок, отопри!

Видно, дверь была уже давно отперта, просто Сережка не догадывался взять ее на себя. Сейчас ее подтолкнул ветер. Верно, Бардин! Истинно, из тропического пекла, по медно-красному лицу бегут капли пота.

— Теперь вижу, дело пошло на поправку! — закричал Бардин и кинулся к сыну. — Вижу, на поправку!

Но Сережка уже уперся острыми локтями в грудь отца, прохрипел недовольно:

— Кончай, батя. Кончай.

— Как там дядя Яков? Небось вымахал в командира бригады? — спросил Бардин и, выпустив сына из объятий, сдавил руку Тамбиеву повыше локтя.

— Бригады! Что-то берешь мало. Армией командует!

— Это где же, под Калинином или подо Ржевом?

— Был подо Ржевом, да ныне, говорят, на Дон подался.

— На Дон? А ты ему на подмогу?

— Дед говорит: «И хочу подсобить, да подсобилка не вышла». Куда мне!

— Жив, Сережка! — трахнул Бардин могучим кулачищем сына по спине. — Ну, иди сюда, не робь.

— Вот ведь развоевался, батя! Я говорю, кончай.

Пока препирались сын с отцом, Тамбиев улучил минуту и сбежал. Через парк вышел к берегу Москвы-реки, пошагал к Крымскому мосту. Шел, думал: «Как они там, у Второй Градской? Замкнулись в молчании или начали разговор, тот самый, к которому готовились все это время?..»

75

Сережка знал не все. Яков Бардин действительно получил назначение на Дон, но отправлялся туда только теперь.

Штабной биплан, чьи крупные заплаты на крыльях не обнаруживались по той причине, что дважды в году он красился и перекрашивался, преодолевая сырой, круто замешанный на дожде и снеге ветер, примчал Якова Бардина на аэродром в Быково. Здесь Якову Ивановичу предстояло пересесть на транспортный «Дуглас», вылетающий с рассветом в Новохоперск, откуда он должен был уже на машине добраться до Старого Мамона, где дислоцировалась его армия.

До отлета оставалось часа три с половиной, и он, зная, что Наркоминделу в это время суток положено бодрствовать, позвонил и был не очень удивлен, когда услышал в телефонной трубке голос Егора.

— Если хочешь видеть брата, вот тебе десять минут на сборы — и айда в Быково, — сказал Яков. — Опоздаешь, кори себя до скончания дней: был у тебя брат Яков…

— Погоди, это вроде эпитафии на могильном камне. К чему бы? Есть причины?

— Есть. Сережка еще у тебя?

— Да, последние пять дней.

— Я жду тебя.

— Еду.

За ночь забелило Подмосковье, да и обширное поле, с которого с рассветом должен был взлететь «Дуглас», было белым-бело. Если быть точным, снежное поле было лиловато-синим, мерцающим, под цвет неба, которое сейчас освобождалось от туч. И оттого, что полоска неба на горизонте стлалась у самой земли и казалась тонкой, небо вдруг приподнялось и было, как никогда, высоким.

Братья сейчас стояли посреди этого просторного поля. Они точно специально забрели сюда, чтобы сказать то, что намерены были сказать.

— Ты полагаешь, что сорок второй кончился? — спросил Бардин брата. — Для них кончился? — Он кивнул на тонкую полоску леса, там был запад, там были немцы.

— Для них, пожалуй, — ответил Яков.

— И они могут быть довольны тем, что успели в сорок втором?

Яков молча прошел дальше. Егор поотстал, желая взглянуть на брата издали. Рослая, не столько складная, сколько могуче-

угловатая фигура брата была точно врезана в бледно-синий лист поля. Бардину нравилось смотреть на брата. Была в брате свойственная военным сдержанная сила.

— А это будет зависеть от того, как закончим сорок второй мы, — сказал Яков.

— Но мы ведь его уже закончили?

— Нет.

Егор все еще смотрел на Якова. Этот человек, медленно идущий по снежному полю, был старшим братом Егора, на веки вечные старшим братом. Это именно, а ничто иное осознавал сейчас Бардин с особой остротой. Не было для Бардина большего расстояния в природе, чем те шесть лет, что отделяли его от Якова. Егор был желторотым юнцом, а Яков уже ходил с Буденным на Варшаву, да не просто ходил, а во главе эскадрона таких же орлов, каким был сам! Вот попробуй дотянись, когда ты просто человек, а он командир эскадрона. Сам его облик — островерхая буденновка, шинель, перехваченная на груди синими полосами, — был иным. Да только ли облик, весь образ жизни — он жил где-то в Таврии, а потом на Дону и на Кубани, все больше в военных городках и лагерях. В письмах, которые он писал отцу, мелькали названия этих лагерей, одно звучнее другого… «Отец, за меня не беспокойся…» — эта фраза запомнилась Егору по многим письмам Якова, всегда точным, обидно немногословным, как заметил Бардин, не передающим великого напряжения жизни Якова. Бардин знал, что никто из его близких не пережил в этой войне и доли того, что пережил Яков, по об этом можно было только догадываться. Бардин не помнит, чтобы поведал брату такое, что было для Егора сокровенным, но он на всю жизнь сберег великое уважение к слову и делу брата. Наверно, это смешно, но если бы Бардину надо было встать под начало командира, которому он готов довериться до конца, то им мог быть и Яков, при этом не потому, разумеется, что он Бардин. Было в этом человеке то настоящее что внушало людям веру.

— Значит, сорок второй для нас не закончен? — переспросил Егор.

— Нет, — ответил Яков и умолк прочно.

— Хорошо, но как понять это? — спросил Егор. — Был октябрь сорок первого, и есть октябрь сорок второго…

Яков вздохнул.

— Октября сорок первого больше не будет, — сказал Яков. Каждое новое слово стоило ему сил немалых. — Не должно!

— Не должно! — повторил Бардин и поймал себя на мысли, что произнес эти слова едва ли не с иронией, произнес и посетовал на себя, в таких тонах не говорил с Яковом. — Они

поставили нас к Волге, как к стенке. Куда как тяжело!.. Но ты, ты знаешь что-то? — спросил он полушепотом и из предосторжности посмотрел вокруг, хотя знал, что на версты и версты поле белое.

— Нет, не знаю, — сказал Яков и остановился, дав понять, что разговор закончен.

Бардин вздохнул: «Вот он, брат родной!.. Все запахнул намертво, все на замок. Кинься к нему и стучи, пока кулаки не окровенишь. Не человек — брус железный!»

— Ты что же, думаешь, что я понесу это Черчиллю? — спросил Бардин и ощутил, что закипает.

— А ты можешь допустить, что я сам всего не знаю? — сказал Яков и, как показалось Егору, был немало обрадован, что нашел ответ.

— Ну, не знаешь, так не знаешь, — заметил Бардин. — Узнаешь, скажешь, — улыбнулся он и повернул к зданию аэропорта, которое начала затягивать снежная заметь. Они отошли порядочно, но тут же остановились. — Послушай, Яков, все тебя хочу спросить…

— Ну, спрашивай, — произнес Яков, и в голосе его изобразилась такая тревога, которую до сих пор Бардин в нем не замечал… «Знает, о чем буду спрашивать! — подумал Бардин. — Знает и боится! Оказывается, и он может бояться, даже интересно. На приступ ржевских камней ходил, не боялся, а тут боится». — Хочу спросить тебя, что там с нашим Филиппком? Ну, что ты так смотришь на меня? Я говорю, как с Филиппком, родным дядей нашим?

Теперь шел Яков к зданию аэропорта, а Бардин только поспешал за ним. Он, Яков, видно, был заинтересован, чтобы быстрее дойти до здания аэропорта.

— Ну, что ты молчишь? — едва не выкрикнул Бардин.

Яков остановился, это последнее слово Бардина остановило Якова, точно крюком, что был брошен вслед ему наотмашь.

— Да ты же все знаешь про Филиппа.

— Ей-богу, не знаю.

Он сжал и разжал могучие кулачищи, он вдруг ощутил необходимость трахнуть ими, да предмета подходящего для трахания не оказалось, белое поле вокруг, хоть бей кулачищами по Егору!

— Так вот знай, послали его в Ярославль за шинами для боевых машин, а он сделал крюк — и в Москву к Юленьке. Ты понимаешь, его ждут в части, а он побывку себе организовал. Вот и получил поделом, пусть кровью своей искупает.

Он нагнулся и, зачерпнув снега пригоршню, принялся его есть, есть жадно, видно, гнев его был замешен на огне, в горле

пекло.

— Ну, хватит, хватит, и брось ты этот снег, — сказал Бардин. — Тебе отец писал об этом?

— Ну, писал, конечно, а разве это дело меняет? — спросил Яков. — Он хочет быть добреньким, этот твой Иоанн Креститель, а на правду ему начихать.

— Так ли начихать? И потом понять надо, он брат Филиппу.

— Брат? Но подлость — она есть подлость, нет ей оправдания!

— Но так ли это, как тебе поведали? — спросил Бардин осторожно. Он понимал гнев Якова, но понимал и иное: надо бы успокоить Якова, иначе до истины не доберешься.

— Поведали!.. — повторил Яков так, будто то сказал не Егор, а Филипп. — Но ведь это на него похоже, на Филиппка.

— Ты полагаешь, похоже?

Яков еще раз зачерпнул снега и, растерев его на ладонях, вытер ими лицо. Ему было жарко.

— Ты пойми, после письма отца я должен был к этому дерьму прикоснуться, — молвил Яков. — Подлец он, Филиппок, коли на это решился! И вот что заметь, видно, делал это и прежде, ежели сделал теперь так легко У меня нет дяди Филиппа, — сказал он хмуро и, помолчав, спросил: — А у тебя есть?

Бардин смешался.

— Понимаешь, пришла Юленька, жена Филиппа, и в голос: «Не жалеешь меня, пожалей детей наших, спаси!»

— Ну, а ты?

— Что я?

— Да, что ты?

— Дети-то не виноваты, Яков. Детей жаль.

— Нет, тебе не только детей Филиппа жаль, ты, так сказать, самому Филиппу сострадаешь.

Егор не ответил, только печально согнул толстую шею и как-то сразу утратил свою могучесть.

— Ты чего молчишь? Отвечай.

— Чтобы осудить его, я должен в его вине убедиться. У меня этот процесс происходит медленнее, чем у всех остальных. Только ты не обижайся, Яков, пожалуйста.

— Значит, не веришь?

— Я в этой жизни столько раз осекался, Яша, что решил учредить службу проверки. И потом — вина вине рознь. А слова у тебя на все случаи жизни железные. Одним словом, я еще подумаю. А пока Филипп мне дядя, Сережка — сын…

— Нет, Егор, ты Сережку не тронь. Сережка — человек! Да, да, я о нем больше тебя знаю. Ты слыхал про ржевский подкоп?

Слыхал, как семеро солдат под немецкими блиндажами лаз прорубили? Да какой там лаз — тоннель! Так среди тех семерых был твой Сережка. Он был в соседней армии, так ни разу не обмолвился, что за рекой родной дядя группой командует, а когда доняли, сказал как отрубил: «На войне каждый отвечает за себя!» Слышишь, за себя отвечает каждый!.. Ты Сережку не путай с этой падалью! — выкрикнул он и произнес с покорной озабоченностью: — Я-то вызвал тебя по делу, а ты мне голову забил своим Филиппом, чтоб его… Могу я тебя спросить по твоей части?

— А что есть моя часть?

— Как что? Не знаешь? Союзнички, конечно.

— Ну, спрашивай…

Он задумался. Слишком глубоко врубился клинок, чтобы так легко можно было выхватить обратно тонко отточенную сталь и вновь взметнуть.

— Я так кумекаю, — продолжал Яков, стараясь собраться с мыслями. — В Европе они могут подождать, а в Африке им ждать нельзя. Вот я и вывожу сумму из этих моих слагаемых. У них должно сейчас вызреть в Африке что-то большое. Ты только скажи мне «да». Мне это надо для дела. Скажи «да»…

— Я полагаю, да, — ответил Бардин, поразмыслив.

— Спасибо. Мне это важно было знать. Жаль, что этого нельзя сказать всем нашим.

— Но это всего лишь мое мнение.

— Я сказал «спасибо».

«А у него есть это качество больших военных — мыслить стратегически, — думал Бардин, простившись с братом. — Есть это качество, если по косвенным признакам пришел он к главному и предугадал событие, о котором не знал, не мог знать…»

…Бардин приехал в Ясенцы в двенадцатом часу ночи, когда семья уже улеглась. Он прошел в столовую, где, как это было заведено давно, ждала его чашка молока. Он принялся за молоко, пододвинул книгу. Видно, Сережка читал ее час назад на сон грядущий. Герцен. «Былое и думы». Егору Ивановичу попалась на глаза глава с рассказом Веры Артамоновны о вступлении французов в Москву. Бардин любил эту книгу и хорошо ее знал, но сегодня этот рассказ будто вновь увлек его. Неизвестно, как долго бы Егор Иванович читал Герцена, если бы в ноябрьской полуночи, такой слепой и безгласной, не загромыхал знакомый голос радиодиктора, не иначе, кто-то из соседей вывел репродуктор на улицу. Бардин отодвинул недопитое молоко и

кинулся вон из дому. Где-то в сенцах он замешкался с ключом, не отпер, а вышиб дверь ненароком, но на крыльцо выбился. Голос продолжал греметь над Ясенцами, и Бардину почудилось, что он ухватил самый смысл — наши перерезали западные магистрали немцев у Сталинграда и замкнули кольцо. Бардин обернулся, шагнул в дом и где-то в столовой почувствовал, что ему не хватает дыхания.

— Сережка, Сережа, началось! — крикнул Бардин. Он знал, что дома все — и отец, и Ольга, и Иришка, — но хотелось позвать сына.

Было слышно, как грохнулись об пол Сережкины костыли и застучали по полу босые ноги, сотрясая дом.

— Что там, папа?

— Да ты слушай, началось! — воскликнул Егор Иванович и кинулся вон из дому. Где-то в сенцах едва не сшибся с сыном, хотел добраться до его плеча и напоролся на костыль. Истинно, пришла пора радоваться, да беда дорогу перекрыла.

— Дай мне твою руку, Сережа.

— Да нет, я сам, я иду уже.

Бардин выбрался на крыльцо и счастливо онемел. Ночь была не по-ноябрьски мягкой, с невысоким и влажным небом, и голос, гремящий над землей, казалось, способен был выламывать камни. Да, это была страдная победа под Сталинградом, страдная, а поэтому трижды желанная.

— Ну, мы их… — не произнесла, а простонала Сережкиным голосом ночь. — Мы их… — нелегко выдохнул Сережка где-то рядом, и Бардин услыхал дыхание сына, утробное, мужичье, сдавленное спазмами — не ровен час, заревет в голос.

— Сережа, да где ты? — кинулся Бардин в гущу мокрых ветвей, но сына уже не было. — Сережа! — закричал Егор Иванович и, выбравшись из кустарника, вдруг увидел сына за штакетником, на приречной поляне. Быстро, с неожиданной в его положении сноровкой Сергей уходил все дальше, видно, помогала поляна, наклоненная к реке…

Конец первой книги

Книга вторая

1

Бекетов запер кабинет и, привычно сунув ключик в жилетный карман, зашагал по коридору, но, скосив глаза, приметил свет в дверях Шошина.

— Можно к вам, Степан Степанович?

— Входите, Сергей Петрович, а мы, признаться, говорили о вас… Знакомьтесь: Грабин Аристарх Николаевич…

«Грабин, Грабин… — пронеслось в памяти Бекетова. — Не тот ли из богомоловского посольства, знаток шотландской старины и автор книги о Бернсе, который, как утверждал Шошин, должен был днями вернуться из Москвы?..»

Бекетов взглянул на человека, поднявшегося из кресла: похож ли он на того Грабина, какого представлял себе Бекетов? Нет, не похож! У того не должно быть бороды с подпалинкой, а этот отрастил вон какой веник. Да и молод ли он?.. Вон сколько седых волос понатыкано! Не та ли это седина, с которой в одночасье бес в ребро?..

— А я думаю: что-то мне не спится… — улыбнулся Сергей Петрович. — Кто тревожит сон мой?

— Каюсь: мой грех… — сказал Грабин, с почтительной робостью поклонившись Бекетову.

— Однако не мог бы я знать, что явилось первопричиной греха, а следовательно, покаяния? — полюбопытствовал Бекетов — ему не хотелось расставаться с весело-иронической интонацией.

— Право, не знаю, как и объяснить… — произнес Грабин и, желая показать, что смущен, зарыл в бороду белую руку. — Пусть скажет Степан Степаныч…

Но Шошин хранил молчание: он заканчивал чтение гранок.

— Французы получили документальную ленту из Африки и хотели показать ее, — произнес Грабин, поняв, что Шошин устранился от разговора. — Приедет генерал…

Была особая интонация, которой сопровождалось это «генерал», когда речь шла о де Голле.

Бекетов сказал, что готов ехать. Нет, не потому, что будет генерал, но в какой-то мере и поэтому. За год его жизни в Лондоне генерал появлялся на людях не часто и слыл человеком трудным. Бекетов видел однажды француза на правительственном приеме в Вестминстере. Сергей Петрович отметил, что генерал покинул прием едва ли не первым и, прощаясь с хозяевами, взглянул на них с такой непобедимой гордыней, какую только позволял его диковинный рост. В

Лондоне постоянно выражали недоумение: как этот человек, выброшенный силой обстоятельств на чужой берег, в сущности пока никем не избранный и, пожалуй, не назначенный, как этот человек мог вести себя так надменно? Но, быть может, эта гордыня была щитом, призванным оборонить человека, в этой обстановке слабого?..

Екатерине нездоровилось, и Сергей Петрович отправился к французам один. Он не смог захватить с собой и Шошина: в серии сталинградских новостей Москва обещала очередную, и Степан Степанович был прикован к своему письменному столу. Бекетов прибыл к началу фильма, не без труда он обнаружил в темном зале пустой стул, надеясь, что его никто не увидит. Да, это был «Торч», знаменитый «Торч», первые эпизоды операции, в которых действовали французы, свободные французы… А потом… что это? Прибытие французских парней в Россию? Заснеженное поле, сверкающее твердым настом, и смуглолицые парни, играющие в снежки (снег сухой, непослушно-рассыпчатый), хорошо утоптанная тропа и те же парни, бегущие наперегонки через рощу, белые березы которой под стать снегу… И взлетное поле, не столько снежное, сколько сизо-ледяное, и самолеты, уходящие на боевое задание, и лица французских ребят, неожиданно строгие, и строгость в их смолистых глазах…

Фильм закончился. Зал точно сравнивал то, что было на экране, с тем, что он знал об этих парнях и их страдной судьбе. На экране едва ли не ликовали молодые люди, а в зале была тишина. Зал знал то, что молодые люди не знали: финал боев или, вернее, предысторию финала, героическую, но печальную.

— Сергей Петрович, а я с ног сбился! — из боковой двери шагнул Грабин. — Хозяева хотели бы представить нас генералу… Как вы?

Бекетов испытал неловкость: в его сегодняшние планы не входила встреча с генералом.

— Ну что ж… я готов.

Они прошли по коридору, который охватывал зал полукольцом, в небольшую гостиную, смежную с банкетной комнатой, оттуда доносился гул голосов.

Бекетов приметил де Голля по росту да, пожалуй, по характерному профилю, в котором только и было мужского, что нос, все остальное — овал маленькой головы, волоокие глаза с чуть одутловатыми веками, маленький рот, подбородок со вмятинкой, сам цвет лица, нежно-восковой, румянеющий, — было больше женским, даже чуть-чуть девичьим. Это было тем более заметно, что манера держать себя, к которой, как казалось — не без тайного умысла, — обратился де Голль и которую можно

было условно назвать рассчитанной, вступала в противоречие с его внешностью и должна была показаться не очень естественной. По крайней мере, первое время, пока не привыкнешь.

Когда Бекетов с Грабиным появились в гостиной, толпа, окружающая де Голля, заметно расступилась, образовав некий коридор, который от русских вел к французу. Видно, до того как русские вошли сюда, де Голль и его собеседники говорили о русских кадрах фильма — поэтому так прост для де Голля был переход от одной беседы к другой.

— Вот парадокс нынешней войны: освободительный поход французов начинается едва ли не с Северного полюса, — произнес генерал и улыбнулся. То ли потому, что улыбался он не часто, то ли потому, что улыбка не очень вязалась со сказанным, смысл деголлевской фразы можно было и не понять. Но все, кто стояли рядом с генералом, улыбнулись, и беседа как бы получила разгон.

— Да, это много севернее Москвы, но там не холоднее, чем в Москве, — сказал Бекетов — ему хотелось придать именно этот смысл деголлевской фразе.

— Это что же… Гольфстрим? — спросил де Голль.

— О, Гольфстрим, Гольфстрим! — подхватили все, кто был подле генерала, — знакомый со школьных лет Гольфстрим оказался спасительным и сделал все понятным.

Де Голль взглянул на дверь, ведущую в банкетную комнату: у него было желание появиться в этой комнате с русским.

Но прежде чем они подошли к двери, генерал остановился: искушение наклониться к русскому, который был не так высок, как он, и сказать то, что хотел сейчас сказать де Голль, в нем вдруг столкнулось с опасением, как бы это не было принято присутствующими за подобострастие.

— Россия и Франция могут понимать друг друга, — вдруг сказал де Голль, все еще борясь с желанием склониться к собеседнику и мужественно сопротивляясь этому желанию — фраза была лишена нюансов и достаточно точно отражала знание де Голлем английского.

— И они понимают, — тут же реагировал Бекетов. — Не так ли?

— Да, разумеется, — подтвердил де Голль и заметно помрачнел: согласие Бекетова не вызвало в нем радости. — Вы ленинградец? — неожиданно спросил де Голль — без сомнения, у француза был разговор о Бекетове прежде.

— Да, в той мере, в какой Ленинград — город, в котором ты начинал…

— Великий город, — вымолвил де Голль и первым вошел в

банкетную комнату, но, пройдя достаточно, оглянулся и был немало смущен, установив, что его спутник не торопится за ним.

2

Бекетов не удивился, когда на следующий день раздался звонок и человек, назвавший себя Мишелем Пермским, странно сочетая русские слова с французской сладкозвучностью, спросил Сергея Петровича, как бы он отнесся к приглашению на обед к французам — на обеде будет де Голль.

Бекетов дал согласие.

Двумя часами позже, со свойственной французам протокольной точностью, прибыл пакет, подтверждающий приглашение.

Прием у французов требовал нынче, как казалось Бекетову, подготовки тщательной. Ко встречам с русскими де Голля побуждали события на африканском континенте. Вот уже второй месяц союзники здесь наступали, и их сподвижником был французский адмирал Дарлан. Да, тот самый Дарлан, внук героя Трафальгарской битвы и вишийский министр моря, которого в мае 1941 года принимал в Берхтесгадене Гитлер и который, обуреваемый чувствами почти верноподданническими, воскликнул: «Не знаменательно ли, что сегодняшний день совпадает с днем памяти Жанны д'Арк — героини Франции, противницы англичан?» Вот какие метаморфозы случаются нынче: вчерашний вишиец стал для некоторых из тех, кто относит себя к союзникам, едва ли не товарищем по оружию! Правда, общественное мнение в той же Англии задето за живое, но для де Голля, например, это утешение слабое. Слишком очевидно — вишийский адмирал сделал этот шаг, имея в виду, что у американцев не очень получается с де Голлем. Как подлинно известно де Голлю, адмирала призвали американцы. Весьма возможно, что их посольство в Виши (именно посольство в Виши — Штаты не торопятся рвать с Петеном!) инспирировало переход Дарлана к союзникам. Но тогда какова в новых условиях роль вождя всех тех, на чьем знамени лотарингский крест?

Бекетов пошел к послу.

Михайлов только что вернулся с Пиккадилли, где небезызвестный Эндрю Смит, глава большой издательской фирмы, заинтересованной в выпуске советских книг, дал в его честь обед. Михайлов стоял за своей конторкой и стремительно правил машинописный текст, который, как понял Бекетов, ему только что принесла стенографистка, — видно, посол сразу же продиктовал ей текст беседы со Смитом.

— О, этот Смит — разбойник порядочный! — произнес Михайлов, приглашая Бекетова садиться. — Так обставил нашу

встречу: хочешь не хочешь, а согласишься! «Вот что, господин посол, от вас требуется согласие, а за остальное отвечаю я!.. Так, как издадут Горького у нас, его никогда не издавали… Извольте взглянуть!» И пригласил в соседнюю комнату… Ну, что скажешь? Разбойник! Представьте себе мольберты и на каждом папки: будущая книга как на ладони!.. Нет, не только иллюстрации и обложка — титульные листы, эти самые, как там у полиграфистов… буквицы, заставки… «Как же вы можете рисковать всем этим? — спрашиваю я Смита. — А вдруг я скажу „нет“?» — «Не можете вы сказать „нет“ — это противоестественно».

— Смит хотел бы монополию на издание нашей книги? — спросил Бекетов.

— Нет, разумеется, но ведь аппетит приходит во время еды. Пока речь идет о плане ограниченном…

— Вы сказали «да»? — спросил посла Бекетов.

— Он рассчитал все безошибочно: я сказал «да», разумеется, в той мере, в какой решение этого вопроса зависит от меня, — заметил посол и, закончив правку, пошел к письменному столу, держа на ладони трепещущий лист, на котором еще просыхали чернила. — Кстати, в будущую субботу Смит хотел бы говорить с вами. Как видите, мое дело начать, ваше — закончить…

— Хорошо, что в субботу, а не в пятницу… — заметил Бекетов — он искал повода переключить разговор, сейчас французы его интересовали определенно больше англичан.

— «Не в пятницу»? — тут же отреагировал Михайлов — он был чуток к ходу беседы. — Простите, почему «не в пятницу»?

— Французы просят быть… — сказал Бекетов и точно остановил этими словами Михайлова — тот отодвинул стул, но не сел.

— Де Голль?

— Да.

Михайлов пошел прочь от стола — он явно раздумал садиться.

— Мне только что позвонила жена: она приготовила запеканку с яблоками… — Он стоял в дальнем конце комнаты, словно оценивая: проник Бекетов в его, Михайлова, намерения или нет. — Хотите разделить со мной вечернюю трапезу?

Ну конечно же дело было не в вечерней трапезе, хотя запеканка с яблоками была заманчива и для Сергея Петровича.

— Время не такое уж раннее, — воспротивился Сергей Петрович, воспротивился слабо, и это уловил Михайлов.

— Как вы знаете, я не часто прибегаю к силе, — произнес посол и, возвратившись к письменному столу, взял телефонную

трубку. — Но тут… не премину…

Он позвонил домой, справился, как поживает запеканка, попросил жену поставить на лед сухое вино, которое накануне привез старик шотландец, снабжавший Михайлова этим разливным вином, недорогим и терпким, еще с той далекой дореволюционной поры, когда Николай Николаевич жил в Лондоне на положении опального, и, сказав, что через полчаса будет с Сергеем Петровичем, положил трубку.

Михайлов жил в апартаментах, в свое время определенных для посла и обставленных мебелью из кавказского бука. Когда-то эта мебель казалась в меру стильной и богатой, но с годами отяжелела и стала выглядеть громоздкой. Если бы эти кресла и полукресла были заменены в ту пору, о них могли и не вспомнить и не пожалеть. Но посольские замешкались, и вдруг мебель обрела качества, каких не имела. Подобно томам Британской энциклопедии, купленным на заре посольской истории у антиквара, напольным часам в вестибюле, старому пианино, стоящему в банкетном зале, мебель обрела значение реликвии и как бы стала неотъемлемой от посольства. Одним словом, посол был волен в своих желаниях и вкусах, он мог утром есть только яичницу с беконом, а вечером творог, запеченный с яблоками, но мебель, которая окружала его, не отражая ни его пристрастий, ни его вкусов, была сильнее его и обещала стоять здесь до скончания века.

Михайлов просил поставить электрический камин в гостиную и этим как бы дал понять жене: нет, дело отнюдь не в разливном вине и кулинарных ухищрениях хозяйки дома, — предстоит беседа, сугубо деловая. Жена посла понимала условный язык мужа достаточно, и Бекетов убедился в этом тут же. Михайлов еще прилаживал электрический камин и полушутя-полусерьезно бранил английскую электропромышленность за плохое качество штепселей, когда дверь, ведущая в глубь посольских апартаментов, мягко распахнулась и хозяйка вкатила столик, на котором, как догадывался Сергей Петрович, прикрытая салфеткой, покоилась вожделенная запеканка с яблоками.

— Вы сказали: де Голль? — спросил Михайлов, когда хозяйка покинула гостиную.

— Да, мне кажется, приглашение исходит от него, хотя он и будет присутствовать на обеде в качестве гостя.

— Значит, ему необходима эта беседа?

— Мне кажется, да.

— Как вы полагаете, почему?

— Мне хотелось знать ваше мнение, — сказал Бекетов.

Посол поднял салфетку — на квадратном блюде покоилась

запеканка, покрытая красновато-коричневой корочкой.

— Извольте, вот мой ответ: его побуждает ко встрече с вами поединок с адмиралом Дарланом.

— Вы уверены, что поединок складывается именно так: де Голль — Дарлан? — спросил Сергей Петрович. Он назвал имена, желая определить вехи разговора.

— Настолько уверен, что смею высказать такое предположение: если бы Дарлан был сейчас не в Алжире, а в Лондоне, то сегодня вы бы получили приглашение на обед и от него…

— Но какие шансы у сторон? — спросил Сергей Петрович, а сам подумал: не слишком ли грубо он стремится приблизить этот разговор к сути.

— Шансы?.. — Михайлов разлил вино, не забыв вынести бокал с вином на свет, — он хотел убедиться, что напиток не замутнен. — Признаться, я имел возможность наблюдать Дарлана лишь издали, в то время как де Голля… Итак, де Голль. Наверно, это анахронизм: аристократ, представляющий одну из самых знатных фамилий Франции, в роли вождя Сопротивления. Говорят, только тот государственный деятель на коне, кто уловил дух эпохи. Его вера во Францию и ее возрождение, а вместе с тем вера в свою личную миссию так непреклонна, что это не может не вызвать уважения. Да, взгляните на этого человека со стороны, взгляните, как он разговаривает с тем же Черчиллем, от которого, как мне кажется, он зависим, и вы убедитесь: то, что недруги де Голля хотели бы назвать гордыней или, тем более, высокомерием, на самом деле щит, который в его нелегком положении необходим… Но вот вопрос: что, в конце концов, призван защитить этот щит?.. Только ли Францию, существующую в воображении де Голля, а поэтому пока еще призрачную, или вполне реальную, если и не похожую на ту, какой она является сегодня, то имеющую отношение к ней. Сегодня де Голль полагает, что свободные французы борются не только за освобождение Франции, но и за грядущие преобразования, не просто за свободную Францию, но за Францию на более справедливых началах. Сегодня де Голль говорит: «Да здравствует революция!» Я сказал: «Сегодня». А как будет завтра? Не испытает ли он завтра неловкости, когда надо будет повторить эти слова, и повторит ли он их? В связи с этим так ли прям де Голль, как свидетельствует, например, весь его физический облик, когда он стоит где-нибудь на приеме, высокий и недоступный, не без гордости и вызова подняв свою маленькую голову.

Михайлов пододвинул бокал — ему захотелось глотнуть вина. Нет, не только вино из подвалов старика шотландца было

тому причиной, но и воодушевление, с которым сейчас говорил Михайлов. Однако от усталости бекетовского собеседника не осталось и следа: его лицо, в этот поздний час обычно бледное, тронул румянец, неправдоподобно яркий, — как заметил Бекетов, истинной страстью Михайлова был интерес к проблемам истории, вторгающимся в сферу проблем социальных. Итак, как поведет себя де Голль завтра? Так ли он будет прям и благороден?

— Ну, что можно здесь сказать? — спросил Михайлов и закрыл глаза, он должен был сосредоточиться. — Чтобы ответить на этот вопрос, надо проникнуть в характер, надо почувствовать в нем нечто человеческое, а сие не просто — этот его щит, которым он защищается от Черчилля, уберег его и от наших с вами глаз. И не только. Я как-то слышал рассказ одного француза, который по положению своему должен быть близок к де Голлю: этот щит, оказывается, обращен и против тех, кого можно назвать коллегами де Голля. Люди, знающие де Голля близко, не без озорства называют его символом. Ну что ж, именно это слово напрашивается, но произносить его надо серьезно. Да, действительно, символ и, как каждый символ, лишен черт живого человека и свойственного живому человеку тепла. Но вот что интересно: казалось, желание де Голля окружить себя полосой «ничьей земли», установить расстояние между собой и остальным миром должно было вызвать чувство протеста, по крайней мере у тех, кого генерал считает коллегами. На деле совсем наоборот: это способствовало превращению его в некоего французского будду. Тот же француз сказал с восхищением, как показалось мне, неподдельным: «Я как-то наблюдал его за работой над документом, достаточно сложным. И вот что я заметил: он отливает фразу набело, не возвращаясь к ней. Да, написал, как сказал: раз и навсегда», — Михайлов рассмеялся с ребяческой искренностью — истинно его позабавил знакомый француз… Посол точно хотел сказать: вот оно, нехитрое человеческое существо, — любит обожествление!..

Михайлов смеялся и махал рукой, его бородка заострилась и свилась на манер штопора. Бекетов заметил, что его собеседник, смеясь, молодел. Больше того, в самом его облике вдруг появлялось нечто такое, что было свойственно ему в молодости. Казалось, ты вдруг видишь его на заре жизни: где-то в его родном Поволжье, в шумном купеческом городе с большим портом и кафедральным собором, — вот он бежит по пыльной мостовой в гимназию в синей гимназической фуражке с белым шнуром по околышу и блестящим козырьком, разумеется поломанным. Бежит, не отрывая глаз от неба, в котором кружится тесная стайка голубей. И только диву даешься, как он может уследить за

голубями, которые вот-вот скроются за облачко, и сориентироваться в чересполосице припортовых переулков, не наткнувшись на ломовика, что закупорил собой половину улицы…

Михайлов аккуратно отделяет кусочек запеканки, любуясь тем, как проламывается корочка и на тарелку проливается маслянистая влага, — он ест мало, заметно сдерживая стихию стариковского аппетита, — его характер сказывается и в этом.

— Пока победа завоевывается, у всех древко со стягом революции, а вот как будет дальше? Вы когда-нибудь читали его знаменитую работу «За профессиональную армию»? — спросил Михайлов — он подбирался к любимой теме постепенно. — Как ни скуп де Голль на откровения, в этой его работе, — кстати, написанной, если говорить о стиле, превосходно, — можно рассмотреть и его идеал. Формула идеала может быть выражена исчерпывающе в трех словах: характер, авторитет, вера. Как мне кажется, его простота нарочита и объясняется стремлением овеществить эту его формулу… Говорят, он любит повторять: «Великое никогда не совершалось в болтовне». И надо отдать ему должное, научился молчать. Но главный вопрос иной: кто такой де Голль и кто есть все те, что составляют главную силу французского Сопротивления, вождем которого он себя считает. Де Голль — аристократ, блестящий офицер, в некотором роде дитя военной касты. А что есть Сопротивление? Портовики, крестьяне, виноградари, рыбаки, лавочники, учителя, актеры, студенты. Следовательно, аристократ во главе армии крестьян и пролетариев? Анахронизм? Да, но для истории это не ново. Важно иное: какая связь у этого человека с теми, кем он руководит? Призрачная весьма. Но, может, идеалы у них одни? Франции и всем тем, кто тянет ее нелегкий воз, всегда недоставало для полного счастья хлеба и свободы. Значит, хлеба и свободы? А как де Голль? Сегодня де Голль говорит им: нет, не только освобождение, но и свобода, а следовательно, новое устройство, более справедливое, — революция… Говоря так, он точно дает понять портовикам и крестьянам: нет, я только по родовым корням аристократ, а на самом деле я такой, как вы. Вот и идеалы у нас одни и те же — и я говорю: «Революция!» Но это, так сказать, детали… А в остальном де Голль хорош. А Дарлан? Если говорить о мотивах, которые составляют первоядро политической веры французского адмирала, то у меня свой взгляд на это… Говорят, что вера Дарлана покоится на двух китах: англофобия и русофобия. Я старый воробей, и меня на мякине не проведешь: я не верю в англофобию Дарлана, а вот его русофобия — это убедительно… И дело здесь не в России, а в красной России…

Михайлов сел поглубже в кресле, и Бекетов, взглянув на посла, вдруг заметил, что ноги его не достают до пола. Но Михайлова это не смущало, и, подобрав ноги, он действительно вдруг сделался похож на старого воробья, которого не так-то просто провести на мякине.

— Но чем Дарлан отличается от де Голля, если говорить о корнях социальных? — подал голос Бекетов и, как ему показалось, этим вопросом точно рукой снял весело-благодушное настроение Михайлова. — Скажу больше: дело даже не в корнях социальных…

— Простите, а в чем? — Посол встал и, подойдя к электрическому камину, пододвинул его, без нужды пододвинул — просто ему надо было пройтись по комнате, чтобы погасить волнение — Бекетов затронул неожиданный аспект проблемы.

— В их отношении к коммунистам, например… — сказал Сергей Петрович.

Михайлов вернулся было к своему креслу, но не сел, а постоял подле, переминаясь.

— А не находите ли вы, что в данном случае важно и отношение к фашизму? — сказал Михайлов.

— Здесь де Голль и Дарлан антагонисты? — вопросил Бекетов.

— Мне так кажется. Впрочем, и отношение к коммунистам, как мне представляется, у них не одинаковое.

— Вы хотите сказать, что Дарлан коммунистов ненавидит, в то время как де Голль… — заметил Бекетов — он понимал, что в этой фразе есть некое усиление, но полагал, что такая вольность допустима.

— А вот это, чур, запрещенный прием! — прервал Сергея Петровича Михайлов; он чувствовал, что диалог с Бекетовым время от времени приобретает характер полемики, и это заметно тревожило Михайлова — он бы хотел, чтобы все сказанное им было для Сергея Петровича убедительным. — Я вижу у себя в кабинете Степана Степановича, — взглянул он в пролет открытой двери. — Видно, пришла статья Галуа, редактор «Санди таймс» просил меня посмотреть гранки…

Он позвал Шошина, попросил гранки.

— Ничего не скажешь: умен, бестия! — воскликнул Михайлов и затих — по всему, его увлек очерк Галуа. — Итак, о чем мы говорили? — спросил он, закончив чтение гранок, — в нем еще жило настроение очерка. — Ах, верно… Дарлан! Кто же он, этот Дарлан? Мне трудно ответить на этот вопрос полно — многого я не знаю, — сказал Михайлов и улыбнулся, точно ставя под сомнение только что сказанное. — Но что-то знаю и я… Говорят,

что власть Виши — это власть адмиралов. Из этого следует, что глава легальной власти должен быть адмиралом. Если вы спросите, объясняет ли мне это Дарлана, то я скажу «нет». Еще говорят, что он человек бешеного тщеславия, к тому же запоздавший сделать карьеру… Где-то здесь я готов искать ответ, частичный. Тогда что есть ответ главный? Наверно, я буду не очень оригинален, если скажу: Дарлан пошел на службу в Виши, руководствуясь двумя обстоятельствами: классовым инстинктом и убеждением, что победа за немцами. И первое и второе для него было безусловным. Иначе его не повлекло бы в Берхтесгаден к Гитлеру, которому все эти годы он служил верой и правдой… Вот моя концепция.

— Погодите, но концепция не учитывает того, что произошло с Дарланом этой осенью?.. — возразил Бекетов, он искал место поуязвимее в позиции Михайлова.

— Нет, почему же?.. — воспротивился посол. — Я не вижу здесь противоречий.

— Они очевидны, Николай Николаевич.

— Каким образом?

— Если Дарлан был столь убежденным последователем немцев, если он служил им с такой верностью, то почему он отдал приказ французским войскам выступить против немцев и как он оказался в стане союзников?..

— Я ждал этого вопроса! — едва ли не возликовал Михайлов. — Да, отдал приказ, да, перешел на сторону союзников… Но почему?.. На этом моя информация исчерпывается, и я могу только строить предположения, опираясь на факты, ограниченные, но факты…

— Простите, но что это за факты?.. Дарлан увидел, что победа немцев не безусловна?..

— Да, конечно, это главное — все остальное производное…

— Что именно?

— Несложный роман, который он затеял с американцами в Виши…

— Роман — романом, но это не помешало ему еще раз устремиться в Берхтесгаден и просить аудиенции у Гитлера.

— Да, верно, но он уже не был принят.

— И это ускорило его решение?

— Я почти уверен… Ускорило, но не решило для Дарлана всех проблем.

Бекетов закурил. Надо отдать должное Михайлову, он построил свои доводы основательно, но не шел ли он в этих выводах дальше, чем разрешали ему факты? Сергею Петровичу недоставало фактов — посол должен был убеждать Бекетова и

фактами.

— Вы полагаете, что Дарлану у союзников не очень уютно? — спросил Бекетов.

— Я почти уверен в этом: Лондон, например, клокочет от гнева… — заметил Михайлов. — Обороняясь, он говорит: «Я — солдат…»

— И этот довод ему что-то дает, Николай Николаевич?

— Мало. Все знают, что он не просто солдат.

— И американцы знают?

— Знают, но пытаются доказать обратное.

— И докажут? — спросил Бекетов, ему вдруг стало весело.

— Не знаю, не знаю, — воздел маленькие ладони Михайлов.

— Но ведь важнее этого вопроса нет? — настаивал Бекетов.

— Да, очевидно, — не сказал, а отсек Михайлов — он вдруг замкнулся. Видно, и он понял: чтобы идти дальше, надо знать больше. — Вы будете иметь возможность уточнить это, Сергей Петрович, у французов… Кстати, это небезынтересно и мне…

Вошла Михайлова и внесла на подносе нечто круглое, празднично румянеющее, сдобное.

Сергей Петрович, прошлый раз Игорек сказал, что пирог со сливами ваша слабость: вот я и порешила…

— Э, милая, да ты не туда принесла: я хочу показать Сергею Петровичу подшивку «Колокола»… Чай мы будем пить там.

Михайлов действительно показал ему комплект «Колокола», что преподнес посольству один добрый человек, приехавший по этому случаю из Дублина. Да, то был Герцен, его лондонская страда, его набатное бдение по свободе российской. Кстати Михайлов припомнил, что известный пассаж с Горчаковым из «Былого» подтверждают старые лондонцы, помнившие Герцена. Да, Герцен любил повторять рассказ, который он впервые услышал от кого-то из сиятельных русских, наезжавших в Лондон, рассказ о том, как «бескорыстный» Муравьев и «жираф в андреевской ленте» Панин судили и рядили, как укротить «Колокол» и его редактора, а лукаво-иронический Горчаков стоял поодаль и мотал на ус. Муравьев советовал подкупить строптивого редактора, в то время как Панин считал уместнее сманить на службу, а хитрый Горчаков пытался уточнить, на какое место прочат петербургские мудрецы Герцена, и, услыхав, что это место помощника статс-секретаря, улыбнулся снисходительно: «Ну, в помощники статс-секретаря он, пожалуй, не пойдет…» Михайлов припомнил этот рассказ не без удовольствия и, в очередной раз взметнув руки и показав свои маленькие ладони, сощурил глаза: «Надо же, чтобы таких родила земля…» Потом вдруг махнул рукой и разом забыл и

«петербургских мудрецов», и «лондонскую звонницу», вернувшись к французской теме:

— Вы полагаете, Сергей Петрович, что в этой дуэли «де Голль — Дарлан» шансы первого весомее?

— Если верить логике, — ответил Бекетов.

— Вам ли надо говорить, Сергей Петрович, что в наше время логика может и не сопутствовать победе… — заметил Михайлов.

3

Бекетов расстался с Михайловым, но, прежде чем подняться к себе, пошел в сад. Тьма была сырой и теплой. Где-то в стороне, во мгле парка, кричали птицы. Бекетов выбрался на поляну, взглянул на небо. Сыпал дождь, негустой и какой-то парной, — он не столько накрапывал, сколько обтекал… И вновь мысли Бекетова обратились к разговору с послом. То, что рассказывал Михайлов, могло бы предварить встречу с де Голлем, если бы Николая Николаевича не несла на крыльях его способность увлекаться, нет, не расцвечивать факты, а в своих обобщениях чуть-чуть опережать их… В обычных условиях — невелик грех, послу же надо быть здесь безгрешным. Выводы должны быть аптекарски соотнесены с фактами. А в чем Михайлов опередил факты? В пафосе своих обобщений, в тоне, в настроении, быть может. Он был здесь чуть-чуть импровизатором, а должен быть ученым, например физиком или астрономом, оперирующим величинами определенными… Дипломатии необходимо, разумеется, и вдохновение, но она наука точная. А в остальном Михайлов был хорош, заинтересован, темпераментен, как всегда доброжелателен, неизменно в отличном рабочем состоянии — в чем-то ты можешь его и оспорить, но встреча с ним всегда будет тебе полезна… Кстати, Михайлов прав и в главном: де Голль вызвался говорить с русскими, намереваясь сообщить им все, что он думает о Дарлане…

Обед был по-французски изысканным и обильным. Разговор шел о пустяках (новая экспозиция Британского музея и отказ администрации Кембриджа принять в ноябре студентов из Дакара), и по всему было видно, что главное должно быть произнесено после обеда. Молчание де Голля, молчание почти неприличное, наводило на эту же мысль — генерал явно копил силы. Кстати, должен был копить силы и Мишель Пермский, которого де Голль избрал в качестве переводчика — генерал не очень надеялся на свой английский. Как приметил Сергей Петрович, явно в связи с предстоящей беседой прилежный Пермский время от времени извлекал записную книжку и долго вертел ее у толстых стекол своего пенсне, точно желая удостовериться, что зрение не обманывает его и он не забыл книжку, — переводчик полагал, что некоторые повороты беседы лучше записать, иначе их не воспроизвести, а в этом могла быть необходимость.

Тень, в которую укрылся де Голль, не желая участвовать в

разговоре, происходившем за столом, была тем не менее не очень плотна, чтобы нельзя было рассмотреть генерала. Рост заметно смущал его, и сидя он себя чувствовал гораздо свободнее. От глаз Сергея Петровича не ускользнуло и иное: когда де Голль сидел, он выглядел много красивее, — по крайней мере, так казалось Бекетову.

Кофе подали в соседнюю комнату, которую к приемным залам резиденции де Голля можно было отнести условно: висела топографическая карта западного Средиземноморья, стоял стол для военных игр со множеством указок в колчане, сшитом из телячьей кожи, ярко-рыжей, — такое впечатление, что генерал ввел гостей в класс, где преподавал своим сподвижникам, военным и штатским, основы оперативного искусства. Но зачем ему надо было переносить беседу сюда? Карты и макеты на это указывали точно: юг Франции и север Африки да, пожалуй, море, лежащее между ними. Собственно, если вопрос коснется адмирала, то география дарлановской проблемы тоже здесь.

А между тем гости устроились за прямоугольным столиком, стоящим у большой грифельной доски, — до встречи с русскими за этим столиком не столько пили кофе, сколько записывали максимы де Голля, касающиеся Канн и Аустерлица.

— Простите, — обратился де Голль к Бекетову, — мне не дает покоя эта библейская фраза… — его лицо напряглось, как напряглось оно и у Мишеля Пермского. — Когда один слепец ведет другого, оба упадут в яму?

— На одном из слепцов морской мундир?

— Даже больше: адмиральский.

— Дарлан?

— Предположим.

Сергей Петрович ощутил явственно, что инициатива беседы переходит в его руки, — впрочем, француз не противился этому. Его устраивало, чтобы то, что он намеревался сказать сегодня, он сказал как бы в ответ на просьбу своего собеседника. Поэтому, по мере того как Бекетов завладевал беседой, возникало ощущение все большего контакта.

— Мне хотелось бы знать ваше мнение, — произнес Сергей Петрович, этой фразой подведя черту экспозиции.

Де Голль молчал, положив перед собой руки. Они точно никогда не видели солнца, эти руки, восково-бледные и хрупкие, руки ученого мужа, знатока древних манускриптов. Де Голль молчал — он сознавал ответственность этой минуты.

— Простой вопрос, — наконец начал француз. — Почему адмирал… присоединился к союзникам сегодня? — Он сказал «адмирал», явно не желая называть Дарлана по имени, и этим как

бы установил расстояние между собой и адмиралом. — Не вчера, а сегодня? Совершенно очевидно: вчера он верил в победу немцев, сегодня он в нее не верит. Заметьте: не верит. А если в нее не верит даже он, значит, поражение немцев — вопрос времени… Следовательно, крайней нужды в услугах адмирала у союзников нет, и это должно быть ясно даже американцам. Если же они идут на это, значит, дело не в услугах адмирала. Тогда в чем? Я склонен ответить на этот вопрос. Американцы думают о послевоенном мире и готовят позиции и кадры уже теперь… Это первое.

Ему нельзя было отказать в искренности и, пожалуй, в прямоте. Он по-своему выстрадал эти вопросы и готов был говорить по каждому из них, обстреливая Бекетова ответами-формулами.

— Я сказал: можно ли в угоду сегодняшней выгоде жертвовать принципами? В самом деле, это война совести. И армия наша — армия совести. Все, кто пошел с нами, сделали это не поневоле, а по велению той чистой и доброй силы, которая зовется совестью. Поставить этих людей под начало человека, который вчера был с Гитлером и всех звал под его знамена, значит поднять руку на самое святое, что есть у них, — совесть. С чем мы пойдем дальше, если призываем сжечь совесть?..

Он встал — сейчас он не стеснялся своего роста. Он стоял над Бекетовым бесконечно высокий, уперев едва ли не в потолок маленькую голову, отчего она стала даже еще меньше, чем была на самом деле.

— Американцы могут делать это со спокойной душой. Правда, в программе, которую они обнародовали столь широко, они говорят о том, что идут войной и против колониального мира. Но они помалкивают о том, как намерены изменить принципы того, что есть Америка. Вот вопрос: Алабама останется Алабамой?.. Что касается Франции, мы хотим обновления, больше того, революции… Это иод началом адмирала я поведу людей к революции? Если я сжигаю совесть, о какой революции может идти речь?

Бекетов припомнил реплику Михайлова о революции, которую начертал на своих новых знаменах де Голль, — реплику почти ироническую. Да неужели его собеседник полагает, что можно принять на веру его клятву в верности революции, даже в том весьма условном толковании этого понятия, какое имел в виду де Голль? Русскому, искушенному в том, что есть революция? Принять и не соотнести этих идеалов с самим обликом человека, стоящего рядом? Подумал, но не возразил де Голлю, хотя надо было возразить. Гнев де Голля против Дарлана

и тех, кто Дарлану покровительствует, был справедлив, но его нынешняя тирада, расчлененная на главы и подглавы, нарочито антиамериканская, была построена так, чтобы возбудить тревогу у русских и, по возможности, обратить их в свою веру… Это было очевидно и вызывало чувство протеста даже у доброжелательного Бекетова, хотя в главном де Голль и был прав… Так или иначе, а прощаясь с французом, Сергей Петрович должен был сказать себе, что француз где-то переусердствовал.

4

Явившись однажды в обеденный час домой, Бекетов застал Анну Павловну, жену Изосима Фалина. Увидев его, она залилась румянцем и была такова.

— Ты был у Фалиных? — спросила Екатерина, когда стол был накрыт и, как это издавна было принято в бекетовском доме, жена заняла место по правую руку от Сергея Петровича, а сын — по левую.

— Да, конечно, вскоре после приезда.

— А почему ты мне об этом не сказал?

— Просто так взял и не сказал.

— Просто так?

Бекетов не ответил, только скосил глаза на сына, а потом на Екатерину, будто хотел сказать: «У нас будет возможность поговорить об этом». Но странное дело: короткий диалог точно отнял у Бекетовых все слова.

— Шошин только что был у меня: пришла какая-то необыкновенная партитура Хачатуряна, — сказал Сергей Петрович, чтобы что-то сказать. Екатерина второй месяц работала в посольстве, работала со свойственным ей воодушевлением. — Хачатурян — это интересно…

— Да, интересно, — откликнулась Екатерина, она любила говорить с мужем о своих новых обязанностях.

После обеда он надел пиджак, заторопился к выходу, потом остановился у самой двери: его торопливость могла ей показаться подозрительной. Он вернулся, даже взял газету. Она убрала со стола, села рядом, раскрыв книгу. Тишина, казалось, была полна душевного покоя.

— В самом деле, чего Фалина явилась вот такая торжественная? — вдруг отстранил он газету и рассмеялся.

— Не знаю, — сказала она, пряча глаза в книгу и желая скрыть от него улыбку.

— Я вот думаю о Коллинзе — есть в нем этот комплекс, чисто интеллигентский: замолить грех! — произнес он не без умысла. — Он пришел к нам не потому, что не мог не прийти, а потому, что решил замолить грех…

— Замолить?.. — спросила Екатерина, обнаружив интерес, который до сих нор в ней не угадывался — ей нравилось, когда предметом их разговора были люди, окружавшие их. — Что именно… замолить?

— Приветствовал Октябрь, а после осени восемнадцатого открестился вдруг… — заметил он.

— Открестился… это как же понять?

— Не то чтобы открестился, а ушел в тень.

Она вздохнула.

— Будь моя воля, я бы простила, — вдруг вырвалось у нее. — Когда нам худо, ряды их редеют. Все они на один манер.

Он задумался — волнение объяло его. Даже странно: начал этот разговор, чтобы успокоить Екатерину, а потом вдруг забыл обо всем и взволновался.

— Все, да не все, — сказал он, неся в себе эту мысль, эту тайную мысль, что взволновала его. — Вот Шоу, например, он был всегда с нами. Понимаешь, всегда…

Он сказал «Шоу» и точно застал ее врасплох — она онемела.

— Есть смысл специально приехать в Лондон, чтобы увидеть живого Шоу, — произнесла она, смешавшись. — А я вот здесь, считай, больше двух лет: где он, Шоу?..

— Хорошо, в понедельник ты едешь со мной к Коллинзу, — произнес он, встрепенувшись. — Ловлю тебя на слове: будет Шоу!

Она смутилась.

— Нет, мне еще рано видеть Шоу, — попробовала отшутиться она. — Тут нужна храбрость, а мне ее недоставало и прежде… Нет.

5

У Коллинза было семейное торжество — его сын Герберт, археолог, подающий надежды, выпустил свою первую книгу.

— Кто этот старик с бородой лопатой? — спросил Бекетов Шошина, приметив человека в темном костюме, вокруг которого толпились гости, спросил и подмигнул: ему-то было известно, что это за человек.

— Его лицо показалось вам знакомым? — спросил Шошин.

— Да, если бы не эти диковинно пушистые брови, которые взвихрил и распушил возраст человека, я сказал бы, что это Шоу…

— Кстати, Коллинз говорил старику о вас, и тот просил нашего хозяина быть посредником между ним и вами…

Если Шоу действительно хотел быть представлен русским, то сделать это было в тот вечер не легко: он оброс людьми, точно магнит металлической стружкой. Судя по всему, они были ему приятны — тем меньше надежд было, что он сумеет от них освободиться. В те редкие минуты, когда Бекетов, увлеченный разговором с Коллинзом, смотрел в конец комнаты, где находился Шоу со своими собеседниками, он видел краснолицего старика и ловил себя на мысли, что этот старик не во всем похож на Шоу, каким тот вошел в сознание Бекетова. Видно, фотографии Шоу, по которым до сих пор Сергей Петрович составил представление о знаменитом старике, обладали преимуществом перед подлинником. На фотопортретах не было вот этой простоватости, которая шла от заметно рыжей кожи Шоу, не тускнеющей даже с возрастом.

Уже по тому, как свободно Шоу чувствовал себя в доме Коллинза и в какой мере своим он был в кругу коллинзовских гостей, он здесь бывал и прежде. Наверно, это характеризовало Шоу, но Сергею Петровичу это было важно и для понимания Коллинза. Более чем разборчивый Шоу не пошел бы к Коллинзу, если бы тот не отвечал моральным категориям ирландца. Но дело было не только в отношениях между Коллинзом и Шоу, но и в том, какой пример эти отношения подавали всем, кто пришел в дом Коллинза. Шоу точно говорил им: «Вы как хотите, а я доверяю честности этого человека…» Весьма вероятно, дружба с Коллинзом была так важна Шоу, что она одна могла заставить его пренебречь тяготами возраста и явиться в этот вечер сюда, а возможно, он пришел, чтобы дать понять всем, кто этого еще не понял: он с Коллинзом, с Коллинзом и, что не менее важно, с тем общественным делом, которое в данном случае Коллинз

представляет. Новая Россия имела к этому отношение. По крайней мере, с той далекой поры, когда она возникла, Шоу был на ее стороне, и нынешний приход ирландца в дом Коллинза прямо соответствовал тому, что исповедовал и делал Шоу всегда.

Сергей Петрович был представлен Шоу.

— Мистер Коллинз полагает, что нашим знакомством мы будем обязаны ему, не правда ли? — взглянул Шоу на хозяина. — Я говорю: не правда ли? — он явно требовал от хозяина утвердительного ответа, но тот, ожидая подвоха, молчал. — Да не лишились ли вы дара речи?

— Вы хотите сказать, что я присвоил чужие лавры, уже присвоил?.. — вымолвил Коллинз и улыбнулся, явно намереваясь этой улыбкой ввести старика в заблуждение. — Вы идете даже дальше, утверждая, что я бесчестный вор, присвоивший чужие сокровища, так?

— Именно! — не мигая ответил Шоу. — Именно, говорю я, так как знакомством этим мы обязаны русскому послу… Он первый сказал мне о мистере… — Шоу взмахнул рукой, не без досады щелкнул пальцами, точно желая из воздуха выхватить имя, которое ему сейчас было нужно, — память сыграла с ним недобрую шутку: он забыл имя Бекетова!

— Вот вам… великий забияка и строптивец! — возликовал Коллинз. — Спросите это имя у русского посла, а я пас! — Он даже припрыгнул от удовольствия и собрался было удалиться, но Шоу остановил его.

— Вы рано торжествуете победу… — сказал Шоу и поднял ладонь, которую старость изукрасила мудреными иероглифами. — Моего русского знакомого зовут: Бородин…

— Так вам и надо, так и надо, старый строптивец! — Коллинз полез в карман, пытаясь отыскать визитную карточку Бекетова и назвать его имя — память Коллинза не воспринимала русских имен, и визитные карточки русских у него были под рукой.

— Вот вы думаете, что некогда у старого ирландца была красная борода, а теперь она белая: ирландец сменил знамена! — произнес Шоу, когда Коллинз, не отыскав визитной карточки, удалился. — Так вы думаете? Нет, признайтесь: так?..

— Я этого не сказал, — возразил Сергей Петрович — ему было не легко воспринять тон Шоу.

— Так вот, пользуюсь случаем, чтобы подтвердить: красная и теперь… (Это было сказано с мягким ирландским выговором: «red».) А как может быть иначе, когда у моей колыбели был первый красный… Нет, не Маркс, а Энгельс! Но это все равно, не правда ли? Энгельс! Он первый признал Шоу!..

Он улыбнулся, будто прося извинения за самообольщение,

слишком откровенное, и, наклонившись к Бекетову, осведомился:

— Простите, но вы полагаете, что эта русская крысоловка на Волге сплетена из крепких прутьев?.. Эти прутья не удастся перегрызть?

— Думаю, что нет, — сказал Бекетов — он был рад новому повороту разговора.

— А вот этот их удар с юга не страшен? — спросил Шоу очень заинтересованно: перед Бекетовым сейчас был другой Шоу. — Хватит у русских сил парировать его?

— Должно хватить, — улыбнулся Бекетов.

— Скажу вам откровенно: из меня Нельсон плохой и Кутузов неважный, но я чувствую тоже — должно хватить! — почти восторжествовал Шоу. — Вот заметил в себе новую черту: люблю сидеть над военной картой и слушать людей, которые понимают в войне больше меня… И еще: с победами у меня поднимается настроение, даже творческое!.. Приезжайте в Эйот Сен-Лоренс! Вот уж мы с вами посидим над картой!.. Как вы?

— Не скрою, мне было бы приятно, — заметил Сергей Петрович.

Шоу сжал его руку, просто нащупал ладонь Сергея Петровича и сжал, хотя до расставания было далеко, — видно, у старого ирландца была в этом потребность:

— Прошлый раз ваш посол вдруг говорит: «А ведь Свифт тоже был ирландцем!» Нет, что ни говорите, а чудак человек ваш посол, хотя, надо отдать ему должное, он знает литературу, а это в наш век… Одним словом, мне с ним интересно… Надо же такое придумать: Свифт и Шоу!

— А я бы, признаться, сказал то же… — осторожно возразил Сергей Петрович.

— Ну, значит, дело не только в вашем после: оказывается, все вы, русские, любите парадоксы!..

— Поэтому Шоу нам и по душе! — засмеялся Сергей Петрович. Старик протянул руку и, нащупав в этот раз плечо Бекетова, сдавил ощутимо — Шоу не мог пожаловаться на отсутствие силы.

Шоу сказал о Михайлове: «Он знает литературу», — и это, как можно было понять, для Шоу имело значение. Для Шоу, а для Бекетова? В самом деле, так ли насущно для дипломата, чтобы в круг его интересов обязательно входила литература? Ну, какое может быть сравнение: дипломатия, этакая первая дама при дворе, и литература, внебрачная дочь министра почт и телеграфа, которой вход во дворец заказан. Нет, решительно послу ни к чему литература, а все-таки как хорошо, когда у посла еще есть и литература. Хотел этого Шоу или не хотел, но сказал о

Михайлове, как кажется Сергею Петровичу, важное. Да, есть у Михайлова эта широта интересов, которая дает ему возможность поддерживать отношения со множеством людей, при этом таких, которые обычно остаются вне поля зрения посла.

Шоу вскоре уехал, а у Бекетова весь остаток вечера было как-то хорошо на душе. «С чего бы вдруг? — спрашивал себя Бекетов и отвечал, радуясь: — Шоу!.. Шоу!..»

6

Бекетов готовился к поездке на загородную дачу старого ирландца, а получил приглашение посмотреть вместе с автором генеральную репетицию в театре, созданном уже в военное время молодыми рабочими и носящем символическое имя: «Начало». Билет был на два лица, и Сергей Петрович сказал об этом Екатерине, но она отказалась и в этот раз. К тому же посол просил Екатерину показать ему почту, которая пришла накануне, — пришлось ехать одному.

Это был действительно один из тех театров, которые вызвала к жизни война. Под театральное здание был оборудован припортовый склад, оборудован самими рабочими, при этом с любовью и тщательностью, какая, наверно, характерна для молодого театрального дела. Чтобы сообщить генеральной репетиции температуру настоящего спектакля, театр пригласил рабочих порта, среди которых, как это понял Бекетов по ходу спектакля, было немало энтузиастов молодого коллектива. Расчет был верным: спектакль шел на ура. Шоу посадил Бекетова неподалеку от себя и мог сказать Сергею Петровичу: «Вам нравится? Хорошо, хорошо…» Или еще: «Вы замечаете, этой актрисе не дается „с“!» Или еще: «Я им советовал убрать эту сцену, но режиссер оставил. Теперь я вижу: прав он, не я». И потом: «Я уж не помню, когда был на спектакле, но тут я не мог отказать, и не жалею…»

Да, он мог сказать: «Не жалею!» Эта встреча с молодым театром не столько отняла у него силы, сколько прибавила. Извечное беспокойство своей натуры он старался сберечь наперекор возрасту. Оно, это беспокойство, не просто взбадривало его, оно помогало обновлению всего его существа, смене крови… Как все люди, он, оглядываясь назад, видел свое юношество и даже детство где-то совсем рядом — спасительная память легко наводила эти мосты, хотя заветная пора и отстояла от нынешнего времени едва ли не на столетие. Поэтому, в отличие от тех, кто смотрел на него сейчас, ему нужно было усилие, и немалое, чтобы увидеть себя таким, каким он стал: сутуло-белобородым, с воспаленными веками и пригасшим взглядом. Нет, все было не просто: ну, например, он окружил себя молодыми людьми, чтобы выглядеть молодым, а на самом деле казался рядом с ними даже старше, чем был.

После спектакля хозяева устроили нечто вроде капустника, который превратился в чествование Шоу. Угощали виски, настоянным на рябине, и, разумеется, сандвичами с недорогой

красной рыбой, буженины и сыром, что на жестяном блюде выглядело эффектно, а главное, создавало впечатление изобилия. Читали стихи, много стихов, почти все в честь Шоу. Принесли белые гвоздики, бог весть откуда взявшиеся в эту позднюю пору, и поставили их перед Шоу. Наверно, в длинной жизни, которую прожил он, ему были ведомы и более пышные чествования, но эта полуночная встреча в рабочем театре, казалось, затмила все прежние — он был растроган.

— Ничто так не способно встревожить старого человека, как то, что мы сочувственно зовем рассеянностью, но что есть на самом деле забывчивость, если не склероз в его чистейшем виде, то есть трагический знак старости… Седины, морщины и все прочие симптомы всеобщего распада, называемого старостью, ничто по сравнению с этим: человек перестает быть самим собой, утрачивает последнее, что было его сутью, на что опиралось самое его имя, — память, — он это сказал вдруг, даже не успев загасить улыбки: видно, эта мысль не оставляла его и тогда, когда у него было хорошо на душе.

Бекетову показалось, что все это Шоу произнес как-то жестко, со скучной и обнаженной прямолинейностью, без попытки расцветить мысль — он даже пренебрег парадоксом, который наверняка был у него на кончике языка. Старость — это уже тот берег, а с ним шутки плохи — до парадоксов ли?

Молодые актрисы соорудили нечто вроде венка из сухого вереска и украсили его седую голову — он не противился. Потом они принесли плед и укрыли его ноги — он пробовал возражать, но тепло растеклось по ногам, и он согласился. Да, он сидел в венке из вереска, и его лицо было необычно бледным.

— Когда оглядываешься назад, — заговорил он, — и видишь эту длинную дорогу, называемую жизнью, а по обе стороны дороги людей, которые жили рядом с тобой и даже были твоими друзьями, но которых теперь нет… то такое ощущение, будто бы эта дорога не вся твоя, будто бы кто-то прошел эту дорогу за тебя…

Он произнес все это и поправил плед — он не стеснялся теперь этого пледа, пока он думал о бренности всего земного, он к пледу привык.

— Вы обещали побывать в моем загородном доме, не правда ли? — спросил он, прощаясь с Бекетовым. — Вы обещали, верно?.. Я запасся большой картой России, которую дал своим подписчикам «Лондон мэгэзин», и, разумеется, лупой. Вообразим себя полководцами!.. Итак, я жду вас…

Он уехал, а Бекетов подумал: с той далекой поры, когда этот человек вошел в сознание людей в высоком и, наверно,

благодарном качестве основателя театра Шоу, он должен был надеть на себя маску, скрыв ею свое истинное лицо. Он был под этой маской едва ли не всю жизнь, и его новая суть сделалась его истинной сутью. Быть может, это было ему в тягость, а возможно, перевоплощаясь, он испытывал даже некоторое удовлетворение. Вот так бы и прошел жизнь, если бы не вечерняя заря и мысли о тлене. Да, мысли о смерти вернули ему его суть — впервые в жизни у него появилась необходимость быть самим собой.

7

Бекетов приехал в посольство в первом часу ночи и, выйдя в сад, был не очень удивлен, приметив в рабочей комнате Екатерины свет — она еще не разделалась с почтой.

Он пошел к ней.

— Ты что же… полуночница? Не жалеешь себя — пожалела бы меня с сыном.

Она сидела у настольной лампы, подперев голову, которая казалась ему в эту минуту больше обычного седой, — видно, она уже закончила работу, но не было сил подняться.

— Боишься, осиротеете? — она подняла на него свои сизо-мглистые глаза, с ночью они становились темнее.

— Боюсь.

— А ты не бойся, с тобой ничего не будет… — произнесла она, глядя на него исподлобья.

Ему не понравилась ее интонация.

— Потому что таким, как ты… легко, — бросила она и безбоязненно взглянула на него — в ее словах было нечто от вызова.

Он не ответил. Только печально и любяще взглянул на нее.

— Пойдем домой…

— Нет.

Он снял пальто, сел. В том, как он это сделал, была некая готовность принять удар. Но она медлила.

— Россия горит, — наконец произнесла она. — Ты только пойми: горит Россия, и надо, как те ярославские и рязанские страдалицы, что впрягли в плуги да сохи своих буренок… Как те, что без сна и роздыха… Понимаешь, дни и ночи вот так, ночи, ночи!..

Он молчал: о, какие слова собрались в ее горящем сердце в эту ночь! Что ни слово, то огонь, попахивающий горьким дымом гнева.

— И твои ночные вахты по этой причине? — спросил он.

Она полыхнула ненастной мглой своих глаз — ох, как же она ненавидела его сейчас.

— А ты как думаешь?.. Именно вахты, именно бдение, без сна и роздыха. Только так и утишишь совесть. Если надо, убить себя этим бдением полуночным, убить… А почему бы и не убить?

Она взяла со стола лист бумаги, оторвала угол, принялась рвать ее на крохи — мудрено было изорвать бумагу на такие лоскутки. Она рвала, а у него сводило скулы. «Умоляю: перестань!» — хотел крикнуть он, но остановил себя.

— А зачем вести себя к смерти? Разве смерть — цель?..

— Нет, разумеется, но ведь сама работа приведет к смерти, — произнесла она спокойно, спокойнее, чем можно было ожидать. — Моя работа, — прибавила она, оттенив предпоследнее слово: «моя».

— Твоя? — был его вопрос.

— Ну конечно же не твоя… — сказала она, и он услышал в ее голосе иронию — нет, лицо ее не выразило усмешки, но в голосе она была.

— По-моему, ты чего-то не понимаешь, Екатерина… — сказал он, как обычно, когда разговор с нею принимал крутой оборот, с корректной терпимостью.

— Да, действительно, не понимаю, — согласилась она, и в ее голосе вновь прозвучала ирония. — Ты меня прости, Сережа, наверно, то, что я тебе скажу, надо говорить не мне, но я тебе все-таки скажу…

— Да.

— Вот эти твои нескончаемые рауты, стыдно сказать, когда страна кровью захлебывается… кровью, кровью…

Он лишился языка: такого еще не бывало.

— Чего же ты молчишь, Сережа? Отвечай…

— Пойдем, Екатерина, ты устала…

— Нет, я не настолько устала, чтобы не выслушать тебя. Может, тебе сказать нечего?

Она стояла сейчас прямо перед ним. Та мгла, которую он приметил в ее глазах, сейчас точно сообщилась и лицу ее, и волосам, и, казалось ему, голосу Екатерины: все было зыбким, все текущим, все свивалось и растекалось, грозя сомкнуться с ненастным лондонским небом, которое он видел только что, когда смотрел из сада на окно Екатерины.

— Нечего сказать… пойдем.

Они молча пошли. Он — впереди, она поотстав, точно возвращение домой не совсем соответствовало ее намерениям, точно он вел ее насильно. Ну вот, думал он, те тайные и явные силы, что противостояли ему в этом мире, грозила умножить Екатерина. В самом деле, что произошло и почему в разговоре, который был таким элементарным, она вдруг оказалась так далеко? Он винил себя. Слишком обособлен он был от нее все эти годы. Она жила в одном мире, он — в другом, и нечто непреодолимое возникло между ними, возникло само собой. Но был ли он волен над тем, что было прежде? Прежде? Нет. А сейчас? Да, да, сейчас они все еще жили в разных мирах, и, кроме него, никто не был виноват в этом… Но какой толк, что он это понимает, в этом винится? Он ведь ничего не сделал, чтобы

изменить это. А если бы сделал, изменил?.. Нет, в самом деле, изменил бы?

8

Посол просил Бекетова выехать в Москву, уточнить, чем мог бы помочь ВОКС укреплению культурных контактов с англичанами. Посол рассчитал верно: в эти годы возникли такие возможности для наших культурных дел, каких в будущем, быть может даже в ближайшем будущем, могло и не быть. Не следовало терять времени, и посол просил Сергея Петровича отправиться в Москву, тем более что была подходящая оказия: в один из северных русских городов отправлялась «Каталина» с французскими летчиками.

Всю дорогу, пока толстобрюхая «Каталина» несла в своей утробе тридцать французских парней и русского дипломата, в самолете не стихали песни. Собственно, французских ребят, собравшихся сюда из Шампани, Гаскони и Бретани, не очень интересовало, что не просто перекричать четыре мотора «Каталины». Не важно, что песня не звучала, важно было ее пропеть. В потребности петь, наверно, сказывалось и желание отвести душу, на которой, прямо сказать, было достаточно смутно при одной мысли, что самолет идет в снежную Россию, и желание сберечь настроение веселой отваги, которое по мере приближения к русской земле могло и поубавиться, и попросту, по-товарищески, поддержать друг друга… Но в те редкие минуты, когда песня стихала, парни пытались отогреть «глазок» в наледи, покрывшей стекла иллюминаторов, и рассмотреть унылую водную гладь или тем более унылую землю, над которой пролетала «Каталина», вздыхали, неожиданно громко — по крайней мере, четырем моторам «Каталины» не хватало могучести, чтобы заглушить этот вздох. И тем не менее французские парни были хороши и в своей храбрости и в своей робости, которую можно было понять и даже простить, если учесть, что среди них были и двадцатилетние, совсем юные, необстрелянные.

Сергей Петрович был в воксовском особняке на Большой Грузинской, когда туда позвонили из Кремля и сказали, что Бекетова хочет видеть Сталин. С той далекой ночи 1939 года, когда был подписан договор с Риббентропом и встревоженный Сталин, возможно ища поддержки, покинул кабинет и вышел к экспертам, Сергей Петрович не видел его. Все эти годы в Бекетове жил этот расслабленный сталинский баритон: «Все мы сильны задним умом, все сильны…» Может, поэтому, когда раздался звонок и явно обомлевший председатель ВОКСа, не говоря ни слова, сунул в руки Сергею Петровичу, точно горящую головешку,

трубку телефонного аппарата, у Бекетова екнуло сердце.

И хотя до приема оставалось полчаса и у подъезда особняка на Большой Грузинской уже стоял лимузин, некогда черный, а теперь бело-зеленый, пятнистый, Сергей Петрович помедлил с отъездом. Его остановили и припечатали к блестящему воксовскому паркету глаза председателя, выражающие сострадание. Видно, этот профессор живописи был душой хотя и смятенной, но чуткой к беде ближнего, ежели мог вот так принять к сердцу тревогу Бекетова.

Сергей Петрович выехал. Он думал: наверно, Сталину теперь легко говорить с ним, легче, чем некоторое время назад. Может, поэтому встреча не могла состояться прежде и происходит сегодня. Но чего ради Сталину видеть его сегодня, когда всем его вниманием завладела приволжская баталия и рабочий день расписан по секундам? Бекетов ищет здесь замысел, а быть может, все дело в настроении, простейшем.

Нет, машина идет не в Кремль, а в противоположную сторону. Если проследовать от Троицких ворот по прямой, то минут через двадцать — двадцать пять будешь у цели. Место это, в сущности, в черте города, а такое впечатление, что ты в глубоком Подмосковье, за толстой стеной деревьев. В приемной Сталина полно военных. И Бекетовым овладели сомнения: если предстоит нечто значительное, до него ли? Но, кажется, военных становится все меньше. Бекетов ухватил из разговоров, которыми была полна комната: «Уран», «Сатурн», «Венера»… Если для масштабов войны земных имен не хватает, хочешь не хочешь, а полезешь на небо. Будущий историк, а может быть, и поэт проникнет в суть кодовых названий и сделает выводы любопытные. У англичан код — плод импровизации, у них всё «факелы», «ураганы» и «смерчи». Да и псевдонимы, которые они присваивают своим военачальникам, отмечены теми же чертами: вот, например, Черчилль зовется «бывшим военным моряком». Да, в этом есть некая поэзия, и в угоду ей принесена даже тайна. У нас все намертво прикреплено к именам собственным, и, как все конкретное, вопреки кажущейся ясности, непроницаемо…

— Здравствуй, Сережа!..

Он поднял на Бекетова глаза, пасмурные и, как показалось Сергею Петровичу, заспанные (время предобеденное — видно, спал), улыбнулся. Да, он сказал: «Сережа!», а как ответить ему? Никуда не денешься — та же проблема, та же!

— Здравствуйте… — сказал Бекетов, смутившись, сказал больше себе, чем ему.

— Ну, как там наш друг Черчилль?

Слава богу, пронесло! Сам почувствовал неловкость и дал

возможность Бекетову выйти из положения.

— Да как сказать: Черчилль?.. Бестия! — произнес Бекетов и тут же остановил себя: «Не так начал! Да и не похоже это на меня… Откуда ворвалось это слово? Сталин как будто бы говорил в ином тоне». — Янус, при этом больше чем двуликий!..

Сталин приготовился слушать. Он указал на свободный стул за столом, сел сам. Теперь было ясно: он пригласил Сергея Петровича, чтобы поговорить о Черчилле. Ну, наверно, он уже достаточно был наслышан о том, что явилось проблемой Черчилля; читал донесения посла, говорил с эмиссарами британского премьера, читал его письма и депеши, наконец, говорил с Черчиллем, даже принимал его дома… Да не здесь ли происходила их встреча, не в этой ли комнате с окнами, выходящими в сад? Но такова уж наша природа: если ты не знаешь человека, он не вызовет у тебя стольких вопросов, сколько их появится у тебя, если ты его узнаешь… Но что он хотел бы знать о Черчилле? Наверно, нечто такое, что не рассмотришь из Москвы. Ну, например, Черчилль и лондонский мир Черчилля, все те, кто сотворил его. И потом психология того, что есть проблема Черчилля. Психология… это всегда значительно.

Итак, Черчилль.

— Кто-то сказал: «Если бы Виктория не скончалась в начале века, а прожила до наших дней, то первым министром у нее должен был стать Черчилль…»

Сталин улыбнулся едва заметно — она погасла, едва родившись, эта улыбка.

— Это как же понять?.. Идея имперского могущества?

— Да, имперского, — согласился Бекетов. — Где-то в недрах их партии есть группа деятельных тори, которых можно было бы назвать викторианцами… Черчилль в меньшей мере лидер партии, в большей — лидер этого меньшинства. Их место даже у тори на крайнем правом крыле, — пояснил Бекетов.

— Правее кливденцев?

— Если не считать их прогерманизма… — заметил Бекетов, задумавшись.

— Прогерманизм кливденцев?.. Так? — спросил Сталин.

— Да, именно, — согласился Бекетов.

Волнение, которое Бекетов испытал, когда оказался здесь, почти ушло. Он даже нашел время оглядеться. Ну конечно же до прихода Бекетова Сталин спал. Быть может, даже вот на этом диване, покрытом чехлом из сурового полотна. Правда, на самом диване не было вмятины, да и ткань была не помята, — видно, встав, он провел рукой по дивану, расправил чехол. Как приметил Сергей Петрович, в нем есть эта привередливая опрятность. Но

вот раскрытая книга, корешком вверх, на стуле, придвинутом к дивану, указывает определенно, что он лежал здесь. Кажется, толстовские рассказы. Бекетов помнит этот том: и «Отец Сергий», и «Хаджи Мурат», и, разумеется, «Смерть Ивана Ильича». Есть некая закономерность, что он обратился к этой книге. Не впервые обратился. Его должна интересовать именно эта грань творчества Толстого. Нет, не только сами фигуры — отец Сергий, Хаджи Мурат, Иван Ильич, — но главное, как проник в их души художник. Но, так кажется Бекетову, и фигуры.

— Значит, викторианцы?.. А опора, где опора?

Бекетов не сразу понял Сталина: в его речи Сергей Петрович и прежде чувствовал лаконичность на грани недоговоренности. Это характерно для человека, который пришел к познанию русского как бы извне. «Опора?» Очевидно, хотел спросить: «На кого опираются викторианцы?» Но Сталин заметил замешательство Бекетова, не без раздражения произнес:

— Армия у него? Государственный аппарат? Сити?

— Да, то, что можно назвать черчиллевской цитаделью, именно аппарат и армия, даже больше — флот… высшее офицерство. Все, что на островах преемственно, передается из поколения в поколение и опирается на эту самую их кость, которая, как они утверждают, у них белее, чем у всех остальных… Они с нами ровно настолько, насколько мы им полезны.

— Но слово они держат?.. Если это аристократизм, то, значит, и честность? — спросил Сталин. — Аристократизм — это и рыцарство. Какое же рыцарство без слова? — повторил он, заметно тревожась — ему очень хотелось, чтобы они держали слово.

— Не знаю, держат ли они слово в своей среде, но обмануть нас они бы сочли за благо, — произнес Бекетов и почувствовал, что это открытие и для него — никогда вот так обнаженно и безрадостно он не воспринимал вероломство тори.

— Значит, то, что сумеем выколотить, — наше?

Возможно, и так, — согласился Сергей Петрович.

Наверно, нехитрая эта истина была Сталину не внове, но, когда она прозвучала теперь из уст Бекетова, он огорчился заметно. Нет, не по той причине, что это произнес человек, только что прибывший из Лондона, а потому, что это мнение принадлежало Бекетову, видно, вопреки всему, что легло между ними за эти годы, он внутренне продолжал верить Бекетову; собственно, то, что он ему верил, и привело Бекетова в этот дом.

— Я думаю, надо пообедать, — неожиданно сказал Сталин и направился к двери, намереваясь предупредить домашних. Да, он не спросил Сергея Петровича, обедал ли он. Он решил задачу

просто, и это, наверно, тоже было для него характерно: если голоден он, то и гость его голоден. Должен быть голоден.

Внесли металлический поднос, расцвеченный крупными цветами, просторный и крепкий поднос, и на нем все, что необходимо для обеда, вплоть до солонки и горчичницы. Супница и салатница из недорогого фаянса, украшенного одноцветным ультрамариновым рисунком (кстати, если память не изменяет Сергею Петровичу, английский фаянс — эта посуда была модна в небогатых русских семьях в прошлом веке), хранили нехитрую еду — борщ и котлеты с вареным картофелем. Видно, семья, в которой прожил он жизнь, была очень русской — это был обед русской семьи. Как отметил для себя Бекетов, достаточно скромный.

Сталин взял тарелку и, раскрыв супницу, налил, как наливают себе в студенческой столовой, неловко и щедро, пригласив Бекетова сделать то же.

Когда с борщом было почти покончено, взял со стола бутылку, которая заметно запотела; там, где он касался ее, как бы обнажилось темное стекло, — возможно, вино принесли из подвала, оно должно было быть холодным. Он разливал вино не торопясь, наблюдая, как бокал покрывается испариной, — вино было малиново-красным, заметно шипучим, как догадывался Бекетов — не крепким.

— Будь здоров, Сережа.

— За ваше здоровье, — отозвался Сергей Петрович и затих, но и в этот раз обошлось — он точно не заметил, что на его «ты» Бекетов ответил «вы».

«Сейчас попрошу за Степана, именно сейчас — лучшей минуты не будет», — подумал Бекетов. Степан Скворцов, институтский товарищ Сергея Петровича, находился в местах не столь отдаленных шестую зиму; как полагал Бекетов, безвинно. «А может быть, не говорить сейчас? Видно, деловой разговор не закончен. Надо подождать».

— Сколько Черчиллю? — вдруг спросил Сталин.

— По-моему, не много, — ответил Бекетов, пораздумав. — Шестьдесят восемь.

Сталин засмеялся: он понял, что, прежде чем сказать «не много», Сергей Петрович соотнес возраст Черчилля и Сталина — англичанин был немногим старше.

— Шестьдесят восемь — это не мало, очень… не мало, — произнес Сталин, и Сергей Петрович заметил, как его улыбающееся лицо стало суровым. — Если он вдруг… уйдет, кто там будет вместо него? — спросил Сталин, и его левая бровь приподнялась, непонятно гневно. — В этом возрасте люди уходят

легко, — добавил он — последнюю фразу он произнес, чтобы пояснить это его «уйдет».

— Если он уйдет, может быть Бивербрук.

— Бивербрук — это… лучше?

— Мне кажется.

— Так.

Он отпил вина.

— Не Иден?

— В мирное время, быть может, Иден, сейчас Бивербрук.

Его позабавила эта мысль: «В мирное время — Иден…» — он улыбнулся.

— Иден… параден?

— Да, сейчас нужны… слоны.

Сталин рассмеялся:

— Черчилль — слон?

— Еще какой!

— И Бивербрук?

— Да, помоложе.

Он продолжал смеяться:

— Значит, слон-викторианец?

— Да, можно сказать и так… — произнес Бекетов неожиданно тихо и подумал: услышит ли он, но он услышал.

— Так-то оно так… — сказал Сталин задумчиво — он держал в уме свою мысль, но не упускал и того, что говорил Бекетов, точно фиксируя каждое бекетовское слово, — подчас у людей пожилых при слабом зрении острый слух, но у него и зрение было хорошо — он, видимо, читал без очков; по крайней мере, на стуле, где сейчас лежала книга, их не было. — А по какой линии идут их разногласия с Рузвельтом?.. — спросил Сталин.

— Могут пойти?..

— Пожалуй, так: могут?..

Он не хотел отклоняться в своих вопросах ни на шаг в сторону, он должен был выпустить по Бекетову всю их обойму.

— Наверно, все в проблеме Ганди…

Он обратил на Бекетова глаза, почти недоуменные:

— Ганди?..

— Да, проблема Ганди как проблема… империи.

Сталин допил вино, допил, казалось, чтобы утолить жажду.

— Кому достанется… Ганди, так?

— Да, и радости, и хлопоты.

Он задумался, пошел по комнате — шаг не слышен.

— Самое интересное: как американцы займут место англичан… Экспансия — да, но какая?..

Собеседник Бекетова понимал: грядет смена господств. На

смену эре Британии, для которой золотым веком был век царствования Виктории, приходит новое господство.

— Не будем торопиться, подождем… — сказал он и зашелестел мягкими сапогами по ковру, щадя тишину; он все еще боялся ошибиться, даже в глазах Бекетова. — А как там Михайлов?.. Книжки пишет?.. — И, не дождавшись ответа, произнес, почему-то возликовав: — Я не против, я — не против!

Ему захотелось закурить. Он взял табакерку, однако, не успев раскрыть ее, обратил взгляд на столик и увидел две трубки: старую и новую. Он взял новую, покрутил ее. Трубка была сделана не без претензии: светло-коричневое, почти яркое дерево, едва заметный золотой ободок, мундштук, длинный и тонкий. Видно, подарок, знак внимания. Но человек, подаривший трубку, плохо знал Сталина. Такая трубка не могла понравиться ему. Нет, дело не в золотом ободке и ярком дереве, мундштук не тот, есть в нем показное изящество… Трубка была явно не во вкусе Сталина. Действительно, он не просто положил новую трубку на место, а бросил ее, бросил и на секунду застыл, выражая всем своим видом пренебрежение. Он сделал это так, будто имел дело не с трубкой, а с человеком — явно за трубкой видел человека. Потом взял старую трубку и, любовно охватив ее, точно согревая, принялся наполнять табаком, вминая его указательным и большим пальцами, при этом, как заметил Бекетов, эти пальцы были темными от табака, особенно большой, — видно, курил он много.

9

— Сегодня утром был в ТАССе, — сказал Бекетов — ему казалось, что английская тема себя исчерпала. — Немцы сообщили, что Манштейн прошиб сталинградское кольцо… — он сказал «сталинградское» и подумал: а может быть, надо было сказать иначе?.. — Немецкое радио…

— Пусть сообщают! — произнес Сталин почти весело — он взвил при этом дымящуюся трубку и резко ее опустил. Дым, как мог, повторил этот извив, зачеркнув то, что сообщило немецкое радио о Манштейне. — Они хотели бы, чтобы было так. Понимаешь, Сережа, хотели бы… — произнес он, стараясь оттенить «хотели бы», и в том, как он выговорил это, Бекетов вновь ощутил акцент, который перестал замечать. — Ты помнишь царицынские балки, Сережа: при обороне они хороши, при наступлении на город… не знаю! — он сказал «царицынские», и Бекетов вспомнил поездку со Сталиным ветреной степью на запад от города, а потом привал на дне балки, у костра, и неистовый сквозной ветер, который дул и завывал здесь, как в трубе, вздувая золу в костре и разбрасывая искры, которые с наступлением сумерек стали видны, особенно если на балку смотреть со склона. Этот склон был не таким пологим, каким бывает обычно у балки. Сталин вызвал в балку командира кавдивизии, седоусого кубанца в бараньей папахе, с матерчатой звездочкой на папахе, сказал, обратив глаза на склон балки — того гляди, оттуда грохнут гранатой: «Получил фураж? И пшено получил? И масло подсолнечное пять четвертей с половиной? Нет, я спрашиваю: получил?.. Дай отдохнуть дивизии, и людям и коням, а послезавтра на рассвете вперед!..» Последнее слово он произнес почти нараспев, точно отдавая команду: «Вперед!» — при этом губы комдива утоньшились и гневно сузились глаза. «Послезавтра не выйдет, т-т-товарищ уполномоченный… — сказал комдив, — видно, когда он тревожился, становился заикой. — В дивизии есть раненые, надо подлечить…» — «В атаку пойдут здоровые!..» — «Т-т-товарищ уполномоченный!..» — «Я сказал: здоровые!..» — повторил Сталин и посмотрел над собой, не забыл посмотреть. Командир поднес руку к папахе, скрылся во тьме. «Нечего сказать: храбрец!» — сказал Сталин и поднял глаза — комдив в бараньей папахе стоял на краю склона. Он стоял на самом краю, уперев руки в бока: того гляди, выхватит гранату и грохнет — ему было с руки кинуть с этой кручи гранату в балку… Он стоял на краю и раскачивался: то ли ветер качал его, то ли нелегкая дума: не мог решить, бросать гранату или нет. «Может… долбануть

лимонкой?» — спросил Сталин, его мысль шла той же тропинкой, что и у Бекетова. «Может!» — засмеялся Бекетов. «Ничего, у нас нервы крепкие…» — сказал Сталин и, поднявшись, подгреб ногой золу к огню, пригасил. — Вспомнил балку под Царицыном? — спросил Сталин. — И костер на дне балки, так?

— Вспомнил… — признался Бекетов.

— Да, было… — произнес Сталин, заметно волнуясь, и этой короткой репликой точно объединил себя и Бекетова, а Сергей Петрович подумал: но ведь между ними лежит не только Царицын, хотя это на веки веков и негасимо и свято, но и те бекетовские страдные годы, что остались на берегу северной реки, которая непонятно почему в сознании Сергея Петровича отождествляется с рассказом Мамина-Сибиряка «Зимовье на Студеной»… Думает он об этом, а если думает, то какие чувства это вызывает у него и есть ли сознание вины? В самом деле, есть сознание вины или он считает себя невиноватым, больше того, обеленным одним тем, что он вернул Бекетова к жизни?

— Ты бы попросил что-нибудь, Сережа… — сказал Сталин и оборвал течение бекетовских мыслей. «Пришла Степанова минута, пришла, пришла! — подумал Сергей Петрович. Именно Степанова минута, больше такой не будет! Но как попросить? С чего начать?..» За те почти пятьдесят лет, что лежали у Сергея Петровича за спиной, за те долгих пятьдесят, что успели ссутулить его и выбелить голову, он не помнит, чтобы кого-то о чем-то просил, ну вот убей, не помнит… «Как попросить?»

— О чем просить?.. — спросил Сергей Петрович и робко-внимательно взглянул на Сталина. — О чем? — повторил он.

— Ну попроси хотя бы квартиру…

Бекетов привстал, впервые:

— Нет, квартиру не надо, а вот…

— Да?

— Нельзя пересмотреть дело Скворцова Степана, товарищ Сталин? — подал голос Бекетов и, почувствовав, что холодеет, нащупал стул и сел.

Сталин стоял над ним, и его трубка, зажатая в пятерне, казалось, вместе с огнем погасла.

— Скворцов? Что за Скворцов? — спросил Сталин, и по тому, как он повторил фамилию Степана (в том, что Скворцов не был известен ему, он, как понял Сергей Петрович, винил не себя, а Скворцова), показалось Сергею Петровичу, что дело швах. — Значит, Скворцов? — повторил он, и в его глазах, обращенных на Бекетова, вскипел гнев — скажи ему сейчас слово, и все рухнет в преисподнюю. От великодушия до ненависти — шаг? Даже меньше — полшага, при этом истинная вина или невиновность

ровно ничего не значат. — Скворцов так Скворцов! — сказал Сталин неожиданно. Переход от гнева к великодушию свершился. Видно, это имя уже оставило зарубку в его памяти, больше того, никакие новые слова ничего не прибавят к тому, что он хотел сделать или чего он делать не хотел, все это было понятно Сергею Петровичу, в остальном надо было полагаться на судьбу. — А как насчет квартиры?..

— Квартиры мне не надо… — отозвался Бекетов. — У меня есть квартира… — добавил он, а сам подумал: все-таки есть у тебя сознание вины, есть, есть!.. В конце концов, так было и прежде: награда полагалась или за заслуги, или в искупление вины. Заслуг пока что не было; значит, второе.

— Есть квартира?.. Хорошо, тогда приглашай в гости…

Сергей Петрович затих, не зная, что говорить.

— Ты что же умолк, Сережа? Жена здесь?..

— Нет, в Лондоне…

— Ну что ж, мы можем и подождать. Но имей в виду, я не забываю.

— Да, конечно… — заметил Бекетов, не очень понимая, к чему относилось это «да» и это «конечно», но очень хорошо осознавая: он действительно не забудет и надо готовиться принимать гостя.

Они простились.

Когда Бекетов вновь оказался в комнате, где оставил пальто, она была полна военных, которые встретили его почтительным вниманием и даже чуть-чуть расступились. Исключение составил, пожалуй, человек с массивным подбородком, разделенным едва заметной бороздкой: он при виде Бекетова обнажил волосатое запястье и взглянул на часы, при этом пасмурно сдвинул брови, точно хотел укорить Сергея Петровича: «Надо понимать, мол, какое нынче время, — можно бы и покороче». И решительно, не ожидая приглашения, пошел к двери, остальные последовали за ним, как заметил Бекетов, отнюдь не так смело.

Все время, пока Бекетов шел к машине, его не покидала мысль: «Кто этот военный?» Слишком знакомым показалось ему лицо… И, уже тронув дверцу машины, едва не воскликнул: «Жуков!.. Ну конечно Жуков, да, да, этот подбородок, рассеченный бороздкой, он!» И разом ощутил, как при одном этом имени волнение охватило его.

И еще подумал Сергей Петрович: «А как Степан? Выйдет он на волю?» Но странное дело, сознание, что Сергей Петрович помог другу, смог помочь, сопрягалось с чем-то иным, что было Бекетову неприятно. С чем именно? Да надо ли было давать Сталину этот козырь? Небось вернет Скворцова на свободу и

подумает: «Вот какой я справедливый». Это Сергей Петрович дал ему возможность подумать: «Скворцова я не знаю и уже поэтому не могу отвечать за все, что с ним произошло, по, вернув ему свободу, я, естественно, должен его узнать, если не его, то, по крайней мере, имя его. Значит, уже одно, что я не знал его имени, а теперь знаю, свидетельство моей невиновности». У него должна быть потребность в том, чтобы случай с освобождением Скворцова повторился, — где-то здесь тот самый знак, которым отмечена его нынешняя жизнь.

10

Приехал новый советник, и англичане устроили в посольстве на Софийской нечто вроде обеда — разумеется, английского, вечернего. Бардин приехал, когда гости были уже в сборе, и был немало изумлен, приметив белую голову Бекетова. Егор Иванович слышал, что Бекетов в Москве, ждал звонка друга, но не дождался, — такого еще не бывало. Но не бывало и иного: поговаривали, что Бекетов ездил в Кунцево.

— Вот тебе и Сергей Петрович, — Бардин устремился к Бекетову, стараясь двигаться как можно изящнее. — Да неужели я тебя должен ловить на Софийской набережной?

— Тут такое было, не переведешь дух… — молвил Бекетов и взглянул на друга, прося пощады.

— Да уж наслышан…

— Как наслышан? Откуда?..

— Земля слухами…

— Ну тогда — бывай, при случае расскажешь. Кстати, кажется, это посол… Я ему уже представился — твой черед.

Да, это был посол Керр, а если говорить полно — Арчибальд Джон Кларк Керр или лорд Инверчэпель… Эти длинные английские имена, чем длиннее, тем торжественнее, похожи на анфиладу посольских зал, которые выстраиваются перед тобой, прежде чем ты попадешь в кабинет посла. Задача одна и та же: внушить уважение к персоне посла. Надо отдать должное Керру, его длинное имя было в прямом соответствии с длинной дорогой, которую он прошел в дипломатии. Он начал дипломатическую карьеру за сорок лет до того, как получил посольский пост в Москве, при этом первые двадцать лет был на низших должностях, что делает честь Керру — основа железная. Истинно имперский посол: большую часть своей дипломатической жизни провел на Востоке и в Латинской Америке: Египет, Ирак, Чили, Гватемала. Уже в годы войны был послом в Китае, что для его карьеры имело значение решающее — посольскому посту в Москве и в данном случае предшествовало положение ответственное.

Наверно, посол понимает, что сорок лет дипломатической службы должны отразиться на положении человека, переиначив в нем все, что нес он от рождения, и прежде всего — характер. Быть может, посол разумел это и, можно допустить, сопротивлялся этому — невелика привилегия потерять характер, — но он был уже бессилен что-либо сделать. Посла точно заморозило, его лицо как бы остановилось: послу все труднее было выразить

сострадание и гнев, внимание, печаль и радость. Оказывается, британская дипломатическая школа обладает единственной в своем роде возможностью мумифицировать человека, не заключая его в саркофаг, вместе с тем сохраняя за ним какие-то качества существа живого и даже мыслящего.

Итак, посол Керр.

Бардин шел в банкетный зал и думал: русский дом, даже, быть может, более русский, чем многие дома Замоскворечья (кажется, дом принадлежал известному сахарозаводчику). Как заметна здесь чисто английская черта: желание стилизовать под седобородую и чуть-чуть чопорную старину. Вот это обилие тусклой бронзы, нарочито нечищенной, эта тяжелая мебель, точно напитанная сумерками плохо освещенных комнат, хрусталь, горящий в полутьме, гардины, будто из прошлого века, тяжелые, свитые из железной ткани, а заодно и персонал посольства, тоже железный, только железо черное и белое, под цвет костюмов и воротничков.

— Не находите ли вы, господин Бардин, что посол — это время… больше того, слуга времени, — сказал Керр, когда был провозглашен первый тост. — Именно слуга времени, а не наоборот. Только попробуй сделать время своим слугой — и останешься без головы… Надо уметь улещать время, постараться, чтобы оно было к тебе милостивым…

— Оно к вам милостиво, господин посол? — спросил Бардин.

— Милостивее, чем к моему предшественнику.

— Но, насколько мне известно, сэр Стаффорд Криппс не жаловался на время? — спросил Бардин в том же шутливом тоне, в каком начал этот разговор посол.

— Не знаю, не знаю, — был ответ.

— Так ли, господин посол?

— Нет, я ничего не сказал. Все хорошо, все хорошо… — Он стал серьезным. — Ни один английский посол не был окружен такой симпатией правительства и народа, как я… И это отнюдь не потому, что Великобританию представляю здесь я…

— Время, господин посол? — слукавил Бардин.

— Время, — ответил посол серьезно: отпала охота шутить.

Уже после того, как обед кончился и Бардин, пройдя в соседнюю комнату, затененную в этот час, увидел внизу тусклое свечение реки и над нею Кремль, на память пришел далекий двадцатый год: не в этом ли особняке жил Герберт Уэллс перед своей исторической встречей с Лениным, не здесь ли он разговаривал со знаменитым Вандерлипом, не из этого ли окна он смотрел на Кремль, отправляясь к Владимиру Ильичу, и не в этом ли банкетном зале был накрыт для него и для Вандерлипа

стол, а старый лакей вспомнил те достопамятные предвоенные годы, когда в этом доме пел Карузо?

— Необыкновенно эффектен Кремль отсюда, не правда ли? — подал голос Керр — у него была необходимость закончить разговор, начатый за столом. — Об этом вы думаете, мистер Бардин?

— Не совсем.

— Тогда о чем, смею спросить? — Грубая прямота, с которой он задал этот вопрос, свидетельствовала об энергии посла.

— Об Уэллсе, о Герберте Уэллсе — если мне память не изменяет, он жил в этом доме, когда приезжал в Москву, чтобы повидать Ленина…

Видно, густые сумерки этой комнаты были сейчас кстати — иначе послу трудно было скрыть замешательство, которое охватило его при имени Уэллса.

— По-моему, об этом же говорил премьер-министру кто-то из посольских, когда господин премьер был прошлым летом в Москве, — заметил посол.

— И он?.. Что он… премьер-министр?

— Не думал, говорит, что из одного окна с Уэллсом буду смотреть на Кремль.

Бардин поднял глаза на посла. Вот на что способно это английское искусство: с лица исчезли не только мимический знак, выражение, стерлась жизнь — хоть укладывай в саркофаг.

Единственный признак жизни — слово, оно еще было у Бардина на слуху.

Как почудилось Егору Ивановичу, фраза посла была столь лаконичной и, так могло привидеться Бардину, такой туманной, что казалось, лишена смысла. Надо было копнуть, да поглубже, чтобы смысл явился.

— Не было ли тут намека? — спросил Бардин.

— Намека?.. Нет, конечно! Впрочем, на что намек?.. — полюбопытствовал посол, и Бардин даже во тьме ощутил, как его собеседник втянул шею в плечи, будто приготовившись принять удар.

— Ну, это известно не только англичанам, но и нам, русским, — заметил Бардин, чувствуя, что посол заинтересован не на шутку.

— Что вы имеете в виду? — спросил Керр.

— Поединок: Черчилль — Уэллс о России… Это для нас факт классический — если он не вошел в альманахи, то войдет…

Наступила пауза.

— Под каким знаком… войдет? — спросил посол тихо.

— Под знаком дружбы таких, как Уэллс, — сказал Бардин.

— У вас есть хорошая пословица, очень хорошая: «Кто старое помянет…», — последние три слова Керр произнес по-русски, с особенной силой подчеркивая «р» — оно давалось послу не легко: «Ктэ… стэр-р-р-ое помьэнит…»

— Но разве не надо вспоминать старое? — спросил Бардин.

— Не знаю, не знаю, — сказал посол и, поддерживая Бардина за локоть, пошел из комнаты. — Мои русские друзья — у меня уже есть друзья среди русских — задали мне прелюбопытный вопрос… — Он замедлил шаг, точно стараясь показать походкой, размеренной и едва слышной, что хотел бы сообщить своему рассказу некую конфиденциальность. — Они спросили: а какими вы видите отношения после войны? Нет, не вообще, а в деталях, деликатных деталях. Ну, например, как поведут себя известные лица, которые к этим отношениям имеют, так сказать, касательство?

Посол встретился взглядом с Галуа, встретился неосмотрительно. Галуа по-своему истолковал его взгляд и был тут как тут.

— Какими вы видите известных англичан в их отношении к России после войны? — спросил Бардин Галуа с ходу — ему хотелось сообщить этому разговору силу.

— Я говорил не только об англичанах… — заметил Керр.

— Надо же с кого-нибудь начать… — заметил Бардин смеясь.

— Черчилль? — тут же подал голос Галуа, он ухватил смысл разговора мгновенно.

— Ну, хотя бы, — согласился Бардин, не обнаруживая заинтересованности, хотя именно эта линия разговора его и увлекла.

— Каким будет Черчилль после войны и пойдут ли ему эти годы впрок? — спросил Галуа по-русски и, взглянув на Керра, почти недоуменно принялся переводить свой вопрос на английский, при этом как бы между прочим опустил многозначительное русское «впрок» — хотя он был и навеселе, мысль его работала четко.

— Ну, тут все ясно, — заметил посол. — Все складывается, слава богу, как нельзя лучше: и то, что мы называем взаимопониманием, будет существовать и после войны.

— Каким будет Черчилль?.. Ну что ж, это не самый легкий вопрос и не самый трудный…

Керр встрепенулся:

— Не самый трудный?

— Да, разумеется, — согласился Галуа. — И в вашей воле помочь мне на него ответить.

— Пожалуйста, — сказал Керр, выражая готовность — он

поспешил сказать «пожалуйста».

— Все зависит от того, как мистер Черчилль решит свои проблемы в этой войне, — заметил Галуа. — Итак, как решит?

Керр и Бардин молчали: разговор явно пошел дальше, чем того хотели они. Этот моторный Галуа сообщил диалогу дипломатов скорость, которая была не под силу Керру и Бардину. Разговор грозил оборваться, и первым это заметил Галуа.

— Погодите, но с чего началась ваша беседа? — спросил он. Сообразив, что беседа вряд ли получит развитие, он хотел знать хотя бы ее истоки.

— Мы вспомнили Уэллса… — сказал Бардин. — В двадцатом он жил в этом доме…

— Да, разумеется, — подхватил Галуа. — Именно из этого дома он пошел в Кремль… Но при чем здесь Черчилль?..

— Поединок: Черчилль — Уэллс о России, — сказал Бардин, заметив, что пошел по второму кругу и опасность того, что разговор может непредвиденно накалиться, не миновала.

— Ну, старик заслуживает снисхождения… — вдруг подал голос Галуа и взглянул на Керра. — Снисхождения, снисхождения…

Однако вон как вильнул, подумал Бардин, — вот он, Галуа, подлинный Галуа!

— Да, снисхождения… — подхватил посол воодушевленно и благодарно взглянул на Галуа: истинно, Галуа выручил британского посла в трудную минуту.

11

Бардин покинул посольство вместе с Бекетовым.

— Где ты теперь?.. В Ясенцах или на Калужской?.. — спросил Бекетов, когда они шли к машине, — он полагал, что с наступлением зимы Бардины перебрались в Москву.

— Все не просто… Пришел срок ехать, да Ольга воспротивилась, — он вздохнул. — Что хочешь, то и делай: отправил Иришку с дедом в Солнцево: там школа!..

— Значит, в Ясенцах вдвоем?.. — улыбнулся Сергей Петрович. — По-молодому?

— По-молодому… — согласился Бардин и засмеялся, в охотку, радуясь. — Взялся за гуж, не говори… — добавил он, усаживаясь вместе с другом в машину.

— Да уж, верно: не говори, что не дюж, — отозвался Бекетов.

Машина покатила, и друзья умолкли.

— Погоди, да мы Остоженку проехали! — встрепенулся Бекетов. — Поворачивай, поворачивай…

— А зачем поворачивать? Поехали прямо… — сказал Бардин; видно, в его планы входил этот путь.

— Как прямо? Куда?

— В Ясенцы… Ольга сказала: привези Сергея на оладьи.

— Погоди, да мы только что ели…

— А, это не то!

Оладьи сделали свое дело — Бекетов ехал в Ясенцы. Но, приехав в Ясенцы, они не застали там Ольги. Соседка сказала, что Ольга побежала в деревню за молоком и с минуты на минуту будет обратно. Дом был натоплен и как-то по-особому, по-молодому, ухожен. Бекетов не помнит Ясенец такими. Война точно отпрянула: все было вымыто, выскоблено, все сияло и светилось, — видно, энергии и старанию Ольги не было пределов.

— Пока суд за дело, у меня тут есть завалящая бутылка, на черный день… — сказал Егор и добыл из потаенных мест бутылку с длинным горлышком. — Только, прости меня, разыщу бокалы. Вот натура привередливая: не могу пить из стакана…

Он разыскал бокалы, тщательно, с пониманием дела, откупорил бутылку, испытывая немалое удовольствие от самого процесса открывания, разлил вино, при этом лил так, чтобы свет падал на бокалы и золотистый отлив вина, а вместе с тем и его игристость были видны, а когда налил и поставил бутылку на место, подал бокал и, радуясь этой минуте, предвкушая медовый вкус вина, смотрел на друга и точно говорил: «Как славно, что наперекор всем ветрам мы встретились и еще встретимся,

друже… Встретимся!»

— Ну, рассказывай… Значит, кунцевская роща?.. Только все по порядку и подробно…

Но по порядку не вышло: темперамент Егора был не тот, чтобы выстраивать все по порядку.

— Значит, Царицын вспомнил, а Печору вспоминать не стал?.. — спросил Егор. — Прости, Сережа, что перебил. Рассказывай, рассказывай…

Но, внимая Бекетову, Егор вновь и вновь возвращался к той же мысли:

— Что ни говори, а человек должен помнить: не отдавай себя во власть страсти, она безглаза, не знает брода…

А когда речь зашла о Сталинграде, нет, не о Царицыне, а именно о Сталинграде, Бардин умолк надолго, потом произнес:

— А не думаешь ли ты, Сережа, что Сталинград вызволит нас из неволи… Да, я имею в виду наши отношения с союзниками. Прости за слишком свободное слово: именно из неволи!.. Ты понял меня? Впервые за время войны, ты понял — впервые мы обретаем равенство, какого не имели. Да, равенство, которое даст нам такие козыри, каких у нас не было…

Пришла Ольга, и, окинув ее внимательным взглядом, Сергей Петрович заметил: чем-то она была похожа на свое чистое жилище. Подобно дому, веселая и ухоженная. Вон она, природа человека: будто не было в ее жизни стольких бед — явился Егор и точно рукой снял все невзгоды. Истинно всесилен!.. А Егор, глядя на Ольгу радостно-озорными в прищуре глазами («Если он ее не любил, то полюбил теперь, — думал Бекетов. — Да, вначале соединил с нею жизнь, а потом полюбил»), глядя, как она в соседней комнате стягивает с себя шерстяной, в бедовых цветах, свитер, как, запрокинув руки, пытается достать у самого затылочка воротник блузы, как отводит голову, чтобы она оказалась в раме зеркала, и нарочито небрежным, а на самом деле рассчитанным жестом приминает и охорашивает волосы, говорил Сергею Петровичу торопливым и сбивчивым шепотом:

— Стыдно сказать, Сережа, никому не скажу, тебе скажу: и жаль Ксению безмерно, и не было мочи моей от ее болячек нескончаемых…

— Постыдись, Егор… — укорял Бекетов друга — знал, что где-то тут прорвался характер Бардина, прорвался вопреки его воле.

— А я стыжусь, Сережа… — признался Бардин, как показалось Сергею Петровичу, легко признался, не раскаиваясь, а Бекетов подумал: наверно, и его, Бекетова, одолели болячки Екатерины, а смог бы он вот так сказать?.. Нет, нет, никогда.

Видно, где-то здесь лег водораздел между тем, что есть Бардин и Бекетов. Нет, не просто друзья, а братья кровные, но поди какие разные!

— Вот взгляни, Сережа, что могут сделать руки человеческие… — Егор внес туалетный столик на фигурных ножках, в самом деле сделанный весьма искусно. — Только… осторожно: лак не просох.

— Это чья же работа, Егор? — поинтересовался Бекетов, оглядывая столик — он, этот столик, был так ладно сбит, точно его не сбивали, а вытачивали.

— Моя, разумеется, — произнес Егор не без гордости.

— Твоя? — изумился Бекетов — было непонятно: каким образом медвежьи бардинские лапы явили такое умение?

— А почему бы и не моя?.. — Бардин протянул к свету руки — пухлые, с короткими пальцами, они не столько опровергали сказанное Бекетовым, сколько подтверждали.

— Не верю, не верю, чтобы медведь такое сумел! — решительно, почти в сердцах заявил Бекетов.

— А ты спроси Ольгу, — закричал Бардин. — Спроси… Ольгу!

— Он, Оленька?

Она не без труда вышла из рамы зеркала.

— Он, — подтвердила Ольга.

Бардин укоризненно взглянул на друга:

— И после этого ты не поверил?

— Нет.

— Почему?

Бекетов не ответил.

— Я знаю, что ты думаешь… сказать? — заглянул в глаза другу Бардин. — Нет, сказать?

— Ну, говори… — согласился Бекетов, думая о своем.

— Ты думаешь так: медведь есть медведь и способен только на медвежье, но когда он влюблен, он может работать главным ювелиром… Угадал?

— Угадал! — засмеялся Бекетов.

Ольга накрыла стол на кухне — в этакое ненастье там было уютнее. Оладьи были хороши и по вкусу, и по размерам — Бекетов любил большие оладьи, да так, чтобы в них было больше яблок.

— Ну, за хозяйку, за семью, за больших и малых, — поднял бокал

Сергей Петрович — в эту минуту ему казалось, что нет на свете слов более подходящих, чем эти.

Ольга просияла — в устах сдержанного Бекетова каждое из

этих слов было в два раза дороже.

— Спасибо, Сергей Петрович, — произнесла она, радуясь, и, взглянув на Бардина, добавила: — Вы первый, кто это оценил…

— Первый, да так ли? — засмеялся Бекетов.

— Первый, первый… — подтвердила она.

— Насчет малых ты ей хорошо сказал, — заметил Бардин и взглянул на Ольгу без улыбки. — Хорошо, хорошо сказал, Сережа… — Пройдя в соседнюю комнату, он возвратился оттуда с лыжами. — Ну, ты тут похозяйничай, а мы махнем на часок…

— Погодите, да неужели медведя поставили на лыжи? — спросил Бекетов.

— Как видите, — засмеялась Ольга необычно громко — бокал вина сделал свое. — Вначале все валился, упадет в сугроб и лежит тихо, истинно медведь… Теперь — ничего, ни свет ни заря — все на лыжи. Говорит, что у него нет времени для отдыха, а на лыжах час ходьбы дает энергии на день…

— Лыжи — это хорошо, — согласился Бардин и провел ласковой ладонью по нежно-смолистой «подошве» лыж.

Они ушли.

Где-то они там ходили сейчас во тьме, скатываясь с пологих холмов, врезаясь в сугробы, а Бекетов внимал тишине, думал: «По всему видно, счастлив человек, а это, наверно, главное… Вот как он преобразился: светится… Главное, она сообщила ему ощущение того равновесия, которое так необходимо, которое дает много сил для дела…»

Бардины вернулись часа через полтора, возбужденно-веселые, раскрасневшиеся от мороза и снега, которым были обсыпаны с головы до ног.

— Чаю, горячего чаю!.. — стонал Егор. — Ну и морозище — не продохнешь!..

— Ну, уж ты, царь природы, мороза испугался… у-у! — вымолвила Ольга смеясь — в ней была небабья кряжистость и упорство: такую мороз не возьмет!

Она постелила Бекетову на диване в столовой, у стеночки, за которой была натопленная печь. Бекетов видел, как она достала из бельевого шкафа простыню — бог знает, откуда она добыла крахмал в нынешнее время, но простыня аппетитно потрескивала, схваченная отвердевшим крахмалом, когда она ее не столько раскрывала, сколько распечатывала. Сергей Петрович приметил и то, как на вытянутых руках она пронесла простыню в соседнюю комнату, где топилась печка, чтобы подержать ее у огня, и возвратилась, все так же удерживая ее на распростертых руках, а к запаху крахмала примешался запах огня, домовитого, отдающего дымком. Уже когда легли и в доме, казалось, стихли

все звуки, вдруг явился Бардин.

— Как ты, Сережа, хорошо тебе?..

— Хорошо, Егор, очень… ну, иди, толстый, иди.

— Я не толстый, я — упругий… — молвил Бардин смеясь и, наклонившись, вдруг чмокнул Сергея Петровича в лысеющую макушку. — Люблю тебя, собаку…

— И я тоже, Егор…

— Ты помнишь, я говорил, что Сталинград поможет нам обрести равенство?

— Да, ты так сказал… но я бы сказал иначе: большую независимость от союзников…

— А разве это нечто иное? Ну, пусть будет по-твоему, большую независимость, — согласился Бардин, сегодня он легко соглашался. — Я о другом: это нам сейчас очень нужно, по-моему, даже нужнее, чем прежде.

— Не о встрече в верхах ты думаешь? — спросил Сергей Петрович, пытаясь определить, как будет выглядеть третий ход друга, — Бекетов сокрушался, что забросил шахматы, в которые он когда-то играл и даже сумел увлечь этой игрой сына. Ничто не учит так точному расчету, как шахматы, — дипломат должен уметь играть в шахматы, и, желательно, не по-дилетантски.

— Да, я думаю именно об этом: о встрече в верхах. Без Сталинграда нам было бы с ними труднее разговаривать.

— Сталинград надо еще довести до ума, — парировал Бекетов — он хотел проникнуть хотя бы в ближайшее будущее отношений между союзниками, видеть партию через три заветных хода, но не торопился с выводами.

— И это верно, — подтвердил Бардин — устами друга глаголила сама мудрость житейская.

Давно Бекетову не было так хорошо, как в этот вечер. Засыпая, он думал о том, почему ему так хорошо, и смог найти единственное объяснение: ему было покойно за Егора. Может, поэтому ощущение радости сообщилось сну, и всю ночь ему снились белокрылые птицы, которые, вернее всего, были голубями и которые не посещали его снов с детства…

Когда на рассвете (рассвет был поздним, декабрьским) Бекетов открыл глаза и услышал гудение печки, а потом учуял непобедимо вкусный запах пирога с картошкой (картошка явно была щедро сдобрена луком), он уразумел, что нынешняя ночь для Ольги была много короче, чем для него, Бекетова, и Егора.

Они поехали на работу электричкой, и по дороге Сергей Петрович вдруг вспомнил — он хотел спросить друга о чем-то таком, что не очень удобно было спросить при Ольге.

— Помнишь, когда я произносил тост за Ольгу, ты сказал что-

то такое про малых… Помнишь?

— Это ты сказал про малых, а я сказал, что ты сделал хорошо, вспомнив их…

— Почему?

— Тебе было хорошо у нас, Сережа? — спросил Бардин.

— Да, конечно.

— Ну, и береги это, не порть.

— А если испортить, ну, кроху невеликую?

Бардин задумался — по его расчетам, до

Москвы было еще минут пятнадцать.

— Пойми, Сережа, мой старый дом на Калужской — это не просто сорок метров паркета и беленой штукатурки, а нечто живое, что болит во мне и стонет… Нет, я, наверно, сказал не точно: нечто такое, что живет и на что я не могу поднять руку. Понял? Нет? Ну, еще поймешь.

— А мне сегодня ночью снились белые голуби, — сказал Бекетов, когда поезд остановился. — Голуби…

12

С тех пор как Наркоминдел вновь обосновался на Кузнецком, прошло не больше месяца, а было такое впечатление, будто бы все эти двадцать месяцев он и не выезжал отсюда. Будто бы вереницы машин с наркоминдельским скарбом не шли по Владимирскому тракту на восток, будто бы могучие жерла труб не обрушивали на многотерпеливый Кузнецкий, а вместе с ним на Рождественку и Варсонофьевский облака пепла и полуистлевшей бумаги, будто бы ветер не залетал в разбитые взрывной волной окна, не вздувал портьеры, не мел по паркету снежком… Как и некогда, Павел Вологжанин сидел за столом, покрытым ослепительно белым листом бумаги, и на столе, по раз и навсегда заведенному порядку, лежали стопки папок с делами, предназначенными для доклада Бардину, англорусские словари, малый — для текущей работы и большой, к которому Павел обращался, когда малый словарь отказывался отвечать, а в шкафу, справа от письменного стола, лежал пакет с нехитрым завтраком, нет, не бутерброды с колбасой любительской, краковской, полукопченой, как прежде, а две пластинки черного хлеба да три вареных картофелины. Хотя и усох Вологжанин порядочно, но дело у него шло как всегда, работал за троих, был спор и обязателен, а в письменном переводе обрел опыт немалый. В отличие от Августы Николаевны, которая все диктовала на машинку и без машинки была как без рук, Вологжанин писал от руки. Он полагал, и его можно было понять, что мысли у него не идут, коли он не видит, как слово возникает на бумаге. Если существо человека сходно с его почерком, то Павел был достаточно ясен и в своих помыслах, и в своих деяниях. Как примечал Бардин, у Вологжанина были и хватка в работе, и работоспособность, и память, что для дипломата важно чрезвычайно, и усидчивость, и умение добраться до корней, и понимание сути того, что есть Наркоминдел. В том непростом хозяйстве, которое являл собой бардинский отдел, Вологжанин ведал не столько вопросами метрополии, сколько империи, при этом добрая память его хранила преотлично все, что относится к канадскому хлебу и австралийской шерсти. Как утверждали в Наркоминделе, у Вологжанина был ум скорее аналитический, нежели информационно-познавательный, но это уже было делом десятым. Главное, человек с таким умом был в отделе. Пожалуй, в двух таких, как Вологжанин, в отделе не было бы надобности, но один был нужен наверняка.

Августа Николаевна мало смыслила в канадском хлебе, да и

австралийская шерсть ее не очень увлекала, но при необходимости она могла отредактировать статью об австралийской шерсти так, будто бы всю жизнь только этим и занималась; в этом был и ум, и точность, и культура немалая. Но с войной и у Августы Николаевны появилось нечто такое, чего не было прежде, — самоотверженность, чуть фанатическая. Она могла уйти в работу на дни и дни, забыв о друзьях, об отдыхе, который и прежде был нещедр, о радостях, которых и прежде было немного. Видно, эта черта ее имела косвенное отношение к войне и, скорее, возникла в связи с тем сложным, что проистекало в ней самой… И еще в ней появился пристальный интерес к тому, что являла собой нынешняя британская политическая погода и все те, кто эту погоду делают. Августа Николаевна не переоценивала своей роли в этом, справедливо полагая, что она призвана не столько совершать нечто самостоятельное и творческое, сколько помогать этому процессу, собирая, накапливая, а подчас и обобщая факты, без которых самостоятельная акция не совершается.

Какое-то время Вологжанин и Кузнецова были теми добрыми пристяжными, которые помогали кореннику тянуть груз бардинского «департамента». По странной иронии судьбы, пока на фронте было трудно, «департамент» обходился невеликим числом работников, а вот когда полегчало, в бардинском полку прибыло, и он действительно стал напоминать департамент. Появился синклит больших и малых чинов: заместитель, помощник и плеяда референтов, при этом первым из бардинских сподвижников стал бывалый наркоминделец Хомутов, ушедший с первых дней войны на фронт и теперь вернувшийся на Кузнецкий.

— Да надо ли вам вот так, без передыху? — спросил Егор Иванович Хомутова, когда тот явился на работу чуть ли не из госпиталя — его сеченная минными осколками рука была на перевязи. — Я доложу сегодня наркому — дадим вам двухнедельный отпуск.

— Я ведь вас не прошу об этом, — возразил Хомутов резко. — Когда попрошу, тогда и доложите… А пока расскажите, что и как…

Бардину не понравился тон его нового заместителя, но он смолчал. Хомутов сказал, что до войны работал в американском отделе старшим референтом, но Егор Иванович не мог этого припомнить. Очевидно, двадцать месяцев фронта так изменили человека, что мудрено было узнать его. Но ведь не всех же так изменила война. Если это произошло, то зависело не только от человека, но и от того, что он делал на войне. Что делал на войне Хомутов? В иных обстоятельствах Егор Иванович, пожалуй бы,

спросил, в данном случае не стал — боялся напороться на грубую прямоту, свойственную Хомутову.

Но столкновения долго ждать не пришлось: через несколько дней Вологжанин сообщил, что Витольд Николаевич (так звали Хомутова) перекроил его справку о японской колонии в Австралии, а когда он, Вологжанин, запротестовал, сказал, что нынче время военное и ставить этого вопроса на голосование он не будет.

Бардин ощутил смущение немалое.

— А может, действительно не надо ставить на голосование? — спросил Бардин и этим поверг Вологжанина в смятение — тот ожидал от Бардина всего, но только не этого.

— А если бы так сказал не Хомутов, а Вологжанин, например, ваше мнение было таким же, Егор Иванович?

Бардин затревожился — умный Вологжанин понял все.

— Простим ему поначалу… — заметил Бардин, не глядя в глаза Вологжанину.

— Простить можно, конечно, но надо ли прощать? — ответил Вологжанин.

— Надо, — коротко отрубил Бардин и лаконичным этим ответом дал понять, что предпочитает больше не говорить на эту тему.

Вологжанин ушел: нельзя сказать, что разговор с Бардиным его устроил. Да и у самого Бардина было смутно на душе.

13

Он был изумлен чрезвычайно, когда позвонили из британского посольства и сказали, что с Бардиным Егором Ивановичем хотел бы говорить посол.

Бардин взял трубку и услышал в ней голос Керра, — очевидно, понимая, как нелегко для русского уха его произношение, британский посол говорил медленно и нарочито раздельно.

— Господин Бардин, я хотел бы повторить то, что сказал при нашей встрече на Софийской набережной: позвольте пригласить вас на ланч, да, разумеется, в посольстве…

Бардин поехал. Утро было студеным, в морозном дыму, в ломтях солнца, что лежало на тусклых по военному времени портиках кремлевских дворцов, на деревьях, на куполах соборов. Машина пересекла Манежную площадь и, оставив позади университет и библиотеку, пошла к Каменному мосту. Казалось, в эту зиму уходящего сорок второго года ничто не изменилось в облике военной Москвы: вдоль фасадов еще лежали мешки с песком, а окна были задраены вощеной бумагой, по городу шли нескончаемой цепью военные грузовики, ярко-белые, много ярче городского снега, а над городом зыбились аэростаты, однако возникло нечто новое, незримое, но ощутимо ясное: было больше душевной твердости, больше веры. Бардину хотелось думать, что к людям это пришло с возмужанием чувств, с тем большим, что, например, значила сегодня для всех судьба Сталинграда. Как ни трудно было там, но оттуда шли хорошие вести, и не было человека на большой русской земле, который бы не ощущал в себе частицу сталинградской радости. У победы было много троп, но казалось, что она идет оттуда.

Керр встретил Егора Ивановича, едва тот появился в посольстве, и, жалуясь на московскую стужу, которая проморозила особняк, увел Бардина в глубину дома, куда, как сулил посол, московская стужа не добралась. Действительно, он привел Егора Ивановича в крохотную светелку, похожую на ларец, в которой, по английскому обычаю, пылал камин, а на лакированном столике, придвинутом к камину, стояла батарея бутылок.

Пренебрегая традиционной экспозицией, посол наполнил бокалы и предложил выпить за здоровую русскую зиму, которая силу, отнятую у врагов, сообщает друзьям. Бардин взял бокал и ощутил, как жарок огонь в камине: стекло было почти горячим и приятно согревало руку. Они выпили и сразу приблизились к

тому, что заставило их встретиться здесь вопреки январской стуже.

— Вы уже знаете, что в течение этих двух ночей наша авиация жестоко бомбила Берлин… — Керр протянул руки к огню, ему все еще было зябко, пальцы подрагивали. — Говорят, костер, зажженный в Берлине, был виден с побережья… Вот оно, возмездие!

Нет, он от экспозиции не отказался: видно, короткая реплика посла о пылающем Берлине и должна была быть этой экспозицией. Но тогда чему будет посвящена беседа, если берлинский костер служит вступлением к ней?

— Вы знаете, что мистер Черчилль намеревается встретиться с турками? — спросил посол и пододвинулся к Бардину, точно расстояние, отделяющее один стул от другого, было слишком большим для беседы, носящей столь конфиденциальный характер.

— Да, мне это известно, — сказал Бардин и отметил про себя: значит, Турция, а вместе с тем наш юг, наш Кавказ — все издавна лежало в пределах черчиллевских интересов. Но тогда при чем берлинский костер, видимый с побережья?

— В Турции происходят процессы, которые точно отражают нынешний этап войны… Турки хотят дружить с союзниками.

Бардин готов был воздать должное энергии посла: он приближался к заветной цели стремительнее, чем можно было ожидать.

— Это что же значит?.. Вступление в войну на стороне союзников?

Посол наполнил бокалы — к лютому московскому морозу прибавился еще холод, которым дышали слова Бардина, — выпитого было недостаточно.

— Нет, сочувствие союзникам может быть выражено и иными средствами…

— Какими именно, господин посол?

— Вам ли говорить, мистер Бардин, — улыбнулся посол. — Иногда нейтралитет дает такую возможность для помощи, какую не может дать прямое участие в войне.

— Какую именно… возможность?.. — спросил Бардин. Он полагал, посол столь обнажил цель беседы, что конкретный вопрос не прозвучит нарочито.

— Ну, например, предоставление союзникам плацдарма… — заметил посол и умолк.

— Для какой цели? — спросил Бардин. Он чувствовал, как нарастает напряжение беседы, нет, не столь открытой, как кажется, — в ее поворотах упрятан главный смысл.

— Ну, хотя бы для бомбежки Плоешти… — заметил посол и, следуя манере недомолвок, затих — он явно опасался сказать больше, чем хотел. Не здесь ли смысл упоминания о берлинском костре? Значит, для бомбежки Плоешти?

— И что турки просят взамен… плацдарма? — спросил Бардин. — Не допускаю, чтобы бескорыстные турки так далеко пошли бы в своем желании помочь союзникам, чтобы они не попросили ничего взамен.

— Они просят вооружить их…

— И англичане готовы это сделать? — спросил Бардин, подумав, — ему показалось, что посол с тревогой уловил его паузу.

— Да, за счет оружия, которое мы отняли у немцев.

— Вооружить… против кого?

— А разве не понятно: против немцев.

— И что же требуется от России?

— Ну, нечто вроде… жеста дружбы по отношению к Турции.

Вот она, черчиллевская дипломатия. Теперь (да, именно теперь!), когда немцы изгоняются с Северного Кавказа и угроза, нависшая над Баку, устраняется, Черчилль вооружает Турцию и готовит бомбежку Плоешти. Но ведь и прежде был некий план дислокации британского воздушного флота на Кавказе? Тогда он был отвергнут, чтобы не вызвать, ненароком, ответного огня на Баку. А какая гарантия, что теперь будет иначе? Вот он, замысел Черчилля: берлинский костер, но только на русской земле. Что же касается Турции, то не к реставрации ли оттоманского палачества на Балканах ее готовят?

Беседа, предшествующая приглашению к столу, длилась столь долго, что впору было забыть: русский гость приглашен на Софийскую набережную к ланчу.

Но все было, как надлежит быть в хорошем дипломатическом доме. Будто хозяин и гость не прошли только что через рукопашную, где было все, что есть в жестокой сече не на живот, а на смерть, и прежде всего кровь и кровь… За овальным столом, накрытым ярко-белой, в крупных, ниспадающих почти до самого пола складках, скатертью, сидели Бардин и Керр. Казалось, посол был не просто удовлетворен беседой, происшедшей только что, а ублаготворен ею.

— Мы славно поработали, мистер Бардин, славно поработали… — произносил посол, а затем вздыхал тревожно, и вздох его означал нечто обратное тому, что было сказано.

14

Галуа просил Тамбиева принять его и, явившись, увидел на столе Николая Марковича свою книгу; из тех, которые Галуа написал о Франции, эта была наиболее документированной и личной. Кстати, лучшие работы Галуа были отмечены этим качеством: в них документ обязательно соотносился со свидетельствами автора-очевидца.

— Откуда она у вас? — произнес он, покраснев.

— Что значит «откуда»?.. Из библиотеки, разумеется.

Галуа засмеялся и, вытянув перед собой руки, потряс ими так, будто бы мышцы в запястье были надрезаны и кисти неуправляемы.

— Только, ради бога, не переоценивайте всего этого!..

— Да уж как-нибудь…

— Именно: «как-нибудь»…

Он сел, задумался, краска медленно сошла с лица; казалось, побледнели даже губы.

— Николай Маркович?

— Да?

— Вы знаете, что передало сегодня немецкое радио?

— Нет.

— Манштейн таранил сталинградское кольцо с юга… и дал возможность Паулюсу уйти.

— И вы верите?

— Чтобы ответить на ваш вопрос, Николай Маркович, я должен быть на месте событий… К тому же…

— Да, я вас слушаю.

— Неужели вы не понимаете, что вам срочно надо опровергнуть сообщение немцев?

— Ну, мы и опровергнем.

— Но ведь вам не поверят… — он смутился: увлекшись, он сказал нечто такое, чего не хотел сказать. — Вернее, вам поверят меньше, чем мне.

— Что же из этого следует?

Галуа точно запнулся — он явно хотел, чтобы фразу, которую он приготовил и ради которой пришел сюда, произнес сейчас не он, а Тамбиев. Ему стоило немалого труда подвести Николая Марковича к этой фразе.

— Я спрашиваю: что следует, Алексей Алексеевич?

Видно, Галуа тронуло это доверительное «Алексей Алексеевич». Он любил, когда его так звали. То ли ему было приятно, что при этом упоминалось имя его отца, которого он

боготворил, то ли иное: за годы немилой чужбины его никто или почти никто не называл так.

— Надо ли говорить, что в ваших интересах, понимаете, в ваших, показать мне Котельниково и дать возможность опровергнуть эти… россказни немцев. Одним словом, скажите Грошеву, что я хочу ехать в Котельниково…

Он встал и еще раз взглянул на свою книгу:

— Нет, кроме шуток: не слишком доверяйтесь этому автору.

Он ушел.

Галуа был по-своему прав. Немцы хотели минировать грандиозную новость, которая стала в эти дни известна миру: если не удается освободить Паулюса, то хотя бы распустить слух, что он освобожден. Чтобы парировать этот ход немцев, было несколько средств. То, что предлагал Галуа, могло быть не худшим выходом из положения.

Когда часом позже Тамбиев сообщил о беседе с Галуа Грошеву, это привело шефа наркоминдельского отдела печати в уныние немалое. Было даже не очень понятно, по какой причине жизнестойкий Грошев так упал духом. Его отчаяние было так велико, что он забыл про кружку с чаем и, отпив, обнаружил, что чай остыл.

— Но, быть может, не все еще потеряно? — спросил Тамбиев с немалой дозой юмора.

— Не утешайте меня, Николай Маркович, — возразил Грошев вполне искренне. — Наши с вами дела могли быть и лучше…

— Если это и мои дела, Андрей Андреевич, я хочу знать, почему они плохи? — заметил Тамбиев.

Грошев, пренебрегая тем, что чай остыл, принялся пить его — никогда прежде он не пил холодного чая.

— Решен вопрос о поездке в Сталинград Гофмана… — наконец признался он. — Представляете, что будет с Галуа, когда он узнает об этом?.. Ему покажется, что решение принято как бы в пику ему…

Первая мысль: но ведь Гофман об этом еще не знает, да и Галуа не знает!.. Какой же резон отчаиваться? Здравый смысл подсказывает: надо перерешить и послать их вдвоем. Да, тут же доложить о беседе с Галуа и направить его вместе с Гофманом, нет, не только в Сталинград, но и в Котельниково. Чудак человек этот Грошев, и как ему это в голову не пришло?..

— Но дело поправимо, — едва ли не воскликнул Тамбиев. — Надо перерешить и послать их вдвоем, Гофмана и Галуа… Ну, Гофман будет не в восторге, но смирится как-нибудь, а Галуа определенно будет доволен… Принять новое решение — вот резон…

Но открытие Тамбиева не вызвало радости у Грошева. Более того, Грошев совсем приуныл.

— Вы знаете, кто это решил? — спросил он устало и, подняв указательный палец вертикально, произнес: — Там! Понимаете?..

— Ну и что? — вопросил Тамбиев с недоумением. — Там решили, там и перерешат.

Грошев посмотрел на Николая Марковича, как на безнадежного: и чего ради Тамбиев затеял эту игру? Честное слово, не возьмешь в толк: наивен он или хочет казаться наивным?

— Докладывать второй раз?

— А почему и не доложить второй раз, если дело того требует?

— Вы мне представлялись более зрелым, Николай Маркович… Да поймите, что доложить второй раз — значит обнаружить, что первый раз не все было продумано…

— И вы на это не решаетесь?

— Я-то, может быть, и решусь, да вот там такого человека не найти… Понимаете: там…

Истинно, век живи и век учись: оказывается, нет человека, который бы решился доложить «там»… В природе нет такого человека. Был бы, — может быть, и перерешили бы.

15

За полночь Гофман был приглашен в отдел печати, и смятенный Грошев, которого, видимо, и самого подняли по этому случаю с постели, сообщил ему, что, если это все еще соответствует его, Гофмана, желанию, он может ехать в Сталинград. Самолет вылетает на рассвете. Отдел печати будет представлять Кожавин.

Гофман счастливо хмыкнул и, буркнув нечто невразумительное, опрометью бросился из кабинета так, что только по радостному его фырканью можно было понять, что он дает согласие. Часом спустя он уже был на Кузнецком мосту в своем реглане, подбитом мехом, в шапке-ушанке, с вещевым мешком за плечами.

Гофман отбыл, а в отделе печати наступили часы ожидания: казалось, вот-вот появится гневный Галуа, но он не шел.

— Пока же — готовьтесь к поездке на Дон, в Котельниково, — сказал Тамбиеву Грошев. — Кажется, наши хотят, чтобы он поехал, да и военные не возражают…

Значит, Котельниково? Тамбиев развернул карту: Котельниково?.. Задача не из простых.

Он позвонил Глаголеву — в голосе, который он услышал, что-то было одновременно смятенное и празднично-веселое.

— Куда вы запропастились, милый человек? — вопросил Глаголев. — Тут за это время такие события произошли, что, того гляди, дыхания лишишься… Приезжайте — я дома…

Глаголев заинтриговал его, но Николай Маркович решил не строить догадок. Знал: все равно не угадаешь. Так оно и вышло. Тамбиев добрался к Глаголевым минут за двадцать и, нажав дверной звонок, старательно вызвонил, как было принято еще при Софе: точка, тире, точка… Дверь открылась, и хозяин дома возник перед Тамбиевым в новенькой форме цвета крепкого турецкого табака и, что главное, при генеральских погонах. Правда, гимнастерка уже была обсыпана папиросным пеплом, но это не столь важно — важнее, что погоны генерал-майора были в порядке.

— Надо предупреждать, — еле вымолвил Тамбиев, оглядывая вконец застеснявшегося Глаголева. — Иначе, того гляди, рухнешь замертво…

— Да уж будет вам, будет… — произнес Глаголев, закрывая за Тамбиевым дверь. — Ежели устояли спервоначалу, ничего с вами теперь не случится… У меня кофе подоспел… Уж наверно не откажетесь от чашечки?

— Не откажусь.

— Ах, какой кофе! Чувствуете? Сюда донеслось! Это мне полковник-чех презентовал! По-моему, вы его у меня видели? Ах, да это были не вы! Одним словом, божественный напиток!

Они поднялись наверх, и, усадив Тамбиева, Глаголев начал разливать кофе.

— Как же это все произошло? — спросил Тамбиев, когда кофе был разлит и Глаголев занял место напротив.

— Вы что имеете в виду?.. Кофе или… мое генеральство?

— Ну, если хотите, генеральство…

Глаголев рассмеялся, показав темные с щербинкой зубы, и, застеснявшись, по-стариковски закрыл рот рукой:

— Последние три дня только и делаю, что даю объяснения… А потом спохватился: ведь произношу одни и те же слова!.. Никогда не любил повторяться, а тут повторяюсь! Вот сейчас и вам скажу то же самое, что говорил всем остальным. Хотите?

— Прошу вас.

— Извольте. Напечатали этот мой трехколонник: «Русские Канны», а на следующий день позвонил ваш Молотов и этак напрямик: «Глаголев?» — «Да, Глаголев». — «Есть указ Президиума Верховного Совета о присвоении вам звания генерал-майора. Поздравляю». Ну, меня будто на верхнюю полку парной кинуло! А потом, по русскому обычаю, с верхней полки в сугроб снега. Говорю: «Благодарю, Вячеслав Михайлович», а у самого зуб на зуб не попадает. Вот и все. А потом прямо домой прислали из редакции — я ведь приписан к ним — все, что положено, вплоть до хромовых сапог и поясного ремня, — обрядили, точно решили выносить ногами вперед… И смех и грех…

— А почему «грех»?

— Ну, что можно сказать?.. Генералом-то я уже был… — Он помолчал, невесело посмотрел вокруг. — Был, да сплыл… и шашки над головой не ломали, и эполетов не срывали, а вот, как видите… Да уж лучше поздно, чем никогда!

— Что-то вы про все это без настроения, — сказал Тамбиев. — Дело-то доброе, не так ли?

— Коли правда кривду покарала, верно, доброе, да годов сколько на это ушло — жаль, и, признаться, не в этом только счастье…

Он сокрушённо покачал головой.

— А в чем?

— В чем счастье для меня?

— Да, для вас?

Он все еще молча качал головой.

— Могли бы вы присутствовать при одном разговоре…

деликатном? Предупреждаю: деликатном?

— Я вас не понимаю.

— Я не прошу говорить и, разумеется, принимать мою сторону. Я прошу вас, как бы это сказать, быть очевидцем… Собственно, нас будет трое: вы, я и она…

— Кто она? Софа?

— Да, разумеется. Она сказала, что явится к вам сама, и просила не говорить о своем приезде… Нет, нет, это не то, о чем вы думаете! Она просто опасалась, чтобы мы не оказались втроем и вы бы не встали на мою сторону. Кстати, она должна быть вот-вот.

— Но она может отвергнуть мое участие…

— А я и не прошу, чтобы вы участвовали.

— Но что я должен делать?

— Как что? Молчать.

— Если в этом должно участвовать только мое молчание, представьте, что я с вами и мое молчание с вами…

— Я бы хотел, чтобы вы были, — могу я просить вас?

Тамбиеву показалась необычной настойчивость Глаголева. Совершенно очевидно, что предстоящий разговор был важен Глаголеву, но причина этого была неясна, да Глаголев и не намеревался открывать ее.

— Вы хотите знать, о чем пойдет разговор? — с неожиданной решительностью спросил Глаголев. Если бы Тамбиев не возразил, Глаголев мог бы и не задать этого вопроса.

— Вы не разрешили мне говорить, но слушать, наверно, мне позволено? — засмеялся Тамбиев. Ему хотелось эту деликатную фразу обратить в шутку. — Поэтому я не спешу узнать…

— Я вам скажу, пожалуй… — заметил Глаголев, не скрыв, что произносит эту фразу не без сомнений. Видно, причина, заставившая Глаголева просить об этом, была значительна.

— Как вам угодно, как угодно… — произнес Тамбиев и посетовал на себя: надо было как-то уйти от этого разговора.

— Хотите еще чашечку кофе? — спросил Глаголев и, не дождавшись ответа, протянул руку к коробку со спичками, лежавшему на соседнем столике. Будто бы Глаголев держал сейчас не спички, а сосновый ящик с чурками — так гремел спичечный коробок в руках Глаголева, так он плясал. — Ну вот, хорошо… сейчас только достану другие чашечки… — Он дотянулся до посудного шкафа, и тот тоже загремел от прикосновения дрожащих рук Глаголева.

— Ну, что вам сказать? — начал он, вздохнув, — видно, эти несколько нехитрых слов в нем вызрели, пока он готовил кофе. — Вы, наверно, помните, что в начале ноября брат вызвался в тыл к

немцам, на Псковщину, а двумя неделями позже устремилась туда она… Я ей сказал: «Ты отца не бросай…» А она: «Я и не бросаю!» Вы поняли?.. Нет, нет, я вас спрашиваю, поняли?

Тамбиев не признался, что в смысл последних слов ему еще надо было проникнуть, но он не хотел увеличивать страданий Глаголева и смолчал. Он сделал вид, что понял, но ему надо было понять эту глаголевскую фразу об отце, которого бросила Софа, устремившись на Псковщину, хотя, по ее словам, она его не бросала.

— Но, может быть, мы подождем ее все-таки? Она должна быть вот-вот…

— Подождем.

Этот разговор так взволновал и даже встревожил Тамбиева, что он, по правде говоря, забыл, что ехал к Маркелу Романовичу с иной целью. Тамбиев понимал, что сейчас Глаголеву было не до Котельникова и тем более не до поездки к сталинградским южным подступам, но Николай Маркович приехал к Глаголевым именно поэтому и намеревался говорить об этом. Поскольку времени на разгон не было, у Тамбиева явилось искушение начать разговор без обиняков, но опыт подсказывал Николаю Марковичу: для успеха беседы немалое значение имеет то, как она начата.

— Вот вы сказали, Маркел Романович, не сегодня-завтра мы перевалим через хребет войны. Не так ли?

— Да, именно так я сказал, — ответил Глаголев и насторожился: он не знал, куда клонил Тамбиев.

— А как же Котельниково?

— Что… Котельниково?

Ну конечно, он понял вопрос Тамбиева, но повторил его, чтобы выгадать минуту-другую и подготовиться к ответу.

— Я имею в виду удар Манштейна по сталинградскому кольцу с юга, — пояснил Николай Маркович.

Глаголев обратил взгляд на стену, увешанную картами: синий карандаш, лежащий подле карты, которым он вычертил наступление немецких танковых колонн, Глаголев, видно, держал в руках еще сегодня утром.

— Вы имеете в виду… это? — он протянул руку к карте.

— Да, Маркел Романович…

Глаголев определенно был рад вопросу Тамбиева — можно было подумать, что, прежде чем произойдет деликатный разговор с Софой, хозяин дома рад возможности оседлать любимого конька и обрести уверенность.

— Прелюбопытно! — воскликнул Глаголев и быстрыми шагами пошел вдоль карты. — Нет, это не так просто, как вам кажется!.. Ну, хотя бы такой вопрос, с виду нехитрый: в чем смысл

этой немецкой операции? Казалось бы, прорыв кольца!

— Минутку, вы сказали: «Казалось бы», — заметил Тамбиев, прервав Глаголева. — Почему?

Глаголев возликовал, и новенький хром его сапог, нет, не головки, а голенища, приятно скрипнул: именно на этот вопрос он провоцировал Тамбиева!

— Да потому, что это главная цель, но не единственная! У этой операции есть вторая цель, важная!..

Тамбиев, внимательно следивший за мыслью Глаголева, испытал неловкость — как ни уважал он собеседника, у него было искушение возразить.

— Простите, но вы так говорите, будто бы вторая цель важнее первой…

— Ну, не важнее, но очень важна… И это я вам сейчас докажу: вы только обратите внимание, где немцы собрали силы для контрудара?.. Котельниково! Да, да, Котельниково — это не просто южные подступы к Сталинграду, но еще и своеобразные восточные опоры больших ворот на Северный Кавказ!.. Вы поняли меня теперь?.. Вот, вот! — произнес Глаголев, точно на самом лице собеседника прочел ответ, которого ждал. — Не только прорвать кольцо, но и охранить северокавказские ворота и дать возможность войскам, что стоят сейчас на Тереке и Кубани, выйти… Иначе — новое окружение, не меньшее, чем под Сталинградом! Разумеется, первая цель — Сталинград! — является главной, но не исключено, что и вторая цель не просто сопутствует первой, а ставится немцами сознательно…

Тамбиеву казалось: как ни интересна мысль Глаголева, система его доводов не безупречна.

— Значит, операция при всех вариантах застрахована от неудачи?

— Нет, я этого не сказал, — тут же парировал Глаголев. — Я только сказал, что один козырь здесь бьет несколько карт… — Он взял синий карандаш и крепкой рукой провел пунктирную линию между дельтой Волги и восточным берегом Азовского моря. — Вот это и есть северокавказские ворота! — произнес он почти торжественно.

16

— Мне показалось, кто-то внизу… — прервал его осторожно Тамбиев. — Не Софа ли?

— Быть может, и она — у нее свой ключ… — заметил Глаголев. — На чем мы остановились? — спросил он, стараясь вернуться к разговору, который его увлек, и, сделав невольную паузу, услышал шаги на железной лестнице. — Да, верно: это она…

Тамбиев почувствовал: с ее шагами, которые становились все слышнее, прибывали удары сердца. Оно будто вздулось там, в груди, и с каждым его ударом становилось труднее дышать. Да и невозможно было скрыть это дыхание. Тамбиев встал и пошел к карте, что висела на свободной стене. Это была карта Сталинградской операции — видно, Глаголев возвращался к ней каждый день, нет, не потому, что к этому побуждали его новые сообщения, которые шли с фронта. Как обычно, картина отразила раздумья Глаголева, вызванные разговором с коллегами, старыми и новыми, по Генштабу (как помнит Тамбиев, их паломничество к Глаголеву не прекращалось и когда хозяин дома у Никитских носил темно-синий, обсыпанный пеплом костюм, и сейчас, когда он надел генеральские погоны), а может быть, и работой над рукописью, что лежит сейчас на письменном столе Маркела Романовича.

Дверь открылась так тихо, что Тамбиев не уловил момента, когда Софа переступила порог комнаты, но услышал ее вздох перед первыми словами:

— У нас гости, не так ли? — Ей со свету было не разглядеть. — Николай, это вы?

Тамбиев обернулся и увидел ее посреди комнаты. Армейский ремень, густо-желтый и широкий, немилосердно стянул ее талию, и от этого она показалась ему такой тоненькой, какой никогда он не видел ее прежде. Что-то убыло в ней там, на Псковщине, какая-то частица ее красоты, ее молодости, а может, не только молодости, осталась там. Никогда прежде Тамбиев не видел ее такой некрасивой (только красивый человек может так внезапно подурнеть) и никогда прежде не чувствовал, как бесконечно дорога она ему.

— Ну, что вы стоите, как перед причастием, садитесь, — сказал Глаголев и вышел. Очевидно, у него не было иного средства победить волнение.

Глаголев ушел так внезапно, что у Тамбиева было ощущение, что его бросили на произвол судьбы. Хотелось, как там, на берегу

подмосковных прудов-зеркал, вставших в ночи вертикально, трахнуть по их стеклу, чтобы разом все померкло.

— По-моему, Маркелу Романовичу очень трудно, — сказал Тамбиев, когда они сели: он в одном углу комнаты, она — в другом. — Наверно, то, что я скажу, для вас не ново, но я скажу: за отцом не грех пойти на край света.

Она наклонила голову и спрятала свои ярко-синие глаза.

— А чем был для меня Псков, как не этим?

Она сказала что-то такое, что все переиначивало. Тамбиев не мог не вспомнить только что сказанного Маркелом Романовичем: «Ты отца не бросай». — «А я и не бросаю». И это глаголевское, смятенное: «Поняли? Вы поняли? Нет, нет, я вас спрашиваю, вы поняли?» Значит, смысл в одном: кто ей отец, как это понимает она… Софа сказала: «А я и не бросаю» — и уехала от отца во Псков, к Александру Романовичу. Здесь ее ответ?

Вошел Глаголев и, оглядев их, понял: было сказано нечто такое, что касается и его.

— Я рад, что мы сейчас здесь втроем, — сказал Глаголев. «Он явно переоценивает мою роль в жизни Софы», — подумал Николай. — Мне даже кажется, что я ждал этой минуты. Я сказал Софочке сегодня утром: если ты не хочешь меня убить, ты должна вернуться… Могу я ей так сказать, Николай?

— Можете, — сказал Тамбиев.

— Я тебя спрашиваю: могу я так сказать? — спросил Глаголев Софу, но она не ответила.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал Николай.

— Я провожу вас до угла, — откликнулась Софа. — Можно?

— Да, конечно, но не дальше — вон как завьюжило, — указал Тамбиев на окно, запорошенное снегом. Он не хотел, чтобы этот диалог, этот жестокий диалог сейчас повторился.

Она застучала сапожками по железной лестнице, чем ближе к концу, тем размереннее — ею овладело раздумье, как могло показаться, тревожное, это отобразил ее шаг.

Он мигом сообразил: у нее не было необходимости заходить к себе. Шинель ее была тут, на круглой вешалке, что стояла у лестницы.

— Зайдем.

Он быстро пошел вслед за нею, и, когда она открыла дверь, послышался запах свежего хлеба. Запах был добрым: в нем, в этом запахе, было и тепло, и домовитость, и, так показалось Николаю в тот миг, любовь.

— Софа! — не вымолвил, а крикнул он. — Соф…

Она обернулась и, вскинув длинные руки (ой господи, какие же они были у нее в ту минуту длинные — от земли до неба!),

бросилась к нему и стала целовать.

— Я там думала о тебе, я думала… — ее горячий шепот коснулся, казалось, его лица, проник в грудь. — Думала, поверь… — Он слышал запах ее губ — было в нем что-то от травы, пригретой солнцем, — теплое и свежее. — Стыдно сказать, я приехала, чтобы взглянуть на тебя, — она засмеялась, точно моля его простить ее, потом заплакала, приникнув лицом к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы — они были обильны, эти слезы, и бежали напропалую.

Как же она была сейчас хороша! Эта лучистость, которой были полны глаза и которая, словно пролившись, лежала на ее лице, пригасив его краски, казалось, была только у нее… И певучесть, что была в ее голосе, чуть-чуть грудном и чистом, казалось, тоже напитана этой лучистостью. И смех ее, которого она стеснялась, закрывая лицо руками, тоже был напитан этой лучистостью… Все казалось: в ней должна быть эта верховная и чуть-чуть суеверная могущественность, которая собрала в одном человеке достоинства, каждое из которых может сделать его сильным… Наверно, Тамбиев внушил себе это, даже наверняка, но ему очень не хотелось отказываться от этой мысли.

— Ты все еще думаешь об этом? — она подняла глаза к потолку — имелся в виду разговор с Глаголевым. — Пойми, умрет Александр Романович — и я умру, как, впрочем, после моей смерти и он жить не будет… Ты понял меня, понял? — Она необычно встревожилась, очень хотелось, чтобы Тамбиев ее понял. — А вот случись так, что меня не станет, Маркел Романович будет жить…

— Если даже так и произойдет, вины Маркела тут нет, — горячо возразил Тамбиев — уж он, Тамбиев, не поднимет руки на Маркела. — Я видел, как он тебя ждал, — это любовь.

— Нет, это не любовь, это одиночество… Прости меня, эгоизм — болезнь липучая, от нее так просто не отделаешься, хотя сознание, что ты эгоист, это уже хорошо.

— Маркел осознал?

— Наверно, но он тут ни при чем — пришел час, он и осознал.

— Час прозрения?

— Час одиночества.

— В твоих мыслях — порядок завидный, но это не похоже на Маркела. Пойми, он добр.

— А его доброта не враждует с его эгоизмом.

— Доброта ненастоящая?

— Как говорит моя тетка-словачка: «Не важно, считают ли тебя добрым люди, важно, чтобы ты сам считал себя таким».

— Тебе не жаль его?

— Жаль, но я ничего не могу с собой поделать.

— Но у тебя и желания нет… что-то сделать?

Она задумалась.

— Главное для меня — отыскать правду: когда я найду ее, я ее раба.

— Правда у Александра?

— Можно сказать и так.

— Она может быть у Александра, если Маркел виноват, но разве есть тут его вина? — спросил Тамбиев, он все еще надеялся защитить Маркела. — Когда ты потеряла мать, Маркел все еще был на колесах, казенных колесах… Эти его военно-дипломатические миссии вначале к славянам западным, потом южным… Куда ему было с тобой?

— Мать, что оставляет свое дитя, уже не мать, а почему должен быть иной закон для отца, тем более что уже нет и матери? — Она усмехнулась. — Военно-дипломатические миссии — это очень много, но в данном случае недостаточно…

— Но согласись: если у Александра не только правота, но еще и доброта, пусть явит он эту доброту — сострадание к брату благо… Не так ли? — настаивал Николай, настаивал теперь по инерции, ее доводы были крепче — ей не надо было импровизировать, ее доводы были определены жизнью.

— А при чем здесь Александр Романович? — спросила она. — Все во мне, все во мне!

Как заметил Тамбиев еще прежде, была в ней участливость, даже душевная мягкость, а вместе с этим непоколебимость железная — все, что она решила однажды, она не перерешала — это было даже чуть-чуть страшно. Наверное, для дела это было хорошо, для жизни, как думалось Николаю, не очень.

— Но когда возникла земля прадедов, Маркел благословил? — спросил Тамбиев, понимая, что не так-то просто ответить на этот вопрос — в самом деле, Маркел благословил ее полет в Словакию, а вот Александр… нет, нет, Александру не просто было дать свое согласие.

— Маркел сказал «да», — ответила она тихо — ну конечно же, смятение объяло и ее.

— А Александр?

Она молчала, только встрепенулись ее ресницы и загасили густую синь глаз, — наверное, и ей не просто сейчас собраться с мыслями.

— Александр не мог сказать «да»…

— Погоди, да не тут ли ответ на все вопросы? — спросил Тамбиев осторожно; казалось, он обрел козырь, какого не имел до

сих пор, но, странное дело, радости не испытал, напротив, испытал тревогу. — Значит, тот, кто благословил на святое… судим?

Она села подле него на тахту, руки ее дрожали.

— Нет, нет, все не так просто и, прости меня, примитивно… Маркел сказал: «Иди», а вот Александру потребовалось больше времени на решение. «Да готова ли ты к этому?» — спросил он меня… Понимаешь: в его вопросе был страх за меня…

— Он имел право на этот страх? — спросил Тамбиев.

— Имел. Он — отец.

Они вышли из дома. Снег, выпавший в полдень, не успел обрасти настом, и ветер гнал по двору белые вихри.

— Подождем здесь минуту, — она посмотрела на темную стену дома рядом — дом охранял их от ветра.

Они вошли в это кирпичное ущелье и, подняв глаза, увидели: красные стены, выросшие у них за спинами, точно подталкивали их друг к другу, точно говорили: «Глупые, вам все равно не разминуться в этой жизни, у вас одна дорога, а по сторонам стены, вот такие…» И то ли от беспомощности, то ли от злости, которая поднялась в нем и завладела им, то ли от обиды, а может, от отчаяния, ему захотелось взорвать ее снисходительно-безразличное состояние.

— Послушай, Софа, — произнес он. — Нет, нет, дай сказать мне… — он упер руки в противоположную стену, и Софа оказалась точно в ограде. — Вот отец твой, — поднял он глаза — их дом был рядом, — и вот я… — он перевел дух, нет, слов решительно не было. — Что тебе еще надо?

Она засмеялась — в смехе была робость, это он почувствовал безошибочно.

— Тебе нужен человек, который бы нес тепло в эту стужу, — ответила она и этим «тебе нужен» словно указала ему его место — все вернулось к старому берегу. — А я скиталица, и со мной лишь ветер, вот такой…

Она ссутулилась, ей стало зябко. Сейчас и он заметил: в кирпичном ущелье, как в трубе, гудел ветер.

— Только не смейся надо мной: я должна сделать что-то настоящее, — она не без опаски посмотрела на стену, что возвышалась над нею, будто стена грозила обвалиться. — Должна сделать, и ты… меня уже не отвратишь.

— Но могу я тебя спросить: что это — твоя Словакия?

— Ничего не спрашивай.

— Это свершится… теперь?

— Не спрашивай.

— Но ты… но крайней мере явишься, хотя бы однажды?

Она молчала.

— Обещай, что явишься.

Она все еще молчала.

— Я прошу тебя: обещай…

Она подняла вновь глаза на стену и быстро отошла от нее — будто стоять здесь было уже небезопасно.

— Прошу… обещай…

— Хорошо.

…Он пошел на Кузнецкий бульварами: от Никитских ворот к Петровским, от Петровских к Сретенским. Ветер стих, погода переменилась. Сейчас день был солнечным, обильно снежным и нехолодным, одним из тех зимних московских дней, когда наступающая весна угадывается не столько по теплу, сколько по резкости света и особой окраске теней — они лилово-голубые… Ему казалось, что-то было в природе такое, что его сближало с нею, она точно знала, что произошло с ним: и сочувствовала, и сокрушалась, и тревожно настораживала, и воодушевляла… Но вот что интересно: вопреки всем невзгодам встречи, жило в нем чувство благодарности к человеку, который подарил ему эту минуту… Его завтрашний день был смутен, но у него был день сегодняшний, и одно это делало его счастливым.

Он шагал на Кузнецкий… Есть в Софе эта цельность, определившая всю ее жизнь, и не в твоей воле изменить это даже в малейшей степени. Все будет так, как предсказано ее первосутью, а это значит: она решила взойти на свою трудную вершину, и она на нее взойдет. Если попытаешься воспротивиться, только усилишь ее муки. Поэтому смирись и, пожалуй, жди. Преодолеет она этот хребет, не будет вернее друга… Вот Глаголев сказал: «Смерть для них большее благо, чем то великое, ради которого они идут на смерть». В чем-то Глаголеву изменило чувство меры, но всего лишь в чем-то — в формуле Маркела Романовича есть и правда. Поэтому все, что можно сделать, должна пронизать одна мысль: «Заклинаю — остерегись!..» Если ты не успел это сказать, скажи…

17

Тамбиев выехал в Котельниково на другой день после того, как советское радио передало первое сообщение о том, что попытки Манштейна прорвать сталинградское кольцо успеха не имели. Поехал Галуа, а вместе с ним новое лицо в корреспондентском корпусе: Боб Хоуп.

Поезд ушел из Москвы в предвечерние сумерки, и Николай, предвкушая долгую дорогу, завалился спать. Он не знал, как долго проспал и как далеко проехал, когда в зыбком сне, быть может полуночном, а возможно, и рассветном, услышал голос, показавшийся ему необыкновенно знакомым.

— Да мне Тамбиева — он должен быть здесь! — произнес человек и топнул, очевидно обивая с ботинок снег.

Как ни трудно было проснуться, Тамбиев привстал. Казалось, сон набросил на тебя тридцать три одежонки, и не просто разметать их, из-под них выбраться. Кто бы это мог быть, да еще бог знает где?

— Николай Маркович, здесь вы?.. Живо одевайтесь — у нас нет и получаса!..

Кожавин!.. Ну, разумеется, возвращается с Гофманом из Сталинграда и ненароком узнал, что встречным поездом едут корреспонденты в Котельниково.

— Сразу видно, что время даром не теряли — управились! — заметил Тамбиев, пытаясь, как некогда в красноармейских лагерях на Урупе, одеться, будто по тревоге. — Который час?

— Почти шесть — скоро рассвет! Да вы поживее… Поговорим на воздухе, Николай Маркович, наш поезд рядом! — произнес Кожавин и направился к выходу.

Они вышли. Мороз был крепким — недаром ночь напролет проводники шуровали кочергой в топке. Но до рассвета было далеко — свет пока был не столько от неба, сколько от снега.

— Удержим Сталинград, Игорь Владимирович? — спросил Тамбиев.

— Ватутин сказал Гофману, что удержим.

— Ватутин?

— Да, Гофман беседовал с ним позавчера на рассвете в Серафимовиче. Ватутин не спал несколько ночей и клевал носом, но, просыпаясь, улыбался; одним словом, настроение у него хорошее. Он даже показал карту Гофману, которая свидетельствовала: там им крышка!..

— А как Гофман? На что обратил внимание?

— Он все старался ухватить, как много американской

техники под Сталинградом, даже пытался вывести процент…

— И вывел?

— Да, конечно. Говорит: немного. Меньше, чем думал.

— А в остальном?

— Странно, но, как мне показалось, у Гофмана своя система наблюдать фронт. Понимает, что приехал на фронт на неделю, а поэтому не в его силах охватить явление, а вот то, что можно назвать признаком явления, — в его силах…

— Солнце — за горизонтом, но облака светятся? — спросил Тамбиев.

— Да, пожалуй. Ну вот признаки явления, которые он засек: немцы обмундированы так же плохо, как под Москвой, да, да, как будто и Москвы не было, ее горького для немцев урока… Или еще признак: у русских появилась уверенность, какой прежде они не знали, кстати, и под Москвой…

— У Сталинграда должно быть продолжение?

— Не знаю, понял ли это Гофман, но мне это очевидно: наши готовы набросить на Сталинград второе кольцо. Вы поняли: второе кольцо! Вы только представьте себе: все войска, которые пытаются пробить сталинградский обруч, должны искать спасения, и вместо того, чтобы рваться на восток, устремятся на запад.

— Но у нас есть силы для второго кольца, Игорь Владимирович?

— По-моему, есть…

— Их и для Котельникова хватит?

— Котельниково — это особо… Эх, жаль, что вас не будет в Сталинграде, — бросил не без огорчения Игорь Владимирович.

— Что так? — спросил Тамбиев.

— На этой самой переправе, где кончается восток и начинается запад, ну там, где вода клокочет от падающих снарядов, как крутой кипяток на огне, и эту воду даже мороз не берет, кого бы вы думали я встретил на этой переправе? Бардинского отпрыска, вот кого. Нет, узнал его не я, он меня. Если быть точным, то узнал потому, что рядом был Гофман. Оказывается, даже в этом адовом огне знатный американский гость — событие. Одним словом, пока налаживали переправу, как сказал молодой Бардин — третий раз за сутки, нас увели от греха подальше, за бронетранспортер, что, как я заметил, вызвало у того же Бардина улыбку. «Как ни скачи — пулю не обскачешь, — засмеялся он уже в открытую. — Все эти меры предосторожности на войне никого не спасали». — «На войне человек становится суеверным?» — спросил я. «При этом так быстро, как это только может произойти на войне», — согласился он смеясь. Я спросил,

что надо передать отцу. Он сказал, что на прошлой неделе, когда немцы в очередной раз обратили мост в щепы и он попал в холодную купель, всему этому оказался свидетелем командарм Крапивин. «Э-э-э, так это же твоя стихия! — молвил командарм, когда Бардин вынырнул из-под рухнувшего моста и выполз на льдину. — Быть тебе адмиралом!» — «Это как же ад-дд-мирралом?» — спросил Бардин, стуча зубами. «Ну вот сменишь одежду, тогда объясню», — пообещал командарм, но в тот раз не договорил. Не успел. По мосту, который был сшит на скорую руку, командарм умчался в Сталинград. Умчался, но обещания своего не забыл — прислал нарочного и уволок Бардина на тот берег реки в блиндаж под тремя накатами. Стуча кулаком по карте, разостланной на столе, и время от время смахивая с карты солому и щебень, что обильно сыпались с потолка при каждом вздохе пушек, наших и немецких, командарм сказал Бардину: «Нет, я не обмолвился — быть тебе адмиралом. Собери с дюжину таких парней, как сам, а мы подумаем о деле. Вон какая длинная дорога впереди: о деле». Командарм дал понять, что сказал все, и Бардин, дождавшись ночи, выполз наружу. Только ночью и можно было добраться до того берега, да еще на четвереньках. Полз и думал: о какой длинной дороге может быть сегодня речь, фантазия, и только! Командарм сказал «адмирал» и не засмеялся, а надо было засмеяться, потому что без смеха такое не произнесешь! Не казалось бы это фантазией, может быть, и встал бы с четверенек на ноги и обернулся назад, туда, где, по словам командарма, и лежит этот длинный путь, а то ведь не было желания встать и обернуться. Вот так и дотянул до того берега — фантазия…

Игорь Владимирович выдержал паузу, припоминая, все ли он сказал Тамбиеву о молодом Бардине или нет, потом молча протянул руку и ушел. А Тамбиев думал сейчас даже не о новых «адмиральских» обязанностях Сережки, а о той первой фразе, с которой начал свой рассказ Игорь Владимирович о молодом Бардине. Да, да, об этих Сережкиных словах: «как ни скачи — пулю не обскачешь». Наверное, это его и прежде не стерегло, не заставило быть осторожным… Больше того, внушило уверенность: там, где не суждено тебе сложить голову, тебя и артиллерийский снаряд не возьмет, а вот там, где суждено… Попробуй объясни ему, что с такой верой прямая дорога на тот свет. Но вот что интересно: прежде нам казалось, что человека защищает от суеверия сама его молодость. Да, сама молодость является гарантией того, что человек не подвластен суеверию. Ну, а как объяснить это в случае с Сережкой?

…Поезда разминулись. Поезд Игоря Владимировича ушел на

северо-запад, Тамбиева — на юг. Он приближался к Сталинграду. Где-то в этой ночи, отмеченной вспышками артиллерийских снарядов, белым огнем ракет, отблесками неяркого снега или движением холма, застлавшего край неба, где-то в ночи лежала Волга, и в ее провале, охраняемый берегами, которые тут выше, чем обычно, — мост. Что он делает сейчас, «адмирал» Бардин, временно прикомандированный к деревянному понтону, перекинутому через Волгу? Гонит машины через понтон, тревожно поглядывая на небо, или дремлет, уперев худое плечо в холодную броню танка?

18

По мере того как поезд удалялся на юг, степь все больше обретала вид полустепи-полупустыни, какой способно было воссоздать воображение при одном слове «Прикаспий». По просторной равнине, кое-где укрытой островами неглубокого снега, гулял ветер, сгибая метелки высокой и жесткой травы. Казалось, Волга была не только рубежом обороны, но и рубежом жизни — дальше простиралась необжитая земля.

Как ни печальна была степь, когда поезд останавливался, пассажиры выбирались на снег и ветер. Если бы не полуденное солнце, то было бы видно зарево, неяркое, ощутимо дымное, невысоко стелющееся по горизонту, точно сдуваемое ветром. Но сейчас солнце и небо на западе серо-желтое, в тон степи. Никаких признаков того, что рядом был Сталинград, разве только полусожженная цистерна, да если прислушаться, не гром, а отзвук грома, что время от времени возникает над степью: ветер с севера, от Сталинграда.

Галуа поднимает глаза к небу, будто бы гром этот исторгнут не землей, а небом.

— Вы слышите, Боб?.. Нет, теперь вы слышите?

Для Боба Хоупа это первая поездка на фронт. Он прибыл в Россию две недели назад в надежде попасть в Сталинград. Хотя его направил в Россию большой нью-йоркский журнал и видимым поводом к командировке была перспектива получить от Хоупа некое впечатление очевидца, американца, судя по всему, больше заботило иное: как Россия и его русские впечатления отложатся в большом блокноте, из которого однажды уже родился роман о войне. На Западе все было проще: Хоуп ходил на подводной лодке к Манилам и дважды участвовал в налетах на Берлин. Он ходил к Манилам, а затем летал на Берлин не ради тщеславия, а потому, что считал: то, что зовется миром писателя, и есть сфера его жизненного опыта. Слово имеет право на жизнь не только тогда, когда за ним мысль, но и опыт бытия. С надеждой раздвинуть и обогатить этот опыт Хоуп поехал и в Россию. На вопрос Грошева, как он представляет свою работу в России, Хоуп ответил: «Так же, как в Лондоне, а еще раньше — в Южных морях». Грошев просил уточнить, и Хоуп сказал, что хотел бы слетать в блокадный Ленинград, а потом просит прикомандировать его к пехотной части, которая войдет в Сталинград и пленит Паулюса. Грошев ответил Хоупу, что просьбу его не просто выполнить, а пока он может предложить ему поездку в Котельниково.

Хоуп принял это предложение далеко не с восторгом, но в

Котельниково поехал. Всю дорогу Хоуп молчал, устремив серые с желтинкой глаза в окно, за которым лежала степь. Нельзя сказать, чтобы ему было не интересно общество Галуа, к которому он относился с почтительным вниманием, просто он был не очень охоч до разговоров, был начисто лишен красноречия, да и не стремился быть красноречивым. Не стремился, а поэтому не завидовал тем, кто этим даром обладал, в том числе Галуа. Его любимое занятие, как казалось Тамбиеву, было наблюдать, добираться до сути виденного. Для корреспондентской братии он был отнюдь не своим человеком и не хотел быть своим. Говорят, в пору жизни в Австралии, задолго до войны, он был близок к коммунистам, но вряд ли существовал человек, который рискнул бы спросить его об этом, а иных средств узнать не было. Никто не знал, как он относится к России, по той простой причине, что об этом он никогда не высказывался ни устно, ни письменно, но в его романе был герой, боготворивший Россию и упорно отказывающийся ехать туда, боясь разочароваться. Те, кто знал Хоупа, утверждали, что Боб писал себя. Но Роберт Грин не поехал в Россию, а Боб Хоуп решился. С поездки в Котельниково Хоуп начинал познавать Россию воочию…

Поезд, в котором ехали корреспонденты, стоял на полустанке, заваленном сожженными цистернами, а Галуа и Хоуп молча шли вдоль состава цистерн, время от времени останавливаясь и глядя на покореженное железо.

— Как на склоне вулкана, — сказал Галуа, издали посматривая на Хоупа. — Кратера не видно, а камни дымятся…

Хоуп обернулся.

— И нас не пускают туда, чтобы, не дай бог, мы не свалились в кратер, — поднял смеющиеся глаза Хоуп.

— Да, можно понять и так, — сказал Галуа, не ответив на улыбку Хоупа. — Я куда ни шло — птица штатская, но вы… — добавил Галуа поспешно…

— Что ни говорите, а обидно сознавать, что в дом, в который ты шел издалека, можно сказать даже, из далекого далека, тебе не суждено войти, а?..

— Для западного читателя Котельниково — это Сталинград, господин Хоуп, — сказал Тамбиев, приблизившись к беседующим; ему была небезразлична печальная интонация Хоупа. — Если быть точным, даже не только для западного.

— Да, вы правы, вы правы, — произнес Хоуп, стараясь победить печальную интонацию, но это ему плохо удавалось. — По-моему, мистер Галуа говорит с паровозным машинистом…

— Да, с паровозным… Мистер Галуа не теряет времени даром!

Галуа заметил, что машинист сошел с паровоза и, достав кисет с махрой, принялся сооружать самокрутку, сооружать ловко, торопясь это сделать, пока пальцы не одеревенели на морозе.

— Вот тут у меня есть, — Галуа вынул пачку с сигаретами; сам он не курил, но, направляясь на фронт, держал в кармане пачку сигарет — опыт подсказывал ему: ничто так не помогает завязать беседу с человеком, которого ты плохо знаешь, как выкуренная вместе сигарета. И хотя, как все некурящие люди, он обращался с сигаретой неловко и после двух затяжек принимался кашлять, он продолжал курить, понимая, что от этого зависит беседа, которую он начал.

— Да, мистер Галуа говорит, — произнес Хоуп, глядя в конец поезда, где его предприимчивый коллега уже с помощью нехитрой сигареты наладил разговор с машинистом. — Говорит мистер Галуа, говорит… — добавил он, и его серые глаза затуманились: как думал Тамбиев, у этого человека чувство зависти вызвало то, что Галуа говорит по-русски. Он, Хоуп, точно вразумлял Галуа: «Ты даже не понимаешь, несмышленый человек, как ты счастлив. Наверно, тебе надо на минуту обратиться в меня, чтобы понять это».

Тамбиеву было интересно наблюдать Хоупа. В мире корреспондентов, где компромисс был божеством, которому поклонялись все или почти все, этот человек, казалось, был бескомпромиссен. Тамбиеву хотелось думать, что, вопреки всем невзгодам жизни, Хоуп завоевал себе право исповедовать веру, которую может соотнести с нормами своей совести. Человек может отвоевать это право, если он храбр и, главное, бескорыстен.

Тамбиев был убежден: если бы об этих мыслях как-то узнал Грошев, то он бы не преминул внушить Тамбиеву: «Вы слишком доверчивы, Николай Маркович…» Многомудрому Грошеву нельзя отказать в правоте. И все-таки очень хотелось хорошо думать о Хоупе.

Тамбиев стоял у окна вагона и смотрел на белую степь, когда застучали армейские башмаки Хоупа, толстая подошва и подковы которых давали о себе знать, несмотря на ворс ковровой дорожки.

— Вы полагаете, что мы сумеем увидеть не только поле боя, но и кого-то из тех русских, кто… противостоял Манштейну? — спросил Хоуп.

— Да, мне так кажется.

— И, быть может, кого-то из больших русских, кто спланировал… операцию и дал ей жизнь?..

— Очень хотелось бы, но это труднее: у войск новые задачи…

— Я понимаю, понимаю… — заметил Хоуп, стараясь избежать в тоне известной категоричности.

— Можно подумать, что вы суеверны, господин Хоуп?

— Как все солдаты, которых пощадила пуля.

19

На краю села, на отшибе, чуть ли не в открытой степи, стоит школа. Еще не войдя в нее, можно почувствовать, как она светла — так много солнца в это ветреное, по-степному ясное утро, и он, этот свет, конечно, ворвался в широкие окна и заполонил здание.

— Я заметил: когда нас ведут в школу, предстоит нечто значительное, — произносит Галуа, и его лицо, которое он растер холодными ладонями, пламенеет. — Теперь скажите, Тамбиев: беседа?.. Кто он?

— Малиновский.

— Вот видите! Что я сказал?.. — обращается Галуа к Хоупу, который не торопясь шагает поодаль, перекинув через плечо вещевой мешок. — Вы слыхали: Малиновский!

— Да, Малиновский, — улыбаясь повторяет Хоуп. — У всевышнего хороший слух — он услышал наши молитвы…

Оказывается, школа полна не только света, но и тепла… Ума не приложишь, как можно обогреть школу в такую стужу. По всему, печи недавно промазали глиной — запах просыхающей глины, разумеется для крепости сдобренной навозом, а вместе с этим и свежее дыхание чуть подсыревших дров чувствуется в доме.

— Пожалуйста, генерал-лейтенант вас ждет… — лысый, с квадратным черепом полковник приподнял плечи и свел черные брови, отчего лицо его сделалось воодушевленно-свирепым. — Прошу вас… — Он шагнул к двери. — Товарищ генерал-лейтенант, можно к вам?..

Дверь распахнулась, и навстречу корреспондентам шагнул генерал, который, наверно, не только Тамбиеву показался неожиданно молодым.

— Здравствуйте, — генерал поклонился, и его длинные, видно тщательно промытые, волосы рассыпались, и их прядь накрыла ухо. — Здравствуйте, — повторил он, протягивая руку, и придержал другой рукой рассыпающиеся волосы.

Большой, с приятно покатыми плечами генерал обошел гостей, и каждый из них почувствовал взгляд его внимательно-пытливых глаз, точно о каждом генерал хотел составить впечатление до того, как разговор начнется, и соотнести это впечатление с тем, что удастся узнать о человеке в ходе беседы. А Тамбиев смотрел то на Галуа, то на Хоупа, думал: как воспринимают Малиновского они и каково мнение одного и другого? Ну, Галуа, пожалуй, может сравнить этого русского с Манштейном, которого русский поколотил только что в этих

степях, сравнить и сделать вывод: у русского, пожалуй, меньше фанатизма и больше юмора, меньше лоска и больше душевных сил, а вместе с этим больше трезвости, и скромной осмотрительности, и здравого смысла. А Хоуп?.. Что подумал он о Малиновском? Не иначе, сын русского крестьянина, наверняка думал Хоуп, которому эта приволжская степь чем-то напоминает поле, что возделывал отец или дед Малиновского где-нибудь на Дону или на Днепре, а этот мороз и этот скудный снег воспринимаются им не только в связи с тем, хороши они или нет для русских войск, но и хороши ли для русского хлеба. Наверно, комната, в которой они находились, была классом географии — у карниза продолжали висеть портреты Пржевальского, Беринга и Седова… То ли руки у немцев были недостаточно длинны, чтобы дотянуться до карниза, то ли они пощадили русских первопроходцев по той случайной и счастливой причине, что те были в эполетах и могли быть приняты за царских сановников.

— Располагайтесь, пожалуйста, — протянул Малиновский руку к некрашеному сосновому столу, стоящему посреди класса, — очевидно, стол был сколочен недавно, его тщательно оструганные доски пахли смолой. — Хотите по глотку французского коньяка?.. С мороза хорошо! — Он засмеялся, махнул рукой. — Среди тех дивизий, которые отрядил Манштейн, одна была прямо из Франции… так ей мы и обязаны этим!

Прежде чем распечатать бутылку, генерал приподнял ее и, обратив этикеткой к гостям, произнес:

— Настоящий «Конкорд», при этом, как говорят французы… си се ван вье се ле плю мье…

Галуа засмеялся, как всегда в минуты крайнего изумления, беззвучно.

— Вы говорите по-французски?..

Малиновский заулыбался, показав крепкие зубы, вскинул голову так, что пряди сухих волос взметнулись и опали:

— Да, немножко… Прежде — лучше.

— Прежде?

— Да, я ведь был во Франции вместе с русским экспедиционным корпусом…

— Вуаля… пандант ля премиер гэр? — Галуа норовил перейти на французский; кстати, в этой степени французским владел и Хоуп.

Но Малиновский осторожно и твердо возвратил беседу к русскому.

— Что та война в сравнении с этой? — спросил Малиновский. — Ну, хотя бы… танковое сражение под Котельниковом!

— Вам противостоял Манштейн? — спросил Галуа.

— Да, во главе трех пехотных и трех танковых дивизий…

— Простите, а что вы знаете о Манштейне? — это спросил Хоуп.

— Из молодых, стоящих… — произнес генерал, задумавшись. — Говорят, в военном деле, как, впрочем, и в дипломатии (Малиновский взглянул на Тамбиева), есть… мастера прорыва и, пожалуй, отражения!.. Да, в позиционной войне такой человек ничто, а вот когда надо быстро собрать силы и рассечь кольцо, ему нет цены: темперамент, энергия, а может, и авантюризм… вот таким мне видится Манштейн, — он рассмеялся — он был явно иронически-снисходителен к немцу.

— Простите, а себя вы причисляете к мастерам иного типа? — спросил Хоуп — ему была интересна психология сражающихся, и он решил начать беседу с этого.

— Да, очевидно, — ответил Малиновский, не переставая улыбаться, — он понимал, что беседа началась необычно и не совсем по существу, но не сетовал на собеседников. — Впрочем, не мне судить…

— Мастер прорыва… это что же, умение генерала стукнуть кулаком по столу, а если надо, пустить в ход парабеллум? — спросил Хоуп.

— Да, допускаю, что Манштейн может быть и таким, — сказал Малиновский.

— Но в Котельникове не помог ни кулак, ни парабеллум, не так ли? — продолжал Хоуп: казалось, эти вопросы он заготовил заранее — в них была известная последовательность.

— В Котельникове? — Малиновский рассмеялся, махнул рукой — в этом жесте было и хорошее настроение, и доброе здоровье, и знак того, что дела у генерала в это студеное январское утро идут хорошо… — Ерин… дай мне карту!

Полковник Ерин, тот самый, с квадратным черепом и свирепыми глазами, положил на стол перед генералом карту, на которой Аксай и Сал выглядели большими реками, а Котельниково и Зимовники едва ли не стольными градами. Малиновский взглянул, и тень тревоги, а вместе с тем и тень печали пробежала по его лицу — карта сберегла о тех памятных днях и ночах такое, что уже уходило в прошлое.

— Наверно, для такого человека, как Манштейн, характерно следующее: операция, которую он задумал, звалась «Бог», при этом первая ее часть — «Зимней грозой», а вторая «Ударом грома»… Как видите, против нас были обращены и силы неба! А если всерьез, то взгляните сюда… — он провел рукой по карте. — Манштейн начал свое наступление двенадцатого декабря по

сигналу «Удар грома». Его танки — их было несколько сотен — двинулись компактной и сильной колонной вдоль дороги Тихорецк — Сталинград, — кулак Малиновского, энергично сжатый, очертил полукруг, определив движение танков. — Надо отдать должное Манштейну, его удар был нацелен точно, а наступление велось в темпе, когда скорость удваивает реальные мощности и триста танков могут сойти за шестьсот. Были взяты один за другим два рубежа, — ладонь Малиновского, поставленная ребром, опустилась на карту и как бы разрубила железную дорогу Тихорецк — Сталинград. — Манштейн достаточно развил успех и подходил к Сталинграду, когда мы получили приказ выступить против него, — моя армия находилась в двухстах километрах от места боев… Была пурга, какая может быть только в декабрьской степи: не снег — сухой песок, не вьюга, а песчаная буря. Нет дорог, все вязнет, все буксует, разве вот только ноги человеческие… По сорок километров в сутки, по сорок — вот и получилось, что первой пришла пехота, а потом танки… Да, вначале только пехота, а уже вслед за ней — танки да, пожалуй, авиация… Вот это был контрудар! Но главное даже не в том, что двадцать девятого декабря Манштейн был уже там, откуда за две недели до этого по «Удару грома» он пошел на Сталинград… — Генерал свернул карту и провел теперь осторожной ладонью по столу. — Не в том!..

— Простите, а в чем главное? — спросил Галуа — впервые он поднял глаза от записной книжки, в которую с прилежной дотошностью записал все, что говорил Малиновский.

— В чем главное? — переспросил генерал и взглянул на дверь, куда только что вышел полковник. — Ерин, как с обедом? Прошу вас… это рядом, — произнес он, обращаясь к гостям.

В комнате, куда были приглашены гости, стоял такой же чисто оструганный стол, что и в кабинете командующего, но сервированный к обеду: средиземноморские сардины, тонко нарезанная буженина, яйца под сметаной, селедка, разукрашенная крупными кольцами лука, — все свежее, нестерпимо красивое.

Тамбиев смотрел на Малиновского, сидящего во главе стола, и думал: рейд к Зимовникам был трудным, но на лице этого человека нет усталости. Наоборот, весь он, спокойно уверенный, был олицетворением силы, а может быть, и превосходства над врагом, превосходства, которого не было вчера и которое есть сегодня. А Малиновский угощал. Видно, он любил принимать гостей, был хлебосолом, и сейчас, казалось, озабочен только тем чтобы гости хорошо поели. Но гости хотели продолжения

разговора и, пока несли в ярко-белой, опоясанной золотой каймой супнице бог весть откуда появившийся борщ, а потом разливали его, бордово-красный, весь в золотисто-янтарных бликах жира, пока разливали борщ, этот разговор возник.

Тамбиеву казалось: как ни обширна и сложна была беседа, Галуа шел со своей ухватистой киркой одной колеей, в то время как у Хоупа была другая. Хоупу был интересен человек на войне: его вера, психология, степень мужества и степень страха, что он может и что выше его сил. Интересы Галуа были обращены к иному: стратегическое начало войны, как ее понимают одни и другие, чем был отмечен день вчерашний и день сегодняшний, если психология, то в стратегических масштабах, если настроение, то только в том случае, если оно влияет на массы.

Беседой завладел Галуа, и она заметно обрела военно-стратегический характер. Казалось, что все время, пока продолжалась беседа в штабе, Галуа копил свои вопросы, чтобы их выложить сейчас. То, что теперь говорил Малиновский, показывало, что усилия Галуа удались.

— Смею думать, в поведении немцев появились черты, каких не было даже в пору Московской битвы, — осторожно начал Малиновский, не отрываясь, однако, от борща, который благоухал всеми своими ароматами — хозяин был южанином и знал толк в борще. — Пленные показали, как беспорядочны и, пожалуй, извилисты стали их пути на войне за последние три месяца. Так бывает, когда армии недостает резервов… Но это не все, — он поднял чарку водки, приглашая гостей сделать то же самое, но тоста не провозгласил — видно, у него была потребность выпить, он, как это принято в его родной Одессе, мог пить водку и под борщ. — И вот что характерно: при такой нужде в людях и технике немцы вдруг обнаруживают расточительность, которая им не свойственна: уходя, они оставляют много техники. Можно сказать, что отступающие части плохо вооружены, а по этой причине легко уязвимы… Поэтому если разгром, то разгром полный — такого не бывало прежде…

Галуа слушал Малиновского, склонившись над блокнотом. Как ни аппетитен был борщ, казалось, Галуа забыл и об этом, хотя проголодался порядочно и любил поесть. У него был свой, выработанный годами, метод записывать живую речь, при этом, как однажды он признался Тамбиеву, он предпочитал записывать по-русски, полагая, что перевод может исказить смысл сказанного собеседником. При том знании русского, какое было у Галуа, он успевал следить и за переводом, осторожно уточняя его или даже исправляя. Впрочем, наркоминдельские переводчики всегда учитывали, что рядом Галуа, и сами стремились придать

переводу такой характер, чтобы вторжение Галуа было естественным: они как бы приглашали Галуа принять участие в переводе.

— А Красная Армия?.. Как она? — Галуа понял, что Малиновский говорил о самой сути — надо было, чтобы он сказал все, что хотел сказать. — Как она? Что сегодня свойственно ей?.. Именно сегодня?

— Мы ведем наступление в больших масштабах, чем прошлой зимой, и главная наша трудность — растянутость коммуникаций.

— Это трудность немалая, — тут же реагировал Галуа — ему импонировало, что, отвечая на его вопрос, Малиновский начал не с успехов Красной Армии, хотя, казалось, имел на это право.

— Да, немалая, тем более в зимнее бездорожье, — согласился Малиновский. — Если нам удалось совладать с этим, то по двум причинам…

— Да, да?

— Реформы, которые осуществлены, так сказать, в структуре армии, укрепили ее. К тому же возросла стойкость солдата, его способность сражаться. В обстоятельствах, когда солдат прежде отступал, он сегодня стоек…

Тамбиев заметил: Одесса сообщила говору Малиновского свои краски — не строю речи, а именно говору. Они были так характерны, эти краски, что, не зная биографии Малиновского, можно было достаточно точно определить: Одесса.

— Вы имеете в виду танковый рейд Манштейна? — спросил Галуа. Он знал, что на первом этапе наступления, до того как подошли наши танки, советские войска, стоящие перед танками Манштейна, явили чудеса отваги.

— Да, и это… — подтвердил Малиновский скромно — разговор увлек его, и казалось, единственное, о чем он жалел сейчас, что борщ остыл. — Согласитесь, что, когда в открытой степи на тебя идут сто пятьдесят танков, нужно немалое мужество, чтобы остановить их.

— Их остановили? — Разумеется, Галуа знал, что танки были остановлены, но хотел еще раз услышать это от Малиновского.

— Да, конечно, — подтвердил Малиновский со свойственной ему скромной немногословностью.

— А как по-вашему, что стоит за этой стойкостью, как вы сказали? — подал голос Хоуп — пришло время и ему вступить в беседу. — Вера, которая была поколеблена, а теперь обретена?

Малиновский взглянул на Хоупа: в этих серо-сизых глазах с желтинкой были и пристальная заинтересованность и мысль.

— Нет, вера не была поколеблена даже летом сорок второго, когда было тяжелее тяжелого, но она росла с опытом… а опыт,

нет, не только военный, но и душевный, это много, очень много…

— Но это уже не опыт, а возмужание? — возразил Хоуп.

— А что есть возмужание, как не опыт? — спросил Малиновский.

— А как сорок третий?.. — Галуа пытался вновь повернуть беседу к проблемам стратегическим. — Что ждать от него?

Малиновский наполнил рюмки — он это делал неторопливо, стараясь затратить на нехитрую процедуру ровно столько времени, сколько требовалось для нужной ему паузы.

— Вы сказали: сорок третий?.. Но ведь это зависит не только от нас.

Галуа оживился:

— Второй фронт? — Он бы сообщил этому вопросу капельку юмора («Мол, извечная проблема, второй фронт!.. Как обойтись без этого в таком разговоре?»), но здесь это было неуместно, явно неуместно. — Этой проблемы без второго фронта не решишь?

— Нет, я этого не сказал, — заметил Малиновский, останавливая Галуа. — Но армия наша хотела говорить об этом круче… — он взглянул на Тамбиева, точно намеревался сказать: «круче, чем, например, дипломатия». — Вы понимаете меня: круче.

— Круче… с союзниками? — спросил Галуа.

— Да, разумеется.

— В каком смысле?

Малиновский поднял рюмку.

— Союз есть союз, когда слово не остается только словом… Так вот: за союз истинный и за сорок третий год…

Через час корреспонденты простились с Малиновским. Он надел полушубок и вышел вместе с ними из дома. Снегу прибыло, и машина ждала гостей на шоссе. Генерал простился с ними на полпути от дома к шоссе. Они шли, время от времени оглядываясь: Малиновский все еще стоял.

Малиновский… В это январское утро 1943 года, снежно-ветреное и морозное, этот человек, в полушубке и унтах, стоящий на окраине большого донского села, хотя и думал, что ему ведомы пути и перепутья войны, однако обманывался насчет своей прозорливости… Он не знал, что у победы на Дону будет легкая рука. Не вещун и предсказатель грядущего, он, естественно, не ведал, что еще в эту зиму встанет во главе Сталинградского фронта и освободит Ростов, а во главе Юго-Западного — Донбасс и Таврию. Ему трудно было предугадать и то, что через год после этой встречи на Дону его войска, на этот раз собранные под знамена Второго Украинского фронта, дадут бой врагу уже у стен Ясс и принесут заветную свободу Румынии и

Венгрии. Не знал он, что уже после победы над Германией пересечет бескрайние просторы России с запада на восток, а кстати и многие из тех мест, где прошел с войсками в страдные дни войны, у далеких наших восточных рубежей даст бой Квантунской армии и вынудит ее просить мира… Но в это морозное январское утро 1943 года человек в полушубке и унтах, стоящий на окраине донского села, не без надежды смотрел вперед, веря в счастливую судьбу своих войск и в какой-то мере в свою полководческую судьбу…

20

В Котельникове корреспонденты были расквартированы в домах местных жителей. Хоупу была отведена большая комната в просторном глинобитном доме, выходящая тремя окнами на дорогу. В доме хозяйничали молодая женщина с девятилетней дочерью и старик, то ли отец женщины, то ли ее свекор, который, однако, больше находился во дворе, чем в доме, заметно избегая встреч с гостями.

Был он высок, но ходил не сутулясь, в его манере ходить, держать голову, во взгляде темных, тронутых туманом старости глаз было нечто гордо-отрешенное. Казалось, ничто не могло изменить гордо-величавого вида, даже его ветхий тулупчик, латаный-перелатаный, даже его сапоги, подошва которых отвалилась и была скреплена проволокой, даже его очки, к которым вместо дужек были приспособлены тесемочки. Да, да, и в этом ветхом тулупчике и в драных сапогах он каким-то чудом умудрялся сохранить стать и достоинство.

Ему надо было много работы, чтобы заполнить долгий день, и он работал. По двору ходили поросенок да три курицы — он их холил, кормил и поил. Когда куры и поросенок были накормлены, принимался колоть дрова. Отдыхал он, присев тут же, на пне, который приспособил для колки дров. Пень стоял неподалеку от штакетника, за которым была улица. Все, кто шел по улице, видели старика.

— Здравствуйте, Христофор Иванович, — говорили прохожие, обращаясь к старику с почтительной ласковостью.

— Здравствуйте, — отвечал старик и снимал ушанку, обнаруживая лысину.

В сарайчике, куда уходил он время от времени за кормом для кур, была у него винтовка. Пятизарядная старая, видавшая виды винтовка образца девяносто первого года, с которой наши предки ходили в начале века на японца, а позднее, в первую войну, — на немца. Христофор Иванович определенно прежде не держал в руках винтовки, да вряд ли он был когда военным. Это легко устанавливалось, когда к вечеру Христофор Иванович уходил в степь — где-то там у него был пост. Взяв винтовку в руки, как берут ее солдаты, наперевес, он, едва выйдя за ограду, клал ее на плечо прикладом назад, — ему, несолдату, так было удобнее.

— Кто наш хозяин? — спросил однажды Хоуп молодую женщину и попросил Тамбиева перевести вопрос. — Кем он был прежде?

Хозяйка сказала, что старик доводится ей свекром. Он

учитель, преподавал математику. Хоуп захотел поговорить со стариком и попросил хозяйку сообщить старику об этом, однако тот ответил, что у него нет времени.

Но после встречи корреспондентов с местными старожилами, которая происходила в городской библиотеке и на которую народу собралось много, вернувшись, Хоуп сказал Тамбиеву, что хотел бы все-таки поговорить со стариком. Просьба прозвучала почти категорически, и старик не отвел ее. Он вошел в дом так, будто никогда там не бывал, и сел на венский стул, стоящий у стола, так, точно никогда не сидел на этом стуле. На нем была толстовка, подпоясанная матерчатым поясом, с отложным воротником, сшитая, видно, в двадцатые годы — тогда толстовки были модны. Из небогатого гардероба Христофора Ивановича (можно было сказать с уверенностью) толстовка надевалась только в школу, — математику он преподавал в ней.

— Мне рассказали в библиотеке про немца, что лежит в степи… — произнес Хоуп, с пристальной внимательностью глядя на Христофора Ивановича. — Вы к этому имеете отношение?

Скрипнул венский стул под Христофором Ивановичем.

— Да, самое прямое.

— Что там произошло?

Старый учитель качнул головой один раз, потом второй.

— Если быть кратким, вот что. — Он сказал: «Если быть кратким». Видно, математика, где все сжато до пределов формулы, приучила его к краткости, подумал Тамбиев. — Вон за тем холмом стоит кирпичный завод, а рядом с ним контора, из кирпича, разумеется, два этажа… — Он сделал паузу, раздумывая, достаточно ли был краток в своем рассказе. Пожалуй, про то, что здание конторы сложено из кирпича, можно было бы и не говорить, а вот про два этажа — существенно. — Уже после того, как прошла наша армия, колхозники подобрали в степи двух немцев: майора, вы можете с ним поговорить, и солдата, а вот с ним уже словом не перемолвишься… — Он помолчал не без печали — не иначе, вспомнил происшедшее. — Поместили их в комнате на втором этаже и дали нашим трем старикам по винтовке, установив очередь дежурств. Наказали: стеречь, а заодно и топить печку — она рядом с дверью, за которой немцы. Моя очередь пала на ночь, и вот тут все и стряслось, — он тронул лоб ладонью и ощутил, что он влажный — не хочешь тревожиться, да растревожишься. — С вечера слышу: неспокойно за дверью. Я-то не силен в немецком, всего только и мог удержать в памяти: «Криг, криг, криг!..» И еще: «Цайтунг, цайтунг, цайтунг!..» И, наконец: «Вассер, вассер, вассер!» Одним словом, идет там поединок жестокий, и кто-то уже просит воды.

Вот я и думаю: «Не дело майора с солдатом сажать — правда, она между ними не поровну распределена, у солдата ее больше…» Так я подумал, а печка моя тем часом разгорелась и этак осторожно тронула мне спину… Дело стариковское: меня и повлекло в сонную яму. Только слышу за полночь: «У-у-у-у!.. У-у-у-у!..» Ну вот, еще волков в этакое ненастье не хватало, думаю. А голос еще и еще: «У-у-у-у!» Я-то волков знаю, и голос их зловещий мне знаком — в этакое ненастье они озорные. Волки и волки, с той мыслью и взяла меня опять дрема… Однако что это я? — Он умолк, поймав себя на многоречивости. — Короче говоря, когда поутру пришлось сдавать пост, за дверью у меня не два немца, а один… «Где камарад?» — спрашиваем у майора, а он этак приставил палец к виску и ну дырявить: мол, сошел с ума и исчез в белом ненастье… Только тут я и сообразил: это же солдат немецкий выл в степи волком… Когда кинулись, а он тут же лежит, мороз его спек… Вот, пожалуй, все.

Он приготовился встать и уйти, но Хоуп попросил его повременить, — казалось, Христофор Иванович согласился неохотно, его история была исчерпана.

— Как вы понимаете: сошел с ума?..

Христофор Иванович качнул седой головой:

— Трудная задача… Там у них образовалась стычка жестокая: может, и сошел с ума, а может, и нет, — старик на все вопросы отвечал в соответствии с известным правилом: «Бабушка надвое сказала».

— А повидать майора можно? — спросил Хоуп.

— По-моему, можно, — произнес Христофор Иванович и пошел к двери. — Да только это не моя власть… Что не моя, то не моя.

Повидать майора оказалось делом непростым — фронт оторвался от этих мест, он уже шел на немца, этот фронт, где-то под Ростовом. Пришлось тревожить полковника Ерина из штаба Малиновского. Разумеется, разрешение было дано, при этом незамедлительно. Последнее имело значение: после всего случившегося не прошло и двух суток, событие требовало расследования, солдат еще лежал в степи…

Из разведотдела фронта мигом примчался золотобородый подполковник с предписанием устроить встречу немца с корреспондентами и, в зависимости от обстоятельств, направить пленного в лагерь. Золотобородый, как понял его Тамбиев, происходивший из Саратова и выросший в немецкой семье, знал язык настолько, что пробовал писать стихи, а потерпев неудачу, воздвиг литературоведческий труд о немецких поэтах-антифашистах. Разумеется, разведотдел не потребовал знания

немецкой литературы, но что-то пригодилось и в разведотделе: офицер писал листовки. Все это золотобородый рассказал Николаю Марковичу, пока они ждали «виллис», который должен был доставить их на кирпичный завод, рассказал охотно, почувствовав интерес Тамбиева к себе и к тому, что он делал в разведотделе, да кстати и отрекомендовался: Касьян Сергей Тимофеевич.

Когда сели в «виллис», Хоуп вспомнил про Христофора Ивановича, но старого учителя не просто было уломать, пришлось подполковнику употребить власть: Христофор Иванович поехал.

Близился вечер, и степь казалась лиловой, особенно в тех местах, где легли балки, их уже заполнило чернильной полутьмой.

Немец-майор увидел в корреспондентах некое начальство, которое ждал вторые сутки, и, приветствуя, так ударил каблуками об пол, что окно распахнулось, точно приглашая корреспондентов взглянуть на степь, где лежал мертвый солдат.

— В вашем доме я видел вторые рамы, — сказал Хоуп Христофору Ивановичу, указывая на окно. — Здесь их нет?

— Где они есть, а где их нет, — ответил Христофор Иванович в обычной своей манере — в его ответе одновременно были и «да», и «нет». — Где печь послабее, там они есть, а где пожарче…

— Здесь пожарче? — уточнил Хоуп, улыбнувшись.

— Как видите.

Касьян предложил майору сесть. Майор это сделал с робкой готовностью, но лишь тогда, когда сели все остальные.

Золотобородый представил корреспондентов. Майор вскочил и хлопнул каблуком об пол еще раз и тут же обратил глаза к окну — на этот раз оно не открылось. Касьян объяснил ему, что корреспондентам стала известна история с гибелью солдата и они хотели бы задать несколько вопросов, — немец поклонился в знак согласия и поднял несмелую ладонь, дав понять, что намеревается говорить.

— Хочу сказать сразу, — заметил немец, указывая на Христофора Ивановича. — Старик не виноват.

Корреспонденты улыбнулись: немец был не дурак; одним ударом он хотел расположить к себе и Христофора Ивановича, и присутствующих. Однако вначале — анкета, самая элементарная. Итак, Ганс Гизе, сорок три года, майор саперных войск, родом из Гамбурга, окончил строительный институт, женат — начал рассказ майор, хотя в этом не было крайней необходимости, об этом можно было и не сообщать.

— Вы… профессиональный военный? — спросил Хоуп, вопрос был для него важен, под этим знаком он хотел рассмотреть

происшедшее.

— Да, инженер-мостовик, — ответил немец.

— Вы знали… погибшего прежде? — инициативу диалога Хоуп взял в свои руки — он был заинтересован больше своего коллеги.

— Знал ли я Фейге?

— Его звали Фейге?

— Да, Курт Фейге… Нет, я его впервые увидел здесь, — произнес майор, поразмыслив, и посмотрел в угол напротив — там висела шинель Фейге, что свидетельствовало: немец оказался за окном без шинели.

— Сколько вы пробыли с Фейге здесь, простите? — продолжал спрашивать Хоуп.

— Семь или восемь дней… Нет, пожалуй, семь, — произнес Гизе не без смятения — видно, он сейчас не мог решить, куда отнести последнюю ночь: к жизни или смерти погибшего. — Да, семь, — повторил он и с силой оперся о левое колено — Гизе волновался, и колено вздрагивало.

— Что он говорил вам о себе?

Майор взглянул на шинель и тотчас отвел глаза, будто в углу находилась не шинель Фейге, а он сам.

— Он сказал, что ему пятьдесят восемь, что он плотник или столяр, скорее плотник, что его призвали в прошлом году и определили к саперам, что он отец четырех сыновей, трое из которых призваны и уже погибли…

— Кого он винил в их гибели?..

Гизе посмотрел на Хоупа внимательно — он почувствовал в его вопросах некую тенденцию и, возможно, усомнился в том, что перед ним корреспондент…

— Войну, конечно, — ответил Гизе.

— Ваши беседы с ним были… мирны?

— Да, конечно, — поспешно подтвердил немец. — Что нам делить… в нашем положении?

— В ту ночь вы спорили, — сказал Хоуп. — Вот свидетель. Я даже могу сказать, о чем…

Майор взглянул на Христофора Ивановича — не показалось ли немцу, что ключ от того, что произошло, в руках старика, — возможно, что русский нес свою вахту у двери и с этой целью — и он знает немецкий?

— О чем мы могли спорить?

— Я знаю — это был принципиальный спор, о войне, — тут же реагировал Хоуп.

Гизе опять взглянул на Христофора Ивановича, потом на шинель Фейге, висевшую в углу: их было двое — он, Гизе, один.

— Фейге был человеком… как бы это сказать, нервным. Эти три сына, которых он потерял на войне, не шли у него из ума. Как мог, он старался отвлечься. Вот видите? — он протянул руку к тумбочке. — Нет, нет, не бойтесь, подойдите сюда! Теперь видите? — На тумбочке уместилась стайка птиц, каждая с наперсток, птицы были вылеплены из хлеба, вылеплены с завидным умением и точностью. — Взгляните на это пристальнее: он успокаивал себя этой работой, я скажу больше, спасал… Вот вам доказательство: сумасшедший знает, что он сумасшедший, — он спасал себя.

— Но тогда… какой смысл спорить с сумасшедшим? — сказал Хоуп.

Прежде чем вопрос доходил до Гизе, вопрос должен обойти Тамбиева и подполковника: с английского на русский, а уже с русского на немецкий. Майор ждал, пока вопрос дойдет до него, ждал, запасшись терпением, и только все чаще вздрагивала его левая нога.

— Когда вы в комнате вдвоем, нет иной возможности, как говорить с сумасшедшим, — ответил майор.

— Но вы говорили с ним о проблемах, о которых с сумасшедшим не говорят, — вдруг выстрелил свой вопрос Галуа, выстрелил по-немецки — он знал немецкий, правда, ученически, но его познаний в языке хватило вполне, чтобы задать этот вопрос.

Майор оглянулся на Галуа: немец ожидал всего, но только не этого. Нет, нет, тут определенно мистификация: зачем вопрос совершал едва ли не кругосветное путешествие, если человек, сидящий рядом, говорит по-английски и по-немецки?

— Если хотите знать, мы все сумасшедшие… — произнес Гизе, устремив глаза в окно — того гляди, рванется и выпрыгнет. — И я, и я!..

Хоуп молчал, молчал и Галуа. Света не зажигали, и чернильная мгла, что лежала в степных балках, вышла из берегов и залила снег, добравшись и до комнаты, где они сейчас сидели.

— Но вы были достаточно благоразумны, чтобы не выпрыгнуть за своим товарищем в окно? — осторожно подал голос Хоуп. — Даже когда он кричал в степи… — добавил он и посмотрел на Христофора Ивановича.

— Да, он кричал… — сказал Христофор Иванович.

Нога вырвалась из рук майора и подпрыгнула.

— Но заметьте: я спасал его по меньшей мере трижды! — вскричал Гизе. — Вот тут… спасал! — указал он на койку Фейге.

— Это каким образом? — спросил Хоуп, оглянувшись; он встал и направился было к двери, но последние слова Гизе

остановили его.

— Когда мы попали сюда, он сказал мне: «Майор, я буду кричать ночью, будите меня — иначе я умру. У меня больное сердце, и ночью меня мучит удушье». — Гизе оглядел присутствующих, ища сочувствия. — О, вы не слыхали этого полуночного мычания!.. Трижды я будил его…

— И спасли?

— И спас.

— Тогда кто убил его? — спросил Хоуп и, не дождавшись ответа, пошел к двери. Остальные пошли вслед.

21

Они вышли и оглядели степь. На западе ветер раздвинул тучи, обнажив облачко, освещенное закатным солнцем, — оно давало свет степи.

— Он лежит где-то рядом, Фейге? — спросил Хоуп, поравнявшись с Тамбиевым. — Можно посмотреть?

— А надо ли? — спросил Касьян. — Мертвый, он и есть мертвый… Ну, что тут… особенного?

— Надо, — сказал Хоуп. — Мне надо.

Не оборачиваясь, Хоуп зашагал прочь от дома — он готов был идти в степь и один. Галуа и Тамбиев пошли вслед. Поразмыслив, зашагали и Касьян с Христофором Ивановичем. Американец торопился, он хотел успеть, пока не погасло облачко над степью.

— По-моему, это здесь, — сказал Галуа, останавливаясь, и шагнул от дороги к стожку соломы, стоящему за кюветом.

— Сворачивайте, это здесь! — окликнул Тамбиев Хоупа.

…Немец лежал у стога соломы. Он был так мал, что, если бы не седая щетина, его можно было бы принять за подростка. Лицо не казалось обескровленным, наоборот, оно было странно живым, как лицо уснувшего человека. Видно, он дополз сюда, уже замерзая, — руки его были разбросаны: умирая, он не ощущал холода.

— Его убил Гизе? — спросил Касьян — у него, разумеется, было свое мнение, но он хотел знать, что думают корреспонденты — для них эта история кончилась, для него только начиналась.

— Гизе убил, — сказал Хоуп. Он давно ответил себе на этот вопрос и сейчас всего лишь сказал об этом вслух.

— Гизе? — переспросил Касьян, но взглянул не на Хоупа, а на Галуа.

— Я должен еще подумать, — сказал Галуа. — Подумать, подумать, — повторил он. — Да важно ли… кто убил?

— А что важно? — остановился Хоуп. В его тоне было ожесточение: он чувствовал, что поединка с Галуа не избежать, этот поединок назревал.

— Важно, что Фейге убит.

Хоуп все еще стоял, хотя все остальные продолжали шагать.

— И не важно, кто убил?

— Подумать, подумать, — произнес Галуа так, будто жестокой реплики Хоупа он не слышал. — Кто убил немца, Христофор Иванович? — спросил старика Галуа, приметив, что старик хранил молчание.

— Ума не приложу… — ответил Христофор Иванович. —

Просто ума не приложу.

Они вернулись в село и вошли в дом, надеясь, что молодая хозяйка предложит им чаю.

— Христофор Иванович, что значит «не приложу ума»? — спросил Хоуп, когда они сели за стол, — ответ старика был ему переведен едва ли не буквально. — Майор убил немца?..

Старик не торопился с ответом.

— Я бы поостерегся сказать так… — заметил Христофор Иванович, когда молчать дальше было уже неудобно.

Хоуп встал, зашагал по комнате — его канадские башмаки на толстой подошве, казалось, увеличивали силу шага и сотрясали дом.

— Вы — русский! — вскричал Хоуп. — Как вы можете?

— Ну а что из того, что я русский?

Хоуп склонился над стариком:

— Вы-то должны знать немца лучше… он — убил.

Старик пожал плечами — к тому, что он сказал, ему нечего было добавить.

— Так то же Христофор Иваныч — много вы от него захотели! — подала голос молодая хозяйка из соседней комнаты. — Сказывают, в ту войну, когда красные были и белые, так он на горище под нашей крышей прятал беляка и красняка зараз! Только ширмочку промеж ними поставил, чтобы не поцарапались…

Раздался хохот, не смеялись только Хоуп и Христофор Иванович.

— Ну, а вы что думаете? — спросил Хоуп Касьяна — он видел в русском подполковнике власть, и ему надо было знать его мнение.

— Я думаю, что майор виноват в смерти солдата, но это и для меня пока не доказано… — сказал Касьян; возможно, его мнение было не в такой мере неопределенно, но он не торопился высказывать его.

Часом позже, когда корреспондентам подали «виллис» и они пошли к машине, Хоуп, взглянув на дорогу, ведущую в степь, увидел Христофора Ивановича, — уложив винтовку на плече, как обычно, прикладом назад, старик шел на дежурство — он заступал в ночь.

— Иисус Христос из Котельникова? — поинтересовался Хоуп, не отрывая глаз от долговязой фигуры старика, который замедлил шаг, поднимаясь в гору, — название корреспонденции у американца было готово, оставалось написать ее.

А днем позже, уже в Зимовниках, прерванный разговор возобновился, когда корреспонденты отогревались в наскоро

отстроенной будке железнодорожного стрелочника. Чугунная времянка, та самая, какую проводники берут в товарные вагоны, отправляясь в дальнюю дорогу, была накалена докрасна, и Хоуп, сидящий к печке особенно близко, был похож на индейца с Дальнего Запада, откуда, кажется, он PI происходил. А Галуа берег сердце и не приближался к печке, однако протягивал к ней тонкие, словно без суставов, пальцы, — как заметил Тамбиев, Галуа был начисто лишен рисовки, но при случае демонстрировал свои красивые руки — руки пианиста: Галуа хорошо играл.

— По-моему, в том, что произошло на кирпичном заводе, есть один знак, — сказал Галуа, опасливо поглядывая на раскаленную печь. — Что-то треснуло в душах немцев.

— Нет доверия друг к другу? — спросил Хоуп.

— Больше, — возразил Галуа. — Они смотрят друг на друга с ненавистью.

— Но ведь это можно сказать, если майор убил солдата, — тут же реагировал Хоуп. Он возвращал Галуа к прерванному спору, грубо возвращал.

— Не знаю, не знаю, — был ответ Галуа.

Нет, на этом разговор не кончился — просто он ушел вглубь и в подходящий момент должен был возникнуть с новой силой. Так оно и случилось. Когда корреспонденты готовились покинуть Зимовники, мороз неожиданно спал — видно, переменился ветер. Вдруг пахнуло чем-то тоскливым, больше того, непобедимо тревожным, что характерно для ранней весны. Быть может, ветер, идущий от каспийских пределов, принес эти запахи, а возможно, они были в самой здешней земле, и ветер разбудил их. Галуа увлек Тамбиева на степную тропку, которая, выбежав из окраинной улочки, перечеркивала степь и удерживалась, схваченная крепкой наледью, даже там, где снег стаял.

— Не находите ли вы, что на кирпичном заводе сцепились не двое сумасшедших, а двое несчастных? — спросил Галуа, не скрывая раздражения.

— Вы приняли сторону сердобольного Христофора Ивановича? — был вопрос Тамбиева.

— Мудрого Христофора Ивановича, — уточнил Галуа — он искал случая сказать это Хоупу, а сказал Тамбиеву.

— Как понять — «мудрого»?

— Смысл того, что сказал Христофор Иванович, в этом и состоит: двое несчастных…

— Говоря так, вы оправдываете живого и корите мертвого, не так ли? — настаивал Тамбиев.

— Нет, конечно. Согласиться с Хоупом — значит назвать

убийцу, а мы его не знаем, — заметил Галуа — он неспроста увел Тамбиева в степь: у него горела душа, и он хотел разговора. — Все, что сказал мой американский коллега, меня не убеждает — эта его праведность не искренняя.

— Погодите, вы говорите так, как будто бы я не был там, — произнес Тамбиев. — Вы сказали: праведность.

— Он так быстро нашел виноватого, что я, признаться, растерялся, — заметил Галуа. — Я еще был в плену сомнений, а он все решил, а должно быть наоборот.

— Почему наоборот?

— Писатель все-таки он, а не я…

— Если писатель, то сомнение, Алексей Алексеевич?

— Да, сомнение, если даже все ясно. Где сомнение, там нет корысти. Где нет корысти, там и правда.

— Вы полагаете, что в данном случае корысть есть, Алексей Алексеевич?

— Не знаю.

Они шли сейчас вдоль ветрозащитной полосы деревьев — здесь было тише, чем в открытой степи.

— Когда вы говорите «Не знаю», вы себе сказали: «Знаю», не так ли? — спросил Тамбиев.

— Не знаю, не знаю, — повторил Галуа, но и на этот раз его слова прозвучали так: «Знаю, знаю!»

— А коли не знаете, о чем речь?

Галуа остановился, выломал ветвь акации, что есть силы ударил ею по смерзшемуся снегу, один раз, потом второй, третий.

— А вот о чем, вот… — произнес он и перевел дух — пока он бил своей палкой по снегу, сердце его зашлось. — Вам не следует так легко принимать это на веру…

— Значит, дипломат что писатель, Алексей Алексеевич: сомнение?

Он обратил к Тамбиеву лицо, и его брови, странно изогнутые, медленно поползли на лоб, того гляди очутятся на макушке.

— Именно сомнение. Все, кто легко соглашаются, недоговаривают…

— Все, но не Хоуп.

— Не знаю, не знаю, — в который раз сказал Галуа, помрачнев: казалось, он был заинтересован довести этот разговор до конца. — Старик прав: именно двое несчастных, — вернулся он к началу разговора. — Как и те двое, которых он прятал на этом своем «горище», когда были красные и белые, — неожиданно произнес он: не к этому ли итогу он хотел свести разговор? — Да, да, как те двое, но это уже другая тема… Не скрою, старик взволновал меня, он дорог мне, этот Христофор Иванович…

— Хоуп сказал: Иисус Христос из Котельникова, — произнес Тамбиев.

— А Иисус Христос — это не всегда плохо, — заметил Галуа. — Поверьте мне: не всегда…

— Да в Иисусе ли Христе дело? — улыбнулся Тамбиев. — Нет, здесь все сложнее… Одним словом, я бы хотел к этому разговору вернуться… С вашего разрешения, Алексей Алексеевич… — добавил он.

— Да, пожалуйста, — произнес Галуа не без раздумий. — Но вот что интересно: в этой истории я увидел Сталинград и новый знак войны…

— Новый? — спросил Тамбиев.

— Новый, — подтвердил Галуа.

22

Поздно вечером двадцать четвертого декабря, когда Бекетов собрался уже идти домой, позвонил Шошин и сказал, что сегодня в Алжире убит Дарлан.

— Какой-то молодой француз, почти мальчик, стрелял в адмирала и смертельно ранил… — пояснил Шошин, как всегда без видимого интереса к сказанному — казалось, он похвалялся тем, что умеет о самых сенсационных событиях говорить безучастным тоном. — Дарлан, конечно, умер, а вот мальчик чувствует себя героем-избавителем…

Сообщение Шошина будто припечатало Бекетова к стулу: смерть Дарлана в такой мере отвечала устремлениям разных англичан и французов, что, казалось, именно они и приговорили Дарлана к смерти, при этом всякое иное мнение следует еще доказать, а это так очевидно, что его можно только опровергать, а не обосновывать.

Его привел в себя телефонный звонок — звонил посол.

— Зайдите, пожалуйста, — произнес он и положил трубку — наверняка он был не один. В иных обстоятельствах он бы осведомился: «Шошин и вам сказал? — и пояснил бы саркастически: — Ничто так дорого не обходится, как компромиссы с совестью. Жизнь — самая малая цена за это…»

Бекетов пошел к послу.

— Вы уже все знаете? — Посол заглянул в книгу, лежащую на столе, — в нем еще жил интерес, вызванный чтением. — Не исключено, что де Голль вылетит в Алжир — там предстоят события значительные… — Он наклонился к книге ближе, перевернул страницу. — Приготовьтесь и вы, Сергей Петрович. Ваши отношения с французами могут быть нам полезны. — Он решительно отстранил книгу от себя и этим как бы подчеркнул, что разговор с Бекетовым предпочитает всему иному. — Там предстоит баталия, не бескровная…

— У Дарлана были преемники? — спросил Бекетов.

— Да, своеобразные, — отозвался посол. — Тот раз у де Голля был с вами… Грабин из нашего малого посольства? — это почти ласкательное «малое посольство» относилось к второму советскому посольству в Лондоне, аккредитованному при союзных правительствах: Франции, Югославии, Польши, Чехословакии. — Да, Грабин.

— Весьма возможно, что полетите с ним, — сказал Михайлов. — По-моему, этот Грабин — хроник: везде и всегда опаздывает. Говорят, умный и милый человек, но вот такая

странность. Что с него взять, если он, как утверждают, не только дипломат, но и знаток египетских манускриптов. Ему сам бог велел опаздывать. По опыту знаю, что лечить эту болезнь бесполезно — ничего не получится. Главное, что он сам убежден, что в первом случае он опоздал потому, что лопнула пружина часов, а во втором шина автомобиля. В остальном же он на уровне… Ходят слухи, что по-французски говорит, как говорили у нас только в прошлом веке. Нет, вас посылают не для того, чтобы вы страховали Грабина, а просто потому, что верят в вас. И Богомолов просит очень. — Он опять скосил глаза на книгу, что, очевидно, значило: все необходимое он уже сказал или почти сказал. — Ну, вы, разумеется, недоумеваете: британские дела и вдруг Алжир. Казалось бы, вы правы, казалось бы… Поймите, что это правило распространяется на всех, но только не на дипломатов. Ну, разумеется, и в дипломатии есть восточники и западники, африканисты и латиноамериканисты, больше того, есть, наверно, японисты, китаисты, индологи… Но все это до поры до времени. Бывают обстоятельства, когда дипломат-индолог направляется в Штаты, а латиноамериканист в Японию. Не буду говорить вам, что, посвятив годы и годы изучению Великобритании, я представлял страну, например, в Японии и Финляндии. К тому же сегодня есть одна проблема, которая обнимает все прочие проблемы: война… В ваше утешение могу сказать, — он улыбнулся не без лукавства, — все мы сегодня в меру наших сил занимаемся французскими делами. Франция — это сложно. Поэтому в путь!

«Да были ли у Дарлана преемники? — думал Бекетов, возвращаясь от посла. — И кто в этой новой обстановке сможет противостоять де Голлю? Почтенный консерватор Жиро? Почтенный консерватор?.. Да применимо ли к Жиро само это определение? Что знает он о Жиро? Генерал не столько от французской метрополии, сколько от колониальной Франции. В мае сорокового был пленен немцами, однако через два года бежал из плена и оказался в Виши. Если учитывать, что Жиро бежал всего лишь к Петену, возникает подозрение: не тот ли это вид побега из плена, когда пленившая армия заинтересована в побеге больше, чем сам пленный. Во Франции Жиро был известен как друг Петена — поэтому его „побег“ мог быть инспирирован маршалом. А потом состоялся второй побег Жиро, на этот раз более убедительный, чем первый: Жиро, не без помощи американцев, устремил свои стопы в Алжир. Не без помощи американцев? Да, в представлении правоверных американцев де Голль был почти неотличим от Тореза: и один и другой были в маки. Поэтому все, кого можно было обратить против де Голля,

против него обращались — старик Жиро не составлял исключения. Позиции Жиро были тем прочнее, чем воодушевленнее де Голль говорил о революции, а он пока что говорил о революции.

Но почему преемником Дарлана, в той мере, в какой это зависело от правоверных американцев, например, мог стать Жиро? Что было у Жиро общего с Дарланом? Просто ли консерватизм или нечто большее: воинственный антикоммунизм, возможно даже антисоветизм? Они призвали этот антисоветизм, чтобы утвердить себя, или здесь нечто большее?.. Ну, например, желание воздвигнуть стену, которая остановит грядущий русский вал? Если рассмотреть факты (только факты!), характеризующие отношения Запада с русским союзником, наверно, признаки этой тенденции будут заметны — чем ближе к Сталинграду, тем заметнее: что-то надо сделать с этим русским валом — того гляди, накатится и слизнет матушку Европу. Как это ни парадоксально, все то, что произошло с Дарланом, может устраивать даже американцев. У людей есть память: в своих отношениях с немцами Дарлан пошел дальше того, что может себе позволить деятель, перебросившийся к союзникам. Правда, он мог повести себя так, как повели некоторые его коллеги рангом пониже. „Я был солдатом, и моими действиями руководил приказ…“ Но тогда Дарлан не был бы Дарланом…»

Самолет прилетел в Дакар на исходе дня. Меловое солнце, резкое и сильное, казалось, выутюжило землю, добравшись до самых потаенных ее складок. Как после утюга, пахло паленым.

Знаток египетских манускриптов, прибывший в Дакар тремя днями раньше, естественно, опоздал к прилету бекетовского самолета, и Сергей Петрович, предупрежденный на этот счет в Лондоне, готовился отбыть в город один.

— О, простите, дорогой Сергей Петрович, прошибло покрышку, а запаски у шофера не оказалось, — произнес Грабин, неожиданно появившись перед Бекетовым, и, полагая, что объяснения, которое он только что дал, вполне достаточно, перешел к сути: — Прилетел третьего дня и верчусь, как та белка, которую приставили к колесу, наказав быть «перпетуум-мобиле»… Тут одно событие за другим!

— История с Дарланом имеет свое продолжение?

— Да, вчера по приказу Жиро казнен этот юноша… Говорят, до последней минуты не мог понять, что происходит… Когда человек, к тому же такой эмоциональный, каким, как мне кажется, был этот мальчик, из стана единомышленников вдруг попадает в стан врагов, ему действительно трудно постичь происходящее…

— Но… кого представлял этот мальчик? — спросил Бекетов, оглядывая пустынную в этот час площадь перед аэровокзалом. — Не де Голля?

— Возможно, и де Голля, хотя и не непосредственно…

— Но тогда почему генерал не встал на защиту мальчика?

— Собственно, что де Голль для Жиро?

— Недостаточно влиятелен?

— Пожалуй… — ответил Грабин, как показалось Бекетову, нехотя — он предпочитал не обращаться к прогнозам.

— Значит, единоборство будет неравным?

— Так ли? — парировал Грабин. — Еще не сказало своего слова время… Впрочем, время — категория зыбкая…

Они пересекли площадь и вошли в тень двухэтажного здания — стена, у которой они сейчас стояли, все еще дышала зноем.

— Как вы спланировали свое время здесь? — спросил Бекетов — он хотел приблизить разговор к существу того, что его интересовало в Алжире. — Что вы будете делать завтра, например?

— На рассвете в здешний порт вошла французская подводная лодка, и ее командир отдал себя в распоряжение Жиро… Предстоит церемония, на которой, как мне сказали, должны быть представители одной и другой стороны. Правда, второй — не официальной… — Он взглянул на Бекетова и не прочел на его лице воодушевления. — Чисто психологически это будет небезынтересно…

— Вторая сторона представляет де Голля?

— Да, разумеется, но пока… символически.

— А достаточно ли этого для нас? — выразил сомнение Бекетов. — Символика хороша, если есть все остальное…

— Что, например? Встреча с лицом влиятельным?

— Если не влиятельным, то хотя бы информированным…

— Из сподвижников де Голля?

— Нет, пожалуй, на этот раз Жиро. Важно увидеть все грани предмета…

Подошла машина Грабина, и они сели, ехали молча — хотелось додумать все, о чем только что шла речь. Машина двигалась теперь вдоль берега моря, и вода была выбелена под цвет земли и неба. Никогда Бекетов не видел такого моря, оно как-то не воспринималось, оно было всего лишь фоном, нужно было усилие, чтобы связать этот фон со всем тем, что владело в этот раз Бекетовым.

23

Торжество, о котором говорил Грабин накануне, можно было назвать торжеством условно. В конце мола, — он так далеко вдавался в море, что казалось, рассек его пополам и, будь на то желание у явившихся на церемонию, они могли бы пешком добраться до Франции, — возникла своеобразная площадка, размером в три железнодорожные платформы, поставленные рядом. Судьба-насмешница сыграла злую шутку, расположив на этом пятачке анонимно и не анонимно всех, кто связывал себя и хотел связать с завтрашним днем своей родины. Жиро явился собственной персоной, что же касается де Голля, то он здесь присутствовал символически: возможно, его представлял артиллерийский подполковник, бритоголовый и краснолицый, чей желтый, английского образца, планшет недвусмысленно свидетельствовал, что он прибыл сюда из Лондона; быть может, авиационный чин, явившийся на церемонию, возложив на грудь раненую руку на перевязи; а весьма вероятно, генерал в дымчатом френче, высокий и чуть-чуть надменный, дипломат или профессор военной академии, чем-то напоминающий де Голля и, может, поэтому приковавший к себе смятенно-настороженные взгляды свиты Жиро и едва ли не убедивший всех, кто явился сюда, что старому вояке противостоит сейчас именно этот генерал. Кстати, у генерала в дымчатом френче тоже были свитские, при этом в звании не менее высоком, что уже недвусмысленно указывало: он это, он… Иначе говоря, два человека, глядящие друг на друга в упор, должны были делать вид, что не узнают друг друга. Даже если учитывать, что у каждого из них была за спиной школа самого изощренного из протоколов — французского, это было сделать нелегко. Благо еще, они не столкнулись на молу. Случись это — не разойтись! Но и на площадке было трудно: свита не столько разделяла их, сколько подталкивала друг к другу, а они не шли. Короче, только чудо уберегло каменную гряду мола от взрыва.

Как это бывало некогда где-нибудь в прованской или бретонской глуши, так и теперь воинственные птицы, расцвеченные алыми гребешками и перьями, полны были неодолимой решимости исклевать друг друга в кровь. Впрочем, огонь был надежно запрятан в камне, огонь буйствовал в камне и, быть может, распирал его, но не был виден. Напротив, ничто не могло нарушить непобедимого холода и молчания.

У Жиро была округлая спина, округлая и чуть-чуть сутулая. Быть может, от этого он смотрел слегка исподлобья. Резкие и

глубокие морщины, иссекшие лоб и разбежавшиеся лучиками от глаз, казались глубже оттого, что лицо его было загорелым. Трудно сказать, как стар был этот загар: возможно, он наслоился в ту далекую пору, когда Жиро служил в колониальных французских войсках, а возможно, лег на лицо генерала уже теперь. Так или иначе, а от загара, не столько медного, сколько угольного, лицо Жиро казалось еще более изможденным.

Генерал в дымчатом френче был в сравнении с Жиро аристократически бледнолиц. Это был цвет не столько возраста, сколько касты. Вопреки возрасту, Жиро выглядел строевиком, этаким колониальным воякой, чья все еще крепкая рука, сейчас затянутая в перчатку, точно была создана для того, чтобы держать эфес шпаги. Наоборот, весь вид генерала в дымчатом френче свидетельствовал: перед вами именно профессор, стремящийся постичь формы современной войны и соотнести их с принципами Гамелена и Шлиффена. И об этом свидетельствовало не только лицо его, но и его руки, вернее, рука, правая, — как-то особенно величественно и картинно он подносил ее к подбородку, и тогда было видно, как свежа и прозрачна кожа, какой аристократической голубизной отсвечивает она.

Генерал был моложе Жиро лет на пятнадцать, как, впрочем, и те, кто имел честь принадлежать к его свите. На пятнадцать лет, за которые Франция худо ли, бедно ли, но по восходящей сделала шаг от Пуанкаре к Блюму, нет, не к Даладье, а именно к Блюму, — от Даладье начинался новый круг, и шел он но нисходящей к Лавалю и Петену. Жиро не годился в отцы молодому генералу — разница в годах была слишком мала, да и разница во взглядах была не такой, чтобы можно было говорить об извечной несовместимости поколений, но идеалы Жиро существенно отличались от идеалов де Голля, то бишь генерала, а в конце концов, если и было во взглядах Жиро и генерала нечто непреходящее, а следовательно, существенное, то только идеалы — только они, эти идеалы, могли дать представление о том, как принципиальна борьба и могут ли быть в этой борьбе компромиссы, а следовательно, шансы к примирению.

Если политическая родословная Жиро начиналась с Пуанкаре, то у общественной генеалогии голлистов были иные корни: республика, как она виделась тем, кто стоял у колыбели республиканской Франции. Да, республика, а поэтому французская суверенность, немыслимая без союза с русскими. В том отнюдь не равнобедренном треугольнике, в который волею истории вписана французская суверенность, — Россия, Великобритания, Германия, — только союз с Россией гарантирует французскую независимость и государственность, при этом союз с

новой Россией в большей мере, чем когда-то с Россией старой, ибо новая сильнее, следовательно — ответственнее.

Поэтому, будь на то воля Жиро и генерала в дымчатом френче, пожалуй, подобру-поздорову тут не разминуться. Но протокол, железный протокол велит улыбаться, и военные улыбаются. Ну, хотя бы вот этот пышноусый генерал от инфантерии в свите Жиро, чем-то похожий на маршала Жоффра, ничего не находит предосудительного, чтобы перемигнуться с молодым генералом в дымчатом френче, перемигнуться почти демонстративно, а затем даже обменяться с ним каламбурами, которые вызвали у одного и другого смех, правда, затаенный, чтобы не поколебать более чем солидных основ, на которых держался мол.

— Вот это тот самый генерал Жардан, я говорил вам о нем… — шепнул Бекетову Грабин — казалось, сам генерал помог Грабину начать разговор, которому сегодня суждено быть продолженным.

— Генерал Жардан, генерал Жардан… да не тот ли это Жардан, что атаковал немцев где-то у люксембургской границы, когда они пошли в обход линии Мажино…

— По-моему, тот…

24

Они ехали минут сорок по асфальтовой дороге, которая неярко светилась во многозвездной ночи. Потом сошли с машины и неширокой улицей вышли к белостенному особняку, а затем к саду-плантации, достаточно необычному даже для здешних мест. Сад был расположен на дне открытой шахты, служившей для добычи щебня. Выбрав щебень, шахту не засыпали, а высадили апельсиновые деревья.

Генералу Жардану, которому был предоставлен этот особняк, импонировало, что он может рассказать историю сада. Он повел гостей в конец сада. Идя впереди гостей и отводя ветви, полные апельсинов (несмотря на позднюю пору, деревья были обременены плодами), генерал рассказывал. История сводилась к тому, что хозяин белостенного особняка, итальянец, видел подобные плантации в Сицилии — они разбиты повсюду, где велись раскопки и старые штольни не сровнены с землей. Эти сады-погреба хороши тем, что там апельсины созревают много позже, чем на поверхности, — для тех, кто владеет этими плантациями, нет межсезонья.

Рассказ о сицилийском саде был хозяину очень нужен, чтобы наладить беседу. Нет, дело было не только в том, что каждому из русских гостей хозяин давал возможность обмолвиться словцом о саде-феномене, столь необычном для русского глаза, но и в том, что он позволил перебросить мост к главному.

— Как вам Африка? — спросил Жардан Бекетова. — Африканский зной — это почти столь же неприятно, как зимняя стужа, не так ли?

— Не совсем, господин генерал, — возразил Бекетов.

— Возможно, возможно… — согласился Жардан поспешно: первая попытка завязать разговор не имела успеха.

— Но для французов, марсельцев или тулонцев жара нипочем? — спросил Грабин — он полагал, что не все потеряно.

— Да, пожалуй… все от того, где ты родился! — нехотя отвечал генерал. — Я, например, родом из местечка, лежащего рядом с Каннами, — мне жара не в тягость, а вот генерал Жиро, хотя и прослужил половину жизни в колониальной Франции, нелегко переносит зной…

Вот и имя генерала Жиро названо! Неважно, что оно вызвало паузу, весьма долгую, главное — оно произнесено.

— Генерал служил в колониальных войсках?.. — продолжил Бекетов, ему хотелось, чтобы этот факт из биографии Жиро, пока что единственный в устах Жардана, был уточнен.

Но француз понял вопрос пространнее, захотел понять пространнее.

— Что скрывать, до того, как закончится война, Франция должна еще раз скрестить мечи с немцами, — произнес он и оглядел собеседников. Как ни локален был вопрос Бекетова, он, этот вопрос, давал генералу возможность сказать многое из того, что он хотел сказать сегодня вечером. — Хотите вина, нет, нет, не алжирского, а французского… — он засмеялся, махнул рукой. — Французы даже в Алжире стараются пить французские вина. Привычка? Может быть, может быть… Итак, скрестить мечи вновь… Это будет достаточно серьезно, много серьезнее, чем было… Кто поведет французов — вопрос не праздный, отнюдь… Поверьте, я не зависим в своем мнении и могу ответить на этот вопрос, не оглядываясь… К тому же я солдат, что дает мне некоторые козыри, так сказать… Кто поведет французов?

Он умолк — теперь он мог себе позволить это: первое звено разговора образовалось. Он молчал, разливая вино — оно было терпким и холодноватым, пилось легко, утоляя жажду. Несмотря на то что сицилийский сад был расположен на глубине не менее трех-четырех метров, там было сухо даже в вечернее время. Ваза, стоящая на столе, была полна винограда и яблок, крупных, ярко-белых, чем-то напоминающих белый налив. В этом мире цитрусовых яблоки были не так обычны.

— Тот, кто поведет французов, должен обладать качествами, которые позволили бы моим изверившимся соотечественникам сказать: я ему верю… — Нет, не вино, которое он пил, будто дегустируя, небольшими глотками, а азарт беседы разгорячил его: он раскраснелся.

Сергей Петрович готов был простить Грабину все его слабости — переводил он артистически. Бекетов, который шел к французскому от английского и знал его, как знают институтские профессора, не столько разговорно, сколько в чтении, полагал, что Аристарх Николаевич познавал язык в семье. Бекетов даже убедил себя в том, что знание французского в семье Грабина было преемственно и незримая ниточка вела из дней нынешних в глубину прошлого века, а может, даже века восемнадцатого, к далеким прадедам Грабина, которые могли быть и особами сиятельными… Непонятным было только одно: каким образом предки, передав своему далекому правнуку из века восемнадцатого в век двадцатый свои таланты в знании языков, непредвиденным образом забыли передать остальное?.. Но язык Аристарх Николаевич знал и обращался к нему не без удовольствия: тот самый элемент игры и импровизации, который, как казалось Бекетову, есть во французском в большей мере, чем

в каком-либо ином языке, особенно был заметен, когда говорил Грабин.

— Это должен быть человек, которого Франция знает, — первое, — продолжал Жардан. — Именно знает, а это не так мало! Это должен быть солдат, да, солдат, ходивший в атаку на немцев и в ту войну и в эту… Иначе говоря, его должны знать и народ и армия… Я — солдат, и я понимаю: последнее обстоятельство — армия! — очень важно… Конечно, в нашей практике были случаи, когда министром вооруженных сил назначался человек в партикулярном платье, но это к добру не приводило!.. Итак, два требования, да и кандидатов, как мне представляется, два… Но на ком остановить выбор? По-моему, не обязательно произносить имена. Как вы полагаете?

Жардан прервал разговор, когда он коснулся сферы деликатной. Продолжать его было небезопасно, но необходимо… Не следовало забирать инициативу разговора из рук Жардана — пусть рассказ ведет он, пусть даже продолжает ставить вопросы. Казалось бы, начальная скорость его рассказу сообщена и остановка нежелательна. Остановишься и — рухнешь. Но он едва не остановился.

— Да, народ, но по нынешним временам народ вооруженный… — произнес Бекетов — он мог разрешить себе сделать такое замечание. Оно было не обнажено, это замечание, но все, что следовало сказать, в нем предполагалось.

— Вы хотите сказать, что судьбу Франции решит не только армия, но и народ, вооруженный народ? — переспросил Жардан — он пытался нащупать суть вопроса, и, кажется, ему это удалось. — А у вооруженного народа должен быть и соответствующий лидер? — произнес генерал. — Да, ядро вопроса сейчас было в его руках, он все понял. — А не думаете ли вы, что и для этой роли он не совсем подходит?.. — Видно, трудно было продолжать этот разговор, не называя имен. Казалось, Жардана вот-вот прорвет и он скажет: «Ну, разумеется, я говорю сейчас о де Голле… как прежде говорил о Жиро!» Но он зарекся называть имена и хотел довести этот разговор, не нарушив обета. — В самом деле, что в нынешних французских условиях есть вооруженный народ?.. Маки! А что есть маки?.. Коммунисты! Я не склонен умалять достоинств, которые столь явны: ну, например, интеллигентности и даже интеллекта, но в данном случае требуется иное… — Ему стоило труда произнести все это, не назвав имени, но он справился и с этой задачей.

— Непонятно, генерал, что требуется в данном случае? — спросил Бекетов: по мере того как разговор приближался к сути, напряжение росло.

Жардан допил свой бокал, и его щеки, казалось, восприняли цвет вина — они стали гранатово-бордовыми.

— Надо иметь большую фантазию, чем у меня, чтобы увидеть… профессора во главе маки… — не сказал, а пробормотал Жардан (он не без труда отыскал этот псевдоним: «профессор») и, оглянувшись на Бекетова, произнес поспешно: — Нет, нет, я не сказал, что генерал Жиро требует меньшей фантазии…

Он встал; вечерняя влага, идущая с моря, проникла и в сад — сейчас здесь было так же красиво, как в начале вечера, но уже не так уютно, — Жардан пригласил в дом, кстати, там был накрыт стол к ужину.

— Ну, я не раскрою никаких секретов, если скажу, что усадьба моих родителей была в нескольких километрах от родового дома де Голля, — произнес он, поднимаясь, и, как это было несколько раньше, ссутулившись, пошел через апельсиновый сад. — Наши отцы были дружны и выбирали будущее сыновьям, советуясь друг с другом. Я скажу больше: пробовали даже дружить мы, но характеры!.. — он засмеялся так громко, что казалось, плоды в сицилийском саду качнулись.

— Всего лишь характеры? — спросил Бекетов.

— Да, именно характеры, и это немало, — ответил Жардан.

Он остановился — до особняка оставалось метров пятнадцать, и, хотя ночь была совершенно безлунна, белые стены в разрывах деревьев были медово-туманны, как на ночных пейзажах Куинджи.

— Не знаю, был ли брошен жребий или нет, но дело уже дошло до рукопашной — полетели головы!.. — вымолвил генерал — он продолжал стоять, давая понять, что разговор не окончен. — Упаси господи попасть в эту мясорубку даже в нашем скромном положении солдат! — он произнес последнюю фразу не без воодушевления — видно, он запасся ею, этой фразой. В самом деле, если есть шансы отстоять позиции Жиро, он готов обратиться к доводам действенным; если эти доводы недостаточны, он готов мигом превратиться из политика, влияющего на дела страны, в солдата. О, это перевоплощение всесильно — оно, казалось, было способно спасти даже Дарлана, будь тот чуть-чуть прозорливее. — Это как раз тот случай, когда казнь не истребляет и не устрашает, а родит новых… Они повсюду со своими пистолетами! — он зябко повел плечами, обернулся, не померещилось ли ему, что из апельсиновой полутьмы целится убийца Дарлана?

«Нет, наверно, не только характеры разделяют сторонников де Голля и Жиро сегодня, — думал Бекетов на обратном пути,

когда машина неслась к городу. — Но то, что характеры обрели значение, которого они в принципиальном споре никогда не имели, свидетельствует, что разногласия существенны…»

25

Русское радио сообщало военные новости в одиннадцать по московскому времени. Как ни тяжел был минувший день, все, кто бодрствовал в посольстве, собрались к Шошину — его «Филиппс» был безотказен, как, впрочем, и сам Степан Степанович. Ну, разумеется, рациональный Шошин слушал радио, не прекращая работы: правил гранки, читал вечерние газеты, конечно же записывал все значительное, что передавало радио Москвы, записывал лаконично: название места, дату, реже — формулу, которой определено главное событие. Ему было легко заниматься вторым делом, так как он не тратил сил на восприятие новости, как бы значительна она ни была. Шошин всего лишь вздыхал да, пожалуй, быстрее, чем обычно, выкуривал очередную папиросу, устилая обильным пеплом лежащий перед ним лист бумаги, на котором характерным шошинским почерком, разумеется «полупечатным» с такими четкими «р» и «т», вдруг было выписано: «Ростов-Дон».

Бекетову стоило труда дослушать радиосообщение — он оставил Шошина, направился в дальний конец коридора, где была рабочая комнатка Екатерины — она не возвращалась домой раньше мужа.

— Ты слыхала? Наши Ростов взяли! — крикнул он ей с порога, увидев, что, взобравшись на стул, она пытается дотянуться до форточки и закрыть ее.

— Ты бы подождал, пока я сойду со стула, — произнесла она едва слышно, и ее рука остановилась.

— Закрывай, я помогу тебе сойти, — устремился он к ней и, так и не дождавшись, пока она захлопнет форточку, подхватил ее, вдруг подивившись, как она легка. Да, с той заповедной поры, когда где-то у Шлиссельбурга, а может, у Стрельни он, перебираясь через ручей, взял ее на руки, маленькую, неожиданно невесомую девочку — ей было тогда шестнадцать с половиной, — он не поднимал ее и не помнил, как она легка.

Его точно кто-то толкнул под сердце — стало невыносимо жаль ее. Сразу подумалось, как ей было худо, когда, оставшись одна-одинешенька, она коротала свое житье-бытье на Остоженке, как жила на свои двести граммов черного хлеба и на соевом масле, как уходила в щели и подвалы, подхватив сына и голубое байковое одеяло, как скиталась по подвалам соседних домов, а когда бомбежка застигала ее в городе, спускалась в ближайшую станцию метро, а потом шла по шпалам от Белорусского до Калужской и дивилась, много раз дивилась, как долог был этот

путь. Все это вспомнил Бекетов сейчас, и так сжалось сердце, что, казалось, не выпрямиться, не повести плечом, не шевельнуть пальцем.

А потом они сидели рядом, неожиданно окаменевшие, и она говорила:

— Ну, уж теперь Ростова не отобьют, не отобьют!.. Сорок третий не сорок второй!.. — Она умолкла, но с места не сдвинулась — хотела додумать нелегкую свою думу. — Доживу я до такого времени, чтобы слово мое было услышано и обращено в дело? «Я, Екатерина Бекетова, сорока шести лет от роду, свидетельствую…»

— Что же ты засвидетельствуешь?

— Что засвидетельствую?.. — Она склонила голову, точно мысль, явившаяся сию минуту, сделала ее голову тяжелой. — Слушай меня… В августе сорок первого, когда «хейнкели» приходили в Москву как на дежурство, а я весь день ждала этого часа и думала, как уберегу своего ребенка, в один из этих августовских дней, а вернее, вечеров мы ушли с Игорем на станцию метро… Там еще стояли эти койки деревянные, на которой мать, если она не больше меня, могла уместиться со своим детенышем. И вот в эту ночь я услышала разговор, который помню и теперь. В вопросе, который задала девочка матери, было что-то не просто ребячье, а ученическое, но ученическое с немалым смыслом, — видно, накануне об этом шла речь в школе. Девочка спросила: «Нет, не сейчас, мама, а после победы, что будет для тебя хорошим и что плохим?» Не помню, что ответила мать, но это, наверно, не важно: в сорок первом было до победы много дальше, чем сегодня. Мне запомнился вопрос девочки, возможно, потому, что я услышала его в ту ночь, а быть может, и не только поэтому. Даже наверняка не только поэтому — сущность того, что есть наша тревога сегодня и, может, завтра, я вижу в этих словах.

— Наша тревога и наша забота: победа? — спросил Бекетов.

— Победа будет, а вот за победой… что за победой?

— А что за победой? — спросил он.

— Что за победой? — повторила она. — Человек.

Он смолчал: Екатерина!.. Вот итог ее раздумий.

— Человек?

— Да, человек… — подтвердила она. — То большое, что он призван сделать в этом мире, что хотел сообщить всей сути его наш учитель… Я хочу подчеркнуть это: наш учитель…

Бекетов чувствовал, как волнение, необоримое, овладевает и им: что-то насущное ему почудилось в том, что она сказала сейчас, — был в ней этот совершенный инструментик, который

безошибочно вел ее к существу.

— Ты сказала: призван сделать?

— Да, именно призван, Сережа. — Его внимание было и ей приятно, она смягчилась, а это, наверно, сейчас было для нее важно, так как дало большую уверенность в себе, а следовательно, большую свободу мысли. — Как я понимаю это призвание, Сережа?.. В дни Октября наш человек отважился на великое: изменить сам климат земли, подвигнуть людей к свободе… Создал Республику Советов — то был первый день творения. Одержал победу в войне — по мне, это и есть вторая заря… А что есть день третий? Ты со мной можешь не согласиться, но вот что я думаю… День третий — это сама наша страна, как о ней мечтали предтечи революции. Помнишь у поэта: «…и трижды, которое будет!» Прости меня, но Октябрь совершился, Октябрь совершается, да, да, создав страну, которую задумали эти самые предтечи, мы и совершаем Октябрь. Но кто создаст эту страну, если не человек? Поэтому нет у нас тревоги большей: человек!.. Его зрелость, а следовательно, сознание, его интеллект, его жизненный и профессиональный опыт, его способность к труду… Поэтому на первый вопрос: «Что будет для тебя, мама, хорошим?» — я отвечаю: «Способность сделать человека Человеком». Можешь со мной не согласиться, но знатными людьми послевоенной поры должны быть те, кто воспитывает человека и в самом широком смысле этого слова могут быть названы педагогами, будь то школьный преподаватель, библиотекарь, университетский профессор, райкомовский лектор, выступающий перед массами… Да, да, я не побоялась бы из людей убежденных и талантливых создать институт ораторов, идущих к народу с большевистским словом и поднимающих народ… Вот моя мысль: реальная ценность нашего человека, количество драгоценного металла, которое в нем есть, если за этот драгоценный металл принять его человеческую чистоту и его верность нашим принципам, должно быть таким, чтобы это соответствовало самому смыслу того, что есть Советский Человек…

Он взглянул на жену и изумился: вдохновение, которое сейчас владело Екатериной, помогло ей прогнать и усталость и хандру. Совершилось чудо: к ней вернулась молодость.

— Но ты этого человека не создашь, Екатерина, не победив плохого… — заметил Сергей Петрович. — Кстати, об этом плохом и шла речь… во второй части вопроса.

— Ты хочешь знать, что я имею в виду, разумея плохое? — спросила Екатерина воинственно. — Изволь!.. Не хочу быть прорицательницей, но есть грибок, я наблюдала его рост даже

после войны гражданской… Это страсть, бешеная страсть к накопительству, которая убивает и сознание, и душу, не говоря уже об интеллекте, ибо что есть накопительство, как не эгоизм, который пожирает все живое… Да, первым гибнет тот, кто продал душу дьяволу накопительства: как говорил наш институтский профессор, есть алтарь, где гражданин превращается в обывателя — однажды и навечно, это алтарь собственнической страсти. Это превращение тем более заразительно, что оно поощряется иллюзией: человек гибнет, не сознавая этого, больше того, чем он ближе к роковой черте, тем у него большее ощущение, что он живет лучше…

— Погоди, с какой стати ты заговорила обо всем этом? — усмехнулся он. — Немцы еще на нашей земле, да насущно ли это для нас?

— Насущно, как насущно все, что относится к победе, — ответила она.

— Ты считаешь, что это имеет отношение к победе?

— Самое прямое.

…Человек рядом с тобой, и нет человека неизведаннее, думал он. Было в ней что-то шошинское, жестоко-привередливое, неудовлетворенное, взывающее к совести и ответственности… Ничто не могло смирить ее беспокойства, утишить ее тревоги. Ей нельзя было отказать в знании жизни — этот музей, под невысокими потолками которого скрещивались пути тысяч, явил ей такие тайники нашей жизни, какие и Бекетову были неведомы, хотя Сергей Петрович жизнь знал… Остальное в самой природе человека: ей казалось, что даже в Бекетове, вопреки всем его бедам, жило нечто усыпляющее его зоркость, остроту его гражданского зрения. А сказав себе это, она вечно была начеку, сделав своим призванием вот эту тревогу и эту неудовлетворенность. Наверно, ограничив себя этими пределами, она в какой-то мере лишила себя радости жизни… Пафосом ее земного существования были отрицательные эмоции, а на этих эмоциях человек жить не может — природа требовала иного. С жадностью, которая была свойственна ее натуре, она обращалась к музыке, радость была там… На ее рабочем столе всегда была стопка вырезок с программами симфонической музыки — она шла на концерт, как на богослужение, и возвращалась просветленной… Она должна была нести в себе эту музыку и все жаловалась на то, что «музыка в ней источилась» и ее не хватает до следующего концерта… И тогда она начинала рыться в газетах, отыскивая программу нового концерта, и стопка вырезок на ее рабочем столе росла. Как приметил Бекетов, вернувшись с концерта, она чуть-чуть сторонилась Сергея Петровича: она была

не от мира сего. Она говорила, что музыка помогает ей уйти в себя и послушать свои мысли. Послушать мысли?.. Она всегда была с ним откровенной, но он мог и не знать, какие токи пронзали ее, когда она уходила в себя, какие слова шептали ее губы, что у нее было на сердце… В ней жил вечный порыв к самоусовершенствованию… Была в ней еще одна страсть, с каждым новым днем ее жизни в Лондоне все более явная: язык… Ей нравилось учить язык, больше того, это ей доставляло удовольствие. Было нечто общее между ее увлечением музыкой и изучением языка. Она даже убедила себя в том, что в самой природе того, что являли собой музыка и язык, была некая нерасторжимость: обширность самого предмета, богатство и непредвзятость нюансов, дававших удовлетворение чувству… Иногда язык ей казался музыкой, правда, не столько его физическое звучание, сколько многосложность его внутренних ходов, то, что можно назвать сутью языка, его смыслом…

26

Эндрю Смит, книгоиздатель с Пиккадилли, устроил выставку книжной гравюры, пригласив на вернисаж Михайлова и Бекетова.

Михайлов попросил Бекетова представлять у Смита советское Посольство.

— Не уклоняйтесь от контакта со Смитом да скажите о вашем впечатлении, — сказал Михайлов, напутствуя Сергея Петровича. — Личное впечатление может все изменить…

Предприимчивый Смит созвал на вернисаж много гостей.

Еще у подъезда Сергей Петрович обратил внимание на стадо «роллс-ройсов», дремлющих под охраной молодых людей в штатском, — верный признак, что дом осчастливлен посещением лиц не просто привилегированных, а достаточно официальных. Опытному глазу многое может рассказать гардероб, но в данном случае, кроме большого количества конфедераток, что указывало на присутствие в доме польских военных, Бекетов так ничего и не обнаружил, хотя должен был обнаружить больше — количество «роллс-ройсов», окруженных людьми в штатском, указывало на это достаточно определенно.

Бекетов разделся и, вступив в заповедные пределы выставочного зала и по привычке разыскав взглядом хозяйку и хозяина, был немало изумлен, увидев рядом с ними Идена. Наверно, смятение, которое охватило в это время Бекетова, заметила хозяйка — она оставила именитого гостя и пошла к Сергею Петровичу.

— Вы, конечно, знакомы с господином Антони Иденом, господин Бекетов? — сказала она, приветствуя Сергея Петровича, и в знак особой приязни протянула ему сначала одну, а вслед за этим вторую руку.

Выставка представляла работы художников, которых книжный дом Эндрю Смита привлекал к иллюстрированию своих изданий. Видно, это был достаточно широкий круг мастеров графики — экспозиция была большой и, кстати говоря, хорошо организованной; Смит решил эту задачу в духе своего издательства: если и был тут расчет, то он нелегко обнаруживался — убеждала добротность того, что показал на выставке Смит. Это прежде всего относилось к работам, иллюстрирующим английскую классику. Не обойдена была и классика мировая, при этом (и тут как раз Смит выдавал себя) особенно полно русская… Не без влияния издательства, представленная на выставке графика была чуть-чуть академической, хотя это могло быть определено и подлинниками.

Академизм держал художников в известных рамках, это, можно было подумать, мешало графикам обнаружить свою манеру и делало работы чуть-чуть однообразными. Такому ценителю современных школ в изобразительном искусстве, каким считал себя Иден, это, очевидно, было особенно заметно. Так или иначе, а выставка получилась интересной и по именам графиков, и по уровню мастерства, доставив всем, кто откликнулся на приглашение издательского дома, много радости.

Для Идена выставка была событием отнюдь не протокольным — его действительно интересовала графика… Он подолгу останавливался у каждой работы, стараясь рассмотреть ее в разных ракурсах, досадуя, поднимал глаза к рефлекторам, полагая, что они слишком резки и огрубляют рисунок. Он затратил на осмотр выставки больше времени, чем остальные посетители, хотя и не очень был щедр на комментарии, обратив внимание на две-три черно-белые картины. Именно черно-белые, и это было неожиданно, так как англичанин коллекционировал работы импрессионистов и ценил в художнике колориста. Внимание Идена к выставленным работам польстило хозяину, он представил ему и Бекетову некоторых художников, а затем, улучив минуту, пригласил английского и русского гостей в синюю комнату, заметив, что там зажжен камин и есть некрепкое вино.

Только дальтоник мог назвать комнату, в которую хозяин привел своих гостей, синей — она была лиловой, больше того, сиренево-лиловой. Иден предложил русскому гостю расположиться у камина.

— За Сталинградом последует Северная Африка, — сразу начал Иден.

— В этом смысл Касабланки, господин министр? — спросил Сергей Петрович.

— Да, мне кажется, в этом, — согласился Иден.

— Но ведь уже февраль, господин министр, — возразил Бекетов. — Насколько мне известно, Африка приурочена к февралю?

Иден положил руки на колени, — казалось, блики, что легли от камина, впитались в кожу — она розовела.

— Да существенно ли смещение в несколько месяцев? — спросил Иден. — Как свидетельствуют стратеги, важно, чтобы удар следовал за ударом…

— Ну, если говорить о стратегах, то они утверждают несколько иное…

— Что именно?

— Они полагают, что нет для врага положения страшнее того,

когда на него обрушиваются удары одновременно… В этом случае враг лишается возможности перебрасывать силы с фронта на фронт…

— Вы хотите сказать: Сталинград и Африка должны были возникнуть одновременно?..

— В этом случае, господин министр, враг испытал бы такой удар, какой он наверняка не испытает в иных обстоятельствах… Или вы полагаете, что враг исчерпал себя? Он недостаточно силен?

— Нет, он силен, но лишен возможности питать один фронт за счет другого… — произнес Иден и тут же заметил: — Так говорят военные.

— Наши военные говорят обратное, — заметил Бекетов. — И у меня нет оснований им не верить.

Иден испытал неловкость — его положение в этом единоборстве было тяжелым. Казалось, нужен был довод, спасительный, чтобы выйти из положения, нельзя было заканчивать разговор, не найдя этого довода.

— Нет, в этом есть нечто парадоксальное, господин Бекетов!.. — Он не торопясь снял с колена руку, протянул, сжав и разжав кулак, точно натягивая перчатку. — Если верить вам, то получается, что английская армия заинтересована в том, чтобы до того, как она пойдет в атаку, немцы имели бы достаточно времени перебросить в Африку резервы и укрепить свои порядки…

Вот он, праздно-картинный Иден! Не так уж он празден, если способен обратиться в трудную минуту к такому доводу!

— Как всегда, англичане верят своей разведке. Господин министр полагает: переброска немецких войск на восток возможна, в обратном направлении — нет?

— Квадратура круга! — заметил Иден — ему было удобно закончить разговор этой фразой. — Как в шахматах: «патовая» ситуация, которая не сулит ни одной из сторон победы… Ну что ж, бывает и так.

Он встал, давая понять, что хотел бы поставить в беседе точку.

Иден уехал.

Что хочешь, то и думай: Иден явился на вернисаж для того, чтобы посмотреть книжную графику или чтобы уединиться с кем-нибудь из приглашенных русских в синей комнате и сказать то, что он успел сказать Бекетову?

Это загадка, но загадка и… для понимания Эндрю Смита. Кстати, вот он, собственной персоной. Миссис Эндрю Смит в сравнении с мужем — чудо природы: и рост, и стать, и манеры, а

уж голос!.. А что можно сказать о мистере Смите? Даже не рыжий, а какой-то рыже-сивый, и эта рыжеватость распространилась и на глаза. И весь он — круглый, красный, едва ли не киселеобразный. Да и в говоре у него эта киселеобразность: слова обмякли и расползлись, того гляди потекут… Непонятно только одно: откуда эта железность в планах и делах?

— Мистер Бекетов, я знаю, что вы не хотите передавать русские книги в одни руки, даже в такие верные, как эти, — он не без труда нашел это определение «верные» и в доказательство протянул Сергею Петровичу руки-помидоры. — Нет, я не требую от вас ответа на мой вопрос. Я сказал вам об этом, чтобы вы знали, что и я над этим думаю. Благодарю вас за посещение и хочу вас видеть у себя и впредь…

Миссис Эндрю Смит, стоящая рядом с мужем, улыбнулась Сергею Петровичу, точно давая этим понять, что она присоединяется к приглашению.

Нельзя сказать, что встреча с Эндрю Смитом и его супругой позволила Сергею Петровичу составить определенное впечатление о книгоиздательском деле и супружеской чете Смит, — возвратившись с вернисажа, Бекетов сказал об этом послу.

Бекетов был разбужен в восьмом часу: Лондон сотрясался от колокольного звона. В этом звоне, торопливом, сбивчивом, была, как показалось Сергею Петровичу, радость… Точно захмелевший звонарь, у которого силы вдруг прибыло, пустился на своей заоблачной колоколенке в пляс, и звонкоголосая медь, как могла, поспевала за ним.

— Что там такое, Игорек? — спросил Бекетов сына, который, покончив с утренней яичницей, укладывал книги в ранец.

— Мама сказала: победа в Тунисе…

Бекетов сбросил одеяло, встал. Значит, в Тунисе? Пожалуй, первая крупная победа англичан на суше… Не та ли, которая в равной мере была необходима и командованию и войскам перед вторжением? Только так, только так… Иначе какой смысл в этом колокольном звоне, откровенно ликующем, почти пасхальном?

27

На Кузнецкий словно перекочевал Китай-город с его книжными развалами. Книги, перевязанные шпагатом и шелковой лентой небесной синевы, старательно сложенные в эмалированное ведро и бельевую корзину, книги под мышкой и на ладони, под локтем и на плече, книги в коже и дерматине, в сафьяне, бархате и ледерине, книги, украшенные масляными и винными пятнами, как гербами и медалями, книги, напитанные многосложными запахами, в которых отслоились нелегкие повороты нашей недавней истории…

Книжный базар на Кузнецком воспринял перемены политической и всякой иной погоды — без этих перемен книга, пожалуй, была бы не так желанна.

Наркоминдельцы, поспешающие на рысях в наркомат, прежде чем на пределе заветных девяти часов достичь площади Воровского, должны форсировать книжную преграду. Как ни дефицитны драгоценные минуты (время на ущербе), а ухо наркоминдельца на макушке. Того гляди, смахнешь со лба мыльную пену и переведешь дух: что это?

— Дневник графа Ламздорфа в издании «Академии»! — возвещает дама в чепчике из гаруса. — Российский министр о тайнах царской дипломатии…

— «Смоленская дорога» — книга американца Колдуэлла о событиях сорок первого года, — откликается старик в вельветовой куртке. — Вышла по-английски!

— «Изгнание Наполеона из России» записки, письма, анекдоты, пословицы в одном томе! — возглашает старушка в плюшевом салопчике.

— Первая и единственная история дипломатии — издана в самый канун войны, — басит парнище в черной кожанке.

— Тарле… «Нашествие Наполеона на Россию»! — вторит ей плюш.

— «Свод распоряжений Российского министерства иностранных дел» — издано для дипломатов! — сообщает вельвет.

— Тарле, «Крымская война», — ответствует кожа.

Надо иметь каменное сердце, чтобы преодолеть книжный оазис, не замедлив шага и не остановившись. Нужно отдать должное тем, кто раскинул здесь свои книжные сокровища, они точно следуют времени. Книги, появившиеся на Кузнецком, незримо отражают сегодняшнюю сводку, больше того, они идут дальше сводки, предсказывая, каким может быть военно-

политический календарь завтра.

А календарь готов учесть перемены наиважнейшие: всё зримее контуры летней битвы сорок третьего года, битвы, которая должна лишить врага последнего контршанса. В середине апреля Ставка определила замысел и главные пути грядущей баталии. Разговор был особо доверительным, а поэтому узким предельно. Итоговая формула осторожна: Курск… Замысел: перейти к преднамеренной обороне, истощить противника, завершив тур этих боев наступлением, едва ли не всеобщим. Не надо быть большим стратегом, чтобы угадать в этом замысле прообраз Сталинграда.

Бардин приехал в Ясенцы, когда дом спал. Бодрствовал один Иоанн.

— «Кутузов, как все старые люди, спал мало…» — засмеялся Егор Иванович, входя к отцу. Бардин знал: с некоторого времени Иоанн повторял эту толстовскую фразу не без удовольствия — то ли похвалялся своей любовью к Толстому, которая, впрочем, не требовала доказательств, то ли своей старостью.

— Хлопот, будто у Кутузова перед Бородином, — если даже и хочешь, то не уснешь… — Иоанн, встав из-за стола, пошел к двери, давая понять сыну, что хотел говорить с ним вне дома. Огибая стол, он выдвигал больную руку чуть-чуть вперед, точно оказывая ей почтение, позволяя ей пройти в дверь первой.

Они вышли из дому и тропкой, которая отсвечивала в негустой апрельской траве, прошли к скамеечке, укрытой под тремя березами.

— Ты что же, блюдешь тайну? — спросил Иоанн, усаживаясь с нарочитой скромностью на самый край скамьи и приглашая сына сесть рядом. — Собрался в дорогу и… молчок! Далеко собрался?

Бардин сел: ну конечно, его поездка была для Иоанна только поводом к разговору. Они, эти бардинские поездки, даже самые сложные и внезапные, не очень-то трогали Иоанна — не в них дело.

— Ну, предположим, собрался в дорогу, — согласился Бардин. — Об этом сейчас речь?

— И об этом!.. Отец я тебе?

Бардин засмеялся.

— Отец, отец… — согласился он снисходительно. — Однако говори то, что хотел сказать… Не томи — этак и окоченеешь на апрельском ветру…

— Нет, я не дам тебе окоченеть: внемли, отрок неразумный.

— Внемлю.

Иоанн вздохнул: надо, пожалуй, и дух перевести, и с силами собраться.

— У меня зарок: твои сердечные дела меня не касаются! — произнес он, помедлив. — Женись ты хоть на Красной Шапочке — мое дело сторона!

— А что же тогда… твое дело?

— Дети!

Вот теперь Бардину действительно стало холодно.

— Пойдем в дом?

— Нет, зачем же! Договорим здесь.

Бардин развел руки: раз, два… Нет, так тепла не наберешься…

— Это как же понять «дети»?

— Сережка пробыл в Ясенцах, почитай, восемнадцать дён, так все восемнадцать просидел в своей каморке от зари до зари — не от великой же радости он сидел там? А младшее твое дитя… да у тебя глаза есть или нет? Или при ее глазах (он с особым удовольствием выговорил это «ее») твои ничего не видят?..

Бардин молчал — справа, на уровне островерхой ели, пламенел Марс, но пламя его казалось дымным, точно звезда, догорев, тлела.

— Погоди, я тебя что-то не пойму. Не ты ли мне говорил, что Ольга вначале прикипела к моим детям, а потом уж ко мне? Да кто любил их больше ее? Ты любил? Нет, скажи: ты?..

— Э, несмысленная твоя голова! То было вчера, понимаешь: вчера! А я говорю, что есть сегодня!

— А разве это не одно и то же?

— Нет, конечно. Знаешь, она натура… нерасторжимая. Все, кто с тобой, — против нее. Даже тот, кто был с тобой вчера и кого нет сегодня…

— Ксения?

— Да, она сказала мне позавчера: «С нею он не был счастлив». Пойми: никогда не говорила, теперь сказала. Ну, неживые… они немые, кто за них взыщет, а вот живые… они, пожалуй, не дадут с себя шкуру содрать — больно!

— Нет, погоди, ты меня не пугай… — едва не воскликнул Бардин. — Ну, предположим, душу ее смутил сатана, так мы того черта вилами в бок!

— А черт тот не дурак… Может быть, ты его, а может, и он тебя! — ответил Иоанн.

— Да и утро вечера мудренее… — молвил Бардин и решительно зашагал к дому, но, приблизившись к крыльцу, оглянулся: отец не последовал за ним. — Ты идешь или нет?

— Вот и я говорю: утро вечера мудренее, — откликнулся

Иоанн. — Да только утро это дальше, чем ты думаешь. Пока оно настанет, как бы ты, как в той песне поется, бабе не уподобился…

Но Бардин вошел в дом до того, как Иоанн произнес последние слова, поэтому их обидное значение его минуло.

Пока отец с сыном говорили в саду, Ольга управилась по дому, да и стол успела накрыть. На шипящей сковороде уже жарились оладьи, а в алюминиевом чайнике взыграл кипяток.

— Вот тут я теплой воды согрела, дай я тебе солью, Егор… — Она поливала в охотку и все норовила дотянуться белой ладонью до его косматой руки. — Воды не жалей — у меня ее много.

А подавая полотенце, улучила момент и сама вытерла им шею Егора, вытерла тоже в охотку. И в этом движении ее рук было нечто волшебное: сколько сил потратил старый Иоанн, чтобы посеять сомнение в душе Егора, а она всего лишь коснулась его шеи ладонью и разом сняла всю эту муть. И стало даже жутковато: борьба-то неравна. С одной стороны Иоанн с Сергеем да Иришкой, а с другой — Ольга, и сила — у Ольги. Иоанну нужен замах, а Ольге движение мизинца. Но дело же не в Ольге, а в Егоре, Егоре. Неужели его так ослепило ее бабье могущество, что он утратил способность отличать правду от лжи? А есть ли она, ложь?..

— Погоди, а отец ел?

— Ну конечно, ел… А если бы и не ел? Дай мне побыть с тобой вместе!.. Я уже забыла, какой ты. Ну, ешь свои оладушки и пойдем. Ну, не мешкай, пойдем, пойдем… Ах, господи!

В спаленке пахло чем-то чистым и домовитым… В этом запахе было что-то от ее неяркой улыбки, от ее черно-рыжеватых в расчесе волос, от ее тела, на веки вечные засмугленного, крепко сбитого. Странно устроена жизнь: ну нельзя же сказать, что Бардин соединил свою судьбу с Ольгой потому, что жить без нее не мог. Разумеется, все произошло с его согласия, но это, пожалуй, было согласие разума, а не сердца. Именно разума: Бардин словно выполнял завет Ксении. Нет, Ксения ему ничего не говорила, но он слышал ее голос: сколько бы ни было детям лет, им нужна мать. Он брал не жену, он брал мать своим детям. А потом свершилось непонятное: эта женщина будто втекла в него… Господи, да любил ли он когда-нибудь так? Наверно, все свершила ее молодость, ее тридцать два года. Или нет? Что-то было в ее любви беззаветное, напрочь все отметающее, и это побеждало. И потом ее готовность все сделать для него. О таких, как она, говорят: цельная натура. А может, все было в ее радушии, — у нее не было плохого настроения. А возможно, в здоровье или в умении казаться здоровой. У нее хорошо действовали центры, сдерживающие боль: даже тогда, когда иные

стонали, она улыбалась или, по крайней мере, старалась не стонать. Но вот задача: все это в ней было от природы или от ума? Иногда ему казалось: был в ней некий расчет, бабий. Знает, где быть открыто-радушной, даже бездумно щедрой, а где зажать сердце в кулак… Но Бардину не хотелось думать о ней худо. Поверить отцу — значит расстаться с любовью, а это уж было совсем ни к чему. Он и прежде, свыкшись с мечтой, умел беречь ее. Он верил своему чувству: когда любишь, надо ли оглядываться? Он прочь гнал все плохое, даже теперь, когда вдруг вторгся Иоанн. К тому же он так верил в себя и свое всемогущество, что всякие опасения ему казались нелепыми: сильнее кошки зверя нет? Чепуха!..

В этой спаленке все было похоже на нее: культ холодных простынь. Окна настежь, так, что от холодной влаги зеркала вспотели, но зато все белоснежное, твердокрахмальное, напитанное запахами ясенцевского сада, — почитай, белье сушила на ветру. И в хрустальном стакане — первый нарцисс.

— Да запахни ты окна, запахни — выхолодила дом! — взмолился Бардин и едва не отступил из спальни. — Ты вроде нарцисса, — упер он глаза в цветок, стоящий на туалетном столике, — цветешь на снегу.

Она вскинула голову:

— Жизнь с тобой — мороз?

Рассмеялась — ей было лестно это сравнение.

— Не замерзну и тебе замерзнуть не дам.

Поутру, провожая на работу, а заодно и в дальний путь (он предполагал выехать на аэродром с Кузнецкого — самолет уходил в полночь), Ольга спросила его:

— Кого оставишь вместо себя?

— В наркомате?

— А где же? — рассмеялась она. — Не здесь, разумеется!

— У меня заместителем Хомутов… А что?

Ей не нравился Хомутов, по его рассказам, естественно. Утверждает себя в непрестанных возражениях, и чем больше народу вокруг, тем он упрямее. Иногда возражает по инерции… Очевидно, считает, что согласиться с начальством — значит поступиться своей независимостью. Но откуда это? Не хочет ли он сказать этим: «Пока вы тут загорали под ласковым солнышком Кузнецкого моста, мы били немца». Не похоже. О фронте он вообще ничего не говорит. Даже как-то осек дружка из Протокольного отдела, который в деловом споре апеллировал к своему военному званию, которое было чуть-чуть выше дипломатического. «Нам об этом не обязательно знать…» — сказал Хомутов, мрачнея… Но как все-таки одолеть его

хроническую страсть к возражениям? Сказать прямо? Чего доброго, даст понять, что ты хочешь подавить в нем критическое начало. До сих пор Бардин полагал: любую предвзятость можно победить доброй волей. А как тут?..

— Не боишься Хомутова? — спросила она.

— А чего мне бояться его? — произнес он так, будто бы все то, что ее настораживало в Хомутове, было вызвано не его рассказами. — Он человек стоящий…

— Ну, смотри… — согласилась она, усмехнувшись, и эта ее усмешка означала явно больше лаконичного «ну, смотри…».

Егор Иванович сказал о Хомутове: «Он человек стоящий», полагая, что одним махом снимет все сомнения, но они не снимались. Если говорить начистоту, то ему было не очень уютно при одной мысли, что предстоит разговор с Хомутовым.

Он считал, что положение заведующего отделом не дает ему никаких привилегий, тем более привилегии опаздывать на работу, и старался к девяти быть на Кузнецком. Он был на работе и в этот раз вовремя и вдруг обнаружил, что Хомутова нет на месте. Во всех иных обстоятельствах он бы стерпел, но тут ему стало не по себе, он взорвался.

— Почему нет Хомутова? — воззвал он к юной Алевтине Сергеевне, месяц назад закончившей наркоминдельские техкурсы и определенной в отдел секретарем. — Я спрашиваю вас: почему нет Хомутова? — повторил он вопрос, раздражаясь, и вдруг понял, что малодушная Алевтина Сергеевна, у которой от бардинского гнева белые кудряшки точно встопорщились, поймет его сейчас превратно: именно Хомутов вел с нею предварительные переговоры перед тем, как она пришла в отдел. — Ну, что вы молчите? — продолжал он настаивать, понимая, что это совершенно лишено смысла. — Разыщите и… доложите, когда найдете…

К счастью, долго искать не пришлось — позвонил дежурный врач наркоминдельской поликлиники и сказал, заметно смущаясь, что Хомутов только что вышел от него и сейчас будет в отделе — у него возобновились головные боли, — видно, дает себя знать контузия. Бардин не нашелся что ответить, словно пламя объяло его, пламя стыда… Первая мысль — пойти к Хомутову и попросить прощения; потом он отверг эту мысль и даже высмеял себя: «Чего доброго, возомнит, и уж тогда он тебя оседлает дай боже! Нет, нет…» Он еще раздумывал, как он выйдет из положения, когда появилась Алевтина Сергеевна и, не глядя на Бардина (ну конечно же ей было стыдно за Егора Ивановича, она наверняка думала о нем лучше), вымолвила, что Хомутов уже в отделе. Бардин взглянул на часы и сказал, что

сможет принять Хомутова через десять минут. Алевтина Сергеевна ушла, а Бардин спросил себя: «Почему через десять минут, а не сейчас, не сию секунду, не немедленно?» И эти десять минут, эти трижды проклятые десять минут вновь подняли в нем бурю. Вот эти дешевые средства, рассчитанные на ложную значительность, надо ли их применять к Хомутову, и тот ли это человек, чтобы с ним вот так?.. Он подумал, как ему будет худо на длинном пути в Америку при одной мысли об инциденте с Хомутовым.

Вошел Хомутов, и Бардина словно ветром взметнуло с кресла, он зашагал ему навстречу.

— Прости, пожалуйста, что потревожил, — он протянул руку смущенному Хомутову. — Не сделал бы этого, если бы не отъезд… — Хомутов опустил свои странно печальные глаза. Видно, голова продолжала болеть, болеть жестоко, веки его стали фиолетовыми. — Поезжай сейчас домой и отлежись, пожалуйста… За хозяина остаешься в отделе ты — еще раз извини…

Хомутов поднял на Егора Ивановича умные глаза — он все понял.

Позже, когда Бардин с Кузнецовой дожидались посадки на самолет, летящий в Вашингтон через Каир, и до отлета оставалось больше часа, они бросили на травке у самолета нехитрый свой багаж и зашагали вдоль взлетной полосы. Хотелось идти неторопливо и осторожно, как по молодому льду.

— Жизнь — это дети, Егор Иванович, — неожиданно произнесла Кузнецова. — Их судьба, их спокойствие, если хотите. Это же счастье — помочь любимому человеку сберечь его детей…

Она сказала все это и умолкла, будто укрылась большим одеялом тишины, столь необычной для аэродрома, а Егор Иванович посмотрел на нее не без изумления: «Вот оно, безошибочное, женское: во тьме неведенья, бессознательно, доверяясь только интуиции, вышла на тропку: „Дети!..“» Бардин впервые ощутил в себе нечто, похожее на жалость к Августе… Да, да, вот это ее маленькое личико, неожиданно маленькое и бледное, выражало тайную муку. Муку беспокойства, одиночества, может быть, даже неразделенного чувства, неразделенного и по этой причине неистребимого. Дело, разумеется, не в нем… А может, в нем? Вон как она точно нащупала его боль. Дети… это ведь бардинское, бардинское… Так не в Бардине ли дело?

28

Бардин проснулся где-то над Кавказскими горами. Иллюминатор не затянуло льдом, и панорама, открывшаяся глазу, казалась фантастической, наверно, дело было даже не в хаосе ледников, в которые смотрелась сейчас луна, сделав Бардина свидетелем этого великолепия, единственным свидетелем, а в душевном состоянии Егора Ивановича… Он думал о том, что история устроила великий экзамен молодой цивилизации Октября. Нет, не только экзамен силе, но и мысли, а это значит, тому истинному, что лежало в самой сути советского эксперимента и было вызвано к жизни революцией. Для того мира риск немалый — позволить нам выиграть это единоборство. Дать нам выиграть его — следовательно, разрешить укрепиться в вере самим и призвать в свидетели, больше того, в последователи тех, кто с немалым любопытством и вожделением взирает на Россию извне. Но если это баталия мысли, то мысли всеобщей, дипломатической в том числе. А что может стать плодом этого поединка дипломатической мысли? Второй фронт?.. Да, разумеется, если даже этот второй фронт возникнет не в те сроки, в какие бы нам хотелось. Но важно и иное: то, что зовется антигитлеровской коалицией и что сегодня стало силой грозной, — плод и советского дипломатического умения. Конечно, союзники пошли на создание этой коалиции, исходя из своих жизненных интересов, но одно дело интересы вообще, а другое — интересы, ставшие реальной силой: здесь вклад нашей дипломатической школы бесценен… В том многообразии задач, которые встали перед нами, наипервейшая — наши отношения с Америкой. Ничто так не настораживает Черчилля, как наши отношения с Америкой. Если быть точным, Рузвельт не тот президент, который бы устраивал Черчилля, — Трумэн или даже Хэлл соответствовали бы Черчиллю в большей мере. Дело даже не в либерализме Рузвельта; в конце концов, и на Британских островах есть свои либералы. Важнее иное: отношение к Британской империи. Ничто в нынешних условиях не способно так сблизить Рузвельта и Сталина, как отношение к британскому колониализму. Нет, не потому, что колониализм противен Америке как общественная формация, — у Америки нет Индии, но есть Филиппины. Не в этом дело — Британская империя противостоит Америке как таковая. Ничто для Черчилля не является таким нелегким, как разногласия с Америкой. Конечно же велико умение Черчилля создать иллюзию гармонии. Но это именно иллюзия, больше того — миф, необходимый британскому

премьеру, чтобы усыпить бдительность России, а заодно и своих политических недругов внутри страны. Но разногласия от этого не становятся меньшими. Они существуют, даже приумножаются. Черчилль ничто не хранит в таком секрете, как разногласия с Америкой. Прелюбопытно заглянуть в его будущие мемуары: пожалуй, во всем он может там признаться, но только не в распрях с Рузвельтом… Но завтра это не задача, а вот сегодня… Да, именно сегодня, когда старый Уинни войдет в овальный кабинет Рузвельта, волоча затекшие ноги (у него походка восьмидесятилетнего), и с грубоватой непосредственностью придвинет стул к письменному столу президента, — о чем пойдет у него беседа с Рузвельтом?.. Немалый простор для догадок. Но догадки, какими бы убедительными они ни казались, праздны. Хотелось бы знать с максимальным приближением к истине: если есть разногласия, то в чем? Второй фронт, сроки первого удара (сейчас самое время) или место этого удара?.. Черчилль считает: Сицилия, потом уже собственно Италия. Нет, не «каблук», а «носок» итальянского сапога. А какова точка зрения Рузвельта? Атлантическое побережье Франции, больше того, берег Ла-Манша?

…Кавказских льдов хватило ненадолго: самолет шел уже над морем. Слева, точно из первозданной плазмы, рождалось солнце. Рождалось нелегко, все в дымном огне, в сполохах зоревого пламени, как показалось Бардину, знойного… Бардин вдруг подумал: какой сегодня день? Воскресенье. Если все пойдет, как предполагалось, в пятницу можно, пожалуй, добраться и до Вашингтона. В майскую жару пятница может быть и неприсутственным днем. Если, разумеется, на вечер посольство не назначило чего-то чрезвычайного.

Но опасения были напрасными: пятница, даже конец дня, оказалась присутственной, русские показывали фильм, полученный после Сталинграда. Накануне ленту демонстрировали президенту, и, как стало известно, дважды. По словам Дениса Крыги, посольского первого секретаря, встретившего Бардина на аэродроме, интерес к фильму большой и завтра его решено показать прессе. Но Крыга сказал Бардину и нечто более важное: Черчилль уже в Вашингтоне, второй день.

— Злые языки утверждают, что Черчилль пересек океан на корабле с немецкими военнопленными, — заметил Крыга, и его левая бровь надломилась. — Черчилль говорит, что оказался на корабле с пленными случайно, но люди осведомленные полагают: у Черчилля случайность исключена.

— Значит, заставил врага охранять себя? — спросил Бардин.

— Да, похоже, так! Немцы на корабле не сомкнули глаз, пока

не доставили Черчилля в Америку! — возликовал Крыга — его искренне забавляла изобретательность английского премьера. — Иной бы остановился, сказал бы: как-то несолидно для премьера… А он — нет. — Крыга умолк — его бровь выпрямилась. — У них и в дипломатии часто бывает нечто подобное: солидность и авантюра рядом. Не так ли, Егор Иванович?

Бардин перевел взгляд на Крыгу: казалось, тому было небезразлично, чтобы Егор Иванович сказал «да».

— Пожалуй, — ответил Бардин…

Бардина доставили в посольство, когда съезд гостей уже начался, — до сеанса оставалось с полчаса.

— Странно, но я не вижу посла… — сказала Августа Бардину, оглядывая вестибюль и не находя там Литвинова. — Обычно в это время он уже с гостями… Да не он ли это?

Литвинов шел быстро, с несвойственной человеку его возраста и его комплекции легкостью, стараясь по кратчайшей прямой пересечь холл, пока еще не заполненный гостями, и достичь крайнего столика, за которым устроился Егор Иванович со своей спутницей.

Бардин встал и пошел Литвинову навстречу.

— А почему наши московские гости одни? — вдруг остановился Максим Максимович — он сообщил своему шагу такую энергию, что ему стоило труда остановиться. — Денис Михайлович, вы почему оставили гостей одних? — спросил он Крыгу, стоящего у окна в толпе посольских коллег. — Здравствуйте, здравствуйте… — он склонился над рукой Августы Николаевны, которую она с готовностью, чуть милостивой, протянула Литвинову, крепко, по-мужски сдавил большую ладонь Бардина. — Ждал звонка Гопкинса… — заметил он, обращаясь к Егору Ивановичу, при этом интонация его обрела значительность.

— Он будет сегодня, Максим Максимович? — спросил Бардин.

— Обещал быть… Кстати, вы его порасспросите… С Черчиллем-то вы разминулись, Егор Иванович! — улыбнулся Литвинов.

— Он отбыл утром? — полюбопытствовал Бардин.

Литвинов не без умысла обратил разговор к Черчиллю — среди тех вопросов, которые интересовали Бардина в Вашингтоне, миссия Черчилля в американскую столицу занимала большое место, и Максим Максимович, разумеется, знал об этом.

— Да, час назад — Гопкинс звонил чуть ли не с аэродрома… Еще со времен вашей архангельской экспедиции, когда вы летели с ним в Москву и, кажется, обратно…

— Да, и обратно.

— Еще с тех архангельских времен он вспоминает вас постоянно… — заметил Литвинов и, обратившись к человеку, который стоял в стороне, произнес: — Филипп Иванович, по такой жаре я бы предложил гостям по стакану холодного сока… Как вы?

— А я так и предполагал, Максим Максимович…

— Только не давайте, пожалуйста, ничего с содой, содовая горчит.

— А соду я не держу, у меня все натуральные…

— Вот и хорошо, Филипп Иванович, вот и хорошо.

Как приметил Бардин, этот разговор был для Литвинова характерен. Видно, он принадлежал к послам такого типа, которые дела государственной важности умели сочетать с многосложными мелочами, неизбежными в повседневной жизни большого посольства, умели сочетать и, главное, находить в этом удовлетворение. Не ахти какое дело — выбор колера для окраски банкетного зала или установка новой мебели, но посол старался в этом участвовать, при этом нередко вместе со своими молодыми помощниками. В посольстве, с его многообразием представительских интересов, нет дел второстепенных, полагал посол, и даже мелочи способствуют воспитанию вкуса, а вкус — дело отнюдь не второстепенное, в частности для молодых дипломатов.

— Одним словом, Гопкинс к вам благоволит, — возвратился он к прерванному разговору. — Порасспросите, порасспросите… Кажется, он уже приехал… — добавил он и быстро удалился.

А Бардин не мог не подумать: процесс превращения человека в некую реликвию происходит так стремительно, что сознание не успевает за этим угнаться и тем более к этому приспособиться. Ну вот, например, Литвинов: он наверняка не осознает, что превратился в некое диво нашей истории, настолько заметное, что, казалось, представляет интерес само по себе.

Подошел Крыга — он внял замечанию Литвинова и был среди гостей.

— Кажется, приехал Гопкинс, — сказал Денис Михайлович, опускаясь в кресло, стоящее подле Кузнецовой; он точно хотел дать понять Егору Ивановичу: если Бардин сочтет необходимым удалиться, то он, Крыга, готов остаться с Августой Николаевной. — По-моему, я видел его машину…

— Благодарю вас, — произнес Егор Иванович.

Бардин рассчитал точно: Литвинов, встретив Гопкинса, наверняка скажет американцу о приезде Егора Ивановича, и, более чем вероятно, тот выразит желание повидать гостя из

Москвы. Психологически Бардину выгоднее, чтобы инициатива этого первого разговора с Гопкинсом исходила от американца. Таким образом, если расчет Егора Ивановича верен, то в ближайшие пятнадцать минут у Бардина должен состояться такой разговор, ну хотя бы вон с тем вторым секретарем, что стоит сейчас у окна, предавшись более чем праздному разговору с американским военно-морским чином: «Простите, вы будете Бардин Георгий Иванович? Посол ждет вас у себя, да, кстати, я господин Гарри Гопкинс…»

Но нарочный от Литвинова прибыл даже не через пятнадцать минут, а через пять, да этим нарочным был не второй секретарь, стоящий у окна, а заместитель торгпреда, случайно оказавшийся рядом с послом, когда тот встречал американца. Во всем остальном все было так, как об этом думал Егор Иванович.

Когда Бардина пригласили к Литвинову и Гопкинсу, в руках у них были стаканы с соком (стаканы были особого стекла, искристо-розового, точно тронутого изморозью, и сок в таком стакане тоже был будто тронут изморозью и, как подумалось Егору Ивановичу, должен был казаться холоднее, чем был на самом деле), Бардин обратил внимание, что рука Гопкинса, сжимающая стакан, в отличие от крепкой руки Литвинова, выглядела немощной — такому впечатлению немало способствовала его бледная кожа.

— Мистер… Архангельск! — приветствовал Гопкинс Егора Ивановича и так резко поднял стакан, что чуть не окропил себя апельсиновым соком; разумеется, не следовало придавать большого значения экспансивному жесту Гопкинса и даже экспансивной фразе — как давно отметил для себя Егор Иванович, чтобы установить, что чувствует в данный момент твой собеседник, соответствующая поправка в Штатах, например, должна быть большей, чем в ином месте земного шара, — там, где европеец едва шевельнет пальцем, американец вскинет руку.

— Мне приятна встреча с вами, господин Гопкинс, — произнес Егор Иванович, пожимая руку Гопкинса.

— Последний раз мы виделись год назад, не так ли? — спросил Гопкинс улыбаясь, при этом его круглые глаза, как заметил Егор Иванович, не восприняли улыбки. — Ровно год… Кажется, не все проблемы решены, а эта весна легче той, — он вновь улыбнулся, и вновь Егор Иванович приметил некую двойственность в его лице: как ни щедра была улыбка, глаза в ней не участвовали. — Не правда ли?..

— Признаться, в ту весну я не думал, что мистер… «Нет» так могуществен, — заметил Бардин — он обратился к этому символическому мистеру «Нет», намереваясь без излишних

проволочек заговорить о самом существенном.

— Мистер «Нет»? — переспросил Гопкинс. — Это кто же? Не мистер ли Черчилль?..

Литвинов засмеялся, не скрывая хорошего настроения.

— Не столько Черчилль, сколько неким образом лицо собирательное… — заметил он, все еще смеясь.

— Но у этого, как вы говорите, лица собирательного может быть имя? — спросил Гопкинс.

— Да, конечно, — согласился Бардин, пока еще не зная, какой оборот примет дальше этот разговор.

— Например, Черчилль? — повторил американец.

Литвинов обратил смеющиеся глаза на Гопкинса:

— Можно подумать, что вы заинтересованы получить именно этот ответ, господин Гопкинс.

Гопкинс поставил на стол стакан с соком, как показалось Егору Ивановичу, так и не пригубив его, и посмотрел в глубину холла: двери кинозала распахнулись.

— У каждого явления есть свое имя, и разговор выигрывает, если это имя будет названо.

— Да, пожалуй, — согласился Литвинов и, сказав, что по долгу хозяина будет ждать Гопкинса и Бардина в зале, удалился.

Бардин подумал, что пришла его минута.

— Иногда назвать имя — еще не все назвать, господин Гопкинс.

— Чувствую, что этот разговор нам сегодня не закончить, а жаль, — заметил американец.

— Но кто нам мешает сделать это? — спросил Егор Иванович.

— Мешает? Да в этом ли дело? Кто нам поможет — вот вопрос, господин Бардин! — Гопкинс медленно пошел через холл, увлекая за собой Егора Ивановича. Походка его была нетвердой, Бардину даже показалось, что он, точно колеблемый ветром, чуть-чуть покачивался. — Хэлло, Эдди! — Гопкинс поднял худую руку. — Да ты что, дружище, не хочешь узнавать меня на людях?

Человек, которого окликнул Гопкинс, достал платок и вытер им потное лицо и влажные волосы.

— Прости, Гарри, такая жара, мой «мотор» забарахлил окончательно…

— Тогда зачем же ты пришел, Эдди? Кто тебя неволил?

— Как-то неудобно, понимаешь… Говорят, эти русские обидчивы, как дети. — Он перевел испуганный взгляд на Бардина: — Простите, вы не русский? О матерь божья!..

Тех десяти шагов, которые оставалось пройти до кинозала, было достаточно, чтобы место и время встречи Гопкинса и Бардина было уточнено. Условились, что они встретятся

послезавтра в загородном доме Эдди Бухмана.

29

Но прежде, чем они встретились, в посольстве объявился Мирон и просил передать брату, что ждет его вечером. Бардин поехал, взяв с собой Августу Николаевну, которая была немало заинтригована встречей с младшим Бардиным.

— Он хотя бы похож на вас? — спросила Августа Николаевна, когда машина въехала в затененную душной листвой акаций улочку, в конце которой обитал младший Бардин.

— Почему… «хотя бы»? — улыбнулся Бардин.

— Но это-то… достоинство должно быть у него, — возразила Кузнецова, не смущаясь.

— Ну… ежели это достоинство, тогда похож.

Бардин определенно поставил перед Мироном нелегкую задачу, приехав с Августой Николаевной. Чего ради он это сделал и кто такая Августа? А пока суд да дело, Мирон помог снять Августе Николаевне ее шелковый плащик, помог еще и потому, что так удобней было рассмотреть ее, но догадливая Августа лишила его этой возможности, отступив в тень. И все время, пока они шли по длинной галерее, вдыхая запах красного перца, крупные грозди которого были развешаны повсюду, Августа Николаевна чувствовала на себе этот взгляд, жестоко упрямый и чуть-чуть угрюмый, — что-то было в этом взгляде холостяцкое, бобылье.

— Вот она, моя келья! — сказал Мирон, когда они поднялись на второй этаж.

— Первый раз вижу, чтобы в келье была такая постель! — воскликнула Августа Николаевна, обратив взгляд на кровать Мирона, необычно высокую от перин, положенных одна на другую.

— Одно утонение, что кровать… — захохотал Мирон — ему было приятно замечание Кузнецовой.

— Одно ли? — усомнилась Августа Николаевна не без лукавства — ей определенно хотелось продлить этот разговор.

— Клянусь, Августа Николаевна, — произнес Мирон и вновь взглянул на Кузнецову, теперь уже в открытую; в ней не было жеманства, и это ему нравилось.

А Егор не сводил с брата глаз и пытался понять то неуловимое, что свершилось с ним в этот год. Горячее здешнее солнце точно иссушило Мирона, грудь заметно впала, плечи стали уже, лицо — смугло-серым, а губы — как у тетки суздальской… Губы жили сами по себе, они были чутки, эти губы, и уж как выразительны! В них были и гнев, и лукавство, и

неприязнь, и сострадание, и вызов, и осуждение, и торжество откровенное… Ах, как были восприимчивы эти губы к тому, что в это время творилось в человеке. Чудо: где сребroглавый Суздаль и где она, благочестивая Ефросинья, а взглянул Егор Иванович на брата — и будто единым духом преодолела Ефросинья тридевять земель и встала рядом: вот она, храбрая заступница русского бога.

— Как ты, Мирон?.. Воюешь? — Егор облюбовал кресло у дальнего окна. — Небось каждый аэроплан, добытый для войска российского, обходится и нынче в пуд крови? Гляжу на тебя: отощал, брате, на американских харчах…

— Отощаешь! — усмехнулся Мирон. — Есть у них в этой ленд-лизовой канцелярии Бобби Пайп — зимой снега не выпросить! Даже чудно, что есть такие американцы…

— Погоди, погоди… — возразил Егор. — А разве в этой канцелярии не Бухман?

— Ты знаешь Бухмана? — Мирона даже подбросило на его плетеном стуле.

— Знаю, конечно.

— Через… Гопкинса?

— Если хочешь, через Гопкинса.

— Имей в виду: это не одно и то же!

— В каком смысле, Мирон? Это тот же Пайп?

Мирон оглянулся на Августу Николаевну, точно спрашивая ее и себя: «Да интересно ли ей все это?»

— Понимаешь, я не могу поверить человеку, который изменил своему призванию.

— Рожден быть Эдисоном, а стал клерком в адвокатской конторе?

— Рожден быть авиаконструктором, а стал Эдди Бухманом…

— И при этом без угрызений совести, так? — спросил Егор Иванович.

— Нет, он угрызается, но важно ли это?

— Важно другое: он с Гопкинсом?

— В зависимости от того, с кем Гопкинс, Егор.

— А это не ясно?

— Меня еще надо убедить, и убеждать надо теперь: на мой взгляд, наступила пора решений. — Мирон смотрел на Августу — ее глаза, незамутненно чистые, внимательные, были тихи и полны мысли. — Как вы полагаете, Августа Николаевна?

Мирон увидел вдруг, как хороши ее руки. Глаза и вот эти руки, с заметно удлиненными кистями, с длинными пальцами, не схваченными узлами в суставах…

— Мы сильны людьми, умы и сердца которых сумели

завоевать, — сказала она едва внятно. — Соблазнительно иметь больше, но и это немало…

Бардин не проронил ни слова. Но будто говорил, глядя на брата: что же ты умолк? Продолжай, да имей в виду: будешь иметь дело с нею, не со мной — с нею.

— «Сильны людьми»? Гопкинс среди них? — спросил Мирон, глядя на Августу, — в нем росло изумление: та ли это Августа Николаевна, что четверть часа назад переступила порог его комнаты? Он посмотрел на брата, потом на Кузнецову: смятение охватило его. Что это за женщина и кем она доводится брату?

— Гопкинс? Да, определенно… Простите мое убеждение, чисто женское: нам легче иметь дело с американцами. Нет, не потому, что они в меньшей мере капиталисты, но среди них есть люди, подобные Гопкинсу…

Мирон захохотал — он точно хотел смутить ее этим смехом:

— Он видит в нас своего родителя, который, говорят, был кузнецом?..

— Да, как другой американец… Раймонд Робинс, отец которого, говорят, был рудокопом…

Мирон не сдержал усмешки. Она сказала: «Простите мое убеждение, чисто женское». Но что было женского в ее репликах о Гопкинсе? В том, с какой энергией и упрямством обратила она разговор к Робинсу, был и мужской ум, и норов, тоже мужской. И вновь Мирон не без тревоги взглянул на Кузнецову: кто она?

Да, кто она? — думал Мирон, когда они спускались на веранду, где был накрыт стол. С наступлением сумерек прибыло влажной прохлады, и запах перца, что был развешан на веранде, усилился. Хозяев дома не было, и Мирон накрыл на стол сам. Видно, ему это было не впервой: возвращаясь домой за полночь, он и прежде находил в холодильном шкафу и кусок холодной баранины, и мясо, приправленное луком, и домашние колбасы. Что касается вина, то и оно было в доме: правда, женщине оно могло показаться терпким, но только после первого бокала. Вино было добрым и, как все добрые вина, с каждым новым бокалом казалось мягче, а поэтому и пилось легко.

Августа Николаевна поместилась между мужчинами, и можно было удивляться, как быстро ее глаза свыклись с сумерками.

— Вот ты сказал: «Бухман изменил призванию», — начал было Егор Иванович и умолк, его голос точно вынырнул из ночи и утонул.

— Ну, разумеется, изменил, — подтвердил Мирон. — Летающую лодку, которую он сконструировал перед войной, хвалил сам Игорь Иванович. Так и окрестил его: «Подающий надежды!»

— Это какой же Игорь Иванович? Не Сикорский ли? — вопросил Бардин.

— Ну, разумеется, Сикорский.

Бардин взорвался:

— Поглядите на него: «разумеется»! Ты полагаешь, что я обязан его знать?

— Полагаю, обязан! Игорь Сикорский — звезда первой величины, при этом не только американская, но и русская, даже русская больше, чем американская…

— Да не хочешь ли ты сказать, что он конструктор «Русского витязя» и «Муромца»?

— Хочу.

— Но ведь я это знаю.

— Можешь и не знать, я не настаиваю… — заметил Мирон, смешавшись; не было бы Августы, он, пожалуй, не смешался бы так. Мирон пододвинул домашнюю колбасу и принялся ее резать — надо отдать ему должное, резал он искусно: крепкий кругляш колбасы клал наискось и точно состругивал пластины, продолговатые и прозрачно-тонкие.

— Он так и остался «подающим надежды»!.. На веки веков «подающим надежды»!

— Это почему же «на веки веков»? — спросил Бардин.

— Разве Бухман, вкусив блага директорства, вернется к бессонным ночам творчества? К страде творчества, к мукам?.. Там у него оклад, не коттедж, а усадьба, а вместе с нею и лимузин, и команда адъютантов, и красивая жена… А здесь: страда!

— Погоди, погоди, можно подумать, что красивая жена конструктору… не полагается?

— Нет, почему же? Полагается… теоретически! — воскликнул Мирон. Раздался смех, да такой громкий, что в голубятне, что была рядом, согнанная птица соскользнула с шеста, хлопнув крыльями.

— Но директорство… по крайней мере, ему дается? — спросил Егор Иванович. — Дело-то он знает?

— Ему легко знать, — заметил Мирон не без скептицизма. — Все-таки он конструктор, а все остальные просто так… Но главное не в этом!

— Не в этом? — почти изумится Бардин. — Тогда в чем?

— В обаянии!.. Да, он вроде того хитрого врача или даже массажиста, который первый раз был приглашён в Белый дом, чтобы снять у Рузвельта боль в пояснице, а остался там в качестве первого советника президента…

— По-моему, ты все упростил, Мирон! — сказал Егор Иванович смеясь — ему нравилось спорить с братом.

— Может, и упростил, но суть от этого не пострадала! — произнес Мирон и протянул руку, чтобы наполнить бокал Августы Николаевны, но она остановила его.

— Нет, суть-то и пострадала! — заметила она, все еще удерживая его руку над бокалом. — Ведь если верить вам, то он так и остался массажистом, то бишь конструктором этих летающих лодок, а на самом деле он советник, и, как мне кажется, не дурной…

Мирон затих, скосив глаза на Августу Николаевну. Его недоуменный, больше того, тревожно-недоуменный взгляд будто спрашивал в эту минуту брата: «Послушай, Егор, да не подсадную ли утку ты ко мне пустил в этой тьме кромешной?.. С виду баба, а на самом деле мужик!..»

— Как Оленька там? — направил он вдруг разговор в иное русло. — Ну, что ты смотришь на меня так? Я говорю: как Ольга? Наша Ольга? Как она?

— Все хорошо… — сказал Егор Иванович, помолчав. Только сейчас он сообразил, что брат еще не знает, что произошло в судьбе его и Ольги.

— Значит, «все хорошо»? — переспросил не без иронии Мирон. — Что значит «все» и что значит «хорошо»?

Бардину было трудно, да и Августе Николаевне должно быть нелегко!.. Но как остановить человека: вон какая резвость его обуяла! Возьми да и выложи ему, как Ольга… Ничего в этот миг он не хочет знать, кроме одного: Ольга!

— Ну, что тебе сказать?.. — с трудом промолвил Егор Иванович. — Одним словом, здорова…

Мирон взорвался:

— Значит, «здорова»?.. Вы только подумайте: «здорова»!.. Погоди, да что с нею стряслось? — спросил он голосом, в котором слышалось сейчас немалое беспокойство. — Я же чувствую, что с нею что-то случилось… Нет, ты у меня не отвертишься: отвечай!..

Бардин смотрел на Августу Николаевну. Ему все чудилось: она сейчас поднимется и пойдет прочь. В ее положении иного выхода не было. Но Августа Николаевна думала иначе.

— Я вам отвечу! — вдруг обратилась она к Мирону, и в ее словах послышался даже некий вызов. — Я была в Ясенцах и видела Ольгу Ивановну… Она действительно здорова, больше того, счастлива… Вы удовлетворены?

Мирон осекся:

— Да, конечно.

…Они встали из-за стола через час. Проводив Августу Николаевну к машине и дождавшись, пока она усядется, братья отошли в сторону.

— Вот это да! — мог только вымолвить Мирон. — Кто она?

Егор Иванович рассмеялся:

— Наша, знает японский.

— Да она и без японского сойдет за коренника — сильна, бестия! — Мирон вдруг расхохотался. — Погоди, это были смотрины? — Ему и прежде виделся в поступке брага смысл, в который надо было еще проникнуть. — Разве в этакую темень рассмотришь? — Он продолжал смеяться. — Дай знать, когда соберешься в обратный путь, — приеду на аэродром.

— Коли не рассмотрел, приезжай… — Бардин пошел к машине.

Шарахнулась тьма — свет вспыхнувших фар показался непривычно сильным.

— Мирон хотел бы проводить нас, — подал голос Егор Иванович, когда машина выбралась из переулка.

— Он не похож на вас, — заметила Августа Николаевна задумчиво, оставив без внимания сообщение о проводах.

«Не похож на вас… Не похож…» Нехитра фраза, а смысл в ней немалый. Казалось бы, судьба обделила женщину и должна сделать ее сговорчивой, ан нет… Даже практичную Августу не сделала сговорчивой. Видно, практичность кончается где-то в преддверии сердца. Вот он, катализатор чистоты, — сердце. От непорочности раннего человека, от чистоты детства у человека осталось только сердце. Оно и очищает душу…

30

На другой день Бардин был у Бухмана. (Гопкинс не сумел выбраться, поручив Бардина Бухману.) Егор Иванович полагал, что преуспевающий друг Гопкинса привезет его на загородную виллу, сложенную из цветного кирпича, а Бухман привез Бардина в скромный деревянный домик на краю цветущего картофельного поля.

В столовой висели большие остановившиеся часы — видно, пожилой женщине в темном чепце, встретившей их на пороге, они уже были ни к чему.

На столике, поставленном под часами, Бардин увидел макет города, по всему самодельный, своеобразная архитектура которого выдавала культуру майя.

— Он преподавал географию и раскапывал… поселения древних майя? — спросил Бардин, имея в виду отца Бухмана — Егор Иванович понял, что американец привез его в родительский дом.

— Все верно, — улыбнулся Бухман. — Но только это был не он, а она: отец преподавал физику, а вот мама… Она говорила: если есть на нашем континенте нечто настоящее, то это майя и Бруклинский мост. Занималась раскопками… пока не повредила ногу.

Бардин огляделся: дом хранил следы его хозяев. Такое впечатление, что вот-вот откроется дверь и они войдут: она — бледная, с чуть голубоватыми, как у сына, веками, он — маленький, с седым вихорком. Там, на дальней стене, кажется, висят их фотографии. Отсюда не разобрать, как они выглядят, но Егору Ивановичу они представляются такими.

— Они… ушли недавно? — спросил Бардин.

— Уже шесть лет, — ответил Бухман — он знал, что Егору Ивановичу подсказал этот вопрос сам вид дома. — Будто сговорились, ушли почти одновременно…

— Маме не нравилось ваше увлечение летающими лодками? — спросил Бардин; ему было странно видеть в этом доме Бухмана, он словно никогда не жил здесь, здесь не было следов его присутствия.

— Мама считала это вторичным и отвергала, как все вторичное, а вот отец не был так непримирим.

— Но мнение мамы оказалось… сильнее? — Бардин вспомнил реплику Мирона, что Бухман изменил призванию. — Говорят, влияние матери на сына всегда сильнее… — вторая фраза явно имела целью смягчить остроту первой.

— Все много сложнее, — произнес Бухман уклончиво.

— Но призвание?

— Призвание? Наверно, конструктор идет на государственную работу не потому, что его призвание ему не дорого… — Бухман украдкой посмотрел на дальнюю стену, на ту самую, где висели портреты его родителей.

— Я вас не понимаю.

— Не понимаете или хотите показать, что не понимаете? — спросил Бухман и поднял глаза на Бардина, неожиданно сумрачные. — Одним словом, расчет такой: пойти на государственную работу, чтобы иметь возможность конструировать летающие лодки, а кстати и помогать таким беднякам, как ты сам…

— Вы сказали: помогать беднякам?

— Думаете, у нас их нет? Э-э-э… только те, кто не знает Америки, думает, что у нас их нет… Еще сколько!..

«А к чему все это рассказывает Бухман? — думал Егор Иванович. — Не к тому ли, чтоб завоевать доверие своего русского собеседника и таким образом расположить его ко всему тому, что хочет сообщить далее? Путь к сердцу русского через критику Америки? Можно понять и так».

Бухман пригласил Егора Ивановича к столу, который накрыла женщина, встретившая их у входа. Пока они беседовали, женщина переоделась. Сейчас она была в темном платье, отделанном кружевами, такими широкими и старательно сосборенными, какие носили разве только в прошлом веке, — кружева определенно были гордостью хозяйки и перекочевывали с одного платья на другое.

— Тетушка Клара была маминой подругой, — указал Бухман глазами на женщину в кружевах и, обратившись к ней, представил Бардина. — Вот посудите: у нас, чтобы человек творческий сделал имя, должен быть какой-то второй человек, который, собственно, ему это имя делает. Вы хотите сказать: реклама? Да, реклама, но не в смысле светящегося табло на Бродвее, а нечто более хитрое: мнение Сикорского о летающих лодках Бухмана, перелет через Тихий океан со взлетом у берегов Америки и посадкой ну хотя бы на Филиппинах, государственный заказ… О, заказ — это почти все, — говоря это, он как-то встревожился, и синеватые полудужья у глаз его стали больше. — Так вот, должен быть человек, который это имя сделает. А если его нет? Да, если этого человека нет у Бухмана?.. Кстати, откуда ему быть у Бухмана? — Он остановил взгляд на плетеной этажерке с книгами, и Бардин вдруг увидел, что этажерка была колченогой, у нее не было четвертой ножки. — Откуда? — Он

продолжал смотреть на то место, где некогда была четвертая ножка, — очевидно, замысел заключался в том, чтобы обратить внимание Бардина на это.

Тетушка Клара была доброй кулинаркой: все поданное к столу было вкусно и сопровождалось овощами с ее огорода, который был виден из окна.

— Вот этот рецепт мяса в горьком соусе мама узнала у мексиканцев, — заметил Бухман и, взяв тарелку Бардина, положил на нее темно-коричневый, хорошо зажаренный кусок говядины и полил его красным соусом, отчего мясо стало кирпично-коричневым. — Я иногда специально приезжаю сюда, чтобы съесть кусок такого мяса и запить его красным вином… Нет, не это… я налью вам, разрешите?

Бардин не мог не спросить себя: а сегодня он пригласил его сюда, чтобы угостить мясом, приготовленным по-мексикански, или все, как любит говорить Бухман, много сложнее? Не повез же он его в дом, в котором обитает с красавицей женой, а привез сюда. Наверно, в том доме нет колченогой этажерки… Какой в этом замысел? Но ведь он же не выдумал этот дом, в конце концов! Он не стыдится его, наоборот, гордится им. Перед кем не стыдится? Перед Бардиным? А зачем ему стыдиться, когда все это возвышает его в глазах Бардина? Так или нет?.. Помимо всего прочего, он не просто Бухман, он доверенное лицо Гопкинса, и ты узнал его через Гопкинса и, что не менее важно, через Бухмана узнаешь Гопкинса. Кстати, разговор, который сейчас должен начаться, не минет Гопкинса.

— Вам известно такое имя: Раймонд Робинс? — спросил Бухман, когда они выпили по бокалу красного вина.

— Да, я интересовался участием американцев в русской революции, а поэтому… Одним словом, я имею представление о Робинсе.

Казалось, ответ Бардина обрадовал хозяина дома.

— А если так, объясните мне, пожалуйста, такое явление… — он пристально взглянул на Бардина, точно желая определить, догадывается ли он, о чем пойдет сейчас речь. — Робинс, делец, финансовый воротила — одним словом, буржуа — и тем не менее друг России, старый и верный…

— Испытанный сенатской комиссией Овермена! — захохотал Егор Иванович, ему доставило немалое удовольствие уточнить мнение Бухмана о Раймонде Робинсе — известно, что сенаторы, возглавляемые Оверменом, подвергли Робинса жестокому допросу, вменив в вину симпатии к Республике Советов.

— Да, испытанный мистером Оверменом! — согласился Бухман, согласился легко: реплика Бардина и ему доставила

удовольствие. — Но вот вопрос: почему буржуа Робинс был другом России, другом настолько искренним, что готов был даже вступить в конфликт с самим Вильсоном?.. Вы скажете: его сделал другом России Ленин, а это всегда прочно? Верно, Ленин, но только ли в этом ответ…

— Если не в этом, то в чем, мистер Бухман?

— Нет, я вас спрашиваю…

— А я вас.

Бухман молчал: он был заинтересован в том, чтобы ответил Бардин.

— Вы полагаете, что все объясняется рабочим происхождением Робинса?

— Да, я так думаю, — ответил Бухман.

— Тогда слушаю вас, — сказал Егор Иванович.

— Я готов, но прежде… Разрешите? — он указал на блюдо с фаршированными помидорами, которое только что появилось на столе. — Вам понравится: тоже мамин рецепт… — Он осторожно положил помидоров на тарелку Бардина, не обидел и себя, задумался. — Простите, но ваша точка зрения иногда мне кажется примитивной. Понятием «буржуа» вы пытаетесь объяснить все. А если вышеупомянутый буржуа, подобно Раймонду Робинсу, происходит из рабочих, тогда как?..

— Вы полагаете, что этого обстоятельства достаточно, чтобы буржуа перестал быть буржуа? — спросил Бардин.

— Нет, оттого, что он происходит из рабочих, он не перестанет быть буржуа… — уточнил Бухман тотчас же — он не терял надежды выиграть спор. — Но я бы на вашем месте это учитывал… На вашем месте, — уточнил он после некоторого молчания.

— И что это мне даст?

— Как мне кажется, много, — заметил Бухман.

— А все-таки? — повторил свой вопрос Бардин.

Бухман встал, окликнул тетушку Клару и сказал, что чай просит подать на веранду.

— Вот вам вопрос на вопрос: Гарри Гопкинс напоминает вам в какой-то мере Робинса? Нет, нет, без отговорок?

— Все относительно, — произнес смущенный Бардин. — Если быть откровенным, у меня он такой ассоциации не вызывал.

— А у меня вызывает! Рабочее происхождение — это не шутка, даже для буржуа!.. А если говорить о России, то Робинс видел ее в октябрьские дни, Гопкинс — в дни войны против фашизма.

Бухман взял стул, с которого встал Бардин, сказав, что на веранде стульев нет, захватил свой, и они вышли.

— Значит, не напоминает? — переспросил Бухман, когда они оказались на веранде, сейчас темной настолько, что были видны лишь освещенные окна соседнего дома и светлое пятно стола, накрытого скатертью. — А я бы на вашем месте постарался рассмотреть это общее, вы в этом должны быть заинтересованы. Поймите, в той среде, делающей сегодня американскую политику, есть влиятельная группа, которую условно можно было бы назвать современными либералами, если бы это слово не было бы так скомпрометировано… Что характерно для них? Антифашизм и стремление понять Россию.

— Однако что это за люди? Я знаю их? — спросил Бардин — ему не хотелось, чтобы этот разговор был абстрактным.

— Да, разумеется, знаете. Как мне кажется, они не самые богатые, но самые образованные.

— У них есть имя?

— Наверно, есть, но его надо еще найти, — заметил Бухман. — Вы видите это окно? — указал он на свет в соседнем доме. — Там живет друг моего детства… Ах, какой это милый и способный малый! — Он зажег свет на веранде, и окно, которое он только что рассматривал, потускнело, а вместе с ним, казалось, погас интерес к человеку, живущему за этим окном. — Да, имя у них есть, но его надо еще найти, — вернулся он к прерванному разговору, вернулся не без намерения его продолжить.

— Но за чем тогда остановка? — Бардин заметно напряг внимание. — Рузвельт и Гопкинс?

— Пожалуй.

— Их способность довести войну до победы?

— Их способность совладать с Черчиллем и со всем тем, что есть империя…

Бардин усмехнулся:

— А это уже интересно.

Бухман вновь бросил взгляд на окно соседнего дома.

— Вот Боб Мун… его зовут Боб, — указал он на окно, свет которого едва просачивался сквозь толстые стекла веранды. — Боб Мун в таких обстоятельствах говорит: «Мудрость — в глазах. Все истинное от увиденного».

— Вы знаете своего Боба — вам легче его понять, — засмеялся Бардин…

31

— Значит, Рузвельт и Гопкинс? — Бардин осторожно возвращал разговор к главному.

— Я бы поменял их местами: Гопкинс и Рузвельт… — Бухман заметно разволновался и говорил с одышкой, которую заметил у него Бардин еще в посольстве. — Слушайте меня внимательно, мистер Бардин… Если мне предстоит сказать вам нечто существенное, я скажу вам это сейчас. — Он умолк, не успокоилось лишь его дыхание, оно продолжало клокотать. — Вы правы: дело, в конце концов, не в происхождении, но я обратился к этому, чтобы вам было ясно явление… О чем я говорю? В современном американском обществе есть группа политиков влиятельных, я скажу больше: влиятельнее, чем вы всегда полагали и полагаете… На последнем я хотел бы настаивать, так как вы плохо учитывали это обстоятельство в наших делах. Меня не удивляет, что эта группа нигде так не сильна, как в Штатах. Наверно, важно тут сказать о причинах, как понимаю их я. Вот они: мы не знали феодальных отношений. Наша демократия, если говорить о хрестоматийном значении этого слова, возникла в борьбе с рабством, и ее знамя обагрено кровью Линкольна, к которому, смею думать, мы с вами относимся одинаково. И есть еще одно обстоятельство, важное: среди тех, кого мы называем пионерами Америки и кто оказал влияние на все ее будущее, много людей из народа… Вот главное, как его понимаю я. Вы скажете: я идеализирую Америку. Возможно, но тут есть и правда… Так или иначе, в нашей общественной жизни возник тип политика-либерала, для которого идеалом был Линкольн. Когда Америка узнала о русском Октябре, многие из них увидели, — только не смейтесь, пожалуйста, — в Ленине последователя Линкольна. — Он вновь умолк, точно желая молчанием смирить одышку. — Люди, не сведущие в истории, были удивлены: почему после Октября столько американцев слали Ленину свои приветы и симпатии? Нет, не только Рид и Хейвуд, но и откровенные буржуа, вроде Робинса. Почему? По этой самой причине!.. Теперь я выведу одну смелую мысль, подчеркиваю — смелую, но отнеситесь к ней терпимо: Гопкинс — их преемник… Я скажу больше: все, кто считает себя сподвижниками и даже друзьями Гопкинса, — их преемники… Своеобразной баталией, которую дали они своим противникам, явился рузвельтовский Новый курс. Именно рузвельтовский курс сплотил их и, если хотите, собрал воедино, дав возможность им увидеть друг друга. В том, с каким воодушевлением они присягали Рузвельту тогда и много позже,

был один момент: антифашизм. Не скрою, что тут я особо заинтересован, чтобы мое слово было убедительно, а поэтому не голословно. Личные наблюдения? Да, то, о чем я хочу сейчас рассказать вам, господин Бардин, я видел сам… Разрешите?

— Пожалуйста… — Егор Иванович заметил про себя: «Внимание, он переходит к сути».

— Прежде всего, одно обстоятельство чисто личного характера… вы, наверно, знаете, что одним из учителей Гопкинса был некий Эдвард Стайнер? Тот самый, что был у вашего Толстого в Ясной Поляне и беседовал с великим русским писателем о путях христианства. Стайнер получил образование в Гейдельберге, но потом переехал в Штаты, занявшись преподаванием дисциплины оригинальной: «Прикладное христианство». Некоторые считают эту дисциплину чем-то похожим на современную социологию. Я не думаю, что это так… Но не в этом дело! Стайнер не был методистом, но он был близок методистам и по этой причине сошелся с моим отцом, который был в какой-то мере деятелем методистской церкви… Но и это не суть важно!.. Существенно в данном случае иное: Стайнеру был симпатичен Гопкинс не только потому, что старый учитель видел в нем своего ученика. Ему было по душе то, что делал Гопкинс в организации помощи бедным. Стайнер видел в этом подвиг христианина, а Гопкинс? Но пусть мне будет разрешено обратиться к личным наблюдениям. Я обязан Стайнеру тем, что моя семья узнала семью Гопкинса, не столько его родителей, сколько братьев. Как вы заметили, разница в годах между мною и Гарри не очень велика, но я никогда не знал его коротко.

Бухман впервые назвал Гопкинса по имени — видно, не считал удобным называть его так без того, чтобы не сказать нескольких слов о своих отношениях с Гопкинсом, — сейчас, когда он это сделал, ему легко было произнести: Гарри.

— Я уважал его положение, но высокие должности, которые он занимал, не очень отдаляли от него людей… Надо отдать должное Рузвельту: став президентом, он своей «тронной» речью немало встревожил сильных мира сего. Он сказал, что единственно, чего нам надо бояться, это страха. Как утверждал президент, менялы бежали со своих высоких мест и настало время восстановить в этом храме царство древних истин… Президент недвусмысленно дал понять, что, если положение будет критическим, он обратится к конгрессу с просьбой предоставить ему чрезвычайные полномочия, как если бы страна вступила в войну. Гопкинс принимал эту позицию президента в такой мере, что он счел возможным сделать заявление, которое можно было понять так: ему, Гопкинсу, кажется, что Рузвельт

будет лучшим президентом, чем Гувер, главным образом потому, что он не боится новых идей и его имя не связывают с крупными капиталистами… Я пришел на работу к Гарри в тот самый момент, когда Рузвельт, став президентом, предложил Гопкинсу возглавить администрацию помощи безработным. Гарри сказал: «Мне эта работа нравится». Надо только представить, что это было за время! Америка находилась в трагическом положении: семнадцать миллионов безработных, семнадцать!.. Гопкинс занял этот пост, призвав в помощники тех, кого знал, и я был среди них. Америке было не до моих летающих лодок, и я отважился… Вижу первое утро, когда Гопкинс пришел в администрацию. Кабинет еще не был готов, и стол Гарри поставили в коридоре. Да, сидя за этим столом в коридоре, он в первое свое утро послал телеграммы губернаторам семи штатов, сообщив им, что переводит в помощь безработным пять миллионов долларов, как, впрочем, за этим же столом он прочел в следующее утро отзыв в «Вашингтон пост» об этом первом дне в своей деятельности. Если Гарри Гопкинс будет тратить государственные деньги в таком темпе, в каком он начал тратить их в первый день своей деятельности, — гласила корреспонденция, — то ассигнованных ему пятидесяти миллионов не хватит и на месяц. Но это не смутило Гарри. Он повел дело с завидной уверенностью. Помогая, он щадил человеческое достоинство безработных, отменив проверку нуждаемости и анкеты, устанавливающие, к какой партии принадлежат те, кому оказывалась помощь, — речь шла о спасении людей, всех людей… Мне все кажется, что вы прервете меня и скажете: «Ваш рассказ о Гопкинсе пристрастен…» И я, пожалуй, не возражу. Да, я, пожалуй, пристрастен и не чувствую в этом вины. Вы полагаете: пристрастен?

— Пожалуй, и пристрастны, но понять вас можно: вы с ним почти… товарищи по общему делу? Так?

— Никуда не денешься: товарищи… — Ответ Бардина был собеседнику приятен. — Если же говорить о стратегии помощи, то у Гопкинса были две задачи. Первая — так распределить средства, чтобы были привлечены и деньги штатов: на один федеральный доллар три местных. Вторая — не пособие по безработице, а предоставление работы. Ну, работа могла быть иногда пустячной: например, сгребание листьев в парке, но и это было полезно в той обстановке, так как сохраняло в человеке потребность трудиться. Правда, враги Гопкинса не преминули эти парковые работы обратить против Гопкинса и злобно прозвали новую администрацию департаментом сгребания листьев. Чем деятельнее был Гарри, тем беспощаднее его атаковали, полагая, что он использует государственные средства на поддержку тех,

кто расшатывает устои американского государства, — ну, тут, конечно, обратили против него и его происхождение: сын шорника в роли американского Марата! Помню, сколько шума наделал демарш техасского сенатора Джорджа Терелла, который договорился до того, что администрация приведет страну к гражданской войне и революции, если как-нибудь не остановить ее. «Другие конгрессмены могут идти, как стадо бессловесное, — заявил сенатор в ярости. — Но я не пожертвую своей независимостью, какую бы работу мне ни предложили!» Как ни парадоксально, но Гопкинс, как, впрочем, и Рузвельт, должен был считаться с такого рода обвинениями. Поэтому часто сподвижники Гопкинса ломали себе голову над тем, чтобы прогрессивному делу сообщить облик консервативного и таким образом уберечь его. А между тем многое из того, что сделал тогда Гопкинс, обеспечило победу рузвельтовского Нового курса. По-моему, вы скептически улыбаетесь, не правда ли? — спросил Бухман. — Вы, наверно, хотите сказать: «Чудак человек этот Бухман, превозносит обычную филантропию, полагая, что она является лучшим средством борьбы с безработицей. Безработица побеждается не филантропией, а революцией!»? Нет, скажите: это вы хотите сказать мне сейчас?

— Мне бы хотелось вас выслушать до конца, господин Бухман, — произнес Бардин. Ну, разумеется, Егор Иванович мог бы возразить Бухману, но больший резон сейчас был в ином: дать возможность Бухману сказать то, что он хотел.

— Вы спросите меня: почему я столь подробно рассказал о христианской, как назвал бы ее старый Стайнер, миссии Гопкинса? Да потому, что она была генеральной репетицией к тому, что делал этот человек в годы войны: я говорю, разумеется, о ленд-лизе… Но есть одна тема, которой мне хотелось бы коснуться: Гопкинс и Рузвельт… Вам интересно это?

— Да, конечно же, господин Бухман.

— То, что звалось у нас рузвельтовской революцией, должно было делаться такими людьми, как Гопкинс! — продолжал Бухман увлеченно, в своем рассказе он почти достиг кульминации. — Гопкинс импонировал Рузвельту всей своей сутью. В самом деле, человек из народа, предприимчивый, никогда не знавший государственной службы, а поэтому не испорченный ее благами. Нет, не улыбайтесь, я говорю дело! Вся его сознательная жизнь была отдана благотворительности: вначале он воевал с бедностью, потом с туберкулезом и, наконец, с безработицей! Согласитесь, что человек, избравший себе такой путь, может стремиться ко всему, но только не к обогащению… Бессребреник! Вот это как раз и оценил в Гопкинсе новый

президент. Вам не доводилось слышать об этом разговоре Рузвельта с Уилки? Смысл вопроса Уилки был таким: да есть ли крайняя необходимость иметь рядом с собой такого человека, как Гопкинс? И вот что ему ответил Рузвельт — я воспроизвожу, разумеется, его ответ по памяти. «Есть смысл, господин Уилки. Когда-нибудь может случиться так, что вы окажетесь в моем кресле, став президентом. И тогда перед вами будет вот эта дверь, которая сейчас передо мною. И вы, разумеется, будете знать, как знаю сейчас я: каждый, кто входит в эту дверь, входит в нее для того, чтобы вас о чем-то попросить. И вы должны понять: ничто вас не делает таким одиноким, как это. И вам захочется иметь рядом с собой человека вроде Гарри Гопкинса, который, входя в эту дверь, при этом чаще, чем другие, ни о чем вас не просит…» Думаю, что президент уловил нечто важное в характере Гопкинса, хотя молва… О эта молва! Она, например, утверждает, что главное — почти женская чуткость Гопкинса, когда речь шла о настроениях президента. Гопкинс мог быть подчас и умнее, и даже прозорливее президента, но он никогда не обнаруживал этого. Но молва шла дальше, и она утверждала: он просто знал, когда надо молчать, когда настаивать, а когда уступать, когда следует действовать прямо, а когда идти кружным путем… Но молва, как обычно, повторяется, если речь идет о человеке сильном, и в том, что я воспроизвел как мнение молвы, нет нового. А как обстоит дело на самом деле? Вот что я думаю: Рузвельт человек широкий, он действует доверяя, а Гопкинс, это правда, не обманывал его доверия, обнаружив ум, бескорыстие и трудоспособность… Никаких тайн тут нет — все! Был бы я на месте Рузвельта, я бы повел себя по отношению к Гопкинсу так же. — Бухман прервал свой рассказ и, пододвинув стакан чая, отпил. — Начиная монолог, нельзя ставить перед собой стакан горячего чая, если не хочешь выглядеть смешным, а?.. — констатировал Бухман смеясь. — Чай остыл, а это значит, я злоупотребил вниманием гостя, не так ли?

— Нет, вы не правы, господин Бухман, это мне было полезно, — возразил Бардин; действительно, рассказ хозяина заинтересовал Егора Ивановича.

— Как ни пространен рассказ, я не утерял мысль, с которой я начал, и хочу закончить ею же, — заметил Бухман. — Я полагаю, что у русской дипломатии есть достоинство, по поводу которого и друзья ваши в Америке, и недруги держатся одного мнения: вы не витаете в облаках, когда речь идет о делах земных, вы — реалисты… А если вы реалисты, разрешите вам сказать следующее: то, что вы зовете капиталистической Америкой, отнюдь не монолитно. Короче: в той самой капиталистической

Америке есть люди, относящиеся к вам лояльно и даже не без некоторой симпатии, при этом степень пользы, которую они могут принести вам, во многом зависит от вас… Мой рассказ о Рузвельте и Гопкинсе я прошу понимать под этим знаком. И самое последнее: мой рассказ о Рузвельте и Гопкинсе, быть может, нов, быть может… Что же касается мысли, которую из этого можно вывести, то она, эта мысль, не нова — уже ваш учитель Ленин это понимал… — Бухман допил чай залпом, как пьют вино, — холодный чай был ему приятен, монолог потребовал от него сил. — Не мог бы я вас спросить, господин Бардин: как бы вы отнеслись к тому, если бы последовало приглашение президента посетить его в загородном доме?

— Вы полагаете, что такое приглашение последует?

— Мне так кажется.

Дом они покинули поздно ночью. Бухман выключил свет на веранде, и вновь, как несколько часов назад, ярче стало овальное окно соседнего дома: Боб Мун бодрствовал.

— Этот Боб… истинный феномен! — неожиданно заметил Бухман, распахнув окно веранды — внизу было картофельное поле. — Кстати, я вам не сказал: он моторостроитель, и способный. Говорят, соорудил мотор, которому цены нет, но никого не хочет к нему подпускать… Мотор, естественно, устаревает, но Боб стоит на своем… Не чудак ли человек? — Он затих, задумавшись; они стояли во тьме, глядя на овальное окно. — Цветет картошка, цветет!.. — произнес вдруг Бухман и зашагал с веранды.

32

Бухман заехал за Бардиным и повез его в Гайд-Парк.

Перевалило за полдень, жара еще удерживалась. Может, поэтому дорога была относительно свободной и заметно пустынными были улицы, которыми они сейчас ехали. Всем своим видом Бухман свидетельствовал, что он собрался за город. Нет, не только соломенная шляпа, сандалии из желтой кожи, костюм из незаменимой для вашингтонской жары рогожки, но и корзина с доброй дюжиной бутылок красного вина, которую Бухман пристроил рядом с шофером и которая давала о себе знать на поворотах.

— Вы хотите знать: всегда ли я беру в Гайд-Парк эту корзину с красным мексиканским? — спросил Бухман Егора Ивановича тоном, в котором явственно слышны были доверительные интонации. — Представьте себе, всегда!.. Это вино, как вы изволили заметить, из коллекции приватной… Одним словом, президент Штатов уже бессилен раздобыть это вино, а иметь его ему необходимо крайне: особую мягкость его знаменитым коктейлям, которую президент зовет плюшевой, может сообщить только это вино…

— Можно подумать, что президент пленен вашим красным мексиканским? — спросил Бардин смеясь.

— А вы что думали? — вымолвил Бухман, не моргнув глазом. — Так оно и есть!..

— Для каждой страсти свое объяснение… — заметил Егор Иванович. — Чем объяснить пристрастие президента? Я говорю о коктейлях…

Бухман засмеялся, смущенно пожав плечами, — когда ему было очень смешно, как заметил Бардин, он двигал плечами.

— Странность больного человека!.. Вот вчера видел, как человек, у которого не рука, а полруки, играл в эти шары, которые катят по деревянному желобу… Ему важно было показать, что он со своей короткой рукой шары бросает не хуже других… Бросит и глядит вокруг, точно хочет сказать: это вам только кажется, что у меня короткая рука, а она как у всех: вон как у меня получается!.. Он утверждает себя, бросая эти шары. Вот так и у Рузвельта!.. Ему все хочется показать, что у него рука как у всех! Главное — выказать силу!.. Ну какой же он мужчина, если не тянется к спиртному? Короче, президент не представляет своей жизни без того, чтобы не играть в эти деревянные шары, по этой же причине он составляет коктейли, — Бухман засмеялся беззвучно, и у него ходили только плечи. — Именно показать

силу!.. Ну, например, в прежние времена, когда к столу собирались гости, ему небезразличные, он хотел, чтобы гвардия его сыновей помогала ему угощать гостей, даже в какой-то мере им прислуживая… Он не требовал от сыновей, чтобы они блистали остроумием, он всего лишь просил их быть предупредительными…

— Не требовал быть остроумными даже после того, как однажды имел возможность слушать Рандольфа Черчилля?

— Именно после этого он и запретил им словесное фехтование! — плечи Бухмана пришли в движение. — Бедное чадо Черчилля так поднатужилось, что старалось разом превзойти и собственного родителя, и американского президента, не говоря уж о его сыновьях. После этого и был отдан негласный приказ: в доме Рузвельта разрешается быть только самим собой…

— Однако вы меня предупредили вовремя, — громко засмеялся Бардин. — А я уж собрался последовать примеру Рандольфа Черчилля!..

Вот так, переговариваясь, сопутствуемые ветерком, который врывался в машину, когда шофер прибавлял скорость, и мелодичным перезвоном бутылок с красным мексиканским, они доехали до Гайд-Парка.

— Но президент не часто видит своих сыновей вместе? — спросил Бардин. — Чтобы увидеть их, надо пересечь добрую половину вселенной, не так ли?

Бухман подмигнул Егору Ивановичу, точно говоря: «Знаю, мол, о чем говоришь!.. Знаю!»

— Если бы такая возможность вдруг представилась, вряд ли президент ею воспользовался бы… — произнес Бухман и указал взглядом на водителя — не все он мог сказать в присутствии своего «драйвера».

— Да, война делает эту проблему сложной, — бросил Бардин, точно не замечая взгляда Бухмана, обращенного на шофера, — ему хотелось довести этот разговор до конца.

— Нет, не совсем так, — возразил Бухман все тем же тоном. — Американская политика — дело весьма жестокое, при этом ее более чем суровые правила не дают привилегий и президенту. Недруги президента, а их у него немало, не могут простить ему, что сыновья Рузвельта живы… Не дай бог, чтобы это произошло, но смерть одного из сыновей была бы выходом из положения… — произнес он и даже не взглянул на «драйвера» — казалось, он смирился с тем, что тот услышит этот разговор. — Жестоко, не правда ли?

— Жестоко, — согласился русский.

Картину, которую увидел Бардин, прибыв в рузвельтовский

Гайд-Парк, он, кажется, видел однажды на фотографии: зеленая поляна, просторная и ровная, а у края поляны, в тени ветвистого вяза, Рузвельт в шезлонге, окруженный гостями. Впрочем, некоторых из тех гостей, которые сейчас были рядом с президентом, на фотографии не было, например Черчилля, но это обнаруживалось не сразу — кресло старого Уинни было скрыто тенью.

— Ну как же, я вас помню по миссии мистера… Бауэра! — заметил Рузвельт, подавая руку Егору Ивановичу и улыбаясь — все еще светоносная улыбка президента как-то контрастировала с его маленьким стариковским личиком, сейчас казавшимся еще более угнетенным, чем прежде. — Вы опоздали и должны быть наказаны…

Бардин скосил глаза на Черчилля, полагая, что тот будет застигнут этим взглядом врасплох и не успеет соответственно подготовить свое лицо, взглянул и не ошибся: в сомкнутом рте, в глазах, тоже сомкнутых в прищуре, в морщинах медно-багрового лица (оно было багровее обычного, коктейль, приготовленный Рузвельтом для Черчилля, был много крепче, чем для остальных гостей) сквозило нечто скептическое.

Бардин взял свой бокал и отошел к Гопкинсу — три шага, на-расстоянии которых он обычно находился от президента, им были точно отмерены и сегодня. Эти три шага давали возможность Гопкинсу находиться на незримом пятачке, позволяющем одинаково быстро включаться в беседу и из нее выключаться — последнее подчас устраивало Гопкинса не меньше первого. Устраивало, если удавалось обмануть бдительность президента. Сейчас это не удалось: разрешить русскому гостю уйти — значит поступиться законами гостеприимства.

— Мистер Бардин, Гарри мне сказал, что вы по образованию историк?..

— Да, господин президент, историк.

— Русский, да еще историк — вы мне как раз и нужны! — воскликнул президент и, защитив глаза ладонью, взглянул на предвечернее небо — его желтая ладонь защищала не столько глаза, сколько рот, который тронула улыбка, как показалось Бардину, ироническая. — Что там показывают барометры революции? Когда страна ближе к взрыву: в момент, когда видит в упор лик поработителя или его спину?.. Вы скажете: не спина же деспота может вызвать у народа гнев, а его физиономия, так?.. Молчите? Тогда я вам скажу — именно спина!.. — Он отнял желтую руку от глаз, торжествующе замахал ею: — Спина, спина!..

Бардин скосил глаза на Черчилля: его сигара медленно

пошла из правого угла рта в левый — не очень-то много можно было прочесть в этот момент на лице британского премьера… А если все-таки попытаться? Что означал вопрос президента и какое отношение он имел к разговору, который предшествовал приходу Бардина? Очевидно, самое прямое. Барометры революции?.. Какой революции? Очевидно, европейской? О какой же революции можно говорить сегодня, имея в виду бегство деспота? Именно бегство: когда же поработителю показывать спину, как не при бегстве?.. Ну что ж, для Черчилля это, наверно, сегодня проблема номер один, да и для Рузвельта тоже? Но какой поворот мог принять этот разговор, практический поворот?..

— Восстание парижских рабочих в прошлом веке, господин президент, было реакцией на неуспех в войне…

Сигара Черчилля остановилась посреди рта, она сейчас была нацелена на Бардина, ни дать ни взять — ствол гаубицы.

— Вы сказали: Париж? — спросил британский гость.

В самой интонации, с какой была произнесена эта фраза, нечто робко-тревожное, могло показаться даже — паническое. И вновь подумалось: какой поворот способен принять этот разговор, если подобную реакцию вызывает Париж?.. Наверно, гадай не гадай, а к истине не приблизишься. В самом деле, как нащупать зернышко правды, если ты знаешь так мало? Ну, правда может лежать, например, здесь: куда должен быть нацелен удар в Европе, чтобы предотвратить взрыв, тот самый, который имел в виду Рузвельт, говоря о спине деспота?.. Куда нацелен? На Скандинавию, на Балканы или на Францию, которая только что так взволновала Черчилля? Да, правда может лежать здесь, но какая у тебя уверенность, что вот эту обмолвку о Париже надо понимать так, как ты хотел бы ее понять? Нет, твоя, конечно, воля строить некую концепцию и даже тешить себя тем, что построенное тобой прочно, но согласись, что все это воздвигнуто на том сыпучем материале, который рушится, как только из него испаряется влага… Может быть, все это обретет смысл, если найти возможность продолжить разговор? Хотя бы с тем же Гопкинсом? Как свидетельствует опыт, то, что он скажет один на один, в более широком кругу он может и не сказать. Да, собственно говоря, в цепи, которую Бардин соорудил, стараясь представить себе разговор, имевший место под старым вязом, недостает двух звеньев, всего лишь двух.

Кстати, чтобы вынудить Гопкинса несколько увеличить расстояние, отделяющее его сейчас от президента, можно воспользоваться хотя бы вот этим: там, где смыкаются купы деревьев, сейчас темные, появились Литвинов и Хэлл, заметно уставшие, — вероятно, их автономное плавание было не легким.

— У хаоса нет правил: никто не может сказать, как он поведет себя, — сказал Гопкинс, когда они ступили с Бардиным на дорожку, ведущую к дому, — видно, он сделал это потому, что на параллельной дорожке появился Хэлл, — могло показаться, что Гопкинс отошел от президента демонстративно, приметив государственного секретаря.

— Хаос… это революция? — спросил Егор Иванович, запрокинув голову: уходящий день был знойным, и белесо-голубое, почти белое небо продолжало дышать зноем, но на недосягаемой высоте уже появились ласточки — вечер близок.

— Хаос — это… хаос, — заметил Гопкинс и посмотрел туда же, куда смотрел сейчас Бардин; можно было подумать, что он отвел глаза, чтобы обойти деликатную тему.

— Ну, предположим, не революция, а хаос… — легко согласился Бардин, опуская взгляд, — Егору Ивановичу казалось, что не было смысла тут спорить с Гопкинсом — главное было впереди. — Что надо, чтобы предотвратить этот хаос?..

— По-моему, вам это должно быть известно не хуже, чем мне… — вымолвил Гопкинс.

— А все-таки? — заметил Бардин и улыбнулся: он точно давал ему возможность превратить свой ответ в шутку, но ответить.

Гопкинс будто внял этой просьбе Егора Ивановича.

— Вам надо было спросить об этом английского премьера… — заметил Гопкинс, теперь уже откровенно смеясь.

— Но ведь он передо мною вопроса о хаосе не ставил… — возразил Бардин.

— Именно он и поставил вопрос о хаосе! — не сказал — отсек Гопкинс. Это уже было заметным шагом к выяснению истины. Впрочем, не только поэтому сказанное Гопкинсом могло показаться Егору Ивановичу существенным. Это было существенно для определения позиции самого Гопкинса: действительно ли он пошел так далеко, как свидетельствует это его замечание, или это обман зрения: слово сказало больше, чем этого хотел человек, произнесший его.

— Хорошо, я готов если не понять, то объяснить прежнюю позицию Черчилля — он не хотел второго фронта потому, что это было равносильно оказанию помощи русским, а это могло и не входить в его намерения, — произнес Бардин и посмотрел на Гопкинса: ему был интересен этот человек, всегда интересен, а сегодня больше, чем всегда. — Но сейчас, когда ему надо предупреждать… революцию, то есть хаос, ему никак не обойтись без второго фронта, не так ли?

— Да, но все еще не ясно, где его открыть?.. — Гопкинс точно

подзадоривал Бардина ответить и на этот вопрос — интонацию эту заметил и Егор Иванович.

«Если он мог позволить себе маленькую хитрость с подзадориванием, то его реплика о Черчилле и хаосе не обмолвка», — подумал Бардин. А если это так, то он, возможно, готов пойти в этом разговоре и дальше.

— Мистера Черчилля так встревожил Париж, что можно подумать… тут-то он и ждет хаоса? — Бардин не сводил глаз с собеседника. Они вышли из тени деревьев, ровный предвечерний свет ложился на лицо Гопкинса, делая его не таким серым, каким оно было на самом деле, не таким, пожалуй, замутненно-стеклянным, неживым. С той памятной июльской поры, когда Бардин увидел его впервые идущим по мокрой траве северного русского аэродрома, прошло почти два года, тревожных и для Гопкинса. Тогда американец отнюдь не выглядел богатырем, а сейчас… Бардин заметил тогда, как быстро уставал американец, его длинная, какая-то крупнокостная, от худобы крупнокостная рука, все искала предмет, на который могла бы опереться. Но вот прошло два года, а человек, казалось, деятелен, как прежде. Видно, годы эти не только не отняли силы, но и дали ему их. Только появилась привычка щуриться — наверно, потому поднасыпало морщин у глаз, да спина стала какой-то сутуло-округлой, но это могло быть от роста.

— Да, Париж, Париж… — повторил односложно Гопкинс, подчеркнуто односложно…

Вот, видно, она и захлопнулась, крышка откровенности, сказал себе Егор Иванович. Ненадолго ее хватило… Но что сказал он и сказал ли? Не хватало двух звеньев, а сейчас почти двух?..

— В хитрости есть одна опасность…

— Да, господин Бардин?

— Можно самого себя перехитрить.

— Это вы о Париже? — мгновенно реагировал американец, хотя, наверно, хотел сказать иное: «Это вы о Черчилле?»

— Да, о Париже.

— Так-так, Париж, Париж, — произнес он все так же односложно.

Если он не захлопнул заветной крышки откровенности до сих пор, то сделал это сейчас, подумал Бардин и, взглянув на Гопкинса, отметил его прищур, скрывший глаза: непонятно было, смеется он или хмурится.

— Наши потомки будут любопытнее нас, мистер Гопкинс, — Бардину казалось, что целеустремленность диалога, в какой-то мере жесткая, уже не даст результата.

— Потомки? — переспросил Гопкинс живо — он словно

откликался на приглашение Бардина к абстрактному разговору. — Им будет легче: они будут ближе к истине, но от этого они не будут умнее нас.

— Но они сочтут нас косными: за проблемами общими мы не видели проблем человеческих, если эти проблемы были уникальны… — сказал Бардин и подумал: не просто сменить тему беседы, если даже ты и хочешь это сделать.

— Черчилль! — чуть ли не воскликнул Гопкинс и, сжав руки в кулак, медленно качнул их, качнул, точно трос с литой чушкой на конце, которой, как это однажды видел здесь Егор Иванович, рушат дома — трущобы. — Черчилль… — повторил Гопкинс, продолжая раскачивать руку — кулак был сжат добела, но в голосе уже не было ни силы, ни воинственности. — Главное — знать, что ты хочешь… — заключил Гопкинс, но Бардин вдруг подумал: «О Черчилле он говорит теперь? О Черчилле? А может, о себе…»

33

Когда они вернулись под сень старого вяза, солнце уже зашло, но отблеск его удерживался над землей — может быть, он шел от верхушек деревьев, еще освещенных солнцем. Казалось, большая крюшонница хозяина бездонна, хотя и емок был половник, которым хозяин разливал свое многоцветное зелье. Впрочем, размеры крюшонницы и не могли быть иными, если учитывать, что среди гостей, сидящих подле, был английский премьер. Непонятным было только одно: к чему так осложнена процедура угощения? В самом деле, зачем напиток трижды переливать из одного сосуда в другой, прежде чем он достигнет знатного гостя? Можно ведь прямо, тем более что емкости, так сказать, одни и те же, да и формы, если это имеет значение, схожи… Да, как у чудо-озера: приник сухим ртом к заветной влаге и ней… Но вот что любопытно: казалось, человек не хмелел. Нет, на самом деле он хмелел: глаза будто плавились и сигара, знаменитая сигара, достигнув уголка рта, как бы повисала, готовая вывалиться… Но так было не больше получаса, и первый признак отрезвления подавала та же сигара: неожиданно ожив, она возобновляла прерванное путешествие, путешествие, можно было подумать, вечное: из одного уголка рта в другой… В том, как сигара, придя в себя, принималась двигаться, было нечто интуитивное, похожее на поведение того самого черепашонка, который, выкарабкавшись из яичной скорлупы и выбравшись на поверхность сыпучей стихии, устремляется к морю… Одним словом, помимо воли человека соответствующий процесс отработала в нем сама природа, обратив в своеобразные циклы. Можно было подумать, что самочувствие Черчилля, больше того, его настроение прямо соответствовало этим циклам: совладав с хмелем, он ощущал прилив сил, а следовательно, и красноречия — многие из знаменитых монологов Черчилля, монологов-заклинаний, исповедей-молитв, были произнесены в такую минуту.

Наверное, это знал Рузвельт — у него была возможность узнать это. Но он знал и другое: не всегда взрыв вдохновения возникал сам по себе — необходим был толчок, даже не очень сильный.

В самом характере Рузвельта, в его склонности к озорству была способность поощрить и даже спровоцировать собеседника на нечто лихое.

— Послушайте, Уинстон, расскажите почтенной компании, как вы меня приняли за Уэндела Уилки… — произнес президент

кротко, обращаясь к гостю.

Черчилль втянул голову так, что над плечами осталась только лысина.

— Как я могу рассказать такое? — произнес он, изобразив испуг; на самом деле испуга не было, была радость, больше того, ликование. — Рассказать — это значит выставить себя на осмеяние, — и он сложил руки на животе.

— Кто не знает старой истины: лучшее средство лишить других возможности смеяться над тобой — самому над собой посмеяться, не так ли, друг Уинстон?

Черчилль оглядел присутствующих, будто говоря: «А может, президент прав?»

— Да так ли это? — спросил он на всякий случай и, изловчившись, сунул толстые ноги под кресло.

— Ну, разумеется, так! — подтвердил президент, напрочь исключая сомнения. — А как же может быть иначе?

— Если так… — протянул английский гость… Он, конечно, чуть-чуть кокетничал, стараясь показать, что немало смущен и даже робок, — на самом деле он давно решил, что не преминет воспользоваться предложением хозяина и поведает гостям историю, которая действительно презабавна, — да как можно не воспользоваться случаем, который послан тебе самим небом? — Тогда я, пожалуй, решусь, — сказал он и оглядел слушателей нарочито хмурым взглядом, одним этим вызвав первые улыбки: казалось, у слушателей уже было то состояние, когда веселая история им необходима позарез, и они будут смеяться независимо от того, что расскажет сейчас старый хитрец. — Ну, знаете, есть такая присказка: когда мы приезжаем в страну, мы все рабы нашего посла в этой стране. Как может быть иначе: посол живет здесь, знает или должен знать все — ему и карты в руки!.. Мы говорим: «Посол имел в виду, посол дал понять, посол подсказал» — и это звучит для нас как закон. Независимо от того, что мы думаем по этому поводу, мы делаем так, как нас ориентировал посол… Наш посол в Вашингтоне сказал мне: «Вам надо встретиться с Уэнделом Уилки — он был у нас, он друг Англии!» Я слабо возразил: «Да, но как на это посмотрит президент, — по-моему, сейчас не лучшая пора в их отношениях…» — «Неважно — президент может и не узнать о вашей встрече, ну, встретитесь где-нибудь на полустанке во время вашей поездки по стране…» — «Но кто мне устроит эту встречу на полустанке?..» — «Сами и устроите, — сказал посол. — Мы соединим вас сейчас с Уилки по телефону…» Во мне еще жили сомнения, когда я взял телефонную трубку: связь в Вашингтоне налажена отлично… «Мистер Черчилль?.. Ваш абонент у

телефона». Посол так воодушевил меня, что я с места в карьер бросился в атаку: «Я очень рад поговорить с вами. Надеюсь, что нам удастся повидать друг друга. Завтра вечером я выезжаю поездом. Вы не могли бы встретить поезд на какой-нибудь станции и проехать со мной несколько часов? Где вы будете в субботу?» Мой собеседник ответил: «Да там же, где и сейчас, — за моим столом»… Мне стало не по себе, нет, не то что догадка, а нечто такое, что и объяснить нельзя. «Я не понимаю», — ответил я едва слышно. «С кем, по-вашему, вы говорите?» — спросил человек на том конце провода. «С господином Уэнделом Уилки, — бодро сказал я. — Не так ли?» — «Нет, — был ответ. — Вы говорите с президентом Соединенных Штатов». — «С кем, с кем?» — переспросил я, чувствуя, что ноги мои слабеют. «Вы говорите с Франклином Рузвельтом»…

На зеленой поляне, где сидели гости, будто что-то взорвалось — раздался хохот. Казалось, хохотала сама зеленая поляна вместе со старыми деревьями и облаками над ней. Президент закрыл глаза и готов был закрыть уши, чтобы оборониться от рассказа Черчилля, — сейчас стонало только его кресло.

— Однако что же произошло? — вопросил Гопкинс, когда смех утих. — Не сработал телефон или сработала служба безопасности президента?

— Будем считать, что все эти силы объединились в справедливом гневе, чтобы покарать меня… — смеясь, заметил англичанин. — Я сказал: в справедливом гневе!.. — заключил Черчилль — последняя фраза должна была его реабилитировать в глазах президента окончательно — в этой последней фразе был смысл его рассказа.

— А теперь прочтите Уиттиера, которого вы нам читали, когда мы въехали в этот Фредерик и увидели дом Барбары Фритчи. Ну, не томите нас, вы понимаете, о чем я говорю… — Президент как бы держал связку ключей от большого музыкального ящика, называемого Уинстоном Черчиллем. Президент действовал безошибочно, выкладывая на свою бледную ладонь эту связку и отбирая нужный ключик. — Гарри, напомните мистеру Черчиллю эти строки, — обратился хозяин к Гопкинсу, ему очень хотелось, чтобы Черчилль прочел стихи.

Гопкинс задвигал худыми плечами — он не намеревался декламировать, а собрался вместе со всеми слушать чтение Черчилля. Но президент просил, и Гопкинс откашлялся:

«Стреляйте в седины моей головы,
Но флага отчизны не трогайте вы!»

Черчилль уже не в силах был совладать с собой — в его взгляде, обращенном на Гопкинса, был молчаливый приказ умолкнуть.

Утром сентябрьским над жнивом полей
Фредерик-город блестел светлей, —

начал Черчилль, — видно, он читал эти стихи многократно. Вопреки годам, память удержала их, он читал уверенно:

Барбара Фритчи врагам в ответ,
Старуха почти девяноста лет,

Отважилась дряхлой рукой опять —
Мужчинами спущенный — флаг поднять.

И взвился флаг с чердака из окна,
Ему до конца она будет верна!

Отряд свой по улице мимо вел
Верхом на мустанге Джексон Стонвол.

Надвинув шляпу, смотрел он вокруг,
И флаг северян он увидел вдруг.

«Стой!» — и встал смуглолицый отряд.
«Огонь!» — и грянул ружейный раскат.

Звякнуло в раме оконной стекло,
Флаг изрешеченный с древка снесло,

Но грохот ружейный еще не смолк,
Когда подхватила Барбара шелк.

На улицу высунувшись из окна,
Простреленным флагом взмахнула она:

«Стреляйте в седины моей головы,
Но флага отчизны не трогайте вы!»

Бардин обратил взгляд на гостей. Рузвельт согласно кивал головой, пришли в движение и его губы, но голос был невнятен — он читал те же стихи. Литвинов следил за Черчиллем, чуть

наклонив голову; взгляд его был печально-торжествен. Хэлл тоже читал стихи, читал, в отличие от хозяина, почти внятно. Он точно говорил этим своим чтением: «Вот вы не помните этих стихов, а я их помню!» Бухман едва ли не встал на цыпочки, стараясь получше расслышать то, что говорил ему в эту минуту многомудрый Гарри. Судя по тому, что Гопкинс смотрел при этом то на Черчилля, продолжающего читать стихи, то на Бардина, речь могла идти и о Егоре Ивановиче. Ну, например, о его беседе с Гопкинсом, касающейся Черчилля, — кстати, повод к тому, чтобы вспомнить этот разговор, был налицо у Гопкинса — Черчилль продолжал читать:

И тень раскаянья, краска стыда
По лицу командира скользнула тогда.

На мгновенье задумался он, молчалив,
И победил благородный порыв.

«Кто тронет ее, как собака, умрет!» —
Он крикнул, промчавшись галопом вперед.

И целый день проходили войска
По улицам тихого городка,

Но флаг развевавшийся взять на прицел
Никто из мятежников больше не смел[9].

По мере того как чтение продолжалось, лицо Черчилля точно преображалось на глазах — прочь уходило то неодолимое, своекорыстное, что было в лице. Истинно, как гласили стихи, «и победил благородный порыв». Никогда никто не видел такого Черчилля — это был он и не он… Самое интересное, что этот прилив новой крови почувствовал в себе он сам, почувствовал и хотел удержать. Но это уже было не в его власти: сейчас его практический ум был занят тем, как употребить на пользу это приобретение. Мрачное состояние, в котором он только что пребывал, как рукой сняло. Его глаза, губы, все его лицо на какой-то миг точно смерзлись, сделавшись меньше и тверже: Черчилль действительно был занят тем, как стихи о Барбаре Фритчи обратить в реальные ценности, которые и прежде необходимы были ему в отношениях с американцами, а сейчас много больше, чем всегда.

— Простите, господин президент, но я устал, — неожиданно произнес Черчилль — эта фраза никак не проистекала из того

состояния, в котором он только что пребывал. — Если вам будет удобно, я спущусь к вам завтра после полудня…

Президент кивнул в знак согласия.

34

Почти всю обратную дорогу Бухман дремал. Он проснулся, когда машина вошла в Вашингтон. Можно было подумать, что его разбудили уличные фонари, свет которых с ритмичной последовательностью врывался в автомобиль, пробегая по лицу американца.

— Черчилль — это действительно проблема, и человеческая! — произнес вдруг американец, и Бардин подумал: «Да не передал ли Гопкинс своему другу содержание их разговора — там ведь шла речь именно о человеческом аспекте черчиллевской проблемы». — Вот он сегодня резвился так беззаботно и так был красноречив, а на самом деле он точно призвал на помощь свое остроумие, чтобы совладать с ситуацией, которая была для него неблагоприятна…

Бухман намеренно оборвал фразу, ожидая, что Бардин спросит: «Помилуйте, да так ли неблагоприятна?» Но Егору Ивановичу казалось: его собеседник взял инициативу этого разговора в свои руки и так далеко пошел в желании разговор продолжить, что вряд ли был смысл в желании обнаруживать большую заинтересованность, чем явил он сам.

— Не открою никаких тайн, если скажу — замысел таков: немцы и русские обескровят друг друга настолько, что все остальное будет лишь вопросом техники. Замысел, а следовательно, три варианта. Три… — казалось, в темноте Бухман загибает пальцы. Сейчас он загнул указательный, отмеченный шрамиком в виде полумесяца. — Союзники вторгаются на Апеннины и ждут своего часа у южных ворот Европы. Второй… — кажется, Бухман поднял в темноте руку, показывая второй загнутый палец, — второй: Балканы, куда Черчилль хотел бы вторгнуться, это отрезало бы русских от славянского юга и поставило бы под контроль союзников восточные ворота Европы. Третий… — и в свете набегающих фонарей Бардин увидел: палец действительно был загнут. — Третий вариант: Франция, а точнее, собственно Европа… Первый и второй варианты относительно безопасны: обратившись к ним, союзники не рискуют ввязаться в борьбу с основными силами немцев, что было бы для того же Черчилля равносильно катастрофе, так как дало бы возможность русским поменяться с англосаксами ролями. Третий вариант таит эту угрозу… Согласиться на операцию во Франции — это значит пойти на риск единоборства с немцами, почти единоборства… если понять это слово как борьбу один на один. Да, немцы отзывают свои войска

из России, а русские стабилизируют фронт и ждут своего часа, чтобы ворваться в Европу. Поэтому с точки зрения Черчилля: все, что хотите, но только не вторжение во Францию. Таким образом, расчет учитывал три варианта и не учитывал четвертого…

— А он был… четвертый вариант? — спросил Бардин. Ему хотелось показать Бухману, что он неотрывно следит за тем, как американец развивает свои доводы.

— Был всегда, а сегодня больше, чем всегда — самый главный…

— Главный?

— Да.

Очевидно, в системе доводов Бухмана действительно возник самый существенный. Бардину следовало и впредь заявлять о себе лишь короткими репликами, всего лишь поощряя беседу, не влияя на ее содержание, не пытаясь изменить ее характер. Бардин заинтересован, чтобы реплика американца как можно точнее отразила его мысль.

— Какой? Извольте: русские могут войти в Европу и без помощи англосаксов… Вы слышите меня? И решить все свои тактические и стратегические проблемы, в частности проблему новой Европы!.. Нет, до того как все это произойдет, надо еще сделать два, три, а может быть, и пять ходов, но Черчилль уже прозрел, при этом… если даже он будет делать самые сильные ходы, он не спасет партии.

— Это каким образом? — спросил Бардин и почувствовал, что он как бы становится в положение Черчилля, он заинтересован на какой-то миг войти в положение Черчилля и вызвать огонь на себя: только так и поймешь, какие у тебя преимущества. — Я говорю: каким образом?

— У будущего Европы, как полагает Черчилль, два пути, при этом оба решительно не устраивающие английского премьера… Создалось положение, при котором союзники не могут вторгаться во Францию и не могут ждать, пока русские войдут в Европу сами… Не хочу обращаться к сильным словам, но если обратиться к шахматным терминам, то положение англосаксов тут матовое. Не знаю, видел Черчилль это прежде, но сегодня он это видит.

— Простите, а каким бы могло быть по этому вопросу мнение мистера Гопкинса? — поинтересовался Бардин, формула была осторожной, но от этого она не стала менее категорической.

Бухман молчал. Снова пробудилась его одышка.

— Вы хотите спросить, говорил ли я с мистером Гопкинсом, так? Нет, не говорил, но я мог бы при известном усилии представить его ответ… Хотите знать какой?

— Пожалуй.

— Эта ошибка уникальна уже потому, что человеку не хватило ни ума, ни опыта, ни всей его долгой жизни, чтобы ее предотвратить… приблизительно так мог бы сказать Гопкинс.

— Погодите, но разве у Черчилля была возможность эту ошибку, как вы говорите, предотвратить?

— Мне кажется, была.

— Когда?

— Ровно год назад, когда это предлагала Россия… Ну, разумеется, тут был риск; очевидно, он был даже немалым, но он был выходом из положения…

— Простите, это тоже могло быть мнением Гопкинса?

Бухман выдержал паузу, прочную, даже одышку затаил.

— Я так думаю, хотя проблема Черчилля ему сегодня интересна больше человечески… — сказал наконец Бухман.

И Егор Иванович подумал: именно на эту тему сегодня вечером Гопкинс говорил с Бардиным и, как только что подтвердил Бухман, не только с Бардиным. А коли так, разговор Гопкинса с его американским другом мог быть и пространнее: там, где Бухман говорил «мог бы сказать Гопкинс», он, Бухман, должен был бы выразиться более определенно: «сказал Гопкинс». В этот поздний час, воспользовавшись тишиной и уединенностью, не от имени ли своего влиятельного друга говорил Бухман? Бардин полагал, что имеет право допустить это, допустить в той мере, в какой это позволяет проникнуть в суть того, что происходит.

Вот они, наверное, те два звена, которых так недоставало Егору Ивановичу сегодня.

— Хорошо, с точки зрения Гопкинса и, пожалуй, Маршалла, большой десант надо было бы высадить год назад, но Черчилль продолжает стоять на своем и сегодня, полагая, что время для десанта не пришло. Почему? Он же понимает, что его стратегия терпит крах… — произнес собеседник Бардина в той медленной манере, какую он принял с некоторого времени, давая возможность Егору Ивановичу не упустить нить главного, для Бардина главного, — непросто было Бухману выстроить эту фразу. — На что сегодня опирается расчет Черчилля, его надежда? На случай — он, этот случай, всесилен. Даже смешно: Черчилль и надежда на случай, да так ли это? Я думаю, так. Все можно предусмотреть, нельзя предусмотреть случай… — добавил он и, кажется, был обрадован, что обратился к доводу, который, ничего не объясняя, дает возможность ему, Бухману, уйти от ответа на вопрос весьма деликатный. — На случай, — коротко повторил Бухман, хотя должен был сказать: на перспективу раскола…

— Однако мы должны благодарить судьбу, — произнес Бардин, заметив, что шофер сбавил скорость — впереди была гостиница. — Было бы положение Черчилля иным, мы, пожалуй, не услышали истории об Уэнделе Уилки!.. Но что все-таки лежит в основе разногласий Черчилля и хотя бы… Гопкинса по русскому вопросу? Почему то, что приемлемо для Гопкинса, неприемлемо для Черчилля?.. — Бардину казалось: эмоционально разговор так накалился, что был смысл спросить Бухмана и об этом. В иных условиях смысла не было, сейчас такой смысл был. — Где тут причина?

— Это и есть человеческий аспект проблемы Черчилля! — произнес Бухман и вышел вслед за Бардиным из автомобиля. — Вот вам анахронизм эпохи: многовековое дворянское древо — вещь не шуточная! Я человек не суеверный, но верю в гипнотическую силу предков! Нет, речь идет не о физическом влиянии, а именно о духовном. — Бухман тронул плечо Бардина. — Все эти воинственные роялисты, начиная от Джона Черчилля, который не по приказу, а но своей воле стал автором атласной книги королевской генеалогии, через другого Джона Черчилля, обретшего герцогское достоинство Мальборо и, что не менее важно, четырехтысячную пенсию для всех своих потомков, через Рандольфа Черчилля, отца нашего героя, человека, как утверждают, не без талантов… Эта троица, а может быть, не только она, вместе и порознь сообщила семье такую первоначальную скорость, которую ничто уже не могло остановить… Знала ли Великобритания опасность большую, чем та, которую она пережила только что? Но и она, эта опасность, оказалась недостаточной, чтобы исцелить недуг — видно, он врос в плоть и окончится вместе с жизнью человека… Но вот задача: говорят, что болезнь наследственна.

35

Разговор о ленд-лизе, о котором обмолвился президент, решено было отнести на конец недели — из поездки на Дальний Запад возвращался Александр Александрович Гродко.

Как заметил Егор Иванович по своим прежним встречам с Гродко, тому было свойственно умение вести разговор на свободные темы. Казалось, пути, которыми должна была развиваться беседа, были отнюдь не предначертаны. Она развивалась как будто стихийно, то и дело отклоняясь от главного, даже сбиваясь на забавные мелочи, но когда заканчивалась, было чувство удовлетворения — так всегда бывает, когда встреча с человеком дарит тебе и мысль, и новизну впечатлений. Гродко понимал, что жизнь в такой стране, как Штаты, для человека, умеющего видеть, может явиться своеобразным университетом. У него была жажда видеть новое, встречаться с новыми людьми, в своих наблюдениях добираться до корня. Он выезжал охотно, надеясь увидеть нечто такое, что из столицы не рассмотришь, и не обманывался. У него была потребность поделиться тем, что он видел, — это диктовалось не столько желанием оживить увиденное, что всегда приятно, сколько намерением проверить действенность собственной мысли. Он умел читать страну, не пренебрегая тем, что оказывалось у него в поле зрения, независимо от того, мало оно или велико. Ему это было интересно, а следовательно, и поучительно. Он мог вдруг остановить машину у лесопилки, приметив, что пила, которой рабочие режут бревна на двухвершковые доски, необычной конструкции. Ему интересно было понаблюдать механизм в работе, а потом дотошно осмотреть его, выразив восхищение, как поставлена система колес и насколько хороша форма пилы… Он мог остановить машину у комбайна, пройти вместе с фермером вдоль нескошенного, а вслед за этим скошенного поля, взять на ладонь колос, погрузить руку в бункер с обмолоченным зерном, теплым и чуть влажноватым, радуясь его добротности… Если бы фермеру вдруг пришло в голову спросить Гродко, кто он такой, а тот бы ответил, что он дипломат, то фермер, пожалуй, выразил бы недоумение: такими дипломаты не бывают…

Да, такими дипломаты не были не только в сознании американского фермера, но и на памяти истории, хотя профессия эта древняя, быть может, одна из самых древних на земле… То, что можно было назвать личностью Гродко, состояло из компонентов, для человека его профессии подчас и необычных:

став дипломатом, он не утратил интереса ко всему, что было сутью его прежней жизни. Кстати, нельзя сказать, что это качество не было бы полезно этой новой профессии. Как он был убежден, прошли времена, когда дипломат был салонным шаркуном. Если ценность его определяется и тем, как хорошо он знает страну, в которой аккредитован, он должен видеть, как выглядит страна не только с парадного подъезда, видеть и, разумеется, понимать виденное. Но, очевидно, таким достоинством обладали не все. То поколение наших дипломатов, к которому принадлежал Гродко, этим свойством обладало. Не ведая о своем дипломатическом будущем и даже в самых смелых своих мечтах не представляя его, оно уже готовило себя к нему.

…Рузвельт принял русских в том самом овальном кабинете с золотым бордюром по карнизу, в котором принимал делегацию Молотова в прошлом году. Был дождь, неторопливо-монотонный, несильный, но окно на зеленую поляну оставалось открытым. В течение получаса, пока продолжалась беседа, ветер дважды или трижды плеснул в окно теплым дождем, окропив даже бумаги, лежащие на столе, но президент предупредительным жестом дал понять, что это его не беспокоит и окно может оставаться открытым.

Гродко только что вернулся с завода, выпускающего машины, хорошо проходящие даже в русских снегах. У русских были свои пожелания, касающиеся конструкции этих машин, и Гродко, посетив завод, не скрыл, что у Красной Армии есть претензии.

— «Виллисы» — не «харрикейны», — заметил Рузвельт. В этой реплике президента был свой смысл, далеко идущий. Как это хорошо было известно русским, «харрикейны», английские истребители, которые соответствующее ведомство Великобритании стало снимать с вооружения еще до начала войны, были отправлены в Россию в качестве щедрой помощи, почти дара британского союзника русскому. — Впрочем, монополия на «харрикейны» не только у англичан? — вдруг обратил свой вопрос президент к гостям, заметив, что первая его реплика о «харрикейнах» не вызвала у его русских собеседников того энтузиазма, на который президент рассчитывал. — Наверно, в природе есть и американские «харрикейны», например транспортные «дугласы», а?

— Нет, к «дугласам» у нас претензий нет, а вот у американских танков и мотор и броня могли бы быть помощнее, — заметил Литвинов, занявший место справа от президента — каждый раз, когда Литвинову приходилось бывать у президента, он обычно сидел в этом кресле, расстояние от гостя до хозяина здесь было ближе, что, учитывая слабеющий слух

Рузвельта, казалось Литвинову важным. — Как вы полагаете, Александр Александрович? — обратился Максим Максимович к советнику.

Гродко сказал, что Советской Армии предстоят тяжелое лето и осень. Весьма возможно, немцы соберут всю свою мощь, чтобы бросить ее на весы войны. Как кажется Гродко, это будет великая битва техники. В связи с этим важно, чтобы американская сторона выполнила свои обязательства по поставкам. С обстоятельностью, немногословной и точной, которая была свойственна Гродко, Александр Александрович принялся излагать, как американцы выполнили обязательства по договору о поставках, имея в виду главные статьи: автомашины, самолеты, суда, стратегические материалы, продовольствие… Рузвельт слушал Гродко с хмурой серьезностью. Он не впервые слушал Гродко и знал систему его доводов, построенных на цифрах. Наверно, эта система была рациональна и неотвратима, лишала оппонента контрдоводов. Этот дипломат-экономист привнес в дипломатию нечто такое, что делало проблему не очень дискутабельной. Цифры как бы говорили и за оппонента: договор предусматривал энное количество, Россия получила лишь греть — все ясно.

Синяя записная книжка Гродко, в которой с необыкновенной последовательностью шли записи советника, дающие представление об американских поставках, на каком-то этапе беседы извлекалась из бокового кармана и клалась рядом, свидетельствуя: если вы не вняли доводу, к которому обратился ваш собеседник, есть возможность назвать цифры. Эту синюю книжку в рубчатой клеенчатой обложке, туго сшитую и по виду приятно весомую, Рузвельт должен был запомнить по своим прежним беседам с Гродко. Президент знал, что в книжке есть все, что необходимо Гродко для подтверждения просьбы русских, поэтому лучше, если собеседник президента к книжке не обратится. Можно допустить, что Гродко догадывался, какие ассоциации мог вызвать один вид синей книжки у президента, и предпочитал обращаться к ней не часто.

Дождь прошел, глянуло солнце; диковинно преломившись, его случайный лучик проник в кабинет. Рузвельт снял пенсне и поднес его к солнечному лучику, лежащему на столе. Полированное стекло ухватило лучик и бросило его на стену.

— Вы только что из России, — обратился президент к Бардину. — Вы видели фронт в последние месяцы?

Егор Иванович встревожился: то, что вопрос был обращен не к Литвинову и Гродко, а к нему, свидетельствовало, что беседа вдруг пошла не проторенной тропой.

— Да, я видел фронт, — сказал Бардин.

Президент все еще играл пенсне, и лучик на стене контролировал каждое его движение: едва видимое, оно в отражении становилось заметным.

— Когда вы едете фронтовыми дорогами, очевидно, техника, поставленная Штатами, не очень-то бросается в глаза, а?.. Ну, сознайтесь, не очень-то? Отвечайте, вы меня не обидите…

— Могла бы быть приметнее, — ответил Бардин.

— Приметнее, значит? Хорошо, — произнес Рузвельт, и непонятно было, что же «хорошо» — казалось, реплика Егора Ивановича должна была не очень воодушевить президента. — Следовательно, если наша техника не так видна на русских дорогах, как нам бы хотелось, значит, ее доля не столь велика, так?

— Да, разумеется, — согласился Бардин, не было резона отрицать очевидное.

— При этом рост русского военного производства идет много быстрее роста наших поставок, не так ли? — был вопрос Рузвельта. — А если так, то доля нашей техники стала еще меньше и нужны сильные стекла, чтобы рассмотреть ее, много сильнее моих? — он потряс пенсне, потряс энергично, так что «зайчик» на стене пустился в пляс.

Бардин перевел взгляд на Литвинова, потом на Гродко. Их глаза точно говорили: «Не смущайся. Ты только что из России, Это дает тебе известные козыри. По крайней мере, во мнении президента. Продолжай». Бардин не спешил ответить. Свой последний вопрос президент задал, пожалуй, нерасчетливо, вопрос обнаруживал тенденцию, которая до сих пор едва угадывалась.

— Не хотите ли вы сказать, господин президент: если поставки так невелики, вряд ли есть резон говорить о них в связи с тяжелым летом? — Важно было осторожно отобрать у президента право задавать вопросы — одно это давало привилегию немалую. — Что они для русского лета?

— Да, я так думаю, — сказал президент, задумчиво глядя на пенсне; он постиг замысел Бардина.

— Но она, ваша техника, была бы много заметнее, если бы прибывала на наш фронт в размерах, о которых идет речь в договоре, не так ли? — спросил Бардин.

Президент положил пенсне на ладонь, медленно сжал ее: лучик на стене погас.

— Нет смысла вам возражать, — произнес он. — Нет смысла, — он оттенил голосом «нет», сделав его категорическим. — Все, что относится к грузовым карам, мы учтем, пожалуй… Только мне бы хотелось… — он запнулся, в

решительный момент его подвела память. — Да, да, память! — произнес он, точно выхватив это слово у собеседников; он вновь взглянул на пенсне, не без увлечения им повертел. — Как бы хорошо, чтобы были своеобразные окуляры… памяти! Надел, — и он действительно водрузил на нос пенсне, — и запомнил на веки вечные!

Литвинов улыбнулся:

— Памятная записка — вот вам окуляры памяти!

Рузвельт отозвался не без иронии:

— Записка сгорела, а вместе с нею и память — несовершенно!

— Так и окуляры могут разбиться вдребезги, оставив человека без глаз!

Президент пришел в уныние.

— Но я не так стар, чтобы не закончить мысли, для дела важной, — вернулся он к разговору о грузовых карах. — Прошу вас позвонить моим секретарям завтра, — обратился он к Литвинову, — все возможное мы, разумеется, сделаем. Все несовершенно, все несовершенно по сравнению с молодостью! — Он вдруг взглянул на Гродко, улыбнулся — казалось, в небольшом кругу людей, сидящих сейчас в овальном кабинете президента, только тридцатичетырехлетний Гродко и мог отождествляться с молодостью. — Как вы полагаете, а? — он смотрел на вконец обескураженного Гродко. — Как поживает партизанская республика, мистер Гродко? — вдруг спросил президент — когда у него было хорошо на душе, он любил поговорить с Гродко о Белоруссии, сражающейся и страждущей, называя ее партизанской республикой. — Мне сказал сегодня Гарри, что его друзья из «Нью-Йорк таймс» сообщили ему об убийстве в Минске этого гитлеровского генерал-полицейского, верно это?.. Как там ваши земляки, подтверждают?.. Вам не известно? Не верю! Нет, нет, решительно не верю! Говорят, бомбу подложили в перину, так он и отправился к праотцам, не успев повернуться с правого бока на левый. Ушел, прихватив и перину, и одеяло, разумеется, — сумеет, шельма, и на том свете устроиться!.. — Он засмеялся, достал платок, вытер им шею. — Вот сказали: в Минске полторы тысячи немецких могил, всех тех, кого покосила партизанская пуля… О, партизаны — это грозно! Так? — он продолжал смотреть на Гродко, и во взгляде его было воодушевление. Ну конечно, он понимал, что все сказанное им нельзя прямо отнести к Гродко, но ему очень хотелось отнести это к нему, прямо к нему. Он знал биографию Гродко и хотел видеть в сыне белорусского крестьянина сподвижника тех безымянных воинов партизанской республики, которые вели сейчас святую войну за свободу своей земли.

— Партизаны… Это люди мирных профессий? — спросил Рузвельт, закрыв глаза и задумавшись, — его лицо, как сейчас было хорошо видно, еще хранило следы волнения, вызванного разговором о партизанах. — Мирных?

— Да, господин президент… — ответил Гродко. — Рабочие, очень много крестьян, учителя, агрономы, даже домохозяйки, их много…

— Пробудить гнев в мирных людях, пробудить гнев — вот это и есть, наверное, народная война… — Он медленно обвел взглядом всех находящихся в комнате. — Народная, а значит, и справедливая, жестокая, трижды жестокая, но справедливая…

Бардин оказался в машине вместе с Гродко — путь лежал в посольство.

— Говорят, что партизаны, появившиеся в Гатчине невесть откуда, однажды чуть не проникли в Ленинград… Вы были когда-нибудь на Чудском озере, Егор Иванович? — подал голос Гродко.

— Нет, а что?

— Ничего… — ответил Гродко, как показалось Бардину, рассеянно, а Егор Иванович спросил себя: «Почему он отождествил Гатчину с Чудским?..»

Бардин еще пытался проникнуть в истинный смысл вопроса Гродко, когда шофер подвел машину к посольскому подъезду, в дверях которого возник человек в песочном макинтоше.

— Вас не надо представлять Тарасову, Егор Иванович? — обратил на Бардина внимательный взгляд Гродко. — Небось старые знакомые?

— Куда как старые! — Бардин двинулся навстречу Тарасову — он был спокойно улыбчив, лобаст, крепок в плечах. — А вы… не однокашники ли по дипломатической школе?

— Да, была такая школа — праматерь нашего опыта, если он есть у нас. — Гродко взглянул на Тарасова, и глаза его потеплели — он был рад встрече. — Значит, озерная Канада что озерная Россия — Атабаска на одной параллели с Чудским? — спросил Гродко Тарасова улыбаясь — он перешел на тот особый язык, который, очевидно, возник не сегодня и на котором он и прежде говорил с Тарасовым, лаконично-условный, ироничный язык друзей.

«Так вот почему спросил Гродко о Чудском озере! — мелькнуло у Бардина. — Не иначе, высоколобый Тарасов, второй год представляющий Советскую державу в Канаде, родом из того именитого края, где ополченцы Александра Невского дали напиться чудской водицы псам-рыцарям».

— Небось морозы на Чудском покрепче, чем на Атабаске? —

спросил Гродко — ну, разумеется, и он думал сейчас о ледовой баталии — из пущ белорусских чудское приозерье виделось, пожалуй, севернее, чем оно было на самом деле.

— На Чудском морозы люты, да и на Атабаске хороши, — сдержанно ответил Тарасов.

Все понятно: Гродко вспомнил о Чудском озере, зная, что встретит Тарасова.

Бардин оставил их вдвоем, они этой встречи наверняка ждали долго, — вон с какой силой заявило о себе у Гродко Чудское озеро! А сам, уйдя, обратился мыслью к утренней встрече у президента. Ну конечно, Мирон был прав, призывая не идеализировать Рузвельта. Но то, что происходило в эти годы в мире и было войной народов против фашизма, наверное, не отняло у Рузвельта того доброго, что было свойственно его личности. Не отняло, а может быть, и прибавило. Эту мысль можно и оспорить: Рузвельт возник не сегодня. Но существуют факты, они неопровержимы. Есть в нем симпатии к России и ее народу — их никуда не денешь, эти симпатии, и глупо их не видеть, а тем более закрывать на них глаза. Наоборот, реальный политик их учтет и обратит на пользу стране… Но вот вопрос: Рузвельт в годы войны… это что же, остров? До войны и — если будет жив — после войны один Рузвельт, а во время войны — другой, так? Остров? А если остров, надежно ли это? Не затопит ли этот остров большой водой?

36

Тамбиев знал, что Бардин только что прилетел в Москву и поглощен оперативными делами отдела, тем неожиданнее был звонок Егора Ивановича. В стиле депеши, исключающем всякие вопросы, Бардин попросил Тамбиева освободить вечер следующего дня — приехал с фронта Яков и хочет видеть Николая Марковича.

В условленный час наркоминдельская «эмка», которой была возвращена благородно-вороная масть после того, как ее выкупали в трех водах и смыли непрочную маскировочную известь, повезла Бардина и Тамбиева в Ясенцы.

— Когда ты последний раз видел Якова? — спросил Бардин, приминая на висках больше обычного пышные волосы — видно, американские цирюльники отнеслись к ним с немалой бережливостью. — Не во фронтовой ли палатке под Вязьмой?

— В тот раз, — ответил Тамбиев, — а что?

— И времени как будто бы прошло немного, но что-то изменилось в нем такое, на что в иных обстоятельствах потребовались бы годы.

— В ком? — спросил Тамбиев. — В Якове?

— А то в ком? — удивился Бардин. — Вот погляди на него, да повнимательнее, а потом поговорим.

— Поговорим, — согласился Тамбиев.

Их встретил Иоанн.

— Ну, Николай, когда ты видел Якова в последний раз? — вопросил старейшина бардинского клана. — Не узнаешь, ей-богу, не узнаешь. Я, отёц родной, и то еле узнал. Повстречал бы на улице — прошел бы мимо, так переменился.

В вопросе Иоанна была ирония, но была, как заметил Николай еще в беседе с Егором Ивановичем, и тревога.

— Это как же понять «переменился»? — осторожно полюбопытствовал Тамбиев.

— Сам увидишь, — произнес Иоанн и пошел прочь, держа больную руку на весу. Он и в минуты волнения теперь не забывал подхватить ее рукой здоровой: видно, сработало время и действовал условный рефлекс. Да, Иоанн так и сказал: «Сам увидишь» — то ли не хотел открыться, то ли не разобрался в происшедшем и предпочитал до поры до времени помалкивать.

Появилась Ольга. Лицо ее было загорелым и чуть-чуть влажным, а волосы полны сухой листвы — не иначе, обрезала деревья, встав на лестничку. Она почувствовала взгляд мужа, покраснела.

— Ты почему на меня так смотришь? — спросила она. — Не смотри на меня так, пожалуйста, — и быстро ушла в комнату рядом.

— Вот тебе на! — изумился Иоанн. — Гость взглянул, она не смутилась, а муж поднял на нее глаза, так она наутек. Как же это понять?

«В самом деле, как это понять? — думал Тамбиев. — Кажется, ближе человека нет на свете и нечего тебе его стыдиться, а в жизни все наоборот. Только он, близкий человек, и способен вот так смутить и встревожить, привести в такое смятение».

Она появилась вновь минут через пятнадцать и словно преобразилась. Ее светлое платье, слегка накрахмаленное, дышало свежестью, да и лицо точно посветлело, только глаза оставались прежними, влажно-блестящими.

— Не смотри на меня так, пожалуйста, — услышал Тамбиев ее полушепот, обращенный к мужу, и вновь подумал: это смущение отнюдь не знак размолвки, или, тем более, разъединенности, а наоборот — любви, полноты жизни.

Приехал Яков, задержавшийся в городе, и, увидев Николая, обрадовался.

— А я уж не надеялся тебя встретить, — пошутил он. — Думал: забурел, как взял под свое начало корреспондентский корпус. — Он свел брови, стал строг. — Простите, была сегодня у меня встреча… ответственная, хочу записать. Память стала не та, боюсь — запамятую! — И, не дождавшись ответа, удалился.

— Видал? — подмигнул Николаю Егор Иванович.

— Теперь видишь? — подал голос и Иоанн.

Минут через двадцать Яков вернулся в столовую.

— Записал своим цыплячьим почерком, — произнес он с неожиданной веселостью. — Послушай, Николай, мне вчера сказали в Генштабе, чтобы я подготовился к встрече с этим вашим… Гофманом. А надо ли, Коля? — Он опустился в кресло и, вытянув свои длинные ноги, подтянул голенища сапог. — Говорят: необходимо мнение военачальника, раздумья о стратегических принципах нынешней поры… Нужны мысли, говорят. — Он хлопнул ладонью по голенищу, засмеялся. — Слыхал: «Нужны мысли!»

— Но они есть… мысли-то, Яков Иванович? — улыбнулся Тамбиев.

— Ну, ежели поскрести — найдутся…

— Коли найдутся, с богом.

Яков трахнул кулаком по колену.

— Теперь чую: ты с ними заодно, — встал он над Тамбиевым, взглянул грозно. — Да не ты ли их ко мне направил?

— Нет, Яков Иванович.

Но он, казалось, не услышал ответа — видно, решил говорить с Гофманом, уже решил.

— Значит, мысли? — Он пошел по комнате, не очень стараясь умерить стук новых сапог. — Думал, отдохну в Москве, и вот тебе на!.. — Он задумался — вероятно, он уже видел Гофмана, разговаривал с ним. — Значит, стратегические принципы…

Ольга начала накрывать на стол, и Николай вызвался помочь ей.

— Это почему же ты? — спросил Бардин. — Я помогу, я это сделаю лучше тебя! — произнес он не без обиды и, пожалуй, вызова.

— Нет, нет, пусть это делает Николай, он это умеет, — произнесла Ольга с той ласковой твердостью, какая была свойственна ее тону. Ольга помнила, с какой охотой Николай однажды ей помогал накрывать на стол, именно с охотой. В самом облике стола, накрытого ею, было нечто деревенское. Стол был красен всем тем, чем одарили Ольгу ее добрый огород и сад, не очень, правда, богатые, но хорошо ухоженные и для далеко не тучной подмосковной земли плодоносящие. Как заметил Тамбиев, Ольга гордилась этими своими огородом и садом и ей приятно было выказать эту гордость Николаю — он был для нее кубанским аборигеном, которому были ведомы дары земли. И Николаю действительно это напоминало Кубань, кубанскую осень и нехитрые радости мамы. Золотой кубанской осенью на большом тамбиевском дворе командовала она: выстраивала этакую батарею четвертей с вишневой наливкой, выстилала крышу едва ли не простынями с курагой и яблоками, развешивала по карнизу связки репчатого лука и красного перца, а если был в доме сахар, устанавливала посреди двора черкесскую треногу и варила несравненное свое варенье из груш и айвы… Нет, все, что Николай мог увидеть в погребке у Ольги, хотя было и не столь разнообразно, КАК НА Кубани, но обильно вполне. Но вот задача: чтобы вызвать к жизни этакое изобилие, нужны силы. Откуда они? Что-то возникло в этом доме такое, что сделало человека сильным, а заодно и жизнелюбивым. Что-то такое, что объяснить не легко, хотя вот эта скромная наклейка на банке с вишней может навести на мысль верную: «Егорово варенье». Да, так и выведено Ольгиной рукой — «Егорово». Что хочешь, то и думай.

Стол был накрыт. Выпили по чарке яблочной наливки, сладкой, похожей на ликер, вспомнили Мирона и Серегу.

— Один фронт и две армии, — молвил Иоанн задумчиво. — Это что же, каждая армия сама по себе и между ними стена?

Яков помрачнел — в его огород камень.

— Между одной армией и другой стены может и не быть, — отозвался Яков. — Зато между дядей и племянником — стена есть, трехметровая, бей пятитонными бомбами — не порушишь.

«Ну вот, началась бардинская канитель, — подумал Николай. — Сию минуту пойдут друг на друга в кулаки».

— А по какой причине эта стена трехметровая между дядей и племянником? — спросил Иоанн почти ласково. Он и прежде начинал свои самые жестокие баталии с этой ласковой интонации. — В ком тут закавыка? В дяде или, быть может, в племяннике?

— Дядя не виноват, да и племянника винить не в чем, — подал голос Яков и искоса посмотрел на отца.

— Погоди, коли не виноваты ни первый, ни второй, тогда чья вина? Третьего? — Иоанн уже распалялся.

— Третьего, — ответил Яков спокойно.

— Третьего вина? — недоуменно вопросил Иоанн. — Кого?

— Твоя вина, отец, — сказал Яков все так же спокойно.

— А я думал, ты там на войне отучился шутки шутить, — бросил Иоанн, не глядя на сына. — Я тебя серьезно спрашиваю: чья вина? — Иоанн посмотрел на Егора, точно желая вовлечь его в спор.

— Твоя, отец, — все так же невозмутимо ответил Яков.

— Вы там знать друг друга не хотите, а я виноват? — возроптал старик Бардин. — Объясни. Я понимать хочу.

— Виноват ты, коли наделил нас этими характерами бардинскими, строптивыми, на которые и у бога управы нет.

— Что вы будете делать, когда меня не будет? — подал голос Иоанн, помолчав. — На кого грехи свои списывать будете?

— Все на тебя же, отец! — отозвался Яков.

От смеха, который в эту минуту раздался за столом, казалось, колыхнулись стены, и в кухоньке, что была в другом конце дома, с гвоздя соскользнуло что-то металлическое, упругое и ударилось об пол, позванивая.

— Это твое, Оленька, шумовка или дуршлаг, — сказал Егор Иванович, не в силах сдержать смеха.

— Мое, мое, — отозвалась Ольга смеясь, но из-за стола не поднялась — ей было хорошо здесь.

— Ну, шутки в сторону. — Иоанн пододвинул к Якову здоровую руку, сжал ее в кулак.

Смех, раздавшийся за столом, не умерил его воинственности, кулак был грозен.

— Тут все дело, наверное, в наших двух армиях: моей и командарма Крапивина. На севере стояли рядом, отвели в резерв, пополнили и вновь поставили рядом. На войне не закажешь,

бывает и такое. Но ведь у Крапивина тоже есть Бардин, помоложе, но Бардин. Вот он где, камень преткновения, — не перескочишь, да и обскакать трудно.

— Это как же понять? — спросил Иоанн. — От одной избы до другой рукой подать, а за целую войну минуты не нашли, чтобы взглянуть друг другу в глаза.

— А это еще зачем? — безбоязненно посмотрел на отца Яков. — Он знает, что у меня все в порядке, да и мне известно, что он, слава богу, жив-здоров.

Ольга встала и вышла, почувствовав неловкость. Приподнялся и Тамбиев, но движением руки, в такой же мере мягким, в какой и расчетливо-твердым, Егор Иванович вернул его обратно.

— Здоров! — воскликнул Иоанн. — И в госпитале за Клином, где он пролежал, почитай, два месяца, тоже был здоров?

— Так ты хочешь спросить меня, почему я не был в том госпитале? — вымолвил Яков. В его голосе уже не было иронии, он становился гневным. — Об этом ты хочешь спросить меня? Я не был там по той самой причине, по какой не был там… ты, — у него наверняка было искушение сказать: «По какой не был там родной отец Сережки», но он вовремя остановился.

Разговор накалился добела.

— А как ты смеешь меня сравнивать с собой? — едва ли не закричал Иоанн, и его больная рука сползла со стола и повисла. — Со мной, стариком и калекой? — повторил он и поднес здоровую руку к глазам, слезы лились у него градом. — Да неужели ты можешь допустить, чтобы я на твоем месте не повидал в эти два года Сережку? — Кулак Иоанна нетерпеливо заелозил по столу, он требовал дела, этот кулак. — С моим сердцем, с моим сердцем… участливым…

— Оно стало у тебя не столько участливым, сколько слабым, — нашелся Яков. — И слезы у тебя от этой твоей возрастной слабости.

— По тебе, горя у меня было недостаточно, так? — не уступал Иоанн. — Ты молишь судьбу, чтобы у меня этого горя было больше, да?

— А я все думаю: куда это делся Иоанн Бардин, и здесь он, и нет его — вижу его, а слышу другого, — заметил Яков невозмутимо. — Ошибся я — здесь он, и речь его не переменилась, и слова его все на месте… Вот что, отец, у меня там… сердце чуть-чуть поослабло. Я и разгневаться могу.

Иоанн поднял кулак над столом и стукнул им что есть мочи.

— Ты что же, меня гневом своим испугать хочешь?

37

Неизвестно, какой бы оборот все это приняло, если бы голос Ольги, радостно-изумленный и тревожный от неожиданности, не возвестил:

— Егор, Егорушка, ты взгляни только в окно. Нет, положительно есть бог, Егорушка, взгляни…

Она обращалась к мужу, будто происходящее относилось только к нему и, пожалуй, к ней.

Все кинулись к окну, но на какой-то миг Тамбиев успел раньше.

— Сережка!

— Сережка! — первым отозвался Егор Иванович и кинулся навстречу сыну, все сметая на своем пути.

Наступила пауза, только вздрагивала больная рука Иоанна да скрипело плетеное кресло под Яковом.

— Ну, кончай, батя, кончай! — послышался степенно-важный Сережкин тенорок, и сияющий Бардин не столько ввел, сколько впихнул сына в столовую.

— Ну вот, не нашел времени повидать дядю Якова на Волхове и Волге, так мы устроили тебе эту встречу в Ясенцах! — произнес Егор Иванович и осторожно подтолкнул сына к столу, за которым сидели старый Иоанн и Яков. Сережка смешался, не зная, к кому подойти первому — к командарму или к более чем штатскому Иоанну. Сережка пошел к Иоанну.

— Вот он, истинный Бардин, не дал себя усыпить блеском звезд генеральских! — возликовал Иоанн и приник седой головой к Сережкиной груди. — А теперь встань вот сюда, дай тебя разглядеть. Да свету прибавьте маленько, свету!

Зажгли боковой рожок, что был укреплен над диваном, и повернули этот рожок к Сереге. Разом стало темно в столовой. Был освещен только бардинский сын, освещен и несказанно смущен и растерян. Ну что ж, теперь знал не только Серега, но и весь дом: ушел мальчишкой, а вернулся зрелым мужем, что-то сурово-мужественное, истинно зрелое явилось в молодом Бардине. Этой осенью ему должно было стукнуть двадцать один, а казалось, отстучало все тридцать. Нет, дело было не в щетине, густой и ярко-коричневой, которой он оброс до самых ресниц, не в медно-червонном отсвете его кожи, которым его одарила нынешняя горячая весна, не в бровях, жестких и колюче-торчащих, чуть-чуть выбеленных знойным солнцем. Просто ушла мальчишеская худоба и явилась бардинская могучесть. Уму непостижимо, откуда пришла к нему в эти два года эта тяжелая

округлость в груди и плечах, эта ухватистость в ручищах.

— Да ты вроде подрос на войне, Сережка? — спросил Егор Иванович и вдруг почувствовал пугающую тревогу. В том, что сын вымахал в этакого красавца мужика, было что-то страшновато-радостное.

— Стыдно сказать, на три с половиной сантиметра, — отрапортовал Сережка.

— Ну, а теперь подойди к дяде Якову, — молвил Егор Иванович, не сумев скрыть особой интонации, которую вернее всего было бы назвать просительной. Он определенно был заинтересован в этом больше Сережки.

Сережка шагнул к Якову, и вдруг стало слышно, как пузырится масло на горячей сковороде в кухне.

— Здравствуйте, дядя Яков, — протянул Сережка руку.

— Здравствуй, Сережа, рад тебя видеть. Садись вот здесь, — Яков пододвинул молодому Бардину свободный стул, но Сережка не сел.

— Я с Николаем, тут попросторнее, — он дотянулся до руки Тамбиева и уже не выпустил ее, пока не сел рядом. Это было похоже не только на знак приязни, но и на расчет — он очень хотел, чтобы Николай выручил его в нелегкую минуту, и был благодарен, что тот понял его.

— Дошел до меня слух, Сережа, что Крапивин тебя сделал, как бы это сказать тебе половчее, адмиралом? — спросил Яков с чуть-чуть ленивой снисходительностью. Казалось, этот факт вызывал в нем немалый интерес, но он не хотел обнаруживать этого.

Сережка покраснел.

— Адмиралом? Не слыхал, — решительно и невозмутимо заявил он. Только румянец и выдавал в нем волнение.

— Как не слыхал? А взвод, который велел тебе сформировать Крапивин? Взвод, которому приказано форсировать водный рубеж первым и вступить на тот берег тоже первым. Ты и об этом тоже ничего не знаешь?

— Знаю, — ответил Сергей сдержанно.

— Твой взвод?

— Мой.

— Вот ты и есть адмирал, коли нацелился на Днепр с Дунаем и Бугом.

Сергей помолчал.

— Дунай далеко, да и Днепр не близко.

— Верно, не близко, — отозвался Яков. — Не близко и не легко, — подтвердил он и заметил, выдержав паузу порядочную: — Я вот что хочу тебе сказать, Сережа. Крапивин — свой

командарм, и ты должен верить ему, как веришь, предположим, нам. Но у тебя должно быть и свое мнение на этот счет. Слышишь? Свое. Я понимаю Крапивина: он тебя сделал адмиралом, имея в виду Днепр. Не Дон и даже не Волгу, а Днепр. Ты понимаешь, что такое Днепр в середине лета? Тот берег глазом не ухватишь.

Сергей задумался. Нельзя сказать, чтобы он об этом не думал раньше, но в устах старшего Бардина все это обретало и особые масштабы, и особые трудности.

— Командарм Крапивин сказал: «Ну, не нормандский десант, но что-то вроде этого».

Чем-то эта реплика о Крапивине взволновала Якова, он оживился.

— Ну что ж, Крапивин по-своему прав, — заметил Яков; упомянув имя Крапивина, Сергей явно облегчил ему разговор. — Теперь поставь себя в положение тех, кто готовит нормандский десант, и тех, кто ему противостоит. Ведь те, кто готовит десант, ищут место, где берега сближаются и водное пространство заужено. А те, кто десанту противостоит, знают, что все внимание противника будет обращено сюда. Следовательно, мысль одних и других работает в одном направлении, и никакой неожиданности здесь нет, хотя какие-то отклонения от правил возможны и здесь, разумеется. Ты теперь понял, Сережа, что я тебе пытаюсь внушить, понял?

— Что-то понял, а что-то нет, — ответил Сергей со свойственной ему уклончивостью.

— Я хочу тебе внушить вот что: ты совершаешь первый бросок через Днепр, бросок разведывательный и, быть может, диверсионный. Ты полагаешь, что твой замысел для противника неожидан. А на самом деле никакой неожиданности нет, потому что противник, как и там, на нормандском берегу, догадывается, где ты должен нанести удар, и, естественно, тебя ждет и к встрече с тобой готовится. Ну, разумеется, я говорю с тобой об этом не к тому, чтобы ты за это дело не брался. Для тебя этот вопрос решенный. К тому же это дело твоей солдатской чести, твоей совести. Не к этому я говорю.

— А к чему? — полюбопытствовал Сергей. Слова Якова заметно встревожили его.

— Будь осторожен, Сережа, — произнес Яков, и волнение, казалось, тронуло и его голос; видно, это бывало с ним не часто. — Ты вот думал, Сережа, почему это дело, необычное и нелегкое, повторяю, нелегкое, Крапивин поручил тебе? Что показалось ему в тебе подходящим? Ну я знаю, что он видел тебя на Волге в деле и оценил. Нет, не уменье плавать. Таких, как ты,

пловцов, да еще в тельняшках, у него там был полк. Не это, иное. Он тебя видел на Волхове, когда вы этот подкоп совершали. А потом здесь, на переправе. Я говорю так уверенно, потому что однажды говорил с ним об этом. Как-нибудь пловцов, и добрых пловцов, он раздобыл бы. Не это он видел в тебе.

— А что?

— Дерзость твою, понял? Даже не храбрость, она, наверное, у тебя есть, а дерзость. А у дерзости, я из опыта знаю, часто нет глаз. Ты понял теперь, к чему я веду? Будь осторожен.

Помолчали. Помолчали бы и дольше, если бы Иоанн не прервал этой тишины нетерпеливым вздохом.

— Можно мне сказать, Яков? — оторвал он больную руку от стола, оторвал не без труда. — Можно? Вот ты сказал Сереге «будь осторожен». Так ты должен был сказать ему это уже и не раз, и не два. Ты говоришь: зачем вам надо было видеть друг друга на фронте? — вот за этим и надо было видеть, чтобы сказать: «будь осторожен». Из-за одного этого есть резон повидать друг друга.

— Твоя правда, отец, — сказал Яков и встал.

Не просто было понять, что лежало за этим лаконичным «твоя правда, отец» — желание воздать должное правоте старого Иоанна или стремление свернуть разговор, который становился для Якова неудобным.

38

Михайлов вернулся от Бивербрука и вызвал к себе Бекетова, но у Сергея Петровича были газетчики из Глазго, и он попросил посла отнести разговор на вечер.

В условленные восемь часов Бекетов позвонил послу.

— А у меня как раз выигрышный эндшпиль против младшего Бекетова. Думаю, двадцати минут будет достаточно, чтобы опрокинуть белого короля. Как вы полагаете, Игорь Сергеевич? (В знак признания шахматного дарования младшего Бекетова Михайлов с некоторого времени стал обращаться к нему на «вы», величая Игорем Сергеевичем.) Впрочем, приглашаю вас присутствовать при капитуляции.

Когда Сергей Петрович явился, белый король, разумеется, не был еще опрокинут, и, как установил Бекетов тут же, такая перспектива ему не угрожала. Решено было выяснение отношений перенести на следующий день. А пока посол водрузил шахматную доску с расставленными на ней фигурами на ладони младшего Бекетова, и тот понес ее, как несут горячий пирог, в соседнюю комнату и, взобравшись на стул, поставил на книжный шкаф: предполагалось, что в доме не было места более надежного, чем это.

— Дай я поправлю тебе воротничок, — сказал Сергей Петрович сыну и извлек воротник из-под пиджачка. Бекетов знал: как только сын выйдет, он спрячет воротник, но Сергею Петровичу было приятно сделать это. Чем-то этот белоснежный воротник на темном фоне пиджака напоминал Сергею Петровичу его детство: костюм мог быть и небогатым, но воротник сорочки украшал все, — что может быть благороднее чистой рубашки? И потом: вот Бекетов поправил воротник сорочки на пиджачке сына и точно увидел себя в четырнадцать лет. Это и есть бессмертие — иного нет… — Ну, поди, поди — мама ждет тебя, — сказал Сергей Петрович сыну, приметив внимательный и, как показалось Бекетову, печальный взгляд Михайлова. — Поди, поди…

Игорь ушел, а Михайлову и Бекетову потребовалось время, и немалое, чтобы сосредоточиться и обратиться к делам, из-за которых они встретились в этот вечер, — по всему, эпизод с белым воротничком, воспринятый, разумеется, каждым из них по-своему, одинаково взволновал обоих.

— Я был у Бивербрука, — издалека, как всегда, начал Михайлов. — У него идея: хотел бы послать бригаду «Дейли экспресс», но так, чтобы ее допустили в район будущей летней битвы… Есть ли в этом надобность?.. Как вы?

Это было похоже на Бивербрука, в этом была и его деятельная натура, и расчет, как обычно скрытый. Однако действительно: есть ли в этом надобность? Наши военные могут и не дать согласия, и их понять можно. К тому же, почему такая привилегия «Дейли экспресс», когда в Москве ждут очереди корреспонденты не менее солидных, чем «Дейли экспресс», газет?

— По-моему, это предложение не пройдет, даже если Бивербрук обратится в самые высокие инстанции…

— Какими бы высокими ни были эти инстанции, очевидно, будет запрошено мнение посольства, не так ли? Я это не поддержу… Нет, нет! — замахал руками Михайлов так, будто бы Сергей Петрович настаивал на обратном. — Поддержать — значит рассориться со всеми газетами… Впрочем, спросим Шошина, а? Даже интересно: давайте спросим?

Явился Шошин, как обычно пасмурный, почти недовольный.

— Хотим посоветоваться с вами, Степан Степанович, — начал Михайлов бодро. — Бивербрук просит разрешения направить в Союз Плэйса вместе с бригадой газетчиков, но так, чтобы у них была привилегия видеть район больших боев будущего лета. Как, Степан Степаныч? Пустить Плэйса?

— А как вы? — взглянул Шошин на Михайлова, потом на Бекетова.

— Сергей Петрович против, а я, пожалуй, за… Почему не пустить? Прямой расчет: газета с таким тиражом, да к тому же… Бивербрук. Есть выгода.

Михайлов все рассчитал точно: Шошин, конечно, возразит. То обстоятельство, что Михайлов высказался «за», не только не укротит Степана Степановича, а, наоборот, сделает его злее. Чинопочитанием Шошин не отличался и прежде.

— Ну как, Степан Степанович?

— К черту Бивербрука!

— Простите, что значит: «К черту»?

— Я сказал: к черту!

— Ну, а если объяснить, Степан Степанович?

— Получится то же самое! — произнес Шошин не без ехидства. — Да вы понимаете, что это такое?.. Он, видите, нас осчастливил! Да в Москве сейчас тридцать таких корреспондентов, как Плэйс!

— Ну, положим, тридцати таких, как Плэйс, там нет, Степан Степанович… — возразил Михайлов спокойно — бразды спора были в его руках.

— Хорошо, пусть не тридцать, а пятнадцать!

— И пятнадцати нет таких, как Плэйс…

— Есть покрупнее…

— Кто?

— Галуа!

— Ну, Галуа, пожалуй, покрупнее. Кто еще?

— Хоуп, Баркер, Джерми…

— Допустим. Кто еще?

— Нет, я отказываюсь вас понимать, Николай Николаевич! Почему вы постоянно требуете от меня доказательств?.. Достаточно того, что вы доверили мне пресс-отдел посольства?.. Доверили или нет?

— Ну, а это уже запрещенный прием, Степан Степанович!

— Нет, я спрашиваю вас: доверили?

— Поймите: это же имеет косвенное отношение к нашему спору. Ну, доверил… В какой мере это делает вашу позицию более убедительной?

— А коли доверили, должны считаться…

— Доводы, только доводы!

— Да поймите: приняв это предложение, вы дискриминируете весь корреспондентский корпус, аккредитованный в Москве!

— О, вот это довод!

— Вы сталкиваете нас со всей британской прессой!

— И это довод!

— Вы разрушаете всю систему наших обязательств перед корреспондентами, а следовательно, и газетами!

— И это довод. Как вы полагаете. Сергей Петрович?..

Бекетов улыбнулся: нет, в самом деле, ловко Михайлов вызвал огонь на себя, заставив Шошина потрудиться и, пожалуй, добыть доводы, которые нужны были послу, чтобы отвести просьбу Бивербрука.

— Мне представляется позиция Шошина убедительной, Николай Николаевич… — заметил Бекетов, все еще улыбаясь.

— А вот это я понять не могу, — вдруг обратил на Бекетова едва ли не гневный взгляд Шошин, — к чему эти ваши скептические ухмылки, Сергей Петрович?

— Мне на вас просто приятно смотреть, Степан Степанович, — засмеялся Бекетов.

Шошин покраснел.

— Простите, хотел бы продлить вам удовольствие, но не могу — занят! — он поклонился и пошел к выходу.

— А это уже плохо, Степан Степанович, — произнес Михайлов, и в его голосе прозвучали нотки, которых прежде Бекетов не слышал. — Я бы на месте Сергея Петровича обиделся.

Последние слова Михайлова застали Шошина уже у открытой двери.

— Я прошу разрешения у Сергея Петровича продолжить этот разговор позже…

Дверь едва слышно скрипнула — Шошин вышел.

39

Почти одновременно с Бардиным в Москву прибыл Джозеф Девис.

Наверно, настоящий дипломат должен быть настолько в курсе текущих дел, что одна фраза — Девис летит в Москву — объяснит ему многое. По крайней мере, он определит главное: что повлекло Джозефа Дениса в Москву… Итак, что же повлекло?.. Девис — в прошлом американский посол в Москве. Но не в этом, пожалуй, суть. Девис — единственный из американских послов, который, возвратившись в США, продолжал ратовать за укрепление отношений с СССР, снискав себе репутацию друга Советской России. Как ни противоречива и в чем-то наивна книга Девиса «Миссия в Москву», она исполнена доброй воли. Есть мнение, что симпатии Девиса к СССР определены расчетом: в том случае, если Девис пойдет против СССР, он станет таким, как многие, а сохранив нынешнюю позицию, он сохранит своеобразие. Первая, мол, позиция не сулит ему никаких выгод, а вторая — выгоды определенные, правда, не материальные — выгоды престижа… Репутация друга СССР упрочилась за Девисом столь определенно, что иногда возникал вопрос: а почему бы не повторить миссию Девиса в Москву, сообщив Девису если не функции посла, то специального представителя президента?

Новая миссия Гопкинса? Да, в известной мере. Но тогда зачем посылать Девиса, когда можно послать Гопкинса? Ведь русские относятся к Гопкинсу не хуже, чем к Девису? Все это верно, но у Девиса известные преимущества: его миссия не так официальна. Последнее может приблизить нас к цели: если неофициальный характер миссии так важен, то что же это может быть за миссия?.. Опыт подсказывает: сделать миссию неофициальной — значит обрести большую «свободу рук». Против кого? Если по методу исключения (именно этот метод и надо применить здесь!) перечислить главные силы, которые могла бы эта миссия встревожить, будь она официальной, то их, этих сил, было бы три. Китайцы?.. Маловероятно, чтобы такая миссия насторожила их, да вряд ли президента это вынудило бы не посылать Девиса в Москву. Французы?.. Исключено абсолютно. Британский союзник, Черчилль? Очень похоже, что именно здесь и зарыта собака.

Если эта догадка верна, ее важно сопрячь со всем тем, чему Бардин был свидетелем в эту свою поездку за океан. С чем именно? Слух — нет, не о разногласиях, а пока что о размолвке

между Рузвельтом и Черчиллем верен?.. Если он верен, то есть смысл в миссии Девиса. Но что может быть предметом спора? Будущее империи?.. Индия?.. Возможно, но есть ли резон в связи с этим посылать миссию в Москву? Нет. Что еще?.. Будущее Европы?.. Да, это насущно, но как решить эту проблему без того, чтобы не коснуться проблем второго фронта?.. Второй фронт?.. Э, тут пахнет порохом! Того гляди, скулы затрещат. Ну, предположим, до потасовки, даже кулачной, далеко, но проложить телефонный кабель из Вашингтона в Москву в виде миссии Девиса есть резон и для американского президента. Здесь существует одна деталь, заслуживающая внимания: как только необходимость в диалоге Рузвельт — Сталин возникала, старый Уинни обнаруживал беспокойство. У черчиллевской дипломатии тут определенное преимущество: у нее прямой диалог с Рузвельтом и Сталиным. Да, когда у него возникла необходимость говорить со Сталиным, он даже толком не сообщил об этом американскому президенту. Но каждый раз, когда президент обнаруживал желание говорить со Сталиным с глазу на глаз, «бывший военный моряк» поднимал такую тревогу, будто речь шла об угрозе империи. Черчилля понять можно. Нельзя сказать, чтобы у Москвы с Вашингтоном были меньшие разногласия, у них большее согласие. Особенно во всем, что касается Лондона и его великоимперских вожделений. Поэтому если интересам британского королевского дома и угрожает опасность, то она таится в этом кабеле, который может связать Вашингтон и Москву. Черчилль, разумеется, считает своим призванием воспрепятствовать тому, чтобы этот символический провод протянулся в Россию. Но, может быть, есть возможность обмануть бдительность старого Уинни?.. Ну, например, встреча Сталина и Рузвельта где-то там, где континент американский смыкается с русским?.. На Аляске? Ну, хотя бы на Аляске.

А миссия Девиса, в связи с чем же миссия Девиса?

В связи с тем, что, в конце концов, предложение американского президента о встрече может передать и Девис.

Итак, Бардин узнал, что Девис летит в Москву, и попытался представить себе, какую перспективу обретут события. Разумеется, это всего лишь несовершенный рисунок того, что могло бы произойти. Несовершенный. Но чем черт не шутит: быть может, во всем этом есть крупинка здравого смысла, и мысль Бардина не очень отклонилась от того, что предстоит узнать ему о миссии Девиса завтра?

Несомненно одно: если есть кризис сражения, то он грядет. Пожалуй, Сталинград был этим кризисом сражения, но немцы решили своеобразно ревизовать Сталинград и дать новый бой. Не

надо обладать большой фантазией, чтобы представить себе, как события разовьются в ближайшие — не четыре месяца, нет, а два и даже месяц. Выиграй русские летнее сражение, а это может произойти в ближайший месяц, ничто не остановит их на пути к границе, а следовательно, к освобождению родной страны. Но вот вопрос: если русские выиграют летнюю битву, что их заставит продолжать войну?.. Ну, разумеется, в их интересах добить врага, но они могут препоручить эту задачу и союзникам: те у них в долгу неоплатном. В конце концов, это, может быть, даже и справедливо — всякому терпению есть конец. Таким образом, то, что зовется кризисом сражения, не является ли кризисом доверия? Кризисом доверия?

Но миссия Девиса имела для Бардина и иные грани. Хочешь не хочешь, а пошлешь Девиса в Москву… Стремление Девиса понять Россию заслуживало тем большей признательности, что он занял пост посла в Москве после Вильяма Буллита, чей откровенный антисоветизм привел его в стан «американских мюнхенцев». Будущих исследователей немало увлечет эта тема: Буллит и Девис. Было событие, которое размежевало взгляды этих людей: Мюнхен. Именно Мюнхен явился тем пределом, который заставил двух американских послов взирать на мир с противоположных полюсов планеты. Даже интересно: два посла, представляющие одну страну, одно правительство, одного президента, исповедовали веру, которая разнилась в чем-то очень существенном. Видно, в первооснове представления Девиса об СССР было нечто такое, что опиралось на подлинные знания. Это ему принадлежит фраза, произнесенная на другой день после трагического июня и ставшая за океаном крылатой: «Мир будет удивлен размерами сопротивления, которое окажет Россия». Кстати, он был одним из поборников второго фронта — в связи с этим его новая миссия в Москву была закономерным выражением его взглядов на войну.

Смысл того, что являла собой миссия Девиса, во многом был определен и моментом, к которому миссия была приурочена.

В предстоящей битве Россия как бы возвратилась к условиям лета 1941 года, чтобы показать, какую школу она прошла в эти два года. Как тогда, была почти середина лета, сухого и знойно-ветреного. Как тогда, перед врагом лежала великая русская равнина. Как тогда, у врага был известный простор во времени для накапливания сил и разведки… Как тогда… впрочем, многое было и иным. Многое, и прежде всего армия, что стояла сейчас перед боевыми немецкими порядками, имея по правую руку Малоархангельск, по левую Корочу, а впереди себя — Рыльск.

Уже в самой обороне, как построили ее русские до начала

битвы, сказался опыт, обретенный в войне. Оборона была многосложной, при этом глубина ее достигала трехсот километров. Больше того, в тылу войск, ведущих боевые действия, были расположены мощные резервные части — Степной фронт. В сочетании с сильной авиацией, которой не было прежде и которая была теперь, наши войска, находящиеся в тылу, обрели возможность маневра.

Итак, Девис уже был в Москве. Тем, кто хотел объяснить русским симпатии американца известным расчетом, в какой-то мере помогал и сам Девис: была в нем некая страсть саморекламы. В Америке это принято, а поэтому и не очень заметно, в России — не могло не обратить на себя внимания. Ну, можно было и не поверить тому, что фюзеляж самолета, на котором Девис прибыл в Москву, был перепоясан белой строкой: «Миссия в Москву». Но было и другое: Девис привез фильм, который своеобразно инсценировал его книгу, фильм, в котором было так много похвал, что они могли показаться и неискренними. Все это не очень соотносилось с характером миссии Девиса и не столько ей способствовало, сколько мешало. Но русские умели отделить главное от второстепенного. В их представлении Девис был другом, и это было самым существенным. Все остальное можно было и не принимать во внимание. Поэтому они даже согласились посмотреть фильм, привезенный Девисом. Посмотрели, посмеялись, сказали несколько добрых слов автору, больше того, благословили широкий показ фильма, — публика, она умна, все поймет, как надлежит понимать, — и перешли к переговорам.

А до этого Сталин принял Джозефа Девиса в своем кремлевском кабинете с тем радушием, на какое мог рассчитывать автор «Миссии в Москву», — книга вышла в свет за год до этого и, конечно, была известна советскому премьеру. Девис сказал, что рад прибыть в Москву в суровую и славную для советского народа пору. Он испытывает удовлетворение и даже гордость, что нынешняя поездка служит упрочению уз дружбы и боевого товарищества, связывающих наши страны. Он горд тем более, что имеет поручение президента к русскому премьеру.

Девис наклонился, взял на колени массивный, сшитый из толстой коричневой кожи портфель, который стоял рядом со стулом, не торопясь, со значением сдвинул медную пуговку замка — портфель тихо вздохнул, распахнулся, и на стол лег конверт с посланием президента.

Сталин слушал послание, положив перед собой смуглую руку. Американец, обращая взгляд на Сталина, видел эту руку. Она была полусогнута, эта рука, и пугающе неподвижна. Кожа

между запястьем и основанием пальцев была похожа на ветхую бумагу, так она была суха и нежива. Казалось, рука была старше человека — и старость начиналась с нее.

Рузвельт писал, что направляет это письмо с Девисом. Письмо касается одного вопроса, о котором, как полагает президент, лучше всего переговорить через общего друга. Литвинов является еще одним «единственным лицом», с которым президент говорил по существу письма.

Рузвельт писал далее, что он хотел бы избежать конференции, созыв которой неизбежно сопряжен с участием большого количества лиц и медлительностью дипломатических переговоров. Поэтому, как думает президент, наиболее простым и практичным средством была бы неофициальная и, как отмечено в послании Рузвельта, простая встреча между президентом и премьером Сталиным, которую можно провести в течение нескольких дней. Президент понимает, что ни Сталин, ни он, Рузвельт, не могут отлучиться надолго. Вместе с тем обстановка такова, что «историческая оборона русских, за которой последует наступление, может вызвать крах в Германии следующей зимой». Полагая, что союзники должны быть готовы ко многим совместным действиям, Рузвельт считает, что ему и премьеру Сталину надлежит встретиться этим летом.

Определив таким образом время встречи, Рузвельт высказал свои соображения и но поводу места встречи. Как полагает он, об Африке почти не может быть речи и при этом… «Хартум является британской территорией». Да, черным по белому в послании было сказано насчет Хартума, и это могло свидетельствовать: встреча для президента потеряла бы смысл, если бы в ней участвовал Черчилль. Исландия, как полагает президент, неприемлема, ибо это связано «как для Вас, так и для меня с довольно трудными перелетами». Но и это не все, если говорить об Исландии. Кроме того (и здесь президент обращается к доводу чрезвычайному), «было бы трудно в этом случае, говоря совершенно откровенно, не пригласить одновременно премьер-министра Черчилля». (Ладонь Сталина медленно сжалась в кулак, сжалась что есть силы, так, что видимая часть ладони стала розоватой.) Было такое впечатление, что здесь, быть может вопреки воле автора, был эпицентр письма. Каким бы важным ни было письмо дальше, оно не могло сообщить ничего более значительного.

Президент предлагал, чтобы встреча произошла на американской или русской стороне Берингова пролива. Пункт, выбранный таким образом, как думает президент, был бы в двух днях пути от Вашингтона и примерно в двух от Москвы. По мнению президента, «никто из нас не пожелает взять с собой

какой-либо персонал». Президент, по его признанию, ограничился бы в данном случае Гарри Гопкинсом, переводчиком и стенографистом. Все это, как считает Рузвельт, способствовало бы тому, что он, Рузвельт, и Сталин «переговорили бы в весьма неофициальном порядке и между ними состоялось бы то, что называют „встречей умов“». Президент склонен думать, что предметом переговоров может быть положение дел на суше и на море, но нет необходимости делать это в присутствии представителей штабов. Как сообщил Рузвельт, Девис не знаком с военными делами и послевоенными планами правительства и президент направляет его в Москву с единственной целью: договориться о встрече.

Сталин полагал, что на этом письмо заканчивается, и потянулся к коробке с табаком — пауза, которую он выдержал, была достаточно эмоциональной, чтобы одолеть ее без табака. Он взял щепотку, настолько большую, чтобы полна была трубка, и, закрыв коробку, вдруг обнаружил, что письмо не дочитано. Дочитать осталось одну фразу, но фразу значительную. Президент писал в заключение, что положение таково, что Германия предпримет развернутое наступление против России (в письме: «против Вас») этим летом, и американские штабисты («мои штабисты») полагают, что оно будет направлено против центра линии («Вашей линии»).

У Сталина возникло желание возразить. Нет, не потому, что президент был неправ во всем, что касается самого факта наступления или направления главного удара, о котором тоже шла речь в письме. Не поэтому. Желание возразить возникло в нем эмоционально — ему не нравилось, когда кто-то иной позволял себе высказываться столь категорически по вопросам, которые до сих пор он считал своей сферой, в какой-то мере заповедной («…мои штабисты полагают, что оно будет направлено против центра Вашей линии», — мысленно воссоздал Сталин строку письма). Но Сталин не стал возражать — то, что было уместно в иной обстановке, здесь было неуместно.

— Значит, на одном из берегов пролива Беринга? — переспросил он Девиса — ему нравилась эта мысль. Само место было удобным для проведения подобных переговоров, а кроме того, оно как бы знаменовало, что встреча эта — дело русских и американцев: именно здесь едва ли не смыкалась русская земля с американской.

— Да, господин Сталин, пролив Беринга… — подтвердил Девис — он заметил, что голос Сталина потеплел.

— Ну что ж… ну что ж… — сказал Сталин, чувствуя потребность поглубже проникнуть в текст письма и понять

некоторые из его поворотов, которые представлялись ему непростыми, в частности поворот с Черчиллем. — Мы все читали «Миссию в Москву»… поздравляю вас, — сказал Сталин, желая, очевидно, закончить пока разговор о письме и переходя к новой теме, чтобы как-то продлить диалог, который был неприлично коротким.

— Благодарю вас, господин Сталин, — просиял Девис; казалось, из тех приятных слов, которые Сталин мог произнести, эти были ему особенно желательны. — У нас книга встречена с интересом, и мои друзья сделали фильм по книге…

— А вы бы привезли его, — оживился Сталин — великий затворник, он любил кино, оно создавало иллюзию, что между ним и окружающим миром нет стены.

— Я привез, — произнес Девис, чувствуя, что обретает средство почти магическое, чтобы победить сдержанность Сталина.

Заскрипело отодвигаемое кресло — недокуренная трубка осторожно легла в пепельницу.

— Хорошо — мы смотрим фильм! — он пошел по комнате; казалось, эти несколько шагов давали ему возможность расплескать избыток чувств и удержать равновесие. — Не будем откладывать — сделаем это сегодня же… — произнес он, неожиданно остановившись; он полагал, что просмотр фильма позволит ему продлить паузу — именно паузу. Она необходима была, эта пауза, — письмо Рузвельта лежало на столе.

Тремя часами позже кинозал, в котором обычно царила почтительно-робкая тишина, содрогался от смеха, хотя число зрителей можно было пересчитать по пальцам: показывали «Миссию в Москву». На экране были почти все, кто был в зале, но с той только разницей, что безбородые обрели бороды — если уж русские, то с бородами… Впрочем, курьезы на этом не кончались. Но странное дело, зрители были Довольны, при этом Сталин больше всех. Фильм был не силен в деталях, но силен в главном: он был проникнут симпатией к русским, к их великой борьбе. В сочетании с именем Девиса это не могло не подкупать.

…Сталин продиктовал ответное послание президенту. Оно было заметно коротким. Сталин и прежде был подчеркнуто немногословен даже в своей переписке с Рузвельтом. Что же касается черчиллевских писем, то здесь размеры ответных писем Сталина были неприлично коротки: на три странички письма британского премьера зачастую следовало полстранички сталинского. Казалось, среди тех козырей, к которым обращался Сталин в своей переписке с союзниками, этот был дополнительным.

Советский премьер продиктовал ответ Рузвельту, хотя имел обыкновение писать такого рода письма от руки. Когда письмо было перепечатано и принесено ему на подпись, он вернул его помощнику и просил прочесть вслух. Ему нравилось, когда его письма читались вслух — усердный помощник вносил в это чтение подобострастие, обнаруживая в письме достоинства, которые в нем были и которых в нем не было.

Сталин слушал текст, не отрывая глаз от некрасивого, в грубых буграх и морщинах лица помощника, которое, впрочем, сейчас не казалось ему таким некрасивым. Он точно вновь постигал смысл письма. Он мысленно похвалил себя за то, что письмо получилось лаконичным, — краткость была его достоинством, он ценил краткость. Вместе с тем ему понравилось в письме и иное: упомянув о нехватке самолетов и бензина, он воздержался от просьбы.

Советский премьер согласился с президентом, что этим летом — возможно, в июне — следует ждать наступления немцев. По данным Сталина, противник сосредоточил здесь двести своих дивизий и тридцать дивизий, сформированных союзниками немцев. «Мы готовимся к встрече нового германского наступления и контратакам (Сталин так и писал: „контратакам“), но у нас не хватает самолетов и авиабензина». Как полагает Сталин, сейчас невозможно предвидеть всех шагов, которые придется предпринять советской стороне. Это будет зависеть от развития дел на советско-германском фронте, а также от того, насколько быстрыми и активными будут англо-американские действия в Европе. Из всего этого Сталин делал вывод: его сегодняшний ответ на предложение президента о встрече не может быть определенным.

Сталин был доволен, что в своем послании не отозвался на реплику Рузвельта о Черчилле. Эта доверительность в письме Рузвельта казалась Сталину подозрительной. Доверительность, как был убежден он, не может возникнуть внезапно — у доверия, если оно настоящее, должна быть опора. Здесь этой опоры не было, и доверительность не вызывала желания вести разговор начистоту, хотя стремление Рузвельта выключить из разговора британского премьера было маневром любопытным.

Письмо заканчивалось тем, что предстоящий июнь будет горячим и он, Сталин, не сможет отлучиться из Москвы. По его словам, встреча могла бы состояться в июле или августе, при этом он уведомит президента о своей готовности за две недели до встречи. Соображения по поводу места встречи он изложил Девису. Письмо кончалось словами, которые были определены самим фактом, что нынешняя миссия была миссией Девиса:

«Благодарю Вас за то, что Вы прислали в Москву г-на Девиса, который знает Советский Союз и может объективно судить о вещах».

Двадцать шестого мая Сталин вручил Джозефу Девису ответное письмо.

— Вы полагаете, что немцы начнут в июне? — спросил Девис, когда пришло время прощаться: он заготовил этот вопрос заранее.

— Могут начать, — сказал Сталин — ему хотелось, чтобы ответ был конкретен лишь в той мере, в какой он не мог обидеть собеседника.

— Удачи вам, господин Сталин… — произнес поспешно Девис, поняв, что на этом разговор должен закончиться.

— Благодарю вас, — сказал Сталин, пожимая руку Девиса. В этот же день Девис вылетел в Америку.

Он полагал, и, очевидно, не без оснований: независимо от того, суждено состояться встрече или нет, миссия его удалась.

40

Если взглянуть в перспективу Кузнецкого моста с холма, два ряда зданий, возникающих перед тобой, как бы зажимают и не успевают зажать белесое июньское небо. Лучи прожекторов расплескиваются в его полумгле, и синеватый блеск самолетов сливается с его алюминиевым мерцанием. А небо, по крайней мере его юго-восточные пределы, заполнено устойчивым гудением самолетов. Вот уже час, как в Москве объявлена тревога. Да не война ли это нервов?.. Объявить тревогу и разом напомнить июль сорок первого, тот июль… И горящий Вахтанговский театр. И руины на площади Маяковского. И зарево над Красной Пресней. И летящий пепел. И вой пожарных сирен. И спящих детей на станциях метро. Разом напомнить. Наверное, война нервов, но не только. Слишком устойчивым гудением заполнен юго-восток. В этом гудении есть свой ритм — кажется, что самолеты идут волнами. Волны не вторгаются в Москву, они ее омывают за Крестьянской заставой, за Соколиными холмами, за Сокольническим и Измайловским лесными массивами, за Перовом, Ногинском, Орехово-Зуевом — там зенитки и обстреливают врага.

Однако что это? «Хейнкели» пошли на Горький. В июне сорок третьего пошли на Горький? Да, бомбить автомобильный завод и — чем черт не шутит! — перепоясать минным ремнем Волгу. Дерзнуть на бомбардировку Горького и этим показать, что их боевой дух и их силы на уровне этой задачи!.. Война нервов? Именно. А если точней, то все внимание врага приковано не к Горькому, а к Курску… Вон какое расстояние от Горького до Курска, и оно, это расстояние, пожалуй, наиболее точно определяет дистанцию между подлинной силой немцев и тем, какой бы они хотели ее представить, хотя сила, наверное, и велика, очень велика. Рузвельт заметил в своем послании: «… против центра Вашей линии…» Мы тоже понимаем: в центре. Сталин сказал: «Мы готовимся… к контратакам». Вот этим сорок третий год и отличается от сорок первого. Мы знаем направление главного удара и соответственно готовимся к ответному удару.

Корреспонденты чувствовали приближение событий грозных. Они заметили: в конце июня в Москве не было ни Жукова, ни Василевского… Сам этот факт мог ничего и не значить. Известные советские военачальники и прежде не задерживались подолгу в столице, но в сочетании со всеми прочими событиями этой поры это могло что-то и значить. У советского командования, стремящегося проникнуть в планы немцев, был один аргумент,

раскрывающий замыслы врага почти безошибочно: конфигурация фронта. Рузвельт, писавший Сталину о том, что немцы начнут где-то в центре русской линии, мог даже не пользоваться данными разведки — его могла навести на эту мысль конфигурация фронта. В самом деле, казалось почти невероятным, что немцы пренебрегут преимуществами, которые давал им сам характер линии фронта. В руках немцев было два своеобразных полуострова: Орловский и Харьковский. Два полуострова зажимали третий, занятый Красной Армией, в центре которого был Курск. У немцев, естественно, было искушение, используя выгодное расположение своих войск, перехватить «горловину» русского полуострова со всеми немалыми силами, которые там находились. Ну, разумеется, немцы не обманывались насчет способности русских проникнуть в этот план, тем более что только эти два выступа и давали некоторые преимущества — в остальном линия фронта не обнаруживала больших извивов. Конечно, здесь мог быть у немцев и иной план: сместить, как говорят военные, направление главного удара, обойдя изготовившиеся силы противника. Но враг полагал, что такой маневр не сулит выигрыша, а ему необходим был выигрыш. Кстати о выигрыше: пленные, оказавшиеся в наших руках, свидетельствовали: в течение лета немцы хотели укрепить оборону и подготовиться к зиме — немцы уже думали о зиме! Как показали дальнейшие события, немцы не помышляли нарастить территорию, они всего лишь стремились к тому, чтобы вернуть инициативу.

Второго июля генерал Антонов доложил Сталину текст особого предупреждения, которое Генштаб предлагал направить войскам: немцы готовы нанести удар 3–6 июля. Генштаб приказывал: усилить разведку, быть готовыми отразить возможный удар.

…А пока в Москве воздушная тревога и юго-восточный край московского неба в огне: немецкие самолеты идут на Горький…

Поздно ночью Тамбиеву позвонила Софа.

— Я тут, у памятника, — выйдите, пожалуйста. Я не задержу вас.

Тамбиев встревожился: как она могла добраться — в городе тревога. Он взглянул на часы: без десяти двенадцать.

— Выходите, выходите быстрей; «виллис» за углом, сейчас начнет сигналить.

Тамбиев бросился на улицу.

Она стояла у края тротуара в нерусской шинели, схваченной ремнем и портупеей, в пилотке с кокардой, в хромовых

полусапожках, тоже нерусских. Он подумал: какая на ней форма? Чехословацкая или польская, нет, все-таки чехословацкая?

— Как я обещала, хочу сказать: я улетаю…

Была в ее лице сейчас какая-то голубоватость, неземная. Это волнение сделало ее такой голубой или мерцающее небо?

— Пройди сюда, Софа, под арку, — сказал он. — Теперь говори. — Он закрыл за собой калитку.

— Сегодня на рассвете я улетаю, — сказала она, отступая — ей было не очень уютно оттого, что он стоял между нею и воротами. — Утром…

— Куда? — спросил он и прислонился спиной к железной калитке.

— Кажется, в словацкие горы, — сказала она, кивнув на свою форму. — Куда-то за Братиславу.

Он почувствовал — рушится что-то очень большое, что он носил в себе все эти годы.

— Но ты понимаешь, что тебя ожидает в этих самых горах? — спросил он. — Ты беспомощна…

Она шагнула к воротам, давая понять, что ей нужно идти, но он не сдвинулся с места.

— Нет, не беспомощна, — ответила она, вскинув красивую голову. — У меня есть моя жизнь, которую я не пожалею.

— Но это не доблесть, отдать жизнь, — бросил он в сердцах. — Надо ее отдать так, чтобы это было полезно людям.

— А почему вы думаете, что я не отдам ее с пользой? — она тронула калитку. — Кстати, это сигналят мне. Я должна идти.

Он не шелохнулся. «Ну, делай же, делай что-нибудь, если ты такой сильный, уходят последние секунды», — говорил он себе.

«Виллис», стоящий за углом, просигналил еще раз, как бы упрашивая поторопиться.

Он отошел, и она шагнула к калитке, не скрывая радости. Казалось, она сейчас побежит, взмахнув длинными полами шинели, будто крыльями, но она всего лишь обхватила руками прутья калитки, затихла.

— Я хочу сказать, — она умолкла: великое смятение полонило ее, она сейчас никуда не хотела ехать. — Я звонила Кожавину… Скажите ему.

— Скажу.

Вновь просигналил «виллис». Теперь в самом его голосе была интонация требовательная. Даже странно, как можно было сообщить машине способность говорить. «Вышли все сроки, — стонал „виллис“. — Пойми: не можем ждать. Не-е мо-о-же-е-м!» Она хотела отнять руки от прутьев, но по железу точно пустили электричество — руки не отнимались.

— Если я вернусь, быть может, мы не разминемся. — Будто собрав все силы, она оторвала руки от прутьев. — Если вернусь…

— У тебя там будет дом… в словацких лесах? — спросил он и подумал: да не было ли в том, что он сказал, нотки примирения с происходящим? — Тебя можно найти там? Если крикнуть «Ау-у-у!» — откликнешься?

— Там дубы, говорят, до неба и тьма. Если что, кричите в эту тьму: «Ау-у-у!» — Она улыбнулась, и свет прожекторов удержал ее печальную улыбку.

— Вот это и весь адрес: «Ау-у-у!»?

— Весь.

Она уходила — еще был слышен стук ее сапожек, убыстряющийся, — видно, самообладание возвращалось к ней.

«А почему она вспомнила о Кожавине и была ли тут связь? — спросил он себя, когда стихли ее шаги. — Она сказала: „Я звонила“. Когда она звонила? Теперь, когда позвонила мне, или раньше? Если раньше, то Кожавин знает? А если знает, то к чему ей было просить меня? Нет, Кожавин не знает. А может, все-таки знает?»

Тамбиев видел Кожавина сегодня утром. Похоже, тот собрался в дальнюю дорогу. Куда? На просторы будущей битвы? А может быть, еще дальше?

Да не Кожавин ли это идет? Полуночные тридцать минут прогулки. Есть некий ритм в его быту — все строго целесообразно. С тех пор как Наркоминдел вернулся на Кузнецкий, Игорь Владимирович уходил на эти полчаса на Варсонофьевский, а потом по Рождественке возвращался на Кузнецкий. Смотрит на старые дома и распевает на разные голоса «Князя Игоря» — в русской музыке для него это лучшее… Есть русская суровость в «Князе», без сантиментов, и есть мысль. Для человека зрелого это истинно. Что должно быть интересно Кожавину в этих полуночных походах? Московские кривотупики да кривоулочки с церковками и церквушками, которые надо воспринимать, как Кожавин, добыв из глубин памяти «Игоря». Как ни спокойна его походка (и в ней есть величавая простота, свойственная кожавинской сути), Тамбиеву видится в ней сегодня большая, чем всегда, энергия шага.

— Игорь Владимирович, эко вас увлек всесильный Бородин!

— Да нет… какое там! — У Кожавина грудной голос, и Тамбиеву кажется, что в этом голосе сегодня особая приподнятость. — Иное, Николай Маркович…

— Погодите, что «иное»?

Игорь Владимирович засмеялся — необыкновенно светел был его смех в эту минуту, он был счастлив.

— Лечу в Ленинград! — Он засмеялся вновь — было в этом смехе озорство, бравада, восторг совершившегося. — Грошев только что сказал.

— Грошев… да? Решился?

— Представьте, Николай Маркович, уломал я его наконец…

Тамбиев подумал: «Знает ли он о Софиной Братиславе?.. Спросить или не спрашивать? Если спросить, то осторожно. Так осторожно, чтобы на одной фразе весь разговор кончился».

— Тут встретил дружка… Говорит: «Необыкновенно заманчиво вздыбить Европу!» — «Это как же вздыбить?» — спрашиваю. А он: «Лечу в словацкие горы…»

Тамбиев смотрит на Кожавина: говорит ему это что-нибудь или нет?

— Словацкие горы? — вдруг остановившись, Кожавин задумчиво посмотрел на Тамбиева. — Это Карпаты?

— Да, Карпаты… словацкие… — уточнил Тамбиев, так и не решив, проник ли он до конца в смысл вопроса.

Они расстались, а Тамбиев все раздумывал над тем, как Кожавин принял его осторожное слово о друге, улетающем в словацкие горы. «Нет, нет, — убеждал себя Тамбиев, — он не знает и не может знать, иначе он не задал бы этого вопроса о Карпатах, такое спрашивают, когда человек узнал об этом впервые. Но тогда почему он вдруг остановился и отвел глаза — что-то было в этих его глазах… Знает он, все знает… Если знает, что мешало его спросить прямо — в конце концов, в такой ли мере это заповедно?.. Нет, не знает, не знает!..»

Утром позвонил Грошев и в тех туманно-неопределенных выражениях, в которых любил говорить в подобных обстоятельствах, сказал, что ему, Тамбиеву, так следует организовать свое время, чтобы в предстоящие пять дней он мог быть вызван в отдел в течение часа… По опыту Тамбиев знал, что предстоит поездка, по всей видимости — в места, где ожидаются события значительные.

Вечером московское радио передало первую сводку о битве у Курской дуги.

Значит, Грошев имел в виду Курск, сказал себе Тамбиев и приготовился ждать. По расчетам Николая Марковича, у него было больше пяти дней — маловероятно, чтобы корреспондентов повезли к Курску до того, как там будет преодолен критический момент битвы. Но неожиданно явился Бардин.

— Вот письмо Якову… Что смотришь на меня так?.. Ты что, еще ничего не знаешь?

— Нет, конечно… — сказал Тамбиев, а сам подумал: «Вот тебе осторожный Грошев — не торопится!»

— Ну, это Грошев замешкался — у него, пожалуй, больше дел, чем у меня, — засмеялся Егор Иванович. — Но я все-таки скажу, Коля: решено тебя послать к этой Курской горловине… Пока без твоей братии: так сказать, разведка!.. Могу ошибиться, но Яков должен быть где-то там. Я сказал: могу ошибиться! — он улыбнулся не без лукавства. — Хорош твой Грошев!..

— А я на Грошева не в обиде! — возразил Тамбиев; он полагал: все, что надо сказать Грошеву, он скажет ему сам. — Дай бог Августе Николаевне такого начальника! — ответил Тамбиев улыбкой на улыбку.

— Что ты сказал? Нет, нет, повтори! А я думал, ты мне друг… Ну, бог с тобой. Держи письмо. Я бы повременил с письмом, да такой случай… Значит, дай бог Августе такого начальника?.. Ну, я это тебе припомню, Тамбиич! — он ткнул Николая Марковича кулаком в плечо и ушел, смеясь.

А Тамбиеву еще долго слышался смех Бардина, его громоздко-тяжелая походка. На душе у Егора Ивановича посветлело. И это было так понятно Николаю Марковичу. Начиналось новое военное лето, наверное тяжкое, однако новое всей своей сутью, лето наше.

41

За полночь Грошев связался по телефону с подмосковным аэродромом и уговорил взять Тамбиева в самолет, который летел к безвестной деревушке, расположенной на юго-востоке от Мценска, — места заповедные, тургеневские. Тамбиев прибыл на аэродром, когда до отлета было минут двадцать — двадцать пять, моторы уже прогревались. При свете ручного фонарика командир экипажа тщательно проверил документы, подписанные Грошевым, не без иронии взглянул на портфель, который, как показалось Тамбиеву, заметно шокировал командира в сочетании с форменной шинелью и погонами Николая Марковича, сказал, что самолет идет без посадки и будет на месте в четыре утра.

Осмотревшись в самолете, Тамбиев увидел, что фюзеляж заставлен ящиками, размеры и форма которых ему были знакомы, — в таких ящиках в институт, где служил Николай Маркович, прибывали с завода авиаприборы, запущенные в серию. Самолет уже взлетел и лег на курс, когда Тамбиев заметил, что он не один. В темноте появился человек.

— Пробовал уснуть — не получается! — закричал он что было мочи, хотя нужды в крике не было — моторы не заглушали голоса. — Разрешите представиться: капитан Загуменных… Место посадки известно вам… простите, я не расслышал вашего имени!.. Какой там «район Мценска»? — засмеялся капитан. — Мы летим на Сучью речку! Слыхали про такую?

— Нет, не слыхал… — простодушно ответил Николай Маркович.

— А про Поныри слыхали? — почти торжествующе вопросил собеседник. — Вот там она и есть, Сучья речка…

Да, о Понырях Тамбиев не мог быть не наслышан — название станции на железнодорожной ветке Курск — Орел уже дважды возникало в сводке как место танковой баталии, какой война еще не ведала. Если взглянуть на Курский выступ на карте, Поныри, а также Ольховатка и Троены были в правом углу его, в то время как в левом были Прохоровка, Верхопенье, — решив срубить Курский выступ под корень, немцы нацелили удары своих танковых топоров именно сюда: на Поныри — с одного боку мощного курского ствола, на Прохоровку — с другого.

— А что такое Поныри? — спросил Тамбиев, будто ничего не зная, — заманчиво было вызвать капитана на разговор.

— Вы читали заметку в газете «„Тигры“ горят»? Читали? Так я вам скажу по секрету, — Загуменных чуть не коснулся губами уха Тамбиева. — Они, конечно, горят, да не очень! Наши пушки

сорокапятимиллиметровые не берут эту броню. Только и спасение: подпустить и подорвать гусеницы! Но подпустить «тигра»… вы понимаете, что это такое?

— Как там наши дела… под Понырями? — спросил Тамбиев — реплика капитана, прозвучавшая во тьме, показалась Николаю Марковичу тревожной. — Как там… есть шанс? — повторил Тамбиев и взглянул в иллюминатор: солнца еще не было, но предрассветная мгла уже объяла землю.

— Рано еще с выводами! — вновь прокричал капитан; человек эмоциональный, он не мог сдержать себя. — Рано еще! — повторил он. — Вы скажете: дело почти верное потому, что есть обеспечение, какого не было прежде. А я скажу: все точно, но есть еще и риск!

— Это как же понять, «риск»? — спросил Тамбиев.

— Как понять? А понимай как хочешь!.. — Капитан помолчал. У него было искушение объяснить свою реплику о риске, да он не знал, как это сделать. — Хороших коров в большие стада не сгоняют… Поняли? — Тамбиев молчал — ему хотелось, чтобы капитан выговорился. — Немец вроде все свои стада пригнал к Курску, да и мы не поскупились! Теперь поняли: риск!..

— Риск — благородное дело! — засмеялся Тамбиев. — К тому же наши-то небось прикинули: сколько риска, а сколько верного дела, а?

— Все вы на один манер. Как сказывали наши деды: «При твоих глазах мои ничего не видят!» — вымолвил капитан Загуменных, и Тамбиев почувствовал запах табака, а вместе с ним и тяжкое, с хрипотцой, дыхание капитана.

…Медленно светало, и маленькая фигура капитана, сидящего в стороне, стала видимой. Капитан молчал: то ли забылся в предрассветной дреме, то ли все еще не мог одолеть нелегкую свою думу…

42

На рассвете Тамбиева принял начальник оперативного отдела штаба армии.

— Наркоминдел? — генерал искоса взглянул на Тамбиева. — Признаться, я первый раз вижу вашу форму. Покрой хорош и, пожалуй, цвет, но в ней есть что-то, простите меня, нерусское… Ах да, звонил мне по ВЧ этот ваш директор департамента прессы. — Он не без любопытства посмотрел на погоны Тамбиева: — Это как же понять: два просвета, две звезды?.. Так я говорю, звонил по ВЧ директор департамента прессы. Как его… директора? Фамилия такая денежная?

— Грошев, — подсказал Тамбиев.

— Да, да, именно Грошев… Письмо к Якову Ивановичу с вами?

— Да, разумеется…

— Вам повезло. — Он взглянул на часы. — В одиннадцать ноль-ноль он встречается с командиром резервной бригады и возвращается к себе, — он подкрутил завод часов. — Все, что можно показать, он вам покажет, хотя у меня сомнение…

— Какое?

— Да надо ли нам сейчас везти сюда мировую прессу?

— Вы полагаете: не надо?

— Рановато… — Он вновь остановил взгляд на погонах Тамбиева. — Значит, два просвета, две звезды, так? Это значит подполковник? А как это зовется у вас? Как, как? Первый секретарь второго класса?.. — он засмеялся. Вытянул руку, рубанул ею, как шашкой. — Не очень!.. Попахивает гуммиарабиком и химическими чернилами, а ведь у дипломатии другой дух!.. Нет, я тебя так не назову, ежели ты мой гость дорогой! Ты у меня будешь подполковником — вот так-то! — Он задумался, произнес едва слышно: — Значит, первый секретарь второго класса? Нет, не очень… Международные дипломатические? Ну, бес с ними — пусть у них там будет так, а нам не надо. Согласись, подполковник: бездарно как-то, а? — Он поймал взгляд Тамбиева, обращенный на карту, висящую на стене. — Хочешь спросить: как у нас? Ну, не робей, подполковник!.. Подробно тебе Яков Иванович объяснит, так сказать, на местности, а я скажу коротко: могло быть лучше, конечно, но и на этом спасибо… — Он вновь оглядел Тамбиева критическим оком. — Сейчас тебе дадут поесть и, разумеется, постель: заваливайся спать. Может статься, эту ночь не уснешь. Якову Ивановичу скажу сам. Одним словом, три часа сна —

больше не обещаю. Только чур: прежде чем ложиться, запомни, где укроешься при бомбежке. Немцы ищут штаб и бомбят жестоко…

Но все обошлось — Тамбиев проспал не три часа, а пять. Солнце лежало почти на подоконнике, было без малого шесть — на родине Тамбиева, в степном граде на Кубани, в этот час звонили к вечерне.

Явился лейтенант от командарма Бардина — желточубый паренек в пилотке, которая не могла упрятать всего чуба, и сказал, что ему приказано препроводить гостя в штаб.

Яков Иванович вел непростой разговор с командиром резервной бригады, но, видно, предупредил своих адъютантов, чтобы они дали ему знать, когда наркоминделец явится в штаб, и, прервав разговор, вышел к Николаю Марковичу. Что-то Иоанново приметил Тамбиев в этот раз в Якове: строгую пристальность нешироко поставленных глаз, привычку нарочито сутулиться, манеру говорить так, что интонация почти не обнаруживалась, при этом в словах была резкость, какой Тамбиев раньше не замечал в Якове.

— Слушай меня, Николай, — сказал Яков, поднимая загорелую руку — этот жест мог быть и приветствием. — Как понимаешь, тут мне не до Наркоминдела. Поэтому аудиенция, так сказать, на колесах. Все, что могу сказать, скажу в машине. Будем ехать всю ночь, и привезу тебя на край света. Нет, ты мне сейчас ничего не говори и письма не показывай… Выедем через час.

Вот это да! Так и сказал: «Письма не показывай!» Что-то с ним свершилось такое, что и объяснишь не сразу. Тогда, под Вязьмой, он был человечнее. А тут его заковало в панцирь. Война заковала. Когда железо сшиблось с железом, может, это и нужно?.. Если это его суть, может, и не страшна его немногословность, лаконичная строгость в отношениях с людьми, на грани суровости, контроль над каждым произнесенным словом (не сказать больше, чем того требует дело, никаких исповедей), расстояние, расстояние. Наверно, это характерно для него, что письма не взял: ну, разумеется, он тревожится за отца и брата и хочет знать, как живы Бардины, но он не желает этого обнаруживать — все эти чувства, на его взгляд, удел слабых.

Машина шла минут тридцать, а казалось, что они едут уже часов пять и все, что надо было сказать, сказано.

— Вот тут отец пишет, что Егор был в Америке опять, а про Мирона ничего… — заговорил Яков Иванович, когда письмо было прочитано и спрятано в боковой карман кителя, — видно, с письмом Егора была и Иоаннова весточка.

— По-моему, видел.

— Это как же понять?

— Видел Мирона Егор Иванович, — пояснил Тамбиев.

— Хорошо.

Яков сидел рядом с водителем, Тамбиев вместе с желточубым лейтенантом позади. Водитель наверняка знал нрав командарма, он вел машину в зависимости от того, как был напряжен взгляд командарма, обращенный на дорогу.

— На обочине этот… Толубеев, — сказал водитель, и машина пригасила скорость. — И халата старик не снял… — это «старик» было данью человечности, но, казалось, произнесено потому, что под рукой не нашлось другого слова.

— А зачем его снимать, когда ни сна, ни роздыху… товарищ командующий? — вопросил желточубый.

— Знаю, — сказал Бардин и открыл дверцу, лейтенант выскочил вслед за ним; машина, идущая позади, тоже остановилась.

Тамбиев видел, как командарм сошел с дороги и скрылся в роще. Человек в белом халате последовал за ним, как и его спутник, тоже в халате. Желточубый паренек решился было сделать то же самое, но вовремя сдержал себя, точно его остановил предупредительный жест командарма.

— Может, эта минута для него последняя, — вздохнул человек, да так близко, будто бы он и не входил в рощу; видно, это говорил Толубеев — то был голос человека в годах. — Огонь раздел его догола, даже сапоги стянул — с ног оно и началось…

— Только страхов меньше, товарищ главный хирург… — сказал Яков. — Что делать надо?..

— Резать! — вновь вздохнул Толубеев. — У него в этих сапогах ноги спеклись…

Я говорю: страхов меньше… — произнес вновь командарм. — Вам нужно мое слово?..

— Да, конечно.

— Сколько лет полковнику?

— Тридцать четыре.

— Так… И в операции ведь есть риск? — спросил командарм.

— Да, конечно, но риск меньший.

Вторглось гудение машины — она прошла рядом и заглушила голоса говорящих. Когда гул ее стих, Яков уже вернулся.

— Вчера вошел в лесок, побитый артиллерией, — вот она, картина! — вдруг вырвалось у него. — Боюсь, что после войны у войска моего доблестного будет вид, как у этого леса… — добавил он, очевидно вернувшись в своих мыслях к полковнику, у которого сейчас главный хирург отнимает ногу, уже отнимает.

А машина ворвалась на полевую дорогу, и командарм, наклонившись, поднял ладонь и провел ею от одного края смотрового стекла до другого, точно фиксируя внимание Тамбиева:

— Вот оно, поле битвы минувшей, — сюда смотри, Николай!..

Машина остановилась. Яков вышел на дорогу, однако сойти с нее не решился.

Луна только что взошла, и ее свет был боковым, а потому резким. Был виден не столько предмет, сколько силуэт его, но от этого поле боя не стало менее выразительным. Будто всесильный луч, неожиданно упавший на это поле в самый разгар жестокой баталии, остановил движение, и все застыло на своих местах, воинственно изготовившись, встав на дыбы, намертво схватившись. Странно, но в самом пейзаже этого поля, залитого лунным молоком, было нечто бесконечно древнее. Наверное, таким оно могло быть после побоища мамонтов, для которых дорога, ведущая к полуночной реке, оказалась неожиданно узка… Даже в неярком свете бронебойной стали, в округлости корпусов, в их размерах было нечто явившееся сюда из тьмы тысячелетий, когда великий жернов времени еще не успел истереть и измельчить все живое, и гиганты с маленькими головами властвовали на земле, при этом враждебная человеку сила пыталась устрашить его и своими размерами.

— Такого еще не было. Говорят, Курский выступ, — иронически заметил Бардин. — Не то, не дает представления!

— Курский ствол, в который ударили танковыми топорами под самый корень, — сказал Тамбиев. Николаю нравилось качество командарма не принимать на веру общепринятое, все проверить своим умом, отыскать свое определение.

— Ствол… курский? — Яков обратил взгляд на силуэты двух танков у самой обочины дороги — они медленно и яростно поднялись на дыбы, как бы готовые схватиться. — Ствол? Нет!.. Подкова! Курская подкова! — Казалось, он обрадовался, что нашел подходящее сравнение, настолько обрадовался, что даже утратил прежний тон, чуть бесстрастный. — Стянуть концы подковы и обратить ее в кольцо — вот задача немцев!.. Стянуть железом, тем более что железо это под рукой: от одного края подковы до другого — железнодорожная магистраль, да, та самая, Москва — Харьков… у одного края подковы Прохоровка, у другого — Поныри… Ты видел, как это выглядит сейчас на карте? Самые жестокие бои тут, — заметил Бардин и пошел вдоль дороги туда, где поднялись на дыбы танки.

— Вы знали, что немцы начнут здесь? — спросил Тамбиев, следуя за Бардиным.

— Да, мы знали, — ответил командарм и встал почти вплотную к танку, это была наша «тридцатьчетверка», у нее был большой наклон, а следовательно, упор, поэтому она устояла против тучного немца. — Я скажу тебе больше: немцы знали, что мы знаем…

— Знали и… пошли? — воскликнул Тамбиев.

— Пошли… не без сомнений, — сказал Бардин и поднял глаза — танки были сейчас над их головами.

— Сомнения… какие? Надо ли начинать здесь?

— Броня выдержала… наша броня, — Бардин все еще рассматривал танки — у его мысли сейчас было два течения: Яков отвечал Тамбиеву и думал свою думу. — Да, и немцев раскалывало сомнение: надо ли начинать здесь, коли мы знаем, что они здесь начнут…

— Их сомнения нам были выгодны, Яков Иванович?

— Я думаю, да, — ответил Бардин и, круто повернув, пошел к машине — танки уже были ему неинтересны. Он, как подумал Тамбиев, и во всем ином не мог отдать себя стихии простого любопытства, увлечения — для него и любопытство и увлечение были стихиями.

Но Яков не успел войти в машину, броня танка, лежащего в канаве, точно колебнулась — на дорогу выкарабкался человек в исподней рубахе (в лунном свете рубаха едва ли не слепила), а за ним солдаты с автоматами, вначале двое, потом третий.

— Вот разыскали… камышника! — произнес этот третий, оглядывая Бардина и прикидывая, с кем имеет дело. — Зыбкость душевная одолела человека — из танка его уволокло!..

— Товарищ командующий! — рванулся человек в белой рубахе — он первым узнал Бардина. — Так я по нужде из танка… — Он тронул ладонью светлые усы, в ночи усы казались сивыми.

— Паскуда! — прервал его автоматчик. — А куда гимнастерку с сержантскими погонами дел?.. В трибунал тебя, паскуду, прямым курсом!

— Он превысил! — сказал сивый. — Не по закону!

— У, мать твою, а руку мою изодрал по закону? — бросил сержант зло и левой, с маху, сунул сивому в скулу — удар был не сильный, левая была слаба у сержанта.

— Ну, ты, не надо! — спокойно-осуждающе сказал Бардин, у него не было охоты корить сержанта.

— Вот видите, товарищ командующий!.. — запричитал сивый — ему вдруг стало жаль себя. — Вот видите! Превышает!

— Иди, иди — там разберут! — сказал Бардин хмуро. — Иди… — У него уже сложилось свое отношение к сивому, но он

не хотел его обнаруживать, опасаясь, что это поощрит сержанта в его гневе и, чего доброго, сержант действительно «превысит». — Ведите его, — сказал он сержанту строго. — Ведите… — повторил Бардин, самой интонацией показав, что ему больше нечего сказать. Сержант поднес было к пилотке согнутую ладонь, но перевязь не пустила.

Поехали дальше. Бардин молчал. Наверно, Бардин понимал, что сержант гневен на него. Идет сейчас по кочкам, держа на весу окровавленную руку, и костит командующего. Не осек бы Бардин сержанта, дошло бы до самосуда. В машине запахло дымом, прогорклым, — справа, за увалом, горело село, огонь выплеснулся в поле, быть может, добрался до скошенного хлеба — край неба был в искрах. Автомобильное окошко, обращенное к селу, посветлело, свет коснулся щетины командарма.

— А вот так собрать на «пятачок» всю технику — не рискованно? — вспомнил Тамбиев свой разговор в самолете.

— Наверно, рискованно, — подал голос Бардин, поразмыслив. — А как иначе?

— Собрать в тылу и перебросить туда, где будет горячее… — заметил Тамбиев — ему эта мысль казалась убедительной. «Тыл тылом, — думал он, — но первый удар, а этот удар самый сильный, отражает не тыл. Кулак надо отбивать кулаком». Николай обратил взгляд на пожар, сейчас его отблески заметно выбелили дорогу. — Но то, что произошло у Курской подковы, должно иметь продолжение? — спросил Тамбиев — он берег этот вопрос напоследок.

— Если есть сегодняшний день, неизбежен день завтрашний, — ответил Яков уклончиво, а Тамбиев подумал: «Самый осторожный из всех Бардиных; однако почему самый осторожный?.. Характер или все-таки профессия?..»

— Ну, Курск не только подкова, но и весы, — размышлял вслух Тамбиев. — Немецкую силу уравновесить русской, да еще приберечь про запас… У кого останется лишняя сила, тот и возьмет верх…

— Лишняя, чтобы шагнуть дальше? — спросил Яков — он не очень был заинтересован в продолжении разговора и задал вопрос с единственной целью: узнать, как далеко пойдет Тамбиев в своих догадках.

— Да, шагнуть дальше, до Днепра, хотя это уже утопия, не так ли? — про утопию Тамбиев сказал на всякий случай — просто дал шанс Бардину выйти из положения.

— Утопия, утопия!.. — воодушевленно подхватил Бардин — его воодушевление было прямо пропорционально его осторожности; сказав «утопия», он точно говорил Тамбиеву: «На

этом разговор заканчивается — точка».

«Виллис» все еще шел открытой степью. Ветер дул теперь в правый борт машины.

— Повлажнело маленько, видно, Сейм где-то рядом, — сказал Яков. — Сколько у тебя на часах? — обратился он к водителю. — Два есть?

— Без пятнадцати, — ответил тот.

— Значит, рассветать начнет скоро.

Машина стала забирать все выше — холм был пологим и невысоким, но заслонил добрую половину степи. До вершины холма оставалось еще достаточно, когда показалась встречная машина. Как ни темно было небо, ее черный квадрат был сейчас хорошо виден.

— Кто это еще? — спросил Яков у водителя.

Тот помолчал, очевидно дожидаясь, когда машина подойдет ближе.

— Не иначе, Крапивин, — заметил водитель. — На радиаторе попона, другой такой машины нет. — Водитесь пригнулся, не отрывая глаз от приближающегося «виллиса». — Ну конечно, он становится на обочину.

— Ставь и ты, — сказал Яков и, не дождавшись, пока машина остановится, открыл дверцу.

— Крапивин, — повторил водитель, когда два человека, массивный и сдержанно-неторопливый Бардин и широкий в плечах и короткорукий Крапивин, приблизились друг к другу.

Наверное, у водителя было искушение придвинуть машину к говорящим, но он не посмел. Ветер тянул в сторону, и слов говорящих не было слышно, хотя, судя по всему, случайный разговор на дороге был весьма живым. Правда, Бардин, как обычно, был чуть-чуть скован и больше слушал, чем говорил. Зато Крапивин, казалось, был увлечен беседой. Короткие руки командарма с тяжелыми кулаками часто вздымались над головой — в жестах командарма была некая окончательность.

Бардин возвратился минут через десять, и машины разминулись, каждая пошла своей дорогой.

— Крапивин говорит, что его армия полтора часа назад начала форсировать Сейм, — произнес Бардин, как бы рассуждая вслух. Ему хотелось, чтобы об этом знал Тамбиев, но по какой-то только ему известной причине он не хотел этих слов адресовать прямо Тамбиеву.

— Если начали форсировать Сейм, то без «адмирала» Бардина там не обошлось? — спросил Николай и тут же упрекнул себя. Может быть, и надо было спросить об этом, но не так в лоб — вопрос не в духе Якова.

— Крапивин говорит, что танки пошли бродом, который отыскал Бардин, под огнем отыскал, — произнес Яков все тем же тоном, не обнаруживая ни удивления, ни радости.

— Под Клином я видел Сергея, — сказал Тамбиев осторожно, очевидно давая понять, что хорошо было бы молодого Бардина повидать и здесь.

— То Клин, а то Курск — разница! — хмыкнул Яков. — Он, Сергей, небось уже за Сеймом, далеко за Сеймом…

Ответ не оставлял сомнений — на этот раз Тамбиев не увидит Сергея.

43

Где-то впереди немец подвесил с полдюжины ракет и осветил поле. Машина прибавила скорость и как бы причалила к роще, что возникла впереди. Немец бомбил. Самолеты ушли, а «фонари» все еще висели над степью, нехотя снижаясь, опускаясь в степь, как в воду. Ветер вдруг стал теплым, как из русской печи, пахнуло горячей золой. Но так было недолго. Машина вошла вновь в открытую степь, и ветер словно остыл. Машина стремилась навстречу утру, становилось все свежее, хотя тьма была еще густой, быть может — предутренняя тьма; говорят, что последний час перед рассветом самый темный.

Из-за поворота опять вылетел «виллис», потом второй, третий. Их будто выпустили из пращи — только ветер взвизгнул да обдало пылью пополам с песком. И по знаку, незримому, а может, неслышному, машины остановились, остановились, судя по звуку, разом. Этот звук ухватил и водитель стремительной бардинской машины — притормозил и подал машину назад, — кто-то уже шел к ним.

— Бардин? Нет, ты послушай и меня! У бригады свои колеса, и дай им волю. За ночь вон куда бы могла уйти бригада…

Сейчас была видна только спина человека и широко расставленные ноги. В том, как человек встал перед Бардиным, глядя на него в упор, сказывалась сила. Он встал перед Бардиным, будто готовился для удара. В его коренастости, в широко расставленных ногах, в наклоне фигуры, в самой посадке головы, заметно массивной, Тамбиеву чудилось что-то очень знакомое.

— У бригады свои колеса, и иногда надо не очень давить на тормоза! — произнес человек и не без труда сдвинулся с места; пока стоял он, точно врастал в землю, поэтому нелегко ему было сдвинуться.

Слов вышедшего ему навстречу Бардина не слышно, но видно, что у него свое мнение. К тому же то, что знает Бардин, человек, стоящий перед ним, может еще и не знать.

— Бомбят?.. Переезд?.. Но где мы возьмем еще ночь? Осторожность хороша, когда есть еще и действие! Что?

Нет, Бардин не сдается — сила пошла на силу.

— То, что можно сделать за три ночи, за две не сделаешь. Ну, гляди, с тебя спрос!.. Только с тебя!

Тамбиев увидел, как парень, сидящий за рулем, разыскал на сиденье пилотку и надел ее — явно ему не жарко сейчас.

— Вот оно: Ставка не всегда советует, она и приказывает… —

произнес водитель и затих, осмысливая то, что произнес. — Слыхал? — закончил он поспешно, обращаясь к желточубому: Бардин уже садился в машину.

Ставка… Тамбиев не ошибся, решив, что знает человека, с которым Бардин выдержал сейчас нелегкое единоборство. Но как об этом спросишь Бардина, да и надо ли спрашивать? У него нет ни желания, ни потребности рассказывать тебе о происшедшем. Он, кажется, даже не подумал, что его спутникам это может быть интересно.

— Остановись, — вдруг сказал Бардин водителю. — Выйдем… передохнем на ветру. — Он оперся тяжелой ладонью о сиденье, неловко выпрыгнул из машины, прежде у него получалось это легче. — Скрути мне цигарку, — обратился он к желточубому. По тому, с какой смятенной неуверенностью лейтенантова рука побежала по карманам, стараясь найти кисет, Тамбиеву показалось, что эта просьба для желточубого была неожиданна.

— Ставка? — спросил Тамбиев, он понял, что сейчас самый раз спросить об этом. — Это как же понять?

— Как хочешь, так и понимай, — сказал Бардин и посмотрел на Тамбиева — надо думать, цигарка пошла ему впрок, он уже стал приходить в себя. — Жуков… это и есть Ставка, — пояснил Яков и посмотрел в ту сторону, где десять минут назад фронтовая дорога свела его с Жуковым, посмотрел и вздохнул…

— Жуков? — Тамбиев вдруг почувствовал, как токи волнения подступили к груди, и поймал себя на мысли, что продолжает смотреть вместе с Бардиным на дорогу, уже замутненную предзоревой мглой. Ну конечно же это был он: и эта коренастость его, и массивный затылок, и эти слова «Осторожность хороша, когда есть еще и действие», — эти слова его, и никому ты, кроме него, их не отдашь…

Вот она, доля человека! Встретил командарма, сказал ему крепкое словцо и помчался дальше — Ставка! Нелегка дорога, что лежит перед человеком, сколько ни думай, не надумаешь, что ждет завтра. А жаль — разметать бы эту мглу, что прикрыла день завтрашний; может быть, это и дало бы силы, которые так нужны человеку сегодня.

Он не знал и не мог знать точных примет завтрашнего дня. Он не знал, что именно его имя народ отождествит с трижды тернистой дорогой войны. Он мог всего лишь надеяться в эту дымную курскую ночь, что за Курском будет Харьков, старший брат в семье индустриальных городов украинских, а за Харьковом — стольный Киев, колыбель нашего первородства. Не мог знать он и того, что замысел боя, который он даст немцам у большой

днепровской преграды, военные историки позднее сопрягут с не менее впечатляющим замыслом битв на окружение, многократно повторяющих стратегию Сталинграда, там будут Кировоград, Корсунь, Минск. Не ведал он сейчас и того, что ударом стремительным и внезапным он опрокинет врага в Друть, Березину, Свислочь, положив начало освобождению партизанской Белоруссии. Он не знал, что на белорусских, а потом польских землях дотянется до станового хребта гитлеровской мощи, именуемого группой армий «Центр», и сломает его, сломает надежно, чтобы навсегда отнять у врага надежду воссоединить эти армии. В эту беззвездную курскую ночь он еще не ведал и того, что, наращивая удары, приведет войска на берег Вислы, а потом на высокие кручи Одера, чтобы в январское утро девятьсот сорок пятого дотянуться до маленького немецкого городка Кинитц и, взглянув на полевую карту, произнести долгожданное: «До Берлина — семьдесят». В эту ночь, освещенную стелющимся огнем пожара, наверно, он не мог еще представить и того, что под начало его ума и полководческого опыта сражающаяся Республика Советов отдаст сыновей своих и свое разящее оружие, чтобы нанести последний удар по гитлеровской цитадели. Ему не известно, наконец, было и то, что на торжестве Победы, которым будет увенчана священная борьба против супостата, именно ему будет предоставлена честь принять парад победоносного войска. Он мог только догадываться обо всем этом в ту июньскую ночь тысяча девятьсот сорок третьего года, всего лишь догадываться, но, воин и гражданин, он храбро нес солдатскую вахту, понимая, что Отечество и Правое дело — с ним, а следовательно, не так уж несбыточно все, о чем сегодня он не смеет и мечтать…

Яков нетерпеливо бросил себе под ноги цигарку, осторожно примял ее сапогом, вскочил в машину.

— Я открою термос, товарищ командующий… — подал голос желточубый. — По такому утру горячего чаю хорошо, а?

— Нет, спасибо… подъезжаем уже… — Бардин обернулся к лейтенанту. — Вот то, справа на макушке кургана, флюгерок?.. Он?

— Он, товарищ командующий, — произнес желточубый.

Машина свернула направо, вошла в аллею, засаженную тополями.

— Пойдем, Николай, приехали, — сказал Бардин и вышел из машины. — Скажи Годуну, я в штабе, новом… — обернулся он к желточубому.

Старые тополя, не пирамидальные, а большекронные, какие на юге России зовут серебристыми, нависали над дорогой. Это

было не село и даже не хутор — скорее хоромы помещика-степняка, теперь, возможно, усадьба совхоза, — а вот и флюгерок, по которому Бардин издали приметил усадьбу.

Вопреки раннему часу, усадьба жила напряженной жизнью — да и ложились ли спать этой ночью ее нынешние обитатели?

— Товарищ командующий, товарищ командующий! — слышалось отовсюду. Дважды или трижды кто-то рядом отдал команду «Смирно!» и, печатая шаги, направлялся к Бардину, чтобы отдать рапорт, но движением усталой руки Бардин останавливал рапортующего. Тамбиеву было интересно наблюдать Якова Бардина в эту минуту: он точно распространял вокруг себя магнитное поле — оно и влекло к нему людей, и удерживало их. Странная и смешная условность, но казалось, они не могли приблизиться к нему вплотную, останавливаясь на расстоянии. Даже в том случае, когда надо было сказать нечто конфиденциальное, им стоило труда встать с командующим рядом. Нет, в этом не было ничего от робости или тем более подобострастия, скорее было уважение к человеку, сознание того, что он старший. Отвергал ли это Бардин? Тамбиев полагал — не отвергал. Быть может, это могло кому-то показаться условно-архаичным, а поэтому ненужным, но Яков, так думалось Тамбиеву, считал это целесообразным, а следовательно, необходимым: нет, он принял это не на веру… Он ничего не принимал в своей жизни на веру — опыт его многосложного бытия, опыт войны убедил его, что это нужно. И об этом думал Тамбиев.

Они углубились в парк и боковой тропой через заросли дикой груши и крыжовника приблизились к кирпичному домику — то ли уединенному обиталищу старого садовника, то ли конторе бывшего помещика. Новый штаб, о котором говорил Бардин, находился здесь: дом был невелик, но он был точно опущен на дно многослойного озера, если за это озеро принять старый парк. За каменной оградой работали связисты, прокладывая кабель, — Бардин это приметил, это было важно.

Солдаты, несущие охрану штаба, расступились, пропуская командующего в дом. Один из них завел за спину руку, в которой у него был котелок, быть может с кашей, — котелок был прикрыт краюшкой черного хлеба. Ничего особенного в том, что командующий застал солдата с котелком, не было, но солдат все-таки завел руку за спину — это была не просто робость или стеснение, солдат считал это неуместным.

Бардин прошел по коридору, едва задержав взгляд на распахнутой двери, за которой у просторного стола, устланного картой, колдовали оперативники.

— Годуна ко мне! — произнес Бардин, не останавливаясь.

Армейские хозяйственники поработали в поте лица: дом был выскоблен и надраен, словно корабль перед флотской инспекцией. Чистота была привередливой, запахи, которые еще удерживались в доме, свидетельствовали об этом: там, где не взяли бензин и карболка, взяла эта привередливость.

Яков Иванович прошел по дому, не остановив взгляда на выбеленных стенах и вымытых полах. Он как бы не замечал этого, точно все это само собой разумелось.

— Товарищ командующий, вы меня просили?

В дверях стоял генерал-майор, возраста куда более почтенного, чем Бардин, — волосы на висках завились и выбились на виски запятыми — как у старика Раевского, героя той Отечественной…

— Связь переключили сюда?

— Да, еще с вечера… Телефонистов расположили в этой кухоньке, во дворе, к обеду закончат.

Бардин взглянул на стену — карта, как он заметил, отразила изменения, происшедшие за ночь.

— Да, я видел… Кто доложит карту?

— Козицкий, — ответил генерал и взглянул на Тамбиева, на его диковинную форму.

— Хорошо, не отлучайтесь.

— Слушаюсь, товарищ командующий, — произнес генерал и едва ли не расправил плечи. Тамбиева и это удивило немало: да неужели этот человек находится от Якова Ивановича так далеко, чтобы столь ретиво блюсти форму. Не хотел бы этого Бардин, — наверно, этого бы не было. Но он и это, так можно подумать, считает необходимым. А может быть, и впрямь это необходимо? Дисциплина не терпит исключений — армия сильна, больше того, непобедима всеобщей дисциплиной.

— Жуков говорил с командиром кавдивизии? — спросил Бардин генерала — он произнес это имя впервые, произнес, все еще глядя на карту.

— Да, полтора часа.

— Вы были при этом?

— Никак нет, — отрапортовал Годун и пояснил: — Имел ваше приказание не отлучаться.

— Напрасно — надо было быть… Через полчаса всех командиров на провод! — вдруг произнес Бардин, и в его голосе, до сих пор таком обыденном, вдруг прорвалось нечто такое, что хотелось назвать праздничным.

— Есть, товарищ командующий, всех командиров на провод! — повторил генерал, восприняв эту праздничность голоса

командующего; он наверняка понимал, о чем идет речь, и был счастлив от одного сознания, что понимает. Он даже чуть-чуть расправил плечи, старый вояка — он привык к этой дисциплине, подумал Тамбиев, она была ему не в тягость. Привык теперь или прежде?..

Тамбиев заметил, что взгляд Бардина все еще был прикован к карте, висящей на стене, — видно, взгляд этот уловил нечто такое, что вызывало беспокойство.

— Ты понимаешь, Николай, как-то несподручно их везти сюда, — он оттенил голосом «их». — А вот возьмем Орел, тогда иное дело! — последнюю фразу ему подсказала карта — он обратил взгляд на нее, беседуя с генералом, и удержал до нынешней минуты, когда речь уже шла об ином, — в другое время Тамбиев не заметил бы этого, а вот сейчас было видно и ему. Ну конечно же Бардин говорил с генералом об Орле, как об Орле он говорил сейчас в иной связи с Тамбиевым, — мысль Якова Ивановича текла не прерываясь. — К тому же что им Поныри или какая-нибудь Ольховатка? — спросил он воодушевленно. — А там, что ни говори, Льгов и Мценск… там леди Макбет! — он улыбнулся не без иронии.

— Письмо будет к Егору Ивановичу? — полюбопытствовал Тамбиев — еще там, в штабе фронта, когда Николай Маркович говорил с генералом-оперативником, он понял, что военные решили пока сказать Наркоминделу «нет». Наверно, Тамбиев не все знал, но у военных тут мог быть свой резон.

— Письмо?.. Да нужно ли оно, письмо, а? — Яков, разумеется, уже решил, что писать не будет, но не хотел говорить это сразу. — Одним словом, скажи, что жив, пока жив… — уточнил он, пожимая руку Тамбиеву и улыбаясь. — Передай генералу: с первым самолетом… — произнес он, вызвав желточубого паренька, — улыбку его точно смыло — он был сейчас прежним Бардиным.

44

Тамбиев явился в Наркоминдел, когда вечер был на исходе. У подъезда, выходящего на площадь, стоял лимузин с флажком на радиаторе — британский посол пожаловал с очередным посланием премьера; с другой целью в столь поздний час не прибудешь.

Комнату, в отделе называемую гостиной, как обычно в это время, заполнили корреспонденты. Сводка уже получена и откомментирована, но корреспонденты не расходятся: после жестокого тура боев под Курском установилось затишье, грозное затишье.

Кто-то поднял приветственно ладонь, увидел Тамбиева и не удержался от доброго «гуд ивнинг», а кто-то сделал удивленные глаза: слишком дорожный вид был у Николая Марковича…

Тамбиев пошел к Грошеву: только диву даешься, когда спит шеф наркоминдельского отдела печати и где он устраивается, чтобы вздремнуть час-другой? Правда, в кабинете есть диван красоты необыкновенной: красное дерево, расцвеченное медью. Но как опустить бренное тело на такое чудо? Телефонный столик точно является продолжением дивана, а телефоны на этом столике несут неусыпную вахту, не умолкая ни днем, ни ночью. Если неусыпны ТАСС и Совинформбюро, почему должен спать наркоминдельский отдел печати? Да только ли в ТАССе и Совинформбюро дело?.. Жестоко бдителен аппарат, стоящий несколько в глубине, — прежде этот аппарат был черным, сейчас стал нежно-молочным: по нему в отдел звонит Сталин. С тревожной пристальностью косится на аппарат Грошев. Если говорить начистоту, то Грошев предпочитал бы, чтобы аппарат не звонил. Но он звонит, и не так уж редко, и тогда Грошев бросается к нему как лев.

Но сейчас телефон нем, и у Грошева благодушно-восторженное настроение. Он даже склонен посмеяться над Тамбиевым, что бывает, как заметил Николай Маркович, когда у него на душе особенно хорошо.

— Ну, знаю… все уже знаю! — воскликнул он, едва пожав руку Тамбиеву, — ему очень хотелось показать, что его осведомленность простирается дальше, чем думает информированный Тамбиев.

— Простите, а что вы знаете? — спросил Тамбиев.

— Военные… хотели бы дождаться Орла, не так ли?

— Верно, — сказал Тамбиев — видно, Грошев уже говорил со штабом фронта по ВЧ, да и Яков Бардин не остался в стороне от

этого разговора. — Верно, знаете, — подтвердил Тамбиев не без уныния; ему было чуть-чуть обидно, что Грошев повел этот разговор, не дождавшись его возвращения в Москву.

— Но надо ли было так покорно соглашаться?.. — спросил Грошев, поразмыслив. — Курск для нас… новое качество, не так ли?

— Да, конечно, — согласился Тамбиев.

— Техническая мощь, которой мы не имели, помноженная на стратегический успех, который тоже для нас важен…

— Пожалуй.

— Теперь задайте себе вопрос… нет, не мне, а себе, себе: по-хозяйски ли это — взять и спрятать этот успех? В наших интересах?

— Нет, разумеется!

— Я вас не понимаю, Николай Маркович!.. Убейте меня: не понимаю!.. — Он встал, и его ватные плечи пошли ходуном — его доброе настроение, казалось, улетучилось. — Там вы поддакивали и тут тоже поддакиваете, а ведь речь, как вы должны заметить, идет о точках зрения прямо противоположных… Что такое?

— Нет, все не так! — засмеялся Тамбиев, ему и прежде удавалось доброй улыбкой остудить собеседника. — Вначале возражал, а потом согласился. Там сказал «да», а здесь говорю «нет». Военные правы.

— Вы так думаете?

— Уверен.

— Тогда объясните…

— Конечно, корреспонденту это очень важно, но победа над немцами важнее, — сказал Тамбиев.

— Погодите, а разве в данном случае одно противостоит другому?

— Военные полагают: противостоит.

Грошев встал.

— Конечно, глупо возражать военным — им виднее… И Бардин… Яков Иванович так думает?

— Именно.

— Значит, и Бардин?

Он прошелся по комнате, держа перед собой кружку с чаем. Наверно, он понимал, что не прав, но ему было трудно признать это. Направляя Тамбиева в Курск, он полагал, что это полезно делу, хотя ему было очевидно — решать будут военные. Сейчас, когда военные сказали «нет», Грошев должен был до конца осмыслить это. Он и в Курске, пожалуй, отстаивал бы свою точку зрения настойчивее, чем Тамбиев, хотя Николай Маркович был

уверен, что правота на стороне военных, а не Грошева.

— Ну, вот что: надо выходить из положения, как? — спросил он и поставил кружку на стол. — Поймите, у нас перед ними обязательства, моральные… — он повел головой в ту сторону, где находились сейчас корреспонденты. — Может, и вы не согласны? Вы небось тоже считаете: все враги, всех под корень? — вдруг спросил он, оглянувшись на Тамбиева, и в его глазах блеснула злость, этого Николай Маркович никогда не видел у пего прежде.

— Ну, это уже… ни в какие ворота не лезет! — возроптал Тамбиев.

— Простите, я не хотел! Простите, ради бога… — заторопился Грошев. — Жаль, уйдет Курск! Вы понимаете, такого может и не быть… Ах, жаль! — не сказал, а простонал он. — Ну, предлагайте, что будем делать, ну?.. Думайте, думайте! Погодите, идея! Сможете сейчас привезти Глаголева? Да, вломитесь в дом, поднимите с постели и приволоките старика!.. Скажите: обстоятельства чрезвычайные. Нет, звонить не буду! Позвонить — значит дать ему возможность отказаться… Скажите: Наркоминдел просит. Ну, сошлитесь, в конце концов, на меня…

Двумя часами позже Тамбиев привез к Грошеву настороженного, даже встревоженного Глаголева, как рефрен повторявшего одно и то же: «Да неужели вы были в Курске? Так вы же самый счастливый человек среди нас! Понимаете: самый счастливый! Понимаете?.. Нет, вижу: не понимаете!..» Он долго стоял в гостиной перед огромным трюмо в золотой раме, приглаживая бледными ладонями желтоватые седины, потом вздохнул и заскрипел еще не успевшими обноситься хромовыми сапогами к Грошеву, сдержанно покашливая и поводя плечами, которые по этому торжественному случаю он поднимал выше обычного.

Грошев вышел Глаголеву навстречу, улыбнулся, чуть вбирая лиловые губы, сказал, что является постоянным читателем Глаголева, а статью «Кризис сражения», напечатанную в достопамятную зиму сорок первого, однажды цитировал корреспондентам. Глаголева усадили в низкое кресло, он сидел, выставив худые стариковские колени, и его сапоги, не удерживаясь на тощих икрах, собрались в гармошку и были похожи на солдатские «кирзы». Он давно выкурил папиросу, которой угостил его Грошев, и, перестав улыбаться, замер в усталой печали, ожидая разговора по существу.

— Не могли бы вы встретиться с корреспондентами, Маркел Романович? — спросил неожиданно Грошев, заметив эту печаль на лице генерала. — Нет, не беспредметно, а со своеобразным обзором Курской битвы? — Он сделал паузу, рассчитанно

микроскопическую, чтобы, не дай бог, Глаголев не ворвался бы в брешь и не сказал «нет». — Корреспонденты постоянно обращаются к вашим статьям…

— Да не обманываетесь ли вы, голубчик? — спросил Глаголев. — Им подавай… па-де-де (его сапоги неловко притопнули) или там именитого баса, а я кто для них? Так, старый вояка, читающий фортификацию! Я бы на их месте не пошел!

— Нет, нет… Маркел Романович, вы не правы решительно — вы для них имя!.. — прервал его осторожно Грошев. — Мы-то знаем, что им интересно… Глаголев, да еще в сочетании с Курском… какой может быть разговор?

— А вы-то сами придете? — чуть подмигнул Глаголев Грошеву — лукавая искорка вспыхнула в уголке глаза, и он ее прихлопнул мохнато-дряблым веком. — Придете?

— Маркел Романович, да как вы могли допустить?

Глаголев подтянул голенища, встал — сапоги, разумеется, упали, собравшись в гармошку.

— Ну ладно, ладно… я подумаю.

— А я, признаться, ждал от вас более определенного ответа… — заметил Грошев, следуя за Глаголевым.

Глаголев решил возвращаться домой пешком, взяв слово с Тамбиева, что тот его проводит и расскажет о своей курской экспедиции, — как ни устал Николай Маркович, он дал согласие Глаголеву — у Тамбиева были свои виды на эту беседу.

Все, что Глаголев хотел знать о Курске, он как бы сравнивал со своими идеями и раздумьями, относящимися к стратегическому аспекту войны.

— Вы сказали: «многослойная оборона»? Значит, резерв, дальний резерв?.. А вы помните наш разговор зимой прошлого года? Что я вам тогда сказал, а? Нет, повторите, что я сказал? — и его нога нетерпеливо и неловко застучала по асфальту. — Повторите, сию минуту!.. Я вам приказываю: повторите! — засмеялся он, засмеялся громко — смех был сейчас какой-то простоватый, плебейский, не его смех. Быть может, виной тому была ночь, но Тамбиеву показалось, что смеется не Маркел Романович, а кто-то иной, кого скрыла темнота. — Я вас хотел еще о чем-то спросить, минуту, минуту… Ах, в моем возрасте нельзя так спешить, все перезабудешь!.. Нет, нет, вы не смейтесь, должна быть этакая неспешность и последовательность мысли… Логика суть наука для стариков, только они и способны оценить, что есть логическое мышление… Так о чем я вас хотел спросить?.. Вспомнил!.. Вот это наше превосходство на земле и, пожалуй, в воздухе не сообщило ли нашим войскам уверенность, какой нам

недоставало?.. — Он ухмыльнулся, не дождавшись ответа Тамбиева. — Согласитесь, что так вас еще никто не потрошил, а?..

Тамбиеву показалось, что Маркел Романович атаковал его сегодня не без тайного умысла: он уже репетировал свое выступление перед корреспондентами…

— У меня слоеный пирог с сыром, как вы?.. — предложил Глаголев, когда они дошли до Никитских; он еще не закончил репетицию. — Перед отъездом Анна Карповна изобразила, прелесть…

— Они уже отбыли? — спросил Тамбиев — разговор о Курске не оставил места для иного.

— Кто… «они»?

— Александр Романович, Анна Карповна… — уточнил Тамбиев, а сам подумал: надо было как-то спросить о Софе, надо было спросить о Софе.

— Да, уехали, — ответил Глаголев, как показалось Николаю Марковичу, с той лаконичностью и даже сухостью, какая до сих пор в нем и не предполагалась, — о слоеном пироге с сыром Глаголев уже не думал — способность удерживать в памяти разные мысли одновременно для него действительно была уже затруднена.

45

Тамбиев условился с Бардиным, что явится в Ясенцы, но, приехав туда, застал только Ольгу.

Иоанн был на Остоженке. Иришка все чаще задерживалась в родительском обиталище у Второй Градской — в этом году она заканчивала десятый. Знатные иностранцы увлекли Егора Ивановича с утра в Звенигород, и он обещал быть позже.

Тамбиев был поражен, как изменился бардинский дом и сам строй жизни в нем за эти полтора года.

Прежде сад, в котором хозяйкой была Ольга, был завидно ухожен, а милая обитель Бардиных была во власти веселого хаоса. Но странное дело: как ни чист и привередливо охорошен был сад, гости стремились его побыстрее покинуть, в доме они чувствовали себя уютнее. Ныне равновесие установилось: чистота, почти госпитальная, была и в саду, и в доме. Да и Ольга чем-то была похожа на сестру-хозяйку… Большая, холено-пышная, она ходила из дома в сад и из сада в дом тем величаво-спокойным шагом, который обнаруживает и душевный покой, и благополучие, и уверенность в себе, и немножко власть.

Она повела Тамбиева по дому и по участку, будто он попал сюда впервые.

— Вот этот стол смастерил Егор, — указала она на стол, накрытый яркой дачной скатертью. — И где у него это все было раньше?.. А вот это тоже он… — выдвинула она табурет из-под стола. — Только надо похвалить: ну так, не грубо: «А знаешь, Егорушка, у тебя получается!» — горы свернет! Прошлый раз сказала: «Егор, да неужели ты и косить умеешь?» Взял косу и выкосил участок вместе с кабачками и нарциссами…

Видно, она это рассказывала не впервые. И нехитрый рассказ о милых шалостях Бардина поднимал ей настроение — она повеселела.

— Вот взгляни, какие у меня помидоры! — Она разгребла белой рукой ботву, глянули плоды, изжелта-оранжевые и пунцово-красные. Она сорвала тот, что покрупней, взяла на ладонь — он лежал на гладкой ее ладони сытый и бесстыдно полнокровный. — Ты видишь, какая прелесть… — Она разломила помидор, он распался по едва заметной бороздке, и Тамбиев увидел две его половинки, точно заиндевевшие внутри.

Они возвращались в дом, и она несла на раскрытых ладонях по половинке помидора, будто похваляясь ими перед туей, перед молодой яблонькой, перед сиреневым кустом, давно отцветшим.

— Мне сказали, у вас там на Кубани земля… «бери — не

хочу». А мне было бы не очень интересно там. В самом деле, какой интерес в легкой добыче? А вот когда ум и ум, труд и труд… это счастье. Трудное счастье самое счастливое, не так ли?..

— Кубань — это нечто иное, — печально сказал Тамбиев. — «Бери — не хочу» — это не Кубань…

— Как не Кубань? — возразила она. — Там земля — благодать, всем известно.

— А с нее и спрос как с благодати, — сказал Тамбиев.

— Ну, не спорю, Николай…

— А тут было трудно? — спросил Тамбиев и впервые заметил ее испытующий взгляд: ей померещилось, что Тамбиев спрашивает не только об ухоженных грядках.

— Копать — нелегко, — она сделала попытку вернуть разговор к огороду. — Но я одолела… — Она вошла в дом. — Меня на три таких дома хватит, Николай… — сказала она, пошире раздвигая шторы. — Мне бы хотелось обставить дом по-своему… — она засмеялась без смущения. — Стыдно сказать: дом был пропитан этими ее недугами и этими лекарствами!.. — Она взглянула на настенные часы, Тамбиев видел эти часы и прежде. — Видишь часы?.. Так из-за них дом чуть не перевернулся три дня назад… Ну, я хотела перенести их в другую комнату. Как-то архаично. Девятнадцатый век… Так Иришка подняла такой скандал: «Не надо — пусть все будет, как при маме!» — «Ты понимаешь, Ирина, что мама — моя сестра, при этом единственная! Я ей, если на то пошло, обязана больше, чем матери. Я ее любила…» Знаешь, что она мне ответила?.. «Прежде — любила, сейчас — нет!» Нет, ты подумай: «…сейчас — нет!» А может быть, я не права? Мне надо понять: оттого, что я своя, мне стократ труднее. И потом: Егор… Я скажу только тебе: ему доставляет удовольствие винить себя… А они?.. Сережка пишет Ирине и не пишет отцу или пишет так, от случая к случаю… Чтобы узнать, как там с Сережкой, отец должен спрашивать Ирину. Я же ее вынянчила!.. Поверь, Николай: я вынянчила, не Ксения!.. Так чем Ирина теперь мне отвечает: она ревнует меня к отцу! Ты только представь: этакая мошка… ревнует!

— Ну, а он… как он?

— Что именно… он?

— Видит все это?

— Конечно, видит, но это его… мягкая рука. Понимаешь, Николай, у такого человека рука должна быть покрепче…

— А она у него не крепка?

Она рассмеялась:

— Ну, ты же знаешь.

Приехал Бардин, при этом не один, а с Иоанном — заехал на

Остоженку, уговорил поехать, другого такого случая встретиться не будет.

Иоанн увидел Тамбиева, поднял руки, здоровую взвил в охоту, надо было бы достать загривок, добрался и до загривка, вот больная бессильно дернулась и остановилась у груди, пришлось ее возвращать в прежнее положение с помощью руки здоровой.

— Видел Якова? — спросил Егор Иванович, усаживая Тамбиева против себя. — Рассказывай…

Иоанн сел у окна, странно робкий, на себя не похожий, — казалось, он заранее согласился с тем, чтобы бразды беседы были у сына. Тамбиев говорил, а Бардин слушал, изредка вставляя словцо.

— Тут был его начмед армии. Ну, известный московский доктор, чинил сердца академикам российским… Так он говорит об Якове: держит армию в строгости и себя не щадит. — Бардин умолк, испытующе посмотрел на Тамбиева: — Ты скажи, Коля, мне, положа руку на сердце. Строг Бардин, а?

— Пожалуй… — нехотя согласился Тамбиев — он понимал деликатный характер этого разговора и не очень шел на него.

— Но чувствуется… командарм, который может поднять армию на немца?

— Мне кажется, да, — Тамбиеву еще не было понятно, куда клонит Егор Иванович.

— Молодец Яков! — вырвалось у Егора Ивановича, и он взглянул на отца, будто приглашая его разделить радость. — Как ты, батя?..

Иоанн молчал — он положил больную руку на ладонь здоровой, положил бережно, как кладут малое дитя, того гляди, погладит.

— А он там улыбаться не разучился? — вдруг спросил Иоанн. — Ну, он вот так и ходит, сдвинув брови, а? — Что-то нащупал хитрый Иоанн в этом разговоре такое, что его немало заинтересовало.

Тамбиева подмывало сказать старому Бардину дерзость — да есть ли у него право судить того, кто в пекле!

— Главное, чтобы дать немцу по загривку, а там он может и без восторга!..

— Верно, Николай: главное намылить немцу шею, а как он это сделает — не мое дело!.. — возликовал Егор Иванович — у него это вызвало такую бурную радость потому, что была возможность дать очередной бой старому Иоанну.

Иоанн смотрел на младшего Бардина не без иронии.

— А по-моему, ты раньше времени колотишь в барабан!..

— Это почему же?..

— Вот ты послушай меня спокойно… Я чую: был один Яков, а стал другой! А знаешь, мне люб прежний Яков, честное слово, люб! Ну, я человек штатский, а поэтому мое слово может показаться тебе словом профана… Не ставь мне это в вину, а вникни в мысль. Знаешь, я скажу: есть две школы влияния на солдата: прусская и русская… Что такое прусская?.. Суровость, жестокая точность, немногословность, этакая атрофия живого общения с солдатом, атрофия слова живого и смеха… Говорят, что это ближайший путь к командирскому авторитету, а следовательно, к повиновению… По мне, не столько к авторитету, сколько к страху. Есть другая школа: русская. Командир, будь он хоть сам маршал, такой же солдат, как все остальные, а поэтому он может и скоротать с солдатами время на привале, и перебросится с ними шуткой, и съесть с ними котелок каши, и пожурить солдата на народе, и похвалить его, тоже на народе… Кстати, Суворов был таким, и Кутузов — тоже, да и у наших Чапаева и Котовского было тут нечто суворовское… Кстати, Чапаеву и Котовскому это было нужно позарез. Ведь мы же армия, которая первый раз в истории человечества знает, за что она борется… А коли знает, ей, как можно догадаться, это объяснили. Ну, прусская армия отродясь не знала, за что она борется, ей и нужен был командир бессловесный… А наша? Нет, нам такой командир не подходит, ежели нам надо до солдатского сердца дойти… Как?.. Теперь скажи: чья правда?

— Якова! — сказал Егор Иванович.

— Это почему же Якова, а не моя?

— А потому, что немца колотит Яков, и хорошо колотит, а все остальное… да имеет ли это значение? Вот ежели он не сумел поколотить немца, то тогда бы я к тебе прислушался… А сейчас он на коне, и правда у него, а не у тебя! Я тебе скажу больше: когда у Якова переломилось?.. Нет, нет, ты скажи: когда? Не можешь? Тогда я скажу: летом сорок второго! Да я так думаю, грешный человек, что не только у Якова!.. А почему?.. А потому, что и шуточек и прибауточек у нас много, а суровой дисциплины, суровой и точной, недостает, а без такой дисциплины мы немца не поколотим… Ты говоришь: прусская. Верно. Но у нее свои достоинства, у этой прусской. Точность и еще раз точность, а это как раз не самое сильное наше качество. Было бы это у нас, может, многие из тех, кто лежит сейчас в сырой земле, смотрели бы на солнце… Я полагаю, что Яков думал над этим больше нас с тобой и понимает в этом больше нас. Что же касается живого слова, то, наверное, это зависит еще от дара, он и прежде не ходил в краснобаях… А потом характер — из него не

выпрыгнешь! У тебя один характер, у него другой…

— Ты хочешь сказать, что я краснобай?

— Я же этого не говорил, это сказал ты… А потом: я не думаю, что Яков оборвал все контакты с солдатом… Просто он понял, что нужна большая твердость, и, я так думаю, не только он… Знаешь, когда надо послать человека на смерть, нужна твердость…

— Ты думаешь, прежде не посылали людей на смерть?

— Нет, посылали. Война всегда была жестокой, но, прости меня, такой жестокой войны не было… Я скажу тебе такое, с чем ты можешь и не согласиться, но я тебе все-таки скажу: прежних наших доблестей сегодня было бы недостаточно. Ты этого не понимаешь, а Яков понимает. Да это и естественно: он видел смерть, а ты ее не видел.

— Но ведь и ты видел ее не больше моего, отрок мой милый…

— Да, верно, но между нами все-таки есть разница: я понимаю Якова, а ты его не понимаешь.

— Все ясно, не ясно только одно: с чего ты сделался таким умным, ежели тебе отец толику ума своего не ссудил?..

— А дело не в уме.

— В чем же?

— В уважении к тому, что делает Яков. Прежде чем карать его, я, пожалуй, пять раз спрошу себя: да имею ли я на это право?

— Ты действительно не имеешь права, а я имею. Потому что отец Якова я, а не ты.

— Верно, но все дело, как бы это сказать тебе, в такте. Был бы я отцом Якова, я, пожалуй, подумал бы, где я ему судья, а где судья он мне.

— Все ясно: чтобы отец начисто лишил себя возможности разговаривать с вами, он должен сделать одного своего сына командармом, другого дипломатом, а третьего авиамоторным богом, так?..

— Нет, пусть они будут теми, кем они стали, но пусть и отец, как бы это сказать помягче, возьмет в толк: самый легкий путь утратить права отца — это злоупотребить этими правами…

Иоанн встал, покряхтывая: видно, нога затекла. Он шел, припадая на ногу, потом обернулся, упер в Тамбиева злые глаза:

— А ты чего молчишь? У Курска был ты, а не я! Ну, говори! На чьей стороне? Нет, без этого самого баланса… Вот так прямо: на чьей? Или ведомственная солидарность уста сковала?

Он шел на Тамбиева, окутанный пепельным дымом седин: седая голова, брови, борода — ни дать ни взять врубелевский «Пан».

— Наверно, суров Яков Бардин, да это добрая суровость, — сказал Тамбиев.

— Не ожидал я, что ты так легко склонишь голову перед силой! — взревел Иоанн. — Чему же тебя учили твои предки вольнолюбивые на вольном Кавказе?

— А это уже прием запрещенный! — вступился за Тамбиева Бардин — вступился яро: он понимал, что сейчас, когда Иоанну худо, ему надо нанести последний удар, иначе он оправится от шока и воспрянет.

— Это мой-то прием запрещенный? Два молодых мужика навалились на слабого старца и еще винят его в том, что он бьет не в скулу, а под дых!.. Вот оно, нынешнее рыцарство!

— Что у вас тут происходит — на платформе слышно! — вошла Иришка, лицо ее было печально-усталым, день был долгим и нелегким, но, увидев Тамбиева, она как-то по-особому, по-детски замотала головой так, что глаза округлились. — Давайте чай пить, давайте чай пить!..

Бардин смотрел на нее улыбаясь. Нет, не только Николай, но и Егор Иванович, который видел ее каждый день, замечал, как она повзрослела. В том, с какой небрежностью, чуть показной, она взмахнула своей сумочкой, как, не выпуская сумки из рук, охорошила кудряшки, как она сбросила с ног туфельки на высоких каблуках (да не Ксенины ли это туфли?) и пошлепала босая по комнате, при этом, к удивлению Николая, нисколько не став ростом меньше, Тамбиев почувствовал: она уже стоит на пороге взрослости, еще шаг, только шаг — и она переступит этот порог.

Они пили чай на веранде. Споры отшумели, и, казалось, страсти утихли. На темном поле неба верхушки сосен, что стояли в дальнем углу участка, были едва видны. Тамбиев смотрел на маковки сосен (были видны только маковки), и все казалось, что сосны стоят где-то далеко за бардинским двором. Очевидно, это был обман зрения: истинное расстояние было до ствола, а Тамбиев его измерял до видимой маковки. Хочешь не хочешь, а вспомнишь старого школьного учителя: вот оно, соотношение катета и гипотенузы!.. Разговор за столом ладился — мир в доме!

Иришка съела свой бутербродик с вареным мясом (много ли надо птичке-невеличке?), допила чай, пододвинула стул к отцу, приникла к толстому его плечу:

— Ах ты мой Топтыгин, хозяин русского бора, тебе бы все медок да медок… — Бардину было хорошо, он сладко щурился. Ладонь дочери забиралась в его густые лохмы, охватывала шею, терлась о щетину, ухитрялась даже проникнуть за воротник, но это не раздражало его. — Миша мой добрый…

Иоанн смеялся:

— Слыхали: Миша добрый?.. Попади ему в лапы, он твои косточки сахарные в муку обратит!..

— Не обращу — я в самом деле добрый! — возроптал Бардин, а Ольга встала и молча вышла — в этом не было вызова, но и большой приязни тоже не было. — Ты куда, Оленька? — спросил Бардин, но она смолчала — в этом тоже не было большой приязни.

Только минуту спустя она вдруг подала голос из соседней комнаты:

— Я хочу хлебушка поджарить, сухарики — сухарики к чаю хорошо.

— А мы уже выпили чай, — нашлась Иришка — конечно, она могла бы смолчать и не обнаруживать неловкости, но для нее, видно, велик был соблазн выказать это на людях.

— А я все-таки поджарю, — в голосе Ольги вдруг прорвалась слабость, какой прежде не было — ее лишила сил эта минута.

Ольга вернулась со своими сухариками, и Бардин попросил второй стакан чаю. Тамбиев тоже попросил — надо было как-то победить эту неловкость…

К платформе Тамбиева провожала Иришка. Все происшедшее за столом нисколько не испортило ей настроения. Она болтала без умолку.

— Вы не поверите, я еще раз видела эту вашу барышню! — вдруг произнесла она, когда они вышли за калитку; она была так искренна в своем отношении к тому, что могло связывать Тамбиева с Софой, и хотела скрыть этот разговор ото всех других. — Нет, нет, это была она — я ее не спутаю ни с кем! У нее такой цвет лица… Но вот что: она была в военной форме… Теперь скажите: она?

— Она, — сказал Тамбиев.

— Ах, какая женщина, какая женщина! — вдруг воскликнула Иришка — не только слова были не ее, сам голос тоже сейчас был не ее — она сказала «женщина», хотя должна была сказать «девушка», — у нее был соблазн сказать именно «женщина». — Есть в ней какая-то тайна, не так ли?..

— Так, — засмеялся Тамбиев, в прошлый раз она тоже говорила о некоей тайне, и Николай не возразил. Вот она и решила, что проникла в суть. Однако где она видела Софу и когда? Неужто в тот день, в канун отъезда Софы?

— Как вы живете, Ирина? — спросил Тамбиев, ему хотелось сменить тему разговора.

— Я?.. Вы обо мне? — Ее это насторожило, она внутренне противилась тому, что разговор о Софе не нашел продолжения. —

Вот одолею десятый и пойду учиться на Пирогова. У меня рука крепкая, думаю, удержу скальпель…

Она протянула Тамбиеву руку — он ее принял не без робости, рука была хрупкой, истинно сахарные косточки.

— Это кто же надоумил вас… резать? — спросил Николай.

— Сережка, конечно. «Ты слушай меня: я тут воробей стреляный. Во всей медицине есть одно дело настоящее: нож… Все остальное — мура! Ежели бы меня лечили терапевты, было бы так, как с нашей мамой…»

— У него же осколок был бог знает где! — возразил Тамбиев. — Терапевта ли это дело?..

— Все понятно, но правда в его словах, не в наших.

— Наверное, так надо уметь: черное назвать белым и оказаться правым…

— А у него есть эта истовость, Иоаннова, — сказала она и засмеялась.

— Истовость? Это что же?..

— Свое мнение!.. Разве это плохо?

— Хорошо, когда оно верное…

— Было бы только верное, скучно стало бы жить на земле!

— Вы меня простите, но это не ваши слова, Ирина!..

— Вот это называется консерватизмом мышления! Вы видите, что перед вами взрослый человек… Глаза видят, а ум отказывается признать. Надо верить тому, что видят глаза…

Тамбиев смотрел на нее не без страха: может, и те слова, о женщине, тоже ее? У нее была потребность сказать: «Какая женщина!» Могла сказать «девушка», а сказала «женщина». Мера ее взрослости определялась и этим.

…Глаголев выступил перед корреспондентами. Это было слово военного ученого, краткое и емкое. Те сорок минут, в которые он вместил сообщение, были точно сверены с серебряными карманными часами с крышечкой, которые он положил перед собой. Корреспондентам выступление Глаголева было тем более важно, что, как сообщила сводка, на Курской дуге дело не остановилось — наступление продолжалось, и поездка в Орел стояла на очереди.

Грошев был горд, что ему удалось заполучить Глаголева, и его слову предпослал свое, воздав должное всему, что сделал военный писатель прежде и теперь, в пору войны. И не только Грошев, весь отдел печати был на встрече Глаголева с корреспондентами — идея Грошева привлечь Глаголева к разговору с корреспондентами пришлась всем по душе.

Кожавин и Тамбиев не отходили от Глаголева до той самой

минуты, когда наркоминдельская машина увезла его домой. Непросто было победить волнение, которое поселилось в них: Курская баталия давала основания для раздумий значительных, и Глаголев воспользовался этим, казалось бы, в полной мере: его анализу Курской битвы была свойственна и сила обобщения, и то изящество стиля, без которого, наверное, нет науки.

— Он спрашивал вас о Ленинграде? — произнес Тамбиев, когда автомобиль с Глаголевым отошел.

— Да, разумеется, — заметил Кожавин печально; с тех пор как Игорь Владимирович вернулся из Ленинграда, он был как-то особенно печален. — Все старался установить: как вели себя солдаты, у которых семьи были в Ленинграде… — Он помолчал, взглянул на небо, мглистое, в многоярусной гряде аэростатов. — Мне нравится, что в его рассуждениях о происходящем военные проблемы неотделимы от человеческих… Кстати о Ленинграде: сегодня я был свидетелем одного разговора…

— Да…

— Галуа будет разрешено посетить Ленинград. Военные дали согласие: дневной полет до Хвойной, потом ночью над Ладожским озером до аэродрома, который где-то в черте города…

Тамбиев затих: «Значит, Галуа. А кто с ним из наркоминдельцев?»

— Вы хотите спросить, Николай Маркович: «Кто будет с Галуа?» Грошев назвал ваше имя.

Тамбиев почувствовал, как его сердца коснулся ветер, какой-то радостно-тревожный. Сколько лет жила в нем мечта о Ленинграде. Она, эта мечта, была как встреча с человеком, которого знаешь и считаешь близким, но никогда не видел. Представлялись милые и добрые приметы, по которым Ленинград узнавался издалека: и решетка Летнего сада, и мономахова шапка Исаакия, и, разумеется, радуга, что преломилась в петергофских струях… А будет все суровее и будничнее: Ленинград в блокаде… Значит, дневной полет до Хвойной и ночной над Ладожским?

— Я приготовил для вас адрес нашей ленинградской хаты. — Кожавин достал картонный квадратик с адресом. — Там должны быть соседи, но я их не застал, хотя был дважды. Обещайте зайти…

— Обещаю, конечно… Галуа знает о поездке?

— Не думаю, но догадываться может, вчера он опять беседовал с Грошевым.

Кожавин ушел. Как ни темен был вечер, еще долго был виден форменный костюм Игоря Владимировича — он любил новую форму и умел ее носить.

46

Галуа позвонил Тамбиеву.

— Николай Маркович? Некто Галуа хотел бы обременить вас своим визитом. Смею надеяться?

Они условились встретиться на другой день поутру.

Ну, разумеется, Галуа может явиться в отдел без того, чтобы цель была определена. Свободный разговор, даже в какой-то мере разговор отвлеченный, необходим корреспонденту. Именно в ходе такого разговора и обнаруживается способность корреспондента понимать, на каком он свете. Но в данном случае у Галуа может быть и определенная цель: Ленинград. Наверно, он не знает о Ленинграде, даже наверняка не знает, но способен догадаться: такая поездка для него возможна, важная поездка… Тамбиев допускает, что Галуа и не заговорит о Ленинграде, но силу предстоящей беседе даст именно Ленинград. А коли есть такой стимул, может быть, интересно послушать Галуа — у него нюх на политическую погоду редкий. То, что скажет он о делах насущных, никто иной из корреспондентов не скажет. Кстати, эти его монологи о делах обладают преимуществом несомненным: в них есть и осведомленность, и острота анализа, и способность видеть такие грани проблемы, к каким обычно те же корреспонденты не обращаются. Конечно, никто тебя не неволит принимать сказанное им на веру… Больше того, нужно две и три воды, чтобы промыть песок и добыть нечто такое, что потом ляжет на ладонь. Но, наверно, есть смысл менять воды, если на ладонь может лечь доброе…

Галуа вошел, как обычно, чуть-чуть приплясывая.

— Представляете, сейчас встретил этого… турка Фикрета, ну, пресс-атташе посольства… Говорит, что немцы по своей воле оставляют Орел!.. Я ему и говорю: «Господин Фикрет, если вас послать через эту лужу пинком в зад, то вы ее перескочите по своей воле?» Он, конечно, страшно обиделся, да и я пожалел, что сказал… Не надо было, не надо! А с другой стороны, скажите на милость: не олух ли царя небесного? Всему миру известно, что происходит сегодня под Орлом, а он бегает по Москве и говорит бог знает что!..

Он стоял сейчас перед Тамбиевым на одной ноге, согнув правую руку в локте, и махал кистью руки, как крылом, — ни дать ни взять длинноногая болотная птица.

Ему трудно было переключиться с рассказа об «олухе царя небесного» на что-то более серьезное — ну, разумеется, рассказ о турке им был отрепетирован заранее, а вот переход не был

предусмотрен — ему всегда плохо давались эти «стыки».

— Да в Фикрете ли дело? — произнес он, усаживаясь в кресло и вытягивая длинные ноги. — Остальные не лучше, Николай Маркович!

Ну, разумеется, он был почти уверен, что Тамбиев спросит: «Кто остальные?» Но Тамбиев молчал. В конце концов, то, что хотел сказать Галуа, он скажет.

— Вот она, русская натура!.. Когда ваши были в прошлом году в Вашингтоне, президент спросил их, кого они хотят видеть из американцев? Знаете, что они ответили? Адмирала Стэндли! Пусть мне будет позволено предположить, что назначение Стэндли на пост посла в Москве последовало не без учета этой фразы… Теперь вы меня поняли, Николай Маркович?..

Не надо было быть слишком осведомленным, чтобы понять Галуа. Интервью, которое дал Стэндли корреспондентам, аккредитованным в Москве, произвело немалую сенсацию. Смысл интервью можно было понять так: Америка оказывает русским столь значительную помощь, что эта помощь равносильна участию американской армии на театре войны. Чтобы иметь возможность требовать открытия второго фронта, русские стремятся приуменьшить размеры и значение американской помощи. Но все это было новостью отнюдь не свежей. Очевидно, Галуа хотел сообщить Тамбиеву такое, что могло быть ему и не известно.

— Но вот что любопытно: произошло нечто парадоксальное, да, один из парадоксов, в высшей степени характерных! — почти обрадовался Галуа, он мало-помалу подвигал разговор к своеобразной линии огня. — Рузвельт, как говорят, был огорчен интервью Стэндли, а Черчилль пришел в восторг!.. Да, президент, направивший Стэндли в Москву, осуждает посла, а британский премьер, для которого Стэндли лицо постороннее, выражает одобрение… Можете проверить меня: дни Стэндли в Москве сочтены, но не в этом дело… О чем говорит этот случай? Черчилль ищет себе союзников в Америке, даже апеллируя к ним через голову президента! Если хотите, здесь собака и зарыта!

— А что такое собака? — спросил Тамбиев, он считал, что все сказанное Галуа было лишь вступлением.

— В самой природе войны есть кризис сражения, как, впрочем, есть кризис доверия… — Он напряг круглые глаза и, отыскав на столе календарь, взглянул на него: 12 июля 1943 года. Календарь его устроил. — У этого кризиса доверия есть своя дата. Ну, я не открою большого секрета, если скажу: те, кто приехал из Лондона, говорят, что парламентариям стало известно некое письмо Сталина от двадцать четвертого июня… Русским,

разумеется, известно это письмо? То, что говорят об этом письме, действительно похоже на истину… Посудите сами, письмо воспроизводит все письменные — я обращаю Ваше внимание: письменные! — обязательства Черчилля, касающиеся второго фронта, в частности знаменитый меморандум, который он вручил прошлым летом Молотову в Лондоне! Ведь там черным по белому написано о высадке миллионной армии в сорок третьем году!.. Уже нынче это было не опровергнуто, а подтверждено, при этом дважды — в январе и феврале… В первом случае речь шла о начале операций в первые девять месяцев сорок третьего, а следовательно, крайний срок сентябрь, во втором случае время точно отнесено на август и только в случае непогоды — на сентябрь… Пришло время держать ответ! — Галуа покраснел — казалось, его гнев был искренним. — Вы помните, как в семнадцатом солдаты, стоящие на часах у Смольного и Таврического, нанизывали пропуска на штыки своих винтовок?.. Нет, вы не помните, вы — молодой! Так Сталин нанизал все эти черчиллевские памятные записки да послания и едва ли не поднес ему к носу. В конце этого послания есть фразочка — я вам скажу!.. Он там ему врубил — поперхнешься! «Нет, не о разочаровании речь, а о доверии к союзникам» — вот смысл этого заключения! И еще: речь о том, чтобы миллионы людей в Европе и России не погибли!.. Вот такое послание он ему направил двадцать четвертого… Нет причин думать, что такого письма не было, не правда ли?

— Если его и не было, то, мне кажется, все эти доводы могли существовать вполне, — сказал Тамбиев.

— Но тут есть один вопрос, — произнес Галуа, помедлив; красные пятна на его лице поугасли, а вместе с ними, казалось, пошел на ущерб и его гнев. — Один вопрос…

— Какой?

— Такое письмо не может быть только письмом — за ним должно последовать действие…

— Вы сказали: действие?..

— Да, так кажется мне… Сталин не из тех, кто так просто бросил бы эту фразу о доверии!..

— Погодите, но что вы имеете в виду, когда говорите о действии?

Галуа поднялся и принял свою любимую «птичью» позу — стоял на одной ноге и махал «крылом». У него была необходимость помахать руками, чтобы размять затекшие члены, разогнать кровь.

— Нет, сепаратный мир исключен, разумеется, хотя есть еще такие идиоты, которые полагают: чем черт не шутит! — Он

засмеялся с новой силой, при этом его тело продолжало вздрагивать и после того, как он поутих. — Серьезно, только круглые идиоты могут так думать… Но есть иные меры протеста… Ну, предположим, декларация Верховного Совета или мера дипломатическая… Вы хотите спросить, какая именно мера дипломатическая? Извольте! Есть мнение, что нынешние русские послы в Вашингтоне и Лондоне, которые, как мне кажется, сейчас в Москве, уже не вернутся по месту, так сказать, своей прежней работы и будут заменены дипломатами молодыми… Вы полагаете, что это тоже… проблема Стэндли?

Теперь он уже махал двумя крылышками, больше того, хлопал одним крылом о другое, издавая тот самый звук, какой издает водяная птица, взлетая, — не высушишь крыльев, не полетишь.

— Предположим, вы правы: Стэндли!.. — произнес он — ему нужно было сейчас обращение к Стэндли — можно было подумать, что он обратился к этому имени в начале беседы, чтобы опереться на него сейчас. — В самом деле, те, кто хочет как-то понять этот факт, пытаются объяснить его таким образом: ну, знаете, эта самая точка зрения на Литвинова, она много раз высказывалась: мол, есть две категории русских дипломатов, нет, не только старорежимных, так сказать, но и нынешних, советских: одни полагают, что России надо искать взаимопонимания с Востоком, другие — с Западом… Если хотите знать мое мнение, то я считаю, что эта теория, может быть, была и верна, когда речь шла о старой русской дипломатии, — только сейчас Галуа вдруг вспомнил, что у него есть рука — она простерлась к окну, вдруг увеличившись даже в размерах. — Да, именно те…

— По-моему, вы не сказали главного, — заметил Тамбиев.

— Да, действительно, не сказал, — покорно согласился он. — Но оно ведь, это главное, и так ясно: отозвав Литвинова, Советское правительство будто заявило: вы не держите слова, вам нельзя верить, и в наших отношениях должен наступить иной этап, а поэтому и кадры должны быть иными. Следовательно, отзыв Максима Максимовича в какой-то мере — протест. Так считают те, вы поняли меня, те… — он ткнул рукой в направлении окна.

— И выводы «тех» этим исчерпываются? — поинтересовался Тамбиев — ему казалось, что Галуа не использовал всех своих заготовок.

— Нет, конечно, — так же покорно согласился гость. — Они полагают, что все сказанное является своеобразным ударом большого колокола. Он, этот удар колокола, как бы возвещает русское наступление, самое большое с начала войны, при этом,

надо полагать, не только военное…

— Дипломатическое?

— Да.

— И цель его?..

— Занять, так сказать, предмостное укрепление.

— Предмостное?

— Я имею в виду встречу трех — без нее не обойтись.

— Но ведь она… может оказаться и не столь близкой, господин Галуа? — спросил Тамбиев.

— Не столь близкой? — Галуа будто и не заметил нарочитости в вопросе Тамбиева — ему важно было сказать то, что он хотел, остальное неважно. — События торопят, поэтому все совершится скоро.

Уже покинув кабинет Тамбиева, Галуа вернулся:

— Я должен вылететь в Лондон, там в эти дни выходит моя книга. — Он встал в дверях, опершись о косяк для устойчивости. — Вы ничего не хотите мне сказать по этому поводу?

— Я поздравляю вас с выходом книги, Алексей Алексеевич, — произнес Тамбиев, но, разумеется, Галуа ждал от него не этого, хотя если что-то проистекало из того, что только что сказал Галуа, то вот это поздравление.

— Благодарю вас, но я бы предпочитал услышать от вас иное, не это… — произнес он, все еще опершись о косяк с силой — не ровен час, отнимет руку, и дверь завалится. — Вернее, не только это, — уточнил Галуа; ну конечно, он думал о Ленинграде, желая спросить: в эти три недели поездка состоится?

— Если будет необходимость вас разыскать, думаю, что мы вас найдем и в Лондоне, — заметил Тамбиев.

— Благодарю, Николай Маркович… Но я все-таки оставлю свои координаты в секретариате.

— Пожалуйста.

Галуа ушел. Для Тамбиева наступила минута тишины, та самая минута, когда все только что происшедшее готово вновь воссоздаться в тебе и ты его как бы переживаешь заново. Галуа… Как все-таки остро у него политическое зрение… Кстати, и в его работах. Они одеты в бедные одежды. Их образная система нехитра, а язык более чем примитивен. А потом это разностилье, когда воспоминания перебиваются многоступенчатыми колонками цифр, а потом пространными цитатами — читателю привередливому достаточно, чтобы книгу закрыть на десятой странице, но читатель книгу не закроет, даже привередливый. Велико в книге обаяние мысли, да, мысли и, пожалуй, наблюдательности. Небогат стилист, а как наблюдателен!.. Такое

впечатление, что под этим пиджаком лилово-мышиного цвета упряталось по крайней мере трое, при этом способностей недюжинных. Чтобы представить, каковы они, эти способности, надо сделать так, чтобы трое разминулись. Да, ценно и единое ядро, но каждое из ядрышек многократно ценнее. Расщепи характер, и открытия, которые ты сделаешь, тебя заворожат. Вдруг явится художник — со своими картинами природы и портретами русских людей, публицист, исследующий событие, ученый, сопрягший его с Историей. Но вещество, из которого создан человек, столь монолитно, а время, которое его творит, действует так могуче, что расщепить характер, наверно, нелегко, да, может быть, в этой нерасторжимости есть свои достоинства — в конце концов, человек интересен в той мере, в какой он является слепком природы, а значительнее этого ничего нет. Итак, обаяние мысли… даже подчас тенденциозной, как у Галуа? Да, подчас и тенденциозной — пусть противостоит этой тенденции твой ум и твоя зрелость. Сумеешь преодолеть — обретешь нечто ценное, что обогатит тебя и будет твоему делу полезно.

47

В первом из больших холлов Вестминстера Бекетов встретил Черчилля.

В парламенте происходили дебаты — обсуждался бюджет, вернее, его статья о социальном страховании в военное время. Лейбористы требовали дополнительных средств на улучшение безопасности в шахтах, консерваторы полагали, что надо подождать окончания войны. Черчилль дремал, завалившись в кресле, недремлющим оставался только его левый глаз. Он, этот глаз, то смежался, медленно и дремотно, то вдруг распахивался, оставаясь некоторое время настороженно-тревожным. Наверно, так было бы бесконечно, если бы на трибуну не поднялся лейбористский лидер. Ну, он был не ахти каким оратором, и в открытом бою Черчилль смял бы его играючи, но проблема, которая сейчас обсуждалась парламентом, давала лейбористу такие козыри, какие он имел не всегда. В перспективе парламентских выборов сорок пятого года это могло многое значить. Победа в войне, как понимает Черчилль, в какой-то мере работает и на победу в выборах, но все это сложно и не следует переоценивать: на родине Черчилля всякое бывало… Так или иначе, а появление лидера лейбористов на трибуне вынудило Черчилля открыть и второй глаз, не без труда, но открыть. За этим пробуждением старого Уинни с увлечением наблюдали со своих скамей и парламентарии, и пресса, и публика, строя предположение — откроется второй глаз или бесславно погибнет в неодолимой дреме. Когда же второй глаз наконец распахнулся, зал чуть не разразился аплодисментами. Но лидер консерваторов разверз свои вежды не шутки ради. Пробудившись ото сна, он мигом сообразил, как ему надлежит действовать. Разумеется, он должен был дать бой лейбористам, но так, чтобы не противопоставить себе горняков. Нет, с горняками надо было обойтись в высшей степени осторожно. Ну, предположим… нужно изобразить этакий крендель, который можно было бы пронести у самого носа лейбористов, посулить горнякам и, разумеется, не дать ни одним, ни другим.

Он дождался, пока лейборист сойдет с трибуны, взглянул на председателя, будто прося у него совета, улыбнулся, пожал плечами, встал, с нарочитой торжественностью застегнул пуговицу на пиджаке, хотя мог этого не делать сегодня, как не делал в подобных обстоятельствах многократно прежде, медленно направился к трибуне. Он понимал, что не имеет права на длинную речь и, как ни глубока яма, которую ему в очередной

раз вырыли его старые парламентские недруги, перекрыв дрекольем и присыпав дреколье хворостом, он должен не обнаружить ее, эту яму, на глазах почтенного собрания, но сделать так, чтобы его ненавистники оказались в ней.

Он поднялся на трибуну и, не ссылаясь на почтенного оппонента и даже не упомянув его имени, сказал, как он ценит труд горняков и как он много сделал для горняков, будучи министром торговли, морским министром, внутренних дел, военного снабжения, военным министром и министром авиации, колоний, финансов и прочая, и прочая, как он пытался сотрудничать с горняками, и принялся перечислять тех парламентариев, которые исторически представляли шахтерские районы страны, явив завидную память и при этом перечислив не только живых депутатов, но и покойных, даже больше покойных, чем живых… Он готов и теперь сделать все возможное и предложить правительству решить эту проблему, обратившись за советом к самим горнякам и испросив их мнение… Одним словом, если тут и есть проблема, то она касается правительства и горняков, они ее и решат. Что же касается лейбористов, то он, право, не знает, какое отношение к существу дела имеют они… Он сошел с трибуны, сопровождаемый аплодисментами. Местонахождение ямы было установлено точно, при этом не без усилий старого Уинни в нее завалились те, кто ее рыл…

У Черчилля были основания для хорошего настроения. Эпизод, в сущности пустячный, скрасил ему превратности политической погоды в этот день трудного лета сорок третьего года. Больше того, он создал впечатление, что все остальное, большое и многотрудное, решается под знаком этого эпизода. Черчилль, конечно, понимал, что думать так — значит сознательно себя обманывать, но не боялся себя обманывать, если это улучшало его самочувствие.

Бекетов встретил английского премьера через полчаса после выступления. Сергей Петрович не был в зале, хотя о речи премьера уже знал, — в унылом житье-бытье английского парламента, большая часть заседаний которого происходила в полупустом зале, это было событием. Пожалуй, инициатива в разговоре не могла принадлежать Бекетову, — оказавшись неподалеку от премьера, Сергей Петрович разве только мог решиться приветствовать почтенного тори. Но все произошло иначе: британский премьер издали увидел Бекетова, узнал его — он считал себя физиономистом и полагал, что это его качество основывается на хорошей памяти — и со свойственной англичанину грубоватой непреклонностью пошел навстречу, при этом в самом шаге, больше обычного устремленном, сказалось

решительно все: Бекетов был ему нужен.

— Я намерен перекусить и хочу вас взять с собой, — произнес он и ткнул перстом себе под ноги: парламентский ресторан находился в подвале Вестминстера. Даже не столько ресторан, сколько этакая таверна, где обитают дельцы от политики. Вестминстер и таверна? Да так ли это? Как ни необычно это сочетание, но это именно так. — Я хочу, чтобы вы испробовали блюдо, рецептом которого поделился со мной президент.

Когда речь идет об информации, для него действительно нет разницы между премьером и советником, вспомнил Бекетов разговор с Михайловым. Черчилль может пойти на такую встречу и в Вестминстере. Даже готов сделать это чуть-чуть демонстративно. Они пересекали зал по диагонали, и несколько пар внимательных, если не сказать любопытных, глаз сопровождали их. Был бы Сергей Петрович больше известен в Лондоне, можно было бы сказать: подлинно демонстрация. Мол, слухи о размолвке с русскими ложны, на самом деле отношения с Россией вступили в свою золотую пору.

Они достигли лестницы и, держась за перила, стали спускаться. Здесь царствовала мгла, едва подкрашенная неярким электричеством. Маленькие комнаты могли быть приняты за каюты-исповедальни. Преисподняя английской политики, ее сумрачные кулисы. Если в политических делах существовало искусство инспирации, направляющее, корректирующее, точно нацеливающее удар, то оно возникало здесь. Все, что можно назвать кулисами власти, начиналось здесь, как и здесь, наверно, заканчивалось… Здесь, омытый теплой кровью парламентских баталий, появлялся на свет новый премьер, здесь ему резали пуповину, здесь он впервые кричал благим матом, пробуя голос, здесь его со временем обрядят в шелково-дубовый саван, чтобы отправить в мир иной… Но, как ни радостно или, наоборот, печально событие, оно не должно нарушать здесь ритма жизни. Жизнь продолжается, и колеса должны крутиться, как должно клокотать масло в больших котлах парламентской корчмы, шипеть и исходить запахами и парами говядина, взращенная на мягких лугах Британских островов, густеть, набирая силы, холодное вино… Жизнь продолжается, и комнаты-исповедальни наполнены винными нарами и шепотом, страстным шепотом. Да, такое впечатление, что сюда собрались со всей британской земли заговорщики, которые завтра на рассвете поднимут на воздух громоздкое здание империи. Никому невдомек, что речь идет как раз об обратном…

Как ни сумрачно было в коридоре, Черчилль набрел на свой шесток безошибочно. Явился человек в белой куртке, заученно

одарил Черчилля дежурной улыбкой, поклонился Бекетову, присел на ногах-пружинках, отпирая дверь (человек был высок), ввел гостей в комнату, дождался, пока они отыщут в полумгле свои кресла и опустятся в них, извлек блокнот в темной коже и карандашик-спичечку, который держал, ущипнув. Бекетов приготовился услышать некий перечень, который потребует слов вполне земных: баклажан, баранье ребрышко, картофель, малосольные огурцы, лук… а послышалось невразумительное, состоящее из сплошных междометий: «Э-э-э-э!», «Н-э-э-у!», «И-и-и-у!» Бекетов готов был спорить, что даже в «Большом Оксфордском словаре» не было этих слов, но самое удивительное, что человек в белой куртке все понял. Больше того, из этого хаоса звуков, из этой протоплазмы мычания, свистания, даже мяуканья, он сумел выловить какие-то слова, если обратился к своей спичечке и что-то нацарапал. И было уже совсем похоже на диво, когда стали появляться блюда вполне съедобные, даже изысканные. Значит, этот ресторанный язык, вызванный к жизни полувековым общением старого тори и его вестминстерского сверстника в белой куртке, накопил какой-то опыт, если, пользуясь одними междометиями, можно накормить гостя и самому как-то поесть.

Итак, стол был накрыт, хотя подвальная полутьма теперь скрывала не только лица собеседников, но и в какой-то мере лакомства, которые предстояло отведать.

— Не скрою, я рад встрече с вами, — произнес старый Уинни, вооружившись вилкой и ножом и приглашая гостя сделать то же. — Ну, разумеется, чтобы сделать достоянием партнера твои мысли, можно обратиться и к посланию, и к меморандуму, и просто к личному письму — жанр, к сожалению, преданный забвению, — но я предпочитаю всему этому беседу… Да, да, вот такую, как сейчас: когда пылает камелек и свет его отражается в глазах собеседника, а на столе шипит жаркое и пенится вино, хотя мне нравится то, что не пенится… — он засмеялся, смех был чуть-чуть гастрономически утробным — ну, разумеется, ему была приятна и предстоящая беседа, но только после того, как он грубо совладает с голодом, именно грубо совладает — что там можно сунуть этому жадноустому идолу, что бунтует в тебе: кусок бараньей отбивной да ложку риса, сдобренного красным соусом? — Ну конечно, эти древние египтяне, изобретшие бумагу, сотворили чудо, — продолжал Черчилль, — но, вызвав к жизни свои папирусы, они похоронили нечто более удивительное: живое слово. Я скажу вам сейчас что-то такое, что вызовет у вас желание возразить мне: бумага искажает мысль. Она отдает всю власть словам, а это больше, чем им дано природой. Что есть в своей первосути слово человеческое? Это прежде всего живое слово! А

это значит и многое из того, что ему сопутствует, его сопровождает, может, даже ему аккомпанирует. Так вот, я за то, чтобы обращаться к бумаге, когда нет возможности говорить с человеком. Как вы полагаете?

— Я не такой ненавистник бумаги, как вы, но готов признать: в живом общении есть свои преимущества, — сказал Бекетов — он пытался пригасить полемику о бумаге и живом слове, перейдя к сути того, что хотел сказать Черчилль.

— Преимущества бесспорные! — Черчилль воодушевленно выхватил тот кусок бекетовской реплики, который наиболее его устраивал. — А коли так, вот суть того, что я хотел бы сказать… — он задумался, пришла в действие его способность заключить мысль в два-три слова. — Мы на пути к победе! — Он смотрел на Бекетова, пытаясь определить, все ли он вложил в короткую эту фразу и понимает ли его Бекетов. — Нам надо видеть преимущества нашего положения и не осложнять взаимными подозрениями… — пояснил он.

— А разве имеют место подозрения? — спросил Бекетов — он хотел вернуть Черчилля к исходным позициям: пусть начинает от печки, так его легче будет понять.

— Подозрения? — он засмеялся, долил вина Бекетову, налил себе — еще по прошлому разу он знал, что Бекетову за ним не угнаться. Поэтому с молчаливого согласия Сергея Петровича пропорции были установлены так: пока Бекетов единоборствует с одним бокалом, его хозяин побеждает три. В конце концов, ежели гость не может здесь дотянуться до хозяина, надо ли хозяину опускаться до уровня гостя? Так или иначе, а ритм был установлен, ритм, устраивающий хозяина, — для успеха беседы ритм был необходим. — Когда я говорю о преимуществах нашего положения, поверьте мне, я отнюдь не голословен…

Он взглянул на дверь, точно хотел убедиться в том, что она закрыта надежно, отодвинул оконную штору и взял с подоконника коробку размером с книгу среднего формата — жест был заученным, — видно, к коробке, оклеенной темным дерматином, он обращался не впервые.

— Поверьте, то, что я вам сейчас покажу, и для вас явится откровением немалым и, я так думаю, ответит на некоторые ваши сомнения…

Он открыл коробку и извлек аппарат с выпуклой линзой, не преминув взглянуть на Бекетова, точно спрашивая его: «Ожидали вы увидеть нечто подобное? Каково, а?» Потом задержал руку над коробкой и рассыпал по столу несколько блестящих цилиндриков туго скрученной пленки и вновь посмотрел на Бекетова: «И это для вас не внове?» Его толстые руки обрели подвижность и

сноровку, какая в них не подозревалась, — нет, Бекетов определенно был не первым, кому в полутьме Вестминстера Черчилль демонстрировал свое диво. Пленка скрипнула и послушно вошла в паз, за выпуклым стеклом вспыхнул ноготок света и растекся по линзе.

— Прошу вас — по-моему, это Гамбург…

В сырую мглу вестминстерского подземелья будто вторгся треск огня: горящий город, горящий от горизонта до горизонта… Клубы дыма, точно из кратера, неожиданно разверзшегося посреди города. Дома с обвалившейся кровлей, черные стволы труб на оранжевом поле огня, поток искр над водой.

— Не правда ли, убедительно? — Он наклонился, точно хотел отвоевать часть линзы для своего прищуренного ока. — Нет, вы окиньте взглядом панораму города и подсчитайте, сколько домов разрушено!.. Треть? Больше! Половина? Больше! Две трети? Больше! Четыре пятых? Пожалуй! Да, четыре пятых Гамбурга лежит в руинах!.. — Он вдруг рассмеялся — возможно, он хорошо знал эту фотографию и помнил детали. — В левом углу, в левом!.. Бомба угодила в нефтесклад у самого моря… Фейерверк искр!.. Не хочу злорадствовать, но искры над водой — картина почти карнавальная!.. — произнес он, и, как показалось Бекетову, поспешил скрыть улыбку — он еще не решил, как себя вести с русским: дать волю своему восхищению или сдержать его. — Это им за Лондон, Ковентри и… за Смоленск с Минском! — вдруг засмеялся Черчилль — он нашел подходящее определение. — Да, за Смоленск с Минском! Я всегда говорил: наше возмездие будет суровым!.. — Он стеснялся своего смеха, пока не вспомнил про Смоленск с Минском — русские города точно окрылили его — вряд ли он произносил их названия прежде, да и теперь он не вспомнил бы их, если бы не Бекетов. — Я хочу послать вот это чудо премьеру Сталину… Это, пожалуй, убедительней всех моих посланий ему. Пусть видит, как мы помогаем нашим русским союзникам… Это, разумеется, не второй фронт, но, согласитесь, в этом сказывается наша помощь немалая?..

— Немалая, — согласился Бекетов, не выказав энтузиазма.

— Вот так, удар за ударом, мы обратим их города в лепешку… — произнес он, заметно игнорируя ответ Бекетова.

— Города… в лепешку? — спросил Сергей Петрович. — Да есть ли в этом необходимость?..

Он молчал, даже дыхание затаил.

— Простите, я вас не понимаю, — произнес англичанин, смутившись. — Вы полагаете: в Германии старики и дети, а армия на фронте, так?..

— Если бить по заводам, значит, бить по армии, — произнес

Бекетов, поразмыслив. — А если бить просто по городам, удар ли это по армии?..

— Бомбовые удары не заменят второго фронта? — спросил Черчилль — он знал: нет силы, которая могла бы свернуть с пути целеустремленных русских, он хотел бы сказать — прямолинейных русских.

— Нет, не только не заменят и заменить не могут… — был ответ Бекетова. — Эти бомбардировки могут создать впечатление, что русские ничего не хотят более… На самом деле не так. Вы это знаете: не так.

— Да, я знаю, — согласился Черчилль и взглянул на стол.

Бекетов уже успел отодвинуть аппарат. В разных концах стола, как-то вразброс, лежали цилиндрики пленки.

— Но я все-таки пошлю это премьеру Сталину… — произнес англичанин, укладывая аппарат в коробку. — Полчаса, которые он затратит на просмотр этих снимков, окупятся с лихвой.

Черчилль убрал коробку на подоконник, убрал не без поспешности, оглянул стол.

— Все остыло, все безнадежно остыло! — произнес он — казалось, слова обрели больший смысл, чем того хотел он. — Не ясно ли, что в этом году мы должны встретиться? — Потянулся к бокалу, воодушевленно его наполнил, будто совершая некое таинство, таинство, в котором участвует только он, осушил. — Похоже на парадокс: события пододвинули нас вплотную к этой встрече, а мы к ней не готовы, человечески не готовы… — уточнил он.

— А это, наверно, важно… подготовиться человечески? — спросил Бекетов — Сергей Петрович хотел услышать это от Черчилля.

— Иначе за стол не сядешь, — заметил англичанин. — Не сядешь, — подтвердил он.

— У этой встречи есть предпосылка, естественная… — сказал Сергей Петрович — то, что он хотел произнести сейчас, возникало постепенно, весь разговор шел к этому. — Что значит «подготовиться человечески»? Сдержать слово?.. Сдержать до конца, а следовательно, ответить делом… Делом, и ничем иным… — против воли он обратил взгляд к подоконнику, где стояла коробка в темном дерматине.

…Когда Бекетов покинул Вестминстер, на улице был уже вечер, ранний. Зашагал к реке. Видно, прошел дождь — земля стала влажной, да и воздух был больше обычного свежим — холодная влага унесла хлопья гари, дышалось легко… Встреча в вестминстерском подвале вызывала немалые раздумья. Ну, разумеется, Черчилль не отступился и не отступится от правила,

которое он установил для себя в начале русской кампании: он откроет второй фронт, когда это будет ему выгодно, ни на день раньше или позже. Он и сегодня полагает, что время еще не наступило. Но сейчас такое решение многосложно: оно несет ему отнюдь не только выгоды. Оно было бы верным, это решение, если бы русская армия обескровила не только немцев, но и себя. Однако действительность говорит об ином: немцы обескровлены, что же касается русских, то они, вопреки своим жертвам и потерям, обрели силу, какой у них не было. В этих условиях надо ли откладывать открытие второго фронта?.. Американцы, полагающие, что второй фронт должен быть открыт, возможно, прозорливее… Ну, разумеется, можно невиданно нарастить бомбовые удары, но у русских эти удары по немецким городам не вызывают энтузиазма. Русские полагают, что сегодня в этом все меньше смысла… Лучший для Черчилля вариант: вступление на континент не должно отозваться эвакуацией немецких сил из России. Следовательно, десант, но не через канал. Где?.. Скандинавия?.. Марсель?.. Греческие Балканы?.. Италия?.. Да, удар по Сицилии, потом десант на Апеннины… Это не второй фронт, как понимают его русские, но нечто похожее на второй фронт. По крайней мере, это дает возможность Черчиллю сесть за стол переговоров со Сталиным и отвести обвинения русских в вероломстве… Так думает Черчилль. Так он мог бы думать — его расчеты лежат где-то здесь.

48

Грабин привел к Бекетову Галуа.

— Слышал о вас много доброго, но не имел, так сказать, чести, — произнес Галуа, и едва заметный румянец волнения выступил у него на щеках. — Все порывался с вами познакомиться, но как-то не удавалось… — Он оглянулся на Грабина, точно призывая его подтвердить, но, сообразив, что Аристарх Николаевич тут ему не помощник, с еще большим воодушевлением устремился к Бекетову. — Правда, однажды был такой шанс… Ну, зимой в британском посольстве на Софийской, но я, признаться, не решился, хотя у нас там мог быть и добрый посредник, который, как мне кажется, не отказался бы…

— Бардин? — спросил Сергей Петрович.

— Ну конечно же Бардин, Егор Иванович, — подтвердил Галуа. — Ах, какой необыкновенной водкой угощал меня Егор Иванович в этой своей… подмосковной усадьбе в Ясенках!

— В Ясенцах! — уточнил Бекетов — память подвела Галуа, но расчет с поездкой на бардинскую дачу был верен, — она, эта поездка, должна была показать осторожному Бекетову, что у Бардина с Галуа знакомство отнюдь не шапочное.

— Да, да, в Ясенцах!.. — подхватил Галуа воодушевленно. — Пили водку и закусывали луком, прямо с грядки. — Он засмеялся, и с новой силой запламенело его лицо. — Нет, что ни говорите, а Лондон — дыра! Порядочному россиянину и водки выпить негде, так ведь? — обратил он круглые глаза на Грабина. — Или есть где, Аристарх Николаевич?.. Покажем Сергею Петровичу наш «малинник», а?

Грабин протянул к Галуа руку, прищелкнул пальцами, точно желая его остановить:

— Э-э-э, Алексей Алексеевич, хоть бы не выдавали меня!

— Поедемте, Сергей Петрович, не пожалеете! — Галуа перевел взгляд на Бекетова. — Значит, придорожный ресторан? Ну, умеете же вы, советские, находить красивые слова! Значит, придорожный? Если хотите знать мое мнение, то это кабак, но только без девок! — Он махнул рукой, засмеялся, ему было интересно, в какой мере его слова о кабаке встревожат собеседников. — Сергей Петрович, скажу вам, как старому петербуржцу: за Невой, на Охте, таких кабаков была пропасть! Открою по секрету: я туда в молодости хаживал!.. Ну, поехали в «малинник»?

— А почему «малинник»? — спросил Бекетов улыбаясь и этим дал понять, что его поездка в некое место, именуемое

«малинником», не исключена.

— Там такая малиновая настойка… ой, ой! — объяснил Галуа. — Ну как… решитесь? — Ему очень хотелось, чтобы Сергей Петрович поехал. — Вот ведь вы, недоступные россияне! — Он перестал улыбаться, даже как-то помрачнел, только румянец еще удерживался на щеках, свидетельствуя, что минуту назад Галуа было весело. — А я вам хотел рассказать об одной своей вчерашней встрече… — Он оглянулся вновь на Грабина. — Аристарх Николаевич знает: я был у де Голля… Ну, решитесь?

— А это вот запрещенный прием! — произнес Бекетов, произнес с видимой строгостью — трудно было понять, действительно ли он обижен или делает вид, что обижен. — Я уж решился ехать, но теперь не поеду.

— Простите, ради бога, Сергей Петрович!.. — воскликнул Галуа. — Обещаю вам забыть де Голля на веки вечные, только поедем!..

— Ну, разве так… — сказал Бекетов, нехотя вставая из-за стола — он не терял надежды послушать рассказ Галуа о де Голле. Но как легализовать это намерение, если Сергей Петрович столь решительно отверг предложение Галуа? — Вот идея: видите, идет полковник Артемий Багрич?.. Ему как раз и будет интересен рассказ о де Голле!.. — произнес Бекетов уже на улице, приметив Багрича, который переходил в это время дорогу, направляясь в посольство. — Артемий Иванович…

Едва ли не целый час, пока их машина добиралась до загородного ресторана, Бекетов думал об одном: проблема де Голля… Как понимал Сергей Петрович, в единоборстве интересов и страстей, которое велось под знаком этой проблемы, наступила фаза критическая. Все, что могли сделать союзники, чтобы сообщить необходимый престиж генералу Жиро, — справедливости ради надо сказать, больше американцы, чем англичане, — было сделано, но это не дало результата, на который союзники рассчитывали. Хочешь не хочешь, а обратишься к де Голлю. Если Галуа действительно был вчера у де Голля, это небезынтересно. Кстати, Галуа — фигура и для де Голля. И дело даже не в подданстве. Очевидно, играют роль книги Галуа о Франции, концепция которых должна импонировать де Голлю. Книги, которые у Галуа есть и, так можно думать, будут. Последнее де Голлю не безразлично отнюдь: среди тех, кто ратует за де Голля и его дело, Галуа сила заметная.

У Бекетова был план: инициатива беседы должна перейти к Грабину и Багричу. Правда, на Багрича надежды мало. Но, может быть, его увлечет профессиональный аспект проблемы, все-таки

де Голль — человек военный, Багричу и карты в руки. Зато Грабин хорош. Если его воодушевить на поединок с Галуа, он может сделать многое. Бекетов сказал себе: «У меня есть план» — и не мог не улыбнуться. Да, уже в том, как он вызвал Галуа на разговор о де Голле, отверг и принял предложение Галуа, а вслед за этим подготовил план атаки, — во всем этом, разумеется, был расчет, который был бы немыслим для прежнего Бекетова и, увы, возможен для Бекетова нынешнего. И то, что это было немыслимо вчера и возможно сегодня, тревожило Сергея Петровича. Тревожило потому, что тут могла быть усмотрена и нарочитость, и притворство, и, возможно, даже хитрость. За свою почти полувековую жизнь Сергей Петрович не помнит, чтобы средства эти были бекетовскими: он не обращался к ним, он убедил себя в том, что в них не было для него необходимости, хотя необходимость, наверное, существовала. А вот дипломатия заставила его обратиться к этим средствам, обратиться едва ли не вопреки желанию… Значит, сама профессия противостоит морали. Значит, профессия вступила в конфликт с тем, что для человека дороже всего?.. Ну, разумеется, тут есть щит, всемогущий: Бекетов служит святому… Но, может быть, и здесь есть иные средства и тот же разговор с Галуа надо было построить иначе? Идти к цели без этих извивов «Галуа — Багрич — Грабин», а напрямую — «Бекетов — Галуа»? Да, сказать прямо: «Мне это интересно». Разве, сказав прямо, ты уронишь свой престиж или престиж твоего дела? Так почему же ты не сказал прямо, а избрал этакий извив, который, кстати сказать, не дал тебе никаких преимуществ, пока не дал? Ну, например, чего ради ты решил выдвинуть вперед Грабина с Багричем, а сам уйти в тень? Чем ты жертвуешь, если этого не сделаешь? И неужели ты полагаешь, что нехитрый твой маневр будет непонятен Галуа? А если так, то в какой мере этот маневр оправдан? Ведь в этом случае пользы может и не быть, а вред определенный.

То, что друзья окрестили «малинником», на самом деле было трактиром, загородным. Трактир построен по типу староанглийских домов, двухэтажных, облицованных подкрашенной глиной и перепоясанных по фасаду массивными досками, когда-то темно-коричневыми, но под влиянием обильных дождей и времени ставшими почти черными, — если память не изменяет Бекетову, шекспировский Стратфорд состоит из таких домов.

С видом человека, которого здесь знают, Галуа пересек просторную комнату, занимающую почти весь первый этаж дома, и по деревянной лестнице, крепкое дерево которой было сухим и позванивало под ногами подобно январскому насту, повел своих

спутников на второй этаж. Прежде чем ступить на лестницу, Сергей Петрович оглядел комнату, обратив внимание на то, что в комнате этой деревянный потолок опирался на толстые деревянные кругляши — опоры, при этом стены едва ли не до потолка были выстланы деревянными панелями; и потолок, и панели, и опоры, как, впрочем, и мебель, были одного благородно-коричневого цвета и точно дышали теми запахами, которыми их напитывала находящаяся рядом кухня, и прежде всего маслянистым запахом жареной баранины и подгорелого лука.

Гостям была предоставлена угловая комната ресторана, откуда открывался вид на матово-зеленый луг, разделенный спокойным извивом реки, тоже матово-свинцовой, мглистой, под стать здешнему лету с теплыми моросящими дождями. Стол не блистал разнообразием и изысканностью блюд, но был, по крайней мере, обильным: баранья нога, только что извлеченная из духового шкафа, жареный картофель, гора салата и то фирменное, больше того, коронное, что дало друзьям право окрестить этот дом «малинником», — настойка на малине.

Галуа чувствовал себя здесь в какой-то мере главным: приглашал-то он. Он вел непростые переговоры с хозяином ресторана, а затем с парнем в лиловой рубахе, которого откомандировал хозяин прислуживать за столом, вел переговоры с таким увлечением, что казалось, имя генерала де Голля сегодня уже не возникнет. Когда стол был накрыт и вино разлито, Галуа, разумеется, было не до генерала. Он вдруг встал из-за стола и, помахивая кистями рук, короткими и немощными, как крылышки у нелетающих птиц, принялся смеяться.

— Вспомнил Охту! — объяснил он. — Никогда не признавался в этом, сейчас признаюсь: уже великовозрастным гимназистом проник в отцовский кабинет и в боковом ящичке письменного стола добыл кредитку, такую хрустящую, а потом повел на Охту дюжину таких же оболтусов, как сам, прощаться… с чем, вы думаете? С невинностью, разумеется! — Он оглядел сидящих за столом, смешался — реакция была не той, на какую он рассчитывал. — Простите, ради бога, по-моему, я допустил нечто неуместное, а?

— Ну, уж бог с вами! — произнес Бекетов, стараясь преодолеть неловкость — ему-то шутка Галуа понравилась не очень. — Признайтесь: вам действительно хочется рассказать про Охту? Нет, будьте искренни. Вижу: хочется… Поручаем выслушать этот рассказ Аристарху Николаевичу, он у нас самый молодой, а сейчас вернемся к тем библейским животным, о которых упоминается в известной французской пословице… Вот

ведь запамятовал: о чем шла речь?

— О де Голле, разумеется, Сергей Петрович, — произнес Галуа, все еще смущаясь — истинно, не постичь Галуа этих советских, не возьмешь в толк, что им нравится и что не нравится.

— Ладно, давайте о де Голле.

— В моих отношениях с генералом есть одно преимущество: они — давние, — начал Галуа не без робости. — Буду точен: не близкие, но давние… Тут, наверно, необходимо объяснение. Когда я писал свою первую книгу, я обратился к работе де Голля, которая актуальна и сегодня, но это разговор особый. Я имею в виду «Раздор в стане врага». По правде сказать, я был насторожен, принимаясь читать его книгу. «Ах, эти обедневшие дворянчики, решившие стать военными!..» Но я ошибся. Книга меня заинтересовала, и я решил говорить с автором. Де Голль уже был офицером генштаба, офицером заметным, но меня принял и даже обласкал, правда, своеобразно, по-деголлевски. Одним словом, прежде чем рассказать о себе, он пригласил меня на цикл своих лекций в академии. Не могу сказать, что его лекции произвели на меня впечатление, хотя им было предпослано вступление Петена, для лектора лестное. Лекции были интересны по содержанию, но, смею думать, архаичны по форме. К тому же аудитория, где каждый мнил себя по крайней мере маршалом Фошем, отнеслась к де Голлю не без скепсиса. Аудитория эта была смешна: юнцы с моноклями!.. Панегирик Петена не умерил этого скепсиса, а, пожалуй, увеличил. Таким образом, лекции, вместо того чтобы меня воодушевить, разочаровали, и это заметил де Голль. Человек действия, он тут же передал мне приглашение — на новый цикл своих лекций в Сорбонне. Здесь не было трехсот маршалов Фошей, как в академии, а следовательно, никто не видел в лице преуспевающего военного потенциального соперника. Короче, нельзя сказать, чтобы его встретили на ура, но и не освистали, отнюдь не освистали, даже напротив. Он это тоже отметил точно и подпустил меня ближе… Короче, тут было несколько этапов, о которых говорить скучно. Нет, я не был приглашен в дом де Голля и был принят генералом в генштабе, при этом говорил он, а я слушал… как сейчас за этим столом… — он коротко засмеялся и продолжал спокойно: — Я считаю, что мы — свидетели возвышения человека, которого следует назвать человеком-явлением, назвать, объяснить и понять, — продолжал Галуа: прежде чем коснуться вчерашней беседы с де Голлем, он явно хотел сделать эту предпосылку, судя по всему, чуть-чуть отвлеченную, намеренно отвлеченную. — Говорят, что каждое возвышение начинается с неуспеха, так как только в поражении

есть тот самый заряд, который способен толкнуть ракету человеческой жизни вперед, сообщив ей такую скорость, какую не способно сообщить ей ничто другое. В данном случае речь шла не о жизни человека, а о судьбе страны, но и в этом случае действовал закон о неудаче. Я имею в виду положение Франции, в котором она оказалась после франко-прусской войны. Самые прозорливые говорили тогда: есть один институт, который может оказать армии помощь… Как по-вашему: что это за институт? Финансовая олигархия, земельные магнаты, промышленники, дипломаты, наконец? Ничего подобного! Попы! Да, те самые длиннополые, при появлении которых мальчишки во всем мире кричат друг другу: «Держись за черное!» Попы, вернее, всемогущий институт, называемый церковью, с ее хорошо организованным генералитетом, с ее централизованной властью, с ее дисциплиной и самодисциплиной, с ее действенной системой учебных заведений, с ее системой безоговорочного подчинения. Ну, разумеется, в представлении тех, кто мечтал о сильной Франции. Армия виделась не столько республиканской, сколько монархической. Для них наряду с богом всеобщим было свое божество. Этому вашему принципу об армии, которая сильна сознательностью, была противопоставлена известная формула… кого бы вы думали? Игнатия Лойолы, главы и духовного отца ордена иезуитов. Формула гласит: «Как труп в руках начальства». Да, степень подчинения, а следовательно, слепоты и безъязыкости должна быть такой: «Как труп…» Как это ни странно, но дорогу в армию проложила де Голлю церковь, при этом не просто церковь, а один из самых воинственных отрядов католичества: орден иезуитов. Именно в иезуитском колледже он принял решение посвятить себя военной службе. Разумеется, стимулом было не только желание служить Франции, но и вера в возрождение величия Франции… У этой веры были свои поэты и ученые, свои властители дум, и прежде всего Анри Бергсон…

— Бергсон и человек, делающий военную карьеру… да совместимо ли это? — ворвался в разговор скептический Грабин. — Не Клаузевиц и Гамелен, а именно Бергсон?.. Да так ли?

— Да, не Клаузевиц и Гамелен, а именно Бергсон, — спокойно возразил Галуа — он знал свой предмет твердо и вел рассказ, не смущаясь. — Уже чтение первой книги де Голля показало мне: их автор не просто профессиональный военный, но и человек литературный… И дело здесь не только в блеске стиля, что для француза характерно, сам строй книги выдает в нем литератора. Вы обращаетесь к жизни де Голля и убеждаетесь: если бы он не был профессиональным военным, он, скорее всего,

был бы писателем… Наверно, немногие знают, что он увлекся поэзией и однажды написал драму в стихах, которая была удостоена первой премии на общефранцузском конкурсе, что его кумиром был Ростан и «Сирано де Бержерака» он знал наизусть, что он стал военным писателем отнюдь не только из интереса к военному делу, но и к литературе… Одним словом, человеком, оказавшим свое влияние на систему взглядов де Голля, был не военный, а писатель. Смею утверждать, что, будь Бергсон не писателем, мастером формы, а социологом или даже историком, де Голль прошел бы мимо него. Надо сказать, что учение Бергсона похоже на тот универсальный кухонный котел, из которого при желании можно извлечь и куропатку, и говяжью грудинку. Де Голль искал в его учении свое и, как это ни странно, нашел. Что же он нашел?.. Один из принципов Бергсона гласил: «Жизнь так богата, что нет категории мышления, которая бы прямо соответствовала явлению жизни». Из этого следовал вывод: руководство к действию — не учение, а собственное «я», при этом самый совершенный инструмент не ум даже, а сочетание ума с тем подсознательным, что способно породить интуицию. Система взглядов, в основе которой лежит столь зыбкий принцип, как интуиция, не может быть мировоззрением. Поэтому марксист Михайлов, как утверждают люди сведущие, спросив генерала, как бы он решил энный вопрос в одной ситуации, второй и третьей, поставил достаточно точный диагноз: «У него нет мировоззрения».

— Наш бы Шошин сказал: «Отсутствие мировоззрения тоже мировоззрение», — неожиданно съязвил покладистый Багрич.

— А что бы сказал в этом случае сам господин полковник? — отреагировал Галуа, устремив веселые глаза на Багрича.

Багрич смешался, а невозмутимый Грабин тут же парировал реплику Галуа:

— Господин полковник еще скажет свое слово…

— Ну что ж, нам будет интересно мнение господина полковника, — нашелся Галуа и продолжал: — Мне трудно сказать, как добытое у Бергсона было реализовано, если иметь в виду главный идеал — «Франция», но смею думать, что де Голль сообщил этому понятию свой смысл, при этом иезуиты и Бергсон тут играли не последнюю роль… Надо отдать должное де Голлю, в его военном подвижничестве был свойственный иезуитам элемент самоотречения: и в том, как он учился в Сен-Сире, и в том, как он отслужил обязательный для сирака год в нелегком качестве рядового, и в том, с какой самоотверженностью он сражался в первую войну, заслужив орден Почетного легиона, и в том, как он готовил побег из плена через своеобразный тоннель, и

только скала остановила его…

— И в том, как он легионером сражался против Красной Армии, не так ли? — неожиданно подал голос Багрич — он не заставил себя долго ждать, его удар был неотразим.

На какой-то миг Галуа лишился языка, да, сладкоустый Галуа, которому это было совершенно неведомо, вдруг онемел.

— Верно, — сказал он, овладевая собой. — Верно, но в оправдание де Голля надо сказать, что тут он был дезинформирован, полагая, что большевики вместе с немцами и он, де Голль, сражается не только против красных, но и против немцев… Даже не столько против красных, сколько против немцев. Не думаю, чтобы он ставил себе в заслугу этот эпизод своей жизни…

— Но орден он принял за доблести в Польше? — вопросил Багрич — он был неумолим.

— И орден вряд ли ставит себе в заслугу… — ответил Галуа и не без робости посмотрел на советского военного — отныне он внушал ему уважение. — Был такой грех, и никуда тут не денешься, — заметил Галуа. — Был грех, был…

— Был так был… — согласился отходчивый Багрич. — У нас иного выхода нет, как простить его, хотя помнить это и надо.

— Надо, конечно, помнить… — согласился Галуа, помедлив — у него было ощущение контузии, нелегко ему продолжить разговор. — Если бы вы не заговорили об этом польском эпизоде, я бы, пожалуй, сказал сам! — вдруг произнес Галуа, глядя на Багрича; не очень-то просто было ему выйти из положения, в которое он неожиданно попал, но, кажется, он нашел выход: — По-моему, ему не дает покоя этот польский эпизод, ему даже кажется, что русские сдержанны по этой причине. Не думаю, что многое из того, что он делает для взаимопонимания с Россией, определено этим, но известное беспокойство тут есть… Если же говорить о сущности де Голля сегодня, то, как мне кажется, он лучше относится к России, чем к Великобритании и тем более к Штатам, хотя логичнее было бы обратное…

Галуа оглядел гостей не без укоризны — их бокалы остались полными, в то время как бокал Галуа был осушен. Он не торопясь наполнил свою емкую посуду и поднял, дождавшись, пока это сделают другие.

— Господин Галуа полагает, что теперь, когда он так заинтересовал нас своим рассказом, мы не разбежимся? — спросил Бекетов смеясь — он ждал от Галуа обещанного: встречи с де Голлем.

— Именно, — поддержал Бекетова Грабин. — Мне даже кажется, что наш рассказчик сейчас поднимется из-за стола и,

сказав «продолжение следует», сядет в машину и уедет в Лондон, не так ли?

Галуа довольно улыбнулся: слушателям наверняка был интересен его рассказ.

— Пожалуйста, я продолжу, тем более что я не рассказал еще о разговоре, который был у меня вчера… — произнес Галуа. — Не знаю, право, к счастью или несчастью, но судьба уготовила мне своеобразное амплуа: русские видят во мне француза, а французы — русского. Очевидно, беседуя со мной, де Голль руководствовался обстоятельством, которое определено моим своеобразным положением: французы видят во мне русского… и серьезно полагают, что в беседах с ними я едва ли не представляю Кремль. По крайней мере, они почти убеждены: все, что они скажут, я не премину сообщить русским…

— Поэтому что-то говорится специально для того, чтобы узнали русские? — спросил Бекетов с тем спокойно-безразличным видом, который должен был как бы не выказывать иронии, а на самом деле обнаруживал ее в полной мере, — раздался смех, и Галуа смеялся больше остальных.

— Да, конечно, при этом де Голль не составлял исключения — как я понял, сегодня это для него очень важно… Итак, что он сказал?.. Он сказал, что из тех, кто возглавляет антифашистский Запад, только он, де Голль, является профессиональным военным, а поэтому только ему ведомо, как весом вклад Красной Армии. Он достал тетрадь и показал тексты своих радиовыступлений на Францию. Он любит цветные карандаши, мягкие, фаберовские, и у него всегда их полный стакан. Он взял фиолетовый карандаш — я заметил, ему нравится этот цвет, — и отчеркнул те места своей речи, которые касаются России. «Нет ни одного честного француза, который не приветствовал бы победу России» — так или приблизительно так сказано у де Голля. Но эта фраза естественна, и меня она не удивила, меня поразило другое место в его речи. Смысл этого пассажа примерно таков: завтра Россия будет в первом ряду победителей, а это дает Европе и всему миру гарантию равновесия, чему Франция будет радоваться больше, чем кто бы то ни было. Да, так именно сказано: больше, чем кто бы то ни было! Если бы это было не искренне, вряд ли он обращал бы эти слова к Франции, а?.. Он сказал, что хотел бы подкрепить свои слова делом и просил СССР принять французскую дивизию. По-моему, это не красное словцо. Он действительно хотел направить дивизию на советско-германский фронт, и только сопротивление англичан помешало сделать это. Он не считает, что авиаполк «Нормандия — Неман», сражающийся на советской земле против немцев, компенсирует

отсутствие дивизии, но он просит русских верить: все, что он делает для советско-французских отношений, он делает искренне… Он сказал, что его разногласия с англичанами и американцами столь серьезны, что у него было намерение оставить Британские острова, переместив центр борьбы из Лондона в Москву, однажды он даже дал понять об этом послу Богомолову… И последнее: он, де Голль, сознает, в какой мере последовательную антифашистскую и антивишистскую позицию занимает Россия, и призывает ее воспрепятствовать тому, чтобы во главе сил Сопротивления были поставлены вишисты…

Галуа кончил, однако, как показалось Бекетову, не сказал главного.

Сергей Петрович заметил, глядя на свой бокал с «малиновкой», которую он еще как следует и не распробовал:

— Все то, что вы нам поведали, господин Галуа, и что, не скрою, мне, например, интересно, имеет смысл только в связи с обстоятельством, вами не удостоенным внимания…

— Язык-то, язык какой изысканный! — воскликнул Галуа и залился смехом. — Значит, «не удостоенным внимания»? Ну, сказали бы запросто: «А не привираешь ли ты, друг Галуа?» Честное слово, я бы не обиделся: и прямо, и по существу!.. Что вы имеете в виду, Сергей Петрович?

— Что мы имеем в виду? — спросил Бекетов Грабина: он хотел, чтобы в разговоре участвовали все.

Неторопливый Грабин посмотрел на Бекетова, точно стараясь прочесть в его глазах мысль, которая им владела.

— Пусть это будет мое мнение, только мое… — произнес Грабин, поразмыслив. — Такой вопрос: с какой целью де Голль рассказал вам это именно теперь?

— Я уточню ваш вопрос, Аристарх Николаевич: в связи с каким событием?.. — произнес Багрич. — По-моему, должно быть событие… так? — обратил он взгляд на Сергея Петровича.

— Так, конечно.

Галуа отодвинул свой бокал — «малинник» и «малиновка» потеряли смысл, сейчас было не до них.

— Де Голль, так кажется мне, летит в Африку… — сказал Галуа. — Если есть тут некий выбор, он должен быть сделан там…

— Все тот же выбор: Жиро — де Голль? — улыбнулся Грабин.

— Да, конечно…

Они возвращались уже вечером…

— А про Охту так и не хотите послушать? — вдруг подал голос вздремнувший было после малиновой водки Галуа. — Ну ладно, так и быть: пощажу… А то, может быть, рассказать?

49

Коллинз пригласил к себе Бекетова с женой. Повод, как всегда у Коллинза, не очень обычный: выход в свет нового издания его книги «Человек живет все дольше».

Екатерина пыталась убедить Сергея Петровича, что это будет не столько семейное торжество, сколько праздник ученых и вряд ли есть смысл ей ехать, но Бекетов настоял. С некоторого времени он взял за правило: если Екатерину приглашали, не ехать без нее. Приемы, даже вот такие, как этот, были полезны Екатерине уже потому, что приобщали ее к тому, чем жил Бекетов. Было и нечто иное, что могло явиться действенным лекарством против «недуга» Екатерины: она заметно сторонилась людей, нет, не только англичан. Возможно, этот процесс начался прежде: ей было хорошо одной. Правда, ее работа не очень способствовала этому. Напротив, она ей мешала сберечь одиночество, но рядом был общительный Бекетов, и при случае он мог прийти на помощь. Бекетов это заметил не сразу, а заметив, решил: не помогать ей. Изучение ею английского продвинулось. Робея и радуясь, она дважды или трижды попробовала заговорить по-английски, и Бекетов осторожно похвалил ее. Измени ему здесь чувство меры, она это заметила бы, и тогда все пошло бы прахом. Он знал: она наблюдательный человек… У нее было особое чутье на фальшь, — казалось, в недрах ее существа природа поместила хитрый инструментик, который берет на пробу именно это качество человеческой натуры и безошибочно определяет его. То, что она говорила Бекетову о людях, подчас приводило Сергея Петровича в замешательство — она не оставляла места иллюзиям, как бы ни хотелось их сберечь. Ее вывод был всегда чуть-чуть безжалостен.

Сергей Петрович понимал: время — особенное, все русское в моде. Но до того как понял это он, это уразумели тысячи творящих имя и деньги, делающих то, что в этом мире называется «движением в сферы». Казалось, выгодно ставить на русскую лошадку. Выгодно, даже если через некоторое время придется отречься. За отречение здесь тоже платили, даже больше, чем за приятие. Выгодно ставить на русскую лошадку. Трижды жестокая правда: человек принимал сегодня, зная, что завтра отречется. Хочешь не хочешь, а станешь знатоком человеческих душ.

Предметом их постоянного спора был Коллинз.

— Честность строптива, — нередко говорила Екатерина, имея в виду Коллинза. — Она лишена одежд привлекательных, которые так любят люди.

— Я люблю? — спрашивал Бекетов.

— Нет, — отвечала она. — Но с Коллинзом тебе нелегко найти общий язык… С другими было бы легче, не правда ли?

Он смеялся:

— Я этого не сказал.

В какой уже раз они обращались к этой нелегкой теме.

Вот уже больше года, как Коллинз был вице-президентом общества, посвятившего себя упрочению советско-британских культурных контактов.

Он пошел на эту работу не без желания, но, когда выборы состоялись, захотел видеть Сергея Петровича. «Мистер Бекетов, вы знаете о моем избрании?» — «Да, мне сказали третьего дня… Я вас поздравляю». — «Но вы согласны с этим?..» Бекетов смутился: «Вы хотите спросить: пришелся ли этот выбор мне по душе? Несомненно». — «Нет, я хочу именно спросить вас: вы согласны?» — «Если вопрос поставлен так, я отвечаю: это решение ума коллективного, которое я уважаю». — «Но вы знаете, что наши с вами взгляды не во всем тождественны… Я могу не согласиться». — «Да, я имею представление и об этом», — сказал Бекетов. «И, несмотря на это, вы приветствуете?» — «Да, я приветствую это решение мистера Коллинза…» — «Вы, конечно, можете приветствовать этот мой шаг, мистер Бекетов, но имейте в виду: без меня вам было бы спокойнее».

С тех пор, как произошел этот разговор, минул год, не простой год, и Бекетов не однажды убедился, что разговор этот возник не случайно…

Было в русской победе нечто чистое, что в сознании людей хорошо сочеталось с именем Коллинза. Наверно, были и такие, которые шли на приятие, имея в виду отступничество, но не они призваны были взять Трою. Трою брали сподвижники Коллинза, и это было радостно, хотя последняя фраза Коллинза: «Без меня вам будет спокойнее, мистер Бекетов» — обескураживала и даже обезоруживала. С Коллинзом было непросто, настолько непросто, что не однажды Бекетов спрашивал себя: «Да был ли смысл начинать с Коллинзом?»

Итак, Коллинз пригласил Сергея Петровича с женой, и супруги Бекетовы поехали.

Съезд гостей едва ли уже не закончился, когда посольский автомобиль подкатил к подъезду двухэтажного особняка, столь знакомого Сергею Петровичу по его предыдущим поездкам в Оксфорд.

Видно, Коллинз приметил отсутствие Бекетовых и ждал их — по долгу гостеприимного хозяина он пошел им навстречу, едва они появились.

— Послал на всякий случай тридцать приглашений, не питая надежды, что явится половина, а они взяли да и явились все!.. — произнес он, наклонившись к Бекетову — он мог себе позволить такую вольность в разговоре с Сергеем Петровичем. — Пришлось перестраиваться на ходу, — засмеялся он; хитрый Коллинз сделал это признание не без умысла. Оно, это признание, как бы сближало его с русским гостем. — Накормить бы их!.. — созорничал англичанин — он сказал «их» и этим вновь как бы отделил Бекетовых от прочих гостей.

Бекетов окинул гостиную взглядом человека, годами работающего за границей, пусть в том же Лондоне, когда перед ним толпа англичан, но, как ни чрезвычаен повод, собравший множество людей, каждый остается самим собой и очень хорош для наблюдения. Бекетов готов был поверить Коллинзу, что тот не ожидал такого наплыва гостей, но, приглашая их, отнюдь не импровизировал: он созвал тех, кто представлял сегодня ветвистое древо английской культуры. Явившись сюда, эти люди воздавали должное Коллинзу — ученому и человеку. Но, искушенные в делах житейских и чуть-чуть в политических, гости не могли не учитывать и общественного положения хозяина дома, в частности всего, что он делал для упрочения культурных контактов с Россией. И это последнее, наверно, было самым показательным, по крайней мере для Бекетова. В умах английской интеллигенции, в ее отношении к России поистине были сдвинуты стопудовые камни, которые недвижимо лежали годы и годы. Стоит ли говорить, что уже в этом смысле время было необыкновенным. Оно было в какой-то мере похоже на великое противостояние: воспользуйся близостью Солнца к Земле и сделай все, что ты намерен сделать. Завтра будет поздно.

…Дверь в кабинет распахнута, и он выглядит как бы продолжением гостиной. Шоу устроился в кабинете хозяина, устланном медвежьими шкурами. Как задорно завилась и разлохматилась белая борода старого ирландца. Есть в нем сейчас нечто от нашего Павлова, как он изображен на известном нестеровском портрете в Колтушах. Вот сейчас вытянет руки, сжав их в кулаки, — Павлов, ни дать ни взять Павлов!.. И прямоугольная борода, и эти усы, беспорядочно торчащие, и брови, точно глыбы смерзшегося снега, нависшие над окнами деревенской хижины… Наверно, для Шоу превеликие доблести хозяина дома на ниве биологии много значат. Можно допустить, что их связывает нечто большое и в совместной борьбе за права науки, отечественной, но не только это… Среди тех первых, кто протянул России руки дружбы, был Шоу. Поэтому нет ничего необычного, что он сегодня в доме Коллинза, более странным

было бы его отсутствие.

Шоу сидел у журнального столика, и чашка с кофе дымилась перед ним. Длинные ноги, которые он вытянул перед собой, уперлись едва ли не в противоположную стену. Собственно, он чувствовал бы себя в кабинете с медвежьими шкурами преотлично, если бы не эти ноги. Шоу не знает, что с ними делать: длинные, плохо гнущиеся, они решительно ему мешают — хоть отрубай!.. Так или иначе, а почтенный старец облюбовал не самое жесткое кресло в кабинете с медвежьими шкурами, что свидетельствовало о том, что он не думал покидать его тотчас. У кабинета возникла очередь, какая возникает в пасхальную ночь на пути к патриаршему трону: заманчиво было разбить заветное яичко с его святейшеством. Бекетов пошел к Шоу, когда очередь поубавилась — не говорить же с Шоу, стоя в очереди.

Его глаза под снеговыми глыбинами бровей показались Бекетову темней обычного.

— Меня вчера спросили: «Мистер Шоу, что сделают русские, когда войдут в Европу?» Однако хитрецы, не правда ли? Знают, кого спрашивать! Я им ответил: «Коли вы спрашиваете меня, вам надо поставить вопрос иначе: что сделал бы я на месте русских, войдя в Европу?» Ну, разумеется, они тут же утратили интерес и ко мне, и к Европе. Им-то известно, что бы сделал я, войдя в Европу, а вот что сделают русские — это действительно вопрос!

— Простите, мистер Шоу, а что бы сделали вы на месте русских?

Он принялся мять бороду, при этом его длинные ноги заплясали под столом.

— О нет! Скажите вы: что сделали бы русские?.. Мне необходимо это для дублинской газеты!

— У русских одна цель: освобождение! — произнес Бекетов.

Старику не просто было справиться со своими ногами, они плясали сами по себе.

— И я говорю: освобождение! Но вот вопрос: освобождение… от кого?

Казалось, ответ Шоу позабавил и его самого: он даже вытащил ноги из-под стола, чтобы легче было смеяться…

— Но вы не спрашивали Шоу о его больной жене? — полюбопытствовал Коллинз, когда Бекетов вышел из кабинета. — Ну, слава богу. — Он махнул рукой, произнес едва слышно: — Я предупредил всех, а вас забыл… Как же я вам благодарен, и старик, наверно, оценил: вон как он смеялся!.. — он посмотрел на Бекетова, потом обратил взгляд на группу гостей. — Вы видите вот этого господина… без шеи? Ну, в белой манишке, не столько рыжего, сколько белесого. Да, это Эндрю Смит, тот самый, что до

войны затеял выпуск этих мировых классиков, нечто похожее на издания Брокгауза. Я прошу не очень торопиться покидать нас сегодня, я хочу рассказать вам о Смите.

— Простите, мистер Коллинз, но я с ним знаком и имел честь быть у него дома.

— Не на выставке ли книжной графики? О, тем лучше!

Бекетов понял: не иначе, Смит обратился к Коллинзу с деловым предложением. Такая идея могла прийти на ум деятельным лондонцам, полагавшим, что так легче уломать несговорчивых русских. Впрочем, в данном случае не было оснований для тревоги: если «человек без шеи» выпустил Ибсена, им руководили отнюдь не коммерческие интересы: на Ибсене в Великобритании не наживешься.

Как того хотел Коллинз, Бекетов дождался часа, когда начался разъезд гостей. Кстати, миссис Коллинз, очевидно зная намерение мужа, увела Екатерину в дальний конец дома, где находились лаборатории, — видно, она не впервые была гидом в таких экскурсиях — научные интересы мужа были не чужды хозяйке Дома: до того как стать миссис Коллинз, она была лаборанткой.

— Вы, наверно, догадываетесь, мистер Бекетов, что Эндрю Смит обратился ко мне с предложением весьма заманчивым… — начал Коллинз, огибая кресло, в котором за полчаса до этого сидел Шоу, и поглядывая на кресло так, будто предложение исходило не от Смита, а от Шоу. — Он сказал, этот Смит: «Я понимаю, что издание русских книг имеет для вас известный смысл, но зачем вам уговаривать издателей порознь? Передайте это право мне, и я вам гарантирую выпуск такого количества книг и таким тиражом, какого вы не имеете и, поверьте, иметь не будете… А о том, как я умею издавать, пусть скажет мистер Шоу…» Ну, в подтверждении Шоу не было нужды, я сам знаю, как издает книги Смит, но Шоу подтвердил: «Смит — это марка…»

Коллинз умолк и взглянул на кресло — его взгляд был столь настойчиво-просительным, что казалось, еще мгновение — и кресло произнесет: «Смит — это марка».

— Как вы, мистер Бекетов, а?..

Бекетов был немало озадачен: что ответить Коллинзу? Экспансивный Коллинз наверняка не удержался от того, чтобы сообщить почтенному издателю свое мнение. Каким могло быть мнение Коллинза?.. Ну, разумеется, не отрицательным. «Передайте это право мне, и я вам гарантирую издание такого количества книг…» Однако надо ли сосредоточивать все в одних руках? Наверно, есть обстоятельства, когда такая мера оправданна, но в данном случае решительно нет нужды делать

это.

— Чтобы банки с медом были целее, их надо держать в небольших ящиках, — произнес Бекетов.

— Простите, но это гастрономическое сравнение как-то не дошло до меня… — Англичанин принялся тереть левую щеку — когда он волновался, она у него немела.

— Есть ли смысл в том, чтобы отдавать все в одни руки? — придав своему мнению форму вопроса, Сергей Петрович, как казалось ему, сделал это мнение не столь категоричным.

— Есть смысл, мистер Бекетов, — воодушевился Коллинз; то, что Бекетов все еще спрашивал, ободрило англичанина. — Поверьте моему опыту: мы сможем выпустить в два, в три раза больше! — Он увлекся, растирая щеку, щека стала белой, потом розовой. — В конце концов, какая вам разница, кто будет издателем… Перечень книг и нерушимость текста мы оговорим, не так ли?..

— Да, конечно, оговорим, мистер Коллинз, — согласился Бекетов, он хотел избежать крутых поворотов в этом разговоре. — Сейчас наши книги выпускают многие издатели, среди них немало добрых друзей… Поймите, отобрать у них это право и отдать в одни руки, справедливо ли это?

— Ну, разумеется, справедливо, — возразил Коллинз убежденно. — Цель оправдывает средства! Цель — издание книг, ей должно быть подчинено все… Когда речь идет об интересах дела, какие могут быть обиды, наконец?.. И потом… отказав в одном, мы сможем поощрить их в другом, не так ли, мистер Бекетов?

— Вы правы, мистер Коллинз, вы правы, но есть ли резон обижать наших друзей?.. — слабо возражал Сергей Петрович; главное, чтобы возразить не резко и спустить на тормозах. — Нам надо высоко нести престиж нашего дела, никакой монополии, хотя мистер Смит лицо, по всей видимости, уважаемое, если его большим замыслом была библиотека мировой классики.

— Ну, как знаете, как знаете, мистер Бекетов, — произнес недовольно Коллинз, застегивая пиджак на вторую пуговицу и этим как бы говоря: «Выше моих сил проникнуть в эти ваши доводы… Выше моих сил».

…Бекетовы возвращались в Лондон около одиннадцати.

Минувший день был хотя и дождливым, но жарким. Близость моря, обилие зелени вокруг сделали свое дело — с приходом вечера повеяло прохладой. В автомобиле открыли окна — ехать было приятно.

— Мне показалось, что Коллинз как-то скис под конец… верно? — подала голос Екатерина.

— Верно показалось…

— Что так?

Бекетов объяснил.

— Поверь мне, он знает Смита не больше, чем знаю его я, но как сказать ему об этом? — продолжал Бекетов. — Смит — это солидный делец, но нужен ли нам в данном случае делец? Завтра он отстранится… в какое положение он поставит нас? И с ним каши не сварим, и с добрыми людьми рассоримся… Нет, лучше так, как сейчас: книг действительно не очень много, но надежно…

— Погоди, но ты ему объяснил?

— Как мог… объяснил, — бросил Бекетов и умолк.

Машина огибала рощу, что темным увалом возникла слева.

— Что значит «как мог»? Ты ему сказал то, что сказал сейчас мне?

— Ему это нельзя говорить, Екатерина, — обидится. В конце концов, какие я имею основания не доверять Смиту?..

Она приутихла.

— Неверно, — сказала она, помедлив. — Понимаешь, неверно.

— Но я не могу ему сказать так, как говорю тебе.

— Должен был сказать вот так, как ты сказал мне… А получилось плохо: он, как думаю я, почувствовал, не мог не почувствовать, что ты недоговариваешь, а следовательно, ему не доверяешь. Ты сказал ему «нет», не обосновав своего ответа, и он вправе был заподозрить, что ты недоговариваешь, а это уже плохо. Поверь мне, плохо. С Коллинзом так нельзя, Сережа…

Он ничего не сказал ей. Ему надо было все хорошенько обдумать и решить, но одно было несомненно: в ней работал тот самый «инструментик», которым природа снабдила ее. Она сказала: «С Коллинзом так нельзя, Сережа». Он мог продолжать разговор, но главный ее довод, касающийся сути Коллинза, не было смысла оспаривать. Речь шла даже не о том, что думала о Коллинзе она, более важным было другое: что определял этот ее «инструментик», а он, как ему известно, действовал безошибочно.

Явившись к себе, Бекетов принялся было за разбор диппочты, прибывшей накануне, когда пришел Шошин. Его волосы были тревожно вздыблены, галстук лежал на лацкане пиджака.

— Сергей Петрович, разрешите? — произнес он, открывая дверь. — Я к вам минут на пять, — пояснил он, увидев, что письменный стол Бекетова и стол рядом завалены пакетами с почтой.

Что-то приберег строптивый Шошин чрезвычайное, коли явился, предварительно не позвонив, такое с ним бывало редко.

— Заходите, Степан Степаныч, — сказал Бекетов, вставая и

переходя с Шошиным в дальний конец кабинета — великое половодье почты не дошло туда.

Они сели.

— Сегодня явился гонец из книгоиздательской фирмы на Пиккадилли, — начал Шошин, опустив глаза; он и прежде начинал разговор вот так, опустив очи, коли хотел возразить Бекетову.

— Пиккадилли — это… Смит? — спросил Бекетов — он начинал понимать, откуда ветром потянуло.

— Да, Смит и компания… — пояснил Шошин, не поднимая глаз — в разговоре, который попахивал огоньком, эти опущенные глаза помогали ему отстраниться, враждебно отстраниться. — Говорит, что его шеф беседовал вчера с Коллинзом насчет некоей издательской монополии на русские книги и Коллинз, не без вашего одобрения, сказал «да»…

— Все точно, — заметил Бекетов, сдерживая улыбку. — И Коллинз, и я именно так и ответили… — Он дождался, пока Шошин поднимет опущенные вежды — ему было нелегко поднять их сейчас. — А разве надо было сказать «нет»?

— Именно надо было сказать «нет», — произнес Шошин, обратив на Бекетова горящие глаза — никогда он не презирал Бекетова так, как в эту минуту.

— Погодите, а почему надо было сказать «нет»? — спросил Сергей Петрович примирительно.

— А потому, что этот самый Смит — адвокат дьявола, понятно?

— У вас есть основания, Степан Степанович, называть почтенного издателя с Пиккадилли адвокатом дьявола?..

— А у вас есть основания считать его христосиком? Есть основания?..

— Я верю Коллинзу, а он, согласитесь, Степан Степанович… — произнес Сергей Петрович с самым невинным видом, хотя смех клокотал в нем и рвал его на части.

— Я не знаю, какой ваш Коллинз биолог, но он Манилов чистой воды!.. — едва ли не взревел Шошин, и его сорвало со стула и бросило в противоположный конец кабинета.

— А если все-таки перевести этот разговор на язык доводов… что вы имеете против такого предложения, Степан Степанович?

Шошин затих сейчас в противоположном конце кабинета, не зная, стоять ему или садиться.

— Да неужели вам нужны еще доводы? — спросил Шошин — он был полон гнева.

— Представьте, нужны… — был ответ Бекетова. — Такова уж привычка: терпеть не могу голословного…

— Чтобы доверить Смиту такое, надо его знать лучше, чем знаем его мы! — не произнес, а выкрикнул Шошин — он понимал, что предложение Смита лишено для нас смысла, а об остальном у него не было ни времени, ни желания думать.

— И это все?..

Шошин сел, — ему было очевидно, что тут эмоциями не отделаешься — нужны доводы.

— Этот Смит, возможно, по-своему честный человек, но он всего лишь коммерсант… — заговорил Шошин, пытаясь взять себя в руки; казалось, что доводы, которые требовал Бекетов, возникали у Шошина сию минуту. — Всего лишь коммерсант: он с нами, пока ему это сулит прибыль. Не думаю, чтобы он относился к нам даже терпимо. Завтра погода изменится, и он сочтет за доблесть бросить нас. Какой же смысл передавать ему наше дело, отнимать у людей не столь богатых, но добрых и передавать ему… Нет смысла, решительно нет смысла.

— Ну, это уже довод, — сказал Бекетов. — Тут я вас готов понять, Степан Степанович.

— Но тогда как понять ваше согласие? — спросил Шошин. — Вы дали его?

— Нет.

— Не дали?.. Ну, тогда увольте и ведите-ка все эти переговоры со Смитом сами…

— А я готов, Степан Степанович, ей-богу, готов…

Шошин вздохнул тяжко, но, к изумлению Бекетова, не поднялся. В иных обстоятельствах он, пожалуй, устремился бы к двери и, чего доброго, хлопнул бы дверью, а сейчас продолжал сидеть недвижимо — не иначе, он сказал Бекетову не все, что хотел сказать.

— Сергей Петрович, — произнес Шошин с несвойственным ему смущением, — тут я слыхал краем уха, да не знаю, верно ли это… Хотел смолчать, а потом подумал: не могу скрыть от вас, не имею права.

— Коли не имеете права, тогда говорите.

— Одним словом, молва утверждает, — он умолк и печально и как-то просительно взглянул на Сергея Петровича. — Молва утверждает, что наше посольство в Вашингтоне возглавил молодой Гродко, да и у нас будет новый посол. Говорят, из Канады.

— Тарасов?

— Кажется. Не слыхали?

Бекетов, разумеется, знал об этой новости, но хранил ее в тайне, полагая, что это необходимо до поры до времени.

— Да, я слыхал, но не был уверен…

— Можно закурить?.. Ну, чего вы приуныли? Я же вас не виню, что не сказали. Не сказали, — значит, не надо было говорить.

А Бекетов думал: хороший человек Шошин. Вот ты, Бекетов, ему не сказал и даже не подумал сказать, а он, едва услышал, пришел, да еще пытается оправдать тебя.

— Новый посол — новая политика, Сергей Петрович? — произнес Шошин, мгновенно заполняя кабинет клубами дыма.

— Ну, новый человек — это всегда нечто… новое, — ответил Бекетов и, подняв руку, разметал ею дым — иначе мудрено было увидеть Шошина.

— Значит, новое? — Шошин задумался. — Все-таки человек по природе своей чуть-чуть ретроград… Вот, казалось, идет новое, может быть даже доброе новое, а тебе как-то тревожно. Нет причин для тревоги, а тревожно. — Он взглянул на сигарету и, точно поразившись, как быстро ее выкурил, осторожно положил в пепельницу. — Но каково Тарасову, а? — спросил он и внимательно посмотрел на Бекетова.

Действительно, каково Тарасову? Бекетов вспомнил свою поездку в Канаду и подумал, что в дорогах, которые иногда дарит судьба, есть некая предначертанность. Или мы полагаем, что это едва ли не воля рока, а на самом деле все закономерно? Просто земной шар сегодня так мал, что трудно разминуться двум людям…

50

Над Кузнецким мостом взвились ракеты первого салюта.

«Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины — Москва — будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, двадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий… Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким оккупантам!»

Это было похоже на вызов: немцы находились на расстоянии какого-нибудь получаса лёта до русской столицы, а Москва, презрев опасность, вздымала к небу торжественный фейерверк, при этом сообщив о нем заранее…

Чего было в этом больше: озорства русского, замешенного на лихой и веселой храбрости, сознания силы или презрения к самонадеянной немецкой рати, — мол, сунься, коли не сробеешь! Если это психическая атака, то она никогда не была такой открыто дерзкой, такой демонстративной.

«Сегодня, 5 августа, в 24 часа…»

Не просто удар по психике врага, травмированной в это лето 1943 года, — это был праздник. Нет, приказ обходил слово «первый», но оно было в подтексте: «Первый салют». А это значило, отныне устанавливалась традиция — каждой победе будет сопутствовать салют. А коли есть традиция, то есть уверенность — победы будут.

Наверное, впервые с той июньской ночи 1941 года, когда Москва погрузилась во тьму, город вышел на улицы, вышел безбоязненно, как выходил лишь в далекое мирное время. Собственно, праздник был даже не в многоцветном пламени, не в нем: Москва увидела себя в эту ночь такой, какой была до войны. Конечно же это было торжество всего народа, это был праздник тех, кто приписан к доброму братству Москвы. Всех, кого призвала война, определив в свои полки и батареи, занявшие позиции вдоль фронтового предела, протянувшегося от Белого моря до Черного. Всех, кого война бросила в таежную глушь Севера, за уральские камни, за холмистые просторы Закаспия, — добытчиков угля, железа, леса, хлеба, чьим трудом поддерживалось экономическое могущество сражающегося народа. Казалось, волны московского салюта докатились и до мглистого Лондона, до знойно-влажного города на Потомаке, до прохладного Стокгольма, до тех далеких и не столь далеких мест земного шара, где несли свою вахту и солдаты дипломатического фронта.

Если Сталинград был ударом по престижу врага, то Курск — разящим тараном военной мощи.

Уже ближайшая стратегическая задача — освобождение Левобережной Украины — казалась грандиозной, но она, эта задача, была всего лишь ближайшей. Наступление набирало силу: армии готовились форсировать мощную днепровскую преграду, обрести оперативный простор, армии требовали простора.

Это движение советских войск на запад имело и внешнеполитические последствия. Предстояла встреча трех, а следовательно, разговор важности первостепенной: что еще надо сделать для победы и какой она будет, эта победа? Еще уточнялись дата, место и порядок дня встречи, но несомненным было одно: встречу предварит конференция министров иностранных дел. Черчилль обусловил: «Если будет Молотов, мы пошлем Идена», а это означало, что Штаты представит Хэлл. Предложению англичан провести конференцию в Лондоне русские противопоставили Москву, и англичане уступили…

А пока Москва салютовала освобождению Орла и Белгорода…

И Наркоминдел, прервав свое полуночное бдение, вышел на Кузнецкий смотреть салют. Нет, в этом действительно было нечто от подлинного чуда: над Кузнецким мостом взвились ракеты первого салюта…

Ложась спать, Тамбиев ставил телефонный аппарат рядом с кроватью: Грошев мог позвонить и ночью. Тамбиев давал себе на сборы десять минут: пять на одевание, пять на дорогу — с шестого с половиной этажа, где жил Тамбиев, до подъезда отдела печати за пять минут управишься вполне.

В этот раз телефон зазвонил, едва Тамбиев лег.

— Николай Маркович, да неужели вы уже спите? — голос Грошева, казалось, лишен юмора. — Честное слово, позавидуешь вам: еще часа нет, а вы уже на боковую…

— Что… в отдел? — спросил Тамбиев, пытаясь нащупать в темноте кнопку настольной лампы, — в этом вопросе было нечто заученное.

— Какой там «в отдел»? К Глаголеву! Впрочем, вначале в отдел! Надеюсь, вы уже одеты?..

— «Одеты»! Я уже стою на площадке и запираю дверь…

— Ну, ну, эти ваши шуточки…

Грошев да неусыпный секретарь Вера Петровна с дежурной папиросой в желто-коричневых пальцах, разумеется давно погасшей, — вот и весь отдел печати в этот поздний час — сразу видно, что на фронте стало легче, раньше, что полдень, что полночь, все одно…

Губы Грошева стали совсем фиолетовыми, точно он вымазал их химическим карандашом.

— Погодите, что вы так смотрите на меня? Новохоперск. Вам это о чем-нибудь говорит? Новохоперск, я спрашиваю, говорит о чем-нибудь? — И рука тянется ко рту — его душит зевота. — Однако вы наслышаны достаточно о Новохоперске? — восклицает Грошев с нарочитым удивлением. — Так, может, вам и к Глаголеву ехать не надо? Ну, я от вас не ожидал таких познаний. Новохоперск на Дону!.. Погодите, может быть, вы еще что-то знаете о Новохоперске?

— По-моему, бригада Свободы, не так ли?..

Грошев едва удерживает свою кружку с чаем.

— Ну, а вот этого я от вас действительно не ожидал!.. Значит, бригада Свободы? Только подумать: такая эрудиция! Ну, Николай Маркович, вы меня удивили… И все-таки поезжайте к Глаголеву… Чем черт не шутит, может быть, он обогатит даже ваши познания, а? Только вот непонятно одно, решительно непонятно… — Грошев снимает очки и принимается их протирать. — Глаголев как-то смутился, когда узнал, что едете вы… Не причуды ли возраста? Возможно, и причуды! С богом, с богом!

— На вас креста нет: второй час ночи, — возроптал Тамбиев.

— Ничего, поезжайте! — произносит бодрый Грошев. — В отличие от вас, Глаголев ложится поздно… Я ему, разумеется, позвонил, попросил разрешения… Поезжайте!

Глаголев действительно не спит. Как некогда, на нем синий пиджак, обсыпанный папиросным пеплом, — пепел белый, под цвет глаголевских седин. На столе оттиск газетного трехколонника. Трехколонник выправлен только что — Глаголев не успел убрать ручку с газетного листа.

— Этот ваш Грошев вроде меня: сам не спит и другим спать не дает! — смеется Глаголев. — Погодите, к спеху ли эта поездка? — спрашивает он и смотрит на Тамбиева испытующе, точно хочет сказать: «Что-то вы затеяли непонятное, друг милый. Не многочтимый ваш шеф, а именно вы…»

Тамбиев решительно отказывается что-то понимать, и потом эта реплика Грошева насчет того, что Глаголев смутился, узнав, что едет Тамбиев… Нет, тут есть над чем подумать…

— По-моему, вы хотите открыть мне тайну, не так ли? — спрашивает Тамбиев.

Глаголев мрачнеет.

— Однако начнем!.. К делу! — он хочет повернуть разговор к сути. — Ну, что вам сказать о Новохоперске? Чехи летят с вами? По-моему, должны лететь. Там ведь эти учения… перед уходом на

фронт, не так ли? Значит, Новохоперск?.. «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет».

Он задумался. Ну вот, пришло в движение это его чисто профессорское качество: коротко изложить суть дела. Грошев все рассчитал верно. Так, как знает эту проблему Глаголев, никто ее не знает. Сейчас он докажет это. Глаголев говорит…

Истинно, сшиблись в донской степи страсти роковые. Почин сделали чехословацкие коммунисты: они послали в батальон своих товарищей. По правде говоря, их была горстка: человек тридцать. Все, кого жестокой волной прибило к русскому берегу. К ним присоединились волонтеры из чехов и словаков, проживавших в России. Их было у нас не так уж много, но они были. Возник батальон, тот самый, знаменитый, что был в деле на Мже, под Харьковом, а если быть точным, то в Соколове… Вот эти чехи и словаки, хлебнувшие лиха в Соколове, и составили ядро бригады, что стоит сейчас в Новохоперске. Но там ведь ныне не батальон, а бригада. Кто остальные?.. Все больше пленные, но не только они. Дали знать о себе лондонские чехи — сподвижники Эдуарда Бенеша. В Новохоперске сейчас есть и они. Глаголев видел некоторых из них в Москве; впрочем, среди них были и такие, которых он знал еще по Праге. Наверно, к чехословацким военным не очень подходит этот термин: «военная аристократия», но иного Глаголеву сейчас не найти. Именно военная аристократия, берущая начало в событиях за Уральским хребтом… Впрочем, тогда называли их определеннее: белочехи… И они попали сейчас в Новохоперск через Лондон. Возможно, их там и не превеликое множество, но они там есть, и все, что происходит в Новохоперске, для них грозно.

— Не смейтесь, пожалуйста, надо мной, я все-таки скажу, что думаю, — сказал Глаголев в заключение. — Да, этот степной городишко, называемый Новохоперском, сегодня очень точно отражает завтрашний день Европы. Кстати, человек наблюдательный там увидит и Чехословакию, какой она будет завтра, а может, послезавтра. У вас преимущество передо мной немалое — я имею в виду возраст. Используйте это преимущество в полной мере и проверьте старика. — Он поднял ладонь, дав понять, что сказал не все, и, пройдя к письменному столу, сел. — Как джентльмен я должен вас предупредить: если вы полагаете застать в Новохоперске Софочку, вас ждет разочарование, ее там уже нет… — Он склонился над листом бумаги, писал торопливо, стараясь успеть к уходу Тамбиева. — Письмо передадите в Новохоперске, для Софы… — произнес он, подняв глаза на Тамбиева, неожиданно пристальные, таких глаз у Глаголева не было. — По-моему, это не сложно — там все друг друга знают, —

добавил он и, выдвинув большой ящик стола, не без труда разыскал там конверт, странно выцветший, бог весть сколько пролежавший в столе. — Буду благодарен… — протянул он письмо, когда адрес был написан, а письмо запечатано.

И вновь Тамбиев ощутил взгляд его пристальных и, так показалось Николаю Марковичу, недобрых глаз. Именно недобрых… Что-то Тамбиеву открылось в нем такое, что было не понято прежде. Ну конечно, он увидел сейчас в Тамбиеве сторонника Александра Глаголева и заподозрил бог знает что… Нет, тут скрестились не любовь к Софе и безразличие к ней, скрестились понимания того, что есть Софа. Но вот вопрос: если Глаголев так уверен, что поступил верно, откуда тревога, которую заметил в Глаголеве в этот раз Тамбиев?

Казалось, самолетные винты были запущены не на полную мощность, и чешская речь, которая сейчас звучала рядом, речь чем-то понятная и вместе с тем труднопостижимая, создавала впечатление своеобычного мира. И Тамбиев вдруг подумал: а ведь отныне это Софии мир. И потому, что эта мысль явилась к нему, он вдруг почувствовал, что мир этот не так уж безнадежно отдален от него, больше того, он ему и близок, и дорог, как, наверно, есть незримые, но ощутимо прочные узы, которые связывают его с этими людьми и со всем тем большим и добрым, что является их сутью.

Когда самолет взлетел и настала пора дорожных разговоров, Галуа, занявший место неподалеку от Тамбиева, заметил, что их спутниками являются «видные чехи». Из тех, кого назвал Галуа при этом, Николай Маркович знал в лицо только Зденека Неедлы — профессор после оккупации Праги жил в Москве, преподавал в Московском университете и подчас выступал с публичными лекциями в университетском клубе. Дважды лекции профессора слушал и Тамбиев.

— Вчера московское радио передавало сметановского «Далибора», профессор… — сказал Тамбиев, останавливаясь подле Неедлы.

Профессор улыбнулся — ему было приятно замечание Тамбиева, он все понял.

— Вы, как я понимаю, слушали мою лекцию о Сметане, молодой человек?

— Слушал, профессор.

— Благодарю вас, благодарю… Да что вы стоите? Присаживайтесь. — Он обратился к своему соседу, который, склонившись над газетой, дочитывал статью: — Товарищ Клемент, вот молодой человек… дипломат слушал мою лекцию о

Сметане… — Он дождался, пока его сосед оторвется от газеты и взглянет на Тамбиева, — глаза у соседа, как приметил Николай Маркович, были строго внимательными, даже чуть-чуть испытующими. — Вы не знакомы? — спросил Неедлы Тамбиева. — Товарищ Готвальд, Клемент Готвальд…

Человек привстал, пожимая руку Тамбиеву.

— Вы бывали в Новохоперске? — Готвальд положил газету на колени, дав понять, что не торопится ее дочитать.

— Впервые, товарищ Готвальд.

— Новохоперск для нас важно, — заметил он — его речь была экономной отчасти и потому, что ему трудно было говорить по-русски бегло. — По-моему, здесь вся мировая пресса, — сказал он и обвел взглядом корреспондентов. — Мы возлагаем надежды на… Новохоперск, — он посмотрел вперед, точно увидел перед собой степной город на Хопре. — Очень хорошо, что вы это организовали, товарищ…

— Очень хорошо, — подтвердил профессор и, заметив, что Тамбиев еще не сел, произнес: — Садитесь, товарищ… Можете сесть вот здесь, — он показал на место рядом с собой…

— Вы читали… простите, — указал Тамбиев на газету в руках Готвальда.

— Ничего, — Готвальд неторопливо поднял газету, углубился в чтение; голос у него был устало-глуховатый, неторопливый. Он будто бы избрал такую интонацию и такой темп речи, чтобы иметь возможность каждое слово как бы взять на ладонь, взвесить. Вот и сейчас он сказал то, что должен был сказать: «Очень хорошо, что вы это организовали, товарищ…» — и возвратился к газете, поручив собеседника Неедлы.

Профессор оглядел Тамбиева, любуясь его новой формой.

— О, вы… дипломаты! — произнес он восхищенно. — В наше время только вы и способны на чудо! Что вы так смотрите на меня? Я знаю, что говорю: только вы!

Он был очень забавен в эту минуту: в его круглую, точно очерченную циркулем, голову были вписаны круглые оправы роговых очков, а из них, из этих оправ, были обращены на Тамбиева удивленно-робкие глаза, тоже совершенно круглые.

— Это как же понять… «чудо»?

Неедлы засмеялся.

— Чудо в самом классическом его виде! Разве не понятно? Похоронить человека, а потом его… воскресить!

— Был такой случай?

— Конечно же.

— С кем?

— Со мной. И воскресили меня вы…

— Э-э-э… Профессор, теперь вы от меня не отделаетесь: я хочу, чтобы вы рассказали, как я это сделал…

Неедлы посмотрел на своего соседа: тот был занят чтением. Видимо, профессора это устраивало. Он потер подбородок, как показалось Тамбиеву, нервно: в том, что хотел рассказать профессор, видно, было не так уж много веселого.

— Знаете, есть понятие, вызванное к жизни даже не человеком, а живой природой: свой — значит, родной; посторонний — следовательно, чужой… — произнес Неедлы. Он свободно говорил по-русски, слова ложились легко, только способность тонировать речь была не русской — как заметил Тамбиев, эта интонационная манера у каждого языка была своя, — но перенеси эти слова на бумагу, и, пожалуй, не обнаружить, что их произнес чех.

— Вы сказали: свой и чужой? Значит, того, чья судьба тебе безразлична, бросишь, а того, что у тебя вот здесь, у сердца… наверно, оставить не просто, так? — спросил Тамбиев — любопытно, какими тайными тропами шла сейчас мысль профессора.

— Если бы вы знали, товарищ, как близки вы к тому, что я хотел вам рассказать… — заметил Неедлы, воодушевляясь, и опять посмотрел на Готвальда. — Смысл того, что есть для Чехословакии Мюнхен, истинный смысл, где-то здесь, товарищ…

— Мюнхен? — повторил Тамбиев и умолк, задумавшись: вспомнил сентябрь тридцать восьмого, мюнхенский сентябрь, авиаинститут, где служил в ту пору, ощущение предгрозья, — признаться, Николай Маркович думал тогда, что войны в тот год не избежать — мы готовы были помочь Чехословакии. — Я могу вам этого и не говорить, но коли вы заговорили сами, скажу, профессор…

Неедлы встревожился — он знал, что в разговоре возникло нечто значительное:

— Да?

— Я был в тот год в армии: мы готовы были выступить…

— Значит, своих не бросают? — спросил Неедлы, помедлив.

— Не бросают.

Неедлы потер подбородок.

— Теперь самое время рассказать о том, как вы меня воскресили, товарищ…

Он долго молчал, шевеля губами, обдумывая то, что хотел сейчас сказать. С каждым движением губ щеточка усов будто становилась жестче, колючее — он волновался.

— Это было в тот самый день, когда наци вошли в Прагу, в тот самый день… — начал он чуть внятно. — Позвонили из

вашего посольства: «Профессор, что вы намерены делать? Что?.. Тогда немедленно приходите в посольство». Это было небезопасно, но я пошел. В Праге было тепло, но я оделся, хорошо оделся, как будто мой путь лежал не в посольство, а много дальше… Одним словом, я дошел. «Профессор, не вам объяснять, надо ехать…» — «Каким образом?» — «Это мы возьмем на себя. Вы готовы?..» У меня не было выбора. «Да, я готов». И вот тут меня уложили в гроб, пообещав воскресить. Ну, это был не гроб в обычном смысле этого слова. Просто меня уложили на дно грузового автомобиля и зашили досками — второй пол! Смею думать, эти молодые интеллигенты из посольства сами были когда-то плотниками, они это сделали чисто, потому что наш грузовик прошел Чехословакию и благополучно пересек границу, хотя по нему стучали кулаками и прикладами через каждые пять километров. Вот так меня и воскресили. Повторяю, посол к этому не имел отношения, все сделали эти молодые люди, мастера по части чудес. Если попросить хорошенько вас, вы, пожалуй, тоже способны отправить в преисподнюю, а потом возвратить как новенького, а?

Он даже не улыбнулся. Действительно, в рассказе было не так уж много юмора, хотя речь шла о воскрешении, как это воскрешение сотворили дипломаты, которые, если верить профессору Нееддлы, были еще и хорошими плотниками.

— Когда Даладье возвращался из Мюнхена в Париж, он увидел с самолета аэродром, заполненный людьми… Ему показалось, что Париж пришел его бить, и он просил летчиков сделать еще два круга над городом, чтобы заготовить речь в свое оправдание… Нашептывая нечто бессвязное, он сошел с самолета и отдал себя во власть толпы, которая подняла его на руки, приветствуя… Оказывается, она и не думала бить его, она пришла его чествовать…

Как ни велика была эта толпа на аэродроме Ля Бурже, она еще не была Парижем. Даже больше: не она была Парижем. Семьдесят один коммунист, все семьдесят один проголосовали против. Правда, вместе с ними поднял руку антикоммунист де Кериллис, строптивец де Кериллис, но на это хватило только его… Вот вам задача для раздумий: древний ритуал заклания… и свобода, которую заклание не дает. Когда говорят, что Мюнхен — это пакт, я смеюсь. Мюнхен — это религия, это знак, который отличает одного человека от другого. Мюнхен — это вера, которую вызвал страх, при этом не только перед фашизмом и не столько перед фашизмом… Я скажу больше: Мюнхен будет жить даже после того, как фашизм погибнет. Да во Франции и во французах ли дело? Те, кто сделали Мюнхен своей верой, есть

даже в Чехословакии.

— В Чехословакии Мюнхен? Вы не ошиблись?

— Нет, не ошибся. Не могу ошибиться… Ну вот Новохоперск, подходящее ли место для тех, кто исповедует Мюнхен, но осмотритесь хорошенько…

— Они есть там?

— Есть.

Подошел Баркер. Он издали наблюдал за разговором Тамбиева с профессором, стараясь улучить минуту и подойти, — из тех корреспондентов, кто летел сейчас в Новохоперск, никто не знал чехословацкие дела так хорошо, как Баркер, — годы, прожитые в Праге, были дороги ему. Весьма возможно, что Баркеру был знаком и Неедлы.

— Здравствуйте, профессор, — он почтительно и осторожно пожал руку профессора, с нескрываемым любопытством обратил взгляд на Готвальда и, встретившись с ним глазами, поклонился.

— Друг Баркер, жил в Праге… — сказал Неедлы, представляя его соседу, — Клемент Готвальд.

— Тот, кто жил в Праге, не теряет надежды туда… вернуться, — произнес Готвальд по-русски — последнее слово далось ему с трудом. — Не правда ли?..

— Правда, благодарю вас, — подхватил Баркер, радуясь встрече.

— Вы видаете нашего Бедржиха, пан Баркер? — спросил Неедлы: человека, которого профессор назвал приятельски фамильярно «наш Бедржих», очевидно, близко знали оба. — Пришел как-то в марте ко мне. «Хочу в армию!» — «Ну где тебе, Бедржих? Вот мне шестьдесят пять уже, а тебе, пожалуй, все семьдесят, а?» — «Семьдесят два, профессор». — «Ну вот и сиди и пиши свои книжки о моравских ячменях».

— Добрая душа Бедржих! — воскликнул Баркер.

— Добрая душа, добрая! — согласился профессор.

— Вы и по-чешски не поговорили, а вам, наверно, хотелось поговорить по-чешски… — сказал Тамбиев, откланиваясь; щадя самолюбие Тамбиева, Неедлы и Баркер не могли себе позволить говорить по-чешски.

— У нас еще будет время поговорить и по-чешски, и по-русски, — сказал профессор и наклонился, всматриваясь в иллюминатор. — По-моему, Новохоперск где-то уже рядом.

— Простите, это Готвальд? — спросил Тамбиева Клин, когда Николай Маркович возвращался на свое место. Клину была ведома в Москве дорога к знойному солнцу, он ухитрился загореть в Москве так, как никто не загорал, — загореть и похудеть — его темно-коричневые щеки ввалились, и от этого

как-то увеличились глаза и белки стали ярче обычного.

— Да, Готвальд, а рядом Неедлы, профессор Зденек Неедлы, — заметил Тамбиев, еще не очень понимая, почему сидящие вдалеке чехи возбудили в Клине такой интерес…

Самолет приземлился, и с десяток «виллисов» умчали корреспондентов на окраину белостенного стенного города, с пыльными акациями и колодцами на скрещении улиц, с подсолнухами на огородах, по-августовски тяжелоголовыми. Только вот чешская речь, не обильно пересыпанная такими славянизмами, смысл которых нами не столько понимался, сколько угадывался, только чешская речь да непривычная форма военных, на западный манер просторная, не обремененная металлом и кожей, форма, которую военные носили со штатской свободой и непосредственностью, делали этот южнорусский город не совсем русским. А потом все пошло как по маслу. Корреспонденты были приглашены на учения бригады, которая действовала с покоряющей точностью и отлаженностью: атака невидимого противника, взаимодействие с соседом слева и соседом справа, отвлекающий удар и удар истинный…

И в качестве заключительного аккорда — парад войск, участвующих в учении. Движение войск дух захватывало: эта новенькая форма, этот строй, который был так верен, точно вначале был вычерчен на ватмане, этот шаг, одновременно и свободный и твердый, создавали впечатление такой монолитности, профессиональной, моральной, всякой иной, что не хотелось думать, что многие из тех, кто составлял эту армию, взяли в руки оружие раньше, чем хотели бы. А если уж суждено было его взять, то, может быть, был смысл сделать это не здесь… Между тем оркестр был полон огня, всесильный барабан и звонкоголосые литавры отбивали такт с такой страстью, а трубы, подхватывающие мелодию, увлекающие марширующих, были так ладны, певучи, что, честное же слово, не хотелось думать о великих тяготах войны.

Одним словом, праздник удался, и русские хозяева белостенного городка по законам гостеприимства, столь щедрого в этих степных местах даже в нынешнюю тяжкую пору, увели гостей в рощу, стоящую в открытой степи. Эта роща с озерцом в центре возникла так неожиданно и столь резко контрастировала со степным характером здешних мест, что казалась рукотворной.

Почтенное общество, состоящее из корреспондентов и военных, еще сидело за столом, поставленным в тени дубов и лип, когда Тамбиев разыскал медсанбат и темно-русую девушку в крахмальном халатике, подпоясанном бинтом.

— Вы Прохазькова? — спросил Тамбиев и, дав понять

девушке, что хотел бы с нею поговорить наедине, произнес: — Вам — письмо…

Девушка искоса взглянула на Тамбиева прищуренными серо-синими глазами.

— Письмо? — переспросила она, не двигаясь с места. — Письмо… — Она взглянула на адрес. Он ей ничего не сказал. Взяла со стеклянного столика длинные медицинские ножницы и отстригла краешек конверта. — Вы… Тамбиев? — спросила она, улыбнувшись.

— Да.

— Я узнала вас по форме… сразу.

Тамбиев обрадовался: значит, Софа говорила о нем.

Они вышли и побрели вдоль домов. Дома были одноэтажные, кирпичные, под крашеным железом. Белая тропка, утоптанная до блеска, вела к крайнему дому.

— Вы… увидите ее? — спросил Тамбиев.

— Да, еще в августе.

— И у вас будет там адрес?

Девушка засмеялась: в вопросе не было ничего смешного, но ее реакция была бурной.

— Будет. Вот он: а-у-у-у!

Тамбиев не мог не улыбнуться: все понятно. Софа рассказала ей о полуночном разговоре там, на Кузнецком, у Софы было желание рассказать, а это, наверно, говорит о многом. Он хотел верить: о многом.

— Что она вам сказала еще? — спросил он и не мог не упрекнуть себя: эта торопливость, пожалуй, могла ее встревожить.

— Она сказала, что чувствует себя виноватой… — произнесла Прохазькова. Он не заметил в ее говоре акцента.

— Перед кем?

— Перед вами… Она пробовала писать вам, но потом все изорвала… — Прохазькова обратила взгляд на степь, что стлалась перед ними, ровная, предвечерняя, затканная пыльным солнцем. — Какая-то она… особенная, таких нет сейчас! — произнесла девушка, как что-то сокровенное. — Был у нас тут офицерский вечер, так она надела голубое платье с блестками и серебряные лодочки — прелесть! А когда начались танцы, надо было видеть Софу. Принцесса в серебряных туфельках! Да что Софу? Надо было видеть в эту минуту чешское офицерство!.. Есть у нас русский, капитан Прохоров, помогает чехам осваивать наши парашюты, так он сказал ей: «Сонечка, вся вы какая-то… бывшая!» Ну, Прохоров Прохоровым, а я бы сказала по-иному: есть в ней что-то старомосковское — тот век!.. — Девушка все еще смотрела в степь, над которой удерживалось, становясь золотистее от

закатного солнца, предвечернее марево. — А потом этот Прохоров взял ее вместе с парнями и девчатами на свой фанерный самолетишко и сбросил на парашюте вот над этим выгоном… Принцессу в серебряных туфельках! А вечером, когда собрались ужинать, села она рядом и, тыча своим острым плечом, шепчет: «Мне не страшно, только сердце не могу остановить после прыжка… дрожит, как лист на ветру!» А собралась в дорогу, ничего с собой не взяла, только платьице с блестками и туфельки…

Степь уже дымилась предвечерними дымами, теплыми, пахнущими пылью и осенней благодатью. Где-то в стороне шло пыльное облако и хлопал кнутом пастух, устало покрикивая: «Го-о!.. Го-о!»

— У нее была толстая тетрадка — она просила отослать ее отцу…

— В Москву?

Девушка помедлила с ответом:

— Нет, на Псковский.

— Эта тетрадка должна была… все объяснить Александру Романовичу?

Она остановилась:

— По-моему, да.

— Он… не знает? Он ничего не знает?

— Мне кажется, нет, — ответила Прохазькова.

Значит, все свершилось без ведома Александра Глаголева. Без его ведома и, быть может, вопреки ему…

51

Солнце уже нацелилось на свою закатную отметину, когда в степи у бронетранспортеров, поставленных так, чтобы защитить гостей от ветра, началась пресс-конференция.

Перед корреспондентами выступил командир Людвиг Свобода, которого все наши на русский манер звали Свобода, недвусмысленно показывая, что они хотели бы видеть в его имени некий символ. Весь день Свобода был с войсками и явился на пресс-конференцию, не успев сменить полевой формы, которая, казалось, еще дышала степной пылью и привядшими августовскими травами. Свобода говорил с тем благородством и простотой, которые так были свойственны его облику. Он говорил о делах чисто военных, полагая, что корреспондентам это должно быть интересно: как возник чехословацкий батальон и как он выступил на фронт, как батальон получил свое первое боевое задание и что этой боевой задаче сопутствовало… Не минул он и того, что звалось у военных боевым опытом. Командиру казалось важным подчеркнуть, насколько этот опыт (Свобода назвал его скромным) был использован бригадой. Свобода, можно было подумать, понимал, что у проблемы, которой он коснулся, был политический, даже больше — политико-дипломатический аспект, но он не считал нужным его касаться. Одним словом, перед корреспондентами выступал военный, для которого не было задачи насущнее, чем та, которую ему предстояло решить. Он словно говорил: допускаю, что есть и иные проблемы, но мне пока не до этого.

Свобода говорил сжато — через три дня бригада должна была выступить, и времени у него было немного, — но, закончив, сказал, что готов ответить на вопросы. Жара спала, и можно было выйти из тени, Свобода отошел к столу, по степному обычаю врытому в землю, когда-то здесь определенно был полевой стан. За таким столом хорошо перед закатом вечерять: пить холодное молоко с серым пшеничным хлебом, резать крупными скибами арбуз-астраханец, а то и дыню-зимовку, в паутинке трещинок, со сладкой зеленоватой сердцевиной. Беседа ладилась не споро, но живой интерес давал ей силы: те несколько человек, что сидели сейчас рядом со Свободой, хотели разговора. Но разговора хотели не только они. От площадки, где стояли бронетранспортеры, по степи разбежались тропы. Корреспондентам даже не требовались переводчики. Те из офицеров, кто приехал из Лондона, знали английский достаточно. Что же касается тайны, то степь безбрежная, казалось, готова была на веки веков похоронить

тайну того, что в этот сумеречный августовский вечер было произнесено…

Вылетели в полночь, рассчитывая быть в Москве на рассвете. Как ни тяжел был день, корреспонденты не спали. Все прошло настолько тихо и мирно, что не было причин для волнения, но волнение было, как было и беспокойство. Справа по борту самолета высвечивала луна, крупная, на вызреве.

Тамбиев теперь сидел с Баркером у той передней стойки, где по дороге из Москвы в Новохоперск разместился профессор, — чехи остались в Новохоперске, и сейчас стойка была свободна.

— Вы заметили, там кровь течет рекой… — сказал Баркер Тамбиеву. — Там… — он ткнул большим пальцем через плечо в хвост самолета.

— Вы имеете в виду… Новохоперск? — спросил Тамбиев.

— Конечно-о-о! — Тамбиев заметил, что Баркер любил русские слова, оканчивающиеся на звонкую гласную и по возможности могущие заменить фразу, — при том запасе русских слов, который был у англичанина, это было важно. — Армия — вот… задача-а-а! Какой она должна быть…

— А какой она должна быть? — улыбнулся Тамбиев. — Даже интересно: какой?

— Вот эти… лондонские чехи, лондонские!.. — он не без удовольствия повторил «лондонские!» — он был рад этой своей находке. — Армия должна быть в большей мере профессиональной и не такой откровенно политической, говорят они.

— В большей мере профессиональной, а значит, в большей мере кастовой, военно-аристократической, вроде той, какая некогда была в России? — спросил Тамбиев, он полагал, что может сказать это Баркеру.

Баркер молчал; сравнение, к которому обратился Тамбиев, было резким, но оно было верным.

— Такой армии не будет? — спросил Баркер.

— Может быть, она и будет… где-то, но в Новохоперске ее не будет, — засмеялся Тамбиев, да так громко, что из полутьмы возник Галуа.

— Над кем смеетесь? — вопросил Галуа весело. — Надо мной смеетесь?

— Если в той армии, которая хотела завоевать Сибирь, у тебя были родственники, тогда смеемся над тобой! — ответил Баркер.

— Были, разумеется, как у каждого русского буржуя!.. — засмеялся Галуа — ему понравилась баркеровская реплика. — А если кроме шуток, то эти лондонские чехи в панике… Не правда ли?.. — он вонзил в Тамбиева свои глазки — ему очень хотелось

вклиниться в разговор, и он это сделал не без искусства. — Что же вы молчите? Я спрашиваю вас: не правда ли?

— А чего им быть в панике? — спросил Тамбиев.

— Как чего? — почти возмутился Галуа. — Как чего?..

— Действительно, чего им быть в панике?.. — повторил свой вопрос Тамбиев.

— Ну, вы… так и не понимаете, да? Не понимаете? Нет, Красная Армия еще не войдет в Чехословакию, она только появится в Кошице или там в Банской-Быстрице, а чешские рабочие дадут этим самым лондонским чехам такого пинка, что они этак сделают кульбит и опустятся в Лондоне!..

— Значит, кульбит? — засмеялся Баркер. — Это хорошо: кульбит!

И уже Клин, упираясь вытянутыми руками в потолок и как бы вышагивая ими, подобрался к скамье, где сидели Тамбиев, Баркер и Галуа.

— You have said: «Кульбит!» Is it about me? Вы сказали «Кульбит!». Это обо мне?.. — ткнул он кривым перстом в Баркера.

Галуа усмехнулся, мигом встал на одну ногу, опершись для прочности ладонью в потолок.

— Глуп ты, Клин, как пробка! — произнес он по-русски. Весь фокус был в том, что фраза была непонятна Клину, — по-английски, пожалуй, Галуа сказать так не решился бы.

— What is it «probka»? Что такое «пробка»? — спросил Клин, трезвея.

— Please, take a sit here!.. Присядь вот здесь, пожалуйста! — сказал Галуа Клину и даже дотронулся до его плеча, но Клин продолжал стоять. — Please… — Он подергал плечами, точно пытаясь согреться. — Речь идет о чехословацкой армии… понимаешь? — заговорил Галуа по-английски. — Там ведь разные люди, в этой армии. Одни хотят быть Красной Армией Чехословакии, а другие не хотят…

— Нет, нет, погоди, Галуа, о какой Красной Армии ты говоришь? — вдруг вспылил Баркер. — В Новохоперске мы видели армию республики, не так ли?..

— Все ясно… — мрачно произнес Клин, глядя на Баркера. — Вот это и есть «кульбит»!.. Я говорю «кульбит»!

Баркер встал.

— Что вы имеете в виду?

— А то, что для тебя, Баркер, безразличны муки этих людей, ты понимаешь, муки… — он держал у груди Баркера палец, точно дуло пистолета. — А ведь это наши друзья…

— Это твои друзья, Клин. — Баркер ушел.

— Что ты сказал? Повтори! — Клин рванулся в сторону

Баркера так, что самолет, казалось, накренило.

Встал Хоуп, оторвавшись от книжки, которую читал. Казалось, этот человек не произнес за всю поездку ни слова: в самолете был прикован к книге, которую впитывал с хмурой сосредоточенностью, там, внизу, в степном городке, не столько говорил, сколько слушал да смотрел, тоже с хмурой пристальностью.

Встал Хоуп — было не очень понятно, как он проник в смысл того, о чем говорили Клин и Баркер, — книга, которую читал, должна была лишить его слуха.

Он встал и решительно приблизился к Клину.

— Вот что, Клин: видишь люк? — он указал себе под ноги. — Люк открывается. Ты понял меня? Спущу и даже парашют не дам в дорогу! Спущу, и никто тебя не защитит. Можешь спросить у них: никто. Ты понял меня?

Клин онемел. Лунный луч все еще врывался в самолет, пересчитывая тех, кто сидел на железной скамье.

— И вы не защитите? — взглянул Клин на Тамбиева.

— Мне, пожалуй, не справиться со всеми, — сказал Тамбиев, улыбнувшись.

— Понятно.

…На рассвете самолет приземлился в Москве.

Тамбиев появился в отделе, когда не было еще шести утра.

Вера Петровна, серая от бессонницы, грызла черный сухарик, пытаясь с его помощью совладать и с голодом и со сном одновременно.

В кабинете Грошева тихо — точно загипнотизированные, безмолвствовали телефоны.

Грошев спал, прикорнув на диване. Он спал, не снимая форменного пиджака, аккуратно сложив ноги, чтобы не помять тщательно отутюженные брюки. Его роговые очки сползли на кончик носа, отчего он разом стал старше. Смуглые руки он беспомощно-робко держал у груди, как держал их, наверно, еще в утробе матери. Не иначе, засыпая, человек забывает, кто он есть, и принимает позу, какую принял, сделавшись человеком. Вопреки возрасту, вопреки опыту жизни, вопреки знаниям, которые накопил, вопреки положению, которого достиг и не забыл обозначить на погонах, чтобы, так можно подумать, во время сна, когда он не в состоянии это помнить, другие помнили. И оттого что он принял эту позу, не сняв пиджака с погонами, хотелось улыбнуться. Всего лишь улыбнуться, потому что над Грошевым грех было смеяться — он был человеком добрым…

Тамбиев не помнил, долго ли он просидел поодаль от дивана, глядя, как спит Грошев, но тот вдруг проснулся.

— Вы… уже приехали?

— Как видите.

— Хорошо.

Он сел.

— Вы помните, я как-то говорил вам: отдел должен знать, где вы находитесь, и в том случае, когда вы в Москве?

— Помню.

— Я повторяю вам это еще раз — это важно.

— Ленинград… Андрей Андреевич?

Грошев смешался.

— Я этого не сказал…

— И на том спасибо.

Тамбиев откланялся, вышел и едва не столкнулся в дверях с Кожавиным. В одной руке у Игоря Владимировича карандаш, в другой — инкоровская телеграмма.

— Николай Маркович, поздравляю: вы летите в Ленинград.

— Но Грошев не подтвердил.

— Ну, сделайте ему приятное: пусть думает, что это все еще секрет, — произнес Игорь Владимирович и посмотрел на дверь грошевского кабинета, из которой только что вышел Тамбиев. — Иначе ему не интересно.

Вот он, Грошев! Убедил себя: его пост тем важнее, чем большим числом секретов он владеет. Не имеет значения, что половина этих секретов уже известна. Главное верить, что это секреты…

52

У Бекетова возникла возможность поехать в Москву вместе с Екатериной, впервые после того, как она обосновалась в Лондоне. Обидно было не воспользоваться этим. Если три года являются тем сроком, которым часто отмерено пребывание дипломата за рубежом, то у Бекетова этот срок медленно приближался к концу. Был резон приехать в Москву уже теперь, побывать на старой квартире, в которой все эти годы царило превеликое запустение, может быть, дать работу штукатурам и малярам…

Бекетовы поехали, попросив чадолюбивых Компанийцев присмотреть за Игорьком. Те согласились: было известно, что Игорь вполне самостоятелен и присмотр за ним особых хлопот не составит.

Они прилетели на исходе дня и отправились на Остоженку, надеясь отдохнуть после дороги и уже завтра сообщить о приезде близким, тем более что завтра было воскресенье. Но наивные Бекетовы обманывались, полагая, что об их приезде никому не известно. Был уже одиннадцатый час вечера, и они готовились лечь спать, когда раздался стук, сдержанно-корректный, но настойчивый.

— Бекетов, Сергей Петрович?.. Вас просят: машина внизу.

Екатерина заметалась. Однажды это уже было, почти так же.

Сергей Петрович взглянул на жену: лицо ее стало красным.

— Да ты что? В феврале, когда меня… пригласили, всё было, как теперь.

— Нет, в феврале было не так.

Он ушел. Он был почти уверен: ничего чрезвычайного не произошло. Непонятным было только одно: зачем это надо обставлять таким образом?

— Куда едем… в Кремль или, может быть, в Кунцево? — спросил Бекетов, садясь в машину.

И после долгой паузы:

— В Кунцево, Сергей Петрович.

Ну, слава богу. Кунцево, пожалуй, важно, но важнее последнее: Сергей. Петрович. И вновь вспомнилась Екатерина. Как она там сейчас?

Машина свернула на Большую Садовую и старым Можайским трактом устремилась из Москвы.

Кунцево.

— Сергей Петрович? Придется подождать. Генштаб: вечерний доклад. Слыхали, наши Смоленск взяли? Чаю не хотите?.. Могу предложить с лимоном. Нет?

Распахнулась дверь: в самом деле, выходили генштабисты. Нет, дело даже не в картах, которыми они были вооружены. Была, как заметил Бекетов, в генштабистах некая щеголеватость, которая с неуспехами, казалось, покинула наших военных прочно. Может быть, потом она возвратится, эта щеголеватость, и к другим военным, но теперь вот, в эту осень сорок третьего, Бекетов приметил ее в генштабистах. Ну что ж, главное, чтобы она возвратилась. Сама по себе она, возможно, ничего и не значит, эта щеголеватость, но как признак иного душевного состояния важна. Когда на сердце камень, козыриться не будешь, да и на форму не обратишь внимания. Коли стал замечать на себе форму, значит, камень сброшен, а это уже хорошо.

— Заходите, пожалуйста, Сергей Петрович.

Последний из них оставил дверь полуоткрытой, точно приглашая Бекетова войти, — видно, Сталин обмолвился о Бекетове, может быть даже сказал, что ждет его.

— Заходи, заходи, Сережа… — произнес Сталин, идя Бекетову навстречу, — собственно, Сергей Петрович уже вошел, и в словах этих не было необходимости, но Сталину нужно было их произнести — в словах была мера радушия. — Вот листал сейчас «Витязя»… Чаю хочешь, Сережа? Дайте нам чаю! В свое время я читал оттиски этой книги и обратил внимание… на эту строфу… Они же пронумерованы, эти строфы. Сейчас скажу точно… Вижу: не то! — Он поднес книгу к свету, наморщил нос, выражая крайнюю степень брезгливости. — Не по-русски! Давно не писал стихов, а тут решился! Понимаешь, Сережа, взял и перевел! Вот послушай…

Он прочел, захлопнул книгу, небрежно опустил ее на стол:

— Ну как, Сережа, а?

— Тут необходимо слово поэта… — сказал Сергей Петрович, помедлив, чувствуя, сколь пристален обращенный на него взгляд. — Поэт бы оценил!

Сталин хмыкнул.

— Значит, поэт бы оценил? — переспросил он не без иронии — ему особенно не понравилось бекетовское «оценил». — Ну, бог с тобой, хитрый Бекетов! Хитрый… — Он подошел к столу и отодвинул книгу на середину, давая понять, что она его уже не интересует. — Послушай, Сережа, а как себя чувствует этот человек, за которого ты просил тот раз, а?.. Ну, этот… Сорокин или Воронин, а?.. — Ему надо было переключить разговор со стихов на что-то такое, где бы они были в большем согласии, — надо было сохранить контакт для разговора, ради которого он пригласил сегодня Бекетова. Он полагал, что этому будет способствовать диалог о стихах, но ошибся.

— По-моему, он работает, и хорошо работает, — сказал Бекетов.

— Да, он хороший работник и хороший человек, — произнес Сталин; похвала эта, если учитывать, что он обратился к ней без крайней надобности, могла показаться чрезмерной. И Бекетов подумал, наверно не впервые: если между гневом и великодушием нет даже и одного шага, то причины для гнева не могут быть серьезны. А если они не серьезны, то каково человеку, который стал жертвой гнева, каковы его земное существование, его судьба, наконец? — Вот военные говорят, что необходим удар на Киев, — указал Сталин взглядом на карту, лежащую на столе, — он все еще считал, что диалог «о Сорокине или Воронине», к которому он обратился из откровенно тактических целей, еще не создал того контакта с Бекетовым, который бы позволил ему перейти к главной проблеме сегодняшней встречи, и пошел по третьему кругу: военные дела должны были дать ему эту уверенность, он охотно обращался к ним и чувствовал себя здесь крепко. — Главное — преодолеть Днепровский рубеж. Если удастся, к весне мы выйдем к границе…

— Великое дело выйти к границе… товарищ Сталин, — произнес Бекетов; это «товарищ Сталин», как понимал Сергей Петрович, здесь было не очень уместно, но что делать, если он все еще не решил, как называть своего собеседника. — Это даст такие силы, каких нет и сегодня…

— Тут есть один вопрос, Сережа… — произнес Сталин, приглашая Бекетова пересесть поближе к настольной лампе, — оказывается, «товарищ Сталин» его не покоробило, оно его воодушевило. К тому же, как он точно рассчитал, от разговора о выходе войск на старую границу к тому, о чем он хотел говорить сегодня с Бекетовым, было рукой подать — мост следовало наводить теперь же, и он не преминул этим воспользоваться. — Не исключено, что в конце года я встречусь с Рузвельтом и Черчиллем: надо договориться о самой сути, понимаешь, о самой сути. Как ты полагаешь, о чем могла бы идти речь?

Он и прежде умел сказать несколько слов и выразить ими существенное. Итак, о чем могла бы идти речь? Надо сказать так, как сказал он: коротко.

— Тут много проблем… — произнес Бекетов, как бы размышляя вслух.

— Много мне не надо.

— Если не много, то три, — заметил Бекетов.

— Три — это хорошо, — тут же отозвался Сталин. — Первая? — Он положил на стол руку у самой настольной лампы. Свет был ярким, и была хорошо видна тыльная сторона ладони,

поросшая крупными черными волосами. — Первая? — повторил он требовательно.

— Все зависит от окончания войны, все проблемы. Немцы еще в Новороссийске… Первая: что надо сделать, чтобы добить немца…

— Да, да, — это первая, — подтвердил он — конечно же он понимал не хуже Бекетова, как важна эта задача, но хотел услышать это от Бекетова. — Вторая?..

— Границы… — сказал Бекетов. — Конечно, никакая граница не может быть сегодня щитом, но это важно… Граница — щит.

— Да, граница — щит, — подхватил Сталин — все емкое было ему по душе. — Третья? — он старательно загнул средний палец — при трех загнутых пальцах ему трудно было удержать остальные два, — оставаясь полусогнутыми, они вздрагивали, рука была не такой крепкой, как казалось.

— Судьба Германии, Европы, мира, — сказал Бекетов, — заодно и судьба Британской империи и будущее колониального мира.

— Значит, три?.. Так. Очень интересно.

Казалось, разговор только начался и ничего такого, что Сталин не знал, Бекетов пока еще не сказал, тем не менее собеседник Сергея Петровича произнес воодушевленно: «Очень интересно!» Можно было подумать, что слова эти соотносились не столько с тем, что было сказано, сколько с тем, что будет сказано. Сталин должен был подойти к этому постепенно. У него была способность анализа логического. Если бы он играл в шахматы, он был бы силен в позиционной борьбе. У него был план, и он умел, как говорят шахматисты, накапливать преимущества. Не будучи трибуном, он в открытом споре силой логики мог одолеть оппонента опытного. Было безнадежно сломить его, единоборствуя с логикой его доводов. Много легче давалась победа над ним с помощью средств, которые его недоброжелатели звали «средствами эмоциональными»: он мог отдать себя во власть неприязни, истинные причины которой не всегда были известны даже ему, подобострастия. Даже интересно, как столь примитивные средства могли действовать на него. Нечто вульгарное способно было сбить мысль и опыт, место которых, казалось, в природе всесильно. Чтобы усвоить нехитрые эти средства, не требовалось большого таланта. Бездарность единоборствует с опытом, больше того, над опытом берет верх, если есть особые условия. Наверно, эти условия были, при этом в самом человеке.

— А что будет для нас самым трудным, Сережа? — Сталину определенно нравилось произносить «Сережа» — казалось, оно

возвращало к молодости, создавало иллюзию, что ничего с тех пор не изменилось, при этом и в отношениях с его сегодняшним собеседником.

— Наверное, разговор о границах, — сказал Бекетов не задумываясь.

— Значит, о границах?.. Так. — Он любил это «так» — оно как бы закрепляло в сознании мысль. — А что говорят об этом… там?

— Там говорят, что Сталин потребует новые границы в обмен на неоткрытие второго фронта.

Это его развеселило.

— Значит, взамен на неоткрытие второго фронта?.. Формула! — Он задумался. — Тут нам важно даже не мнение Черчилля, а мнение Рузвельта… Не так ли?

— Да, конечно, — согласился Бекетов. — Рузвельт будет возражать, тут у него особые причины, но он наиболее близок к тому, чтобы нас понять…

— Поймет он нас или не поймет? — произнес Сталин так, будто бы ему противодействовали не только Рузвельт с Черчиллем. — Тут мы будем стоять, как на Мамаевом кургане…

Бекетов подумал: это в его устах не шутка: «Как на Мамаевом кургане». Он сумеет дать бой и отстоять. Сумеет.

— Что еще? — спросил Сталин — беседа набрала известную энергию, и Сталин мог спросить более чем лаконично «что еще», и собеседнику это должно было быть понятно.

— Германия… Режим Германии, — сказал Бекетов. — Тут у нас сильные козыри, и нам надо их пустить в ход, — добавил он даже чуть-чуть агрессивно. — Нужны гарантии, надежные, чтобы ее третий поход на Россию был исключен, да и не только на Россию…

— Германский вопрос? — задумался Сталин. — После первой войны ничего не придумали.

— Надо собрать германистов и придумать, — отозвался на реплику Сталина Бекетов. — Тут должна быть и у нас ясность… Наверное, мы знаем, что хотим, но как преломить это наше желание… и нам не очень ясно.

— Не ясно, — согласился Сталин — ему, наверно, было не просто вот так пойти за Бекетовым и сказать «не ясно», но он сказал. Он полагал, что даже тогда, когда ты со своим собеседником согласен, тебе не следует показывать это слишком очевидно, — каждое такое согласие как бы косвенно свидетельствует: твой собеседник обнаружил нечто такое, что не сумел обнаружить ты, а это уже плохо, поэтому независимо от сути беседы меньше «да», больше «нет». — Что еще?

— Важно видеть наши отношения с американцами в деталях:

не только разногласия, но и согласие… Может быть, согласие здесь даже более важно, ибо делает реальными наши требования… — сказал Сергей Петрович. — Если умело это использовать, выгоды могут быть заметными. — Бекетову не очень нравилось торгашеское словечко «выгоды», но у него не было времени искать другое.

— Какой вопрос? — спросил Сталин.

— Британская империя, судьба Британской империи, — заметил Бекетов.

— Колонии… Индия? — В его представлении, как и в представлении других людей его возраста, Индия была синонимом проблемы колоний. — Ну, у американцев свои причины, у нас свои… — возразил Сталин — в нем возникало желание оспорить какой-то из доводов Бекетова. Проблема колоний давала ему эту возможность — он считал, что проблема колоний какой-то гранью соотносится с другой проблемой, познанию которой он посвятил годы: национальный вопрос. — Это вопрос вопросов, Сережа… — Он задумался, должны были сложиться доводы, их он хотел сейчас высказать. — Пойми меня правильно, — произнес он, все еще не решаясь высказать сути, а Бекетов подумал: наверно, не часто он говорил своим собеседникам: «Пойми меня правильно», а вот сейчас сказал — что так? Знак уважения или веяние новой поры? — Наверное, неизбежно, что власть в колониях унаследует национальная буржуазия, всякие там индийские, индокитайские и индонезийские буржуа, и нам придется иметь с ними дело, а иногда и помогать им, но как это сделать, чтобы они не обратили нашу помощь против коммунистов?.. Я иногда думаю об этом — это не просто, — он сказал «это не просто», и Бекетов подумал, что это действительно не просто сегодня и куда как не просто будет завтра. — Конечно, Британская колониальная империя отправляется к праотцам, и мы с Америкой, пожалуй, заинтересованы, чтобы она быстрее оказалась у этого предела, но по разным причинам… Пойми, Сережа, по разным.

— По разным, — ответил Бекетов. — Но сама процедура разговора по этому вопросу дает нам некоторую возможность, чтобы искать контакта непосредственно с Рузвельтом, минуя Черчилля. — Он взглянул на Сталина, желая убедиться, что думает об этом его собеседник, но тот молчал. — Мне кажется, мы заинтересованы в таком контакте…

— Не наоборот? — улыбнулся Сталин.

— Нет.

— Хорошо… — Он встал, давая понять, что время беседы истекло, — давняя привычка расписывать свой день по минутам

выработала у него это чувство времени, и часы ему нужны были разве только для того, чтобы отличить утренние сумерки от предвечерних. Текущее же время, он брал его как бы на слух. Эти своеобразные куски времени — четверть часа, полчаса, час — он определял безошибочно. — Вот сегодня лежал тут и вспоминал, — он небрежно указал на диван, некрепкие пружины которого как бы берегли едва заметную вмятину; это его замечание «лежал вот тут» призвано было как бы сблизить его с Бекетовым, показать, что и ему не чуждо все человеческое, ну, например, полуденный сон на старом диване, при этом даже вот таком старом и неприглядном, как этот. — Тут лежал и вспомнил оружейника Нила Травушкина. Ты помнишь, какие он делал ружья, Сережа?.. Как воронил, как гравировал, а? А из чего?.. Из труб водопроводных! И закалит, и отладит, и нарежет! Какой был способный человек! И куда он делся?..

Был первый час ночи, когда Бекетов покинул дачу в Кунцеве… Какой-то новой гранью предстал перед Бекетовым в этот поздний сентябрьский вечер Сталин.

В том, как он проанализировал большие проблемы дипломатии, проанализировал и призвал Бекетова сделать то же, было желание познать проблемы, разобраться в них. Наверно, он всегда был близок к дипломатии, но взирал на нее со стороны, сегодня же дипломатия вошла в обиход его повседневной жизни — он вел переговоры.

В начальную пору войны он вынужден был заниматься этим (приехал Гопкинс — с ним надо было говорить), сегодня у него появилось нечто вроде потребности.

Дипломатия была в его представлении родной сестрой политики, а политика — делом его жизни. Мало сказать, что к ней лежала его душа, это была для него сфера в какой-то мере творческая, и известная изощренность ума здесь была от уверенности.

…Когда Сергей Петрович вернулся домой, Екатерина сидела все там же, на диване, привалившись плечом к кафельной печи; она как будто не изменила позы с тех пор, как он ее оставил.

— Это ты? — едва вымолвила она.

— Я, разумеется.

— А я-то… — она умолкла, не докончив фразы, но смысл недосказанного был понятен: «А я-то думала: все началось сначала». — Что ты делал там?

— Слушал стихи, — улыбнулся он.

— Погоди, стихи слушал, так?

— Ну разумеется, так: слушал стихи.

Ее дыхание стало вдруг шумным.

— Я тут на углях, на углях, а он… стихи… Господи!

Бекетов вдруг понял: в том, что ему казалось смешным, ничего смешного не было… От того, что ему казалось смешным, можно было бы и умереть…

— Ты прости меня, Екатерина, — произнес он, опускаясь с нею рядом, и вдруг тревога, какой не было всю эту ночь, охватила его: запамятовал едва ли не о самом главном!.. Да, это можно было назвать и главным — Сталин, очевидно, ждал, что Бекетов выполнит свое обещание и приглашение в гости последует сегодня же, ждал и не дождался… Сразу и не разберешься, что подвело Сергея Петровича: нервы или, быть может, память? Нет, все-таки нервы, напряжение этой ночи. Только сейчас Сергей Петрович понял, скольких сил стоила ему эта ночь и как он устал. Помнится, тогда Сталин сказал Бекетову: «Имей в виду, я не забываю». И оттого что Сергей Петрович вспомнил эту деталь, ему стало еще тяжелее, и он не утаил вздоха.

— Да не случилось ли там такого, что ты не хочешь мне сказать? — спросила Екатерина, стараясь побороть волнение.

— Нет, все было, как я сказал… — возразил Сергей Петрович.

— Тогда ложись, спи, спи — сон все переборет, — произнесла она.

53

Грошев считал, что этот разговор он должен провести одновременно с Кожавиным и Тамбиевым.

Кожавин явился не сразу, и Грошев встал и прошелся по кабинету. Тамбиев внутренне усмехнулся: профессор китайской философии, человек и знаний редких, и ума недюжинного, а походка какая-то несолидная — сеет шажками.

— Две поездки, ответственные… — произносит Грошев, дождавшись Кожавина, и направляется к письменному столу. — Все как было условлено: вы — в Ленинград, Николай Маркович… — обращается он к Тамбиеву. — Полетите с Галуа, да, только с ним, нет, не сейчас, а через две недели, после возвращения корреспондентов из Харькова… Вы, Игорь Владимирович, — в Харьков, вся группа корреспондентов, вылет послезавтра… За старшего в группе — наш новенький… Михаил Константинович.

Тот, кого Грошев назвал «новеньким», пришел в отдел в начале года… Для Тамбиева, да, пожалуй, и не только для него, его возраст был уже почтенен. Перебравшись на Кузнецкий, он в своих мыслях не порывал с Наркомвнешторгом. Он все еще устраивал пушные аукционы, гнал лесовозы в Гамбург, поставлял орловских рысаков в Англию и грозился устроить выставку самоцветов в Сиэтле. Узнав, что в отделе печати его прозвали купцом, он принял это не без гордости, но с одной поправкой: рабоче-крестьянский. Это определение — рабоче-крестьянский купец — было будто создано для него. В его облике было нечто кондовое, мужичье и в то же время — благородное. Приземистый, крутоплечий, с короткими и сильными руками, он был похож на карагач, вросший в скалу, который не в силах свалить ни ветер, ни разлившийся поток, ни лавина, потому что он вошел своими корнями в камень и сам в какой-то мере стал камнем… Выяснилось, «новенький» был отцом большой семьи, но об этом можно было только догадываться. Когда в наркоминдельской столовой к чаю давали сладкие сухарики, он извлекал из пиджака точно припасенный для этой цели аккуратно сложенный лист бумаги и, завернув в него сухарики, прятал в карман. Кто-то поинтересовался, как велико чадо, которому предназначены сухарики, и был немало удивлен, узнав, что чадо не одно, при этом даже младшее достаточно великовозрастно… Он все еще считал себя на Кузнецком «новеньким», не без юмора относился к своим обязанностям в отделе печати, полусерьезно-полушутя заявляя, что ему еще предстоит узнать, что есть дипломатия…

Грошев сказал «вылет послезавтра» — и завертелось, закрутилось большое колесо: началась подготовка к поездке. Тут же были оповещены корреспонденты, в отдел явились генштабисты, на столы легли военные карты… Да, за наркоминдельские столы, по всему виду штатские, департаментские, сели на какое-то время военные, и в жизнь отдела вторглось нечто генштабистское: «Нет, в Белгород везти не стоит. Белгород — это еще сфера огня. Встретить где-то в Волчанске и машинами…»

В канун отъезда, когда Тамбиев пришел в отдел, генштабистов уже не было, да и отдельские уже разошлись. Только неутомимый Грошев воевал по телефону со штабом ВВС (отдел должен знать, когда самолет прибудет на место) да Кожавин сидел над картой…

— Записка с ленинградским адресом при вас, Николай Маркович? — спросил Кожавин, с трудом оторвав взгляд от карты. — Дайте мне на минутку… Хочу вписать адрес еще одних наших соседей в Ленинграде. На всякий случай. Если первых не будет. Вот так… — он вернул картонный квадратик. — Когда я впервые собрался в Москву, у меня было такое ощущение, что я там уже был, — сказал он улыбаясь. — Шел по Москве и ловил себя на мысли: я уже был здесь, я уже был… — Он тщательно сложил карту, засмеялся громко. — Как это получилось, не пойму. Наверно, книги… — Он смотрел на Тамбиева, и свет настольной лампы словно напитал его волосы — обычно матово-русые, даже пепельные, они сейчас были почти золотыми. — А у вас как с Ленинградом?.. Так же?

Он спросил как-то вдруг, а надо было собраться с мыслями. В самом деле, как у Тамбиева?

— Наверно, мы все в плену у памяти… Поэтому все так лично… — сказал Тамбиев. — Лето ли, осень ли, вижу тот январь, тот далекий январь… И Черную речку, и дом на Мойке, и толпы людей, что день и ночь стояли перед тем домом с непокрытыми головами. Вот приеду — и все кажется, что пойду на Мойку… Пушкин, Пушкин…

Кожавин погасил лампу, и разом потускнели его волосы. Золотой отблеск, что лежал на его лице, точно схлынул.

— А я ходил на Мойку осенью, — заметил Кожавин с печальной отрадой. — «Есть в осени первоначальной»… — прочел он певуче, почти пропел. — На Неве какая-то звонкая осень, именно звонкая… Там и август дышит осенью. Нет поры желаннее, и Пушкин весь в этой поре, да и Чайковский это очень точно почувствовал. Во вступлении к «Онегину» есть тема русской осени, которая звучит в опере, как рефрен, очень пушкинская…

Помните? — и он попытался напеть… или как бы наиграть — звучал не голос, а рояль — пианист, он воспринимал мотив, как его воссоздавал инструмент, который он привык слушать, на котором играл. — Помните, помните? — Он все еще имитировал рояль. — Бум, бум, бу-у-у-м!

Они расстались, а Тамбиев все слышал его голос; казалось, ничто его не может размыть, выветрить…

А потом минула ночь, день, еще ночь.

Когда поутру, как обычно, Тамбиев пришел в отдел, первое, что он увидел: мокрое от слез лицо Веры Петровны. Тамбиев взял ключ и хотел уже уйти, когда фраза, произнесенная Верой Петровной — она говорила по телефону, — точно припаяла его к металлической ручке, которой он коснулся, чтобы открыть дверь. Видно, человек на том конце провода был во власти не меньшего отчаяния, и Вера Петровна произнесла: «Здесь еще никто не знает». Тамбиев обернулся. Телефонная трубка уже была на рычажке, и на него были устремлены глаза Веры Петровны, из которых лились слезы.

— Что-нибудь случилось?

— Да.

Она провела по лицу руками и взглянула на них как-то беспомощно, не зная, что с ними делать — они были мокры

— Разом… Игорь и Михаил Константинович, этой ночью, мины…

Тамбиев вышел в коридор, плотно закрыл за собой дверь, — казалось, она способна была защитить от страшных слов Веры Петровны. «Есть в осени первоначальной… Есть в осени первоначальной…» — жил в памяти голос Кожавина. И еще: «Какая-то звонкая осень, именно звонкая…»

Грошев сидел в кресле, придвинутом к окну, охватив живот руками.

— Не помню уже, когда вот так болело… Разверните, пожалуйста, вот этот порошок… Нет, можно без воды.

Тамбиев слыхал, что Грошева мучают приступы, жестокие, большей частью полуночные, сшибающие напрочь, но никогда он не был свидетелем этого. Да вряд ли в отделе кто видел это, хотя для Грошева дом на Кузнецком был и работой, и домом. Грошев стыдился своей болезни, полагал, что не имеет права обременять ею других. А когда приступ валил его с ног, он, собрав силы, тащился до двери и запирал ее изнутри. В отделе говорили: «Тише, пожалуйста, Грошев лег отдохнуть». А на самом деле жестокий приступ корежил Грошева, корежил до тех пор, пока лицо его не становилось угольно-черным. Что вызывало приступ? Одни говорили: бессонница, другие — недомогание. Но было, как

это увидел сейчас Тамбиев, нечто третье.

Грошев свернул бумагу желобком и ссыпал порошок на язык, хотел вытянуть ноги, но потревожил боль и не удержал стона. И вновь Тамбиев увидел маленькие руки Грошева, которые он робко и беспомощно сложил на груди.

— Посидите, пожалуйста. Мне сейчас будет лучше.

Но все произошло не так быстро, как обещал Грошев. Будто сердце набирало силу, согревая кровь: лицо светлело.

— Вот оно, вот оно! — его голос стал внятным. — Там, в этой степи, такая тьма — глаз выколи! — вдруг воскликнул Грошев, слова его были беспорядочны, торопливы. — Где там наши мины, а где немецкие, никто не знает и, наверно, знать не может. Эта степь под Харьковом!.. О боже… она, говорят, переходила из рук в руки раз пять! — Он собрался с силами, чтобы произнести последнее: — Говорят, дорога поворачивала под прямым углом, понимаете, под прямым… — он раскрыл ладонь левой руки и указательным пальцем правой изобразил прямой угол. — Одним словом, шофер первой машины возьми и срежь этот угол… Та, что срезала, проскочила, а вторая пошла вслед и подоспела к взрыву. — Он замолчал; казалось, еще мгновение, и лицо его потемнеет. — Наши были во второй… — Он подтянул ноги, вновь как-то собрался, лицо его тронула эта угольность, какую Тамбиев увидел в самом начале. — Говорят, Кожавин еще жил минут двадцать, но рана была велика, крови не осталось… И все двадцать минут будто не меркло сознание. Очень просил сделать что-нибудь… — Грошев вдруг оперся о подлокотники, попробовал встать, но, видно, сил не было. — Завтра туда вылетает группа наркоминдельцев. Вы представите отдел, Николай Маркович. Поклонитесь праху…

— Семья Михаила Константиновича знает?

— Нет, разумеется… Надо сказать — может, жена захочет поехать с вами.

Вечером они собрались на Мещанскую — где-то у самой выставки стоял большой дом Наркомвнешторга, Михаил Константинович жил там.

Пока ехали от Кузнецкого до выставки — не проронили ни слова. Как войти в дом и что сказать?.. Тьма сгустилась внезапно, и один за другим проплывали мимо траурные дома.

Машина остановилась: здесь.

Вышли. Сделали два шага — что-то не идется. Минута тишины. Вот сейчас и начинаешь понимать, что это такое. Надо отыскать какие-то слова. Их должно быть немного, и, наверно, среди них не должно быть самого горестного…

Подъезд без света, да и площадки на этажах тоже затопила

тьма. Звонок, короткий — не встревожить бы самим звонком.

— Кто это? — женский голос, заметно усталый. — Простите, одну минуту! — вот оно, смятение, началось… — Входите, входите, пожалуйста, — у женщины мокрые руки, и она их заметно стесняется — стирала, в открытую дверь видна ванночка с бельем.

Темноволосая женщина. Взглянула — все поняла и все осталось в глазах, в них уже поселилась тревога. В остальном только печальная внимательность, печальная…

— Заходите, пожалуйста… Вот сюда.

Дождалась, когда сядут вошедшие, села сама. В комнате мало света, и мокрые руки женщины, горестно сложенные, которые она забыла вытереть, заметно отсвечивают.

Как ни мало слов, которые должны быть произнесены, их надо сказать, и самое страшное: то, что следует сейчас сказать, должно напрочь исключить это слово, это страшное слово, но не должно быть неправдой.

— Произошла авария. Кажется, ранение… С рассветом вылетаем… Быть может, вы с нами?

— Да, конечно, — сказала женщина.

Тишина. И в комнате рядом — тишина.

Железо прошло по живому… а женщина, что сидит напротив с мокрыми руками, вся ушла в себя.

Стыдливо ее горе.

…Утром, когда на ветреном поле аэродрома, уже по-сентябрьски желтом, стоял самолет с запущенными моторами, принесли газету.

Четвертая полоса «Известий». Сто строк. Чтобы вот так увидеть в траурной рамке имя человека, которого ты не только в сердце, но и в сознании своем считаешь живым… Газета обошла всех, кроме женщины в темном пальто, что одиноко стоит в стороне. Какой у нее была эта ночь и как она поняла те несколько слов, что были произнесены вчера?.. Все так же сурово прекрасно и как будто спокойно ее лицо, только в глазах страх.

А потом три часа полета. И темно-зеленое море леса, и желтое море сентябрьских полей, уже сжатых.

Оно еще простиралось, это поле сентябрьское, без видимых признаков аэродрома, когда самолет пошел на посадку.

И вот такое, наверно, запомнишь на всю жизнь.

Тамбиев видел, как в этой степи у каждого нашлась своя тропа. Она, эта тропа, наверно, была очень нужна человеку, чтобы остаться со своими мыслями. Была эта тропа и у женщины в темном пальто. Когда женщина вернулась к самолету, в руках у нее была газета; как думает Тамбиев, та самая газета, что не

показали ей в Москве и показали здесь… По всему, сама степь охранила тебя от чужих глаз. Ты едва ли не одна на эту степь. Высвободи беду — дай волю крику!.. Но горе ее было немо — она точно заковала его в сердце, если вырвется, то взломав броневой панцирь.

А потом был степной поселок: улицы, мощенные булыжником, дощатые заборы, в эту сентябрьскую сушь серебристо-серые, невысокие дома под железом, тронутым ржой, дежурная труба кирпичного завода… И на свежевырытой земле, еще рыхлой, не успевшей обветриться, три гроба. Два заколоченных, один открытый… Бледное лицо, неестественно бледное, и эта шея с родинкой у самой мочки уха, и матово-русые волосы… Если бы не кровь, запекшаяся на губах, можно было бы подумать, что они сейчас раскроются.

Тамбиев достал кожавинский картонный квадратик, тот самый бледно-лиловый — карандаш не стерся. Видно, Игорь Владимирович волновался в ту минуту — карандаш вдавился в картон, и на обратной стороне запись как бы повторилась… «Есть в осени первоначальной… первоначальной… — вдруг возник голос Кожавина. — Есть в осени первоначальной…»

54

Они вернулись в Москву на другой день, но грошевский кабинет оказался пуст — так бывало не часто. В последний приступ Грошева увезли домой — не было бы приступа, пожалуй, и дорогу забыл бы к родному дому.

Тамбиев позвонил ему.

— Похоже, что я выйду дня через три, а дела, как я понимаю, не ждут… Приезжайте.

Кто-то рассказывал Тамбиеву: жена у Грошева — этнограф. Одно это уже чуть-чуть экзотично, а в сочетании с исследованием, которому она посвятила себя, экзотики не убавилось, а прибыло: американские индейцы. Вот так: древняя китайская философия и американские индейцы. Интересно побывать в таком доме.

Но дом, казалось, не показывал увлечений своих хозяев. Он, этот дом, будто говорил: до древней ли китайской философии и до американских индейцев ли нам, когда огонь так силен, что осыпались стекла, и пламя, того гляди, ворвется сюда.

Да и хозяйка за те два часа, которые Тамбиев пробыл у Грошева, виду не подала, что в мире есть американские индейцы, — может, на ее взгляд, не та степень знакомства, когда надо открывать заповедное, хотя Тамбиев не мог пожаловаться на недостаток приязни. Даже наоборот, Николай был встречен так приветливо, что, откровенно говоря, подумал: об отношении к тебе хозяина надо судить по хозяйке. Может быть, и это она как-нибудь скрыла бы, да всевышний не наделил ее наркоминдельской сдержанностью.

Итак, Тамбиева встретила тоненькая женщина, молодая, кажущаяся почти юной — благодаря статности, гибкому стану. Во взгляде, которым она как бы невзначай окинула Тамбиева, Николай Маркович уловил участие, испытующе печальное. Будто женщина хотела понять, как все то, что произошло в донской степи, воспринял человек, пришедший к ним, воспринял и сберег.

— Андрей Андреевич просит вас.

От обилия белых простынь, в которые окунули Грошева едва ли не с головой, лицо его кажется землистее обычного, да и губы лиловее, чем всегда.

— Садитесь вот сюда, Николай Маркович, тут я вас буду хорошо видеть… — он усаживает Тамбиева против окна, к которому сам лежит спиной. — Вернулись?..

Он слушает Тамбиева, и его веки печально смежены. Рассказ не пространен, да и чего ему быть пространным.

— Эта минная… степь, — говорит Грошев, не открывая

глаз. — Через нее и днем проложить дорогу мудрено, а каково ночью?.. — Он натягивает одеяло едва ли не до подбородка — его определенно знобит. — Накануне того, как это стряслось, нарком говорит мне: «Наше посольство в Лондоне вновь просит отпустить к ним Кожавина…» — Он кладет руки на одеяло — оттого что они так смуглы, они кажутся Тамбиеву худее. — Согласитесь, Николай Маркович, чем-то он напоминал молодого Горчакова, не правда ли, похож, а?

Даже интересно: разные люди, наверняка не сговариваясь, говорят об одном и том же.

Входит хозяйка с подносом. На нем никелированный кофейник и фарфоровые чашечки. На такой же, как чашки, тарелочке — сухарики. Все так интеллигентно, что скудность грошевских припасов даже не обнаруживается.

— Простите, Николай Маркович, не хотел вас тревожить, да иного выхода нет, — говорит Грошев, прихлебывая кофе. — Надо лететь в Ленинград…

— Надо так надо, — говорит Тамбиев, понимая, что деятельный Грошев пригласил его к себе, имея в виду ленинградскую поездку. — Надеюсь, не сегодня, Андрей Андреевич?..

— Послезавтра.

— Послезавтра — так это целая вечность!.. Я готов.

Грошев допивает кофе, приподнимается, чтобы поставить чашку на стол — он это хочет сделать сам.

— Нарком полагает, что ленинградская поездка Галуа в нынешних условиях была бы полезна, — замечает он, снова натягивая одеяло; кофе согрел его, и с лица ушла землистость.

— В нынешних условиях?..

— Да, в нынешних… — Глаза Грошева выражают легкое изумление. «Разве не понятно?» — точно спрашивает он. — Мир должен знать и на примере Ленинграда: проблема границ не праздная наша выдумка.

— У конференции в Москве есть свой пролог?

— Можете назвать это и прологом к Москве… — говорит Грошев.

— Вы полагаете, что Галуа способен сделать здесь погоду? — спрашивает Тамбиев — в самом деле, не преувеличивает ли Грошев возможностей Галуа.

Казалось, Грошева это воодушевляет.

— Очень хорошо, что вы об этом заговорили, Николай Маркович… — произносит он — по мере того как в нем растет интерес к беседе, недомогание отступает. — Мне все время хотелось вам сказать, да как-то не удавалось… — Он

задумывается. — Мне нравится, что ваши отношения с Галуа носят в какой-то мере и личный характер, при этом он допускает, как я понимаю, разговор с вами на свободные темы… По-моему, это надо сберечь. Теперь о самом Галуа. Действительно, так ли важна его поездка в Ленинград и не обманываемся ли мы, когда думаем, что это важно, важно всегда и особенно сейчас?.. По-моему, не обманываемся… Мнение Галуа о том, что происходит сегодня в России, для европейского читателя авторитетно, как ни одно другое мнение, если говорить о мире западной прессы… К тому же Ленинград для Галуа нечто большее, — Грошев плотно смыкает губы — сомкнул так крепко, что они перестали быть лиловыми; по всему, он намеревался сказать сейчас нечто значительное. — Если в итоге поездки Галуа в Ленинград будет книга, а он, как вы помните, не оставляет этой мысли, она обойдет половину земного шара…

— Галуа уже знает?

— О вылете? Нет, разумеется. Можете сказать ему сами… Даже хорошо, если это скажете вы.

Тамбиев решил действовать в том темпе, какой сообщил этому делу Грошев: явившись в отдел, Николай Маркович попросил секретаря соединить его с Галуа.

Телефонный звонок из отдела печати для Галуа — явление не столь уж редкое, но нынешний звонок встревожил его порядочно. В иное время он бы еще пожеманился, дал бы волю и меканью и беканью, подумал бы, допускает ли такую поспешность протокол, и, чем черт не шутит, заставил бы работать на себя время — пауза, она ведь всегда спасительна. В иное время… но сегодня! Разумеется, если нужно, он будет в отделе тут же.

Тамбиев взглянул на часы и подумал: Галуа сию секунду тоже смотрит на часы. Если идти пешком, то от «Метрополя» до большого дома на Кузнецком доберешься минут за двадцать… Двадцать минут — это же бог знает сколько! У Галуа нет причин так думать, но за двадцать минут белое может стать черным, «да» обратиться в «нет», поездка в Ленинград — в поездку по Подмосковью…

Галуа родился в городе на Неве и покинул его, когда стал почти взрослым. Мир этого города, в сущности, олицетворял для него большой мир России. Приезд Галуа в Москву еще не был для него возвращением в Россию. Может, поэтому, если было у человека сильное желание, желание, которое шло за ним изо дня в день, из ночи в ночь (сон не давал избавления), то это было возвращение к «хладным невским берегам». Чужбина, постылая, обострила все мысли о России и сделала возвращение в Россию, а ею был Ленинград, трижды желанным. Для Галуа Россия была

родиной, а тот мир чужбиной? Тамбиев был убежден, что все было именно так, а не наоборот, хотя, когда это касалось Галуа, любая формула должна была сопровождаться оговорками.

Николай Маркович еще раздумывал, какие мысли сейчас одолевают Галуа, когда раздался стук, особый, скребущий — так стучал только он. Дверь распахнулась, и на пороге возник Галуа, тяжело дышащий, едва ли не загнанный, с этим своим ребячьим румянцем, ярко-розовым, непорочным, который точно в насмешку дала ему природа.

— Ох, сердце зашлось — дайте попить!.. — Он пил с неутолимой жадностью, жилистая шея напряглась, вода булькала. — Верите, мчался, ног под собой не чуя… точно стал я коренником в птице-тройке!.. — он вдруг расхохотался, беспричинно и счастливо. — Ну, летим в Ленинград, Николай Маркович?

Тамбиев смутился: ничего не скажешь — проник Галуа…

— Но я вам об этом не говорил.

— Не говорили, так скажите сейчас: летим?..

— Летим, Алексей Алексеевич.

Он как-то косолапо притопнул, захромал к Тамбиеву, протянул руки:

— Спасибо, большое спасибо…

— Это не меня надо благодарить! — возразил Тамбиев.

— Ну, передайте там кому надо — спасибо, одним словом… — Он опустился в кресло. — Фу, устал и как-то поглупел… Мигом обратился в дурака! Ну, это от доброй вести… Простите, пожалуйста. — Он закрыл глаза, как на молитве, скорбно замотал головой. — Господи, как же долго я ждал этого дня… — Он взглянул в упор на Тамбиева: — Очевидно, перелет будет не простым, а? Ночью, через линию фронта, посадка в черте города, да?

— Возможно, и так…

Тамбиев знал: если бы дорога к Неве лежала через ад, то и в этом случае Галуа дал бы согласие.

— Скажите: я на все согласен…

— Я уже сказал.

— Спасибо и за это.

Они вылетели часов в десять утра.

…День был ясным и каким-то светло-русым с краснинкой — осень принялась в этом году рано, сколько было доступно глазу — пламенел клен, его текучий огонь не могла притушить даже высота, на которой шел сейчас самолет.

К полудню были в Хвойной.

— Это и есть «подскок», Николай Маркович?

— Именно.

— Значит, ждем ночи, а потом над водой?..

— Наверное.

Когда до полуночи оставалось минут сорок, самолет взлетел. Похоже, что шел он над оврагом или поймой высохшей реки — по одну и другую сторону почти отвесно стоял лес. Как только самолет не коснулся кончиком крыла деревьев!

Галуа сидит где-то в хвосте. Там, пожалуй, болтает посильнее, чем на носу, но он терпит. Тамбиев пробовал его уговорить: «мессеры», мол, бьют в хвост, но у того свой взгляд: «По мотору». Внизу вода, свинцово-черная, литая. Когда шли над сушей, самолет точно искал защиты в неровностях суши, а как над водой? Будто можно скрыться в свинцовой пучине, а потом вновь возникнуть над ее гладью? Или расчет в ином: самолет так слился с водой, с ее цветом и движением, что его не приметишь ни с фланга, ни снизу? А как шум моторов? Куда упрячешь его? Звук не гасится водой. Наоборот, ударяясь о ее поверхность, он точно разбрызгивается по сторонам. Озеро, как чаша римского театра, резонирует. Галуа покинул насиженное место, подсел к Тамбиеву.

— Вспомнил сейчас: когда мы уезжали из России, я был не таким уж несмышленышем, и отец мог сказать мне: «Алексей, ты понимаешь, что делаешь?.. Ты уезжаешь навсегда. Пойми: навсегда».

Он, видно, долго обдумывал эти слова, прежде чем произнести их сейчас. Видно, середина Ладоги во фронтовую полночь стала и его исповедальней.

— Я ответил отцу: «Понимаю», а сам был, простите меня, олух олухом! Я тогда не мог взять в толк, чем явилось для меня мое невское детство, как и он, я думаю, не понимал. Человеку кажется, что он волен делать с природой что хочет, что он перехитрил ее. Ерунда! Память, например… Есть такое свойство памяти: она в детстве как чистый лист бумаги — все воспринимает и все запоминает навсегда… Вот человек, подобно мне, убедил себя, что сбежал от своего детства… Иллюзия! Во мне нет сил сбежать от своего детства! Я это чувствовал всегда и сию минуту больше, чем всегда…

Нужно усилие, чтобы проникнуть в эти его философские этюды. Часто этюды — иносказания и призваны маскировать нечто такое, о чем ему говорить неудобно. У этих его этюдов есть своеобразный ключ. Чтобы расшифровать этюд, надо нащупать его ключевое слово и заменить его, как сейчас, например… Он говорит «детство», а должен был бы сказать «Отечество». Поставь

на место одного слова другое, и все встанет на свое место тут же.

— А может, это больше, чем детство?

Он встревожился:

— Родина?.. — и умолк. — У меня была нелегкая жизнь, Николай Маркович, — произнес он мрачно. — Не хочу, чтобы вы меня считали лучше, чем я есть на самом деле, да вас и не убедить в этом, но в свое оправдание скажу… Я видел такое, что не дай бог вам увидеть, и жизнь меня ломала жестоко…

Вот на какую высоту его надо было поднять, чтобы он сказал это. Второй раз уже не скажет. Все определено этой ночью, а она не повторится.

Самолет приземлился…

Последние полчаса самолет шел в темноте — истинно хоть глаз выколи. Как он нащупал землю и вышел к аэродрому, который, как это было видно сейчас, находился в самом городе, просто чудо. Как ни точны приборы, они не всесильны. Вернее, всесильны, если есть опыт и капелька интуиции — она необходима.

55

Под ногами земля, каменистая, прикрытая скудной травой, аэродромная, и артиллерийский гул; да, он именно под ногами — прежде чем его отразит небо, от него вздрагивает земля — он будто идет из самого чрева ее, накатываясь волнами.

Тамбиеву кажется, что Галуа окаменел: где доказательства, что это Ленинград? Для Галуа доказательства? Нельзя же принять за Ленинград неясную гряду облаков, которая очерчивается слева при свете слабых зарниц, да очерк деревьев, что можно разглядеть на краю взлетного поля, если напрячь зрение. Где доказательства, что это Ленинград?

Аэродромная проходная осталась позади, и, судя по всему, автомашина вошла в город, — наклонившись, можно рассмотреть дома, темные и с виду нежилые.

— Простите, какая это улица? — Галуа наклоняется к шоферу.

— Проспект Обуховской обороны…

— А раньше как он назывался?

— Раньше? Убейте меня — не знаю.

Галуа вздыхает и с еще большим напряжением всматривается во тьму. Блеснула трамвайная колея, на остановке застывший трамвай…

— А эта улица?

Шофер медлит с ответом — боится ошибиться:

— Кажется, Марата…

— А ее… старое название?

Шофер обескуражен:

— Ей-богу, не знаю!

Галуа вздыхает, пригибаясь все ниже, устремив взгляд вперед: там в неверной мгле отсвечивают плоские камни широкой мостовой.

По всему, Галуа что-то узнал: он вздохнул, вздохнул и заметался. И, точно откликаясь на его тревогу, вспыхнула зарница зенитного огня, одна, вторая.

— Смотрите, смотрите: шпиль Адмиралтейства! Шпиль, шпиль! О господи: Невский!.. Остановите, ради бога, остановите!

— Не положено здесь…

— Я вас прошу.

Машина останавливается.

Галуа стоял посреди улицы. Зенитки умолкли. Тьма была глухой — ничего не видно. Но он видел, а может, убедил себя, что видит.

— Невский, Невский… — твердил он, как молитву.

Вновь стал слышен артиллерийский гром, теперь явственный, накатывающийся волнами.

Машина двинулась дальше, медленно повернула.

— Вы нас везете в «Асторию»?

— Да, велено в «Асторию»…

Машина подошла к гостинице — Галуа ринулся во тьму, там маячил Исаакий, потом остановился.

— Все как было, все как было…

Лестница, точно лесная стежка, повела их в гору. Именно точно лесная стежка: по одну и другую сторону от лестницы было темно и, казалось, необжито.

Только на третьем этаже засветился огонь поярче и повеяло дыханием очага.

Галуа тревожно озирается: «Астория» ли это?.. Белая, с золотом, чуть тускловатым, мебель… Видно, «Астория». Если он бывал здесь прежде, должен был запомнить: эта мебель здесь с давних времен.

Галуа опускается в кресло, забыв снять пальто, смотрит на кровать, укрытую тяжелой парчой.

— Там, понимаете, там… — он тычет пальцем куда-то в стену, — там моя Моховая и дом, в котором я родился… — Он закрывает глаза, лицо его поблекло, погас румянец, да и губы, обычно ярко-пунцовые, побледнели. — Можно было бы побежать туда, да как побежишь?.. Вот… — он прислушивается: бьет артиллерия, бьет с ритмичной последовательностью, точно отсчитывает страдные минуты, — немецкая артиллерия. — А знаете, о чем я сейчас подумал?.. Накроет снаряд, и Моховой не увидишь…

— А если накроет после Моховой? — смеется Тамбиев.

— Согласен, честное слово, согласен… — Галуа смотрит на часы. — Три часа до рассвета, целых три часа…

Все еще бьет артиллерия, кажется, снаряды ложатся все ближе: перелет, недолет, перелет, недолет… Не иначе, немцы взяли под обстрел и «Асторию»… Но сон накатывает все больше, вопреки методическим ударам немецких пушек, накатывает и полонит.

Только Галуа и сон не берет. На рассвете он будит Тамбиева:

— Не могу ничего с собой поделать, пойдемте скорей на Моховую…

Нет, они не идут, они почти бегут. Прохожие останавливаются и смотрят вслед: что-то странное в этом беге, такое, что понять мудрено.

— Все осталось, как было прежде, — говорит Галуа, переводя

дух. — Как-то неожиданно: все как прежде.

Это он себе внушил: как прежде. А на самом деле так ли было? В городе будто нет штатских: гимнастерки, гимнастерки… «Опасно — эта сторона улицы обстреливается!» — краска свежая. Зенитное орудие посреди скверика, грозный перст ствола устремлен в небо… В двух шагах от зенитки женщина роет картошку.

Они вбегают на мостик.

— Моховая! Моя Моховая… Вот сюда, пожалуйста…

За решетчатой оградой на солидном каменном цоколе многоэтажный дом, — такие строило страховое общество «Россия».

— Вот здесь сидел швейцар! Сюда, пожалуйста…

Он хотел бы взлететь по лестнице с прежней легкостью, но останавливает нога, да и не только нога, — видно, не пускает и сердце.

Третий этаж — дверь в квартиру открыта.

— Господи, здесь… — Перед ними не коридор, а скорее холл, в который выходит несколько комнат. — Здесь была наша гостиная, а это — детская, папин кабинет, столовая… Погодите, а это что? — К двери прикреплена записка, тетрадная обложка с таблицей умножения, буквы вразброс: «Варя, был во вторник. Буду жив, явлюсь в субботу. Глеб».

— «Буду жив»? — Галуа смотрит на Тамбиева ошеломленно. Увидел бы эту записку где-то в ином месте — может, и не обратил бы внимания. Но здесь, рядом с «папиным кабинетом»… — Как вы полагаете, Николай Маркович, солдат написал?

— Может, и рабочий… со «Светланы» или там… Путиловского.

— Живет на заводе?

Кажется, солдатская записка возвратила его в нынешний день. Они пошли вниз — он устал и больше обычного заносил ногу, спускаясь с лестницы.

— Я вам говорил, что здесь сидел швейцар… Говорил?

— Да.

Во дворе играют дети — детский сад вышел на прогулку. Галуа устремляется к ним,

— Дети, дети… спойте песенку! — просит он, оживившись, это не очень похоже на него, этакая сентиментальность.

Дети подходят к нему, смотрят с хмурым любопытством — просьба его, пожалуй, и для них необычна.

— Спойте…

Лица детей, и без того хмурые, становятся строгими: да и в

голосах суровости хоть отбавляй — сбивчиво, но упрямо, на той горькой ноте, на какой пели в незабываемую ту пору, дети выводят слабыми своими голосами:

— Пусть ярость… Пусть ярость благородная…

Они выбираются из каменного дворика, Галуа стоит, держась за ограду, — силы разом покинули его.

— Вот оно, воспитание под Верденом! — вдруг произносит он, и Тамбиев видит, что глаза его застлала предательская влага. — Значит: «Буду жив — приду в субботу», да… — Он хочет заговорить о чем-то ином и овладеть собой, но ему не удается. — Вот сейчас подумал… хочу на завод, тот, что держит оборону. Ну, хотя бы на Путиловский, можно?

— По-моему, это совсем рядом с фронтом, — говорит Николай Маркович. — Немцы — в трех километрах.

Они возвращаются той же дорогой, какой пришли на Моховую. Но в этот раз Галуа видит все: и обилие военных на улицах, и зенитки в тени деревьев, и свежую краску на фасадах — «Опасно — эта сторона обстреливается», и картошку посреди скверика… Возвращение из Петербурга в Ленинград совершилось.

— Значит, от завода до немцев — три километра?

— Три.

С завода прислали машину: коли иностранный гость хочет на Путиловский, готовы принять.

А немецкие пушки бьют с неумолимой последовательностью: га-ах! га-а-х!

Уже за Нарвскими воротами машина останавливается.

— Видите? Нет, повыше возьмите, повыше. Ну, не Иван Великий, а все ж таки высоко… Вот там, на макушке, — пункт наблюдения. И завод и немцы как на ладони.

Лестница ввинчивается в небо. Чем выше, тем громче эти вздохи: га-ах! Вот и площадка.

Не труба подзорная, а пулковский телескоп.

У трубы — желтоволосая девушка. Ест яблоко — не на ленинградской ли земле оно вызрело, такое смугло-красное?

— Огонь откуда?

— Все с завода… пишущих машин.

— Можно посмотреть?

— Да, пожалуйста…

Девушка отложила яблоко. Оно лежит на крутом боку. Когда ветер напирает, яблоко вздрагивает.

— Путиловский… там, где сожженное деревцо?

— Да, это и есть наш литейный цех.

Галуа приникает к стеклу.

— Через поле от литейного — немцы?

— Через поле.

Он не отрывает глаз от стекла — ему надо соотнести расположение наших и немецких позиций.

— А бьют они оттуда, где эти руины?

— Дождитесь выстрела… Видите? Облачко едва приметное?.. Теперь быстро обернитесь, да, да на город! Видите, столб сизого дыма? По-моему, это тот самый снаряд.

— Это что же… снаряд описывает кривую у вас над головой?.. — спрашивает Галуа.

Девушка берет недоеденное яблоко, принимается за него без прежнего аппетита:

— Да, конечно.

Галуа вздыхает.

— Сколько вам лет?

— Пятнадцать с половиной.

— Семья… в Ленинграде?

— Отец был… в литейном завалило, — она оперлась о парапет, охвативший площадку, взглянула вниз — завод был там. — В феврале… — она положила яблоко — теперь уже не было силы доесть.

Вот и завод. Ворота распахиваются, едва машина приближается к ним, будто в самой машине есть нечто такое, что способно открыть их на расстоянии.

Галуа выбирается из машины, не без тревоги смотрит вокруг:

— Вот он какой, Путиловский… Гроза!

Да, он так и сказал: «Гроза», вложив какой-то свой смысл в это слово. Быть может, вспомнил то, что отодвинуто больше чем на четверть века. И тогда ведь Путиловский был грозой… Октябрь, как его увидел мир в девятьсот семнадцатом, возник где-то на булыжных площадях Путиловского.

Они заходят в кабинет директора.

— Господин Галуа?.. Честь имею: Николай Пузырев — директор… — Мужчина поворачивается к Тамбиеву: — Знал бы, что буду принимать иностранного гостя, — побрился бы… Вчера у нас такое было — ох господи!..

Щетина у него действительно знойная, да и только ли в щетине знойность? В бровях, чуть сросшихся у переносья, в губах, заметно коричневатых, в плитах румянца, в отливе кожи.

— Пожалуйста… прошу вас, — это опять к Галуа. — Курить будете?

Пузырев докурил папиросу, дотянулся до пепельницы, с заученной небрежностью загасил, вдавив в дно.

Галуа взял пепельницу: осколок снаряда в виде желоба.

— Немецкий снаряд?

Пузырев взглянул почти весело.

— Да, ребята из литейного обнаружили в бочке с водой. Упал и вскипятил чайку на целый цех.

Галуа улыбнулся невеселой шутке.

— Я ходил с конвоем в Мурманск, так на корабле такой осколок угодил в кухонную кастрюлю.

— С конвоем, говорите?

— Да, а что?

Нет, не бледность, а тревожная беловатость тронула небритые щеки Пузырева.

— Нет, ничего.

Но Галуа забеспокоился:

— Мне показалось, вы хотели что-то сказать…

— У меня жена ходила с конвоем, — произнес Пузырев.

Галуа засмеялся: казалось, невелика причина для радости — жена Пузырева ходила с конвоем. Галуа точно преодолел рубеж, разделявший их с Пузыревым. После этого разговор может пойти легче.

— Что говорит… мадам Пузырева?

Пузырев смутился.

— Говорит, что народ нас понимает лучше…

— Лучше, чем кто? — тут же реагировал Галуа. — Лучше, чем… Черчилль?

Пузырев погрозил гостю пальцем — ему хотелось свести этот разговор к шутке, иного выхода не было.

— Нет, о Черчилле мы тот раз не говорили, — сказал он, усмехаясь. — Одним словом, народ лучше понимает.

Пузырев встал: все предварительное было сказано, надо было переходить к делу.

— Может быть, начнем с передовой?.. — спросил он.

— В каком смысле? — легкое беспокойство объяло Галуа.

— В прямом: пойдем в литейный…

— Ну что ж… а я, признаться, хотел вас просить об этом.

— Ну, тогда тем более.

Они пошли. Пузырев хочет идти вровень с гостями, но нет, нет, его выносит вперед.

— Литейный… выдвигается утесом?

— Да, пожалуй, утесом.

— А нельзя ли было его отодвинуть вглубь?

— А зачем? Отодвинуть вглубь — значит выдвинуть кого-то вперед… Надо же быть кому-то впереди, верно?

Галуа вздыхает, Иносказательный смысл последних слов Пузырева понятен и ему.

— Верно.

Они идут по цехам.

— Прежде много женщин было на заводе?

Пузырев невольно осматривается: гость точно приметил — редко встретится мужчина, все женщины.

— Нет, Кировский держался на мужиках. А потом, в начале войны, сколотили Кировскую дивизию — ах, какой народ ушел с завода! Знаменитые бои под Лугой и Пушкином в сорок первом — это все наши, кировцы!.. А потом пошли самолеты на восток, тоже поулетали — один другого лучше! Кто остался, будто врос в завод, да об этом я расскажу… К старикам пришли новенькие — а знаете, у женщин есть такое, что для завода бесценно, особенно в эту нелегкую пору…

— Свободны от мужских пороков? — засмеялся Галуа, но Пузырев как бы не принял его улыбки, не хотел принимать — жило в нем сейчас что-то такое, что отвергало шутку Галуа.

— Тут все много сложнее: чувство долга, душевные качества, хотя сил у нее меньше, чем у мужика. Заметьте: и душевные. Вы скажете: «А мужчины?» Все верно, но есть тут и беззаветность, и рвение, и беспамятство, и прилежание, и дерзость, часто доходящая до крайности, и робость. Как ни ладится дело в руках женщины, как легко ни дается оно ей, втайне она, так смею думать я, считает себя младшей, а это не так плохо: скромность отсюда, а согласитесь — это не самое худшее из человеческих качеств. У женщины путь длиннее, чем у всех других: ей надо утвердить себя еще и в своих глазах. Тут есть своя психология… не надо отворачиваться от нее…

Тамбиеву было интересно наблюдать Пузырева, все более пристальным было и внимание Галуа. Все происшедшее на заводе в эти военные годы сообщило его мысли и его зрению нечто такое, что давало ему возможность видеть в человеке потаенное, скрытое от других. Когда он говорил о том, что от психологии не надо отворачиваться, он имел в виду и это.

Литейный цех встретил их лиловой тьмой и мерцающим огнем печей.

— Поберегись!.. — только по голосу и поймешь, что женщина, однако сколько ей лет?.. Тьма да густой слой сажи скрыли все. В неярком свете, что проник в цех через открытую настежь дверь, большой кусок земляного пола, казалось, взрыт заново, взрыт и выровнен, старательно, только утрамбовать не успели.

— Вот оно…

— Снаряд?

— Да. Вчера на исходе дня.

— Обошлось?

Молчание.

— У нас кладбище на заводе…

Галуа обернулся: из тьмы на него глядели глаза, немигающие… Они точно родились из тьмы и стали рядом.

— Кто-то из ваших подруг? — вопрос обращен туда, где возникли глаза. — Да?

Тихо, только слышно, как шумит огонь в печи.

— Ну, скажи… Лиза, скажи, — это Пузырев, он всех здесь знает по именам. — Ну?

— А что говорить?.. Веришь, товарищ директор, все опостылело: и руки опустились, и душа ни к чему не лежит…

— Вот что, Лиза: а может, тебе отдохнуть на природе? Поди в завком, скажи, что я просил…

— Не надо, я уж со всеми…

Глаза как возникли из тьмы, так и исчезли.

Но Пузыреву уже трудно идти дальше.

— Все от этого, — глядит он на вскопанный пол. — Как грохнет, как тарарахнет, все идет кругом… если даже кости соберешь, все одно ни на что не способен. Вот так ходит во тьме и плачет… Нет, это я верно насчет природы: пусть отдохнет… — Он кричит во тьму: — Петр Тимофеевич, где ты?.. Колесникова кликните там! Пусть скажет в завкоме, чтобы путевку Лизе дали… — Он обращает взгляд на Галуа: — Вот так-то… мужик бы совладал с бедой легче, правда? — Он ведет гостей в конец цеха. Там провал в стене — видно, снарядом проломило. — Видите?.. Даже не поле, а пустырь, при этом не такой уж неоглядный, а?.. По ту сторону пустыря — немцы. Вот она, передовая… Истинно под дулом немца ковали оружие, причем немцы об этом знают… — Он отыскивает кирпичи, складывает нечто вроде скамеечки себе и, точно приглашает сделать это же гостей, усаживается не без удовольствия — путешествие по заводу стоило ему немалых сил.

Приходит Колесников. Наверняка только что стоял у огня — светозащитных очков не успел снять. Увидел гостей, поклонился сдержанно.

— Что это у тебя, Петр Тимофеевич, с Лизаветой?.. — Колесников — ни слова. Хотел было снять очки, да, взглянув на руки в саже, оставил. — Я говорю: что с Лизаветой?

— Так что скажешь?.. Среди тех, кого вчера покосило, подружка у Лизы была… Ну, эта… Римма, что в тельняшке все ходила, да у нас меньше ее не было. Вот вчера ее… осколочком. Осколочек с гривенник, чиркнул, и все. Она в том углу шихту сгребала. «Где наш матросик?» Ее матросиком величали. А

матросик упал на шихту ничком и притаился. Перевернули — понять не можем. Вроде целая, а не дышит… Потом приметили — след от этого гривенничка… Вот Лизавета после этого какая-то не своя. Заберется в угол и плачет. Благо, углов темных много… Дом отдыха? Да поможем ли?.. Дом отдыха, он ведь не от всех болезней лечит…

56

Пузырев достал карманные часы — они лежали у него на ладони, толстые, прикрытые гравированной крышечкой, чуть помятой. Видно, директор гордился своими часами.

— Вчера они начали бить по заводу в семь. — Он нажал на кнопочку, часы неохотно полуоткрылись, поддел крышечку указательным пальцем, глянул на циферблат, неожиданно новый — крышечка сберегла. — Значит, у нас есть еще минут сорок тишины.

Галуа сел на невысокий кирпичный парапет и, отодвинувшись к краю, усадил рядом Тамбиева.

— Женщины не уйдут в убежище?

— Не всегда можно уйти, — отозвался Пузырев. — Печи держат…

Поле, открывшееся сейчас в пролете разрушенной стены, казалось темным, травы было мало — и ее не пощадил огонь. Стояла сосенка с отсеченной макушкой — макушка была срезана чисто, — видно, осколок был острым. Очерчивались в сумерках руины кирпичного сарая — по всему, в сарае был бидон с мазутом, кирпич обгоревшего сарая стал антрацитным. С сосенки снялась сорока, старая, не без труда несущая свое громоздкое тело, и перелетела на кирпичную стену, потом вернулась обратно — было чуть-чуть странно, как сорока уцелела на этом поле, которое огонь перепахал так основательно.

— Вот говорят, что на фронте слово «окружение» действует на молодых бойцов гипнотически… — произнес Пузырев. — Да и история говорит о том же: весть об осаде нередко вызывала среди осажденных смятение. А вот тут произошло иное, хотя было все много тяжелее, чем обычно… Осада была полной, и все, чем отмечен наш быт, свидетельствовало об этом: полная, полная, хотя во всем был свой железный цикл, своя очередность… Будто кто-то бил кувалдой по рельсу: раз, два, три! На заводе погас свет — раз, ушла вода, а с нею и тепло — два!.. Признаться, когда ушла вода, на какой-то момент объяло смятение: без воды на заводе невозможно… Проложили трубу к заливу, стали качать: да разве этой воды будет достаточно, когда на завод сыплются зажигалки… Пошел в ход снег, да как пошел — ни один цех не сгорел… Но главное, конечно, хлеб. Был лозунг эпохи военного коммунизма: «Они хотят задушить нас костлявой рукой голода». Ну, лозунг как лозунг. Пока он был лозунгом, как-то и не воспринимали его, даже, может быть, втайне считали слишком обнаженным: костлявой рукой!.. А теперь почувствовали весь его

зловещий смысл… Уже в одной этой норме ленинградского хлеба — рабочим четверть килограмма, остальным — сто пятьдесят граммов — для многих была перспектива конца… Правда, мы стали варить суп из дрожжей. Говорили, что это суп, а на самом деле — вода, почти вода, в своем роде психотерапия… Человека мы могли обмануть, смерть — хитрее… — Он вновь щелкнул крышечкой часов, но, чтобы рассмотреть циферблат, должен был поднести часы к свету. — Как бы немец не накрыл мировую прессу в литейном, — указал он взглядом на поле. — Одним словом, кладбище на заводе возникло, когда перешли на эти блокадные граммы. А потом немцы взяли Урицк и начали бить по заводу прямой наводкой. Это было так прицельно и так систематически, что не было сомнений: они знают, что значит сегодня завод. И вот тот же вопрос: осада… Наверно, были и такие, кто хотел отдать город на милость врагу, я так думаю, могли быть, хотя я таких не знаю. Представляете, в большом городе есть разные люди и, я так думаю, есть и такие, о которых мы говорим сейчас. Были эти ленинградские сто пятьдесят граммов и перспектива смерти и не было клятвопреступников?.. Если и были, то их была горстка ничтожная. В том, что можно было назвать миром Ленинграда, этих людей нельзя было рассмотреть в самые мощные стекла… Духовный климат города не мог быть столь надежным, если бы в основе этого не лежали жизненные принципы… Каковы они, эти принципы?.. Я вам скажу сейчас, но не сочтите это за нечто заученное — я об этом думал. Конечно, чувство общей беды — когда горит сосед и горишь ты, прежние обиды побоку!.. Чувство ленинградского патриотизма — мы и по прежним временам знали, как это неодолимо… Но даже если эти качества в людях были бы намного сильнее, чем на самом деле, ленинградцы бы ничего не сделали!.. Значит, было нечто большее, что руководило людьми, что вело их — не будем бояться этого слова — на подвиг, что сделало их такими сильными, какими они не были никогда прежде и, простите меня, в этой жизни могут и не быть… Что же это за всесильное чувство? В двух словах, чувство того, что ты веришь в нечто справедливое. Ощущение того, что нет более правого дела, чем то, какое нынче является делом твоей жизни… Вот оно, вечное, и вот оно, святое!

Они не успели услышать взрыва в поле, а на крыше, как при сильном ветре, загремело железо — начался обстрел. Земля застонала, — снаряд, потом другой упали рядом с заводом… Потом резануло по железу и посыпались стекла. «Это уже долбануло по заводу!» — крикнул кто-то из тьмы. Потом один за другим, с неправильными интервалами, начали падать снаряды на поле и пахнуло дымом и пылью.

— Ну вот, на этот раз обошлось, — сказал Пузырев. Он сделал движение рукой, точно разгребая пыль. — Первый признак близкого разрыва — вот эта труха! Вздыбит ее, словно мир только из нее и состоит!.. — Он взглянул в провал кирпичной стены — над покалеченной сосенкой появилась сорока. — Сорока вернулась — значит, и в самом деле отгремело…

Лицо Пузырева, только что угнетенное, вдруг посветлело: казалось, прочь отступило все горестное, что накопилось у человека за эти годы и что воспринял сам облик его.

— Вот верите… едва мы отправили наших на Урал, стали идти оттуда письма: верните в Ленинград!.. Да, да, в Ленинград, блокадный, холодный, голодный. Вы скажете: речь могла идти в письмах не о заводе, а о Ленинграде, а это не одно и то же. Нет, именно о заводе, даже больше — о литейном цехе, который стал ленинградской передовой и где по сей день льется кровь… Ну, вот хотя бы Колесников, Петр Тимофеевич…

— Я заметил: он очки свои не снимает… Так? — спросил наблюдательный гость.

Пузырев приумолк, печально посмотрел на Галуа:

— Верно заметили…

— Что так?

— Он вернулся без глаза… — произнес Пузырев, выдержав паузу. — Глаз оставил там, — указал он на поле, лежащее за проломом. — И куда вернулся? В литейный! Он эти очки снимает не часто. Вот когда придет сюда, чтобы взглянуть на поле, тогда и снимет. Взглянет одним своим глазом, скажет: «Похоже, немец будет нынче дубасить…» Вот так.

Они вышли из цеха, и облака, показавшиеся им белее обычного, и небо, синее обычного, и сам воздух, в котором была сентябрьская сухость и сентябрьская золотистость, точно объяли их.

— Товарищ директор!.. Вот Тимофеевич… одолел со своим домом отдыха — господи, до дома ли отдыха нынче?

Так вот они, глаза, что появились в полутьме литейки. Светло-серые с синевой. И вся она какая-то синенькая, просвечивающая, напитавшаяся этого холода и темноты. Только светло-русые волосы не восприняли темноты.

— Эта Римма, твоя подруга… пришла к нам теперь или была уже в ту зиму? — спросил Пузырев.

— Была… — ответила она, и губы ее задрожали. — Да вы ее должны помнить, в тельняшке, в тельняшке и летом и зимой!.. — Она умолкла, все пыталась сомкнуть губы. — В ту зиму, когда меня свалило, она меня выходила!.. Я за нею как за судьбой шла. Все наказывала: «Римка, не отходи от меня!» Да разве убережешь,

когда уберечь не дано…

Она ушла, и молчание повисло надолго.

— Вы сказали, не было клятвопреступников… Так? — спросил наконец Галуа — интересно, что в пространном рассказе Пузырева он обратил внимание именно на это место.

— Да, я так сказал, — заметил Пузырев, насторожившись.

— Но ведь Ленинград — это не только улица Стачек, но и Невский с Каменноостровским, а там жил, простите меня, не рабочий народ с Путиловского и «Светланы», а все те, кто представлял деловой и служивый люд… Ну, могу допустить, что самих этих людей уже нет, а как их чада? Я воспитан на всесильном скепсисе и считаю его великим достоянием истинного интеллектуала. Поэтому да будет разрешено мне спросить: и они, чада этих старопетербуржцев, на общих началах входили в ленинградский монолит, не нарушив его алмазной твердости и неуязвимости?..

— Право, я об этом не думал, — произнес Пузырев — вопрос Галуа застал его врасплох. — Но, может быть, и характерно то, что я об этом не думал! Значит, жизнь не давала повода к этим раздумьям, а следовательно, соответствующие факты были не столь обильны?

— Вы правы, пожалуй, вы правы, — неожиданно согласился с ним Галуа и, обратив взгляд на Пузырева, заметил: — Я только хочу сказать, был не только Петербург революционный, но и контрреволюционный, именно Петербург, при этом мне еще надо доказать, что на Невском, Каменноостровском, Дворцовой набережной, на Литейном и Садовой, на Кирочной и Фурштадтской, на милой моему сердцу Моховой и прочая, и прочая, и прочая жили сплошь революционеры… Как они, те самые, что и во сне и наяву, при этом не только в восемнадцатом, но и, как мне доподлинно известно, много позже, единственно чего желали, так это гибели советской власти?.. Как они повели себя, когда возникла ситуация, в высшей степени благоприятная для осуществления их намерений?..

Нет, он не поколебал Пузырева в его решимости, но смутил порядочно.

— Мне действительно не известно подобное, хотя я допускаю, что нечто аналогичное могло иметь место, но вот масштабы?.. — Пузырев смотрел на Галуа пристально. — Но масштабы, масштабы? Если бы они были такими, как представляете себе их вы, я бы, несомненно, знал об этом…

— Значит, Моховая приняла советское подданство? — смеясь, вопросил Галуа.

— Можно понять меня и так… — ответил Пузырев не без

радости — ему дался этот спор с трудом. — Насколько мне известно, вы еще пробудете в Ленинграде — проверьте меня…

— Простите, вы старый питерец? — взглянул на Пузырева Галуа.

— Хотел бы считать себя старым.

— Тогда должны знать… Тут все друг друга знают! Что вам говорит такое имя: Толь Александр Николаевич?

Пузырев заулыбался: ну, разумеется, Галуа попал в яблочко!

— Знаю, конечно, только не Александра Николаевича, а Дмитрия Александровича, архитектора… Но не думайте, что я один такой хороший в Ленинграде: Толя тут знают все… но именно Дмитрия Александровича… Вы не ошиблись?.. Дмитрий.

— Нет, не могу ошибиться… Сколько лет вашему Толю?

— Ну, мы, ленинградцы… опередили время лет на десять. Если он выглядит на сорок, значит ему тридцать… Тридцать лет!

— Ну, а моему Толю лет пятьдесят… Все верно: сын!.. Э-эх, хорошо бы нам встретиться всем вместе… Как вы?

— Я могу дать слово только на послеблокадное время… Раньше — зарез!

— Однако вы не щедры… Вы о Толе Дмитрии Александровиче наслышаны или знаете… лично?

— Лично, разумеется.

— По работе? Завод свел?

— Нет, не завод — Ладога, ледовая трасса.

— Толь… ледовая трасса?

— Да, в декабре сорок первого. Наши машины там работали, а Толь Дмитрий Александрович стоял с фонарем на льду…

Галуа внимательно и долго посмотрел на Пузырева:

— Я бы хотел повторить свою просьбу, настоятельную: мы должны встретиться.

На этом и расстались. Всю дорогу, пока машина добиралась до «Астории», Галуа повторял:

— Слыхали: «стоял с фонарем на льду…»?

57

Вечером, когда Тамбиев пришел к Галуа, в номере его не было света.

— Вы спите, Алексей Алексеевич?

— Нет, конечно… до сна ли?

Тамбиев помедлил, не зная, оставаться или уходить.

— Вот думаю сейчас: голод — это не только голод, но и апатия, вот этот обстрел и гибель близких, изо дня в день гибель… тоже, наверное, апатия, а следовательно, безразличие к смерти: есть она, эта апатия, или нет ее? Говорят, что не было троянского коня… Так вот, эта апатия и есть конь троянский, которого незримо заслал враг в осажденный город, не так ли?..

— Пожалуй, так. Захотелось взглянуть на город. Улицу за улицей. Только на город.

— Хотите, пройдемся… в Летний сад? Ведь он вот тут, рядом, а? И Марсово поле, и Дворцовая набережная, и столп Александрийский, и Всадник Медный — все рукой подать, а?..

Галуа усмехнулся:

— Знаете, Коля, мне сегодня не до столпа Александрийского…

Тамбиев ушел один. Шел, думал: «Истинно, не до столпа Александрийского». Вспомнил картонный квадратик, что дал ему Кожавин перед своим отъездом в Харьков. Отыскал его, — как ни густы были невские сумерки в августе, четкий кожавинский почерк победил их: «Проспект Стачек». Где он, этот проспект Стачек? Решил шагать и шагать — благо охранная бумага в кармане, не совсем пропуск, но от ночного дозора убережет. Шагал и твердил, как стихи: «Проспект Стачек». Ленинградские прямые версты, пожалуй, не так долги, как крутые московские, но и они не коротки. Часа за полтора дошагал. Дошагал и только тогда понял: а ведь пришел туда, откуда ушел за полдень: Кировский-то завод — рядом. И тут, неожиданно народившееся, твердо ткнулось в сердце: да не может быть, чтобы Кожавин жил за Нарвскими воротами, Кожавин, которого он считал белой костью, аристократом, в какой-то мере невским денди, и вдруг — ворота Нарвские?.. Нет!.. Да и дом не похож на тот, что должен быть домом Кожавина: двухэтажный, точно такой, как справа и, пожалуй, слева от него, стандартный.

— Простите, квартира Кожавиных здесь?

— Да, вы не ошиблись.

— Вы Клавдия Николаевна?

— И это правильно… — Она взглянула на картон с адресом

не без любопытства, угадала руку Кожавина. — А вы от Игоря? Письма от него не привезли?

— Нет.

— Жаль. Жду с начала месяца… Припоздал. Видно, повез американцев русскую войну смотреть?.. А вы небось товарищ по работе, да? Форма у вас, как у Игоря…

— Но ведь вас не было, когда Игорь приезжал?

— Да, я жила на Охте у дочки, но мне рассказали соседи.

— Игорь жил здесь?

— Рядом… Мы получили вместе. Еще дед Кожавин был жив… Заводская квартира!

— Вы сказали «заводская»?..

— Да, конечно, заводская… Хотите взглянуть? Пойдемте.

— Нет… зачем же?

— Не стесняйтесь: там у меня порядок. Игоря теперь из Москвы не выманишь, а бабушка, надо думать, вернется… ключ-то у меня.

Тамбиев пошел. Ему казалось: дом скажет о человеке больше, чем успел сказать сам человек. Может, дом как раз и способен договорить недосказанное.

— Вот сюда, пожалуйста… Тут все как при них… — Она вдруг оглянулась на Тамбиева, точно хотела застать его врасплох, взгляд ее был строго-внимателен. — Странно: едет человек, а он и письма не передал.

Она открыла одну дверь, вторую, открыла, помедлив: мысль, которая ее встревожила, еще жила в ней.

— Вот вся их династия!.. — указала она на стенку над комодом. — Вот тот, слева, — дед… еще при Путилове начинал, а рядом Владимир, отец Игоря, тоже путиловский пролетарий, а дальше Игорек… узнаете? Вот так оно по цепочке и идет, от деда к сыну, от сына к внуку… Все наглядно, все как на ладони.

Тамбиев едва удержал вздох: как же он не разузнал всего этого прежде?.. И откуда тогда этот кожавинский аристократизм, породистость, благородство манер, и это необыкновенное умение носить костюм, и его английский, в знании которого была не ученическая правильность, а блеск, откуда рояль и умение импровизировать, откуда все это врожденное, кожавинское, что побуждало разных людей говорить одно и то же: есть в нем что-то от Горчакова!..

Оказывается, Горчаков-то с проспекта Стачек и прародитель его, и родитель — путиловские пролетарии… Нет, но тогда откуда все-таки этот кожавинский аристократизм?.. Это же так вдруг не выстреливается? У всего этого должна быть родословная?.. Да, да, на этой вот стене должны висеть портреты

по крайней мере трех поколений интеллигентов?.. Нет, не обязательно, чтобы они были людьми голубой крови… А может быть, всему объяснение — Ленинград! Да, мир этого города, сам его воздух, его свет, его дворцы и соборы, его набережные, его мосты… Человеку достаточно жить в этом городе, чтобы то прекрасное, что есть здесь, переселилось в человека, стало его сутью… Ну и семья не стояла в стороне. В том-то и дело, что это была семья старых русских рабочих, философов-самоучек и поэтов-самоучек, доморощенных интеллигентов, выросших на любви к книге…

Тамбиев ушел. Как ни долог был обратный путь, не хватило времени осмыслить все это… Не тешь себя мыслью, что понял все, что проник в суть: думай, думай…

— Где вы были? — Галуа не спит, на нем шапочка, связанная из гаруса, он возит ее за собой повсюду — у него, как заметил Тамбиев, мерзнет голова, даже летом. — Спохватился, а вас нет… Решили побыть без меня. Признайтесь, так?

— Я разыскал дом… Кожавина Игоря Владимировича, он ведь ленинградец.

Галуа забеспокоился:

— Креста на вас нет, Николай Маркович, взяли бы меня!

— Мне показалось, что вы устали — далеко это…

— Ну, не в Царском же?..

— На проспекте Стачек.

— Где, где? — Галуа тряхнул головой, и шапочка не удержалась, съехала набекрень — очень он смешон в этой своей шапочке из розового гаруса, но не замечает этого.

— На проспекте Стачек, за Нарвскими воротами…

— Так это же у самого Путиловского, он там жил?..

— Да, он и сам из потомственных путиловцев: и дед, и отец…

Галуа замолкает и будто погружается в раздумье — вот его ум сейчас торит эту мысль, упорно торит.

— Была в нем этакая изысканность… петербургская. Кто-то сравнил его с молодым Горчаковым, и это, так я думаю, очень точно… Но вот то, что вы сейчас сказали об его родословной, для меня, признаться, неожиданно. Значит, Горчаков с проспекта Стачек, так?.. — Только сейчас он почувствовал на голове свою нелепую шапочку, снял и быстро спрятал ее под подушку — не забавы же ради он возит эту шапочку за собой, он лучше спит, когда на голове эта шапочка. — Был у меня час назад мой приятель, Толь Александр Николаевич, школьный учитель с Охты. Презабавная фигура… в этаких штиблетах… Истинно чеховский персонаж! А штиблеты-то!.. — Толевская обувка вызывает у него гомерический смех. — Господи, каких только

причуд за людьми нет! — повторяет он умиленно, будто бы не он только что упрятал под подушку свою нелепую шапочку из гаруса.

— А у него небось иных нет… штиблет-то, — произносит Тамбиев строго. — Это — Ленинград.

Галуа окаменевает с полуоткрытым ртом.

— Простите, ради бога, я как-то не подумал… — ему стоит усилий шевельнуть губами — их в самом деле точно заморозило. — Вот и прощения попросил, а, наверное, не надо бы…

— Почему… не надо?

— А потому, что Саша Толь — буржуй, как вы говорите…

— Это каким же образом?

— Ну, не буржуй, а сын буржуя… Его отец был компаньоном моего отца по Китайско-Восточной железной дороге… Одним словом, завтра я повезу вас к нему в школу. Кстати, он чудом сберег коллекцию черно-белой графики, коллекцию редкую… И вот что прелюбопытно: они живут в своей старой квартире, в той самой, где собирались акционеры КВЖД и где не однажды бывал у них… Кто бы вы думали? Витте! Да, не открою большой тайны, если скажу: он покровительствовал и Толям, и моему отцу… Кстати, сын Саши, Дмитрий Толь, фигура здесь достаточно известная…

— Так вы спрашивали у Пузырева о Толях?

— Да, именно о них… Попомните: откажетесь ехать — это невосполнимо. Надо ехать… Едете? Ну вот…

И он извлек из-под подушки свою гарусную шапочку, с нежностью погладил — ему очень хотелось ее надеть.

Тамбиев откланялся. Галуа обратился к черно-белой графике не без умысла: ему хотелось показать Тамбиеву семью Толей. Тем более это было интересно Николаю Марковичу: посещение Толей не просто открывало нечто невиданное в том, что было миром этого города, но позволяло проникнуть в жизнь Галуа, познать такую ее грань, которая до сих пор могла быть и не очень видна.

58

Поутру явился друг Галуа — Александр Толь. Николай Маркович увидел долговязого человека, седого, но буйноволосого, обутого действительно в штиблеты со штрипками, при этом штрипки были необычно длинными и торчали так демонстративно, что их можно было принять за бантики, которыми повязали человека у щиколоток, точно коня.

— Саша, — обратился Галуа к другу, — вот это Тамбиев, которому я обязан счастьем встречи с тобой. Ну, что вы нахмурились. Николай Маркович?.. Я ведь правду сказал.

Толь поздоровался и тут же отвел руки за спину — они были у него ярко-пунцовые, точно он только что извлек их из мыльной пены, перестирав гору белья.

— Я пригласил Алексея Алексеевича посетить нашу школу и был бы весьма обязан… Одним словом, окажите честь.

— Оставь ты эти свои китайские церемонии, Саша, — возроптал Галуа. — «Окажите честь»! Я уже все сказал Николаю Марковичу, и он с радостью согласился, не так ли?.. Едем!

Уже после того, как отъехали от гостиницы и улицы, точно страницы оставленной на ветру книги, запестрели и замелькали перед глазами, Галуа спросил:

— Послушай, Саша, не могу понять, почему наши с тобой родители жили не в собственных домах, а? Ты думал над этим?

Толь тронул красной ладонью белый воротничок и, убедившись, что он в порядке, ответил:

— Думал, разумеется, Алеша… Для того круга людей, полуимущих-полуслужащих, к которым принадлежали наши с тобой родители, это звучало неким образом архаично… Понимаешь, собственный дом обременял, сковывал энергию, он, попросту говоря, был невыгоден, да и не так комфортабелен, как те дома, которые уже умели строить в начале века и которыми сплошь, например, застроен Каменноостровский, да и твоя Моховая в какой-то мере… А ты как думаешь?

— По-моему, ты прав, хотя доводы твои выглядели бы основательнее при одном дополнении.

— Я тебя слушаю.

— Наши старики были буржуа, но, как истинные дети своего времени, заметь — дети умные, понимающие дух времени, они не кичились своей буржуазностью… Поэтому люди, чей капитал определялся миллионами, жили если не в доходных домах, то в таких, которые были выстроены на паях, как наш, например… Убедительно?..

— Да, конечно, хотя в природе существует такая деталь, которой мне не хотелось бы пренебречь… Наши отцы были людьми особенными в России. На взгляд русского, они были немцами, хотя могли быть и шведами, и французами, и финнами, и англичанами… Если бы это было при царе, Алексее Михайловиче, то их бы нарекли безбородыми и поселили за рекой или оврагом. Так вот, Каменноостровский как раз и был за рекой, а там свой климат…

— Климат двадцатого века?

— Можно сказать и так.

Галуа засмеялся — то ли ему показался забавным довод друга, то ли пришла на ум иная мысль, которую без ухмылки не воспримешь.

— А вот теперь ты мне скажи, Саша. Только, чур, не кривя душой: когда ты первый раз обнародовал, что твой отец — буржуй?

Толь снисходительно улыбнулся: причуды Алексея Галуа!.. Он и прежде выделывал этакие антраша!.. Ну что ему, право, скажешь?.. Ведь спросил он все это не из интереса серьезного, а так, из озорства.

— Что же ты умолк?

— В тридцатых годах уже не боялся, Алеша… — Толь все еще снисходительно улыбался.

— Только в тридцатых? А до этого небось мороз за пазуху забирался, да?

— Все было, Алеша, но ведь это в прошлом… — и Толь невольно приник к окну: машина замедлила ход. — Ну, вот мы и приехали, наша школа… — И в этот самый момент раздался очередной взрыв, грохнул снаряд где-то совсем рядом, — видно, школа была недалеко от немецких позиций.

Толь дождался, пока гости выйдут из машины, повел их к пыльной осинке, точно эта осинка была способна защитить от снаряда.

Сейчас они стояли в тени дерева, и им была видна школа, как и дома рядом со школой.

Это был новый район города, неведомый Галуа. Новый, однако жестоко разрушенный немецкой артиллерией. Здание школы было иссечено осколками снарядов, некоторые окна были заколочены фанерой, кровля, сколько доступно глазу, была в заплатах.

— Четыре снаряда, — сказал Толь, указывая на дом. — Последний упал на школьном дворе этой весной… — Он продолжал смотреть на школу: казалось, то, что он вспомнил сейчас, никогда не приходило ему на ум прежде. — Это одна из

тех наших школ, которая работала все время. Вы понимаете, все время…

— И в ту зиму? — спросил Галуа, его игривое настроение точно рукой сняло.

— И в ту зиму, — подтвердил Толь и взглянул на Галуа — понимает ли он? — Не было случая, чтобы занятия отменялись… — пояснил он. — Отцы многих наших детей в окопах, под Ленинградом… Кто-то жив, кто-то уже погиб, матери — на заводах… — Он продолжал смотреть на друга — понимает ли он? — В самое тяжелое время, да, да, в ту зиму, в ту зиму перешли в убежище и продолжали заниматься там… Где-то разобрали сарай, где-то забор и старый дом, топили печки, сшитые из кровельного железа. Детей кормили в школе — разумеется, как могли… Они занимались в ту зиму так, как никогда прежде не занимались. Но в психике их произошло нечто такое, что еще надо понять: они замкнулись, стали молчунами, все пережитое сделало их в большей мере взрослыми… Вот говорят: боль умудряет. Именно так, детство кончилось раньше, чем обычно…

Галуа смотрел на Толя странно строгими глазами; казалось, лишь сейчас он и увидел его, лишь сию минуту и произошла встреча — до этого он его будто не видел, не проник толком в его существо.

— А как дети, Саша, многие умерли? — спросил Галуа.

— Из тех, кто ходил в школу… никто не умер, — ответил Толь.

Толь шел впереди. Была в его походке скорбность, на нем точно лежал сейчас отсвет этих последних его слов. Да и во взгляде Галуа, обращенном на друга, как заметил Тамбиев, было необычное: тревожное внимание, почтительность, может быть даже настороженность, чуть-чуть торжественная.

Они вошли в школу. До перемены было далеко. Кто-то за дверью ожесточенно стучал мелом по доске.

— Александр Николаевич, какой вы сегодня нарядный! — девушка, возникшая словно из-под земли, прыснула и исчезла, может быть, молодая учительница, может, пионервожатая.

— Вот сюда, пожалуйста, это мой класс… — Толь открыл дверь, пропустил гостей.

Окна были заложены выбеленным кирпичом. Свободной оставалась лишь верхняя часть — через нее и пробивался в класс солнечный лучик, заметно пыльный. Он падал на стену: там висел брюлловский Пушкин. Школьный художник, сделавший копию, переложил охры, и бакенбарды поэта, подсвеченные этой охрой и падающим на стену отблеском солнца, казались красно-

коричневыми, даже червонными.

— Вот я сейчас вам покажу… по-моему, этому цены нет, — сказал Толь. Взяв из стола ключик, открыл стоящий в углу шкаф и, нагнувшись, вытащил нотную папку. — Тут «замок» с секретом… одну минутку, — он пустился длинными пальцами распутывать стянутый узлом шнур. — В том, как увидели это дети, есть и испуг, и, простите меня, жажда возмездия…

Галуа раскрыл папку, и нечто похожее на оцепенение объяло его: это были рисунки блокадных детей, рисунки, которые были детскими по суматошности красок и пропорций, но отнюдь не по содержанию. В содержании была та недетская устремленность и та молчаливость, тоже недетская, о которой уже говорил Толь.

На рисунках был Ленинград, но не было смерти, хотя дети, без сомнения, смерть видели. Были еще на рисунках гнев и чувство презрения к врагу и к смерти, а следовательно, сознание силы. На рисунках была Красная Армия: пехотинцы, танкисты, летчики, все с красными звездами на шлемах и пилотках. Были на рисунках школьные классы, много детей и учителей, все больше пожилых, с печальными и добрыми лицами.

— Много ли учителей… погибло?

— Много… В ополчении, один у Пулковских высот, другой под Кингисеппом… В бою, как солдаты. Некоторые умерли, готовясь к урокам, от голода… Были и такие, что умерли потом, когда стало легче, — видно, смерть уже поселилась в них…

Толь повел их через школу, в тот ее дальний конец, где был спуск в бомбоубежище.

Они прошли через физкультурный зал, там дети занимались на брусьях и шведской стенке. Толь подозвал их, представил гостям.

— Это наши старшеклассники, — сказал Толь, оглядев ребят с видимой гордостью. — Стали старшеклассниками… теперь… — уточнил он. — В ту зиму они были уже взрослыми и помнят все… — Он протянул руку к мальчику в вязаной куртке. — Пойдемте с нами, дети, вы нам поможете… И ты, Нина, ты обязательно… — сказал он девочке, стриженной едва ли не наголо; видно, девочка вернулась в школу после болезни и волосы не успели отрасти. Девочка сняла с брусьев косынку, она стеснялась своих стриженых волос.

— Ксана, идем с нами! — крикнула она подружке, которая, оставив свои тапочки на полу, приблизилась к шведской стенке. — Пойдем, пойдем! — повторила она.

Толь был доволен, что удалось расшевелить детей, хотя они все еще заметно робели.

Они дошли до каменной лестницы, ведущей в подвал, и

мальчик в вязаной куртке храбро ринулся в темноту, чтобы включить свет. По тому, как он шагнул в сырую тьму подвала, казалось, что вспыхнут сто солнц, а зажглась лампочка с детский кулачок, засиженная мухами. Но ребят это не смутило: истинно, мальчик в вязаной куртке зажег сто солнц.

Это был подвал, сырой, невысокий (вытянув руку, можно было коснуться потолка), совсем глухой — когда-то в нем были окна, теперь замурованные. Достаточно обширный, выстроенный с размахом, он мог стать склепом, угоди сюда снаряд или бомба. Но дети, спустившиеся сюда по каменной лестнице, не были настроены так мрачно. Напротив, они стояли сейчас вокруг жестяной печки, скроенной по образцу тех «буржуек», которые были в ходу на заре революции, и вспоминали блокадную зиму.

— Все началось с того, что стали трамваи, и первый раз я пошел в школу пешком, — сказал мальчик в вязаной куртке. — Мой дом по ту сторону Невы. Если бы не пурга, куда ни шло, а тут еще пурга… Снег сухой и сыпучий, точно песок, думаешь, что идешь, а на самом деле ни с места. Я это хорошо запомнил, когда стали трамваи… А без школы я не мог. Все думал: перестану ходить в школу и помру. Однажды простоял шесть часов в очереди за хлебом, и меня выморозило до костей. Пришел домой и слег. Вот тогда страх меня взял: конец, думаю… Но прошел день, другой: нет, думаю, надо мне до школы дойти, а там справлюсь… Встал и пошел. Нет, не пошел, а пополз!

— Печка была спасением! — сказала Нина и вдруг сняла с себя косынку, сейчас ей было неважно, что она стриженая. — Самое лучшее место, у дверцы, отдавалось учителю: он следил, чтобы печка горела. А потом хорошее место было под трубой, но его можно было занять, если придешь пораньше… Как бы жарко ни горела печка, она давала тепло только тем, кто сидел совсем рядом. Уже в следующем ряду зуб на зуб не попадал… Ребята сидели в пальто и шапках, даже если надо было писать мелом, варежек не снимали…

— У меня было задание следить вот за этой лампой, — сказала Ксана и показала керосиновую лампу — очень смешную, пузатую, из белой жести, увенчанную трехлинейным стеклом, тоже пузатым. — Я должна была наливать в лампу керосин, а фитиль хорошо обрезать. Когда близко падали снаряды, первой вздрагивала наша лампа, у нее по всему телу шло такое дрожание… Все уже успокаивались, а она дрожит, бедняжка, — девочка говорила опустив глаза и все смотрела на свою правую ногу, которую как-то ловко вынимала из туфельки, приподнимала и, пошевелив пальцами, вновь всовывала в туфельку — нога у нее была небольшой, точеной, и девочка проделывала эту операцию

не без кокетства, она знала, что у нее красивые ноги, и хотела, чтобы это видели другие. — Однажды лампа опрокинулась, и керосин едва не вспыхнул. Пришла наша школьная сторожиха и сказала, что снаряд упал через дорогу от нас…

— Снаряд — это страшно, но в окопах было страшнее, — сказал мальчик в жокейской кепочке, до сих пор молчавший. — Немцы уже подошли, и окопы пришлось рыть под пулеметным огнем… Мы, желторотики, и то не дали деру! И так было не день и не два, а двадцать пять дней!.. Вот там несколько наших ребят полегло. У меня дружка скосило, друг был что надо!.. Звали его Геной — два метра! Ну, два метра, конечно, преувеличение, а метр восемьдесят наверняка! Он был старше нас… Нина, ты помнишь его! — обратился он к стриженой девочке, и она с участием, грустным и чуть стыдливым, кивнула ему в ответ. — Его рост подвел, не так просто спрятать метр восемьдесят… Но окопы мы вырыли, и немцы стоят там, у наших окопов, до сих пор…

— Вот и все, что мы могли показать, — сказал Толь, когда они вернулись к машине.

— А вы показали не мало, — отозвался Галуа и вдруг, приметив среди провожающих мальчика в вязаной куртке, оживился. — Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос.

Мальчик попытался сомкнуть борта своей вязаной куртки.

— Если смогу.

— Вот скажи мне, пожалуйста… — необыкновенное воодушевление отразилось на лице Галуа, его действительно увлекла возможность задать этот вопрос мальчику в вязаной куртке. — Веришь ты в добрую волю союзников?..

Мальчик в смущении продолжал тянуть курточку.

— Вам важно, что думаю об этом я? — спросил он.

— Очень важно, — подтвердил Галуа.

Мальчик точно собрался в комок — ему не очень хотелось отвечать.

— Иногда мне кажется, что я верю…

— Иногда? — тут же реагировал Галуа.

— Да, иногда… — подтвердил мальчик, осмелев. — Когда англичане топили «Бисмарка», я верил…

Галуа захохотал, обвил длинной рукой хрупкие плечи мальчика:

— Ты очень хорошо ответил, молодец…

Такой ответ приободрил не только Галуа —

Александр Николаевич, на которого вопрос друга порядочно нагнал хмари, тоже воспрял духом.

— Я везу вас к себе, не правда ли? — спросил Толь не без

робости. — Я покажу вам, Николай Маркович, коллекцию графики…

— А мы уже сказали, что принимаем твое приглашение, — тут же отозвался Галуа — он явно хотел предупредить возможный отказ Тамбиева.

— Вы сказали, я — нет, — ответил Тамбиев, смеясь.

— Ну, я от вас не ожидал… Александр Николаевич свидетель, — ринулся в бой Галуа.

Но деликатный Толь был не столь напорист.

— Мне казалось, что Николай Маркович не откажется, если я попрошу.

Тамбиев сказал, что готов ехать.

59

Что-то было в этом доме от того стиля, который восприняли быстрорастущие русские города в начале века. Дома стояли впритык, им явно не хватало места на земле, и они, как забродившая опара, лезли прочь из макитры, искали простора наверху. Может, поэтому у таких домов были узкие окна, узкие двери и сами они были узкобедрыми, как та молодуха, которая всем хороша, кроме одного: рожать ей трудно. И все-таки дом был красив: казалось, прошло полстолетия, как он был построен, а он выглядел современным. Эта современность была прежде всего в фактуре материала: использовались простые породы и камня и дерева, благородных темных тонов, также благородно пригашены по колориту были и мозаика, и обливной кирпич на стенах, и витражи на лестничных клетках…

— Вот наш мужской монастырь, — сказал Толь, нащупав в полутьме, заметно красноватой (солнце было по ту сторону дома, и витраж давал мало света), дверной замок. — Да дома ли он? — Александр Николаевич, обратившись к звонку, не столько просил сына открыть дверь, сколько предупреждал, что гости пожаловали.

На звонок никто не откликнулся, и, достав колечко с ключами, Толь отпер дверь.

— Не скрою, что все утро был занят уборкой, но успел сделать далеко не все, — произнес он и зажег свет.

На круглой вешалке висела шуба черного сукна, подбитая рыжей лисой, — многопудовая шуба, в которой, можно было подумать, как в фамильной люльке, набралась тепла, выросла и окрепла едва ли не вся династия Толей.

Коридор был долог, и по обе стороны его стояли шкафы с книгами, закрывая стены от пола до потолка.

— Полагаю кощунством выставлять книги в прихожую, но был вынужден это сделать, иначе бы сам очутился в коридоре, — произнес хозяин, заметив, что книжные шкафы привлекли внимание гостей. — Меня размеры квартиры устраивают, а вот у книг иное мнение…

Они прошли в конец коридора и оказались в комнате, которая раньше могла быть в доме Толей гостиной. Точно апоплексия хватила этот дом на каком-то жестоком рубеже, и все разом остановилось, где стояло: и полудюжина гарнитурных стульев, и кресла, и полукресла, и диван, и ломберный стол с полуистлевшим зеленым сукном, разве только большие напольные часы с медной тарелкой циферблата и медной бляхой

маятника не охватило оцепенение — часы продолжали идти, отсчитывая в середине века двадцатого те же медленные, с придыханием, допотопные секунды, какими они были в середине века девятнадцатого.

— Вот взглянул на ломберный стол и все увидел явственно, — произнес Галуа и не без участия погладил ветхое сукно стола. — Вот тут они сидели, как заговорщики!.. Внешне все обстояло благопристойно: они играли! На самом деле ничего от игры — они работали! И как работали, азартно! Без пиджаков, в одних жилетах — работа!.. И только отец мой не снимал пиджака. Мне так казалось, что ему было небезразлично, как на него взглянет хозяйка… Одним словом, в пиджаке недостатки его фигуры были не так видны. За те шесть часов, в течение которых они оставались за столом, совершалось нечто эпохальное, хотя человек непосвященный мог и не понять происходящего. Вот это типичное для картежников: «Ваш ход, коллега», «Я — пас», «Беру, разумеется», «Ваша игра», «Мимо» — было пересыпано чем-то таким, что к картам имеет отношение косвенное: «Мазут», «Сосна», даже «Горбыль» и «Кругляк». Прости меня, Саша, но ваш дом, как и наш, стоял на зеленом сукне. Ты полагаешь, что было не так?

Но воспоминания Галуа не зажгли воображение друга — Толь оставался безучастным, больше того, воспоминания эти нагнали на него скуку — не ровен час, зевота сведет скулы.

— Смотрю на Александра Николаевича и глазам своим не верю: учитель! — вдруг обратился Галуа к Тамбиеву. — Ну, мог представить его директором банка, президентом лесоконцерна, ну, наконец, хозяином донецкого антрацита, но учителем?.. Моего воображения на это не хватило! Не мог представить, чтобы вот этакий дом, с его предприимчивостью, с его, прости меня, комбинационным даром, с его страстями, родил учителя. Я ведь знал Николая Самойловича. И хватка его железная мне была ведома. И вдруг акула родила, ты не обижайся на меня, кроткого дельфиненка. Аномалия, какой природа не ведает!.. Ты думаешь о своей школе, Сашенька? — спросил он, обратившись к хозяину.

— Представь, я думаю о школе, — признался Толь и покраснел. — Я думаю: почему я пренебрег всем, что было традициями этого дома, и стал учителем? Нет, не потому, что подули иные ветры и погода переменилась. Меня увлекла сущность того, что есть учитель и дети… Даже больше того, суть того, что есть дети. Вот подходит ко мне малышка-первоклассница и говорит: «Александр Николаевич, послушайте, прилетают сегодня три моих лисенка и говорят: „Мама, ты должна вернуться к нам!“» Ну, с точки зрения здравого смысла у

малышки явно поослабли пружинки. На самом деле иное: у тебя ослабли эти самые пружинки, если ты так думаешь о ребенке. Даже смешно, как ты, став взрослым, мог в такой мере забыть, что есть мир детства. Это прежде всего мир, в который переселила ребенка его фантазия. Кстати, она ничего общего не имеет с фантазией взрослого человека. Взрослый, отдавая себя во власть фантазии, ни на минуту не расстается с землей. Именно фантазируя, он особенно твердо чувствует землю под ногами. Ребенок, отдавшись фантазии, напрочь отрывается от земли. Поэтому, когда малышка говорит мне, что крылатые чада ее, в образе лисят, зовут к себе, я, чтобы не разрушить мир образов ребенка, должен ответить: «Лети к своим лисятам, детка. Лисят нельзя оставлять одних». Окажись я на секунду человеком ума здравого и дай понять ей, что ставлю под сомнение существование ее крылатых младенцев, я для нее не учитель и, простите меня, не человек — мы не поймем друг друга ни сегодня, ни завтра…

Он говорит, а Тамбиев думает: что творится в душе Галуа, слушающего рассказ Толя о малышке-первокласснице и крылатых лисятах? Не уподобился ли сам Толь этой малышке-первокласснице? Ну, в самом деле, что может сравниться с аномалией, которую наблюдает сейчас Галуа? Можно ли представить, чтобы Толи с их предприимчивостью, их комбинационным даром, с их страстями, с их жаждой обогащения родили кроткого дельфиненка?.. Дело, в конце концов, и не в Толях. Если взглянуть на Александра Николаевича из мира жестоких страстей, в котором жил и все еще живет Галуа, каким выглядит отпрыск Толей, и какова его способность создавать реальные ценности, и что есть эти ценности реальные?.. Кем мог стать отпрыск Толей в том мире? Текстильным, мебельным, пшеничным или спичечным магнатом. А кем он стал?.. Фантазером храбрым. Война кончится, наступят будни, и когда место человека в жизни будет определяться его способностью создавать ценности, в которых насущно заинтересованы люди, как себя покажет Толь?.. Но дети, дети, к воспитанию которых имеет отношение Александр Николаевич. Что может быть ценнее этого? Кто воспитал этих детей? Толь? А если их воспитал все-таки Толь, не сообщил ли он им частицу наивного фантазерства, которое в наше жестокое время, честное же слово, не делает человека сильнее?

— Да, это он! — просиял Александр Николаевич, устремившись вдруг к входной двери. — Звонит, как все и все-таки не как все: я всегда знаю — он!

Вошел Дмитрий Толь.

Не хочешь так думать, подумаешь: вот она, династия Толей на ущербе! О чем мог думать сейчас Галуа? Да, если верна эта мысль о мельчании человеческих дел, призваний, идей, личностей, есть ли они вообще, эти личности, то вот оно, все это, воочию. Казалось, был старик Толь — косая сажень в плечах, да Александр куда ни шло, а вот этот… Откуда только взялись эта плешь — ведь все Толи обильно волосаты, эта рыжеватость, нет, не в волосах, которых нет, а в коже, коже, эта малорослость, эта манера хмуриться и вонзать в тебя взгляд?.. Пожал руку так, будто хотел сказать: не в лысине и не в рыжей коже дело!..

— Простите, пожалуйста, что опоздал. Не рассчитал с трамваем. — Он взглянул на отца: — Ты, конечно, еще не кормил гостей?.. Тогда я пойду на кухню — у меня это получится чуть-чуть быстрее…

— Дмитрий Александрович архитектор-градостроитель? — Галуа пылал любопытством; человек вошел, и через минуту уже сто вопросов готово. — Николай Маркович говорит: Толь — известное имя! — подмигнул Галуа.

— Возможно, — согласился старший Толь.

Галуа вздохнул — не очень поймешь, вздох ли печали безысходной или облегчения.

— Но ныне пора не столько созидания, сколько руин, верно?..

— Я в этом мало понимаю, — ушел от ответа Александр Николаевич. — Вот Дима — другое дело…

— А он думает по-иному?..

Толь усмехнулся.

— Дима, ты слышишь наш разговор? Ты думаешь по-иному?..

— Сразу и не ответишь, — подал голос из кухни младший Толь.

На кухне застучал нож, засипел чайник.

— Семья… не в Ленинграде? — спросил Галуа полушепотом, очевидно поймав себя на мысли, что не задал этот вопрос раньше.

— На Волге, с заводом.

— И дети? — младший Толь не на шутку заинтересовал Галуа.

— Девочка, — ответил Александр Николаевич и добавил: — Одиннадцати лет.

— Значит, ему лет тридцать?

— Тридцать два.

— Можно успеть к тридцати двум что-то сделать?

— Можно, если очень захочешь, — засмеялся Толь; он испытывал немалую неловкость и хотел дать понять другу, что сказал о сыне почти все. — Дима, как у тебя там?

— А у меня уже все готово… Я накрыл в кабинете.

— В кабинете так в кабинете, — Толь встал. — Прошу вас… Чем бог послал, разумеется.

Они пошли за хозяином.

— А вот эту комнату я помню, пожалуй, получше! — возликовал Галуа, едва переступив порог. — Здесь висел портрет Сперанского, не правда ли?

Старший Толь расплылся в улыбке — ему была приятна эта деталь:

— Верно, отец любил Сперанского.

Галуа скользнул испытующим взглядом по стенам:

— Вот здесь висела карта Донецкого бассейна, так?..

— Верно, — подтвердил Александр Николаевич. — Она и сейчас цела, но перекочевала на шкаф.

— А вот эта фотография стояла на письменном столе и прежде, — Галуа обратил взгляд на женский портрет в фигурной раме.

— Мама, — подтвердил Александр Николаевич. — Ее портрет всегда стоял здесь… И это все, Алеша?..

Галуа оглядел комнату еще раз:

— Лампа!.. Лампа из папиного кабинета с атлантами! — Он кинулся к письменному столу и, схватив тяжелую, бронзового литья лампу, приподнял ее над головой. — Ну, помню, помню… вот видите!..

Хозяин был счастлив не меньше гостя.

— Перед отъездом… туда твой папа одарил половину Петрограда, — произнес старший Толь. — Нам предполагались эллинские вазы, что стояли у вас в прихожей, но наши взяли лампу — куда нам греческие сосуды, размах не тот… Кстати, Дима, зажги ее — пусть она нам посветит.

Лампу зажгли, и ее свет, золотисто-оранжевый, усиленный отблесками бронзы, лег на небольшой, покрытый скатертью, белой с сине-туманной каймой, стол.

Толи были счастливы, что в нынешнюю, более чем страдную для Ленинграда, пору имеют возможность принять гостей и при этом поставить на стол старую фаянсовую масленку с маслом, добрый кубик сыра, влажного, ноздреватого, только что извлеченный из банки валик консервированной колбасы, нарезать хлеба, свежего, обсыпанного коричневатой мукой, заварить чаю.

— Ну, вы тут в своей Ганзе заречной живете по-буржуйски, такого изобилия в Ленинграде мы еще не видели!.. — возликовал Галуа и, обратившись к Тамбиеву, вопросил: — Верно ведь, Николай Маркович?..

Галуа ел, нахваливая и сыр, и колбасу, и чай, заваренный младшим Толем. Хваля, он смешно шевелил своими редкими

бровями. «Ну, Николай Маркович не даст мне соврать, ведь вкусно же?» — восклицал он, обращаясь к Тамбиеву. «Все вкусно, очень…» — подтверждал Тамбиев и ругал себя за то, что не сказал этого до Галуа. Хозяева, конечно, понимали, что похвалы гостей могли быть и преувеличены, но хозяевам было приятно.

— Погодите, а вот этого в восемнадцатом году определенно не было! — воскликнул Галуа, обратив внимание на лист ватмана с карандашным рисунком некоего сооружения. — Это что же… римские бани или греческий амфитеатр?..

— Это проект стадиона на Крестовском острове.

Тонкие губы Галуа пришли в движение, хотя он и кончил есть.

— Простите, когда же этот проект сделан?.. — спросил он мрачно, так мрачно, будто не был заинтересован в том, чтобы такой проект существовал.

— Проект старый, стадион начали строить до войны, но вернулись к нему уже в блокадное время.

Галуа встал и, подойдя к стене, тщательно рассмотрел рисунок, не преминув прочесть и все надписи, которые его сопровождали. Повернувшись, он задел рисунок плечом, упала кнопка, и угол ватмана упруго загнулся.

— Да нет ли тут, простите меня, прожектерства, а? — упер Галуа водянистые глаза в младшего Толя. — А вдруг немцы войдут в Ленинград?

Младший Толь поднял кнопку и медленно вдавил ее в стену.

— Немцы не войдут в Ленинград, — сказал он — тема исчерпывалась, дальше можно было и не задавать вопросов. Наверно, Галуа проник в смысл этого тотчас — его просьба к молодому Толю свидетельствовала и об этом.

— Погодите, а это что такое? — произнес Галуа не без иронии. — Не Петергоф ли?

— Петергоф — план восстановления… — пояснил спокойно Дмитрий.

— Но… в Петергофе немцы. Они, в конце концов, могут не уйти, — рассмеялся Галуа.

Улыбнулся впервые и младший Толь.

— Они уйдут. Должны будут уйти, — уточнил он.

В вопросах Галуа, как это почувствовал Тамбиев, была некая категоричность, как категоричность, но иного порядка, была в ответах Дмитрия Толя. Наверно, столкновение нельзя было отвратить, если бы Галуа не спохватился и не пошел вовремя на мировую. Сделал он это, надо отдать ему должное, весьма изящно:

— А не могли бы мы с вами съездить на этот ваш стадион?

По-моему, это было бы интересно, правда, Николай Маркович?

Тамбиев согласно кивнул.

Сын взглянул на отца:

— Я готов.

Галуа встал; обращаясь к старому другу, он заговорил в той интонации, в которой начал день:

— Мы с Николаем Марковичем, Саша, бесконечно благодарны тебе за все, что ты сегодня для нас сделал. И вас мы благодарим за все ваши хлопоты сегодня и за все, что будет завтра, — отнесся он к младшему Толю. — А теперь разрешите откланяться…

Они условились завтра в одиннадцать утра встретиться на улице Зодчего Росси.

60

Те два часа, которые оставались у Галуа до сна, он, как полагал Тамбиев, хотел использовать, запротоколировав сегодняшний день. А что для этого протокола было бы характерным? Толь, его судьба, а следовательно, судьба самого Галуа, если бы в тот заповедный день восемнадцатого года он бы вместе с отцом не пересек пределы красной России, имея, правда, в кармане официальное разрешение правительства Советов, но разрешение это ничего не меняло — оно всего лишь легализовало поступок, который в иных условиях мог быть и не в такой мере легальным. Итак, Толь не последовал за Галуа, он остался в России, остался затем, чтобы сегодня дать понять другу, что стало бы с ним, Галуа, если бы он Россию не покинул. Итак, что стало бы с Галуа? Ну, можно допустить, что Толю повезло и он, чудак и недотепа, был удачливее других на крутых поворотах наиновейшей истории российской. Но ведь судьба Толя опирается не на удачу, а на нечто непреходящее, постоянное, вечное… Судьба Толя и его чада, который тоже есть Александр Толь, но как бы доживший до шестидесятых и семидесятых годов, когда отца уже может и не быть…

Но чем определяется результат этого единоборства? Положение на жизненной лестнице, возможность влиять на судьбы людей, благополучие, или не первое, не второе и не третье, а то неуловимое, но всемогущее, что может вызвать у такого человека, как Галуа, чувство зависти? В самом деле, есть эта зависть у Галуа, а если есть, то к чему?.. Ну, не к тому, конечно, что Толь одушевил и одухотворил этих крылатых лисят, и даже не к тому, что у Александра Толя есть Дмитрий Толь?.. Не к этому, вернее, не столько к этому, а к тому, что есть мир человека, который — частица неизмеримо большего мира, зовущегося Отечеством. Если у человека может быть нечто похожее на удовлетворение прожитым и содеянным, то только это: ты не поступился высокими целями людей, собранных в великое сообщество, именуемое Родиной. Ты победил с ним, этим сообществом, все невзгоды и остался верен ему.

Это великая привилегия Толя, и возразить тут нечего. Это та сила, которую ты представляешь, и та, которая представляет тебя. Вот Толь прошел с Россией весь ее путь тернистый, вот он прошел с Ленинградом весь его трижды тяжкий путь. Это и его крест, и его счастье. Это есть у него, но этого нет у Галуа. И есть ли у Галуа ощущение, что ему этого недостает? Да, в том протоколе сегодняшнего дня, который возникает у него сейчас в угловом

номере «Астории», есть эта заветная строка: где он, тот путь библейский, который ведет сына блудного в отчий дом? Хочет ли сын этого возвращения, а если хочет, то каким оно видится ему?..

Поутру на улице Зодчего Росси они поставили машину поодаль от подъезда и пошли пешком — в кои веки была возможность пройти по такой улице. А потом все случилось как во сне: загудел, заскрежетал воздух, и каменная мостовая словно раскололась. Это произошло так внезапно и опасно близко, что не успела сработать интуиция. К счастью, снаряд не взорвался. Он точно был вмят в камень — мостовая расступилась и приняла стальной цилиндр, она будто была готова заранее уловить снаряд и не дать ему взорваться.

— Деды в этом случае сказали бы: «Родился в сорочке», — прошептал Галуа, наклоняясь к снаряду.

— Не рано ли вы пустили в ход эту пословицу? — улыбнулся Тамбиев.

— Вы полагаете, это не тот случай?

— Мне просто кажется, что деды повременили бы.

Как ни счастлив был исход эпизода со снарядом, он нагнал на Галуа порядочного страху. Все время, пока машина, в которой, кроме Галуа и Тамбиева, был Дмитрий Толь, мчалась на Крестовский остров, Галуа будто порывался сказать: «Черт побери, а час назад я был едва ли не на том свете…» Казалось, настроение Галуа сообщилось молодому Толю, рыжие пятна на его лице точно уплотнились, стали не в такой мере прозрачными.

— Тут дома все еще с печными трубами, как в Лондоне, — сказал Галуа, заметив трубы над старыми постройками.

— Да, с печными, хотя пора от этого и отказаться, — возразил Толь, нисколько не стараясь смягчить возражение.

Как заметил Тамбиев, говоря с Галуа, молодой Толь был спокойно-доброжелателен, но особых знаков почтения не выказывал.

Они въехали на остров и вдруг ощутили край страдной ленинградской земли. Тут было неожиданно ветрено и ненастно. Из серой воды поднимались дюны будущего стадиона. Если бы эти дюны не были такой правильно овальной формы и если бы слишком явственно не обнаруживался в этих навалах земли амфитеатр, все это можно было бы и не принять за дело рук человека, так это было первозданно по размерам и облику своему. Но все это создал человек, вызвал к жизни еще до того, как первый снаряд упал на осажденный город, чтобы теперь для этого города олицетворять будущее — трудно сказать, когда это сооружение нужно будет городу и в какой степени оно ему нужно, но теперь городу необходим был символ. Одно сознание, что

архитекторы продолжают работать над проектом стадиона, чтобы при первой возможности строительство было возобновлено, давало людям жизнь. Никто не скажет, что эти архитекторы были одержимыми, но мы-то знаем, что они были одержимыми. Один из них был сейчас здесь.

Если верно, что карлик избегает встречи с Гималаями, чтобы в еще большей мере не казаться карликом, то наш знакомый вел себя непонятно. Он точно явился к этим холмам, чтобы утвердить свое превосходство над ними. И холмы дали его речи силу; скажи человек все, что сказал сейчас, в ином месте, возможно, это не обрело бы того смысла.

— Вот вы сказали там, у нас на Каменноостровском: «Немцы под Ленинградом», — произнес младший Толь, оглядывая сизые холмы — слова тоже были какими-то сизыми, их можно было произнести только здесь. — Ваши слова можно было понять так: «Немцы под Ленинградом, а вы ведете себя так, как будто их здесь нет. Иначе говоря, ваша вера построена на отрицании здравого смысла. Это фанатизм, в котором, как в каждом фанатизме, многое лишено смысла». Не хочу сказать, что в ваших доводах нет известной логики, но они, эти доводы, не принимают в расчет мелочи — психологии нового россиянина, для которого понятие «здравый смысл» не всегда положительно… Но не буду голословен. То, что вы видите сейчас, было остановлено войной, остальное значилось в чертежах. Так вот, мы не оставляли этих чертежей ни на один день. Даже в ту зиму, когда погасло электричество, лопнули трубы и на наших хлебных карточках возникла цифра «125 граммов» и появились саночки, на них горожане везли трупы своих близких, которым ленинградская беда оказалась не по силам… Не хочу сказать, что мой паек был большим, но у меня было к пайку еще вот это…

— Это спасло вас?

— Да, несомненно… Знаете, тут человек решал задачу иную. Чтобы внутренне собрать себя, надо, чтобы тебя не покинуло чувство долга. Я знал женщину, которая приготовила себя к смерти, написав завещание и успев отдать все распоряжения. Единственно, что ее связывало с жизнью, это ее шестилетняя дочь, но дочь в какой-то мере была устроена — в заводском детском саду. Итак, женщина приготовила себя к смерти и даже рассчитала, когда это произойдет. Раньше всех умирает человек, свыкшийся с мыслью о смерти. Поэтому не исключено, что женщина умерла бы в тот день, в который загадала, если бы к ней не пришел ее отец, живший через дорогу, а это по тем временам было не близко. Все, что он сказал, можно было вместить в несколько слов: устыдись, у тебя дочь, и ты не можешь ее

оставить. Видно, это были те самые слова, единственные из существующих в природе, которые могли поднять женщину, приготовившуюся к смерти, и заставить жить — она выжила. Итак, для нее этими единственными словами были слова о дочери, для меня вот это, — сказал он и поднял глаза на холмы — их серо-синий отблеск точно лег на его лицо. — Впрочем, не только это…

— А что еще? — спросил Галуа.

— У каждого был свой пост: у одного на крыше дома, у другого на подшефном заводе, у третьего на Ладоге…

— У вас?

— У меня была Ладога, правда, недолго… — Он поднял глаза на Галуа. — Не знаю, тем ли путем вы прилетели в Ленинград, но та дорога шла через Губу. Это было в декабре сорок первого, а что мы знали о Ладоге в ноябре сорок первого? Мало, меньше, чем нам необходимо! А надо было знать много: как прочен лед на больших глубинах и малых, как важны для прочности льда и ветер, и температура… Ну, там были все: и гидрологи, и дорожники, и просто коммунальники!.. Наверно, нашлось бы дело и для градостроителя, но я взял фонарь и вышел вместе со всеми на трассу. Сколько помню, там с фонарями на льду стояли и актеры из Большого, и искусствоведы из Русского музея, и даже сам Пушкинский дом Академии наук!.. Легко сказать: взял фонарь! Тридцать километров льда были разбиты на тридцать кусков, и ты становился как бы хозяином отрезка, ледовым станционным смотрителем. Морозы первое время были не так сильны, лед не нарос, он не выдерживал тяжести машин с грузом. К тому же враг засек линию дороги и начал жестоко обстреливать и бомбить, при этом и ночью не было передышки! Там, где лед сам не ломался, ему помогали бомбы и снаряды. Наверное, взять фонарь и стать на вахту посреди ледового поля было мужеством, но это было ничто — по крайней мере, так кажется мне, — в сравнении с трудом шофера. Вот они где, и человеколюбие, и сострадание. Говорят: шофер — это и бедовость беспричинная, и безрассудство!.. Нет, нет!.. Эти люди с бородами, как у каторжников, часто с седыми бородами, — там много было людей далеко не молодых, — ведущие машины через адову тьму, наперекор и пурге — такой пурги, как на Ладоге, я не видел, — и огню, и полыньям, — вот он, подвиг души, а следовательно, человеколюбия… Именно человеколюбия: сознание, что ты один можешь вернуть к жизни тысячи людей, вело их на этот подвиг! Или это чувство локтя, когда беда собирает людей в единое братство… Загорается машина посреди льда, и люди начинают ее гасить, вначале сняв полушубок и телогрейку, а потом едва ли не

сами бросаясь на пламя, чтобы сберечь мешки с мукой, — это настоящее… Или грузовик проламывает лед, и люди в считанные минуты освобождают его от груза, а потом едва ли не на руках выхватывают из пучины… Вот я часто думаю: как ни сильна память людская, она не сможет сберечь всего. А жаль: то, что люди явили в эту войну, это и есть бездонный кладезь доброты, его хватило бы человечеству на века. Надо помочь памяти, надо помочь памяти…

— Верно, помочь памяти, — согласился Галуа и посмотрел на белесое небо. — Здесь, пожалуй, тише, чем у Нарвских ворот?

— Да, тише, — согласился младший Толь. — Но это ничего не значит… — он, видно, вкладывал какой-то свой смысл в это невразумительное «ничего не значит».

Они взобрались на холм — вода смыкалась с небом.

— Финляндия прямо? — спросил Галуа и простер руку прямо перед собой.

— Нет, надо взять правее, — сказал Толь.

— Финны говорят, что они… защищают Ленинград с северо-запада от немцев? — спросил Галуа и затаился.

Толь молчал. Только брови его пришли в движение. Что он думает сейчас о Галуа? Через пять минут после разговора о священной Ладоге — этот вопрос о Финляндии, который не должен произноситься на земле Ленинграда. В самом деле, кто не знает, что финны держат кольцо и в трагедии Ленинграда несут свою долю вины? В связи с этим все, что сказал Галуа, достойно, как сейчас, гневной немоты. А может, взгляд на это должен быть иным? Галуа — корреспондент, и ему необходимо видеть все аспекты проблемы, он требует диалога, подчас острого. К тому же надо понимать, что это Галуа, и для разговора с ним необходимо не столько гневное молчание, сколько доводы… Но это должен сказать Алексею Галуа не Тамбиев, а Толь, а сказать ему сейчас нелегко: вон какое пламя объяло его — не ровен час, сожрет человека, и пепла на серых холмах не оставит.

— Можно подумать, что финны снабжают блокадный Ленинград хлебом, чтобы не дать погибнуть его детям… — сказал Толь, не утаив гнева, который сейчас клокотал в нем.

Теперь пришла очередь молчать Галуа.

— Но сомнение такого рода существует, и мне надо ответить на него, убедительно ответить… — сказал он, когда уже молчать было нельзя.

Казалось, теперь это понял и Толь.

— Ну, тут есть такое мнение, — начал он, и его лицо, только что такое неистово-рыжее, обрело и спокойные краски, и спокойное выражение. — Тут есть мнение… Ну, кое-кто считает

— о степени участия финнов в блокаде надо судить по количеству снарядов, выпущенных по городу. Может быть, в иных условиях этот подсчет что-то и значил бы, но это же блокада, поймите, пожалуйста, блокада… Финны участвуют в осаде города, а следовательно, воздвигли часть стены, которая преградила Ленинграду путь к хлебу. Поэтому, когда речь шла о том, чтобы отодвинуть границу от стен Ленинграда, это действительно было насущно…

— Вы полагаете, все, что происходит сегодня, имеет прямое отношение к этому? — Галуа, прищурившись, всмотрелся в даль — ветер освободил воду от тумана, залив просматривался далеко.

— Именно прямое. Война не опровергла этой истины, она ее подтвердила…

Ну, разумеется, желая смягчить удар, Галуа мог сказать, что он корреспондент и говорит не столько от своего имени, сколько от имени тех смятенных и тревожно-колеблющихся, которых много в западном мире. Так мог сказать Галуа и так он говорил, но действовал он и от своего имени, а сомнения, высказанные им, были и его, Галуа, сомнениями. Тогда почему же младший Толь должен был наставлять Галуа на путь истинный? Это что же, извечная борьба поколений — мудрый юноша учит старца, впавшего в детство, — или нечто большее? Большее… это что? На одном берегу отец и сын Толи, а на другом Галуа, а между ними нечто бездонное?.. Почему бездонное, когда они люди одного корня?

— Вы… знаете Пузырева, директора Кировского завода? — вдруг спросил Галуа Толя.

— Знаю, разумеется…

— Вас свел завод? — спросил Галуа и заинтересованно заглянул в глаза Толю.

— Завод… это было потом, а вначале Ладога, — ответил Толь.

Галуа задумался: его замысел мог удаться.

— Не скрою, мы были на заводе и говорили о вас…

— Мне симпатичен Пузырев, — признался Толь с внезапной откровенностью.

— А не заглянуть ли нам сейчас к Пузыреву? — спросил, неожиданно посветлев, Галуа. — Ручаюсь, что ему будет приятно…

Толь склонил набок голову — такой прыти он не ожидал от Галуа:

— А удобно ли, вот так… неожиданно? Как он на это посмотрит, а?

— Кто нам запретит попробовать?.. — возразил Галуа. —

Откажет — не обидимся, а если удастся? Нет, нет, вы только представьте, если удастся?.. Ну, сделайте это для меня! — просил он; разумеется, он уже видел встречу молодого Толя и Пузырева в своей будущей книге. — Николай Маркович, что вы молчите?.. Я прошу вас, наконец… Попробуем, а?

— Попробуем.

Через полчаса заводские ворота распахнулись перед Галуа и его спутниками, но Пузырев не вышел к гостям: немцы начали обстрел, и директор был в литейном. Галуа был смущен, да и Тамбиев с Толем смешались заметно. С настойчивой и методичной последовательностью ложились немецкие снаряды, ложились где-то совсем близко. Однажды даже было слышно, как высыпались стекла и повалил дым, повалил плотно, застлав окно так, что в кабинете смерклось, как при затмении солнца…

Они увидели его после отбоя. Его щетина в эти три дня отросла и точно заиндевела. Он невысоко поднял руку, улыбнувшись, как могло показаться — не столько потому, что у него было хорошо на душе, сколько по долгу хозяина.

— Рад, очень рад, — произнес он устало. — А к вам, Дмитрий Александрович, у меня даже есть дело: пришло время думать, как мы будем восстанавливать завод, что будем строить… — Он не без робости посмотрел в конец цеха, где рабочие торопливо забрасывали землей и шихтой воронку. — Вот так и живем, — произнес он, не отводя взгляда от воронки, сейчас откровенно горестного. Он уже решил, что эта воронка все сказала гостям, все, что он еще сказать не успел.

— Обошлось?.. — спросил Толь. — Обошлось… на этот раз? — повторил свой вопрос Дмитрий Александрович.

Пузырев дотянулся рукой до щетины, не погладил, а жестко ее смял.

— Помните Новгородову? Елизавету? — он обратил глаза на Галуа. — Ну, ту, что в дом отдыха не хотела?.. Ее очередь!.. Го-о-о… вот гак и живем, мать твою! — он выругался что было силы. — Простите, ради бога, — вновь посмотрел на Галуа, потом перевел глаза на Толя. — Хорошо, что еще не на льду живем… — он имел в виду ладожскую эпопею, — земля, как ни говори, попрочнее льда — не проваливается…

Тамбиев и Галуа оставались еще в Ленинграде одиннадцать дней и в такую же, как первый раз, полночь, точно размеченную ритмичными ударами артиллерийских орудий, покинули город, взяв курс на Хвойную…

— Ладога, — сказал Галуа и приник к иллюминатору. Да, самолет шел над озером. Догорала гроза, несильная, уже осенняя.

Когда молния тревожила небо, видна была вода и под самым крылом тень самолета — не ровен час, самолет совместится с тенью, зарывшись в воду.

— Некуда спускаться, а такое впечатление, что никогда ты не был так высоко… — голос Галуа дрогнул, он наклонился — как ни темно было в самолете, он не хотел, чтобы Тамбиев видел его лицо. — Я не знал, что может быть… такая мера горя, — что-то спеклось у него в груди. Ленинградские дни собрались в комок и стали в горле, ему трудно было дышать. — Вы помните это… Котельническое всепрощение?

— Христофор Иванович?

— Не представишь Христофора Ивановича в Ленинграде, не так ли?

— Верно, но тогда непонятно иное, — возразил Тамбиев, возразил не без желания и ободрить, и раззадорить Галуа. — Что такое любовь к человеку?..

Галуа трудно поднял голову:

— История моих Толей — вот что такое любовь к человеку…

Самолет оторвался от воды, которая словно его держала, пошел все выше — озеро оставалось позади.

61

Наркоминдел распахнул двери прямо на Кузнецкий мост — открылся старый наркоминдельский клуб.

Лестница, отнюдь не обремененная мрамором и чугунным литьем, устремлялась на второй этаж, в зал с шестью окнами, выходящими на Кузнецкий… Зал невелик, но домовит в той мере, в какой милые детали его обстановки и сам он говорят о наркоминдельской истории… Следуя традиции, установленной еще в начале двадцатых годов, с трибуны этого зала выступали послы, как говорили в Наркоминделе, «прибывавшие на побывку». И темпераментный Красин, и малоречивый Штейн, и негромкий Трояновский, и весело-ироничный Карахан, и неизменно остроумный Литвинов, и Довгалевский, и Аросев, и Суриц…

И не только они: с трибуны наркоминдельского клуба любил разговаривать с дипломатами Чичерин. Он приходил в клуб, накинув на плечи демисезонное пальто с плюшевым воротником, и, сбросив его на ближайший стул, шел к трибуне, не забыв извлечь из жилетного кармана часы и положить их перед собой. В его манере говорить было нечто от века девятнадцатого: это была не речь, это была, как выражались в ту пору, конференция… Конференция была рассчитана на то, что оратора слушают. Поэтому Чичерин мог пройти и по авансцене, пододвинуть стул и опереться на сиденье коленом, вдруг остановиться перед наркоминдельским старожилом, сидящим в первом ряду, и произнести: «Петр Никифорович, вы должны помнить лучше меня: это было как раз в ту весну, когда наркомат прибыл в Москву и обосновался в итальянском особняке у Спиридонья?..» Он не любил гладких речей и как бы творил выступление, уточнял фразу и повторял ее в новой редакции, не стесняясь экскурсов чуть-чуть личных, вступал в диалог с залом, обращался к воспоминаниям, принимался читать стихи на латыни и греческом, чаще на немецком и французском, охотно и щедро обращался к русской классике, которую знал безупречно… Если бы рядом стояло пианино, он бы, говоря о музыке, не остановился перед тем, чтобы сесть за него и воочию, так сказать, воссоздать пассаж…

Его рассказы о дипломатических диалогах воскрешали и температуру беседы, и настроение, и характер собеседника. Многих из тех, кого наркоминдельцы знали по именам, они запомнили по рассказам Георгия Васильевича. И сурово-романтичного Фритьофа Нансена, и беспокойно-полемичного Линкольна Стеффенса, и всю плеяду расчетливых немцев, во

главе с Виртом и Штреземаном, которых посетил Георгий Васильевич по дороге в Геную, и, конечно, Ллойд-Джорджа и Барту, поединок с которыми явился тем значительным, что вошло в нашу дипломатическую летопись под именем Генуи…

И вот Наркоминдел распахнул двери своего клуба, чтобы воедино собрать всех, кого разметала по своим дорогам война; казалось, нехитрое дело, большое наркоминдельское собрание, а как велико волнение при одной мысли о том, что три этих года остались позади…

До того как Бардин увидел Хэлла, он приметил в группе лиц, сопровождающих государственного секретаря, Бухмана. Да, деятельный Бухман, товарищ и доброжелатель Гарри Гопкинса, появился в Москве, и в этом не было ничего удивительного. Больше того, это было закономерно, если учитывать, что Гопкинс в Москву не прилетел, а Хэлл был здесь, — в конце концов, у Гопкинса нет возможности узнать о том, что произойдет в Москве, иным путем, как через Бухмана.

Так или иначе, а Бухман был в Москве, и Егор Иванович имел честь его лицезреть.

— Первое ощущение: легко дышится! — сиял Бухман. — После мокрого вашингтонского солнца сухая прохлада Москвы исцеляет… Вот куда надо было бы поместить мое бедное сердце, чтобы оно набралось сил…

Бардин полагал, что этой своей репликой Бухман как бы определил место их встречи; Егор Иванович решил повезти гостя в сосновое Подмосковье.

— Не хочу ни Вашингтона, ни Африки, — произнес Бухман, когда Бардин остановил машину на берегу канала где-то у Тишкова, и они оказались вначале на прибрежной круче, высокой и ветреной, а потом на лесной тропе.

— Африка тоже была?

— Ну, разумеется, — Алжир…

— Алжир — это де Голль?

— Да, у государственного секретаря была встреча с генералом.

— И генерал… победил неприязнь государственного секретаря?

— Генерал сказал: «Я завидую вашей поездке в Москву. Не теряю надежды побывать там…»

— Ну, такими средствами он, пожалуй, не победит неприязни, наоборот, он ее упрочит… — был ответ Бардина, — он полагал, что может рассчитывать на искренность, если будет прям.

— А вы думаете, что неприязнь Хэлла… к де Голлю… существует? — спросил Бухман — он не без умысла оттенил именно эту часть фразы — «…Хэлла… к де Голлю…», ведь, говоря о неприязни, которой полно сердце государственного секретаря, можно было иметь в виду иное.

— Я слыхал, что американцы противятся приезду в Алжир нашего Богомолова из боязни, чтобы это не усилило де Голля… — Егор Иванович не был голословен в этом своем утверждении: тот же Хэлл прямо сказал нашему послу в Штатах, что появление Богомолова в Алжире сделает де Голля сильнее, а это создало бы угрозу… американским коммуникациям в Северной Африке. — Не смешно ли это?

Бухман улыбнулся, как показалось Егору Ивановичу, испытав немалое смущение:

— Смешно, действительно… — Они сейчас шли по тропе, огибающей водохранилище, солнце было у них позади, и тропа скрыта тенью. — Неприязнь оглупляет и людей, простите меня, более одаренных, чем Хэлл… Не отдавай себя во власть неприязни!

— Черчилль — это неприязнь, а Рузвельт — это трезвый расчет? — засмеялся Бардин. — Как сказал один добрый малый, это в любви расчет — порок, а в политике — благо. Не так ли?..

Афоризм понравился Бухману.

— Я это должен взять на вооружение, относительно расчета в любви и политике, разумеется, с вашего согласия, — заметил Бухман.

— Нет, это вы к нему за согласием, а я тут всего лишь посредник! — отозвался Бардин, все так же смеясь.

Они медленно вошли в сосновый бор. Его сосны были прямыми и рослыми, корабельные сосны. Даже странно, как он уцелел, этот бор, на таком ветреном холме. Когда ветер набегал, а он шел на холм валом с озера, сосны начинали раскачиваться. В их движении было что-то от полета птиц-исполинов, собравшихся к холму и затенивших своими крылами небо. В шуме сосен была своя стихия, своя музыка. Она, эта музыка, была величаво-проста и благородна, как сама природа, — ее можно было слушать бесконечно…

Бухман поднялся на холм и невольно вскинул руки, точно в его власти было дотянуться до вершин деревьев.

— Такое чувство, будто меня окрылили и мое бедное сердце окрылили!.. — произнес Бухман сияя. Он все еще тянулся короткими руками к вершинам, не теряя надежды достать их. — О, мистер Бардин, вы знали, куда меня привезти!.. — Он неожиданно ударил ладонью о ствол сосны и побежал по склону,

покатился, того гляди — соскользнет в воду. — Значит… расчет? — Вдруг встал он в трех шагах от озера, точно вкопанный; как ни велик был восторг Бухмана перед очарованием леса, он не утерял в своем практическом уме мысль о расчете. — Вы знаете, что такое расчет по-американски?..

— Нет, не знаю, мистер Бухман, что такое расчет по-американски… — заметил Бардин; было очевидно, что Бухман намеревался привести разговор к существенному.

— Президент сказал: если вы думаете, что я буду идти к победе над Японией, занимая все сто островов, лежащие на пути к Японии, то вы ошибаетесь… Думаю, что в природе есть кратчайший путь к победе, и я его отыщу!.. Вы поняли меня?

— Хотел бы понять, мистер Бухман.

— Америка сделает все, чтобы приблизить русскую победу, а Россия поможет Америке одержать верх над Японией — вот это и есть расчет по-американски…

— Погодите, я что-то не пойму… — произнес Бардин, наморщив лоб. Он, конечно, проник в замысел Бухмана больше, чем старался обнаружить, важно было, чтобы Бухман сказал все или почти все. — Россия ведет войну на Западе, а Япония, насколько мне память не изменяет, — на Востоке… Вы учитываете эту географическую подробность?

Бухман сжал губы — ну конечно же Бардин, изобразив недоумение, сделал это не очень искусно — он, что называется, переложил красок.

— Вам непонятно, мистер Бардин?

— Нет, понятно, но я бы хотел понять лучше, — уточнил Егор Иванович.

— Извольте: Россия заканчивает войну и, перебросив свои силы на Восток, таранит армию японского императора… Теперь понятно? — Он пошел вдоль берега, медленно, не без умысла фиксируя каждый шаг. Он, этот осторожный бухманский шаг, точно повторял: таранит, таранит, таранит. — Расчет? Да, существенный… Не поняв его, ничего нельзя понять ни сегодня, ни завтра…

— Вы имеете в виду встречу глав, мистер Бухман?

— Да, конечно.

Вечером они вернулись в Москву.

Бардин не был среди тех, кто встречал Идена, и беседовал с ним уже на Кузнецком, когда тот явился с протокольным визитом к Молотову. Весь вид Идена точно говорил: «Все идет не так уж плохо — вот мы и добрались до той самой главы наших отношений, которая знаменует собой апогей».

На Идене был темный строгий костюм. Искусство английских портных в сочетании с безупречными линиями фигуры министра производило впечатление. Манеры Идена были достаточно просты, но его внешность как бы единоборствовала с этой простотой, она была сильнее, постоянно заявляя о себе и как бы предупреждая каждого, кто имел дело с Иденом, чтобы тот не обманывался насчет кажущейся простоты английского министра.

В его рукопожатии, как отметил Егор Иванович, были и почтительность, и бдительное внимание, но начисто было исключено подобострастие, — возможно, в иных обстоятельствах и его спина сгибалась, но тут он держал ее прямо. Англичанин понимал, что подобострастие могло быть принято за слабость, а это нарушало сам принцип игры, который он принял.

— Да, я думал, что Хэллу будет трудно прибыть в Москву — он старше всех нас, — он подчеркнул «всех», — но старик справился…

Он произнес это так, будто бы у него не было иного повода обнаружить хорошее настроение.

— Министр Хэлл не часто отваживается на такое, — произнес Бардин, желая как-то откликнуться на реплику Идена.

— Именно, — горячо подхватил Иден. — Тем это ценнее! — Он точно хотел сказать: «Вы, русские, конечно, недолюбливаете его, но он тем не менее заслуживает похвалы».

Бардин видел Хэлла мельком и заметил, что у старика в ноздрях было по кусочку ваты, — видно, с последствиями перелета в Москву надо было еще справиться.

— Но министр Хэлл здоров?

— Вы имеете в виду это? — британский министр коснулся кончиками длинных пальцев носа, коснулся почти брезгливо, будто вата была не у Хэлла в носу, а у Идена. — Все будет о'кей! — этим специфическим американским «о'кей» Иден точно хотел дать понять, что он все еще имеет в виду американского государственного секретаря.

— Значит, мистер Хэлл здоров и последнее препятствие на пути к успеху преодолено… — Бардин намеренно придал фразе иронический характер.

— Да, разумеется, жезл победы в наших руках, — произнес Иден и взглянул на дверь молотовского кабинета, которая медленно открылась — британский министр приглашался к наркому.

Иден направился к кабинету. Стоящий сбоку Бардин не мог не обратить внимания: лицо англичанина с точным и чеканным профилем мгновенно стало и торжественным и, странное дело, неживым. Иден будто приготовил его, чтобы тут же перенести на

мемориальную медаль.

Характерно, что Иден был у Молотова до того, как к тому пожаловал Хэлл. Британский министр определенно решил реализовать преклоннный возраст своего американского коллеги и восполнить его малую маневренность. Ну, разумеется, дежурный визит, который Иден решил нанести советскому наркому иностранных дел, может и не дать существенных преимуществ, но в таком визите есть свой знак. Какой? За пределами этого визита Иден явит свои сорок шесть лет, не может не явить. В этой связи, только в этой, следует понимать щедрость, с которой Иден расточал похвалы в адрес Хэлла.

А Хэлл? Не трудно представить, как был рад президент, направив в Москву государственного секретаря. Более чем деликатную ситуацию, которая сложилась между Хэллом и Гопкинсом, в какой-то мере создал президент и должен был с нею считаться; поездка Хэлла в Москву давала Рузвельту выгоды немалые. Направив Хэлла в Москву, президент отводил обвинение в дискриминации государственного секретаря, обвинение, которое раздавалось все чаще и которое сплотило всех явных и тайных недругов Рузвельта.

Но было и иное, что сделало для президента проблему Хэлла в тот момент актуальной. Именно в сентябре сорок третьего, то есть в канун конференции в Москве, многолетняя тяжба между Хэллом и его заместителем Сэмнером Уоллесом достигла точки кипения. Уоллес, человек деятельного ума, мыслящий и динамичный, был и единомышленником, и в какой-то мере другом Гопкинса. Хэлл знал это и ревниво следил за тем, что делает Уоллес, дожидаясь своего часа, чтобы свести с ним счеты. Случай представился в канун конференции в Москве. Уоллес, возможно не без участия Гопкинса, дал понять, что хотел бы быть в Москве вместе с Хэллом. Государственный секретарь увидел в этом руку Гопкинса и решил дать бой, избрав своеобразным третейским судьей президента.

Многомудрый президент мог и уклониться от того, чтобы быть посредником в столь деликатном деле, но Хэлл предусмотрел и этот вариант: он подал президенту прошение об отставке. И хотя президенту очень хотелось принять отставку Хэлла, Рузвельт дал отставку не Хэллу, а Уоллесу. В этом решении президента не было ничего необычного. Хэлл обладал значительным влиянием в сенате, а это, как свидетельствует американская история, достаточно грозно и для президента, выигравшего или выигрывающего войну. Ближайший пример: Вудро Вильсон. Выиграв войну, он считал все остальные проблемы для себя решенными и жестоко просчитался. Нелады с

сенатом стоили ему президентского кресла… А вообще благополучие президента или, тем более, премьера, казалось бы, является производным от большой победы, но это отнюдь не всегда так. Если бы Рузвельту суждено было обратить взгляд на Европу середины 1945 года, то он увидел бы, что Вильсон в этой своей участи был не одинок…

Послав Хэлла в Москву, президент получал возможность отвести его кандидатуру на поездку в Тегеран, что имело для Рузвельта значение немалое. Внешним поводом к такому решению президента мог явиться возраст Хэлла: две поездки в столь отдаленные концы, притом с интервалом в месяц — не утомительно ли это для старого человека? На самом деле суть в ином. Рузвельту надо было взять в Тегеран не Хэлла, а Гопкинса, который держал в своих руках если не иностранные дела Америки, то, во всяком случае, все дела президента, касающиеся иностранных дел, а это не меньше… Правда, было одно препятствие к тому, чтобы этот узел был развязан так, как его хотел развязать президент: англичане. Они послали в Москву Идена и, судя по всему, в Тегеран хотели послать тоже Идена. Намеренно или нет, они этим жестом точно подчеркивали, что преемственность тут обязательна. Но президент мог и не посчитаться с этим — участие Хэлла должно было ограничиться поездкой в Москву, что же касается Тегерана, то отстранение государственного секретаря должно быть точно рассчитано и разыграно. Просто похвалы в адрес Хэлла по возвращении его из Москвы будут чуть-чуть щедрее, чем обычно. Остальное совершится само собой.

…Протокольная беседа Идена с наркомом, как и надлежит беседе протокольной, продлилась минут тридцать, но то, что имело место во время беседы Идена, так казалось Бардину, было отнюдь не протокольным.

— На моей родине склонны думать, что наш апеннинский десант неотделим от десанта французского и действенно служит делу союзников, — произнес Иден, уходя, и, встретившись взглядом с Бардиным, замолк, точно ожидая от него поддержки.

— Именно неотделим, господин министр, — отреагировал Егор Иванович, как бы осторожно опершись на слова Идена. — Апеннины без Франции и недостаточны, и не полны…

Иден улыбнулся:

— Ну что ж, будем считать, что конференция началась.

Он ушел, дав понять, что не обманывается насчет главной проблемы конференции, как понимают ее русские: второй фронт.

Как ни дежурен был визит Идена к наркому, англичанин достаточно проник в суть предстоящих переговоров.

Если бы англичане, участвующие в конференции, были людьми суеверными, они, узнав, что конференция происходит в особняке Наркоминдела на Спиридоновке, пожалуй, сочли бы это за предзнаменование отнюдь не доброе: именно здесь летом 1939 года советская сторона заявила посланцам Чемберлена и Даладье, что вправе сомневаться в искренности их намерений бороться с Гитлером и гитлеровцами. Надо было Западу пройти через испытания этих четырех лет, чтобы его делегаты сели едва не за тот же самый стол, исполненные решимости покарать Гитлера и гитлеризм.

Итак, встреча, которой суждено было отныне именоваться Московской конференцией министров иностранных дел союзных держав, открылась в особняке Наркоминдела на Спиридоновке 19 октября 1943 года. Три флага, укрепленные в центре круглого стола, представляли участников конференции: СССР, США, Великобританию. Соответственно каждую делегацию представляли Молотов, Хэлл, Иден. Не предопределяя повестки дня заранее, решено было обсудить тот круг вопросов, который делегаты сочтут необходимым вынести на обсуждение.

Так уж повелось на таких переговорах: непосредственно у стола занимали места нарком и его заместители, во втором и третьем рядах — советники и эксперты. В том случае, если среди наших делегатов были военные, они старались держаться в тени. Место в третьем ряду, которое облюбовал Бардин, обладало достоинствами несомненными: зал не был скрыт от глаз Егора Ивановича, в то время как Бардин был не на виду, что устраивало его вполне, учитывая не только размеры его фигуры.

Предстояло избрать председателя, и Иден, очевидно в соответствии со сценарием, определенным заранее, взглянул на Хэлла, который тотчас взял слово. Нет, не только потому, что так велела традиция, но и потому, что этот жест соответствовал намерениям самого Хэлла, американский делегат предложил кандидатуру Молотова. Поступая так, Хэлл точно говорил: «Вы считаете меня чуть ли не главой антирусской партии в Штатах, а председательский колокольчик, если в таком колокольчике была бы необходимость, ваш министр должен получить из моих рук». Иден поддержал американца, не преминув воздать должное и новому председателю, и, разумеется, Хэллу, который, предлагая кандидатуру русского, удивительным образом сумел явить качества, которые в подобных обстоятельствах не удавалось обнаружить никому другому: проницательность и еще раз

проницательность. Впредь комплименты в адрес американского делегата будут бесконечно варьироваться Иденом; внешне это будет выглядеть как дань опыту и сединам, на самом деле — дань могуществу Америки, от которой, увы, сегодня так зависит всесильная владычица морей.

А между тем вновь избранный председатель приступил к делу и предложил вниманию глав делегаций своеобразную записку своего правительства, первый пункт которой, что называется, брал быка за рога. Иден, который недавно стал пользоваться очками и, судя по всему, не любил этого делать, извлек кожаный очешник и, достав из него крупные, в роговой оправе очки, принялся за чтение советской записки. Генерал Исмей, сидящий рядом, приготовился сделать то же, но Иден остановил его предупредительным жестом и начал читать вслух. Английский генерал, не обладающий, очевидно, хорошим слухом, совсем по-стариковски поднес ладонь к уху, что заставило Идена чуть-чуть повысить голос.

— «…Советское правительство считает необходимым удостовериться, остается ли в силе заявление, сделанное в начале 1943 года Черчиллем и Рузвельтом относительно того, что англо-американские силы предпримут вторжение в Северную Францию весной 1944 года…» — читал Иден, при этом значительность текста не давала ему возможности перейти на шепот. Генерал Исмей слушал его со все большим вниманием, что можно было понять вполне, учитывая то, что этот текст имел отношение и к генералу Исмею, даже в какой-то мере больше к генералу Исмею, чем к Идену, поскольку речь шла о большом десанте.

Иден умолк и вопросительно взглянул на Исмея, тот многозначительно и кротко кивнул ему, точно хотел сказать: «Ну что ж, как следовало ожидать, и здесь эта проблема будет главенствовать».

— Готовы ли господа Хэлл и Иден обсудить наши предложения, разумеется, после того, как они их изучат? — спросил председатель.

Иден перевел взгляд на Хэлла, будто тот уполномочен был дать ответ за двоих.

— Да, мы готовы, — сказал Хэлл.

— Конечно, конечно же… — отозвался Иден, отозвался воодушевленно, будто и не обращал вопросительного взгляда на американца.

На другой день Бардин поехал с Иденом смотреть запасники Музея изобразительных искусств, в которых, как это хорошо было известно британскому министру, хранится несравненная

коллекция французских импрессионистов,

Единственное, что интересовало Бардина в этом посещении музея: получил ли британский министр ответ Черчилля на телеграмму, посланную им после окончания первого заседания конференции, а если получил, то каково может быть ее содержание? (О том, что такая депеша пошла в Лондон, у Бардина не было никаких сомнений.) Но Идену, как понял Егор Иванович, в этот день решительно было не до Черчилля и его депеши. Британский министр, казалось, хотел говорить только об импрессионистах.

Кстати, к этому были основания — коллекция московского музея немало этому способствовала.

Но далеко за полдень, когда путешествие по сумрачным и изрядно сырым залам музея закончилось и одна за другой были осмотрены коллекции Ренуара и Дега, британский министр был приглашен в кабинет директора на чашку кофе. Густой темно-коричневый напиток подали не в турецких чашечках-наперстках, а в стаканах, правда хрустальных. Иден пил охотно, при этом стакан был точно оплетен его тонкими и зябкими пальцами. Казалось, чудо-напиток восстановил силы англичанина и даже заметно улучшил его настроение.

— У меня на родине бытует мнение, что в ваших нынешних требованиях большого десанта есть что-то фатальное… — вдруг подал голос Иден, когда директор отлучился из комнаты. — Вы требуете его уже по инерции, требуете, хотя он вам уже не очень нужен…

— Если есть инерция, то есть и нечто такое, что не похоже на инерцию? — спросил Егор Иванович — он был рад, что Иден заговорил об этом.

— Так, разумеется.

— Что именно, господин министр?

«Ну, дело пошло, — подумал Бардин. — Он сейчас начнет припоминать текст последней депеши премьера. У него уже есть некий условный рефлекс: привязать себя к Черчиллю. Даже когда нет необходимости, все равно привязывать. В их отношениях даже выработался определенный ритм: один подает идеи, другой их реализует. Даже тогда, когда они не заслуживают того, чтобы быть реализованными. То, что исходит от Черчилля, Иден не привык ставить под сомнение — так и легче, и надежнее. Тут ничего не утрировано, и не следует все понимать так: Черчилль — гений, а Иден — посредственность. Нет, Иден тоже может быть гением, но когда он не ставит себя в столь зависимое положение, в какое он себя поставил, зависимое даже не по должности, а по распределению функций. Английский министр должен был

заметить: оставаясь зависимым, он устанавливает для себя пределы, которые во всех иных обстоятельствах он бы превзошел. Это тоже знает министр. Излишняя самостоятельность никогда не приносила людям вреда».

— Итак, русские настаивают на осуществлении большого десанта по инерции. За эти годы войны в Европе все изменилось, а они все еще настаивают. Уже не в их интересах большой десант, а они ничего иного и знать не хотят.

— Что вы имеете в виду, господин министр, когда говорите «ничего иного»?

— Ну, например, десанта союзников на Балканах?.. Да, ввести англо-американский флот в Черное море и высадиться на Балканах… Как?

«Рискованно утверждать, что Иден тут несамостоятелен, но уж очень похоже, что это так: о десанте на Балканах многократно говорил Черчилль».

— А почему Балканы, а не Франция, господин министр?

Иден должен был собраться с мыслями, чтобы защитить эту идею:

— Как это ни парадоксально, но нет лучших путей сообщения, нежели те, которые связывают разные концы осажденной крепости.

— Вы имеете в виду Европу, господин министр? Европа — крепость.

— Да, разумеется. Здесь и прежде были лучшие в мире пути сообщения, а теперь, когда Европе грозит осада, все это будет усовершенствовано, при этом, чем меньше будет осажденная территория, тем большие возможности у обороняющихся для переброски войск с одного фронта на другой…

— Не следует ли из этого, господин министр: чем меньше у Гитлера войск и территории, тем он сильнее?

Иден умолк. В этих парадоксах есть что-то от бумеранга. Они опасны не только для оппонента, но и для того, кто их пустил в ход. Ты думаешь, что они поражают противника, а они возвращаются к хозяину, чтобы свести с ним счеты.

— Попомните, рано или поздно, а союзники придут на Балканы, при этом большой десант…

— Десант на Балканах — не идея ли это господина Черчилля?

— Идея мистера Черчилля? Нет.

Да, Иден сказал: «Нет».

Вон куда завел Идена текст черчиллевской депеши! Ну, разумеется, Иден волен сказать «Нет» и повторить: «Нет! Нет! Нет!» Он волен сказать так по той простой причине, что текст

черчиллевской депеши был неизвестен и не мог быть известен Бардину. А если бы он вдруг стал известен Егору Ивановичу? Если бы Егор Иванович обрел возможность прочесть то, что пытается утаить сейчас его почтенный собеседник? Да, если бы это случилось не в октябре тысяча девятьсот сорок третьего года, а позже, когда стали известны тексты всех черчиллевских депеш, как тогда? Ничто так не раскрывает сущности Черчилля, как, предположим, его депеши Идену, депеши-напутствия, быть может директивы:

«…В случае, если Германия не потерпит краха, я не думаю, что нам следует переправляться через Ла-Манш, располагая меньше чем сорока дивизиями…»

И запись в дневнике, которая, в сущности, этой депеше сопутствовала, ибо была сделана одновременно: «Иден получил мою телеграмму от 20 октября и прислал свои замечания. Он сообщил, что русские упрямо и слепо настаивают на нашем вторжении в Северную Францию…»

Итоговая строка в депеше, звучащая как формула действия: «Вы должны попытаться выяснить подлинные намерения русских относительно Балкан… Насколько они будут заинтересованы в открытии нами Черного моря для союзных военных кораблей?.. Заинтересованы ли они в осуществлении такого плана действий, или они по-прежнему настаивают лишь на нашем вторжении во Францию?»

Наверно, шифровальной службе британского посольства следовало действовать напряженно, если диалог на Спиридоновке должен быть своеобразно повторен и прокомментирован в депешах, которыми обмениваются в эти дни Иден и Черчилль.

63

Вот вопрос к задаче, думал Егор Иванович, пододвигая свой стул в периферийном ряду: рассмотрев делегатов за минуту до заседания, можно хотя бы с известной долей приблизительности определить, как развернутся события дальше?

Первым из англичан занял место за столом генерал Исмей. Он оглядел зал и принялся отвешивать поклоны, он это делал с радушием, которое в нем прежде и не предполагалось. Его улыбка погасла так же быстро, как и появилась. Он раскрыл папку, и его лицо, только что улыбающееся, стало озабоченным, больше того, пасмурным. На мгновение подняв глаза и увидев Гарримана, он устремил на него сумрачный взгляд, чем немало озадачил американца, — английский генерал уже не в силах был улыбнуться. Потом он вновь точно окунулся в свою папку, при этом предметом его интереса были три странички машинописного текста, которые он прочел один раз, потом второй и прочел бы в третий, если бы заседание не началось…

Изо всех делегатов, которых видел сейчас Бардин, никто не выказывал такой хлопотливости, как Исмей. Весьма возможно, когда дело касалось выступления, при этом столь ответственного, он, опытный военный, чувствовал неуверенность. Смятение генерала в сочетании с нервным вниманием к этим машинописным страничкам свидетельствовало, что он готовится произнести речь… При этом размеры машинописного текста могли дать представление не только о размерах речи, но и в какой-то мере о ее температуре, что важно… Пока что только о температуре, хотя при желании можно было поразмышлять и дальше, представить, о чем будет говорить Исмей. Очевидно, его речь должна быть посвящена военной проблеме. А на конференции нет иной военной проблемы, как проблема большого десанта… Кстати, первый пункт молотовской записки, врученной Хэллу и Идену, ждет обсуждения. Но тогда почему готовится взять слово только генерал Исмей, а его коллега, американский генерал Дин, едва ли не безучастен? Не уполномочен ли английский генерал говорить и от имени американцев? А если англичанин имеет такие полномочия, значит, нынешнему заседанию конференции предшествовала сепаратная встреча англо-американцев? Нет, истинно, природа не терпит пустоты. Если более чем преклонный возраст Хэлла создал в паровом котле англо-американского действия некий вакуум, то энергии Идена хватит, чтобы заполнить этот вакуум.

Итак, Исмей зашелестел своими страничками и произнес:

«Господа». Казалось, это обращение адресовано не высокому собранию в целом, а только Ворошилову: британский генерал смотрит в зал, а видит только советского маршала. Как понять это? Знак уважения к человеку, биографию которого Исмей наверняка знает: донецкий слесарь, герой революции, вставший во главе ее стремительных конных армий? А может, признание компетентности — видный военачальник и красный министр, чье имя в предвоенные годы не могло не отождествляться с революционным по своей сути трудом по техническому переоснащению армии и совершенствованию ее стратегических начал?.. А возможно, признание военно-дипломатических данных: Ворошилов все чаще заявлял о себе и в этом качестве… Так или иначе, но если особняк на Спиридоновке способен напомнить англичанину лето 1939 года, уроки этого лета, жестокие и трижды поучительные, то воспоминания должны коснуться и маршала Ворошилова — он единственный из русских, сидящих в этом зале, кто тогда был здесь и разговаривал с английскими военными…

Итак, Исмей сказал «Господа» и, поправив очки, принялся читать свои странички. Он читал, а Бардин думал…

Оказывается, в том, что зовется наблюдательностью, человеческий глаз не столь беспомощен.

Исмей говорил о большом десанте. Нет, союзники отнюдь не берут под сомнение дату открытия второго фронта, хотя категорически и не подтверждают сейчас эту дату. Они всего лишь хотят поделиться со своими русскими союзниками, как им видится эта проблема сегодня. Чтобы отвлечь сорок немецких дивизий, о которых идет речь в требованиях русских о втором фронте, союзникам необходимы для операций в Северной Франции шестьдесят дивизий. Имеют ли они эти дивизии?.. Если даже снять все войска с итальянского фронта, то общее число дивизий не превысит пятидесяти. Но есть ли смысл снимать их с итальянского фронта, где успех достигнут немалой ценой?.. Очевидно, такого смысла нет. В самом деле, европейские коммуникации в руках немцев, коммуникации превосходные. Нельзя надеяться на то, что немцы не узнают о переброске войск с итальянского фронта на северо-французский, а если это им станет известно, великолепные европейские дороги будут использованы мгновенно и Италия падет под ударами врага.

Следует ли из всего этого, что союзники отказываются начать операцию в Северной Франции в мае сорок четвертого? Нет, отнюдь не отказываются, но они просят русских вникнуть в существо тех расчетов, которые они изложили сейчас.

Исмей говорил, не отрывая глаз от своих записей — в них

надежность единой энергомагистрали от Черчилля к Идену, от Идена к Исмею… Вот говорят, что нет более творческой дипломатии, чем английская… Предыстория речи Исмея не столько подтверждает эту истину, сколько ее опровергает. В конце концов, эта система сообщающихся сосудов может быть британским изобретением, но вряд ли она свидетельствует о творческом начале замысла… Нет, даже не Исмея, который сейчас держит речь, а Идена, — очевидно, текст речи Исмея был составлен Иденом, но истинным автором ее является британский премьер, и главные ее положения есть во вчерашней черчиллевской депеше британскому министру. Факт печальный, и прежде всего для Идена — в политике бездумная зависимость и оглупление — суть процессы родственные.

Иден готовился к приему у Сталина.

Нет, вопрос о большом десанте мог и не возникнуть: русские сказали свое слово. Запад им ответил, предварительно ответил. Диалог только начался. Формула русских была в такой же мере лаконичной, в какой и умеренной. Ответ Запада, в сущности, был терпим, не обнаруживая разногласий, больше того, по возможности загоняя их в преисподнюю. Тесту надо было дать взойти. Как ни медлен был огонь конференции, он давал достаточно тепла, чтобы тесто взошло.

Но были еще вопросы, наиважные.

Первый из них, и к тому же достаточно деликатный: конвой.

У этой проблемы, как она могла возникнуть сегодня в разговоре Идена и Сталина, была своя история, достаточно красноречивая для нынешней поры советско-английских отношений.

В апреле 1943 года британское морское министерство, разумеется с согласия своего премьера, приняло решение приостановить отправку конвоев в северные порты России до наступления осенней темноты. За годы войны русские привыкли не удивляться обескураживающим решениям Черчилля, но столь неожиданного шага не ждали и они. Новая акция Черчилля, к тому же предпринятая без ведома и согласия советского союзника, ставила русских в положение своеобразное. Черчилль, разумеется, отлично представлял себе последствия этого шага, и тем не менее черчиллевское вето на отправку оружия в Россию было наложено. Советская сторона потребовала возобновления конвоев.

У Черчилля не было иного выхода, как возобновить конвой, но за это свое решение он хотел взыскать с русских возможно высокую плату. В письме, которое он направил Сталину, решение

о посылке судов на русский север толковалось таким образом, будто бы британский союзник шел на некие благодеяния. А коли речь шла о щедротах, они требовали мзды, и немалой. Поэтому Черчилль решил связать посылку конвоев с требованиями, которые к конвоям имели отношение косвенное: дать разрешение на увеличение числа английских военных в северных портах России, изменить их статут и т. д.

Ответная телеграмма Сталина была полна гнева — никогда он не писал Черчиллю столь резко. Послание британского премьера он расценил как своего рода угрозу СССР. В свою очередь Черчилль прибег к средству, которое в отношениях между союзниками, пожалуй, не применялось: он возвратил Сталину его телеграмму.

Было очевидно, что этот конфликт должен быть как-то преодолен, при этом чем раньше, тем лучше, Тегеран был не за горами.

Иден направился к Сталину, полный решимости сделать все, чтобы и конфликт был преодолен, и память о нем, по возможности, предана забвению. Русские не были заинтересованы в обратном, да им, как понимал Иден, было сейчас не до того, чтобы поддерживать междоусобицу, — их внимание действительно было приковано к Тегерану, к насущным фронтовым делам — Красная Армия шла по земле Правобережной Украины, со дня на день ожидалось освобождение Киева.

Иден вышел из машины, едва она минула Спасские ворота. Он хотел было дождаться посла Кларка Керра, который, следуя примеру Идена, не без труда расстался со своим лимузином и поспешал, как мог, за министром — шестьдесят лет не такой уж преклонный возраст, но, как показалось Идену в этот раз, жестокая служба в России сказалась на Керре заметно, он стал сдавать… Иден понимал, как ответственна предстоящая беседа, и попытался обрести уверенность, припоминая некоторые детали. Как ни агрессивен был Черчилль, его порядочно встревожила распря с русским премьером. Помнится, он не однажды произнес: «Я надеюсь, что вы дадите им почувствовать как наше желание быть в дружбе с ними, так и нашу твердую волю…» Ну, разумеется, твердая воля здесь была упомянута только для сохранения престижа.

Британский премьер старался внушить Идену, что автором сталинского послания, столь возмутившего англичан, является не Сталин, а аппарат. Сталин посылает свои ответы тут же, а на это потребовалось двенадцать дней. Совершенно очевидно, что над посланием трудился аппарат, — пытался британский премьер

убедить Идена. Идена и, наверное, чуть-чуть себя. Зачем это надо было Черчиллю?.. У него не было крайней необходимости портить отношения со Сталиным, тем более в преддверии предстоящей встречи. Даже наоборот, нужен был мир. Но мир был нарушен, и Черчилль в этом был виноват в немалой степени, и, как могло показаться британскому премьеру, даже по мнению Идена. В этой ситуации склонить Идена на разговор со Сталиным можно было лишь в том случае, если Черчилль считал советского премьера невиновным. Разумеется, Черчилль подвиг бы Идена на этот разговор и в иных обстоятельствах, но сейчас это был кратчайший путь к цели.

Идену было приятно, что советские военные, которых было много в этот день в Кремле, приветствовали его. Он хотел верить, и, возможно, был прав, что это было не дежурное приветствие, они узнавали его. Как все-таки консервативна человеческая память! Иден убежден, что русские не связывают его имени с именем Черчилля, которого они откровенно не любят. Да, пожалуй, никто не намерен ставить Идену в вину, что его последняя миссия в Москву скорее была неудачной, чем удачной, при этом не без вины Идена. Самым сильным оставалось первое впечатление, и его решительно не могло изменить все последующее. Никто здесь не верит и, пожалуй, не намерен верить, что Иден в такой мере зависим от деспотической воли Черчилля, в какой редко когда был зависим министр иностранных дел от премьера. Наоборот, здесь убеждены, что есть Черчилль и есть Иден, при этом второй в своих отношениях с Россией много доброжелательнее первого. Возможна степень доброжелательности и иная, и доверчивые русские ее преувеличивают, им приятно ее преувеличить. Нет, речь идет не только о народе… Вот сейчас состоится встреча со Сталиным, и это обнаружится достаточно ясно. Кстати, если говорить о миссии Идена, с которой он сейчас направляется к Сталину, той самой, деликатной, то лучшей фигуры, чем Иден, тому же Черчиллю не надо.

Иден замедлил шаг, дожидаясь Керра, но это было едва ли не безнадежно… Видно, старость приходит к человеку с походкой, вон как ее деформировало: ноги заметно скребут торец. Нет, Керр не так слаб, как показался Идену вначале, просто сработали сорок шесть иденовских лет, но и сорок шесть — это возраст…

А военные все шли, и каждый подносил руку к козырьку, приветствуя Идена… В тот зимний приезд Идена в Москву они были менее приветливы… Значит, их нынешняя доброта еще и от настроения. Вот что может сделать большой военный успех с людьми: они откровенно веселы… Иден воспринял это вновь,

когда поднялся к Сталину. Как помнит Иден, в комнате секретариата прежде была тишина, почти церковная, да и народу немного. Сейчас полная комната военных, и тишины как не бывало, звучит смех, какого, так думает Иден, давно эти стены не слышали. Этот смех возник не только потому, что дела пошли на лад, но еще и потому, что улыбнулся человек, сидящий в соседней комнате. У этого человека должно быть сегодня настроение доброе, что может иметь, как свидетельствуют наблюдения Идена, для миссии британского министра значение почти решающее.

64

Иден был приглашен в кабинет советского премьера, когда волнение, вызванное предыдущей встречей, так показалось англичанину, еще владело Сталиным,

— Вот немцы говорят, что второго Сталинграда не будет, — заметил Сталин, приветствуя гостей, заметил так, будто бы только что в кабинете были не русские, а немцы, которые к тому же утверждали, что второго Сталинграда не будет. — А если не будет, то не будет, мол, советского превосходства, — подтвердил он — Сталин, конечно, мог всего этого не говорить Идену, но ему очень хотелось показать, что у него нет секретов от британского союзника, — в самих этих словах особенных секретов не было, но известная доверительность была.

— Немцы хотели бы так думать, — засмеялся Иден — он воспринял тенденцию, которая была в словах Сталина, тенденцию, не смысл, и ему важно было ее поддержать. — Хотели бы думать… это помогает жить.

— Помогает… — слабо реагировал Сталин — его первая фраза сработала, и он потерял к ней интерес, он думал о том, как пойдет беседа дальше.

— Сегодня утром немцы сообщили о перегруппировке русских войск на подходах к Киеву, — произнес Иден и внимательно посмотрел на Сталина.

— Да, борьба еще будет очень жестокой, — сказал Сталин — он стремился переключить разговор на главное. — Двести пятьдесят дивизий, что противостоят там, сила немалая, — заметил он в той раздумчиво-неторопливой манере, в какой любил говорить, когда добирался до существа. — Все, что союзники могут сделать, они должны сделать не откладывая…

Видно, Сталин, догадываясь о желании Идена говорить о конвоях, намеренно пошел ему навстречу. Ну что ж, главное так главное. Иден посмотрел на Керра, точно испрашивая у него разрешения на пространную реплику, которую готовился сейчас произнести. В знак согласия Керр смежил веки.

— Мистер Сталин, я хочу говорить о конвоях, — начал Иден — храбрая прямота, с которой были произнесены эти слова, призвана показать Сталину, что Иден намерен говорить искренне. — Как ни многоопытен наш флот, прошу верить, каждый конвой является для него операцией сложной. Четырьмя крейсерами и двенадцатью эсминцами, которые служат непосредственным щитом конвоя, дело не ограничивается — в море должен выйти весь флот метрополии…

Иден продолжал говорить и, скосив глаза, видел, как Сталин кивает головой. Это ритмичное покачивание головой и воодушевляло, и настораживало. Его можно было понять так: «Да, да, с тобой нельзя не согласиться, почтенный мистер Иден…» Но можно было истолковать и по-иному: «Говори, говори, милейший, но мы-то знаем, где истина…» Идену показалось, что мера скепсиса, которая ему виделась в словах Сталина, зависит от убедительности слов британского министра, и он замедлил речь. Он говорил теперь, что большого флота Великобритании явно недостает, чтобы выполнить все задачи, стоящие перед ним. На прикрытие конвоев приходится отвлекать флот, действующий против немецких подлодок в Атлантике. Между тем, как ни велики успехи в борьбе с подводными лодками, число их не сократилось. В подтверждение Иден раскрыл портфель и жестом, в такой же мере изящным, в какой и заученным, извлек сложенный вчетверо лист кальки, неожиданно белоснежной.

Психологический фокус! Произнеси Иден эту свою фразу о немецких подлодках, не обращаясь к кальке, она бы улетучилась из сознания его собеседников как дым. А вот калька, вернее, рисунок на кальке, стоящий аппарату Идена усилий пустячных, заставил многоопытного русского премьера сдвинуть брови и произнести многозначительно: «Да, действительно!» Калька пошла по рукам, она побывала в руках и у Сталина, и у Молотова, и даже у Керра, как будто бы британский посол не имел возможности посмотреть ее до этого. И Керр в свою очередь сказал: «Да, действительно!» — всем своим видом подтверждая истину, только что высказанную министром: немецкие подводные лодки — сила серьезная. Вот он, опыт: чтобы слово действовало, надо обратиться к истинному пустяку, но так, чтобы он впечатлял. Казалось бы, вон как всесилен ум. Он-то, этот ум, должен понимать, что это всего лишь фокус, должен понимать, но понимать отказывается.

А Иден продолжал торить свою нелегкую стезю. Он мог позволить теперь назвать имя своего премьера (раньше в этом был некий риск), назвать, разумеется, осторожно, обмолвившись, что в своих обещаниях русским тот действительно должен был считаться с условиями войны на море, — то, что в иных обстоятельствах можно обещать твердо, здесь зависит от воли божьей. Назвав как бы ненароком имя премьера, Иден пошел еще дальше и отважился сказать, что Черчиллю принадлежит почин возобновления конвоев. Кстати, вот эту цифру — 130–140 судов, которые намерены доставить 860 тысяч тонн груза, — Черчилль сообщил Идену уже в Москву. Ну, разумеется, Иден не может гарантировать посылку всех этих кораблей и доставку всего груза,

как не мог гарантировать это Черчилль. И именно в этой связи британский премьер говорил о доброй воле, что вызвало неодобрение Сталина.

Все шло как по маслу, если бы не это коварное слово «неодобрение», которое Иден, спохватившись, заменил «неудовольствием», хотя, откровенно говоря, и это было плохо, так как ставило английскую сторону в этом споре в неравное, больше того, дискриминационное положение. Но искать новое слово было поздно. Сталин поднял над столом ладонь, поднял невысоко. Это было в его манере: говорить вполголоса, идти пригасив шаг, если обращаться к жесту, то не во все плечо, а как сейчас — он невысоко поднял ладонь над столом, дав понять, что хочет говорить.

Он сказал, что его несогласие с Черчиллем касается не трудностей, с которыми операция связана, а вопроса о том, обязаны ли англичане ее провести. Из телеграммы Черчилля следует: если удастся провести хотя бы один из конвоев, то это будет как бы подарком. Верна ли такая точка зрения?

Иден осторожно прервал Сталина, заметив, что англичане не считали и не считают, что доставка грузов является услугой русским или, тем более, актом благотворительности. Сталин должен доверять союзникам, и именно этим вызвана обида Черчилля.

Сталин сказал, что у него не было желания обидеть Черчилля

Иден вздохнул: штормовое море, море трудное, осталось позади.

Когда над головой Идена вновь замаячили купола кремлевских соборов, он принялся по привычке восстанавливать в памяти всю беседу (по возвращении в посольство ее надо было записать) и решил, что она прошла для англичан лучше, чем можно было ожидать: конфликта из-за конвоев уже не существует, или почти не существует… Да в конвоях ли только дело? Не было бы сегодняшнего разговора Идена со Сталиным, Черчиллю, пожалуй, трудно было бы поехать в Тегеран. Сейчас такая поездка возможна…

А в работе конференции наметился известный ритм.

Правда, вопрос о большом десанте — отныне десант носил кодовое имя «Оверлорд» — участники до поры до времени молчаливо обходили, справедливо полагая, что он может быть обсужден и за пределами конференции. Зато все остальные вопросы были рассмотрены в темпе, невиданном доселе, что было знаком, в высшей степени обнадеживающим. Как ни жестоки были тернии, лежащие на большой дороге взаимопонимания, они, эти тернии, казалось бы, с общего согласия устранялись. Вот эта черта конференции на Спиридоновке была, пожалуй, самой обнадеживающей, тем более что за Спиридоновкой следовал Тегеран.

Один за другим решенные вопросы были внесены в секретный протокол конференции.

Новый этап войны ставил новые проблемы. Почти наверняка союзников ожидали еще суровые испытания, но критическая точка войны, видимо, оказалась позади. Внимание было обращено на послевоенную Европу, обращено осторожно — проблемы послевоенного устройства Европы не должны были подменить страдных проблем фронта. Тем не менее союзники договорились создать два консультативных центра, которым предстояло сказать свое слово о послевоенных судьбах Германии и Италии.

Американцы были озабочены тем, чтобы объединенная мощь союзников была обращена и против Японии, разумеется, после победы над Германией. Декларация, которую приняла конференция и которую должен был подписать и Китай, прямо говорила об этом.

Все новые данные свидетельствовали о том, что политика слепого и безудержного террора, которую объявили гитлеровцы народам Европы, продолжается, — союзники решили заявить во всеуслышание, что они об этом знают и сурово покарают виновных.

Союзники не теряли надежды склонить на свою сторону Турцию. Конференция подтвердила, что СССР и Великобритания, взаимно консультируясь, продолжают эти усилия.

Министры, сидящие сейчас за круглым столом наркоминдельского особняка на Спиридоновке, разумеется, понимали, что решения конференции должны быть рассмотрены в Тегеране, поэтому конференция носит как бы предварительный характер. Можно было подумать, что документ, принятый на Спиридоновке, нуждается в штемпеле, а поэтому он так легко и

был принят. На самом деле конференция обрела общий язык сравнительно легко потому, что союзники переступили новый важный предел сотрудничества, а следовательно, взаимопонимания. В преддверии Тегерана этот признак был добрым.

Бардин и Бухман отпустили машину и шли в наркомат пешком.

Егор Иванович умел «читать» московские улицы, и американцу это было интересно: чеховский дом на Садово-Кудринской, горьковский на Спиридоновке, гоголевский на Суворовском бульваре, да только ли это?

Но не всегда вопросы задавал Бухман, иногда это делал Бардин. И касались они, естественно, не истории московских улиц.

— Согласитесь, что мистер Хэлл, как мы его узнали в последние годы, сложился не сам по себе и представляет не только себя?

— Вы полагаете, что он обязательно должен представлять не самого себя? — улыбнулся Бухман, и его глаза, обращенные на Бардина, точно исторгли сухую искру. — Нет, нет, вы не обижайтесь… Я сказал так потому, что у вас, как мне кажется, есть некая концепция: крупная фигура должна представлять не саму себя, а промышленный комплекс или могущественную гильдию железных дорог… Мистер Корделл Хэлл в первую очередь представляет, конечно, самого себя, хотя и не пренебрегает поддержкой внешних сил, например сената, где традиционно сильны южане, союз тех, кто хотел и Линькольна держать в узде, да не смог…

— Для Рузвельта мистер Корделл Хэлл лидер оппозиции?

— В какой-то мере, но не столько легальной, сколько нелегальной, — как бы парировал Бухман. — Если вы думаете, что назначение на пост государственного секретаря легализовало его деятельность, то ошибаетесь. Наоборот, оно вынудило его уйти в подполье, — Бухман засмеялся.

— Значит, Рузвельт — Хэлл — великое противостояние?

— Пожалуй, мистер Бардин.

— Но как скажется это противостояние на равновесии сил, да еще в канун встречи глав? Различие во взглядах серьезно?

— Серьезно, разумеется, но есть могучая сила, которая это различие нейтрализует, и вы, мне так кажется, это учитываете…

— Какая сила?

— Удар по Японии. Совместный удар.

— Простите, мистер Бухман, но личное общение с мистером

Корделлом Хэллом… не опровергает этого предположения?

— Нет. Больше того, Москва его умиротворила. Хэлл остался тем же, разумеется, но что-то появилось новое… — Бухман расплылся в улыбке, щедрейшей. — Что ни говорите, а он не только представитель пресловутого промышленного комплекса, но еще и человек.

— Благодарю вас, мистер Бухман.

Прогулка продолжалась, интерес к истории московских улиц возобновился.

Когда председатель, взглянув на часы, объявляет двадцатиминутный перерыв, делегаты, как бы сговорившись, уходят в сад. Есть возможность и уединиться, привести свои мысли в порядок перед решительной баталией, и завязать необходимый диалог, разведывающий, зондирующий, торящий новые пути, и отдохнуть, и даже сымпровизировать под кроной липы или дуба параллельное заседание, но, разумеется, без протокола, что тоже имеет смысл… Нет, человек, кажется, ничего более разумного не придумал, как обыкновенный сад, а для дипломатов он просто спасение…

Бардин оказался свидетелем беседы маршала Ворошилова с генералом Исмеем.

— Не считаете ли вы, маршал, что немцы стали особенно чутки к угрозе окружения? — спросил Исмей.

— Не хотите ли вы сказать, что немцы… застрахованы от окружения? — спросил Ворошилов — его резкий голос вырвался из повиновения и обрел тона почти петушиные.

— Нет, я хочу сказать, что для немцев нового Сталинграда может и не быть, — бросил Исмей не без лукавства.

— Сталинграда? — переспросил Ворошилов. — Нового Сталинграда действительно не обещаю! — бросил он и заспешил к дому, ему почудилось в словах англичанина нечто тревожное. — Нового Сталинграда действительно не обещаю, да и вам обещать не советую… — вдруг засмеялся он и исчез в дверях.

Исмей задал задачу и Бардину. Значит, англичанина интересует, возможен ли новый Сталинград? Неспроста интересует. Дело, конечно, не в таинствах битвы — что она прибавит к Сталинграду? Очевидно, суть в ином: какой урон еще могут понести немцы, — в этом существо вопроса Исмея. Ну, разумеется, в первооснове этого вопроса «Оверлорд», вожделенный «Оверлорд»! Завтра, когда союзники высадятся на континенте, насколько могущественна будет армия, которая встретит их?.. «Когда союзники высадятся на континенте…»

А они все-таки думают высадиться?

66

Даже когда конференция назначалась на утро (она открывалась в одиннадцать), Бардин успевал до отъезда на Спиридоновку повидать своих сотрудников, осведомившись, как идут дела, рассказав о конференции нечто такое, что они могли и не знать. Последнее неизменно принималось с благодарностью: товарищи Егора Ивановича по отделу видели в этом и знак доверия и приязни. Исключение, пожалуй, составлял Хомутов — сдержанность, чуть ироничная, не покидала его. Терпению Бардина пришел конец, когда, рассказывая о беседе, происшедшей между русским и англичанином в саду наркоминдельского особняка, Егор Иванович заметил недобрую ухмылочку Хомутова. У Бардина возникло желание прервать разговор и спросить почтенного заместителя: «Простите, разве это так смешно?» — но он сдержал себя, решив дождаться, когда они останутся с Хомутовым один на один. Не было бы этого случая, Егор Иванович, пожалуй, не закончил бы беседу столь поспешно. Сейчас же рассказ его был едва ли не оборван, и Егор Иванович остался с заместителем наедине.

— Я вас не понимаю, — начал он весьма воинственно, — по-моему, только меня вы удостаиваете этими вашими ухмылочками, хотя именно я и не подавал вам повода…

— Нет, вы как раз и подали повод, — ответил Хомутов невозмутимо; при всем том, что он был человеком с обнаженными нервами, он умел в особо трудные минуты сохранять спокойствие завидное.

— Может, вы дадите себе труд объяснить, чем именно? — спросил Бардин, чувствуя, что он вот-вот взорвется, — все это было сильнее Егора Ивановича, явно сильнее.

— Об этом надо говорить в иной обстановке и, пожалуй, в ином тоне, — сказал Хомутов.

Нет, это было уже слишком! Он накалил Бардина, и он же требует иного тона!

— У меня нет ни времени, ни желания говорить в иное время, — едва ли не выкрикнул Егор Иванович, и вдруг шальная мысль пришла ему на ум, мысль фантастическая: «А вдруг Хомутов прав, что тогда? Как тогда он объяснит этот свой тон и эту нетерпимость, именно нетерпимость?» — Я прошу вас…

Бардину показалось, что Хомутов собрался говорить. Да, он собрался говорить, но было непонятно, чего ради он смежил глаза: быть может, устал, а возможно, ушел в себя, чтобы собраться с мыслями.

— Меня эти ваши рассказы о встречах с Иденом и Исмеем ставят в положение оскорбительное, которого я не заслужил, — произнес Хомутов, полузакрыв глаза. — Мне все кажется, что есть некий запретный круг, в пределы которого мне, например, доступ заказан, хотя я и дипломат и общение с иностранцами определено самим статутом того, что есть моя профессия… Вы это считаете естественным?

Бардин едва не взревел: вот это да!.. Значит, он поднял бунт по той причине, что лишен возможности встретиться с Хэллом! Это же бог знает что такое! Встречи организует, разумеется, не он, Бардин. Их организуют. Никому и в голову не пришло привлечь к этому Хомутова. Коли не пришло, будь скромен и жди, тем более что ты здесь без году неделя. Будь скромен… Но как ему объяснить и с какого конца начать? Только подумать: он хочет встречи с Хэллом!

— Вы считаете это естественным? — Хомутов укоризненно-недоуменно посмотрел на Бардина.

— Да, я считаю это естественным, а порядок правильным и буду его защищать, — произнес Бардин с сознанием правоты. — Поймите, что наркомат не может подключать к особо ответственным делам весь состав наркоминдельцев, каждое дело требует особого круга, при этом учитываются разные данные…

Хомутов встал:

— Значит, вы полагаете справедливым держать меня на таком расстоянии от оперативных дел, Егор Иванович?

Бардин вышел из-за стола: вот он, предел терпению.

— Простите, но это слишком.

Хомутов повернулся и пошел к двери. Бардину надо было бы найти в себе силы и сказать: «Погодите, давайте наберемся терпения и договорим», но в этом, как ему казалось, было признание вины, а следовательно, отступление. Нет, на попятную он не пойдет — да бардинское ли это качество?

Хомутов ушел. Бардин собрал портфель и поехал на Спиридоновку, но весь день был под впечатлением разговора. «Он злоупотребляет тем, что на войне был не я, Бардин, а он, Хомутов… Не имел бы в виду он этого, не вел бы себя так. Вот Вологжанин, например… Самый большой отдельский воз у Вологжанина, а безотказен и безропотен, как вол. Не пример ли это скромности?.. Но вот вопрос: у Вологжанина с Хомутовым, кажется, отношения добрые? Надо поговорить с Вологжаниным…»

Егор Иванович позвонил в отдел: у телефона все та же юная душа, очевидица всех баталий Егора Ивановича с Хомутовым.

— Передайте Вологжанину, пусть запасется бутербродами и

не уходит из отдела, я буду поздно…

Насчет бутербродов можно было и не говорить, но слово не воробей. Вот интересно, Хомутов передал Вологжанину утренний разговор? Вряд ли. По крайней мере, так кажется Бардину. А Вологжанин с Хомутовым?.. Да, а после того, как секретарша сказала о телефонном звонке Егора Ивановича?.. После этого говорил?.. Возможно… И как говорил? Возразил или согласился? Да как можно согласиться, когда это лишено смысла? Начисто лишено смысла, а Вологжанин все-таки не глуп.

Бардин появился в отделе уже в одиннадцатом часу. Вологжанин не весел — видно, давно съел свои бутерброды.

— Чаю хотите? — спросил Егор Иванович, снимая пальто.

— Не откажусь.

Бардин позвонил в наркоминдельский буфет: у него была такая привилегия. В наркомате было в этот поздний час не очень людно — чай прибыл тотчас. Ну, казалось, велика ли подмога — стакан чаю, но сил у Вологжанина прибавилось, да и настроение поднялось заметно.

— С Хомутовым беседовали?

— Да.

— И что?

Вологжанин ощутил неловкость — взял ложечку и, пододвинув пустой стакан, высек звон, тревожный.

— Я спрашиваю: ну и что?.. Прав Хомутов?

— Прав, Егор Иванович.

— Это каким же образом? — Бардин ожидал любого ответа, но только не этого. — Ну, говори, говори, каким образом?

Казалось, и бодрость, и настроение, которое сообщил Вологжанину чай, улетучились, и усталость большого дня, дня нелегкого, овладела им — ему не очень хотелось объясняться.

— Ну, говори, — не просил, а требовал Бардин. — Хочешь, я тебе скажу?.. Хочешь?

— Говорите, Егор Иванович.

— Весь фокус в том, что он был на войне, а я не был! В этом дело. Так?

— Нет.

— Тогда в чем?

— Можно еще чаю, Егор Иванович?..

Принесли чай. Вологжанин выпил его, не ожидая, пока остынет, — точно в крещенскую стужу где-нибудь на своих Пеше, Пезе или Мезене, одолев стокилометровый санный путь по льду и насту.

— Ну, теперь скажешь?

— Теперь скажу.

— Говори… не тирань.

— Я так думаю, Егор Иванович, коли тебя пустили в этот дом, значит, ты того заслуживаешь… Вот так. Среди нас не должно быть особо доверенных, особо посвященных, особо достойных, а ежели это не распространяется на тебя, надо сказать об этом внятно — почему? — произнес Вологжанин, как обычно усиленно окая, — казалось, для всех слов, которые он произносил, это «о» было обязательным. — Внятно надо сказать: почему? Так вот…

— Погоди, кто это говорит, ты или Хомутов?

— И я говорю, Егор Иванович.

Всего ожидал Бардин, но такого — никогда… Значит, бунт. Взбунтовался отдел от мала до велика. Может быть, спросить Августу Николаевну? Спросить или не надо? Нет, пожалуй, не надо.

— Я, конечно, понимаю, что это исходит не от вас, но надо понять и тем, от кого это исходит: у людей есть достоинство, а если его у них нет, то они должны иметь… Вот так, — продолжал окать Вологжанин.

— Погоди, кто это говорит? Тоже ты?

— Я говорю, Егор Иванович. Так.

Бардин молчал. Да, заковал себя в латы этого молчания — стреляй, не прошибешь.

— Хорошо, я подумаю.

Ему было нелегко сказать: «Хорошо, я подумаю». Он-то, Егор Иванович, считал, что Вологжанин не прав, хотя у Бардина не было оснований сомневаться в Вологжанине, и это его настораживало. У Егора Ивановича было правило, которому он следовал неукоснительно: не надо отдавать себя во власть неприязни. И еще было одно правило, которое его не подводило: прояви добрую волю, прояви ее в полной мере — и победишь любую предвзятость.

Бардин вспомнил короткий разговор с Бухманом сегодня утром. Хэлл воспылал желанием видеть Москву, исторические памятники эпохи 1812 года. Бухман пробовал его убедить посмотреть и нынешнюю Москву, но Хэлл осторожно дал понять, что ему хотелось бы совершить своеобразную экспедицию в прошлый век. Бухман просил Егора Ивановича уважить старика.

— Вот что, друг Вологжанин, — произнес Егор Иванович твердо. — Завтра я буду Хэллу показывать Москву. Я хочу, чтобы вы были со мной: по одну руку Хомутов, по другую ты… Не хочу переоценивать значения этой операции, но, может быть, для начала и она хороша?

— Хомутов может и не согласиться, — возразил Вологжанин. — Он не очень любит вдруг… Вот так.

Но Хомутов согласился.

Они повезли Хэлла смотреть Москву.

Американец хотел видеть Москву двенадцатого года, как она вошла в его сознание, когда он юношей прочел «Войну и мир».

Обогнули Кремль и от Троицких ворот по старой Можайской дороге доехали до Поклонной горы. Потом постояли у кутузовской избы в Филях, не минули хоромины на Тверской, где московское дворянство чествовало Багратиона, спустились к дому московского генерал-губернатора и, осмотрев особняк на Поварской, где, как утверждает молва, обитали Ростовы, направили стопы в Хамовники к скромной толстовской усадьбе.

Бардину хотелось как бы отойти в сторону, доверив беседу с Хэллом спутникам, но те были не одинаково активны. В то время как Вологжанин старался быть рядом с американцем, пользуясь каждой возможностью завязать диалог, Хомутов был хмуро-сдержан, он с пристальным вниманием наблюдал за происходящим, не часто вступая в разговор, хотя Хэлл, приметив, как он скован, дважды пытался с ним заговорить.

День был ненастным, моросил мелкий дождичек, и Москва казалась тускловатой. Только и была отрада для глаза, так это лимонно-золотые листья клена и ярко-оранжевые гроздья рябины — там, где глянули деревья клена и рябины, будто солнце высветлило землю. Вначале Хэлл, казалось, не видел этого, он сидел в глубине машины, зябко ссутулившись, а когда выходил, шел по сырой земле, точно по снегу, — ему было холодно. Потом разогрелся, воспрял духом. Оживился. То, что он видел, ему было интересно, его интерес был согрет воспоминаниями молодости. Чем дольше живет человек, тем большую привилегию в его сознании обретает молодость.

Когда возвращались из Хамовников, Хэлл увидел в автомобильное окошко яркие луковицы куполов. Он попросил остановить автомобиль и вышел. Долго ходил вокруг церкви, восхищаясь ее формами и пропорциями.

— Говорят, что с войной народу в церквах стало больше? — спросил он, не останавливаясь.

Бардин видел, как ухмыльнулся Хомутов — для него это было не так актуально, как для знатного американского гостя.

— Очевидно, потому, что церковь не стоит в стороне от борьбы, — . сказал он.

— А не находите ли вы, что вера народа стала… человечнее?

— Нет, вы не правы, — ответил Хомутов, растягивая слова — ему явно не хватало знания языка. — Влияние церкви ограничено у нас людьми возраста… почтенного. — Казалось, он был рад, что отыскал это слово «почтенного», надо было не обидеть Хэлла,

речь шла о людях его лет. — А то, что мы зовем «верой народа», определяет армия и трудовой тыл, а там погоду делает иной возраст…

Хэлл вновь поднял взгляд на церковь, в его глазах было нечто молитвенное. Независимо от ответа Хомутова он был благодарен за те несколько минут, что провел здесь, — он был человеком верующим. Но надо было отдать должное и Хомутову — Бардин полагал, он хорошо ответил американцу.

Они приготовились сесть в машины, когда Хэлл увидел зенитную батарею, охраняющую Крымский мост. Конечно, Хэлл и прежде видел зенитки на улицах Москвы, но эти были рядом.

— Американская… пушка? — спросил он, обращаясь к Бардину. Егор Иванович испытал неловкость — он мог и ошибиться, а ошибаться ему не хотелось — Хомутов был рядом.

— А мы сейчас спросим, — заметил Бардин и пошел к батарее, у которой хлопотали девушки-зенитчицы, но Хомутов его остановил.

— Наше орудие, Егор Иванович, — сказал он и, подойдя к девушкам, сказал им волшебное слово и в два приема, заученно и ловко, как делал это многократно, расчехлил ствол и, склонив его почти параллельно к земле, обратил едва ли не к Хэллу.

— Э-э-э, теперь я вижу: у вас есть мощное оружие против государственного секретаря, — поднял руки американец. — Заранее согласен на все… — Он подмигнул Бардину, указав на Хомутова: — В вашем министерском аппарате есть и артиллеристы?

— А как же иначе, господин государственный секретарь? Если артиллерист не способен заменить дипломата, а дипломат артиллериста, мы не одолеем немцев… Не так ли?

— Хорошее правило, мистер Бардин. Хорошее.

Когда возник вопрос о вечернем спектакле в Большом театре, Хэлл улыбнулся Хомутову:

— Мне там без артиллерийской защиты не обойтись.

К счастью, Егор Иванович уже пригласил своих спутников в театр. Вологжанин дежурил, и с Бардиным поехал Хомутов. Давали «Лебединое озеро», и Хэллу, так можно было подумать, был интересен спектакль. Нет, не только тем, что это было популярное представление, которое в Москве показывали знатным иностранцам. Необыкновенно интересно было наблюдать, как столь отвлеченная тема, как тема «Лебединого озера», звучит сегодня в Москве и, что не менее любопытно, как ее воспринимает сегодня русская публика. В самом деле, этот мир добрых и злых фей, мир сказочных принцев и лебединого царства жестоко сопрягался с тем, что являл зал: гимнастерки, рабочие

куртки, ватники, опять гимнастерки, вопреки октябрю, летние, белесые, ношеные, выцветшие на негасимом огне теперь уже трех июльских солнц — одно жарче другого, одно свирепее другого. Но такова, наверно, природа человека: этот рассказ о принцах и феях, красивый, но в чем-то наивный, был бы лишен для людей, сидящих в зале, элементарного смысла, если бы его не окрылило искусство. Было даже интересно, как люди, многие из которых в эти годы видели то, что могло называться земным адом, дали увлечь себя истории столь немудреной. Да в ней ли, в этой истории, была для этих людей суть? Нет, разумеется. Сражалось добро, сражалось с тем воодушевлением и храбростью, с каким сражалось на земле, и музыка, вечная и вещая, пела хвалу этому добру…

— Вот как ваши люди потянулись к музыке, это не от усталости? — спросил Хэлл Егора Ивановича в первом антракте. — Не проявится ли эта усталость прежде, чем кончится война?

Бардин покачал головой: какими неожиданными путями может устремиться мысль человеческая!

— Мне так кажется, не от усталости, — молвил Егор Иванович. — Музыка как солнце — без нее красные кровяные шарики не будут красными…

Хэлл заулыбался — его устраивал этот ответ, он помогал рассеять сомнения.

— Простите, а вы давно смотрели этот спектакль? — неожиданно спросил Хэлл, обращаясь к спутникам.

Ну, разумеется, вопрос был не столь наивен, как мог показаться. Хэлл хотел знать: непосредственность, с какой смотрел спектакль Бардин, была естественной или нет? В самом деле, если этот спектакль показывают каждому третьему иностранцу, то как тогда понять реакцию самого Бардина? Спектакль, который смотришь в десятый раз, не может вызвать такой реакции.

— Я смотрел давно, в тридцатых годах, — сказал Егор Иванович.

— И я до войны, — заметил Хомутов с искренним сожалением. — А началась война, полетели другие лебеди…

Хэлл сочувственно и строго посмотрел на Хомутова. Бухман, с живым вниманием наблюдавший за Хомутовым, сказал на другое утро Егору Ивановичу:

— Вы очень правильно сделали, что привлекли к участию в нашей вчерашней поездке этого дипломата-артиллериста. Умный человек, и к тому же прикоснулся к огню…

Бардин ничего не сказал Бухману, он сказал себе: «Добрая

воля всесильна».

67

Идену вновь предстояла встреча со Сталиным. Наверно, шел и радовался немало: не надо уже говорить о конвоях!

В самом деле, только теперь и дошли руки у британского министра, чтобы поговорить со Сталиным об истинном деле.

В приемной советского премьера, как и в прошлый раз, было полно народу, но на этот раз больше штатских.

Полувоенные гимнастерки, брюки, заправленные в сапоги, армейские ремни, у некоторых даже с портупеями, не столько портфели, сколько планшеты. Истинно армия, разве только без погон, да вот и в руках не карты, а чертежи, да, да, чертежи… Иден видел явственно, как человек с рыжими усами, негустыми, но пушистыми, развернул свиток и показал товарищу, стоящему рядом, чертеж… да, чертеж… Но что это могло быть? Новые военные заводы у Полярного круга? Вон тот, горбоносый, с просвечивающей шевелюрой, не успел даже снять мехового жилета. Возможно, примчался с севера, там определенно уже метет пурга и долгий день сменился долгой ночью. Не строитель ли он? Тогда что он возводит? Заводы послевоенной поры, мирные заводы — готовое платье, меховые вещи, обувь, трикотаж… До трикотажа ли сегодня России, когда война еще бушует? Нет, трикотаж, пожалуй, еще подождет… Видно, это иная сила, чем та, что стоит лицом к лицу с врагом — могущественная армия тыла, вызвавшая великое диво этой войны: тьму танков, самолетов, артиллерийского и стрелкового оружия…

Едва обменявшись рукопожатиями, Иден положил перед Сталиным стопку машинописных страниц, которая легла на краю стола, при этом на добрую треть скрывшись под мраморной чернильницей, стоящей на невысоких ножках. Сталин прищурил левый глаз, прищурил демонстративно, точно хотел сказать: «А это еще что такое?»

— Это… письмо? — спросил он, сдерживая иронию.

— Нет, это доклад генерала Эйзенхауэра о положении на итальянском военном театре, господин премьер, — ответил Иден с почтительной готовностью.

Сталин пододвинул стопку машинописных страниц. Это имя генерала Эйзенхауэра заставило его пододвинуть эти странички, собранные воедино нарядной скрепкой, — он питал уважение к военным. Будь то не доклад Эйзенхауэра, а, например, Черчилля, лежать бы ему под мраморной чернильницей…

— Значит… Эйзенхауэра? — переспросил он, обнаружив в говоре особое «г», очень грузинское.

— Да, Эйзенхауэра и Александера… — подтвердил Иден все с той же готовностью.

Сталин взглянул на Молотова, точно приглашая его сесть поближе: он явно приготовился читать.

— «К 9 сентября, началу операции „Эвеланш“ и объявлению о перемирии с Италией, общее положение противника было таково, что две дивизии оказывали сопротивление наступлению 8-й армии в Калабрии…» — начал он чтение.

Наивная страсть: любил человек, когда слушают его чтение, особенно русское чтение. Читал вслух то, что сам писал. Нет, не только стихи — прозу. Деловую. Письма-наказы, может быть даже директивы. Командующим. Дипломатам. Авиационным и танковым конструкторам. Любил ввернуть в такое письмо специальное слово. Конструкторам авиамоторов об октановом числе горючего. Конструкторам артиллерийского оружия — о калибрах пушек. Дипломатам — о паритете и духе наибольшего благоприятствования. И странное дело, несмотря на то, что все, кому это было адресовано, могли видеть в нем непрофессионала, они воспринимали это как нечто естественное — не будь этих слов, письмо-наказ могло бы прозвучать для них даже не столь убедительно.

Но сейчас Сталин читал не свой текст, а текст Эйзенхауэра и Александера, читал не без желания.

Вряд ли этот доклад был рассчитан на то, что его прочтут русские, он был очень хорош для того, чтобы его прочли русские.

В докладе генералы не без выгоды для себя заметно преувеличили немецкие силы, находящиеся в Италии, и сопротивление, которое они оказали десанту. Соотношение сил, как оно выглядело в подсчетах генералов, должно было доказать, что союзники стоят на итальянской земле перед противником, обладающим превосходством и в живой силе, и в технике. На Юге одиннадцать англо-американских дивизий сражаются против девяти немецких, зато на Севере у немцев имеется еще пятнадцать дивизий в резерве. Таким образом, немцы располагают на итальянской земле могущественной армией, которая уже сегодня насчитывает двадцать четыре дивизии. Если переброска англо-американских сил пойдет так же хорошо, как до сих пор, то в ноябре у союзников будет тринадцать дивизий, в декабре — четырнадцать-пятнадцать, а в январе — шестнадцать-семнадцать… Иначе говоря, даже через три месяца превосходство будет у немцев. Вместе с тем темпы переброски техники на континент опасно сократились. Было бы у союзников достаточно десантных судов, они сумели бы более искусно маневрировать, направляя силы на фланги, но этих судов у союзников на

итальянском театре нет. Таким образом, есть угроза, что немцы, которым все это, разумеется, известно, навяжут сражение, обратив союзников вспять и, быть может, опрокинув в море. Для немцев, которые последний год терпели поражение на всех фронтах, очень нужна победа, и не исключено, что на риск такого сражения они пойдут…

В то время, как Сталин читал этот текст, испытывая немалое удовлетворение и от самого чтения, Иден и генерал Исмей затаив дыхание слушали. Видно, расчет заключался в том, что Сталин должен прочесть текст до беседы, поэтому и был подготовлен русский перевод доклада, что англичане делали не часто. Не имея возможности проникнуть в поток русской речи, но хорошо зная сам текст, они следили за чтением по именам собственным, которые были рассыпаны по тексту и которые даже в русском звучании улавливало их английское ухо: Салерно, Калабрия, Сицилия.

Сталин закончил чтение и осторожно потер глаза тыльной стороной руки — глаза устали.

— Так… — произнес он, раздумывая. — А по тем данным, которыми располагаем мы, к югу от Рима двенадцать англо-американских дивизий сражаются с шестью немецкими, при этом на реке По расположилось еще шесть немецких дивизий… — Он умолк, задумавшись. — Но… допускаю, что генералам Эйзенхауэру и Александеру все это известно лучше.

Теперь, когда доклад генералов сделал свое и, кажется, озадачил русского премьера, надо было предпринять главное и, как это виделось сейчас Идену, самое трудное: перекинуть мост к Черчиллю.

— Так… — еще раз сказал Сталин и печально покачал головой — доклад генералов неожиданно произвел на него неприятное впечатление. — Значит, двадцать четыре дивизии?

— Премьер Черчилль хотел, чтобы вам было сообщено все новое о наших итальянских делах. Он полагает, что кампанию в Италии надо довести до победного конца независимо от того, как она повлияет на «Оверлорд»… — заметил Иден, он уже начал сооружать «мост», и каждый камень, положенный в основание, стоил ему немалых сил. — Как видите, положение не простое… Тем более необходимо, чтобы главы правительств встретились как можно скорее… — добавил он неожиданно для себя, он хотел подготовить последнюю фразу, а она возникла внезапно.

Сталин посмотрел на Идена, ухмыльнулся — кажется, он проник в нехитрый замысел англичан с докладом Эйзенхауэра.

— Если не хватает дивизий, то тегеранская встреча не создаст их, — он продолжал смотреть на Идена, но от его

ухмылки не осталось и следа. — Означает ли только что прочитанное… отсрочку «Оверлорда»? — Он вновь умолк, но его глаза все еще были обращены на Идена — ему был очень важен ответ министра. Его так долго и столь многократно обманывали, что он постоянно ждал подвоха. О том, что подвох имел место и теперь, можно было и не думать, оставалось установить, где именно этот подвох.

Иден приподнял руки, точно хотел обнажить свои белые манжеты, скрепленные полудужьями золотых запонок, — ему был приятен этот жест, он прибавлял ему силы, перед тем как он начинал говорить.

— До того как доклад генералов Эйзенхауэра и Александера будет изучен верховным военным органом союзников, ничего нельзя сказать, — заметил Иден с нарочитой вялостью — теперь, когда инициатива беседы перешла к нему, он мог порисоваться. — Тут вот премьер Черчилль прямо пишет об этом, — заметил он и обратился к коллекции писем и диаграмм. — «Мы сделаем для „Оверлорда“ все, что в наших силах, но нет смысла подготовлять поражение на поле боя ради временного политического удовлетворения», — прочел он с видимой бесстрастностью и добавил уже от себя: — Есть немалая трудность на пути к «Оверлорду»: переброска в Соединенное королевство семи дивизий, показавших себя в Италии.

Не надо было обладать большой проницательностью, чтобы обнаружить в речи Идена некий замысел: вначале он действовал на оппонента как бы ударом в лоб, фронтальным ударом («Учитывая положение в Италии, переброску этих дивизий следует отложить…»), однако вслед за этим возникали амортизаторы, смягчающие удар, сохраняющие какую-то возможность к продолжению разговора («Трудно сказать, как это скажется на „Оверлорде“…»).

— Значит, если говорить о стратегической перспективе, у союзников есть две возможности: стабилизировать фронт севернее Рима и все силы подчинить «Оверлорду» или ударить по Германии через итальянский Север? — Сталин был заинтересован рассмотреть проблему в «стратегической перспективе». Совершенно очевидно, что удар по Германии через итальянский Север исключался; следовательно, оставался римский вариант, что было тождественно признанию насущности «Оверлорда». — Итак, первый вариант или второй? — повторил свой вопрос Сталин.

— Первый, — без энтузиазма ответил Иден. — Насколько мне известно, не было намерения идти дальше линии Пиза — Римини…

— По-моему, это верный расчет, — подхватил Сталин, инициатива разговора вновь перешла к нему, маневр со «стратегической перспективой» дал свои плоды. — Перенести военные действия в Альпы — значит пойти навстречу врагу, — быстро реагировал он. — Нет смысла…

— Нет смысла, — согласился Иден, но вынужденно.

— Если говорить об «Оверлорде», где может быть нанесен удар? — спросил Сталин, он любил разговор, развивающийся по принципу цепной реакции: в самом ответе есть ядрышко следующего вопроса.

— Насколько мне известно, параллельно операции «Оверлорд» предполагается высадить десант в Южной Франции, подключив французские дивизии… — заметил Иден. Не часто английский министр говорит по военным вопросам столь уверенно. — Разумеется, это будет… отвлекающий удар, — произнес он и, взглянув на золотые запонки в своих белоснежных манжетах, смутился, этот его взгляд, заставивший собеседников Идена тоже взглянуть на запонки, явно был сейчас неуместен.

— Отвлекающий удар — это хорошо, — тут же реагировал Сталин, показав, что золотые запонки у него в расчет не идут. — Навести врага на ложный след… у себя на фронте мы это делаем часто… Но вот вопрос: «Оверлорд» будет отложен на месяц или на два? — спросил Сталин, подумав, — в цепи тех вопросов, которые он должен был задать, чтобы составить себе полное представление о будущей операции, этого вопроса явно недоставало.

— Мне трудно ответить, — признался Иден. — Единственное, что я могу подтвердить: мы сделаем все, чтобы «Оверлорд» начался как можно раньше… В связи с этим желательно, чтобы и главы трех правительств встретились как можно раньше.

Сталин взял со стола доклад Эйзенхауэра и, сложив его вдвое, отложил в сторону — нет, этот жест еще не означал окончания беседы, но был как бы первым звонком к этому.

— Да, конечно, — согласился он. — Но у президента есть некоторые колебания относительно поездки в Тегеран…

— Может быть, все-таки провести встречу в Хаббании? — тут же реагировал Иден. — В самом деле, может, в Хаббании?

— Нет, в Тегеране, — сказал Сталин и взглянул на Молотова — хотя само по себе слово Сталина было достаточно весомо, он обращал взгляд на Молотова, точно прося подтвердить — его советником тут был нарком.

— В Тегеране, — подтвердил Молотов. Было понятно, что нет смысла возвращаться к этому вопросу.

— Главное — не давать немцам передышки, — заметил

Сталин, он понимал, что беседа на исходе, и хотел ее доброго конца. — Сам факт того, что немцы ждут удара с запада, заставляет их держать в Европе дивизии… — произнес он, подумав, — он счел возможным сказать это, понимая, что дело идет к «Оверлорду», прежде он этого не сказал бы. — Советский Союз хорошо понимает значение этого вклада…

Это был комплимент союзникам, комплимент для Сталина необычный, и Иден не преминул его обратить в пользу своего шефа:

— Как вы хорошо знаете, премьер-министр стремится к тому, чтобы эти удары по Гитлеру были непрерывны.

Сталин рассмеялся:

— Да, но только с той разницей, что удары полегче он выбирает себе, а потруднее отдает нам.

Иден был строг — не очень хотелось обращать эту фразу в шутку:

— Война на море, господин маршал, это очень трудно.

Сталин перестал смеяться: сейчас Иден говорил не о Черчилле, сейчас он говорил о воинах моря — это был рассчитанный маневр.

— Да, вы правы, — согласился Сталин. — Люди мало говорят о морских операциях, но понимают, как они трудны.

Иден вернулся в посольство, чтобы тут же детально сообщить Черчиллю о состоявшейся беседе — у него была эта привычка, выработанная многолетней государственной службой. Как ни жесток был стандарт этой службы в Соединенном королевстве, ценились детали, а следовательно, умение наблюдать.

Конференция заканчивалась, и англичане пригласили делегатов, а вместе с ними и русских дипломатов, участвовавших и не участвовавших в работе конференции, на Софийскую набережную. Все было как обычно в посольстве у англичан, даже в военное ненастье: крахмальный снег скатертей, матовое поблескивание столового серебра и тяжелой посуды, в меру старинной, предупредительное покряхтывание лакеев за спиной, действующих с точностью и безотказностью машин, и необильная пища: впрочем, ее необилие не имело никакого отношения к войне — так было и прежде.

Гостей принимал не столько посол Керр, сколько Иден — он хорошо вписывался в торжественно-чопорную обстановку на Софийской.

— Все хорошо, мистер Бардин, все хорошо, — произнес британский министр так, будто бы к этому выводу пришел только что. — Я сказал сегодня мистеру Молотову, что Великобритания

согласна передать часть итальянского флота России, справедливую часть… — заметил он, удерживая в поле зрения характерную фигуру посла Керра, который, взглянув на входную дверь, оживился — среди гостей появился Молотов. — Не правда ли, у конференции хороший конец?

— Ну что ж, это весть добрая, — согласился Бардин, а сам подумал: не столько конец, сколько предпосылка, но уже не к Москве, а к Тегерану.

Эти несколько слов, произнесенных Иденом на Софийской, заслуживали того, чтобы их осмыслить до конца. Дело даже не в том, что после известного инцидента с конвоями Черчилль чувствовал неловкость, которую, очевидно, не устраняла до конца московская беседа Идена со Сталиным. Не только в этом дело. Предстоял разговор, которого не было с начала войны, разговор, от которого зависят такие ценности в судьбе Великобритании, по сравнению с которыми итальянский флот ничего не значил. Как ни полезна была встреча Идена со Сталиным, известная напряженность в отношениях между Черчиллем и Сталиным все еще имела место. По крайней мере, так казалось британскому премьеру, а чутье не обманывало его и прежде. Поэтому необходим был жест, который эту неловкость снимал или, по крайней мере, умерял… Черчилль знал, что просьба русских, касающаяся итальянского флота, насущна — русские потери в военных кораблях не были восполнены. Последовала депеша Идену. Она поспела к закрытию занавеса в Москве и к открытию в Тегеране? По крайней мере, идя на это, Черчилль имел в виду такую цель. Оставалось установить: какие плоды это принесет в Тегеране.

68

В Лондоне ждали нового русского посла.

Михайлов успел упаковать библиотеку, что было в его сборах самым обременительным, отдать прощальные визиты премьеру, министру иностранных дел, коллегам по дипломатическому корпусу, парламентариям, друзьям по Обществу дружбы, писателям, художникам, актерам, с которыми свела судьба за годы многотрудного лондонского бытия. В этих сборах, которыми до предела были заполнены дни, сборах, странным образом перемежающихся с импровизированными приемами, на которых варьировалась во всех видах тема советско-британских контактов, как они сложились в эти годы, было и нечто необычное: встречи со знатоками Германии и германских проблем, экстренные выезды в Британский музей, разговоры с библиографами и библиофилами. Как ни велика была библиотека Михайлова, в ней неожиданно обнаружились пустоты: не хватало книг по послевоенной Германии, именно послевоенной. А нужда в этих книгах теперь была для Михайлова большая. Новое положение Михайлова, как его определил при встрече с ним нарком, касалось проблемы насущной: как Германия должна возместить Советской стране ущерб, который она нанесла ей в ходе этой войны. Представление об этом не составишь, если не изучишь прецеденты. На Кузнецком полагали, Михайлову и карты в руки — он историк. Ну, разумеется, отъезд тут ни при чем, но почему для этого не использовать и отъезд.

Итак, в Лондоне ждали нового посла, а большое посольское колесо продолжало крутиться.

Бекетов позвонил Шошину:

— Можно к вам, Степан Степаныч?

— Если хотите меня узреть в таком виде, в каком не зрели никогда, прошу вас…

Бекетов улыбнулся: не часто столь игривое настроение овладевало Шошиным. Сергей Петрович открыл дверь шошинской обители и сделал невольное движение рукой, чтобы рассеять клубы дыма, заполнившие обитель, когда в углу, где сумерки были особенно непроницаемы, проступило нечто матово-золотое. Бекетов напряг зрение и чуть не вскрикнул от неожиданности: из тьмы победно выступил Шошин, одетый в парадный наркоминдельский костюм. На ярко-черном сукне парадного костюма, тугом, не успевшем обмяться и одновременно благородно-маслянистом и блестящем, лежало тяжелое золото. Ощутимо-рельефное в тиснении, заполненное тенью в

углублениях, оно было хорошо на черном сукне. Золотом были расшиты погоны, золотой вензель лежал на обшлагах, высвечены лампасы. Будничное лицо Шошина, лицо хронически усталого человека, угнетенного ночными вахтами, которые начались у него в далекой юности и в силу метаморфоз времени не окончились с началом его дипломатической службы, будто осиял сейчас ореол. В самых смелых мечтах — да что там в мечтах? — в фантастических снах своих Степан Степанович не видел себя таким, как сейчас. Он выступил из своего темного угла, точно императорская шхуна, расцвеченная флагами, и поплыл мимо Бекетова, сановно-надменный и недоступный, и его улыбка, одновременно и покровительственная, и чуть-чуть спесивая, свидетельствовала: уж он себе цену знает.

А потом он плюхнулся в свое кресло с лежащей на сиденье подушечкой в истершемся вельветовом чехле и дал волю смеху.

— Ну, каково, Сергей Петрович, хорош ведь? — спросил он, переводя дух. — Вот говорят, на октябрьский прием надо явиться в этаком виде, а?

— Если говорят, то надо, Степан Степанович.

— Но вы-то, вы… наденете это? — более чем ироническое «это» означало парадную форму.

— Придется, Степан Степанович, иного выхода нет, — согласился без энтузиазма Бекетов.

— Ну, я не такой… христосик, как вы, Сергей Петрович!.. Поднимаю бунт и зову всех идти за мной: долой!

— Простите, Степан Степанович, но в этом есть… нечто анархическое или даже детское. Этот порядок не нами установлен…

— Не убедительно!.. Именно потому, что не нами установлен… долой! — Он снял форменный китель и повесил его на стул, дав понять, что готов приступить к делу немедленно. — Ну вот… Михайлов, когда вручал верительные грамоты британскому суверену, напрочь отказался надеть… эти панталоны с лентами и был прав! А знаете, как мотивировал? Не нами установлен порядок, а поэтому подчиняться не считаю нужным!

— Но в данном случае установлен нами, Степан Степанович.

— Нет, нет… не нами! Заболею, и все тут! Заболею! Ну поймите, это противно всей моей сути… Я не парадный человек. Да неужели вы не поняли меня до сих пор: не парадный!

— Не пойдете на октябрьский прием?

Шошин умолк, печально посмотрел на Бекетова:

— На октябрьский… не могу не пойти.

Бекетов встал.

— Простите, но вы пришли, чтобы взглянуть, как выгляжу я в этих… лампасах? — спросил Шошин не без ехидства.

Бекетов испытал неловкость: «Да не ослепило ли и тебя, Сергей Петрович, золотое это шитье? Все пошло кругом…»

— Да, действительно, не за этим я пришел, — смешался Бекетов. — Вы Коллинза видели последнее время, Степан Степанович?

— Коллинза? — переспросил Шошин — озабоченность Бекетова передалась ему. — Последний раз… еще до вашего отъезда в Москву.

— Обиделся старик!.. — заметил Бекетов. — Полез в бутылку Коллинз! Глупая история с издателем!.. Я убежден, что он не прав, но надо было с ним как-то половчее! Одним словом, вам надо поехать к Коллинзу и поговорить с ним по-доброму… Созвонитесь и айда — вы же понимаете, как это для нас важно!

Шошин растерялся — он стоял посреди комнаты, как-то неловко опершись на подлокотники, — золото его лампасов точно потускнело.

— Да, мне это понятно, — вымолвил Шошин, согласие далось ему не легко.

— А если понятно, сегодня же.

— Я готов.

— Вот и хорошо, — подхватил Бекетов, а сам подумал: «Все-таки необыкновенный человек Степан Степаныч… Человек, конечно, странный, но по сути своей добрый, очень добрый». — Соберетесь, скажите…

Шошин возвратился около полуночи; Бекетов не пошел домой, решив дождаться Степана Степановича.

— Замерз, как… пес бездомный, — вымолвил Шошин, появляясь на пороге бекетовского кабинета со стаканом чая, который он вымолил у дежурного по посольству — у того была чудо-плитка и можно было добыть чаю даже в столь позднее время. — Этот моросящий здешний дождь — нет он него спасения!

— Сыру хотите? — спросил Бекетов и пошел к шкафу. — Вот тут еще печенье есть, соленое…

— Согласен и на соленое! — обрадовался Шошин. — Ох этот здешний обычай обедать в семь вечера, а потом не есть до семи утра… не могу!

Бекетов положил перед собой чистый лист бумаги, нарезал сыру, выстроил стопку печенья, потом, ухватив бумагу за край, пододвинул к Шошину.

— Спасибо! — Он взял печенье, положил на него ломтик сыру, откусил, не забыв запить чаем. — Считайте, что вы спасли

меня в очередной раз от верной смерти!.. — Он умолк, задумался. — Так о чем это мы? Ах, да… Коллинз!.. Вы поняли, в чем суть проблемы?

— Очевидно, в характере Коллинза, — заметил Бекетов. — Он не привык уступать.

— Верно, не привык… но в данном случае ему было особенно трудно уступать. Знаете почему?

— Да?

— Издатель, о котором идет речь, товарищ Коллинза по университету, человек, в честность которого он привык верить… Коллинз вас понял так, что вы не сказали ему истинной причины и как бы поставили под сомнение честность этого человека.

Бекетов обомлел: он полагал, что дело с Коллинзом приняло серьезный оборот, но не думал, что такой серьезный.

— Почин исходил от этого издателя? — спросил Бекетов.

— Да, тот, как сказал Коллинз, никогда не обращался с просьбами, а тут обратился.

— Но ведь Коллинз должен понимать, что это дело не только не его, но и не мое, это дело общественное, и никто из нас не вправе сказать «да» или «нет»…

Шошин засмеялся — он поел, и настроение его заметно улучшилось.

— Он полагает, что тут мы не совсем похожи на них: у нас больше, как он думает, единоначалия, а следовательно, и хорошей ответственности…

— Одним словом, я чувствую, что нужна еще одна встреча с Коллинзом… — заметил Бекетов; он был обескуражен, он полагал, что Коллинз давно все понял…

— Встреча? Да, на этот раз ваша с ним, Сергей Петрович. Кстати, он обещал быть на октябрьском приеме.

Бекетов простился с Шошиным, но домой не пошел. Накинул пальто, пошагал во тьму посольского сада, за посольство. Истинно, этот посольский садик был тем местом, где человек обращался к нелегкой думе. Как в Японии: сад мысли, сад раздумий… В саду было сыро и по-осеннему светло. Те из деревьев, что не успели облететь, уже вспыхнули непрочным огнем осени. Он, этот огонь, опознавался даже в ночи. У Сергея Петровича не было сомнений, что в споре с Коллинзом он, Бекетов, был прав, но надо было пойти еще по одному, а возможно, и второму кругу, возобновить разговор и убедить. Необходимо было проявить больше терпения, чем проявил Бекетов. Надо, наконец, понять: то, что Бекетову очевидно, Коллинзу может быть и не так очевидно. Это, наверно, великое искусство — уметь перевоплотиться и в споре, да влезть в шкуру

твоего оппонента и взглянуть на спор его глазами. Наивно думать, что, поступив так, ты изменишь своей сути. Нет, ты просто увидишь спор в новом свете и можешь обрести довод, которого еще не обрел. Он вошел в круг твоих друзей не потому, что его кто-то неволил. Он солдат воли доброй. Волен войти, волен выйти. Его правда — это всего лишь производное от совести, как ее понимает он, и только он. В этом союзе, который незримо заключил ты, Сергей Бекетов, и этот подвижник от пастеровской сыворотки, смешной англичанин Коллинз, главное — его антифашизм. Пойми, что это драгоценно в нем. Как можешь, сбереги в нем это чувство.

Сергей Петрович обернулся: в окне столовой бекетовской квартиры — свет. Обычно Екатерина ждала Сергея Петровича там. Помнится, когда Бекетов спустился в сад, света не было. Значит, Екатерина проснулась и, обнаружив, что нет Сергея Петровича, зажгла свет. Бекетов пошел домой. Дома Екатерина полулежала на тахте с книгой в руках. Взяла она книгу, заслышав шаги Бекетова, или читала давно? Бекетов знал, она гасила волнение с помощью книги. Специально обрывала чтение на интересном месте и берегла это интересное место, чтобы вернуться к нему в минуту тревоги и преодолеть ее. Не иначе, она так поступила и сейчас.

— Ты был в саду? — спросила она, не отрывая глаз от книги.

— Откуда ты взяла? — Она уже приметила, что его могло повлечь в сад волнение, и он не хотел признаваться в этом.

— Ты пришел, увидев свет?..

— Но ты ведь зажгла свет только что?

— Да, конечно.

— Тогда был в саду.

Она вздохнула.

— Что-то с тобой неладное — Коллинз?

«Господи, и как это она догадалась?»

— Проблема… книгоиздательского дома Смита?

— Да, разумеется.

— Вот тебе мой совет: пригласи Смита на октябрьский прием в посольство и погаси эту карту. Гарантирую, Смит будет польщен, да и Коллинзу… это будет по душе.

Бекетову стало не по себе: ведь Екатерина говорит дело. Даже неловко как-то признаваться в этом. Неловко, но никуда не денешься — надо признаться.

— Октябрьский прием — не ближний свет… Вон еще сколько до него! Впрочем, я подумаю. Я, пожалуй, подумаю… — вымолвил он и не мог не упрекнуть себя: «Не очень ты уверен в себе, если тебя на похвалу настоящую не хватает».

69

Из Алжира шли тревожные вести: поединок де Голль — Жиро достиг своего апогея. Он принял форсированный характер с тех пор, как в конце мая в Алжир вылетел де Голль. Правда, первое время все, казалось, идет гладко: восторжествовал принцип паритетности, и новый орган, ставший некоей верховной властью Франции за рубежом, представлял и Жиро, и де Голля. Паритет, паритетный, паритетность — эти слова стали необыкновенно модными в Лондоне и склонялись на все лады именно в связи с французскими делами. Утверждали, что хранителем паритетности является своеобразный комитет четырех, в котором каждая сторона представлена двумя делегатами. Но расчетливый де Голль по-своему спланировал этот комитет и эту паритетность. Те два делегата, которые должны были поддерживать Жиро, оказались если не скрытыми голлистами, то сочувствующими де Голлю, да это было и естественно — контуры победы союзников, которую для французов олицетворял де Голль, очерчивались все яснее. Но сам де Голль не переоценивал своих возможностей и методически наращивал силы, в частности в комитете, который был упомянут, — он ввел в него пятого участника, оказавшегося, разумеется, голлистом.

Бекетов не установил, какие стадии это соперничество прошло дальше, важна была тенденция: де Голль усиливал свое влияние и, улучив момент, пошел на соперника с открытым забралом, предложив ему пост инспектора. Это уже было для Жиро сигналом бедствия. Первым признаком отставки и прежде было назначение в инспектора. Жиро восстал, но теперь на него пошли его же сторонники, склоняя к уступке, и генерал перестал понимать, что происходит.

Все как будто бы пришло к своему логическому концу, но вмешались американцы. С де Голлем встретился Эйзенхауэр и сказал, что Жиро должен остаться. Чтобы это заявление не прозвучало голословно, американцы пригласили Жиро в Вашингтон, оказав ему прием почти царский. Американцы полагали, что они спасли Жиро. На самом деле они привели его к поражению. Те двадцать три дня, которые Жиро пробыл в Штатах, де Голль работал с утроенной энергией, реорганизовав аппарат управления и поставив на командные посты своих сторонников. В сущности, в эти двадцать три дня свершилась голлистская революция. И вот итог: празднование Национального дня республики, празднование в этот год особо торжественное, потому и было таким широким и пышным, что совпало с

осуществлением переворота.

А как дальше? Об этом должен был рассказать Грабин, уже месяц сидевший в Алжире.

Он позвонил в конце недели.

— Сергей Петрович, говорят, вы заметили мое исчезновение и захотели меня видеть? Это что же, деловая необходимость или веление души?

— Ну, разумеется, веление души, хотя деловая необходимость и не исключена.

— Если так, предлагаю такой план: под Лондоном лес необыкновенный… После африканских красот он мне прописан, тем более при желании можно себе внушить, что ты не под Лондоном, а где-нибудь на Вори или Уче… Я был как-то близ Лондона в обществе Михайлова и Шошина… Как вы?

— Я готов, но октябрь не лучшее время для такой прогулки.

— Осенний лес — прелесть, да к тому же день какой!..

Они поставили машину у грунтовой дороги, которая сворачивала в просеку, и вошли в лес. День действительно был хорош. И тишина, нарушаемая шумом ветра в ветвях да похрустыванием валежника, и прохлада, и нещедрый в этой прохладе запах прели и хвои, и истинное половодье нескошенной травы в низинах, вопреки октябрю зеленой, и обилие рябины, которая горела так, точно напилась солнца с утра, чтобы отдать его в сумерках, были трижды прекрасны и желанны русскому человеку, для которого и на чужбине нет земли без леса.

— Вы заметили: тех, кто живет у моря, как и степняков, не очень влечет к лесу, а? — спросил Бекетов, когда они отошли от дороги.

— Вы хотите сказать, что англичане не любят леса? — спросил Грабин, у него была способность как бы повернуть слово собеседника и рассмотреть его с неожиданной стороны.

— Нет, не хочу, но мог бы, — ответил Сергей Петрович.

— А что есть Лондон, если не лес? — рассмеялся Грабин — вот он, неожиданный поворот! — К тому лесу да еще этот — не много ли?.. — Он задумался, эта реплика нужна ему была для разбега. — Наверное, человек может себя приучить и к лесу, и к морю, и к степи, нельзя приучить себя к чужбине… По мне, человек, свыкшийся с чужбиной, уже не человек… — он обернулся к Бекетову, будто желая установить, как тот принял его последние слова. — Могу не принять в де Голле многого, но его страсть, почти фанатическую, вернуться во Францию… Что есть его дело без этой страсти?

— Вы видели де Голля в этот раз? — спросил Сергей Петрович — его собеседник чувствовал интерес Бекетова и как бы

шел навстречу Сергею Петровичу.

— Да, и не потому, что я работник посольства, а потому, что я русский…

— В его глазах сегодня это привилегия?

— Больше, чем когда-либо прежде, — подтвердил Грабин. — Наша формула признания не просто произвела впечатление на французов, она показала им, кто есть кто…

То, что Грабин назвал «формулой признания», сделавшей чудеса, действительно с некоторого времени было притчей во языцех, и не только в кругу французов. Речь шла о признании французского комитета национального освобождения. Его признало двадцать шесть стран, но каждая вложила в формулу признания свой смысл. Быть может, потому, что к этому времени комитет возглавлялся единолично де Голлем и прямо с ним отождествлялся, в формуле как бы отразились оттенки отношения к генералу и его делу. Американцы видели в лице деголлевского комитета всего лишь орган, управляющий теми заморскими территориями Франции, которые признают его власть. Великобритания оказалась немногим щедрее, сочтя, что имеет дело с «органом, способным обеспечить руководство французскими усилиями в войне». Советская формула шла много дальше, воздав должное тому большому и прогрессивному, что делал комитет как руководитель борьбы за французскую свободу. Советская страна полагала, что имеет дело с представителем «государственных интересов Французской республики» и единственным «руководителем всех французских патриотов». Не надо быть очень искушенным в премудростях дипломатии, чтобы понять, сколь разным было отношение союзников к де Голлю и его комитету.

— Он вас принял на вилле «Оливия», куда он перевез, кажется, и свою семью? — спросил Сергей Петрович.

— Да, в той части виллы, где у него происходят деловые встречи, когда есть необходимость проводить их на вилле…

— Как понять «есть необходимость»? Когда он болен?

— Да, именно когда болен, и при этом… дипломатически… Но в данном случае ему действительно нездоровилось, но об этом знал только он. О болезни не было сказано ни слова, да и весь его вид болезни не обнаруживал. Правда, один раз, взглянув на часы, он прошел в соседнюю комнату и тут же вышел, — очевидно, пришло время принимать лекарство, и он его принял… Ничего такого, что свидетельствовало бы о том, что разговор происходит дома: возможно, семья и была рядом, но такое впечатление, что из одной половины дома нельзя попасть в другую. И в одежде, и в манере держать себя у де Голля была эта тщательность, именно

тщательность, а не чопорность, потому что было радушие, как мне кажется, сердечное. Он сказал, что третьего дня проводил в Москву своего давнего друга генерала Пети, который возглавляет у нас французскую военную миссию. При этих словах он пригласил своего адъютанта и просил его дать копию письма Сталину, которое Пети повез в Москву. Когда адъютант принес письмо, он прочел его сам, возможно, полностью, а возможно, опуская какие-то пассажи. Письмо не выглядело официальным, наоборот, в нем была искренность. Я заметил, что письмо прямо обращало внимание Сталина на события, происходившие в Алжире в последние недели, особо подчеркивая, что они служат объединению французов.

— Как показывает грешная практика, письмо не может существовать само по себе, — заметил Сергей Петрович; он полагал, что даже патетичные французы умеют соотнести пафос своих посланий с делами земными. — Не явилось ли это письмо своеобразным ледоколом, который проложил путь каравану конкретных дел?..

— Письмо-ледокол? Да, возможно… — заметил Грабин. — Генерал сказал, что он дал указание Пети просить Сталина установить прямую авиалинию Алжир — Москва… и, если советская сторона имеет такую возможность, передать комитету оборудование тридцати радиостанций… Как ни непроницаемо было лицо де Голля, последнюю фразу он произнес, заметно смущаясь. Я объяснил это смущение так: и первая его просьба, и вторая, как полагает де Голль, призваны сделать отношения с Россией еще более близкими. Больше того, выключить русские дела французов из общей сферы деятельности трех великих и не очень посвящать англо-американцев в эти дела…

Однако деятельный Грабин недаром привел Сергея Петровича в этот лес — то, что он только что сообщил, было действительно заповедно.

— Вы полагаете, что конфликт с англосаксами у де Голля столь серьезен, что он готов пренебречь классовой, солидарностью? — спросил Бекетов; где-то здесь было солнечное сплетение проблемы.

— Классовой солидарностью?

— И не только… Не является ли этот конфликт единоборством амбиций, в своем роде дуэлью французского аристократизма, по своей сути монархического, и американского консерватизма, которому нет дела до французских нравов, как бы эти нравы ни были древни?

— Дуэль амбиций?.. — казалось, вопрос Сергея Петровича озадачил Грабина. — Очень похоже, когда речь идет о де Голле!..

Да, как ни рационален и целеустремлен он, его самолюбие иногда принимает размеры грандиозные, но дело не только в этом…

— Тогда в чем?..

Лес поредел, проглянул берег реки, неширокой, туго вьющейся в зарослях подлеска и кустарника, теряющего листву.

— Видно, все дело в проблеме Тихого океана и Средиземноморья, — заметил Грабин, медленно шагая вдоль речки. Бекетов задал трудный вопрос, и внимание Аристарха Николаевича ничто не могло отвлечь. — Этой проблемы не решишь без французов, и трудный де Голль — плохой партнер. Короче, с ним американцам каши не сварить, как, впрочем, и французам…

— Значит ли это, что русская каша и в этот раз будет самой вкусной? — спросил Сергей Петрович, он полагал, что тропа, идущая вдоль речки, привела их разговор к самому главному.

— Нет, отнюдь… — отозвался Грабин и встал над рекой, обратив внимание, как четко было его отражение в воде; казалось, только сейчас он и увидел реку. — Генерал был искренен, когда говорил, что Франции нужна сильная Россия, но вот вопрос: какой Франции?.. — Грабин вдруг всплеснул руками и рассмеялся: — Вот ведь… оригинальный человек!..

— В каком смысле «оригинальный»? — улыбнулся и Сергей Петрович.

— Он своеобразен уже тем, что больше всего в жизни боится… Кого бы вы думали? Американцев и коммунистов!..

Река ушла в сторону — вильнула блестящим хвостом и отпрянула, зарывшись в зелень, — тропа вновь устремилась в лес.

— Не знаю, как насчет американцев, а все, что касается его отношений с коммунистами, серьезно… — заметил Сергей Петрович. Он был рад, что они добрались до этой проблемы. — Взгляните на послания де Голля, которые идут сегодня из Алжира. Одна мысль там постоянна: он хочет всего лишь восстановления традиционных институтов Франции… Иначе говоря, никаких социальных перемен! Коммунисты, например, не считают эти институты столь совершенными, какими их считает де Голль, — вот где камень преткновения!..

— Но так ли необходимо де Голлю считаться с коммунистами? — подал голос Сергей Петрович; в лесу стало светлее, они вышли на просеку. — Явно ли, тайно ли, но в Лондоне его комитет избежал братания с коммунистами…

— Избежал, да не совсем, — откликнулся Грабин. — Именно из Лондона он обратился к своим сподвижникам во Франции с требованием связать его с коммунистами…

— Вы имеете в виду приезд Фернана Тренье в Лондон? — поинтересовался Бекетов; весть об этом, глухая, в свое время не минула и Сергея Петровича.

— Да, я говорю об этом, — заметил Грабин и пошел тише, трава, устлавшая лесную дорожку, скрадывала его шаги. — Ну, хроника событий, так сказать, сейчас уже известна. Полковник Рэми, посланец де Голля, предлагает коммунистам направить своего представителя в Лондон. Коммунисты отвечают согласием и уполномачивают Гренье. С этого момента Рэми и Гренье действуют вместе и как бы отдают себя во власть особой службы, которая переправляет их на британский берег.

— Де Голль принял Гренье?

— Да, конечно… Беседа прошла, как принято говорить в этом случае, в духе взаимопонимания, если бы не один момент…

— Какой, простите?

— Все тот же… Гренье сказал, как говорил до него и сам де Голль неоднократно: «Наше дело — освободить Францию, а там народ французский решит, кто и как ею будет управлять». Обычная фраза, но произнесенная коммунистом, она встревожила генерала. «Значит, на ваш взгляд, Франция будет коммунистической?» — спросил генерал. «Взгляните на списки расстрелянных французов, — был ответ Гренье. — Там рядом с именем расстрелянного часто стоит „коммунист“…»

— Гренье убедил генерала?

— Гренье сказал то, что каждый сказал бы на его месте, но реакция была неожиданной…

— Какой?

— Гренье нагнал страху на де Голля, и, так кажется мне, от этого страха генерал не освободился до сих пор… Вот так-то: с одной стороны американцы, с другой — коммунисты. Воистину между молотом и наковальней.

— Коммунисты в правительстве де Голля? Это реально, Аристарх Николаевич?

— Поживем — увидим.

— Но вот вопрос: каково должно быть наше отношение к генералу? — замедлил шаг Сергей Петрович. — Можно увидеть в нем антикоммуниста и едва ли не уравнять с Черчиллем. А можно рассмотреть в нем сторонника нашего союза, кстати сторонника убежденного, и сделать много доброго для Советской страны и для Франции, а это значит, кстати…

— И для французских коммунистов? — мгновенно реагировал Грабин.

— Я хотел сказать: и для французов… Впрочем, готов принять и вашу формулу: в конце концов, что есть французские

коммунисты, если не французы?

Они шагали по просеке. За лесом садилось солнце, и негасим был огонь рябин. Бекетов подошел к деревцу, взял рябинину на ладонь, такую же, как под Москвой. И Сергею Петровичу почудилось в этом факте нечто значительное: если эта лесная ягода так похожа на ягоду русского леса, и эта сосна, и эта лиственница, и этот орешник с этой елью, то какой нерасторжимой должна быть наша планета, а следовательно, судьба всего сущего?..

70

Михайлов выехал в Москву и тут же вернулся. Он и прежде любил зайти к Бекетову, чтобы накоротке обменяться мнениями по текущим делам, а подчас переносил сюда и разговор с коллегами по посольству. Бекетов не умел объяснить, но в этом Михайловском обычае был знак добрый. Сегодня же было иное: самую церемонию прощания Михайлов решил перенести в кабинет Бекетова

— Благодарю вас, Сергей Петрович, за все хорошее, — протянул Михайлов руку Бекетову, заметно волнуясь. — Если что не так, не поминайте лихом.

Бекетов встал, волнение Михайлова передалось и ему.

— Ну что тут сказать, конечно же все в этом мире находится в движении, тем более в такое гремучее время. Если сам не сдвинешься с места, время тебя сдвинет. И все-таки, как ни динамично время, наше сознание плохо свыкается с этим… Ни пуха вам, Николай Николаевич, на новом посту!

— Да, да, именно «ни пуха», — засмеялся Михайлов. Он искал повода придать самой церемонии расставания чуть-чуть ироническое звучание. — Когда вы видели последний раз Шоу? — тут же осведомился он. Его желание перевести разговор на другую тему было понятно — формальность исполнена, чуть-чуть печальная формальность, и решительно нет смысла задерживаться на ней.

Бекетов задумался. Когда в последний раз он видел Шоу? А не весной ли это было, в марте или в апреле, где-то на Бэйз-уотер. Был облачный день с мягким и теплым дождем, таким мягким, что он даже не ощущался, этот дождь. Небо было облачным, и деревья стояли без теней и бликов. Мгла, что заполнила парк, точно опара всходила и расступалась. И то, что из этой мглы рождались деревья, крупноствольные, с могучими кронами, было похоже на диво: какой должна была быть эта мгла, чтобы удержать такое дерево, не дерево — многоярусное строение.

Шоу совершал свою дежурную прогулку вокруг Гайд-парка. Эта дежурность была в самом его шаге, размеренном. В пальто из тонкого сукна, в котелке и кожаных калошах, с зонтиком, украшенным костяной ручкой, он был непобедимо старомоден и точно явился в нынешний день прямой дорогой из пятидесятых годов прошлого века. Вид Шоу был необычен даже для Лондона. Сергей Петрович в такой мере не скрыл своего удивления, что Шоу заметно смешался.

— Скажите правду, ради бога, сейчас вы подумали так: есть

такая категория престарелых, о которых ты не можешь сказать точно, живы они еще или уже отошли в мир иной, — заметил Шоу смеясь и раскрыл зонт — пошел дождь. — Не правда ли, именно так вы подумали обо мне? Подумали, досадуя: ну чего тебе задерживаться, добрых людей смущать? Ну поторапливайся, поторапливайся!

Он вновь засмеялся, в этот раз почти беззвучно, только зонт подпрыгивал. Казалось, Шоу уже перестал смеяться, а зонт все еще был в движении, не без труда Шоу остановил его.

— Я вам скажу нечто такое, чего вы никогда не слышали, — произнес он, заметно оживившись: появление Бекетова определенно прибавило ему силы. — Вы сильны в арифметике? Нет, нет, серьезно, сильны? Вот прикиньте, с той поры, что мы называем условно Рождеством Христовым, прошло почти две тысячи лет. Даже с точки зрения исторической перспективы — срок необъятный. Теперь разделите две тысячи на число лет, прожитых одним человеком, ну хотя бы таким, как я. Какую цифру вы получите? Всего двадцать, всего. Значит, эту огромность в два тысячелетия могут охватить всего двадцать человек. Таким образом, все эти разговоры о скоротечности человеческой жизни — чепуха, блеф. В самом деле, жизнь человека огромна и способна вместить немалые дела, если только ее не истратить на мелочи… Мелочи — это страшно. Они способны обратить в ничто вселенную…

Они шли вдоль ограды Бэйз-уотер, по левую руку от них был Гайд-парк. Мглистое облако сместилось в город, и дома вдруг превратились в силуэты. Их точно опустили в воду, вначале сиреневую, потом — темно-лиловую, потом — бледно-синюю. Видно, прогулка, которую заказал себе сегодня Шоу, была на исходе. Почтенный собеседник Сергея Петровича заметно устал. Это сказывалось даже не в походке Шоу, а в том, что время от времени его как бы поводило, и он опасно приближался к кромке тротуара. В такую минуту он точно входил в пределы мглистого облака и, подобно домам по ту сторону дороги, превращался из Шоу в собственный силуэт.

— Я хотел бы еще сегодня вечером выехать из Лондона. — Он извлек часы и, отстранив, долго и пристально рассматривал их, в этом взгляде была даже недоверчивость. — Шарлотта, — пояснил он, будто имя ее прочитал на циферблате.

— Госпоже Шоу… лучше? — спросил Сергей Петрович и тут же подосадовал на себя — вопрос прозвучал грубо-дежурно. Жена Шоу была больна, по слухам, которые ходили в Лондоне, тяжело.

— Ну что вам сказать, — Шоу осторожно бросило в противоположную сторону тротуара. — В жизни она только и

делала, что спасала меня. Нет, белокровие я победил сам, но вот анемию, высокую температуру, которая хронически посещала меня, и переутомление, которое также было моим недугом, я одолел с помощью Шарлотты. Одним словом, она меня спасла, а вот я не мог и не могу ее спасти… Чтобы не обнаруживать моей беспомощности, она выдумала историю о том, что некогда упала с лошади и теперь должна расплачиваться за это. Что тут можно сказать? Была одна лошадь, с которой она действительно упала, и эта лошадь сейчас стоит перед вами…

Волнение объяло его. Нет, не то что у него вдруг прорвалась обычная стариковская слезливость: он хорошо знал себя и был защищен от нее прежде всего иронией. Она, эта ирония, держала в узде его нервы.

— В природе есть один седок, которого бы следовало уронить, была бы на то моя воля, — произнес Шоу и остановился. Он точно хотел дать понять, в какой мере эта фраза ответственна.

— Какой седок? — спросил Бекетов.

— Есть один седок, — повторил Шоу, — и этот седок Британская империя. Вот кого бы я хотел уронить с лошади.

Бекетов засмеялся. У него не было иного выхода, как обратить эти слова в шутку.

— Кто же вам мешает сделать это?

— Конечно, у ирландцев тут свои интересы, но то, что я скажу, продиктовано не только благом Ирландии и ирландцев. Короче, у меня здесь есть свой план, и я не делал из этого тайны.

— Какой план? — спросил Бекетов покорно.

— Англия выходит из Содружества наций, и одно это делает империю несуществующей. Не правда ли, пристойно вполне, а уж как благородно.

Ограда кончилась, Шоу поклонился и вошел в парк. Мгла встала над парком, на этот раз грозно-синяя, в серых отсветах. Она точно клубилась, подминая под себя и заглатывая деревья. Это было похоже на чудо, столетние дубы и клены точно проваливались в ее утробу, казавшуюся бездонной. Не было слышно треска ветвей, ударов мощных стволов о мокрую землю. Деревья исчезали в тишине. Но Шоу был точно неподвластен этой мгле. Он был виден все время, пока шел обочиной дороги, а когда исчез, исчез сам, по своей воле…

…Михайлов не прерывал Бекетова, ему был интересен рассказ Сергея Петровича о встрече с Шоу.

— Да, так и сказал: «…а уж как благородно», — повторил Сергей Петрович. — Вы полагаете, очередной парадокс в стиле Шоу? — спросил Сергей Петрович Михайлова и обратил взгляд на собеседника — тот улыбался.

— Он принадлежит здесь к тем, с кем не соглашаются, но кого слушают. Но для нас Шоу — сфера особого интереса.

— Какого? — спросил Бекетов, хотя мог этого и не спрашивать. Он догадывался, куда ведет Михайлов свою мысль.

— Еще с той далекой поры, когда он послал свою новую пьесу Ленину и в дарственной надписи назвал Владимира Ильича единственным среди государственных деятелей Европы, кто обладает дарованием, характером и знаниями, необходимыми человеку на столь ответственном посту, — еще с той далекой поры Шоу наш друг…

Михайлов молчал, он сказал все или почти все. Тут было над чем задуматься и Михайлову, и Бекетову.

— А в этих словах Шоу есть свой смысл, для нас дорогой, — откликнулся Сергей Петрович, — только подумайте: «… единственным среди государственных деятелей Европы…» Значит, у них не было такого человека, а у нас он был… и это заметил Шоу. Одно слово — друг.

— Нет, он бодр и остроумен, а вот о ней этого нельзя сказать, — продолжал Михайлов. — Она провела все утро у туалетного столика и была одета тщательно, но тем очевиднее была ее беспомощность. Она точно уронила голову на грудь и уже не могла ее оторвать от груди, что-то с нервной системой, что-то такое, что, страшно сказать, невосполнимо. Но то, что она вот так оделась и вышла, — в этом было мужество немалое. Кстати, это понял и Шоу и, так мне кажется, оценил, при этом и в словах, обращенных ко мне. «Мы считали своим долгом разорвать пелену лжи, — сказал он, имея в виду ложь, которой одарила Великобритания русскую революцию. — Мы только жалеем, что не могли сделать большего», — заключил он. В обоих случаях он сказал: «мы», имея в виду и жену.

71

При встрече с Бекетовым Коллинз сказал, что на днях он видел Шоу и тот, как бы между прочим, предупредил его: «Если ваш русский друг еще намерен меня видеть, он это должен сделать немедленно, иначе наша следующая встреча произойдет уже по ту сторону роковой черты». Предупреждение Шоу показалось Сергею Петровичу серьезным, и он поехал в Эйот Сен-Лоренс.

Двухэтажный каменный дом Шоу с круто покатой крышей и тремя массивными трубами Бекетов увидел издали. Дом показался Бекетову богатым, богаче, чем когда он переступил порог кирпичной обители Шоу. Впрочем, переступить порог было не так-то просто. Сергея Петровича встретила женщина в фартуке, сшитом из грубого холста, почти мешковины, закрывающем фигуру женщины едва ли не от ступней до подбородка.

— Вы кто будете, простите? — спросила женщина и, приподняв край фартука, вытерла о него влажные руки. — Вы кто? — повторила женщина, продолжая вытирать руки. Мешковина не впитывала влаги, руки оставались мокрыми.

Бекетову надо было ответить так, чтобы не вызвать гнева женщины. Кто-то ему рассказывал, что некий газетчик, оказавшись в таком же положении, как Бекетов сейчас, получил от миссис Лейден едва ли не пинок — по всему, перед ним была сейчас именно миссис Лейден.

«Ну, если уж на то пошло, — сказал ей газетчик, — я предпочел бы, чтобы меня выставил сам мистер Шоу». Но миссис Лейден не растерялась: «Именно за это мистер Шоу и платит мне, чтобы я не пускала вас к нему».

Очевидно, Сергей Петрович должен был сказать миссис Лейден нечто такое, чтобы не оказаться в положении бедного газетчика.

— Моя фамилия Бекетов. Я русский, — сказал Сергей Петрович, и стена в виде миссис Лейден, только что такая неприступная, мигом обратилась в руины — Бекетов вошел в дом. Да, этот дом не был богатым. Больше того, он хранил следы той поры, когда Шоу впервые вошел сюда вместе со своей супругой. Кстати, когда это могло быть? Шоу прожил здесь лет сорок. Значит, это было в самом начале века. Ну что ж, теперь легче разобраться в том, что окружало в этом доме Шоу. Вот этот круглый стол, чуть-чуть рассохшийся, — начало века, кресло с плетеной спинкой, почти дачное, — тоже той поры, комод

многоярусный, покрытый кружевной скатертью, обилие фотографий, которые глядят на вас отовсюду, — все характерно для тех лет. Оказывается, за толстыми стенами этого дома, увенчанного массивными трубами, трубами, которым только колес недостает, чтобы походить на пушки, — оказывается, за стенами этого дома живет человек, обходящийся настолько малым, что это не похоже даже на него. Какой смысл был выставлять у ворот столь строгую охрану?

Пришел Шоу. Искоса посмотрел на Бекетова так, что вместе с его левой бровью точно приподнялся глаз. Да, он продолжал смотреть на Бекетова с хмурой пристальностью, и поднятая бровь все еще удерживала левый глаз выше правого. Сергей Петрович испытал неловкость, он даже подумал, что вот этот взгляд, неодолимо пристальный, даже в чем-то бесцеремонно-испытующий, наверное, давал возможность Шоу сказать о человеке нечто такое, чего не замечали другие и что, надо отдать должное Шоу, было близко к истине.

Но фраза, которая за этим последовала, ничего не значила, или почти ничего не значила:

— Моя деревня и я приветствуем вас, мистер Бекетов.

Он обернулся к молодой женщине, которая вошла, держа аккуратно сложенный коврик — она готовилась постлать его у кровати Шоу.

— Мэгги, мы пойдем в сад и вернемся минут через сорок, — сказал Шоу — смысл этих слов понимала только женщина.

Они спустились в сад. Осень была в этом году необычно сухой и теплой, хотя листья давно уже облетели. Они лежали сухим и легким ковром.

Человек с деревянной лопатой, который сгребал опавшие листья, завидев Бекетова, снял кепку.

— Надо бы помочь Хиксу, — сказал Шоу и указал взглядом на человека с деревянной лопатой. — Надо помочь Хиксу, да куда уж мне! Впрочем, прошлой зимой я еще сгребал снег, а в начале лета распилил гору дров, — он указал в дальний конец дорожки, где стояли козлы, больше обычного рогатые, с виду крепкие, очевидно сколоченные в свое время Шоу и приспособленные для пилки дров разной длины: и тех, что шли в камин, и тех, что сгорали в кухонной плите.

Он вдруг остановился у садовой скамейки, стоящей под деревом с многоветвистой кроной.

— Когда я, бывало, пилил дрова, Шарлотта сидела здесь, — остановился он, опершись на палку. — Свое участие в моей жизни она понимала именно так — я пилю, она охраняет меня, — его смех был всесилен, он помогал ему совладать с горем.

Он взял вдруг свою палку под мышку и пошел едва ли не приплясывая. Ирония придала ему силы, в палке не было необходимости.

— Тайна счастливого супружества заключается в том, — произнес он почти весело, — чтобы супруги встретились вовремя и расстались тоже вовремя. Если говорить о нас с Шарлоттой, то наше расставание несколько задерживалось.

Очевидно, он часто говорил на эту тему в последнее время и уже не ощущал, в какой мере эта тема деликатна, по крайней мере в разговоре с таким собеседником, как Бекетов.

— Природа жестока. Она превращает человеческие отношения бог знает во что, при этом разрыв сердца не самое худшее… — Он задумался. — Последнее время она хотела, чтобы я приходил к ее постели и рассказывал, хотя она уже ничего не слышала. Я говорил так громко, что меня было слышно повсюду: и в доме, и в саду. Но она была глуха, как камень, «Ты специально перешел на шепот, чтобы я ничего не поняла», — жаловалась она. А этим летом к ее недугам прибавился новый недуг. Ей все казалось, что в ее спальне прячутся чужие люди, и она просила их прогнать. Вот что интересно: в самый канун смерти она вдруг помолодела… — Нет, у него определенно была потребность закончить свой рассказ так, как он отложился у него в памяти, независимо от того, увлекало это его собеседника или нет. — В этом есть нечто символическое — взяла и стала молодой и оставалась молодой еще день после смерти. Потом вдруг постарела и вернулась к своим восьмидесяти четырем годам. Нет, согласитесь, природа жестока — взять и такое проделать с человеком.

Он вдруг обернулся и посмотрел на Хикса.

— Вы только взгляните, с какой зоркостью он наблюдает за нами! А знаете, это все ее гвардия! И миссис Лейден, и Мэгги, и Хикс — ее гвардия. Вы только обратите внимание, какие они все большие — гвардия. Они стояли на часах круглосуточно, чтобы никто, не дай бог, не явился ко мне вопреки их воле. А я сидел вот в этом курятнике и стучал на машинке…

Бекетов не без труда сообразил, что перед ними был тот самый знаменитый садовый павильон, в котором, по слухам, Шоу написал многие из своих вещей. Но Шоу был более точен в своем определении того, что официально именовалось садовым павильоном. Это действительно был курятник — три шага в длину, два в ширину.

Казалось, этот массивный дом и охрана, которая была выставлена на незримых дозорных башнях, необходимы были для того, чтобы человек сберег столько тишины, сколько ее могло

поместиться в курятнике. Но произошло нечто непредвиденное: несмотря на кончину миссис Шоу, охрана, закованная в латы из мешковины, существовала и несла свой дозор, как прежде. Впрочем, был жив мистер Шоу, при этом нередко наведывался в садовый павильон и даже пробовал стучать на машинке. Но это было всего лишь инерцией; содержание было иным, если быть точным — содержания не было. Даже то немногое, что удавалось написать Шоу, не шло ни в какое сравнение с тем, что он делал прежде, — истинно, содержания не было.

— Вы не спрашивали себя, — вдруг обратился Шоу к Бекетову, — почему есть театр Шекспира и нет театра Шоу? Несправедливо, не правда ли?

— Разумеется, несправедливо, — посочувствовал Сергей Петрович.

Шоу привел Сергея Петровича к своему нехитрому обиталищу, размеры и обстановка которого были прямо пропорциональны тому, что здесь делал в свое время Шоу, и сказал без ложной скромности, что, очевидно, было свойственно ему и прежде: «Есть театр Шекспира, почему не должно быть театра Шоу?» Вас шокирует, что он поставил свое бренное имя рядом с бессмертным именем Шекспира: ну что ж, пусть это вас шокирует — он это считает естественным. Впрочем, у вас еще будет время признать его правоту и в этом, если не сегодня, то завтра.

Вот он стоит сейчас перед своим курятником и точно призывает вас вдуматься в смысл того, что значит для него это прибежище. Если человек обходится такой скромной обителью, то все достоинства в нем, только в нем… Как все у Шоу, в этом его утверждении есть нечто такое, что похоже на попытку разрушить в вашем сознании привычное, а следовательно, косное. Но если вдуматься в смысл этой его еретической фразы о Шекспире, то так ли она несправедлива? Бедный Шоу, его все еще волнует, может ли он встать вровень с Шекспиром!

Что же касается Бекетова, то его интересует иное. Коли есть мир Шоу, то сейчас Сергей Петрович попробует проникнуть в него с такой стороны, с какой в него проникали не часто.

Михайлов в прошлый раз вспомнил дарственную надпись на пьесе, которую старый ирландец послал Ленину. Где-то здесь существо вопроса. В самом деле, крупный европейский писатель, чье полное собрание сочинений задолго до войны вышло во многих странах мира, при этом дважды в России, приветствует вождя новой России словами, которые звучат вызовом всем сильным мира сего, и не в последнюю очередь всем сильным Великобритании. В ряду тех государств, которые атаковали

Республику Советов, ей принадлежало едва ли не ведущее положение. Наверное, у старого ирландца были и опрометчивые шаги в жизни — сделал такой шаг, а потом отказался. А тут Шоу был тверд, настолько основателен и тверд, что создавалось впечатление — тут есть своя история, давняя, в которую и биографы Шоу проникали не часто, хотя что может быть интереснее и значительнее этого в жизни старого писателя и проповедника.

— Вы стали писателем уже после того, как обрели иное призвание? — спросил Бекетов.

Вопрос был чуть-чуть витиеватым, он отстоял на порядочном расстоянии от того, что действительно интересовало Сергея Петровича, но надо же было начинать с чего-то.

— Призвание? Чепуха! Просто меня знали как уличного оратора-задиру, который мог пересилить самого опытного говорильщика. Пересилить — значит переговорить. На манчестерском мосту я говорил четыре часа, а на Спикинг-корнер в Гайд-парке увлек своей речью добрый взвод полицейских. Нет, я не шучу, действительно увлек и заставил слушать, хотя звал к революции и восстанию.

— Это что же, под влиянием английских учеников Маркса? — спросил Бекетов.

— Ну, тогда все считали себя учениками Маркса. У нас говорят — «нет более глубокого дна, чем дублинские трущобы». Я начинал как сборщик квартирной платы в этих самых трущобах. Ну, разумеется, я читал Маркса, но кроме того я видел еще дублинские трущобы…

— Дублинские трущобы — это и есть Ирландия? — спросил Сергей Петрович. Ему казалось, что у него уже не будет возможности подойти так близко к главному.

Шоу потянуло к садовой скамье, что стояла в стороне. Они сидели сейчас рядом, и Шоу молча гладил набалдашник своей палки. Странное дело, но эта палка была у него вроде третьей руки. Наверное, у него было ощущение неловкости, когда палки с ним не было.

— Вы слыхали что-нибудь о восстании объединенных ирландцев, а потом о мятеже фениев и еще о дублинской кровавой пасхе? Вот это и есть Ирландия.

Он смотрел на Бекетова. Вновь, как в начале разговора, поднялась его бровь и вслед за нею точно сместился глаз.

— Я — ирландец, и у меня нет желания выдавать себя за британского патриота. Я не был ни скептиком, ни циником, просто я понимал жизнь как средний респектабельный гражданин, да к тому же я ненавидел резню и насилие. Вы

говорите: Ирландия, ну что ж, вот это и есть Ирландия и, если хотите, — ирландец.

Вероятно, у него было ощущение, что он сказал все, или почти все, что хотел. Он встал и, дождавшись, когда Бекетов сделает то же самое, медленно пошел к дому. Видно, урочные сорок минут минули, и в доме уже был накрыт чайный стол. К тому же эта его способность твердо удерживать логику доводов в сознании повлекла его к дому. Его намерение закончить разговор так, как хотел этот разговор закончить он, требовало, чтобы он вошел в дом.

— Заметьте, — вдруг обернулся он к Бекетову; нет, вопреки возрасту и всем невзгодам, он не утратил способности удерживать в памяти суть разговора и развивать его, этот разговор, неодолимо развивать его, как того требовал его расчет, достаточно точный, — заметьте, в шестнадцатом году британские танки сражались с рабочими в Дублине, в двадцатом году — в России, тоже с рабочими.

— Вы сказали: в двадцатом? — спросил Бекетов — настало время задать ирландцу последний вопрос. Разумеется, иного случая не будет, чтобы вот так прямо и откровенно спросить об этом Шоу. — Вы сказали: в двадцатом? Черчилль?

Они успели войти в дом. Шоу стоял сейчас на лестнице маршем выше Бекетова и явно медлил с ответом. Можно сказать, никогда прежде ответу Шоу не предшествовала такая пауза, как теперь.

— Я сказал: как человек я ненавидел насилие, — наконец произнес он, этот ответ определенно стоил ему труда.

С силой опершись рукой о перила, он двинулся по лестнице дальше, желая показать, что ответил на то, о чем спрашивал Бекетов.

Стол был накрыт с изысканной простотой, видимо, принятой в доме старого ирландца. Сливочное масло, как позже убедился Сергей Петрович, чуть-чуть присоленное, желтые пластины сыра, ветчина, чья свежесть была в самом цвете, чай, настолько крепко заваренный, густо-коричневый, что с этой крепостью и коричневатостью не могло совладать даже молоко, хотя оно было не снятым. Но Шоу усидел за столом недолго — он прошел в комнату рядом и вернулся с книгой. Его длинный палец был вложен между страниц.

— Признайтесь, вы наверняка подумали: «ничто так полно и так естественно не заменяет твое собственное мнение, как цитата». Подумали? — Книга в его руках затряслась: вот-вот упадет. — И еще вы подумали, вместо того, чтобы ответить самому, старик грозит мне цитатой из Шекспира. Не так ли? — он продолжал свое единоборство с Шекспиром, вечное единоборство. — На этот раз вы ошиблись. Я процитирую вам, кого б вы думали? Шоу. Вот вам!

Он пододвинул чашку с чаем и пригубил, убедившись в том, что чай достаточно остыл — он не пил слишком горячего чая — отхлебнул.

— У меня есть пьеса, которая прямо адресована всем тем, кто стоит у руля империи. Нет, нет, не старайтесь вспомнить. Она не столь популярна, как остальные мои пьесы, — он положил перед собой книгу: нечто значительное изобразилось на его лице.

Бекетову следовало узреть важное: сию минуту будет переброшен мост от Шоу к его героям. Да, сию минуту должно произойти это перевоплощение. Нет, не просто Шоу предстояло надеть на себя с чужого плеча пальто — деми или доху на невесомой рыси, но и воспринять ум человека, а, следовательно, образ его мыслей, больше того — натуру, что, наверное, всегда было самым трудным. Нет, нет, перед Бекетовым сидел Шоу, но что-то в его лице было новым, некое озарение, которое осветило

глаза и все его лицо. Он переселился уже в мир людей, который вот-вот должен был стать и вашим миром, старался внять их словам, с несвойственным ему послушанием согласиться.

— То, что я вам сейчас прочту, всего лишь предисловие к пьесе, — произнес он бесстрастно, ему хотелось сберечь настроение. — Есть мнение, что оно не имеет отношения к пьесе, но это, как я заметил, утверждают те, кто воспринял текст пьесы поверхностно. Итак, предисловие, при этом в виде диалога: ведь это предисловие к пьесе. Диалога? Да, при этом между лицами, в какой-то мере хрестоматийными. Иисус и наместник Цезаря Понтий Пилат. — Шоу было все труднее сберечь прежнюю интонацию, но голос его так и остался спокойно отстраненным. Теперь Сергей Петрович мог убедиться, почему старый писатель не передоверял чтение своих пьес другим. Все сдалось и признало себя побежденным перед несравненным чтением Шоу. По мере того, как продолжалось чтение, голос Шоу молодел, в тартарары проваливались неисчислимые десятилетия, что отделяли начало века от его середины: наверное, так Шоу читал свою «Кандиду» перед шумливой братией труппы Гринвилла Баркера где-то в девятьсот четвертом. Впрочем, текст, который сейчас предстояло прочесть Шоу, располагал не столько к веселым хлопотам, сколько к несуетному размышлению:

«*Иисус*: Я пришел в этот мир и был рожден человеком лишь для того, чтобы раскрыть истину.

Пилат: А что есть истина?

Иисус: Это то, что человек должен утверждать, даже если будет побит камнями или распят на кресте за свои слова.

Пилат: Ты хочешь сказать, что истина — это соответствие между словом и фактом, истина, что я сижу в этом кресле… Мы оба признаем эту истину: что мы оба сидим в этом кресле, потому что наши чувства говорят нам об этом. И вовсе не обязательно, чтобы двум людям одновременно снилось одно и то же. Если бы ты был наместником, облеченным ответственностью, а не поэтическим бродягой, ты бы скоро обнаружил, что выбирать мне приходится не между истинностью и ложностью, которых я никогда не могу установить, а между разумным, обоснованным суждением, с одной стороны, и сентиментальным, не опирающимся на факты, побуждением, с другой стороны.

Иисус: И все же суждение мертво, а побуждение полно жизни. И вы не сумеете навязать мне ваше разумное и обоснованное суждение. Если вы захотите распять меня, я смогу отыскать десяток доводов для оправдания этой казни. И ваша полиция предоставит сотню фактов в поддержку этих доводов. Если же вы захотите меня помиловать, я найду вам столько же доводов.

Пилат: Что такого ты можешь сказать мне, чего бы не выбили из тебя мои палачи в качестве презумпции?

Иисус: Избиение не есть средство установления презумпции, как не является оно и правосудием, хотя именно так ты будешь называть его в своем донесении Цезарю. Оно есть жестокость, и то, что жестокость эта порочна и мерзка, ибо она оружие, которым сыновья Сатаны убивают сынов божьих, это как раз и есть часть той общей истины, которой ты домогаешься.

Пилат: Если бы мы позволили вам, история человечества превратилась бы в легенду, полную красивых слов и подлых поступков.

Иисус: И все-таки слово было… с богом еще до того, как он сотворил нас. Больше того, слово — это был бог».

Шоу читал со все большим воодушевлением и, как казалось Сергею Петровичу, с сознанием все большей значимости того, что он читал сейчас. Почему этот текст обрел для Шоу сегодня такое значение? Ну, разумеется! Иисус и Пилат были сегодня для Шоу фигурами аллегорическими. Но как далеко простиралась эта аллегория? Какое земное явление за нею просматривалось? С какими реальными характерами отождествлялись Иисус и Пилат? Мысль, которая прорвалась сию секунду в сознании Бекетова, можно было оспорить, но это было его, Сергея Петровича, мнение, а поэтому оно было ему дорого. Больше того, он готов был внушить эту мысль другому, отстоять ее. В образе Иисуса, бродяги, правдоискателя, образе столь же земном, сколь и на веки веков нестареющем, Сергею Петровичу хотелось увидеть самого Шоу. Нет, тут было нечто общее не только во взглядах на жизнь, а может быть, даже и идеалах, но и в образе жизни, в чертах натуры. Бродяга, правдоискатель, бессребреник, отстаивающий справедливость, честный нищий, таким Шоу вступал в жизнь и хотел таким быть в последующие годы. А Пилат? Кто мог бы быть сегодня Пилатом, столь же могущественной, сколь и по существу своему антигуманной империей, империей, которая лишь по названию и внешней хронологии является римской. По всем своим чертам и качествам это есть империя Британская. Правда, не в зените славы, а на ущербе. Итак, хранитель империи Британской. Ну, кто, например? Наверно, здесь персонификация рискованна. Но в известных пределах допустима и она. Кто, например? Дизраэли, Керзон или, быть может, Черчилль? Целеустремленный Черчилль не был бы самим собой, если бы его лишили главной цели его жизни — деятельности. Шоу и Черчилль!.. Да возможно ли, чтобы их питала одна земля и оберегало одно небо?

Однако старый писатель продолжал чтение: дослушаем его.

Кстати, без тех слов, которые нам предстоит услышать, диалог будет неполным. Ведь речь о спасении империи пойдет только сейчас.

«*Иисус*: …и остерегайся бить мысль, которая будет для тебя новой, потому что мысль эта может оказаться основанием царства божия на земле.

Пилат: Она может оказаться также погибелью всех царств, всех законов и всего человеческого общества. Она может оказаться мыслью хищного зверя, который жаждет вернуть свою власть.

Иисус: Империя, которая в страхе оглядывается назад, уступит место царству, которое смотрит вперед с надеждой. От страха люди теряют разум. Надежда и вера дают им дивную мудрость. Люди, которых ты наполнишь страхом, не остановятся ни перед каким злодеянием и погибнут в грехах. Люди, которых я преисполню верой, унаследуют землю. И я велю тебе: исторгни страх, не повторяй мне суетных слов о величии Рима, „величие Рима“, как ты называешь его, — не что иное, как страх, страх перед прошлым, страх перед будущим, страх перед бедняками, страх перед богачами, страх перед верховными жрецами, страх перед иудеями и греками, которые постигли науки, страх перед галлами, готтами и гуннами, которые суть варвары, страх перед Карфагеном, который вы разрушили, чтобы избавиться от своего страха перед ним, и которого вы боитесь теперь больше, чем прежде; перед вашим царственным Цезарем, перед идолом, который вы сами создали; страх передо мной — бродягой, избитым и поруганным.

Пилат: Ты обрел лишь терновый венец. И будешь увенчан им на кресте. Ты опаснее, чем я думал, и мне нет дела до твоих кощунств против бога и верховных жрецов. По мне, ты можешь втоптать их религию в преисподнюю, но ты кощунствовал против Цезаря и империи… Ты знаешь, о чем говоришь, и умеешь обращать против нее сердца людей, как едва не обратил мое, а потому я должен покончить с тобой, пока еще остался в мире закон.

Иисус: …Убей меня, и ты слепым сойдешь в свою пропасть. Величайшее из имен божьих — советчик. И когда империя твоя рассыплется в прах, а имя твое станет притчей на устах народов, храмы бога еще живого будут звенеть хвалой дивному советчику, вечному отцу и князю мира».

Шоу взял книгу в обе ладони, приподнял ее и тихо захлопнул. Чтение закончилось.

Часом позже Сергей Петрович простился со старым писателем. Накрапывал дождь, и сад, что был виден из окон

второго этажа, потемнел. Шоу взял зонт и пошел провожать Бекетова. Он сказал, что, наверное, утомил Сергея Петровича чтением пьесы и в следующий раз обещает этого не делать. Они простились у ворот, ведущих в усадьбу. Уже когда машина отошла, Бекетов, приникнув к окну, рассмотрел Шоу. Дождь продолжал идти, но Шоу так и не раскрыл зонта. Он стоял, опершись на него, как на палку. И оттого, что упор был силен, фигура казалась более обычного согбенной. Сумерки сгустились внезапно, и сейчас уже было бы трудно рассмотреть Шоу, если бы не его седины. Сергею Петровичу суждено было запомнить Шоу вот таким — железные ворота, сваренные из тонких прутьев, белобородый старец у ворот, глядящий вдаль и пытающийся рассмотреть слабыми своими глазами нечто такое, что рассмотреть ему было уже трудно…

Все, что произошло сегодня, требовало ответа и от Бекетова. Хочешь не хочешь, а противопоставишь Шоу Черчиллю. Однако то, что разделяло этих людей вчера, разделяет их и сегодня. Наверное, у Шоу были и свои компромиссы в жизни, но есть проблема, где для него компромисс труден. Нелегко обнаружить, что думали они друг о друге. Но тут отношение Черчилля к Шоу преломлялось точно — империя, гневный и грозный знак. Только сознание того, что на одной земле с тобой живет великий правдолюб и строптивец, да к тому же ирландец, обратит в Понтия Пилата.

73

Посольство распахнуло парадные врата — происходил октябрьский прием.

Вот он, парадокс, в его чистом виде: Англия Сити и Даунинг-стрита (и она сегодня представлена на приеме), та самая, что все четверть века, пока существует русская революция, в поте лица трудилась над тем, чтобы погубить новую Россию, сегодня чествовала эту Россию.

Ни один национальный праздник не вызывал у большой лондонской прессы такого энтузиазма, как этот. Наконец-то эта пресса обрела событие, по поводу которого нюансы во мнениях были локализованы, различия во взглядах сглажены, острота межпартийной и межгрупповой полемики напрочь устранена… Газеты вышли на час и два раньше обычного и были проданы, — не иначе, газеты в этот день сказали своим читателям то самое, что хотел этот читатель от них услышать.

Сановный Лондон выстроил свои «шевроле» и «линкольны» перед порогом советского посольства, заранее обрекая себя на муки ожидания, во всех иных обстоятельствах обидного, а сейчас даже в какой-то мере почетного, — по крайней мере, терпение, которое в этом случае явил знатный Лондон, так можно было понять и объяснить.

В советском посольстве происходил прием в честь годовщины Октября. Бекетов встретил чету Коллинзов и, улучив минуту, направился вместе с ними к послу.

— Да, Сергей Петрович мне много говорил о вас, — произнес Тарасов, приветствуя Коллинза и его супругу; как приметил Сергей Петрович, посол был не большой мастак посольской медоточивости, но то немногое, что он говорил, звучало человечно. — Благодарю вас за труд и доброту, они нужны нашим народам…

— Именно нашим, моя страна, смею думать, заинтересована в этом даже больше вашей, — отозвался Коллинз улыбаясь, ему приятен был комплимент посла.

— Если даже в равной мере, общий язык будет найден, — отозвался посол.

— Благодарю вас, благодарю… — ответствовал Коллинз — он понимал, что то доброе, что сегодня хотел ему сказать посол, было сказано. Но, пожалуй, не меньше Коллинза был этому рад Сергей Петрович — мало-помалу конфликт с Коллинзом шел на убыль.

Большой дом был явно не рассчитан на прием в честь

Октябрьской годовщины сорок третьего года. Нет, не только представительские залы, традиционно открытые в дни праздника, но и служебные комнаты, в том числе кабинеты посла и советников, были предоставлены гостям. Гости распространились по всему дому, их толпы выплеснулись в коридоры и на лестничные площадки, они появились, несмотря на непогоду, на дорожках посольского сада. Русская пословица «в тесноте, да не в обиде» с той седой старины, когда она возникла, не переводилась на такое количество языков, на какое она была переведена в этот день в советском лондонском посольстве. И о какой обиде могла идти речь, когда у гостей было все для хорошего настроения: великолепный повод, радушие хозяев, добрая чарка вина, поистине бездонная, хотя умещалась на ладони да еще оставляла место для закуски… Короче, французский обычай «а-ля фуршет», что в переводе значит «под вилку», оказался на этом приеме столь эффективным, что ему могло позавидовать известное библейское лицо, обладавшее, как утверждает молва, способностью накормить единой корочкой всех страждущих.

Екатерина, которую Сергей Петрович попросил об этом, специально появилась на приеме вместе с Шошиным — казалось, никого парадный костюм так не раззолотил, как Степана Степановича, Шошин излучал не просто сияние, он распространял жар. Наверно, этому немало способствовало его лицо, которое зарделось вдруг таким первозданным румянцем, какого у Шошина не было и в детстве. Но Шошин действительно уподобился красну солнышку, он появился и исчез — даже бдительная Екатерина не уберегла.

— С ног сбилась — не могу разыскать Степана Степановича! — сказала Екатерина мужу — ей было и тревожно, и смешно. — Повела мадам Коллинз показывать посольство, а он улучил минуту и испарился. Пробовала искать — куда там!

— И не найдешь! — воскликнул Бекетов, приходя в веселое настроение. — Его теперь пушками не достанешь, он теперь далеко!

Опыт подсказывал Сергею Петровичу: большой прием — идеальное место для работы. То, что можно сделать здесь в течение получаса, не сделаешь в иных условиях и за две недели. Нет, дело не только в том, чтобы оживить знакомства, что всегда полезно, дать им новое дыхание и новую кровь, необыкновенно полезно положить начало новым знакомствам — без них самый обильный источник дипломатической инициативы способен обмелеть. У такого диалога свои законы. Лаконизм не худшее качество, которым он руководствуется. Бекетов пошел из комнаты в комнату.

— Мистер Эндрю Смит, рад приветствовать вас в этот день, — произнес Сергей Петрович; да, почтенный хозяин книжного дома счел за честь быть в этот день в посольстве, — в конце концов, и с его точки зрения сегодня здесь лучшая часть Лондона. — Вы получили альбом нашей графики, который я послал вам позавчера?

Смит взглянул на Бекетова, и его рыжие ресницы встрепенулись:

— Признателен вам, мистер Бекетов, я пригласил наших графиков и показал им — необыкновенно интересно…

— О чем это вы беседуете без меня? — благодушно-медлительный Коллинз, казалось, засек эту встречу в самый нужный для себя момент.

— Да вот я рассказываю мистеру Бекетову, как хорош альбом русской графики, который он мне прислал…

— А, вы послали альбом мистеру Смиту? Ему послали, а мне нет? Ну, это на вас не похоже! — Коллинз хочет изобразить обиду, но это плохо ему удается — на самом деле он рад, рад до смерти, что у русского со Смитом дело, кажется, пошло на лад. — Ну, бог с вами! Готов положиться на ваше слово, если альбом действительно будет…

Явился Иден и, сопутствуемый послом, медленно пошел из зала в зал. Он чуть злоупотреблял своим положением гостя, как и тем, что только он был в такой мере статен, только на нем так ладно сидел костюм, только ему была свойственна такая сановность в походке… Хотел он того или нет, но его взгляд, обращенный на гостей, был столь милостиво-благодарствен, а улыбка исполнена такой признательности, что казалось: гости не столько чествуют русских, сколько его, Идена.

— За наш союз и за нашу победу! — Иден невысоко поднял бокал и пригубил.

Приехал американский посол в Лондоне Джон Вайнант. Ему, наверное, за пятьдесят, но он моложав — от черной с синевой шевелюры, по всему, непослушно жесткой, всегда чуть-чуть непричесанной. От статности и худобы. От походки — он передвигается с завидной стремительностью, при этом чуть поводит плечами — ему хорошо, что он вот такой худощавый. Наверное, играет в теннис и в поздний вечерний час ходит на Темзу, ее каменные набережные приятно ветрены, час хорошей ходьбы прибавляет сил.

Тарасов заметно рад Вайнанту. Сейчас они стояли у кадки с пальмой и, казалось, были увлечены беседой. Тень, которую дарят им жесткие листья пальмы, создает видимость того, что они одни. Вот они рассмеялись, громко, вряд ли они решились бы так

смеяться, если бы понимали, что они в поле зрения гостей. Впрочем, Тарасов заметил взгляд Бекетова и понимающе кивнул.

— Мне показалось, что у Вайнанта нет посольской постности, не так ли? — спросил Сергей Петрович посла, когда тот, расставшись с американцем, подошел к Бекетову.

— Да, он с удовольствием смеется, если даже повод пустячный, — улыбнулся Тарасов. — Мы вспомнили эпизод, который произошел в прошлую среду. Приезжаю я к Вайнанту, а он говорит: «Нет ничего вкуснее того, что ты ел в детстве… Вот пришла посылка из Штатов» — и ставит на стол… Что бы вы думали? Банку с медом! «Вы очень точно сказали, мистер Вайнант, насчет детства», — заметил я и от меда, разумеется, не отказался. Действительно, еще с ранних лет, еще со Псковщины, с моего Закрапивенья, ничего вкуснее меда для меня не было… Вот так, не отрываясь от банки с медом, мы вели в тот день беседу… Ну, как тут не смеяться?..

— Пожалуй, перед Черчиллем он банки с медом не поставил бы? — спросил Бекетов.

— Да что Черчилль? Перед Иденом не поставил бы, а передо мной поставил! — Тарасову была приятна такая привилегия.

Тарасов ушел: у хозяина такого приема, как сегодняшний, каждая минута на учете. А Сергей Петрович все еще думал о его рассказе. Вайнант знает о родословной русского посла? И что это для Вайнанта, хорошо или плохо? Если в Вайнанте есть хотя бы капелька того, что почитается за линкольновскую традицию, должно быть хорошо… А ежели хорошо, что рассмотрел Вайнант в этой родословной: важную деталь биографии посла или подробность биографии самой Республики Советов? Что есть тогда сам Вайнант?.. И какова его жизненная позиция? Говорят, несколько лет отдал Лиге Наций, его конек — проблемы труда… Еще толкуют, что в мире большой американской политики Вайнант в системе тех звезд, которые тяготеют к Гопкинсу. Ну что ж, и первое и второе скорее хорошо, чем плохо.

…Поток гостей иссякал, точно ручей в жаркое лето, и окончательно иссяк в десятом часу.

Как обычно, в посольстве остались только свои. И как это было много раз прежде, хозяева подняли бокалы за праздник и за победу.

— Сергей Петрович, вы не очень устали? — спросил посол, направляясь в кабинет. За день набралось немало дел, которые ждали решения.

— Нет, разумеется, — ответил Бекетов; среди дел, ждущих решения, были определенно и такие, которые касались его.

Они переступили порог кабинета.

— Сергей Петрович, наркомат требует новой вашей поездки в Москву, — заметил посол, и его глаза остановились на Бекетове, точно пытались установить, что говорит ему это сообщение. — Телеграмма лаконична, остальное, надо полагать, вы знаете, так?

— Представьте, не знаю.

— Речь идет о поездке на месяц… И это ничего вам не говорит?

— Ума не приложу.

— Тогда я выскажу предположение, но это только для вас.

— Буду благодарен.

— Конференция трех?

— Нет, нет, это исключено… Да и на какое амплуа?

— Ну, вам видней… Телеграмма о вашем выезде звучит достаточно категорически: «По указанию наркома…» Уточните с вылетом и подготовьте текст ответной телеграммы… Вижу, вы не воодушевлены, так?

— Неведенье… тяжелее плохой вести.

— Наши узнавали: в Мурманск летит «Каталина»… Полетите, разумеется?

— Был бы выбор, может быть, и подумал бы, — сказал Бекетов и не сдержал печальной улыбки. — А тут один ответ.

— Когда нет выбора, оседлаешь и ракету, — заметил посол.

— Можно подумать, что у вас был такой случай?

— Был! — засмеялся Тарасов. — Канадцы предложили нам взрывчатку. Москва срочно затребовала образцы — снарядили специальный самолет. Случайно или нет, но подоспел вызов в Москву… Хочешь не хочешь, а сядешь на ящик с взрывчаткой, тем более что самолет летит дорогой наикратчайшей: через Аляску!.. Как видите, не совсем ракетный снаряд, но нечто подобное… — Он помолчал, потом добавил без тени иронии: — Если на борту «Каталины» нет ящиков с порохом, считайте, что вам повезло…

Нет, с Тарасовым шутки плохи: в этих его паузах сокрыт немалый заряд иронии. Ненадолго сомкнет златы уста, и уж вам несдобровать. Только подумать: помолчал, помолчал и водрузил Бекетова на ракетный снаряд. Видно, есть одно средство против тарасовской иронии — не дать ему надолго умолкнуть. Впрочем, надо отдать должное Тарасову: в своем рассказе он не отошел от истины. История с полетом на ящиках со взрывчаткой — быль.

— Вы видели Шошина на нашем празднике? — спросил посол, внимательно наблюдая за Бекетовым. — По-моему, он возник, страшно смутился и исчез… Ну, я вам скажу: это характер! — Он улыбнулся, не сводя глаз с Бекетова, но улыбка не передалась Сергею Петровичу. — У меня есть одна мысль, касающаяся Шошина, — работы у Степана Степановича не

поубавилось, но однообразие способно и его привести в отчаяние… Хочу вашего совета — вот тема для Шошина: «Британская пресса о военных усилиях СССР». Да, за все годы войны с точной характеристикой газет и их высказываний… Ну как? — внимательному Тарасову хотелось отвлечь Бекетова от невеселых мыслей, но это у него не очень получалось, хотя тема, которую он придумал Шошину, была, как обычно, интересна. — Что же вы молчите?.. Нет, вижу, что прежний Бекетов испарился на глазах, нет прежнего Бекетова… Видно, до вашего возвращения мы тут не сладим… Ну, всего вам доброго и счастливого возвращения…

— В ту пору… от чудских берегов до берегов невских тропа была уже хожена? — неожиданно спросил Сергей Петрович и как бы возвратил Тарасова к разговору, который был у них однажды, — Бекетову было интересно открывать для себя Тарасова.

— Как для кого… «хожена»… — заметил Тарасов, не обнаруживая особого интереса к вопросу Сергея Петровича — он понял маневр Бекетова. — Она хотя была и хожена, эта тропа, но каждый торил свою: в двадцать четвертом, уже после смерти Ленина, в лаптях дошел из отчего Закрапивенья до уездного Гдова, получил в укоме из комсомольской кассы три рубля на вспомоществование и добрался до Кингисеппа — с этого все началось… Ну, об этом на досуге, а сейчас… Счастливого возвращения…

Посол сказал «счастливого возвращения», а Бекетов подумал: да неужели… конференция трех? И почему именно его, Сергея Петровича? И действительно… на какое амплуа?.. Ему же никто не сказал об этом в Москве. А может, сработало это правило: чем неожиданнее команда, тем выше лицо, которое эту команду отдало? А разве нарком — это недостаточно высоко?.. Истинно, чем больше думаешь об этом, тем меньше понимаешь…

74

В середине ноября специальный поезд, состоящий из пассажирских вагонов и пульманов, покинул Москву и маршрутом, каким отродясь из России на Кавказ не ездили, направился в Баку.

Нет, поезд нельзя было назвать Наркоминделом на колесах, но он своеобразно воссоздавал большой дом на Кузнецком.

Следуя золотому правилу «лучше перебрать, чем недобрать», Наркоминдел собрал в поезде группу дипломатов, представляющую едва ли не все главные наркоминдельские профессии — от правовиков и шифровальщиков до оперативников и историков-архивариусов.

Бардин ехал в своем обычном качестве. Дипломат-оперативник — это амплуа, казалось, за ним сохранено навечно.

Положение Бекетова в этой экспедиции, наоборот, было необычным. Известно, что еще нашей делегации, направлявшейся в Геную, был придан дипломатический архив. Это было сделано не без участия Чичерина, который не мыслил практики без ссылки на историю. Опыт Генуи решено было использовать и теперь. Две недели Бекетов отбирал документы, которые могли бы быть полезны делегации. Наверное, учитывался опыт Бекетова, историка и дипломата, знающего сегодняшнюю практику, когда во главе этого походного архива был поставлен именно он.

Так или иначе, а специальный поезд отбыл из столицы. Было известно, что конечный пункт маршрута — Баку. Поезд действительно дошел до Баку, но делегация проследовала дальше, в Тегеран.

— Как самый молодой из присутствующих здесь глав правительств, я хотел бы позволить себе высказаться первым, — произнес Рузвельт и оглядел сидящих за столом в надежде, что они поймут нехитрую его шутку.

Тегеранская конференция началась.

Если быть точным, то Рузвельт посмотрел только на Сталина и Черчилля: как ни демократичен был американский президент, он обращался именно к главам правительств. Да и происходило нечто своеобразное: зал был полон, и три ряда стульев, окружившие стол, едва вместили всех, а такое впечатление, что за столом сидели только трое. Даже переводчики превратились в незримых актеров китайского театра. И стремительные стенографические перья, тонкое попискивание которых при желании можно было услышать, как бы приняли во внимание только этих трех: Рузвельта, Сталина, Черчилля. Приняли во

внимание и навечно запротоколировали.

Если далекий наш потомок возьмет в руки этот протокол, первое, что он скажет: «Ба, да их там было трое, всего трое!» И он, наверно, будет прав: трое… Точнее, двое — Сталин и Черчилль. Если исследовать стенограмму с той тщательностью, какой она заслуживает, то вывод будет именно таким: двое… Что же касается Рузвельта, то он как бы давал простор для единоборства этим двум, чтобы в соответствующий момент вмешаться и если не решить спор, то откорректировать его, имея в виду американские интересы. Возможно, эта тактика возникла самопроизвольно и была определена не столько Рузвельтом, сколько темпераментом и целеустремленностью его коллег, но позже определенно была усвоена президентом и стала именно тактикой.

Итак, Рузвельт сказал, что по праву самого молодого из присутствующих здесь глав правительств он хотел бы высказаться первым, и конференция началась. Как отметил далее президент, главы правительств, собравшиеся в Тегеране, не намерены публиковать ничего из того, о чем пойдет здесь речь, и они будут обращаться друг к другу, как друзья, открыто и откровенно. Президент полагает, что совещание окажется успешным и три нации, объединившиеся в процессе нынешней войны, укрепят связи между собой и создадут предпосылки для тесного сотрудничества будущих поколений. Далее президент осторожно определил суть предстоящих переговоров. Он сказал, что штабы могут обсуждать военные вопросы, а делегации, хотя у них и нет установленной повестки дня, могли бы обсуждать и другие проблемы, как, например, послевоенного устройства. Если, однако, у нас нет желания обсуждать такие проблемы, обратился он к своим соседям справа и слева, то мы можем о них и не говорить.

Это вступление, в котором все время присутствовала юмористическая нотка, казалось, должно было быть воспринято собеседниками президента.

Но Черчилль, и это было характерно, не воспринял тона президента. Свои несколько слов Черчилль произнес едва ли не закатив глаза. Он сказал, что мир имеет дело с величайшей концентрацией сил, которая когда-либо существовала в истории человечества. Сказал он и о том, что в руках союзников решение вопроса о сокращении сроков войны, о завоевании победы, о будущей судьбе человечества. «Я молюсь за то, чтобы мы были достойны замечательной возможности, данной нам богом, — возможности служить человечеству», — заключил он — его глаза действительно были подняты к небу, — казалось, он говорил не столько со своими коллегами по круглому столу, сколько с богом.

В том, как Черчилль отверг интонацию президента и предложил свою, был расчет: овладеть вниманием, а может быть, в какой-то мере и инициативой.

Но Сталин, может быть, чуть-чуть в пику Черчиллю, возвратил разговору, происходящему за столом, интонацию президента. В тоне легкой иронии, которую предложил Рузвельт, он сказал, что история нас балует. Она дала нам в руки очень большие силы и очень большие возможности. Очевидно, задача заключается в том, чтобы возможности эти были использованы.

Таким образом, все, что надо было сказать, чтобы предварить собственно переговоры, было сказано. Последняя фраза короткой реплики советского премьера прямо относилась к этому:

— А теперь давайте приступим к работе.

Рузвельт не то что помрачнел, но легкая тень озабоченности легла на его лицо; он явно не предполагал, что вступление к деловому разговору будет столь коротким и оборвется почти внезапно.

— Может быть, мне начать с общего обзора и военных нужд в настоящее время… — заметил он, раздумывая. Хотя фраза была обыденной, за ней читалась растерянность президента.

Ответа не последовало, и президент начал обзор. По статуту он должен был адресоваться к обоим своим коллегам, но психологически получалось так, что он говорил со Сталиным. Его побуждал к этому все тот же проклятый вопрос о большом десанте. В самом деле, деловой разговор немыслим без того, чтобы не внести ясность в главное: почему большой десант все еще является для союзников только перспективой, при этом не столь близкой. А если объяснять это, то советской стороне. Может, поэтому в течение тех пятнадцати минут, пока продолжалось сообщение президента, к английскому премьеру было обращено не столько лицо президента, сколько его затылок.

Президент сделал обзор военных действий в Тихом океане, заметив, что Соединенные Штаты несут здесь основное бремя войны. Переходя, как подчеркнул президент, к более важному и более интересующему Советский Союз вопросу — операции через Канал, он отметил, что из-за недостатка тоннажа союзники не смогли определить срока этой операции…

— Английский канал — это такая неприятная полоска воды, которая исключает возможность начать экспедицию до первого мая, — заметил президент. В этот момент Черчилль протянул руку к кожаной папке и осторожно ее отодвинул, точно хотел обратить на себя внимание президента. — Если мы будем проводить крупные десантные операции в Средиземном море, то экспедицию через Канал, возможно, придется отложить на два

или три месяца, — продолжал Рузвельт, не удостоив вниманием жест Черчилля. Впрочем, взгляд президента игнорировал жест Черчилля, но речь президента, так могло показаться, предостерегающий характер жеста учла, не зря же Рузвельт вдруг заговорил об отсрочке. — Но мы не хотим откладывать дату вторжения через Канал дальше мая или июня месяцев, — произнес Рузвельт, подумав. — Войска могли бы быть использованы в Италии, в районе Адриатического моря, в районе Эгейского моря, наконец, для помощи Турции, если она вступит в войну… — он умолк и вздохнул, вздохнул не без облегчения; судя по тому, как улетучился к концу реплики юмор Рузвельта, было очевидно, что она стоила ему сил. — Мы очень хотели бы помочь Советскому Союзу оттянуть часть германских войск с германского фронта…

Рузвельт первым прикоснулся к сути того, что должно было стать предметом переговоров в Тегеране. О чем же свидетельствовала краткая реплика американского президента? В этой реплике он, как уже было сказано, был не столько участником поединка, сколько рефери. Он точно приглашал своих коллег скрестить шпаги и, в преддверии единоборства, осторожно определил шансы сторон. Будто в руках президента были сейчас некие весы, очень чуткие. На положение чаш могло оказать влияние даже движение воздуха, и задача заключалась в том, чтобы удержать чаши в равновесии. Задача эта требовала остроты восприятия необыкновенной. Рузвельт говорил «май 1944 года» и, заметив, что весы клонились к Сталину, поспешно вносил поправку о двух-трехмесячном опоздании. Рузвельт упоминал о десанте через Канал и, обнаружив, что равновесие нарушено, тотчас вносил поправку, перечисляя иные варианты будущих операций: Италия, Адриатика, Балканы с участием Турции. Он воздавал должное средиземноморской тактике союзников, что должно было устраивать Черчилля, но, узрев известный перекос в положении чаш, просил у русских совета по этому поводу… Приняв такую линию поведения, американец обретал преимущества, которых коллеги его, пожалуй, не имели: он ставил их в положение, когда они должны высказать свое мнение, в то время как сам уходил в сторону.

Можно было подумать, что в замысел президента проник Черчилль. Когда президент предоставил англичанину слово, тот сказал, что в принципе он согласен с президентом, но хотел бы высказаться после Сталина.

Вынужденно или нет, но Сталин должен был сейчас сказать о том, на какие опоры ляжет помост, называемый советской позицией.

— Мы, русские, приветствуем успехи, которые одерживались и одерживаются англоамериканскими войсками в Тихом океане, — сказал Сталин. Не будучи русским, Сталин полагал, что имеет право, быть может даже привилегию, сказать: «Мы, русские». А в том, как он произносил это, звучала именно привилегия, привилегия, корни которой уходили даже не столько в историю, сколько в психологию. Сказав: «Мы, русские», Сталин как бы напоминал, что говорит от имени многоплеменного Союза Республик, ведущего смертельный бой с супостатом, ибо понятие «русский» все больше отторгалось от понятия «российский», становясь синонимом слова «советский». К тому же, произнесенное здесь, за столом всемирной конференции, — и это входило в расчеты Сталина! — оно, это понятие, обретало особый смысл. Оно должно было напоминать собеседникам Россию традиционную, больше того, классическую, которая, как свидетельствует история, уже была их союзником, а это было не бесполезно, если иметь в виду предстоящий разговор.

— Что же касается второй части речи господина президента относительно войны в Европе, то тут у меня есть несколько замечаний, — заметил Сталин и, казалось, перешел к самому главному.

Но прежде чем изложить свои замечания, Сталин сказал, что хочет произнести несколько слов, как он выразился, «отчетного характера». Впрочем, советский премьер отметил, что готов от этого отказаться, если это может прозвучать как излишняя детализация проблемы. Возражения не последовало, и Сталин обратился к пространному обзору на фронтах. Хотя конференция совпала с новыми победами русских, Сталин был скромен в оценке этих побед. «Мы сами не ожидали успехов, каких мы достигли» — подобные определения возникали в его речи то и дело. А заканчивая речь, он произнес нечто необычное, и оно, это необычное, соответствовало общему тону выступления. Он сказал, что немцы отбили у русских Житомир и, должно быть, на днях заберут Коростень… Необычным было здесь не только то, что Сталин с такой легкостью говорит о неудачах на фронте, но и то, что он как бы планирует эти неудачи, при этом такая постановка вопроса не вызывает у него уныния… Последнее было самым важным, ибо являлось следствием новой обстановки на фронте — в сравнении со всем остальным даже огорчительная коростеньская неудача воспринималась как нечто эпизодическое. Скажи подробно Сталин о победах русских армий, это не произвело бы такого впечатления в трижды победоносный сорок третий на его партнеров, как эта строго обыденная реплика о том, что Житомир сдан и Коростень ожидает такая же судьба, —

только сильному дано говорить так.

— Это отчетная часть о наших операциях за лето, — произнес Сталин и сделал паузу, короткую, дав понять, что пришло время сказать о главном. — Может быть, я ошибаюсь, но мы, русские, считаем, что итальянский театр важен лишь в том отношении, чтобы обеспечить свободное плавание судов союзников в Средиземном море, — заметил он и понизил голос. Когда он говорил о чем-то значительном, его голос становился не громче, как это обычно бывает, а тише. — Что касается того, чтобы из Италии предпринять наступление непосредственно на Германию, то мы, русские, считаем, что для таких целей итальянский театр не годится…

Он, видимо, опасался, чтобы его замечание об Италии не прозвучало излишне категорично, и смягчил его, заметив: «Может быть, я ошибаюсь» — эта формула появлялась в его речи не часто.

— Мы, русские, считаем, что наилучший результат дал бы удар по врагу в Северной или Северо-Западной Франции, — произнес он и, скосив глаза, увидел наклоненное лицо Черчилля. Оно показалось Сталину мертвенно-белым. — Но наиболее слабым местом Германии является Франция. Конечно, это трудная операция, и немцы во Франции будут бешено защищаться, но все же это самое лучшее решение. Вот все мои замечания.

Значит, русские настаивают на прежнем варианте десанта: Северо-Западная или, точнее, Северная Франция. О сроках Сталин умолчал, пока умолчал. Забыл? Вряд ли — память его подводила редко. Мог умолчать и сознательно, сохранив возможность сказать свое слово после Черчилля, таким образом лишив его козырной карты, едва ли не самой важной.

А Черчилль уже говорил. Он сказал, что Великобритания давно условилась со своим американским союзником о десанте именно в местах, о которых говорил Сталин: Северная и Северо-Западная Франция. Союзники решили атаковать Германию в 1944 году. По словам премьера, перед союзниками сейчас стоит задача создать условия для переброски армии во Францию через Канал в конце весны 1944 года. Силы, которые союзники смогут накопить в мае или июне, должны состоять из 16 британских и 19 американских дивизий, а всего предполагается перебросить на континент миллион человек — это и есть «Оверлорд». Но, отметил премьер, упомянутый им срок далек. Он наступит через шесть месяцев…

Черчилль сделал паузу, а русские, сидящие за столом, не могли не прикинуть: сегодня 28 ноября, через шесть месяцев будет даже не май, а, по существу, июнь. Если союзники отнесут

срок высадки десанта еще на три месяца, а они это умеют, то можно говорить уже не о сорок четвертом годе, а о сорок пятом. Впрочем, Черчилль продолжал говорить и, очевидно, только-только подступал к сути.

Как отметил Черчилль далее, первая задача союзников состоит в том, чтобы взять Рим. Союзники не думают продвигаться дальше в Ломбардию или же идти через Альпы в Германию. Они предполагают продвинуться несколько севернее Рима до линии Пиза — Римини, а вслед за этим осуществить высадку в Южной Франции и преодолеть Ла-Манш. А потом Черчилль нарисовал картину того, что произошло бы, если б в войну вступила Турция. Из его слов следовало, что это едва ли не решило бы исход войны. Открылось бы Черное море, при этом в первую очередь для грузов, следующих в Россию. Возникла бы реальная возможность занять Родос и другие острова. Появилась бы возможность атаковать Болгарию, а вслед за этим Румынию и Венгрию…

Черчилль изложил этот план не без энтузиазма, а изложив, взглянул на Сталина и спросил:

— Представляют ли интерес для Советского правительства наши действия в восточной части Средиземного моря, которые, возможно, вызвали бы некоторую отсрочку операций через Канал?

Сталин молчал. Все, что только произнес Черчилль, слишком было похоже на желание увлечь конференцию на боковую дорогу.

— Может быть, было бы целесообразно высадить десант в районе Северной Адриатики, в то время как советские армии подошли бы к Одессе… — произнес Рузвельт, с очевидным желанием прийти английскому коллеге на помощь.

Сталин промолчал и на этот раз, хотя Одесса была упомянута с намерением вовлечь в разговор его.

— Если мы возьмем Рим и блокируем Германию с юга, то можем перейти к операциям в Западной и Южной Франции, оказав помощь партизанским армиям, — дополнил Рузвельта Черчилль — партизанские армии были упомянуты едва ли не с той же целью, с какой Рузвельт назвал Одессу: англичанин и американец ждали реакции Сталина.

— Несколько вопросов, — наконец произнес Сталин, полуприкрыв глаза.

Черчилль не без готовности кивнул — то, что Сталин реагировал на реплики своих коллег вопросами, не предвещало ничего доброго.

— Я так понял, что имеются тридцать пять дивизий для операций по вторжению в Северную Францию?

— Да, верно, — тут же подтвердил Черчилль.

— И до начала этой операции предполагается занять Рим? А вслед за этим в Италии перейти к обороне?

— Да. Мы уже сейчас отводим из Италии семь дивизий.

— И кроме этого есть предположение осуществить три операции, при этом одну из них в районе Адриатики? — Было еще не совсем ясно, какую цель преследовали вопросы Сталина, но он скопил целую обойму.

— Осуществление этих операций, надеюсь, будет полезно для русских… — произнес Черчилль и принялся объяснять достаточно пространно, сколько дивизий предполагается привлечь к форсированию Канала и сколько оставить в Италии.

Сталин повторил свой вопрос о Риме, Адриатике, присовокупив к этому Южную Францию; он хотел знать обо всем комплексе операций, которые должны были, как утверждал Черчилль, сопутствовать «Оверлорду».

— В момент начала «Оверлорда» предполагается вторжение в Южную Францию, — ответил Черчилль, он пытался уяснить, пока что безрезультатно, если не смысл, то тенденцию, которой были определены вопросы Сталина. По мере того как вопросы становились все более настойчивыми, он отвечал русскому премьеру со все меньшим энтузиазмом.

— Еще один вопрос: если Турция вступит в войну, что предполагается предпринять в этом случае? — спросил Сталин. Кажется, на этом поток вопросов иссяк и наступила пора раздумий, по крайней мере для русского премьера.

Черчилль сказал, что понадобилось бы не более трех дивизий, чтобы занять острова вдоль западного побережья Турции и открыть Черное море, но Сталин, казалось, его уже не слушал. Вопросы, адресованные английскому премьеру, пролили достаточный свет на позицию союзников… Что было характерно для этой позиции? Желание закрепиться даже не столько в Западном, сколько в Восточном Средиземноморье и лишить русских возможности оказать влияние на положение дел в Восточной Европе, где, как полагают собеседники Сталина, русские исторически были всегда сильны, а в результате победы в нынешней войне будут сильнее, чем прежде. Все эти разговоры о Риме, Адриатике, острове Родос, Черном море и, главное, о вступлении Турции в войну были определены единственным: страхом, что русские обретут влияние на Балканах и, что еще страшнее, выйдут к Средиземному морю, а следовательно, смогут взять под удар большую дорогу империи.

Однако надо быть слишком самоуверенным, чтобы, предприняв столь нехитрый маневр, увериться, что партнер не

поймет тебя.

— По-моему, было бы лучше, чтобы за базу всех операций в 1944 году была взята операция «Оверлорд», — произнес советский премьер. — Если бы одновременно с этой операцией был предпринят десант в Южной Франции, то обе группы войск могли бы соединиться во Франции. Поэтому было бы хорошо, если бы имели место две операции: операция «Оверлорд» и в качестве поддержки этой операции — высадка в Южной Франции… Что же касается Турции, то я сомневаюсь, что Турция вступит в войну, — заметил Сталин с той категоричностью, с какой за этим столом, пожалуй, сегодня еще не говорили. — Она не вступит в войну, какое бы давление мы на нее ни оказывали… — Он сделал паузу, точно раздумывая, что можно было бы еще добавить к сказанному, и заключил: — Это мое мнение.

Казалось, Черчилль был обескуражен: уж теперь он должен был понять, что его маневр разгадан. Он взглянул на Рузвельта, молчаливо взывая к его помощи, но тот продолжал безмолвствовать — диалог между Сталиным и Черчиллем определенно стал для американца неуправляемым, обязанности рефери, которые Рузвельт принял на себя в начале разговора, оказались для американского президента не по силам.

— Мы полагаем, что Советское правительство заинтересовано в том, чтобы заставить Турцию вступить в войну… — заметил Черчилль — он, видимо, считал, что, поставив вопрос таким образом, он вынудит русского делегата сказать «да».

— Мы должны попытаться заставить Турцию вступить в войну, — согласился Сталин, хотя в подтексте этого ответа было отнюдь не утвердительное начало.

— Я согласен с соображениями маршала Сталина относительно нежелательности того, чтобы силы разбрасывались, но если мы имеем в районе Средиземного моря двадцать пять дивизий, то три-четыре дивизии и двадцать авиаэскадрилий все-таки можно уделить Турции, — реагировал Черчилль с поспешностью, которая, пожалуй, была даже излишней.

— Это большая сила, двадцать авиаэскадрилий, — возразил Сталин, возразил не особенно настойчиво; в разговоре с Черчиллем в нем жил именно пафос несогласия, хотя он как будто бы соглашался даже по вопросу о Турции. — Конечно, было бы хорошо, если бы Турция вступила в войну, — произнес он вновь, но думал об ином. Ну, например: «Далась тебе эта Турция, старый каверза!.. Да неужели ты не видишь, этот твой маневр нам ясен?.. А если видишь, какой смысл лезть на рожон?»

Черчилль заметно помрачнел. Казалось, его не радует даже

согласие Сталина по непростому турецкому вопросу. Впрочем, он понимал, что согласие это чисто внешнее. Сталин соглашался не потому, что считал это для себя необходимым, а потому, что не хотел демонстрировать несогласия по вопросу, который, в сущности, является второстепенным. А Черчилль продолжал говорить. Он отметил, что именно в эти шесть месяцев должен дать дело войскам, находящимся в Средиземноморье, при этом такое дело, чтобы оно было полезно русским. Иначе он рискует навлечь гнев парламента.

Рузвельт замкнулся в молчании. А о чем думал Сталин? Наверно, все о том же: что может заставить столь опытного политика, каким был Черчилль, обратиться к маневру и отдать ему так много сил, в то время как цели этого маневра столь прозрачны? По доброй воле на такое не отважишься. Видно, почтенный политик обратился к этому маневру вынужденно. Тогда что его вынудило? Раздумье о том, какими козырями ты обладаешь и каких козырей у тебя нет? Невеселое раздумье.

А советский премьер точно и не слышал последней реплики Черчилля — он говорил об «Оверлорде», как эту операцию понимает его Генеральный штаб, ему наверняка было известно мнение русских военных о наиболее целесообразном варианте этой операции.

— Я думаю, что «Оверлорд» — это большая операция, — сказал советский представитель. — Ну, разумеется, клин вышибают клином. Чтобы покончить с разговорами об операциях в Западном и Восточном Средиземноморье, надо вплотную заняться осуществлением операции «Оверлорд». Она была бы значительно облегчена и дала бы наверняка эффект, если бы имела поддержку с юга Франции. Я лично пошел бы на такую крайность. Я перешел бы к обороне в Италии, отказавшись от захвата Рима, и начал бы операцию в Южной Франции, оттянув силы немцев из Северной Франции. Месяца через два-три я начал бы операцию на севере Франции. — Сталин не без умысла придал этой реплике сугубо личный характер: «Я лично пошел бы на такую крайность» — нет, он не помышлял об отступлении и не намеревался к нему готовиться, ему просто хотелось придать своему мнению об «Оверлорде» и способах его осуществления характер, который бы, по крайней мере на первое время, никого и ни к чему не обязывал.

— Я мог бы привести более веские аргументы, — поспешно парировал Черчилль. — Но я хочу сказать, что мы были бы слабее, если бы не взяли Рима. Кроме того, для осуществления воздушного наступления на Германию необходимо дойти до линии Пиза — Римини… — В том, как он нагромождал один

довод на другой, была не просто поспешность, было смятение, смятение, которое не прибавляло его словам убедительности. — Отказ от взятия Рима означал бы наше поражение, и я не мог бы объяснить этого палате, — выдохнул он под конец и вновь взглянул на Рузвельта.

Рузвельт сидел, глубоко погрузившись в кресло, — кроткое внимание, с которым он слушал диалог Сталина и Черчилля, застыло в его глазах. Быть может, он почувствовал на себе взгляд Черчилля, но виду не подал — все, что президент услышал только что, не вызывало желания смотреть на британского премьера.

— Мы могли бы осуществить в срок «Оверлорд», если бы не было операций в Средиземном море, — произнес американец едва слышно. — Если же в Средиземном море будут операции, то это оттянет начало «Оверлорда». — Он наконец внимательно посмотрел на своего британского коллегу. — Я не хотел бы оттягивать «Оверлорд».

Эта формула, в той же мере лаконичная, в какой всеобъемлющая, подводила итог спору.

Видно, желая закрепить это завоевание, советский премьер заметил: как свидетельствует опыт русских, успех достигается тогда, когда удар наносится с двух сторон. В данном случае, хорошо было бы осуществить операцию с юга и с севера Франции.

Черчилль достал платок и хотел было вытереть лоб, но потом раздумал и засунул платок в карман, — торопливость, с какой это было сделано, свидетельствовала о смятении.

— Мы не можем гарантировать, что будет выдержана точно дата первое мая, — вдруг заявил он — казалось, эта фраза вырвалась против его воли. — Я не могу пожертвовать операциями на Средиземном море ради того, чтобы выдержать дату первое мая… — Он повторил «первое мая» не без умысла, он будто хотел сказать, что у большого десанта есть вторая цель, нечто огненно-красное, революционное, что испокон веков отождествляется с первомайским днем, и не от него, Черчилля, следует требовать жертв во имя этой цели.

— Как быть с вопросом о Турции? — спросил он все так же неожиданно. В иных обстоятельствах он не позволил бы себе так атаковать собеседников. Напряженный разговор ему был не по силам, прежде его нервы были крепче.

— Надо, чтобы Турция больше не играла нами и Германией, — сказал советский премьер хмуро, он почувствовал, что этот многотрудный разговор сложился в его пользу, и мог позволить себе назвать вещи своими именами.

— Конечно, я за то, чтобы заставить Турцию вступить в войну, — произнес Рузвельт с тем бесстрастно-наивным видом, с

которым три минуты назад произнес фразу об «Оверлорде», едва не вызвавшую у Черчилля сердечного приступа, — Но будь я на месте турецкого президента, я запросил бы за это такую цену, что ее можно было бы оплатить, лишь нанеся удар операции «Оверлорд».

Однако президент недаром строго дозировал свои слова в этой беседе: последние его две реплики показали, что его молчание было равноценно золоту. Если после первой из этих двух реплик у Черчилля еще оставались некоторые надежды, что американский союзник, по крайней мере здесь, в большой гостиной русского посольства, не обнаружит своих разногласий с союзником британским, но теперь, после реплики президента о Турции, эта уверенность поколебалась.

— Мы все питаем чувство дружбы друг к другу, но естественно, что у нас есть разногласия, — заметил Черчилль и сокрушенно качнул массивной головой. — Необходимо время и терпение.

— Верно, — согласился Сталин, не скрыв радости. У него были основания к этому и в связи с репликой Черчилля о разногласиях — говоря так, британский премьер едва ли не уравнял для себя русских и американцев.

75

Бардин поднялся в комнату Бекетова и увлек его во тьму посольского сада. Небо было хотя и безоблачно, но напрочь черно, глухой чернотой южной ноябрьской ночи, и давало мало света земле. По крайней мере в посольском саду, оплетенном густыми ветвями старых деревьев, тьма была первозданной.

— Ты заметил, Егор, здесь небо особенное, — произнес Сергей Петрович, выбравшись на боковую аллею посольского сада. В этом углу сада ветви были не так густы и небо открыто. — Видно, сам воздух прозрачнее: вот звезды как четки.

— Именно четки, но это, я так думаю, и от особой смолистости неба… На Кавказе, я помню, небо такое же черное, хотя не в ноябре, а в августе… Все самое заповедное хотелось упрятать в августовскую тьму.

— Это еще от юности — все откровения ночью.

— От юности? — переспросил Бардин и громко засмеялся.

— Ты чего, Егорушка?

— Если от юности, то мы с тобой сегодня и слово убоимся сказать, а сказать ох как хочется! — Бардин вновь засмеялся…

— Да ты… тише!

— Тише? Погоди, разве мы не на посольской земле?

— На посольской, разумеется…

Они дошли до того места, где аллея поворачивала налево, остановились. Пахнуло тем особенным дыханием тинистой воды, по которому безошибочно определяется старый пруд — он был где-то рядом.

— Ну, что скажешь, старик, по первому дню? — подал голос Бардин, когда они выбрались из сумрака деревьев. — Берет… наша?

Бекетов остановился — аллея оборвалась где-то позади них, по правую и левую руку от них была поляна, но надо было еще убедиться, что поляна безлюдна, что поляна не внемлет.

— Знаешь, что меня поразило, Егор? — спросил Бекетов едва слышно, он не очень доверял безлюдной поляне.

— Не то ли, что Рузвельт отстранился, дав возможность храброму тори вести бой один на один, при этом ни разу не пришел на помощь?.. Не это? По-моему, это было самым разительным, а?

— И это, разумеется, — согласился Бекетов. Судя по всему, Сергей Петрович думал о другом.

— А что еще?

— Нет, ничего, — Бекетов явно раздумал говорить. —

Действительно, Рузвельт бросил старого тори на произвол судьбы. Но вот почему?

Так у друзей бывало всегда: им хотелось нащупать в событии, которое только что произошло, нечто существенное и заварить спор — в споре добывалась истина.

— Не в интересах американцев продлевать войну в Европе, — сказал Бекетов, его рациональный ум способен был разворошить гору фактов и ухватить суть. — Поэтому возня с Турцией способна раздражить и их.

— Но почему он обратился к Турции? — подал голос Егор, он помнил все перипетии дневного сражения и хотел сейчас воссоздать их. — Не смешно ли: «Оверлорду» противопоставить Турцию?.. Тут не только русские, но и американцы воспротивятся… «Оверлорд» и Турция! Поставить вопрос так — значит, прости меня, дать распять себя по доброй воле…

Бекетов усмехнулся.

— По доброй воле на дыбу еще никто не влезал.

— Не по доброй, Сергей?

— Нет.

— Тогда почему?

Бардин хотел было идти дальше, но Бекетов удержал его:

— Ты влезь в его шкуру, тогда поймешь — дело-то его горит!.. Ты помнишь трумэновский афоризм в начале войны? Ну, насчет того, что призвание англосаксов в том и состоит, чтобы немцы и русские убивали друг друга… Эта трумэновская формула и есть формула Черчилля! Если у него и был некий стратегический план, то он к этому и сводился: немцы и русские так друг друга обескровят, что для англосаксов останется одним ударом решить поединок в свою пользу… А оказалось иное, русские выходят из войны намного сильнее, понимаешь, намного! Тут хочешь не хочешь, а обратишься к Турции. Дело-то Черчилля горит!..

— И хорошо, что горит, Сережа!..

— Я и говорю: очень хорошо, что горит, Егор!..

Да, вот она, судьба: бросила друзей под смоляное иранское небо, чтобы явить наизаветное — горит Черчилль! Да, горит тот самый Черчилль, который, как хорошо помнят Егор с Сергеем, сколько жил на этом свете, столько и лелеял мечту сжечь новый мир. Всегда лелеял эту мечту, и в нынешней войне больше, чем когда бы то ни было. Беседа за овальным столом в ноябрьский день 1943 года в Тегеране — беседа, если воспринять ее по тембру и, пожалуй, громкости звучащих за столом голосов, едва ли не умиленно-кроткая, а на самом деле жестокая, — определила, как ни крути, что есть победители и побежденные. И

вот итог этого поединка…

— Я все-таки не очень понимаю, почему следующий шаг на конференции должны сделать военные? — полюбопытствовал Бекетов. — Если есть принципиальная договоренность, тогда другое дело, но ведь такого согласия нет?.. Что могут в этой обстановке сделать военные?..

— Все дело в американцах — они выгадывают время… — откликнулся Бардин. — Они, разумеется, понимают, что позиция британского премьера лишена элементарного смысла, но вот так, на людях, обнаружить это — значит нарушить нормы этикета… Пока военные заседают, Рузвельт разговаривает с Черчиллем. За столом переговоров он может всего лишь укоризненно взглянуть на него, но наедине готов рубануть правду-матку: «Прости меня, друг Уинни, но ты такое порол, уши вянут!.. Уж коли решил дать бой, то придумал бы что-нибудь похитрее… Турция!.. Да на такую наживку карась не пойдет, не говоря о крупной рыбе. Коли ты собрался и впредь так, табачок врозь!..» Вот это, или приблизительно это, говорит сейчас старому тори президент. Так ведь?

— Не думаю, — возразил Бекетов. — Не похоже на американцев!.. Если бы они готовы были осадить Черчилля, они бы нашли средство сделать это и за столом. Очевидно, они сами не готовы… Просто партия прервана, и необходим домашний анализ. — Когда Сергей Петрович обращался к шахматным терминам, обретал уверенность.

— Между прочим, Сталин дал согласие на встречу военных, — осторожно напомнил Егор Иванович. — Как ты полагаешь: почему? И наша позиция требует домашнего анализа?

Бекетов рассмеялся — у него было хорошо на душе:

— Возможно, хотя, будь у меня такая партия, я бы, пожалуй, рискнул играть, не прерывая…

Когда они вернулись из сада, освещенные окна дома были точно врезаны в ночь — легкие шторы не умеряли яркости электричества, и окна комнат Рузвельта и Сталина угадывались издали.

— Домашний анализ? — ухмыльнулся Бардин.

— Возможно, — согласился Сергей Петрович.

Итак, было условлено, что встретятся военные.

Когда возник этот вопрос, Сталин сказал: «Мы не думали, что будем обсуждать чисто военные вопросы, поэтому не взяли с собой представителей Генерального штаба».

Тем не менее небольшая, но мобильная группа военных находилась в Тегеране. Если быть точным, то Ставка на эти дни

покинула Москву. Да, военный провод, который связывал Ставку с фронтом, точно был прикреплен к вагону, в котором эта мобильная группа генштабистов, составляющая рабочее ядро Ставки, пересекла Россию с севера на юг, а затем с помощью самолета перенеслась в Тегеран, воспользовавшись тем, что и туда военный кабель проложен.

И произошло беспрецедентное: бои, которые наши войска вели в эти дни за Днепром, а именно танковые рейды на Житомир, артиллерийские удары по окрестностям Коростеня, движение танковых масс с севера на юг, на помощь нашим войскам, по которым пришелся контрудар немцев, — все это группировалось, скапливалось, перемещалось по приказу, который шел из Тегерана.

Может быть, теперь больше, чем прежде, стало ясно, что спор о том, где проводить конференцию, который вела советская сторона, для нее был отнюдь не праздным. Тянуть провод на Аляску, например, и руководить оттуда действиями войск, сражающихся за Днепром, было бы, пожалуй, труднее. Настаивая на Тегеране, советская сторона имела в виду и это обстоятельство.

Трижды в сутки, как это имело место в Москве, самая подробная информация о положении на фронтах наносилась на карту и докладывалась Сталину. Если в этом была необходимость, то к проводу вызывался командующий — из Тегерана Сталин разговаривал с Рокоссовским, который шел на выручку нашим войскам, ведущим тяжелые бои на Правобережной Украине.

Группу военных возглавлял Ворошилов, который с некоторого времени военно-оперативную деятельность сочетал с военно-дипломатической. Впрочем, рядом с Ворошиловым находился Алексей Антонов — человек, который был заметно интересен иностранным военным, съехавшимся в Тегеран, не без основания считавшим сорокасемилетнего генерала армии соавтором многих стратегических замыслов Красной Армии. Возможно, Антонову было и приятно это внимание, но не настолько, чтобы изменить своей сути: его стихией и в Тегеране было генштабистское творчество, все то, что являло поединок военной мысли, — все заметнее здесь русские брали верх над немцами, и в этом была своя заслуга Антонова

Так или иначе, а интеллигентный Антонов, держащийся со скромным достоинством, не часто появлялся в кругу своих зарубежных коллег, большую часть времени проводя в сумрачной прохладе рабочей комнаты, склонившись над картами, — нет, это было не подвижничеством, которое стало за годы войны нормой

поведения, но потребностью ума творческого. Можно было сказать, что Антонова заметила и определила на его нынешний пост практика войны, в такой же мере многомудрая, в какой и многотерпимая. Все импонировало в молодом генерале — и его скромность, и точность, и остроощутимое чувство долга, свойственное талантливому Антонову. В том, с какой тщательностью была предпринята непростая операция по переброске оперативного ядра Ставки в Тегеран, чувствовалось: без этого ядра Тегеран утратил бы для армии, ведущей упорные бои, то значение, которое он в эти дни обрел…

Встреча военных была назначена на утро, и Сталин, которому волнения прошедшего дня не давали спать, уже к восьми часам успел позавтракать и просил сообщить военным, что ждет их с докладом.

Антонов явился вместе со своим главным оперативником генералом Штеменко.

У Штеменко был опыт общения со Сталиным. Он знал, что Верховный любит в докладе краткость — качество при остром недостатке времени наиважнейшее. А краткость, как знал Штеменко, трудоемка. Поэтому четверть часа, которые уходили на доклад, требовали труда многочасового и напряженного: оставить суть и отбросить все, что сутью не является. Как ни своевластна была воля Верховного, он вдруг мог прервать доклад и спросить: «А вы что думаете?» В связи с этим генерал-оперативник должен быть еще и генералом-аналитиком: не только информация, но и анализ, а следовательно, мнение.

Сталин принимал военных в гостиной. Она была и самой просторной, и самой светлой комнатой его апартаментов. Он просил разложить карты на большом столе, а пока подошел к окну и раскурил трубку.

Полунаклонив голову, он точно пытался рассмотреть что-то такое, что было за пределами того куска садовой дорожки, который можно было рассмотреть из окна. Военные разложили карты и затихли, а Сталин продолжал стоять у окна, попыхивая трубкой, занятый не столько тем, что видел, сколько своими раздумьями. Была в его фигуре, особенно в плечах, опущенных и чуть асимметричных, безнадежная штатскость, при этом она становилась тем заметнее, чем пышнее был его мундир.

Сталин обернулся, и генералы увидели, что он улыбается. У него было хорошее настроение, хотя вести с фронта все еще были плохими. Он был доволен вчерашней встречей с союзниками, а это, пожалуй, было важнее того, что получили оперативники сегодня утром с фронта. Если быть точным, то он был доволен не столько переговорами, сколько собой в этих переговорах.

— Значит, Коростень может быть и отдан? — подал голос он, прерывая доклад. — А что думает по этому поводу Ватутин? — Его хорошее настроение сказывалось и в этом. Чем лучше было настроение, тем либеральнее становился он, тем больше имен возникало в беседе: что думает Ватутин?

Оказалось, что Ватутин предпринял сильный контрудар на смежном Коростеню участке и не намерен сдавать Коростень.

— Противник заметно активизировал свои действия южнее и западнее Киева, — сказал Антонов.

— Значит, южнее и западнее Киева? — переспросил Сталин. — Цель?

— Все еще Киев, товарищ Главнокомандующий… — пояснил Антонов. — Им нужен этот успех.

— Нужен… успех? — его улыбки как не бывало. — Опыт нас учит: контрудар по немцам с севера и юга… — Стараясь придать своим оперативным распоряжениям весомость, он любил повторять: «опыт нас учит» — оснастив свои оперативные распоряжения этой оговоркой, он делал их как бы более профессиональными. — Одним словом, дайте указания Рокоссовскому и Коневу… — Он строго взглянул на Антонова: — А вы как полагаете?

— Мне представляется уместным усилить также войска, сдерживающие главные силы немцев, — сказал Антонов.

— Да, в дополнение к контрударам с севера и юга, — уточнил Сталин, и хорошее настроение вернулось к нему. — Можно усилить… об исполнении доложите…

Он взглянул на фарфоровые часы, стоящие на полированном столике, — на этом он хотел бы аудиенцию закончить.

Предстояла встреча военных экспертов, русских, англичан, американцев.

Когда до начала этой встречи оставалось минут десять, Сталин появился с Ворошиловым на дорожке, ведущей к главному зданию.

— Думаю, что они пойдут по второму кругу, но теперь уже за военным столом. Кстати, вчера этот Леги сказал мне: Ворошилов — военный дипломат. Слыхал: военный дипломат! — произнес он и не без озорства ткнул Ворошилова плечом — в этом был и знак приязни к старому товарищу, и доброе настроение, в котором Сталин все еще пребывал. — Понимаешь: по второму кругу?

— Это что же… Италия, Адриатика и Балканы? — спросил Ворошилов — он принял этот толчок плечом как выражение именно приязни. — Так?

— Возможно, и так, — произнес Сталин и замедлил шаг, дав

понять, что дальше ему бы не хотелось идти. — Одним словом, наш план ясен: отвлекающий удар по французскому югу и десант через Ла-Манш… у Брука это встретит сопротивление, а как у Маршалла? — он остановился.

Три часа продолжалась встреча военных экспертов России, Англии и Америки. Председательствовал Леги, пространно говорил Брук и, как обычно, был хмур и лаконичен Маршалл, но суть того, что происходило на совещании, определяли не Леги и Брук, а именно Маршалл. Большелобый, с морщинистым и чуть скопческим лицом, он слушал коллег, полусклонив голову, с грустью взирая на свою большую руку, неподвижно лежащую на столе, которая заметно была старше Маршалла. Прежде чем Маршалл начинал говорить, рука сдвигалась с места, при этом слабо сгибался указательный палец. Движение этого пальца было всевластно: наступала тишина.

Маршаллу потребовалось меньше времени, чем всем остальным, кто выступал до него, чтобы добраться до сути. Он сказал, что преимущества «Оверлорда» в том, что здесь идет речь о самом коротком расстоянии, которое следует преодолеть в начальный период операции. Как полагает американец, открывать южнофранцузский фронт за два месяца до «Оверлорда» опасно, хотя действия союзных войск на юге Франции будут очень полезны операциям на французском севере. Мнение Маршалла: открыть фронт на юге не за два месяца до «Оверлорда», а за три недели. По мнению Маршалла, немцы пытаются разрушить все порты и снабжать армии придется через открытое побережье. Он советует также обеспечить сильное прикрытие с воздуха. Отметив весьма лаконично, как были организованы десанты на Тихом океане, Маршалл умолк, как могло показаться всем, кто его слушал, неожиданно.

Слово американца было не столь обнадеживающим, как ожидали русские. Единственное, что успокаивало: он отдавал предпочтение «Оверлорду» перед, иными операциями, но не сказал об этом прямо, а дал понять, обратив внимание на детали, — удар по югу за две-три недели до большого десанта, снабжение войск через открытое побережье… Можно было подумать, Маршалл заметно остерегается высказываний по главному вопросу. Очевидно, это зависело не столько от Маршалла, сколько от обстановки: военные встретились явно раньше времени. В самом деле, что можно было ждать от военных, если главы правительств не договорились? Как ни велики знания у военных, они, в сущности, являются исполнителями.

Но поскольку эта встреча состоялась, было бы неразумным ею

не воспользоваться, тем более что у Ворошилова были указания на этот счет. Очевидно, задача заключается в том, чтобы продолжить усилия, предпринятые в дни конференции в Москве, и установить, что сделали союзники для подготовки десанта и какой стадии достиг этот их труд, — в конце концов, их отношение к десанту тут должно сказаться наиболее исчерпывающе.

Хотел Ворошилов того или нет, но он предельно обнажил суть своих вопросов — это были вопросы, что называется, в лоб.

— Насколько я понял генерала Маршалла, американцы имеют пятьдесят или шестьдесят дивизий, которые они хотели бы использовать во Франции, и задержка только в десантных средствах?.. — заметил Климент Ефремович, глядя на хмурого Маршалла. — Что делается для того, чтобы решить проблему?..

В грубоватой определенности, с которой был поставлен этот вопрос, были свои преимущества — вопрос исключал двусмысленный ответ, больше того, он бы эту двусмысленность обнаружил.

— В августе на британском берегу была одна американская дивизия, сейчас их девять, — сказал Маршалл с таким видом, будто бы упоминание этих двух цифр является ответом на вопрос русского делегата достаточно исчерпывающим.

— Как я понял, наши американские коллеги считают «Оверлорд» главной операцией? — спросил Ворошилов, все еще глядя на Маршалла.

Американец утвердительно кивнул.

— Из докладов генералов Исмея и Дина, которые я слышал в Москве, следует, что в Соединенных Штатах и Великобритании идет полным ходом строительство десантных судов, — продолжал свои вопросы Ворошилов. — Можно ли считать, что эти работы обеспечат операцию достаточным количеством судов и будут завершены к сроку?..

Ворошилов адресовал этот вопрос Маршаллу и Бруку, однако продолжал смотреть на американца, и могло показаться, что спрашивает он об этом только его. Может, поэтому Брук и на этот раз ответил молчанием, дожидаясь, пока ответит Маршалл.

— Если говорить о Соединенных Штатах, — сказал Маршалл, — то делается все, чтобы необходимые приготовления были завершены к началу «Оверлорда».

Американец произнес это со все тем же угрюмым выражением лица, но заметно доброжелательно — природная неулыбчивость не мешала ему быть в данном случае доброжелательным.

— Строятся десантные баржи, — уточнил Маршалл, подумав, — каждая на сорок танков…

Маршалл умолк, дав понять, что пришла очередь Брука отвечать на вопросы. На все вопросы и, в частности, на тот первый, который, как можно было заметить, встревожил англичанина и заставил его умолкнуть. Пока отвечал Маршалл, Брук имел возможность уточнить все варианты ответа именно на этот вопрос. Казалось, Маршалл пришел на помощь своему британскому коллеге, чтобы тот мог собраться с силами.

— Великобритания придает «Оверлорду» важное значение и считает существенной частью войны, — сказал Брук и принялся объяснять, достаточно пространно, что делается на Британских островах, чтобы оснастить предстоящую операцию. По мере того как продолжалась речь Брука, британский делегат забирал все дальше от Ла-Манша, а его речь делалась все более многословной, а поэтому и несущественной, а молчание русских все более ненастным. Брук успел пройти Гибралтар, пересечь Апеннины, побывать в Адриатике и достаточно углубиться в Восточное Средиземноморье — подобно своему премьеру, британский генерал любил укромные гавани этого района Средиземного моря и задержался здесь надолго.

Тогда Ворошилов повторил свой вопрос, при этом почти в той же интонации:

— Считают англичане «Оверлорд» главной операцией?

— Я, Брук, должен сказать, что не хочу верить в неудачу операции как в Северной, так и в Южной Франции, — заметил британский делегат, помрачнев. — При некоторых же обстоятельствах эти операции обречены на неудачу.

Ворошилов подумал, что пришло время изложить мнение русских по существу проблемы, а кстати сказать, что, на взгляд Сталина, операции в Восточном Средиземноморье имеют второстепенное значение. Вместе с тем действия союзников в Южной Франции, осуществленные за два-три месяца до «Оверлорда», важны. Как свидетельствует опыт союзных войск, «Оверлорд» им по силам. Разумеется, эта операция нелегкая. Ее нельзя сравнивать с преодолением рек, даже больших. Но если все-таки сравнивать с форсированием рек, таких, как Днепр, Днестр, Сож, правый берег которых достаточно холмист и при этом тщательно укреплен, можно сказать, что «Оверлорд», если он будет подготовлен, увенчается успехом. В самом деле, немцы построили на правом берегу этих рек современные укрепления из железобетона, оснастили их мощной артиллерией, которая могла обстреливать левый низкий берег на большую глубину, не давая нашим войскам приблизиться к воде. И все-таки реки были форсированы, а враг разгромлен, — сыграли свою роль артиллерия и авиация — ничто не могло устоять перед огнем

современного оружия.

В сравнении, к которому обратился Ворошилов, было одно уязвимое место: река не море. Ворошилов понимал это и оговорил, что сравнение не может быть абсолютным и он обращается к нему только в той мере, в какой Ла-Манш и Днепр являются водными рубежами. Но Маршалл возразил Ворошилову с той категоричностью, как будто бы Ворошилов не делал этой оговорки:

— Я обучался наземным операциям, и в связи с этим мне было знакомо форсирование рек, но, когда я столкнулся с десантами на море, мне пришлось переучиваться.

Разумеется, возражение это было чисто эмоциональным и не обещало американцу никаких приобретений, но американский генерал, удерживая баланс между русскими и англичанами, не упустил случая возразить русским, полагая, что в какой-то мере это уравновешивает все только что сказанное.

— Поражение при форсировании реки всего лишь неудача, моря — катастрофа…

Краска, почти пунцовая, залила щеки Ворошилова — его возмутил тон американца.

— Я с этим не согласен, — сказал Ворошилов. — Все зависит от степени организации «Оверлорда». Если тактика будет соответствовать задаче, даже неудача передовых частей будет всего лишь неудачей, а не катастрофой…

Одним словом, Брук дал русскому делегату возможность скрестить оружие с американцем по такому вопросу, где у американца было свое профессиональное самолюбие и своя человеческая амбиция. Нельзя сказать, что Ворошилов сказал нечто такое, что бы американец не знал, но хмуро-скептический Маршалл вдруг стал внимательным, не без любопытства следя за системой доказательств советского военного. Если авиация, завоевав господство в воздухе, разгромит артиллерию, а передовые части отобьют плацдарм и закрепятся на нем, могут быть введены в действие основные силы, при этом вряд ли может существовать риск катастрофы.

— Да, но артиллерийская поддержка с моря сложнее, чем с противоположного берега реки, — возразил Маршалл, но уже это возражение, относящееся не столько к общему, сколько к деталям, показало, что американец, говоря о катастрофе, явно сгустил краски.

Ворошилов понял это и, не желая усугублять несогласия, сказал, что тут они с Маршаллом единодушны.

— А каким будет соотношение сил в воздухе в момент вторжения? — спросил Ворошилов как бы между прочим, но

вопрос этот, как легко было догадаться, касался самой сути дела.

Брук смолчал, а темпераментный Портал, полагая, что на все вопросы, имеющие отношение к авиации, должен отвечать он, отчеканил, вызвав откровенно неприязненный вздох Брука:

— Пять или шесть к одному!

Ворошилов улыбнулся, и улыбка его точно говорила: «Вот видите: пять или шесть к одному!.. При таком соотношении катастрофа невозможна!»

Военные поднялись из-за стола, условившись встретиться еще раз и продолжить разговор.

И вновь возникло сомнение: был ли смысл его продолжать? Власть-то у военных всего лишь исполнительная. До того как проблема десанта не будет решена за большим столом, что можно решить за столом малым? Впрочем, как было уже установлено, для русских эта встреча имела некоторый смысл. Она, эта встреча, должна была показать, как далеко продвинулись союзники в своих приготовлениях к осуществлению большого десанта.

76

Когда Бардину сообщили, что Черчилль намерен вручить русским меч для Сталинграда, Егор Иванович подумал: старый тори просто хочет удержаться в седле, из которого он был накануне едва ли не вышиблен.

Ну, разумеется, златокузнецы — это не Черчилль, а та Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, что исстари отождествлялись и в сознании россиянина с обликом и умом англичанина, человека и умельца. Поэтому меч, изготовленный златокузнецами в трудный для России час, мог быть воспринят только как знак приязни, больше того, уважения к товарищу по оружию и должен быть принят с благодарностью. Но этот благородный знак, выражающий чувство одного народа к другому, не может и не должен быть средством дипломатической игры… И он бы не был этим средством, если бы меч был вручен в конце конференции и как бы венчал согласие. Но в этом случае Черчилль не был бы Черчиллем. Одним словом, вручение отнесено было ко второму дню конференции и, в сущности, призвано предварить второй тур разговора за большим тегеранским столом. Для всех, кто как-то проник в суть происходящего, это было действительно похоже на попытку старого тори укрепиться в седле. Однако разве была в этом необходимость? После первого дня конференции была. Собственно, в самом этом акте сокрыто душевное состояние Черчилля. Всесильный меч должен был совершить для Черчилля чудо: не только восстановить контакты с русскими, подвергшиеся вчера немалым испытаниям, но и показать американцам, что такие контакты существуют…

Когда Бардин вошел в большой зал, тот уже был почти полон. До церемонии еще было далеко, но волнение, которое испытывал зал, сказывалось в тишине — заметно торжественной. Здесь уже были Маршалл и Брук, окруженные чинами американской и английской армий, при этом все роды оружия были налицо. В группе советских генералов Бардин рассмотрел Антонова — была в его фигуре та ладность, которая делала парадным даже его рабочий китель; как истинный генштабист, он был подчеркнуто внимателен к своей внешности.

Глаза слепила медь оркестра, немилосердно начищенная.

Внимание присутствующих было обращено к столу посреди зала, где, скрытый черным футляром, покоился меч. Караул из британских и советских солдат охранял его. Советские солдаты были подобраны один к одному — роста и стати гвардейской. Их

форменные фуражки, сдвинутые чуть-чуть набекрень, как и испокон веков, свидетельствовали о бедовой сути русских солдат.

Появился Черчилль в серо-синем кителе офицера британской авиации — старый тори знал, какой цвет ему к лицу, об остальном при выборе формы можно было не думать. В самом деле, не все ли равно, форма каких войск будет облегать жидковатые мышцы британского премьера — авиационных, танковых или саперных? В конце концов, биографы Черчилля не могут припомнить, чтобы их герой водил самолеты…

Вкатили коляску с Рузвельтом, и Егор Иванович увидел президента в двух шагах от себя. В комнате, из которой ввезли президента, определенно было меньше света, чем здесь: президент сощурил глаза, не забыв, однако, улыбнуться. Сработал условный рефлекс: скопление людей у президента всегда вызывало улыбку. Даже как сейчас, когда президент не успел рассмотреть, кто находится в зале, и глаза его все еще оставались закрыты, он улыбался. Не без труда Рузвельт открыл глаза и улыбнулся вновь, теперь уже осознанно — к нему шел Черчилль.

Как мог заметить Егор Иванович, в сравнении с Вашингтоном президент пополнел. Могло показаться, поздоровел. Могло показаться, если бы Бардин не знал, что это всего лишь простой загар: он коснулся лица человека, а не его недугов.

Вошел Сталин.

Он подошел к Рузвельту и поздоровался. Затем протянул руку Черчиллю.

Сталин взглянул на Ворошилова, тот — на Антонова, Антонов — на капельмейстера, стоящего подле, — эти взгляды, как сигнальные зеркала, заимствовали свет друг у друга и несли его дальше. Смысл сигналов был в следующем: «Гимн! Пришло время гимнов — с этого начинается церемония…» И грянули гимны, вначале британский, потом советский.

Бардин еще не осознал значительности этой минуты, еще не ухватил ее разумом, не расчленил ее на ветви, которые неизменно возникают с рождением мысли, но сам звук торжественной мелодии, много раз слышанной и в минуту радости, и в горький миг беды, слышанный и отождествленный с тем страдным, что пришлось пережить в эти годы, ворвался в грудь, и Егор Иванович почувствовал, как дыхание его становится слышным. Ну конечно, Черчилль не без умысла отнес этот торжественный акт на сегодняшний день, ну разумеется, старому тори это было выгодно, но не об этом думалось и хотелось думать в эту минуту, а о том трижды священном, что явил союз великих народов, решивших дать бой злой силе. И Бардин видел, как побледнели лица людей, стоящих в зале. Даже Черчилль забыл на

миг все недоброе, что зрело в нем эти дни, и отдал себя во власть некоему гуманному чувству, которое было сокрыто в нем и заявило о себе с такой силой, с какой не заявляло прежде, — вон как торжественно стало и его лицо… Да и голос Черчилля преобразился заметно — волнение лишило этот голос силы и сделало в эту минуту таким слабым, что он решительно перестал быть слышным. Говорил Черчилль, и казалось, сама речь ему нужна для того, чтобы вернуть голосу прежнюю силу и совладать со стихией волнения.

— Его величество король Георг VI повелел мне вручить вам для передачи городу Сталинграду этот почетный меч, сделанный по эскизу, выбранному и одобренному его величеством. Этот почетный меч изготовлен английскими мастерами, предки которых на протяжении многих поколений занимались изготовлением мечей. На лезвии меча выгравирована надпись: «Подарок короля Георга VI людям со стальными сердцами — гражданам Сталинграда в знак уважения к ним английского народа»,

Английский офицер взял меч со стола и пошел к Черчиллю. Черчилль принял меч на вытянутые руки. Меч еще был в ножнах, но и так он был хорош, точно сотворен по росту того русского парня в сержантских погонах, что стоял подле британского премьера в карауле: да, тяжелое, двухэфесное и двухлезвийное оружие, с ухватистой, по размерам геркулесовой руки, рукоятью, с рогатой крестовиной, с каменным, так могло показаться, навершием, которое дважды неярко вспыхнуло, когда Черчилль, повернувшись, милостиво-торжественным жестом протянул меч русскому премьеру.

Черчилль передал Сталину меч, а вместе с ним и тот незримый ритм, с которым он выполнил эту церемонию вручения, и, повинуясь этому ритму и стараясь сберечь его, Сталин церемонно-медленным жестом выдвинул клинок из ножен и, на какую-то секунду остановив взгляд на холеной стали меча, одетой в мягко разлившееся и чуть-чуть матовое золото, поднес клинок к губам. В этом жесте, который был неожидан даже для самого Сталина, было что-то древнее, может быть даже кавказское, где верность оружию отождествлялась разве только с верностью матери, ибо мать дарила жизнь, а меч эту жизнь оберегал.

— От имени граждан Сталинграда я хочу выразить глубокую признательность за подарок короля Георга VI… — он понимал, что слово «подарок» было рождено волнением, у него было достаточно развитое чувство языка, чтобы найти иное слово, например «дар», но слово было произнесено, и изменить его —

значило указать ошибку, а это было не в его правилах. — Граждане Сталинграда высоко оценят этот подарок, — продолжал он. — И я прошу вас, господин премьер-министр, передать их благодарность его величеству королю…

Он произнес эти несколько слов едва ли не полушепотом, торжественным полушепотом, но его голос был услышан всеми, кто находился в зале. Впрочем, одно слово прозвучало внятно вполне — Сталинград. Слишком много говорило имя этого города сердцу советского человека, а у Сталина тут было и свое — начало революции, ее жестокое мужание. И не только это, а и личное, что отождествлялось в судьбе города с его собственной судьбой, — за многовековую историю человечества, наверное, немного людей на земле могли произнести название города, у которого твое имя.

Сталин перевел взгляд на Рузвельта и, держа меч прямо перед собой, пошел к нему. Не сознавая этого, он все еще берег ритм, который сообщил церемонии Черчилль. С почтительностью, не очень свойственной его натуре, он передал меч Рузвельту, и тот вскинул на Сталина глаза, в которых жила радость мгновенья, — пожалуй, язык взгляда был единственным языком, которым они пользовались сполна, особенно в те минуты, когда, оставшись наедине друг с другом, вдруг понимали, что отнюдь не всесильны, больше того, неловко-беспомощны.

— Действительно, у граждан Сталинграда стальные сердца, — сказал Рузвельт и с неторопливой торжественностью возвратил меч.

Сталин принял меч и, встретившись взглядом с Ворошиловым, точно дал понять ему, что хотел бы передать меч ему, — Ворошилов шагнул Сталину навстречу. В следующую минуту меч, опять заключенный в футляр, покинул зал — отныне он становился собственностью Сталинграда.

Сталин окинул взглядом всех, кто стоял рядом, пытаясь отыскать Молотова, и, увидев его, быстро пошел к нему с несвойственной быстротой — он точно хотел показать этой своей походкой, что не хочет долее оставаться рабом этого ритма, который он воспринял, казалось, против своей воли, и, воспользовавшись первой возможностью, сбрасывает его оковы.

Бардин оглядел заметно опустевший зал, стараясь отыскать Сергея Петровича, но Бекетова не было, — видно, у него было много дел в это утро. Предстояло второе совещание, и Бекетов был начеку: в конце концов, к заседанию готовились не только те, кто был за столом переговоров, но и те, кого в эту минуту здесь не было.

Бардин вышел в сад, надеясь увидеть там Бекетова, и, подняв глаза на веранду, где Егор Иванович заметил однажды серо-защитный китель Сталина, увидел вдруг Сергея Петровича, а минутой позже и покатые, даже в какой-то мере поникшие плечи человека в серо-защитном кителе.

Бардину показалось, что Сергей Петрович пытался в чем-то убедить Сталина, указывая на стол, стоящий посреди веранды, а Сталин шел вдоль окон, слегка наклонив голову, и, как хорошо видел Егор Иванович, улыбался чуть скептически. О чем шел разговор и что вызвало иронию Сталина — вот вопрос, который невольно овладел сознанием Бардина, когда он вошел в тень осенних платанов.

В ящиках, обшитых листовым железом и опечатанных сургучом, что были выгружены в посольстве едва ли не в день приезда делегации, находилось более чем обширное досье документов, подготовленных специально к конференции. Говорят, ничто не обладает такой силой внушения, как старая бумага. Из своего третьего ряда Бекетов наблюдал за происходящим, соотнося слово и дело конференции с документами, лежащими в ящиках, обшитых листовым железом. Ну, разумеется, многие документы лежали недвижимо и извлекались из ящиков только в случае крайней необходимости, но в сознании Бекетова они все время были в движении: он обращался к ним, как к козырным картам, и досадовал, что этого не делает Сталин. Сергею Петровичу казалось, что слово наших делегатов обрело бы большую убедительность, ежели бы ящик с документами был рядом.

Там, где листва стала настолько густой, что тень обратилась в полутьму, Бардина окликнул Бекетов:

— Думал, что не отыщу… я видел тебя с веранды. Ты, как метеор, возник и исчез, даже хвоста не оставил.

— И я видел тебя, — заметил Бардин. — Как, впрочем, видел и иное.

— Что ты имеешь в виду?

— Улыбку Сталина, в которой было не столько согласие, сколько несогласие… Так?

Егору Ивановичу показалось, что Бекетов замедлил шаг, — из тени сумерек — самое тесное место было пройдено — смотрели его глаза, вопросительно-печальные. Бекетов не ответил.

— Я спрашиваю: так?.. — повторил Бардин, но Бекетов все еще молчал. — Причина: архив или… серьезнее?

Бекетов обрадовался солнышку, которое встретило их на желтом песке аллеи, — он был порядочным мерзляком, Сергей Петрович.

— А архив — это не серьезно, Егор?

Бардин поднял толстые руки с такой силой, будто они были ему в тягость, будто хотел освободиться от них:

— Сережа!.. Ну, ты понимаешь, что я хотел сказать!

Бекетов передернул плечами — в словах друга было не много тепла.

— Понимаю, Егор… Я ему сказал: досье… обогатит аргументацию — оно подскажет ему доводы, которых, быть может, у него нет… В конце концов, и Черчилль начинает свой рабочий день с работы над документами…

Бардин засмеялся:

— А вот о Черчилле бы я помолчал!

Бекетов не без робости взглянул на Егора

Ивановича — что-то грозное послышалось ему в словах друга.

— Прости меня, почему надо молчать?

— Ну, ежели ты хочешь ему внушить уважение к твоему архиву, какой смысл ставить в пример Черчилля?.. Нашел кого учить… Черчиллем!

— Ты полагаешь, не надо было?

— Чудак ты человек!.. Если бы сказал «Рузвельт», то он, может быть, принял бы, может быть…

77

В четыре часа пополудни в большом зале посольства открылось второе пленарное заседание конференции.

Оно началось с доклада военных, которые рассказали об утренней встрече. Вначале Брук и Маршалл, потом Ворошилов, выступление которого вызвало улыбку Сталина, как можно было понять, сочувственную: Ворошилов ничего не сказал по существу, он подтвердил, что Брук и Маршалл были точны в своей информации. Ограничив реплику этим, Ворошилов будто сохранял возможность вернуться к проблеме.

— Кто будет назначен командующим операции «Оверлорд»? — спросил Сталин, перестав улыбаться.

— Этот вопрос еще не решен, — тут же ответил Рузвельт.

— Тогда ничего не выйдет из операции «Оверлорд», — сказал советский премьер, и все, кто был в зале, подивились, как тих был его голос в эту минуту.

— Английский генерал Морган несет ответственность за подготовку операции «Оверлорд»… — пояснил Рузвельт.

— Кто несет ответственность за проведение операции «Оверлорд»? — спросил Сталин так, будто бы об этом не было речи, ответ Рузвельта был настолько несуществен, что он, Сталин, как бы не принял его во внимание.

Этот подтекст не остался незамеченным Рузвельтом. Он сказал, что известны все лица, которым предстоит участвовать в операции «Оверлорд», за исключением главнокомандующего.

Все в той же нарочито спокойной интонации, не повышая голоса, больше того, стараясь сообщить ему некую монотонность, Сталин заметил, что генерал Морган может счесть эту операцию подготовленной, а новый командующий не согласится с ним.

Черчилль, не спешивший вступать в разговор и ожидавший для этого подходящего момента, уточнил, что генералу Моргану были поручены предварительные приготовления.

— Кто поручил это генералу Моргану? — спросил Сталин.

Трудно сказать, когда у Сталина возникла эта мысль о командующем: в преддверии второй встречи или, быть может, только что, но этот вопрос сразу дал ему заметные преимущества. С откровенной настойчивостью, деятельной и, пожалуй, грубоватой, он повел наступление: «Кто будет командующим?» Ничего хитрого в этом вопросе не было, но с точностью беспощадной он устанавливал, в какой мере можно верить слову союзников сегодня. Если командующего нет, а его, судя по всему, не было, о какой серьезной подготовке к осуществлению десанта

может идти речь?

Слово взял Черчилль. Пространно, более пространно, чем нужно, он принялся излагать историю назначения генерала Моргана. Черчилль обратился к истории, явно стремясь выгадать время и овладеть ситуацией. Неизвестно, как долго он говорил бы, напрягая память в попытке отыскать истоки проблемы, если бы его не осенила идея спросить об этом Рузвельта прямо. Он это сделал весьма примитивно: наклонившись, он произнес свистящим полушепотом: «Мэй би хиэ?.. Иес — десижн…»

— Как мне сказал только что президент, — произнес Черчилль, просияв — он был счастлив, что может сказать это и от имени президента, — решение вопроса о командующем будет зависеть от переговоров, которые мы ведем здесь…

Сталин улыбнулся:

— Я хочу, чтобы меня поняли правильно: русские не претендуют на участие в назначении командующего; но русские хотели бы знать, кто им будет.

Да, именно так: «русские не претендуют», «русские хотели бы знать». Он не без удовольствия держался тона, который принял в начале переговоров. «Русские хотели бы знать». Вряд ли эта формула была свойственна его речи прежде. Скорее всего, она родилась во время войны, отражая ее существо как войны отечественной. Ему нравилась эта формула, и он ею пользовался охотно. Вот и сейчас, завершая реплику о командующем, он сказал: «Русские хотели бы, чтобы он скорее был назначен».

Черчилль, заметно обрадованный, сказал, что командующий будет назначен через две недели.

Сталин заметил, что у него нет вопросов по поводу сообщений Брука и Маршалла, дав понять, что вопрос о командующем сыграл свою роль и он не настаивает на его дальнейшем обсуждении.

Вновь заговорил Черчилль. Уже первая фраза, которую он произнес: «Я немного обеспокоен количеством и сложностью проблем, стоящих перед нами», — показала, что он готовится произнести речь. И в самом деле, он произнес большую речь, такую большую, какую до сих пор не произносил в Тегеране. Но размеры этой речи, пожалуй, были обратно пропорциональны ее значимости. Черчилль просто пошел по второму кругу и, в сущности, поставил те же проблемы, что накануне: Средиземное море, Балканы и Турция. В этой речи была некая хаотичность, нарочитая. Создавалось впечатление, что он хочет так перетасовать карты, чтобы не было никакой возможности отыскать нужную. Ну, разумеется, он говорил и об «Оверлорде», но только в той мере, в какой эта проблема соотносилась со

многими иными, на его взгляд столь же важными.

Черчиллю ответил Сталин. Его заметно раздражила речь британского премьера. Слишком очевидна была ее тенденция — отвлечь внимание конференции от главного. Как и накануне, удивление вызывало одно: как столь опытный политик, каким был Черчилль, мог действовать столь примитивно?.. Сталин подтвердил: главное — «Оверлорд». Что же касается операции на французском юге, то ее можно осуществить в один из трех сроков: за три месяца до начала большого десанта, во время десанта или, наконец, двумя месяцами спустя после самого десанта. И последнее касалось назначения главнокомандующего. Разумеется, это в компетенции союзников, но русские хотят знать, кто будет главнокомандующим.

— Я прошу конференцию считаться с этими высказанными мною соображениями, — закончил Сталин. В его последней фразе была некая категоричность. Советский премьер, произнося ее, точно хотел сказать: «Там, где Черчилль пошел по второму кругу, он может пойти и по третьему — пришло время разговора по существу».

Реплика, которую произнес Рузвельт, учитывала требование русских говорить по существу — там были слова достаточно определенные.

— Я придаю большое значение срокам, — заметил президент. — Если имеется согласие на операцию «Оверлорд», то нужно договориться о сроке этой операции… — Президент сказал, что действия в Восточном Средиземноморье, действия, которые могут быть и не столь успешны, потребуют переброски дополнительных материалов и войск. — Тогда «Оверлорд» не будет осуществлен вовремя, — заключил Рузвельт.

Вновь, как это было и в первый день, Рузвельт оставлял своего британского союзника один на один с русскими. Но в отличие от первого дня, когда Сталин явил выдержку, сегодня его терпение явно было на ущербе, при этом к грани взрыва его подвела речь Черчилля. Время политесов кончилось, пришло время разговора по сути проблемы, достаточно откровенного, если надо, грубо откровенного.

Первые признаки этого разговора возникли, когда Сталин, говоря о силах противника, сосредоточенных на Балканах, привел данные разведки, и Черчилль реагировал на это корректным: «Наши цифры отличаются от этих цифр». Судя по тому, как развивался диалог дальше, Сталин искал повода к обострению разговора и ответил более резко, чем отвечал до сих пор:

— Ваши цифры неправильны.

Подводя разговор к существу — срок операции «Оверлорд»,

только срок! — Сталин сказал, что хорошо было бы предпринять большой десант в пределах мая, ну, скажем — 10–15–20 мая. Да, он привел эти три даты, дав понять, что отсрочка не должна превышать десяти дней.

— Я не могу дать такого обязательства, — ответил Черчилль. Внешним поводом к такому ответу было то, что Сталин назвал даты с категоричностью и точностью, которая до этого не имела места. На самом деле Черчилль всего лишь использовал этот аргумент, чтобы уйти от конкретного решения вопроса о десанте.

Создавалось впечатление, что британский премьер отважился идти по третьему кругу. Логика его рассуждений сводилась к следующему: мы не расходимся во мнениях, как это может показаться. (Его доброжелательность обычно распространялась на фразы общие.) Он готов сделать все, чтобы осуществить «Оверлорд» в возможно короткий срок. (Тут уже доброжелательность кончилась: «…в возможно короткий срок».) Он, Черчилль, не думает, что те возможности, которые имеются в Средиземном море, должны быть немилосердно отвергнуты (так и сказано: «…немилосердно отвергнуты»!) из-за того, что использование их задержит осуществление операции «Оверлорд» на два-три месяца… Короче: воспользоваться моментом и начать операцию в Средиземном море. Она стоит того, чтобы «Оверлорд» был отсрочен на два-три месяца, то есть с конца весны на конец лета.

— Операции в районе Средиземного моря, о которых говорит господин Черчилль, это только диверсия, — мрачно реагировал Сталин. — Я же отрицаю значение диверсий.

— Британские войска не должны бездействовать шесть месяцев, — произнес Черчилль.

— По Черчиллю выходит, что русские требуют от англичан того, чтобы англичане бездействовали, — невесело улыбнулся Сталин — он так и сказал: «По Черчиллю», обязательное в этом случае «господин Черчилль» было игнорировано.

Совершенно очевидно, что конференция приблизилась к своему «кризису». Первый признак этого обнаружился в выступлениях самого красноречивого из участников конференции: британский премьер исчерпал себя и начал повторяться, дав повод своим коллегам, и прежде всего Сталину, не считаться с ним. Очевидно почувствовав это, Черчилль предложил передать вопрос о втором фронте на рассмотрение военных. Сталин, склонявшийся к этой мысли в начале заседания, ее отверг, — возможно, он почувствовал, что обрел преимущества, которые могут быть обращены в реальные ценности только им самим, при этом здесь, за столом

переговоров. А возможно, сделал свое червь сомнения: если главы правительств не могли договориться, способны ли военные поправить положение?

То, что сделали русские на следующем этапе конференции, было похоже на таран.

— Сколько времени мы намерены оставаться в Тегеране? — спросил Сталин, не глядя на своих иностранных коллег.

— Я готов голодать, пока директивы не будут разработаны, — сказал Черчилль, он все еще имел в виду комиссию военных, которой он хотел передать разработку директив.

— Речь идет о том, когда мы намереваемся закончить нашу конференцию, — заметил Сталин, он явно говорил не о военных.

Рузвельт осторожно намекнул, что можно передать дела военной комиссии.

— Не нужно никакой военной комиссии, — сказал Сталин, он шел на упрощение проблемы намеренно. — Мы можем решить все проблемы здесь, на совещании… Мы, русские, ограничены сроком пребывания в Тегеране. Мы могли бы пробыть здесь еще первого декабря, но второго декабря мы должны уехать…

Все ясно: вопрос должен быть решен за столом конференции, при этом в течение предстоящих одного-двух дней. Все должно иметь свои сроки: и «Оверлорд», и конференция… Только так.

Рузвельт, продолжая балансировать между англичанами и русскими, балансировать не только в силу известного расчета, но и одолевающих его сомнений, сказал, что готов сделать предложение, которое упростит работу штаба. Президент предлагал передать рассмотрение вопроса военной комиссии, которая должна принять за основу операцию «Оверлорд». Это предложение было явной уступкой Черчиллю. Чтобы не огорчать русских, Рузвельт обернул хитрую пропозицию в своеобразную замшу, заметив, что комиссия должна представить свои предложения и относительно операций в Средиземном море, но с обязательным условием: эти операции не задержат «Оверлорда».

Сталин задумался. Предложение президента создавало новую обстановку на конференции. До сих пор русские единоборствовали с Черчиллем, сейчас им надо было адресовать свои возражения и Рузвельту.

— Русские хотят знать дату операции «Оверлорд», чтобы подготовить свой удар по немцам, — сказал Сталин; разумеется, в этой фразе было высказано несогласие с Рузвельтом, но высказано осторожно.

Черчилль вновь вступил в разговор: он сказал, что не понимает, как решен вопрос с военной комиссией.

— Если можно задать неосторожный вопрос, то я хотел бы

узнать у англичан, верят ли они в операцию «Оверлорд»? — спросил Сталин и обратил смеющиеся глаза на Черчилля. — Или… они просто говорят для того, чтобы успокоить русских, а?..

Черчилль шевельнул губами так, как будто во рту у него была сигара, — он не принял улыбки Сталина.

— Если будут налицо условия… — ответил Черчилль строго, он напрочь отсекал от себя иронию Сталина.

А дальше произошло то, что протоколы не отметили, но что было самым существенным в этот день, — Сталин встал и, взглянув на Молотова с Ворошиловым, произнес:

— Идемте, нам здесь делать нечего, у нас много дел на фронте.

Рузвельт, заподозрив недоброе, сказал, что он предлагает прервать заседание, так как его участники очень голодны. Президент по-своему был прав: раздражение, которое владело некоторыми участниками переговоров сейчас, при необходимости можно было объяснить и тем, что они голодны. Но прежде чем прервать заседание, Рузвельт сделал последнюю попытку подключить военных. Сталин повторил свои возражения. Тогда президент предложил, чтобы этим занялись Гопкинс, Молотов и Иден. Сталин возразил и на этот раз. Условились, что Черчилль встретится с Рузвельтом и согласует свои предложения. Сталин не возражал.

Было ясно: если суждено быть второму фронту, то все произойдет в предстоящие сутки, не столько за круглым столом конференции, сколько за пределами его. По крайней мере, в этом был смысл паузы, которая устанавливалась… Если эти прогнозы верны, то следующее заседание может быть много короче.

— Вот эти посольские… затворники! — сказал Бардин другу, когда, воспользовавшись свободным часом, они покинули белый особняк, намереваясь совершить прогулку по городу. — Рядом большой город, но ты так прочно отделен от него посольской оградой, что его будто и нет в природе… Куда направим стопы?..

Поздно вечером Бардин услышал под окном голос друга:

— Одевайся, да попроворнее… Впрочем, можешь накинуть плащик.

— А ты небось при галстуке, Сергей?

Бекетов засмеялся: не упустил возможности Бардин напомнить ему о галстуке.

— Ну, одевайся, одевайся.

Бардин, разумеется, галстука надевать не стал — солнце давно село, но зной не торопился уйти из Тегерана.

— Господи, где ты отыскал этакую «Антилопу»? — спросил Бардин, заметив у подъезда машину. — Это что же… «форд-меркурий» или «фиат»?

— Всего-навсего старик «мерседес». Садись… посольские должны ездить в лимузинах, — улыбнулся Бекетов. — Можно было бы и пешком дойти, да в автомобиле как-то удобнее.

По неширокой улице, обсаженной акациями и серебристым тополем, они стали удаляться от посольства.

— Да объясни мне, бога ради, куда ты меня везешь? — взмолился Бардин, но Сергей Петрович сказал только:

— Потерпи…

Точно чадра пала на персидскую столицу — темно. Высокие платаны сомкнулись с черным небом. В арыках, выхваченная фарами, поблескивала вода, да в глубине садов, железная листва которых не хочет опадать, подсвеченные незримым огнем, голубеют стены особняков.

— Кажется… вот здесь, — Бекетов вышел. — Да, здесь.

Наверно, это сообщили Егору Ивановичу даже не слова, произнесенные Бекетовым, а сам голос, волнение, прорвавшееся наружу: предстояло увидеть значительное.

— Погоди, да не Грибоедов ли?

— Грибоедов.

Вот куда привез Бекетов друга в эту ноябрьскую ночь 1943 года. Была ночь, непроницаемая, непроглядная, сколько ни всматривайся, ничего не видно. Все можно было только вообразить: здесь это было… И казалось, что одного этого достаточно, чтобы вот так остановиться посреди тегеранской

ночи и пережить…

И два человека недвижимо стояли в ночи, доверив себя тишине и воображению, которое было жестоко с ними. Воображение… Оно выхватило из ночи тот далекий февраль 1828 года, когда где-то вот здесь ревущая толпа уперлась в деревянные ворота и, взломав их, бросилась к посольскому дому. Безумие толпы не имело предела — тело посла едва удалось опознать.

— Погоди, Сергей, но что тут осталось от той поры?.. — спросил Егор Иванович. — Не эта ли мечеть? — он обратил взгляд на темный ствол мечети, который неясно маячил в ночи.

— Да, только эта мечеть. Говорят, русских из посольства поволокли туда. Возможно, уже… только тела их…

Они пошли прочь — мечеть будто вздрогнула в ночи и канула в ее черной воде.

— Говорят, что толпой нельзя управлять издали, она должна видеть того, кто ее ведет… — сказал Бардин.

— Ты полагаешь, что главный убийца был в толпе? — спросил Сергей Петрович — он следил за мыслью Егора.

— А ты полагаешь: не был?

— Тот, кто убил, очевидно, был в толпе, но тот, кто направлял руку убийцы… был далеко.

— Значит, толпой можно управлять издали, — сказал Бардин и, нащупав во тьме острый локоть Бекетова, сжал его. — Признаться, я не думал, что послы могут убивать друг друга…

Они возвращались в посольство. Казалось, кроме дремучей тьмы тегеранской, ничего не увидели друзья в ночи, а что-то добралось до самого дна их душ. Ведомо ли Черчиллю, что в двух шагах отсюда есть место, которое вот уже сто пятнадцать лет Россия отождествляет со смертью одного из самых великих своих сыновей, — со смертью, к которой, как утверждает бесстрастная хроника, коварный Альбион имеет самое прямое касательство?..

Бардин спрашивал себя: каков будет Сталин на обеде, который советский премьер устраивал для Черчилля и Рузвельта, после всего, что было сказано за столом переговоров?

Но то, что произошло за обеденным столом, должно было немало озадачить тех, кто знал Сталина. Точно инцидента и не было — все шло как по маслу… Как велит традиция светского обеда, поводом к беседе явилось вино, предложенное гостям… Президенту по вкусу пришлось грузинское сухое вино, а английскому премьеру коньяк. Рузвельт сказал, что хорошо было бы высадить некоторые сорта кавказского винограда в Калифорнии, что воодушевило Сталина и вызвало монолог о виноградной лозе…

Но любопытно, с какой готовностью президент и его британский коллега обратились к этой теме! Нет, не потому, что они мигом забыли инцидент, происшедший в зале переговоров, а именно потому, что они этот инцидент помнили. Можно сказать, лоза явилась той соломинкой, за которую пытались ухватиться два почтенных мужа, ну, если не тонущие, то в какой-то мере терпящие бедствие, при этом соломинку эту бросили им в воду русские… Да, высадить лозу и, чем черт не шутит, вызвать к жизни американскую разновидность кавказских вин, хотя кахетинские земли не перенесешь за океан. Нет, в самом деле, как заставишь такую лозу расти на калифорнийских почвах? Казалось, не было темы увлекательнее для Рузвельта, как, впрочем, и для Черчилля, чем виноградарство, хотя в подтексте было все то же: «Идемте, нам здесь делать нечего…»

А потом разговор перешел на секреты грузинской кухни, и самозабвенно заскрипели перья американцев, записывая для президента рецепты.

Когда на каждое новое блюдо гости могли отозваться только восхищенным молчанием, внесли трехметрового лосося… Лосось был так упруго-могуч, полон жира и мяса, так чутко поводил хвостом при каждом движении тех, кто нес его на блюде, что окажись рядом море, он бы свился кольцом и, мгновенно выпрямившись и набравшись прыгучей силы, устремился бы в воду… У гостей вырвался рев восторга… Они были так ошеломлены, что утратили не только слова, но и силы.

Рузвельт сказал, что хочет отдохнуть, и удалился к себе.

— Итак, времени у нас в обрез, если учитывать, что мы соберемся в последний раз послезавтра, а надо поговорить о многом… — заметил Черчилль и посмотрел на Сталина.

— Да, о многом… — и Сталин поднял на англичанина глаза, тяжелые.

Даже интересно, какую силу возымело столь могучее действо, как только что состоявшийся обед, если учитывать, что тут сыграл свою роль не столько замысел, сколько инерция: после того, что произошло за столом переговоров, казалось бы, должна быть поставлена другая пластинка — без лосося, разумеется… Кашу маслом не испортишь? Ну, поглядим, как оно получится. Главное: пойдет Черчилль по новому кругу, отважится пойти?..

Он был робок на этом обеде, британский премьер, робок и тускловат… В иное время с какой бы силой взлетел к небу фонтан его красноречия, а тут… Как будто бы и не Черчилль. И остался после обеда, точно хотел замолить какой-то свой грешок. И этот вопрос о послезавтрашнем дне задал не из сознания силы. И уходил вдруг какой-то иной походкой, больше обычного

шаркающей; хотя выглядел, как обычно, молодым, отменным молодцом…

Против обыкновения, главы правительств собрались к столу переговоров не в четыре часа, а в четыре тридцать. Очевидно, эти тридцать минут не были ординарным опозданием… Наблюдательный глаз установил бы это безошибочно: когда Сталин шел в большой посольский зал, рядом с ним были Брук и Маршалл. Очевидно, у советского премьера была встреча с военными чинами союзников. Если учесть, что всего лишь накануне Сталин возражал против того, чтобы решение главного вопроса было передано на рассмотрение военных, тем более разительным были происшедшие изменения.

В четыре тридцать Рузвельт, по праву бессменного председателя, открыл заседание, и все разом разъяснилось. Президент сказал, что состоялось решение британского и американского штабов, которое было сообщено маршалу Сталину и было принято им с удовлетворением. Рузвельт предложил дать слово Бруку. Сталин согласился. Черчилль также не возражал, но не преминул заметить, что Брук будет говорить в равной мере от имени англичан и американцев.

Волнение точно опалило гортань генерала Брука: он должен был дважды кашлянуть и издать нечто похожее на писк. Впрочем, и в кашле, и даже в писке была некая значительность. Брука можно было понять: происходило долгожданное, происходило нечто такое, что, по крайней мере для русских, должно было войти в историю этой войны под знаком Тегерана. Брук сказал, что начальники штабов рекомендовали президенту и премьер-министру сообщить маршалу Сталину, что «Оверлорд» начнется в мае и будет поддержан операцией против французского юга… Итак, самое заветное было произнесено. Правда, была несколько странной сама форма этого акта: начальники штабов рекомендовали президенту и премьер-министру сообщить маршалу Сталину… Непонятно было, почему главы правительств вдруг выступили на конференции в качестве начальников штабов — ведь решение принимали они, Рузвельт и Черчилль, с рекомендациями военных, а не наоборот… Это, пожалуй, было странным, и это предстояло еще понять и объяснить, но существенно ли это было сейчас? Вряд ли. Существенным было иное — решение принято. А значит, возникла возможность сокрушающего удара по врагу, удара, который обещал победу. Да, именно это слово должно было быть произнесено, когда британский генерал, еще не уразумев, какая честь выпала на его долю, сказал об «Оверлорде» и грядущем мае.

Черчиллю определенно показалось, что генерал Брук не сказал всего, что должен был сказать. Черчилль добавил, что решение предполагает координацию и еще раз координацию: удар, разумеется, должен быть нанесен одновременно с обеих сторон.

Ну, вот теперь все. Взгляды всех, кто сидел за столом, обратились к русским.

В тишине, какой давно не было за этим столом, прозвучал голос Сталина. Он говорил негромко, но внятно, с теми характерными паузами и тем придыханием, чуть астматическим, какие были свойственны ему, когда речи сопутствовало волнение. Он говорил все тише, и тишина точно следовала за ним, становясь все чутче. Смысл его реплики можно было понять так: он понимает, насколько важно принятое решение. Как он полагает, опасность грозит союзникам не столько в начале «Оверлорда». сколько в процессе его. Русские хотят лишить немцев возможности перебрасывать силы с востока на запад. В связи с этим русские обещают в мае предпринять наступление, атаковав немцев в нескольких местах. Как отметил Сталин, он имел возможность сегодня уже сказать все это президенту и премьер-министру, но хотел бы повторить это на конференции…

Последняя часть реплики заслуживала внимания: да, действительно, он готов повторить это еще раз тем спокойно-бестрепетным голосом, чуть бесстрастным, даже расслабленным: русские не просто приняли решение союзников во внимание, а соответственно перестроили стратегию предстоящей весны и лета. Сталин сказал это Рузвельту и Черчиллю с глазу на глаз и повторяет это за столом переговоров. Повторяет с очевидной целью: отныне существует единый план европейской войны, который может быть осуществлен, если силы, идущие на немцев с востока и запада, действуют одновременно.

Конец второй книги

Книга третья

1

Кузнецкий мало-помалу обретает облик довоенного Кузнецкого моста. Мало-помалу… Вдоль стен уже не лежат мешки с песком, придававшие улице вид баррикадный. С просторных витрин смыты полосы бумаги — в том, как они перечеркивали большие стекла крест-накрест, было что-то от горестной осени сорок первого. Энергичные скребки дворников добрались до асфальта, и тротуары почти черны — такого в Москве не было давно. Открылись магазины, дорогие сердцу москвича, которыми был славен Кузнецкий до войны: картографический, книжные, филателистический. Открылись банк, библиотека, часовая мастерская, ателье мод; правда, пока лишь ателье мод, а не Дом моделей, но вопреки скромной своей вывеске истинная цитадель всего нового, чем дивила мир российская мода, точно указав, что война пошла на убыль…

Да и Наркоминдел распахнул на Кузнецкий двери старого клуба, чтобы с невысокой его сцены зазвучали имена, которые отлила в своем горниле освободительная война. И тут была своя традиция, не столь древняя, но обязательная: как ни весомо было участие Наркоминдела в ратных деяниях страны, здесь не очень-то распространялись об этом. Хозяева точно говорили себе и гостям: история скажет свое слово и о Наркоминделе, а сейчас речь идет о тех, кто творит военную славу России. И, следуя этому правилу, клуб старался привадить адмиралов и танковых стратегов, редакторов военных газет и генштабистов, авиаконструкторов и писателей, разведчиков и партизанских военачальников. Иногда один человек был как бы о двух лицах: и вожак лесных армий, и следопыт-разведчик, идущий по тылам врага. Немолодой человек, но по-молодому худощавый, едва ли не четыре часа говорил о тайной войне в первозданных лесах и болотах. То был Медведев и его лесная одиссея, пока еще устная, — «Это было под Ровно»…

Но и история-самовидица не покидала наркоминдельской кафедры, взывая к именам и событиям дней минувших, утверждая ассоциации, помогая мысли проникнуть в глубины происходящего… На кафедру поднялся почтенный Тарле и повел рассказ о народной войне, какой ее явила миру Россия, изгнавшая Наполеона… Да, почтенный Тарле, в костюме с лацканами-лонжеронами, который при известных усилиях уже можно было в ту пору сшить в Москве у хорошего портного, не по-стариковски безбородый, с безупречным пробором, разделяющим седые и не столь обильные волосы на темени, повел рассказ с визита Дениса

Давыдова к князю Багратиону. Ну, разумеется, широкий Давыдов попросил три тысячи сабель, а Кутузов расщедрился на пятьсот, да еще сопроводил посулу ухмылочкой, смысл которой можно было толковать так: «Пока суд да дело, обойдись, душа моя, и полутыщей, а там поглядим…» Не известно, что сказал хитрый Багратион Кутузову, но перед Денисом развел руками едва ли не недоуменно: «Я бы дал больше…» Но дело было даже не столько в саблях, сколько в вилах, граблях, топорах да ухватах с кочергами, которые взяла на вооружение армия мстителей… Сигналом к народной войне послужил большой огонь московский.

Тарле тычет сухим пальцем в окно, оно от него слева, точно хочет пояснить свою мысль и зримо: «Загорелся Балчуг, а вслед за ним и старый Гостиный двор. Огонь подобрался к Кремлю. Было светло как днем, Наполеон проснулся… — Тарле не может оторвать глаз от окна. — „Какая свирепая решимость, — сказал Наполеон в рассветных сумерках Коленкуру. — Какой народ!..“ С наступлением дня Наполеон решил покинуть Кремль, но это было сделать уже нелегко. Море огня подступило к Кремлю. Наполеон шел, разгребая руками дым, перескакивая через горящие стропила и матицы, воздух был раскален, гарь и пепел застилали все вокруг, дым ел глаза, дышать было невозможно. Одно время казалось, что Наполеону не выбраться из огня, но ему помогли солдаты, оказавшиеся рядом, они потрошили очередной русский дом… Император, заблудившийся в море огня, и мародеры, спасающие императора, — да, пожалуй, это было самое характерное…»

Тарле молча смотрел в окно. Казалось, все, что он рассказал только что, он увидел в окне. Он даже поднял руку и повел ею так, как должен был повести Наполеон, разгребая дым московского пожара…

«А потом в этом самом салтыковском доме, что на Якиманке, начали судить поджигателей. Судить и расстреливать. Говорят, там были все люди из народа: крестьянин, дворовая девка, хозяин трактира, почтмейстер, старый солдат, еще крестьянин, разумеется крепостной… И весть о расстреле пошла по Руси…»

Тарле вел рассказ, все еще не отрывая глаз от окна, хотя оно обросло льдом и снегом… Но если отогреть глазок, то увидишь Кузнецкий достопамятного февраля сорок четвертого года. Кажется, что ниточка истории не оборвалась и по Кузнецкому мосту идут те же, кто поверг в смятение Наполеона и его армию, названную историей «великой»…

Как это бывало и прежде, корреспонденты стекались в отдел печати к одиннадцати вечера. На подходах к этому часу их

«форды», «фиаты» и «оппельки», нет, не широкобедрые лимузины, неторопливо осанистые, заметно стесненные в непросторных пределах Кузнецкого моста, а все больше малолитражки, юркие, оставляющие позади себя шлейф дыма, вбегали на площадь перед наркоминдельским домом и, отыскав свободное место, затихали, как бы слившись с тишиной большого города.

Вот это ощущение тишины преодолеть не просто — корреспондент покидает машину и стоит посреди площади, ожидая, когда это же сделает его товарищ, прибывший несколько позже.

До одиннадцати осталось минут десять, и можно наговориться вдоволь, хотя погода не очень способствует беседе под открытым небом — идет снег, мокрый, оттепельный.

— Судя по всему, русские перебросили на правый берег Днепра достаточно танков…

— В каком смысле «достаточно»?.. Чтобы обойти этот степной форпост за Полтавой?

— Вы слушали немцев? Вечернюю передачу?

Пауза. Где-то на Кузнецком идет машина. Она идет под гору, без мотора.

— Вечернюю. Немцы говорят, что на помощь осажденным пришел Манштейн.

Человек не удержал смеха.

— Как под Сталинградом?

— Как под Сталинградом… И вновь пауза.

— А русские? Верны себе?..

Человек обернулся: как ни темна ночь, виден бронзовый Боровский. Он, конечно, бронзовый, а все-таки страшновато: может и услышать.

— Молчат.

Машина, что скатывается по Кузнецкому под гору прочь от Наркоминдела, еще слышна.

— Я бы на их месте не молчал.

— Скажи им об этом, они сделают наоборот.

Подходит новая машина, потом еще и еще.

Верный признак — скоро одиннадцать.

— Хелло, это ты, Алик?

Сейчас посреди площади уже стоят пятеро.

— Немцы сообщили, что Сталинград на Днепре не удался.

Площадь пустеет. Если затаить дыхание, то слышен бой кремлевских часов. Бьют одиннадцать. Их удары доносятся и сюда…

Грошев держал телефонную трубку, однообразно покачивая

головой, — звонил нарком.

— Да, да, внимание корреспондентов приковано к правому берегу. — Такое впечатление, что нарком был где-то рядом, иначе зачем же качать головой. — Да, да…

Из этих односложных «да» решительно нельзя было понять, о чем идет речь.

— Разрешите мне подумать, — сказал Грошев и осторожно положил трубку — он и прежде, как помнит Тамбиев, любил заканчивать разговор с наркомом этой фразой. — Не уходите, Николай Маркович, — заметил Грошев и медленно пошел по кабинету, ватные плечи его пиджака приподнялись, выражая озабоченность.

— Не о Корсуни ли речь? — спросил Тамбиев. Час назад корреспондентам была передана сводка Информбюро — вокруг немецких войск под Корсунью сомкнулось кольцо.

— О Корсуни.

— Но тогда к чему такая… хмарь?.. Сводка хорошая. Последнее слово Тамбиева настигло Грошева, когда он был у дальнего окна.

— К чему… хмарь? Немцы только что передали новое сообщение: по их данным, корсуньское кольцо разрублено…

— «По их данным»… А по нашим?

— Нарком полагает, что есть необходимость в свидетельстве очевидца или… очевидцев.

— Экспедиция в Корсунь?

— Если хотите.

Все ясно, полет в Корсунь. Видимо, не простой полет. Нет, не только потому, что следует сшибить нечто такое, что соорудили в этой своей вечерней сводке немцы… Не только. И еще вопрос, не последний: надо долететь до Корсуни. Кстати, Грошев сейчас говорит об этом. С кем? С каким-то авиационным чином на Пироговке.

— Плохо, — вздыхает Грошев, не отнимая телефонной трубки от уха. — Это тот самый случай, когда время работает не на нас, — пробует острить он, однако острота эта явно не улучшает ему настроения. — Я понимаю, пурга… Но есть средства против нее?.. Что?.. — Он смотрит на Тамбиева, улыбается. Этот авиационный чин с Пироговки сказал Грошеву что-то такое, что совершило чудо: шеф наркоминдельского отдела печати улыбнулся. — Военные предлагают эскадрилью «У-2», — бодро произносит Грошев, быстро положив трубку. — Иначе февральскую мешанину не победишь, — добавляет он и, приподнявшись, обращает взгляд к окну, но снег облепил стекло надежно, оно непроницаемо.

На «У-2» через пургу, думает Тамбиев, такого еще не бывало.

— Значит, вместе с вами летит… корреспондент, один! — Грошев поднимает указательный палец, на всякий случай, чтобы все было ясно — летит один корреспондент. — Кто будет этот счастливчик? Как вы полагаете, Николай Маркович?.. Только условие: Галуа исключается. С него достаточно и Ленинграда.

— Важно, чтобы свидетельство его было авторитетно…

— Именно — авторитетно… Баркер? Как вы?

— Вы полагаете, что имя Баркера не вызовет протеста?

— Клин?

— Хотя бы и Клин…

— Решится протестовать?

— Через тридцать минут, как только станет известно о поездке Баркера.

Грошев вытягивает руку, глядя на часы.

— Вылет в шесть тридцать…

Не щедр Грошев — он хочет, чтобы «У-2» вылетели в Корсунь с рассветом.

— Сегодня двадцать второе? Через три дня первая корреспонденция Баркера должна быть передана в Москву. — Грошев задумался, ноздри его грозно вздулись — фантазия уже повлекла его на ратные корсуньские поля. — «Я передаю эту корреспонденцию с места великой битвы на Днепре. Я видел поле боя, я говорил с участниками битвы, русскими и немцами, я свидетельствую…» — он замолчал, обратив взгляд на Тамбиева. — Теперь вы понимаете, Николай Маркович, что требуется от вас?

— Но ведь Баркер может и не захотеть написать: «…я свидетельствую…»

— Может, разумеется, — согласился Грошев, согласился почти радостно. — Но это уже зависит от вас… напишет он так или нет…

— От меня даже больше, чем от него? — вопросил Тамбиев не без озорства.

— Смею думать, что от вас зависит немало, Николай Маркович… — произнес Грошев и печально взглянул на Тамбиева.

— Благодарю.

Грошев внимательно посмотрел на аппарат справа, посмотрел не без тревожного интереса.

— Значит, Баркер?

— Баркер.

Грошев снял трубку.

Казалось, номер был набран даже без участия памяти —

телефон наркома.

— Престиж и добрая воля… — сказал Грошев, когда имя корреспондента было названо. — Я так думаю: добрая воля, — уточнил он. — Авиаторы полагают, что «У-2». Возможен и ночной полет. Кто еще полетит?.. Да, летал в Ленинград с Галуа… Истинно, только ночью… — улыбнулся Грошев и положил трубку. — Нарком желает вам доброго пути, Николай Маркович. Говорит, теперь и в Наркоминделе есть специалист по ночным полетам.

— Ну что ж, после ночи день не страшен… — отозвался Тамбиев на улыбку Грошева.

— Баркеру сообщим сейчас? — спросил Грошев, как бы раздумывая. Разумеется, у него не было сомнений, что корреспондент должен быть поставлен в известность немедленно, но он точно испрашивал согласия Тамбиева, и одно это свидетельствовало: Грошев хотел, чтобы Баркеру позвонил Тамбиев. Видно, осторожный Грошев допускал и отказ. Если Баркер скажет «нет», лучше, если он скажет это «нет» лицу, стоящему не столь высоко, для престижа отдела лучше. — Сейчас сообщим? Тогда действуйте, Николай Маркович…

Тамбиев позвонил. Видно, Николай Маркович застал Баркера за чтением, трубка была снята тотчас.

— Мистер Баркер?.. Простите, пожалуйста… Звонит Тамбиев… Есть неотложное дело…

Смятение объяло англичанина: похоже, он неловко повернулся, сдвинув стул и наклонившись, так могло показаться, ибо Баркер вдруг хрюкнул, по-баркерски шумно, со вздохом. Было слышно, как он запричитал: «О, мои очки!.. О-о-о!» Непросто ему было отыскать очки, так как прошла минута, а то и больше, прежде чем он взял трубку вновь.

— Простите, ради бога, что заставил вас ждать! Вы позвонили так внезапно… Очень, очень! Но как быть? На улице пурга, а мой шофер будет только в девять. Что вы сказали? Пришлете машину? Погодите, значит, это в самом деле срочно? А вы не могли бы сказать, что случилось?..

Вероятно, в очередной раз ему померещились козни Клина.

— Нет, нет, я выйду к машине. Я уже пошел…

Тамбиев положил трубку. Ну, разумеется, Баркер ждет всего, но только не полета в Корсунь. Даже интересно, стихия корреспондентского житья-бытья все-таки не задела его. Галуа, например, услышав о Корсуни, возликовал бы, а этот? Отважится он лететь в такую даль и непогоду, да еще на «У-2»?

Но тайна перестала быть тайной: до того, как явился Баркер, Тамбиеву позвонил Клин.

— Нет, нет, вы мне должны обещать, что Баркер не будет в Корсуни!..

Видно, робкий Баркер, опасаясь козней Клина, не удержался и позвонил кому-то из коллег, а тот, верный цеховой солидарности, уведомил Клина. Однако закрутилось — коллизия!

Машина ушла за Баркером и точно канула в снежную мглу. А на улице все полонила снеговая вьюга, ее жестокое дыхание слышно даже за мощными наркоминдельскими окнами.

Баркер явился уже в четвертом часу и выглядел так, будто был не на морозе, а в парной, — он весь был пунцовым.

— Такого февраля, как этот, я в России не видал! — произнес он и переступил порог кабинета, переступил с бедовой решимостью, словно говорил: «Была не была!» — Пока шел сюда от площади, чуть не заблудился! — Он снял очки и, вынув платок, вытер лицо от лба до подбородка.

Он сидел сейчас в кресле, стоящем подле тамбиевского стола, и тревожно-кротко смотрел на Николая Марковича. Было в его по-женски пышноватых плечах, в симпатичной одутловатости щек, в коротком подбородке, насеченном неглубокой бороздкой, в тщательно прорисованных губах, во всей его нескладно полноватой фигуре что-то от толстовского Безухова. Да и добротой своей, как казалось Тамбиеву, и непрактичностью, и некоей рыцарственностью он тоже был похож на Пьера.

— Как вы, наверно, знаете из нашей последней сводки, Красная Армия замкнула корсуньское кольцо… — вымолвил Тамбиев — ему хотелось осторожно подступить к сути, не вспугнув Баркера. — Правда, немцы опровергли это в вечерней сводке…

— У них сейчас иного выхода нет — опровергать… — заметил Баркер поспешно; казалось, он был согласен со сказанным. — Они даже молчать не имеют права, только опровергать…

— Но мы не можем оставить их опровержение без ответа, — все так же осторожно прощупывал Тамбиев.

— Да, действительно, — подтвердил Баркер. — Смолчать — значит согласиться с ними, а следовательно, опровергнуть самих себя… Нельзя молчать, ни в коем случае.

— Мы подумали, может быть, есть резон побывать на месте боя кому-то из корреспондентов… Наши военные готовы показать все.

Баркер оперся на подлокотники, решив встать, но рука затекла, и он только дернулся.

— Вы хотели, чтобы полетел я?

Тамбиев смешался — Баркер проявил несвойственную ему

решительность.

— Мы думали предложить вам, а ваше дело, согласиться или нет…

Баркер сделал еще одно усилие встать, теперь это ему удалось.

— Я готов.

Тамбиев не мог не подумать: «Вот он, рыцарственный Баркер!.. Он даже не спросил, как доберется до далекого корсуньского поля…»

— Но поездка в Корсунь имеет смысл сегодня…

— Вы… правы, сегодня, какой смысл завтра? — Он взглянул на окно, оно было слепым от снега. — Вы говорите о пурге?..

— Да, разумеется, большая машина не пробьется… в такую непогоду…

— Большая… не пробьется? — повторил он не без труда. — А небольшая?.. Что говорят летчики?

— «У-2»…

— О-о-о-о!.. Вы полагаете, это возможно?

— Я полечу с вами, господин Баркер.

2

Когда тремя часами позже Тамбиев приехал с Баркером на подмосковный аэродром и в сыпучей мгле рассветного утра увидел стоящие рядком пять «У-2», смятение, как показалось Николаю Марковичу, объяло его спутника.

— Зачем так много… самолетов?

Человек в оленьих унтах, которые были ему едва ли не по пояс, свел и развел руки в варежках, точно делая зарядку, — в его правилах было перед полетом размяться.

— А вот извольте рассчитать: одна машина для вас, вторая для товарища подполковника… — указал он на Тамбиева. Как ни темны были рассветные сумерки, человек в унтах рассмотрел две подполковничьих звездочки на наркоминдельских погонах Тамбиева. — Третья с запчастями, а четвертая и пятая — на случай аварии.

— Аварии в воздухе или на земле? — несмело вопросил Баркер и на всякий случай закрыл рот рукой — он старался на морозе не говорить.

— А это как придется, — не смутился летчик и, почувствовав, что сказал больше, чем следует, уточнил: — Если все будет хорошо, пойдем на бреющем. Одним словом, автономное плавание! Конечный пункт — Звенигородка, рядом с Корсунью. Не тревожьтесь, если отстанете. Мы сможем прибыть туда и порознь…

Он сказал «пойдем на бреющем», будто бы одно это способно было предупредить любые неожиданности.

— Мы с вами пойдем первыми, товарищ подполковник, вроде того головного танка, который расчищает путь пехоте… Лады?

— Лады.

Баркер поднял лицо к небу, взметнул руки, точно желая дать понять кому-то там в зените, чтобы он перестал посыпать землю снегом, произнес радостно:

— Значит, вы первый, я второй?

С этим и вылетели. Тамбиев припомнил, как однажды шел с отцом предзимней степью на кубанский разъезд Андрей Дмитриевский и вдруг дохнуло морозным ветром и остекленела дорога, а вслед за этим ветер бросил в наледь пригоршню снежной крупчатки и закрутил ее, полируя лед… И не успели они оторвать взгляда от белых косм, как померкла степь и точно провалилась в тартарары. Белые сумерки и вой ветра. Только и опора — отцовская рука. «Я здесь, Николай. Я здесь…» Не было бы отца рядом, казалось бы, закричал… Тогда едва дотянул до

разъезда Андрей Дмитриевский. Именно едва дотянули — последний километр не столько шли, сколько ползли, одетые в ледяную броню, с забитыми снежной пылью глазами, со спины и плеч лед едва ли не скалывали.

Сейчас было почти такое же: кромешная, нет, не тьма, а мгла, белесо-мутная, непросвечивающая, белая, она застилала глаза почти так же, как смоляная темь. Истинно, самолетик защемило между землей и небом. К земле приблизиться нельзя — расшибет в щепы, а на высоте ветер… И все-таки летчик искал защиты у земли. Как мог, приникал к ней и, пожалуй, обтекал. А когда белая муть обволакивала и ослепляла, шли на посадку. Однажды сели на шоссе, потом на ледяное покрытие речки, потом на ток, рядом со стогом соломы… «Надо перетерпеть, развиднеется, и полетим дальше…» — говорил мужичок с ноготок в унтах по пояс и, уйдя в открытое поле, подальше от самолета, принимался, как он говорил, «жечь цигару». Курил жадно, защитив цигару от ветра, иногда его сутуловатую фигуру заволакивало снежной мглой, но был виден желтый глазок горящей цигары, сонно мигающий.

Прилетели в Конотоп уже в сумерки и из четырех самолетов, вылетевших вслед из Москвы, не обнаружили ни единого. Больше того, самолеты точно растворились в снежной мгле. Тамбиев попросил связать его с Грошевым — Андрей Андреевич был ненастен.

— Если вы не знаете, куда делся Баркер, откуда знать мне?.. Да мне, признаться, и не до этого! Тут час назад был Клин, так у меня в кабинете чуть окна не повылетали, хоть отряжай шестой самолет! Ничего не будет с вашим Баркером, отыщется!

Но вначале пришел самолет с запчастями, а потом уже явился Баркер.

Прежней пунцовости в нем как не бывало, он был синим. Впрочем, стакан крепкого чая, в который был влит живьем едва ли не шкалик водки, вернул Баркеру не только краски, но и настроение.

— У вас есть уверенность, что мы долетим до Корсуни? — спросил он Тамбиева, смеясь.

— А у вас, господин Баркер?

— Сейчас, пожалуй, есть, а час назад… — он снял очки, и Тамбиев увидел, что глаза его неожиданно печальны. — Сели на поле и увязли, пять раз взлетали…

— Долетим до Корсуни, — сказал Тамбиев, сказал по инерции, но, странное дело, одним этим точно освободил Баркера от сомнений, а заодно и себя.

Баркер повеселел.

— Могу я вас спросить?

— Да, пожалуйста.

— Вы помните ту злую реплику доктора Глаголева… Помните, что он сказал?

— Что-то насчет того, что похвала настораживает…

Баркер засмеялся, смех у него был беззвучным.

— Вы дипломат, мастер… мягких слов! «Похвала настораживает»? Нет! Нет! Злее его слов не было: «Вот вы и прежде нахваливали нас и бросали в огонь!.. Горите, хорошие, горите, храбрые!..» Так говорил Глаголев? Нет, скажите, так?

— Так.

Он взглянул на стакан, плеснул в него водки, вынес к свету, точно определяя, как много там огненной влаги, выпил.

— На ваш взгляд, это справедливо? — спросил он Тамбиева.

— Я не могу отказать Глаголеву в прямоте только потому, что это вам не нравится, господин Баркер…

Баркер насупился — разговор неожиданно осложнился… Тот раз, когда Глаголев выдал Баркеру эту свою злую тираду, Баркер проявил большую покладистость и большее терпение.

— Разве из того, что я сказал, следует… «не нравится»?

— Тогда я вас не очень понимаю, господин Баркер.

— Не понимаете? — Он взял пустой стакан и снова вынес его на свет. Только сейчас он увидел, что стакан был хрустальный, бог весть каким образом уцелевший, стекло было благородно чистым, как и надлежит быть хрусталю, сверкающим. — Вы полагаете, ваш союз с Западом не имеет шансов выжить после войны?

Вон куда хватил робкий Баркер: союз с Западом после войны… Пожалуй, год тому назад эта тема и не возникала. Не иначе как курская, а вслед за этим корсуньская баталии подсказали эту мысль. В конце концов, думы об окончании войны — это, в сущности, думы о дне завтрашнем, а это значит, не только разногласия, но и надежды.

— А почему бы этому союзу и не выжить? — вопросил Николай Маркович. Как ни внезапен был этот разговор, Тамбиев обрадовался, что Баркер его начал. — Что есть для нас Генуя, если не союз с Западом в мирное время, прежде всего в мирное время?..

Баркер все еще вертел хрустальный стакан; казалось, англичанину доставляло удовольствие само прикосновение к стеклу.

— Если вы думаете, что после войны будете иметь дело с Рузвельтом или даже с Гопкинсом, то ошибаетесь…

Эту реплику Баркера предстояло еще понять. Не следовало ли

из его слов, что после войны России придется иметь дело не столько с Америкой, которую можно назвать либеральной, сколько с Америкой консервативной, больше того, более чем консервативной, а с такой Америкой надо уметь говорить. Как полагает Баркер, этот разговор должен вестись в тонах, которые не имеют ничего общего с глаголевскими.

— Не думаю, чтобы такой диалог с Западом возник без взаимной заинтересованности, — сказал Тамбиев. Он понимал, что Баркер коснулся темы наинасущной. А если так, то важен и тон, но не настолько, чтобы поступиться сутью…

— Как ни велика победа, она имеет начало и конец, — заметил Баркер и поставил стакан на место.

— Не хотите ли вы сказать, что победа в войне ценна в той мере, в какой она помогает сторонам и, пожалуй, странам понять друг друга в мирное время? — спросил Николай Маркович. Он был рад, что нашел эту формулу. — Не это ли вы хотели сказать?

— Это, и ничего более, — с радостью подхватил Баркер. — Война не может продлиться долго, а мир?.. Он бесконечен.

Тамбиев встал. Как ни увлекателен этот разговор, его надо было заканчивать — вылет с рассветом.

— А вы уверены, что война действительно продлится недолго? — спросил Тамбиев. В последней фразе Баркера ему почудилась интонация, которой Николай Маркович не замечал у англичанина прежде: желание представить дело так, будто бы воля врага к сопротивлению уже сломлена и победа добыта.

— Я хотел бы так думать, — сказал Баркер, и Тамбиев почувствовал в его голосе такое, что будто бы говорило: «Ну, согласись, и ты так думаешь. Ну, согласись, не упрямься!»

— А может быть, есть смысл отнести этот разговор на завтра? — произнес Тамбиев. — Всего лишь на завтра?..

— Вы имеете в виду Корсунь?

— Корсунь.

Баркер не ожидал такого поворота разговора, но, казалось, это устраивало и Баркера. Он протянул Тамбиеву руку и пожелал спокойной ночи… В руке его не было строптивости, какая была в словах, рука его выражала согласие.

Тамбиев вышел в коридор, намереваясь пройти в комнату рядом, но был остановлен. Из Корсуни прилетел дружок Тамбиева, с которым свела его судьба на вяземской дороге в сорок первом. Саша Гребнев, офицер штаба фронта. В Конотопе он транзитом, летит в Москву по вызову, срочному.

— Не с инкорами, Николай Маркович? — вопросил он, подталкивая Тамбиева к электрической лампочке — она без абажура, эта лампочка, и так затянута пылью, что решительно не

дает света. — Не делайте секрета, я все знаю.

— Откуда знаете, Саша?

— На аэродроме в Звенигородке ждет вас посланец командующего майор Борисов, ему приказано быть с вами…

Значит, «посланец командующего»? Опыт подсказывал Тамбиеву: лучше, когда такой человек возникает не заранее, у Наркоминдела свои требования к «посланцу командующего», которых штаб фронта может и не знать. Но решение состоялось, обратного хода нет.

— А что он за человек, этот Борисов? — спросил на всякий случай Николай Маркович.

Гребнев засмеялся:

— У Наполеона был Коленкур, а у Конева когда-то Александр Фадеев. Нет, я не оговорился, именно тот самый Фадеев, автор «Разгрома» и «Удэге», а теперь Борисов… Разумеется, каждое сравнение надо понимать не буквально.

— Но я должен понимать и… относительное сравнение, Саша… Мне это важно.

— Скажем, дипломатический ранг «советник» происходит от слова «совет», «подавать советы», это как раз и есть положение нашего Борисова при командующем, если чуть-чуть преувеличить.

— А если не преувеличивать?

— Литератор, интеллигентный человек, собеседник командующего, при этом и на свободные темы, советчик, а возможно, даже советник…

— Но ведь это не может быть официальным положением человека. В дипломатии такая должность есть, а у вас ее, наверно, нет, не так ли?

— А я и не сказал, что это его положение — должность. Он корреспондент большой газеты, литератор, летописец фронта, накапливающий материал впрок…

— Впрок… это что же?

— Ну, на этот вопрос ответит только время. Я-то уверен, что оно ответит.

Тамбиеву оставалось только поблагодарить Гребнева. «А может быть, этот Борисов не так плох, — размышлял Николай Маркович. — В конце концов, Конев не сделал бы его своим Коленкуром…»

3

Когда до рассвета оставалось часа полтора, вылетели. И вновь снежная мгла, бескрайняя и бездонная, в рассветные сумерки сизая и серо-сизая, а с рассветом белая… Ветер поутих, это видно по снежинкам, которые не столько струятся, сколько планируют. Чем плотнее мгла, тем ощутимее тревога, а с нею и звук мотора, ставший неожиданно напряженным, и звук вибрирующих крыльев, который улавливало ухо… Где-то уже за Днепром мгла раздалась, под самолетом потемнело, что указывало на близость леса (поле не может быть таким темным — оно заснежено), а вслед за этим глянула рощица, скат взгорья и дорога, изрытая бомбовыми ударами, а в конце дороги и взлетное поле, отмеченное крестом, заметно темным, точно вросшим в белый снег. Крест можно было принять и за моноплан, если бы он не был столь огромен…

Самолет пошел на посадку, и, к удивлению своему, Тамбиев обнаружил: на распростертых руках «креста» было по свастике. Да, «крест» оказался монопланом необычной формы и диковинно больших размеров.

Едва «У-2» приземлился, рядом с ним возник «виллис».

— Простите, вы Тамбиев?.. — из «виллиса» выскочил офицер. — Мистер Баркер обскакал вас на повороте!.. Он уже полчаса как здесь. Прошу вас! — офицер в знак приветствия поднес к виску четыре слабо согнутых пальца, как это делают цивильные, недавно ставшие военными. — Майор Борисов, представитель штаба фронта… Прошу вас, как говорится, с корабля на бал…

Видно, у Борисова была вся полнота фронтовой власти — его «виллис» направился к цели по кратчайшей прямой через взлетное поле.

— Как я понял вашего подопечного, его интересует одно: не наступило ли время массовой сдачи в плен, без боя, так сказать?

— Возможно, и так, — замечает Тамбиев и обращает внимательный взгляд на майора.

Вот как интересно получается в жизни. Сидит рядом с тобой человек, но из того малого, что ты о нем знаешь, тебе неведомо главное: как сложатся твои отношения с этим человеком и что предстоит испытать тебе — почтительную приязнь или разочарование, непреходящие симпатии или равнодушие?

— Ну вот… все в сборе, поздравляю вас! — произносит Борисов, входя вместе с Тамбиевым в комнату, где Баркер, склонившись над жестяной печкой, все еще пытается отогреть

озябшие руки. — Преодолеть порознь столько километров снежной мглы и встретиться у этого огня — не чудо ли?

— Чудо, господин майор, чудо… — восхищенно повторяет Баркер; казалось, он только сейчас проник в смысл того, что произошло.

Борисов снимает с плеча планшет, и на стол ложится карта. Взгляд Тамбиева, обращенный на Борисова, пристален: ему интересен этот человек. Кажется, майор собрался сказать свое слово, что есть Корсунь.

— Как вы знаете, корсуньская баталия началась после освобождения Кировограда… Срубили все, не смогли срубить Корсуньского выступа… Он, этот выступ, как удар под дых — не вздохнешь, не выдохнешь…

«Как удар под дых…» — так он сказал? Явно не уставная фраза, не очень-то принята она в штабах.

— Удержать кольцо — немалое искусство, — произнес майор, склонившись над картой. — Видите Звенигородку?.. Вот тут мы его и замкнули! А как только замкнули, на первое кольцо старались набросить второе, потом третье… Как в Сталинграде! Так, чтобы первое стало внутренним, а третье внешним!.. — Он извлек из нагрудного кармана гимнастерки вечное перо и пунктиром обозначил, как было замкнуто кольцо. — Враг попытался прошибить кольцо, но его удары пришлись лишь по внешнему фронту наших войск. Тогда немцы решили ударить извне и изнутри. Это было в ночь на восемнадцатое февраля… Вот она, Шендеровка, завтра мы в ней побываем и увидим все своими глазами… Замысел? Пробиться под завесой бурана!.. Да, так и говорили: немецкий бог послал солдатам буран, чтобы скрыть солдат от глаз русских… Говорят, что даже те, кто нечасто вспоминал бога, вспомнили его в ту ночь и предались молитве. Но бог не внял: буран поутих, а вслед за этим мы заселили небо этими своими «кукурузниками», и те подожгли ночь… Остальное вы увидите сами. Артиллерия, которая была до этого слепа, прозрела… Одним словом, немецкий бог умыл руки — он бежал с поля боя. И тогда немцы призвали силу, все, что могли… Не знаю, была ли в этой войне ночь более кровавая? На предложение о сдаче в плен Штаммерманн ответил огнем… Когда рассвело… Да вы увидите завтра этот рассвет, именно рассвет…

— Вы сказали, Штаммерманн ответил огнем? — спросил Баркер.

Майор медленно отнял ладонь от карты — карта точно источала жар, она жгла ладонь.

— Огнем.

— А потом сел в самолет и покинул поле боя? — спросил

английский гость. Ему хотелось, чтобы майор ответил на этот вопрос утвердительно, в этом должна быть полная мера презрения.

— Нет, я этого не знаю, — сказал майор, он определенно хотел быть точным в своем ответе, правда была ему дороже и в этом случае.

Баркер помолчал с очевидным намерением проникнуть в суть того, что произнес майор.

— Значит, завтра с рассветом? — спросил Баркер, решив не возвращаться к Штаммерманну.

— Да, конечно, — ответил майор. — Сейчас, пожалуй, вам надо и отдохнуть — завтрашний день будет нелегким. До завтра.

Их поместили в первом этаже дома, где находилась метеостанция, — место хотя и небезопасное, но облегчающее маневр: средства связи под рукой. Баркер получил отдельную комнату, а Тамбиева майор повел к себе, там должны были поставить вторую койку.

Комната была продолговатой и пустой, похожей на товарный вагон, два окна под потолком тоже напоминали теплушку. Под одним из них Тамбиев увидел столик на козлах, вероятно сколоченный накануне (запах свеже-оструганного дерева не выветрился).

— Я должен поработать на сон грядущий, привычка… — сказал майор и извлек из планшета тетрадь в клеенке, толстую. — Не помешаю? — осведомился он, усаживаясь за стол и устанавливая ноги на перекладине, скрепляющей козлы. — Лампу я укрою… — Он стянул с себя гимнастерку и накрыл ею настольную лампу. — Спокойной ночи…

— Спокойной…

Он сидел над своей тетрадью, ссутулившись… Струйка света, выбившаяся из-под гимнастерки, которой он укрыл лампу, высветлила его плечо, выпершую ключицу. Не знал бы человека, подумал, что сидит юноша… И еще приметил Тамбиев: нижняя рубаха, в которой остался майор, была бязевой, солдатской. По тому, как майор укрыл лампу гимнастеркой и, пренебрегая всем сущим, сосредоточился на своей работе, возможно даже увлекся, можно было понять, что человек привык работать, не очень-то обращая внимание на неудобства… Где-то за полночь, разбуженный вьюгой, которая выла, как на погибель, Тамбиев увидал, что майор и не думал ложиться. Он сидел, все так же ссутулившись, и струйка света обтекала плечо, теперь прикрытое шинелью, — видно, ночью похолодало…

По дыханию Тамбиева майор почувствовал, что Николай Маркович не спит.

— Я вас разбудил?

— Нет, нет… просто вспомнил одну деталь из биографии командующего. Сказали, друг Фадеева… Так?

— Пожалуй, — ответил он не торопясь. — Представлял вместе с Фадеевым Дальний Восток на Десятом съезде. И, как делегат съезда, ходил на штурм Кронштадта вместе с ним… Достаточно этого, чтобы назвать человека другом?

— Да, конечно… Простите, что я вас оторвал от работы, — произнес Тамбиев.

С рассветом выехали в Шендеровку.

Ума не приложить, за сколько часов до рассвета майор встал из-за стола и как долго он спал, но, когда бронетранспортер вышел на шендеровскую дорогу, Борисов был, как и накануне, полон сил.

— Не думаю, чтобы Гитлер сомневался в решимости Штаммерманна сопротивляться нашему натиску, — произнес майор, всматриваясь в перспективу дороги — с рассветом вьюга присмирела и извив дороги обозначился. — Просто он остраст генерала, остраст и обнадежил: «Можете положиться на меня как на каменную стену… А пока держитесь до последнего патрона…»

Баркер не отрывал глаз от дороги, он не без тревоги ждал встречи с Шендеровкой.

— Вы думаете, причина стойкости немцев в этом?

Майор улыбнулся: с той минуты, как он впервые увидел Баркера, между ним и английским гостем шло единоборство, упорное.

— Нет, не только в этом.

— А в чем еще?..

Но майор, возможно, не хотел торопиться с ответом.

— По-моему, это Шендеровка, — сказал майор, все еще всматриваясь. Действительно, слева встали заиндевевшие деревья, хаты за деревьями, плетни. — Держи правее, тут все и начнется, правее, — сказал майор шоферу.

Свернули направо и едва не уперлись в старика, одетого в овчинную шубу, какие носят в здешних местах пастухи, да в островерхую шапку.

— Верно мы едем? — крикнул майор, узрев старика. — Попадем мы к… немцу?

Старик понимающе повел рукой.

— Только к немцу, никуда больше, его там как соломы навалено.

Машина рванулась и тут же остановилась — овраг.

— Пожалуй, надо выходить, — сказал майор. — Пойдем

вдоль оврага, тут недалеко… Вон эта акация на краю оврага, я узнаю ее, — протянул он руку, и все посмотрели вслед за протянутой рукой, но ничего не увидели, даже дерева, которое видел сейчас майор. — Вон та акация, вон… — произнес майор я все тянулся рукой через овраг.

— Да, я вижу, — сказал Баркер, сказал, чтобы успокоить майора.

Но майору достаточно было, что Баркер увидел это деревце, опушенное снегом. Для него точно имело значение, что гости, добравшиеся сюда через тысячекилометровое ненастье, увидели невысокий стожок ветвей в снегу. Эта акация словно подала майору сигнал для рассказа.

— В самом начале немецкий выступ занимал площадь километров четыреста и упирался своей вершиной в Днепр. Да, да, Канев на Днепре был этой вершиной… Семь стрелковых дивизий, танковая и мотодивизия — сила могучая и боеспособная. Верно, боеспособная, и я вам сейчас докажу. В Сталинграде войска, что были в котле, в сущности, не взаимодействовали с теми, кто шел им на помощь. Здесь иное дело…

Они вернулись к бронетранспортеру, намереваясь пробиться в лес, но это было не просто. Бронетранспортер обогнул поле, но до леса так и не добрался. У второго оврага, где ямы с телами немцев стали закапывать, молодой солдат, у которого горло было перевязано бинтом — след ранения, а возможно, обычная простуда, — откликнулся на вопрос Баркера:

— Тут, говорят, генерала откопали, генерала от инфантерии?..

— Какой там генерал от инфантерии!.. Просто командующий группой Штаммерманн!..

Баркер опешил:

— Что вы сказали? Штаммерманн? Вы не ошиблись?..

Бледность смущения тронула щеки молодого солдата.

— Нет, я понимаю, что говорю. Штаммерманн.

Бронетранспортер двинулся к лесу, но чем ближе он подходил туда, тем с большей храбростью мертвые преграждали ему путь. Пришлось повернуть обратно.

— Этот… интеллигентный мальчик сказал правду? — вопросил Баркер, когда бронетранспортер вновь вошел в Шендеровку. — Штаммерманн?

4

Дорога приводит их к краю леса, а оттуда к небольшому селу, на окраине которого стоит сарай, а вернее, амбар на столбах, в котором хранят семенное зерно. Амбар поднят так высоко, что войти в него можно не иначе как помостом. Красноармеец, стоящий на часах у амбара, берет на ладонь большой висячий замок и, воткнув в него ключ, медленно, со значением поворачивает. Зерна, разумеется, в амбаре нет, зато на просторном столе, грубо сколоченном из темных, побывавших на дожде досок, лежит человек, дважды отвергший ультиматум советских войск и, таким образом, благословивший гибель людей, что укрыли своими телами степь под Корсунью.

У Штаммерманна не просто худое, а изможденное лицо. Во впалых щеках, покрытых седоватой щетиной, в глазницах, во вмятине под нижней губой землистость, неразмываемая. Видно, след жестокой страды, которую приняло Штаммерманново войско и сам генерал. Да и весь вид генерала говорит об этом: мундир в комьях грязи, меховые сапоги с отвалившейся подметкой… Рядом со столом, на табуретке, портмоне генерала из ярко-желтой кожи и стопка документов, в том числе удостоверение, пропуск в заповедник с разрешением на охоту, приказ о присвоении звания генерал-лейтенанта.

Привели седовласого полковника, его сняли всего лишь этим утром с чердака, он был в штабе Штаммерманна и должен был знать его историю.

— Это Штаммерманн? — спрашивает Баркер полковника. Ему бы хотелось, чтобы полковнику были заданы те вопросы, которые хочет задать он, Баркер.

Полковник обращает взгляд на стол, и его плечи пугливо вздрагивают, как вздрагивали, наверно, когда генерал был жив. Вот-вот полковник возьмет под козырек.

— Да, генерал… Штаммерманн.

— Что вы знаете о последних днях генерала?

Полковник снимает пенсне и долго вертит его в руках, сжимая и разжимая прищепочку.

— В самые последние дни я не был рядом с генералом.

— А до этого?

Полковник пытается водрузить пенсне на переносье, но прищепочка не держит, и пенсне сваливается.

— Я знаю, что генерал послал телеграмму, смысл которой можно передать в двух словах: группа Штаммерманна может прорвать первое кольцо, но второе ей прорвать трудно…

— И что ему было сказано в ответ?

— В ответ на телеграмму? Ничего, разумеется. — Он печально смотрит на пенсне и, переложив его в левую руку, добавляет: — Манштейн отмел сомнения генерала, повторив: «Пароль „Свобода“, цель Лысянка, 23 часа».

— А как дальше?

Полковник развел руками и едва не выронил пенсне.

— В решающий момент меня не было рядом… Привели полкового священника.

Ему лет шестьдесят; кажется, и сан и возраст могли сообщить его мнению о событиях под Корсунью известную самостоятельность.

— У меня свой взгляд на упорство немецкого солдата, — произнес священник и искоса посмотрел на Штаммерманна, точно устанавливая, в какой мере изменился генерал. — Чтобы солдат сопротивлялся, его надо заставить совершить преступление, ну, например, убить безвинного человека, а потом уже грозить возмездием, как кнутом… И солдат будет не просто храбр, он будет отчаянно храбр…

— Значит, это и есть такая храбрость? — Баркер посмотрел на дверь, не забыв запнуться на том самом слове, которого не было у него в обиходе и которое ему надо было еще найти.

— Да, конечно.

— Нельзя же допустить, что вся армия состоит из… преступников? — спросил Баркер.

Торжественно, но в какой-то мере заученно священник поднял правую руку, и все, кто стоял рядом, увидели ладонь священника, желтую, почти шафранную, будто бы святой отец только что переболел желтухой и желтизна еще удерживалась именно в ладони.

— Достаточно, чтобы преступниками были командиры, — сказал он кротчайшим голосом.

— И он? — спросил Баркер, указав на Штаммерманна.

— Когда кольцо замкнулось, он верил, что выйдет из кольца, — произнес священник, коснувшись ладонью креста. — Наверно, он верил и фюреру, обещавшему помочь, и этому Хубе, который твердил в своих радиодепешах: «Иду на помощь. Хубе». «Держись, я близко. Хубе». «Еще сутки, и путь вам будет открыт… Хубе»… Потом перестал верить и сказал об этом прямо…

— И был отстранен?

Священник сжал крест, сжал так, что казалось, обнажились кости в узлах худых пальцев.

— Он оставался в войсках, но, кажется, уже не командовал…

— И… пал или был расстрелян?

Рука священника отнята от креста, желтая ладонь стала меловой.

— Не смею утверждать… определенно, — произнес священник и вновь скосил глаза на генерала, на его голову. Сквозь негустой покров волос просвечивал рубец шрама, по всему, сабельного, — это был след старой раны, быть может, след жестокой рукопашной с теми же русскими где-нибудь в карпатской или привисленской сече, а возможно, поединка молодых повес. — В наше время важно существо, а не форма… — произнес священник загадочно; очевидно, он хотел сказать, что Штаммерманн мог быть расстрелян и не в упор, перед строем, как расстреливают военных по приговору трибунала, а убит в ходе боя, в спину, — важно существо, а не форма.

— А что это за таинственная история с приказом Штаммерманна о спасении раненых? — спросил Борисов, когда священник отнял руку от креста.

— Как мне казалось, врагам Штаммерманна нужен был повод, чтобы убрать его. Дело о раненых в Шендеровке, возможно, и явилось этим поводом…

— «Врагам Штаммерманна»? Это кому? Гилле?

Худая рука священника потянулась к кресту, но в этот раз коснулась его лишь кончиками пальцев.

— Не знаю, — сказал священник. Борисов подошел к Баркеру:

— По всему, господин пастор нам ничего не скажет больше, но есть человек, который ответит и на этот вопрос… Если разрешите, мы продолжим наш путь, — добавил он с настойчивой мягкостью.

Красноармеец снова взялся за висячий замок и скрепил им петли, запирая амбар с убитым немецким генералом.

— Человек, которого нам предстоит увидеть, немец? — спросил Баркер, как обычно выдержав короткую паузу перед словом, которое надо было еще отыскать. Машина сейчас шла открытым полем, и впереди засинили небо дымы большого села.

— Да, мистер Баркер, немец.

— Он… военный? — осторожно спросил Баркер, именно осторожно — он почувствовал, сколь лаконичен был ответ Борисова.

— Да, полковник, — с неожиданной откровенностью ответил Борисов.

— Благодарю вас, я готов ждать, — поспешно произнес Баркер, Щедрость, с которой было сообщено, что будущий собеседник является полковником, могла быть и назидательной.

Они пересекли поле, через которое вилась темная дорога, к полудню поотталвшая, а к вечеру схваченная морозом, и въехали

в село. В этом море белых хат, даже вопреки войне выбеленных, а поэтому неотличимых от заснеженного поля, были заметны кирпичные дома, которые попадались тем чаще, чем ближе машина подходила к центральной площади села.

Кирпичный дом, у которого остановилась машина, отличали от всех прочих домов не три, а пять окон по фасаду, не просто железная, а оцинкованная крыша. Но удивление вызывало не это, а автоматчик в немецкой шинели, стоящий у крыльца. Последнее было столь неожиданным, что ветерок тревоги, исхитрившись, вполз за ворот: «Да не попали ли мы ненароком к Манштейну?»

Единственное, что напрочь снимало все опасения, это улыбка автоматчика, который, узнав Борисова, даже озорно притопнул и едва ли не подмигнул майору, — по всему, Борисов тут был своим человеком.

Они вошли в просторную и светлую комнату, пять окон которой гости обозрели, подъезжая к дому. Нельзя было не обратить внимания на многоцветные карты, развешанные по стенам, на которых нынешняя война была представлена на всех фронтах. Немецкие тексты и особая, свойственная немецкой полиграфии четкость печати и чистота красок свидетельствовали, что карты трофейные.

Навстречу гостям вышел румянощекий немец в звании лейтенанта и, отрекомендовавшись с корректной и доброжелательной сдержанностью, предложил гостям располагаться.

— У господина полковника Гребеля корректура, — бегло сказал он по-русски и, подняв палец, обратил внимание гостей на ритмичный перестук печатной машины, доносящийся из дома, который был где-то рядом.

Баркер скользнул взглядом по картам и остановил глаза на бронзовой статуэтке Гёте, стоявшей на письменном столе полковника, небольшой, с виду старинной… Однако что это был за дом? Наверно, в сознании Баркера складывались сейчас приметы этого дома, на которые он обратил внимание, не щедрые, но точные: немецкий автоматчик у крыльца, трофейные немецкие карты, походная типография, полковник, работающий над корректурой, статуэтка Гёте… Хочется верить, что эта бронзовая статуэтка с налетом яркой зелени в углублениях, наверно, и есть главный признак того, что являет собой этот дом. Да не сюда ли, в это кирпичное жилище, расположившееся на краю белой степи, новая Германия, Германия, родившаяся в муках этой войны, перенесла один из своих очагов? Кстати, текст, над корректурой которого трудится сейчас полковник Гребель, не был ли своеобразным посланием этой Германии, посланием,

которое предстоит получить войскам вермахта из завтрашнего дня?

Появился Гребель. Он улыбался, а усталые глаза, чуть-чуть даже отекшие, были безучастны к этой улыбке. Но полковник улыбался лишь до тех пор, пока не обнаружил среди гостей англичанина, который, впрочем, был увлечен сейчас необыкновенной картой.

Гребель сел, пододвинув стопку машинописных листов; как показалось Тамбиеву, то был текст допроса пленных, — видно, первая половина дня у немца была занята и этим.

— По-моему, ваш взгляд обращен на Южную Францию, не так ли? — спросил он Баркера по-английски с завидной уверенностью — видно, в годы юности полковника язык изучали серьезно. — Шести оставшихся месяцев достаточно, чтобы подошли американцы?

— Почему американцы? — полюбопытствовал Баркер, он еще не понял, куда ведет немец.

— Да потому, что на востоке за вас воюют русские, на западе будут воевать американцы…

Тамбиев ощутил неловкость: разговор неожиданно вышел из повиновения и мог окончиться бог знает чем!

— Что случилось все-таки в котле, господин полковник? — обратился Тамбиев к Гребелю — как ни прямолинеен был этот вопрос, он предотвращал катастрофу. — Как понять этот поединок Штаммерманн — Гилле?

— Под Сталинградом есть курган, зовется Казачьим, — произнес полковник. — Курган удерживал мой полк, в то время как штаб находился в Дмитриевке. Каждую ночь, а то и дважды в ночь я бывал на кургане, но, прежде чем попасть на него, надо было пересечь поле, которое у нас назвали полем мертвых. Когда снег укрывал поле, оно казалось даже красивым, скованное настом, блестящее при лунном свете, не поле, а природное зеркало, в которое опрокинулась вся вселенная. Но потом подул теплый ветер, он стал обнажать такое, что было тайной снежной степи: жестокая рукопашная за обладание курганом продолжалась. Кто-то занес руку, опершись о колено, — с упора удар должен быть ошеломляющим. Кто-то припал к земле, ожидая свою жертву, и так затих навечно. А кто-то встал во весь рост и потом уже не сделал ни шагу, кажется, что он стоит там до сих пор… Однажды, проезжая этим полем в полночь, я увидел, что оно не столь неподвижно, как прежде. Приглядевшись, я рассмотрел солдат с топорами. Вначале я не мог понять, зачем надо было идти на мертвецов с топорами, но потом я приметил на молодом адъютанте командующего шерстяной свитер с

кровавым пятном на спине… Вы поняли меня? — Конечно, все, что он рассказал только что, было адресовано не только Баркеру, но именно Баркеру он точно хотел сказать: «Как мы можем с тобой говорить о войне? Я видел ее, а ты?..» — Значит, Штаммерманн — Гилле? — вдруг вопросил Гребель вне связи с предыдущим; казалось бы, вне связи, но связь эта была, однако до поры до времени Гребель ее не раскрывал. — Штаммерманн — кадровый военный, участник многих операций этой войны, тактически способный офицер, — продолжал Гребель, медленно раскладывая перед собой листы с текстом протокола допроса. — Он был на хорошем счету у командования сухопутных войск, и начштаба Гальдер аттестовал его как старого, верного и храброго солдата. — Сейчас листы с допросами пленных, точно игральные карты, лежали перед полковником, он мог держать их в поле зрения. — Штаммерманн делал все, чтобы выйти навстречу войскам, решившим разорвать кольцо, не понимал, что это будет сопряжено с жертвами, страшными. Он имел неосторожность сказать об этом в телеграмме и подписал себе смертный приговор… Гилле?.. Нет, он не столько кадровый военный, сколько генерал от политики, во всем видящий измену. Характер?.. Человек, не успевший сделать карьеру и стремящийся наверстать потерянное даже ценой средств запрещенных. Можно предположить, что он знал о сомнениях Штаммерманна, а может быть, даже поощрил их. Как поощрил? У Гилле был прием: вызвать человека на исповедь, больше того, склонить его к крамоле, а потом вдруг откреститься и назвать человека предателем. Но в данном случае дело не только в этом. В Шендеровке был госпиталь для раненых. Многие считали, что они-то, госпитальные, в безопасности, ибо если даже попадут к русским, то те их не тронут. Видно, Гилле и его сподвижники на какой-то момент легализовали это мнение, оттянули эвакуацию, при этом сумели придать всему форму документа, очевидно за подписью Штаммерманна. Да, это уже был документ, а следовательно, обвинение, разумеется, в предательстве… Последний акт трагедии происходил под покровом тайны; пленные говорят, что имели место арест, суд, отстранение и казнь… Кстати, это подтверждают два обстоятельства: среди тех, кого наградил Гитлер, есть Гилле и нет Штаммерманна. Среди тех, кого самолеты выволокли из котла, есть Гилле и нет Штаммерманна. Среди убитых есть Штаммерманн и нет Гилле… Возможно, мы тут не совсем точны. По крайней мере, так это представляется нам сейчас. История нас поправит, но не думаю, чтобы уточнения отразились на сути.

Он собрал со стола листки допроса, но не передал их

розовощекому — видно, сказал не все.

— Но дело даже не в Штаммерманне и Гилле…

— А в чем? — спросил Баркер.

— В степени… неверия.

— Неверия в победу?

— В победу давно уже не верят — в могущество армии, в действенность оружия, в многомудрость и многоопытность командования, а если быть еще более точным, то в справедливость того, что есть эта война. Если солдат идет на мертвого с топором, это предвестие конца.

Наступила пауза… Казалось, сказано все. Борисов проявил беспокойство. Он даже нетерпеливо скрипнул стулом, дав понять, что пришло время благодарить хозяев. Но Баркер не спешил заканчивать разговор. Именно Баркер. Он задал не все свои вопросы Гребелю. Возможно даже, что он не задал ему главного вопроса.

— Когда вы говорите с пленными, как вы рекомендуетесь, полковник? — спросил Баркер, не глядя на хозяина.

— А мне не надо себя рекомендовать, пленные знают, кто я, У многих из них за пазухой или в ботинке моя листовка, — сказал полковник.

— Но одно дело знать, другое — относиться… Как они к вам относятся?

Гребель смотрел на Баркера, и его глаза сужались.

— Офицеры? — спросил вдруг полковник, казалось, он заинтересован в обострении разговора.

— Ну, хотя бы… офицеры, — ответил Баркер.

— Они тоже читали мои листовки, — сказал Гребель. — При этом листовки-письма, которые я адресовал своим товарищам по вермахту, — добавил полковник и умолк — диалог достиг своего предела. — Но есть и такие, что думают иначе…

— Какие? — спросил англичанин. Вот он, застенчивый Баркер, нечего сказать, выносил вопросик! — Какие? — повторил он.

— Ну, те, что полагают: «Ты можешь не согласиться с Гитлером, но зачем продаваться русским?»

Гребель сознательно обратился к этой формуле, полагая, что она-то должна устроить англичанина.

— Есть такие?

— Есть, — ответил немец с улыбкой. — Вы хотите знать, как отношусь к этому я?

— Да, — сказал Баркер, он был убежден, что полковнику может изменить выдержка, но продолжал задавать свои вопросы не без храброго упорства.

— Я много думал, прежде чем решиться на это, — произнес полковник и, достав платок, вытер им шею. — У моего идеала ограниченная цель: я бы довольствовался и гуманистической Германией… — Он взял с письменного стола статуэтку Гёте, поставил ее перед собой. — Я сказал, гуманистической… — Для него эту Германию олицетворял поэт.

Тамбиев и его спутники уже покидали немецкий дом, когда к крыльцу подъехал мотоцикл и из его просторной коляски, заметно покряхтывая и припадая на затекшую ногу, выбрался человек в польской шинели, обильная борода, виски и даже брови которого заросли инеем — не иначе у служивого путь был дальний.

Николай Маркович мельком взглянул на прибывшего, подивившись его седой бороде, которая показалась ему тем более седой, что была тронута инеем, и, спросив себя: «Сколько может быть польскому служивому лет? Шестьдесят семь или все семьдесят?» — уже готовился подняться в бронетранспортер, когда бородач выпростал руку из варежки и, смахнув с бровей иней и точно прозрев, с нескрываемой пристальностью посмотрел на наркоминдельца.

— Пан Тамбиев, да не вы ли это? — спросил поляк и медленно пошел вокруг Тамбиева, стараясь заглянуть ему в лицо. — Да не припоминается ли вам польский обуз на Оке, и торжественная служба на плацу, и присяга доблестного войска? Тогда, быть может, вы изволите припомнить подполковника Ковальского, которому Ванда Василевская поручила вести пресс-конференцию; впрочем, пан Ковальский не был тогда подполковником и предстал перед вами в форме цивильной… Помните?

В какой раз Тамбиев должен был сказать себе: как же спрессовала время война! С той самой встречи на Оке, о которой вспомнил подполковник, прошел всего год, а такое впечатление, что минули годы и годы. Точно из мглы воспоминаний воспряла ненастная осень на Оке, дождь и мокрый снег, которыми дышала большая река, находящаяся рядом, белое русское поле и сотни людей с обнаженными головами, преклонивших колени перед крестом, который держал армейский ксендз. А рядом магистр прав пан Ковальский в демисезонном пальто цвета маренго и фетровой шляпе, к которой были пришиты неумелой мужской рукой стеганые подушечки, оберегавшие крупные уши магистра от русского мороза. Пан Ковальский явился на Оку, как он говорил, «своим ходом» из далекого заволжского городка, куда его кинуло «еще в тридцать девятом». Шел лесными тропами, подальше от сел и городов, пуще смерти боясь людских глаз —

все мерещилось, что его вернут обратно. Хотя больше шел ночью, чем днем, норовил не уходить от болот — питался клюквой да голубикой.

— Жил, как пьес! — пояснил магистр прав. — Как пьес!

Помнится, в течение тех трех часов, которые Тамбиев провел на Оке с паном Ковальским, поляк рассказал невеселую свою повесть, из которой следовало, что тяжелый каток войны раскатал фамилию Ковальских, чудом пощадив магистра прав.

— Остался сам, сам, як та бжеза, — указал он на деревце в поле, которое снежный ветер точно отторг от леса: разговор возник по пути на полевой аэродром, с которого должны были улетать корреспонденты.

Тамбиев подумал тогда: этот старый человек, с виду такой незащищенный, на самом деле являл великую силу нации, силу вечную, если сумел отыскать дорогу на Оку, где собралось новое польское войско…

И вот пан Ковальский сейчас стоял перед Тамбиевым — старик с оттаявшими ярко-черными бровями, из которых упрямыми колючками торчат вразброс толстые волосины. В этих волосинах, так можно подумать, характер пана Ковальского, неодолимо упорный. А темные, с чуть подсиненными белками глаза глядят кротко, в них и неохватная доброта, и терпимость и, быть может, даже способность не помнить зла. Верно, не сразу поймешь, как отразилась жизнь на лице пана Ковальского, а вместе с нею и существо человека…

— Какими судьбами, пан Ковальский, с Оки на далекий Днепр, да к тому же прямой дорогой в немецкий штаб? — воскликнул Тамбиев, указывая на часового, стоящего у входа в дом. — Не страшно?

— Страшно, пан Тамбиев, еще як! Да, видно, надо набраться храбрости, коли росказ… — ответствовал поляк, заметно понизив голос. — Бардзо!.. Очень!.. — повторял, как присказку, поляк, стремясь придать речи значительность.

— Небось росказ о координации действий? — спросил Тамбиев.

— Координацьи, и еще якей! — Он вслед за Николаем Марковичем обратил взгляд на часового, поднес ладонь ко рту. — Вот фокус: был молодым, говорил по-русски, как вы… Даже интересно: взял и уснул язык — разбужу!

Не столь уж велик срок такой встречи, хотя был смысл поговорить, все-таки год остался позади. Той же дорогой, которой приехали сюда, вокруг леса, вдоль оврага, мимо амбара, где нашел прибежище мятежный генерал, через поле, на котором красноармейцы долбили ломами смерзшуюся землю, чтобы

предать земле погибших, в обход сгоревших сел, наперерез погосту трофейной техники, сгоревшей и полуразрушенной, напарываясь на торчащие из-под снега скаты, кузова, радиаторы, задние и передние оси и перемалывая их гусеницами бронетранспортера, как жерновами, возвратились в тот странноприимный дом, из которого выехали на рассвете.

— Неуправляемый… полковник! — засмеялся Борисов. Он не столько осуждал немца, сколько отмечал строптивую суть его характера. — Я привык к нему и не требую большего.

— И я не требую, — сказал Баркер, улыбнувшись. — Хотя надо было бы потребовать… Странный, но благородный человек…

Баркер нашел верную формулу, подумал Тамбиев, но эта формула не столько характеризовала Гребеля, сколько Баркера… Полковник, конечно, наговорил лишнего, но Баркер отметал это, когда речь шла о сути человека.

…Тамбиев пошел на пункт связи. Неусыпный Грошев наверняка сидит у телефона, время от времени поглядывая на часы: не может быть, чтобы сегодня не позвонил Тамбиев. Но, услышав голос Николая Марковича, Грошев, верный правилу ничему не удивляться и тем более ничем не обнаруживать большой радости, произносит, будто досадуя:

— Ну, что у вас там, Николай Маркович? — Он слушает Тамбиева, односложно повторяя: «Естественно», «Естественно». Голос его будничен, интонация такая, будто разговор происходит за грошевским столом в Наркоминделе: — Нет, я вас не понимаю, Николай Маркович, какие три дня? Потратить три дня на обратную дорогу, а уже потом передать корреспонденцию, да есть ли в этом смысл? Нет, план должен быть иным: Баркер работает ночь и утром вылетает… Вы вылетаете лишь после того, как корреспонденция Баркера будет передана в Москву. Все просто… — Слышно, как он позванивает ложечкой в металлической кружке, размешивая чай. Он определенно доволен собой сейчас: шутка ли, так точно и так быстро решил непростую задачу. — Желаю успеха, Николай Маркович… Действуйте, — произносит он, почувствовав, что чуть-чуть перебрал в желании быть с Тамбиевым официальным.

Казалось, план Грошева устраивает и Баркера.

— А знаете, в этом есть что-то симпатичное… Я готов.

Да, в этом есть нечто симпатичное, полагал и Тамбиев. Но вот вопрос: какую корреспонденцию напишет Баркер?

И точно, прошедшая ночь повторилась в деталях. Засыпая, Тамбиев видел, как Борисов снял гимнастерку и, прикрыв ею настольную лампу, склонился над тетрадью… Видно, минувший

день и в его сознании отслоил такое, чего он не знал прежде.

Между той ночью и этой был целый день, но Тамбиев ждал именно этого полуночного часа, чтобы продолжить прерванный разговор.

— Я все думаю о Коневе, — произносит Тамбиев. — О нем и его поколении… Вот оно-то и отмечено знаком революции. По-моему, оно одно. Новые явят свои достоинства, которых старики не имели, но это все иное. Такого поколения не будет!

— Нам это еще предстоит понять, великое счастье наше, что на войну с фашизмом нас повели они. — Борисов затихает, запахивая шинель, в комнате действительно холодно. — Ну, разумеется, человек многое взял от природы, но есть в его жизни один момент, для меня значительный: он не искал обходных путей и был, как говорили синеблузники, с эпохой. В самом деле, деревенский паренек, ушедший на войну рядовым и вернувшийся фейерверкером, что немногим выше рядового. А потом партийный активист и комиссар. А вслед за этим командир бронепоезда и комиссар армии. И, наконец, слушатель академии и военный профессионал… Отдаю должное широте его мысли, интересу к литературе, его английскому и немецкому, его интеллигентности, в конце концов, но считаю все это в нем не главным. Не в этом суть.

— А в чем?

— Он человек идейный, вот в чем суть. Это надо постичь — идейный. А что может быть в этом мире прекраснее, чем идейный человек?

Тамбиев вспомнил своего дружка Сашу Гребнева, которого встретил на конотопском транзите. Он сказал о майоре: литератор, накапливающий материал впрок. Сказать «впрок» — значит определить дистанцию времени. Надо ждать — истинно, последнее слово за временем.

Но эта ночь была не во всем похожа на предыдущую: где-то в предрассветный час, когда сон свалил даже Борисова, раздался осторожный стук в дверь, нечастый, с правильными интервалами, почти кодовый, а вслед за этим голос Баркера, какой-то даже озябший:

— Это я. У меня готово…

Тамбиев сел вместе с Баркером за стол, за которым час назад сидел Борисов, принялся читать. Почерк у Баркера был четким, а текст в такой мере чист, что создавалось впечатление, что рукопись перебелена. В руках Тамбиева был тот самый текст, о котором говорил Грошев, когда идея поездки Баркера в Корсунь возникла впервые.

«Я свидетельствую» — первая строка корреспонденции так и

начиналась.

Нет, речь шла не о том, насколько герметичным был корсуньский котел и удалось или не удалось известному числу немцев вырваться из него, а о том, сколь сокрушителен был разгром и в какой мере он предвещал грядущее поражение…

Баркер улетел, и прямо с аэродрома Тамбиев отправился с майором на пункт связи. Он, этот пункт связи, расположился в большом глинобитном доме под железной крышей. Не очень-то хотелось отставать от Баркера значительно. Но вылет наркоминдельца непредвиденно задержался — жестокая вьюга, которая набрала силу с морозами, порвала провода, порвала основательно. Москва появилась на проводе, но день уже минул. Тамбиев передал корреспонденцию часам к семи вечера и приготовился уходить, когда дюжина сапог, сшибая снег, застучала в прихожей, застучала с той державной громогласностью, которая свидетельствовала: пришедшие не чувствуют себя в этом доме гостями.

— Наркоминделец здесь еще?.. К командующему! «Командующий… Это кто же? Конев?» — пронеслось в сознании Николая Марковича.

Ощутимый озноб щекотнул спину Тамбиева — казалось, не робкого десятка, а все-таки не часто приходилось говорить с командующим фронтом.

Тамбиева провели в комнату, которая служила хозяевам этого дома горницей. Конев стоял в двух шагах от двери, в руках у него была карманная лупа со складной ручкой; возможно, до того, как Тамбиев вошел, командующий рассматривал карту.

Первая мысль: а он моложе, чем можно было подумать, хотя лыс ото лба до затылка. Наверно, эта моложавость от его статности.

— Здравствуйте, — произнес он, приглашая Тамбиева сесть, но сам не спешил это сделать. — Майор Борисов в двух словах мне рассказал… Как ваша поездка… удалась?

— Да, несомненно, товарищ командующий. — Тамбиев встал, неудобно было сидеть, когда он стоял. — Удалась в немалой степени благодаря помощи представителя штаба фронта… Майор Борисов был полезен очень…

— Хорошо… Садитесь, я сяду вот здесь, — командующий указал на стул у окна. — Как мне кажется, я слышал имя корреспондента… — Он сидел, чуть расставив ноги, опершись кулаком о колено. Было сразу видно, что молодость прошла в седле, кавалерист. — Баркер — это известное имя, верно?

— Одно из самых известных на Западе, — сказал Тамбиев.

— Он видел текст нашего ультиматума? — спросил Конев.

— Да, конечно, — подтвердил Тамбиев. Для Конева это существенно, знает ли Баркер текст ультиматума. Для него важна психология факта.

— Всем, кто сдастся в плен, мы гарантировали жизнь и возвращение на родину, солдатам — сохранение формы, старшим офицерам — холодного оружия. — Он встал, встал и Тамбиев. — Достаточно взглянуть на поле боя, чтобы уяснить размеры поражения… Но вот что интересно: там говорят чуть ли не о победе! — он улыбнулся. — Бессовестно… никакой морали.

— Пленные показали: Штаммерманн не верил, что удастся выйти из окружения, — сказал Тамбиев, ему хотелось знать мнение командующего по этому главному факту. — Но он выполнял приказ так, как будто бы это был его собственный приказ…

Конев наклонил голову, тронул лысину кончиками пальцев, — видно, это была его привычка.

— Могу сказать единственное: при попытке прорвать кольцо Штаммерманн атаковал, при этом упорно и умело… Кстати, окруженные войска атаковали — этим Корсунь отличается от Сталинграда. — Он подошел к Тамбиеву едва ли не вплотную. — Я разрешил пленным похоронить своего генерала с надлежащими для военного времени почестями…

Он стоял сейчас подле Тамбиева, чуть сощурив глаза, легко раскачиваясь, охватив кожу ремня большими руками, будто подбоченясь.

Широконосый, чуть скуластый, с остро глядящими, улыбчивыми и хитроватыми глазами, он пребывал в отличном состоянии духа и не хотел скрывать этого — в конце концов, трудных дней и раньше было предостаточно.

— Корсунь даст нам такую силу разбега, какую мы давно не имели, — произнес он и посмотрел в окно, казалось, он видел уже движение армий. — Именно разбега, а это в наступлении важно… — Он протянул руку Тамбиеву. Рука у него была жестковатой, ощутимо твердой, в руке была энергия действия. — Благодарю вас…

Да, он так и сказал: «Корсунь даст нам… силу разбега…» — и, надев кожанку, пошел через заснеженный двор к танку, что, казалось, стоял наготове, ожидая его. Тамбиев невольно последовал за ним и, остановившись, долго смотрел в пролет дороги, по которой ушел танк… Куда повела командующего ненастная дорога? Какие реки она пересечет, какие леса одолеет, на какие хребты взберется? Ну, разумеется, человек не без тревоги смотрел вперед, он не обманывался насчет превратностей пути… Не обманывался, но вряд ли знал, что за Днепром,

который он только что одолел, будут Буг, Прут и Днестр, которые его армии форсируют, сохранив высокий темп движения. Что славной памяти «Сандомир» явит оперативное творчество командующего, во многом новаторское: два одновременных удара, рассекающих вражеский фронт. Что, устремив свои войска к Карпатам, он даст пример того, как, используя современную технику — самолеты, танки, артиллерию, — можно взломать столь мощный природный щит, каким является Дуклинский перевал. Что, выйдя к чехословацкой границе, его фронт станет той силой, которая придет на помощь словацким борцам, поднявшим знамя антифашистского восстания. Что, следуя известному суворовскому афоризму «Каждый воин должен знать свой маневр», а это относилось, надо понимать, в равной мере и к солдату, и к армии, и к фронту, он в одну ночь перегруппирует войска и, сообщив танкам скорость, которую обретает армия, когда является хозяином положения, овладеет Прагой… А сейчас был февраль сорок четвертого и командующий, заняв в танке место рядом с наводящим, оглядывал снежную степь, вопреки обильному снегу сине-сизую, предвесеннюю, думал: «Какой она будет, предстоящая весна?»

5

Бардина пригласили на Софийскую набережную. Приглашение было своеобразным — оно исходило не только от посла, но и от военного атташе. Бардин позвонил своим военным друзьям на Гоголевский бульвар.

— Да не является ли это признаком событий, которые нас ожидают?

— Возможно, и является, — человек на том конце провода определенно улыбнулся. — Не знаем, как там Кузнецкий, а Гоголевский не отвергает приглашения…

Нет, англичане наверняка устраивали эту встречу в преддверии событий 1944 года, все указывало на то, что десант будет… Мысль эта явилась вдруг и точно перешибла дыхание; истинно, это было вестью доброй. Бардин очень хотел верить сейчас, что в том большом, что должно было совершиться, есть крупица и его беспокойства. Бардину даже показалось, что он хотел удержаться на этой мысли и елико возможно продлить ее — ах, славно скользят санки с покатой горы!.. Но Егор Иванович должен был остановить себя: опыт подсказывал Бардину, что в дипломатии нет радости в чистом виде, ее почти всегда сопровождает хоровод малых и больших огорчений. Прежде чем совершится ожидаемое, пресловутый пуд соли будет, пожалуй, съеден без остатка… С этим Егор Иванович и поехал на Софийскую.

Но по мере того как машина огибала Кремль, приближаясь к Софийской, Егор Иванович спрашивал себя: а почему, собственно, англичане пригласили его, Бардина, ежели прием устраивается в честь военных и, судя по всему, военными? Впрочем, последнее можно было поставить и под сомнение — приглашал посол. Но приглашение могло исходить от него и в целях престижа: посол хотел дать понять русским гостям, что военные действуют и от его имени. Очевидно, вчера это было невозможно, да в этом и надобности не было, но сегодня это было даже признаком хорошего тона — английская дипломатия и прежде была чувствительна к переменам. А Бардин, какое отношение имеет ко всему этому Бардин?.. Да не избрал ли эту форму контактов англичанин, чтобы сообщить Егору Ивановичу такое, чего он лишен возможности сделать в иных обстоятельствах?.. Да, дипломатической практике ведомо и это: пригласить дипломатов на встречу военных, уединиться и ненароком (главное — в этой непосредственности) обронить заветное слово — часто ради единственного слова это громоздкое сооружение и воздвигается.

Но если такое предположение верно, что может быть предметом разговора?

Да не слишком ли далеко унес Егор Иванович легкокрылый домысел? В конце концов, на Софийскую набережную есть смысл ехать, даже если нет специальной цели. Ну, поехать хотя бы для того, чтобы понаблюдать английских, а заодно американских, военных (они сегодня должны быть приглашены на Софийскую) и составить представление, чем они дышат в начале сорок четвертого года, которому суждено быть поворотным. Суждено или не суждено?

Но вот и английский дом на Софийской. Такое впечатление, что в посольском особняке через полчаса откроется военный совет, в этом море армейской униформы темный костюм английского посла отыскивается не без труда, хотя у посла, надо отдать ему должное, своя стезя на этом приеме. Она и не очень приметна, эта стезя, но проложена так искусно, что подобралась к каждому гостю. В итоге посол, быть может, и не всех гостей упомнил, но всем сказал свое слово. Это слово было очень индивидуальным, — по крайней мере, каждый, кто его услышал, хотел верить, что посол приметил на этом приеме только его, проявив полнейшее безразличие ко всем остальным. Вызывало удивление лишь одно: чтобы совершить подобное в душах людей, послу требовалось не больше трех минут.

Бардин полагал, что и его не обойдет дежурная реплика Керра, но посол точно изменил первоначальному замыслу, пробыл с Бардиным больше обычного и расстался с Егором Ивановичем, взяв с него слово, что тот не покинет посольства, не переговорив с ним. Да не с этой ли целью посол пригласил его на Софийскую?

Пришел Джерми и, приметив Бардина, взметнул сухую стариковскую ладонь.

— Хорошая новость, господин Егор Бардин! — произнес Джерми почти торжествующе. — Есть новый… респонсобл за второй фронт!.. Кто вы думаете? Дженерал Эйзенхауэр, — он произнес «Эйзенхауэ».

— Это хорошо? — спросил Бардин как бы невзначай — на Кузнецком весть была получена накануне.

Сейчас были подняты обе ладони Джерми, как бы моля и остерегая Бардина.

— Дженерал Маршалл лучше, но Эйзенхауэр тоже хорошо…

— Если Маршалл лучше, то почему не он?

Джерми смежил веки, но ладоней не опустил, казалось, он молится.

— Не знаю, не знаю… — Потом вдруг сжал руки в кулаки. —

О Черчилл!..

— Черчилль не хочет? — спросил Бардин, смеясь.

— Не знаю, не знаю, — заметил Джерми, и его глаза вдруг изобразили испуг — рядом стоял Галуа.

— Вот все вы, американцы… веры вам нет! — произнес француз в своей обычной манере, которая была столь же серьезна, сколь и шутлива. — Все вы, американцы! — повторил он, но, обернувшись, увидел, что Джерми исчез. — Вы бы его спросили о мадам Рузвельт, — буркнул он, глядя на удаляющегося Джерми. Его явно не устраивало, что Джерми ушел.

— Простите, господин Галуа, почему я должен задавать ему столь странный вопрос? — спросил Егор Иванович, смеясь, и невольно оглядел Галуа. У него был узкий, могло показаться даже, какой-то ссохшийся череп. Казалось противоестественным, что у человека, обладающего умом и талантом Галуа, такой череп.

— Именно надо было задать ему этот вопрос, и при мне! — Он переступил с ноги на ногу, одна нога была короче, поэтому его длинная фигура качнулась и не без труда возвратилась на свое место. — Я имею в виду эту речь президентши, в которой она предала анафеме коммунистов… Вот вам богобоязненный Рузвельт!

— Погодите, но это же президентша, а не президент, — произнес Бардин, сдерживая смех, а сам подумал: «Прав Галуа, вот оно, еще одно лицо многосложного Рузвельта. И когда явил он его, это лицо, — после Тегеранской конференции!»

— Не президент? — переспросил Галуа и покраснел. Казалось, у человека со столь непростой жизнью эта способность должна атрофироваться начисто, а у него она сохранилась — вот возьмет и зальется румянцем, точно красная девица. — Ну, разумеется, не президент, а президентша. Даже больше, вопреки мнению президента взяла и… разнесла коммунистов в пух и прах! Президент сказал ей за завтраком: «Да, можешь произнести речь о пособиях ветеранам войны и строительстве приютов, но о коммунистах ни слова». Он даже речь ей написал, да, да, точно обозначил слово за словом, чтобы она, упаси господи, не наговорила чего лишнего, все-таки жена президента, а она, неразумная, текст в сторону и давай поносить коммунистов!.. Ей кричат из толпы: погоди, погоди, но ведь ты жена президента. А она и слушать не хочет!.. Что тут можно сказать? Есть же строптивые жены… Ну, я понимаю, что после Тегерана Рузвельту надо удержать некую… плавучесть своего судна, а поэтому надо его облегчить за счет, так сказать, лишнего балласта, но бросить за борт собственную жену… Нет. Не находите ли вы, что это как-

то не аристократично? Рузвельт — и такое… фи!

— Вот это вы и хотели сказать Джерми? — спросил Бардин, не спуская глаз с Галуа.

— Да, мне очень хотелось это сделать, — подтвердил тот. — О, это американское ханжество, у него свои качества!

— Американское?

— А вы думаете, что у этого ханжества только английское происхождение? Нет.

Он исчерпал тему и как-то обмяк. Румянец погас, странно удлинился нос, да и губа его посинела и чуть-чуть отвисла. Он был человеком динамичной мысли, когда она, эта мысль, спала, он сникал.

— Почему вы меня не послали в Корсунь? — спросил он вдруг. Он, конечно, знал, что Бардин никакого отношения к поездке в Корсунь не имеет, но говорил «вы», полагая, что у советских все за одного и один за всех. — Вы думаете, что моя поездка была бы не столь полезной?

— Это вы… к Грошеву, это по его епархии, — бросил Бардин и отрицательно повел рукой. Вот он, Галуа. Казалось, он распушил президентшу для того, специально для того, чтобы обратиться с этим вопросом о Корсуни. Ну, разумеется, Корсунь уже для него ушла, но, чем черт не шутит, следующая поездка может быть и его.

— Ну, к Грошеву я с этим, пожалуй, не решусь, — произнес Галуа примирительно. Если, ему говорили «нет», он не очень-то упорствовал. — Баркер — человек достойный, но чуть-чуть академичен. Все-таки вы должны знать, кто на что способен.

— Погодите, Тамбиев мне сказал, что Баркер был на высоте вполне, — произнес Бардин, ему было приятно вступиться за Баркера, которого корреспонденты считали порядочным мямлей. — Если бы даже Баркер не обнаружил всех этих качеств, то и тогда был смысл в корсуньской поездке…

— Да, да, был смысл, был! — переступил с ноги на ногу Галуа. — Послушай, Хью, ты с Бардиным знаком? — обратился он к английскому полковнику, который проходил поодаль. — Да что ты смотришь на меня, как это самое животное на новые ворота? Ну, подойди сюда, я тебя не укушу! Я спрашиваю тебя, с Бардиным знаком?

Полковник был высок и бледнолиц.

— С кем имею честь? — произнес он по-русски заученно и осекся, видно, эта гладкая фраза давала лишь приблизительное представление о познаниях полковника в русском. — Чем могу служить? — обратился он к Галуа, когда новые знакомые были представлены друг другу.

— Послушай, Хью, ты славный малый и не кривишь душой, — обратился Галуа к военному. — Вот Бардин хочет знать: ты веришь во второй фронт в сорок четвертом? Нет, нет, мне нет дела до Монтгомери, меня сейчас интересуешь ты… Скажи, ты веришь?

Лицо полковника будто окунули в белила.

— Я… как Монтгомери, — сказал полковник и поклонился.

Галуа фыркнул и мигом стал пунцовым.

— Не находите ли вы, что мой полковник глуп, как пробка! — молвил Галуа и осторожно тронул висок, как заметил сейчас Бардин, седой… Бардину подумалось: вот эти седины Галуа, беспокойство во взгляде, а может, и хромота его не очень соотносились с тем ерническим, что было в его натуре, несмотря на интеллект и дарование недюжинное. И Бардину было жаль этого человека и хотелось винить во всех бедах, происшедших с ним, не его самого, а мачеху-жизнь, хотя это, быть может, было и неверно. Как сказал полковник, честь имею, — произнес Галуа, завидев вдали посла Керра. — Не находите ли вы, господин Бардин, что у нашего хозяина редкая способность делать вид, что ты ему приятен, при абсолютном равнодушии к тебе?.. — произнес Галуа, указывая на посла, и, опершись больной ногой о паркет, совершил нечто вроде прыжка, устремившись вслед за послом.

«Да, да, при полном равнодушии к тебе… — повторил про себя Егор Иванович вслед за Галуа. — Равнодушии, равнодушии…» И все те два часа, которые предшествовали встрече Бардина с Керром, Егор Иванович думал об этом, хотя посол решительно не давал ему повода думать о себе так. Больше того, посол должен был развеять это представление о себе, а он его утверждал. Он его решительно утверждал и тогда, когда, полусклонившись к генералу Антонову, который сидел справа, слушал советского военного, почтительно улыбаясь. И тогда, когда поднял тост за ратный союз народов и при этом улыбнулся дважды вне связи со смыслом речи, в начале речи и в конце. И тогда, когда, встав из-за стола, пошел из банкетного зала, одаряя присутствующих взглядом, в котором было столько нарочитого великодушия, будто бы посол даровал им жизнь.

И Бардин спросил себя: а что значила для посла Россия до того, как он прибыл сюда, и что значит сейчас? Да знал ли он Россию так, как должен ее знать посол в Москве? И какое чувство он питает к народу страны, кроме страха? И в какой мере его взгляд на Россию отличается от взгляда на Индию, например? И в какой мере у него хватило ума, образованности и душевной щедрости, наконец, чтобы преодолеть то предвзятое, что испокон

веков характеризовало отношение британского сановного лица к великой стране на востоке?

Посол дождался отъезда Антонова и направился к Бардину.

— По-моему, я могу покинуть гостей, — произнес Керр, приближаясь к Егору Ивановичу. — Мы условились… верно?

— Да, я готов, господин посол, — произнес Бардин. Егору Ивановичу была приятна строгая простота в словах посла — и в том, как он сказал, что ради встречи с Бардиным готов оставить гостей, и в том, что служебным апартаментам намерен предпочесть посольский сад.

Но в сад они пошли не сразу — невзначай, как бы не придавая этому значения, посол повел Бардина в кабинет, а затем в комнату, которую можно было принять за второй банкетный зал и которая, так можно было подумать, была в пределах личных апартаментов посла.

— Я иногда уединяюсь здесь для работы, — сказал посол и направился к полированному столику, стоящему в дальнем конце комнаты. — Мне нравится, как освещена эта комната, наверно, отблеск реки, — указал он взглядом на окна. — Даже зимой, когда река покрыта льдом… Кстати, я заметил, на кремлевском холме тот же свет… — произнес он, и Бардин сказал себе: «Сейчас он вспомнит свою встречу со Сталиным, которая, дай бог памяти, была с неделю назад, и заговорит по существу». Но посол испытал неловкость и смолчал. Сделать это — значит показать, что реплика о реке и кремлевском холме необходима была ему лишь как предисловие к главному.

— Вы были в Москве тридцатого? — полюбопытствовал Бардин определенно вызвался помочь послу; если тот решил начать со встречи в Кремле, то тут была прямая дорожка.

— Сейчас и не припомнишь, — произнес посол. — Впрочем, это было в канун аудиенции, которую мне дал маршал Сталин… Значит, я все-таки был в Москве не тридцатого, а тридцать первого… Мой премьер сказал мне: «Вы должны быть в России еще на этой неделе. Прежде, как вы помните, я вам не говорил этого, сейчас говорю».

Нет, посол не воспользовался помощью Бардина, он шел к цели своим путем…

— Не наступлением ли на Рим была вызвана такая срочность? — подал голос Бардин. Не дай бог, чтобы в этой фразе была услышана ирония.

— Нет, представьте, все гораздо прозаичнее, — заметил посол и, помедлив, вдруг встал. — По-моему, чашка кофе была бы сейчас кстати, как вы? — в строгой простоте и безыскусности, с которой посол обращался к Бардину, в самом деле было что-то

подкупающее.

— Охотно…

Принесли кофе, сразу стало и домовитее, и теплее.

— Я сказал премьеру: «На этой неделе так на этой неделе» — и договорился с военными о самолете. Он вылетал ранним вечером… У премьера не было иного выхода, как принять меня в четыре пополудни. «Но это же невозможно, — сказал я себе, — он ведь в это время спит. Нет, в четыре он уже просыпается и читает бумаги — первая почта дня». Действительно, когда я пришел на прием, премьер еще был в постели, но рабочий день его был в разгаре — он уже прочел и подписал гору бумаг. Было интересно наблюдать его, окруженного подушками в белоснежных наволочках, как я заметил, крахмальное белье лилейной белизны — это для него род недуга. Однако аудиенция началась, хотя он все еще возлежал на своем пуховом ложе и, судя по всему, пока не намеревался с ним расставаться. Аудиенция началась. Но прежде чем заговорить о главном, прямо скажем, достаточно деликатном, он вызвал помощника и осведомился передало ли Би-Би-Си еще раз музыку нового советского гимна, ноты которого он просил у Сталина. Каким-то странным путем мое появление у премьера отождествилось с новым советским гимном, — послу стоило труда не придать своей улыбке саркастического оттенка.

Надо отдать должное англичанину, в эти полчаса он много сделал, чтобы расположить Бардина, а возможно, и заставить его проникнуться доверием к тому, что он говорил. Посол нашел тон разговора, да, тот самый тон, что делает музыку. Наивно думать, что деталь о крахмальном белье была ему любопытна сама по себе. Ну, разумеется, она относилась к Черчиллю, и поэтому он запомнил ее, но он бы пренебрег ею, если бы она не нужна была ему сейчас, нужна насущно. Однако для чего? Посол назвал беседу Черчилля с ним деликатной. Наверно, у премьера с его послами даже в России не часто бывают беседы, которые можно назвать деликатными. В каком смысле деликатная?

— «Не скрою, дорогой Керр, что я в тревоге… — заметил премьер. — Я встревожен, несмотря на то что дела наши сегодня хороши, как никогда: доблестные войска союзников теснят врага повсюду, а это, как вы понимаете, первостепенно… Причина моей тревоги — эта телеграмма русского корреспондента из Каира, которую третьего дня напечатали московские газеты. Вы читали ее, Керр? Ну, стандарт такого рода телеграмм соблюден до конца: „Как стало известно вашему корреспонденту из хорошо информированных источников…“ А дальше главное: „… Англичане начали сепаратные переговоры с немцами…“ Да, так черным по белому: сепаратные… Поезжайте, милый Керр, и

объясните им, что это бог знает что такое!.. Воздействуйте, наконец, на их реальное представление о вещах. Ну, скажите им, что если мы не начали сепаратных переговоров с немцами, когда были один на один с ними, то какой смысл нам начинать эти переговоры теперь, за пять минут до победы? Дело даже не в том, что это абсурдно. Главное в другом: в чем подоплека всего этого? Я элементарно представляю, как у них организована пресса. У них все собирается в едином центре… Если бы их каирский корреспондент сообщил бы не о сепаратных переговорах, а о конференции, посвященной египетским древностям, то и в этом случае она, эта телеграмма, не могла быть напечатана без того, чтобы о ней не узнали на самом верху. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений, что это сделано с ведома, а может быть, и разрешения верхов. Но вот вопрос: зачем это сделано?»

Будто волнение Черчилля, которым была проникнута эта тирада, передалось Керру, и он сейчас вновь ощутил это волнение. Он коснулся осторожными пальцами воротничка и торопливо ощупал его, проверяя, в порядке ли он. К счастью, все обстояло благополучно.

— «Я знаю русских, они трезвые политики. Не похоже, чтобы они верили в наше желание пойти с немцами на мировую. Тогда почему они пошли на это? Знаете, Керр, мне делается не по себе, когда я об этом думаю». И ему действительно было худо, я это видел собственными глазами. Да что говорить, я его не помню таким… «Не будем гадать, надо действовать, — сказал он мне в заключение. — Летите туда и объясните им, как можете, что это недоразумение. В наших помыслах нет ничего похожего. И пусть они наконец проникнутся доверием к тому, что мы им говорим… Ну, а если у них есть сомнение, пусть их посол явится ко мне, и я отвечу на любой его вопрос…»

Так вот он какой, Арчибальд Кларк Керр, он же лорд Инверчэпель. Интересно, что сорок лет его дипломатической службы подсказали ему этот, а не иной ход: приглашение на прием и инспирация беседы… Бардину ведомо, что неделю назад, когда Керр разговаривал со Сталиным, корреспонденция из Каира была им упомянута под тем же знаком… Всего лишь упомянута? Но, видно, у него не было уверенности, что он сделал все, что следовало. Иначе вряд ли надо было обращаться к столь сложному средству, как приглашение Бардина на прием. Кстати, к вопросу о сорокалетнем опыте: посол был у Сталина, но он не пренебрег и Бардиным… То, что зовется высокомерием, для британской дипломатии понятие не внешнее. Их ненависть и их гордость живут не порознь и скрыты достаточно надежно. Именно скрыты; если же говорить о знаках внимания, то англичане не

привередливы. Даже наоборот. Бардин получил свое, хотя в ряду лиц, с которыми посол имеет дело, Егор Иванович, наверно, не фигура номер один.

Посол сказал то, что хотел сказать, но, судя по всему, он не склонен был расставаться с Егором Ивановичем, — возможно, столь внезапное расставание дало бы понять Бардину, что он необходим был послу только для этой беседы, а возможно, замысел посла не был еще исчерпан. Так или иначе, а Керр повел Егора Ивановича на веранду, выходящую в посольский сад. День обещал оттепель, а пришла ночь, и дохнуло морозом, он был невелик, но снег, лежащий толстыми пластами на деревьях, сухо поблескивал.

— Я прихожу сюда в полночь, — глоток ветреной стужи что-то значит, не так ли? — спросил он, тщательно заправляя шарф за отворот шубы и оглядев Бардина, точно призвал его сделать то же. — Нам надо беречь доверие друг к другу, иначе нам не сдвинуть того, что мы должны, — произнес он, как бы размышляя вслух. — Что говорить, некоторые из камней, что лежат на нашем пути, могли бы быть и полегче… — он умолк, будто говоря Бардину: «Ну, спроси же меня, спроси, о каком камне идет речь!» Но Егор Иванович хранил молчание. — Польский камень, например… — наконец выговорил он.

— Польский? — переспросил Егор Иванович.

— Да, польский, — произнес Керр, помолчав. — Вот мое мнение, личное. Я подчеркиваю, личное… По-моему, Миколайчику можно верить. Есть в нем что-то… хорошее. Нет, нет, Миколайчик не Сикорский, хотя и Сикорский отнюдь… — он умолк, дожидаясь, что скажет Бардин, но его собеседник продолжал молчать. — В той группе, которую представляет польский премьер, Миколайчик и широк, и терпим, и доступен, а? — Он опять умолк, его паузы били по Бардину, как ядра, но Егор Иванович решил держаться до конца. — Кстати, даже привередливые американцы, с которыми непросто согласие, того же мнения: им нравится Миколайчик.

— Если вы хотите, чтобы он понравился мне, он должен терпимее относиться к моим польским друзьям, — сказал Бардин.

— Вы говорите о коммунистах? — спросил посол.

— И коммунистах, если хотите, — был ответ Бардина.

Какая-то важная струна, великолепно звучавшая весь вечер, оборвалась у посла с этой бардинской фразой, — казалось, пальцы посла еще бежали по струнам, но не могли уже извлечь звука.

Бардин откланялся.

Уже выйдя из посольства, Бардин увидел Галуа.

— Ну, вы там все твердолобые, в этой вашей старой доброй Англии! — бросил Галуа, покидая собеседника, с которым только что стоял у каменного борта набережной, при этом фраза о твердолобых определенно учитывала то, что неподалеку был Бардин. — Да разве вам втолкуешь! — решительно махнул Галуа и захромал к Бардину. — Вот пытаюсь внушить Хью, что русские имеют право на итальянский флот и им надо дать лучшее, что там есть, да разве ему внушишь?.. Не способен понять, не способен, и все тут! Ну, не скажешь ему: то, что тебе не могли дать отец с матерью, я уже тебе дать, не смогу! — Он остановился, точно вспоминая, чего ради он бранил английского полковника, так просто он бранить его не станет, да к тому же когда рядом Бардин. — Вы не в, сторону «Метрополя», Егор Иванович? — спросил он. — Эта моя больная, нога… Да какой я корреспондент военный! Там, где нужна стремительность, я точно на якоре…

— Ну, это вы напрасно, за вашим умом стремительным… действительно не поспеть! — улыбнулся Бардин.

Печальное молчание вдруг овладело Галуа. Ну, разумеется, он любил обращаться к самоиронии, но больная нога могла и не очень такому разговору соответствовать, одним словом, он заговорил об этом, не рассчитав силы, и приуныл заметно. Он подал голос, когда Каменный мост остался позади.

— Скажите откровенно, посол пытал вас насчет этого сообщения из Каира? — спросил Галуа, неожиданно оживившись.

— А если и пытал?

— Ох и каналья этот Керр! Я ведь спросил его напрямик: «Об этом вы хотите говорить с Бардиным?» А он сказал: «Нет». Хочешь, не хочешь, а станешь Фомой неверящим…

Галуа притопнул и исчез.

6

В январе ударили морозы, и, загрипповавший Бардин осторожно, дал понять Ольге, что хотел бы перетерпеть январскую стужу в Москве. Ольга погрустнела — она допускала, что однажды Бардин, может сказать нечто подобное, и боялась этого, В Ясенцах она была хозяйкой с сотворения мира и нисколько не отождествляла Ясенцы с Ксенией и прежней жизнью Бардина, другое дело Калужская… Ольга попробовала воспротивиться. Бардин оделся и, ничего не сказав, уехал.

В том, что Бардин был сейчас на Калужской, а Ольга здесь, в Ясенцах, было что-то очень плохое. Она прождала его допоздна, отыскала в погребке банку малинового варенья и подалась на Калужскую. В течение того часа, пока электричка несла ее в Москву, одна мысль не покидала ее: как она войдет в этот дом… Она закрыла глаза и взглянула на себя как бы со стороны, и ей стало жаль себя. Она живо представила, как сидит сейчас в полупустом вагоне по-крестьянски повязанная платком, в Егоровом полушубке, с этой своей банкой варенья, которое, как она убеждена, может единственно исцелить Егора. Да, она очень живо представила себя в электричке, идущей через ночь, и почувствовала странно одинокой, неизвестно по какой причине прилепившейся к Егору и его семье, которая когда-то давно была для нее своей, а сейчас вдруг начала откалываться, да, откалываться неудержимо… Еще она представила себе, как войдет через полчаса в квартиру на Калужской с этими ее едва уловимыми специфическими запахами, чужими и неистребимыми, во веки веков живучими и все пережившими, даже эту страшную войну. И еще ей подумалось, как обступят ее эти вещи, мертвые и вместе с тем живые, сохранившие прикосновение рук женщины, которой нет…

В какой-то миг она подумала, что все в ее силах, все способна победить ее любовь, надо только захотеть… И она стала убеждать себя, что в ее силах возобладать над всеми невзгодами жизни. Надо только приложить ум и руки, да, ум обязательно, ибо это потребует и осторожности, и такта, и терпения… Не выказывая раздражения и поспешности, щадя Егора и, быть может, немножко себя, надо сделать по-своему. Да, нужны только такт и терпение, сказала она себе, и вдруг она поняла, что на все это у нее уже не хватит сил… Она дождалась первой остановки, взяла банку с вареньем, вышла.

Мороз заметно усилился, да и ветер, бесснежный, но ледяной, бил в лицо до ломоты в висках. Ей показалось, что она

замерзает, и она зашла под крышу, но и там было не теплее. Что-то в ней смерзлось, холод шел изнутри. Нет, ей в самом деле показалось, что она замерзает. Она постучала в деревянное окошечко кассы, никто не ответил. Конечно же кассирша уже легла — наступил тот полуночный перерыв, пятичасовой, но напрочь мертвый, когда затихает даже неумолчный ход поездов. Она вышла на платформу, поезда уже не было.

Где-то здесь, очевидно, должен быть переезд, а следовательно, будка сторожа. Она сошла с платформы, истинно не видно ни зги. Ей показалось, что она свалится сейчас под откос и на этом все кончится, и она подумала о Егоре. Нет, не о себе, а именно о нем… Ей показалось, что если сейчас, сию минуту не подойдет поезд, то она зашагает в Москву по полотну железной дороги. Да, да, по полотну, превозмогая и этот адский мороз, и этот ветер, который даже ее способен сшибить с ног, и глухую тьму этой ночи. Она затихла, ожидая, что ветер донесет до нее шум идущего поезда. Нет, это был не мираж — поезд шел. Она устремилась к платформе, срываясь с полотна и проваливаясь в снег. Нет, поезд действительно шел, он шел… Уже в вагоне, сбивая с себя снег, она вдруг поймала себя на мысли, что улыбается, и засмеялась не стыдясь. Нет, в самом деле, был резон для радости: она едет к нему, едет к нему… Она вдруг обнаружила, что банку с вареньем оставила на платформе, но это уже не способно было испортить настроение. Ну конечно, она не почувствовала бы этой радости, если бы не сошла на полустанке. Ей надо было там сойти, чтобы понять, все понять…

Она была на Калужской в третьем часу ночи и, увидев Егора, ощутила, что может разреветься. Она кинулась ему на грудь, чтобы упрятать глаза, которые уже полнились слезами.

— Да не случилось ли чего, Ольга? — мог только спросить он и вот так, удерживая ее на груди своей, повел в комнату рядом.

— Ради бога, не спрашивай меня ни о чем, ради бога… — молвила она, не поднимая головы. — Дай отогреться и поспать, отогреться только…

Она добралась до Егорова дивана, того самого, обитого черной кожей, и ее свалил сон. Она спала сном нерушимым и проснулась, почуяв запах цикория — в старой квартире пахло цикорием.

— Что-то у Иришки не все ладно в школе, — крикнул Бардин ей из кухни, услышав, что она проснулась. Кофе с цикорием вскипятил он. — Ирина из тех, кого надо постоянно возвращать на землю…

— Я пойду в школу, я все сделаю, — сказала она.

Казалось, он был застигнут врасплох.

— Пойдешь и как объяснишь? Кто ты?

— Кто я? Мать, конечно… А кто я ей, если не мать.

Он помолчал — сразу и не уразумеешь, что сказать.

— Ну, коли мать, тогда иди.

Ничего ей от него не надо было в эту минуту, кроме того, что он произнес только что. Она вихрем снялась с дивана и устремилась на кухню, где он колдовал над этим своим цикорием.

— Где мой Егор? Где мой Егор? — закричала она так, будто бы квартира была полна людей, а он сам куда-то запропастился. — Я люблю тебя, глупый, я люблю тебя… — повторяла она. — Ну, иди ко мне, иди… — Она приникла лицом к его лицу, он чуял дыхание ее губ, свежее, запах ее кожи — юный, так показалось ему.

— Только будь такой, как сейчас, и у нас все будет хорошо, — сказал он и подумал: «Надо сделать для нее что-то доброе, что-то такое, отчего она будет счастлива. Нет, взять и подарить ей колечко с жемчужинкой. В самом деле, почему я ей ничего не дарю? Нужно колечко с жемчужинкой. Где взять? Вот мы, доморощенные: рассуждаем о нормах протокола, а у себя дома едва ли не варвары!.. Нужно колечко с жемчужинкой. Где взять это колечко?..» Даже странно: вдруг понадобилась эта заветная жемчужинка. Прожил едва ли не полсотни лет и вдруг ощутил, что для полного счастья недостает именно этой жемчужинки… Господи, может так случиться: недостает пустячка, без которого жили и будут жить люди, праздного пустяка, но недостает же… Но, может быть, не обязательно добывать жемчужинку, а надо отыскать цветок: ветку сирени, стебелек многоярусного гладиолуса или даже простую гвоздичку с неумирающим бутоном. И она, эта немудреная гвоздичка, годна, чтобы Ольга посмотрела на нее издали, охорашивала взглядом и повторяла это трижды желанное и для нее, и для него: «А он меня любит, он меня любит…»

А может, даже не в вожделенной гвоздичке дело, а в ином. Был бы верующим, осенил бы крестным знамением: идея, спасительная!.. На будущей неделе он будет говорить перед большой аудиторией о Тегеране. Нет, волонтерства здесь не было, да и не тщеславен он, впрягли: «Ты был в Тегеране, тебе и карты в руки. К тому же у тебя есть этот талант влиять, а к почтенным ученым без этого нельзя. Одним словом, хотя ты, судя по всему, и не воспылал желанием, но перст указующий устремлен на тебя». Хочешь не хочешь, а давай согласие. Он, разумеется, согласился. Но при чем здесь Ольга?.. А он возьмет ее с собой! Он возьмет ее туда, как на праздник. Сравнение со стебельком гладиолуса

относительное, но пусть смотрит издали и охорашивает… Но как ей сказать? Это для нее значительно и вызовет смятение немалое. Поэтому надо сказать как можно обыденнее.

Он решил, и легкое волнение объяло его. Он вдруг поймал себя на мысли: все, что он собирается сказать ученым, он уже говорит ей, только ей… А если она не решится? Да, скажет, что ей, пожалуй, недосуг, вон сколько дела в доме! Нет, дом к этому имеет косвенное отношение — просто не решится его смущать. Но, может быть, сказать ей все-таки? Он сказал. В ней поселились и тревога, и смятение, и радость. Да, радость неизбывная, она была в ее глазах.

— Ты пойдешь? — спросил он ее едва ли не так же безучастно, как сказал ей обо всем этом.

— Ты еще спрашиваешь? Не пойду — полечу!

Она сказала «полечу!», а он вдруг почувствовал, как будущая среда, тегеранская среда, обрела для него смысл, какого не имела прежде. Нет, дело даже не в том, что он решил обратить на это всю бардинскую мощь — не в его характере было делать что-то вполсилы, — он одухотворил все это, окрылил тем, что звалось немодным словом «вдохновение».

До среды еще оставалась неделя, и он должен был многое обдумать и выносить. Пусть в этом бардинском слове перед братией академиков будет воссоздана история того, что есть Тегеран, история точная, берущая начало, как Волга, у бедной той часовенки, где великую реку можно перешагнуть. Пусть будет воссоздана история с самых ранних истоков, а заодно и доподлинный лик тех, кто соорудил Тегеран, и особенности диалога, и настроение переговоров… И главное: надо добраться до самых печенок того, что есть Тегеран, и добыть зерно, которое легло в основу тегеранского замысла. Прежде дипломатическая практика, для которой подчас подробности важнее общей картины, вынуждала Бардина близко держать картину у глаз, отчего могла и ускользнуть перспектива. Теперь иное дело, можно было окинуть мысленным взором событие и рассмотреть дали дальние… Даже сделалось как-то не по себе: а почему не пришло в голову это прежде? А может, всему свой час? Кому бы пришло в голову делать доклад о дипломатическом аспекте войны в сорок первом, например? Да и не только делать доклад, но и просить о докладе! А вот заявил о себе сорок четвертый, и идея явилась сама собой.

Как это было до сих пор, он решил написать доклад, написать тщательно, а потом забыть дома и воспроизвести по памяти, сохранив обаяние живой интонации. Наркоминдельский опыт ему подсказывал, есть доклады, которые надо читать — точность

формулы превыше всего. В данном случае иное: интонация застольной беседы, все собеседники перед тобой, ты даже можешь видеть их лица. Нет, разумеется, ты не знаешь сидящих в зале, но в этой твоей интонации должно быть ощущение, что ты их знаешь и обращаешься не ко всей аудитории, но к каждому из них.

И еще: надо, чтобы все значительное, что явилось плодом его раздумий в Тегеране, возникло в его слове, обращенном к мужам науки; разумеется, в той мере, в какой это может быть в докладе, который обращен к такой аудитории, как эта. Ну, разумеется, многое должно дождаться своей поры, многого не скажешь, тем больше союз трех становится и дипломатическим. Тут можно сегодня вывести мысль важную: антигитлеровская коалиция и Генуя. Именно Генуя, которая для Чичерина и его друзей была своеобразной купелью политики сосуществования, положила начало нынешнему товариществу по оружию. Чего греха таить, натерпелись лиха вдосталь, от того же Черчилля его хлебнули в эти годы досыта. Но Черчилль Черчиллем, а товарищество товариществом: у политики Генуи есть свой апогей, и война показала такое, что в прошлом не имело места. В прошлом, а возможно, на годы и годы в будущем… И об этом след сказать, да мало ли о чем можно сказать в докладе, который носит имя «Тегеран»?

— Ольга, возьми-ка платок поярче и перекинь его через плечо так, чтобы я отыскал тебя в зале, — сказал он ей, когда они собрались. — Возьми, прошу тебя…

— Нет уж, ты уволь, тут за мной и сурок не поспеет. Зароюсь — не отыщешь…

Но он ее отыскал. Она все сделала, как он просил. Где-то в задних рядах он отыскал этот ее снежно-белый платок в красных полудужьях и удержал его в те полтора часа, которые длился доклад. Аудитория была более чем почтенной. Седины пепельные, тронутые озорной желтинкой и туманной чернью, седины в отблесках хладного серебра, матово-свинцовые, алюминиевые с синевой. Седины благородно волнистые, точно озерная вода на перекатах, мелковьющиеся, в завиточках, будто скань…

Наверно, не следует пренебрегать высокочтимой аудиторией, Для которой превыше всех орденов и регалий их седины, и бросить взгляд в дальние ряды, где зажегся платок с красными полудужьями, но Бардин сделал именно так. Он видел только этот платок, благодарил, звал, молил и на него молился, хотя зал был и увлечен словом Бардина, и слушал его, истинно затаив дыхание.

…Когда Бардин закончил доклад, зал проводил его

аплодисментами, обратившими Егора Ивановича едва ли не в бегство.

Да, он бы сбежал, если бы не Ольга. Он не обнаружил ее в фойе, не нашел и на улице и, вернувшись в зал, едва не сшибся с нею. Они поднялись по Кропоткинской и, выйдя на кольцо, зашагали к Крымскому мосту. Их несло как на крыльях.

— Знаешь, что-то открылось мне в тебе новое, — говорила она, стараясь идти с ним в ногу. — Не знаю что, но новое…

— Что — скажи?

— Что-то такое, чего я в тебе и не подозревала.

— Но что?

— Не знаю.

— Тогда хочешь, я скажу?

— Скажи.

Но ему стоило труда сказать это. И чем упорнее он думал, тем стремительнее был его шаг. Они дошли до Калужской, а он так и не собрался с мыслями.

— Ты так и не сказал, — заметила она, когда они поднялись к себе.

Он вдруг пошел из комнаты в комнату — великое беспокойство объяло его.

— Ты знаешь, я все смогу, — вдруг произнес он.

— Что именно? — спросила она, ее напугала эта его категоричность.

— Понимаешь, я все смогу, все мне под силу! — произнес он. — Это моя жизнь дала мне такую силу и, пожалуй, эта война… Нет, я говорю дело: победа наша, которая зреет, которая будет… Я смогу, я смогу!.. Чую, что есть силы…

— И должна быть скромность.

Он оторопел.

— Да, это ты верно, скромность, — согласился он, придя в себя. — Ум — это скромность, благородство — это тоже скромность… Кстати, как я заметил, сила, которую не контролирует скромность, глупа… А коли я это понимаю, надо дать этой мысли нагрузку…

— Какую именно? — спросила она.

Он взглянул на нее и устремился прочь.

— Дипломат-ученый, понимаешь? — крикнул он, войдя в кабинет, который находился в противоположном конце квартиры. Она представила, как он стоит там посреди кабинета, объятый тишиной.

— Тебя увлекает эта перспектива… дипломат-ученый? — спросила она.

— Да, — сказал он после некоторого молчания, но в комнату

так и не вернулся. — Я знаю, что это потребует труда наивеликого, но я, пожалуй, совладаю…

Двумя часами позже, когда Бардин вошел к Ольге, она уже спала. В ее кулаках, накрепко сжатых и поднесенных к груди, был платок в красных полудужьях…

7

Утром, по дороге на Кузнецкий, Бардин вдруг вспомнил, что накануне вернулась из Лондона Августа и, пожалуй, будет сегодня на работе. Наркомат готовился к большому разговору о репарациях, и необходим был материал, относящийся к Первой мировой войне. Что-то привез Михайлов, но Михайлов же установил, что этого недостаточно. Послали Августу — работа требовала привередливости великой, а ее, привередливости, у Августы на троих. Кажется, она приволокла досье, к которому будут обращаться наркоминдельские доки и через сто лет после заключения мирного договора.

Как обычно, Августа встретила Бардина эпитетами в превосходной степени:

— Егорушка Иванович, какой вы стали красивый!.. — Она пошла вокруг Бардина, стараясь коснуться своей атласной ладонью его руки и его плеча. — А как же идет вам этот галстук. Ничего не скажешь, хорош Бардин и в сорок семь лет!

— Да мне уж, пожалуй, сорок осьмой минул, Августа Николаевна…

— Да чего вы себе прибавляете?.. Кстати, у меня для вас новость наиприятная…

Он улыбнулся снисходительно, у нее всегда для него была новость «наиприятная». Если новости не было, она ее придумывала. Нет, не то чтобы придумывала нечто такое, чего и в природе не было. Августа была совестлива и так далеко не шла, она просто придавала большие размеры уже существующему. Поэтому, когда она говорила, что у нее для него есть новость наиприятная, он знал, что ему предстоит услышать такое, что нуждается в коррективах.

— Вы, разумеется, не верите мне? Нет, сознайтесь, не верите? А я вам сейчас докажу, что права я, а не вы! Вчера я была в одном московском доме… и там было некое влиятельное лицо, — произнесла она интригующе. В ее рассказах и прежде фигурировали «один московский дом» и «лицо влиятельное». — Так вот, это лицо некое слушало вас в Доме ученых, когда вы говорили о Тегеране… И было произнесено следующее: «А не могла бы его увлечь такая перспектива — курс лекций о дипломатии союзников?.. Нет, не вообще для студентов, а для выпускников исторического факультета». Вот так-то… А теперь проверьте меня: такое предложение последует если не сегодня, то завтра… Приготовьте себя к этому, а кстати подумайте, что вы на это ответите. Но, может быть, вы хотите знать, что я думаю по

этому поводу и как бы я поступила на вашем месте?

— Как поступили бы? — спросил он и искоса посмотрел на нее. Она, разумеется, все свела к этой последней фразе — ей важно было утвердить себя, без этого все предприятие теряло для нее смысл.

— Я бы не отвергла, хотя это, наверно, и не просто… Поймите, дипломат — это одно. Дипломат-ученый… иное, разумеется, иное! Да что там говорить? Новое качество, так сказать… Вы не согласны?

— А что это такое, Августа Николаевна, «новое качество»?

— Новые возможности, а следовательно, новая должность. Разве не ясно?

— Ясно, разумеется.

Вот она, Августа, во всем своем блеске. Ты только-только примерялся к этому, раздумывая, как соотнесется это новое с твоей сутью, а она уже все за тебя решила, до дюйма вымерив и выкроив.

— А все-таки… Лондон? — Она так увлеклась берлинскими новостями, что позабыла про поездку на Британские острова.

— Ах, Лондон?.. Что ему станется? Стоит!

Она даже приуныла, что он заговорил о Лондоне, ей было сейчас это не очень интересно. Да, понять ее можно: здесь Бардин, а там что?

— Но большой десант, как он там просматривается?

Она улыбнулась криво:

— На февральском приеме в посольстве мужиков в военной форме было как на плацу…

— Да что, из вас надо клещами тянуть? Кого видели?

Она точно заперлась в своем невеселом молчании.

— Переводила Эйзенхауэра, когда он говорил с нашими военными… — произнесла она и, устроившись в кресле поглубже, попыталась подобрать под себя ноги.

— Как он?

— Как все американцы: старался выглядеть веселее, чем был на самом деле… — Августа задумалась, казалось, ей было зябко, а мягкое кресло не охватывало ее, и она все старалась зарыть свое худое тело в его ворсистую ткань. — Но одним он мне понравился…

— Чем?

— Он сказал: «Вы хотели назначения командующего, пожалуйста, я перед вами. Вы хотите, чтобы я назвал дату, а я не могу назвать…» Наши засмеялись: «Рузвельт назвал, а вы не можете?» Он не смутился: «Он может, а я не могу».

Бардин смотрел на нее с хмурым вниманием.

— Что же тут может понравиться?.. Ревизия, и все тут!..

Она зарделась, будто бы упрек был адресован ей.

— Нет, он не смеет ревизовать. Просто он, Эйзенхауэр, понимает, что президенту легче отказаться от своего слова, чем ему, командующему, а поэтому он хотел бы иметь резерв…

— А что считает сошка помельче, хотя бы там же, на плацу?

— Сошка помельче не смеет думать… Нет, неверно, один поляк-майор сказал мне: «Все зависит от того, где окажетесь в мае сорок четвертого. Останетесь на Днепре — второго фронта не будет. Продвинетесь до Варшавы — будет».

— Значит, «даешь Варшаву»? — засмеялся Бардин.

— Варшаву.

— Но сама страна… ждет мая? — спросил Бардин. — Есть ощущение, что будет май?

Ей все еще было зябко, и она, изловчившись, засунула пальцы в рукава своей кофты, как в муфту.

— Мы были с вашим Бекетовым в Глазго…

— С моим… Бекетовым?

— А чей же он, если не ваш? Ваш!

— Ну хорошо, пусть будет мой. Итак, вы были с моим Бекетовым в Глазго… И что?

— Ехали ночью, так на дорогах столпотворение!.. Там ночью можно увидеть то, что днем не увидишь! Забиты дороги грузовиками — хвосты на мили и мили. Знаете, это было зрелище, которое должно запомниться: не дорога, а река, живая река. Сотни, тысячи моторов. Нет ни единого огонька. Все во тьме. Вы знаете, что я не сентиментальна, но было ощущение силы. В полнейшей тьме и, пожалуй, тишине. Вот эта тьма и тишина свидетельствовали о дисциплине, надо отдать им должное… Все думалось: пошли на зверя, начали его обкладывать. Понимала, что это американцы, а видела в них своих, поэтому было чувство гордости… Все говорила себе, приеду и скажу: «Будет второй фронт. Видела его своими глазами… Видела». Но, странное дело, мы доехали быстро. Потом я думала: почему? Оказывается, забита правая сторона шоссе, а не левая, по которой ехали мы… Вы поняли?

— Та сторона, что идет на юг и на юго-восток, так? Дувр?

— Так мне кажется, хотя до мая еще далеко и начинать накапливание, как говорят военные, казалось, рано.

— А как Бекетов… мой?

Она усмехнулась:

— О, ваш Бекетов… уникален. Я ему говорю: «Сергей Петрович, жена этого вашего Новинского, ну та, что ведает посольской библиотекой, влюблена в вас без памяти!.. Только

поманите, на все пойдет!» А он перепугался и стал меня сторониться!.. Я даже в нем как-то разочаровалась: мужчина, а своего призвания не понимает.

— Призвания… в чем?

Краснея, Августа делалась не пунцовой, а бордово-кирпичной, почти коричневой. Коричневея, ее лицо все более влажнело, становясь блестящим.

— Если женщина сохнет, ну будь же ты рыцарем…

— Рыцарем… в каком смысле, Августа Николаевна? — Ему вдруг показалось, что она говорит не только о Бекетове.

Сейчас влага набралась в ее глаза, не ровен час, всхлипнет.

— Вы все понимаете, Егор Иванович.

— А коли понимаю, тогда покажите досье, что привезли из Лондона…

Но она не тронулась с места.

— Как там мое дите… живет-может? — спросила она, овладевая собой: она имела в виду Ирину.

— Дите ваше?.. — переспросил он строго. — Как все в шестнадцать лет — умнее всех!..

Она молчала, неприязненно взирая на него.

— Все вы там не уразумеете главного, — бросила она — ей доставляло удовольствие произнести это неприязненно лихое «все вы там». — Человек она хотя и юный, но богатый душевно, — она все смотрела на Бардина с недоброй пристальностью, ее подмывало сказать: «А она действительно умнее!» Ей очень хотелось бросить в него такое, бросить с ходу, наотмашь, но она побоялась выдать себя. — К тому же она ребенок… одаренный. Я это почувствовала, как она ухватилась за этот свой французский. — Августа улыбнулась, тронула крутое бардинское плечо атласной ладошкой: — Егорушка Иванович, дайте ее мне на год, и она вернется к вам полиглотом.

Бардин встал: ну и баба, истинно клейма негде ставить! И не заметишь, как поступишься своей сутью!.. Держать ее на расстоянии, не подпускать ближе чем на версту, — в этом, пожалуй, и спасение!

8

Корреспонденты вернулись из Мелитополя, когда уже село солнце. Прямо с аэродрома они проследовали на Кузнецкий. Корреспонденты предупредили свои редакции: они будут в Москве на исходе дня. Первые полосы газет, вечерних в Лондоне, утренних в Нью-Йорке, полуденных в Мельбурне, оставались несверстанными — редакции ждали телеграмм из Москвы.

Два десятка пишущих машинок пришли в движение в холле наркоминдельского отдела печати. Первая телеграмма должна пойти «молнией». Как ни разнообразны амплуа корреспондентов, содержание первой телеграммы идентично: «Выезжал на Днепр, видел переправу советских войск. Был принят командующим армией украинских партизан. Ближайшие полтора-два часа передам двести строк». Ну, разумеется, в этой телеграмме все от первого лица, все в единственном числе — «выезжал», «видел», «был принят», — ни единого слова о том, что переправу наблюдали еще двадцать девять корреспондентов и с командующим армией украинских партизан разговаривал в этот раз весь корреспондентский корпус. «Молния» должна создать впечатление, что у собственного корреспондента абсолютная монополия на мелитопольскую поездку, и двести заветных строк должны быть забронированы, чего бы это ни стоило.

После того как «молния» уйдет, двести заветных строк должны быть выстрелены из Москвы в Лондон, если бы даже обвалилось небо. При одной мысли, что на чистой плоскости редакторского стола где-нибудь на лондонской Флит-стрит уже лежит текст первой телеграммы корреспондента, при одной этой мысли легкий озноб пробегает по сутулой спине почтенного газетчика, склонившегося над своей машинкой в холле наркоминдельского отдела печати. Главное — отлить эти двести строк. Первая волна уносит от берега всех тех, кто представляет агентства. Корреспондент агентства — натура особая: деятелен, осведомлен, оперативен, больше деловой человек, чем литератор. Его депеши лаконичны и хорошо документированы, в них факты и мысль точно соотнесены, хотя нередко телеграмма объемлет только факт. Никому еще не удавалось обскакать корреспондента агентства. Первая волна уносит от наркоминдельского берега корреспондентов агентств. Легко сказать «уносит». Если бы не стремительный «фиат» или «оппель», никакая бы волна не перебросила корреспондента с наркоминдельского холма на другой холм, который венчает здание Центрального телеграфа.

Много сложнее со второй волной. Этой волне надлежит быть

самой мощной, ибо предстоит поднять наиболее многочисленный пласт корреспондентов — всех, кто представляет в Москве ежедневную прессу. Пересечь половину России, чтобы явиться в наркоминдельский холл и за два часа соорудить опус, — это ли не свидетельство того, что в самих стенах дома на холме сокрыта чудо-сила? На самом деле все проще: едва корреспондентский, ковчег покидает русскую столицу, газетчик обращается в акына — он слагает свой опус и, слагая, заучивает наизусть. Этот процесс продолжается днем и ночью, наяву и во сне, в пути и на привале. Когда опус сложен, корреспондент готов его повторить, как «Отче наш». В этом случае брось корреспондента не просто в наркоминдельский холл с его многоголосьем и перестуком двух десятков «ремингтонов», в сравнении с которым гудение скорострельного «максима» не более как щебет райской птицы, брось корреспондента в кратер Этны, он и там, поместив свой «ремингтон» на колени, выдаст двести заветных строк в лучшем виде. Но с высокого наркоминдельского берега ушла и эта волна, оставив после себя горы изорванной бумаги, пепельницы, полные окурков, да галантерейный запах сигарет. Впору пошире распахнуть окна да проветрить холл, если бы в разных концах его не затихли над своими машинками Галуа и Хоуп.

— Что-то не клеится! — решительно сказал Галуа. — Но не снимет же он с меня голову? Отошлю завтра.

Тот, кого Галуа назвал анонимно «он», — газетный босс, человек одновременно снисходительно-великодушный и суровый.

Похоже на то, что и Хоуп решил не продолжать работу. Он извлек из машинки недописанную страницу и, сложив вчетверо, опустил в боковой карман пиджака.

— Из головы не идет эта братская могила в приднепровском овраге, — произнес он, и его большие, заметно исхудавшие за время болезни руки сжались в кулаки. Последние два месяца жестокая лихорадка, подхваченная американцем где-то на Филиппинах, взяла в плен Хоупа. С пугающей точностью приступы возобновлялись каждый день. Они могли застать Хоупа в гостях, на улице, у машинки. Температура взлетала мгновенно. Лицо из шафранно-зеленого становилось красным. Он терял сознание. Стихали стоны, едва внятным становилось дыхание, только вздрагивали в ознобе плечи да скрипели зубы. Придя в себя, он глядел вокруг тревожными глазами, улыбался. В этой улыбке было что-то просящее… К счастью, приступы прекратились так же внезапно, как и начались. Хоуп поехал в Мелитополь. — Когда мы шли по дну этого оврага… — произнес он и обратил лицо к Галуа. — Когда мы шли по дну оврага, кто-то сказал рядом такое, чего я уж никогда не забуду. «Все

варфоломеевские ночи, которые пережило человечество за весь свой долгий путь, поместились бы в этом овраге без остатка». И я подумал, нет такого злодеяния, которого бы не способен был совершить человек. И еще я подумал, интересно написать историю такого злодея. Всю историю, от колыбели до первого убийства и возмездия за это убийство. Возмездие — это обязательно.

Руки Галуа лежали на клавишах машинки, Это мороз, которым дышали слова Хоупа, припаял их к клавишам.

— Но поймите, — разомкнул губы Галуа, — нет злодеяния, которое нельзя было бы оправдать в глазах человека, оправдать настолько, чтобы сделать человека безвинным. Виноват не злодей, а тот, кто сделал его злодеем.

— Значит, убийцы вне подозрений? — спросил Хоуп. Его фраза была обнаженной, но тут уже действовали не только его ум, но и эмоции. Он был в гневе.

— Но сказать «отмщение» — значит воззвать к новым убийствам и заполнить трупами вот такой же овраг, — возразил Галуа. — Да разумно ли это?

— Разумно! — едва ли не закричал Хоуп. — Иначе палачество не остановишь.

То ли они перешли на повышенные тона, то ли виной сейчас был пустой холл, в котором, кроме них, никого не было, поединок был услышан за дверью — вошли Грошев и Тамбиев. Грошев проследовал дальше. Тамбиев остался.

— А я думал, что пошли врукопашную Клин и Баркер, хотел развести, — произнес Николай Маркович.

— Нет, разводить не надо, — заметил Хоуп и встал. — Я хотел сегодня лечь пораньше, — произнес он почти буднично, дав понять Галуа, что предпочитает вернуться в гостиницу один.

— Ну что ж, ничто вам не мешает. Что же касается меня, то я побуду…

— Если вы хотите быть Иисусом Христом из Котельниково, Алекс, то вам это не удастся, — вдруг произнес Хоуп. — Что ни говорите, он человек из того века, а мы с вами — из этого.

Галуа вскочил и захромал вокруг столика, на котором стояла его машинка.

— У меня нет необходимости быть Иисусом Христом из Котельниково, — улыбнулся Галуа и тут же стал серьезным. Одно выражение сменялось другим столь стремительно, что создавалось впечатление притворства. — У меня нет необходимости быть Иисусом Христом из Котельниково, а у вас есть, Хоуп.

— Почему у меня?

— Писатель вы, не я…

Хоуп остановился на полпути к двери. Вряд ли в природе были иные слова, способные остановить его.

— Значит, писатель? Ну что ж, мы еще продолжим этот разговор. И я прошу господина Тамбиева быть свидетелем.

Хоуп ушел.

— Вы видели жену Хоупа? Он приехал в Москву с нею, и она пробыла здесь дня три, — сказал Галуа и опустился в кресло, что стояло у столика с его машинкой, и как бы предложил Тамбиеву занять кресло рядом. — Одни говорят, что она итальянка, другие — алжирка, но в ней есть эта знойность средиземноморская, необыкновенно хороша. Когда Хоуп заболел, мне все казалось, что он вызовет ее в Москву. В его положении я бы решился, но он этого не сделал — характер. Ему все кажется, что, согласившись с другим, он поступится частицей своей сути и перестанет быть самим собой.

— Но это не так плохо, она ему дорога, его суть, — сказал Тамбиев.

Галуа спорил с Хоупом как бы заочно. Оппонента не было, и это давало Галуа известные преимущества. Тамбиеву, наоборот, хотелось защитить американца. Но, возражая Галуа, Тамбиев как бы говорил от имени Хоупа.

— Нет, нет, я серьезно считаю: уж если кому и быть Иисусом Христом из Котельниково, то писателю, — заметил Галуа. У него была потребность высказаться, мысль, которую он сберег, ему казалась определенно стоящей. — Вы помните картину средневекового итальянского мастера: Иисус Христос и женщина, оступившаяся?.. Ну, известный библейский сюжет, который был в чести у художников, — картин несколько… Одни зовут женщину падшей, другие блудницей, но главное в ином: Христу надо вынести приговор несчастной, при этом те, кто привел ее к Христу, требуют расправы… Наверное, женщина виновата, да и она сама не отрицает вины, ее лицо отразило то трудное, что происходило в ее душе в эту минуту. Но вот что интересно: перед Христом стоит женщина, нарушившая первозаповедь, но он не спешит вынести приговор. Больше того, он стремится понять ее. Даже стать на ее сторону. Да, она виновата, но Иисус хочет вселиться в душу виноватой, быть может, сам стать виноватым и понять, какая сила склонила ее к этому. Казалось, ее душа уже открылась ему и Иисус понял женщину, понял и оправдал. Те, кто обступил Христа, продолжают требовать казни, а он уже оправдал ее и спас. Ну что тут скажешь? Думай и думай, истина здесь. Вот эта непредвзятость Христа, терпимость, желание все оспорить, во все проникнуть силой данного тебе разума, вот это достоинство

Христа, как я его понимаю, должно быть и качеством писателя. Но если нет у тебя силы быть Иисусом Христом, то будь хотя бы Христом из Котельниково. У того тоже была эта терпимость…

— Пример с женщиной не в счет, — сказал Тамбиев. — Это только по мнению толпы она виновата, а на самом деле она невинна. Поэтому терпимость к ней — это благо. Но ведь вы говорите о другом — о терпимости к истинному злу, поймите, к истинному. Умалить это зло — значит вызвать новое.

— Но ведь вы ищете зло не там, где надо его искать, — возразил Галуа. — Злодей тот, кто сотворил злодея. Конечно, писатель может быть и консерватором, и лейбористом, но он не должен декларировать в своем произведении партийные истины. Больше того, им должна руководить в своем роде надпартийная истина, а следовательно, истина общечеловеческая, предполагающая терпимость. Именно тогда читатель и видит в нем человека. Поэтому писатель ему интересен сегодня, как, я думаю, будет ему интересен завтра. И это естественно, ибо эта надпартийная истина необъятна, как мир, а поэтому в ней нет предначертанности. Все, что предначертано, противно человеку, а поэтому и неинтересно. Будь Лев Толстой лейбористом, изрекающим в своих произведениях лейбористские максимы, кому бы он был интересен? Поймите, мне симпатичен Хоуп и своей устремленностью к цели, и своей чистотой, но он заблуждается, а следовательно, губит все, что в нем есть.

— Губит ли? — вопросил Тамбиев. — А может быть, это дает ему силу, которой при всех иных обстоятельствах не было бы? Не думаю, чтобы мир идей Хоупа был всего лишь сводом истин, как представляете его вы. Это именно мир идей, и он не беднее того, что вы хотите назвать сейчас общечеловеческим миром. И он не уже того, о котором говорите вы. Если вы зовете партийной истиной ту самую, которую исповедует Хоуп, то вам надо понять, речь идет об истине, возникшей из веры в справедливость, она, эта истина, одна, другой нет… Хоуп? В нем есть некая новизна, открывающая мне глаза на будущее. Поймите, открывающая глаза, что является существенным знаком истины. Но, может быть, у Хоупа иное мнение? Мне бы оно было интересно.

— И мне, — сказал Галуа и встал. Видно, его доводы заметно исчерпались. В иных обстоятельствах вряд ли он закончил бы разговор.

9

Бекетов знал, Анна Павловна засиживалась допоздна, и пошел в библиотеку. Он иногда заходил туда по дороге домой, чтобы взглянуть на свою полку и установить, не стала ли она за последнюю неделю на одно-два названия больше. Он знал, что добрые руки Новинской делали тут чудеса — у нее были свои связи с Обществом британских библиотек, которое вызвалось ей помогать книгами по истории. К тому же почтенное это общество обещало связать Анну Павловну с большим книжным магазином у Пиккадилли, возможности которого тут были бескрайни. В прошлую среду Новинская должна была быть в этом магазине, чем закончился этот поход? Последняя неделя была столь хлопотной, что Сергей Петрович не смог побывать в библиотеке.

Он постучал и, не дождавшись ответа (ему показалось, что она в соседней с библиотекой комнате), приоткрыл дверь.

— А я уже собралась уходить, — подала она голос из соседней комнаты, очевидно не рассмотрев еще Сергея Петровича. Если бы она рассмотрела его, пожалуй бы, так не сказала.

— Простите, Анна Павловна, — он остановился, не зная, уходить ему или оставаться.

— Да нет уж… оставайтесь… — произнесла она голосом, который как-то вдруг иссяк. — Оставайтесь, Сергей Петрович! — В том, как она произнесла «оставайтесь!», сказалось ее балахнинское «о», для Сергея Петровича светлое, светло-певучее.

— Каюсь, Анна Павловна, не задержу вас, — произнес он и шагнул к своей полке, но там книг не было. — Да туда ли я попал?.. Полка… где моя полка?

Новинская засмеялась, она точно дожидалась того мига, когда он увидит пустую полку, чтобы посмеяться вот так.

— Полка здесь… — сказала она и указала на книжный шкафчик, инкрустированный светлым деревом. — Здесь полка, — произнесла она и открыла шкаф, книги действительно теперь были там.

Он пододвинул стул к шкафу и, усевшись так, чтобы книги были прямо перед ним, достал из шкафа первую — это были мемуары Керзона.

Он раскрыл шкаф и, окинув взглядом полки шкафа, приметил: в том, с какой тщательностью полки были выстланы бумагой и расставлены книги, виделось больше чем старательность. Он вспомнил историю, которую рассказал ему Шошин. Где-то зимой сорок первого известный поэт принес в

газету поэму. Еще не прочитав ее, редактор обратил внимание на то, что она была напечатана на мелово-белой бумаге, украшенной водяными знаками, при этом выше всяких похвал была тщательность, с которой машинистка отлила поэму на бумаге: ритмично расположенные строфы, одинаково четкий шрифт, ни единой перебивки… Опытный глаз редактора заметил все, но вопрос, который он задал, отразил не столько его опыт, сколько чисто человеческую наблюдательность. «Скажите, женщина, напечатавшая это, любит вас?» — спросил редактор. «А вы откуда знаете?» — выдал себя растерявшийся пиит… То было в Москве, на Пушкинской площади, зимой сорок первого, а как сейчас? Бекетов обернулся к Анне Павловне; казалось, она ждала именно этой минуты, когда Сергей Петрович, войдя в библиотеку, распахнет створки шкафа к, обернувшись, взглянет на нее. Именно этой минуты…

Стояла женщина, молодая, и ее молодость была в чистой белизне шеи, которую обнажал больший, чем обычно, вырез платья. Оно выглядело, это платье, не столько зимним, сколько летним. Она знала себя и не без умысла надевала зимой летнее. Эта белизна ее лица и шеи, чуть золотистая, сообщилась ее волосам.

В какой-то миг она перехватила его взгляд и улыбнулась, Улыбка была так легка, что, казалось, не потревожила губ, отразившись в глазах.

— Я представляю, как вам было больно, Сергей Петрович, когда с вами сотворили все это, — вдруг произнесла она, глядя на него, и он едва ли не вздрогнул. Она сказала «сотворили все это», а он подумал: наверно, не просто было сказать такое? — Неужели им не ясно было, что это ложь?

Он поставил Керзона на полку, задумался — сказала два слова и все внутри перевернула.

— Самое ясное при желании можно сделать… неясным, — произнес он и вновь посмотрел на нее. Вот она стояла перед ним открытая, и в ее открытости была ее чистота. — Да и сегодня, пожалуй, есть такие, которые нет-нет, а скажут: раз был там, виноват… Есть ведь?

Вопрос был обращен к ней, и он ждал ответа, она поняла это, когда пауза сделалась достаточно велика.

— Есть.

У него было искушение спросить «кто», но он смолчал — да важно ли, кто может быть этот человек, который считает «нет дыма без огня». Бекетов даже знает, кто мог бы им быть. Даже теперь, после трех лет работы в Лондоне, работы, в основе которой лежит верность революции, верность и еще раз верность,

они могут сказать «нет дыма без огня»… Сказать и улыбнуться чему-то такому, что будто бы знают они и не знают все другие, хотя совершенно очевидно, что они ничего не знают такого, что могло бы скомпрометировать Сергея Петровича, ибо, если бы знали, не отказали себе в удовольствии сказать… Значит, в основе их недоверия лежит некая инерция недоверия к добру и доброму человеку. И не только это, но и неспособность понять существо человека и, конечно, зависть к этому человеку, ибо сплошь и рядом это ничтожества… Она сказала «есть», сказала так уверенно, что он подумал: она не могла произнести этого слова с такой убежденностью, если бы не имела в виду некое определенное лицо или определенных лиц и свой разговор с этим лицом или с этими лицами, разговор, в течение которого было произнесено это кощунственное «нет дыма без огня». Но кого она могла иметь в виду? Вот тут ты должен остановиться, если не хочешь уподобиться тем, кто говорит «нет дыма без огня».

— Медики утверждают, что эпидемия гипнотизирует, — сказала она, все еще стоя у своего столика. — От нее никто не защищен.

— Нет, защищен, — возразил он, не сказал — отрезал. — Надо только удержать на плечах голову… Невелика мудрость — не расстаться с собственной головой, — он улыбнулся, будто что-то вспомнив. — Когда со мной произошло все это и по дому поползло: «И Бекетова… ну, знаете, такой седоголовый», — один человек удержался от этого психоза. Это была наша няня, так, крестьянская девушка с Волги, что присматривала за Игорьком. Нельзя сказать, что она знала меня дольше остальных — Игорьку было лет пять, но ей все было ясно. Она сказала о тех, кто меня увел: «Дураки, они бы меня спросили, кто такой Бекетов, и я бы им сказала…» Вот так-то, крестьянская девушка с Волги.

Она засмеялась:

— Это я крестьянская девушка с Волги, я не хочу отдавать вашей няне этих слов…

Он откликнулся на ее улыбку, ему были приятны ее слова.

— Балахна на Волге? Значит, и вы, и вы…

Оказалось, ему стоило труда уйти из библиотеки. И все время, пока шел к себе, не мог побороть печали. Все, что произошло в эти три года, было столь значительно, что даже такое вот ушло, ушло дальше, чем, казалось, должно было уйти… А может, это всего лишь привиделось Бекетову, и война не отодвинула беды тех лет, а, наоборот, выявила нелепость и кощунственность этого… Вон сколько лет прошло, а Сергей Петрович все еще воспринимается теми, кто знает и, пожалуй, не очень знает его, под знаком того года… Ведь никто не скажет:

«Какой Бекетов? Ну, тот, лондонский… советник нашего посольства». Нет, не скажет, хотя пора уже привыкнуть к новым параметрам жизни Сергея Петровича. Скажет иное: «Какой Бекетов? Ну, тот, разумеется, что был на золотом печорском песке, а потом был возвращен на Кузнецкий…» Поэтому существо Бекетова где-то здесь, его совесть и его кожа, которую, наверно, не сбросить Сергею Петровичу до конца дней его, да надо ли сбрасывать?

Он пришел домой и, едва окликнув жену, которая хлопотала на кухне, прошел к себе и лег. Это было необычно, и она мигом заметила.

— Что с тобой, Сережа? — произнесла, появившись в дверях его комнаты, но света не зажгла. — Устал?

— Да, пожалуй… — ответил он тихо — сын спал в комнате рядом. — Ты помнишь, Катя, что сказала наша Настя, — приятно было назвать ее «наша Настя», — помнишь, что сказала она, когда меня брали?.. Ну, эти слова, которые нельзя забыть? «Дураки, они меня бы спросили, кто такой Бекетов, я бы им сказала». Помнишь?

Она точно окаменела в дверях. Так вот что его повергло в такую хмарь! Она нащупала тахту во тьме, опустилась на край, замерла.

— Не можешь… забыть? — вдруг спросила она, и ветер словно ворвался в ее грудь и перешиб дыхание, было слышно, как бушует этот ветер и не дает ей говорить. — Не можешь забыть… — Она хотела еще что-то сказать, но боль удерживалась в груди. — Ну, признайся, обидно?

— Обида — не мое чувство, — сказал он.

— Врешь, тебе обидно.

— Я сказал, не мое чувство, — произнес он и, протянув руку, коснулся ее щек. Слезы скатывались с них — подставь ладонь и наберешь пригоршню.

Она теперь знала, что он приметил ее слезы, и ей стало жаль себя. Она заплакала. Ее изожгли его беды, его. Все, что стряслось с ним, принял не столько он, сколько она, хотя ее и не было с ним, горе падает на слабых.

Понимаешь, надо сделать так, чтобы это не повторилось, — произнесла она голосом, в котором обнаружилась ясность, какой не было прежде. — Надо собрать все самое сильное, что есть в душах людей, и сделать, чтоб не повторилось, не повторилось… Видно, она долго таила эти слова, стараясь выбрать минуту и сказать ему, а когда произнесла, будто обессилела — не было труда большего.

10

К Бекетову явился Хор и сказал, что хотел бы пригласить Сергея Петровича, как он заметил, на «танковые маневры», при этом сообщил, что там будут и русские офицеры из военной миссии.

Сергей Петрович попробовал возразить: да так ли важно, чтобы поехал он, Бекетов, тем более что там уже есть русские офицеры? Но Хор настаивал: стоит поехать, англичане придают этому событию значение.

Полигон находился где-то на полпути от Оксфорда к Стратфорду, и машина должна была дойти туда часа за три, но разразился ливень, холодный, предвесенний, с ветром, который дул от моря и поэтому был особенно сильным. Иногда поток воды был так плотен, что машина слепла и приходилось ее останавливать и выжидать, чтобы ливень поутих и видимость улучшилась.

Бекетов не без робости думал о том, в какой ад он попадет, прибыв на полигон, но, оглядываясь на Хора, только улыбался: по мере того как ухудшалась погода, англичанин становился веселее.

— Это ад, — говорил Бекетов.

— Это рай, — откликался англичанин и добавлял: — Танкам это не страшно, как всему, что вызвал к жизни английский гений…

— Вызвал к жизни? — начал было Бекетов и запнулся, не хотел обижать англичанина.

— Вызвал к жизни, а затем отдал врагу? — тут же реагировал Хор, он верно схватил мысль Бекетова.

— Нет, почему же?.. — возразил Бекетов, смешавшись. — Генерал Горт разработал стратегию танковой войны…

— Горт, конечно, был, но это слабое утешение…

Бекетов с Хором прибыли на полигон, когда маневры уже начались. Хор пересадил Бекетова на джип, предварительно снабдив его брезентовым плащом и резиновыми сапогами.

Вездеход пошел по краю поля, просторного, на дальних подступах к которому, видимо, закипал бой, и, обойдя холм, взлетел почти на его вершину — склон холма был срезан, образовав выступ. Джип добрался до этого выступа и затих. Хор выскочил из машины и повлек за собой Бекетова. Где-то скрипнула дверь, скрипнула едва слышно, но, наверно, и этого было достаточно, чтобы штатское сознание Сергея Петровича распознало: в недрах этого холма есть укрытие. Кстати, не

случайно, что в недрах холма, — высота наверняка давала возможность обозреть поле.

А потом был коридор, выложенный бетонными плитами, и зал, залитый мертвенным неоном, и штабисты, едва ли не распластавшиеся на карте, точно рыбы на аквариумном дне.

И тут произошло необычное: офицеры, увидев Хора, тотчас приняли вертикальное положение, проявив готовность, почти подобострастную, дать необходимые разъяснения. Но спутник Бекетова отверг их предложение. Взгляда, который бросил он на карту, было достаточно, чтобы проникнуть в смысл того, что имело место на этой начальной стадии битвы.

То, что должно было произойти сегодня на этом холмистом поле между Оксфордом и Стратфордом, явилось бы вторым актом большой европейской битвы, союзников, уже высадившихся на континент и успевших отвоевать известный плацдарм. Хору операция напомнила начальную пору войны, с той только разницей, что аналогичную задачу решали не союзники, а немцы. Замысел, как понимал Хор, сводился к следующему: ударить в лоб и сковать противника, больше того, заставить его стянуть сюда резервы, а в это время… Дальше следовал вопрос: как брать оборонительный пояс и брать ли?

— Я бы ударил в лоб и сковал! — сказал Хор, повернувшись к карте спиной, тон его не допускал возражений.

— Вам надо было бы сказать это у подножия холма, — раздался басовитый голос, и человек, вошедший в комнату, с такой силой сдернул с себя мокрый плащ, что схлынувшая вода хлопнула по карте.

— Я привык спорить в открытую, без ссылки на авторитеты, — произнес Хор и, обернувшись к Бекетову, заметил: — По-моему, он обороняется именем человека, который должен быть где-то рядом… Да не мистер Черчилль ли это?.. Я не удивлюсь, если увижу его здесь.

Он взглянул на дверь, будто приглашая Черчилля войти.

— Хорошо, надевайте свой плащ, и пошли, — сказал Хор Бекетову и направился к двери.

Пологий холм, в который было врезано укрытие, вздрогнул, точно стоял не на массивном основании, сомкнувшемся с самим монолитом земли, а на соляной шахте — не ровен час, расколется пополам и провалится в неохватные вырубы соли. Еще раз ухнули земля и небо, а вслед за этим, накатываясь, пошел по полю гром.

— Началось! — крикнул кто-то из полумглы бетонного укрытия.

— Началось, — сурово подтвердил Хор.

Ливень утих, и большое поле, лежащее перед ними, было

точно выстлано водой, которую земля не успевала впитывать. Просторные зеркала воды сообщили полю дополнительный свет, оно было видно и вопреки мгле.

Артиллерия наращивала силу, звук от стрельбы, будто гром в горах, шел волнами. И вдогонку этим волнам пошли танки, первая цепь, вторая, третья… Словно хрупнуло ломкое стекло зеркал, обратившись в пыль, — железом по стеклу! Поле погасло, и горизонт приблизился к холму.

Вездеход сейчас шел параллельным с танками курсом. Не хитра машина джип, но скорость прибавила и отваги, и удали, скорость кружила голову, ничего не было страшно — вперед! В этом было что-то кавалерийское, не страшны ни взгорья, ни буераки — вперед! А потом только взвизгнули тормоза и машину так крутануло, что разудалый Хор показал подошвы резиновых сапог.

Слава острому зрению водителя да его чутью — он удержал вездеход на краю оврага!

Хор выпрыгнул из машины, выпрыгнул лихо — удар о железную стенку придал ему энергии. Бекетов последовал за ним. Они сейчас стояли над оврагом, и то, что открылось взору, немало взволновало их. На дне оврага, как бы откинувшись на лопатки, лежал танк — вот он, гипноз скорости! Наверно, гипноз этот действует на всех, но на юные сердца в особенности — парню, которого сейчас извлекли из танка и положили на носилки, затянутые защитного цвета полотном, наверняка было не больше двадцати одного. Танк сорвался с края оврага, перевернулся раза три (расстояния от края до дна для трех оборотов хватало) и лег на спину. Танк поддели багром, а в цепи, как в постромки, впрягли другую такую же машину и дали скорость. От натуги железный ломовик крякнул и поставил безжизненно лежащую машину едва ли не на дыбы. Азарт этой необычной операции увлек толпу, стоящую рядом, она взревела, да так, что рев танка на какой-то миг перестал быть слышен.

— Да не мистер ли это Черчилль? — спросил Бекетов, указав на человека, стоящего в стороне от толпы в полнейшем безразличии. Нет, не только очертания фигуры, которую не мог скрыть и просторный дождевик армейского образца, но и трое военных, с почтительной покорностью стоящие за спиной толстого господина в дождевике, наводили на эту мысль.

— Да, это наш премьер-министр… Он примчался сюда, чтобы сделать то, что делает сейчас, — указал Хор на Черчилля, который попросил санитаров, что несли раненого танкиста к пикапчику, остановиться. — Вы полагаете, что он сейчас журит этого парня, лежащего на носилках, за неосмотрительность?

— Возможно, и журит… — заметил Бекетов, осторожный вопрос Хора был не так прост, как мог показаться на первый взгляд.

— Нет, не журит за неосмотрительность, а хвалит за лихость! — не удержал смеха Хор, да такого громкого, что люди, стоящие внизу, подняли головы. — Осмотрительных у нас много, а лихих нет!.. На Британских островах дефицит лихости, а она там будет нам нужна…

— Где «там»? В Европе?

— В Европе.

Заговорили скорострельные пушки танкистов. Из тумана, который заметно затянул край поля, скрыв островок леса, до сих пор видимый, донесся их голос — танки уперлись в оборонительную зону, начался штурм.

Хор и Бекетов вернулись в машину, вездеход тронулся. Только сейчас Бекетов понял, как велико поле боя — с тех пор, как они покинули холм, прошло часа полтора, а гром битвы все еще был где-то слева, из чего следовало: бой проходил на равнине, которая простиралась на десятки километров.

— Не осуждайте меня, пожалуйста, — сказал Хор и охватил свой тощий живот руками. — Я голоден, как волк, который вознамерился пересечь степь, не рассчитав своих сил. Который час на ваших?

— Четверть четвертого.

— Благодарю, за четверть часа мы не успеем. В путь, в путь!

Как ни темпераментен Хор, он был точен в своих расчетах, его день разграфлен на координаты. Но что у него предусмотрено на три тридцать?

— В три тридцать встреча с командующим? — спросил Сергей Петрович, он полагал, что встречи с командующим ему в этот день не избежать.

— Нет, всего лишь разбор первых трех часов операции…

11

Но очередной привал они сделали в липовой роще, стоящей на берегу реки, с дождем заметно разлившейся. Кирпичное здание училища, видимо закрытого по случаю маневров, было занято штабом. Они появились там, когда часы показывали без десяти четыре, — значит, разбор начался минут за двадцать до этого. Хор так уверенно проследовал по лабиринту коридоров, что у Сергея Петровича создалось впечатление, что его спутник тут бывал. Возможно, он действительно бывал здесь, а возможно, голод так обострил чутье его спутника, его способность ориентироваться.

Они вошли в комнату, которая по обилию портретов английских флотоводцев могла бы являться классом истории флота. Но мысли эти пришли Бекетову на ум позже, а когда он увидел над собой в коричневых багетах покатый лоб Нельсона и разделенный на два яблочка подбородок морского министра Александера, его пленила тишина. В комнате было сумеречно (небо вновь стало грозовым), и в тишине, прерываемой сухим покашливанием, звучал голос человека, стоящего у карты. Шел разбор операции.

Лица того, кто говорил, Бекетов не рассмотрел, но была видна его спина, она казалась худой и, точно турецкая сабля, изогнутой.

— Очевидно, задача заключается в том, чтобы всех, кто обороняет линию укреплений, вовлечь в бой и прикрепить к амбразуре… Как у ткацкого станка: отойдешь, и оборвется нить! — Он умолк и протянул руку к фаянсовому кувшину с водой. В этой полутьме только кувшин светился. Полковник был доволен тем, что обратился к сравнению с ткацким станком. — Таким образом, пришла пора для удара с флангов… Нет, не одновременно, а вначале слева — туда должны быть брошены противной стороной резервы, если они имеются, а потом справа… Именно в таком порядке, вначале слева… Можно свет?

Видно, до этого он вел свой рассказ, не обращаясь к карте. Тотчас упали на окнах шторы, и вслед за этим зажглось электричество под матово-синими тарелками абажуров. Бекетов обратил было взгляд на человека у карты с намерением решить чисто психологическую задачу: верное ли представление о его лице давала спина? Но в это время взгляд Сергея Петровича соскользнул со спины полковника, и Бекетов увидел Черчилля.

Английскому премьеру было хорошо в полутьме, в которой только что пребывала аудитория, он даже не удержал усталые

веки и сомкнул их в дреме, сладкой… Правда, полковник изрекал свои истины над самой головой премьера, изрекал, а возможно, даже стучал указкой об пол, но и с этим Черчилль готов был примириться — спал же он, и не однажды, на спине идущего доброй рысью скакуна. Все неудобство заключалось в том, что свет зажгли внезапно. Если уж зажигать, то хотя бы предупредили, и он успел бы придать своему лицу соответствующее выражение и, пожалуй, чуть-чуть растереть щеки: он знал, последнее время при дремоте его щеки заливала белизна, — видно, знак возраста… Впрочем, присутствующим в этом зале должно быть ясно: не были бы эти маневры неким подобием битвы на континенте и не находились бы здесь русские, Черчилля сюда не заманить. Так или иначе, а свет был зажжен, и, подняв глаза, Черчилль увидел над собой полковника, и легкое изумление отобразилось на лице английского премьера. Ему определенно показалось, что речь держал кто-то другой. Но полковник ткнул указкой в карту, ткнул с перепугу энергично, оставив легкую вмятину на бумаге, и внимание Черчилля привлекла карта… И вот диво, будто бы он увидел женщину или выпил рюмку хорошего коньяку — он заулыбался, лицо его обрело прежние краски.

— Погодите, полковник, — произнес он так, будто бы и не спал. Конечно же ему надо было доказать, что он не спал. — Вот вы говорите: удар слева, а потом справа. Но ведь иногда надо наносить удары одновременно, а?

Полковник опешил.

— В данном случае важно оттянуть войска с территории, которую мы избрали для главного удара, господин премьер-министр, — произнес полковник, заметно нервничая. В словах была убежденность, в тоне она отсутствовала начисто.

— По-моему, вы не правы, — заметил Черчилль и оглядел присутствующих, ища сочувствия. Из опыта он знал, что авторитета его достаточно, чтобы аудиторию расколоть надвое, расколоть, если даже он не прав. — Эти ваши попеременные удары дадут возможность противнику собраться с силами, а, согласитесь, мы в этом не заинтересованы…

— Он не успеет собраться с силами, господин премьер-министр… — возразил полковник. Он-то, полковник, кажется, оправился от первой контузии.

— Почему? — вопросил Черчилль.

— Главное — снять войска с правого фланга и тут же нанести удар, — нашелся полковник. Он взглянул на аудиторию с той же пристальностью, с какой это сделал премьер, и мигом оценил обстановку: далеко не все переметнулись на сторону Черчилля.

— Но посудите сами. Если вы всего лишь сняли войска, значит, вы не обнажили фронт, — заметил Черчилль и, с силой опершись на подлокотники кресла, встал и подошел к карте. — К тому же нельзя допустить, чтобы правый фланг был совершенно обнажен, — положил он ладонь на карту. — Там наверняка останутся войска, чтобы задержать противника… На час, на два, но задержать. Согласитесь, этих двух часов достаточно, чтобы войска, выступившие на поддержку левого фланга, вернулись… Кстати, сколько там войск? — спросил он неожиданно, ему надо было переломить ход поединка, а следовательно, начать задавать вопросы.

— Все известно: две стрелковые дивизии и мотобригада.

— Понятно, а сколько времени они находятся в пути? — продолжал спрашивать Черчилль, у него уже был план заключительной реплики, которая сразит полковника наповал. Ну, разумеется, полковнику следовало отступать раньше, не накаляя спора, этакого медведя и рогатиной не свалить.

— Часа два, впрочем, возможно, и… три, — заметил полковник. Если бы он не заменил два часа на три, он, пожалуй, вышел бы из положения, но, сделав это, он сделал явным свое смятение, да и в самой поправке не было смысла.

— А не находите ли вы, что в нынешней войне потеря трех часов равна судьбе операции, больше того, страны… — тут же реагировал Черчилль и не отказал себе в удовольствии вновь взглянуть на аудиторию. У полковника еще были сторонники, но они выглядели храбрыми одиночками. — Знаете ли вы, что судьба Бельгии была решена за тридцать пять минут?

Пробежал смешок, нервный.

— Будь у Бельгии размеры Британии, как раз трех часов и хватило бы, — заметил премьер и вновь взглянул на аудиторию. Храбрые одиночки пали ниц, все пали, но не полковник.

— Я, наверно, защищался не лучшим образом, — произнес он и провел худыми пальцами по щеке. — Но пусть позволено мне будет сказать, что прав я, а не вы…

И тут произошло нечто непредвиденное — Черчилль разверз объятия и шагнул к полковнику.

— Благодарю за стойкость, полковник… Вы могли защищаться и лучше, но вы были правы, — признал Черчилль и не очень охотно выпустил полковника из объятий.

Смех пробежал по рядам. Конечно, у премьер-министра были и большие победы, но он мог быть доволен и этой.

— Марш, марш!.. — произнес он, подняв толстую руку. — Мы выступаем!..

Офицеры хлынули к выходу. Черчилль, казалось, задержался,

чтобы дождаться, когда к столу подойдут русские — они сидели у окна. Слово, которое он приберег для них, могло быть полно и веселой солдатской бравады — русский полковник махнул рукой и, смеясь, закрыл лицо руками. Черчилль пошел к выходу с видом победителя — одним ударом он сразил и англичан, и русских — и, взглянув на Бекетова (он наверняка увидел его не сейчас), повторил:

— Мы еще будем иметь возможность поговорить о том, что вы сегодня видели, не так ли? — И, не расслышав ответа Сергея Петровича, бросил односложное: — Марш, марш! — видно, эти слова еще были у него на уме.

Новый привал предстояло сделать часа через три, и Бекетов имел еще время обдумать происшедшее. Так что же происходило? Не случайно Черчилль пригласил русских на это поле между Оксфордом и Стратфордом. В самой причине надо еще разобраться, но, несомненно, она существует. Не исключено, что сами маневры возникли для того, чтобы показать их русским. Однако что призваны были доказать маневры? Англичане на всех парах готовятся к большому десанту, на всех парах… Но при желании от десанта можно отказаться и после этих маневров? Можно, разумеется, но на большие весы истории уже легли и сегодняшние маневры, быть может, даже склонили чашу. Черчилль дал понять Бекетову, что хотел бы говорить с ним. Он сказал Сергею Петровичу: «…о том, что вы сегодня видели…» Разговор будет идти об этом или в связи с этим?

Они наскоро перекусили в походной столовке, которую организовали всесильные интенданты, и, не мешкая (промедление смерти подобно), двинулись дальше, надеясь поспеть к разбору учения. Но Хор тут дал маху: он хотел выгадать два десятка километров и повез Сергея Петровича дорогой, над которой красовалось «Прайвит роуд», что означало «Частная дорога», но уперся в реку, по случаю ливня вспухшую. Пришлось возвращаться на шоссе, драгоценные минуты были потеряны… Правда, что-то можно было наверстать, прибавив скорость, что-то — не все.

Они прибыли в «Уайт трииз», когда Черчилль уже говорил. То, что носило название «Уайт трииз», было кинотеатром, рассчитанным мест на шестьсот. Видно, здание использовалось и для эстрадных выступлений, здесь была сцена.

Наверно, за долгую жизнь почтенный парламентарий выступал и в кинотеатрах. Он, конечно, мог расположиться у кафедры, кстати упрятав за нее свою тучную фигуру, которой люди его комплекции стесняются, но, следуя правилу «к некрасивому привыкают», он вышел на авансцену и даже сделал

попытку продефилировать вдоль нее, дав возможность залу обозреть себя со всех сторон.

— Наши русские друзья мне сказали только что: «До сих пор вы говорили, что на первых порах после высадки у вас не будет численного превосходства, а поэтому положение ваших войск будет особенно трудным. Но то, что мы увидели сегодня, говорит об обратном». — Он умолк на минуту, и его мощный живот, который зал получил возможность рассмотреть в необычном ракурсе, грозно колыхнулся. — Надо отдать должное нашим друзьям, вопрос уместен вполне!.. — Он передохнул и медленно пошел вдоль рампы, при этом все, кто сидел в первых рядах, могли заметить, что он не старается выглядеть стройнее, чем был на самом деле. — Я могу ответить: сегодня состояние наших войск таково, что мы вправе рассчитывать на численное превосходство!

Раздались аплодисменты, зал аплодировал в охотку. Никому в голову не пришло, что выступал министр обороны, которому в аудитории, состоящей из профессиональных военных, аплодировать не принято. Впрочем, если бы такое сомнение явилось, то можно было его и развеять. В конце концов, Черчилль одновременно был первым лордом казначейства и, больше того, премьер-министром, следовательно лицом не столько военным, сколько штатским, а офицеры — не просто офицерами, но еще подданными его величества короля, по этой причине аплодисменты можно понять и простить.

А между тем премьер воздал должное умению и мужеству армии, поблагодарил командиров и, пожелав успехов, возвратился в зал.

Хор уже пригласил Сергея Петровича занять место в машине, когда явился нарочный от Черчилля и сказал, что премьер-министр ожидает Сергея Петровича в Чекерсе завтра в пять тридцать.

Подобно тому как это было прежде, Хор всю дорогу бодрствовал, то и дело останавливая машину и вступая в перебранку с водителями встречных машин.

— Ну, куда ты прешь, пустая голова? — вопрошал Хор растерявшегося водителя. — Покажи мне, неразумный человек, где у тебя правая рука. Нет, ты уверен, что это правая, а не левая? Вот то-то! А куда ты упер свои оглобли, а?.. Нет, ты соображаешь, куда упер?

Хор возвращался в джип и долго не мог успокоиться.

— Только представьте, забыл, где у него правая рука! Если бы я ему не напомнил, наделал бы беды… — А успокоившись, произносил вполголоса, посматривая на своего шофера, которого,

к счастью, отделяло от пассажиров толстое стекло: — Вы, русские, идеализируете нашего премьера. Вы знаете, какое он отдал распоряжение морским властям, которым поручено передать вам итальянские корабли или… английские корабли вместо итальянских? Он предписал этим властям вести себя с русскими сурово, а при случае дать понять, что мы, англичане, не боимся русских… Да, Да, это и есть Черчилль!

Хор глядел на Бекетова, оценивая, какое впечатление это проело на русского. Он, разумеется, ждал, что Бекетов ответит на эту фразу не большим, чем молчание, но ему, Хору, важно было видеть, как будет реагировать Сергей Петрович… Прелюбопытная фигура этот Хор!.. Вот тогда свел Бекетова с тобрукским майором Крейтоном, а сейчас едва ли не инспирировал, встречу с Черчиллем, не забыв обругать премьера… В какой мере это противоречиво, и если действительно противоречиво, то как свести это воедино, имея в виду Хора? Вот она, задача для ума, нелегкая задача, которую без помощи времени Сергею Петровичу, пожалуй, и не решить.

12

Уже миновав ворота Чекерса, Сергей Петрович ощутил запах дыма, характерный, со смолой, — видно, печи разожгли в доме только что, — сосна… Даже странно, всего лишь запах дыма, а разбудил воспоминания. Разом вспомнился Питер и печь с изразцами в казенной учительской квартире Бекетовых — ее растапливали сосновыми щепочками, а потом подбрасывали одно-другое сосновое полено, для жара…

Сергей Петрович вошел под кров чекерсской обители премьера и удостоверился, он не ошибся — топили здесь сосной. Этот запах точно напитал все, что было в доме: и невысокие лепные потолки, и дубовые панели, и ворсистые с четким рисунком ковры, и книжные шкафы, и нестройный ряд фолиантов с неярко мерцающей позолотой, в которых, казалось, дремала, смежив веки, сама знатная британская старина…

Черчилль простыл на маневрах, его познабливало и поламывало, и он, зная себя, второй день полоскал горло шалфеем и пил чай, заваренный на кизиле. Большая керамическая чашка, наполненная кизиловым чаем, стояла перед ним и сейчас. Он поднял руки, поднял, но не протянул, дав понять, что обращается к столь странной форме приветствия, чтобы не заразить гостя. Он предложил Сергею Петровичу сесть подле себя и, указывая на папку с бумагами, произнес:

— Вот совершил восхождение на самый Эверест, и так каждый день! — Он не отрывал глаз от стопы бумаг, которая своей внушительностью, по крайней мере тому, кто ее одолел, могла напомнить Эверест. — Вы думаете, что меня пощадили по случаю моей инфлюэнцы? Ничего подобного! Заставили, как обычно, взбираться по отвесным камням: иди, иди, дружище, да не оборачивайся, а то голова закружится!..

— И пошли? — засмеялся Сергей Петрович.

— У юности одна дорога — выси заоблачные!.. А я, как видите, юн… — Он отпил глоток своего кизила, разомкнул и сомкнул губы. — Вот посудите, решили разорить нашу гвардию! Да, своеобразно растворить ее в массе солдат! Я только что написал Монтгомери: «Да есть ли смысл в этом? Знаете ли вы, генерал, что русские, например, возродили гвардию и формируют ее в масштабах невиданных?.. Не ясно ли вам, что гвардеец воюет за двоих и гвардейский полк требует в два раза меньше воинов?.. Э-э, эспри де кор, сословный дух всегда делал чудеса!» Если ты вдруг выявил такой промах, прямой смысл лезть на Эверест, хочешь не хочешь, а возьмешь его! — Он посмотрел на Бекетова

прищурившись. Из-под бровей, дремучих, едва не затенивших глазные впадины, смотрело само черчиллевское лукавство — ему надо затравить беседу, а для затравки нет лучшего средства, чем похвала, правда, похвала самая элементарная, но кто тут разбирается в нюансах, главное — приведена в действие похвала. — Вижу, что пример с гвардией не произвел на вас впечатления. Вы, дипломаты, глубоко штатские люди, и это вам чуждо, не так ли? Для вас если и есть в природе пуп земли, то он где-то рядом с дипломатией… Нет, не Монтгомери — Иден!.. — он указал взглядом на папку, но и в этот раз ее не потревожил. — Иден прислал бумагу с предложением переместить двух послов! Не расточительность ли это? Я не хочу искать иного слова — расточительность! Посудите только, снимать в военное время человека с поста, где он приобрел влияние и навыки, именно влияние и навыки, и посылать его в страну, где он должен все начинать сначала, да целесообразно ли это? Я дал согласие на перемещение Ноэля Чарльза из Бразилии в Италию, но разве я думал, что это вызовет перетасовку послов! Разумеется, посол — не монарх, нельзя его приучать к мысли, что он незаменим и несменяем, новая кровь дает силы. Но и это правило надо понимать верно. Посол должен оставаться на своем посту по крайней мере шесть лет. Я сказал — по крайней мере. Но, как свидетельствует наш опыт, все крупные послы оставались на своих постах дольше. Француз Де Стель, которого я помню смолоду, был в своем роде синонимом незаменимости; португалец Севераль оставался на своем посту лет пятнадцать, а возможно, и больше. Да что португалец? Ваш Михайлов находился во главе русского посольства в Лондоне десять лет…

Бекетов слушал Черчилля и думал: а как он соединит имена бразильского и португальского послов с Россией? Казалось, поди, как далеко Бразилия и Португалия, а соединил. Нет ничего неожиданного, все предусмотрено. Начиная этот монолог, он знал, что в дальнем конце его должно быть упомянуто имя, которое можно отождествить с Россией, при этом упомянуто под знаком добрым. В данном случае именно этот знак нужен Черчиллю, иначе разговор с Сергеем Петровичем теряет смысл…

— Мистер Бекетов, я хотел бы поговорить с Тарасовым, но он в отъезде. Вы слыхали про эту каирскую телеграмму, которую напечатала русская пресса?.. — Кажется, он закончил строительство предмостных укреплений и приступил к штурму. — Нет, меня интересует, что вы скажете об этом после того, что вы увидели вчера!.. Не находите ли вы, что эта телеграмма нуждается опровержении, ибо способна дезинформировать честных русских? — он устремил на Бекетова

глаза, точно пытая его своим пристальным взглядом. — Я не все понимаю, больше того, мне тут надо объяснить… Не скрою, я хотел бы пригласить нашего посла в Москве Арчибальда Керра и, так сказать, проконсультироваться с ним, при этом бы закрыл глаза на то, что посол только что был в Лондоне… Не было бы этого предрассудка, что отзыв посла в известный момент равносилен протесту, я бы сделал это не раздумывая… Как тут быть, просто не знаю!

Вот куда привел этот разговор Черчилль. Значит, все обстоит как нельзя более просто: советская пресса опубликовала телеграмму из Каира и Черчилль, расценив это как оскорбление британского союзника, решил проучить русских и отозвать из Москвы своего посла. И это за три месяца до большого десанта, если он, разумеется, будет…

— Да так ли важна для вас встреча с послом? — спросил Бекетов, смеясь. Отродясь Бекетову не было свойственно лукавство, но тут вдруг в его смехе появилась лукавинка. — После Тегерана?.. Да что произошло чрезвычайного, господин премьер-министр?

— Не произошло, но может произойти. — Черчилль встал и указал на дверь рядом, откуда был слышен звон серебра — накрывали на стол. — Если у нас есть какое-то достояние, достояние бесценное, то это доверие друг к другу…

Комната, в которую Черчилль ввел Сергея Петровича, очевидно, была столовой в апартаментах премьера. Большой обеденный стол, обычно сервированный на восемь — десять персон, был придвинут к камину, в котором догорали угли, уже затянутые первой пленкой пепла.

— По-моему, это целебнее кизила… — усмехнулся хозяин и с радостной, но чуть-чуть неопрятной хлопотливостью пьющего человека наполнил рюмки, Бекетова и свою. — За все доброе! — поднял он рюмку, но, поднеся ее ко рту, задержал, ожидая не без некоторого раздражения, когда Бекетов запасется салатом и домашней колбасой. — За все доброе! — повторил он и, опрокинув рюмку, мотнул головой и подмигнул весело-фамильярно, как это тоже делают люди пьющие. — Только невежды полагают, что первый монарх, которого обрело человечество, был самозванцем и всего лишь узурпировал власть! Монархи явились, чтобы обуздать низменные страсти человека!.. Мы соединили волю монарха с разумной силой парламента и помогли человечеству сделать шаг вперед, может быть важный… Я, старый человек, могу говорить не только о судьбе стран, а может быть, империй, но и общественных формаций. Поэтому да позволено мне будет сказать то, что я сейчас скажу: сегодня для

вас Британская империя синоним регресса, но придет время и вы будете говорить о ней, как говорите сейчас о прогрессивной роли первых христиан… Ну, разумеется, объединившись, мы можем похоронить и Британскую империю, но есть ли смысл это делать? Быть может, она еще будет полезна людям?.. Ну, например, собрав в единый узел отсталые земли, не перебросила ли эта империя своеобразные мосты, по которым устремилась в эти земли европейская цивилизация?.. Не явись мы в ту же Африку, она созрела бы на двести лет позже. На ваш взгляд — душители, а на мой — садовники. Половина рода человеческого говорит по-английски. Согласитесь, что раб не воспримет языка своего господина, если не видит в этом господине друга. Вот говорят, Черчилль устремился на спасение Британской империи потому, что он ретроград, а может быть, он это делает потому, что рассмотрел в этой империи качества каких не увидел в остальном мире? Ведь весь фокус в том, какое стеклышко природа поместила в вашем глазу. Скажу вам по секрету, я в своем стеклышке до сих пор не обманывался… — Он затих, ожидая, что ответит на это Бекетов, а пока суд да дело, опорожнил следующую рюмку. — Все можно сделать, была бы уверенность, что вера, которой ты служишь, однажды не отступится от тебя. О, это страшно, когда отступаются… Я знаю.

— Не пришел ли вам на ум, господин премьер, случай с американским дипломатом Вильямом Буллитом? — подал голос Сергей Петрович, ему хотелось умерить патетический тон хозяина. — Ну, этот известный в истории случай: господа Вудро Вильсон и Ллойд Джордж послали господина Буллита в Москву с просьбой установить контакт с правительством революционной России, а когда американский дипломат вернулся из Москвы, отказали ему в аудиенции?..

— Насколько мне память не изменяет, Буллит протестовал, подав в отставку?

— Да, в его положении это была единственная возможность сказать, что его… покинули.

Черчилль смолчал, только беззвучно шевелились его губы, шевелились усиленно, так что пришли в движение мускулы лица; казалось, он думал такое, чего не мог сказать вслух, была приведена в действие энергия мысли… Ну, разумеется, ему многое хотелось сказать и нельзя было сказать. Черчилль не без сожаления взглянул на бекетовскую рюмку с вином, к которой Сергей Петрович не прикоснулся, потом остановил взгляд на своей и испил досуха. Он это сделал азартно и расчетливо, стремясь явно к тому, чтобы текучее пламя, которое он влил в себя, и пепла не оставило от этих его тайных мыслей.

— Вот вы говорите, отступничество… — произнес он, предварительно пошевелив губами и точно повторив эту фразу про себя. — Но в истории бывает и так: отступается не только вождь от народа, но и народ от своего вождя… — произнес он и, видно, сам испугался того, что произнес, текучее пламя сожгло не все его тайные мысли.

— Но отступничество ли это, в обычном смысле слова? — возразил Сергей Петрович, ему было не ясно еще, чего ради Черчилль заговорил об этом. — Выходит, ротный шагает в ногу, а рота нет?

Черчилль молчал, у него даже пропала охота пить.

— Допустите такой вариант: в годину смертельной опасности народ призвал вождя и сказал ему: «Веди». Можете допустить?

— Да, конечно, может быть и так.

— Тогда сделайте и такое допущение: вождь помог народу совладать с бедой, а народ, благодарный вождю за все, что тот сделал — отверг вождя, — произнес он едва ли не шепотом. — Какое имя этому дать, как не отступничество, а? Отступничество народа?

Бекетов засмеялся:

— Нет, ротный определенно шагает в ногу!

Бекетову стало весело, но Черчилль не воспринял настроения собеседника, его мысли шли своей чередой, невеселой.

— Нет, нет, вы войдите в положение человека, которого постигло такое; это совсем не смешно… — произнес Черчилль, его лицо, искаженное гримасой тревоги, было все еще обращено к Бекетову.

Да не о себе ли говорил Черчилль, подумал, не мог не подумать Бекетов. И не страшил ли его удел вождя, который, одержав победу, тем не менее был отвергнут массами?.. Нет, ему можно было отказать во всем, но только не в том, что он не знает психологии народа. В конце концов, не будь он знатоком психологии масс, он мог бы и не сидеть в этом кресле… Значит, в перспективе у него не одна, а две битвы: решающая — с извечным недругом Великобритании и не менее решающая — с собственным народом. А может быть, выиграв первую битву, он автоматически выиграет вторую?.. Он так не думает. Даже больше, он в такой мере так не думает, что это его ввергло в состояние тревоги. Даже сегодня в состояние тревоги, хотя до опасного предела далеко.

— Вы мне все-таки не ответили: отступничество… народа? — настаивает он; судя по его настойчивости, он заинтересован в ответе.

— Суть в вожде, мистер Черчилль… — мог только произнести

Сергей Петрович. — В его натуре, полагаю я, — подтвердил Бекетов. — Если его натура не вступила в столкновение с тем, что народ разумеет под светлым словом «победа», смею думать, у народа не будет причин отступаться…

Черчилль встал и, подойдя к камину, наклонился, взял из кучи дров полено повесомее и бросил его в огонь. В том, как он это сделал, подавив стариковское кряхтение, обычно у него шумное, было что-то заученное, а поэтому легкое. Ему приятно было сделать это, демонстрируя легкость. Но смысл этого жеста, как можно было понять, был в ином — собеседник Бекетова хотел паузы. Эта пауза нужна была ему, чтобы по возможности отодвинуть то, что он произнес только что, от того, что он намеревался произнести.

— Так вот… о нашем после в Москве, — заметил он, возвращаясь к столу и усаживаясь. — Если мы его все-таки пригласим в Лондон, не рассматривайте, пожалуйста, этот наш шаг как в своем роде… — он хотел найти подходящую формулу, но оставил это намерение, точно гибкость ума отказала ему в этот раз. — Я хочу сказать, поймите нас правильно.

Эти последние три черчиллевских слова «поймите нас правильно» не покидали Бекетова в течение всего вечера. В них была видимость некоего разъяснения, но они, эти слова, ничего не разъясняли. В них была видимость извинения, но извинение в них напрочь отсутствовало… Единственно, что в них действительно присутствовало: англичане стоят на своем и просят нас понять, что они не могут поступить иначе… Стоят на своем… Позволительно спросить: на чем?.. Они стремятся удержать отношения между нашими странами в таком состоянии, о котором можно сказать: «Англичане недовольны, они замкнулись в обиде, они считают себя оскорбленными». Наверно, эта позиция выгодна Черчиллю, так как дает возможность всегда претендовать на большее, чем он сейчас имеет. К тому же если надо оказать давление на русского союзника, то всегда легче это сделать, учитывая, что и прежде ты был не совсем доволен этим союзником. Все усилия Черчилля направлены на то, чтобы продлить это состояние. Кстати, отзыв посла, если англичане на это решатся, служит этой цели…

13

В конце марта Бардин вызвался поехать с миссией британских парламентариев в Винницу. Когда вылетели, в Москве было морозно, и непотревоженный пласт снега простерся до самого Воронежа. В свете заревого солнца он был точно накатан, сверкая такой первозданной белизной, какой, казалось, не было больше в природе. Иногда самолет становился между солнцем и этим снежным полем, и тогда Бардин видел тень самолета и имел возможность рассмотреть, как хрупка птица, которой он доверил свои драгоценные килограммы. Но после Воронежа снежный пласт будто истончился, глянула земля, иссиня-черная, окутанная сытой мглой, предпосевная. Казалось, этот солнечный дух, что источает земля, добрался и до бардинского поднебесья, и Егор Иванович чует, как силен зов земли, жаждущей сеятеля…

Самолет сделал непредвиденную посадку в Черкассах и прибыл в Винницу, когда солнце уже зашло. Бардин был немало удивлен, когда ему навстречу вышел бородач в солдатской шинели и, назвав его по имени, сказал, что имеет поручение от Якова Ивановича доставить в штаб армии. Все, что передумал Егор Иванович, пока машина шла вдоль затопленных весенней распутицей дорог (именно вдоль, а не по дорогам, ибо дороги были размыты талыми водами и изрыты), спускалась в балки и поднималась, точно отдав себя воле морской стихии, перебиралась вброд через прибывшие по весне реки, — все, что передумал Егор Иванович, сводилось к следующему: чего ради Яков решил доставить его этой ночью в штаб? Егор Иванович, зная брата, был уверен, что дело тут не в том, что Яков, не видевший Егора полтора года, воспылал желанием его увидеть. Не может это сделать Яков, не в его железной натуре такое. Видно, была какая-то иная причина, которая заставила его поступить так, изменив самому себе.

Но Егор Иванович готов был отказаться от этого своего первого предположения, когда Яков, заслышав шум идущей машины, вышел брату навстречу.

— Ну, здравствуй, — протянул он суховатую ладонь. — Здравствуй, как там дома?.. Отец как?

Бардин опешил: вон как, даже отца вспомнил, такого не бывало.

— Здоров отец, — ответствовал он жестко. — Все здоровы… Погоди, но чего ты меня сюда выволок, от дела оторвал? У меня там все-таки парламентарии!..

— Чего выволок? Повидать!..

— О, врешь, грешная душа!.. — засмеялся Егор и ткнул брата кулаком в спину. — Говори, что припас?

— Давай пересядем в мою машину, ее мотор тянет пошибче! — Он двинулся к машине, стоявшей во тьме. — Не могу от тебя утаить… Сам впервые увидел в рассветный час.

Они ехали недолго, но казалось, минула вечность: овражек, открытое поле, извив реки, еще поле, пригорок… Яков велел остановить машину, вышел, долго смотрел на пригорок, точно пытаясь опознать его.

— Видишь, белолистка на пригорке? — указал он в ночь. Действительно, Бардин рассмотрел сейчас деревце на холме, тонкое, с неровным стволом. — Ну, подойди, не бойся… — Яков тронул деревце, тронул его и Бардин, кора была влажной от ночной мглы. — Понял?

— Нет.

— Вот это и есть наша граница — июнь сорок первого пошагал отсюда…

Он сказал «июнь», а Бардин подумал: в каком это веке был тот июнь и какую реку времени надо было перейти, чтобы добраться до этой белолистки?

14

Бардин приехал в Ясенцы и застал там Мирона. Тот прибыл в Ясенцы, обойдя Егора. Быть может, Мирон явился сюда из Ивантеевки, но в Москве-то он был, не мог не быть. Очень похоже, что он хотел обскакать Егора. И обскакал — Ольга оказалась дома, при этом, как того хотел Мирон, одна.

Даже странно, как человек не мог совладать с этой своей печалью. Мирон и прежде не отличался медоточивостью, но такого, кажется, не было и с ним — взглянуть на брата этаким бирюком, сунув ему небрежно, невзначай руку, в которой, как точно установил Бардин, не было и капли тепла, это было и для Мирона внове. А потом Мирона вдруг кинуло к неблизкой стенке, где стояла софа, укрытая цветастым паласом, и уж оттуда он улыбнулся Егору один раз, потом второй. В этой его мерцающей улыбке было некое сознание вины, — казалось бы, не виноват, а просит прощения.

— Ты когда приехал, Мирон?

— В Россию или в Ясенцы?

Ольга усмехнулась, в этой своей усмешке она будто бы была на стороне Мирона, и Егору стало худо.

— В Ясенцы, разумеется… — сказал Бардин, смеясь. Не хотел смеяться, а засмеялся, оборонялся смехом.

— Да уж часа… три, как приехал. Так, Ольга?

— Да, пожалуй.

Значит, часа три. За три часа успеешь все сказать. Все?

Бардин ухватил движение глаз Ольги, когда она вдруг появилась в соседней комнате и, заметно торопясь, прошла на кухню, видно, и у нее была потребность взглянуть на Бардина. Однако какими были в эту минуту ее глаза? В них была безбоязненность. Но вот вопрос: безбоязненность какая? От сознания, что ты храбр, или от сознания, что ты… честен?

— Ты сюда… надолго, Мирон?

— По всей видимости, насовсем.

— Вернулся в институт?

— Нет, почему же?.. — Он помедлил, и это его молчание восприняла и Ольга, было слышно, как смолкли на кухне ее шаги. — На фронт…

— А как же… отец? — вдруг отозвалась Ольга. — Не повидав отца?

Значит, это явилось новостью и для нее. В те три часа, которые Мирон оставался здесь, он ей этого не сказал. Почему не сказал? Не потому ли, что решение о фронте возникло только

что? Как ответ на беседу, которая произошла?

— Ну что ж… мне, пожалуй, пора…

— Погоди, да успел ли ты поесть?

— Успел. Все успел.

Это «все успел» было сказано со значением.

— Ежели можешь, с отцом не разминись.

— Если разминусь, выручи. Скажи, был Мирон…

Вошла Ольга и стала у двери, припав круглым плечом к косяку — в час, когда на бардинский дом низвергалось ненастье, это было ее место. Точно все, что связывало их, рухнуло, вдруг все силы утекли, не было мочи сказать слово.

— Ну, бывайте, братцы, — расковал тишину Мирон и пошел по комнате, поскрипывая сапогами, одергивая без нужды гимнастерку.

— Бывай…

Бардин уловил стук калитки тут же. Егор Иванович обратил глаза на Ольгу, и ее лицо было тревожно бескровным.

— Дай мне воды, да похолодней… Дай, дай…

Она лежала, странно тихая, и все та же тревожная белизна удерживалась на ее лице.

— Пал на душу мне грех — не перебороть…

Он смолчал. По всему, за те три часа, что

Мирон оставался в ясенцевском доме, было сказано все. Что было сказано? Мирон установил, что отныне хозяйкой бардинского дома является Ольга. Знал об этом прежде, догадывался, но сейчас увидел воочию. А коли увидел, то возроптал? Предал анафеме и брата, и Ольгу. Вряд ли, не похоже на Мирона. Скорее, замкнулся в себе или решился на исповедь, такую жестоко воинственную, что подсек и сердце Ольги.

Егор решил, ее надо успокоить молчанием. Он зажег настольную лампу и склонился над книгой, а когда книга была побеждена, Ольга уже спала. Бардин подумал: ну, вот и обошлось, теперь все вернется на свои пути. Но за полночь его разбудил Ольгин стон. Видно, ему нужно было время, чтобы разлепить вежды. Когда он это сделал, ее уже не было рядом. Он нашел ее у окна, она плакала.

— Мне жаль Мирона, он не виноват…

— Ты виновата?

Она внимательно и печально посмотрела на Егора:

— Как ты мог сказать это?

Двумя днями позже в Ясенцы явился Иоанн и сказал, что Мирон улетел куда-то к псковским болотам.

— По мысли Мирона, аэродром для… подскока нашей армады, что летит на Берлин, а по моему разумению, место

гиблое… — заметил Иоанн и напряг больную руку, точно хотел рубануть ею безнадежно. — Немцы толкуют: нет там, в этом месте гиблом нашему брату спасения…

Егор ответствовал немотой, пасмурной немотой.

15

Поздно вечером в отдел явился Хомутов и сказал Егору Ивановичу, что слушал польское радио: наши ведут бои за Люблин.

— Не иначе, поляки объявят завтра состав временного правительства, — заметил Хомутов. Как приметил Бардин, у Хомутова был особый интерес к многотрудным польским проблемам, нельзя сказать, впрочем, что отдельским делам это было противопоказано — Польша и все польское занимали все большее место в наших отношениях с союзниками, а это, как следовало предполагать, было не чуждо бардинскому департаменту.

— Вы говорите обо всем этом с такой уверенностью, будто бы сходили за советом к своему Поборейше, — откликнулся Егор Иванович, не отрываясь от чтения пространного посольского сообщения, только что доставленного диппочтой из Лондона. Поборейша, которого назвал Бардин, был редактором польской газеты в Москве и одним из друзей бардинского заместителя. Хомутов, на взгляд Бардина, не бывал с поляком в деле, но отношения у них сложились так, будто они были крещены огнем.

— А я действительно говорил с этим… своим Поборейшей, — ответствовал Хомутов. Он не преминул оттенить «своим Поборейшей», дав понять Бардину, что не намерен ему спускать даже столь безобидной шутки. — Действительно, Егор Иванович… — повторил Хомутов. Он не часто называл Бардина «Егор Иванович», обходясь анонимными «вы, вас, ваш», а если это и делал, то не без очевидного намерения смягчить очередную резкость; впрочем, надо отдать должное Хомутову, он не очень округлял острые углы своих реплик, не любил округлять.

— Ну, и как он… Поборейша?

— Поборейша сказал: «Черчилль раздвоился в польских делах. Вы, русские, должны понять: раздвоился».

— В каком смысле раздвоился?

— В переписке со Сталиным клянет лондонских поляков, а на самом деле снабжает их оружием и склоняет к действию. — Хомутов вновь подошел к окну и, приоткрыв форточку, выпустил облачко дыма. Курил он много, со страстью, и это, как виделось Бардину, восприняло его лицо, желто-серое. — Кстати, это мнение не только Поборейши…

— А кого еще? — спросил Бардин. Хомутов подвел разговор к новому имени не без умысла, Бардин должен был знать это новое имя.

— Галуа…

Егор Иванович вздохнул.

— Не прост Галуа, но как ему не поверить, если сказанное им правда? Не прост Галуа…

Хомутов подошел к кадке с диковинным цветком, что стоял у батареи. Батарея выпарила влагу, и земля в кадке покрылась коркой, каменно-сизой. Хомутов сунул в сердцах папиросу в кадку, расплющив о твердую корку. Он это сделал с некоей окончательностью, точно хотел сказать: «Не прост, разумеется…»

— Говорят, что в Умань доставили лондонских десантников, которых выловили наши партизаны в приднестровских лесах. Не рассчитали с ветром, вот он и занес их восточнее, чем они хотели бы…

Хомутов упер в Бардина огненные зыркала, того гляди, там, где упал взгляд, пахнет дымом.

— Кстати, Галуа, как он сказал нам вчера, летит в Умань…

Бардин встал. Ничто не могло бы его заставить с такой легкостью сейчас подняться, но фраза о Галуа и Умани вон как взметнула.

— А что, если нам встретиться с Галуа? Хотя бы у меня в Ясенцах? Он, вы, я… втроем?

— И я тоже? — спросил Хомутов. В этой бардинской идее для Хомутова самым необычным было последнее — Егор Иванович приглашает его к себе в Ясенцы.

— Да, конечно… Сумеете организовать?

Хомутов пошел вокруг кадки с ботаническим дивом, ему надо было еще проникнуть в замысел Бардина.

— Попробую.

Он сказал «попробую» и с неодолимым любопытством посмотрел на Бардина, казалось, он увидел в нем сейчас такое, чего не видел прежде.

— Да, я попробую, — произнес Хомутов с несвойственной ему робостью и приблизился к двери, точно торопясь закончить разговор, который был для него так многослоен, что для постижения требовал сил дополнительных.

— Погоди, Хомутов, да не думаешь ли ты, что я приглашаю к себе Галуа, чтобы заодно заманить и тебя?.. Нет, нет, скажи, не осенило ли тебя ненароком этакое?

Хомутов остановился, обратив на Бардина глаза, в которых были и печальное внимание, и недоумение. Нет, непростая история отношений Хомутова и Бардина такого еще не знала.

— Нет, не осенило… — сказал Хомутов.

— И ты не неволишь себя? — спросил Бардин, теперь уже не скрывая улыбки. Этот эпизод с поездкой Галуа и Хомутова в

Ясенцы точно сообщил ему силы, полуночной усталости как не бывало.

— Нет, Егор Иванович…

— Вот и хорошо.

Дверь за Хомутовым закрылась едва слышно, точно он опасался потревожить течение мыслей — он думал, нелегко думал.

16

Галуа шумно приветствовал поездку в Ясенцы — среди нещедрых радостей, которые дарила ему военная пора, ничто не могло сравниться с перспективой посещения русского дома, тем более бардинского. Впрочем, Галуа был не столь бескорыстен, когда речь шла о встрече с Бардиным, тут у него были свои резоны, по-своему веские.

Бардин сказал о визите Галуа Ольге и поверг ее в смятение: ну, естественно, Галуа однажды был в этом доме, но это же было вроде мальчишника, а с мальчишника взятки гладки. Теперь иное — в доме хозяйка.

— Ольга, не робей! — возгласил Бардин, он был не склонен расстраиваться по пустякам. — Время военное, до разносолов ли нам сейчас?.. Воспользуйся тем, что за окном мороз, и приготовь пельмени. Бутылка водки и полсотни пельменей на брата… Что еще надо? Да не забудь приправить пельмени чем-нибудь экзотическим… ну, например, соусом на красном перце, жареном луке, томате… Впрочем, соус можешь подать отдельно. Итак, пельмени; мясо я тебе добуду, а муку наскребешь… по сусекам. Я так и обозначу: Галуа едет в подмосковную усадьбу Бардина на пельмени.

Ольга посветлела: сказал человек слово и точно камень снял с плеч. Все-таки необыкновенный характер у него: ничто не способно его омрачить. Все подвластно его пухлой длани: протянул и снял недуг, коснулся и прогнал печаль, сказал слово, как сейчас, и глянуло солнышко. Главное даже не в том, что человек способен на такое, главное — убедить себя, что это в его власти, а остальному, в конце концов, не трудно поверить.

— Ну как, Оленька?

— Все сделаю, Егор, как ты сказал, все добуду, все сотворю…

Но что Бардину надо от Галуа? Никто лучше Галуа не знает польской проблемы, как ее воспринимает сегодня Лондон. Нет, не только потому, что Галуа ведомы лондонские повороты стратегии войны, просто польский вопрос стал знаком нынешней политики Черчилля — тут средоточие его разногласий с Россией. Знать мнение осведомленного Галуа — это, по нынешним временам, знать много.

С утра непогодило и подзанесло дороги обильным и сыпучим февральским снегом, но опытный Хомутов выманил Галуа на Кузнецкий на полчаса раньше и выехал в Ясенцы, имея в запасе полных минут двадцать. К урочным двенадцати первые пласты снега были вспаханы, и резервных почти хватило, чтобы

пробиться в Ясенцы. Но Бардина уже объяло беспокойство, и он, облачившись в отцовский полушубок и валенки, выбрался за ограду и дважды взглянул в пролет заснеженной дороги, высматривая наркоминдельскую «эмку».

— А я не признал вас, Егор Иванович, ей-богу, не признал! — произнес Галуа, выбираясь из машины и пригибаясь, точно желая прошибить головой, которая сейчас сделалась странно острой, снежное облако. — Вот они, метаморфозы новой России: думал встретить этакого комильфо в черной паре, а встретил крестьянина в валяных сапогах. Оказывается, второй — тоже дипломат…

Он снял в сенцах жиденький зипунишко, подбитый доходящей канадской или австралийской лисой, и, приплясывая, вошел в комнату, однако тут же как-то затих и остановился — перед ним стояла Ольга.

— Ну, Егор Иванович, а вот этого я от вас не ожидал! — вдруг его немоту точно прорвало. — Утаил от нас Ольгу Васильевну, утаил, утаил!.. Прошлый раз пробыл в этом доме от утренней зари до вечерней, а Ольги Васильевны не видал!.. Где та железная дверь, за которой вы ее держали?..

— Видит небо, ее тогда не было здесь!.. — не на шутку смутился Бардин.

— Небо? Оно для меня не авторитет! Вы Ольгу Васильевну призовите в свидетели…

— Оленька, скажи, пожалуйста…

Ольга отвела с пламенеющей щеки червонный локон, сердито сомкнула толстые губы — в минуту смущения они у нее точно набухали.

— Не было, не было…

— Не убедительно! — воспротивился Галуа, он не хотел отпускать Ольгу. — А кто тогда подготовил наше пиршество?.. Ну, согласитесь, так ведь? — обратился он к Хомутову и немало смутил того. Хомутов стоял в сумеречном углу и с превеликим любопытством рассматривал Ольгу — в этот февральский день, осиянный тускло-оранжевым солнцем и сухим ненастьем, она показалась Хомутову неким дивом.

— Нет, почему же? — вопросил Хомутов и поглубже зарылся в свои сумерки; видно, изумление, вызванное приглашением посетить его ясенцевское обиталище, все еще владело Хомутовым. Как полагал он, эмоциональный Бардин никогда не делал такого, что было бы определено одними эмоциями. В поступке Бардина было, разумеется, доверие к Хомутову, доверие даже несколько демонстративное. Он точно говорил: «Вот ты думаешь, что я предубежден, а я ввожу тебя в святая святых бардинского клана

— в свой дом, при этом не страшусь тебе открыть и такое, что в глазах иных почти предосудительно: Ольгу…»

А Галуа, взглянув на Ольгу, определенно расхотел заниматься делами. Больше того, необъяснимое воодушевление объяло его. Он открыл крышку старого бардинского пианино, и вдруг гимназические вальсы, игранные на знатной Моховой в девятьсот шестнадцатом, переселились под стреху бардинского дома. Он играл неловко, воодушевленно, весь отдавшись настроению минуты. Мотив был неуверен, мелодия сбивчива, но все побеждало настроение — слушать его было приятно.

— Егор Иванович, я же знаю, чего вы заманили меня сюда! Небось вас все еще занимает Черчилль с Иденом и Бивербруком?.. Да неужели я уж так безнадежен, чтобы глядеть на Ольгу Васильевну и говорить о Черчилле? Не хочу, долой! — развоевался он не на шутку. — Долой, долой!..

Бардин подумал: «А что с ним будет после третьей рюмки?» Однако и после третьей, и после четвертой рюмки ничего с Галуа не произошло. Кажется, он пьянел медленнее, чем прежде. Видно, свое сделали пельмени. Круглое блюдо, сотворенное из толстого фаянса, удерживало их гору. Как ни деятельны были за столом трое мужчин, гора не уменьшалась — две сотни пельменей, которые выстудила Ольга минувшей ночью, казалось, не убывали. Хозяева выпили за гостей, гости — за хозяев. Потом столом завладел Галуа. В том, с какой верностью были расставлены акценты в его спичах, одном, потом втором, француз казался трезвым. Первый тост за дом и хозяйку.

— За все ваши доблести, Ольга Васильевна, и, конечно, за красоту — нет победнее прелести русской женщины! — возгласил он с печальной отвагой. Она, эта отвага, видно, была добыта им в лихом житье-бытье.

Второй тост:

— За фронтовое братство Бардиных, за тех, кто там! — Галуа обернулся на окно, теперь застланное снежной заметью, умолк, точно окно отняло у него веселость, которая только что была.

Неизвестно, как долго продлилось бы это молчание, если бы Ольга не произнесла:

— За Якова Ивановича, за Мирона Ивановича, за Сергея Егоровича… — да так, с церемонной обстоятельностью, издревле принятой в русских семьях, она перечислила всех по имени-отчеству. — И за Мирона Ивановича… — повторила она, и Бардин, взглянув на нее, увидел, что эти слова были произнесены ею с горькой страстью, почти укоризной, какой прежде не было. И она заметила, что это стало ясно Егору Ивановичу, заметила и тихо поднялась из-за стола. А наблюдательный Галуа произнес

вдруг:

— Егор Иванович, радуйтесь слезам женщины — они возвращают ей красоту.

У Бардина реплика Галуа не вызвала улыбки. «Она жалеет Мирона или, быть может, не только жалеет?.. — думал Егор Иванович. Ему стоило труда, чтобы не устремиться вслед за нею, хотя он понимал, что не должен делать этого. — Если это слезы, то тайные слезы, он и я не должны их видеть», — думал Бардин.

Но целеустремленный Галуа не давал скучать. Он сказал, что рад тому, что Поборейша свел его с Хомутовым, солдатом и дипломатом, прежде всего солдатом.

— Все козыри, которые союзники обрели в войне, обретены солдатом — дай бог, чтобы мы их сохранили и обратили в дело… — заметил Галуа и поднял бокал за здоровье Хомутова. — Вот вы солдат и должны понять меня: все видят уже зарю победы, видят и те, кто не доживет до нее… Обидно, жестоко — обидно, несправедливо… Не так ли?

Хомутов сомкнул веки, казалось, сомкнул до боли, потом распахнул — внимание Галуа и вопрос Галуа были для него неожиданны.

— Да, несправедливо, но это объективная несправедливость, так сказать; идет война, и никто не знает, когда и где подберет тебя пуля. — Он умолк, но никто не проронил слова. Хомутов, видимо, сказал не все. — И в самом деле, объективная несправедливость — не в наших силах остановить войну. — Он с нескрываемой тоской взглянул на Галуа.

— Но можно подумать, что есть и иная несправедливость? — спросил Галуа, он проник, как можно было понять, в логику диалога и пытался приблизить его развязку.

— Есть.

— И это поддается уточнению?

— Да, разумеется, — ответил Хомутов и пояснил с готовностью: — Я говорю о том случае, когда солдат, сражающийся за правое дело, гибнет от пули, посланной в спину…

Всемогущий Хомутов одним ударом приблизил разговор к той самой черте, с которой сегодня он должен был бы начаться.

— Черчилль говорит: «Мы вступили в войну из-за Польши», — мигом сообразил Галуа, не зря он берег драгоценную трезвость. А фраза его была истинно трезва; он и прежде, обороняясь, обращался к слову лица одиозного — «Черчилль говорит!» — а сам отступал в тень. — Надо понять и Черчилля: британский кабинет и парламент думают так же… С парламентом говорить ему, а не нам!..

Бардин вышел из-за стола и сел на софу, точно эта позиция давала ему возможность лучше рассмотреть француза, а кстати и установить дистанцию — для атаки это было необходимо, а у Бардина Егора Ивановича было намерение атаковать. Вон какую тираду изрек Галуа: «С парламентом говорить ему, а не нам!»

— Тут два вопроса: состав польского правительства и граница… — подал голос Бардин, не вставая с софы, тон его был спокоен. — Вопрос о границе не нами придуман и не нами решался. То, что вошло в историю под именем линии Керзона, учитывало и английское мнение, при этом больше консерваторов, чем всех остальных, — правых консерваторов, чья антисоветская, а возможно, даже антирусская вера стала и у англичан притчей во языцех, — я говорю о лорде Джордже Натаниэле Керзоне.

Галуа обнаружил нетерпение — беседа все больше обращалась к теме, где у Галуа были известные козыри, и не в его характере было скрывать их.

— Ну, этот мотив британской политики известен мне больше, чем вам, — возгласил Галуа почти воодушевленно и, вскочив со своего места, устремился к софе. — Да будет вам ведомо, что лорд Джордж был той самой фигурой, по поводу которой, можно сказать, мнение петербургской Мойки и московского Кузнецкого моста могло быть тождественным! Не согласны, а я вам сейчас это докажу! — Он опустился на угол софы, на которой продолжал сидеть Бардин; он сел, не дожидаясь приглашения Егора Ивановича, но в том, что он решился сделать это, была не столько бесцеремонность или даже известная вольность, недопустимая в подобных обстоятельствах, сколько желание расположить собеседника. — Еще в пору моего золотого детства русские газеты печатали карикатуры на Керзона, которые при Советах перепечатала бы любая газета!.. Нет, я имею в виду не только его антирусские маневры в Индии, Афганистане, Кувейте, которые он, как мог, скрывал, не только!.. — Он даже подпрыгнул — старая бардинская софа под расторопным французом обрела упругость, какая в ней и не подозревалась прежде. — Речь об ином, ну, эта его исповедь в палате лордов в девятьсот седьмом — да этакой русофобии даже палата лордов не слыхала. Скажу больше, то, что известно под именем «ультиматума Керзона» и стало эталоном классической антисоветчины, в тезисах существовало в девятьсот седьмом. Вы поняли мою мысль?

Бардин рассмеялся, да так громко, что его колени пошли ходуном.

— Не хотите ли вы сказать, что антирусское и антисоветское преемственно, Алексей Алексеевич?

Галуа обернулся к Бардину улыбаясь, ему нравилось, когда

его на русский манер звали Алексеем Алексеевичем.

— Именно это я и хотел сказать, — мгновенно отозвался он. — А вы полагаете, что это не так, Егор Иванович?

— Не так, конечно, не всегда так… хотя совпадения, которые могут иметь место, поразительны…

— Как в случае с лордом Керзоном, верно? — тут же реагировал Галуа, и тугие пружины бардинской софы в очередной раз подбросили его почти невесомое тело.

— Да, как в случае с лордом Керзоном, — согласился Бардин без особого энтузиазма; впрочем, он не выразил энтузиазма, чтобы не обнаруживать интереса к тому, о чем сейчас говорил Галуа и что было на самом деле для Егора Ивановича интересно, при этом не только само по себе, но и в связи с тем большим, что возникало в беседе — вопрос о границах. — Позволительно будет спросить, господин Галуа, формула Керзона о границах была не только антисоветской, но и антирусской?

Это бардинское «позволительно будет спросить» не очень соответствовало тону предыдущего разговора с Галуа, но возвращало диалогу с французом деловую, больше того, официально-деловую интонацию, которая сейчас казалась наиболее уместной.

— Именно, — отозвался Галуа. — Я говорю «именно» не голословно. Очевидно, и то, что я скажу, известно вам не хуже, чем мне, но я все-таки это скажу. Есть документ, в какой-то мере хрестоматийный, принятый в Версале. Смысл документа: защита национальных меньшинств, населяющих Польшу. Документ имел в виду украинцев, белорусов, в первую очередь, то есть тех, кто вместе с русскими составляет ядро населения России. Суть документа: Польша осуществляет суверенитет над частью «бывшей Российской империи». Хорошо помню эту формулу: «… над частью бывшей Российской империи». Иначе говоря, право, дарованное Польше Антантой, позволяло ей взять под свое начало исконные украинские и белорусские земли. Собственно, граница, предложенная Керзоном, была предложена во исполнение этого документа и без зазрения совести относила к Польше эти земли. Поэтому, когда мы говорим «линия Керзона», то это линия того самого Керзона, который не любил Россию…

— И любил панскую Польшу? — спросил Хомутов, он будто ждал своей минуты, чтобы задать этот вопрос. Хомутов был внимателен к поединку Бардина со своим иностранным гостем, коли приберег именно этот вопрос.

— Пожалуй, любил панскую Польшу… — согласился Галуа без энтузиазма, он чувствовал, что вопрос Хомутова мог предварить другой вопрос, еще более каверзный.

— Больше… господина Черчилля?

Галуа покинул софу, только что приятно упругая, она вдруг сделалась твердой — софа отказывалась баюкать Галуа.

— Вы хотите сказать, что Черчилль воспринял линию Керзона?.. — вопросил он, когда достиг окна. — Но ведь Черчилль стал русофобом после Октября…

Бардин шумно встал, ему была не под силу строгая линия этого разговора.

— Вот вы и ответили на свой главный вопрос: нелюбовь к революции может великолепно существовать и без нелюбви к России…

Галуа рассмеялся, в нем было сильно чувство юмора, и в жертву ему он мог отдать и позицию в споре.

— Как, например, у Черчилля, не так ли? У Черчилля, а не Керзона?..

— Да, пожалуй… — согласился Бардин. Если он и извлекал какие-то выгоды из этого разговора, то будто бы делал это вынужденно — в его голосе не было воодушевления. — Уйдя, Керзон оставил в Польше Черчилля.

— И тот пребывает в Польше до сих пор, не так ли? — вопросил Галуа. — До сих пор?

— Да, с некоторыми неудобствами, вызванными оккупацией… — сказал Бардин.

— Таким образом, проблема лондонских поляков прямо отождествляется с проблемой Черчилля? — спросил Галуа и осторожно отпил глоток огненной влаги, точно приглашая остальных последовать ему.

— По-моему, каждый из нас волен сделать свой вывод, — произнес Бардин и пошел к столу, как бы отвечая на приглашение Галуа.

— Знаете, господа… — Галуа сказал «господа» с той гордой бравадой, с какой, наверно, говорил некогда у себя на Моховой в кругу взрослеющих гимназистов. — Знаете, господа, вы дипломаты, и у вас язык на замке, а я птаха свободная и волен говорить, что думаю… не так ли? Так вот, я готов говорить, что думаю… — он решительно отодвинул рюмку с водкой. — Логика этого разговора жестока, я бы сказал, неумолимо жестока. Поэтому, быть может, в интересах истины надо… оборвать логическую нить и повести разговор вне связи с тем, что было тут сказано. Именно вне связи, иначе мы забредем бог знает куда!..

— В интересах истины, но вопреки логике? — переспросил Бардин и не мог удержать смеха.

— Вы ухватили мою мысль верно, — согласился Галуа, а Бардин с печальной пристальностью взглянул на француза,

пытаясь проникнуть в непростой смысл его последней реплики. В самом деле, почему вдруг Галуа захотелось обломать логический стержень беседы? Не потому ли, что разговор опасно уперся в Черчилля, грозя нанести ему удар, едва ли не смертельный. Расчет Галуа был по-своему оправдан: истина дорога, можно добыть ее, не обращаясь к Черчиллю.

— Валяйте, пусть будет по-вашему: в интересах истины, но вопреки логике! — согласился Бардин, занимая место за столом и приглашая Хомутова сделать то же. Бардинский коллега, замкнувшись в молчании, точно копил силы — он все еще ждал своей минуты.

— Так вот, если отстраниться от того, что было здесь сказано, — заметил Галуа раздумчиво, — напрочь отстраниться и предать забвению, то уместно задать тот самый вопрос, с которого мы начали сегодня: «А кто же тот злодей, который стреляет в спину?..»

Бардин молча смотрел на рюмку, полную водки, честное слово, не хотелось пить.

— Отвечайте на этот вопрос как умеете, — наконец произнес Егор Иванович. — Вы вольная птаха, у вас вон какой простор…

— Откровенно говоря, я способен только повторить вопрос: «Кто злодей?..» — произнес Галуа едва слышно.

Встал Хомутов — вот она, его минута.

— Егор Иванович, вы меня отпускали на неделю в Минск, ну, помните? — обратил он на Бардина хмурые глаза, даже странно, что он начал свою реплику с вопроса к Егору Ивановичу.

— Ну, помню, в Минск… — произнес Бардин, это покорно-участливое, ласковое «ну, помню» должно было ободрить — в голосе его не было порыва, но не было и большой уверенности, он нуждался в ободрении.

— Егор Иванович знает, на прошлой неделе я летал в Сумы с канадским хлеботорговцем, его предки из здешних мест. Нас принимал кавалерийский генерал, чье соединение формируется в окрестностях города. Он сказал: «Дипломат, хочешь, покажу тебе одного человечка, сразу перестанешь быть идеалистом». Признаться, он показал мне этого человека не столько анфас, сколько в профиль, но и этого было достаточно, чтобы перестать быть идеалистом. Короче, это был аковец-перебежчик, накануне заброшенный в Полесье из Эдинбурга.

А Галуа точно не слышал Хомутова, потянулся к графину с водкой, долил хозяину.

— Был я тут на днях у Керра. Говорит: «Сталин сказал, что польский вопрос окончательно рассорит меня с вашим премьером». А я ему: «Надо уступить, господин Сталин, и не

ссориться». А он: «Уступить… не имею права, мистер Керр».

— Насколько я понимаю, у Керра тут нет своего мнения? — спросил Бардин.

Галуа рассмеялся:

— Странно, но именно поэтому он информирован, очень…

— Там, где нет мнения, необходимо много информации? — настаивал Бардин.

— Иногда бывает так, — произнес Галуа.

Печальная пауза полонила их, даже свет забыли зажечь. Ольга застала их сидящими в полутьме.

— А у меня чай готов, — произнесла она нарочито весело.

— Трудный разговор хорошо запивать чаем… — подал голос Бардин и зажег свет.

17

Керр пригласил Бардина на Софийскую набережную. Повод — приезд в Москву английских моряков, прибывших в Мурманск с очередным конвоем. У посла был свой замысел, дающий ему известные выгоды. Посол точно говорил советским людям: как ни круто повернулись наши отношения в связи с той же Польшей, мы верны своим обязательствам, военные грузы идут в русские порты. Кстати, небольшая деталь: как утверждают моряки, нынешний конвой на своем пути в Россию потопил четыре подводных лодки. Собственно, приезд моряков в Москву, возможно, вызван и этим обстоятельством: пусть русские знают, что стоит британскому флоту каждая такая операция.

Трудно сказать, сколь велика была группа морских офицеров, прибывших из Мурманска, но на посольский завтрак явились трое, при этом держались они так, будто и не подозревали, какую услугу оказали послу, да посол, так могло показаться, не требовал от них большего. Главное, моряки удостоили вниманием посольский дом, остальное само собой разумелось. Даже тостов не было — каждый волен был толковать происходящее так широко, как позволяло его представление о происходящем.

Бардин не сводил глаз с Керра, какой-то новой гранью открылся в последнее время Егору Ивановичу британский посол. Как заметил Бардин, терпимость в манере кадрового дипломата есть терпимость не столько в характере взглядов, сколько в тактике. Терпимость дарит преимущества немалые — при равных условиях такой дипломат всегда на коне. Это тем более свойственно профессиональной дипломатии англичан: в живом разговорном языке дипломатов нет интонаций, которые соответствовали бы, например, ультиматуму, то есть форме не столь уж редкой существу посольской практики англичан, — так английский дипломатический язык бесстрастен, так он лишен категорических тонов. Казалось бы, элементарную эту истину мог бы усвоить и Керр, чье восхождение к посольскому пику в Москве продолжалось едва ли не полустолетие. Странно, но это качество британской дипломатии было не в натуре посла. По крайней мере, он был более, чем это обычно дозволено послу, категоричен. Дважды Сталин обратил внимание британского премьера на это качество посла, заметив, что политика угроз, к которой обратился премьер, воспринята послом. Когда Галуа говорит о Керре, что осведомленностью он пытается заменить отсутствие собственного мнения, то позволено будет

предположить, что мнение у него есть все-таки, но только мнение Черчилля. Сейчас, когда Егор Иванович смотрел на Керра, казалось, этой неприязнью дышит сам физический облик посла: его лицо, собранное в крупные складки, точно резиновое, его ноги, полусогнутые, которые при быстрой ходьбе он научился, как это делают старики, выбрасывать, его грудь, которую он чуть-чуть вздувал, что было смешно, так как с возрастом грудь ввалилась. Единственно, что не брало время, были глаза Керра, влажно-туманные. Этот влажный туман, полузатенивший глаза, как бы смягчил пристальность взгляда, что было отнюдь не противопоказано послу, если учесть его постоянное желание все видеть. Но посол давал глазам отдохнуть во время еды: стихия аппетита в такой мере завладевала им, что ему было не до наблюдений. По крайней мере, человек, стоящий у посла за спиной, пуще всего боялся, чтобы хозяин дома не встал из-за стола голодным.

Но, кажется, в этот день нечто подобное и произошло.

— Послушайте, господин Бардин, моряки привезли мне в подарок ящик лосося, пальчики оближешь. К итальянскому вину, которое наши летчики доставили мне прошлый раз, северный лосось хорош необыкновенно…

Предприимчивый хозяин посольского дома явно хотел прихлопнуть двух зайцев с одного замаха: победить волчий аппетит и сказать Бардину то, что хотел ему сказать.

Керр не без умысла продлил церемонию прощания с морскими офицерами, которые прямо с Софийской набережной направлялись на аэродром, дав возможность посольской прислуге накрыть в гостиной стол, в той самой гостиной с камином и ольховой, в разводах мебелью, которую Бардин помнил по своим прежним встречам в английском доме. Керр точно рассчитал эти минуты: когда он привел Егора Ивановича в гостиную, лосось с итальянским белым вином были на столе, а из камина попахивало аппетитным дымком.

— Не люблю тостов за большим столом, есть в этом некая обязательность, — произнес Керр, разливая вино и любуясь тем, как оно вскипало в бокале. — За то, чтобы самые высокие горы остались позади, самые высокие…

Лосось, что лежал перед ними, точно ждал, когда его коснется опытная рука посла, он распался, позволив легко отделить костный стерженек от бело-розового мяса. Посол взял серебряную лопаточку и перенес бело-розовую мякоть на тарелку Бардина, да и себя не обделил. Он ждал этой вожделенной минуты, серебряная лопаточка в его руках подпрыгивала.

— Да, да, пусть эти горы будут у нас уже за спиной… —

повторил посол, побеждая лосося. У него не оставалось сил, чтобы придумать нечто самостоятельное, и он был способен лишь на повторение. — Господин Бардин… — вдруг вопросил он, когда лосось, только что лежавший у него на тарелке, едва ли не испарился.

— Да, господин посол…

Нет, в этом жесте не было ничего заученного, но некоторая бойкость, не очень свойственная послу и его возрасту, несомненно, была: Керр сунул длинные пальцы во внутренний карман пиджака и, защемив между средним и безымянным вчетверо сложенный квадратик бумаги, извлек его.

— Мне хотелось показать вам этот документ, он будет вам интересен.

Лист бледно-желтой бумаги с вафельными вмятинами, приятно хрустящей, истинно посольской, был наполовину заполнен машинописным текстом. То ли потому, что текст был приготовлен для передачи Бардину, то ли потому, что он уже побывал в деле, он был переведен на русский. Текст не обладал ни названием, ни подписью, но показался Бардину столь красноречивым, что, видимо, не было необходимости ни в первом, ни во втором. Перед Бардиным лежал приказ лондонских поляков своим подпольным силам. Приказ гласил, что по вступлении русской армии в любой район Польши подпольное движение обязано заявить о себе и удовлетворять требованиям советских командиров, даже если польско-советские отношения не будут восстановлены. Местный польский военный командир в сопровождении местного гражданского представителя, гласил документ, должен встретить командира вступающих советских войск и заявить ему, что, согласно указаниям польского правительства, которому они остаются верны, они готовы координировать свои действия с советским командованием в борьбе против общего врага…

— Кстати, этот приказ уже отдан… он действует, — произнес посол, обратив на Бардина свои влажно-туманные глаза. — Как?..

Бардин не торопился с ответом — документ был хорош до неправдоподобия.

— Ну что ж, приказ мне нравится, если за ним не последует второй приказ, отменяющий первый… — заметил Бардин. А с какой стати посол решил показать Бардину эту бумажку в вафельных вмятинах и почему этот разговор у камина прямо продолжал диалог в ясенцевском доме Егора Ивановича? Разумеется, испокон веков совпадения были причиной мнительности, издревле они наводили на ложный след, но и отмалчиваться было бы неверно; в конце концов, фраза, которую

мог адресовать Галуа послу, возможно, и не преследовала специальной цели. В той полусерьезной-полушутливой манере, которая свойственна его речи, француз заметил, мог заметить, что русские обеспокоены действиями аковцев и не преминут принять меры ответные. Достаточно ли такой фразы, чтобы посол обратился к бумажке в вафельных вмятинах? Пожалуй, достаточно.

А посол подошел к окну и отвел руку, как при игре в регби; металлическое колечко взвизгнуло и, увлекая за собой серебристую ткань шторы, понеслось по туго натянутой проволоке. Глянула река в ломких льдинах и глыбах темного, напитанного талой водой снега, сизая река, какой она бывает только в начале марта.

— Не угодно ли выйти на берег?.. — вдруг обернулся Керр к Бардину. — Нет ничего отраднее, как пошагать вдоль реки навстречу ветру. Темза?.. Может быть, и Темза, русская… Как вы?

Когда они покидали столик у камина, посол обратил взгляд на квадратик кремовой бумаги, лежащий на столе, точно приглашая Егора Ивановича его взять, однако Бардин не воспользовался приглашением. Бумага так и осталась лежать на столе.

На берегу ветра не было, и туман все больше застилал реку, заволакивая сизо-синюю, почти черную в этот предвечерний час воду, крошево льда, островки снега, укрепившиеся на плавучих льдинах. Казалось, что река дымилась и теперь уже не сизо-синее облако, а дымы, текучие и тяжелые, обвивают русло, подпирая берега, подпирая и точно поднимая их, при этом каменный вал кремлевской стены точно размылся и исчез, а сам кремлевский город возник высоко, на пределе ультрамариновой синевы неба, что вдруг прорывалась в пластах тумана.

— То, что мне хотелось вам сказать, господин Бардин, было достоянием недавней переписки моего премьера и вам, смею думать, известно. — Он должен был поднять глаза — Кремль был над ним. — Поэтому, излагая факты, я вам, наверно, не сообщу ничего нового: Смысл моего обращения в ином… Скажу больше, мне не безразлично, что думают русские обо мне и моей позиции, тем более что мне доподлинно известно, что моя позиция, так сказать, осуждается…

— Да так ли это, господин посол? — вопросил Егор Иванович — простая лояльность обязывала Бардина к этому вопросу.

— Так, господин Бардин, так… — произнес Керр, опустив глаза. — Я изложу вам факты, одни факты, а потом скажу о моем отношении к ним. Мне об этом тем более легко говорить, что ко всем документам, на которые я сошлюсь, я имел прямое

отношение, настолько прямое, что мог высказать свое мнение… Простите мне и некоторую хронологичность, примитивную хронологичность — мне так легче держать в памяти даты и события, — он обратил глаза на Кремль, словно приглашая его в свидетели. «Свидетельствую правду, — будто говорил он, — чистую правду, вот и Кремль не даст соврать…» — Итак, разрешите?..

По словам Керра, в середине февраля Черчилль с Иденом пригласили к себе лондонских поляков и беседовали с ними по всему кругу проблем. На взгляд польских лондонцев, они готовы обсудить вопрос о новой границе с Россией, но вместе с новыми границами Польши на севере и западе. Как полагают польские лондонцы, в связи с тем, что соответствующие компенсации на севере и западе сейчас по понятным причинам не могут быть обнародованы, то и вопрос о границе с Россией должен быть отнесен к тому времени, когда державы-победительницы соберутся за большим столом переговоров. А пока польские власти в Лондоне хотели бы решить вопрос об их возвращении в Польшу. Задача эта тем более неотложна, что есть необходимость в создании органов гражданской администрации. Если такие органы будут созданы, то собеседники британского премьера хотели бы, чтобы им, этим органам, были подчинены Львов и Вильно. Беседа англичан с поляками не обошла и вопроса о составе нового польского правительства. Собеседники Черчилля особо подчеркнули, что тут напрочь должно быть исключено иностранное вмешательство, но они готовы заверить союзников, что такое правительство будет состоять только из лиц, готовых сотрудничать с Советским Союзом. Предметом беседы явилась и судьба Восточной Пруссии. Сообщение британского премьера о том, что будущая граница в Восточной Пруссии, по мысли советского правительства, должна быть обозначена так, чтобы Кенигсберг отошел к России, явилось ударом для собеседников Черчилля. Поляки пытались оспорить это мнение и после того, как Черчилль пересмотрел эту проблему в исторической перспективе, объединив войны, первую и вторую, в одно целое и напомнив, что земля этой части Восточной Пруссии щедро обагрена русской кровью. Кстати, британский премьер припомнил, что победа русских под Гумбинненом вынудила тогда немцев снять два армейских корпуса на западном фронте и, в сущности, способствовала победе на Марне.

Керру стоило немалых сил воссоздать пространную телеграмму своего премьера. Нельзя сказать, что он изложил телеграмму, отстранившись от существа того, о чем шла речь, но каждый раз, когда у него являлся соблазн вмешаться в

содержание телеграммы, он заметно проявлял осторожность, понимая, что это может повредить ему на последующих стадиях диалога с Бардиным.

— Русский премьер отозвался на телеграмму так резко, как он мог, — произнес Керр и вновь обратил глаза на Кремль, теперь заметно кроткие — посол не мог отстраниться от того ощущения, что человек, о котором он говорил, был за рекой. — Он заявил, имея в виду собеседников моего премьера, что такие люди не в состоянии установить нормальные отношения с СССР. Они не только не хотят признать линию Керзона, но еще претендуют на Львов и Вильно…

Посол повторил, что желание быть точным обязывает его держаться хронологии. В соответствии с нехитрой этой истиной он отметил, что британский премьер, отвечая русским, счел возможным заявить, что британское правительство поддержит занятие линии Керзона русскими войсками де-факто. Вместе с тем британский премьер выразил надежду, что русские не закроют дверь, как он сказал, для рабочего соглашения с поляками. Если же все-таки русские не захотят иметь дело с польским правительством в Лондоне, то он, британский премьер, будет огорчен, а военный кабинет присоединится к этому огорчению. В телеграмме, которую прислал британский премьер через две недели, было сказано, что глава правительства готовится выступить по польскому вопросу перед палатой общин, при этом текст заявления включает формулу, которая гласит: мы не можем признавать никаких передач территории, произведенных силой. Ответная телеграмма русского премьера оценила позицию англичан как отступление от Тегерана.

— Если вы полагаете, что в своем рассказе я переложил красок, разрешаю обратиться к документам, в них истина, — произнес посол и, расстегнув верхние пуговицы пальто, поглубже заправил за его борта шерстяной шарф, а потом тщательно застегнул каждую пуговицу: видно, с близостью вечера посла знобило. — Что беспокоит меня и в чем смысл моего к вам обращения? Каждый раз, когда я вручал очередную телеграмму моего премьера, у меня, разумеется, была возможность сопроводить ее несколькими словами, но этих слов было недостаточно. Хотя каждая телеграмма, при этом и те, где строки были накалены добела, заканчивалась заверением в дружбе и верности, боюсь, что наш союз сегодня подвергается испытаниям значительным, как союз и отношения между главами наших правительств, что тоже очень серьезно… Заканчивая одну из бесед, ваш премьер не скрыл своей озабоченности по поводу того, что польский вопрос, как он выразился, может создать разлад

между ним и моим премьером. Заметьте, он так и сказал: разлад… Ну вот, теперь настало время сказать вам то, что я хотел сказать, — его взгляд точно следовал за кремлевской стеной, которая очерчивалась по ту сторону реки. Так же, как это было час назад, когда они вышли к реке, вскипали и текли дымы. Они слоились, немо набухали и стлались над водой, густея, будто отвердевая. Их сизая плазма тревожно багровела, сообщая городу свои краски и сама принимая его цвета и блики. И оттого, что краски смешались, казалось, что город на холме отлился из этой вечерней сини — и звонкая бронза зари, и лиловатое серебро мартовских льдов, и белизна недавно выпавшего снега. — Что же я хотел сказать? — спросил не столько себя, сколько Бардина посол, не отрывая тревожных глаз от Кремля. — Я немного знаю жизнь, и то, что я скажу, подсказано опытом. Нельзя давать волю страстям. То, что называется бунтом страстей, это пожар, а пожар надо тушить, когда он тушится. Что надо, чтобы огонь погасить? Как мне кажется, два средства. Первое: событие, достаточно крупное. Второе: пауза, да, да, пауза. Нам повезло, событие такое грядет. Если мы даже хотели бы помешать ему, поздно. Оно сильнее нас, это событие, оно будет — я говорю о победе. И — надо все сделать, чтобы наступила пауза в этой дружественной перестрелке. Нет, я не шучу, мы с вами должны все сделать, чтобы высокие стороны не утратили того, что зовется общим языком. Не утратили…

— Вы полагаете, что такая опасность существует? — спросил Егор Иванович — надо было как-то реагировать на заключительную реплику посла.

— Иногда мне кажется, существует, — произнес Керр, он был встревожен не на шутку. — Иногда…

Бардин пошел на Кузнецкий пешком. Шел вдоль Александровского сада, через Охотный ряд, по Неглинной, думал: иным, совсем иным предстал перед ним сегодня Керр. Куда только девалась его строптивость. Почему так? Да не убоялся ли он, что старый Уинни принял по отношению к русским тон, за которым, как говорят банковские клерки, нет соответствующего обеспечения? А может, в связи с этим Керра объял страх за свою судьбу?

Бардин пришел в отдел в шестом часу и немало был изумлен, застав Хомутова — с утра бардинскому заместителю немоглось, и Егор Иванович отпустил его домой. Бардин хотел отчитать Хомутова за ослушание, однако, увидев, как устал Хомутов и как ему все еще неможется, укоризненно покачал головой, заметив:

— Неслух вы упрямый, однако, что с вами поделаешь…

Хомутов поднял на Бардина воспаленные глаза, качнул

массивной головой, будто говоря: «Ваша правда, истинно неслух».

Если бы Бардин тут же прошел к себе, он, пожалуй, не увидел бы на столе Хомутова аккуратный пакетик, завернутый в газету и крест-накрест перевязанный шпагатом. Секрет того, что Хомутов задержался в отделе, подумал Бардин, в этом пакете. У Хомутова три сына — мал мала меньше, а вечерами дежурным по отделу дают стакан чая с сахаром и пачку печенья. Соблазнительно остаться на вечер и вернуться домой с нехитрым гостинцем. Соблазнительно в такой мере, что любую хворь победишь. Может быть, и бардинскую пачку передать Хомутову, но как это сделать?

— Если хотите знать последние новости с Софийской, заходите ко мне, — произнес Бардин и, не дожидаясь ответа, направился к себе.

Хомутов слушал Бардина, подперев кулаком подбородок, устремив на Егора Ивановича красные глаза. Лицо Хомутова все еще, выражало крайнюю степень усталости, казалось, убери он кулак, и голова завалится.

— Будь на то моя воля, я бы сказал Керру, что я о нем думаю, — произнес наконец Хомутов. — Без обиняков сказал бы да кстати бы спросил, тоже без обиняков, насчет Тарасова… — Он сощурил глаза, и краснота в них, казалось, сгустилась. — Сам-то он небось ничего не сказал о Тарасове?

— Не сказал.

Хомутов вправе был упомянуть имя нашего посла в Лондоне; друзей Тарасова, которых было немало на Кузнецком, с некоторого времени охватила тревога: Черчилль, отдав себя во власть тенденции, сделал попытку дискриминировать нового советского посла, грубо дискриминировать, как это часто бывало с британским премьером и прежде. Сталин обрел единственную в своем роде возможность сделать поступок Черчилля достоянием гласности хотя бы в глазах американского союзника и соответственно проучить старого Уинни. Но Сталин понял, его удар по Черчиллю должен быть силен, но силен не настолько, чтобы тот был повержен. Речь шла, разумеется, не о великодушии или, тем более, о пощаде — действовал расчет, логика расчета.

— Политик не должен быть слишком эмоционален, если он не хочет ставить себя в глупое положение, не так ли? — бросил Хомутов, смеясь.

— Я бы сказал, в невыгодное положение, — подал голос Бардин.

— Вот она, судьба брата дипломата: держи ухо востро, товарищ добрый… — Хомутов вздохнул, он говорил о Тарасове.

Бардин посмотрел на Хомутова сочувственно. Это сострадание к товарищу, казалось бы далекому товарищу,

который был в беде, открыло в Хомутове нечто такое, что в нем до сих пор и не предполагалось.

— Востро, востро… — согласился Егор Иванович и вдруг вспомнил про печенье. Хомутов, понимать надо, это Хомутов. Но, видно, Бардин уже решился, невелико дело, а добро в нем есть. — Я видел этот ваш сверток, который вы припасли для ребят, возьмите и мое…

Хомутов положил на грудь свои крупные ладони, точно защищаясь, этот его жест взывал к жалости и состраданию.

— Егор Иванович, простите, а зачем мне это ваше печенье?

— Как зачем?

— Так просто: зачем оно мне?

Хомутов бежал. Бардин едва ли не сплюнул: так тебе и надо! Он стоял, не в силах совладать с волнением. «Нынче ты не уснешь, Егор, не уснешь».

Он принял за правило объяснять происшедшее, но теперь должен был признаться, что ему нелегко сделать это.

18

Бардин явился в Ясенцы запоздно и застал Ольгу в саду. Ему привиделось недоброе, и он заторопился к дому, но она остановила его.

— Ты не тревожься, все хорошо, — поднесла она руку к его щеке. В ее ладони собрались для него мир и тепло, ничего не было добрее ее рук. — Я вышла навстречу, чтобы посумерничать с тобой, — она указала взглядом на дом, очевидно имея в виду Иоанна — предстоящий разговор следовало скрыть от него. — Право, не знаю, как и начать…

— Как можешь…

Они пришли на край сада, снег сходил, но его островки еще лежали в гущине сада да в ложбинах. Свет, что обнимал землю, будто исходил и от этого снега, его тихого свечения.

— Я говорила весь вечер с отцом, — ее рука все еще была полна тепла, вечер не успел захолодить. — Он сказал, что готов взять под свое начало опытную станцию в Баковке, и зовет меня туда. «Тебе будет хорошо, Ольга, не пожалеешь», — сказал он… — Только теперь она отняла руку. — Вот и все.

Бардин приумолк, тревожно приумолк. Под горой, в низине, рыла берег весенняя вода.

— Что же ты молчишь, Егор? Говори.

— А как же я? — наконец произнес он.

— Ты со мной, как всегда… — тут же ответила она, и ее рука вновь совершила восхождение и приникла к его щеке. — Как может быть иначе, Егорушка?..

Вода под горой была неутомима.

— У меня дети, Оленька, — произнес он. — Им нужен дом, а как дом без хозяйки?

Она повернулась, пошла, видно, она ждала другого ответа.

— Я давно спрашивала себя: почему он не думает, как я, как мне живется-можется?.. — произнесла она, когда они достигли крыльца. — Ведь я же есть, я есть…

Он засмеялся:

— Я чувствую, что ты есть, Оленька… Погоди, да удобно ли там, в Баковке, вам вместе, он-то тебе не чужой? — заговорил он с той неторопливой обстоятельностью, с какой говорил с ней, когда хотел убедить ее. — Как это будет и как на это посмотрят люди: пришел и привел с собой невестку… В какое положение он тебя поставит, наконец?..

Теперь умолкла она; казалось, даже вода под горой остановилась, прислушиваясь.

— Ты полагаешь, что это неловко?

— Уверен.

— А знаешь, я не подумала, прости меня, — произнесла она едва ли не виновато.

Засыпая, он слышал, как она вздыхает, в этом вздохе было и сожаление, и печальное раздумье, и сострадание, и, может быть, укор. Не ему ли?

На заре их разбудил Иоанн, видно, он встал давно и зарекся будить, но взорвался, как всегда, против воли — многотерпение было не его стихией. Впрочем, он не терял времени даром, завтрак был на столе.

— Сколько можно спать, наконец? — взбунтовался Иоанн. — Жду час, жду два… К столу!..

Они явились к столу, и тишина, церемонно робкая, точно вошла за ними следом.

— Небось всю ночь шушукались, а? — спросил Иоанн весело. — Судили да рядили, так?.. Ну, что порешили?

Егор уткнулся в тарелку, а Ольга подняла пугливые глаза:

— Да вот Егор говорит, не пристало, нарушение норм… Свекор да невестка… Что, мол, люди скажут?

Иоанн взревел, да так могуче, точно специально берег этот рык, чтобы явить в это утро:

— А мне чихать, кто и что скажет, понятно?.. — Он поднял здоровую руку, потряс, точно грозя ею всем, кто думает иначе. — Ты-то на свой Кузнецкий ее не возьмешь? Ты клерк, тебе это не с руки, тебя, не дай соврать, это даже скомпрометирует, а мне нипочем… Беру Ольгу в Баковку, и все тут, беру!.. Главное, чтобы я знал, что мне и моему делу это полезно, а на остальное… прости, Ольга, плевать!.. — Он опустил руку на стол, искоса посмотрел на нее, рука дрожала. — Как ты, Ольга? — спросил он, тяжело дыша.

— Я была бы рада, да как Егор, — произнесла она, не поднимая глаз.

— Хорошо, а как Егор?

Бардин исторг вздох, не иначе, отец его обидел, смертельно обидел.

— Не поздновато ли ты меня об этом спросил?

Больная рука Иоанна дернулась.

— Поздновато? Это как же понять — поздновато, а? — Он держал здоровой рукой больную. — Не с того конца я начал, да? Надо было начать разговор с тебя, а я начал с Ольги, так?

Иоанн напрягся и встал, да, поднатужился и взвил свое большое тело, а вслед за этим неловко поволок его из одного конца дома в другой, именно поволок — ноги были непослушны

и не столько ступали, сколько скребли половицы, но это не смущало Иоанна, он стремил свое громоздкое тело из конца в конец комнаты.

— Вы слыхали, а? Нет, нет, вы послушайте, что он говорит… Я, видите, начал разговор не с того, с кого надо! А с кого, позвольте вас спросить, мне надо было начинать? Нет, нет, с кого?.. Я тебе отвечу… Отвечу! Коли я уважаю в ней человека, коли она для меня личность, коли в ней и лицо и достоинство… С нее, только с нее!.. Ты понял меня, с нее — с Ольги! Однако тебя это оскорбляет. Позволительно спросить: кого я в тебе оскорбил?.. Мужа, да? Некоим образом повелителя, да? А может быть, господина? Кого?..

Бардин рассмеялся:

— Ну, ну, завелся… Того гляди, хватит тебя кондрашка, садись…

Но Иоанн и не думал садиться.

— Значит, ты усаживаешь меня, потому что кондрашки убоялся?

Но у Бардина вдруг сделалось хорошо на душе: отец в очередной раз развоевался и это признак добрый — есть еще порох в пороховницах.

— Садись, поговорим спокойно… — Он умолк, дожидаясь, пока Иоанн сядет, самим молчанием посадил Иоанна. — Тебе все-таки надо было со мной поговорить, отец, надо… Согласись, что тут одного твоего мало. У нас ведь дом, а в доме малое дитя…

— Это кто дитя малое, Ирина?

— Да, Ирина! В семнадцать ей присмотр нужен не меньше, чем в семь. Нам сейчас в самый раз собраться, а мы врассыпную. Хорошо?..

— Нет, ты истинно повелитель! — Под Иоанном вновь заскрипел стул, и пошли гулять его хрипы. — Повелитель!.. Сделай милость, спроси себя, да чем она хуже тебя, Ольга? Спроси, пожалуйста, чем?.. А в кого ты ее превратил? Если на то пошло, то я ей передам все, что у меня есть!.. Ты только уразумей: все передам!.. Ты дай ей только срок, да она тебя превзойдет! Ты не смейся, превзойдет с твоими нехитрыми нотами, дневниками и памятными записками… Может быть, у нее тут счастье, а ты ее держишь за полы… Нет, нет, сделай милость, да имеешь ли ты право, где честь твоя коммунистическая? Где она?

Бардин пошел из комнаты. Ольгу повлекло вслед. Она шла, припав головой к его плечу, повторяя настойчиво:

— Ты меня любишь, ты меня любишь… Я знаю, любишь…

— Бог с вами и вашей Баковкой, — молвил Бардин.

— Да согласен ли ты, Егор, на Баковку? — спросила Ольга.

— Я сказал, согласен…

Он сказал «согласен», а самому ох как было худо — иная полоса начиналась в его жизни, совсем иная. Он воспринимал Ольгу вместе с домом, который она холила и лелеяла. Вместе с привередливой чистотой и свежестью, которыми дышало его ясенцевское жилище, несмотря на все невзгоды и беды времени. Все эти годы ему казалось, что само сияние скатертей и крахмальных передников, само свечение солнца, заревого и росного, он ощутил лишь теперь, когда хозяйкой его дома стала она. Ему казалось, что дом отразил ее любовь к нему, дом стал частицей этой любви. Ему даже казалось, что в этом была полнота чувства, которое испытала она. Нет, не то что он утверждал себя в этой любви, но ему была приятна мысль, что радость чувства для них взаимна и полна. Он в такой мере уверовал в это, что уже не допускал, что может быть иначе. А вот сегодня он понял: может быть — и это встревожило его, пожалуй, впервые за эти годы. Наверно, все от его жизнелюбия, а если быть точным, от корысти, той потаенной, мужской, которая живет рядом с любовью, подчас даже рыцарственной, но на самом деле есть корысть. Да неужели в нем корысть, в его любви к Оленьке, в любви, которая была так беззаветна и, пожалуй, безгрешна?.. Но не зря же она с такой готовностью отозвалась на слово Иоанна — поманил старый чудодей, она и ринулась стремглав… Значит, все эти годы ей чего-то недоставало, значит, полноты чувства, в которую так верил Бардин, не было?

Чем больше думал Бардин о происшедшем, тем больше он убеждал себя, что иная полоса в его жизни началась сегодня, пугающе неизведанная, сплошь полоненная тьмой, полоса тайная.

19

У Галуа были свои виды на поездку в Умань. Его влекли туда не только польские дела, что само собой разумелось, но и нечто иное. Явившись к Тамбиеву на Кузнецкий, Галуа возгласил:

— Все-таки старик Джерми — неисправимый оптимист! Знаете, что он мне сказал только что? «Месье Галуа, не находите ли вы, что большой десант должен быть высажен на месяц раньше? Но в Умани вы это определите точнее меня; может быть, даже на полтора месяца раньше. Иначе будет поздно. Слыхали, поздно…» — Галуа даже привстал, чтобы видеть глаза Тамбиева. — Что вы на это скажете, Николай Маркович?.. Не чудак ли этот старый хрен Джерми?

Надо отдать должное Галуа, он достаточно целеустремлен: трудно сказать, каким действительно был разговор с Джерми, но, воссоздав этот разговор, француз сообщил ему свой смысл. Джерми не одинок, все инкоры повторяют на разные лады ту же фразу: «Иначе будет поздно». У этих слов один смысл: «Русские могут войти в Европу одни. И освободить ее одни. И занять соответствующие позиции одни. И тогда будет поздно».

— Простите, но, если бы в Умань летели не вы, а Джерми, его интересовало бы именно это? — спросил Тамбиев, дав понять, что не воспринимает веселой бравады Галуа.

На какую-то минуту француз сбит с толку, но только на минуту.

— Конечно, я мог бы отмежеваться от Джерми, но какой смысл? — произносит он, прямо глядя Тамбиеву в глаза. — Не скрою, что и меня немало интересует этот же вопрос, как, впрочем, и мистера Хоупа, который тоже едет в Умань… Не в первую очередь интересует, конечно, этот вопрос, даже отнюдь не в первую очередь…

Галуа слукавил: именно эта проблема и приковала его внимание, при этом, разумеется, больше, чем она могла бы интересовать Джерми, и куда больше, чем Хоупа, — Хоуп тут просто третий лишний.

— Вы заметили? — вдруг оживился Галуа. — Как только русские перестали требовать открытия второго фронта, союзники всполошились. Казалось бы, вот тут и успокоиться, а они в смятении. Не правда ли, любопытно психологически?

Но дело, разумеется, не только в психологии, но и в причинах более ощутимых и, пожалуй, предметных. Да, союзники обеспокоены не на шутку. В поле зрения два факта: способность немцев к сопротивлению и способность русских наступать, как,

впрочем, и темпы наступления. Будь у того же Галуа эти данные, он смог бы обратиться к алгебраическому построению и добыть ответ, какого он сейчас не имеет.

— Ждать осталось недолго, вылетаем в шесть утра, — говорит Тамбиев.

— Как вы полагаете, Николай Маркович, брать мне в Умань этот мой зипунишко? — произносит Галуа, не без стыдливой робости оглядывая свою скромную шубенку. — Зипун доброго слова не стоит, мех-то лисий, а все-таки… Брать? — Галуа отворачивает полу своего зипуна, на этот раз едва-едва — видно, ироническая улыбка Тамбиева не поощряет Галуа к тому, чтобы явить все прелести лисы. — Ах, была не была, возьму!..

Транспортный «Дуглас» доставил их в ту самую Звенигородку, в которой Тамбиев был полтора месяца назад, и, как тогда, их встретил майор Борисов.

— Погодите, да не тот ли вы самый майор Борисов, который?.. — начал было Галуа, однако, приметив, как расплылся в улыбке майор, закончил поспешно: — Но мне о вас говорил мой коллега Баркер!.. Тот, теперь вижу, тот! Да и Николай Маркович, по всему, готов подтвердить, не так ли? Что ни говорите, нам крупно повезло…

Тамбиев полагал, что Галуа прав, хотя дело тут, разумеется, не в везении. Просто многоопытный Конев, оценив результаты корсуньской экспедиции, решил направить Борисова и в Умань. По прежним поездкам Тамбиев знает, Галуа необходим именно такой собеседник, как Борисов: человек, способный к разговору на свободные темы в такой же мере, как и о конкретных фронтовых делах. То, что рядом Хоуп, чье мнение не так часто тождественно мнению Галуа, обещает спор.

Борисов увлекает их на далекий край аэродрома, там расположилась не столь уж грозная армада «У-2», на которых им предстоит продолжить путь.

— Какие новости с фронта? — спрашивает Галуа, обратив лицо к солнцу; он точно впервые ощутил, как оно тут щедро.

— Наши уже за Бугом, сегодня вышли на тот берег! — произносит Борисов и, приподняв козырек фуражки, смахивает ладонью капельки пота со лба — солнце и впрямь печет немилосердно.

— О Буг, Буг! — восклицает Хоуп — название не потребовало перевода, все было ясно.

Хоуп был рад этой поездке, хотя не без опаски поглядывал на здешнее солнце, видно, боялся приступа малярии — март коварен. Болезнь жестоко обошлась с ним — вид был угнетенным, при этом тем более угнетенным, чем щедрее улыбался Хоуп. Да,

Хоуп улыбался, а у людей, что смотрели на него, были печальные лица.

— О Буг, Буг…

Они вылетели в Умань. С воздуха степь обозревалась далеко. Март расстелил лишь первые зеленеющие пласты, снег стаял. Земля, напитанная снеговой влагой, казалась смоляной и темно-коричневой в низинах, бледно-зеленой на холмах. Был тот утренний час, непоздний и заревой, когда в хатах топили печи и извивы ярко-седого дыма стлались над тяжелыми черноземами степи. Где-то дома уцелели, где-то их начисто выкрошило и выпалило немилосердным огнем войны, но там, где еще оставались четыре стены и кровля, курился дымок — жизнь начиналась с очага. Самолет летел над полем корсуньской битвы. Все схоронила земля, все она приняла в свои недра, на поверхности осталось лишь покореженное и сплющенное железо — стада танков и бронетранспортеров да тысячи и тысячи касок, которые, точно наотмашь, кинула щедрой дланью смерть. Статистика корсуньской эпопеи немцев в этих касках — солдат оставляет каску вместе в головой, живые касок не бросают.

Земля уже пустила в ход свои мощные жернова: жернов парного чернозема, жернов зеленеющих полей, могуче грохочущий и текучий жернов степных ливней и ветров. Не успеешь оглянуться, не останется следов войны, все будет перемолото. Будто и не было февральского столпотворения, будто бы многотысячные армии не сшиблись в неистовстве битвы, будто бы дым сражения не застилал неба, будто бы земля не глохла от артиллерийского грома, будто бы тысячи и тысячи людей не кляли бога войны и не молили небо о пощаде. Сейчас степь была нерушимо спокойной, а когда летчик выключал мотор и самолет, планируя, мягко огибал села, тишина овладевала и теми, кто сидел в самолете, и казалось, нет силы могущественнее, чем покой степи, ее бестрепетность, ее неколебимость.

А самолет вышел к степному большаку, нет, не к шоссе, а именно к большаку, грунтовой дороге, некогда гладко накатанной и обращенной железными шинами фур и мажар едва ли не в кремень, а сейчас разбухшей от талых вод и теплых мартовских дождей, разбухшей и раздавшейся многократ вширь, — не дорога, а разлившаяся река в половодье. И, точно настигнутые полой водой, замерли посреди степи многотысячные скопления танков, бронемашин, гаубиц, зениток, автомашин. Пока мороз сковывал степь, вся эта железная мощь твердо катила на крепких колесах, а потом степь расплавилась, обратившись в горячую смолу; расплавилась и впекла в себя тысячи колес. Даже странно, казалось, с наступлением весны невзгоды кончились, а

они неожиданно восстали — на смену белой смерти пришла смерть черная. Но вот вопрос: степная смола вязала и русские гусеницы?

Галуа выбрался из самолета и едва ли не бегом направился к Борисову, который стоял в группе летчиков посреди аэродрома.

— Странно, но я почти не видел на этой фантастической дороге русских танков, где они? — вопросил недоуменный Галуа.

— Думаю, за Бугом, вместе с армией, — ответил Борисов со снисходительной участливостью, он принял как должное изумление Галуа.

— Ничего не пойму, русской технике не страшна распутица? — Галуа, казалось, надо было еще понять виденное.

— Не всей, разумеется; расчет Конева был построен на этом — заметил Борисов спокойно. — Он пересадил армию на «тридцатьчетверки» и сообщил ей скорости да к тому же дал работу самолетам…

— Когда у противника нет скоростей, а вокруг открытая степь, каждый самолет за три, не так ли? — полюбопытствовал француз; как все штатские, он любил явить свои военные знания.

— Битву выиграли не самолеты, но, быть может, и самолеты — был ответ Борисова.

День клонился к вечеру, когда они покинули дом, в котором помещалось их скромное полуобщежитие-полугостиница, и пошли смотреть Умань. Горела аптека, и запах дыма, замешанного на мяте, неотступно шел вслед. Он был, этот запах, и в уманских переулках, затененных старыми белолистками и каштанами, и на непросторной базарной площади, и даже в аллеях парка, что встал над городом, как его верхний ярус и терраса. Сиреневые сумерки, все более сгущаясь, стали бледно-лиловыми, а потом синими. Галуа извлек фонарик, продолговатый и длинный, будто тюбик; француз сжал его и выдавил желтый лучик. Мигающий свет фонаря стлался по земле, усеянной черными листьями, упирался в струйчатую кору древних дубов и лип, плутал по многоветвистым кронам, поднимая стаи ворон.

— Не находите ли вы, что неудачи породили у немцев равнодушие? — произнес Галуа, обращаясь к Борисову, который шел рядом. — Равнодушие к тому, что можно назвать целями войны. Иначе говоря, оно укротило ненависть, а вместе с ненавистью и жестокость… Есть мнение, что в сорок четвертом немцы не столь жестоки, как в сорок первом…

— Вы читали в «Красной Звезде» об Уманской яме? — спросил Борисов тихо и точно задул желтое мерцание фонарика, несколько минут они стояли в темноте.

— Да, но это было в сорок первом, — произнес Галуа, поразмыслив.

— Верно, в сорок первом, — согласился Борисов, не было смысла возражать — то, что было известно под именем «Уманской ямы», действительно имело место в сорок первом. — Пойдемте, пойдемте… — настоял Борисов и не без труда сдвинул всю группу с места.

— Если жестокость определена и тактикой, от нее не так просто отказаться, — подал голос Хоуп, которому смысл реплики француза истолковал Тамбиев.

— Жестокость не мохет быть определена тактикой, — возразил Галуа.

— И тактикой, сказал я, — Хоуп с особым усердием оттенил это свое «и».

Неизвестно, чем в очередной раз закончилась бы эта перепалка, если бы они не спустились с паркового холма и все теми же неширокими уманскими улочками, затененными многоветвистыми кронами еще не распустившихся деревьев, не пришли к городской тюрьме и лежащей позади нее поляне, напоминающей картофельное поле.

— Прибавьте, пожалуйста, света… — сказал Борисов и показал на канаву, что протянулась вдоль тыльной стены тюрьмы.

Галуа сжал свой тюбик, и желтый лучик, резвясь и играя, поскакал к канаве и остановился, вздрагивая, — у француза тряслась рука… Первая мысль, неосознанная: их много, но они молчаливы, почему?.. Старик лежал, опрокинувшись, закрыв лицо руками — он не успел отнять рук. Женщина держала согнутую руку у глаз, точно защищаясь. Лежал человек, пепельноголовый, скорчившись, точно всю долю свинца, что пришлась на него, он принял животом. Фонарь дрожал, выхватывая из тьмы седую прядь, граненые стеклышки монист, краешек гребня в волосах, белое колечко на детской руке. Сколько могло быть этой девочке — пять или шесть?.. Рука с колечком призывно простерлась — девочка звала… Ров был заполнен до краев; видно, людей приводили из тюрьмы партиями и, расстреливая, живых клали на мертвых.

Непроста было уснуть в эту ночь — Тамбиев разгреб пыльные шторы и, взглянув в окно, увидел в боковом свете луны, осветившей двор, Хоупа.

Луна померкла, застланная дождевым облаком, и заметно накалились звезды в проталинах облаков, а вместе с ними и цинковая крыша сарая напротив. Американец курил. Его сигарета гасла и вспыхивала, точно прожигая тьму; как это бывает, когда человеку неможется, затяжки были частыми и сильными, хотя по

солдатской привычке он и пытался прятать сигарету в рукав.

Тамбиев оделся и вышел.

— И вам не спится, господин Тамбиев?.. На новом месте? — он сказал «на новом месте», защищаясь от вопросов.

— Да, чувствую, что не усну, хотя спать надо; как я понимаю, завтра день будет не легче.

— Не легче? — повторил Хоуп. — А что мы можем еще увидеть, кроме того, что уже видели? — Он умолк, глядя на Тамбиева, — Помните старика из Котельниково? Хотел бы я показать ему этот уманский ров, да кстати и послушать, что он скажет…

Скрипнула дверь во тьме и осторожно прикрылась.

— Это вы, Алик? — спросил Хоуп, он рассмотрел во тьме Галуа.

— Да, не могу спать при луне!.. — произнес Галуа; наверно, и он не хотел признаться, что встревожен, и защищался луной. — Есть в этой луне что-то такое, что несет душе беспокойство. — Он спустился с крыльца. — Когда я стоял там, вы говорили о Котельниково, так?

— Да, об Иисусе Христе из Котельниково… — ответил Хоуп, как показалось Тамбиеву, с готовностью.

— Вы полагаете, что старик был в своих выводах опрометчив, он мало видел?.. — спросил Галуа. Он был умен и многоопытен, француз Галуа, а поэтому и прозорлив, талант был у него в уме и опыте.

— Ему надо было бы показать эту девочку с белым колечком в уманском рве… — сказал Хоуп, он был не из породы непомнящих, этот американец, и дождался своей минуты, чтобы дать Галуа бой.

— Если это жестокость из тактики, то она свыше, армия может быть в ней и неповинна, не так ли? — вопросил Галуа едва ли не в гневе. — Если же говорить об этом старике из Котельниково, то для меня его доброта вечна, как может быть вечна доброта Иисуса… Для меня он Иисус Христос, вечно Иисус Христос…

— Если даже сам откажется быть им? — спросил Хоуп не без иронии.

— Не откажется!.. Как он может отказаться?

— Покажите ему этот ров… убейте меня, но он сам возьмет автомат, этот Иисус Христос из Котельниково!

— Ну что ж, можно считать, что мы почти решили наши главные проблемы, теперь спать… — произнес Тамбиев и поднял глаза ко второму этажу, там была комната, где разместились корреспонденты.

Они пересекли двор и поднялись на крыльцо, когда над городом возник устойчиво нарастающий гул самолетов. Самолеты появились из-за парка и, срезав западную окраину города, медленно сместились на юг.

— Конев? — Круглые глаза Галуа оглядывали небо. — Пошел к Днестру?

— Возможно, к Днестру, — ответил Тамбиев, не скрывая радости — необыкновенно хорош был строй самолетов, в этот полуночный час были в нем уверенность и сила зрелая.

Самолеты прошли, а Хоуп не отрывал глаз от неба. Да не сомкнулось ли в его сознании все, чему он был сегодня свидетелем, — и этот ров, и этот разговор об Иисусе Христе из Котельниково, и эти самолеты, идущие за Днестр, — а если сомкнулось, то как?

— Простите меня, господин Тамбиев, — произнес Хоуп и вышел из-под навеса. — Теперь уже я точно знаю, что не усну до утра… Я еще побуду здесь.

Галуа вошел в дом, Тамбиев последовал за ним.

Когда пятью минутами позже Николай Маркович выглянул в окно, Хоуп, как прежде, стоял посреди двора, пряча сигарету в рукав, и, как прежде, она вспыхивала и гасла, выдавая немалое волнение.

Утром пришел Борисов и, не скрывая изумления, обратил взгляд на кровать Хоупа, которая в эту ночь так и не раскрывалась.

— Господин Хоуп, да спали ли вы нынче? — вопросил Борисов, немало смущаясь. — Кто лишил вас сна?

— Конев, разумеется… — ответил Галуа, не дождавшись, когда это сделает его коллега, и захромал по комнате. Когда он не имел возможности сказать всего того, что хотел сказать, он должен был истолочь остаток этих слов толстыми подметками канадских башмаков, которым истинно не было износу. — Конев, разумеется, кто же иначе?

— Конев и не помышлял, что вы так плохо думаете о нем! — засмеялся Борисов — его ирония была не столь груба. — Я только что говорил с ним по телефону. Он разрешил наш полет к Бугу… конечно, если вы согласны.

Галуа замедлил свой бег, ударил толстой подошвой об пол.

— Я согласен, а как коллега?

Хоуп стал строго-печален, радость была в этой строгости и, пожалуй, печали.

— Я ждал этой минуты полтора года.

— Хорошо, день вам дается для сна. Полетим ночью…

Поздно вечером двухмоторный «Петляков» взял их в Умани

на борт и устремил к Бугу. Луна еще не взошла, но ее луч, посланный из-за горизонта, подсветил облака над ними. Они летели на высоте тысячи метров, схоронившись в земной тени. Степь была укрыта тенью, и поэтому каждый всплеск огня был приметен. Справа горела роща, подожженная самолетами, горела, разгораясь; каждый раз, когда налетал ветер, пламя заметно усиливалось и блики стлались по земле, отмечая срез оврага, линию реки и очерк курганов, которых было больше, чем ближе самолет подходил к Днестру. Еще дальше, за горящей рощей, взвились и рассыпались искры — бомбили дорогу, а возможно, переправу или станцию, но это уже было за Днестром, а коли за Днестром, то наши… А военное небо жило своей жизнью, оно только на первый взгляд казалось пустынным, на самом деле все в движении… Невысоко над горизонтом — обман зрения, на самом деле самолеты многократ выше — прошел строй бомбардировщиков, потом точно степь застлало паром, истинно выутюжили степь «ИЛы». Вновь высветлило степь, и линии дорог обрели четкость, какой не было прежде. Как ни трудны были дороги, шла техника. Где-то над «Петляковым» граница лунного света и тени; звенья истребителей, что несут вахту, ненароком входят в полосу света и, точно подожженные, вспыхивают и спешат вернуться в тень. Наверно, летчикам, что ведут сейчас «Петлякова», не составляет труда опознать истребителей в небе, но Тамбиев способен рассмотреть их лишь над дорогами, он как бы привязал их в своем сознании к дорогам, понимая, что охрана дорог за ними… Глянул мягко изогнутый серп Южного Буга, и многоветвистым древом, расстелившимся по земле, устье реки и мир ее русел, озера по степи, круглые и тщательно надраенные, точно серебряные монеты, но это было уже необычно: земля все еще в тени, откуда свет? Видно, озера восприняли свет от облаков, луна грозилась перебраться через крепостную стену горизонта, и облака горели все ярче. И вдруг Тамбиева осенила мысль почти сумасбродная: если бы летчик, что сидит у штурвала в трех шагах от Николая Марковича, решил устремить машину на юго-запад, через каких-нибудь полтора часа самолет смог бы опуститься на земле словацкой партизанской республики. Ведь все в жизни так условно — через каких-нибудь полтора часа. И оттого, что явилась эта мысль, стало не по себе. Казалось, если это возможно, Тамбиев готов высадиться тут же в пошагать через эти степи, перепаханные балками и врагами, через леса и перелески, через горы, все на тот же юго-запад, через горы и, быть может, годы, только бы увидеть ее… И вновь ему подумалось, что в этом мире живет представление о единственности человека, единственности и его избранности — есть один человек, и никто

его никогда не заменит и не способен заменить. И от сознания, что есть один, только один человек, предназначенный тебе судьбой, ты должен быть необыкновенно богат и счастлив. Или лишен этого счастья, если вдруг… Да возможно ли это «вдруг»? Есть ли сила, способная лишить тебя этого счастья? Есть ли сила?

…Только на рассвете они были в гостинице. То ли мартовскую ночь обдало февральской стужей, то ли дневной сон не дал им тепла, их познабливало. Пока Галуа пытался зарыть свое худое тело в лисий мех, Хоуп извлек из вещевого мешка квадратную скляночку и одним этим исторг у присутствующих клич, почти победный.

Мигом появилось четыре граненых стакана, и озноб точно рукой сняло, а с ним бессонницу и усталость.

— За доверие… — произнес Галуа.

— Я вас верно понял, за доверие? — спросил Борисов.

— Так и понимайте, за доверие, — уточнил Галуа. — За то, что показали нам Буг, за которым видится большее…

— Это как же понять — большее? — Борисов был настойчив.

— Большее — значит десант, — врезал Галуа с прямотой завидной и взглянул на американца, тот наклонил голову — не часто он соглашался с Галуа.

20

Хор прислал Шошину свою статью о большом десанте. Шошин прочел статью в вознегодовал — Хор явил свои кливлендские принципы, как во времена сорок первого. Шошин вернул статью автору, не сопроводив письмом. Среди тех средств, к которым обращается дипломатическая практика, это едва ли не крайнее. Коллинз явился к Бекетову и сказал, что Хор — не худший из кливлендцев, при этом есть такое понятие, как терпимость, для дипломатов оно обязательно.

Бекетов пригласил Шошина. Ну, разумеется, Степан Степанович понимал, что речь пойдет о Хоре, и помрачнел заметно.

— Не находите ли, Степан Степаныч, что дипломат должен обращаться к категорической формуле только в обстоятельствах чрезвычайных? — начал Бекетов издалека.

— Что значит эта более чем иносказательная фраза, Сергей Петрович, и почему вы должны говорить ее мне, отрывая от неотложных дел — у меня на столе гранки вечерних газет… — вознегодовал Шошин. Он, конечно, чуть-чуть кривил душой, назвав фразу иносказательной и решительно отказавшись обратить ее к собственной персоне.

— Я вас задержу на тот самый срок, который необходим, чтобы гранки высохли — по мокрому править неудобно, — заметил Бекетов с, несвойственной ему жестокостью, он понимал, что иначе Шошина не проймешь. — В том случае, когда гражданин в вельветовой шляпе, который идет сейчас мимо посольства, имеет право сказать: «Я не желаю с вами разговаривать», право дипломата решительно лимитировано репликой: «А не прервать ли нам разговор до завтрашнего утра, у меня что-то разболелась голова» — и должно быть сопровождено улыбкой вопреки головной боли…

Шошин встал.

— Знаете что, Сергей Петрович, меня этой науке не учили, да вряд ли отважились бы учить, зная мою натуру, — произнес Шошин в сердцах. — Там, где надо сказать «Я не желаю с вами разговаривать», я скажу эту фразу именно так, а не иначе и привилегию улыбаться переуступлю вам…

— Простите, но вы представляете в этом доме не собственную персону… Над вами страна…

— Но надо мной и совесть. Кстати, она точно такая, как у того человека в вельветовой шляпе.

— Статья, которую прислал вам Хор, не давала вам права для

такой реакции, Степан Степанович…

— В статье была строка, которая требовала более резкой отповеди, чем та, на которую отважился я…

— Какая… строка?

— Хор писал, что Британия имеет право на открытие Второго фронта и в сорок пятом…

— Строка бог знает какая, но она требует ответа по существу…

— А вы полагаете, что я ответил не по существу?

— Короче, Степан Степанович, вы пошли дальше, чем должны были пойти, и сами обязаны исправить ошибку… Подумайте, как это сделать…

Шошин позеленел. Видно, предыдущая ночь была у. Степана Степановича нелегкой, и сегодня у него было меньше сил, чем обычно. Он протянул руку к соседнему стулу, оперся, но встать не смог; задержав руку на стуле, какую-то минуту Шошин раздумывал, очевидно понимая, что этот жест обнаружит, как ему сейчас неможется.

— И думать не буду, Сергей Петрович, — сказал Шошин тихо, много тише, чем говорил до сих пор.

— Я сказал, Степан Степаныч, подумайте, как это сделать…

Шошин отнял руку и, вытянув ноги, чуть-чуть съехал со стула, и Сергей Петрович вдруг увидел, что спинка стула выше головы Шошина — таким маленьким Степан Степанович не был прежде.

— Если вы еще раз скажете мне «подумайте», я попрошу посла разрешить мне вернуться в Москву… — произнес Шошин и пошел из кабинета.

Ну, что тут можно сказать? Не человек — кремень. Когда не прав, тоже кремень. Есть в нем такое, что не отвергнешь. Защитился этой своей кельей и характером, который так же неприступен, как келья. Храбро само его одиночество. Где-то больной отец, жена… Да есть ли она у него? Если есть, наверно, страдалица. И при всем этом не самый худший человек. Даже наоборот, лучший. Но вот незадача — не умеет уступать. И сейчас не уступит. Сожжет себя, а не уступит. А ведь жаль, хороший человек. Надо помочь выкарабкаться.

Бекетов вновь пошел к Шошину. Горела настольная лампа, и Степан Степаныч сидел за столом, печально ссутулившись. Казалось, он не заметил, как вошел Бекетов, лицо его было безучастно. И руки неподвижны. Прежде они представлялись Бекетову крупными, непропорционально крупными, как у чернорабочего, а сейчас точно ссохлись. Поодаль возвышалась стопка гранок, Шошин так и не дотянулся до них.

— Степан Степаныч, прошу меня выслушать не перебивая. Могу я говорить?

Шошин убрал со стола руки, наверно, яркий свет был тому причиной, он вдруг застеснялся их.

— Да, пожалуйста…

— Поймите, то, что я хочу предложить, определено доброй волей, прежде всего доброй волей к вам…

Шошин вобрал губы, и от этого они странно утончились, и морщины вдруг легли в уголках рта — старость начинается с этих морщин.

— Да, да…

Сергей Петрович подумал: рекогносцировка закончена и надо приступать к делу.

— Вот мое предложение, Степан Степанович. Я встречаюсь с Хором по иному поводу и одной фразой ставлю все на место. Ваш престиж, разумеется, будет охранен свято… Согласны?

Шошин пододвинул к себе гранки.

— Нет!

Бекетов вздохнул: да надо ли вот так щадить самолюбие Шошина? Что-то в этом есть от непротивления шошинской фанаберии.

— Поговорим с Тарасовым?

Шошин разложил перед собой гранки, взял перо.

— Не стоит, не буду я прибавлять хлопот Тарасову. С него и британского премьера хватит…

Они расстались, хотя у Бекетова и не было ощущения, что диалог закончен.

Если небо не было откровенно ненастным, Тарасов начинал день с прогулки по парку. Час ходьбы давал силы надолго. Утро выдалось пасмурным, с невысокими облаками и моросящим дождем. В Москве такой день, пожалуй, можно было бы счесть за ненастный, но тут он виделся почти погожим. Тарасов взял зонт и, не раскрывая его, направился в парк. Где-то в конце аллеи человек в котелке окликал собаку, и его голос казался необычно громким — так всегда было здесь, когда небо было невысоким. Мысль Тарасова обратилась к предстоящему дню. Среди множества дел, которыми обременен длинный день посла, была встреча с владельцем издательского концерна. И хотя концерн выпускал не газеты, а книги, мысль по непонятной причине вызвала в сознании мир лондонских газет, и в какой раз на ум пришла недавняя коллизия с премьером. Это воспоминание давало не много радости, но Тарасов упорно возвращался к нему. Странное дело, но он должен был себе признаться, что нечто

подобное столкновению с премьером должно произойти, было предчувствие, что оно грядет, — к этому вела цепь неприятностей, которые возникали с такой неотвратимостью и правильностью, что казались запланированными. В самом деле, агреман на Тарасова был запрошен в октябре, за несколько дней до начала конференции в Москве и за полтора месяца до Тегерана. В том цикле приливов и отливов, которые наметились в наших отношениях с Западом, в делах, относящихся ко Второму фронту, начало октября означало отлив, если за него принять новый демарш советского союзника. В самом решении направить за океан и на Британские острова новых послов англосаксы не могли не усмотреть известного замысла Москвы. Если тут был замысел, то он наверняка вызван Вторым фронтом и призван явить недовольство русских, которые устали ждать и надеяться. Короче, когда агреман на нового посла был запрошен, Лондон толковал это устно и в какой-то мере печатно с достаточной определенностью: «Москва намерена принять тон, который под силу лишь новому послу». Следовало полагать, что Лондон скажет о своем неудовольствии, и действительно, так и случилось. Сказав себе, что столкновение с премьером грядет, Тарасов был не голословен — один за другим последовало три удара. Первый: Лондон выдал агреман с опозданием. Второй: задержал вручение верительных грамот. Третий: отнес прием нового посла премьером и министром иностранных дел на максимально возможный срок. Ну, разумеется, новый посол в этом неповинен, и Тарасов это понимал, должен понимать, однако таково уж свойство человеческой психики: казалось, удар направлен именно против тебя, не будь тебя, и удара, возможно, не было бы.

Сейчас, когда все это отодвинуто едва ли не за полугодовой барьер, Тарасов должен признаться, что было ощущение враждебности. Это ощущение, наверно, усиливалось тоскливым дыханием чужбины, дыханием, которое ощутимо и в Лондоне — этот город может быть разным, очень разным… А потом произошел случай, который терпеливо рассудительный Тарасов в своих раздумьях о лондонской страде обозначил как коллизию с британским премьером. Поводом послужил текст телеграммы Сталина от 19 марта. Существо этого пассажа можно было определить так: несмотря на то, что переписка является секретной и личной, содержание посланий советского премьера стало достоянием английской прессы. Сталин реагировал соответственно — он телеграфировал британскому премьеру, что это обстоятельство затрудняет ему возможность свободно высказывать свое мнение. Упрек был тем более серьезным, что

имелась возможность его подтвердить конкретной ссылкой на прессу. Черчилль ответил советскому премьеру, что лондонскую прессу информировало советское посольство. Если же Сталин имеет в виду «Таймс», то это сделал Тарасов. Иначе говоря, упрек, который советский премьер адресовал Черчиллю, был возвращен советскому премьеру. Сталин предпринял расследование, которое позже он назовет строгим. Телеграмма, посланная Черчиллю по окончании этого расследования, не оставляла двух мнений: ни посольство, ни посол не повинны в разглашении документов по той простой причине, что они не располагали документами, которые предала огласке английская пресса. Черчилль умолк. Молчание можно было бы назвать стыдливым, если бы это слово отождествлялось с Черчиллем. Так или иначе, а случай этот потребовал сил немалых. На стороне Тарасова были молодость (тридцать восемь — это тридцать восемь) и, пожалуй, характер… Но какая гарантия, что Черчилль не пойдет по новому кругу?..

В это пасмурное мартовское утро что мог сказать себе сын знатного Пскова, уединившись со своими отнюдь не веселыми мыслями под кронами Гайд-парка, какую истину утвердить, какой урок извлечь? Так или иначе, а этот случай взывал к осторожности. Наверно, посол правительства, аккредитованный при союзном государстве, не имел права плохо думать о премьере страны-союзницы даже по причинам субъективным: надо видеть премьера, надо разговаривать с ним, стремиться установить контакт, быть может даже нечто похожее на контакт душ… Сделай знаком своих отношений неприязнь и все погубишь. Уже поэтому не отдавай себя во власть неприязни, суть не в твоем самолюбии и не в твоей гордыне, сдерживай себя… Однако нечто подобное должен был бы сказать себе и Черчилль, не так ли? Кстати, положение премьера его обязывает к этому не меньше, чем положение посла, быть может даже больше. Ну, вот так поднять руку на посла, не дав себе труда проверить факты, да и подобает ли это премьеру? Нет, можно решительно отстраниться от того, что речь идет о Черчилле, но есть в этом нечто такое, что идет не столько от непонимания, что есть твое нынешнее положение в государстве и, пожалуй, в мире, сколько от неспособности отделить свою гордыню от этого положения, и в конечном счете является выражением эгоизма, откровенно деспотического… А может быть, тут имеет место расчет, стремление с помощью нехитрого средства нанести удар послу, деморализовать его? Если это расчет, то плохой расчет — нехитрые эти приемы никогда не давали результата. Так или иначе, а случай с разглашенной депешей взывал действительно к осторожности и, пожалуй, к бдительности. Это, или

приблизительно это, должен был сказать себе Тарасов, когда мартовским утром сорок четвертого года, совершив тур по аллеям Гайд-парка, направил стопы к посольству…

В посольстве был получен новый фильм, и Бекетов решил показать его друзьям-лондонцам. Явился Коллинз, как обычно нарочито неулыбчивый, до первой хорошей вести, разумеется; спросил, искоса взглянув на Сергея Петровича:

— А как… Хор? Пригласите?

Ну, что тут сказать Коллинзу? Если даже идти прямо от инцидента с Шошиным, то бойкотировать Хора и в этом случае решительно нет необходимости, но и приглашать его на такой прием тоже не обязательно, тем более что Хор скорей профессиональный военный, чем писатель, военный писатель. Но Хор приятель Коллинза, и доброе отношение к Коллинзу в какой-то мере должно сказываться на отношении к его друзьям. Поэтому, конечно, может быть и иное мнение, но тогда оно будет не очень похоже на Бекетова; одним словом, Сергей Петрович утвердительно ответил на вопрос Коллинза, и англичанин одарил русского улыбкой.

— Помните, господин Бекетов, я предупреждал вас, что вы не раз пожалеете, что связались со мной, — заметил англичанин и все так же, краем глаза, взглянул на Бекетова.

— А я не пожалел и не жалею.

— Да так ли? — вопросил Коллинз и вздохнул неподдельно. — Что я буду делать, когда вас отзовут в Москву?

— Вы говорите так, будто бы это произойдет вот-вот…

— Но когда-нибудь произойдет?

— Да, разумеется. Вот одолеем Гитлера и простимся.

— Легко сказать — одолеем…

Как ни хорош был диалог с Коллинзом, параллельно шла мысль, трудная: а как Шошин, когда узнает о приглашении Хора? Поймет? Но все обошлось: Хор отказался, сославшись на нездоровье, а что же касается Шошина, то ему и в обстоятельствах более благоприятных трудно было покинуть свою келью — близилась пора великого противостояния, да, именно так в Лондоне звали пору, когда два ламаншских берега должны сомкнуться и открыть союзным войскам путь в Европу.

Наверно, пора великого противостояния сказалась и на приеме. Вряд ли кто точно знал, когда грянет гром, но все понимали, что он вот-вот грянет. Может, поэтому свет грядущего события незримо проник под крышу посольского дома и осветил лица людей.

Бекетову приятно пройти из конца в конец посольских

покоев, приветствуя гостей. Окажись Бардин рядом, сказал бы: «Однако ухватист бекетовский половник — вон сколько народу подсобрал!» Ну, половник при желании можно отождествить с Бекетовым и жестоко Сергея Петровича высмеять, но, если смотреть истине в глаза, надо признать, что в эти три года он действовал исправно, этот бекетовский половник…

Сергею Петровичу интересно наблюдать, как трудится на приеме армия его помощников. Компанеец действует с профессиональной уверенностью, это протокол одарил его умением разговаривать, как, впрочем, и широким кругом знакомств — когда возникает необходимость установить контакт с кем-то из англичан, прежде всего обращаются к Михаилу Васильевичу. Если не он, то кто-то из его знакомых наверняка знает человека, который необходим посольству. Языковой багаж у Компанейца небогат, но он им пользуется с покоряющей смелостью. Но есть средство обнаружить это безошибочно — лексикон точно соответствует темам, которые в ходу у Компанейца. Число этих тем не столь велико. За пределами их для Компанейца запретная зона, и он туда ни ногой. А в остальном Компанеец хорош — скромен, трудолюбив, безотказен, всегда ровен в отношениях с товарищами. Работать с ним легко, только надо знать, что он может и чего не может.

Круг помощников Бекетова трудно себе представить без Степана Степановича Шошина, поэтому надо сказать и о Шошине… У Шошина свой садок — большая пресса. Не просто корреспонденты, а именно большая пресса. Не очень понятно, как англичане определяют профессиональные и человеческие данные работника посольства. У них своя иерархия, при этом не должностей и рангов, а данных. И вот что интересно: во всем прочем их просчеты не столь редки, в этом напрочь исключены. В своеобразном гамбургском счете, который они устанавливают, самый сильный работник — это действительно самый сильный. По этому счету шансы Шошина достаточно высоки. В течение вечера у Шошина не много собеседников, но в мире лондонской прессы это все народ заметный. В своей сумеречной келье Шошин — схимник от дипломатии. На приеме он светский собеседник, оперирующий достаточно крупными категориями деятель. Крупными категориями? Да, он и в жизни не любит говорить о мелочах. Не в натуре это Шошина. А что в его натуре? Все, что в силах взрыть его английский язык, а он может много, его английский. В этой своей сумеречной каморке, когда каждую минуту разгадываешь эзоповы загадки прессы, хочешь не хочешь, а язык знать будешь. Кстати, о крупных категориях, к которым заметно приковано внимание Степана Степановича последнее

время, что это за категории? Вести, которые идут в Лондон из-за океана, недвусмысленно свидетельствуют, что Америка готовится к прыжку в Европу, при этом не будет пощажена и Великобритания. Но вот задача: какие формы примет соперничество с британским капиталом, нет, не только в колониях, но и в метрополии? Не об этом ли речь сейчас у Шошина с человеком, у которого столь явно усталые глаза? Кстати, не вашингтонский ли это корреспондент «Таймс», чью конференцию посетил Шошин накануне? Судя по шестигранным американским окулярам, вашингтонский… однако какое благородство могут сообщить человеку ум и достоинство… Ну, к примеру, тот же Шошин. Что греха таить, природа достаточно обделила Степана Степановича, если говорить о его внешности: невысок, узкогруд, с острыми плечами и тонкой шеей, такой тонкой, что кажется, тронь ее неосторожно — и перешибешь. Но взгляните на беседующего Шошина, взгляните, как он благородно сдержан, немногословен, открыто уважителен и какого почтительного внимания исполнены слово и, пожалуй, молчание собеседника, обращенные к Степану Степановичу, чтобы ощутить: Шошин точно вырастает в ваших глазах и совсем он не так заурядно неприметен, как вам показалось вначале. В его облике, конечно, есть пасмурность, но это пасмурность силы, и от этого Шошин кажется отнюдь не мельче, а крупнее.

Новинский робок и на приеме. Робок и не столь занят, как все посольские. Он, пожалуй, единственный из посольских работников, кто драгоценные минуты приема тратит на беседы со своими посольскими коллегами. Как будто бы до приема он был от них намертво отгорожен. Хочется сказать ему: ты чего-то не понимаешь. Ведь такого множества интересных людей, как бы явившихся для встречи с тобой, через два часа уже не будет. Почему же не воспользоваться? Время от времени он приближается к Тарасову, которого обступили гости, и, заняв укромную позицию под скудной тенью пальмы или разросшегося фикуса, наблюдает за послом, наблюдает неотрывно. Странное дело, но при виде посла некий рефлекс овладевает Новинским, вернее, его головой, она вдруг начинает кивать. Вне связи с тем, какое расстояние сейчас отделяет Новинского от посла и какой проблемы в этот миг коснулась беседа — операции на африканском континенте или черчиллевской политики в Индии, — независимо от того, наконец, слышит он посла или нет, он принимается кивать, кивать воодушевленно. Бедный Тарасов, разумеется, не виноват, как не виноват был в свое время Михайлов, просто человек отдал себя во власть рефлекса, может быть, даже против своей воли отдал. Все, наверно, идет от

робости Новинского: он вовремя не уверовал в свое «я», упустил, так сказать, момент… А в остальном Новинский добрый малый, и совсем он не вреден, а уж как опрятен и аккуратен… Любо взглянуть на человека и порадоваться, как безупречно отутюжен его костюм, как добротна золотистая шерсть джемпера, который заменяет ему на современный манер жилет, и как хороша белоснежная сорочка с крупным воротником, которую он носит с аккуратностью завидной — мягкий воротник, а ни единой морщинки… Политическое зрение Новинского достаточно остро, и общение дало бы ему немало. Так, как он постиг кливденскую проблему, в посольстве ее постигли немногие. Он единственный из посольских, кто знает эту проблему в исторической ретроспекции, и это дало ему возможность сделать следующий шаг к познанию того, что есть клан леди Астор: германские связи кливденцев, да, тот многообразный и пестрый мир, который делегировал на Британские острова Гесса.

Бекетову удалось приобщить к делам большого посольства и Грабина. Правда, Сергей Петрович склонен объяснить это интересами Грабина к истории британского просвещения, интересами, которые существовали и до Бекетова, но суть, конечно, в ином. Бекетов подключил Грабина к посольским связям в мире британской педагогики. И это было Грабину полезно. Как все, кто профессионально связал себя с прекрасной Францией, Грабин смотрел на свое пребывание в Лондоне как на явление сугубо временное, полагая, что чем скорее оно закончится, тем он, Грабин, будет в большем выигрыше. В этой связи он ни на вершок не продвинулся в изучении английского, полагая, что ему английский ни к чему. Нелады с английским имели свои издержки: Грабин вынужден был выбирать знакомых в педагогическом Лондоне по достаточно странному признаку — знанию французского, а в современном Лондоне число таких не очень велико. Но у Грабина были качества завидные: он знал не только все грани проблемы британского просвещения, но и ту драгоценную частность, где просвещение смыкается с миром искусств, его суждения о театре и живописи представляли интерес и для знатоков. К тому же сама натура Грабина должна была импонировать людям искусства: он был неизменно радушен и широк, при этом тем более радушен и широк, чем многочисленнее был круг его собеседников — он любил людей и рад был этому общению.

Большой, пышнотелый, украшенный седеющими усами и подусниками, он являл собой в какой-то мере век минувший и в одежде: темно-серый костюм традиционно английского покроя, небогатый, но строгий, мягкая шляпа, а осенью простое, черного

сукна демисезонное пальто с плюшевым воротником, котелок, зонт с костяным набалдашником, настолько тяжело громоздкий, что мог сойти за палку, — так выглядел Грабин.

Аристарху Николаевичу были интересны его друзья, он неизменно беседовал с увлечением, однако был неуправляем в этих беседах и, переговорив с великим множеством гостей, какое-то время пребывал в состоянии прострации, говоря, что пуст, как барабан. Грабину было приятно чуть-чуть порисоваться и наговорить на себя, но, будь на то его воля, он ограничил бы беседы с друзьями темой театра — он был высокого мнения о современном английском театре, и ему нельзя было отказать в правоте. У него был талант завязывать отношения, он делал это легко, и круг знакомств у него был прочен: в его отношениях с людьми формальный элемент отсутствовал, люди, знавшие Грабина, это чувствовали, дружбой с ним не пренебрегали, она ценилась достаточно высоко. Бекетов мог это увидеть и теперь: толпа, окружавшая Грабина, быть может, была излишне экспансивной, но она была прикреплена к нему надежно.

Мысленно Сергей Петрович немало удивился тому, что ему хотелось вписать в этот круг и Екатерину, без нее этот круг, пожалуй, был бы не полон. Но вот что должен был сказать себе Бекетов; каждый раз, когда она оказывалась а поле его зрения, почему-то было чуть-чуть жаль ее. С тех пор как военный британский самолет примчал ее на острова, прошло два с половиной года. Смятение, невиданно жестокое, которое объяло ее на русской земле, сменилось состоянием, которое вернее всего было назвать исступлением: она хотела труда, жертвенного, а может быть, даже и смерти, тоже жертвенной, она была бы счастлива, если бы умерла. Однако пора эта была преодолена, — быть может, лишь отчасти благодаря Бекетову — главное было в посольских обязанностях, которые взяла на себя Екатерина. Ничего жертвенного в ее посольских обязанностях, разумеется, не было, они были тихи и скромны. Но они требовали точности и обязательности, да, пожалуй, безотказности. Если бы Екатерина явила все качества в полной мере, то и в этом случае не получилось бы ничего такого, что хотела видеть в себе она. Екатерина пошла на большее — она приходила на работу раньше всех и уходила едва ли не в полночь. Работе это было показано очень, остальное ее не интересовало. Если в потоке дел выдавалась свободная минута, она отдавала ее языку и сделала тут успехи завидные. Шошин, которому бескомпромиссная натура Екатерины заметно импонировала, попросил ее перевести большую статью из «Экономиста», одну, потом вторую и в лаконичном тоне, который для него был характерен, заявил, что

ее место в отделе прессы — большего комплимента он никогда и никому не делал. Но Екатерина осторожно отвергла предложение Шошина. Как ни загружен ее рабочий день, она вольна распоряжаться им сама. У Шошина было бы иное, его деятельная и в немалой степени деспотическая энергия перетасовала бы рабочее время Екатерины, симфонические бдения следовало забыть, а с этим Екатерине смириться трудно — одиночество, которое все еще было ее привычным состоянием, обрело бы формы трудные, музыка с некоторого времени стала опорой ее души. Екатерину нельзя было назвать нелюдимым человеком, но ее стихией сделалась камерная беседа, содержанием и настроением которой было раздумье.

Бекетов не похож на проворную пчелу, которая за вечер готова прикоснуться к полусотне цветов, взяв с каждого из них драгоценный взяток, но круг его собеседников будет не мал. Екатерина несравненно постояннее — один-два собеседника. Если не музыкальный критик, то хозяин книжного издательства или скрипач, подающий надежды. Как ни обстоятельна беседа, это беседа для души — посольству от многочасового диалога Екатерины ни холодно ни жарко. Нет, если говорить по большому счету, беседы Екатерины полезны очень, ибо дают представление о человеке столь обстоятельное и по-своему глубокое, какого беседа накоротке не дает и дать не может. Если говорить по большому счету, то это разговор скорее для ученого-психолога, писателя, педагога, чем для дипломата, так как он далек от дел оперативных, которыми живет посольство, но попробуй объясни это Екатерине. Главное для нее, чтобы выбор собеседника был не очень нарочит, а беседа была непредвзятой и по возможности человечной. Она полагала, что ее платье должно точно соответствовать этой цели. Трудно предположить, что у нее было искушение предпочесть темному шевиоту панбархат, а однобортному жакету с закругленными полами платье со шлейфом, она понимала, что есть ее стихия, и опасалась переступить тут известные пределы. А сейчас Бекетов издали наблюдал за Екатериной, и ему казалось: по тому, как тревожна ее улыбка, ей худо. Прием — не ее стихия.

Едва ли не к разъезду гостей вдруг пожаловал Хор, что, по всему, явилось неожиданностью и для Коллинза. Он понимал, что восторг тут не уместен, но не мог скрыть его.

Но Хор обратил внимание не столько на Коллинза, сколько на Бекетова. С завидной невозмутимостью Хор увлек Сергея Петровича в посольский кабинет, который был открыт для гостей сегодня, и сказал, что определен в штаб, который будет действовать на европейском театре. Если же Бекетов согласен его

ни о чем не спрашивать, то он, Хор, приглашает Сергея Петровича быть на европейском театре вместе с ним в том неофициальном, но вполне почетном качестве, в каком он был рядом с Хором во время недавних танковых учений между Оксфордом и Стратфордом.

Бекетов сказал, что польщен заманчивым предложением, однако от прямого ответа на приглашение Хора уклонился — в положении Сергея Петровича в тот момент это было единственно возможным.

21

Позвонил американский посол и сказал, что хотел бы видеть Тарасова. Последний раз Вайнант был гостем Тарасова; очевидно, в этот раз Тарасову надо было ехать к Вайнанту.

Тарасов отпустил машину, когда до американского особняка оставалось квартала три, и пошел пешком. Был конец дня, как обычно в апреле влажного и уже жарковатого. Вода в прудах стала белесой. По Темзе пробежал парусник, парус был темноватым, как все в этом городе, но смотреть на него было приятно. Река заметно ожила — слышались удары клепального молота, звон механической пилы, астматическое попыхивание паровичка. Пахло свежим деревом, мазутом, добрыми запахами, которыми дышит по весне большая река.

Как обычно в Лондоне, весна была неяркой, медленно вызревающей, но все указывало на близость лета. Каким оно будет, это лето сорок четвертого? Никто пока не знает, какой зачин будет у фронта второго, но, выражаясь фигурально, дело идет и к созданию фронта Третьего: мир с Германией, завтрашнее устройство Европы, возмещение потерь войны. Переговорам глав правительств должен предшествовать великий труд. Не исключено, что свою долю этого труда возьмет на себя и Лондон, при этом посол Вайнант призван сказать свое весомое слово. Так или иначе, а судьба свела Тарасова с Вайнантом в деле, которое отнюдь не ограничено днем сегодняшним. Ну, разумеется, молва в том же Лондоне небезоружна, она способна как-то ответить и на этот вопрос. Но в этом ответе не будет обстоятельности, бесценной обстоятельности, которая одна может дать представление о человеке. А где добыть эту обстоятельность, как не в беседе с самим человеком.

Когда у беседы, которая сегодня касалась все тех же многотрудных проблем передачи советской стороне итальянских кораблей, обозначился дальний ее край, Вайнант повел Тарасова в библиотеку. Как ни странна была жизнь посла в Лондоне, он находил минуту, чтобы побывать у лондонских букинистов и приобрести нечто значительное, разумеется из американской истории. Он был по-американски целеустремлен, а это значит, ведал, какие именно книги ищет. Последнее приобретение явилось событием и для Вайнанта. Он завладел библиофильским шедевром — трудом американца Ван Вик Брукса «Вино пуритан», впервые вышедшим в начале века в Лондоне. Как ни значителен был приобретенный труд, он для Вайнанта ничего не значил бы, если бы посол не имел возможности показать его Тарасову — как

истинный книголюб, Вайнант постигал ценность книги в общении с гостем.

Точно существу живому, Вайнант воздавал книге всю меру почестей, какие она, на его взгляд, заслуживает. Сейчас приобретенное сокровище было расположено посреди журнального столика, а рядом поставлен кофейник, только что снятый с огня, и, разумеется, бутылка французского коньяка доброго довоенного разлива. Нехитра обязанность разделить радость хозяина по поводу приобретенной книги, но и это требовало искусства, — эта истина была известна собеседникам Вайнанта, вернее, его слушателям; хозяин полагал, и не без оснований: то, что скажет он о книге, никто не скажет.

Но подобно тому, как это было многократ прежде, рассказ о книге сомкнулся с рассказом об американской истории и Америке, а коли речь пошла об Америке, жизнь Вайнанта была рядом, нет, не сама по себе, а в связи с жизнью лица исторического. Рузвельт? Как заметил Вайнант, проблему Америки последних двух десятилетий русские склонны были понимать как проблему Рузвельта. Это мнение можно было оспаривать, но считаться с ним следовало. Рузвельт и русские — это серьезно. Перебросить мост от Ван Вик Брукса к Рузвельту — задача трудная, но не невозможная, все во власти человека, наводящего мост, и его умения.

— Допускаю, что это была идея Рузвельта, но, быть может, ее подсказали ему советники. Однажды холодным январским днем мне позвонили в Монреаль и сообщили, что меня хотел бы видеть президент. Первая мысль: президента не могли в такой мере заинтересовать проблемы труда, чтоб он захотел меня отвлечь от моих обязанностей в Монреале, очевидно, мой срочный вызов в Вашингтон был связан с иной проблемой. Однако какой? На этот вопрос мог ответить только президент, Рузвельт встретил меня, как обычно, радушно и, не выказывая особого интереса к моей персоне, повел разговор о европейских друзьях Америки, время от времени осведомляясь, кого из них я знаю. Тон был, как это нередко случалось с президентом, не очень деловым, временами откровенно шутливым, временами озорным. Как сейчас помню, президент сидел, полуобернувшись к окну, которое было позади его письменного стола, не без интереса наблюдая за тем, как на поляне играли дети. Однако вопросы президента, относящиеся к моим европейским связям, были все настойчивее, и одно это уже что-то для меня приоткрывало. Каждый раз, когда я сообщал нечто фактическое, он отвлекался от окна, и я устанавливал, что его глаза, обращенные на меня, откровенно внимательны. Помню, я сказал тогда президенту, что был свидетелем событий,

трагических для Европы, и это не было преувеличением. Я видел ее в самый канун вступления туда немцев. Я наблюдал английских солдат, которые вернулись на родной берег после неудачи в Дюнкерке. Я находился на Даунинг-стрит, когда там было получено сообщение о том, что Италия начала войну. Когда я покинул президента, меня встретил батальон газетчиков, аккредитованных при Белом доме. «Зачем вы были приглашены к президенту?» Я ничего не ответил, хотя не могу сказать, что не знал, в чем дело. Я боялся выдать не столько себя, сколько президента — у него больше врагов, чем у меня, хотя и у меня их достаточно, но об этом речь впереди. Прав был я?

Видно, он мог говорить, если внимание слушателя было поощрительным. Одного поощряет к рассказу одобрительный взгляд или кивок, другого слово. Ему было приятно это поощрительное слово, и он спрашивал время от времени: «Прав я?» Ему не надо, чтобы слушатель сказал «да», он готов удовлетвориться тем, что слушатель не говорит «нет».

— Я вернулся в Монреаль, раздумывая, какой оборот примут события. Очевидно, все зависело от того, как нашу беседу представит конгрессу и кабинету сам президент. Иначе говоря, все зависело даже не от впечатления, произведенного мной на Рузвельта, ибо он меня знал, при этом хорошо знал, а от моих отношений с президентом. Никогда у меня не было необходимости вспоминать мои отношения с Рузвельтом так детально, как теперь; казалось, сами эти воспоминания способны дать ответ. Я вспомнил, что однажды президент уже предлагал мне занять высокий правительственный пост, при этом не вне, а внутри страны. Это было тотчас после того, как Рузвельт был переизбран. Я ответил тогда отказом. Я предпочел этому назначению работу в Лиге наций, в органах Лиги, занимающихся проблемами труда. На мой взгляд, у этой моей работы были достоинства, которыми не обладал даже самый высокий посол. Я имел дело с рабочими организациями, представляющими полсотни стран. Правда, мою организацию покинули страны оси, а вслед за этим они предали ее и меня анафеме, но меня это не испугало. Они установили за мной слежку и дважды или трижды, воспользовавшись моими поездками по Европе, подвергли обыску, но и это меня не встревожило. К моим врагам в Штатах прибавились недруги в Европе, ну что ж, это даже интересно… Не правда ли?

Старая книга продолжала лежать посреди журнального столика, неожиданно помолодев — Вайнант зажег торшер с красно-оранжевым абажуром, и червонность, что пролилась на книгу, казалось, вошла в самые поры бумаги, только что

выглядевшей сизо-белой, землистой.

— Когда в конце тридцать восьмого я приехал в Штаты, я застал страну в тревоге. Было очевидно, что войны не избежать, при этом и нам, американцам. Неожиданно ко мне явился человек, которого в Штатах считали близким Рузвельту, и стал убеждать меня встретиться с президентом и склонить его баллотироваться в третий раз. Реакцию, которой президент ответил на мою речь о переизбрании, точнее всего можно было бы назвать холодным гневом.

Рузвельт, как и надлежит деятелю, знающему себе цену, понимал, что его пребывание на соответствующем посту регулирует не только он сам, но и сама история, а с историей шутки плохи. Уже по этой причине ему было очевидно: он должен уйти, заслужив благодарность современников. Тут дело было даже не в нем, Рузвельте, а в объективных законах, которые определены не только условиями социальными, но и природой — идет великий процесс обновления живого, смена поколений. Для Рузвельта тут не было ничего обидного, не он выдумал этот процесс, и не ему вступать с ним в единоборство. Особым тщеславием Рузвельт не страдал — сделанное им на крутом повороте тридцатых годов как бы возблагодарило его за все его труды и усилия. Те же Кулидж и Гувер попытались бы удержаться на этом посту по возможности дольше, он был выше этого, что делало ему честь. Конечно, нельзя сказать, что у него не было тут соблазнов. Он человек смертный и подвержен, разумеется, человеческим слабостям. И он, наверно, обрел привычки, которые стали его второй натурой, и ему, возможно, нравился его новый быт, исполненный почитания, и ему импонировали большие и малые знаки внимания, которым он был окружен. Гипноз всего этого столь неотразим, что часто берет в плен и хороших людей. Но, к чести Рузвельта, надо сказать, что он понимал: президент — всего лишь слуга народа, не более чем слуга временный. Поэтому знаком его деятельности была формула «Дорогу новому, а значит, и молодому», поэтому при нем получило такой простор движение «Дорогу молодым». Во всех сферах деятельности, в том числе и в политике; тут рядом со стариком можно было увидеть молодого — если хотите, и в этом была политика Рузвельта. Но было одно обстоятельство, с которым должен был считаться президент: иногда можно уйти, иногда нельзя. Сейчас был тот самый момент, когда отставка Рузвельта и мне казалась невозможной…

— Помню, что в тот раз президент сказал, что он сделал свое дело, как надлежит истинному демократу, и пусть другие понесут эту ношу дальше. Я не сдавался и сказал, что сегодня нет уже двух мнений и насчет того, что будет война, а на весах войны

авторитет человека, стоящего во главе государства, часто является шансом решающим. Я сказал, что у Америки нет человека, который бы в большей мере, чем Рузвельт, был способен организовать ее военные усилия. Конечно, можно попробовать найти замену президенту, но, на мой взгляд, искать такую замену сейчас поздно. Президент выглядел очень усталым, и мне показалось, что все, что я говорил президенту тогда, безжалостно, по крайней мере, у меня было чувство вины. Мне еще показалось, что к концу нашего разговора президент в какой-то мере внял мне, но то, что он сказал, вызывало чувство сострадания к нему. «Знаете, Джон, — сказал он, — я никогда не бываю один, я даже не могу погулять вон под теми деревьями, что вы видите из окна, обязательно кто-нибудь подле меня…» Эти и другие воспоминания пришли мне на ум, когда я раздумывал над тем, какой оборот примет мой разговор с президентом. А между тем неведение продолжалось недолго. В Монреале стало известно, что президент назвал меня сенату в качестве возможного посла в Лондоне, а вслед за этим я узнал, что сенат утвердил представление президента… Мне сказали, что сенат был единодушен, но у меня не было тут иллюзий, да как могло быть иначе? Иллюзии — не качество дипломата… Прав я?

Тарасов полагал, что сенат был не столь единодушен по поводу назначения Вайнанта, как это старались представить друзья будущего посла, сообщив ему о решении сената в Монреаль. Наверно, они не хотели огорчать его, хотя человека зрелого не должна печалить правда, даже огорчительная. Если уж тебе суждено испытать огорчения, испытай их раньше — по крайней мере, у тебя больше времени с ними совладать. И еще думалось: оставаясь в Лиге наций, Вайнант единоборствовал, с внешними силами; дав согласие занять посольский пост в Лондоне, он вызвал на себя огонь сил внутренних.

— Сенат сказал свое «да» в январе, отъезд в Лондон был назначен на февраль. Помню встречу с Гопкинсом в «Рузвельт-отеле», Гарри только что вернулся из Лондона. Гопкинс был заметно взволнован, казалось, в нем жило волнение Лондона, который в ту пору отбивал воздушные атаки вермахта. Но волнение не отразилось на точности чертежа, призванного воссоздать расстановку сил в современной Великобритании, чертежа, который набросал Гопкинс. Его рука была тверда, его штрих верен: Черчилль, Иден, Бивербрук. Последние два тогда были в чести… Ценность того, что я получил тогда от Гопкинса, заключалась в том, что я этому верил — Гопкинс… А потом меня принял президент, это уже было в феврале, в канун отлета в Лондон. Помню, что день был хотя и дождливым, но теплым.

Президент сидел в своем кресле на веранде, укрывшись пледом, и смотрел, как неистовствует дождь, совсем весенний… Президент сказал мне, что я должен склонить британское правительство к еще большему терпению, в то время как наш народ сделает все возможное, чтобы помочь англичанам. Он сказал еще, что нацизм несовместим с образом жизни американцев и я должен убедить англичан, что, мы верим в их дело. Он закончил тем, что просил передать в Лондоне, что армия США готовится, промышленность еще больше подчинена военным целям и вопрос о ленд-лизе поставлен в конгрессе. Мне было радостно установить, что к нему вернулось его прежнее состояние, состояние воодушевления и деятельной энергии. Видно, полоса депрессии осталась позади, а бремя, которое он взял на себя, точно прибавило ему силы, усталость ушла, он жаждал деятельности.

Тарасову был интересен этот человек, нет, не только то, что он сейчас говорил, но и сам он, образ его мыслей, его жизнь, он как личность, даже его облик. В его внешности были изысканность и простота, точнее, изысканность простоты. Весь его физический облик был столь гармоничен, что все остальное возникало само собой и не требовало особых усилий, чтобы возникнуть. Эта изысканность простоты, как ее видел Тарасов, сказывалась и в цвете одежды посла — его костюмы были благородно серых и темно-пепельных тонов и, казалось, приятно сочетались с матово-смуглой кожей лица и лучистостью глаз, в которых постоянно жило внимание к происходящему, чуть-чуть печальное.

— Я вылетел, так и не дождавшись хорошей погоды, — продолжал Вайнант. — И в пути было ненастно, однако, когда мы приземлились, выглянуло солнце… Меня встретил Бренден-Бреккен, и я сказал ему на аэродроме, что рад быть здесь и нет в эту минуту другого места на земле, где я хотел бы быть больше, чем здесь. В этом не было дежурной любезности, я думал так. Это же я сказал королю, который встретил меня в Виндзоре. Говорят, это был первый случай, когда король выехал навстречу послу и встретил его. Он, этот случай, точно предварял то значительное, что предстояло мне сделать в годы войны в Лондоне, значительное… Но предвосхищать было рано, все было впереди, все впереди. — Вайнант улыбнулся, как показалось Тарасову, невесело. — Короче, мы пришли вместе с нашим президентом, однако, если возникнет вопрос о нашем уходе, мне надо уйти вместе с ним… Прав я?

Тарасов вернулся в посольство в девятом часу и, не заходя в кабинет, пошел в сад. Ему нужна была минута тишины, без нее, пожалуй, не осмыслить происшедшего — встреча с Вайнантом

требовала раздумий. В рассказе посла самым интересным была его реплика о сенате, о друзьях и недругах. Старое правило гласит: чтобы понять смысл назначения посла, нужно знать его предшественника. Иначе говоря, позиция посла может быть прочитана до конца сообразно с позицией того, кто занимал посольский пост до этого. Однако кто занимал — старик Кеннеди. Молва рисует Кеннеди едва ли не другом леди Астор и ее единомышленником. Наверно, Кеннеди не так прост, чтобы столь крайнюю точку зрения отождествить со своей позицией. Но молва почти никогда не ошибается, и доля истины тут, несомненно, есть, и, наверно, немалая. А коли так, то и причина отставки бывшего посла может быть установлена достаточно определенно. Не надо быть слишком прозорливым, чтобы понять ход мыслей президента. Зачем Рузвельту посол с кливденскими симпатиями? А коли так, то новый хозяин американского дома должен быть напрочь лишен порока Кеннеди. Итак, посла не поймешь, если не знаешь его предшественника? Вайнанта надо понимать в связи с Кеннеди? Пожалуй. Наверно, у Вайнанта с Кеннеди нет вражды, даже, наоборот, могут быть отношения достаточно корректные, но у Вайнанта с тем кланом, который породил мировоззрение Кеннеди, есть вражда?.. В Америке есть такой клан? Да, конечно, при этом могущественный. У него свое понимание истории, как и свое понимание лиц, которые эту историю вершат.

Наверно, Тарасов мог бы на этом закончить свои размышления над происшедшим, если бы не одно обстоятельство. Но в тот момент Тарасов этого обстоятельства не знал и знать не мог. Вайнант сказал тогда: нам надо уйти вместе с президентом. Обладай он способностью заглянуть в будущее, даже не в столь далекое, события, о которых идет речь, были бы осмыслены им до конца. Вайнант, зная эту истину и следуя ей, где-то замешкался. Короче, уже после победы он был обвинен, что в бытность послом в Лондоне превысил свои прерогативы, обвинен жестоко, и должен был уйти, при этом не только с политической арены, но и из жизни, уйти добровольно… Вина Вайнанта, что он тут чуть-чуть замешкался: обещал уйти вместе с президентом и припоздал на два года… Американская история. Но в тот пасмурный апрельский вечер, когда, возвратившись от Вайнанта, Тарасов раздумывал над происходящим, он мог и не проникнуть в не столь далекое будущее американского посла. А жаль. Знал бы, многое бы открылось еще тогда.

Бекетов приметил, что на последнем посольском приеме не было Новинской, он пошел в библиотеку. Анна Павловна сидела у настольной лампы, низко склонившись над книгой, горло у нее было перевязано бинтом, из-под которого выбился краешек

компрессной бумаги, ярко-коричневой. Подле стоял стакан с чаем, неотпитый; не иначе, книга увлекла, и чай остыл. Он поймал себя на том, что затаился, не очень понимая, зачем он это делает. Ему хотелось, чтобы продлился этот миг, что-то он рассмотрел в ней сейчас такое, чего не примечал прежде. Ему привиделась в ней робость, какой не было, быть может, даже боязнь.

— Анна Павловна? — произнес он едва слышно и вдруг почувствовал, что голос не его.

Она медленно подняла глаза, все еще не понимая, кто вошел, сняла очки. Видно, сработала реакция — она сняла их быстро, осознав, что вошел именно он, она не хотела, чтобы он видел ее в очках, и это ему что-то объяснило, ему стало хорошо.

— Ну, кто в такой вечер сидит над книгой? — произнес он и подивился тому, сколько озорства вдруг прорвалось в его голосе. — Весна…

— Да, весна, — сказала она печально и, открыв стол, спрятала очки. Он взглянул на нее и подивился открытию, которое сделал: а ведь у нее совсем не сине-мглистые глаза, какими они казались ему прежде, да и в лице он увидел иное — он рассмотрел шрам, осторожно насекший нижнюю губу. Да, она определенно была иной — глаза сузились и шрам, едва заметный, который мудрено было рассмотреть, искривил губы, отчего в лице появилось выражение горечи. Он немножко знал себя: он умел хранить в сознании образ женщины и умел его как бы дорисовывать. Эта способность дорисовывать была в нем так сильна, что, встретив женщину вновь, он немало изумлялся: да она ли это? Быть может, нечто подобное происходило и теперь? Но вот что интересно, она была в его глазах сейчас все так же хороша. Что-то нехитрое и, быть может, немножко смешное было в их общении. Что-то смешное и драгоценное, чего у него нет, но что ему необходимо, очень необходимо, пожалуй, больше всех насущных благ на свете.

— Вчера поздно пришли от Шошина — зажало сердце… — сказала она и закрыла глаза, они у нее устали. — У меня были эти капли, валерьяновые, и я побежала. Представьте, как сидел в кресле, так и остался сидеть, не хотел лечь, еле отходили… Так можно лошадь заездить, пожалели бы…

— Лошадь-то с норовом, не совладать… — вдруг произнес он. Это было неожиданно и для него.

Она умолкла, наклонив голову, она ждала другой реакции.

— Норов… от желания устоять на ногах… — сказала она, помолчав. — Я ему говорю: «Вы должны знать, Степан Степанович, где кончаются силы. Этот ваш кофе — не силы, это

кнут… Вы и сердце свое исхлестали». Я у него разом отняла все слова. Потом открыла его шкафчик: кружка, пачка соленого печенья и кофе, конечно… Я далеко от него, вы ближе… Вам с руки помочь ему…

— Чем помочь?

— А вы не знаете?

— Нет.

Она подняла руку и отвела волосы. Они были подсвечены лампой, что стояла рядом, и казались больше обычного золотыми. И на руке лежал отсвет, золотистый, быть может, от лампы, а возможно от волос.

— Ему стало лучше не сразу, и я пробыла там с полчаса. Он сказал: «Я делю людей, всех людей, на тех, у кого есть вот тут, — он указал на грудь, — шелковая ниточка, называемая душой, и у кого ее нет». Я сказала: «Не спрашиваю и не имею права спрашивать, есть ли эта ниточка шелковая у женщины, чью фотографию я однажды видела у вас, но она, эта женщина, не должна вас оставлять одного…» И вновь я отняла у него все слова. Он сказал: «Она не виновата, и у нее есть эта ниточка, шелковая». — «Вы рыцарь, Степан Степанович. Вы не хотите перекладывать вину на слабые плечи», — сказала я. «Нет, правда, у нее есть эта ниточка, шелковая, и она не виновата», — повторил он, а я подумала, что-то он сказал такое, что, наверно, нужно не только ему…

— Всем людям? — спросил Бекетов заинтересованно.

— Всем, — ответила она и повторила значительно: — Так мне кажется, всем…

Бекетов едва удержал себя, чтобы не спросить: «И вам?» Да, смысл произнесенного ею заключался в том, что она относила это к себе. Она точно говорила: если все люди разделены на тех, кто имеет этот шелковый волосок и у кого его нет, какой смысл друга жизни выбирать по иному признаку. Неизвестно, как бы развивался этот разговор, но на пороге возник Новинский и, увидев Бекетова, смешался.

— Я прервал вашу беседу, Сергей Петрович, простите. Аня сетовала, что вам недосуг зайти за книгами… — Он обратился к жене: — Я освобожусь через полчаса…

Он откланялся с несвойственной ему торжественностью. Он нещедр, нещедр Новинский: поклон отвесил церемонный, однако времени дал в обрез — полчаса. Кстати, если Анна Павловна обратила крылатое слово Шошина к себе, то как его следует понимать, это слово? Ну, эта самая хрупкая ворсинка, что зовется душой, есть она, например, у Новинского? На взгляд Анны Павловны, есть? Не тут ли существо того, что хотела сказать

Новинская?

— Ничего нет важнее, чем эта нить, — произнесла она храбро, с приходом Новинского храбрости у нее не убавилось. — Есть она, эта нить, в друге — счастье, нет ее — беда…

— По этой формуле, женя Шошина должна быть в Лондоне, не так ли, Анна Павловна?

— Жена Шошина? — вопросила она, и ее голос явил печаль, даже разочарование — она уже давно относила этот разговор к себе, а тут вдруг жена Шошина? «Есть она, эта нить, в друге…» — это же она говорила о себе, только о себе. — Жена Шошина? — у нее не было сил скрыть огорчение. — Быть может…

Полчаса, что дал Новинский Бекетову, почти убыли, и Сергей Петрович вдруг почувствовал, что не может уйти. Да, он должен был сказать себе, что у него нет сил встать и покинуть эту комнату, не очень разобравшись, что же с ним происходит. Она сидела все там же, у настольной лампы, где он застал ее, когда вошел сюда. Он вдруг ощутил, что ему необходим ее говор с этим придыханием и с этими круглыми волжскими «о», этот голос, в котором вдруг прорывались шутливо-иронические нотки, этот смех, чуть ребячий, с пофыркиванием, даже само молчание, когда она вдруг, затихнув, опускала глаза, задумавшись, и только вздрагивали брови, выдавая мысль, упорство мысли. Он, казалось, готов был согласиться на то, чтобы, как сейчас, между ним и ею была стена, которую не в его силах смести, преодолеть, лишь бы была рядом, лишь бы ее можно было видеть.

— Сергей Петрович, чую, что, если не скажу сейчас, никогда не скажу, — она взглянула на него с неодолимой пристальностью и грустью. — Можно?

— Да.

Она молчала. Ей надо было хорошо обдумать то, что она хотела сейчас сказать, для нее это было очень важно.

— Ну конечно, душа — это, как сказала бы моя мама, от бога; одному она дана, другому нет… Но есть нечто такое, что человек обретает не на небе, а на земле, Сергей Петрович. — Она не прятала глаза сейчас, она смотрела безбоязненно, и во взгляде ее было жадное внимание — ей надо знать, как он отнесется к ее словам. — Я говорю об этом огне страданий, через который проходит человек и который сжигает в нем скверну, навсегда сжигает и делает человека неспособным ко лжи… О, это великое достоинство, когда человек, позади которого жизнь, может сказать: я жил по правде…

Бекетов смутился — однако надо обладать немалой храбростью и, быть может, силой, чтобы вот так повернуть разговор, глядя тебе прямо в глаза.

— Вы к чему это, Анна Павловна? — спросил он, хотя мог и не спрашивать, логика ее мысли была нерушима.

— Вы для меня такой человек, Сергей Петрович, — произнесла она и не отвела глаз, ее взгляд был все так же безбоязнен. — Не знаю, найду ли я в себе силы сказать вам это завтра, но сегодня я вам говорю это и не скрою, что испытываю счастье… — Она взяла со стола раскрытую книгу и, вложив в нее карандаш, закрыла. Этот жест был тих, как только мог быть ее жест в эту минуту, но в нем был смысл, точный — она торопила его.

Вот она, жизнь моя страдная, вот она, жизнь моя, твердил он себе, уходя. Это было бегство, радостное бегство. Да не ясно ли, что она сказала все и за себя, и, быть может, за Бекетова. Все, что могла сказать в нелегком своем положении, сказала. Самоцвету надо объяснить, что он самоцвет, иначе он пролежит в земле вечность, как булыжник. Наверно, сравнение это грубо, но оно верно. Что-то случилось с нею такое, что пробудило ее. Дело не в нем — в ней. Да знала ли она себя до этого? Если же узнала, то для чего? Узнав, добыть силы и совершить такое, что истинно необходимо людям. Что совершить?

Он вышел из посольства и, взглянув на небо, точно окаменел. В этом было страшно признаться, но он понимал, что Екатерина, многотерпеливая подруга его, данная, казалось, самой судьбой на весь крестный путь в этой жизни, напрочь лишена черт, которые он увидел в другой женщине и которые для него бесценны… Да, как разрубить этот узел, не повредив совести? Однако неудобная штука эта совесть; казалось, она существует сама по себе, и воли своей ты ей не навяжешь.

22

В Москву явился Бухман и тут же позвонил Бардину.

— Вы обедали? Я просил накрыть стол в номере, приезжайте.

Подобно многим своим соотечественникам, Бухман облюбовал «Националь». Видно, действует старое правило: когда под боком посольство, и чужой город греет.

Бардин подивился виду Бухмана — на Эдди был костюм офицера американской пехоты: брюки цвета хаки навыпуск, стянутые у самых щиколоток манжетами; как манжетой, но неизмеримо большей, была стянута на объемистом животе Эдди форменная куртка. Бухман вышагивал крупно, поскрипывая огромными башмаками. Да и в лице Эдди Бухмана произошли изменения заметные: то ли смугло-красный отсвет кожи тому причиной, то ли полубаки, неожиданно рыжеватые и вьющиеся, но в лице появилась строговатость и даже мужественность, какой прежде не было.

— Я не удивлюсь, Эдди, если завтра узнаю, что в составе первых десантных полков вы высадились в Гавре или Шербуре…

Бухман расхохотался, видно, и смех его претерпел изменения, он стал кругло-раскатистым, мужским — гах-гах-гах! Американцу льстили слова Бардина.

— Мне говорят друзья: Эдди, чем ваша жизнь отличается сегодня от жизни офицера действующей армии, если большую часть времени вы в военном самолете? Я подумал: и вправду, чем отличается?.. Одним словом, не хочу быть больше штатской крысой. И потом, сегодня женщины любят военных — гах-гах-гах-гах!

Нет, поистине достойны удивления метаморфозы, происходящие с людьми. Да Бухман ли это? Куда делся серо-зеленый цвет лица, и спазмы сердца, и одышка?

— Погодите, где ваши хвори? — настаивал Бардин. — И как это произошло?

И вновь Бухман загрохотал и забухал этим своим «гах-гах-гах».

— А я однажды сказал себе: «Я здоров» — и стал здоров… Нет, нет, я сейчас вам докажу… Что будем пить? Водку можно?..

Бухман заказал к обеду все русское: щи, мясо с грибами, пирог с яблоками, а на закуску селедку. Не столь уж изысканны яства, но все доброе, всего вдоволь — весной сорок четвертого «Националь» уже кормил хорошо.

Бухман пил охотно, подзадоривая Бардина:

— Вы русский, вам нельзя от меня отставать…

Американец пил и набирал настроения, он точно готовил себя и гостя к разговору, который неясно маячил впереди.

— Человек должен иметь стимул, иначе… зачем жить? — вдруг произнес Бухман и размял плечи; как заметил Егор Иванович, он это делал теперь время от времени.

— Как понять «иметь стимул»? — спросил Бардин.

— Такой вопрос может задать только русский!.. — едва ли не возликовал Бухман — своим вопросом Бардин и изумил, и обрадовал его. — Какой стимул в наше время является истинно стимулом? Нет, действительно, какой?..

— Ну, написать книгу, например, стать доктором наук, совершить открытие… — пояснил Егор Иванович. Спасибо русской водке, без нее бедолага Бухман, пожалуй, не решился бы на этот разговор, а у разговора есть цель, любопытная, подумал Егор Иванович.

— Это все производное, понимаете, производное! — воскликнул Бухман воодушевленно. — Чтобы написать книгу, стать доктором, совершить открытие, необходима основа… Понимаете, основа!

— Верно, основа! — согласился Бардин. — Нужны знания — вот основа!..

И вновь бухманово «гах-гах-гах» пошло гулять по комнате.

— Значит, нужны знания, так? Знания?

— А что?

— Вот я и сказал: так может думать только русский… Нужно быть богатым, именно!..

Бардин приумолк: значит, богатым? Богатым? Вот он, американский либерал, каким явила его жизнь. Именно либерал, да еще в форме солдата великой антифашистской войны, кстати, либерал не из худших. Богатым?..

— Вы смущены, господин Бардин? — спросил Бухман, сам испытывая немалое стеснение.

— Да, немного, — признался Егор Иванович. Они помолчали — не просто было найти продолжение этому разговору. — А если небогат, но талантлив, господин Бухман? — Да, Егор Иванович назвал американского приятеля «господин Бухман» — разговор как-то сам по себе стал более официальным.

— Ничего не получится… — Он подумал; видно, хотел быть честным в этом ответе, сказал и проверил себя. — Иногда получается, но редко, так редко, как будто бы этого и не было…

Они перестали пить — водка не шла, она точно потеряла вкус.

— Как понять «богатым»… — это страсть или расчет? — Бардин сделал усилие улыбнуться. — Я хочу сказать, от сердца

или от ума?

— Иначе говоря, вас интересует, хочу ли я быть богатым? Хочу, разумеется. Это для вас неожиданно?

Бардин вздохнул, разговор становился чреватым опасностями — оступишься, и все пойдет прахом.

— Неожиданно…

— Разрешите спросить, почему?

Ну, вот они и подобрались к главному: почему?

— Господин Бухман, встреча с вами была для меня событием, — произнес Егор Иванович, сдерживая волнение. Все, что он намеревался сейчас сказать, было значительным для его отношений с американцем. — В том, что есть современная Америка, для меня самое важное — это господин Гарри Гопкинс. Я не имел возможности близко знать его, но судьбе угодно было подарить мне встречу с вами. Нет, вы не смейтесь, я готов повторить: судьбе угодно было именно подарить. Буду откровенен, мне были интересны не только вы, но и те, кто стоял за вами и кого вы помогли мне понять… Наверно, в нашем возрасте и в нашем положении пристало смотреть на людей и оценивать их трезво. Так вот, есть понятие «линкольновская Америка», и для меня эту Америку олицетворяет господин Гопкинс. Теперь я хочу задать вопрос, однако прошу понять меня правильно, я бы не спрашивал вот так прямо, если бы не питал уважение к вам… Итак, среди тех больших и малых задач, которые ставит перед собой господин Гопкинс в жизни, есть эта?

— Какая? Стать богатым?

— Да… стать богатым. Есть?

Бухман встал и пошел к окну, где стояло мягкое кресло; его башмаки, только что такие громогласные, потеряли голос.

— Ведь богатство богатству рознь, — откликнулся он, обосновавшись в кресле. — Богатство можно нажить бесчестно и богатство можно нажить честно…

— Простите, но в том богатстве, о котором говорим мы, честность участвует?..

Бухман закурил, видно, он вложил в раскуривание большую энергию, чем того требовала сигара; дым, густо-сизый, заволок американца, из дыма, как из стога, торчали только рыжие баки.

— Ну, предположим, я приобрел дело, торговое… — произнес он, как бы рассуждая сам с собой. — Это, простите, форма эксплуатации?

— Пожалуй.

— И поэтому безнравственно?

— Мне так кажется.

Бухман молча попыхивал сигарой — как же он далеко ушел

сейчас от этого своего «гах-гах-гах».

— Если говорить о Гопкинсе… — наконец произнес Бухман, речь вернулась к нему не без труда. — Он уже сделал карьеру, и у него нет необходимости быть Морганом. Гарри, если говорить откровенно, белая ворона, и я могу на него не походить, оставаясь между тем человеком честным…

— А если бы… не сделал карьеру?..

— Именно Гопкинс?

— Да, Гопкинс.

Бухман вдруг засмеялся нехрабрым смехом человека, для которого разговор становится неловким.

— Вы хотите спросить: «В этом различие между вами и Гопкинсом?» Угадал я?

— Допускаю.

— И еще вы хотите спросить: «Если наше отношение к частному предпринимательству и собственности столь различно, не конъюнктурен ли наш союз?» Хотите спросить?

— Возможно…

— Вот мой ответ, господин Бардин. Есть область, где наши интересы сближаются, — забота о послевоенной поре, поре, надеюсь, долгой, когда нам придется жить вместе… — Он вдруг вернулся к столу и, взяв бутылку с водкой, вынес ее к окну, за которым заметно померк и без того неяркий апрельский день. — Могу я надеяться, господин Бардин, что этот разговор не отразится на нашей дружбе?

— Несомненно, господин Бухман…

— Ну, тогда я полагаю, что у нас есть повод выпить…

— Да, конечно…

Бардин поднялся к Пушкинской площади, предполагая добраться до большого дома на Кузнецком бульварами и Варсонофьевским — его нелегкой мысли необходимо было расстояние. Он не думал, что Бухман сегодня кривил душой, хотя, если бы американец мог предугадать реакцию Бардина, он, возможно, повел бы разговор иначе. В мире птиц с едва не сажисто-черным оперением Гопкинс действительно выглядит птицей светлой, но натуру Бухмана это может и не объяснить. Допустив, что в природе существует американский либерал, да, тот самый американский либерал, который сегодня за дружбу с Россией, мы тем не менее должны признать, что Бухман к этому либералу ближе, чем Гопкинс. А коли ближе, то его, Бухмана, не надо идеализировать, как, впрочем, нет необходимости идеализировать и Гопкинса. Он по сути своей буржуа, этот либерал, хотя нередко и буржуа в перспективе. Он хочет быть богатым, этот либерал, и это надо видеть. Мешает ли это его

дружбе с Россией? Возможно, и нет, хотя иметь в виду это надо, постоянно иметь в виду. Но вот вопрос: зачем приехал Бухман в Россию? Не затем же, чтобы сказать, где кончается Гопкинс и начинается он, Бухман? Но для этого дорога бульварами, которую выбрал Бардин, пожалуй, коротка — ответ, который стремился отыскать Егор Иванович, лежит дальше, много дальше.

23

Бардин вернулся домой, когда Ольга уже спала. Егор Иванович не без печали заметил: с тех пор как она связала свою судьбу с Баковкой, она ложилась до того, как муж вернется, и покидала дом задолго до того, как он встанет. Как ни крути, но сбылось худшее.

Егор Иванович пошел на Сережкину половину, которую с некоторых пор обжила Ирина, и был немало изумлен, что дочери нет. Он оглядел комнату и едва ли не рядом с собой увидел платяной шкаф Ксении с резной дверцей. Он подумал, что никогда не видел этот шкаф здесь, и должен был признаться, что не был дома вечность. На столе, придавленное увядшим яблоком, лежало начатое письмо. Была бы Ирина рядом, быть может, не взглянул бы, а тут сама тревога повлекла к письму. Первая же фраза ошеломила: «Мальчишка — не серьезно, мужчина — серьезно». Да Ирина ли это? Взял письмо, повертел. Она. Когда же она доросла до этих слов и ее ли это слова? А если ее, то не могли же они возникнуть в ней внезапно, сложились с возрастом, вызрели? С возрастом? А сколько ей? Семнадцать. Чтобы ты их не преуменьшил, эти семнадцать, надо, чтобы тебе было столько же. Однако тебе семнадцать уже не будет, я следовательно, не суждено тебе ее понять. В письме нет обращения, кому оно? Не тому же мальчику с сивым хохолком, который прибегал на Калужскую с Шаболовки, сын технолога или заводского инженера. У мальчика был тщательно зачесанный вихорок, видно, прежде чем расчесать его, этот вихорок, мальчик смачивал его, там, где прошла расческа, были видны бороздки. То ли оттого, что мальчик был светел, то ли оттого, что он был не очень могуч в плечах, Егору Ивановичу почудилось, что он много младше Ирины. «Небось однокашник? — осторожно спросил тогда Бардин дочь. — Сидите на одной парте?» Она внимательно посмотрела на отца, все поняла. «Ты думаешь, что он младше меня? — спросила она, ее печальные глаза смотрели храбро. — Он старше… на три с половиной месяца…» — «Подсчитали?» — нашелся Бардин. Пожалуй, если бы не нашелся, дело было худо. Не этому ли мальчику с чубчиком адресовано письмо? Если ему, то какой смысл она вкладывала в слова о мальчишке и мужчине? Он опустился в кресло. Только сейчас он заметил, с какой тщательностью все вокруг было выскоблено, выщелочено, выкрахмалено. Именно выкрахмалено: скатерка, шторки, тюлевые занавеси и, конечно, пышное убранство кровати. Стыдно сказать, у кровати ее с кружевным покрывалом и многоярусной

пирамидой подушек, покрытой такой же кружевной накидкой, был такой вид, будто бы тут жила не девочка, а женщина-молодуха, понимающая во всем этом толк. Непонятно почему, но крахмальное это царство дохнуло на Бардина тревожным ветром.

Суетность минувшего дня, а может быть, и усталость подступили к Бардину именно в эту минуту — его сморил сон. Он расположился в Иришкином кресле с мягким сиденьем и удобными подлокотниками, в которое она усаживала самых дорогих своих гостей. Ему явилась во сне снежная гора едва ли не такой же лилейной солнечности, как крахмальный снег Ирининой светелки. С горы бежали санки, взрывая снег. Снег вздымался облаком. Оно вспыхивало и гасло, это облако, стекленея и рушась. Когда оно вспыхивало, то становилось неожиданно дымным, с изжелта-червонной сердцевиной. Потом черная каемка источилась, осталось только червонное ядрышко, и Бардин рассмотрел в нем лицо Ирины. Теперь он мог установить наверняка: она была и в самом деле не так юна, как казалось. В плечах была округлость, какой у нее раньше не было, да и на щеках было по ямочке, каких при ее худобе быть не могло. Облако рассыпалось и опало, а санки все бежали. На их пути встала гора, они перемахнули, при этом и ров, и гора возникли крупно, у самых глаз, точно специально для того, чтобы Бардин мог рассмотреть, как летят над ними сани… И Ирина возникла крупно, у самых глаз, но сейчас уже шла в гору, шла нелегко, и не было у нее круглых плеч и ямочек на щеках, а была она такой же желтолицей и худущей, как всегда.

— О, Топтыгин, хорошую берлогу ты себе облюбовал!.. — голос Иринин, и рука, что ухватила Бардина за вихры и некрепко, щадяще потрясла его массивную голову, тоже Иринина, так брала Бардина за вихры только она. Егор Иванович раскрыл глаза — ну конечно, она, другой такой нет, худоба худобой.

— Точно ты фуру с мукой на себе возила, того гляди, упадешь от усталости… Да ела ты нынче?

— Вот… ем.

В руках у нее стакан молока и краюшка черного хлеба — что надо птичке-невеличке, чтобы быть сытой?

— Небось мерила московские версты с этим своим?.. — он тронул ладонью чуб, вздыбил — все понятно, так он обозначил мальчика с хохолком.

— Ты о Стасике? Нет!.. Он меня уходил, Стасик!.. По Москворецкой набережной: от моста Каменного до Устьинского и обратно…

— А вы бы взошли на мост! — воскликнул он, сознавая, что сказал не то, что надо было сказать. Ему хотелось поддержать

настроение дочери, остальное было неважно.

— А мы взошли на мост, на Крымский…

Она расхохоталась и тотчас захлопнула рот ладошкой, закашлялась — истинно поперхнулась смешинкой.

— Значит, взошли!..

— Взошли, взошли… и вдруг цыганка с цветами. До сих пор не могу понять, откуда она взялась. Сунула цветы и шарах в сторону — боится, чтобы цветы не вернули ей. Стасик раскрыл ладонь и разложил на ней свои медяки. Я взглянула на него, а он стал синим от страха — денег не хватает… Одним словом, букет пришлось возвращать цыганке… Так у меня было такое состояние, папа, что впору с Крымского моста вниз головой… Понимала и прежде, что мне со Станиславом каши не сварить, но как-то не решалась, а тут вдруг прозрела: не мой герой!

Бардин приуныл, разом отпала охота смешить Ирину.

— Не твой, говоришь?

— Нет.

— А кто твой герой, разреши полюбопытствовать, а?

Она молчала, только глаза, полные скрытой радости, были обращены на Бардина. Ну, не вытерпит, скажет, думал Егор Иванович, не устоит. Если ее сейчас попросить не говорить, все равно скажет. У нее сейчас нет желания большего, чем поведать о своем герое.

— Сказать?

Она вдруг ткнула недопитый стакан с молоком, едва не выплеснув содержимое на стол, и, устремившись к Бардину, принялась его целовать напропалую, целовать и мутузить — ее твердые кулачки беспрепятственно гуляли по неоглядным пределам бардинского тела, однако не нанося Егору Ивановичу заметного ущерба.

— Он сосед тетки. Елены… Ну, что смотришь? Суздальской Елены, суздальской!..

— Суздальской? Когда же ты успела… в Суздале-то?

— Я же там была на ноябрьских… Только не пугайся, ему лет тридцать пять, инженер-путеец, строит дорогу где-то на востоке…

— Чем же он пришелся тебе по душе? — спросил Бардин, испытывая неловкость — эта тема в его разговорах с дочерью возникла впервые. Была бы Ксения, ей этот разговор был бы, пожалуй, больше с руки.

— Понимаешь, папа, ну что я? Так, девчонка сопливая! А он? Мужик, царь природы… Тут и зрелость настоящая, и самостоятельность… Женщина — существо слабое, ей нужна опора…

— А на Стасика не обопрешься? — спросил он и сощурился,

спрятав в прищуре ухмылку.

Она не уловила в вопросе отца иронии.

— Хорошее слово: опора.

Не просто ему было уснуть в этот раз. И впрямь, не успела выколупнуться, уже тянет свою ниточку, и лукавит, и мудрит, а уж как рассчитывает — высшая математика, женская, разумеется… Но вот задача: откуда у нее этот опыт, когда он образовался и как был зачат? Не из сумеречной ли тайны рождения, не всесильные ли гены тут виной?

Проснувшись, Бардин никого уже не застал дома, но на столе подле тарелки с котлетой и банкой с консервированными баклажанами, до которых он был охоч, Егор Иванович увидел Ольгину записочку. Ольга писала, что целый час ждала, пока Егор распахнет свои светлые очи, и уехала, не дождавшись заветной минуты. Если государственные дела не окончательно полонили Егора, писала Ольга, может быть, есть смысл приехать сегодня в Баковку — лучшего дня, чем нынешний, не найти, все-таки конец недели.

Бардин поехал в Баковку. Ехал и спрашивал себя: что увидит? Из того немногого, что удалось уловить ему в течение тех трех недель, как Иоанн выманил Ольгу в Баковку, Егор Иванович понял, что дело их еще только набирает силу. В словах их, как заметил Бардин, жили северное поле с рожью и просом, пшеница была редкой гостьей.

«Вот и я, как тот воитель из храброго воинства Александрова, что пал на льду Чудского озера, готов сказать: кольчужка коротка…» — завел однажды разговор с сыном старый Иоанн. «Это как же понять — коротка кольчужка?» — спросил Егор. «Жизни не хватает… — пояснил старый Бардин. — Все рассчитал, а тут раз и обчелся — для того дела, которое я начал, мне пятнадцать лет надо, а их у меня, как ты понимаешь, нет…» — «Ольгу ты не для этой цели приспособил, чтобы жизнь удлинить?» — «Для этой, конечно, но ей в подмогу мужичка бы помоложе. Эх, что мне с твоей дипломатии? Как с козла молока! Серега был бы хорош…» — «Где взять Серегу?» — вопросил Егор, вопросил с искренним сожалением, но подумал тотчас: хитрит старый, но хитрость его прозрачна… Ольга — не совсем Бардина, вот причина. В бардинские руки хочет отдать Иоанн дело свое, потому и воскликнул в сердцах: «Эх, что мне с твоей дипломатии? Как с козла молока!»

Но то, что увидел Бардин в ваковских угодьях Иоанна, не столько подтверждало представление Бардина об Иоанновом деле, сколько опровергало. Наверно, на месте Иоанновой усадьбы

был совхоз, а до совхоза коммуна, какие возникали в первые годы революции, а еще раньше пашни и луга помещика, на взгляд Бардина, радивого очень.

Но что увидел Егор Иванович? Посреди обширного поля, тщательно вспаханного и разбитого на делянки, стоял двухэтажный кирпичный дом под железной крышей. Казалось, дом был молодым — вопреки невзгодам войны, крашеное железо его крыши, фактура кирпича, переплеты окон, парадное крыльцо под козырьком дышали новизной, видно, дом был отстроен в канун военной страды и, возможно, предназначен для опытной станции. Но чистюлю Иоанна состояние кирпичных палат не устроило бы и в том случае, если бы они были возведены только что. Приняв станцию, Иоанн начал скоблить дом, точь-в-точь как это делал старший его отпрыск, перед тем как расположить в очередном обиталище штаб фронта, — чистоплюйство наверняка было для Бардиных недугом фамильным.

Егора Ивановича провели к отцу, который занимал угловую комнату на втором этаже, из четырех окон этой комнаты окружающие поля были видны до дальнего леса.

— Как с капитанского мостика! — воскликнул Бардин, оглядывая восхищенным взглядом Иоаннов кабинет. — Все как на ладони!

— Ничто не заменит мне собственных глаз, хочу все видеть сам! — изрек Иоанн; видно, он произносил это здесь уже не однажды. — Терпеть не могу, когда между мною и делом есть еще кто-то… — добавил он хмуро. — Затаись и жди, надо кое с кем переговорить.

— Я подожду… рядом.

— Нет, жди здесь, — отрезал Иоанн с той категоричностью, какая не чужда была ему и прежде. Бардин, грешным делом, подумал, что предстоящий разговор отец устроил специально для него, не было бы Егора, и этого разговора не было бы.

Перед Иоанном стоял человек на костылях и держал ситцевый мешочек с зерном. Ситец в нетускнеющих васильках, рассыпанных по полю щедрой пригоршней, наверняка был в свое время косынкой, а то и кофтой деревенской модницы,

— Верите, эта пшеница на вес золота, — вымолвил человек на костылях. — Я ее, можно сказать, из железного ящика уволок! Вчера она Орел приступом взяла, а завтра сам Владимир перед нею белый флаг выбросит…

— Ты сядь… Греков, сядь… — упрашивал Иоанн своего гостя, но тот упрямо стоял, притопывая костылями. — Ты всю мою селекционную лексику перекроил на свой лад — давай свою пшеницу, Петр Иванович…

Тот, кого Иоанн назвал Петром Ивановичем, изловчился и выпростал из мешочка ему на ладонь несколько зерен.

— Мелкая пшеничка и какая-то разнокалиберная! — воскликнул Иоанн, принимая пшеницу на ладонь. — Высеем!..

Петр Иванович, приняв драгоценные зерна, ссыпал их в мешочек.

— Я сказал, высеем… — повторил Иоанн, приметив, что гость медлит с окончанием разговора.

— Иван Кузьмич, а как насчет Щигров?.. Разведка донесла, там конопля семенная ждет меня, не дождется…

— Ну, коли ждет, валяй!..

Греков оперся на костыли и что есть силы хлопнул железным каблуком об пол.

— Цены нет человеку! — произнес Иоанн, когда Греков вышел. Старый Бардин был доволен, что показал Егору Ивановичу Грекова. — Знаток пшеницы сортовой, каких мало, а с сорок первого сапер, каких тоже не так уж щедро насыпано, ногу оставил на минном поле под Волоколамском… Пришел ко мне с месяц, а уже проехал половину России в поисках семян… Знает, где что лежит…

— Где что плохо лежит? — спросил Бардин, смеясь.

— Именно — плохо лежит… — согласился Иоанн, он вдруг стал покладистым. — В иное время я, пожалуй, подождал бы, когда получу семена по разнарядке, а нынче не имею права ждать. Поэтому закону верен, но что могу добыть — добуду… естественно, не переступая грани…

Он устроил парад своего войска доблестного, хитрый Иоанн, и заставил Егора принимать это войско: тут были и специалисты по викам и овсам, и ветврачи, и дед-садовод, знаток малин и земляники, и агрономы. Иоанн был немногословен, строг и точен, требуя этого и от людей, с которыми разговаривал. У него было ощущение остродефицитное™ времени в такой мере, что на улыбку сил не оставалось. Очевидно, он понимал, что это не столько достоинство, сколько недостаток, но иначе не мог. Он видел цель и шел к ней, как ему казалось, кратчайшим путем. Наверно, в его манере руководить было нечто властное, быть может, даже чуть-чуть деспотическое, но это был Иоанн, его натура, его стиль общения с людьми. Одним словом, большой маховик Иоаннова дела набрал обороты. Непонятным было только одно: как этот старый человек с покалеченной рукой придал такую скорость маховому колесу? Не иначе, в природе существовала сила, быть может незримая, которая была тут с Иоанном. Но что это за сила? Очевидно, авторитет Иоанна — слава о его ученых доблестях, престиж его пшениц, — другой

силы у него не было.

Иоанн кликнул Оленьку, но вместо нее явился Греков.

— А она с полчаса, как умчалась на газике к дальним лесопосадкам…

— С полчаса?

— Да, только что.

— Не храброго десятка! — сказал Иоанн, обращаясь к сыну, когда Греков вышел. — Увидела тебя и сбежала… Ну, мы ее настигнем!

Они покинули дом и нешироким проселком, тронутым вешним солнышком, пошли по полю.

— Ты мой рассказ помнишь про кувалду, всемогущую и древнюю иконопись, что ненароком попала под ту кувалду?.. Так вот я тебе сейчас картинку покажу, но только, чур, не обессудь, картинка невеселая… Видел деда Филиппа Котлярова? Ну, этого, что желтой малине только что хвалу пропел?

— Сиплого… с перьями в волосах?

— Он, с перьями!.. Вчера аккурат об это время выходим мы из конторы и с ним на дорогу, я к нему: «Филипп, ты здесь на всю округу небось самый старый?..» — «Из тех, что видят и слышат, пожалуй, старше меня никого нет». — «А те, что не видит и не слышат, не в счет, Котляров!.. Вот к тебе вопрос: нарисуй-ка мне, как выглядела эта местность прежде…» — «Это когда, прежде? До первой войны? Изволь: по правую руку — барский дом с яблоневым садом и с тополевой аллеей, по левую — церква, а за нею — пруд и речка…» Дед Филипп сказал и ушел, а я стал ломать голову: куда это все девалось? Ну, церковь можно соскрести так, что и каменная основа в дым обратится, а вслед за нею барский дом и амбары в летучее облако обратить… А вот как соскрести пруд с тополевой аллеей, а вслед за этим речку точно на небо поднять, не оставив от нее следа? И потом я не мог себя не спросить: зачем это надо было делать и кому это надо было? Зачем? Может, ты ответишь?.. Молчишь?

Ну вот, пошел Иоанн по новому кругу. Истинно, не сразу и ответ отыщешь на такой вопрос. Значит, свели пруд и тополевую аллею, да и речку, как свидетельствует Иоанн, едва ли не на небо подняли. Что тут отрицать? Все тут на виду, все в натуре — поставил тебя хитрый родитель едва ли не лицом к лицу с географией, так сказать, а она, как известно, не спорит, она свидетельствует. Но какой смысл в вопросах Иоанна? Речку еще можно вернуть к жизни, если руки приложить, а пруд с тополевой аллеей поминай как звали — там, пожалуй, земля уже распахана. Какой смысл, действительно, возвращаться к этому? Как всегда у Иоанна, формула почти железная, но есть ли в ней логика? Иоанн

скажет: чтобы наперед не делать глупости. Если я не понимаю, что это глупость, меня можно, пожалуй, предупредить, но если мне это известно не в меньшей степени, чем тому же Иоанну, какой в этом резон? Нет, в самом деле, какой резон?

— Чего же ты умолк, отпрыск мой мудрый? Ответа хочу.

— Ответа? Да какой смысл во всем этом разговоре? Вот видишь, человек на пригорок поднялся? Останови его и скажи, что, сказал мне. Не знаю этого человека, как, наверно, не знаешь его ты, но скажу точно, что он тебе ответит…

— Сделай милость, скажи.

— «Ошибка истории, а история, как известно, невинна, и с нее взятки гладки, при этом данная истина в такой же мере известна мне, в какой и вам… Поэтому ваш вопрос беспредметен, в нем нет смысла» — вот его ответ, а кстати и мой… Нет смысла, понял?

— Нет, смысл есть.

— Какой?

Пора наконец понять, что его голыми руками не возьмешь. Если он решился на этот разговор, то он хоть и на глазок, но прикинул, что к чему.

— Войди в мое положение, — сказал Иоанн, провожая внимательным взглядом человека, что появился на пригорке и сейчас с пригорка почти сошел. — Войди, в самом деле. Вот меня призвали сюда и говорят: нельзя ли соединить ваш опыт южнорусского земледелия с опытом северорусским? Нет, не только рожь и просо, но и пшеница, северная разумеется, должна расти в Рязани и Твери, Владимире и Вологде… Одним словом, русский Север должен быть богаче. Сказали и оставили меня посреди этого поля наедине с моей думой, не всегда веселой… — произнес он и остановился, все еще удерживая взглядом пригорок, с которого сошел человек. Он точно сожалел, что не сказал человеку того, что должен был сказать, а человек ушел, навсегда ушел. — Вот я и задумался: какая это земля, которая отдана мне во владение, какая она есть и какой была? Ну, помещик нередко был деспотом. Дав ему пинка, революция сделала доброе дело. Но одно дело помещик, а другое — поместье. С той самой минуты, как выгнали помещика взашей, поместье стало уже не его, а народа. Поэтому, сохранив поместье, революция сберегла бы его для народа. А там было что хранить. Было, это я сам видел. Они не все оказались плохими хозяевами, российские помещики, немало было хозяев хороших. Кстати, к началу века двадцатого произошла смена хозяев, а они, эти новые, были, возможно, еще злее прежних, но и радивее, и часто способнее — вишневыми садами владели Лопахины. А коли так,

то хозяйства эти были по-своему организованы складно; нет, не только барский дом, но и посад хозяйственный с конюшнями, скотным и птичьим дворами, амбарами и погребами, а заодно парк с прудом, а то и целой системой прудов, сады, мельницы и просорушки… Верь мне, я это помню: в первые лет десять многое было сведено и точно ветром сдуто с земли российской. Только там и уцелело, где обитала литература русская, государство грудью встало и защитило. Впрочем, хотело защитить, да не везде успело — усадьба, где жил Блок, порушена, да и многое другое… Что тут произошло, если посмотреть в корень? А вот что: все это было не просто чужим, но враждебно чужим. Дав недругу пинка, люди не сразу осознали, что отныне все это их собственность, и относились к этому как к чужому, а поэтому и рушили, и калечили. Тут пришли в действие сложные чувства; оказывается, чтобы народ осознал, что отныне это богатство его, недостаточно ему только сказать об этом. Это, наверно, чуть-чуть смешно, но это так: барский дом, который человек охранил от поджога, он уже рушить не будет… Надо ли этом говорить? По-моему, надо понять, как это могло случиться. Вот мы идем сейчас с тобой по проселку, посмотри себе под ноги нет, взгляни повнимательнее… Что ты узрел?

— Проселок… в рытвинах и ухабах!

— Верно, в ухабах! Но тут еще ухабы — не ухабы, а вот ты отклонись подальше от шоссейки — вот они где, рытвины да кочки!.. Короче, только война и может оправдать все это, а впрочем, война тут ни при чем — до войны было так же… А тротуары и дороги в малых городах и поселках?.. Это типично: магистральные дороги в порядке, а малые бог знает в каком состоянии!.. А знаешь почему? Без присмотра!.. Говорят, на Западе все этими табличками разукрашено: «Принадлежит… имярек». На фасаде дома, над входом в сад, у въезда в усадьбу все та же табличка: «Принадлежит…» Точно хозяин опасается, что порывом ветра сшибет табличку, а вместе с нею дом, сад, усадьбу. Вся сила в табличке — иначе не заявишь своих прав на собственность. Ну, у нас ее нет, этой строгой таблички, и слава богу, но глаз хозяйский и нам необходим. К чему я веду? Все это требует труда, и немалого. Без труда ничего не будет. Вот, сказывают, в Норвегии, где и в лесу, и в городе чистота госпитальная, есть дни, когда вся Норвегия от мала до велика берет в руки лопаты и метлы и ремонтирует, так сказать, земли и воды. В первый день чистит реку, во второй улицу, в третий строит мосты, в четвертый чинит дороги, в пятый сажает деревья… Вся Норвегия!.. Нам и карты в руки — мы страна, для которой основой основ были и дух коллективизма, и

общественное начало… Наверно, я рискую навлечь гнев некоторых наших соотечественников, но скажу: что случится с нами, если мы последуем примеру Норвегии? Как там: столько дней, сколько надо! Нет, дело не только в том, что мы сбережем и умножим богатства нашей природы, психология воспримет это доброе. Надо понять: ребенок, посадивший дерево, не поднимет на него руку!

Чем больше слушал Бардин отца, тем чутче был его слух, пристальнее глаза; как обычно, Иоанн был резок в своих суждениях, а резкость эта вызывала желание спорить, но ему нельзя было отказать в наблюдательности, в знании жизни, в интересе к ней. Наверно, не все можно было принять у Иоанна — его резкость подчас деформировала мысль, и с нею трудно было согласиться, да он и не требовал, чтобы с ним соглашались, вызывая на спор. Он, разумеется, был нетерпим в споре и злоупотреблял согласием, обратив его, это согласие, против оппонента. Может, поэтому в разговоре с ним знаком согласия у Бардина было, как сейчас, молчание — на большее Егор Иванович не решался.

Они дошли до лесопосадки, где трактора распахивали обширный кусок поля, уходящего к березовой рощице, что светлела вдали. Ольга вышла к ним из-за лесопосадки. Она была в брезентовой куртке и сапогах. Ее косынка была завязана у подбородка, как это делают крестьянки, чтобы солнышко не опалило щеки.

— Хорошо бы к вечеру управиться с этим клином и отсеяться к концу недели, — не столько произнес, сколько прокричал Иоанн. Ольга пересекла пахотное поле и вышла на дорогу, до нее было шагов двадцать. — Успеем к вечеру?..

— Успеем, Иван Кузьмич… — ответила она подходя и на ходу снимая косынку. — Прости меня, Егор, что заставила шагать в такую даль… — Она примяла ладонью рассыпавшиеся волосы. — Да тебе, наверно, полезно… Полезно, ведь? — Она приникла щекой к его плечу, и рыхлая прядь волос упала ей на глаза, однако она не отвела ее, продолжая удерживать щеку у плеча.

— Кликни, Ольга, ребят… мы их спросим, — попросил Иоанн и, не ожидая, пока это сделает Ольга, закричал сам что было мочи: — Давай сюда, хлопцы, давай, на ток да-а-а-ва-ай!

Видно, место, где стояли Бардины с Ольгой, прежде служило током.

— Сю-да, сю-да-а-а-а! — поддержала Ольга Иоанна. — На то-о-ок!

Иоанн сказал «хлопцы», хотя на току были все больше женщины, а мужики казались возраста почтенного весьма и под

понятие «хлопцы» подходили едва ли.

— К вечеру… управимся? — спросил Иоанн, когда последний из трактористов явился, поставив трактор у края лесопосадки так, чтобы его можно было видеть с тока. Был он, этот тракторист, седовлас, жгуче чернобров и тяжел в плечах, так тяжел, что при ходьбе едва ли не сгибался.

— Да как тебе сказать, Иван Кузьмич? — ответил вопросом на вопрос седой, не без оснований полагая, что коли Иоанн дожидался его, то и вопрос обращен только к нему. — Был бы тут я причиной, то управился, но тут трактор, а у него свой бог… — он могуче шевельнул плечами и указал на трактор, который в эту минуту замер на опушке, точно понимая, что речь идет о нем.

— Ты с этими своими богами сам управишься… — прервал седого Иоанн, дав понять, что намерен вернуть обсуждение к существу. — Надо к вечеру закончить. Как вы, хлопцы? — обратился он к трактористам.

— Попробуем, — несмело произнесла женщина в стеганке.

— Ну и хорошо, за дело.

Иоанн достал из верхнего кармана своего парусинового пиджака увесистую тарелочку часов, которую Егор помнил едва ли не со дня своего рождения и которой износу не было.

— Сейчас четыре, — заметил Иоанн, не сводя глаз с тарелочки. — Часам к семи соберемся в конторе… К семи или, быть может, восьми?

— К семи, — бросил кто-то на ходу, трактористы уже шли к машинам.

Они вновь остались одни.

— Ну как… гвардия? — спросил Иоанн, усмехаясь. — Этот с бровями как сажа, — хорош, а?..

Но Иоаннов смех точно отскочил от Бардина, он не улыбнулся.

— Прости меня, но ты их собрал, чтобы… спросить или сказать?

Иоанн не без труда приподнял больную руку, точно защищаясь, это и прежде было признаком грозным.

— Разве я не спросил их?

— Нет, сказал.

Иоанн вздохнул.

— И это плохо?

— Плохо. По той самой причине, по какой ты это называл плохим, когда говорил с Яковом.

— Значит, в Якове я это видел, в себе нет…

— Да, конечно.

— А знаешь, строгость — это и есть доброта. Вот у меня за

плечами жизнь долгая, и я тебе скажу, опираясь на мои лета немалые. У революции, как бы это сказать помягче, есть… недогляд: мы думали, что подвигнем сознание людей быстрее… Поэтому сейчас надо быть построже, а уж потом можно помягче. Строгость — это хорошо, но только, чур, добрая строгость. Ты понял меня?

— Да уж… как-нибудь…

Иоанн посмотрел на Ольгу, ее точно оторвало от Бардиных, и она шла поодаль тише воды ниже травы.

— Не было бы здесь Ольги, я бы тебе выдал сполна, благо ты на моей земле… — не проговорил, а простонал Иоанн.

— Значит, на твоей земле?.. Однако!

Они возвращались с поля, когда поздние сумерки уже обволокли землю. Иоанн ушел вперед, Егор Иванович с Ольгой поотстали. Они шли низиной, тут было уже туманно. Глянула луна и сквозь густой туман казалась желто-зеленой, точно невызревшая дыня. Все, что возникало на пути, возникало вдруг: стог прошлогодней соломы, вагончик трактористов, лошадь с жеребенком. Не было бы тумана, все было бы не так загадочно и полно настроения, в которое еще следовало проникнуть. Низина кончилась, заметно поредел туман, и желто-зеленая дыня луны вызрела.

Ольга шла рядом, шаг ее был тих, и хотелось говорить полушепотом.

— Я никогда не знала, как он ко мне относится, — произнесла она, продолжая разговор, который, казалось, давно прервался, но который каждый из них продолжал в своем сознании. — Мне иногда казалось, что он и передо мной хочет выказать свое превосходство: заносчив, несговорчив, каменно упрям. А тут я вдруг поняла: да я же не знала его!.. Ну конечно, малоречив и строг, даже крут подчас. Но зато добр, ты понимаешь, добр. Ободрит, что-то подскажет настоящее, что подсказать может только он. Или вдруг шепнет: «Милая, на тебе лица нет, да ты ела нынче?» А вчера был на опытном поле академии и привез яблоко. Привез и положил мне в письменный стол тайком. Увидела это яблоко и не могу понять: от кого?.. Убей меня, не могла подумать, что это он. А это, оказывается, он. Не рано ли мы себя убедили, что поняли его? И еще: как бы в спорах нам его не проворонить… За ним опыт жизни. Его советы не так бессмысленны, как могут показаться, когда он грозит и предает анафеме. Быть может, стоит осмыслить. Сегодня он есть, а завтра его не будет. Наверно, и об этом надо думать: не будет…

Бардин думал об отце. Наверно, должен быть трижды благословен этот час: отец жив, вот он идет рядом… Жив, жив…

24

Бардин предложил Бухману посмотреть Коломенское, но в самый последний момент поездку пришлось отменить: из Штатов вернулась на родину группа инженеров-автомобилестроителей и посол пригласил их на Манежную… Бухман, замысел которого еще предстояло понять, просил Бардина быть в посольстве, заметив между прочим, что это и желание посла. Бардину интересен был не только Бухман, но и Гарриман, он поехал.

Люди, близко знавшие Рузвельта, утверждали, что он не любил очень богатых. Трудно сказать, где для него проходила грань между просто богатыми и очень богатыми. Непонятно и то, почему, благоволя к просто богатым, он терпеть не мог очень богатых. Когда Рузвельт сказал в своей тронной речи, что менялы изгнаны и настало время восстановить древние истины, он имел в виду, конечно, клан очень богатых. Это был камень в их огород, Гарримана никак нельзя отнести к просто богатым или даже очень богатым — он сверхбогач. Правда, на своеобразной лестнице американских сверхмиллионеров Гарриману отведена всего лишь тридцать пятая ступенька, но это не мешает ему владеть стомиллионным капиталом. Если пост советника президента по финансовым и промышленным вопросам, который занимал Гарриман, условно приравнять к министерскому, то можно сказать, что в кабинете Рузвельта не было министра богаче.

Есть форма отстранения лица неугодного, к которой в одинаковой мере обращались и монархи, и президенты: назначение этого лица послом. Можно сказать, что многолетняя практика ведения государственных дел ничего не придумала действеннее. Неугодное лицо отстраняется напрочь: и куда как далеко, и куда как почетно. К Гарриману эта формула неприменима. Правда, в сравнении с прежним его положением посольский пост даже в Москве выглядел достаточно скромным. На самом деле суть в ином: при каких обстоятельствах состоялось назначение — война смертельная, союз великих народов… Нет, более высокого поста, чем пост посла в Москве, более важного положения в жизни Гарримана не было — это поистине вершина его политической карьеры.

Но Бардин думал и об ином: почему в столь своеобразных обстоятельствах Рузвельт назначает Вайнанта послом в Лондон, а Гарримана — в Москву? Казалось бы, все должно быть наоборот: в классическую страну капитала должен поехать миллионер, а в новую Россию — известный либерал. Ведь спокон веков было так:

послом назначался человек, у которого было нечто общее со страной, в которую он назначался. Уместно возразить: у Гарримана как раз и было с Россией это общее — он владел на концессионных началах марганцевыми рудниками в Чиатурах. Вряд ли этот довод убедителен: да, владел, но контракт этот расстроился… Сам Гарриман, как можно предположить, не часто вспоминает Чиатуры. Нет, объяснение должно быть более мотивированным, при этом затрагивать самое существо того, что есть рузвельтовская политика. Что касается Вайнанта, то он был своеобразным амортизатором между Черчиллем и Рузвельтом, смягчая остроту разногласий, которые уходили своими корнями в историю и все возрастали. Это, наверно, немного смешно, но Гарриман был для Рузвельта тоже амортизатором, но иного рода. Крылатое «Рузвельт не любит очень богатых» спорно по существу, но имеет свое объяснение. Издавна силой, которая оказывала давление на Рузвельта, был клан очень богатых. Президент всегда должен был заботиться, как умерить это давление. Опыт подсказал ему решение: он включил в состав правительства представителя этого клана, поручив ему как раз ту сферу дел, которая была близка очень богатым, — финансы, промышленность. Опыт с Гарриманом удался не в последнюю очередь и благодаря личным его качествам — Гарриман амортизировал удар. Но одно дело финансы и промышленность, а другое — отношения с советским союзником. На первый взгляд — ничего общего. На первый. На самом деле общее есть, и существенное. Именно отношения с советским союзником были той сферой рузвельтовской политики, которая подвергалась в течение всей войны жестокой критике, при этом критика эта инспирировалась могущественным кланом. Сделав послом в СССР представителя этого клана, Рузвельт как бы говорил своим оппонентам: «Я доверил это лицу вашего круга — ему и карты в руки».

Но тут следует отдать должное и самому Гарриману. Конечно же, когда возник вопрос о том, чтобы включить в рузвельтовскую администрацию кого-то из очень богатых, у президента был выбор. Если президент остановился на Гарримане, он, очевидно, учитывал и личные качества. Но не только. В том размежевании взглядов, которое тут может иметь место, в этом клане, наверно, Гарриман был не самым правым, если захотел работать с Рузвельтом. Тот факт, что он, сближаясь с Рузвельтом, сменил даже свою партийную принадлежность — был республиканцем, а стал демократом, — не следует переоценивать, но и он, этот факт, имеет свое значение. И наконец, хозяин большого американского дома на Манежной обладал качествами, которые

необходимы послу не в меньшей мере, чем советнику президента, и характеризовали его как личность. Москва эти качества заметила и оценила.

Как это обычно бывало на Манежной, Гарриман встречал гостей с дочерью, которая с некоторого времени выполняла в посольском доме обязанности хозяйки. Говорят, что учителя и послы должны быть красивыми. Если это так, то Гарриманы, отец и дочь, отвечали этой заповеди вполне. Они были не только хороши собой, но в них был, что не часто есть у американцев, некий аристократизм, при этом и в манере держать себя, та степень строгости и простоты, которая красит человека.

Дежурные минуты, которые хозяин и хозяйка посольского дома посвящают гостю, встречая его, были использованы в полной мере и при встрече Бардина. Гарриман сказал Егору Ивановичу, что хотел бы видеть его в посольстве чаще. Голос его был тих, у людей такой комплекции обычно голос громче. Бардин невольно представил себе сумеречные покои фамильного поместья Гарриманов где-нибудь на Потомаке или Миссури, — наверно, глуховатые модуляции Гарриманова голоса рождены в этой знатной полутьме. Дочь хотела воспринять интонацию отца, как некий звук, поданный камертоном, но взяла верх молодость, и явился живой голос. Она сказала, что говорила о Бардине с Тамбиевым, когда ездила в Смоленск с корреспондентами западной прессы. Помнится, Тамбиев говорил, что показать Москву иностранцам, в частности старую Москву, — великое умение, и никто не может это так сделать, как Бардин. Бухман, находящийся поблизости, многозначительно поддакнул, но разговор не получил продолжения — как ни массивно основательны были Бардин с Бухманом, очередная волна гостей, появившаяся в дверях, смыла их. Посол поручил Бардина Бухману и для верности прикомандировал к ним своего советника Роберта Крейна. Миниатюрный Крейн попробовал вторгнуться между Бардиным и Бухманом на манер того железного клина, которым раскалывают ствол старого дерева, но, почувствовав, что это небезопасно и, чего доброго, его может защемить, выскочил и был таков.

Посольский дом, казалось, учитывал масштабы новых отношений с Россией. То, что этому дому, построенному прославленным архитектором в конце тридцатых годов, было отведено место в пределах исторического центра русской столицы, а значит, в непосредственной близости от Кремля, понималось как знак приязни к рузвельтовской Америке и ее президенту, незадолго до этого подписавшему акт о признании новой России. Хотя здание было построено в тридцатых годах

нашего века, когда знаком западной архитектуры был модерн, посольский дом на Манежной не воспринял этого модерна. Наоборот, дом на Манежной был достаточно традиционен, кстати, и по своей планировке и оформлению интерьера. В том, как был спланирован дом, сказалось представление о классическом посольстве, как оно сложилось на Западе в веке девятнадцатом. Приемные залы были пышны, а рабочие кабинеты скромны весьма. Большой зал одинаково отвечал требованиям и делового совещания, и посольского обеда. Большой зал был окружен созвездием малых залов, именно залов, а не кабинетов, с журнальными столиками и множеством кресел, с ворсистыми коврами и твердыми паласами, с картинами в тяжелых багетах, на которых так хороша была классическая, известная еще по учебникам географии Америка: Кордильеры и Ниагара, каньоны невиданной глубины и знаменитые мосты, Бруклинский и Сан-Францисский, пшеничные поля с комбайнами и, конечно, небоскребы.

В один из этих залов Бухман поманил Бардина, усадив за столик, что стоял под картиной с видом пшеничного поля.

— Прошлый раз я так увлекся подсчетами капитала, который мне еще предстоит заработать, что забыл все остальное…

— Именно?

Он на секунду оторопел — слишком быстро он подтолкнул своего собеседника к существу, быстрее, чем необходимо, того гляди, встревожишь и вынудишь замкнуться.

— Как вам Гарриманы? — полюбопытствовал он, спохватившись. Очевидно, в его положении разумнее было начать разговор именно с Гарриманов, а потом уже перейти к существу. — Правда, они хорошо смотрятся? Прошлый раз один русский из вашего военно-морского ведомства спрашивает меня: «Как чета Гарриманов?» А я говорю: «Это же его дочь!» А он только ахнул: «До-о-очь?» Тут есть психологическое объяснение: когда видишь, как они хороши, хочется думать, что они супруги, даже пренебрегая разницей в годах. Впрочем, какая там разница? Лет двадцать… В сущности, он не стар — ему нет и пятидесяти… Кстати, вы заметили, что ей нравится быть хозяйкой этого дома?

— И ему нравится, что ей это нравится, — заметил Бардин, смеясь. — Как утверждают, в Смоленск посылал ее он…

— Вы полагаете, что юная Кэтрин может подать послу совет, какой не подадут все остальные советники? — спросил Бухман и осторожно провел ладонью по щеке, точно проверяя, насколько остра сегодня была его безопасная бритва.

— Может, — сказал Бардин. — Я как-то присутствовал при разговоре, в котором участвовала она; у нее есть ум и мнение, то

есть как раз то, чего иным советникам как раз и недостает…

Бухман пододвинул Егору Ивановичу пачку сигарет. Предстояло от реплики Бардина о Кэтрин Гарриман и советниках сделать скачок к существу, но как сделать этот скачок, чтобы он был натуральным?

— Лучше получить хороший совет, чем хорошее состояние, — ухмыльнулся Бухман.

Ну, это, разумеется, был еще не прыжок, но приготовление к прыжку.

— Вы нуждаетесь в совете? — Егор Иванович решил помочь американцу.

— Был бы благодарен… — произнес Бухман с воодушевлением нескрываемым, что безошибочно указывало: помощь Бардина понята и принята с благодарностью. — Совет, который я у вас прошу, своеобразен — вы можете его дать, когда это будет вам удобно… Более того, в ответ на просьбу, которую я сейчас изложу, вы можете вообще мне ничего не говорить. От вас требуется одно — выслушать.

Какие только неожиданности не подстерегают человека, подумал Бардин. Встречал ли ты когда-либо нечто подобное: совет, но совет — молчание.

— Слушаю вас.

Бухман не без тревоги взглянул на дверь, в которую они вошли, оставив открытой. У него было искушение закрыть дверь, но он не посмел сделать это.

— Простите, если я начну издалека… — произнес Бухман и, откинувшись на спинку кресла, положил руки на подлокотники — он дал понять, что намерен говорить обстоятельно. — Вам, разумеется, известна история гибели Линкольна, но вы вряд ли знаете детали, на которые я хотел бы обратить внимание. Когда была декретирована отмена рабства и негры были призваны в армию и показали чудеса храбрости, Линкольн реагировал на это достаточно сдержанно. Он сказал, что не может утверждать, что негры не являются такими же хорошими солдатами, как остальные. Человек достойный, по поводу честности и благородства которого не может быть двух мнений, он подчас скрывал свое подлинное лицо под маской консервативности. Ну, точно так же, как это сделали мы, грешные, из аппарата Гарри Гопкинса в пору деятельности департамента по сгребанию листьев… Помните наш разговор за столом тетушки Клары? Да, мимикрия, когда либерал, отважившийся на реформы, должен надеть на себя шкуру крайнего консерватора. Вот это и есть Америка. Как известно, Линкольна это не уберегло, а как будет с нами? Тот, кто успеет умереть своей смертью, тот умрет, а что

будет с теми, кто, не дай бог, останется в живых? Как с ними? Господин Бардин, у меня есть к вам расположение… Одним словом, не скрою, что мы иногда задаем друг другу этот вопрос: что будет?..

— Погодите, но так, как изложили эту проблему вы, в ней не столько политики, сколько психологии?..

Бухман ухмыльнулся своей толстогубой ухмылочкой:

— Страх?.. — Он продолжал улыбаться — надо смягчить восприятие этого слова иронией, иначе, пожалуй, этого слова не произнесешь. — На мой взгляд, страх — категория защитная. Да, страх, как я убежден, рожден инстинктом самосохранения, однако в отличие от этого инстинкта вызван и сознанием. Короче, страх — это еще и себялюбие, а речь идет о людях, которых в себялюбии заподозрить нельзя, ибо они бескорыстны. Следовательно, речь не может идти о страхе или, тем более, боязни смерти. Но я был бы неискренен, если бы сказал, что нынешнее наше состояние лишено беспокойства. Страха нет, но беспокойство есть, есть даже тревога.

Бардин был чуть-чуть ошеломлен этой репликой Бухмана. Если бы Егор Иванович не верил в то доброе, что было в Бухмане, он, пожалуй, подумал бы, что грубая откровенность, к которой обратился его собеседник, была приемом. Но, быть может, есть смысл все-таки послушать американца, пусть Бухман скажет то, что он намерен сказать.

— Вы хотите сказать, что либералы сегодня уже не в чести? — обнаружил беспокойство Бардин. Не просто было отыскать английский эквивалент русского «не в чести».

— Нет, почему же… в чести, но по единственной причине, — ответствовал Бухман.

— Какой?

— Япония, — коротко заключил Бухман. В этом лаконизме, спрессованном до пределов одного слова, умещался смысл диалога со всеми его ассоциативными темами и метафорами. По крайней мере, так казалось Бардину.

— Как понять «Япония»? — спросил Егор Иванович.

Воодушевление изобразилось на лице американца. Казалось, все, что он произнес сегодня, должно было подвести собеседника именно к этому вопросу. Истинно, одно это слово было сейчас всеохватным, включая весь сложный смысл того, что нес нынешний день.

— У дипломатов нет более любимого слова, чем паритетность, однако все их искусство направлено к тому, чтобы нарушить эту паритетность и поставить партнера в положение зависимое. До тех пор пока вы были заинтересованы в большом

десанте, зависимой стороной были вы. С той самой минуты, как высадится десант, а этому уже ничто не может помешать, для меня это факт совершившийся, мы меняемся ролями. Отныне стороной требующей, просящей, в конце концов, хотя последнее слово я хотел бы заменить другим, становится Америка. Этой датой будет отмечен новый этап войны, для нас принципиально новый, и не потому, что мы до этого не вели военных действий на европейском театре, а с этой даты будем вести. Это значительно, разумеется, и для нас, но не это самое значительное. Неизмеримо важнее иное: раньше просящей стороной были вы, а теперь эта роль переходит к нам.

— Нелишне вспомнить, что мы были в этом нелегком положении почти три года… — заметил Бардин не без горечи, откровенной; как ни эмоционально было это замечание, оно было в устах Бардина не только эмоциональным — Егор Иванович рассчитывал этой своей репликой, откровенно резкой, осложнить разговор, а следовательно, обратить его к тому непреходящему, что есть глубины проблемы.

— Вот об этом и речь, господин Бардин, — воодушевленно подхватил Бухман, было очевидно, что его русский собеседник приблизил диалог к развязке. — Вот этого у пас и опасаются! Если вы, приняв за основу май сорок четвертого, отложите три года, какую дату вы получите? Май сорок седьмого!.. Оппоненты Рузвельта говорят: русские имеют моральное право на этот срок, он определен не ими, а нами… Вы поняли: «…не ими, а нами»? Гах-гах-гах! — его смех был по-прежнему громоподобен, но странное дело, в нем было мало радости. — Я сказал почти все…

— Почти, господин Бухман? — вопросил Егор Иванович, хотелось, чтобы американец договорил, и в подтексте бардинского вопроса было именно это.

— Вот итог того, что было мною произнесено: если Россия не поддержит нас на Дальнем Востоке в те сроки, на которые мы рассчитываем, нашему президенту угрожает судьба Линкольна… Все, что я сказал, я считал необходимым сказать, повторяю, не требуя от вас ответа… немедленно.

Они встали и пошли из комнаты.

— Как там дом на краю картофельного поля, как тетушка Клара? — спросил Бардин, у него была потребность спросить об этом.

— Тетушка Клара жива, она рада мне, а я ей… — заметил Бухман, остановившись, вопрос Бардина был ему приятен. — А дом?.. Соседи говорят Кларе: «Твой домик дышит на ладан… Убери его и посади тюльпаны. И красиво, и выгодно!» Слышите? «И красиво, и выгодно!» Гах-гах-гах! Я сказал Кларе: «Пока я жив,

я этого не сделаю».

Бардин поблагодарил хозяев за гостеприимство и покинул посольство, Бухман намеревался это сделать позже. Гарриманы, отец и дочь, были заняты гостями в разных концах зала, где был накрыт стол, однако, как показалось Егору Ивановичу, его отъезд воссоединил их — провожая русского гостя, они были рядом. И вновь, как это было в начале приема, Егор Иванович не без тайного восхищения подивился их красоте и, пожалуй, обаянию, но не мог не спросить себя: вот семья миллионеров, волею судеб призванная представлять заокеанскую демократию в новой России, что действительно они думают, о нас и как далеко их истинная мысль отстоит от этой их непобедимой улыбки, его и ее, если можно говорить о них порознь? Если посол остался послом на самых крутых поворотах наших отношений с Америкой, наверно, его позиция неотличима от точки зрения президента, настолько неотличима, что разницу во взглядах неопытному глазу ухватить трудно. Однако разница эта, конечно, есть, но где она?.. Молва утверждает, что когда возникла идея о десятимиллиардном американском займе для послевоенной России, который помог бы ей подняться из руин, посол в Москве реагировал сдержанно; впрочем, достаточно убедительных доказательств об иной реакции президента тоже не было, возможно, у президента и посла тут было одно мнение…

25

В отдел печати явился Галуа и, оставив для Тамбиева свою новую книгу, очевидно лишь накануне полученную от лондонского издателя, исчез. Великое волнение объяло Тамбиева, когда он увидел на супере книги сжато значительное: «Ленинград». Ну конечно же книга Галуа рассказывала о Ленинграде, как он возник в дни незабываемого полета. Тамбиев раскрыл книгу, пористая бумага, чуть тускловатая, хранила запах типографской краски. «Рабочим Кировского завода посвящаю». Ну, это было даже чуть-чуть неожиданно, да не помогла ли жестокая судьба Ленинграда французу шагнуть в своем самосознании так далеко, как он не шагнул бы, если бы не стал очевидцем суровой были блокадного города? Тамбиев зажег настольную лампу, осторожно пододвинул в поле света раскрытую книгу. И вновь краски и настроение той осени завладели Николаем Марковичем. И еще: только теперь, взяв в руки книгу, Николай Маркович ощутил, какой насущный смысл был в этой поездке. Наверно, решение написать книгу было определено самим сердцем Галуа — отчий город. По, быть может, и сознанием того, какую чашу горя испил Ленинград в эти годы, — судьба города и в прежние лета была нелегкой, но такого с ним не было никогда и дай бог, чтобы никогда не повторилось.

Утром француз пришел к Тамбиеву. Галуа был странно тихий, весь во власти печального раздумья. Тамбиев говорил о том, какой он представлял книгу Галуа до того, как вчера впервые увидел ее, как отозвалась она в его сознании, когда прочел. Он говорил и не мог не обратить внимания, каким вдруг непохожим на себя сделался Галуа. И иная мысль завладевала Тамбиевым. Он думал о том, каким страдным был жизненный путь этого человека, все, что могло произойти с ним, произошло, все, что могло совершиться, совершилось. Наверно, он вернулся в Россию сложившимся человеком, когда никаких чудес с людьми уже не происходит, но нечто похожее на чудо случилось. В этом утверждении нет ни настроения преходящего, ни тенденции, тоже преходящей, но Тамбиев смеет предположить, что Галуа вернется из России не таким, каким в Россию приехал.

— Мой издатель сообщил мне, что Америка и Канада хотели бы выпустить книгу у себя… — произнес Галуа, в бесстрастной этой фразе только и было эмоционального что «мой издатель». — Пошлите меня в Одессу, будет еще книга…

— Одного, Алексей Алексеевич?

— Можно с Хоупом.

— Нужен… оппонент?

Галуа не улыбнулся, для него слова Тамбиева были лишены юмора.

— Оппонент, говорите? — вопросил он, помедлив. — Пожалуй, но не только поэтому… Хоуп мне интересен сам по себе. Поймите, сам по себе.

Галуа ушел, как показалось Тамбиеву, поспешно. Он явно хотел поставить точку на сказанном. Он будто хотел, чтобы его собеседник осмыслил это сказанное… Хоуп? В мире корреспондентов, где каждая фигура — это свой мир, необычный и, пожалуй, своеобычный, Хоуп — лицо не ординарное. Среди корреспондентов все еще бытовало мнение: Хоуп приехал в Россию позже, чем мог бы приехать, опасаясь разочарования; он хотел любить Россию, как мечту, оставаясь верным этой мечте. Но Хоуп приехал в Россию и Россию не покинул, теперь уже два года, два долгих года, в такой мере долгих, какими они никогда не были и у него. Пожалуй бы, Тамбиев не поклялся, что все увиденное Хоупом точно соответствовало тому, что он хотел увидеть. Наверно, было такое, и можно предположить, что такого было немало, что огорчило и, возможно, даже встревожило Хоупа, обратив его сознание к сущему: надежда, большая надежда, как быть с нею? Непредвзятый Хоуп и в этом случае действовал так, как во всех иных обстоятельствах: он ставил себя на место тех, чьи доводы стремился оспорить.

Но справедливости ради надо сказать, что у корреспондентов было и иное мнение о Хоупе. Сторонники этого второго мнения полагали, что Хоуп — лицо в такой мере сложное, что эти два года могут и не дать представления о его сути; по крайней мере, попытки понять Хоупа и тем более предугадать, как он поведет себя завтра, и прежде заканчивались неудачей. Вряд ли это мнение помогало постичь Хоупа, но оно существовало.

Не очень-то понятно, чем он был интересен Галуа. Между ними не было единомыслия. Не было и общности душ, что подчас соединяет людей при различии взглядов. Нельзя сказать, что существовало некое единство устремлений, единство в такой мере важное для одного и другого, что все остальное перестает приниматься в расчет. Тогда почему Галуа так стремился к Хоупу? Очевидно, Галуа отдал себе отчет, что есть интеллект Хоупа, интеллект, чью действенную и могучую энергию неразумно отвергать.

Одесса была взята нашими войсками в предпасхальные дни, и едва ли не в первый день пасхи двухмоторный самолет с тридцатью корреспондентами на борту покинул Москву и взял

курс на юг.

— Вы правильно сделали, господин Тамбиев, что направили в Одессу всех корреспондентов, — произнес Клин, подсаживаясь к Николаю Марковичу. — Не одного там или двух, а всех…

Короткая верхняя губа и тяжелый подбородок делали рот Клина недобрым. Он улыбался, а было такое впечатление, что он кривил рот. Вот ведь ирония судьбы — человек не волен был даже улыбнуться. Он улыбается, а казалось, он строит рожу.

— Все дело в особенностях момента, — сказал Тамбиев. — Обстановка позволяет показать Одессу всем…

— Но я имею в виду иное… — скривил рот Клин, он действительно не волен был улыбнуться.

— Что именно?

— То, что я вам сейчас скажу, господин Тамбиев, итог моих наблюдений, — произнес он и, двинув плечами, легонько крякнул. — Поймите, фаворитизм — это опасно… Нельзя отдавать предпочтение одному корреспонденту перед другим, если даже один из них одарен, а другой бездарен. И-э-эх! Простите, мои больные кости!.. Что я имею в виду? В Москву приезжает видный газетный кули, раб на плантациях Флит-стрит, он известный прозаик. Новый корреспондент — не просто газетчик, он писатель: автор однотомника новелл или даже романа, который заметил сам Хемингуэй… Но у него одно затруднение: по молодости лет он взял левее, чем следует, и его не печатают. Никто так не связан, так сказать, классовой солидарностью, как издатели. Да и средства у них одни и те же: если красный, то его надо рубить топором. У вас отлично поставлена информация, и вы, разумеется, все это знаете о новом корреспонденте. Ваша мысль начинает работать в известном направлении: если вы ему не поможете, кому же помогать? И-э-эх! Изобретательность, которую вы обнаруживаете, завидна. Поездка? Не иначе как в Сталинград. Интервью? Разумеется, с маршалом Жуковым. А быть может, есть надежда попросить ответить на вопросы самого Сталина? И тут у нового корреспондента привилегия. Корреспонденции, которые он посылает из Москвы, начинаются фразами почти стереотипными: «Я был единственным корреспондентом западной прессы, который посетил этот фронт». Или еще определеннее: «Интервью, которое дал мне маршал Жуков, было первым его интервью, данным с начала войны». Или даже так: «Ответы, которые дал на мои вопросы Сталин, призваны были подчеркнуть особое расположение Советов ко мне…» Вы полагаете, что помогли своему другу в его благородном труде по пропаганде новой России. На самом деле произошло иное. Вы создали ему там имя друга СССР. Имя это сопряжено для него с

неудобствами: его и прежде печатали мало, а теперь отказались печатать вовсе. Но вот его мысль совершает этакое антраша!.. — Он сделал резкое движение и крякнул. — Мои кости… Они точно говорят мне: не забывайся! Итак, он совершает этакий кульбит… Если быть точным, то его маневр выглядит неожиданным для постороннего взгляда, что же касается его самого, то все закономерно, все входило в расчеты, все вызрело в свои сроки… Короче, он пересекает границы и заявляет: «Я больше не друг Советов, я в них разочарован» — и сразу оказывается на коне. И-э-эх! Классовая солидарность издателей рушится у вас на глазах — имя бывшего корреспондента в Москве выносится на первые страницы газет. Дальше он может уединиться и писать романы. Иначе говоря, он продал, при этом по хорошей цене, все, что приобрел в России… Не он первый и не он последний, поэтому то, что я вам сказал, не мое приобретение, об этом думают многие. Вы можете меня спросить: кого я имею в виду? Отвечаю вам наперед — никого, решительно никого. Я просто хочу повторить, что фаворитизм — это опасно… — Он не без труда оперся руками о подлокотники и, раскачав туловище, поднялся. — Мои кости, мои бедные кости, не могу сидеть на одном месте больше десяти минут, их будто цементирует, потом не разлепить…

— Прежде я у вас не замечал этого, господин Клин, — произнес Тамбиев осторожно, англичанин явно взывал к состраданию, и не сделать этого было неприлично. — Это… Россия?

— Нет, это результат моей февральской экспедиции на конвое… Там было как в аду… И-э-эх!..

Он ушел. Тамбиев приник к иллюминатору. Самолет шел на высоте метров восемьсот. Полая вода напоила ручьи. Ветер внизу был знойным, вспаханная земля порыжела, на холмах над белыми дорогами взвилась пыль. Весна была здесь жестоко сухой, необычно блеклой, высветленной полуденным солнцем. Она точно стала такой белесой, чтобы виднее были ожоги войны, густо-черные, с рваными краями, бездонной глубины, будто тут работал не снаряд, а шаровая молния силы невиданной, с одного края земли вошла, с другого вышла, навылет.

Подсел Галуа, искоса посмотрел на Клина, что сидел поодаль, положив ладонь под щеку. Весь его вид, степенно кроткий, словно говорил: «Я свое сделал, я свое сделал…» Француз поморщил нос, зажмурился, будто дал понять, что ему охота посмеяться.

— Скажите, Николай Маркович, он говорил с вами о фаворитизме? — с откровенной иронией Галуа посмотрел на

Клина.

— Ну, предположим, говорил…

— Его тирада была отвлеченной или он назвал имя?

— Нет, имени он не назвал.

— Значит, не решился?

— Алексей Алексеевич, вы говорите так, будто бы однажды он это имя назвал.

— Назвал.

— Не смею спросить, кого он имел в виду.

Из пилотской кабины вышел Хоуп. На распростертых руках он держал лист маршрутной карты. Не останавливаясь, привычным движением как бы переломил карту, сложив ее вначале вдвое, а потом вчетверо, но не отнял глаз от карты, видно, в сознании еще жил разговор, который только что был у него в рубке пилота.

— Не смеете спросить? — повторил вопрос Галуа и, обратив взгляд на Хоупа, который занял место в конце железной скамьи, добавил: — Его?

Тамбиев смотрел на Клина, тот спал. Голова англичанина, которую он удобно уложил на белой своей ладони, была неподвижна. Ничто не тревожило сейчас Клина. Даже боль в костях стихла.

— Запустил ежа под череп и уснул? — заметил Галуа, не сводя глаз с Клина.

— А какой смысл ему… запускать ежа?

— Как мне кажется, все имеет свое объяснение… — произнес Галуа, ему хотелось подступиться к ответу, который в нем возник, издалека и как-то смягчить категоричность ответа.

— Какое, простите?..

— Клин полагает, что Хоуп обрел в России козыри, которыми в его положении трудно не воспользоваться…

— Можно подумать, Алексей Алексеевич, что Клин поставил себя на место Хоупа и решил, что в положении американца нет пути иного? — спросил Тамбиев, он полагал, что последняя реплика Галуа дает ему право на такой вопрос. — Это вы хотели сказать?

— Это… — согласился Галуа и, обратив взгляд на Клина, не без озорства притопнул. Англичанин поднял голову, он проснулся. — Если верить Клину, Хоуп закончил приготовления и должен выехать из России, — засмеялся Галуа нарочито громко — он хотел сообщить своим словам толику юмора. — Он вам этого не говорил?

— Нет.

— Можно подумать, что Клин предрек отъезд Хоупа?

— Можно подумать и так.

— Но допустима и иная версия: Клин знает о намерении Хоупа уехать и на этом строятся его предположения. Достаточно Хоупу запросить выездные документы, и это позволит Клину сказать: «Все так, как я предполагал…»

— И это допустимо.

— По-моему, море. — Галуа присел, стараясь рассмотреть ландшафт, свободный от облаков. Море, возникшее на горизонте, выручило француза, иначе деликатный разговор закончить было бы трудно.

Да, это было море. Серо-голубое, в дымке, оно казалось парным и возникло, странное дело, перпендикулярно к земле. Возможно, тут действовал оптический обман, ведь земля иногда тоже встает к самолету отвесно. Впрочем, самолет снизился, а море все еще отказывалось лечь вровень с землей и медленно поднималось, уходя к зениту.

Но корреспонденты появились над морем будто только для того, чтобы его увидеть, аэродром, куда устремился сейчас самолет, лежал далеко в степи. Как это было прежде, «виллисы», приняв корреспондентов, направились к Одессе. Стояло село с домами под железом, обнесенными кирпичными оградами, с летними кухнями, амбарами, птичниками, конюшнями; все было хотя и не новым, но исправным, ухоженным, тщательно выдраенным и выскобленным, но напрочь пустым, без людей. Пыль, не апрельская, а, пожалуй, июльская, и тишина. Небо тоже июльское, серо-голубое, белесое, многократ стиранное, и в небе необычный для России островерхий конус церкви. Джерми уже пошел из дома в дом, побывал в птичниках и амбарах, заглянул в подвалы и каким-то чудом оказался на чердаке.

— Мистер Джерми, куда вы нас привели? — кричит ему Клин, необычный вид села привел его в замешательство. — Тут жили… молдаване?

Джерми потрясает книжицей в старой коже.

— Я нашел евангелие, напечатанное готическим шрифтом…

— Ну и что?

— Здесь жили немецкие колонисты, мистер Клин…

— Что?..

Похоже на правду, здесь жили немцы, и евангелие в руках Джерми — не единственное тому доказательство, на островерхом куполе церкви явно распознается лютеранский крест.

— Почему колонисты ушли отсюда? — спрашивает Клин.

— В самом деле, почему? — повторяет вопрос Клина Баркер, кажется, что испарина, покрывшая его лицо, коснулась и сине-молочных стекол его окуляров; когда он протирает их платочком,

на белоснежной ткани остаются темные отметины — здешняя пыль жирна. — Почему? — недоумевает он, в этом вопросе он готов солидаризироваться даже с Клином.

— Стогов, — представляется корреспондентам генерал. У генерала жестковатая рука и круглая, наголо обритая голова. — Признаться, вид этого села явился и для меня неожиданностью. — Генерал держит фуражку в руке, подставив голову ветру. Голова вспотела и точно ищет ветра, ей приятно на ветру. — В Одессе вы будете иметь возможность спросить об этом немцев — генерал провел ладонью по бритому темечку любовно — молодой генерал рано облысел и, чтобы скрыть это, бреет голову — Кстати, спросите их и не только об этом, можно и не немцев…

— Но вы не можете нам сказать? — настаивает Клин.

— По-моему, колонисты ушли с частями вермахта, но это всего лишь мое предположение, — замечает генерал смущенно. — Спросите еще кого-нибудь в Одессе…

Клин вздыхает, он сожалеет, что не смог добиться от генерала ответа. Англичанин убежден, когда русские не готовы отвечать, их ответ ближе всего к правде.

— Большое село — и ни единого человека, не странно ли? — говорит Клин, направляясь к машинам, которые ждут корреспондентов за селом. — Не странно? — спрашивает он себя и оглядывает степь беспокойно пристальными глазами. Не померещилось ли ему, что русские вывели немцев за село и положили их в овраге, что встал за курганом?

Машины уже двинулись, но Клин не торопится сесть, он хотел бы дойти до оврага и заглянуть в него.

— Мистер Клин, вам явно не хочется уезжать — так много пустых домов… — восклицает Галуа, да так, чтобы было слышно всем коллегам, но англичанин безучастен к остроте. — Садитесь…

— Нет, я с последней машиной…

Неважно, что овраг пуст и в нем никаких следов свежей земли, главное, что Клин имел возможность окинуть его бдительным взглядом: пусть верят русским все, но он, Клин, не такой простак, он и прежде противостоял стадному чувству, у него и прежде было свое мнение.

Тамбиев продолжил путь к Одессе с генералом. Окна в машине были открыты, но генерал то и дело доставал платок и сушил им бритую голову.

— Быть может, надо было бы ему ответить… ну сочинить что-нибудь, на худой конец, — заметил генерал, имея в виду свой

разговор с Клином. — Но я как-то не умею сочинять, неловко…

А машины продвигаются к Одессе, и приближающееся море виделось Тамбиеву в мягкости света, в особой мглистости горизонта, в голубизне всходов — необыкновенно свежи они здесь в апреле. И еще думалось Тамбиеву: что-то было в чистоте красок зеленеющего поля такое, что осталось земле от той заповедной поры, что звалась мирной и что начисто исключала цвета войны. Николай Маркович был убежден, что у войны были эти цвета — черные, быть может, буро-черные, которыми она вымазала поля битв.

Машина шла в колонне второй, и перспектива дороги была хорошо видна, а с нею свободный разлив степи, холмы по горизонту и за холмами однообразно голубая в этот полуденный час Одесса.

— Что они хотят увидеть в Одессе? — спросил генерал, очевидно связав этот вопрос с видом города, который открылся впереди. — Что понять?..

Можно допустить, что у генерала тут было свое мнение, но он хотел его проверить.

— Все, что относится к вступлению наших войск в Европу, — заметил Тамбиев, он ждал этого вопроса. — А если быть точным, на славянский юг, на Балканы… Для них Одесса — это русские Балканы…

— Инсаров и его болгарские друзья действовали из Одессы… — улыбнулся генерал.

— Из Одессы, — подтвердил Тамбиев, ему была приятна эта ассоциация в реплике генерала.

— Вы слыхали об одесских катакомбах? — вдруг спросил генерал. — В их истории есть все, что может увлечь человека с фантазией: и своеобразие, и тайна… Но меня интересует иное. Катакомбы дали кров и защиту солдатской республике, многоязычной…

— Словаки?

— Не только — румыны, французы-эльзасцы, венгры, итальянцы…

Машина шла сейчас дальними предместьями Одессы, в этих хатах, саманных и турлучных, беленных синеватой известью, обнесенных саманными оградами и плетнями, Тамбиеву вдруг привиделась кубанская сторона. Не думал Николай Маркович, что вдруг увидит здесь отчий край.

— А нельзя ли показать им катакомбы и заодно собрать солдатскую республику? — спросил Тамбиев, ему казалось, что эта мысль не чужда тому, что только что сказал генерал. — По-моему, такой разговор даст ответ и на их вопросы о Балканах…

Как?..

— Попробуем.

За полдень военные доставили корреспондентов на знаменитую Молдаванку и дворами, где козы щипали на задворках чахлую городскую траву, привели к сараю, который был сбит из черных, побывавших на дожде, неоструганных досок. Сарай был полон жизнелюбивых леггорнов с красными гребешками — куры сидели в гнездах, расположенных по стенам, и в большом фанерном ящике, стоящем на земляном полу. Осторожно, чтобы не потревожить кур, ящик сдвинули, и взору всех, кто успел войти в сарай и толпился у его входа, открылся правильный квадрат лаза, до краев наполненный темью, как водой.

— Вот это и есть опушка леса, — произнес генерал и, нащупав ногой ступеньку, погрузился в черную воду лаза.

— Леса? — переспросил кто-то.

— Каменного, — пояснил генерал.

Да, это был каменный лес, как казалось Тамбиеву, но в отличие от леса в нем никогда не всходило солнце и он был, в сущности, безбрежным, — по крайней мере, никто не знал всех его троп, как и его точных пределов. Необычным было и то, что этот самый дремучий из всех дремучих лесов находился на расстоянии протянутой руки от города.

Впереди пошли проводники, они ждали гостей внизу, вслед за ними гуськом военные и корреспонденты. В неярком свете керосиновых ламп была видна непросторная штольня, вырубленная в пористой породе ударом кирки, казалось, стены и своды штольни хранили отметины этой кирки, врубившейся в камень, может быть, сто лет тому назад, а может, триста. Нещедрому свету, что давали десять керосиновых ламп, было явно не под силу победить тьму катакомб, казалось, что она вошла в поры камня. Надо было обладать немалым воображением, чтобы представить, что над тобой большой город, быть может самый большой на русском юге.

Было похоже на чудо, когда в этом мире темноты и камня вдруг возникло нехитрое жилище партизан подземной армии с пулеметным гнездом у входа, с казармой (койки были заправлены с солдатской тщательностью), со столовой, кухней и свежеоструганным срубом артезианского колодца, а также оружейной мастерской, где партизаны сооружали взрывные устройства. Тамбиев отметил, какое воодушевление охватило корреспондентов при виде деревянных касс для ручного набора и маленькой плоскопечатной машины. Казалось, ни одна самая мощная ротация в мире, выдающая на-гора многомиллионные

тиражи, не производила на этих людей такого впечатления, как эта печатная машина, едва ли не ровесница станка Ивана Федорова.

Но корреспондентов ждало здесь и иное. На своеобразной каменной площади, именно каменной, ибо «стены» и «небо» были из камня, выстроились партизаны. Площадь была невелика, да и подразделение, что было выстроено здесь, наверно, составляло лишь малую часть подземной армии партизан, но и это впечатляло. Керосиновых фонарей не прибавилось, но их свечение в первозданной тьме катакомб казалось неколебимым — тем большую силу обретал каждый блик, высветливший шеренги партизан. Людям, стоящим в шеренгах, природа дала разную внешность: одним юношескую мягкость глаз, другим стариковскую доброту рта, третьим чисто женскую ловкость жестов. Но тут было иное — суровость, тревожная. Да и в голосах была эта суровость, когда шла перекличка. Тамбиев сказал себе: много словацких имен, больше, чем можно было ожидать. Явилась мысль, настойчивая: да не стала ли и Одесса центром борьбы за словацкую свободу?

Но эта мысль явилась и ушла, а путешествию не было конца, потому что мир катакомб действительно был безбрежен.

— Да, я вам забыл сказать, что у Одессы были давние связи с Марселем и Генуей и местные буржуа считали за честь породниться с генуэзцами, как, впрочем, и наоборот… — говорит генерал полушепотом — сумерки располагают к полушепоту, иначе здесь говорить, пожалуй, неудобно.

— Не партизан-итальянец сказал вам это, он из Генуи?

— Нет, это я знал и до него и не однажды говорил своим студентам.

— Вы… профессор истории?

— Если хотите… профессор новейшей истории университета в Тарту…

Тамбиеву казалось, что катакомбная тьма сделает малоречивого генерала еще более нещедрым на слова, а получилось, кажется, наоборот, тьма расковала. Но думалось и об ином: в сырой тьме одесских катакомб собрались вдруг дети Европы. Все, кто нес в своем сердце истинную верность ей, был бескорыстен в борьбе, хотел ее освобождения. И еще думалось: как же бесконечно жестоко нынешнее время и как явно оно обратилось вспять, если этим людям, наверно не самым худшим в своем кругу, не нашлось места на земле и они должны были уйти под землю?

Дорога, которую прошли корреспонденты в катакомбах, была похожа на полумесяц и упиралась в море. Когда вся группа вышла

из катакомб, был вечер, но небо было засеяно звездным просом так густо, что казалось мглисто-золотым. Машины ждали корреспондентов на дороге, что виднелась в стороне, но никто не спешил, рядом были партизаны. И, как это часто бывало в поездках, самая большая группа собралась вокруг Галуа — он знал русский и мог взять на себя перевод беседы, которую иному переводчику, пожалуй, и не доверишь.

— А что за чертовщина стряслась с этой немецкой колонией, которую мы проехали сегодня утром? — в обычной для него нарочито грубой манере вопрошает Галуа. — Драпанули на запад вместе с вермахтом?.. Знает кошка, чье мясо съела, не так ли?

К Галуа подбирается Джерми, и новая проблема возникает в группе корреспондентов, сгрудившихся вокруг француза.

— А как будет с румынским королем, когда в Бухарест придут советские войска? — повторяет вопрос Джерми француз и смотрит на румына в форменном картузе с широченной тульей, с которого снята кокарда. Видно, румын родом из придунайской Молдовы, населенной старообрядцами, хорошо говорит по-русски. — Ему припомнят, что он принимал парад румынских войск в Одессе?.. Кто припомнит: румыны или русские?

Смех, что возникает в толпе, казалось, отзывается в катакомбах, из которых только что вышли корреспонденты, такое впечатление, что там услышали реплику Галуа.

— А если в Болгарии высадятся не только русские, но и англичане, например, — как болгары, примут? — вторит Баркеру Галуа. Баркер мог бы спросить болгарина и сам, да не хочет нарушать порядка, принятого в толпе корреспондентов. У болгарина пышные усы и суконная феска — такие усы и такие фески носили болгары-огородники на русском юге. — Русским, допустим, болгары будут рады, а англичанам?

Болгарин кряхтит и принимается скрести затылок, все больше сдвигая феску на лоб.

26

Вся толпа, корреспонденты, военные, партизаны, медленно смещается по направлению к городу, машины, чуть-чуть поотстав, идут вслед — разговор столь неожиданно вторгся в такую сферу и так увлек одних и других, что не просто расстаться.

— Вот тот, в форменной куртке, с пилоткой в руке… это и есть Хоуп? — спрашивает генерал у Тамбиева, не спуская глаз с чуть согбенной фигуры, что возникает и исчезает на параллельной тропе. Человек, что идет там, явно не переоценивает значения диалога, который увлек сейчас Галуа и его коллег.

— Тьма такая, что не мудрено и ошибиться… В куртке, говорите? Да, это он.

— Родион Яковлевич вспоминает встречу в Котельниково… Что вы так смотрите, я говорю, Родион Яковлевич Малиновский… — Он пошел медленнее, неспешной и раздумчивой походкой, казалось против своей воли приноровив свой шаг к шагу Хоупа. — Родион Яковлевич будет в Одессе в ночь на послезавтра… У вас нет никаких идей?

— Для Малиновского Одесса… отчая… — заметил Тамбиев. Как хорошо помнит Николай Маркович, тот раз в Котельниково Малиновский помянул об этом ненароком. — Встреча с Малиновским в Одессе… да что может быть для корреспондентов сегодня благодарнее?

— Встреча… всех корреспондентов? — спросил Стогов, помолчав, и вновь взглянул на Хоупа, который все так же неторопливо шел тропой, что тускловатой полоской возникла в полутьме. — Всех… не обещаю, — сказал Стогов с той категоричностью, какую в нем Тамбиев прежде и не рассмотрел. — А вот… Галуа и Хоупа, пожалуй, при этом… полуофициально, так сказать, личная встреча. Если это, разумеется, отвечает их намерению.

— Думаю, что отвечает… — заметил Тамбиев, не удержав вздоха. Ему-то хотелось, чтобы были все корреспонденты — в кои веки на их пути вновь возникает Малиновский, да еще при таких обстоятельствах.

— Однако о чем они могут спросить командующего? Можно предусмотреть, так сказать, круг вопросов?

— Весь круг вопросов сам аллах не угадает! — засмеялся Тамбиев.

— Тогда не весь!

— Все проблемы здесь: наступление, граница, которую

готовится пересечь наша армия, Балканы…

— Ну что ж, тогда слово за Родионом Яковлевичем… — сказал Стогов и прибавил шагу. Он шел не оглядываясь, точно избегая встретиться взглядом с Тамбиевым. А Николай Маркович и в самом деле хотел взглянуть в глаза генералу, полагая, что только глаза его и могли ответить на все вопросы. А вопросы были; не очень-то умело хитрит генерал, небось говорил уже с Малиновским и все решил. Было бы иначе, осторожный Стогов не выказал бы такой определенности. Ну, пусть, в конце концов, Стогов скажет «нет» и опровергнет подозрения Тамбиева.

Но Стогов сказал «да», остальное свершилось само собой. Стоговский «виллис» принял их у гостиницы «Бристоль», которая была резиденцией корреспондентов, и умчал по знаменитой Пушкинской, а потом по Приморскому бульвару, мимо Воронцовского дворца, каменного водопада знаменитой лестницы, мимо порта, за которым лежало холмистое море, в степь… Стояли тополя, густоветвистые, с точеными стволами и кронами, тополя-великаны стояли хороводом, и в центре круга кирпичный домик под цинковой крышей, едва ли не островерхий, без желобов, правильно квадратный, по шесть окон, глядящих на все четыре стороны света. Казалось, кто-то могучий приладил руку к трубе дома и потянул, придерживая другой рукой за крыльцо, чтобы дом, не дай бог, не оторвался от земли, поэтому дом и вытянулся под стать готике тополей. Не было бы тополей — и у дома не было бы остроконечной крыши, зауженных окон и дверей, вытянутых стен.

Малиновский, как это было установлено неписаным распорядком командующего, бодрствовал ночью и отсыпался на вечерней и утренней заре. В преддверии полночи обычно накоротке накрывался стол — не подкрепившись, пожалуй, к страдной ночи и не подступишься. Все, что удалось сделать войскам за день, которому в нынешний многотрудный апрель истинно не было ни конца ни края, осмысливалось ночью. Как ни скоротечно было пребывание командующего в домике под тополями — фронт готовился к операциям на Балканах, но все еще был в движении, — распорядок соблюдался.

Малиновский выказал нетерпение, заметив, что гости опаздывают. К счастью, опоздание было в пределах тех дежурных пяти минут, на которые иностранным гостям дозволено опоздать и к командующему. Как ни дефицитно было время у командующего в эту апрельскую ночь сорок четвертого года, он отвел на встречу час и, не мешкая, вышел к гостям, когда те раздевались в комнате адъютанта. Обмениваясь рукопожатиями, командующий вспомнил котельниковский мороз и обеденный

стол с борщом и французским вином, а приглашая к себе, как показалось Тамбиеву, даже чуточку помедлил — запланированный час не должен быть превышен ни на одну минуту, при этом в беседе не след обнаруживать и спешки.

— За эти полтора года, что минули после Котельниково, поистине сдвинуты горы и… в вашей личной судьбе, — произнес Галуа, обращаясь к Малиновскому. По традиции, с молчаливого согласия присутствующих, француз брал беседу в свои руки. — «Ме фелиситасион, мон женераль!» — закончил он. Галуа не мог себе отказать в удовольствии поздравить хозяина дома по-французски.

— Наши мысли, признаться, обращены сегодня не столько ко дню вчерашнему, сколько к завтрашнему, — заметил Малиновский, осторожно, но твердо поворачивая беседу к существу. — «Ком он дизе дан лётан: „Вив са мажестэ л'Авенир!“ Как говорили некогда: „Да здравствует Его величество завтра!“» — воскликнул он, немало смутившись. Ему не хотелось оставлять французскую фразу гостя без ответа, но язык требовал сноровки, а ее еще надо было вернуть.

— Вы полагаете, генерал, что Красная Армия способна развязать балканский узел без участия союзников? — спросил Галуа, он точно определил лимит времени: десять минут прошло, пятьдесят осталось. Эти пятьдесят минут должны быть отданы разговору по существу.

— У союзников много дел на западе, — произнес Малиновский раздельно. Первый же вопрос гостей ставил его в положение нелегкое. — Как мне кажется, наше командование это обстоятельство не может не учитывать, планируя балканский маневр… Господа… не будем терять времени даром, — улыбнулся Малиновский и обратил глаза на стол, посреди которого аппетитно дымились куры под фруктовым соусом — блюдо, судя по всему, одесское.

Тамбиев приметил, как ни обычна была последняя фраза, она стоила Малиновскому усилий, — наверно, не просто было совместить радушие хозяина со способностью отвечать на вопросы столь жесткие, как последний вопрос Галуа.

Застучали вилки, куры были разобраны по тарелкам; не было бы вожделенных птах, пожалуй, пауза, в которой были заинтересованы обе стороны, показалась бы не столь естественной.

— Но то, что ожидает войска на чужой земле, отлично от того, что было на земле родной? — подал голос Галуа. Нельзя сказать, чтобы новый вопрос француза обнаруживал большее великодушие к хозяину, чем вопрос предыдущий. — Ведь так?

— Так, разумеется, — задумался Малиновский и вдруг улыбнулся. — Солдату надо быть дипломатом…

— Дипломатом военным? — поинтересовался Галуа.

— Нет, почему же? Дипломатом гражданским… — теперь уже рассмеялся Малиновский и, взглянув на Николая Марковича, откровенно подмигнул.

— Так, пожалуй, Тамбиеву и дела не останется, а? — откликнулся Галуа, ему хотелось ответить на улыбку Малиновского улыбкой.

— Тревога эта преждевременна, — заметил генерал и сдвинул брови, как бы возвращая присутствующих к сути.

Американец, как обычно, малоречив. Хоупа должно устраивать, что рядом с ним Галуа. Рядом с французом ему удобно молчать. Он как бы пускает Галуа вперед с тем, чтобы тот взломал лед. Хоуп знает, что Галуа задаст лишь некоторые из, тех вопросов, которые задал бы он сам, но предпочитает отдать все права Галуа. Хоуп точно говорит: главное не в вопросах, а в том, как откроется собеседник, его человеческое существо, его характер, строй его взглядов. Тамбиев и прежде примечал: Хоуп молчит, он замкнулся в своей думе, которую хочется назвать тайной, но живут глаза Хоупа, только они и открыты постороннему взгляду, только они и могут отразить то заповедное, что происходит в человеке, в недрах его существа. Вот и сейчас: если и есть что-то такое, что способно в этой беседе заинтересовать Хоупа, то прежде всего сам Малиновский, его своеобразие, его суть. Ну, разумеется, любопытно знать, как генерал видит обстановку на фронте в более чем исторический момент, предшествующий вступлению русских войск на Балканы, на те самые Балканы, у которых слава порохового погреба Европы. Если бы Хоуп был суеверен, то и он убедил бы себя в том, что судьба Балкан есть нечто фатальное — казалось, их взрывчатое вещество способно воспламениться и без участия человека. Но Хоуп готов пренебречь и этим ради того большого, что есть Малиновский, не зря же фортуна одарила Хоупа двумя встречами с Малиновским: вначале в Котельниково, а потом в Одессе. Но, может быть, разговор о Балканах даст возможность Хоупу проникнуть и в суть того, что есть Малиновский?

— Выход к Одессе ставит под удар немецкие пути между Севастополем и Констанцей, — подал голос Хоуп, он полагал, Малиновский хочет разговора на военные темы. — Угроза Севастополю?

— Не надо быть моряком, чтобы понимать это.

— И угроза Констанце?

— Не прямая, но угроза.

— Но тогда какой смысл немцам удерживать Севастополь, господин генерал?

— Смысл, конечно, есть…

— Но не слишком ли это дорогая цена и… риск?

Малиновский потер ладони, потер энергично, как он это делал в минуты волнения.

— Да, есть риск окружения.

— Окружения… со взятием Констанцы?

— Вы полагаете, речь может уже идти о Констанце? — улыбнулся командующий.

— Да, но такая перспектива не исключена, господин генерал?

— Не исключена, разумеется, не исключена, — согласился генерал снисходительно.

Этот диалог заметно увлек и Хоупа; не часто он обращался к записям, предпочитая их делать, когда беседа закончена, но тут записная книжка появилась на столе, правда, всего лишь появилась, запись предстояло еще сделать.

— Простите мне такое допущение: если вас поставить на место немцев, удержали бы вы в этой обстановке Севастополь? — спросил Хоуп, немало удивив в этот раз и Галуа.

— Для меня это не очевидно.

— А немцы будут удерживать?

— Думаю, будут.

— Вопреки целесообразности?

— Вопреки.

— Значит, сегодня есть некая тенденция в самой психологии немецких стратегических решении: удерживая позицию во что бы то ни стало, удерживать даже тогда, когда целесообразность миновала? В этом уже нет смысла?..

— Возможно…

— Но согласитесь, что такая тактика делает маневр не столь гибким?

— Можно допустить.

— И вы бы не сочли такую тактику современной… господин генерал?

— Это не моя тактика.

— Последний вопрос: советская военная мысль не могла не заметить эту особенность немецких стратегических решений… И учитывает ее?

— Должна учитывать.

В ответах Малиновского, как казалось Тамбиеву, не было категоричности, хотя известная категоричность, быть может, сейчас в большей мере устраивала бы корреспондентов. Там, где корреспонденты хотели твердого «да», Малиновский говорил:

«должна учитывать», там, где они требовали «нет», генерал уклончиво объяснял: «это не моя тактика». Что же касается существа, то Хоуп, так виделось Тамбиеву, в своих наблюдениях был прав: немецкая тактика отступления могла быть и гибче. Несомненно было и иное: русские, быть может, действительно со времен Сталинграда, а может быть, еще раньше — со времен Москвы — точно засекли эту особенность немцев и использовали ее в своих стратегических решениях.

Вновь ожил Галуа; пока его коллега, как мог, развивал диалог с Малиновским, француз взял на прицел бутылку с украинской наливкой и, надо отдать ему должное, достаточно пристрелялся.

— Нет ли известной закономерности в том, что балканское наступление русских совпадет с большим десантом на западе?.. — спросил Галуа. Его глаза заметно заволокло летучим дымком хмеля.

— Если есть закономерность, то счастливая, — улыбнулся генерал.

— Вы сказали «счастливая»? — засмеялся Галуа, в самом смехе было желание спровоцировать собеседника на вопрос.

— А разве нет? — Малиновский пошел Галуа навстречу.

— Как сказать, господин генерал, как сказать… — Галуа закрыл лицо в беззвучном смехе.

— Не понимаю! — Малиновский взглянул на француза не без изумления.

— Пока союзники будут единоборствовать с линией Мажино и Зигфрида, Сталин решит задачу… Не согласны? Простите, но вы не можете отказать мне в знании русской истории, я учил ее в Тенишевском училище на Моховой, а там умели учить… Я говорю, что Сталин решит задачу, которую пытались решить все русские цари, от Петра Первого до Николая последнего. Если вы имеете в виду это, когда говорите о счастливом совпадении, я с вами согласен…

Галуа достает из бокового кармана пиджака записную книжку в желтой коже. Жест Галуа размашист — наливка прибавила французу сил.

— Эх, мой календарик!

Из записной книжки француза выпадает квадратик картона небесной синевы и ложится у ног командующего. С быстротой, какая в нем была не очень приметна, Малиновский поднимает календарик и кладет его перед обескураженным Галуа, при этом лицо генерала становится едва ли не таким синеватым, как квадрат картона, который он поднял, и слышнее дыхание. Но это заметил и сам командующий, он встает и медленно идет по комнате, едва заметно отводя руки. Не иначе, в ходьбе он

успокаивает сердце.

Однако календарик, случайно выпавший из записной книжки Галуа, помог обнаружить в генерале такое, что рассмотришь не сразу. Тамбиеву видны в Малиновском приметы времени. С котельниковской поры и полутора лет не прошло, а они видны, эти приметы: сердце, от него и грузность, какой не было прежде, и стесненное дыхание, которое явилось вдруг в эпизоде с синей картонкой. По всему, след страды, след полуночных вахт, иначе в сорок шесть такого не обретешь.

— Древние называли Черное море Русским морем, — заметил Галуа, оживившись, и, как обычно, легкий румянец подпалил ему щеки. — В эти два года немцы старались приучить себя к мысли, что Черное море является едва ли не их внутренним морем, и даже пытались называть его Немецким… — Он умолк, явно утомленный непростым историческим экскурсом, который он совершил только что. Ему предстояло теперь уточнить вопрос. — Не считаете ли вы, что немецкий гарнизон в Севастополе рискует превратиться в остров, единственный немецкий остров на море, которое немцы все еще считают внутренним?..

Но Малиновский, казалось, не слышал последней фразы Галуа. Генерал взглянул на часы — урочный час истек, аудиенция закончилась.

Они вернулись в гостиницу во втором часу ночи. Галуа уже не храбрился, крепкое украинское зелье сморило его, и он ушел. Американец помог ему взобраться на крыльцо и, пока тот шел темным коридором к лестнице, дважды окликнул. Тамбиеву показалось, что американец заинтересован, чтобы француз ушел. Нельзя сказать, что это не отвечало и желанию наркоминдельца — разговор с Клином в самолете тревожил Николая Марковича.

Они вошли под арку, и Тамбиев не мог не обратить внимания, что плоский камень, которым был вымощен гостиничный дворик, точно отразил свечение южного неба. Николай Маркович поднял глаза и вспомнил Кубань, ее густозвездное полуночье. Казалось, ничто так точно не покажет тебе, сколь ты мал, как необозримость ночного неба, его бесконечность, его непрерывность.

И Тамбиев спросил себя: тогда почему оно не подавляет тебя, не принижает, не делает тебя меньше, не отнимает у тебя радости бытия, веры в куда как скромные силы? Наоборот ты смотришь на эту звездную бесконечность, и она рождает в тебе сознание силы, какого у тебя не было, когда ты не видел огромности мира. Ты, разумеется, песчинка в сравнении с необъятностью космоса, ты микроскопический росток, но ты тот самый росток, которому

дали жизнь и рост эти звезды, ты точно вырастаешь под этим синим пламенем, ты и твое сознание, гордое сознание.

Тамбиев посмотрел на Хоупа и был поражен, что веки его сомкнуты. Небо было для него сейчас слишком пышным, чтобы он мог сосредоточиться, зрение мешало ему углубиться в себя. Наверно, это было характерно для Хоупа — в минуту, когда глазам открывалось нечто такое, что могло распалить воображение, он вдруг закрывал их. Не иначе, все истинное, что было в этом мире, американец стремился найти не вне себя, а в себе.

— Вы заметили в Малиновском вот эту… сдержанность? — произнес Хоуп, так и не подняв век. — Сознание того, как труден был путь и как он еще будет труден…

— А прежде это в нем не виделось? — спросил Тамбиев.

— Пожалуй, не так виделось… Даже не очень понятно: когда было трудно, он был оптимистичнее… Нельзя же допустить, что прежде он не представлял себе, как труден будет путь…

— А по мне, это оптимизм, но оптимизм зрелости он не так бросок… — сказал Тамбиев.

— Полтора года тому назад не было этой зрелости, а сейчас есть? — спросил Хоуп, улыбнувшись, это была улыбка не столько иронии, сколько удивления.

— Полтора года на войне — это очень много, тут действует своя логика, железная, — заметил Тамбиев, — логика теории относительности: точно был не на земле, а вне земли, вернулся в родной дом только через сотни лет и застал в родном обиталище уже только правнуков… Война — это иной счет лет…

— Иной счет, пожалуй… — согласился Хоуп, он знал войну.

Они прошли в глубь двора, туда, где в молодой листве деревьев собралась сырая темь, в свежести, что шла оттуда, угадывался запах молодой листвы.

— Господин Тамбиев, могу я просить вас… неким образом об одолжении? — произнес Хоуп и привел в действие застежку-молнию, скрепив полы куртки, — после домика под тополями здесь было не жарко.

— Прошу вас, господин Хоуп.

Американец помедлил, до моря было не близко, но в этот полуночный час, казалось, его голос был рядом.

— Кто-то говорил мне, что в начале войны ваш писатель, человек не робкого десятка, ходил на подводной лодке в Констанцу…

— Был такой случай.

— Никогда не был эпигоном, но в данном случае, пожалуй, не отказался бы им быть… Ну, дайте мне возможность, а? Если не

из Одессы, то из Севастополя. Верю, что он будет взят вот-вот… Как?

Тамбиев подумал: он сам меня подвел к вопросу, который я хотел ему задать, лучшего момента не будет. Но теперь пришла очередь Тамбиева собираться с мыслями, и, как это было несколько минут назад, в полуночной тишине, тишине чуткой, осторожно нарушаемой далекими выстрелами, возник голос моря. Оно было ближе, чем думал Тамбиев.

— По-моему, в Одессе нет наших подводных лодок, а Севастополь, как я понял Малиновского, это перспектива, быть может, месяцев… — начал Тамбиев издалека.

— А если перспектива не месяцев, а недель? — вопросил Хоуп. Энергия, которую он выказал при этом, пожалуй, была даже ему не свойственна.

— Но ходят слухи, что вы готовитесь к отъезду, господин Хоуп, — сказал Тамбиев и обратил глаза на американца. Николай Маркович был убежден: независимо от того, что скажет сейчас американец, лицо его отразит правду.

— Я? — вопросил Хоуп изумленно. В его изумлении, показалось Тамбиеву, не было наигрыша, оно было искренним.

— Это не так? — был вопрос Тамбиева.

— Я об этом ничего не знаю, господин Тамбиев, честное слово, — произнес Хоуп.

И тотчас Тамбиев подумал: какая необходимость у него была в честном слове? Он знал о Клине или смутно подозревал об этом? Заставить малоречивого Хоупа обратиться к честному слову — значит дать понять ему: все, произнесенное только что, не праздно, отнюдь.

— Вы не верите, господин Тамбиев?

Нет, он определенно что-то знал о замыслах Клина.

— Верю, разумеется…

Они простились, о Севастополе Хоуп уже не говорил. Он точно забыл Севастополь.

27

К утру дым над городом размылся, да и запах гари поутих. Корреспонденты поехали смотреть город и порт.

Возвратились к вечеру и, наскоро поужинав, ушли на Приморский бульвар наблюдать закат — в апреле он тут необыкновенно хорош.

— Николай Маркович, да ведомо ли вам, что сегодня второй день пасхи? — подал голос Стогов. Вопрос был неожидан и не очень подходил генералу. — Меня пригласили тут в один дом на куличи, составите компанию?..

Тамбиев смешался — генерал был не из тех, кто импровизирует — вопрос не мог у него возникнуть только что.

— Небось за всю войну и белой скатерти не видели, а? — улыбнулся Стогов.

— Не видел, действительно, — признался Николай Маркович.

— Тогда, айда!..

Но Стогов сказал «айда!» по инерции — дом, в который они направились, оказался на той же Пушкинской, где и гостиница.

— Вы, разумеется, приметили там, в катакомбах, темноглазую аптекаршу в халатике с такими крупными пуговицами? — вопросил генерал, когда они приблизились к трехэтажному особняку с массивной резной дверью.

— Перламутровыми? — уточнил Тамбиев.

— Именно перламутровыми… вот это и есть молодая хозяйка дома, куда мы направляем стопы.

— Вы ее знали прежде?

— Знал, — лаконично вымолвил Стогов, лаконично и, как показалось Николаю Марковичу, не очень охотно.

— Значит, вы из Одессы? — спросил Николай Маркович, поднимаясь на крыльцо, массивная дверь особняка сейчас была перед ними.

— Да, — сказал Стогов и потянул дверь на себя, как будто она показалась ему сейчас тяжелее, чем обычно.

То ли полузашторенные окна были тому виной, то ли глубокие коричневые краски буфета, что простерся во всю стену, но в столовой, куда они вошли, было сумеречно, лишь матово отсвечивала крахмальная скатерть, которой был покрыт большой обеденный стол.

— Леля, ты займи гостей, а я накрою.

— Я помогу тебе, мама.

— Нет, нет… вот только лампу зажжем. Владик, ты мне поможешь?

— Да, Серафима Николаевна, — отвечает Стогов и берет в раскрытые ладони сплюснутый шар керосиновой лампы, густобордовый в сумерках столовой, и осторожно опускает его на уровень плеч. Он удерживает лампу в раскрытой ладони, а другой снимает стекло и, не выпуская его, поворачивает колесико зажигалки. Он проделывает эту операцию не без сноровки, с первого раза так лампу не зажжешь.

Теперь, пожалуй, можно рассмотреть и хозяек, мать и дочь, да и убранство дома доступно глазу, оно неотделимо от хозяек. У Серафимы Николаевны, вопреки возрасту, есть лучистость в глазах, серо-сизых, кажется, что мгла легла вокруг глаз, и от этого они кажутся больше. Есть во взгляде женщины тайное неприятие, укор, может быть даже вызов. Женщина улыбается, а глаза печально немы.

— Знаешь, Владик, у Одессы такая Голгофа, не дай бог никому…

Точно под пристальным взглядом, дочь хмуро замкнулась, низко склонив голову, только губы вздрагивают, они у нее крупные, не совладать.

— Не надо, мама, можно ведь и о чем-нибудь ином…

Она встает, и вдруг Тамбиев видит, как она хороша. Даже интересно, встала и сделалась красивой — что-то гордое в повадке, в линии плеч, с какой воинственной гордостью, гордостью юной, она вдруг вскинула голову. Наверно, это у нее от девичества, от той поры, когда она кончала школу. Школа небось где-нибудь на Пушкинской или на Приморском. Но вот только как-то странно заносит ногу, не сгибая.

— Ты понимаешь, Владик, в какое положение она всех нас поставила, когда все это стряслось?.. — произносит мать полушепотом, едва Леля прикрывает за собой дверь. Тамбиев обратил внимание, было что-то сокрытое в этом «стряслось», что-то такое, чего пока что не дано было всем знать. — Привезли ее и положили вот тут, а румыны уже входят в Одессу… Только представь, это же не где-нибудь на Пересыпи, а вот здесь, на Пушкинской, в двух шагах от этого их гувернаментула… то бишь губернаторства… У нее характер, Владик… режь — кровь не пойдет. Мне иногда даже страшно становится: неужели это я родила ее? — Она не без робости обратила глаза на дверь, в которую удалилась дочь, произнесла едва слышно: — Легко сказать, она в катакомбы на костылях ушла.

— О, выпьем сейчас всласть, мамочка!.. — Дверь распахнулась настежь, поднос вздрогнул в Лелиных руках и не столько был принят Серафимой Николаевной, сколько упал в ее руки — Леля не очень верно стояла на ногах, не было упора. —

Выпьем?..

— Ну что ж… я помогу как умею, — произнесла Серафима Николаевна. — Тогда открывай буфет!..

Видно, эти слова в этом доме были магическими — «Открывай буфет!» — с них начиналось нечто такое, что должно было повергнуть гостей в трепет. И в самом деле, только сейчас Тамбиев увидел, что за чудо вознеслось над его бренной головой. Именно вознеслось. Обыденное «буфет» было недостаточным, чтобы приблизить наше воображение к тому, что открылось глазам, — это был алтарь чревоугодия, трон Лукулла, орган, на котором гастрономы пели хвалу своему богу. Всемогущий резец перенес на дверцы все, что открылось изумленному взору гостя в разгар Лукуллова пиршества: горы экзотических плодов, перевитых виноградной лозой и пальмовыми листьями, только что убитого зайца, который немо таращил еще не остывший глаз, жирного фазана, уложенного меткой пулей охотника, только что заколотую овцу… Все было напитано запахами горячего мяса, жареного лука, остро пахнущего чеснока… Все точно явилось сюда из далекого далека, которое на самом деле было не столь далеко.

Но дверцы алтаря открылись, пахнуло едва ли не древним запахом ванили, и на круглом блюде, расписанном бледными фиалками, возникло золотое ведерце пасхального кулича, а вслед за этим алтарь явил горку сахарного печенья и полнолуние слоеного пирога с яблоками. Потом с мраморной доски было снято блюдо с холодной курицей и добрым куском жареной телятины, а с кухни принесено истинно одесское — синенькие с мясом… По военной поре стол был богат неслыханно.

— У меня есть скляночка спирта, — произнесла Леля не без лихости и встала рывком. Нет, действительно, нога какая-то неживая. — Как он… дипломатии показан?

— Это что же… партизанский спирт?

— А тут все партизанское или, вернее… румынское, только синенькие одесские. Итак, дипломатии… спирт показан?

Серафима Николаевна не без страха смотрела, как дочь пьет спирт. Леля это делала умеючи: опрокидывала чарку и, затаив дыхание, давала огню распространиться настолько, что он выплескивался на щеки, а потом уже гасила. Глоток воды был рассчитанно скупым. Как ни силен был спирт, он не в силах был прошибить Лелину малоречивость. Одарит нещедрым словом и умолкнет, только губы продолжают вздрагивать. Лишь однажды она изменила себе, поведав о своей одиссее, разумеется, в двух словах поведав. Дождалась, когда мать выйдет из комнаты, и, поплотнее закрыв за ней дверь, осыпала гостей горячим шепотом:

— Тут у меня получился спор с одним нашим офицером. Он сказал: «Я за войну не убил ни одного человека и не стыжусь сказать об этом». — «А я убивала, — говорю ему, — и тоже не стыжусь… Видите вот эту колбочку? Так злым зельем, что уместилось на дне этой колбочки, мы отправили к праотцам столько, что их телами можно было бы перегородить нашу Пушкинскую, да еще бульвару перепало бы…» Так офицер этот больше уже не говорил об этом, по крайней мере, при мне…

— Погоди, Леля, ты это обо мне? — обратил на молодую хозяйку хмурые глаза Стогов, не было бы окаянной рюмки спирта, пожалуй бы, генерал смолчал.

— А разве ты тоже говорил это, Владик? — вопросила она без улыбки. — Надеть гимнастерку — значит понять: придется убивать… — Она искоса посмотрела на Тамбиева. — Дипломатия небось в принципе против убийства?..

Тамбиев подумал: она все еще была во власти тревоги, которая в ней жила все эти годы. Не в ее силах было ее прогнать, эту тревогу. Для нее принять человека труднее, чем для всех иных, ожесточившись, она еще долго будет смотреть вокруг с опаской. И вновь шевельнулось в сознании Тамбиева: нет, причиной тому не только два года жестокого житья-бытья в катакомбах, но и иное, что совершилось с нею, и только с нею. И на память пришли слова Серафимы Николаевны: стряслось, стряслось.

— Да что говорить? Думала, что буду читать поэтику Гейне и Шиллера, а стала главным специалистом по травле крыс…

Она произнесла это, не стесняясь матери, которая вошла в комнату со стопкой тарелок и сейчас остановилась, обратив на дочь глаза, полные укора; не было бы тарелок в ее руках, пожалуй, не уловить, как вздрогнула она, сейчас это было слышно.

— Еще не все время вышло, Леленька… Найдется место и для Гейне с Шиллером…

— Пойду толмачом к дипломатам! — произнесла молодая хозяйка со все той же лихостью. — Сойду за толмача, дипломатия, а? Робеешь? Тогда помоги мне, дипломатия, принести блюдо с варениками из кухни!

— Леля!..

— Нет, нет, я хочу, чтобы мне помогли! Я хочу так!..

Когда они шли на кухню, Тамбиев вдруг ощутил, как Леля тяжело, но щадяще привалилась к его плечу.

— Устоит дипломатия? — спросила она, смеясь, но плеча не отняла. — Не вообразила ли ненароком самонадеянная дипломатия, что ее стрела поразила девичье сердце? — Она вдруг

отняла плечо, встала поодаль.

— Леленька, ты неси блюдо с варениками, а мы с Николаем запалим по цигарке, — молвил Стогов, появившись в дверях.

Она повиновалась неохотно.

— Храбрится Леленька, — сказал Тамбиев. — Ей приятно храбриться…

— Когда вместо живой ноги деревянная… расхрабришься, — заметил генерал.

Точно ветром холодным ударило в висок — вот она, Лелина нога, несгибающаяся.

Серафима Николаевна расставила тарелки, очевидно для горячего, не обделив и тех, кого еще не было.

— Подождем… твоих, Леленька? Как, гости дорогие? — обратилась она к присутствующим и пояснила, полагая, что Тамбиев осведомлен в такой же мере, как и Стогов. — Теперь уже недолго ждать, машины, пожалуй, уже ушли…

Стогов уточнил:

— Мы ждем словаков, Лелиных товарищей по отряду. У них тут образовалась целая колония — филиал Братиславы в Одессе!..

Тамбиеву стало не по себе: Братислава? Сердце точно ощутило толчок, что-то с силой стукнулось в него и замерло, неодолимо тоскливое. Да не почудилось ли ему: Братислава, так?

Действительно, когда уже смерклось, явились словаки, не друзья ли сверстники, товарищи по судьбе лихой: Милан и Ян. Милан покровительственно спокоен и улыбчив, кажется, что улыбка гнездится в его золотой бороде — не борода, а кусок сотов медовых. Ян черняв и пышноус, с крутым баском, чуть гудящим, вот он умолк, а голос еще живет, ищет опоры.

— Европа — сухой стог соломы, ждет огня, чтобы вспыхнуть, — сказал Ян с завидной уверенностью в русском и такой страстью, что казалось, ни о чем он больше не думает, как об этом. — Вы, русские, должны уметь, как бы это сказать, поджигать!

— Вы хотели сказать: побеждать? — вопросил Стогов.

Но словак не смутился.

— Побеждать — значит поджигать, — уточнил воодушевленно, словак был свободен в русском. — Как ты, Милан? — обратился он к другу.

— Поджечь, хорошо поджечь! — поддержал он, улыбаясь.

— За это, за это, нет лучшего тоста!.. — подхватил Ян, он долго ждал этого дня, он был в ударе.

— Ах, хотела бы я видеть, как за это пьет дипломатия! — иронически ухмыльнулась в очередной раз Леленька.

— Если хорошо поджечь, то поднимутся София и Прага, да и

Братислава в долгу не останется, — бушевал черноусый.

— За Братиславой дело не станет, — вдруг обрел дар речи медовобородый.

— К нам вчера такие парни явились из Новохоперска, — загудел крутым басищем ус. — И наши поля, и наши горы — Братислава с Загорой.

— И Банской-Бистрицей, — поддержал медовобородый Милан, он определенно был из Банской-Бистрицы.

Вот оно, предчувствие, — Новохоперск, мелькнуло у Тамбиева. Да не перекочевал ли Новохоперск в Одессу?

— К вам… это куда? — мог только спросить Тамбиев.

— Куда?.. — двинул зрачками пышноусый и вдруг стал зол — как ни пьян, а сообразил, что вопрос необычен. — Так мы вот тут… рядом с театром, в этом доме с итальянскими окнами… — произнес он, смирившись.

Была не была, спрошу, решил Тамбиев. Вот улучу минуту и спрошу об этой Прохазьковой. Если Ян был в Новохоперске, быть может, их тропы и не разминулись. Вот ухвачу момент и озадачу: что вам говорит это имя?

А словак вдруг собрал нос в этакую картошку, и усы его шевельнулись.

— Прохазькова? Это какая же Прохазькова… докторша? Так я же видел ее только что в нашем палаццо с итальянскими окнами.

А час спустя словак кликнул Прохазькову из дома с итальянскими окнами, и она выпорхнула на площадь перед театром едва ли не в своем халатике, подпоясанном марлей. Ну, разумеется, она ждала не Тамбиева, а кого-то другого, поэтому с такой безоглядной стремительностью и ринулась на улицу.

— Убейте меня, ничего не знаю! — взмолилась она, увидев Тамбиева, и ее зубы выбили дробь то ли от испуга, то ли от студеного ветра, что пахнул в эту минуту с моря. — Улетела и оборвала концы, как во тьму колодезную… — произнесла она зябкой скороговоркой и захлебнулась холодным ветром. — Может, кто знает, только не я… Казните меня, ничего не знаю!

Она даже взметнула руки, сжав их в кулаки, точно на самом деле явилась на эту площадь в полуночный час, чтобы принять смерть.

Тамбиеву стоило труда отойти от дома с итальянскими окнами. Эта Прохазькова показалась ему непохожей на себя. Чего ради ей так клясть себя и божиться? Просто смешалась? Нет, обычное смятение не вызывает такого испуга. Да будет ли человек с такой страстью открещиваться незнанием, если действительно не знает? Тамбиев не помнит, как ветер, окрепший к полуночи, подтолкнул его к каменному парапету набережной,

повисшему над морем. Моря не было видно, но голос его, неумолчный, точно обнажился, сбросив с себя тяжесть ночи. Вдруг почудилось, что море явило стон, который рос в нем. То, что стиснул Тамбиев и точно заковал в себе, вдруг прорвалось там…

28

Бекетова пригласил посол.

Не иначе, речь пойдет о поездке на континент, думал Сергей Петрович. О чем же теперь говорить, как не об этом?

Но в разговоре с послом поездка на континент даже не возникла.

— Есть телеграмма из Москвы, просят вас вылететь, по возможности сдав дела… Так и написано: по возможности.

Неожиданная новость точно приморозила Сергея Петровича, улыбка далась ему не без труда. Жизнь научила: хорошо в трудную минуту улыбнуться.

— Это как же понять? Разжалование?

— Наоборот, я так думаю, повышение…

— А мнение посла… было испрошено?

— Пока дело до этого не дошло.

Так… Повышение, значит? А нужно ли оно Бекетову? Нет, не вообще, а теперь? За год, за два до окончания войны нужно? Есть некая цельность в лондонской миссии Сергея Петровича, некое обязательство перед самим собой: приехал с войной, и коли уезжать, то с окончанием войны… Надо сказать, что половник, преданный Егором осмеянию на Варсонофьевском, явился не столь всесильным, но многое удалось сделать. И еще есть возможность сделать. Что же касается страсти к большим звездам на серебряных погонах, окрещенной наркоминдельскими острословами звездной болезнью, то Сергей Петрович в силу особенностей своего характера к этому недугу невосприимчив. Итак, если речь идет о мнении Бекетова, то он не воспылал желанием стать больше, чем есть нынче. Но не все тут зависит от Бекетова. Какова позиция Тарасова, например?

— Нет, в самом деле, что думает обо всем этом посол? — Вопрос обнаруживал сомнения Сергея Петровича, в самой формуле вопроса был спор с самим собой.

— А разве это не ясно? — был ответ Тарасова, и Бекетов понял, что в этом вопросе не было большой необходимости, совершенно очевидно, что посол к этой акции не имел отношения.

Бекетов был дома раньше обычного и, к удивлению своему, застал Екатерину. Ее опыты с переводами письменных текстов продолжались, и успехи были завидны. Так и не отважившись перейти в пресс-отдел посольства, она была добрым помощникам Шошину. Перевод шошинских текстов был ей тем более удобен, что Екатерина могла брать их и домой.

— Ты можешь отвлечься на три минуты? — осторожно подступился Сергей Петрович — Екатерина совладала с дежурным стаканом чая с молоком, не прерывая работы.

— Если только на три, — произнесла она, в то время как белый лист, лежащий перед нею, продолжал заполняться ее крупным и круглым почерком.

— Я только что от посла, есть телеграмма, просят вылететь, сдав дела, — произнес Бекетов бесстрастно. — По возможности сдав дела, — добавил он, вспомнив, что этой подробностью телеграмма обладала. Не сказав этого Екатерине, Сергей Петрович рисковал воспроизвести телеграмму неполно.

Перо выпало из руки Екатерины, но глаза были все еще прикованы к бумаге.

— Если это новое назначение, то ты полагаешь, что оно может совершиться без того, чтобы сказал свое слово… он? — вопросила она, не поднимая глаз.

— А разве это так важно?

— Важно.

— Прости меня, почему?

Она подняла глаза, в них не было радости.

— Если есть это слово, ты уже не сумеешь отказаться…

— А если его нет?

Она задумалась. Нет, тремя минутами тут не отделаешься. Она безразлична к тому, что он смотрит сейчас на нее, хотя знала, не могла не знать, что взгляд его испытующ. Наверно, она приблизилась к той грани, которой, по известному слову, заканчивается бабий век. В конце концов, неважно, сколько ей лет, но что-то минуло, что-то опрокинулось в прошлое едва ли не безвозвратно. И это, никуда не денешься, отразило сейчас ее лицо. Нет, дело даже не в том, что прибавилась едва заметная бороздка на лице или седина в волосах, потускнела кожа или отпала охота к платьям с короткими рукавами, явилось иное выражение лица, и его не упрятать. В этом выражения и жалость, и всепрощение, и что-то очень горькое, что несмываемо.

— Я не знаю, какая осенила тебя мысль, когда ты узнал о том, что определен в Лондон, — произнесла она тихо. К тому, что она намерена была сказать сейчас, она пришла, как казалось ему, не сразу — ее это угнетало в те долгие ночи, когда она уходила по тревоге в просторные залы метро, лежала на железной койке, согнувшись в три погибели, стремясь укрыть своим телом девятилетнего Игорька, будто бы тех ста метров породы, которые встали над нею, было недостаточно, чтобы охранить его от немецкой фугаски. — Я не знаю, какая тебе явилась мысль, когда ты ступил на здешнюю землю, но все, кто об этом узнал у нас,

истолковали это верно, хотя единодушия у них могло и не быть. И те, кто увидел в этом для тебя проверку на прочность, и те, кто рассмотрел тут испытание на благонадежность, и те немногие, кто углядел в этом свой крест… О, ты восстанешь и, дай тебе волю, скажешь, что витийствую, но я-то знаю, что твое лондонское долготерпенье есть твой крест… А коли так, найди силы донести его до конца…

Он прилетел в Москву и прямо с аэродрома поехал на Кузнецкий, надеясь найти там Егора. Но Бардина не оказалось; видно, минуло то время, когда наркоминделец был прикреплен к своему рабочему месту едва ли не двадцать четыре часа в сутки и отсутствие его на месте, к которому его приколдовали, давало право ретивому начальнику учинять в предрассветный час поиск и стучаться во все двери города с такой бесцеремонностью, будто бы это не заря утренняя, а заря, по крайней мере, вечерняя. Сергей Петрович поехал в Ясенцы и был там, когда над трубами ясенецких срубов уже вились вечерние дымы, в окнах, зашторенных не с той тщательностью, как в начале войны, нет-нет да прорывался огонек. Только бардинский дом казался необжитым — ни дыма, ни огня. Тревога уже сунула свою холодную руку за пазуху Сергея Петровича, когда из полутьмы бардинского сада шагнул навстречу Егор Иванович.

— Свят, свят… да во сне ли это или наяву? — взмолился Бардин, сжимая в могучих лапищах друга. — Нынче у меня жена на службу ходит, Сережа, и в доме мрак и холод… хоть беги обратно на Кузнецкий!.. — Он взглянул на Бекетова и вновь разверз необъятные свои клешни. — Я там пакетик со снедью нехитрой приволок, в миг единый оборудуем! Заходи, не робей.

Точно рукой сняло печаль с Бардина, откуда только и силы взялись? Как в лучшие дни, Егор Иванович нагреб из всех углов старых газет и журналов, притащил охапку дров и хвороста, щедро, в три спички поджег сухое крошево, и мигом загудело с веселым треском и присвистом в бардинском доме. А потом случилось то, что многократ наблюдал Сергей Петрович в большом и добром доме друга: Егор надел Ольгин фартук, закатал повыше рукава, взял в обе руки по длинному ножу и, ударив их друг о друга, высек звон завидный. Тотчас же был распечатан сверток с нехитрой, но по нынешним временам отнюдь не скудной снедью, и к лихому посвисту огня прибавилось шипенье, бульканье, клокотанье, которое издавал большой оркестр кастрюль и сковород. Одним словом, когда часом позже на тропинке, ведущей к бардинскому дому, появилась Ольга, ей показалось, что дым валит валом из полуоткрытых дверей и распахнутых настежь форточек, в то

время как труба, точно печь кузнечная под мехами, сыпала искрами. Этакого у нас давно не бывало, подумала Ольга.

Они сели за стол в восьмом часу, и Бардин все тянулся к Бекетову пухлой ладонью, норовя ухватить его за загривок.

— Невелик золотничок, а дорог… Невелик.

— Эко человека гордыня вздула! — пытался отбиться Бекетов. — Коли на то пошло, я не меньше тебя, Егорушка…

— Не меньше, золотничок, не меньше… — великодушно соглашался Бардин. Приезд друга разом обратил день ненастный в праздник, Егор Иванович был добр нынче. — Ну, рассказывай, с какой оказией примчался? Ты чего вспорхнула, Оленька? Ты нам не мешаешь…

Но деликатная Ольга, сказав, что хочет заварить свежего чаю, тихо удалилась.

— Итак, по какой надобности прибыл? Не за посольским ли жезлом?

Бекетов бросил на друга хмурый взгляд:

— Если знаешь, просвети… Знаешь?

— Земля слухами полнится…

— Ну, не томи…

Бардин подумал, что, стремясь раззадорить Сергея Петровича, он, пожалуй, хватил лишку, не так уж много он знал, чтобы вести себя таким образом.

— Урочные три года на исходе… Считать умеешь?

— В такой мере, пожалуй.

— Коли три года стукнуло, может, есть смысл считать сначала?

— А я не хочу сначала. Вот… немца, как сказывали прежде, дорубаем, тогда поглядим.

— И… жезл посольский не по сердцу?

— Нет.

Бардин вздохнул.

— Узнаю Бекетова… Да здравствует Бекетов!

— Спасибо за доброту.

— У нас есть с тобой день. Завтра наденем резиновые сапоги и пойдем в лес. Там под соснами да березами тишина первозданная… Утро все-таки вечера мудренее, а?

— Я сказал, нет.

Но поутру, как загадал Бардин, они действительно отправились в лес, отправились, как это бывало прежде, в самую чащобу, однако за три долгих часа к вчерашней беседе не вернулись. Бардин подумал, что друг его для себя этот вопрос решил, а это значит, решил окончательно, и не было смысла переубеждать. К тому же разговор, который возник между ними

на их долгой сегодняшней тропе, представлялся Егору Ивановичу значительным и, пожалуй, увлек его. Почин на этот раз принадлежал Сергею Петровичу, судя по тому, как Бекетов начал этот разговор и с какой последовательностью продолжил, он хотел обстоятельного диалога, при этом заметно стремился к тому, чтобы узнать мнение Бардина.

— Перед самым отъездом из Лондона дело привело меня в Вестминстер, — произнес Бекетов с той раздумчивой, даже чуть вяловатой неторопливостью, с какой, это хорошо знал Бардин, его друг начинал разговор, у которого от зачина до конца были не столько сажени, сколько версты. — На хорах было больше народу, чем обычно, и у многих, как я заметил, газеты: именно в этот день были напечатаны телеграммы о битве за Рим, накануне союзные войска заняли Кассино… Нетрудно было заметить, что публика на хорах была возбуждена именно этой вестью. «Через две недели Рим падет!» — как ни случайна была эта фраза, я услышал ее здесь трижды. Я вышел из Вестминстера, намереваясь сесть в машину, стоящую неподалеку, когда толпа, в потоке которой я покинул здание, остановилась. Я оглянулся и увидел Черчилля. Толпа успела раздаться, и те несколько шагов, которые он сделал к машине, он сделал быстро. Кажется, в Вестминстере был другой подъезд, но последнее время он им подчас пренебрегал, желая появляться на людях. Так или иначе, а при появлении премьера послышались аплодисменты, и нечто похожее на улыбку изобразилось на его лице. Машина отошла. Как мне показалось, встреча с Черчиллем отвечала настроению толпы — ее аплодисменты, ее возгласы, ее восторг были искренними. Рядом стоял господин в куртке из темно-серого сукна, вполне респектабельный. «Запомните, уважаемый, мы видели сейчас с вами человека, единственного из ныне живущих англичан, которого наши потомки отнесут к национальным героям, и справедливо отнесут… По крайней мере, так думаю я, — заключил он и вперился в меня. — А вы?..» Я сказал, что не думал об этом. Много больше, чем мои слова, ему сказал мой акцент, он понял, что имеет дело с иностранцем. «От вас я не требую иного, — точно говорил его взгляд, — а вот для нас, англичан, Черчилль — фигура национальная…» Как мы пойдем, верхним мостом или нижним? — спросил Сергей Петрович, по прежним своим походам с Бардиным он знал, что можно идти и одним мостом, и другим: один вел к возвышенной части леса, состоящей из сосны и березы, другой мост — к низменной, где рос кустарник и подлесок.

— Пошли к верхнему, нынче только там и сухо… — сказал Бардин, не распространяясь, он еще не видел всех вариантов

разговора, который начал Сергей Петрович, но чувствовал, что там, в Лондоне, эта тема взяла Бекетова за живое.

— Прежде для англичан война была за морями, за горами и ощущалась, если отец или сын не возвращались домой. Теперь бомба проламывала крышу и начисто подбирала старых и малых… Поэтому Черчилль для этих людей был едва ли не спасителем, я не оговорился, не просто герой или там национальный герой, а спаситель… И вот коллизия: для англичан — спаситель, для русских — организатор интервенции, как он сам признавался неоднократно, враг революции, если называть вещи своими именами, долгое время не столько сторонник, сколько противник второго фронта… Согласитесь, что тут есть материал для раздумий.

Они перешли речку верхним мостом и, выйдя на тропу, которая едва заметно, но неуклонно забирала в гору, вошли в лес. Весенний лес на опушке был холодноват и ветрен, но по мере того как тропа уводила их вглубь, становилось безветренно и тепло. Они пошли тише, шаг их стал ровнее, голос не требовал напряжения, в самой интонации появилось нечто комнатное.

— Спаситель?.. — вопросил Бардин не без иронии. — Для всей Англии спаситель?..

Бекетов ощутил: где-то тут возникает у него с другом разночтение, где-то тут он скрестит с ним шпаги.

— Ну, что значит «для всей Англии»? Мнение это в Англии существует, и полагаю, что с годами оно не убудет, а возрастет…

Бардин грозно крякнул — признак того, что он готов если не боднуть, то выставить рога.

— Наверно, такое мнение в Англии существует, Сережа, но надо ли нам брать его на веру?

— Бери не бери, Егор, но это так: престиж, который завоевал Черчилль у англичан в этой войне, едва ли не незыблем…

— Так ли это, Сережа?

— Так, Егор.

— Не знаю, не знаю… — Бардин остановился. — Ты слышишь, как гудит шоссе?

Бекетов прислушался, гудение, казалось, шло из самой утробы земли, молодая листва, бледно-зеленая, почти желтая, и липкая, дрожала.

— Что есть Англия сегодня? — спросил Бардин. Систему доводов, к которой он хотел обратиться, следовало строить с азов. — Мастерская, пожалуй, самая большая на землях старушки Европы. Ну, разумеется, в этой мастерской есть хозяева, но не они же составляют большинство. А в остальном это рабочий народ, да, пожалуй, интеллигенты, которые ведают муниципальными

делами, лечат людей и учат ребят грамоте. Не могу допустить, чтобы это большинство, думая о Черчилле, помнило бы только то, что он сыграл свою роль, чтобы оградить остров от вторжения, предав забвению все остальное…

— Что именно… предав забвению? — спросил Бекетов. Шоссе все еще было за темно-зеленой горой сосен, но токи гула точно шли по земле.

— Что… именно? — повторил Бардин. — А вот что… И то, что Черчилль спасал не только остров, но и империю, а вместе с нею власть короля над Индией, что нельзя признать благом. И то, что, спасая остров, он ни на вершок не хотел поступиться своей привилегией и таких, как он сам: спасение, но не революция! И то, что, спасая остров, он ограждал эту привилегию своих братьев по классу везде на земном шаре, будь то Греция, Польша, Румыния или Египет с Турцией, и стремился в меру своих сил послать в тартарары Страну Советов… Не могу же я допустить, что это английское большинство, большинство трудящееся и по этой причине для меня справедливое, что это большинство было в такой мере эгоистично, чтобы видеть в Черчилле спасителя и совсем не видеть гробовщика…

— Но тут есть один момент, который сбрасывать со счетов нельзя: он антифашист… — произнес Бекетов. Видно, эта реплика далась Сергею Петровичу не без раздумий, пуще всего он боялся быть несправедливым, даже по отношению к человеку, который ему прямо противостоял.

— Видишь ли, Сережа, антифашизм антифашизму рознь… — произнес Бардин. Его позиция была основательнее, а потому доводы, которые он добывал, были суть производными от этой его позиции и по этой причине крепче, убедительнее, неколебимее. — Мы с тобой антифашисты в силу причин классовых. Для нас фашизм — исчадие капитала, поэтому для фашизма и нет более смертельного врага, чем Страна Советов. Для Черчилля фашизм не страшен как таковой, ему страшна фашистская Германия, терпел же он фашизм и в Испании, и в Италии… Мы не терпели, и это видел весь мир, мы послали на защиту Испании лучших своих сыновей. Он и ему подобные терпели и подчас даже помогали, прямо или косвенно, но помогали… Поэтому ему страшен не столько фашизм, сколько фашистская Германия, поскольку она несет гибель Британской империи и грозит кабалой Англии… Антифашизм Черчилля — это понятие, которое требует разъяснений…

Они вышли к шоссе и некоторое время молча наблюдали за колонной военных грузовиков. Грузовики шли на хорошей скорости, соблюдая правильные интервалы, зеленый брезент был

тщательно заправлен, ничто не выдавало, какой груз везут машины и куда они следуют. У офицеров, которые сидели рядом с водителями, были хмуро-напряженные лица, непроницаемость, пожалуй, такая же надежная, как вид этих машин, укрытых брезентом. И в этом сказывалась не просто дисциплина, но и сила. Машины прошли, а на душе точно посветлело.

— Даже те, кого нельзя заподозрить в антипатиях к нам, говорят: «Но вы не можете отрицать, что объективно его усилия в эти годы были вам полезны?..» — произнес Бекетов, когда шоссе было преодолено и медленно стихающий гул и все более нерушимая тишина леса точно приглашали их продолжить прерванный разговор. — Вот ты говоришь «антигитлеровская коалиция», но, если быть справедливым, его усилия тут значительны… Отрицать вклад Черчилля — это во многом отрицать вклад Великобритании, так? — вопросил Бекетов, он обострял разговор намеренно, подчас жертвуя, как можно было заметить, собственным мнением и как бы становясь на позиции того анонимного собеседника, мнение которого он только что воссоздал.

— Неверно, Сережа! — возразил Бардин с жаром, ему хотелось жестокого спора, он хотел принимать слово Бекетова за его собственное слово. — Вклад Великобритании неоценим, но это, прости меня, не только и не столько вклад Черчилля, а тех, кто в отличие от него действовал не вынужденно, а по доброй воле…

— А ты полагаешь, что он действовал вынужденно?

— Конечно, при этом не только по отношению к России, но и в какой-то мере к Америке… «Если можно не помогать, какой смысл помогать?» — это его принцип. Он от нас зависим, и ему надо закончить игру, которую он вел. Попомни, мы еще увидим истинного Черчилля…

— Но согласись… коалиция — великая веха в наших отношениях с Западом, и есть ли резон идти на столь серьезные оговорки? — спросил Бекетов, он хотел исследовать все грани проблемы и продолжал торить тропу, торить мужественно. — Великая коалиция, но без Черчилля… так?

— Мы должны смотреть на это глазами великой провидицы нашей — Истории, — произнес Бардин, — Она нас не пощадит, если будут попраны факты, если мы не посчитаемся с нашей памятью… Это мое мнение, но я стою на нем: да, без Черчилля, и с Великобританией, с ее народом, который был нашим союзником в войне… Во всем остальном есть некая идеализация Черчилля. — Бардин вдруг дотянулся ладонью до плеча Бекетова, легонько хлопнул. — Идеализация деформирует факты, она

антиисторична…

— Антиисторична? — засмеялся Сергей Петрович. — Но согласись, что если это идеализация, то есть что идеализировать, а?

— Есть что? Трибун, организатор, образованный человек? — подзадоривал Бардин, он хотел, чтобы его друг все сказал, что собирался сказать.

— Писатель… — несмело добавил Бекетов.

— Ну, романов его я не читал, — тут же реагировал Бардин. — И, откровенно говоря, большой охоты их читать у меня нет, в его таланты тут я не верю, но публицист он талантливый, вернее, демагог талантливый…

— Прости, но это одно и то же?

— В положении Черчилля? Несомненно.

— Итак, какой итог? — не спросил, а потребовал Бекетов, казалось, он приехал к Бардину, чтобы обсудить и эту проблему, он хотел ясности. — Я спрашиваю, итог какой?

Они достигли поляны, обширной, от края до края она была заполнена поваленными соснами, видно, это след жестокого бурана, что прошумел над подмосковными дубравами и борами прошлым августом, одно дерево валило другое, они сейчас лежали вповалку, как после кровавой сечи.

— Ты говоришь, какой итог? — взглянул Егор Иванович на друга в упор. — Время склоняет к компромиссам, — произнес Бардин, присаживаясь на пенек, что открылся глазам друзей на краю поляны, и приглашая присесть Бекетова. — Даже по отношению к Черчиллю, который признавал компромисс лишь в конъюнктурных целях, железно возвращаясь к принципу. Итак, время склоняет к компромиссам. Ну, для англичан тут есть определенный резон, но есть ли смысл поддаваться этому соблазну нам? Короче, память и бескомпромиссность — вот мой знак…

Они возвращались в Ясенцы за полдень, голодные и немые. Ну, разумеется, Бардин догадывался, что, желая ожесточить диалог, Бекетов как бы взял огонь на себя: «Только так и взвесишь все „за“ и „против“, только так и исследуешь проблему». Но Бардин и бровью не повел, что проник в замысел друга. Главное, он заставил Бекетова принять бой и довести его до конца, как будто бы инспирация начисто отсутствовала.

29

Бардину позвонил советник Крейн — есть письмо от Бухмана, американец хотел бы вручить его Егору Ивановичу. Ну, разумеется, письмо можно прислать с нарочным, но деятельный советник исключает эту возможность: с тех пор как Бухман представил Крейна Бардину на Манежной, американский советник искал встречи с русским. Нет, не потому, что явилось дело чрезвычайное, просто было бы не по-хозяйски, если бы встреча с влиятельным русским не нашла продолжения. Старое правило гласит: знакомство живет и дает плоды, если деятельно возобновляется.

Прошлый раз на Манежной Крейн явился на секунду и исчез, так и не дав себя рассмотреть. Только и видна была Егору Ивановичу его красненькая плешинка, окруженная венчиком сизых кудрей. Зато сейчас Бардин мог рассмотреть Крейна достаточно, гляди — не хочу. Бардин заметил, что горбуны и карлики любят себя украшать. Крейн был невелик ростом и наряден, как невеста на выданье. Если бы благородный металл, который пошел Крейну на булавку, скрепившую пестрый галстук, на перстень, на цепочку к часам и на сами часы, расплавить и слить воедино, то получилась бы гиря, которой хозяин бакалейной лавки где-нибудь в Далласе или Филадельфии вполне бы обошелся, взвешивая гречку и макароны. Можно было только диву даться, как такую тяжесть, да притом с немалым удовольствием, носил на себе тщедушный Крейн.

Крейн сидел в большом кожаном кресле берлинского кабинета, положив ногу на ногу, курил русские папиросы «Казбек» и хохотал, забыв, естественно, о письме Бухмана. Спросив, довелось ли бывать Бардину в рузвельтовском Гайд-парке, и получив утвердительный ответ, он стал, закатывая глаза, беззвучно смеясь, рассказывать, как однажды по просьбе Хэлла возил государственные бумаги президенту, однако, прибыв в имение, обнаружил, что Рузвельт за полчаса до этого вызвал стенографистку, чтобы отдиктовать ей очередное послание конгрессу. Разумеется, Рузвельту было доложено о прибытии гонца тут же, но он продолжал диктовать, поручив жене занять гостя, что та выполнила с присущей ей тщательностью: вручила важному клерку из госдепартамента фаянсовую миску, поручив сбивать сливки.

Крейн хохотал, хохотал самозабвенно, при этом правая нога соскакивала с ноги левой и взвивалась так высоко, что ее едва ли не надо было ловить руками, чтобы она, не дай бог, не улетела.

Но так же внезапно, как смех этот возникал, он смолкал.

— Господин Бардин, мне бы хотелось вас дружески осведомить, именно дружески… — произнес он, поставив рядом ноги, диковинно маленькие, положив на колени руки-невелички. Роберт Крейн сейчас был тих и покорен. — Когда вы говорите, что ваше внимание к польским делам объясняется тем, что Польша — пограничная страна, через которую в Россию являлся германский агрессор, Америка готова вас понять. Но поймите и вы нас: в Америке живут миллионы поляков, и наш президент в ответе перед ними за положение дел в Польше, перед ними и перед конгрессом…

Нет, Крейн явился не только для того, чтобы сообщить энергию знакомству с Бардиным, у американца был практический интерес к этой встрече, интерес, судя по преамбуле, значительный. Вряд ли посольский клерк пустился бы в столь ответственное плавание, каким был начатый им разговор, если бы за ним не стояло лицо значительное. Однако кто мог инспирировать разговор клерка? Посол? А может быть, некто, стоящий над послом?

— Президент перед конгрессом — как перед богом. Конгресс вправе спросить его обо всем, и, поверьте, президенту придется нелегко.

— Но в природе есть средство, способное облегчить положение президента? — поинтересовался Бардин. Ирония, ее малая толика, что прозвучала в вопросе Егора Ивановича, не минула американца, он ее воспринял. — Очевидно, президент что-то предпринял или намерен предпринять?

Крейн энергично двинул плечами.

— Да, президент пытается отыскать это средство… — произнес Крейн и долгим взглядом оглядел Бардина: «Догадывается он, о чем пойдет речь?» — Скажу прямо, президент… как бы точнее выразиться, полагает, что господин Миколайчик выгодно отличается от своих коллег. Он разумен, терпим и избегает крайних оценок… Но, может быть, он выглядит так на расстоянии? — с пристальностью, чуть бесцеремонной, советник Крейн продолжал оглядывать Бардина. — Одним словом, у президента явилось желание повидать господина Миколайчика… Говорят, личное представление о слоне всегда точнее самого точного описания слона, не так ли? Еще говорят, что слон перестает упрямиться, как только с его пути убраны препятствия…

Он мигом забросил ногу за ногу и принялся смеяться, но, взглянув на Бардина, приумолк.

— Упрямство излечимо, как сказал наш общий друг

Бухман, — заметил Бардин, дав понять гостю, что не теряет надежды получить послание, с которым тот пришел.

— Да, конечно, нет болезни, которая бы не лечилась, — ответствовал Крейн, но желания вручить Егору Ивановичу письмо Бухмана и в этот раз не обнаружил. — Приглашая господина Миколайчика, президент хотел бы лишь свободного разговора. Именно свободного, без того, чтобы вмешиваться в советско-польские дела или, тем более, обращаться к проектам, касающимся отношений между вами и Польшей. Америка понимает: как ни велика ее заинтересованность в польских делах, она не может сравниться в этом с Россией, для которой Польша — сосед, и сосед на западе главный, если это слово тут уместно… Повторяю, Америка понимает.

— Ну, что ж, понять — это в какой-то мере и сделать, — произнес Бардин, остановив внимание собеседника на этой формуле: Америка понимает…

— И последнее обстоятельство… — произнес Крейн и движением, неторопливо значительным, но хорошо рассчитанным, взял портфель, лежавший на стуле рядом, и извлек письмо. Американец давал понять: самое важное, что советник хотел сказать Бардину, он уже сказал. — Как кажется президенту, господин Миколайчик не предубежден против России. Он понимает, что неприязнь чревата последствиями прежде всего для Польши. К тому же предубеждение и прежде было плохим советчиком… — Он встал и все тем же рассчитанным жестом положил письмо Бухмана на стол Бардину, теперь уже не было никаких сомнений что он закончил тираду.

Поднялся и Бардин. Наступила та самая двухминутная пауза перед рукопожатием, когда разрешается говорить о пустяках и этим как бы демонстрируется добрый знак встречи и, пожалуй, подчеркивается, что все предыдущее было отнюдь не пустяковым.

— Ах, как жаль, что этой весной так быстро сошел снег, — оживился Крейн. — У нас в посольстве образовался круг лыжников, заводилой была мисс Гарриман! Надо отдать ей должное, она тут вне конкуренции, особенно с гор — вихрь!.. — Он измерил могучую фигуру Бардина чуть скептическим взглядом, вот когда карлик почувствовал свое превосходство перед великаном. — Вы ходите на лыжах, господин Бардин?

Егор Иванович даже голову вобрал от смущения, едва ли не сравнявшись ростом с Крейном.

— Только не с гор!..

Американец протянул руку с видом победителя: неизвестно, как ходит на лыжах по горам он, Крейн, но русский явно ходит по горам плохо, а это позволяет думать, что американец ходит

хорошо.

Крейн ушел. Что-то было в этой встрече такое, что предстояло еще засечь и осмыслить. Только вчера еще казалось, что подготовка к вторжению напрочь отодвинула все прочие проблемы, отодвинула настолько, что казалось, они не существуют. Но, очевидно, так только казалось. Все было как прежде, сместились только сроки. Впрочем, и они уже не имели значения, если за пять минут до десанта мог возникнуть этот карлик, расцвеченный булавками и брелками, и сказать то, что он сказал только что.

30

Бардин явился на Калужскую, чтобы наскоро переодеться и уехать на прием к англичанам, где предполагал быть и Бекетов, но был смущен тем, что двери квартиры полуоткрыты и по комнатам гуляет сквозняк. Он окликнул Ирину, но ответа не последовало. Он прошел из комнаты в комнату и, достигнув кабинета, остановился, немало пораженный. Подобрав под себя ноги, Ирина спала в кресле. Старая Сережкина куртка, в которую она вырядилась до того, как забраться в кресло, была достаточно велика, чтобы скрыть ее целиком. Ему стало жаль ее до сердцебиения, до режущей боли в груди. «Ей нужна мать, ей нужна мать, — твердил он себе. — Никогда прежде она не нужна была ей, как сейчас… Надо объяснить это Ольге, надо, чтобы она этим прониклась — моим детям нужна мать. Вот явлюсь на эту станцию и начну крушить, разнесу вдребезги… Моим детям нужна мать, а ее нет у моих детей». Он мигом забыл про англичан и Бекетова, вот так, как был, в пальто и шапке, опустился на диван, обратив глаза на дочь. Только сейчас он заметил у кресла, в котором спала Ирина, Сережкины полуботинки, видно, она пришлепала сюда в этих ботинках. Куртка и ботинки? Что-то неодолимо печальное, непонятно сладковатое ощутил он, ему стало не по себе, и он не удержал вздоха, едва ли не громового, бардинского. Она открыла глаза.

— Ты давно здесь?

— Минут пять.

Она закрыла глаза и, казалось, вновь уснула.

— Вот так я и буду сидеть перед тобой? — спросил он. Эта суровость и прежде помогала ему совладать с печалью. — Ну, чего ты вырядилась, а? Я спрашиваю, чего вырядилась в Сережкино?

Она заплакала.

— Чего ты… раскисла? — бросил он все с той же нескрываемой строгостью, да, да, только в этой строгости, чуть напускной, и было сейчас спасение, только этой строгостью он и мог загасить боль, что полоснула сердце. — Что с тобой… да объяснишь ты мне?

— Где он есть такой… Климов Завод? — спросила она, не открывая глаз.

«Где на Руси Климов Завод? — подумал он не без тревоги. — Где он, Климов Завод, и почему его надо оплакивать горючими слезами? Климов Завод, Климов Завод… Да знал ли ты его или запамятовал, насмерть запамятовал?»

— Дался тебе этот Завод Климов… И почему надо слезы лить? Ну, ответь, что там?.. — он смотрел сейчас на нее в упор. — Сережка?.. — вымолвил он и вдруг увидел, как затряслись ее губы.

— Госпиталь… Климов Завод!

Вот так… живи и готовь себя к несчастью. Не к отраде светлой, не к радости, а к несчастью. Не все беды ты еще принял, что приходятся тебе по железному реестру войны. И куда как не оплачен долг твой жестокому богу.

— Ну, говори, что там? Я понимать хочу… Коли госпиталь, то жив? Письмо… или оказия? Человек явился с вестью? Ну, говори.

— Человек.

— Ну и что? Говори…

Он затрясся, закричал, взвив кулаки. Все, что он годами холил и пестовал в себе, называя выдержкой, в единый миг пошло в преисподнюю, все рухнуло.

— Говори, говори! — твердил он; казалось, изо всех слов, которые вызвала в нем жизнь, из того мира слов, большого и неисчислимого, что отслоили в его памяти годы, осталось только это одно. — Говори.

Да и она не могла совладать с холодом, что вдруг объял ее, ее трясло.

— Явился лейтенант… Чикушкин или Чибушкин… Сказал, что на Днепре, на перекатах, на быстрине, Сережка застудил почки, так застудил, что его свело в этакий кулачишко каменный. И еще сказал: можешь считать, что он был на том свете. Все наказывал лейтенант Чикушкин или Чибушкин: коли явишься на Климов Завод, то не пугайся, приготовь себя, одним словом…

Через четверть часа Бардин выехал — не хотел пытать ни Ирину, ни себя. А когда выехал, вдруг хватился: да все ли Ирина сказала ему, что знала? И дорогой, пока маневровый паровозишко тащил их поезд к Юхнову, откуда к Климову Заводу, по слухам, можно было добраться и попутной машиной, он пытался припомнить разговор с дочерью и все повторял слова неизвестного лейтенанта про днепровскую быстрину и тот свет, на котором, почитай, побывал Сережка. А потом представил Ирину спящей в кресле, обитом рыжей клеенкой, и ему вдруг открылся смысл того, почему Ирина вырядилась в Сережкину куртку, — не иначе, таким манером она сострадала брату, попавшему в беду. И он подумал еще, что в его дочери, которая так взросла, что подпускает к сердцу женатого мужика, еще жива детскость. Наверно, он это знал и прежде, но сейчас, в связи с происшедшим, это было для него откровением, и у него посветлело на душе. Он даже на какую-то минуту перестал

думать о Сережке, обратив мысли к Ирине, его восхищала ее любовь к брату, ее верность ему, и он, Бардин, хотел видеть в этом нечто бардинское, врожденное, на веки веков вечное.

Бардин прибыл на Климов Завод под конец ясной и беззвездной ночи. С вечера прошел дождь, по-майски щедрый, и бочаги на шоссе были полны воды. Шофер, прикативший Бардина на Климов Завод, не рискнул сворачивать с дороги, и Егор Иванович пошел пешком. Небо отражалось в воде, которой обильно была залита земля, озерца светились. До зари еще было далеко, но в ночи было не темно.

Бардина встретил дежурный по госпиталю, толстый человек с бородкой клинышком, с виду земский врач, быть может ездивший на вызовы в свое время в пролетке или в рессорных дрожках. Он сказал, что Бардин Сергей, как он хорошо помнит, отправлен санитарным «Дугласом» в Свердловск и жизнь его, как можно понять, вне опасности. Не оставляя сомнений, что это именно так, старик достал большую книгу и отыскал там имя Сережки. Егору Ивановичу померещился подвох, и он, привстав, заглянул в список. Врач не противился этому, однако, дав возможность Бардину убедиться, что сын его действительно отбыл, поднял на Егора Ивановича строгие глаза, заметив:

— Если бы вы не были отцом, я, пожалуй, обиделся бы.

— Но я и в самом деле отец, да и вы, так мне кажется, отец, — засмеялся Егор Иванович и заставил старика сменить гнев на милость.

— Нет, это не ординарная простуда, да и воспаление не обычное… Его объяло таким огнем — железо обратится в пепел, не то что человек!.. Скажу вам по совести, что тут не наша заслуга, а его, а если быть точным, то его сердца — с таким огнем только оно и могло совладать. Было бы ему не двадцать два, а, предположим, тридцать два, не знаю, не знаю. Нет, мы его отправили, когда огонь был погашен… Как я вижу, вам надо не столько говорить, сколько показывать, — заметил старик, со строгой укоризной глядя на Бардина. — Сына вашего я вам показать не могу, поэтому покажу я вам бумагу с печатью. Печать — она повесомее нашего слова.

Он удалился и вскоре вернулся с папкой, в которой, сшитая суровой ниткой, находилась вожделенная бумага с печатью — история госпитальных дней Бардина. Армейский летописец, по всему, был человеком бывалым и понимал: хотя для медиков все больные равны, однако они хотят знать обстоятельства недуга и в своем отношении к солдату их помнят. Поэтому с жестокой лаконичностью, не жертвуя главным, он поведал о том, что произошло на днепровской переправе. Еще до того, как был

наведен помост и по нему пошли танки, молодому Бардину и двум его товарищам был поручен ночной разведывательный бросок вплавь — переправа могла быть наведена, если известна обстановка на том берегу. Нет, река освободилась ото льда, но это была весенняя река, еще хранившая студеность ледохода. Они переплыли реку, но на обратном пути были застигнуты катерами. Их окатили огнем, отстреливаясь, они выбрались на каменный остров и залегли. Их приметили наши только с рассветом. Бардина уже бил этот огонь трясучий. Где его подожгло, сразу и не поймешь — может, на камнях, а может, еще в реке студеной…

Старый медик не мог не узреть, что произошло с Егором Ивановичем за те полтора часа, в течение которых он находился в госпитале. По едва заметным признакам, которые сказались не столько в цвете лица, сколько в движении рук, врач определил, что человек, сидящий перед ним, не ел минувшие сутки. Он предложил Бардину чаю, понимая, что к чаю легче предложить и кусок черного хлеба с соевой котлетой.

Старый врач вызвался проводить Бардина до шоссе и всю дорогу, пока они шли, преодолевая бочаги, полные воды, тревожно молчал, глядя на Егора Ивановича, а потом вдруг остановился, вздохнув.

— Да, вспомнил, тот лейтенант, что привез вашего сына, назвал его «адмиралом»…

Бардин улыбнулся невесело — ну конечно же, так прозвал Сережку еще командарм Крапивин, дай бог памяти, едва ли не на волжской переправе.

— А в каком звании ныне «адмирал»? — Бардин поднял на старика глаза, невеселые. В той реляции, что зачитал ему военный врач, звание отсутствовало.

— В каком звании? — переспросил спутник Бардина и точно ткнул в Егора Ивановича острой стариковской бровью. — По-моему, рядовой… гвардии рядовой, — уточнил он.

— Значит, «адмирал» и рядовой… одновременно?

— Выходит, так… Да это похоже на нынешних!

— Я вас не понимаю.

— У них это вроде недуга! — засмеялся старик.

— У них?

— Вот и мой… внушил себе: нет звания выше рядового!

Бардина точно в студеную днепровскую воду окунули, ту самую, что пытался перебороть Сережка и не переборол. Да соображает ли он, что говорит, старый? А может, все-таки соображает?

— Значит, нет звания выше рядового?.. Ничего не пойму!

Но старик улыбнулся понимающе, он-то все разумел, старый

доктор.

— Ну, чего тут не понять?.. Причуды… интеллигентных мальчиков, именно причуды: только солдат, мол, способен принять всю тяжесть войны, поэтому оставайся солдатом!

— Это что же… своеобразная форма жертвенности?

— Можно и так сказать… Как я понял здесь, это удел не только наших с вами сыновей, их, правда, не много, но они есть, и ничего вы с ними не поделаете.

Бардин вернулся в Москву; прямо с вокзала позвонил генштабистским оперативникам, умоляя их допустить к ВЧ и связать со Свердловском. Час спустя он говорил с госпиталем. Военные эскулапы, как обычно, были сдержанны, но готовы подтвердить мнение старого врача с Климова Завода: опасность миновала.

31

Бекетов собрался из Москвы в обратный путь и ненароком вспомнил про сверток, который упросила его взять Новинская для своей матери, живущей в многоквартирном доме на Малом кольце, который, впрочем, можно было отыскать и без названия улицы, ибо дом этот, подобно Почтамту или отелю «Метрополь», существовал сам по себе и звался по имени страхового общества «Россия», соорудившего его в начале века. Сергей Петрович предполагал, что его встретит женщина с тоненьким, как у Новинской, носиком и маленькими ушами, а дверь открыла пышнотелая блондинка в крупных очках.

— Простите, это квартира Людмилы Николаевны? — спросил Сергей Петрович, смешавшись. — Не ошибся?

— Все верно, входите, пожалуйста, — произнесла она так, как будто бы приезд Бекетова не был для нее неожидан. — От Ани?

Бекетов осмотрелся: та же лилейная, как в лондонской квартире Новинских, белизна занавесей и накидок, вопреки ненастью нынешней поры устойчивая белизна.

— У меня не душно? — вопросила она и взглянула на окно. — Вот-вот зацветут липы, а мне трудно переносить их дыхание… Не душно? В Лондоне небось липы отцвели давно? Наверно, Анна закрывает окна, она тоже задыхается от этого запаха. Киреев все смеялся над нами: вот верну вас в Балахну, в чисто поле, на ветер!.. Это он, Киреев… — она обратила взгляд на фотографию в ореховой раме. Золотоволосый человек в гимнастерке с ромбом на петлицах с неохотой глядел со стены.

— Командир… кадровый?

— Кадровый… комиссар, — пояснила она, — умер на финской…

— Погиб?

— Нет, умер… застудил легкие, и в десять дней все окончилось, — она украдкой взглянула на портрет. — Они были жестоко ослаблены, легкие, ударило по второму разу, и все тут… Жестоко ослаблены… — повторила она заметной скороговоркой, но пояснять не стала. — Анна — его дочь. Правда?

— Ваша дочь.

— Нет, нет… Очень на него похожа. Чай пить будете?

Она удалилась, а он подошел к распахнутой двери, что вела в пятигранную комнату-фонарик, и увидел фотографию Анны. И все та же неохота, во взгляде, как у отца. Сколько ей могло быть там лет? Десятый класс или уже институт? Нет, пожалуй, институт — это светловолосость северорусская, яркая, все в ней.

— Она там, сказывают, к библиотеке… прилепилась? — вопросила Людмила Николаевна, возвращаясь с крашеным подносиком, на котором не обильно, но чинно была выстроена та добрая малость, что отыскалась в доме в связи с приходом гостя, и прежде всего спасительные печенье и сыр. — Мы все словесники, и у нас одна стежка на сто лет вперед… Анна все говорила: «За полцарства не променяю своего счастливого бессребреничества…»

— Словесники-бессребреники?

— Истинные! Убеждена. Тетрадки, тетрадки… Все злато в них.

Она достала пачечку чая, видно из запасов довоенных, трижды неприкосновенных, осторожно распечатала. Сухой чай точно взорвал вощеную бумагу, ставшую хрупкой от времени, просыпался на скатерть. Заварила его щедро и с откровенным восхищением, поглядывая радостными глазами на гостя, наблюдала, как прозрачно-коричневая струя настоявшегося чая вливается в стакан и на скатерти, чуть глянцевитой от крахмала, растет блик, такой же прозрачно-коричневатый, как настой чая.

— В школу небось ходила через дорогу? — взглянул он в окно. Бульвар в липах был сейчас темен. — Где-то тут школа… — у него вдруг явилось желание увидеть мир ее детства.

— Да, рядом… А потом Тургеневская библиотека, она там все свое детство отдежурила!

— А в Лондоне… вроде филиала Тургеневской?

Людмила Николаевна засмеялась счастливо.

— Да, Тургеневской… в Лондоне! — Наклонила голову и вдруг устремила на него густую синь своих глаз, ну точь-в-точь как это делала Анна. — Посмотрим, что она тут припасла? — бросила осторожный взгляд на сверток, принесенный Бекетовым, полагая, что час беседы сделал свое и она может себе позволить такую вольность — открыть сверток. — Что-то… совсем без веса! — засмеялась она и вынесла сверток на ладонях к свету. — Не решаюсь…

— Да уж решитесь!..

Сдвинула нехитрую тесемку, разломила сверток надвое, бумага лопнула, и на скатерть выпал кусок шелка, густо-синего. Она оцепенела, крупная слеза повисла на золотом ободке ее очков, она заплакала.

— Не надо, не надо… — мог только сказать Бекетов.

Людмила Николаевна сняла очки, закрыла глаза ладонью, рука была белой, благородно точеной, ухоженной… На столе лежали ее очки, с которых, скатываясь, сбегала на скатерть слеза, впитываясь в ткань и растекаясь.

— Анна знает этот мой цвет, мой цвет… — Грозно, со строгой твердостью она взглянула на фотографию мужа. — Он вот такое мне купил однажды, до войны, еще до того, как… залютовало.

— «Залютовало»… это Финляндия? — спросил Бекетов, он полагал, что вправе спросить ее об этом, в течение часа она дважды повторила это слово.

Она взяла очки. Влажное пятно еще удерживалось на скатерти, оно просыхало не быстро.

— Нет.

…Он покинул дом и, выйдя на середину бульвара, окинул взглядом пространный фасад дома. Ему вдруг захотелось отыскать пятигранную комнатку-фонарик. Ему показалось, что фигурная эта светелка была комнатой Анны.

32

Бекетов вернулся в Лондон и застал у себя на столе записку от Хора. Почтенный полковник просил посетить его в брайтонском поместье, заметив, что у него будет старина Хейм, которого Сергей Петрович должен помнить по первому посещению Брайтона. Письмо заканчивалось припиской: если русская кавалерия не утратила прежней маневренности, то Хор готов видеть у себя и полковника Багрича.

Бекетов сказал о приглашении Хора Багричу и поверг того в уныние.

— Это… все тот же Хор, племянник кливденской дамы?

— Да, тот…

— Вы полагаете, Сергей Петрович, что есть смысл нам быть там?

— А почему нам не быть?..

Багрич не решился высказать прежних своих сомнений, многозначительно вздохнул и поехал.

При выезде из Лондона дорогу преградили военные регулировщики, потом она перегораживалась еще дважды. Можно было подумать, что дорога закрывалась, чтобы пропустить колонны военных грузовиков.

Вечер был ненастным, с невысоким небом, ветром и дождем, идущими от моря широкими, медленно накатывающимися волнами. Когда до Брайтона оставалось километров десять, на обширном поле возник лагерь — не иначе, грузовики, следующие закрытыми для гражданских машин дорогами, скапливались здесь. Несмотря на относительно ранний час, Брайтон был непонятно пуст, только патрульные автомобили да постовые на перекрестках улиц берегли тишину. Когда машина сбавляла скорость, слышно было гудение самолета, однообразно ровное, одинаков напряженное; он точно завис в зените. Не иначе, патрульный. Только машины и выдавали напряжение, охватившее землю, им было труднее молчать. Напряжение это не могло быть долгим, не надо быть профессиональным военным, чтобы понять: события приблизились к критической черте.

— Когда у операции такие масштабы, ее трудно скрыть? — спросил Бекетов полковника, который с угрюмым вниманием наблюдал за происходящим. Как ни любопытно было все то, что он увидел в дороге, он еще не убедил себя в том, что ему надо было ехать к Хору.

— Масштабы… могут притупить бдительность? — Полковник на минуту отвел взгляд от окошка, из которого он наблюдал за

дорогой, мысль Сергея Петровича была ему интересна. — Может создаться впечатление, что размеры маневра столь велики и они так точно обнаруживают смысл события, что маскировать это бессмысленно, верно?

— Да, можно подумать, — ответил Бекетов.

— И все-таки есть смысл в маскировке — у нас и у противника разные возможности наблюдать… — заметил Багрич и, точно отвечая не на сомнения Бекетова, а на свои собственные, подтвердил: — Есть смысл…

Он стал еще более угрюм, точно разговор с Бекетовым навел его на невеселые мысли, хотя причин к этому не было.

— Как вы думаете, Сергей Петрович, почему этот кливденец, чье отношение к нам очевидно, пригласил вас на эти… маневры? — Он с видимым интересом обратил взгляд на патрульную машину, которая остановилась в стороне от дороги. В машине ничего особенного не было, таких машин и прежде было много, интерес Багрича к ней был нарочитым.

Бекетов молчал, а полковник не отрывал взгляда от патрульной машины.

— Как вы это объясняете самому себе? — наконец оторвал он взгляд от патрульного автомобиля. — Этот кливденец достаточно предубежден, чтобы тут было два мнения…

— Мы с вами люди немолодые, полковник, и должны знать, что не застрахованы и от двух мнений… — произнес Сергей Петрович. Бекетовское «мы с вами» имело целью смягчить резковатость реплики.

— Я бы хотел понять это до конца.

— Вернемся к этому на обратном пути из Брайтона… если не возражаете? — произнес Бекетов улыбаясь. На этот раз жестковатость реплики призвано было смягчить полушутливое «если не возражаете».

— Я готов, — подтвердил Багрич и вопросительно взглянул на темную полосу парка, который возник справа. Да, это было поместье Хора.

Едва русские появились на садовой дорожке, навстречу им вышли Хор и Хейм. Хор был в сетчатой безрукавке и брюках навыпуск, тщательно отутюженных, а Хейм в новом форменном костюме, при полковничьих погонах.

Вот эти полковничьи погоны и дали повод для первого тоста, когда хозяева и гости проследовали к столу. Он, этот тост, и обрадовал, и смутил Хейма. Румянец, объявший Хейма, казалось, прольется на его седины, ставшие в эти годы ярко-белыми.

— Спой, Хейм, эту тобрукскую песенку… про красную промокашку, — взмолился неожиданно Хор. — Наш русский гость

должен помнить, как ты ее пел той осенью сорок первого…

— Той осенью? — вопросил Хейм, и грусть, откровенная, пробудилась в его глазах. — Той осенью, значит?.. Ну что ж…

Он вздохнул поглубже, так, что его худые, заметно стариковские плечи воинственно приподнялись, запел:

Солнце, как красная промокашка, легло на пески,
И там, где были глаза озер, остались черные дыры…

Хейм пел, а Бекетов вдруг вспомнил ту осень. И сумеречные покои оксфордской квартиры Коллинза, и рассказ Климентины о беседе с поляком-лавочником с вокзала Ватерлоо. И эту его присказку: «Вы живы, пока живы русские!» И мрачные прорицания Хора, вдруг положившего на стол газетный лист с аншлагом на первой полосе о падении Москвы. И жестокий спор с Хором, защищавшим ни больше ни меньше как право англичан идти с немцами на мировую. И рассказ Хейма о тобрукском полковнике вот здесь, в брайтонском прибежище Хора. И схватку Хора с Хеймом по все той же проблеме: хочет ли британский народ мира с немцами и что есть британский народ. И неожиданную реакцию Хейма, пустившего по винтовой лестнице стол с нехитрой снедью и бутылкой французского коньяка. До сих пор жаль этой бутылки, коньяк был и в самом деле хорош… Бекетов вспомнил все это, и в новом свете вдруг предстал перед ним спор с Багричем по дороге из Лондона в Брайтон: а может, и в самом деле надо было бы бежать от Хора, как от чумы? Тогда зачем Бекетов явился сюда да еще приволок расчетливо осторожного Багрича, едва ли не против его воли приволок?

— Признайся, Хейм, трудно, было до полковничьего звания… Доползти? — спросил Хор, подзадоривая друга; хозяин не боялся этого разговора. — Трудно?

Он сказал именно «доползти».

— Еще как!.. — ответил Хейм, не выказав обиды. — Полз, как мог, скреб животом и песок, и камни, и глину. Знаю, во что земля-матушка одета. Ты небось по паркету, а я животом по острым камням — живот занозил этими камнями… Паркет небось глаже камней…

— Это почему же: я по паркету, а ты по камням? — спросил Хор, смеясь. Странное дело, слова, которыми обменивались друзья, были злыми, а произносились они незлобиво, больше того, любовно. — Почему?..

— А потому, что мой отец почтовый клерк, а твой… о-го-го!

Хор рассмеялся, он задался целью все обращать сегодня в

шутку, не принимать всерьез.

— Да, мой отец, как ты говоришь… о-го-го, но, согласись, это мне не мешает сидеть за одним столом с русскими… Так или нет?

Хейм замотал головой, смущаясь.

— Твоя взяла на этот раз… Ничего не скажу, взяла!

Выпили еще раз, теперь за русских гостей.

— Простите, полковник, — обратился Хейм к Багричу. — Но ваш отец наверняка не… о-го-го?

— Нет, разумеется… — ответил Багрич лаконично, очевидно полагая, что более пространный ответ сразу сделал бы его союзником Хейма, что было бы, наверно, не совсем тактично по отношению к хозяину.

— А если быть точным? — спросил Хор тут же, он понимал, что Багрич сможет ответить на этот вопрос лишь в том случае, если его задаст Хор. — Нет, нет, прошу вас, если быть точным?..

Багрич ухватил рукава саржевой гимнастерки у локтя, сдвинул их, оголив запястья, щедро усыпанные волосами, такими же сизо-черными, как борода полковника.

— Мой отец тоже был клерком, только муниципальным… — молвил Багрич и взглянул на Бекетова не без лукавства — честное же слово, сейчас трудно было понять, был ли отец Багрича муниципальным клерком.

— Дипломат, дипломат… русский полковник! — воскликнул Хейм и, обратившись к другу, произнес: — Они тебя щадят, Хор!.. Ты понял, щадят…

— В каком смысле? — в очередной раз рассмеялся Хор. То ли у него было хорошо на душе, то ли смешинка щекотала горло. — Ну, ну… говори, в каком смысле?..

— Ты думаешь, что русским… отшибло память?

— Не понимаю тебя!

— Ну, они же помнят, что ты говорил о них осенью сорок первого… — вымолвил Хейм все с той же бравадой. — Ведь им же надо понять, что произошло с тобой в эти два года и произошло ли, а?

Рука Хора, только что с уверенной быстротой наполнявшая бокалы, замерла над бокалом Хейма. Хор поставил бутылку, бокал друга остался пустым.

— В этот раз по винтовой лестнице полетит не мой бедный стол, а ты, Хейм… Понял? — произнес Хор без улыбки.

— Но согласись, что им еще надо понять, что произошло с тобой в эти два года и какой выбор ты сделал, — произнес Хейм и, взяв бутылку, наполнил свой бокал сам. — Согласись, что для них это почти загадка.

— Им достаточно взглянуть на тебя, чтобы все понять… — парировал Хор со свойственной ему стремительностью. — С таким другом у меня не могло быть иного выбора…

— Браво!.. За твое здоровье, Хор!..

В десятом часу они встали из-за стола и пошли по парку. Хейм с Багричем, Хор с Бекетовым. Где-то в темени парка точно роились сонные птицы. Было слышно, как они срывались с ветвей, слепо барахтаясь в листве, потом присмирели, изредка и тревожно попискивая. Дождь стих, но небо все еще было укрыто облаками. В их разрывах, точно озерная просинь, глянуло чистое небо. Как это было на пути в Брайтон, гул объял небо, но теперь в воздухе был не один самолет, а несколько.

— Мне хотелось повидать вас, чтобы сообщить следующее, — произнес Хор, замедлив шаг и дав возможность идущим впереди скрыться из виду. — Дело идет к тому, что еще в июне наша армия высадится на континенте. Весьма возможно, что я буду прикомандирован к соединению, которым командует… — он указал глазами в перспективу дорожки, куда ушел Хейм. — Если вас может увлечь картина предстоящей битвы, вас и… — он вновь кивнул в темень парка, в этот раз его кивок относился к Багричу, — можете считать, что британская сторона вас приглашает посетить европейский театр. Будь такое приглашение вам послано, как бы вы к нему отнеслись?

Аллея сузилась, листва нависла над ними, затенив небо. На какой-то миг Хор исчез из виду, были слышны только его напряженное посапывание да стук каблуков — в шагу он опирался на каблук крепко.

— Пока могу сказать только о себе: благодарю, готов… — произнес Бекетов, так и не рассмотрев во тьме Хора.

Они собрались в обратный путь часу в одиннадцатом. С наступлением ночи столпотворение на дороге не умерилось, а возросло. Двинулись в объезд. Дорога непредвиденно удлинилась, но это их устраивало: разговор, который они загадали, требовал разгона, а следовательно, времени.

— Как я понимаю, человек, сколько бы он ни жил на свете, все время в пути, — начал этот свой разгон Бекетов, когда машина, взяв резко влево и отсчитав по приморскому шоссе два десятка километров, стала выбираться на магистраль, стремившуюся в Лондон. — Когда я говорю «в пути», то полагаю, что в человеке многое не окончательно, если даже он хочет показать, что все в нем уже отлилось и окаменело. Смею думать, что дипломат, полагающий, что в природе есть люди, которым чужды сомнения, плохой психолог, а дипломат не имеет права быть плохим психологом, это первосуть его профессии…

— Храбрый психолог, да? — засмеялся Багрич, он понял, в чей огород намерен был бросить камень Бекетов. Ну, разумеется, Сергей Петрович имел в виду более чем бдительного Багрича, который охранял свой покой, не столько действуя, сколько отстраняясь от действия.

— Ну, что ж… известное мужество красит и дипломата, — парировал Бекетов.

— Перспектива встречи с кливденцем… может меня насторожить? — вопросил Багрич и вновь засмеялся, прося пощады. — Согласитесь, Сергей Петрович, на кой черт мне, старику, иметь дело с человеком, который только и жаждет пронзить меня холодной сталью?.. Наивно думать, что я обойду его на повороте. Поверьте, он не глупее нас с вами, да и не самонадеянно ли это? И не так-то просто его обойти…

— Поэтому… от греха подалее? — спросил Сергей Петрович, ему показалось, что он нашел нужные слова.

— Ну, что ж… без крайней нужды, пожалуй, можно принять и эту формулу: от греха подалее, Сергей Петрович.

— Тогда что есть тезис активной дипломатии, дипломатии действенной, если… от греха подалее?

— Что есть тезис активной дипломатии? А вот что: осмотрительность, осмотрительность и еще раз осмотрительность, Сергей Петрович.

Бекетов вздохнул: Багрич защищался, надо отдать ему должное, упорно.

— Осмотрительность — великое качество, но когда она не превращается в самоцель, полковник. Осмотрительность — достоинство, но только в том случае, если она деятельна. Во всех иных случаях она лишь панцирь, защищающий бездеятельность… Кстати, Чичерина не страшили никакие условности, и, если требовали интересы дела, он шел в берлогу к зверю…

— А это уж голословно, Сергей Петрович… — подал голос Багрич, ему казалось, что Бекетову дается спор, когда он касается общих истин — непросто эти истины подкрепить доказательствами предметными, на доказательствах можно и споткнуться. — Значит, в берлогу к зверю?

— Именно!.. Ну, в той же Генуе, помните? — Бекетов наклонился, приметив, что впереди замаячили огни переезда. Шлагбаум был закрыт, и, судя по всему, надолго — следовали военные составы, один за другим. Шофер выключил мотор, они вышли из машины. Небо над ними прояснилось, хотя ветер, дующий с моря, все еще был силен, правда, больше на высоте, чем у земли. Деревья, одетые листвой, были черны и неподвижны, точно горы, в то время как облака взвихрены и стремительны. —

Нет, я говорю не о Ллойд Джордже, к которому он ездил на виллу Альбертис, и не о канцлере Вирте, которого он посетил неоднократно, при этом однажды за полночь, речь идет о поездке на озеро Горд к Д'Аннунцио, в ту пору одному из вожаков итальянского фашизма, захватившему Фиуме. Приняв решение о встрече, Чичерин попросил дать ему браунинг и, осведомившись, как им пользоваться — до этого случая он не держал в руках пистолета — уехал к Д'Аннунцио, разумеется, один…

Но Багрич и не помышлял сдаваться, отстреливаясь до последнего патрона.

— Да, тогда, быть может, в этом был резон, а теперь? — вопросил полковник. — Нельзя же считать резоном приглашение, которое вы получили от Хора на танковые маневры?

— Нет, конечно, танковые маневры не в счет, — заметил Сергей Петрович невозмутимо. — Как не в счет… большой десант на континенте, который мы сможем с вами наблюдать по приглашению Хора…

Багрич онемел — всего ожидал многоопытный полковник, но только не этого.

— Вы полагаете, что… известные перемены коснулись и Хора? — полюбопытствовал Багрич, выдержав паузу. — Был кливденцем, а стал почти левым лейбористом, так, Сергей Петрович? — Багрич вдруг обрел дар речи, можно было подумать, что не сила, а слабость сделала его таким, не сознание своей правоты, а сознание своей неправоты.

— Нет, он был кливденцем и, возможно, даже остался им, но и в этом случае есть смысл для нас иметь дело с ним. — Машина вырвалась наконец на «свободную воду» и прибавила скорость. Пошли пригороды столицы, шофер вынул карту, без нее в чересполосице лондонских пригородов не разберешься. — Есть смысл… для нас, — повторил Сергей Петрович. — Но всесильные сомнения могут не обойти и Хора. Чем черт не шутит, может и Хор перемениться!..

— Вы еще верите в чудеса, Сергей Петрович?.. — Багрич наклонился, не отрывая глаз от ветрового стекла, — машина вышла на Бейсуотер, посольская улица была рядом.

— Верю, разумеется… Необходимо лишь… самоотречение, как у Чичерина.

— Самоотречение, самоотречение… — иронически усмехнулся Багрич, и они вошли в посольство.

33

Корреспонденты вылетели в Крым, когда на мысе Херсонес заканчивался последний на здешней земле бой. Транспортный «Дуглас» доставил всю группу в Симферополь, корреспонденты переночевали под Ялтой и с восходом солнца отправились через Ай-Петри в Севастополь. Эта дорога была много длиннее приморской, но у военных тут был свой расчет — дорога шла через поля недавних сражений.

Май стоял здесь сухой и пыльно-белый. Знойное солнце точно выщелочило горы, чем ближе к полдню, тем больше они сливались с небом.

Тамбиев ехал в одной машине с Джерми и Хоупом. Старик Джерми, облюбовав место рядом с шофером, спал. Хоуп молча смотрел, как горная дорога уходит все выше. Как ни высоко забирала дорога, война оставила здесь свои следы, огонь перепахал и опалил горы, движение наших войск тут было трудным. Горы облегчали немцам оборону — враг отходил, прикрывшись каменными кольчугой и забралом, нелегко его было тут достать. В полдень машины достигли перевала и вместе с солнцем будто покатили под гору, рассчитывая на вечерней заре быть в Севастополе.

Иногда корреспонденты выходили из машин и, выбравшись на горную тропу, выстраивались караванной цепочкой. Справа были уступы гор, слева простор моря, едва ли не такой же пугающе неоглядный, как и небо. Что-то было в красоте этой картины неземное. Картина эта оставляла Хоупа равнодушным, будто красота эта была кажущейся, ненастоящей, похожей на мираж. Наоборот, когда в перспективе ущелья вдруг обозначилась синеватая гладь Западной бухты, а за нею в еще более синей полумгле панорама Севастополя, американец заметно затревожился и будто воспрял.

— Вы давно перечитывали толстовские «Севастопольские рассказы»? — спросил Хоуп Тамбиева. — Давно? А я только что… Необыкновенная книга! Была ли до нее в литературе истинная война?.. Война, где есть смерть, страдания?..

Тамбиеву показалось, американцу доставляло удовольствие встать спиной к панораме гор и моря, едва ли не самой красивой на этой земле, и говорить о муках войны и смерти. Но ведь и у Толстого в рассказах не столь уж роскошен здешний пейзаж, а есть ненастье войны и смерть.

— Мне сейчас сказали ваши военные, что они трижды посылали парламентеров на Херсонес, предлагая мир, а потом

подвели артиллерию, дав слово огню, — произнес он, глядя в землю, он упорно продолжал смотреть в землю, точно в ней, и только в ней, пытался найти ответ. — Вы поставьте только себя на место этих двадцатилетних парней, призванных защищать обреченное и гибнущих бессмысленно…

— Сказать по правде, мне трудно себя поставить на их место, господин Хоуп… — произнес Тамбиев, в тираде американца ему послышалось сострадание.

— Почему, простите?.. — Хоуп не без труда оторвал глаза от земли.

— Потому что прежде чем погибнуть в Севастополе, они истребили тех, кто оборонял Севастополь, а для тех это была не завоеванная земля, а земля отчая…

— Но тогда… тем более они заслуживают сострадания, господин Тамбиев, — произнес Хоуп, в его глазах жила неприязнь.

— Сострадание как награда за их доблести в России, господин Хоуп? — спросил Тамбиев. В Котельниково американец был не таким христосиком, каким он вдруг явил себя в Севастополе.

— Я вас не осуждаю, господин Тамбиев, — произнес он с явным желанием не обострять разговора. — Больше того, быть может, на месте русских и я бы сказал то же, но для меня сейчас важно иное… — Его взгляд смягчился, он старался предотвратить взрыв. — Я писатель, и свою правоту я проверяю с помощью нехитрого опыта: вот последуйте за мной и постарайтесь мысленно перенестись на пятьдесят лет вперед и взглянуть на все это оттуда… Так же вы будете непримиримы или проявите терпимость, какой сегодня нет? А согласитесь, что мнение наших с вами детей будет ближе не к вашему нынешнему мнению, а к тому взгляду, который вы обнаружите через пятьдесят лет. Так ведь?

Нет, на подходах к Севастополю Хоуп явил такое, чего определенно не было в нем прежде. Да не готовил ли он себя к смене позиций? Быть может, это то самое, что учуял во взглядах американца Клин? Опыта Клину не занимать, а что есть прозорливость, если не опыт? Клин не решится на такое, если он в неведении… Но надо отдать должное Хоупу, его интерес к человеку непреходящ. Это прелюбопытно: едет по Крыму, устремив мысль в одну точку — Севастополь, Севастополь… Для него Севастополь — синоним человека, как понимает человека он, Хоуп, и, будем точны, как помог ему понять человека писатель.

Они достигли берега Западной бухты, когда солнце уже

золотило воду. Наверно, тому причиной конфигурация противоположного берега и расстояние до него, но город кажется отсюда монолитом, цельным, в свете вечерней зари сверкающе золотым. В этом есть нечто остротревожное — не видно ран города. Это все великий исцелитель — чудо-солнце. Окунуло в золотую воду и точно смыло все беды: счастливый город, не изведавший горя, не знающий, что такое смерть.

На другой день они поехали смотреть Севастополь. Как некогда, перед ними лежали знаменитые бастионы. Трава укрыла холмы, вызеленив их, но не могла победить смрадного дыхания земли. Там, где широкая линия вспорола холм, обнажив слоистый желто-оранжевый срез глины, показался череп.

— Кто это был: русский, немец, а может, из того века… англичанин или француз? — Хоуп упер взгляд в череп, точно ожидая, что кость заговорит.

К полудню они приблизились к Херсонесу: вновь возникла пыльная белизна гор, пошли камень и глина без единого островка травы, но смрад, которым дышала земля, не отставал, казалось, им теперь дышит сам камень. Потом глянула ломаная линия берега и темно-фиолетовый при полуденном солнце массив воды, и на нем те, кто стремился уплыть из Херсонеса на самодельных плотах и был возвращен на берег морем… Солнце вздуло их, и они лежали на воде, раскинув руки; вода ритмично била о берег, и те, кто лежал на воде, махали руками, сводя и разводя их, точно звали оставшихся в море.

По каменным уступам, наполовину срытым и порушенным, корреспонденты спустились к морю. Теперь береговая стена, отвесно спускающаяся к воде, была над ними. В стене были сделаны вырубы, неглубокие, но надежные — те, кто обрел здесь убежище, были уязвимы только с моря. А это было убежище последнее, — уходя из Севастополя, русские собрались на Херсонесе, а оставив Херсонес, спустились в эти пещеры. Они были заперты морем в пещерах, те, кому суждено погибнуть, погибли здесь, сожженные жаждой — вода рядом и нет воды… Стены, исчерченные железом, вопят. Камень обрел голос: он клянет и судит, но не молит. Судит и тех, кто лежит сейчас на воде, в отчаянии разводя руками.

— Судит, говорите? — Хоуп шел за Тамбиевым неотступно, для него Севастополь незримо смыкался с самым сокровенным, что жило в нем, с исповедью перед людьми и перед самим собой. — Помните евангельскую истину, с которой начинается толстовская «Анна Каренина»? «Мне отмщенье, и аз воздам»? В ней, в этой истине, кротость?..

— И боль, и сознание правоты, и отмщенье…

— Да, и сознание правоты.

Тремя днями позже Хоуп явился к Тамбиеву с телеграммой: жена заболела, молила приехать. Он отбыл тут же. А потом пришел Галуа. Потоптался, смущенно, выставив острое плечо, заметил:

— Клин отозвался на отъезд Хоупа саркастическим: «Теперь ждите».

34

На Кузнецком легкое волнение… Редакция английского посольского листка «Британский союзник», что обосновалась на Кузнецком мосту, чуть пониже Наркоминдела, выставила очередной номер с фотографией на первой полосе «Морской десант — учение». Доморощенные прорицатели едва вымолвили, что это неспроста, как пришла телеграмма, трижды долгожданная: союзники начали высадку на континенте. Нет, в этот погожий июньский день сорок четвертого года в Москве было настроение праздника: шутка ли, начался второй фронт, тот самый, что был у людей на устах еще с достопамятного июля сорок первого… Однако не будем тревожить печалью память, главное, что начался и получены первые вести, отрадные. Вопреки непогоде на море, высадка состоялась. Морской десант закрепился на побережье, воздушный — ведет бои в ближнем тылу. Хотя американские танки-«амфибии» постигла неудача — ненастное море опрокидывало машины, — на побережье накоплено достаточно танков, они вступили в бой. Пользуясь абсолютным превосходством в воздухе, союзники контролируют положение, стремительно наращивая переброску резервов. К началу седьмого июня на континенте уже было пятьсот тысяч союзных войск — превосходство над противником трехкратное…

Сталин поздравил союзников. В этом поздравлении была полная мера радости: «Ваше сообщение об успехе начала операции „Оверлорд“ получил. Оно… обнадеживает…» Советский главнокомандующий, сославшись на тегеранскую договоренность, подтвердил, что летнее наступление Красной Армии начнется в середине июня на одном из важных участков фронта, превратившись к концу июля в наступление по всему фронту. Телеграмма была помечена шестым июня, то есть тем самым днем, когда союзники начали высадку.

Иначе говоря, Сталин обязался начать наступление через девять дней, а начал его через четыре. Десятого июня на рассвете тысячежерлый гул орудий потряс землю — летнее наступление советских войск сорок четвертого года заявило о себе. Замысел этого наступления был определен, разумеется, задолго до того, как пришла весть о большом десанте. Первый удар наносил Ленинградский фронт с задачей выхода на Выборг. Второй — Карельский: разгром свирско-петрозаводской группировки врага. Предполагалось, что эти два удара должны вынудить Финляндию запросить мира. Вслед за этим следовало привести в действие могучие рычаги операции «Багратион», размах этой операции

должен был заставить оборонять минский выступ. Четвертый удар предполагал выход ко Львову. Пятый относился на июль и был устремлен на Кишинев и Яссы. В итоге этого пятого удара просить о мире должна была уже Румыния. Немцы ждали одного минского удара, а должны были получить пять.

В точном соответствии с замыслом первые два удара сокрушили Финляндию — наши войска вошли в Выборг, шведская печать сообщила о намерении финнов просить мира. Дал знать о себе и «Багратион» — третьего июля красный стяг взвился над Минском… Размах советского летнего наступления не оставлял немецким стратегам никаких иллюзий. Много позже начальнику германского генштаба предстояло сказать: «Начиная с лета 1944 года Германия вела войну за выигрыш времени, в ожидании тех событий, которые должны были случиться…» Значит, вопрос о победе был снят. Единственное, что, по мнению врага, было реальным, — это междоусобица в противном стане. Правда, формула о безоговорочной капитуляции не оставляла надежд и на это, но, быть может, эта формула была не в такой мере, как кажется, окончательной… Так или иначе, немцы поняли, что кроме второго фронта, теперь реального, есть фронт третий — единство союзников. Этот третий фронт и явился отныне предметом особых забот иностранного ведомства рейха…

На рассвете лондонское радио сообщило, что союзники приступили к высадке десанта, и тут же Бекетову позвонил Грабин. Он сказал, что к тому, что Бекетов уже знает, он, Грабин, имеет сообщить Сергею Петровичу нечто значительное, и обещал быть в посольстве минут через сорок. Обстоятельный Грабин, считавший неторопливость основой солидности, казалось, никогда так не спешил, как в это утро, и это свидетельствовало достаточно, что дело серьезно. Чтобы Аристарх Николаевич остался самим собой, ему, пожалуй, надо было бы в это утро опоздать этак минут на пятнадцать, но он, к удивлению Сергея Петровича, прибыл вовремя — не надо было других доказательств, что дело, с которым прибыл Грабин к Бекетову, действительно полно немалого смысла.

— Позвонили от французов и сказали, что готовы пригласить советских дипломатов в первый освобожденный город на континенте… Как вы понимаете, мне небезразлично, кто полетит со мной. С вами будет говорить посол, будьте готовы…

Только сейчас Сергей Петрович заметил в руках Грабина планшет, под целлулоидным стеклом которого была карта побережья, — как ни внезапно было приглашение французов, Аристарх Николаевич успел экипироваться.

— Сказать послу «да»? — засмеялся Бекетов, ему была приятна энергия, которую сообщил делу Грабин.

— А это уж как вам угодно, Сергей Петрович.

— Можете рассчитывать на мое «да», Аристарх Николаевич. Полагаю, что могу убедить посла.

Грабин, сняв очки, близоруко всмотрелся в карту.

— Чую, что начинается наступление.

Как ни сурова была военная цензура, представление, и довольно точное, можно было составить и по газетным сообщениям. Бекетов следил за ходом военных действий по «Таймс» — опытный глаз, как был убежден Сергей Петрович, может почерпнуть из газетных сообщений такое, чего не даст закрытая информация. По крайней мере, «Таймс» позволила Бекетову установить, что союзные войска не в полной мере воспользовались преимуществами, которые были у них в первый день военных действий на континенте. В частности, англичане не овладели портом и городом Кан, что заметно затрудняло накапливание сил. Правда, плацдарм, как можно было догадаться, простерся по фронту километров на сто, но глубина его была незначительной. Да, союзные войска двигались не столь быстро, как предполагалось, и все-таки это не могло умалить главного: высадка состоялась, вопреки всем невзгодам успешная.

Вновь позвонил Грабин. Поездка на континент непредвиденно откладывалась по той простой причине, что англичане не пускали французов во Францию. А коли так, то французы лишены возможности пригласить туда русских.

О том, что события на континенте развивались не в точном соответствии с планом, свидетельствовало и поведение обязательного Хейма — он дал знать о себе не на пятый день, как уславливались, а на пятнадцатый.

Бекетову была интересна встреча с человеком, полевое обмундирование которого, как можно было предполагать, еще хранило дыхание огня. Хейм сказал, что с наступлением темноты должен вылететь в свою часть, но не отклонил приглашения Сергея Петровича.

Действительно, в точном соответствии с договоренностью в четыре пополудни джип Хейма с адъютантом и штабным офицером прибыл к посольству — хитрый полковник не хотел делать секрета из своей дружбы с русскими и приволок с собой сонм сопровождающих.

— О, да вы приехали, как падишах, со свитой… — произнес Бекетов, узрев из окна посольского кабинета Хеймову машину, стоящую у подъезда.

— Сегодня мне предстоит так много сделать, что у меня уже

не будет времени возвращаться за ними, — произнес Хейм, смущаясь. — Они подождут…

— Зовите их, мы им покажем посольство… — предложил Сергей Петрович, ему казалось, что в кругу своих спутников Хейм почувствует себя свободнее. — Нет, нет, вы меня не стесните, зовите…

Но в посольство поднялся только адъютант, рыжебровый юноша, лицо которого накалялось до огненности бровей через такие правильные промежутки времени, что казалось, тут участвует механизм.

День был воскресным, и посольство выглядело не столь людным, разве только из полуоткрытой шошинской двери продолжал, как обычно, валить дым — Степан Степанович был неусыпен на своей круглосуточной вахте.

— Газеты пишут, что первый день оказался не очень удачным? — спросил Бекетов, когда впереди открылся большой зал посольства. Едва слышный баритон Бекетова пустой зал воспринял и сделал внятным вполне. — Немцы ожидали вторжения именно в этот день, не было внезапности?..

Хейм рассмеялся и умолк, оробев: смех, усиленный пустым залом, прозвучал неожиданно громко.

— Была… внезапность! — он перешел на шепот. — Немцы полагали, что благодушие — русская черта… Помните, как они были смелы на бойкое слово?.. Все их остроты вернулись к ним бумерангом!.. Нет, это не преувеличение, именно бумерангом! — Кивнул в сторону адъютанта. — Лейтенант Тейк вел протокол допроса роммелевского штабника…

— Немцы полагали, что в такую погоду вторжение исключено… — подал голос адъютант. — По случаю плохой погоды они даже отменили состояние боевой тревоги.

— Слыхали, мы считали плохую погоду помехой и ждали погоды хорошей, а оказывается, для высадки ничего нет лучше плохой погоды, — тотчас реагировал Хейм. — Одним словом, воспользовавшись ненастьем, Роммель поехал на прием к Гитлеру и по пути заехал к домочадцам в Херлинген, а генерал Эрих Маркс, командующий корпусом непосредственно в районе высадки, был обременен еще более насущным делом — праздновал вместе со штабом свой день рождения… Как видите, даже германцы не застрахованы от благодушия…

— Но… Кан еще предстоит взять? — осторожно возразил Бекетов, ему показалось, что ирония завела Хейма дальше, чем он того хотел.

— Да, верно, Кан еще не взят, и тут есть свои резоны, достаточно веские: больших портов у нас нет, а малые

непригодны… И вот итог: есть танки, но нет горючего. К тому же враг оправился от контузии и начал маневр, а тут он был и прежде силен… Короче, преимущество первого дня уже утрачено, наступило известное равновесие в силах, по крайней мере наземных… Надо взять большой порт и изменить соотношение сил, а кстати и обрести некоторый опыт, у нас он недостаточен… — Он взглянул на адъютанта: — Что сказал этот роммелевский штабник, Тейк?..

— Он сказал: «Кан сильнее, чем вы думаете, мы будем защищать Кан…»

— Итак, до встречи в Кане, полковник? — спросил Бекетов, когда пришло время прощаться.

— До встречи в Кане, — ответил Хейм, ответил не раздумывая, он верил, что Кан будет взят.

35

Лондонский Альберт-холл объявил о концерте американского скрипача. Скрипач оказался бесподобным в своем мастерстве, но это, пожалуй, от него и не требовалось. Будь он не столь искусен, его успех был бы не меньшим. Великолепный аккомпанемент сопровождал скрипку — пять тысяч танков и десять тысяч самолетов, Европа не знала оркестра мощнее. Может быть, поэтому на аплодисменты отвечал не только сам скрипач, но и посол Вайнант. Правда, он не поднимался на сцену и не раскланивался, но улыбка, едва ли не такая же горделивая, как у именитого музыканта, осияла посла.

И, повинуясь традиции, за импровизированным столом, накрытым в соседнем зале, собрались избранные, чтобы приветствовать скрипача, теперь уже непосредственно. Тарасов с Бекетовым еще раздумывали, идти ли им на встречу со скрипачом, но Вайнант обратился к доводу неотразимому:

— Оказывается, он родом из России и только что говорил с вашими военными на таком русском, что позавидуешь!..

Скрипач был не столь деятелен, как посол, он был утомлен, а его глаза скорбны.

— Русский нам всем подарил дедушка… — говорил он, кротко мигая. — Дедушка любил русские песни… «Степь да степь кру-у-у-го-о-ом!» — начал он и умолк. — Помните?

— Дедушка был из Киева? — спросил Бекетов, в русском говоре американца почудилась ему украинская певучесть.

— Нет, из Одессы.

Скрипач смотрел на посла, а тот отвечал ему лукавым подмигиванием — послу нравилось, что скрипач с русскими.

— «Степь да степь кру-у-уго-о-ом!» — вновь едва слышно подал голос американец и искоса посматривал то на посла, то на рюмку с водкой, нетронутую. Скрипач был не очень-то смел — он побаивался, как могло показаться, суеверно, и посла, и водки.

Русские покинули Альберт-холл с Вайнантом.

— Не усну, пока не отшагаю дежурную милю, — признался Вайнант. — Люблю вот так… по берегу Темзы!

Приглашение было недвусмысленным, русские его приняли.

Темза была хороша в этот поздний час. Небо было темным, ни звезды, ни проталинки меж облаками, а Темза светилась — неизвестно, где река добыла этот свет, что бежал по ее воде, проваливаясь в неровностях.

— Знаете, что я сейчас вспомнил? — вопросил Вайнант, едва ли не ликуя. — Возвращение Черчилля в Лондон после встречи с

президентом на «Принце Евгении». Его встречали в Виндзоре; видно, на море штормило, и ветер достал сюда, на платформе нельзя было устоять. Кого только не было в тот день!.. Старому Уинни салютовали кабинет, дипломатический корпус, фамилия Черчиллей со всеми ее отпрысками, а их немало! Одни салютовали Черчиллю, и только ему, другие — Великобритании, третьи — Атлантической хартии, которую он скрепил своей подписью на «Принце Евгении». Но первые, вторые и третьи — союзу с Америкой… — Вайнант вдруг снял плащ и бросил его через руку, видно, любил спорый шаг, а плащ стеснял его. — Еще помню, как он увидел меня издали и, воздев руку, двинулся ко мне, и все, кто был на его пути, расступились… — не замедляя ходьбы, Вайнант взметнул руку, изобразив, как шагал навстречу ему Черчилль. — Он сдавил мою руку, и я вдруг почувствовал, как его дыхание обожгло мое ухо: «Я люблю вашего президента, Вайнант!» Никто не слышал этих слов, но все кругом улыбались, понимая, что произнесено нечто такое, что определяет суть происшедшего… Черчилль отошел к дипломатам, а его место подле меня занял Иден — он точно пытался сберечь слова премьера, не дать ветру, что продолжал дуть, разметать их… Можно сказать, что моя дружба с Иденом началась с этой встречи в Виндзоре! Я уже потом бывал в его личных апартаментах в Форин-оффис. «Нет, положительно, я самый счастливый человек в Великобритании! — восклицал он. — Нацистская бомба угодила в этот мой ковчег дважды, и оба раза в мое отсутствие!..» Не находите ли вы, что Черчилль и Иден — это все равно что Рузвельт и Гопкинс?.. Я иногда думаю: в чем сила Черчилля? Знаете, в чем? В способности организовывать согласие большинства! Никто не умеет это делать лучше… Когда он говорит, что должен посоветоваться, это не фраза — ни одно большое решение он не принял без правительства и парламента, хотя отнюдь не трус. И все-таки никто больше его не был обвинен в кознях… Кто-то сказал, что Черчилль наслаждается войной. Более черной лжи никто и никогда не произносил… Ну, разумеется, он оперся на войну, чтобы решить главную свою задачу: империя… Это звучит сегодня не очень убедительно, но это мое мнение: война помогла сплочению империи, она помогла империи еще раз почувствовать, что есть «мазер ленд» — «материнская земля». И в немалой степени благодаря Черчиллю… Сегодня у меня в некоем роде исторический день — я написал первую страничку книги о Лондоне и лондонцах в годы войны. Иногда мне кажется, что я должен написать все это, призвав в свидетели время. Да, уйти на покой и сказать все это… не страшась…

Они расстались на исходе дежурной мили, Вайнант побежал ее уже один. То, что они услышали, было неожиданно и не очень казалось похожим на Вайнанта.

— Вы допускаете, чтобы подобное произнес, например, Гопкинс? — спросил Тарасов, преодолев порядочный барьер тишины — берег Темзы и Вайнант были сейчас далеко.

— Нет, — ответил Бекетов, замедляя шаг. Только сейчас они заметили, что все еще во власти стремительного темпа, который сообщил им динамичный американец.

— Тогда… что происходит?.. — спросил Тарасов. — Ведь Вайнант — сподвижник Гопкинса?

Бекетов остановился, вопрос Тарасова требовал ответа. Они стояли сейчас в тени кирпичной ограды, охватившей парк, крона вяза, поднявшегося из-за ограды, нависла над ними — их уединение было тут ощутимо.

— Есть в нем нечто женское, не правда ли? — в свою очередь спросил Сергей Петрович. — И женская ранимость, и женская чуткость?

— Чуткость… в каким смысле?

— Чуткость… ко всему, что есть будущее, грозное для Вайнанта.

— Он думал о нем… не без страха, Сергей Петрович?

Бекетов вышел из тени вяза — дерево создавало иллюзию низкого неба, давило.

— И старается защититься…

— Книгой защититься? — был вопрос Тарасова. — Той, что он сегодня начал?

— Да, книгой. Той, в которую он как бы облечется, как в железные латы, чтобы выйти навстречу грозному для него завтра…

— Значит, для одних конец войны — конец испытаний, для других — начало?

— Похоже на это, — был ответ Сергея Петровича.

Бекетов был дома незадолго до полуночи. Выключил свет, открыл окно. Небо было все таким же глухим, как тогда, на Темзе. И в сознании пробудился разговор с Вайнантом. Да верно ли Сергей Петрович понял американского посла, сказав Тарасову, что свою будущую книгу американец хочет обратить в железные латы, в которых выйдет на бой с неприязненным будущим? И в такой ли мере оно неприязненно для него, как кажется нам? И восславление Черчилля для Вайнанта — тактика или суть натуры и, пожалуй, позиции? Сказав, что книга Вайнанта всего лишь защитное железо, не обелил ли ты американца, не сделал ли его лучше, чем он есть на самом деле? Если Черчилль, по крайней

мере в нынешнюю неспокойную пору, не противостоит Америке и ее государственным интересам, в какой мере он может быть Вайнанту противен? Разный взгляд на демократию? А существенно ли это, если классовая основа общая? А что есть общая классовая основа? Институт частной собственности? Но ведь этот институт свойствен и рейху, а пошла же Америка на него войной, и Британия пошла, да к тому же в союзе с большевиками. Итак, Вайнант. Не надо делать его краснее, чем он есть на самом деле, но и не надо его объединять с теми, кому он сегодня пел хвалу, пел, может быть, вынужденно.

Кан был взят на сорок второй день вторжения, и на следующее утро специальный нарочный доставил Бекетова на полевой аэродром, лежащий в десяти километрах на восток от освобожденного города. Сергея Петровича встретил Хор, аккуратно выстриженная борода которого в этот месяц порядком подзаросла и являла собой не столько серебряную лопаточку, которой с одного блюда на другое перекладывают хрупкое тесто, прослоенное кремом, сколько деревянную лопату, какой гребут на току зерно.

— Добрые отношения и прежде выверялись обязательностью… — заметил Сергей Петрович, рассмотрев в кромешной тьме полковничью бороду.

— Именно в силу доброй обязательности, о которой вы говорите, я даю вам на сборы пять минут, — произнес полковник и тревожно повернул голову, мельком остановив взгляд на светло-сизой черточке разрыва, полоснувшей северо-западный край неба — немцы из Кана ушли на северо-запад. — Ты куда прешь, слепая лошадь? — вдруг взревел полковник, и могучая гиря его кулака закачалась над головой, того гляди, сорвется и размозжит полковнику темечко. — Распахни глаза да оглянись, не видишь, что тут люди? А ну поворачивай, да живо!.. У меня нет времени с тобой препираться, растворись в ночи и сгинь!.. А ты что оскалился? — обратился он к своему шоферу. — Подбрось в свой котел жару, чтобы через минуту здесь и нашего духу не было!

Машина опрометью рванулась в тьму кромешную, затряслась на кочках и выбоинах проселка, перевитого корневищами старых деревьев.

— У меня глаза стали как у совы, ночью вижу, будто днем! — прокричал Хор. В крике особой нужды не было, но волнение, вызванное перепалкой с шофером на аэродроме, не улеглось, и он продолжал кричать. — Слава богу, ночи стали подлинней, есть простор для маневра… Сейчас будет Коломбель, а потом и Кан!..

Я вам по секрету скажу, — неожиданно понизил он голос, не было бы «секрета», не перешел бы с крика на шепот. — Монтгомери решил было с ходу набросить петлю на немца — какое там!.. Они его то в левый бок, то в правый. Не так-то просто… Он понял, что с ходу их не возьмешь, и попробовал собрать силы, а они тоже время даром не теряли. Как ни мудри, а на земле равенство: у нас три танковые дивизии, у них три танковые… Хочешь не хочешь, а призовешь на помощь небо! Вот сейчас увидите этот Коломбель, на который за два часа упало несметное количество металла!.. Говорят, что другого такого места на земле нет! Видите, вот это и есть Коломбель. Да вы не туда смотрите, сюда, направо… Вот этот дилижанс вам мешает! — взвился Хор вновь и, приоткрыв дверцу машины, пошел воевать. — Куда ты упер свое дышло, добрый человек?.. — бросил он в ярости, обращаясь к шоферу «студебеккера», что возник справа. — Ты мне небо заслонил, неба не вижу!.. Вот это и есть Коломбель… — произнес он, успокаиваясь.

Пахнуло гарью, сухой, потом послышался запах дымка, терпкого, точно присоленного. Огня не было видно — то ли сам размылся, то ли пригасило недавним дождем. Утесы стен, дома с порушенными огнем крышами, провалы, как в Смоленске, как в Минске, — огонь стрижет под гребенку, он выстригает все, что делает землю разной. Впрочем, у русской беды свой знак — перст трубы, оставшийся после сожженной избы, черный перст, воздетый к небу…

Поехали дальше почему-то тише, чем прежде.

— Имел честь видеть генерала де Голля. Смешно сказать, встречали генерала едва ли не на пляже — порты сожжены. Просил доставить его в ближайший городок. «В какой, господин генерал?» — «В какой-нибудь». — «Не понимаю, господин генерал». — «Я сказал, в какой-нибудь…» — «Но это будет очень маленький город, господин генерал». — «Чтобы утвердить принцип, размеры города не имеют значения». Итак, мы поехали утверждать принцип… Ничего подобного я в жизни не делал и не знал, как это делается. По дороге мы нагнали двух велосипедистов. Генерал остановил их. «Я де Голль. Поезжайте и оповестите город о моем приезде. Я последую за вами через четверть часа». Оказывается, пятнадцати минут было достаточно, чтобы появились и улыбки, и флаги, и цветы. Ничего не скажешь, Франция знала де Голля. Он так вошел в роль, что забыл о размерах города. Он произнес нечто вроде спича и не забыл сместить префекта и назначить нового. У нового не было мундира, и он одолжил его у своего предшественника. Когда мундир был надет, обнаружили, что на пуговицах знак Виши,

однако спарывать пуговицы было уже поздно, пришлось закрыть глаза… Надо отдать должное де Голлю: если бы генерал приметил вишийские пуговицы, он конечно же не благословил бы префекта…

Теперь руины Коломбеля остались позади. Глаза попривыкли ко тьме. То ли море, к которому приблизилась машина, сообщило небу больше света, то ли ветер раздвинул тучи, обозначился шпиль храма, острый гребень усадьбы, правильный цилиндр водокачки, все неправдоподобно целое.

— Но… принцип был утвержден? — спросил Бекетов, ему хотелось вернуть Хора к мысли, с которой он начал разговор.

— Да, несомненно. Об этом свидетельствовал сам вид генерала. Казалось, генерал сделал большее, чем сделать удалось. Быть может, я не все понимаю, но меня удивило: как можно было радоваться тому, чему радовался генерал, и едва замечать то, что заслуживает ликования?..

— Тут необходимы пояснения. Что заслуживает ликования, полковник?

— Французы говорят, что половина Франции в огне восстания.

Бекетов подумал: да в такой ли мере Хор осуждает генерала, в какой хочет показать? Не хочется плохо думать о Хоре, но это не очень похоже на него. Видно, ночь и полковничья борода сокрыли улыбку, которую еще надо понять. Не заговорил ли полковник о де Голле, чтобы сказать свое слово о восстании? Среди тех проблем, к которым союзники прикоснутся после Кана, восстание — первейшая.

— На взгляд полковника, восстание — это проблема? — Бекетов хотел проверить себя, насколько проник в мысль Хора.

— И не простая, — отозвался полковник охотно, он не отвергал перспективу разговора на эту тему.

— И для союзников?

Англичанин точно запнулся.

— В какой-то мере.

— В какой именно? — Бекетов подумал, что иного случая спросить полковника о главном не будет.

— У нас есть офицеры, которые полагают, что не надо торопиться срывать с мундира старые пуговицы…

— Если даже на них вишийский знак?

— Если даже… — заметил он нехотя и добавил, как показалось Бекетову, не торопясь: — Есть такие офицеры…

— Это они говорят сейчас и… здесь, когда вторжение состоялось, полковник?

— Да, тоже.

— Но они не боятся быть сброшенными в море?..

Он поддел бороду снизу, и она точно раздвоилась.

— Не боятся Дюнкерка?

— Да, нового Дюнкерка, полковник?

— Я видел Дюнкерк, и дай бог, чтобы я его не увидел вновь… Ты куда нацелил свои оглобли, а? — закричал он во тьму. Ума не приложишь, как он рассмотрел совиными своими глазами машину, высунувшуюся из-за поворота. — А ну подай назад! Я говорю «назад», а не «вперед»!.. — Шофер полковничьей машины, зная, что этому диалогу конца не будет, осторожно прибавил скорость и прервал тираду Хора едва ли не на полуслове. — Я видел Дюнкерк, и упаси меня господи, чтобы я его увидел вновь…

— А те… что хотят сберечь вишийские пуговицы, видели?

— Если не видели, то могут увидеть, еще не все потеряно! — засмеялся он, смех был лишен радости. — Пленные говорят, что Гитлер прилетел в Мец и находится в сотне миль отсюда… Кажется, на том самом КП, откуда он руководил Дюнкерком и куда приезжал позже, в разгар битвы за Англию…

— Вы полагаете, что потеря Кана его не обескуражила? — спросил Бекетов, он еще не ухватил, в каком направлении движется мысль полковника, ему неясно было существо мысли полковника, ее тенденция.

— Даже после потери Кана равновесие наземных сил не нарушено, господин Бекетов. И пока это будет иметь место, новый Дюнкерк не исключен… — сказал полковник и, остановив машину, открыл дверцу. — Кстати, мы въехали в Кан… вот эта башня, похожая на шахматную ладью, и этот туннель, напоминающий русло высохшей реки, это… Кан, уже Кан… — заметил он и вышел из машины. Бекетов последовал за ним.

— Я, признаться, не вижу ни ладьи, ни русла, — сказал Бекетов, всматриваясь во тьму, она была сырой.

— Сделайте вид, что видите, как делаю это я… — произнес Хор и повел вокруг не столько носом, сколько бородой. — Равновесие… всегда сулит неизвестность… а неизвестность — это грозно.

— Но… что способно нарушить равновесие, полковник?.. Еще одно вторжение, еще один фронт?

Хор вздохнул.

— Отойдем отсюда… над нами стена, — произнес он и шагнул во тьму, Бекетов последовал за ним. — Я как-то говорил с Черчиллем… Он сказал: «Как вы знаете, я немного каменщик, и то, что я вам скажу, основано на опыте. Когда строишь башню, можно спешить, когда разбираешь — ни в коем случае. А Европа — это башня, в какой-то мере даже вавилонская. Так вот… мы

начали разбирать эту башню и должны сделать это так, чтобы она не погребла нас».

Бекетову показалось, что полковник завел его в самую сердцевину ночи, действительно слепой, чтобы сказать все, что он хотел сказать.

— Как понять эту метафору с башней, полковник? Восстание опасно?

— Есть такое мнение, опасно, — он не мог просто сказать «опасно», он должен был присовокупить «есть такое мнение».

— И новый фронт опасен?..

Он шагнул еще дальше в сырую темь и точно пригласил Бекетова за собой:

— Мистер Черчилль сказал: когда строишь башню, можно спешить, когда разбираешь — нельзя.

— Даже если этот новый фронт на Балканах?.. Не в Южной Франции, а на Балканах?

— Ты куда прешь, пустая голова? — выпалил полковник неожиданно. — Не видишь, что тут машина?.. Поворачивай и… чтобы духу твоего тут не было! — Он затих, тяжело дыша, его очередная сшибка потребовала сил. — На Балканах?.. — вопросил он, отдышавшись. — Это другой вопрос…

Они были на атлантическом побережье с рассветом, их путь к аэродрому лежал вдоль береговой линии. Море было серо-синим, больше осенним, чем летним, и неожиданно пустынным. Всё, что являло собой силы вторжения, точно переселилось в небо и в ночь. Импровизированные порты, разбросанные по побережью, были почти без судов, — видно, морские дороги отныне легли в Кан. Но небо было заселено надежно, при этом невзирая на то, что был день. Армады самолетов двух- и четырехмоторных, шестью, восемью и даже десятью звеньями прошли на высоте значительной, такую высоту с прибрежного аэродрома не наберешь, бомбардировщики определенно базировались в глубине острова. Хор сказал, что превосходство в воздухе велико — один к шести, быть может, один к восьми, — но «люфтваффе» достаточно активная авиация, по крайней мере над полем боя врага, грозна, правда, лишь над полем боя. Союзники вели себя как при равенстве сил, предосторожность соблюдалась тщательно: истребители несли вахту охранения неусыпно — видно, ни одно звено бомбардировщиков не покидало британский берег без того, чтобы рядом не было истребителя. В этот день на побережье и над побережьем было так тихо, что эта предосторожность Бекетову показалась даже излишней — видимых признаков того, что враг рядом, не было. Это умиротворило и Хора, его даже не прельщала перспектива

сразиться с водителями встречных машин, хотя они такую возможность воинственному Хору предоставляли — они точно знали, что полковник спит, и позволяли себе даже обгонять полковничью машину. А Хор спал, свернувшись калачиком, и, казалось, только бороду его не мог сморить сон: она торчала торчком, великолепная полковничья борода, похожая на облако, подсвеченное солнышком. Чтобы выхолить такую бороду, надо любить себя.

Слева по горизонту обозначилась неяркая черточка транспортного судна, и тотчас рядом поднялся столб воды, один, второй, третий, и поверхность штилевого моря, слегка холмистого, звонко хрупнула и раскололась, будто восприняв взрывы. Шофер полковничьей машины живо притерся к стене кирпичного домика, оказавшегося подле, Бекетов вышел. Море начиналось шагах в тридцати от домика, и его простор, как и ширь неба свободно открывались глазу. Теперь были видны осторожные пунктиры самолетов в небе, столь же неяркие, как и судно в морской дали; они подошли к транспорту, воспользовавшись облачностью. Но высота была значительной и попадание было отнюдь не столь точным, как казалось с берега, иначе бы самолеты не пошли на снижение. Но этого было достаточно, чтобы корабль вызвал подмогу, в небе завязался бой. Корабль шел к берегу, не меняя курса, и словно вел за собой на веревочке полтора десятка самолетов, сражавшихся на высоте. Немцы послали к морю не бомбардировщики (при том преимуществе, какое было в воздухе у союзников, это бессмысленно), а истребители-бомбардировщики, у которых были и скорость, и маневр, свойственные истребителям. Немцы дрались отчаянно, стремясь снизиться и защититься морем, а то и берегом. Ведущий единоборствовал едва ли не с четверкой самолетов над дюнами. Грохот был таким, что казалось, сами песчаные дюны пришли в движение. Шум воздушного боя неожиданно приблизился и сломал каменный сон полковника.

— Не подставляй брюхо и хвост подбери, хвост! — взмолился полковник, устремив руки к небу. — Ах ты, неразумная твоя голова, хвост, говорю, подбери.

Хор обернулся к Бекетову и онемел. Даже непонятно, что его лишило воинственности, он был кроток и безгласен, как трава, которую сейчас мяли его башмаки. Он вдруг потерял интерес к воздушному бою — то, что происходило сейчас в небе, было ничто по сравнению с тем, что он увидел на лице Бекетова.

— Вам нехорошо, господин Бекетов?

— Все в порядке. Однако что вас встревожило?

Но шок, вызванный этим изумлением, еще не прошел у Хора,

полковник утратил живость реакции.

— В тот момент, когда немец зашел нашему в хвост, вы стали белее ваших седин, — произнес полковник. — Казалось, с немцем схватился не англичанин, а русский…

Для Хора последнее слово явилось словом-ключом: думай, смысл в нем. Оказывается, Хор ожидал от Бекетова иной реакции на бой в прибрежном небе. Схватились, мол, союзнички с немцами и пусть дерутся на здоровье до той заветной поры, пока не переколотят друг друга. На здоровье, на здоровье! Как сулил в самом начале войны Гарри Трумэн: возьмут верх русские, поможем немцам, возьмут верх немцы, поможем русским… А Хор взглянул на Бекетова и вдруг обнаружил: иная реакция! Русский сострадает, что союзник попал в беду… Бекетов убежден, не было для Хора большего открытия ни вчера, ни сегодня… А как бы повел себя Хор, если там, наверху, был бы не англичанин, а русский, красный русский? Увидел бы в нем Хор, в этом русском, сподвижника по борьбе? Нет, это не праздный вопрос, как не празден он, когда речь идет прямо о французском восстании. Полноте, да об этом ли речь? Об этом.

На исходе утра машина вошла в рыбацкий городишко, который обнаружил себя не столько белостенными домиками, что протянулись вдоль моря одной-единственной улицей, сколько теплым ветром, напоенным запахами, которые стоило еще распознать.

— Видно, бухта где-то рядом, — хмыкнул Хор, поводя носом. — Море ушло, и обнажилось дно, пахнет илом…

Но полковнику не суждено было закончить своих изысканий, раздался характерный визг тормозов, и машина остановилась точно вкопанная: в неярком свете подфарников глянул китовый торс цистерны, как надлежит быть киту, коричнево-черный.

— Э-э-э… дьяволы, закупорили, как пробкой! — возопил Хор и вышел из машины, на всякий случай поругивая всех присных. — Кто тут… живые или мертвые? Вам заткнули горло этим дышлом, а вы молчите!.. Или она сорвалась с колодок и встала поперек улицы? — спросил полковник, точно прозрев.

— Однако угадал! — отозвался сиповатый голос из тьмы со слишком откровенным «р», явив шотландский выговор — «рекогнайз». — Принимай в свою бригаду, помоги!..

— Да я не один, — вдруг обнаружил несвойственную ему покладистость Хор. — Тут у нас еще и русский.

— Русский?..

Такое бывает не так часто, тьма точно выпростала Аристарха Николаевича, выпростала бережно, не дай бог, поскользнется и

расшибет себя.

Цистерна, вставшая поперек улицы, не только мигом обрела свою округлость и способность катиться, но и встала на те самые колодки, с которых она некоторое время назад сорвалась, а Бекетов уже не мог расстаться с Грабиным.

Пока Хор вел сложные переговоры в гостинице, русские вышли к бухте. Вода убыла, и рыбацкие баркасы и шлюпки стояли, зарывшись в ил. Остро пахло водорослями, первородным и непобедимо свежим дыханием моря.

— Французы могли быть на берегу и раньше, — улыбнулся Сергей Петрович. — Все-таки под нами французская земля, — Бекетов точно хватил жизнелюбивого друга под печенки.

— Хотел бы возразить, Сергей Петрович, да не могу, — отозвался Аристарх Николаевич. — Странно, но французы нынче под подозрением…

— Не только те, что поют «Интернационал», но и «Марсельезу»?..

Аристарх Николаевич улыбнулся:

— Весь фокус в том, что при желании в «Марсельезе» вдруг можно услышать аккорды «Интернационала», у французов искушение…

— Дать по шапке не только баронам прусским, но и своим нормандским и бургундским?.. — вопросил Бекетов. — А какова тут функция союзных войск? Они что же, гаранты? Гаранты чего?..

— Англичане говорят, что у французов есть некая особенность характера: в поворотные моменты своей истории они имеют обыкновение идти дальше здравого смысла…

— Поэтому надо чуть-чуть натянуть вожжи… в поворотные моменты истории, Аристарх Николаевич?

— Да, так полагают англичане…

— Но история свидетельствует, и не однажды, что французы могут рубить вожжи…

— Да, было дело… — согласился Грабин. — Ничего не скажешь, было дело, — подтвердил Аристарх Николаевич, не скрывая и в этот раз улыбки.

36

Бекетов пошел в библиотеку и ненароком поймал себя на мысли, что идет дорогой, какой не хаживал прежде, кружной, не самой короткой… И странная мысль вдруг явилась ему: да потому ли он не видел Анну Павловну до сих пор, что она болела, а может, просто медлил, избрав кружной путь? А полет на континент и ночной путь к Кану — кружной?

— Я уже все знаю, — сказала она, когда он появился на пороге библиотеки. Гипертония вымотала Анну, лицо стало прозрачно-синим, чуть ли не под цвет глаз.

— Письмо… со Сретенки?

— Письмо… Все знаю.

Он засмеялся:

— Это я все знаю…

— Что именно?

Он смутился.

— То, чего не узнаешь в Лондоне…

— Папа? — вырвалось у нее против воли.

Он двинул плечами, спина его точно занемела.

— Там этот портрет Людмилы Николаевны висит… акварельный, который написал он, — произнес Бекетов, ему захотелось откликнуться на ее фразу, но так, чтобы не коснуться больного.

Она вздохнула, вздох был нелегким, в нем были и тревога, и сомнение, и радость, непонятная сейчас… Бекетов не сводил глаз с нее. Наверно, и в девичестве красота ее была чуть-чуть пригашенной. В пшеничной мягкости волос, в русой матовости кожи, чуть золотистой, в прищуре глаз, сине-лучистых, была неяркость.

— В этом портрете все, что он видел в ней, что хотел ей сказать… — произнесла она и, взглянув на Бекетова, точно вопросила, понимает ли он ее. — Все, все… в этом портрете.

— Все… что именно? — спросил Бекетов, ее волнение передалось ему.

Анна наклонилась, скрыв лицо, казалось, она была спокойна, только вздрагивали руки, лежащие на столе, которые она точно забыла убрать.

— То, что делает человека счастливым, — произнесла она. — То, что дает смысл его жизни… — сил хватило на шепот. — Для Киреева его любовь была свята. Как послание той высшей силы, которая чище, храбрее, искреннее нас, поэтому она нас так облагораживает, поэтому одно ее прикосновение делает нас

счастливыми… Главное, чтобы она снизошла к нам, остальное не в нашей воле, да и подчиниться ей счастье… Отродясь никто не жалел, что пошел за нею… Человек и воли, и интеллекта завидного счел за счастье быть подданным своей большой любви…

— Вы и тут в него, Анна Павловна?

— Простите, Сергей Петрович… — Она встала и, сняв с полки книгу, спрятала в нее глаза. — Простите…

— Людмила Николаевна назвала вашу библиотеку филиалом Тургеневской, — сказал он уже у самой двери, он искал слово, способное ободрить ее. — А мы стояли с нею в этой вашей фигурной светелке и смотрели вниз, там на бульваре липы…

— Бульвар, что у нас под окном, необыкновенно хорош осенью, я бы сказала даже, осенью не первоначальной, а поздней. Когда багрец и золото одевают листву, становясь червонными. Нет, не столько от солнца, а от морозца, самого первого, полуночного, и по утрам иней лежит на красных листьях… Вот хорошо об эту пору во всю длину бульвара пошагать: от Подсосенского и Покровки через Сретенку, Петровку, Страстную к далекой Остоженке!.. Какая дорога может в Москве сравниться с этой и красотой, и старомосковской истинностью на исходе вечера?.. Но идти надо, когда шумы стихают и бульвар заметно пустеет и, наверное, делается таким, каким он был некогда… Понимаете? Отец говорил, что эта дорога дает ему силы. Когда я подросла, он брал и меня. Все рассказывал о Волге, о войне гражданской и, конечно, о маме — у него все рассказы кончались мамой. И однажды он мне сказал: «Почему один человек влюбляется в другого, еще никто не объяснил. Тут есть тайна, в которую надо еще проникнуть. Я, например, точно знаю, что полюбил твою маму, потому что она была похожа на маму мою…» Так и сказал: «на маму мою…» — Она задумалась, внимательно и печально наблюдая за Бекетовым. — Вот мама написала мне, что вы напомнили ей отца… Я тоже заметила, что вы очень на него похожи. Нет, не внешне, разумеется, это было бы грубо, а чем-то необщим, незримым… очень, очень…

Вот она и подвела к той грани, к какой хотела подвести, объяснив и тайну своего чувства: ты похож на ее отца, ты похож… Разве не понятно?

Она подняла книгу, как бы отгородившись от него.

— Родилось желание уехать. — Книга была большой, она скрывала ее лицо. — Взять дочку и уехать.

— Уехать… вам?

— С дочкой, — сказала она и, не отняв книги от лица, отступила. Ему показалось, что книга в ее руках пошла ходуном.

— Анна Павловна… — произнес он, устремившись к ней, но она отступила еще дальше.

— Уходите, — сказала она, отняв от лица книгу. Она была сейчас спокойна, эта неяркость в лице была нерушимой, только мочки ушей горели, выдавая волнение.

Истинно, в эту ночь в жизни Бекетова родилась гроза, готовая все обратить в прах. «Для Киреева его любовь была свята, как послание той высшей силы, которая храбрее и искреннее нас. Подчиниться этой силе — счастье…» Она верила, что ты не воспротивишься этой силе, и взывала к твоей решимости не воспротивиться ей. Мера ее решимости могла только изумить: она уже отступилась от всего, чем были ее дом, семья, муж, то большое, что явилось сутью ее благополучия. Она отступилась бы и в том случае, если бы ей угрожала опасность остаться одной, совсем одной… Но, может быть, мера этой решимости была так велика, чтобы пробудить твою совесть и твою ответственность, в конце концов? Не будь удара такой силы, ты, пожалуй, не понял бы того, что происходит… Истинно, родилась гроза, родилась гроза…

Была Екатерина, был Игорек, и было третье, бесконечно твое, родное, трижды выстраданное, а поэтому близкое, нерасторжимое с тем, чем были Екатерина и Игорь… Но что? Сразу не назовешь, но было чувство жалости, острое, что и это обращается в прах… Вместе с грозой родилась тревога, а тревога вызвала к жизни жалость. Да точно ли жалость?..

Он пошел домой и, еще не открыв дверь, ощутил, что дом спит. Он вдруг позавидовал им. «И неведение — счастье?..» Он вошел в дом. Как же далеко они были в своих снах… У Игорька горел ночничок, он пошел на огонь. Сын спал, как обычно запрокинув голову, открыв рот. Ах, эта его носоглотка, не дошли руки, ты виноват, кто же виноват, как не ты?.. Он опустился подле сына, растроганно ткнулся в его щеку своей щекой, да, видно, не рассчитал — не иначе, отросшая за день щетина обратилась в крапиву.

— Да… ты что, папа? — как ни крепок был сон, Игорек не скрыл изумления. Для отца это было необычно, он не очень-то был сентиментален.

— Спи… я так. Спи.

Он вышел из дому. Что же происходит, что такое?.. И образ Анны пробудился вновь. Он увидел ее подле себя. Кто-то сказал ему однажды: «Главное мужику перевалить через пятьдесят, а там не страшно». Это что же — пятьдесят как последний рубеж грехопадения? Самый трудный?.. Но надо ли его преодолевать? То, что явит она тебе, способен ли явить кто-либо на свете?

«Отродясь никто не жалел, что пошел за нею». Значит, твоя любовь сшиблась с жалостью? И у тебя нет сил отвергнуть? А ты уверен, что это всего лишь жалость?.. А может быть, вся жизнь твоя встала на дыбы и пошла на тебя войной? Все чистое, что было в жизни, все святое, что ты берег, вдруг взбунтовалось, уперев в тебя рогатины?.. Значит, святое?.. А то, что явила Анна, не святое? Ее храброе бескорыстие, ее решимость?.. Вот завтра она возьмет своего ребятенка и устремится в Москву, как ты? Да, что скажешь ты прежде всего себе?..

Тремя днями позже он действительно узнал, что Анна уехала — дочь была с нею.

Всю ночь над Лондоном раздавались гиеньи стенанья «фау».

Горели склады на Темзе, полоса Гайд-парка вдоль Бейсуртер, универсальный магазин у Трафальгарской площади…

В пору жестоких бомбежек Лондона взрывы тонули в реве самолетов и неумолчном шуме зениток. Сейчас каждый удар «фау» взрывал ночь. В этих ударах был свой ритм, зловещий. Точно срабатывал часовой механизм на мине. Сколько взрывов, столько и мин… После всего, что пережил великий город, новое испытание могло показаться и не столь грозным, однако нельзя было отделаться от впечатления, что город минирован. Минными полями стали площади, скверы, железнодорожные насыпи, шоссе… Когда взрыву предшествовали артиллерийская стрельба и вой самолетов, это, пожалуй, было не столь внезапно, а поэтому не так грозно. Сейчас было по-иному: взрывы рвали город, они рвали его в тишине.

Новые звуки невозможно было преодолеть без того, чтобы не родились новые рефлексы. Но рефлексы не могли возникнуть вдруг, их возникновению должно было сопутствовать время… А пока город не спал, с тревожной чуткостью прислушиваясь к стонущему визгу «фау» и взрывам, которые как бы рушили ночь…

Бекетов побывал в резиденции премьера на Даунинг-стрит и неожиданно встретил там Хора. Почтенный полковник был вызван на доклад к премьеру с генштабистами, действующими на континенте.

— Нет, в этом вашем чертовом Лондоне не уснешь! — засмеялся полковник и ткнул кулаком в бороду, как в подушку. — Возвращаюсь в Кан, там у нас спокойнее!.. — Он подмигнул Бекетову. — Сегодня был свидетелем… некоего события и вспомнил вас, как видно, нам с вами непросто разминуться!..

Бекетов подумал, что хитрый Хор хочет разговора, при этом по вопросу, в котором заинтересован прежде всего он сам.

— Милый полковник, я вас уже немножко знаю, поэтому

говорите то, что вы хотите сказать…

Полковник улыбнулся, нечто благодарное рассмотрел Сергей Петрович в этой улыбке.

— Я тут облюбовал укромный уголок, нет, не под сенью лип, а под сенью торшеров… Впрочем, там уютно, как под липами.

Действительно, два торшера, увенчанные фигурными фонарями из темно-оранжевого шелка, хотя и не в силах были рассеять полутьму дома, но делали этот уголок почти райским.

— Сегодня ночью я проехал по Лондону и видел такое, что не приведи бог увидеть вам. — В свете оранжевых фонарей его борода точно воспламенилась. — Может быть, есть смысл нам храбриться и говорить, что это не страшно? Ну, в самом деле, что значат тридцать тысяч убитых в такой войне, как эта?.. Всего тридцать тысяч, погубленных этой дьявольской игрушкой Гитлера? — Он охорошил бороду, точно подожженную оранжевым огнем, и казалось, из нее выпали искры. — Трагедия заключается в том, что «фау» беспилотны и нельзя установить, откуда они запускаются. Поэтому так важно то, что я вам скажу сейчас. Нами обнаружено местоположение полигона, где немцы испытывают свои «фау», эти и, по слухам, еще более грозные. Полигон где-то в Польше, на восток от Кракова, на пути движения ваших войск… Мы знаем даже его название: Дебице. Как мне сообщили, вчера пошла телеграмма от нашего премьера вашему: захватить станцию и дать возможность нашим специалистам побывать там… Не скрою от вас, что просьба британского премьера встречена у нас не без скепсиса.

— Не без скепсиса… Почему?

— Некоторые мои коллеги говорят: «Наивно думать, что Сталин, получив доступ к секретному оружию немцев, откроет его нам». Если хотите знать, сомневаюсь в этом и я. Но чем черт не шутит, не так ли? Если это произойдет, это поставит скептиков в нелегкое положение…

— В каком смысле? — спросил Бекетов, нетрудно было догадаться, что имел в виду Хор, но хотелось, чтобы об этом сказал он.

— Они утверждают, что Россия копит силы, чтобы быть во всеоружии, когда война закончится… Взгляните на этого полковника в дымчатом френче… Ну, этого, с седыми подусниками. Приметили? Так вот это один из главных скептиков… Россия копит силы — это сказал он…

— С какой же целью, простите, копит? — спросил Бекетов.

— На всякий случай…

— Это сказал тоже господин с подусниками?

— Он, разумеется. Но что вы смеетесь?

— А вот если Москва возьмет и даст согласие на поездку этого господина с подусниками в… Дебице?

— Вы так говорите, будто бы это согласие уже получено.

— Нет, я сказал: если…

— Ну, тогда поедет в Дебице не он, а я…

— Ловлю вас на слове, полковник.

— Будь такое разрешение получено, оно поставит все вверх дном.

— Нет, оно поставит все на свои места, дно будет там, где ему надлежит быть, полковник…

Бекетов, начав этот разговор, не знал: Москва действительно дала согласие на поездку англичан в Дебице.

37

В тот самый день, когда Хор сообщил Сергею Петровичу о Дебице, телеграмма Черчилля, как, впрочем, и ответ советского премьера, стали известны Бардину. Телеграмма Сталина, как показалось Егору Ивановичу, не оставляла сомнений насчет желания советской стороны помочь англичанам. Сталин не часто обращался к формуле, которая присутствовала в телеграмме: он обещал взять просьбу англичан под свой личный контроль.

Так или иначе, а это дело восприняло интонацию сталинской телеграммы; советским властям, которым предстояло опекать английскую миссию, было дано указание оказывать ей всяческое содействие. Английская миссия по пути в Москву прибыла в Тегеран и тут же получила визы на въезд в СССР. Как ни насущна была поездка англичан в Дебице, она так и осталась бы в компетенции военных, если бы на приеме в американском посольстве Егору Ивановичу не представили членов английской миссии, направляющейся в Дебице, и среди них генерала Барроуза, возглавлявшего миссию, и полковника Хора. Имя Бардина было звуком пустым для англичан, но это не мешало им высказать пожелание, которое Егора Ивановича обязало.

— Не скрою, что наша поездка видится мне из Москвы, пожалуй, даже сложнее, чем из Лондона, — произнес генерал Барроуз и, достав платок, осторожно поднес его к глазам, заметно влажным — пребывание на североафриканских аэродромах, которых не минула обычная для июля песчаная буря, оставило свой след. — Как понимаю задачу я, хорошо, чтобы с нами выехал не только дипломат военный, но и дипломат, так сказать, штатский, знакомый… с положением дел… — формула «знакомый с положением дел», очевидно, подразумевала общеполитические дела.

— Ну что ж, мы готовы подумать и об этом… — сказал Бардин, как всегда резервируя отступление. Обычно его ответ был менее определенен, нежели его намерения.

Бардин обещал такого дипломата к миссии прикомандировать и, вернувшись в отдел, сообщил Хомутову, чтобы тот готовился к поездке в Дебице.

— Вы полагаете, что нынешнее Дебице для англичан… это не только ракеты, Егор Иванович? — спросил Хомутов и взглянул на телефонный столик. В течение тех десяти минут, которые Хомутов находился у Бардина, аппараты точно онемели, в том числе и наркомовский, и тот снежно-белый, по которому звонили от Сталина.

— Мне кажется, не только.

— Польское подполье?

— Не знаю, но склонен допустить…

— Варшава?

— Возможно…

— Значит… Дебице и Варшава?

— Я этого не сказал.

Бардин и в самом деле этого не сказал, но об этом он мог подумать, поездка англичан в Дебице совпадала с событиями, происходящими в Варшаве. Бардин допускал, что совпадение это случайно, а коли случайно, то не следует себя отдавать во власть сомнений. Но Бардин — дипломат, обладающий опытом, а он, этот опыт, учит: сам факт, что обстоятельства странным образом совпали, не следует игнорировать. Наоборот, резонно его осмыслить, этот факт, и принять меры, единственно целесообразные. Какие?.. Ну, сейчас говорить об этом рано, но Хомутову есть смысл поехать с англичанами. Именно Хомутову: силен в артиллерии, да и в дипломатии не профан.

— Дебице и Варшаву объединил не я, — заметил Хомутов; возражая Бардину, он не сделался менее хмур. — Их объединил Черчилль…

— В каком смысле?

— Едва ли не в одной и той же телеграмме он просил и о Дебице и о Варшаве…

Хомутов склонял Бардина к разговору без недомолвок — поездка была сложной, и он хотел, чтобы Егор Иванович сказал ему все, что мог сказать.

— Вы хотите знать мое мнение о Варшаве?

— Да, разумеется…

— Извольте, но с одной оговоркой, это мое личное мнение, сугубо…

— Я прошу вас об этом.

Бардин едва ли не вздрогнул от мысли, что пришла ему сейчас на ум: вчера он не решился бы сказать Хомутову того, что хотел ему сказать сейчас. Ему, пожалуй, трудно объяснить, почему бы не сказал, но очевидно одно — не сказал бы. Но сегодня говорит не задумываясь, и это хорошо. Пожалуй, это даже очень хорошо, так как означает победу того большого, что Бардин издавна пытался сделать знаком своих отношений с людьми, что стремился сберечь в себе, чему был верен и что, в сущности, вмещали два слова: добрая воля.

— Когда мы говорим, что наступил новый период войны, новый, а следовательно, качественно иной, чем прежде, то это не пустой звук, — начал Бардин и тоже не без тревоги взглянул на

телефонный столик. Аппараты продолжали молчать, так бывало лишь в часы большого разговора в Кремле, в котором участвовал весь круг лиц, приобщенных к оперативным делам, не чуждым и интересам Егора Ивановича. — Действительно не пустой звук, — подчеркнул Егор Иванович не торопясь, он любил подступать к сложным понятиям издалека — разбег давал возможность нарастить интерес, а следовательно, подготовить слушателя к восприятию главного. — Нет, не сегодня и, пожалуй, не вчера, а много раньше, возможно, осенью сорок второго, а возможно, весной сорок третьего Черчилль понял, что его расчет на то, что русские и немцы обескровят друг друга, а он, Черчилль, придет в Европу и решит спор в свою пользу, несостоятелен… А коли так, надо не пустить русских в Европу, физически не пустить. Черчилль предложил план вторжения союзных войск на Балканы, стремясь заменить этим вторжение на французский юг. Как известно, и этот план не был принят в какой-то мере потому, что этому воспротивились не только мы, но и американцы. Поняв, что не в его силах воспрепятствовать приходу русских в Европу, Черчилль предпринял новый шаг. Смысл его: в конце концов, не важно, кто пришел в Европу, важно, кто в ней закрепился. Это значит: в момент, когда русские подойдут к столице, выхватить власть и передать ее в руки своих. Именно выхватить, разумеется, с помощью всех тех, кто в силу социальных, политических, кастовых и всех прочих особенностей защищает прошлое Европы и ориентируется на могущественную Великобританию… Я, наверно, забегаю вперед, но пусть проверит меня история. Не сомневаюсь, что где-то в анналах британских секретных архивов уже откладываются документы, свидетельствующие о заговорах, в которых участвуют битые генералы, бывшие парламентарии и министры, малые и великие магнаты, земельные и промышленные, много магнатов, как, впрочем, и короли со всей своей челядью, в которой есть место церемониймейстеру и маршалу двора. Каждому заговору свойственно нечто свое, но есть и общее. Иначе говоря, как ни велики звания и титулы тех, о ком я говорю, этих сил достаточно лишь для дворцового заговора, не больше. В обычных условиях вряд ли народ пошел бы за ними, но ныне условия, необычные: хоть с дьяволом, но против немцев. То, что это не только против немцев, но и против армии истинных мстителей, понимают не все. А речь идет именно об этом: выхватить власть и передать ее в руки тех, кто ею владел до прихода немцев. А народ? Как он? Проклятие гнету, да здравствует новый гнет? Пожалуй, так оно и выходит. Есть еще один знак у этих заговоров: они должны совершаться людьми, враждебными новой России, иначе в них нет смысла, для тех,

разумеется, кто заговоры организует. Иначе советская сторона ставилась бы в известность не постфактум… Впрочем, я говорю об этом загодя и могу ошибиться, хотя вы моложе меня, вам и карты в руки, вы можете меня проверить… Варшава? Пожалуй, Варшава, но это может иметь место не только в Варшаве, но и в Бухаресте, например. Если позволить этой камарилье выхватить власть, народ будет поставлен перед необходимостью бороться за власть, борьба продолжится… Короче, как ни своеобразны условия Польши, это явление не только польское, да Польшей и не ограничиваются интересы Лондона — команда идет оттуда… — произнес Бардин убежденно и протянул руку к снежно-белому аппарату — раздался звонок с характерным присвистом, почти праздничный — такой голос был только у этого аппарата, — видно, большой разговор, которым был занят Кремль последние полтора часа, пошел на убыль. — Погодите, на чем мы остановились? — спросил Бардин, закончив нехитрый диалог по телефону. — Вспомнил. Да, да, команда идет из Лондона!.. Разумеется, Черчилль не смог бы ничего сделать, если бы его интересы точно не соответствовали интересам всех тех, на ком стоит старая Европа, но ведь то Европа старая, а не новая, а в этой войне, смею думать, решается судьба Европы новой…

Хомутов слушал Егора Ивановича, мотал на ус. Очень хотелось оспорить довод Бардина, возразить, но как ринешься в бой без подготовки, тем более что Егор Иванович свои доводы, как видно, обдумал и отлил в формулу неколебимую. Был один вопрос, вызывающий сомнения: как реализовать систему бардинских доводов в беседе с англичанами, если, разумеется, она возникнет? Да пойдут ли англичане на такие переговоры, есть для них в этом смысл? Если человек ищет правду, то есть. А такие имеются среди англичан, ищущие правду? А почему бы им не быть?

38

Явилась Августа, отболев три месяца. Она была непонятно торжественна и с завидной последовательностью обошла все комнаты отдела. Она говорила о себе ласкательно: мое сердечко, головка, печеночка, височек, ноженька. Она глядела почти жалостливо, вымаливая сочувствие, если не слово, то улыбку. Казалось, все в ней отстрадало и отмерло, осталась мольба о сочувствии. Она точно говорила всем, кто имел неосторожность с нею заговорить: «В эти три месяца я испытала нечто такое, чего вам никогда не постичь, у меня была инфлюэнца». Разумеется, простое русское слово «простуда» было предано забвению, торжествовало заморское «инфлюэнца».

Но она праздновала свою болезнь лишь до той самой минуты, пока ее не увел Бардин. Сострадание Бардина ей было бы особенно дорого, но, странное дело, он свел разговор об инфлюэнце к трем словам и с жестокой деловитостью, даже большей, чем обычно, перешел к текущим делам. Он сказал, что не исключен приезд в Москву Черчилля. Внешним поводом к приезду британского премьера может явиться желание информировать Сталина об итогах диалога британского премьера с Рузвельтом в Квебеке. На самом деле суть в ином — новый этап в отношениях с Советской страной. Короче, надо исследовать прессу именно на этот предмет, исследовать, а значит, всесторонне осмыслить… Бардин едва вымолвил это магическое «исследовать», и болезнь Августы Николаевны как рукой сняло, она ринулась в бой. Как это было обычно с нею, в один миг все пришло в движение, все обрело и темп, и устремленность, дело пошло… Явилась бы Августа неделей раньше, плоды ее поисков подоспели бы ко встрече, которая вдруг возникла у Егора Ивановича и, по всему, имела отношение к приезду британского премьера: Егора Ивановича приглашали на Софийскую набережную.

Бардин полагал, что поводом к приглашению было возвращение англичан из Дебице, и был удивлен, обнаружив, что советник Митчелл не очень-то ломал голову, подыскивая повод. Не мудрствуя лукаво, он пригласил Егора Ивановича на ленч, добрый ленч, обычно устраиваемый в Англии в полдень, а здесь смещенный на полтора часа позже.

Стол был накрыт в небольшом банкетном зале, выходящем окнами в посольский сад, за которым простирался зеленый массив сквера на Болотной площади. Окна были открыты, несмотря на дождь, по-августовски обильный, зарядивший с утра;

сколько мог обнять глаз, небо было в тучах.

— Наверно, это причуды старого лондонца, для которого нет лучшей погоды, чем теплый дождь, — произнес Митчелл, обратив к свету тыльную часть руки, окропленную дождем. Стол был пододвинут к окну, и брызги дождя иногда падали на скатерть. Он протянул руку к полуоткрытой двери, и тотчас не подошел, а подкатился беловолосый малыш, такой же сивобровый, как мистер Митчелл, но только без бакенбард. — Дай руку, Бобби, мистеру Бардину и мигом к себе!.. — Но Митчеллу стоило труда отпустить сына, который, по всему, был слабостью отца, да и сын не хотел идти… — Небось подумали, чисто английское явление — шестидесятилетний отец и семилетний сын, разумеется баловень?.. Так ты пойдешь к себе, милое дитя? Видите, не идет?.. У нашего оскудения одна основа — поздно начинаем!.. Нет, нет, вы не смейтесь, во всем поздно начинаем, в том числе в делах семейных, нельзя жениться в пятьдесят лет!.. Так ты думаешь убраться отсюда, милое дитя?..

Но милое дитя знало свою силу: оно щурило рыжие глаза, беззвучно хохотало и тянулось белой ладонью к бакенбардам отца, зарываясь в них. Отец смешно подергивал плечами, закатывая глаза, как при щекотке, смеялся и конечно же не хотел отпускать сына — старый лис, многоопытный, премудрый, явно был в плену деспотической силы своего отпрыска.

Отец и его лукавое чадо расстались не без усилий, но еще долго почтенный советник закатывал глаза и вздыхал, переживая расставание, так переживал, что, казалось, забыл, по какой причине пригласил Бардина на ленч. Забыл? Нет, такие, как Митчелл, не забывают. Все в действительности сложнее. Просто он призвал сына и сделал достоянием Бардина свою слабость, чтобы показать Егору Ивановичу, что беседа, к которой ему сейчас предстоит обратиться, не плод расчета, а как бы наитие. В конце концов, таким, как Митчелл, надо демонстрировать не расчет, а именно наитие.

— Знаете, что мне сказал генерал Барроуз, отправляясь в Дебице? — вдруг спросил Митчелл, подходя к окну и пошире его распахивая. Дождя, который ветер заносил в комнату, кропя стол, Митчеллу явно было недостаточно. — Он сказал: единственное, чего я хотел бы, чтобы этот жест русских со временем стал известен лондонцам, гуманный жест… — Он задумался. — Могли бы мы в таком же духе решить польский вопрос?

— Господин Митчелл имеет в виду Варшаву?

— Ну, хотя бы… Варшаву.

— Варшаве надо помогать, разумеется, господин Митчелл… Не Буру, а варшавянам. Если же говорить начистоту, то вот мое

мнение: элементарная справедливость требует, чтобы о восстании, рассчитанном на поддержку советских войск, знали бы советские войска…

Митчелл молчал — у него было желание возразить Бардину, но последняя фраза русского заметно ограничивала пространство для маневра.

— Хорошо, должно быть взаимопонимание, — наконец проговорил он; очевидно, он обратился к формуле не очень конкретной «должно быть взаимопонимание» не без расчета, ответ по существу был бы для него сейчас затруднителен.

— Именно об этом я и говорю, должно быть взаимопонимание… — заметил Бардин, жестко возвращая собеседника к сути своей реплики. — Элементарная справедливость требует…

Митчелл подошел к окну и осторожно полуприкрыл его створки — он хотел сосредоточиться, дождь вдруг стал мешать ему.

— Согласитесь, господин Бардин, когда люди не видят друг друга, недоразумения заметно возрастают, не так ли?..

— Необходим контакт, мистер Митчелл?

— Необходима встреча трех и возможно раньше, господин Бардин. Со времени Тегерана прошло девять месяцев — для нынешних времен это много…

Вновь явился белобрысый отпрыск Митчелла, но в этот раз отец его не отринул, а привлек к себе и даже подставил под белую ладонь малыша баки. Сивобровый определенно помогал отцу создать впечатление некоей домашности обстановки, а следовательно, незаданности того, что было сказано и предстояло сказать. А на самом деле у беседы был свой замысел — все, что сказал англичанин и предстояло сказать, не могло быть не начертано заранее рукой опытной и, пожалуй, твердой, весьма вероятно, в Лондоне, а возможно, здесь, в Москве.

— Если такая встреча состоится, то это могло бы иметь место где-то на наших островах, например, — произнес Митчелл и жестом, столь же нетерпеливым, сколь и твердым, подтолкнул отпрыска к выходу — малыш сделал свое и мог удалиться. — Сентябрь очень хорош у нас, в конце концов, резиденцией могли бы быть и корабли… Насколько мне известно, предложение нашего премьера пошло обычными каналами… Вы полагаете, что оно будет встречено с пониманием?..

— Очевидно, хотя нет необходимости приспосабливать линкоры под резиденции, господин Митчелл, линкоры сегодня так заняты…

У англичанина был острый слух на иронию.

— Вы полагаете, что русскому премьеру будет трудно отлучиться из России?..

Бардин не спешил с ответом, вопрос был поставлен достаточно определенно.

— При том темпе и размахе, какое наступление приобрело сегодня, очень трудно… Впрочем, я могу тут и ошибиться… — добавил Егор Иванович, пораздумав, он полагал, что человек в его положении, обращающийся к категорическому ответу, должен иметь на него право — у него, как думал он, такого права не было.

— Но согласитесь, что союз — это взаимопонимание?.. — произнес англичанин, он торил одну тропу: встреча трех, новая. Англичанина можно было понять: после того, как вторжение состоялось, возникло мнение, что русский союзник до поры до времени не заинтересован в такой встрече. — Мы учились понимать друг друга всю войну, господин Бардин…

— А его разве нет… взаимопонимания?..

— Нет, почему же? Оно есть, но… что скрывать? Все очень трудно, господин Бардин… — Он вобрал губы и замер, подбородок его взбух, нос, вздувшись, утратил прежнюю форму. Как ни страшен был он сейчас, именно сию минуту он и был человеком, отдав себя во власть чувства неподдельного. — Все трудно… — произнес он, не было сомнений в его искренности.

— Трудна… проблема мира, европейского мира, господин Митчелл? — Казалось, если он способен сказать правду, то это произойдет теперь, упустишь момент, и его способность быть искренним убудет безвозвратно.

— Нет, не только Европа… — произнес Митчелл и остановился — вот и пресекся в нем этот миг драгоценный.

— Япония, господин Митчелл?

Он неопределенно покачал головой, улыбнулся, лицо стало гладким, благообразно гладким.

— Возможно, и Япония, — согласился он нехотя и, дав себе время подумать, спросил Бардина и в какой-то мере себя: — Что есть победа без победы над Японией?..

— Но есть ли причины для беспокойства, господин Митчелл?.. Дело идет к этому…

— Вы уверены, к этому?..

Бардин взглянул на англичанина и увидел, что глаза его, устремленные на Егора Ивановича, были тверды, казалось, они стали такими только что.

— А у вас сомнения, господин Митчелл?

— Бобби, поди сюда… Бобби!.. — крикнул он, заметив в полуоткрытую дверь сына. — Постой рядом со мной, дружочек.

Постой вот тут… — Он дотянулся до головы сына, принялся гладить, проводя рукой по волосам. Он чуть сгибал средний палец с тяжелым перстнем, украшенным квадратным аметистом, — явно опасался поранить голову сына. — Постой, родной… — рука его остановилась, он задумался. — Мне хорошо, когда ты рядом. — Он точно набирался сил, приникнув ладонью к голове сына Аметист был непобедимо молодым, а кожа руки несвежей. — Теперь иди, дружочек, иди… — Его рука соскользнула с головы, когда мальчик едва ли не достиг двери, рука казалась неправдоподобно длинной. — Иди…

Но мальчик остановился. Он точно специально остановился в дверях, чтобы Егор Иванович мог его получше рассмотреть. Только сейчас Егор Иванович заметил, что у мальчика было лицо взрослого. Не возьмешь в толк, что тому причиной: шестидесятилетний отец или недуги, что одолевали ребенка? А малыш закрыл дверь, в этот раз осторожно, с пониманием того, что происходит, и ушел, так и не сказав того, что хотел сказать, точно храня тайну происходящего. Малыш ушел, а отец так и не мог победить трудную свою думу.

— Мы с вами политики, поседевшие в делах, и должны понимать: добрая воля хороша, когда есть взаимная заинтересованность, одна добрая воля не в состоянии ничего сделать… — Он выдвинул челюсть, и его лицо, до этого почти кроткое, стало злым. — А что есть заинтересованность, если не зависимость?.. Вы были заинтересованы в большом десанте, а следовательно, зависимы… Мы поменялись ролями: мы заинтересованы в вашей помощи на Востоке, а следовательно, зависимы… Рычаг, который был у нас, оказался в ваших руках… Ловлю себя на мысли: вчера просили меня, сегодня прошу я. Рычаг — это всесильно, не так ли?

Он будто осекся на полуслове, но в его реплике было все, чтобы понять его до конца. Он точно говорил: в момент поворотный, когда не в столь уж далекой перспективе наметились контуры Мирной конференции, рычаг перешел в руки русских. Искусный политик не недооценит этого обстоятельства. Расчетливо пользуясь этим рычагом, используя его прочность без остатка, но ни в коем случае не пережимая, можно возобладать над всеми проблемами, даже теми, решение которых в иных условиях могло показаться нелепым.

— На рычаг… опирайся, да сам не плошай!.. — засмеялся Бардин, а англичанин с лукавым смирением и боязнью посмотрел на русского, он еще не очень понимал, почему у того не вызвала энтузиазма бойкая формула о рычагах.

— Наш премьер, насколько мне известно, поддержал мысль о

награждении Гопкинса и Бивербрука русскими орденами, — вдруг выпалил британский советник, выпалил вне связи с предыдущим.

Нет, эта тирада призвана была не просто возвестить окончание разговора, она представляла интерес сама по себе: Черчилль предлагал наградить Гопкинса и Бивербрука! Только подумать: старый Уинни ходатайствует о награждении тех, кто в непростом русском вопросе если не противостоял ему, то занимал позицию, отличную от позиции английского премьера. Нельзя сказать, чтобы старый Уинни был в такой мере терпим, объяснение в ином — теперь, когда разногласия во взглядах на второй фронт стали достоянием истории, можно обнаружить не только терпимость, но и известную широту, то есть проявить качества, которых британскому премьеру, как утверждает молва, как раз и недоставало.

Бардин шел домой и не мог постичь того, о чем только что была речь. Чудилась тревога, что полонила англичан и которую они, как ни добры были последние вести с фронта, не могли одолеть. Даже не очень можно было уразуметь: вон какая гора была преодолена, а на душе у них смутно. Ну, разумеется, нынешний англичанин с Софийской может и не представлять всех англичан, но и он кого-нибудь да представляет… И еще думал Егор Иванович: вот эта железная череда дел, возникающая в его жизни, когда вслед за одним делом является следующее, без пауз, без передыху, вот эта череда дел начисто лишает тебя способности оглянуться вокруг и подумать о том, что есть твоя жизнь, твои близкие. А хочется думать именно об этом: о Сережке, который решительно отказывается писать письма, и новой Ольгиной работе, по всему, отколовшей ее от дома, о Мироне, получившем приказ возвращаться в Америку и со свойственной ему строптивостью опротестовавшем этот приказ, о Якове, давшем обет молчания и не нарушившем его в течение всей войны, об Ирине, которая, становясь взрослее, делается упрямее, об Иоанне, пренебрегшем своими хворями и с некоторого времени свившем гнездо в Баковке, холодное стариковское гнездо, которое не украшает жизни и не греет немолодого тела… И по мере того как он думал сейчас об этом, Бардины рисовались ему фамилией самоуправных, своевольных и куда как гордых людей, для которых нет непререкаемых авторитетов и которым конечно же закон не писан…

Но, думая так, Егор Иванович не знал еще всего о Бардиных, старых и молодых. Он вернулся домой позже обычного и неожиданно встретил Ольгу на садовой тропе, ведущей от дома к калитке. Заслышав шум подошедшего поезда, она, видимо, вышла

Егору Ивановичу навстречу. Ирины еще не было, и, как казалось Ольге, сегодня она может не вернуться, впрочем, все должно объяснить ее письмо отцу, оно ждет Бардина. Посредине обеденного стола действительно Егора Ивановича дожидалось письмо дочери, оно лежало как-то наискось, точно брошенное нетерпеливой рукой, как легло, так лежало. Ольга к нему, разумеется, не прикоснулась, не в ее характере. Именно об этом думал Егор Иванович, пододвигая конверт от середины стола к краю. Все это было для Бардина значительно и на какой-то момент заслоняло собой мысль о содержании письма.

Он взял письмо и пошел прочь из столовой — если и принимать удар, то один на один. Письмо было коротким, но написано тщательно, видно, переписывалось. Если за этим был поступок, то не безрассудный, подумал Егор Иванович и, повинуясь этой мысли, успокоился. Но, видно, успокоился рано… Ирина писала, что не может смириться с тем, что мать оставлена в холодной зауральской степи, едва ли не забытая всеми. Минуло почти три года, и никому не пришло в голову посетить ее могилу. Наверно, сейчас не то время, когда можно говорить об этом, но она, Ирина, никого и не винит. Она просто скопила рубли и копейки и отправилась за Урал…

Нет, это письмо, написанное с детской тщательностью, его не щадило. Справедливо не щадило. Это был укор его совести… Укор, который ничто не могло оправдать. Как же он не догадался это сделать до сих пор. Прежде всего сам и, разумеется, потребовать этого от Ирины? Теперь, почти через три года после смерти Ксении, он мог бы, пожалуй, признаться себе, осторожно признаться, что не любил ее так, как должен был любить. Но в этом оправдании был бы смысл, если бы у него не было детей. Надо понять, она была матерью его детей. Он готов был повторять бесконечно: матерью его детей… Как он мог поступить так, коли она вызвала к жизни его детей, своим дыханием и кровью вызвала… Совести должны учить детей отцы. Когда случается наоборот, это худо… Да надо ли быть столь беспощадным к себе? Вон какими страдными были эти годы. Если получилось так, то не потому же, что ты щадил себя?.. Надо ли быть столь беспощадным к себе?.. Надо, надо! У тебя ведь есть дети… Надо!

Хомутов вернулся из Дебице и, не застав Бардина в отделе, сказал секретарю, что едет домой. Звонок Егора Ивановича застиг чадолюбивого Хомутова, когда он исследовал воспаленное горло младшего сына.

— С последышем своим вожусь, — взмолился Хомутов. — Что

с него взять, когда он слеплен из завалящего материала — истинно мешок худой… Один край заштопаю, другой порвется… Одним словом, был дипломатом, стал педиатром… — Он помолчал, собираясь с мыслями, не просто было переключиться с педиатрии на дипломатию. — Я готов быть у вас минут через сорок.

— Поездка… удалась?

Как ни прост был вопрос, в ответ раздалось лишь Хомутовское покашливание, означающее нелегкое раздумье.

— Англичане довольны, — произнес наконец Хомутов. Смысл его ответа можно было понять так: «Англичане довольны, да я не очень».

— Главное, чтобы гости были довольны! — произнес Егор Иванович, выйдя Хомутову навстречу, когда тот появился в бардинском кабинете. Опершись на хомутовское слово, Бардин приближал разговор к существу. — Главное… а с остальным как-нибудь сладим, так?

— Хотелось, чтобы было так, Егор Иванович, а на деле… не очень, — заметил Хомутов, усаживаясь; он любил поважничать, когда ключик от заветной шкатулки был в его руках. — Короче, миссия в Дебице удалась… Наши военные показали англичанам ракетную станцию, показали так, как может ее показать союзник союзнику. По признанию англичан, они получили ценную информацию, настолько ценную, что это порядочно их смутило… Кстати, в составе миссии был этакий полковник-бородач Хор, жизнелюб и сквернослов, который, как мне кажется, накоротке с вашим Бекетовым…

— Сквернослов… накоротке с Бекетовым? — возопил Бардин, — Непохоже на Серегу!.. Ей-богу, непохоже! — Егор Иванович встал горой на защиту друга.

— Говорит, в самый канун отъезда в Дебице… был с Бекетовым на нормандском берегу и показывал ему Кан… — пояснил Хомутов, смутившись.

— Тогда похоже… Серега, как мне точно известно, был в Кане… — согласился Бардин не очень охотно. — Итак, сквернослов Хор?..

Но короткая стычка с Бардиным сшибла Хомутова с заранее приготовленного текста, на какую-то минуту он умолк, приводя мысли в порядок.

— Я, признаться, не люблю сквернословов… ни русских, ни англичан… — вдруг заявил Хомутов. — Мне всегда кажется, что, сквернословя, они пытаются восполнить некую свою ущербность. Их мнение, их дело… для меня не существуют, да и разговаривать с ними мне неохота. А тут произошло другое… и виной тому,

быть может, ваш Бекетов. Одним словом, я решился задать этому полковнику-бородачу вопрос, который задал бы не каждому англичанину. «Господин полковник, позвольте спросить вас как недавний военный военного: если бы Дебице захватили не русские, а англичане… они бы пустили русских в Дебице?» Знаете, что он мне ответил? Нет, нет, знаете… Он сказал: «Не уверен». Да, он так именно и ответил, и это делает полковнику-сквернослову честь… Но его ответ был очень необходим, чтобы состоялся разговор, о котором я хочу рассказать. Он сказал: «Хорошо, если есть добрая воля в Дебице, почему она не может быть, например, на Балканах, в пределы которых готовится войти ваша армия?» — «А на Балканах будут генералы Буры, господин полковник?» — «А если они будут на Балканах, генералы Буры?» — «По-моему, это не остановит Красную Армию, господин полковник, она войдет на Балканы и выполнит свой долг… Что же касается балканских генералов Буров, то это внутреннее дело Балкан…» Я приметил в его взгляде лукавинку. «Имейте в виду, когда это дело становится внутренним, оно одновременно делается и долгим, и трудным…» — «И все-таки, господин полковник, это внутреннее дело Балкан…»

— Как вы поняли эти слова полковника? — спросил Бардин. До тех пор, пока Хомутов не сообщил своего мнения, Егор Иванович считал картину неполной.

— Он сказал: «Когда говорят о Балканах — пороховой, погреб Европы, это не преувеличение. Короче: мы боимся Балкан». — «Боитесь… в каком смысле, господин полковник?» — «Как бы нам тут не передраться», — был его ответ…

— Я спросил, как вы поняли эту тираду. Ваше мнение? — повторил свой вопрос Бардин, он хотел знать, как видел свой разговор с англичанином Хомутов.

— Полковник сказал еще: «Мы не знаем Балкан. Там горы, а где горы, там сто народов, а это значит, никогда не прекращалась война, если не явная, то скрытая».

— И все-таки… ваше мнение?

Хомутов сидел безгласно, беседа приблизилась к самому трудному пределу.

— Очень похоже, что на Балканах отыщется свой генерал Бур-Комаровский, и не один… И нам это надо учитывать сегодня, ибо Бур — это кровь… Нет, не только болгар, сербов, румын, но и русских…

Бардин говорил себе: будь справедлив и признай, Хомутов умеет смотреть в корень.

39

Поздно вечером отдел печати известил корреспондентов о пресс-конференции наркома. Это было почти беспрецедентно и вызвало толки, во многом разноречивые. Впрочем, комментарии обнаруживали не столько существо события, сколько индивидуальности корреспондентов.

— Не ухватили ли русские «фау», о котором молил их Черчилль? — точно прозрел Клин, склонный видеть в каждом событии нечто чрезвычайное.

— «Фау», да иной. Не иначе, англичане запустили Гесса обратно на континент, и это стало известно русским, — хмыкнул Джерми и посмотрел печальными глазами вокруг.

— Русские вошли в пределы Румынии, — изрек Галуа едва ли не меланхолически.

Француз, как обычно, оказался ближе остальных к истине, но всего лишь ближе.

— Николай Маркович, вы будете со мной на пресс-конференции у наркома, — сказал Грошев Тамбиеву и недовольно сдвинул брови, добрый Грошев любил иногда казаться суровее, чем на самом деле. — Да, возьмите, пожалуйста, папку с бумагой, может быть, надо будет вести записи… Сядьте рядом со мной.

Встреча с наркомом была событием заурядным для Грошева, но не для Тамбиева. Сидя рядом с Грошевым, Тамбиев с напряженным вниманием следил за происходящим. Эта напряженность, наверно, чуть-чуть сковывала Тамбиева, папка с бумагой, которую Николай Маркович взял по совету Грошева, так и осталась нераскрытой, но зато все происходящее точно впечаталось в сознание, запомнившись в деталях.

Зал, куда пригласили корреспондентов, был прямоуголен и слегка вытянут по фасаду. Три окна, выходящие на площадь, давали достаточно света, но обычный для залов заседаний длинный стол был расположен у самых окон. Зал примыкал к кабинету наркома и, очевидно, использовался для деловых встреч. Видно, здесь же происходили и заседания коллегии, кстати, стол был рассчитан человек на пятнадцать, то есть на количество, близкое к числу членов коллегии.

Когда корреспонденты вошли, зал был пуст. Едва корреспонденты расположились вокруг длинного стола и обычный в этом случае шум, сдержанно-почтительный, смолк, открылась дверь в задней стене. Вошел Молотов с кожаной папкой в руках, тонкой и, казалось, совсем невесомой. Он оглядел корреспондентов, едва заметно, без улыбки поклонился, быстро

пошел к письменному столу, к которому длинный стол заседаний был придвинут торцом. В том, как он шел, стуча крепкими каблуками, корреспонденты должны были почувствовать и энергию, и, пожалуй, молодость — для своих пятидесяти трех лет он выглядел хорошо. Вот только в лице его была едва заметная желтинка, выдававшая не столько усталость, сколько недомогание, скрытое, но это способен был уловить лишь пристальный глаз. В остальном человек казался полным сил и обликом своим олицетворял то неустанно деятельное и целеустремленное, что все эти трудные годы, было свойственно большому дому на Кузнецком.

Характерным, наверно, только ему свойственным движением Молотов сложил в щепотку большой и указательный пальцы и ткнул ими в прищепочку пенсне, поправляя. Потом отодвинул от стола кресло, положив прямо перед собой кожаную папку, он намеревался проводить пресс-конференцию стоя. Взглянув на Грошева, который сидел первым от наркома, и точно испрашивая у него разрешения, Молотов раскрыл папку, явив для всех, кто следил за ним, белый квадрат бумаги, заполненный машинописным текстом. Большим пальцем как-то снизу вверх Молотов вновь тронул пенсне, сложил лопаточкой руку и, поддев ею лист бумаги, лежащий в папке, взял на ладонь. Лист точно дышал, вздрагивая на ладони.

— Господа корреспонденты, мне поручено ознакомить вас с текстом заявления Советского правительства… — В руках Молотова еще раз вздрогнула бумага, и ее шелест, едва слышный, точно призвал присутствующих ко вниманию. — Красная Армия перешла в нескольких местах Прут и вступила на румынскую территорию…

Да, было произнесено явственно, что Красная Армия преодолела прутский рубеж и ведет военные действия уже на румынской земле, а Тамбиев вдруг взглянул вокруг и подумал: «Не в этом ли кабинете душной июньской ночью сорок первого Молотов принимал немецкого посла Шуленбурга, принесшего зловещую весть о войне? В этом или, быть может, кремлевском?» Наверно, демарш Шуленбурга призван был устрашить советскую сторону, но у посла не хватило в ту памятную ночь ни человеческих сил, ни, пожалуй, воодушевления — вместо вдохновенной воинственности было смятение. Да, посол всесильного рейха точно раскололся в ту ночь: слова, произнесенные им, жили сами по себе, он сам по себе. Шуленбург, как свидетельствует бесстрастная летопись истории, не мог удержать вздоха и все норовил угнуть голову, чтобы собеседник, упаси господи, не взглянул ему в глаза, Шуленбург

не столько атаковал, сколько защищался… И все-таки зло, которое жило в тексте документа, оглашенного послом, жило независимо от смятенной воли посла, жило, неистовствовало и требовало крови. Что говорить, в ту июньскую ночь сорок первого года необходимо было немалое усилие, чтобы увидеть нынешнюю встречу с мировой прессой на трижды достопамятном Кузнецком, встречу не столь уж громоподобную, но отождествленную с событием громоподобным вполне: Красная Армия взяла прутский предел и уже идет по румынской земле.

А Молотов продолжает читать. Документ, который он предал гласности, как бы разделен на периоды. Первый уже известен — Красная Армия форсировала Прут. Второй — советские войска имеют приказ преследовать врага вплоть до полного разгрома. Третий — Советское правительство заявляет, что оно не стремится к приобретению какой-либо части румынской территории или изменению общественного строя Румынии.

Пресс-конференция закончилась в двенадцатом часу ночи, и тут же асфальтовый пятигранник вокруг памятника Воровскому ожил: как по команде, двенадцать инкоровских малолитражек шумной и нестройной стаей устремились вниз по Кузнецкому, имея целью, разумеется, телеграф — он прекращал прием телеграмм в двенадцать.

На пятиграннике остались лишь корреспонденты, не обремененные многосложными обязанностями и привилегией представителей агентств.

— Вы заметили, русские обратились к этому заявлению так быстро, как они это не часто делают, — заметил Галуа, выбираясь с площади на тротуар. — В подтексте желание успокоить Черчилля, для которого красное знамя на Балканах — все равно что красное знамя на Мальте…

— Нет, не столько Черчилля, сколько Рузвельта, — заметил Баркер. — Черчилль останется Черчиллем, и тут ничего не поделаешь. Другое дело — американец!..

— Рузвельт? А знаете, тут есть свой резон…

Тамбиев возвращался в отдел вместе с Грошевым.

— Однако мы управились быстро, — сказал Грошев. Казалось, в том факте, что управились быстро, для него было больше печали, чем радости. Грошева можно было понять.

Корреспонденты не часто встречались с наркомом. Если же такая встреча состоялась, в ней был смысл только в одном случае: необходим диалог. У корреспондентов не было сомнений, что диалог состоится, казалось, такой диалог в самом замысле встречи. Ну конечно, момент особо ответствен, но и в этих условиях открытый разговор был предпочтительнее молчания.

Нарком, надо думать, понимал это больше, чем кто-либо, и все-таки ушел от разговора, ушел, не очень скрывая своего намерения. Он не сделал бы этого, если бы у него не было причин, причин веских… Но свое понимание факта было и у корреспондентов. Они могли подумать: в нынешней обстановке на такой разговор с мировой прессой здесь имеет право лицо первое, второе уже подобного права лишено. Если у корреспондентов могла возникнуть такая мысль, в этом было для нас немного пользы… Невесело заметив: «Однако мы управились быстро», — сдержанный Грошев дал свою оценку факту.

У Тамбиева было дело в ТАССе на Тверском бульваре. Завидная возможность пройти вечерней Москвой. Вспомнил, как однажды шел этой дорогой с Глаголевым. Истинно, минула вечность с тех пор, как Николай Маркович видел последний раз генерала. В Москве сказывали, что Глаголева по давней привычке потянуло к южным да западным славянам — видели его в Минске, потом в Одессе… В Одессе? Не Софа ли предсказала путешествие старого генерала в милую Одессу? Софа… Возникло желание пройти к Никитским, проникнуть в неоглядную мглу двора с куполообразными ветлами, постоять у темных глаголевских окон.

Тамбиев уже устремил шаги к Никитским, когда услышал позади себя характерный, с гундосинкой голос Галуа:

— Николай Маркович, вот неожиданность, да вы ли это? — Без видимых причин на то Галуа закружил, припадая на больную ногу, того гляди пустится в пляс. — Вот был тут в одной старомосковской семье… Знаете, что вспомнили? Празднование трехсотлетия дома Романовых и комету Галлея… Нет, что ни говорите, а был в этой комете некий знак!.. — Он вдруг затих, опасно накренившись, вот-вот потеряет равновесие и завалится. — Что ни говорите, а есть инстинкт предчувствия…

— Это вы о комете, Алексей Алексеевич?..

— Нет, о вас, Николай Маркович!.. Вот сейчас подумал, надо побывать у Николая Марковича, и вдруг… бац, вы как из-под земли!.. Не хочешь, а подумаешь: есть эта сила, что сильнее нас! — Он вдруг помрачнел. — Сегодня встретил Клина в «Метрополе», а он смотрит на меня и хохочет. «Ты что смеешься, дурак?» А он хохочет пуще прежнего. «Дурак-то не я. Честное слово, не я! Ты вот скажи мне, Галуа, где твой друг Хоуп?» Вот так-то…

— А где он на самом деле, Хоуп? — спросил Тамбиев.

— А бог его знает!.. — воскликнул француз и с печальной пристальностью оглядел Тамбиева. — Поехал к жене и пропал…

Не хочешь верить Клину, да поверишь…

— Поверишь?..

— Я сказал: «Не хочешь верить…» — Они замедлили шаг, замедлили невольно. — В этом мире все так нелегко… схлестнулось, что, кажется, опыта твоей жизни недостаточно, чтобы понять. Трудно, трудно… Николай Маркович.

— Да…

— Сколько раз я разуверялся в людях, а вот твержу, как молитву: «Не спеши назвать человека сволочью…»

— Вы это сказали Клину, Алексей Алексеевич?

Он остановился.

— Вы полагаете, я не способен это сказать?

— Нет, я хотел спросить: сказали?..

— Придет время, скажу…

Под ногами их крошилась листва, в этом году она начала опадать раньше. Пахло пылью, горьковато-терпкой, замешенной на сухой крошке опавших листьев; касаясь губ, эта пыль отдавала горчинкой.

— Говорят, наш большой караван готов двинуться на Балканы, так? — произнес он, оживившись, его хмарь точно рукой сняло. — Наверно, район Ясс? Простите меня, но в тот раз Молотова я понял именно так… Нет, я птица стреляная, и мне надо говорить напрямик: Ботошани и Дорохой? Верно?

Он исчез, точно растаял во тьме. Только и остались что его едко привередливые слова про Ботошани и Дорохой да этот вопрос, заданный с пристрастием: «Вы полагаете, я не способен это сказать?»

А Тамбиев и в самом деле пришел в этот вечер к Никитским и, проникнув во двор с куполообразными ветлами, надолго остановился у темных окон глаголевского особняка. Казалось, в молчании да во тьме окон сокрыто вещее, Софино, надо только дотянуться до двери и грохнуть в нее кулаками, расколотив вдребезги это молчание и эту темь.

Когда до отлета в северорумынские города оставался день, Тамбиев узнал, что к Грошеву явился с протокольным визитом новый польский корреспондент.

— Хочу представить вам новенького, Николай Маркович, минут через пятнадцать приглашу, — позвонил Тамбиеву Грошев. — Быть может, есть резон предложить ему поездку в Румынию?

— Ну что ж, резон определенный, — мог только ответить Тамбиев, опыт ему подсказывал, что процессу акклиматизации нового корреспондента поездка немало способствует.

Когда Николай Маркович вошел к Грошеву, первое, что он увидел, обратив глаза на человека, который сидел сейчас к нему спиной, это худые плечи, как у всех сутулых, поднятые. Казалось, человек воспринял приход Тамбиева этой своей сутулой спиной, встал.

— Здравствуйте, товарищ Тамбиев, узнаете?

Только природная щеголеватость и спасла пана Ковальского, иначе к военному мундиру так быстро не привыкнешь, магистр прав чувствовал себя в военной форме так, будто бы никогда не был штатским.

— Как не узнать? Ока?

— Да, товарищ Тамбиев… Ока, Ока, — он говорил на польский манер: Ока. — Вот товарищ Грошев предложил слетать в Румынию… Вы полагаете, за неделю управимся?

— Мне так кажется, пан Ковальский.

— Тогда я готов.

Поутру они вылетели. В самолете было не жарко. Точно птица, почуявшая ненастье, пан Ковальский сидел на своем железном насесте нахохлившись, его обильные седины выбились из-под конфедератки и закрыли поллица.

— Как у всех стариков, спина мерзнет, — признался поляк, смешно двигая плечами. — Все в моей власти, а вот с этим не могу совладать, мерзнет, окаянная.

Тамбиев захотел помочь старому человеку, он выпросил у запасливых летчиков меховую безрукавку, положил рядом с поляком.

— Экипируйтесь, пан Ковальский, до румынских кордонов не близко.

Но Ковальский не обнаружил воодушевления.

— Это по какому праву мне такие почести, товарищ Тамбиев?

— По праву старшинства, пан магистр, на моем Кавказе у старшего все права.

Поляк улыбнулся:

— Ну, если на Кавказе… — Он снял шинель, надел безрукавку. Казалось, если были в природе слова, способные убедить в эту минуту поляка, то именно эти, в которых был упомянут Кавказ, подобно многим полякам, Ковальский знал Кавказ и почитал его. — Сегодня утром слушал лондонское радио, странные дела творятся в мире! — заметил поляк, оживившись. С теплом к нему вернулась и энергия.

— В каком смысле… странные?

— Лондон сообщает, что в пущах создана тайная армия, какой Польша не знала, — он умолк, с неодолимым вниманием взглянул на Тамбиева, будто вопрошая: понимает он смысл

сказанного? — Готов поверить, что в польских пущах можно упрятать и дракона, но от кого упрятать? — Нет, меховая безрукавка сотворила с паном Ковальским чудо, он точно горячего напился, лицо его теперь было не таким бледным, как прежде. — Говорят, идет война, а мне кажется: идет революция, уже идет — против нее и тайная армия.

Его взгляд был исполнен внимания: понятна его мысль?

Через шесть часов беспосадочного полета самолет с корреспондентами приземлился на окраине Ботошани, северорумынского городка с множеством садов и виноградников, в которые нещедро были вкраплены кирпичные домики, беленные синеватой известью. Кавалькада виллисов ждала корреспондентов на краю взлетного поля. С чисто военной сноровкой штабные офицеры, встречавшие гостей, воссоздали программу пребывания инкоров на румынской земле, и кавалькада направилась к примарии. Дорога была неблизкой, и город точно поворачивался перед гостями всеми своими гранями. Не может быть, чтобы война не коснулась города, но зримые следы ее не ухватывались. С полей возвращались крестьяне, и в скрипе мажар, нагруженных дарами августовской степи, слышалась усталость. Ворота почти повсюду были распахнуты, и можно было рассмотреть, как по карнизам сараев развешаны связки лука и перца, а на крышах сушатся абрикосы, недавно ярко-желтые, а сейчас почти коричневые, привядшие; видно, здесь, как на русском юге, они созревали в одну неделю с хлебом. Во дворах варили варенье и вместе с дыханием гаснущего очага тянуло запахами томленых слив и вишен. Над железными крышами, крашенными пронзительной охрой, кружились табунки голубей. На скамейках сидели старики, много стариков, что свидетельствовало: течение жизни здесь все еще устойчиво. Для Тамбиева было в облике этого городка что-то кубанское, только разница в том, что там огонь войны выполол все под корень, а здесь пощадил.

Медленно раскрылись решетчатые ворота, и корреспонденты оказались посреди непросторного дворика, типично городского, выложенного камнем. Белостенный особнячок огибал дворик подковой. Посреди двора стоял резной столик, круглый, на тонких ножках, и вокруг него три дюжины венских стульев. Стулья были предназначены для корреспондентов, но гости предпочли им каменные ступеньки особняка, тут было прохладнее. Рядом была дверь особняка, судя по тому, что круглый столик был придвинут к ней, главное лицо должно было появиться оттуда. Это лицо, главное, и в самом деле не заставило

себя ждать. Дверь скрипнула и распахнулась, явив румынского генерала, чистенького, румянощекого, в картузе и аксельбантах. Его лакированные сапожки зеркально поблескивали (не иначе, генерал был взят в плен вместе с денщиком), а левая рука сжимала перчатки, сжимала не без удовольствия, — видно, замша была доброй. Он был в отличном состоянии духа, этот румынский генерал, и, казалось, ничего не хотел больше, как обрести плен и выступать перед мировой прессой. В нем что-то взыграло, когда он вышел к круглому столику и, хлопнув благородной замшей по бедру, взял под козырек. Потом он занял место за столом, дав понять всем, кто этого еще не понял, что высокое общество собралось для встречи с ним, и, не без изящества бросив ногу на ногу, поднял глаза на русского полковника. А русский полковник с нескрываемой хмарью смотрел на генерала. Полковник был лысым, длинноруким и крупногубым. Его полковничьи погоны лежали на белесой солдатской гимнастерке, солдатскими были у него кирзы с просторными голенищами, и пилотка с крупной звездой. Неизвестно, спал в эту ночь полковник или бодрствовал, но вся его фигура дышала силой и усталостью, быть может усталостью не только этой ночи — прежде чем прийти сюда, полковник одолел переход войны, большой войны.

По левую руку от генерала сел переводчик. Он был пронзительно рыж и худ. То ли его одолевала жара, то ли гимнастерка была ему просторна, он отдернул рукава, обнажив худые руки, худые, в крупных рыжих волосах, и едва заметный оттиск подковки чуть выше запястья, ярко-синей, несмываемой, — знак тюремного братства Дофтаны, след тюрьмы. Рука переводчика была заметно скована в локте. Когда надо было ее отвести, он поднимал ее всю, от запястья до плеча, рука не сгибалась — то ли память сорокового года, когда землетрясение начисто смело Дофтану, привалив камнями узников, то ли печальная отметина войны…

— Скажите, генерал, а что вы знаете о миссии князя Штирбея в Каир? — вырвался вперед с вопросом Клин, он и прежде брал на себя обязанности войск прорыва.

— Князь Штирбей? — засмеялся Галуа. — Это что еще за птица? Штирбей… князь?

Генерал топнул лакированным сапогом по плоскому камню вопрос Клина понравился генералу, в «прорыве» не было необходимости, румын сам пошел навстречу корреспондентам.

— По-моему, это было в марте или, быть может, в апреле? — вопросил генерал, прямо обращаясь к Клину.

— В апреле, — подтвердил Клин.

— Да, вы правы, — с готовностью согласился генерал. —

Действительно, в апреле князь Штирбей вылетел в Каир, заручившись согласием советской стороны. Ну, князь Штирбей — лицо, близкое королевской семье еще с той поры, когда делам двора вершила королева Мария, — он улыбнулся. — Какую цель ставил князь? Сепаратный договор? Да, пожалуй, сепаратный… Условия румынской стороны: выход из войны, нейтралитет, благоприятный союзникам. Но русские, как утверждает князь предъявили требования, которые принять было трудно, — генерал вдруг вздохнул. Он все предусмотрел, генерал в лакированных сапожках, не предусмотрел только этого вздоха. — Требования русских сами по себе справедливы, но для Румынии непосильны: возмещение ущерба, нанесенного румынской оккупацией…

— А как же вы себе мыслите эти условия? — возмутился Баркер и подпер пухлой ладонью щеку — в самолете он продрог и дал знать о себе больной зуб. — Как… иначе? — повторил Баркер гневно, но ладони не отнял.

— Я сказал, сами по себе справедливые, — вымолвил генерал, — но там было требование беспрепятственного прохода Красной Армии через страну…

— Но ведь это же война, она еще продолжается! — заметил Баркер. — Вы опасаетесь за свои земли?.. Где они у вас?.. В Банате или Олтении?..

— Нет, здесь, в Молдове… — произнес генерал без воодушевления.

— Сколько у вас ее? — по мере того как возникали эти вопросы, Баркер заметно храбрел.

— А вот это уже ни к чему! — возмутился Клин. — В самом деле, какое имеет значение для нас, сколько земли у генерала и где эта земля…

Поднялся шум, казалось, тридцать корреспондентов пошли друг на друга врукопашную. Сам того не ведая, румынский генерал бросил в тех, кто сидел на каменных ступенях особняка, если не бомбу, то кусок горящей пакли, обильно напитанной мазутом, и крик, который раздался при этом, разбудил дремотную тишину городка. Из многочисленных окон особняка высунулись едва ли не по пояс чада и домочадцы, в дверях особняка возник человек в домашних туфлях и феске — то ли рачительный эконом, то ли сам владелец белокаменного палаццо, а в воротах показался полицейский чин, обилием аксельбантов, пожалуй, даже превосходящий генерала.

— Земля — это политика! — кричали одни. — Зачем нам заниматься политикой?

— Простите, но за годы своей работы в газете вы не

занимались политикой?

— Но… мне было безразлично, сколько земли у моего собеседника!

— Вам было безразлично вчера, а сегодня…

— Сегодня в большей мере, чем вчера!

— Неправда! Вы кривите душой!..

Во взгляде генерала, обращенном на переводчика, вдруг изобразилась кротость.

— Пэмынтул?.. Земля?.. — переспросил генерал, он не очень-то доверял этому «традукаторулу» — переводчику со следами пеллагры на руках, что достаточно точно указывало на его дофтанское происхождение. — Пэмынтул? — повторил свой вопрос генерал, они были рядом, эти два человека, но отстояли друг от друга так далеко, что казалось невероятным, что у них один язык.

Неизвестно, как развивался бы дальше этот разговор, если бы Баркер не подал голоса вновь, повторив свой вопрос, правда, в иной редакции:

— А не могли бы вы рассказать о себе, генерал?

Мгновенно воцарилась тишина. Странно, но этот вопрос всех устроил.

— Я происхожу из старинного рода… Шестьсот гектаров пахотной земли, столько же лесов по течению Нямца… Вы… умолкли? — обратился он к переводчику, который устремил на него глаза, полные жестокого укора. — Переводите, переводите!.. Служба в армии: генштаб, потом педагогическая работа в армии, потом опять генштаб и фронт…

Но «традукаторула» точно парализовали слова генерала, он утратил дар речи, а когда обрел его, паузы, одна труднее другой, вторгались в его речь.

— Где вы были на фронте и в каком качестве?

— На Дону, начштаба армии…

— Что вам надо было на Дону?

Генерал на минуту утратил уверенность.

— Я военный и выполняю приказ… — произнес он и оглянулся на переводчика: — Переводите!..

«Традукаторул» вобрал губы — иначе с ними не совладаешь, они дрожали…

— А как вы себе представляете положение румынских войск сегодня?

— Войска ждут генерального сражения… Нет, эта битва не обещает победы, но она обещает успех, а следовательно, более почетный мир.

— Почему… успех, генерал?

— Все-таки битва будет происходить на румынской земле. А дома и собственные стены помогают…

Галуа поднялся с каменных ступенек особняка и перебрался на стул, стоящий у самого столика. Его примеру последовал Клин, а вслед за ним перебрались к столику и остальные. Сейчас корреспонденты взяли столик едва ли не в кольцо.

— Это все хорошо, — откашлялся Галуа, до сих пор он не проронил ни слова. — Непонятно одно: почему же были отвергнуты советские условия в Каире?.. Не хотели, чтобы советские войска прошли по румынской земле, так?..

— Да, только по Молдове, но не по Валахии, Олтении, Ардялу, Банату и Добрудже…

— А как же в этом случае судьба войны, как вести военные действия?..

Генерал испытал неловкость.

— Речь шла о русских войсках, только о русских…

— Не об английских? — спросил Галуа. Все рассмеялись — вопрос был определенно храбрее Галуа, француз мог сострить, пренебрегая своим мнением, он знал толк в остроте и подчас мог предпочесть острое слово даже собственному мнению. — Вам трудно ответить, потому что это не ваше мнение?

— Я не сказал этого…

— Значат, ваше мнение, генерал?

— Мое.

— Почему, генерал?..

— Я бы не был самим собой, если бы думал иначе.

— Благодарю за откровенность, генерал, — это тоже сказал Галуа. — Значит, Штирбей отверг предложение о перемирии?

— Штирбей… представлял не свое мнение.

— А чье?.. — казалось, Галуа вторгся со своими вопросами в самую заповедную сферу и хотел исследовать ее до конца.

— Маниу…

— Простите, а кто такой Маниу?.. — трудно допустить, чтобы Галуа не знал Маниу, но ему было важно мнение генерала.

— Господин Маниу — лидер крестьянской партии, адвокат, получил образование в Вене, известный наш демократ… — генерал взглянул на переводчика, который вдруг умолк. — Я сказал, известный демократ… Переводите, переводите…

Эти паузы, которые возникали в беседе по вине переводчика, были полны если не гнева, то несогласия. «Традукаторул» был лишен возможности возразить, он был всего лишь переводчиком, но он не хотел отказываться от права выразить собственное мнение. Однако чем мог выразить свое несогласие этот человек, кроме как паузой?

— Вы полагаете, что вся надежда Румынии обращена к этой грядущей битве, генерал? — подал голос Джерми, он, как это было с ним многократ прежде, увлекшись беседой с местным священником, опоздал к началу конференции и спешил своеобразно заявить о своем приходе.

— Нет, не только в битве…

— Тогда в чем, генерал?

— В восстании, например.

— Кто… восстанет и против кого?..

— Разве не ясно?

— Маниу против Антонеску…

Теперь генерал взглянул на переводчика не без страха и сам умолк — не очень-то румынский военный решался продолжить свою мысль.

Тамбиев не отрывал глаз от генерала. Видно, аксельбанты и лаковые сапожки давали о нем неполное представление. Больше того, эти аксельбанты и сапожки могли исказить его образ, сделать генерала ординарнее, чем он есть на самом деле. А кем он мог быть, если взглянуть на него непредвзято? Наверно, единственный сын у матери, рано овдовевшей. Женился в сорок, а потом развелся, бездетен, разумеется. Всю жизнь любил жену известного в городе врача-гомеопата, благоустраивал родовое имение на Нямце и лелеял мечту стать начальником румынского генштаба. Последнее было вроде недуга и внушено еще отцом. Он и теперь не теряет надежды вернуться на Нямц обладателем просорушек и маслобоен и в бухарестский Черкул-Милитар, этот не столько клуб высшего офицерства, сколько их парадный плац, производящий смотр победоносного войска… Многих отрезвила эта война, но среди них, очевидно, не было генерала в аксельбантах — он понял меньше, чем мог бы понять.

— А как вы себе представляете будущее Румынии, генерал? — спросил Галуа — в решающий момент француз оказался на месте, не было существеннее вопроса, чем этот. — Монархия?..

— Да, разумеется, парламентская… — ответил генерал с готовностью, но его ответ прозвучал лишь по-румынски, «традукаторул» встал и пошел к выходу, пошел молча. С немым изумлением и, что говорить, восторгом корреспонденты наблюдали, как он шел по плоским камням двора. Только сейчас можно было заметить, что при ходьбе он чуть-чуть поднимал правое плечо и прижимал поврежденную руку, точно боясь обнаружить, что она повреждена. Он уже достиг ворот, когда русский полковник в полевых погонах ему крикнул:

— Нехорошо, товарищ Опря… Поймите, нехорошо так…

«Традукаторул» остановился, положив здоровую руку на стойку ворот, видно, волнение и ему стоило сил немалых.

— Поймите и меня, товарищ полковник Караваев, поймите, — последнее слово он произнес, вздохнув тяжко, волнение стеснило ему дыхание, он ушел.

А тот, кого переводчик назвал полковником Караваевым, сидел потупив глаза, точно всему виной был он. Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы внимание не приковал вновь генерал, вернее, его нога, обутая в лакированный сапог. Нога подрагивала. Генерал искал рукой колено, стремясь смирить его, но рука плясала вместе с коленом.

— Хорошо, что мы успели задать наши вопросы, — нашелся Галуа под смех корреспондентов.

Поздно вечером, когда закончился ужин, Джерми увлек Тамбиева в улочку, затененную пыльной листвой серебристых тополей, и, уперев острый стариковский кулачишко в бок, чуть ли не приткнул его к стволу старого дерева.

— Я разыскал этого Опрю и был у него дома, — произнес Джерми и теперь застучал кулаком по плечу Тамбиева, он был выше Николая Марковича. — Опря — ботошанский житель… Он испанский волонтер, герой Мадрида. Помните университетский городок? Тут вся тайна. Вот так-то.

Джерми ушел, а Тамбиев точно прирос к стволу белолистки. Значит, волонтер испанский, в этом тайна… Но вот что брало за душу — испанский волонтер не сложил оружия и, казалось, не ушел из университетского городка под Мадридом. Не ушел и никогда не уйдет. Он воевал, он все еще воевал…

40

Не столь уж значительны были соблазны в Ботошани, но наутро возникло все-таки два маршрута, каждый из них был характерен для этого угла Румынии, в каждом из них для корреспондентов был свой резон. Первый — на утреннюю службу в церковку женского монастыря, второй — к помещику-виноградарю. Женский монастырь и усадьба виноградаря — не велик материал для спора, что возник тут же. Больше того, этого знака оказалось достаточно, чтобы группа размежевалась едва ли не на враждующие лагери. Были, однако, и такие, кто хотел краем глаза взглянуть на монастырскую молельню, да и владельца виноградников не обойти.

Служба уже заканчивалась, когда корреспонденты появились на паперти монастырской церкви и нестройной толпой, неожиданно присмиревшей и робкой, втекли в неширокую, за красно-синим стеклом дверь. На улице был день с незамутненным небом, как часто в этих местах в августе, ультрамариновым, а здесь была мгла, попахивающая восковым дымком, кроткое мерцание свечей. Она, эта мгла, точно выталкивала из своей утробы один предмет за другим: панагию попа, монотонно читающего псалтырь, золоченый оклад иконы богоматери, кадило в руках дьякона, посеребренные туфельки на ногах игуменьи, или, как тут принято говорить, мамки-старицы. В этой мгле жило и не погибало все позолоченное или посеребренное, убранное искусственной искрой или свечением, призванное и в полутьме хранить свой цвет и очертания, странно, но и тут была своя привилегия… Она, эта привилегия, была тем более заметна, что уживалась с миром другим. Этот мир не отмечали ни огонь, ни позолота, ни серебряная нитка. Он, этот мир, точно поднимался из земли и в землю уходил, сливаясь с колодезной тьмой церкви. Невозможно было бы воспринять его глазом, если бы он не был живым: монахини, однообразно согбенные спины, наклоненные головы, полузакрытые лица… Нет, иногда голова приподнималась и вдруг открывался очерк юного лица, глаза, полные жадного внимания и страха.

А часом позже в светелке, застланной коврами, корреспондентов принимала мамка-старица. В ее светелке было не жарко, и бледные руки игуменьи казались синеватыми, а млечная туманность в пасмурных очах грозно раздвинулась и заняла пол-лица — след монастырского подвижничества или далекого светского приволья, погнавшего страждущую душу в монастырь. Игуменья потчевала гостей вишневым вареньем с

ключевой водой, что по полуденной жаре было приятно, и, кокетливо оглядывая теремок, произносила, любуясь своим французским:

— Война не для женщин… — В словах этих, как, впрочем, в изяществе, чуть показном, с каким были произнесены эти слова, напрочь отсутствовала мамка-старица, многоопытная и, наверно, грозная начальница монашеской твердыни, расположившая свои безбедные угодья на просторах румынской Молдовы, а явилась светская дама, хозяйка модного бухарестского дома, законодательница вкусов. — Нет, не для женщин… — улыбалась она, и в уголке ее красивого рта вдруг вспыхивал блеклый огонек золотого зуба. Этот золотой светлячок, как вестник веселой вольницы, вдруг явился в монастырские покои, заявив, что не так-то просто его загасить, он еще теплится, он жив.

— Простите, а казаки, которые стояли здесь, не обижали ваших послушниц? — вдруг обратил веселые глаза на игуменью Галуа, безупречный французский, который только что выказала мамка-старица, не ослепил его.

— Наоборот, казаки охраняли монастырь, как свой дом! — парировала игуменья, не замечая заключенной в этих словах двусмысленности. — Когда казаки уходили от нас, мои послушницы плакали! — с необыкновенной проворностью она сделала свое лицо скорбным. — Мы всё умеем, нам всё под силу: и кружева, и ковры, и парча, и даже гобелены! — воскликнула она и принялась гладить сухой старушечьей ладонью кружевную скатерть, которой покрыт стол.

Она, разумеется, не преувеличивала: триста молодых женщин, которых корреспонденты только что видели в церкви, умели не только ткать ковры и вязать кружева. Если бы мамка-старица не скромничала, она сказала бы, что они могли и пахать землю, и молотить хлеб, и сбивать масло, и давить вино, то самое, что так высоко ценится повсюду под именем «монастырского» и «церковного»… Непонятно только одно: как эта женщина в серебряных туфельках, наверно читающая на досуге Вийона и Монтескье, организует многообразные усилия фермы, как у нее доходят руки, чтобы вспахать и засеять обширные поля, собрать по осеннему ненастью и распутице урожай, упрятать его в амбары. Наверняка эта мысль приходит сейчас на ум не одному Тамбиеву, но отнюдь не обескураживает мамку-старицу, наоборот, она ее воодушевляет, женщина польщена.

— Так я это делала всю жизнь, только прежде в усадьбе отца, а теперь здесь…

— Простите, сказали: в усадьбе отца?

— Ну конечно же… Я ведь урожденная Контакузен. Слыхали?..

Вот они, вездесущие Контакузены, они и здесь… Только там их рабочие носят льняные рубахи, расшитые красной ниткой, здесь черное монашеское платье…

— Николай Маркович, ума не приложу, зачем вы нас привели в этот монастырь? — подмигивает Тамбиеву Галуа, иронизируя. — Не хотели ли вы этим сказать: мы оставили Румынию такой, какая она есть. Даже вот этого средневековья… пальцем не коснулись. Это вы хотели сказать нам, показав монастырь?

— А если это?

— Благодарю за откровенность, Николай Маркович, хотя согласитесь…

— Да?

— Есть в профессии дипломата некая парадоксальность: превозносить то, что следует низлагать…

— Ничего не понимаю.

— Все понятно, была бы ваша воля, вы бы от этого гнезда средневекового камня на камне не оставили бы. Да, явились бы в этот храм божий и двинули бы речу по образцу тех, которые, согласитесь, произносили русские люди в восемнадцатом. «Бабы, сматывайте манатки, чтобы вашего духу здесь не было! Великому посту — амба!.. Чтобы у каждой было по мужику и доброй хате! Явлюсь сюда через год, но не на утреню и вечерню, на крестины!..» Не это ли вам хотелось им сказать, Никола! Маркович? Ну, согласитесь, будьте искренни…

— Можно сказать и это, да надо ли говорить?.. Уверен, что всему этому дни сочтены, само скоро рухнет…

— Само? Нет! Само по себе ничего не рушится… нужен этакий пинок под соответствующее место. Как свидетельствует опыт истории, нет ничего прогрессивнее такого пинка!.. Вот мы спросили мамку-старицу, как исправно несли службу казаки на монастырских воротах… А она говорит: исправно, когда казаки уходили, монашки плакали. Так они плакали не поэтому… Были бы казаки не казаками, разве бы монашки заплакали?..

Он не удержал смеха и пошел в сторону. Еще долго Тамбиев видел, как у него трясутся плечи.

Они идут к гостинице. Неумолчно стучит деревянный молоток го жести — по осени чинят крыши. Скрипит журавль — в полдень хороша колодезная вода. В горячей пыли лежат утки, как контуженные, завалившись набок, опрокинувшись на спину, раскрыв клювы.

К Тамбиеву подкатывается Клин:

— Слыхали, господин Тамбиев, когда казаки ушли, монашки плакали!

У него невелик шаг, меньше, чем должен быть у человека его роста. Поэтому он не поспевает за Тамбиевым. Чтобы поспеть, должен постоянно переходить на рысь. Тамбиев замечает это, но шага не замедляет, пусть побегает, ему полезно — работа у Клина сидячая.

— Вы видели, как дымится материя, когда при ярком солнце на нее наведена линза? Видели? Секунда, и вспыхнет пламя!..

Кажется, он заставил Тамбиева замедлить шаг.

— Вы это к чему, господин Клин?

— Когда этот рыжий «традукаторул» смотрел на генерала, в глазах его было столько гнева, что казалось, еще секунда, и генерал воспламенится! Вы полагаете, я не прав?

— Возможно, и правы.

— Вот это и есть сегодняшние Балканы… По крайней мере, так кажется мне. А вам?

— Пожалуй.

— Я получил письмо из Лондона. Наш друг Хоуп анонсировал цикл очерков «Письма из России». На манер тех, какие он писал из Лондона. Были «Письма из Англии», теперь «Письма из России»… Для вас это неожиданно?

Кажется, Тамбиев кожей чувствует тишину, которая вдруг наступила. Старик крестьянин вынес ведро с водой, плеснул на пыльную землю, пыль точно вспухла, плеснул на кирпич тротуара, вода будто зашипела на сковородке. Человек отпер стеклянную витрину с фотографиями и подкрутил электрическую лампочку, лампочка зажглась; жених и невеста, жених и невеста на одно лицо, жених в черной паре с восковыми цветами в петлице, невеста — в фате, с выплаканными глазами. Прошел поп, очевидно торопясь к вечерней службе. Он был тонок вопреки почтенному возрасту и вопреки возрасту спор в ходьбе. У него была светская бородка, аккуратно подстриженная и подкрашенная, и пенсне на золотой цепочке — если бы не черная ряса, его можно было бы принять за врача или присяжного поверенного. Он прошел, не удостоив Клина и Тамбиева взглядом, демонстрируя независимость, однако, пройдя квартал, остановился и долго смотрел гостям вслед, не выдержал…

— Вы… хиромант, мистер Клин, и не прочь попророчествовать.

Клин навострил уши, как конь, учуявший опасность, — и боязно рвануться вперед, и есть соблазн испытать силы.

— Вы достаточно знаете меня, мое мнение всегда определённо, я не люблю недомолвок…

— Да, мистер Клин…

— Честного… антагониста я предпочитаю этому другу целенаправленному, целенаправленному в своей тайной корысти…

Ну что ж, нельзя сказать, чтобы его мнение в этот раз было прозрачно, но при известном усилии понять его можно. Он точно говорил Николаю Марковичу, как обычно отдуваясь и вытирая лицо и шею платком в темно-фиолетовую клеточку: «Тот, кого я назвал… и-и-ех-фу, выспренне назвал антагонистом, просто ваш политический противник! Нет, я не оговорился, противник. И вам не надо бояться этого слова… и-и-ех-фу… Почему не надо бояться? Потому что вам известны пределы его несогласия. Поймите нехитрую истину: в том немногом, где он вас поддерживает, он поддерживает вас честно, в том большом, где он противоборствует, он противоборствует… и-и-ех-фу! Он идет с открытым забралом. Да что там говорить! И-и-ех-фу… И в приязни, и в неприязни для вас нет в нем ничего неожиданного! Другое дело… друг, нет, не вообще друг, а целенаправленный, так сказать, друг!.. И-и-ех-фу!.. Надо понять арифметику его действий: в известный момент он поет тебе хвалу, при этом не очень скуп на похвалы, но только в момент известный. Приходит его минута, и он вдруг изрекает… и-и-ех-фу!.. Он изрекает, что заблуждался в вас и в себе самом заблуждался и имеет право предать вас анафеме!.. Из этого следует мораль… и-и-ех-фу!.. Я говорю, из этого следует мораль: а не предпочесть ли вам такому другу честного недруга?»

Вот что хотел сказать или почти сказал Тамбиеву Клин! Надо отдать должное предприимчивому англичанину, в его доводах могли быть своя логика и свои резоны. Но у доводов этих был один изъян: чтобы предпочесть такому другу недруга, тот, кого Клин называл другом, должен обладать той мерой безнравственности, какую хотел бы сообщить ему Клин. Иначе говоря, остановка за малым: Хоупу следовало оправдать надежды Клина, чтобы теория англичанина обрела силу.

— Значит, корысть, тайная, мистер Клин?

— Тайная, так кажется мне…

В конце дороги, пересекшей город и выхватившейся даже за его границы, их ожидал в своей усадьбе помещик-виноградарь. И во внешнем виде хозяина, и в облике его усадьбы не очень-то угадывались помещик и поместье, как одно и другое виделось, например, Тамбиеву. По признанию хозяина, особняк был слепком такого же дома в Шампани, принадлежащего его французскому другу, тоже помещику-виноградарю, тоже князю

или графу.

Это был двухэтажный дом, перепоясанный по фасаду многоцветной фреской — стекло, керамика. В море белокаменных особняков фигурными просветами, окованными витым железом, в стиле которых явственно угадывалась Византия, этот бетонный куб был уникален. Но внешний вид дома не давал представления об интерьере: глазурованный кирпич, керамика, кафель и много дерева — дуб, орех, груша, — одетого в слой лака, тонкий настолько, что дерево как бы обнажалось, обнаруживая и цвет и строение. Нельзя сказать, что убранство дома было богатым, но это было светлое и просторное современное жилище, жить в нем, должно быть, приятно. Представительские комнаты были не столь просторны и, пожалуй, богаты. По всему, хозяин не переоценивал этого назначения своего дома. Зато необыкновенно хороша была та часть особняка, которая помогала хозяину продлить молодость: финская баня, ванная комната, бильярдная, комната для настольного тенниса (две теннисные площадки были под окнами особняка), гимнастический зал с турником, брусьями и шведской стенкой.

Обращало внимание, что этим обилием приспособлений, призванных поддерживать силу сердца и мышц, пользовался один человек. Седовласый, приятно загорелый, с заметно раздавшимися плечами, которыми он не без удовольствия играл при ходьбе, длинноногий и длиннорукий, он был похож не столько на помещика, сколько на тренера гимнастической команды. Он не без гордости показал корреспондентам дом, преодолевая искушение подняться на брусья и выжать стойку, охватить крепкими руками перекладину и раскрутить «солнце».

Потом он прошел вместе с корреспондентами на большой двор, показав птичник, где расхаживали степенно полногрудые «голландки», заглянул в амбары и конюшни, поднялся вместе с гостями на склон кургана, дав возможность оглядеть рыжую гору, разделенную террасами, как морскими дюнами.

— Когда я называю себя пионером, осваивающим дикие земли нашего «Запада», я не преувеличиваю. — Он поднес козырьком ладонь к глазам и оглядел рыжую гору. — Видите вот эту гору? Ее зовут у нас Ослихой — она и в самом деле похожа на ослицу, низкорослая и какая-то нелепо толстобрюхая. Сколько помню себя, столько помню и эту гору. У нас говорили: «Яловая, как наша ослиха». И это была сущая правда, ибо от этой горы испокон веков не было никакого проку. Невелика заслуга, а вот заставил же родить ослиху! Да, да, не смейтесь, заставил!.. Рассек гору на террасы и высадил саженцы сизого винограда с этим запахом, который зовут у нас лисьим, и собрал винограда больше

этой горы!.. Вот это и есть пионеры, осваивающие дикие земли Запада!.. Ну, не буду голословен, сейчас я вас угощу молоком ослицы… Не верите?.. Сейчас, сейчас!

Они возвратились в дом и прошли на веранду, откуда были видны обширный двор с амбарами и птичниками, и сад за двором, и Ослиха, полосатая, как зебра.

Вошел старик в куртке, украшенной медными пуговицами, и внес эмалированное ведро, в котором щебетали бутылки, по всей видимости с «молоком» ослихи. Старик извлек из ведра салфетку, которая была так накрахмалена, что отливала блеском первозданным и стояла колом, а затем ловко выхватил из ведра бутылку, к изумлению присутствующих обросшую комьями глины, изжелта-желтой и сухой.

— «Молоко»? — спросил Галуа.

— Да, чтобы оно не скисло, мы его держим, как видите, в погребе….

«Молоко», к изумлению гостей, оказалось сине-сизым, приятно густым, липким и пилось легко.

— Князь, а каким вы видите будущее Румынии? — вопросил расторопный Галуа. Все охмелели, а он был трезв.

— Да здравствует король! — присвистнул князь, он верил в свое всемогущество и не хотел скрывать симпатий. — Это мой клич…

— А у тех, что на го; е… этот же клич? — был вопрос Галуа. — Я слыхал, у вас любят короля?..

Трезвость Галуа передалась князю.

— А мне нет дела, что они любят, — кивнул он в сторону горы. — Мои привилегии зовутся королем, и я говорю: «Да здравствует король!..»

Последние слова князя отрезвили не только его самого, разом сняло хмель и с корреспондентов, гости ушли, оставив на столе «молоко» недопитым.

Корреспонденты были необычно тихи, когда самолет возвращался из Ботошани в Москву — Румыния задала им задачу.

Поездка явно утомила пана Ковальского, никогда неделя не длилась для него так долго.

— Думал, что увижу Румынию, а увидел Польшу, — произнес он, не в силах скрыть изумления.

— Но ведь Польша — республика, а тут королевство, — заметил Тамбиев с нарочитой серьезностью.

— Все одно, пан Тамбиев, все одно… — возразил старый поляк.

— В каком смысле «все одно», пан магистр? И здесь революция?

— Революция…

Оставалось понять, что означает открытие, сделанное паном Ковальским, для него самого.

К Тамбиеву подсел Джерми, он был бесконечно кроток.

— Я видел этого рыжего румына еще раз, — произнес Джерми. — Знаете, что он мне сказал? «Они думают, что воздвигли новые Карпаты между Яссами и Бухарестом… Неверно, между Яссами и Бухарестом степь, и это не такой секрет, чтобы о нем не знала Красная Армия. Посмотрим, как они заговорят через три месяца…»

Румын Опря точно смотрел в воду: трех месяцев ждать не пришлось…

41

А на Кузнецком мало-помалу все возвращается на свои места, заказанные традицией и временем… Да и на площади перед большим наркоминдельским домом не так зримы следы большой беды, что-то глянуло в ней от прежних лет, нет, не только во внешнем облике, но и в самом порядке, незримом, но твердом, сложившемся не сегодня. У наркомовского подъезда гуляет холодный ветерок, играет случайной бумажкой, там всегда чуть-чуть торжественно и пустынно. У инкоровского подъезда, что с некоторых пор переместился на улицу Дзержинского, веселая суета и непобедимый ералаш. Но есть одно место на площади, во многом примечательное и знаменитое, названное наркоминдельскими старожилами «пятачком». Неисповедимы пути наркоминдельца — одного судьба бросила за Кордильеры, другого — к берегам Огненной Земли, третьего — к подножию Фудзиямы, и, казалось, на веки веков их пути прервались и разминулись. Оказывается, не совсем так. Если и суждено им встретиться, то это наверняка на «пятачке», да, да, на кусочке асфальта, который лег на полпути от наркоминдельского бюро пропусков к дому наркомата, — десяти шагов достаточно, чтобы пройти его. Наркоминдельский дом — что вселенная, вошел в него и канул, а на этом кусочке асфальта все в натуре, все на виду, все имеет лицо и память. Вот и получилось: те из дипломатов, у кого были концлагеря, запрет на выход из посольства или из дому, интернирование, явное и скрытое, все виды ареста и каторги, совладав с неволей, впервые могли встретиться на наркоминдельском «пятачке», да, на тех заповедных десяти метрах асфальта, которые хочется назвать землей обетованной. Но на «пятачке» могло произойти и иное, неизмеримо более счастливое, рожденное светом сегодняшнего дня: собрались в дорогу коллеги по довоенному посольству в Хельсинки — Финляндия запросила мира. На заповедной тропе появятся старые комбатанты по большому нашему посольству у парижской площади Инвалидов — дни оккупантов там сочтены. Наверно, недалек день, когда на «пятачке» возникнут и сослуживцы по нашему посольству в Бухаресте, те, кого Антонеску томил за колючей проволокой специального концлагеря, а потом гнал с помощью своих сподвижников к далеким закавказским пределам России через Болгарию, Грецию, Турцию… Не оговорились ли мы: сослуживцы по посольству в Бухаресте?

Да, в эту августовскую пору сорок четвертого года ночное

балканское небо было усыпано звездами, одна крупнее другой. И которую ночь в штабах двух наших Украинских фронтов — Второго и Третьего — привередливые оперативники не смыкали глаз. Да только ли оперативники? Командующий Вторым генерал армии Малиновский любил посидеть над картой предстоящей операции один — нечего человек не знал увлекательнее, чем читать карту, медленно, но точно проникая в тайны предстоящей операции. В этом случае все, кто мог помочь генералу деятельным советом, предупреждались: «Командующий читает карту». Наоборот, генерал Толбухин работал над картой в кругу своих ближайших сподвижников, читал карту вслух, делая достоянием высокого собрания сам ход своих мыслей, вызывал штабников на разговор, был рад, когда ему возражают, хвалил за строптивость. И один и другой командующие были свободны в своем оперативном творчестве, в стремлении найти пути к победе, наикратчайшие, разумеется, ценой возможно малой крови. Но у командующих был замысел Ставки, обязательный для них. Идея замысла: одновременный удар силами двух крупных войсковых группировок, далеко отстоящих друг от друга, с выходом к одной цели. Наши войска, прорвав оборону врага, должны были двигаться по сходящимся линиям. Иначе говоря, сооружался своеобразный треугольник. Конечный пункт движения армий — вершина треугольника. Достигнув вершины, наши войска замыкали треугольник, взяв в его пределы главные силы группы врага «Южная Украина», численный состав которой вместе с резервами, находящимися в тылу, превышал миллион.

Двадцатого августа на рассвете наши войска перешли в наступление и начали «сооружение треугольника» — в действие была введена почти полуторамиллионная армия, десятки тысяч орудий и минометов, тысячи самолетов. Направления главных ударов точно учитывали уязвимые места врага. Фронт Малиновского устремил свои силы в обход укрепленных районов, фронт Толбухина — по стыку немецких и румынских войск. Так или иначе, уже к исходу 20 августа Советская Армия прорвала тактическую оборону противника и ввела в действие танки. По словам командующего группой «Южная Украина» Фриснера, этот день оказался для его войск катастрофическим. К концу второго дня наступления немецкая армия была отколота от румынской, противник исчерпал резервы, заметно возросла скорость движения наших войск, идущих к вершине треугольника. В ставке группы «Южная Украина» была получена секретная депеша Гитлера, приказывающего отвести войска на линию хребта Маре-Прут, но, по признанию того же генерала Фриснера, «было уже слишком поздно». Именно поздно, так как войска наших двух

фронтов к исходу 22 августа вышли к реке Прут и факт окружения свершился.

А пока наша армия развивала наступление, устремляясь в глубь Балкан, в тылу отступающих войск события достигли своего апогея. Поражение лишило фашистскую деспотию в Румынии вооруженной опоры. Король и все те, кто внутри дворца и за его пределами составляли дворцовую камарилью, решили, что пришел момент отмежеваться от Антонеску, изобразив дело так, что виноват он, и только он. Советники короля дали понять ему, что пришло время искать контакт с коммунистами, тем более что, как стало известно во дворце, те готовили восстание. Контакт был установлен, а вместе с тем определена и дата выступления, при этом двор взял на себя арест Антонеску. Своеобразным сигналом к восстанию должен был явиться арест диктатора, который предполагал 23 августа быть во дворце, намереваясь получить согласие на мобилизацию дополнительных сил, способных остановить наступление русских. Сообщение об аресте диктатора было той искрой, которая вызвала огонь, увиденный всем народом; восстание разразилось и низвергло диспотию Антонеску, всенародное восстание. Немцы ответили на это бомбардировкой Бухареста. Но это был всего лишь знак отчаяния, а следовательно, слабости; он никого не устрашил, а показал, что дни гитлеровского рейха сочтены. Но вот аномалия: Антонеску свергали одни силы, а правительство формировали другие…

Происшедшее здесь напоминало события в Варшаве. Там тоже соотношение сил между теми, кто участвовал в борьбе и претендовал на власть, было таким же.

Корреспонденты прибыли в Бухарест, когда не все пожары были еще потушены — след немецкой бомбардировки. Дымилась Гривица — рабочий район столицы, где народные дружины схватились с немецким гарнизоном, в руинах лежал дворец министерства иностранных дел на Каля Виктория. Но на лице города не было заметно уныния. Наоборот, город казался веселым, пожалуй, даже праздничным — с немцами было покончено, при этом даже быстрее, чем можно предположить. Румыния присоединилась к союзникам, за которыми, по всему, была победа. Разумеется, этим не исчерпывались проблемы Румынии, но и это внушало надежды; одним словом, причины для хорошего настроения имелись. Корреспонденты рассыпались по городу, условившись встретиться в конце дня в ресторане «Капша», где королевский баловень Вишояну, сподвижник Штирбея и его советчик по внешним делам, принимал корреспондентов, а пока суд да дело, корреспонденты осмотрели

Бухарест — пошел в ход их французский, даже примитивный; впрочем, русский и английский тоже хорошо работали.

Ресторан «Капша» на Каля Виктория, как все на этой бухарестской улице, был прибежищем дипломатов и делового мира, бухарестская политика делалась здесь. Ресторан славился своей кухней, действительно изысканной, да, пожалуй, прислугой, вышколенной отменно, все остальное, в частности сам ресторан, было ничем не примечательно. Ресторан располагался в скромном доме, выходящем на Каля Виктория боковой стеной. Его банкетные залы не блистали ни фресками, ни лепниной, наоборот, их убранство отличалось строгостью почти спартанской. Прибежище людей деловых, очевидно, и должно быть таким.

Первым появился на пороге «Капши» Галуа. Вид у него был весело ошалелый, он загорел за этот день и был точно под хмельком.

— Вот где побратались Восток и Запад! Говорят по-французски, как боги, и всем блюдам предпочитают турецкую мусаху! Да что там мусаха?.. Вы видели, как работают у них брадобреи на Каля Виктория? Мыло на ладонь и этак по щекам, по щекам! Как в Стамбуле!.. Но вот что интересно: у рабочих — красные флажки в петлицах, у лавочников — американские. — Он засмеялся, пошел вокруг Тамбиева, больше обычного припадая на больную ногу — шутка ли, исходил половину Бухареста, устал. — Не наоборот! Честное слово, не наоборот!.. В Бухаресте утверждают, все внешнеполитические акции совета короны идут от Вишояну.

— Что есть… совет короны? Не только король?

— Не только… — Он потоптался в нерешительности. — Не хотите по стакану «котнаря», необыкновенно утоляет жажду, — он указал глазами на буфет в конце зала. Ну, разумеется, он стремился уединиться с Тамбиевым не потому, что у него вдруг пересохло в горле. — Я так думаю, восстание, если речь идет о народе, дело святое и в Варшаве и в Бухаресте. Я не о восстании!.. Но не находите ли вы, что генерал Санатеску чем-то напоминает генерала Бура?..

— В каком смысле?

— Рисунок роли тот же: сила, которую он представляет, в такой же мере крупнобуржуазная, в какой, простите меня за прямоту, антисоветская… — он поднял бокал с вином. «Котнарь» был солнечно-янтарен, его свечение было ласковым.

— И появление ее предрек в Каире… Вишояну?..

Он едва не поперхнулся, «котнарь» взбунтовался в нем.

— Ну, тут я пас!.. — поставил он стакан с недопитым вином

на стол. — Кстати, судя по тому, как людно стало вокруг, наш час настал…

То, что предстало глазам Тамбиева и Галуа, даже отдаленно не напоминало пресс-конференцию. Два ряда столов, разделивших зал, были сервированы с щедростью, показавшейся всем, кто приехал из военной России, даже чуть-чуть чрезмерной, много вина, при этом лучших здешних марок — «котнарь», «мурфатлар», все виды сливовой водки «цуйки», русская смирновка, правда смирновка «бывшая». На многоцветной этикетке, обрамленной гроздьями медалей, диковинная для русского человека строка: «…братья Смирновы, бывшие в Москве…»

Обилие свиты, которая шлейфом протянулась по крайней мере на половину зала, указывало безошибочно, что к столу приблизился Вишояну. Тамбиев стоял неблизко, но при желании мог его рассмотреть. Вишояну был лет пятидесяти или около этого. Невысок и полноват. У него было неярко-смуглое лицо, делающее румянец заметным. В его манере держать себя и, пожалуй, говорить была некая неброскость, даже обыденность, которую можно было принять за апатичность, свойственную его натуре. Вряд ли эта манера держать себя была напускной, скорее она возникла из характера Вишояну, эта форма сдержанности. По всему, он редко смеялся, гневался, удивлялся.

Традицию и формы французского застолья «а ля фуршет», когда гости приглашаются к накрытому столу и, как бы обтекая его, имеют возможность отведать любое блюдо, а кстати, испытать удовольствие беседы с любым из присутствующих, эту традицию, в такой же мере древнюю, в какой и установившуюся, Вишояну как бы реформировал принципиально — он соединил обычай этого приема с правилами пресс-конференции. В натуре это выглядело так: взяв на вооружение бокал вермута, который точно окаменел в хрустале и за весь вечер не убыл, хозяин удостаивал вниманием каждого корреспондента, дав возможность ему задать любой вопрос. Выгоды такой формы пресс-конференции для корреспондента были сомнительны, зато хозяин определенно оставался в выигрыше: диалог носил характер разговора, как говорят румыны, «ла патру оки» — «в четыре глаза».

— Вы что пьете, господа? — вопросил Вишояну и улыбнулся не без труда — как он полагал, его собеседники должны говорить по-французски, он был уверен, что для тех, кто пришел сюда, это почти обязательно. — «Фетяска»?.. Да вы знаете, что это значит? «Девичье»! Нет, пейте «мурфатлар»! Наш «мурфатлар» — чудо!.. Я не голословен, вот попробуйте! Каково? — Румянец выступил на

его щеках — тирада о «мурфатларе» потребовала от него страсти. — Даже интересно, как по вину, его вкусу, цвету, запахам можно представить место, откуда оно родом…

— «Мурфатлар» — это степь и море? — спросил Галуа, очевидно, не наобум, хитрец был наверняка наслышан о родословной вина.

— Румынское Причерноморье! — согласился Вишояну, не обнаружив особенных эмоций. — Причерноморье, а поэтому и степь, и море, как, впрочем, еще и небо, и вода, и ветер, и особый состав почв, разумеется…

Галуа хмуро приумолк, сказанное Вишояну было для него, француза, элементарно, он хотел иного разговора.

— Господин министр, румынская армия будет воевать против немцев? — спросил Галуа со свойственной ему грубой прямотой. Румыну должно было импонировать это «господин министр», Вишояну еще не был министром, но всесильная молва уже считала его таковым. — Как это преломится в психологии армии: вчера она воевала против русских, сегодня — вместе с русскими?..

Вишояну задумался, вопрос не показался ему трудным, но хотелось, чтобы ответ прозвучал убедительно.

— Гнев… против немцев зрел давно.

— Он, этот гнев, имел место и в момент вашей миссии в Каир?

— Я вас не понимаю.

— Мне сказали, что именно это было главной причиной неудачи вашей миссии.

— Именно это? Что?

— Нежелание воевать против немцев…

Нет, пять минут назад, когда речь шла о прелестях румынского вина, Вишояну смотрел на Галуа с большей приязнью.

— Ну, тогда было иное! — нашелся Вишояну и, понимая, что сказанного им недостаточно, добавил: — То было при Антонеску, еще при Антонеску!..

— Но разве каирская миссия представляла Антонеску? — спросил Галуа, глядя в глаза собеседника.

Вишояну молчал, как ни трудно было ему сейчас, он должен был воздать должное своей изобретательности: именно в эти микробеседы и надо было запрятать пресс-конференцию, чтобы она не взорвалась.

— Нет, разумеется, каирская миссия не представляла Антонеску, — произнес он, пораздумав. Он был храбр в своем спокойном раздумье. — Не представляла, но должна была с ним

считаться, — добавил он и тихо пошел прочь, именно тихо, не владей он собой в такой мере, он должен был бы побежать.

— Гарантирую, что он к нам больше не подойдет, — засмеялся Галуа. — А следовательно, нам здесь делать уже нечего… — заметил он и указал глазами на дверь. Они направились было к выходу, но тут же остановились. Их внимание привлек человек, одиноко стоящий у окна и с неодолимой кротостью глядящий куда-то прочь. Бокал в его руке давно был пуст, но человек не торопился его наполнить — мысль, застигшая его сейчас, остановила и это его желание. — Постойте, да не красный ли это Опря, что сбежал с нашей пресс-конференции в Ботошани?.. Господин Опря, это вы?

— Если вам будет угодно, месье Галуа…

— Ну вот… мы так долго живем на свете, что уже не в силах разминуться с самими собой!.. — возрадовался Галуа, его радость была искренней, рыжий «традукаторул» действительно пришелся корреспондентам по душе. — Нам приятно вас встретить в Бухаресте, господин Опря…

— Я давно вас приметил… — улыбнулся Опря, улыбнулся не особенно весело. — Приметил и подивился: не Вишояну ли дает вам предметный урок того, что есть Румыния?..

Галуа оживился, в реплике Опри его премудрый корреспондентский глаз рассмотрел такое, что не следовало оставлять без внимания.

— А вы попробуйте дать нам тоже… предметный урок, господин Опря! Дайте, а мы сравним… Не лишайте нас возможности… сравнивать!

Опря смотрел на Галуа скорбно умными глазами, такими же рыжими, как его жесткие кудри, как брови его, упрямо торчащие во все стороны, как конопатинки на его лице. Он смотрел на Галуа всепонимающими глазами и, точно поддакивая, тихо наклонял голову.

— Я готов, но тут надо, самое малое, часа четыре… Когда будет у вас четыре часа, скажите, я готов. В любое время… готов.

Галуа рассмеялся, предвкушая нечто острое, он любил пойти навстречу неизвестности.

— Хоть сейчас… готовы и мы! Не правда ли, Николай Маркович, готовы?..

— Ну что ж… тогда поехали. У меня нет посольского лимузина, но старенький «фиат» найдется… Кроме вас смогу взять еще двух. Кого возьмете, а?.. Ну, возьмите старика Джерми, нет, тут я его не видел, но он же с вами?

Легко сказать «возьмите Джерми», его в малой деревне прифронтовой не отыщешь, а попробуй отыскать в Бухаресте —

он небось к самому маршалу двора достучался, к патриарху Никодиму проник. Попробуй отыщи в Бухаресте старика Джерми!.. Но Джерми отыскался. Даже странно, сам в «Капшу» пришел, своими ногами, видно, всех, кого надо было повидать в Бухаресте, он уже повидал, один Вишояну у него остался… Джерми с лихвой хватило четверти часа, чтобы все свои вопросы задать будущему министру, и они выехали, взяв курс на бухарестский пригород Могошайя и дальше на Снагов, Плоешти, к берегам Прахова… Дорога была забита военными машинами и фурами, идущими на запад. Армия вошла в Карпаты, бои обрели и упорство, и ожесточение, какого не было последнее время, — все это восприняла неширокая полоса асфальта, бегущего на запад. «Фиат» шел в меру своих невеликих сил, но часто останавливался и был в долине Прахова, когда ночь давно уже легла на холмистые здешние степи.

— Вот здесь… — сказал Опря и, выключив мотор, вышел из машины. — По-моему, здесь…

— Погодите, погодите, да не на развалины Дофтаны вы нас привезли? — вопросил Галуа, выбираясь из машины и нервно поеживаясь — тянуло от реки холодным ветерком. — Я читал о ней у Барбюса!.. Дофтана?

Да, это была Дофтана — балканская Голгофа, хотя и расположенная на равнине. Это была самая оригинальная лекция об истории Румынии, которую когда-либо читал Симион Опря. Ее истоки, казалось, были лишены впечатлений личных и восстали из самой истории. Где-то тут были римские соляные шахты — к столу Лукулла, и, очевидно, не только к его столу, подавалась балканская соль. Соль добывали рабы, а потом каторжники. Соляная ссылка — не было ничего страшнее. Рим, Византия, Османы. Менялась деспотия, но неизменной была соляная ссылка — свободный человек не шел сюда. Потом шахты пришли в запустение — то ли завалились, то ли оскудели запасами соли, — а соляная каторга осталась. Даже не соляная, а просто каторга. Вначале это были вожаки крестьянских восстаний, а потом восстаний рабочих. Как по наслоениям почвы угадывается эра, так под слоями мела и извести тюремных стен можно было различить письмена ее узников, там были даже автографы героев девятьсот седьмого, когда крестьянская Молдова пошла с вилами и граблями на пушки Авереску… В канун войны тюрьму заполнили коммунисты, много коммунистов, Барбюс писал о них. Неизвестно, как бы сложилась их судьба, если бы три толчка, один сильнее другого, не обратили Дофтану в руины в декабре сорокового.

— Грохот, треск и пыль как при прямом попадании

фугаски, — произнес Опря и с угрюмой любознательностью огляделся по сторонам. Только русло реки поодаль да знакомый очерк гор в стороне могли напомнить ему Дофтану. — Все имеет свой конец, даже не верилось, что железо могло… развалиться… — Он шел все тем же стремительно беспокойным шагом, увлекая остальных. — Тишина, потом стон: «Сбросьте камень — дышать не могу!», «Железо зажало ногу… Помогите!..» И еще, и еще: «Помогите!» Казалось, настала минута, которой ждали все: открытая степь, свобода, беги на все четыре стороны. Но никто не ушел, ни один человек, да как уйдешь, когда товарищ молит о спасении. Тюремщики вначале растерялись, потом взяли развалины в кольцо, потом сняли посты и ушли. Поняли, никто не сбежит. Это интересно, они видели в нас мятежников, что для них равно бандитам, а в эту ночь поняли: люди с совестью, какой сейчас нет. Даже трогательно, человек, который бил тебя кулаком в лицо, вдруг увидел в тебе человека. — Он остановился, посмотрел себе под ноги. — Где-то тут была моя камера, где-то тут… — произнес он сбивчиво, взахлеб и точно застучал зубами. Нет, это не студеный ветер, идущий от реки, и даже не дыхание снежных Карпат, которые были рядом, стужей, неостывающей, первозданной, казалось, дышат сами камни Дофтаны. — Не Вишояну ли объяснял вам, что такое Румыния?.. — вдруг вспомнил он. — Вишояну?..

Обратная дорога была не легче, к утру они вернулись в Бухарест.

42

Перед отлетом в Москву Черчилль просил Сталина разрешить приземление в Крыму вначале сигнальной машине, потом той, в которой предполагал лететь британский премьер. Разрешение было дано, и 9 октября черчиллевский самолет приземлился в Сарабузе, близ Симферополя; разумеется, вслед за сигнальным самолетом, который тут же вылетел в Москву.

Была обычная для здешних мест багряно-листая осень, сухая и пыльная. Самолет покинул Лондон в ненастье, и каирское, а вслед за этим и крымское солнце воспринималось как дар божий. Черчилль вышел из самолета и пошагал в дальний конец аэродрома. На нем все еще был его дорожный костюм, в который он переоделся, когда самолет шел над африканским побережьем. Он любил этот свой костюм, сшитый из пористой шерсти… Нетолстый слой травы, укрывший поле, подсох и казался хрупким, но Черчиллю приятно было идти, подставив лицо ветру. Казалось, в его дыхании угадывается и терпкая сушь таврических степей, и солоноватость далеких сивашских лиманов. Черчилль остановился, обратив взгляд в степь: за просторами Тавриды, за сивашской водой, полоненной камышом и осокой, лежал, как виделось британцу, Север, грозный для Черчилля.

И в какой раз мысли его обратились к тому, что его ожидает в Москве. Он должен был признать: как ни тяжела его предыдущая миссия в русскую столицу — горький август сорок второго, горький… — она, эта миссия, по крайней мере теперь, казалась ему не столь трудной, как нынче. Конечно, победить проблему второго фронта и найти какое-то подобие взаимопонимания было архитяжело, но то была одна проблема, одна… А сколько проблем сегодня? Война вытолкнула сегодня из своего чрева такое количество их, что не только решить, но объять было мудрено. Сберечь доверие, а следовательно, единство, сберечь и довести войну до конца — вот это и казалось самым многосложным. Кстати, войну не только против Германии, но и Японии. Сколько осталось до конца?.. Три месяца, а возможно, все шесть, а быть может, больше… Как ни труден и адски долог был уже пройденный путь, предстоящие месяцы казались нескончаемыми. Подлинно, сберечь доверие, а следовательно, единство, так необходимые победе. Да, именно об этом и должна идти речь. Для Черчилля? Да, пожалуй, и для него… Единство полезно Черчиллю в той мере, в какой оно будет работать на британского премьера.

В памяти вдруг встал последний день пребывания в Москве,

вернее, не день и даже не вечер, а ночь. Вспомнилось, как шли тогда кремлевским двором на поздний ужин, который Сталин вдруг устроил для Черчилля на своей здешней квартире, и, неожиданно оказавшись на пустынной площади вдвоем, тревожно приумолкли, разделенные тишиной и тем неодолимым, что разделяло русского и англичанина. Неодолимым?.. А может, есть обстоятельства в жизни человека и, пожалуй, народа, когда надо возобладать над неодолимым и найти общий язык?

Как ни пылен был октябрьский вечер, Черчиллю приятно было идти открытой степью, ощущая, как хрустит под ногами сухая трава. Вот оно, стариковское дальнозоркое око: с некоторого времени вошло в привычку точно ощупывать землю, отыскивая милые, в сущности пустячные мелочи. Ореховая шкатулка, что была извлечена едва ли не из небытия и поместилась на письменном столе британца в старом Чекерсе, стала обиталищем этих пустяков: серебряное колечко, осколок черного керамического кувшина, нательный крестик, вырезанный из жести, эмалевый глазок, быть может выпавший из серьги… Вот и сейчас: неожиданно просторное озерцо песка вдруг вспорол красноватый рубец.

С той грубой небрежностью, какая, наверно, была в натуре старого Уинни, он ткнул носком ботинка в песчаный бугор и выпростал наружу металлический стержень, ощутимо толстый, едва ли не в мизинец, который точно спекла красноватая ржавчина. Он не без труда наклонился и взял стержень на ладонь. Ржавчина действительно была свирепой, она и деформировала, и в какой-то мере охранила стержень. Черчиллю вдруг привиделся наконечник стрелы, быть может пущенной с того пологого холма, что неясно маячил справа в сиреневой полумгле раннего вечера. Ну конечно же стрела прошла низко над степью, быть может касаясь метелок травы, и на излете, утратив силу, не смогла уже зарыться в песок. Чья стрела: скифского или, быть может, сарматского воина? Из истории старый Уинни знал, что у сарматов были стрелы с железными наконечниками.

Черчилль не был суеверен, но этот кусочек красного железа, найденный в крымской степи, и встревожил его, и воодушевил. В его воображении воспряла баталия, что разыгралась на ковыльных просторах: очевидно, атакующее воинство перепоясало степь, прикрывшись непогодой и ночной тьмой, иначе к холму не подступишься… Нет, в самом деле, вестницей каких событий была для Черчилля эта стрела, преодолевшая хребты столетий и только что опустившаяся у его ног?

Черчилль, улыбаясь, рассматривал ржавое железо — он захотел увидеть в нем всесильный амулет, так необходимый ему

перед испытаниями, которые готовила московская неделя, казалось уже вступившая в свои права…

43

Бардину позвонил Мирон и сказал, что завтра на рассвете улетает в Америку — дело приняло размах невиданный, начальство настаивает на его возвращении в Штаты. И еще сказал младший брат: Америка — не ближний свет и отправиться туда, не повидав отца, как-то несподручно. Егор взял машину и повез брата на опытную станцию к родителю.

— Ольгу увидим?

— Погоди, ты к кому едешь, к отцу?..

Мирон не думал, что брат пойдет на него так безбоязненно.

— Я спрашиваю: Ольга будет? — не оробел он.

— Будет — обещаю… — вымолвил Бардин и вдруг увидел, как наряден брат… Не для встречи же с Иоанном он так вырядился? Однако холостежь непобедима — все бы она себя украшала и расцвечивала!

Они выехали за город, и великое половодье золотого октябрьского леса охватило их. День выдался неожиданно теплым для октября и сухим. Хвоя была темно-зеленой, на грани той густой зелени, которая вот-вот, кажется, станет черной. И на фоне этой зелени, цвет которой и стоек, и благороден, необыкновенно хорошо было золото лиственного леса: желтые костры одних берез, жарко горящие, нетускнеющие и текучие ветви других, ветви прямые, едва не касающиеся земли, истинно плакучие; кусты клена, Темно-красные, почти бордовые в эту пору, красно-золотые, уже тронутые обильной чернью осины… Золотой отблеск лежал и на осеннем поле, на нем точно удерживалось солнце и тогда, когда небо заволакивали невысокие по осени облака.

Иоанн встретил их в поле, его седины казались меловыми в сравнении с посмуглевшим за лето лицом. Он пропах соломенной пылью и все норовил заслониться простертой ладонью от солнца. Ольга была в саду, что бледной полоской выступил слева, и они пошли туда через поле. Вот уже вторую неделю не было дождя, и тропа, протоптанная через глины, была каменно-твердой.

— Как там… Черчилль? — спросил Иоанн и стрельнул в Егора хитрым, в прищуре глазом — британский премьер прибыл в Москву накануне.

— Хочешь спросить, не передавал ли он тебе привет?

— Чтобы спросить тебя о привете, я должен быть уверен, что ты видел его, не так ли? — не остался в долгу Иоанн. — А у меня нет уверенности, что ты его видел…

Мирон рассмеялся:

— А я было собрался спросить тебя, батя, как живешь-поживаешь, да теперь вижу: здоров, коли огня не убавилось.

Иоанн улыбнулся печально:

— Здоров, да не очень — в минувший вторник так прихватило сердце вон за тем бугром, на полосе несжатой, лег в пшеницу, как в воду… ни крикнуть, ни знак подать — пролежал часа два, пока сам сил не набрался и не встал с четырех ног на две… Думал: вот и конец пришел… Одна отрада: на пшеничной полосе помер бы. Смерть, что ни говори, не дура: знает, где кого положить…

Он взвил здоровую руку, рубанул ею и в такт прижмурил глаз хитрючий, понял, что нагнал мраку.

— А Ольга от меня скрыла… — сознался Егор — разом прошла охота спорить с отцом.

— Я ей и не говорил, — молвил Иоанн пристыженно. — Да я никому не говорил!.. — Он прибавил шагу, точно желая быстрее закончить разговор, который был ему сейчас ни к чему. — Я бы и вам не сказал, да, видно, надо. Вам должно быть ведомо: старик знал, на что шел…

Бардин взглянул на отца с нескрываемой жалостью… Вдруг увидел, как он лежит там, за бугром, на холодной осенней земле, скорчившись, подтянув колени, и его бьет озноб…

— Брось все к чертовой бабушке и возвращайся домой!

— Нет! — Иоанн обернулся — его лицо было гневно. — Понимаешь, нет! — Он провел дрожащей рукой ото лба к подбородку, не без страха посмотрел на ладонь, она была мокрой. — Погоди, а почему… только Черчилль? — Он знал, что есть одно средство переключить разговор — вторгнуться в дела сына. — Я говорю: почему приехал именно Черчилль, при этом уже второй раз, а не Рузвельт? — У него была способность, природная, врезаться всей своей немалой силой в самое существо дела. — Но наивно думать, что Черчилль приехал сюда вопреки воле Рузвельта! Наоборот, Рузвельт послал его сюда как ходатая…

Хочешь не хочешь, а ввяжешься с ним в спор.

— Ходатая? Это по какому такому поводу ходатая?

— Японскую войну надо кончать, а ее без большой сухопутной армии не закончишь — японцы-то в Китае… — вымолвил Иоанн и скосил глаза на своего младшего: — А ты что молчишь? У тебя мнения нет? В Америке жил ты — не я…

— Да, для Америки Восток, пожалуй, становится важнее Запада, — подал голос Мирон, — сегодня он был необычно кроток. — Все смотрят туда…

— А вот тут я с тобой не согласен! — возразил Иоанн, ему

потребовалось не много времени, чтобы обратить свое несогласие и против второго сына. — Они не переоценивают своих сил и на Западе, тут они без нас ничего не сделают…

— Да, но они наступают, — воспротивился Бардин, правда, без воодушевления воспротивился.

— Я не военный и могу ошибиться, но пусть меня поправит военный, — взглянул отец на Мирона. — Конечно, не от хорошей жизни немцы собрали свои силы воедино и ведут войну на своей земле, но тут беда обернулась для них преимуществом… Ну, что ты молчишь, Мирон?.. Что там твоя академия говорит? Прав я?

— Пожалуй…

— А коли так, наивно думать, что немцы не предпримут чего-то такого, что явится для них последним шансом… Черчилль понимает, что такая перспектива не исключена, Черчилль понимает…

— К чему это ты?..

— Мы-то думаем, что он приехал сюда из-за польских дел… Так мы думаем?.. Возможно, но для него не в этом главное…

— А в чем?.. — Бардин внимательно слушал отца — он мог не соглашаться с ним, но в системе его доводов далеко не все следовало отвергать.

— Последний удар…

— По Германии?..

— Не только, хотя тут я могу и ошибиться. — Ну, разумеется, он говорил о Востоке, о том, пока еще анонимном Востоке, который мог предполагать Японию в той отдаленной перспективе, в какой можно было говорить об этом в октябре сорок четвертого. — Помнишь наш разговор о Черчилле? Помнишь, что я тебе сказал?.. «Ты понимаешь, простая душа, что такое Черчилль?» — вот что я сказал тебе тогда и готов повторить: «Понимаешь?»

Бардин рассмеялся:

— Вечная тема: Черчилль!

— Нет, я спрашиваю: понимаешь?

— Если понимаешь ты, просвети, — он оттенил голосом «ты».

— Дай передохну, что-то сердце зашлось… — отец стоял бледный, удерживая ладонь здоровой руки у груди. — Если сам ноги не протянешь, сыны подсобят… — улыбнулся Иоанн. — Ну, отлегло, пошли… Я так понимаю: коли имеешь дело с Черчиллем, трижды проверь себя, прежде чем решиться опереться на его слово… Так я говорю? Нет, скажи, так?

— Ты Мирона спроси.

Но Мирон молчал, со скорбной простотою глядя на Егора. Куда только делись его постоянное несогласие, его строптивость?

Где эти его лихие: «Я у тебя вроде занозы в пятке. Хочешь ступить, а она, заноза, хвать!» Или: «Что греха таить, вы, дипломаты, — временщики, ваше дело конъюнктурное…» Куда девалось все это? Казалось, что его мысли не здесь, а где-то далеко отсюда, так он был чужд тому, о чем сейчас шла речь…

Что-то примешалось ко всему его облику такое, чего вчера не было. Влюблен бардинский отпрыск, влюблен безотчетно и готов клясться любовью этой, как крестом, — бардинское, фамильное. И Егору вдруг стал ненавистен брат, захотелось вызвать его на эту клятву, вызвать так, чтобы стал он виден вместе со своей тайной посреди бела дня и чтобы принял он вызов на глазах у отца и перед лицом отца был посрамлен…

Зеленая полоска Ольгиного сада поднялась из-за холма и застила небосклон, а вместе с ним и лесок, золото-мглистый по осени, что возник на полпути к саду… Значит, если имеешь дело с Черчиллем, трижды проверь себя, прежде чем решишься опереться на его слово?

— Как ты понимаешь, не мы выбирали себе Черчилля в союзники — его дала нам история. — Бардин пошел тише, он хотел успеть до того, как они войдут в сад, да еще иметь некий резерв времени. — Мы получили его от истории со всеми его потрохами… Да что там говорить! Надо найти смелость понять, он, Черчилль, еще в сорок первом решил: для него союз с нами — дело временное. Для Рузвельта, как мне кажется, может быть, и постоянное, может быть, а для Черчилля — временное. Но даже в этом случае союз с Черчиллем для нас не лишен смысла, больше того, он нам полезен… Почему? Черчилль, рискну сказать, принадлежит к тем великобританцам, которые при апологии империи и имперских интересов антифашисты. В их антифашизм, наверно не очень похожий на наш, я верю. К тому же Черчилль — враг британских пораженцев, и это он доказал в достаточно трудную для Англии пору. Наконец, Черчилль понимает, что только победа над Германией охранит англичан, и тут мы его союзники… Итак, надо принять Черчилля, какой он есть, однако известный спор с Бекетовым о Черчилле сослужил Бардину добрую службу.

Последние метров сто надо было пройти по шоссе, на которое они сейчас вышли, и Егор вдруг увидел брата по ту сторону дороги, у кювета. Это уже было совсем непонятно: когда разговор достиг своей кульминации, брат вдруг явил безразличие, какого у него прежде не было. Ну, теперь все было ясно: в думах своих он шел другой тропой и не скрывал этого.

— Ты-то с этим согласен, Мирон? — спросил Егор, но брат со все той же печальной кротостью переспросил:

— Согласен ли я?.. — И сдвинул брови — он явно не слышал конца разговора и сейчас хотел, чтобы память повторила ему, но память безмолвствовала, фраза была далеко. — Согласен ли я?

— Да ты, Мирон, ничего не слышал! — бросил Егор, его укор был больше, чем нужно, злым. — Ты!.. — повторил он, и вдруг мысль, явившаяся внезапно, повлекла его в сторону… В самом деле, что с ним стряслось и что его так переродило? Не о встрече ли с нею он сейчас думает? Не предчувствие ли встречи с нею сделало его таким чудным?

Ольга встретила их у дороги.

— Как же хорошо, что вы еще застали солнышко, — засмеялась она и, подняв обе руки к солнцу, невысокому, уже предвечернему, точно удержала его над лесом. — Я как раз успею вам все показать: и садовую малину, и красную смородину, что привезли из Казани, яблони-трехлетки — у меня они очень хороши… — она сказала, робея и радуясь, «у меня». — Молодой сад что неоперившийся птенец, если не уродлив, то жалок, однако не для матери… Никто не видит в нем красавца, а мать видит… не так ли?

— Ты… мать? — засмеялся Егор Иванович.

— А то кто? — сощурилась она, обратив лицо к солнцу. В ее глазах, казалось, солнце дробится, обращаясь в пыль, все ее лицо в этой золотистой пыли. — Пошли, пошли!.. — Она столкнулась взглядом с Мироном и отвела глаза, она не смотрела на Мирона, но и так можно было понять, звала сейчас только его. — Пошли, начнем с этих трехлеток…

— Прости, Ольга, но я не могу… — улыбнулся Мирон. — Мне надо в город, я завтра улетаю…

Иоанн примял пыльным ботинком жгут осоки — они стояли в низине.

— Зачем же ты тогда явился сюда, коли смотреть не хочешь?.. — спросил Иоанн неприязненно.

— Вот взял и явился… — произнес Мирон, и лицо его стало светлее глины, подбеленной солью, на которой они сейчас стояли.

— Ну что ж… бывай здоров, а мы пойдем смотреть сад… — Иоанн сдвинул пыльный ботинок с куста осоки, трава выпрямилась, точно на нее и не ступали, она была непобедима, эта трава. — Как, Егор, будем смотреть Ольгин сад?..

— Пожалуй… — согласился Бардин и посмотрел на брата, ему было жаль его. — Мирон, будем смотреть Ольгин сад?

— Будем, — согласился младший Бардин — непросто было ему уехать.

Они возвратились в Ясенцы в десятом часу, смертельно

уставшие, и повалились бы спать, если бы не голод. Иоанна сон сшиб с ног тут же — едва прикоснувшись к тахте, он обмяк, глаза заволокло сонной медовостью, он как-то вдруг зарделся румянцем и захрапел с таким воодушевлением, что одно это способно было прогнать сон у остальных. Егору, как обычно, голод сообщил энергию, какой до этого не было: он ушел на кухню и, на радость Ольге, которую она не сумела скрыть, затопил печку и начистил гору картошки — не был бы голоден, сделал бы все это не так быстро. Мирон сказал «однако…» и утонул с головой в мягком кресле. Это «однако» было, кажется, вторым словом, которое он произнес за день, где-то на Ольгиной яблоневой посадке он еще сказал: «Да ну?»

Ужин действительно поспел в мгновение ока. Жареная колбаса да сковорода картошки с луком — что ни говори, пища богов… Эта немудреная картошка с колбасой вызвала у Егора такую радость, какую не вызывал ни один званый обед под золотыми бордюрами овального кабинета Белого дома, например… Радость была такой полной, что водку можно было уже не подавать, но она была подана. Полный графин, не богатырь, но и не мальчик с пальчик, застланная синим резным стеклом, влага огневая грозно поблескивала.

Выпили по одной, потом по второй, за синим стеклом побелело заметно. Мирон точно пробудился. «Есть на Волге утес…» — подал голос, стыдясь, все еще был хмурен, но отважился. Егор искоса посмотрел на брата, охмелел младший Бардин, словно был человеком пьющим — по слухам, водка наслаивается на выпитое, берет в расчет, что было поглощено прежде, — пьющие сдают первыми.

— Я, пожалуй, поеду… — вдруг решил Мирон.

— Да ты что, первый час… мы постелим тебе в Иркиной светелке.

— Теперь уж я поеду точно…

Егор вызвался его проводить. Сойдя с крыльца, глянул во тьму, где должен был находиться брат, и увидел: Мирона колеблет, — видно, и в самом деле у него наслоилось, не иначе, в этой своей Америке он последнее время пил.

— Дальше я сам…

— Ты что?

Мирон оперся о ствол дерева, затих.

— Ты что же думаешь, я останусь в доме, в котором стоит твое супружеское с Ольгой ложе?..

— Ты пьян, Мирон…

— Я? Нет! Никогда не был пьяным и сейчас меньше, чем когда-либо… Ты когда-нибудь думал, какую жизнь я прожил?

— Какую?..

Он приник к дереву — его трясло… То ли озноб малярийный, то ли плач, который он зажал в утробе своей, не дав вырваться наружу. Единственно, чего он не мог унять, это озноб, который гнул его и ломал, да с такой силой, что токи эти сообщились дереву — дерево тряслось.

— Ты земной человек, никогда не поймешь этого. Кто ты и кто я? Я видел войну в воздухе и там, в Испании, и здесь… Ты только представь: при свете дня, при свете, какого нет на земле, ты видишь немца так, как можешь увидеть себя в зеркале — виден пробор в его волосах, шрам… И вот представь: твой пулемет съедает его без остатка, именно съедает… Нет, нет… он его разбрызгивает, обращает в дым… А потом приходит твоя очередь, и силой, которую может родить только испуг и которой отродясь не было, тебя выстреливает из машины со скоростью пушечного ядра, и воздух, сам воздух, сделавшись каменным, выламывает у тебя руки и ноги, точно разбрасывая их, кажется, что к земле летит только твое бедное сердце… Ты мнишь, что знаешь жизнь, что видел ее страх и ужас, видел, как она корчится и истекает кровью… а по мне, ты ничего не видел и, прости меня, не испытал… Ты только вникни: кто ты и кто я?..

Мирон затих, и дерево успокоилось, его сухие листья смолкли. Стоял сгорбившись, и без того неширокие плечи точно сузились, маленькие руки были поднесены к лицу, он скрывал ими глаза.

— Мирон…

Он словно оттолкнул от себя дерево, встал перед Бардиным.

— За что тебе такое счастье?

— Мирон! — взревел Бардин, устремляясь к брату.

— Нет, ты меня не тронь… Не тронь, говорю!

Он пошел к калитке. Шел твердо, контролируя каждый шаг — разом схлынул хмель. Бардин еще долго видел его маленькую фигурку, сейчас странно подобранную. «К земле летит только твое бедное сердце…» — вспомнились слова Мирона.

44

Сталин принял Черчилля в своем кремлевском кабинете сейчас же после того, как у него побывали директора донецких шахт. Видно, разговор с угольщиками был невеселым: Донбасс все еще лежал в руинах, работа по восстановлению обрела и размах, и темпы, но требовала усилий немалых.

— Приветствую вас в Москве, — произнес советский премьер и, не в силах преодолеть ненастья, вызванного предыдущим разговором, поднял нелегкую руку и указал на стул у письменного стола.

Черчилль сел и, не без труда обернувшись — с некоторого времени его шея стала не столь подвижна и он должен был поворачиваться всем туловищем, — взглянул на форточку. Как всё люди его возраста, он пуще всех напастей боялся сквозняка. В самолете он простыл и почихивал, издавая при этом звук, не очень соответствующий его комплекции.

— Благодарю вас, я рад нашей встрече, — ответил Черчилль, однако пасмурность во взгляде хозяина он приметил и принял ее за признак недобрый. — Мы с мистером Иденом рады нашей новой встрече, — он указал взглядом на своего министра, и тот церемонно, по-лошадиному наклонил голову — в изгибе его красивой шеи действительно было что-то лошадиное.

— Вас встретили в Сарабузе?.. — осведомился Сталин, пододвигая коробку с папиросами — прошлый раз, насколько он помнил, Черчилль предпочел сигаре папиросу. — Все было хорошо?..

— Все было устроено нашими русскими хозяевами как нельзя лучше, — Черчилль старательно, как для крестного знамения, сложил три пальца и извлек из коробки вожделенную папиросу — если бы надо было искурить не папиросу, а трубку кальяна он бы в этой ситуации не отверг бы и ее. — Как я писал вам, мой маршрут пролегал через Эгейское море — это было не столь рискованно и давало возможность не забираться выше восьми тысяч, что лично меня устраивало… Одним словом, все обошлось как нельзя лучше, маршал Сталин…

Обращение «маршал Сталин» в беседе звучало не столь естественно, как в переписке, но оно вошло в обиход давно и к нему привыкли, менять его сейчас не было смысла.

— Насколько я понимаю, взяв Рур и Саар, союзники убивают двух зайцев…

— Плацдарм и уголь…

— Для немцев это более чем ощутимо: отдать Плоешти, а

вслед за этим Рур… каково?

Чих внезапный вырвался из опухшего носа британского премьера. Быстро достав носовой платок, Черчилль упал в него лицом и некоторое время лежал так бездыханно. Потом он оторвал покрасневшее лицо от платка и обескураженно посмотрел вокруг — ему нужно было время, чтобы прийти в себя.

Вздохнул не без облегчения: нечего бога гневить, беседа началась вполне благополучно.

— Быть может, мы могли бы посвятить одну из наших встреч взаимной информации о положении дел на фронтах? — произнес Черчилль. — Мы готовы это сделать, имея в виду и Запад, и Восток… Дальний…

Едва заметная пауза предшествовала последним словам — британский премьер был заинтересован, чтобы в разговоре участвовал Дальний Восток, он словно перебрасывал мост, говорил: отныне тихоокеанский театр войны должен быть заботой и советского союзника. Важно, чтобы он, этот вопрос, был прояснен Черчиллем, больше того, чтобы все новое об этом американский президент узнал от Черчилля — тут есть возможность для приобретений немалых, и пренебрегать ими было бы неразумно.

— Ну что ж, я согласен, а заодно есть смысл уточнить и план остальных наших встреч… С вами фельдмаршал Брук?..

— Да, фельдмаршал Брук вместе с офицерами министерства обороны генералами Немеем и Джекобом. — Русский, как его понял Черчилль, не просто осведомился о фельдмаршале — он хотел знать состав британской делегации на переговорах, а возможно, не только британской.

— Полагаю, что посол Гарриман может присутствовать на самых важных наших встречах, а его военный советник генерал Дин на встречах военных…

— Да, конечно…

— При этом есть смысл, чтобы сегодня же телеграмма о нашей беседе пошла президенту за нашими подписями…

— Да, пожалуйста…

Надо отдать должное изобретательности Черчилля, он понимал, что в этой начальной стадии переговоров очень важно обрести добрый тон, тот самый тон, всесильный, который призван сделать музыку. Там, где можно было сказать «да», Черчилль говорил и по крохам наращивал положительные эмоции — в перспективе трудных переговоров это было насущно.

— Кстати, о программе: быть может, следует ограничить круг вопросов, которые будут подвергнуты нами обсуждению? Верю, что недалек день нашей встречи с президентом…

— Да, конечно… — подтвердил хозяин с видимым воодушевлением, казалось, его пасмурность, вызванная рассказом о бедах послеоккупационного Донбасса, мало-помалу рассеялась — ведал это британский гость или нет, но он сделал то, что делали все, знавшие натуру Сталина: до того, как коснуться вопроса по существу, они стремились по возможности улучшить его настроение.

— Проект телеграммы президенту не премину вам прислать сегодня же… — произнес Черчилль и опять достал платок.

— Проект телеграммы? — вопросил русский, не скрыв недоумения — услуга с телеграммой была совершенно ни к чему, но и отказываться было неудобно. — Проект?

— Чхи! — раздалось в ответ, и Черчилль в очередной раз упал ничком в свои расставленные ладони, которые он предусмотрительно выстлал носовым платком, упал и затих — хозяин ждал ответа, а хитрый британец точно испустил дух.

— Будьте здоровы! — наконец произнес русский и вернул Черчилля к жизни. — Проект так проект! — добавил он, понимая, что именно этих слов ждал британец.

— Однако я безнадежно простужен, — произнес Черчилль, отнимая платок от лица, красного и влажно поблескивающего. — Прошлый раз русские горчичники прожарили меня до печенок, разом сбросил лет тридцать — обновился!

— Значит, в Москву за обновлением?.. — пошутил советский премьер.

— За обновлением, за обновлением… — повторил Черчилль и пошел к двери, тяжело передвигая ноги — возраст давал себя знать к вечеру, день казался теперь ему длиннее обычного.

Бардин прочел телеграмму американскому президенту вновь и вновь — она была ему интересна. Как могла прозвучать при внимательном чтении эта телеграмма для Рузвельта? Ну, например, кому принадлежит почин в посылке этой телеграммы и кто писал ее проект: русские или англичане?.. Последнее для Рузвельта важно: кто писал? Бардину казалось, что Рузвельт не был сторонником поездки Черчилля в Москву, при этом нынешней поездки в такой же мере, как и поездки прошлой; англосоветской встрече он предпочел бы американо-советскую. Если же телеграмма обнаруживает желание успокоить президента, больше того — его улестить, ее писали англичане, и это вряд ли способно воодушевить президента. А телеграмма обнаруживает именно эту тенденцию. Ну, чего, в самом деле, стоит только ее первая фраза: «В неофициальной беседе мы в предварительном порядке рассмотрели ситуацию в той степени, в

какой она касается нас…» Чтобы вот так в одной фразе поставить три амортизатора — «в неофициальной беседе», «в предварительном порядке», «в той мере, в какой она касается нас», — адресат должен не просто внушать уважение, но некий страх — по доброй воле такое «е соорудишь…

Телеграммы, которые получал Рузвельт от русских прежде, были написаны в тонах значительно более независимых. Вместе с тем корреспонденция, идущая в Вашингтон из Лондона, была выдержана в тоне сегодняшней телеграммы, как, впрочем, и корреспонденция, направляемая Лондоном в Москву… Но Бардин спрашивал себя и об ином: неужели столь опытный политик, как Черчилль, не понимает, что в стремлении ублаготворить президента нарушено чувство меры в такой степени, что результат может быть обратным? А возможно, он понимает это, но полагает, что лесть всесильна и способна сокрушить даже столь бывалого человека, как американский президент. Чтобы ринуться с такой отвагой, наверно, надо знать, что это не бесперспективно. Черчилль знает это?.. Но возможен и иной расчет: если здесь есть для Черчилля некий риск, издержки его могут лечь на плечи того, кто подписал телеграмму вторым. В конце концов, если соавтором такой телеграммы сделать советского премьера, даже лесть не обязательно дозировать, ее можно и переложить.

Во встречах британского и советского премьеров установился свой ритм, определенный не сегодня. Но было нечто такое, чего не было вчера и что можно было бы назвать беспрецедентным: Сталин явился на прием в британское посольство. Ничего подобного раньше не было и, очевидно, быть не могло и свидетельствовало… О чем это свидетельствовало, какую истину утверждало?

Не означало ли это, что отношения между союзниками достигли той стадии взаимопонимания, которой прежде не было? Возможно. По крайней мере, русский, который едва ли не двадцать лет взирал на посольский особняк с кремлевского холма, взирал с недоверием и укором, если не сказать — неприязнью, не беспричинной отнюдь, отважился осенью сорок четвертого перейти реку и переступить порог посольства. В этом не было свойственного ему порыва, это был шаг трезвый. Именно шаг трезвый, так как двумя днями позже советский руководитель, в сущности, повторил его, появившись вместе с Черчиллем в ложе Большого театра на концерте, посвященном приезду британского гостя. Кстати, этот второй шаг не был простым повторением первого уже потому, что выходил за пределы сферы официальной,

был совершен на миру. Да, раззолоченный зал Большого театра был полон народа, и знаменитые люстры светили так, как они светили в далекие мирные годы, и оркестр, в котором был представлен весь набор скрипок, виолончелей, флейт и медных труб, явил мощь невиданную, взвив к плафону театра гимны, британский и советский… Все это должно было импонировать настроению зала, Для которого появление Сталина и Черчилля на народе было демонстрацией согласия между союзниками и незримо соотносилось с открытием второго фронта… Неизвестно, замечали это англичане или нет, но до сих пор у приема, который оказывался им в Москве, даже откровенно дружественного, была одна особенность: он носил камерный характер, народ в нем едва ли участвовал… Больше того, существовала некая демаркационная линия, которая как бы отделяла народ от заповедной той сферы, в которой британский гость принимался. Этой тактике нельзя было отказать в резонах: чтобы она, подобная тактика, была иной, нужен был иной уровень доверия. Значило ли, что этот уровень доверия был обретен теперь? На этот вопрос ответить нелегко, но несомненно, что в отношениях между союзниками появилось нечто такое, чего вчера не было. Оно, это новое, казалось тем более отрадным, что возникло перед решающим циклом боев. По крайней мере, эта мысль была естественной для тех, кто в тот октябрьский вечер заполнил партер и ярусы Большого театра. Она была естественной не просто потому, что так рисовалось людям, их уму, их пониманию происходящего. Не только поэтому — объективно картина была именно такой. Впрочем, если бы они последовали за советским и британским премьерами за пределы театра и увидели бы их, предположим, через час после концерта, на очередной встрече в Кремле, то убедились бы, что первое впечатление их не обмануло — нелегкий процесс англосоветского взаимопонимания в этот черчиллевский приезд в Москву не стоял на месте.

А встреча, о которой мы говорим, собрала своеобразный кворум: участвовали все, кто так или иначе был причастен к переговорам. Русских представляли Сталин, Молотов и генерал Антонов, англичан — Черчилль, Иден и вся группа военных: Брук, Немей, Барроус. Вместе с послом Гарриманом был генерал Дин, что недвусмысленно показывало, что разговор пойдет и о Дальнем Востоке.

Разговор начали англичане. Брук, а вслед за ним Исмей, поощряемые своим премьером, обстоятельно и, как могло показаться, искренне рассказали о положении дел в Западной Европе и Италии, не обойдя военных действий и в далекой Бирме, где англичане держали фронт против японцев. Кстати, Бирма

явилась своеобразным понтоном, который проложили англичане, предлагая подключиться к разговору американскому союзнику. Генерал Дин воспользовался этим, рассказав о положении на Тихом океане. Нельзя было не заметить, что в этом рассказе внимание заметно акцентировано на дальневосточных делах. Не исключено, что, готовясь к этому разговору, англичане и американцы как бы разыграли его в учебном классе, на макете — слишком очевидна была тенденция. Черчилль мог допустить, что это замечено и хозяином, но тот не показал виду. Наоборот, в той мере в какой это зависело от него, он поощрил генерала Антонов представляющего в диалоге военных советскую сторону, к кровенному разговору. Надо отдать должное советскому генералу, его доклад содержал ту степень анализа, бескомпромиссного, которая не оставляла сомнений насчет того, что доклад правдив, точен. Сталину импонировал доклад Антонова, особенно те его места, где генерал не приукрашивал побед Красной Армии, стараясь быть объективным в оценке ее сильных и слабых сторон, — это создавало впечатление доверительности в разговоре между союзниками.

Антонов подготовил реплику советского премьера, реплику, которую так хотели услышать союзники в этот вечер. Сталин сказал, что советские войска будут продолжать свое продвижение к Германии и что у союзников нет оснований для беспокойства насчет того, что немцам удастся переключить свои войска с востока на запад. Вместе с тем он дал понять, что русские сдержат слово, данное в Тегеране и относительно Дальнего Востока. Пока же они хотели бы начать накапливание двух-трехмесячных запасов продовольствия, горючего и транспортных средств на своих дальневосточных рубежах, при этом были признательны Америке за помощь. Встреча закончилась далеко за полночь, закончилась, несмотря на то что была потребность продолжить обсуждение деликатной темы. Условились посвятить ей целиком следующую встречу, которая должна была состояться на другой день.

В точном соответствии с договоренностью советская делегация готовилась продолжить переговоры, но произошло непредвиденное: позвонили с Софийской набережной и сказали, что Черчилль заболел. Заболел или сказался больным, неважно, в дипломатии эта грань почти незрима. Так или иначе, а Черчилля в этот день в Кремле не было и его представлял Иден. На правах паритетности и советский премьер мог сказаться больным — в дипломатии и такое бывает. Но русский на встречу явился, и это было объяснено своеобразно: очевидно, то, что он хотел сказать сегодня, он должен был сказать сам. Действительно, сказанное им

было принципиально весьма. Он сказал, что Советская Армия сможет выступить против Японии примерно через три месяца после разгрома Германии. Как он полагает, более подробно об этом смогут договориться советские и американские военные, их встреча должна состояться в Москве по возможности немедленно, при этом в первом заседании готов участвовать и Сталин. Последняя фраза несла такой заряд энергии, что, кажется, подняла с постели и Черчилля — на другой день он явился в Кремль и продолжил переговоры, а восемнадцатого октября, в канун отъезда из Москвы, пригласил корреспондентов, аккредитованных в советской столице, в посольский особняк на Софийской набережной, с очевидным намерением поделиться с ними итогами переговоров.

Пресс-конференция проходила в кабинете британского посла, что уже само по себе было не совсем обычно. Корреспонденты застали премьера за письменным столом, его моторная энергия не знала устали и здесь. Завидев корреспондентов, он сложил стопку бумаг, заполненных бегущим почерком, и, сдвинув их в сторону, встал из-за стола. Все время, пока продолжалась конференция, кресло посла за письменным столом оставалось свободным.

Откровенно робея, то и дело поднося прохладные ладони к лицу, которое объял румянец почти детский, Галуа принялся, как классный староста в школе, выкликать имена своих коллег, по очереди являя их пред светлые очи британского премьера. Надо отдать должное Черчиллю, он принимал знаки почтения, если это допускала церемония представления, с откровенной радостью давая понять, что сам некогда был военным корреспондентом и не переоценивает всего, что обрел позже. Наверно, это были поступки одного ряда: и то, что пресс-конференция происходила в кабинете посла, и то, что Черчилль ненадолго задержался в посольском кресле, перекочевав к корреспондентам, и то, что церемонию представления он демонстративно лишил жесткой чопорности, которой такая церемония обладала прежде… Очевидно, все это не просто свидетельствовало о добром состоянии духа Черчилля, но и о том, что он хочет быть с корреспондентами на равных.

Итак, кресло посла оставалось пустым, а Черчилль расположился в одном из полукресел, стоящем у стены и ничем не отличающемся от тех, на которых сидели корреспонденты. Полукресло было узко и не вмещало тяжелого черчиллевского зада» но британский премьер, казалось, не испытывал неудобств, точно всю жизнь он сидел на таком тычке, оставив на весу

большую часть обильной красоты своей. Памятуя, что сила слова утраивается по мере того, как оно становится личным, Черчилль начал с воспоминаний о своей прошлой поездке в Москву. Он сказал, что в пору его прежнего приезда Сталинград находился в осаде, а линия фронта была всего в восьмидесяти — девяноста километрах от Москвы. Теперь же он нашел здесь «замечательную атмосферу надежды и уверенности». По словам Черчилля, союзникам «предстоит еще немало жестоких битв», но с полей сражений идут хорошие вести, и ему, Черчиллю, трудно не быть оптимистичным. Заметив, что встречи в Москве содействовали «прекрасной слаженности отношений между союзниками», Черчилль безбоязненно заявил: «Русские не испытывают более чувства го речи оттого, что несут всю тяжесть войны на себе». Как ни специфически черчиллёвскими были заключительные слова британского премьера, присутствующие увидели в них желание рассмотреть грядущее, быть может даже не столь отдаленное. Черчилль говорил о триединой дружбе, об ее дне нынешнем и завтрашнем. Утвердив нечто такое, что в тот октябрьский день сорок четвертого года могло прозвучать как прорицание, Черчилль произнес с видимой искренностью: «Дружба, пожалуй, представляет собой то единственное, что способно обеспечить мир нашим детям и внукам».

Наверно, оптимистический тон, установившийся на этом этапе переговоров, непросто было распространить на трудную польскую проблему, но Черчилль и здесь нашел свои слова. Он сказал, что в ходе нынешнего диалога союзники вникли глубочайшим образом в волнующие проблемы, связанные с Польшей, и он, Черчилль, вправе утверждать, что им удалось достигнуть совершенно конкретных результатов и существенно уменьшить расхождения. Что же касается Балкан, то Черчилль назвал события, происходящие в этой части Европы, удивительными, заметив, что отчасти эти события предопределили его приезд в Москву, так как «решить проблему путем переписки было невозможно». Как полагает Черчилль, в ходе переговоров по балканским вопросам удалось достичь «весьма ощутимых результатов», при этом Идену «пришлось нелегко». Помянув своего министра иностранных дел, он не стал распространяться относительно балканских проблем — создалось впечатление, что он обратился к Балканам единственно потому, чтобы вспомнить Идена, который с нескрываемой укоризной уже давно смотрел на своего премьера из сумеречного угла кабинета…

На другой день Черчилль вылетел из Москвы, среди провожающих на аэродроме находился и Сталин, что являлось,

как и все остальное в этой встрече, беспрецедентным.

Остроглазый Галуа издали приметил дородную фигуру Бардина, медленно идущего вниз по Кузнецкому, и как бы невзначай устремился вслед.

— Егор Иванович, не обременю вас… присутствием, так сказать? Вы в сторону Неглинной?

— Угадали, к центру.

— Лондон только что сообщил о возвращении Черчилля, все хорошо… Говорят, старик боится высоты и предпочитает полет едва ли не бреющий… Пешком, пешком, опираясь на костыль, а доковылял… божий человечишка. Не так ли?.. — он засмеялся, притопнув: очень хотел, чтобы Бардин разделил его веселость по поводу божьего человечишки, но Егор Иванович замкнулся в хмуром молчании. — Ему нужен был успех московских переговоров, и он выстраивал его по кирпичику. Вы читали его письмо о Дебице с благодарностью Советскому правительству, которое он отправил уже из Москвы? Ну, разумеется, он был рад приему, который оказали русские англичанам в Дебице, раскрыв секреты «фау»… Как ни остра проблема «фау» для нынешней Англии, дело не в немецких ракетах…

— А в чем?

— Ему надо было закрепить доброе отношение русских, закрепить любой ценой, и он послал это письмо о Дебице… Конечно, он был заинтересован в добром отношении русских и прежде, но сегодня были особые причины. Новые выборы для него уже начались, и ему важно каждый успех чуть-чуть преувеличить…

— Вы полагаете, его радость искусственна?

— Нет, естественна, но по иному поводу.

— По какому?

— Он был рад, очень, что ему не напомнили… Варшаву.

Галуа притопнул и исчез.

— Бес, — невесело улыбнулся Бардин, — ничего не скажешь, бес… И появляется внезапно, и исчезает, как надлежит бесу.

45

Вайнант ехал к советскому послу. Как понял Тарасов, американец был с советником. По праву паритетности советский посол пригласил Сергея Петровича.

Последний раз Бекетов видел Вайнанта две недели назад. Американская газета напечатала статью, достаточно тенденциозную — в ней деятельность Европейской комиссии была, мягко выражаясь, деформирована. Тарасов хотел обратить внимание посла на статью, попросив Сергея Петровича побывать в американском посольстве. Злополучная статья стала предметом беседы Бекетова с американским советником, но непосредственный Вайнант, чуждый премудрости протокола, захотел переговорит с Бекетовым и сам. Как понял Сергей Петрович, посла интересовала не только статья, не в какой-то мере и русский гость. Посол сказал, что слыхал от своих коллег о поездке Бекетова Нормандию, и хотел бы знать, какое впечатление нормандский вояж произвел на Бекетова. Как понял Сергей Петрович, у американского посла были и иные возможности ознакомиться с положением дел на континенте, но в данном случае он хотел знать мнение русского. Бекетов, наслышанный о Вайнанте от Тарасова, охотно откликнулся на просьбу американца, он рассказал о своей поездке в Кан, отметив воодушевление и дух братства, которые владеют войсками. Сергей Петрович не удержался и сказал, что не однажды видел на машинах с американской пехотой рядом звездным федеральным флагом красный стяг с серпом и молотом. «Это было стихийно, а поэтому искренне и бескорыстно — американцы не могли не знать, что русские далеко от Кана, в этом было желание выйти навстречу русским…»

Бекетову показалось, что Вайнант улыбнулся ему в ответ и только в силу обычной учтивости — бекетовская фраза его шокировала, больше того, она ему была приятна.

— Если говорить об англичанах, то большой десант имеет для них свой смысл, русским и американцам неведомый. — Он помолчал, внимательно глядя на Сергея Петровича. — Даже больше русским, чем американцам: конец Кливдена… — Он продолжал пристально смотреть на Бекетова, а Сергей Петрович думал: «Почему он заговорил о Кливдене? Неужели он знает, что Кливден является ахиллесовой пятой и моих раздумий об Англии? А если знает, то откуда?»

— А у Америки есть… Кливден? — спросил Бекетов — он хотел знать, как этот вопрос трансформируется в ответе именно

Вайнанта.

— Кливден? — переспросил посол, явно не торопясь. Его сомнения имели тут свой смысл: кому не известно, что ярым кливденцем был Кеннеди, предшественник Вайнанта на посту посла в Лондоне, но не говорить же сейчас американцу о нем. — Был Кливден и не исчез.

— Если, не исчез, значит, не просто «был», а «есть»?

Вайнант улыбнулся:

— Можно сказать и так: есть…

Бекетов был немало озадачен. Если Вайнант начал этот разговор случайно, значит, и случай играет свою роль в обстоятельствах не случайных отнюдь.

И вот новая встреча с Вайнантом. С чем американский посол ехал к Тарасову? У их встреч установился свой ритм и своя добрая простота, для американского и советского послов в прежние времена, пожалуй, беспрецедентная: они могли встретиться даже в том случае, если просьба о встрече была заявлена всего час назад и прямо ее предваряла, что, как понимал Бекетов, начисто разрушало нормы протокола… Но, быть может, встреча имела к делу отношение косвенное и нормы протокола здесь условны? Нет, советник, в возрасте почтенном весьма, обремененный подагрическим румянцем и украшенный усами и подусниками, сам советник, сопровождающий посла, его лик и его облик, как папка благородно черного цвета из натуральной кожи в руках советника, прямо указывали, что речь пойдет о деле насущном. Что же касается посла, то дело наверняка застало его врасплох посреди непраздного дня, и, направляясь к русским, он не очень утрудил себя заботами о туалете. Нет, его костюм был пристойным вполне, но вместо жилета на нем была теплая кофта из толстой шерсти, в какой посол любил работать в своем просторном и, так могло показаться, холодноватом кабинете. Бекетов не знает, поехал бы он в такой кофте к американскому послу, но для американца, который и прежде был непочтителен к протоколу, это соответствовало норме вполне, к тому же было больше знаком добрым, чем дурным, ибо свидетельствовало, что он едет к друзьям, а тут протокол может и не участвовать.

Пока человек с подусниками раскрывал свой кожаный бювар, раскладывая с привередливостью бывалого клерка пасьянс из пяти листов, заполненных машинописным текстом (велик соблазн разложить пасьянс, да не очень-то разгуляешься при такой скудости материала — пять листиков, пять!), посол поведал, как ездил сегодня утром по старым лондонским церквам, говорил со служителями культа, окунулся в толпы прихожан, разговаривал с ними и, кажется, верно представил себе настроение старого

города в эту более чем знаменательную осень сорок четвертого года. Конечно, посол понимает, что прихожане лондонских церквей — это своеобычный люд, пришедший в нынешний день не столько из века двадцатого, сколько девятнадцатого, но и их мнением не следует пренебрегать, если говорить о духе народа, его симпатиях и антипатиях. Тарасов слушал американского коллегу с участливой улыбкой, в которой было некое непротивление причудам американца. Свое понимание происходящего, не очень общепринятое, но не лишенное смысла, подчас значительного, было свойственно рассказу Вайнанта и о путешествии по старым лондонским церквам. Не каждый американский посол отважился бы на такое путешествие, да и не каждый рискнул бы рассказать об этом русским, тем более в присутствии человека с подусниками, который не преминет доложить об этом начальству, сообщив, разумеется, факту свое толкование, но Вайнант рассказал не очень заботясь о том, что рассказ этот разрушает представление о после как о человеке жестко устремленном, чуждом соблазнам.

— Но перейдем к делу… — сказал посол и, обратив взгляд на человека с подусниками, протянул руку и наугад выщипнул из скудной стопы машинописных страниц листик повесомее и, все еще удерживая его за уголок, дохнул на него и вызвал трепет листа, почти звон. В этом жесте отнюдь не было суеверного почтения к документу. — Сегодня утром пришла почта из Штатов, и в ней было вот это… — он указал на лист, который все еще продолжал трепетать в его руке. — Речь идет о зонах… — Он, как мог, сократил этот термин, не столь уж симпатичный для него, посол сказал «о зонах» вместо «о зонах оккупации» — характерно, что была упущена именно «оккупация». — Наши считают, что у каждой стороны должна быть в Германии своя зона: Советский Союз, Великобритания, Штаты…

Бекетов не сводил глаз с Тарасова — не лишено интереса, как отзовется на реплику Вайнанта советский посол. Вот уже год, как Тарасов в Лондоне. По случайности, в какой-то мере и счастливой, его приезд сюда совпал с Московской конференцией, а следовательно, с началом неусыпного бдения в Ланкастер-хауз — так окрестил он и его коллеги заседание Европейской консультативной комиссии. Три проблемы, проблемы жизненные — поражение Германии, таинства контрольного механизма в Германии, зоны оккупации в Германии и Австрии — были предметом обсуждения. Замысел заключался в том, чтобы к моменту, когда падет Берлин, союзники не просто обрели бы единодушие по этим вопросам, но вместе с единодушием соответствующий план и опыт. То, что происходило в Ланкастер-

хауз, требовало и доброй воли, и знаний, и, главное, терпения завидного. Сталкивались интересы, разное понимание вещей, нередко элементарных, а подчас и характеры, не в последнюю очередь тех, кто сидел за столом переговоров… Вайнант был строптив, хотя лишен предрассудков и доброжелателен; с ним, как правило, Тарасову удавалось договориться и по проблемам трудным, а они делали погоду. Другое дело — англичанин. Он держался особняком и сражался до последнего, подчиняясь лишь диктату большинства. Хотел Тарасов этого или нет, но запомнил эту слабость в позиции британского коллеги и при случае старался заручиться поддержкой американца, практически оставив англичанина в меньшинстве. Но и американец был не так бескорыстен, как могло показаться: в зависимости от обстановки он мог присоединиться то к русскому, то к англичанину, иначе говоря, действовал так, как Рузвельт в Тегеране.

— У нас полагают, что должно быть три зоны: советская, американская, английская… Речь может соответственно идти о германском севере, юго-востоке и юго-западе… Три, — он приподнял руку, для убедительности слабо шевельнул пальцами. — Три…

— А как… Франция? — спросил Тарасов. Этот вопрос возникал не впервые, и, сказав «три», американцы давали ответ, отрицательный ответ. — Франция?.. Справедливо?

— Наши полагают, справедливо, мистер Тарасов… В конце концов… вступают в действие факторы… непреходящие.

— Какие, мистер Вайнант?

— Реальное участие в войне.

Эти слова или приблизительно эти не однажды уже произносились. По всему, американец запросил госдепартамент, какой позиции ему тут придерживаться. Ответ Вашингтона был недвусмыслен: не четыре, а три. Следовательно, противоборство продлилось — американцы продолжали настаивать на неучастии Франции в оккупации. Однако почему этот вопрос всплыл именно сегодня, при этом ему была сообщена даже некоторая спешность. Да не идет ли речь о новой встрече трех? Если так, то когда она состоится?

— Новый Тегеран требует времени, господин посол, не так ли? — Тарасову казалось, что нет смысла ни возражать, ни соглашаться, целесообразнее сместить разговор в сферу предположений: новый Тегеран… Сместить и обрести некий резерв для ответа.

— Но обстоятельства могут потребовать ответа и раньше, мистер Тарасов…

— Обстоятельства?.. Они неуправляемы?

— Для нас с вами? — Вайнант засмеялся, спрятав глаза, ему трудно было лукавить. — Для нас? Определенно!

— Однако о чем речь?..

Сейчас человек с подусниками сидел, опустив лицо, деликатность момента и его смутила немало. Он сидел чинно, сложив руки на животе, стопка машинописных страниц лежала перед ним. Он был в такой мере церемонно-чопорен и замкнут, что казался безучастным.

— В Москву приезжает де Голль… — сказал Вайнант и едва ли не принял ту же позу, что и человек с подусниками.

Вот она, закавыка: де Голль едет в Москву! Да, де Голль направляется в Москву, и американцы встревожились: не посулят ли ненароком русские французам… злополучную зону? От русских именно этого и можно ожидать — у них натура широкая. Конечно же намерения русских можно уточнить и не столь окольным путем — связь между президентом и русским премьером действует исправно, — но американцы предпочитают именно окольный путь, и их, пожалуй, можно понять: деликатный для Рузвельта французский вопрос требует деликатного обращения, — того гляди, нарвешься на отказ, тем более в разговоре с русскими. Давно известно, что для русских французы — некий род недуга. Даже интересно, как будто бы на Россию ходил не Наполеон…

— Я вас понял, мистер Вайнант, но, если хотите знать мое мнение, в какой-то мере личное…

— Да, мистер Тарасов?..

— Было бы несправедливо отстранять Францию…

Из всех слов, возникших в беседе с американцем, запомнилось именно это, произнесенное Тарасовым: несправедливо. Наверно, оно, это слово, передавало суть беседы, но в какой-то мере оно передавало и существо Тарасова. Как ни крути, а сын псковского пахаря, выходец из безвестной деревеньки у Чудского озера, ратовал за то, чтобы воздать должное французскому терпению и мужеству и покарать Германию… Да не эта ли тарасовская деревенька, забредшая ненароком к берегам темноводного озера, судила сегодня Германию? Не по праву мести за нашествие псов-рыцарей, а по праву русского сознания, правды русской, той самой правды, опираясь на которую Тарасов сказал в тот день американцу: «Несправедливо…»

46

Бекетов пошел к Шошину — в полуоткрытую дверь была видна тусклая полоска света (не иначе, горела лишь настольная лампа), да из комнаты тянуло табачным дымком. Сергей Петрович приоткрыл дверь пошире.

— Можно, Степан Степаныч?

Бекетов шагнул через порог и едва не отпрянул: в правом углу в кресле, подобрав под себя ноги, сидела женщина.

— Знакомься, Кома, это и есть Бекетов…

Женщина как-то очень ловко выпростала из-под себя ноги, встала, сделавшись ненамного выше.

— Знакомьтесь, знакомьтесь, Сергей Петрович: была дамой, а стала девочкой.

— Коли вы приехали, значит, победа близка, — сказал Сергей Петрович — хотел сказать больше, да стеснилось в груди.

— Близка, Сергей Петрович…

Она опять уселась в углу, не забыв подобрать под себя ноги: то, что сказал Шошин о Бекетове, по всему, не внушало ей страха перед Сергеем Петровичем.

— Вы кто же… санитарка или, быть может, зенитчица?..

Она засмеялась, встряхнув волосами, видно, они отросли у нее уже после демобилизации, она ими то и дело встряхивала.

— Не узнали? Дежурная штаба ВВС на Пироговке, помните?

— Как же? Без вас ни один самолет не взлетит, не сядет!

— Верно!.. Когда пошла, думала, не женское дело. Оказывается, женское! Ночи и дни, ночи, ночи… Все аэродромы на проводе… Все: и Ростов, и Воронеж, и Курск… Вот только к Ленинграду не могла привыкнуть. Как зазвонит под утро: «Говорит Ленинград, говорит Ленинград!» Верите, Сергей Петрович, встанет вот тут у горла — не продохнуть, и слезы сами льются. «Говорит Ленинград!..»

Бекетов ненароком взглянул на Шошина: перо остановилось, газетная полоса, еще не просохшая, только что застилавшая все пространство стола, едва ли не была смята.

— Бери свои гвоздички и уходи, Комулек, ты нам с Сергеем Петровичем мешаешь…

— Мне не мешает, — сказал Бекетов несмело.

— Мне мешает, мне… Только гвоздички не забудь, Комочка…

— Я уйду, Степа… ты не тревожься.

Она отодвинула оконную штору и извлекла из стеклянной баночки печально-торжественную троицу гвоздик, матово-белых.

— Гвоздики… от вас, Степан Степаныч? — спросил Бекетов,

когда Кома вышла.

— В каком смысле? — недобро блеснул глазами Шошин.

— В том самом.

— От меня, разумеется… А что?

И Шошин разгладил ладонью мокрую полосу, попытавшись вернуть ей прежнюю форму.

— Был… Вайнант?

— Был, Степан Степаныч.

Шошин отодвинул полосу, точно она внезапно перестала его интересовать.

— У нас есть один недуг, хронический, Сергей Петрович, способность воспылать… любовью или ненавистью. Так в данном случае не надо ни того, ни другого…

А Бекетов, грешным делом, думал, что с белыми гвоздиками прежний Шошин исчез. Какое там! Да совладать ли со всемогущим Шошиным немощным гвоздичкам?

47

Коллинз сказал Бекетову, что хотел бы навестить Шоу — старик захандрил в своей одинокой обители, отказываясь ехать в город. Бекетов принял реплику Коллинза как приглашение. Коллинз ехал с женой, дав понять Сергею Петровичу, что он мог бы сделать то же самое. В этот раз Екатерину уговаривать не пришлось.

День был, вопреки ноябрю, безветренным и сухим. Леса и поля, лежащие на их пути, дышали покоем — очень было заметно, что война ушла с островов, сместившись на континент. В небе, затянутом нетолстым пологом облаков, стояло солнце, неяркое, желтое, расплывчатое, точно застланное вощеной бумагой. Иногда высоко в небе вдруг возникал птичий клин припоздавший — для ноября это и здесь необычно.

Они подкатили к заправочной станции, расположившейся под ветвистой вербой, еще не растерявшей всех своих листьев. Пока машина дожидалась очереди, Бекетов и Коллинз покинули автомобиль, пошли вдоль проселка, как бы ответвившегося от шоссе.

— Вчера разговаривал с одним коллегой, приехавшим из Эдинбурга, он там ведает местным отделением нашего общества… Знаете, что он мне сказал, мистер Бекетов?

Коллинз не зря привел Бекетова на этот проселок — то, что англичанин мог ему поведать здесь, он лишен был возможности произнести в машине.

— Из Эдинбурга, говорите? — переспросил Бекетов. — Это не мистер ли Плэйс? Вот видите, он… Так что он вам сказал?..

— Пойдемте назад, по-моему, встречный ветер, боюсь… — Коллинз поднял руку, серую, не тронутую загаром, определяя направление ветра. — Так знаете, что сказал мне этой Плэйс… — Он взглянул на бензоколонку, пошел тише — он определенно соизмерил рассказ о Плэйсе с расстоянием, которое оставалось до бензоколонки. — Плэйс сказал: «Как это ни парадоксально, но окончание войны у меня вызывает чувство двойственное — и рад, и, простите меня, не рад…» — «Почему?» — «Вы представляете, что есть Черчилль, не заинтересованный в русской помощи?» — «Вы говорите об антисоветизме старого Уинни?» — «При этом о таком антисоветизме, который даже для Черчилля был невиданным». Вот такой разговор был у меня с Плэйсом, мистер Бекетов.

— Однако, он не из робкого десятка.

— Кто, Плэйс?

— Да.

Конечно же Коллинз думает сейчас не столько о Плэйсе, сколько о себе. Не ясно ли было, что наступают времена, когда необходима не просто добрая воля, но еще и мужество. В годы войны, когда знаком британской официальной политики был союз с Советской Россией, легко быть ее другом. А как в послевоенное время, когда подуют иные ветры? Хочешь не хочешь, запнешься и умолкнешь прочно.

— Ты что… помрачнел? — шепнула Екатерина, когда Бекетов занял свое место в автомобиле.

— А разве заметно? — усмехнулся Бекетов — ее инструментик чуткий сработал и в этот раз.

— Еще как!

— Хорошо, не буду…

Но ему непросто было совладать с собой. Было горько от одного сознания, что все, что с таким воодушевлением сооружалось в эти годы, рассыплется. Больше того, было чуть-чуть страшно, что испытание, которое грядет, окажется посильным не для всех: кто-то устоит, а кто-то обратится вспять, обязательно обратится вспять, будут такие, всегда есть такие… Было страшно даже не потерять — потери восполнимы, — а разувериться в человеке. В жизни нет ничего страшнее этого разочарования. Ну, вот хотя бы… Коллинз. Только подумать: каково Бекетову потерять Коллинза?

— Сережа, да что ты онемел?.. Неловко, скажи слово, Сережа…

Нет, нет, Егор в тот раз был прав, это адски трудно — сообщить свою веру человеку… В тот раз на Варсонофьевском, перед отъездом в Лондон, Егор явил зрелость завидную, хотя она и не очень тогда обнаруживалась. Нужны были три года, чтобы ты понял это?

— Сережа, да что с тобой? Скажи, пожалуйста…

— Сказал бы, да не хочу будить мадам Коллинз…

Свежий воздух действует на мадам Коллинз усыпляюще, в разговоре с нею нельзя делать пауз, она тотчас принимается клевать носом и улыбаться. Улыбка у нее защитная: знает, что спит, и, обороняясь, улыбается, делает вид, что не спит.

День пресекся, стало сумеречно, потом темно, завыл ветер, плеснул в оконное стекло вначале пылью, потом дождем, обильным, в три ручья. Машина замедлила скорость. Когда машина наезжала на лужи, вода так трещала под колесами, будто была скована льдом. Мадам Коллинз проснулась, причитая:

— Такого я еще не видела, о боже.

Спасение пришло вовремя — усадьба Шоу точно вышла

навстречу. К тому же кто-то предусмотрительно открыл ворота, машина влетела во двор. Казалось, утлая обитель Шоу пела и стонала под ударами бури: заворачиваясь, расправляясь, грохотало железо кровли, звенели стекла и громово, мощными басовыми голосами гудел оркестр труб, венчающих островерхую крышу дома. Звуки бури только возбудили энергию Шоу, он встрепенулся. Это же счастье — почувствовать себя капитаном терпящего бедствие судна! Было слышно, как он шагал на своем втором этаже, на этой верхней палубе воображаемого судна, отдавая приказания:

— Что там гремит, как на погибель, всех наверх!

Даже приезд гостей не очень отвлек его от этого занятия, оно воодушевило его.

— Затопить печи, и так, чтобы дымом пахнуло… Несите дров, да пощедрее!..

Шоу действительно успокоился лишь после того, как зашумел в камине огонь, вначале дремотно, потом все более мощно, пробуждаясь.

— Ну, рассказывайте, дорогие гости…

Он сидел в своем плетеном кресле закинув ногу за ногу, и Бекетов мог рассмотреть его. За год, минувший со времени последнего визита Сергея Петровича в Эйот Сэн-Лоренс, его седины не стали ярче. Наоборот, они точно потускнели, сделавшись серо-зеленоватыми, точно мох привядший, усохло лицо, и веки стали малиновыми — видно, новый поворот возраста.

— Я уловил в вашем взгляде сострадание, мистер Бекетов. Не жалейте, пожалуйста, меня, как не жалею себя я сам… Если хотите, я как ваш соотечественник Павлов, оставлю науке… хронометраж своей кончины и засеку звонок первый, второй и третий…

Он, пожалуй, был не очень рад, что буря стихла, его больше устраивало бы, если бы природа выдала ему на всю мощь шквального ветра, чтобы она наделала большего переполоха в его слишком благополучном доме, чтобы — о счастье! — порывом ветра проломило бы крышу или вышибло окно. Но буря смолкла, и он с кротким вниманием следил, как всесильная миссис Лейден, туго свитые локоны которой за этот год тоже не минула серо-зеленая мшистость, накрывает чайный стол.

— Люблю прогнозы! — вдруг возликовал он. — Не был бы тем, кто я есть, сидел бы на синоптической вышке и предрекал погоду, всякую, разумеется: политическую, военную…

— Нет, добрый друг, вы не точны… — вмешался Коллинз — и в него вселился бес озорства. — Прогноз прогнозу рознь!.. Ну, к

слову, поражение Гитлера — сегодня уже не прогноз…

— А вот победа Черчилля на выборах — это прогноз! — с необыкновенной энергией тут же парировал Шоу и разом снял настроение сумрачной тревоги у гостей.

— Именно, победа Черчилля — это прогноз… — подхватил Коллинз воодушевленно — ему очень хотелось знать мнение Шоу. — Если Гитлер потерпит крах, возвысится Черчилль, и наоборот, все взаимосвязано, может, даже закономерно, не так ли?..

Шоу нетерпеливо задвигал ногами, встал.

— Когда речь идет о прогнозах, я боюсь законов, они мешают мне думать…

— Простите, но вы не ответили на вопрос.

Шоу махнул рукой, обратился к Екатерине.

Она сидела рядом.

— Ответил я, миссис Бекетова?

— Ответили, ответили! — обрадовалась Екатерина — ей было приятно, что выручала Шоу именно она.

— Если уж вы взобрались на эту вышку, я так просто от вас не отстану… — заметил Коллинз. — Можно еще прогноз?

Шоу взбодрился, он готов был держать экзамен.

— К вашим услугам, — он едва ли не раскланялся, сняв воображаемую шляпу, но, наклонившись, не скоординировал движения и опасно накренился, впрочем, устоял, опершись на спинку кресла. — К вашим услугам… — повторил он почти весело — ему хотелось сохранить хорошее настроение.

— Что произойдет, когда англичане встретятся с русскими? — вопросил Коллинз.

Шоу притопнул — верный признак, что его ответ был готов.

— Все будет зависеть от того, как далеко в этот момент будет победа… Итак, ответил я?

— Ответили, ответили!.. — подтвердила доброжелательная Екатерина, а Шоу, для верности опираясь о подоконник и край стола, шагнул к Екатерине и поклонился благодарно.

Он был очень хорош в эту минуту — пробудилось давнее что, казалось, навсегда сокрыли напластования лет, похоронили навечно… Воистину было дивом: ни пергамент его лица, ни эта спина, деформированная старостью, ни седины, неожиданно потускневшие и обратившиеся в мох, серо-зеленый, не могли иссушить и убить ростка молодости, который жил в человеке всегда и вдруг явился едва ли не перед зарей закатной…

Пришел Хикс в брезентовых сапогах и брезентовом картузе, которые он надел по случаю дождя, и сказал, что буря повалила липу. Шоу страшно перепугался и, наскоро обрядившись в

непромокаемое пальто, длиннополое, с поясом и накладными карманами, повлек гостей во двор. Дерево было выхвачено из земли, все его корни обнажились напрочь, они оборвались легко. Падая, ствол липы расщепился — всесильный червь проник и в него. Шоу вдруг наклонился и припал ухом к стволу, то ли баюкая дерево, то ли его прослушивая.

— Знаете, что сейчас сказала мне старая липа? Знаете? Она сказала: «Теперь твоя очередь!» — вымолвил Шоу и, раскрыв ладонь, толкнул ею дерево, точно торопя его, точно опасаясь, что око раздумает и не умрет.

Он добрел до скамьи, той самой, где они сидели вместе с Бекетовым прошлой осенью, сел, приглашая сделать это остальных — скамья была крашеной и не впитывала влаги.

— Вот говорят, что мудрость старости в формуле «Живи так, будто ты живешь последний день». Но чтобы прожить так, будто живешь последний день, нужны силы, а их уже нет… — Он умолк, скорбно ссутулившись. — Нет сил — непросто понять это и тем более признаться в этом себе.

Он сказал это и, словно спохватившись, оглянулся, остановив взгляд на Екатерине. Бекетову показалось, что ненароком старик выказал свою боязнь: ему не хотелось, чтобы сказанное услышала Екатерина, — Шоу продолжал свою игру. Бекетов и Коллинз поотстали, не без любопытства, пристрастного, наблюдая, как Шоу увлек женщин на садовую аллею, медленно пересек сад по диагонали, отводя голые ветви и давая возможность дамам пройти под деревьями, а потом вдруг возник на пригорке, при этом мадам Коллинз уже не было, а были Шоу и Екатерина.

Коллинзу почудилось ревнивое любопытство во взгляде Бекетова, обращенном на Шоу и Екатерину, и он не скрыл улыбки.

— Только молодая женщина способна вернуть молодость, не правда ли? — Он едва ли не захохотал — сказанное было применимо не только к Шоу. — Вы обратили внимание, как свободна миссис Бекетова в английском? Нет, не только лексика, но и произношение, и опыт разговорной речи, уверенность…

Бекетов и его спутник сели на скамейку, ожидая, что беседа на пригорке закончится и они вернутся в дом, но, прежде чем это произошло, сумерки быстро сгустились, повлажнели листья, Устлавшие землю, и на балконе, закутанная в шаль, появилась мадам Коллинз.

Всю дорогу в Лондон, долгую, Бекетова подмывало спросить Екатерину, заметно присмиревшую, какая тайная дума сковала ее, но не дремлющее на этот раз око мадам Коллинз останавливало — англичанка точно ждала этого вопроса.

С тем они и вернулись к себе. Игорек спал, привалившись к кафельной печке, подле, точно в жестокой сече, пало ниц шахматное воинство, — видно, дожидаясь, он воевал до последнего.

Екатерина молчала, дав понять, что сама не начнет разговора, молчал и Бекетов в тайной надежде, что Екатерина не выдержит и заговорит, но он плохо знал ее — на этом и кончился день.

Как бывало прежде, узел молчания, казалось стянутый намертво, уже за завтраком попробовал развязать Бекетов:

— Не мучь, ради бога, о чем вчера шла речь у Шоу?

Екатерина радостно встревожилась — не противилась этому разговору, может быть, он освобождал ее от бремени, которое она, пожалуй, сама бы с себя не сняла.

— Я сказала, что человек должен жить столько, сколько может жить его дух… Если дух живет, он должен подчинить и тело, не наоборот…

— А он?

— Что желание смерти может прийти раньше, чем умрет дух.

Бекетов хотел спросить ее: «И тут у него свои резоны?» — но не спросил, нечто заповедное в этом разговоре должна была открыть она сама, без того, чтобы он побуждал или тем более вынуждал ее к этому, — только в этом случае откровенность была бы не стеснена.

— Он сказал: весь фокус в том, чтобы не отстать от людей и не обогнать их; и в одном, и в другом случае ты обречешь себя на одиночество, а это смерть…

— Он… обогнал?

— Да, но не потому, что оказался сильнее, а потому, что те, кто шел рядом, пали… Он так и сказал «пали», оставив его одного… Он так и сказал: они точно разбежались… и я остался один. Они будто пустились врассыпную по своим фамильным склепам, иронически посмеиваясь и причитая: «А теперь мы посмотрим, что ты будешь делать в горчайшем своем одиночестве?.. Горчайшем, горчайшем».

— Нечего сказать, веселый разговор!..

Она замолчала, ей стало чуть-чуть обидно, не за себя, разумеется.

— Он сказал: «Бывает время, когда даже всесильная острота бесцельна — в ней нет смысла… А это, согласитесь, худо…» — «И ничто не может помочь делу?» — «Может, — ответил он, казалось оживившись, — может помочь делу… радость». Я спросила: «Разве победа, которая грядет, не радость?..» Он сказал: «Победа тогда победа, когда она сдвигает камни истории…» Мне

почудилось, что он подвел разговор к той черте, за которой или пропасть, или дорога в рай. Тут столько сильных слов, что можно было подумать: Шоу говорит о революции.

— Как понять все это: пророчество, завещание?

— Понимай как хочешь, — ответила Екатерина. — Если пророчество, то впрок, если завещание, то всуе… Он еще сказал: «Что есть моя жизнь, если я не помог земле, которая меня родила…» Я спросила: «Вы говорите об Ирландии?» Он сказал: «Всего лишь…» Мне кажется, он нашел слова, которые хотел найти: его родина — Ирландия, хотя он сын и всей земли, всей…

48

В Москве ожидали де Голля, и на Кузнецкий был вызван весь круг дипломатов, приобщенных к французским делам и в Лондоне. Бекетов поехал.

Истинно, всесильное время заявило о себе и на Кузнецком: рачительный управделами украсил лестничные марши греческими вазами, у златых врат наркоминдельского протокола появился в тяжелом багете солнцелюбивый Айвазовский, и большую гостиную отдела печати, снискавшую славу библейского ковчега, расцветили плюшевые шторы цвета зрелого граната. Воистину время было столь неодолимо, что даже всесильный человек, переживший невзгоды величайшей из войн, не в состоянии был воспротивиться движению души — пришла очередь и красоты.

В бардинском департаменте Бекетову сказали, что Егор Иванович загрипповал и вряд ли будет на Кузнецком на этой неделе. Не мешкая, Сергей Петрович выпросил немудреную «эмку» и рванул в Ясенцы. Уже за городом Бекетов остановил взгляд на заснеженном поле с поймой замерзшей реки, на лесистых увалах и березовой роще на отлете. Этот вид русского поля невольно сомкнулся в сознании Бекетова с чем-то далеким, горестно-тревожным и радостным, что не сразу ухватывала память, но отождествляла с запахом дыма на ветру, криком галок в предснежном небе, звоном ведер на застывшей реке и голосом матери, идущей поодаль со связкой тетрадок в руках: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные…» Вон куда тебя занесла память!.. Да не в Новгородчине ли это было в конце века, а может, в начале?.. Не тогда ли она сказала Сергею, дотянувшись до его щеки стылыми, одеревеневшими на морозном ветру пальцами: «Это, наверно, жестоко, Сережа, но мать, желающая своему дитяти добра, не должна освобождать его от потрясений, самых, прости меня, жестоких… Потрясение — благо…» Бекетов возвращался к этим словам вновь и вновь, желая оспорить их, сшибить истину, что была в них, и должен был признаться, что сделать это не просто.

И Бекетов вдруг подумал: вот Анна Новинская — это… потрясение? А если потрясение, то какое? Несущее благо? Очень хотелось, чтобы это было потрясение, о котором говорила мать. Потрясением, несущим благо пережитого, радость новизны, счастье возвращения в заревую пору, которую только чудо и может вернуть. Чудо?

Бекетов был в Ясенцах, когда неяркий декабрьский закат

вызолотил снежное поле и по насту, заметно отвердевшему и поэтому сверкающему, пошли гулять летучие блики вечернего солнца. Иоанна с Ольгой не оказалось, и в доме хозяйничала Ирина — ей было в радость выхаживать отца. Ее привел в восторг приезд Сергея Петровича, и с завидной сноровкой и прилежанием она принялась греметь на кухне кастрюлями и сковородами. Друзьям этот шум не мешал, было даже приятно ладить беседу под кухонный аккомпанемент Ирины — было в этих звуках нечто такое, что веселило душу, как бы суля стойкость бардинскому роду

— Ну, говори, Сережа, говори, — молил Бардин друга, не отнимая своей ладони от руки Сергея Петровича и чувствуя, как вместе с теплом руки в него проникают добрые токи, которым, наверно, нет названия, но в которых явственно ощущается и храбрая верность Бекетова, и чистота всей его сути — эту суть хочется назвать характером, но она больше, чем характер. — Ну, говори, Сережа…

Но Сергей Петрович молчал — все, что явилось его памяти, пока машина мчалась снежным полем, тронутым предвечерним золотом, смущало его душу и сейчас.

— Скажи, Егор, ты счастлив с Олюшкой? — он никогда ее не называл так — Олюшка. — Счастлив?

Егор встревожился — такого еще не было, Сергей Петрович до сих пор избегал этого разговора, если даже начинал Бардин.

— Ты же знаешь, Сережа, счастлив, очень…

— И не представляешь своей жизни без нее?

— Нет.

— А если бы была жива Ксения, ты обошелся без Олюшки?

Егора точно сухим паром обдало, он крякнул.

— Не знаю, Сережа… Ей-богу, не знаю!

Но Бекетов настаивал, даже как-то непохоже было на него:

— Если надо было бы оставить Ксению?.. Нет, говори, говори…

Бардин рассмеялся:

— Ну, друже… да ты ли это?

— Я, Егор…

Они молчали. Точно воспользовавшись этой паузой, на кухне с новой силой принялась греметь Ирина, но тотчас стихла, видно, и ее смутила тишина, воцарившаяся в доме.

— Кто она? — наконец спросил Бардин. — Молодая Коллонтай?

— Она.

— Так… Что же будем делать, Сережа?

— Вот и я спрашиваю: что делать?

Ирина принесла стопку тарелок и ушла, она начала накрывать на стол.

— Ты спрашиваешь о Ксении?

— Да.

Бардин вздохнул — истинно, за долгий век их дружбы Бекетов никогда не ставил перед Егором вопросов более трудных.

— Если бы даже любовь умерла, я бы не оставил ее, Сережа. Не мог бы оставить. Ты можешь осуждать меня…

— Жаль было бы?

— Жаль, Сережа…

Вновь вошла Ирина, весело-озорно она блеснула своими глазищами и, хмыкнув, удалилась — кажется, ужин удался.

— Ну, а если ты должен был бы взглянуть на все это из дня сегодняшнего? Ты понял меня, именно из сегодняшнего? Как?

— Но у тебя ведь нет этого моего сегодняшнего дня, Сережа?..

— Есть…

— Каким образом?

— Твой день у меня есть, Егор… Опыт твоего дня, если хочешь, твоего с… Олюшкой…

Бардин подумал: так вот откуда это храбро-ласковое «Олюшка». Ну, разумеется, не в Ольге суть. Просто он вдруг увидел в ней молодую Коллонтай и по этой причине библиотекаршу из посольства окрестил Олюшкой.

— И ты полагаешь, что она решится, Сережа?

— Решится, Егор.

— Бросит все?

— Бросит…

Бардин спустил ноги с софы, сидел, сцепив руки. Только сейчас Сергей Петрович заметил, как поник Егор за те полтора часа, пока продолжался этот жестокий диалог.

— Будь Ксения жива, я бы никогда ее не оставил, Сережа.

— Объясни, будь добр, почему?… Пойми, тут одна проблема. Человечество самим богом поделено, Егор: на тех, кто ходит на солнечной стороне и теневой. Екатерина навечно надела на себя эту тень студеную, а я хочу на солнце…

— Молодая Коллонтай — это солнце?..

— Солнце, и Олюшка — тоже солнце…

— И нет проблемы иной, Сережа?

— Нет.

— Тогда тем более нет оснований для смуты…

Бардин не узнавал друга — во всем его облике появилась некая воинственность, жаждущая вызова воинственность.

— Не сочти меня за ретрограда, Сережа, мы с тобой люди

долга. Решившись на страдное наше супружество, мы взяли слово и дали слово… Я хорошо знаю: моя любовь к Ксении растворилась в Сережке и Ирине, растворилась, но не убыла… Ушел бы я от Сережки? Никогда. Поэтому я и говорю: долг… Мы с тобой люди долга, Сережа…

— Тебе легко…

— Почему?

— Я говорю, легко тебе…

Явилась Ольга, смертельно уставшая, но неунывающая и, как всегда, несказанно красивая. Бекетов смотрел, как она вошла в свою комнатку и, оставив дверь полуоткрытой, быть может по небрежности, а возможно, не без тайного умысла, принялась охорашивать себя. Бекетов закрыл глаза. «Тебе легко, — повторил он. — Тебе легко…»

— Не буду кривить душой, хочу взять с тебя слово… — сказал Бардин, провожая утром друга. — Слышишь, хочу взять с тебя слово…

— А я не требую твоего слова, Егор, и сам избегаю его давать — мне так свободнее с моей совестью…

— Можно подумать, что боишься оступиться, Сережа?

— Боюсь.

Вечером Бекетов пришел на Сретенский бульвар. В «скворечнике» горел свет, быть может, настольная лампа — тени проецировались не столько на стену, сколько на потолок. В какой-то миг Бекетову показалось, что она подошла к окну, взметнув руки; быть может, она раздвигала гардины или укрепляла шторы. Но теперь не было сомнений, это была она. Только у нее был этот особый изгиб шеи, и этот завиток на затылке тоже был только у нее… Когда она поднимала руки, они превращались на потолке в крылья — чудилось, что в ее власти даже обрести их, эти крылья…

Все казалось, что она раздвинет шторы и они увидят друг друга. Но шторы сомкнулись и вслед за этим погас свет — Бекетов ушел…

49

Мало-помалу дипломаты возвращаются на Кузнецкий. В солдатских и офицерских шинелях, в погонах сержантских и полковничьих, в петлицах артиллеристов, пехотинцев, саперов, а то и интендантов — слова из песни не выкинешь. Случается, что прямо с вокзала идут на Кузнецкий — семьи все еще в Закаспии, в Заволжье, а то и в Закавказье. В этом случае вещевой мешок ложится на знатный наркоминдельский мрамор.

Непросто солдату вернуть облик дипломата, но наркоминдельским хозяйственникам смелости не занимать — экипировочный пункт на Никольской работает круглосуточно. Правда, дипломат является с Никольской, словно его в синюю краску с головой окунули: синий костюм, синее пальто, синяя шляпа, только ботинки пощадил всесильный ультрамарин. От Никольской до Кузнецкого пять минут спорого шага, но, пока дойдешь, смеху не оберешься: был комбатом или начполитотдела, а стал в этой синей шляпе с негнущимися полями едва ли не Шерлоком Холмсом… Непросто человека вырядить хоть в этакого детектива, но экипировочный пункт на Никольской работает исправно, что ни день, то рота Холмсов.

Хотя до победы, по слову военных, долгие версты, но версты заметно убывающие. Немцы изгнаны с Балкан, при этом в большой балканской кампании партизанская Югославия была подлинно нашим товарищем по оружию. Красная Армия потеснила немцев за Карпаты — рядом с нашими вооруженными силами были румынские войска, действующие теперь как войска союзные. С приближением наших войск с гор спустились болгарские партизаны, их удары по отходящим немецким войскам были точны. Красная Армия вошла в пределы Венгрии и Австрии, подступила к Чехословакии и точно зажгла там пламя народной войны — вот уже четвертый месяц бушует огонь словацкого восстания. Правда, в Прибалтике еще немцы, но их коммуникации с собственно Германией прерваны и с каждым днем их судьба все больше напоминает положение окруженных войск. Наши крупные силы, пересекшие великую польскую равнину, вошли в пределы Силезии и нацелились на Берлин, правда, еще отдаленно, но с каждым днем их удары становятся все ощутимее. Железный серп советских войск с грозной неотвратимостью приблизился к северным пределам Германии — тут у Гитлера никаких надежд…

Союзники пододвигали свое полукольцо с запада. Немцы оставили Италию — помощь итальянских партизан англо-

американским войскам была действенной. Дезорганизована система немецкой обороны во Франции — и здесь удары многотысячной партизанской армии приурочены к действиям регулярных войск. Так или иначе, а обрели свободу Марсель, Гавр и Лион, а вслед за ними и Париж. Немцы не теряли надежды на контрнаступление, но практически они сражались теперь на территории собственно Германии. Их пропаганда старалась представить дело так, что немцы наконец обрели преимущество, к которому стремились: войска и техника собраны воедино, фронты едва ли не в пределах физического видения командования, коммуникации сократились, что облегчало маневр. Возражать против этого было трудно: и одно, и второе, и третье было сущей правдой. И все-таки именно эти признаки свидетельствовали о наступлении конца, при этом чем определеннее каждый из этих признаков проявлялся, тем конец был ближе. В самом деле, коммуникации можно было сократить, а маневр облегчить до пределов Александерплац, но разве это свидетельствовало об успехе?

А Кузнецкий продолжал деятельно формировать свои миссии за рубежом — поистине наступало время, когда дипломатия должна была сказать свое веское слово: послевоенный мир, судьба Германии, репарации. Все зримее обозначалась перспектива новой встречи трех, судя по всему, последней в преддверии победы. Хотя обстоятельства встречи держались в секрете, сам факт был очевиден и, в сущности, не представлял тайны. Большая троица готовилась к встрече. И не только большая троица — Франция тоже.

У нее тут были свои интересы. И мир, и судьба Германии касались ее непосредственно. И не только это — де Голль продолжал говорить о великой Франции, ее месте в мире, ее интересах в Европе. В перспективе предстоящей встречи не грех было заручиться поддержкой кого-то из великих. Де Голлю не очень давался диалог с американцами, как, впрочем, последнее время и с англичанами — Черчилль слишком смотрел американцам в рот. Оставались русские — их поддержка в этой ситуации была бы бесценна. Так возникла идея поездки в Москву.

А тем временем дипломаты в кирзе и телогрейках, преодолевая ухабы и бочаги войны, стекались на Кузнецкий…

Де Голль ожидался в Москве со дня на день, когда Галуа пришел к Тамбиеву. Николай Маркович заканчивал телефонный разговор и указал гостю на стул. Но Галуа отошел к окну, взглянув на наркоминдельский двор — там разгружалась машина с тесом. Не прекращая разговора, Николай Маркович смотрел на,

Галуа. То ли потому, что боковой свет, идущий из окна, обтекал тамбиевского гостя, то ли время и в самом деле не пощадило француза, но Тамбиев увидел, как побелели виски Галуа; видно, всесильная ирония, бывшая щитом Галуа от всех напастей, не уберегла его.

— Не могу простить себе, что не спросил вас до сих пор, дорогой Тамбиич… — желая явить приязнь, он иногда называл так Николая Марковича.

— Да, Алексей Алексеевич…

— У вас был русский учитель?

— Да.

— И вы верили в его добрую волю?

— Верил, разумеется, почему не верить?

— Но ведь он был… русский миссионер в иноязычном крае, культуртрегер русский…

— Да так ли важно, что он был русским, он мог быть грузином или татарином, и это было бы тоже хорошо. Главное, что он был человек и мы, дети, ему верили.

Галуа отошел от окна, и его седины точно заволакивает пепел, они становятся серыми.

— Я тут что-то не понимаю, Николай Маркович…

— Что именно?

— По моему разумению, этот русский учитель должен быть; для вас чужаком…

— Как Бардин? — засмеялся Тамбиев, засмеялся недобро — имя Бардина должно было напомнить французу тот далекий разговор, когда чужаком, по разумению Галуа, был для Тамбиева Егор Иванович.

— Если хотите, Николай Маркович, как Бардин, — воинственно заметил Галуа.

— Наверно, имя народа не так мало, Алексей Алексеевич, это, как я понимаю, не последняя инстанция, которой дано судить…

— А что есть последняя инстанция, которой дано судить? — Конечно же он вспомнил тот разговор, он никогда его не забывал. — Октябрь, революция — воинственность идеи?

— Да, Октябрь… Кстати, тот русский учитель, быть может и был культуртрегером в иноязычном крае, но только не в смысле, в каком вы думаете, он был, если можно так сказать, культуртрегером Октября… а это, как я думаю, краю моему не противопоказано.

Галуа приближается к столу, садится.

— Мне тут с вами не совладать, Николай Маркович, вам виднее, вам куда виднее… — Он наклоняется, задумавшись.

Теперь Тамбиев видит: нет, это не световой эффект, вызванный близостью окна, седая изморозь действительно опушила его виски. — Что касается меня, то я хочу это понять, — он отрицательно поводит головой, точно говоря: «Для меня это не просто, совсем не просто…» — А де Голль едет, едет де Голль… Говорят, прием в Баку ошеломил его, особенно вид русских солдат, которые были выстроены при встрече… «Вечная русская армия, вечная…» — сказал генерал.

— Тут есть… прецеденты, в которые еще надо проникнуть, Алексей Алексеевич?

— Можно допустить…

— В природе должно быть нечто такое, что схоже с настоящим? — спросил Тамбиев — ему определенно виделся в реплике генерала некий прецедент.

— Визит Пуанкаре в Петербург? — засмеялся Галуа, он понимал, что сравнение это произвольно весьма, но не отказал себе в удовольствии к нему обратиться. — Нет, я не шучу, — спохватился он. — Дело не в прецедентах — им нет числа…

— А в чем?..

— Во франко-русском союзе… Я не оговорился: во франко-русском союзе.

Вот она, французская суть, которая до сих пор не очень виделась в Галуа: дело во франко-русском союзе. Кажется, француз сказал главное. Он и пришел сюда для того, чтобы произнести: союз. Надо понять, у Франции свои интересы, отличные от интересов англичан и американцев, свои интересы, и свои проблемы, не простые. Генерал любит обращаться к истории, стремясь найти там ответ на вопросы, которые его волнуют. Как понимает генерал, исторически Франции угрожали две опасности: великогерманский милитаризм и великобританское владычество. Есть одно средство, способное уберечь Францию от этой опасности: союз с Россией. Правда, ныне традиционную Россию представляет Советский Союз, но генерал приучил себя к мысли, что есть Россия, так привычнее. Опираясь на этот союз, генерал намерен вернуть Францию в круг великих, разумеется, опираясь па французский вклад в победу — он, этот вклад, не так мал, как кажется некоторым. Кстати русские и тут вместе с французами. Но в какой мере русские решатся откликнуться на предложение генерала, пренебрегая интересами англичан и американцев?

— Допускаю, что генерал не безгрешен, но одно у него нельзя отнять: он верит в союз французов и русских… — произнес Галуа и, встав, пошел к окну. Не очень-то многое увидишь, глядя в окно, выходящее в наркоминдельский двор, но казалось, он видит

много дальше. Дальше наркоминдельского дома, вставшего перед окнами, дальше Кузнецкого, дальше московских застав, дальше подмосковных полей, дальше тех пределов, за которыми открываются великие просторы, называемые Россией, где-то там сейчас едет де Голль. — Если переговоры будут удержаны в стенах, выражаясь условно, франко-советского дома и не выйдут за границы интересов двух стран, договор будет подписан… — произнес Галуа со значением.

— Можно понять генерала, который, вопреки всем невзгодам, перенесенным Францией, хочет видеть ее сильной, — заметил Тамбиев. — Но спросите любого из наших солдат: когда речь идет о завтрашнем дне Франции и французов, держится ли он иного мнения?

— Погодите, а разве имел место разговор на эту тему? — вопросил Галуа, ему показалось, что ненароком Тамбиев обнаружил знание проблемы, которого у Галуа не было.

— Коли генерал едет, то очевидно…

— Ну что ж, наберемся терпения, Николай Маркович.

— Наберемся терпения.

Галуа задержался в дверях.

— А знаете, этот ваш пан магистр Ковальский из тех, о ком русские говорят: «Тихий, да бравый…»

— Это вы к чему, Алексей Алексеевич?

— Вы видели книгу, отпечатанную на стеклографе: «Правда о Польше»?.. Да, ту, что поляки раздали в прошлую субботу корреспондентам и, как сказывают, сумели уже отправить и в Лондон, и в Нью-Йорк?.. Так всезнающий Клин говорит, что ее сотворил пан магистр… Он вам не презентовал эту книгу, а?

Ковальский был легок на помине — не успела захлопнуться за Галуа дверь, поляк был тут как тут.

— Шел и думал: нет ничего страшнее одиночества! — произнес Ковальский, отдуваясь. Он сел, положив руки на теплую батарею. — Молю бога, чтоб поскорее закончилась война, а сам не без страха думаю, что будет, когда она кончится…

— Почему… не без страха, пан магистр?

— Сейчас я могу еще допустить, что не всех моих близких покосила война, что кто-то остался… При желании я могу убедить себя, что они рядом, могу даже заговорить с ними, а они мне ответят… Но ведь они живы потому, что я о них ничего не знаю!.. А когда узнаю? Разом похороню целый город родни — братская могила! Что тогда будет со мной?.. Один! Нет ничего страшнее одиночества…

— Да велика ли надежда?

— Как я понимаю, не очень. Из самых близких, видно, всех выкосило, вот только Ядя…

— Дочь?

— Да, дочка, в Кракове, вернее, в краковском пригороде, Березове… Слыхали?

— Нет.

— Вот там ее надо искать.

Он не без труда встал, точно отпаявшись от батареи, долго стоял над креслом, раздумывая, сесть или еще постоять, потом сел.

— Тут у меня… случилась встреча, неожиданная, — произнес Ковальский, как показалось, вне связи с тем, о чем шла речь только что. — В Москву приехал с Миколайчиком свитский, как говорили прежде, генерал Мечислав Шимановский… Костюм партикулярный, а должность военная. Я подумал: Шимановский Мечислав, толстый такой, что положить, что поставить? В краковской гимназии был Мечислав Шимановский, сын местного фабриканта-обувщика, не парень, а сдобная булка, посыпанная маком, если только этот мак будет рыжим. Как все толстяки, Шимановский был покладист, отнюдь не скупердяй, хороший товарищ, безропотно сносящий проказы гимназистов, не всегда безобидные. А малый и в самом деле был способный: только его наш химик и нарек гордым «мой ассистент». Правда, внимание химика Шимановскому стоило дорого: он трижды взрывался на кипящих смесях и его рыжие веснушки сделались фиолетовыми. Но это только прибавило Шимановскому страсти: как утверждала молва, толстяк ушел в большую химию, совершенствовал свои знания во Франции и за океаном, сделав порядочное имя…

Однако какое отношение имело к Мечику положение свитского генерала? Пан магистр Ковальский кинулся искать повсюду друга детства. Отыскал, и Шимановский признал его с радостью, не выказав превосходства, хотя персона сановная вполне. Был рад, как могло показаться, искренне, облобызал, устроил нечто вроде дружеского ужина, говорил с той участливостью, которая свидетельствовала: истинно, время не властно над Шимановским!.. Ну, о чем могут говорить сегодня друзья детства, не видевшие друг друга едва ли не четверть века? О химии и карьере молодого ученого, подающего надежды? Ничего подобного! Речь шла о том, что горит: о земле, разделе земли, о польской земельной нови. А тут еще Шимановскому крупно повезло: он ездил в Канаду, говорил там с фермерами, в том числе с поляками. Кстати, Миколайчик отнюдь не против того, чтобы раздать крестьянам землю, но кто в этом случае будет кормить Польшу? Провидец — опыт, нет, не только Канады, но и

Польши, а также и России показывает: только крупное земледелие способно давать товарный хлеб. Крупное! На глаза Шимановскому попал пудовый том, который русские выпустили к трехсотлетию царствующего дома, — кто растил русский хлеб? Крупные земельные хозяева, завладевшие богатыми южнорусскими землями в конце века, все эти пшеничные магнаты Дона, Кубани, Таврии… В той же Канаде самый малый надел — сто гектаров! Меньший надел невыгоден, невыгоден! Разменяй канадские массивы на пятачки — Канада помрет с голоду… Ну, с точки зрения гуманной, крестьяне имеют право на свои пять — семь гектаров, но надо смотреть в завтрашний день. Раздай землю, и конец польскому изобилию. То, что хочет сказать Шимановский, может быть, и спорно, но подсказано опытом: нужно крупное земледелие. Пусть разрешено будет высказать крамолу: вернуть Радзивиллов — это значит вернуть Польше товарный хлеб. Пан магистр прервал плавное течение мыслей друга детства: но крупное земледелие может быть и кооперативным? Шимановский рассмеялся, он ждал этого вопроса! «Не польский путь, — сказал друг детства. — Не польский!» Пан магистр хотел спросить: «А почему, собственно, не польский?» Был резон задать этот вопрос, но пан магистр остановился. Разговор и без этого держался на волоске, нельзя так непочтительно со свитским генералом. Человек проявил полную меру доброй воли, надо быть благодарным. Монолог Шимановского был интересен доводами. Право крестьян на землю признавалось. Но вот что должен был сказать себе пан магистр: оно, это право, отвергнуто, казалось, в интересах самих же крестьян — если не хочешь, чтобы Польша померла с голоду, не раздавай крестьянам землю.

— Могу я спросить вас, пан магистр?.. — подал голос Тамбиев. — Из какой семьи вы происходите? Кто был отец ваш?

Пан магистр затих: признаться, он не думал, что степень неожиданности, заключенная в вопросе Тамбиева, будет такой.

— Кто был отец? Мелкий буржуа, самый мелкий… У отца была аптека, он был фармацевт.

— Апте-е-ека! — мог только протянуть Тамбиев — он ожидал любого ответа, но только не этого.

— Да, деревенская аптека на польский манер! — Он посмотрел на Тамбиева недоуменно. — Одним словом, мелкий буржуа, самый мелкий… ниспровергатель основ!

— Ниспровергатель? — засмеялся Тамбиев — в словах, которые произнес пан магистр, была ирония, однако в интонации ирония начисто отсутствовала.

— Именно, ниспровергатель, товарищ Тамбиев… — он

взглянул на Тамбиева с нескрываемой пристальностью. — Простите но мелкий буржуа — это не то, что мы с вами думаем… — в его взгляде не было прежней приязни.

Уже после того, как ушел поляк, Николай Маркович подумал: да не напоролся ли он на тайный риф, который, как можно был предположить, всегда таила натура поляка, однако не всегда это риф являла.

Де Голль прибыл в Москву 2 декабря 1944 года и в тот день был приглашен в Кремль.

Генерал оставил машину посреди кремлевского града, когда до приема оставалось минут семь. Он вышел из машины и, оглядевшись вокруг, почувствовал волнение. С той далекой поры, до которой добиралось его сознание, Россия ему виделась именно такой: высокие кремлевские купола в сочетании с панорамой заснеженного города, видимого с холма… Это была Россия, патриархальная и, в сущности, вечная. И то, что сейчас он был в этой России как ее знатный гость, волновало. Чувство пристрастно, оно воспринимало только то, что угодно было вспомнить генералу, что укрепляло настроение этой минуты, а не разрушало его. Не отдай генерал себя безраздельно во власть чувству, восприятие было бы иным. Он бы вспомнил, что некий знатный француз уже однажды был на кремлевском холме, правда, отнюдь не в качестве гостя. Генерал, любивший обращаться к историческим прецедентам, вряд ли сейчас склонен был вспоминать, как бежал из Кремля его соотечественник, а жаль, и это следует помнить. Кстати, этот факт не противостоит идее союза, а быть может, подтверждает, сколь идея эта насущна — в конце концов, нынешняя позиция Франции и России тем более утверждает приязнь, что в истории отношений между нашими странами были неодолимо скорбные страницы не только в том, но и в этом веке…

А между тем просторные кремлевские площади остались позади, уступив место длинным кремлевским коридорам, и мысль француза обратилась непосредственно к предстоящей беседе. У де Голля было свое представление о способности советского премьера вести государственный разговор. Француз внушил себе, что Сталин будет малоречив, побуждая собеседника к разговору не столько с помощью слова, сколько паузы.

— У Франции не было договора с СССР — вот истинная причина наших бед, — осторожно начал де Голль.

— Да, это было большим несчастьем и для нас, — согласился Сталин.

Де Голль заметил не без любопытства, что средний палец

девой руки хозяина тщательно стянут бинтом, ярко-белым, с едва заметной желтинкой, видно палец был порезан только что. Виновник происшествия — перочинный нож в серо-голубой костяной оправе лежал рядом с полуочиненным карандашом на краю стола. Приглашая гостя занять свободный стул, хозяин заметно выдвигал перевязанный палец, он, этот палец, точно одеревенел, плохо сгибался.

— Полагаю, что Россия и Франция выиграли бы, если бы Рейнско-Вестфальская область стала французской… — произнес де Голль с прямотой, в известной мере солдатской. — Быть может, Рур и требует международного режима, но Рейн с Вестфалией — другое дело. Повторяю, эту область следует отделить от Германии и присоединить к Франции…

Последняя реплика француза могла показаться неожиданно эмоциональной.

— А как смотрят на этот план Англия и Америка? — спросил русский, помедлив. Его вопрос не обнаруживал заинтересованности, была даже некоторая вялость, характерная для манеры Сталина.

— В восемнадцатом году они отвергли это предложение, чем не преминула воспользоваться Германия в ходе нынешней войны, — ответил генерал, он понимал, что русский премьер спрашивает его не об этом (как воспринимают французский план Англия и Америка, теперь воспринимают?), но решился именно на такой ответ, поставив себя в положение своеобразное. А как русский? Он может и не обнаружить этой маленькой хитрости француза. Сталин молчит — вот он, диалог пауз.

— Насколько мне известно, — произнес Сталин все с тем же бесстрастием, — в английских кругах рассматривалась другая комбинация, а именно — предложение взять Рейнско-Вестфальскую область под международный контроль… — он смотрел прямо на генерала. — То, что сказал сейчас генерал, для меня ново… — заключил Сталин.

Если на этом заканчивалась первая стадия диалога, то следует сказать, что француз, пожалуй, не реализовал замысла. Правда, ему удалось обратить разговор к проблемам, насущным для Франции, но ценой заметных потерь. Генерал был излишне эмоционален, а поэтому не всегда убедителен — его паузы, которые он, казалось, заготавливал впрок, не очень-то действовали, инициатива беседы была им переуступлена.

— Англичан и американцев нет на Рейне ни исторически, ни географически, — заговорил генерал, заметно волнуясь. — Правда, сейчас они воюют в этих местах, но они не останутся там вечно, тогда как Франция и СССР останутся на своих местах.

Советский премьер точно столкнул де Голля еще с одной паузой — резкость, с которой француз говорил о союзниках, нельзя было объяснить просто горячностью. Чтобы обратиться к подобной тираде, его собеседник должен был дать повод к этому, что отсутствовало напрочь. Если же русский не давал повода к этому, то у де Голля, по крайней мере, должна быть уверенность, что выпад француза против союзников встретят с пониманием, но и такой уверенности не было. Тогда на что рассчитывал генерал, обращаясь к демаршу? На интуицию, не очень определенную, что упреки в адрес союзников будут встречены русскими с пониманием в силу недовольства, давнего, которое русские питают к союзникам. Но интуиция в подобных обстоятельствах может подвести, тем более с таким собеседником, как Сталин.

— Чтобы обуздать германских агрессоров, наших с вами сил мало, — осторожно начал русский. — Границы — это еще не все, нужна армия… К тому же мы, русские, не можем решить этот вопрос одни, — произнес Сталин — он хочет, чтобы возражения прозвучали по возможности мягче. — Не можем решить одни.

Советский премьер встал, нетерпеливым движением придвинув стул, на котором сидел, к письменному столу. Жест был резким, и бинт, стянувший палец, сдвинулся. Все таким же резким жестом он снял бинт, пригнув палец к ладони, скрывая порез. Он оставил руку на весу, все еще удерживая палец в согнутом состоянии.

— А как быть с восточными границами Германии? — вдруг вопросил француз, он полагал, что, связав проблему западных границ с границами восточными, облегчит себе разговор.

— Исконные польские земли — Силезия, Померания, Восточная Пруссия — должны быть отданы полякам, — произнес Сталин, казалось, он благодарен, что француз дал ему возможность сказать это. Если в ходе беседы у русского были приобретения, то сейчас их надо было превратить в нечто существенное: Польша.

Но и всего сказанного для француза было достаточно, он встал.

Хозяин протянул ему руку.

Каким было впечатление от этой встречи? Если говорить о русском премьере, то француз мог показаться ему не столь последовательным в своих действиях. В его поведении эмоциональный момент был непозволительно велик. Его обращения к Рейну и Вестфалии не были подготовлены, а его выпад против англо-американцев был, пожалуй, наивен — у француза не было тут решительно никаких оснований рассчитывать на поддержку русских. Для русского очевидно: как

ни велико то общее, что сегодня связывает их страны, предстоящие переговоры будут трудными…

Когда де Голль появился в Кремле на следующий день, времени на экспозицию не потребовалось, и речь пошла о польских делах.

— Нас связывают с Польшей старые культурные и религиозные узы, — заметил генерал. Когда речь идет о Польше, у генерала нет необходимости ссылаться только на Францию, он имеет возможность сослаться и на себя. Как однажды уже упоминалось, генерал был волонтером польской армии в ее походе на восток в девятьсот двадцатом. К званию майора Речи Посполитой он получил за свои военные доблести крест святого Венцлава. Говоря о польской главе жизни генерала, биографы де Голля заметно смещают акценты: речь больше идет о его педагогической деятельности в Войске Польском, чем о боевой. В действительности имела место боевая деятельность, и достаточно активная: де Голль возглавлял пехотно-танковый отряд в операциях против Красной Армии под Варшавой и на Волыни. Позднее в своих военных мемуарах генерал исчерпает эту тему одной фразой: «…командировка в Польшу и участие в польской кампании…», хотя деголлевское волонтерство «командировкой» назвать трудно, а антирусский поход не очень отождествляется с понятием «польская кампания». Как было установлено позже, в силу происходящих в сознании де Голля метаморфоз, быть может метаморфоз трагических, революционная Россия была для него неотделима от ненавистных немцев — странно, но поход против России для француза был продолжением похода против немцев. Более чем лаконичная фраза, которой де Голль отметил свое участие в этом походе, не упоминает ни майорского звания, ни креста святого Венцлава и скорее своеобразно затеняет участие в походе, чем его выявляет.

Однако почему генерал не очень-то любил вспоминать свое участие в польском походе? Потому ли, что понял, что заблуждался, принимая новых русских за немцев (эти новые русские, немало сделавшие для спасения Франции, отнюдь не могли быть немцами), или потому, что польские доблести генерала сегодня выглядели иначе, чем в двадцатом году? Трудно предположить, что советский премьер не знал об этой странице биографии генерала, но ни одна из реплик русского не обнаруживала этого. Эрозия старости еще не коснулась памяти Сталина, он все помнил, но при желании мог заставить и память замолчать, в данном случае было именно так. По русской поговорке «Кто старое помянет, тому глаз вон!» советский

премьер говорил с де Голлем так, будто бы того злополучного похода не было. Вопреки всем метаморфозам он видел в генерале руководителя сражающейся Франции, остальное было производным. К тому же, как было уже упомянуто, де Голль не любил вспоминать участие в восточном походе, и это делало ему честь — русские, надо думать, это понимали.

— Повторяю, нас связывают с Польшей старые узы… — продолжал генерал. — Все наши попытки помочь возрождению Польши имели одну цель: возродить силу, которая противостоит Германии. К сожалению, такие люди, как Бек, стремились договориться с немцами за счет Советского Союза и Чехословакии… Скажу больше: я не возражаю ни против линии Керзона, ни против границы по Одеру и Нейсе…

Генерал говорил о восточных и западных границах Польши, хотя если быть точным, то он в косвенной форме свидетельстве вал и о французских восточных рубежах.

Но русский был склонен говорить только о Польше, по крайней мере сегодня. Он сказал, что рассчитывает на реалистическую позицию Франции, более реалистическую, чем позиция англичан и американцев. По его словам, поляки, «сидящие в Лондоне», занимаются министерской чехардой, в то время как Польский комитет национального освобождения раздает крестьянам землю, подобно тому как земля была роздана во Франции в конце XVIII века. Он обратился к французскому прецеденту не потому, что это могло импонировать самолюбию француза, просто пример казался ему убедительным. Короче, речь идет о том, чтобы Франция с пониманием отнеслась к тому, что делается сегодня в Польше. Осторожно, не столько прямо, сколько косвенно, советский премьер как бы приглашал французов признать новое польское правительство.

Пришло время для ответа де Голля едва ли не по самому деликатному вопросу переговоров. Генерал обошел молчанием деятельность Польского комитета в Люблине, обратив нещедрое слово к лондонским полякам. По его словам, действительные настроения польского народа обнаружатся, когда будет освобождена вся страна. Иначе говоря, приглашение русского премьер признать Польский комитет генерал оставлял без ответа. Что склонило симпатии де Голля на сторону лондонцев? Одна с лондонцами судьба в пору, когда Европа была под пятой немцев, личная симпатия, а может быть, даже дружба или боязнь, что Польша станет более красной, чем того хотел бы де Голль, и, чего доброго, окажет свое влияние, чтобы красной стала Европа? Так или иначе, а генерал дал понять, что намерен сопротивляться воле русских.

(Уже на ущербе того первого дня, когда в Кремле закончилась встреча русского премьера с де Голлем, в Лондон пошла подробная телеграмма с отчетом о беседе. Там был поставлен вопрос и о союзе, французы заявили тут о своем желании недвусмысленно. Черчилль воспротивился: пусть этот союз будет не двусторонним, а трехсторонним: СССР, Великобритания, Франция. Старому Уинни было ни к чему сплочение континентальной Европы, если даже оно будет советско-французским. Но французы стояли на своем — в этом триедином союзе их не устраивала роль младшего.)

К концу второго дня переговоров степень согласия и степень разногласия обнаружились точно.

Русские склонны принять идею трехстороннего союза, правда, такого союза хотят не столько русские, сколько Великобритания, но почему не согласиться тут с ними?

Французы не хотят признавать Польский комитет национального освобождения.

Но, может быть, есть возможность пойти друг другу навстречу, — в конце концов, сам де Голль подал пример такого решения вопроса: когда согласие по поводу западногерманских рубежей казалось недостижимым, француз затевал разговор относительно границ восточногерманских, дав понять, что готов идти на уступки.

Но советский премьер проявил выдержку.

— Польша — это элемент нашей безопасности, — осторожно упредил русский, он испытывал затруднение в попытке найти формулу предложения, которое вызрело. — Одним словом, услуга за услугу: пусть французы примут в Париже представителя комитета национального освобождения, а советская сторона готова пойти навстречу французам, кстати заключив и двусторонний союзный договор. Черчилль обидится, но что поделаешь… — улыбнулся русский премьер.

Как ни иронична была заключительная фраза диалога, она свидетельствовала: переговоры пришли к своему логическому завершению.

Грабин, который прибыл в Москву на время деголлевского визита вместе со своим послом, позвонил Бекетову: генерал хотел бы видеть город. Мысль богомоловского первого секретаря: хорошо бы, чтобы при осмотре Москвы рядом с де Голлем были русские, которых генерал знает. Они условились с Бекетовым встретиться в одиннадцать у памятника Воровскому с тем, чтобы в половине двенадцатого быть во французском посольстве, откуда кавалькада машин с французами должна отправиться в поездку

по Москве, но в одиннадцать первого секретаря, разумеется, у памятника не оказалось: Грабин верен себе. Бекетов прождал дежурные три минуты, потом еще три и, вспомнив всех присных, направился к машине, намереваясь доехать до посольства самостоятельно, когда появился Грабин, как обычно, весело-благодушный, разумеется, не чувствуя себя виноватым.

— Я промерз в такой мере, что готов был обратиться в звонкую бронзу, оставшись здесь на веки веков как упрек вашей необязательности, — возгласил Сергей Петрович — фраза была шутливой, но тон полон обиды.

— Представляю, как мило это бы у вас получилось, — прыснул Грабин — он убедил себя, что Сергей Петрович шутит. — Готов занять ваше место на пьедестале как некий памятник вашей обязательности…

На этом инцидент в очередной раз был исчерпан. Ровно в двенадцать кортеж из шести машин, идущий нерасторжимым массивом и отдаленно напоминающий корпус судна, начал плавание по многосложному морю Москвы. Кортеж достиг площади Революции и остановился. Генерал вышел из машины первым. Высокий, в просторном форменном пальто, украшенном крупным, закрывающим половину груди, меховым воротником, в форменной фуражке с широким лакированным козырьком, генерал пошел к толпе, которая заполнила тротуар перед входом в станцию метрополитена. В туманной полумгле генерал увидел колесницу Большого театра, забеленную снежком, улыбнулся — для него, колесница была символом России, как Василий Блаженный, столп Ивана Великого, кремлевские башни. Он увидел толпу у входа в метрополитен и пошел ей навстречу — он шел и улыбался.

По ассоциации, которая сейчас не ухватывалась, де Голль вспомнил субботу 26 августа, незабываемую для него и, как он убежден, для Франции: в этот день Париж, в сущности, чествовал генерала. В девять утра генерал зажег огонь на могиле Неизвестного солдата и, приветствуемый ликующими парижанами пошел к площади Согласия, а оттуда — к собору Парижской богоматери. Истинно, ради одного такого дня следует принять беды и испытания всех этих лет. Собственно, де Голль со своими сподвижниками, взявшими его в кольцо, являл собой живую пирамиду, символизирующую, как хотел бы это именовать генерал, традиционную Францию, пирамиду, какую манифестанты возили в старые добрые времена на автомобильных платформах по тому же Парижу, правда, сообщив пирамиде несколько иной смысл. Двухметровая фигура генерала очевидно символизировала нерушимость республиканских

институтов, опирающихся на частную собственность… Позади де Голля, как бы защищая собой его затылок и спину, идут генералы Кениг и Жуан, символизируя обнаженный меч власти. По одну руку — Бидо, чей консерватизм лишь условно может быть назван именем его группы, по другую — нормандский буржуа Ланьель — он хочет видеть в де Голле силу, которая охранит Францию и его, Ланьеля, от метаморфоз времени. Вот и вся пирамида. Она проста простотой символа и не столько скрыта, сколько обнажена — политический идеал генерала здесь. Но народ, приветствующий генерала, не очень хочет видеть в этом сложном сооружении символ. Народ приветствует в лице генерала вождя Сопротивления, а это значит вождя легендарных маки, чьи сомкнутые ряды не трудно обнаружить и сегодня, правда, по непонятной причине отодвинутые на почтительное расстояние от человека, с которым эти люди, казалось бы, должны отождествляться. Но народ не склонен к настроениям, которые разрушают его представление о празднике. Праздник дан, чтобы праздновать, а в остальном надо не терять надежды.

«Поскольку каждый из тех, кто находится сейчас здесь, в сердце своем хранит Шарля де Голля как прибежище от бед и символ надежды, надо, чтобы все эти люди увидели его — такого знакомого, родного человека, и национальное единство воссияет тогда еще более ярким светом…» — кто написал это? Новый Пимен, которого «свидетелем господь поставил»? Нет, это написал де Голль, человек хотя и честолюбивый, но не очень склонный к эмоциональным всплескам. Наверно, честолюбие — это тот самый лаз, который, очевидно, остается незащищенным у самых неприступных крепостей и который всегда имеет в виду опытный противник, когда эту крепость берет. Даже твердокаменность де Голля была тут уязвима, даже у него этот тайный ход незащищен — так или иначе, а в благословенном августе де Голль научился улыбаться и улыбается по сей день. Итак, генерал увидел толпу у входа в метрополитен и, осиянный улыбкой, пошел ей навстречу. Он будто бы говорил: «Я генерал де Голль, я приехал к вам, чтобы передать привет Франции». Весь его вид возглашал, что его должны здесь знать, как знали его в Париже, когда он шел по Елисейским полям к площади Согласия, а оттуда к собору Парижской богоматери, приветствуемый старыми и малыми.

Было бы несправедливо утверждать, что его тут никто не знает. Знает, разумеется, но всего как имя. Никому в голову не пришло отождествлять это имя с человеком в необычном форменном пальто, обремененном этим странным воротником. Впрочем, в самом этом факте не было ничего непочтительного

для де Голля — появись в это мглистое утро на улицах Москвы американский президент, и его бы узнали немногие, — в этом решительно не было ничего обидного. Но генерал, как привиделось Бекетову, чуть-чуть встревожился — прием мог быть и радушнее. А когда генералу предстояло втиснуть свое громоздкое тело в вагон метро, полный в этот послеобеденный час, некая печаль подернула его чело. Бекетов даже выругал себя: надо было бы как-то подготовить эту поездку, ну хотя бы освободить вагон, чтобы у генерала не было необходимости стоять вот так на одной ноге, прилепив распростертую ладонь едва ли не к потолку.

А между тем поезд минул Курский вокзал, и стало свободнее, но генерал не сел. Он стоял, опершись о никелированную стойку, внимательно наблюдая за молодой парой, сидящей напротив. Им было лет по пятнадцати, может быть шестнадцати. Они были в стеганках и, очевидно, ехали со смены. Ее лицо полузакрывал шерстяной платок, были видны нос, точно оструганный, и глаза, как могло показаться, смеющиеся. Шапка-ушанка была у него молодецки сдвинута набекрень, как у Козьмы Крючкова. В его правой руке, которую он вобрал в рукав, был бутерброд с салом. Молодой человек увлек девушку рассказом, однако не забыл и о бутерброде — парень был очень голоден. Девушка слушала своего спутника, время от времени разражаясь смехом, так что платок у рта смешно вздувался. Рядом с ними сидел старик с газетой, над которой он время от времени поднимал глаза и с нескрываемым укором смотрел на де Голля. Потом сидела женщина с желто-коричневым изможденным лицом и держала в руках глиняный горшок со столетником, — войдя в вагон, она распахнула полушалок и извлекла из-под него столетник, извлекла столь внезапно, точно зеленая колючка была у нее не под платком, а в самой утробе.

Генерал смотрел на людей, сидящих напротив, и его одолевало искушение, чтобы кто-то из них встал, подошел к нему, заговорил. Его вдруг одолел азарт французского парламентария, для которого нет страсти большей, чем желание говорить с улицей. Ему очень хотелось сказать, что он, де Голль, глава временного французского правительства, приехал в Москву, чтобы заложить основы дружбы, но люди, сидящие в вагоне метро, были не очень-то расположены к этому разговору. Однако почему не расположены? — спрашивал себя де Голль. Какая тут причина? Нелюбопытство, даже апатия или что-то иное, рожденное войной и войной призванное погибнуть? Да не камень ли беды, камень забот был причиной? «Видно, он, этот камень, так смял человека, что тут было не до генерала, будь он хотя бы

генерал французский?»

Они вышли на Бауманской и, выбравшись в центр просторного зала, пошагали вдоль колонн. Только теперь генерал и мог явить свой рост и свой шаг — ну конечно же, масштабы зала соотнесены с размерами таких великорослых, каким был генерал, кажется, что он вознаградил себя за недавние огорчения. Ему пришлось по душе убранство зала — он умел рассмотреть все исконно русское, весомо-добротное. Как ни своеобычно и было убранство зала, вначале он увидел в нем материал, а потом исполнение, — наверно, в этом была своя закономерность: он хотел видеть и здесь российскую исконность, то доброе и могуче-благородное, из чего Россия произрастает. Он отыскал кусок мрамора, в котором гранатовая огненность сочеталась с нежнейшей млечностью, и, подняв ладонь, приник к полированной поверхности.

— Не правда ли, такое впечатление, что огонь был здесь на самом пределе торжества… — взглянул генерал на Бекетова — английский язык француза сейчас был на уровне вполне.

— И восторжествовал? — спросил Бекетов.

— Нет, погиб… — произнес де Голль, но тоном, из которого не очень явствовало, рад он гибели огня или нет.

— Да здравствует державное могущество огня?!

— Нет, да здравствует… могущество, как вы сказали, державное, погасившее огонь!.. — произнес де Голль, возликовав, — кажется, его настроение улучшилось, генерал точно переселил свою печаль в Бекетова. В деголлевских максимах о державном могуществе, способном погасить огонь, Сергею Петровичу почудилось такое, к чему хотелось вернуться, обратившись мыслью к тому, что есть де Голль.

Когда возник вопрос, что дальше смотреть: полотна Рембрандта на правом берегу Москвы-реки или немецкое трофейное оружие на берегу левом, генерал отдал предпочтение оружию, и тут были свои резоны. Ну, разумеется, это была выставка, всего лишь выставка, но она давала ему возможность ощутить такое, что с британского берега не очень-то просматривалось. Бекетову было интересно наблюдать, как смотрел выставку де Голль, что он хотел в ней увидеть и что увидел. Генерал элементарно представлял, как были оснащены немцы на разных этапах войны, но он представлял себе все это, когда речь шла о западе. Что же касается востока?.. Нет, восток был не тождествен западу, и об этом свидетельствовал сам де Голль. В реакции генерала Сергей Петрович хотел рассмотреть одно: неожиданно ли было то, что он увидел? Пожалуй, неожиданно, хотя, как можно было догадаться, изумление чуть-

чуть компрометировало гостя, но… чтобы упрятать изумление, надо было, пожалуй, сбежать с выставки, однако это не входило в планы генерала.

Истинно, это смахивало на диво: на клочке земли, принадлежащей большому московскому парку, едва ли не рядом с «чертовыми колесами» и гигантскими шагами, были экспонированы орудия смерти, которые выдохнула из своего жерла самая страшная из войн. Из пушки было извлечено ее огненное жало, и она стояла странно кроткая, прикрепленная веревочкой к колышку, как козленок. Казалось, она ждет, чтобы к ней прикоснулись теп-лап ладонью, погладили, как того требует незлобивое животное. Хотелось думать, что секрет приручения в этой всесильной ладони, способной обратить это чудище против человека и зверя. Хотелось верить, что железо способно безответно служить человеку и будет гуманным.

Как мог установить Бекетов, экспозиция оружия была рассчитана и на профессионалов: если показывались «мессера», то все «мессера», как они возникали в эти годы, — все модификации самолета аккуратные немцы обозначали по именам. Но выставка представила и нечто такое, что для француза было предметом его интересов профессиональных: танки. В частности, танки, которые явил враг в степной битве под Курском. Все типы танков, включая и тяжелые: «тигры», «пантеры»… Были новенькие танки, точно их доставили сюда прямо с заводов в Кельне или Дрездене, но были и иные: жестоко деформированные, с всхолмленной броней, с вмятинами и рваными дырами. К этим последним танкам генерал точно прикипел: как ни жестоко была изорвана броня, генерала, казалось, интересовала не она, броня, а то, какой снаряд это сотворил. Снаряда, разумеется, тут не было, но след его был обозначен явственно: и длинные пальцы генерала, пренебрегая колючестью металла, ощупали стенки пробоины, но тут же были отняты, будто бы броня еще хранила кипение огня.

— Ходят слухи, что немцы утолстили броню и на «пантере»… — вымолвил генерал и извлек платочек, белоснежный, чтобы протереть пальцы, побывавшие в рваном зеве танка, — платок, к радости генерала, стал черным. — Они продолжают утолщать броню…

— Не теряя надежды испробовать танк с новой броней… в деле? — спросил Сергей Петрович.

— Я не удивлюсь, если завтра немцы навяжут нам битву, быть может даже танковую, какой на западе еще не было… — Генерал искоса посмотрел на танк — несмотря на пробоину, пронзившую, казалось, сердце машины, танк продолжал быть для него

грозным. — Мне перевели статью из «Правды» к годовщине Тегерана… Помните, то место статьи, где говорится, что Тегеран похоронил надежды немцев на взрыв в лагере союзников… — Он задумался. — Нет, не только немцы, все поняли: взрыва не будет. И оттого, что все поняли, силы утроились…

Генерал остановился и, обратив взгляд к советским офицерам, которые, соблюдая дистанцию, следовали за французским гостем, произнес раздумчиво:

— Штурмовые орудия «фердинанд» были под Курском?

Пышноусый майор, могущий напомнить генералу Блерио, ускоряя шаг, подошел к де Голлю, молодцевато козырнул:

— Точно так, вместе с «пантерами» и «тиграми»…

— Впервые под Курском?

— В таких количествах — впервые, — не растерялся майор — оговорка «в таких количествах» страховала его от ошибки. — В серию запущены незадолго до Курска…

Генерал смотрел на майора улыбаясь: сходство с Блерио было поразительным, но у русского один ус был явно короче другого — не иначе, подпалило в танке, никто не горит чаще танкистов.

— Танковая война, майор? — поинтересовался де Голль — для него велик был соблазн сказать: «танковая война».

— Танковая, какой история не знала…

Он испытующе смотрел на майора, точно примериваясь, сможет ли он задать ему вопрос, который вызревал сейчас в его сознании.

— Возобладали… огонь, маневр и броневая сталь, прочности стали?..

У майора явилось желание крутануть ус, но, дотянувшись до уса, который был не долог, майор отнял руку.

— Нет, не только… тактика, — майор сжал и разжал ладонь — рука требовала работы. — Сила любит ум — без ума она… слабеет…

Мудреную фразу майора перевести было не просто, и к наркоминдельскому переводчику подключился посольский — смех раздался с таким опозданием, будто фраза майора шла по проводам в дальний конец земли; впрочем, генерал был здесь не виноват.

— Ум?.. Как понять?

Майор определенно поставил себя в трудное положение.

— В том, как решали задачу немцы, была прямолинейность, — произнес майор и заметно оробел — не голословен ли он был в своих выводах. — Мощности возросли непропорционально: танки стали сильнее, артиллерия и авиация едва ли не слабее… небо плохо помогало земле, — заметил

майор, смеясь, и с откровенной грустью посмотрел в сторону реки — он вдруг увидел женщину в беличьей шубке, едва различимую в снежных сумерках, она заметно ускорила шаг, ей определенно было зябко. — К тому же курскую задачу следовало решать не изолированно от других фронтов — у нас на это хватало сил, у немцев — нет… Одним словом, сила любит ум…

…Уже покинув выставку, генерал вдруг остановился и оглядел заснеженный город, оглядел с нескрываемой радостью, а потом вдруг посмотрел прямо над собой и на мосту, что возникал едва ли не над головой, увидел майора в серой ушанке и беличью шубку, снежная мгла на какой-то миг выпростала их и тотчас поглотила… Однако, почему улыбнулся генерал? Вспомнил молодых людей в стеганках и незримо объединил с бегущей парой на мосту? Незримо? Что-то открылось ему в этот день в людях, что-то такое, что родилось не сегодня, но сегодня, казалось, воспряло.

50

Отъезд французов был назначен на десятое декабря.

Все, что предусмотрел протокол, было выполнено: три встречи генерала с русским премьером, столько же бесед Бидо с Молотовым, поездка по Москве, осмотр метро и выставки трофейного оружия, обед на сто персон… Да, обед состоялся, при этом и размеры его, и настроение, царящее за столом, и состав приглашенных, и количество тостов, произнесенных хозяином, должны были свидетельствовать, что переговоры завершены как нельзя лучше. На самом деле переговоры находились едва ли не на той самой точке, когда французская делегация впервые появилась на перроне вокзала в Москве. Камнем преткновения и тут явился польский вопрос. С терпением, в этой ситуации завидным, русские стремились склонить французов к пониманию польских дел. По иронии судьбы перед генералом возник в Москве почти тот же круг вопросов, что несколько раньше в Париже, когда речь шла о делах французских. И это, наверно, убедительно свидетельствовало, что у Европы одни проблемы. Но о чем, собственно, просила генерала сейчас Москва? Проявить терпимость к людям, которые, если пользоваться французскими ассоциациями, были силой, положившей начало Народному фронту и ратовавшей не просто за реставрацию «традиционных французских институтов», а за устройство их на наиболее справедливых началах. Разумеется, тут были свои особенности, определенные поворотами польской истории и всем укладом жизни поляков, но основа была, несомненно, той же, что во Франции. Там, во Франции, де Голль сказал «нет». Почему же здесь он должен сказать «да»? Кстати, процесс этот может обратиться и вспять: скажи он здесь «да», французы, чем черт не шутит, могут потребовать этого «да» и у себя. Стоит ли говорить, что в этом случае положение генерала будет своеобразным. Упорство, которое обнаружил в Москве генерал, станет понятным, если Москву соотнести с Парижем.

Понимали ли это в Москве? Очевидно, понимали. Именно поэтому было совершено нечто беспрецедентное. Историческая хроника свидетельствует: так и не договорившись, генерал отбыл из Кремля. Этот жест был в духе де Голля, он и прежде умел уходить. Вот и теперь он отбыл из Кремля, но предусмотрительно оставил там посла и директора департамента, наказав продолжать переговоры. Вернувшись к себе, он, разумеется, не лег спать, дожидаясь звонка из Кремля. Он понимал, что поставил на карту многое: союзный договор с французами и для Москвы

был важен, но много важнее он был в той обстановке для Франции, и, пожалуй, де Голля. Выдержи Москва характер, трудно сказать, как бы повел себя в конце концов де Голль. «Это будет поражение для меня, и очень большим», — произнес он в те дни в Москве доверительно. Очевидно, в ту ночь, дожидаясь кремлевского звонка, генерал повторил это не раз. Можно было понять его состояние: в цепи поединков, которые так необходимы были генералу, чтобы в самой Франции и за ее пределами, даже больше во Франции, чем вне ее, утвердить свою независимость, в цепи этих поединков с Рузвельтом и Черчиллем прибавился и поединок в Кремле.

А между тем звонок, которого ждал де Голль, в эту ночь так и не раздался, но в два ночи явились Дежан и Гарро, смертельно усталые, но, по всему, счастливые: русские готовы были подписать союзный договор. Подали машину, и генерал тут же направился в Кремль. Русские были столь радостно взволнованы и откровенно довольны, будто решение проблемы зависело не от них, русских, а от французов. Вместе с тем генерал сыграл свою роль до конца: он был непобедим в своей стойкой гордыне и, казалось не очень-то и рад совершившемуся, хотя в тайниках его души все пело. Но это, пожалуй, уже не было признаком силы. Что же касается силы, то по тому самому кавказскому обычаю, когда счастливое событие, происшедшее только что, обязывает хозяев накрыть стол заново, столы были сервированы так, будто бы дом принимал новых гостей.

Советский премьер разрешил себе даже похвалить француза за упорство, русский будто бы пошел так далеко, что заявил: всегда приятно иметь дело с человеком, который знает, чего хочет, даже если держится и иных взглядов. Странно, но вопреки разнице во взглядах, а может быть, благодаря такой разнице этой похвалой де Голль гордился больше, чем какой-либо другой.

51

Гости уехали из Кремля, а наркоминдельцы, как это бывало неоднократно прежде, тут же засели за тексты.

Поистине, кому доброе бражничество, а кому жестокая вахта.

Бекетов шел длинными кремлевскими коридорами. Непобедимая лунность высинила соборы и площади. Как ни просторны были оконные проемы, им трудно было объять огромность посада, да и стекла застила легкая изморозь, крепнущая к утру. Но луна, набравшая силу, делала свое дело — кремлевский град точно вламывался в просветы окон, млечный, снежно-белый, многоцветный в изломах своих граней, в неожиданном сиянии полуночных бликов.

Сергей Петрович не заметил, как замедлил шаг. Чужой голос жил в сознании Бекетова, он взывал к его думе страждущей, гневался и требовал ответа.

«В самом деле, почему мысль о договоре со сражающейся Россией так завладела французом? — требовал ответа этот голос. — Договор прибавит ему силы?»

— Как хочешь, так и думай. Прибавит силы? Пожалуй, прибавит. Однако почему? У каждого есть своя звезда. У Черчилля — сберечь мировую империю. У Рузвельта — ее сотворить. А какая звезда у де Голля? Не оградить ли Францию от революции? Не отодвинуть ли возможные сроки этой новой революции? С какой целью отодвинуть? Сохранить Алжир? Индокитай? В первую очередь, Францию, старую Францию, ее порядок.

«Старую Францию сохранить нельзя!.. — вторгся голос. — Если он хороший политик, должен понимать — нельзя».

— Нужны коррективы, да? — полюбопытствовал Бекетов.

В самом вопросе был ответ. Ну разумеется, коррективы. Можно допустить, что тут есть противоречие, но внешнее. С кем идти — этот вопрос наверняка задает себе де Голль, вопрос не праздный. С традиционным Западом или новым Востоком? Конечно же Запад ему ближе — социальная близость! Но он не очень-то хочет договора с Западом, он хочет договора с нами. Почему? Если спросить Черчилля, то он бы ответил: когда речь идет о характере де Голля, логику искать бесцельно. Может быть, Черчилль и прав. А все-таки есть резон поискать логику, и она тут есть, при этом отнюдь не бессмысленная. Когда мы говорим «свободолюбивый народ», это не пустой звук. У французов свои нормы свободы… Свободолюбивый народ! В военное время власть генерала что-то значит, в мирное — в меньшей степени. А мир

рядом. Генерал уже обратил свою недремлющую мысль к той поре, когда мир придет и во Францию. Короче, союз с Западом не даст ему авторитета во Франции, союз с Россией, Россией сражающейся и победоносной, может дать. Есть мнение: он строптив с Западом не зря, ему выгодна эта строптивость.

Возникло окно, и в его проеме зубчатый гребень крепостной Кремлевской стены, придворцовая постройка со скошенной крышей, островерхая ель, все черное, контурное; в рисунке, что проявился в окне, было что-то неодолимо русское и древнее, но вместе с тем очень знакомое, что ты видел, казалось, с детства, что жило в тебе и тревожило.

Бекетов остановился, точно прикованный неведомой силой к окну; чтобы сделать следующий шаг, нужно было усилие ощутимое — окно держало.

«Де Голль полагает, и не без оснований, что перед лицом германской опасности у Франции и России больше общего, чем, например, у Франции и Великобритании, не так ли?» — в том, как голос слал свои вопросы Бекетову, была известная последовательность.

Но что мог ответить Сергей Петрович? Французу нельзя тут отказать в правоте. Эта правота в системе доказательств, к которым обращается он, как и в мире убежденности, не зря же он отверг идею трехстороннего договора Франция — Великобритания — СССР и продолжал настаивать на двустороннем договоре — Франция — СССР… Нет, сама система доводов, к которой обратился француз, будто вобрала в себя силу этой убежденности. По его словам, есть как бы два этажа европейской безопасности. Первый: Франция и Россия. Опыт истории нашего века обнаруживает неопровержимо: немцы атакуют прежде всего нас. Второй этаж: Англия. Она вступает в войну, когда удар уже нанесен. Она хронически опаздывает. Чтобы выступить, ей надо убедиться, что немцы уже начали, и даже успеть взглянуть на Вашингтон. Де Голль убежден, и ему опять-таки не отказать в правоте: у Франции с Россией нет разногласий, а вернее, столкновения интересов, в то время как с Англией есть. Где? Во многих местах земного шара: на Ближнем Востоке, как, впрочем, и на Востоке Дальнем. Если быть откровенным, то постоянной заботой всех французских правительств был один вопрос: какую позицию новый британский кабинет займет по отношению к Германии? Тут были перемены разительные. Ллойд Джордж возглавлял кабинет, который вел войну против Германии, однако Бальфур и Болдуин, пришедшие на смену лидеру британских либералов, в германских делах поставили все с ног на голову. Де Голль все взвесил и в своих

доводах стоял насмерть. Русские пробовали убедить генерала: в борьбе с германской агрессией важен не только этаж первый, но и второй. Де Голль заявил почти гневно: это не французская точка зрения.

Вновь из полутьмы возникло окно, залитое лунным блеском. Точно луковицы, зажатые ухватистой пятерней, явились купола Успенского собора. Лунное сияние было резким, и тень креста, которым был увенчан соседний купол, явственно проявилась на куполе большом, только крест был скошен.

«Генерал сказал: не французская точка зрения. А что такое точка зрения французская?»

— Надо понять француза и его психологию. В первосути французского мнения трагедия нации. И мы, народ сходной судьбы, не можем не внять тут французам. Страна, на протяжении жизни одного поколения трижды видевшая на своей земле оккупантов, имеет право на свое представление о Германии и германской агрессии. Когда генерал говорит о Германии, что она готова даже в преступлении следовать за теми, кто прочит ей победу, никогда не разочаровываясь в поражениях, нельзя с ним не согласиться… По крайней мере, начинаешь понимать, почему тот же де Голль всем союзам предпочитает союз с Россией, хоть это Россия и красная.

Бекетов ступил на лестницу, ведущую к выходу, когда прямо перед ним во всю ширину стены точно образовалось новое окно. Казалось, оно вместило кремлевский град, не минув его приречных пределов. Река лежала за каменным уступом стены, но ее дыхание узнавалось по шапке тумана, медленно поднимающейся. Туман был желтым, медленно текучим, там, где легли его хлопья, полумгла укрыла кремлевские площади. Тем пронзительнее и светлее был столп Ивановой колокольни — поистине он, этот столп, грозил земле и небу всемогущим перстом.

«Можно ли сказать, что де Голль обрел в Москве то, что хотел обрести?»

— Да, пожалуй.

Легкий снежок, выпавший за ночь, не скрипел, — видно, мороз поослаб, снег под ногами Бекетова приятно вминался. Мысль Сергея Петровича была обращена к событиям минувшей ночи. Кремлевские беседы о Франции, ее историческом пути, ее радостях и невзгодах стали откровением и для Бекетова. Что-то эти беседы явили такое, что обещало жить в памяти людей. Нет, не только для России, но и для Франции, — по крайней мере, так думал Сергей Петрович. Что именно? Способность понимать то непреходящее, что есть ее государственная необходимость и что

немыслимо без России всегда, и сегодня больше, чем всегда… В этом был урок, и в этом, так хотелось думать, был завет.

52

Новый год пришел и на Кузнецкий…

Корреспондентский пятачок у памятника Воровскому, несмотря на предновогодний час, обжит прочно, малолитражки стоят впритык. Заманчиво обогнать разницу во времени и обрадовать вечернюю лондонскую, а то и нью-йоркскую газету аншлагом: «Москва уже встретила Новый год. Однако с чем она встретила?..» Минуло едва ли не одиннадцать месяцев, как наша армия встала у границ Германии, вынудив союзников к действиям, которые вряд ли имели место бы в иных обстоятельствах. Вести с запада были неутешительны — контратаки немцев казались все настойчивее, не исключено, что новый год должен был явиться для немцев сигналом к наступлению, хотя телеграммы, которые шли от Черчилля, были неоправданно оптимистичны и, пожалуй, пугающе комплиментарны. Повод к похвалам был, в сущности, пустячным, и это настораживало. В адрес фильма «Кутузов» английский премьер разразился восторгами, которых вряд ли когда-либо удостаивался в его устах иной фильм, восторгами неуемными и, по всему, не очень искренними — фильм был хорошим, но вряд ли дело было в нем. Поток черчиллевских похвал и прежде предвещал нечто трагическое, оно не заставило себя ждать и в этот раз. «Я не считаю положение на западе плохим, но совершенно очевидно, что Эйзенхауэр не может решить своей задачи, не зная, как Вы, Ваши планы», — гласила новая телеграмма британского премьера, из которой недвусмысленно следовало: русские должны быть готовы к тому, что союзники попросят о помощи…

А между тем все яснее очерчивались контуры грядущей встречи трех. Впервые в глубокой тайне было названо и место встречи: Крым, Ялта. Предусмотрительный Черчилль в очередной раз явил свой дар к изобретению кодовых названий и предложил «Аргонавт». Наши потомки выстроят кодовые названия этой войны, придуманные Черчиллем, и попробуют их расшифровать, соотнеся с условиями момента. Это будет любопытно весьма, ибо тут разгадка неких черчиллевских идей. Какое объяснение, например, можно дать коду, который вызвал к жизни старый Уинни в связи с конференцией в Ялте? Аргонавт — лицо героическое, решившееся добыть золотое руно. По древнегреческому эпосу, путь аргонавтов лежал не в Крым, а в Закавказье, но это неважно, главное, что они были героями. Но тут присутствовала одна деталь, важная: путь аргонавтов пролег с

запада на восток, следовательно, по иронии замысла, недвусмысленного, аргонавтами были не русские, а англосаксы. Что же касается русских, то у них тут, в точном соответствии с замыслом, было иное имя. По тому же эпосу, золотое руно, за которым отрядили своих храбрых гонцов и воинов аргонавты, охранял дракон.

Итак, старый сочинитель придумал сказку, куда уж как лестную для себя: Черчилль — аргонавт, он стремится овладеть золотым руном, охраняемым русским драконом… Но история внесла свои коррективы в черчиллевский эпос: согласно мифу древних греков, аргонавты отнюдь не просят помощи у дракона, что же касается черчиллевского варианта, то все выглядело как раз наоборот… Итак, Черчилль прислал депешу русским. Из нее следовало: если сейчас не помочь Эйзенхауэру, фронт может быть прорван. Как понимает читатель, речь шла об арденнском кризисе. В тоне срочной депеши аргонавта сквозил страх немалый. «Я не считаю положение на западе плохим, но совершенно очевидно, что Эйзенхауэр не может решить своей задачи, не зная, как Вы, Ваши планы». Уже в этой телеграмме просьба к русскому союзнику была достаточно откровенна: только удар по немцам с востока может облегчить положение американцев. Вслед за этой телеграммой пришла вторая, ее тон был еще более просительным — если и мог кто-то спасти аргонавта, то только дракон: «Можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в другие любые моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть». Аргонавт был встревожен не на шутку. «Я считаю дело срочным», — гласила телеграмма.

Если же отвлечься от аналогии с аргонавтом и драконом, то следует сказать: был ненастный январь сорок пятого года, вьюжный и для Польши, где стояли сейчас наши войска. Немцы приурочили свой удар по союзникам, полагая, что вряд ли русские решатся на наступление в этакую стужу и пургу, — последний год был отмечен превосходством русских в воздухе, превосходством явным, но ненастный январь был не лучшим месяцем для авиации. Москва, ответившая на депешу союзников без промедления, разумеется, учитывала это обстоятельство. «Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению». Тем более впечатляющей была главная фраза телеграммы: «…Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту». Заключительные строки

телеграммы выражали волю русских недвусмысленно: «Можете не сомневаться, мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам».

Но все это произошло позже, быть может, даже много позже, а сейчас была новогодняя ночь — до вожделенных двенадцати оставалось не более получаса, и последние машины покидали площадь у памятника Воровскому. Точно по команде, отпрянули и рассыпались малолитражки, только что заполнявшие пятачок у памятника, и медленно, задерживаясь на поворотах, отчалил от главного подъезда большой наркомовский лимузин…

Галуа попросил Бардина принять его. Француз явился в дохе, подбитой мехом, никогда прежде Егор Иванович не видел своего гостя в этаком виде.

— Хорош… заячий тулупчик, а? — вымолвил Галуа, приметив взгляд Бардина. — Только вот… Не узок ли в плечах? — вопросил он и повернулся спиной к Егору Ивановичу. — Того гляди, лопнет по швам, как у… гриневского вожатого! Коли с барского плеча, оно всегда так!

— А тулуп с барского плеча? — вопросил Бардин, все еще оглядывая странное одеяние Галуа. Только сейчас Егор Иванович рассмотрел, что доха, которую француз ради красного словца окрестил тулупом, не нова.

— С барского, как и надлежит быть Гриневской шубке, — он продолжал упорно сравнивать себя с героем пушкинской повести — завидная возможность явить знание русской словесности. — Друзья американцы одарили, но я не возьму… Вот переборю зиму московскую и верну!..

Точно на невидимой оси, он продолжал вращаться, похваляясь дареной дохой.

— Хорош тулупчик заячий?

— Хорош.

Без особой охоты Галуа сел, посмотрел на Бардина — пришло время коснуться и сути.

— Егор Иванович, как подсказывает мне чутье, дело идет к новой встрече трех… Подсказывает безошибочно, так?

— Коли оно безошибочно, есть ли необходимость в вопросе? — не удержал улыбку Бардин.

— Мои друзья, приехавшие из Америки, сообщили мне, что Рузвельта на Американском континенте нет, как нет на Английских островах и Черчилля…

— Но Сталин в Кремле… — все так же смеясь, заметил Бардин. — Вчера наши подтвердили это.

— Так оно и должно быть: если конференция произойдет в России или поблизости от русских пределов, Черчиллю и тем более Рузвельту надо отчалить раньше… К тому же…

— Да?

— К тому же англичанин и американец, как это было прежде, могут предварить конференцию трех конференцией двух… Короче, я не требую от вас подтверждений, которые сегодня праздны, я прошу об ином… Если такая встреча возникнет — я говорю о встрече трех, — мог бы я просить о милости быть аккредитованным?..

— Вам необходим мой ответ?

— Нет, не надо… я понимаю, что наш диалог принадлежит к той категории дипломатического диалога, когда вопросы задаю я и отвечаю на эти вопросы тоже я…

— А мои обязанности сведены к тому, чтобы слушать, как вы разговариваете сами с собой? — улыбнулся Бардин.

— Да, пожалуй, и… это не так нелепо, как может показаться на первый взгляд…

Он поднялся и пошел к книжному шкафу и, опустившись на корточки, вдруг стал рассматривать дверцу.

— Погодите, да что вы там увидели, откройтесь! — наконец произнес Бардин — француз немало заинтриговал Егора Ивановича.

Галуа вздохнул.

— Точно такой шкаф был в родительском доме на Моховой…

Но Галуа не суждено было побывать на конференции. Не столь уж много вопросов главы трех государств оговорили до конференции, но этот был оговорен: корреспондентов не аккредитовать. Очевидно, тайна, сопутствующая новой конференции, имела новое качество.

53

Самолет, в котором находился Бардин, приземлился на заснеженном аэродроме Саки во втором часу ночи. По тому, с какой торопливостью прибывший самолет был отрулен в дальний конец летного поля, а его пассажиры эвакуированы с аэродрома, в Саки ждали важных гостей. И действительно, всю ночь над аэродромом гудели самолеты и на белом поле вспыхивала едва приметная полоска красных лампочек — одна за другой садились машины.

У Хомутова, с которым Бардин прибыл в Саки, разболелась старая рана, и те три с половиной часа, пока самолет добирался из Москвы до крымской земли, он не сомкнул глаз. Осколок мины, развороти вший бедро, видно, задел и кость — к непогоде левая нога ныла. Друзья утверждали, что по походке Хомутова и его характерному прихрамыванию внимательный глаз может определить погоду на завтра. «Я себя знаю, кроху синего неба и капельку тепла — это все, что мне надо», — говорил Хомутов, освобождая на неширокой снежной тропе, ведущей к аэродромному общежитию, место для Егора Ивановича. «Синего неба пока не обещаю, а тепла добуду», — говорил Бардин, привалившись всей массой доброго тела к хомутовскому плечу. И в самом деле, Бардин выхлопотал для товарища скромное прибежище в аэродромном общежитии летчиков, напоил чаем погорячее и уложил спать, надеясь часа через два, не прервав драгоценного хомутовского сна, уехать на аэродром.

Но Бардин не рассчитал: Хомутов спал ровно столько, сколько оставалось до встречи. Короче, когда самолет с Черчиллем возник в рассветной дымке февральского утра, они были на аэродроме вместе. А утро оказалось и в самом деле февральским: с низким небом, которое едва ли не касалось лежащего на земле снега, с заметью.

— По слухам, вчера тут погода была много лучше, — сказал Хомутов, поднимая меховой воротник — в зимней наркоминдельской шинели было немногим теплей, чем в летней, но воротник был хорош даже для этой погоды. — Если бы прилетели вчера, риск был бы меньшим…

— Вчера они не могли прилететь, — отозвался Бардин. — Репетиция требует времени…

— Репетиция? — переспросил Хомутов и зябко подвигал плечами — начала пробирать утренняя изморозь. — Репетиция на Мальте?..

— На Мальте, — согласился Бардин. Транспортные самолеты,

которые аэродром принимал всю ночь, шли с Мальты, как, впрочем, и машина, что сейчас коснулась колесами взлетного поля. — Репетиция на Мальте.

— Все-таки они одним миром мазаны! — воскликнул Хомутов и, выпростав из перчатки руку, коснулся щек, вначале одной, потом другой. От недосыпания лицо покрылось гусиной кожей.

— «Они»? Это как же понять? — попытался уточнить Бардин.

— Они! — повторил Хомутов.

— Ну что ж… у нас будет возможность проверить и это сомнение, — заметил Бардин уклончиво. — По-моему, самолет взял правее, вон куда порулил!..

— На мой взгляд, в нынешней обстановке только Рузвельт и способен дать понять Черчиллю, что тот пошел дальше, чем ему могут позволить союзники… — произнес Хомутов, не отрывая взгляда от самолета, который сейчас был уже хорошо виден. Хомутов будто адресовал свои слова прямо британскому премьеру. — Только Рузвельт…

— Может дать понять, но не дал, так? — спросил Бардин, в его тоне было несогласие. — Не дал? И в Тегеране не дал понять?

— В Тегеране?.. Нет, не дал! — храбро отрубил Хомутов. — Не дал!

Невзирая на ранний час, церемония встречи была соблюдена до конца. Духовой оркестр грянул с силой поистине державной и, казалось, как рукой снял у гостей пасмурность, вызванную бессонной ночью. Вдоль фронта войск, выстроенных для встречи, пошел армейский джип с президентом, рядом, прихрамывая, как мог поспевал Черчилль. Машина с президентом прошла от Бардина шагах в пяти, и Егору Ивановичу лицо президента показалось заострившимся, а глаза, окруженные нерезкой лиловатостью, необычно большими. И еще приметил Егор Иванович, президент высунул из-под пледа руку и поднял ее — в приветственном жесте Рузвельта была некая молитвенность, точно он хотел осенить присутствующих крестным знамением. Грузноватость Черчилля была едва заметной, казалась грузноватостью от неудобной обуви, премьер понимал, что его походка тяжела, пытался с этим совладать и, прибавляя шагу, должен был останавливаться — сердце не пускало. Но лицо его не отражало боли. Наоборот, лицо премьера казалось даже одухотворенным — старик не любил парады, чеканный шаг военных, блеск медных труб и литавр, гром оркестра. Да, он не без охоты отдавался стихии встречи и — это было совсем похоже на чудо — в такой мере сливался с настроением толпы, что забывал, как сейчас, о своей особой позиции.

Как ни торжественна была встреча, ей был придан темп завидный. Прежде чем скомандовать «по коням», хозяева пригласили гостей к столу, прием был сымпровизирован тут же, при этом ему была сообщена едва ли не та же стремительность, что и церемонии встречи. Президент съел банальную булочку с сыром, запив ее горячим чаем. Премьер скептически прищурил правки глаз, хватил рюмку коньяку и пошел от стола к машине, больше обычного отдуваясь. Наблюдательный Хомутов видел, как почтенный сэр Уинни, стремясь к автомобилю, соскользнул с тропы и, стоя на одной ноге, пытался удержать равновесие, при этом сводил и разводил руки, точно попал не в снег, а в воду.

— Такого второго не сыщешь! — торжествовал Хомутов, ему был интересен англичанин. — Уникален!

Они возобновили разговор, когда машина, на которой они отправились в Ялту, оставила аэродром и впереди легли холмистые степи предгорья.

— Значит, даже в Тегеране… Рузвельт был заодно с Черчиллем, так? — неожиданно обратил свой вопрос к Хомутову Егор Иванович — не воспользовался ли он этим молчанием, чтобы собраться с силами и скрестить мечи? — Даже в Тегеране…

Хомутов наклонился, стараясь рассмотреть колонну «виллисов», которую дорога, взбирающаяся на холм, сделала видимой. В колонне было машин двадцать, впрочем, это была не единственная колонна, идущая в Ялту. Как обычно, машины шли с интервалом метров в тридцать, ведущие и замыкающие «виллисы» были с автоматчиками. Даже эти первые километры обнаруживали: в таком количестве регулировщиков, пожалуй, не было необходимости. Да вряд ли все военные, несущие вахту на шоссе, были регулировщиками — на дороге были выставлены дозоры, она охранялась усиленно.

— Не хочу умалять Тегерана… Тегеран — благо! — продолжал Хомутов. — Но Тегеран не может существовать сам по себе, он для нас дорог в той мере, в какой имеет значение большой десант, который Тегеран предрек…

— Простите меня, но тогда уместен вопрос: большой десант, который, как вы изволили выразиться, предрекла конференция в Тегеране, этот десант не имел для нас цены?.. — полюбопытствовал Бардин, он понимал, что пространная пауза бы, по-своему использована и Хомутовым, в его доводах был свой план.

— Все относительно, Егор Иванович… — заметил Хомутов уклончиво, он, вопреки своей натуре безбоязненной, избегал категорических утверждений. — Чтобы наш ответ был объективен, надо мысленно взглянуть на карту и установить, где

в июне сорок четвертого находились советские войска… Взглянули? Теперь ответьте: могли союзники не высадить большого десанта, когда наши войска не сегодня-завтра готовились выйти к границе и вступить в Румынию и Польшу?.. Могли? Я бы снял своз возражения, если бы мы говорили об иных датах: о сорок втором или даже сорок третьем, но речь идет об июне сорок четвертого…

— Тегеран был в декабре сорок третьего… — уточнил Бардин без особого воодушевления. — Надо идти от декабря, а не от нюня…

— Нет, надо идти именно от июня… — возразил Хомутов. — Союзники, говоря о десанте, вели отсчет с июня, но не в этом суть… Если даже взять за исходную точку декабрь, буду прав я, а не вы: тянуть дольше с десантом было нельзя, затяжка уже не соответствовала их интересам…

— Интересам американцев?

— И англичан…

— Простите, тогда почему же Черчилль возражал в Тегеране против открытия второго фронта?.. — спросил Бардин. — Столь яростно возражал? Мистифицировал, так сказать? Пытался навести на ложный след, так?.. И почему американцы схватились там с англичанами? Тоже мистификация?

Хомутов смешался — он все предусмотрел, не предусмотрел этого вопроса.

— Ну, согласитесь, Егор Иванович, что вы говорите о Тегеране так, будто бы он был в сорок первом, а десант соответственно в сорок втором…

— В сорок первом Тегерана не могло быть, — заметил Бардин, он стоял в своих построениях на твердой земле. — Поймите, не могло быть…

— Но большой десант в сорок втором мог состояться, Егор Иванович… Мог, если бы имелась добрая воля!..

Бардин отдавал должное логике Хомутова, но понимал, что правота не на стороне его собеседника.

— Конечно, мог, но по этой причине нельзя умалять Тегеран… — был ответ Бардина. — Именно в Тегеране согласие союзников обрело черты, каких прежде не было… Поймите, в Тегеране, — подтвердил Бардин и, пододвинувшись к краю сиденья, дал понять, что намерен закончить разговор, и вдруг услышал, что Хомутов смеется — его противная привычка хохотать в самое неподходящее время и прежде раздражала Бардина. — Вы полагаете, это так смешно?

— Конечно, смешно, Егор Иванович!

— Почему?

— Вижу, вас клонит ко сну: спите, спите!

— Нет, я серьезно хочу знать: почему смешно?..

Колонна остановилась. По поперечной дороге девушки-регулировщицы пустили дивизион самоходных орудий, пустили на свой страх и риск. Видно, они были элементарно осведомлены, что собой представляла колонна, идущая на Ялту, но они поступили так, как велело им их понимание вопроса. В головной машине ялтинской колонны были генштабисты, но девушек никто не поправил. Наоборот, молчанием своим точно ободрил: вначале пушки, дипломаты потом.

— Так почему смешно? — возобновил прерванный разговор Бардин, когда самоходки прошли и колонна двинулась. — Почему?

— Мне еще надо доказать, что союзники дали согласие на десант в Тегеране, не желая, так сказать, разрушать единства… — подал голос Хомутов. — Понимаете, надо доказать…

— Доказать?.. Чем? — спросил Бардин.

— Тем, что произойдет… в Крыму! — улыбнулся Хомутов, улыбнулся невозмутимо. — Как ни велик Тегеран, он категория преходящая, Ялта — постоянная, если речь пойдет, так сказать, о послевоенном устройстве, о том, каким будет мир завтра… Ялтой доказать!.. Сегодня понедельник?

— Да…

— Как я понимаю, к следующему понедельнику дело прояснится, все решит эта неделя… — констатировал Хомутов. — Говорят, еще вчера тянули телефонный кабель в Ялту… Значит, Ставка переехала в Крым… Как в Тегеране, у Сталина и Черчилля рядом со спальнями оперативные кабинеты…

— У Сталина и Черчилля — не у Рузвельта? — Бардин подался вперед, сквозь ветровое стекло, заметно вспотевшее, глянул синеватый размыв неба — за перевалом снега могло и быть.

— Мне не приходилось видеть Рузвельта прежде, я не могу сравнивать… — Хомутов пододвинулся к ветровому стеклу вслед за Бардиным. Чем выше забиралась машина, тем шире становилось небо, синева точно поднималась из-за горы, море было там. — Он мне показался сегодня очень усталым. Кстати, мне говорили на аэродроме американцы, не очень здоров и Гопкинс… Не верю в приметы, но это худо…

— Эко нагнали мраку… — возмутился Бардин. — Вон… гляньте вперед, синее небо!

— Да, действительно синее! — согласился Хомутов, не отрывая глаз от чистой проталины неба. — Кстати, и мои кости отпустило маленько, стихает, чую, стихает…

Горы точно отсекли зиму от весны. К северу от хребта свирепствовала пурга, а здесь было солнечно и тихо, небо цвело весенними дымами, горы врезались в небо, и тени в изломах были фиолетовыми, солнце заметно припекало, солнечная сторона холмов была вызеленена первой травой, над горами, объятыми солнечной дымкой, взмывая и падая, кружились птицы.

Советский премьер не встречал союзников в Саки — поездка на далекий степной аэродром и возвращение в Ялту требовали времени немалого, и русский, как понимали гости, не мог себе этого позволить, фронт не позволял. Чтобы воздать должное союзникам и снять неловкость, которая тут могла бы возникнуть, Сталин счел необходимым посетить премьера и президента в их резиденциях в Юсуповском и Ливадийском дворцах — первой встрече за столом переговоров должен был предшествовать этот визит.

Минувшую ночь Сталин не спал. Еще с вечера он вызвал к себе генерала Антонова и сказал, что, скорее всего, завтрашняя встреча начнется с обзора военных действий, с которым выступит каждая из сторон. Готов ли замначгенштаба сделать такой обзор, имея в виду действия Красной Армии? Антонов заметил, что своевременно был предупрежден о такой перспективе.

Сталин пододвинул кресло к окну, дав понять, что готов слушать генерала. Ему была по душе эта способность генерала к краткости. Ни единого лишнего слова, не заменить их, не переставить. Ему нравилось работать с Антоновым — человек мысли логической, неколебимо логической, он без труда понимал генерала и тогда, когда тот соглашался с главнокомандующим и когда возражал. Вряд ли ему был по душе несогласный Антонов, но при известном усилии он мог его понять и несогласного. Единственно, что не давалось ему, — это разговор на свободные темы. Нельзя сказать, чтобы у него была потребность в таком разговоре с генералом, но было как-то неловко видеть человека едва ли не ежедневно, оставаться подолгу с ним с глазу на глаз и не спросить его о жене и доме. Однажды, едва ли не в предутренний час, когда, как известно, большой город впускает ненадолго в свои пределы тишину лесного океана, лежащего вокруг, он осведомился у генерала, удалось ли возвратить семью в Москву. Генерал смешался и, вымолвив нечто невразумительное, умолк. Сталин почел, что вторгся в сферу запретную, и, кажется, зарекся ее касаться.

Но общение с Антоновым давало достаточный материал и для ума, и для чувства, чтобы тем свободных не трогать. Как ни мотивированы были предложения генштаба, в них был простор

для раздумий, а следовательно, для новых и новых вариантов. Отыскать этот новый вариант, убедиться самому в его целесообразности и убедить в этом других, а потом претворить этот вариант в жизнь, — не в этом ли была полнота творчества? А сейчас он спросил, сколько времени займет доклад генштаба, и, услышав, что понадобится минут двадцать, попросил сократить до пятнадцати, посочувствовав, что это трудно, но, очевидно, надо суметь.

Казалось, он был рад, что в своей беседе с генералом имеет возможность перейти к главному — положению на фронтах. Вот оно, направление главного удара: Берлин. Три недели тому назад, начиная наступление, Ставка инспирировала две операции в местах, для противника чувствительных, но не главных. Замысел: вынудить противника снять войска с направления главного удара, как можно больше войск. В самом замысле не было для противника ничего нового, можно было подумать даже, что противник знал, как поведут себя русские дальше. Но весь фокус заключался в том, что, зная это, противник действовал так, как хотели того русские, иначе говоря, он действовал, если обратиться к шахматным терминам, в шаховой ситуации, все его ходы были вынужденными. Наши войска вошли в пределы Германии, до Берлина по прямой было километров четыреста. Очевидно, надо было повторить тот же маневр, что имел место три недели назад: завязать бои на параллельных курсах, вынудить противника увести войска с направления главного удара, а потом дать о себе знать на этом самом столбовом направлении — Берлин!

Он задумался — не любил стандартных решений: то, что удалось однажды, может сорваться при повторении.

— Надо просить союзников ударить с запада, — подал мысль предусмотрительный Антонов, — ведь мы же сделали это, начиная наступление в январе…

Он без труда поднял на Антонова глаза, тяжелые глаза. Замначгенштаба был по-своему прав. Действительно, январское наступление Красной Армии имело целью и облегчить положение союзников в Арденнах.

— Можно, конечно, просить союзников, но русская пословица гласит: «На дядю надейся, а сам не плошай…» — он любил козырнуть знанием русских пословиц. Нельзя сказать, чтобы запас этих пословиц был у него велик, но он знал в них толк, вспоминал к месту и произносил так, будто бы это было доступно только ему. — Тут необходимо свое решение, да кстати надо посмотреть, не готовят ли немцы нам сюрпризов…

Белый аппарат на столе рядом зарокотал и стих.

— Да, здесь… — он протянул трубку генералу. — Вас… насчет Померании…

Пока Антонов говорил по телефону, он принялся раскуривать трубку, изредка поглядывая на генерала. Ему приятен этот человек. В чертах его лица, по-мужски крупных, правильных, в ярко-черных волосах, тщательно зачесанных и блестящих, в залысинах над мощным лбом, в щетине бороды, которая к полудню выступает так заметно, будто он сегодня и не брился, во всем его сурово-мужественном облике чувствуются ум и сила интеллекта. В выправке Антонова, в тщательности, с какой он был одет, Сталину виделось что-то профессионально-военное, коренное, офицерское, даже старофицерское, эта выправка была свойственна тем, прежним, наши ее не успели обрести. Ему самому все эти качества были, разумеется, чужды, но вызывали изумление.

— Разведка подтверждает накапливание крупных сил в Померании, возможен контрудар во фланг, — говорит Антонов. — Новая обстановка требует специального анализа.

— Анализа? Специального? Ну что ж, если требует…

Они разошлись на рассвете.

— Бойтесь стандартных решений, — замечает Сталин, прощаясь с генералом. — Вот видите, Померания! Кто бы ожидал?

Ему не давал покоя этот последний разговор с генералом о Померании, он плохо спал. Не улучшил настроения и оранжерейный крымский пейзаж с густо-синим, как на декорациях, небом и темными пиками кипарисов, который он видел из окна. Странное дело, родившись на знойном юге, он умом и сердцем больше понимал суровый север. Экзотический Крым был не очень по нему. Чтобы нравиться ему, Крым должен быть более настоящим. Он спал плохо, но в условленный час был на ногах, понимая, как ответственно утро — предстояли визиты к Черчиллю и Рузвельту.

Сталин застал Черчилля в оперативном кабинете, который был расположен рядом с апартаментами премьера. Его позабавила показная значительность, с какой был оборудован черчиллевский кабинет, в этом было нечто нарочито эффектное, демонстративное, нечто такое, что по своим размерам и обилию атрибутов заметно превосходило то, что можно было назвать кабинетом. Одним словом, это была игра, до которой так падки старые люди, он видел, что это игра, однако безропотно включился в нее и даже обнаружил некое воодушевление.

— А как в Италии? — спросил Сталин Черчилля, казалось, с неподдельным интересом. — Вы полагаете, немцы готовы там заявить о себе?

Черчилль взглянул на фельдмаршала Александера, который, стоя в глубине кабинета, нервно потирал зябкие руки, тот несмело выдвинулся.

— Противник старается держать нас в напряжении, он активен… — подал голос фельдмаршал, ему пришлось откашляться, видно, он давно не говорил — в кругу, где доминировал красноречивый премьер, было явно не до фельдмаршала.

— Это нарочитая активность? — откликнулся Сталин на замечание англичанина. — Она не определена соотношением сил…

Ему показалось соблазнительным уточнить эту мысль. Как полагает он, немцы вряд ли отважатся в нынешней ситуации на крупное наступление в Италии. Держать там на приколе значительные силы нецелесообразно. Прямой расчет снять их оттуда и подключить к операциям, которые не косвенно, а прямо соотносятся с действиями союзников против главных сил врага. Ну, например, переключить эти силы в Югославию или Венгрию, подготовив удар против Вены. Он пытался выяснить, какого мнения держатся англичане, но те смолчали. Они смолчали, чтобы много позже признаться: «Замечания Сталина были интересны». Это сказал Черчилль.

А русский премьер в соответствии с программой этого утра отправился к президенту. Рузвельт сидел в кресле, придвинутом к окну.

Кресло вобрало президента без остатка, колени приподнялись так высоко, что обнажились икры, тощие. Русский невольно обратил внимание на эти ноги и поймал себя на мысли, что задержал взгляд дольше, чем того хотел. Быть может, президент заметил, что вид его не воодушевил гостя, и обратился к средству проверенному.

— Экипаж «Куинси», на котором мы приплыли на Мальту, жил вестями с русского и тихоокеанского фронтов, — заговорил президент смеясь. — Был повод держать пари, что падет первым: Берлин или Манила… — Правая рука президента тихо ожила и принялась отбивать такт — будто бы в сознание президента вдруг ворвалась песенка, достаточно фривольная, он явно старался переключить внимание гостя.

— Те, кто держал пари за Манилу, выиграют! — заметил Сталин и расхохотался — в шутке президента ему привиделся прежний Рузвельт, причин для печали не было. — А как дела на Западном фронте? — он готовил этот вопрос, мысль о померанской угрозе жила в нем.

Рузвельт не сразу расстался с улыбкой, его рука присмирела,

но в ее еле видимых движениях все еще угадывался ритм песенки.

— Мы планируем три наступления: ограниченное — восьмого февраля, более крупное — двенадцатого, большое — через месяц.

Ну что ж, все, что поведал только что президент, было для русского премьера доброй вестью.

— Господин Маршалл расскажет нам об этом сегодня? — спросил Сталин.

— Да, он готов сделать такой доклад, — подтвердил президент. — Расстояние между нашими армиями на западе заметно сократилось, не исключено, что Эйзенхауэр скоро сможет прямо взаимодействовать с Красной Армией… — У него была потребность сберечь настроение, которое придало диалогу известие о трех американских наступлениях.

Казалось, они прямо подвели беседу к проблемам, которые следовало обсудить за столом переговоров — они начались в пять.

54

Черчилль уже был в зале заседаний, когда русский и американец, как можно было заметить, в превосходном состоянии духа, появились на пороге. В том, как испытующе пристально и откровенно горестно взглянул англичанин на коллег, русского и американца, было ревнивое любопытство: как сложился первый разговор в апартаментах президента, к чему свелось существо беседы?

Русский подошел к креслу, отодвинул его, жест хозяина — коллеги приглашались к столу.

Для Рузвельта эта процедура была не простой — медленно опустившись в кресло, он не без тревоги оглядел присутствующих, было слышно его покряхтывание.

Черчилль, втиснув массивное тело в кресло, с интересом, чуть-чуть наигранным, склонился над коробкой с сигарами, он хотел переждать, пока президент совладает с непростой для него задачей.

Сталин, все еще стоя, вполголоса говорил с Молотовым, в этом не было ничего нарочитого, предметом разговора могла быть и процедура первого заседания.

Русский премьер сказал, что хотел бы просить Рузвельта открыть конференцию, и заставил президента улыбнуться — как ни явны были на лице президента следы болезни, улыбка сообщила лицу нечто такое, что лицо как будто давно утратило.

— Ни законом, ни историей не предусмотрено, что я должен открывать конференцию, — смеясь, заметил президент, — тем не менее я считаю для себя большой честью открыть ее. Прежде всего я хотел бы выразить благодарность за оказанное гостеприимство…

На какой-то миг президент умолк, стал строго сосредоточен — он определенно готовился сообщить нечто такое, что было далеко от шутки.

— Ну что ж, мы хорошо понимаем друг друга, и взаимопонимание между нами растет. Все мы хотим скорейшего окончания войны и прочного мира… — Вновь стало слышно его покряхтывание, на этот раз причиной, как можно было догадаться, было не физическое усилие, а волнение. — Я считаю, нам нужно говорить откровенно, опыт показывает, что откровенность в переговорах позволяет быстрее достичь хороших результатов…

Черчилль подался всем телом вперед: о какой откровенности говорит президент? Да не скрылось ли за этой репликой

президента нечто такое, чего Черчилль еще не знает? Ну, например, существо разговора, который произошел только что между русским и американцем? Если бы президент говорил сейчас о тайнах мексиканских холмов и ацтекских письменах, то и в этом случае Черчилль весь бы обратился в слух, стремясь в своеобычной теме узреть свое.

А между тем Рузвельт дал понять, что хорошо бы, как это имело место прежде, начать с обзора военных действий на главных театрах войны.

Антонов и Маршалл, точно сговорившись, сделали вид, что это их не касается, но речь шла именно о них.

Антонов в это утро был тих и бледен. Маршалл, наоборот, розовощек и заметно спокоен — ну, разумеется, был он профессионалом, уверенным в себе, хотя из тех военных, которые за долгую службу в армии знали больше генштабистские кулисы, чем строй.

Антонов говорил о январском наступлении Красной Армии и едва ли не в первых фразах упомянул Арденны, всего лишь упомянул, чтобы констатировать факт. В тот раз, получив телеграмму Черчилля, русские дали слово прийти на выручку союзникам. Сейчас можно было говорить о том, в какой мере это слово русские сдержали. Фраза еще переводилась, смысл ее еще не был ухвачен, но одно слово — Арденны! — оказало влияние магическое. Точно пахнуло студеным ветром, лица почтенных коллег застыли в жестоко-горестной думе. «Что они там замыслили, эти русские? — будто говорили лица. — Да не было ли здесь укора?» К счастью, все было вполне пристойно. Никакого укора, больше того, воля добрая: советские войска выполнили союзнический долг, а в самом упоминании этого факта было всего лишь счастливое сознание, что долг этот выполнен. Кстати, армия имела возможность отозваться на просьбу союзников, обратив против врага силы всех советских войск, противостоящих немцам на западе. Сейчас как раз Антонов говорил о масштабах операции — в ней участвовали фронты, возглавляемые известными советскими военачальниками: Жуковым, Коневым, Рокоссовским…

Но, говоря о действиях Красной Армии, Антонов отметил не столько масштабы действия, сколько то, как операция была осуществлена. Антонову было интересно рассказать об этом — стратегическое творчество! Немцы, ожидая удара на Берлин и страшась его, собрали сюда свои главные силы — плотность войск была столь велика, что, казалось, обрела качество металла. Идти на таран — значит идти на жертвы… Советский Генштаб решил ослабить оборону немцев чисто стратегическими

средствами, точно рассчитав предварительные удары. Маневр удался: войска продвинулись на пятьсот километров, пересекли Одер и укрепились на его левом берегу, обособив значительные группы немецких войск в Прибалтике и Восточной Пруссии. Потери противника значительны: сорок пять дивизий перестали существовать.

В докладе была свойственная Антонову ясность: все компоненты доклада были точно соизмерены и тщательно вычерчены, никакой импровизации, завершенность целого. Генерал закончил доклад, и текст лег на стол перед Рузвельтом и Черчиллем.

Стратегическая обстоятельность, свойственная докладу Маршалла, здесь была заменена завидной оперативностью — это была оперативность штабника, который чувствовал сегодняшний день и был силен в искусстве импровизации. Если говорить о генералах, русском и американце, то, надо думать, дали себя знать не только разные характеры, но и разные школы. Маршалл начал с того, что ответил на первый тезис русского генерала об Арденнах. Он сказал, что последствия немецкого контрнаступления ликвидированы, при этом, развивая успех, союзники установили, что здесь противник располагал и все еще располагает значительными силами. Затем он поведал, как будут развиваться действия союзников. Первое — к югу от швейцарской границы и второе — к северу от Страсбурга. Первое имеет целью оттеснить немцев к Мюльхаузену и Кальмару, второе — лишить противника плацдарма на левом берегу Рейна и отбросить за реку. Кстати, второе имеет целью и форсирование Рейна с последующим выходом на Берлин. Он, Маршалл, должен заявить, что действия союзных войск развивались бы быстрее, если бы союзники не ощущали столь острого недостатка в тоннаже. С открытием Антверпена дело продвинулось заметно, Антверпен стал главным перевалочным пунктом союзников. Правда, немцы жестоко обстреливают Антверпен самолетами-снарядами — уже здесь, в Крыму, он получил сообщение, что за день в районе Антверпена упало шестьдесят таких снарядов. Авиация союзников как может поддерживает наземные войска — в сегодняшней сводке есть сообщение, что англо-американская авиация атаковала составы с войсками, идущими на восток.

Рузвельт спросил присутствующих, хотели бы они задать вопросы, предложением президента воспользовался русский премьер, возник диалог, динамичный. Русский спрашивал, Маршалл отвечал. Обо всем, разумеется, что относится к предстоящему наступлению союзников. Длина фронта, который будет атакован, характер укреплений, которые предполагается

преодолеть, соотношение сил в танках, самолетах, артиллерии, живой силе. Диалог, происходящий за столом переговоров, обрел целеустремленность, какой он до сих пор не имел. В том, с какой последовательностью ставились эти вопросы, сказался не столько характер русского премьера, сколько значимость цели, эти вопросы предопределившей: наступление на Берлин.

А затем слово взял британский премьер. Он сказал, что хотел бы воспользоваться этим случаем, чтобы выразить восхищение той мощью, которая была продемонстрирована Красной Армией в ее наступлении. Президент присоединился к мнению Черчилля. Если у сегодняшней встречи была некая кульминация, то она обозначилась сейчас. Очевидно, разумно было воспользоваться этим и русским: в конце концов, смысл сегодняшнего совещания не только в том, чтобы осведомить друг друга о военных делах, но создать добрую основу для разговора по политическим вопросам, где такого единодушия может и не быть. Последняя фраза Черчилля и реплика, какой откликнулся на нее президент, были не просто дежурными комплиментами. Но, обратившись к этим словам, Черчилль и Рузвельт точно приглашали сказать свое слово и русского, он не преминул воспользоваться этим.

Итак, советский премьер сказал, что зимнее наступление Красной Армии было выполнением товарищеского долга. Как помнят присутствующие, Тегеран не обязывал русских предпринимать зимнее наступление. Об этом тогда не просили ни Черчилль, ни Рузвельт. Русские, разумеется, оценили должным образом деликатность союзников, хотя было и очевидно: союзникам необходимо это наступление. Вот итог: приказ о зимнем наступлении был отдан, при этом оно началось даже раньше, чем об этом заявила Москва.

Заговорил Черчилль — он приветствовал слова советского руководителя. Как полагает Черчилль, он может сказать от своего имени и от имени президента следующее: причиной того, почему союзники в Тегеране не заключили соглашения о будущих операциях, была их уверенность в советском народе и его военных.

Этот тур разговора за ливадийским столом как бы охватил то значительное, что было сказано здесь сегодня.

55

С очередной наркоминдельской почтой, доставленной из Москвы, пришло письмо от Ирины. Вскрыв конверт, однако еще не успев прочесть письма, Егор Иванович понял, что произошло чрезвычайное. Письмо состояло из нескольких фраз. Иришка сообщала, что согласилась ехать на Диксон. Видно, согласилась сгоряча — повздорила со своим Степаном и решила мстить ему, укрывшись за Полярным кругом, экзамены, разумеется, побоку. Она бы выехала на далекий Диксон, но вот незадача: Ольга забрала у нее документы и грозила написать отцу. Иришка сообщает о своем решении сама, да кстати просит сказать Ольге, чтобы та вернула документы. Ей, Иришке, в марте будет восемнадцать, и она вольна сама распоряжаться своей судьбой.

Егор Иванович вознегодовал и решил тут же дать телеграмму, отчитав дочь по первое число, но потом вспомнил, что в соседней комнате находится Августа, у которой были свои отношения с Ириной.

— Вот взгляните: «…вольна распоряжаться!» — возроптал Бардин, не столько развернув, сколько размотав перед Августой мудреный Иришкин свиток. — Так и напишу ей: выломаю лозину пожестче и уж как распоряжусь!

Августа Николаевна знала, что Бардин обожал своих детей и вовек пальцем их не трогал, но не отказала себе в удовольствии воскликнуть:

— Егор Иванович, да как вы можете? Фи!

Явился гонец от Бухмана с приглашением пожаловать на импровизированный ужин в ливадийских хоромах, где расположились американцы. Бардин был немало изумлен, увидев бородатого Бухмана, — изумление вызвала даже не борода, а ее цвет, вернее, ее седая подпалинка. Как бы желая в полной мере соответствовать своему новому облику, Бухман обзавелся палкой с тяжелым набалдашником, при этом, опираясь на нее, пытался даже солидно постанывать.

— Мне сказали, что единственным серьезным препятствием в моей карьере является возраст, вот я взял и постарел на добрую дюжину лет, — заметил американец, смеясь.

Ужин действительно оказался импровизированным — калифорнийский сотерн, домашний сыр, которым снабдила в дорогу Бухмана тетушка Клара, консервированная колбаса и сахарное печенье. Знал бы Бухман Егора Ивановича не столь коротко, пожалуй, не отважился бы пригласить на такой

скромный ужин. Но в данном случае это как бы предполагало, что отношения близки. Так или иначе, а бутылка доброго калифорнийского часам к девяти была побеждена и друзей потянуло на воздух. Стояла в небе холодная луна, и кипарисы были неотличимы от своих теней, такие же сажево-черные, неколебимые.

— Говорят, реплика Сталина об Арденнах понравилась президенту, — заметил Бухман, когда они вышли на каменную дорожку и стук бухманской палки стал отчетлив. — Даже интересно: одна фраза, а обладает такой силой, — он явно пытался вызвать Бардина на разговор, но Егор Иванович молчал. — Как ни важны Арденны, дело, разумеется, не в них…

— Не в них? — спросил Бардин, не скрыв ухмылки.

— Нет, в них, конечно же! — тут же поправился американец, он был очень заинтересован, чтобы его поняли правильно. — Но не только в них!

— Тогда в чем? — спросил Бардин.

— В том, что возникнет там завтра! — указал Бухман на громаду дворца, которая точно отставала от них. У американца было, наверно, искушение ткнуть в ливадийскую хоромину палкой, но он не решился. — Германия… проблема всех проблем!

Бардин и на этот раз не отозвался. В речи Бухмана было усиление — «проблема всех проблем!», — которое выдавало его заинтересованность в разговоре. Однако что стремился выяснить американец, решившись на этот разговор? Мнение русских по вопросу о Германии? Но опыт подсказывал Бухману: если русские хотят что-то сказать, они скажут и без того, чтобы им задавали вопросы. Ничто не может заставить их замкнуться, обособиться, уйти в себя, наконец, как прямо поставленный вопрос. Но как вести себя все-таки? Поставить вопрос и ответить на него самому? Да, они любят, когда ты исповедуешься, и только в этом случае они, быть может, что-то скажут или не скажут. Даже Бардин, хотя он и является исключением.

Значит, надо решиться на исповедь? Да, пожалуй, как тот раз в родительском доме.

— Гарри сказал мне час назад: «У русских должна быть уверенность, что в следующее двадцатипятилетие немцы не поднимут на них руку», — произнес Бухман. В первой фразе Бухмана было все, чтобы взломать молчание русского. — Он так и сказал: «У русских должна быть уверенность…»

— Господина Гопкинса не было сегодня за столом переговоров, — отозвался Бардин. — Все можно обойти молчанием, нельзя игнорировать имени Гопкинса. — Мне сказали, что он, как обычно, не рассчитал сил…

— Именно, не рассчитал, — подхватил Бухман. — Честное слово, его последний рейс был бегом с препятствиями, при этом препятствия он себе придумал самые невероятные! Вообразите только: одного Черчилля преодолеть надо иметь силы. Но к Черчиллю он прибавил де Голля, а к де Голлю… кого бы вы думали? Папу римского! Впрочем, он был еще в Неаполе, где встретился со Стеттиниусом, а кстати и со своим старым другом генералом Джозефом Макнарни, впрочем, генерала вы должны помнить… он был вместе с Гопкинсом в Архангельске…

— Такой… вислоплечий, с красными руками?

Бухман засмеялся, ему все-таки удалось вовлечь Бардина в разговор.

— Но этот бег с препятствиями был столь обязательным и срочным, так как предварял… Ялту? — Бардин замедлил шаг, дав понять, что для него этот вопрос важен.

— Из трех встреч, которые были у него в европейских столицах, только папа меньше всего походил на вулкан… — опять засмеялся Бухман. — Ничего себе миссия — гасить вулканы!..

— И погасил? — улыбнулся Бардин, впрочем стараясь не выдать ухмылки.

— По-моему, погасил, но ценой немалой. — Бухман оглянулся, пытаясь обнаружить во тьме крышу Ливадийского дворца, которая отождествлялась сейчас для него с Гопкинсом, но, не увидев крыши, поднял палку, указав ею в сторону дворцового парка, чья темная масса была видна во тьме. — На Мальте он еще стоял на ногах, а здесь его уже не хватило… — Бухман вдруг пощекотал указательным пальцем бороду. — Наше время вызвало к жизни детище отчаянное — самолетную дипломатию, и Гопкинс ее родоначальник… Даже странно, кроткий человек и вызвал к жизни такое страшилище… Впрочем, я заметил, у всех тиранов были кроткие родители.

— И наоборот? — засмеялся Бардин, он знал, чтобы жил в американце добрый огонек юмора, нужен ветер.

— Не знаю, не знаю… — вдруг отступил Бухман, у него отпала охота идти в этом сравнении дальше. — Но Гопкинс — уникум: недуг может скрутить его физически, духовно — никогда…

Не знаю, удастся ли ему завтра занять свое место за большим столом, но мысль его работает сейчас так, будто бы он уже там сидит…

Надо отдать должное Бухману, не только Гопкинс, но и он, Бухман, был неуклонно последователен в своем стремлении максимально высветлить для себя и для своих коллег позицию сторон перед завтрашним большим разговором о Германии.

— Поверьте, дорогой Бардин, у нашего президента не может быть никакой корысти, когда речь идет о Германии и России, — произнес Бухман с видимой искренностью. — Все в нашем отношении к бацилле агрессии… Не секрет, что в мире есть люди, которые считают: бацилла агрессии может быть спасительной, ибо только она способна защитить старый мир. По этой причине надо уничтожить лишь столько этих бацилл, сколько необходимо, чтобы: они со временем возродились. Сказать, что наш президент проповедует эту веру, значит плохо думать о нашем президенте… Но президенту надо помогать. Скажу вам начистоту, не дай бог что-то произойдет с Гарри, у президента не останется помощников, на которых он мог бы в нынешней непростой обстановке положиться…

— Но в данном случае помощь есть… план?

— Если говорить о Германии, план, разумеется… — подхватил Бухман, он подвел своего собеседника к сути искомой. — Не находите ли вы, друг Бардин, что все-таки странно устроен мир?.. Вы только представьте себе, какими незримыми нитями сплетена земля! Нет, нет, я не шучу, незримыми!.. В самом деле, кто мог представить, что судьба Германии будет решаться в Ливадии?..

Бардину показалось, что американец не хотел идти к цели по грубой прямой, ему необходим был извив, ему до зарезу нужен был сейчас этот извив, и он нашел его в своем сравнении с незримыми нитями, которыми оплетена земля.

— Нет ничего мудренее, чем хитрая механика плана! — вернулся к своей мысли Бухман. — В самом деле, какую машину надо соорудить, чтобы истребить проклятую бациллу, истребить, чтобы духу ее не было? Ну, что вы молчите?.. Я хочу знать, что думаете вы…

Где-то ему изменило терпение, он был все-таки человеком эмоциональным, Эдди Бухман, друг и верный адъютант Гарри Гопкинса. Кстати, эмоциональность не компрометировала его, наоборот, возвышала, эмоциональность как синоним доброй воли.

Они не заметили, как поднялись на взгорье, и слева в лунной мгле открылось море. Как ни сильно было лунное свечение, мгла его умеряла, и море открылось лишь у самого берега, иссиня-черное, плоское.

— Что думаете?..

— Извольте, хотя речь моя будет и не столь пространной… — произнес Егор Иванович. — Когда человек садится за стол переговоров, у него всегда есть альтернатива. Он говорит от своего имени и волен этим словом распоряжаться как хочет:

сказать и не сказать, отдать его на суд слушателей и взять обратно. Слово принадлежит ему, оно является плодом его ума, сознанием того, что есть его «я», но принадлежит оно стране, народу, сообществу народов, тому большому, что волею судеб суждено ему представлять. Человеку, сидящему за столом, доверено всего лишь обнародовать это слово, он волен его сделать достоянием других, но не волен его изменить или тем более отменить… Слово, которое будет произнесено за большим ливадийским столом по германской проблеме, окончательно, как все, что принадлежит народу. Я не сторонник категорических истин, полагаю, что за столом равных должна править терпимость, но в данном случае пусть наше слово прозвучит как можно категоричнее: разрушить германскую военную машину так, чтобы железо обратилось в пепел… Тот, кто не убежден в этом, пускай проедет по России и взглянет на следы огня и крови… Если же в этом главном у нас одно мнение с вами, помогите претворить его в жизнь. К черту дипломатию! Скажу как человек, как русский, в конце концов, поверьте, это справедливо!

— Однако вы, ратуя за терпимость, были достаточно категоричны, — произнес Бухман, когда их дорога повернула к дворцу.

— Вот тут как раз категоричность — благо… — ответствовал Егор Иванович.

Они уже расстались, когда Бухман вдруг поднял руку, останавливая Бардина.

— То, что я сейчас скажу, относится, по вашей классификации, к первой категории ответственного слова и в известной мере… безответственно, но я хочу все-таки это произнести… Можно?

— Пожалуйста.

— Если бедный больной, обреченный на муки и одиночество, захочет вас видеть, вы ему не откажете в этом?..

Бардин не преминул про себя укорить Бухмана: однако прозорливый американец учел и эту возможность.

— Разумеется. Повидать больного — мой долг вдвойне…

— Благодарю вас…

Бардин уже готовился подняться на крыльцо флигелька, где армейские интенданты приютили его департамент, когда из полутьмы, которая с заходом луны уплотнилась заметно, показалась громоздкая, надетая как-то набекрень папаха Михайлова — наркоминдельский абориген использовал поздний час для стариковского променада.

— Уж не завтрашнюю ли речь вы готовите, уединившись, Николай Николаевич? — подал голос Бардин.

Михайлов остановился, ему надо было время, чтобы уточнить, кто его окликнул из тьмы.

— А вы полагаете, Егор Иванович, что завтра мне все-таки дадут слово? — нашелся Михайлов, видно, для него это обстоятельство имело значение — не часто ему приходилось выступать на конференциях трех. — Как я понимаю, все зависит от того, как поведут себя главные делегаты…

— Главные делегаты для нас — это Рузвельт и Черчилль, Николай Николаевич?

— Да, разумеется.

— А разве тут может быть нечто непредвиденное?

— Непредвиденное вряд ли, но новое возможно… Почему бы ему не быть, этому новому, Егор Иванович?

— Новое… и в Рузвельте, и в Черчилле, Николай Николаевич?

— В Рузвельте, пожалуй, меньше, в Черчилле больше, но и в Рузвельте… — Он поправил свою громоздкую папаху, но она тут же приняла свое прежнее положение. — Как мне представляется, самое интересное в нашей с вами профессии — это психологический снимок момента… Да, исхитрился и… клац! — он точно дернул шнурок большого камерного фотоаппарата, каким снимали павильонные фотографы в начале века, этот жест понятен только тем, кто помнит те далекие времена, но Михайлову менять его поздно. — Итак, что дает нам психологический снимок Рузвельта? Вопреки его недугу, а он, этот недуг, изменил облик президента неузнаваемо, линия Рузвельта прочерчивается четко — Дальний Восток… Да, все в связи с Дальним Востоком и исходя из Дальнего Востока. Вы меня поняли?.. Что же касается моментального снимка Черчилля, то здесь обращает на себя внимание именно отсутствие этой последовательности… Однако чем она объясняется? На мой взгляд, двумя причинами, и обе породили страх, уже породили… Первая: победоносное для Красной Армии окончание войны и достаточно неопределенная для Черчилля перспектива парламентских выборов… Не хочу быть прорицателем, но должен повторить, неопределенная…

И вновь Егор Иванович увидел, как заколыхалась во тьме громоздкая форменная папаха Михайлова, все еще сдвинутая набекрень.

— Боюсь, чтобы Черчилль в Ялте не повторил свою тегеранскую тактику: уходить от обязательств, ссылаясь на то, что проблема велика, а времени у него в обрез… — сказал Сталин Антонову, когда тот вручал ему папку с дневной сводкой военных действий. Генерал был не самым подходящим собеседником для обсуждения этой проблемы, однако что будешь делать, когда до пленарного заседания оставалось всего минут десять, а необходимость поделиться этим своим наблюдением велика. — Возможно, я не прав, проверьте меня…

Вошел Черчилль в сопровождении Идена и фельдмаршала Брука и, увидев советского премьера, сделал три дежурных шага навстречу, количество шагов было отмерено с завидной точностью — можно было подумать, что четыре шага уже нанесли бы непоправимый ущерб престижу империи. Русский пожал руку, пожал с той неохотой, с какой делал всегда, нарочито расслабив руку, а затем, вздернув бровь, стал искоса наблюдать, как англичанин идет к своему креслу. Надо отдать должное Черчиллю, день пребывания в Ялте пошел ему на пользу, он не так заметно волочил левую ногу: видно, полуночные горчичники, с помощью которых премьер иногда лечил некоторые из своих недугов, сделали свое.

Вкатили коляску с президентом; оглядев зал и увидев, что делегаты собрались, президент улыбнулся и развел руками. Его жест взывал если не к состраданию, то к сочувствию. «Рад был бы и раньше, но выше моих сил, — точно говорил президент. — Выше».

Рузвельт открыл заседание и определил его тему: Германия, зоны оккупации. Казалось, президент сознательно придал этой формуле приблизительный характер. Такая формула позволяла делегациям, не уходя от темы, дать ей свое толкование и сохраняла за американцами возможность сказать слово, которое могло быть решающим.

Русский вложил в формулу президента свой смысл, он хотел, чтобы сегодня было обсуждено четыре вопроса. Он любил перечисления, а перечисляя, для убедительности пускал в ход пальцы правой руки. Здесь этот жест был не очень уместен, но по мере того, как русский обретал уверенность, а после первого заседания этот процесс продвинулся заметно, советский лидер мог себе позволить известную вольность. Итак, был загнут палец первый — расчленение Германии на зоны, второй — создание администрации и правительства, третий — безоговорочная

капитуляция, четвертый — репарация… Чтобы не противопоставлять свое мнение мнению президента, русский сказал, что он ставит свои вопросы дополнительно к вопросам, которые назвал президент. Он сказал «дополнительно», хотя, конечно, его предложения не просто дополняли президента, а скорее по-своему толковали. Русский делегат, понимая, что президент не столько его антагонист, сколько союзник, ни в Тегеране, ни в Ялте внешне ни единого раза не возразил президенту, хотя по существу, конечно, возражал неоднократно.

Русский загнул свои четыре пальца и взглянул на Антонова. Он точно приглашал его удостовериться в верности своего предположения, которым поделился с генералом перед началом заседания. А Черчилля, казалось, навсегда оставила муза импровизации, незримая сила сковала ему уста, которые прежде открывались так легко. В большом зале Ливадийского дворца было не столь уж жарко, а лицо британского премьера стало блестящим от испарины.

Конечно же Черчилль акцентировал прежде всего на проблеме расчленения Германии. У него нет оснований возражать против самого факта разделения Германии на зоны, но как это сделать здесь, в Ялте, в течение пяти-шести дней, которыми они располагают? Сталину оставалось взглянуть на Антонова: «Вот он, Черчилль, собственной персоной!» Его тактика: по возможности заморозить конференцию. Но это ясно уже не только русским. Председатель, который до сих пор держался в тени, решает подать голос. Как отмечалось, советский премьер и в Ялте ни разу не возразил президенту, а вот президент возразит англичанину? Как сейчас, например. У тех, кто сидит сию минуту в большом зале Ливадийского дворца, интуиция обострилась завидно, вон какой хрупкой стала тишина, даже старые кресла, чей скрип не утаить, смолкли.

Остается установить, какой характер обретет возражение.

Президент поворачивает правую руку ладонью вверх, даже чуть-чуть пододвигает ее к свету, внимательно рассматривает. Такое впечатление, что он никогда ее такой не видел, оказывается, и в собственной руке можно открыть нечто новое. Присутствующие внимательно следят за этим рузвельтовским жестом, кажется, и они увлечены открытием, которое сделал президент, глядя на руку. Потом президент поднимает глаза, они откровенно тоскливы.

— Как мне кажется, маршал Сталин не получил ответа на свой вопрос о том, будем мы расчленять Германию или нет, — произносит президент, он точно беседует с рукой, возражает ей. — Я полагаю, надо решить вопрос в принципе, а детали

отложить на будущее. Премьер-министр говорит, что весь этот запрос требует изучения, правильно… Но самое важное решить, согласны ли мы расчленить Германию…

Черчилль едва ли не привстал. Его движение выражало тревогу. Дело даже не в существе слов, произнесенных только что президентом, важен сам факт: президент возражал ему. Очевидна, президент возражал ему и раньше, но то было с глазу на глаз, в присутствии русских такого не бывало… Или было? В Тегеране имело место нечто аналогичное, но там это выглядело не столь явным. Итак, Черчилль понял, что президент ему возражает, и решился на беспрецедентное: на возражение президента ответить возражением. Он сказал, что союзники имеют дело с 80-миллионным народом и для решения вопроса о его участи, конечно, требуется более длительное время, чем тридцать минут. Фраза грубо искажала мысль оппонента — понятия «тридцать минут» и «участь народа» придумал сам Черчилль. Иначе говоря, британский премьер пустил в ход тот самый прием, который предусмотрел Сталин в своей беседе с Антоновым до начала заседания. Это было, пожалуй, признаком известного смятения — премьер упорствовал недолго. Он сказал, что британское правительство готово принять принцип расчленения Германии и учредить комиссию для изучения соответствующей процедуры.

Но прежде чем заседание продвинулось дальше, Сталину суждено было еще раз напомнить Антонову, что британский премьер не оставляет намерения заморозить конференцию. Черчилль воздал должное вкладу России и русских в дело победы, но, когда речь пошла о репарациях, утопил голову в бабьих плечах.

— Призрак голодающей Германии встает перед моими глазами! — едва ли не воздел он руки к небу и заключил назидательно: — Если хочешь ездить на лошади, ее надо кормить!

— В том случае, если лошадь на тебя не бросается, — заметил русский, смеясь.

— Готов признать, что метафора моя не совсем удачна, — тут же реагировал Черчилль.

Англичанин испытал неловкость: достоинство, которое издавна красило его речь, — метафоричность — взято под сомнение. Спор неожиданно сместился в сферу, для одного и другого достаточно чувствительную: один втайне себя считал поэтом, другой — прозаиком. Однако фокус заключался в том, что, зная друг о друге почти все, они не подозревали один в другом как раз этих достоинств, полагая, что всевышний отдал все свои таланты ему и конечно же обделил ими соперника.

А проблема репараций продолжала обсуждаться, доводы русских были резонны даже на взгляд союзников, которые активно отвергали репарационный план русских.

— Да, это очень важное соображение! — воскликнул Черчилль, когда речь зашла о том, что послевоенная Германия, как можно предположить, не обладая армией, сумеет навести режим экономии заметный. Но когда возник вопрос о решении, Черчилль вернулся к своей прежней формуле, суть которой вполне объемлют слова: «Ради бога, не сейчас!» Но русские настаивали, и в этот раз торжествовал компромисс. Условились, что будет создана репарационная комиссия с резиденцией в Москве. Это самое большое, на что мог пойти британский премьер, но русские сделали попытку продвинуть его и в этой позиции. Согласившись на создание репарационного центра, тем более с местопребыванием в советской столице, русские хотели определить, как было сказано на конференции, «руководящие линии». Репарации в первую очередь получают державы, которые вынесли тяжесть войны и организовали победу, речь идет о трех великих. Русский предал эту формулу гласности.

— А как полагают уважаемые союзники?

Черчилль взглянул на своего американского коллегу, тот сидел, обратив печальные глаза на машинописный текст, который пододвинул ему государственный секретарь. Президент испытывал неловкость — в своих возражениях британский союзник пошел слишком далеко. Если бы русские запросили не десять миллиардов, а много больше, то и тогда они были бы правы: кому не известно, как невосполнимы ныне их потери. Можно возражать им по любому вопросу, но не по этому. Откровенная печаль, которая объяла в эту минуту Рузвельта, кажется, привела в чувство и британского премьера. Он неожиданно улыбнулся, точно самой этой улыбкой прося извинения. Он сказал, что его несговорчивость по вопросу о репарациях объясняется тем, что у него дома есть парламент и есть кабинет. Если они не согласятся с тем, что он, Черчилль, одобрил в Крыму, то могут, пожалуй, указать ему на дверь. Наступило молчание, долгое и ощутимо тягостное, казалось, это молчание пробудило и президента, он оторвал глаза от машинописного текста, который все еще читал, посмотрел на Черчилля. Вряд ли кабинет или тем более парламент поставят тут в вину твою несговорчивость, точно говорил взгляд президента. Если же тебе укажут на дверь, то независимо от этого, если оставят, — тоже независимо от этого.

А Черчилль улыбнулся вновь, его прежняя улыбка не сняла неловкости.

— Мне нравится этот принцип: Германии — по силам, каждому — по потребностям, — возгласил британский премьер.

— По заслугам, — угрюмо поправил Сталин.

В Ливадию приехал Бекетов и тут же включился в работу над теми главами коммюнике (оно уже мало-помалу вызревало), которые касались будущего международного сообщества. Все знали, что организация будет всемогущей, уже уточняли ее статут и очерчивали контуры, однако у новорожденного не было имени.

Егор Иванович знал, где искать друга, и пошел на огонек, что светился в придворцовом флигеле в глубине парка, там наркоминдельские правовики день и ночь колдовали над текстами. Час был поздний, и огонек в квадратном окне флигеля казался одиноким, красноречиво свидетельствуя, что есть еще рыцари на свете, которым и круглосуточная вахта нипочем. Бардин вошел и по лестнице, приятно попахивающей старым деревом, поднялся на второй этаж. Еще издали, пересекая комнату с правильно округлыми окнами, будто выстроенными вдоль фронтовой стены по ранжиру, он приметил полураспахнутую дверь и в проеме ее просторный стол, освещенный настольной лампой под бледно-оранжевым абажуром. Свет лампы был нерезким, и мудрено было рассмотреть сидящих за столом. Бекетова Егор Иванович опознал по голосу — благородно рокочущему баритону, всей своей сутью питерскому. А вот собеседник Бекетова был скрыт оранжевой полумглой и напрочь отказывался себя обнаруживать. Бардин невольно замедлил шаг и остановился, не зная, продолжать путь или повернуть обратно. Зал, где сейчас стоял Бардин, тонул в сумерках, и людям, сидящим за столом, Егор Иванович мог быть невидим. Но Бардина выручил Бекетов, нет, не только голос выдал Сергея Петровича, но характерная способность бардинского друга, обращаясь к собеседнику, величать его по имени. Когда Бекетов говорил «Александр Александрович», была в этом случае свойственная русскому способность, величая человека, сообщить голосу некую торжественность.

— Да не пошли ли американцы в Думбартон-Оксе дальше, чем хотели, Александр Александрович?.. Какой резон им тут упорствовать…

— Резон, конечно, есть… — задумчиво ответил собеседник Сергея Петровича. — Вопрос непростой…

Кажется, собеседник Бекетова угадывался безошибочно. Гродко, наш молодой посол в Штатах, советскую державу в Думбартон-Оксе представлял он.

Ну что ж, коли Гродко, то можно, пожалуй, входить. И Бардин

вошел.

Бекетов, счастливо просияв, протянул Егору Ивановичу руку, братски приник теплой ладонью к бардинской груди, Гродко склонил голову, улыбнулся.

— Садитесь, Егор Иванович, гостем будете… — И, дождавшись, когда Бардин расположится, спросил: — Вот ответьте, пожалуйста: коли Стеттиниус — друг Гопкинса, почему же его подчас забирает так далеко вправо?.. Попытка удержать равновесие?

— Вы имеете в виду… разные взгляды на голосование в Совете Безопасности, так?

— Ну, предположим, и разные взгляды, Егор Иванович…

Вопрос, который упомянул Бардин, действительно явился ахиллесовой пятой разногласий. Стеттиниус, активно поддержанный Кэллоганом, настаивал на таком порядке голосования в Совете Безопасности, когда страна, имеющая отношение к обсуждаемому вопросу, лишалась возможности участвовать в голосовании и, следовательно, налагать вето. Дав согласие на такой порядок голосования, Советский Союз как бы добровольно отказывался от самого действенного, если не сказать единственного, своего средства защиты. Надо смотреть трезво: большинство в том же Совете Безопасности может быть и не у нас.

— Ну, предположим, разные взгляды на голосование, — повторил Гродко. — Нам нельзя обманываться насчет того, какой оборот примут дела после войны. Прозорливый политик на нашем месте попытается реализовать победу с максимально дальним прицелом. В идеале, опираясь на победу, мы обязаны защитить наше будущее. Не воспользоваться этим — значит обнаружить недальновидность, а значит, поступиться старым дипломатическим правилом: легковерные и забывчивые расстаются с головой первыми…

— Это вы о Стеттиниусе, Александр Александрович? — вопрос Бардина был осторожен.

— Не только, о Гопкинсе тоже… — был ответ. — Смею думать, Гопкинс — явление для нас положительное, но не столь простое, как может показаться на первый взгляд…

— Вы говорите о его отношениях с Черчиллем?

— Не столь простое, — повторил Гродко.

— Наверно, это хороший признак, если предметом спора становится уже день завтрашний? — спросил Бардин, ему был интересен взгляд Гродко на дискуссию в Думбартон-Оксе.

— Мы люди дел насущных, — заметил Гродко, задумавшись. — Сегодняшнее зримо, оно доступно глазу, его

даже можно ощупать… Вот эта зримость мобилизует. Мы привыкли делать то, что зримо. Если же дело, которое нам предстоит сделать, отодвинуто в день завтрашний или тем более послезавтрашний, оно будто бы и не наше. В такой мере не наше, что даже не заслуживает внимания. Поэтому нужно усилие, чтобы сказать: оно, это дело, для нас жизненно и им надо заниматься так, будто речь идет о столь неотложном и насущном, как, например, наступление на Берлин. Но, быть может, все не так, возможно, мы преувеличиваем значение этого будущего. Как можно говорить об этом будущем, когда идет война? Казалось, вот добьем врага, а потом можно подумать о дне завтрашнем. Настроение человека всесильно, а такое настроение есть. Даже странно: мы, чья идеология построена на вере в будущее, когда речь идет об этом самом будущем, вдруг отдаем себя во власть… настроению. В нашем сознании этот день завтрашний вдруг отделен ото дня сегодняшнего на версты и версты, а ведь оно, это будущее, рядом…

Егору Ивановичу интересно наблюдать Гродко. Наверно, вот это раздумье, обстоятельное, когда нет места красному слову и главенствует мысль, было характерным состоянием посла. Бардин должен сказать себе, что в самом строе этого раздумья, когда предмет как бы выносился на солнце и поворачивался на свету своими гранями, была практическая целесообразность, а следовательно, опыт.

— Очевидно, это чувство, для человека врожденное, усугубляется тем, что мы только что преодолели такую войну? — возразил Бардин. — В сравнении с войной все кажется не таким значительным…

— Возможно, но ведь речь идет о нашей жизни, ее существе, о нашей общей судьбе, какой она будет даже не завтра, а сегодня. Повторяю, это внешне речь идет о дне завтрашнем, на самом деле это день сегодняшний, надо понять, сегодняшний… Хочется серить, что сорок пятый будет годом нашей победы… — продолжал Гродко воодушевленно, только сейчас Бардин заметил, что Гродко обжил этот завтрашний день надежно, видно, он думал об этом. — Пора себе представить, да обстоятельнее и, быть может, трезвее, как мы будем жить завтра, как мы предполагаем организовать мир и наши отношения с теми, кто живет за рубежом… Надо понять, за эти годы мы столь безраздельно ушли в дела копны, что не очень себе представляем, как вершатся мирные дела. Конечно, у нас есть опыт, но я все-таки не побоюсь сказать, что наше будущее и все, что с ним связано для нас, это земля новая… Очевидно, речь идет о том, чтобы обнять ее умом и делом, а может, даже и отстоять…

— Вы сказали, отстоять?

— Да, именно отстоять, — подтвердил Гродко. — Все признают наш ратный труд и доблесть нашу. Да как признают! Заговори об этом, и разом все шапки долой — в цветах не будет недостатка! Однако попробуй заговорить о том, что из нашей победы проистекает и зовется правом нашим, законным, окропленным кровью, и разом цветов поубавится, а может быть, и совсем они исчезнут… Горько, однако это так… Речь идет о вкладе в победу всех наших народов: Украины, Белоруссии… да только ли их?

— Думбартон-Окс тут не был исключением, Александр Александрович? — спросил Бардин.

— Нет… — произнес Гродко, как показалось Егору Ивановичу, не без смущения. — Если, как утверждают некоторые, Стеттиниус близок Рузвельту и Гопкинсу, его упорство в Думбартон-Оксе станет тем более непонятным, — заметил Гродко. — Очевидно, государственный секретарь явил там не только свое мнение, но в какой-то мере и свое… — он обвел внимательным взглядом собеседников. — Когда человек высказывает свое мнение, это ведь всегда заметно…

— Вы полагаете, что Думбартон-Окс жив и в Ялте, Александр Александрович? — спросил Бардин, ему было ведомо, что в этом старопоместном гнезде на окраине американской столицы схватка была жестокой.

— Пока жив, пока… — подтвердил Гродко и, взглянув в открытую дверь, за которой была комната референтов, осведомился: — Вы закончили, Игорь Петрович?.. Ну и отлично, я иду…

Гродко ушел.

— Ты заметил его формулу, Егор: «Когда человек высказывает свое мнение, это ведь всегда заметно»?..

— Ты хочешь сказать, Сережа, что в Думбартон-Оксе Гродко был неколебим?

— Именно, он понимал, вся сумма проблем может быть решена за большим столом, и сказал «нет», категорическое…

— Я встретил ненароком твою Августу Николаевну, она поведала мне про Иришкины проказы, — ухмыльнулся Бекетов. — Не хочешь, да взмолишься: «Что за комиссия, создатель!..»

— Отец говорит: «Причуды возраста». Коли причуды, надо терпеть, если я не стерплю, кто стерпит?

— Терпи.

— Буду терпеть… Пойдем на волю, Сережа… Я заметил, у нас с тобой на природе разговор ладится.

Они пересекли парк, вышли на поляну, укрытую

первозданной тьмой, пахло тлеющим деревом, прогорклой золой.

— Ты обратил внимание, Егор, на мысль Гродко: «Мирная пора, послевоенная, как новая земля, которую надо постичь и освоить»?.. Он говорил, а я думал: мы знаем, как профессия дипломата преломилась в облике профессионального военного, князя церкви, земельного магната, крупного чиновника, а вот как она сказалась в натуре человека, отец и дед которого были пахарями, добывающими хлеб наш насущный? Впрочем, не только отец и дед, но и сам дипломат будущий наверняка ходил в своем отрочестве за плугом, косил траву в приречных низинах, выхаживал больную лошадь, ездил по первопутку на розвальнях за хворостом… Тут есть, как было отмечено выше, своя цивилизация, а следовательно, кладовая, где берегли свои зерна академики нашего села, зерна ума и умения. Одним словом, тут унаследован опыт зрелости, а что есть зрелость, если не расчет, осторожность, понимание, что за тобой народ, если быть точным, великий народ, его поддержка, а твоя ответственность… Как все истинно серьезное, это не броско, но обладает качествами неоспоримыми: чем больше ты об этом думаешь, тем больше убеждаешься, что тут есть материал для размышлений…

— Да, верно, Сережа… Он мог бы сказать больше, да хотел быть кратким.

— А его мысль о правах наших республик в сообществе племен и языков, всех племен и языков, Егор?..

— Да, для него они были одной судьбы… наши республики…

Глаз ухватывал сейчас горы, невысокие и округлые, одна другой выше. На склоне ближней пробивалась полоска огня, видно, дождичек, окропивший землю накануне, прибил пламя костра, попахивало сырым деревом, которое плохо брал огонь, видно, жгли старую виноградную лозу.

Когда ветер менялся, был слышен запах моря, оно дышало теплом, весна должна была прийти оттуда.

— Я говорю о Гродко, Сережа, там, в Думбартон-Оксе, была сеча жестокая. Легко сказать: «Право!» Есть право человека, но есть право народа… Украина и Белоруссия! Благодарно тут сказать свое слово, а еще лучше, когда оно обращается в дело, его будут помнить, это дело, на отчей стороне… Хотелось бы, чтобы помнили…

57

Как было условлено накануне, 6 февраля за большим ливадийским столом речь пошла о международной организации безопасности. Но разговор не набрал необходимого разбега. Советский премьер сказал, что ему трудно на слух воспринять существо документа, который доложил конференции Стеттиниус, — доклад американца о Думбартон-Оксе венчал документ, излагающий принципы голосования. Замечание русского было резонно. Беглого знакомства с документом было тоже недостаточно, требовалось именно изучение. Хозяева дали понять, что хотели бы продолжить разговор по этому вопросу на следующий день.

Черчилль взглянул на запястье левой руки, сощурился. Видно, глаза застлало стариковской слезой. Британский премьер отвел подальше руку с часами. Циферблат обрел резкость — сегодняшнее заседание продлилось всего час сорок минут. Да не высвободили русские это заседание для обмена мнениями по иному вопросу, например польскому? Может быть, есть смысл осторожно сказать об этом? Черчилль шевельнул кистью руки, прося слова. Русские не возражают, да, и американцы согласны: польский вопрос. Кто же начнет?

Совершенно очевидно, русские высвободили время для разговора по польским делам, но этот разговор пока начинать Черчилль и не собирается. Когда впереди значительная дистанция, может быть, предпочтительнее пропустить соперников вперед. Но это правило известно и русским. Наступила пауза, каждый из делегатов был занят своим нехитрым делом, полагая, что важнее этого дела нет ничего на свете. Черчилль достал спасительную сигару, однако, взяв ее в рот, забыл зажечь, принявшись не без видимого аппетита разжевывать, — вот и пренебреги сигарой, если она приходит тебе на помощь в самую трудную минуту! Американский президент извлек из кармана пиджака томик с серебряным тиснением — Лонгфелло или, быть может, Уитмен? Впрочем, томик отстранен с энергией, которую рука президента до сих пор не обнаруживала, он дает понять, что хотел бы говорить.

Смысл короткой речи президента: его страна находится далеко от Польши и уже по этой причине не он должен открывать дискуссию. Правда, в его стране проживает пять-шесть миллионов человек, выходцев из Польши. Они с пониманием отнеслись к тому, что Рузвельт говорил в Тегеране. Он, Рузвельт, как известно, за линию Керзона. Но, скажем, лондонские поляки

всегда обеспокоены тем, чтобы сохранить свое лицо… Он, Рузвельт, приемлет линию Керзона, но, быть может, есть возможности пойти навстречу полякам, если говорить о южном участке этой линии. Как полагают американцы, люблинское правительство представляет лишь часть польского народа, небольшую. Президент видит решение проблемы в создании правительства национального единства. Очевидно, должен быть создан президентский совет, а этот совет сформирует временное правительство.

— Мы надеемся, что Польша будет в самых дружественных отношениях с Советским Союзом, — закончил президент.

Черчилль оставил в покое коробку с сигарами. Он уполномочен заявить, что британское правительство поддерживает президента. Он так и сказал: уполномочен. Очевидно, усиление, которое было здесь допущено, выдавало полноту чувств премьера — наконец-то президент сказал то, что ему, Черчиллю, необходимо. По словам Черчилля, он готов принять линию Керзона в том виде, как ее понимает Советское правительство. Он подтверждал это прежде и был подвергнут критике в парламенте и в партии. Тем не менее он, Черчилль, считает, что после той трагедии, которую перенесла Россия, ее требования покоятся не на силе, а на праве. Но Черчилля больше интересует польский суверенитет, чем уточнение линии границ. Польша должна быть хозяином в своем доме, но при одном условии: у нее не должно быть враждебных намерений против ее соседа на востоке.

Он счел возможным добавить: при всех условиях следует охранить коммуникации Красной Армии. О недавней диверсии на Висле, диверсии, по существу, антисоветской, не было сказано ни слова. Не было сказано и об ином: о войне, которую в этот февральский день сорок пятого года продолжали вести лондонские поляки на тех самых линиях коммуникаций, о которых счел возможным упомянуть Черчилль, о тайной войне, жертвами которой были солдаты-освободители, русские и поляки.

Черчилль произнес свою тираду с видимой искренностью, он был искренен вполне и тогда, когда сердце заметно подобралось ему к горлу и он молча, одними глазами умолил Идена, сидящего подле, налить ему воды, и позже, когда извлек платок и, распластав его на ладони, вытер шею. Он говорил с такой убежденностью, будто бы все, что он сотворил и продолжал творить в Польше, делал не он, а кто-то другой, не имеющий к нему отношения, а сейчас говорит новый Черчилль, решительно отступивший от пороков прежнего. Он словно сам был убежден в этом и убеждал всех, кто сейчас его слушает, поверить ему. Если

речь идет о том, чтобы польский сосед был истинно дружествен, то доверие, больше того, монополия доверия должна быть у него, Черчилля, — никто не обнаружит столько симпатии к новой России, как Черчилль. Он, Черчилль, создает дружественную России Польшу и просит доверить это только ему, порукой этому… Да, порукой этому могла быть погребенная память, да, только память, отправленная к праотцам, могла бы здесь помочь Черчиллю. Но память отказывалась умирать, она была в полном здравии. Да и как могло быть иначе, когда самое давнее из этих событий укладывается в пределы полугода, а самое ближнее… кажется, напряги слух и в крымской тишине, сейчас нерушимой, различишь, как гремят автоматы в руках тех, кто явился в Беловежскую пущу прямой дорогой из Лондона.

Если открыть ледериновую папку, что лежит в стопке таких же папок перед русскими делегатами, лежит на всякий случай, чтобы они были во всеоружии, можно увидеть тетрадку машинописного текста, в которой деятельность подпольной армии в Польше, черчиллевской армии, описана с завидной обстоятельностью. Чтобы ответить сейчас Черчиллю, надо извлечь тетрадку и не торопясь прочесть ее. Да, просто прочесть — комментариев не потребуется.

Но вот препятствие немалое: хотя это чтение явилось бы кратчайшим и, быть может, самым простым и естественным путем к истине, боже упаси читать тетрадь. Прочесть — значит все поставить вверх дном. Поэтому надо утвердить свою правоту, не прибегая, по существу, к главному доводу и вместе с тем не отклоняясь ни на дюйм от правды. Перед русскими, как можно понять, именно эта задача, задача тем более трудная, что американец и англичанин единодушны в своем неприятии советской точки зрения.

Но, как свидетельствует опыт, слово может сломить железо. Черчилль закончил, пришла очередь русского. На конференции не было иной минуты, когда бы напряжение достигло такого предела, как сейчас. Надо было дождаться этой минуты, чтобы осознать: конференция в Ялте собралась, чтобы прежде всего решить этот вопрос, более трудного дела не будет… Русский уже говорил. Нет, он пока не намерен возражать Черчиллю. Наоборот, он готов даже с ним согласиться. Вот англичанин сказал, что для британского правительства вопрос о Польше является вопросом чести. Русским делегатам это понятно. Для них это вопрос не только чести, но и безопасности. Польша — не просто пограничная страна, она своеобразный коридор, которым в Россию шел враг. За последние тридцать лет немцы прошли этим коридором дважды. Почему это удавалось врагу столь легко? В

немалой степени и потому, что Польша была слаба. Коридор не может быть закрыт извне русскими силами, он может быть закрыт изнутри самими поляками. Именно поэтому Советская страна заинтересована в создании мощной и независимой Польши. Русский обратился к сравнению чрезвычайному. Он сказал, что вопрос о Польше — это вопрос жизни и смерти для Советского государства.

Что же касается того, какое польское правительство можно считать дружественным Советской стране, а какое враждебным, то он, русский делегат, хотел бы коснуться одного вопроса, однако говорить об этом он будет уже как военный. Нет, он не предал гласности записи, заключенные в упомянутой папке, а всего лишь процитировал их, сопроводив нещедрым, но достаточно грозным комментарием. Что он как военный требует от страны, освобожденной Красной Армией? Он требует только одного: чтобы она обеспечила порядок в тылу Красной Армии. В Польше сегодня действуют две силы: варшавское правительство и так называемые силы внутреннего сопротивления, за которыми стоят лондонские поляки. Варшавское правительство делает все, чтобы помочь советским войскам, а от рук лондонских агентов пало двести двенадцать солдат и офицеров Красной Армии. Все, что сказал русский дальше, прямо проистекало из сказанного: если так будет продолжаться впредь, то мы обратимся к мерам крайним — расстрел тех, кто повинен в гибели наших солдат, не исключается. Как ни грозно было сказанное, последние слова речи являли известную выдержку. «Покой и порядок в тылу — одно из условий наших успехов. Это понимают не только военные, но даже не военные».

Кому была адресована последняя фраза? Возможно, Рузвельту. Он был меньше остальных военным. Кстати, эта фраза могла быть обращена к нему и по существу: от его позиции зависел исход спора. Рузвельт уловил это, предложив перенести разговор на завтра.

После обеда Бухман встретил Егора Ивановича в ливадийском парке и сказал, что пленарное заседание заметно утомило Гопкинса и всесильный Макинтайр, врач Гарри, по крайней мере на сегодня предписал ему постельный режим. Если Бардин намерен посетить Гопкинса, то лучшего времени, чем сегодняшний вечер, не найти. Бардин сказал, что он благодарен Бухману за содействие и готов быть.

Бухман не торопился с уходом, предложил Бардину прогулку. Егор Иванович не противился. Они пошли, не без увлечения наблюдая за червонной проталиной зари, что открылась справа.

Полоса заката еще удерживалась, когда голос американца, заметно пасмурный, остановил Егора Ивановича. Бухман хотел знать: с каким событием русские связывают сегодня и, пожалуй, будут связывать завтра имя Гопкинса? С первым приездом в Россию тем трагическим летом сорок первого? С Архангельском? Американец знал, какую струну тронуть в душе Бардина.

Да, разумеется, ему, Бардину, кажется, что русские отождествляют имя американца с июльской страдой сорок первого, наверно, советник президента ехал в Россию с миссией, которую ему доверил глава государства, но, быть может, в какой-то степени и со своей собственной миссией. Если даже это было не так, русские хотели бы на это надеяться, однако Бардин убежден, что это было именно так — у русских хорошая память на добро.

Бардину почудилось, что последние его слова как бы сковали американца, он приник плечом к дереву, затих, на лиловатом фоне зари сейчас была видна лишь его массивная голова да совок бороды, нелепо торчащей, — как все толстяки, в минуты волнения американец был немного смешон.

— Вся экспедиция в Россию отпечаталась в его памяти, и он не перестает о ней вспоминать, — сказал Бухман едва слышно. — Как ни трудна была для Гопкинса эта поездка, его неизменно охватывает веселость, когда он ее вспоминает. Вспоминает даже в минуту трудную… Вот недавно прочел какой-то пасквиль, где в очередной раз был помянут департамент по сгребанию листьев, и вдруг ухмыльнулся, можно сказать, даже повеселел. Видно, хотел сказать, что не так просто совладать с ним и отправить в преисподнюю. «Эдди, вы знаете, что я сейчас вспомнил? Как возвращался на Британское острова из Архангельска». И стал очень смешно рассказывать о том, как это происходило. Однако боюсь, что в моем пересказе вы ничего смешного не найдете… Итак, Гопкинс был не единственной ценностью в гидросамолете, идущем из Архангельска, — машина была нагружена платиной. Быть может, в какой-то степени поэтому старый волк Макинли, командир ПБИ, убеждал Гопкинса внять предостережениям метеорологов и отложить полет. Но у Гопкинса были свои расчеты — от британских берегов отходил линкор «Принц Уэльский», и надо было поспеть в срок. Одним словом, им руководило одно: лететь! Уже в самолете Гопкинс вдруг обнаружил, что не может совладать со слабостью, которая неожиданно его объяла, по той причине, что сумочку с лекарствами он забыл в Москве. Но делать было нечего: лететь! Встречный ветер возник еще у Архангельска, заметно убавив скорость самолета, а где-то за Мурманском самолет,

барахтающийся в небесах, стал жестоко обстреливаться эсминцем, стоящим у берега. На позывной сигнал русский эсминец отвечал еще более ожесточенным обстрелом. Самолет вздрагивал. Знатного пассажира пробовали разубедить, но реакция была та же: лететь, лететь! Одним словом, самолет шел до британских берегов так долго, как он никогда не ходил. Макинли облюбовал чистую полоску воды у берега и устремил туда свою машину, однако тут же обнаружил, что сел не там. На море штормило, и пришлось взлетать и приводнять самолет в ином месте. Шторм взбугрил море, и катер едва ли не оставил попытку подойти к самолету. Когда же это удалось, Гопкинс полетел из самолета на палубу, точно им выстрелили из катапульты. Так или иначе, а Гарри лег на мокрую палубу плашмя, и матрос, отважившийся выбраться наверх, тащил знатного пассажира по мокрой палубе багром. Вслед был брошен чемодан с бумагами, в котором был и его отчет о миссии в Москву. Гопкинс рассказал об этом смеясь, при этом чем дольше продолжался его рассказ, тем ему становилось веселее, а когда дошел до этого места, как летел ласточкой из самолета на катер, а потом скользил по палубе, увлекаемый багром, он ощутил себя почти счастливым… — Бухман хохотал, залившись румянцем, его многочисленные килограммы расслабились и тряслись, точно опара, которую только что вывалили из макитры. — Вы сказали, у русских хорошая память на добро, так? — спросил Бухман, заканчивая рассказ, ему хотелось увенчать его именно этими бардинскими словами.

— Да, хорошая… — согласился Бардин улыбаясь.

Рассказ Бухмана был не просто смешным, он очень точно рисовал человеческое существо Гопкинса. Но рассказ о полете из Архангельска к британским берегам в июльское ненастье сорок первого года, как понял Егор Иванович, был всего лишь вступлением к тому, что Бухман намеревался сообщить Бардину теперь.

— Конечно, может создаться впечатление, что мы имеем дело с неким чудаком, которому все удается в силу фатального везения, больше того, против его воли, — заметил Бухман, он рассчитал все свои удары в этом разговоре, размеры его монолога будто соотносились с длиной аллеи, которую теперь предстояло пройти в обратном направлении. — На самом деле все сложнее: он принадлежал к тем высокоорганизованным натурам, которые умели расслабиться… и собраться, собраться мгновенно, явив такую энергию ума, которая, казалось, в них и не предполагалась. Нет, нет, я не голословен. Настолько не голословен, что вы меня можете проверить. Только слушайте внимательно. Если вы

заглянете в досье вашего премьера, то в том разделе досье, где хранится корреспонденция президента Штатов, сможете обнаружить телеграмму, в которой есть такое место… Наверно, мне трудно сейчас воспроизвести это место на память, но суть я воссоздам точно. Вот она, эта суть: президент предлагает, чтобы Гарриман был на предстоящих беседах вашего премьера с премьером британским в качестве наблюдателя, если, разумеется, это не вызовет возражений со стороны русских. Какова история пассажа? Дело было минувшей осенью перед последней поездкой британского премьера в Москву. Трудно сказать, почему это сделал президент, быть может, это объясняется настроением президента, возможно, тут просто недомогание… одним словом, президент телеграфировал русскому премьеру в том смысле, что на предстоящих переговорах в Москве Черчилль будет представлять и американцев. Гопкинс узнал об этом, когда телеграмма уже передавалась. Что же он сделал? Намного превышая свои права и полномочия, он явился на телеграф и предложил офицерам связи прекратить передачу телеграммы и ждать распоряжений президента. Потом он явился к президенту, который, оставаясь в полном неведении, домыливал левую щеку, прежде чем задать работу бритве, и объяснил ему, что телеграмма лишена смысла. Как ни сурово было замечание Гарри, президент, понимая, что оно определено доброй волей, дал понять ему, что принимает его с благодарностью, но как исправить ошибку, если часть телеграммы уже у адресата? Вслед пошла новая телеграмма, которая, не обнаруживая противоречий, все ставила на свое место. Нет, нет, вы меня можете проверить: в досье вашего премьера есть телеграмма, в которой президент уполномочивает мистера Гарримана быть наблюдателем на русско-британских переговорах, как есть и та первая телеграмма, не вся конечно, а часть ее, где президент просит рассматривать британского премьера как своего представителя… Значит, у русских хорошая память на добро, мистер Бардин? — повторил Бухман, заканчивая рассказ.

— Да, хорошая, мистер Бухман, — согласился Егор Иванович.

Бухман ушел, но Бардин не торопился уходить. Червонная проталинка над холмом размылась, и холм теперь был почти невидим, став таким же серо-синим, как небо над ним. Ну, дело не в энергии ума Гопкинса, которую стремился обнаружить Бухман и которая как будто бы явилась поводом к его рассказу, дело в ином, что необходимее, быть может, даже жестоко насущнее. Однако в чем? В Черчилле, в отношениях к нему Рузвельта и Гопкинса и в связи с этим в независимости американской политики от Черчилля, в частности и в польских

делах — сегодня нет вопроса для американцев актуальнее, если учесть и нынешнюю стадию разговора с русскими. Попробуем взглянуть на рассказ Бухмана отсюда, и он сразу приобретает смысл значительный, как, наверно, новое достоинство обретает сегодняшняя встреча с Гопкинсом. Уместно спросить: почему? Русские отводят претензии англо-американцев по той причине, что Черчилль возвращается в Польше к политике того, что принято было называть у англичан «санитарным кордоном» и, кстати говоря, явилось созданием Черчилля. Русским тут нельзя отказать в правоте — Черчилль дал им такие козыри, каких они и вчера, и сегодня могли и не иметь. Поэтому важно, по крайней мере в польских делах, действовать независимо от Черчилля. Вот этот акцент — независимо от Черчилля — прозвучал в рассказе Бухмана явственно, при этом едва ли не вопреки воле американца. Вопреки?..

Двумя часами позже Бухман ввел Егора Ивановича к Гопкинсу. Постель была постлана на диване, Видно, Гопкинс проснулся, услышав голос друга, он привстал, опершись на локти. Сейчас он полусидел, припав спиной к подушке. Руки были сжаты и поднесены к груди — в жесте была как бы мольба о сочувствии. Он усадил Егора Ивановича подле себя, воодушевившись, заметил, что не далее как сегодня утром рассказывал о русских летчиках, с которыми летел в Архангельск, помнит, какой переполох они вызвали у коллег, наблюдавших за самолетом с земли, когда стали кружить над городом, — американцы не очень-то догадывались, что таким образом русские хотят сказать свое «спасибо» гостю из Америки.

— У русских хорошая память на добро, — вдруг вторгся в разговор Бухман, эти слова заметно запали в его душу. Он стоял сейчас у изголовья Гопкинса с микстурой в квадратном пузырьке, молча требуя, чтобы больной ее принял. Толстый, громоздко круглоплечий, розовощекий, он понимал, как неуместна его розовощекость, и заметно стыдился ее. Однако от этого не делался менее требовательным, настаивая, чтобы предписание непреклонного доктора Макинтайра выполнялось точно. С той далекой поры, когда Бардин видел Гопкинса и Бухмана в советском посольстве в Вашингтоне, видел один миг, он не имел возможности наблюдать их вместе, хотя только такое наблюдение может объяснить существо отношений между людьми.

— Как хорошо, что эта конференция происходит, — произнес Гопкинс. — Ну, идея конференции возникла еще до выборов, но ехать в Ялту до того, как президент вновь станет президентом, было неразумно. Россия как место конференции для президента

исключалась, он считал это невыгодным для Америки, для ее престижа. — Он поднял глаза на Бухмана: — Эдди, куда я положил оранжевую тетрадь с записями?.. Ну, помогите мне, это вы знаете лучше меня…

Бухман с уверенностью, почти механической, протянул руку к портфелю, стоящему на полу рядом с кроватью, сдвинул его «молнию» и извлек оранжевую тетрадь, он это сделал так быстро, что казалось, поразил и Гопкинса, видно, мир Гопкинса был и его миром. Бардин улыбнулся мысли, которая пришла ему на ум в эту минуту: нельзя сказать, что у них пиджак был общим, но карманы в этом пиджаке были одинаково доступны одному и другому.

— Не скрою, мы пережили тревожные дни — я говорю о последних президентских выборах, — заметил Гопкинс. Он начинал сегодняшнюю беседу «от печки», значит, она должна была быть в какой-то мере программной. — Мне было ясно, как ясно было Америке, если президента не переизберут, это может непоправимо повредить делу нашей победы. К тому же республиканцы, не оставляющие надежды сбросить президента, пустили в дело два своих козыря. Первый: здоровье президента. Второй — ну, тут без старой формулы не обойдешься: злоупотребление служебным положением. Что касается здоровья, то противники не пренебрегли приемами запрещенными — оттиснули фотографию, на которой президент выглядел худо, а вслед за этим дали волю слухам: болезнь сковала президента, все свои речи по радио он произносит едва ли не лежа. Ничего не оставалось, как опровергнуть клевету воочию: как ни трудно это было президенту, во время предвыборной поездки по стране он вышел на площадку вагона. Больше того, речь, обращенную к избирателям, он произнес стоя: тот, кто имел представление о состоянии здоровья президента, знает, чего это ему стоило. Впрочем, вы это увидите сейчас… Эдди, помогите мне, пожалуйста, я положил номер «Крисчен сайенс монитор» с этой фотографией президента в саквояж с лекарствами… Что вы сказали? Не в саквояж с лекарствами, а в кожаный сак с бритвенным прибором? Ну, пусть будет по-вашему. Итак, вот этот снимок, убедительно ведь? Что же касается злоупотребления служебным положением, то в ход пошла сказка о том, что мистер Рузвельт распространил президентские блага на свою большую семью — жену, сыновей, невесток, внуков и т. д. Не названа была лишь президентская собака Фала. Но она-то и явилась предметом шуточного спича президента, обращенного к избирателям. Президент поступил просто: он вписал в свою предвыборную речь пять строк, заставив Америку хохотать до слез и нанеся своим

противникам такой удар, от которого они уже не оправились. — Гопкинс закрыл лицо руками, ему очень хотелось воспроизвести сакраментальные рузвельтовские строки. — Однако что это были за пять строк! Он сказал, что республиканцы, не довольствуясь нападками на него, Рузвельта, его жену и его сыновей, атаковали его дога Фалу. В отличие от рузвельтовской семьи, которая до сих пор молча сносила клевету, Фала воспротивилась. Когда она прослышала, что республиканские сочинители сотворили рассказ о том, как президент оставил ее на Алеутских островах, а потом послал за ней эсминец, ее сердце возроптало, с тех пор собаку не узнать. Президент сказал, что готов и впредь сносить незаслуженные упреки, но просит оставить в покое его хорошую собаку. — Смеясь, Гопкинс опускал голову — у него было чисто детское неумение скрывать смех. — Согласитесь, надо было иметь немалое мужество человеку, в такой мере больному, как президент, чтобы единоборствовать с армией здоровых людей… — Гопкинс обратил взгляд на Бардина, как показалось Егору Ивановичу, невеселый — да не говорил ли Гопкинс сейчас в какой-то мере и о себе? Даже было чуть-чуть необычно, что смех так быстро сменился печалью. — Как я уже сказал, президент не хотел ехать в Россию, считал это невыгодным для Америки, для ее престижа, — продолжал Гопкинс. — Правда, после выборов обстановка изменилась, и то, что казалось абсолютно немыслимым прежде, сейчас обсуждалось. Пусть то, что я вам скажу, не прозвучит самонадеянно, но я всего лишь передаю факты. Итак, я встретился с вашим новым послом и сказал ему, что нет вопроса актуальнее, чем созыв конференции. Посол заметил, что, насколько ему известно, русский премьер готов к конференции, но сомневается, сможет ли выехать из России — новое советское наступление набирало силу. Тогда я спросил посла, найдется ли в Крыму подходящее место для конференции. Посол был краток в своем ответе: вероятно, найдется. Потом Москва спросила напрямик: действительно ли президент согласен ехать в Крым? Запрос Москвы стал достоянием советников президента, им несложно было установить, что все началось с моей беседы с русским послом. Возник спор, не преувеличу, если скажу, что Крым ожесточил моих оппонентов. Пересечь земной шар лишь для того, чтобы встретиться с русским премьером, — да не слишком ли это большая цена для президента Штатов? Я оспорил эти доводы, как мог, в беседах с президентом. Впрочем, не хочу быть голословным… Как это было не однажды, президент завершил этот спор, прислав мне записку — я получил ее на заседании в овальном кабинете. «Итак, Гарри, мы едем в Крым». Впрочем, действительно не хочу быть голословным. Эдди,

загляните в верхний правый кармашек моего полосатого жилета, там рузвельтовская записка… Что вы сказали? Не в жилете, а в пиджаке? Невероятно! Ну что ж, тяните ее из пиджака… Итак, вот эта записка…

Бухман пододвинул к кровати стол с нехитрыми яствами — бивачный ужин дипломатов. Бардину было интересно наблюдать, как ел Гопкинс, ничто не давало Егору Ивановичу столь полного представления о происхождении американца, как это. Стол был сервирован небогато, но, казалось, Гопкинс не замечал этого. В том, как он ел, было нечто от трапезы рабочего, благоговеющего перед куском хлеба.

— Я сказал, разговор личный — действительно, иного средства, как показывает опыт, нет, — вернул беседу к сути Гопкинс.

«Ну вот, он подвел разговор к большой польской преграде, — подумал Бардин, — как-то удастся ему ее взять? Ему и нам вместе с ним?»

— Нашим русским друзьям надо понять и Америку, у нее свое мнение по польским делам, — произнес Гопкинс. — Президент привел восточную пословицу: «Не потерять лица!» Именно не потерять лица, и прежде всего перед нашими поляками в Штатах. У нас их миллионы — целое государство!

— Я ведь знаю, что собой представляют эти миллионы поляков в Америке, — забеспокоился Бардин. — Наверно, там есть буржуа покрупнее и помельче, но, смею думать, их не так много, большая же часть — это рабочие, фермеры, служащие, народ трудовой. Не убежден, чтобы они очень хотели власти лондонских поляков, которым противна аграрная реформа… Скорее, наоборот, они хотят преобразований…

Гопкинс молчал, его глаза, в которых сейчас было мало радости, были обращены на Бухмана. Они точно корили его: «Я сейчас вижу, в этом разговоре мало толку, мы говорим на разных языках. Да надо ли было звать его сюда?»

— Если вы полагаете, что мы ищем приобретений в Польше, то вы ошибаетесь, — возобновил разговор Гопкинс. В его тоне не было нетерпения, наоборот, тон был доброжелательным вполне. — Как вы должны были убедиться, ваши предложения о границах Польши, в сущности, не встретили у президента возражений. Что же касается будущего Польши, то речь идет не о лондонских поляках и поляках люблинских, речь идет о принципе, на наш взгляд, справедливом: свободные выборы…

Бардин смотрел сейчас на Бухмана, и в этом его взгляде точно был молчаливый ответ Гопкинсу, как, впрочем, и Бухману. «Честное же слово, мне не хочется ссориться! — говорил этот

взгляд Егора Ивановича. — Но вы должны взять в толк: свободные выборы — это понятие в нынешних условиях относительное. Кто будет опекуном этой свободы? Дайте волю лондонским полякам, и они установят ту самую диктатуру пули, жертвой которой уже стали и русские и поляки. Для них, для лондонских поляков, главное в этой свободе, чтобы она не коснулась привилегий магнатов земельных. Но ведь в нашем представлении свобода, как ее понимает Рузвельт, тем более Гопкинс, справедливее той свободы, за которую ратуют лондонские поляки».

— К тому же вы пристрастны, — заметил Гопкинс улыбаясь, в этой улыбке было нечто просящее — то, что он намеревался сказать, должно быть на грани дерзости, иначе зачем же ему так улыбаться? — Я говорю, вы пристрастны, а вы должны быть беспристрастны в одинаковой мере и к люблинским, и к лондонским полякам… — последние слова американец произнес не без озорства.

Бардин ответил ухмылкой на ухмылку, так говорить было легче — предмет разговора был деликатен.

— Да, мы, наверно, пристрастны, но эта пристрастность оправданна. Когда в походе по неизведанным местам у тебя два провожатых, при этом один указывает тебе дорогу, а другой стремится сбить тебя с нее, естественно, что твои симпатии на стороне первого, и тебя нельзя корить за это.

Бухман с дотошностью завидной расставил на столике, придвинутом к кровати, чайный прибор и хрустальную ладью с сахарными галетами, их характерный запах, в котором явственно угадывалась ваниль, был очень приятен.

— Будем пить хороший русский чай, — возгласил Бухман, и эта фраза точно призвана была восполнить недостаток единодушия, сейчас столь насущного.

Бухман провожал Бардина до его скромного жилища в глубине парка.

— Хотите, я вам скажу то, что не было сказано? — вопрос Бухмана, как обычно, рубил под корень. — Да, да, то, что хотели сказать вы и не сказали, и, пожалуй, не только вы, но и Гарри.

— Сделайте милость, мистер Бухман, — тон Бардина был чуть-чуть ироничен, да как ответить на такое без иронии? Беседа продолжалась почти два часа, собеседники были солидные вполне, а беседа не просто доверительной, но и в какой-то степени душевной, и вдруг все ставилось под сомнение, поневоле сообщишь своему ответу толику иронии.

— Надо лишь назвать вещи своими именами, и все встанет на места, мистер Бардин… Не так ли?

— Ну что ж, назовите, мистер Бухман. Готовы?

— Да, разумеется… Итак, слушайте. Вся эта канитель с представительством призвана скрыть вещи достаточно очевидные: вы хотите социалистической Польши и только ей доверите владеть этим коридором, мы — буржуазной… Все предельно ясно, не так ли? Вам трудно ответить на этот вопрос? И это я готов понять… Только скажите себе, что Бухман прав. Вот сейчас, после того как мы простимся, скажите себе, пожалуйста, это…

Он поклонился и был таков.

58

В полдень 9 февраля, когда делегаты конференции заняли свои места, британского премьера не оказалось. Это было необычно, и легкое изумление, чуть шутливое, вдруг прорвалось во взглядах всех, кто сидел за столом. Рузвельт подмигнул картинному Стеттиниусу, указывая на черчиллевское кресло, которое сейчас было пустым. Но Черчилль не заставил себя долго ждать, он явился в сопровождении фельдмаршала Брука, однако, прежде чем поклониться коллегам и хотя бы этим принести извинение за опоздание, сказал своему спутнику с очевидным расчетом, чтобы его слышал зал:

— Дайте знать фельдмаршалу Монтгомери, что взятие линии Зигфрида окажет свое влияние на настроение наших войск. — Он отодвинул кресло и, прежде чем опуститься в него, добавил, теперь уже обращаясь к сидящим за столом: — Хорошая новость, господа, наши войска достигли первой линии укреплений Зигфрида, взято семь городов…

Его появление в зале, выход к столу и короткая реплика были срежиссированы безупречно, он даже хромать перестал. Видно, у него была потребность заявить о себе в связи с военными успехами — он был восприимчив к недостатку успехов. Сейчас он занял свое место за столом в прекрасном состоянии духа, ему определенно показалось, что недостаток этих успехов он восполнил.

Рузвельт открыл совещание и предоставил слово Стеттиниусу; государственному секретарю предстояло доложить конференции о результатах нового тура переговоров, состоявшихся за малым столом конференции, там заседали министры иностранных дел. Он сказал, что поиски путей решения польской проблемы заняли их главное внимание. Они будут продолжать эти поиски, положив в основу американский проект, в текст которого решено внести некоторые коррективы. Стеттиниус умолчал, какие именно коррективы он имел в виду, однако дал понять, что речь идет и об идее президентского совета. Намекнув, что обсуждение польских дел за малым ливадийским столом будет продолжено, Стеттиниус умолк. У его лаконичности мог быть и иной смысл: он точно давал возможность русским сказать то, о чем не очень хотелось говорить сейчас ему. Русские не уклонились от такой перспективы. Они заявили, что дорожат возможностью «выработать общее мнение» и принимают за основу американский проект. У советской делегации была формула, относящаяся к

созданию польского правительства. Она гласила, что нынешнее польское правительство должно быть реорганизовано на базе более широкого демократизма. Как полагали русские, эту реорганизацию следует осуществить за счет включения в него демократических деятелей, находящихся в Польше и за границей.

Рузвельт повторил едва внятно:

— …на базе более широкого демократизма.

Черчилль взял карандаш и с проворностью завидной начертал эту формулу; казалось, чтобы проникнуть в ее смысл, он должен был ее видеть: «…более широкого демократизма». Потом наступила пауза — непросто было заглянуть в завтрашний день, но было очевидно, что это те самые слова, вокруг которых месяцы, а может быть, и годы дипломаты будут ходить как привязанные, стремясь проникнуть в потаенный смысл формулы, толкуя ее в соответствии со своим умом и опытом.

На всякий случай Черчилль попросил дать время на раздумье. Он обосновал это достаточно изящно: делегаты едва ли не держат в своих руках кубок большой ценности, нельзя допустить, чтобы он разбился из-за излишней торопливости. Черчилль взывал к несуетности, больше того, к спокойному раздумью, и это было убедительно, — казалось, делегаты не намерены ему возражать… Если бы в эту минуту состояние духа делегатов можно было замерить сейсмографом, вряд ли он обнаружил бы приближение взрыва, однако больше чем когда-либо взрывной механизм готов был сработать. Внешним поводом к взрыву явилось заявление Стеттиниуса. Имея в виду предстоящую конференцию Объединенных Наций, государственный секретарь счел целесообразным обменяться мнениями насчет опеки над колониальными и зависимыми странами. Черчилль сжал кулаки и в тихой ярости опустил их на стол, лицо его стало сине-пунцовым — как можно было понять, взрывное устройство было заложено под его кресло, при этом сделали это американцы. Из черчиллевских разъятых губ вместе с утробным клекотом вырвалось междометие, в смысл которого еще надо было проникнуть — нечто такое, что одновременно выражало и крик боли, и приказ о повиновении, и мольбу о милосердии. Он заговорил не сразу, его голос отразил прерывистое дыхание, было видно, как его колотит. Стеттиниус опустил глаза, он понял, что ненароком поджег нечто легковоспламеняемое и не в силах загасить огонь. А Черчилль уже говорил — тихо и гневно. Он сказал, что, пока британский флаг развевается над землями английской короны, он не допустит, чтобы какой-либо кусок имперской земли попал на международный аукцион.

Ну, старый Уинни достаточно владел собой, чтобы не сказать того, что он сказал за большим столом конференции. Если же у него повернулся язык, чтобы выпалить все это, то, очевидно, не потому, что его взорвало. Более вероятно, что в этой тираде британского премьера, внешне эмоциональной, но по существу своему отнюдь не бессмысленной, больше того, целенаправленной, с хорошо расставленными акцентами, был резон. В этом единоборстве двух империй, первая из которых почти ушла в небытие, а вторая набирала силы, у первой была потребность сказать, что она сильна и не сдаст своих позиций добровольно. Казалось, отношения между этими империями, по крайней мере в годы войны, были так доверительны и в такой мере охранены и, пожалуй, благословлены грифом «секретно», что два государства, в сущности, превратились в одно, если не с одним сердцем, то во многом с единой способностью соотносить удары — военный союз предполагал умение вести счет. Когда Черчилль, принимая звание почетного доктора Гарварда, сказал, что он молит бога, чтобы один язык, объединяющий два народа, со временем обратил их в единое гражданство, он всего лишь явил риторический прием, который не раз выручал его, когда он разговаривал с толпой. То обстоятельство, что перед ним сейчас была не толпа зевак, глядящих ему в рот, а аудитория гарвардских профессоров, не меняло дела, он не очень любил делать поправку на аудиторию и, странное дело, оказывался прав. Но то, что Черчиллю было недосуг сказать своему англосаксонскому брату с глазу на глаз, он вдруг явил едва ли не на миру, если учитывать, что тут были русские, и это могло показаться одним из тех парадоксов, которыми баловала история своих чад. Но парадокса не было, наоборот, все было закономерно — Черчилль ждал этого часа, чтобы сказать это именно в присутствии русских, если он хотел, чтобы черная вода тайны не скрыла сказанного.

А между тем американцы будто бы и не заметили огня и пепла, поднятого столь высоко в небо британской сопкой, они сказали, что имели в виду не высокочтимую империю, и разговор как ни в чем не бывало продолжался. Черчилль, которого эпизод с опекой кинул на почтительное расстояние от польских дел, заявил, что сегодня достигнут большой прогресс — британский премьер имел в виду декларацию конференции по польским делам, которую делегаты предполагали принять. Он, Черчилль, придает немалое значение факту освобождения Польши Красной Армией, о котором вчера говорил маршал Сталин. Больше того, он считает необходимым обратить на это внимание и начать декларацию так: «Красная Армия освободила Польшу». Фраза эта

была не столь бескорыстна, как выглядела на первый взгляд, смысл ее раскрывался в полной мере в связи со словами, которые за этим следовали: «Это делает необходимым создание вполне представительного польского правительства». Разумеется, в понятие «представительное правительство» британский премьер вкладывал свое содержание.

Развивая эту мысль, Черчилль был логичен. Опасаясь, чтобы правительство, стоящее у власти, не оказало давления на избирателей, он сослался на пример Египта, заметив, что правительство Нахас-Паши побеждало ровно до тех пор, пока находилось у власти, и было забаллотировано, как только этой власти лишилось. Раздался смех — сравнение было броским. Однако прецедент, к которому обратился британский премьер, был выигрышен только внешне. Более пристальный взгляд обнаруживал, что черчиллевская аналогия несостоятельна. Советский премьер спросил, в какой мере современные египтяне грамотны. Вопрос оказался сложным для англичан, они не были готовы на него ответить. Это позволило русскому обрести довод, достаточно действенный. Он сказал, что современные поляки грамотны процентов на семьдесят — семьдесят пять и уже по одной этой причине не могут быть сравнимы с египтянами. Обидевшись в связи с этим не столько на русского, сколько на поляков, Черчилль дал понять, что возмущен их неспособностью найти общий язык по вопросу о правительстве. Больше того, отдав себя во власть неприязни, британский премьер намекнул, что Польша и поляки не оправдали его надежд. Можно было подумать, что если бы поляки были не в такой мере грамотны, то гнев британского премьера был бы меньшим.

Обращение к польским делам в этот раз не дало британскому премьеру ощутимых выгод, и он коснулся дел общеевропейских. Как ни многообразны были познания британского премьера, предмет нынешнего спора был и для него не совсем обычен, впрочем, если видеть в этом споре лингвистическое начало. На самом деле, как это бывало у Черчилля прежде, лингвистика была лишь новым платьем, в которое одел свой новый замысел Черчилль. Короче, он сказал, что в нынешних условиях нет необходимости даже в негативном плане обращаться к терминам «фашистский» и «неофашистский», тем более что существуют такие понятия, как «демократы» и «недемократы». Возражая англичанину, русский премьер вспомнил американский проект об освобожденной Европе, где речь идет именно об уничтожении последних следов фашизма и нацизма. Рузвельт, которому в словах американского проекта, прочитанных русским, вдруг открылся смысл, которого он не замечал прежде, воодушевился и

заявил, что хотелось бы, чтобы «польские выборы, подобно жене Цезаря, были выше подозрений».

— История не подтверждает данных президента о жене Цезаря, — заметил русский премьер, смеясь. — На самом деле в своей верности Цезарю она была небезупречна…

Итак, смех все чаще гостил за большим ливадийским столом, и это было признаком добрым — казалось, перед кораблем конференции уже замаячил заветный берег, нелегкий путь был на исходе.

Хомутов сказал, что среди тех, кто представляет американскую сторону в работе над текстами конференции, он видел последний раз и Бухмана. До того как конференция завершит работу, заманчиво было повидать американца. Поводом к такой встрече мог быть и сущий пустяк — пачка листового табака, которую обещал Егор Иванович американскому приятелю. Бардин сказал американцу, что готов задержаться после вечернего заседания, чтобы вручить ему сверток с душистыми листьями из Сухуми. Егор Иванович полагал, что эта фраза могла прозвучать для Бухмана и как приглашение к прогулке по ливадийскому парку. Бухману не надо было больше ничего объяснять, он понимал, что не в табаке дело.

— Президент получил вторую почту из Вашингтона, — произнес Бухман, увлекая Егора Ивановича в глубину парка. День давно померк, но земля была освещена отраженным светом — свет дарили облака, они все еще были напитаны солнцем. — Почта шла до Крыма пять дней, если бы на это потребовалось шесть дней, президенту пришлось бы мчаться навстречу этой почте, — добавил он и не удержал улыбки. — Закон разрешает президенту отлучаться из страны не дальше, чем на расстояние пятидневного перехода… наших почтовиков… Президент может быть на Мальте, в Тегеране или в Крыму, но у страны должно быть впечатление, что он сегодня не выходил из своего кабинета.

— Машина… назначений не терпит перебоев? — спросил Бардин, он знал, что у этой машины инерция необратимая, она, эта инерция, признает только то, что безостановочно.

Бухман замер — Бардин ненароком задел чувствительную струну.

— Послы, как курьеры, мчатся во все концы земного шара, не успев осмыслить, кто они и куда они едут… — произнес Бухман с непонятной воинственностью. — В прежние времена местом ссылки была армия, — прежде чем министр отстранялся, его возводили в генералы, так едва не погубили мы армию, наше спасение, что мы не так часто воевали. Ныне местом ссылки стала наша дипломатия. Если армия не воюет, ее способность принять

несостоявшихся министров безгранична. Другое дело — дипломатия. Она в состоянии войны постоянной, и переизбыток несостоявшихся министров тут же ей выходит боком. Дипломатия больше, чем что-либо иное, требует и знаний и опыта. Пренебрежение этим правилом не возвышает ни дипломатию, ни тем более страну. Я, например, могу быть гонцом специальных поручений, но послом мне уже быть трудно. Это может прозвучать парадоксально, но самая большая проблема для нашей дипломатии — это девальвация недипломатов. Многие из них люди не просто способные, а талантливые, но они, так сказать, сдали свои экзамены экстерном, а в дипломатии так нельзя: надо пройти все ступени, ибо знания получаются там, внизу, как, впрочем, и опыт… что, как я мог убедиться неоднократно, не меньше, чем образование. Я верю в опыт… Короче, тут есть компоненты обязательные…

— Это все не так просто, друг Бухман, — возразил Бардин. — Бывают повороты истории, когда этим правилом полезно пренебрегать… К тому же, что плохо для вас, хорошо для нас, не правда ли? — засмеялся Бардин, ему хотелось подзадорить американца. — Нет, нет, насчет поворотов в истории я не преувеличил…

— Несомненно, есть повороты, но если взглянуть в процесс, о котором я говорю, то эти повороты длятся бесконечно, а полезно, чтобы у них был срок, даже если иметь в виду государства молодые, у которых много иных забот.

— Вы полагаете, это свойство молодых государств?

— Да, так я думал, оказывается, нет… На Британских островах и на материковой Франции та же история. А вместе с тем первая из стран, которая сделает это правилом для себя, обретет достоинства, каких не будет у других. Говорят, вы серьезно решаете проблему дипломатического образования…

— Да, у нас это считают важным.

— Вот вы и будете первой страной…

— Спасибо.

— Когда речь идет о карьере, наше время выработало свои приемы, столь совершенные, в сравнении с которыми все сказанное великим французом о Жорже Дюбуа примитивно, — заметил Бухман — фраза была достаточно отчетливой, чтобы понять, куда клонит американец. — Сегодня одиночка, будь он семи пядей во лбу, не преуспеет, если его не поддерживает клан, у которого есть идея, энергия, связи и деятельный вожак, умеющий превозносить и компрометировать, понимающий, что такое нормы круговой поруки, и следующий им свято… Деспотия такого клана не знает милосердия, практически она

могущественна, даже биология отступает перед всесилием клана — все смертны, бессмертен только клан, он не умеет умирать. Талантливый одиночка процветает, пока не вступает в конфликт с таким кланом. Клан его заглатывает, не всегда оставив нам даже имя… Чтобы выжить, надо найти клан, который был бы не слабее, но на это не каждый способен… Человек, у которого есть принципы, не пойдет на сговор с кланом уже по той причине, что для такого клана принципы не всегда важны. Мораль тут печальна: одиночка, если даже его поддерживает сам президент, терпит поражение…

Ну что ж, Бухман подвел разговор к цели, но имени не назвал, быть может ожидая, что имя назовет собеседник.

— Гопкинс? — решился спросить Бардин.

— Представьте, Гопкинс, — был ответ.

Бардин чувствовал, болезнь советника президента не была дипломатической, его действительно скрутил недуг, но могло показаться, что Гопкинс слег преднамеренно. Было все ощутимее: какая-то важная нить, связывающая Гопкинса с президентом, если не оборвалась, то поослабла, важная нить.

Как догадывался Егор Иванович, отставка Хэлла, происшедшая осенью, явилась новым туром жестоких боев в Белом доме, в которые был вовлечен и Гопкинс, не мог быть не вовлечен. Наиболее вероятным преемником Хэлла был Сэмнер Уэллес, но его назначение могло состояться лишь в пику ушедшему государственному секретарю, а это не соответствовало интересам президента. В этой ситуации кандидатурой номер один оставался Бирнс, который пользовался поддержкой Хэлла, а следовательно, и сената — бывший государственный секретарь сберегал свои позиции в сенате, позиции традиционно сильные. Если же соответствующее предложение все-таки было сделано не Бирнсу, а Стеттиниусу, то это значит, победила линия Гопкинса и потерпела поражение линия Хэлла, а заодно и всей его камарильи. Но это уже явилось сигналом к новой атаке на Гопкинса, атаке, невиданной по своим размерам и, пожалуй, агрессивности, — слухи об этом достигли и Москвы. В Вашингтоне не впервые атаковали Гопкинса, и Бардин не торопился с выводами. Чтобы эта новость обрела для русских больший, чем прежде, смысл, следовало уточнить одно: как к новой атаке на советника президента отнесся сам президент. До сих пор он был достаточно неколебим. До сих пор. А как теперь? То, что доходило до Москвы, не рассеивало сомнений, в позиции президента тут не все было ясно. Внешне все обстояло по-прежнему даже в Крыму. Гопкинс был приглашен на конференцию. Накануне конференции Гопкинс был деятелен

необыкновенно, посетив Лондон, Париж, Рим. Несмотря на болезнь, он, как мог, старался быть на конференции рядом с президентом. На тех заседаниях, на которых был, он осторожно и настойчиво подавал свой голос. Его дежурные записочки, как это имело место прежде, давали понять президенту, что Гопкинс с ним: «Господин президент, я полагаю, есть резон согласиться», «Господин президент, а не лучше ли было бы передать этот вопрос на обсуждение министров?..», «Господин президент, мне представляется, что тут наша позиция должна быть твердой…» Впрочем, записочки писал не только Гопкинс президенту, но и, как имел возможность убедиться Бардин, президент Гопкинсу. Когда Гопкинс не мог быть у президента, рабочее совещание американцев происходило у постели больного, при этом коляска с президентом вкатывалась в спальню. Итак, все будто бы обстояло, как и прежде, и все-таки не все было, как прежде. Но что именно?

— Когда тебе говорят, что ты недостаточно любишь Америку, согласитесь, даже Гопкинсу ответить на это непросто… — заметил Бухман и шагнул на боковую тропу.

— А ему действительно говорят, что его любовь к Америке недостаточна? — спросил Егор Иванович и изумился тому, как своеобычны краски, которые обрело лицо Бухмана: тускнеющее солнце положило по медному пятаку на скулы американца, выкрасив бороду хной.

— Нет, разумеется, так прямо никто не осмеливается сказать, — заметил Бухман. — Говорят, он предпочитает Америке Россию, как, впрочем, и Великобританию…

— Ну, тогда он единственный, кто объединил в своем сердце Россию и Великобританию! — засмеялся Бардин и шагнул вслед за Бухманом.

— Это было бы смешно, если бы смеялся и президент… — ответствовал Бухман мрачно.

— А он не смеется? — все так же весело спросил Бардин.

— Нет, не смеется, и его можно понять. Он устал… отбиваться, да и возраст не тот, возраст и здоровье. Борьба требует сил… — произнес Бухман и потеснился на неширокой тропе, высвобождая место для русского, ему хотелось, чтобы тот шел рядом. — Иногда мне кажется, что президент, пожалуй, был бы рад обойтись без Гопкинса, да нет стоящего преемника. Ну как, например, решить дальневосточную проблему без Гарри, а решить ее надо, при этом сегодня…

Бухман обернулся, пытаясь уловить, как воспринял сказанное спутник.

— Добрая воля Америки во многом определена дальневосточными делами… — Солнце сейчас было у Бухмана за

спиной, и его рыжая борода вдруг сделалась сизо-синей.

Бардин замедлил шаг, Бухман хотел сказать больше, но и сказанного было достаточно, чтобы понять — Америка учитывает помощь России на Востоке, без русских ей дальневосточного узла не развязать.

Егор Иванович вернулся во флигелек часу в десятом и застал у себя Бекетова и Хомутова; судя по ситуации на шахматной доске, какой-либо разговор сию минуту исключался начисто.

— Небось у Бухмана был, Егорушка? — спросил Бекетов и вздохнул тяжко — положение на доске было хуже губернаторского. — Там у тебя на письменном столе открытка из Мурманска…

— Из Мурманска, говоришь? Кто бы там мог быть?

— Ирина…

— Го-о! Был бы отец здесь, сказал: «Вон куда ее кинуло — легка Арина Егоровна!..» Почерк все еще младенческий, а поступки повзрослев почерка! «Милый батя!» Слыхал: милый.

— Ты чего приумолк, Егор? Дума нелегкая одолела? Это что ж… Ирина или Бухман?

— Пожалуй, Бухман.

— Гопкинса… проблема?

— А ты откуда знаешь? Значит, «милый батя»?

— Значит, Гопкинса проблема?..

Шахматы отстранены — сопротивление бесполезно. Эка беда, проигранная партия огорчила заметно, видно, признак возраста. С годами, установил Бардин, человек, как в детстве, легко плачет и смеется. По Бекетову поражение видно, по Хомутову — не заметно. Даже как будто и радости не обнаружил, не хлопнул Бекетова по загривку, не пустил в него озорно-бедовым: «Мазила!» Взял синий томик Никольсона и ушел на диван, казалось, его не очень-то волновал диалог, возникший между друзьями, он тут третий лишний.

Но Хомутов неожиданно оторвался от своего Никольсона, однако из рук не выпустил, удерживая пальцами прочитанную страницу.

— А по мне, говоря о Гопкинсе, мы выдаем желаемое за действительность…

— Это как же понять? — в тоне Бардина было легкое раздражение.

— Нашему представлению о современной Америке недостает традиционного демократа, быть может даже этакого демократа-либерала, преемника Линкольна, вот мы и отыскали Гопкинса. Я на самом же деле…

— Да, а на самом деле?

— Ну, какой же он либерал, если он друг Черчилля?

— Вы полагаете, друг?

— Да и сам Черчилль, как свидетельствуют наши посольские в Лондоне, не делает из этого секрета. На рождество получил от Гопкинса телеграмму, в которой черным по белому сказано, что в Америке ему достается за дружбу с Черчиллем. Вы только подумайте: достается за дружбу с Черчиллем…

— Вы видели эту телеграмму?

— Нет.

— Как же вы можете утверждать?

Бардин грозно шевельнулся в своем кресле, засопел, это мрачное сопение было и прежде грозным предзнаменованием — он еще не ввязался в драку, а сердце отбивало ритмы этой драки.

— Как утверждать? — усмехнулся Хомутов, в этой усмешке, которая так не нравилась Бардину, была некая издевка. — А вы спросите Сергея Петровича. Если всем посольским ведомо, то Сергей Петрович как-нибудь знает, а коли знает, то подтвердит. Спросите Сергея Петровича, не робейте…

Ну и противный же человек… И представить непросто, что есть такие люди: чтобы ему хорошо себя чувствовать, надо сказать ближнему что-то неприятное.

— Я говорю, спросите Сергея Петровича, он подтвердит…

— Или опровергнет, — бросил Бардин в гневе. — Вот ведь… хомутовская самонадеянность…

Хомутов встал, откашлялся, грозно откашлялся, — по всему, он готовился не оставить без ответа эту «хомутовскую самонадеянность».

— Сергей Петрович, может, вы скажете все-таки ваше слово? — молвил Хомутов.

Бекетов двинул плечами, ему было неловко.

— Хомутов прав, Егор, была такая телеграмма…

Хомутов пошел к выходу.

— Вот так-то, Егор Иванович, — произнес он с нарочитой степенностью, стремясь продлить минуту торжества. — В иные времена в таких обстоятельствах требовали удовлетворения, да я уж прощаю… — закончил он без улыбки и вышел.

Друзья остались одни.

— Тяжела ты, шапка Мономаха, так, Сережа?

— Если за Мономахову шапку принять серую папаху наркоминдельца, пожалуй, нелегка, — согласился Сергей Петрович. — Там, в Лондоне, мне до Черчилля ближе, чем вам, вернее, до того, что зовется миром Черчилля. Нет, не только Черчиллева челядь, сам старый Уинни верит Гопкинсу. Мы тоже

считаем: из американцев он, пожалуй, ближе к Черчиллю. В чем же дело: друг Черчилля и наш друг? Не так много у нас с Черчиллем общего, чтобы у нас были одни друзья. Да не является ли Гопкинс единственным среди них? Аномалия, и только! Где ее секрет?

— Гопкинс — друг Черчилля в той мере, в какой Черчилль и его окружение считают себя друзьями Рузвельта… так? Или… больше?

— Англичане убеждены, что больше, Егор.

— Почему убеждены? В чем причина?

— Ну тут просто обаяние личных отношений — Черчилль встречался с Гопкинсом чаще, чем с Рузвельтом, при этом в обстановке не столь официальной.

— Если говорить о том, как Черчилль воспринимает Гопкинса, то, наверное, ты прав, Сережа. Американцу нельзя отказать в обаянии. Можно допустить, что он обаял и такую лису, как Черчилль… А на самом деле?..

— На самом деле? — повторил Бекетов. — Вот тут, пожалуй, вспомнишь предостережение Гродко насчет сути Гопкинса. Конечно же Гопкинс — явление многосложное, но где его суть? Где?..

Разговор пресекся. Истину еще надо было отыскать. Есть факты неопровержимые: Гопкинс предубежден против Черчилля, серьезно предубежден. Чего стоит хотя бы тот же факт с рузвельтовской телеграммой Сталину, которую инспирировал Гопкинс и которая отменяла телеграмму президента? Нет, о близости взглядов тут не может быть речи, как наверняка отсутствует здесь личная приязнь. Тогда где все-таки истина? У Гопкинса талант общения, при этом и с теми, кто ему противостоит, — качество, которое хороший дипломат не отвергает. Гопкинс — та самая фигура, которой президент доверил контакт со своими главными союзниками. Нетрудно понять расчет Гопкинса: все успехи его на этом посту будут определяться тем, в какой мере он сумеет установить эти контакты. Если при этом он создал у англичан мнение, что он друг Черчилля, значит, тем более американец преуспел. А на самом деле? Он, разумеется, убежденный рузвельтовец и по этой причине не может быть другом Черчилля. А как насчет новой России? Друг Рузвельта и друг новой России? Да, в той мере, в какой американский президент хочет найти с ней взаимопонимание в антифашистской войне. Истина, как убежден Егор Иванович, где-то тут.

Остается спросить себя: а Хомутов понимает это? Если бы понимал, то вел бы себя по-иному. Не хочется ставить школьных

оценок Хомутову, тем более оценок, которые ниже его данных, но тут оценка, пожалуй, должна быть поставлена: эмоционален Хомутов, эмоционален в большей мере, чем это может позволить себе дипломат…

Пришла очередь банкета, венчающего конференцию. Все забылось, все отпрянуло прочь, вдруг явилась речь человеческая и раздался смех, какого не было до сих пор. Будто бы банкет завершил не эту конференцию, а иную, где властвовали покой и дружба, где как бы царила идиллия. Казалось, даже Сталин и Черчилль взглянули друг на друга по-иному. Просто не верилось, как далеко пошли эти люди, до сих пор столь сдержанно настороженные, если не неприязненные, в желании сказать друг другу приятное. Сталин назвал Черчилля своим боевым другом и храбрым человеком. «Я не знаю в истории другого примера, — заявил он, имея в виду Черчилля, — когда мужество одного человека имело бы такое значение для будущего». Черчилль назвал Сталина другом, которому можно доверять. «Пламя войны выжгло все недоразумения прошлого», — возвестил старый Уинни. Президенту Штатов оставалось только внимать — далеко идущий оптимизм этих тостов нельзя было объяснить ни обычным для официального застолья прекраснодушием, ни тем, что тут действовала доброта хозяина. Одним словом, делегаты, попав с конференции на банкет, проделали расстояние от земли до солнца.

Как ни свирепа была стихия тостов, хотелось уйти под сень обычной беседы. У Сталина и Черчилля даже возникало намерение уединиться, хотя видимых причин для этого не было. Черчилль сказал, что после победы над Гитлером на Британских островах будут выборы — с некоторого времени предстоящие выборы заметно тревожили премьер-министра. Наверно, состояние этой тревоги заметил и Сталин, и у него даже явилось желание утешить британского коллегу. Он сказал, что в прочности позиции Черчилля у него нет сомнений. «Людям необходим руководитель, а кто может быть лучшим руководителем, чем тот, кто одержал победу». Черчилль улыбнулся, как могло показаться, горько. «В Англии две партии, а я принадлежу всего лишь к одной», — сказал Черчилль. «У нас одна партия, это лучше», — ответствовал Сталин, что вызвало шумную реакцию Черчилля. Услышав, как возбужденно реагирует британский премьер на слова Сталина, президент дал понять, что хочет присоединиться к беседе. Тотчас от разговора о партиях был переброшен мостик к тому, что есть английская конституция. Президент сказал, что у неписаной конституции привилегия

перед конституцией писаной. Неписаная конституция схожа с Атлантической хартией — документа как будто бы нет, но весь мир знает о нем. Однажды, листая старые бумаги, он, Рузвельт, нашел экземпляр хартии, как ему кажется, единственный в своем роде, там стояли две подписи, его, Рузвельта, и его английского коллеги, но, странное дело, сделанные рукой президента. Атлантическая хартия — не закон, а звезда путеводная, возгласил в ответ англичанин. Характерно, что одно и то же в устах президента звучало обыденно, а поэтому человечно, в устах премьера — патетично, а поэтому назидательно и лишалось того обаяния, которое делает слово убедительным. Когда слово превращается в афоризм, это становится поучительным и не воспринимается человеком. Так или иначе, а разговор ладился, при этом было такое чувство, будто бы все проблемы решены и осталось только прояснить некоторые грани английской конституции. На самом деле многое было не решено, и Ялта призвана была стать тем понтоном, который соединит Тегеран с новой конференцией, что уже возникла впереди и должна была прямо предвосхитить, а может быть, и увенчать победу.

59

В ночь на вторник 13 февраля Москва, а вместе с нею и Кузнецкий мост затихли, внимая радиорепродукторам: «Важное сообщение!» С вечера выпал снег, по-февральски обильный и влажный, потом его прихватило морозцем, в городе точно прибыло света. Этот свет объял Воробьевское взгорье, разметал сумерки в Сокольнических и Измайловских лесосеках, растекся москворецким льдом, проник в расселины Рождественки, Варсонофьевского и Кузнецкого.

Странное дело, для большого дома на Кузнецком мосту предстоящее сообщение не было секретом, но полуночного часа ждали и здесь — есть некое чудо, когда новость, трижды заповедная, взламывает красный сургуч тайны и становится достоянием всех.

Сурово мужествен был голос диктора, произнесшего первые слова документа:

«Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в целях окончательного разгрома общего врага».

Улавливался некий ритм в этих словах, необратимый ритм нашей державной силы. Здесь, на Кузнецком, хотелось думать о том, как эти слова легли на сердца тех, кто держит фронт: на Одере и Дунае, на великой польской равнине и в Прибалтике, на карпатских кряжах.

«Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено…»

Да спал ли кто в эту ночь? Генерал, склонившись над оперативной картой, на какой-то миг бросил карандаш, которым он только что вычертил рубеж новой обороны, взглянул на медленно смежающийся глазок приемника.

«Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией союзным странам, и признали справедливым обязать Германию возместить этот ущерб в натуре в максимально возможной мере».

Солдат, допивающий полуночную кружку кипятка перед тем, как сменить товарища у склада боеприпасов, бережно снял со стены диск репродуктора, с волнением, в котором были и восторг, и тревога, зажал в неслабых своих ручищах — такую новость надо держать в руках.

«Мы решили в ближайшее время учредить совместно с

нашими союзниками всеобщую международную организацию для поддержания мира и безопасности».

Радист партизанского соединения в глубине лесных Карпат весело присвистнул и, сняв наушники, положил их перед товарищем — такое грех не поделить пополам.

«Мы составили и подписали Декларацию об освобожденной Европе. Эта Декларация предусматривает согласование политики трех держав и совместные их действия в разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы…»

Штурман подлодки, выполняющий автономное плавание, дал доброй вести пробиться в глубины океана.

«Мы собрались на Крымскую конференцию разрешить наши разногласия по польскому вопросу… Мы вновь подтвердили наше общее желание видеть установленной сильную, свободную, независимую и демократическую Польшу…»

Но был документ, который Крымская конференция приняла, однако пока что оставила в секрете — как ни важен был его текст, в эту февральскую ночь сорок пятого года радио о нем не обмолвилось и словом.

Документ затрагивал не столько отношения трехсторонние, сколько двусторонние, и прямо был обращен к положению на Дальнем Востоке. Его существование было предметом переговоров наисекретных, которые, в сущности, вели два человека — Сталин и Рузвельт, хотя к переговорам приобщен и третий — посол Штатов в Москве Гарриман. Именно через Гарримана Сталин сообщался с Рузвельтом, когда была необходимость говорить по этому вопросу в доялтинские времена. Последний раз Сталин говорил с Гарриманом в декабре сорок четвертого, говорил как с доверенным лицом президента и имел ответ президента. Но на этой проблеме сказывался не только день вчерашний, но и завтрашний, собственно, в завтрашнем дне был весь смысл, поэтому к участию в переговорах и приобщили Гарримана. Завтра, когда президент уедет, переговоры призван продолжать посол и привести их к цели, для Америки вожделенной.

Но о чем все-таки шла речь на этих переговорах, которые даже в пределах Крымской конференции, окруженной строгой секретностью, представляли тайну особую? Как было сказано, речь шла о вступлении СССР в войну против Японии. Американские генералы полагали, что капитуляция Японии — перспектива весьма отдаленная. Единственное, что может сократить это срок, как и размеры жертв и материальных затрат, — вступление СССР в войну. Поэтому вопрос этот обрел,

по крайней мере для Америки, значение первостепенное. Правда, с Тихого океана шли добрые вести — едва ли не на второй день после открытия конференции в Крыму радио сообщило о вступлении американских войск на Манилу. Однако от Манилы до победы было как до неба. Высказывалось мнение, робкое, что после поражения Германии Япония сложит оружие, но и эта перспектива была ненадежной — может, сложит, а может, и не сложит. Единственно, что было прочно и обещало надежные перспективы, — вступление Советской страны в войну против Японии. Сталин подтвердил обязательство, данное еще в Тегеране: через два-три месяца после поражения Германии Советские Вооруженные Силы выступят против Японии. Рузвельт и Сталин подписали соответствующий документ и показали Черчиллю, подпись англичанина была третьей.

Итак, сотни и сотни радиостанций по всему земному шару с энергией и боеспособностью дальнобойных артиллерийских стволов передали ялтинское сообщение, каждый абзац которого начинался всесильным «Мы…». В этом державном «мы», которое шло по восходящей — «Мы рассмотрели», «Мы договорились», «Мы обсудили», «Мы решили», «Мы составили», «Мы собрались», — были и целеустремленность, и сознание ясности перспективы, и уверенность в своей правоте, и вера в торжество победы. Одним словом, тут союз трех осознал свою историческую миссию, утвердив вопреки различию характеров и дорог единство цели.

А дороги были разными и после Ялты.

Сталина ждали военные заботы — шло великое накапливание сил перед решающим рывком к Берлину, — он слушал крымское коммюнике уже в Москве.

Рузвельт вылетел в Египет, где ждал его крейсер «Куинси». Пока корабль двигался из Александрии в Алжир, Гопкинс оставался на «Куинси». То ли недуг сковал советника президента, то ли дала себя знать размолвка, которая казалась все более зримой, Рузвельт и Гопкинс виделись лишь однажды — в тот самый момент, когда Гопкинс должен был сойти на алжирский берег. Как свидетельствовали очевидцы, этой встрече, как и этому расставанию, недоставало тепла. Видно, недоброжелатели Гопкинса преуспели в своем стремлении вооружить президента против его друга. Гопкинс понимал это и, быть может, не мог простить этого президенту. Обо всем этом можно было бы и не говорить, если бы расставание в Алжире не было бы у них последним…

Корабль поплыл дальше. До американского берега оставалась

неделя пути. На Средиземноморье было солнечно и прохладно. Президент мерз и говорил, что ему недостает солнца. Президента окружал сонм его помощников, надо было думать, что сказать и чего не говорить конгрессу, Рузвельт заметно оживлялся, начинал импровизировать. Однако его хватало ненадолго — коляску выкатывали на солнце, президент засыпал.

Как ни худо было президенту, его житье-бытье на «Куинси» было спокойно, к тому же, по давней привычке молодости, президент лучше чувствовал себя на море, чем на суше. Казалось, море пойдет ему на пользу… Однако произошло чрезвычайное: в дальней каюте корабля недуг свалил старика Уотсона, давнего и верного друга Рузвельта, которого, как амулет, президент брал с собой в самые ответственные поездки. Все, что президент знал о болезни друга, было не очень утешительным, но и не предвещало, казалось, плохого, видно, врачи, щадя президента, не говорили всей правды — врачи умели щадить и утешать. Но жизнь не давала себя обмануть: легко утешить, когда человек жив, много труднее это сделать после того, как человека не стало. Уотсон умер, и президенту сказали об этом. В иное время, пожалуй, президент совладал бы с этой вестью. Сейчас было трудно… Горе, вызванное в свое время смертью матери, казалось, он сжег в себе, на людях не плакал. Сейчас он не стыдился слез. Но даже в нелегком своем положении он умел собраться. Его доклад конгрессу о конференции в Крыму был назначен на 2 марта. В условленный час он был на трибуне. «Это была длительная поездка, — сказал он. — Надеюсь, вы согласитесь, что она была плодотворна». На этот раз он не мог говорить стоя. «Мне легче, когда я не надеваю на ноги десять фунтов стали», — произнес он, как бы прося снисхождения, никогда прежде в подобных обстоятельствах он не говорил об этом.

Но Рузвельт был достаточно здоров, чтобы сообщить энергию иронии, которая воскресала каждый раз, когда он готовился дать бой. Говоря о перспективе, которую открывают ялтинские решения, президент заметил, что все зависит от конгрессменов. «Если вы здесь, в залах американского конгресса, опираясь на поддержку американского народа, не согласитесь с решениями, принятыми в Ялте, то это будет означать, что конференция не дала никаких ощутимых результатов».

Маленькая хитрость президента возымела действие — конгрессмены, разумеется, одобрили миссию в Ялту.

В тот же воскресный день 11 февраля, когда за завтраком были подписаны ялтинские документы, Черчилль выехал с дочерью в Севастополь. Едва ли не в канун конференции в

севастопольском порту бросил якорь английский пароход «Франкония». Предусмотрительный Черчилль пригнал многопалубный корабль к крымским берегам на случай, если Ялта с сонмом ее дворцов, царских, великокняжеских, окажется пещерным городом и знатному англичанину негде будет переночевать. К счастью, с ночлегом было улажено, и многопалубная «Франкония», так и не выполнив своей миссии, собралась в обратный путь, не столь уж ближний. Чтобы придать дальнему походу английского корабля какой-то смысл, Черчилль взошел на корабль и даже остался там на ночь, хотя целью поездки был не корабль, а Севастополь. Нет, не Севастополь нынешний, а тот давний Севастополь, минувшего столетия, когда английские кавалеристы атаковали Балаклаву, а по отрогам горного кряжа пробирались шотландские стрелки… Наутро, сопутствуемый сэром Аланом Бруком и русским адмиралом, Черчилль поехал смотреть Севастополь. Это было своеобычное, единственное в своем роде путешествие. Русский адмирал, сам участник героической обороны, проехал с англичанином по местам трехсотдневной обороны Севастополя, не обойдя Малахова кургана, Западной бухты и Балаклавы. Черчилль был молчалив и неулыбчив. Не без пристального внимания осмотрев каждое из этих мест, Черчилль своеобразно распределял свое внимание, акцентировав на достопримечательностях той, первой войны, когда Севастополь атаковали не немцы, а англичане. Черчилля, так можно было подумать, чуть-чуть раздражало, что русский адмирал говорит не о той войне, а об этой. И печаль Черчилля о своих соотечественниках, погибших в той войне, можно было понять, но надо ли было ему в своем сознании сталкивать ту войну с этой и начисто отвергать тем самым новую историю Севастополя, в конце концов, он, Черчилль, имеет отношение к ней и в качестве союзника? Вот русские, например, не сталкивали, хотя англичане тот раз были не союзниками, а оккупантами. Тот же русский адмирал привел британского премьера на могилу лорда Реглана, которую, к немалому удивлению англичанина, русские оберегали и окружали вниманием, — в том аду, который пережил город, это было даже не очень понятным.

В путешествии Черчилля по Севастополю и его окрестностям последним был Херсонес. Британский премьер не спешил его покинуть. Это была самая южная точка севастопольской земли. Может, поэтому все, кто уходил из Севастополя, уходили отсюда. И русские в восемьсот пятьдесят пятом, и русские в девятьсот сорок втором. И не только русские, но и немцы — в сорок четвертом они уходили отсюда. Черчилль стоял на Херсонесском

мысу и смотрел в море. Слева Черчиллю виделся Кавказ, прямо — Турция, справа — Балканы. Казалось, Черчилль приехал в Крым, чтобы постоять на Херсонесском мысу: сейчас он занимал ту самую позицию, к которой исторически стремился всю жизнь. Вот он, Севастополь, ключ к вожделенным Балканам; если бы ударить отсюда во фланг русским армиям, пожалуй, их вторжение в Европу можно было и предотвратить. В свое время это великолепно понимал и лорд Реглан, чтобы, опершись на Севастополь, пойти дальше.

Почетный караул был выстроен в Саки.

Британский премьер-министр шел вдоль фронта, шел медленно, стараясь сшибить свой взгляд со взглядом едва ли не каждого солдата. Аппарат кинохроники, что двигался вслед, запечатлел это. Что мог означать этот черчиллевский взгляд, устремленный на русского солдата, взгляд, в котором были и укор, и изумление, и, быть может, страх? Обратив на солдата глаза, старый Уинни точно смотрел в лицо тайны, которую не оставлял надежды постичь. Дума британского премьера была упорной. Однако что это была за дума? «Мне не известно ни одно правительство, которое выполнило бы свои обязательства, даже в ущерб самому себе, более точно, чем русское Советское правительство», — возгласил Черчилль в первой же своей речи по возвращении на родину. Если бы немалая доля пафоса, которая была в этом заявлении, сочеталась с искренностью, можно было бы считать, что Ялта совершила и в жизни Черчилля нечто эпохальное…

К Егору Ивановичу явились гонцы с Манежной: университетская профессура, которой стал известен бардинский доклад о Тегеране, была бы признательна за рассказ о Ялте.

Осведомленная Августа и на этот раз оказалась провидицей: незримый бардинский доброжелатель мостил Егору Ивановичу дорогу в университет, мостил, как могло показаться, не делая секрета. В этом было для Егора Ивановича одновременно и нечто отрадное, и тревожное. Отрадное потому, что обнаруживало признание неких бардинских достоинств. Тревожное по той причине, что знаменовало переориентацию Бардина с дипломатической стези на университетскую, что, как должен был признаться себе отпрыск Иоанна, не входило в его планы: как ни заманчива была карьера мужа науки, Бардин хотел бы следовать этим путем, не оставляя дипломатии.

Егор Иванович сказал университетским ходатаям, что считает себя отнюдь не вольным казаком, тем более когда речь идет о

столь своеобычной материи, как Ялта, и просит адресовать соответствующие просьбы наркому. Согласие наркома не заставило себя ждать, оно было в известном смысле и указанием, обязывая и давая некие права. Бардин выпросил себе неделю и уехал в Ясенцы. Там, на лоне лесного приволья, он мог сосредоточиться. Конкретный повод явился толчком к раздумьям, которые шли дальше предстоящей встречи.

При всех обстоятельствах то, что ты можешь сказать себе, не совсем удобно сказать даже Бекетову. Просто в разговоре с самим собой ты в большей мере откровенен, а следовательно, безжалостен. Будь Бекетов рядом, ты бы не решился на столь жестокую исповедь. А необходима именно исповедь, при этом без снисхождения. Наркоминдельская страда была многосложной. Она требовала и гибкости ума, и культуры мышления. Она не щадила и была нестандартной. Нельзя сказать, что монополия государственной мысли была у Наркоминдела, но многое из того, что мог породить оперативный день на Кузнецком, было свойственно только ему и в ином месте могло и не возникнуть. Поэтому клинок не очень-то долго оставался в ножнах, он был в действии, как в действии были ум и профессиональное умение дипломата. Бардин не переоценивал тут своих достоинств, хотя умиление перед мощью собственного «я», грешным делом, и его вздымало в заоблачные выси на своих нетвердых крыльях. Но это было хотя и сладкое чувство, но чувство минутное. Отрезвление, слава богу, приходило быстро. Он вдруг начинал думать, что Бекетову, например, это свойство чуждо. А что все-таки было свойственно Бекетову? Неудовлетворенность, способность трезво взглянуть на себя и та мера способности к самоусовершенствованию, которая в данном случае единственно соответствует устремлениям человека зрелого. И не только это и, пожалуй, не столько это, а и иное, без чего нет Бекетова: бессребреничество неоглядное, из которого, как из всесильного корня, возникают все бекетовские качества — способность всегда оставаться самим собой, а это значит признать над собой власть единственной силы — совести, а следовательно, той меры прямоты, которая позволяет тебе не кривить душой.

Кажется, куда какое мощное средство дано тебе всевышним — дипломатия! Нет средства и совершеннее и современнее. С его помощью чего только не сделаешь: и парируешь удар ловкого противника, и наведешь его на ложный след, и сам уйдешь от удара! Всемогущее средство, способное и защитить, и охранить настолько, что все остальные средства кажутся анахронизмом, в том числе и самое допотопное — правда… Жили дипломаты века, не обременяя себя верностью правде, проживут еще. Ну, нельзя же

себе представить, что дипломату вдруг стало трудно дышать без правды? Да не праздно ли все это? Наверно, не праздно, если дипломатия стала тем всесильным щитом, который призван оградить от удара и существо первоидеи, и слабое сердце твоего сына.

Нет, Егор Иванович не оговорился: и слабое сердце твоего сына, слабое… Наверно, не просто Сережке восполнить эти четыре года. Дело даже не в годах, они в его лета и зачтутся, и вознаградятся, может быть, даже с избытком. Суть душевных потерь их не заживит. Каким Сергей вернется под родительскую стреху, вот забота. Сумеет ли победить боль всех этих лет, совладать с тоской неодолимой, собраться с мыслями? Сможет ли опереться на родительское плечо и захочет ли опереться? Не отвергнет ли протянутой руки, как отверг руку Якова? Его строптивость и его гордыня неодолимы. Коли не поступился ими в смертельный час, поступится ли теперь? Да надо ли, чтобы поступился? Не надо, не надо! А коли не надо, то как заставить принять помощь? Из тех испытаний, которыми одарила Егора Ивановича в эти годы жизнь, не было труднее этого: Сережа!.. Сколько раз он вдруг вставал посреди страдного бардинского полуночья, не давая смежить горящих век, как вызов нелегкой бардинской жизни, как укор. Сколько раз в пронзительной синеве небесной, над белой пустыней или бегущими холмами океана Бардин вдруг просыпался от крика: «Папа!» Казалось, даже расстояние неодолимое было бессильно встать между тобой и им, и этот крик ударял тебя в грудь: «Папа, папа!» Наверно, в природе человека: чтобы защититься, надо собраться в комок, да так, чтобы само сердце обратилось в точку-невеличку. А у Бардина сердце точно разветвилось, было одно, стало три. Никуда не упрячешь ни Сергея, ни Ирину — попробуй охрани эти сердца при слепом огне нынешних лет! И, как многократ прежде, было такое чувство, что сил, отпущенных тебе природой, недостаточно, чтобы охранить всех, кого надлежит тебе охранять. Нет, это была не беззащитность, но в какой-то мере и беззащитность. И хотелось вдруг винить себя в недостатке мужества — никогда не был ты робок, а сейчас вдруг обнаружил, что это так.

Бардина увлекал сам процесс дипломатического творчества со всеми его муками и радостями, увлекал настолько, что он готов был отстраниться от мысли: а что все это дает ему, Бардину? Нет, нельзя сказать, что он был безразличен к тому, что в просторечии зовется возвышением по службе, но он как-то не думал об этом, доверив свою судьбу тем, которым надлежит об этом думать в силу их высокого положения. Но он должен был признать, что эти силы не всегда были на высоте. Только потому,

что это была сфера заповедная, часто лежащая за пределами гласности, возвышение подчас было и не очень понятным. В одном случае за спиной лица, делающего карьеру, действовал клан друзей, в другом — слишком откровенное покровительство фигуры влиятельной. Но и в том случае, когда это было для Бардина бесспорно, он не решался говорить об этом даже с Бекетовым. Было как-то стыдно. Точно часть вины лежит и на тебе. Если не соучаствуешь, то завидуешь, а это, пожалуй, хуже соучастия. Да падет ли Бардин так низко, чтобы завидовать?

Наверно, он должен был считаться с мнением тех, кто смотрел на него извне: мир бардинских друзей, всеобщий мир друзей семьи, как его образовало время. И не только: мир Кузнецкого, а это почти вселенная, ибо бесконечно долги дороги, которые ведут в этот дом отовсюду. И все-таки самым строгим судом был его собственный суд. Наверно, его союз с Ольгой мог бы кому-нибудь показаться и предосудительным, кому-то, а не ему самому, он решился на этот союз с той убежденностью, с какой поступал всегда, когда думал и о счастье детей. Нельзя сказать, что понимание, на которое рассчитывал Бардин, пришло к детям сразу, но он ждал, явив терпение. Его ум не очень-то был отягчен предрассудками. Он считал, объяснение — весомее назидания. Но дети не таились, — наверно, потому, что не таился он. У детей не было тайн от него, не было и, дай бог, не будет. Но зарекаться тут было рискованно. Так или иначе, а он терпеть не мог ложной значительности, к которой иногда обращаются взрослые в своих отношениях с детьми. Быть может, характерно, что в его доме был только один ключ, ключ от входной двери. Во всех остальных ключах не было необходимости. Его деньги, и по нынешней поре великие, были доступны и большим и малым, как хлеб и чай. Ирина была модницей, и ее траты подчас опережали ее возраст, но Бардин не стеснял дочери. Егор Иванович закрыл глаза на то, что эти траты последнее время приняли размеры значительные, косвенно свидетельствуя о том, что в жизни Ирины происходили события значительные, грозящие все поставить вверх дном. Когда дело касалось денег, по давно заведенной привычке Бардин считал это если не пустячным, то не очень-то достойным серьезного внимания. Поскольку в нынешних событиях с Ириной участвовали деньги, Бардин потерял к ним интерес, потерял в такой мере, что нужно было усилие, чтобы они, эти события, приковали его внимание. Бардин не связывал с деньгами ни мечты о будущем детей, ни тем более веры в неколебимость заведенного порядка, которым жил дом. Единственно, о чем он думал не без изумления: почему ей удается извлечь из этих денег толику радости, а ему нет, почему,

попав в Иришкины руки, эти деньги как бы оживают, а в его руках точно лишены энергии?

Если же говорить о состоянии Бардина в это время, то состояние это точнее всего можно было выразить словами: сознание силы деятельной, быть может даже спокойно деятельной. Тут было не так уж много причин, и среди них одна, если не заглавная, то непременная: Ольга. Сознание силы и от нее: от ее ума и обаяния, от ее любви одержимой, от ее тридцати двух лет, от ее неяркой прелести, от всего ее красивого существа, которое для Бардина всевластно. Тут определенно участвовало некое таинство: каким образом эта девочка-задира с розой в волосах, которая норовила ткнуть своим неожиданно крепким кулачишком Бардина под ребра, каким образом эта девочка-подросток, одновременно дерзкая и застенчивая, вдруг превратилась в Ольгу, завладев всем существом Бардина, всеми порами его земного бытия, это ли не таинство? А в ее кротости, в ее постоянном радушии, в ее солнечной сути была неотразимость большого чувства, быть может, даже чуть-чуть деспотия этого чувства. Она не умела говорить твердых слов, и они были на нее не похожи, но, странное дело, они возникали и у нее, возникали, совладав с ее кротостью. Она хотела ребенка… Бардин как мог отбивался. «Ты боишься Сергея и Иришки?» — настаивала она. Ну, не скажешь же ей: «Не боюсь — стыжусь». Но ей и не надо было говорить, ей и так было все ясно. «Признайся, ты раб своих детей, не так ли?» Она вздыхала: «Наверно, это чуть-чуть смешно, но у человека нет иного пути продлить свое земное счастье…» Она видела бессмертие в ребенке. «Да неужели ты можешь серьезно думать о вечности?» — спрашивал он. «Думаю», — отвечала она.

Ему становилось не по себе. Он-то, грешный, считал, что смерть оборвет все концы. Все… Как и его сверстники, он не любил и не умел думать о смерти. Она, эта смерть, была тем более нелепа применительно к нему. Но неверие в неизбежность конца было чисто эмоциональным, а знание, что смерть совершится, шло от разума. Стоит ли говорить, что разум и в этот раз обещал оказаться правым. Выходит, что от бессмыслицы до таинства один шаг? Выходит так. А может, права Ольга, для которой вызвать к жизни желанное чадо — значит отвратить смерть?.. Острословы утверждают, что число инфарктов возросло с атеизмом. Верующие умирали, опустив забрало веры, безбожники шли на смерть с открытым забралом. Ну что ж, открытое забрало предпочтительнее и для Бардина, хотя открыть его — значит обнажить и сердце. Ничто так не оскорбляет в тебе человека, как утешение. Вот и разберись: если есть таинство

смерти, значит, есть и таинство любви. Старая истина, однако Ольга пришла к ней своим путем: только у любви тут равные силы со смертью… Не это ли хотела сказать Ольга?..

Идя на доклад, Бардин позвонил Тамбиеву. Просил быть в зале и все сказать как на духу. Ему показалось, что доклад удался, хотя в этот раз своеобычный эпицентр сместился: доклад как бы явился вступлением к диалогу между Бардиным и залом, диалогу живому, проникнутому духом полемики. Это было интересно и аудитории и докладчику… Закончив, Бардин оглядел зал, пытаясь отыскать Тамбиева, но это было сделать нелегко — когда аудитория задета за живое, она расходится не быстро. Бардину даже показалось, что Тамбиев не явился в университетский клуб, и, мысленно журя Николая Марковича за необязательность, Егор Иванович вышел из зала и был приятно обрадован встречей в вестибюле. Тамбиев был тут как тут, да еще в обществе старика в генеральских погонах.

Тамбиев представил их друг другу. Это был Маркел Глаголев, давний тамбиевский знакомец, о котором Николай Маркович не однажды говорил Бардину. Могло показаться, что Глаголев ждал этой встречи и был рад, что она состоялась. Протянув Бардину слабую стариковскую ладонь, он торопливо одернул гимнастерку, которую решительно отказывался удерживать слабо затянутый ремень.

— Вы правы, у стратегической мысли явились масштабы, каких она не знала прежде! — с неожиданным проворством Глаголев сел на своего конька. — В самом деле, что такое Ялта, как не единственный в своем роде совет главнокомандующих, которому подчинены соединенные армии земного шара? А знаете, что в этом замечательно? Единство! Да, вопреки всем разногласиям, которые существуют между союзниками, тождественность в главном… Найди мы силы, чтобы сберечь ее, войны может и не быть… Вы не согласны?

Старик явил такое воодушевление, что Бардин растерялся, не сумел сказать ничего определенного и Тамбиев, хотя готовился сказать многое, но только и успел радостно подмигнуть, что должно было означать: «Однако все хорошо, Егор Иванович, честное слово, все хорошо…» Непонятно только, уразумел ли все это Егор Иванович, с веселым вниманием слушавший генерала. Ему было приятно, что столь торжественную тираду вызвал в какой-то мере к жизни он, Бардин…

60

В отдел печати из Брянска передали телефонограмму на имя Тамбиева, писанную кодом: «Можете планировать беседу генерала корреспондентами двадцать третьего. Тема — война горах». Осведомленности Тамбиева явно было недостаточно, чтобы проникнуть в смысл телеграммы, и Николай Маркович едва не ринулся за помощью к Грошеву, но вовремя остановился. Ему вдруг показалось, что он распознал нехитрый шифр. Телеграмму можно было прочесть так: «Буду двадцать третьего, освободите время. Софа». Между тем, что было в телеграмме, и тем, что хотел прочесть Тамбиев, как понимал Николай Маркович, дистанция превеликая. Тамбиев явно принимал желаемое за действительное. Он рассмеялся. Никогда он не расшифровывал коды, да, признаться, считал это атрибутом иной сферы, к которой у него не очень лежала душа.

Когда ранним вечером Николай Маркович подкатил на дежурной «эмке» к Никитским, ему почудилось, что он видит свет в крайнем окне глаголевского особняка — приказ о светомаскировке соблюдался уже не так строго. Тропа, ведущая во флигелек, была не очень-то утоптана, и, стремясь к дому, он все старался распознать на влажном снегу следы Софиных сапожек. Ему открыл Глаголев.

— Приехала, приехала!.. — возвестил он победно. — Вскипятила два ведра воды и моется, второй час плещется!.. — Он закричал что было мочи, такого еще не бывало: — Софочка, к тебе Николай Маркович… Софочка! — и исчез, устремившись в свое поднебесье. На Тамбиева свалились звон металлической лестницы и стариковские хрипы, потом все смолкло. Минуту было тихо и темно, потом из тьмы родилась Софа, вернее, ее голос.

— Ты не смотри на меня, ради бога, не смотри, — лепетала она где-то рядом, однако, смотри не смотри, мудрено было ее увидеть, даже когда ее руки оплели шею Тамбиева и теплые губы, такие родные, он ощутил у самого лица. Тьма, что обволокла его, дышала свежестью, какой-то льняной, простынной, напитанной утренним ветром. Это была и Софа и не Софа — куда делись острые ключицы ее, ее локти-пики. Из тьмы явилась женщина с ощутимо округлыми плечами и руками, в которых было тепло, щедрое. Да могло ли это совершиться за год? Что-то похожее на тревогу объяло Тамбиева: красота, но не Софина, быть может, даже ласковость не Софина.

— Погоди, ты ли это? Пойдем к свету, я взглянуть хочу…

— Нет, ты иди к Маркелу, а я вслед…

Он шел и думал: «Эко наваждение, да она ли это? А вдруг вовсе и не она?.. Вот сейчас возьмет и не придет, а?»

Но она пришла. Пришла и села между Николаем и Маркелом Романовичем, обдав их своей простынной свежестью. Господи, что может сделать с женщиной всего один год, а может, не только год? Да не вышла ли она замуж? Вон как она расцвела, бесстыдно расцвела. Куда делась ее сумеречная бледность?

— Что с тобой там сотворили? Ты ли это, Софа? — спросил Николай улыбаясь.

— Хорошо или плохо… сотворили? — засмеялась она.

— Хорошо, разумеется, — мог только вымолвить Тамбиев.

— А коли хорошо, то и хорошо! — Она закрыла лицо руками, а когда отняла, на ее щеках, сейчас грубо румяных, точно вызрело по яблоку. — Когда я улетала туда, какая же была, прости меня, дуреха…

— Вся какая-то… бывшая? — спросил Тамбиев, он вспомнил свой разговор с Прохазьковой.

— Именно! — Она внимательно посмотрела на него, будто хотела установить, откуда ему известно ее новохоперское прозвище. — Одно слово, дуреха!.. — повторила она, ей доставляло удовольствие этак откреститься от недавнего прошлого, от прошлого и, быть может, от Тамбиева. И вновь подумал Николай: что-то там с нею случилось такое, что все опрокинуло вверх дном.

— Как твой словацкий, Софочка? — нашелся Глаголев.

— Я там поняла, он нам близок, как болгарский. К тому же все от учителя… — заметила она и вновь зарделась.

— А учитель… был? — спросил Глаголев.

— Был, был… — она опустила голову — ей надо было как-то погасить свои костры.

Тамбиеву захотелось бежать, бежать опрометью, не оглядываясь, от Никитских, под гору, к Манежной, а еще лучше во тьму арбатских переулков. Нет, не потому, что была надежда на спасение, а просто так, обороняя то немногое, что еще осталось.

— У словацких гор была своя стратегическая задача… — произнес Тамбиев и взглянул на Глаголева — взывал к его помощи.

Софа встала, фраза Тамбиева была примитивна, слишком грубо он уводил разговор в сторону от сути.

— Словацкое восстание не исчерпало себя, Николай Маркович, — воодушевленно подхватил Глаголев, для него замечание Тамбиева было не пустым звуком. — Когда наносится

последний удар, важно сконцентрировать силы там, куда нацелена стрела… Ах, свою карту я отдал в журнал, а то бы показал!.. — подосадовал Глаголев. — Как бы это тебе объяснить доходчивее? — обратился он к Софе, он утверждал себя в ее глазах. — Ну, представь, если бы Кутузову удалось завязать крупные бои на флангах и расщепить Наполеоново войско, каков был бы шанс? Ну, разумеется, Кутузов не имел сил для такого маневра, а у нас они есть. — Он и в самом деле сел на своего конька, сейчас воссоздаст обстановку, как ее понимает он, а потом обратится к прогнозу, как тогда, в канун летней битвы сорок второго, когда его пророчества были словом провидца. — Вот они, эти пять очагов: Фландрия, Арденны, итальянские Альпы, Будапешт и словацкие Карпаты. Задача: удержать на этих фронтах силы настолько, чтобы там, на Берлинском плацдарме, наши намного превзошли немцев… вы поняли? И вот что я скажу: дай бог, чтобы каждый из этих фронтов и завтра удерживал немецкие силы так, как это умеют делать в словацких горах… Нет, дело не в горах, а в умении, если хотите знать, стратегическом… По-моему, в словацком генералитете есть группа молодых, да ранних…

— Ты знал Красносельского Кирилла Михайловича? — вдруг спросила Софа, возвращаясь на свое место, в этом ее возвращении была заинтересованность. — Ну, такой высокоплечий, с черной шевелюрой, похожий на цыгана. Знал? — она смотрела на Маркела с завидным упорством, ей очень хотелось, чтобы он признал этого высокоплечего, похожего на цыгана, а он, Маркел, вдруг обратился в несмышленыша, отказываясь признать. — Ну, у него такая родинка над бровью, а в волосах седина, редкая, но яркая. Знал?

В том, что она назвала это имя, не было ничего удивительного, она обязательно должна была его назвать, в ее мыслях возникла известная инерция, да, с того самого момента, когда она заговорила об учителе словацкого, а потом, как на исповеди, уже не могла не сказать остального и вдруг назвала имя — у нее была потребность назвать имя, — в этом было нечто похожее на обет верности…

— А он, этот Красносельский Кирилл Михаилович… генерал-штабист? — осторожно спросил Глаголев.

Она улыбнулась, ну конечно же, это льстило ее самолюбию — Маркел, не желая того, вознес Красносельского на недосягаемую высоту.

— Да, конечно… — с радостью подхватила она. — Эта осенняя операция в Карпатах была задумана им…

Тамбиев еще ломал голову, как бы развязать этот узел и

скрыться, когда раздался звонок из отдела печати — Грошев просил его приехать.

Но Тамбиеву вдруг расхотелось уходить. Он подумал: да не вообразил ли он себе все это? В самом деле, из того, что нарисовало только что его воображение, ничто не было неопровержимым, наверняка известным Тамбиеву. А Маркел, будто проникнув в сомнения Тамбиева и не желая его отпускать, достал с полки Баратынского и, осторожно раскрыв его, попытался вытряхнуть на стол рукописные странички, вложенные в книгу, листы точно срослись с книгой и отказывались падать.

— Мы с Николаем Марковичем обнаружили это на полке и ничего не поняли, — произнес Маркел Романович не без робости — робость была и в том, что он, рассчитывая на снисхождение, поделил вину с Тамбиевым. — Прости нас, грешных, но нас смутило, что это вдруг оказалось на моей полке, да и почерк не твой…

— Нет, почерк мой, — произнесла она со смятенной печалью и, взяв на ладонь микроскопические листики, приподняла их над столом и выронила. Семь листочков точно повисли в воздухе, они опускались нехотя, им было хорошо на их недосягаемой высоте, куда занесли их белые ладони Софы. — Вот она, моя дурость, в ее чистом виде, — вдруг произнесла Софа. — Вот она, на виду, вот…

— Нет, мы понять хотим, — возроптал Маркел Романович. — Ты вначале объясни нам, а потом мы, может быть, разрешим тебе ругать себя, а может, не разрешим…

Она собрала со стола свои листики, небрежно запрятала их в книгу.

— Сейчас об этом как-то неудобно говорить, — засмеялась — самим смехом она просила прощения. — Право слово — неудобно…

— А ты все-таки скажи, — настаивал Маркел.

Она сидела опустив глаза, краски ее лица поугасли, к ней вернулась сумеречная голубоватость прежней Софы.

— По Москве прошел слух, что откроется музей Баратынского, — заговорила она. — Душа моя, Баратынский — он один, у кого печаль так соединена с мыслью. Я и подумала: вот где можно проявить себя! Нет, не просто музейная мышь, грызущая черный сухарь истории… Нет, нет, я увидела себя в этом музее, как на сцене театра. Не смейтесь, не смейтесь… я выходила бы к посетителям и играла бы Баратынского, как можно сыграть его в театре одного актера: его любовь и его муку, его жизнь и смерть… Мне нужен был текст, если не пьеса, то сценарий, и я начала писать… — Она вдруг умолкла, спохватившись, не думала, что все это ее сейчас способно так

увлечь. — Господи, как я далеко ушла от всего этого, — она засмеялась, смех был нарочитым, она пыталась осмеять свое прошлое, но это было нелегко.

Она вызвалась проводить Николая; как и прежде, они пошли бульварами. Что-то было мартовское в темном, заметно осевшем снеге, черных деревьях, напитанных влагой, уродливых в своей наготе, в стаях галок. Она молчала — Баратынский пробудил в ней такое, от чего она уж давно открестилась.

— «Не властны мы в самих себе», — произнесла она вдруг и остановилась, продолжать не было сил. — Не властны, не властны…

Только сейчас Тамбиев хорошо рассмотрел ее. На ней было пальто из черного драпа с простроченными лацканами, нерусского покроя, да и рассчитанное не на русскую погоду, шапочка из ярко-рыжего меха, сшитая блином, как у нас не шьют. Одежда выказывала что-то такое, о чем она умалчивала.

Наверно, открытие, которое сделал Тамбиев только что, заставило его взглянуть на нее внимательнее. Модницей она могла показаться в Москве, — там, откуда она приехала, ее вид был более чем обычен. Все, что видел Тамбиев на ней, было ей впору и очень к лицу, хоть и не ново, — значит, ее преобразили там не сегодня, а еще осенью сорок третьего. А коли так, то ее преображение вызвано делом. Тамбиев не без привередливой тщательности отыскал эту причину и, кажется, успокоился. Больше того, он нашел, что был опрометчив в своих сомнениях и в печали своей.

Но покой Тамбиева был зыбок, он должен был признаться, что его представления о ее словацком житье-бытье были неопределенны и смутны, а ее решимость окружить это тайной была неодолима. Но надо отдать должное Тамбиеву, он и не пытался проникнуть за каменную ограду ее тайны, остановившись там, где она его остановила.

— Я все готовила себя к тому, чтобы воспринять разницу во времени, а произошло бог знает что: ночь стала днем, — произнесла она и посмотрела на него вопросительно.

Ей очень хотелось, чтобы он спросил ее. Тогда бы она определила пределы дозволенного. Но он молчал. Молчание было неловким, для нее неловким, и, спасаясь, она обратилась к Баратынскому, повторив, как рефрен: «Не властны мы в самих себе…»

Но сказав о ночи, которая стала днем, она сказала не так да и смысл того, что заключал в себе Баратынский, если его сообразовать со сказанным ею сейчас, не столь мал.

Какой она могла быть там, на рабочей окраине Братиславы?

— Значит, разница, как у дня с ночью? — спросил он, чем неопределеннее был его вопрос, тем больший простор был для ответа.

Она оценила его великодушие, однако не хотела пользоваться им.

— Когда самолет зависает над ночным лесом и приходит твой черед прыгать, такое чувство, что ты ринулась изо дня в ночь — она даже остановилась, стремясь докончить эту длинную фразу. — Там, где был день, остались Москва, Никитские ворота, Баратынский. Одним словом, пока летела к земле, а потом зарылась по грудь в заросли орешника, а вслед за этим бежала талым снегом, время от времени останавливаясь и выливая соду из сапог, миновала эту границу между днем и ночью…

— Ночью? Когда и где?

— В Банской-Бистрице, когда ее вновь взяли немцы… Ночь в ночи…

Ну вот, она сказала почти все. Тамбиев знал, у восстания было две поры: первая, когда посреди немецкого моря возникла партизанская республика со столицей в Банской-Бистрице, и вторая, когда под натиском врага партизаны вынуждены были отступить в леса и горы, а в столицу партизанского края вошли немцы. Легко сказать, две поры. Несказанно тяжким это рисовалось всем, кто знал о боях в партизанском крае, а каково было тем, кто был внутри блокадного кольца.

— Ты была заброшена туда вместе с нашими партизанами? — спросил Тамбиев, он полагал, что все сказанное ею дает ему право задать этот вопрос. — В тот раз, когда туда пошли наши «По-2» с автоматами и противотанковыми ружьями? — Друзья летчики как-то говорили Тамбиеву об этой операции наших войск.

— Нет, я была там раньше, — ответила она сдержанно, хотела сказать больше, а сказала не так уж щедро.

— Шверма погиб при тебе? — не шел из головы Тамбиева Ян Шверма, с которым его свела судьба в самолете, идущем в Новохоперск. Малоречивый человек с узким лицом и темными, заметно печальными глазами, сидящий поодаль в мерцающих сумерках самолета, — таким запомнился Тамбиеву Шверма.

— Нет, он ушел с партизанами из Банской, а я осталась, — ответила она и остановилась.

— Ты оставалась в Банской? — переспросил Тамбиев, это было самым значительным из того, что она сказала.

— Оставалась, в этом был смысл.

Он вновь взглянул на нее: за кого ее можно было принять там, в Банской? За студентку, которой война помешала закончить

университет, молодую учительницу, живущую репетиторством, может быть, белошвейку. Если же день стал для нее ночью, а ночь днем, то и на свет божий вряд ли она показывалась часто, а следовательно, ни к чему ей были эти выдуманные амплуа — и студентки, не закончившей университет, и учительницы, готовящей богатых оболтусов, и белошвейки.

— А как венгерский? — осторожно спросил он, вопрос мог ее и не встревожить, но ответ на него заметно расширял бы представление о том, что было ее миром. — Небось лес темный?

— Истинно лес темный!.. — засмеялась она. — Нет, тут я не очень преуспела, хотя однажды оказалась даже полезной, — она умолкла улыбаясь. — Одним словом, когда сдался венгерский командарм Бела Миклош, первые несколько фраз перевела нашим я, ну, разумеется, пока не подоспели настоящие переводчики — в Словакии много венгров, да и сами словаки сильны в венгерском… Я, конечно, ретировалась… — она засмеялась, — к неудовольствию командарма…

— Он-то наверняка считал, что ты хорошо переводила? — сыронизировал Тамбиев.

— Допускаю… — захохотала она — ее представление о своих способностях и прежде не было преувеличенным.

— Ты… совсем в Москву? — решился Тамбиев.

— Совсем, — сказала она, но Николай ухватил, что смятение объяло ее. — Совсем… — повторила она, приметив, что он не оставил без внимания ее смятение, и, вдруг устремившись к нему, принялась его целовать. Она осыпала его поцелуями, летучими и легкими, не оставляющими следа, и, спохватившись, произнесла:

— «Не властны мы…»

— Не властны?.. — спросил он; видно, бремя обязательств она еще несла на себе, по крайней мере, так ему казалось. — Не властны?

Но она уже уходила. Он стоял посреди бульвара, и открытая аллея, снеженная и освещенная луной, просматривалась, казалось, до самого памятника Тимирязеву. Она уходила, а он стоял и ждал, что вот-вот обернется и, как прежде, поднимет руку, но она так и не сделала этого…

Двумя днями позже, позвонив Глаголеву, он узнал, что Софа улетела в Словакию.

Грошев пригласил Галуа и сказал, что главы трех правительств, направляясь в Крым, условились, что корреспонденты не будут присутствовать на конференции, — этим объясняется и то, что корреспондентский корпус не был допущен в Ялту. Грошев, разумеется, понимал, что сказанное

французу не является для того откровением, но произнес все это с той строгой обстоятельностью и серьезностью, какая была свойственна его беседам с корреспондентами, — он не мог допустить, чтобы у корреспондентов создалось мнение, что их просьба не принята во внимание, а их права ущемлены.

Галуа элементарно представлял, какое сообщение припас для него рачительно-хитроумный Грошев, и в свою очередь заготовил просьбу к шефу наркоминдельского департамента прессы. Галуа сказал, что корреспонденты помнят пресс-конференцию наркома, устроенную едва ли не на другой день после вступления советских войск в Румынию, и не без интереса следят за положением в этой стране. Будь на то воля Галуа, он бы выразился и не столь округло. Он наверняка бы опустил имя наркома и сказал бы начистоту, что корреспонденты встревожены вестями, поступающими из Румынии, и клянут всех присных по поводу того, что их не пускают в эту страну. Он бы сказал, что его коллегам очень симпатично правительство, возглавляемое доктором Петру Гроза, и порядки, установленные этим правительством, о которых корреспонденты наслышаны разно. Что душой кривить, корреспонденты падки на слухи… Как свидетельствует опыт, самоличное знакомство корреспондента с фактами никогда не приносило вреда. Одним словом, речь шла о поездке в Румынию.

Из просторных окон аэровокзала видно летное поле с самолетом на отшибе — кажется, в Румынию пойдет он.

На поле ветрено, и из рук в руки идет термос с чаем: драгоценна поутру горячая влага.

Галуа пододвинул к Тамбиеву Хоупа — тот вернулся в Москву накануне.

Очень хотелось сказать американцу: «Если что-то способно тебя не красить, то это твоя роба цвета молодого тростника. К зеленым скулам малярика да еще зеленая гимнастерка — не много ли?» Но Хоуп, казалось, не догадывался об этом, радуясь тому, что последний приступ был недели две тому назад и нет причин для уныния.

— Я ему говорю: «Дай ты этому Клину в рожу, а если ты не способен это сделать, то сделаю я! Ведь он о тебе бог знает что говорил!..» — вознегодовал Галуа, обращаясь к Тамбиеву. — Как говорили в годы моей юности в Питере: гнилой интеллигент! Истинно гнилой: берет Клина под защиту. Говорит: каждый утверждает себя как может!..

Хоуп, улыбаясь, разводит руками: вид у него виноватый. Догадывается, о чем идет речь, и винит прежде всего себя.

— Мистер Клин привык плохо думать о людях, а тут, казалось, все улики против меня… — он хохочет, взметнув ладонь, и Тамбиев замечает не без страха: ладонь — зеленая. — Одним словом, трагическое стечение обстоятельств!

— Даже странно: служил на флоте, а в рожу дать не может! — Восклицает Галуа и странно затихает, остановившись, все более поднимаясь на цыпочках: из глубины зала показался Клин.

— О, фриенд! — кричит Клин, рассмотрев Хоупа, и даже прибавляет шагу. — Погодите, или вы не рады мне? — спрашивает он, заметив, какими постными стали лица друзей, особенно, конечно, лицо Галуа — он не предполагал, что Клин вот так неожиданно может вынырнуть из глубины зала, не предполагал и, пожалуй, не хотел этого.

Наступает молчание, жестоко-тревожное. Хоупу и Тамбиеву, пожалуй, легко молчать, Галуа — труднее. Он это понимает не хуже остальных: не дай бог, Клин отпрянет и уйдет: что тогда будет делать Галуа? Однако нет причин так плохо думать о французе — вон с какой воинственностью он захромал вокруг Клина.

— У тебя совесть есть, Клин? — не прошептал, а прошипел Галуа.

Клин улыбнулся:

— И-и-ех!

— Ты что так смотришь на меня: совесть есть?

— И-и-ех!.. Алик… Ты с ума сошел? — сейчас он пятился, но не переставал улыбаться.

— А ну повтори все, что ты говорил о Хоупе, гадина… Ну?

Галуа притопнул и, не удержав равновесия, качнулся, приподняв худые плечи: гнев придал ему не только храбрости, но и силы, — это первым почувствовал Клин — он исчез.

— Зачем все это? — сказал Хоуп и, достав платок, вытер им лицо, которое в одну минуту стало мокрым. — Нет, в самом деле, зачем? — повторил он.

Галуа вспылил:

— Ты все забыл, Хоуп!.. Нет, нет, ты помнишь новохоперский самолет? Помнишь, как ты грозил спустить его в люк, а?

— Но тогда речь шла не обо мне, — пояснил Хоуп. — Пойми, не обо мне… — заметил он, продолжая вытирать лицо — пот лил в три ручья. — Нет, прости меня, в этом не было необходимости… — повторил Хоуп и удалился.

Галуа взревел:

— Как вам это нравится, Николай Маркович, а? Нет, скажите, как нравится?.. Не кажется ли вам, что дураком остался я? Вступился и остался в дураках!.. — Он долго не мог прийти в

себя. — А ведь не в первый раз это происходит. Сколько раз говорил себе: тебе больше всех надо?

Тамбиев подумал: как они полетят вместе? Непросто смирить страсти — Не разнесет ли взрывной волной этих страстей самолет?

Но все обошлось. Понадобился всего час полета, чтобы все улеглось — полудремал Галуа, поклевывая длинным носом; спал Клин, всхрапывая. «И-и-е-ех!» — казалось, получалось у него и во сне. Как некогда, корреспондентский караван на доброй дюжине «виллисов» покинул румынскую столицу и взял курс на северо-запад страны, объединив сразу два корпуса инкоров — московский и бухарестский. Румынский МИД (во главе которого теперь стоял куда как опытный Татареску, сумевший охранять ведомство от метаморфоз времени) в этой экспедиции представлял Мирча Ксенопол — чиновник пресс-департамента, греческая фамилия которого немало смущала: не воспринял ли деятельный Ксенопол одну из распространенных традиций века минувшего, когда рачительная Греция переуступала — нет, не только Европе Восточной, но и Северной — дипломатов разных рангов и положений. Но дорожные колеса обладают способностью не только наматывать нить истории, но и ее разматывать — размотали они и жизненную историю Ксенопола. Не успел караван минуть пригородный Снагов, как все выяснилось. Оказывается, Ксенопол, как, впрочем, Катарджи, Кантакузино, давно перестали быть в этой стране фамилиями греческими, став исконно румынскими, нередко знатно-румынскими. Одну из таких старинных ветвей и представлял чиновник пресс-департамента, знатное происхождение которого решительно ничто не обнаруживало, разве только нос диковинных размеров, клонивший все лицо книзу, да родинка на правой щеке, украшенная бесценной волосиной.

Ксенопол принял под свое начало многоязычный корреспондентский ковчег и с уверенностью, чуть-чуть заученной, начал рассказ о местах достопримечательных, которыми ковчег следовал. Тут нашлось место и для дворца принцессы Елизаветы, дворца грозно массивного, чьи контуры возникли в первозданной зелени парка и растушевались, и для снаговских хором короля, что легли на берегах обширного озера, и для плоештинских особняков, правда изрядно побитых авиацией, и для монарших хором Синая, одетых снаружи и изнутри деревом, и для бранского замка, венчающего гору… Но реакция корреспондентов была не очень понятна отпрыску знатных румын: они были решительно глухи к тому, что, как это хорошо знает Ксенопол, еще недавно вызывало воодушевление. Не без тревоги наблюдал

он, как скучающие толпы корреспондентов бродили вокруг замка, лениво взирая на стены, оплетенные стеблями дикого винограда, сейчас обнаженными.

— А может, господа хотят… туда? — обратился он к Галуа, указывая на маковку замка. — Я готов достучаться, и лифт домчит нас? — вопросил Ксенопол, мигом переменив английский на французский — степень знания языка не ошеломляла, но бойкость, с которой чиновник пресс-департамента обращался к новому языку, вызывала зависть. — Как вы… согласны?

Но ответ Галуа, казалось, изумил и Ксенопола.

— Нет, не столько… наверх, — обратил Галуа свой тонкий перст на башню замка, поднявшуюся над ними, — сколько… вниз… — палец француза был устремлен сейчас в пролет долины, на дне которой, освещенное полуденным солнцем, хорошо было видно румынское село.

Ксенопол ничего не понимал.

— Вы имеете в виду… долину? — спросил он, спасая положение. — Лоно природы, так сказать? — уточнил он — в его тоне была мольба: ну скажи — лоно природы, лоно природы!

Но француз уже замахнулся так определенно, что удар, казалось, был неотвратим.

— Нет, я имею в виду село…

— Обыкновенное село? — переспросил Ксенопол, но, сохраняя самообладание, был последователен в языке — он говорил по-французски.

— Да, обыкновенное… — сказал Галуа.

Чем больше было смятение Ксенопола, тем меньше он понимал: предпочесть старинной хоромине простую деревню, да есть ли в этом смысл? Но смысл, по-видимому, был. Иначе «Да, обыкновенное» не прозвучало бы у более чем расчетливого Галуа столь категорически. Корреспондентский кортеж развернулся и медленно спустился в долину, на дне которой лежало село. Но село казалось пустым — все оно ушло в поле: делили землю, и, странное дело, корреспонденты не огорчились. Наоборот, их объяло воодушевление — именно это им сейчас и надо было.

Поле выглядело безлюдным. Только в двух-трех местах крестьяне, вооруженные примитивными «саженями», сбитыми из трех реек, мерили землю. Нисколько не заботясь, как они объяснятся с сельчанами, корреспонденты рассыпались по полю. Между тем Ксенопол не сдвинулся с места — черный зонтик, взвитый над головой, отметил его пребывание точно. Но дождь усилился и сшиб зонтик почтенного чиновника — черный круг зонта сдвинулся набекрень, дождь беспрепятственно поливал сейчас Ксенопола. Его фетровая шляпа, только что светло-серая,

напиталась влагой и стала едва ли не черной, его короткое деми выперло на спине горбом, его полуботинки, выстроченные по ранту светлой ниткой… Да что там говорить о полуботинках? Думал ли домнулуй Ксенопол, отправляясь в вояж с иностранцами, что ему вот так придется стоять посреди весеннего поля, взвив над головой спасительный зонтик?

Они вернулись в гостиницу часам к пяти, голодные и озябшие.

— Цуйка, пофтиц… — посоветовал румынский дипломат не без знания дела — мигом на столах появилась огневая цуйка, много цуйки. Выпили в полную меру хозяйской щедрости и захмелели заметно. Одни в точном соответствии с правилами, которые известны одному богу, стали вдруг необыкновенно веселы, другие — в такой же мере грустны.

Клин сидел как в воду опущенный — казалось, он похоронил сегодня всех своих присных. Добрый Ксенопол едва ли не на цыпочках подобрался к нему со спины, припал к уху. Наверняка же несколько слов, которые шепнул сердобольный румын, имели целью смягчить душевные невзгоды англичанина, но произошел взрыв, совершенно непредвиденный.

— Ты, неразумная голова, да ты понимаешь, что происходит в этом мире? — возопил Клин, вскакивая. — Ты дал себе труд шевельнуть своими великокняжескими мозгами, а? Ты все еще путешествуешь по этим своим дворцам, одетым в красное дерево, и похваляешься родством с Гогенцоллернами, а большевики слопали тебя с потрохами! Да, да, ты полагаешь, что ты находишься в знатном Брашове, в двух шагах от замка, охраняющего вечный сон королевы Марии, а на самом деле тебя уже давно нет, и твои сахарные косточки перемолол этот демон всесильный, и ему осталось их только выплюнуть… Ты проник в то, что происходило на том весеннем поле, пока ты стоял под своим глупым зонтом? Нет, скажи, тощий ум великокняжеский, ты разобрался, что твой дом горит и злой огонь уже лижет твои пятки… Ты понял?

Неизвестно, что еще сказал бы Клин перепуганному насмерть дипломату, знатоку манер и полиглоту, если бы из-за стола не поднялся рослый Хоуп и не встал между Клином и Ксенополом.

— Погоди, Клин, — молвил Хоуп, дожевывая кружочек колбасы, которой он пытался умерить огонь злой цуйки: американец не большой любитель спиртного, но и его проняла до костей мартовская сырость. — Пожалей человека, который был к тебе добр…

На одну минуту молчание завладело корреспондентами, всего лишь на одну минуту.

— Все, что ты хочешь сказать, говори мне, — встал Галуа перед Клином. — Ну говори же…

— Не иначе, тут русская рука, — сказал Клин и взглянул на Галуа — сейчас он хотел видеть в нем русского. — Все тот же расчет — как во времена петербургской революции: дай деревне землю, и она пойдет за тобой хоть в ад…

Галуа улыбнулся:

— Ты думаешь, что для русского земля что-то значит, а для румына нет?

— Но это же… взятка: дать мужику землю и склонить его на свою сторону, — Клин взглянул на француза неприязненно — его злила веселость Галуа. — Это, в конце концов, безнравственно.

Бедный Ксенопол, одинокий и печальный, точь-в-точь как на весеннем поле, но только без зонтика, наблюдал за происходящим из сумеречного угла. Даже странно, сколь бурные страсти могло вызвать у них весеннее поле.

— Почему безнравственно?

— Да потому, что эгоистично. Эгоистично и безнравственно! — отрезал англичанин.

— Не пойму я этого эгоизма! — возразил Галуа и перестал смеяться — спор принимал крутой поворот.

— Эгоизм! — почти безапелляционно возвестил Клин.

Хоуп, молча наблюдавший за единоборством коллег, попыхивая своей трубкой, оккупировал стул рядом, чтобы иметь возможность видеть лицо Клина.

— Ты был на этом поле, Клин? — спросил Хоуп, отстранив трубку. — Был?

— Погоди, а почему ты меня спрашиваешь об этом, Хоуп? — вспыхнул Клин. — Ты же знаешь, что я там был! Почему спрашиваешь?

Но Хоуп, казалось, был невозмутим.

— А я объясню тебе почему, — заметил он и пустил дымок. — Я хочу спросить: ты видел руки крестьян?

Клин поднялся со стула, ухватив себя за помочи, и подпрыгнул — странная привычка была у человека: когда он волновался, то хватал себя за помочи и подпрыгивал.

— Ты хочешь спросить меня, видел ли я на их руках мозоли? — выкрикнул Клин — он полагал, что иного смысла в вопросе Хоупа не было.

— Нет, я хочу спросить: видел ли ты, как шелушатся руки царан, какие на этих руках струпья?

Клин еще раз ухватил себя за помочи, но прыгать не стал, волнение лишило его сил.

— Нет, я не видел…

— А я видел, больше того, старался увидеть — это румынская болезнь… — Хоуп встал и оказался лицом к лицу с Клином. Казалось, что они готовы схватиться врукопашную, рослый Хоуп и коренастый Клин, неожиданно оказавшиеся лицом к лицу посреди большого ресторанного зала. Они стояли, все остальные сидели, точно нарочно отодвинувшись от них на почтительное расстояние. Их было сейчас немало: Галуа, Баркер, старик Джерми, Тамбиев и насмерть перепуганный Ксенопол.

— Но что ты хочешь этим сказать, Хоуп? — спросил Клин и, взяв стул, оказавшийся рядом, отодвинул его подальше от себя — он точно высвобождал место для рукопашной.

— А то, что эта болезнь вызвана нищетой, понимаешь, Клин, нищетой! — произнес он.

— Погоди, но какое это имеет отношение к существу нашего разговора? — закричал Клин и едва ли не притопнул.

— Если царан будет иметь землю, он будет сыт, — сказал Хоуп. — Он не враг себе!..

Клин оглянулся и, рассмотрев в сумерках зала свой стул, пошел к нему.

— Россия призвала Европу к революции, — произнес он мрачно. — Что касается земли, то она должна узаконить эту революцию навечно…

Хоуп нащупал в сумерках зала свой стул, сел. Они сидели сейчас один против другого.

— Ты хочешь сказать, что они не захотят пожертвовать революцией?

Клин вздохнул:

— Я этого не сказал…

— Я сказал, — засмеялся Хоуп.

Тамбиев взглянул на Галуа: тот едва ли не приподнялся в своем кресле, наблюдая за происходящим. Галуа точно говорил: «Вот и настала эта минута, долгожданная… Ну, смелее, дружище Хоуп, смелее!» Но Хоуп точно потерял интерес к происходящему. Он махнул рукой и пошел к выходу. Галуа проводил его взглядом, в котором уже не было восхищения. «Не мой герой! — будто говорил француз. — Не мой!»

Они были в дороге еще два дня, но разговор, происшедшей в ресторане брашовской гостиницы, не шел у них из головы. У всех не шел из головы, но, пожалуй, больше остальных у бедного Ксенопола.

— Трудная поездка, — сказал он Тамбиеву. — Куда все это идет и чем кончится? — произнес он в смятении — он все еще не очень понимал происходящее.

Среди тех, кто составлял большой корреспондентский корабль, был человек, сердцу которого все происходящее говорило особенно много. Время от времени Тамбиев ловил на себе его взгляд. В этом взгляде была и тревога, и любопытство, неожиданно воспрявшее, и мука, откровенная. Казалось необычным, как путешествие по чужой стране могло с такой остротой заставить человека воспринимать виденное. Не иначе, в том, чему человек стал здесь свидетелем, он рассмотрел свое, на веки вечные отчее.

Человек этот был пан Ковальский.

— Когда мне говорят, что в восточнопольском повяте лесные братья положили голова к голове за сельскую левицу, красную левицу, мне ясно: тут делят землю… — Он идет рядом, тщетно пытаясь приспособить свой большой шаг к шагу Тамбиева. — Революция сегодня, как понимаю ее я, — это земля и кровь… А знаете, природа сыграла со мной веселую шутку: я все-таки разбудил свой русский — не находите?

Он вдруг забывает про собеседника, что идет рядом, и, дав волю своему шагу, уходит вперед.

— Вы помните мой разговор с Шимановским? — произносит он, дождавшись, когда Тамбиев поравняется с ним. — Ну, с этим свитским генералом, который был с Миколайчиком в Москве? Помните этот его довод о кооперативной Польше? «Не польский путь!» Так вот попомните: в руках тех, кому чужда новая Польша, как, впрочем, новая Венгрия, Болгария, нет довода удобнее: «Не польский путь! Не венгерский, не болгарский!» Ну, разумеется, у каждой страны свой путь, и к этому надо быть очень внимательным… Но не надо забывать и другого: главное в общих законах, в общих, — как мне кажется, чтобы их отвергнуть, надо иметь очень веские доводы, веские! Да что там говорить! Вся Марксова наука стоит на этих общих законах… Не так ли?

Корреспондентский ковчег шел все дальше, углубляясь в недра Карпат, медленно забирая к берегам Тиссы и Семеша, но нельзя сказать, что природа здешних мест, природа необыкновенная, полонила внимание гостей, — как это было в окрестностях Брашова, беседа с крестьянами обладала тут привилегией. Всем впечатлениям поездки корреспонденты предпочитали бесхитростный разговор с царанами. Как понимал Тамбиев, корреспонденты вышли на тропу, к которой шли долго. В событиях, происходивших в эту весну сорок пятого года в Румынии, как, впрочем, в Польше, Венгрии, Болгарии, Югославии, корреспонденты, разумеется, с симпатией или антипатией, скрытой или явной, увидели такое, чего старушка Европа не знала с той младенческой поры, когда блага земли, ее

нивы и воды были отняты у землепашца. Если был бог на земле или на небе, то он должен был порадоваться происходящему — произошло то, к чему мир стремился столетиями: воспряла справедливость, попранная… По-разному назвали это явление корреспонденты: одни — земельной революцией, другие — крестьянским бунтом сорок пятого, третьи — балканским вариантом знаменитых русских декретов 1917 года. На самом деле это была революция, ее первые побеги. Революция эта отвечала воле поляков, румын, венгров, болгар, югославов, если говорить не о накопителях, а о крестьянах, не о феодалах, а о рабочих — иначе говоря, о тех, кто в большом хоре народа держит главный голос. Нравилось ли это русским? Очевидно, нравилось, но отнюдь не по соображениям корыстным. Да можно ли было винить русских в том, что те, кто получал землю, связывали это с русской победой? Сами-то русские от этого ничего не имели! Или имели? Крестьяне платили русским доброй волей? Охраняли русские тылы? Но тут действовало правило, вечное: добро за добро. Это правило как закон природы: человек может только ему подчиниться, изменить — не в его власти.

Эти мысли владели и умом Тамбиева, когда импровизированный караван корреспондентов, забирая все выше, уходил в сумерки Карпатских гор, куда в эту раннюю весну сорок пятого года пришла большая война. Помнится, в учебниках географии эти горы звались молодыми, но, на нынешний взгляд Тамбиева, они были не просто стары, они были древними. Казалось, они дышали этой своей допотопностью, пасмурные во тьме туманов, седые на заоблачных кряжах, могучие в стойкости и неколебимости своей. Тамбиев поймал себя на мысли: будто бы ты попал в места, в которых побывал в детстве или увидел во сне и они навечно отпечатались в памяти своей сизой хмарью и девственностью, отпечатались, прикипев к страдной думе твоей. Да не Софа ли тут виной и ее карпатская страда? Где-то в том конце этих кряжей, может быть, старается перемочь она реку в мартовском половодье, идет стремниной, останавливаясь и выливая воду из сапог. А может, бежит площадью рабочего посада, бежит, как через поле боя, главное — дотянуть до той стороны и не оглянуться. Где она сейчас? Если тебя не сблизит с нею одно небо, что простерлось над тобой и ней, то, быть может, объединят эти горы? Как она и ее карпатская новь?

61

Кузнецкий мост дохнул известкой, столярным клеем, горячей стружкой, олифой, лаком — древними и добрыми запахами, с которыми поднимались леса нового дома, а с ними и мечта человека о новой жизни… С наркоминдельской площади ушли во все концы Москвы — на Арбат и Остоженку, на Сретенку и Покровку, на Поварскую и Спиридоньевку — веселые артели мастеровых людей: столяров и паркетчиков, краснодеревщиков и маляров, печников и водопроводчиков…

Некогда в Питер и Москву отправлялись на отхожий промысел целыми деревнями: по Ярославской дороге, ближе к Загорску и Софрино, жили искусники по дереву, по Нижегородской — каменщики, по Старокалужской — печники… Однако где та заветная карта, которая сберегла промыслы этих деревень, и была ли она в природе? Остались ли в этих деревнях золотые руки? Война, что каток стопудовый, смяла и раскатала все… Разыскали стариков… года рождения, дай бог памяти, одна тысяча восемьсот шестьдесят пятого и шестьдесят восьмого… Одним словом, в особняках на Поварской и Спиридоньевке древние старцы из многоопытного Подмосковья учат класть дымоходы и наслаивать паркет пятнадцатилетних юнцов.

Умение юной артели проверили на Якиманке. Привели в порядок приемные залы французского особняка — переложили паркет, подновили кафель, окрасили рамы, — по слухам, привередливые французы довольны. А коли так, недолга дорога и к шведам… Одним словом, Поварская и Спиридоньевка в большей мере, чем это было до войны, становились посольскими улицами, отразив перемены, происшедшие в последние два года в Европе и в мире…

Поэтому, когда наркоминдельскую площадь покидает шумная ватага юнцов в брезентовых робах, больше всякой меры выпачканных белилами, и, предводимая церемонным дедом, направляет свои стопы к знатному Старомосковью, каким всегда были Арбат и Приарбатье, это, по всем данным, знак добрый — еще одно посольство обосновалось в Москве, а следовательно, совершился акт признания…

Тамбиев прилетел в Москву на исходе ночи и, едва дождавшись утра, позвонил Глаголеву. Телефон отозвался гудками, в которых Николай Маркович вдруг почуял тревогу. Он едва не уронил трубку. Телефон продолжал гудеть с неодолимой тоской, надсаживаясь, — казалось, это гудение проникает под

кожу. Тамбиев взял машину и рванул на Малую Дмитровку — в глаголевскую редакцию. Большой редакционный двор был полон грузовых машин. Дежурный вахтер спал, прикрыв седую голову свежим номером газеты, он ею оборонялся от всех треволнений утра. Как ни крепок был его зоревой сон, но, открыв глаза и взглянув на Тамбиева, он понял, что ему надо не столько встревожить гостя, сколько успокоить. «Сказывают, той ночью старика отвезли в лефортовский госпиталь, поначалу было худо, но самое страшное минуло. Одним словом, держи курс на Лефортово, стариковская палата, сердечный удар… Отчего удар? Как по-твоему, отчего он бывает, удар? Что-то с дочкой стряслось… С дочкой… Но ты, того, не тревожься, старик выдюжил…» Вот это «выдюжил» только и осталось в сознании Тамбиева, когда он устремился на пикапчике в Лефортово.

Была ранняя весна, совсем ранняя, и вода в лефортовских прудах отсвечивала бледно-зеленым, и старые ивы над водой — точно зеленые облака, дохнет ветер и взметнет дерево к небу. Казалось, зеленоватость ранней листвы, для Тамбиева необъяснимо печальная в это утро, легла на госпитальные стены, обволокла белую больничную мебель, слегка оттенила крахмальные простыни… Когда Тамбиева подвели к госпитальной койке и указали взглядом на человека, что лежал под простыней, седой головой приникнув к стене, Тамбиеву трудно было поверить, что это Глаголев, так тот был мал и убог. Именно убог — тело под простыней все обнаруживало. Тамбиев взял стул и сел поодаль, решившись дождаться пробуждения Глаголева, — казалось невероятным, что этот маленький человек, свернувшийся калачиком, способен уберечь тайну, что простерлась для Тамбиева поистине от земли до неба, Тамбиев не помнил, как долго просидел, прислушиваясь к дыханию Глаголева и размеренному тиканью карманных часов, лежащих на пододвинутом к кровати стуле. Наверно, Глаголев спал давно, столкнув сон с горем и, быть может, сшибив им горе, ведь проснешься и отдашь себя во власть беды, ее деспотической силы.

Но произошло неожиданное: именно тишина первозданная разбудила Глаголева. Он шевельнулся под простыней, не без труда приподнялся, опершись на локти, с пытливой досадой взглянув на Тамбиева, точно не узнавая.

— Что будем делать, Николай Маркович? — вздохнул он, словами признав Тамбиева, глазами — не признав. — Я ведь ей сказал тогда: оттуда можно и не вернуться. Но я ее не столько опечалил этим, сколько окрылил: она искала свой конец. Страшно сказать — искала свой конец, искала… — Он свесил ноги с койки, стариковские ноги в синих буграх вен. — Тут был

штурман с транспортного «Дугласа», он рассказал, что ее взяли в горах и столкнули свинцом в ущелье — именно… столкнули… двумя залпами…

Глаголев сказал все. Тамбиев вышел к прудам. Все та же зеленоватость, непобедимо горестная, предвесенняя, разлилась вокруг, окрасив и землю и небо.

62

В конце марта Бардин собрался в Стокгольм и кликнул Тамбиева в Ясенцы, — по слухам, где-то на дальних подступах к Москве объявился Сергей, и Егор Иванович надеялся отрядить Николая к сыну.

Над Ясенцами клубились мартовские туманы, непроницаемо клейкие, неподвижные, застилающие все вокруг. Тамбиев не без труда отыскал улицу, ведущую к бардинской даче, но вышел не к даче, а на просторное поле, сбегающее к реке, и, понимая, что дал маху, должен был выждать, пока туман осядет и вынырнут, как из замутненной по весне воды, характерные очертания бардинской пятистенки.

Тамбиева встретила у калитки Ольга в стеганке и крестьянском платке, повязанном крест-накрест; она собралась в другой конец Ясенец за молоком — она возвращалась с работы первой и до того, как соберется семья, должна была приготовить ужин.

— Вот тебе ключи, Николай, последи за плитой, я там поставила картошку. — Она и прежде умела найти дело Тамбиеву. — Последи, последи, я могу припоздать…

Тамбиев вошел в дом, и великий покой бардинского обиталища объял его. Как в доброе предвоенное время в родительском доме Николая на Кубани, здесь пахло свежезаваренным чаем, ванильной сдобой и известью, видно, накануне в доме была побелка, Ольга — известная чистюля. Тамбиев тронул кафельную плитку, она еще берегла тепло печи, топленной спозаранку. Он подтянул гирьку на ходиках в комнате Иоанна — цепочка с гирькой едва не касалась пола. Приоткрыл дверь в сад, дав дыханию вечера, уже морозному, на минуту войти в дом. Он сделал все это и поймал себя на мысли, что нигде в Москве ощущение покоя не было у него таким полным, как в ясенцевском доме Бардиных.

Дверь в комнату Ирины была распахнута, и он, не приближаясь, взглянул в ее проем. Ему показалось, что комната выглядит необычно. Стол был придвинут к окну торцом, на его обнаженных досках укреплены тисочки и стоит паяльная лампа, а рядом расположился выводок напильников, вплоть до бархатного, и еще один выводок молотков, вплоть до микроскопического, не больше того, что стучит по медной чашечке будильника, и еще сонм плоскогубцев, тоже мал мала меньше. Все было таким миниатюрным, игрушечным, что громоздкая паяльная лампа могла показаться квочкой, готовой распустить крылья и охранить

это железное царство.

Да Иринина ли это светелка, подумал Николай. Куда девались скатерки, шитые болгарским крестом, и летучие облака тюлевых занавесок? Такое впечатление, что в белотканом царстве поселился если не трубочист, то мастер грубого литья. Только и осталась от прежнего многоярусная постель в дальнем углу, она необычно соседствовала со столом, который был завален железом и символизировал некую неколебимость пристрастий. Одним словом, вид Иришкиной комнаты немало озадачил Тамбиева и точно предрек изменения в ее жизни.

Явилась Ольга, похвалила Николая за радивость. До возвращения Егора Ивановича оставалось еще минут сорок, и, не торопя беседу, можно было коснуться дел насущных. Не мудрствуя, Николай обратил взгляд через открытую дверь кухни на комнату Ирины. Ольга приметила, улыбнулась значительно:

— Паяльная лампа… смутила?

— Был бы Сергей в доме, пожалуй, не смутила бы…

— Сергея нет… — уклончиво ответила Ольга и умолкла, не хотела обнаруживать жадности к разговору, к которому, по всему, была небезразлична, считала за благо повременить. — Если женщина влюблена в фармацевта, она тут же обзаводится аптекарскими весами и начинает колдовать над порошками… — наконец произнесла она и засмеялась не без смущения.

— Можно подумать, Ирина влюбилась в лудильщика?.. — улыбнулся Тамбиев.

— Лудильщика? — изумилась Ольга. — Ну что ж, может, и лудильщика… — пробормотала она, но дальше этого не пошла, видно, даже тамбиевской близости к этому дому для нее было недостаточно, чтобы пойти дальше.

Вернулся Бардин, сунул Тамбиеву большую ладонь, устало и не очень стесняясь гостя рухнул на клеенчатую обивку дивана громоздким телом, затих, закрыв рукой глаза. Не скоро отнял руку от глаз.

— Веришь, Николай, точно сосну мачтовую через лес волок — вот она, дипломатия… — Он вновь закрыл глаза, так ему было покойнее. — Ольга, дай мне чаю, да покрепче! — крикнул он. — Послезавтра лечу в Стокгольм, — произнес едва слышно и встал. — Но я не об этом… Видел? — вдруг спросил он, остановившись перед Иришкиной дверью. По всему, Ирина ушла из дому после него, и все, что на ее столе, он приметил сегодня впервые. — Ольга ничего не говорила?

— Нет…

Он вздохнул.

— Я готов согласиться, но ведь смысла нет… Понимаешь?

Тамбиев понимал плохо, но что-то становилось понятным и ему. Ну, разумеется, Егор Иванович говорил об Ирине, о ее любви, о человеке, которым она была увлечена, о непростой коллизии, тут возникшей.

— Не совсем…

Бардин точно хотел сказать: «Ну как тут не понять, все не так сложно», — но тут же задумывался, смотрел на Тамбиева печальными глазами, молчал, и выходило, что и для него это непросто.

— Одним словом, привела она тут его третьего дня. «Знакомьтесь, Степан», — решился Бардин. — Чуб как у казака донского, синие глаза да… рукав пустой, — он повел отрицательно головой. — Меня не пустой рукав смущает, у него семья в Ногинске: жена, двое ребят… — Он встал рядом с Тамбиевым. — Не возьму я греха на душу, Николай… — Подошел к кухонной двери, за которой странно затихла сейчас Ольга — и слушать, наверно, ей охоты нет, да приходится. — Как там, чай заваристый? Ох, чаю хочу! — и вернулся к Тамбиеву. — Ну, что ты приумолк? Скажи слово…

— Жаль Ирину, Егор Иванович…

— Удивил — жаль, конечно! — Он завздыхал, заохал, зашагал, призвав себе в союзники непрочные половицы дома; казалось, они вздыхали с ним в лад. — И парень способный, ничего не скажу! Он тут своей левой рукой такое творит… Ольга, покажи брошь с зеленым камнем, что зятек подарил… Ну, покажи, покажи…

Ольга явилась и положила перед Николаем этакого краба, свитого из дымчатого железа, с задумчиво-печальным зеленым глазом во лбу.

— Как, по-моему, здорово, Николай?

— Да.

— Он ей сует свой пустой рукав, говорит: «Ты мне, Ирка, правую руку вернула, мы с тобой звезду живую смастерим!» Ну, такое так просто не скажешь. По-моему, он ее любит. Ольга, он любит ее, как ты?

— Любит, наверно, — подала голос Ольга, и на этот раз не очень охотно.

Вошла Ирина, увидела открытую дверь в свою светелку, поспешно закрыла, но к себе не пошла, оставшись со всеми, почуяла, что разговор о ней.

— Здравствуйте, Николай…

Рука у нее сейчас особенная, сухая и твердая, не ее рука — не от напильника ли это или молотка?

— Оленька, есть хочу, спасай…

Тамбиев не мог не подумать: рука у нее стала тверже, а душа, пожалуй, мягче, вон как она — Оленька.

А Бардин заговорил деловито:

— Вот что, ребята, садитесь поближе, есть дело…

Тамбиев облюбовал стул рядом с Бардиным, Ирина не тронулась с места — не то что не было почтения, сил не было.

— Хочу потревожить вас, ребята, помогите мне, — заговорил Егор Иванович. — Послезавтра я, пожалуй, снимусь с якоря и лягу на курс в скандинавское далеко… — Он помолчал, точно взвешивая, как может прозвучать его просьба. — Одним словом, в Ярославль на поправку доставлен раб божий Бардин Сергей Егорович, на вольные харчи, — он заулыбался, довольный. — Я еду к нему… кто хочет со мной, готов приветить…

Ирина взвизгнула и принялась мутузить отца. Тамбиев тоже выразил радость, правда, не так бурно. Решили выехать на рассвете. У Бардина усталость точно рукой сняло, ему было приятно, что затея удалась. Ольга отыскала в подполе, где хранились припасы, штоф с наливкой, выпили по маленькой.

Она была радостно-покойна в этот вечер, ее красота точно напиталась этой радостью и этим покоем. Она чуть-чуть пополнела и от этого стала бело-матовой — возраст гнался и за нею, но не мог угнаться. А вот с Ириной происходило непонятное. В ее взгляде, обращенном на Ольгу, было мало радости, но была мука. Вот это ее ставшее скуластым личико с неожиданно припухшими глазами, именно припухшими — никогда они не были такими больными, — отразило ненастье этой поры.

Ирина встала и, сказав, что ей надо сбегать в тот конец поселка к подружке, взглянула на Тамбиева, будто приглашая с собой, она это сделала так легко и так заученно, что казалось, Дело больше в Николае, чем в подружке.

Они оделись и открытым полем пошли в противоположный конец Ясенец, поселок изогнулся вдоль реки подковой, и тропа соединяла концы подковы.

Приморозило, и туман размылся, река, что текла рядом, была светла, весенняя река. Ирина взяла Тамбиева под руку и, удерживая, вдруг пустилась с ним с холма. Она бежала, заплетаясь ногами, стремясь свалить Николая, оглашая поле смехом, нарочито громким. Потом остановилась, отняла руку, пошла прочь, опустив голову.

— Он вам все сказал? — Она смотрела на него, не поднимая головы. — Ну, что вы так? Я спрашиваю, отец вам все сказал про меня?

— Сказал… что-то…

— Так я и знала: сказал! — Они пошли дальше, замедлив

шаг. — Клянусь вот этой луной… — она не без труда отыскала в облаках мазок лунного света, слабый. — Клянусь этой луной и этим небом, я люблю его и пойду за ним на край земли. — Облака, одевшие луну, вдруг истончились, пробился лунный диск. — Клянусь…

— Погоди… я ж не требую от тебя клятв… Зачем без крайней нужды?

— Вы думаете, что у меня переменится, да?

— Не знаю…

— Никогда, понимаете, никогда! — Ее взгляд, полный ненависти, сейчас был обращен туда, откуда они шли. — Это он вас настроил так?

— Я ничего не сказал…

— И не надо! — закричала она. — Не надо!.. — и почти побежала от него.

Он стоял посреди снежного поля, не зная, куда ему идти, вперед или назад.

Он вспомнил бардинский рассказ про железо, которое взяла вдруг в свои детские руки и принялась гнуть до кровавых мозолей, подумал: да те ли слова он сказал ей? Это такая материя, что ума твоего и опыта может и не хватить. До сих пор доставало, а тут может и недостать.

И Николаю вдруг привиделась Софа, какой она явилась его сознанию и его глазам в то лефортовское утро. Было ощущение реальности непобедимой: пыльный зной горной дороги, прищур сине-серых Софиных глаз, в которых спеклась адова мука той минуты, и залпы, один, потом второй, что столкнули ее в пропасть, столкнули…

По каким законам один человек входит в жизнь другого и остается в этой жизни навсегда? Известны ли эти законы людям? Не переоценивают ли люди, когда думают, что эти законы им известны? А если известны, то почему человек не властен тут распоряжаться своей судьбой? Или все-таки действует нечто непреложное о единственности человека, предназначенного тебе судьбой, да, той самой единственности, о которой ты думал в ту уманскую ночь, когда самолет нес тебя к Днестру? Да, единственности неколебимой, которая сильнее тебя, сильнее времени, может быть, сильнее случая… В ту уманскую ночь казалось, что нет в природе силы, которая может изменить само решение судьбы, подарившей тебе друга… Оказывается, есть такая сила, и она подняла на тебя руку, на тебя и Софу, злая сила. Повтори многократ: злая, злая… Вон как отпрянула Ирина и обратилась в бегство. Да не уподобился ли ты злой силе, когда отважился вторгнуться в ее жизнь? Как только разрешило сделать

тебе это твое понимание сущего, твое представление о чести?

Они приехали в сосновый бор и подивились обилию снега и снежной тишины. Их допустили на территорию госпиталя, и они прибавили было шагу, приметив за темно-зелеными купами сосен здание главного корпуса, когда их окликнул негромкий Сережкин голос, в меру спокойный, в меру ироничный. Ирина среагировала первой и, растолкав своих спутников, с ходу, с лету устремилась к брату и, наверно, повисла бы на его шее, если бы, как некогда, отец не остановил ее:

— Ушибешь ненароком, больной ведь…

Сергей ободрил радушно:

— Здоровый я…

Но вид Сергея не очень-то был в ладу с этими словами. Солдатская шинелька, побывавшая и под дождем, и под снегом, быть может, когда-то была впору молодому Бардину, а сейчас казалась коротковатой — за войну Сергей вырос. Была бы шинель другой, быть может, и Сергей бы выглядел бравым, а тут даже солдатские погоны как-то не очень красили его. Все это тут же отметил Бардин, не желая огорчать сына, хотел приберечь напоследок. Но хитрый бардинский отпрыск проник в мысль родителя.

— Вижу, хотел встретить без пяти минут майора, а встретил солдата, так, батя? — Старое Сережкино «батя» было вроде плюшевой прокладки и призвано было смягчить горькое слово.

— Уж коли начистоту, тогда знай, — произнес Егор Иванович, волнуясь. — Коли ты живой, Сережа, то ты для меня и в солдатском звании генерал…

Сказанное порядочно растревожило и одного и другого, они запаслись молчанием, разговор продолжался, но каждый берег в себе то, что сказал и не сказал в начале встречи. Видно, нужен был повод, повод весомый, чтобы прерванное возобновилось. Но повод этот не сразу отыскался, может, поэтому ждать пришлось долго. Только уже в скромной комнате Сергея, выходящей окнами на опушку леса, когда Ирина и Тамбиев раскрыли чудо-узелок и с торжественностью, заметно иронической, разложили припасы и пир начался, Сергей стрельнул в отца веселым оком.

— Ей-богу, не думал, что ты генеральские погоны в Москве оставишь! — засмеялся неудержимо, все изменилось в человеке, все переиначила война, а смех оставила — детский, заразительный. — Мне эти погоны твои во как нужны! — он чиркнул указательным пальцем по кадыку. — Мне бы после твоих погон добавка в здешней столовой получилась бы, а сейчас и прежнюю порцию урежут — обещал им генерала, а явился

главный каптенармус… — указал он на невзрачный бардинский пиджачишко — за войну и бардинская одежда поизносилась.

Бардин испытал неловкость, не очень-то уверен был, что сын шутит.

— Запасись терпением, в следующий раз надену погоны, — пообещал Егор Иванович.

— Хотел в понедельник выписаться, придется подождать… — засмеялся Сергей и дружески ткнул отца кулаком в плечо.

Бардин помрачнел.

— Креста на них нет! — взорвался Егор Иванович. — На немых и слепых воду возят, так? — Он взъярился порядком. — Коли ты молчишь, так с тобой можно не стесняться, да?

Сергей побледнел.

— Ты о чем, батя?..

Но Сергей своим вопросом точно плеснул масла в огонь.

— Как о чем?.. — вознегодовал Бардин. — Не понимаешь, о чем? Нет, нет, скажи, не понимаешь?..

— Честное слово, не понимаю…

— Посмотрите, он не понимает! — упер Бардин свои глазищи в Тамбиева. — Ты, Николай, понимаешь, а он не понимает!.. — Он перевел дух, видно, дышать ему было трудно. — А коли не понимаешь, я тебе объясню… — Он вновь обратился к Тамбиеву — так объяснять, пожалуй, было удобнее. — Только вникни: человек прошел войну! — «Человек», надо понимать, был Сергей. — Прошел, как пройти надлежит солдату, не требуя ни поблажки, ни снисхождения!.. Нет, нет, ты помолчи, я доскажу! — обратился он к сыну. — Хватил свою долю лиха щедро!

— Батя… остановись!

— Нет! Дай сказать. Не было бы Иришки тут, я бы тебе показал, Николай, как война на нем расписалась, какие письмена она вывела…

— Батя, ну скажи и остановись!..

— Скажу сейчас, — тот умолк, тяжело дыша. Пока держал свою речь, точно запамятовал, что хотел сказать. — Коли был человек прям и честен, не держите его в черном теле… Бардины не нуждаются в подачках, но оцените так, как оценить надлежит! Ну хорошо, твой Сдобин там или Удобин этого не понимает, но командарм Бардин, Яков Бардин должен понять…

Сергей поднялся из-за стола.

— Командарм Бардин отдал приказ о моем назначении замначштаба полка… — произнес Сергей и пошел к окну — он не хотел, чтобы в эту минуту было видно его лицо.

— Ну и что? — спросил Егор Иванович, повременив. Сергей рассмеялся, не оборачиваясь, будто увидел там, на опушке, нечто

очень смешное и не мог удержать смеха.

— А я сказал ему, чтобы он перевел меня в другую армию, а там уж я как-нибудь соображу…

Бардин вздохнул.

— Так и порешили?

— Так и порешили…

Бардин вновь обратился к Тамбиеву:

— Ты что-нибудь понял, Николай?

— Я понял, — сказал Тамбиев.

— Ну что ж, теперь остается и мне понять… Э-эх! Погоди, а куда смотрит командарм Крапивин, тот, что тебя адмиралом сделал сухопутным и едва ли не взвод дал? Куда он смотрит?

— Он уже смотреть не может, батя, его бризантным снарядом уложило…

Неожиданно ворвалось молчание и точно развело отца и сына, дав возможность поостудить страсти.

— Может, пойдем на лесную тропу, батя? — встрепенулся Сергей. — На лесной тропе повольготнее, а?

— Пойдем…

— Только, чур, сменю портянки, — сказал Сергей и потянулся к батарее, где за занавеской сушились два куска бязи — все, что осталось от старой солдатской рубахи. — Как мог бы сказать поэт, кроме свежевымытых портянок, мне ничего не надо…

Бардин смотрел, как сын меняет портянки. Надо отдать должное Сергею, он это делал ловко, очевидно не замечая, как стары и худы портянки, как они поизносились, как потемнели, став серо-желтыми… Но Бардин это замечал, как замечал он и то, что сапоги, которые по случаю приезда отца Сергей немилосердно наваксил, были расшиблены в лепешку, — видно, дорога, которой прошагал сын этой весной, была жестоко каменистой.

Бардин вздохнул, вздох был громоподобным.

— Ты что, батя?

— Ничего… так, — попробовал улыбнуться Егор Иванович.

— А все-таки?

— Что же они тебе сапоги не могли справить, а?

— А сапоги хороши, ей-богу, хороши, я их получил на Висле, но в ногах правды нет, да и в дороге тоже, вон как она длинна…

Новый вздох вырвался из груди Бардина, он был еще безнадежнее, чем первый.

— Не могу я понять твоей натуры, Сережа…

— А что?

— Была бы война еще пять лет, и все пять ты был бы

солдатом, да?

— Солдатом, батя…

— Именно поэтому не могу понять, кстати, не только я, Суворов тоже не понял бы… Помнишь суворовское: «Плох тот солдат, что не хочет быть…» Помнишь?

Сергей молчал.

— Если можно без Суворова, то я скажу, батя…

— Ну, Сережа…

— Хочу быть солдатом, батя, понимаешь? Это такая привилегия, какой у меня может и не быть… Пойми, привилегия… Понимаешь?

— Нет.

— Вот так и порешим: ты не понимаешь, я понимаю.

Уже на обратном пути Бардин спросил Тамбиева:

— Ты понял что-нибудь, Николай? Это как же разуметь? Особая стерильность совести? Когда он решил не идти к Якову, тут я был с ним — это не для Бардиных!.. А все иное как понять?

— По-моему, это в характере Сережи, — вымолвил Тамбиев. — В характере, говоришь? Но это тебе нравится?

— Нравится, Егор Иванович.

— Что же тут может нравиться? Не пойму.

— Можно разное в нем рассмотреть, но я тут вижу…

— Что видишь? Скромность?

— Может быть, и скромность Сережину…

— Ну нет, какая тут, к черту, скромность — не хочет быть генералом! — Он задумался. — На этом Заводе Климовом, куда я ездил к нему, повстречал я одного старого эскулапа, так он это тоже приметил в Сережке… «Философия интеллигентных мальчиков!» Прости, Николай, но это выше моего разумения… Я-то в этом увидел иное…

— Что именно, Егор Иванович?

— Не смейся тому, что я сейчас скажу: это особая форма затворничества! Вот Ксения думала о монастыре. Все ей мнилась некая келья, в которую она заточит себя мне в укор… Да, именно в укор, хотя чем я виноват перед нею, чтобы меня надо было пугать монастырем? Ирина, не слушай, есть в нем эта Ксенина тирания!.. Хочет остаться рядовым… Почему?

— Просто понимает, что генерала ему сейчас не дадут, а лейтенантом быть неохота!.. — слукавила Ирина под общий смех и точно нашла ответ, хотя и понимала, что ответ не дался ей, как и всем остальным.

63

Прошло три недели, как Сергей Петрович вернулся в Лондон, и посольское житье-бытье вошло бы в свои берега, если бы не события, чрезвычайные и для британской столицы: все более ощутимые толчки предвыборной лихорадки. Если говорить о масштабах этого события, то оно было для нашего посольства не таким значительным и вряд ли заслуживало бы внимания, если бы не показалось симптоматичным, быть может, даже грозно симптоматичным. Плохую весть принесла Екатерина. Ее посольская вахта была в этот день поздней, и, вернувшись домой часу в двенадцатом, она взяла с полки томик Оскара Уайльда. Но, сняв с полки книгу и даже раскрыв ее, она остановилась посреди комнаты, смешавшись.

— Этот Смит, издатель с Пиккадилли… помнишь? — вопросила она, чуть повысив голос; Сергей Петрович был в комнате рядом. — Сегодня он завернул нам всю партию наших рукописей с весьма странным письмом…

— Каким? — спросил Бекетов. Вопрос был излишним, но Бекетов его задал по инерции.

— Смысл письма: издательство испытывает недостаток в бумаге и не сможет в прежних масштабах… — она поднесла книгу к глазам, стараясь убедиться, что необходимое место ею найдена. — Ты что-нибудь понимаешь?

— К сожалению, да…

— Тогда объясни, Сережа…

Но объяснить было трудно.

— Хочу сам убедиться, тогда и объясню…

— Как знаешь…

У Бекетова действительно была потребность убедиться самому в происшедшем. Коли в случае со Смитом Бекетов усмотрел симптом, значит, этот случай был не первым. Первый случай способен лишь обострить внимание, второй — посеять сомнения, третий — сомнения подтвердить… Наверно, случай со Смитом подтверждал. Однако что он подтверждал? Очевидно, с победой над немцами, которая обозначалась все явственнее, черчиллевское правительство обретало все большую возможность решать свои проблемы независимо от России. Значило ли это, что черчиллевский антисоветизм становился все более явным? В какой-то мере да, хотя время дальних прогнозов, наверно, еще не настало.

— Ты полагаешь, Черчилль меняет большую пластинку своей политики, и прежде, чем он сказал об этом сам, заявил бедняга

Смит? — Она сейчас сидела за столом, и открытая книга лежала перед нею, книга, в которую она, казалось, даже углубилась, но думала о Смите, упорно думала о Смите.

— Почему… «бедняга Смит»? — спросил Бекетов, от нее решительно нельзя было ничего скрыть. Эта русская пословица про «мужа и жену — одну сатану» тут вот, на чужбине, была верна трижды. Их русская жизнь, относительно широкая и многообразная, тут сузилась до посольского пятачка, и пути, по которым шли их мысли, тоже стали наперечет. Поэтому достаточно ему было сказать слово, она уже знала, что предшествовало этому слову и что за ним последует. — Итак, почему же «бедняга Смит»?

— Так он же не по своей воле вернул нам рукописи… — произнесла она и осторожно отодвинула Уайльда. — Теперь я могу сказать, что Крейтон был прав, когда говорил, что он хороший человек… Мы имеем дело с ним два года, и я могу подтвердить, хороший человек — обязательный, по-своему честный, неизменно доброжелательный… Но что он может сделать, когда ему этот ответ… подсказали: все, точка… Он послал это свое письмо и тут же позвонил Шошину, дав понять недвусмысленно: не его воля…

— Не его воля? — повторил Бекетов не без издевки. — Но ведь он может не согласиться, возразить, дать бой, наконец… Или тут качества того, что ты зовешь «хорошим человеком», кончаются?

Она качнула головой, невесело:

— Да, ты прав, но все-таки мне не хотелось о нем думать плохо…

Он заметил, что-то появилось в ней новое, быть может, уже в годы войны — в своих суждениях она не стала менее категоричной, и все-таки у нее появилась большая терпимость. Круг хороших людей в ее представлении стал шире. В прежнее время она не задумываясь отнесла бы издателя с Пиккадилли к людям, которые для нее не существуют, сейчас она была к нему снисходительна. Нельзя сказать, что она изменила свое отношение в принципе, принцип остался неизменным, но понимала она этот принцип не столь узко. Кстати, об этом сейчас думал и Бекетов, очевидно повинуясь все тому же закону «муж и жена — одна сатана».

— Стареем мы с тобою, Екатерина, в иное время мы были непримиримее, — заметил Бекетов. — Молодость, прости меня, честнее…

Она отрицательно повела седой головой, ей не хотелось клеймить ни себя, ни Сергея.

— Нет, это иное, совсем иное…

Он лег в этот раз поздно. Долго сидел, погасив свет. В квартире было тихо, и город, казалось, не мешал этой тишине, видно, мир помаленьку входил уже в этот город. Каким-то он будет, этот мир?

Тарасов просил Сергея Петровича быть с ним на очередном заседании Европейской комиссии. Поездка в Крым для американского коллеги Тарасова прошла небезболезненно — Вайнант застудил горло и последнее заседание пропустил. Сегодня он обещал быть, однако условившись с Тарасовым ограничить заседание сорока минутами — часом. У расчетливого американца тут был свой замысел. Все-таки нет большего дива в дипломатии, чем самая банальная простуда. Достаточно тебе простудиться или сказаться простуженным, как ты мигом обретаешь преимущества, каких тебе не даст ни твой посольский пост, ни самый высокий ранг. Сославшись на простуду, ты можешь опоздать или не явиться на самое представительное торжество, отказать в приеме министру и, как сейчас, взять под руку посла великой державы и сказать вопреки всем протоколам и протокольным установлениям: «А не хотите ли вы помочь бедному больному скоротать час-другой в тиши его домашнего кабинета?» Вайнант имеет право на это тем более, что у него есть возможность познакомить русского посла с гостем посольства, третьего дня прибывшим из Америки. Речь идет о человеке достаточно колоритном, впрочем, русские будут иметь возможность убедиться в этом сами.

Вайнант обратил свое приглашение и к Бекетову, русские поехали.

Домашний кабинет американца, в котором Тарасов бывал и прежде, не очень-то отражал натуру его хозяина, который, на взгляд русского, не переоценивал в жизни человека роли вещей, даже красивых, и не давал им себя гипнотизировать. Очевидно памятуя, что человек, ставший послом, уже перестает быть самим собой и даже своим домашним кабинетом — его обстановкой, его атрибутами — призван отразить не столько себя и свои пристрастия, сколько свое положение в этой стране, очевидно памятуя обо всем этом, Вайнант не очень старался ограничить пыл посольских хозяйственников. По крайней мере, кабинет американского посла чуть-чуть деформировал представление о человеке. Кабинет был пышнее, чем должно, настолько пышнее, что можно было подумать: тот, кто его оборудовал, страдал своеобразным дальтонизмом и в обоях, шторах, обивке мебели переложил золота.

Но обилие золота не прибавило послу гордыни, у него был вполне земной вид. Наверно, зеленый шарф, которым была обмотана шея посла, диссонировал с обстановкой кабинета, но зато он соответствовал характеру беседы, неофициальной.

Явился гость посла, Вайнант не преувеличил, назвав его колоритным. Он весь был опутан волосами, точно водорослями, и одет в бархат с изысканностью и, пожалуй, расточительностью завидной. Ну, разумеется, он пришел в наше время из века девятнадцатого, и все, что можно было прихватить оттуда, он прихватил, ничего не забыв, ничего не запамятовав. И этот бархатный пиджак с жилетом, и это пенсне на черном шнурочке, и серебряные часы, массивные и тяжелые, и деревянную табакерку с нюхательным табаком, которую он достал, располагаясь в кресле, однако не раскрыл, опасаясь, чтоб его громоподобный чих не встревожил бы гостей посла и не обратил бы их в бегство.

Представляя почтенного американца, Вайнант сказал, что мистер Роберт Гиббонс — глава очень известной в Штатах издательской фирмы по выпуску учебников.

— По гиббонсовским букварям училась грамоте вся Америка, — заметил посол, к удовольствию гостя. — И я учился! — воскликнул посол и привел гостя едва ли не в состояние экстаза. Гиббонс открыл свою табакерку и на радостях пальнул в русских таким громоподобным чихом, что легкое смятение объяло их. Но почтенный издатель привел в действие свою самодеятельную артиллерию преждевременно — самое главное ему еще предстояло сказать. У Гиббонса есть своеобразное хобби: книга историческая. Он ее коллекционирует и с некоторого времени издает. Нет, не только история, опрокинутая в прошлое, но и обращенная в сегодняшний день. Короче, он предлагает Вайнанту написать книгу, которую символически можно было бы назвать «Мост достиг Сан-Франциско». Нет, речь идет не о знаменитом сан-францисском мосте, давно ставшем символом Америки XX века, а о мосте, способном выдержать нагрузку еще большего символа: мост из Женевы тридцатых годов, к которой, как известно, имел отношение хозяин дома, в Сан-Франциско дня нынешнего, ожидающий делегатов международного форума.

— Самое трудное в наших отношениях возникает сейчас, — заговорил Вайнант, улучив минуту. — Именно сейчас мы подступим к этому пределу, — он говорил с несвойственными ему паузами, он цедил слова — разговор с русскими, как его задумал американец, возникал сию минуту. — Труднее, чем все, что мы знали до сих пор… Простите, но я решусь сказать и такое:

труднее, чем победа над Гитлером, хотя труднее этого ничего не может быть на свете… — Он припас свое вступление, наверно, в тот самый момент, когда русские согласились ехать, в нем чувствовался план. — Мы даже и не предполагаем, как действен может быть вот этот форум, который мы соорудим в Сан-Франциско, — он взглянул на гостей, точно примеряясь, проникли они в его замысел или нет. — Я тут понимаю немного — Лига Наций набирала силу при мне, как, впрочем, потерпела катастрофу тоже при мне… Не хочу быть голословным, но могу сказать, что катастрофа эта учит…

— Чему, господин Вайнант? — Импровизация, к которой обратился посол, была не праздной, импровизируя, он старался легализовать содержание книги. Тарасов полагал, что следует поощрить американца.

— Я выражу мое мнение, только мое, но оно подсказано тем большим и, простите меня, горьким, что я испытал в Женеве…

— Да, господин Вайнант… — произнес Тарасов, его немало увлекал предстоящий разговор — он, этот разговор, был интересен и в связи с книгой Вайнанта и, пожалуй, независимо от нее. — Да, да, господин посол…

— Многое в нашей воле, я говорю об Америке и России… Если бы я был исторический писатель, я бы, пожалуй, написал книгу на тему: «Учусь говорить!» Не лингвистическую, а политическую книгу на эту тему: «Учусь говорить!» Да, книгу о том, как два великих народа, совладавшие с фашизмом, научились не просто говорить друг с другом, а обрели общий язык, способность понимать друг друга… Вы поняли меня: «Учусь говорить!»

— Тут главное: никаких иллюзий… — заметил Тарасов, было бы обидно, если бы Вайнант остановился и не развил мысли, к которой обратился. Тарасов неотступно шел за американцем, при каждом удобном случае давая ему понять, что мысль американца ему интересна.

— Именно никаких иллюзий, — поддержал Вайнант. — Надо понимать, что у такой политики будет великое множество недругов. Я не преуменьшаю: сонм!.. Одних воодушевит страх, других — алчность, третьих — глупость, самая, простите меня, банальная. Но надо преодолеть и первое, и второе, и третье, проявив качества зрелого человека: мудрость, терпение, да, да, терпение обязательно… У этого умения есть своя психология: способность уступать… Да, не только способность отстаивать, но и не менее искусное — уступать, ибо без разумной уступки нет согласия, а следовательно, и того, что зовется большим словом: взаимопонимание… Простите за грубое сравнение, но оно по сути

своей верно: если два барышника заинтересованы ударить по рукам и договориться, им надо только набраться сил и проявить терпение, не договорятся сегодня, сладят завтра… Только нужны силы и терпение. И еще: надо научиться понимать друг друга независимо от того, сближает нас или разделяет календарь…

— Простите, но, на ваш взгляд, силезское наступление Красной Армии — это… календарь? — спросил Тарасов.

— Несомненно! — подтвердил Вайнант. — Наш десант в Нормандии… тоже календарь. В Силезии вы нужны были нам, в Нормандии — мы вам, хотя деление это очень условно, и там и здесь мы нужны друг другу. Значит, независимо от того, кто кому нужен календарно, есть нечто, если не вечное, то долговременное, что нас соединяет… Забота о сущем…

— Сущее… это мир?

— Если хотите, мир.

Вайнант вдруг встал, улыбаясь зашагал в соседнюю комнату.

— Вы спросите меня, чего ради я вдруг сказал вам все это? — засмеялся он; видно, комната, в которой он сейчас стоял, была большой — смех его казался раскатистым и отдавался эхом: хо-хо-хо! — Все, что вы сейчас услышите, скромно весьма, но это мое мнение…

Он вернулся в кабинет, вернулся настолько стремительно, что лист тонкой писчей бумаги, заполненный машинописным текстом, из его рук едва не улетел.

— Вот в эти три дня, пока я единоборствовал со своей простудой, меня осенило… — он положил бумагу перед собой, прикрыв ее ладонью, точно она еще продолжала трепетать, грозя сорваться со стола и улететь. — Я подумал: судьба мне дала в руки единственный в своем роде шанс — перебросить мост от Лиги Наций, которую я знал, к новой международной организации, к которой я имею отношение сегодня. — Он посмотрел на своих гостей испытующим оком, точно желая установить, проникли они в его замысел или нет. — Да, имею ли я право пренебречь этой возможностью? Вот первая страница книги, которую я начал писать. Первая!.. И тут имеется такое место, — удерживая страницу в одной руке, он другой выпростал из очечника свои тяжелые, в роговой оправе очки, откашлялся. — «Если есть у нашей цивилизации некий опыт, он должен быть отдан защите мира», — прочел он и положил страничку на стол. — Все, господа… Не наивно ли это? Конечно же, наивно и все-таки заманчиво… А нет ли смысла окропить этот лист бумаги живой влагой? Чем черт не шутит, может быть, за первой страничкой последует вторая…

Гиббонс точно окаменел, в его глаза, зарывшиеся в дремучую

путаницу водорослей, был занесен пламень любопытства и чуть-чуть недоверия. Признаться, он не думал, что простодушный его хозяин сообщит ему содержание книги столь своеобразно. Нет, в том, что только что сказал Вайнант, не было ничего неприемлемого, но все произнесенное послом шло дальше замысла издателя, опасно дальше, хотя и выводило издателя из-под удара, ибо не требовало от него ответа. Да, выводило издателя из-под удара, и в этом, наверно, был замысел Вайнанта: изложить план книги и позволить издателю не говорить ни «да», ни «нет». Гиббонс пригубил бокал с калифорнийским и отстранил — вино не давало удовлетворения.

— Мне нравится ваша тронная речь, господин посол, — произнес американский гость и, взяв из табакерки добрую понюшку табаку, отважился устремить ее к носу, но остановил, на опасном расстоянии остановил. — Разрешите принять проект будущей книги, — он не без страха скосил глаза на понюшку табаку, которую все еще держал перед носом, и, решившись, поднес ее к ноздре, которая вожделенно вздулась. Раздался чих, да такой крепкий, что нарядное вечное перо, лежащее на стекле, укрывающем письменный стол посла, слегка вздрогнуло. Что говорить, Гиббонс был истинным джентльменом — насмерть испугался «тронной речи Вайнанта», но страха своего не только не выдал, но изобразил даже радость.

— Все-таки средство, к которому может обратиться дипломат, всесильно! — произнес Бекетов, когда они возвращались в посольство. — Вайнанту это средство дало возможность легализовать мысль крамольную, настолько крамольную, что он мог высказать ее этому своему Гиббонсу и в том случае, если бы русских там не было.

— Если же он все-таки пригласил русских, значит, все сказанное обращено не только к американцу, но и к нам, не так ли? — был вопрос Тарасова — встреча с Вайнантом немало взволновала Тарасова.

— Очевидно, — согласился Сергей Петрович. — Все это было произнесено столь лаконично и, простите меня, столь программно, что могло создаться впечатление, что американец спешит это сказать сегодня, опасаясь, что не сумеет уже к этому вернуться завтра…

— Не успеет вернуться, не успеет… — задумчиво произнес собеседник Бекетова и умолк — все происшедшее сегодня требовало раздумий.

64

Посольство получило альбом фотографий: «Шоу на советской сцене». Конечно, можно было приберечь альбом ко дню рождения Шоу, к июлю, но ждать столь же заманчиво, сколь и рискованно — когда человеку восемьдесят девять, каждый месяц ожидания чреват неожиданностями. Сергей Петрович собрался в Эйот Сэн-Лоренс, пригласив с собой Шошина. Дороги были заметно пустынны — армия перебралась через Ла-Манш и ушла на континент. Единственное, что умеряло скорость машины, — отсутствие указателей, которые с уходом армии были сняты.

Когда до обители Шоу оставалось миль двадцать, выглянуло солнце, что сулило перспективу приятную — в хорошую погоду Шоу выходил в сад. Действительно, когда машина, заметно сбавив скорость, подъехала к дому и затихла у ворот, вначале раздался характерный звук палки Шоу, стучащей по камню, а потом в глубине двора, видного сквозь решетку, возникла фигура хозяина, Шоу щурился, рука, держащая палку, взлетела до уровня глаз — было впечатление, что он отбивается от солнца.

Позади хозяина шел Коллинз, вид у него был летний, голова не покрыта, пиджак распахнут, верхняя пуговица сорочки расстегнута, галстук съехал набок — профессор явно пользовался тем, что бдительное око госпожи Коллинз отсутствовало.

Шоу приветствовал русских с кротостью и ласковостью добрейшей, при этом, подавая руку не столь уж рослому Шошину, смешно подогнул колени и склонил голову — он точно вспомнил свое истинное «я» и вошел в образ весело-ироничного Шоу. При людях он входил в образ, в их отсутствие должен был из него выйти. Но ему нелегко было оставаться в образе прежнего Шоу — это требовало подвижности, следовательно, сил физических, а их уже не было. Он шел как-то скособочившись, все время сбиваясь с тропы. Это было особенно заметно, когда он непочтительно обращался с палкой — палка была его спасением, видно, он был больше уверен в себе, когда она была с ним. Опустившись на садовую скамью, он вдруг поднес приятно округлую ручку палки к груди и сжал ее с доверчивостью, какой заслуживает разве только существо одушевленное.

Стол был накрыт наверху с той простотой и заведенностью, какая была принята в этом доме издавна и для Сергея Петровича не нова. Прежде эта заведенность не мешала тщательности, с какой накрывался стол. Сейчас было по-иному: традиционный торт выглядел не очень свежим, хлеб был каким-то обветренным, масло не такой желтизны, как прежде, — стихия запустения была

неумолима.

Шошин принес из машины альбом и с почтительной готовностью положил его перед Шоу и Коллинзом.

— Вы… в прошлом учитель? — вдруг спросил Шоу, обратив взгляд на Степана Степановича, альбом он не спешил раскрыть.

— Нет, газетчик, мистер Шоу, — сказал Шошин, смутившись, вопрос был для него неожидан.

— О, коллега! — возликовал Шоу и добавил, подумав: — Газетчик — это все равно что учитель, не так ли?

Он медленно листал страницы альбома, положив его перед собой так, чтобы было видно и Коллинзу. Какие-то фотографии ему были известны, как, впрочем, и актеры, он даже пробовал называть имена, а когда это удавалось, радовался — в его нынешнем положении не было ничего приятнее, как вспомнить имя, да еще русское.

— Вы что в газете делали? — спросил Шоу, скосив глаза на Шошина, когда последняя страница альбома была закрыта.

— Ночной дежурный, секретарь редакции… — ответил Шошин. — Один из секретарей, — пояснил он, все еще испытывая неловкость.

— Пэйперс кули?.. Газетный кули? — улыбнулся Шоу сочувственно.

— Пожалуй…

— Хорошо. — Шошин сразу вырос в его глазах. Но альбом вновь привлек его внимание. — Есть мнение: вначале театр, потом образование… — Он посмотрел на Бекетова, потом на Коллинза, словно желая установить, согласны они или нет. — Да так ли это? Образование и театр должны идти рука об руку, помогая друг другу, как в России, так? — он смотрел теперь только на Коллинза, адресовать этот вопрос русским было, пожалуй, неудобно.

— Только это должно быть истинное образование, мистер Шоу, без предрассудков… — воодушевленно подхватил Коллинз, до сих пор молчавший.

— А я что говорил? — спросил Шоу и с легкостью, какая была для него небезопасна, поднялся и пошел к книжной полке, что была видна через распахнутую дверь. Как ни целеустремлен был хозяин в эту минуту, он, проходя мимо кафельной стены, протянул руку и на секунду задержал ее на стене, — очевидно, это был уже условный рефлекс. Как заметил Сергей Петрович, на улице его точно вышибало из тени на солнышко, в доме он заметно держался ближе к печке, чай он пил из стакана, оплетая горячее стекло пальцами, — ему не хватало тепла, он искал его.

Шоу вернулся с книгой в руках, но, положив ее перед собой,

не раскрыл, только с веселой лукавинкой взглянул на нее.

— Хотел прочесть вам, да надо ли, я и так помню! — Видно, с некоторого времени ему стали приятны эти три слова: «Я так помню!» — Вот вы сказали: образование без предрассудков. Но ведь вы же повторили мои слова — вот отсюда! — указал он на книгу. — Именно без предрассудков, при этом не только религиозных, — он прикрыл рукой книгу, отодвинул. — Что же я тут написал? — Он закрыл глаза почти молитвенно, как бы стараясь заглянуть внутрь своего «я». — Давным-давно, когда книги писались на латыни, не зная этого языка, нельзя было ни писать, ни читать книг. Тот, кто не знал латыни, был неграмотным. Но с тех пор прошло бог знает сколько времени, и латынь утратила свое значение, сегодня это мертвый язык. Тот, кто сегодня знает только латынь, он если не неграмотен, то малограмотен! Однако система нашего образования, склонная идеализировать прошлое, вот уже несколько столетий не может переделаться, построив обучение на знании латыни. Мертвый язык вытеснил все живое… Нет, я не преувеличиваю, все живое! — Шоу вновь взглянул на Коллинза, пытаясь установить, как тот относится к его утверждению. — Даже трудно себе представить, какой урон здесь наносится народу! Нет, я не голословен, именно народу!.. Все те, кто сегодня стоит у власти, явились в своем роде продуктом этой системы обучения. Да, однажды попав в конвейер нашего обучения — подготовительная школа, закрытый колледж, университет, — они вышли, естественно, с каким-то знанием латыни, однако исполненные такого презрения ко всему интеллектуальному, художественному, научному, какое только возможно, когда вы имеете дело с невежественным человеком. Хотя мир современных животных даже у Брема не включает такого зверя, как совершенно безграмотный образованный человек, но, поверьте мне, речь идет именно о звере, и, простите меня, он подчас правит нами…

— Вы полагаете, что это явление… английское? — спросил весело-недоверчивый Коллинз, для него парадокс Шоу был бы парадоксом, если бы в большей мере был сообразован с современностью.

— В той мере, в какой прошлое обожествлено столь безоговорочно, как у нас… — заметил Шоу, смеясь. Коллинз дал ему возможность утвердить мысль, которая едва ли не воодушевила старого ирландца.

— Жизнь, будем надеяться, внесет тут свои коррективы, — нашелся благоразумный Коллинз, для него нынешний разговор был слишком радикальным.

— Жизнь — это такая лошадка, которую иногда полезно

подстегнуть, усмехнулся хозяин.

— Именно, — поддержал Коллинз.

У Шоу возникла необходимость изменить тему разговора, он первым понял, что в этом есть резон. Он вдруг протянул руку и коснулся плеча Шошина, ему это легко было сделать — не надо было высоко поднимать руку.

— Значит… пэйперс кули? — спросил старый ирландец сочувственно, разговор с Шошиным произвел на него впечатление.

— Можно сказать и так, — согласился Шошин и поднял глаза на хозяина дома — он еще не понял, чего ради старик возвратился к этому разговору.

— Я разумею, вы тот самый человек, что натравливает на меня репортеров, но потом, не доверяя ни им, ни тем более мне, смотрит текст и после машинки, и после набора, и после верстки, сокращая его вдвое, убирая все, что, на мой взгляд, является перлами остроумия, а на ваш — бредом маразматика, из первого абзаца делает заключительный, а из заключительного первый, меняет Архимеда на Аристотеля, а Сократа на Софокла, и, высокомерно бросив: «Уникум, да и только, — прожил сто лет и ничему не научился», считает свою миссию законченной… Вы тот самый?

— Именно, мистер Шоу!

— Теперь я могу сказать, что мы с вами друзья! — он рассмеялся, смех был явно не по силам Шоу, он колебал старика, как грозовой ветер то самое старое дерево, которое было сокрушено прошлый раз в саду Шоу…

Они возвращались в Лондон вместе с Коллинзом.

— Вы небось в обиде на издателя с Пиккадилли, я говорю о моем мистере Смите? — Коллинз так и сказал «моем».

Бекетов ожидал всего, но только не этого — в его отношениях с Коллинзом не было проблемы более острой, чем эта.

— Меня это не столько огорчило, сколько обрадовало, — пошутил Сергей Петрович, не без любопытства наблюдая, как изумление неподдельное ширит глаза Коллинза. — Я подумал: как хорошо, что в свое время мы послушались вас и не передали Смиту прав на издание всех наших книг… Как тогда я понял вас, мистер Коллинз, и вы считали, что монополия тут неуместна…

— Не думал я, что вы так хитры, мистер Бекетов, — вдруг заговорил Коллинз и обратил смеющиеся глаза к Шошину, стремясь найти у него сочувствие. — Я-то полагал, что Смиту надо было отдать все права, и не раскаиваюсь…

— Но вам, мистер Коллинз, надо было бы раскаяться, не так ли?

— Нет, мистер Бекетов! А знаете почему? Мистер Смит не такой плохой человек, как может показаться… Совсем не плохой!

— Завидую мистеру Смиту, говорят, все богатство человека в друзьях…

— А почему вам не позавидовать себе?

— Вы полагаете, мистер Коллинз, что некоторые из друзей мистера Смита и мои друзья?

— А есть ли у вас основания сомневаться?

Их диалог был исполнен такой веселости, что они не заметили, как въехали в Лондон. Простились с Коллинзом у подъезда его дома и направились к посольству. Как ни утомителен был минувший день, прежде чем разойтись, хотелось постоять под открытым небом минуту-другую. Сыпал дождь, он был таким мелким и теплым, что ощущался, пожалуй, только на лице.

— Как вам нравится хвала мистеру Смиту, — вопросил Бекетов, — не сказалось ли тут нечто такое, что освящено старой дружбой и что менять поздно?

Огонек сигареты Шошина был ярким, Степан Степанович не курил часа два и затягивался с жадностью.

— Возможно, и старая дружба, а возможно… — Шошин запнулся, беседа неожиданно вторглась в сферу деликатную. — Пока шла война, слава и покой друзей СССР были делом правительственным, сейчас все труднее.

— Пришло время… мужеству? — спросил Бекетов. Как ни сурова была эта формула, в ней все звалось своим именем.

— Пришло, Сергей Петрович.

— И для Коллинза?

— Можно допустить, и для Коллинза.

Не думал Бекетов, что у этого дня будет такой финал — Коллинз. Сергей Петрович вспомнил осенний вечер сорок первого года, загородный дом Коллинза, большой и хорошо ухоженный; приезд встревоженного Хора, который положил перед гостями газету, напитанную дыханием октябрьского дождя: «Русская столица перенесена на Волгу — завтра Москва может быть сдана»; причитания встревоженного Хора, который, имея в виду позицию англичан, вопросил смятенно: «Что делать Англии? — и повторял, как рефрен: — Промедление смерти подобно», — недвусмысленно намекая, что сговор с врагом тут не исключен. Правда, с Хором это было первый и последний раз, но было же. А как Коллинз? Помнится, не в пример доблестному военному он был настроен воинственно и говорил о европейском десанте, который надо было бы высадить вчера, но и сегодня не поздно. Он послал одного сына в африканское пекло, другого отдал

науке, по слухам имеющей отношение к делам оборонным, а сам пошел по доброй охоте крепить отношения с русскими. Его симпатии к России были симпатиями к России традиционной, дважды выручавшей Европу из беды смертельной, да, пожалуй, к Ивану Петровичу Павлову, которого он боготворил. В остальном он находился к России не ближе всех остальных своих коллег, но вы убежден, что дружить с Россией, даже советской, патриотично и, пожалуй, нравственно, — за те жестоко трудные годы, которые он находился во главе общества, у него была та мера суверенности, которая позволяла ему соотносить свою деятельность с совестью. Тем ответственнее было его положение сегодня. Конечно, трудно было что-то утверждать категорически, но очень уж было похоже на то, что издатель Смит отступился не по своей воле. Терпимое отношение Коллинза к поступку Смита, кстати, свидетельствовало об этом же. Но его терпимое отношение к этому поступку говорило и об ином: могло быть так, что давление испытывал не только Смит, но и Коллинз, уже испытывал. Но Коллинз выказал это? Нет. Кстати, сегодняшняя его поездка к Шоу утверждала это же. Конечно, симптомы процесса на ранней стадии, самой ранней, но и они указывали на то, как верен человек своему идеалу. Отстоять этот идеал непросто, при этом завтра труднее, чем сегодня, но какие основания сомневаться, что он его отстоит?

65

Посольство пригласило лондонских газетчиков на просмотр документальных лент, полученных из Москвы, и Бекетов, к изумлению своему, обнаружил среди гостей Галуа, — оказывается, лондонского издателя смутили некоторые пассажи последней рукописи француза, и он просил его прибыть, едва ли не на второй день после возвращения из поездки на Балканы Галуа вылетел, благо была оказия.

Знойное балканское солнце оказало на француза действие магическое: не столь уж обильные волосы на висках пошли колечками, брови выгорели, щеки подсмуглило и подрумянило — такое было с ним только на дорогах благословенной Валенсии, когда осколок артиллерийского снаряда повредил колено корреспонденту и пришлось ковылять открытой степью добрые полсотни километров.

— Давно вы в Лондоне? — спросил Сергей Петрович.

— Третий день, Сергей Петрович, но мечусь, как загнанный, верите, еще день-другой, и протяну ноги… Однако, чур, единственно, кого я хотел бы видеть в Лондоне, это вас, Сергей Петрович…

Бекетов знал, француз не преувеличивает. Его лондонское житье-бытье действительно регламентировано. Но это происходило не столько потому, что так хотели другие, сколько потому, что к этому стремился сам Галуа. У него в Лондоне было два своеобразных кольца, большое и малое, по которым следовало обязательно пройти. Если Галуа был относительно свободен, он шел по большому кольцу, если занят — по малому. В нынешний приезд Галуа не было никакой надежды пройти по самому великому кругу, и француз избрал круг поменьше. Он предполагал встретиться с одним из субсекретарей Идена, с внешнеполитическим обозревателем «Таймс», известным в лондонских кругах под именем Буйвола, что следовало понимать как «идущий напролом», с Бивербруком, которого британский премьер все больше оттирал от больших дел, сделав доступным и для Галуа, с преуспевающим клерком Сити, по счастливой случайности дальним родственником Галуа. Прежде чем пойти по этим кругам, Галуа брал лист бумаги и вычерчивал их с графической точностью. В том случае, если какой-то из циклов требовал замены, Галуа искал замены равноценной, чтобы сумма сведений, которую он предполагал добыть, отправляясь по кольцевому маршруту, не пострадала. Если же Галуа удавалось пробыть в Лондоне три дня и цикл его встреч, определенных

малым кругом, был уже завершен, возникала идея новых бесед — так было и в этот раз. Когда Галуа сказал, что хочет видеть Сергея Петровича, русский, грешным делом, подумал, что предприимчивый корреспондент и его включил в свой маршрут по незримому лондонскому кольцу, и готов был отказаться. Но встреча с Галуа сулила известные приобретения, и Бекетов дал согласие.

— Может быть, есть смысл отведать этой водки, настоянной на малине? — спросил Галуа. — По-моему, в тот раз это было симпатично…

— Ну что ж, согласен и на водку, настоянную на малине.

— Ну, коли согласны, тогда я готов… Да, чуть не запамятовал!.. — мигом нашелся Галуа. — В Лондоне толкуют о какой-то размолвке с Москвой! Говорят, русские обвинили Черчилля в новой попытке договориться с немцами. Что за чертовщина?.. — он поднял обе руки, точно желая показать, как нестерпимо красны сейчас его ладони. — Нет, нет… только не сейчас. Поговорим об этом, когда на столе будет водка, сдобренная малиной…

Нечего сказать, хорош Галуа. И слов-то произнес немного, а обусловил все: и о встрече договорился, и программу этой встречи определил так точно, что не отобьешься. В самом деле, попробуй-ка не скажи о размолвке, когда она действительно имеет место… Но что сказать?

Бекетов, наверно, знал не все, но что-то дошло и до него. Немцы, положение которых было близко к катастрофе, полагают: самое насущное для них — замедлить продвижение советских войск. Немцы отрядили гонцов: они готовы заключить перемирие в Италии, если им будет разрешено отвести свои войска на восток. Переговоры достаточно продвинулись, когда стало известно: русские проникли в существо происходящего. Стремясь предупредить конфликт, в аналогичных обстоятельствах не первый, англичане и американцы известили Москву о переговорах. Реакцию Москвы можно было назвать гневной. Тот факт, что силой обстоятельств американцы тут оказались в одном стане с англичанами, устраивал Черчилля. Рузвельт дал понять британскому коллеге, что тот должен остановиться. Он будто говорил англичанину: «Уймись, старый тори, твоя корысть тут так понятна». Но Черчилль накалялся все больше. «Я такой старый и такой почтенный, а они не доверяют мне», — точно говорил он. Ну, что тут можно сказать: если седины не внушают уважения, надо было бы думать об этом раньше.

Бекетов был немало удивлен, когда, встретив Галуа, убедился, то тот не очень-то склонен распространяться об

итальянской авантюре Черчилля.

— Как говорили наши с вами предки, Сергеи Петрович, кто старое помянет, из того дух вон! — возразил Галуа не без веселой отваги. — Каждый обороняется как может, тем более, что ему нынче надо, так сказать, воевать на два фронта: с одной стороны русские, а с другой, как это ни странно, англичане — выборы вот-вот грянут.

— А я, признаться, не допускал, что с другой стороны англичане, — улыбнулся Бекетов, когда они, приметив свободный столик, решительно двинулись к нему.

Их столик был в дальнем углу зала, куда шум ресторана, в этот поздний час не столь людного, почти не достигал. Видно, деревянные панели зала были недавно обновлены — дерево дышало смолью, свежей, не успевшей выветриться.

— Что будем есть? — возгласил Галуа, пододвигая меню. Ничто не могло для него сравниться с заповедной этой минутой, как бы овеянной многоцветным листом меню. — Может быть, как на студенческой пирушке в погребах Латинского квартала: кусок бараньего бока и бутылку сухого? — С удовольствием он прищелкнул пальцами, подзывая официанта: — Прошу!..

Но то, что звалось куском бараньего бока, к барану и тем более к его боку имело весьма косвенное отношение, хотя и повлекло за собой длинную вереницу блюд, скромных, но по-своему колоритных: фасоль под соусом, вареный картофель, копченая сельдь, тушеная свекла и, конечно, миска с зеленым салатом, сдобренным крепчайшим уксусом.

К запаху смолистой свежести, который шел от новых панелей, примешивалось дыхание крахмальной скатерти и, пожалуй, типографской краски. Как ни сильны были запахи смолы и крахмала, типографская краска брала верх — ее маслянистый, даже чуть-чуть хмельной запах, казалось, вызвала к жизни сама природа, в нем было ощущение и первозданности этой природы, и ее рани.

— Книга? — спросил Бекетов. — Новая книга?

Лицо Галуа выразило печаль.

— Да, книга, — отозвался он, разговор о книге явно не входил в его расчеты. Все учел, не учел этого. — Издатель сказал, что книга, как бы это выразиться поизящнее… наклонена, у нее крен… — он вздохнул. — Наверно, призвание автора — устранить эту способность книги… крениться.

Бекетова подмывало спросить: «Однако о каком крене идет речь?» — но он не отважился. Не дай бог, речь шла о крене прорусском, в какое бы положение он поставил Галуа? Бекетов смолчал.

— Не спрашивайте меня, кто мне это сказал, но было сказано нечто эпохальное… — произнес Галуа. — Вот что было сказано: британский премьер сотворил документ, знаменующий, как бы это сказать… смену вех… — ему доставляло удовольствие дать явлению, о котором он говорил, русское имя «смена вех». — Смысл документа: конец русской политики Великобритании…

— Русская политика — это… дружба с Россией?

— Можно сказать и так: дружба с Россией.

Он оговорил: не спрашивайте, кто мне это сказал. Он боялся быть голословным, но еще больше он опасался выдать человека, которого он подцепил на этой своей кольцевой дороге. Ненароком выдать. Кто был этот человек? Преуспевающий клерк из Сити, субсекретарь Идена, Буйвол из «Таймс» или сам Бивербрук? Кто-то из них возник сейчас в сознании Галуа, когда он произнес сакраментальное «смена вех». Кто-то из них, а может, все вместе?

— Мне интересна была психология документа, заманчиво проследить, что явилось стимулом и был ли это стимул, — начал Галуа, почувствовав, что собеседник обнаружил первые признаки интереса. — Черчилль вернулся из Крыма в заметно подавленном состоянии духа. Правда, он пытался сберечь настроение, обращаясь к воспоминаниям, которые давали возможность ему явить краски. Те, кто его слушал, рассказывали мне, что к таким эпизодам относилась его встреча с монархом Ибн-Саудом, восточным деспотом, обладателем сонма жен, которые подарили ему сорок сыновей. — Галуа посмотрел на Бекетова не без желания распалить его любопытство. Он точно говорил Сергею Петровичу: «То, что я тебе сейчас расскажу, уж очень отдает восточной сказкой, по крайней мере, краски Востока в этом рассказе есть, но хочется тебе это рассказать. Прости мне эту слабость». — Итак, для монарха Черчилль был главой империи и по одному этому был одарен подарками царскими — сундуки, в которых покоились сосуды с благовониями, одежда из тонких арабских тканей, драгоценные камни, добытые со дна Красного моря. Король прибыл, сопутствуемый свитой на конях красоты необыкновенной. Вслед за всадниками следовал обоз с походным снаряжением короля, а за обозом двигалась туча пыли — шли овцы, отара за отарой. По мере того, как продолжался путь монарха, его отары медленно таяли — он не страдал отсутствием аппетита. Черчиллю очень хотелось рассказать о встрече с Ибн-Саудом самому. Рассказывая, он входил в роль, превращаясь в восточного монарха Ибн-Сауда, обладателя семидесяти жен и сорока сыновей, раздающего щедрой рукой дары. Он великолепно разыграл сцену пира, который устроил Ибн-Сауд. Он показал, как

тот восседал за торжественной трапезой, имея по одну руку от себя своего премьер-министра, а по другую — придворного астролога, как потчевал гостей яствами, которые запивались водой из королевского источника, ее подавал из неприкосновенных запасов монарха чашник его величества. Не без артистического умения Черчилль подвел рассказ к кульминации и сыграл классическую сцену перевоплощения, в единый миг перестав быть Ибн-Саудом и сделавшись Черчиллем. Оказывается, закон запрещал гостям пить и даже курить в присутствии монарха. Ну, разумеется, это поставило Черчилля в положение безвыходное — мигом потускнели краски, которыми он в своем сознании расцветил восточного владыку, а драгоценные дары владыки превратились в обыкновенные камни. Черчилль великолепно разыграл, как ему было худо и с какой ловкостью он вышел из положения, изобразив, что в установлениях его, черчиллевской, религии, есть прямые указания на этот счет, согласно этим указаниям, сев за стол, он должен пить и курить, при этом не только во время пира, но и в паузах, — в свободном обращении с фактами лукавый Уинни был лишен предрассудков. Можно было только удивляться, как этот старый и толстый человек, настолько толстый, что без посторонней помощи и шнурка не мог развязать на своем ботинке, — как этот человек, перевоплощаясь, обретал подвижность и гибкость. Впрочем, легкость, с какой англичанин трансформировал законы церкви, приспособив эти законы к потребностям собственной утробы, свидетельствует, что эта гуттаперчевость может быть не только внешней…

Однако восточная сказка, которую поведал Галуа с Черчиллем в главной роли, взбодрила француза и напугала порядочно — образ, который нарисовал ненароком собеседник Сергея Петровича, был страшноват; точно в одно мгновение из Галуа испарилась водка, настоянная на малине, француз сделался трезвым.

— Я сказал, что Черчилль, вернувшись из Крыма, стремился обрести равновесие в воспоминаниях, подобных рассказу о короле Ибн-Сауде… — заговорил Галуа, и низкие тона его голоса как бы дали понять собеседнику, что сейчас пойдет речь о материи не столь экзотической. — Как ни живописен был такой рассказ, он помогал лишь сберечь равновесие, если же говорить о состоянии человека, то оно было подавленным. Вряд ли я пойду против истины, если скажу, что в картине будущего, как она рисовалась его уму, преобладали темные краски. В один из этих дней он пригласил к себе стенографистку и продиктовал документ, который, если этому человеку суждено прожить еще лет двадцать,

должен определить программу этого двадцатилетия.

Галуа задумался, пришло время воспроизвести документ, это было сделать непросто: каким-то он будет?

— Допускаю, что в моей памяти документ запечатлелся не полностью, но что-то запечатлелось и в ней. Возможно, что я нарушу порядок глав, но за существо отвечаю. Итак, внимание… Первое: Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира. Заметили: стала. Второе: надо создать новый фронт против России, создать прочно, ибо продвижение ее стремительно. Не оставьте без внимания формулу; новый фронт. Третье: этот новый фронт должен уходить как можно дальше на восток… Отметьте для себя: как можно дальше, — он будто воссоздавал в своем сознании пункт за пунктом, нашептывая, а потом предавая огласке. — Четвертый, пятый, шестой пункты предусматривают задачи особого рода: овладение Берлином, Прагой, Веной и, пожалуй, Италией, при этом в последнем случае, Черчилль объявляет войну не Советам, а Тито. И наконец, восьмой пункт утверждает, что решение всех проблем, возникших между Западом и Востоком, должно быть завершено до того, как союзники уйдут из Европы… Пожалуй, я сказал все, но тут не столько моя заслуга, сколько Черчилля: он умеет быть и пространным, и кратким. В данном случае сказался его талант краткости.

Точно кольчугой сдавило грудь Бекетова — не вдохнуть, не выдохнуть.

— Вы верите, господин Галуа, что такой документ существует?

— Похоже, что так, господин Бекетов, чертовски похоже… — Он наморщил нос, задумался. — Все дело в том, что это мнение для Черчилля не ново, просто он сделал круг и вернулся на свои исконные позиции. Мне кажется, в начале войны, когда он менял позиции, ему это было сделать труднее, сейчас легче. Создав этот документ, он, мне кажется, не испытал угрызений совести. Он мог сказать: я всегда так думал. Больше того, этого надо было ждать. И потом… — он запнулся и с заботливой пристальностью взглянул на Сергея Петровича.

— Да, и потом? — осторожно спросил Бекетов.

— Не очень хочется возвращаться к этому итальянскому конфликту, но, если вернуться…

— Если вернуться, господин Галуа?..

Галуа подозвал официанта и глазами указал на пустую бутылку, тотчас появилась новая.

— Нет, если не просто вернуться, а дать себе труд помыслить над этой проблемой… Понятно? — он налил Бекетову и себе,

налил щедро и, не дожидаясь, пока Сергей Петрович поднимет рюмку, выпил и тут же налил себе новую. — Я заметил, водка помогает мне думать, немного водки, — уточнил он. — Так вот, если помыслить, как вела себя в этом конфликте каждая из сторон, то нам откроется…

— Что… откроется?

— Была сила, которая играла роль… злого гения, — спокойно ответил Галуа. — Сила, которая настойчиво и, смею думать, вероломно разжигала страсти, обращая гнев американцев против русских. Эта сила — Черчилль… Поймите меня верно, — сказал Галуа, — я видел Лондон сорокового года и был свидетелем того, что совершил тогда Черчилль. Есть мнение, что само суровое время войны помогло совершить то, что совершил он, но я не разделяю этого мнения. Тут многое сделал он, и, пожалуй, только он, в частности разгром прогерманцев, известных здесь под именем Кливдена… Но, на мой взгляд, заслуги и проступки — сосуды, отнюдь не сообщающиеся: герой, спасший отечество, должен быть обезглавлен, если он поднял на отечество руку…

Уже вернувшись в посольство, Бекетов вспомнил весь разговор с Галуа, а заодно и систему его доводов. Убедительно ли это, спросил себя Сергей Петрович. Не хотелось принимать на веру все, что сказал Галуа, но очень уж это было похоже на правду. В чем суть того, что сказал Галуа Бекетову сегодня? В годы войны было два Черчилля: явный и тайный. У явного была резиденция на Даунинг-стрит, у тайного — где-то в пределах Скотланд-ярда. Явный вручал меч Сталинграду и принимал почетный караул на московском аэродроме, тайный засылал диверсантов в польские леса и поднимал восстание в Варшаве… Это своеобразное расщепление на двух Черчиллей, явного и тайного, имело место еще вчера. Сегодня произошло долгожданное: Черчилль воссоединился. Однако почему Галуа сказал все это Бекетову, да притом в тонах, которые были сильнее того, что до сих пор говорил француз, возможно, даже сильнее того, что он говорил о Черчилле? Француз был очевидцем этой войны, очевидцем и, пожалуй, участником, а для него она была славой России. В глазах Галуа Черчилль поднял руку на самое святое, что несла эта война и для Галуа. Черчилль и, пожалуй, все те, кто уже пошел за Черчиллем, пошел и еще пойдет. Новая книга Галуа, верстку которой он захватил в этот вечер с собой, правда, захватил скорей нечаянно, чем намеренно, быть может, говорила об этом же. Галуа был в гневе, Сергей Петрович не хотел подвергать этот гнев сомнению, хотя некоторое сомнение тут было уместно — в конце концов, Галуа пришел из того мира, да и все корни его были там. Наверно, что-то совершила в его

сознании война, но она не могла возобладать надо всем, что было его первоприродой, его существом. Или могла, все-таки могла? Когда речь идет о войне справедливой, она все может.

66

Благодатно апрельское солнце… Даже двери, покой которых все эти четыре года берегли болты, намертво скрепленные винтовыми замками, двери магазинов, которыми издавна был знаменит Кузнецкий, вздрогнули и нехотя распахнулись. Нельзя сказать, что магазинные замки хранили все эти годы несметные богатства, но каждый раз они открывались не без труда — велико обаяние тайны, даже такой, как эта…

В двух шагах от наркоминдельского подъезда тоже была открыта дверь, все эти годы остававшаяся закрытой, массивные врата, ведущие в царство книжников, в мир дипломатической науки. Есть некое волшебство, когда в твоих руках оказывается редкая книга — казалось, человек, создавший ее, и время, сохранившее ее, заключили в книге силу, настолько магическую, что зримое влияние каждого заключенного в ней слова удесятерилось. А за тайными вратами, которые мы назвали выше, была целая библиотека таких книг, книг бесценных, единственно правомочных ответить на вопрос, для теоретика и практика дипломатии неколебимый: что есть прецедент. Значение этого ответа всегда было всесильно, тем более дорого оно было сегодня: за встречей трех маячила — правда, не столь отчетливо, как бы хотелось, — мирная конференция… Впрочем, независимо от встречи трех и даже мирной конференции, которая могла быть и могла не быть, требовали решения проблемы насущные: статут послевоенной Европы, статут Германии, новые границы, репарационные платежи… Какова была правовая основа у этих проблем, а заодно и история — вот вопросы, на которые могла дать ответ только дипломатическая книга и, пожалуй, документ… За просторными окнами библиотеки, некогда витринными, скрестились дороги дипломатической теории и грешной практики. Не было иного места в большом наркоминдельском доме, где бы чаще, чем здесь, встречались те, кому по службе и призванию были сегодня подвластны проблемы войны и мира, — можно сказать, будущее Европы, впрочем, не только Европы, если не решалось, то тщательно исследовалось за витринными окнами большого дома на Кузнецком…

Не желая тревожить отца (у Иоанна было худо с сердцем), Бардин утаил от него весть о Стокгольме, но настал день отъезда, и дальше таить было нельзя. Стокгольм придал важности не столько сыну, сколько отцу — голос Иоанна стал сиповат и торжественно тих. Он велел положить себе под голову еще одну

подушку, высоко приподнялся, с заботливой важностью выпростал больную руку и возложил ее на одеяло.

— Вот вспомнил сейчас свою поездку во Францию в году… дай бог памяти, двадцать шестом… — произнес Иоанн, как бы самим голосом приглашая сына подойти к нему и сесть подле. — Ну, для меня заграница не столь… заезжена, как для тебя, я был там один раз. Но тут, пожалуй, привилегия не твоя, а моя: вторая поездка сшибает первую и в памяти ничего не остается! У меня была одна поездка по городам и селам Франции, даже больше по селам, чем по городам, понимаешь, одна, и вот тут все как вчера… — он ткнул кулаком в лоб, весьма бесцеремонно. — Хочешь знать, что мне пришлось по душе в этой сельской Франции? Хочешь знать?

Бардин пододвинул стул, сел у постели. Ему была известна эта интонация отца (терпимо доверчивая, в чем-то даже просительная: «Хочешь знать?»). Нарочито-робко, с придыханием он начинал все свои баталии, а потом, воспрянув и распалившись, хватал тебя едва ли не за загривок. Бардин сел у изголовья Иоанна и неожиданно установил для себя, что давно не видел отца так близко. Отец открылся ему своей непохожестью. Егор Иванович не знал такого отца, пожалуй, даже прежде не видел. Вот эти ярко-белые седины, которые с игривостью, противной возрасту и, пожалуй, возрасту в насмешку, вдруг завились, пошли несерьезными волнами. Вот эта синеватость губ, какая-то стылая. Вот эта дряблая холмистость кожи на тыльной стороне рук, которой отродясь у него не было. Вот эта острота подбородка, жалостливая, даже страдальческая.

— Хочу знать… — ответил Бардин, было ясно, что от вопроса отца никуда не уйти.

— Ну, как бы это тебе сказать одним словом? — спросил Иоанн с той же нарочитой робостью. — Ухоженность… вот это слово! — возгласил Иоанн, он был доволен, что отыскал это слово — Если дорога, то дорога, если забор, то забор, если мост, то это мост!.. — Он вдруг засмеялся, махнул здоровой рукой очень смешно. — Проехал половину Франции — ни одной колдобины не видел!

Бардин взглянул на стул, что стоял у изголовья: белый лист бумаги и на нем в обязательной последовательности, иоанновской, склянка с зеленинскими, валидол, очки, обернутые в лоскуток бумазеи (он протирает им стекла), яблоко моченое на блюдечке, стопка книг, среди которых заметен корешок тимирязевских записок. Все строго, чинно, не неожиданно, за исключением томика толстовских повестей и рассказов, открытого на «Крейцеровой сонате». Иоанн целомудрен, и боже

упаси перемолвиться с сыном на темы деликатные, но сам с собой, пожалуй, говорит — видно, его занимают не столько отношения полов, сколько психология, — специальным книгам, которые он знает, предпочитает Толстого.

— Погоди, ты это говоришь для сравнения? — спросил Бардин, помаленьку он уже начал закипать.

— Для сравнения, конечно, — ответил Иоанн отважно.

— Нашел когда сравнивать: у нас нет сил школу поднять из пепла, а не то что забор поставить!.. — едва ли не закричал Бардин, да так громко, что Ольга метнулась из одной комнаты в другую. — Нашел что сравнивать, соображаешь, ты?.. — вопросил Бардин и тут же мысленно осек себя — насчет соображения можно было бы и не говорить.

— Соображаю! — отрезал Иоанн, и его больная рука слепо дернулась и затихла. — Соображаю, сын мой разумный… — повторил он, смиряя волнение. Он оттянул рукав и промокнул им лицо, видно, мигом оно стало мокрым. — Ольга, дай мне воды…

Вбежала Ольга, стакан подпрыгивал на блюдечке, вода плескалась на пол.

— Ты мне отца не… тревожь! — воззрилась она на мужа, такое с нею бывало не часто.

— Не трону, — сказал Егор Иванович и поднялся было, чтобы уйти, но Иоанн ухватил его за рукав:

— Не уходи.

Они сидели сейчас безгласные и покорные, не было людей мирнее.

— Погоди, я говорю не о том, что сегодня, а о том, что должно быть завтра, — произнес Иоанн, с несмелым согласием смежая веки. — А коли речь идет о том, что должно быть завтра, самый резон взглянуть, что было вчера…

— Ну хорошо… что было вчера? Сделай милость, что было?..

Вновь Иоанн выпростал больную руку и положил поверх одеяла, когда вспыхнул спор, она с перепугу упряталась бог знает куда.

— Ты едешь по стране, как гость знатный, и ничего не видишь, а я вижу! — вдруг взорвался Иоанн, и его больная рука подпрыгнула.

— Ну, говори, что ты увидел, говори же… — заметил Бардин. Стул, на котором сейчас сидел Егор Иванович, точно накалился, мудрено было усидеть.

— А вот, что я увидел: человек смотрит на разрушенное, разбитое, поваленное, расколоченное и не замечает того! — произнес Иоанн гневно. — До войны, да, да, до войны!..

— И это ты все видел, да? — спросил Бардин, он хотел, чтобы

отец высказал все, что наболело.

— А то как? Видел! — казалось, Иоанн был рад вопросу сына. — Ты хочешь знать, что я видел? Изволь!.. Я видел дорогу, которая семь лет лежала в ухабах, при этом, по крайней мере дважды, по ней шли всем миром голосовать в Совет… Видел это я, видел!.. Я видел, как на много километров тянули зеленый забор, пытаясь создать видимость некоей идиллии… Когда речь идет о неправде, мелочей нет…

— Ты сказал, неправда?

— Именно неправда!.. — заметил он. — Вот посуди. Если мы даже не думаем о том, что склоняем людей к тому, чтобы не видеть запустения… как это назвать! Не хочу громких слов, но это бог знает что! А все происходит оттого, что у нас тут есть один предрассудок, кстати, предрассудок не новый… при этом касается он вопроса кардинального — нашего представления о благополучии человека, быть может даже благосостоянии…

Бардин смотрел на отца, спор дал ему силы. С лица схлынула бледность, оно даже слегка порозовело — Иоанн оживал на глазах.

— Предрассудок? Какой?

— Есть старое русское представление о рае, очень старое представление, которое бытовало широко… У такого рая есть много отличительных черт, но главная — не надо работать на барина… Когда русский мужик, трижды угнетенный адовой поденщиной, говорил: «Одно слово — райская жизнь», это его заклинание предполагало — там не надо работать на барина! И в этом ничего предосудительного не было, освободиться от такой поденщины — благо. Но ведь нынче иное дело…

— По-моему, ты подвел рассказ к главному, отец? Признайся, к главному?

Иоанн улыбнулся, ну что ж, кажется, к нему вернулось и настроение.

— Угадал, к главному.

— Тогда, может быть, скажешь: какой же выход из положения?

Иоанн оперся на здоровую руку, сел поудобнее.

— Нет, до сих пор спрашивал ты, теперь пришел мой черед задавать вопросы. Вернусь к своей старой мысли, она тебе известна… Нельзя освобождать человека от заботы о самом себе, — продолжал Иоанн. — Надо не уставать твердить человеку: за тебя никто не сделает.

— Погоди, какой смысл время терять, взял бы и применил это золотое правило в своей Баковке! — посоветовал Егор Иванович серьезно, видно, и он обрел это умение бардинское

подзадоривать.

— А я применил!.. — отозвался Иоанн спокойно, нарочито спокойно.

— И никого не спросил? Сам… взял и применил?

— А кого мне спрашивать? Главное, чтобы у меня самого была уверенность, что все это полезно…

— Погоди, ты это втайне сделал или показал кому надо?

— Показал, конечно…

— Кому показал-то?

— Вот ведь прицепился! Кому надо показывать? Секретарю райкома показал, тебя это устраивает?

— Ну, и как он… секретарь?

— Приехал, обошел Баковку, пожал плечами, улыбнулся. «Ты, Иван Кузьмич, говорят, тут самовольничаешь, так?» Я смолчал, повел его через поле и поселок не минул. Видит, дороги подлатаны, блеска нет, но порядок налицо, мосты поставлены на сваи и настланы, заборы появились, да еще с воротами… Собрал народ. «Вы, товарищи?» — «Мы, своими руками!» — «Довольны?» — «Как не быть довольными, порядок!» — «Спасибо, так и впредь делайте, товарищи!» По-твоему, секретарь… не очень? — подмигнул Иоанн. — А по-моему, лучше и не надо!.. — Он посмотрел на Егора Ивановича жалостливо. — Прости, сын, что я тебя опустил с этого твоего дипломатического высока на грешную землю. В самом деле, да уместен ли этот разговор: раут посольский и вдруг забор… да не конфуз ли это? Определенно конфуз!

Бардин покинул Ясенцы смущенный немало: и надо было возразить отцу, да как ему возразишь? Нагнал старик тумана, не продохнешь. А может, не надо бояться этого тумана, а? Может, в картине, что он нарисовал, есть крупица здравого смысла, а в здравом смысле и правда? Кому-кому, а ему нельзя отказать в знании жизни. А если он знает жизнь, может быть, есть резон прислушаться к тому, что он говорит? В самом деле, быть может, то, что зовется сферой дипломатической, слишком высоко расположено над землей и время от времени есть смысл спускаться с этого высока на землю грешную. Сколько раз Бардин журил судьбу, что она дала ему строптивого родителя. У всех отцы как отцы, а этот — стручок красного перца: попадет в горло, накашляешься досыта! А может, хорошо, что у тебя такой батька, хоть забияка и строптивец, но пестун и строитель, зачинатель всего отчего? И дипломатии этакий Иоанн-креститель не противопоказан — дипломатия хороша, когда она не очень-то теплична… Вот только неудобно: сколько раз Бардин зарекался начинать спор с отцом перед большой дорогой, не получается!

Ведь есть же отцы, что, провожая сына, кладут ему добрую отцовскую руку на плечо, а напутствуя, говорят все слова мягкие, согретые родительской радостью, а этот взъярил всего тебя и встревожил — дорога до Стокгольма слишком коротка, чтобы прийти в себя.

67

Все тот же посольский старожил в неизменном твидовом пальто, правда, теперь в звании советника, встретил Бардина на стокгольмском аэродроме и сообщил, что Егор Иванович истинно попал с корабля на бал — по случаю отбытия Александры Михайловны из Стокгольма посольство устраивает сегодня прием.

— Стокгольм без Коллонтай — совершенно невероятно, — вздохнул посольский старожил и указал печальными глазами на «дуглас», одиноко стоящий в дальнем конце аэродрома. — По-моему, такой чести не удостаивался ни один наш посол — Москва прислала специально…

Бардин нашел посольство объятым смятением, одновременно торжественным и тревожным. Ну, разумеется, это был праздник Коллонтай, но одновременно и проводы: стало известно, что Александра Михайловна назначается советником наркома и что это всего лишь формула почетной отставки — Коллонтай уходила на покой.

Бардин явился к Александре Михайловне и был немало смущен: приемная полна народу — стокгольмцы уже стояли в очереди, прощаясь с послом. Наверно, у этих встреч установился свой ритм и, пожалуй, настроение: тех трех минут, которые гость находился в кабинете посла, было достаточно, чтобы волнение полонило его, было похоже, что он возвращался в приемную иным.

Но вот человек, который остался самим собой, Карл Герхгардт — бард шведского антифашизма, чьи песенки-памфлеты распевала вся Скандинавия. Бардин отметил его по темно-зеленой бархатной куртке и черному банту, какой носили свободные художники в начале века.

— Великая актриса уходит со сцены! — возгласил Герхгардт, выходя из кабинета. В его устах это было лучшей похвалой: и храбрость жизни, и верность призванию, и, конечно, талант — какая же великая актриса без таланта.

Но Александре Михайловне меньше всего подходили в эту минуту патетические слова; как показалось Егору Ивановичу, она была кротка и как-то смятенна.

— Я иногда напоминаю себе шахматиста, который завершил партию, длившуюся много лет, партию не столько комбинационную, сколько позиционную, требующую напряжения сил… — Она предложила Егору Ивановичу сесть против окна, так он был лучше виден ей. — Ну что ж, главное, что партия

завершена…

Она нашла верные слова, чтобы определить свое стокгольмское подвижничество. То, что она сделала в Скандинавии хотя бы в последнее шестилетие, действительно напоминало шахматную партию, где были расчет и выдержка, трижды расчет и выдержка.

— Партия завершена и не завершена, — заметила она. — Финляндия — это все еще трудно… В какой мере она поймет все происшедшее в эти годы?.. — Она приумолкла, раздумья завладели ею — Ну, разумеется, она вольна повести себя и так и этак, у нее есть все для обоих этих решений… Все гарантии — в ней самой. Я скажу больше, в ее доброй воле.

Ее можно было понять так: Финляндии сохранены все ее государственные институты, кстати и некоторые из тех, которые вызвали к жизни Маннергейма и Рюти. Иначе говоря, Финляндия, так кажется Александре Михайловне, может сотворить и не сотворить новых Маннергейма и Рюти. Собственно, от ее зрелости, ее государственного ума, ее способности понимать ситуацию и намерение соседа зависит, каким путем она пойдет. Как ни велики были жертвы, которые понесла Россия, она положилась на честное слово Финляндии, наверно, это немало, но только в том случае, когда так думает и тот, кому надлежит это слово сдержать.

— Одни мы тут ничего не сделаем, Александра Михайловна, нам нужны друзья… Так я вас понимаю?

— Именно, одни мы тут ничего не сделаем… — подтвердила она. — Простите меня, но, по моему разумению, качества тех, кто будет здесь после нас, должны определяться способностью завоевывать новых друзей… — Она приумолкла, задумавшись. — Это очень хорошо умел делать Чичерин… Чудак человек? Быть может, но из тех великих чудаков, которые украшали историю человечества… Да, принимал по ночам послов, а потом садился за рояль и играл до утра Моцарта, в дипломатических нотах не пренебрегал цитатами из древних греков, а свободное время отдавал чуть ли не расшифровке египетских свитков. Наверно, все это выглядело и не очень обычно, но Ленина, например, не смущало, при этом не смущало настолько, что он назвал имя Чичерина как вероятного кандидата на пост наркома по иностранным делам еще в ноябре семнадцатого… Мне была понятна позиция Владимира Ильича: всем своим обликом Чичерин соответствовал этому посту и к тому же у него был талант общения. Ах, какие письма он писал Фритьофу Нансену! Когда я работала в Осло, мне удалось прочесть одно удивительное чичеринское письмо норвежскому ученому. Речь

шла ни больше ни меньше как об организации транссибирских перелетов в Америку, которые тогда увлекали норвежца. Да, письмо было помечено двадцать четвертым годом, хотя уровень разговора современен и сегодня. Насколько мне память не изменяет, меня поразила в письме Георгия Васильевича, адресованном Нансену, фраза, смысл которой звучит примерно так: «С тех пор как Вы стали поддерживать эти планы, мы считаем их лучшей гарантией надежности и верности…» Ведь — это скажешь не каждому… Мне остается добавить, что в трудную годину, когда страна была объята голодом, именно Чичерин был тем человеком, который представлял нас в отношениях с Нансеном, обратив его огромный авторитет на помощь России… — Она вновь затихла. — Согласитесь, что в жизни человека нет минуты счастливее, чем та, когда он имеет возможность прийти на помощь своему народу…

Конечно, она сейчас говорила о Чичерине, но, быть может, чуть-чуть и о себе.

Она сидела, глубоко опустившись в кресло, укрывшись шерстяным платком, густокоричневым, пушистым, связанным большими спицами, возможно, кто-то из посольских доброжелателей Коллонтай, видя, что ей неможется от холода, связал этот платок. Когда она, точно возражая незримому собеседнику, вскидывала голову, у нее было кротко-гордое выражение лица, в нем были снисходительность и вызов. Иногда она высвобождала руку и приминала на виске седины, она делала это с таким изяществом, что можно было подумать: она приучила себя к этому жесту, когда ее волосы еще не были седыми, и теперь не может отвыкнуть.

— В Швеции у нас свои заботы, — продолжала она. — Надо сберечь тех, кто нам помогал все эти годы, у нас тут есть настоящие друзья…

— «Кружок Коллонтай»? — подсказал Бардин, он знал, что когорту добрых наших друзей, тянувшихся все эти годы к посольству и не изменивших ему, Стокгольм нарек «кружком Коллонтай».

— Ну что ж… может быть, и «кружок Коллонтай», — согласилась она воодушевленно, ей приятно было согласиться. — Опираясь на друзей, можно сделать многое, — произнесла она. — Таких, как Хаген, например. Он помнит вас, сегодня он будет, — сказала она, улыбнувшись. — Мы на пороге новых времен… Может быть, принципиально новых, и нам надо уяснить, какова должна быть наша политика в Скандинавии, если хотите, стратегия нашей политики… — сказав «стратегия», она точно призывала и Егора Ивановича подумать над этим.

Бардин смог быть в посольстве часу в десятом вечера — у Королевской библиотеки он отпустил машину и пошел через парк. Когда он выбрался из сумерек деревастого парка, он не узнал посольской улицы: она была полна машин, — не иначе, Коллонтай прощалась со шведской столицей, а столица чествовала Коллонтай.

Вереница автомобилей, стоящая в посольской улице, давала приблизительное представление о количестве гостей; Егор Иванович соотнес число гостей с размерами посольского особняка и решил, что в эту минуту к Александре Михайловне не подступиться. Действительно, не без труда проникнув в зал, где происходил прием, он увидел за неприступным барьером спин и затылков кресло, заметно высокое, и в нем виновницу торжества. Свет торшера, что стоял поодаль, слепил Александру Михайловну, и, протянув руку, она попросила его погасить. Лицо ее, как показалось Бардину, было в эту минуту усталым, но счастливым. У этого вечера был свой протокольный план, толпа как бы обтекала кресло, в котором сидела Александра Михайловна. Иногда движение замедлялось — возникал диалог, летучий, зачин был за Коллонтай, два-три слова, но неизменно слово-благодарность, слово-признательность, сопутствуемые воспоминанием, шуткой, каламбуром, который всегда давал силы.

— Георгий Иванович, я хочу вас познакомить с моим доктором Наной Сварц, помните? — Александра Михайловна протянула Бардину слабую руку, точно осеняя его. Да не та ли это Нана Сварц, которая в тот трижды жестокий август сорок второго года вернула Коллонтай сознание, сделав инъекцию гепарина? — Помните стокгольмский госпиталь Красного Креста, Георгий Иванович? — Да, нет сомнения, это она. — Доктор согласилась быть со мной в полете в Москву… мы летим вместе с моим доктором.

Женщина со строгой учтивостью наклонила голову, при этом ее волосы, прямые, по-мужски остриженные, рассыпались, затенив лоб.

— О вас спрашивал господин Хаген, Георгий Иванович, — произнесла Коллонтай, оглядывая зал. — Видно, уехал уже, но завтра он будет на аэродроме… Может быть, и уехал так рано, чтобы завтра быть, мы вылетаем на рассвете…

И вот стокгольмский аэродром с островками темного мартовского снега, ветреный рассвет, настолько ветреный, что Хагену необходимо проявить немалую расторопность, чтобы удержать на голове башенку меховой шапки.

Бардин возвращался в Стокгольм со шведским другом. Время не пощадило и неколебимого, казалось, могучего организма Хагена, что-то появилось в шведе, как привиделось Бардину, стариковское — некое всепрощение во взоре, смешанное с жалостливостью.

— Стокгольм без Коллонтай — непостижимо… — заметил Хаген, поднимая воротник. — Время ко всему приучает, но надо, чтобы прошло время…

Бардин пытался осмыслить происшедшее. Не часто европейская столица устраивала такие проводы послу, какие Стокгольм устроил Коллонтай, и дело, разумеется, не в официальных проявлениях приязни, не в банкетах и цветах — было нечто более серьезное, что отмечало этот факт. Человеку, которому специальным установлением шведского суда был запрещен въезд в Швецию, вдруг едва ли не тем же установлением выражалось сожаление, что он Швецию покидает. Чтобы свершилось это, человек должен, как это бывало в средневековье при штурме крепостей, протаранить каменный вал толщины завидной — по силам ли это было слабой женщине? Оказывается, по силам. Ее ум благородный и интеллигентность совершили чудо — шесть языков, на которых она говорит, редко когда работали с такой отдачей, как здесь.

За полдень Хаген заехал за Бардиным. Хаген жил в двух шагах от старой обсерватории, ее купол, как бы укрепленный на холме, высился за домом. Возраст дома выдавал лифт. Узкая кабина с двумя дверьми — одна из которых, решетчатая, собиралась гармошкой — была ровесницей биплана братьев Райт и относилась к началу века. Квартира была просторной, тщательно вымытой, полной солнца. Ощущение чистоты и солнца усиливалось оттого, что квартира была снежно-белой. Стены, потолки, рамы окон, внутренние ставни, облицовка старинных печей — все было ярко-белым, нетускнеющим. Голос, отраженный в высоких потолках, звучал гулко, а шаги точно катились из комнаты в комнату, — наверно, в такой квартире хорошо пелось.

Навстречу Егору Ивановичу вышла госпожа Хаген — женщина большая и белотелая, в пышных сединах. Она попробовала заговорить с Бардиным по-французски и, обнаружив, что ее собеседника объяло смятение, не без изящества перешла на английский. Она сказала, что редактирует женский журнал, в котором сотрудничала и госпожа Коллонтай.

— Она была и моей советчицей, — заметила хозяйка дома. — Редко какой номер журнала планировался без ее участия, — заметила она и, взглянув на мужа, удалилась торопливо, видно, торопил и Хаген — встреча обещала быть деловой.

— Я говорил вам о Курте Юхансене? — спросил Хаген и ввел Егора Ивановича в просторную комнату, очевидно самую большую в квартире, обставленной мебелью, какая была модна на севере Европы перед первой войной, — полированное дерево, украшенное цветным металлом и эмалевыми медальонами, — мебель была не помпезной, но по-своему изящной, в белой квартире Хагенов она хорошо смотрелась. — Ну, Курт, можно сказать, глава упсальского землячества в Стокгольме, один из тех, кого наша столица так и не обратила в свою веру! — Он засмеялся, наблюдая, как Бардин пытается втиснуться в нещедрые пределы стильного кресла с медальоном. — Одним словом, дружище Юхансен явился ко мне и сказал, что есть частная инициатива, по всей своей сути благородная: группа независимых шведов едет в Хельсинки. Цель — встреча с деятелями современной Финляндии и разговор, так сказать, по большому счету. Результат поездки, возможно, станет достоянием общественности, возможно… Одним словом, я согласился участвовать в поездке. Признаюсь, меня интересовала встреча с Паасикиви, который только что был назначен премьер-министром. Последний раз я видел Паасикиви в феврале прошлого, сорок третьего года, когда он приезжал в Стокгольм для встречи с Коллонтай. Как известно, приезд держался в секрете, и я не имел возможности разговаривать с финном. Но я обратил внимание на его вид, наверно, он в какой-то мере отражал ответственность, которую финн взял на себя, совершая эту поездку, и понимание, как это в нынешних условиях трудно: он был сумрачен. Мне даже показалось тогда, что он мало верит в успех своей миссии; видно, он знал, как велики силы, которые ему противостоят. И вот новая встреча с Паасикиви, на этот раз с премьер-министром Паасикиви, встреча в Хельсинки…

В соседней комнате раздался телефонный звонок, а вслед за этим и голос госпожи бургомистерши. Хаген извинился и вышел. Он вернулся тотчас и, медленно опустившись в кресло, некоторое время сидел молча, с усилием припоминая конец прерванного рассказа, — видно, сообщение, которое он услышал по телефону, непрошено вторглось в его сознание и прервало мысль.

— Только что звонили из Шведского телеграфного агентства, есть важное сообщение из Америки, обещали еще позвонить… — произнес он торопливо, точно желая освободиться от того, что услышал по телефону, и, таким образом, быстрее вернуться к прерванному рассказу. — Итак, мы говорили о Хельсинки с Паасикиви, только что ставшим новым премьер-министром. И вот что меня поразило: у него был все такой же хмуро озабоченный вид. Я мог только подумать: как же это должно быть трудно, если

даже после изгнания немцев просветление относительно. А Паасикиви уже говорил. Однако что он сказал?

Бардин верно понял шведа: воссоздав беседу с Паасикиви, он хотел утвердить свой взгляд на самую первосуть отношений новой России и Финляндии. Но что все-таки сказал шведу Паасикиви?

Он сказал, что немцы, уходя из Финляндии, подвергли страну разору. Нет, сожжены не только мосты, что можно понять, так как по следу немцев шли русские, сожжены сотни церквей. Швед не знает, в какой мере сильно религиозное чувство у Паасикиви, но он был в эту минуту черным. Казалось, все это должно было открыть глаза на истинный смысл союза с немцами, сказал Паасикиви, но, к сожалению, получилось не так. Формула Свинхувуда: «Любой враг России должен быть другом Финляндии» живет еще в Финляндии в известных кругах и действует. Короче, в Финляндии были попытки начать партизанскую войну против русских… Что можно сказать? На взгляд Паасикиви, это акция антифинская… В том, с каким гневом это произнес Паасикиви, швед почувствовал: у финна была убежденность, что эта акция действительно чужда национальным устремлениям финнов. Но мнение человека сказалось и в ином — с каким сознанием правоты он излагал свою концепцию советско-финляндских отношений. Если у человека может быть идея в жизни, то это именно такая идея. Он связал себя с этой идеей с той далекой поры, когда почти двадцать пять лет назад приехал в Тарту, чтобы подписать мирный договор с Россией, а потом брал на себя ответственность договориться с русскими на самых трудных поворотах финской истории. Как показалось Хагену, это мнение финна опиралось не столько на эмоциональное начало, сколько на здравый смысл, опыт, расчет. Швед, разумеется, знал все это и прежде, но то, что Паасикиви сказал ему в тот декабрьский день в Хельсинки, было и для него впечатляющим. Паасикиви заявил, что считает себя убежденным сторонником Ленина, который полагал, что разница в государственном и общественном укладе не может явиться препятствием для добрых отношений между странами, при этом даже со столь разной и в чем-то антагонистической историей, как у России и Финляндии. По словам Паасикиви, он считает для себя заманчивым положить начало именно этому типу отношений. Он убежден, в силах Финляндии и России эту идею претворить в жизнь в такой мере, чтобы мир мог сказать: «Вот две страны, по всем статьям разные: одна большая, другая малая, одна — вызванная идеями русского Октября, другая — западной демократии, одна — соединенная живой пуповиной с миром

новым, другая — с миром старым… Вот две страны, по всему разные, умеющие жить в мире, ладить, находить общий язык в делах насущных, будь то стройка гидроцентрали на озерном водопаде дикого Севера, многомиллионная торговая сделка или дипломатическая акция, столь же крупная, сколь и сложная… Вот две страны, по всем данным разные, однако явившие людям истину непреходящую: этот мир и этот лад отнюдь не монополия Финляндии, такое может быть у России, как, впрочем, и у Финляндии, и с другими странами — мир просторен и многолик…» Как отметил швед, беседа заметно увлекла Паасикиви, его пасмурность развеялась, он даже как-то посветлел. «Не надо быть большим знатоком проблемы, чтобы понять: опыт наших отношений с Россией принципиален по своей сути; быть может, в нем завтрашний день отношений, какие сложатся в мире…»

Хаген приподнял салфетку, приятно крахмальную, стоящую жестким конусом над убранством стола, глазам открылся тонкого китайского фарфора сервиз, две чашечки, ваза с печеньем, ярко-желтым, по виду рассыпчатым и маслянистым, кофейник, чуть припотевший вокруг крышечки, неплотно сидящей.

— Паасикиви — человек по-своему убежденный, и это внушает уважение, — произнес Хаген, осторожно разливая коричневую влагу, она была густа и лилась тяжело. — Не скрою, мне было приятно наблюдать его. Когда человек едва ли не на исходе жизни подтверждает верность идее своей молодости, что может быть в наше время больше этого! — Нетрудно было догадаться, что эти взгляды не чужды и Хагену. — Конечно же он был пасмурен, при этом даже в юморе своем, но иначе он не был бы финном!.. — произнес Хаген, не замечая того, что воздал должное шведскому юмору, который и существует потому, что на свете есть пасмурность финнов. — Если же шутки прочь, то следует сказать, что Паасикиви, будь он премьером или даже президентом Финляндии, по сути, больше чем премьер и президент, так как опыт его жизни имеет принципиальное значение для судеб мира.

— В Швеции есть друзья у Паасикиви? — спросил Бардин, в данном случае Егора Ивановича заботил не только финн, но и швед: интересно было узнать, как много у него сподвижников.

— Вы хотите знать, какой тыл у Паасикиви? — усмехнулся Хаген.

— Если вам так нравится, — ответил усмешкой на усмешку Бардин.

— Как говорят в Упсале: «Ты силен своими соседями…» — подмигнул Хаген. — Хорош тыл сегодня, а завтра будет еще

лучше…

Вновь за дверью пролился твердый ручеек телефонного звонка. Хаген встал. Беседа так завладела им, что он, по всему, забыл о предупреждении друзей из телеграфного агентства. Но, странное дело, Бардин и теперь приметил, как легкая тень, тень озабоченности, быть может, даже скорби легла на лицо Хагена — что-то в тоне человека, звонившего час назад, не понравилось шведу.

Бардин слышал, как хозяин снял телефонную трубку и возглас изумления раздался за дверью. Хаген точно спрашивал человека, который был на том конце провода: «Что ты сказал? Что сказал? Повтори!»

Хаген бросил трубку, не пошел, а побежал. В той комнате свет был не включен, и он напоролся на кресло — было слышно, как, сдвинувшись, оно тяжело ударилось о стену. Он возник в белой раме дверей и, овладев собой, опустился на диван. В комнату вплыла госпожа Хаген.

— Что-нибудь произошло, милый? — спросила она, но смотрела в эту минуту не на мужа, а на Бардина, точно проверяя на нем верность ответа, который ей предстояло услышать.

— Умер президент Рузвельт, — произнес Хаген и не без страха посмотрел на Бардина — не очень-то хотелось, чтобы русский узнавал эту весть от него. — Известие достоверно: его подтвердили и Рейтер, и ТАСС… — последнее уже было прямо адресовано русскому гостю.

Бардин оперся на подлокотники, встал нелегко. Первая мысль: а это уже беда, именно беда…

Тремя днями позже американским военным самолетом, идущим через Исландию и Ньюфаундленд, Егор Иванович вылетел в Штаты.

68

Бардин был немало удивлен, когда среди тех, кто его встречал в Вашингтоне, увидел Мирона… С той поры, как брат был в сенцах, у Егора Ивановича вдруг появилось чувство вины перед ним. Ему даже однажды пришла на ум мысль странная: да не обделил ли он брата? Было такое чувство, что свое счастье Егор Иванович обрел за его счет. Ему показалось, что Мирон втайне думает именно так. И вот брат явился как ни в чем не бывало, хочешь не хочешь, а изумишься… Уж теперь Егор все выяснит и поставит на свои места, только было бы со временем посвободнее — разговор требует простора.

А простора большого, судя по всему, не предполагается — на аэродром явился и Бухман, с печальной доверительностью обнял Бардина, безмолвно свидетельствуя, что утрата невосполнима, значительно вздохнул и сказал, что очень хотел бы увезти Бардина в родительский дом и отвести душу. Они договорились встретиться завтра.

А между тем Мирон подал свой «форд-меркурий», усадил брата рядом с собой и направился в город.

— Как Америка простилась с президентом? — спросил Бардин. — Как это происходило?

Мирон смотрел на брата, испытывая легкое смущение.

— Как-то это возникло и схлынуло не очень заметно, — вымолвил он с некоторой неловкостью. — Вечером того дня, когда это случилось, я ужинал в пригородном ресторане, и за одним столиком со мной оказался паренек в форме летчика. Я сказал: «Жизнь уравновешивает радость и горе». А он спросил: «О каком горе вы говорите?..» Мне неудобно было ему ответить, это прозвучало бы упреком, и я смолчал, а он переспросил настойчиво: «О каком?» Как потом выяснилось, он вел себя так не по неведенью, просто это событие не ворвалось в его сознание с той силой, какая отождествляется с горем… — Он помолчал, точно стремясь еще раз проникнуть в смысл происшедшего. — Я не виню его, он не один такой, это было видно по тому, как вела себя в эти дни Америка… У нас бы вели себя по-иному…

— Так у нас, я уверен, на смерть Рузвельта и отозвались по-иному, — был ответ Бардина. — У нас любили президента…

Мирон промолчал, может быть, вспомнил тот первый разговор о Рузвельте в доме вашингтонских греков.

— Ну, что… умолк? — спросил Бардин, не тая горячности. — У нас любили президента… Не хочешь ли сказать, что слова не те?

— Не те, брат…

Бардин взорвался:

— Был Рузвельт, пришел Трумэн… одним миром мазаны, да?

— Нет, не одним…

— Наши дети лучше нас поймут, он был нам великим другом… — сказал Бардин, в этой фразе было нечто компромиссное — в судьи призывались дети. У Егора Ивановича не было желания в споре с братом идти по новому кругу.

— Хочу, чтобы нас поправили наши дети… — отозвался Мирон, его устраивала эта формула.

Мирон хотел повезти Егора к здешним грекам, но Бардин отложил эту встречу, сославшись на завтрашний разговор с Бухманом. Разговор с американцем был для Егора Ивановича важен — со смертью президента возникла новая обстановка в Вашингтоне. Если быть точным, то она возникла независимо от смерти президента, но событие это положение усугубило. Новая обстановка требовала новых знаний, встреча с Бухманом могла тому способствовать в той мере, в какой это было в возможностях американца, человека все еще осведомленного.

Но, явившись на другой день в родительское гнездо Бухмана, Егор Иванович был озадачен, увидев, что хозяин не один.

— Держу пари, вы знакомы! — обратил Бухман смеющиеся глаза на Бардина. — Ну, посмотрите внимательнее, посмотрите…

Егор Иванович смотрел на человека, стоящего перед ним, и решительно не мог узнать его, да и человек явно недоумевал, он-то определенно не знал Егора Ивановича.

— Установили? — у Бухмана было достаточно времени, чтобы развеселиться. — Хорошо, так и быть, выручу вас: это Боб Мун, помните? Я говорю, Боб Мун, мой товарищ детства и однокашник, конструктор моторов и добрый сосед, окно которого видно с нашей веранды, помните?

— Теперь помню, господин Бухман, — согласился Бардин и, достав платок, вытер им пот — нехитрая шутка Бухмана обошлась ему недешево. Егору Ивановичу стоило труда узнать его. — Приятно повидаться с вами, господин Мун, — произнес Бардин, пожимая руку долговязому блондину, который, пытаясь победить неловкость, хмуро улыбнулся.

Тьма за окном вдруг метнулась оранжевыми всполохами, взвыла: гу-у-у-у! Гу-у-у-у!

— Опять пожар! — всполошился Бухман. — Горим… круглосуточно… Нет силы, которая бы остановила этот огонь.

Явилась тетушка Клара — все в тех же крупных кружевах, однако по случаю приезда Бардина перекочевавших с платья сатинового на платье кашемировое.

— Что будем есть? — спросила она и повернулась к Бардину, ласково блеснув розоватой плешиной. Прежде, как помнил Бардин, этой плешинки не было, да и голову свою она несла не склоняя. — Может быть, повторим мясо под горьким соусом по-мексикански? — спросила так, будто бы последний раз они ели мясо по-мексикански накануне.

— Повторим, повторим!.. — подхватил Бухман торопливо, явно опасаясь, что кто-то из гостей ненароком отвергнет это блюдо. Он очень любил мясо, приготовленное по-мексикански, и заказал бы его сейчас тетушке Кларе, если бы даже гости воспротивились.

Тетушка Клара удалилась, сияя розовой плешинкой, и тут же кликнула Муна, сказав, что затупился большой кухонный нож, — видно, сосед был своим человеком, по крайней мере, в кухонных делах она доверяла ему больше, чем Бухману.

— Ну, теперь вы его вспомнили? — спросил Бухман, скосив глаза на дверь.

— Да, конечно, — не без смущения заметил Бардин. — А мог бы не вспоминать… — улыбнулся он. Действительно, задача, которую задал ему американец, была не из легких.

— Пока я сострадал и жалел соседа, он шагнул бог знает как далеко! — вдруг возгласил Бухман и с откровенной боязнью взглянул на дверь, за которой скрылся сосед. — Как у нас говорят, получил должность… где бы вы думали? В военном ведомстве… — теперь был обращен к двери не столько глаз Бухмана, сколько ухо. — И немалую должность!.. Что вы на это скажете?

Но Бардин ничего не успел сказать. Мун вернулся и не без тревоги взглянул на Егора Ивановича. Он точно пытался установить: пока точился большой кухонный нож, успел ли Бухман сказать что-то русскому гостю о нем?

— В день смерти президента мне позвонил Гарри, — произнес Бухман и взглянул на Муна — в их беседах Гопкинс звался преимущественно так. — «Как будто он не жил, — сказал он. — Как будто его не было…»

— Возможно, Гарри прав, и его действительно не было… — сказал Мун.

— Это как же понять, Боб? — спросил Бухман.

— Нет, он был, конечно, но был иным, чем это нам старались представить, — заметил Мун. Только сейчас Егор Иванович заметил, что у гостя были синие глаза, твердо-синие, похожие на кристаллы купороса. — Так бывает в жизни: в сознании людей вы один человек, а на самом деле другой…

— А вот это интересно, объясни, пожалуйста, —

воодушевился Бухман. — Значит, в представлении молвы?

Бардин подумал: да не пригласил ли он меня сюда для того, чтобы затравить этот спор о Рузвельте? Знает, что для меня это небезразлично, и решил сшибиться с Муном. Дело не в Муне, а в тех, кто на него похож, их в Штатах немало.

— Я не знаю, как нашему русскому гостю, а мне это интересно, объясни, пожалуйста, объясни… — в тоне Бухмана не было ничего нарочитого, он действительно хотел узнать, о чем думает Мун.

Сосед Бухмана улыбнулся, опустил глаза, задумавшись.

— Я убежден, что Рузвельта создали, как бы это сказать поточнее, особые условия нашего времени, — начал он в той спокойной и неторопливой манере, какая свидетельствовала: он понимает, что вниманием злоупотреблять нельзя. — Если бы на месте Рузвельта был Линкольн, то он бы воздействовал на нас мыслью, силой мысли своей необыкновенной, в то время как Вашингтон заявил бы о себе силой своей личности, тоже необыкновенной… Рузвельт? Ну, что можно сказать о человеке, который за всю свою жизнь не написал ни единого документа, достойного памяти потомков?

— Погоди, но это разве в такой мере важно, что зачеркивает все остальное? — остановил друга Бухман — котел большого спора набирал градусы, ртутный столбик пошел вверх.

— Нет, сам по себе этот факт, быть может, и не столь значителен, хотя я придаю ему значение немалое, — он не без чувства собственного достоинства сказал «я». — Но важно иное: за этим фактом скрыт, если хочешь знать, другой факт, значительно более важный…

— Какой, Боб?

Мун молчал, он понимал, что столкновение неизбежно. Оно, это столкновение, было тем более неизбежно, что рядом был русский. Он мог не знать веры Муна, но ему была известна вера Бухмана. На взгляд русского, Бухман не мог не возразить Муну, — оставив реплику своего американского гостя без ответа, Бухман ставил себя, по крайней мере в глазах русского, в тяжелое положение.

— Какой?

— Ты не обижайся на меня, Эдди, — возразил Мун, возразил мягко, с явным намерением умерить если не силу, то резкость удара, который за этим должен последовать. — Я знаю твое чувство к покойному президенту и не намерен его оскорблять, но ты пойми и меня…

— Да?

Вокруг широко открытых глаз Бухмана возникла эта

туманная синева, которую Бардин давно не видел, он волновался, слышнее стало его дыхание, не ровен час, закашляется.

— Пойми, Боб, способность к мышлению у покойного президента была завидной, никто лучше его не мог осмыслить явлений жизни.

— Покойный президент, прости меня, не был способен к абстрактному мышлению, — произнес Мун убежденно. — В его способности к анализу действовала не логика, а интуиция. Он, если хочешь знать, не столько размышлял, сколько реагировал… Это простительно нам с тобой, но он же президент… Президент!

— Это там, Боб, в этом твоем конструкторском бюро, тебя так подзарядили? — прервал Муна Бухман. — Чего же ты молчишь, а? Небось утром начали заряжать и только после обеда кончили, так?

— Да по существу ли это, Эдди? — спросил Мун, сохраняя спокойствие. — Я же не об этом говорю…

— А о чем?

Мун смотрел на Бухмана не без иронии. Он точно говорил: «Не старайся выглядеть наивнее, чем ты есть на самом деле, и не пытайся смещать предмет спора…»

— Прости меня, но у него был ум, как мне кажется, какой-то незрелый, поверхностный, — заметил Мун с завидным терпением. — Не на уровне его высокого положения, да и не на уровне века… Ты имеешь представление о круге его чтения и знаешь, чему оно служило? Он брал книгу не для того, чтобы приблизиться к жизни и понять ее, а чтобы от нее удалиться, он убегал от жизни с помощью книги!.. Ты меня понял: убегал! А для такого бегства серьезной книги не надо. Вот поэтому круг его чтения ограничивался детективными романами и книгами по истории морского флота!.. — Он наклонил голову, точно стараясь погасить неприятное свечение своих глаз. — Меня, например, такой человек увлечь не может… и повести за собой не в состоянии…

Раздался голос тетушки Клары, она звала Муна, видно, мясо по-мексикански почти поспело. Мун не без готовности удалился, он будто хотел показать, что выполнил свой долг.

— Не правда ли, достойно сожаления? — поднял глаза Бухман, он не смотрел уже на дверь, ему было безразлично, услышит его или не услышит Мун. — Признайтесь, для вас это было неожиданно?

— Именно.

Явился Мун, и тут же тетушка Клара принялась накрывать на стол. К мясу на горьком соусе подали, как в прошлый раз, красное вино. Молча подняли бокалы. Вино пилось легко, но

было заметно хмельным, конечно же, его надо было пить не на голодный желудок, но это знал только Бухман, знал, но не опасался.

— Я заговорил об интеллекте не случайно, — бросил Мун, когда бокал был допит и, очевидно, дал себя знать; гость Бухмана ждал возражений и как мог старался предупредить их.

— В каком смысле? — спросил Бухман, в конце концов, все, что его собеседник намерен был сказать, пусть скажет.

— Интеллект был ему необходим больше, чем кому бы то ни было, — произнес Мун. — Необходим хотя бы потому, чтобы… не дать себя обмануть Сталину…

В старый родовой дом Бухманов вторглась тишина — как ни ощутим был хмель, за столом поняли смысл произнесенного; видно, светлоокий сосед Бухмана стремил свою тираду именно к этой формуле, смысл которой должен быть для американца устрашающ: «Он дал себя обмануть Сталину».

— А он дал себя обмануть?

— Определенно!

Как это бывает в минуты тревоги, все стало очевидней. Вот пробыли в доме почти два часа, а Бардин только сейчас увидел, что все было здесь как в тот далекий его приезд: и большие настенные часы продолжали хранить молчание, и колченогая этажерка как стояла на трех ногах, так и продолжает стоять, и макет поселения майя, слепленный работящими руками старой родительницы Бухмана, стоит на прежнем месте, разве только чуть-чуть поседел от пыли и времени.

— Знаешь, Боб, не скрою, что мне было интересно все, что ты тут высказал, — заметил Бухман; следуя своей формуле о терпимости к мнению оппонента, он был и сейчас терпим, к тому же он хотел продолжать разговор, а это предполагало контакт с собеседником, он не хотел, чтобы контакт был нарушен, нарушить контакт — значит не выполнить замысла. — Мне интересно это и в том случае, если это мнение твое, и в том, разумеется, если это мнение не только твое…

— Это мнение мое…

— И это меня устраивает, хотя к этому мы еще вернемся, — продолжал Бухман. Его терпимость, лишенная утверждений категорических, пожалуй, не умиротворяла Муна, а настораживала — он ждал, когда последует удар. — Я согласен с тобой, что наших президентов надо делить на тех, кого условно можно назвать людьми мысли и людьми деяния. Первые — это интеллектуалы, интеллигенты, имеющие отношение к грешной практике косвенное. К ним я отнес бы Джефферсона и, быть может, Вильсона. Другие — ломовые лошади истории, люди

практики, если говорить просто, в большей или меньшей мере теоретики, но наверняка практики, люди деятельной мысли, люди дела. К ним бы я отнес и Рузвельта и его революцию. То, что мы зовем рузвельтовской революцией, есть зеркало нашего президента и его достоинств…

— Прости меня, но то, что мы зовем рузвельтовской революцией, это не революция, — возразил Мун, он явно желал разрушить стройное течение речи Бухмана, оно не обещало ему ничего хорошего. — Вот наш русский гость наверняка понимает в революциях больше нас с тобой, спроси его. Нет, нет, спроси: «рузвельтовская революция» — это революция? Ну, я вижу, что ему это сказать не просто, он гость. Но тогда скажу я: сподвижники президента назвали это революцией в силу все той же интеллектуальной незрелости. На самом деле это не более как реформы…

— Согласен, не революция, но это не меняет существа, — продолжал Бухман — он вышел на столбовую дорогу своей мысли, и непросто было столкнуть его с нее. — Я сказал, есть мерило — дело… В самом деле, когда мы говорим о наших президентах, то мы бросаем на весы их дело. Допускаю, что Кулидж превосходил начитанностью даже Вашингтона, но это ничего не значит, ибо Вашингтон — это эпоха в нашей истории, а Кулидж — явление ординарное. Ты говоришь, его создали обстоятельства. Да, верно, но говорить надо иначе: в его возвышении обстоятельства участвовали. Как я это понимаю? История поставила перед ним такую задачу, какую не ставила перед его предшественником, и он эту задачу мог решить, а мог и не решить. К чести Рузвельта надо сказать, что он эту задачу решил. И не одну, а две. Выиграл то, что мы называем условно рузвельтовской революцией, — условно! — и выиграл войну… Можно, конечно, сказать так, что первое и второе выиграно вопреки Рузвельту. Можно так сказать, но справедливо ли это будет? Нет, не справедливо, но и в этом случае я не хочу быть голословен… Однако наше вино любит, когда его пьют, в противном случае оно скисает…

Как ни игрива была фраза Бухмана, никто не улыбнулся, выпили, не ощутив вкуса вина, беседа набрала силу, ничто не способно было отвлечь от нее.

— Пусть это не прозвучит самонадеянно, но большое дело в крови нашего народа, — произнес Бухман. Он говорил, все больше воодушевляясь, а вместе с тем и обретал уверенность. — Именно большое дело! Мы освоили новые земли, обрели независимость, низвергли рабство, создали техническую цивилизацию, какой мир не знал, каждое дело — гора!.. Но наше

возвышение, как его понимаю я, таило в себе опасности смертельные… Первая — кризис, вторая, внешняя, но еще более грозная, — фашизм. Человек, о котором мы говорим, призван был совладать с этими опасностями, однако при одном условии: чтобы народ в него поверил и пошел за ним. Ты говоришь, что ты бы за ним не пошел, у него было недостаточно интеллекта, а я вот за ним пошел, а кстати, вместе со мной и Америка, подтвердив верность ему четырежды и четырежды сделав его своим президентом. Однако почему это произошло и что было тому причиной? Все то же — дело!.. Ну, разумеется, первый раз он был избран в силу тех достоинств, которые в нем видели или не видели его избиратели, но второй раз, третий и четвертый — дело, и только дело! Очевидно, Америка оценила и рузвельтовскую революцию, и победу в войне. Дело возвышало человека в глазах Америки, и это было неопровержимо и, пожалуй, необратимо на веки веков!.. Но мы сказали: в силу личных качеств. Есть они у него?

— Он верующий человек? — слукавил Мун — все-таки, надо отдать ему должное, он бился до конца.

— Да, верующий, и, с моей точки зрения, это немало. Первое, что он сделал, когда был избран президентом, пошел вместе со своим правительством в храм святого Иоанна и отслужил молебен! — парировал Бухман. Он был сыном своего родителя, Эдди Бухман; не отличаясь религиозностью, он тем не менее, помня отца, который был человеком религиозным, мог сказать чистосердечно вполне: верующий, и это немало! — Он был личностью, и это больше, чем что-либо иное, для меня свидетельствует о силе человека! Понимаешь, Боб, о силе… Прости мне мою сентиментальность, но я горд был за человека при одном упоминании имени нашего президента. Я не мог не думать при этом о мужестве человека, который вопреки своему смертельному недугу взял руль управления такой страной, сохранив все достоинства человека: доброжелательность, терпимость, юмор, энергию ума, работоспособность… Четырнадцать часов в сутки, Боб, четырнадцать! Способность решать проблемы, различные по своей сути, при этом так, чтобы в решении был наибольший коэффициент полезного действия. Не хочу громких слов, но не откажусь от этого: гений координации!.. Да, армия и флот, промышленность и все аспекты помощи союзникам, дипломатия и военные действия, выборы… Да, при всем этом выборы! Жестокая полемика с политическими противниками, залп предвыборных речей, пресс-конференции… Ты представляешь, что такое рузвельтовская пресс-конференция — один против всех! Чуткая шпага рузвельтовского остроумия,

шпага стремительная, была под стать его уму — удар был быстр, точен, разил наповал!.. И к тому же прост, человечен, не последнее достоинство — обаятелен, что повлекло к нему людей не самых плохих. Говорят, что ни один президент не имел таких талантливых помощников, как Рузвельт, но ведь в этом не в последнюю очередь заслуга самого президента… Короче, личность, а это самое большее, что можно сказать о человеке, ибо личность предполагает дело, а дело — сама жизнь человека.

В дверях несмело блеснул поднос с кофейными чашечками, а вслед за ним и розовая плешинка тетушки Клары. У нее было все то же блаженно-отрешенное состояние, она улыбалась — буря, что бушевала эта два часа рядом, не очень-то была ею замечена.

— Вот ты сказал: дал Сталину обмануть себя… — произнес Бухман, заметно понизив голос. — Но, прости меня, это не твои слова…

— Все остальные мои, а это не мои, так?

— Не твои…

— Ты ответь по существу. Мои или не мои, да важно ли это?

— Важно.

Тетушка Клара ушла, а в комнате все еще было тихо.

За окном вновь блеснули оранжевые фары пожарных, взрывая тьму. Гу-у-у-у! Гу-у-у-у! Шальная мысль пришла Бардину на ум: человек, приводящий в действие сирену, делал это не без удовольствия.

— Все, что сделал президент, он сделал с сознанием, что это полезно людям, — сказал Бухман.

— Можно сказать и так, — произнес Мун неопределенно. — Можно, можно…

На обратном пути Бухман молчал, молчал упорно, точно таился от Муна, точно тот был рядом.

— Вы заметили, когда речь зашла о том, чтобы объяснить смысл этой нелепицы «Дал себя обмануть…», он не смог ничего сказать… Не его слова!

— Если не его, то чьи?..

Бухман онемел, и на этот раз надолго — до города было далеко, молчи сколько хочешь.

— Новый президент меняет администрацию, меняет, как на пожаре, только фары полыхают да сирены воют… — заметил он, ему еще виделся оранжевый огонь пожарных машин. — Гарри просил президента об отставке… — заметил Бухман и с нескрываемым интересом перевел взгляд на Бардина — он весь вечер готовился сказать это русскому. — Видно, настал и мой черед думать об отставке. Если завтра вы получите мою визитную карточку с лаконичным «авиаконструктор», то знайте: отставка

состоялась и Бухман вернулся на завод…

69

Бардину позвонили от Гродко:

— Посол едет смотреть выставку «Современная американская архитектура» — нет ли у вас желания быть с ним?

Рациональный Гродко знает, что надо смотреть в Америке сегодня: архитектура — это как раз то, что для нас насущно в канун великой тишины — сколько отчих городов и сел еще лежат в руинах и пепле? Вряд ли американская выставка учитывает страду, которая ждет Россию после войны, но при желании можно обратить на пользу этой страде и нынешнюю американскую выставку.

Бардин прибыл в посольство за полчаса до условленного времени и застал Гродко в водовороте посольских дел — казалось невероятным, что он всего лишь через полчаса поедет смотреть выставку архитектуры. Уходила диппочта, и, как обычно в предотъездный день, в посольстве было настроение авральное — еще с утра Гродко вызвал стенографистку и продиктовал с полдюжины писем, сейчас эта работа, казалось, только-только достигла кульминации.

— Вы видели сегодняшние газеты, Егор Иванович? — вопросил посол, прерывая диктовку. — Президент принял в Белом доме прессу. Взгляните, а я постараюсь закончить к сроку — тридцать минут…

Не желая мешать чтению Бардина, посол ушел в соседнюю комнату.

Бардину было интересно наблюдать Гродко — шесть лет работы в Штатах заметно сказались на нем. Наверно, эти годы сказались на его знании страны — шесть лет срок не столь уж великий, но достаточный, чтобы понять страну и, пожалуй, почувствовать. Но эти годы отразились и на ином: что-то появилось в Гродко такое, что незримо отразилось на его облике, манере держать себя, пожалуй, говорить, при этом и на его английском, на всем строе его общения с людьми, нашими и американцами, и что точнее всего можно было назвать словом уверенность. То, что звалось обязательностью посла и его точной оперативностью, было в немалой степени производным от этой его уверенности.

— Тут говорил на днях с одним крупным градостроителем, строящим города на Крайнем Западе, — произнес Гродко, когда они разместились в машине. — Храбрая и талантливая душа, храбрая и своими мыслями — все видит крупно… Вот он и сказал: у вас должна быть стратегия восстановления. Вам надо и

из вашей беды извлечь выгоду: город, который вы построите на месте разрушенного, должен быть многократ современнее прежнего, а поэтому комфортабельнее, прочнее и не в последнюю очередь красивее… Очень важно продумать: с чего начать. Когда мы приступаем к большой стройке, еще до того, как мы начинаем рыть котлованы, подводятся дороги. А как быть здесь, когда надо восстановить не завод и даже не город, а страну?.. С чего начать?..

Бардин подумал: вот это посещение выставки американской архитектуры не своеобразная ли подводка дорог к стройке? Если подводка дорог, то очень похоже на Гродко, на его всегдашнее желание видеть дело в перспективе, пытаться заглянуть в день завтрашний. Похоже на Гродко и иным: для него нет дипломатии в чистом виде, только та дипломатия действенна, за которой можно рассмотреть нечто насущное — как сейчас…

Бардина объяло изумление, когда переступив порог выставки, он вошел в ее первый зал: архитектура церквей… Десятки, а может быть, и сотни проектов: церкви, церкви… Нельзя сказать, что это шокировало атеистическое чувство Бардина, но вызывало недоумение: Егор Иванович не видел в этом смысла. В этом для Бардина тем больше не было смысла, что проекты были талантливы. Даже трудно себе представить, что столь современные формы может обрести церковь. Церковь — это ведь архаика, а тут сооружения, в которых можно рассмотреть нечто такое, что, честное слово, хочется обратить в день завтрашний. Вот это ощущение современности и, пожалуй, новизны от необычности и необыденности сооружения. Церковь понимала, что обаяние новизны всесильно, она искала спасения в этой новизне.

Но церковь всего лишь пользовалась привилегией открыть выставку — все, кто безбоязненно прошел сквозь ее символические врата, были вознаграждены сторицей. Во втором зале властвовали градостроители, все те, кто планирует современные города, соотнося их обязательные компоненты: массив жилья и общественных зданий со своеобразным массивом зелени и водного пространства, улиц и площадей. И как на ладони все городские артерии — ее транспортные магистрали, включая над- и подземные пути, ее мосты и виадуки, а одновременно движение ветров, обдувающих город, движение дождей, омывающих его. В том, с какой безбоязненностью, свободой и точностью город был спланирован, а вернее, сымпровизирован, а может, даже сочинен, была своя поэзия, — казалось, нет более подходящей сферы для поэта, чем вот это сочинение городов — тут были элементы и рисунка, и объемной

формы, и красок, и игры контуров, и того, что можно назвать картиной города, в которой были ощущение света, дух захватывающей перспективы.

— Я смотрел на молодые американские города и говорил с градостроителями, — заметил Гродко, когда перед ними один за другим возникли макеты городов Дальнего Запада. — Как я понимаю, у этой выставки нет одного обязательного элемента, — заметил Гродко. — Без него эта выставка неполная: я имею в виду завод, а вернее, заводы, которые строят города… Да, сегодня города создаются заводами. Чем совершеннее эти заводы, тем свободнее градостроитель в своем стремлении создать современный город… Наверно, показ такого завода не отвечает замыслу устроителей выставки, а между тем это существенно…

Завода действительно не было, он был как бы скрыт за занавесом, обнаруживая не себя, а то, что он сотворил. Например, школу, универмаг, железнодорожный вокзал или аэровокзал, кинотеатр или аптеку, крытый рынок или выставочный павильон.

Во всем этом обнаруживались иные формы, чем те, к которым привык Бардин, и, пожалуй, иные решения, и это было интересно Егору Ивановичу. Ну, например, на выставке был представлен мир особнячков — можно было только диву даваться; зачем понадобилось такое количество маленьких домиков для такой большой страны, страны не столько аграрной, сколько индустриальной. Но Гродно объяснил Егору Ивановичу, что для Америки именно этот тип строений удобен: три четвертых американцев живут в собственных домах.

Кстати, Бардин нет-нет, а поглядывал, как смотрел выставку Гродко, — он заметно ограничивал себя насущным, сдерживая простое любопытство. Он надолго задержался в зале, где экспонировалась архитектура школ, рассматривая макеты традиционных школ, разбитых на систему классов, и макеты школ экспериментальных. Он снисходительно улыбнулся, увидев макет школы-парка, где обучение, как это решили учителя — исследователи и архитекторы, на грани зрелища, игры, увлекательного затейничества, — для него это было не очень серьезно. Зато его определенно увлекла архитектура школ традиционных, разделенных на классы, — ему было интересно общее решение: здание школы было просто по форме, непритязательно по фактуре материала, из которого она была слеплена, просторно, с высокими потолками и просветами, с необыкновенно щедрой планировкой — эта щедрость сказалась в размерах классов и специальных кабинетов, в том, как много было этих кабинетов и залов, которых школа обычно лишена.

Седоусый господин с набухшими веками заслуженного

почечника, издали наблюдавший, как смотрит выставку русский посол, точно и недвусмысленно засек, что макет школы заинтересовал русского.

— Как я заметил, вы были внимательны к моему детищу, — седоусый господин указал взглядом на макет школы. — Представляю, сколько школ вы должны построить после войны! — Он извлек портмоне из коричневой замши и, не без изящества разломив его надвое, выпростал визитную карточку. — Готовы к сотрудничеству, разумеется, на коммерческих началах, однако формула о наибольшем благоприятствовании будет распространена на вас в полной мере…

Гродко улыбнулся: вот они, американцы, тут во всей своей красе: и сострадают, и делают бизнес одновременно, при этом добрая воля может быть не исключена, даже наверняка не исключена.

А Гродко смотрел теперь макеты новых железнодорожных вокзалов. И тут тот же знак: просторно. Все ловишь себя на мысли: город, которому придан этот вокзал, едва ли не заштатен, — а вокзал велик необыкновенно. Да нет ли тут некой диспропорции? Оказывается, нет: простор — черта нового. Кстати, нам все это не противопоказано — чем больше страна, тем больше народу вовлечено в водоворот движения, тем просторнее должны быть вокзалы, — масштабы вокзала учитывают не только размеры города, поселка, села, к которому он прикреплен, но масштабы страны, к которой он приписан.

— Вы давно ездили по нашим железным дорогам? И на запад, и на юг? — заметил Гродко, не отрывая глаз от макета. — Говорят ни одного целого вокзала, все вокзалы лежат в руинах… — Он сознательно приковал свой взгляд к макету — не хотел выдавать волнения. — Особенно зимой картина безотрадная: проводник называет город, а за окном вагона — степь снежная… Какой там город — столба не видно.

Видно, для Гродко путешествие по этой Америке, слепленной из папье-маше и вычерченной на ватмане и кальке, было нерасторжимо с поездкой по отчим просторам. Казалось, и эту школу, и этот вокзал он хотел рассмотреть там, если не сегодня, то завтра и заметно досадовал, когда по каким-то чертам незримым все это не очень сопрягалось со страдной землей нашей.

— Правда, красиво? — он стоял перед макетом крытого рынка — рынок был и в самом деле хорош, объемный, как ангар, на металлических фермах, каких-то тонких и крылатых, разлетающихся свободно по сторонам и взмывающих на высоту неслыханную — было ощущение натуры даже в макете: наверно,

этот обман зрения происходил оттого, что рынок был полон микроскопических человечков, образующих людской поток, как обычно поутру, динамичный. — Наверно, красиво, но важности не первостепенной, — произнес Гродко, все еще любуясь формами крытого рынка. — Или первостепенной?

А потом его увлекли городские виадуки и подземные переходы, надземные и подземные.

— Но, может быть, нет необходимости взрывать мостовые, закрывать городские магистрали или их ограничивать, быть может, целесообразнее наводить уже стандартные переходы, построенные из ферм, над улицами? И быстро, и практично, и красиво? Вот, например, в Японии это делают и считают практичным? Как вы?

Бардин подумал: увлечение это у Гродко или, быть может, расчет? Нет, на увлечение не похоже — у него есть это качество, завидное, не очень поддаваться соблазнам настроения. Наверно, расчет. Но тогда иной вопрос: должен ли дипломат делать это? Да, вот так, едва ли не за неделю до Сан-Франциско, устремиться вдруг на экспозицию гражданской архитектуры, да при этом в компании с такой смятенной душой, как сам, будто бы такая поездка для дипломата не только естественна, но и необходима? Должен?

— Вы… не спешите? — осведомился Гродко у Бардина, когда машина подошла к подъезду посольства. — Может быть, зайдем к нам… ненадолго?

В посольстве точно наступил штиль: видно, дипкурьеры уже намертво затянули и опломбировали свои вализы, что недвусмысленно означало — посольская нива снята, страда завершена, — наступила тишина, какой может позавидовать разве только послеполуденный час дня воскресного.

— Весьма вероятно, Гопкинс подаст в отставку, — Гродко увлек Бардина в дальний конец кабинета, туда, где над полированным кругом журнального столика, точно слоны на водопое, стояли мягкие кресла. — Новый президент, конечно, возразит…

— И отставку примет? — подсказал Бардин — мысль его собеседника определенно развивалась в этом направлении.

— Возможно, и примет, хотя, строго говоря, его устраивало бы, если бы эта отставка была отсрочена…

— Простите, почему?..

Бардин замечал и прежде: у Гродко была эта привычка мыслить жестко логически. В диалоге у него была цель, ощутимая, и он, как мог, пододвигал собеседника к этой цели. Бардину казалось, что у него и сейчас была эта цель, к которой он

стремил Бардина. Однако какая это цель и что она могла означать? Речь шла о все той же польской проблеме. Казалось, что Гродко имеет в виду сейчас какое-то решение, возможно даже, оно подсказано жизнью, возможно, оно носится в воздухе, но Гродко ухватил его и сейчас считает разумным. К нему и стремит, как может, Бардина, но что это за решение?

— Эх, хорошо бы по стакану крепкого чаю, как вы? — Принесли чай, он был коричнево-красным, непобедимо ароматным — одно его дыхание способно было и жажду утолить, и сообщить силы. — Как я понимаю, союзники намерены пересмотреть некий параграф Ялты…

— Некий?

— Да.

— И в этой связи?..

— И в этой связи даже министры иностранных дел могут оказаться неправомочными… — уточнил Гродко и, пододвинув стакан с чаем, пригубил — красная влага все еще была огненной.

— Сан-Франциско?..

— Да, даже Сан-Франциско… — Гродко откинулся в кресле, с нескрываемой пристальностью посмотрел на Бардина — у него была привычка: дать беседе разбег, а потом уйти в тень, контролируя ход беседы короткими репликами и молчанием.

— Это как же понять: новая встреча трех? — Бардин огрубил мысль Гродко намеренно, так, пожалуй, быстрее можно было бы добраться до сути.

— Встрече трех должно предшествовать нечто такое, что гарантирует… встречу, — возразил Гродко — он вдруг стал заметно немногословен.

— Если министры иностранных дел тут ничего не могут сделать, что может гарантировать? — спросил Бардин. — Обмен посланиями?..

— Он имел место и не дал результата…

— Поездка Черчилля в Москву? — был вопрос Бардина. — В прежние времена такая поездка была амортизатором действенным.

— В нынешней обстановке это больше вопрос советско-американский, чем советско-английский… — парировал Гродко.

— Тогда… поездка американского эмиссара, не так ли?.. — кажется, разговор пододвинулся к существу.

Гродко смолчал и в хмуром раздумье принялся прихлебывать свой чай. Он пил, время от времени поглядывая на Бардина.

— Поездка эмиссара возможна, — согласился наконец Гродко. — Но у Америки в нынешних условиях есть только один эмиссар, имя которого Москва отождествляет с покойным

президентом, я бы сказал… с дорогим для нее именем покойного президента…

— Гопкинс? — в этом вопросе не было ничего необычного, он как бы само собой разумелся.

— Гопкинс…

Гродко сказал «Гопкинс», и глаза его точно заволокло дымкой воспоминаний. О чем мог думать сейчас Гродко? Быть может, он вспомнил Гопкинса, каким видел его в последний раз в Ялте. Американец не явился на пленарное заседание и весь день провел в постели. Кто-то сказал Гродко, что своеобразная деловая планерка американцев была проведена у Гопкинса, при этом коляску президента подкатили едва ли не к постели. Но к вечеру Гопкинсу стало лучше, и всесильный Макинтайр разрешил ему побыть на веранде, разумеется, в кресле, укрывшись шерстяным одеялом. Тем неожиданнее была картина, которую увидел Гродко. Кресло было отодвинуто прочь, одеяло лежало на полу, а Гопкинс стоял у края веранды, опершись на перила, и смотрел на море. Лицо было едва ли не шафранным, кожа стянута, и губы казались какими-то сизыми, а в глазах, широко открытых, изумление… Гродко посмотрел на море, там прорезалась полоска синевы, непобедимо густой. Потом Гродко вспоминал эту картину, и все казалось: вот это и есть жажда жизни, которую обостряет недуг, многократ обостряет…

— Именно поэтому президент мог бы и не одобрить отставки Гопкинса?

— Возможно.

— Вы сказали: «Некий параграф Ялты» — Польша?

— Польша.

Нет, история определенно пошла по новому кругу — вновь возник Гопкинс, при этом как посланник Рузвельта, не Трумэна, а Рузвельта. Кажется, Бухман сказал Егору Ивановичу: в тот апрельский четверг Гопкинс был далеко от Вашингтона, в больнице св. Марии в Рочестере в неблизком штате Миннесота. Гопкинс не был рядом с президентом в то утро, когда президент проснулся и, пренебрегая острой головной болью, начал свой обычный деловой день и даже отважился сесть перед мольбертом художника, вернее, художницы, пожелавшей написать портрет президента. Гопкинс не слышал и не мог слышать, как президент произнес, в вопросительном жесте подняв руку: «У меня ужасно болит голова, у меня ужасно болит голова…» Не видел Гопкинс и того, как сознание покинуло президента и ничто уж не могло его спасти. «Тяжелое кровоизлияние в мозг», — констатировала бестрепетная медицина и многократ повторила: «Хард, вери хард», «Тяжелое, очень тяжелое». Гопкинс не был свидетелем

происшедшего, но когда эта весть докатилась до рочестерской клиники св. Марии, Гопкинсу потребовалась ночь, чтобы совладать с головной болью, точно Рузвельт, умирая, сделал свою боль болью Гопкинса. Наутро Гопкинс разыскал по телефону одного из своих друзей, чтобы сказать ему: «У нас с вами есть нечто драгоценное, что мы пронесем до конца своей жизни. Это — великое сознание, что вера в него и любовь к нему такого множества людей действительно оправданны. Президент ни разу не обманул их чувства».

Однако почему Бардину пришло все это на ум сейчас? Если возникает мысль о новой миссии в Москву, Гопкинс может не отказаться. Для него такая миссия, как и миссия достопамятного июля 1941 года, есть миссия, которую он незримо совершает по поручению Рузвельта. Президент точно говорит ему, как некогда: «Гарри, вам надо поехать в Россию — дело требует того». И Гопкинс отвечает, как некогда: «Если дело требует, я готов, мой президент».

70

За неделю до открытия конференции в Сан-Франциско Бардин получил служебную телеграмму с просьбой вернуться в Москву. Как понимал Егор Иванович, новая пора советско-американских отношений, вызванная сменой президента, требовала новых решений. Бардин позвонил Бухману и сказал, что он уезжает, и американец решился на шаг, от которого до сих пор заметно воздерживался, — он сказал, что хотел бы видеть Егора Ивановича в своем вашингтонском доме, если это удобно Бардину, в обществе брата. Бардин дал понять, что готов быть, что же касается брата, то сообщит об этом позже. Но розыски Мирона были недолги — у советской колонии за рубежом своя связь, действенная. Итак, братья Бардины в кои веки объединились в своей поездке к гостеприимному американцу.

Представление о том, что Бухман живет в особняке обливного кирпича, расцвеченном сине-красно-желтыми витражами, разом рухнуло, когда машина въехала в подъезд многоэтажного блока и лифт с Бардиными тревожно затих на двадцать первом этаже. Хозяйка поднебесья оказалась высокой блондинкой, безгрудой, но с заметно развитыми бедрами, которые женщину отнюдь не уродовали; очевидно, женщина это знала, и ее платье не столько скрывало ее достоинства, сколько обнаруживало их. Бухман пожурил жену, что она отослала сына и дочь к своим родным, и повел русских смотреть коллекцию карликовых деревьев. Как понял Бардин, экскурсия в оранжерею преследовала другие цели: не говоря об этом прямо, хозяин показывал гостям свои апартаменты. Надо сказать, что в бухмановском обиталище было свое очарование — в нем модерн как-то очень симпатично сочетался со стариной. Это было похоже на то, как в современный город, собранный из зданий, напоминающих полированные плиты, неожиданно вписывались церковка или белый особнячок с колоннами. Квартира была с паркетными полами и окнами во всю стену, с гладкими потолками, лишенными каких-либо украшений, и панелями коричневого дерева, квадратными плафонами матового стекла и строгими бра, но мебель казалась, если не старинной, то старой — конца века. Нет, Бардин не думает, что тон тут задавал хозяин, но он этому не противился, закон творили воля и вкус госпожи Бухман, впрочем, к радости ее повелителя.

Не без пристального внимания Мирон взирал на то, с каким игривым изяществом хозяйка, надевшая по этому поводу клеенчатый фартук, работала садовыми ножницами, охорашивая

свой карликовый сад. Он даже взял эти ножницы и попробовал сделать то же, что вызвало восторг мадам Бухман. Самолюбию Мирона это польстило, он снял пиджак и надел фартук. Можно было подумать, что Бухман только и ждал этой минуты. Дав понять Бардину, что отныне сад находится под надежным присмотром, он повел гостя в библиотеку.

Здесь властвовали сиреневый полумрак и тишина, далекие шумы большого города, заметно смолкнувшие к концу дня, размывались на полпути к заоблачному жилищу Бухмана. Хозяин пододвинул стулья к двери, выходящей на балкон, дав понять, что не хочет зажигать электричества на то время, на которое он намерен задержать гостя. И в самом деле, свет гаснущего дня был мягким, приятно обволакивающим, панорама города переливалась сейчас серебристыми, с легкой прозеленью красками.

— Хочу открыться, подал прошение об отставке! — воскликнул Бухман. — Пока не поздно, подал…

— Это как же понять «пока не поздно»?

— Кто знает, как события разовьются завтра? Пока не поздно!

— Разве известная преемственность для господина Трумэна тут не естественна? — спросил Бардин. — Согласившись быть вице-президентом, разве он этим самым не дал обязательство следовать линии президента?

— Наверно, дал, и все-таки…

— Что все-таки?

Бухман смотрел на тускнеющий город за окном. Серо-дымчатые краски стали серо-лиловыми, зелень обратилась в просинь, серебро потускнело и растушевалось — казалось, еще минута, и город погаснет.

— Ну что сказать о новом президенте? — произнес не без торопливости Бухман, он определенно спешил поговорить до того, как зажгут свет. — Его считают детищем нашего сената. Да, в известной мере Корделл Хэлл, но, может быть, еще более консервативен. Помните его формулу, которую он провозгласил в самом начале войны?.. «Будут брать верх русские, поможем немцам. Возьмут верх немцы, поможем русским. Пусть они больше убивают друг друга — в этом и есть наш выигрыш». Быть может, я воспроизвел ее не буквально, но смысл должен быть точен. Согласитесь, что до такой степени цинизма даже Черчилль никогда не доходил…

Из соседней комнаты пролился свет, и тут же послышался звон посуды — начали накрывать на стол. Бухман встал и прикрыл дверь.

— Но Рузвельт, выбирая вице-президента, должен был

остановить выбор, если не на единомышленнике, то на человеке близком себе, не так ли? — настаивал Бардин.

— Так должно быть везде, но только не в Америке… — ответил хозяин дома.

— А в Америке?

— А в Америке как раз наоборот, господин Бардин.

— Не понимаю.

— Как не понять?..

Дверь распахнулась, и в квадрате двери вдруг воссиял золотой ореол волос хозяйки — свет был позади нее, и волосы точно зажглись.

— Господи, да не страшно ли вам в такой темени? — удивилась женщина.

— Страшно, но нам так нравится, — ухмыльнулся Бухман.

— Ну, если нравится, я могу прибавить темноты, — засмеялась она и закрыла дверь. Темнота, заполнившая комнату, показалась Егору Ивановичу кромешной.

— Да, как это ни странно, в Америке все наоборот, — произнес Бухман убежденно, его устраивала темнота. — Президента жестоко атаковали правые, для них он был слишком красным: друг России и недруг очень богатых; как вы знаете, среди его друзей никогда не было очень богатых… — Он задумался, следующая фраза должна была быть сильной, сильнее, чем того хотел Бухман. — Поэтому вице-президентом должен стать друг очень богатых и, простите меня за откровенность — после моей отставки я имею на нее право, — недруг России…

— Так рассчитал Рузвельт?

— Так вынужден был рассчитать…

— Что же из этого, следует, господин Бухман?

Американец встал, молча пошел к балконной двери. Город укрыла мгла, и уличные фонари поблескивали, точно масляные пятна на воде.

— Опыт наблюдений за моим садиком учит: даже природу можно обратить вспять…

Вновь воссиял золотой ореол волос хозяйки — гости приглашались к столу.

Братья возвращались домой часу в одиннадцатом; видно, поздняя езда была для Мирона не в диковину, машина шла на скорости завидной.

— А эта госпожа Бухман… философ! — неожиданно вздохнул Мирон. — Эх, моего английского не хватило, одеревенел мой английский, выпарился язык на пекле аэродромном!.. До сих пор вроде хватало лексики, а тут бац — недостает!.. Знаешь, что она

мне сказала… когда мы смотрели японский сад? Человек, говорит, утверждает себя в сострадании — вот он обратил гигантов в карликов, чтобы иметь возможность выразить жалость… Необычно, правда? — голос Мирона вдруг зазвенел ручьем, в нем, в этом голосе, Егор Иванович слыхал такие колокольцы, каких накануне не было.

— А знаешь, что сказал Бухман? — поднял глаза на брата Егор Иванович. — Он, Бухман, тоже философ… Он сказал: сейчас, когда по одну руку у вашего делегата на конференции трех будет Черчилль, а по другую Трумэн, вы поймете, кем был для вас Рузвельт…

Ручей, только что звеневший так в голосе брата, иссох — Мирон умолк. С тем они и доехали до гостиницы.

У Егора Ивановича в этот раз был нелегкий полет, хотя четыре мотора «боинга» на протяжении всех этих дней, пока они стремились из Нового Света в Старый, работали с завидной безотказностью. В эти майские дни сорок пятого года, пожалуй, дни самые трудные и, главное, долгие, что-то разладилось на аэродромах; вдруг все оказалось на ущербе, отбарабанило и отгремело, а если быть точным, отболело и отвоевалось, иссякли озера горючего, остановились реки масел, запчасти сами собой ушли бог знает куда, тем более что у четырехмоторного слона аппетит был слоновий. Самолет вышибло из графика, ночевали где-то на пределе Баффиновой Земли, два дня пробыли в Рейкьявике, потом едва ли не трехсуточные привалы в Бергене и Мурманске, и, наконец, Москва. Все невзгоды скрашивали телеграммы с фронта, их записывали, как могли, радисты. Листы из блокнота, в линейку и крупную клетку, исписанные цветными карандашами, вначале синим, потом красным, точно облетали пассажиров, расположившихся во вместительном корпусе «боинга»… Как ни лаконичны были эти записи, они давали представление о боях за Берлин. Тот, кто никогда не был в Берлине, имел возможность вообразить план города по этим телеграммам: Потсдамерплац, Унтер-ден-Линден, Кайзер-Вильгельмштрассе, рейхстаг, Тиргартен… Одним словом, танки вторглись в пределы города, артиллерийский смерч упал на городские улицы, по улицам и площадям пошла пехота. Дома брались приступом, как города: государственное патентное управление, Анхальтский вокзал, полицай президиум, имперская канцелярия и, наконец, рейхстаг… Но последним аккордом войны суждено быть даже не Берлину: на приэльбскую равнину были оттянуты внушительные силы врага, способные нанести удар во фланг, и советская танковая группа пошла на Прагу, ее вел Конев. Есть всевластие случая в том, как в человеческом

сознании вдруг соотносятся и перекрещиваются географические понятия: над Гренландией Бардин узнал об агонии Берлина, над Скандинавией — о рейде на Прагу…

Бардин еще следил за географией этой последней баталии, когда четырехмоторный колосс примял своими тяжелыми скатами молодую зелень подмосковного аэродрома. Егор Иванович позвонил в город и был радостно изумлен, застав Ольгу на Калужской. Она сказала, что вот уже неделя, как перебралась с Иришкой в Москву, дожидаясь дня победы. Бардин мог только вымолвить, что валится с ног от усталости, промерз до печенок, очень хочет чаю, если можно, с водкой. Он положил трубку и едва ли не сплюнул от огорчения: не сказал, чтобы вскипятила воды да припасла бы мочалку пожестче! Но это уже было лишним — он был на Калужской, когда от кипящей воды, которой был полон большой чан, казалось, сотрясался дом. Час спустя он упал в постель, просторные простыни которой хранили свежесть ясенцевского ветра, однако прежде чем смежить веки, спросил, какой нынче день, и услышал: вторник уже, 8 мая…

Он не знает, сколько он проспал и спал ли он, но проснулся от счастливого смеха Ольги, неизбывно счастливого, и ее крика, в котором были и страх, и радость, и слезы:

— Господи, да неужели это правда? Победа!.. Егорушка, победа, победа!..

Он спустил ноги с постели, сел. «Да неужели победа?.. В самом деле, какой же длинной была эта дорога…» И еще он подумал: «Сережка выжил… Какое счастье, сын мой, сын…»

Он подошел к окну, нащупал шпингалет, не открыл, а разверз окно. Наверно, город был во власти того мига, того первого мига, когда весть уже известна ему, но она не столько понята, сколько ошеломила.

— Оля, Оленька!.. — устремился он к ней, ослепленный счастьем этой минуты. Она вскинула волосы, и он ощутил на лице их вихрь, сухой и рассыпчатый, их упругое прикосновение, их дыхание. — Собирайся мигом и пошагали!.. Только надень что-нибудь полегче. Пошагали, пошагали!

Она ничего не нашла, кроме его старых сандалий, и они пошли, сандалии соскакивали у нее с ног, хотелось сбросить их и идти босой, но ничто не могло омрачить их радости, они летели как на крыльях. Это было возвращение к той поре, желанной и трижды заветной, какую можно назвать юностью, а можно и никак не назвать, вдруг она является, эта пора, в облике события вожделенного и преображает тебя. Небо было расцвечено фейерверком, город был полон света, все живое хлынуло на улицы и полонило их, они отдали себя во власть людского

потока, он был силен, этот поток, и стремителен, очень хотелось довериться его незлобивой силе…

К полуночи эта стихия прибила их к Кузнецкому мосту — в этом был некий рок, некое провидение. Они подняли глаза и увидели над собой темные своды старого дома. В окнах не было огней, что делало дом хмурым. Он точно пытался возобладать над происшедшим, этот старый дом, все, что вызвано было минувшим четырехлетием, будто бы ему еще предстояло осмыслить… Казалось, тьма заполнила дом, напитав собою его стены, переплеты дверей, окна, освобожденные от тяжелых штор и вощеной бумаги. Дом был мертв, и, странное дело, он был живым, этот дом, и волновал, как только может волновать все живое. Он был жив муками и радостями твоей жизни, которая навечно сплавилась с камнями этого дома и которую, наверно, не отторгнуть от них никакой силой…

Теперь Бардин шел с Ольгой на Калужскую и в течение всей этой длинной дороги от Кузнецкого, когда пробирался сквозь толпы праздничных людей, твердил, как молитву: «А Сережка жив, жив мой Серега!..» Да, Бардин твердил, тревожась и ликуя, «жив, жив», а в это время санитарный самолет штаба армии, все еще ведущей бой в излучине Нейсе, ориентируясь на дымное пламя костра, совершил посадку на прибрежный песок. Двадцати минут, что самолет оставался на берегу, было достаточно, чтобы бойцы десанта, обложившие рощу со всех сторон, вкатили в распахнутые двери машины носилки с ранеными. Их было двое: минер в сержантских погонах Пряхин Алексей, которому бризантный снаряд смял позвоночник, и рядовой Бардин Сергей, которому противотанковая мина жестоко изуродовала левую ногу… Когда с рассветом самолет приземлился в верховьях реки, где находился госпиталь, бравый минер скончался, а носилки с рядовым Бардиным санитары едва ли не выхватили из самолета. Армейский хирург был поставлен перед дилеммой многотрудной и, оберегая жизнь, решился отсечь ногу — по всему, это было решение единственное… Егор Иванович, идущий в это сумеречное предрассветье длинными московскими верстами и односложно твердивший себе: «Жив Серега!», по счастливой случайности оказался недалек от истины — в то утро Сергею суждено было принять муки адовы, но он и в самом деле остался жив…

71

К большому дому на Кузнецком идут машины. У каждой свое обличье и свой ранг. Тяжелая ладья, исчерна-смоляная, у посла, цветная коротышка с обрубленным задом — у корреспондента. Пока тяжелая ладья плывет по Кузнецкому, не без труда преодолевая встречное течение, коротышка легко обойдет ее на повороте. У посла вагон времени, у корреспондента все часы горящие.

Однако не все следуют на Кузнецкий, расположившись на тугих пружинах. Завидно взглянуть на московскую толпу, такую колоритную в это раннее лето сорок пятого, и подивиться, в сущности, картине московского обновления. Такого не увидишь, пожалуй, ни в Брюсселе, ни в Копенгагене… А те, кто идет сейчас на Кузнецкий, отмеряя пешие версты, прибыли именно из Брюсселя и Копенгагена. Коротка побывка в Москве, и возможность пройти по Охотному и Петровке — немалое преимущество. Впрочем, не только пройти по Москве, но и при случае встретиться с коллегой, обменявшись доброй вестью; правда, жестокосердое время выдает эти добрые вести нещедро, но, когда они есть, почему же ими не поделиться?

Наркоминдельский управделами, можно сказать, облагодетельствовал послов, приезжающих на недолгий срок в Москву: на пятом этаже большого дома на Кузнецком оборудована комната едва ли не с представительским шиком — ковры, штофные портьеры и статуя римского воина. Но дело, разумеется, не в коврах и статуе, главное, что на столах всегда есть более или менее свежие номера «Таймс» и «Монд».

Тридцатистрочная информация на первой полосе может явиться поводом к диалогу содержательному — все, что произносится здесь, точно отмечено знаком времени.

— Английский лейборизм часто светит отраженным светом…

— Он заимствует этот свет на континенте?

— Нет, на островах…

— У либералов?

— Хуже — у тори…

Комната заполнена сумерками, но света не зажигают — окна, выходящие на Варсонофьевский, запотели. — Но принципы лейборизма?..

— Когда деформируется текущая политика, принципы рушатся…

Пауза. Сумерки точно налиты свинцом.

— Вы полагаете, что победа лейбористов дела не изменит?

Новая пауза, зажжена настольная лампа, ее оранжевое свечение едва обнимает стол, стены все еще тонут в темноте.

— Простите за парадокс, но для меня Гопкинс — сила более действенная, чем Бевин, хотя один социалист, а другой едва ли не буржуа.

Погас свет настольной лампы, бесконечно длинны наркоминдельские коридоры, молчание тихо ступает по ним, сохраняя сказанное: «…один социалист, а другой едва ли не буржуа».

Для Бардина явилось неожиданностью, когда, получив приглашение на просмотр документальных лент, которые с некоторого времени регулярно устраивало посольство Штатов на Манежной, он вдруг рассмотрел седеющую бородку Бухмана.

— Прилетел сегодня на рассвете и очень надеялся встретить вас здесь, — Бухман знал, как предупредить недоумение Бардина.

— Могли бы и не встретить…

— Вы не рады? — в голосе Бухмана прозвучала обида, разумеется нарочитая. — Имейте в виду, вы рискуете в этом разочароваться — следующий мой приезд в Москву может непредвиденно задержаться…

Коктейли были поданы к окончанию фильмов, но они не дождались, вышли на площадь и вдоль ограды Александровского сада направились к реке. Москва привыкла к миру, к огням на улицах, к свету в окнах, к шумным толпам на площадях: казалось, те, кто явился сюда 9 мая, так и не расходились. Но в Александровском саду было темно, сад дышал холодной влажностью, сырой землей, молодой листвой.

— Не визит ли Гопкинса вы предваряете? — Они приблизились к мосту и стали спускаться к реке.

— Да, разумеется, по моим расчетам, сегодня он прилетел в Париж…

— Как мне кажется, идея поездки носилась в воздухе еще при мне? — Они сейчас шли под мостом, и голос неожиданно набрал силу, как, впрочем, и одышка американца.

— Да, но всего лишь носилась в воздухе, — возразил Бухман, он сомкнулся с тьмой, но дыхание выдавало его. — Идея эта возродилась в разговоре Гарримана и Болена, когда они возвращались из Сан-Франциско в Нью-Йорк, обескураженные неудачей конференции… Вернее, она возникла у Болена, и он напрямик сказал об этом Гарриману, правда, опасаясь, что того эта мысль шокирует; послать Гопкинса в Москву — значит на какое-то время сделать Гопкинса послом в Москве.

— Но Гопкинса с ними в тот раз не было? — спросил Егор

Иванович и прибавил шагу — хотелось выбраться из-под каменных сводов моста, они, эти своды, давили.

— Нет, конечно, Гопкинс был в Джорджтауне… Одним словом, Болен выразил опасение, что Гарриман может воспринять эту мысль как некую дискриминацию его посольского престижа… Но, к счастью, этого не случилось, он принял эту идею с видимой заинтересованностью. Болен и Гарриман тут же выехали в Джорджтаун и изложили свою идею больному Гопкинсу…

— А как реагировал Гопкинс, больной Гопкинс? — они вышли сейчас из-под сводов моста, глянула река в бликах — в большом доме слева окна были освещены.

— Если бы у Гарримана не было уверенности, что Гарри эта идея придется по душе, вряд ли бы он поехал в Джорджтаун! — воскликнул Бухман. — Одним словом, мысль эта пришлась Гарри по душе, и все его болезни точно рукой сняло: мысль эта поставила его на ноги!.. Я понимаю моего друга!

— В каком смысле, господин Бухман?

— Я сказал вам еще в Вашингтоне: Гопкинс уходит!.. — с воодушевлением пояснил Бухман и пошел быстрее, казалось, идея Болена и Гарримана и ему сейчас прибавила сил. — Я не раскрою никакой тайны, если скажу, что он подал заявление об отставке и его отставка принята… Каким бы желанным ни был для него этот уход, сам факт ухода печален… В отставке, казалось бы, нет ничего от поражения, но все-таки у Гопкинса должно быть ощущение, что сегодня он на щите, он и чуть-чуть его дело… — Он посмотрел на Бардина: понимает он его? — И вдруг такая миссия!.. Оказывается, даже те, кто хотел бы обойтись без Гопкинса, не могут этого сделать. Надо дать им, черт возьми, признать это всенародно!.. К тому же в этой миссии есть один момент, для Гопкинса выигрышный очень…

— Да, господин Бухман?..

— Что я имею в виду?.. Это же миссия в Москву! Вы поняли меня? Как в июле сорок первого!.. В Москву!.. Гопкинс точно подтверждал бы свою позицию, с которой он начал в июле сорок первого. Он говорил бы: «Я не ищу легких путей! С миссии в Москву, которая была в свое время труднейшей, я начал. Миссией в Москву, отнюдь не самой легкой, я заканчиваю!» Иначе говоря, он обрел бы возможность как бы замкнуть круг… Впрочем, все зависело от нового президента. Как воспримет эту идею он, вот вопрос…

— И как воспринял бы эту идею новый президент?

— Когда Гарриман сообщил ему, он наморщил лоб и сказал: «Я подумаю». Потом он пригласил к себе Гопкинса и спросил: «Не утомит вас столь трудная поездка?» Гарри сказал: «Нет» — и

вылетел в Москву. Сегодня он был уже в Париже и завтра должен быть в Москве… — Он остановился, наклонившись над парапетом, обозначились характерные очертания Крымского моста. — Не находите ли вы, что мост, который открылся нашим глазам, чем-то напоминает известный мост в Сан-Франциско, а? — спросил он не без смятения.

— Мне показалось, что я услышал в вашем голосе тревогу, не так ли?.. — спросил Бардин и не удержал смеха.

— Я просто увидел в этом недоброе предзнаменование, — произнес Бухман, не отрывая беспокойных глаз от моста, провисающие цепи которого действительно напоминали сейчас известный мост на американском Западе. — Будто бы вопреки всем невзгодам и испытаниям мы вернулись к бесплодию конференции в Сан-Франциско… — произнес он и улыбнулся, улыбка получилась не особенно веселой. — Одним словом, я говорил о миссии в Москву как о выигрыше Гопкинса…

— Да, я так вас и понял…

— И верно поняли!.. Но возможен не только выигрыш, но и проигрыш, не так ли?.. — Он помолчал, дожидаясь ответа Бардина. На какой-то миг они затихли в неодолимом молчании, даже остановились, устремив друг на друга тревожные глаза. — Поймите, он не может тут проигрывать!.. Не должен!

Бухман вдруг повернул, он не мог больше смотреть на мост, который напоминал ему Сан-Франциско. Повернул и прибавил шагу — можно подумать, что он побежал от этого моста.

Сталин принял Гопкинса 26 мая в 8 часов вечера.

Вместе с Гопкинсом были Гарриман и Болен.

Рядом со Сталиным, как обычно, Молотов.

— Приветствую вас, господин Гопкинс, в Москве, — сказал Сталин. Хотя последний раз советский премьер видел американца неполных три месяца назад, встреча была такой, точно пауза длилась дольше, — Крым как-то отодвинулся, в то время как Москва сорок первого жила в памяти и была впечатляющей.

— Благодарю вас, не скрою, что я с большим желанием поехал в Москву, — ответствовал Гопкинс и, обратившись к Молотову, улыбнулся: — Удалось ли вам прийти в себя от баталий в Сан-Франциско? — Большой необходимости в этом вопросе не было, он не столько предварял беседу, сколько уводил чуть-чуть в сторону, но в вопросе была капелька юмора, а это, как понимал американец, началу беседы было показано.

— Баталий не помню, господин Гопкинс, помню споры, — установил Молотов. В ответе русского виделся свой резон: вряд ли был смысл придавать сан-францисскому диалогу значение

баталий.

Гопкинс выдержал паузу, дав понять, что готов обратиться к существу беседы. Нельзя сказать, что первый шаг удался американцу, но при всех обстоятельствах он был сделан.

Гопкинс начал издалека, он сказал, что на обратном пути из Крыма президент не раз обращался к воспоминаниям о конференции. Как отметил для себя Гопкинс, у президента была уверенность, что наши две страны смогут сотрудничать в годы мира, как они сотрудничали во время войны. По словам Гопкинса, президент говорил о русских товарищах по оружию, его слово было исполнено уважения. Президент верил, что в не столь отдаленном будущем они встретятся вновь, при этом встреча может произойти уже в Берлине…

— Мы пили в Крыму за встречу в Берлине, — сказал русский, оживляясь, на смену кажущейся прохладе, которой было отмечено начало беседы, все ощутимее приходило тепло.

Гопкинс сказал, что смерть президента была неожиданной для всех, никто не мог подумать, что союзники встретят победу без него. Правда, на обратном пути из Крыма президент как-то сдал, он очень устал, было видно, что силы покидают его, но он продолжал много работать. Даже в день смерти ничего не предвещало печального конца, президент написал много писем… Удар, случившийся с ним, был непоправимым, президент умер, не приходя в сознание…

Наверно, в том, что встреча началась словом о Рузвельте, был некий расчет, но об этом не хотелось думать, это слово казалось очень естественным в этом кругу и было встречено с признательностью. Гопкинс сказал, что скорбь по президенту у русских была искренней и всеобщей. Если Рузвельт был той силой, которая заметно сближала Гопкинса и русских, то эта сила оставалась действенной и после смерти президента, — кстати, сейчас это воспринималось ощутимо.

А между тем рассказ американца все ближе пододвигал слушателей к рубежу, за которым начинались пределы собственно миссии Гопкинса. Эмиссар президента сказал, что помнит встречу здесь, в Кремле, в июле сорок первого, в тревожные и опасные дни немецкого натиска. Он хранит в памяти слова советского премьера, что СССР будет вести войну против Германии до победного конца. Именно об этом Гопкинс сказал президенту, возвратившись в Штаты. Стоит ли говорить, что Рузвельт, поверивший в эти слова Сталина, был тогда в меньшинстве. Но президент не просто поверил, но и разработал план помощи России, хотя, это стоит сказать еще раз, за президентом в тот момент не было большинства…

Русский вновь осторожно реагировал на монолог Гопкинса — это был уже монолог, как можно было заметить, развивающийся по определенному плану. Советский премьер сказал, что в то время действительно немногие верили в способность Советского Союза продолжать войну.

Полагая, что все вступительные слова произнесены, Гопкинс перешел к существу. Несколько дней тому назад его пригласил к себе президент Трумэн и предложил выехать в Москву. Речь, как понимает Гопкинс, должна идти о коренных проблемах, лежащих в основе отношений между нашими странами. Народ Америки испытывал глубокие симпатии к Советской стране. Причина этих симпатий — победы русских. Конечно, в Америке действовали разного рода маккормики и херсты, но, как полагает Гопкинс, народ отвергал их претензии, поддерживая Рузвельта, не случайно же Рузвельт был четырежды избран президентом! (В голосе Гопкинса прозвучало нечто победное: четырежды!) Но вот в последние шесть недель произошли изменения в настроениях американцев, при этом они коснулись и сторонников Рузвельта. Гопкинс не рискует говорить о причинах, вызвавших это явление, он говорит только о факте этих изменений да, пожалуй, о тревоге, объявшей американцев, среди которых много недавних друзей СССР. (Гопкинс оттенил: недавних друзей СССР.) Именно в этих условиях президент Трумэн попросил его поехать в СССР и сделать все возможное, дав недвусмысленно понять: он, Трумэн, намерен придерживаться духа и буквы всех решений, официальных и неофициальных, достигнутых маршалом Сталиным и президентом Рузвельтом… Гопкинс последнее время чувствовал себя плохо, нельзя сказать, что состояние его здоровья улучшилось, но он решил ехать в Москву, так как находит положение серьезным, но не безнадежным, он считает, что нынешнюю тенденцию можно приостановить…

Гопкинс продолжал говорить; быть может, этот его монолог складывался с той самой поры, как Гарриман и Болен явились к нему в Джорджтаун и подали мысль о поездке в Москву. В те долгие часы, когда самолет шел над Атлантикой, Гопкинс как бы видел перед собой своего русского собеседника и говорил с ним… А возможно, все возникло сию минуту, а поэтому и было таким эмоциональным, не явись это сейчас, вряд ли нашлось бы место чувству — на торных тропах трава растет плохо. Гопкинс сказал, что не хотел бы вникать в существо причин, изменивших отношение американцев к СССР, но, видно, это было уже сильнее его — продолжать разговор, не говоря о причинах, значит лишить разговор смысла.

Итак, что же послужило причиной того, что Гопкинс назвал

событиями шестинедельной давности? Гопкинс отметил, что у президента Рузвельта была своя концепция американской политики: он считал, что Америка не должна отстраняться от положения дел в мире, независимо от того, о какой части земного шара идет речь. Очевидно понимая, что этот тезис может быть понят как претензия на некий экспансионизм Штатов, Гопкинс не без известного умения скорректировал его. Он сказал, что именно эта концепция явилась первопричиной того, что Рузвельт и Сталин, оказались за одним столом переговоров. И вот что характерно: полагая, что интересы Советского Союза в такой же мере, как и Соединенных Штатов, имеют мировой характер, Рузвельт не мог отказаться от убеждения, что обе наши страны могут разрешить любые споры, возникающие между ними. Ялта укрепила президента в этом мнении. Тем большую озабоченность вызвала в Штатах неспособность союзников реализовать ялтинские решения по Польше…

Ну вот, все обрело свои истинные очертания, Гопкинс кончил. Неизвестно, что скажет эмиссар американского президента, когда он явится сюда завтра и послезавтра, но главное он уже сказал. Итак, Польша, а если быть точным, то польская глава ялтинских решений. Последнюю реплику Гопкинс обратил прямо к своему собеседнику, американец ждал его ответа. Возникал диалог, как можно было догадаться, нелегкий.

— Причина неудач: Советский Союз хочет иметь дружественную Польшу, а Великобритания хотела бы возродить на наших границах систему «санитарного кордона»… — заметил русский и откашлялся — когда он долго не говорил, голос не очень повиновался ему, он должен был разогреть его в ходе беседы.

Гопкинс не отверг этой формулы, он всего лишь отмежевался от того, что американцы имеют к этому отношение.

— Я говорю только об Англии, — тут же реагировал Сталин, его устраивало желание Гопкинса отмежеваться от англичан. — Английские консерваторы не хотят дружественной нам Польши, — уточнил советский премьер, в этой фразе было заключено едва ли не существо того, как понимали проблему русские.

— Соединенные Штаты хотят дружественной Советскому Союзу Польши, — произнес Гопкинс с видимой искренностью, для него тут не было проблемы. — Соединенные Штаты хотят, чтобы все страны, имеющие общую границу с СССР, были дружественны вашей стране. — Эмиссар президента, как можно было понять, искренне верил: «Соединенные Штаты хотят…»

— Если это так, то нетрудно договориться о Польше, —

заметил русский, не скрыв своего удовлетворения, — вопрос был смещен в сферу, где позиции сторон обозначились достаточно точно.

Наверно, до этой минуты говорить о повестке дня предстоящих переговоров было рано. Сейчас, когда подступы к обсуждению польских дел были определены, можно было уточнить и повестку дня. Гопкинс назвал ее: новая встреча трех, состав Контрольного совета для Германии, война на Тихом океане и вступление СССР в эту войну. С той же лаконичностью, с какой это сделал американец, русский ответил: советская сторона согласна, чтобы встреча трех состоялась в Берлине. Сталин послал соответствующую телеграмму Трумэну: если американскую сторону в Контрольном совете будет представлять Эйзенхауэр, то советская уполномочит Жукова; третий вопрос, как отметил советский премьер, ему необходимо обсудить с его советниками, Гопкинс получит ответ позже. Гопкинс спросил, не хотел бы его собеседник поставить перед ним, Гопкинсом, какие-то вопросы и таким образом как бы расширить повестку дня. Русский ответил и на этот вопрос утвердительно, дав понять, что в ходе дальнейших встреч не преминет это сделать.

В беседу осторожно вступил посол Гарриман, до сих пор хранивший молчание. У посла была своя манера беседы. Лишенная внешнего блеска, его речь, казалось, полна была скрытой страсти. Он говорил убежденно, заставлял слушать. Посол заметил, что президент Трумэн, направляя Гопкинса в Москву, был верен определенному замыслу. Он послал человека, который, как это знает маршал Сталин, не только был близок президенту Рузвельту, но был известным сторонником сотрудничества с Советским Союзом. Президент Трумэн, облекая Гопкинса его нынешними высокими полномочиями, просил его поговорить с маршалом Сталиным так откровенно, как это любит советский премьер…

Вряд ли все сказанное Гарриманом не было ведомо тем, кто собрался в кремлевском кабинете Сталина, но такова природа человека: иногда и общеизвестное может вызвать чувство благодарности, казалось, именно этих слов сегодня и недоставало.

Но Гарриман продолжал, он отметил, что у Соединенных Штатов сложились тесные отношения с Великобританией. Они, эти отношения, берут начало еще со времен американской революции. Вместе с тем у советской стороны сформировались свои отношения с британской державой, и с этим, как можно было понять посла, Америка должна считаться. Хотя президент Рузвельт и полагал, что у трех держав особая ответственность за

судьбы мира, желательно, чтобы Россия и Америка отдельно (Гарриман не искал слов, он сказал: отдельно!) обсуждали проблемы, которые являются предметом их особого интереса. Последнее следует рассматривать как одну из причин поездки Гопкинса в Москву.

Русский, внимательно слушавший Гарримана, откликнулся на его замечание репликой, к какой обращался не часто, он сказал, что слова посла правильны и уместны весьма. Как ни приятны были Сталину комплименты посла в адрес Гопкинса, не это предопределило его отношение к словам Гарримана, а все то, что сказал американец о Великобритании. Конечно, Гарриман не мог пойти так далеко, чтобы согласиться с мнением русского о санитарном кордоне, но в подтексте того, что сказал сейчас американский посол, могла быть и эта мысль.

Утром следующего дня, как было условлено, Бардин повез Бухмана в Загорск.

С ночи пошел дождь и пригасил краски майского поля и леса, но и в этом было свое очарование — за Пушкином дорога вошла в лес, и березы встали рядом. Иногда они, как облака, налетали белоствольной рощицей, и тогда, казалось, день светлеет. Бардин любил эту подмосковную дорогу — происходил некий фокус, психологический: она была немногим севернее, чем дорога, идущая на юг от Москвы, а отождествлялась все-таки с севером. Все чудилась в ней и тускловатость русского севера, и, как сегодня, холодная мглистость его припоздавшей весны.

— Вчера Гарри долго не ложился спать, и я повел его к этому… Сан-Францисскому мосту… — заметил Бухман, очевидно, рассчитывая, что распечатает любопытство собеседника и дождется вопроса, который даст ему возможность сказать то, что он намеревался сказать, но Егор Иванович смолчал — в подобных обстоятельствах молчание способно растревожить собеседника больше, чем иной вопрос.

И вновь машина окунулась в пену белоствольных рощ. Бардин вспомнил свое первое путешествие в Загорск со стайкой своих однокашников. В памяти остался многоцветный посад — наверно, детским глазам краски видятся резче — и тугой пучок необычных слов, настолько необычных, что их больше, пожалуй, в жизни и не встретишь: Надвратная церковь, Уточья башня, церковь Зосимы и Савватия, Никоновский придел, трапезная, Надкладезная часовня, Луковая башня… Бардин теперь не помнит, чем вызваны названия монастырских башен — Уточья, Пивная, Луковая, — но гипноз названий был неотразим: Уточья в его представлении была похожа на утку, пивная — на квадратный

чан с пивом, Луковая, разумеется, на луковицу, выдернутую из земли и перевернутую так, чтобы корень обратился к небу. И еще осталось в памяти из всего, что видел, золотое шитье Ксении Годуновой, дочери царя Бориса, расшитое ее искусной и, так казалось тогда, печальной рукой. И еще помнит Бардин, как возликовал, когда разыскал в истории Борисова царствования пять драгоценных строк о Ксении, которые потом, печалясь и радуясь, повторял, как стихи: «…отроковица чудного домышления, зелною красотою лепа… очи имея черные великы, светлостию блестаяся… писанию книжному навычна, многим цветяша благоречием, воистину во всех своих делах чредима…» Как в названиях церковного града, здесь были слова, которые хотелось повторять многократ: «Зелною красотою лепа» и «во всех своих делах чредима». Бардин не помнит, видел ли он портрет Ксении, но убедил себя, что видел. Вот это золотое шитье и лицо Ксении, которое нарисовал себе Егор, и были самым сильным впечатлением от Загорска. Пожалуй, даже лицо Ксении: Бардину казалось тогда — все он может забыть, не может забыть Ксению Годунову. Было в этом что-то от гипноза любви, какой она является тебе в семнадцать лет… Даже странно: когда жила Ксения Годунова, куда она делась и что осталось от ее бренного тела, а в твоем сознании стоит ее облик, как заставил себя его увидеть Бардин, блеск ее глаз, краски лица… Вот он вспомнил все это, и затревожился, и улыбнулся: да не ехал ли он сейчас к Ксении Годуновой?

Но в этот раз Бардину не удалось увидеть ни Годуновой, ни Дигитрии, вышитой искусной Ксениной рукой… В палатах, где хранились монастырские сокровища, уже начался сезон реставрационных работ, что само по себе было признаком добрым: то была своя реакция на победу. Но в самом древнем соборе Лавры — Троицком шла служба, и Бардин был немало удивлен, как люден был собор, несмотря на будний день. Резанули сердце слова Иоанна, сказанные им осенью сорок первого в Суздале о половодье черных платков, о вдовьей России, которая печальной рекой устремляется в церкви за утешением.

Они протиснулись вовнутрь храма, однако были тут же отодвинуты в сумеречный угол за квадратный столб — алтарь был вне их глаз, как невидимо было для них духовное лицо, что вело службу — это была праздничная служба. До них доносился лишь голос, чистый и певучий. Когда возникал речитатив, можно было ухватить, как благородно строг говор священника, чуть тронутый картавинкой. Сумерки мягко разлились вокруг, но в трех шагах от Бардина их ровная полутьма была осторожно раздвинута полосой света, проникшей из окна, что находилось за

тяжелым прямоугольником колонны. Но свет выхватил из сумерек лица прихожан, особенно одно — оно было в полосе света. Сколько могло быть этой женщине лет? Двадцать семь или двадцать четыре, нет, все-таки двадцать четыре. Видно, она молилась давно — ее лицо потемнело от студеной влаги, ее глаза и губы точно разбухли не от слез, а от крови — тронь, и брызнет она. Женщина молилась истово, ничего не видя, что было вокруг, слепая в неутешном горе. Рядом с нею стояла плетенка и в ней стеклянная банка с манной крупой и бутылка с молоком — по всему, нехитрая еда ребенка. Кого она звала в своей мольбе, кого молила вернуться? Отца, брата, мужа, что канул в неоглядной пучине войны? И еще приметил Бардин: рядом с нею были сотни таких, как она, но женщина не замечала их, как они, наверно, не замечали ее: горе, что поселилось в каждом из них, было так велико, что не оставалось места для других…

Служба кончилась, народ повалил из церкви и осторожно вынес их на паперть, а потом и на непросторные площади церковного посада. Бардину показалось, что он вновь слышит этот речитатив с едва заметной картавинкой. Он обернулся. Светлоглазый старик с аккуратно остриженной, почти светской бородой осторожно ступал по торцам площади, полуприкрыв белой рукой патриарший крест и панагию. Его окружала толпа больших и малых служителей церкви, образуя некую геометрическую фигуру, правильно усеченную, сходящую на нет. Патриарх наклонился к своему собеседнику слева и произнес: «Сильна братия монастырская», и геометричная фигура вздрогнула, однако не настолько, чтобы нарушить правильность своих очертаний, повторив: «Сильна… сильна… сильна…» Патриарх шел, и его улыбка, мягкая, сановная, не минула никого, не обойдя и Егора Ивановича с его спутником. Она, эта улыбка, точно потребовала с той же незлобивой настойчивостью, чтобы ты улыбнулся в ответ. Патриарх отнял руку и даже невысоко ее поднял. Егор Иванович увидел атласную подушечку его руки. Рука была действительно атласной, шелковисто-гладкой, приятно-упругой, быть может, даже молодой, самым молодым, что было у патриарха, точно специально уготовленной для того, чтобы ласкать и миловать — трудно было себе представить, чтобы ее атласная лилейность когда-либо касалась патриаршего посоха власти, хотя без этого посоха власти, наверно, ни один патриарх не обходился. А поодаль вдруг встала молодая женщина с желтыми волосами и с бутылкой синего молока в квадратной бутылке, встала со строгим, как у Одигитрии лицом, и патриарх улыбнулся ей, потребовав настоятельно чтобы та улыбнулась в ответ, но та, как Одигитрия, была мрачна — против своей воли

она никогда и никому не улыбалась.

Они пошли улочками и площадями Лавры — точно из далекой гавани детства, затянутой мглой лет, выплывали воспоминания и у каждого было свое мудреное название: Надвратная церковь, Уточья башня, церковь Зосимы и Савватия, Никоновский придел, трапезная…

— Вы обратили внимание, как эта женщина посмотрела на патриарха? — спросил Бухман, когда они остались одни. — Она точно хотела сказать, эта женщина: она признает бога и не признает его — наместника на земле, — не так ли?.. Что вы умолкли? Я спрашиваю: не так ли?

— В ее нелегком положении наверно, ей не мог бы помочь и бог… — сказал Бардин и посмотрел в пролет улочки — прихожане покидали лавру, их поток, медленный и темный, был похож на движение лавы, которую уже сковала отвердевшая порода.

— Вы хотите сказать, что патриарх хотел бы помочь, если бы это было в его воле? — полюбопытствовал Бухман. — Говорят, что он просвещенный человек и был благороден на всех поворотах истории, — потребовал Бухман почти категорически — казалось, американец будет огорчен, если русский ему скажет «нет».

— Да, он делал все, что мог — заметил Бардин — и был поражен, какое ликование объяло Бухмана.

— Именно все, что мог именно… — подхватил Бухман.

Наверно, американцу важно было не столько установить для себя истину, в которой он и без того был уверен, сколько услышать все это от Бардина, — он искал в нашей жизни все, что в какой-то мере могло свидетельствовать: есть нечто такое, что делает жизнь России и Америки похожей. Лавра в Загорске была одним из таких мостов, и патриарх, которого Бухман увидел только что, был хранителем этого моста.

— В нем есть что-то от старорусского интеллигента, не правда ли? — продолжал настаивать Бухман. — Симпатия, непобедимая?.. Согласитесь?..

— Да, пожалуй… — не воспротивился Бардин.

И вновь возникла эта женщина со скорбным лицом Одигитрии она не торопилась уйти отсюда, больше того, боялась этого уйдет и расстанется с надеждой. Она шла едва передвигая ноги она устала смертельно. Потом она поднялась на крыльцо звонницы и села, печально склонившись, — у нее действительно не было сил идти.

— Тот раз, когда мы шли с Гопкинсом к этому вашему Сан-Францисскому мосту, он сказал, что поездка в Москву была для

него немалым риском, — вернулся Бухман к прерванному разговору. — Прежде он имел право на неудачу, сегодня — не имеет…

— У него есть опасение, что его постигнет неудача? — спросил Бардин — он точно стремился угадать, что сказал собеседнику Бардина Гопкинс, когда вчера вечером они шли по набережной Москвы-реки к мосту, который американец назвал Сан-Францисским.

— Нет, напротив, — тут же реагировал американец, реагировал, как почувствовал Егор Иванович, с радостью.

Когда они покидали Лавру, казалось, она уже опустела, но на крылечке звонницы все еще продолжала сидеть эта женщина со скорбным ликом Одигитрии.

72

В четверг двадцать седьмого мая Гопкинс вновь направился в Кремль, полагая, что на его вчерашний монолог о насущных проблемах современности, как их понимают американцы, Сталин ответит сегодня своим монологом. Трудно сказать, каким себе представлял этот сталинский монолог американец, но он был бы не очень далек от истины, если бы решил, что советский премьер не просто ответит на вопросы, поставленные посланцем президента, а попробует обратить к американцу свои, — за эти четыре года войны американец, казалось, понял натуру русского. Как свидетельствовала хроника войны, многие из своих выгод русский лидер извлек в наступлении, объектом этого напора, пожалуй, меньше всего были американцы, но подчас бывали и они.

Когда Гопкинс со своими спутниками вошел к Сталину, тот, приоткрыв окно, возвращался к письменному столу, в кабинете попахивало табачным дымом, видно, за время, предшествовавшее приходу американцев, была выкурена не одна папироса. С заученностью, как могло показаться, немного школьной, каждый из вошедших занял стул, который оккупировал накануне, при этом русские сделали это с той же прилежностью, что и американцы.

Гопкинс решил сегодня приступить к делу не раздумывая. Он сказал, что, как он понял вчера вечером Сталина, у него есть вопросы, относящиеся к Соединенным Штатам, которые серьезно беспокоят русского премьера.

Сталин закрыл большой блокнот, первый лист которого был исписан его некрупным и весьма отчетливым почерком, возможно, он был занят этими записями в канун прихода американских гостей, в записях возникал монолог, к которому сейчас он должен был приступить.

Итак, монолог… С нескрываемой грустью Сталин взглянул на американских гостей, что было чуть-чуть неожиданно, так как расставанию его с гостями накануне вечером было больше свойственно радушие, чем грусть. Он сказал, что не будет прятаться за ширму общественного мнения, а скажет о настроениях, свойственных советским правительственным кругам. Пока эта первая фраза переводилась, а вместе с тем в сознании Гопкинса медленно возникали ее невеселые очертания, уныние объяло американца. Можно подумать, что Гопкинсу привиделось нечто худое и он, казалось, впервые усомнился в целесообразности своей поездки в Москву. А между тем Сталин

продолжал. Он не скрыл от своего американского собеседника, что, как полагают те, кого он отнес к советским кругам, в отношениях между нашими странами наступило заметное охлаждение, при этом есть мнение, что с поражением Германии русские будто бы не нужны больше американцам. Он говорил, заметно сдерживая волнение, и не сводил глаз с блокнота, который оставался закрытым, точно проникал своим взглядом, сейчас тревожно горящим, под толстый картон, стараясь выстроить свои доводы в той неодолимой последовательности, в какой он обозначил их в записях.

Сталин заметил, что готов понять сокращение поставок по ленд-лизу, если Америка лишена возможности это делать впредь, то советская сторона должна быть поставлена в известность в форме, достойной отношений между союзниками. На самом деле это было сделано, как он выразился, неприятно и даже грубо: суда, готовые к отправке, были разгружены… Если американцы прибегли к этому средству, чтобы сделать русских уступчивыми, то это ошибка…

Последняя реплика русского премьера была достаточно эмоциональной. Он вновь взглянул на полураспахнутое окно, будто проверяя, не настало ли время его прикрыть — с наступлением сумерек ветер, что тянул из окна, был ощутим. Не получив утвердительного ответа, он встал и, приблизившись своими мягкими, почти бесшумными шагами к окну, прикрыл его. Потом, выдержав паузу, взглянул на люстру, но зажег настольную лампу, предварив это действие паузой. У него была необходимость в этих паузах — они придавали его действиям, даже интуитивным, значительность. В том, что он зажег свет нижний, а не верхний, был смысл — в полумраке, в который окунул он своих гостей, была известная сокровенность, располагающая к доверительности, слова, произнесенные далее, прямо этому соответствовали.

— У нынешней капитуляции есть своя особенность: немцы охотнее сдаются в плен американцам и англичанам, чем русским! — произнес Сталин. — Вот Эйзенхауэр — честный человек! — взглянул он на присутствующих и выдержал паузу, оставляя гостей в неведении, чем же честен Эйзенхауэр, и явно эксплуатируя то обстоятельство, что об этом знает он и не знают другие. — Когда сто тридцать пять тысяч немцев, которые действовали против нас в Чехословакии, сдались американцам, Эйзенхауэр отказался брать их в плен и вернул русским!.. — Он протянул руку к абажуру настольной лампы и снял листок бумаги с подпалинкой — след его ночной вахты. В стране он отменил ночные вахты, но сам еще работал по военным часам, — Весь

немецкий флот сдался союзникам — действовал против нас, а сдался союзникам!.. — Он оглядел гостей, точно пытаясь установить, понимают они его или нет. После того как бумага с подпалинкой была из абажура изъята, в комнате посветлело. — А между тем мы узнали, что союзники не намерены передавать нам немецкий флот… — он посуровел, как в начале разговора. — Если это подтвердится, причин для радости мало…

Все время, пока Сталин говорил, Гопкинс не поднимал головы, устремив глаза в свою тетрадь, страница которой так и сохранила свою чистоту. Сейчас он поднял лицо, и те, кто сидел с ним рядом, увидели, что оно стало за эти полтора часа желто-белым.

Американец сказал, что он благодарен русскому премьеру за откровенность и постарается сам быть откровенным. Он, Гопкинс, имел возможность говорить с адмиралом Кингом и может заявить: если американцы и не передали до сих пор часть флота русским, то только потому, что они хотели осмотреть немецкие корабли, Гопкинс уверен, что Советский Союз получит все суда, которые он должен получить. Что же касается ленд-лиза, то корабли однажды действительно были разгружены, но это была всего лишь неувязка в деятельности портовой администрации, к Советскому Союзу это не имеет никакого отношения.

Русский слушал посланца президента, осторожно реагируя на его речь короткими репликами, неизменно доброжелательными: «Это было вполне понятно», «Это безусловно верно», «Это верно», — и, улучив момент, заметил, что верит Гопкинсу и полностью удовлетворен его разъяснениями, но и он, Гопкинс, должен понять, как это выглядело с другой стороны. Он сказал — «с другой стороны», хотя было искушение, наверно, сказать резче, действия американцев казались очень обидными.

А между тем Гопкинс робко-настойчиво сказал «Польша», недвусмысленно дав понять, что все произнесенное было лишь вступлением к главному.

— Мне бы хотелось заверить маршала Сталина, что у меня нет ни намерения, ни права решить эту проблему за те несколько дней, пока мы будем в Москве, как нет желания прятаться за спину общественного мнения… — произнес Гопкинс, не поднимая глаз, ему было легче так произнести эту сакраментальную фразу — упрек русского премьера не был забыт американцем.

Это было не просто возражение по существу переговоров, это был укор, тем более неприятный, что исходил от Гопкинса.

— Я не хотел обидеть вас, — сказал Сталин и посмотрел на Молотова, который согласно кивнул головой. Русский министр

иностранных, дел определенно считал эту фразу небесполезной. — Я достаточно хорошо знаю господина Гопкинса как честного и откровенного человека… — Вольно или невольно эта реплика обрела интонацию своеобразную, она была обращена одновременно и к Гопкинсу, и к его американским коллегам — «Я достаточно хорошо знаю господина Гопкинса», — реабилитируя американца и даже в какой-то мере принося ему извинение.

— Я хотел бы изложить нашу позицию как можно более ясно, — заметил американец, казалось, он был рад своеобразному извинению русского премьера. Даже хорошо, что это извинение имело место сейчас. — Вопрос о Польше сам по себе был не столь значительным, если бы Польша не стала символом нашей способности разрешать проблемы с Советским Союзом… — добавил он, полагая, что предупреждает возражения наиважнейшие.

Гопкинс сказал, что у Америки нет каких-либо особых интересов в Польше, кроме желания решить польскую проблему на справедливых началах. Америка готова согласиться с любым польским правительством, которое отвечало бы устремлениям поляков и было бы дружественным Советскому Союзу. Как полагает Гопкинс, польскому народу должно быть дано это право. Вместе с тем у народа Америки создалось мнение, что польская проблема решается без участия Америки. У него, Гопкинса, нет никаких рецептов, но маршал Сталин должен хорошо подумать, как выйти из положения. Тем, насколько значительна была интонация американца, он давал понять, что речь идет даже не о Польше, а о самом существе американо-советских отношений.

— Убежден, большая часть нашего народа верит, что Америка и Советский Союз могут сотрудничать, хотя их идеологическая основа не одинакова… — заметил Гопкинс, заключая свою реплику. — Именно поэтому я призываю маршала Сталина найти ключ к решению проблемы, о которой мы говорим…

Гопкинс наклонил голову в знак того, что он кончил. Сталин пересек кабинет и включил верхний свет. Он возвращался, не очень-то торопясь занять свое место за письменным столом.

— Быть может, наше желание видеть рядом дружественную Польшу может показаться и странным, хотя это признает также Черчилль… — он сказал «также», но у него было искушение сказать «даже».

Он сел за стол и, протянув руку к блокноту, пододвинул его. Он смотрел на блокнот, точно советуясь с ним. То, что он хотел сейчас сказать Гопкинсу, казалось ему настолько убедительным, что, он полагал, должно быть воспринято его собеседником, будь тот в какой-то мере лоялен.

Русский сказал, что в течение двадцати пяти лет немцы дважды вторгались в Россию через Польшу. Ничего подобного ни Америка, ни Англия не знали. Это были именно вторжения, по жестокости и стихии опустошения напоминающие набеги гуннов. Это происходило и потому, что Польша была для Европы всего лишь санитарным кордоном на границе с Советской Россией, а следовательно, этой новой России враждебной. Стоит ли говорить, что слабость Польши и ее враждебность серьезно ослабляли и способность России к защите своих западных границ. У русских нет желания вмешиваться в дела Польши. В реплике Сталина не было повторений, каждая новая фраза заметно продвигала мысль. Польские деятели, при этом некоторые из них являются коммунистами, не всё приемлют у нас. Они правы, советскую систему нельзя импортировать, если она не возникла изнутри. Поэтому наши интересы должны ограничиваться одним: Польша должна быть сильной и дружественной. Все остальное — ее внутреннее дело. Действовали ли русские в Польше односторонне? Да, действовали, но их тут надо понять. Логика борьбы с немцами требовала безопасности советского тыла. Люблинский комитет понимал это и, как мог, помогал Советской Армии. Конечно, можно было создать советскую администрацию на местах, но это было бы уже вмешательством в дела Польши. Поэтому известный приоритет был отдан властям, помогавшим армии. Надо сказать, что создание этой администрации оправдало себя. Если состав будущего польского правительства будет как-то определен, то не останется спорных вопросов — русские не намерены возражать насчет проведения свободных выборов и тем более вмешиваться во внутренние дела.

Сталин закончил и взглянул на американца: ну, как он, доброжелательный Гопкинс?

Но, странное дело, американец молчал.

— Мне надо время, чтобы обдумать все сказанное маршалом… — произнес он, сделав усилие.

Русский встал. Ну что ж, обдумать так обдумать, точно хотел он сказать; как ни убедительно было сказанное, очевидно, Гопкинса это не совсем устраивало.

— Мы не коснулись еще трех вопросов, — произнес советский лидер. — Первое — оккупация Германии, второе — Япония, третье — новая встреча трех…

Гопкинс помедлил, он-то считал, что вопросов больше. Было условлено, что следующая встреча состоится завтра, 28 мая, в шесть вечера.

Три вопроса, упомянутые русским, определили порядок дня следующей встречи в Кремле. А сейчас уже было десять часов

вечера, и американцы поспешили в посольство: президент должен узнать о содержании встречи по крайней мере в восемь утра, то есть часа через три — сейчас в Вашингтоне пять… В том случае, когда Гопкинс записывал беседу сам, он предпочитал не обращаться к помощи второго лица. В этот раз беседы Гопкинса с русским премьером записывал Болен, а поэтому и отчет президенту был трудом коллективным. С годами у Гопкинса выработалось умение диктовать набело; разумеется, рукопись перебеливалась, но правка была минимальной. Его отчеты Рузвельту были краткими, при всех обстоятельствах письменному отчету президент предпочитал живой рассказ. Можно сказать, что он любил слушать Гопкинса, поэтому день, который обычно следовал за возвращением специального помощника из поездки, был в овальном кабинете президента днем Гопкинса. Ныне обстояло по-иному: письменный отчет обретал значение, какого не имел прежде. Он был и обстоятельнее, и, быть может, более точным в своих формулировках. Тем не менее отчет о третьей беседе с русским премьером получился кратким, пожалуй самым кратким за все три дня. И объяснение казалось простым: в этот день собеседники не коснулись польских дел…

Болен доставал свою тетрадь в тисненой коже и принимался читать. В глазах американцев Болен был фигурой едва ли не уникальной: он был кадровым дипломатом и знал русский, при этом знал хорошо, — явление не столь уж распространенное среди американских кадровых дипломатов. Наверно, знание языка у Болена возникало постепенно, по мере того как дипломат набирал силу. Он начинал свою карьеру в Праге в конце двадцатых годов и продолжал в американском посольстве в Москве еще при Буллите, а вслед за этим в Токио, но теперь уже как знаток русских дел и, пожалуй, языка — в этом качестве, надо думать, для американского дипломата высоком, он был в Тегеране и Ялте, возвышаясь до уровня советника президента по русским делам и нисходя до положения переводчика с русского. Но эти своеобразные подъемы и спуски говорили, пожалуй, о преуспевании Болена, который во всех своих ипостасях был в кругу лиц, близких президенту, что безошибочно указывало на главное — доверие. Последнее было тем более характерно, что Болен, неуклонно и настойчиво торя свою стезю, был осторожен, если не сказать щепетилен, во всем, что касается своих симпатий и антипатий. Ну, разумеется, система его политических взглядов была точно определена, но об этом знал он сам и, пожалуй, круг лиц, настолько узкий, что иностранцы, например, об этом едва ли догадывались. Тут он, пожалуй, был больше похож не столько на прежнего своего посла, сколько на нынешнего; впрочем, разница

между Буллитом и Гарриманом была существенной и вне зависимости от Болена.

Да, польские дела были обойдены, но все остальные казались достаточно весомыми. Прежде всего — Япония. Сталин дал понять, что советская сторона закончит переброску своих войск на Дальний Восток к началу августа и уже 8 августа ее армия займет свои позиции на маньчжурском рубеже. Было повторено заявление, сделанное в Ялте: русские должны иметь достаточные основания для вступления в войну на Дальнем Востоке, а это значит, что соответствующие условия, которыми русские оговорили вступление в войну, должны быть выполнены. Уже сейчас Япония пытается установить, на каких основаниях союзники согласились бы заключить с нею мир. Поэтому есть смысл союзникам договориться об этом заранее.

Русские вернулись в этот вечер к вопросу о Германии, и это также нашло свое место в отчете Гопкинса президенту. Сталин сказал, что следует изучить все аспекты подготовки мирной конференции, быть может, учтя опыт Версаля, — русский давал понять, что Версальская конференция была подготовлена плохо. Как показалось русским, союзники все еще возражают против расчленения Германии, по крайней мере, их позицию в Тегеране и Ялте можно было понять так. Но, возможно, есть резон вернуться к этой проблеме, не уточняя пока мнения сторон. Именно не определяя пока; как можно было понять русского премьера, свое слово он скажет позже. Что же касается будущего германской экономики, то, как представляется ему, Германии следует разрешить восстановить легкую промышленность и ту часть тяжелой индустрии, которая необходима ей, чтобы организовать жизнь ее городов и сел и не оставить население без транспорта и тепла.

Как ни лаконичен был отчет, который в этот вечер Гопкинс отправил президенту, он, этот отчет, был значителен уже потому, что на нем была дата: 8 августа.

73

Хомутов явился к Бардину с заявлением о переходе в военное ведомство, речь шла о Гоголевском бульваре, — по всему, Генштаб, его внешние дела. Егор Иванович дал согласие.

— Не жалеете? — был вопрос Бардина.

Хомутов достал пачку «Казбека» нераспечатанную и острым ногтем большого пальца вспорол ее.

— Откровенно?

— Да, разумеется…

— Не жалею…

— А почему все-таки, Витольд Николаевич? — Бардин-то жалел, что Хомутов уходит.

— Там… разбег меньше, Егор Иванович, — усмехнулся он.

— Это как же понять?

— Там мне настоящее дело завтра дадут, а тут мне бежать и бежать, — заметил он и, пододвинув пепельницу, обломил в нее хрупкую палочку пепла.

— Разве то, что вы делали, не дело? — был вопрос Бардина.

— Я как тот солдат, Егор Иванович, который ушел на войну с первого курса политехнического, а вернувшись с войны, снова попал на первый курс, — заметил Хомутов все с той же горчайшей улыбкой. — Ему надо быть директором Днепрогэса, а его определяют на первый курс, так?.. Я-то понимаю, что с первою курса в директора не берут, но и меня понять надо… — заметил Хомутов и встал.

— Надо понять, — согласился Бардин.

Хомутов ушел.

Печальное раздумье овладело Бардиным. Жаль Хомутова. Что ни говори, зрелый человек, а это немало. Очень хотелось винить себя: мог бы не уйти Хомутов. А может быть, ушел бы все-таки? Ушел бы?

Бардин пригласил Августу.

Она явилась странно смятенная, сидела тише воды, ниже травы, все прятала глаза. Видно, некрасивые погибают первыми, подумал Бардин, вон как вольготно пошли гулять по ней знаки времени, жестокие знаки: кожа у висков стала хрупко-бумажной, неживой, точно прохудилась и едва ли не треснула на множество морщинок, да и щеки как-то собрались в кулачки, и лицо вдруг стало благообразным, каким не было никогда.

— Взгляните на ялтинское досье и, пожалуй, обновите, у вас есть недели три, — начал Бардин издалека.

Она кивнула в знак согласия, в этом ее кивке была апатия, в

иное время она наверняка бы спросила, чем вызвано такое задание.

— Предстоит поездка, — сказал Бардин, явно желая растревожить ее.

Она вновь кивнула, тихо и покорно.

— Все?

И вновь Егор Иванович посмотрел на нее с нескрываемым вниманием. У нее появилась привычка щурить глаза, прежде этой привычки не было.

— Хомутова жаль, Августа Николаевна…

Она забеспокоилась:

— Жаль.

— Его рядом иметь на нравах советчика, цены ему не было бы, не так ли?.. У него есть норов, но есть и мнение. Он может тебе сказать «нет» и даже настоять на несогласии. Он, пожалуй, строптив, но коли врежет, то врежет в лицо… Не так ли?

Она печально смотрела на Бардина.

— Так.

— Не могу сказать, что с ним легко, особенно когда он дуется, но он нередко прав и в сомнениях своих, и в претензиях, и в обидах… Мне не страшны его сомнения, понимаете?

— И мне…

Бардин поднял глаза на Августу и обмер — лицо ее было мокро от слез.

— Августа Николаевна! — закричал он, забывшись. — Августа Николаевна…

Но она уже поднялась, закрыв лицо руками.

— Только не спрашивайте меня, — взмолилась она, — только не спрашивайте… — повторила она и выбежала из кабинета.

Бардин остался один. Жить среди людей и так мало видеть, сказал он себе. Так мало видеть.

В гостиной отдела печати, больше похожей на ярмарку новостей, чем на гостиную, Бардин встретил Галуа.

— Егор Иванович, вот вас мне и надо! — произнес француз заученно, у него была припасена эта волшебная фразочка на все случаи жизни. — Тут я пригласил одного американского друга на ленч, а он говорит: «Эх, позарез надо видеть одного русского доброжелателя, пусть он будет третьим!» Я, разумеется, спрашиваю: готов пригласить и русского, но только я-то его должен знать, кто он? У вас, американцев, можно и заглазно, а меня все-таки родила русская мать. Кто он, по крайней мере? «Бардин!» А я только сегодня думал: эх, хорошо бы Егора Ивановича повидать… Бардин!.. Держи Бардина, только

промашки не дай! Звонил он вам… американец?

— Это какой же американец, Алексей Алексеевич?.. Имя есть у него?

— Должно быть! Без имени даже американцу неудобно, а? Бухман! Толстяк такой, борода веничком… Звонил?

— Нет, признаться…

— Ну, коли мы переговорили, Егор Иванович, ему звонить не обязательно… Будете?

— Я бы и вам не отказал, Алексей Алексеевич… — улыбнулся Бардин. — Не отказал… и без американца.

Галуа едва не пустился в пляс, припадая на больную ногу.

— Спасибо, Егор Иванович, уважили.

Галуа просил накрыть стол в гостиничном номере, трудно было взять в толк, почему он перенес ужин из ресторана к себе. Возможно, полагал, что беседа за столом обретет большую свободу. Предположение не обмануло Галуа: по тому неписаному правилу, которое гласит, что все дороги ведут в столицу римлян, явные и скрытые пути беседы, завязавшейся за столом, подтолкнули собеседников к многострадальным польским делам.

— Послушай, Бухман, скажи на милость, откуда тебе знать Польшу? — произнес Галуа, разумеется по-русски, глядя прямо в невинные глаза блаженно улыбающегося гостя. — Знаешь ли ты, что исстари у польской истории было два крыла: Франция и Россия? — вопросил Галуа и был одарен новой улыбкой Бухмана, еще более щедрой.

А между тем пир продолжался своим чередом.

Галуа, утверждавший свое российское первородство и в любви к русскому столу и напиткам, отдавал предпочтение водке. Он припас ее, рассчитывая на гостей, пьющих достаточно. Но Бардин с Бухманом пили по-божески, и первым был сражен огневой русской влагой безбоязненный француз. Так или иначе, а монолог о двух крыльях польской политики Галуа пришлось продолжать, когда соответствующие пары если не вознесли его над землей, то легонько приподняли. Спасая положение, Бардин увлек француза и американца из дома. Так гости оказались в этот поздний час на тишайшей Рождественке и в переулках, к ней прилегающих, то есть в местах, самим богом уготованных для крамольной тирады Галуа.

— Пойми, неразумный человек, что ты избран третейским судьей, не имея на то права! — произнес Галуа, обращаясь все к тому же Бухману, когда они очутились под защитой толстых стен Рождественского монастыря. Американцу нравилось, что Галуа говорит с ним по-русски, и он продолжал озарять своего собеседника улыбкой. — Конфуз истории, ее трагическая

опечатка, которую даже всевышний не в силах исправить… — он стукнул своим маленьким кулачком по толстому кирпичу — всевышний, о котором он сейчас говорил, был за этой стеной. — Что ты знаешь о размахах русского горя, которое принес немец на землю России? Ты читал о первой войне по книжкам, а я видел все вот этими глазами! — он изобразил из своих пальцев вилы и храбро ткнул ими в свои глаза. — Если бы эти глаза могли бы отдавать все то, что они вобрали, как бы много они рассказали сейчас тебе!.. Много! — Он оперся спиной о стену, когда он жестикулировал, ему необходим был упор. — Они могли бы рассказать, как шли в сентябре четырнадцатого по Невскому бородатые великаны на войну, провожаемые матерями и женами в ситцевых платочках. Как на станциях и полустанках эти бородатые великаны заполняли товарные вагоны. Как тремя месяцами спустя Питер стал полниться безногими и безрукими — половодье калек! — Он стоял сейчас на возвышении, и казалось, митинговал, в безлюдном переулке его не столь уж сильный голос звучал отчетливо. — Вот она, германская чума, которая с неодолимостью годовых циклов приходила в Россию по польскому виадуку. Я не оговорился, по польскому виадуку. — Галуа уперся локтями в стену и легонько оттолкнулся. — Вот теперь спросите меня: кого поставить на часах у этого виадука? Генерала Бура, да? — В переулке прозвучал его смех, ему стало очень смешно. Он запахнул шубейку и произнес почти шепотом: — Хотите, скажу? Только я махну хвостом и был таков, а вы переведите! Так вот мой ответ: если завтра Россия проголосует за социалистическую, так сказать, Польшу, я ее пойму… А теперь переводите!..

Экая бестия этот Галуа! Выпалил крамольную тираду и испарился. Он ее только внешне адресовал Бухману, а на самом деле обратил к Бардину. Пьян? Дудки! Он пьянеет, когда ему надо, и трезвеет, тоже когда ему надо, независимо от выпитого. Он все рассчитал. И то, что его тирада непереводима, по крайней мере если это должен сделать Бардин, тоже рассчитал. Вот попробуй переведи ее Бухману! Значит, дело не в Бухмане, а в тебе, и тирада крамольная адресована только тебе. Однако что она должна явить? Не то ли, что он, Галуа, понимает, куда торится тропа в более чем сумеречном бору дел польских? Однако зачем это Галуа? Этот вопрос потруднее. Пусть минет время. Сейчас, пожалуй, узла не развяжешь.

Когда Гопкинс вместе со своими спутниками вновь явился к Сталину, он приметил на письменном столе раскрытую книгу. Приблизившись, он вдруг обнаружил, что книга набрана

неведомыми ему литерами. Эти литеры были стремительно бегущими. Пахнуло древностью первозданной, что-то было в этом письме непроницаемое, восточное. Американец не без труда оторвал взгляд от книги, обратил его на Сталина и вдруг поймал себя на мысли, что и лицу русского премьера свойственно нечто такое, что он ухватил, мысленно листая книгу: древнее, сокрытое напластованиями веков, нелегко постижимое, может быть даже тайное.

И, сделав это открытие, американец почувствовал, что уверенность, до сих пор не покидавшая его, испарилась. Ему показалось, быть может впервые, что всех его достоинств недостаточно, чтобы разговаривать с этим человеком. Их было, как сейчас полагал он, тем более недостаточно в преддверии разговора, который предстояло повести ему сегодня: Польша.

Гопкинс заговорил.

— Я хотел бы изложить причины нашего беспокойства во всем, что касается Польши, — сказал он. — То, что я хочу отметить, быть может, не ново, но я должен все это сказать, иначе мы не продвинемся в наших переговорах ни на шаг. Речь идет о нашем понимании парламентской системы и в связи с этим о будущем Польши…

Русский слушал Гопкинса с видимым вниманием, он без труда сдерживал иронию, которая копилась в нем. Судя по тому, что Гопкинс начал «от печки», начал так, будто вопрос о Польше до сих пор и не возникал, очень похоже было на то, что он воспроизводит некую директиву, полученную из Вашингтона, быть может директиву президента, — автор директивы был не очень осведомлен о ходе переговоров и для верности начал с азов. Русский понимал это и был ироничен. Ирония прорывалась то в легкой ухмылке, то в прищуре глаз.

А между тем Гопкинс продолжал, и Сталин следил, как развивается мысль американца. Гопкинс сказал, что хотел бы очертить контуры того, как понимает свободные польские выборы американская сторона. Он говорил о гарантии главных свобод: свободе слова, собраний, передвижения, вероисповедания. Как он полагает, следует обеспечить свободу деятельности всем, кроме тех, кто исповедует фашизм. Разумеется, должно быть узаконено открытое судопроизводство, а это значит — свободный выбор адвоката и, разумеется, неприкосновенность личности.

Надо отдать должное Гопкинсу, если его нынешнее слово опиралось на директиву, он воссоздал эту директиву добросовестно. Совершенно очевидно, что Гопкинс воспроизвел как бы слепок с хартии американских свобод, воспроизвел без тени иронии, хотя ирония должна была иметь место — чтобы

американцу иметь право говорить о неприкосновенности личности в Польше, надо, чтобы она в Америке была неприкосновенна. Но Гопкинс был и не во всем виноват; возможно, он всего лишь повторял директиву…

Русский, отвечая американцу, не поставил под сомнение все сказанное Гопкинсом. Наоборот, он заметил, что свободы, о которых говорил Гопкинс, обязательны для любого государства, которое считает себя демократическим. Иное дело, когда эти свободы должны быть применимы в полной мере и когда несколько урезаны. Конечно же, война создает тут особые условия. В годы революции русская православная церковь пошла войной на новое правительство, призвав верующих не идти в армию, не работать, не платить налоги. Сейчас нет антагонизма между церковью и государством, но тогда он был, и от государства потребовались ответные меры, чтобы призвать церковную власть к порядку. Одним словом, принцип, о котором говорил Гопкинс, верен, но в военное время нуждается в коррективах, а сейчас все еще война, по крайней мере, на Тихом океане…

Как ни почтительно было внимание американца, он набрался храбрости и прервал русского. Он заметил, что хорошо понимает маршала, но должен возразить — речь идет не о свободах, а о доверии союзников друг к другу. Он сказал, что Ялта внушила уверенность президенту Рузвельту, как, впрочем, и Гопкинсу, что польский вопрос решен. Но вскоре он, Гопкинс, был встревожен, увидев, что есть обстоятельства, препятствующие решению этого вопроса. Как ни осведомлен был Гопкинс, он не мог понять истинных причин неудачи. Тем большее недоумение все это должно было вызвать у рядовых американцев, которые не столь осведомлены, как Гопкинс. Так или иначе, а создалось впечатление, что Советский Союз хочет господства в Польше. Гопкинс не склонен верить этому, но он серьезно встревожен тем, что правительство, о котором шла речь в Ялте, до сих пор не создано…

Хотели собеседники или нет, но логика разговора пододвинула их к тому существенному и явному, что каждый из них избегал назвать собственным именем, обращаясь к псевдонимам. Каким именно? Под суверенной Польшей американцы подразумевали Польшу буржуазную. Англичане шли дальше: они хотели не просто буржуазной Польши, они хотели видеть во главе Польши столь реакционную силу, как Бур-Комаровский. И одни и другие полагали, что социалистическая Польша не может быть суверенной, но прямо об этом говорить не решались, очевидно чувствуя, что защитить этот тезис трудно.

Спор о составе правительства, в сущности, был спором о том, каким должно быть будущее правительство этой страны в своем отношении к СССР.

— Если есть проблема, которая может определить нашу способность к согласию, то это польская проблема, — произнес Гопкинс с той медленной чеканностью, которая свидетельствовала: он долго искал эту формулу. — Как я понимаю, наши три страны должны решить эту проблему, при этом не откладывая…

— Должны, конечно, но если все три того желают… — заметил русский и, пододвинув книгу, сомкнул ее створки, глянула обложка с барсом, поднявшимся на дыбы. Он был свиреп, этот барс. — Если все три того желают, — он оттенил голосом «все три».

— Не думаю, чтобы у англичан было иное мнение, — сказал Гопкинс, но русский смолчал, он будто говорил: «А я думаю».

На другой день хозяева дали обед в честь американца, большой обед, предваряющий завершение переговоров.

Хотя гости уже встали из-за стола и разбрелись по кулуарам, застолье точно продолжилось — вино встревожило голоса, дало им силу, какой они прежде могли и не иметь. А здесь было тихо — тишина боярских хором, саженных стен и округлых сводов, тишина столетий, для верности запечатленная в кротких ликах святых, в торжественной печали их глаз…

— Я хочу говорить об аресте четырнадцати поляков, — сказал Гопкинс Сталину и, оглянувшись, точно удостоверился, насколько прочны окружившие их стены и в какой мере надежно они способны оградить их от постороннего глаза и слуха. — Мне передали, что им вменено в вину незаконное пользование радиопередатчиками… — Он точно ждал от своего русского собеседника подтверждения. — Если это и так, все равно есть смысл освободить их, как я понимаю; арест поляков отравляет атмосферу сотрудничества, это тем более неуместно перед конференцией в Берлине… Надо освободить их и закрыть этот неприятный вопрос — если это жертва, надо пойти на жертвы.

Сталин молчал, какими путями могла идти сейчас его мысль?

Не может быть, чтобы этот демарш об освобождении четырнадцати был делом самого Гопкинса. Наверняка эта просьба подсказана ему Вашингтоном, быть может очередной депешей президента. Если же быть тут точным до конца, то почин принадлежит не президенту, а Черчиллю — четырнадцать, о которых говорит Гопкинс, из подпольной группы, засланной в тыл нашей армии еще в этом году. Ответить Гопкинсу на этот вопрос

— значит сказать о советско-британских отношениях такое, что даже Гопкинсу до сих пор не говорилось. Однако есть ли резон говорить сейчас об этом в тех пределах, в каких следовало бы сказать, чтобы и вот этот эпизод с четырнадцатью обрел для Гопкинса ясность, какой нет у американца? Есть ли резон?

— Нет, это не просто неприятный вопрос, это вопрос принципа, и на это нельзя закрывать глаза, — сказал русский, растягивая слова и придавая речи тот особый ритм, какой она обретала, когда, подчиненные особой логике, оттенялись ключевые слова «нет», «не просто», «нельзя». В отрицании было своеобразное крещендо, оно нарастало, это отрицание, от слова к слову, оно было мощным. — У меня есть такая информация, какой вы не располагаете. Речь идет о диверсиях в нашем армейском тылу, все четырнадцать виновны в преступлениях против нашей армии и должны быть судимы, — продолжал он с той неколебимостью, какая начисто исключала продолжение разговора. — Но я верю вам, когда вы говорите, что это производит неблагоприятное впечатление на общественное мнение. — В его фразе набрало силу и утвердилось «верю вам». Вряд ли какой-либо иной союзный деятель, кроме Гопкинса, мог быть удостоен в подобной ситуации всемогущего «верю вам». — Если бы завтра мы опубликовали все, что нам известно о деятельности Черчилля в Польше, это бы поставило его в положение безвыходное, — заметил он и, взметнув руку, в которой держал трубку, взвихрил пепел и обсыпал им рукав маршальского кителя. — Поймите, безвыходное… Но мы не будем этого делать. Больше того, мы поможем ему выйти из неловкого положения, в которое он сам себя поставил… Что же касается тех четырнадцати, — он переложил трубку из правой руки в левую и, оттянув рукав, смахнул пепел, — они будут судимы, но к ним отнесутся снисходительно…

Через полчаса они вернулись в банкетный зал, присоединившись к гостям, которых ненадолго оставили.

74

Бекетов возвращался в Москву, на сборы ему давали две недели.

Сергей Петрович достал блокнот и тщательно выписал имена своих английских друзей, которым следовало нанести прощальные визиты, список получился достаточно пространным. Это и тревожило, и радовало.

Случилось так, что первым, кому Бекетов обмолвился об отъезде, оказался Хор, который явился в посольство со скромным презентом для Сергея Петровича — альбомом фотографий о большом десанте, подготовленным с великим старанием к годовщине высадки.

Англичанин сказал, что протокольный визит Сергея Петровича его не устраивает и он хотел бы видеть его на полковом празднике кавалеристов, куда приглашен в будущую субботу.

Когда в послеобеденный субботний час военный «джип» прибыл в посольство и кавалерийский офицер с седыми, алюминиево-седыми, висками пригласил Сергея Петровича в машину, заняв место за рулем, Сергей Петрович подумал, что британская кавалерия пересела в новых условиях с коня на автомобиль с той легкостью и изяществом, с каким в прежние времена меняли арабского скакуна на ахалтекинского. А между тем «джип», ведомый бравым кавалеристом, пересек город и устремился во тьму дубовой рощи, такой большой и темной, что об ее присутствии в шестидесяти милях от Лондона вряд ли можно было догадываться, а потом вдруг остановился у железных ворот, прошитых крест-накрест заклепками. К счастью, за воротами, украшенными клепкой, было не так грозно, как на подходах к ним: пахло молодым сеном, дегтем и конским потом — древними запахами конюшни…

Хор, по случаю праздника одетый в форму кавалерийского офицера, был здесь, судя по всему, фигурой заметной — то ли невеликие масштабы полка делали его таким большим, то ли его военное звание и заслуги. Полковника сопровождала значительная свита, и офицеру с алюминиевыми висками стоило усилий образовать коридор и осторожно впустить в него Бекетова. Хор был сановен и величаво-снисходителен. Он вел себя так, будто это был не полковой праздник, а великосветский прием. Наверно, в этом были виноваты не только Хор, но и состав гостей, особый состав гостей: синегубые старцы в пыльных котелках, молодящиеся дамы с газовыми платочками вокруг шей,

пятидесятилетние франты в лиловых пиджаках, чудом восставшие из небытия, клетчатые кепи, трости с костяными набалдашниками, «бабочки», черные, густо-вишневые, ярко-фиолетовые, очки в роговой оправе, квадратные и тяжелоовальные, куртки суконные и вельветовые пальто, на веки веков демисезонные, с плюшевыми воротниками… Все старое, тронутое пыльным солнцем еще прошлого века, напитанное нафталином, жестоко побитое временем и молью, бог весть каким образом выжившее. Кавалерийский полк был для них клубом, куда они стекались, чтобы обнаружить свою страсть и ту самую живучесть, которая была самой их сутью.

— Вам интересно, правда? — спросил Хор Сергея Петровича, удерживая в поле своего зрения многоцветный мир фигур и лиц, расположившихся на трибунах и с вожделением ожидающих начала действа. — Верно… необычный полк? Одновременно и полк, и клуб, не так ли? И, подобно каждому клубу, маленький парламент?

— Не столько парламент, сколько его фракция… — засмеялся Бекетов, он не хотел упустить в этом разговоре существа.

— Фракция… тори? — насторожился Хор.

— Если хотите, тори, — согласился Сергей Петрович. — Тори были потомственными лошадниками…

— До лошадей ли теперь?

Хор все еще смотрел на трибуны. Вдоль нижней скамьи шел старик в коротком макинтоше, время немилосердно обошлось с его ногами, старика нельзя было назвать даже раскорякой, было мудрено, как только старик управляет своими ногами, сообразуя шаг.

— Эти люди пришли сюда, чтобы отвести душу… — вдруг произнес Хор с искренним состраданием.

— В каком смысле?

Хор продолжал наблюдать за стариком в макинтоше, который с храброй настойчивостью продолжал вышагивать, в то время как ноги его, казалось, только ждали момента, чтобы разбежаться в стороны.

— Наши выборы — лес темный!.. — вырвалось у Хора.

— Но ведь у Черчилля есть такой козырь, как победа… — заметил Бекетов. — Разве этого недостаточно?

Хор, неотступно следящий за стариком в макинтоше, как бы довел его до места на трибунах и осторожно усадил, обнаружив предупредительность.

— Достаточно, разумеется… — снисходительно улыбнулся Хор. — Но у англичан свой бог, и имя ему — скепсис. Они могут и не отождествить Черчилля с победой… К тому же есть

обстоятельство, которое нельзя сбрасывать со счетов…

Он умолк, точно ожидая, что Бекетов проникнет в его мысль и облегчит ему эту задачу.

На просторное поле, лежащее перед трибунами, жокей в бледно-голубом камзоле вывел каурого жеребца и одним этим вызвал заметное оживление на трибунах. Жеребец был стар и неторопливо важен. Он был избалован вниманием и принимал почтительный шепот и аплодисменты на трибунах как должное, старательно выбрасывая копыта. Он держал голову уже не так высоко, как прежде, да и глаза его застилала пленка старости, но в походке была прежняя инерция — величавость, чуть церемонная. По всему, это была знаменитая лошадь, была — она уже не умела ни бежать, ни становиться на дыбы, ни брать препятствий, но она была еще живая, сохранив, так сказать, свой прежний портрет, и каждый был рад опознать ее на этом портрете.

— Вы говорите о новом положении Великобритании в мире? — спросил Сергей Петрович осторожно, он имел в виду полосу бед, наижестоких, в которую империя сейчас вступала. — Индия, да и не только Индия.

— Да, новое, пожалуй, даже совершенно новое, — заметил Хор, помедлив. Он хотел понять слова Бекетова по-своему, понять и преломить. — В этой троице великих мы почувствовали себя третьими лишними…

— Это каким же образом? — полюбопытствовал Сергей Петрович, ход мысли англичанина был для Бекетова неожидан.

— Россию и Америку еще связывает Дальний Восток, а Великобритания?..

Он следил за движением знаменитого жеребца, тот шел по кругу почета, с нескрываемой заинтересованностью и даже жадностью собирая свою долю елея, которым одаряли его люди. Годы и лишний вес стеснили дыхание жеребца, да и шерсть его заметно повлажнела и стала блестящей, но это был не блеск молодости, а тусклое свечение — каждый новый шаг стоил лошади сил. Люди не замечали этого, в лошади они видели себя, свои страсти, быть может, даже молодость свою — именно этого у них сейчас и не было, и старая лошадь, как могла, этим их одаряла.

— Третья лишняя! — печально произнес Хор, не сводя глаз со старого иноходца. Он нашел подходящую формулу и готов был повторять ее вновь и вновь — двусмысленность этой фразы, казалось, была не случайной.

— Да так ли это? — с искренним участием спросил Сергей Петрович, не очень хотелось ему сейчас, чтобы Великобритания

была третьей лишней.

— Так, господин Бекетов, уверяю вас, так… — Хор приумолк, сощурив глаза, можно было подумать, что он впервые отдал себя во власть того, что происходило в нем, отстранившись от происходящего рядом. Даже знаменитая лошадь, которая с прилежной торжественностью продолжала обходить поле, на какой-то миг потеряла для него смысл. — Вы знаете, что мне рассказали вчера? Скажу, но вы не поверите…

— Как знать, может быть, поверю, господин Хор…

— Вы, очевидно, знаете, что в Москве был Гарри Гопкинс… Пройдем к этому дереву, тут нам будет удобнее. — Они вошли под крону серебристого тополя, что стоял рядом с трибунами, крона была веселой, она звенела на ветру. — Не знаю, известно вам это или нет, но англичане были начисто выключены из переговоров, начисто, хотя, легко догадаться, все время речь шла о них. Когда на обратном пути из Москвы Гопкинс прибыл во Франкфурт, премьер-министр позвонил ему туда и попросил приехать в Лондон. Гопкинс уклонился, вначале сказавшись больным, а потом сославшись на то, что у него нет разрешения президента. Черчилль телеграфировал президенту, настаивая на том, чтобы тот разрешил встречу. Теперь пришла очередь президента искать уклончивый ответ. Так или иначе, а Черчилль действительно оказался неким образом в изоляции. Нашему премьеру не оставалось ничего иного, как позвонить Гопкинсу вновь, теперь уже в Париж, и недвусмысленно дать понять, что он обижен. Но дело, разумеется, не в обиде, а в значительно более серьезном: третий лишний… И главное, кто приложил тут руку? Гопкинс, тот самый Гопкинс, который много раз клялся в верности нашему премьеру, но это уже другая тема, пожалуй, даже не столь интересная, — если человек зрелый и у него есть силы, он должен себя готовить к разочарованию…

Хор сказал все и взглянул на знаменитого жеребца, все еще вышагивающего вдоль трибун. Однако Хор улучил минуту наиредчайшую, чтобы осенить своим взглядом некогда прославленного рысака. Жеребец поравнялся со стариком в макинтоше и со снисходительной печалью посмотрел и притопнул, да с такой твердостью и аккуратностью, что это вызвало откровенную зависть старика. В самом деле, дожить до столь почтенного возраста и сохранить способность удерживать вот этак копыта, управляя их движением и ритмом, да не завидно ли это?

А лошадиное действо мало-помалу набирало силу. Начались скачки, и многоцветное воинство трибун ожило и заволновалось.

— Пейс, пейс, пейс! Резвость, резвость, резвость! — закричала

одна часть трибун, а другая подхватила. И над всем возобладал голос старика в макинтоше, старик вдруг ожил:

— Спид! Спид! Спид! Скорость! Скорость! Скорость!.. — Но теперь старик явил знания, которые в нем дремали, приваленные плитами возраста. — Посадка не та! — вдруг возопил он. — Ноги болтаются, как неживые! А вот руки хороши, по-моему, есть мягкость рук!

Да, старик-раскоряка явил истинный изыск, говоря о положении ног всадника, старик помнил себя на коне, видел себя… Хор следил за происходящим точно завороженный.

— Помните у Шекспира в «Гамлете»? Помните, помните?.. Как это у него сказано?..

Он задумался, стараясь вызвать в памяти Шекспирову строфу, даже опечалился на миг, нашептывая. Потом вдруг встрепенулся:

К седлу, казалось, он прирос и лошадь
К таким чудесным принуждал движеньям,
Что он и конь его как будто были
Одно творенье…

Программа была большой и шла, что называется, на ура, у публики все вызывало энтузиазм. И бега, и стипль-чез, и конкурс красоты, и, конечно, скачки, которые завершали программу и вызвали такой рев на трибунах, что почтенная публика вдруг помолодела на глазах.

Конный спектакль закончился уже в сумерки — стало холодно. Сиятельные гости, неожиданно обретшие резвость, какой до этого не имели, дрожащие, смешно подпрыгивающие, притопывающие и прихлопывающие, с почерневшими от холода лицами, пустились с конного поля взапуски, точно у них за спиной рвались снаряды. Справедливости ради следует сказать, что был резон бежать: в офицерском клубе был накрыт стол — виски, сливовица, попахивающая сивухой, водка, красные бордоские вина и, разумеется, сандвичи. Что еще надо жестоко голодному и, пожалуй, холодному английскому аристократу?

Не без сознания собственного достоинства, все еще раскланиваясь направо и налево, Хор продефилировал с Бекетовым через большой банкетный зал, где были накрыты столы для публики и увлек русского гостя в зал малый. Здесь было сумеречно, тихо и тепло, в камине свивалось пламя, пахло смолой, которая, шипя, вскипала на поленьях, и жареным луком, жаренным на таком сильном огне, что дыхание лука побеждало все иные запахи.

Видно, гости, приглашенные в малый зал, задержались

дороге, Хору и Бекетову пришлось начинать трапезу одним.

— Ну, теперь я вам скажу то, что не сказал и, пожалуй, не мог сказать прежде, — вдруг открылся англичанин, когда первая рюмка водки была опрокинута и тепло, которое до сих пор удерживалось в пределах камина, вдруг вырвалось оттуда и ощутимо ударило в щеки. — Предполагалось, что наш праздник посетит сегодня мистер Черчилль… Ну, что вы так смотрите на меня? Сейчас, когда он не приехал, я могу сказать об этом…

Бекетов заглянул в глаза англичанину. В этой фразе лишь внешне слышалось нечто похожее на извинение, на самом деле она звучала как предуведомление: чем черт не шутит, Черчилль мог все еще появиться в этом доме — в предвыборную пору и кресло премьера становится на колеса. Так или иначе, а после только что произнесенного Сергей Петрович мог и не удивляться, если бы открылась дверь и Черчилль бы закупорил ее своей округло-покатой грудью.

Было выпито по второй и по третьей рюмке, но Сергей Петрович не торопил своего спутника, он ждал Черчилля, как, впрочем, ждал его и Хор, теперь уже не делая из этого секрета.

Британский премьер прибыл в десятом часу вечера, когда пестрое воинство офицерского клуба заметно совладало с голодом и холодом. Кирпичный куб клуба, до сих пор вполне сохранявший свои формы, точно взорвался, послышались клики, определенно победные. Они слышались долго, накатываясь волнами, точно у столиков, уставленных виски и сандвичами, знатный тори принимал парад своих войск. А может быть, это были не просто лошадники, знатоки лошадиной стати, а функционеры партии, ее рабочий мозг и ее энергия, а увлечение лошадьми было ненастоящим именем этих людей? Энтузиазм, который они явили при появлении Черчилля, был даже не очень понятен для лошадников — в конце концов, знатный тори был не лошадью, а человеком. А шум за стеной был неизбывен. Как мог заметить Сергей Петрович, в этих кликах восторга был даже известный ритм: шум и тишина с правильными паузами в две-три минуты. Могло быть и так: премьер шел от столика к столику, говоря каждой группе своих сподвижников нечто такое, что он мог сказать только им. Ритмичные всплески воодушевления смещались, все более приближаясь к малому залу, где затаились Хор и Сергей Петрович.

Встреча с лошадниками заметно взбодрила премьера, путешествуя по залу. Черчилль не только сам одарял, но разрешал и себя одарить — до блаженно-бедового было далеко, но в его глазах уже успела свить уютное гнездышко веселость.

— Когда я был здесь в последний раз, этот стол был

поставлен у самого камина, и нам тут было хорошо, — произнес Черчилль, но Хор и с места не тронулся, он взглянул на премьера сдержанно-скептически — быть может, один на один с Черчиллем он бы и помог ему переставить стол, но демонстрировать этакую гуттаперчевость в присутствии русского ему не очень хотелось. — Наверно, возраст человека — это расстояние от стола, который он облюбовал, до камина. С каждым годом оно короче и короче, пока не приходит время вниз головой в огонь…

Хор встал и пододвинул стол — Черчилль его разжалобил.

— Мистер Хор сказал мне, что Москва зовет вас к себе, — произнес премьер, и его рука, расторопно-уверенная, стала обживать стол. Мигом винное хозяйство было приведено в образцовый порядок, бутылки выдвинуты, рюмки расставлены по тому самому ранжиру, по какому им стоять надлежит. — Я получил телеграмму президента с подробным отчетом о поездке Гопкинса в Москву… Как всегда у Гопкинса, это было очень полезно…

Хор встал и вышел, его шаг усталый был исполнен сознанием совершенного, — как ни строптив был полковник, он был управляем, то, что требовалось от него, он сделал.

— Вы, очевидно, знаете, что предстоит новая встреча трех, — произнес Черчилль и движением, в такой же мере уверенно-спокойным, в какой и заученным, осушил первую рюмку и, поставив ее на прежнее место, отодвинул, дав понять, что дальше пить не намерен. Этот жест мог определять одновременно и лимит огненной влаги, и лимит времени — и одно, и другое, видно, было у премьера на ущербе. — Как ни велики проблемы, которые нам предстоит обсудить, все они, вместе взятые, ничто в сравнении с главным, я имею в виду взаимопонимание. — Он достал из жилетного кармана часы и безбоязненно взглянул на них. Оказывается, когда требовали интересы дела, он считал известную деликатность ложной. — Одним словом, я еду в Берлин с надеждой, что великий труд войны мы завершим достойно… А в остальном, как говорится, всех благ…

Когда машина возвращалась в Лондон, не без труда отыскивая в первозданной тьме бора дорогу, Бекетов спрашивал себя об одном: так ли важно было Черчиллю сказать ему, Сергею Петровичу, то, что он сказал? И должен был себе ответить: очевидно, важно, очень важно…

Бекетов, продолжал наносить прощальные визиты англичанам, с которыми свела его дружба в эти четыре долгих года, и был поражен, как велик и, пожалуй, многообразен круг этих людей. Правда, степень родства, так сказать, была тут разной: одних Сергей Петрович знал коротко, с другими соединили его поездки по стране, третьи были деятельными активистами общества дружбы и бывали на приемах в посольстве. Однако и первые, и вторые, и третьи представляли ту добрую силу, которая все эти годы была опорой наших культурных контактов, много сделала и еще больше могла сделать. Поэтому так важно было объять весь круг людей, каждого повидать, каждому засвидетельствовать свое уважение. Тут был и видный прозаик, с некоторого времени поместившийся в знаменитом доме у Пиккадилли и таким образом как бы причисленный к лику отечественной словесности — в доме живали Байрон и Диккенс. И престарелый профессор вокала, давший Англии в последнее тридцатилетие всех ее выдающихся певцов, — мрачно-монументальная квартира профессора, выклеенная фотографиями знаменитостей, на которых они оставили свои автографы, напоминала мемориал. И известный ирландец-парламентарий, представляющий в Вестминстере горняцкую Ирландию. И эдинбургский филолог, знаток поэзии Бернса, знаменитый тем, что только ему были ведомы потаенные тропы, которыми в свое время прошел великий шотландец. И поэт, заточивший себя в деревенской глуши и окруживший себя выводком чад и единственной в своем роде коллекцией римской керамики, которую он раскопал в окрестных горах. И хранитель библиотеки английской революционной книги в лондонском «Маркс-хауз», «Доме Маркса», сам видный революционер, сын видного революционера… Даже интересно, каким своеобычным маршрутом повела Сергея Петровича эта традиция прощального визита, какую прелюбопытную картину она воссоздала, как разнообразен был круг людей, которых вновь Сергей Петрович увидел, с какой живостью перед мысленным взором Бекетова вдруг встали все эти годы, прожитые на Британских островах.

В ряду этих визитов разумелось посещение Коллинза, но он третью неделю находился в брайтонской клинике, при этом с диагнозом, который исключал встречу. Ученый решился на операцию, начался отсчет предоперационных дней. Бекетов отправил доброе послание, в котором, как мог, поблагодарил старого друга за труд, за доброе участие в делах, за верное

служение идее дружбы. И вот тогда раздался звонок и ординатор клиники, человек, как могло показаться, возраста наипочтенного, попросил от имени Коллинза приехать, однако предупредил, что Сергей Петрович должен быть один, при этом время встречи не может превышать четверти часа.

Сергей Петрович поехал. Последний раз он видел Коллинза с месяц назад, едва ли не через неделю после победы. У него был вид хронического почечника: одутловато-желтое лицо, набрякшие веки, заметно лиловые. С откровенностью, пожалуй для него не очень характерной, Коллинз сказал, что чувствует себя худо и не исключено, что ляжет под нож. Он посетовал, что ему все труднее совладать с его президентскими обязанностями в обществе и теперь, когда победа завоевана, не такой уж грех подумать и об отставке. В его реплике прямой вопрос отсутствовал, но он, этот вопрос, конечно же предполагался. Сергей Петрович искренне считал, что отставка, имей она место сегодня, будет понята превратно, и сказал об этом англичанину. Ну, разумеется, это суверенное дело английской стороны и самого Коллинза, но если англичанин хочет знать мнение Бекетова, то Сергею Петровичу оно представляется именно таким… Англичанин не скрыл своей печали, но спорить не стал, видно, в глубине души он согласился с русским. В самом деле, война кончилась, но страсти все еще кипели так, будто бы она продолжалась, конечно же, время отставки не наступило. Оно не наступило даже для Коллинза, чью активность болезнь заметно парализовала. Именно это Коллинза и мучило. Человек завидной прямоты, чуждый всему показному, он не мог допустить, чтобы его участие в делах было всего лишь символическим. А как трансформировалось его лечение сегодня, за пять минут до операции?

Клиника выглядела ботаническим садом с пышной, едва ли не тропической растительностью и белокаменным особняком в центре, который казался тем белоснежнее, что был окружен зеленью, набравшей силу в эту дождливую весну и казавшейся сейчас темной. Апартаменты Коллинза, а это были именно апартаменты, состоящие из трех комнат, выходили на поляну с огромной, вознесшейся над особняком туей, которая была так стара и изрядно побита временем, что утратила форму правильной пирамиды, но по-прежнему выглядела достаточно величавой.

— Вы не встретили моего эскулапа с красной бородой? — поинтересовался Коллинз, стараясь укрыть одеялом обнаженную грудь, по-стариковски худую, поросшую крупными серыми волосами. — Мудрая муха, этот мой профессор Крэг! — произнес он, осторожно тронув кончиком языка сухие, заметно запекшиеся

губы, — видно, до того, как заговорить с Сергеем Петровичем, он молчал достаточно, и губы запеклись. — Поразил меня первой же фразой: «Жалуетесь на левую почку?» — «А вам кто сказал?» — «Ваш левый глаз…» — Левый глаз Коллинза, действительно припухший, понимающе мигнул, восприняв печаль и кротость улыбки. — Значит, едете? Меня оставляете, а сами едете? — вопросил он, и его голова нетерпеливо дернулась, а вместе с нею и «думка», одетая в снежно-шелковую наволочку, как можно было догадаться, нехитрое создание заботливых рук миссис Коллинз. — Значит… меня под нож жестоким эскулапам, а сами в объятия русской сосны и березы, так?

— А я не теряю надежды встретиться с вами и под русской сосной и березой, профессор… — произнес Сергей Петрович и ощутил остро: прежде чем успокоить Коллинза, ему, Бекетову, надо еще победить собственную печаль.

— А куда мы денем пулю дум-дум?

— Это какую же пулю, профессор?

Коллинз и улыбаться перестал, по всему, разговор ненароком уперся в самое больное.

— Этот эскулап Крэг сказал, что в моей левой почке сидит камень с пулю дум-дум, вот такой… — он освободил из-под одеяла худые руки и, выдвинув мизинец, сжал его пальцами другой руки, оставив свободной добрую половину мизинца. — Куда денем дум-дум?

Нет, он не напрашивался на сострадание, но как бы бравировал тем, что способен безбоязненно говорить о своей болезни.

— А если кроме шуток, то главное, чтобы выдержало сердце… — произнес он твердо. — Сердце-то у меня отнюдь не образцовое… — Он поспешно спрятал руки под одеяло, стеснялся их нагой некрасивости. — К тому же семьдесят один — это семьдесят один… — Он на миг задумался, казалось, что впервые проник в смысл того, что сказал. — К бесу все печальное, к бесу! — вдруг оживился он, и его худые руки под одеялом пришли в движение. — Что вы думаете о мирной конференции? Не парадоксально ли, что с победой она не приблизилась, а отдалилась?.. Вот вопрос: мы идем к мирной конференции или уходим от нее?

— Должны идти к ней, мистер Коллинз, — осторожно откликнулся Бекетов.

— Должны!.. — съязвил Коллинз, съязвил не таясь. — Значит, должны?.. — вопросил он. — У нас должна быть ясность… Понимаете, ясность. Иначе нам трудно говорить с людьми, которые к нам тянутся, нам верят… Согласны?

— Разумеется, господин Коллинз, но многое зависит не от нас…

Его руки лежали сейчас поверх одеяла, безобразно худые стариковские руки, давно не видавшие солнца, с темными наростами мозолей на локтях; человек, которому эти руки принадлежали, вдруг перестал стыдиться их.

— Меня тяготит моя немочь! — вдруг вырвалось у него. — Ну какой я президент в моем беспомощном состоянии, с пулей дум-дум в почке?

Бекетов смотрел на желтое исхудавшее лицо Коллинза со столь явными следами боли, и ему вдруг подумалось, что в нем, в этом лице, появились черты, вызывающие жалость. Казалось, это было так чуждо Коллинзу, человеку строптиво-ироничному и жизнедеятельному, что сознание наотрез отказывалось сообщить это англичанину, в то время как глаза точно свидетельствовали это.

— Но ваш недуг не вечен, господин Коллинз…

— Слабое утешение.

Коллинз оперся на руки и, подтянувшись, поднял маленькую подушку выше, закрыл глаза, губы его утолстились, стали твердыми, в них, в этих губах, были сейчас и энергия, и упорство, и воля — сумей он победить болезнь, у него хватит сил физических и, пожалуй, душевных сдвинуть горы.

— Думал об отставке и, признаться, хотел попросить у вас совета, а сейчас решил: время не настало. Как вы, не настало?

— Смею думать, нет…

Сергей Петрович встал. Пятнадцать минут, которые были ему отпущены строгими врачами, вышли. Что бы ни сулило будущее, но навсегда оставались позади эти четыре года, а с ними и человек, который был все эти годы с Сергеем Петровичем.

— Спасибо вам, профессор, за все доброе… — Сергей Петрович дотянулся до худых рук профессора и, сдавив их, только сейчас почувствовал, как они слабы. Не так уж сентиментален Бекетов, а остро ощутил, как оборвалось дыхание. — За все доброе…

— И вам спасибо…

— Не вздумайте уехать, не побывав в Эйот Сэн-Лоренс! — крикнул Коллинз Бекетову вслед. — Старик вам вовек этого не простит…

— Да, да… Сэн-Лоренс, — отозвался Сергей Петрович, но произнес это, уже переступив порог.

Наблюдательный лондонец, даже не очень посвященный в смысл приближающихся событий, должен был насторожиться: Ланкастер-хауз, резиденция Европейской комиссии, пребывавший весь май и добрую половину июня в состоянии погасшего вулкана, вдруг явил признаки пробуждения. Да и посольства союзников — советское, американское, французское, — которые только недавно обрели режим мирного времени, возвратились к военному расписанию. С тех пор как было отменено затемнение, это можно было увидеть воочию — с каждым разом полуночные вахты все удлинялись, при этом и у послов.

В десятом часу вечера к Тарасову явился британский представитель в Европейской комиссии сэр Вильям Стрэнг. Сухопарый, заметно длиннорукий и длинноносый, в крупных очках, дужки которых были тщательно заправлены за крупные уши, сэр Вильям Стрэнг бесшумно ступал по посольству, произнося по-русски:

— Здравствуйте, господа, здравствуйте… — Он улыбался, безбоязненно показывая желтые зубы, и добавлял: — Хоть поздний гость, да званый, — с русскими он не позволял себе говорить по-английски. Справедливости ради следует сказать, что для англичанина он хорошо говорил по-русски — дали знать годы работы на Софийской набережной в Москве, чтение русских книг; по слухам, еще с далеких московских времен сэр Вильям Стрэнг собирал русскую библиотеку и преуспел в этом.

Едва черная ладья автомобиля Стрэнга отчалила от посольского подъезда, подкатил тяжелый лимузин французского посла Ренэ Массигли. Посол терпеливо ждал, восседая на упругих подушках заднего сиденья, пока смуглолицый водитель-гасконец, не уступающий послу в важности и сознании чувства собственного достоинства, обогнет машину и откроет дверцу. Посол расстался с лимузином не без раздумий, больше того, с болью душевной, точно сознавая: чем дальше он уходит от автомобиля, тем меньше он становится послом.

Массигли появился в Европейской комиссии осенью сорок четвертого и семь месяцев, прошедшие с тех пор, был занят единственным — новой редакцией документов, принятых до него. Посла можно было понять и тогда, когда, настаивая на этой новой редакции, он вдруг сбивался на тираду о миссии Франции в современном мире, при этом начинал говорить об этом столь патетично, как на деловых совещаниях не говорят, — достоинство родины посла в этой войне попиралось многократно, при этом и

врагами, что естественно, и некоторыми из тех, кто звался друзьями, и некая возвышенность речи посла тут была если не оправданна, то понятна. Непонятным было другое, каким образом верноподданность Массигли совмещалась со всеприятием — в последние десять лет месье Массигли представлял в Лондоне Даладье, Петена и де Голля…

К десяти вечера от подъезда посольства уходит последняя машина, но свет в окнах не гаснет — Тарасов вызвал стенографистку.

— Сергей Петрович, посол просит вас… — значит, дежурные тридцать минут, в течение которых стенограмма расшифровывается, будут отданы Бекетову. С тех пор как Тарасов сообщил Сергею Петровичу о его новом назначении, интенсивность контактов с советником не уменьшилась. Даже наоборот, у посла точно возник дополнительный стимул к общению. Однако какой вопрос посол приберег к их полуночному разговору? На горизонте возникла перспектива конференции трех, и все мысли обращены к конференции? Завтра очередное заседание Европейской комиссии, которой в очередной раз предстоит собраться у своеобразного макета конференции и как бы проиграть некоторые проблемы. Значит, предстоящая конференция? Вечерний визит Стрэнга и Массигли к послу не столько опровергает это предположение, сколько его подтверждает.

Казалось, единственное, что роднит тебя на чужбине с отчей землей, это небо — при желании в нем можно отыскать краски и псковского многозвездья. Если и был мост зримый, который переносил тебя на просторы российского запада, то это небо. Вот и сейчас, стоя у окна, он даже прищурился, как в детстве, ожидая, что звезды стрельнут лучиками. Никуда не денешься, вспомнил родное Закрапивенье, походы по холодным лугам, заветное ночное, чуткий жар медленно загасающих углей в предрассветье, и сон у костра, и запах просыхающей посконины, в которую были одеты деревенские ребятишки, — помнится, пар валил от нее валом.

— Мне сказали, что вы были у Коллинза? — вопросил посол и взглядом, заметно сумрачным, указал на свободное кресло подле письменного стола. — Как его труд о вирусах… на исходе? — Видно, Тарасов пришел в посольство с приема, официального, его темный костюм и строгий галстук в косую полоску прямо на это указывали. — Допускаю, что это важно для науки… Допускаю! Но вот так, едва ли не на смертном одре, вдруг внушить себе, что без этой работы вся его жизнь ничего не значит, да разумно ли это, Сергей Петрович? И помогает ли это

победить недуг, а? Скорее наоборот!..

— Да, скорее наоборот… — согласился Бекетов печально. — Но говорить об этом с ним бесполезно, он понимает все сам, при этом лучше нас…

— Вы полагаете, лучше?

— Убежден. Он все взвесил.

Из открытого окна донесся звук самолета, через какое-то время темный квадрат окна прочертила по правильной горизонтали прерывистая черточка идущей на большой высоте машины.

— Вы помните, прошлогоднюю ночь перед десантом, гул самолетов, от которого, казалось, вибрировали дома, светлую мглу июньского неба и сотни машин над Лондоном… все небо было в самолетах!.. — Тарасов улыбнулся, доверившись потоку воспоминаний. — Надо отдать должное англичанам, в самый канун высадки они сделали жест, признаться, для меня неожиданный: вдруг пригласили меня в класс военных игр министерства обороны и разыграли операции на европейском берегу… Жаль Коллинза! — Тарасов подошел к окну, медленно задернул шторы, так спокойнее. — Не дай бог, что-нибудь произойдет, найдется ли преемник, который будет так авторитетен, так нравственно безупречен?.. Он не отважился заговорить об этом?

— Отважился, разумеется, но я остановил его.

Тарасов отошел от окна, он шагал в сумеречной тишине кабинета, шагал бесшумно, и угадывалось, как напряжена его мысль.

— Он и со мной заговаривал, но я высмеял его, — бросил Тарасов, не останавливаясь. — «В наши годы мистер Шоу, например, только-только взобрался на Олимп…» Но он горько усмехнулся: «Ваш Павлов сказал, что каждому человеку природа дала свой патронташ. Если говорить обо мне, то мой патронташ опустошен во времена незапамятные, а мистер Шоу постреливает». — Тарасов вернулся к столу. — Преемник Коллинза? Хотелось бы, чтобы он был именно преемником и унаследовал не только профессиональный авторитет нашего президента, но и его нравственность… — Сейчас ровный свет освещал лицо Тарасова с едва заметной выпуклостью кровеносного сосудика над левой бровью. Бекетову казалось, что эта подробность в лице Тарасова многое объясняет: и благородное спокойствие, и строгую естественность, и значительность, которую Сергей Петрович рассмотрел в лице посла. — Вечером у меня был Стрэнг, а час назад отбыл Массигли… — продолжил Тарасов, выдержав паузу, которая,

точно твердая черта, отделила произнесенное до сих пор от того, что намеревался посол сказать сейчас. — Вы помните, Сергей Петрович, эту коллизию, острую… с пленными немцами?

Бекетов, разумеется, помнил, коллизия была действительно острой. Когда перспектива поражения германской армии стала вопросом, если не недель, то месяцев, союзники должны были решить оперативную задачу: что делать с личным составом армии врага. Было высказано мнение: армия объявляется плененной, а солдаты и офицеры пленными. Советская сторона не видела в этом ничего чрезвычайного, но союзники восстали, явив не только непримиримость, но и норов. Больше того, нечто такое, что похоже на войну нервов. В соответствии со своеобразной конституцией, которая регламентировала деятельность Европейской комиссии, тайна наистрожайшая должна была охранять заседания комиссии. Однако время от времени тайна нарушалась. Она нарушалась с очевидной целью: дать возможность прессе вмешаться в деятельность комиссии и прямо на эту деятельность воздействовать. Так получилось и в этот раз. «Обсервер» вышел с аншлагом: «Советский посол Тарасов предлагает объявить остатки немецкой армии военнопленными». Очень хотелось думать, что к этому факту огорчительному английская дипломатия не имеет отношения, но поступок был похож на англичан и за время войны в том или ином виде повторялся. В тот раз была найдена формула, которая дала возможность развязать узел. Смысл ее: главнокомандующий, будь он русский, американец, англичанин или француз, сам решит, объявлять ли пленного пленным или отпустить его на все четыре стороны. Иначе говоря, формула была найдена, но ценой потерь немалых. Формально гриф «Секретно» и теперь как бы охранял заседания комиссии, но всего лишь формально… Поэтому, когда тот же сэр Вильям Стрэнг говорил Тарасову: «Я бы хотел сообщить вам, коллега, конфиденциально…», русский понимал, что эту сильную фразу не следует принимать на веру. Иначе говоря, торжествовала истина старая: английская дипломатия, самая респектабельная по своим генеалогическим корням, компрометировалась с головы до пят в силу того авантюризма, который ей был свойствен. Уместно заметить, черчиллевская дипломатия восприняла этот авантюризм, и, пожалуй, развила в силу обстоятельств, свойственных кадрам этой дипломатии, которые формировались в немалой степени по образу и подобию человека, владеющего ее сердцами и помыслами, — речь идет о Черчилле.

— Вы припомнили случай с пленными немцами? — повторил свой вопрос Тарасов. — И вам пришла, конечно, на память…

нелояльность «Обсервер»? — деликатный Тарасов не решился на более резкую формулу. — Однако нормам тона нам у них не учиться, каждый ведет себя как может… Важно другое: в этом факте сказалась позиция тех, кто сел с нами за стол переговоров по проблемам главным…

— Немцы? Их судьба?

— Даже больше: немецкая государственность, кадры ее, военные, естественно… и, пожалуй, дипломатические… Вот вопрос, которого я хотел коснуться: в этом нашем новом документе есть раздел, посвященный дипломатии… Именно об этом сегодня у меня шла речь со Стрэнгом… Хочу знать ваше мнение об этом параграфе документа… Кстати, как далеко тут идет международное право? И есть ли прецеденты? Нет, нет, не только версальский прецедент, но, разумеется, и версальский…

Он взял со стола мягкую папку и, выщипнув из настольного блокнота квадрат бумаги, начертал крупными, не столько письменными, сколько печатными литерами: «Дополнительные требования к Германии. Раздел III. Возвратить к понедельнику» — и прикрепил квадратик к папке.

Бекетов принял папку, приоткрыл. Да, драгоценная страничка документа была в папке.

— Хочу знать ваше мнение именно об этом параграфе.

Характерно, что дипломатическая грань германской проблемы до сих пор не была исследована коллегами Тарасова по Ланкастер-хауз. По крайней мере, как заметил Бекетов, только в новом документе, над которым сегодня трудился синклит мудрецов в Ланкастер-хауз, эта проблема была рассмотрена со вниманием, которого она заслуживает. Обстоятельный Бекетов не любил чтения по диагонали, полагая, что такое чтение — напрасная трата времени, но сейчас было искушение пробежать документ хотя бы по диагонали.

— Как я понимаю, начинается великое переселение дипломатов, — произнес Бекетов, не отрывая глаз от странички. — Германские посольства и миссии за рубежом закрываются, дипломаты отзываются на родину? Что ни говорите, история повторяется — ситуация восемнадцатого года…

— С той только разницей, что в восемнадцатом мы не имели возможности диктовать своих условий Германии, сейчас имеем… — Тарасов пододвинул блокнот и с неторопливой обстоятельностью заполнил его своим крупным почерком. Как ни напряженна была его работа, он имел обыкновение на минуту оторваться и внести в блокнот мысль, которую считал стоящей. — Кстати, есть резон заметить и это: сейчас мы имеем возможность диктовать…

— Наверно, не простой труд — принять германское имущество за рубежом, в том числе посольское… — Бекетов все еще не отрывал глаз от документа, который вручил ему Тарасов. — Как ни многообразно имущество, есть некое однообразие в характере операций: расход, приход… Иное дело железные комнаты договорного отдела МИДа, соглашения и конвенции, которые накапливались здесь десятилетиями…

Бекетов сказал «железные комнаты», а сам подумал: так это же лес темный. Наверно, проще всего поступить с этим как с германской недвижимостью: списать по акту и завести новый реестр. Но то, что очень просто, не всегда верно. В мире текстов, которые хранят сейфы министерства, есть такие, которые следует аннулировать, но есть и такие, которые, наоборот, необходимо ввести в силу или продлить.

— Тут нужен опыт ума исследовательского, — сказал Бекетов и, посмотрев на Тарасова, приметил, как весело лукавая улыбка тронула его губы.

— Именно, — подхватил Тарасов, как могло показаться, с воодушевлением. — Однако вот вам два дня до понедельника… — заключил он неожиданно и, встав, пошел в комнату секретариата. — Как моя стенограмма?

— В понедельник Ланкастер-хауз? — спросил Бекетов, когда посол вернулся к столу со стопкой машинописных страничек.

— Да, и я хотел бы, чтобы вы были со мной… — произнес Тарасов со значительной неторопливостью: можно было подумать, что смысл вечерней встречи с Бекетовым, как ее задумал Тарасов, был именно в этом его намерении — Ланкастер-хауз.

Если своеобразный генштаб, руководящий военными усилиями союзников, представить в виде здания, то у него должно быть три этажа. Первый этаж — лондонский совет послов, происходивший в Ланкастер-хауз, в который имел честь входить и Тарасов. Второй — совет министров, сопутствующий встрече трех, а иногда собиравшийся независимо от нее. Третий этаж — собственно совет трех, собиравшийся за время войны уже дважды: Тегеран и Ялта. Не очень благозвучное ЕКК, что значит Европейская консультативная комиссия, в британской столице предпочитали называть привычным для уха лондонца Ланкастер-хауз. Массивный особняк, носящий имя Ланкастер-хауз, выражал довольство и даже самодовольство викторианской эпохи и был, в сущности, особняком казенным, многие из дипломатических действ и зрелищ в британской столице происходили здесь. Особняк не был и не мог быть синонимом постоянства — на разных этапах Ланкастер-хауз отождествлялся с событиями

разными. Было время, когда в Ланкастер-хауз собирались европейские коллеги Сити, и тогда лондонцы, значительно воздев большой палец, произносили: «Хорошо, как в Ланкастер-хауз». Но в годы войны в знаменитом особняке собрались эмигрантские правительства, в частности польское и чехословацкое, и тогда знаменитая фраза приобрела иной смысл: «Темно, как в Ланкастер-хауз». С тех пор как знаменитый особняк стал резиденцией ЕКК, Ланкастер-хауз приобрел значение своеобразной обсерватории, замеряющей показатели европейской политической погоды. «Однако что скажет на завтра Ланкастер-хауз?»

Двумя днями позже Тарасов отправился в Ланкастер-хауз.

Очевидно, кворум собирался в Ланкастер-хауз не столь редко, но каждый раз, когда порядок дня был особенно ответствен.

Бекетов поехал.

Бледно-сиреневый зал, украшенный золоченым деревом, был подготовлен к заседанию. Вещи точно встали по команде «смирно», чтобы принять людей: кресла, обитые цветным шелком, папки в тисненой коже, отмечающие места, где надлежит пребывать делегатам, цветные графины, наполненные с такой щедростью, точно организаторы действа единственно опасались, чтобы у делегатов не пересохло горло, и, конечно, дежурная колодка посреди стола с флажками четырех держав.

Делегаты являлись с правильными интервалами.

Устало улыбаясь, вошел Вайнант и занял свое место у окна. Несмотря на облачный день, свет был полуденным, ярким, высветлив четкий профиль американца. Вайнант щурился, и его обращенные к свету глаза, как можно было рассмотреть, серо-зеленые, в густых ресницах, пожалуй, необычные для его возраста, были строги и внимательны.

Явился сэр Вильям Стрэнг. Его портфель, тщательно линованный грубым тиснением, был туго набит. Видно, англичанин забыл переложить портфель из одной руки в другую, и нелегкая ноша заметно оттянула плечо и исказила лицо гримасой усталости. Он упер глаза в американца и улыбнулся, попытался улыбнуться, но это было уже сверх его сил — улыбка не сняла усталости.

Не вошел, а вкатил свою округлую особу Ренэ Массигли и, еще издали приметив кресло, нацелился, набрал скорость и не попал в кресло. Пришлось катить обратно и вновь брать на мушку кресло, обитое цветным шелком. Он это сделал изящно весьма и, поместившись в кресле, извлек платок и, не без удовольствия сминая его в мягкой пригоршне, промокнул глаза и раскланялся

— только сейчас он увидел сидящих за столом.

— Итак, господа, в преддверии событий, которые нас ожидают, нам предстоит обсудить текст соглашения о дополнительных требованиях… — произнес Тарасов многократно повторявшуюся здесь фразу — ее строй, как, очевидно, и интонация были нерушимы…

Тарасов говорил, как обычно, негромким голосом и в такой мере ровным, что, казалось, надо было чуть-чуть усилить голос в своем сознании, чтобы явились напряжение и страсть. Быть может, речь Тарасова точно определяла его характер. Наверно, Тарасов был в чем-то и неудержимо горяч, и нетерпелив, и суров, и бесшабашно весел, и даже раздражителен, но это не выплескивалось наружу. Видно, природа наделила Тарасова могучим фильтром, который обладал способностью пропустить через себя стихию настроений, явив людям далеко не все, что владеет человеком. Как ни совершенен был этот инструмент, данный природой человеку, сам процесс этот стоил сил немалых. Чтобы гнев переплавить в печальное внимание, надо было сжечь пуд крови. У Тарасова и это получалось не очень явно — в характере человека, возможно, было нечто общее с характером реки на его отчей земле псковской: река была нерушимо спокойной и устойчиво полноводной во все времена года. Это качество редко кому противопоказано, тем более оно не противостоит человеку, который определен к штурвалу многопалубного посольского корабля. Одним словом, как установил Сергей Петрович, не очень улыбчивая натура Тарасова таила в себе нечто такое, что располагало к ней людей.

Сэр Вильям Стрэнг оглянулся и, убедившись, что британская делегация на месте и, таким образом, тыл почтенного делегата бронирован, взял слово.

— Я благодарен уважаемому собранию, что оно со вниманием отнеслось к проектам, предложенным делегацией Великобритании, в частности, к проекту о зонах оккупации… — произнес Стрэнг фразу, которая имела косвенное отношение к обсуждаемому вопросу, однако возникала в устах англичанина с железной необоримостью — справедливости ради надо сказать, что авторами проекта о зонах оккупации действительно были дипломаты его величества. — Не скрою, что мою делегацию беспокоит сложность проблем, которыми мы себя обременим, реализуя параграф третий, я имею в виду внешние дела рейха…

Тарасов и Бекетов вернулись из Ланкастер-хауз за полдень.

— Я хотел, чтобы вы услышали все это из уст Стрэнга, — сказал Тарасов, когда они поднялись в посольство. — Не

исключено, что на конференции в Берлине вас не минет именно эта чаша…

Тарасов ушел, а Сергей Петрович еще пытался осмыслить сказанное послом, только теперь ему открылся смысл вечернего разговора с Тарасовым и их поездки в Ланкастер-хауз. Значит, перспектива новой конференции трех была реальна, настолько реальна, что в общей панораме дел обозначилось и скромное амплуа Бекетова. И еще подумал Бекетов: очевидно, поезд конференции набрал скорость заметную, набрал скорость сам и сообщил ее всем, кого конференция призвала. До сих пор Сергею Петровичу казалось, что он далеко не истратил резерва времени, отпущенного ему на сборы, сейчас он думал иначе — времени было в обрез.

По давней привычке, давней и трижды проверенной он достал записную книжку и вписал в нее перечень дел, без завершения которых он не мог покинуть британской столицы.

Первая строка была не пространной, но она была первой — Шоу.

Он ехал и думал: наверно, для великого старца это прощание с безвестным русским не столь уж важно, но для Сергея Петровича в этом смысл немалый — для его самочувствия, для понимания нелегкой миссии в этой стране, для его представления о вещах простых и насущных, которые сопутствовали его взгляду на призвание и долг. В конце концов, не имеет значения, как сложится эта встреча, как образуется этот последний диалог со старым ирландцем, многократ важнее пожать руку человеку, которого ты высоко чтишь, а заодно сказать слово, которое бы определяло его и твою верность…

Сергей Петрович прибыл в Эйот Сэн-Лоренс в тот предвечерний час, когда Шоу, завершив нехитрую стариковскую трапезу и отдохнув, был занят дежурной работой по двору: разводил костер, чтобы сжечь в нем прошлогоднюю солому, которую вымел из сарая дворник. Солома была сыроватой, но огонь взялся. Высокое пламя в сизо-черных космах дыма взметнулось едва ли не в рост Шоу. Оно, это пламя, свивалось и сыпало искрами, вздуваемое ветром. Взяв метлу под мышку, Хикс не без тревоги наблюдал за костром.

— Гоу аут! Прочь! — кричал Хикс. Но Шоу не шел, его держало здесь не только озорство, но и желание, так можно было подумать, в этот прохладный вечер побыть у тепла.

Он был предупрежден и ждал Сергея Петровича, поглядывая на ворота, поэтому процесс узнавания, непростой теперь для Шоу был облегчен. Ну, вот и рука Шоу, только не прохладная, как предполагал Бекетов, а заметно горячая, разогретая стихией огня,

которая достигла силы немалой.

— Вспомнил сейчас, — произнес хозяин и медленно поднял ладонь, в сумерках раннего вечера ярко-розовую. — В тот раз, когда я был в Москве, Луначарский сказал мне: «Мистер Шоу, для нас непостижима способность англичан мерить долгие мили земли… путешествовать». А я сказал ему: «У нас океан воды, а у вас океан суши. Только наш океан не наш, а ваш океан — ваш. Как ни долги ваши мили, вы все дома». — Он взглянул на свою розовую ладонь над головой, нехотя опустил. — Вы, русские, великие домоседы — никто так не переживает расставание с домом, как вы. Вот и вас потянуло домой…

Костер померк, и рука Шоу, которую он протянул Бекетову, стала прохладной. Когда Сергей Петрович обернулся последний раз, костер продолжал меркнуть и согбенную фигуру хозяина, только что бывшую в красных отблесках огня, точно обволок пепел лиловатый. Нет, это непостижимо: ехал бог знает откуда только для того, чтобы пожать руку старца и повернуть обратно? Да не внушил ли себе Сергей Петрович нечто такое, что было лишено смысла? Надо ли было это делать? Надо. И это почувствовал Сергей Петрович. Было удовлетворение, больше того радость. Точно долго таил в себе доброе слово, которое давно должен был сказать человеку и только сейчас сказал…

77

Кузнецкий мост явил в это лето свою прежнюю прелесть и красоту — будто окна не были задраены, будто витрины не охранялись мешками с песком, будто навалы снега в точном соответствии с направлением ветра не возникали то на одной стороне улицы, то на другой. Новые краски Кузнецкому сообщили июль и август. Всесильная мода, естественно, отстала на четыре военных лета, но зато открылась редкая возможность увидеть наряды предвоенных годов: платья из крепдешина, многоцветные, приталенные и расклешенные, труакары из полушерстяной ткани, сиреневой, кремовой, серо-голубой, узкие из полотняного купона, сурового и белого, украшенные вышивкой, как орнаментом, платья; платья из пестрых ситцев с оборками, а вместе с этим кофты ручной вязки уже военной поры, часто из крашеной и перекрашенной шерсти, — плод долгих подвальных ночей, когда прожекторы кромсали московское небо и стелющийся огонь пожаров освещал то одну окраину, то другую…

А на площади перед наркоминдельским домом, точно воробьи, пригретые солнцем, стайки старшеклассниц, девочки, слетевшиеся на старомосковскую площадь из столичных пригородов — Кунцева, Бескудникова, Нагатина, Люблина, девочки, увлекшиеся не столько многотрудной стенографией, сколько мечтой об экзотической Скандинавии и многоцветном Средиземноморье, как, впрочем, и о счастливом замужестве, когда в образе прекрасного принца явился бы если не златоволосый атташе, то среброкудрый первый секретарь. Чем черт не шутит, легенды о судьбах таких же девочек из арбатских кривотупиков, многослойных гор Соколиных и знатного Замоскворечья обладали силой бронебойной. Так или иначе, а девочки, слетевшиеся на наркоминдельскую площадь, видели себя павами на лукавых каблучках, принимающими на посольских раутах по праву хозяек американских сенаторов и британских парламентариев… Дай бог, чтобы сбылись их самые светлые мечты, в конце концов никто не имел на это права больше их. А сейчас стайка старшеклассниц, точно гонимая ветром, возникала то в одном конце площади, то в другом, и их смех был очень нужен этой площади, столько лет закованной в броню камня и тишины…

По пути на Дальний Восток Яков остановился в Москве, и Бардин решил собрать в Ясенцах друзей. Сам он уехал туда накануне и просил Тамбиева нагрянуть на бекетовскую

Остоженку и захватить Сергея Петровича. План удался, и Тамбиев, испытывая великое чувство удовлетворения, мчал старого бардинского друга в Ясенцы. Если быть точным, то Бекетов не очень-то противился похищению, он дал себя умыкнуть. У Бекетова, который с некоторого времени стал преемником Грошева на посту заведующего отделом печати, был свой план. Грошев был отозван в распоряжение наркома — наконец реализовано его знание Китая, современности и старины, в частности древнекитайской философии, тут грошевский авторитет был непререкаем. По слухам, все более настойчивым, состоялось его назначение послом в Чунцин. Бекетов рассчитывал на разговор, столь же откровенный, сколь и для нового положения Сергея Петровича насущный.

— Ходят слухи, что победа явилась для корреспондентов сигналом к отъезду, — заметил Бекетов — ему доставляло удовольствие начать разговор издалека. — Верны эти слухи?

— Верны отчасти, — отозвался Тамбиев, он не хотел, чтобы его ответ прозвучал слишком категорично. — Те из корреспондентов, которые давно собирались уехать, теперь наконец собрались…

Бекетов, казалось, был заинтересован в более определенном ответе, чем тот, к которому прибегнул Тамбиев.

— А это хорошо?

— Да как сказать? Не хорошо и, пожалуй, не очень плохо, нее это должно было произойти…

— А по-моему, плохо.

— Почему, Сергей Петрович?

— Не мне же тебе говорить, Николай, что страда военная — вещь и тяжкая для человека, и трижды дорогая. Одним словом, то, что сотворили с их душами эти годы, ничто не способно сотворить. Если суждено им приблизиться к нам, так это произошло теперь…

— Заманчиво сберечь их?

Кажется, разговор достиг желанной отметины.

— Готов согласиться, заманчиво… Именно тех, кто был в эти годы здесь и видел войну.

Город остался позади, глянуло поле, все еще ярко-зеленое. Бекетов открыл автомобильное окно, пахнуло мокрой травой, захотелось поглубже вздохнуть, всей грудью чувствуя холодную упругость воздуха.

— Худо-бедно, а война была источником новостей… А как без войны?

— В самом деле, как без войны?

Бекетову нельзя было отказать в правоте: с бедовой

корреспондентской братией без войны, пожалуй, будет не легче, а труднее. Если не на фронт, то куда должен направить стопы хлопотливый корреспондентский караван? И в какой мере нынешние новости увлекут корреспондентов? И покажется ли им это так же значительно, как на войне? И какие это будут новости? И дадут ли они материал для раздумий? И в какой мере они заинтересуют зарубежную прессу, в частности западную? И способны ли мы совладать с этой многосложностью наших обязанностей? И достанет ли тут нашего опыта, интеллекта, умения, такта — в таком деле такт не последнее дело. Нельзя сказать, что все совершенное во время войны было проще, но у нового и новое качество, способны мы его постичь и его осилить? Бекетов — человек начинающий в корреспондентских делах, но его, так можно было подумать, озадачили немало его обязанности. Если не упрощать их, не приспосабливать к немудреной болванке, не обеднять их сути, хватит Бекетова? Наверно, в этом Сергей Петрович видел смысл разговора, который он вызвал по дороге к бардинским пенатам.

Ясенцы их встретили цветением сирени. Она встала над бардинским домом серо-голубыми и лилово-красными уступами. Окна были распахнуты, и дыхание сада, казалось, затопило и дом.

С хлопотливой деловитостью, чуть нарочитой, Бардин помогал Ольге накрывать стол, в то время как Яков в Иоанновой спаленке единоборствовал с отцом — их спор был обращен к первой войне и сошелся на Версале.

Тамбиев, как это имело место прежде, был взят Ольгой в помощники вместо Егора Ивановича, а Бардин и Бекетов переступили порог Иоанновой опочивальни.

— Вот вы нам и нужны, Сергей Петрович, — произнес Яков, сжимая бекетовский локоть. — Я говорю, что этот Тардье — прохиндей порядочный, и Версаль, как он описал в своей книге, тоже попахивает этой самой… прохиндеевщиной. А как вы, Сергей Петрович?

Пока нерасторопный Бекетов погружался в раздумье, более чем расторопный Иоанн успел сказать свое слово.

— Но вот вопрос, Сергей Петрович: Ленин-то вон как знал Тардье, а увидел в нем не только худое. Его отзыв лестен: «Автор — Тардье — дипломат сам, знаток!»

— Но это же о другой книге Тардье! — почти восторжествовал Яков — заманчиво было поймать Иоанна за полы.

— А я говорю не о книге, а об авторе. Ленин сказал: знаток!

Яков улыбался, глядя на Бекетова, он тонне просил у него прощения. Необходимости в ответе Бекетова, пожалуй, уже не

было: Иоанн все уже решил за Сергея Петровича.

— Клемансо, как, впрочем, и Тардье, полагал, что левый берег Рейна должен отойти к Франции, Вильсон и Ллойд Джордж возражали. Вы поняли, Тардье полагал… — произнес Иоанн и указал на ночной столик — книга француза в заметно голубом переплете была, разумеется, на этом столике, не иначе. Иоанн основательно проштудировал ее за последние дни. — Теперь мысленно перебросьте мост от первой войны ко второй, к тридцать девятому году, когда немцы атаковали Францию, а следовательно, и ее английских союзников. Можете ли вы допустить, что именно Вильсон и Ллойд Джордж оттеснили Францию от левого берега? Вильсон и Ллойд Джордж, которые, казалось, больше остальных должны были бы быть сейчас в этом заинтересованы…

— Погоди, отец, а к чему ты все это? — спросил простодушно Яков.

— Надо выбить немцев изо всех тех мест, которые могут стать для них площадкой для новой атаки, вот почему.

— А разве это не очевидно, отец? — осторожно спросил Яков, он знал Иоанна достаточно и полагал, что у его формулы есть второй план.

— Быть может, это и очевидно, — парировал Иоанн. — Много сложнее иное: как поведет себя тут Трумэн… Если Вильсон не понял, поймет ли Трумэн?

— Но у Трумэна есть то преимущество, что однажды ошибка уже была совершена, — отозвался Егор Иванович, который до сих пор с откровенным вниманием наблюдал за развитием беседы, не вмешиваясь в нее. — Урок истории!

— Но ведь это… Трумэн! — нашелся Иоанн. — Пойми, чадо родное, Трумэн. Внял?

— Нет, не внял, растолкуй…

— То, что для тебя урок истории, для него, может быть, звук пустой… — пояснил Иоанн с несвойственной ему терпимостью. — Трумэн!..

— К столу! — подала голос Ольга. — Поспешите, остывает! — пригрозила она — по опыту знала, что тут нужна вода холодная, иначе спорщиков не разольешь. — Я говорю, к столу…

Они перешли в соседнюю комнату и заняли места за столом, но молчание последовало за ними и прочно обосновалось рядом — разговор не вязался.

— Вы думаете, так легко забыть его тираду, воинственно антисоветскую, что он произнес в начале войны? — пальнул в гостей Иоанн — инициативой в разговоре владел он. — Нет, не только нам, но ему, ему!..

— Сейчас он, пожалуй, жалеет, что сказал это… — молвил Егор Иванович раздумчиво. — Небось трижды уже упрекнул себя в опрометчивости, эта фразочка вышла ему боком!

— Как сказать — «боком»! — отозвался с нескрываемой иронией Иоанн.

Опять затихли, тревожно глядя на Иоанна, он и в самом деле был сегодня непобедим.

— Ну, давайте выпьем за что-нибудь! — взмолилась Ольга. — Сергей Петрович, скажите тост, я люблю, когда вы говорите!

Бекетов посмотрел на Ольгу с радостным сочувствием — она стремилась охранить суверенность своего мира и его привилегию. На ней было крепдешиновое платье с открытой шеей, летнее, воздушное, в котором удивительным образом повторились Ольгины краски: пепельно-матовые, темно-бронзовые, серо-розовые, не броские, без вульгарной резкости. Видно, и она приняла сердцем беды этого дома. Она выглядела усталой, но была хороша.

— За вас, Ольга, за счастье этого дома, за то, чтобы нам всем наконец стало легче, — произнес Сергей Петрович и, взглянув на друга, осекся, слишком угнетенно-внимательным был взгляд Бардина. — Ну, чего ты так смотришь? — вопросил Бекетов. — За счастье этого дома!

— За счастье!.. — подхватили все, кто был за столом, и Иоанн громче всех — казалось, ради того тоста он готов был принести в жертву и американского президента.

Но оживление точно ветром сдуло — застучали вилки и стихли.

— Даже странно: Рузвельт и вдруг… Трумэн! — искренне изумился Яков.

— Это ведь принцип тактики, чудак человек!.. — пояснил Егор Иванович без тени иронии. — Есть две тактики ответа на критику. Первая: сберечь своих и не дать их в обиду, отстоять, чего бы это ни стоило. Или иной путь: создать впечатление равновесия и с этой целью заменить своих варягами, одного за другим заменить. Боюсь, что этому второму пути Рузвельт отдавал последнее время предпочтение. И вот итог, когда Рузвельт ушел и на корабле была отдана команда «Свистать всех наверх!», то оказалось, что это уже корабль не Рузвельта, а Трумэна…

— Погоди, легко сказать «корабль не Рузвельта, а Трумэна»… — иронически подхватил Иоанн. — А нам-то что делать при новом капитане, да еще в трех милях до порта назначения, а?

Ольга встала. Вот так всегда: сядут за стол, казалось, только

поговорить о жизни, а они за свою бардинскую шарманку… В самом деле, неужели из всех насущных дел самое насущное… Трумэн? Ведь есть же что-то и понасущнее американского президента: и Сережка, которому надо помочь в его жестоко бедовом положении, и Иришка, у которой все так сплелось и скрестилось, что не передохнуть, и Мирон, которому пора перестать скитаться по свету и найти свой очаг и свою семью… Да неужели для Бардиных в их нынешнем положении нет ничего более важного, чем американский президент?

Ольга вышла, но те, кто сидел за столом, были так далеко от горестных дум женщины, что и бровью не повели.

— Ну, судьба тебе послала наконец Трумэна, что тут поделаешь? — засмеялся Егор Иванович. — Трумэн так Трумэн… Не скажешь же ты им, что он тебе не нравится?.. Надо думать об ином: какую тактику принять, если тебе противостоит Трумэн…

— Есть смысл обратиться к испытанному: твердость и еще раз твердость!.. — сказал Яков — его характер был замешен круто, и война не сделала его мягче.

— Ну, твердости у нашего премьера хоть отбавляй! — вырвалось у Бекетова против его воли, вырвалось так неожиданно, что он даже смутился.

— Нет, одной твердостью тут не возьмешь! — отозвался Иоанн, в глубине души он считал себя дипломатом и действовал осмотрительно. — Надо разнообразить: иногда твердостью, а иногда мягкостью… — устремил он огненные очи на Егора. — А ты что молчишь?

— Мне все-таки кажется, что сию минуту и Трумэн думает об этом же, а мы не очень думаем о том, что он об этом думает, — произнес Егор Иванович, и сочувственная улыбка пробежала по устам всех, кто был в комнате. Все-таки из тех, кто сидел за столом, включая и Бекетова, самым большим дипломатом был Егор Иванович, и он искал случая это доказать. — А нам надо это иметь в виду, иначе мы пойдем по ложному пути. Так о чем он все-таки думает? «В иное время, быть может, и был бы резон пойти с русскими на обострение, в иное время, но сейчас, когда мы все еще зависим от русских… Да есть ли в этом смысл?» Я себе элементарно представляю натуру нового президента; как он ни эмоционален, у него есть свой расчет. А расчет велит ему: сегодня с русскими так нельзя… — Он встретился взглядом с Бекетовым. — Как ты полагаешь, Сережа, не наговариваю я на Трумэна? — спросил он друга. Он готов был обнаружить превосходство над Иоанном и Яковом, но не над Бекетовым — он почитал друга, почитал и щадил его.

— Мне кажется, нет… — тот задумался. — К тому же Япония

еще не повержена… а это не так мало.

Вторглась пауза, в ней была значительность, и все, не сговариваясь, посмотрели на Якова: на Дальний Восток ехал он, Яков встал, это его значительная тишина подняла.

— Если вы думаете, что я знаю, то могу сказать: я еще ничего не знаю, — отозвался он из сумеречного угла столовой, смиряя неистовый скрип хрома, видно, поездка на Дальний Восток была отмечена и новыми хромовыми сапогами. — Просто, как поется в песне, дан приказ, но только не на запад, а на восток…

— Ну конечно, они сегодня боятся нас больше, чем когда-либо, — пояснил Иоанн, отвергнув реплику Якова с такой категоричностью, будто бы бардинский генерал и не заикался насчет того, что он не посвящен в истинные причины поездки на Восток. — Но сила сухопутной армады у квантунцев, — он приковал свой взгляд к Якову, стремясь разглядеть в его неулыбчивой сосредоточенности такое, чего тот еще не сказал. — Все, чему они научились под Халхин-Голом, здесь…

— Ничего не могу сказать про Халхин-Гол, — пришел на помощь отцу Егор Иванович — без Якова этот разговор было продолжать удобнее. — Но сегодня они нас боятся больше, чем даже под Халхин-Голом… и это немало. Полагаю, что уже сейчас их бьет крупной дрожью…

— Шапками закидаем, да? — засмеялся Иоанн, и больная рука взлетела над его седой головой. Этот печальной памяти клич «Шапками закидаем!», возникший в пору русско-японской войны, пожалуй, из тех, кто сидел за столом, знал не по книгам только старик Бардин. — Ну, что ты смотришь на нас, как на японских шпионов? — взмолился он, глядя на Якова. — Скажи слово человеческое…

— Не о Халхин-Голе речь, но сегодня нет армии на земле, которая могла бы сравниться с нами силой и умением… — заметил Яков и вернулся на свое место за столом.

— И на том спасибо… — откликнулся Иоанн.

— Равновесие для американцев — панацея от всех зол… — задумчиво произнес Бекетов, возвращая разговор к американской теме — сейчас это было наиболее разумно, и Сергей Петрович нашелся первым. — Рузвельт, чтобы устоять, посадил рядом Трумэна, а Трумэн с той же целью должен посадить рядом… кого-то из тех, кто напоминает американцам умершего президента…

— Гопкинса? — спросил Иоанн.

— Если бы Гопкинс не вышел из игры, мог бы быть и Гопкинс, — был ответ Бекетова. — Но поездка Гопкинса в Москву была его лебединой песней…

— Кстати, о песне лебединой, — произнес Бардин и, не без

труда втиснув толстую руку в боковой карман пиджака, извлек оттуда конверт, хранивший крепость и лощеность новой бумаги, видно, письмо было получено только что. — Это письмо от Бухмана, Сережа знает его… — кивнул он в сторону Бекетова. — Бухман пишет, что лебединая песня эта оказалась достойной Гопкинса, по крайней мере, так ее поняла Америка, истинная Америка. Впрочем, тут вот есть свидетельство… — Бардин заглянул в конверт и запустил в него два пальца. — Вот тут речь идет о поездке Гопкинса в Москву, — потряс Бардин бумагой. — Бухман пишет, что он умыкнул эту вырезку у Гопкинса, а ему прислала одна почитательница из миссурийского города Парижа на американском Среднем Западе. Эти несколько строк появились в местной газете и, смею думать, стоят всех нью-йоркских откликов, ибо это голос простого американца… Сергей, дай твои окуляры, в них я чувствую себя увереннее…

Легкий смешок обежал стол — не часто можно было видеть такое: Бардин в очках! Егор Иванович надел очки, нарочито сдвинув их на кончик носа, и сразу стал похож на Иоанна.

— Итак, эти тридцать газетных строк стоят того, чтобы их прочесть, — откашлялся Бардин. — Заголовок: «Дворцовый страж спас положение»… Каково, а? — Он задумался. — Страж, сторож, дозорный, часовой? Нет, страж — вернее. Текст: «Гарри Гопкинс получает много приветствий от газет и политических деятелей, которые так усиленно пытались избавиться от него перед смертью Рузвельта. Они всегда язвили по его адресу, называя его „дворцовым стражем“», — Бардин умолк на минуту, он был заинтересован в точном переводе. — Язвили, лукавили, ехидничали? — спросил Егор Иванович. — Нет, все-таки язвили! «Когда недавно возник кризис между Россией, с одной стороны, и Англией и Америкой — с другой, президент Трумэн послал Гарри в Москву для урегулирования вопроса… Несмотря на то что он был болен, он предпринял это путешествие и выполнил порученное ему дело, доказав тем самым, что покойный президент знал, что делал, когда держал возле себя этого великого американца. Многие из тех, кто приветствует его, должны принести ему свои извинения за клевету в прошлом…» — Бардин остановился, подбирая слова-синонимы. — Клевету? А может быть, навет, поклеп, напраслину? Нет, все-таки клевету! Итак, должны принести извинения за клевету в прошлом!.. Вот так-то…

Егор Иванович закончил чтение и, положив газетную вырезку перед собой, осторожно ее разгладил. Сейчас взгляд гостей, обращенный на кусок газетной бумаги, лежащей перед Бардиным, был не столь ироничен, как пять минут назад.

— Значит, должны принести извинения за клевету? — произнес Иоанн не без тайного восторга. — Ничего не скажешь: не в бровь, а в глаз!..

Гости разъехались вечером, не уехал один Тамбиев. Бардин упросил остаться. Николаю казалось, что Бардин будет говорить о Сергее (о ком же речь, как не о Сергее?), а он повел рассказ об Ирине.

— Ты понимаешь, Николай, повернулось у нее все круче крутого, — произнес Егор Иванович, будто об этом шел разговор только что. — Я сказал: «Тут моей воли нет, делай как сама знаешь…» И вдруг паяльная лампа со стола уплыла… под стол… Лампа-то уплыла, а руки в мозолях, да и душа, пожалуй, тоже в мозолях… — Он умолк, насторожившись: он жил в этом доме и знал его звуки лучше, чем Николай. — По-моему, Ирина пришла…

Видно, он услышал ее шаги, когда она шла еще садовой дорожкой, потому что должно было минуть пропасть времени, прежде чем она вошла, не стояла же она под дверью? Николаю бросились в глаза лиловые полудужья у нее под глазами, густо-лиловые. Со света она не признала Тамбиева, а когда рассмотрела, рассмеялась, ее глаза, изумленно распахнутые, вдруг тронула косинка. Она смотрела на Тамбиева не таясь и продолжала смеяться.

— Вот ведь бесстыдница! — не выдержал Бардин. — Воззрилась и хохочет! Ну, чего хохочешь? Нет, скажи, что нашла смешного?

Но она смеялась пуще прежнего, и косинка была все заметнее.

— Чего хохочешь, срамница? — закричал Бардин и, махнув рукой, вышел.

— А я шла сюда и думала: «Если застану Тамбиева, выволоку его к Егоршиным — без него мне на тот край не добраться!..» Ну, что вы так смотрите? — спросила она Николая, возмущаясь. — Потопали!

В этом «Потопали!» была и бравада, и озорство, и бескомпромиссность восемнадцати лет. Тамбиев не противился. Они вышли к реке и зашагали вдоль берега.

— Ольга мне сказала, что ваша девушка не вернулась из Словакии, верно? — вдруг взглянула она на Тамбиева в упор, и он уловил ее дыхание, частое, она шла быстро. — Ну, что вы смотрите так? Я говорю о барышне, с которой видела вас как-то на Страстном бульваре. У нее еще была такая блуза, батистовая? — Она вздохнула шумно. — В войне есть что-то от

ястреба: она выбирает себе в жертву не больного и слабого, а здорового и красивого… Ее звали еще так… необычно: Софа!.. Верно?

— Да…

Непонятно, к чему относилось это ее «верно»: к имени Софы или к тому, что ее уже нет. Да и тамбиевское «да» могло относиться к тому и другому — может быть, эта двусмысленность была ему сейчас удобна, за нее можно было укрыться.

— Как же это несправедливо… — вдруг произнесла она, и он почувствовал, что она плачет. — Как это горько и жестоко, бесчеловечно, противно всему живому… — Ее плечи вдруг сузились, вздрогнули, ее точно обдало холодом. — Жестоко, жестоко… — твердила Ирина, она точно увидела в трагедии Софы свои собственные беды, ей стало жаль и Софу, и, конечно, немного себя.

— Ирина… не надо… — сказал Николай и вдруг почувствовал ее ладонь у себя на щеке. — Не надо… — мог только вымолвить он и ощутил, как ее плечи сотрясает плач. — Не надо, не надо… — твердил он, и странная мысль ворвалась в его сознание: да Ирина ли это, нет, нет, в самом деле, эта большая женщина, что рассыпала на его плече груду волос и обвила шею округлыми и сильными руками, сейчас обнаженными. Ирина это?..

Он спал на тахте в столовой — это место в бардинском доме издавна было его. За кисеею сна, легче тени, почти призрачной, он вдруг ощутил, как она поднялась в своей светелке и прошла на кухню. Было слышно, как там попыхивает огонь и на кипящем чайнике приподнимается крышка. Потом он вдруг услышал ее дыхание над собой и, открыв глаза, увидел сноп ее волос, застивших свет, и смеющиеся глаза ее, и смеющийся рот.

— Я сейчас вспомнила: втроем — вы, Сережка и я — ходили за пьяникой на болота. А на обратном пути у меня заболели ноги, и вы несли меня попеременно… Мне было семь, а вам девятнадцать, и я все порывалась сказать вам «дядя Коля», а Сережка хохотал и говорил: «Какой он тебе дядя?..» А он ведь был прав: в самом деле, какой вы дядя?..

Она засмеялась тихо, опасаясь потревожить сон дома, и исчезла. Было слышно, как она выпорхнула из дому, а потом побежала по садовой дорожке, вминая щебень и, хлопнув калиткой, исчезла. Да не воспоминания ли о походе за пьяникой пробудили в ней эту энергию?

Калитка хлопнула, и в доме стало даже тише, чем было прежде. Только было слышно, как тихо посапывает в своей спаленке Иоанн да во дворе безнадежный дроздишка-бобыль

кличет подругу, — Ирина так была занята своими мыслями, что забыла прикрыть дверь.

78

Тамбиев приехал в Потсдам 12 июля. Дворец и парк блистали новизной первозданной — такого сияния и порядка дворец и парк давно не знали. Тамбиев прошелся по залам дворца — рабочий аппарат советской делегации предполагалось разместить здесь. Ремонтные работы, которые были значительны, закончились, мебель расставлена, необходимые приготовления завершены, и дворец был пуст. В залах царила такая чистота, что казалось, она сама, без участия людей, взывает к торжественной тишине и вниманию.

Над островерхой крышей еще не взвились флаги союзников, а посреди круглого стола в большом дворцовом зале они были уже установлены. Форма зала была своеобразной — его потолок точно срезали косым ударом. С потолка, до которого было два десятка метров, свешивались люстры, напоминающие допотопные фонари, какими сохранила их наша память разве только в иллюстрациях к немецкой классике прошлого века. И форма зала, и эти фонари, и более чем мрачная обивка стен не прибавляли залу света. Можно было понять советскую интендантскую службу, которая, стремясь растолкать тевтонскую мглу зала, одела в красную ткань стол и кресла, а за многометровым окном разбила клумбу, расцвеченную красной геранью. Если учесть, что за круглым столом большого зала должен был занять свое место Черчилль, красного цвета было, пожалуй, даже много… Но Тамбиева занимало иное: если корреспонденты будут допущены в зал заседаний, где должна быть та заповедная точка, откуда они бросят свой взгляд, чтобы рассмотреть конференцию за работой? Над дверью был балкон с деревянной лестницей, которую время высушило и сделало певучей. Балкон ограждали перила — не они ли были в состоянии противостоять напору любознательности и страсти полусотни дюжих парней, олицетворяющих мировую прессу?

Потсдамская конференция открылась в большом зале дворца Цецилиенгоф 17 июля 1945 года в 17 часов.

В зал вело четыре двери. Три из них были как бы распределены между делегациями — у каждой собственная дверь. Поэтому, когда часы показывали пять, скрип каждой из этих дверей предварил появление Сталина, Трумэна, Черчилля. Вслед за ними в точном соответствии с иерархией появлялись министры иностранных дел. Дальше иерархический строй мог быть безжалостно смят, тем более что в Потсдаме возникли и лица

новые. Прежде всего фигурой не просто новой, а для такой конференции первозданной был сам коренник заглавной американской упряжки — президент Трумэн, как, впрочем, и некоторые из тех, кто помогал ему тянуть внушительный воз делегации. Справа от президента прорезался орлиный профиль государственного секретаря Бирнса, слева голубели седины Джозефа Девиса. Были и лица, которые сопутствовали старому президенту, например, стройный, со сверкающей улыбкой Гарриман или меланхоличный, с бабьим лицом Маршалл.

Итак, громоздкая машина конференции привела в движение свои большие колеса, они издали скрежет, ища упор, обернулись вокруг оси — конференция началась.

Но по традиции, прежде чем набрать скорость, конференцию дважды или трижды ощутимо тряхнуло на ухабах — обкатать повестку дня конференции значит своеобразно спроецировать дорогу конференции со всеми ее терниями, хотя внешне повестка дня может быть и приемлемой вполне: управление Германией, репарации, Совет министров иностранных дел, судьба германского флота, польская проблема…

18 июля в шестом часу вечера был оглашен проект советской делегации по польскому вопросу. Он исходил из решений в Крыму и прямо ссылался на факт установления дипломатических отношений с новым польским правительством тремя великими державами. Вывод, который делался из этого, был достаточно радикален: Англия и США порывают отношения с правительством Арцишевского и передают новому польскому правительству все фонды и ценности, принадлежавшие прежнему правительству в Лондоне. Вместе с этим новому правительству национального единения должен быть передан флот, военно-морской и торговый.

Документ был зачитан, и слово взял Черчилль. Но обычное красноречие покинуло его; казалось, в природе не существовало вопроса, который не вдохновил бы британского премьера на более чем пространный спич — он произносил его с ходу, без разбега, что называется, с места в карьер. Тем неожиданнее была пауза, которая завладела Черчиллем сейчас, трудное раздумье полонило премьера, только поблескивали надбровные дуги, покрытые испариной, да слышалось стонущее дыхание.

— Когда Гитлер напал на Польшу, мы приняли поляков у себя и дали им убежище… — произнес он и в мучительном раздумье обратил глаза к Трумэну — он точно призывал его быть судьей в споре с русскими. — Это очень важный вопрос, мистер президент, и я прошу дать мне возможность изложить его подробнее…

Его речь была эмоциональна и, пожалуй, беспорядочна — он

переоценивал свой дар импровизации. Черчилль говорил, что он и его коллеги сейчас заняты ликвидацией дел лондонского правительства: подсчитываются не столь уж значительные фонды, освобождаются посольские здания, англичане готовы принять представителей нового правительства, на очереди расформирование польской армии, ее численность — почти двести тысяч человек…

— Мы хотим, чтобы польские солдаты вернулись в Польшу, — произнес Черчилль, не в силах победить печальной интонации.

— Я понимаю затруднения англичан… — отозвался Сталин. — Я знаю, сколько неприятностей лондонские поляки причинили англичанам… — Сталин, казалось, был растроган, он сострадал с той искренностью, на какую был только способен. — Но я прошу иметь в виду, что наш проект отнюдь не стремится усложнить положение британского правительства. Больше того, он имеет целью с этим неопределенным положением покончить. Если, к слову, господин Черчилль укажет нам на те места нашего проекта, которые затрудняют положение британского правительства, мы готовы их опустить…

Казалось, пришло время возликовать и Черчиллю: русские согласны на любые коррективы документа, который, по всему, был документом главным, и все-таки причины для ликования начисто отсутствовали. Суть русских требований достаточно очевидна: польское эмигрантское правительство должно самораспуститься, при этом не формально.

— Если правительство не получает субсидий, оно перестает существовать, — произнес Черчилль и в отчаянии, почти трагическом, поднял ладони, точно защищая свою грудь от удара. — Пусть русский проект рассмотрят министры иностранных дел, цель у нас одна…

Последние слова англичанина воодушевили и американского президента, он вдруг сощурился, будто ему в глаза плеснули ярким светом, отчего сетка морщин легла на его лицо.

— Я не вижу разногласий между премьером и генералиссимусом, — произнес президент с категоричностью завидной. — Генералиссимус сказал, что готов вычеркнуть спорное… В Ялте речь шла о выборах на основе всеобщего избирательного права…

— Быть может, министры рассмотрят весь вопрос, включая и выборы? — поднял усталые глаза Черчилль — сегодняшний разговор был ему не по силам.

Приехала в Потсдам Августа и со свойственной ей

страстностью взялась за дело. Первые два дня все было не по ней. Она вдруг поняла, что Потсдам не обошелся без нее, и страшно возгордилась. Она всем говорила «нет», принялась перебеливать все тексты напропалую, взяла тон, который отродясь не был ей свойствен и существо которого исчерпывала формула: «Ничего не обещаю». Потом вдруг все точно рукой сняло и явилась прежняя Августа, работящая, все разумеющая, безропотно несущая свою нелегкую ношу. Бардин не мог найти объяснения столь внезапным метаморфозам, пока однажды не увидел на дворцовой аллее Августу в обществе Хомутова. Бардину казалось, что он должен был смутить Августу и Хомутова, а вышло наоборот — они точно искали встречи. Да и в том, как они приветствовали Бардина, грубо-фамильярно воздев над головой руки, была демонстрация некоей свободы и независимости, прежде всего независимости от Бардина.

На Хомутове был форменный костюм из тонкой шерсти необычного кофейного оттенка, в каких, впрочем, вскоре после победы появились и некоторые иные военные с Гоголевского бульвара, — наркоминдельские острословы окрестили этот костюм генштабистским. Форма неожиданно преобразила бывшего бардинского сподвижника, в нем появилась даже некая щеголеватость, что отродясь за Хомутовым не водилось.

— Небось в Потсдаме не первый день, а я вижу вас впервые, хорошо ли это, Витольд Николаевич? — произнес Бардин с тем радушием, которое призвано было показать: он, Бардин, помнит только добро.

— В самом деле нехорошо, — согласился Хомутов. — Моя вина, Егор Иванович, моя вина…

— То-то же… заходите, мы с Августой Николаевной всегда рады вам, — взглянул Бардин на Августу, и та, с ласковой готовностью опустив глаза, точно присоединилась к нему.

Когда Бардин расстался с ними, у него было впечатление, что их строптивости поубавилось. Но Бардин не знал, что не далее как сегодня разговор этот будет продолжен. Уже после одиннадцати, когда Егор Иванович заканчивал правку отчета об очередном заседании конференции, который должен был уйти в Москву, раздался несмелый хлопок ладонью в дверь — так стучалась только Августа.

Она была в состоянии, которое вернее всего было бы назвать радостной тревогой.

— Вы нас простите, Егор Иванович, — засмеялась она, но ее глаза заволокло слезами. Бардин отметил, она сказала «нас». — Когда вы ушли, мы едва ли не хором сказали: «Нельзя так с Егором Ивановичем!» — Она вдруг дотронулась ладонью до

бардинского запястья, сжала его. — Не смейтесь надо мной, Егор Иванович, честное слово, я не представляю своей жизни без того, чтобы… Да что там!.. — она засмеялась, зажмурив глаза, из которых с новой силой полились слезы. — Верите ли, хочу стирать ему сорочки, мыть его ребятишек, радовать его доброй стряпней, сидеть вместе с ним и его детьми за одним столом, понимая, что это мой дом и моя семья!.. Готова окунуться во все его заботы! Пойдет он на плац учить солдат строевой подготовке, готова помогать ему и в этом!

Бардин подумал: «Истинно как Ирина! Та гнет железо, эта грозится пойти на плац — все они одного корня! И неважно, что эта старше едва ли не в три раза! Может быть, они и понимают друг друга потому, что одного корня».

— А как же ваши английский и французский, Августа Николаевна, коли дело дошло до плаца?

— А я не знаю, и знать нет у меня охоты!

Задала Бардину задачу Августа Николаевна. Все, что в эти годы росло в ней явно и тайно, все бабье, стойкое, вечное, вдруг поднялось с силой неудержимой и завладело ею. Даже ее исконно наркоминдельское, выстраданное, ее страсть к языкам, которым она отдала молодость свою, нет, не только молодость — жизнь свою, дни и ночи отнюдь не праздного своего житья-бытья — даже это готово было отступить, утратив прежний смысл. Но вот закавыка: Бардин не радовался новой судьбе Августы Николаевны. Не радовался. Что-то в нем возникло такое, чего он не замечал в себе прежде, что-то корыстное… Одним словом, он должен был признаться себе: жаль отпускать Августу к Хомутову, честное слово, жаль…

Галуа побывал у Тамбиева и рассказал, что беседовал с британским премьером. Нет, тут сыграло роль не личное знакомство, а само громкое имя Галуа — старый Уинни, несомненно, знал француза. Но не только это: Черчиллю худо, и он готов побрататься и с большим бесом, чем Галуа. Ничто не давало столь точного представления о нынешнем положении Черчилля, как это: он стал вдруг так доступен, как не был доступен никогда.

Это прежде всего и отметил пристальный глаз Галуа, тем более пристальный, когда в поле зрения оказывалось столь своеобычное существо, как Черчилль.

— Послушайте, Николай Маркович, я вам сейчас расскажу такое, что и вас изумит немало: сегодня ко мне явился гонец… От кого, вы полагаете? От Черчилля!

Тамбиев не допускал, что все рассказанное ему французом

придумано. Грубая ложь не в правилах, да и, пожалуй, не в характере Галуа, хотя рассказанное чуть-чуть и необычно. Впрочем, никогда и никто не установит, была ли у Галуа встреча с Черчиллем и было ли сказано при этом то, что потом повторил француз. А версия этого разговора, как ее воспроизвел француз, казалась значительной. Черчилль будто бы сказал: англичане — народ основательный и в том смысле, что их решения опираются на прочную основу. Легковерность или тем более легкомыслие, на взгляд англичан, как раз отсутствие этой основы. Однако что есть основа, если не победа в этой войне? Короче, это и есть черчиллевский прогноз. Он обратился к нему, как к исповеди. Но почему он стал исповедоваться перед таким скептиком, как Галуа? Именно скептицизм Галуа был всевышним судьей в глазах Черчилля. Старый Уинни призвал этот всесильный скептицизм, чтобы рассмотреть правду грядущего дня, которой, что кривить душой, Черчилль единственно страшился сегодня.

Когда Черчилль вдруг пригласил корреспондентов к себе, Тамбиев подумал, что этот жест, в какой-то мере неожиданный, подготовлен встречей старого Уинни с Галуа.

Черчилль сидел на крыльце особняка, выходящем в сад, в старой вельветовой куртке, попыхивая сигарой, а вокруг — на ступенях, на соседней веранде, на траве и асфальте — расположились корреспонденты.

Корреспонденты пытались установить, нет ли в согласии союзников трещин. Надо отдать должное Черчиллю, он мужественно отразил атаку, единым мановением руки умиротворив прессу.

Отвечая, он необыкновенно воодушевлялся, а воодушевившись, молодел и, пожалуй, храбрел — он даже замахал своими короткими руками, ему море было по колено в эту минуту. Все было бы хорошо, если бы нечистый не попутал Галуа, поместившегося рядом с премьер-министром, спросить:

— Ходят слухи, что мистер Черчилль намерен выехать на день-другой в Лондон, чтобы быть свидетелем своей победы?

Смертельная бледность тронула щеки Черчилля.

— Не было случая, чтобы партии, приведшей народ к победе, этот самый народ отказал в доверии, — произнес он.

Но вот что вызвало настоящее изумление: когда он поднялся и направился к себе, в его походке была зыбкость предобморочная.

Поистине век живи, век учись. Что произошло? Нет, не с Черчиллем, с Галуа, с Галуа? Чего ради он дал старому Уинни под дых, да еще с такой силой, что тот едва ли не завалился? Чтоб утвердить свою независимость перед корреспондентской

братией? Если им станет известно о встрече француза с британским премьером, чтобы никто из них и мысли не допустил, что Галуа утратил независимость? Значит, не Галуа нынче способен скомпрометировать Черчилля, а Черчилль Галуа?

79

У Бирнса были красные глаза — если ночь была бессонной, американский государственный секретарь добирал днем. Это был тот самый случай, когда человек отдавал себя столь полно во власть привычки, что уже не мог возобладать над нею. Похоже, что сегодня было именно так — красные глаза Бирнса, да, пожалуй, его орлиный клюв, которым он сейчас стучал по бумаге, точно выклевывая машинописные литеры, свидетельствовали об этом в полной мере — в минувшую ночь американец едва ли сомкнул глаза.

А причины для неусыпной вахты были достаточны — именно Бирнсу предлагалось подвести итог двухдневной дискуссии за кулисами большого зала — там творили свою строгую молитву министры иностранных дел, предваряя разговор за круглым столом. Молитва была действительно привередливой — здесь единоборство было откровенно страстным, упорным и беспощадным, так как исключало компромиссы, даже небольшие, ибо по неписаному правилу, установленному существом бытия, на них имели право только главы правительств.

Итак, Бирнс докладывал… Собственно, доклад обнимал только те главы польской эпопеи, по которым у министров не было согласия. Их было, этих глав, две. Первая: польские активы за рубежом, как, впрочем, и пассивы. Вторая: выборы.

Бирнс предлагал, имея в виду, разумеется, рекомендации тех своих коллег, которые этим занимались специально, не обсуждать первого вопроса. «Мы предупредим утечку польских ценностей, лишив третью сторону возможности распоряжаться ими, — точно говорил Бирнс. — Я сказал: третью! А это значит: вопрос должен решаться польским правительством и Америкой, в том случае, если ценности находятся у нее… Если ценности хранятся на Британских островах, этой второй стороной должна стать Великобритания. Иначе говоря: судьба польских активов должна решаться двумя…»

Реплика Черчилля, которую он хранил стойко, была осторожна: англичане дали в свое время лондонским полякам сто двадцать миллионов фунтов стерлингов.

Сталин реагировал тут же: у русских тоже были известные траты, когда речь шла о правительстве Сикорского, — кстати, англичанам было легче тратить эти деньги, чем русским, англичане тратили, видя в лондонских поляках друзей, русские — недругов, англичане — по велению души, русские — по долгу простого обязательства, что всегда многократ труднее.

Но звон серебра возник и тут же умолк: кажется, партнеры спешили ударить по рукам, сберегая силы для продолжения разговора, тем более что конференции предстояло перейти к проблеме кардинальной — польские выборы.

Трумэн, с мучительной пристальностью наблюдающий в этот момент за выражением лица Сталина, вновь вспомнил, что в Штатах проживает шесть миллионов поляков.

— Если выборы будут свободными и корреспонденты, действуя свободно, сообщат об этом американцам, для меня как президента это будет важно… — подал голос американец.

Трумэн сказал: «Это меня устраивает», и, как это было многократ прежде, Черчилль, следуя за американцем, повторял: «Я тоже согласен», восприняв не только существо, но и интонацию американца, не дав себе труда хотя бы для видимости завуалировать вульгарное повторение.

Но Сталин, полагая, очевидно, что на нынешнем этапе надо уступить всюду, где есть возможность уступить, предложил свою формулу, касающуюся прессы, впрочем, мало чем отличающуюся от того, что исходило от англичан и американцев.

Но у польской проблемы была и иная грань. Не менее важная, чем выборы, — западная граница.

Кашу заварил Трумэн — в тонах, свойственных его пасторскому обличью, скорее в форме иносказательной, чем прямой, он заметил, что союзники определили зоны оккупации и соответственно переместили войска, но сейчас, как полагает американец, еще одна страна получила право на зону оккупации, и эта страна — Польша. Он, Трумэн, дружественно относится к Польше, но это не значит, что она должна быть приравнена к великой державе и обрести право, какого у нее нет и быть не может. Что же касается вопроса о границах, то для его решения будет иное место — мирная конференция. Как можно было понять американского президента, разговору о западной границе Польши он придал метафорическую форму: зона оккупации.

Реплика Трумэна была обращена прямо против русских, обращена с такой резкостью, с какой американцы никогда с русскими не говорили. Но советский премьер, казалось, не принял во внимание эту резкость и обратился к средству, которое в подобных случаях у него действовало безотказно: с популярностью, чуть-чуть нарочитой, он принялся излагать историю вопроса, очевидно полагая, что само это объяснение, разбитое на правильные главы и подглавы (он любил членить историю на периоды), укротит американца. Он сказал, что в Ялте было условлено, что восточная граница Польши должна пройти по линии Керзона. Что касается западной и северной границы, то

было оговорено, что должно иметь место существенное приращение территории. Тогда же было решено, что о размерах этого приращения со временем будет испрошено мнение правительства Польши, — сейчас это мнение известно, а окончательно этот вопрос будет решен на мирной конференции.

Но метафора с «зоной оккупации», видимо, полюбилась президенту не на шутку — он не хотел расставаться с нею.

— Но у нас не было и нет никакого права предоставлять Польше право великой державы… — настаивал президент.

Русский стоял на своем — как ему казалось, он выбрал своего коня удачно.

— Польское правительство сказало свое слово о западной границе — его мнение теперь нам известно, — пояснил Сталин все в том же тоне — до сих пор он мог пойти и на компромисс, до сих пор, но не в данном случае.

— Об этой западной границе никогда не было заявлено официально, — произнес американец, заметно накаляясь.

— Я говорю о мнении польского правительства — оно теперь нам известно, — повторил Сталин, в этом повторении, чуть примитивном, была ирония, а ирония сообщала самообладание — инициатива была на стороне русского.

— Мы получили предложение поляков только сегодня, — произнес Трумэн, очевидно давая понять, что одно это позволяет по крайней мере отнести продолжение разговора. — Мы с ним не успели еще как следует ознакомиться… — добавил президент и посмотрел на Черчилля, точно взывая к нему за помощью, но, странное дело, англичанин, до сих пор столь многоречивый, точно онемел. Быть может, он лишился языка, увлеченный спором русского и американца, а возможно, дал простор коллегам, долгожданный для него простор, полагая, что это сулит ему, Черчиллю, приобретения, каких он не имел. Черчилль молчал, он продолжал молчать и после того, как президент недвусмысленно пригласил его сказать свое слово.

Вторглась пауза, она была исполнена неприязни, откровенной, — подал голос Сталин — видно, ему было нелегко заговорить в этот раз.

— Нам действительно предлагали не допускать польскую администрацию в западные районы, — произнес русский премьер безбоязненно. Вспомнив этот факт, полузабытый, он точно говорил: да, вы действительно нас предупреждали многократ, но вы не правы были тогда, как, впрочем, не правы и сегодня. — Наша армия не может одновременно создавать администрацию в тылу, воевать и очищать территорию от врага. Она не привыкла к этому… Поэтому мы пустили поляков, — фраза была человечной

весьма — «Она не привыкла к этому». — Наша концепция, концепция русских, состоит в следующем, — продолжал терпеливо просвещать своих коллег русский премьер. — Чтобы армия могла двигаться вперед, она должна иметь спокойный тыл…

— Это я понимаю и сочувствую этому, — произнес Трумэн — на этом этапе диалога что-то усвоил и он.

— Другого выхода нет, — меланхолически изрек Сталин. — Если вы не согласитесь, вопрос останется открытым. Вот и все.

— Но можно ли этот вопрос оставить без решения? — пробудился Черчилль — разговор все-таки вовлек его в свою орбиту.

— Когда-нибудь его надо решить, — ответствовал Сталин.

Черчилль взглянул не без изумления на Эттли — у того с вечера разболелся зуб, и левая скула чуть-чуть сдвинулась — непонятно, что вызвало изумление Черчилля: деформированная скула Эттли или сам лидер лейбористов, чье появление в Потсдаме Черчиллю надо было еще понять.

— Мы согласились компенсировать Польшу за счет Германии — я говорю о линии Керзона! — произнес Черчилль, все еще не умея совладать с изумлением, которое вызвал у него вид лейбористского коллеги. — Но одно должно уравновешивать другое… Компенсация должна равняться потерям, иначе это не было бы хорошо и для самой Польши… Мы не желаем, чтобы на наших руках оставалось огромное число немцев без продовольствия. Если их не снабдить продовольствием, условия их жизни будут мало чем отличаться от тех, которые были в концлагерях…

Молчание Черчилля было по-своему плодотворным: он заметно обогатил систему доводов Трумэна. Речь теперь шла не только о том, что русские самовольно отдали полякам «зону оккупации», но и о том, что, сделав это, они непоправимо нарушили экономическую целостность Германии, ее взаимосвязь, оставив тот же Рур без хлеба.

— Перед нами страна, которая зависела в снабжении хлебом и углем от своих восточных районов, — произнес Эттли столь громогласно, будто бы речь об этом зашла впервые, и подпер рукой правую щеку, что делало его лицо не столь асимметричным. — Если часть Германии будет отторгнута, это создаст трудности для оккупирующих держав…

— Может, господин Эттли примет во внимание, что Польша тоже страдает от последствий войны и тоже является союзником?.. — вопросил русский премьер, не скрыв иронии.

— Да, но она оказалась в преимущественном положении, —

парировал Эттли.

— Перед Германией, — подтвердил Сталин. — Так оно должно и быть…

Черчилль не без симпатии взглянул на Сталина, наверно, впервые взглянул на русского премьера, не тая приязни, — русский воздал лейбористу за муки адовые, которые тот уготовил старому Уинни в этом трижды памятном году.

Казалось, это совещание — пятое! — закончилось на хорошей ноте, чтобы иметь продолжение, в какой-то мере перспективное. Все доказательства были приведены, кроме одного: не было ли расчета пригласить на конференцию представителей Польши? Сталину импонировала эта мысль не потому, что поляки обладали доводами, какими не располагала конференция, а потому, что это были поляки. Мнение поляков имело в данном случае известные преимущества перед мнением русских — в глазах того же Трумэна они были в меньшей мере красными, чем русские.

Галуа привел Хоупа, явившегося в Потсдам накануне.

— Вот говорю Хоупу: поедем по России, нет, не просто по России, а по местам, где мы с тобой были: Котельниково, Севастополь, Умань, Одесса, а если говорить обо мне, то Ленинград!.. Готов служить верой и правдой — пойми, то, что можем сделать тебе мы с Николаем Марковичем, никто тебе не сделает! — Он смотрит на Тамбиева: — Поможете?

— Как всегда, Алексей Алексеевич…

— Ты что улыбаешься, басурман? — с нарочитой грозностью корит он Хоупа. — Понял, о чем идет речь, а? Услыхал про Котельниково и Севастополь и понял?

— А знаете, я могу согласиться… — произносит серьезно Хоуп.

— Соглашайтесь, я не откажусь, — говорит Тамбиев.

Хоуп уходит — для него в этом разговоре действительно все серьезно.

— Не самый плохой человек стал нашим другом, Николай Маркович, а? — спрашивает Галуа, глядя на удаляющегося Хоупа.

— Совсем неплохой, — соглашается Тамбиев.

Они долго идут обочиной шоссе, огибающей дворцовый парк. Только сейчас Тамбиев понял: Галуа не ушел с Хоупом, это не зря. Мимо пылят грузовики с солдатами. На солдатах новенькая форма, они при оружии. Не иначе, полдень — на многочисленных потсдамских постах смена караула.

— Знаете, какая мне мысль пришла сегодня на ум? — спрашивает Галуа Николая Марковича почти воодушевленно. —

Человек бессилен перед властью события — оно возносит человека и оно его низвергает. Оно творит личность по образу своему и подобию — при этом согласитесь, что крупные фигуры не возникают на свет вне крупных событий, а? Если событие на ущербе, стремительно мельчают и люди, которые к нему причастны, не так ли? Есть в облике этих людей нечто от последышей в многодетных семьях — из того, что наскребла природа на самом донышке, что слепила из завалящих материалов, добра большого не сотворишь!

— Это еще надо доказать! — произносит Тамбиев не без улыбки.

— А что тут доказывать? — воссиял Галуа — несогласие Тамбиева явно улучшило ему настроение. — Взгляните на Трумэна и Эттли, и дополнительных объяснений не потребуется: великое событие пошло на спад…

— Это скрытый панегирик… Черчиллю?

— Нет, почему скрытый? — изумился Галуа. — Открытый!

— Тогда я — весь внимание, как говорилось в старинных романах.

— Есть дивная русская присказка: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти»… — произнес Галуа — его настроение улучшалось, когда он имел возможность явить знание России. — Так вот это тот самый случай…

— Вы полагаете, что сказали все?

— Нет, — возразил Галуа. — Я скажу все, когда изложу свою концепцию того, что есть Черчилль…

— Погодите, чего это вас осенило? Сегодня осенило?

— Да, именно сегодня, — подтвердил Галуа. — Сегодняшний день в Цецилиенгофе может явиться для него последним актом великого действа… называемого войной.

— Итак, концепция?

— Концепция! — подхватил он — его воодушевление было в этот раз почти радостным. — Черчилль — викторианская фигура, викторианская!.. Он опоздал родиться ровно на столько лет, на сколько от нас отстоит викторианское время!.. Родись он на шестьдесят или, быть может, восемьдесят лет раньше, время бы еще работало на него!.. Но он опоздал, я бы сказал, опоздал трагически, и время, вместо того чтобы ему помогать, уже с ним единоборствует. Поэтому все, что он делал, это было титаническим единоборством со временем. А единоборство было именно титаническим, ибо в борьбу вступило все, чем щедро одарила его природа: ум, тщеславие, опыт бытия и, разумеется, амбиция, Гималаи амбиции!.. Одним словом, это не человек, а меч, тяжелый рыцарский меч с массивной рукоятью. Конечно,

Черчилль — враг нового мира, самый убежденный и яростный, но он и враг фашизма… Обратить этот меч против фашизма — значит вызвать опустошение немалое во вражеском стане, — не преувеличивая заслуг Черчилля, могу сказать, что во многом от этого меча пал на британской земле строптивый Кливден. Но фашизм протянул ноги, и из двух антагонистов Черчилля остался один — красные… Поэтому не исключено, что его энергия, которая до сих пор была разделена надвое, теперь своеобразно воссоединится…

— Какой же вывод следует из этого?

— Какой вывод? — переспросил Галуа — он изложил свою концепцию, почти изложил. — История — это необоримая логика событий, поэтому в самом существе истории заключено нечто справедливое… Нельзя не согласиться с русскими марксистами, которые любили повторять: история работает на нас…

— Нечто свое история сказала и о Черчилле?

— Да, разумеется.

— Что именно, господин Галуа?

— Она сказала: пусть он уйдет… Даже хорошо, если он уйдет.

Галуа качнулся, припал на больную ногу и исчез — он любил и прежде исчезать в моменты патетические.

Конференция прервала работу формально — еще неизвестно, когда она, эта работа, была более напряженной: в ходе заседаний или в паузах. Как в шахматах, предстоял домашний анализ партии. Нет, сравнение с шахматной партией не случайно. Сторону представлял за шахматной доской один человек, но каждый его ход подготавливал синклит советников. Это было особенно верно применительно к русской делегации.

Точку зрения русских за столом переговоров представлял глава делегации. Но его мнение готовил синклит советников. Разумеется, встрече за круглым столом предшествовал домашний анализ. Но живое общение главы делегации и советников имело место и по ходу заседания, хотя у этого общения были и свои формы, скупые и не очень явные: короткая реплика-напоминание, подчас записка, уточняющая не столько смысл вопроса, сколько его фактический аспект, все новые и новые документы, которые всегда имел в своем «НЗ» синклит советников и на которые при необходимости мог опереться глава делегации. Иначе говоря, у многотрудного плавания, каким были переговоры, был свой маршрут, свой штурманский план, свои карты и предварительные расчеты.

Не ясно ли, что к главным стратегическим ходам советники имели самое непосредственное отношение, а конференция вступала в ту стадию, когда успех решали стратегические удары.

Однако что исследовали скептические умы советников сегодня? Если имел тут место стратегический замысел, то какой? Небезынтересно в это вникнуть и разобрать по звеньям. У советской стороны был важный рычаг, на который стоило опереться, когда громоздкая машина конференции сбавляла обороты: дальневосточная проблема… Но иногда и этого рычага было недостаточно, чтобы маховое колесо конференции заставить работать. Так было с польскими делами. Как ни заинтересованы были американцы в СССР, если говорить о войне против Японии, они не склонны были идти на уступки в польских делах. Явно требовалось нечто дополнительное, чтобы склонить их проявить понимание советской позиции. Но что именно?

Может быть, действительно есть резон пригласить поляков в Потсдам? Американцы скажут: если приглашать, то только с Миколайчиком. Есть смысл принимать Миколайчика в Потсдаме? Если Миколайчик примет западную границу Польши, больше того, будет ее отстаивать, то есть смысл? Миколайчик и западные польские земли — где-то тут решение проблемы, в некотором роде и психологической. А ведь вот что любопытно: польская западная граница — это то самое, где мнение Миколайчика близко мнению Берута. А коли так, настало время подвести итоги: выступи Миколайчик за передачу западных земель Польше, тот же Трумэн возразит ему? Сталину он может возразить, а Миколайчику? Вот он, результат домашнего анализа: есть смысл пригласить в Потсдам Миколайчика!

Легко сказать «пригласить Миколайчика», но как в этом убедить конференцию?

Очередной тур конференции начался в тонах более чем минорных.

— Вы сказали, господин президент, что ваша точка зрения была изложена вчера… — начал Черчилль, соблюдая принятый в этом случае для англичан в их отношениях с американским партнером пиетет. — Я сказал все…

Обычно бледное лицо Трумэна, старчески бледное, вдруг зарделось румянцем.

— А у вас есть дополнения? — обратился американец к советскому премьеру с очевидным намерением все больше потеснить русских в споре.

— Вы видели текст польского заявления? — спросил Сталин, он знал, что американцы читали польский документ, но спросил об этом единственно из желания продлить диалог. — Все ли делегаты остаются при своем мнении?

— Это очевидно… — тонкие губы Трумэна, более тонкие, чем обычно, потому что были в эту минуту знойно сухи, едва

шевельнулись, вымолвив «сэртанли» — «конечно».

— Ну что ж… вопрос остается открытым, — произнес Сталин, не скрыв своего разочарования.

И тут произошло неожиданное — спасительную фразу произнес человек, от которого ее можно было меньше всего ожидать.

— Что значит «остается открытым»? — спросил Черчилль, воспрянув. — Было бы огорчительно, если бы мы разошлись, не решив этого вопроса…

— Тогда давайте уважим просьбу польского правительства… — произнес русский.

Диалог обрел энергию, какой у него не было, — сейчас все склонялись к тому, что поляки должны быть приглашены. Нерешенным оставался вопрос: куда приглашены? В Лондон, на заседание Совета министров иностранных дел или в Потсдам.

— Я предлагаю пригласить в Лондон… — заметил русский, пряча улыбку в седеющие усы; после того как Черчилль и Трумэн высказались за приглашение поляков, русский премьер без риска мог назвать Лондон — любое другое мнение механически означало Потсдам, — в Лондон, в Лондон…

И Черчилль сделал следующий шаг, в такой же мере неожиданный, как и предыдущий.

— Я сожалею, что столь важный и срочный вопрос предоставляется решать органу, имеющему меньший авторитет, чем наша конференция…

— Тогда давайте пригласим поляков сюда… — произнес советский премьер, не скрывая радости.

— Я предпочел бы это… — согласился Черчилль.

Красные пятна на лице Трумэна погасли: с пытливой пристальностью он смотрел сейчас на Черчилля. Внешне ситуация, создавшаяся на конференции, могла показаться своеобразной: русский и англичанин пошли на американца. Так могло показаться на первый взгляд. А на самом деле?

— Господин президент, относясь к вам с большим уважением, я хочу заметить, что этот вопрос имеет определенную срочность, — вымолвил Черчилль, больше всего на свете опасаясь утратить интонацию солидной почтительности к американцам, чуть-чуть подобострастной и боязненной. Черчилль оглядел присутствующих, твердо фиксируя взгляд: казалось, он призывал сидящих за столом вникнуть в смысл только что сказанного им. — Однако вернемся к положению Берлина, — встрепенулся он. — Берлин получает часть своего угля из Силезии… — заметил он — он точно понял, что дал лишку, и срочно призвал Берлин.

— Берлин получает уголь не из Силезии, а из Торгау, как он

и раньше его получал, — ответил Сталин — он любил ввернуть в свою речь имя собственное.

— Проблема снабжения углем Берлина важна, — тут же реагировал англичанин.

— Из Рура пусть берут уголь, из Цвиккау… — не сдавался Сталин.

— Это… бурый уголь? — спросил Черчилль Сталина, мгновенно уверовав, что тот знает проблему.

— Нет, это хороший каменный уголь, — пояснил Сталин. — Бурый уголь хорошо используется в брикетах, а у немцев есть брикетные фабрики…

— Я только говорю, что часть угля брали из Цвиккау… — заметил Черчилль, точно извиняясь.

— До того как англичане заняли Цвиккау, немцы брали уголь оттуда, — сообщил русский — ему доставляло удовольствие оперировать именами собственными. — После отхода союзных войск из Саксонии — из Торгау…

Трумэн реагировал на этот спор весьма своеобразно — было очевидно, что в этих условиях ему надо перестраиваться, однако так просто взять и утвердить иное мнение он не мог и, пожалуй, не умел, поэтому президент прочел отрывок из документа, в какой-то мере соответствующий нынешнему состоянию американца и тому, каким оно предполагает быть в ближайшее время.

— «Главы трех правительств признают, что Польша должна получить существенное приращение территории на севере и на западе. Они считают, что по вопросу о размерах этих приращений в надлежащее время будет испрошено мнение нового польского правительства», — прочел он; как ни бесстрастен был его голос, он, этот голос, вдруг отразил некое изумление — в самом деле, огласив текст, Трумэн открыл в этих двух фразах такое, что удивило американца немало: оказывается, при этом о размерах этих приращений на самом деле решено было испросить мнение поляков. Президент приумолк, раздумывая — теперь, пожалуй, можно было без особого риска высказать и собственное мнение. — Я согласен с этим решением, — произнес наконец Трумэн — он говорил о тексте, который только что прочел. — И я понимаю затруднения, о которых говорил вчера генералиссимус…

— Если вам не надоело обсуждать этот вопрос, я готов выступить еще раз, — произнес русский премьер и не скрыл улыбки — ему казалось, что без этой оговорки ему, пожалуй, неудобно выступить с пространной репликой, на которую он решился. — Я тоже исхожу из того решения, которое сейчас

цитировал президент. Из точного смысла этого решения…

Простая фраза — из точного смысла этого решения — давала русскому известные козыри: как имел возможность убедиться президент только что, русский премьер не сместил акценты, рисуя картину. Итак, мнение Сталина: в том случае, если мы согласны с Ялтой, утвердить ее решения; если не согласны — пригласить поляков и выслушать их.

Русский премьер, излагая факты, время от времени обращался к Черчиллю, взывая к его памяти: «Как это было в Ялте — вы, разумеется, помните, господин Черчилль…» Те, кто слушал сейчас русского, должны были сказать себе: как все-таки важно сохранить нормы отношений даже с недругом. Сколько раз тот же Черчилль давал повод для разрыва, однако до этого, слава богу, дело не дошло. То, что происходило сейчас, свидетельствовало, как важно было уберечь отношения и со столь одиозной фигурой, как Черчилль, — вон какую степень понимания он явил. Но британский премьер, демонстрируя понимание, сказал не все — его последняя фраза в этот день достойно венчала предыдущие.

— Я хотел бы от имени британского правительства снять свое возражение против вызова поляков… — заметил старый Уинни и, казалось, сам порадовался метаморфозам, которые произошли с ним. — Кто пошлет им приглашение?

— По-моему, председатель, — сказал Сталин — эта формула как бы высвобождала суверенное мнение американца, она показывала, что президент был самостоятелен по вопросу о приглашении Польши.

— Хорошо, — согласился Трумэн — он принял сказанное как само собой разумеющееся, будто бы все то, что он говорил до этого, не противостояло только что сказанному, а предполагало. — Переходим к следующему вопросу…

80

Бекетов стал едва ли не самым занятым человеком на конференции — хлопоты по его новому ведомству распространились далеко за пределы дневного времени. Поэтому Егор Иванович решил обратиться к мерам крайним — он явился в бекетовские апартаменты ранним вечером, когда дневное светило нехотя опустилось за мощные купы дворцового парка.

— Я по твою душу, Сережа… Бросай все свои дела, не требующие отлагательств, и пойдем на берег пруда — я тут облюбовал место райское…

Тон был категорическим — деликатный Бекетов и прежде сдавал перед этим тоном.

— Ты знаешь, почему я тебя вызвал? — спросил Егор Иванович друга, когда они вышли к краю дремлющей воды — в парке было тихо и тепло, недвижная вода была точно впаяна в берега. — Знаешь? Вот задал задачу… Черчилль, не могу найти покоя…

— Черчиллевский… зигзаг? — оживился Бекетов — и для него не было на конференции события необычнее, чем этот черчиллевский зигзаг.

— Именно, что бы это могло значить?.. Угрызения совести?

— Угрызения совести — не черчиллевская категория!.. — засмеялся Бекетов. — Все, но только не это…

— Тогда что? — Бардин был, как обычно, последователен в стремлении дать точное имя явлению. — Нет ли тут американской инспирации? То, что не могли сказать они, сказал Черчилль?

— А почему им не сказать самим? — был вопрос Бекетова — он был осторожен в своих догадках.

— В то время как Черчилль был молчалив, я бы сказал, необычно молчалив, американский президент далеко пошел в своих возражениях, так далеко, что иное мнение если не исключалось, то становилось неприличным…

— И все-таки дело не в том, Егор… — возразил Бекетов; когда его возражение было категорическим, он звал друга по имени — ласково-приязненное «Егор» умеряло эту категоричность. — Не в этом…

— А в чем?.. — Бардин не очень привык к тому, чтобы его мнение отвергалось другом столь определенно, обычно это делалось терпимее.

— Ты понимаешь, друже… — молвил Сергей Петрович и пошел тише — он почувствовал, что, чуть-чуть огрубив разговор,

нарушил настроение беседы.

Они отвели ветви старой ивы и неожиданно оказались под ее мохнатой шапкой. Бекетов ощутил, как затих его друг. Он стоял где-то рядом, застигнутый внезапной мыслью, казалось, она стеснила даже дыхание, эта мысль.

— Что мне делать, Бекетыч?..

— Ты о чем, Егор?

Он долго молчал, прежде чем нашел силы произнести:

— Сережка…

Бекетов вздохнул — где добудешь слово, которое может утишить боль, да есть ли оно в природе.

— Все — в тебе, Егор, в твоей способности пересилить…

Но слова эти оборвались где-то на полпути к Бардину — он не услышал их.

— Могу все перебороть, этого — не могу… Готов пять раз умереть, но только оградить его от этих бед неисчислимых… — волнение сшибло голос — Бардин умолк, будто набираясь сил. — Жаль его, так жаль… волком бы завыл!.. Вот тут… точно камень залег, — он ткнул кулаком в грудь. — Все время ощущение тревоги. Только бы отец не узнал — сердце у него на ниточке…

— На ниточке?

— А ты полагаешь, нет? — Бардин не скрыл настороженности — вот и Бекетов во власти тех же предрассудков: коли Иоанн, то все железное… Он только с виду сердоболен, на самом деле он бронирован, старый Иоанн. Все эти Иоанновы всхлипы для проформы, а в действительности он ничего не подпускает к сердцу, этим и живет. Как увидит, что рискует ненароком зашибить сердце, делает этакий кульбит, совсем не стариковский, и выходит из игры. Ведь так думает Бекетов об Иоанне?

— Я спрашиваю: ты полагаешь, не на ниточке?

— Я ничего не сказал, — заметил Бекетов, заметил таким тоном, точно хотел дать понять: какая там ниточка — трос, свитый из металла! — Я ничего… — повторил Сергей Петрович, все больше смущаясь.

Они пошли дальше — им стоило труда вернуться к прерванному разговору.

Они продолжали идти вдоль берега пруда — глаза привыкли к темноте, и их отражение на воде стало видимым, — им стоило труда вернуться к разговору о конференции.

— У меня было впечатление, что Черчилль уязвлен, лично уязвлен… — произнес Бекетов, задумавшись. — Это тем более ранило его самолюбие, что рядом был Эттли. — Бардин остановился, увлеченный тем, что говорил друг, остановился и Бекетов. — Он говорил много, но это было уже признаком

слабости — чем больше говорил, тем меньше его мнение учитывалось. Поэтому было желание утвердить себя, острое желание… Без этого экскурса в психологию, пожалуй, не поймешь Черчилля… — Они сдвинулись с места — мысль требовала движения, шаг их был неспешен, но явилась потребность идти. — Я не думаю, чтобы американцы инспирировали выступление Черчилля, хотя в этом предположении нет ничего абсурдного — в Потсдаме действует англо-саксонский план… Черчилль достаточно опытен, чтобы понимать: все, что говорят американцы русским, они должны говорить, учитывая, что война для них не окончена, для всех окончена, для них — нет… Поэтому их неуступчивость имеет меру. Когда они говорят русским «нет», они должны многократ подумать — удастся ли им сохранить его, это «нет», имея в виду перспективу, о которой идет речь. Что узрел Черчилль, изобразив на конференции свой зигзаг?.. Он просто предрек то, что сделал бы всякий иной, обладающий черчиллевским опытом: он корректировал американского президента, обратив трезвый взгляд на день завтрашний…

— Не потому ли Черчилль корректировал президента, что был уязвлен и искал случая утвердить себя, — вот вопрос… — откликнулся Бардин — он искал в позиции друга слабое звено. — Конечно, нынешний момент в жизни Черчилля не просто особенный, он — чрезвычайный… Возможно, у него есть потребность утвердить себя, но утвердить себя в возражениях американскому президенту по столь значительному вопросу, как западная граница… да убедительно ли все это?

— Тогда почему он это делает, Егор, — должна существовать причина?

— Должна, разумеется.

— Какая же? — Бекетов сделал попытку перейти на боковую тропу, идущую в глубь парка. — Ты заметил: они вдруг воспылали интересом к итальянским колониям, — заметил Сергей Петрович. — У Черчилля мог быть и такой план: в обмен на согласие, которое они дают русским, те поддерживают отторжение итальянских колониальных земель… Черчиллевское согласие прямо предшествовало этому требованию… Не так ли?

Они вошли в парк — листва была необильной, и белый свет прожекторов, стелющийся по земле, еще больше разжижал зелень — в парке было светло, как на сцене, — истинно некуда было деть себя.

— Не думаю, чтобы Черчилль мог рассчитывать на уступчивость русских, — возразил Бардин. — Не тот человек, да и проблема не та!.. В сознании такого человека, как Черчилль, этакий маневр мог вызвать контрдоводы: на взгляд Черчилля,

действовать подобным образом — значит обозлить русских, а не склонить к компромиссу… Русские!

— Тут все… сложно, но я настаиваю на этой своей мысли: у Черчилля мог быть и такой расчет — итальянские колонии, — произнес Бекетов. — Он, конечно, эмоционален, с возрастом все более эмоционален, но он человек расчета, часто внезапного, на грани авантюры, но все-таки расчета — дальний прицел… Он многократ повторил тогда: мы воевали, только мы, и никто больше… У этих слов — один смысл…

Но не так-то просто было убедить Бардина — как случалось многократ прежде, он пытался обострить спор и в споре обрести истину.

— Возможно, мы видим Черчилля в канун его поражения, быть может самого сокрушительного в его жизни, — ответствовал Бардин. — Мы видим Черчилля, какого никогда не видели!.. Поэтому там, где мы пытаемся искать в его действиях логику, ее может и не быть…

— Но сказать так — значит ничего не сказать… — Бекетов оглянулся на пруд — пошел дождь и крупная рябь, настолько крупная, что зеркало пруда сделалось матовым, а потом погасло. — Нет события, которое вышибло бы Черчилля из седла в такой мере, чтобы он перестал быть Черчиллем, — произнес Сергей Петрович, приглашая друга под многослойную крону. — Итак, что есть черчиллевский зигзаг?.. Понимание, что американцы пойдут на уступки в перспективе событий на Дальнем Востоке, и желание сказать сегодня то, что завтра скажут американцы… Это — первое. Второе — сказать русским «да» в надежде, что они ответят тем же, когда для Британской империи придет час испытаний — он не за горами… Это тебя устраивает?

— Не совсем…

Для Бардина разговор с другом был единоборством — не очень хотелось признаваться даже Бекетову, что тот взял верх.

Они поднялись в своеобразный мезонин, где, оплетенное ветвями прибрежной ивы (пруд был под окном), находилось обиталище Бекетова. Комната была квадратной, выклеенной шелком, с правильными прямоугольниками окон, яркие белила которых контрастировали с обоями. Бекетов не спешил включить свет, и на какой-то миг парная темь, втекшая в раскрытое окно, полонила их. И вновь, как это было под мохнатой шапкой старой ивы, печально затих Бардин…

— Понимаешь, Сережа, впереди у него жизнь, долгая жизнь — как победить ее в его нелегком положении… — он точно окаменел у окна, склонив голову. — Вот кажется, взвалил бы его на спину и понес… — Он встал, и Бекетов увидел в светлой раме

окна, как он усох за этот месяц, точно то был и не Бардин.

И вновь Бекетов ощутил, что ему недостает слова, того всесильного слова, которое единственно могло бы помочь другу.

— Только не ищи уединения — одиночество не лечит! — вдруг произнес Сергей Петрович и подумал: да не наивно ли это адресовать Бардину? — Не могу вышибить этот запах лаванды! — заметил Бекетов, решительно переключая разговор. — Наши говорят: вот так же пахла одежда пленных немцев: лаванда и вакса…

— Видно, здесь жил… прусский вояка?

— Да, хранитель музея оружия — я могу и ошибиться: чулан полон старых вороненых лож… И не только лож… — Он вдруг встал, точно что-то вспомнив, быстро пошел из комнаты. — Сейчас я тебе покажу такое, что ты ахнешь. — Он внес щит, деревянный, однако сделанный по всем правилам тевтонского щита, на котором по незримому ранжиру расположилось собрание бабочек, диковинных по формам и особенно цвету.

— Только подумай: бабочки на тевтонском щите — смех!.. — отозвался Бардин, рассматривая бекетовское диво. — Ты только взгляни: какое многоцветье! Все-таки краски природы невоспроизводимы… Он, этот немец, хранитель музейного оружия, искал отдохновения в природе…

— Он искал отдохновения в философии. У каждого немца есть своя идея истинного пруссака, есть своя идея фикс. У него тоже была…

— Это рассказал тебе щит с бабочками?

— Нет, это рассказали мне его пометы на последнем томе мемуаров Бисмарка, который я обнаружил в тумбочке, — вот этот том с закладками — это мои закладки…

— И что же это за идея фикс? — спросил Бардин, раскрывая том в зеленом полотне.

— Он говорит: народы и страны действительно разделены надвое, но не на большие и малые, а на те, кому на роду написано быть монархиями и республиками. Неверно, что монархия со временем становится республикой…

Бекетов пригасил свет, пошире открыл окна. В комнате сейчас было полутемно. Казалось, темнота впустила свежесть — пахло мокрой листвой, тем особым запахом прибрежных водорослей, который способен победить все остальные запахи. В прохладных сумерках, заполнивших комнату неярким, мерцающим пламенем, светились бабочки.

— Как понял я эту концепцию, она гласит: если стране суждено ходить под королем, то, став республикой, она все равно к королю вернется. Тут, как утверждает хранитель музейного

оружия, дело даже не в социальном устройстве страны и общественных институтов, а в особом складе национального характера. Есть народы, которым не прожить без курфюрста.

— И кого он относит к этим народам? Немцев?

— Да, немцев тоже… Так и начертано — без курфюрста…

— Это как же понять: Гитлер тоже своеобразный… курфюрст?

— Выходит так, Сережа.

— Однако на что опирается эта идея, на какую черту народа?

— Да ты разверни книгу — там все написано! — возгласил Бекетов — ему очень хотелось, чтобы Бардин узрел все сам в этой книге. — Как заметил мой достопочтенный хранитель оружия, на гусиный шаг, который отбивают немцы на армейских плацах и в жизни, — вот на что!..

— Ну, слава богу, что этот гусиный шаг наше самое слабое место, — значит, мыкать нам горе-горюшко без курфюрста — хорошо! К черту… курфюрста! — вдруг гаркнул Бардин. — Поляки будут в Потсдаме?

— Ты хочешь спросить: будут ли в Потсдаме Берут и Миколайчик?

— Могу спросить и так: Берут и Миколайчик, — согласился Бардин.

— Значит, Миколайчик?.. — вопросил Бекетов не столько друга, сколько себя.

Как ни строг был порядок, установленный военными властями в Потсдаме, он, этот порядок, обнаруживал и опасные бреши. Первыми в каменной стене потсдамской твердыни находили своеобразные лазы, разумеется, корреспонденты. Несмотря на строгий запрет, они вдруг появлялись в Потсдаме там, где их никто не ожидал. Поэтому, когда на садовой дорожке, ведущей к дворцу, Тамбиев увидел пана магистра, Николай Маркович не издал крика изумления.

— Истинно вы неуловимы, пан Тамбиев: второй час мчусь по вашему следу и не могу настигнуть… Бардзо — второй час!..

Пан Ковальский переложил плащ в левую руку, не без радостного воодушевления поднес на польский манер два пальца к конфедератке. Жест был козыристым, хотя вид у пана магистра мог быть и поизысканнее, если учитывать, что путь его лежал в сиятельный немецкий град.

Френч порыжел от солнца, погоны заметно утратили форму, хотя были и подполковничьими, и знатный хром сапог собрался в гармошку. Но пан Ковальский не хотел замечать всего этого и выглядел молодцом.

— Когда вы в Потсдам, пан магистр?

— Сегодня утром…

— Не иначе… измена цеховой солидарности?

— Выходит так, пан Тамбиев…

Все понятно: именно сегодня утром в Потсдам прибыла польская делегация, очевидно, пан магистр был в ее составе.

— Раз пан Ковальский в Потсдаме, твердый польский узел будет развязан, не так ли? — заметил Тамбиев.

— Иначе не было бы смысла в Потсдам ехать, — ответил пан магистр и надел плащ — в мокрые потсдамские чащи вечер приходил раньше, в ответе поляка была некая лаконичность, прежде он был словоохотливее.

— Когда мы в последний раз виделись?

— По-моему, в конце лета или в начале осени… — произнес поляк, задумавшись. — Нет, все-таки в конце лета — осенью я был далеко, — поляк и в самом деле «разбудил свой русский» — его язык обрел свободу, какой прежде не было.

— Вы сказали «далеко», пан Ковальский?

— Верно, далеко — в варшавской Праге, в двух шагах от Жолибожа…

Тамбиев продолжал смотреть на поляка, но точно видел перед собой другого человека — вот поляк сказал «Жолибож», и что-то произошло с тамбиевским зрением: Жолибож — район восставшей Варшавы.

— Это было в конце августа?

— Нет, в сентябре…

Аллея, как все аллеи потсдамского парка ограненная в эти дни красным кирпичом и выстланная песком такого ярко-желтого колера, будто в этом участвовала всесильная охра, привела друзей в тот уединенный угол, где стоял неприметный тамбиевский флигель.

— А знаете, пан магистр, вы рискуете быть гостем скромной холостяцкой обители, — произнес Тамбиев, указав на круглое окно, под которым они сейчас стояли. — Особых яств не обещаю, но бутылку баварского выставлю…

— Я готов, — ответ поляка был по-солдатски лаконичен.

Они поднялись.

Тамбиев включил электропечь, она взялась и мигом совладала с холодной сыростью и полутьмой флигелька — свет был неярким, но в нем таилась некая сокровенность.

— Вы были в Праге, когда защитники Жолибожа уже перешли Вислу?

— Да, именно в тот момент… Двадцать три человека… Всего двадцать три.

— Вы говорили с ними?

— Почти со всеми, — подтвердил поляк и умолк: подходы к тому, что сегодня предстояло сказать ему, были трудными.

Керамические чашки, которыми Тамбиева снабдило рачительное интендантство, были завидной емкости, — на вкус Николая Марковича, баварское оказалось вином с выдержкой, оно сгустилось от времени и точно было настояно на меду, сохранив и хмель и шипучесть.

— Вы помните эту мою теорию о новой вавилонской каланче?

— Новый Вавилон, если не сто языков, то сто обличий?

— Бардзо сто обличий… Если вам доводилось быть в довоенной Польше, то вы, быть может, видели этот Вавилон и этих вавилонян во всем блеске: на версты и версты они развернули свои торжественные ряды — сукна и шелка, корсеты и бюстгальтеры, парики и манекены, ордена всех достоинств, фетровые шляпы, канотье, зонты и трости, ножные протезы, жилеты, имитирующие богатырские плечи, каракуль и медвежьи шкуры… Истинно парад человеческой тревоги, которая, исхитрившись, змеится, петлит, вьет и лепит свои немыслимые узоры, чтобы выжить и, быть может, чуть-чуть нажиться… Вот это и есть Вавилон, который у меня всегда вызывал снисхождение, а может быть, и жалость…

— Простите, да надо ли его жалеть — ведь это все буржуа, без пяти минут Морганы и Ситроены?.. — возразил Тамбиев.

— Да что вы, товарищ Тамбиев!.. — искренне сокрушался поляк. — Из них Морганом будет один на миллион, а остальные все бедные люди!.. Они этого Ситроена ненавидят больше, чем мы с вами…

— Ненавидят, а себе на уме — у них в каждой лавочке по рабу или рабыне!

— Неверно, товарищ Тамбиев, честное слово, неверно!.. Они все делают своими руками — больше их никто не работает! Я-то знаю, товарищ Тамбиев: никто за них не тянет этот нелегкий воз, называемый москательной лавочкой, — коренником идет хозяин, справа — жена, слева — сын или невестка, а пристяжными — вся их династия, включая внуков и правнуков!.. Нет у них рабов, поверьте мне!..

— Это все собственники, и весь строй ума у них собственнический, да по пути ли нам с ними, пан магистр?..

— По пути, честное слово, по пути! — возразил поляк. — Если же я ошибаюсь, то это моя старая ошибка, и я разрешаю вам со мной не согласиться, — добавил он, кротко моргая; он не в силах был скрыть печали. — Честное же слово, вы, советские, что-то недопонимаете, когда говорите об этом нашем Вавилоне. Да, совсем забыл: чего я затеял этот разговор о Вавилоне? Вспомнил.

Наверно, не надо говорить, но я все-таки скажу: как мне кажется, в варшавских боях эти мои вавилоняне не отстранялись, они сражались как львы!

— Не они ли держали Старое Място и Жолибож? — спросил Тамбиев, не скрывая улыбки.

— Они тоже, товарищ Тамбиев. Честное слово, и они.

Этот досадный пассаж о вавилонянах точно упал на головы с неба и разрушил настроение беседы… Ну, разумеется, каждый остался при своем мнении, и решительно не было причин для огорчений, однако нечто похожее на огорчение возникло, — по крайней мере, потребовалась пауза, и немалая, чтобы разговор был возобновлен.

— В этих беседах с жолибожцами для меня был один момент, важный…

— Да, пан магистр…

— Я проверял себя…

Да, как признался тамбиевский собеседник, он проверял свое видение и, пожалуй, понимание, что есть Жолибож и Варшава. У каждой веры есть свой краеугольный камень. Вот эта мысль о двух врагах была таким камнем для лондонских поляков. Чтобы отождествить русских с немцами, надо апеллировать не только к произволу русских царей. Если же такое сравнение все-таки делается, то надо задуматься над тем, почему это делается, а, кстати, кто это делает? Итак, кто это делает? Те, кого мы зовем лондонцами, это, по существу, белая кость Польши. Да, поляризация самая, казалось, грубая: Москва и Лондон, черная и белая кости. Дать возможность Москве взять верх — значит отдать власть черной кости, — хочешь не хочешь, а отождествишь русских с немцами! Когда Красная Армия встала у ворот Варшавы, а в Люблине было создано новое польское правительство, для белой кости пришло время отчаянью. Кстати, в природе варшавского поступка рассматривается именно отчаянье: восстание не было подготовлено, оно не заручилось согласием русских военных, что в такого рода обстоятельствах элементарно, как и согласием англичан… Больше того, как теперь установлено, англичане сказали «нет».

— Говорят, что уже здесь, в Потсдаме, Черчилль бросил запальчиво, что он разочарован в поляках, — в этом упреке есть свой скрытый смысл… — заметил тамбиевский собеседник.

— Нельзя же допустить, что Черчилль разочаровался в своих польских сподвижниках?..

— Именно в польских сподвижниках…

— Как понять «разочаровался»? Отверг их мнение или, может быть, характер?

— В принципе он был за варшавский маневр, но полагал, что круг польских мудрецов, избравший своим местопребыванием Лондон, мягко выражаясь… перемудрил… Бардзо — перемудрил!

— Ну, это еще надо доказать, пан магистр! — засмеялся Тамбиев и наполнил чарки медовой влагой.

— А я докажу! — возразил поляк. — Вы слыхали когда-нибудь о московской встрече Черчилля с Миколайчиком? Нет, это было уже после варшавского поражения, а поэтому отмечено яростью черчиллевской… Утверждают, что он едва ли не бросился с кулаками на Миколайчика… Нет, нет, я не склонен усиливать — черчиллевская тирада говорит об этом же — проверьте меня…

— Он адресовал свои упреки именно Миколайчику? — спросил Тамбиев — Николай Маркович, знающий факты, усомнился: в самом деле, терпимый тон, который британский премьер принял еще во времена оны по отношению к польскому крестьянскому лидеру, ставил того в положение особое среди лондонских поляков.

— Нет, внешне эти упреки были адресованы генералу Андерсу и относились к беседе, которая незадолго до этого была у Черчилля с генералом, но подлинным адресатом тирады был Миколайчик, и тот, надо думать, это так и понял… Кстати, это было после Варшавы, ею было, как я помню, порождено…

Тамбиев отодвинул керамический сосуд — медвяный баварский напиток разом потерял свой вкус:

— Но что сказал Черчилль?

— Извольте, товарищ Тамбиев… — Он затенил худой рукой глаза, хотя, казалось, свет был неярким. — Извольте… только дайте собраться с мыслями… Первая фраза относится, как я уже упомянул, к Андерсу… Он сказал, что недавно беседовал с генералом и тот, как показалось Черчиллю, тешит себя надеждой, что после разгрома Германии союзники разобьют Россию… «Это сумасшествие, — воскликнул Черчилль. — Русских разбить нельзя!» Оставляю в стороне, что эти три слова: «Русских разбить нельзя!» — произнес Черчилль, вы только поймите — Черчилль, и перехожу к продолжению черчиллевского монолога — кстати, это был именно монолог, и он был обращен теперь прямо к Миколайчику… Тут выпало звено, о смысле которого мы можем только догадываться… Однако что же сказал Черчилль? Не ручаюсь, что воссоздам слова британского премьера буквально, но за верность существа готов поручиться головой… Итак, что сказал Черчилль? Он назвал коллег пана Миколайчика по лондонскому, так сказать, ковчегу людьми, ослепленными ненавистью, желающими уничтожить Европу. Он так и сказал:

«Вы хотите развязать войну, в которой погибнет двадцать пять миллионов человек». И еще он сказал, Черчилль: «У вас на уме только низменные интересы…» И это еще не все. «Если вы хотите завоевать Россию, — сказал он, — то действуйте самостоятельно. Вас следует посадить в больницу для умалишенных…» Как видите, тут много грубых слов, которые, смею думать, не очень-то характерны даже для Черчилля, но это говорит о том, что он был в ярости, а следовательно, максимально близок к правде… Короче, сказанное о поляках в Потсдаме, смею думать — не вообще о поляках, а о поляках из этого лондонского ковчега, следует сообразовать с этой черчиллевской тирадой, которую он обрушил на Миколайчика в Москве…

— Но вот вопрос: чтобы говорить все это Миколайчику, у Черчилля должно быть сознание, что он не перепутал адреса… Вы полагаете, что у него было это сознание?

Поляк не скрыл смеха, иронического: он все понял.

— Иначе говоря, вы хотите спросить меня: считал ли Черчилль Миколайчика в такой мере… причастным к политике лондонских поляков, чтобы говорить с ним так резко, как он говорил?

— Можете понять меня и так, — согласился Тамбиев — у Николая Марковича не было сомнений, что пан магистр понимает его правильно.

— По-моему, считал, и тут Черчиллю нельзя отказать в осведомленности: он общался с Миколайчиком и знал его…

— А как же быть тогда с молвой о терпимости Миколайчика, о его способности считаться с мнением противной стороны, даже об известной покладистости его характера?.. — продолжал настаивать Тамбиев — ему казалось, что поляк не выложил еще всех своих козырей. — Согласитесь, что с человеком, наделенным этими качествами, нельзя говорить так, как с ним говорил Черчилль?.. Кто же прав: Черчилль или молва?..

Пан Ковальский встал, смеясь замахал руками — разговор явно не оставил его равнодушным.

— Вы хотите спросить, что я думаю о Миколайчике? Вы хотите знать, каковы мои впечатления о нем уже теперь, когда я оказался с ним в одной, так сказать, карете, идущей в Потсдам? Вы, наконец, хотели бы уточнить, как он примет идею западных польских земель? Это вы хотели знать?..

— Если вы хотите понять мой вопрос таким образом, я возражать не буду, — заметил Тамбиев и, поднявшись, дотянулся ладонью до плеча поляка. — Все, что вы сейчас перечислили, настолько значительно, что должно интересовать не только меня, но и вас…

— Ну, что я могу сказать? — спросил поляк, как можно было подумать, прежде всего себя, и этим вопросом точно смирил шаг — он стоял сейчас посреди комнаты, раскачиваясь, и седые лохмы, попадая в поле света, точно угли на ветру, разгорались и гасли, становясь ярко-червонными и черными. — То, что сказал Черчилль, он должен был, очевидно, сказать Рачкевичу и Сосновскому, которые стояли у дирижерского пульта. Если же он все-таки сказал это Миколайчику, значит, не видел разницы… Очевидно, разница была, но она касалась не существа, а формы, это тоже видел Черчилль… Если мы ошибаемся, время нас поправит, при этом не замедлит это сделать и здесь, в Потсдаме…

— Можно подумать, что вы все-таки не отвергаете такой возможности, что оно вас поправит в Потсдаме, а? — спросил Тамбиев, не отрывая глаз от поляка, — он, как понял Николай Маркович, уже не собирался возвращаться к столу.

— Сегодня в полдень, когда полякам показывали здешний музей оружия, Миколайчик вдруг сказал: «Остается выразить надежду, чтобы наше единодушие касалось не только польских западных земель…» Ну, можно сделать вид, что Миколайчик ничего не сказал, но всего лишь сделать вид — если говорить о западных землях, он сказал много, он сказал почти все…

Не садясь за стол, они выпили по последней и по скрипучим ступеням флигелька, поющим на все голоса, пошли вниз.

— Чуть не забыл: Миколайчик привез в Потсдам и Шимановского! Ну, этого своего свитского генерала! Если удастся встретить поляков, обратите внимание на этакого толстяка в берете — у него действительно фиолетовые веснушки! Я себя редко хвалю, а тут похвалил… Знаете, за что? За то, что тот раз не обругал Шимановского и сберег возможность продолжать разговор… Это очень важно — не оборвать тонкой ниточки…

Но что сказал пану магистру Шимановский? «Я знал, что рано или поздно вы обратитесь к пану Станиславу, не могли не обратиться… Вот и настала эта минута!.. „Пан Миколайчик, просим бардзо пожаловать в Потсдам!..“ Пан Станислав, конечно, мог отказать. Какой смысл ему работать на польскую левицу? Но пан Станислав не был бы паном Станиславом, если бы сказал „нет“, — он поехал… Так или иначе, а не обошлось без Миколайчика. Поверьте мне: и дальше не обойдется!.. Надо понять: это та самая фигура, у которой влияние… Нет, не только в Америке и Англии, но и в самой Польше. Надо понять: крестьянская Польша за Миколайчика!.. Не считаться с этим — значит ослабить самого себя!» Он долго искал эту формулу: «Не считаться с этим — значит ослабить самого себя!»

По тому, как воспрянул свитский генерал, пан магистр понял:

в последнее время жизнь не щедро одаривала радостями пана Шимановского, как, впрочем, и пана Миколайчика. Иначе какой резон ликовать по столь скромному поводу? А свитский генерал почти ликовал. Эта радость, неуемная, даже чуть-чуть затмила у пана Шимановского способность к здравому мышлению, что было прежде его несомненным достоинством. В противном случае он не обманывал бы себя чрезмерными надеждами.

Конец разговора достойно венчал встречу пана магистра с другом детства.

— Послушай, Шимановский, ты веришь в мое доброе отношение к тебе, доброе всегда и сегодня не меньше, чем всегда?

— Верю, честное слово, верю.

— Тогда разреши дать тебе совет?

— Давай.

Непросто было отважиться сказать ему то, что задумал сказать пан магистр, решение было принято, уже принято.

— Возвращайся в свою химию и оставайся в Польше — честное слово, не пожалеешь!..

Шимановский ошалел — ничего подобного он, конечно, не ожидал.

— В каком смысле не пожалею?

— То, что не понял, поймешь… Честное слово, поймешь.

Ну, разумеется, Шимановский тогда ничего не сказал, да и не мог сказать: такое нелегко уложить в сознание. Но пан магистр был рад, что привел разговор к этому знаменателю.

— Однако вы оптимист, пан магистр, — Тамбиев возвращал поляка, как казалось, к главному в нынешней беседе. — Не ясно ли, что передача западных земель укрепляет новую Польшу? Трудно допустить, чтобы Миколайчик не понимал этого — вот возьмет и отвергнет… Нет?

— Вряд ли, — спокойно ответил поляк, когда песок, белый от яркого света рефлекторов, зашумел у них под ногами. — Сказать ему так — все равно что наложить на себя руки: все, кто в него еще верит в Польше, перестанут верить…

— Новые вавилоняне? — спросил Тамбиев, не скрыв улыбки.

— Да, новые вавилоняне, — ответил поляк серьезно. — Кстати, их тоже есть смысл откалывать… Бардзо — есть смысл!

— Шимановский? — поднял Тамбиев внимательные глаза на пана магистра.

— Ну, пана Шимановского новым вавилонянином не наречешь, но его тоже, — ответил поляк.

81

Все утро дождило, и поэтому в большом зале, где собралась на свое очередное заседание конференция, зажгли свет.

В порядке дня — нынешняя судьба тех, кого недавно называли сателлитами рейха, их право на суверенность и на признание этой суверенности.

Светло-серый костюм Трумэна был явно не по погоде, как и еще в большей степени снежно-белый китель русского, но ненастье не воспринималось всерьез — летнее солнце не было холодным и в хмари, оно могло возвратиться на землю так же неожиданно, как ее покинуло. Поэтому все, кто сегодня собрался за круглым столом конференции, нет-нет да и обращали взгляды на небо, благо большое трехстворчатое окно давало такую возможность. Но небо, как оно виделось сквозь просторные просветы зала, не спешило освободиться от хмари — низкие тучи, темно-сизые, не тучи, а тревожные дымы, бежали над дворцом, казалось бы сообщив свое настроение и тому, чем жила в этот день конференция.

Единодушие, несколько нарушенное между англосаксами накануне, точно ванька-встанька, утвердилось на ногах, едва речь зашла о более чем деликатной теме: нынешняя судьба тех, кого столь недавно принято было называть союзниками рейха.

— Хорошо, что с Италией восстановили дипломатические отношения! — воскликнул Сталин. — Можно согласиться и с тем, чтобы Италия была принята в Организацию Объединенных Наций, но как быть с остальными?.. Уместно спросить: как быть с Болгарией, Румынией, Венгрией, Финляндией?.. Почему не сделать хотя бы первого шага и не восстановить дипломатических отношений с ними?

Делегаты точно лишились дара слова — непросто было ответить: чем Италия лучше?

— Мы согласны тут с Соединенными Штатами, — выдавил Черчилль. — В общих чертах согласны, — уточнил он и, как это бывало в минуту волнения, извлек из коробки твердый снаряд сигары и с ловкостью профессионального курильщика отщипнул ее острый конец, отщипнул и в этом нашел удовлетворение, отстранив сигару — курить ее уже не было необходимости.

— Мы не знаем положения в этих странах, в то время как обстановка в Италии нам знакома, — сказал Трумэн и, сняв пенсне, попеременно дунул на его стекла. — К тому же характер правительств в этих странах…

— Характер? — изумился Сталин. — С Италией вы имеете

дипломатические отношения?..

Трумэн не успел ответить — за окном вспыхнула молния, и бумаги на какой-то миг стали сине-белыми — зал затих, ожидая грома, — он явился тотчас и был могуче устойчивым и долгим, заставив восемьдесят четыре стекла большого зала обнаружить свои голоса, причудливые.

— Но и другие сателлиты могут получить признание, если их правительства будут удовлетворять нашим требованиям, — сказал Трумэн с нескрываемой и грубой тенденциозностью.

— Каким требованиям? — был вопрос Сталина.

— Я говорю о свободе передвижения и информации, — парировал Трумэн — он не был готов к ответу; конечно же, будь он готов к ответу, речь пошла бы не только и не столько о свободе передвижения и информации.

— Тут какое-то недоразумение… — возразил русский делегат.

Точно в небе обломилась пламенеющая ветвь — вновь явилась молния, высинив белые листы, разложенные по столу, а заодно и белый китель русского премьера.

— Мы хотим, чтобы эти правительства были реорганизованы, — заметил американский президент, удерживая руки у глаз — молния погасла, но китель русского премьера все еще слепил президента. — Когда они будут более демократичны и ответственны, мы предоставим им свое признание… — подтвердил Трумэн — он все-таки нашел силы собраться с мыслями.

— Уверяю вас, что правительство Болгарии более демократично, чем правительство Италии, — бросил советский премьер в полемическом запале — этот диалог русского и американца все больше превращался в поединок, при этом Трумэн тревожно пламенел, а Черчилль радостно затихал — только слышались его вздохи, утробные.

— Я уже несколько раз говорил… — хмыкнул Трумэн, не в силах справиться с откровенно неприязненным тоном; да, как заметил американец, разговор лишен смысла, если правительства Болгарии, Румынии, Венгрии, Финляндии не будут реорганизованы, как того требуют американцы.

Молния еще тревожила небо, но гроза удалялась. «Я уже несколько раз говорил» — жило в сознании. Был в этом и гнев, нескрываемый, и раздражение, тоже нескрываемое. Странное дело, но хотелось думать о Рузвельте: сказал бы он подобное за этим столом? Вряд ли. По крайней мере, у него была возможность произнести это прежде, но он как-то избежал этих слов, устоял от соблазна.

А советский премьер продолжал торить свою тропу: он установил, что в Италии есть русский и американский дипломатические представители, при этом нет аналогичных представителей от Великобритании и Франции. Черчилль пояснил: Великобритания все еще находится в состоянии войны с Италией, поэтому и нет, хотя англичане называют своего представителя в этой стране послом.

— Но не таким послом, какие там у России и Америки? — тут же вопросил русский.

— Не совсем таким… — ответил Черчилль. — На девяносто процентов таким…

— Вот такого же посла надо было бы направить в Румынию, такого же не совсем посла, — заметил Сталин, вызвав взрыв смеха — смеялся даже Трумэн, которому очень не хотелось в эту минуту смеяться.

— Мы ничего не знаем о Румынии и тем более Болгарии, — произнес Черчилль. — Наша миссия была поставлена в условия изоляции, напоминающие интернирование…

Русский испытал неловкость в своем более чем просторном кресле.

— Разве можно так говорить?.. — вопросил он, и его грузинский выговор стал явным — он сказал «говорит».

— Я уверен, что генералиссимус был бы удивлен, узнав о фактах, которые имели место в отношении нашей миссии в Бухаресте, — произнес Черчилль невозмутимо.

— Сказки! — реагировал Сталин — он сказал со все тем же выговором: «Ск-а-а-азки!»

Огонь сместился: теперь Сталин единоборствовал уже не с Трумэном, а с Черчиллем. Как ни упорно было возражение президента, русский склонил его принять формулу: три правительства согласны рассмотреть вопрос об установлении дипломатических отношений с этими четырьмя странами.

— Я не имею никаких возражений, — наконец заявил американец кротко.

— Тогда и мы не возражаем, — поддержал его русский. Черчилль молчал — в большом окне прояснилось небо, и в зале погасили свет, но англичанин был мрачен.

— Это вводит общественное мнение в заблуждение, — заметил Черчилль, он ничего не мог поделать со своим лицом, оно отказывалось ему повиноваться, он не хотел, чтобы оно было мрачно, но оно было мрачно.

— Почему? — спросил русский.

— Потому, что из смысла заявления следует, что мы скоро признаем эти правительства, — был ответ Черчилля. — Между

тем я знаю, что это не отражает позиции наших правительств… Я хочу спросить президента, — не скрывая хмари, Черчилль взглянул на американца. — Я хочу спросить: предполагает ли он, что осенью этого года представители нынешних правительств Румынии, Болгарии и других стран явятся в Совет министров иностранных дел и мы будем обсуждать с ними мирные договоры?

Трумэн ответил хмарью на черчиллевскую хмарь: ему казалось, что англичанин определенно превысил свои полномочия — черчиллевский тон был недопустим.

Ответ американца был по-своему точен: это право будет у правительства, признанного тремя великими.

— Но нынешние правительства этих стран не будут нами признаны… — с грубой прямотой ответил Черчилль.

— Откуда вы это знаете? — вспылил русский.

— Это логически вытекает… — бросил Черчилль и запнулся, не окончив фразы.

— Нет, не вытекает! — подтвердил русский.

— Благодарю вас, — ответствовал британский премьер.

— Не стоит благодарности, — подтвердил русский премьер, и смех покрыл его слова — очередное кровопролитие, как обычно, закончилось почти братанием.

— Прошу извинить мое упорство, — вдруг улыбнулся Черчилль жалостливо — он понял, что нормы такта нарушены и его настойчивость должна быть сообразована с приличием. — Если этот документ будет опубликован, придется его объяснять, особенно мне в парламенте… Я предлагаю заменить предлог «с» на предлог «для», — вдруг осенило Черчилля. — Там, где написано «мирные договоры для Румынии, Болгарии и других стран»… — подтвердил он — на него вдруг снизошло великодушие; самым сильным все-таки была в нем эта эмоциональность — она могла его кинуть с одного борта на другой.

— Я не возражаю, чтобы было «для»… — поднял смеющиеся глаза русский — он понимал, что всесильное «для» было призвано Черчиллем, чтобы сохранить лицо.

А между тем Черчилль явился на очередное заседание как ни в чем не бывало, даже его предстоящий отъезд в Лондон, как он недвусмысленно намекнул на это накануне, временный (он полагал, что после возвращения в Потсдам он останется здесь до 6 августа — он не исключал, что может еще вернуться в Потсдам), даже его отъезд в Лондон не сказался на его сегодняшнем состоянии. Он, как обычно, занял свое место за столом едва ли не первым и углубился в чтение бумаг.

Но невозмутимость Черчилля была чуть-чуть напускной, и ход заседания обнаружил это явственно.

— Вчера было сделано предложение продолжить сегодня дискуссию о западной границе Польши, — заметил президент, открывая заседание.

Слово взял Черчилль и решительно вернул дискуссию о западной границе к ее отправной точке. Он, Черчилль, говорил с поляками и хотел бы этот разговор продолжить. По их данным, на западных землях проживает полтора миллиона немцев, — значит, проблема западных границ — это проблема репараций.

— Ну что ж, отложим нашу дискуссию до пятницы, — откликнулся председатель и, взглянув на русского, убедился, что тот не возражает.

Но Черчилль не выразил энтузиазма — вожделенная пятница вдруг отдалилась для него на расстояние почти космическое и стала недосягаемой. В самом деле, если Черчиллю суждено вернуться на конференцию, то пятница для него на расстоянии протянутой руки, она досягаема вполне, а если нынешний день в Потсдаме последний, тогда до пятницы как до Юпитера.

— Я предлагаю вернуться к вопросу о польском движении на запад, — заявил британский премьер — его речи была свойственна некая изящность, даже не английская, а французская, — он сказал: «польское движение на запад».

— Обменяться мнениями я, конечно, согласен, но сможем ли мы решить сейчас этот вопрос? — реагировал Сталин с нескрываемой определенностью — он понимал, что встречи с поляками действуют на союзников благотворно, однако запланированная серия встреч не завершена и по этой причине эти встречи в полной мере еще не сработали.

— Я хотел бы только сказать, что этот вопрос лежит в корне успеха конференции, — реагировал Черчилль — не трудно было проникнуть в смысл сказанного: если проблема западных границ Польши является столь основательной, то обидно покидать конференцию, прежде чем эта проблема не будет решена; покинуть конференцию — значит уйти от цели на более значительное расстояние, чем это возможно… — Мы должны признать, что до сих пор мы не добились прогресса, — заметил британский премьер в заключение — он приберег эту меланхолическую фразу под конец, аккорд был нарочито печальным.

— По этим вопросам у нас нет никакого прогресса, — поддержал британского премьера американец.

— Рур дает девяносто процентов металла и восемьдесят угля, — с легкостью, почти виртуозной, русский вдруг явил эти

цифры, точно они были у него на слуху.

— Если уголь из Рура будет поставляться в русскую зону, то за эти поставки придется заплатить продовольствием из этой зоны, — Черчилль ухватил сталинскую фразу едва ли не на лету и с ловкостью, которая в нем не предполагалась, обратил ее в свою пользу!

— Если Рур остается в составе Германии, то он должен снабжать всю Германию, — не заставил себя ждать русский.

— А почему нельзя брать продовольствие из вашей зоны? — вопросил Черчилль.

— Потому что эта территория отходит к Польше, — ответствовал Сталин с воинственностью безбоязненной.

— Я надеюсь, что генералиссимус признает некоторые из наших затруднений, как мы признаем его затруднения, — вдруг изрек Черчилль — когда русский шел на обострение, нельзя сказать, чтобы англичанин был очень храбр. — У нас в Англии будет самая безугольная зима, — вздохнул он.

— Почему? — не сдержал своего изумления Сталин. — Англия всегда вывозила уголь.

— «Почему?»… — реагировал Черчилль. — Да потому, что углекопы еще не демобилизованы…

— У нас пленные работают на угле — без них было бы трудно, — признался русский. — Четыреста тысяч немецких солдат сидят у вас в Норвегии, они даже не разоружены…

Черчилль даже прикрякнул — намек был сокрушительным: два дня назад русским было произнесено нечто аналогичное, но касалось Италии, сейчас речь шла о Норвегии — по всей Европе, оказывается, сохранялись немецкие формирования, все еще вооруженные — с какой целью, против кого? Однако синклит советников у русских действовал на зависть: глава делегации был во всеоружии — данные, к которым обратился русский, явно были добыты только что.

Черчилль упер жестоко унылый взгляд в Сталина: этот разговор о рурском угле далеко завел собеседников.

— Я не знал, что они не разоружены… Во всяком случае, я наведу справки…

Два дня назад он ответил на соответствующие обвинения русского таким же образом: тогда он тоже наводил справки, обещал навести, но, кажется, не навел.

— Я могу вас заверить, что нашим намерением является разоружить эти войска, — подтвердил Черчилль и, очевидно, посетовал на себя: в какой раз он должен становиться на этой конференции в положение обороняющегося.

— Я не сомневаюсь, — заметил русский и встал — он мог

себе позволить быть великодушным.

— Мы не держим их в резерве, чтобы потом вдруг выпустить из рукава, — поспешно сообщил Черчилль и приподнялся — после того, как встали русский и американец, сидеть было неприлично.

У черчиллевских зигзагов могло быть одно объяснение — недоставало веры, прежде всего в себя, в прочность своего положения. Конечно же прямо об этом Черчилль не говорил и не мог говорить, но поведение его на конференции, психологическое существо поведения все объясняло: поколеблено нечто такое, что было у Черчилля незыблемым, — уверенность в себе. Все объяснили выборы: Эттли вернулся в Потсдам без Черчилля.

А между тем круг главных проблем, подлежащих обсуждению конференции, сузился: западные рубежи Польши, репарации, правовое положение стран, бывших союзниками Германии.

28 июля — шло десятое заседание — было отмечено на конференции штормовым ветром силы завидной: сшиблись позиции, как, впрочем, и амбиции. Внимательный наблюдатель должен был установить: только компромисс, компромисс всемогущий может спасти положение — если делегации не пойдут на уступки, конференции не избежать кризиса.

Обратились к средству, теперь уже испытанному: передали трудные вопросы министрам иностранных дел, прервав заседания большой тройки. Неизвестно, насколько долга должна быть пауза: быть может, день, а возможно, и два, но в преддверии большой перемены вдруг обнаружилась одна особенность: американцы дали понять, что может иметь место обмен… Да, мы не обмолвились — обмен. Строго говоря: обмен — категория не столько дипломатическая, сколько военная, быть может, даже экономическая. В соответствующей ситуации можно отвести войска за демаркационную линию и таким образом произвести своеобразный обмен территориями. Впрочем, может иметь место обмен и не столь условный: например, генерал может быть обменен на двух полковников — впрочем, число полковников может быть и иным, в зависимости от звания генерала и его достоинств, нынешних и потенциальных. Но в тот июльский день, памятный, американцы подали мысль об ином обмене. Видно, польская делегация, прибывшая в Потсдам и неоднократно уже встретившаяся с американцами, сделала свое дело — Трумэн был склонен уступить. Но он хотел продать эту свою уступку возможно дороже — так возникла мысль об обмене. Эта мысль прозвучала приблизительно так: если вы примете нашу пропозицию о репарациях, мы дадим согласие на новую границу Польши на западе… Ну, что можно тут сказать? Мнение это было

столь же откровенно грубо, сколь и цинично — вряд ли это тот тон, который должен торжествовать в диалоге между союзниками, завершившими войну против несправедливости. Но все слова, в которые была облечена вожделенная пропозиция, стояли на своих местах: имелся в виду обмен именно такого рода… Но, быть может, мы забежали вперед и ненароком обогнали события? Не резонно ли подождать, чем закончится двухдневный передых, и взглянуть, как разовьются события? Быть может, есть иные пути, чем обмен?

Но двухдневная пауза истекла, и мысль американцев об обмене была легализована. Президент предоставил слово своему министру иностранных дел. Бирнс завертел маленькой головкой, точно давая возможность соседям справа и слева оценить профиль лица с орлиным носом и коротким подбородком с вмятиной, произнес: американцы готовы принять западную границу Польши и согласятся на прием некоторых стран в Организацию Объединенных Наций, если будет принят американский план репараций. Иначе говоря, американцы шли на приступ конференции, воздев свой штандарт — обмен.

Конференция вернулась к многотерпимой проблеме репараций. Американцы изложили свой план — четверть капитального оборудования Рура, не нужного для мирных дел, должно быть передано русским взамен продовольствия, угля, цинка, калия из советской зоны. Кроме того, пятнадцать процентов оборудования Рура предполагалось передать русским, как говорилось в американском плане, без оплаты и обмена. У американского плана было двойное дно, достаточно просторное: план не указывал сумму, которой оценивалось оборудование, предназначенное для передачи русским. Это давало известные возможности для маневра: размеры поставок могли быть и велики, и малы. Кроме того, главная статья говорила не столько о поставках, сколько, в сущности, о торговом обмене и к репарациям имела отношение косвенное. Был в американском плане еще один ход, как шахматисты говорят, тихий: он давал возможность Руру обратиться в своеобразное пресмыкающееся, которое обладает способностью по осени сбрасывать шкуру старую, оставаясь в шкуре новой. Иначе говоря, репарации давали возможность Руру осуществить процесс обновления своей оснастки, задержавшийся в годы войны. Но британская делегация внесла свои дополнения в американский план, будто бы он был недостаточно совершенным: англичане полагали, что оборудование должно быть изъято не только из Рура, но изо всех западных зон поровну, — иначе говоря, англичане распространили блага обновления на все зоны.

Если же вернуться к двум остальным вопросам, то они в соответствии с американским планом выглядели так: поляки могут взять в свои руки управление на всей территории, которую они требовали. Документ о признании Румынии, Болгарии, Венгрии и в какой-то мере Финляндии воспримет русскую формулу: три правительства согласны, каждое в отдельности, изучить в ближайшее время в свете условий, которые будут тогда существовать, вопрос об установлении в возможной степени дипломатических отношений… Конечно, окончательный текст лишь в известной мере отразил русскую формулу, вобрав в себя казуистику англо-американской аргументации, которая эту формулу во многом обескровила: «Три правительства, каждое в отдельности», «в свете условий, которые будут тогда существовать», «в возможной степени дипломатических отношений»… Как было отмечено, оговорки обесценивали главную мысль документа — признание, но снимали возражения англосаксов.

Итак, конференция вновь обратилась к многосложному вопросу о репарациях — Эттли, как случалось потом неоднократно, ушел на время, и его место занял Бевин — узкогрудый Эттли испарился как бы невзначай, и грузному Бевину, наоборот, легко было явить конференции свои жидкие килограммы, заключенные в рогожку летнего костюма, как в мешок.

Взяв дирижерскую палочку, Бевин был самонадеян — тасовались проценты, простейшие, но английский министр был не силен в арифметике.

— У меня возникли сомнения, — признался англичанин простодушно. — Если вы получите требуемые вами проценты, то в ваших руках окажется больше половины германских репараций…

— Гораздо меньше, — возражал русский делегат, возражал осторожно, заметно щадя самолюбие англичанина. — Требуя пятнадцать процентов, мы даем эквивалент, это, собственно, обмен репарациями, а не репарации… Что же касается репараций, то надо говорить о десяти процентах, и у вас остается девяносто… — В глыбе, которую являл британский министр, русский пытался отыскать глаза, кротко мигающие. — Если мы получим семь с половиной вместо десяти, это будет несправедливо. Я согласен, чтобы было пятнадцать и десять. Это более справедливо. Американцы согласны — как вы, господин Бевин?..

— Хорошо, я согласен… — произнес англичанин — можно было подумать, что он согласился, не очень-то проникнув в

существо расчетов.

— Я могу сообщить полякам, которые здесь находятся, о наших решениях насчет западной границы Польши? — спросил Трумэн русского делегата, обнаружив живость, какой до этого не было, — можно было подумать, что речь шла о решении, которое отстояли американцы, преодолев возражение русских, а не наоборот.

— Да, конечно… — сдержанно реагировал русский — он понимал, что просьба президента определена домашними интересами Америки, в которые не было охоты вникать.

Тамбиеву позвонил пан Ковальский:

— Нет ли желания отобедать в обществе небогатого польского вавилонянина?

Поляк непобедим: спор о вавилонянах живет в его памяти.

Тамбиев поехал. Корчма на ближней потсдамской окраине, с виду больше сельская, чем городская, с керамическими люстрами и грубо сколоченными столами, с кирпичными стенами, которые не тронула штукатурка, и дощатыми полами, тщательно оструганными, но крытыми не краской, а олифой — гостеприимная корчма с некоторого времени стала местом встреч корреспондентов, слетевшихся в Потсдам. Тамбиев был тут однажды.

Подали томленый картофель с тушенкой, заокеанской, не без помощи предприимчивого американского интенданта попавшей на немецкую кухню, а вместе с тушенкой и картофелем — по богатырскому, похожему на братины, черпаку с домашним пивом, ярко-коричневым, густым и холодным.

— Вас надо поздравить, пан магистр? — спросил Тамбиев, когда они, не без труда отодвинув тяжелые табуреты, заняли места за столом с диковинно толстой, но приятно глянцевитой столовиной.

— Да, сегодня Трумэн намекнул нашим, что три великих дали «добро» польским западным границам и землям…

— А Польша, сказывают, уже делит Радзивилловы угодья? — спросил Тамбиев не без радостного участия.

— Слава богу, начала делить!..

— А как Миколайчик, понравится ему это?

Пан магистр приумолк.

— Все не просто, товарищ Тамбиев. Понравится? Думаю, не очень… — Он продолжал молчать, отстукивая сухой ладонью по столовине. — Когда ехали в Потсдам, случайно оказались на Маршалковской — толпа опознала пана Станислава, зашумела, запела и взвила к небу. Не успел я опомниться, а пан Станислав

уже над моей головой… Как писали в старых газетах, стихийное изъявление воли… Варшавяне — народ экспансивный…

— Варшавяне или вавилоняне?

— Вы полагаете… вавилоняне? — вопросил пан магистр. — Возможно, и вавилоняне, но не только они…

Неизвестно, как долго бы они просидели в корчме, если бы за поляком не прислали нарочного: Тамбиев пожал руку пану магистру.

— Вернусь в Варшаву, возьму отпуск месяца на два и махну в Краков искать Ядю… — произнес пан магистр. — Вот только как я ее найду: лица мне не упомнить, а имени — ей… Да уж как-нибудь: два месяца — срок немалый, пойду от человека к человеку…

— Счастье с надеждой, пан магистр…

— Верно: с надеждой… Бардзо — с надеждой!

Пан магистр уехал, а Тамбиев остался, приметив в углу непросторного зала старика Джерми, печально склонившегося над кружкой пива. Но расстояние до Джерми непредвиденно удлинилось: на пороге корчмы возник Галуа, — как всегда, он хотел разговора конфиденциального.

Немецкая корчма не очень-то подходящее место для такого разговора, но француз не растерялся — он повлек Тамбиева под звездное небо, полагая, очевидно, что звездам-то он может доверить свою тайну.

— Тут я перемолвился с американским генштабистом… — Галуа назвал имя генерала от инфантерии, достаточно известное. — За что купил, за то и продаю… — Он вожделенно взглянул на Тамбиева, ожидая, что тот не вытерпит и спросит его — что он купил и что продает, — чтобы завязать беседу, ему нужно, чтобы Тамбиев решился на этот вопрос. — Речь, разумеется, шла о Дальнем Востоке, — произнес он неожиданно меланхолическим тоном — этот тон должен был как бы маскировать остроту интереса.

— Как понять это ваше «разумеется», Алексей Алексеевич?.. Он смотрит на Тамбиева, едва ли не вытаращив глаза, — этот его взгляд точно говорит: «К чему лукавить? Ведь это же не нужно ни тебе, ни мне…»

— Ну, тогда разрешите, я скажу все, что хотел сказать… — решается он. — Я не знаю, как там вел себя в этом деликатном вопросе Трумэн со Сталиным, не знаю и не хочу знать — не мое дело!

— Все-таки не ваше? — улыбнулся Тамбиев.

— Не мое, — не сдержал улыбки Галуа и мгновенно стал серьезным — ему хотелось подороже продать то, что он хотел

сказать. — Американцы не могут скрыть своего нетерпения: теперь, когда необходимость в русской помощи так остра, Америка ждет, что русские не заставят себя ждать и помогут ей на Дальнем Востоке… И знаете, что тут самое забавное?

— Что?

— Они говорят об этом открыто…

Галуа осторожно оперся на больную ногу, подпрыгнул и был таков.

Прелюбопытный предмет: психология корреспондента. Ее постоянное состояние — беспокойство. Ее стихия — движение. Ее страсть — новое. Она постоянно устремлена вперед. Она целесообразна и целеустремленна. Для корреспондента день текущий — это день минувший, его существо обращено к завтрашнему дню. Только завтрашний день представляет для него ценность, ибо только этот день можно обратить в то непреходящее, что есть новость. Даже многосложный Потсдам для него значителен лишь в той мере, в какой он связан с дальневосточной перспективой. Поэтому, пока делегаты осмысливают итоги Потсдама, он, корреспондент, уже обратил свою недремлющую думу к Дальнему Востоку.

В последние два дня шел дождь, и бекетовский флигелек неожиданно напитался влагой — чуткое горло Сергея Петровича реагировало тут же. Не помог всесильный марганец, который во всех прочих случаях охранял.

Бардин явился к другу в одиннадцатом часу вечера, когда поток дел, тем более горячий в первоавгустовские дни, по всему для конференции заключительные, поостыл. Непросто было Егору Ивановичу встать на цыпочки и проникнуть в бекетовскую светелку, не потревожив чуткого сна друга. На стуле, придвинутом к кровати, горела настольная лампа, которую вернее было назвать ночником, так как она была мала, и в ее сумеречном свете гравюры на стенах точно набрались полумглы и казались даже стариннее, чем были на самом деле. Бардин опустился на стул, стоявший у двери, обратив взгляд на друга. Лампа стояла невысоко и высветлила мочку уха, которая казалась заметно желтой, и висок — снежно-белый. Этот висок, неожиданно белый, заставил Бардина приподняться, и он вдруг увидел худую шею друга, в крупных складках кожи, небрежно собранных, какую он не видел в нем прежде, и он подумал, что Сережа стареет. Егор Иванович затревожился — вместе с Бекетовым в туманное небытие отодвигалась и жизнь Бардина, отодвигалась неудержимо, — не увидев в этот поздний июльский вечер сорок пятого года Сергея Петровича, Бардин этого,

пожалуй, не понял бы. И вздох, громовой, бардинский, ощутимо потряс тонкие стены флигеля — Сергей Петрович открыл глаза.

— Это ты, друже?

— Я, Сережа…

Егор Иванович шумно зашагал по комнате. Ну, разумеется, если бы горло застудил сам Бардин, он бы пальцем не шевельнул, но тут занемог Сергей Бекетов и Егор Иванович явил усердие и, пожалуй, знания, которые хранились в нем до сих пор за семью печатями. Нет, ему доставляло удовольствие разжечь примус, вскипятить воду, развести марганцовку, многократ проверив на свет степень настоя.

— Еще, еще, Сережа… — подбадривал он друга, подавая стакан с красно-лиловой жидкостью, — неважно, что Сергей Петрович сошел для Бардина за старшего брата, самого старшего, в отношении Егора к другу было нечто неизбывно-родительское, для громоздкой стати Бардина кроткое.

С легкой руки Бардина великая церемония изгнания недуга оказалась многотрудной и потребовала от больного сил немалых — он лежал сейчас покорный и улыбающийся, и его лицо, заметно повлажневшее, неярко поблескивало в свете настольной лампы.

— Не думаешь ли ты, Егор, что союзники начали экономить на нас? — спросил Бекетов, не поворачивая головы, и протянул слабую руку к тумбочке, на которой покоилась стопка рисовой бумаги, необильная, но пухлая. — Они и сегодня не щедры, а завтра будут просто скопидомами… — Он оперся на локоть и взял сколку бумаги. — Вот эти десять процентов оборудования, подлежащего изъятию в Западной Германии, надо еще суметь изъять…

— И все-таки с недруга брать репарации легче, чем с друга, — заметил Бардин, наблюдая, как Бекетов, стараясь переложить страницы, не очень послушные, вздувает их. — По-моему, опыт первой войны учит: репарации только тогда действенны, когда взимаются натурой, при этом в сроки, которые простираются не столько на годы, сколько на месяцы… — Он внимательно посмотрел на Бекетова, который продолжал вздувать пучок трепещущих листов. — Все зависит от мирной конференции… Ты заметил: ею, как рефреном, заканчивается каждая глава коммюнике…

— Ты видишь в этом признак того, что конференция будет скоро? — спросил Бекетов и с осторожной готовностью передал пук бумаги другу, невесомый.

Вот так было всегда: беседа едва началась, а уперлась в отвесную стену — мирная конференция.

— Все — в солидной основе Потсдама, все — тут, друже… — сказал Бардин и, взяв на ладонь сколку рисовых листов, точно взвесил их. — В весомой… — произнес он улыбаясь, — нет, он не хотел иронизировать насчет подлинного веса рисовой бумаги. — В солидной основе Потсдама…

— Ты полагаешь, что Потсдам показал солидность, Егор?

— И немалую! — с энтузиазмом, зримым, подтвердил Бардин. — Одна польская проблема стоит целой конференции, решить ее — что взять Гималаи… Так я говорю?

— Так, разумеется, — согласился Бекетов и закрыл глаза устало. — Так, — подтвердил он, не открывая глаз. — Ты про чай забыл?

— Ах, да… забыл совсем. — Бардин пошел на кухню. — Нет, нет, не остыл. Я налью мигом, тебе и себе…

Они пили чай в охоту.

— Вот ты говоришь: Польша… — вернулся к прерванному разговору Бекетов. — Тут восторжествовала не политика взаимопонимания, а политика рационального обмена, весьма рационального, если не сказать меркантильного… — он смотрел на друга с нескрываемой печалью. — Я хочу думать о высоких целях войны, а тут всего лишь баш на баш… Не понятно ли, что этот баш на баш оскорбляет во мне самое чистое…

Бардин посмотрел на Бекетова, заметил, что лицо его отразило думу невеселую. Ну конечно же, друг Бекетов был огорчен немало, больше того, Бардин оскорбил в нем такое, что для Сергея Петровича было свойством натуры. «Во всем он ищет грешную прозу, — наверно, думал сейчас о Бардине Сергей Петрович. — Все его трезвому уму кажется если не будничным, то земным».

Нет, он неисправим, Егор. Видно, этакий скепсис человеку способно внушить только разочарование. Может быть, некогда разуверился и Бардин. Но тогда в чем он разуверился и когда это произошло?

— Значит, баш на баш? — улыбнулся Бардин.

— А ты думал что? — изумился Бекетов. — Мы говорим «взаимопонимание», а это всего лишь баш на баш… И так все коммюнике: оно, смею сказать, поддается своеобразному расщеплению… У союзников нет бескорыстных уступок — против каждой уступки надо искать эквивалент уступки нашей. Как с этим изъятием машин в западной зоне: они нам машину, мы им уголь и марганец… Все просто.

— И все-таки это взаимопонимание, Сережа… — сказал Бардин, подумав. — Убежден: взаимопонимание…

— Взаимный компромисс — взаимопонимание, Егор?

— Да, взаимный компромисс, — подтвердил Бардин. — Ты же пойми: пока есть классовый антагонизм, тут бескорыстие относительно… Надо понять: не в натуре того мира бескорыстие, о котором говорим мы. Даже в их собственных отношениях расчет является знаком доверия, больше того, приязни. Доброе партнерство предполагает у них расчет, тем более он должен присутствовать, как они полагают, в отношениях с нами… Баш на баш? Да, баш на баш, но это не должно нас обескураживать — нам надо научиться трезвости… Трезвости!..

— Это все понятно… — повел грозной бровью Бекетов — в последнее время его брови прибавили черноты. Даже странно: виски прибавили серебра, а брови — смоли; видно, и это — признак возраста? — Все это понятно… Неясно иное: при чем тут высокие цели войны?.. Цели войны — одно, а расчет, который этим целям сопутствует, — другое?..

— Именно… если есть уступка, ищи: взамен чего… — произнес Бардин.

— Значит, ищи: взамен чего? — повторил Сергей Петрович и не преминул сказать себе: все-таки бардинский бог — трезвость, да-да, та самая всесильная трезвость, которой у нас прежде не было и, дай бог, не будет никогда, трезвость, исключающая и запальчивость романтиков, и опрометчивость увлекающихся, и одержимость тех, кто не очень хитромудр и, пожалуй, степенен и сострадание человечных, быть может даже в чем-то слабых… Но ведь Егор совсем не такой — быть может, это даже не столько знак характера, сколько времени, а если быть точным, то поколения? Нет, тут надо пораскинуть мозгами: поколения? И он повторил: и сострадание человечных, даже в чем-то слабых… И Сергей Петрович вспомнил иву над прудом, под мохнатую шапку которой занесло их с Бардиным здесь, в Потсдаме, и разговор о Сереже, о его жестоко-печальной кручине: «Жаль его, так жаль, что волком бы завыл!» Нет, тут кончается наше всемогущество — все мы подданные этой жалости, и дай бог, чтобы и впредь были ее подданными — мы не станем от этого менее добрыми…

Но мысль Бардина была сейчас отдана грешному делу — он хотел продолжения диалога, ждал его.

— Однако, если взять на ладонь эту бумагу в целом, она тоже являет собой обмен? — спросил Бекетов — он пристально посмотрел на друга. — Так сказать, перспективу… обмена?

— Да, конечно, перспективу, — воодушевленно поддержал Бардин — он был последователен в своих доводах и принимал их, как они были расположены на карте грешной действительности, — без ложных иллюзий. — Именно перспективу, какой она явится нам еще в этом году…

— Ты говоришь о Дальнем Востоке?..

— Да, конечно… — согласился Бардин. — Не будь Дальнего Востока, попробуй сдвинь с места того же Трумэна…

Бекетов закрыл глаза — слабый свет лампы был ему не под силу, — улыбка, едва заметная, касалась его губ.

— Ты что улыбаешься, Сережа?.. Разве так смешно?

— Смешно.

— Не разумею — почему смешно…

Но Бекетов молчал, только улыбка, едва приметная, как бы проявилась, стала явной.

— Не хочешь ли ты сказать, Егор, что есть случаи, когда обмена ищет и наша сторона?

— Мы — реальные политики, и иллюзии, ложные, не в нашем характере, Сережа…

— Спасибо… политик реальный.

Ночью, проснувшись, Бекетов рассмотрел на диване, стоящем у противоположной стены, спящего Бардина. Диван стилен, а по той причине не очень просторен, и Егор Иванович не без труда уместил на нем свое громоздкое тело. Он спал, подобрав колени к животу, вобрав шею. Что-то неодолимо лихое происходило с ним во сне — он вздыхал едва слышно, постанывая и невнятно причитая. И во сне беда удерживала его на своих горящих тропах. Видно, засыпая, он думал о Сережке, а переступив границу сна, продолжал сражаться за его жизнь — искал встречи со злой силой, казнил себя за сомнения, готовил к жертве, которая больше жизни… Бекетов встал над ложем друга, и огонь великой тревоги, объявший в эту минуту Бардина, будто перебросился на Сергея Петровича — трижды дорогой тебе человек был подле, казалось, ты волен расшибить цепи беды, сковавшие его, и ты должен был сказать себе, что не в твоих силах это сделать…

А между тем в более чем знаменательный первоавгустовский день, отмеченный всеми календарями как тридцать первая годовщина начала первой мировой войны, конференция собралась на свое заключительное заседание. Перед делегатами лежали тексты коммюнике и протокола конференции, разумеется, согласованные в своих главных аспектах. Именно в главных: на нынешнем заседании предстояло пункт за пунктом пройти тексты, и если не перебелить их, то легко выправить, при этом и стилистически. Как это ни странно, но делегаты уже находились в том блаженно-приподнятом состоянии духа, когда галера конференции с ее нелегким грузом пришвартована и можно размять плечи.

Но поправки, конечно, были — корректировка, о которой шла

речь выше, заключалась и в этих поправках. Русские предложили принять новую польскую границу в принципе, окончательно утвердив ее на мирной конференции.

Бирнс, который с каждым заседанием конференции обретал все большую уверенность, взял со стола текст коммюнике и, взметнув его, радостно потряс, дав понять, что главное сделано и делегаты могут поздравить друг друга с окончанием страды.

— Мы получили от английской делегации новую редакцию вступительной части, — произнес он, обращаясь к русским. — У нас нет возражений против этого…

Затем Бирнс поставил такой же вопрос в связи со вторым разделом — учреждение Совета министров иностранных дел, третьим — Германия, четвертым — репарации, пятым — военный и торговый флоты… У американцев и англичан тут было согласие, и вопрос был обращен к русским, однако чтение продвигалось без помех. Никогда урожай утвердительных ответов не был столь обилен, как в эти последние полтора часа конференции в более чем памятную ночь с первого на второе августа сорок пятого года. Конечно, Трумэн, председательствующий на конференции, мог щедрым даром природы воспользоваться сам, но он великодушно отдал его своему новому государственному секретарю, полагая, что это будет небесполезно и президенту. И действительно, Бирнс точно завладел магическим жезлом: его вопрос находил только утвердительный ответ, даже у не очень уступчивых русских. Нет, это было похоже на чудо — вместо слов: «Разве можно такое говорить, не проверив», «Нет, уже без таких оговорок» и даже «Сказки!» — вдруг явилась новая интонация: «Не возражаю», «Согласен», «Хорошо»… Да, американский президент объявил берлинский форум союзников завершенным и, имея в виду мирную конференцию, заметил: «До следующей встречи, которая, я надеюсь, будет скоро», и русский делегат, не подвергая гипотезу американца сомнению и, очевидно, не обольщаясь, сказал: «Дай бог».

Но до того, как были произнесены эти слова, конференция приняла текст приветственной телеграммы Черчиллю. Имя старого Уинни возникло точно из небытия — со времени, как Черчилль покинул зал конференции, прошла всего неделя, а было такое впечатление, что минула вечность, — с такой силой время отбросило его прочь, отбросило и занесло дороги пеплом. Но имя это было произнесено отчетливо, и все, кто был в это время в зале конференции, повторили его в своем сознании, печально улыбнувшись. Неизвестно, как отозвалось это упоминание на Британских островах и икнулось ли в этот момент старому тори,

но, может быть, и икнулось. В самом деле, если что-либо сдерживало старого Уинни до сих пор, то лишь положение лица, представляющего достаточно исправное острие великого трезубца, ответственность этого лица, его обязательства, его долг, его совесть, в конце концов. Быть может, это было его бремя, но одновременно и привилегия, привилегия, обескураживающая и окрыляющая… Как далеко он пойдет, опираясь на эту привилегию?

Конференция закончилась 2 августа в половине первого ночи.

Делегаты покинули зал заседаний и вышли из дворца.

Только что прошел дождь, и капли еще вызванивали по мокрой траве. Трумэну подали плащ, и он накинул его на плечи. Над дворцом, над парковым массивом, над дворцовым городком распростерлось небо, по-августовски теплое, хотя и ветреное, все в проталинах многозвездной сини, такое знакомое и такое обычное и все-таки в чем-то немецкое небо.

— Кажется, что сюда война не заглядывала, — произнес Трумэн, всматриваясь во тьму парка. — Наверно, самое сильное, что есть в мире, это тишина — ее можно ранить, но не разрушить…

— Да, самое сильное, — согласился русский. — Она вокруг нас…

Они умолкли, и тишина, необозримая, точно откликнулась на их слова вечным молчанием.

82

Казалось, Потсдам должен был принести Егору Ивановичу облегчение. А получилось наоборот: никакого облегчения. Вдруг пришла усталость, какой до этого не было. Единственно хотелось: добраться до благословенного ясенцевского жилища и дать тишине полонить себя. Но, видно, безнадежно минуло время тишины — пришла наркоминдельская депеша, предлагающая Бардину немедленно явиться на Кузнецкий. За страдную жизнь Егора Ивановича было столько подобных депеш, требующих срочной явки, что Егор Иванович утратил ощущение, когда необходимость в нем была действительно срочной, а когда не срочной — при последующей проверке слова, уместившиеся в депеше, выглядели не столь сильно, как при первом чтении. Поэтому, получив телеграмму, Бардин усомнился — надо ли менять железную дорогу на самолет, а усомнившись, показал депешу Бекетову. Но многомудрый Бекетыч не оставил места для сомнений — он сказал, что подобные депеши получил не только Бардин… Дальше следовал перечень имен, небольшой и не очень громкий, но отмеченный одной привилегией: все они имели отношение к Дальнему Востоку, Этого открытия было достаточно, чтобы поезд был сменен на генштабистский самолет, отправляющийся по особому расписанию в Москву с получасовой остановкой в Киеве. Бекетов не получил наркоминдельской депеши, но он вылетел одновременно с Бардиным, резонно полагая, что без Егора ему нечего делать ни в Потсдаме, ни в поезде, идущем в Москву…

Бардин был в Ясенцах около полуночи и был удивлен, приметив в Иоанновой комнате свет, — старик вставал с петухами и должен был ложиться не поздно. Егор Иванович был немало встревожен, когда, прикоснувшись к входной двери, обнаружил, что она не заперта — забывчивость приходит с тревогой. В доме пахло зеленинскими — вот он, запах этой тревоги. Бардин шагнул в комнату отца и едва не сшибся в дверях с Ольгой.

— Ой, свят-свят — как это ты вошел? — встрепенулась Ольга, отступая.

— В самом деле, как вошел? — весело подхватил Иоанн и пояснил неунывающе. — Через трубу! Только как ты со своей комплекцией изящной через поддувало проскользнул?

— Теперь вижу: здоров!.. — Егор осмотрелся — стоял стул, у изголовья, заставленный склянками. — Ума не приложу: откуда только вот дым-зеленинский?

Но Иоанну был не по душе разговор.

— Победил немца, сын? — вопросил он, смеясь, — была в его вопросе ирония, Иоаннова, на веки веков живучая.

— Победил, отец… — неунывающе ответил в тон родителю Бардин.

— Вот и хорошо, — молвил Иоанн и медленно натянул одеяло. — Теперь и выспаться можно…

На том и порешили; немец был побежден, и можно, пожалуй, подумать о нови безмятежной.

Но безмятежной она, пожалуй, была только для Иоанна.

— Небось сдавило еще с вечера? — спросил Бардин Ольгу, когда вернулись к себе, — по расчетам Егора Ивановича, приступ начался часу в седьмом, все прежние разы было так.

— Нет, еще в сумерки… — заметила Ольга — все происшедшее с отцом окрасило в печальные тона и встречу с мужем. — Он все твердил: «Перебороть бы сумерки, а там будет легче…»

— Да не Сережка ли тому причиной? — скосил глаза Бардин на Иоаннову светелку.

— Сережка.

— Небось узнал отец?

— Узнал.

Вот он, железный трос, защитивший Иоанново сердце, — оборвался!

— Да как же… ты могла? — он готов был во всем винить ее — никогда не винил, сейчас хотел винить. — Я же просил тебя!

Она заметалась — ей был страшен гнев Егора, никогда она не видела его таким.

— Пришло письмо от Сергея, и оно попало отцу…

— Как же ты?..

— Тут нет моей вины, Егорушка, — произнесла она слабеющим голосом. — Пойми — нет вины… — она ткнулась мокрым лицом ему в грудь. — Я делала все, что могла…

Ему стало жаль ее. В самом деле, чего он на нее напустился? Кто делает для отца больше ее? Просто произошло непредвиденное, несчастный случай, который бы и ты не сумел предотвратить. Надо понимать: несчастный.

Егору Ивановичу очень хотелось сказать ей доброе, за отца, доброе, но нужных слов не было — хотелось и поблагодарить, и сберечь необходимую строгость.

— Как хорошо, что он у тебя постоянно на виду, — наконец произнес Бардин. — Надо же, чтобы так получилось: и на работе…

— Мы только и узнали друг друга там, на его опытных

полях… — произнесла она в строгом раздумье — она давно ждала этих слов Егора. — Он ожесточился с вами, мужиками, — она говорила о сыновьях Иоанновых. — Ему нужна была бы дочь…

— Внучки ему мало? — указал Егор глазами на большую комнату, за которой была светелка Ирины.

— Внучка внучкой, но ему нужна была бы дочь… — мягко возразила Ольга — у нее была своя интонация, когда она говорила с мужем об Ирине.

— Дочь, дочь… — согласился Егор.

С тем и уснули: Иоанну нужна была бы дочь. Уснули, когда маковки яблонь, что виднелись из окна, подпалил оранжевый августовский рассвет. А когда проснулись — гудели, раскачиваясь на рельсах, электрички и на стыке дорог под горой вскрикивали машины. Иоанна не оказалось дома — рядом с пустой чашкой из-под молока лежал тетрадный листик, и на нем скачущим почерком Иоанна — в этом скачущем почерке сказалось и его больное сердце — было изображено: «Я потопал, я уже топаю, Ольга, не спеши меня нагнать, все одно не поспеешь!»

Но Ольга не заставила себя ждать:

— Господи, да как это я проспала?..

У Бардина было еще два часа — наркоминдельские зори были, теперь уже не столь ранними, — и он решил дождаться пробуждения дочери. Бардин пошел по саду. Сколько же сил было в природе в это утро или Бардину казалось, что в природе столько сил! Утро было полно сини. Никогда прежде природа не таила для Бардина такой могучести обновления, как это утро — точно она только что пробудилась ото сна, набралась мощи, и даже не летней, а первородной, неистраченной, весенней, и показала эту мощь с захватывающей дух страстью, дав свободу силам, что потаенно лежали в природе, — природа шла на выручку Бардину, она протягивала ему руку. А может быть, все было не вне Бардина, а в нем самом: что-то пало и рухнуло внутри него, дав волю глазам, их способности жадно видеть землю и небо, — вот это пробуждение, которое было у природы, не напрасно же она приурочила к этому утру?..

А потом он сидел с дочерью на склоне холма, обращенного к реке, что текла за бардинским садом, и ветер, идущий от реки, вздувал, сводил и разводил на Иришкиных висках локоны, заметно порыжевшие за лето, и Бардин говорил дочери, вздыхая:

— Ты себе кажешься старше, чем ты есть, а на самом деле дитя несмышленое, думай об этом и не спеши…

Ирина говорила, отводя рыжие пряди за уши:

— Значит, думай и не спеши?

— Не спеши…

Она складывала ладони лодочкой и, положив их на колени, опускала в них лицо, как в воду.

— Прежде чем решить, надо считать до трех, да? — говорила она, обратив на него печальные глаза, и он видел ее лицо, мелово-бледное, с сухими, в заусеницах губами, — вон как ее попалило огнем этой ее муки, попалило и диковинно покорежило… — Я стала умной, — настаивала она, теперь уже бессмысленно — она храбрилась, она явно храбрилась, но все происшедшее оставило на ней свои зримые меты, свои несмываемые рубцы…

Он был на Кузнецком на пределе девяти и, едва прикоснувшись к почте, которая за эти дни и по виду достигла размеров внушительных, был встревожен настойчиво-долгим звонком, как все звонки переговорной с резкими, внезапно затихающими паузами.

— Ты, Егор? Ты?.. — возник и пропал голос Ольги — он был смятенно-прерывающимся, лишенным силы — ей не хватало дыхания. — Нет, не спрашивай, не спрашивай! — вдруг запричитала она — ей явно почудилось, что Бардин ее о чем-то спросил. — Я сказала: худо отцу… Приезжай — очень худо…

Когда исхлестанная дождем и пылью наркоминдельская «эмка» ворвалась в пределы Иоаннова царства, первое, что приметил Егор Иванович, это темную полоску людей в поле, туманно-темную в дождливой полумгле. По тому, с какой готовностью, молчаливо-скорбной, расступилась толпа перед идущим от машины Бардиным и пропустила его к хлебной полосе, Егор Иванович понял, что дело плохо, пожалуй, даже очень плохо… Отец лежал на хлебной полосе, упав ничком, охватив руками голову, точно захотел добрать в пшеничной тиши с недосыпу час-другой — и затих навеки…

Бардин только ощутил, как масса земли мягко и невесомо качнулась под ним и вдруг пошла ходуном… А потом все было как во сне: блеск пшеничного поля, оранжевая скиба солнца за лесом, полевая дорога в рытвинах, незнакомые люди, несущие кумачовый гроб, пригорок свежевырытой глины рядом с провалом могилы, зловещий стук этой глины по крышке гроба, стук громоподобный, словно вся земля, что была вокруг, обратилась в камень, и вот эти слова, произнесенные в неразличимых сумерках вечернего поля:

— У нас будет время понять его…

Эпилог

…Кто-то прозорливо-мудрый, оставаясь незримым, рассчитал, что предрек: к сорока Иоанновым дням явится оказия собрать всех. Явился Яков в саржевой гимнастерке, напитанной красноватой маньчжурской пылью, прибило шальной океанской волной к русскому берегу Мирона, да и Бардин был не промах, вовремя остановив ретивый посул начальства, уготовившего ему новую командировку в скандинавское далеко. Вот только Сергей, явившись в ясенцевское обиталище родителя за неделю до этого, устрашился своего необычного вида и захромал прочь от дома, пообещав вернуться на Новый год.

Братья выпили за помин души, вдоволь помолчали.

— Ум отцу велел остановиться, а норов гнал вперед, — сказал Яков, которому и прежде норов отца был не по душе.

— Это ты умел останавливаться сам и останавливать других, ему это было труднее, — ухмыльнулся Мирон своей несмываемой ухмылкой — ему нужно было время и труд, чтобы ее стереть.

— А зачем останавливаться, когда можно не останавливаться, — ответствовал Егор. — Останови его вовремя, пожалуй бы, и Иоанна не было…

— Да что Иоанна? — возразил серьезно Мирон — ему стоило труда стереть эту свою ухмылочку. — Нас с вами не было бы!..

Раздался смех и тотчас смолк — да уместен ли он сегодня, этот смех?

— Он к этой смерти своей на пшеничном поле шел прямой дорогой, — произнес Егор, оперев голову на могучие свои кулачищи. — Она у него была задумана на заре жизни и явилась не вдруг — останавливай не останавливай, все одно так было бы…

— Но вот задача! — воспрял неожиданно Мирон. — Нет-нет, я ее задаю не вам, а себе… — Он встал, быстро пошел в конец комнаты, будто бы условия задачи, о которой он говорил сейчас, лежали там. — Все эти его диво-идеи, которые он не переставал вызывать к жизни, какими они явятся нашим внукам… старыми или новыми?.. И как они придутся нашим внукам по душе, как некий анахронизм или… нечто стоящее?..

— Внуки во все времена… внуки! — вымолвил Яков — он был единственным из братьев, у кого могли бы уже быть внуки, и сполна пользовался этим преимуществом. — Они праздны, самоуверенны и не любят думать — чем больше, тем больше! Что им бедный Иоанн с его неутешным беспокойством? Они просто пройдут мимо…

— Пройдут? — стрельнул Мирон из своего дальнего укрытия. — Не знаю!.. Ведь он разговаривал не с нами, а с ними, а нас избрал вроде письмоносцев… мол, передайте вот этот пакет по назначению… Иришкиному сыну!..

Ирина, со строгим вниманием слушавшая Мирона, вдруг встала и устремилась к входной двери, раскрыла ее — пахнуло дыханием опавших листьев, горчайшим, да холодноватой влажностью — накануне выпал дождь.

— Или… привиделся кто? — слукавил Яков, ухмыльнувшись; он щадил женское самолюбие племянницы и вопроса не уточнял.

— Привиделся.

Но Бардин потемнел в лице и с печальной кротостью посмотрел на дочь.

— Иди ко мне… моя добрая, — молвил он и, дотянувшись толстой ладонью до ее плеча, задержал ладонь — он-то понимал Ирину лучше брата.

— Я об Иоанне думаю лучше, — произнес Егор Иванович, возвращая разговор к существу. — И о внуках лучше… Что же касается Иришкиного сына, который витает над нами… — он поднял руку, сжав ее и разжав, демонстрируя нечто эфирное, невесомое и пока что неощутимое. — Что касается его, то ему старик может показаться и не таким древним, как нам…

— Ну, тут есть резон для спора, но я помолчу… — подал голос Яков.

— Остановишься? — стрельнул Мирон из своего угла.

— Нет, не остановлюсь, — молвил Яков.

— Тогда говори, — произнес Егор великодушно.

— Память — практически вечный камень, все врубцевать в этот камень… Память и еще раз память…

Явился Бекетов — не так уж далек путь от электрички, а глаза стали красными — ветер развоевался не на шутку. Он задержался у двери, обратив взгляд на Якова, — тот продолжал говорить.

— Но здесь одной памяти не совладать — надо, чтобы властвовало сознание, — произнес Сергей Петрович и оглядел всех, кто был в комнате, красными глазами. — Прости, Яков, если я выкажу крамолу: память имеет способность умирать, сознание — никогда…

— Память жива сознанием? — спросил Бардин хмуро.

— Да, именно так: память жива сознанием… — подтвердил Бекетов.

— А как это выглядит в жизни? — спросил Яков заинтересованно. — Какое у нее лицо, у этой формулы: память жива сознанием…

— У нее лицо святого, — засмеялся Бекетов. — Да, святого — не безгрешного, а совестливого.

— Погодите, Сергей Петрович, но есть имя у этого святого? — спросил Мирон ненароком.

— Я так думаю: правда истории — вот его имя, — сказал Бекетов не раздумывая.

Разумелся любой ответ, но только не этот: правда истории. Да не намудрил Бекетов невзначай? И чего ради он привел разговор к этой формуле? Можно допустить, что вожделенная эта правда важна для Бекетова, но так ли она важна для всех остальных?

— Я понимать хочу! — произнес тихо Мирон, но ответом ему было молчание — и остальные хотели понимать, но не спешили с этим.

А Ирина подошла к окну и точно обратилась в слух — она, как щенок, слышала все, что было за пределами дома, никто не слышал, а она слышала, она читала эти незримые звуки, доносившиеся из сада, никто не способен был внять им и тем более понять их, а она слышала и разумела. И вновь Бардин с печальной кротостью посмотрел на дочь и поднял руку, стремясь коснуться плеча Ирины, но дочь была далеко.

— Я понимать хочу, — не возразил, а возопил Мирон. — Что есть правда истории?

Бекетов точно ждал этого вопроса — вот и настало время сказать то, что он хотел сказать. Непросто подтолкнуть почтенное, собрание к этому вопросу, Бекетов подтолкнул. Ну, можно допустить, что это важно для Бекетова больше, чем для всех остальных, но и остальные, как убежден Сергей Петрович, должны быть небезразличны, если хотят понять день минувший и, быть может, чуть-чуть грядущий.

— Правда истории должна охраняться как нечто заповедное, — произнес Бекетов, остановив взгляд на Мироне — он говорил ему и одновременно всем остальным. — Нет и не может быть человека, который мог бы ее нарушить, как нет и не может быть причины, которая бы давала повод поднять руку на эту правду истории…

Бардин, с хмурым вниманием слушавший Бекетова, подал голос:

— Погоди, да не хочешь ли ты сказать: только та правда, что устоит перед прошлым?

— Даже больше: перед будущим!

— Не только перед Иоанном?

— Перед Иоанновым правнуком!..

— Это и есть смысл твоей формулы: память жива сознанием?

— Да, я это хотел сказать, Егор.

Бардин смолчал, но мысль его работала упорно: ничто не может объяснить существа бекетовской жизни, — это объясняет.

За окном сломалась сухая ветка — это услышали все, но на какую-то секунду Ирина восприняла это первой. Она точно ждала этого и, раскрыв дверь, выхватилась из дому, — вновь пахнуло горчайшей прелью.

— Сережа, Сереженька, это ведь ты? — не закричала, а запричитала Ирина.

Вошел Сергей, не вошел, а втолкнул себя в дом и, удерживая равновесие, оперся о косяк двери, ухватив одной рукой костыли.

Точно ветром взмыло Бардина — он рванулся к сыну и не сгреб, а повалился на него всей своей огромностью.

— Сергей… Сережа…

А Сергей добрался до стула, который пододвинул ему отец, опустился, выронив костыли: в тишине сухое дерево отозвалось громко, звук был пустым. Сергей дотянулся до костылей, зажал нерасторжимо, да и затих, печально глядя вокруг, точно в костылях и молчании было его спасение. Казалось, скажи он слово — и всем будет легче, но он молчал, обхватив костыли.

— Отвечать детям будем мы и объяснять детям — тоже мы. — Бекетов безбоязненно вернул разговор к существу. — Легко сказать: муки войны. Понять это и то нужен труд…

— Муки войны — это все, что не исцеляется… — сказал Мирон и точно осекся — тишина его остановила, тишина, что вдруг возникла и стала жесткой, — не надо было говорить, при Сережке, не надо.

— Да есть ли такое в жизни, что не исцеляется, дядя? — отозвался Сергей — не часто он называл младшего из бардинских братьев дядей, но сейчас решился — видно, Мирона мог выручить только он. — Коли не сшибло напрочь, то считай, что повезло…

— Спасибо, Сережа…

— Да за что спасибо, дядя Мирон?

— Не спрашивай: спасибо…

А Бардин не поднял головы, слышал все, но не было сил поднять ее — пуще всего на свете боялся этого разговора, хотел отвратить, да, видно, нет силы, которая бы отвратила. Вот так и просидел недвижимо до того позднего часа, когда гости разбрелись по не столь уж долгим углам бардинского дома, запасшись нехитрой поклажей, что приготовила Ольга, — нехитра поклажа из двух простынь да подушки.

В доме не было только Сергея — не иначе, вышел искурить свою горькую цигару. Бардин пошел вслед, однако на крыльце остановился. Сергей сидел под старой яблоней, где сиживал, как

помнит Бардин, со своими тетрадками в далеком детстве. Он сидел опершись правой рукой о скамью, положив костыли на сиденье. Видно, он долго не курил — затяжки были крепкими. Каждый раз когда он подносил цигару ко рту, уголек пламени, разгораясь, освещал лицо, и от этого глазницы и впалость щек казались заметнее. И Егор Иванович вдруг поймал себя на мысли, что ему трудно подойти к сыну, и уйти отсюда тоже у него не было сил. Было такое чувство, что вон там сидит человек, трижды родной человек, само существование которого способно было объяснить все, что пережил Бардин в эти годы, пережил и еще переживет…

1968–1977

Конец третьей книги

notes

Примечания

1

Кливденская клика — группа английских политиков, принадлежащих к крайне правому крылу консерваторов. Активно поддерживала заключение Мюнхенского соглашения с Германией. Противилась борьбе с германским агрессором.

2

Мы ждем премьера, он будет через несколько минут.

3

Какие новости из России?

4

Новости? Не очень-то добрые… Господин Бекетов вчера из России. Он лучше меня ответит на ваш вопрос.

5

Пулеметы… Верно?

6

Друзья, внимание!..

7

На Дворцовой, шесть, в Петербурге находилось Российское министерство иностранных дел.

8

«Лена-Голдфилдс» — акционерное общество, учрежденное в начале века в Англии для эксплуатации золотых приисков на Лене. В 1925 году по концессионному договору, заключенному с правительством СССР, предприняло добычу золота в Сибири, на Урале и на Алтае. Ввиду невыполнения англичанами принятых на себя обязательств, правительство СССР расторгло с «Лена-Голдфилдс» договор.

9

Перевод М. Зенкевича.